ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО – ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ
ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ

ЛЕНИН

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

16-18

ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
1 · 9 · МОСКВА · 3 · 4

ПУШКИН

Портрет маслом В. Тропинина, 1827 г.

Третьяковская галлерея, Москва

ОТ РЕДАКЦИИ

Выпуская в свет настоящий сборник, редакция в полной мере сознает трудность и ответственность стоявших перед нею задач. Пушкин — сложное и противоречивое явление нашего культурного прошлого. Поэт переходной эпохи, деятельность которого протекала на рубеже двух эпох, двух культурно-исторических формаций—феодальной и капиталистической,—он отразил в своем творчестве коллизию старого и нового.

Освободительное значение его творчества неоспоримо. До сих пор еще не осознано в полной мере огромное революционное значение его последовательной и непримиримой борьбы за раскрепощение литературы от пут придворно-аристократической эстетики классицизма, борьбы, которой буквально пронизана вся его общественная деятельность—как поэта, как теоретика литературной мысли, как организатора литературного мнения. До сих пор во всей полноте не оценен огромный революционный смысл его обращения к реальной жизни, к действительности как основному материалу творческой работы. В этом плане важнейшие элементы его творчества явились органической основой всего дальнейшего движения за демократизацию литературы, за приобщение ее к освободительной борьбе радикальных общественных групп против самодержавия и крепостничества.

В то же время все эти прогрессивные тенденции литературного дела Пушкина осложнены грузом прошлого. В изображении этой действительности, казарменно-бюрократической действительности николаевской эпохи, поэт проявил критицизм, поднимаясь над общим уровнем своего класса, но путей к переделке действительности он не видел, перед ее косностью становился втупик, как перед чем-то непреодолимым. В его творчестве проступали черты своеобразного исторического пессимизма. С этим связаны моменты примиренности поэта, проявившиеся в последние годы его жизни. Тем не менее определяющее значение имела для Пушкина острота восприятия действительности, глубокий интерес к социальному движению эпохи, непрерывные творческие поиски, пафос утверждения новых начал жизни.

В борьбе за пушкинское наследие, развернувшейся после его смерти, реакционная мысль сделала все возможное, чтобы выдвинуть на первый план именно те элементы социальной практики Пушкина, происхождение которых коренится в его историческом пессимизме. Отсюда разговоры реакционных критиков о пресловутой всепримиренности Пушкина, об аполлонической ясности его миросозерцания, чуждого якобы какого бы то ни было критицизма и борьбы, как о важнейшем и основном у Пушкина.

Отсюда же часто предубежденное, а иногда и прямо враждебное отношение к Пушкину со стороны «левых» идеологических течений, у некоторых наиболее крайних их представителей перерастающее в нигилистическое стремление вообще сбросить Пушкина со счетов.

Такая постановка вопроса нам совершенно чужда. Для нас борьба с реакционной легендой о Пушкине означает б о р ь б у з а П у ш к и н а. Наша задача—овладеть всем, что есть в наследии Пушкина здорового, жизненного и революционного, всем, что может быть использовано в строительстве культуры бесклассового социалистического общества.

Излишне говорить о том, что ведущаяся в целях ее разрешения работа не может быть свободна от ряда недостатков.

Широта постановки вопроса, широта вовлекаемого в орбиту научно-исследовательской работы материала, поднимая настоящий сборник над уровнем пушкиноведческих работ последнего времени, не могла не привести к тому, что материал по своему научному значению не вполне равноценен.

На всестороннее и исчерпывающее разрешение громадного и сложного комплекса проблем, стоящих на сегодняшний день перед наукой о Пушкине, не претендует ни одна из печатаемых в сборнике работ, но все же одни из них намечают вехи, которыми

сможет руководиться будущий исследователь, другие ценны выводами отрицательного порядка: они дают критику того, что до сих пор делалось в области изучения Пушкина, противопоставляя старому идеалистическому пушкиноведению новые точки зрения, построенные на диалектико-материалистическом осмыслении современной Пушкину литературной и исторической действительности. Эта задача проще, но она также должна быть разрешена.

Авторы некоторых статей, печатаемых в первом разделе сборника, анализируя построения старой пушкинской историографии как откровенно идеалистической, так и пытающейся в меру сил и умения работать в марксистском плане, в ряде случаев раскрыли классовые корни отдельных господствовавших в пушкиниане прошлого теорий.

Расчистка строительной площадки—начало всякого строительства; в этом смысле критика наследия идеалистической пушкинианы должна предшествовать созданию пушкинианы марксистско-ленинской. Однако ограничивать задачу этой критической работой нельзя, и в этом плане печатаемые ниже работы проблемно-теоретического порядка должны рассматриваться как подступ, как начало марксистско-ленинского изучения пушкинского наследства в свете современности.

Сложность и неизученность целого ряда проблем пушкинского наследства, ранее даже и не поднимавшихся, вынудили редакцию предоставить в сборнике место отдельным мнениям, не стремясь во что бы то ни стало сгладить их расхождения.

Особых пояснений требует количественно наиболее богатые разделы сборника—документально-текстовые разделы, объединяющие работы, построенные на обследовании колоссального нового фактического материала, до сих пор не вовлекавшегося в научно-исследовательский оборот. В некоторых кругах нашей литературоведческой общественности до сих пор еще господствует убеждение, что наличный фонд документально-текстовых материалов по Пушкину давным давно исчерпан, изучен и переизучен. Все основное действительно как будто бы собрано; спора нет, что традиционное академическое пушкиноведение сплошь да рядом занималось антикварским коллекционированием абсолютно невесомых в научном отношении мелочей; но смешно было бы, исходя *отсюда, объявлять розыски новых документов по Пушкину делом ненужным и в научном* отношении бесполезным.

Мемуарно-эпистолярная литература о Пушкине—такой источник, первостепенную важность которого для правильного и всестороннего освещения социального поведения поэта не будет отрицать никто. Впервые видят свет в сборнике воспоминания о Пушкине такого крупного человека той эпохи, как Катенин. Впервые публикуются результаты обследования таких имеющих первостепенное значение в деле изучения Пушкина архивных фондов, как фонд Погодина или фонд Соболевского.

Замыкающий сборник цикл обзоров преследует преимущественно информационно-библиографические цели—показать, что было сделано в области разработки пушкинских текстов и биографии Пушкина после Октября, так как еще находятся люди, которые выпускают книги о Пушкине, не зная как следует пушкинских текстов.

Особое внимание уделено редакцией подбору иллюстративного материала: из 337 помещенных в сборнике всевозможных графических документов более трех четвертей публикуется впервые. В подавляющем большинстве эти материалы имеют и самостоятельное научное значение (пушкинская иконография, портреты друзей и современников поэта, факсимиле пушкинских автографов, снимки с рисунков Пушкина). В первом разделе сборника сосредоточены наиболее интересные послереволюционные иллюстрации к пушкинским произведениям советских и западноевропейских художников.

Сборник был сверстан при старой редакции издания. Новая редакция осуществила лишь окончательную компановку материала и просмотр основных групп его перед подписанием к печати.

В заключение редакция еще раз подчеркивает, что настоящий сборник она не рассматривает как итоговый, обобщающий. Это—первый шаг к переоценке пушкинского наследия. Редакция уверена, что к юбилейным дням 1937 года появится не один пушкинский сборник и общими научными силами, на основе марксизма-ленинизма, советское литературоведение точно определит значение Пушкина в истории нашей культуры и революционного освободительного движения.

I. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПУШКИНА

НАСЛЕДСТВО ПУШКИНА

Статья А. Цейтлина

10 февраля 1937 г. исполнится сто лет со дня трагической гибели Александра Сергеевича Пушкина. Советская страна будет чтить в этот день память своего величайшего поэта, создателя русского литературного языка, основоположника реализма. Роль Пушкина в истории литературы исключительна: начиная с Гоголя и кончая Брюсовым, ни один значительный писатель не избегнул его мощного художественного влияния. Столетие, отделяющее нас от смерти поэта, ознаменовано величайшим ростом его популярности в широчайших читательских массах страны: десятки изданий, миллионы экземпляров сочинений Пушкина расходятся, далеко не удовлетворяя предъявляемого на них спроса.

Ленинский лозунг культурной революции призывает нас к внимательному освоению всех художественных ценностей дореволюционной эпохи. Пролетарскую культуру Владимир Ильич определял как «закономерное развитие тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества». Понятно, какую огромную ценность приобретают в свете этих указаний и вся классическая литература, и самое творчество Пушкина, представляющее один из самых блестящих и значительных ее этапов. Внимательное изучение этого творчества должно в огромной степени способствовать строительству советской литературы.

I

За истекшее столетие деятельность Пушкина подвергалась многочисленным истолкованиям. Идеологи различных классовых группировок стремились осмыслить творчество поэта. Ни одна из этих попыток не сохраняет обязательной силы для современного марксистско-ленинского литературоведения. Для нас неприемлема трактовка Пушкина Анненковым и Дружининым: возникшая в среде либерального дворянства, отражавшего все более крепнувший натиск революционно-демократической культуры, эта критика тщетно пыталась противопоставить пушкинское якобы «примиряющее» направление едкой обличительной сатире Гоголя. Нам чужда и сделанная Достоевским попытка истолковать творчество Пушкина как проповедь «смирения гордого человека»,—слишком ясна в этом подходе классовая сущность самого Достоевского, идеолога группы, из лагеря мелкобуржуазного радикализма перешедшей в стан дворянской реакции. Неверно истолкование Пушкина и деятелями символизма, согласно которому его глубоко здоровое и жизнеутверждающее творчество наделяется чертами распада, столь характерного для буржуазно-дворянского «конца века». По другим основаниям, но так же решительно должны быть отброшены и ультра-радикальные, «левацкие» попытки огра-

ничить значение Пушкина одним лишь далеким историческим прошлым, свести ценность его художественного наследства к одному искусному «версификаторству». Нигилистическая критика Пушкина Писаревым, пользовавшаяся таким успехом в среде радикальной и социалистической интеллигенции конца прошлого и начала этого века, не осталась одинокой в истории русской литературы; с нею явно перекликается например выброшенный ранними футуристами призыв «сбросить» Пушкина в числе прочих классиков «с корабля современности».

Все эти попытки умалить значение творчества Пушкина уже разоблачены историей. Однако еще сохраняют свою живучесть два противоположных друг другу и в одинаковой мере неправильных подхода к его поэзии. Сторонники одного стремятся предельно «архаизировать» Пушкина, сторонники другого хотят его столь же предельно «модернизировать». Одни доказывают, вкривь и вкось толкуя факты его творчества, что Пушкин, являющийся детищем дворянской культуры, умер вместе с нею и ничем не может помочь в строительстве современной литературы. Другие при помощи того же вольного обращения с фактами утверждают, что автор «Кинжала» и «Деревни» преодолел давление на себя дворянской культуры, что он деклассировался, сделался виднейшим идеологом декабризма, притом чуть ли не его наиболее радикального, «южного» крыла, провозвестником и идеологом «мужицкой революции» [1]. Несмотря на свою взаимную противоположность, обе эти трактовки сходятся в одном— в неумении понять подлинный творческий облик поэта во всей сложности его внутренних противоречий.

Противостоя этим ложным трактовкам, марксистско-ленинское литературоведение изучает Пушкина как явление дворянской культуры, сохраняющее исключительное значение для нашей современности. Ценность его многообразна—она заключена и в политическом созвучии ряда произведений Пушкина нашим дням, и в глубокой актуальности тех задач, которые поставлены его творчеством перед современной писательской культурой, и в художественном мастерстве созданных им произведений. Колоссальное по своей внутренней сложности наследие Пушкина ценно для нас множеством своих сторон; оно и должно быть изучено поэтому с нескольких точек зрения как явление политического сознания, культуры и поэтического мастерства. Такой синтетический подход к Пушкину исключительно ответственен, но он наиболее плодотворен. Неизбежные трудности и ошибки, которые подстерегают исследователей на этом пути, не могут заслонить от нас огромной важности самой проблемы—оценки пушкинского творчества под углом зрения требований и нужд растущей и крепнущей социалистической культуры.

II

Если бы мы произвели политическую оценку творчества виднейших русских писателей, то ранний период их литературной деятельности в большинстве случаев оказался бы наименее ценным, наименее созвучным нашим дням. Так в творчестве Гоголя наиболее умеренными в политическом отношении являются его ранние повести, полные идиллических, приукрашенных образов украинских крестьян. Так комические новеллы Антоши Чехонте по своей политической остроте безмерно уступают всему остальному творчеству автора «Вишневого сада». Так в «Детстве, отрочестве и юности» Л. Толстой целиком стоит еще на почве дворянской,

помещичьей идеологии. Так ранние произведения Салтыкова-Щедрина — его повести 40-х годов, его очерки в «Русском Вестнике» — не свободны от того либерализма, с которым Щедрин впоследствии так ожесточенно боролся. Но то, что верно для огромного большинства русских классиков, оказывается совершенно неприменимым к Пушкину. Уже в раннем периоде творчества он определяется как первоклассный политический поэт, как памфлетист и агитатор. Причину такого необычайно быстрого политического созревания поэта следует искать в особенностях той эпохи, в которой рос Пушкин: огромное политическое возбуждение в сильнейшей мере способствовало и быстроте его творческого роста, и решительности его политических высказываний.

То было время сильного революционного подъема. На западе и юге Европы яростно бушевали волны буржуазно-национальных революций. Освободительное движение в Испании, Пьемонте, Неаполе железом и кровью усмирялось реакционным Священным союзом. В России, где все тяжелее становилось давление крепостнической реакции, вспыхивали разрозненные и стихийные бунты крестьян. Полиция и цензура свирепствовали, стесняя всякое сколько-нибудь независимое проявление мысли. В этой обстановке усиливающегося политического возбуждения организовались те первые тайные кружки и общества, в которых воспитывались будущие декабристы. Молодой Пушкин был членом одного из таких петербургских кружков, носившего название «Зеленая лампа». И в Петербурге, и впоследствии в ссылке на юге он заводил знакомства со множеством декабристов — с Рылеевым, Александром Бестужевым, Николаем Тургеневым, Владимиром Раевским, Пестелем и др. В эту пору формирования антикрепостнической оппозиции (1817—1822) он бесспорно оказывается не только попутчиком декабристов, но и их деятельным союзником.

«Вольность», «Деревня» и «Послание к Чаадаеву» со всей силой выражают политическое «вольномыслие» молодого поэта. В первом из названных стихотворений Пушкин обращается с угрозами к властителям мира и со страстным призывом к восстанию к подвластным им народам:

Любимцы ветреной судьбы,
Тираны мира, — трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!

В «Деревне» он с большой художественной выразительностью бичует произвол крепостников, «дикого барства», высасывающего все соки из подвластных ему рабов — крестьян:

Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее тащится по браздам
Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея;
Здесь девы юные цветут
Для прихоти развратного злодея;

Опора милая стареющих отцов,
Младые сыновья, товарищи трудов,
Из хижины родной идут собою множить
Дворовые толпы измученных рабов...

Столь ярко выраженная политическая оппозиционность этих стихотворений не должна однако скрывать от нас существа их идеологии. Пушкин борется с самодержавием и с крепостничеством не как демократ, а как либерал. В «Вольности» наряду с обличением самодержца чрезвычайно сильно обличение революционного народа, насилием утвердившего свою «тиранию». В «Деревне» он в конце концов ведет борьбу не столько сатирой на своих противников, сколько убеждением их («О, если б голос мой умел сердца тревожить!»), и заканчивает картину произвола «дикого барства» выражением уверенности в том, что падение крестьянского рабства, то-есть отмена крепостного права, произойдет «по манию царя». Все эти мотивы указывают на умеренное содержание пушкинского вольнолюбия. Однако либерализм поэта не снижал огромного политического эффекта его лирики, поскольку размежевание либералов и будущих «карбонариев» в эту пору еще не зашло далеко, поскольку читатели той поры все свое внимание обращали на остроту его вольнолюбивых инвектив. Когда оппозиционно настроенному читателю 20-х годов попадался один из бесчисленных списков «Вольности», он сравнительно слабо реагировал на характерную для Пушкина неприязнь к якобинцам эпохи Первой французской революции, на содержащуюся там критику народного восстания. Читатель искал в этих вольных стихах резких выпадов против самодержавия и находил их там в изобилии:

Самовластительный злодей!
Тебя, твой род я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей,
С свирепой радостью я вижу!
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы;
Ты—ужас мира, срам природы,
Упрек ты богу на земле!

У Пушкина в этих стихах подразумевался Наполеон; читателю однако ничто не мешало переадресовывать их русскому «самовластию».

Особенно велика в эту пору популярность пушкинской сатиры. В шутливой рождественской песенке («ноэле») поэт зло высмеял «кочующего деспота», Александра I, не жалевшего слов для того, чтобы уверить своих подданных в готовности дать им конституцию.

От радости в постеле
Запрыгало дитя:
«Неужто в самом деле,
Неужто не шутя?»
А мать в ответ: «Бай-бай,
Закрой свои ты глазки,
Послушавши, как царь-отец
Рассказывает сказки».

В целом ряде политических эпиграмм Пушкин издевался над теми, кого мы в настоящее время называем «конкретными носителями зла»,—над

царем Александром («Воспитанный под барабаном, наш царь лихим был капитаном. Под Австерлицом он бежал, в двенадцатом году дрожал»), над его всесильным фаворитом Аракчеевым («Всей России притеснитель»), над столпами светского и духовного мракобесия, кн. Голицыным, А. С. Стурдзой и архимандритом Фотием, наконец над Карамзиным, освятившим своей «Историей Государства российского» крепостнический и самодержавный порядок:

В его истории изящность, простота
Доказывают нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Но может быть самым сильным обличением политического «самовластья» остается у Пушкина его «Кинжал».

Действие вольнолюбивых стихотворений Пушкина на его современников было огромным. Их читали в тайных кружках, они расходились во множестве списков, ими пользовались в своей политической агитации декабристы. Жуковский в письме к Пушкину с огорчением отмечал, что в бумагах арестованных членов тайных обществ в изобилии встречаются его вольные стихи, питавшие собою «буйный дух» «всего зреющего поколения». «Кто из молодых людей, несколько образованных, не читал и не увлекался сочинениями Пушкина, дышащими свободой», признавался Николаю I декабрист Штейнгель. «Все его ненапечатанные сочинения,— отмечал И. Д. Якушкин,—«Деревня», «Кинжал», «Четырехстишие к Аракчееву», «Послание к Петру Чаадаеву» и много других—были не только всем известны, но в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал их наизусть». «Революционные стихотворения Рылеева и Пушкина,—свидетельствовал впоследствии Герцен,—можно было найти в руках молодых людей в самых отдаленных областях империи... Целое поколение пережило влияние горячей юношеской пропаганды». Такая широта популярности Пушкина была глубоко закономерна. Страстное сочувствие поэта европейскому революционному движению, отрицательное отношение его к крепостническому режиму, сатира на защитников самовластья делали в эти годы Пушкина союзником декабристов. Не входя организационно ни в одно из их обществ, Пушкин вместе с ними деятельно работал над политической компрометацией самодержавия. Популярность поэта умножалась тем, что он выступил на поприще вольнолюбивой лирики на два-три года раньше декабристских поэтов (ода «Вольность» датируется второй половиной 1817 г., сатира Рылеева «К временщику»—1820 г.), и тем, что разоблачение крепостнического режима было им сделано с большой художественной силой. Эта острота поэтического выражения воспринимается и теперь, через сто с лишком лет после того, как эти стихотворения написаны. Мы ощущаем и сгущенный сарказм эпиграммы на Карамзина, и страстную патетику «Кинжала», и язвительную иронию «Ноэля», и гражданскую скорбь «Деревни». Этими стихотворениями Пушкин сумел не только стать в уровень с политическим авангардом своей эпохи, но создать значительные художественные ценности. Современным поэтам есть чему поучиться у Пушкина—сжатость и композиционная четкость его вольных стихов блестяще сочетается с их высокой эмоциональной зарядкой. Что касается заключающихся в них

политических идей, то они обеспечивают Пушкину глубокое уважение наших современников, ибо вместе со стихами декабристов они «подготовили Герцена» (Ленин).

III

Но признавая всю несомненную политическую созвучность первого периода пушкинского творчества нашей современности, мы не должны идеализировать последующую деятельность поэта. Та связь с идеями декабристов, которая так сильна была в нем в 1817—1822 гг., в дальнейшем слабеет. Правда, к 1827 г. относится послáние Пушкина в Сибирь, в котором поэт выражает глубочайшее сочувствие своим ссыльным собратьям:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье:
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье...
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут—и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Как бы не представлял себе это освобождение Пушкин—по милости царя, или по воле восставших против него «братьев»,—«Послание в Сибирь» свидетельствует о глубоком сочувствии поэта декабристам. В несколько более ослабленной по своей политической активности форме сочувствие Пушкина разгромленным декабристам выразилось в стихотворении «Арион», где он называл себя певцом их движения, лишь случайно уцелевшим после катастрофы, и в стихотворении «19 октября 1827», заканчивающемся такой красноречивой строфой:

Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море,
И в мрачных пропастях земли.

Но эти вспышки вольнолюбия являются в эту эпоху сравнительно редким исключением. Уже с 1823—1824 гг. в поэзии Пушкина растут и зреют идеи политической умеренности. Пессимизм «Сеятеля» («Свободы сеятель пустынный, я рано вышел, до звезды»), резкая критика якобинства в «Андре Шенье в темнице» наблюдаются у поэта еще до 14 декабря. Его отход от движения отражает общее политическое «отрезвление» либералов. Чем более радикальной становилась подхлестываемая наступающим экономическим кризисом и политической реакцией мысль декабристов, тем чаще отходили от декабристов их недавние попутчики [2]. Призрак крестьянской революции, пугавший и декабристов, конечно был еще более грозным для либералов, и нет никакого сомнения в том, что несогласие Пушкина с тактикой декабризма в значительной мере продиктовано было его страхом перед народной революцией, страхом, столь явно отразившимся хотя бы в трагедии «Борис Годунов». Разгром декабристского движения ставит Пушкина перед необходимостью пойти на компромисс с самодержавием и «смириться» перед его силой. В письме к Вяземскому

в августе 1826 г. Пушкин пишет: «Повешенные повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна». В «Записке о народном воспитании», написанной в ноябре того же года, он замечает: «...должно надеяться, что люди, разделявшие образ мыслей заговорщиков, образумились, что, с одной стороны, они увидели ничтожность своих замыслов и средств, с другой—необъятную силу правительства, основанную на силе вещей. Вероятно братья, друзья, товарищи погибших успокоятся временем и размышлением, поймут необходимость и простят оной в душе своей». «Примирение», компромисс Пушкина с правительством крепостнической реакции с особой силой сказывается в послании «Друзьям», в «Полтаве», воспевающей победу Петра I над «мятежником» Мазепой, и в «Стансах», где Николай I объявлялся преемником «дела Петрова». Политическую реакционность этих стихотворений не решались отрицать даже либеральные друзья поэта, которые были поражены его резким поправением [3]. Укажем однако на два обстоятельства, которые нельзя не учитывать. Во-первых, отказ от былого вольнолюбия был в эти годы общим явлением, обусловленным оторванностью революционеров из дворян от сколько-нибудь широких слоев трудового народа. Эта слабая связь привела к тому, что даже декабристы, гораздо более радикальные, чем Пушкин, быстро переменили в казематах Петропавловской крепости свою политическую идеологию и наперерыв признавались Николаю I в своих верноподданнических чувствах. Следует принять во внимание и другое существенное обстоятельство: даже в эти годы наибольшего своего поправения Пушкин не терял идеологической самостоятельности. Так в послании «Друзьям» он призывает царя к милосердию и негодует на страну, где трон окружают льстецы. Элементы критики правительства содержатся, как это ни парадоксально, и в «Записке о народном воспитании» и они естественны в устах либерального поэта, несогласного с самодержавной системой, но признавшего ее «в силу вещей» и прежде всего под угрозой крестьянской революции.

Борьба с консерватизмом, критика феодальных отношений проходит через все последующее творчество Пушкина. Мы найдем ее и в «Дубровском», и в «Капитанской дочке», и в «Моей родословной».

Возьмем например повесть «Дубровский». Либерально-помещичья ее установка явствует уже из того сочувствия, которым у Пушкина окружен образ бедного, но независимого старика Дубровского, и из той преданности, которую питают его крепостные крестьяне к его сыну, мстящему за оскорбления, нанесенные их «старому барину». Дубровскому противопоставлен образ его соседа—знатного и богатого помещика Троекурова, живущего разгульно и своевольно. Пушкин резко отрицательными чертами рисует и его «благородные увеселения» (сцена с медведем), и весь процесс ограбления им при помощи приказных чиновников имения Дубровского. Печатая попирающее все основы тогдашней законности определение суда, Пушкин с иронией замечает: «Мы помещаем его вполне, полагая, что всякому приятно будет увидеть один из способов, коим на Руси можем мы лишиться имения, на владение коим имеем неоспоримые права». Как ни очевидна в этих строках дворянская подоснова пушкинской критики, объективная функция «Дубровского» развертывалась в направлении критики феодально-крепостнического быта и его представителей,—вспомним образы совершающего явное беззаконие судебного заседателя Шабашкина, исправника, вводящего Троекурова во владение, и др.

Наряду с неприязненным отношением к феодальной знати в Пушкине зреет его дворянское самосознание. Именно в эту пору в его творчестве растет тяга в усадьбу. Еще в послании к Языкову (1824 г.) Пушкин писал:

Но злобно мной играет счастье:
Давно без крова я ношусь,
Куда подует самовластье;
Уснув, не знаю где проснусь;
Всегда гоним, теперь в изгнанье
Влачу закованные дни...

Летом 1826 г. ссылка закончилась и поэт был «прощен» Николаем, явно стремившимся сделать из него глашатая своих самодержавных подвигов. Но положение Пушкина осталось тягостным и трудным, ибо он принадлежал к той группе дворянской интеллигенции, которая принуждена была лавировать между крепостнической реакцией и народным бунтом. Пушкин искал выхода в усадебной действительности в независимой жизни в деревне, вдали от попечительного ока правительства. В стихотворении «Пора, мой друг, пора», адресованном Н. Н. Пушкиной, поэт мечтал об уходе «в обитель дальнюю трудов и чистых нег», а в примечании к этому стихотворению, сохранившемся в рукописи, заметил: «Юность не имеет нужды в at home, зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен, кто находит подругу: тогда удались он домой. О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню? Поля, сад, крестьяне, книги, труды поэтические, семья, любовь etc. Религия—смерть». Этот почти толстовский выход из положения оказался для Пушкина недостижимым; самая смерть поэта со всей силой вскрыла отсутствие у него и у его группы прочной независимости. Не гримируя Пушкина 1825—1837 гг. под декабриста, мы тем не менее не должны забывать о бесспорной оппозиционности его либерализма. «Сила вещей», правда, заставила его отказаться от развернутой критики крепостничества; но он далек от признания этого режима по существу. «Судьба крестьянина,—пишет он в своих «Мыслях на дороге»,—улучшается со дня на день, по мере распространения просвещения. Избави меня боже быть поборником и проповедником рабства; я говорю только, что благосостояние крестьян тесно связано с пользою помещиков, — и это очевидно для всякого. Злоупотребления встречаются везде. Конечно, должны еще произойти великие перемены; но не должно торопить времени, и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества...» Об освобождении крестьян приходилось писать в таких эзоповских выражениях—торжествующая крепостническая реакция ни за что не согласилась бы в ту пору на это мероприятие, и Пушкин откладывает реформу на достаточно отдаленное будущее. Однако те, кто на основании этого произнесли бы над Пушкиным суровый приговор, объявив его крепостником, совершили бы грубую ошибку. Пушкин здесь и во всех других случаях вынужден подчиниться силе, являясь не идеологом крепостнического режима, а его пленником. Несмотря на тогдашнюю умеренность его либерализма, он все же стоит в 30-х годах в непосредственной близости к левому флангу политической мысли. Это обстоятельство подтверждается уже самым беглым анализом литературно-политической ситуации 1830—1835 гг. Декабристы, уцелевшие от разгрома и получившие

возможность творчества, к этому времени окончательно перевооружаются и их произведения полны панславистских (А. И. Одоевский) и шовинистических (А. А. Бестужев-Марлинский) идей. Формирующееся славянофильство во главе с Хомяковым, Погодиным и др. прямо поддерживает самодержавно-крепостнический режим; о Булгарине, Грече и других подобных представителях консервативного мещанства не приходится и говорить. Круто правеет и такой представитель промышленно-буржуазной мысли, как Н. Полевой. В беллетристике этого периода почти отсутствуют мотивы политического протеста—их культивировали только Лермонтов, Н. Павлов («Повести») и Полежаев. Уступая указанным писателям, особенно двум последним (Лермонтов в эту пору еще не создал ни стихотворения «На смерть поэта», ни «Прощай, немытая Россия»), в силе политического протеста, Пушкин все же оказывается значительно оппозиционнее огромного большинства тогдашних литераторов.

Сила пушкинской оппозиционности в эти годы заключалась не столько в том, что он открыто отражал удары феодальной реакции, сколько в том, что он всячески пытался смягчить удары, наносимые другим. Недаром в написанном им незадолго до смерти стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» Пушкин отметил это как свою историческую заслугу:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Этот пушкинский гуманизм неоспорим. И если принять во внимание особенности той эпохи, в какую Пушкину приходилось действовать, его политические убеждения окажутся достаточно независимыми и передовыми. Было бы грубой ошибкой переносить на столетие назад теперешние представления о либерализме. В наше время диктатуры рабочего класса всякое либеральное ослабление ее представляет собою явление политического предательства. Но то, что неоспоримо для наших дней, не может быть механически применено к 30-м годам прошлого столетия, когда всякий, даже умеренный протест против господствовавшего крепостнического режима играл безусловно положительную роль. Пушкинский гуманизм несомненно имел прогрессивную функцию, являясь единственным для того времени легальным методом борьбы с существующей государственной системой. Должны были пройти тридцать лет, должны были наступить 60-е годы для того, чтобы дворянский либерализм превратился в фактического спутника реакции, освящавшего её расправу с революционно-демократическим движением. В 30-х годах этого еще не было и творчество Пушкина хранило в себе семена политического протеста, пусть не такого острого, как в первый период, но заслуживающего ему все права на сегодняшнюю положительную оценку.

IV

Показ действительности Пушкиным характеризуется своей необычайной широтою. Тематическая широта его поразительна. Разнообразные исторические эпохи отражены в его творчестве, множество национальностей обрисовано в нем, различные классы и сословия выведены на страницах его произведений.

С невиданным в нашей литературной практике вниманием и разносторонностью очерчена Пушкиным европейская действительность. То, что в русской литературе было редким и мало удачным исключением из правила (вспомним «Абаддонну» Полевого или драмы из жизни итальянских художников Кукольника), становится у Пушкина мощным потоком его творчества. В стилизациях из Библии, из «Песни песней» («Вертоград моей сестры, вертоград уединенный») он заставляет заново звучать лирические мотивы древней Иудеи. В «Египетских ночах» он рисует образ царицы Клеопатры. В переводах из Сафо, в подражаниях Анакреону им отображается Эллада. В посланиях «К Лицинию», к Овидию, в подражаниях Горацию он с исключительным мастерством воссоздает колорит древнего Рима. Такова у Пушкина античность. Немало внимания отдано поэтом и Средним векам; вспомним его «Скупого рыцаря» и особенно «Сцены из рыцарских времен»—произведения, в которых отражен усугубляющийся распад феодализма, его экономики и культуры. Пушкина манит к себе и западноевропейский Ренессанс с его культом плоти, с его социальным оптимизмом («Пир во время чумы»), и XVIII век с его эпикуреизмом и светским блеском (начальные главы «Арапа Петра Великого», послание «К вельможе»), и картины Первой французской революции («Андре Шенье в темнице»), и современность, о которой он так часто говорит в своих письмах к друзьям и которую он пристально изучает.

От различных эпох западноевропейской истории, отразившихся в пушкинском творчестве, обратимся к выведенным в нем национальностям. Нет ни одного народа Западной Европы, который не получил бы в творчестве Пушкина более или менее полного отображения. В «Наполеоне на Эльбе», в «Андре Шенье», в «Арапе Петра Великого» изображены различные периоды французской действительности. В «Подражаниях итальянскому» и в «Анджело» зарисовано прошлое Италии. Целым рядом наиболее замечательных произведений его лирики и драматургии представлена Испания—вспомним стихотворения «Я здесь, Инезилья», «Испанский романс», трагедию «Каменный гость». В «Моцарте и Сальери» и в сценах из «Фауста» отражена Германия, в «Шотландской песне»—Англия, в «Песнях западных славян»—быт, верования и психология сербов. Греческое восстание отмечено у Пушкина созданием патетического стихотворения «Восстань, о Греция». Поездка в Арзрум отзывается в его творчестве блистательным стихотворением «Стамбул гяуры нынче славят», в котором со всей силой изображены характерные для турок того времени черты фанатизма.

Но всего шире и многообразнее отражается в творчестве Пушкина русская действительность, русское историческое прошлое. В «Руслане и Людмиле» изображена легендарная эпоха богатырей, в «Вещем Олеге»—период царствования первых князей, в сохранившихся отрывках из поэмы «Вадим»—древний Новгород. Пушкин с любовью рисует старинный русский быт в драме «Русалка», он во всеоружии современной ему исторической науки и доступных источников изображает эпоху «смутного времени» в «Борисе Годунове». Особенно сильно привлекает к себе Пушкина сложная и величавая фигура Петра I («Полтава», «Арап Петра Великого», «Медный всадник»). И наконец исключительно широко охвачена поэтом его современность.

Дворянская литература XVIII и начала XIX вв. тяготела к традиционным темам столицы и помещичьей усадьбы. Пушкин и здесь порывает с географической ограниченностью современной ему литературы [4], зача-

стую перенося действие своих произведений на окраины русского государства, изображая населяющие их разнообразные народности и племена. Так обрисованы в «Кавказском пленнике» черкесы, так посвящены Крыму «Бахчисарайский фонтан» и ряд лирических стихотворений 1820—1821 гг., так обрисованы в поэме «Цыганы» кочующие обитатели Бессарабии. Наконец с огромным вниманием изображается Пушкиным казачество: к 1825 г. относится его работа над песнями о Стеньке Разине[5], к началу 30-х годов— «История пугачевского бунта» и «Капитанская дочка», повествующие о восстании яицких казаков против самодержавно-крепостнического государства.

В творчестве Пушкина мы находим изображение самых различных социальных групп его эпохи. Полно и разносторонне обрисован «свет»— вельможное, придворное, аристократическое дворянство; этой среде посвящены многие стихотворения его ранней лирики, первая и восьмая главы романа «Евгений Онегин», «Египетские ночи», отчасти «Пиковая дама». Особенно много внимания уделено художником поместным отношениям. Антагонизмы между крупным и мелким дворянством отображены в его «Дубровском»; быт и психология людей среднего дворянства зарисованы в «Графе Нулине», в «Мятели», в «Барышне-крестьянке», в «Капитанской дочке» (семья Гриневых) и—с наибольшей полнотой—в «Евгении Онегине». Но Пушкин свободен от ограничения своей тематики дворянской средой. Для его творчества чрезвычайно характерно обращение к иным, более демократическим слоям, особенно резко обозначившееся в 30-е годы. Вспомним его «Гробовщика» и «Станционного смотрителя», в которых так любовно изображены люди «третьего состояния», или «Пиковую даму», или образы капитана Миронова, вышедшего из «солдатских детей», и его семьи в «Капитанской дочке».

Наконец немало внимания Пушкин уделил изображению дореформенного крестьянства. От ранней «Деревни», разоблачающей ужасы крепостного права, он переходит к «Утопленнику», к «Сказкам», в которых воспроизводит в художественной форме отдельные сюжеты крестьянского фольклора (вспомним, что эти сказки рассказывала ему его няня Арина Родионовна). Несомненная историческая заслуга Пушкина заключается в том, что в целом ряде своих крупнейших произведений—в «Онегине», в «Дубровском», в «Капитанской дочке»—он рисует крепостных крестьян. Конечно эти образы играют там второстепенную роль, конечно Пушкин изображает их под углом зрения либерально-помещичьей идеологии, но при всем том они сохраняют свое историческое значение, повышая собою социальную ценность его творчества. Впрочем у Пушкина есть и такие произведения, где со всей силой поставлена проблема распада феодальной экономики, где нарисовано разорение помещиков и нищета подвластных им крестьян; мы имеем здесь в виду «Историю села Горюхина».

Так многообразно по своему тематическому развороту творчество Пушкина, так широко отражены в нем самые различные эпохи, народы и классы. В нашей литературе нет писателя, который мог бы сравниться с Пушкиным по диапазону художественных интересов. С несравненной легкостью переходил он от одних сюжетов к другим, включая в орбиту своего творческого внимания все новые и новые стороны действительности.

...Куда ж нам плыть?—Какие берега
Теперь мы посетим? Египет колоссальный,
Скалы Шотландии, иль вечные снега...

Современные писатели могут многому научиться у Пушкина, не знавшего ни национальной, ни исторической ограниченности. Свойственный ему широчайший охват действительности особенно полезен тем, кто изображает быт и людей Советской страны, столь изобилующей различными национальностями, кто изображает историческое прошлое этих национальностей. Тематическая многосторонность пушкинского творчества должна стать предметом самого пристального внимания и изучения со стороны советских писателей.

V

Невольно является вопрос—как сумел Пушкин изобразить такую широкую картину мировой действительности во всей сложности ее исторических, географических и социальных сторон? Этому конечно в огромной мере способствовала гениальность поэта, позволявшая ему с предельной легкостью и быстротой схватывать особенности того или иного явления, сживаться с незнакомой ему эпохой и перевоплощаться в ее образах. Но как бы ни была глубока гениальность Пушкина, ее одной было бы недостаточно для завершения такой грандиозной работы, если бы на помощь гению не пришел огромный творческий труд. К этой стороне его писательского облика нужно привлечь особенное внимание, ибо она сохраняет всю свою огромную актуальность и для нашей эпохи.

Несмотря на то, что Пушкин вышел из среды дворянства, несмотря на то, что он воспитался в медлительной и застойной среде, он сумел выработать в себе черты исключительной работоспособности. Пушкинская писательская манера противостоит дворянской культуре—ее укрепил и воспитал в нем профессионализм, сам по себе являющийся фактом огромного прогрессивного содержания, отрыв от усадебной обеспеченности, расчет на собственные творческие силы.

В основе культуры писательского труда лежит у Пушкина необычайная требовательность к писателю. В его критических статьях мы находим немало блестящих страниц, посвященных борьбе с «захваливанием» писателя критикой. «Наши поэты,—писал он например в статье о Баратынском,—не могут жаловаться на излишнюю строгость критиков и публики; напротив: едва заметив в молодом писателе навык к стихосложению, знанию языка и средств оного, уже тотчас спешим приветствовать его титлом гения за гладкие стишки и нежно благодарим его в журналах от имени человечества; неверный перевод, бледное подражание сравниваем без церемонии с бессмертными произведениями Гете и Байрона...» Эти острые замечания, брошенные более столетия назад, легко могут быть переадресованы к современной критике. Пушкин высоко ценил в писателе творческую независимость, умение бороться «с требованиями мгновенной моды». Он с гордостью отмечал в Баратынском то, что он «шел своей дорогой», в Ломоносове то, что он отстаивал свое мнение, борясь с «людьми высшего состояния». Автор «Евгения Онегина» требовал от писателя повышенной требовательности к своему творчеству; достаточно вспомнить хотя бы одно из его стихотворений на эту тему:

...Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ПУШКИНА

Акварель В. Гау, 1844 г.

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

Доволен? Так пускай толпа его бранит,
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.

Нам совершенно чуждо конечно выраженное в этом стихотворении презрение Пушкина к читательским массам: советский художник связан с ними тысячами нитей, выражает их интересы и внимательно учитывает их требования. Но мы признаем безусловно правильным призыв Пушкина к художнику быть «взыскательным», требование от писателя наибольшей строгости к себе, того, чего нередко нехватает даже видным представителям современной литературы.

Когда читатели или критики говорят писателю о необходимости методического и упорного труда, он часто отвечает указанием на то, что в основе его творческой работы лежит «интуиция», якобы не поддающаяся никакому регулированию. Спор о значении интуиции возникал в самые различные исторические периоды. Поучительно вспомнить слова, сказанные по этому поводу Пушкиным. В заметке «О вдохновении и восторге» (1824) он говорит: «Критик смешивает вдохновение с восторгом. Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных. Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии. Восторг исключает спокойствие—необходимое условие прекрасного. Восторг не предполагает силы ума, располагающего частями в отношении целого. Восторг непродолжителен, непостоянен, следовательно не в силах произвесть истинное, великое совершенство». Невозможно преувеличить огромное значение этих строк, ставящих интуицию в тесные рамки глубокого изучения изображаемого и методической работы над средствами изображения. Пушкин лучше других поэтов знал, что непрерывный творческий труд приводит к неизмеримо бóльшему художественному совершенству, чем «живейший», но «непостоянный» «восторг».

Неустанная работа над собой была требованием, которое Пушкин всегда ставил перед писателем и с точки зрения которого расценивал его достижения. «История» Карамзина помимо прочих своих сторон привлекала к себе Пушкина и тем, что ее написал человек «обширной учености», уединившийся «в ученый кабинет во время самых лестных успехов» и посвятивший «целых двенадцать лет жизни безмолвным и неутомимым трудам». Приветствуя трудолюбие Карамзина, Пушкин осуждал светского писателя, который «безмолвной» работе предпочел поверхностные и беглые наблюдения. «Шаховской никогда не хотел учиться своему искусству,—писал Пушкин в лицейских записках,—и стал посредственный стихотворец. Шаховской не имел большого вкуса; он—худой писатель. Что ж он такой? Неглупый человек, который, замечая все смешное или замысловатое в обществах других, пришед домой, все записывает и потом как ни попало вклеивает в свои комедии». И наконец как директива, как исчерпывающая формула его творческого процесса звучат две фразы из цитированной выше заметки «О вдохновении и восторге»: «Ода стоит на низших ступенях творчества. Она исключает постоянный труд, без коего нет истинно великого».

Все эти указания не были для Пушкина одной только теорией, нужной ему для произнесения приговора над чужими произведениями,—его собственная писательская практика целиком базировалась на высказанных им

теоретических положениях. В основе творческого процесса Пушкина неизменно лежала глубокая и продолжительная работа. Творчество его неустанно питалось наблюдениями той действительности, которую поэту предстояло изобразить. И в ранние годы лицейской и петербургской жизни, и в ссылке, и в болдинском уединении в Пушкине зрели и оформлялись наблюдения над окружающей действительностью. Путешествия, которые в изобилии совершал Пушкин отчасти по собственному желанию, отчасти по необходимости, в огромной степени способствовали широте и разнообразию этих наблюдений. «Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимою мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России» («Путешествие в Арзрум»). Непосредственные наблюдения над действительностью не могли однако дать Пушкину всего необходимого ему материала. Европа оставалась для него запретной страной, ибо в отличие от Гоголя, Тургенева, Достоевского, проведших на Западе многие годы своей жизни, Пушкин не имел возможности совершить путешествие за границу. Но то, чего не могли дать ему непосредственные наблюдения, довершило литературное чтение. Широта его поразительна. Любое из писем Пушкина из ссылки к друзьям или брату полно требованиями прислать ему те или другие вышедшие книги. Получив в лицее недостаточное образование, он дополняет его неустанным изучением прошлой и современной ему культуры. Библиотека Пушкина дошла до нас—она характерна своим многообразием. Книга, постоянная работа над нею, глубокая любовь к ней является для писателя не только мощным источником его творческого вдохновения, но и средством характеристики: Пушкин вкладывает книгу в описание жизни своих героев, характеризуя например Татьяну и Онегина через произведения, которые ими читались или были отвергнуты.

Состав книг, изучавшихся Пушкиным, никак не может быть ограничен одной только художественной литературой. Он разделял с декабристами острый интерес к политической экономии; отсюда то требование преподавать ее элементы по «новейшей системе Сэя и Сисмонди», которое мы находим в написанной по заказу царя «Записке о народном воспитании». В неменьшей, если не в большей мере Пушкин требовал от писателя внимания к истории, знания ее фактов и процессов. «Что нужно драматическому писателю?—спрашивает он в заметке «О драме» и отвечает:—Философию, бесстрастие, государственные мысли историка, догадливость, живость воображения, никакого предрассудка, любимой мысли. Свобода». Немногие теоретики той поры могли требовать от драматурга «государственных мыслей историка», но как близко это требование нашим дням с их постоянным упором на политическое воспитание писателя, на его идейную высоту!

Проиллюстрируем двумя наиболее характерными примерами ту органичность, с которой пушкинские чтения входили в его творческую работу. В 1825 г. им был написан при чтении книг ряд заметок, в том числе замечания на «Анналы» Тацита. Эти заметки при чтении сочинений римского историка перекликаются с самыми заветными думами Пушкина, писавшего в ту пору своего «Бориса Годунова». Другой пример: 30-е годы ознаменованы усилением в Пушкине под влиянием роста классовых противоречий интереса к прошлому своего класса, к истории «шестисотлетнего дворян-

ства». И замечательно, что, восстанавливая легендарную историю своих предков, Пушкин одновременно пристально изучает всю систему средневековых государственных отношений. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить написанные им в эти годы «Заметки о феодализме».

Такую же высокую требовательность предъявляет Пушкин к писателю и в области эстетики. Сейчас же вслед за указанием о необходимости для драматического писателя философии и государственных мыслей историка он обращает внимание на нашу эстетическую отсталость, на то, что новейшее развитие этой науки Кантом и Лессингом проходит незамеченным для многих, остающихся «при понятиях тяжелого педанта Готшеда». Эстетические суждения в изобилии разбросаны по всем критическим статьям Пушкина, по его сочинениям, по его переписке; если бы мы попытались свести их воедино, нас поразила бы исключительная зрелость его эстетической культуры. Критикуя литературное произведение, Пушкин подходил к нему во всеоружии филологических и лингвистических знаний его поры, нисколько не пугаясь специального анализа; такова например его статья о «Песне о полку Игореве», в которой Пушкин боролся с «своевольными поправками» и «ни на чем не основанными догадками» современных ему толкователей этого шедевра русской поэзии.

Пушкинская культура труда представляет собою суровый урок современным беллетристам. На первом съезде советских писателей Н. И. Бухарин с полным основанием вспомнил слова Пушкина о том, что огромное большинство писателей его поры разучивалось писать: «ты, да кажется Вяземский—одни из наших литераторов—учатся; все прочие разучаются» (письмо А. А. Бестужеву от 30 ноября 1825 г.). О том же поразительном невнимании к культуре писательского труда неоднократно писал в наши дни и А. М. Горький (см. его замечательный сборник статей «О литературе». М., 1933). Пушкин является лучшим целителем всех тех, кто думает, что правильная политическая установка и интересные наблюдения одни могут обеспечить высокую художественную ценность произведения. Тем, кто думает так, а их в нашей литературе немало, полезно обратиться к пушкинским рукописям и поучиться у автора «Евгения Онегина» его огромному творческому упорству, его высочайшей требовательности к своим поэтическим созданиям. Пушкин остается учителем современных писателей в самых различных сторонах своей деятельности. «Малерб ныне забыт, подобно Ронсару,—читаем мы в одном из его фрагментов.—Сии два таланта истощили силы свои в борении с механизмом языка, в усовершенствовании стиха. Такова участь, ожидающая писателей, которые пекутся более о наружных формах слов, нежели о мысли—истинной жизни его, не зависящей от употребления!» С какой силой бьют эти строки не только по бездушию современных Пушкину бездарных версификаторов, но и по всей теоретической деятельности современного нам формализма. Казалось бы, кто больше Пушкина, взыскательного художника и глубокого филолога, мог обращать внимания на «наружную форму слов»? Но этот величайший мастер стиля превосходно понимал, что основа искусства—все же в мысли, «истинной жизни его». И этим утверждением примата содержания он снова громко перекликается с нашей современностью.

VI

Творческий метод нашей эпохи есть метод социалистического реализма, стремящегося к изображению действительности во всех ее противоречиях

под углом зрения коммунистического мировоззрения. Метод социалистического реализма не возник на пустом месте: он был исторически подготовлен всем поступательным движением русского буржуазно-дворянского и мелкобуржуазного демократического реализма. Среди его предшественников одно из центральных мест принадлежит Пушкину.

Уже сказанное нами выше с неоспоримостью свидетельствует о том, что творческим методом Пушкина был реализм. Широкий охват процессов мировой истории говорит о глубоком внимании писателя к этой действительности, о неизменном стремлении изобразить ее. Культура писательского труда, основанная на внимательном изучении реалий, также была бы немыслима у писателя с иным художественным методом. Пушкин является одним из самых убежденных реалистов своей поры и его реализм далеко не ограничивается, как это можно было бы думать, только последекабрьской порой.

Уже в ранний, классический, период своей деятельности он время от времени создает реалистические описания. Конечно в эту пору внимание поэта поглощено выражением мира субъективных переживаний. Однако это не мешает ему создавать в ряде случаев любопытные картины как прошлой, так и современной действительности. Так в стихотворении «Торжество Вакха» он изображает во всей исторической точности и со всеми мифологическими атрибутами один из эллинских культовых праздников. В стихотворении «К Лицинию» он уже в лицейский период своей лирики дает замечательное изображение быта и образов древнего Рима. В «Деревне» он переходит к отражению современности и создает в этом произведении хотя и не свободные от сантиментальной окраски, но вместе с тем достаточно реалистические картины ужасов крепостнического произвола. Из этого следует, что уже в самых ранних произведениях Пушкина можно искать ростки его будущего реализма. То же должно сказать и о втором, романтическом, периоде его творчества. И здесь внимание поэта в основном отдано личности мятежного и свободолюбивого героя. Но наряду с изображением субъективного мира мы находим в южных поэмах Пушкина широкий нравоописательный фон. Картины жизни тех народностей, в среде которых развивается действие его байронических поэм, созданы подчас с этнографической точностью. В «Братьях-разбойниках» им описан реальный случай переправы скованных друг с другом разбойников через реку. В «Цыганах» он обрабатывает записанные им самим бессарабские песни. Любая из его южных поэм содержит в себе развернутые описания быта и нравов черкесов («Кавказский пленник»)[6], крымских татар («Бахчисарайский фонтан»), бессарабских цыган. Внимание к «местному колориту», столь характерное вообще для романтиков, придает этим картинам несомненную познавательную ценность.

Однако все это только отдельные попытки создания реалистического изображения действительности, ибо субъективное явно довлеет в эти годы над объективным. Решительный поворот Пушкина к изображению процессов реальной действительности происходит в 1823 г., когда поэт пишет первую главу «Евгения Онегина»; за «Онегиным» следует шутливая поэма «Граф Нулин» и историческая трагедия «Борис Годунов». Эти произведения со всей силой свидетельствуют о глубоком творческом повороте Пушкина к реализму, к истории, к быту, к социальной психологии. Чем дальше, тем этот реалистический метод его творчества углубляется и крепнет, охватывая собой все новые и новые стороны действительности.

Реализм Пушкина пронизывает собою все компоненты его поэтического стиля. Поворот к реализму определил реформу Пушкиным русского литературного языка. Вслед за Карамзиным, Жуковским и Батюшковым, но неизмеримо настойчивее их Пушкин отталкивается от того высокого витийственного стиля, в духе которого писались в XVIII столетии торжественные оды и классические трагедии. В статье «О драме» он иронизирует над «смешной надутостью» классической трагедии, над господствующим в ней «странным, нечеловеческим способом изъяснения». «У Расина, например, Нерон не скажет просто: je serai caché dans ce cabinet, но caché près de ces lieux je vous verrai, Madame». Трагедии Сумарокова кажутся Пушкину «исполненными противумыслия», писанными варварским, изнеженным языком. Хорошо сознавая, что эта «изнеженность» проистекает от ограничения сферы внимания писателей придворно-аристократической средой, от глубокой зависимости русского литературного языка от иноземных влияний, он пишет: «Причинами, замедлившими ход нашей словесности, обыкновенно почитаются: общее употребление французского языка и пренебрежение русского. Все наши писатели на то жаловались,—но кто же виноват, как не они сами...» Отмечая влияние на русскую литературу французской и немецкой словесности, Пушкин заключает: «Не решу, какой словесности отдать предпочтение, но есть у нас свой язык; смелее!—обычаи, история, песни, сказки и проч. Что между ними общего?» Огромной исторической заслугой Пушкина является то, что он решительно высказывается за расширение сферы языка, за обогащение последнего всем разнообразием средств народной речи, за приближение языка литературного к разговорному. Эта борьба Пушкина за реалистический язык со всей силой сказалась на литературной практике. Уже в юношеской своей поэме «Руслан и Людмила» он заговорил новым, свежим и простым языком, приведя тем в состояние предельного раздражения классическую критику. Вспомним например возмущение критика журнала «Сын Отечества» простонародностью выражений «щекотит ноздри копьем», «удавлю» и пр.: «Но увольте меня от подобного описания; и позвольте спросить: если бы в Московское Благородное Собрание как-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможным) гость с бородою, в армяке, в лаптях и закричал бы зычным голосом: Здорово, ребята! Неужели бы стали таким проказником любоваться?» Но Пушкин идет своей дорогой, не слушая возмущенной брани литературных староверов. То, что в «Руслане и Людмиле» было первой пробой пера, особенно широко развернулось в «Борисе Годунове». В этой трагедии с шекспировской широтой воссозданы различные языковые диалекты начала XVII столетия—лукавый язык боярина Шуйского соседствует в ней с торжественной речью летописца Пимена; утонченный язык польских вельмож с нецензурной бранью иностранных офицеров и грубой речью простонародья. Когда Жуковский захотел использовать «Бориса Годунова» в литературной лекции великой княгине Елене Павловне, Пушкин иронически возразил: «Какого вам Бориса и на какие лекции? в моем Борисе бранятся по-матерну на всех языках. Эта трагедия не для прекрасного полу» (П. А. Плетневу 7—8 марта 1826 г.). Пушкин сознательно стремился к «огрублению» русского литературного языка, разрывающему с лощеностью классической трагедии и с изысканностью легкой поэзии. Критикуя ненужные метафоры, он считал важным достоинством языка его простоту. «Мы не только еще не подумали приблизить поэтический слог к благородной простоте, но и прозе стараемся придать

напыщенность». Откроем его «Графа Нулина»—как прост в этой поэме ее диалог, как близок он к житейской, разговорной речи тогдашней дворянской среды:

«Как тальи носят?»—Очень низко,
Почти до . . . . вот по этих пор.
Позвольте видеть ваш убор;
Так... рюши, банты, здесь узор;
Все это к моде очень близко.
«Мы получаем Т е л е г р а ф».
— Ага!.. Хотите ли послушать
Прелестный водевиль?—И граф
Поет. «Да, граф, извольте ж кушать».
— Я сыт и так...

Но особенно сильна борьба за реализм языка в пушкинской прозе. Считая язык прозы «языком мыслей», Пушкин особенно резко восстает против «вялых метафор», которыми отягощают прозаическую речь «наши писатели». «Эти люди никогда не скажут «дружба», не прибавя: «сие священное чувство, коего благородный пламень, и проч.» Должно бы сказать рано поутру—а они пишут: «едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба». Как это все ново и свежо, разве оно лучше потому только, что длиннее?» (1822). «Точность и краткость—вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей—без них блестящие выражения ни к чему не служат». Пушкин был величайшим реформатором русского литературного языка, разрушившим его аристократическую ограниченность, его иностранную зависимость. Не следует думать, что он порвал все связи, например с французской речью—иноязычная стихия в его творчестве чрезвычайно сильна, это и понятно, ибо французский язык был почти что разговорным языком того самого дворянства, идеологом которого в числе других является и сам Пушкин; отсюда галлицизмы, к которым он относился с некоторой снисходительностью. Но это не умаляет огромных исторических заслуг Пушкина перед литературным языком. Как никакой другой писатель его поры он понял и подчеркнул значение простонародных наречий, демократизирующих язык, придающих ему величайшую гибкость и свежесть. «...Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова». «Альфьери изучал итальянский язык на флорентийском базаре. Не худо нам иногда прислушаться к московским просвирням. Они говорят удивительно чистым и правильным языком». «Разговорный язык простого народа (не читающего иностранных книг и, слава богу, не выражающего, как мы, своих мыслей на французском языке) достоин также глубочайших исследований». Борьба за максимальную простоту и точность литературного языка, за гибкость его, дающую возможность изображения всех сторон действительности, за реализм, навсегда останется неоспоримой заслугой Пушкина. Насколько успешно велась эта борьба, насколько глубоко отвечала она потребностям века свидетельствует то, что даже в наше время, столетие спустя, Пушкин читается с легкостью едва ли не большей, чем произведения современной нам литературы.

Исключителен и тот переворот, который пушкинский реализм произвел в области пейзажных зарисовок. Описание природы у классиков было

до крайности условным; романтиков привлекала к себе только высокая экзотика пейзажа. Пушкин решительно порывает с установками своих предшественников, уже в половине 20-х годов начиная создавать реалистические изображения русской природы. Его поэма «Граф Нулин» не случайно открывается подчеркнуто прозаическим описанием того серого, но типичного для помещичьего двора осеннего пейзажа, который расстилался перед глазами скучающей помещицы:

Меж тем печально под окном
Индейки с криком выступали
Вослед за мокрым петухом;
Три утки полоскались в луже;
Шла баба через грязный двор
Белье повесить на забор;
Погода становилась хуже...

В «Странствии Онегина» Пушкин подчеркнул свое охлаждение к красотам экзотической природы и тягу к серой, прозаической, повседневной картине среднерусского пейзажа. Поэту в эту пору чужды «пустыни, волн края жемчужны, и моря шум, и груды скал, и гордой девы идеал, и безыменные страданья»—

Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломаный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи—
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых...

Вспомним наконец написанную в этом плане низкого деревенского пейзажа пушкинскую «Шалость» (1830), справедливо почитаемую за одно из самых реалистических изображений русской природы.

Огромной ценностью творческого метода Пушкина, огромным достоинством его реализма является то, что он мыслит как детерминист. Рисуя характеры, он неизменно обращает внимание на ту среду, на те социально-бытовые условия, в которых эти характеры сформировались. Если образы Руслана и Алеко даны вне воспитавшей их среды и потому так неясны и загадочны, то в «Евгении Онегине» и в «Капитанской дочке» Пушкин обращается к быту даже в самых мелких и эпизодических своих характеристиках. Поразительно то умение, с которым поэт буквально в двух строках рисует портрет того или иного персонажа. Так 30-я строфа второй главы «Евгения Онегина» посвящена вздыханию старушки Лариной по человеку, которого она называет модным именем Грандисона:

Сей Грандисон был славный франт,
Игрок и гвардии сержант.

Бытовая характеристика этого проходного персонажа пушкинского романа в стихах предельно сжата: в двух строках намечены все те черты, которые характеризуют этого человека и которыми Ларина могла плениться. Возьмем другой пример. Среди множества гостей, наехавших к Лариным по случаю именин Татьяны, фигурирует между прочим

Гвоздин, хозяин превосходный,
Владелец нищих мужиков...

Только шесть слов посвящены характеристике этого Гвоздина, но они достаточны для того, чтобы представить этот образ во всей его социальной типичности. Пушкинское мастерство сжатых социально-бытовых характеристик исключительно. В «Графе Нулине» например он характеризует крепостную горничную Натальи Павловны следующими пятью стихами:

Шьет, моет, вести переносит,
Изношенных капотов просит,
Порою с барином шалит,
Порой на барина кричит
И лжет пред барыней отважно.

Насколько выразительнее эта характеристика не только образов «наперсниц» в классических комедиях XVIII в., но даже образа Лизы в «Горе от ума», не лишенного условности и схематизма. Пушкинский портрет неизменно реалистичен. В резком противоречии с традициями классической прозы Пушкин далеко не всегда дает описание внешности его героев. Возьмем например образ Онегина: в первой главе романа внешность его героя подается сквозь призму вещей его кабинета. Точно так же дана и портретная характеристика Нулина: ни слова не говорится о его внешности, но перечисление всех вещей, которые он везет с собой из Парижа, делает излишним детальное описание этого образа светского дэнди и мота [7].

Реалист в изображении внешних черт, Пушкин остается реалистом и в изображении характеров.

Образы Пушкина рисуют действительность; им чужда какая-либо символика, они неизменно конкретны. Но этого мало: при всей конкретности этих образов, при всей их художественной живости Пушкин придает им типологическую ценность, создавая с их помощью художественные обобщения. Уже в первой своей романтической поэме он ставит перед собою задачу отобразить одну из сторон своей современности. «Характер Пленника неудачен... Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19-го века». Еще сильнее типологизм «Евгения Онегина», где обобщен огромный опыт «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет» над современным Пушкину дворянским обществом. Тяга поэта к обобщенному изображению действительности видна уже в характеристике воспитания героя, столь типичного для его эпохи и для его круга («Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...»). Безукоризненный светский лоск, эпикуреизм, смешивающийся с разочарованностью, хандра, бегающая за Онегиным «как тень или верная жена»,—все эти черты личности пушкинского героя были типичны не для одного только поколения дворянской интеллигенции, но во многом определили черты героев Лермонтова, Тургенева и Л. Толстого. То же неизменное внимание к социальной типологии современного Пушкину общества заметно и в других образах романа—в стариках Лариных, нарисованных типичными помещиками средней руки, в описании «обыкновенного удела», который ждал Ленского в том случае, если бы он не был убит на дуэли, и во многочисленных авторских отступлениях, в изобилии рассыпанных по тексту пушкинского романа (характеристика

NN—«прекрасного человека», друзей от нечего делать, людей, глядящих в Наполеоны, и мн. др.). Не только в образах Онегина, Ленского, Татьяны, представляющих различные группы дворянской интеллигенции 20-х годов, но и во всем своем творческом методе Пушкин является писателем, неустанно стремящимся изобразить конкретную действительность, придающим своему изображению обобщающие, типические черты.

Реалистом остается Пушкин и в произведениях исторической тематики. Его «Борис Годунов», его маленькие трагедии представляют собой резкий разрыв с той крепостнической трактовкой русской истории, которую культивировали Сумароковы и Булгарины. Реалистичен уже самый подход писателя к историческому материалу. «Борис Годунов» изображает эпоху смуты по доступным Пушкину и тщательно изученным им источникам; конечно и Карамзин, и летописи были ненадежным в политическом отношении материалом, но самый метод работы Пушкина и его творческая установка оставались глубоко реалистическими. В прошлом Пушкина больше всего интересовали политические противоречия и в этом он глубоко созвучен нашей современности. Внимание поэта привлекают к себе поворотные моменты русской истории: «смута», восстание Степана Разина, реформы Петра, пугачевщина, заговор декабристов. Что касается характеристики исторических персонажей, то об их реалистичности в пределах классового сознания поэта свидетельствует не только «Борис Годунов» или «Капитанская дочка», но и такие второстепенные произведения, как «Арап Петра Великого» (вспомним характеристику парижского света эпохи регентства, образы Петра, щеголя Корсакова, боярина Лыкова, картину ассамблеи и пр.).

Нет спора—реализм Пушкина был социально ограниченным либерально-дворянским реализмом. Для автора «Капитанской дочки» существовали «запретные темы», которые он старался обходить. К числу таких тем принадлежало например изображение бунтующего крестьянства. Пушкин ясно сознавал, как сильна угроза крестьянской революции его классовому благополучию, и уже по одному этому не мог верно изобразить народное восстание. Тема эта, глубоко близкая социальному сознанию Некрасова, у Пушкина звучит приглушенно: фигурирующие в его творчестве крестьяне или неизменно верны своему доброму помещику (дворня Дубровского), или только временно совращены смутьянами (крепостные мужики Гринева). Конечно в этих образах мы не найдем достаточно исторического правдоподобия: ни широчайшего моря крестьянских восстаний, столь типичного для пугачевщины, ни разрозненных, но столь частых в 30-х годах бунтов крепостных против ига помещичьего деспотизма Пушкин не отразил. Но крестьян, не помышляющих о бунте господам, он изображает реалистически—вспомним хотя бы замечательный образ няни в «Евгении Онегине» или Савельича в «Капитанской дочке».

Мы упомянули Некрасова. Сопоставление с ним может прояснить отличительные особенности пушкинского реализма. В противоположность либерально-дворянскому характеру пушкинской поэзии Некрасов отражает в своем творчестве противоречия крестьянского сознания 50—70-х годов. Реализм Пушкина и реализм Некрасова глубоко различны. В некрасовских крестьянах подчеркнуты те черты, которые социально объединяют их в один класс,—страдание крепостных, глухой протест их, иногда переходящий в бунт. Это конечно глубоко реалистические черты феодально-крепостнической эпохи, особенно характерные для крестьян-

ского сознания предреформенных лет. Но создавая своими крестьянскими образами широкие социальные обобщения, Некрасов стирает разделяющие эти образы внутренние психологические и бытовые грани. Типизируя крестьян, Некрасов их в значительной мере обезличивает. Возьмем например женские образы Некрасова: и героиню стихотворения «В полном разгаре страда деревенская», и Орину-мать солдатскую, и баб из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»—всех их не отличить друг от друга. Все они тяжело страдают от крепостной кабалы, от семейного произвола, всех их изнуряет рабский труд; все они несчастны и т. д. Реализм Некрасова социален, но психология героев, индивидуальные черты того или иного персонажа, характерные особенности его быта удаются Некрасову несравненно меньше. В пушкинском реализме налицо иные, глубоко противоположные тенденции: автор «Евгения Онегина» все свое внимание устремляет на бытовую и психологическую диференциацию и отделку своих образов. Так образ Татьяны дан им частью в противопоставлении ее окружающей бытовой среде, частью в психологическом анализе ее характера. Решающее событие ее жизни—письмо к Онегину—подготовлено всей суммой черт ее характера и быта—мечтательностью, начитанностью и т. д. С исключительным вниманием Пушкин останавливается как раз на тех особенностях своих героев, мимо которых проходит Некрасов. Мы имеем здесь два типа реализма, два способа изображения действительности. Уступая Некрасову в социальной насыщенности, в политической тенденциозности, Пушкин не знает соперников в психологической и бытовой обрисовке образов, являясь в этом плане учителем всех русских реалистов, начиная от Гоголя и кончая Львом Толстым.

Излишне доказывать в наше время, насколько близок и созвучен нам некрасовский тип реализма с его постоянной установкой на раскрытие классовых противоречий, с его насыщенностью острым политическим протестом. Но приемля творческий метод автора «Кому на Руси жить хорошо» в качестве одного из близких предшественников метода социалистического реализма, мы не можем равнодушно пройти и мимо Пушкина. Его реализм тем более ценен для нас, что для современных писателей чрезвычайно характерно неумение подать образ в единстве его общих и частных черт. Возьмем например изображение ударника в советской литературе. В этой области, как и в целом ряде других, часты соскальзывания писателей то в схематический универсализм, то наоборот, в эмпирическую фотографичность. Ударники или изображаются только в своих типических классовых чертах и, будучи лишены индивидуализирующих особенностей, становятся абстракцией, или наоборот—даются эмпирически, описывается только рабочий данного завода со столькими-то годами производственного стажа. В живом типическом образе ударника должны быть органически сплавлены его общие и частные черты, его классовое начало и его индивидуальные особенности. В изображении таких образов нашим писателям должен принести огромную пользу Пушкин с его величайшим мастерством социально-психологического и бытового рисунка.

VII

О поэтическом мастерстве Пушкина говорить в наше время нелегко: на него, как и на все пушкинское творчество, «навели» обезличивающий его «хрестоматийный глянец» (Маяковский). Импрессионизм критики и выхолощенность формалистских штудий равно мешают живому звучанию

пушкинского слова. Необходимо со всей силой указать здесь еще на одну опасность, грозящую со стороны «исследователей», подменяющих изучение пушкинского творчества праздными разглагольствованиями о его экономических корнях, о «дворянском разложении», «оскудении» и т. д.

Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита
И был глубокий эконом...

Эти иронические строки, рисующие образование Онегина, полностью сохраняют свою остроту и в наше время для характеристики марксиствующих вульгаризаторов.

В пушкинском мастерстве нас прежде всего поражает его исключительное многообразие. Стиль поэта раскрывается в произведениях самых различных жанров—лирики, драмы и эпоса. Подобной широты стиля мы не найдем ни у одного из предшествующих ему писателей—ни у Державина, остававшегося преимущественно витийственным классиком, ни у культивировавшего интимную лирику Жуковского, ни у сатирика Крылова.

Широта стиля порождена колоссальной амплитудой того охвата, который свойственен был Пушкину в изучении действительности, глубиной его анализа противоречий дворянского сознания. В любом из жанров своего творчества Пушкин преодолевает предшествующую ему традицию, достигая в этом преодолении величайшего художественного мастерства.

Такова например лирика Пушкина. Несмотря на то, что поэт является в ней продолжателем знаменитейших поэтов своего времени, он вносит в свою лирику новые, радикально преображающие ее черты. Предельно раздвигаются границы лирической поэтики: со времен Пушкина не существует запретных тем, которые еще существовали для Державина или Батюшкова. Литературная выразительность сочетается в его лирических стихотворениях с психологической интимностью и с политической остротой. Патетика звучит в его лирических стихотворениях рядом с веселой шуткой, глубокая грусть рядом с иронией и бичующим сарказмом. Лирике Пушкина присуще исключительное разнообразие и гибкость.

Не менее разносторонен его стихотворный эпос. «Русланом и Людмилой» он отдал дань классицизму, продолжив жанр шутливой волшебной поэмы; «Гавриилиадой» он перенес на русскую почву запретный жанр эротической антицерковной поэмы Вольтера и Парни. «Кавказским пленником», «Бахчисарайским фонтаном» и «Цыганами» Пушкин положил начало русской романтической поэме. Шутливой поэмой типа «Графа Нулина» или «Домика в Коломне» он ввел в употребление один из популярных жанров Байрона, насытив его русским сатирическим содержанием. В героической поэме Пушкин отразил поворот своего классового сознания, свое приближение к самодержавию («Полтава», «Медный всадник»). Наконец в социально-психологическом «романе в стихах» («Евгений Онегин») он создал величайшее по силе изображение дворянской действительности. В это перечисление стихотворных эпических жанров Пушкина мы должны включить его переводы «Песен западных славян» и особенно его сказки.

Исключительна роль Пушкина и в развитии русской драматургии. Здесь им произведена двоякая революция: во-первых, он «шекспиризирует»

русскую трагедию, выкидывая в «Борисе Годунове» за борт обветшалый груз классических условностей. Вся русская трагедия, в частности исторические драмы Островского и Алексея Толстого не могли быть созданы без «Бориса Годунова». Во-вторых, Пушкиным создан совершенно новый для современной ему литературы жанр «маленьких трагедий», сложность содержания которых заключена в предельно сжатую и лаконическую форму. Следует отметить, что маленькие трагедии Пушкина не нашли себе продолжения и оставались единственным в русской драматургии образцом этого замечательного жанра.

С конца 20-х годов Пушкин круто поворачивает от лирики к прозе. Усложнение сознания, необходимость изобразить действительность и бытие своего класса делают закономерным это обращение писателя к широким прозаическим полотнам, в которых действительность была бы изображена во всей ее реальной повседневности. Пушкинская культура повести сложна и многообразна: мы находим здесь и бытовую и психологическую новеллу («Повести Белкина»), и авантюрную повесть о великодушном разбойнике («Дубровский»), и историческую повесть («Арап Петра Великого», «Капитанская дочка»). Эти произведения остаются до сих пор величайшими созданиями пушкинского гения по типичности характеров и по предельной лаконичности и сжатости повествования, из которого убрано все лишнее, осложняющее и замедляющее ход действия.

Реалист, внимательный наблюдатель, взыскательный художник, Пушкин неустанно стремится к тому, чтобы сделать максимально эффективным не только все произведение, но и мельчайшие его детали. Борьбой за наибольшую выразительность насыщены самые различные этапы его творческой работы. Во имя ее он переделывает по нескольку раз характеры своих действующих лиц, во имя ее он упорно ищет новые образы, острые эпитеты или сравнения, во имя ее он предельно заостряет технику стиха. О выразительности пушкинского стиля говорят не только его образы, но и самые мелкие ритмико-мелодические особенности его стиха, например звукопись, величайшим мастером которой Пушкин выступает в своих эпических поэмах (вспомним например звукоподражательное описание боя в «Полтаве», топот коня в «Медном всаднике», описание вальса, мазурки, трепака в «Онегине» и т. д.) [8]. Стиль Пушкина поражает своей исключительной конденсированностью; если обратить внимание на значительность того содержания, которое вложено в каждое из его произведений, то сжатость пушкинской формы становится особенно очевидной. Огромное в малом— таков девиз и «Капитанской дочки», и «Повестей Белкина», и «маленьких трагедий». Стиль Пушкина графичен. Ему абсолютно несвойственны те описательные пассажи, которыми так изобилуют произведения Гоголя или Гончарова. Предельная легкость сюжеторазвертывания, быстрота его переходов, лапидарность характеристик, гибкость языка—типические черты его литературной манеры.

Это высокое совершенство пушкинского стиля оказало огромное воздействие на русскую литературу. Сложная простота его творчества во многом определила собою искания Гоголя (сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ»), Тургенева (поэмы первого периода, образы «лишних людей»), Лермонтова (техника стиха, образ Печорина, мотивы политического протеста), Льва Толстого (усадебная атмосфера ранней трилогии), Достоевского («Станционный смотритель», сильно повлиявший на «Бедных людей», «Египетские ночи», «Пиковая дама») и др. От влияния Пушкина не ушли и те поэты,

творческий путь которых развивался в плане резкой борьбы против пушкинских канонов. Таково революционно-демократическое творчество Некрасова, при всей своей отличности от Пушкина несомненно испытавшего влияние его лирики. Таковы народные новеллы Л. Толстого, в которых последний боролся с пушкинским влиянием (путь от «Казаков» к «Кавказскому пленнику»). Таковы попытки Валерия Брюсова соприкоснуться с чуждым ему по духу пушкинским мастерством (окончание им «Египетских ночей»), таково признание Пушкина Маяковским, от сбрасывания его с «корабля современности», от «расстреливания» его вместе с «прочими классиками» пришедшего к признанию его поэтических достоинств. Пушкинская культура доходит до нас не только сама по себе, но и насыщая собою всю огромную сложность русской литературы.

Его мастерство необычайно близко нашей современности, умеющей чтить достижения творческого труда, в чем бы они ни заключались. Легкость и чеканность пушкинского стиля необходима в борьбе за создание художественной культуры, равноценной нашей героической эпохе. Его мастерство окажется одинаково полезным и в борьбе с выкрутасами, с надуманной сложностью выражения, и в преодолении примитивизма этого выражения, в борьбе с беспомощным фотографизмом, не умеющим подняться до сущности явлений. У Пушкина сейчас, более чем когда-либо, можно и должно учиться сложной простоте поэтического мастерства.

VIII

Но Пушкин не только страстный политический поэт, не только реалист, не только величайший мастер поэтического слова. Даже в самых, казалось бы, интимных, в самых лишенных социальной насыщенности произведениях он оказывается глубоко созвучным всему духу нашей эпохи.

В бумагах поэта сохранился набросок стихотворения, который исследователи относят к 1836 г., т. е. к самому концу жизни и творчества поэта. Приведем его в том виде, в каком он сохранился:

О нет, мне жизнь не надоела,
Я жить хочу, я жизнь люблю,
Душа не вовсе охладела,
Утратя молодость свою.
Еще хранятся наслажденья
Для любопытства моего,
Для милых слов воображенья,
Для чувств . . . . всего
Зачем. . . . .
Могилу темную . . . . . .
Что в смерти доброго? . . . . .

Это дошедшее до нас в обрывках стихотворение поистине замечательно по той простоте и силе, с какими поэт выражает свою жизнерадостность, свой огромный оптимизм. Политические и социальные корни этого оптимизма ясны: они лежат в неудовлетворенности Пушкина феодально-крепостнической действительностью, в либеральной вере его в силу реформ, в признании им прав и жизнеспособности «третьего состояния». Пушкинский оптимизм порожден перспективностью его классового сознания Конечно на творческом пути поэта возникало немало трудностей; отражением их являются некоторые из его маленьких трагедий и скорбно-песси-

мистическая лирика конца 20-х годов. Однако эти мотивы не окрашивают собой всего творчества Пушкина, в целом поражающего своей неизбывной жизнерадостностью. В постоянном оптимизме его поэзии заключается огромная ценность последней для наших дней. Бодрость, воля к борьбе, вера в будущее—все эти черты пушкинской поэзии являются вместе с тем характерными особенностями и нашей эпохи. Из социального оптимизма Пушкина растет его лирика, волнующая не только своим художественным мастерством, но и огромной внутренней глубиной.

Возьмем например тему любви, как она ставилась Пушкиным. Гедонистическую трактовку этой темы крепостнической литературой Пушкин несомненно преодолел: в образах Алеко или Троекурова разоблачается собственническое отношение к женщине, циничное попрание прав ее личности. Отдавая некоторую (и немалую) дань светскому эпикуреизму, Пушкин неизменно вставал на защиту женщины, когда свобода ее чувства встречала осуждение со стороны светской среды. Вспомним послание к А. П. Керн, полное благородной защиты женщины от позорящего ее честь приговора дворянского круга:

Но свет... жестоких осуждений
Не изменяет он своих;
Он не карает заблуждений,
Но тайны требует для них.
Достойны равного презренья
Его тщеславная любовь
И лицемерное гоненье....

Глубокое уважение к женскому чувству остается в поэте и после разрыва. Обращаясь к женщине, которую он разлюбил, поэт желает ей нового счастья:

Я вас любил; любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

Эти восемь стихов представляют собою редкое по силе признание свободы чувства женщины, сохраняющее все свое звучание и для наших дней. Октябрь раскрепостил женщину социально, открыв свободу ее чувствам. И все же пушкинское стихотворение, написанное в крепостническую эпоху, глубоко волнует нас. Это происходит потому, что Пушкин касается здесь той стороны отношений, в области которых даже в наши дни существует еще много некультурного. В узких границах интимной проблемы Пушкин дает решение, которое сохраняет всю свою глубокую созвучность нашим дням. Можно смело сказать, что в современной литературе не много найдется произведений, в которых эта тема трактовалась бы с той силой и глубиной, с которой ее более столетия назад ставил и решал Пушкин.

Возьмем другую тему пушкинской лирики—тему смерти. Несмотря на то, что в 30-е годы явно обозначилась деградация помещичьего класса,

несмотря на то, что и личная жизнь Пушкина изобиловала огромными трудностями, мы находим и в его личной переписке, и в его творчестве глубокое отвращение к смерти. Процесс физиологического умирания бессилен восторжествовать над поэтом. Замечательнейшим образцом преодоления им страха смерти являются «Стансы» («Брожу ли я вдоль улиц шумных»). «Вечные своды» небытия не пугают поэта, он со всей колоссальной жизненностью своего таланта сознает, что смерть бессильна прервать человеческое существование, продолжающееся в новых растущих и зреющих поколениях.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

Излишне говорить, как созвучно это решение вопроса о смерти нашим дням, нашей эпохе.

Столь же близким ей остается Пушкин и в решениях целого ряда других значительных проблем: проблемы искусства, дорогого ему своим непрерывным и радостным трудом (глубокая радость творчества в стихотворении «Осень» и «непонятная грусть», тайно тревожащая поэта, завершившего свою работу, в стихотворении «Труд»); темы дружбы, сплачивающей поэта и его товарищей в единый круг перед лицом жизненных испытаний (стихотворения, посвященные лицейской годовщине,—«19 октября 1825», «19 октября 1835» и др.); темы деятельной и торжествующей мысли («Так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма!»). Во всех этих случаях разрешение Пушкиным той или иной проблемы глубоко созвучно нашей современности, ценящей в человеке прежде всего его жизненную бодрость, его радостную жизнеспособность, его борющийся с предрассудками ум, его тягу к творческому труду.

Но может быть всего очевиднее близость Пушкина нашим дням в постановке им проблемы преемственности поколений. В стихотворении «Вновь я посетил тот уголок земли», написанном за полтора года до смерти, поэт рисует пейзаж села Михайловского, заново представший перед ним во время посещения места своей ссылки. Сосны приветствуют проезжающего мимо них поэта знакомым шорохом своих вершин. Этот пейзаж превращается у Пушкина в аллегорическое изображение растущей и торжествующей жизни. «Младая роща» разрослась вокруг трех сосен. «Зеленая семья» теснится под их сенью. И поэт обращается к этому «младому племени» со словами радостного привета:

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет...

Конечно решение Пушкиным проблемы преемственности поколений не может целиком удовлетворить нас. Мы знаем, что «дети» не просто наследовали «отцам», что они боролись с ними, что в основе социального развития лежало противоречие. Момент классовых разногласий Пушкиным здесь обойден, но это не снижает ценности стихотворения. Оно близко нашим дням своей исключительной оптимистичностью, своим глубоким чувством жизни и бодрости.

Так сохраняют свою актуальность в наши дни темы пушкинской лирики. Применяя к его творчеству знаменитую характеристику, данную Марксом древнегреческому искусству, можно сказать, что произведения Пушкина «продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном смысле сохраняют значение нормы и недосягаемого образца». Пушкин достигает в них высочайших вершин оптимистической мысли, и это делает его глубоко созвучным всему духу нашей культуры. На этих произведениях многому могут научиться современные писатели. И понятна тяга к ним наших читателей, справедливо видящих в этих образцах интимной пушкинской лирики замечательные, зачастую непревзойденные до сего времени образцы идейного и созидающего искусства.

IX

Так многообразно значение Пушкина для нашей современности. Оно прежде и полнее всего определяется огромным познавательным значением реалистического метода его творчества, тем, что в его произведениях отражена действительность огромной широты, тем, что в них вскрыты огромные социальные сдвиги его эпохи. Близость Пушкина нашим дням объясняется и глубоким политическим созвучием первого—вольнолюбивого—периода его творчества и бесспорной прогрессивностью его в более позднюю эпоху. В первом мы ценим его пламенный протест против самодержавно-крепостнического строя, неразрывно связавший имя Пушкина с движением декабристов, во втором—содержащуюся в нем критику феодальных отношений, веру в наступление «великих перемен», гуманное сочувствие к мелким людям, борьбу за свободу человеческой личности.

Пушкин ценен для нас своим художественным мастерством, своими образами, простотой, сжатостью и гибкостью своего поэтического слова, своей высокой культурой неустанного творческого труда. И наконец огромная культурная ценность пушкинского творчества заключается в том, что решение им целого ряда психологических проблем глубоко «созвучно» всему духу нашей деятельной и жизнерадостной эпохи.

Можно ли во всех этих случаях говорить о внеклассовости Пушкина? Разумеется нет. Его реализм, его мастерство, его эстетика выросли и сформировались на классовой базе дворянского либерализма первой трети прошлого столетия. Но создав величайшие художественные ценности, Пушкин пережил в них и свою эпоху, и свой класс. Растущая социалистическая культура «отчуждает» эти ценности, являясь их единственным и законным наследником. Союзник декабристов, гуманист, реалист и мастер— Пушкин нужен нашей современности, ее литературе и ее необъятным читательским массам. В том классическом наследстве, которое пролетариат неустанно использует, которым он призван обогатить культуру коммунистического общества, творчеству Пушкина бесспорно принадлежит одно из самых центральных и почетных мест.

ПУШКИН

Эскиз маслом на дереве В. Тропинина, 1827 г.

На обороте — надписи С. А. Соболевского о происхождении эскиза

Третьяковская галлерея, Москва

première ébauche du portrait qui m'a été volé.

Acheté par Smirnof des hoirs Alexéef

Sobolewski

Пушкин заказал Тропинину свой портрет, который и подарил Соболевскому. — Этот портрет украли; он теперь у Кн. Мих. Андр. Оболенского.

Эскиз же Тропинин оставил [illegible] эскиз, который после его смерти достался Алексееву. После Алексеева был куплен Н. М. Смирновым, а после Смирнова (ск. 3 Марта 1870) подарен его Соболевскому.

Апреля 1870. Соболевский

131

Перед марксистско-ленинским литературоведением стоит задача полного освоения пушкинского наследства под углом зрения потребностей в нем нашей культуры. Это должно быть сделано без пуристского откидывания отдельных сторон этого наследства и без левацкой гримировки Пушкина под революционера. Творчество автора «Евгения Онегина» должно быть изучено во всей сложности своих внутренних противоречий— в художественном раскрытии этих противоречий заключалось его движение вперед и их творческим преодолением Пушкин приблизился к нашей культуре.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Говоря о «модернизаторах» Пушкина, мы имеем в виду книгу В. Брюсова «Мой Пушкин» с ее неустанным стремлением придать революционный смысл самым умеренным политическим высказываниям поэта. Гримировка Пушкина под революционера достигает наивысших размеров в статье о Пушкине Л. Войтоловского (в «Очерках по истории русской литературы XIX и XX вв.», ч. I), где автор «Капитанской дочки» объявляется певцом Пугачева, идеологом мужицкой революции.

[2] О литературном и политическом отходе Пушкина от декабристов см. в моей вступительной статье «Творчество Рылеева» в Полном собрании сочинений К. Ф. Рылеева, изд. «Academia». М., 1934, стр. 49—60.

[3] «Попроси Жуковского,—писал кн. Вяземский Пушкину 14 сентября 1831 г.,— прислать мне поскорее какую-нибудь новую сказку свою. Охота ему было писать шинельные стихи (стихотворцы, которые в Москве ходят в шинели по домам с поздравительными одами) и не совестно ли певцу в Стане русских воинов и певцу в Кремле сравнивать нынешнее событие с Бородиным? Там мы бились один против 10, а здесь, напротив, 10 против одного. Это дело весьма важно в государственном отношении, но тут нет ни на грош поэзии. Можно было дивиться, что оно долго не делалось, но почему в восторг приходить от того, что оно сделалось. ...Очень хорошо и законно делает господин, когда приказывает высечь холопа, который вздумает отыскивать незаконно и нагло (?—*А. Ц.*) свободу свою, но все же нет тут вдохновений для поэта». Письмо это с замечательной яркостью характеризует Вяземского, дворянскому либерализму которого претит не подавление восстания—против наказания польского «холопа» за наглость и он ничуть не возражает,—а открытая демонстрация либералами солидарности с крепостническим режимом. Нет никакого сомнения в том, что упреки, сделанные им Жуковскому, относятся и к Пушкину: «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» были напечатаны вместе со стихотворением Жуковского «Русская слава» в одной брошюре под заглавием «На взятие Варшавы». Ответ Пушкина на это письмо неизвестен.

[4] «...На мой взгляд старая наша литература была по преимуществу литературой Московской области. Почти все классики и многие крупные писатели наши были уроженцами Тульской, Орловской и других соседних с Московской губерний. Жанр и пейзаж—быт и природа,—в которых литераторы воспитывались, довольно однообразны. Эта узость поля наблюдений определенно отразилась впоследствии на творчестве классиков» (М. Горький. «О литературе». М., 1933, стр. 49).

[5] «Вот тебе задача,—писал Пушкин брату в октябре 1824 г.,—историческое сухое известие о Стеньке Разине, единственном поэтическом лице русской истории». Написанные в следующие годы три песни о Разине были через Бенкендорфа переданы Николаю I и признаны «при всем их поэтическом достоинстве неприличными к напечатанию». Кроме них две песни о Степане Разине были записаны поэтом. Интерес его к вождю казацкой революции XVII в. в значительной мере подготовил образ Пугачева, созданный не без некоторого влияния народных песен как образ «удалого разбойника».

[6] Вспомним здесь высокую оценку, данную Пушкиным этнографическим картинам «Кавказского пленника»: «Черкесы, их обычаи и нравы занимают большую и лучшую часть моей повести, но все это ни с чем не связано и есть истинный hors d'œuvre» (письмо В. П. Горчакову, 1821—1822). «Описание нравов черкесских [самое сносное место во всей поэме] не связано ни с каким происшествием и есть не что иное как географическая статья или отчет путешественника» (черновая письма Н. И. Гнедичу, апрель 1822). В предисловии к отдельному изданию поэмы (1828): «Сия повесть, снисходительно

принятая публикой, обязана своим успехом верному, хотя слегка означенному, изображению Кавказа и горских нравов».

[7] С особой непримиримостью Пушкин борется с традиционными описаниями женской красоты, столь обязательными для классической и романтической прозы. «В эпоху нами описываемую ей (Маше Троекуровой.—*А. Ц.*) было семнадцать лет и красота ее была в полном цвете». Это все, что мы находим о внешности героини повести «Дубровский». В полном разрыве с требованиями литературных традиций он делает свою Татьяну некрасивой:

Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью ее румяной
Не привлекла б она очей.

Всего чаще Пушкин наделяет героинь своих произведений обыденной, ничем не выделяющейся внешностью: «Тут вошла девушка лет осьмнадцати, румяная, круглолицая, с светлорусыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у нее так и горели. С первого взгляда она мне не очень понравилась» («Капитанская дочка»).

[8] В своей статье «Онегинская строфа» Л. П. Гроссман сделал ряд тонких наблюдений, касающихся пушкинского искусства инструментовки, звукописи:

«Однообразный и безумный
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный;
Чета мелькает за четой...

Это повторение слов: вихорь, чета—передает однообразные движения, которому начальные пэоны сообщают здесь монотонную плавность, а ускорение размеров в последующих строках придает подлинный характер какого-то «безумного кружения».

Так же живописно в чисто звуковом отношении изображение мазурки, инструментованное аллитерированием *р, з, к,* что замечательно передает звон шпор и топот каблуков:

Мазурка раздалась. Бывало,
Когда гремел мазурки гром,
В огромной зале все дрожало,
Паркет трещал под каблуком,
Тряслися, дребезжали рамы...

Наконец так же искусна инструментовка народного танца на *п, т, к*:

Да пьяный топот трепака
Перед порогом кабака,

где скопление губных и гортанных согласных создает слуховую иллюзию тяжелого, грузного, пьяного пляса уже не на гладких досках паркета, а на утоптанной пыли—перед порогом кабака» (Л. Гроссман. «Пушкин». М., 1928, стр. 167—168).

В исключительном по своей сложности социально-психологическом полотне «Евгения Онегина» эти приемы конечно только частности. Но эти частности свидетельствуют о величайшем мастерстве, с каким Пушкин владел стихом, самыми ритмами его, самым подбором звуковых средств, изображая то или иное явление действительности.

ПУШКИН—КРИТИК *

Статья А. В. Луначарского

Пушкин не был теоретиком искусства. Он не только не имел каких-либо готовых и приведенных в систему принципов, которые были бы им положены в основу своих суждений в течение всей жизни, но даже, в богатой эволюции своих взглядов на искусство, никогда не стремился выявить и письменно выразить какие-либо общетеоретические устои, хотя бы для отдельных этапов этой эволюции.

Пушкин страстно любил искусство, в особенности литературу. Какое значение в общественной жизни может иметь литература—такого вопроса он в начале своей деятельности перед собой не ставил. Он даже не ставил перед собой вопроса о том, для кого же собственно литератор должен писать? Перед ним являлось некое неуловимое собирательное лицо—*«читатель», и в заманчивом, симпатичном облике этом Пушкин различал* своих друзей, людей своего общества, дальше—неясные лица современников и потомков, которые будут с восхищением принимать дары его музы.

На деле в течение жизни Пушкина читатель его поэзии эволюционировал. Вначале это была главным образом дворянская салонно-усадебная прослойка. Чем дальше, тем больше это было русское образованное общество; оно постепенно пополнялось все более демократическими элементами, пока наконец Пушкин в конце своей жизни не сделался действительно писателем для многих десятков тысяч, среди которых большинство составлял новый читатель, иначе говоря—буржуазная, мелкобуржуазная, чиновничье-интеллигентская публика и даже частью очень тонкий высший слой крестьянства.

Говоря более обобщенно, можно сказать, что вначале Пушкин реально писал для дворянского читателя и сам видел перед собой дворянскую публику как адресата своих произведений, а в конце жизни он имел своим читателем главным образом «буржуазную» в широком смысле этого слова публику и понимал, что пишет именно для нее.

Соответственно этому эволюционировало и представление Пушкина о поэте вообще и о себе как поэте. Вначале поэт—это обеспеченный человек, светский человек, который совершенно свободно, в силу высшего призвания, отдается от времени до времени вдохновенному делу поэзии, видя в ней как бы некоторое роскошное дополнение к своей человеческой и, еще вернее, барской жизни. Быть может субъективно поэт считает при

---

* Статья была написана Анатолием Васильевичем весной 1933 г. Она представляет собой наметку предисловия к сборнику «Пушкин—критик». Мы печатаем *рукопись полностью за исключением шести абзацев*, посвященных работе Института Литературы и Искусства Комакадемии. Статья дошла до нас в виде неправленной стенограммы; для настоящей публикации она отредактирована сотрудником ЛИЯ Комакадемии И. А. Сацем.

этом поездки на Пегас самым важным и сладостным, что он имеет в жизни; тем не менее это есть только прекрасное любительство.

Чем дальше, тем чаще попадаются у Пушкина строчки, дышащие сознанием того, что действительно существенен в нем не барин, не помещик, не камер-юнкер, а именно писатель. Пушкин не скрывает, что огромную роль играет здесь чисто экономический фактор. Писательство стало тем занятием, которое кормит Пушкина и его семью. Он продает продукт своего труда. Он профессионал, он особого рода ремесленник.

Кто же оплачивает его труд?—Оплачивает его труд не совсем ясный, но несомненно очень многочисленный читатель, далеко уходящий за пределы салонно-дворянского окружения.

Уже это должно было заставить Пушкина по-иному относиться к темам, которые он выбирал, к обработке этих тем, к оценке того, что он сам писал, и того, что производили другие художники, современные ему или предшествовавшие ему.

Дело конечно обстояло не так, что Пушкин, осознавая свое положение как профессионального писателя, менял свою писательскую манеру и вкусы. Нет, процесс этого осознания шел рука об руку с литературной эволюцией Пушкина, чрезвычайно интересной и необыкновенно целостной и закономерной.

Поистине стоя «на грани двух культур», он ответил веселым эхо на французскую классику, когда она однако уже угасала. Он еще успел быть самым прелестным представителем своеобразного позднего рококо нашей дворянской литературы. В то самое время, как он воспринимал новые начала романтики, пока еще тоже шаля и играя («Руслан и Людмила»), но отмечая в этой новой поэзии большую свободу и большую близость к реальной природе,—он вместе с тем стал воспринимать поверхностное, шипучее, как пена шампанского, вольнолюбие, как момент серьезного протеста проснувшегося в нашей стране человека (прежде всего дворянина) против гнета самодержавия и всего того экономического и культурного уклада, который с самодержавием сросся. Поэзия Пушкина приобретает характер общественный, она служит выражением протеста, в ней появляется герой-отщепенец. Романтика окрашивается в байроновские тона, и вольнолюбивая лирика подчас доходит до подлинно революционных нот.

Легко притти к несколько поверхностному выводу, будто бы, после того как протест передового дворянства был разбит вместе с декабрьским восстанием, испуганный Пушкин, потерявший всякие надежды, всякую реальную опору и увлекаемый общей реакцией всего своего класса, переменил все струны на своей лире, сделался политически искренним сторонником дворянского самодержавия, позволяя себе лишь расходиться с ним в деталях.

Сторонники такого взгляда на Пушкина считают, что, к своему счастью, он параллельно с этим углубил поток своей поэзии, придав ему более индивидуально-сложный характер, уйдя в себя и в вечные вопросы, окружающие личность, что он с особенным восхищением приник к источникам красоты и предавался умножению ее на свете именно потому, что, как всегда бывает с разочарованными и поэтически одаренными натурами, в творчестве своем обрел единственное утешение от жизни, не открывавшей никаких путей для реального гражданского творчества.

Все это верно, но верно лишь отчасти.

В недавнем своем труде («Пушкин на пути к гибели») Н. К. Пиксанов старается например утверждать, что как раз 1833 год был в жизни Пушкина

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „БАРЫШНЕ-КРЕСТЬЯНКЕ"
Рисунок М. Добужинского
Издание Госиздата, 1923 г.

началом явного уклона вправо, стремления поэта примириться со светской *средой, даже погрузиться в нее, стремления его осознать* себя *как* аристократа и консерватора. Однако же очень характерно, что сам Н. К. Пиксанов тут же вынужден признать, что существует множество данных, показывающих неполную захваченность поэта этого рода мыслями и чувствами.

Действительно в этом же 1833 г. Пушкин дал такой портрет этого света в «родословной моего героя».

Вы презираете *отцами*,
Их славой, честию, правами
Великодушно и умно;
Вы отреклись от них давно,
Прямого просвещенья ради,
Гордясь (как общей пользы друг)
Красою собственных заслуг,
Звездой двоюродного дяди,
Иль приглашением на бал
Туда, где дед ваш не бывал.

Рядом с совершенно заметной тенденцией Пушкина к примирению с властями придержащими, рядом с готовностью его прислушаться к голосу дворянина в себе идет более важный процесс. С необыкновенным ясновидением, какого можно было бы ожидать только от экономиста и социолога, осознает Пушкин превращение старой Москвы, ее новый купеческий, торговый характер, рост влияния буржуазии повсюду и все больший вес разночинца. Существенно тут не то, что Пушкин отмечает эти явления роста какой-то новой России и хочет установить свое отношение к ней (в том числе и через сложные отношения к пишущей братии); существенно то, что внутренняя, чисто поэтическая эволюция поэта ведет его в ту же сторону и что развитие Пушкина к новым формам творчества являет органическое единство с его отходом от дворянских позиций к буржуазным.

Именно сюда относится все крепнущий реализм Пушкина. Уже в поэтических его произведениях этот реализм, эта раздумчивость сказывается со все растущей силой; но Пушкин уже начинает предпочитать стихам художественную прозу. Это вовсе не та художественная проза, которая только тем и отличается от стихотворной формы, что в ней эта форма отсутствует,—проза, которую так легко было бы построить строфически, переделав ее при помощи рифм в поэзию. Пушкин пишет по этому поводу:

«Что сказать об наших писателях, которые, почитая за низость изъяснять вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами?.. Точность и краткость, вот первое достоинство прозы. Она требует мыслей и мыслей—без них блестящие выражения ни к чему не служат».

Художественная проза—рассказ, роман—по мнению Пушкина требует прежде всего мысли. С немножко грустной и насмешливой улыбкой Пушкин говорит о том, что поэзия должна быть всегда немного глуповата, а проза нет: основное достоинство прозы—ум.

Вряд ли Пушкин когда-либо отказался бы от художественной литературы, от образов как главного метода своего общения с читателем; но очень важно отметить, что его грандиозно возросший интерес к «мысли» заставляет его все более ценить публицистическую прозу, журнальную прозу. Мечта иметь свой собственный журнал, в этом журнале определить свое отношение к литературе, развернуть действительную литературную критику чрезвычайно занимает Пушкина, и нет никакого сомнения, что если бы он не был убит враждебной ему стихией, он осуществил бы это и вошел бы в некоторую новую фазу своего развития. Мы можем только гадать о ней, но несомненно она была бы дальнейшим шагом от дворянской грани к грани буржуазной.

Эту внехудожественную прозу—прозу как носительницу, так сказать, чистой мысли—Пушкин не представлял себе как ярко публицистическую. Не только в его время, но и позднее роль публицистики в бóльшей мере играла литературная критика. Но ведь одновременно с набросанным здесь развитием отношения Пушкина к литературе должно было меняться и его представление о литературной критике.

Мы знаем, что Пушкин придавал очень большое значение эстетической критике. Вероятно на всем своем сознательном пути Пушкин не возражал бы против той формулы, которой он старался определить задачи критики в одной из своих заметок:

«Критика—наука открывать красоты и недостатки в произведениях искусств. Она основана, во-первых, на совершенном знании правил, коими руководствовался художник или писатель в своих произведениях, во-вторых—на глубоком изучении образцов и на деятельном наблюдении современных замечательных явлений».

Формула эта не выходит за пределы эстетической критики; но мы знаем очень хорошо, как эволюционировала критика у нас вообще, как она эволюционировала прежде всего в руках Белинского, бывшего современником и как бы продолжателем тех процессов, в зарождении которых такую видную роль играл Пушкин.

Для молодого Пушкина эстетическая критика конечно легко могла найти свои пределы в том, чтобы установить чисто художественное достоинство того или другого произведения не голословно, не путем простой ссылки на свой вкус, на «нравится» или «не нравится», а путем размышления над

правилами самого искусства, путем сравнения с другими произведениями и т. д.

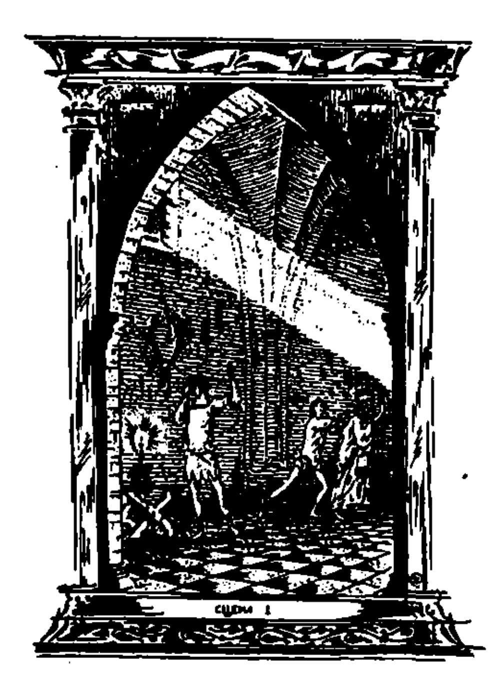
Совершенно ясно однако, что понятие эстетического критерия не есть понятие строго ограниченное. Что значит открывать красоты и недостатки? Есть ли например широта охвата объекта, разработанного в данном произведении искусства, одно из условий красоты? Есть ли красота—сила организации этого охваченного объекта определенными детерминантами? Есть ли это сила реализма художественного произведения, т. е. именно той особенной правдивости, которая звучит громче и проникает в сознание глубже, чем «сырая» правдивость действительности? А сила романтики, т. е. сила пафоса чувства, которая звучит в данном произведении и потрясает читателя,—разве ее можно изгнать из эстетики, разве это не суть красоты? Если отрешиться от суждения о подобных сторонах, то много ли останется для чисто эстетического суждения?

Пушкин, который хотел, чтобы проза была прежде всего умной, чтобы она прежде всего была носительницей мысли, мог ли бы он согласиться, чтобы художественная критика, которая для него была важнейшим видом внехудожественной прозы, отказалась от суждения о таких важнейших сторонах, определяющих собой достоинство произведения?

А недостатки? Разве поверхностность темы, разве ложные принципы организации объективного материала, разве манерность изложения, отсутствие какой бы то ни было целесообразности, отсутствие какой бы то ни было напряженной и высокой человечности в тех ощущениях, которые производятся данным произведением,—это не его недостатки?

Мы же знаем, как могучий эстетический критик Белинский никогда не мог и не хотел удержаться от того (несмотря на все опасности со стороны цензуры и правительства), чтобы не смешивать свой эстетический критерий с критерием социальным.

Тот процесс, который должен был привести к эстетике Чернышевского, уже начался фатально и он уже зацепил Пушкина.



ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „СКУПОМУ РЫЦАРЮ“
Рисунок М. Добужинского
Издание „Аквилон“, 1922 г.

При этом нужно прямо сказать, что эстетическая критика может остаться эстетической и сливаясь постепенно с критикой общественной, что настоящая, подлинная критика непременно включает в себя оба эти элемента, что даже говорить о двух элементах здесь является не совсем правильным. Критика эстетическая и критика общественная на самом деле представляют собой одно и то же, или по крайней мере две стороны одного и того же.

Если Плеханов, воззрения которого на литературную критику в некоторых отношениях (прошу заметить это: лишь в некоторых) были шагом назад по сравнению с Чернышевским, говорит о двух актах критики, утверждает, что сначала надо генетически исследовать социальные корни произведения, а потом произнести о них эстетическое суждение, то ведь совершенно ясно, что он неправ. Генетическое объяснение, так сказать, детерминированного появления того или иного произведения (объяснение по столь дорогому для Плеханова принципу «не плакать, не смеяться, а понимать»)—еще не есть даже критика: это есть, собственно говоря, литературно-историческое исследование, это есть акт социологического определения причин появления данного произведения. Критика предполагает высказывание суждения о произведении. У Плеханова же часто получается так, что «настоящий» научный критик, «критик-марксист», не должен иметь суждения о произведении. Совершенно очевидно, что это чудовищная односторонность; эта ошибка попала в систему Плеханова потому, что он, увлеченный полемикой, противопоставлял в то время такую огрубленную «объективность» действительно нелепым теориям социологов субъективной школы.

Нет, критик должен произносить суждение. Исследования о том, каковы социальные корни известного художественного произведения, ему очень важны; ему трудно произнести свое суждение без знания их (конечно о таком методе исследования еще ничего не было известно Пушкину, да и Белинский лишь изредка, хотя и блестяще, подходил к постановке этой задачи). Но дальше, именно в порядке общественной критики, надо ставить вопрос о функции данного произведения, о том, какую роль должно оно было играть по мысли автора, какую действительно роль сыграло оно в эпоху жизни своего автора и в последующие эпохи.

Тут возникает перед критикой вопрос, который для нашей творческой эпохи, для эпохи критического усвоения всего прошлого и оценки всего современного с точки зрения нашей великой цели, становится на первый план: чем данное произведение искусства является для нас, чем оно может помочь или повредить нам. Ответить на это—главная задача критики.

Мы только что слышали от Пушкина, что такое эстетическая критика: это наука открывать красоты и недостатки в произведениях искусства. Но что дает произведению искусства красота, что отнимает от него недостаток? Что, в конце концов, называем мы красотой художественного произведения, что подразумеваем мы, когда говорим о том или другом его недостатке?

Когда мы говорим о красоте произведения, мы всегда имеем в виду силу его воздействия, отмечаем этим словом пленительность произведения, его способность захватить нас, осчастливить нас, осветить наше собственное сознание.

Всякая «красота» имеет именно это значение. Произнося слово «красота», человек старается указать на некоторое объективное свойство того или

иного предмета природы или искусства, которое он считает причиной своего счастливого настроения, своего эмоционального подъема.

С узкой точки зрения красота всегда сводится к приятным для наших органов чувств элементам произведения или предмета, к правильным их, т. е. очень легко воспринимаемым, сочетаниям (узор, мелодия, гармония, ритм и т. д.) или к приятным представлениям физического совершенства, жизненной силы, здоровья, умственного блеска, нравственной привлекательности и т. д.

Но мы очень хорошо знаем, что искусство не сводится только к такого рода красоте. Искусство может включать в себя вещи, с этой условной

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „ДОМИКУ В КОЛОМНЕ"
Рисунок В. Лебедева
Издание Госиздата, 1923 г.

точки зрения некрасивые и даже прямо-таки безобразные. Искусство имеет дело, как отметил еще Аристотель, и с прахом, и с страданием, и с необыкновенно точно воспроизведенными отталкивающими условиями жизни (Флобер). И все это однако искусство может преодолеть. Изображая ободранную тушу быка или звериную схватку воинов, Рембрандт или Леонардо да-Винчи поднимаются до вершин красоты и заставляют нас произнести сакраментальное слово—«это прекрасно». Огромная сила впечатления, покоряющая зрителя или читателя, заставляющая его по-новому представить себе мир, по-новому думать о нем, организующая таким образом его мироощущение,—вот, собственно говоря, что такое красота. Чем она сложнее, чем она новее, чем она дальше уходит от элементарной красивости, тем более мы восхищаемся, потому что в тем более трудных областях производит она свое организующее дело.

А недостаток?—Недостаток это то, что отталкивает нас, то, что свидетельствует о слабости художника, о том, что он не смог справиться со своей задачей, что он, по отсутствию сил или по лукавству, лжет нам, что он говорит нам вещи, вовсе ненужные для нас, а потому скучные, и т. д.

Пушкин справедливо отмечает, что для подлинной критики нужно знание правил, которые ставит себе сам художник, и знание всех художественных приемов. Это значит, что критик берет не только готовый результат—произведение искусства,—но он обсуждает также методы, которыми этот результат найден.

Что такое методы художественного творчества? Все методы, какие бы мы только ни придумали и ни перечислили, беря любые эпохи и любых мастеров,—все они непременно сводятся к тому, чтобы выбрать какой-то жизненный объект, овладеть им, взяв в нем все самое значительное и устранив для данной цели ненужное, и затем очищенный таким образом во внутреннем горниле объект представить возможно более могуче, т. е. выразить его с возможно бо́льшей силой.

От эпохи к эпохе, от класса к классу меняются требования читателя, меняются и пути писателя, но никогда не может искусство уйти от этих трех основных моментов творчества—выбор материала, обработка его и внешнее выражение (при чем конечно эти три части слиты в один процесс и лишь в абстракции могут быть полностью различимы).

Таким образом художественные методы—это есть методы, которыми достигается наибольшая сила впечатления. Принимая во внимание классовую структуру общества (приходящую у нас, правда, уже к концу), мы должны будем сказать: методы художественной выразительности—это те способы, которыми писатель рассчитывает в наибольшей мере повлиять своим художественным произведением на свой класс и по возможности также на те классы, которые его класс хочет вести за собой.

Итак, эстетическая критика и социальная критика, при некотором совершенстве критики вообще, при некоторой высокой стадии ее развития, совпадают и дополняют друг друга.

У Пушкина конечно социальная оценка была на самом заднем плане и вряд ли сознавалась; но она должна была бы осознаваться все глубже, если бы эволюция его продолжалась. Его публицистическая оценка все более и более приобретала бы общественный характер.

Но может быть Пушкин был чистым эстетиком, так как то, что Плеханов называл первой обязанностью критика—выяснение социального генезиса произведения,—для него не существовало; может быть и он в конце концов стремился только к оценке данного художественного произведения как более или менее высокого по лестнице чисто эстетических достоинств? Несомненно всякому бросится в глаза искусственность и неправильность такого суждения о Пушкине. Всякий, кто внимательно перечитает пушкинские тексты, прекрасно поймет, что Пушкин то и дело включает социальный момент в свои суждения.

Но допустим даже, что чисто эстетические задачи решительно превалируют у Пушкина. И тогда мы будем иметь в нем по крайней мере своеобразнейшего мастера такой эстетической критики. Эстетическая критика предполагает изощренный вкус, т. е. большой опыт в деле вдумчивой оценки художественных произведений, какой-то внутренне верный подход к ним, минимум ошибок с точки зрения понимания «правил, которые поставил себе сочинитель», с точки зрения понимания богатства впечатлений, которые несет с собой данное произведение. Человек, который сам был великим художником и при этом замечательным мыслителем, который умел весьма критически отдавать себе отчет в том, что он делал и что воспринимал, человек огромной всеевропейской начитанности, человек, не замкнутый

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К ФРАНЦУЗСКОМУ ИЗДАНИЮ „СТАНЦИОННОГО СМОТРИТЕЛЯ"

Офорт А. Алексеева, 1930 г.

в твердых рамках одного класса, но стоявший «на грани двух миров» и совершивший поразительную по своему богатству эволюцию,—такой человек не может не представлять с этой точки зрения огромный интерес.

Припомним еще раз то, что сказал Белинский о Пушкине-критике «В Пушкине, говорит он,—виден не критик, опирающийся в своих суждениях на известные начала, но гениальный человек, которому его верное и глубокое чувство, или лучше сказать богатая субстанция, открывает истину везде, на что он ни взглянет».

Что значит это суждение Белинского? Оно значит, что хотя у Пушкина нет какого-нибудь теоретического труда и мы не замечаем у него какого-нибудь сложного научно-логического процесса, которым он приходит к тому или иному суждению, но результат его размышлений, дающийся ему по видимому с совершенной легкостью, подсказывающийся ему его «субстанцией» (интуицией), оказывается совершенно верным.

Гений Пушкина, как и всякий гений, характеризуется не только природной силой, но еще и огромной производимой им работой. Пушкин не был теоретиком, но, берясь за критику, он давал в конце концов верный результат, по крайней мере, как мы условились, в области эстетической оценки художественных произведений.

Теперь возьмите современную нам критику. Она всего слабее именно в эстетической оценке. Она прекрасно произведет вам плехановский «первый акт». Она может точно проследить корни данного художественного произведения, она недурно может выяснить также, какие классовые цели сознательно или полусознательно преследовал данный автор, каких классовых результатов он достиг, она может прибавить к этому разъяснение о чем говорит нам, как относится к нашему труду и к нашей борьбе это ху

дожественное произведение (прошлого или настоящего). Но вот в отношении эстетической оценки начинается путаница.

Скажем, среди наших критиков преобладают не «гениальные люди», а, как это всегда бывало, просто способные люди, опирающиеся в своих суждениях на «известные начала». Но имеем ли мы эти известные начала, достаточно ли выработана наша собственная эстетика, можем ли мы заимствовать эстетику у прежде нас существовавших классов?

Эстетику прошлого мы должны лишь критически воспринять, т. е. не можем отказаться от этой эстетики, не можем просто ставить на ней крест, но и не можем принять ее целиком; она должна быть только пищей для воспитания нашей собственной эстетики, существующей лишь в виде некоторых основных положений. А эти основные положения не составляют еще тех «начал», т. е. стройной и разветвленной системы, о которой говорил Пушкин.

Каждому критику пришлось бы добиваться этих «начал», как добивался их, скажем, Белинский (и не без большой помощи Белинского, отчасти идя его же путями). Конечно различные критики на свой лад проделают для себя эту работу. Но мы еще явно не искушены в вопросе о том, что такое конструкция художественного произведения данного жанра, что такое композиция его отдельных частей, что такое единство стиля и различные достоинства стиля (разнообразие, блеск и т. п.), как может и должна конструироваться фраза, как должен создаваться вокабулярий писателя, какую роль вообще должно играть слово—прямую, метафорическую, ироническую и т. д. Да, во всем этом мы очень слабы, пожалуй слабее даже, чем критики-эпигоны предшествовавшей эпохи. Мы недостаточно обращали внимания на это, увлеченные другим—правда, более важным. Для нас более важно определить—враг или друг перед нами, в какой степени враг и в какой степени друг, какие элементы здесь вражеские и какие дружеские, чем определить то, насколько он вооружен чисто художественным оружием, соответствуют ли его замыслу сила наносимых им ударов, нашел ли он надлежащую адэкватную форму и есть ли эта адэкватная форма та именно, которая обеспечивает за ним не только большее или меньшее самодовольство, но больший или меньший реальный успех—захват публики. Нужно еще помнить, что успех и захват может быть тоже ошибочным, может быть результатом временного увлечения, а для нас все яснее становится значение прочности и долговечности художественного произведения. Об этом все больше и больше начинают думать наши писатели.

Хотя Пушкин не может преподать нам никаких «правил» теоретического порядка, но он может служить блестящим учителем в области той меткости суждений, о которых говорит нам Белинский.

Каждое критическое суждение Пушкина ставит перед нами целый ряд замечательно интересных задач.

Мы спросим себя, насколько в этом суждении сказалась классовая сущность Пушкина, плюсы и минусы культурного помещика, плюсы и минусы деклассированного человека, стоящего «на грани двух миров», насколько здесь сказалась сила специалиста, великолепно знакомого с областью, в которой он произносит свои суждения, насколько поэтому могут быть объективно значимы его суждения. Если они объективно значимы, то мы должны поставить перед собой вопрос об анализе этого суждения Пушкина, мы должны из общего суждения вылущить его скрытый теоретический элемент.

В чем именно верность (или неверность) суждения Пушкина о Шекспире, Мольере? О Державине, Жуковском? О том или другом античном произведении или произведении современном для Пушкина?

Так можем мы учиться у Пушкина, и у Пушкина есть еще чему поучиться!

Литературный критик, который умерщвляет художественную литературу, рассекает ее, как труп в анатомическом театре, и произносит над нею сухую лекцию, может быть ценным в качестве члена коллегиума ученых об искусстве, но это—не литературный критик.

Для чего Пушкин занимается наукой открывать красоты и недостатки?— Для того, чтобы служить путеводителем своим современникам. Он открывает красоты там, где неизощренный человек не может открыть красоту, он разоблачает недостатки там, где менее опытный глаз не увидит их, или может быть даже предположит достоинства.

Если критик стоит на одном уровне с писателем, с одной стороны, и с читателем—с другой, то на кой чорт собственно существует он и для чего он пишет?—Он ценен лишь тогда, когда он может раскрыть этому самому писателю или другому писателю глаза на эти красоты или недостатки. Он ценен постольку, поскольку он десяткам и сотням тысяч читателей, еще не искушенным и не созревшим, помогает произнести верное суждение и не только в области классового намерения писателя, но и в области действительной художественной эффективности его осуществления.

Но если так, если критик, ученый путеводитель по музею красот, будет таким чичероне, который рядом с художественными произведениями, т. е. *произведениями, претендующими прежде всего на эстетическое волне-*

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К ЧЕШСКОМУ ИЗДАНИЮ „ПОЛТАВЫ"

Гравюра на дереве В. Масютина, 1923 г.

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „СКАЗКЕ О ЦАРЕ САЛТАНЕ"
Рисунок И. Голикова
Из издания, выпускаемого издательством „Academia"

ие зрителя, обладающими известным эмоциональным зарядом, будет скучым голосом говорить о красотах и недостатках, он только помешает дейтвию художественного произведения, и вероятно большинство голосов ой «экскурсии», которую он будет вести за собой, выскажется наконец а то, чтобы он удалился и представил бы им непосредственно соприкосуться с авторами. Конечно если такой чичероне будет еще вдобавок и красивым болтуном», если он захочет на место существенных мыслей оставить всякие напыщенные метафоры, которые Пушкин так старался згнать из всякой прозы, то это будет еще хуже.

Нет, настоящий критик—сам художник. Он особого рода художник, н рецептивный художник, он, так сказать, корифей публики или член ора как и д е а л ь н о г о представителя этой публики, он—сама публика, акой она должна была бы быть, он желанный и понимающий читатель, н проникновенный читатель, читатель то друг, то враг, но всегда великоепный судья. И чтобы не быть одиночкой, чтобы не оказаться при этом оторванном авангарде, он должен уметь передать то дрожание своих ервов, тот трепет своего сознания, который он получает от художественого произведения, тот вторичный образ этого художественного произвеения, в который входит и социальное его происхождение, и общественная го функция, и понимание того, чем же собственно оно, это художественное роизведение, чарует.

Он должен уметь передать все это широчайшим слоям публики, вернее точнее—своему классу, которому он служит как критик. И для этого

он должен уметь превращаться из своеобразного рецептивного художника также и в своеобразного творческого художника. Его критические статьи, его критические лекции должны превращаться в своеобразные художественные произведения,—художественные потому, что и в них также найдены методы широчайшего и глубочайшего влияния на массы.

Ленин любил повторять фразу Базарова: «Друг мой, Аркадий, не говори красиво».

Есть вещи, о которых слишком красиво говорить никак нельзя. Они сами по себе, в своей наготе, прекрасны. Одевать их еще какими-то разноцветными ризами и навешивать на них украшения—безвкусица. Мы хорошо знаем, что адвокатское красноречие, софистические приемы и ораторское искусство часто служат для затемнения истины. Все это так, но горе тому, кто сделает из этого такой вывод, что, осуждая красивую фразу, мы должны выбросить из критики меткость, яркость, страсть, волнение.

Прочтите сборник критических статей и заметок Пушкина. Разве здесь имеются такие «аркадьевски-красивые» фразы, разве вы где-нибудь, когда-нибудь скажете, что Пушкин говорит слишком красиво, разве вам почудится где-нибудь, что он хочет не только представить вам товар лицом, но еще и с какого-то искусственного, казового конца, что это адвокат, который для того, чтобы победить противника, придумывает всякие ухищрения, пачкающие его в ваших глазах?—У вас никогда не было и не будет такого впечатления.

Впечатление необыкновенной ясности мысли, ясности вследствие адэкватной формы, вследствие богатства слова, вследствие гибкости фразы, вслед-

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „СКАЗКЕ О ЦАРЕ САЛТАНЕ"

Рисунок И. Голикова

Из издания, выпускаемого издательством „Academia"

ствие полного впечатления естественности ее рождения, развития и стремления,—все это вы действительно здесь получите. Вы получите живую страстную речь, увлекательную до последнего предела, не лишенную при этом известной узорности.

Ленин например говорил не узорно, ему мало были свойственны какие-нибудь метафоры, но ораторское искусство было присуще ему в высочайшей мере. Его речь была действительно обнаженной, но обнажено было необыкновенно здоровое, гармоничное, целесообразное тело, каждое движение которого доставляло огромное удовольствие; вернее, при бессознательном огромном удовольствии, оно делало свое дело—убеждало.

Художественный критик может пользоваться и таким, так сказать, «спартанским» методом изложения. Это высочайший идеал, его достигнуть труднее всего. Но он вполне законно может пользоваться и «афинским» методом, которым пользуется Пушкин. Критика может быть естественным потоком мысли, кристаллизующейся в правильные и блестящие кристаллы, сверкающие разноцветными огнями, и в то же время—до дна естественной, ни на минуту не фальшивой, не фальшивящей, не становящейся на цыпочки, не потеющей над предельной метафоричностью.

Критик-художник, художник критики—это великолепное явление. Таким конечно был Белинский. Такими в лучших своих произведениях были и даже глубоко трезвые Чернышевский и Добролюбов. Таким в огромной мере был Герцен, когда брался за дело литературной критики. Такими всегда остаются великие писатели, когда они сами берут критику в свои руки. Таким в высочайшей мере был Пушкин, и здесь он дает свой незабываемый урок.

ПУТЬ ПУШКИНА К РЕАЛИЗМУ

Статья Ивана Виноградова

I

Вопрос о пушкинском реализме—это собственно вопрос о всем творческом пути Пушкина. Что из всего обширного литературного наследства Пушкина не имеет отношения к этой теме? И какие вопросы изучения пушкинского творчества так или иначе не связаны с ней?

Но именно в этом разрезе Пушкин особенно важен нам в живой литературной работе сегодняшнего дня. Отсюда вытекает необходимость постановки этого вопроса, хотя бы и в общем и неполном виде. Марксистское литературоведение всегда было тесно связано с потребностями текущей политической и литературной борьбы—и в этом его сила.

Слово поэта есть дело поэта в том смысле, что оно всегда имеет практическую направленность (хотя бы она и не осознавалась поэтом), составляет какую-то часть реальных общественных отношений, реальной классовой борьбы. Поэтому понять романтические и реалистические тенденции в творчестве Пушкина это значит прежде всего понять их реальную общественную основу, их практический смысл.

Но это значит, что романтизм и реализм нельзя брать вне связи с содержанием творчества Пушкина. Творчество должно быть понято как процесс художественного осознания действительности, а романтизм и реализм—как принципы художественной обработки жизненного материала, связанные с общим мировоззрением и реализующиеся в тематике, в трактовке образов и т. д.

Эти принципы всегда конкретны. Выяснить романтические и реалистические тенденции—значит показать и конкретные причины возникновения их, и конкретную модификацию их в данном творчестве. Настоящая статья и ставит задачей наметить основные этапы развития Пушкина на пути к реализму и охарактеризовать основные черты его реализма.

II

Пушкинский романтизм и реализм нельзя рассматривать вне вопроса о классицизме. Классицизм и в 10-е, и в 20-е годы был весьма актуальным в литературной борьбе. Эта борьба рисовалась современникам как борьба романтизма с классицизмом. Затем классицизм, не только как система взглядов, но и как художественная система, оказал чрезвычайно большое влияние на творчество Пушкина.

Общее понятие классицизма как ориентации на античную литературу дает еще очень мало и нуждается в уточнении применительно к конкретным явлениям. Ю. Тынянов в одной из своих статей приводит фразу из

плохого исторического романа «Прохладный вечер спустился над древними Афинами, когда молодой Каллимах...» Как Афины в данном случае еще не были «древними», так и литература Греции и Рима не была «классической». Это была богатая и разнообразная литература с классовой борьбой, с длительным историческим развитием. Последующая европейская литература выбирала и в теоретическом, и в творческом отношении то, что шло ей «на потребу», авторитетом прошлого освящая свои требования. «Бесспорно например,—пишет Маркс,—что три единства в теориях французских драматургов эпохи Людовика XIV основываются на непонятой греческой драме (и на Аристотеле как выразителе последней). Но, с другой стороны, ясно, что они понимали греков в соответствии с задачами своего искусства и поэтому еще долго придерживались так называемой «классической» драмы даже после того, как Дасье и другие правильно истолковали им Аристотеля». (Письмо Маркса к Лассалю.)

Античная литература использовалась и в отношении той «философии», которая в ней заключалась (и в этом, вопреки формалистам,—основное), и в отношении теоретико-литературном, и в отношении жанровых форм и стилистики.

Для Пушкина раннего периода характерна ориентация на эпикурейско-горацианско-анакреонтическую философию и «легкие» жанры, воспринятые преимущественно через призму французской литературы. Эпикурейская философия, анакреонтика, горацианство—все это явления далеко не тождественные, но они входят в поэзию Пушкина под одним знаком.

Анакреон, Шолье, Парни,
Враги труда, забот, печали
(«Моему аристарху».)

Подайте грозд Анакреона:
Он был учителем моим.
(«Мое завещание».)

Дай бог любви, чтоб ты свой век,
Питомцем нежным Эпикура
Провел меж Вакха и Амура.
(«Князю А. М. Горчакову».)

Ты счастлив, друг сердечный:
В спокойствии златом
Течет твой век беспечный,
Проходит день за днем,
И ты в беседе граций,
Не зная черных бед,
Живешь, как жил Гораций,
Хотя и не поэт.
(«К Пущину».)

Разработка анакреонтических мотивов имела свою давнюю традицию в дворянской литературе. Еще Кантемир переводил Анакреона, при этом используя бытовой эротический словарь. Переводы из Анакреона и подражания ему имеются у Ломоносова, Сумарокова, Державина. Разрабатывали эту тему и более мелкие поэты[1]. Это была особая струя дворянской и близкой к ней литературы, уживавшаяся рядом с торжественной поэзией. Вполне понятны ее социальные корни. Это была выраженная

при помощи античных форм дворянская поэзия наслаждения жизнью— то более прямая и грубая, то более утонченная и галантная, то более предметная, то более чувствительная или рассудительная. Принципы сожительства ее с поэзией торжественной хорошо выражены в статье «Невского Зрителя» по поводу «Руслана и Людмилы» Пушкина. Автор наставляет молодого поэта: «Он (язык богов.—*И. В.*) должен возвещать нам о подвигах добродетели, возбуждать любовь к отечеству, геройство в несчастиях, пленять описанием невинных забав»[2]. Наслаждение в пределах умеренности, «невинные забавы» были вполне законным отдыхом от подвигов на поприще гражданского служения и военной славы и не вступали в противоречия с официальной религиозной идеологией и моралью.

Ближайшим предшественником и учителем Пушкина в анакреонтической поэзии был Батюшков. Но у Батюшкова эти мотивы приобретают уже несколько иной характер и иной смысл. Этот новый оттенок связан с становлением дворянского либерализма начала XIX в. Идеология частной жизни и личного наслаждения здесь уже имеет тенденцию эмансипироваться от официальной государственной и религиозной идеологии и даже отчасти противопоставить себя ей. Здесь имеет значение даже внешняя количественная сторона: «легкая поэзия» становится господствующей, основной. Но не эта сторона решает дело. Важнее то, что анакреонтические мотивы оказываются связанными с «вольтерьянством» и либерализмом. Не имея возможности подробно аргументировать эту мысль, я сошлюсь только на Л. Майкова, которого трудно подозревать в желании преувеличить «оппозиционность» Батюшкова. В своей известной книге «Батюшков, его жизнь и сочинения» (изд. 2-е 1896 г.), он пишет: «В образе мыслей Батюшкова, как он сложился в 1809 году и каким оставался до Отечественной войны и падения Наполеонова владычества, действительно видно внутреннее влияние тех идей, которые Вольтер проповедывал с такою настойчивостью и с таким талантом» (стр. 68). И дальше: «Вслед за Воль-

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ „ПИРА ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ"

Автолитография Л. Зака, 1924 г.

ером (и Кондильяком) Батюшков высказывает сенсуалистические понятия о неразрывности души с телом; под его влиянием берется он за чтение Локка и вооружается против метафизики, которую и Вольтер любил сводить к морали» (стр. 68). Для политических его воззрений характерен такой отзыв о русской истории: «Нет, невозможно читать русской истории хладнокровно, то-есть с рассуждением. Я сто раз принимался: все напрасно. Она делается интересною только со времен Петра Великого. Подивись, подивись мелким людям, которые роются в этой пыли. Читай римскую, читай греческую историю и сердце чувствует, и разум находит пищу. Читай историю средних веков, читай басни, ложь, невежество наших праотцев, читай набеги половцев, татар, Литвы и проч., если книга не выпадет из рук твоих, то я скажу: или ты великий, или мелкий человек!»[3] Укажу еще на намерение Батюшкова писать очерк русской литературы и посвятить особый параграф Радищеву. «Косвенно это может служить доказательством,—пишет Л. Майков,—что в молодости своей Батюшков разделял со своими литературными сверстниками уважение к этому смелому представителю освободительных идей XVIII века в русской литературе»[4]. Переходя уже непосредственно к литературе, можно указать, что литературными учителями Батюшкова в «легкой поэзии» были Вольтер и Парни, писатели, чей религиозный и политический «либерализм» известен. Связь легкой поэзии с либерализмом можно бы проследить на примере Вяземского, Дельвига. Эта тема ждет еще своего рассмотрения. В разрезе нашей темы ее необходимо коснуться потому, что творчество Пушкина (как и его литературных соратников) может быть понято только на фоне кризиса феодально-крепостнической системы, на фоне «либерализма» русского капитализирующегося дворянства начала XIX в. История творчества Пушкина (а вместе с тем и история романтических и реалистических тенденций в нем) есть лишь часть более широкой истории дворянского либерализма. Поэтому и важно проследить конкретную эволюцию этого либерализма в его литературном выражении.

Анакреонтические мотивы являются господствующими в поэзии Пушкина весь первый период, до ссылки на юг. Внутри этого периода можно наметить два этапа: лицейские стихи и так называемый период «Зеленой лампы». Совокупность анакреонтических и горацианских мотивов ранней лирики Пушкина едва ли требуется подробно характеризовать. Наслаждение жизнью, любовь, вино, дружеское общение, независимость, пусть сопровождаемая «бедностью» и «умеренностью»,—вот основные из этих мотивов.

К этим стихам Пушкина установилось отношение скорее как к «заблуждению». Объяснения этого заблуждения искали в литературных влияниях французской и отечественной «легкой поэзии» и в африканском темпераменте поэта. Вот например что пишет П. Морозов в статье «Пушкин и Парни»: «Общий тон эротической поэзии Парни—ее простота, беспечность, призыв к эпикурейскому наслаждению радостями жизни и особенно утехами любви—как нельзя больше отвечал пылкому темпераменту нашего поэта»[5]. Алексей Веселовский в своей статье о периоде «Зеленой лампы», рассматривая «цивическое» развитие Пушкина и положительно его оценивая, в «эпикурействе» Пушкина видит выход для пылкой натуры, нечто внешнее по отношению к «цивическим» мотивам: «Картина гения скрывалась все время под рисунком беззаконным, под красками чуждыми, наложенными жизнью, людьми, собственными увлечениями»[6].

А между тем эти мотивы вовсе не «сор» среди «цивических» стихов, они органически связаны с политическими мотивами. И эпикурейство Пушкина—важный этап в становлении его мировоззрения и метода.

Возьмем политические мотивы лицейских стихов. Среди этих стихов есть такие, которые проникнуты официальной идеологией: «Воспоминания о Царском Селе», «Наполеон на Эльбе», «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 г.», «Принцу Оранскому». Им нельзя придавать полного веса. Большинство из них написано прямо по заказу. Но все же они говорят об отсутствии активных заостренно-оппозиционных настроений у Пушкина в лицейский период. Это видно и по тем стихам, в которых либерализм так или иначе выражается: этот либерализм имеет очень общий и умеренный характер. Отзвуки либерализма можно видеть в сатире «К Лицинию», которая заканчивается тирадой «Свободой Рим возрос, а рабством погублен!» и в послании «К Жуковскому», где есть такие строки против шишковистов:

Беда, кто в свет рожден с чувствительной душой,
Кто тайно мог пленить красавиц нежной лирой!
Кто смело просвистал шутливою сатирой,
Кто выражается правдивым языком
И русской глупости не хочет бить челом!..
Он враг отечества, он сеятель разврата!
И речи сыплются дождем на супостата.

Дальше члены «Беседы» называются «друзьями непросвещенья» и «варварами». Известна та либеральная атмосфера, которая господствовала в лицее и в которой рос Пушкин [7]. Но либерализм этот был очень общим, поверхностным. Это был культ «просвещения», преклонение перед «законом», «общественным благом» и т. п. Интересно, как в отчете о занятиях первого выпуска лицеистов говорится о религии (следует учесть, что это официальный документ): «Под руководством закона откровенного излагаемы были законы нравственные, открываемые человеку посредством разума. Не механическое повторение того, что в виде предания переходит из уст в уста в простом общежитии, но коренное познание правил доброго поведения, непритворной и бескорыстной добродетели составляло существо философского учения нравственности. Убеждение в необходимости добрых нравов заимствовано было из самого существа природы человеческой и из свойства общежития, а не из других каких-либо источников более отвлеченных, которые нередко в самой нравственности заставляют сомневаться и почитать ее собранием закоренелых, без точного исследования принятых обычаев и правил» [8].

Наряду с несколько смутным политическим либерализмом уже в первых лицейских стихах Пушкина звучат если не антирелигиозные, то антипоповские ноты. В стихотворении «К другу стихотворцу», написанном пятнадцатилетним поэтом, приводится история о пьяном священнике, в которой не видно во всяком случае пиэтета к церковному культу и его служителям. В стихотворении «Городок» есть такие строки:

Но, боже, виноват!
Я каюсь пред тобою,
Служителей твоих,
Попов я городских

Боюсь, боюсь беседы
И свадебны обеды
Затем лишь не терплю,
Что сельских иереев,
Как папа иудеев,
Я вовсе не люблю.

Конечно от этого еще далеко до атеизма. Такие настроения могли прекрасно уживаться с верностью официальной религии. Но они получают дальнейшее свое углубление в других мотивах.

Политический и религиозно-нравственный «либерализм» у Пушкина усиливается и определяется после выхода из лицея. Именно к этому периоду относятся наиболее резкие политические стихи. Это никак нельзя объяснить только биографически, а особенно лишь фактом выхода из школьных стен. Обострение оппозиционных настроений было связано с обострением реакции. Не следует забывать, что лицейский либерализм развивался не без ведома и не без покровительства самого Александра. К концу 10-х и к началу 20-х годов реакция усиливается, и это отражается на лагере либеральном. В эти годы Пушкиным написаны «Деревня», ода «Вольность» и ряд политических эпиграмм, навлекших на него правительственную опалу.

Рассмотрим теперь, как все это связано с эпикурейской философией Пушкина. Интересно прежде всего то, что мотивы «свободы», независимости в смысле личном соединяются у Пушкина с мотивами свободы в смысле политическом. Стихотворение «Деревня» начинается прославлением личной свободы, «праздности вольной». От этих мотивов совершается переход к свободе общественной: «Но мысль ужасная здесь душу омрачает» и т. д. Кончается стихотворение прямыми словами о «прекрасной заре свободы просвещенной». Личное и общественное связаны здесь в духе философии «естественного права».

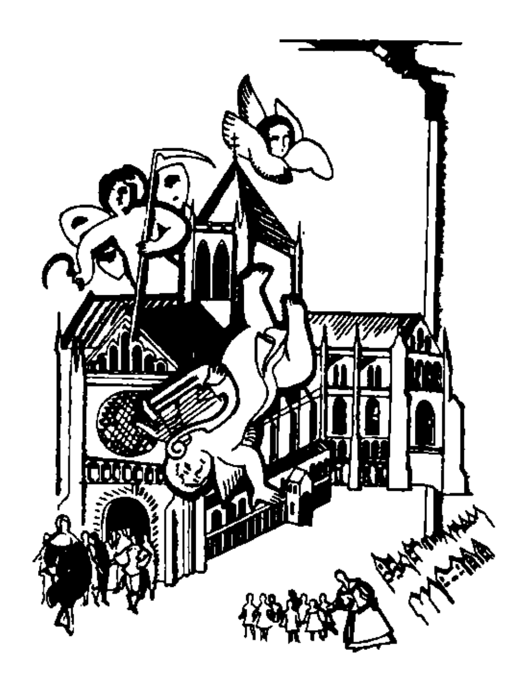
Если мы посмотрим теперь на внутреннее содержание «свободы» в пушкинском понимании, то увидим, что она неразлучна с «просвещением» и «законом». «Учися в истине блаженство находить, свободною душой закон боготворить» говорит Пушкин в «Деревне». Не случаен в конце стихотворения и эпитет «свободы»—«просвещенная». В «Вольности» он пишет: «Везде неправедная власть, в сгущенной мгле предрассуждений воссела». И дальше, обращаясь к «владыкам»: «стоите выше вы народа, но вечный выше вас закон». «Сгущенная мгла предрассуждений» включала в себя для Пушкина и религиозные предрассудки. Об этом говорят его эпиграммы против носителей религиозного мракобесия того времени.

Итак в области политической и религиозной борьба велась во имя свободы, неразлучной с разумом, просвещением, законами. Но то же было и в области свободы личной. Философия наслаждения мотивировалась требованиями «разума», бренностью жизни, мимолетностью юности.

Верь мне: узников могилы
Там объемлет вечный сон;
Им не мил уж голос милый,
Не прискорбен скорби стон,
Не для них весенни розы,
Сладость утра, шум пиров,

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „ПИРУ ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ"

Рисунок пером И. Нивинского



Откровенной дружбы слезы
И любовниц робкий зов...
(«К молодой вдове».)

Ах, *младость не приходит вновь!*
Зови же сладкое безделье
И легкокрылую любовь,
И легкокрылое похмелье!
(«Стансы Толстому».)

Всего ярче эта связь выражена в позднейшем стихотворении Пушкина, в его «Вакхической песне» (1825 г.). Она начинается прославлением любви и вина.

Да здравствуют нежные девы
И юные жены, любившие нас!
Полнее стакан наливайте!
На звонкое дно
В густое вино
Заветные кольца бросайте!

Но тем знаменательнее дальнейшие строки.

Подымем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Здесь все те мотивы, связь которых разорвана в других стихах и которую приходится прослеживать, самим Пушкиным связаны в один узел. Стоит лишь вспомнить ту конкретную обстановку, в которой написано это стихотворение, чтобы понять, что «ложная мудрость» была вовсе не поэтической фразой, а вполне реальной враждебной силой. И против нее рука об руку ополчаются разум, музы, эротика и вино. А призыв «да здравствует разум!» настолько явно напрашивался на политическое истолкование, что Герцен поставил его на своей «Полярной Звезде».

«Эпикуреизм» был не чем-то внешним, он был органическою частью целостного идейного комплекса. Это была та форма, в которой становился дворянский либерализм (в определенной своей части). Дополнительную аргументацию может дать и рассмотрение связи политики и «эпикуреизма» в быту. Я имею в виду общество «Зеленой лампы», имевшее большое значение для мировоззренческого (а также и художественного) развития Пушкина. Статьи П. Морозова [9], Алексея Веселовского [10], П. Щеголева [11] достаточно убедительно показали несостоятельность легенды об оргиастическом характере этого кружка. «Мы имеем право установить,—делает вывод Щеголев—связь «Зеленой лампы» с «Союзом Благоденствия». Мы лично принимаем кружок «Зеленой лампы» за «вольное общество», но и несогласные с нами именно в этом не могут отрицать его связи с «Союзом». Кружок как бы являлся отображением союза; неведомо для Пушкина, для большинства членов союз давал тон, сообщал окраску собраниям «Зеленой лампы». Пушкин не был членом «Союза Благоденствия», не принадлежал ни к одному обществу, но он в кружке «Зеленой лампы» испытывал на себе организующее влияние тайного общества» [12]. Но здесь нам важно указать на другую сторону. Эпикурейски-эротическая сторона «Зеленой лампы» все же несомненна. Политика, «вольнолюбие», обсуждение общественных вопросов переплетаются со служением «Вакху и любви». Это находит отражение и в поэзии Пушкина, в его посланиях к членам «Зеленой лампы». Приведем лишь два примера.

Усердствуй Вакху и любви
И черни презирай ревнивое роптанье:
Она не ведает, что дружно можно жить
С киферой, с портиком, и с книгой, и с бокалом,
Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.

(«Каверину».)

Приеду я
В начале мрачном октября,
С тобою пить мы будем снова,
Открытым сердцем говоря
Насчет глупца, вельможи злова,
Насчет холопа записнова,
Насчет небесного царя,
А иногда насчет земнова.

(«В. В. Энгельгардту».)

И в быту, и в поэзии Пушкина политический либерализм сочетался с подчеркнуто «разгульным» поведением [13]. В самом подчеркивании этого разгула (часто даже с несомненным преувеличением действительного поло-

жения вещей) в этот период (как и позднее в Кишиневе) был элемент «эпатирования», своеобразной позы. Это был Sturm und Drang дворянского либерализма, и Пушкин принадлежал к тому крылу светской либеральной молодежи, где политическая оппозиционность выступала в блестящем наряде беспечной, презирающей светские условности, разгульной и беспорядочной жизни.

В «Воспоминаниях» В. И. Панаева есть такой отзыв о лицеистах: «Литературное партизанство еще усилилось с появлением лицеистов, к которым примкнули другие молодые люди, сверстники их по летам. Они были (оставляя в стороне гениального Пушкина) по большей части люди с дарованиями, но с непомерным самолюбием. Им хотелось поскорее войти в круг писателей, поровняться с ним. Поэтому, ухватясь за Пушкина, который тотчас стал наряду с своими предшественниками, окружили они некоторых литературных корифеев, льстили им, а те с своей стороны за это ласкали их, баловали. Напрасно некоторые из них: Дельвиг, Кюхельбекер, Баратынский старались войти со мной в короткие отношения: мне не нравились их самонадеянность, решительный тон в суждениях, пристрастие и не очень похвальное поведение: моя разборчивость не допускала сближения с такими молодыми людьми»[14]. Панаев человек противоположного политического и, если можно так выразиться, «моральнобытового» лагеря. Его «разборчивость»—это разборчивость карьериста и ханжи, боящегося себя скомпрометировать.

Все это конкретное идейное содержание поэзии Пушкина отражалось и в методе. В лицейских стихах преобладает еще условная манера. Реальный жизненный материал преломляется через призму чужих образов. Юноша поэт стилизует себя под «монаха», лицейскую комнату под «келью» («Послание к Наталье», «К сестре», «Послание к Галичу»), рисует себя философом ленивым, живущим в уединении («Городок»), отшельником в шалаше («Мечтатель») и т. д. Во многих стихах, где образ поэта вовсе отсутствует, даны те же условные картины в плане объективном. И стилистика здесь еще говорит о сильной зависимости Пушкина от чужих образцов.

Значительно интереснее следующий послелицейский период.

Он идет под знаком усиления «предметности» изображения и под знаком снижения языка. Предметность, пластичность изображения была одним из основных требований классической поэтики. Еще Державин требовал «тельности» в поэзии. Однако «тельность» эта не у всех поэтов в равной мере представлена и принимает у разных поэтов разный вид. В ряде стихотворений послелицейского периода Пушкин дает блестящие образцы такого «тельного» рисунка. Назовем замечательное «Торжество Вакха».

Вот он, вот Вакх! О час отрадный!
Державный тирс в его руках;
Венец желтеет виноградный
В чернокудрявых волосах...
Течет. Его младые тигры
С покорной яростью влекут;
Кругом летят эроты, игры
И гимны в честь ему поют... и т. д.

Можно указать еще «Выздоровление»:

И вдруг я чувствую твое дыханье, слезы,
И влажный поцелуй на пламенном челе.

Характерна нагнетанием предметно-изобразительных деталей и начальная картина «Деревни».

Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
Где парус рыбаря белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крылаты...

Все это уже нечто новое по сравнению с эстетизирующими перифразами, с условными формулами лицейских стихов. Эту черту нельзя не поставить в связь с той «объективностью», которая была свойственна классицизму, а в данном конкретном случае—с философией наслаждения «плотью» жизни. Другой чрезвычайно существенной стороной является снижение языка. Выразительная предметная или психологическая деталь дается в резкой, сниженной словесной форме. Очень характерно, что это снижение языка связано с жанром посланий и эпиграмм. Вот некоторые примеры:

Тургенев, верный покровитель
Попов, евреев и скопцов,
Но слишком счастливый гонитель
И езуитов, и глупцов,
И ленности моей бесплодной...
. . . .
Один лишь ты, любовник страстной
И Соломирской, и креста,
То ночью прыгаешь с прекрасной,
То проповедуешь Христа...

(«Послание Тургеневу».)

В послании Юрьеву очень характерно то место, которое так потрясло Батюшкова:

А я, повеса вечно праздный,
Потомок негров безобразный,
Взрощенный в дикой простоте,
Любви не ведая страданий,
Я нравлюсь юной красоте
Бесстыдным бешенством желаний...

Эта резкость и прямота выражений порой переходит в прямую нецензурность. Таково например стихотворение «Ф. Ф. Юрьеву», члену «Зеленой лампы».

Здорово, рыцари лихие
Любви, свободы и вина!
Для нас, союзники младые,
Надежды лампа зажжена.
Здорово, рыцари лихие,
Любви, свободы и вина!
Здорово молодость и счастье
Застольный кубок и . . . . . . ,
Где с громким смехом сладострастье
Ведет нас пьяных на постель...

Не буду приводить других примеров. Найти их очень легко.

Ю. Тынянов в своей работе «Архаисты и Пушкин» говорит о близости Пушкина к «младшим архаистам» (Кюхельбекер, Грибоедов, Катенин), достигающей в это время своего высшего уровня. «До 1818 г. Пушкин может быть назван правоверным арзамасцем-карамзинистом. 1818 г. — год решительного перелома и наибольшего сближения с младшими архаистами. В 20-х годах наступает время борьбы с sectaire'ством обеих сторон»[15]. Но Тынянов рассматривает литературную эволюцию как нечто имманентное. Для него это только отталкивание от эстетизма и салонности карамзинистов, тяга к просторечию и большой форме.

Может показаться парадоксальным, но либеральное и буйное общество «лампистов» было той средой, в которой воспитывались эти черты поэтики Пушкина. У Пушкина принципы «младших архаистов» преломляются своеобразно. Он вырабатывает резкий и прямой язык, создавая острые политические эпиграммы и «вольные» (в политическом и моральном отношениях) послания к своим вольнолюбивым и разгульным друзьям. Это выход из камерной и салонной горацианской «независимости» на «площадь» (в тех узких границах, в каких она тогда была возможна).

В письме к Жуковскому от 12 ноября 1817 г. А. И. Тургенев писал: «Посылаю послание ко мне Пушкина-Сверчка, которого я ежедневно браню за леность и нерадение о собственном образовании, к этому присоединились и вкус к площадному волокитству и вольнодумство, также площадное, 18 столетия». В «площадных» выражениях упрекал Пушкина и Воейков в своем разборе «Руслана и Людмилы». Слово «площадной» конечно не однозначно по своему смыслу. Но Пушкин своими стихами, явно не рассчитанными на печатание, действительно обращается к тогдашней политической «площади»—к кругам вольнолюбивой молодежи. Стоит

ФРОНТИСПИС К НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ „ПУТЕШЕСТВИЯ В АРЗРУМ"

Рисунок Л. Пазетти, 1924 г.

отметить то, что Пушкин хотя и посвящает «Руслана и Людмилу» красавицам, но после не раз твердит о том, что писатель пишет «не для улыбки прекрасного пола», явно метя здесь в салонную замкнутость сентиментально-дворянской поэзии, прокламированную и в теории.

В годы после выхода из лицея и до ссылки была написана поэма «Руслан и Людмила». В ней отражены все основные тенденции этого периода. В ней нет прямых политических мотивов, она отражает политику лишь косвенно. Поэма бьет сразу на два фронта—против напыщенной героики шишковистов и против мечтательной чувствительности Жуковского. И в том, и в другом случае средством снижения, своеобразной «поправки» служат мотивы эротические. Они вообще очень широко представлены в поэме. Но важно даже не это, а их «снижающий» характер. Супружество Руслана и Людмилы и похищение Людмилы злым волшебником неожиданно переводятся в совсем иной план таким сравнением:

С порога хижины моей
Так видел я, средь летних дней,
Когда за курицей трусливой
Султан курятника спесивой
Петух мой по двору бежал
И сладострастными крылами
Уже подругу обнимал;
Над ними хитрыми кругами
Цыплят селенья старый вор,
Прияв губительные меры,
Носился, плавал коршун серый
И пал как молния на двор.
Взвился, летит. В когтях ужасных
Во тьму расселин безопасных
Уносит бедную злодей.
Напрасно, горестью своей
И хладным страхом пораженный,
Зовет любовницу петух...
Он видит лишь летучий пух,
Летучим ветром занесенный.

Возвышенный приют спящих дев Жуковского превращен в веселый приют любви.

Но прежде юношу ведут
К великолепной русской бане...
Прелестные, полунагие,
В заботе нежной и немой,
Вкруг хана девы молодые
Теснятся резвою толпой.
Над рыцарем иная машет
Ветвями молодых берез... И т. д.

Поэма вызвала нападки со стороны реакционного «Вестника Европы». Было бы неверно думать, что дело было только в литературном староверстве, защите оды и эпической поэмы. Нет, «житель Бутырской слободы» одобрительно отозвался и о поэзии Жуковского. Борьба идет против грубости, «простонародности» темы и языка. Критика возмущает самый выбор

«предмета» из народных сказок, возмущают выражения «удавлю», «щекотит ноздри копием» (рифму «кругом—копием» другой критик—Воейков—назвал «мужицкою»), «я еду, еду не свищу, а как наеду не спущу», «рукавица» и т. п. Примечательно и то широко известное сравнение, которым критик иллюстрировал свое возмущение. «Если бы в Московское благородное собрание как-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможным) гость с бородою, в армяке, в лаптях и закричал бы зычным голосом: здорово, ребята! Неужели бы мы стали таким проказником любоваться?»[16] Неодобрительно отозвались (правда, не в печати) о поэме И. Дмитриев и Карамзин. Крылов ответил на критику «Руслана и Людмилы» эпиграммой, бравшей поэму под защиту. Эта борьба вокруг поэмы интересна с своей социально-политической стороны. В литературных «вкусах» отражается социально-политическая диференциация. Крылов, «архаист» и политический реакционер, но более «демократический» по своей социальной основе, человек с оппозиционным «прошлым» за спиной, защищает поэму против дворянских «архаистов» и «карамзинистов». Кроме простонародности поэму упрекали и в безнравственности. Так «Невский зритель» призывал «не оскорблять стыдливость»[17].

Меньше принципиально нового и острого имела в себе трактовка характеров. Это были нарисованные хотя и живо, но неглубоко в значительной мере традиционные фигуры мужественного витязя, трусливого воина, юного и прекрасного «хана», юной красавицы и т. д. Остроты было больше в самой теме, в деталях, в языке, чем в концепции характеров.

Мы можем теперь определить роль этого периода пушкинского творчества в подготовке его реализма. Поэма «Руслан и Людмила» была принята современниками как яркое проявление романтизма. Но романтизма в собственном смысле здесь еще нет. Это скорее эротически трактованное «баснословие» (в этом у «Руслана и Людмилы» есть сходство с ранними «оссиановскими» стихами Пушкина).

Этот период важен в другом отношении. В «предметности» изображения, в резкой и сниженной детали, в элементах «просторечия» в языке есть конечно в зачатке реалистическая тенденция (как не чужд был реализма и классицизм в целом). Правда, это еще не реализм в полном смысле слова.

Но вся эта работа важна как предварительная. В ней Пушкин накапливает средства предметной изобразительности, вырабатывает язык. Все это войдет в следующий «романтический» период. Вообще здесь исток основных черт пушкинского творчества. Философия «просвещения» не исчезает в его творчестве совсем. Она только изменится, осложнится новым содержанием. Не исчезнут в его творчестве и анакреонтические мотивы ранних стихов. Личная независимость, любовь, дружба, вино—все это не столько поколеблется в своей ценности, сколько тоже осложнится, обогатится новым содержанием. И такие черты поэтики, как объективность, предметность, будут развиваться и в дальнейшем.

III

В мае 1820 г. молодой «либералист», раздраживший правительство своими стихами и демонстративными выходками, был выслан на юг. Это было новым этапом и в его творчестве. Не просто перемены в личной судьбе обусловили перемены в творчестве. Путь Пушкина нужно брать не с частной, а с общественно-политической стороны. Это был один из частных вариантов общей истории дворянского либерализма в его борьбе

феодально-крепостническим строем. Ссылка поставила Пушкина перед вумя дорогами. Она могла закалить и укрепить его вольнолюбие, но она огла быть и первым толчком к пересмотру своих взглядов, к постепенному тступлению. Произошло последнее.

Первым крупным произведением, написанным в ссылке, был «Кавказкий пленник». Позднее в своих критических замечаниях Пушкин так тзывался о нем: «Кавказский пленник—первый неудачный опыт характера, с которым я насилу сладил». В письмах своих после написания Кавказского пленника» Пушкин несколько раз возвращается к вопросу характере героя. «Характер пленника неудачен; это доказывает, что не гожусь в герои романтического стихотворения, я в нем хотел изоразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременую старость души, которые сделались отличительными чертами молоежи 19-го века», пишет он В. П. Горчакову[18]. Свое недовольство характером пленника выражает он и в черновике письма Гнедичу: «Характер лавного лица (лучше сказать единственного лица), а действующих лиц сего-то их двое, приличен более роману нежели поэме—да и что за характер, мол, кто будет тронут, кого займет изображение молодого человека, стощившего, потерявшего всю чувствительность своего сердца в первые ета своей молодости, в каких нещастиях неизвестных читателю»[19]. И в саюм деле характер пленника, во-первых, едва намечен, а затем двойствеен. Эту двойственность отметил еще критик «Вестника Европы» в своей татье о поэме. Одним из мотивов, составляющим характер пленника, казывается стремление к «свободе».

Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы.
Свобода! он одной тебя
Еще искал в пустынном мире.
Страстями сердце погубя,
Охолодев к мечтам и лире,
С волненьем песни он внимал,
Одушевленные тобою;
И с верой, пламенной мольбою
Твой гордый идол обнимал.

Герой ищет свободы, убегая от «родного предела» в «далекий край». /казание на песни, одушевленные свободой, позволяет заключить, что ›ечь идет не только о свободе в личном смысле, но и о свободе в смысле юлитическом. Но этот мотив—боковой и не играет существенной роли : поэме. Выдвинута другая сторона: разочарование в жизни.

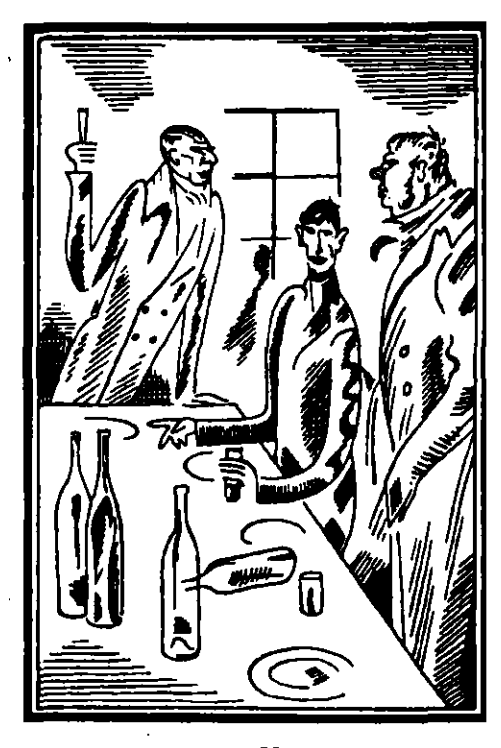
Людей и свет изведал он
И знал неверной жизни цену.

В «бурной жизни» сердце его «увяло», он «наскучил» быть жертвой «преренной суеты», он «окаменел» душой. В эти мотивы вплетается еще один, ıало согласованный с первыми двумя: несчастная, неразделенная любовь.

Измучась ревностью напрасной,
Уснув бесчувственной душой,
В объятиях подруги страстной
Как тяжко мыслить о другой!

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ „ГРОБОВЩИКА"

Рисунок В. Масютина, 1923 г.



Не к этому ли между прочим относилось замечание Чаадаева, о котором говорит Пушкин в письме к Вяземскому: «Видишь ли иногда Чаадаева? Он вымыл мне голову за Пленника, он находит, что он недовольно blasé»[20].

Как мы видели выше, Пушкин указывал на автобиографичность Пленника. И в письмах Пушкина, и в мемуарах современников мы можем найти указания на то, что Пушкин действительно мог черпать некоторый материал из своего личного душевного опыта. Жалобы на окружающую «турецкую» действительность, на припадки хандры мы находим в письмах. Сходные мотивы, данные от первого лица, имеются и в ряде лирических стихотворений Пушкина того времени. В элегии «Погасло дневное светило» лирический образ поэта совпадает с Пленником не только по характеру мотивов, но даже частично по словесной своей форме.

Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей,
Страны, где пламенем страстей
Впервые чувства разгорались,
Где музы нежные мне тайно улыбались,
Где рано в бурях отцвела
Моя потерянная младость,
Где легкокрылая мне изменила радость
И сердце хладное страданью предала.

Есть в этом стихотворении и несчастная любовь:

Подруги тайные моей весны златыя
И вы забыты мной... Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви ничто не излечило...[21]

Эта близость лирического образа самого поэта и образа его романтического героя видна и в стихотворении «Я пережил свои желанья». Первый абросок этого стихотворения написан на полях рукописи «Кавказского ленника».

Можно предполагать, что эти строфы должны были входить в речь Іленника. Пушкин обрабатывает и печатает их в виде самостоятельього стихотворения. Можно сослаться еще на черновые наброски, тносящиеся к этому же времени: «Красы Лаис, заветные пиры», «Ты прав, ой друг, напрасно я презрел» с такими строками:

Свою печать утратил резвый нрав.
Душа час от часу немеет,
В ней чувства нет. Так легкий лист дубрав
В ключах кавказских каменеет.

Вообще совершенно очевидно, что этот комплекс мотивов занимает чень важное место в творчестве Пушкина и что «лирический субъект» объективный герой тесно переплетаются. Но указание на «автобиографичность» героя еще довольно плоско. Творчество не есть простая фиксация психологического опыта и бытового окружения. Творчество есть звестное понимание явлений, отбор их. Это относится не только к кружающему миру, но и к собственной личности поэта. Поэт и из воего психологического опыта черпает материал под определенным углом рения. Психологический опыт и творческое сознание—это два сообщающихся сосуда, но это вовсе не одно и то же.

И автобиографичность пушкинской поэзии нужно понимать ограничительно. Перечисленные лирические стихи, фигура Пленника были лишь формой осмысления и личного опыта, и объективных наблюдений, формой не адэкватной действительности не только в отношении частных подробностей (так например политическая ссылка рисуется как добровольное «бегство» в чужие края), но и в отношении психологическом. И приведенное выше свидетельство Пушкина об автобиографичности Пленника этот ограничительный смысл уже заключает. Поэт намеревался передать отличительные черты «молодежи 19-го века». А «я не гожусь в герои романтического стихотворения» может означать, что материал личный был недостаточен, не вполне пригоден для этой задачи. С гениальной точностью Пушкин впоследствии определил разницу между собой и тем «характером», первый очерк которого дан в «Кавказском пленнике» и который проходит затем, все более конкретизируясь, через ряд его произведений. «Я был озлоблен, он угрюм», говорит он о «Евгении Онегине». И разница эта не только психологическая. «Озлоблен» заключает в себе и характеристику дальнейшего общественно-политического пути Пушкина.

Несомненно, что в какие-то моменты Пушкин, если и не полностью, то все же в очень большой мере сливал себя с романтическим героем «Кавказского пленника». Он, как мы видели, в стихах, написанных от первого лица, дает свой образ, почти совпадающий с образом Пленника. С другой стороны, и фигура Пленника еще проникнута лирическим сочувствием автора. Но уже в первых отзывах Пушкина о написанной поэме, в его недовольстве ею, в его отзывах о характере Пленника намечается дистанция между поэтом и героем, дистанция, которая в дальнейшем все

На эти новые формы творческого осознания себя и своего поколения очень большое влияние оказала поэзия Байрона. Об этом говорят и собственные свидетельства Пушкина, и отзывы современников, и объективный анализ творчества. Останавливаться на этом нет надобности. Скажу только о том, что влияние это не понять в плане только формальном. В. М. Жирмунский в своей книге «Байрон и Пушкин» пишет: «Читая отзывы критики двадцатых годов о первых произведениях Пушкина, мы приходим к заключению, что для современников проблема «байронизма» в русской литературе была прежде всего проблемой искусства»[22]. Это значит, что для современников Пушкина шел спор о «новых жанрах», о «композиционных особенностях» и т. д. Такое категорическое утверждение неверно. И для современников Пушкина было ясно, что речь идет о чем-то более глубоком, о новом отношении к действительности, о новых политических тенденциях. Вяземский в письме к А. И. Тургеневу пишет: «Душа—свидетельница настоящих событий, видя эшафоты, которые громоздятся для убиения народов, для зарезания свободы, не должна и не может теряться в идеальности Аркадии... Байрон, который носится в облаках, спускается на землю, чтобы грянуть негодованием в притеснителей, и краски его романтизма сливаются часто с красками политическими» (1821 г.)[23].

В своей статье о «Кавказском пленнике» в «Сыне Отечества» Вяземский тоже останавливается на новом характере, «часто встречающемся в нынешнем положении общества»: «Преизбыток силы, жизни внутренней, которая в честолюбивых потребностях своих не может удовольствоваться уступками внешней жизни, щедрой для одних желаний так называемого благоразумия; необходимые последствия подобной распри: волнение без цели, деятельность пожирающая, неприкладываемая к существенному; упования, никогда не свершаемые и вечно возникающие с новым стремлением, должны неминуемо посеять в душе тот новый зародыш скуки, приторности, пресыщения, которые знаменуют характер Child Harold, Кавказского пленника и им подобных. Впрочем, повторяем: сей характер изображен во всей полноте в одном произведении Байрона: у нашего поэта он только означен слегка»[24]. Это заявления представителя одного лагеря. Но и представители другого лагеря не ограничивались борьбой только против формальных особенностей. В известной полемике М. Дмитриева с Вяземским о романтизме Дмитриев прямо осуждает байронический характер, в котором «сладострастие смешано с мрачностью». В статье «Вестника Европы» о «Кавказском пленнике» Пушкин упрекается в недостатке патриотизма: «Пушкин мог бы привести причиною желания свободы (здесь разумеется желание вырваться на волю из плена.—*И. В.*) любовь к отечеству. Зачем не взял он в своего пленника этого прекрасного русского чувства: хотя страдать, но на родине?»[25] Уже после смерти Пушкина в «Галатее» так говорилось по поводу «Кавказского пленника»: «Бог дал нам поэзию взамен потерянного рая; ее дело сближать, роднить землю с небом, откликаться с земли небу, а не аду...» Далее—о характерах черкешенки и Пленника: «Если бы мы не боялись оскорбить память покойника, если бы мы не были уверены, что он питал в сердце чувство патриотизма, которое так хорошо и сильно выражено у него в пьесе «Клеветникам России», мы упрекнули бы его за то, что он для своего рассказа выбрал лицо бездушное, бесчувственное и, что всего досаднее, обидное для народной чести, дал ему роль представителя россиян... Характер черкешенки прекрасен, тем более, что он поставлен в яркой противоположности: с одной стороны—

дочь природы, с другой—сын образованного общества; там высокое самопожертвование, здесь—низкий эгоизм... Зато, если черкесы когда-нибудь будут читать «Кавказского пленника», они с гордостью укажут на его героиню и с презрением на героя, на русского. Это, повторяем, оскорбительно для нас... Но утешимся,—черкесы еще не так скоро будут читать наших поэтов»[26]. Итак, байроническое «разочарование» действительно «сливалось с красками политическими» и для того и для другого лагеря. Но взяв у Байрона «формулу объяснения» себя и своего поколения, Пушкин по-своему ее интерпретировал. Пленник—не буквальная копия байроновских героев. Мрачный пафос разрыва с обществом в нем смягчен, характер его скорее элегичен[27]. Пушкин, по словам В. Жирмунского, «изменил самый стиль, в котором трактуются эти психологические темы, снизил тот патетический декламационный тон, в котором Байрон говорит о любви и ненависти, восторгах и страданиях своих героев, из демонического перевел их обратно в человеческий мир»[28].

Каков был живой практический смысл этой формулы в пушкинской интерпретации? Если взять романтические поэмы Пушкина в плане его общественно-политического развития, то нужно сказать, что они были формой общественно-политического отступления. В фигуре Пленника политический протест, во-первых, превращался в расплывчатые поиски «свободы» в дальних пределах. Затем даже это скромное политическое содержание оттеснялось на задний план еще более абстрактным и смутным «разочарованием», недовольством жизнью вообще. И наконец те поиски «свободы», о которой мы говорили, поиски выхода приобретали индивидуалистический характер. Такую роль «байронизм» приобретал в конкретной эволюции пушкинского творчества. Но у других писателей (к примеру у Рылеева) политическая сторона могла и не оттесняться, а напротив, выдвигаться на первый план. Индивидуалистический протест, например у Лермонтова, в период разгрома дворянского либерализма, в период реакции, был явлением прогрессивным. Это показывает, что «байроническая поэма» может быть понята только в конкретном своем классово-политическом содержании. И у Пушкина байронический «протест» его «Кавказского пленника» сохраняет еще прогрессивный характер, в общем плане, но он был все же шагом назад в плане его общественно-политического развития. Интересно то, что эти «байронические» мотивы были связаны с тем, как Пушкин осмыслял свою собственную ссылку. В посвящении к «Кавказскому пленнику» он говорит:

Когда я погибал безвинный, безотрадный
И шопот клеветы внимал со всех сторон.
    Когда кинжал измены хладной,
    Когда любви тяжелый сон
    Меня терзали и мертвили—
Я близ тебя еще спокойство находил...

И дальше:

Я рано скорбь узнал, постигнут был гоненьем;
Я жертва клеветы, измены и невежд...

Эти стихи вызвали такое замечание А. Тургенева в письме к Вяземскому: «Все то, где он говорит о клевете и о гонении на него—и неправда, и неблагородно!»

В послании к Чаадаеву (1821 г.) Пушкин говорит о своей ссылке:

Оставя шумный круг безумцев молодых,
В изгнании моем я не жалел о них,
Вздохнув, оставил я другие заблужденья,
Врагов моих предал проклятию забвенья,
И, сети разорвав, где бился я в плену,
Для сердца новую вкушаю тишину.
. . . .
Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы.

В стихотворении «К Овидию» поэт характеризует себя так:

...Изгнанник самовольный
И светом, и собой, и жизнью недовольный.

В послании Ф. Глинке он опять вопрос о ссылке переносит на об почву недовольства людьми.

Когда средь оргий жизни шумной
Меня постигнул остракизм,
Увидел я толпы безумной
Презренный, робкий эгоизм.

И дальше:

Пускай мне дружба изменила,
Как изменила мне любовь...

Все это стихи 1821—1822 гг. Они интересны для нас не столько биографический материал, сколько как те формулы, в которых Пуш

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ „ГРОБОВЩИКА"

Гравюра на дереве К. Маара, 1924 г.

осознавал свою ссылку. И мы видим в этих формулах и общие жалобы на «свет», на «толпу», недовольство жизнью и прославление индивидуалистической свободы. Политическая ссылка была поэтически осознана Пушкиным как некое жизненное потрясение, удар по его юношеской беззаботности, вере в жизнь и людей, и эта сторона заслонила сторону политическую. Байронизм упал на подготовленную почву и интерпретирован был по-своему. Фигура Пленника—осмысление с помощью Байрона реального жизненного материала.

Художественные формулы Байрона были средством осознания не только личной судьбы, но и своего поколения. Они мелькают не только в поэмах.

Наиболее интересны в данном отношении стихи, посвященные Наполеону. Интересно сравнить их со стихами лицейской поры. Там Наполеон еще официальный «злодей»—и только.

Один во тьме ночной над дикою скалою
Сидел Наполеон.
В уме губителя теснились мрачны думы,
Он новую в уме Европе цепь ковал
И, к дальним берегам возведши взор угрюмый,
Свирепо прошептал... и т. д.

(«Наполеон на Эльбе». 1815 г.)

Вотще, впреди знамен бесчисленных дружин,
В могущей дерзости, венчанный исполин
На гибель грозно шел, влек цепи за собою:
Меч огненный блеснул за дымною Москвою!
Звезда губителя потухла в вечной мгле,
И пламенный венец померкнул на челе!

(«На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году».)

В этом же стихотворении власть Наполеона называется «властью мятежной». В этих написанных по заказу стихах и трактовка Наполеона—готовая, официальная. То же мы видим и в стихотворении «Принцу Оранскому» (1816 г.)

Свершилось... подвигом царей
Европы твердый мир основан;
Оковы свергнувший злодей
Могущей бранью снова скован.

Уже нечто иное мы имеем в стихах 1821 г. и позднейших. Прежде всего следует отметить, что в сознании Пушкина (как впрочем и в сознании его современников) фигура Наполеона прямо связывалась с фигурой Байрона и его героями. В стихотворении «К морю» (1824 г.) Пушкин вспоминает обоих «властителей дум» своего поколения[29]. В седьмой главе «Евгения Онегина» Татьяна, придя в кабинет Онегина, видит там

И лорда Байрона портрет,
И столбик с куклою чугунной
Под шляпой, с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом.

Психологический образ Наполеона Пушкин дает в стихотворении «Наполеон» (1821 г.). Он рисуется как человек, поправший свободу ради инди-

видуалистического дерзания. И характерно, что в образ этого гордого индивидуалиста вносится мотив «охладелости»

В свое погибельное счастье
Ты дерзкой веровал душой,
Тебя пленяло самовластье
Разочарованной красой.

Образ Наполеона показан здесь в связи с основными темами Пушкина периода предыдущего и периода последующего, темой «свободы» и темой «народности». Наполеон «презрел» человечество в «его надеждах благородных» и за это наказан «народной Немезидой»... И еще Наполеон

...русскому народу
Высокий жребий указал.

Он пробудил его национальное самосознание. В стихотворении «Недвижный страж дремал» Наполеон характеризуется как «мятежной вольности наследник и убийца». Это очень важная черта—индивидуалистический герой, высшее воплощение духа гордости и самовластия, оказывается порождением «свободы», возникает на ее почве и вместе с тем ее губит. Мы увидим дальше, как это общее направление мысли, эти общие формулы, применяемые здесь к явлениям государственного масштаба, знаменательно повторятся и в масштабах частных («Цыганы», «Евгений Онегин»). Пока же отметим только «байроническое» истолкование Наполеона, его героизацию и одновременно развенчание.

Неверно было бы из сказанного выше об отступлении Пушкина заключать, что мотивы прямого политического протеста исчезают из его лирики в это время. Нет, и в стихах, и в письмах мы найдем много проявлений вольнолюбия поэта. Но уже не эти мотивы являются основными. И что еще более важно, мы встречаем в письмах и в стихах Пушкина прямые свидетельства политического разочарования, следы скептических размышлений. Первого декабря 1823 г. он в письме к А. И. Тургеневу из Одессы приводит выдержки из оды «Наполеон» и по поводу последней строфы

Хвала! Он русскому народу
Высокий жребий указал,
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал

пишет следующее: «Эта строфа ныне не имеет смысла, но она писана в начале 1821 года—впрочем это мой последний либеральный бред, я закаялся и написал на-днях подражание басне умеренного демократа И. Х. (изыде сеятель сеяти семена своя)»[30]. Дальше приводится полностью это стихотворение, где есть такие например строки:

Паситесь, мирные народы!
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь... И т. д.

Романтический метод явился средством своеобразной героизации, своеобразного возвышения разочарования поэта. Стремление к свободе переводится в личный, индивидуалистический план, превращается в индивидуалистическое недовольство миром и лирически возвышается. Средством возвышения является изоляция от реальной обстановки, социальной и

бытовой, и преувеличение переживаний и выражающих их действий. Пленник, как верно заметил Пушкин, «истощил всю чувствительность своего сердца в первые лета своей молодости, в несчастиях, неизвестных читателю». Самый характер его односторонен, дан в немногих чертах. Черты эти преувеличены, доведены до предела. Уж если равнодушие, то оно уподобляется окаменению, если горе, то оно вырастает до степени отчаяния и т. п. И действия, жесты, в которых выражаются эти переживания, соответствующим образом преувеличены. Об этом позднее Пушкин отзывался таким образом: «Бахчисарайский фонтан» слабее «Пленника» и, как он, отзывается чтением Байрона, от которого я с ума сходил. Сцена Заремы с Марией имеет драматическое достоинство. Ее, кажется, не критиковали. Ал. Раевский хохотал над следующими стихами:

Он часто в сечах роковых
Подъемлет саблю—и с размаха
Недвижим остается вдруг,
Глядит с безумием вокруг,
Бледнеет...

Молодые писатели вообще не умеют изображать физические движения страстей. Их герои всегда содрогаются, хохочут дико, скрежещут зубами и проч. Все это смешно, как мелодрама».

Итак одностороннее абстрагирование и преувеличение—вот основные черты обрисовки романтических фигур Пушкина. В поэзии Байрона эти черты связаны с ярко выраженным субъективизмом. Бурный, протестующий субъективизм—ее характерная особенность. Пушкин в письме к Раевскому говорит о том, что Байрон везде изображает себя: «Байрон (в трагедии) разделил между своими героями те или другие черты своего собственного характера: одному дал свою гордость, другому—свою ненависть, третьему—свою меланхолию и т. д.—и таким образом из одного характера, полного, мрачного и энергичного создал несколько характеров незначительных» (июль 1825 г.). Этот индивидуализм и субъективизм, эта психологическая «робинзонада» в широком масштабе были формой, в которой выражался рост нового буржуазного общества и распад общества феодального. Маркс пишет о буржуазном обществе: «В этом обществе свободной конкуренции отдельная личность выступает освобожденной от естественных связей». И далее: «...этот индивид XVIII века продукт, с одной стороны, разложения феодальных общественных форм, а с другой—новых производительных сил, начавших развиваться в XVI веке». Маркс называет «возвращение к природе», «реакцию против чрезмерной утонченности» и пр. лишь «эстетической видимостью» этих робинзонад («Введение к критике политической экономии»). Но разница конкретной обстановки обусловила и разницу конкретной модификации этих тенденций в поэзии Байрона и Пушкина. Англия уже довольно далеко продвинулась по пути буржуазного развития, а Россия еще только стояла у его порога и в сокращенном и измененном виде отражала и воспроизводила в области идеологической некоторые черты развития более передовых стран.

IV

Уже в первые годы ссылки Пушкин, не отказываясь от своего «либерализма» и в области политической, и в области морально-религиозной, все же колеблется, задумывается о бесплодности борьбы, ищет

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ „ГРОБОВЩИКА"

Литография Н. Зарецкого, 1923 г.

точек соприкосновения с существующим порядком. Настроения политического компромисса усиливаются в 1824—1825 гг.; 1825 год, год разгрома декабризма, был переломным и в мировоззрении Пушкина. Он окончательно переходит на путь компромисса. Это нельзя понимать как полный отказ от убеждений прошлых лет и слияние с официальной крепостнической идеологией. Ценность просвещения, «свободы» не дискредитируется полностью. Пушкин только отказывается от борьбы, кончившейся политическим разгромом, становится своеобразным «постепеновцем». Новая позиция Пушкина сформулирована в его записке «О народном воспитании», написанной в 1826 г.: «Недостаток просвещения и нравственности вовлек многих молодых людей в преступные заблуждения. Политические изменения, вынужденные у других народов силою обстоятельств и долговременным приготовлением, вдруг сделались у нас предметом замыслов и злонамеренных усилий». И дальше: «Должно надеяться, что люди, разделявшие образ мыслей заговорщиков, образумились; что, с одной стороны, они увидели ничтожность своих замыслов и средств, с другой—необъятную силу правительства, основанную на силе вещей»[31].

Этот процесс политического поправения был связан с переосмыслением действительности—теоретическим и творческим.

Мы видели, что романтический протест против окружающей действительности, «разочарование» и «бегство» были отзвуком протеста общественно-политического и вместе с тем этапом «отступления» Пушкина. В творчестве это преломляется как все большее развенчание романтического «героя» и выдвигание новых «героев». Это было связано с перестройкой самого метода. Если романтический метод был средством героизации «разочарованности», то средством ее снижения и средством утверждения нового действенного героя явился метод реалистический.

В сущности только «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан»—целиком романтические поэмы. «Цыганы», сохраняя романтизм, дают резкое снижение героя и обстановки. Пушкин позднее в своих «критических заметках» писал: «О Цыганах одна дама заметила, что во всей поэме один только честный человек, и то медведь. Покойный Рылеев негодовал, зачем Алеко водит медведя и еще собирает деньги с глазеющей

публики. Вяземский повторил то же замечание. Рылеев просил меня сделать из Алеко хоть кузнеца, что было бы не в пример благороднее. Всего бы лучше сделать из него чиновника или помещика, а не цыгана. В таком случае, правда, не было бы и всей поэмы».

Развенчание романтического героя шло по разным линиям. Это прежде всего—разоблачение его внутренней несостоятельности. «Цыганы», написанные в 1824 г. в общем плане творческого развития Пушкина, были как бы мостом между первыми главами «Евгения Онегина» и дальнейшими, где в облик Евгения, а также и в образы окружающей его обстановки вносятся уже новые черты.

Внутренняя несостоятельность романтического героя усматривается в том, что, требуя свободы для себя, он отрицает чужую свободу. Алеко бежал от «неволи душных городов», он говорит, что там люди

Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей.

Но он принес с собой все чувства этого общества. И в речи старого Цыгана дается приговор Алеко:

Оставь нас, гордый человек!
Мы дики, нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казним,
Не нужно крови нам и стонов;
Но жить с убийцей не хотим,
Ты не рожден для дикой доли:
Ты для себя лишь хочешь воли...

Пушкин отрицает здесь разочарование и индивидуалистическое вольнолюбие как эгоистическое и несогласуемое с интересами других. Сходную ситуацию, правда в сниженном виде, мы имеем и в «Евгении Онегине». Онегин, презирающий свет, унес с собой в деревенское уединение все его предрассудки. Стоило ли гордо отрицать «предрассуждения», чтобы из боязни светской сплетни убить друга? Индивидуалистическая гордая «свобода» есть неволя у своих страстей, въевшихся в кровь предрассудков, у своего эгоизма—и поэтому губительна для других,—вот к какому выводу приходит Пушкин. И этот вывод он распространяет на весь мир. Везде—противоборство страстей, и не мираж ли сама искомая «воля».

И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

Образ эгоистического героя мелькает и в прозаических набросках Пушкина: «Гости съезжались на дачу» (1828 г.), «На углу маленькой площади» (1829 г.). Здесь прежний романтический герой дан в частной жизни. Но Пушкина занимает проблема «воли для себя» и в масштабах государственных. Я уже указывал, что Наполеон (в стихотворении, написанном в 1823 г.) характеризуется как «мятежной вольности наследник и убийца». В плане государственном «воля для себя» создает тирана. В 1825 г. в с. Михайловском Пушкин просматривал «Анналы» Тацита и сделал ряд заме-

чаний о Тиберии, показывающих, что проблема «тирана» весьма интересовала его. Пушкин пишет о Таците: «Не удивительно, что Тацит, бич тиранов, не нравился Наполеону»[32]. Но Пушкин читал Тацита, «исправляя» его, споря с ним, ища государственной необходимости в действиях Тиберия. Любопытно например такое замечание: «Первое злодеяние его (замечает Тацит) было умерщвление Постума Агриппы, внука Августова. Если в самодержавном правлении убийство может быть извинено государственною необходимостью—то Тиберий прав. Агриппа родной внук Августа имел право на власть и нравился черни необычайною силою, дерзостью и даже простотою ума. Таковые люди всегда могут иметь большое число приверженцев—или сделаться орудием хитрого мятежника»[33]. Агриппа, «нравящийся черни»,—это возможный тиран, убийство которого оправдывалось государственной необходимостью. Проблема «тирана», выросшего из «смуты» и «мятежа»,—одна из боковых проблем «Бориса Годунова».

Мы видим здесь, как воля для себя и в плане частном, и в плане государственном подвергается осуждению. Проблемы частные и проблемы общественно-политические сочетаются и в образе Онегина. Онегин—либерал, наброски X главы показывают, что Пушкин предполагал сделать его декабристом.

Во имя чего разоблачается байронический герой? Он разоблачается как воплощение индивидуализма и субъективности во имя «объективности», во имя «хода вещей». Пушкин сложной системой творческих и теоретических мотивов укрепляет, обосновывает свою новую политическую позицию, свой путь смирения перед «необъятной силой правительства».

Проблемы «объективного», «хода вещей» осознаются им как проблемы «народности» и историзма.

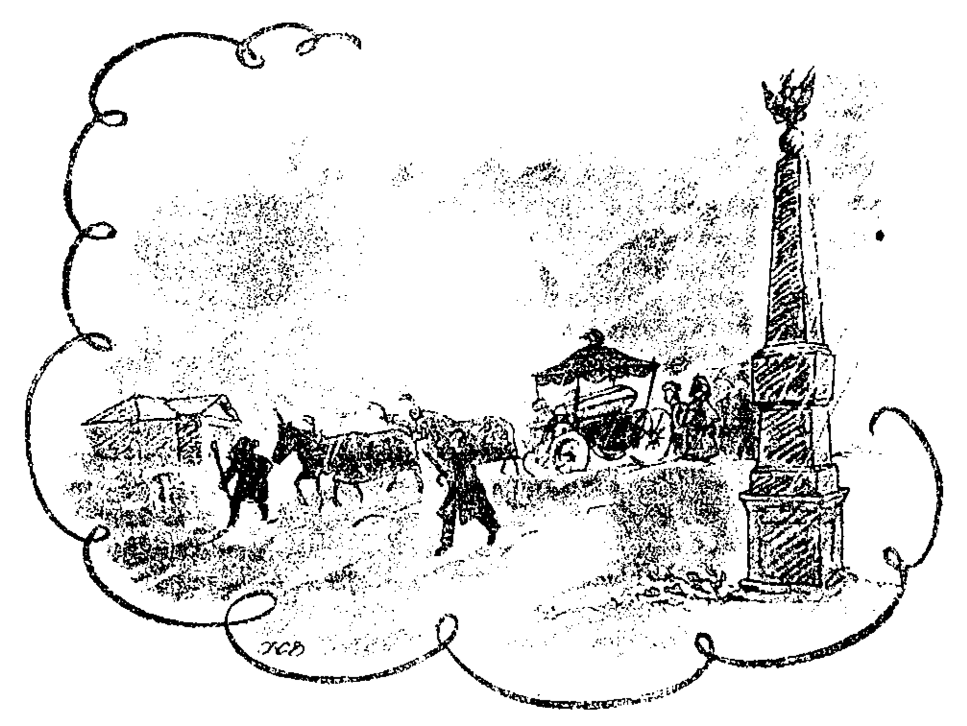
Интерес к народности намечается у Пушкина очень рано. Но сначала это скорее еще внешний этнографизм. В «Кавказском пленнике» стихи, посвященные описанию жизни горцев,—лучшие в поэме. Это сознавал и сам Пушкин. «Описание нравов черкесских,—писал он,—самое сносное место во всей поэме, несвязано ни с каким происшествием и (есть) ничто иное как географическая (отчет) статья или отчет путешественника»[34]. Высоко оценены были эти места и критикой. Пушкин сам связывает свой опыт описания горцев с романтической теорией местного колорита. «Местные краски верны, но понравятся ли читателям, избалованным поэтическими панорамами Байр. и Вал. Ск.—я боюсь и напомнить об них (волшебных картинах) своими бледными тощими рисунками»[35].

Об «отпечатке народности, местности» как о требовании романтической поэзии говорит и Вяземский в своем предисловии к «Бахчисарайскому фонтану». В «Кавказском пленнике» и «Бахчисарайском фонтане»—народность, как мы сказали, имеет еще внешний и экзотический характер, мало связана с характеристикой действующих лиц. Перед Пушкиным как бы открылся объективный мир, прежде всего в его географическом и этнографическом аспекте, во всей его пестроте и занимательности. Пушкин старается схватить индивидуальную физиономию местности и нравов. При всем внешнем характере этих описаний они имеют очень важное значение в творческом развитии поэта. Мы уже указывали, что Пушкин в байронической поэме по-своему интерпретирует фигуру главного героя. Не менее важно и то, что в его поэме такое большое место занимает описание объективной обстановки, на нее переносится интерес[36]. Это было замечено и современниками, это отмечалось и последующими исследователями.

Пушкин применяет в описании нравов всю ту «предметность», которую он вырабатывал раньше. В этом отношении очень интересны хотя бы его пояснения в письме Вяземскому от 14 октября 1823 г. в ответ на критические замечания «Вестника Европы»: «Да вот еще два замечания в роде Антикритики. 1) Под влажной буркой. Бурка не промокает и влажна только сверху, следственно можно спать под нею, когда нечем накрываться,— а сушить нет надобности. 2) На берегу заветных вод. Кубань граница. На ней карантин и строго запрещается казакам переезжать об'он'пол. Изъясни это потолковее забавникам Вес. Евр.» Мы видим здесь заботу о конкретной детали и очень точное предметное употребление слов, даже отчасти утерявших свой предметный смысл (как например слово «заветный»). Но в этой предметности есть уже и нечто новое—стремление к передаче своеобразия, индивидуальной физиономии местности, чего не было в ранних стихах. В творческом развитии Пушкина «романтический местный колорит» (нельзя не отметить, что именно эта тенденция романтизма всего больше смыкалась с объективной действительностью, толкала на ее изучение) явился ступенью для реализма. В этом проявилась вся диалектическая сложность живого литературного развития.

Интерес к картинам местности и нравов ясно виден и в «Цыганах». Там описание жизни цыган занимает тоже очень большое место. Интерес этот с течением времени все углубляется. Пушкин переходит от описания внешней физиономии «нравов» к передаче «духа» народа. Это проявлено не только в крупных вещах, но и в мелких стихотворениях. Первым крупным явлением такого рода будут «Подражания корану» (1824 г.). Многократно отмечавшаяся и прославленная «отзывчивость» Пушкина, «способность перевоплощения» имеет свои основания именно в этом интересе к «духу» народа. Можно проследить в его творчестве постепенное развитие этого интереса, его видоизменения, можно выяснить те классово-практические потребности, которые порождали и стимулировали этот интерес. Вопрос о «народности» был предметом оживленных обсуждений и имел различные политические лики. И у Пушкина мы можем эти лики обнаружить. В ранних его произведениях, например в оде «Наполеон», народ—носитель «свободы», Наполеон—тиран, поправший это право народа на изъявление своей воли. Сходные мысли мы находим и в письмах Пушкина. В середине 1824 г. он пишет в черновике письма В. Л. Давыдову: «С удивлением слышу я что ты почитаешь меня (варваром), врагом освобождающейся Греции и поборником Турецкого рабства (мне случалось иногда говорить о Греции:) Видно слова мои тебе были странно перетолкованы (Повторю тебе) (чтобы оправдаться). Но чтоб тебе ни говорили, ты не должен был верить, чтобы когда-нибудь сердце мое недоброжелательствовало (освобождению) (свободе) благородным усилиям (свободы) возрождающегося народа». И в конце письма: «Ничто еще не было столь народно, как дело Греков»[87]. Но это сочувствие народной борьбе за свободу даже в этот период не было особенно глубоким. В письме к Вяземскому Пушкин пишет о тех же греках: «Греки мне огадили. О судьбе Греков позволено рассуждать как о судьбе моей братьи негров; (и) можно тем и другим желать освобождения от рабства нестерпимого; но чтобы все просвещенные Европейские народы бредили Грецией—это непростительное ребячество»[88]. Позднее народность поворачивается у Пушкина консервативной стороной.

Вопрос о народности занимает его и в плане теоретико-литературном. В той борьбе между романтизмом и классицизмом, которая шла в литературе, Пушкин пытается выработать свое собственное понимание романтизма. Он определяет его чисто формально и негативно. В заметке «О драматических произведениях» (20-е годы) он, осуждая классические «единства», заявляет: «Не короче ли следовать школе романтической, которая есть отсутствие всяких правил»[39]. В другом месте он выражается еще определеннее: «К сему (классическому) роду должны отнестись те стихотворения, коих формы известны были грекам и римлянам, или коих образцы они нам оставили. Следственно сюда принадлежат: эпопея, поэма дидактическая, трагедия, комедия, ода, сатира, послание... элегия, эпиграмма



ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ „ГРОБОВЩИКА"
Литография Н. Зарецкого, 1923 г.

и басня... какие же роды стихотворений должно отнести к поэзии романтической? Те, которые не были известны древним, и те, в коих прежние формы изменились или заменены другими». Ю. Н. Тынянов в статье «Архаисты и Пушкин» целиком солидаризируется с этой, как он говорит, «конкретной постановкой вопроса».

Те же мысли высказывает Пушкин и в заметке «О делении Европы на классическую и романтическую», в замечаниях об А. Шенье. Но ими не исчерпывается пушкинское понимание романтизма. Такой принцип различения слишком внешен, формален, негативен, за ним у Пушкина несомненно должно было стоять какое-то более существенное и принципиальное разграничение. И указания на это имеются. В черновике письма к Вяземскому от 5 июля 1824 г. Пушкин так отзывается о французской поэзии: «Век романтизма не настал еще для Франции—Лавинь бьется

в старых сетях Аристотеля—он ученик Трагика Вольтера, а не природы»[40]. Можно думать, что недовольство Пушкина различными определениями романтизма, внешнее лишь различение романтизма и классицизма и объясняется тем, что в нем созревало гораздо более широкое и объективное понимание романтической «свободы» и «природы», не укладывавшееся в рамки существовавших определений. Это было процессом созревания реализма в романтической оболочке. Недаром Пушкин в письме к Раевскому (30 ноября 1825 г.) так отзывается о Борисе Годунове: «Важная вещь: я написал трагедию и ею очень доволен, но страшно в свет выдать— робкий вкус наш не стерпит истинного романтизма. Под романтизмом у нас разумеют Ламартина. Сколько я не читал о романтизме все не то; даже Кюхельбекер врет». Пушкин называет «Бориса», в котором он выступает как реалист, «истинно романтическим», опасаясь за него и как бы противопоставляя ранним своим поэмам, встреченным столь благосклонно критикой. Нападки на «мнимый» романтизм встречаются у Пушкина неоднократно и в письмах, и в теоретических высказываниях, и в стихах (напомним например характеристику элегии Ленского: «так он писал темно и вяло, что романтизмом мы зовем»). Это тем более важно, что с точки зрения тех формальных, жанровых определений, какие Пушкин давал выше, за всеми этими произведениями никак нельзя было отрицать звания романтических. Ясно, что у Пушкина за внешним и негативным определением (романтизм—не классические жанры) скрывались иные более глубокие требования. Об этом говорят и те поправки к чужим определениям, которые он делает. Так, говоря о народности, он не отрицает ее, а лишь указывает на более существенные, с его точки зрения, признаки народности: «Один из наших критиков кажется полагает, что народность состоит в выборе предметов из отечественной истории, другие видят народность в словах, т. е. радуются тем, что изъясняясь по-русски употребляют русские выражения... Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев и поверий и привычек—принадлежащих исключительно какому-нибудь народу—климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию—которая более или менее отражается в зеркале поэзии». И дальше такой характерный вопрос: «(Но в России) что есть народного в Ксении, рассуждающей о власти родительской с наперсницей посреди стана Димитрия»[41] (1826 г.). В статье о предисловии Лемонте к басням Крылова (1825 г.) он говорит о народном «духе» у Крылова: «Некто справедливо заметил что простодушие (bonhomie, naiveté) есть врожденное свойство французского народа; напротив того, отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться. Лафонтен и Крылов представители духа обоих народов»[42]. По поводу этой заметки Пушкин шутит в письме Вяземскому: «я назвал его представителем русского народа не ручаюсь, чтобы он несколько не вонял. В старину наш народ назывался смерд».

Вот этот-то «дух» во всех его проявлениях и интересует Пушкина все более и более. От этнографических экскурсов он переходит на национальную почву, изучает русский «дух». Он начинает собирать фольклор— песни, сказки. Выпуская в 1828 г. второе издание «Руслана и Людмилы», он включает в поэму стихи—экстракт сказочных мотивов. И в этих стихах опять упоминание о русском духе:

Там русский дух... Там Русью пахнет!

На этом этапе Пушкин воспринимает «народность» как силу консервативную. В такой форме рисовалась поэту «реальность», с которой нужно было считаться, которой он подчинился. Этот консервативный смысл «народности» не противоречил своеобразному оттенку демократизма, в ней заключенному. «Русский дух» нужно было понять во всех его проявлениях.

В свете этой ориентации на «народность» Пушкин рисует и своего «романтического» героя, изображая его как нечто чуждое, наносное, неорганическое. Алеко еще не опорочен с этой стороны, его эгоизм дан как нечто самобытное. Но уже в «Евгении Онегине» эта сторона—подражательность—выдвинута. Вполне вырисовывается она только в седьмой главе.

И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее — слава богу —
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес.
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?
Уж не пародия ли он?

Этому предшествует—в главе пятой—контрастная характеристика Татьяны как представительницы русского духа:

Татьяна (русская душою,
Сама не зная почему)

Эта характеристика дается в сопровождении народных бытовых и сказочных мотивов.

Примечательно, что наносность, неограничность отмечается и в политическом движении декабристов. Мы не знаем, как было бы объяснено движение декабристов и участие в нем Онегина. Мы имеем только отрывки X главы, из которых трудно вывести какие-либо определенные заключения. Там есть только указание на поверхностность либерализма.

Сначала эти разговоры
Между лафитом и клико
(Лишь были дружеские споры)
И не (входила) глубоко
В сердца мятежная наука
(Все это было только) скука,
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов.

Но в записке «О народном воспитании» Пушкин прямо заявляет о «влиянии чужеземного идеологизма» как одной из причин декабристского движения.

Развенчивая на одном полюсе прежнего своего героя, Пушкин на другом полюсе все полнее и определеннее обрисовывает героя положительного. Уже в романтических поэмах Пушкина выдвинут образ героини как представительницы «природы» и противопоставлен герою. Но там еще противопоставляются «естественное» чувство и «разочарованность» плюс «эгоизм» героя. Противопоставление «русской души» и «чужеземного идеологизма» впервые отчетливо дано в образах Татьяны и Онегина. Татьяна тоже не сразу обрисовывается с этой своей стороны. Вначале она—уездная барышня, плохо изъясняющаяся по-русски. Она «дика, печальна, молчалива, как лань лесная боязлива», она росла в глуши и на воле, но в ней еще нельзя предвидеть той носительницы «русской души» и нравственного долга, какой она станет в дальнейших главах.

Татьяна выступает дальше в окружении не только фольклорных мотивов, но и пейзажных, и бытовых. Она слита с народными поверьями, с скромной русской природой, с простодушным уездным бытом. «Народность» здесь выступает именно как ориентация на скромного, лишенного внешнего блеска героя, вырастающего из родной почвы. Поэтому и реализм здесь предполагает не только обрисовку «обстоятельств», но и заурядность этих обстоятельств.

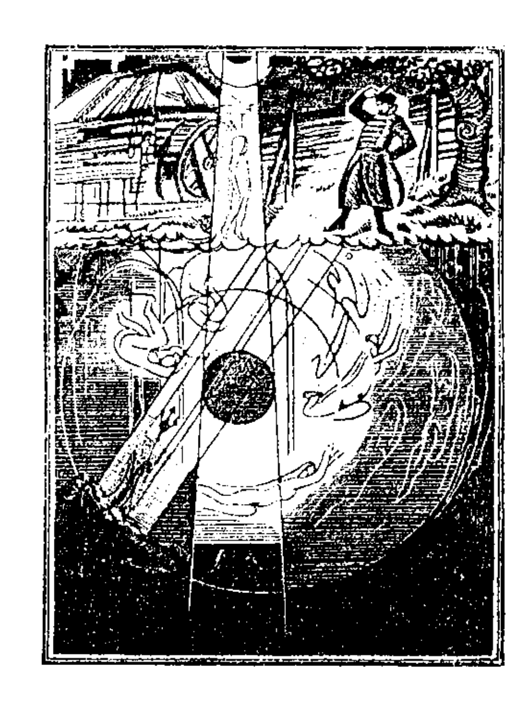
«Евгений Онегин» писался почти десять лет (1822—1831 гг.) и как бы концентрировал в себе все творческое развитие Пушкина за этот период. Между первой главой—шутливым изображением молодого повесы— и последними главами с их темами «низкой природы», «русской души», нравственного долга и т. п. большая разница. Мы уже указывали на некоторые из тех ступеней, по которым совершалось это творческое восхождение. Одной из таких ступеней является «Борис Годунов», первое произведение, где реализм выступает в зрелом виде.

Но сначала несколько слов о другом важном аспекте, в котором выступала перед Пушкиным «реальность»,—это историзм. Об историзме Пушкина писалось очень много[43].

Один из последних исследователей этого вопроса Д. Благой, социологически подходящий к нему, дает такое объяснение: «Влечение в прошлое, в историю естественно у представителей того социального слоя, у которого все в прошлом, у которого при славном прошлом—плачевное настоящее и никакого будущего... Интерес к истории явно связан у Пушкина с интересом к своим «историческим предкам»... Обращение к предкам диктовалось социальной ущербленностью их «темного потомка»[44]. Это вытекает у Д. Благого из общего объяснения Пушкина как разорившегося «шестисотлетнего» дворянина. Мы не будем здесь говорить о концепции Благого в целом и о причинах, почему она должна быть решительно отвергнута, но в данном вопросе особенно ясно выступает ее узость и неубедительность. Историзм Пушкина был не «влечением в прошлое» и сожалением о нем, не хвастовством своими «предками», он был способом объяснения настоящего, способом определения путей в будущем. Обусловлен он всей ситуацией классовой борьбы в данное время и положением капитализирующегося либерального дворянства в этой ситуации. Историзм Пушкина был одним из конкретных проявлений его стремления примириться с силой вещей, опрокинувшей первую волну антикрепостнического движения. Он, как и народность, был формой ориентации на «реальность». Понятие народности было формой освоения национального своеобразия России, русского общественного строя, быта, ума, характера.

Историзм выражал стремление понять и оправдать историческую закономерность, неизбежность существующего строя. Историзм вообще имеет две стороны, сторону консервативную—понимание закономерности и относительной исторической прогрессивности существующих форм жизни, и сторону революционную—понимание неизбежности исторического крушения, исчезновения существующих форм. Для Пушкина историзм был обоснованием компромисса с настоящим. Отсюда его стихи, оправдывающие самодержавие и Николая, отсюда его стремление вскрыть, найти прогрессивную сторону в исторически сложившихся порядках. Он пишет о Радищеве: «Невежественное презрение ко всему прошедшему; слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне; частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему,—вот что мы видим в Радищеве. Он как будто старается раздражить верховную власть своим горьким злоречием; не лучше ли было бы указать на благо, которое она в состоянии сотворить? Он поносит власть господ как явное беззаконие, не лучше ли было бы представить правительству и умным помещикам способы к постепенному улучшению состояния крестьян» и т. д. (1836 г.). В этих словах собственная программа Пушкина. Он не отказывается целиком от своего прошлого, но он хочет «мира» с правительством.

Это стремление исторически понять «плохое» приводит к тому, что он оправдывает даже такие одиозные явления, как продажу должностных мест, инквизицию и т. п., ищет в них положительную сторону. «Продажа гражданских мест упрочила правление достаточной части народа, следственно столь же благоразумна и представляет такое же основание как и нынешние законы о выборах. Писатели XVIII века напрасно вопили противу сей меры будто бы варварски нелепой» (1831 г.). «Инквизиция была потребностию века. История ее еще мало известна и ожидает еще беспристрастного исследователя» («Мысли на дороге»). В тех же самых «Мыслях на дороге» мы находим оправдание цензуры и такое очень пока-



ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „РУСАЛКЕ"
Гравюра на дереве П. Павлинова, 1921 г.

зательное заявление: «Не могу не заметить, что со времен восшедствия на престол дома Романовых, у нас Правительство всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно».

Народность и историзм были двумя сторонами пушкинского стремления к «объективности». Интересно, как это стремление преломляется в плане специфически литературном, в вопросе о трактовке характеров. Мы уже приводили замечание Пушкина о том, что Байрон изображает везде только себя. Но он борется не только с субъективизмом, но и с односторонностью. И образцом для него в этом отношении является Шекспир. «Лица созданные Шекспиром,—пишет он,—не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живые исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосторонние характеры. У Мольера скупой скуп—и только; у Шекспира Шейлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. У Мольера лицемер волочится за женою своего благодетеля—лицемеря; принимает имение под сохранение, лицемеря; спрашивает стакан воды, лицемеря. У Шекспира лицемер произносит судебный приговор с тщеславной строгостью, но справедливо; он оправдывает свою жестокость глубокомысленными суждениями государственного человека» и т. д.[45] (1834 г.). Еще раньше, в 1830 г., в своих набросках о драме Пушкин формулирует целую систему своих воззрений на драматическое искусство «Что развивается в трагедии? Какая цель ее. Человек и Народ—Судьба человеческая. Судьба народная—вот почему Расин велик не смотря на узкую форму своей Трагедии. Вот почему Шекспир велик, несмотря на неравенство, небрежность, уродливость отделки.

Что нужно Драматическому Писателю? Философию бесстрастия, Государственные мысли Историка, догадливость, живость воображения, никакого предрассудка, любимой мысли. Свобода». Мы видим, как мысли о народности и историзме применяются здесь к искусству. Дальше Пушкин возражает против классической теории искусства как подражания изящной природе, против мелочной исторической точности и выдвигает такое требование: «Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах—вот чего требует наш Ум от драматического писателя»[46].

Я уже указывал, что историзм и народность при общей их консервативной установке не исключали своеобразного демократизма. Это находит свое отражение и в вопросах искусства. Пушкин указывает, что «драматическое искусство родилось на площади—для народного увеселения». Иное дело в России: «Драма никогда не была у нас потребностию народною». И Пушкина занимает вопрос: «Трагедия наша, образованная по примеру Трагедии Расина может ли отвыкнуть от Аристократических своих привычек (от своего разговора размеренного, важного и благопристойного). Как ей перейти к грубой откровенности народных страстей, к вольности суждений площади—как ей вдруг отстать от подобострастия[47], как ей обойтись без правил, к которым она привыкла, где, у кого выучиться наречию, понятному народу, какие суть страсти сего народа, какие струны его сердца, где она найдет себе созвучие—словом где зрители, где публика»[48]. Все эти замечания о драме написаны были по поводу драмы Погодина «Марфа Посадница», которой Пушкин очень интересовался и которую очень ценил. Можно думать, что намерение поэта изложить свои мысли

о драме связано с тем, что как раз в 1830 г. шла речь об издании «Бориса Годунова» (написанного в 1825 г. и вышедшего в свет в начале 1831 г.). Пушкин, издавая «Годунова», мог иметь желание высказать свои принципы драматургии, воспользовавшись разбором драмы Погодина.

«Борис Годунов» написан до выступления декабристов и до поворота Пушкина на сторону феодально-крепостнической государственности. Это наложило свой определенный отпечаток на драму. Пушкин так отзывался о ней в письме Вяземскому: «Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию—навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе написана, да никак мне не упрятать всех моих ушей под колпак «юродивого» (1825 г.). «Борис Годунов»—произведение, написанное на историческом материале. Но в этом историзме есть некоторые особенности. В «Руслане и Людмиле» история—только «баснословная» одежда для эротических приключений. Историзм в собственном смысле слова мы имеем в «Полтаве», в «Медном всаднике», в котором проблема феодально-крепостнической государственности, современная Пушкину, рассматривается в аспекте историческом. В «Борисе Годунове» на первом плане проблема народности. Д. Благой в своей статье о «Борисе Годунове» правильно указывает на то, что в образе Бориса мы находим некоторые черты «байронических» героев. «В знаменитом монологе «Достиг я высшей власти...»—пишет он,—Борис возникает перед нами прежде всего в качестве утомленного жизнью, разочарованного в людях, в «суде черни», пресыщенного, томящегося и скучающего человека, какого-то Фауста на престоле. Некоторые строки монолога прямо напрашиваются на сопоставление с написанной Пушкиным около этого же времени сценой из Фауста... Образ Бориса, как он выступает перед нами из монолога, определенно окрашен в лирические, субъективные тона, перекликается не столько с царем-злодеем и «святоубийцей» Карамзина, сколько с байроническими образами поэм Пушкина, с «томящимся и скучающим» Онегиным, наконец с некоторыми лирическими сетованиями самого поэта»[49]. В образе Бориса есть и черта внутренней несостоятельности, перерастание «самовластия» в тиранию, о чем мы говорили выше. Но очень много в трагедии и нового как в трактовке характеров, так и в общей концепции. Пушкин писал по поводу «Бориса Годунова»: «Изучение Шекспира, Карамзина и старых наших летописей дало мне мысль облечь в формы драматические одну из самых драматических эпох новейшей истории. Я писал в строгом уединении, не смущаемый никаким чуждым влиянием. Шекспиру подражал я в его вольном и широком изображении характеров, в необыкновенном составлении типов, в простоте; Карамзину следовал я в светлом развитии происшествий; в летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени». И действительно, если говорить о характерах трагедии, то они нарисованы широко и разносторонне. Борис не только «злодей», но и мудрый правитель, любящий отец, человек, ценящий просвещение. Точно так же и самозванец дан не как просто обманщик, но как юноша пылкий, беспечный и в то же время не лишенный государственного ума. Он отвечает Марине на ее угрозы обнаружить его обман:

Не мнишь ли ты, что я тебя боюсь?
Что более поверят польской деве,
Чем русскому царевичу? Но знай,
Что ни король, ни папа, ни вельможи

Не думают о правде слов моих.
Димитрий я, иль нет—им что за дело?
Но я предлог раздоров и войны.
Им это лишь и нужно: и тебя,
Мятежница, поверь, молчать заставят.

Но он же, после поражения его войск, болтлив и беспечен, как мальчик:

А дело было наше,
Я было смял передовую рать—
Да немцы нас порядком отразили;
А молодцы! ей-богу, молодцы!
Люблю за то; из них уж непременно
Составлю я почетную дружину.

Пушкин

А где-то нам сегодня ночевать?

Самозванец

Да здесь, в лесу. Чем это не ночлег?
Чем свет, мы в путь; к обеду будем в Рыльске.
Спокойна ночь!

(Ложится, кладет седло под голову и засыпает.)

Пушкин

Приятный сон, царевич!
Разбитый впрах, спасаяся побегом,
Беспечен он, как глупое дитя...

Перейдем теперь к общей концепции трагедии. Благой, правильно определяя характер Бориса, общую концепцию трагедии пытается истолковать в духе своей теории о шестисотлетнем дворянстве Пушкина. «Борьба самодержавия и боярства— такова социально-историческая концепция, которую кладет в основу своей трагедии Пушкин», заявляет он[50]. Это опять, как и в общем вопросе об историзме, суживает и искажает суть дела. За всеми образами начинает выступать обедневший шестисотлетний дворянин, борющийся с «новой» аристократией (символизированной в «безродном» Борисе). Благой вынужден прибегать для доказательства этой мысли к натяжкам совершенно поразительным. Как известно, летописец Пимен отрицательно относится к Борису. «И это отрицательное отношение,— пишет Благой,—станет понятно, если мы обратим внимание на социальный генезис пушкинского летописца. Из слов Григория мы узнаем, что Пимен играл видную роль в первый период царствования Ивана Грозного, до установления опричины». В чем же выражалась эта «важная» роль? «Он воевал под башнями Казани», «отражал рать Литвы», «видел двор и роскошь царя, пировал за царскою трапезой». Самому Пимену по временам «чудятся то шумные пиры, то ратный стан, то схватки боевые, безумные потехи юных лет». «Ясно,—заключает Благой,—Пимен принадлежал к боярству. В монастырь он был заточен Грозным, или сам ушел в него, спасаясь от начавшихся царских гонений и опал»[51]. Между тем трагедия достаточно ясна по своему содержанию и вовсе не требует таких произвольных истолкований. В первой сцене из разговора Шуйского с Воротынским мы узнаем, что правителя Бориса уговаривают вступить на царство. Тут же Шуйский рассказывает об убийстве Борисом Дмитрия. В этой сцене намечен тот

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „РУСАЛКЕ"
Гравюра на дереве П. Павлинова, 1921 г.

драматический стержень, на который затем нанизывается сцена за сценой Во второй, третьей и четвертой сцене Бориса убеждают быть царем. О соглашается. Шуйский «лукавый царедворец» отрекается перед Воротын ским от своих слов. То, что было лишь возможностью в первой сцене здесь стало реальностью: Борис—царь. Но и другой полюс драматическог столкновения неожиданно «воплощается». В пятой сцене мы в келье Чудов монастыря. Пимен рассказывает Григорию об убийстве Дмитрия, натал кивает его на мысль о самозванстве. Здесь же произносится и пригово над Борисом, предрешается его неизбежная судьба:

И не уйдешь ты от суда людского,
Как не уйдешь от божьего суда.

В следующей сцене мы в палатах патриарха и узнаем, что Григори бежал. Затем действие переносится в царские палаты. Борис произноси свой монолог «Достиг я высшей власти» и говорит о мучениях совести о «мальчиках кровавых». Не будем разбирать дальше развертывания дра матического действия—вестей о самозванце, неудержимого роста его сил и внутренних мучений и бессилия Бориса. Трагедия кончается смерть Бориса и убийством его детей. Борьба боярства вовсе не выступает здес как основной драматургический стержень. Но что же движет дей ствием, что определяет самый конфликт и характер его разрешения? Пуш кин, черпавший материал из Карамзина, углубляет его объяснение собы тий. Для Карамзина Борис—преступник, наказанный провидением. Для Пушкина центр тяжести переносится на «суд мирской», на «мнение народ ное». Пимен наиболее светлое и идеальное воплощение этого мирског суда. С фатальной неизбежностью «мнение народное» приводит Бориса к гибели. Недаром именно Пимен дает толчок мыслям Григория—этог орудия исторической судьбы. Из этого «мнения народного» вытекае и неуверенность Бориса, и все растущая, несмотря на поражения, сила самозванца. Это в сущности вынужден признать и Д. Благой: «Народу его мнению, его воле... придается в трагедии исключительное, верховно значение. В «Борисе Годунове» цари совершают казни, преступления

бояре составляют заговоры, изменяют, интригуют, но истинным судьею, источником силы, как и причиной слабости, непрочности государственной власти, является народ, то или иное отношение его к совершающемуся. Эта мысль поистине красной нитью проходит через всю трагедию Пушкина»[52]. Но это в корне противоречит мысли, что «борьба самодержавия и боярства»—такова социально-историческая концепция, которую кладет в основу своей трагедии Пушкин». Благого смущает то что «народ» выступает у Пушкина в очень неприглядном виде как «бессмысленная», «глупая», «изменчивая», «мятежная», «легковерная чернь». Но это вовсе не покажется странным, если принять во внимание, что «народность» Пушкина далека от «народничества». «Мнение народное» вовсе не означает для Пушкина мнения «простонародного». Пимен—идеальный представитель народного духа, народного мнения—вовсе не представитель «черни».

В трагедии есть конечно те «уши», о которых говорил Пушкин (уже в самой постановке вопроса о народном мнении в широком смысле как об опоре трона), но все же правильно и то, что трагедия была написана «в хорошем духе», т. е. вовсе не заключала борьбы с самодержавием, напротив, скорее защищала «законное» самодержавие. Она была ступенью к прямому оправданию и защите самодержавия как исторической необходимости.

Мы видим отсюда тот аспект, в котором осваивалась Пушкиным реальная действительность, видим границы его реализма. Борис изображен и осужден Пушкиным как явление антинародное, противоречащее нравственному сознанию народа. Мы можем еще раз напомнить те строки, в которых Пушкин определял задачи трагедии: «Что развивается в трагедии? Какая цель ее? Человек и народ—судьба человеческая, судьба народная». А народ для него—это прежде всего «образ мыслей и чувствований... тьма обычаев и поверий и привычек».

Остановимся еще на одной стороне пушкинского реализма, на вопросе о «низкой» действительности. Уже в образе Татьяны мы отмечали отсутствие внешнего блеска как очень важную и принципиальную черту новой «героини». Но Татьяна все же поэтична, прелестна и в конце становится знатной дамой. Однако Пушкина начинает занимать вопрос именно о «низкой» действительности. Интерес этот более всего усиливается около 1830 г., в период писания последних глав «Онегина» и «Повестей Белкина». Низкая действительность выступает в разных видах—это пейзаж, быт, люди.

В пятой главе «Евгения Онегина» Пушкин рисует деревенский пейзаж.

Зима!.. крестьянин торжествуя
На дровнях обновляет путь,
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как нибудь...

и заключает этот пейзаж такими словами:

Но может быть такого рода
Картины вас не привлекут:
Все это низкая природа,
Изящного не много тут.

В этой же главе дано такое изображение уездного общества:

С своей супругою дородной
Приехал толстый Пустяков;

Гвоздин, хозяин превосходный,
Владелец нищих мужиков;
Скотинины, чета седая,
С детьми всех возрастов, считая
От тридцати до двух годов... И т. д.

С еще большей определенностью выдвигается и защищается «низкая» действительность в главе о путешествии Онегина, написанной в 1830 г. Я имею в виду известные строки

Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи...
. . . .
Порой дождливою намедни
Я завернул на скотный двор...
Тьфу! Прозаические бредни,
Фламандской школы пестрый сор.

К этому же времени относится ряд произведений, где эта «низкая» действительность становится предметом специального внимания. «Домик в Коломне» прямо пародирует высокую поэзию и высокого героя и представляет собой шутливую защиту «низкой» темы, не нуждающейся в высоком смысле.

...Больше ничего
Не выжмешь из рассказа моего.

В стихотворении «Румяный критик мой, насмешник толстопузый» «низкая» действительность выдвигается столь же демонстративно.

Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогий
За ними чернозем, равнины скат отлогой,
Над ними серых туч густая полоса.
Где нивы светлые? Где темные леса,
Где речка?

Дальше среди этого пейзажа появляются и человеческие фигуры, ему соответствующие:

И только. На дворе живой собаки нет.
Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед,
Без шапки он; несет под мышкой гроб ребенка
И кличет издали ленивого попенка,
Чтоб тот отца позвал да церковь отворил
Скорей! Ждать некогда! давно бы схоронил.

В набросках повести о прапорщике Черниговского полка, относимых Ю. Г. Оксманом к 1829—1830 гг., мы находим картины, очень напоминающие этот пейзаж по своей окраске.

«Я сел под окно. Виду никакого. Тесный ряд однообразных изб, прислоненных одна к другой. Кое-где две-три яблони, две-три рябины, окруженные худым забором, отпряженная телега с моим чемоданом и погребцом. День жаркой. Ямщики разбрелись. На улице играют в бабки златовласые, замаранные ребятишки. Против меня старуха сидит пред избою

пригорюнившись. Изредка поют петухи. Собаки валяются на солнце, или бродят, высунув язык и опустив хвост, да поросята с визгом выбегают из-под ворот и мечутся в сторону безо всякой видимой причины»[53].

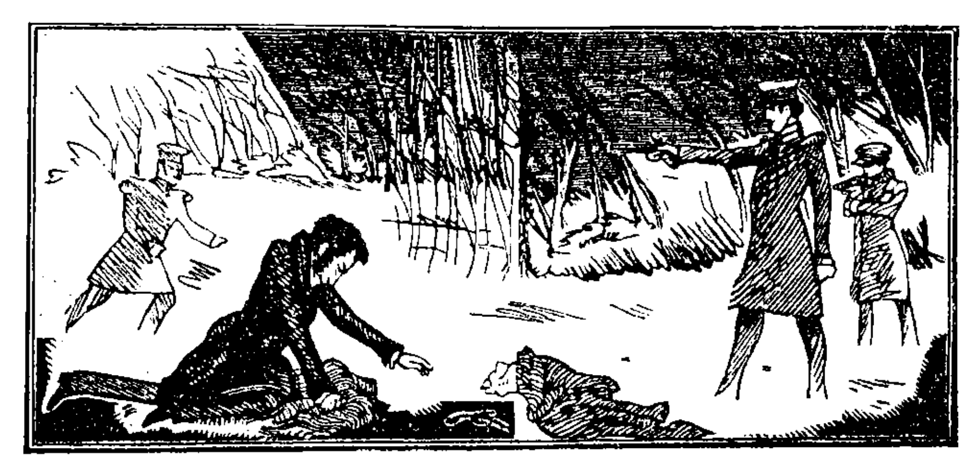
Эти тенденции в пушкинском творчестве нельзя не поставить в связь с его «трудовым» осмыслением своей роли, с его пониманием исторического развития как совокупности усилий всех классов общества. «Каченовский,— пишет Пушкин,—неоднократно с упреком повторял Полевому, что сей последний купец... Тут уж мы приняли совершенно сторону г. Полевого. Никто более нашего не уважает истинного родового дворянства, коего существование столь важно в смысле государственном; но в мирной республике наук какое нам дело до гербов и пыльных грамот. Потомок Трувора или Гостомысла, трудолюбивый профессор, честный аудитор и странствующий купец равны перед законами критики». Или еще: «Старинное дворянство... составляет у нас род среднего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного». Это не мешало проявлениям сословной гордости и даже сословного высокомерия у Пушкина. Но вся его новая ориентация на «ход вещей», на постепенное развитие «просвещения» толкала его на внимание к «смиренной прозе» жизни. К этому присоединялось и личное соприкосновение с «мещанскими» заботами, с нищим бытом, со всей неприглядной действительностью уездного российского существования[54].

Обратим внимание на то, что во всех случаях ввода «низкой» действительности она воспринимается со стороны, так сказать из окна. Поэт ощущает дистанцию между этой действительностью и собой, но он хочет с ней считаться, хочет приблизиться к ней. Н. Лернер называет это «хождением в народ»[55]. Конечно о хождении в народ здесь говорить никак нельзя, но основой этого несомненно был кризис крепостнического хозяйства и процесс капитализации дворянства. Это были первые проявления новых социально-экономических проблем, встававших перед дворянством. У Пушкина они пока проявляются в интересе к «смиренному» герою со всей прозой его жизни.

Важным этапом в развитии этих тенденций являются «Повести Белкина». В них нужно отметить прежде всего шутливость, пародийность. Это сближает их с «Домиком в Коломне». Элемент шутливости вообще свойственен Пушкину на этом первоначальном этапе освоения «низких» тем. Даже «Моя родословная», в которой Пушкин говорит о своем «мещанстве» и которой совершенно серьезное значение придает Д. Благой, в сущности иронична. «Я мещанин» здесь означает как раз обратное. Шутливость, пародийность, ирония здесь выражение «дистанции» между поэтом и «низкой» действительностью, выражение его «свободы» по отношению к ней. В «Повестях Белкина», в «Истории села Горюхина» эта шутливость есть тот покров, под которым совершается освоение «низкой» действительности.

«Повести Белкина» нельзя рассматривать как механическое соединение отдельных вещей. В них есть один очень важный момент, есть «скрытые» герои, которые обычно остаются вне поля внимания. «Повести Белкина» удивляли тем, что они казались как бы «ниже» таланта Пушкина. В самом деле, Пушкин, уже достигший вершин реалистического письма, здесь забавляется «невероятными» и «пустыми» историями. Но между Пушкиным и этими «историями» есть двойная преломляющая среда. Это, вопервых, скромный недоросль Иван Петрович Белкин, к которому относятся слова Простаковой, поставленные эпиграфом: «То, мой батюшка, он еще

сызмала к историям охотник». А затем еще круг «знакомых» и собеседников Ивана Петровича. В письме «друга» Ивана Петровича («друг» тоже одна из фигур, характеризующих ту среду, в которой вращается Иван Петрович) говорится: «Вышеупомянутые повести были, кажется, первым его опытом. Они, как сказывал Иван Петрович, большею частью справедливы и слышаны им от разных особ». В примечании сообщается: «В самом деле в рукописи г. Белкина, под каждой повестию рукою автора надписано: «слышано от такой-то особы» (чин или звание и заглавные буквы имени



ДУЭЛЬ ПУШКИНА С ДАНТЕСОМ
Гравюра на дереве П. Павлинова, 1921 г.

и фамилии). Выписываем для любопытных изыскателей: Смотритель рассказан был ему титулярным советником А. Т. Н. Выстрел подполковником И. Л. П., Гробовщик прикащиком Б. В., Метель и Барышня девицею К. И. Т.» Если мы обратим внимание на то, к какому рассказчику прикрепляется та или иная повесть, то увидим, что фигура рассказчика перекликается с содержанием повести. И в самих повестях если и нет полной стилизации, то все же есть стилизация относительная. Повести этими скупыми указаниями на рассказчика вдвигаются в определенную бытовую и психологическую рамку. Следует еще учесть, что в «Повестях Белкина» дается как бы сводка различных повествовательных жанров того времени— сантиментальной повести, романтической новеллы, нравоописательного очерка. Получается очень сложная и тонко обдуманная конструкция: провинциальный «Недоросль» Иван Петрович Белкин, фигуры его друзей и знакомых и рассказы этих знакомых, пародирующие наиболее популярные повествовательные жанры и вместе с тем тонко отражающие вкусы рассказчиков и их интересы. Мы имеем таким образом план бытовой, план литературный и над тем и над другим автора, шутливо их демонстрирующего читателю. Иван Петрович Белкин вместе со своими друзьями и собеседниками, вместе с героями рассказов образуют совсем особый мир— по преимуществу средних, «смиренных» людей: это бедный дворянин, мелкий чиновник, провинциальная барышня, офицер не из крупных и т. д. Шутливо, с сохранением дистанции здесь вводился в литературу мелкий человек с его радостями и страданиями, с его бытом, с его вкусами.

Но то, что здесь дается шутливо и пародийно, дальше дается уже вполне серьезно. Уже указывалось (В. О. Ключевским), что Гринев, герой без-

условно положительный для Пушкина, перекликается с «недорослем» Белкиным. В изображении воспитания Гринева сохранен даже этот элемент шутливости, который был основным в «Повестях Белкина».

V

Мы не имеем здесь возможности разобрать сколько-нибудь подробно реалистический период творчества Пушкина. Произведения этого периода— главнейшего в его творчестве—слишком многочисленны и разнообразны. Мы попытались лишь наметить основные этапы движения к реализму у Пушкина в их обусловленности совокупностью общественных отношений, социально-политической эволюцией поэта. От антиисторической «философии просвещения», эпикуреизма и либерализма, от «легкой поэзии» первого периода через романтическое «разочарование» и субъективизм Пушкин приходит к объективизму, к народности и историзму, приходит к реалистическому, широкому и многостороннему изображению «правды» нравов и страстей. Эта «правда» не абсолютна, а классово ограничена. Пушкин рассматривает действительность под углом зрения «народного духа», под углом зрения исторической закономерности господствующих «нравов» и общественных форм, на этот стержень нанизывая материал реальной действительности. Он кончает тем, что капитулирует перед феодально-крепостнической государственностью и выдвигает «почвенного» героя, скромно делающего свое дело, верного государственному и моральному «долгу» (Татьяна, Гринев).

Творческое развитие Пушкина вовсе не было каким-то имманентным процессом, как это изображалось либеральными историками литературы. Те или иные тенденции в его творчестве, в его творческом методе порождались и стимулировались живыми практическими потребностями. Творчество его было живым делом, орудием защиты и нападения, орудием осознания окружающей общественной жизни и своего поведения в ней. Может показаться странным, что развитие реалистического метода объясняется здесь как следствие консервативных общественно-политических устремлений Пушкина, как следствие политического компромисса. Но и в этом нет ничего удивительного. Мы знаем примеры, когда субъективно-реакционные тенденции были связаны с реализмом в творчестве. Таков Бальзак. Можно думать, что самый его реализм был орудием разоблачения финансовой, денежной буржуазии с точки зрения буржуазии патриархальной. Маркс в «Введении к критике политической экономии», которое мы уже цитировали, прямо пишет по поводу буржуазных робинзонад: «Так как этот индивид казался им воплощением естественных свойств и (соответствовал) их воззрению на природу человека, то он представлялся чем-то не исторически возникшим, а установленным самой природой.. Это заблуждение было до сих пор свойственно каждой новой эпохе. Стюарт, который как аристократ во многих отношениях, в противоположность XVIII веку, стоит на исторической почве, избежал этой ограниченности».

Реализм вообще имеет в своей основе стремление к широкой, многосторонней, конкретной ориентации в «делах и днях» своего времени, в то время как в романтике преобладает общее, абстрактное, субъективное, преобладает общий протест или общий призыв. Реализм может быть критическим (вырастающим из стремления переделать действительность, предъявляющим ей конкретный «счет»), но может быть и реализмом копромисса, реализмом, ориентирующимся на господствующий строй. У Пушкина мы имеем как

раз последнее. От рационалистического вольнолюбия и эпикуреизма через романтическое «разочарование» он приходит к реализму примирения с окружающим, к реализму малых дел и постепенного прогресса.

Эти соображения дают нам возможность понять и историческую роль Пушкина. Пушкин оказался основной фигурой русской литературы XIX в. не только в силу своей гениальности, но и потому, что он был представителем одной из основных струй русского исторического процесса. Капитализм имел свои национальные формы. Ленин, характеризуя своеобразие русского исторического процесса, писал: «Аграрный вопрос составляет основу буржуазной революции в России и обуславливает собой национальную особенность этой революции» (т. XI, стр. 492). Ленин же, намечая этапы революционного движения в России, говорил, что представителем его в первый период было дворянство. Это означает, что основная проблема классовой борьбы в России XIX в.—проблема аграрного капитализма, проблема тех форм, в каких он будет развиваться. В силу целого ряда исторических обстоятельств в течение всего XIX в. господство осталось за помещиками, все более и более капитализировавшимися. Пушкин стоял у начала этой широкой исторической струи, этого стержня главного потока исторического развития России. Он наметил те проблемы, которые занимали представителей дворянско-буржуазной литературы весь XIX в., и дал художественные формулы для их решения. Фигура Пимена, этого воплощения «национального сознания», «национальной мудрости», фигура «скромного героя»—Гринева, «русской женщины»—Татьяны, фигура «бедного чиновника» в разных вариантах прошли через крупнейшие произведения дворянско-буржуазных писателей XIX в. Это были опорные обобщающие формулы, к которым возвращались все снова и снова. Вот почему «вольнолюбивая» и «эпикурейская» лирика Пушкина не оказала значительного влияния, вот почему его романтические поэмы оказали чрезвычайно большое, но очень недолгое влияние на литературу, современную Пушкину, и вот почему к его реалистическим произведениям возвращались и у них учились в течение целого века. И для нас Пушкин особенно интересен как представитель «молодости» дворянско-буржуазного реализма в России, как наиболее раннее и цельное его проявление.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. например: Гуковский. «Русская поэзия XVIII века», 1927 г., глава «Об анакреонтической оде» (анакреонтика рассматривается здесь с метрической стороны).

[2] «Невский Зритель» 1820, № 7. «Замечания на поэму «Руслан и Людмила».

[3] Сочинения, т. III, стр. 56. Немаловажно то, что Батюшков был связан с «Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств», председателем которого в 1805 г. был Пнин. На смерть его Батюшков написал элегию.

[4] Майков, Л., Батюшков. Стр. 33.

[5] Пушкин. Собр. сочинений под редакцией С. А. Венгерова, т. I, стр. 389.

[6] Там же, стр. 556.

[7] См. например чрезвычайно любопытный отчет конференции лицея после окончания выпускных экзаменов в 1817 г., опубликованный в книге Кобеко «Царскосельский лицей», стр. 94—104.

[8] Там же, стр. 99.

[9] Морозов, П., От лицея до ссылки. Соч. Пушкина под ред. Венгерова, т. I.

[10] Веселовский, А., Период «Зеленой лампы». Там же.

[11] Щеголев, П.,« Зеленая лампа» (в книге «Пушкин»).

[12] Щеголев, П., Пушкин. Очерки, 2-е изд., стр. 20.

[13] Интересно то, что позднее в набросках X главы «Евгения Онегина» Пушкин рисует декабризм с чертами «эпикурейскими»:

Они за чашею вина,
Они за рюмкой русской водки
. . . .
Друг Марса, Вакха и Венеры,
Тут Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры.

[14] «Вестник Европы» 1867, сентябрь, стр. 264.
[15] Тынянов, Ю., Архаисты и новаторы, стр. 135.
[16] «Вестник Европы» 1820, № 11.
[17] «Невский Зритель» 1820, № 7.
[18] «Письма» под ред. Модзалевского. 1926 г., т. I, стр. 25.
[19] Там же, стр. 28.
[20] Там же, стр. 47.
[21] В первоначальном варианте «Кавказского пленника» были такие строки:

Когда роскошных дев веселья
Младыми розами венчал
И жар безумного похмелья
Минутной страсти посвящал.

Это еще более сближает героя элегии и пленника.
[22] Жирмунский, Байрон и Пушкин. 1924 г., стр. 24.
[23] «Остафьевский архив», II. СПБ., 1899 г., стр. 170—171.
[24] «Сын Отечества» 1822, ч. 82, № 49.
[25] «Вестник Европы» 1823, ч. 128, № 1.
[26] «Галатея» 1839, часть 3-я, № 21.
[27] В этом отношении неубедительный в части положительной (в сравнении Пушкина с Шатобрианом) убедителен в части отрицательной В. В. Сиповский в своей статье «Пушкин, Байрон и Шатобриан».
[28] Жирмунский, Байрон и Пушкин, стр. 139.
[29] Вместе Пушкин упоминает их и в прозаической заметке о Байроне 1826 г.
[30] «Письма» под ред. Модзалевского. 1921 г., т. I, стр. 65.
[31] Соч. Пушкина. Изд. Ак. Наук, т. IX, стр. 27—28.
[32] Сочинения. Изд. Ак. Наук, т. IX, стр. 25.
[33] Там же, стр. 23.
[34] «Письма», т. I, стр. 28.
[35] Там же, стр. 29.
[36] Эта сторона дела рассмотрена в книге Жирмунского «Байрон и Пушкин». В ней же собран и материал критических отзывов.
[37] «Письма», т. I, стр. 80. См. также стихотворение «Восстань, о Греция, восстань».
[38] Там же, стр. 85.
[39] Соч., т. IX, стр. 9.
[40] «Письма», т. I, стр. 87.
[41] Соч., изд. Ак. Наук, т. IX, стр. 26—27.
[42] Там же, стр. 21.
[43] Краткую сводку истории вопроса дает П. Н. Сакулин в книге «Пушкин. Историко-литературные эскизы». 1920 г.
[44] Благой, Д., Социология творчества Пушкина. 1931 г., 2-е изд., стр. 23—24.
[45] Соч., изд. Ак. Наук, т. IX, стр. 208.
[46] Там же, стр. 122—124.
[47] В рукописи зачеркнуто «как ей вдруг перенять это равнодушие к высшим званиям».
[48] Там же, стр. 126—127.
[49] Благой, Д., Социология творчества Пушкина, стр. 58—59.
[50] Там же, стр. 61.
[51] Там же, стр. 74—75.
[52] Там же, стр. 68.
[53] Пушкин. Полн. собр. соч. в шести томах. ГИХЛ. 1932 г., т. 4, стр. 695.
[54] Об этой стороне дела говорит Д. Благой в статье «На рубеже тридцатых годов». «Социология творчества Пушкина».
[55] Лернер, Б., Проза Пушкина. 1923 г.

ПРОБЛЕМА ПУШКИНА

Статья Д. Мирского

Одна из основных задач советского литературоведения—способствовать критическому освоению массовым читателем всего «что было ценного в более чем двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры» [1], в его специальной области—художественной литературе. Для этого литературовед должен, во-первых, знать, что в прошлой литературе ценно, а во-вторых, уметь выделить это ценное из конкретно-данного наследства и приблизить его к социалистическому читателю, устраняя все то, что препятствует правильному восприятию этого ценного. Выделить и отделить ценное от неценного—отнюдь не значит закрывать глаза на то реальное единство, в котором предстает нам творчество писателя прошлого. Наоборот, это значит объяснить и показать историческую закономерность такой двойственности, так же как и величайшее разнообразие того мертвого груза, без которого не обходится даже самое лучшее искусство прежних господствующих классов. Так например, имея дело с Гете, необходимо ясно различать между унаследованными чертами франкфуртского патриция, привилегированного мещанина феодальной эпохи, осложняющими образ Гете как поэта восходящей буржуазии, и органической ограниченностью его именно как буржуазного поэта. Но показывая и объясняя эти осложняющие, уродующие и ослабляющие моменты, надо всегда иметь в виду основную задачу: сделать Гете более доступным не только для исторического понимания, но и для эстетического восприятия, способствовать освоению его творчества социалистическим обществом.

Чрезмерная «историчность», пытающаяся связать каждое произведение писателя с злободневными событиями его времени или с кривыми хлебных цен, упуская из виду основную задачу общей оценки данного писателя, создает непроходимую пропасть между читателем и писателем прошлого. Чрезмерное выпячивание такого «исторического» подхода так же отдаляет классика от советского читателя, как сверхфилологические переводы, понятные только тем, кто хорошо знает подлинник. Тем более затемняют дело такие толкования, если они неверны и произвольны. Совершенно голословно например утверждение, что весьма личные отрывки из (еле начатой) поэмы «Таврида» являются актом подчинения самодержавию—как прямое отражение развивающегося сельскохозяйственного кризиса. Но даже если такое объяснение и было более обоснованным, оно имело бы значение только поскольку оно способствовало бы выделению ценного в творчестве Пушкина и оценке его как поэта.

Маркс писал, что гораздо легче объяснить происхождение греческого искусства, чем объяснить, почему оно продолжает доставлять нам художественное наслаждение [2]. Современный литературовед, старающийся быть марксистом-ленинистом, мудро ограничивает себя легкой задачей, и, со-

вершенно забывая о требованиях практических, занимается виртуозным «уточнением» и «углублением» своих объяснений. Однако марксистско-ленинское литературоведение, если оно хочет по праву носить это имя, не имеет права уклоняться от второй задачи, той, которую Маркс признавал наиболее трудной.

Можно находить много спорного и неверного в оценках А. В. Луначарского, но величайшая заслуга его перед нашей культурной революцией та, что он от этой задачи не уклонялся, что он всегда ставил вопрос о классиках и о литературном наследстве в практическом плане, в плане реального критического освоения их массами трудящихся. Больше чем когда-нибудь пора отрешиться от отношения к изучению классиков как к своеобразному «искусству для искусства» и вывести его на большую дорогу очередных задач культурной революции.

Вопрос о Пушкине нельзя отрывать от общего вопроса о классиках и об их освоении. «Пушкиноведение» не составляет какой-то особой дисциплины со своими специфическими методами и задачами. Самый термин «пушкиноведение» пора бы сдать в архив. Оно унаследовано от времени, когда «пушкинисты», следуя общей тенденции буржуазной культуры к максимальной специализации и максимальному отгораживанию «чистой науки» от масс, стремились замкнуться в особую касту, сделав из Пушкина предмет своей монопольной эксплоатации. Какие бы ни были мотивы этого выделения, оно всячески способствовало той чрезмерной детализации, которая за деревьями забывает о лесе. В то же время отрывая Пушкина от сравнения с другими писателями, оно превращало его из живой личности в безликого божка. Конечно худшие стороны старого пушкиноведения чужды «пушкиноведам», получившим марксистско-ленинскую подготовку. Но пережитки старой цеховщины, старой узости и старого противопоставления себя профанам сохраняются. Пора отделаться от этого, а заодно и от ставшего бессмысленным и лишним словечка «пушкиноведение». Пора включиться в живую работу критического освоения Пушкина, первым шагом к которому должна быть продуманная оценка Пушкина, развернутый ответ на вопрос, был ли он великим поэтом и если да, то из чего это видно.

Попытка дать такую оценку была недавно сделана одним из пушкинистов советской формации Д. Благим в его статье «Значение Пушкина» (в сборнике «Три века», 1934). Но попытка эта ясно вскрывает его бессилие поставить вопрос, что делает поэта полноценным и великим. В статье Благого поражает робость мысли, так резко отличающая писания многих наших нынешних литературоведов не только от классиков марксизма-ленинизма, но и от таких старых борцов за коммунистическую культуру, как М. Н. Покровский или А. В. Луначарский. Поражает и специфически пушкиноведческая узость, сказывающаяся в полном игнорировании ряда основных положений марксистско-ленинской науки, как только автор выходит за пределы успевших стать традиционными высказываний Ленина о литературе. Так, например, утверждается, что «программа переустройства сверху», поставленная Екатериной II, была этапом в «дефеодализации русской действительности». Но игнорирование исторической науки большинством литературоведов—явление настолько повальное, что упрекать одного Благого в нем было бы несправедливо.

Ответ на вопрос о значении Пушкина Благой начинает очень издалека, с повторения истин диамата о теории отражения. Затем следуют тоже весьма бесспорные указания на основополагающее значение ленин-

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „ЕГИПЕТСКИМ НОЧАМ“
Гравюра на дереве А. Кравченко
Издание ГИХЛ'а, 1934 г.

ских статей о Толстом. Из этих статей делается вывод, что в художнике важна не его идеология, а исключительно та действительность, которую он отражает. «Все оттенки дворянской идеологии, как и идеологии буржуазной, для нас не только чужды, но и прямо враждебны». Разделавшись таким образом с Беконом и Спинозой, с Гельвецием и Дидро, с Руссо и с Гегелем, Благой спешит отмежеваться от всякого подозрения в эстетизме. Пушкин, он говорит, «был одним из любимейших писателей Ленина. Не объяснять же это только каким-то художественным дурманом, гипнозом великого таланта, замечательным формальным мастерством Пушкина. Ни один марксист так объяснять сущность явления конечно не может». Великолепны эти «дурман» и «гипноз», которыми заменяется специфика художественного творчества, это суровое презрение к «формальному мастерству», это уверенное выступление от лица всех марксистов. Н. К. Крупская как раз по вопросу об отношении Ленина к Пушкину говорит несколько иначе: «Больше всего он [Владимир Ильич] любил Пушкина. Но не только форму ценил он. Например он любил роман Чернышевского «Что делать», несмотря на малохудожественную наивную форму его»[3]. Мы имеем несколько свидетельств о том, что Ленин отнюдь не был так глух и к тому, что Д. Д. Благой называет «дурманом» и «гипнозом». Чувствуя непосредственное воздействие искусства, Ленин мог очень ясно сознавать враждебность и политическую вредность этого искусства. Есть интересная запись у А. М. Горького о том, как Ленин говорил об «Апассионате» Бетховена: «Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди... Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головке людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя»[4]. Выходит, что вопрос о воз-

действии чуждого классового искусства не так-то прост, как представляет себе Д. Благой, который конечно никогда бы не позволил себе такого «идеалистического» слова как «красота». А вот Ленин гордился человечеством за создание «такой красоты» и в то же время умел не подчиняться ее «дурману» и не гладить по головке, когда это было политически недопустимо.

Дальше, механистически упростив положения Ленина до формулы «значение Толстого прямо пропорционально отраженной им действительности», Благой наивно сводит роль художника к роли какой-то простой воспринимающей мембраны. Он даже не ставит себе такого вопроса: ведь не один же Толстой отражал действительность «эпохи после 1861 и до 1905 г.» Ведь рассуждая таким образом, любой человек, описавший Октябрь или 1930—1934 гг., уже неизмеримо выше Толстого, ибо теория-то отражения отнюдь не распространяется на одних художников. Все это—яркая иллюстрация бессилия многих наших молодых литературоведов связать свое марксистско-ленинское образование со спецификой той области, где они работают.

Казалось бы однако, что, не умея логически связать теории отражения со спецификой художественного творчества, Благой, провозгласивши, что значение Пушкина исключительно в том, что он отразил современную ему действительность, должен был бы показать, как Пушкин это сделал, т. е. показать—вот такая была действительность, а вот так изобразил ее Пушкин. Вместо того Благой ограничивается очерком эволюции классовой позиции Пушкина. В очерке этом много правильного. Едва ли даже это не наиболее приемлемая из предлагавшихся до сих пор схем классовой эволюции Пушкина (наряду с этим впрочем есть и старые грехи: «шестисотлетнее дворянство», дожив уж до восьмой сотни лет, все никак не может умереть). Социальную эволюцию Пушкина Благой связывает с его стилистической эволюцией, и хотя тут возможны споры, дискуссионная ценность этих сближений неоспорима. Но все это отвечает именно на вопрос, отвергнутый Благим,—об идеологии Пушкина, об его оценке современной ему действительности—и совершенно игнорирует вопрос, признанный Благим главным: как конкретно отразилась эта действительность в творчестве Пушкина, так же как и вопрос—молчаливо отводимый Благим—чем доказывается, что Пушкин был великий поэт. Впрочем на этот последний вопрос Благой, не ставя его, все-таки отвечает, и ответ его «что во всей мировой литературе не найдется второго писателя, так стремительно переходившего от одних творческих форм к другим, вместившего почти все возможные (разрядка моя.—*Д. М.*) типы и виды словесного творчества, создавшего одинаково величайшие шедевры во всех областях». Существенно таким образом, что Пушкин «стремительно переходил» от «одинаково величайшего шедевра» одного типа к «одинаково величайшему шедевру» следующего типа, пока наконец он не исчерпал «почти все возможные» типы таких шедевров. А что «шедевры» были «величайшие»—просто декларируется. Но нам-то интересно знать, действительно ли шедевры были величайшие и что же их делало величайшими?

Я должен подчеркнуть, что критикуя Благого, я критикую недостатки нашего литературоведения в той его части, которая посвятила себя изучению классиков. Благой не хуже, а лучше большинства. У него есть непосредственное понимание художественного творчества и широкое знание современной Пушкину литературы. Многие его работы безу-

словно ценны. Но как многие наши младшие литературоведы, работающие над прошлым литературы—в отличие от классиков марксизма и старых большевиков, писавших о литературе,—он неспособен марксистски осмыслить свои эстетические оценки, а между тем очередные задачи культурного строительства требуют именно политически и научно сознательной эстетической оценки того литературного наследства, на которое строющий социализм пролетариат начинает самым конкретным образом предъявлять свои права, уже не в будущем, а в настоящем.

Одно из условий, задерживающих развитие нашего литературоведения, и в частности понимания Пушкина,—это своеобразная национальная узость историков русской литературы, стоящая в таком разительном контрасте с неограниченным историческим кругозором основоположников марксизма. Тут играет роль традиционное школьное разделение истории литературы на «русскую» и «мировую», которое может быть и имеет некоторое оправдание в практическом удобстве преподавания, но которое могло быть возведено в принцип только с какой-нибудь славянофильской или «евразийской» точки зрения, но никак не с марксистско-ленинской. У нас нет ни одной истории европейской литературы, которая бы включала русскую, ни одной истории русской литературы, которая бы рассматривала ее как часть европейской. Такое положение дел поддерживается принципиальной установкой многих историков русской литературы на подход к ней как к замкнутому самодовлеющему организму, который можно изучать, отвлекаясь от всех других стран (такой подход получил яркое отражение в номере «Литературного Наследства», посвященном XVIII веку). Работники тех участков литературоведения, которые ближе соприкасаются с современной действительностью, гораздо свободнее от этого недостатка. Работающий над современной советской литературой критик сплошь и рядом знает не только Гашека, Дос-Пассоса и Шоу, но и Гете, Бальзака и Шек-

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „ЕГИПЕТСКИМ НОЧАМ"
Гравюра на дереве А. Кравченко
Издание ГИХЛ'а, 1934 г.

спира и понимает их место в истории культуры лучше, чем наш пушкиновед знает Вольтера и Байрона. Что бы мы сказали об историке-марксисте, который не мог бы видеть пугачевщину в свете немецкой крестьянской войны или украинских казацких восстаний, или который не мог бы сравнить хода промышленного переворота в России с его ходом в Англии или Германии? А где тот пушкинист, который мог бы сказать что-нибудь дельное об отношении, скажем, места Пушкина в русской литературе к месту Гете в немецкой? Чтобы услышать что-нибудь марксистски-толковое по этому вопросу, пришлось бы обратиться опять-таки или к старым культурным работникам-большевикам, или к молодым критикам, работающим в областях, где живей чувствуются непосредственные требования практики.

А практика настойчиво требует ответа на вопрос, может ли большое искусство создаваться реакционным и упадочным классом? Когда прогрессивный класс уже выступил на историческую сцену и положил основание своей культуре, могут ли силы, сопротивляющиеся ему, создавать искусство, которое будет нужно будущему и у которого будут учиться художники революционного класса? Были ли великие национальные поэты прошлого—Данте, Шекспир, Пушкин—выразителями разлагающегося феодализма или были они силами, работающими на освобождение от феодальной ночи? Если допустить, что Данте был, как утверждают нынешние томисты и прочие лакеи католического фашизма, высшим выражением средневекового миросозерцания, что Шекспир был поэт гибнущего феодализма, или что Пушкин был выразителем обреченного на уничтожение барщинного дворянства, становится легче утверждать, что и империалистическая буржуазия создает великое искусство, у которого стóит учиться пролетарским писателям и которое выживает для бесклассового общества. Вопрос о Данте, Шекспире и Пушкине—по существу один вопрос: откуда растет великое искусство—из гнили разлагающегося старого или из сил растущего нового, и есть ли связь между высшими достижениями художественного творчества и борьбой за освобождение человечества от рабства человеку и природе?

Всякая революционная сила вырастает в недрах того старого, против которого она борется, и носит на себе его родимые пятна. Только революционный пролетариат в лице вождей своего авангарда мог создать революционную идеологию, свободную от этих родимых пятен и берущую себе то, что ей нужно, из старого, только в свете всепроникающей революционной критики. Но вне марксизма-ленинизма передовые идеологии и движения прошлого независимо от своей классовой ограниченности были все более или менее сильно загрязнены старым шлаком, который иногда мог быть окрашен в очень яркие и заметные цвета. Оценивая эти идеологии, мы не можем конечно отвлекаться от этого шлака, существенно неизбежного и важного для понимания всех докоммунистических достижений человеческой мысли. Но важны для нас не эти хвосты старого, а ростки нового. В Робеспьере важен не культ Верховного Существа, а осуществление революционной диктатуры. В Спинозе важно не богословское платье, которое он дал своей философии, а ее материалистическая суть. В Гегеле важен не абсолютный дух, а диалектика. Борясь, как Энгельс боролся за Данте, как советская общественность борется за Шекспира, как мы должны бороться за Пушкина, мы вовсе не хотим измышлять классиков по нашему образу и подобию, вовсе не говорим

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „ЕГИПЕТСКИМ НОЧАМ"
Гравюра на дереве А. Кравченко
Издание ГИХЛ'а, 1934 г.

им, как известный дьякон в анекдоте, «порося, обратися в карася». Если бы элементов прогрессивного освобождающего миросозерцания в них не было— за них бы и бороться не стоило. Не боремся же мы за Жозефа де Местра или Константина Леонтьева. Но элементы эти есть, они видны невооруженным глазом. Вопрос только в том, что существенно в них и что второстепенно: освобождающее новое или гниющее старое? А решающий ответ на вопрос о главном и второстепенном в них можно дать только с точки зрения борьбы революционного пролетариата за коммунизм. И с этой точки зрения эти великие национальные поэты, как бы они не вели себя на иных этапах классовой борьбы, как бы они не убегали от нее, как Гете, как бы они не подличали перед временно побеждающей реакцией, как Пушкин, какие бы утопические надежды они не возлагали на реакционные силы, как Данте на Генриха VII,—все они были носителями нового, освобождающих начал буржуазии, и притом не буржуазии как новой специфической формы эксплоатации человека человеком, а буржуазии как могильщика феодализма, буржуазии, еще не переставшей быть, в ограниченном и относительном смысле, носителем интересов человечества.

Характер творчества этих великих поэтов как художников теснейшим образом связан с освобождением из феодальной темницы. Шекспир прежде всего велик как создатель небывало живых и небывало индивидуальных лиц, а утверждение личности и освобождение ее из тьмы поповщины, от оков феодализма и колодок цеха было величайшей культурной задачей буржуазии на лучшем этапе ее развития. Всем стилем своим, ласкающей гибкостью своего стиха, безудержной свободой своего пафоса, игнорированием всего небесного Пушкин теснейшим образом связан с возрождением, «величайшим прогрессивным переворотом» в истории человеческой мысли.

Общий характер его творчества, этот общий характер был отлично понят, и вопрос о нем был поставлен в совершенно правильной плоскости еще

графом Бенкендорфом. «Принятое Вами правило,—писал он Пушкину в 1826 г.,—будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее Вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей». Очевидно та «практика», которой занимался Бенкендорф, так обострила классовое чутье, что позволила шефу жандармов определить характер пушкинской идеологии с четкостью, до которой очень далеко годами работающим над этим вопросом советским «пушкиноведам». «Правило, будто бы гений и просвещение»—самое главное, есть конечно «правило» буржуазное и отражающее лучший этап в культурной жизни буржуазии, век Вольтера и Гете. Столь же ясно, что и стилистические особенности пушкинского творчества, отличающие его от предшествующих поэтов, происхождения не барщинного, а буржуазного, что и у него главное—буржуазное освобождение личности, в лирическом ли пафосе южных поэм, в идеализации ли своих переживаний, в создании ли живых «шекспировских» личностей, начиная с «Онегина» и «Годунова»,—в противопоставлении личностей, Татьяны и Евгения, безликой обывательщине ларинского мира.

Осложняющие моменты во всем этом есть. Не только «родимые пятна», но и отнюдь не невольное преклонение «гордой головы» перед кумирами, оказавшимися кумирами на глиняных ногах. Эти осложняющие моменты играют большую роль у Пушкина, чем у Шекспира или Гете. Для понимания этих осложняющих моментов и нужно понять эпоху Пушкина и осмыслить ее в свете общей истории. Особенности Пушкина (не только эти «осложняющие моменты», но и многое другое) неотделимы от особенностей разложения феодализма в России по сравнению с другими странами.

История России—история страны, от чудовищной отсталости переходящей к исключительно быстрым темпам развития. Когда Пушкин родился, в России только начинало создаваться капиталистическое общество внутри феодального, и в то же время от конца капитализма его отделяет всего каких-нибудь восемьдесят лет. В связи с этим этапы развития русской культуры оказались необычайно сближены. Когда Россия только еще вступала на буржуазный путь, Европа имела за собой полтысячелетия буржуазного развития—от первых зародышей мануфактурного капитализма в Тоскане и Фландрии до Французской революции и промышленного переворота в Англии. Освобождение из феодальной тюрьмы происходило с необыкновенной быстротой. Правда, сами феодалы XVIII в. в своей необузданной грабительской экспансии отчасти расшатали эту тюрьму, и идеологическая атмосфера в России XVIII в., открытая ветрам с соседнего Запада, была не вполне похожа, по крайней мере в верхнем этаже, на ночь средневековья. Несмотря на это, перед поколением Пушкина стояли задачи, на Западе возникавшие впродолжение нескольких столетий. Современнику романтиков, Гейне и Бальзака, ему приходилось разрешать задачи, разрешенные на Западе современниками «татарского ига». Так в истории русского стиха он занимает место, занимаемое в Италии Дантом, в Англии Спенсером, современником Шекспира. Та роль, которую Белинский определил как осуществление идеи художественности, была сыграна на Западе людьми Возрождения. Но в то же время как пионер русского реализма он занимает в своей литературе место, в общеевропейском масштабе соответствующее роли его немногим только старшего современника Вальтер Скотта.

С этим конечно связана та быстрая жанровая и стилистическая эволюция, которую отмечает в Пушкине Благой. Не эта эволюция делает Пушкина великим поэтом, хотя только великий поэт был способен ее проделать. Со своей исторической задачей Пушкин справился блестяще, и это делает его первостепенным литературным деятелем. Но из этого еще не следует, что он был великим поэтом и классиком. Так во Франции некоторые из задач, стоявших перед Пушкиным, были разрешены—и тоже блестяще—группой литераторов, от Малерба до Вуатюра, оставивших неизгладимую печать на всем последующем развитии французского стиха и литературного языка, но творчество которых в лучшем случае очень второстепенно. Для оценки Пушкина как поэта и классика важно не то, какие и как он разрешал задачи, а то, чтó в процессе разрешения этих задач он создал, чтó в его работе, пользуясь словом Луначарского, может рассчитывать если не на вечность, то на долговечность и «возбуждать художественное наслаждение» в строителях социализма.

Отвечая на последний вопрос, сам Луначарский привлекает знаменитые слова Маркса[5] о причинах продолжающейся действенности греческого искусства. «Мы утверждаем,—пишет он,—что Пушкин явился для нашей страны (по аналогии) тем самым, чем по Марксу античное искусство является для человечества». Аналогия эта конечно явно неправильна. Говорить о «детстве человечества» по поводу Пушкина конечно нельзя. Именно той свежести первого изобретения наук и искусств, первого ощущения человеческой личности, первого выхода на свободные пути человеческого существования, которая отличает культуру греческих рабовладельцев[6], у современников разложения феодализма в последней европейской стране и как-никак наследника пяти столетий западной буржуазной культуры не было и не могло быть. Тем

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „ЕГИПЕТСКИМ НОЧАМ“

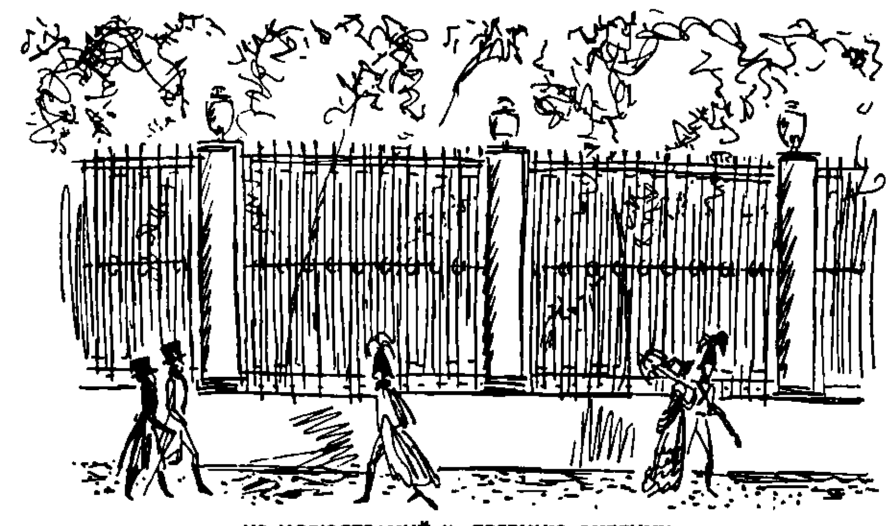
Гравюра на дереве А. Кравченко

Издание ГИХЛ'а, 1934 г.

не менее ошибка Луначарского только относительна. Как прелесть искусства греков обусловлена тем, что они первые выросли из полуживотного младенчества в восприимчивых, пытливых, изобретательных и воспитанных (воспитанных самими собою) детей, так прелесть того раннебуржуазного искусства, которое дал России Пушкин, в значительной мере обусловлено тем, что оно—новый этап на том же пути освобождения человечества от рабства социального и религиозного. Исходя из метафоры Маркса, можно называть это искусство выражением юности человечества. Пушкин был поэтом юности русской буржуазной культуры. Но эта юность была далеко не такой «нормальной», как греческое детство или как та же буржуазная юность в Италии и в Англии. Юность русской буржуазной культуры была изуродована тем, что разлагающееся феодальное тело, на котором она развивалась, было особенно уродливо. Уродливо исключительной интенсивностью крепостнической эксплоатации, тесной связью нарождающегося культурного слоя с классом душевладельцев, наконец огромной силой аппарата феодальной государственности, возглавляемого вождем феодальной реакции всего мира. Время жизни Пушкина было временем, когда хватка мертвого над живым была особенно мучительна и особенно коверкала нормальное развитие русской «юности».

Жизнь и творчество Пушкина проходит два этапа. В течение первого единственным носителем политического и культурного прогресса является социальная группа, к которой он сам принадлежал и единство с которой он очень живо ощущал,—прогрессивное дворянство[7]. Он был его бесспорным и прямым выразителем. Пушкин не был декабристом. Но Пушкин был вождем культурной революции, параллельной политической революции декабристов. Передовая часть дворянства «лезла в tiers-état», и Пушкин для нее создавал на русской почве поэзию, насыщенную всем художественным наследством раннебуржуазной культуры Запада. Победа Николая и аграрный кризис, загнавший в тупик помещичье хозяйство, спутали все карты. Как указал еще Покровский, этот период чернейшей политической реакции не был периодом ни экономического, ни культурного застоя. Медленный, но неуклонный рост капиталистической промышленности, сопровождаемый затяжным аграрным кризисом, с двух сторон ускорял рост удельного веса капитализма. В то же время передовые группы русской интеллигенции в пятнадцать лет проделали огромный путь от поверхностно воспринятого «просвещения» XVIII в. до левого гегельянства и сенсимонизма, путь, на который Германии понадобилось почти три четверти столетия.

Но ясная, казалось, дорога дворянского свободомыслия сменилась темными и подспудными коридорами. Дворянин-республиканец (или конституционалист) и вольнодумец перестал быть главным носителем буржуазного прогресса. Социальная группа Пушкина, обезглавленная и рассеянная оказалась оттесненной от основного исторического пути. Царизм рядился в петровские обноски и поощрял промышленную буржуазию. Удовлетворенная экономической политикой Николая, она стала вполне верноподданной. Новое просветительство, ориентирующееся уже не на Францию и Англию, а на Германию, тоже отказывалось от активной политической оппозиции. Средний помещик возвращался к барщине, но барщина его кормила плохо. В городе всюду росла новая буржуазия, всюду и во всем утверждавшая принцип купли-продажи, полная буржуазной наглости, но совершенно лишенная классового достоинства.



ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „ЕВГЕНИЮ ОНЕГИНУ"
Рисунок тушью Н. Кузьмина
Издание „Academia", 1933 г.

В этой обстановке Пушкин сбился с пути. Своеобразие второго этапа его творчества в том, что это время растерянности и слепоты было для него в то же время временем огромного художественного роста. Это сочетание окончательно лишает его творчество характера «нормальности», который Маркс находил у греков и который можно найти и у итальянцев, и у Шекспира. Но на этом крайне осложненном и «ненормальном» этапе Пушкин остается в конечном счете поэтом буржуазной культурной революции, идеологом просвещения и гения.

То, что Пушкин капитулировал перед самодержавием, само по себе никак не опровергает его роли как пионера буржуазной культурной революции. Если политические вожди буржуазной революции могли нередко проявлять подлинную принципиальность, если участие в революционном деле придавало героическую твердость даже таким социально-типичным дворянам, как Лунин и Якушкин, для буржуазного идеолога и поэта известная подлость, известное лакейство перед существующими господами было явлением нередким. Гегель прославлял прусское государство как высшее воплощение абсолютного духа. Гете «с торжественной серьезностью занимался ничтожнейшими делами и menus plaisirs ничтожнейшего немецкого двора» (Энгельс) [8], даже Дидро льстил Екатерине II. Но у Гете и Гегеля их сервилизм, искажая и уродуя основную линию их творчества, не отклоняет ее. У Пушкина лакейство проникает глубже, в самую сердцевину его творчества, диктует ему стихи, равные по силе лучшим из его достижений (напр. «Полтава»), затемняет его историческое зрение до того, что он одно время видит в Николае носителя исторического прогресса и самый бунт его против собственного лакейства окрашивается в фантастические цвета «шестисотлетнего дворянства». В этой глубине пушкинского сервилизма, так же как и в том непомерном светском снобизме, который в его личной жизни был главной причиной его гибели, нельзя конечно видеть индивидуальную случайность. Корни этих явлений конечно в том, что Пушкин был еще очень близок к дворянской феодальной, крепостнической почве, гораздо ближе, чем Гете или Гегель. Рост буржуазной культуры в России

был быстрей, но именно потому, что быстрый рост не давал остаткам старого вовремя исчезать. И в следующем поколении самые передовые представители дворянской интеллигенции, шагнувшие неизмеримо дальше Пушкина и прямо связанные с международным революционным движением, были еще далеко не свободны от этих родимых пятен,—вспомним хотя бы об «Исповеди» Бакунина.

У Пушкина это было гораздо глубже и органичней, и в творчестве его последних лет нельзя отделить «уже смердящего» дворянина от великого поэта буржуазного освобождения. Они живут вместе, сплетенные в неразрывной борьбе, «обнявшись крепче двух друзей».

Борьба идет внутри поэта и внутри отдельных его произведений. Особенно яркий пример такой борьбы, остающейся неразрешенной, мы имеем в «Медном всаднике». Борьба здесь идет за каждый образ. Ни один не может быть осмыслен до конца с одной точки зрения. Каждое осмысление открывает дверь другому и ни одно не может быть принято как окончательное. Поэма остается до конца двусмысленной. На первый взгляд—это прославление Петра. Наименее сложно вступление поэмы, где «Петра творение» прославляется как столица русского царизма. Но дальше за образом Петра-самодержца, Петра-Николая, открывается образ Петра-революционера, «вздернувшего Россию на дыбы», образ гораздо более сближающий его с Наполеоном, чем с Николаем (кстати, сколько мне известно, «Медный всадник» никогда не сближался с «L'Idole» Барбье, написанным всего за год до того; в образах двух поэм есть несомненное сходство), а Петербург из символа победоносного самодержавия превращается в символ культуры, символ буржуазного строительства, в некую Голландию, отвоеванную у моря. Но, с другой стороны, Петербургу, царской столице, противопоставляются «финские волны». Образ наводнения как символ революции был распространен в русской поэзии 30-х годов (мистерия Печерина, стихи Лермонтова «И день настал»). Пушкин мобилизует все свои поэтические средства, чтобы дать впечатление огромной силы волн. Изображая механизм наводнения («Но силой ветра от залива» и след.—ярчайший пример пушкинской протокольной точности, сохраняющейся на высоте напряженнейшего лиризма), стих Пушкина достигает предельной крепости и действенности. В то же время подчеркивается бессилье Петербурга в борьбе с волнами. Вступление заканчивается заклинанием, взывающим к доброй воле волн, где хотя «злоба» их названа «тщетной», но эпитет этот звучит весьма неубедительно. Зато весьма убедительна сцена с «покойным царем», бессильно, «скорбными очами» глядящего на «злое бедствие». Царь бессилен спасти свою столицу от «божией стихии», и вся его надежда на то, что бог в конце концов уберет свою стихию; он бессилен и спасти своих подданных от этой стихии, и «генералы» («Граф Милорадович и ген.-ад. Бенкендорф», деловито поясняет примечание), «пускающиеся в опасный путь» спасать «дома тонущий народ», даны в комической тональности. Комизм этот приглушен, но выступает совершенно ясно, когда с ним перекликается появление следующего сиятельного персонажа: графа Хвостова с его «бессмертными стихами». Так двусмысленна и сомнительна поэма даже помимо основного конфликта Петра и Евгения. Здесь опять-таки, на первый взгляд, Петр побеждает Евгения. Петр грандиозен. Евгений жалок. Но линия Евгения выдержана без малейшего намека на иронию, в чистой тональности «буржуазной драмы». О Евгении говорят, и правильно говорят, как о предке Акакия

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
К „ЕВГЕНИЮ ОНЕГИНУ"
Рисунок тушью Н. Кузьмина
Издание „Academia", 1933 г.

Акакиевича и Макара Девушкина и всей «филантропической» литературы буржуазного реализма. Но в сравнении с Евгением Акакий Акакиевич и даже Макар Девушкин почти клоуны. Если считать мерой демократизации искусства степень освобождения от обязательства изображать лиц низшего класса комическими—«Медный всадник» стоит неизмеримо дальше по этому пути, чем Гоголь и Достоевский. Конфликт жалкого сумасшедшего оборванца с властелином полумира был уже готовым материалом для комизма. Избегнуть самым решительным образом малейшего намека на комедию—значило тем самым признать равенство Евгения с Петром, признать поражение первого случайным и временным. Евгений вопреки своей внешней жалкости вырастает в трагического героя и гибель его возбуждает не презрительную жалость, а «ужас и сострадание». И самое полуобожествление Петра, придающее ему черты не столько бога, сколько демона, способствует поднятию Евгения до степени некоего «богоборца», а Петра превращает в злую внешнюю силу, враждебную человеку, борьба с которой, хотя бы и без надежды, только возвеличивает борца.

«Медный всадник» справедливо считается одной из вершин пушкинского творчества. Только огромный поэт мог хаос и путаницу своих исторических воззрений и своих мистифицированных сомнений и колебаний, в которых каждый реальный мотив был подменен ложным, превратить в стройную систему образов, в глубокий и сложный образ борьбы, не получающей разрешения.

Но вместе с тем «Медный всадник» вскрывает национальную ограниченность Пушкина. По всему своему облику Пушкин гораздо более космополит и европеец, чем Гоголь или Толстой. Тем не менее Пушкин остается узко национальным поэтом, классиком только для своих соотечественников, а Гоголь и Толстой входят в общую литературную сокровищницу человечества. Пушкин был как бы фокусом, вобравшим в себя огромный художественный опыт всего предшествующего развития буржуазного человечества и перевоплотивший его для рождающейся русской буржуазной культуры. В этом смысл пресловутой «всечеловечности», найденной в нем

Достоевским. Но из этого же следует, что в его творчестве нет ничего принципиально нового по сравнению с раннебуржуазной литературой Запада. Во всемирно-историческом масштабе Пушкин не этап.

Однако разрешая эту очень широкую и обобщенную задачу воссоздания для России того, что было создано в старших странах, Пушкин относился с величайшей восприимчивостью к каждому конкретному повороту современной ему русской истории. У нас многие думают, что такая острая восприимчивость к злободневному—самодовлеющее качество. Если в невинных на первый взгляд стихах Сумарокова оказываются зашифрованные намеки на борьбу прусской и австрийской партии при дворе Елизаветы Петровны, наш литературовед без колебаний засчитывает это в плюс Сумарокову. Это конечно грубейшее искажение основного марксистского положения, что художник должен быть сыном своего времени. Восприимчивость к злобе дня бывает разная.

Восприимчивость Пушкина к современной ему истории была глубоко субъективна. Прежде всего он воспринимал ее с точки зрения своего индивидуального приспособления к ней. Это верно и в грубо биографическом, и в идеологическом смысле. События воспринимались Пушкиным прежде всего как так или иначе изменяющие его собственную позицию и осмысливались им с этой точки зрения. Исторические теории Пушкина глубоко субъективны и «актуальны»: они всегда призваны ответить на вопрос о месте Пушкина в современном ему обществе. Черта эта опять характерна для дворянина, имеющего что терять и ничего терять не желающего.

Так и «Медный всадник» есть лирическое выражение раздумий Пушкина над тем, что ему сулит николаевская реальность. Это лирическая обработка собственной растерянности перед узко конкретным и (как Пушкин не догадывался) относительно эфемерным стечением обстоятельств. Для русского читателя это «стечение обстоятельств»—часть его «исторической памяти» (или, менее образно, часть его «общего образования»); мы знаем, перед чем Пушкин стоит в мучительной растерянности и о чем его раздумья. Не-русский читатель этого не знает. Для него объединяющий смысл вынут из поэмы. Он видит только ряд великолепных картин и весьма загадочно сформулированный конфликт между фигурами, содержание которых ему неясно.

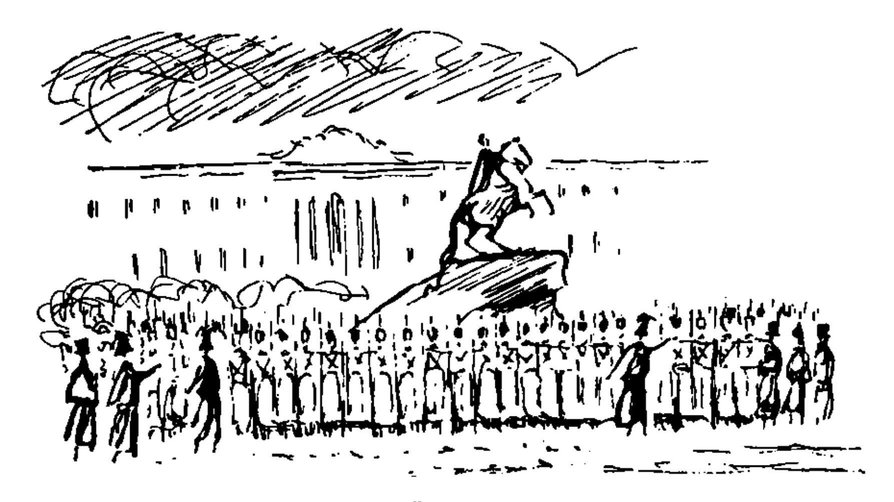
Совершенно другое дело почти одновременные произведения Гоголя. «Ревизор» или «Мертвые души» не страдают от национальной ограниченности, потому что, изображая русскую крепостную действительность с бóльшей реалистической конкретностью, чем Пушкин, Гоголь в то же время изображал ее гораздо более обобщенно, выбирая из нее то, что было типично в широком историческом масштабе, давая одновременно и портрет («кривую рожу»), и обобщающий образ той крепостной действительности, в борьбе с которой выросла русская революция. Такого обобщающего образа Пушкин никогда не мог, да и не стремился дать. Гоголь дает обобщающее знание о крепостной России, Пушкин предполагает его в своем читателе. Это и делает Пушкина национально ограниченным, тогда как Гоголь этой ограниченности чужд.

Все это—осложняющие моменты в творчестве Пушкина. Главное не в этом. Главное в том, что Пушкин создал для России то, что создано было для старших буржуазных наций их классиками от Ренессанса до начала XIX в. В этом свете и должна итти главная линия изучения Пушкина.

шим образом связана с весной передового дворянства, певцом которой в эти годы был Пушкин. Ко времени восьмой главы такая Татьяна становится не нужна Пушкину, и судьба ее характера теперь определяется потребностями того приспособления к николаевской знати, которая была для Пушкина очередной задачей. Татьяна восьмой главы, с одной стороны,—апофеоз великосветской дамы—высшего выражения той знати, к которой Пушкин должен был приспособиться, с другой—моральный образец верной жены для Натальи Николаевны, которая, будучи «отдана» Пушкину, так же хладнокровно относилась к нему, как Татьяна к своему генералу, но будущее супружеское поведение которой было существенным элементом в приспособлении Пушкина к «высшему кругу». Надежды Пушкина на нее как на средство такого приспособления и были сублимированы в высоком лиризме восьмой главы. Образ Татьяны как целое оказался весь изменен новыми «потребностями времени», изменен до такой степени, что первоначальный замысел был совершенно заслонен от читательского сознания. Что и в этом окончательном образе есть познавательная («типическая») ценность—гениально показал Белинский, истолковывая весь образ в свете первоначального замысла и в свете своего знания русской действительности. Но чтобы добраться до этого реалистического (в энгельсовском смысле) образа Татьяны, надо преодолеть весь лиризм позднейшей части романа, то-есть всю наиболее действенную ее сторону. В результате такой своеобразной «оперативности» пушкинских точек зрения и силой лиризма Татьяна из живого человека дворянской России оказалась превращена в своеобразную кривую политически-обусловленных настроений своего создателя, и образ ее, показанный с принципиально разных точек зрения, оказался разорван, как в кубистической картине.

Роль Пушкина в истории русского реализма определяется не «верной передачей» типического в энгельсовском смысле, а огромным шагом в изображении конкретной видимости. В изображении конкретного Пушкин достиг чрезвычайно многого и—тут нельзя не согласиться с Благим—в чрезвычайно разнообразных формах. Первая глава «Онегина», сцена в корчме у литовской границы, характер Савельича, совершенно независимо от их истинной типичности,—шедевры реалистического стиля, совершенно не похожие друг на друга.

Единственное общее во всех трех—их стилистическая свежесть. У Пушкина нет тех «лишних подробностей», которые нагромождает позднейший реализм. Известная скупость средств, дающая мало деталей, но дающая их с максимальной художественной выразительностью, связывает реалистический стиль Пушкина с его ролью как «поэта-художника». Методы пушкинского реалистического письма сравнительно не сложны и легко различимы. Привлекательность их неоспорима. Что они доходчивей господствующих методов—показал с удивительной остротой А. Архангельский. Его переложение отрывка из «Капитанской дочки» манерой Валентина Катаева, Габриловича, Фадеева и Артема Веселого лучше всяких рассуждений говорит о превосходстве пушкинского мастерства над мастерством современных беллетристов. Факт этого превосходства бросается в глаза: проза Пушкина, если ограничиваться короткими отрезками, несомненно доставляет советскому читателю бо́льшее художественное наслаждение, чем проза советских писателей. Но конкретный анализ и объяснение этого факта не так прост, а на нынешнем этапе нашей литературоведческой мысли даже очень труден.



ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „ЕВГЕНИЮ ОНЕГИНУ"
Рисунок тушью Н. Кузьмина
Издание „Academia", 1933 г.

Мастерство вовсе не есть простая линейная функция развития искусства. Маркс указал на неравномерность развития искусства по отношению к материальной базе. Можно утверждать, что и внутри искусства мастерство развивается неравномерно по отношению к искусству как совокупному явлению. Были моменты в истории человеческой культуры, когда художественная форма приобретала как бы самодовлеющее значение и создание красоты становилось главной задачей искусства. Это моменты, когда борьба за прекрасное человеческое тело против духовности и аскетизма феодально-монашеской религии, за прекрасный разговорный язык против церковных заклинаний, богословской сухости и абракадабры феодальных законников, за прекрасные рациональные пропорции геометрии против иррационализма традиционных цеховых и церковных форм выдвигались на первое место в борьбе за освобождение из феодально-церковной тюрьмы. В отличие от других эпох, когда «чистое искусство» служило убежищем для трусов, упадочников и реакционеров, в эти эпохи, особенно в эпоху итальянского возрождения, борьба за красоту как таковую была необходимой частью огромного «прогрессивного переворота». Борьбе за прекрасное словесное икусство на родном, а не церковно-поповском языке особенное значение придавала еще роль такого словесного искусства в образовании и стабилизации национального языка. Этот момент в истории русской культуры и выразил Пушкин. Это имел в виду Белинский, называя его выразителем «идеи художественности» и «поэтом-художником» по преимуществу.

Для нашего времени эти вопросы формы, мастерства, прекрасного языка не имеют того относительно самодовлеющего значения, какое они имели для ранней юности буржуазной культуры. Созданное художниками того времени живо и для нас. Оно живо между прочим потому, что в этом типе искусства больше, чем в каком-либо ином, победоносное разрешение задачи фиксируется в ощутимых художественных фактах и становится непосредственно действенным. Такое искусство является особенно наглядной школой качества. И в русской литературе единственный представитель такого искусства—Пушкин.

В наше время, когда вопрос о качестве и подъеме советского художественного слова на высоту, достойную эпохи, становится очередным, эта сторона пушкинского творчества приобретает особенно большое, можно сказать политическое, значение. Работа Пушкина должна быть вновь оценена и пересмотрена в свете задач социалистической культуры. Решения, данные Пушкиным, сохраняют и для нашего времени свою огромную действенность. Стих его продолжает быть высшим достижением русского стихотворного языка. Но просто воспроизводить эти решения социалистическая литература уже не может. Наоборот, критическое использование Пушкина по этой линии должно способствовать выработке новых решений, нужных для нашей эпохи. На стихе и стиле (в узком смысле) Пушкина особенно плодотворно изучение высших эстетических достижений господствовавших классов одновременно с точки зрения достигнутой ими красоты и с точки зрения ее классовой обусловленности—ограниченности и паразитарности. Ибо элементы паразитарности есть во всяком аристократическом искусстве, а пушкинское искусство, как и все искусство Ренессанса, глубоко аристократично.

Задачи конкретного стилистического изучения классиков с точки зрения их эстетической действенности и одновременно с точки зрения классовой ограниченности—огромная задача, стоящая перед марксистско-ленинским литературоведением, задача, для разрешения которой сделано крайне мало. Тут придется строить на чистом месте, так как то, что сделано в этом направлении формалистами и их учениками, не более как сырой материал, не только потому, что они отрывали искусство от общества, но и потому, что они по существу отрицали оценку. В то же время это область очень удаленная от центральных тем марксизма-ленинизма, область, где цитаты мало могут помочь и где придется самостоятельно работать мозгами. Работа эта может быть плодотворна только если она будет вестись в свете современных задач культурного строительства. Но задачи эти настоятельно требуют такой работы.

Есть одна черта пушкинского стиля, резко отличающая его от большинства современных ему западных поэтов, так же как и от большинства поэтов Возрождения. Это то, что можно назвать рационализмом и трезвостью его стиля. В стихах Пушкина поэтический смысл не искажает прозаического. Становясь орудием эстетического воздействия, слово ни в малейшей мере не перестает быть точным выразителем смысла. В этом Пушкин был прямой наследник классицизма, особенно в его позднейшей буржуазно-вольтеровской стадии. Едва ли не изо всех поэтов Пушкин менее всего пользовался метафорой. Его метафоры всегда такого рода, что могли бы быть употреблены и не в художественном изложении. Вместе с тем, в отличие от классицизма, он умеет достигать величайшей конкретности не путем называния одного предмета вместо другого, а путем точного названия самого предмета. Когда Пушкин сближает предметы, он сближает их не посредством метафоры, а посредством сравнения, не сливая их, а четко различая их в самом сближении. В стилистическом рационализме Пушкина есть и слабая сторона: он чужд той буйной энергии чувства и воображения, которую мы находили, в нормальной форме, у поэтов Ренессанса (особенно у Шекспира) и в менее нормальной у Гете и у некоторых романтиков. Но есть в ней и сильная сторона: она напоминает о том, что сближение «далековатых» идей не есть необходимый атрибут поэзии. Высокая поэзия достигается и безо всякого разрыва с разумным рациональным подходом

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „ЕВГЕНИЮ ОНЕГИНУ"
Рисунок тушью Н. Кузьмина
Издание „Academia", 1933 г.

к миру—простым умением дать словам и их сочетаниям максимальную выразительность, умением дать выражение силе чувства, умением заставить видеть вещи в их конкретной ясности. Эта сторона пушкинского творчества имеет величайшее практическое значение для нашего времени. Она может помочь современному писателю (особенно начинающему писателю) отделаться от мысли, что «образ» есть метафора и что для того, чтобы достигнуть художественности, необходимо каждую вещь называть чужим именем. Поэтический образ есть максимально-адэкватное отражение предмета в словесном выражении, а отнюдь не подмена одного предмета другим. Метафорический стиль связан с определенными типами мировоззрения, так или иначе заражавшими пошедшую за пролетариатом мелкую буржуазию, но глубоко чуждыми строющему социализм пролетариату. Мировоззрение Пушкина было конечно тоже чуждо пролетариату. Но стиль его сложился под сильнейшим влиянием прогрессивных течений буржуазной мысли XVII—XVIII вв. и до конца это влияние осталось у него господствующим.

Третья из задач, разрешенных Пушкиным,—задача дать субъективное выражение освобождающейся буржуазной личности—также приближает его к нам, хотя и меньше, чем роль его как «поэта-художника» или как пионера реалистического стиля в России. Поэзия буржуазного субъективизма более чужда социалистическому человечеству, чем многие другие достижения буржуазного искусства, и лирика Пушкина привлекает больше совершенной красотой работы «поэта-художника», чем содержанием выражаемых чувств. Но исторически эта сторона Пушкина имеет огромное значение, так как именно она ближе всего связывает его с его современниками на Западе—поэтами окончательного пробуждения буржуазной личности от Бернса и Гете до Байрона. Именно эта сторона Пушкина в наибольшей степени вводит его в большое историческое русло культурных течений его времени.

Особенно важно его отношение с Байроном. Об этом писалось много, кое-что написанное сохраняет подготовительное значение и для нас (напр. работа Жирмунского), но марксистского освещения этих отношений мы не имеем. К сожалению вопрос о Байроне сильно запутан нашими литературоведами-западниками и требует коренного пересмотра. Роль его аристократического происхождения (некоторые даже говорят о феодальном!) до смешного преувеличена. Такую уж гипнотическую силу над нашими литературоведами имеют гербы и титулы. Но особенно решительно надо протестовать против попыток подменить в истории развития Пушкина Байрона, представителя большой дороги европейской буржуазной литературы, какими-то задворками «именно русской» литературы устрашающих романов. Это особенно яркий и вредный пример «пушкиноведческого» стремления загнать все относящееся к Пушкину в сугубо специальные загородки, тщательно устранив из них все, что может сблизить Пушкина с большими течениями европейской мысли[9].

Говоря о действенности Пушкина в наши дни, нельзя уклоняться от вопроса об основной настроенности его поэзии. «Жизнерадостность»—так формулировал ее Луначарский, и с этим можно согласиться. Но принимая «жизнерадостность» как основу пушкинского творчества, надо столь же решительно подчеркнуть, что жизнерадостность не значит ни «благословение бытия», ни «оптимизм», ни «олимпийство», ни «примирение с действительностью». Жизнерадостность Пушкина есть жажда жизни, жизни земной и плотской, при полном небрежении к «тому свету». Это привя-

занность к земле, а не к небу. Она того же качества, что у Шекспира и многих других людей Ренессанса. Меньше всего означает она «примирение с действительностью»: примиряться с действительностью Пушкин был большой охотник, но это примирение всегда отражалось в его творчестве пониженным тонусом жизнерадостности. Примирение есть акт двухсторонний, и Пушкину слишком скоро приходилось чувствовать, что он-то мирился с «действительностью», да она с ним не мирилась. Самая жизнерадостная вещь Пушкина, самая независимая—«Гавриилиада», самые подавленные—произведения самого примиренного года его жизни, 1830-го.

Именно примирение с действительностью в эпоху, когда эта действительность обнаружила безвыходные для Пушкина противоречия, нанесло смертельный удар его жизнерадостности. Посюсторонность, органическую неспособность к религии Пушкин сохранил до конца[10], и это конечно устраняет по крайней мере одно препятствие между Пушкиным и пролетариатом.

Но о жизнерадостности по отношению к последнему периоду говорить нельзя. Основной мотив этих лет—мотив безвыходного противоречия, спускающийся до мрачного упадочничества и поднимающийся до высоты трагического. Характерен для этого периода мотив возмездия, мотив неизбежных следствий человеческих поступков. Трагедии Пушкина—употребляя это слово не в жанровом смысле, а в смысле содержания,—как и все его творчество последних лет, глубоко двусмысленны. Первый смысл в них обычно реакционный—кара за грехи гордой и чувственной юности. За этим смыслом, как в «Медном всаднике», раскрываются другие, ни на одном из которых нельзя остановиться. История сыграла с Пушкиным трагедию возмездия гораздо менее двусмысленную. Гибель Пушкина была трагически неизбежным следствием его приспособленческого «примирения» с царизмом. «Без лести» подчинившись Николаю, Пушкин вступил на путь, от добровольной капитуляции неизбежно приведший его к невольным унижениям без числа и наконец к смерти как единственному выходу.

Но трагедия возмездия оказалась и трагедией искупления. Смерть Пушкина от рук руководимой Николаем светской черни в глазах прогрессивной части русского общества смыла с него позор его измен и колебаний. В лице Белинского, жестоко боровшегося с Пушкиным—аристократом и царедворцем 30-х годов, русская демократия признала Пушкина борцом культурной революции, которую она продолжала с бо́льшей классовой сознательностью и более свободная от «родимых пятен» крепостничества. Историческая оценка, сделанная Белинским, выдержала испытание истории и в основном подтверждена марксистско-ленинской наукой. Эстетическая оценка, сделанная им же, во многих деталях устарела, но в основном и она оказывается созвучной оценке эпохи, строящей социализм. Пушкин нужен нам прежде всего как «поэт-художник», широкое критическое использование которого нужно нам для стройки нашей художественной культуры.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ленин, Сочинения, 2-е изд., т. XXV, стр. 409—410.
[2] Маркс, К критике политической экономии. Соцэкгиз. 1931, стр. 81.
[3] Крупская, Воспоминания о Ленине. 1930, вып. 1-й, стр. 178.
[4] Горький, В. И. Ленин. ГИЗ. 1931, стр. 81.
[5] Маркс, К критике политической экономии.

[6] Об этом, кроме указанного места у Маркса, см. «Анти-Дюринг» Энгельса, изд. 1930 г., стр. 167.

[7] Понятие «прогрессивного дворянства» раскрыто с достаточной ясностью марксистско-ленинской историографией. Экономическим стержнем его было среднепоместное дворянство, стремившееся к аграрному капитализму. Наряду с этим однако персонально огромную роль играла дворянская интеллигенция, более или менее беспоместная, из которой могли выходить идеологи не только дворянской аграрной буржуазии, но и других буржуазных групп. Но и в последнем случае они сохраняли бытовую связь с дворянской средой (Пестель).

[8] Маркс и Энгельс. Соч., т. V, стр. 143.

[9] Впрочем в подобных рассуждениях столько несообразностей, что они могут привлечь только ярых фанатиков литературоведческого «славянофильства», больше всего на свете боящихся впустить в замкнутый мир истории русской литературы свежий ветер литературы мировой.

Кстати можно заметить, что считать Радклифа и тем более Льюиса какой-то «низовой» литературой только потому, что следующие поколения значительно снизили оценку, дававшуюся им современниками, нет решительно никаких оснований. Ведь в таком случае к низовой литературе придется отнести и Надсона, и Пшибышевского, и Леонида Андреева, и всех тех писателей, которыми современники восхищались больше, чем потомки.

[10] В порядке житейского и идеологического приспособленчества Пушкин делал попытки «освоить» религию. Но с богом его природа мирилась туже, чем с царем, и тогда как самодержавие могло записать в приход «Полтаву», религиозные стихи Пушкина (вроде некогда знаменитой «Молитвы») резко выделяются своим невысоким качеством.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИЗУЧЕНИЯ ПУШКИНА[1]

Статья И. Сергиевского

Довольно еще недавно вопрос о том, чем отличается идеалистическая историко-литературная наука от диалектико-материалистической, решали примерно так: первая только констатирует факты и описывает их; вторая—не только констатирует и описывает, но и объясняет. И многие литературоведы были искренне уверены в том, что, подвергая «социологической интерпретации» собранный исследователями идеалистического лагеря материал, они делают все нужное для того, чтобы им была обеспечена репутация стопроцентных марксистов[2].

Исторически такое положение вещей в значительной мере понятно. Обрисованные выше представления ближайшим образом связаны с тем широким распространением меньшевистских установок, которое еще несколько лет назад наблюдалось на данном участке идеологического фронта, с широкой пропагандой лозунга «плехановской ортодоксии», долгое время не встречавшей отпора, с недооценкой, а иногда и открытым отрицанием значения ленинского наследия для историко-литературной науки.

Но признавать эти явления исторически понятными—вовсе не значит отказываться от борьбы с ними. К сожалению такая борьба, давно уже успешно начатая, в особенности широко развернувшаяся в связи с историческим письмом т. Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция» и в настоящее время приведшая к целому ряду положительных результатов, все же до сих пор не может считаться вполне завершенной. На некоторых наиболее отсталых, наиболее слабо разрабатывавшихся участках литературоведения влияние этих меньшевистских, вульгарно-механистических тенденций до сих пор чувствуется еще довольно заметно. В частности относится это к пушкиноведению, всегда являвшемуся цитаделью научной реакции, совсем еще недавно служившему трибуной для более или менее откровенной контрреволюционной пропаганды и по сие время во многом остающемуся своеобразной тихой заводью, в которой успешно прячутся от тревог и треволнений современности те, кому это нужно[3].

Одним из проявлений этой отсталости пушкиноведения, изолированности его от общей идеологической борьбы наших дней является тот факт, что до сих пор не было предпринято буквально ни одной попытки разобраться в наследии буржуазной пушкинианы с точки зрения ее классового содержания. Правда, буржуазные пушкинисты порою испытывали потребность рассказать историю своей научной дисциплины. Но рассказывали ее, естественно, почти исключительно под углом зрения постепенного научного совершенствования тех приемов научного исследования, которыми эта дисциплина орудовала, медленно, но неуклонно приближаясь к вожде-

ленным идеалам «точной науки»: у Анненкова и Бартенева, скажем, налицо еще элементы дилетантизма и кустарничества; у Ефремова и Морозова этих элементов уже меньше; а у Лернера и Гофмана они окончательно изжиты, и тем самым ими достигнута искомая степень совершенства.

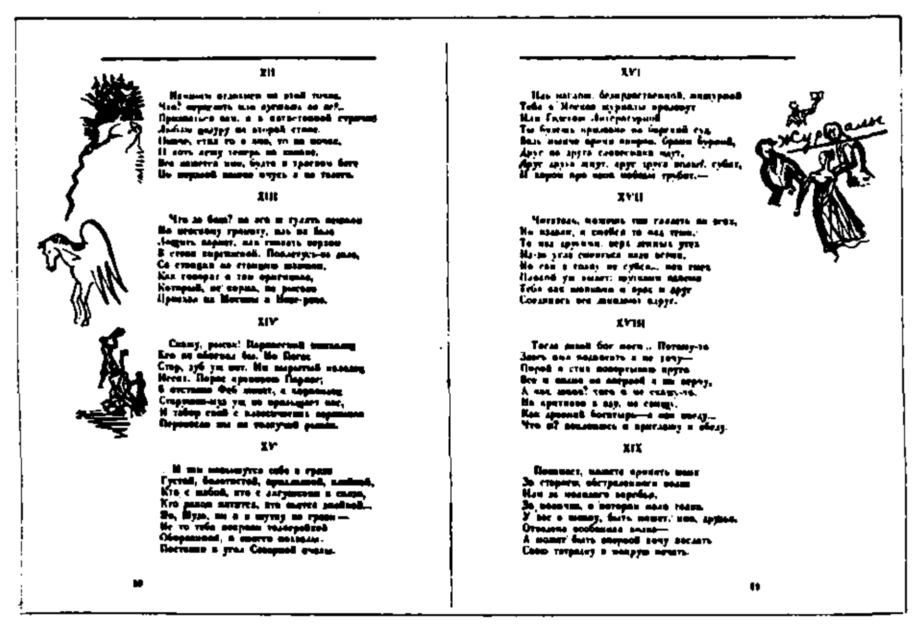
То обстоятельство, что история пушкиноведения представляет собою вместе с тем историю то смягчающейся, то обостряющейся, но никогда совершенно не затухающей борьбы за Пушкина, что всеми писавшими о Пушкине его поэтическое наследие не просто изучалось, но и определенным образом эксплоатировалось, использовалось как материал для пропаганды того или иного миросозерцания, исповедуемого тем или иным исследователем,—буржуазными историографами пушкиноведения последовательно и упорно замалчивалось.

В пушкиниане сравнительно недавнего времени наиболее яркий, правда довольно затасканный, пример такого рода пропаганды на пушкинском материале миросозерцания исследователя представляют собою пушкинские писания Гершензона[4]. Выдвигавшиеся последним положения, действительно стоящие на грани самой разнузданной, самой патологической фантастики, вызвали целую бурю возмущения со стороны его коллег. Но стоит подойти к делу несколько более внимательно, чтобы понять, что между концепцией Пушкина, созданной Гершензоном, и концепциями, создававшимися другими буржуазными пушкиноведами, качественной разницы нет почти никакой.

Все дело лишь в том, что то пренебрежительное отношение к реальному пушкинскому материалу, в котором в большей или меньшей степени повинно все буржуазное пушкиноведение, у Гершензона доведено до своего логического предела. Предшественники Гершензона и его более осторожные современники ограничивались тем, что извращали реальную историческую действительность, когда она противоречила их схемам. Гершензон идет дальше и просто зачеркивает эту действительность, заявляя, что она представляет собою грубую материальную оболочку, скрывающую за собою подлинный смысл вещей и препятствующую его уразумению. Предшественники Гершензона, извращая действительность на практике, в своих теоретических высказываниях неизменно выступали как апологеты самого высокого, самого бесстрастного объективизма. Гершензон отмеченное выше полное презрение к реальной действительности открыто и явно провозглашает краеугольным камнем всей исследовательской работы.

За сто почти лет своего посмертного существования Пушкин перекрашивался бесконечное количество раз. То он фигурировал в обличии убежденного и последовательного охранителя исконных начал, то народолюбствующего либерального земца, то чуть ли не патентованного анархо-индивидуалиста. Гершензоновский Пушкин разделяет с бушменами и фиджийцами (и очевидно с автором) веру в духов умерших людей. Вполне законно и уместно было бы поставить вопрос о том, почему маска австралийского дикаря оказалась столь близкой и привлекательной для русского интеллигента эпохи мировой войны, в возврате к первобытному мышлению пытающегося найти выход из переживаемого им идеологического тупика? Но исследователь, которому эта маска показалась более естественной на лице любимого поэта, чем маска либерального народника или анархиста, заслуживает упрека в фальсификаторстве нисколько не больше, чем все его благонравные и благочинные учителя и коллеги.

Чрезвычайно характерно, что в буржуазной литературоведческой среде гершензоновские писания встретили не только возмущение и осуждение, но и целый ряд положительных откликов. Достаточно назвать некоторые статьи Вересаева[5]. Последний, правда, не пытается роднить Пушкина с Гераклитом или австралийскими дикарями. Раскрытие потаенного смысла той или иной пушкинской вещи понимается Вересаевым не как раскрытие сокровенной, говоря школьным языком, «идеи» ее, а как установление ее биографической подоплеки. Расхождение это однако не принципиального порядка. Важно то, что для Вересаева оказалась весьма привлекательной гершензоновская трактовка художественного произведения как своего рода загадочной картинки: на первый взгляд кажется, что нарисовано



ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „ДОМИКУ В КОЛОМНЕ"
Гравюра на дереве В. Фаворского
Издание Кружка Любителей Книги, 1929 г.

одно, посмотришь—получается совсем другое. Ведь именно здесь наиболее ярко проявляется лежащая в основе гершензоновских построений тенденция к последовательному разрушению реального объекта исследования.

Еще пожалуй характернее та критика, которой подверглись в свое время гершензоновские установки со стороны их противников из буржуазного, по преимуществу формалистического, лагеря. Можно не говорить о том, насколько эта критика была неполной, односторонней, поверхностной: каким-либо образом связать гершензоновскую фантастику с общим кризисом идеалистической историко-литературной науки, бессильной понять историческую действительность и противопоставляющей ей действительность свою, воображаемую,—формалисты естественно и не пытались. Это в порядке вещей. Но замечательно то, что, возмущаясь присвоением Пушкину некоего термодинамического миросозерцания, они с ничуть не меньшей активностью стилизовали его под правоверного опоязовца или, вернее, серапионовца, последовательно чуждающегося каких-либо элементов идейности в своем творчестве и расценивающего каждую мысль

исключительно с точки зрения ее эстетических возможностей[6]. Так что на поверку дело ограничивалось тем, что одна легенда заменялась другой: мыслями о восстановлении подлинного, исторически реального Пушкина буржуазные критики Гершензона оказываются озабоченными столь же мало, сколь и сам Гершензон.

Итак идеалистическое пушкиноведение занималось отнюдь не одним только собиранием и описыванием фактов. Все сказанное делает это очевидным даже для тех, для кого это не было ясно a priori. И отличается от пушкиноведения марксистско-ленинского оно вовсе не своей установкой на дескриптивность, а своей классовой целеустремленностью: тем, что поэтическое наследие Пушкина оно использовало для классовых нужд буржуазии, превращало его в орудие классовой борьбы буржуазии на идеологическом фронте.

Точно так же и марксистско-ленинское пушкиноведение отличается от пушкиноведения идеалистического вовсе не тем, что оно не только констатирует факты, но и объясняет их, а тем, что поэтическое наследие Пушкина оно изучает под углом зрения классовых нужд пролетариата, как один из элементов того многовекового художественного опыта прошлого, критическое освоение которого является обязательным условием успешности борьбы пролетариата за построение художественной культуры бесклассового социалистического общества. Но необходимо подчеркнуть с самого начала, что та борьба за Пушкина, которую ведем мы, качественно в корне отлична от той, которую вели буржуазные исследователи. Для последних использование пушкинского наследия в своих классовых целях выражалось, как мы уже видели, преимущественно в присвоении Пушкину тех или иных идеологических атрибутов, в действительности ему не присущих. У некоторых исследователей-марксистов, или по крайней мере исследователей, заявлявших о себе как о марксистах, наблюдалась тенденция пойти тем же путем, путем создания новой, еще одной легенды о Пушкине, которая вытеснила бы предшествующие.

Такова легенда о Пушкине-якобинце, последовательном и непримиримом враге царизма и его социально-экономической основы—помещичьего землевладения, легенда, в основе которой лежит наивная тенденция к политической реабилитации Пушкина перед лицом современности, как будто бы в простой реабилитации дело и как будто бы только к такой реабилитации и сводится задача нового переосмысления пушкинского наследия. В совершенно развернутом виде находим эту легенду в многочисленных писаниях Брюсова[7], главным образом послеоктябрьского периода. До абсурда она доводится в пушкинской концепции Войтоловского, провозгласившего поэта не больше, не меньше как идеологом крестьянской демократии[8]. Это уже больше чем простая наивность. Выдвигая такого рода положение, Войтоловский вольно или невольно, но совершенно очевидно, дезориентирует читателя в культурном наследии прошлого, прививает ему заведомо ложные, извращенные представления об этом прошлом.

Попутно отметим здесь, что, механически следуя общим теоретическим установкам идеалистической пушкинианы, культивирующие эту легенду исследователи полностью перенимают и исследовательскую технику последней. Уже работы Брюсова в значительной мере построены на основании гершензоновских рецептов, на последовательной переакцентуации реальных смысловых ударений пушкинского текста. Войтоловский смы-

кается с Гершензоном окончательно: общеизвестно его толкование «Египетских ночей» как поэмы о восстании 14 декабря, в которой Клеопатра якобы является символом свободы, ее ложе — символом Сенатской площади, а пять ее любовников—символом пяти казненных декабристов.

Излишне говорить о том, насколько чужд нам подобный путь. Оправдывать свою идеологическую практику в настоящем, освящая ее авторитетом великих имен прошлого, нам нет решительно никакой нужды. В том, чтобы всеми правдами и неправдами превратить Пушкина в нашего духовного предтечу, за сто лет до нас гениально предвосхитившего все наши идейные и художественные искания, мы менее всего заинтересованы. Мы подходим к пушкинскому наследию с определенным классовым критерием, как с определенным классовым критерием подходили к нему и буржуазные исследователи; мы берем у Пушкина то, что нам нужно, и используем взятое так, как нам нужно; но объектом нашего научного исследования неизменно остается подлинный, реально существовавший Пушкин, а не Пушкин, творимый нами самими по нашему образу и подобию.

Реальный Пушкин—значит Пушкин, понятый исторически, понятый в контексте эпохи. Отсюда ясно, какое первостепенное значение имеет для марксистско-ленинского пушкиноведения раскрытие реального классового содержания пушкинского наследия, определение тех движущих сил классовой борьбы эпохи, идеологическим продуктом которых явилось творчество Пушкина. Было бы ошибочно думать, что решением только этой группы вопросов задачи марксистско-ленинского литературоведения ограничиваются. Но совершенно ясно, что не ответив на них мы никогда не сможем решить вопроса о том, какими своими сторонами пушкинское наследие может быть включено в поэтическую практику наших дней, в практику нашего строительства в области художественной культуры.

Небольшой пример лучше всего пояснит, к каким плачевным результатам приводит игнорирование исторической перспективы при разработке этого последнего вопроса. Разговоры о пресловутой аполлоничности Пушкина, его солнечной ясности, его бьющей ключом жизнерадостности неизменно возобновляются почти каждый раз, когда заходит речь о том, в чем же ценность пушкинского наследия для наших дней. Известную фактическую базу подобные разговоры под собой имеют. Одно время— в последние годы южной ссылки—такое состояние большой внутренней просветленности, успокоенности действительно возвращалось к Пушкину довольно часто; одним из наиболее ярких творческих его отражений являются черновики—прозаические и стихотворные—«Тавриды»; временами возвращалось к нему такое состояние и позднее. Но чтобы говорить о степени созвучности этой просветленности и успокоенности нашей эпохе, прежде всего надо ясно представить себе конкретную идейно-психологическую окраску этих состояний у Пушкина, надо понять их в свете той социально-бытовой обстановки, в условиях которой они возникли.

А возникли они как прямой результат отхода Пушкина от либеральных устремлений его юности, как результат осознания безпредметности того индивидуалистического бунта против феодально-крепостнической действительности 20-х годов, который лежит в основе пушкинского байронизма, как результат капитуляции перед этой действительностью. Их объективная окраска была таким образом безусловно консервативной. А затем самое

главное—нет решительно никаких оснований утверждать, что эта просветленность и умиротворенность определяет общий эмоциональный тонус всего пушкинского творчества в целом, что на протяжении всей писательской работы Пушкина его отношение к миру было окрашено этими розоватыми тонами.

Совершенно ясно, что развивавшие это положение исследователи, отказавшись от исторической точки зрения на вещи, в итоге, сами того не сознавая, подпали под влияние буржуазной легенды о Пушкине, легенды, создававшейся десятилетиями и имеющей вполне определенные социально-экономические предпосылки: не случайно в последнее время, уже после Октября, глашатаем этой легенды выступил будущий белоэмигрант Гофман[9]. К сожалению в марксистской и особенно в околомарксистской литературе о Пушкине эта легенда до последнего времени держалась довольно устойчиво: явные следы ее можно найти в построениях Сосновского[10] и в кое-каких других работах[11]. Порою обнаруживаются её отзвуки в некоторых высказываниях даже таких исследователей, как Луначарский[12], Фриче[13].

Что же до сих пор сделано нашей историко-литературной наукой для раскрытия социальной физиономии Пушкина? Сделано, надо сказать, очень мало. Отдельные работы, в которых эти вопросы ставились, правда, были, но положительные результаты этих немногих работ ни в какой мере не слагаются пока что в цельную картину. Говорить об этих результатах в плане демонстрации наших научных достижений в данной области было бы по меньшей мере легкомысленно.

Более или менее отчетливо наметившимися можно считать две точки зрения. Согласно первой, Пушкин является представителем старой родовитой аристократии, угасающей, хиреющей и принимающей характерные черты разночинства, пролетаризированной интеллигенции. Наиболее полно развита эта точка зрения в построениях Благого[14].

Основной дефект построений Благого заключается в чрезмерно доверчивом, некритическом отношении к собственным социологическим автохарактеристикам Пушкина. В свое время Маркс писал в «Немецкой идеологии»: «...в то время как в обыденной жизни любой лавочник умеет различать между тем, за что выдает себя кто-нибудь, и тем, что он есть в действительности, наша историография еще не дошла до этого тривиального познания. Она на слово верит каждой эпохе, что бы та не говорила и не воображала о себе»[15]. Эта марксовская характеристика в полной мере приложима к построениям Благого.

Собрав воедино все высказывания Пушкина, характеризующие эволюцию его классового самосознания, Благой оказался настолько зачарованным собранным обильнейшим материалом, что утратил всякую власть над ним. Вместо того чтобы исследовать, как деформировалась реальная историческая действительность в суждениях Пушкина, он самую историческую действительность принялся реконструировать на основе пушкинских о ней суждений. Вместо того чтобы установить—идеологическим эквивалентом каких социальных сдвигов явилась пресловутая пушкинская формула о шестисотлетнем дворянстве, он именно это шестисотлетнее дворянство объявляет социологическим эквивалентом всей идеологической практики Пушкина. Реальные исторические судьбы той социальной прослойки, к которой биографически принадлежал поэт, опять-таки учитываются Благим лишь настолько, насколько они отражены в историко-

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „КАПИТАНСКОЙ ДОЧКЕ"
Рисунок А. Бенуа
Издание Госиздата, 1919 г.

политических размышлениях Пушкина. А естественно, что Пушкин, ограниченный рамками своего класса и своего времени, конечно не мог дать полной и объективно верной картины того исторического процесса, современником которого он был: он видел только то, что нужно было ему видеть, и толковал виденное так, как хотел толковать. Обращение к внелитературному материалу, к материалу, характеризующему реальные социально-экономические отношения эпохи, было здесь для Благого совершенно необходимо и обязательно. А этот материал для него — вне пределов досягаемости. Он знает лишь действительность, отраженную в кривом зеркале пушкинского восприятия.

Здесь, как видим, его построения напоминают отчасти построения одной литературоведческой школы, когда-то весьма популярной и даже претендовавшей на полную гегемонию в историко-литературной науке,—к построениям переверзианства. Ошибочно конечно было бы ставить полный знак равенства между методологией Переверзева и методологией Благого. Переверзев вычитывает действительность из художественного произведения, Благой реконструирует ее на основании внеэстетических высказываний Пушкина. Но не случайно питомцы переверзевской школы в своих немногочисленных высказываниях о Пушкине полностью солидаризуются с концепцией Благого [16]. И не случайно именно переверзианцами в первую очередь концепция Благого была поднята на щит: почти никак сама себя не проявившая в области пушкиноведения переверзевская плеяда, неожиданно может быть для самого Благого, канонизировала его как своего объективного союзника [17].

Другая точка зрения, выдвигавшаяся [18] целым рядом исследователей [19] и наиболее полно была развита Гельфандом [20]. Согласно этой точке зрения Пушкин является идеологом правого, умеренного крыла декабризма, т. е. идеологом среднепоместного дворянства, в условиях переживаемого страною

кризиса феодально-барщинного уклада вынужденного встать на путь капиталистической перестройки своего хозяйства и в связи с этим выдвинувшего программу умеренно-либеральных буржуазных реформ существующего феодально-крепостнического строя. С самого начала однако эти реформистские вожделения умеряются маячащим в сознании их носителей призраком крестьянской революции, призраком новой пугачевщины. Отсюда их половинчатость, непоследовательность, которая приводит к тому, что в решительный момент культивирующая их социальная группа оказывается неспособной ни к каким активным действиям и идет на компромисс с крепостнической монархией. Отсюда в частности—примирение с николаевским режимом, к которому после разгрома декабризма приходит Пушкин и которое определяет общую идейную окраску его творчества последекабрьской поры.

Гораздо более близкая к истине, чем построения Благого, эта очень стройная схема нуждается однако в довольно существенных коррективах. Она не отвечает прежде всего на вопрос: к какому же именно историческому моменту должен быть отнесен переход количества в качество, на каком именно историческом этапе дворянские идеологи раннего буржуазного либерализма осознали гибельность тех последствий, которыми грозила реализация их прожектов, и пошли на капитуляцию?

Выходит как будто бы так, что решающую роль сыграла здесь декабрьская катастрофа. Это неверно. Ситуация, сложившаяся в день 14 декабря, созрела значительно раньше. Кривая буржуазного либерализма, в связи с усилением реакции на Западе, в связи с ростом крестьянских волнений внутри страны, заметно падает уже накануне 20-х годов. Нависающий затем над помещичьим хозяйством аграрный кризис, в условиях которого барщинный труд снова расценивается как более выгодный, чем вольнонаемный, снимает с повестки дня вопрос о ликвидации крепостного права и окончательно лишает либеральные вожделения начала века всякой питательной почвы [21].

Неверно в частности утверждение, что Пушкин капитулирует перед крепостническим режимом только после декабря. Элементы разочарованности, неверия, идейно-психологической депрессии появляются у него еще до высылки из Петербурга. На юге их прогрессирующий рост одно время как будто бы задерживается, но очень скоро возобновляется с новой силой и достигает предельной напряженности в его байронических поэмах. Правда, последние еще не содержат в себе элементов прямой капитуляции. Но здесь налицо отход от политической борьбы, мотивами которой при всей ее умеренности пронизана политическая лирика юного Пушкина, на позиции индивидуалистического бунтарства.

Проходит еще год-два, и Пушкин уже открыто произносит слово осуждения вольнолюбивым мечтаниям молодости и открыто капитулирует перед патриархальным поместным укладом, — таков именно смысл «Евгения Онегина» [22]. Так что утверждать, что только в последекабрьский период Пушкин начинает проявлять явно оппортунистическое отношение к крепостничеству, считая его неустранимым в данных условиях,— значит вступать в явное противоречие с фактами.

Наоборот, довольно скоро выясняется, что капитуляция перед крепостнической действительностью, отчетливо отразившаяся в «Евгении Онегине», отнюдь не была для Пушкина безусловной и окончательной. Уже в «Борисе Годунове» намечается путь какого-то нового переосмысления

волновавших поэта социально-политических проблем. Во второй половине 20-х годов и позднее, в 30-х годах, Пушкин вновь и вновь возвращается к этим проблемам, то активно утверждая крепостнические начала, то проявляя резко критическое отношение к ним.

Откуда все эти колебания? Какая социальная группа говорит здесь устами Пушкина? На эти вопросы не могла ответить буржуазная историография. На них не отвечает концепция Пушкина — шестисотлетнего дворянина, перерастающего в пролетаризованного разночинца. На него не отвечает и изложенная выше схема Пушкина—идеолога обуржуазивающегося дворянства.

Заманчиво конечно объяснять противоречивость социального мировоззрения позднего Пушкина противоречивостью общественного сознания среднепоместного дворянства, вынужденного все время лавировать между Сциллой крепостнической монархии и Харибдой крестьянской революции. Но все дело в том, что если уже до 14 декабря среднепоместное дворянство при одном призраке пугачевщины встает на колени перед крепостнической монархией, то после 14 декабря его общественные идеалы принимают уже законченно-крепостническую окраску, совершенно чуждую какой-либо половинчатости и каких-либо противоречий. Так что не в этом дело: если политические позиции Пушкина 30-х годов и были противоречивы, то эта противоречивость их знаменовала отход поэта от того класса, идеологом которого он выступал до сих пор.

В каком же направлении менялась его классовая ориентация? Некоторые исследователи усматривают основную черту политической эволюции Пушкина этой поры в его, грубо говоря, дальнейшем обуржуазивании. В качестве основного признака этого дальнейшего обуржуазивания указывается обычно тот факт, что к этому времени Пушкин окончательно становится писателем-профессионалом, живущим своим литературным заработком. Вряд ли такого рода суждение может быть признано основательным. Что после возвращения из ссылки Пушкин самоопределяется как писатель-профессионал, это конечно верно. Но необходимо учитывать, как принципиально осмысливал он тот процесс профессионализации писательского труда, в орбиту которого он был вовлечен. Необходимо, возводя подобные построения, помнить, с какой резкостью он противопоставлял «вшивый рынок» литературной действительности 30-х годов карамзинским временам, когда литература была «благородным аристократическим поприщем». Необходимо помнить, как откровенно заявлял он о том, что систему литературного патронажа он безоговорочно предпочитает меркантильным установкам «смирдинского периода». Таким образом в идеологической практике Пушкина его переход на рельсы профессионализма объясняет далеко не все.

Больше того: остались бы совершенно необъясненными выступления Пушкина 30-х годов против крепостнической монархии даже в том случае, если бы удалось доказать, что его социально-политическое миросозерцание этой поры объективно отражало дальнейший рост промышленно-капиталистических элементов в народном хозяйстве страны. Такая постановка вопроса возможна, ибо если процесс капитализации сельского хозяйства в условиях переживаемого страною аграрного кризиса резко снижается, то в промышленном секторе капиталистические элементы продолжают развиваться почти с неослабевающей силой. Но если в период наполеоновских войн крепостническая монархия стояла на пути русской промышлен-

ности, так же как и на пути капитализирующегося сельского хозяйства, в качестве подлежащей устранению преграды, то теперь она открыто поддерживает промышленный капитал: покровительственными пошлинами крепостническая монархия поддерживает его в борьбе с конкуренцией передовых капиталистических стран, своими штыками открывает ему путь на восточные рынки и т. д.

Единственной социальной группой, в недрах которой после разгрома декабристов бродило глухое, редко прорывавшееся наружу недовольство крепостническим режимом, были первые кадры зарождающейся разночинной интеллигенции, формирующейся из обезземеленного дворянства, из среды которого вышли когда-то «соединенные славяне», из низшего чиновничества и т. д. Недовольство, шедшее отсюда, захватывало иногда и группы, ближе стоящие к привилегированному сословию, в особенности молодое поколение этих групп. Попытки увидеть в антиправительственных выпадах Пушкина 30-х годов что-то родственное этому недовольству, попытки, не нашедшие пока что отражения в печати, но подспудно существующие, настолько фантастичны, что доказывать их беспредметность было бы пустым занятием.

В чем же дело? В чем корни тех противоречий пушкинского миросозерцания, о которых мы все время говорим? Вопрос этот продолжает оставаться нерешенным. Может быть в данный момент даже неразрешимым полностью и во всех своих деталях: здесь дает себя знать та крайне недостаточная разработанность истории социально-экономических отношений эпохи, которая имеется налицо сейчас. Или верно, что Пушкин 30-х годов— идеолог возрождающейся феодально-дворянской фронды против централизованной полицейско-бюрократической монархии, которая находит законченное выражение в николаевском режиме?[23] Может быть и так. На какую-либо окончательность это предположение не может впрочем претендовать, как и ни одно из предположений, указанных выше. Справедливо сказано было, что полного и исчерпывающего решения все вопросы, связанные с эволюцией социально-политического миросозерцания Пушкина, вообще не могут получить до тех пор, пока они не будут осмыслены под углом зрения единой научной концепции русского исторического процесса. Такой концепции старая дворянская и буржуазная историография не имела. Мы находим ее в ленинском учении об историческом развитии России. Совершенно очевидно, что до конца может стать понятным пушкинское наследие только тогда, когда оно будет понято в свете этого учения.

Пока что мы далеки от осуществления этой задачи. Здесь необходимо учитывать одно очень существенное обстоятельство. Историко-литературная наука не представляет собою изолированной, имманентно развивающейся дисциплины. В очень большой степени ее поступательное движение вперед зависит от состояния смежных дисциплин, в первую очередь— истории экономической и социальной. Между тем самим Лениным его концепция русского исторического процесса разработана, как известно, преимущественно применительно к пореформенной эпохе. Попытки понять в свете этого учения раннюю стадию исторического становления промышленного капитализма в России до сих пор не вышли еще за рамки первоначальных дискуссий.

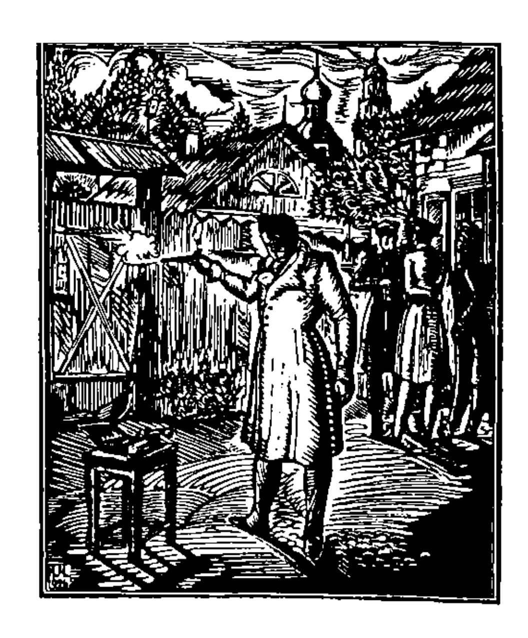
Так северный, умеренно либеральный декабризм рассматривали как зародыш «прусской» тенденции; южный революционный декабризм—как

зародыш «американской» тенденции. Но дальнейшее их развитие, их соотношение в 30-х, в 40-х, в 50-х годах—все это остается сейчас весьма и весьма туманным, и этот факт не может не отражаться на степени разработанности соответствующих периодов истории литературы.

Это первое. А затем—самый вопрос о том, как может быть, как должна быть применена ленинская концепция к историко-литературному материалу, следует поставить глубже и серьезнее, чем он ставился до сих пор. Нельзя сводить вопрос о том, был ли Пушкин «ранним и гениальным художественным выразителем тенденций помещичьей буржуазности, ранним и гениальным выразителем капиталистических тенденций прусского типа»[24], к вопросу о большей или меньшей прямолинейности или, наоборот,— умеренности пушкинского либерализма. Необходим более широкий подход: необходимо понять, что борьба «прусской» и «американской» тенденций по своему содержанию не ограничивается рамками чистой экономики и чистой политики, а захватывает все участки общественной жизни, на каждом из них приобретая особый характер и особую окраску.

В частности, в области эстетической культуры то или иное художественное произведение может объективно выражать ту или иную тенденцию и в том случае, если в нем не содержится прямых заявлений автора о его политических симпатиях и антипатиях. В тяготении к определенной проблематике, к определенному тематическому материалу, в трактовке этого материала, в расположении художественной светотени, даже в особенностях языка и конструкции та или иная тенденция может объективироваться *не менее четко, чем в программных авторских высказываниях*. Все это должно быть принято во внимание с самого начала.

Вообще не подлежит никакому сомнению исключительное значение ленинского учения о двух путях как общей основы всей дальнейшей работы в области истории и социологии русской литературы XIX века, но погоня за быстрыми результатами, за скороспелыми выводами и обобщениями, подмена идеологии фразеологией — самое вредное, что может здесь быть. «В вопросах культуры торопливость и размашистость вреднее всего.



ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „ВЫСТРЕЛУ“

Гравюра на дереве Н. Чернышева

Это многим из наших юных литераторов и коммунистов следовало бы хорошенько намотать себе на ус»[25].

Дальнейшая разработка вопросов социологии творчества Пушкина имеет существеннейшее значение для дальнейшего развития марксистско-ленинского пушкиноведения. Мы уже видели, как в результате полной утраты исторической перспективы иные исследователи объявляли наиболее созвучной нашей эпохе стороной пушкинского наследия просветленность и умиротворенность Пушкина, возникшие у него в результате его капитуляции перед крепостнической действительностью. Знание истории и социологии эпохи важно нам, поскольку оно предохраняет от повторения подобных недоразумений.

Но придавать вопросу о том, чьим идеологом был Пушкин, какое-то самодовлеющее значение так же наивно, как наивно думать, что какое-то самодовлеющее значение имеет вопрос: в кого был влюблен Пушкин на рубеже 20-х годов—в Марию Голицыну или в Марию Раевскую? Для нас существенно одно: как может быть использовано пушкинское наследие в деле строительства нашей художественной культуры, а все остальное имеет значение второстепенное и вспомогательное.

Не надо только трактовать эту проблему слишком упрощенно. Дело вовсе не в том, «созвучны» или «несозвучны» нашей эпохе те или иные идейно-психологические установки пушкинского творчества. Такая постановка вопроса как раз является отзвуком того чисто потребительского отношения к искусству, которое характерно для буржуазной эстетики, но которое совершенно чуждо эстетике борющегося и побеждающего пролетариата. Ставя вопрос так, мы настежь открываем двери самому разухабистому импрессионизму, вульгарнейшей вкусовщине, айхенвальдовщине. Ценно для нас в литературном наследии прошлого вовсе не только то, что близко нам по своему идейному содержанию. Правильнее может быть даже говорить не о том, близок или не близок нам Пушкин, а о том, интересен или не интересен он для нас, может или не может чему-нибудь научиться у него современная литература, актуально или не актуально его наследие в свете тех задач, которые формируют проблематику нашего литературного движения.

Не надо наконец впадать в схематизм и стремиться во что бы то ни стало решить вопрос раз навсегда, целиком и полностью. Творчество Пушкина—явление очень сложное, очень противоречивое, и переоценка его под углом зрения задач нашей культурной революции—дело очень серьезное, требующее больших усилий и больших предварительных работ.

Некоторые соображения на эту тему, высказываемые ниже, менее всего претендуют на то, чтобы исчерпать этот вопрос полностью. Мы пытаемся только выделить те элементы литературного поведения Пушкина, на которых, по нашему мнению, в первую очередь должно быть сосредоточено внимание марксистско-ленинской историко-литературной науки, пытаемся показать, как должна быть повернута повседневная практическая работа в этой области, чтобы результаты ее могли дать наибольший эффект с точки зрения переосмысления пушкинского наследия с позиций современности.

Свою писательскую карьеру Пушкин начал как политический поэт, агитатор за вольность, как автор многочисленных стихотворных памфлетов, обращенных своим острием против аракчеевско-фотиевской России. Исключительная агитационная роль его политической лирики, безусловно

значительнейшего памятника агитационной литературы первого этапа буржуазной революции в России, известна давно[26]. Буржуазная историография однако, очень усиленно занимавшаяся например лицейскими стихотворениями Пушкина, очень детально разработавшая вопрос о роли Пушкина в литературной борьбе эпохи, последовательно игнорировала его политическую продукцию, толкуя ее как что-то случайное, незначительное, второстепенное.

Отчасти такая низкая оценка ее зиждется на том, что сам Пушкин не очень серьезно относился к своим политическим эпиграммам и ноэлям. Это верно: имеется ряд свидетельств, позволяющих сделать вывод, что сам Пушкин отнюдь не сознавал того громадного агитационного эффекта, который имели его политические стихотворения[27]. Но что отсюда следует? Следует только то, что мы имеем здесь нередко встречающийся пример несовпадения субъективных намерений автора с объективными результатами его творческой работы, и ничего больше.

Интерес, проявляемый к политической лирике Пушкина со стороны литературоведов-марксистов, а еще раньше—литературоведов, примыкавших к революционно-демократическому лагерю, сильно тормозился ограниченностью и умеренностью заявляемых в ней политических требований[28]. Это тоже верно: выше довольно скромных, умеренно-конституционалистических идеалов северного декабризма Пушкин поднимался довольно редко. Но опять-таки нельзя упускать из виду того обстоятельства, что, несмотря на всю умеренность выдвигавшейся в рассматриваемых пушкинских вещах политической программы, они занимали очень видное место в идеологическом обиходе наиболее радикальных южнодекабристских кругов, служа таким образом делу буржуазной революции гораздо действеннее, чем можно судить об этом, если рассматривать политические стихотворения Пушкина исключительно, так сказать, в имманентном плане, отвлекаясь от вопросов их социального бытования.

Опыт политической лирики Пушкина должен быть внимательнейшим образом освоен современной литературой, современной поэзией, а марксистско-ленинское пушкиноведение должно здесь активно притти к ней на помощь. Надо показать, как камерные лирические формы, возникшие в условиях аристократической салонно-кружковой культуры русского ампира, разбухают, наполняются социально-емким гражданским материалом, как эпиграмматическое искусство—искусство малой формы—становится у Пушкина искусством большого социального диапазона, искусством подлинно массовым, поскольку можно говорить о массовости применительно к контингентам дворянской общественности той эпохи.

Основной и кардинальнейшей проблемой литературной эволюции Пушкина в период его пребывания на юге является проблема пушкинского байронизма. Проблема эта бытует в научном обиходе пушкиноведения, как известно, довольно давно. В пушкиниане недавнего времени ей посвящено фундаментальнейшее исследование Жирмунского[29]. При всей его фундаментальности оно остается однако не более, как сводкой тщательно подобранного и прекрасно препарированного материала.

Между тем Жирмунский имел здесь все основания поставить вопрос в более широкой плоскости. Он сам отмечает то давно известное в западноевропейской историко-литературной науке, но оставляемое в пренебрежении исследователями русского байронизма обстоятельство, что содержание байронизма как поэтической системы далеко выходит за рамки

творчества самого Байрона. «Байронические поэмы,—пишет Жирмунский,—представляют из себя наиболее последовательное выражение художественных вкусов целой эпохи. Романическая фабула, необычайные характеры, потрясающие и нередко мелодраматические душевные переживания, эффектные жесты и позы, экзотическая обстановка действия и т. п.—все эти элементы поэтического байронизма существовали до Байрона и одновременно с Байроном: стоит только в поэзии «высокого стиля» вспомнить более известные имена Шатобриана, Вальтер Скотта, Томаса Мура и др., а в популярной прозаической литературе конца XVIII и начала XIX века ту богатую подонную струю романов тайны и ужаса (Вальполь, г-жа Рэдклифф, Льюис и др.), из которой в эпоху романтизма заимствовала свои приемы и темы «высокая литература» и в частности во многих случаях— поэзия самого Байрона»... «Целый ряд романически-эффектных мотивов, заимствованных Байроном из популярной литературы «страшных романов», возвращаются в «восточных поэмах» с поразительным однообразием»[30].

Но раз байронизм как поэтическая система существовал задолго до Байрона и помимо Байрона, то вполне уместно поставить вопрос: можно ли, говоря об источниках русского байронизма, в частности об источниках байронизма Пушкина, обходить молчанием имена тех носителей байронического стиля, в творчестве которых его художественные принципы находят столь же законченное и последовательное выражение, что в творчестве самого Байрона? Ясно, что нельзя: должны быть обязательно учтены те явления «низкой» литературы, из которой Байрон вырос. А этот вывод *уже прямо диктует исследователю русского байронизма необходимость* обращения к массовой повествовательной литературе конца XVIII— начала XIX в. И именно к русской. Подменять проблему русского байронизма проблемой русского редклиффизма или русского льюисизма было бы глубоко ошибочно, да такая подмена и не вносила бы чего-либо нового в освещение вопроса. Но в том-то и дело, что Редклифф, Льюис—излюбленнейшие имена русской низовой популярной беллетристики той эпохи; переводный «готический роман», «роман тайны и ужаса»—жанр, органически вросший в эстетический обиход русского низового читателя.

Ко всему сказанному можно прибавить, что в высказываниях самого Пушкина имя Байрона очень часто переплетается с именами наиболее популярных авторов «устрашающей» беллетристики. В одном из писем к Дельвигу льюисовский «Монах» фигурирует в качестве образца «поэзии мрачной, богатырской, сильной, байронической». Понятие «байронический» («byronique») и «мельмотический» («melmotique») толкуются как тождественные в черновом письме к Александру Раевскому, отделенном от предыдущего двухлетним промежутком. Наконец можно вспомнить известное место из «Евгения Онегина» (гл. III, стр. XII):

Британской музы небылицы
Тревожат сон отроковицы,
И стал теперь ее кумир
Или задумчивый вампир,
Или Мельмот, бродяга мрачный,
Иль вечный жид, или корсар,
Или таинственный Сбогар.

Здесь байроновский Корсар стоит совершенно в одной плоскости с произведениями «устрашающих» авторов. Характерно, что эту непосредствен-

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „БАРЫШНЕ-КРЕСТЬЯНКЕ"

Рисунок Г. Туганова, 1928 г.

ную связь байронизма с «устрашающей» беллетристикой достаточно остро ощущали еще младшие современники Пушкина. Аполлон Григорьев, переживший смерть Пушкина пятнадцатилетним подростком, говоря о писаниях одного французского «устрашающего» автора—виконта д'Арленкура, отмечает его политическую реакционность и. далее указывает: «не тем влек к себе дюжинный романист, а своей французской страстностью, которая помогала ему разменивать на мелочь могучие и однообразно мрачные образы сплинического англичанина, к которому восторженное послание написал Ламартин и которого наш Пушкин называл, уподобляя его морю, «властителем наших дум», и которому читающая чернь поклонялась по наслышке и издали, как таинственному и мрачному божеству. Все эти «Пустынники», «Агобары», «Чужестранки»—были решительным разменом на мелочь байронизма; разменом может быть более доступным черни, чем самый байронизм»[31]. Не следует конечно усматривать в этих суждениях попытку какой-либо научной постановки вопроса. Достаточно отметить, что Аполлон Григорьев говорит об «устрашающей» беллетристике как об измельчании байронизма, в то время как первые произведения этого рода начали появляться задолго до появления первых собственно байронических произведений; переводы самого д'Арленкура относятся к 1823—1824 гг. Но как показание современника, подтверждающее законность постановки намечаемой выше проблемы, настоящее свидетельство безусловно интересно.

Весь этот богатейший материал совершенно не освоен нашей историко-литературной наукой. Между тем он дает право поставить проблему пушкинского байронизма совершенно по-новому. Мы уже отмечали выше, что байронические поэмы Пушкина непосредственно связаны с той тяжелой идейно-психологической депрессией, которую переживает Пушкин в начале 20-х годов и которая является результатом его отхода от декабризма. Мы отмечали также, что отход этот не был связан с изменением

его классовой ориентации: он двигался вправо, не отрываясь от основного массива той социальной группы, в качестве идеолога которой он выступал до сих пор, а вместе с этим массивом.

Если более углубленные разыскания подтвердят, что пушкинский байронизм в такой же мере строится на канонизации мотивов и образов популярной романистики, как, скажем, «Руслан и Людмила»—на канонизации псевдофольклорного лубка [32], то это позволит сделать ряд выводов очень существенного значения. Получается, что, эволюционируя вправо идеологически вместе с основными массами среднепоместного и мелкопоместного дворянства, Пушкин вместе с тем настойчиво стремился в своей художественной практике опереться на эстетический опыт данных социальных групп в прошлом, стремился с максимальной полнотой использовать наследие той литературы, которая составляла основной компонент эстетического быта среднепоместного и мелкопоместного дворянства до того, как оно вступило в полосу кризиса, связанного с проникновением в сельское хозяйство капиталистических отношений. Эта борьба Пушкина за овладение прошлым эстетическим опытом своего класса, борьба за новое использование тех форм и методов его эстетической практики, которые в свое время, в иной исторической обстановке активно противустояли формам и методам эстетической практики других социальных групп, скажем—эстетической практики придворной аристократии, в свете общих проблем литературного движения наших дней представляет несомненный интерес.

Имеются все основания высказать предположение, что борьба эта рамками байронических поэм не ограничивается. Начинать надо именно с них, ибо здесь возможность положительных результатов наиболее вероятна. Но вполне законно поставить вопрос о роли низовой, демократической беллетристики в поэтической практике Пушкина и применительно к дальнейшим этапам его творческой эволюции.

Прежде всего останавливает здесь наше внимание «Евгений Онегин». Сам Пушкин, говоря о произведениях, имеющих, по его мнению, те или иные точки соприкосновения с его стихотворным романом, называет вещи Ариосто, Байрона, Самуэля Ботмера, Вольтера, Грессе, Гете, Богдановича, Лафонтена, Крылова [33]. Позднейшие исследователи прибавляют к этому перечню еще несколько десятков имен. Но вопрос о соотношении «Евгения Онегина» с популярным нравоописательным и бытописательным—национальным и переводным—романом до сих пор не ставился; поставить его следует.

«Евгений Онегин» является вместе с тем первым звеном в цепи тех произведений Пушкина, которые позволяют во всей ее широте поставить проблему пушкинского реализма, в данный момент—быть может центральную проблему всего пушкинского наследия. Соображения, до сих пор высказывавшиеся на эту тему, слишком суммарны и слишком отрывочны, чтобы можно было ими удовлетвориться. Кроме того исследователи, огульно характеризовавшие Пушкина как художника-реалиста и рассматривавшие пушкинский реализм как основную, близкую нам черту его творчества, впадали отчасти в тот же антиисторизм, что и проповедники пушкинской аполлоничности.

Что «Евгений Онегин»—произведение по своим конструктивно-стилевым установкам реалистическое,—очевидно. Но очевидно также и то, что из призрачного, условного мира своих байронических поэм Пушкин воз-

вращается в мир действительности, потому что—мы уже говорили об этом выше—капитулирует перед этой действительностью. Его отношение к этой действительности остается критическим, она не перестает вызывать в нем то острое чувство неудовлетворенности, которое диктовало ему когда-то его «Деревню», но вера в возможность её переделки Пушкина покидает. Больше того: те попытки изменения существующего социально-бытового уклада, дань которым отдал в годы своей юности и сам он, здесь прямо осуждаются им.

О «Кавказском пленнике» Пушкин писал, что в этой поэме он хотел «изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи XIX века». В «Евгении Онегине» он ставит перед собой ту же задачу. Но здесь эта задача включена в другую: известно, что по первоначальному замыслу поэта герой его романа должен был попасть в число декабристов. Мы не знаем точно, когда Пушкин отказался от этого замысла. Но знаем, что он характеризуется очень большой устойчивостью: тому свидетельство десятая глава.

Пушкинская историография до сих пор мало обращала внимания на указанное обстоятельство. Между тем оно очень существенно для определения основных идеологических установок романа. Представить в качестве основного персонажа декабристского движения,—основного, ибо совершенно очевидно, что образ Онегина трактуется Пушкиным как социально-типический,—человека, отчетливо наделенного элементами глубокой социальной ущербности, пресыщенного и разочарованного[24],—это значит заявлять о совершенно определенном отношении и к самому движению. Что Пушкин на исходе 20-х годов оценивал декабризм весьма невысоко—общеизвестно:

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „БАРЫШНЕ-КРЕСТЬЯНКЕ"

Рисунок Г. Туганова, 1928 г.

Все это было только скука,
Безделье молодых умов,
Забава взрослых шалунов...

И тогда он в этой оценке абсолютно не был оригинален. Но тот факт, что такая оценка намечается уже в первых главах «Евгения Онегина», самым решительным образом колеблет традиционные представления о политической эволюции Пушкина, согласно которым его пресловутое поправение начинается никак не раньше 1826 г. Трактовка же романа как раннего идеологического продукта той стабилизации феодально-крепостнических отношений, которая становится очевидной в начале 20-х годов, приобретает в свете этого факта очень большую убедительность.

Подробно развивать здесь эту тему было бы пожалуй неуместно: это задача особой работы. Отметим только одну маленькую, но весьма характерную деталь. Пушкинская «Записка о народном воспитании» до сих пор остается камнем преткновения на пути мелкобуржуазных исследователей Пушкина, наивно пытающихся реабилитировать его перед современностью, перекрасив его в последовательного якобинца. Было бы весьма полезно этим господам сравнить соответствующие абзацы «Записки» с первыми строфами первой главы «Евгения Онегина», где речь идет о воспитании героя: сходство обнаруживается весьма значительное.

Никем еще до сих пор не была предпринята попытка дать развернутый анализ пушкинского реализма в свете того учения о реалистическом искусстве, которое оставлено нам классиками марксизма, прежде всего—в свете известных суждений Энгельса о Бальзаке[35]. Такой анализ должен быть произведен. Но надо с самого начала предостеречь против простой аналогии Пушкин—Бальзак. Такая аналогия весьма заманчива. Известно, что Энгельс в полной мере сознавал реакционность бальзаковского миросозерцания. «Бальзак политически был легитимистом,—писал он,—его великое произведение—непрестанная элегия по поводу непоправимого развала хорошего общества, его симпатия на стороне класса, осужденного на вымирание». Все это в полной мере применимо и к «Евгению Онегину». А раз это не мешало Энгельсу воздавать должное реалистическому искусству Бальзака, то и высокой оценки пушкинского романа не должны колебать его капитулянтские тенденции,—такое рассуждение естественно.

Но не следует забывать того, что Энгельс говорит дальше. А Энгельс, отметив легитимизм Бальзака, продолжает: «Но при всем этом его сатира никогда не была более острой, его ирония более горькой, чем тогда, когда заставляет действовать аристократов, мужчин и женщин, которым он глубоко симпатизирует. Единственные люди, о которых он говорит с нескрываемым восхищением,—это его наиболее ярые антагонисты, республиканские герои Cloitre Saint Merri,—люди, которые в то время (1830—1836 гг.) были действительно представителями народных масс. То, что Бальзак действительно был принужден итти против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков, что он видел неизбежность падения своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих лучшей участи, и то, что он видел настоящих людей будущего там, где только в это время можно было их найти,—это я считаю одной из величайших побед реализма, одной из величайших особенностей старика Бальзака».

Вышеприведенная характеристика трудно приложима к пушкинскому реализму на первой стадии его развития. Ничего кроме в лучшем случае своеобразной социальной патологии, в худшем—беспредметного и невинного бузотерства Пушкин-автор «Евгения Онегина» не увидел в стремлениях лучших людей своего класса, стремлениях пусть недалеких, более чем умеренных, но все же отмеченных знаком протеста против крепостничества. Правда, противустоящая этим стремлениям стихия патриархального поместья тоже отнюдь не встречает с его стороны полного и безоговорочного признания; но ее художественная критика, какой бы остроты эта критика порою не достигала, неизменно умеряется сознанием ее исторической предуказанности, непреодолимости.

Все сказанное не обозначает конечно того, что проблема пушкинского реализма должна быть снята с повестки дня. Не надо только, не разобравшись как следует в его классовой сути, торопиться с заявлениями о созвучности реалистических тенденций пушкинского творчества нашей борьбе за реализм в искусстве. Но в этой борьбе за реалистическое искусство нашей эпохи, за искусство социалистического реализма мы разумеется не можем проходить мимо реалистического искусства прошлого, каково бы не было его классовое содержание.

Сейчас, когда говорят о русском реализме XIX в., имеют в виду обычно ту его струю, которая получила наиболее полное развитие в творчестве писателей второй половины века—идеологов революционной демократии, народников например. Это—так называемый критический реализм, в основе которого лежит стремление художника к переделке изображаемой действительности. Реализм Пушкина, как видим, тоже не лишен своеобразного «критического» уклона. Но отсутствие какой-либо положительной программы жизнеустройства сообщает ему совершенно иное художественное качество. Тем более пристального внимания историко-литературной науки он заслуживает.

Анализ поэтической практики Пушкина как художника-реалиста в свете нашей борьбы за реалистическое искусство далеко не единственный пример того, как литературное наследие Пушкина может быть прямо и непосредственно включено в сферу наших творческих споров, в обстановке которых рождается и растет наша литература.

Еще один пример. Очень полнозвучный отклик нашла в нашей литературной действительности проблема шекспиризации, с большой остротой поставленная в письмах Маркса и Энгельса к Лассалю по поводу «Франца фон Зикингена». Борьба Пушкина за создание шекспировской народной трагедии—борьба вовсе не исчерпывающаяся одним «Борисом Годуновым»: известно его покровительство погодинской «Марфе Посаднице», в которой он усматривал «шекспировские достоинства»,—разве не отмечена для нас в этом смысле знаком самой высокой актуальности? А была ли кем-нибудь предпринята хотя бы одна попытка переосмыслить пушкинский шекспиризм под углом зрения наших сегодняшних споров о Шекспире и шекспиризации? Не было ни одной.

Можно было бы продолжить цепь наших рассуждений и дальше. Но мы вовсе не намереваемся дать какой-то инвентарный каталог тех явлений, тех эпизодов поэтической практики Пушкина, которые представляют самый живой и непосредственный интерес с точки зрения современных задач нашего строительства в области художественной культуры. Такой каталог, если бы его и составить, неизбежно носил бы черты схематичности, искус-

ственности, надуманности: научные проблемы,—а для нас всякая научная проблема является вместе с тем и проблемой нашей классовой практики— не высасываются из пальца, а рождаются в процессе работы.

Нам хотелось бы только еще отметить, что глубокий и живой интерес с точки зрения сегодняшней проблематики нашей литературной жизни представляет собою не только материально-предметное, так сказать, наследие Пушкина, но и самая писательская культура его, его отношение к тому, что называется сейчас, по удачно воскрешенной гоголевской терминологии, «делом литературы».

В последнее время появился целый ряд работ на тему о том, как писал Пушкин[36]. Единственный вывод, который можно сделать из этих работ, такой: писал старательно и трудолюбиво. Это верно и это важно: важно для наших молодых поэтов знать, что величайший мастер русской стиховой культуры был в своей работе органически враждебен установке на поэтическое «нутро», которое должно вывозить поэта во всех трудных случаях.

Это важно, но этого недостаточно. Еще важнее показать, что Пушкин как писатель никогда не жил на проценты с некоторого постоянного, не уменьшающегося и не увеличивающегося идеологического капитала; ставя перед собой ту или иную проблему—социальную, историко-политическую и т. д.,—он всегда стремился чувствовать себя во всеоружии того идеологического опыта, который существовал вокруг данной проблемы. Дело не только в том, что, работая над историческим романом, он интенсивно изучает литературу вопроса, знакомится с архивными материалами, но и стремится к тому, чтобы проблема была поднята на достаточно высокий мировоззрительный уровень.

В этом огромное значение его историко-публицистического наследия. Последнее до сих пор использовалось несколько односторонне: почти исключительно как материал для характеристики политического миросозерцания Пушкина. Это использование конечно законное и необходимое. Но одним этим ограничиваться нельзя. Надо показать роль этой борьбы за миросозерцание в творческой работе Пушкина, ее, по формалистической терминологии, конструктивные функции, надо показать, какой внушительный идеологический багаж нес с собою Пушкин-художник, неизменно пополняя и расширяя этот багаж.

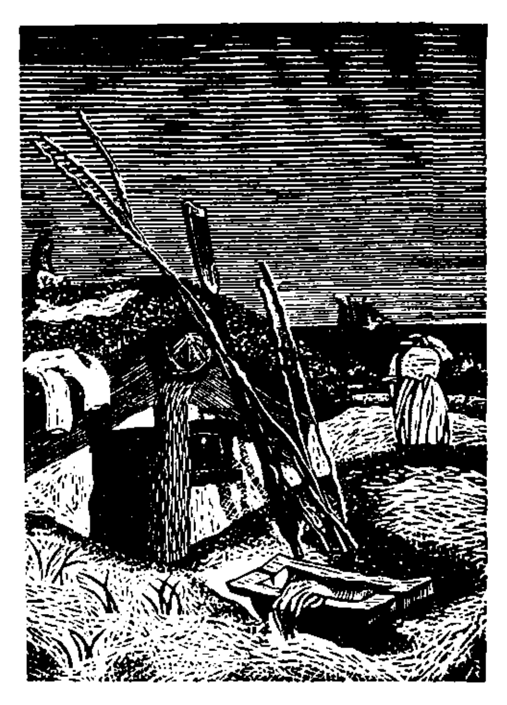
Повторяем—задача настоящей работы менее всего заключается в том, чтобы дать цельную марксистско-ленинскую концепцию Пушкина. Мы хотим только указать, какое серьезное значение имеет консолидация марксистско-ленинских научных сил в борьбе с непобежденным еще буржуазным пушкиноведением, приблизительно очертить круг тех проблем, которые особенно остро стоят на повестке нашего научного дня, наметить те пути, которыми нужно итти к разрешению вопроса о значении Пушкина в строительстве нашей художественной культуры. А неразработанность всех этих проблем, понятно отразившаяся и в настоящей статье,—лучший стимул к развертыванию активной и плодотворной работы в этой области.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Тема настоящей статьи близка теме другой моей работы, появившейся в печати шесть лет назад («Пути социологического пушкиноведения».—«Печ. и рев.» 1928, кн. 3). Тем резче считаю нужным подчеркнуть, что настоящей статьей я хочу полностью снять положения, выдвигавшиеся мною тогда, положения, несущие на себе следы явного воздействия, с одной стороны, лефовской, мелкобуржуазной по своей классовой

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „СКАЗКЕ О РЫБАКЕ И РЫБКЕ“

Гравюра на дереве В. Конашевича



сути теории «социального заказа», с другой стороны—«социографических» установок, *проповедывавшихся некоторыми эпигонами пыпинской культурно-исторической школы*, объективно чуждыми, а иногда и враждебными марксистско-ленинскому литературоведению. Делаю эту оговорку в самом начале статьи, чтобы не останавливаться каждый раз в дальнейшем на тех противоречиях, которые может усмотреть внимательный читатель между суждениями, высказывавшимися мною тогда, и высказываемыми сейчас.

[2] Характерно для тех лет употребление понятий «социологического литературоведения» и «марксистского литературоведения» как совершенно синонимичных. В то же время понятию социологичности придавался иногда признак не методологический, а тематический. В одном учебном пособии по Пушкину предлагаемые для семинарской проработки темы разбиты например на ряд групп, в числе которых самостоятельное место занимают «Социологические анализы». Впрочем это кажется единственный в своем роде шедевр теоретической безграмотности, не имеющий аналогий.

[3] Исключительно яркий факт приводится в редакционной передовой к первому сборнику «Литературного Наследства». Речь идет о пушкинисте Лернере, писавшем по поводу одного якобы новооткрытого, в действительности же представляющего собою плод фальсификации пушкинского текста, следующее: «В наше беспримерно печальное безвременье, когда враги топчут нашу несчастную родину, когда подавлено патриотическое чувство и забыт бог,—знаменательно звучит этот донесшийся до нас сквозь ряд неблагоприятных случайностей голос великого поэта-патриота, воспевшего...» и т. д.

[4] «Мудрость Пушкина». М., 1917.—«Гольфстрем», М., 1922.—«Статьи о Пушкине». М., 1926.

[5] «Стихи неясные мои», «В двух планах» и др. в сб. «В двух планах». М., 1929.

[6] Б. Томашевский. «Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения». Л., 1925, стр. 106.

[7] «Политические взгляды Пушкина», «Пушкин и крепостное право» и др. в сб. «Мой Пушкин». М., 1929.

[8] См. его статью «Пушкин и его современность» («Кр. новь» 1925, кн. 6), а также его «Историю русской литературы XIX века», ч. I, М., 1926. Из работ того же порядка отметим книжку Грушкина «К вопросу о классовой сущности пушкинского творчества». Л., 1931. Здесь Пушкин трактуется как идеолог мелкой буржуазии.

[9] См. его статью «Благословение бытия Пушкиным» в сб. «Парфенон». Пб., 1922.

[10] В статье «За что любил Пушкина В. И. Ленин» («Правда» 1924, № 127). В сочинениях Ленина и его изданных письмах каких-либо суждений, которые позволяли бы ответить на сформулированный в заголовке этой статьи вопрос, не имеется. Из его известного разговора с вхутемасовцами, о котором рассказывается в воспомина-

ниях Н. К. Крупской, известно только, что Ленин любил Пушкина больше, чем Маяковского. Другие мемуарные материалы не содержат каких либо положительных данных на этот счет.

[11] В статье «Пушкин и пролетарская поэзия» («Саратовские Известия» 1927).

[12] Например, в ряде работ, объединенных в сб. «Литературные силуэты». М., 1927.

[13] В статье «Проблема Пушкина» («Правда» 1927, № 33).

[14] См. его книгу «Социология творчества Пушкина», изд. 2-е, М., 1931.

[15] Маркс и Энгельс. Собр. соч., т. IV, стр. 40.

[16] См. напр. статью Леушевой «Диалектика образа протестанта в творчестве Пушкина» («Литература и марксизм» 1929, кн. 5).

[17] См. рецензию Тарасенкова («Печ. и рев.» 1929, кн. II), рецензию Нечаевой («Литература и марксизм» 1928, кн. 6). Последняя статья Благого о Пушкине «Значение Пушкина» (в сб. «Три века». М., 1933) открывается резким осуждением переверзианства. Это дает основание думать, что необходимость пересмотра своих прежних пушкинских концепций рано или поздно станет очевидной и для самого Благого.

[18] В рецензии на упомянутую книгу Благого («Звезда» 1930, № 3).

[19] В докладе о Пушкине, читанном в ИНРЛИ 10 февраля 1931 г. См. переработанную стенограмму доклада в сб. «Литература» I, Л., 1931.

[20] В статье «Из истории классовой борьбы в русской литературе XIX века» («Литература и марксизм» 1931, кн. 4).

[21] В последнее время некоторые исследователи декабризма пытались совершенно смазать буржуазное содержание движения и объявить его с самого начала лишенным какой-либо реальной почвы, какого-либо прочного классового тыла. Нечего и говорить, что эти попытки не только заключают в себе явную ревизию исходных положений марксистско-ленинской историографии декабризма, но и вообще представляют собою откровенно реакционную, черносотенную клевету на декабристов.

[22] Благой в своей статье о «Евгении Онегине» в упоминавшемся выше сборнике довольно близко подходит к правильному пониманию основной идеологической концепции романа. К сожалению его настойчивое стремление свести все содержание пушкинского творчества к трагедии деградирующего родовитого дворянства сильно умаляет значение развертываемых им положений.

[23] Такую точку зрения выдвигал М. Н. Покровский в статье «Пушкин-историк». Собр. соч. Пушкина, изд. «Кр. нивы», т. V.

[24] См. упоминавшийся выше сб. «Литература» I, стр. 20.

[25] Ленин. Собр. соч., т. XXVII, стр. 406.

[26] Богатый документальный материал по этому вопросу, см. в статьях Щеголева «Николай I и Пушкин» в его сб. «Из жизни и творчества Пушкина». Л., 1931) и Нечкиной «О Пушкине, декабристах и их общих друзьях» («Каторга и ссылка» 1930, кн. 4).

[27] См. характерное свидетельство Якушкина: «Я ему прочел его Noël: «Ура! в Россию скачет», и он очень удивился, как я его знаю, а между тем все его не напечатанные сочинения: Деревня, Кинжал, Четверостишие к Аракчееву, Послание к Петру Чаадаеву и много других были не только всем известны, но в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал бы их наизусть» («Записки». М., 1926, стр. 50).

[28] Доходит дело до курьезов. Упоминавшийся выше Грушкин находит например, что период активного увлечения мотивами раннего декабризма—самый аристократический период творческой биографии Пушкина. См. стр. 13 его книги.

[29] «Байрон и Пушкин». Л., 1924.

[30] Назв. соч., стр. 98.

[31] Григорьев, Ап., Воспоминания. М., 1931, стр. 61.

[32] См. старую работу Сиповского «Литературная история «Руслана и Людмилы» в его сб. «Пушкин. Жизнь и творчество». Пб., 1902.

[33] В письме к Рылееву от 25 января 1825 г.

[34] Здесь еще раз подчеркиваю свою солидарность с той обрисовкой (не интерпретацией!) образа Онегина, которая дана Благим.

[35] В письме к Маргарэт Гаркнес от 1888 г. См. «Маркс и Энгельс о литературе». М., 1933, стр. 167.

[36] Напр.: Б. Томашевский «Пушкин в работе над стихом» («Литературная учеба» 1931, кн. 2), Д. Якубович «Пушкин в работе над прозой» (там же), Н. Ашукин «Как работал Пушкин» (Собр. соч. Пушкина, изд. «Кр. нивы», т. IV).

О СТИЛЕ ПУШКИНА

Статья Виктора Виноградова

I

Изучение художественного слова опирается на проблему композиции. Литературное произведение является той композиционной системой, тем контекстом, в которых находят воплощение и выражение смысловые потенции поэтического словаря, поэтической фразеологии. Особенности словесного инвентаря в связи с приемами художественной композиции (включая сюда и синтаксис) определяют в существеннейших чертах индивидуальность поэтического стиля. Совершенно исключительное значение вопросы поэтической семантики имеют для исследователя пушкинского стиля. Пред Пушкиным стояла задача синтеза дворянской языковой культуры и ее национальной демократизации. В пушкинском слове, в его смысловой глубине, происходит скрещение разных социально-групповых и стилистических контекстов. Те значения слова, которые были разъединены в быту и литературе, принадлежали разным стилям художественной литературы, разным жанрам письменной речи, разным диалектам просторечия и «простонародного» языка с их классовыми и культурно-бытовыми расслоениями, наконец разным жаргонам дворянского общества, сочетаются Пушкиным в композиционные единства. Однако своеобразно дворянское понимание проблемы национально-языкового синтеза привело Пушкина к очень важным стилистическим ограничениям. Пределы национальной демократизации в пушкинском стиле были сужены, с одной стороны, реставрационным уклоном в сторону церковно-славянского языка, с другой стороны, принципиальным отрицанием многих социально-групповых и профессиональных своеобразий городского языка средней и мелкой буржуазии, именно тех, которые, по дворянской оценке Пушкина, относились к языку «дурных обществ» и противоречили нормам речи «хорошего общества». Литературное творчество Пушкина имело своей задачей создание новой системы русского литературного и поэтического языка на основе синтеза дворянско-европейской культуры речи с церковно-книжной традицией и стилями национально-бытового просторечия, в своем корне дворянско-крестьянскими[1]. Таким образом отношение Пушкина к языку не экстенсивное, а интенсивное: Пушкин не столько стремился к расширению пределов «литературности» в сторону буржуазных стилей, сколько к углублению, объединению, к национальной концентрации живых форм дворянской языковой культуры. Процесс лексических и стилистических объединений для Пушкина был одновременно и творчеством новых форм литературного искусства, и культурно-общественной работой по созданию новой системы национально-литературного языка. В этом синкретизме твор-

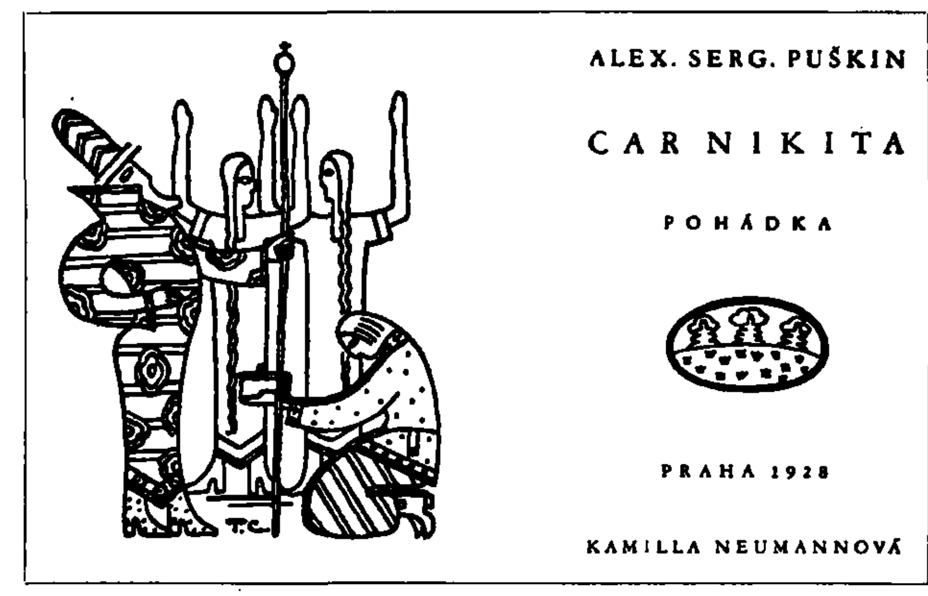
ческих задач кроются причины того, что вопрос о принципах поэтического словоупотребления в пушкинском стиле неразрывно связан с изучением приемов композиции литературного произведения.

В своей статье я остановлюсь только на четырех явлениях поэтической семантики, имеющих, как мне кажется, основное организующее значение и в пушкинском стихе, и в пушкинской прозе.

II

§ 1. Прежде всего выступает прием семантического намагничивания слова. Пушкинское слово насыщено отражениями быта и литературы. Оно сосуществует в двух сложных семантических планах, их сливая—в историко-бытовом контексте, в контексте материальной культуры, ее вещей и форм их понимания,—и в контексте литературы, ее символики, ее сюжетов и ее словесной культуры. Быт, современная действительность облекали пушкинское слово прихотливой паутиной намеков, «применений» (allusions). Слова, изображая свой литературный предмет, как бы косили в сторону современного быта, подмигивали на него. Пушкин считал этот прием словоупотребления наследием XVIII в. и вел его родословную от французской литературы[2]. Аспект двойного понимания литературного слова был задан дворянскому обществу той эпохи как норма художественного восприятия. За словом, фразой предполагались скрытые мысли, символические намеки на современность. Своеобразная каламбурность возводилась в принцип литературного выражения. Пушкин в своем «Дневнике» описывает курьезный анекдот, в котором ярко проявляется «стиль» среды и эпохи: «Филарет сочинял службу на случай присяги. Он выбрал для паремии главу из книги Царств—где между прочим сказано, что царь собрал тысящников, и сотников, и евнухов своих. К. А. Нар... сказал, что это искусное применение к камергерам,—а в городе стали говорить, что во время службы будут молиться за евнухов. Принуждены были слово евнух заменить другим»[3]. Однако Пушкин стремился преодолеть возникавший таким образом разрыв двух плоскостей художественной действительности, которые как бы пересекали одна другую: действительности литературного сюжета и действительности текущего дня, намеки на которую старательно ловил читатель.

§ 2. С этой целью поэт в 20-х годах выдвигает принцип структурной замкнутости различных социально-исторических и культурно-бытовых контекстов. Слово понимается как элемент предметно-смыслового контекста, образующего тот или иной круг культуры или социально-бытового уклада. Основной идеей, которая все глубже врастает в творчество Пушкина с середины 20-х годов, становится идея исторической действительности не только как объекта художественного изображения, но и как стилеобразующей категории в литературе. Слово перестает быть символической абстракцией условно-литературного выражения, как было в русско-французских стилях конца XVIII и начала XIX в., которые культивировали «цветную» фразеологию, утратившую свои предметные и мифологические основы. Слову возвращается реалистическая конкретность и подвижность. Оно влечет за собой контекст той социально-культурной среды, которая себя в этом символе отпечатлела. Поэтому Пушкину становятся враждебны литературные композиции Батюшкова,



ТИТУЛ И ФРОНТИСПИС К ЧЕШСКОМУ ИЗДАНИЮ „ЦАРЯ НИКИТЫ"
Рисунок Р. Спротского, 1928 г.

в которых совмещались слова и образы разнородных культурно-бытовых пластов. Например на картине «берегов пологой Двины» одна сцена рисует мужей,

Сидящих с трубками вкруг угольных огней,
За сыром выписным, за Гамбургским журналом...,

а другая изображает нимф, сильванов и наяд:

...И нимфы гор при месячном сияньи,
Как тени легкие в прозрачном одеяньи,
С сильванами сойдут услышать голос мой,
Наяды робкие, всплывая над водой,
Восплещут белыми руками.

(Послание Г. В—му.)

Пушкин иронически подчеркивает эти фразеологические противоречия: «Сильваны, нимфы и наяды—межь сыром выписным и Гамбургским журналом»[4]. Таким образом в пушкинском стиле создаются новые формы литературного соотношения «поэзии» и «истории». Отсюда в пушкинском творчестве 20-х годов приобретает особенную остроту вопрос о формах «олитературивания» быта.

§ 3. В дворянской культуре слова, предметы, явления и связи действительности нередко созерцались сквозь призму литературных символов и сюжетов, сопоставлялись с ними и, подвергаясь своеобразной эстетической нейтрализации, получали отпечаток литературного символизма. И для Пушкина слово, фраза были отягчены сюжетно-символическими отслоениями литературной традиции, литературных стилей. Поэтому быт и литература структурно сочетаются в предметно-смысловых формах пушкинского слова и тем углубляют его семантическую перспективу. Слово, влекущее за собой разнообразные литературные контексты, могло становиться в разные позы, в различные отношения

к этим контекстам. Вокруг слова сгущалась атмосфера литературных намеков. Слово не только притягивало к себе, как магнит, близкие литературные образы и символы, но и отражало их в себе, как система зеркал. Пушкинское слово было окружено атмосферой литературных тем и сюжетов. Предметно-смысловые формы слова, вступая в литературное сознание, апперцепировались здесь соответствующими символами, образами, темами, фразеологией. Быт с его речевыми выражениями входит в литературу не как сырой материал, не как голая «натура», а оценивается, понимается, формируется под углом зрения различных литературных стилей. Он впитывает в себя литературно-художественную культуру, насыщается поэтическими символами, являясь одновременно объектом литературного воздействия и преобразования и источником художественных поз, тем и сюжетов, орудием для разрушения литературных традиций. «Предмет», найденный поэтом как литературная тема, наблюдается не только в многообразии присущих этому предмету бытовых связей, в разных видах его реальных отношений, изучается не только с целью воспроизведения его исторического контекста или с целью литературного показа скрытой в нем символики «натуры», но и для воплощения в нем и через него литературного стиля, для художественной «игры» вариациями его значений—на фоне предшествующей литературной истории этого предмета.

§ 4. Интересные иллюстрации к этому приему литературного намагничивания слова, насыщения его символами и темами разных стилистических традиций может служить стихотворение «Череп» (1827 г., напеч. в «Северных Цветах» на 1828 г.) [6]. Оно распадается на две части. Внешним разделом для них служит отрывок прозы, пародически обнажающий, между прочим, антитезу между бытовой юмористикой истории черепа, принадлежавшего прадеду барона Дельвига, и развитием сюжета о черепе у романтиков: «Я бы никак не осмелился оставить рифмы в эту поэтическую минуту, если бы твой прадед, коего гроб попался под руку студента, вздумал за себя вступиться, ухватя его за ворот или погрозив ему костяным кулаком или как-нибудь иначе оказав свое неудовольствие; к несчастию, похищение совершилось благополучно».

Каждая из стиховых частей имеет сходный зачин:

Прими сей череп, Дельвиг: он
Принадлежит тебе по праву...
Прими ж сей череп, Дельвиг: он
Принадлежит тебе по праву.

Во второй части, изображающей, в форме советов, императивных предложений барону, будущую судьбу, будущее применение черепа, пародически совлекаются со слова—череп—одна за другой его литературно-смысловые оболочки, и демонстрируются его разнообразные поэтические значения. Разоблачается вся литературная сюжетология и символика, связанная с образом черепа. Те значения и назначения, которые имел череп в литературе, теперь как бы примериваются к черепу прадеда Дельвига и иронически предлагаются на выбор как подходящие формы его бытового употребления. Слово череп, не теряя своего вещественного значения, обнаруживает многообразие поэтических оттенков своего литературного употребления. В его семантике открывается «бездна пространства». Образы Байрона, Шекспира, Баратынского, романтическая

символика смерти вовлекаются в смысловую структуру слова череп. Прежде всего притягивается образ «увеселительной чаши» из стих. Байрона «Lines inscribed upon a cup formed from a scule» («Надпись на чаше из черепа»)[6].

Князь П. А. Вяземский сделал в 1820 г. перевод этого стихотворения «Стихи, вырезанные на мертвой голове, обращенной в чашу» (подражание Байрону)[7]. Но, наперекор книжной патетике Вяземского, Пушкин переносит образы Байрона в атмосферу повседневного быта.

На фоне ранее изображенной истории черепа явной пародической усмешкой отзывается иронический совет «подражать певцу корсара», запивая уху да кашу вином из черепа, который с этой целью должен быть превращен в «увеселительную чашу». Самый фамильярно-шутливый подбор слов:

Обделай ты его, барон,
В благопристойную оправу...
Вином кипящим освяти,

обостренный формами просторечия:

Да запивай уху, да кашу.

—и смысловой антитезой перифраз:

Изделье гроба преврати
В увеселительную чашу—

звучит открытой иронией и литературной издевкой, особенно если эти советы воспринимать в контексте излияний самого черепа в «Надписи на кубке из черепа» у Байрона (1808)[8].

Литературная пародийность пушкинских намеков на байроновскую чашу из черепа («Певцу корсара подражай») подчеркивается ироническим присоединением:

И скандинавов рай воинской
В пирах домашних воскрешай.

Эти строки являются контрастно-символической вариацией предшествующих стихов:

И предок твой крепкоголовый
Смутился бы рыцарской душой,
Когда б тебя перед собой
Увидел без одежды бранной,
С главою, миртами венчанной,
В очках и с лирой золотой.

Антитезе крепкоголового предка и современного поэта теперь противостоит новое метафорическое сближение. Поэт, запивающий уху да кашу вином из черепа, комически сопоставляется с мифологическими скандинавскими витязями, которые в раю пили вино из вражьих черепов. И здесь, в форме разделительного предложения, в композицию стихотворения вовлекается намек на иную—контрастную—возможность употребления черепа, также предначертанную литературной традицией,—именно стихотворением Баратынского «Череп»:

Или, как Гамлет-Баратынской,
Над ним задумчиво мечтай.

Интересно, что это стихотворение Баратынского (напеч. впервые в «Сев. Цветах» на 1825 г.) современники вообще противополагали «Надписи на кубке из черепа» Байрона. «Русский стихотворец в этом случае гораздо выше английского. Байрон, сильный, глубокий и мрачный, почти шутя говорил о черепе умершего человека. Наш поэт извлек из этого предмета поразительные истины» («Соревнователь просвещения и благотворения» 1825 г.).

Так в семантику пушкинского стихотворения вливается символика стихотворения Баратынского «Череп». Вместе с тем намечается новый литературно-символический план, который как бы сквозит в экспрессии и тематике стихов Баратынского и который прикрепляется к образу Гамлета. Речь идет о монологе Гамлета над черепами, которые выбрасывались из земли гробовщиками, рывшими могилу для Офелии*.

Пушкин, иронически воспроизводя в форме разделительного сопоставления этот контраст поэтического назначения черепа, предлагает Дельвигу в быту воспользоваться на выбор любой из этих двух литературных возможностей и шутливо разоблачает в то же время сопоставлением с Гамлетом «театральную» позу Баратынского. Заключительный аккорд стихотворения—пушкинский синтез, примирение этих двух вариантов литературной судьбы черепа.

И у Байрона, и у Шекспира, а вслед за ним и у Баратынского «мертвый череп» вещает о жизни, у Байрона—вином полный, у Шекспира-Баратынского—пустой. У Байрона череп сам беседует, у Баратынского молчит, являясь лирическим собеседником. Пушкин, иронически примиряя эти разные роли черепа, заключает:

О жизни мертвой проповедник,
Вином ли полный иль пустой,
Для мудреца, как собеседник,
Он стоит головы живой!

В этой заключительной строфе звучат шутливые отголоски риторической патетики Баратынского:

Когда б тогда, когда б в руках моих
Глава твоя внезапно провещала!
Когда б она цветущим, пылким нам
И каждый час грозимым, смертным часом
Все истины, известные гробам,
Произнесла своим бесстрастным гласом!
Что говорю? Стократно благ закон,
Молчаньем ей уста запечатлевший!

Но молчанье черепа о тайнах гроба не мешает «мыслящему наследнику разрушения» быть проповедником о жизни:

Пусть радости живущим жизнь дарит,
А смерть сама их умереть научит.

Ср. у кн. П. А. Вяземского в «Стихах, вырезанных на мертвой голове, обращенной в чашу»:

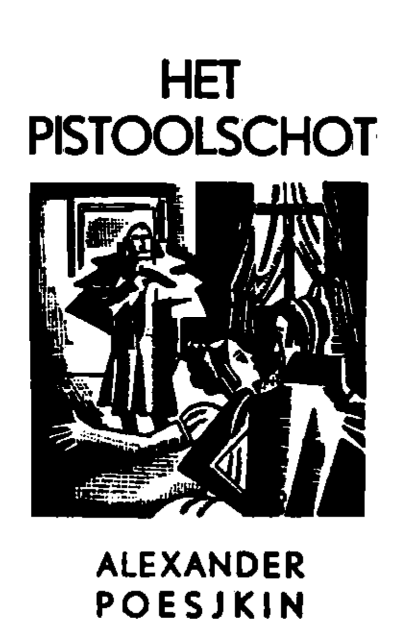
Во мне зри череп тот, который к злу не сроден,
И этим, может быть, с живою головой
Я наиболее не сходен...

И что ж? Когда во дни житейского волненья
Нам наши головы так часто не к добру,
Хоть в гробе выручим их от червей истленья
И пользе посвятим на радостном пиру!

Чтобы понять всю сложность этой семантической атмосферы литературных намеков, необходимо воспроизвести хоть некоторые другие формы лирической интерпретации темы черепа—в поэзии. Например у Жуковского в отрывке:

Заступ, заступ, рой могилу
Хлеб, пристанище и силу
Все в тебе имею (я)!..
Будь в уборе, будь с сумою,
Будешь спрятан под землею,—
Заступ, жертва все твоя!
Этот череп обнаженный,
Прежде гордый и надменный,
Преклоняться не умел.
В сем разорванном покрове,
В сем разбросанном остове—
Кто б царя искать посмел!.. (1800—1810)

У А. А. Бестужева-Марлинского есть также стих. «Череп» (1829), являющееся вариацией на темы размышлений Гамлета и полемическим видоизменением символики «Черепа» Баратынского (ср. в письме А. А. Бестужева Пушкину замечание о Баратынском: «Я перестал веровать в его талант. Он изфранцузился вовсе. Его Едда есть отпечаток ничтожности, и по предмету и по исполнению; да и в самом Черепе я не вижу целого:—одна мысль хорошо выраженная и только. Конец—мишура».—«Переписка», т. I, стр. 188). Если у Баратынского лирическое



ОБЛОЖКА ГОЛЛАНДСКОГО ИЗДАНИЯ „ВЫСТРЕЛА“

«я» благословляет закон, «молчаньем черепу (умершей голове) уста запечатлевший»—

Обычай прав, усопших важный сон
Нам почитать издавна повелевший.
Гроб вопрошать дерзает человек—
О суетный, безумный изыскатель...
Его судьбам покорно гроб молчит—

то у Марлинского, напротив, все стихотворение облечено в форму «изысканий», вопросов и просьб к черепу, «поверженному на пути»:

Кончины памятник безгробной!
Скиталец-череп, возвести:
В отраду ль сердцу ты повержен на пути,
Или уму загадкой злобной?
Не ты ли мост, не ты ли первой след
Над океаном правды зыбкой?
Привет ли мне, иль горестной ответ
Мерцает под твоей ужасною улыбкой?
Где утаен твой заповедный ключ,
Замок бессмертных дум—и тленья?
В тебе угас ответной луч,
Окрест меня туман сомненья.
Ты жизнию кипел как праздничный фиал,
Теперь лежишь разбитой урной,
Венок понятия увял
И прах ума развеял ви́хорь бурной!
Здесь думы в творческой тиши
Роилися, как звезды в поднебесной,
И молния страстей сверкала из души,
И радуга фантазии прелестной.
Здесь нежный слух вкушал воздушный пир,
Восхищен звуков стройным хором,
Здесь отражался пышный мир,
Бездонным поглощенный взором.
Где ж знак твоих божественных страстей,
И сил и замыслов, грань мира облетевших?
Здесь только след презрительных червей,
Храм запустения презревших?!
Где ж доблести? отдай мне гроба дань,
Позна́ний светлых темный вестник!
Ты ль бытия таинственная грань?
Иль дух мой вечности ровесник?
Молчишь! Но мысль, как вдохновенный сон,
Летает над своей покинутой отчизной,
И путник в грустное мечтанье погружен,
Дарит тебя земле мирительною тризной [10].

Ср. у Ф. Я. Кафтарева («Мои мечты», 1832, кн. 1, стр. 9—10).

ЧЕРЕП

Низвержен, при пути лежит полуистленный,
В уничтожении сей остов ледяной;

Как страшен вид его и мрачный, и презренный!
Кто мимо лишь пройдет—содрогнется душой.
Что слава наших дней, что ум неизмеримый?
Богатства яркий блеск, волшебство красоты?..
Упадший духом здесь, и вождь непобедимый—
Все будет жертвою ужасной наготы! [11]

§ 5. Семантические формы, образуемые этим приемом литературных применений, отражений, сопоставлений и контрастов, не только очень сложны, но часто и загадочны. Они нередко бывают даже построены, как загадка. Правда, в некоторых случаях литературно-символические планы, включенные в семантику произведения, скрыты только от людей другой культуры. Современникам же поэта, принадлежавшим к тому же социальному и художественно-культурному кругу, что и Пушкин, они были очевидны. Но в других случаях семантическая многопланность литературных применений сознательно замаскирована поэтом. Она бывает лишь задана как скрытая форма символического разрешения. Разгадку таких тайных семантических намеков можно найти только при глубоком освоении литературно-смыслового контекста пушкинской эпохи. В качестве иллюстрации можно указать на тесную смысловую связь пушкинского «Анчара» со «Старой былью» П. А. Катенина. Эта полемическая направленность пушкинского «Анчара» еще не раскрыта, хотя «Старая быль» Катенина была предметом стилистических изучений именно в плоскости ее литературно-памфлетной символики.

Песня грека здесь имеет пародическую окраску (см. письма Катенина Бахтину. Ср. письма от 11 февр. 1828 г., стр. 109 и от 17 апр. 1828 г., стр. 113—114). Притаившийся в этой песне намек на Пушкина (как было разъяснено А. А. Чебышевым и стилистически показано Ю. Н. Тыняновым) непосредственно открывается в таких словах письма П. А. Катенина к Н. Н. Бахтину: «О стансах С. П. (т. е. Саши Пушкина; разумеются «Стансы» «В надежде славы и добра».—*В. В.)* скажу вам, что они как многие вещи в нем плутовские, т. е. что когда воеводы машут платками, коварный Еллин отыгрывается от либералов, перетолковав все на другой лад» (письмо от 17/IV 1828 г.). В этих словах содержится не только указание на скрытую в образе «коварного Еллина» аллегорию, не только метафорическое сближение личности Пушкина с коварным греком, но и своеобразное пародическое освещение литературно-политической позиции поэта. К Пушкину применяются следующие стихи «Старой были»:

Он кончил. Владимир в ладони плеснул,
За князем стоял воевода;
Он платом народу поспешно махнул,
И плеск раздался из народа:
Стучат и кричат, подымается гул
С земли до небесного свода.

Таким образом поэтическая деятельность Пушкина иронически ставилась Катениным в непосредственную зависимость от воли царя и воевод.

Вполне понятно, что П. А. Катенин ждал с нетерпением ответа Пушкина на «Старую быль», и посвящение. «Ответ Катенину» («Сев. Цветы» на 1829 г.) в сущности был полным иронических намеков откликом

только на посвящение «А. С. Пушкину» и вне контекста катенинского стихотворения (которое Пушкиным не было напечатано) приобретало довольно безобидный (или вернее: едкий лишь для субъективного восприятия Катенина) смысл.

На этом фоне естественно искать другого более прямого и глубокого ответа на катенинские выпады. И таким ответом, мне кажется, можно считать пушкинское стихотворение: «Анчар древо яда»[12]. Смысл его легче понять, если сопоставить его символические формы с некоторыми образами песни грека из «Старой были» П. А. Катенина. В этой песне изображение царского самодержавия, его могущества и его атрибутов (вроде являющих власть царя двух львов, которые у царских ног, «как алчущие снеди лежат, разинув страшну пасть») вбирает в себя символику неувядающего древа, «древа жизни» как образа «милосердия царева». Это «древо жизни» смягчает, устраняет страх перед карающей мощью, грозной неприступностью «Августова престола», перед свирепостью львов, угрожающих гибелью всякому, кто приблизится к трону.

Они встают ему на страх,
Очами гневными вращают,
Рычат, и казнью угрожают;
И зрит в душе смущенный раб,
Сколь пред царем он мал и слаб.

По славословию певца, угроза казни и смерти претворяется в жизнь и счастье силою царского «милосердия»:

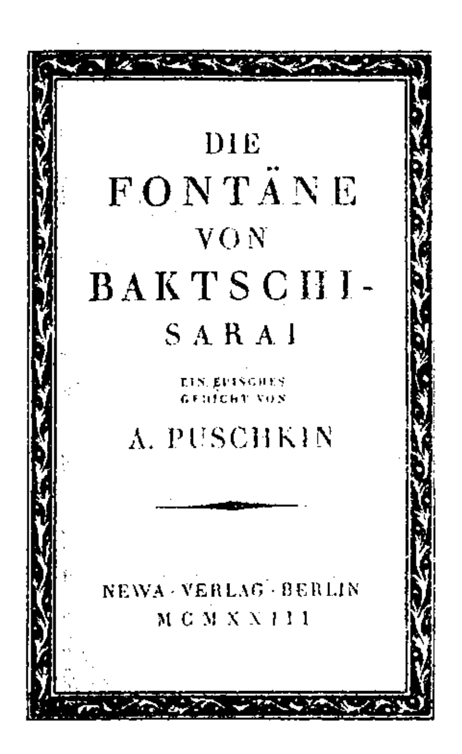
Но милосердие царево
Изображающий символ,
Неувядающее древо
Склоняет ветви на престол.

Это «древо»—единственное во всей вселенной. Оно

Не рода древ обыкновенных,
Земными соками взрощенных,
Одетых грубою корой,
Блестящих временной красой;
Чей лист зеленой, цвет душистой,
На краткий миг прельщают взор,
Доколь с главы многоветвистой
Зимы рука сорвет убор.

Оно вечно сохраняет цветущий вид и полно жизни:

Век древо царское одето
Бессмертным цветом и плодом:
Ему весь год весна и лето.
Белейшим снега серебром
Красуясь, стебль его высоко
Возносится, и над челом
Помазанника вдруг широко
Раскинувшись, пленяет око
И равенством ветвей прямых
И блеском листьев золотых.
На сучьях сребряных древесных



DIE
FONTÄNE
VON
BAKTSCHI-
SARAI

EIN EPISCHES
GEDICHT VON

A. PUSCHKIN

NEWA-VERLAG · BERLIN
MCMXXIII

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ И ФРОНТИСПИС К НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ „БАХЧИСАРАЙСКОГО ФОНТАНА“

Рисунок В. Масютина, 1923 г.

Витает стадо птиц прелестных,
Зеленых, алых, голубых,
И всех цветов очам известных;
Из камней и драгих и честных
О диво! творческий резец
Умел создать их для забавы,
Великолепия и славы
Царя народов и сердец.

Эти птицы, если бы они «свой жребий чувствовать могли», воспели бы свою «блаженнейшую неволю», противопоставляя ее мнимой свободе лесных и полевых птиц.

Что значит мнимая свобода,
Когда есть стрелы и силки?
Они живут в лесах и в поле,
Должны терпеть и зной и хлад;
А мы в блаженнейшей неволе
Вкушаем множество отрад.

В этом образе «прелестной птицы», воспевающей блаженнейшую неволю, правильно видеть намеки на Пушкина. Но злая ирония этих выпадов против Пушкина вполне уясняется только на фоне того апофеоза самодержавия, который содержится в образе «неувядающего древа». Это символическое «древо жизни», воспроизведенное Катениным с жи-

вописной точностью, является распространенным мотивом восточного искусства. Упоминания о серебряном дереве как символе самодержавия встречаются нередко в русских исторических романах из эпохи татарского владычества, например у П. П. Свиньина в романе «Шемякин суд» (М., 1832, ч. I, стр. 165—166) при изображении ханского трона: «Внимание и удивление каждого останавливалось на превосходном изделии славного французского художника Гильома, серебряном дереве колоссальной величины. Оно утверждено было на четырех львах из того же металлу, в которые, как в чаны, изливался кумыс, мед и вино сквозь отверзтый зев двух драконов, обвивавшихся по дереву, и которые ужасным рыканьем приветствовали хана, когда он подносил чашу к устам своим».

Этот образ «неувядающего древа», вложенный Катениным в уста греческого певца, как бы символически воплощал пушкинское понимание самодержавия, под кровом которого поэт искал «блаженнейшей неволи» (согласно ироническому толкованию Катенина).

И вот Пушкин этому древу жизни противопоставляет древо смерти, анчар, все атрибуты и свойства которого диаметрально противоположны катенинскому «неувядающему древу»:

В пустыне чахлой и скупой
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит, один во всей вселенной.
Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила,
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.
Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь от зною,
И застывает ввечеру
Густой, прозрачною смолою.
К нему и птица не летит,
И тигр нейдет: лишь вихорь черный
На древо смерти набежит—
И мчится прочь уже тлетворный.
И если туча оросит,
Блуждая, лист его дремучий,
С его ветвей уж ядовит
Стекает дождь в песок горючий.

Сам по себе этот внешний контраст мог бы и не быть формой полемической антитезы, символического противопоставления, если бы далее не возникали новые и прочные нити семантического параллелизма между обоими образами.

У Катенина блаженная красота дерева животворится царским словом. Царское милосердие, воплощенное в древе, разливает повсюду сладостные надежды. Слово царя дарит жизнь мертвым. Вокруг древа и от древа распространяются лучи блаженства. И прежде всего оживают птицы. «Глас райских птиц», их «сладкое пенье» всех влекут к царю, устраняя страх в душе, «объятой страхом прежде», и водворяя в сердца кроткий покой и счастье:

За что ты, небо, к ним сурово,
И счастье чувствовать претишь?
Что рек я? Царь! Ты скажешь слово,
И мертвых жизнию даришь.
Невидимым прикосновеньем
Всеавгустейшего перста
Ты наполняешь сладким пеньем
Их вдруг отверзтые уста;
И львы, рыкавшие дотоле,
Внезапно усмиряют гнев,
И кроткой покоряясь воле,
Смыкают свой несытый зев.
И подходящий в изумленьи
В царе зреть мыслит божество,
Держащее в повиновеньи
Самих бездушных вещество;
Душой, объятой страхом прежде,
Преходит к сладостной надежде,
Внимая гласу райских птиц;
И к Августа стопам священным,
В сидонский пурпур обувенным,
Главою припадает ниц[13].

Отношение князя или царя к древу смерти и общее значение этого древа в жизни человечества у Пушкина изображены мрачными красками, противоположными тем светлым, «льстивым», панегирическим тонам, которыми пользовался катенинский грек. И—согласно с общими принципами пушкинской лирической композиции—губительная, всесокрушающая сила анчара, несущая смерть и разрушение человечеству, драматически концентрируется к концу стихотворения в трагической смерти раба и в смертоносных стрелах князя. Только тут, в самой последней строфе, открывается социальное имя и положение человека с властным взглядом (или по одному из черновиков—«с властным словом»). Это «непобедимый владыка» и точнее—«царь» (или «князь»). Однако уже раньше—в трагической антитезе—«но человека человек»... загадочная власть одного человека, которая затем оказывается смертоносной волей царя-князя, противостоит силам природы, «самих бездушных веществу» (ср. у Катенина:

В царе зреть мыслит божество,
Держащее в повиновеньи
Самих бездушных вещество).

Но контраст в катенинских и пушкинских образах власти углублен тем, что «животворящему слову царя» из песни грека соответствует в «Анчаре» один властный взгляд (или одно властное слово) человека, рассылающего гибель.

Легко найти все признаки художественно осознанного контрастного параллелизма с катенинской «Старой былью» в этих пушкинских стихах:

Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом[14].
И тот послушно в путь потек,

И к утру возвратился с ядом.
Принес он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листами,
И пот по бледному челу
Струился хладными ручьями;
Принес—и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.
А князь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы,
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы.

Таким образом символический смысл «Анчара», скрытые в нем намеки разгадываются лишь тогда, когда за этим стихотворением открывается другой, отрицаемый им семантический план катенинской «Старой были». Анчар как символ самодержавия является антитезой катенинского «неувядающего древа» [15]. Отголоски катенинского стиля звучат и в высоких славянизмах пушкинского «восточного слога», которыми написан «Анчар».

§ 6. Семантическая многопланность, обусловленная литературными значениями и применениями символов, образует своеобразный прием символических отражений. Происходит сложное смысловое сплетение и взаимодействие контекста данного литературного произведения с соответствующими темами и символами предшествующей литературной традиции. В семантической атмосфере создаваемой пьесы возникают вспышки, разряды и отражения литературных образов прошлого.

Так прием литературного освещения образа на фоне новой вариации сюжета эффектно завершает рассказ станционного смотрителя в пушкинской повести «Станционный смотритель». Станционный смотритель сопоставляется с усердным Терентьичем из баллады Дмитриева «Каррикатура» («Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя, рассказ неоднократно прерываемый слезами, которые живописно отирал он своею полою, как усердный Терентьич в прекрасной балладе Дмитриева»). В этой балладе пародийно изображается возвращение витязя после бранных подвигов в опустелый дом, из которого исчезла его жена.

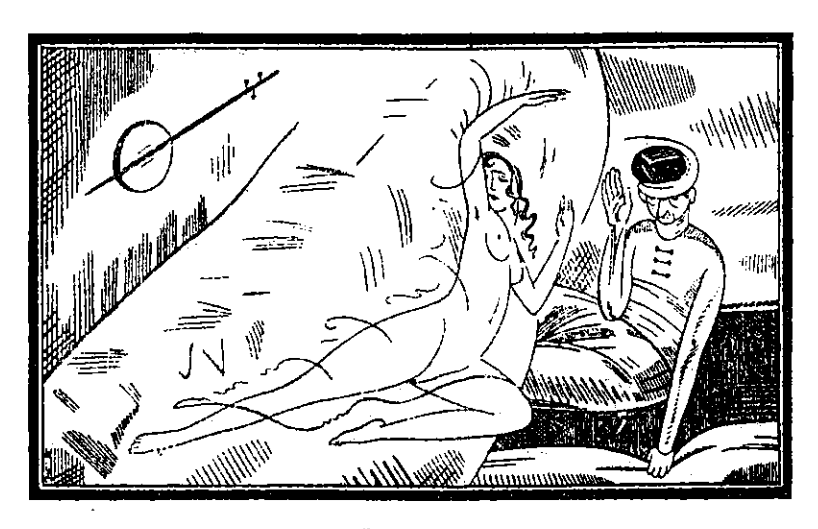
Но кто вдоль по дороге
Под шляпой в колпаке,
Трях, трях, а инде рысью,
На старом рыжаке,
В изодранном колете,
С котомкой в тороках?..
Кто это?—Бывший вахмистр
Шемшинского полку,
Отставку получивший
Чрез двадцать службы лет...

Отставной вахмистр, спеша на родину, в восторге и умилении, переживает былинное преображение в богатыря. Он мечтает о своей Груняше. Но его ожидает картина полного запустения дома:

Весь двор заглох в крапиве!
Не видно никого!
Лубки прибиты к окнам,
И на дверях запор;
Все тихо! Лишь на кровле
Мяучит тощий кот.

На стук нет ответа:

Заныло веще сердце,
И дрожь его взяла;



ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ „БАХЧИСАРАЙСКОГО ФОНТАНА"
Рисунок В. Масютина, 1923 г.

Побрел он, как сиротка,
Нахохлялся, назад.

Но около крыльца

Холоп его усердный
Представился ему.
Друг друга вмиг узнали
И тот, и тот завыл—
«Терентьич, где хозяйка?»
Помещик вопросил.

В сущности, здесь читатель только приближается к высшей точке совпадения образа Самсона Вырина с образом Терентьича, оставленного одиноким стражем дома, откуда увезли барыню. Между тем и вся сюжетно-смысловая атмосфера «Каррикатуры» наполнена соответствиями, символическими приближениями к семантике «Станционного смотрителя».

«Охти, охти, боярин!»
Ответствовал старик:
«Охти!»—и скорчась слезы
Утер своей полой!

На нетерпеливый вопрос витязя о жене

Терентьич продолжает:
«Хозяюшка твоя
Жива иль нет, бог знает!
Да здесь ее ужь нет.
Пришло тебе, боярин,
Всю правду объявить:
Попутал грех лукавый
Хозяюшку твою...
Тотчас ее схватили
И в город увезли;
Чтожь с нею учинили,
Узнать мы не могли.
Вот пятый год в исходе,
Охти нам!—как об ней
Ни слуха нет, ни духа,
Как канула на дно».

Так предмет, тема, становясь объектом поэтического творчества, вступает в контекст литературы и сразу же окружается соответствующей атмосферой художественных образов, формул, сюжетных ситуаций, имен и символических воплощений. Вследствие этого притяжения к слову сходной символики литературных соответствий образуется несколько смысловых планов семантического развития словообраза, которые могут стать в разные отношения друг к другу.

§ 7. Особую категорию смысловых явлений, связанных с этим приемом намагничивания словесных рядов, составляют фразы-цитаты. Правда, изучение форм семантической многопланности, создаваемых цитатами, затруднено отсутствием работ по фразеологии литературно-художественного языка конца XVIII и начала XIX в. Может статься, что так называемые плагиаты Пушкина по крайней мере на половину окажутся фразеологическими клише поэтической речи[16]. Во всяком случае было бы легкомысленно сразу характеризовать как «цитаты» или «плагиаты» такие (мной найденные) совпадения пушкинских стихов с выражениями предшественников, как например:

а) М. О. Гершензон[17], Н. Д. Чечулин[18], проф. П. Бицилли[19] в пушкинских стихах «Рыцаря бедного»:

Он имел одно виденье
Непостижное уму

видели непосредственное заимствование из «Харит» Державина:

Словом, видел ли картины
Непостижные уму.

Но это выражение встречается и у Жуковского в «Эпиграммах» (1806):

О непостижное злоречие уму!
Поверю ли тому,
Чтобы, Морковкина, ты волосы чернила?
Я знаю сам, что ты их черные купила.

б) Традиционные формы фразосочетания, подвергаясь метрическому уравнению, приводят к тождеству фраз у двух писателей, независимо от всяких влияний одного на другого.

Например у А. С. Пушкина в стихотворении: «Все тихо. На Кавказ идет ночная мгла» (1829) (текст которого восстановлен С. М. Бонди) [20] есть стих:

И без надежд и без желаний
(Я твой по прежнему, тебя люблю я вновь
И без надежд и без желаний).

Тот же стих встречается у В. Л. Пушкина в «Элегии» (напечатанной в «Московск. Вестн.» 1827 г., ч. II):

Живет он счастливо, без страха, без сует
И без надежд и без желаний [21].

Точно так же стих:

И голос лиры вдохновенной

встречающийся у Пушкина в стих. «Все в жертву памяти твоей» (1825), ранее можно найти у Н. М. Языкова, в стих. «Родина» («Полярная Звезда» на 1825 г., стр. 32). Такое фразеологическое совпадение конечно меньше всего свидетельствует о «плагиате».

в) Может быть к этому же циклу традиционной фразеологии надо отнести и совпадение пушкинского стиха

Не печалься, не сердись
(стих. «Если жизнь тебя обманет»)

со стихом Державина:

Не печалься, не сердися,
Не злословь и злых глупцов;
Паче в доблестях крепися,
Умудряйся средь трудов.
(Утешение добрым, 1804, почерпнуто из 36-го псалма.)

г) Выражение «душа души моей», встречающееся в стихотворном послании Пушкина к В. П. Горчакову («Зима мне рыхлою стеною», 1823), часто попадается в стихотворениях И. И. Дмитриева:

О Делия! Душа души моей и друг
(Тибуллова элегия. Соч. И. И. Дмитриева, ч. II, стр. 4.)

Кто в страсти не ревнив? И можно ли дивиться,
Что сердце, пленное тобой, всего страшится,
И думает, что ты, душа души моей,
Не меньше как и мне, мила природе всей?
(Сила любви, ibid., стр. 9.)

Не слышен голос страстный
Душе души твоей
(Песни, ibid., стр. 19.)

У П. А. Катенина в стих. «Мир поэта»:

Подруга рыцаря, души его душа,
С ним всюду странствует веселая Надежда.
(Соч. и перев., ч. I, стр. 64.)

У В. К. Кюхельбекера «Вопросы»:

Душа души святое вдохновенье.
(Полн. собр. соч., стр. 70.)

А. О. Смирнова в своих записках описывает такой свой разговор с Киселевым: «У него [Языкова] была «в душе душа», как-то выразился Гоголь, и у вас «душа в душе», оттого вы моя душенька».—Киселев, и у вас «душа в душе» [22].

д) Лексико-синтаксическое соответствие может создаваться не только общностью фразового состава, но и совпадением в стилистической и композиционной функции выражения. Так конечное выражение пушкинского стихотворения «Ш...ву» (1816), представляющее фамильярно-ироническую концовку пьесы:

И полно мне писать

(ср. стилистический переход, основанный на формах контрастного присоединения:

Сравнив стихи твои с моими, улыбнулся:
И полно мне писать),

невольно приводит на память однородную концовку басни И. И. Дмитриева «Два голубя»:

Ужель прошла пора столь милых обольщений,
И полно мне любить?
(Соч. И. И. Дмитриева, 1818, ч. III, стр. 29.)

е) Громадную роль в этой общности фразеологических форм, в этом совпадении выражений играет структурная однородность образно-идеологической системы. Скрепленная единством мифологии и поэтической символики фразеология—при обращении писателей к общим темам — обнаруживает устойчивость своих традиционных основ, несмотря на индивидуальные отличия стилей. Например в эпиграмме «Лук звенит, стрела трепещет» символика борьбы Аполлона с Пифоном и образ «Бельведерского Митрофана», воплощающий невежество, пренебрежение к художествам, могли в сознании читателя пушкинской поры будить воспоминание о стихах державинской оды «Любителю художеств» (1791).

Я вижу, вижу Аполлона
В тот миг, как он сразил Тифона (sic!)
Божественной своей стрелой.
Зубчата молния сверкает,
Звенит в руке священный лук,
Ужасная змея зияет
И в миг свой испускает дух...
Я зрю сие, и в миг себе представить мог,
Что так невежество сражает света бог [23].

Но ср. у Пушкина в послании «К Жуковскому» (1816):

В счастливой ереси и вкуса и науки—
Разите дерзостных друзей непросвещенья,
Отмститель гения—друг истины, поэт!
Лиющая с небес и жизнь и вечный свет,
Стрелою гибели десница Аполлона—
Сражает наконец ужасного Пифона...
Невежество, смирясь, потупит хладный взор...

Образы борьбы Аполлона с Пифоном, их символический смысл и облекающая их фразеология были традиционны (см. Иконологический лексикон, 1786. Слово—Аполлон, стр. 11).

Итак, совпадение в выражениях, во фразовом контексте между стилем Пушкина и языком писателей—предшественников и современников—само по себе не говорит ни о «плагиате», ни о цитированьи. Отнесение того или иного случая к определенной категории, его обозначение равносильно его осмыслению. Но этот процесс семантического истолкования фразеологических явлений пушкинского стиля еще в зародыше. Особенно важно раскрытие и объяснение поэтических «цитат» и «ссылок», т. е. сознательных включений второго литературно-символического плана в семантику пушкинского произведения (напр. перенос черт Буянова на образ Зарецкого в «Евгении Онегине» при посредстве выражения из «Опасного соседа» В. Л. Пушкина—«сосед велеречивый»).

§ 8. «Цитата», «ссылка» потенциально вмещают в себя всю ту литературно-художественную структуру, откуда она заимствуется или куда

JEŹDZIEC MIEDZIANY

OPOWIEŚĆ PETERSBURSKA

ALEKSANDRA PUSZKINA

PRZEKŁAD

JULJANA TUWIMA

STUDJUM

WACŁAWA LEDNICKIEGO

WARSZAWA

INSTYTUT WYDAWNICZY „BIBLJOTEKA POLSKA"

ОБЛОЖКА ПОЛЬСКОГО ИЗДАНИЯ „МЕДНОГО ВСАДНИКА" В ПЕРЕВОДЕ ЮЛИАНА ТУВИМ, 1932 г.

она обращена[24]. Смысл таких «заимствований» и «подразумеваний» в их первоначальном контексте становится отправной точкой их семантического приспособления к новой композиционной системе. Поэтому задача исследователя сводится не только к тому, чтобы установить факт «заимствования», но и к тому, чтобы определить значение фразы на ее родине, в контексте ее первоисточника—и затем понять, как это значение применено или изменено в стиле Пушкина. Конечно акт понимания облегчен, если сам поэт указывает или подчеркивает свою цитату. Тогда сравнительно легко найти адрес ее источника. Остроту и выразительность вложенных в такую цитату смыслов можно иллюстрировать на пушкинском «Ответе Катенину» (1828). Ю. Н. Тынянов в общем убедительно раскрыл семантику этого стихотворения[25]. Но он не обратил внимания на стих-цитату из стихотворения Державина «Философы пьяный и трезвый»:

Не пью, любезный мой сосед...

Это—рефрен ответов трезвого философа:

Пусть пенится вино прекрасно!
Пусть запах в нем хорош и цвет;
Не наливай ты мне напрасно:
Не пью, любезный мой сосед.

Этот стих получает особенное значение на фоне следующих строк:

Товарищ милый, но лукавый
Твой кубок полон не вином,
Но упоительной отравой:
Он заманит меня потом
Тебе во след опять за славой.

А эти стихи находятся в замаскированно-ироническом сопоставлении с такими признаниями «пьяного философа» из стихотворения Державина:

Гонялся я за звучной славой,
Встречал я смело ядра лбом;
Сей зверской упоен отравой,
Я был ужасным дураком.

Контрастно-ироническое течение смыслов, скрытое в намеках цитаты, в подразумеваемом ею контексте, можно осветить указаниями на то, что в «Ответе Катенину» автор, придерживаясь на питье точки зрения державинского трезвого философа, в то же время приходит к выводам диаметрально противоположным, к теории державинского «пьяного философа», но лишенной ее фундамента, ее опоры—кубка с вином.

Я сам служивый: мне домой
Пора убраться на покой

—иронически заявляет поэт.

Между тем у Державина именно пьяный философ призывает к покою:

Сосед! на свете все пустое:
Богатство, слава и чины;
А если за добро прямое
Мечты быть могут почтены:

То здраво и покойно жить,
С друзьями время проводить,
Красот любить, любимым быть
И с ними сладко есть и пить...

Державинский «пьяный философ» отвергает все—сначала «богатство и чины», затем «звучную славу» и наконец роль судьи, «святого исполнителя законов»—во имя кубка с вином.

Особенно характерна последняя антитеза в репликах «пьяного» и «трезвого» о суде и правде, быть может также подразумеваемая пушкинской цитатой и относимая к «суду» Катенина.

Пьяный.

Хотел я сделаться судьею,
Законы свято соблюдать;
Увидел, что кривят душою,
Где должно сильных осуждать.
Какая польза так судить?
Одних щадить, других казнить
И совестью своей шутить.
Смешно в тенета мух ловить...

Трезвый.

Когда судьба тебе судьею
В судах велела заседать:
Вертеться нужды нет душею...

(Ср. «Товарищ милый, но лукавый». Ср. тему состязания певцов в «Старой были»).

Иронию, язвительную силу этих сопоставлений увеличивает то обстоятельство, что предполагаемое цитатой приравнение Катенина к «пьяному философу» покоится на комическом несоответствии. Ведь Катенин сначала просит Пушкина:

Из кубка, сделай одолженье,
Меня питьем своим напой,
Но не облей неосторожно.

Однако это желание ставится в зависимость от опыта романтиков, который должен показать, что «можно пить, кому угодно». В противном случае Катенин предпочитает остаться лучше при своем[26].

Налив, тебе подам я чашу,
Ты выпьешь, духом закипишь.

Эта многозначительная осмотрительность Катенина иронически сопоставляется с чистосердечной прямотой пьяного философа:

Почто терять часы напрасно?
Нальем, любезный мой сосед!

Ср. в пушкинском «Ответе Катенину»:

Пред делом кубок наливай.

§ 9. Поэтическая цитата может влечь за собой в пушкинскую композицию не только контекст того литературного произведения, из которого она почерпнута, но и более широкую сферу образов и идей из

творчества другого писателя. Поэтому исследователю пушкинского стиля необходимо понять не только значение, применение чужой фразы на ее «родине» в составе одного произведения, но и ее структурный вес в целой литературной системе другого писателя, обозреть все ее идейно-символические связи. Только тогда может вполне определиться степень семантической насыщенности «заимствования» и характер его влияния на символику пушкинского произведения.

Яркой иллюстрацией важности такого семантического исследования может служить стилистический анализ фразы Жуковского—«гений чистой красоты» в стихотворении Пушкина: «Я помню чудное мгновенье» (1825). Н. И. Черняев [27] впервые установил, что фраза: «гений чистой красоты» взята из стихотворения Жуковского: «Лалла-Рук» (1821) [28], и в общих словах отметил черты сходства между обоими стихотворениями. Сопоставление это казалось неубедительным, и Н. Ф. Сумцов [29] готов был это фразовое совпадение считать плодом общих для эпохи тенденций фразообразования, результатом однородной работы над одним и тем же лексическим материалом. Но это не так. При тесноте и общеизвестности поэтических фраз-клише в 20-х годах фразеологическая новизна отчетливо выделялась и сразу же закреплялась за изобретателем. П. А. Плетнев в статье «Два антологические стихотворения» [30], разбирая стихотворение кн. Вяземского «К уединенной красавице», о фразеологии стихов

Так сиротеет здесь в стране уединенной
Богиня красоты без жертв и олтарей

писал: «Так сиротеет здесь—выражение новое и чрезвычайно точное. Оно живо рисует положение души, полной прекрасных чувств, но одинокой, ни с кем не разделяющей бытия своего и никого не радующей собою. Богиня красоты—уже несколько раз повторенные слова многими поэтами—в этом месте имеют свою новость, потому что за ними следуют слова, объясняющие причину, по которой сочинитель употребил их: без жертв и олтарей». На таком прозрачном языковом фоне Жуковский не стал бы заявлять свои индивидуальные права на фразу: гений чистой красоты, для него столь значительную. Для Жуковского эта фраза была связана с индивидуальной сферой образов, точно и строго очерченной—призрачного небесного виденья, «поспешного, как мечтанье», с символами упованья и сна, с темой «чистых мгновений бытия», отрыва сердца от «темной области земной», с темой вдохновенья и откровений души.

Чтоб о небе сердце знало
В темной области земной,
Нам туда сквозь покрывало
Он дает взглянуть порой.

Проявляясь во всем, что «здесь прекрасно», гений красоты

...когда нас покидает,
В дар любви, у нас в виду
В нашем небе зажигает
Он прощальную звезду.

Этот рой образов, облепивших фразу «гений чистой красоты», естественно включает в себя и символ поэзии, «первый пламень вдохновенья»

ОБЛОЖКА К „ИСТОРИИ СЕЛА ГОРЮХИНА"
Рисунок Н. Ильина
Издание „Нижегородская Коммуна", 1928 г.

(ср. в стих. «Явление поэзии в виде Лаллы-Рук»). А идея поэзии для Жуковского сочетается неразрывно с темой потустороннего существования и с темой нравственного совершенствования:

Сама гармония святая
Ее нам мнилось бытие,
И мнилось, душу разрешая,
Манила в рай она ее.

Все эти образы, символически сконцентрированные во фразе «гений чистой красоты», после стихотворения «Лалла-Рук» опять появляются в стих. «Я музу юную бывало» (1823) в иной экспрессивной атмосфере — в атмосфере ожиданья «дарователя песнопений», тоски по гению чистой красоты—при мерцании его звезды[31].

...О, гений чистой красоты...
Но ты знаком мне, чистый гений,
И светит мне твоя звезда.

Известно, что Жуковский снабдил эту символику, связанную с «гением чистой красоты», своим комментарием[32]. В основе его лежит понятие «прекрасного». «Прекрасное... не имеет ни имени, ни образа; оно посещает нас в лучшие минуты жития»; «оно является нам только минутами, для того единственно, чтобы нам сказаться, оживить нас, возвысить нашу душу»; «прекрасно только то, чего нет»... Прекрасное сопряжено с грустью, с стремлением «к чему-то лучшему, тайному, далекому, что с ним соединяется и что для тебя где-то существует. И это стремление есть одно из невыразимейших доказательств бессмертия души». «Прекрасное... мимо пролетающий благовеститель лучшего»; «оно есть восхитительная тоска по отчизне, оно действует на нашу душу не настоящим, а темным, в одно мгновение соединенным воспоминанием всего прекрасного в прошедшем и тайным ожиданием чего-то в будущем»[33].

Эта мистическая окраска символики, прикрепленной к образу «гения чистой красоты», еще раз проявляется у Жуковского в отрывке: «Рафаелева Мадонна» (из письма о Дрезденской галлерее) («Полярная Звезда» на 1824 г., стр. 243—245): «Сказывают, что Рафаэль, натянув полотно свое для этой картины, долго не знал, что на нем будет: вдохновение не приходило. Однажды он заснул с мыслию о Мадонне, и верно какой-нибудь ангел разбудил его. Он вскочил: она здесь, закричав, он указал на полотно и начертил первый рисунок. И в самом деле, это не картина, а видение: чем долее глядишь, тем живее уверяешься, что перед тобою что-то неестественное происходит... Здесь душа живописца... с удивительною простотою и легкостью, передала холстине то чудо, которое во внутренности ее совершилось... Я... ясно начал чувствовать, что душа распространялась... Она была там, где только в лучшие минуты жизни быть может. Гений чистой красоты был с нею.

Он лишь в чистые мгновенья
Бытия слетает к нам,
И приносит откровенья,
Благодатные сердцам.
Чтоб о небе сердце знало
В темной области земной,
Лучшей жизни покрывало
Приподъемлет он порой;
А когда нас покидает,
В дар любви, у нас в виду
В нашем небе зажигает
Он прощальную звезду.

...И точно приходит на мысль, что эта картина родилась в минуту чуда: занавес развернулся, и тайна неба открылась глазам человека... Все, и самый воздух, обращается в чистого ангела в присутствии этой небесной, мимоидущей девы» (ср. Соч. в прозе В. Жуковского, 2-е изд., СПБ., 1826, стр. 247—249)[34].

Насколько вся эта символика была внушительна, как прочно этот рой образов стал оседать в литературном сознании 20-х годов, свидетельствует тот факт, что следы её находим даже у К. Ф. Рылеева; ср. его стихотворение «На смерть сына» (1824):

Земли минутный поселенец,
Земли минутная краса,
Зачем так рано, мой младенец,
Ты улетел на небеса?
Зачем в юдоли сей мятежной,
О ангел чистой красоты,
Среди печали безнадежной
Отца и мать покинул ты?[35]

Но Пушкину была чужда морально-мистическая основа этой символики. Рознь между Пушкиным и Жуковским в этом вопросе была очень остра. Она была связана с разным пониманием сущности поэзии. А образ поэзии для Жуковского был центральным в этом символическом кругу. И Жуковский звал Пушкина в свою веру. Шутливо он писал ему: «Ты создан попасть в боги—вперед. Крылья у души есть. Вы-

щины она не побоится, там настоящий ее элемент! Дай свободу этим крыльям, и небо твое... Прости, чертик, будь ангелом» («Переписка», т. I, стр. 113). О том же пишет Жуковский уже серьезно и строго несколько месяцев спустя: «На все, что с тобою случилось... у меня один ответ: поэзия. Ты имеешь не дарование, а гений... Ты рожден быть великим поэтом: будь же этого достоин. В этой фразе вся твоя мораль. По данному мне полномочию предлагаю тебе первое место на русском Парнассе. И какое место, есть ли с высокостию гения соединишь и высокость цели. Милый брат по Аполлону! Это тебе возможно! А с этим будешь недоступен и для всего, что будет шуметь вокруг тебя в жизни» (ibid., стр. 148). О «Цыганах» Жуковский отзывается (в конце мая 1825 г.): «Я ничего не знаю совершеннее по слогу твоих Цыган. Но, милый друг, какая цель? Скажи, чего ты хочешь от своего гения? Какую память хочешь оставить о себе отечеству, которому так нужно высокое? Как жаль, что мы розно» (ibid., стр. 217) [36]. Пушкин отвечает: «Жалею что нет у меня твоих советов—или хоть присутствия—оно вдохновение... Ты спрашиваешь какая цель у Цыганов? вот на? Цель поэзии—поэзия—как говорит Дельвиг (если не украл этого). Думы Рылеева и целят, а все не в попад» (ibid., стр. 223).

В стихотворении «Я помню чудное мгновенье» Пушкин воспользовался символикой Жуковского, спустив ее с неба на землю, лишив ее религиозно-мистической основы (ср. в письме к Вяземскому от 25 мая 1825 г. применение к Жуковскому—также вне всякого метафизического контекста—стиха из его стихотворения «Я музу юную бывало»: «Былое сбудется опять, а я все чаю в воскресенье мертвых»). Характерно, что Пушкин выделяет из стихотворений Жуковского как «прелесть»: «К мимопролетевшему знакомому гению» (1819) и как бы противопоставляет романтическую мечтательность этого стихотворения потусторонним мистическим и этическим символам «Лаллы-Рук» [37].

В стихотворении «К мимопролетевшему знакомому гению» звучит призыв к гению—«остаться»:

О, гений мой, побудь еще со мною...
Останься, будь мне жизнию земною,
Будь ангелом хранителем души.

Образ гения и тут сливается с поэзией и вдохновением:

Поэзии священным вдохновеньем
Не ты ль с душой носился в высоту,
Пред ней горел божественным виденьем,
Разоблачал ей жизни красоту?

Пушкин, сливая с образом поэзии образ любимой женщины и сохраняя большую часть символов Жуковского, кроме религиозно-мистических (ср. у Пушкина переносно-эротическое, «французское» значение слов—«небесный» и «божество»: небесный=прекрасный; божество, согласно лексикону И. Татищева, в стихотворстве говорится о прекрасной женщине: c'est une divinité, que j'adore):

И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты...
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья...

И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье...

строит из этого материала не только произведение новой ритмической и образной композиции, но и иного смыслового разрешения, чуждого идейно-символической концепции Жуковского. И только этот другой семантический план, внешним симптомом которого является стих—

Как гений чистой красоты—

может помочь полному уяснению смысловой структуры пушкинского стихотворения [38].

Так сложны и разнообразны в языке Пушкина семантические вариации приема намагничивания поэтического слова литературными образами и идеями. Благодаря этому приему концентрации значений, этой многопланности слова, смысловая перспектива пушкинского стиля кажется беспредельной, уходя вглубь иных литературно-художественных культур и стилей.

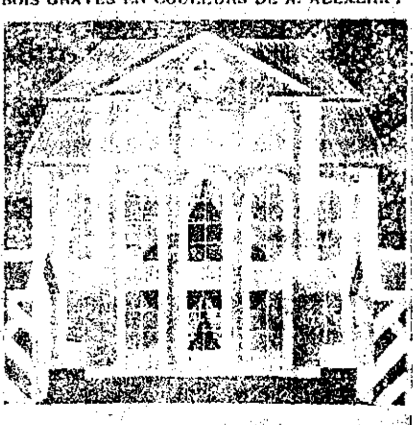
III

§ 1. Углубление семантической перспективы слова, переплетение слова ассоциативными нитями, которые притягивают к нему образы и идеи других литературных произведений и тем приобщают его к содержанию всемирного художественного творчества,—все это не создает в пушкинском стиле разрыва между словом и предметом, между фразеологией и действительностью. Многообразие эстетических, культурных наслоений не ведет к затемнению прямых вещественных отношений слова, не превращает многопредметность слова в беспредметность. Одним из средств укрепления вещественных значений слова в пушкинском стиле был прием пластической изобразительности.

Ведь значение литературного слова зависит между прочим и от того, как соответствующий предмет является в литературе, в какую позу он встает (если можно так выразиться). В проблеме словесного изображения есть сторона, которая обращена не столько к бытовым или литературным «соответствиям», не столько к фразовым формам слова или к его экспрессивным «краскам», меняющимся в зависимости от контекста, сколько к размещению и движению самих предметов, к «натуре», к ее конструктивно-пластическим возможностям. Между литературой и изобразительными искусствами была тесная связь [39]. Например исторические лица в своих позах, действиях, во всей обстановке своего явления были ограничены штампами изобразительной театральности. Пример— вещий Олег.

§ 2. Излюбленным сюжетом исторической живописи (в соответствии с летописью) был поход Олега на греков, закончившийся «миром на самых выгодных условиях для Олега» и торжественным прибиванием щита к царьградским воротам. А. Писарев в своем руководстве «Предметы для художников» [40] (1807) пишет: «Действие происходит в виду Царя-града. Олег, окруженный своими полководцами, гордо ждет послов греческих, за которыми несут дары. Послы с покорностью просят Олега о мире и подают ему статьи договора. Вдоль берега видны шатры высаженного войска для приступа, а на море суда Олеговы. Засим следует представить Олега, когда он прибивает щит свой к цареградским воротам при глазах своего и неприятельского воинства. Он, ка-

жется, говорит: «пусть позднейшие потомки узрят его тут» (ч. I, стр. 20—21). Точно так же рассуждал Н. М. Карамзин в статье «О случаях и характерах в Российской истории, которые могут быть предметом художеств» (Соч. Карамзина, М., 1820, т. VII, стр. 251)[41]: «Олег, победитель греков, героическим характером своим может воспламенить воображение художника. Я хотел бы видеть его в ту минуту, как он прибивает щит свой к цареградским воротам, в глазах греческих вельмож и храбрых его товарищей, которые смотрят на сей щит как на


ALEXANDRE POUCHKINE
LA DAME DE PIQUE
ADAPTATION FRANÇAISE DE PROSPER MÉRIMÉE
BOIS GRAVÉS EN COULEURS DE A. ALEXEIEFF
SE TROUVE CHEZ J. E. POUTERMAN
A PARIS, [illegible], RUE DE LA SANTÉ. — MCMXXVIII

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ И ФРОНТИСПИС К ФРАНЦУЗСКОМУ ИЗДАНИЮ „ПИКОВОЙ ДАМЫ"

Цветная гравюра на дереве А. Алексеева, 1928 г.

верную цель будущих своих подвигов. В эту минуту Олег мог спросить: Кто более и славнее меня в свете?»[42]

Эти сюжеты часто воспроизводились в иллюстрациях и эстампах. Например в «Историческом представлении правления Олега» приложены к четвертому и пятому действию такие картинки: «При четвертом—посольство от греков к Олегу. При пятом—Олег прибивает щит Игорев к столбу, среди Цареградской площади». А. Писареву эти «картинки» показались слишком «недостаточными». В эстампах, гравированных Давидом «по рисункам Монюстовым» («История русская, представленная в эстампах», 2 ч. Франц. текст Блена де Сенмора), есть эстамп «Олег и Леон клянутся в ненарушении мира».

«Дума» К. Ф. Рылеева «Олег Вещий» (которую автор потом называл «исторической песней») составлена из этих общих мест художественного изображения: поход, опустошение Византии и сцены мира.

Боязни, трепету покорный,
Спасти желая трон,
Послов и дань—за мир позорный,
К Олегу шлет Леон.
Объятый праведным презреньем,

Берет князь русский дань;
Дарит Леона примиреньем—
И прекращает брань.
Но в трепет гордой Византии
И в память всем векам,
Прибил свой щит с гербом России
К царьградским воротам[43].

Впрочем необходимо помнить о сюжетно-тематической и лексической зависимости Рылеева в этой «думе» (которую он сам признавал «слабой и неудачно исполненной») от «Истории государства Российского» Карамзина (т. I, стр. 131—143 по 4-му изд. 1833 г.)[44].

Известно, как Пушкин отнесся к «Думам» Рылеева и—в частности—к «Олегу Вещему». «Все они слабы изобретением и изложением. Все они на один покрой: составлены из общих мест (loci topici)... описание места действия, речь героя и—нравоучение», писал Пушкин К. Ф. Рылееву. «Национального, русского нет в них ничего, кроме имен». Понятно также, что Пушкин—при его тяготении к исторической точности обозначений, к художественному соответствию между литературными формами действительности и бытом—был шокирован анахронизмом выражения «прибил свой щит с гербом России». «Ты напрасно не поправил в Олеге Герба России,—убеждал Пушкин Рылеева.—Древний герб, с. Георгий, не мог находиться на щите язычника Олега; новейший, двуглавый орел, есть Герб Византийский и принят у нас во время Иоанна III, не прежде». И тут же в высшей степени характерна для Пушкина, для его стиля, ссылка на манеру летописания, на простое, но исторически точное обозначение предметов: «Летописец просто говорит: Тоже повеси щит свой на вратех на показание победы» («Переписка», т. I, стр. 132—133). Так Пушкин борется против шаблонов литературно-живописной изобразительности и против враждебного историзму риторического переодевания лиц и предметов[45].

§ 3. Пушкин дважды воспользовался образом олегова щита («Песнь о вещем Олеге» и «Олегов щит»). Но оба стихотворения, посвященные Олегу, разительно свидетельствуют о новых—и притом разнообразных—приемах «театрализации» лиц и событий в стихах Пушкина. «Песнь о вещем Олеге» является художественным вызовом, стилистическим протестом против традиции литературного и живописного изображения Олега. На фоне традиционных, окаменевших норм живописания выступают еще ярче оригинальные особенности пушкинской манеры воспроизведения. Н. М. Карамзин в той же статье «О случаях и характерах в Российской истории» («Вестн. Европы» 1802, декабрь, № 24) писал об Олеге: «Сей же князь может быть предметом картины другого роду—ф и л о с о ф и ч е с к о й, есть ли угодно. Во всяких старинных летописях есть басни, освященные древностью, и самым просвещенным историком уважаемые, особливо есть ли оне представляют живые черты времени, или заключают в себе нравоучение, или остроумны. Такова есть басня о смерти Олеговой. Волхвы предсказали ему, что он умрет от любимого коня своего. Геройство не спасало тогда людей от суеверия: Олег, поверив волхвам, удалил от себя любимого коня; вспомнил об нем через несколько лет—узнал, что он умер—захотел видеть его кости—и, толкнув ногою череп, сказал: «это ли для меня опасно?» Но змея

скрывалась в черепе, ужалила Олега в ногу, и герой, победитель Греческой империи, умер от гадины! Впечатление сей картины должно быть нравоучительное: помни тленность человеческой жизни. Я изобразил бы Олега в то мгновение, как он с видом презрения отталкивает череп; змея выставляет голову, но еще не ужалила его: чувство боли и выражение ее неприятны в лице геройском. За ним стоят воины с греческими трофеями в знак одержанных ими побед. В некотором отдалении можно представить одного из волхвов, который смотрит на Олега с видом значительным» (т. VII, стр. 251—252)[46].

В приемах повествования и изображения тут проявляется характерная для стиля Карамзина отрешенность от историко-бытового фона. Предмет воспроизводится не в контексте имманентной ему исторической действительности, а сразу же переносится в плоскость современного автору повествования и мировосприятия, переводится, так сказать, на их язык и окружается свойственными современному дворянскому обществу оценками и экспрессивными выражениями (ср. искажающие летописную перспективу повествования комментарии и оценки автора: «геройство не спасало тогда людей от суеверия»... «Олег, поверив волхвам»... и т. д.). И вся легендарная повесть, риторически переосмысленная просвещенным дворянином конца XVIII в., естественно венчается нравоучением: «Помни тленность человеческой жизни».

Однако и в такой интерпретации тема Карамзина не нашла сочувствия у теоретиков как литературного, так и живописного искусства. «Северный Вестник» (1804 г., июнь, № 6, статья «Критические примечания, касающиеся до древней словено-русской истории») нашел, что кончина Олега баснословна, что на картине, написанной по плану Карамзина, Олег «должен балансировать на одной ноге, отталкивая другою череп». А. Писарев также «не поместил» бы этой картины, «потому, что смерть Олега не заключает в себе ничего чрезвычайного» (стр. 262).

После этого ясно, что «Песнь о вещем Олеге» (1822) Пушкина находится в тесной связи с заветом Карамзина. Она развивает карамзинскую тему и в то же время полемически направлена против карамзинской манеры размещать и воспроизводить предметы, против карамзинского исторического стиля, к которому примыкала и «Дума» К. Ф. Рылеева «Олег Вещий»[47].

§ 4. Необходимо хотя бы бегло очертить новые стилистические формы в пушкинской композиции картины «Вещий Олег». Пушкин стремится к «национализации» стиля, к созданию колорита народности. Недаром поэт упрекал Рылеева, что в его «думах» нет ничего «национального, русского»[48].

С той же точки зрения «исторической народности» характеризовал стиль «Песни о вещем Олеге» и воплощенный в ней авторский замысел П. А. Плетнев (рецензия на «Северные Цветы»), «обращая особенное внимание критики» на ее «национальный, русский дух»: «Мы не успели еще открыть всех поэтических сторон своего отечества, его истории, и особенно того способа, как ими надобно пользоваться в поэзии (подчеркнуто мною.—*В. В.*). Истинный гений... с первого раза чувствует поэзию своего нового предмета, поэзию его изложения, не отнимая у него красот времени и места. Это можно ясно видеть, читая рассматриваемое нами новое произведение Пушкина. Оно должно быть образцом для всех покушающихся писать в этом роде»

(Соч. и переписка П. А. Плетнева. СПБ., 1885, т. I, стр. 210). И сам Пушкин придавал большое значение своей «балладе». А. А. Бестужеву он писал: «Тебе, кажется, Олег не нравится; напрасно. Товарищеская любовь старого князя к своему коню и заботливость о его судьбе—есть черта трогательного простодушия—да и происшедствие само по себе в своей простоте имеет много поэтического» («Письма», т. I, стр. 115). Бросается в глаза настойчивое подчеркивание Пушкиным «простодушия», «простоты». В этой связи приобретает особенный интерес фраза черновика: «идет п р о с т о р е ч н ы й кудеснию». Припоминается ссылка на простой рассказ летописи в письме к Рылееву по поводу «герба России». Но еще показательнее явный отход Пушкина от Карамзина в передаче события, возвращение Пушкина к «простоте» летописного изложения. Не подлежит сомнению, что Пушкин, создавая свою «песнь», ориентировался в стиле не на пересказ Карамзина, а на летописную повесть[49]. В историческом стиле Карамзина исчезла драматическая живость летописного рассказа. Все реплики действующих лиц устранены авторским монологом и лишь у черепа коня за Олегом сохранено его слово — и то в укороченном и обезличенном виде («его ли мне бояться?» или «это ли для меня опасно?»). Разговор Олега с кудесником, принятие решения, прощание с конем, обращение Олега к «старейшине конюхов» и укоры кудеснику—весь этот красочный драматический рисунок летописи стерт у Карамзина риторикой повествовательного стиля. Пушкин восстанавливает драматическую основу летописного повествования. Отсюда естественное деление «баллады» на два действия (2—9 строфы и 10—15) с прологом и эпилогом, при чем второе действие необходимо должно было распасться на две картины: воспоминание о коне и сцена у черепа коня. Такова же композиция летописного отрывка. Но обстановка действий и краски у Пушкина иные. Они—былинные. Богатырь Олег ездит по полю на верном коне или пирует. В этом сближении поэтической речи с условными формами «народной словесности», как они представлялись поэту в самом начале 20-х годов, в придании повествованию колорита национально-исторической характерности и заключается стилистическая новизна «Песни о вещем Олеге». Для понимания путей этой национализации, для оценки ее качества небезинтересно сопоставить язык «Песни о вещем Олеге» со стилем раннего пушкинского стихотворения «Сраженный рыцарь» (1816). В этом стихотворении тема о привязанности коня к рыцарю, после гибели которого конь ходит около его черепа, выражена в традиционных формах книжно-балладного стиля.

Национальный колорит создается в «Песне о вещем Олеге» прежде всего сближением стихового стиля с формами «исторической песни», былины. Уже зачин переносил слушателя в традиционную обстановку «старины»:

К а к ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хозарам.

Ср.: К а к под славным городом под Полтавой
Тут стоял-постоял король шведский.

Или: К а к во городе было, да во Казани.

Ср. у Пушкина в песне о Стеньке Разине:

К а к по Волге реке, по широкой
Выплывала востроносая лодка,

Как на лодке гребцы удалые
Казаки, ребята молодые.

Эпически торжественный тон поддерживается синтаксическими формами: все стихотворение почти сплошь состоит из главных предложений. Преобладают бессоюзные конструкции. Из союзов—в соответствии с эпической простотой летописного языка—употребляются только три: *и*, *а* и *но* (один раз — однако). Правда, те же синтаксические формы можно наблюдать и в стихотворении «Сраженный рыцарь» (то же господство

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К ФРАНЦУЗСКОМУ ИЗДАНИЮ „ПИКОВОЙ ДАМЫ"
Цветная гравюра на дереве А. Алексеева, 1928 г.

главных предложений, исключительное употребление союзов *и* и *но*). Но самые функции союзов—резко отличны в «Песни о вещем Олеге»: здесь характерны присоединительные и повествовательные значения союза—*и*, создающие стремительный темп, быстроту повествования и в то же время придающие речи отпечаток величавого летописного примитивизма (ср. те же логические формы присоединительного сочинения в летописном рассказе о смерти Олега). Эти синтаксические формы в «Сраженном рыцаре» отсутствуют. Достаточно вдуматься в примеры употребления союза *и* в «Песни о вещем Олеге», чтобы оценить своеобразные оттенки народно-поэтической стилизации:

Из темного леса, навстречу ему,
Идет вдохновенный кудесник...
В мольбах и гаданьях проведший весь век,
И к мудрому старцу подъехал Олег.

И отроки тотчас с конем отошли,
А князю другого коня подвели.

Пирует с дружиною вещий Олег...
И кудри их белы, как утренний снег...

И внемлет ответу...
И хочет увидеть он кости коня.
Вот едет могучий Олег со двора,
С ним Игорь и старые гости,
И видит...
И вскрикнул внезапно ужаленный князь[50].

Ср. совсем иные формы соединительных и повествовательных значений союза *и* (в стиле Карамзина и Жуковского)—из «Сраженного рыцаря»:

Ленивой грядою идут облака,
И с ними луна золотая.
Лежат неподвижно—и месяца рог
Над ними в блистаньи кровавом

или—для обозначения постепенной и последовательной смены действий (почти со значением: и з а т е м, или: и п о т о м):

На холм он взобрался, и в тусклую даль
Он смотрит, и сходит, и звонкую сталь
Толкает усталой ногою.

И другие союзы, особенно союз *но* (в «Сраженном рыцаре» союз *а* вовсе отсутствует, *но* употреблен лишь один раз:

Уж путник далече в тьме бродит ночной,
Все мнится, что кости хрустят под ногой...
Но утро денница выводит...)

в «Песни о вещем Олеге» имеют настолько резкий семантический привкус «открытых», присоединительных конструкций, что здесь нельзя не видеть поэтического подражания языку летописи или былины, облеченного в характеристические формы пушкинского синтаксиса. Например:

Твой конь не боится опасных трудов...
И холод и сеча ему ничего:
Но примешь ты смерть от коня своего.
Грядущие годы таятся во мгле;
Но вижу твой жребий на светлом челе.

Ср. Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен.

Кроме того симптоматично отсутствие в «Песни о вещем Олеге» типичных для стиля Карамзина и его школы форм синтаксической прерывистости, синтаксического замедления, служащих для обострения эмоционального контраста и обозначаемых многоточием, а также форм синтаксического включения, синтаксической «симультанности», обозначаемых посредством тире.

Ср. в «Сраженном рыцаре»:

Хладеет пришелец—кольчуги звучат,
По камням шелом покатился,

Скрывался в нем череп... при звуке глухом
Заржал конь ретивый—скок лётом на холм—
Взглянул... и главою склонился...
Уж путник далече в тьме бродит ночной,
Все мнится, что кости хрустят под ногой...
Но утро денница выводит—
Сраженный во брани на холме лежит.

Синтаксическим формам соответствует и лексика «Песни о вещем Олеге», чуждая сантиментальной изысканности и литературной цветистости. Таковы например эпические эпитеты: «неразумные холопы», «буйный набег», «верный конь», «темный лес», «мудрый старец», «могильная земля», «вещий язык», «могучие владыки», «небесная воля», «светлое чело», «дивная судьба», «синее море», «грозная броня», «крутая шея», «прощальная рука», «позлащенное стремя», «конь ретивый», «непробудный сон», «могучий Олег», «жаркая кровь», «гробовая змея», «ковши круговые», «тризна плачевная» и др.

Более яркий отпечаток романтической литературности лежит лишь на эпитетах—«обманчивый вал», «роковая непогода», «лукавый кинжал». В диалоге заметно тяготение к простому фамильярно-бытовому стилю, чуждому карамзинской галантности. В этом отношении особенно характерны речи Олега, вовсе лишенные цветов риторики и состоящие из формул просторечия. (Ср.: «Теперь отдыхай... Прощай, утешайся, да помни меня»... «А где мой товарищ?.. Здоров ли? Все так же ль легок его бег?» «Что же гаданье? Кудесник, ты лживый, безумный старик!» и т. п.)

Речь кудесника более торжественна и величава, так как образ кудесника вообще несколько стилизован под личность поэта. Но и в ней попадаются просторечные выражения, например: «И холод и сеча ему ничего»... «Завидует недруг столь дивной судьбе». Кроме того историко-бытовой колорит создается предметами старины, обстановкой, исторической терминологией («с дружиной своей, в цареградской броне», «кудесник, покорный Перуну старик одному»; «твой щит на вратах Цареграда», «отроки-други»; «на тризне, уже недалекой, не ты под секирой ковыль обагришь и жаркою кровью мой прах напоишь»).

Таким образом вся стилистика баллады свидетельствует об отказе Пушкина от литературного пути Карамзина и следующего за ним в данном случае Рылеева. И вместе с тем она отражает новые, характерно-пушкинские приемы живописания и повествования. Особенно рельефно они обнаруживаются в развитии темы коня, которая увлекала поэта как сюжетная канва для изображения личности Олега в простой летописной манере. Вещий Олег является на сцену на верном коне. В речи Олега конь выступает как высшая награда мудрому старцу за пророчество:

Открой мне всю правду, не бойся меня:
В награду любого возьмешь ты коня.

И в ответе кудесника, из перечня предметов, которые не в силах повредить князю, конь не только выделяется как виновник смерти, но и делается объектом восторженной характеристики. Кудесник как бы поет гимн коню:

Твой конь не боится опасных трудов.
Он, чуя господскую волю,

То смирный стоит под стрелами врагов,
То мчится по бранному полю,
И холод и сеча ему ничего...

В соответствии с этим и все последующие речи целиком посвящены коню—товарищу, верному слуге, другу одинокому. Конь занимает передний план картины. Особенно остро и эффектно на этом фоне воспринимается переход от эпического повествования о пире Олега с дружиной к драматическому воспроизведению беседы.

Они поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.
«А где мой товарищ, промолвил Олег:
Скажите, где конь мой ретивый?»

Так образ коня-товарища проходит через всю балладу. И в соотношении с ним, в экспрессивном соседстве с ним характер Олега обрисовывается чертами, очень мало напоминающими формы сантиментально-классического портрета героев. Этот прием символического изображения вещего Олега через отношение его к коню далек от карамзинской риторики и говорит об уклоне пушкинского исторического стиля в сторону «домашности», бытового простодушия и просторечия, в сторону «народности». Эта романтическая устремленность находит выражение и в том приеме «недоговоренности», «завуалированности», драматической метонимичности, которым описывается гибель Олега: «И вскрикнул внезапно ужаленный князь». Изображено лишь сопутствовавшее смерти движение. А далее следует эпилог, из которого ясно, что Олег уже умер:

Ковши круговые запенясь шипят
На тризне плачевной Олега.

Это—тот прием романтической полутайны, романтических умолчаний, в котором кн. Вяземский готов был видеть характерную черту нового европейского стиля[51].

Так Пушкин, отталкиваясь от шаблонов живописного изображения, создает новые приемы литературной изобразительности. В литературу входят новые формы стиля портрета, новые принципы размещения лиц и предметов на картине, иные приемы светотени, игры красками.

§ 5. Если от исторического повествования перейти к формам изображения жизни и впечатлений лирического «я», то и тут вопрос о размещении, о позах лиц и предметов получает особенную остроту. В соответствии с общими нормами пушкинского стиля лирический монолог, драматизуясь, становится сферой столкновения и пересечения двух или нескольких субъективных планов. Открывается возможность смещений перспективы. Точка зрения собеседника, его восприятие, его театральное чувство располагает предметы и лица и оценивает их соотношения, связи иначе, чем лирические «я». Кроме того наблюдению собеседника могут быть даны лишь внешние пластические, живописные формы лиц и предметов лирической картины; внутренние же их взаимоотношения от него скрыты. И только потом, в заключительных штрихах, разгадывается символическое значение всех элементов картины. Для понимания стилистических превращений поэтического образа, которые создаются этими приемами, особенно важно стихотворение «Буря» (1825). Образ девы на скале, который в своей отрешенной от лирического «я»

пластичности символизирует женщину, превознесенную над всем миром, возбуждающую в лирическом «я» восторг и поклонение,—казался современникам поэта чересчур искусственным, изысканным, театральным. Но эта кажущаяся «театральность» позы внутренно мотивирована обращением, вопросом к «ты», к лирическому собеседнику, для которого дева была однажды объектом наблюдения именно среди такого пейзажа. Весь эффект, вся острота изображения заключается в этой точке зрения

PUSKIN SÁNDOR
PIQUE-DÁMA

MALONYAY JÁNOS
FORDITÁSA

SACELLÁRY
KIADÁSA
BUDAPEST

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ И ФРОНТИСПИС К ВЕНГЕРСКОМУ ИЗДАНИЮ „ПИКОВОЙ ДАМЫ"
1920 г.

постороннего созерцателя, в обнаженной пластичности его зрительных восприятий.

Ты видел деву на скале
В одежде белой над волнами?..

При этом сама картина рисуется так, что вся природа, наблюдаемая как бы в трех поясах—внизу, под девой (море), на уровне ее фигуры (ветер) и над нею (небо в блесках), подчинена образу девы, концентрируется вокруг него, на нем сосредоточивая свои действия, проявляя свое отношение к нему, создавая игру красок вокруг него («в бурной мгле»... «озарял... блеском алым»...). Дева на скале, как прекрасная статуя, господствует над разыгравшейся стихией. Она только объект созерцания («ты видел деву») и объект воздействия стихий, играющих около нее и с ней (ср. относящиеся к природе глаголы напряженной активности, захватывающие деву как объект своего действия):

Когда, бушуя в бурной мгле
Играло море с берегами,

Когда луч молний озарял
Ее всечасно блеском алым,
И ветер бился и летал
С ее летучим покрывалом?..[52]

Таким образом на этой картине, пока еще полуоткрытой, лишь сквозь призму созерцания лирического собеседника («ты») символически и смутно, в образах природы, в их внутренней композиционной связи с фигурой «девы на скале», в интонации вопроса можно усмотреть оценку, экспрессию самого лирического «я». Но это отношение лирического «я» к «деве» непосредственно вслед за этим обнаружится в форме присоединительного противопоставления. В этом противопоставлении звучит не объективное утверждение превосходства красоты девы над красотой «волн, небес и бури», а уверение лирического «я».

Но верь мне: дева на скале
Прекрасней волн, небес и бури.

Именно в экспрессии этого уверения находят свое символическое выражение чувства восторженного преклонения лирического «я» перед «прекрасной девой». Стилистическая затаенность этого восхищения, которая приобретает трагическую напряженность от яркой красоты картин моря, неба в блесках и бури, еще острее подчеркивает силу страсти и восторга. Для экспериментального оправдания той мысли, что высота лирического волнения в стихотворении «Буря» зависит от контрастного слияния красочной пластичности образов (в форме утвердительного вопроса, приписанного лирическому собеседнику) с символическим выражением в них, в соотношении и связи их элементов, страсти лирического «я», небесполезно поставить в параллель с «Бурей» стихотворение Олина «Прекрасна радуга на небе голубом». С восточного. («Карманная книжка для любителей русской старины и словесности на 1829 год», стр. 395). Здесь отсутствует посторонний наблюдатель; нет стремления к живописности, «пластичности» образов, нет столкновения субъектных планов. Здесь, в форме обращения к самой красавице, с трафаретной прямолинейностью вычерчивается по схеме противительного сравнения контрастный параллелизм красоты природы и любимой женщины:

Прекрасна радуга на небе голубом,
Когда погаснет в тучах гром;
Чиста (и что пред ней смарагды и опалы?)
Молитва ангела пред светлым троном Аллы;
Но ты, о Зора! ты и радуги милей
И ангела, скажу ль? молитвы ты чистей:
В очах твоих мне вся Эдема прелесть зрима.

«Дева на скале» современникам Пушкина представлялась скульптурным символом романтической поэзии. По крайней мере Ф. Глинка в своей аллегории «Две сестры или: которой отдать преимущество» («Северные Цветы» на 1828 г.) так изображал «младшую сестру»—романтическую поэзию: «Раз я видел ее, высоко от земли, на самом острие скалы. Там, под навесом тихого неба, на котором жаркая позолота заката мешалась с светлым румянцем вечерней зари и с серебристым сиянием выступающего месяца, в белой одежде, под голубым покрывалом, она стояла в живопис-

ной неподвижности, как гений, изваянный рукою великого художника, как легкое видение, внушающее сладкие, приветливые ощущения. Но она любит скитаться и под воем осенних бурь и всматриваться в страшные картины неба, на котором тучи громоздятся, как густые ополчения сражающихся человеков» (стр. 158)[53].

Так живописно-пластические формы предмета, его «позы», его позиции, обусловленные взаимодействием литературы и изобразительных искусств, составляют новый семантический круг в поэтическом стиле Пушкина[54]. Это—«скульптурное или живописное начало, перенесенное в средства слова, где не только созерцание, но и самая мысль становится изваянием, картиной» (Щербина).

IV

§ 1. Кроме приема эстетического намагничивания слова литературной тематикой и приема пластической изобразительности, в той же сфере предметно-смысловых отношений слов и фраз характерен для пушкинского стиля принцип семантических отражений, принцип варьирования одного образа, одной темы в структуре литературного произведения. Одни и те же слова, фразы, символы, темы, двигаясь через разную преломляющую среду в композиции литературного произведения, образуют сложную систему взаимоотражений, намеков, соответствий и совпадений. У Пушкина в лирической пьесе, в драме, в повести нередко наблюдаются однородные формы словесной композиции, основанной на лейтмотивах, на символических вариациях: группы слов, образов и тем, являющиеся опорами, скрепами сюжетной конструкции и управляющие ее движением, выступают симметрично, почти с алгебраическою правильностью соотношений. Вяч. Иванов указал на прием семантических отражений в поэме «Цыганы». М. О. Гершензон отметил этот прием в композиции «Станционного смотрителя»[55]. Д. Д. Благой описал сходное явление в композиции «Каменного гостя»: «...вторая и четвертая сцены— и по количеству действующих лиц, и по самому характеру действия, наконец, по последовательности его развертывания—до поразительного повторяют друг друга... получается два совершенно параллельных ряда. Однако смысл этой композиции не только в ее изумительной стройности, почти архитектурной правильности и чистоте ее линий, а и в градации тематических нарастаний. Каждая последующая из двух параллельных сцен усиливает, как бы обводит пунктиром основной мотив каждой предыдущей»[56]. Но исследователям не пришло в голову, что они столкнулись с своеобразным законом пушкинского стиля (проявляющимся от самого начала 20-х годов до последних произведений поэта). Для его всестороннего освещения необходимы примеры из разных жанров и разных периодов пушкинского творчества.

§ 2. Многообразие значений символического клубка образов, которые, как симфоническая тема, а иногда как лейтмотив, связывают между собой части повествовательной конструкции, особенно ярко и остро выступает в повести «Метель». Здесь таким символическим стержнем являются образы метели, в которых воплощаются тема судьбы и тема суженого. Порядок их явления находится в полном соответствии со сменой субъектных плоскостей. Образы метели четыре раза вступают

в движение рассказа. Правда, рассказчик, если эпиграф считать отдельной сферой речи, сменяется только трижды. Но здесь в пушкинском стиле наглядно обнаруживается сложность, субъектная многопланность структуры самого образа повествователя, который, меняя точку зрения и позицию субъективной оценки событий, перемещается из плана сознания одного героя к другому.

Прежде всего к теме метели примыкает эпиграф из «Светланы» Жуковского.

Кони мчатся по буграм,
Топчут снег глубокой...
Вот в сторонке божий храм
Виден одинокой.
. . . .
Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
Вьется над санями;
Вещий стон гласит печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
Воздымая гривы...

Таким образом все сюжетное содержание «Метели» как бы проектируется на символику «Светланы». Тема «Светланы»—тема судьбы, тема «суженого». Она «обвеяна атмосферой святочных гаданий, создающих колорит романтической «народности». Тема суженого разбивается по двум плоскостям. Одна—сон, другая—явь. Обе эти плоскости символически осмысляются лирическим комментарием автора, утверждающим «веру в провидение»:

Благ Зиждителя закон:
Здесь несчастье—лживый сон;
Счастье—пробужденье.
О! не знай сих страшных снов,
Ты, моя Светлана!..

Таким образом тема судьбы и суженого сначала воплощается в образах страшных снов, в образах несчастья. Эти «страшные сны» в основной своей части совпадают с явью Марьи Гавриловны из «Метели»:

Едем! Поп уж в церкви ждет
С дьяконом, дьячками;
Хор венчальну песнь поет;
Храм блестит свечами...
. . . .
Идут на широкий двор
В ворота тесовы;
У ворот их санки ждут;
С нетерпенья кони рвут
Повода шелковы...

Но храм, по романтическому обыкновению и по примеру русских вариаций на тему бюргеровской «Леноры», встретил Светлану ужасом.

Вдруг метелица кругом
Снег валит клоками...

Промчавшиеся мимо храма кони несутся к «хижинке под снегом»:

Брезжит в поле огонек;
Виден мирный уголок,
Хижинка под снегом:
...Вот примчалися.

—И все пропадает, все сгинуло во мраке метели, и Светлана остается наедине с гробом в пустой хижине.

...вмиг
Из очей пропали:
Кони, сани и жених,
Будто не бывали.
Одинокая в потьмах
Брошена от друга
В страшных девица местах;
Вкруг метель и вьюга...

Далее—романтические ужасы пробуждения мертвеца и окончательного его замирания, т. е. вся та «гробовая» фантастика, которую Пушкин пародически воспроизвел в «Гробовщике». Светлана пробуждается от «страшных снов», и перед ней открывается счастье пробужденья:

Статный гость к крыльцу идет...
Кто?.. жених Светланы...

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ „ПИКОВОЙ ДАМЫ“
Автолитография А. Пронина, 1923 г.

Что же твой, Светлана, сон,
Прорицатель муки?
Друг с тобой; все тот же он
В опыте разлуки;
Та ж любовь в его очах;
Те ж приятны взоры;
Те ж на сладостных устах
Милы разговоры...

Так и перед Марьей Гавриловной в «Метели» вместо мертвого жениха редстал после «опыта разлуки» полковник Бурмин. В эпиграфе к «Меели» символически заложены основные образы повести, и метель преуказана как фон «страшных снов», т. е. несчастий. Но Пушкин в соответствии с законами своего стиля делает метель, как и «выстрел» повести того же названия, повторяющейся темой своей повествовательой полифонии. На метели, на ее течении обрываются тянущиеся паралельными рядами нити повести, пока Бурмин не связывает их в сюжетое единство своим рассказом о метели.

Интересно, что смысловые функции образов метели и самый характер е стилистического воспроизведения во всех трех частях повести—разые. Сначала, когда повествование колеблется между образом автора и очкой зрения Марьи Гавриловны, метель символически воспроизводится плане сознания и понимания молодой преступницы как предвестие есчастья: «...На дворе была метель; ветер выл, ставни тряслися и стуали; все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием»... «Ветер ул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу»...

Напротив, когда повествовательный стиль, отрываясь от судьбы Марьи авриловны, сближается с сферой сознания Владимира, и рассказчик или рассказчица) сливает свое отношение к событиям с чужой точкой зрения, с переживанием их путником, тогда метель воспроизводится во всех фазах ее течения как длительный и разрушительный процесс, как действия грозной и враждебной силы, с которой приходится бороться путешественнику, охваченному сначала нетерпением, затем беспокойством и наконец отчаянием.

Основной формой изображения метели делаются глаголы движения. К ним присоединяются фразы, регистрирующие ход времени. В сочетании с глагольными обозначениями состояния, эмоций и дум Владимира глаголы движения становятся сложными символами, выражающими не только объективное течение событий, но и переживание их героем. Метель распадается на ряд фазисов, промежутков времени, и границей между ними является то вспыхивающая, то угасающая мысль путника о близости рощи и Жадрина. При этом изображаются лишь такие действия и явления, которые непосредственно связаны с дорогой, с состоянием пути. «Сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой... Небо слилось с землею». После этого стремительного рассказа о наступлении метели начинается последовательное движение повествовательных отрезков, почти строф, из которых каждая заключается фразой об уходящем времени и об отдаляющейся цели (о невидности рощи, Жадрина). Так как читатель предупрежден, что до Жадрина 20 минут пути, то сначала почти по соседству располагаются фразы,

изображающие ожидание Владимира посредством указания на Жадринскую рощу: «...ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доехал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около десяти минут: рощи все было не видать». А далее каждая семантически отграниченная повествовательная часть, говорящая с разными экспрессивными вариациями об одном и том же,—о направлении пути, о сугробах, о движении лошади, об ее изнеможении, о вдруг возникающих надеждах, о думах и действиях путника,—только через все большие и большие промежутки времени замыкается указаниями на рощу или непосредственно на Жадрино: «Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца»...— «Приближаясь, он увидел рощу. Слава богу, подумал он, теперь близко»... «Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать; роще не было конца»...—«...Владимир выехал из лесу; Жадрина было не видать»... Это символическое изображение нетерпеливого ожидания, смены беспокойства, надежды отчаянием—в параллель с описанием такой же смены состояний выбивающейся из сил лошади—на фоне подчеркиваний бесконечности поля и рощи, указаний на бесконечно длящуюся езду, на фоне непрестанной регистрации протекающего времени заставляет читателя вместе с путником переживать метель, ее течение, и как бы вовлекает читателя в то же восприятие времени, какое усвоил, следуя своему герою, рассказчик.

Так метель в истории Владимира выступает как трагическое препятствие и рисуется в аспекте борьбы с ней несчастного любовника, в изменчивом освещении сопровождавших эту борьбу эмоций.

Напротив, в рассказе Бурмина метель только называется («поднялась ужасная метель»). Картина метели здесь свободна от трагических красок (ср. разговорное выражение: «метель не унималась»). Как синоним метели является слово «буря». С метелью считаются только ямщики. «Вдруг поднялась ужасная метель, и смотритель и ямщики советовали мне подождать... Ямщику вздумалось ехать рекою... Берега были занесены; ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу»... Эмоции самого Бурмина направлены в сторону от метели, протекают мимо нее. «Непонятное беспокойство овладело мною; казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась; я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю». Так для Бурмина метель рисуется «непонятной» случайностью, через которую он ехал к «преступной проказе», оказавшейся потом его счастьем. Так в семантическом рисунке повести игра красок сосредоточена на разных образах метели, на разнородных субъективных отражениях одного символа.

§ 3. По тому же принципу семантического варьирования повторяющихся тем, по тому же принципу смысловых отражений символа, отпечатлевающихся в разных субъектных сферах речи, построены все повести Пушкина. Но в каждой из них этот прием имеет индивидульаные отличия. Особенно характерны формы его применения в повести «Барышня-крестьянка». Здесь уже заглавие-оксюморон намекает на стилистическую игру смешением, слиянием и разделением двух словесных планов сюжета. В «Барышне-крестьянке» симметрия словесных образов завуалирована густою сетью литературно-полемических смыслов, направленных и на ироническую демонстрацию маски разочарованного героя

(в образе румяного и простодушного Алексея Ивановича, который называет свою собаку литературно-романтическим именем Sbogar'a), и на комически-бытовое перевоплощение вальтер-скоттовской темы фамильной вражды (ср. иронию Муромского: «или ты к ним питаешь ненависть, как романтическая героиня?»), и на пародийное разоблачение сюжетов тайного брака и сантиментально-карамзинских мотивов о чувствах крестьянки, о любви «благородного» дворянина к крестьянке (ср. имя Лизы и чтение героями «Натальи, боярской дочери» Карамзина), и на шутливо-повествовательную реставрацию театральных постановок водевилей с переодеванием.

Но повторяющиеся ситуации в развитии темы барышни-крестьянки, вернее—темы крестьянки и темы барышни, так как для героя крестьянка и барышня только в конце повести сливаются в один образ, в разных вариациях и разных субъектных планах, как сквозное действие, проходят через всю повесть. Раздвоению образа героини соответствует двойственность ликов самого героя. Для барышень он надевает личину мрачного и разочарованного романтического героя. И этот лик «романтика» окружен авторской иронией, разоблачающей перед читателем приемы игры героя, совлекающей с него театральную маску: «Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность во всяком случае всего приличнее»... Ср. также: «Барышни поглядывали на него, а иногда заглядывались; но Алексей мало ими занимался». Напротив, в плоскости крестьянского восприятия и понимания это—«добрый, веселый барин». «Одно не хорошо: за девушками слишком любит гоняться». Этот разлад, это раздвоение преодолевает барышня-крестьянка, совмещающая в своем репертуаре обе роли и обе точки зрения—барышни и крестьянки. На это и намекает автор эпиграфом из Богдановича: «Во всех ты, душенька, нарядах хороша».

Прежде чем приступить к анализу пушкинской композиции образов, следует воспроизвести ту старинную сюжетную канву, по которой Пушкин вышивал свои стилистические узоры в «Барышне-крестьянке». Тема барышни-крестьянки была традиционной для литературы XVIII и начала XIX в. Остов сюжета о крестьянке или поселянке, которая пленяла молодого дворянина, затем оказывалась переодетой барышней и в конце концов становилась невестой героя, всюду более или менее однороден и неподвижен, хотя возможны и вариации его. Указание М. Н. Сперанского на связь «Барышни-крестьянки» Пушкина с повестью «Урок любви» m-me Montolieu надо понимать именно в этом смысле[57]. Любопытен «роман XVIII столетия» «Дочь деревенского священника» (вошедший в книгу «Вечера на святках». Собрание русских повестей. Москва. 1833)[58], где разрабатывается, но уже в комическом стиле, хотя и без переодеваний, тот же сюжет барышни-поселянки, что и в повести m-me Montolieu. Граф Любский, молодой ипохондрик, здоровый, краснощекий, но воображающий себя больным всеми болезнями, в том числе и чахоткою, противится предложению матери жениться на красавице графине Чюминой. Он по временам мечтает о «счастьи сельской жизни», где «царит искренность в сердце, простота в обхождении». Как бы в осуществление этой мечты он влюбляется в «дочь деревенского священника», у которого случайно остановился на ночлег во время путешествия. Граф молит молодую поселянку о встречах. «Читает ей идиллии Гесснера, стихотворения Гольста, Салиса, Матисона». Частые встречи

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ „ПИКОВОЙ ДАМЫ"

Рисунок К. Верта

разжигают страсть графа. Он начинает думать о женитьбе. «Но она не дворянка; предрассудок положил между ними преграду»... Однако «лучше сделать пятно в родословной, нежели пятно в жизни» (стр. 80—81). И граф делает предложение Марии (так звали дочь деревенского священника). Но надо получить согласие матери. В ожидании ответа пылкий любовник не должен видеть Марии. Через некоторое время он получает письмо матери, в котором она, не отказывая сыну в его просьбе, предлагает ему «представить невесту свою в простеньком платьице, в таком, как она теперь ходит, всей знати, всему высшему свету». «Да... я это сделаю,—восклицает граф.—Явлюсь перед целым светом, и суетные рабы предрассудка изумятся, когда представлю им свою любезную. Они будут ослеплены простым блеском добродетели и невинности» (стр. 110). Молодой любовник везет юную поселянку в дом своей матери, где собрался высший свет. Мария робеет. Но вдруг к ней простирает объятия графиня, мать героя повести... и называет своей дочерью. Оказывается, что «дочь деревенского священника»—и есть та знатная красавица, которую прочила мать в жены молодому графу. Но ее отец, зная, «в какие опасности завлекает свет сердца неопытных молодых людей, хотел, чтобы она была воспитана в деревне простой поселянкой в неведении свѐта и своего графского достоинства».

Для предшествующей истории образа барышни-крестьянки характерна также повесть Августа Лафонтена «Миниатюрный портрет», русский перевод которой был напечатан в «Вестнике Европы» (1826 г., июнь и август). Здесь в разработке темы барышни-крестьянки мотив переодевания участвует как не осуществившийся. Переодевание предполагается.

Оно двигает действие—и вдруг оказывается выдумкой, фантазией. Молодой граф Рейнальд должен жениться на Юлии Мартеней по обоюдному желанию их родителей, бывших старинными друзьями. Отец показывает сыну миниатюрный портрет его будущей невесты. И молодой человек восторгается наружностью молодой девушки. Он едет в имение, которое находится по соседству с владениями Мартеней. «Просто одетый отправляется пешком в свою деревню, где прежде не бывал ни одного разу», и «объявляет себя управителем» (стр. 136). В кругу крестьянских девушек он видит оригинал «миниатюрного портрета». Граф узнает романтическую Юлию. «Романическая! сантиментальная!—так рассуждал он,—желает быть любима для самой себя!» (стр. 135). «Не без сильного движения в груди граф завел разговор с нею. Милая девушка отвечала ему тамошним наречием; но по звуку голоса ее, по отборным выражениям он легко мог узнать, что говорит не с простою, не с обыкновенной крестьянкой» (стр. 213). Граф наводит разговор на девицу Мартеней. «Отвечала Юлия без малейшего замешательства, и даже имела дух прибавить: она выходит за барина здешнего имения» (стр. 215). Граф «до безумия» влюбился в молодую девушку. Но он в тревоге: «А она знает ли его, или нет? С одной стороны, пленительная невинность и веселие на лице ангельском, с другой—притворство, выученная непринужденность, совершенное искусство играть столь трудную роль—вот над чем граф ломал голову, и вот что было поводом к его недоумениям, беспрестанно возобновлявшимся» (стр. 215—216). Юлия называет себя Машей. Встречи с ней очарованного графа только усиливают его страсть. Разговоры строятся так, что граф все сильнее уверяется в намеренном переодевании[59]. «Граф видел, что она решилась продолжать свою комедию и потому всячески остерегался обнаружить, что ее знает, и даже принуждал себя казаться холодным» (стр. 217). Но были минуты, когда в пылу страсти он готов был Маше-Юлии открыть свою любовь, «но все удерживался, не имея довольно смелости» (стр. 221). Твердая уверенность графа, что под образом Маши скрывается Юлия, поддерживалась намеками старика Мартеней (в письмах к его отцу) на романический план плутовки-дочери, замыслившей крестьянский маскарад для испытания характера жениха. «Она предположила также наперед овладеть его сердцем, а потом уже кончить комедию... Смотри же, чтобы сын твой не плошал, встречаясь с молодыми девушками; иначе, не долго ему попасть на удку. Юлия представится ему однажды Сильфидой, в другой раз пастушкой»... Граф, изнемогая от любви, делает Маше *предложение выйти за него замуж. Маша сама без ума от графа.* Счастливый граф «забыл о Юлии, не мыслил о перемене, быв счастливым при своей любезной крестьянке и помня одно лишь настоящее блаженство» (стр. 226), не мог однако же воздержаться от смеха, когда Маша говорила ему, что свадебному празднику быть в хижине»...—«Господи боже!—думал граф,—какое воображение и какое постоянство в исполнении плана!» Вскоре граф получает письмо от Мартенея, «который приглашал его пожаловать в свой замок. Граф догадывался, что завтра увидит свою Машу уже дочерью г-на Мартенея, и заранее готовился играть роль удивленного: почти целый час умудрялся перед зеркалом, принимал разные мины, одна другой лучше—и все для того, чтобы не лишить любезной своей того удовольствия, которое она готовила для себя с таким трудом и столь милым притворством» (стр. 227).

Граф перестает разыгрывать роль «управителя», едет к Мартеней и горит нетерпением увидеть свою Юлию.—«Да вот она! вот дочь моя!— отвечал Мартеней, показывая на даму, которой граф не видал ни разу во всю свою жизнь. Не было никакой нужды играть роль удивленного: он остолбенел в прямом смысле слова. Скоро однако ж пришла ему счастливая мысль, что над ним хотят позабавиться; вот он и сам вознамерился притворствовать, доколе будет можно».

Но Мартеней спешит устроить помолвку и предлагает графу объясниться с дочерью. «По крайней мере пора уже кончить», молвил граф и заявляет, что его «рука и сердце отданы другой девице»; «Мартеней остолбенел; устремив на него пристальный взор свой, он воскликнул: «Как! ты отрекаешься от моей дочери!»—«И отрекаюсь от нее и соглашаюсь быть ее мужем, как угодно. Я дал слово молодой крестьянке!— И захохотал от всего сердца» (стр. 230). Происходит комическая сцена: молодой граф, уверенный в мистификации, шутит и смеется, Мартеней выходит из себя, ничего не понимая в поведении жениха. В это время является старый граф. Происходит объяснение. Появляется на сцену миниатюрный портрет. Граф узнает, что крестьянка Маша и есть крестьянка Маша. Это не колеблет его решимости. «Я люблю крестьянку, не жалею о своей ошибке... Неужели ни миниатюрный портрет, ни письмо, в котором г. Мартеней извещал о намерении дочери своей показаться крестьянкой, не убедят вас, что я должен был полюбить ее в особе Маши?» (стр. 290—291). Старый граф пытался было отговорить сына от женитьбы на крестьянке. Но тот был непреклонен. «Ах, если б вы увидели мою Машу! Такая крестьянка была бы украшением трона: признаками рода ее остались единственно скромность, невинность и чистосердечие» (стр. 291). После испытаний разлуки влюбленные соединились.

Воспользовавшись этим бродячим мотивом барышни-крестьянки, Пушкин развил его по законам своего стиля. В пушкинской повести тема барышни-крестьянки, развертываясь в параллельные или прямо контрастные ряды образов, блуждает по разным субъектным сферам. Прежде всего одна вариация ее возникает в рассказе крестьянки Насти («лица гораздо более значительного, нежели любая наперсница во французской трагедии») об ее встрече с молодым Берестовым. Тут-то и происходит комическое разоблачение романтического героя, иронически подготовляющее любовные сцены с Акулиной. Крестьянка Настя срывает перед Лизой романтические покровы с героя, разрушая в ней иллюзии барышни: «А я так думала, что у него лицо бледное. Что же? Каков он тебе показался? Печален, задумчив?»—«Что вы? Да этакого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать».— «С вами в горелки бегать! Невозможно!»—«Очень возможно. Да что еще выдумал! Поймает, и ну целовать!»—«Воля твоя, Настя, ты врешь!»— «Воля ваша, не вру. Я насилу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился».—«Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит?»—«Не знаю-с, а на меня так уж слишком смотрел да и на Таню, приказчикову дочь, тоже; да и на Пашу колбинскую, да грех сказать, никого не обидел, такой баловник!»

На фоне этого рассказа мотив встречи мнимой Акулины с барином воспринимается, как сюжетное преобразование истории Насти и молодого Берестова.

Лирическая интродукция в стиле Карамзина («Заря сияла на востоке, и золотые ряды облачков, казалось, ожидали солнце, как царедворцы ожидают государя») сменяется драматическим воспроизведением сцены разговора мнимой крестьянки с барином. Густо подмешанное в речь Лизы крестьянское наречие разрывается проступившим в середине сцены языком барышни («Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями,— сказала она с важностью,—то не извольте забываться»). Это смещение стилей Алексей комически объясняет влиянием Настеньки, «моей знакомой, девушки вашей барышни» («Вот какими путями распространяется просвещение»). Так устанавливается композиционный параллелизм двух сцен. Как естественный контраст к ним, являющийся видоизменением темы встречи с крестьянкой, помещается сцена встречи Алексея с Лизой, с «смешной и блестящей» барышней. Характерно, что Лиза в этой сцене не действует сама. Она, или вернее ее маскарад, являются лишь объектом оценки и переживаний для всех участников обеда, кроме старого Берестова. Образ барышни как бы перебрасывается из одного субъектного плана в другой. Таким образом сцены встреч героя то с крестьянкой, то с барышней строятся соотносительно друг с другом: симметрия в связи и взаимодействии частей бросается в глаза. Наконец композиционным завершением этого контрастного параллелизма в семантическом развитии темы является отождествление образов Лизы и Акулины, барышни и крестьянки, в сознании самого героя. Авторское повествование тогда сливается с плоскостью переживаний героя, с его точкой зрения. «Он вошел... и остолбенел! Лиза... нет, Акулина, милая, смуглая Акулина, не в сарафане, а белом утреннем платьице, сидела перед окном и читала его письма»... Для Алексея до самой развязки, описывать которую автор считает излишней обязанностью, Лиза сохраняет свой облик крестьянки во дворянстве, оставаясь преображенной в барышню Акулиной (ср. комический диалог: «Акулина! Акулина!»...—Лиза старалась от его освободиться...—«Mais laissez-moi donc, monsieur; mais êtes-vous fou?»—повторяла она, отворачиваясь. «Акулина! друг мой, Акулина!»—повторял он, целуя ее руки»).

§ 4. В композиции «Гробовщика»—та же симметрия образов и тем. Повесть представляет контрастный параллелизм яви и сна, действительности реальной и бредовой. Эти два разных плана изображения сначала кажутся одним последовательно развивающимся клубком авторского повествования, хотя в них обоих повторяется одна и та же тема с некоторыми вариациями. Но потом оказывается, что они противопоставлены, как явь—и бред, воспроизводящий в причудливых сочетаниях образы и впечатления яви. Стилистические эффекты смещения и расслоения этих двух вариантов темы о гробовщике составляют композиционный остов повести. Упоминание о «почтальоне Погорельского» (с которым сравнивается будочник Юрко) намекает на то, что Пушкин, пародийно строя пир романтических мертвецов на реальной основе быта гробовщика и немецких ремесленников Никитской улицы, в символическом соответствии сна с действительностью, в то же время как бы противополагает эту субъектную двупланность изображения, эту игру двумя планами сознания в повествовательном стиле автора романтическому единству реального и фантастического в «Лафертовской маковнице» Погорельского.

Этот скрытый автором слой литературно-полемических смыслов находил себе опору и в откровенной антитезе угрюмого московского гробовщика веселым и шутливым «гробокопателям Шекспира и Вальтер Скотта» (ср. протесты самого гробовщика Прохорова против неуважительного отношения к его профессии: «Что ж это, в самом деле... Чем ремесло мое нечестнее прочих? Разве гробовщик брат палачу? Чему смеются басурмане? Разве гробовщик гаер святочный?»). Кроме того необходимо помнить, что начало «Гробовщика», рассказывающее о переезде гробовщика с семьей на новую квартиру, в купленный им желтый домик на Никитской, представляет открытую литературную

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К ФРАНЦУЗСКОМУ ИЗДАНИЮ „ПИКОВОЙ ДАМЫ"
Акварель В. Шухаева, 1923 г.

параллель к «Лафертовской маковнице» Погорельского, где изображается переезд почтальона Онуфрича с семьею в доставшийся им по наследству деревянный домик у Проломной заставы.

Таким образом, начинив повесть сложным составом литературной полемики и пародии [60], Пушкин располагает символику «Гробовщика» в затейливых формах стилистической симметрии по принципу вариаций и отражений, соблюдая параллелизм—то прямой, то контрастный—двух субъектных аспектов повествования.

Интересно всмотреться в эти формы символического параллелизма. Мир сновидения представляет собой фантастическое сплетение тех образов, из которых слагается авторское описание реального быта гробовщика (умирающая купчиха Трюхина, ее смерть—предмет мечтаний гробовщика; у Вознесенья «знакомец наш Юрко»; пирушка мертвецов-заказчиков у гробовщика как контрастная параллель к пиру друзей-заказчиков сапожника Готлиба Шульца; отставной бригадир, похороны которого во время проливного дождя нанесли убыток гробовщику).

Однако направление и степень субъектно-экспрессивного наклона повествования к точке зрения гробовщика различны в передаче быта

и фантастики сна. Ироническая отрешенность «образа автора» от изображаемой действительности, паутина литературных намеков, облегающих повествование о жизни гробовщика и немцев-ремесленников,—все эти особенности стиля затенены и ослаблены во второй части повести, в изложении картин сна, который только в эпилоге назван сном. Отсюда и открывается возможность, не прерывая прямого развития фабулы, строить последующие фантастические события как символические отголоски и отражения уже описанной действительности. Но эти две вариации одной и той же темы о ремесленнике и его заказчиках помимо общности образов и мотивов связывает единство профессиональной терминологии и идеологии, покоящееся на символах товара и заказчиков. Мир реальный и бредовой—оба заполнены образами и предметами профессионального быта. «Похоронные дроги» везут имущество гробовщика на новоселье. «Гробы всех цветов и всякого размера, также шкапы с траурными шляпами, мантиями и факелами» заполняют кухню и гостиную желтого домика. Речь гробовщика, кроме брани, обращенной к дочерям, исчерпывалась профессиональными интересами—интересами торга (ср. разговор Прохорова с Готлибом Шульцем на профессиональные темы; ср. авторскую характеристику речи гробовщика: «Он разрешал молчание разве только для того, чтобы запрашивать за свои произведения преувеличенную цену у тех, которые имели несчастье (а иногда и удовольствие) в них нуждаться»). Думы гробовщика вращаются исключительно вокруг профессиональных расходов и убытков. Профессиональные тосты—кульминационный пункт пирушки у Готлиба Шульца.

Понятно, что вся символика сна рисуется еще более сгущенными красками гробовщического профессионализма. Смерть купчихи Трюхиной окутана атмосферой торговых расчетов. Она—апофеоз профессионального благополучия гробовщика (ср.: «Гробовщик, по обыкновению своему побожился, что лишнего не возьмет; значительным взглядом обменялся с приказчиком»).

Фантастический праздник новоселья превращается в профессиональное торжество гробовщика, окруженного своими многочисленными клиентами («Все они, дамы и мужчины, окружили гробовщика с поклонами и приветствиями»...). Любопытно, что на мертвецов, изображенных в плане авторского их созерцания стилем «кладбищенского» романтизма, накладывается профессиональная отметка применительно к точке зрения гробовщика. Так, отставной бригадир—это заказчик, «похороненный во время проливного дождя». Он и наяву не выходил из головы гробовщика как виновник больших убытков. Таким же образом и отставной сержант гвардии Петр Петрович Курилкин, представляясь гробовщику, рекомендуется «тем самым, которому в 1799 году он, Прохоров, продал первый свой гроб—и еще сосновый—за дубовый»...

Повесть Пушкина пародийно переводит мертвецов с высот романтической фантастики в мир профессиональных оценок, интересов гробовщика и взаимоотношений между ним и заказчиками. Этим достигается острый комический эффект бытовой материализации романтических «теней». Два аспекта художественной действительности обнаруживают однородность своего образно-идеологического состава и симметричность своего композиционного строя. Между ними усматриваются символические соответствия. Их объединяют предметно-смысловые параллели и взаимоотражения. На той же почве профессиональной фразеологии возникает

новая своеобразная символическая связь между двумя планами повествования. Ведь для гробовщика не только во сне, но и наяву мертвецы, потребители его товара, живы как «благодетели», как заказчики. Одушевленными и активными изображаются мертвецы в профессиональном разговоре между сапожником Шульцем и гробовщиком Прохоровым. Возникают противоречивые, каламбурно-контрастные сочетания слов: «Мой товар не то, что ваш: живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет». — «Сущая правда,—заметил Адриан,— однако ж, если живому не на что купить сапог, то, не прогневайся, ходит он и босой, а нищий мертвец и даром берет себе гроб». С этим же стилем изображения сливается и иронический возглас Юрко, обращенный к гробовщику: «пей, батюшка, за здоровье своих мертвецов!» В этой смысловой атмосфере кажется естественным приглашение гробовщика, приведшее в ужас его работницу: «А созову я тех, на которых работаю: мертвецов православных... Милости просим, мои благодетели, завтра вечером у меня попировать; угощу, чем бог послал»...

Таким образом в пушкинской повести явление живых мертвецов семантически оправдано и подготовлено профессионально-мифологическими формами речи и мысли гробовщика. Но тут намечается новый смысловой контраст. Гробы в цеховой повести чужды всякого символического значения: они—изделия хозяина, произведения ремесла, товар, предмет торговли, расходов и убытков. И этому профессиональному пониманию их иронически противостоит эпиграф из «Водопада» Державина:

«Не зрим ли каждый день гробов,
Седин дряхлеющей вселенной?»

В мир профессионально-бытовых повседневных отношений, в мещанскую действительность жизни ремесленников, низвергается символическая риторика державинского «Водопада», где в космический план жизни и смерти человечества, вселенной переносятся бытовые понятия и образы водопада, гробов, боя часов, скрипа двери [61].

Не жизнь ли человеков нам
Сей водопад изображает?..
Не так ли с неба время льется,
Кипит стремление страстей,
Честь блещет, слава раздается,
Мелькает счастье наших дней,
Которых красоту и радость
Мрачат печали, скорби, старость?
Не зрим ли всякий день гробов
Седин дряхлеющей вселенной?
Не слышим ли в бою часов
Глас смерти, двери скрип подземной?
Не упадает ли в сей зев
С престола царь и друг царев? [62]

Рисунок Пушкина запечатлевает этот комический контраст. Он «изображает гробовщика с плоским, тупым, кретинообразным лицом, и немца Шульца с веселым вздернутым носиком, мирно попивающих чай; направо гробы» [63].

§ 5. В процессе композиционного видоизменения, варьирования образа, темы совершенно исключительную роль играют пушкинские эпиграфы. В них обычно уже потенциально заложены символические формы, которые потом находят разнообразное применение и отражение в стиле литературного произведения. Характерен в этом смысле эпиграф к «Станционному смотрителю». Эпиграф к «Станционному смотрителю» взят из стихотв. кн. Вяземского «Станция»—с многозначительной переделкой: «губернского регистратора» в «коллежского регистратора». Как и у Пушкина, станция в стихотворении Вяземского является лишь фоном, однако не действия, а «горячей встречи неожиданных мыслей». С неподвижностью путника контрастирует неудержимый бег разыгравшейся фантазии, которая стремительно мчится то в одну, то в другую сторону. Этот контраст иронически подчеркивается перебрасыванием от автора к читателю латинской эпитафии: sta, viator (путник, остановись), которая как пародический лейтмотив врывается непрестанно в прихотливую смену воображаемых картин [64].

Несоответствие между стилем словоохотливой болтовни автора, между беспорядочным «гуляньем досужного пера» и неподвижностью путешественника шутливо комментируется и в заключительных строках авторских «примечаний» к стихам: «На замечание, что глава моя очень длинна, и то еще один отрывок, имею честь донести, что я слишком семь часов просидел на станции в ожидании лошадей».

Симптоматично, что Вяземский презрительно отворачивается от изображения русской станции, ограничившись иронической характеристикой станционных смотрителей, а весь свой пафос тратит на любовный рассказ о польской станции: «Описание польской станции не вымысел стихотворца и не ложь путешественника. На многих станциях я находил все то, что описал» («Подснежник» 1829, стр. 47).

Стихотворение Вяземского было понято как демонстрация романтической живописи. «Атеней» в ироническом «замечании» на рецензию «Подснежника» писал от лица «ультра-романтика»: «Разве описание того, что есть, считает кто-н. поэзиею? Поэтому самая верная статистика есть совершеннейшая поэзия? Правда, Ботте, строгий последователь Аристотеля, громко кричал: словесность есть подражание природе, и произведение словесности тем совершеннее, чем ближе к природе; но теория сего классика давно оставлена. Новейшие идут вперед, и довольно шибко, особенно романтики: для них нет: sta, viator! Для чего ж князь Вяземский так упорствует в своей привязанности к классицизму и не следует за потоком? Пора и нам ознакомиться с романтизмом. I, viator» («Атеней» 1829, ч. 2, стр. 172).

Пушкин, в противовес кн. Вяземскому, находит сюжет повести на самой русской станции. Мало того: именно остановки у станционного смотрителя и двигают действие пушкинской повести. Она представляет собою рассказ титулярного советника, который изъездил Россию по всем направлениям, о жизни станционного смотрителя, открывшейся ему во время трех остановок, трех приездов на одну станцию. При этом характерно, что не станция, не смотритель с его отказом дать лошадей задерживают путника, а сам путник медлит на станции, увлеченный жизнью и судьбой станционного смотрителя. Во время первой остановки «лошади были давно готовы, а мне все не хотелось расставаться

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К ФРАНЦУЗСКОМУ ИЗДАНИЮ „ПИКОВОЙ ДАМЫ“

Акварель В. Шухаева, 1923 г.

с смотрителем и его дочкой. Наконец, я с ними простился; отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги». При второй остановке титулярного советника смотритель изборажается в хлопотах с подорожной («покамест собирался он переписать мою подорожную... продолжал пошептом читать мою подорожную»), а путник, заинтересованный жизнью смотрителя, всячески старается вовлечь его в разговор: «Любопытство начинало меня беспокоить и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомца». Третья поездка была вызвана только интересом, сочувствием к «приятелю», так как «станция, над которой он начальствовал, уже уничтожена». И острым характеристическим приемом, через отношение рассказчика к затраченным на поездку семи рублям, Пушкин показывает, какое сильное и живое участие возбуждала в путешественнике судьба станционного смотрителя. «Мне стало жаль моей напрасной поездки и семи рублей, издержанных даром». «И я дал мальчишке пятачек и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною истраченных».

Эта литературная противопоставленность пушкинского «Станционного смотрителя» «Станции» кн. Вяземского сказывается не только в иной «интонации» повествования, но и непосредственно в оценке той традиции изображения станционных смотрителей, к которой примкнул кн. Вяземский. Кн. Вяземский облекает свое стихотворение в пародическую форму «путевых записок», впечатлений путника, который не может двинуться с места по вине станции и станционного смотрителя.

И так, пока нет лошадей,
Пером досужным погуляю...

Так тема путешествия отвергается из-за станционного смотрителя. Вот относящиеся к станционному смотрителю стихи кн. Вяземского:

Досадно слышать: sta, viator!
Иль, изъясняяся простей:
Извольте ждать, нет лошадей.
Когда губернский регистратор,
Почтовой станции диктатор
(Ему типун бы на язык!)
Сей речью ставит нас в тупик.
От этого-то русским трактом
Езда не слишком веселит...
«Так лошадей мне нет у вас?»
— Смотрите в книге: счет тут ясен.
«Их в книге нет, я в том согласен;
В конюшне нет ли?»—Тройка с час
Последняя с курьером вышла,
Две клячи на дворе и есть,
Да их хоть выбылыми счесть:
Не ходят ни одна у дышла.
«А долго ли прикажешь мне,
Платя в избе терпенью дани,
Истории тьму-таракани
Учиться по твоей стене?»
— Да к ночи кони придут, нет-ли,

Тут их покормим час, иль два.
Ей-ей, кружится голова;
Приходит жудко, хоть до петли!
И днем и ночью все разгон,
А всего на всего пять троек;
Тут как ни будь смышлен и боек,
А полезай из кожи вон! —
Стой, путник, стой! Что-ж молвить больше,
Когда продвинуться нельзя?

С изменением социальной позиции рассказчика в пушкинском «Станционном смотрителе» точки зрения наблюдателя и его оценки становятся диаметрально противоположными снобизму стихотворения «Станция». И явным литературным упреком кн. Вяземскому звучат «несколько слов» титулярного советника—рассказчика пушкинской повести: «В течение двадцати лет сряду, изъездил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты мне известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы; редкого смотрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела; любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени: покамест скажу только, что сословие станционных смотрителей представлено общему мнению в самом ложном виде». Вместе с тем все предисловие к «Станционному смотрителю» дает полемический обзор предшествующей литературы о станционном смотрителе, различая в ней две тенденции: одну, направленную на официальное, должностное изобличение станционного смотрителя; другую, проявляющуюся в отрицательной характеристике типа станционного смотрителя с нравоучительно-бытовой точки зрения. Уже в тех стихах кн. Вяземского, которые с заменой слова губернский на титул — коллежский взяты эпиграфом к повести

...Коллежский регистратор,
Почтовой станции диктатор—

звучат ирония и презрение к станционному смотрителю как должностному лицу, подчеркнутые контрастом в соединении названия низкой должности, должности 14-го класса — коллежский регистратор — со словом — диктатор.

И титулярный советник восстает против этого несправедливого отношения, истолковывая слова «коллежский регистратор» в применении к станционному смотрителю так: «сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей). Какова должность сего диктатора, как называет его шутливо кн. Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покоя ни днем, ни ночью». И едва ли не иронический укоризненный намек на стихотворение кн. Вяземского заключен в таких замечаниях: «Всю досаду, накопленную во время скорой езды, путешественник вымещает на смотрителе»... «Из их разговоров (коими некстати пренебрегают господа проезжающие) можно почерпнуть много любопытного и поучительного. Что касается до меня, то, признаюсь, я предпочитаю их беседу речам какого-н. чиновника 6-го класса, следующего по казенной надобности»[65].

Так эпиграфы определяют семантическое течение повести, строй ее образов, экспрессию ее стиля.

§ 6. Еще более глубоко связаны с строением сюжета повести и с особенностями ее стиля эпиграфы к «Выстрелу». В скрытом виде они содержат в себе основные образы и ситуации, или воплощаемые—с индивидуально-художественными вариациями—в пушкинском «Выстреле» или, наоборот, разрушаемые, отвергаемые им.

В этой повести Пушкина располагаются одна над другою четыре субъектных плоскости повествования. Каждая из них включает в себя тему «выстрела», замыкая символику ее сюжетного разрешения в различные формы. Сначала как ключ сюжета выступают эпиграфы. Об эпиграфах к «Выстрелу» Пушкин писал П. А. Плетневу: «К Выстрелу надобно приискать другой, именно в Романе в семи письмах А. Бестужева в Пол. Звезде: «У меня остался один выстрел, я поклялся» etc. Справься, душа моя»[66]. П. А. Плетнев, не найдя в «Романе в семи письмах» тех слов, которые по памяти цитировал Пушкин, сообщал поэту: «Я взял эпиграф к выстрелу из Романа в 7 письмах, вот как он стоит в подлиннике: «Мы близились с двадцати шагов; я шел твердо—ведь уже три пули просвистали мимо этой головы—я шел твердо, но без всякой мысли, без всякого намерения: скрытые во глубине души чувства совсем омрачили мой разум». Согласен ли ты его принять, и если да, то Баратынского слова: «Стрелялись мы» вычеркнуть ли из тетради?»[67]

Пушкин забраковал предложенный Плетневым эпиграф из А. А. Марлинского, потому что сам имел в виду другую цитату из рассказа того же Марлинского «Вечер на бивуаке». Это понятно. «Роман в семи письмах» патетическим эпистолярным стилем излагает историю любви молодого офицера к красавице Адели, вызов им на дуэль счастливого соперника («соперник мой скорее обручится с смертною пулей, чем с Аделью»), убийство этого соперника и муки раскаянья, испытываемые убийцею («О, кто избавит убийцу ненавистной жизни! Для чего мы не на войне... для чего не расстреляют меня!»)[68].

Это произведение очень далеко по общей смысловой атмосфере, по своему сюжетному завершению от пушкинского «Выстрела». Эпиграф, избранный П. А. Плетневым, не находил никаких отголосков, никаких отражений в композиции пушкинской повести. Иное дело—эпиграф из «Вечера на бивуаке»: «Я поклялся застрелить его по праву дуэли (за ним остался еще мой выстрел)». Он взят из рассказа подполковника Мечина о любви его к княжне Софье, любви—сначала счастливой, о дуэли его с капитаном, позволившим себе нескромные выражения по адресу Софьи, о тяжелой ране, нанесенной первым выстрелом противника («Первый... выстрел, по жеребью, положил меня замертво»), об измене Софьи, которая за время болезни раненого уже успела стать невестой его соперника. И вот тогда-то «бешенство и месть как молния запалили кровь мою. Я поклялся застрелить его по праву дуэли (за ним остался еще мой выстрел)—чтобы коварная не могла торжествовать с ним... Знаете ли вы, друзья мои, что такое жажда крови и мести? Я испытал ее в эту ужаснейшую ночь! В тиши слышно было кипение крови в моих жилах—она то душила сердце приливом, то остывала как лед. Мне беспрестанно мечталось: гром пистолета, огонь, кровь и трупы»[69].

Но право на выстрел так и осталось неиспользованным; в ночь перед дуэлью Мечин должен был быть отправлен, по тайной просьбе его друга,

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
К АМЕРИКАНСКОМУ ИЗДАНИЮ
„ГАВРИИЛИАДЫ"

Рисунок Роквеля Кента, 1929 г.

курьером в армию с важными депешами. И Мечин не стал убийцей «человека без чести и правил». Но судьба наказала Софью: она была брошена своим негодяем-мужем и в чахотке умерла на руках Мечина, случайно нашедшего ее.

Конечно, стиль и ситуация «Вечера на бивуаке» тоже не вполне однородны с пушкинским «Выстрелом». Но рассказ подполковника, романтический облик этого персонажа, неоконченная дуэль, счастливый соперник, патетика мщения и бешеной ненависти, право на оставшийся выстрел—были теми смысловыми вехами, по которым двигалась история пушкинского «Выстрела». Эпиграф «Стрелялись мы» из «Бала» Баратынского сгущал атмосферу таинственности вокруг дуэли, вокруг «выстрела», также намекая на мщение сопернику

...мщением
Сопернику поклялся я.
Всечасно колкими словами
Скучал я, досаждал ему
И по желанью моему
Вскипела ссора между нами.
Стрелялись мы.

Таким образом в том смысловом контексте, откуда вынуты эпиграфы, даны главные события пушкинского «Выстрела». Но фон любовного соперничества, риторика пламенной любви Пушкиным были совсем устранены. От эпиграфов ложится характеристический отсвет и на образ Сильвио, так как эпиграфы звучат как бы из уст его «двойников».

Эпизод между Сильвио и офицером во время игры, рассказанный от лица самого рассказчика как очевидца, является вторым планом размещения образов и событий: оскорбление, нанесенное Сильвио («Сильвио встал, побледнел от злости и с сверкающими глазами сказал»), неизбежность дуэли, которая должна смыть обиду...— и «Сильвио не дрался». Выстрела не последовало. Стилистические краски меняются, и образ Сильвио выступает в контрастном освещении («Честь его была замарана и не омыта по его собственной воле»). Создается противоречие между демоническим обликом Сильвио, как он

запечатлелся в сознании рассказчика, и мелкой ролью Сильвио в истории с офицером, уронившей Сильвио в глазах рассказчика.

Но комментарии самого Сильвио к этому происшествию переводят читателя в третью субъектно-экспрессивную сферу темы «выстрела» и вместе с тем в третий план становления образа Сильвио, раскрывающийся в форме его исповеди, самопризнания.

«Вы согласитесь, что имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна», говорит Сильвио о ссоре с офицером за карточной игрой.

«Очередь была за мною. Жизнь его наконец была в моих руках», рассказывал тот же Сильвио о столкновении с графом.

Так устанавливается прямой параллелизм фразеологии, образов и тем между двумя эпизодами из жизни Сильвио. Но он осложнен контрастами в психологической мотивизации отказов от выстрела.

«Если бы я мог наказать Р..., не подвергая вовсе моей жизни, то я бы ни за что не простил его».—Таково требование мотива мести: «Я не имею права подвергать себя смерти... враг мой еще жив».

«Что пользы мне,—подумал я,—лишить его жизни, когда он вовсе ею не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем». Так звучит голос злобы.

Следовательно в третьем плане варьирования темы выстрела повторяется та же история с дуэлью: соперничество, оскорбление, несостоявшийся выстрел—и злоба, сохранившая за Сильвио право на выстрел. Этой деталью символически стягивается рассказ Сильвио с эпиграфом из Марлинского, т. е. с первой вариацией темы.

Наконец четвертый план раскрытия темы выстрела дан в рассказе графа о последней встрече его с Сильвио. Этот рассказ по своей сюжетной функции является той вершиной, к которой вели все намеки предшествующих эпизодов. Как в первой сцене дуэли, так и теперь, хотя и по другим мотивам, Сильвио отказывается от выстрела, удовлетворив свою месть нравственным позором противника, видом его смятения и унижения. Однако вся экспрессия речи здесь иная: с переходом повествования к новому рассказчику резко изменилась точка зрения. Граф комментирует лишь самого себя, стараясь замаскировать, смягчить свое смятение, свою робость и позор своего выстрела («лицо его горело, как огонь»). В новой субъектной призме по-иному преломляются образы и события. Любопытнее всего, что выстрел Сильвио так и остался за ним, хотя именно его-то и ждал с нетерпением читатель, подготовляемый к тому и эпиграфами, и ложными намеками рассказчика («Мы полагали,

что на совести его лежала какая-н. несчастная жертва его ужасного искусства»), и постоянными настойчивыми указаниями повествователя на меткость Сильвио, выстрелы которого «сажают пулю на пулю» (ср. связь между содержанием авторского повествования в самом начале повести и мотивизацией рассказа графа: «картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна в другую»). Вместо неосуществившегося выстрела Сильвио прозвучал позорный выстрел графа. И этот выстрел отдает графа под власть мучительных воспоминаний, не менее тяжких, чем те, которые раньше терзали Сильвио. Роли Сильвио и графа переменяются.

Такова «кадриль» семантических соответствий и отражений в повести «Выстрел»[70].

§ 7. Интересно, что выбор иностранного образца для переделки или перевода у Пушкина иногда был обусловлен наличием приема сюжетно-тематических отражений и вариаций в композиции пьесы. Во всяком случае «Анжело», как и его шекспировский оригинал «Measure for measure», явно построен по принципу варьирования одного и того же мотива, одних и тех же драматических ситуаций. Тема обольщения девушки в пьесе Шекспира развивается в трех сюжетных вариациях, как бы перебрасываясь из одной субъектно-экспрессивной сферы в другую, из одного драматического контекста в другой. Сообразно с этим и персонажи располагаются такими парами:

Клавдия и Джюльета;
Анжело и Изабелла;
Анжело и Марьянна.

У Шекспира принцип вариаций, с одной стороны, острее и прямолинейнее пронзает основную ткань сюжета, так как к циклу обольщения присоединяется еще в качестве побочного звена соответствующий эпизод из жизни Луцио, и так как Марьянна у Шекспира—девушка, покинутая Анжело невеста, а не отверженная им жена. Но, с другой стороны, у Шекспира этот принцип осложнен вставкой комических сцен и несколько затемнен непримиримо-суровым отношением Изабеллы к греху брата при первой ее встрече с наместником, которого она пришла умолять о помиловании преступника. У Пушкина этот диалог между Изабеллой и Анжело (до вмешательства Луцио) передан, кроме заключительного ответа Анжело, в форме общего повествовательного резюме:

И на колени став, смиренною мольбой
За брата своего наместника молила[71].

Вследствие этого в поэме Пушкина все три эпизода обольщения получают большую рельефность. «Преступление и наказание» Клавдио являются сюжетным фоном для раскрытия характера «лицемера» Анжело в той же роли обольстителя. Мотив обольщения Изабеллы движется у Пушкина в двух субъектно-драматических планах, поставленных в контрастную параллель (Клавдио и Изабелла, Анжело и Изабелла). Этот мотив сначала разыгрывается главными действующими лицами—Анжело и Изабеллой,—при чем у Изабеллы происходит перелом в оценке греха брата, когда Анжело ставит перед нею проблему искупления казни брата ее собственным падением. Любопытно, что сами действующие лица подчеркивают сюжетный параллелизм их драмы с историей Клавдио.

Изабелла. Тебя я не могу понять.
Анжело. Поймешь: люблю тебя.
Изабелла. Увы! Что мне сказать?
Джюльету брат любил, и он умрет несчастный.
Анжело. Люби меня и жив он будет.

Вместе с тем этот мотив обольщения Изабеллы становится темой ее разговора с Клавдио. Тема обольщения как бы протекает вторично, но уже в атмосфере острой внутренней борьбы в душе Клавдио. У Клавдио тоже происходит перелом в оценке греха Изабеллы: от возмущения, негодования он постепенно склоняется к принятию предложения Анжело и умоляет сестру о жертве.

Контрастный параллелизм между сценой искушения Изабеллы и сценой рассказа о ней и ее переживания Клавдием можно усмотреть из таких соответствий и отражений:

Анжело

С р е д с т в о е с т ь о д н о
к е г о с п а с е н ь ю...

Изабелла

Б е с ч е с т и е м с е с т р ы д у ш и
о н н е с п а с е т.
Б р а т л у ч ш е р а з у м р и, ч е м
г и б н у т ь м н е н а в е ч н о.

Анжело

За что ж казалося тебе бесчеловечно
Решение суда? Ты обвиняла нас
В жестокосердии. Давно ль еще? Сейчас
Ты праведный закон тираном называла,
А братний грех едва ль не шуткой почитала.

Изабелла

Прости, прости меня. Невольно я душой
тогда слукавила...

Клавдио

Т а к с р е д с т в о е с т ь о д н о?

Изабелла

Так, есть. Ты мог бы жить...

Клавдио

Иль в. э т о м н е т г р е х а; иль
и з с е м и г р е х о в
Г р е х э т о м е н ь ш и й?

Изабелла

Как?

Клавдио

Такого прегрешенья
Там верно не казнят. Д л я о д н о г о м г н о в е н ь я
У ж е л ь с е б я с г у б и т ь р е ш и л с я б о н н а в е к?
Нет, я не думаю...

Третья вариация темы обольщения (Анжело и Марьянна) у Пушкина изменена и сжата. Она звучит как смутный отголосок основной темы, как ее благополучное разрешение.

§ 8. Прием варьирования одного образа, одной темы в композиции литературного произведения не всегда сводится к открытой сюжетно напрягающейся цепи параллелей или к распространяющимся кругам соответствий, отражений и сопоставлений. Символическая вариация образа, сюжета бывает «свернута». Она может прорывать основную ткань повествования только всплесками намеков. Она может лишь подразумеваться как своеобразно окрашивающий понимание сюжета и символики литературного произведения «задний план». В таком случае само худо-

жественное произведение в целом выступает на фоне этой предполагаемой ею художественной структуры как ее «вариация», ее видоизменение. Так Пушкин и разъясняет замысел своей поэмы «Граф Нулин» (1825). Намеки или явные указания на стоящий за рядами прямых значений второй строй образов раздваивают структурный облик литературного произведения. Осложняется понимание основного сюжетного рисунка. Становится изменчивой и двойственной смысловая перспектива изображения. Подразумеваемые символы являются не только канвой для новой сюжетной вариации, но и средствами метафорического изображения и осмысления. В смещении образов, которое достигается передвижением двух планов повествования, и заключается стилистическая острота этого приема литературных отражений и метафорических (иногда с пародийным оттенком) слияний. Именно такое значение в стиле «Графа Нулина» имеют стихи, открывающие в графе Нулине и Наталье Павловне пародийных «двойников» Тарквиния и Лукреции, стихи, метафорически «искажающие» бытовой облик героев ироническим приравниванием их к литературным «прототипам». Любопытно, что Пушкин отказался от названия своей поэмы «Новый Тарквиний» и предпочел ему простое сочетание титула и характеристической фамилии: «Граф Нулин». Тем самым устранялась заранее данная непосредственная проекция всего пушкинского произведения на «Лукрецию» Шекспира. Ведь она тисками пародийного параллелизма сжимала бы бытовую обстановку действия, стесняла бы развитие характеров и причудливо-изменчивое движение авторского образа. Поэтому сопоставление графа Нулина с Тарквинием, метафорическое именование его Тарквинием внедряется лишь в те места композиции, где сближение по комическому соответствию или контрасту

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
К ФРАНЦУЗСКОМУ ИЗДАНИЮ
„ГАВРИИЛИАДЫ"

Гравюра на меди Е. Виральта, 1928 г.

с литературной «биографией» Тарквиния и Лукреции звучало особенно «оксюморно», особенно неожиданно.

...он дурак,
Он должен бы остаться с нею,
Ловить минутную затею.
Но время не ушло: теперь
Отворена конечно дверь—
И тотчас, на плечи накинув
Свой пестрый шелковый халат
И стул в потемках опрокинув,
В надежде сладостных наград,
К Лукреции Тарквиний новый
Отправился на все готовый...
Но вдруг опомнилась она,
И честной гордости полна,
А впрочем, может быть, и страха,
Она Тарквинию с размаха
Дает пощечину, да, да!
Пощечину, да ведь какую!

Для сюжетного завершения этой пародийной антитезы применен в комически обращенном виде прием романтической недоговоренности, намеков, выраженных в форме диалога с читателем, прием побочно-метафорического освещения подразумеваемой настоящей обстановки происшествий:

Но кто же более всего
С Натальей Павловной смеялся?
Не угадать вам.—Почему ж?
Муж?—Как не так. Совсем не муж...
Смеялся Лидин, их сосед,
Помещик двадцати трех лет.

И после этого заключительного штриха пародийный образ Лукреции выступал во всей выразительности иронической интерпретации. Автор косвенными намеками направляет внимание читателя в эту сторону, в сторону современной перелицованной Лукреции, делая иронический вывод из пьесы:

Теперь мы можем справедливо
Сказать, что в наши времена
Супругу верная жена,
Друзья мои, совсем не диво.

При такой затененности литературного приравнения, у читателя, склонного к литературной «этимологизации», могли возникнуть и другие параллели, другие сопоставления элементов сюжета, образов пушкинской поэмы с поэмой Шекспира (вроде тех, которые сделаны в примечаниях редактора Академ. издания).

Но на это и рассчитан прием стилистического варьирования образа, темы. Он не вполне совпадает с методом пародического искажения, так как лишен прямого риторического умысла. Его многозначительность пропорциональна его «загадочности».

§ 9. Прием символических отражений не чужд и драматическим произведениям Пушкина. Здесь он также создает симметрию в построении и соотношении характеров и ситуаций, сценически рельефную группировку персонажей, намеками и предчувствиями поддерживает сложный и стройный ритм набегающих одна на другую, вздымающихся и падающих волн в движении образов и тем. Прием отражения и варьирования ситуаций имеет существенное значение в композиции «Скупого рыцаря».

Всплески созвучных образов, под влиянием которых рождается предчувствие назревающих событий, наблюдаются в драме «Моцарт и Сальери». Моцарт как бы символически предрекает дальнейшее течение трагедии, рассказывая Сальери тему своего музыкального произведения, набросанного во время бессоницы:

> М о ц а р т (за фортепиано).
> Представь себе... кого бы?
> Ну, хоть меня—немного помоложе;
> Влюбленного—не слишком, а слегка—
> С красоткой, или с д р у г о м — х о т ь с т о б о й —
> Я весел... В д р у г: в и д е н ь е г р о б о в о е,
> Н е з а п н ы й м р а к и л ь ч т о-н и б у д ь т а к о е.

Выражение «что-нибудь такое» затем символически с драматически возрастающим напряжением начинает конкретизироваться не только в речах и действиях Сальери (ср. заключительный монолог первой сцены), но и в смутных настроениях, как бы «прозрениях» Моцарта, в его рассказе о Requiem'е и в его вопросе о Бомарше:

> ...Ах, правда ли, Сальери,
> Что Б о м а р ш е к о г о - т о о т р а в и л?[72]

Любопытно, что и в «Борисе Годунове» принцип контрастного параллелизма в ходе событий, утвержденный романтической антитезой образов Бориса Годунова и Самозванца, по первоначальным замыслам поэта должен был сочетаться также с приемом варьирования, отражения однородных символов и тем в изображении судьбы Бориса и судьбы самозванца.

Так Пушкин, отвечая кн. Вяземскому на письмо, в котором тот излагал суждения Карамзина о личности Бориса Годунова («Он говорит, что ты должен иметь в виду в начертании характера Борисова дикую смесь: набожности и преступных страстей. Он беспрестанно перечитывал Библию и искал в ней оправдания себе. Это—противоположность драматическая»), писал: «Благодарю тебя и за замечание Кар. о характере Бориса. Оно мне очень пригодилось. Я смотрел на его с политической точки, не замечая поэтической его стороны; я засажу его за евангелие, заставлю читать повесть об Ироде и тому подобное» («Переписка», т. I, стр. 289). Легко заметить резкое несовпадение между предложением Карамзина и замыслом Пушкина. По Карамзину, Борис должен был искать в Библии оправдания себе, Пушкин же хочет воспользоваться библейской повестью об Ироде, т. е. об избиении Иродом младенцев, как символической вариацией темы убийства царевича по приказу Бориса Годунова, и при том в аспекте сознания самого Бориса.

Для истории мотива превращения Григория Отрепьева в тень Димитрия большое значение имела сцена «Ограда монастырская», которая посредством намеков уже предопределяла судьбу Григория и отчасти Бориса Годунова. Таким образом эта сцена, которую, по сообщению барона Е. Ф. Розена, Пушкин был «намерен поместить... во втором издании своей трагедии», служила символическим предвестием темы Димитрия Самозванца.

§ 10. Прием вариаций одной темы, которая, двигаясь по разным субъектным сферам, образует контрастные параллели, совпадения, отражения и видоизменения лирического образа,—этот прием укреплялся в лирике Пушкина в самом начале 20-х годов. В качестве иллюстрации можно воспользоваться стихотворением «К Овидию» (1821). Лирическое «я», рисуя себя в заточеньи «близ тихих берегов» изгнанья и смерти Овидия, в местах, прославленных «безотрадным плачем» римского элегика и еще не забывших «его лиры нежного гласа», его «молвы», в форме обращения к Овидию сперва изображает край изгнанья и судьбу латинского поэта—в аспекте его элегий, его унынья, слез и стона.

Как часто, увлечен унылых струн игрою,
Я сердцем следовал, Овидий, за тобою...

Отсюда—продиктованное умилением созерцание и воспроизведение картин природы, жизни и тяжкой горести Овидия в том виде, как они переданы им потомству в «сих элегиях» и письмах на родину из отчизны варваров («Ты в тяжкой горести далекой дружбе пишешь»):

Ты живо впечатлел в моем воображенье,
Пустыню мрачную, поэта заточенье,
Туманный свод небес, обычные снега
И краткой теплотой согретые луга...
Там нивы без теней, холмы без винограда...
Рожденные в снегах для ужасов войны,
Там хладной Скифии свирепые сыны...
В отчизне варваров безвестен и один
Ты звуков родины вокруг себя не слышишь.

В этой элегической повести об Овидии, окрашенной любовным умилением, ищутся точки соприкосновения, соответствия с судьбой лирического «я», угадывается общность жизненной драмы. Но лирическое повествование обманчиво переходит к изображению контраста в переживании той же участи «суровым славянином». «Печальные картины песнопений» Овидия, оживленные «в мечтах воображенья», поверяются личным восприятием и наблюдением лирического «я».

Но взор обманутым мечтаньям изменял.

В этом новом аспекте лирического выражения и изображения жалобная экспрессия исчезает. Картины изгнания не вызывают «тщетного стона», а «пленяют втайне очи». Та же лирическая действительность меняет свои краски, свое содержание и значение для иного восприятия, для сознания лирического «я», привыкшего к «снегам угрюмой полуночи». Природа контрастно преображается. Вопреки жалобам на «туманный свод небес» римского поэта суровый славянин находит, что

Здесь долго светится небесная лазурь.

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К ФРАНЦУЗСКОМУ ИЗДАНИЮ „ГАВРИИЛИАДЫ"

Гравюра на меди Е. Виральта, 1928 г.

Поражавшие Овидия «обычные снега» и «краткой теплотой согретые луга» у лирического «я» вызывают иную оценку:

Здесь кратко царствует жестокость зимних бурь.

Вместо «холмов без винограда» и «хладной Скифии свирепых сынов»— лирическое «я» видит:

На скифских берегах переселенец новый,
Сын юга, виноград блистает пурпуровый.

Так стройно и симметрично движутся отражения элегических образов Овидия, но в перевернутом, контрастно обращенном виде. И тому мучительному контрасту, который для Овидия представляла «мрачная пустыня хладной Скифии» сравнительно с «Италией прекрасной», с «великим Римом», «священным градом отцов» и «тенями мирными отечественных садов», лирическое «я», «изгнанник самовольный», противополагает иной, как бы наизнанку вывернутый контраст родины и «скифских берегов»:

Уж пасмурный декабрь на русские луга
Слоями расстилал пушистые снега;
Зима дышала там: а с вешней теплотою
Здесь солнце ясное катилось надо мною;
Младою зеленью пестрел увядший луг,
Свободные поля взрывал уж ранний плуг;
Чуть веял ветерок, под вечер холодея;
Едва прозрачный лед, над озером тускнея,
Кристаллом покрывал недвижные струи.

И на этом пленительном фоне возникает как субъективное видение, навеянное воспоминанием о поэтическом предшественнике, о лирическом «двойнике», тень Овидия:

И по льду новому, казалось, предо мной
Скользила тень твоя, и жалобные звуки
Неслися издали, как томный стон разлуки.

Так в лирической композиции устанавливается контрастный параллелизм двух взаимно отражающихся образных сфер. Обе эти контрастных вариации лирической темы затем подвергаются транспозиции в новый субъектный план—в план лирических переживаний «позднего потомка».

Этот потомок, как бы следуя по путям лирического «я»,

Узнав, придет искать в стране сей отдаленной
Близ праха славного мой след уединенный...

И, как тень Овидия предносится лирическому «я», так к этому потомку

К нему слетит моя признательная тень,
И будет мило мне его воспоминанье.

Тем самым осуществляется преемственность заветного предания, и намечаются новые формы сравнения, новые признаки подобия и различия между образом Овидия и образом лирического «я»:

Как ты враждующей покорствуя судьбе,
Не славой, участью я равен был тебе.

В последующем изображении этой участи как бы синтезируются уже ранее отмеченные формы контрастных соотношений и несоответствий:

Здесь, лирой северной пустыни оглашая,
Скитался я в те дни, как на брега Дуная
Великодушный грек свободу вызывал:
И ни единый друг мне в мире не внимал;
Но чуждые холмы, поля и рощи сонны,
И музы мирные мне были благосклонны.

Нет необходимости увеличивать количество примеров[73]. Их собрано достаточно для утверждения, что прием символического варьирования темы, разбитой по разным субъектным сферам, является одним из законов пушкинской стилистики.

V

§ 1. Структура субъекта в пушкинском произведении—ключ к пониманию реформы литературного стиля, произведенной Пушкиным. Смешение социально-языковых контекстов как принцип построения новой системы повествовательного стиля, многообразие лирической экспрессии—все это уже само по себе предполагало новые формы организации «образа автора». Тот риторический облик повествователя, который в карамзинской традиции нивелировал различия в речи автора и персонажей, облекая их экспрессией светской дворянской галантности и остроумия дамского угодника, не мог выйти за пределы стиля «салона». Этот автор, внушительный для «светской дамы» и стилизовавший словесные приемы ей близкой и приятной экспрессии, был, так сказать, имманентен своей аудитории, но совсем не бытовым формам той сложной и противоречивой действительности, которую он избирал объектом своих повествований или лирических изображений. Художественная действительность пропускалась через фильтр языка «благородной» светской гостиной, языка «хорошего общества»—и прежде всего—языка «светской дамы»: речь облекалась характеристическими формами женской языковой личности, обвевавшей весь мир литературного изображения особыми принципами манерно-чувствительной качественной оценки и разрушавшей выразительную силу «закрытых структур», т. е. имени существительного и глагола. Система «вещей» и действий, которая стояла за символами «светского стиля», была не только ограничена бытом его «социального субъекта», но и служила лишь формой выражения его риторических тенденций, его эмоциональных переживаний, его гражданских и моральных идеалов, его эстетических вкусов. Поэтому в такой литературной конструкции предметные слова и глаголы больше указывали на эмоциональное отношение субъекта к вещам и событиям, на его оценки, на экспрессивно-смысловые функции вещей в его мире, чем непосредственно символизировали некую вещную действительность. Мир поэзии, лишенный фабульного движения, чуждый внешних «событий», умещался целиком в плоскость субъектных переживаний автора как идеальной социальной личности, которая отрекалась от всех своих профессионально-бытовых вариаций во имя развития единого светски-галантного и безупречно-добродетельного лика чувствительного «жантильома» и просвещенного гражданина-европейца. Доминантой словесной композиции была личность в единстве ее идеального, воображаемого

социально-бытового характера, а не мир вещей и событий во многообразии его классовых и культурно-бытовых расслоений и именований. Отсюда возник принцип соотношения художественной действительности не с «натурой» вещей, не с бытовыми основами повествования, а с системой тех экспрессивных, этических и гражданских норм, которые были заданы образом автора. «Творец всегда изображается в творении, и часто против воли своей»... Творчество писателя—портретно. «Когда ты хочешь писать портрет свой, то посмотрись прежде в верное зеркало: может ли быть лицо твое предметом искусства, которое должно заниматься одним изящным, изображать красоту, гармонию и распространять в области чувствительного приятные впечатления?.. Ты берешься за перо, и хочешь быть автором: спроси же у самого себя, наедине, без свидетелей, искренно: каков я? ибо ты хочешь писать портрет души и сердца своего»[74]. Проблема писательской личности сливается с проблемой автопортрета. Это был явный разрыв с традициями феодальной церковно-риторической литературы, в которой были заданы анонимные или псевдонимные «маски автора» как некоторые общие субъектные категории. А. Седельников в своей статье «Несколько проблем по изучению древней русской литературы» тонко подметил живучесть в древнерусской литературе «традиции иноческого безличия». Образу автора с индивидуальным именем здесь противостоят субъектные формы известной религиозно-церковной категории, своеобразные риторические маски религиозных характеров, иногда условно прикрепляемые к именам наиболее типичных для данного жанра и наиболее знаменитых церковных деятелей (Кирилла-философа, Златоуста и т. п.)[75]. Имя в этом случае было символом идеального и поэтому риторически внушительного выразителя «соборной личности». Конечно, степень и характер индивидуализации этой «соборной личности» были обусловлены жанром. Структура жанра ставила предел безличности и безыменности. Требовалось бытовое оправдание для указания имени: в самой «литературе» категория единичного лица была подчинена характерологии религиозно-моральных типов как строго очерченных форм воплощения «истинного христианина» (ср. например житие протопопа Аввакума). Но иногда бытовые основы литературного жанра, например послания, были неразрывно связаны с личным адресом: «я» писателя прорывалось сквозь маску проповедника. Если имя могло найти свое оправдание лишь в жанре, понятно тяготение к таким «личностным» жанрам древнерусских писателей и понятна синкретическая растяжимость этих жанров. «Похоже на то,— пишет А. Седельников,—что крупные произведения, самими авторами сознаваемые за большой литературный труд, несколько искусственно приспособлялись к форме послания, которою в свою очередь выдвигалось авторское имя» (стр. 524). Как показал Г. А. Гуковский в статье «О русском классицизме» («Поэтика», вып. V), русский XVIII в., почти до конца в своих «высоких» жанрах расширяя и осложняя категории соборных, жанровых авторских ликов, в сфере дворянской «литературы» (не надо смешивать с бытовой словесностью) не порывал связей с традициями церковно-риторической культуры и с ее нормативными тенденциями, а только приспособил их к новой тематике. Проблема «я» как литературного и социально-культурного образа автора широко ставится лишь в повести карамзинской эпохи. И Пушкин борется с этой манерой сентиментально-классического автопортрета, с неподвижными и строго

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
К ФРАНЦУЗСКОМУ ИЗДАНИЮ
„ГАВРИИЛИАДЫ"
Гравюра на меди Е. Виральта, 1928 г.

унифицированными образами субъектов предшествующей литературной традиции.

§ 2. Пушкин разрушает ту субъектную ограниченность повествовательного и лирического монолога, которая характеризовала стиль XVIII и начала XIX в. То сложное экспрессивно-стилистическое единство, которое представляет собою пушкинское произведение, мог воплотить лишь образ многоликого субъекта, вобравшего в себя противоречия и многообразия исторической действительности. Пушкин поэтому делает скользкой границу между автором и героями. Она двигается и меняется в структуре повествования или лирического изложения. «Автор» в стиле Пушкина даже тогда, когда он не назван, когда нет ни его имени, ни его местоимения, имманентен изображаемому миру, рисует этот мир в свете его социально-языкового самоопределения и тем сближается со своими «героями». Но он не сливается с ними и не растворяет их в себе, так как не нарушает полной объективации ни одного образа. Он как бы колеблется между разными сознаниями образов героев и в то же время отрешен от них всех, становясь к ним в противоречивые отношения, меняя в движении сюжета их оценку. Субъективные перегородки, наслоения оказываются в языке Пушкина настолько сложными, что они понимаются как объективные свойства самой изображаемой художественной действительности. Субъект повествования у Пушкина становится формой внутреннего раскрытия самой исторической действительности. Он не только имманентен ей, но так же многозначен, противоречив и изменчив, как она. Создается необыкновенное богатство экспрессивных форм. Структура повествования делается субъ-

ектно многослойной (ср. «Повести Белкина», где на образ издателя наслаивается образ Белкина, а на образ Белкина наслаиваются лики разных рассказчиков; ср. «Капитанскую дочку»; раньше: «Разбойники», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы» и т. д.). Получается иллюзия «многоголосой» субъективности или вернее: драматической объективности повествования, называющего вещи их бытовыми именами, пользующегося всем разнообразием присущих изображаемой среде и ее героям характеристик и определений. Монолог в пушкинском стиле превращается в «полилог». Но этим не нарушается структурное единство литературной речи. Она не разбивается на обособленные драматические контексты. Возникает внутренняя «драматизация», внутренняя борьба, движение и столкновение смыслов в пределах одного повествовательного или лирического контекста. Современники замечали это свойство пушкинского языка. Киреевский писал: «Пушкин рожден для драматического рода, он слишком многосторонен, слишком объективен, чтобы быть лириком. И в каждой из его поэм заметно невольное стремление дать особенную жизнь отдельным частям, стремление, часто клонящееся к вреду целого в творениях эпических, но необходимое, драгоценное для драматика» («Московск. Вестн.» 1827, № 8). Так Пушкин сочетал в новой системе литературного языка единство социально-языковой личности с многообразием ее социально-характеристических и экспрессивных расслоений, индивидуаций. Этим он преодолел классовую ограниченность литературных стилей предшествовавшей эпохи и в некоторых направлениях определил пути эволюции литературного языка в XIX в. Этот метод Пушкина лучше всех освоил и глубже всех развил применительно к литературному языку второй половины XIX в. Ф. М. Достоевский.

§ 3. Понятен поэтому тот глубокий интерес, который проявлял Пушкин к проблемам субъектно-экспрессивного выражения и социальной характерологии.

Тон, экспрессия являются формами характеристики субъекта. По ним познаются и воспроизводятся не только живые образы современности— индивидуальные и коллективные, но и субъекты истории, общественные классы и личности далекого прошлого. Признав характеристические и эмоциональные колебания слов, «тональности» речи одной из основных форм новой структуры литературных стилей, Пушкин напряженно вдумывается в экспрессию слов, выражений, пословиц и стремится восстановить по ним образ субъекта, в них запечатленный. «Кнут не архангел, души не вынет, а правду скажет. Апология пытки, пословица палача—выдуманная каким-нибудь затейником» (Акад. изд., т. IX, стр. 400)... «Не суйся середа прежде четверга. Смысл иронический; относится к тем, которые хотят оспорить явные законные преимущества: вероятно выдумано во времена местничества» (ibid., стр. 399). Так в слове, поговорке, фразе ищется образ социального или индивидуального субъекта. И все содержание тех стилистических или диалектологических разновидностей речи, которые вовлекались Пушкиным в светлое поле литературной жизни, оценивалось поэтом не только с предметной, но и с субъектной стороны.

Построение образа личности, построение характера—вот та сфера стилистических явлений, которая прежде всего и острее всего привлекает внимание Пушкина при оценке чужих произведений. Он отрицательно относится к той социально-языковой позиции авторского об-

раза, которая укреплена П. Ф. Павловым в его повестях и которая поэту-аристократу кажется «холопством» (т. IX, стр. 233). Рассматривая формы ее стилистического выражения, Пушкин следит за соотношением образа автора и образов персонажей. Так в «Ятагане» «все лица живы и действуют и говорят каждый, как ему свойственно говорить и действовать» (т. IX, стр. 233). В «Именинах» же образ автора как бы вторгся в сферу действующих лиц... «Несмотря на то, что выслужившийся офицер видимо герой и любимец его воображения, автор дал ему черты, обнаруживающие холопа» (т. IX, стр. 233).

Но еще ярче, полнее Пушкин рисует стилистическое значение той или иной формы построения авторского субъекта в разборе «Моих темниц» Сильвио Пеллико: «Читая сии записки, где ни разу не вырывается из-под пера нещастного узника выражения нетерпения, упрека или ненависти, мы невольно предполагали скрытое намерение в этой ненарушимой благосклонности ко всем и ко всему; эта умеренность казалась нам искусством. И восхищаясь писателем, мы укоряли человека в неискренности» («Об обязанностях человека», сочинение Сильвио Пеллико, т. IX, стр. 372). В заметке о записках Н. А. Дуровой Пушкин прежде всего указывает на «прелесть этого искреннего и небрежного рассказа, столь далекого от авторских притязаний, и простоту, с которою пылкая героиня описывает самые необыкновенные происшествия» (т. IX, стр. 379; ср. «Переписка», т. II, стр. 209).

Характерен отзыв Пушкина о «гусарском» стихотворении Батюшкова «Разлука»: «Цирлих-манирлих; с Д. Давыдовым не должно и спорить» [76]. Критикуя стихотворение Батюшкова «Пленный», поэт пишет: «Русский казак поет как трубадур, слогом Парни, куплетами французского романса» [77].

Стихотворение Ф. Н. Глинки (переложение пр. Исайи), в котором Адонаи обращается к мечу с такими словами:

Сверкай, мой меч! играй мой меч!
Лети, губи, как змей крылатый,
Пируй, гуляй в раздолье сеч!
Щиты их в прах! в осколки латы!—

Пушкин назвал «ухарским псалмом» и отозвался о нем: «Псалом Глинки уморительно смешон... Он заставил бога говорить языком Дениса Давыдова» [78].

Восхищаясь «Эдой» Баратынского Пушкин замечает: «Оригинальности рассказа наши критики не поймут. Но какое разнообразие! Гусар, Эда и сам поэт—всякий говорит по-своему». Возражая Вяземскому на критику субъектно-экспрессивных форм в стиле письма Татьяны, поэт указывает, что если смысл слов здесь и «не совсем точен, то тем более истины в письме женщины, к тому же 17-летней, к тому же влюбленной» («Переписка», т. I, стр. 151).

Внутренняя «драматизация» изложения, изменчивость и многообразие стилистических взаимоотношений между сферами речи автора и героев, тонкость и противоречивость экспрессивных колебаний—для Пушкина основной нерв как лирического, так и повествовательного стиля. С возмущением писал Пушкин Плетневу о критиках «Полтавы»: «Старый гетман, предвидя неудачу, бранит в моей поэме молодого Карла и называет его мальчиком и сумасшедшим. Критики, со всею важностью, укоряют меня в неосновательном мнении о Шведском короле. В одном

месте у меня сказано, что Мазепа ни к чему не был привязан. Чем же опровергают меня критики? Они ссылаются на собственные слова Мазепы, уверяющего Марию в моей поэме, что он любит ее больше славы, больше власти. Так им понятно, так знакомо драматическое искусство» («Переписка», т. II, стр. 95).

В сущности и образу Чацкого в «Горе от ума» Пушкин ставил в упрек композиционную неподвижность его, однообразную близость его к авторскому лицу самого Грибоедова. Эта статическая скованность образа обнаруживалась в экспрессивной бедности речей Чацкого, монологически игнорировавших интересы, личность собеседника («Переписка», т. I, стр. 173).

Точно так же сфера авторского стиля, по мысли Пушкина, не должна вращаться в кругу однообразно очерченных, заданных типичным образом автора форм экспрессии. Она движется в пушкинской композиции по линиям сюжета в разных направлениях, вступая в сложные отношения с сферами «чужих» мыслей и речей, иногда как бы растворяясь в них.

§ 4. Тот прием семантического движения, по которому слова и фразы как бы скользят непрестанно из одной субъектной плоскости в другую, являясь в многообразных отражениях, в пушкинском стиле органически связан с принципом субъектной многопланности и многоликой изменчивости. Когда в художественной действительности устанавливается сложное, подвижное, изменчивое соотношение между объектом и субъектом, между предметным миром и формами его субъективного выражения, тогда открывается возможность художественного применения тех многообразных тонких смысловых нюансов, которые приобретает слово в контексте речи и мысли разных личностей и которые однако не нарушают единства лексической структуры слова. Над общими, присущими литературному стилю значениями слова воздвигается тогда множественность смыслов слова, зависящих от разнообразия контекстов его субъективного употребления, от разнообразия субъектных приспособлений слова. Этот прием субъектной многозначности в применении слов враждебен открытой лексической метафоре, так как метафора всегда связана более или менее с отрывом слова от его предметной почвы. Кроме того метафора (если она не штампована) есть акт утверждения индивидуального миропонимания, акт субъективной изоляции и форма борьбы с общеязыковыми нормами. В метафоре резко выступает строго определенный, единичный субъект с его индивидуальными тенденциями мировосприятия. Поэтому словесная метафора—узка, субъектно замкнута, рассудочна и «идейна», т. е. навязывает читателю субъективно-авторский взгляд на «предмет» и его смысловые связи. Метафорической пестроте, гипертрофированному метафоризму романтического стиля Пушкин противопоставляет, особенно в области прозы, сложный субъектный символизм слова. Субъектно-экспрессивная многопланность слова сочетается в пушкинском стиле со структурной полнотой предметных значений, сдвинутых в единство семантической характеристики слова из разных стилей литературно-книжного языка, из разговорной речи, из диалектов просторечия, простонародного языка и из разных арго (например карточного, гадательного, светски-кружкового, литературно-группового и т. д.).

§ 5. Этот метод субъектно-экспрессивной многопланности еще больше углублял смысловую перспективу слова: к предметным значениям слова

примыкали причудливые формы его различных субъектных применений. Попадая в разные субъектные сферы, символ получал различное смысловое наполнение. Например речение «пиковая дама» в повести «Пиковая дама» было не только названием карты, но, пройдя через субъектную сферу гадательного жаргона, стало символизировать личность. Ведь для гадательного арго название карты—всегда символ скрытой за нею личности, силы или события, которые являются темой вопроса, обращенного к судьбе. Так открывается возможность—в аспекте расстроенного воображения Германа—отождествить пиковую даму с образом старой графини, на которую была рассчитана ставка Германа. С особенной яркостью эта субъектно-экспрессивная двупланность слов выступает в сцене последней игры Германа:

«— Туз выиграл!—сказал Герман, и открыл свою карту.

— Дама ваша убита, — сказал ласково Чекалинский.

Герман вздрогнул: в самом деле,. вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться.

В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его.

— Старуха! — закричал он в ужасе».

Особенно ярко двойственность значений слов в этой сцене выступает при соотнесении ее со сценой галлюцинации Германа у гроба старухи. Ведь обе эти сцены связаны нитями символического параллелизма по принципу отражений. Двойственностью значений карт, за которыми в гадательной, а также и игрецкой мифологии скрывались люди и пред-

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ „ГРАФА НУЛИНА"

Рисунок Ф. Захарова. 1922 г.

меты, оправдывается и процесс превращения всего мира в образы трех карт в необузданном воображении Германа:

«Тройка, семерка, туз—скоро заслонили в воображении Германа образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз—не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил:— Как она стройна!.. Настоящая тройка червонная. У него спрашивали: который час: он отвечал—без пяти минут семерка. Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз—преследовали его во сне, принимая все возможные виды: тройка цвела пред ним в образе пышного грандифлора, семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком»... Но «пиковая дама»—имела еще и третье значение—в применении к судьбе, которая стерегла искателя счастья: «Пиковая дама означала тайную недоброжелательность» (Новейшая гадательная книга). Для Германа, на лик которого символически накладывается образ Наполеона, «мужа рока», «мужа земных судеб», орудием этой тайной недоброжелательности судьбы была старуха («Я пришла к тебе против своей воли»). Поэтому в аспекте сознания и восприятия Германа образ графини облекается символическими аксессуарами судьбы, воплощенной в игре «фараон» (которая состоит в сбрасывании карт направо—сторона банкомета и налево—партия понтера): «Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево... Смотря на нее, можно было подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма»[79].

Столкновение разных субъектно-экспрессивных сфер в композиции произведения выражалось не только в многообразии символических применений слова, но и в постоянном смещении субъектных плоскостей повествования. От авторского, объективного воспроизведения речь спускается в сферу оценки и восприятия персонажей, перемещаясь с одной ступени на другую, чтобы вновь вступить в плоскость авторского повествования с другой стороны. Например вот авторский рассказ от лица стороннего наблюдателя: «Герман затрепетал... Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности». Далее плоскость повествования наклоняется к субъектной сфере самого Германа (ср. расстановку слов), окрашиваясь экспрессией сочувствия: «Поздно воротился он в смиренный свой уголок; долго не мог заснуть, и когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев». И тут наконец авторская экспрессия сливается с плоскостью созерцания и восприятия самого Германа (что выражается постановкой эмоциональных наречий позади глагола и эмоционально-прерывистым повторением союза *и*): «Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золото, *и* клал ассигнации в карман». А далее повествовательный стиль, освобождаясь от «чужой» экспрессии, становится более объективным: «Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини...» Но в конце главы опять происходит сближение автора-наблюдателя с точкой зрения Германа: «...увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой».

С необыкновенной рельефностью этот прием субъектного «скольжения» слов обнаруживается например в том месте «Пиковой дамы», где все

перипетии драмы старухи и Германа воспроизводятся в субъектных формах риторики «славного проповедника» (гл. V): «В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине». «Ангел смерти обрел ее,—сказал оратор,—бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощного».

Здесь сначала звучит речь повествователя, его оценка: «Славный проповедник произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он»... Потом, без подчеркивания внешними графическими знаками (вроде кавычек или курсива), повествовательный стиль сразу соскальзывает в плоскость «чужой речи». Образы и метафоры, вся лексика извлекаются из самого надгробного слова. Но риторические формы церковной проповеди основаны на ином круге символов, на иной идеологии, чем стиль светского повествования. Поэтому на фоне предшествующего изложения все символы и обозначения проповедника, перенесенные в сферу авторской речи, отзываются иронией. Они не соответствуют установившимся значениям предметов, лиц и событий. Так выражение «мирное успение праведницы» только иронически может быть применено к смерти старой графини. Самый образ старухи в обрисовке повествователя меньше всего подходит под тип «праведницы, которой долгие годы были тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине». Фраза из надгробной речи о праведнице, «бодрствующей в помышлениях благих», невольно сопоставляется с такой чертой портрета графини: «В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли». Выражение «в ожидании жениха полунощного» покоится на символике евангельской притчи о десяти девах, из которых мудрые бодрствовали (со светильниками и с маслом для них) в ожидании жениха полунощного («сына человеческого», христа), а неразумные в полночь ушли покупать масло для светильников и опоздали на брачный пир. Но в семантике «Пиковой дамы» этот символ проецируется на вернувшуюся с бала старуху и Германа, который «ровно в половине двенадцатого ступил на графинино крыльцо».

Так, двигаясь по разным субъектным плоскостям, слова и фразы расширяют свой смысловой объем и приобретают экспрессивную многокрасочность.

Конечно прием культурно-бытового и литературно-эстетического намагничивания слова, прием пластической изобразительности, прием символических отражений и вариаций и прием субъектно-экспрессивной многопланности не исчерпывают сущности пушкинского стиля. Но они, мне кажется, являются теми основными категориями пушкинской художественной системы, под которые подводится или из которых выводится множество других менее общих, хотя не менее характерных особенностей пушкинской манеры выражения и изображения.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. мою книгу «Язык Пушкина», «Academia», 1934.

[2] См. «Переписка», т. II, стр. 20, 211 и др.

[3] «Дневник А. С. Пушкина», 54 стр.

[4] Майков, Л. Н., Пушкин. Стр. 295. Ср. также статью Ю. Н. Тынянова «Пушкин» в книге «Архаисты и новаторы».

[5] См. о нем Черняев, Н., Критические статьи и заметки о Пушкине. Харьков, 1900.

[6] The Works of lord Byron. Vol. IV. Leipzig, 1842.

[7] Полн. собр. соч. кн. П. А. Вяземского, т. III, стр. 206—207.

[8] Ср.: I lived, I loved, I quaff'd, like thee;
I died: let carth my bones resign:
Fill up — thou canst not injure me;
The worm hath fouler lips than thine.
Better to hold the sparkling grape,
Than nurse the carth worm's slimy brood;
And circle in the goblet's shape
The drink of Gods, than reptile's food...

Я жил, любил, пивал вино
И умер; кости спят во мгле.
Судьбой мне чашей стать дано,
Что лучше чем лежать в земле.
Вином искристым напоить
Уста пирующих друзей
И чашей круговой ходить
Приятней, чем кормить червей. (Перев. В. С. Смышляева.)

Ср. у Вяземского:

Как ты, я жил, любил и пил,
Как ты заплатишь—я дань смерти заплатил,
В земле моих костей лежат остатки с миром,
В меня и лей вина! Не бойся оскорбить:
Мне лучше у тебя на пиршестве служить,
Чем лакомым червям служить роскошным пиром.
Пускай не гадин влажный рой,
Но виноградный сок, будитель сладострастья,
Кипит во мне—заздравной чаше счастья,
А не пристанище природы гробовой.
Быть может, искры мысли резвой
Сверкали прежде из меня,
Теперь пусть в вас зажгут веселья пыл нетрезвый
И вспышки беглого огня!

[9] Ср. действие V, сцена I.

[10] Полное собрание сочинений А. Марлинского, ч. XI, стихотворения и полемические статьи. 1840. Стр. 114—115.

[11] О поэте Ф. Я. Кафтареве см. в статье П. Е. Щеголева «Обожатели Пушкина». «Московский пушкинист», вып. II.

[12] Хронологические данные (из истории работы над текстом «Анчара») подтверждают это предположение. См. Н. О. Лернер «Труды и дни Пушкина», 1910, стр. 178 и 80 и Н. В. Измайлов «Из истории пушкинского текста». «Анчар, древо яда». — «Пушкин и его современники», вып. 31—32.

[13] Соч. и перев. в стихах Павла Катенина. СПБ., 1832, ч. I, стр. 93—95.

[14] Любопытен вариант: «Послал к анчару самовластно». О значении слов—самовластитель, самовластие, самовластный, самовластно см. «Словарь Акад. Росс.», 1822, ч. VI, стр. 17.

[15] Предложенному толкованию стихотворения нисколько не противоречат замечания Н. В. Измайлова в статье «Из истории пушкинского текста. «Анчар, древо яда». — «Пушкин и его современники», вып. 31—32.

[16] Но ср. например работы М. О. Гершензона: «Плагиаты Пушкина», «Статьи о Пушкине», М., 1926 и В. В. Гиппиуса «К вопросу о пушкинских плагиатах».— «Пушкин и его современники», вып. 38—39, 1930, стр. 37—46.

[17] Гершензон, М. О., Статьи о Пушкине.

[18] О стихотворениях Державина. «Изв. Отд. русск. яз. и слов. Росс. Акад. Наук», т. XXIV, кн. I, стр. 72.

[19] В работе «Из заметок о Пушкине».

[20] Бонди, С. М., Новые страницы Пушкина.

[21] Соч. В. Л. Пушкина под ред. В. И. Саитова. СПБ., 1893, стр. 102.

[22] Автобиография. Неизданные материалы. «Мир», 1931, стр. 226.

[23] Ср. те же образы в стих. «Поход Озирида» (1805, II, 358). Чечулин, Н. Д., О стихотворениях Державина.—«Изв. Отд. русск. яз. и слов.», т. XXIV, кн. I, стр. 107—108.

[24] Ср. Гиппиус, В. В., К вопросу о пушкинских плагиатах.—«Пушкин и его современники», вып. 38—39, стр. 41—46.

[25] «Архаисты и новаторы», стр. 173—175.

[26] Ср. в стих. Пушкина «Батюшкову» (1816):

Бреду свои путем:
Будь всякий при своем.

Ср. в послании Жуковского «К Батюшкову» (1812):

Будь каждый при своем
(Рек царь земли и ада).

[27] «Критические статьи и заметки о Пушкине». Харьков, 1900, стр. 54.

[28] Необходимо помнить, что и для Жуковского этот образ—«гений чистой красоты»—был связан также с земными, любовными переживаниями—именно с увлечением поэта великой княгиней Александрой Федоровной (женой Николая I).

[29] Сумцов, Н. Ф., Этюды о Пушкине.

[30] «Труды Вольного общества люб. русск. словесности», 1822, XIX, 17. Сочин. и переп. П. А. Плетнева, т. I, стр. 59—60.

[31] Вот текст этого стихотворения:

Я музу юную, бывало,
Встречал в подлунной стороне,
И вдохновение летало,
С небес, незванное, ко мне;
На все земное наводило
Животворящий луч оно—
И для меня в то время было
Жизнь и поэзия одно.
Но дарователь песнопений
Меня давно не посещал;
Бывалых нет в душе видений,
И голос арфы замолчал.
Его желанного возврата
Дождаться ль мне когда опять?
Или навек моя утрата,
И вечно арфе не звучать?
Но все, что от времен прекрасных,
Когда он мне доступен был,
Все, что от милых, темных, ясных
Минувших дней я сохранил—
Цветы мечты уединенной
И жизни лучшие цветы —
Кладу на твой алтарь священный,
О, гений чистой красоты.
Не знаю, светлых вдохновений
Когда воротится чреда—
Но ты знаком мне, чистый гений,
И светит мне твоя звезда.
Пока еще ее сиянье
Душа умеет различать:
Не умерло очарованье;
Былое сбудется опять.

Ср. символику стих. Жуковского: «Жизнь» (видение во сне) 1819 г.

[32] Ср. письмо к А. И. Тургеневу от 6/19 февр. 1821 г. Ср. у М. Л. Гофмана «Le musée Pouschkine d'Alexandre Oneguine à Paris. Notice, catalogue et extraits de quelques manuscrits». Paris. 1926, стр. 153—154. Ср. запись в альбом Мещерской-Карамзиной. «Русский Библиофил» 1916, кн. 6. Письмо к Гоголю. «Москвитянин» 1848, № 4, стр. 11—28. Ср. запись А. С. Пушкина. В. Е. Якушкин. Рукописи А. С. Пушкина, тетрадь № 2687 (л. 82). Ср. также М. О. Гершензона «Мудрость Пушкина». М., 1909. П. Е. Щеголева «Из жизни и творчества Пушкина». ГИХЛ, 1931, стр. 369—374.

[33] Ср. заметку Жуковского к «Лалла-Рук» и дневник того же года под 4 февраля. Ср. в письме к вел. кн. Марии Николаевне от 24 июня 1838 г.: «Верою мы сводим небо на землю, чувством красоты мы земное, так сказать, возвышаем в небесное... красота есть святыня». Несколько раз встречается у Жуковского выражение, что прекрасное—религия. См. книгу акад. А. Н. Веселовского «В. А. Жуковский». Глава VII «Лирика, чувства и ее личные мотивы».

[34] Любопытно для сравнения символики поставить в параллель описание Мадонны Рафаэля у В. Кюхельбекера в «Отрывке из путешествия по Германии» («Мнемозина», ч. I): «Передо мною видение—не земное: небесная чистота, вечное, божеское спокойствие на челе младенца и девы; они исполнили меня ужаса: могу ли смотреть на них я, раб земных страстей и желаний?—Что же? Кротость, чудная кротость на устах матери приковала мои взоры: я не в силах расстаться с сим явлением, если бы и гром небесный готов был истребить меня недостойного! Посмотрите, она все преображает вокруг себя... Мысли и мечты, которые озаряли и грели мою душу, когда глядел на сию единственную богоматерь, я описать ныне уже не в состоянии: но я чувствовал себя лучшим всякий раз, когда возвращался от нее домой. Много видел я изображений чистых дев, нежнолюбящих матерей; в глазах их веру, вдохновение и ту скорбь, которой я готов был сказать: ты неизреченна. Мне говорили: оне представляют Мадонну; но она одна и явилась Рафаэлю» (стр. 105—106).

[35] Собр. соч. К. Ф. Рылеева. М., 1906, стр. 177. Ср. однако в письме К. Ф. Рылеева от 12 февр. 1825 г. к А. С. Пушкину оценку влияния Жуковского на «дух нашей словесности»: «К нещастию влияние это было слишком пагубно: мистицизм, которым проникнута большая часть его стихотворений, мечтательность, неопределенность и какая-то туманность, которые в нем иногда даже прелестны, растлили многих и много зла наделали» («Переписка», т. I, стр. 177).

[36] О понимании Жуковским поэзии см. у А. Н. Веселовского «В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения», 1918, стр. 238—242.

[37] О тесной связи образов этих стихотворений говорят хотя бы такие строки:

И не тебе ль всегда она внимала
В чистейшие минуты бытия,
Когда судьбы святыню постигала,
Когда лишь бог свидетель был ея.

[38] Эта полемическая противопоставленность пушкинского понимания символа «гений чистой красоты» метафизической интерпретации Жуковского может быть отзывается и позднее в стихотворении «Кто знает край, где небо блещет» (1827 ?)

Где ты, ваятель безымянной,
Богини вечной красоты?

После этого образа—«богини вечной красоты», который является как бы ритмико-символической вариацией образа «гений чистой красоты»,—звучит обращение к Рафаэлю с призывом о замене «еврейки молодой», т. е. Сикстинской Мадонны, другой Марией.

И ты, Харитою венчанный,
Ты, вдохновенный Рафаэль,
Забудь еврейку молодую,
Младенца Бога колыбель—
Постигни прелесть неземную,
Постигни радость в небесах,
Пиши Марию нам другую
С другим младенцем на руках.

[39] Ср. замечания Г. А. Гуковского о литературно-художественной культуре 20—30-х годов в статье «Неизданные повести Некрасова в истории русской прозы сороковых годов». Приложение к книге «Жизнь и похождения Тихона Тросникова». Новонайденная рукопись Некрасова. ГИХЛ. 1931.

[40] В трактатах о «Предметах для художников» предлагались как темы для картин литературные описания «разительных мгновений» (ср. например соч. А. Писарева «Предметы для художников, избранные из Российской истории, славенского баснословия и из всех русских сочинений в стихах и в прозе», 1807. Ср. статью Ф. И. Буслаева об иллюстрациях к стих. Державина. Ср. «Храм славы древних Российских ироев», соч. П. Львова). Влияние живописных форм на литературу было естественно при литературной остроте темы художника, при характерном для романтизма синкретизме, взаимодействии искусств. (Ср. интерес к живописи у Пушкина, По-

левого, Гоголя, Шевырева, Лермонтова, Кукольника и др.) Ср. у А. Эфроса в книге «Рисунки поэта» главу «Пушкин и искусство». А. Писарев в своем трактате «Предметы для художников» (ч. II, стр. 2—4), устанавливая различия между поэзией и живописью, подчеркивая вслед за Дидро, что при связанности одним мгновением—художник все же не погрешит «ни против истины, ни против своих выгод, когда искусно означит в картине своей с настоящим временем прошедшее или последующее время», учил: «Чтение превосходных сочинений весьма полезно для художника (славный живописец Рубенс так был уверен в помощи пиитического воображения, что лучшие места из поэтов выписывал и по оным располагал свои картины), а писателю нужно видеть картины великих художников. И так, сколько нужно каждому художнику иметь от части сведение в словесности, столько же нужно упражняющемуся в словесности иметь понятие о художествах: взаимность и подражание облегчат им трудные их произведения».

[41] Ср. ссылку на эту статью в «Опыте критических примечаний для художников» А. Писарева.

[42] В «Северном Вестнике» на 1804 г., июнь, № 6, эта тема Карамзина (впервые поместившего свою статью в «Вестнике Европы» 1802 г., декабрь, № 24) была одобрена. И А. Писарев в «Опыте критических примечаний для художников» писал о «сих двух сочинениях»: «В них есть весьма счастливые выборы предметов, как то: «Олег прибивает щит свой к Цареградским воротам» (стр. 288).

[43] «Думы». Стихотворения К. Рылеева. М., 1825, стр. 5.

[44] Ср. сопоставления слов и выражений «думы» К. Ф. Рылеева «Олег Вещий» с «Историей государства Российского» Карамзина у В. И. Маслова «Литературная деятельность К. Ф. Рылеева». Киев, 1912, стр. 182—183. В описании «сухопутного плавания», которое Карамзиным интерпретируется как «баснословие» (ср. также примеч. 307, где к «сагам» относится и легенда о щите, повешенном на воротах константинопольских: «Истина служит основанием для исторической поэзии; но поэзия не история: первая более всего хочет возбуждать любопытство, и для того мешает быль с небылицею; вторая отвергает самые остроумные вымыслы и хочет только истины»), у Рылеева обнаруживается непосредственная зависимость от летописного сказания или от «Храма славы древних Российских ироев» П. Львова, где на подножии кумира Олега изображены «ладьи ратию полные на колесах чрез сушу, как по обильному влагою понту, бегущия на всех ветрах». Ср. у Рылеева:

И шел по суше к Византии,
Как в море по волнам.

Ср. также у И. П. Елагина в «Опыте повествования о России» (1803) описание похода Олега.

[45] Ср. также указания руководств для художников по поводу «стягов»: «В самые древние времена, кажется, славяне не употребляют стягов (знамен), кои переняты от греков. Со времени принятия христианской веры на стягах изображался лик Спасителя. Иоанн III принял в герб свой двуглавого орла, а обыкновенный герб московский был всадник на коне, поражающий дракона». См. А. Писарев «Предметы для художников», ч. II, стр. 187.

[46] Ср. изложение этой «явной народной басни» в «Истории государства Российского», т. I, стр. 143 и примечание 320, сопоставляющее сказку об Олеге с исландской сагой о рыцаре Орваре Одде.

[47] Делается особенно знаменательной выноска Пушкина на полях рукописи «Песни о вещем Олеге» к 4-й строке 5-й строфы, к слову «щит»: «Но не с гербом России, как некто сказал (для рифмы к Византии), во-первых потому, что во времена Олега Россия не имела еще герба» (ср. Соч. Пушкина, изд. Акад. Наук, т. III, стр. 211—213; ср. замечания Н. Лернера в изд. Брокгауз-Эфрон, т. II, стр. 592—593). Явный намек в этих строках на Рылеева не подлежит сомнению. А за этим примечанием сквозит и литературно-полемическая направленность стиля «Песни о вещем Олеге» против «думы» Рылеева. Мнение В. В. Сиповского («Пушкин и его современники», вып. 3, Пушкин и Рылеев, стр. 70—71) о зависимости пушкинской «Песни» от «думы» Рылеева надо повернуть в эту полемическую сторону. Точно так же недоразумением является заявление комментатора в Академическом изд. соч. Пушкина: «Песнь о вещем Олеге» написана конечно под впечатлением прочитанного в истории Карамзина летописного рассказа о смерти второго русского князя», стр. 211—212.

[48] «Атеней» в рецензии на «Полтаву» Пушкина так описал формы этого допушкинского воспроизведения исторических героев и исторического быта: «Извинительно иностранцам не знать русских, а потому нимало мы не удивляемся, когда они

неверно описывают их нравы, характеры, обычаи, костюмы, когда старинных героев наших видим у них в одежде крестовых сподвижников Готфрида, когда Рюрика, Олега, Игоря, Святослава наряжают они в Римские тоги, но не следовало бы русским подражать в сем отношении иноземцам и изглаживать отличительные черты народности. Нужно ли... прибегать к каким-то неестественным превращениям? От того многие произведения нашей словесности, содержание коих заимствовано из отечественной Истории, можно считать переводами, кои, не будучи ограничены временем и местом, теряют свою занимательность» («Атеней» 1829, ч. II, стр. 174).

[49] Ср. в письме к Рылееву ссылку на летопись и цитату из нее. Пушкин пользовался академич. изд. 1787 г. «Российский летописец по Кенигсбергскому списку».

[50] Другие значения союза «*и*», например перечислительное, усилительное, оказываются общими и в «Сраженном рыцаре», и в «Песни о вещем Олеге». Например в «Сраженном рыцаре»:

И смотрит на латы конь верный один
И дико трепещет и стонет —

в «Песни о вещем Олеге»:

И верного друга прощальной рукой
И гладит, и треплет по шее крутой,

в «Сраженном рыцаре»—формы перечислительного объединения:

Сраженный во брани на холме лежит,
И латы недвижны, и шлем не стучит,
И конь вкруг погибшего ходит—

в «Песни о вещем Олеге»:

И синего моря обманчивый вал
В часы роковой непогоды,
И пращ, и стрела, и лукавый кинжал
Щадят победителя годы.

[51] Стихотворение «Олегов щит» (1829) пользуется уже совсем иными лексическими и синтаксическими формами. Оно приближается к торжественной струе гражданской поэзии и тяготеет к славянизмам и архаизмам древнерусского летописания, как бы стилизуя его лексику и фразеологию (ср. «ко граду Константина», «воинственный варяг», «победы стяг», «во славу Руси ратной», «строптиву греку в стыд и страх»— здесь и краткие, нечленные формы прилаг.—«строптиву» и предлог в со знач. д л я, с целью возбудить ведут к архаическому стилю; «щит булатный», «твой путь мы снова обрели», «грозно притекли», «нашу рать» и др.).

Таким образом проблема национально-исторического стиля разрешается здесь по-новому. Стиль исторического повествования утверждается на языковых формах «документа», на приемах изображения, свойственных самой воспроизводимой эпохе. Возникает «археологическая», «реставраторская» манера живописания. Однако эти формы и приемы усложнены, с одной стороны, принципами субъективно-экспрессивных вариаций, разработанными в романтической поэтике, с другой стороны, своеобразной риторической двупланностью семантики. Уже самый выбор Олега как «лирического собеседника» предопределяет риторическую транспозицию экспрессивных форм. Экспрессия упрека, порицания, которая заключена в этом стихотворении, оказывается символически прикрытой, притаенной. Она звучит не прямо, а отраженно, преломляясь через мнимые, завуалированные упреки «воинственному варягу»:

Твой холм потрясся с бранным гулом,
Твой стон ревнивый нас смутил,
И нашу рать перед Стамбулом
Твой старый щит остановил.

Таким образом смысловая структура стихотворения становится двупланной: за поверхностью прямых смыслов, направленных на возвеличение Олега и олегова щита, движется другой строй переносных, экспрессивно-метафорических смыслов. И самый олегов щит в этой смысловой атмосфере выступает и как исторический символ непревзойденной «славы Руси ратной», и как риторический символ «стыда и страха» для современных поэту военачальников (Дибича). Именно это риториче-

ское значение—упрека, порицания—на фоне общей семантической структуры выступает с очевидностью из контрастной параллели последних стихов обеих строф:

...во славу Руси ратной,
Сопротиву греку в стыд и страх,
Ты пригвоздил свой щит булатный
На цареградских воротах.

И затем:

И нашу рать перед Стамбулом
Твой старый щит остановил.

[52] О музыкальной стороне этого стихотворения, о «звукообразах» см. в статье Вяч. Иванова «К проблеме звукообраза у Пушкина». «Московский пушкинист», вып. II.

[53] Любопытно также сопоставить с этими образами описание девы (той же романтической поэзии) среди бури: «слух ее, казалось, ловил переливы свистящих вихрей, в ее очах изображалось какое-то юродивое забвение,—локоны длинных власов, как и всегда, струились; крупные капли, при свете молнии, сверкали на них, как убор из перлов и яхонтов. Она не замечала меня, но я любовался чудесными прелестями сей уединенной очаровательницы. Она, мне казалось, хотела постигнуть всю тайну бури, запомнить все переходы грозы, может быть для того, чтобы после все пересказать своим любимцам и умеющим понимать ее странный язык, таинственную красоту беседы ее» (стр. 163—164).

[54] Ср. замечания Ю. Н. Верховского во вступительной статье к антологии «Поэты пушкинской поры». М, 1919.

[55] Гершензон, М. О., Мудрость Пушкина. 1919.

[56] Благой, Д., Социология творчества Пушкина. 2-е изд., 1931, стр. 216—217. Мельком приема семантических вариаций одного образа, одной темы касался Н. И. Черняев в своем историко-критическом этюде «Капитанская дочка» Пушкина, сравнивая такой повторяющийся образ с «основной темой в какой-нибудь симфонии Бетховена—темой, которая то и дело повторяется и видоизменяется на все лады, постоянно напоминая о себе как о главной нити всей композиции» (75 стр.).

[57] Сперанский, М., «Барышня-крестьянка» Пушкина и «Урок любви» г-жи Монтолье (XIX т. Сборн. Харьковск. Истор.-Филол. Общества в память проф. Е. К. Редина), 1910.

[58] Среди этих «русских повестей» в первой части помещен рассказ «Дремучий лес». Дневник гвардейского офицера. Его можно найти в XII т. «Полного собрания сочинений А. Марлинского» (СПБ., 1840), где собраны «повести и прозаические отрывки, оставшиеся после смерти автора», и в их числе: «Еще листок из дневника гвардейского офицера», совпадающий дословно с повестью «Дремучий лес».

[59] Ср. например описание впечатлений графа: «Простым языком крестьянки, воспитанной немного лучше ей подобных, она открыла ему богатый источник веселости, уменье на все дать скорую отповедь и отменное искусство шутить с остроумием» (стр. 218).

[60] Ср. иронический отказ автора от манеры нагромождения деталей, свойственный последователям Вальтер Скотта, Ф. Купера, Вашингтона Ирвинга и В. Гюго: «Не стану описывать ни русского кафтана Адриана Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая в сем случае от обычая, принятого нынешними романистами. Полагаю, однако-ж, не излишним заметить, что обе девицы надели желтые шляпки и красные башмаки, что бывало у них только в торжественные случаи»...

[61] Наивно-социологическое объяснение смысла этого эпиграфа см. в статье С. Леушевой «Проза Пушкина и социальная среда» («Родной язык в школе», 1927, сб 5—6): «Не отразился ли в «жизнеделании» гробовщика отрыв всего дворянства от общего исторического процесса—отрыв, остро переживаемый Пушкиным? В этом разрезе приобретает глубокий смысл и эпиграф из Державина... В исключительные моменты дворянство также остро чувствовало надвигающуюся гибель, но такие моменты прозрения не отмечались ли им с поразительной беспечностью?» (стр. 64—65).

[62] Любопытна для понимания пушкинской антитезы гоголевская характеристика мира, изображаемого в «Водопаде»: «Природа там как бы высшая нами зримой природы, люди могучее нами знаемых людей, а наша обыкновенная жизнь перед величественною жизнью, там изображенною, точно муравейник, который где-то далеко копышится вдали». См. статью «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность?»

[63] См. В. С. Узин «О повестях Белкина». Петерб., 1924, стр. 30.

[64] Ср.

Досадно слышать: sta, viator!
Иль, изъясняяся простей:
Извольте ждать, нет лошадей...
—«Но! sta viator,—с этих слов
Оглоблями воображенья
Я поворачивал домой...
— Могло б досадно быть ушам,
Когда читатели-зоилы
Завопят: sta viator. Нам
Тащиться за тобой нет силы.
Но к притязаньям дерзких лиц
В нас к счастью самолюбье глухо
И золотом, как у девиц,
Завешено поэта ухо»...

[65] Тема «станционного смотрителя» была тесно связана с жанром «путевых записок» или «рассказа путешественника». Так повесть В. Карлгофа «Станционный смотритель» (1826) описывает путевые впечатления путешественника, его ночлег у смотрителя. Характерна апология должности станционного смотрителя.—«Милостивый государь, верьте мне, что, отказавшись от честолюбия, от рассеянности больших городов и от злословия маленьких, многим людям недостает только решимости сделаться станционными смотрителями... Вы смеетесь? Но я повторяю, что, сделав этот, по-вашему, может быть, неблагоразумный шаг, они подружились бы с человечеством, нашли бы покой сердечный; а внутреннее убеждение, что, несмотря на своенравие случая, они еще полезны другим в гражданском быту, заменило бы им все приманки блестящей известности, все прелести власти и все выгоды богатства и холодного общества», говорит жена смотрителя. (Повести и рассказы В. Карлгофа, 1832, ч. I, стр. 114). И сам станционный смотритель еще ярче развивает эту тему о блаженстве станционной жизни: «Моя должность,—продолжал смотритель,—ничтожная в гражданском быту, удовлетворяет всем моим потребностям; она не отвлекает меня от моего семейства, оставляет мне время для обучения детей и освобождает от тех утомительных и скучных знакомств, которые так часто отравляют жизнь городскую. Моя должность часто знакомит меня с новыми людьми, но знакомит на час; все люди мне кажутся лучшими; ибо притворствовать для всякого человека легче один час, нежели многие годы» (стр. 125).

В поисках параллелей к пушкинскому «Станционному смотрителю» можно остановиться еще на приеме сюжетного предвосхищения образов и тем посредством описания обстановки горницы и висящих по стенам «портретов». Но в остальном, несмотря на формы сантиментальной-идеализации, между «Станционным смотрителем» Пушкина и «Станционным смотрителем» В. Карлгофа нет решительно ничего общего.

[66] «Переписка» под ред. и с примеч. В. И. Саитова, т. II, стр. 303.

[67] Ibid., стр. 319.

[68] «Русские повести и рассказы». СПБ., 1832, ч. IV, стр. 199—216.

[69] «Русские повести и рассказы», ч. VIII, стр. 201.

[70] Ближе всего к «Повестям Белкина» по стилистической конструкции подходит повесть Е. А. Баратынского «Перстень». Здесь применяется тот же принцип симметрического расположения и варьирования образов и тем, размещенных по двум планам действительности. Для истории сюжета о перстне ср. повесть Н. Мельгунова «Кто же он?» (1831), «Рассказы о былом и небывалом», 1834.

[71] Сопоставление пушкинского «Анжело» с пьесой Шекспира с точки зрения передачи текста оригинала см. у Н. И. Черняева «Критические статьи и заметки о Пушкине» и у Ю. Веселовского. Собр. соч. Шекспира, изд. Брокгауз и Эфрон, т. III.

[72] Ср. символические функции сна в произведениях Пушкина. См. статью М. О. Гершензона «Сны Пушкина».

[73] Подробнее о приеме символических отражений см. в моей подготовляемой к печатанию книге «Стиль Пушкина».

[74] Соч. Карамзина, 3-е изд. Москва, 1820, т. VII. «Что нужно автору?» Стр. 14—15.

[75] Ср. Сухомлинов, М., О псевдонимах в древней русской словесности. «Сборн. Отд. русск. яз. и слов. Росс. Акад. Наук», т. 85, стр. 441—493.

[76] Майков, Л., Пушкин. Стр. 306.

[77] Майков, Л., Пушкин. Стр. 306.

[78] «Дневник А. С. Пушкина», ГИЗ, 1923, стр. 67.

[79] Подробнее см. в моей работе о стиле «Пиковой дамы».

„БОРИС ГОДУНОВ“

Статья Д. Бернштейн

Появление драматического жанра в творчестве Пушкина тесно связано с эволюцией его социального сознания в годы, предшествовавшие декабрьским событиям. Характер этой эволюции определялся объективным положением той прослойки дворянства, которая в силу изменяющихся внутренних экономических условий и в силу втянутости России в орбиту европейских общественных отношений с их укрепляющимися капиталистическими формами учитывала необходимость преобразования русской хозяйственно-политической системы на европейский лад. Это преобразование, с точки зрения его идеологов, должно было предотвратить хозяйственное разорение дворянства и снижение его политической роли. «Нам, русским,—писал декабрист Н. И. Тургенев в своей «Записке о крепостном состоянии»,—пора подумать об улучшении состояния крепостных еще и потому, что многие имения стали переходить от знатных людей к откупщикам, фабрикантам и заводчикам». Старые феодальные устои расценивались идеологами прогрессивного дворянства как отжившие, тормозящие развитие дворянского хозяйства, грозящие опасностью народных волнений, а потому подлежащие уничтожению. Для защиты дворянских интересов утверждалась необходимость создания новой хозяйственно-политической системы, буржуазной по своей объективной сути. Во имя ее создания велась борьба с крепостным правом и неограниченным самодержавием, борьба, приобретавшая не только либерально-оппозиционные, но и революционные формы.

Но революционная последовательность прогрессивного дворянства подрывалась невозможностью для него опереться на широкие демократические, т. е. крестьянские, слои. Интересы господ, готовых предоставить крестьянину только волю, но отнюдь не землю, находились в слишком очевидном противоречии с интересами масс. Прогрессивные дворяне, собиравшиеся одну систему эксплоатации крестьянства заменить другой, более современной, безопасной и выгодной, не могли не видеть в революционном движении масс главной опасности, опасности во всяком случае куда более грозной, чем феодальная реакция. Страх перед крестьянской революцией определил характер и исход даже наиболее революционного выступления буржуазно-перерождающегося дворянства— крах узко военного восстания северных декабристов в 1825 г.

Творчество Пушкина, со всеми его противоречиями, с двойственностью его социальных тенденций, с особенной гениальной полнотой отразило объективные противоречия прогрессивного дворянства, вынужденного лавировать между Сциллой феодальной реакции и Харибдой крестьянской революции. Даже в период наибольшей оппозиционной настроенности в творчестве Пушкина (1817—1821) вольнолюбивые мотивы не преоб-

ладают, не вытесняют из творчества других мотивов. Наоборот, они легко сочетаются то с ослабляющими их мотивами любви к мирной усадебной жизни, обнаруживая свою социальную с ней сращенность,

«Меня зовут поля, луга,
Тенисты липы огорода,
Озер пустынных берега»

(1819 г.—Послание к Энгельгардту.)

то с мотивами «любви, дружества и лени», растущими из той же дворянской почвы. Сочетание тем «любви, свободы и вина» в эту пору, особенно до 1820 г., обычно для Пушкина.

В 1820—1821 гг. революционные мотивы сочетаются чаще всего с ослабляющими их мотивами *тоски, разочарования, грусти о прошлом (отсюда* обилие элегий в эти годы творчества).

Непоследовательность революционных настроений, обусловленная дворянским страхом перед народным движением, диктует Пушкину сочетание революционных тенденций с умеренно-либеральными.

Тема «обломков самовластья» сосуществует с темой «рабства, падшего по манию царя». Восхищение «площадью мятежной», на которой «во прахе царский труп лежал, и день великий, неизбежный, свободы яркий день вставал», совмещается с отвращением к «исчадью мятежа»—Марату, который представляется Пушкину как «палач уродливый... презренный, мрачный и кровавый».

Но в этот период творчества страх перед народным движением и ненависть к реакции еще не осложнены сознанием невозможности овладеть ходом истории и ввести его в желательное для прогрессивного дворянства русло. Не исчезнувшая еще вера в свои социальные силы диктует идеологам прогрессивного дворянства взгляд на разум как на главную движущую силу истории, убеждение в том, что силой логики можно внушить обществу разумные (т. е. нужные прогрессивному дворянству) нормы поведения, научить его опасаться произвола, когда «иль народу, иль царям законом властвовать возможно». Из этих просветительских установок—рационалистический характер, рассудочное проповедничество раннего вольнолюбивого творчества Пушкина.

Но опыт социальной действительности—рост европейской реакции, крушения не поддержанных народной массой национально-буржуазных революций на юге Европы, крестьянские бунты внутри России—быстро обнаружил несостоятельность рационалистической логики, ее неспособность овладеть событиями. Пушкин вначале винит не логику, а события, вернее народы, которым «недоступен чести клич», которые либо мирно пасутся под «ярмом с гремушками», либо в рабьем бунте повергают «свободы тень» «в прах и кровь». От неприятия реальной действительности, нарушающей логические расчеты, в творчестве Пушкина намечается уход в экзотику, игнорирование реальных жизненных отношений, проявляющееся в нарочитой неясности социально-бытовых контуров образов романтических поэм.

Героем пушкинского творчества становится индивидуалист, одиночка—образ, отражающий объективное общественное положение прогрессивной дворянской группы, враждебной господствующим нормам и не имеющей опоры в массах.

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „БОРИСУ ГОДУНОВУ“
Рисунок Н. Купреянова
Издание Госиздата, 1923 г.

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД СОБОРОМ В МОСКВЕ.

НАРОД.

ОДИН.

Скоро ли царь выйдет из собора?

ДРУГОЙ.

Обедня кончилась; теперь идет молебствие.

ПЕРВЫЙ.

Что? уж проклинали *того*?

(62)

От неприязни передового дворянства к феодальному строю—отщепенство этого героя, иногда соединенное с анархическим бунтарством против господствующей системы. От чуждости и верхам, и народу—его одиночество. От неспособности разрешить социальные противоречия—его презрение к людям, эгоистический идеал индивидуальной свободы, разочарованность, мрачность, тоска, «жажда гибели». Но и здесь уже иногда в неспособности героев пренебречь всеми нормами для утверждения своей личной воли (разбойники, хан Гирей) намечается, правда, не совсем еще четкое, понимание несостоятельности социального отщепенства и индивидуализма. В 1823 г. образ индивидуалиста уже предстоит в несколько сниженном виде, введенном в реальное бытовое окружение — Евгений Онегин. Назревающее социальное столкновение быстро заставляет Пушкина ясно осознать полную социальную несостоятельность отщепенства и индивидуализма, т. е. изолированного положения прогрессивного дворянства, невозможность в них найти социальный выход, ослабить реакцию и уладить опасный конфликт между дворянством и народом. Игнорировать народ, попрежнему отделываться презрением к нему представляется невозможным. Но страх перед народной революцией диктует замену индивидуалистической замкнутости не демократической революционностью, а проповедью гуманизма, терпимости, истинный смысл которых в тенденции предотвратить революцию компромиссом, либеральным сглаживанием общественных противоречий. Тенденция эта направлена и против реакции, и против народного восстания. Признание несостоятельности индивидуализма было также и сдачей рационалистических позиций, признанием того, что навязать жизни искусствен-

ные логические законы невозможно. Осознание своей неспособности разрешить общественные противоречия проявляется в фаталистической теории обреченности человека, его бессилия справиться с судьбой и стихийными силами сокрушающих всякую логику страстей. Протест против господствующих социальных норм не исчез (он и никогда не исчезает совершенно из творчества Пушкина). Осуждение Алеко общества, в котором

«Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей»

звучит сильно и убедительно. Именно ненависть к такому обществу диктует Пушкину идеализацию другого, где «нет законов», где «не терзают, не казнят». (Характерна для пушкинской народобоязни и стремления к мирной договоренности с народом, в котором он начинает видеть важную историческую силу, эта идеализация совершенно условного, надуманного, демократического общества, свободного от искания материальных благ, не знающего борьбы и насилия, общества, в котором царят свобода, равенство, гуманность и... нищета.)

Не прекращая протеста и борьбы, Пушкин самый их смысл подвергает глубочайшему сомнению. И не только такой борьбы, какую ведет Алеко, который «для себя лишь ищет воли», а всякой борьбы. Правят миром судьбы и страсти, в силу которых прочное человеческое счастье неосуществимо. Только «чредой всему дается радость; что было, то не будет вновь». Непрочность счастья, неизбежная связь радости одного с горем другого вытекают, по Пушкину, из самого закона человеческой жизни и равно царят как в обществе «образованного разврата», так и «под издранными шатрами»:

«И ваши сени кочевые
В пустыне не ушли от бед».

Счастье Мариулы построено на несчастьи старого цыгана, радость Земфиры—на горе Алеко. Смысл борьбы ослабляется тем, что ни один общественный строй, по Пушкину, не гарантирует человеческого счастья. В борьбе меньше смысла, чем в гуманной терпимости человека к человеку, так как все несчастны, все обречены на горе:

«И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет».

Это сменившее прежний рационализм представление о человеческой обреченности, о неспособности преодолеть судьбы и страсти, о трагическом исходе борьбы с ними, представление, равносильное расписке в своей неспособности развязать запутанный социальный узел, диктует Пушкину введение нового жанра. В нем должна быть уничтожена видимость авторского руководства поступками образов, замаскированы разум, логика, диктующая эти поступки. Человек должен явиться, предоставленный самому себе, охваченный своими страстями, в борьбе со своим роком, обреченный на то, чтобы оказаться побежденным. Отсюда жанр драмы, точнее—трагедии, разумеется резко отличной от трагедии классической, руководствовавшейся совсем иными принципами мировосприятия. Уже в «Цыганах» Пушкин часто считает нужным отстраниться от рассказа, предоставить героев самим себе, показать их обреченность, как бы вытекающей неизбежно из самой природы человека, а не из авторского произвола; повествовательная форма переводится в драматическую.

Чем очевиднее становилась неизбежность общественной вспышки, тем острее вставал перед идеологом вопрос о судьбе его класса; чем точнее вырисовывалась сложность и опасность надвигающейся общественной ситуации, тем сильнее становилось сознание неспособности справиться с ней, не устранявшее конечно поисков выхода из трудного положения. Потребность поставить вопрос о судьбах своего класса в более прямой и социологически-четкой форме, чем это имело место в «Цыганах», определила создание трагедии «Борис Годунов»—этой высшей точки пушкинского сознания действительности в додекабрьский период. В дореволюционной критической литературе о «Борисе Годунове» был наиболее распространен взгляд на него как на произведение, в котором автор сумел стать выше социальных столкновений своей современности и решительно ничем не отозваться на ее волнующие, злободневные вопросы. Взгляд этот настолько наивен методологически, что спорить с ним нет ни малейшей нужды. Но есть нечто в художественной манере «Бориса Годунова», что питало иллюзии критики. Это пушкинская установка на художественный объективизм, на беспристрастие, попытка, правда, далеко не выдержанная, созерцать жизнь, «добру и злу внимая равнодушно, не ведая ни жалости, ни гнева».

Установка эта разумеется не только не препятствует выдвиганию вопросов современности, но и сама из этой же современности вырастает. Ее корни уходят все в то же сознание невозможности разрешить социальные противоречия, из которого росла фаталистическая идея человеческой обреченности, *и тесно с этой идеей связаны.* Страх перед действительностью, сознание невозможности направить ее ход именно так, как это нужно прогрессивному дворянству, оградив себя и от реакции, и от народной революции, порождали стремление, надо заметить, далеко не покрывающее всех тенденций «Бориса Годунова», отойти от трудной действительности, из активного ее участника превратиться в созерцателя, изучающего ее законы.

Но стремление к созерцанию, вопреки мнению критики, нисколько не снимает того, что самые взгляды на законы социальной жизни, проведенные в драме, целиком исходят из пушкинской современности, определяются именно злобой дня, а не стоят над нею. Стоит отметить, что именно сознание своей социальной неспособности руководить ходом событий, с вытекающим отсюда стремлением стать от него в стороне, позволяет Пушкину подняться до может быть предельной для дворянского идеолога высоты объективности в оценке роли своего класса, роли народа и их взаимоотношений. Вопросом об этих взаимоотношениях, чрезвычайно важным для его современности, Пушкин и занят в «Борисе Годунове». Историческая тематика не только не мешает, но помогает постановке вопроса.

«Драматическая повесть. Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве. Летопись о многих мятежах и пр.»—вот одно из первоначальных заглавий «Бориса Годунова». Обращение к эпохе «беды государству» и «многих мятежей» было не случайным. Эпоха была аналогична, в известной мере, пушкинской современности (недаром Пушкин впоследствии оправдывал своего «Бориса Годунова» перед Николаем I тем, что «все смуты похожи одна на другую»—письмо к Бенкендорфу, апрель 1830 г.). Историческая тематика не только позволяла замаскировать злободневность произведения,

но, что особенно важно, давала возможность в законченных формах уже совершившихся событий показать тот исторический закон, которому должны были, по мнению Пушкина, подчиниться еще только назревавшие события современности («Борис Годунов» закончен 7 ноября 1825 г., за 37 дней до декабрьского восстания).

«Борис Годунов», политико-философская трагедия Пушкина, в своей образной системе ставила и решала вопрос, наиболее серьезный в данный исторический момент для дворянства в целом и для его прогрессивной части в особенности—вопрос о народе и власти.

Два главных образа произведения—Борис и Самозванец, обычно игнорировавшийся критикой, несмотря на то, что Пушкин уделяет ему места не меньше, чем Борису,—воплощают, в формах исторического прошлого, те два типа власти, вопрос о которых являлся важнейшим политическим вопросом декабрьского движения. Объективно, вне зависимости от того, в какой мере это было ясно для самого Пушкина, эти два типа власти являлись теми единственными вариантами ее, какие только и был способен выдвинуть дворянский класс в России пушкинского времени.

Трагедия двух типов власти, воплощенная в образах Бориса и Самозванца, это, по своему объективному смыслу, отражение социальной трагедии дворянства как класса, обозначившейся в тот острый исторический момент, когда дворянство, в лице гениальнейшего и дальновиднейшего из своих идеологов, осознало, пусть даже предвосхищая ход истории, неизбежность столкновения своих интересов даже в их наиболее прогрессивной форме с интересами демократии. Для того чтобы яснее понять, о каких типах власти и о какой их трагедии идет речь, перейдем к анализу важнейших образов как составных частей образной системы произведения.

Образ царя Бориса—воплощение трагедии неограниченной, деспотической самодержавной власти.

Изображение Бориса не только как царя, но и как преступника-узурпатора, сломленного тяжестью своего преступления, помогает Пушкину выявить свое двойственное отношение к самодержавию, но не мешает тому, чтоб трагедия Бориса была прежде всего именно трагедией самодержавия. Сквозь черты узурпатора-цареубийцы четко вырисовывается фигура типичного представителя абсолютной монархии в типичном для прогрессивного дворянства 20-х годов политическом истолковании.

(На пушкинское изображение Бориса как неограниченного самодержца, не отвечающее истинному положению исторического, ограниченного в своей власти царя Бориса, впервые обратил внимание историк Павлов-Сильванский в статье «Народ и царь в драме Пушкина», собр. соч. Пушкина под ред. Венгерова, т. II.)

С первых же сцен подчеркивает Пушкин стояние Бориса над обществом, чуждость его и боярству, и народу. Борис, в драме, всходит на престол не потому, что он угоден подданным, а потому только, что сумел использовать разобщенность боярства и народа, их взаимную вражду, недоверие и боязнь. Бояре, оппозиционно к Борису настроенные, не смеют противодействовать ему, зная, что народ забыл в них

«Видеть древню отрасль
Воинственных властителей своих».

и полагая, что Борис «сумел и страхом и любовью и славою народ очаровать». В то же время, народ, который «воет» и «плачет», умоляя Бориса быть царем:

«Ах, смилуйся отец наш, властвуй нами!»

«воет» и «плачет» только потому, что так приказали бояре:

«1-й—О чем мы плачем?
2-й—А как нам знать? То ведают бояре
не нам чета». (В рукописи 1825 г. «мы плачем». Обычный печатный текст ложен.)

Такая трактовка борисова восшествия на престол, равно противоречащая и объективной исторической действительности, и карамзинскому освещению событий, в рабском следовании которому несправедливо обвиняли Пушкина Полевой и Белинский, вполне отвечает взглядам прогрессивного дворянства 20-х годов на самодержавие. Борясь с неограниченной самодержавной властью, передовое дворянство склонно было трактовать ее как власть, чуждую всему обществу, и явно преувеличивало ее единоличный характер (см. творчество не только Пушкина, но Рылеева, Кюхельбекера и др.). В силу этого взгляда, Пушкин очищает дефинитивный текст трагедии от всего, что вводило иную мотивировку борисова всхождения на престол. Так выпущены все имевшиеся в черновых текстах указания на то, что бояре и народ добровольно

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ „БОРИСА ГОДУНОВА"

Гравюра на дереве В. Масютина, 1924 г.

обращаются к Борису. Выброшены слова Воротынского: «Борис умен, правление его покоило, величило Россию. Он прямо Царь. Что будет без него?» Выброшены слова народа:

«О господи, кто будет нами править?
А царство без царя как устоит?—подымутся раздоры.
А хищный хан набег опять готовит
И явится внезапно под Москвой.
Кто отразит поганую дружину?..»

(Рук. № 2370, Лен. б-ка.)

Опуская приведенные места, Пушкин не только лишает своего Бориса всякой общественной опоры. Он одновременно снимает и конкретную историческую мотивировку прихода к власти именно этого правителя (мотивировку по Карамзину) и заменяет ее мотивировкой более общей, выражающей созданный его средой и его временем взгляд на самодержавие в целом как на власть, чуждую и враждебную подданным.

(Стоит отметить, что в рукописных текстах вообще заметно изъятие некоторых конкретизирующих историческую эпоху подробностей, преимущественно подробностей бытового порядка, слишком локализующих трагедию исторически и ослабляющих ее обобщающий характер.)

Поведение Бориса по отношению к подданным подчеркнуто изображено как поведение самодержавно-деспотическое.

Актом самодержавного произвола является закрепощение крестьян, одинаково неприемлемое, по Пушкину, и для бояр, и для народа (трактовка, характерная для антикрепостнических тенденций Пушкина):

«Вот Юрьев день задумал уничтожить.
Не властны мы в поместиях своих.
Не смей согнать ленивца. Рад не рад—
Корми его. Не смей переманить
Работника...
А легче ли народу?
Спроси его...»

Борис самовластно диктует боярству свою волю, навязывая боярской думе свои единоличные решения даже в важнейших государственных делах, например в вопросе о защите страны:

«Мне Свейский государь
Через послов союз свой предлагает;
Но не нужна нам чуждая помога:
Своих людей у нас довольно ратных,
Чтоб отразить изменников и ляха.
Я отказал...»

Отношение Бориса к боярству Пушкин подчеркнуто возводит к общесамодержавной, а не к личной узурпаторской линии поведения Бориса. Не с Бориса началось боярское бесправие.

«Уже давно лишились мы уделов
Давно царям подручниками служим».

Не с Бориса началась борьба бояр с самодержавием, и Борис не первый вынужден «тушить мятеж, опутывать измену». И даже самые

жестокие формы расправы Бориса с боярством не являются чем-то изобретенным лично им как узурпатором, а находят аналогию в методах усмирения, применяемых и законными царями:

«Он правит нами,
Как царь Иван, не к ночи будь помянут».

Точно так же враждебные отношения Бориса с народом объясняются не только узурпаторством Бориса, но и возводятся к общему принципу отношения между народом и самодержавной властью.

«Всегда народ к смятенью тайно склонен.
. . . .
Лишь строгостью мы можем неусыпной
Сдержать народ. Так думал Иоанн,
Смиритель бурь, разумный самодержец,
Так думал и его свирепый внук».

Вражда с народом и верхами общества—вот устанавливаемый Пушкиным закон, которому подчинена, по самой своей сути, самодержавная власть, закон, который равно тяготеет над каждым самодержцем, независимо от того, какими путями пришел он к престолу, и который нельзя преодолеть никакими личными качествами, никакой силой ума и воли. В этом законе Пушкин видит основную причину трагедии неограниченного самодержавия, главную предпосылку его краха.

Очень существенно для социальных взглядов Пушкина то, что решающей силой в этом крахе у него является народ, а не верхи, которые сами по себе бессильны в борьбе с царем.

В этом взгляде сказывается более глубокая и объективная, чем у большинства северных декабристов, оценка возможностей своего класса. Но эта же объективная оценка, как увидим ниже, в корне подсекала революционные тенденции Пушкина.

Трагизм образа Бориса обусловлен тем, что его внешний политический крах раскрыт в сплетении с его внутренним, психологическим крахом. В обрисовке этого сплетения и выявляются политико-философские взгляды Пушкина. Внутренней стороной истории крушения самодержца является крушение индивидуалистического и рационалистического мировоззрения. Психологическая родственность образа Бориса образам индивидуалистов, героев романтических поэм, особенно Алеко, бросается в глаза. То же мрачное одиночество, то же презрение к людям, готовность нарушить этические нормы во имя утверждения своей воли, та же разочарованность и тяжелая тоска. И ничто так не показательно для эволюции социальных взглядов Пушкина, как то, что прежнего своего индивидуалиста, протестанта и свободолюбца он превращает в индивидуалиста-самодержца, злейшего врага всякого протеста, всякой свободы. В этом доведении индивидуализма до его логического, по Пушкину, конца, до самодержавного деспотизма, игнорирующего всякую волю, кроме своей собственной, и потому обреченного на общественную вражду и изоляцию, сказался пересмотр прежних, раньше разделявшихся Пушкиным прогрессивно-дворянских претензий на руководство историей, прежних бунтарско-отщепенческих позиций и более социологически-четкое, чем в «Цыганах», признание их непригодности и социальной обреченности.

Индивидуализм Бориса истолкован как необходимая психологическая предпосылка его монархизма. Для него нет жизни вне стояния над людьми, вне «высшей власти». Даже разочарованный, испытавший всю горечь власти— «счастья нет душе моей», «ни власть, ни жизнь меня не веселят»,—он крепко держится за нее, потому что она дает ему чувство превосходства, право на презрение к тем, кто его ненавидит:

«передо мной они дрожали в страхе».

Как пушкинского Наполеона, «его пленяло самовластье разочарованной красой». И даже в последнем, предсмертном напряжении сил он все еще утверждает свою волю—«я царь еще»,—для того, чтоб сыну, который ему «дороже душевного спасенья», завещать все то же безрадостное, но ставящее над людьми положение самодержца.

Индивидуализм Бориса связан с его рационалистическим убеждением в своей исключительности, в своем праве стоять выше людей и диктовать им свою волю. Именно это убеждение и толкает Бориса на преступление, в котором предельно выражается индивидуалистический, самодержавный произвол, насилие и которое расценивается Пушкиным как нарушение общественного и нравственного закона.

Борис убежден, что он, со своим умом и опытом «с давних лет в правленьи искушенный», способен к большему, чем другие, и что потому ему позволено больше, чем другим. Он рационалистически рассчитал, что сумеет овладеть стихийными силами народа, которыми не овладевал ни один монарх. Он полагает, что в его воле «свой народ в довольствии, во славе успокоить, щедротами любовь его снискать», он надеется править «во славе свой народ» и думает, что этим может и должно быть оправдано его преступление. Он совершает его спокойно, смело, с сознанием своей правоты:

«Он, признаюсь, тогда меня смутил
Спокойствием, бесстыдностью нежданной,
Он мне в глаза смотрел, как будто правый,
Расспрашивал, в подробности входил»—

рассказывает Шуйский.

Но рационалистический расчет Бориса обнаруживает полное бессилие, полную несостоятельность перед лицом судьбы, от которой «защиты нет» и которая из неопределенной и отвлеченной судьбы «Цыган» в трагедии превращается в социальную судьбу. Она проявляется в обреченности неограниченной власти на неизбежное нарушение утверждаемых Пушкиным законов социальных и нравственных и на неизбежную кару за их нарушение—вражду подданных и внутренние мучения. В такой постановке вопроса своеобразно преломилось стремление Пушкина к законности, его конституционализм.

В столкновении с судьбой трагически терпят крушение незаурядный ум и воля Бориса—«высокий дух державный», разбиваются вдребезги все его планы и расчеты.

Борис намеренно и обдуманно разыгрывал комедию отказа от власти, чтоб увеличить свою ценность в глазах народа и увериться в своей нужности ему, в своей всенародной избранности. Но больше всех обманут этой комедией он сам; закон отношений между царем и подданными

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К ФРАНЦУЗСКОМУ ИЗДАНИЮ „БОРИСА ГОДУНОВА"

Акварель В. Шухаева, 1925 г.

превращает пышную инсценировку моления на царство в уродливый и нелепый фарс, таящий в себе зародыши будущей трагедии:

«Один: Все плачут; заплачем, брат, и мы.
Другой: Я силюсь, брат, да не могу.
1-й: — Я также. Нет ли луку?
2-й: — Нет, я слюной намажу.
Что там еще?
1-й: — Да кто их разберет»...

Борис рассчитал, что он будет «благ и праведен», но положение самодержца, обреченного на вражду с подданными, разрушило его расчеты и превратило его в палача:

«Уверены ль мы в бедной жизни нашей?
Нас каждый день опала ожидает,
Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы,
А там в глуши голодна смерть иль петля.
. . . .
Что день, то казнь. Тюрьмы битком набиты.
На площади, где человека три
Сойдутся—глядь—лазутчик уж и вьется,
А государь досужною порою
Доносчиков допрашивает сам».

Царь полагал, что в его силах осчастливить народ, он рассчитал, что может «щедротами любовь его снискать», но ясный и простой логи-

ческий расчет царя разбился о неясный и сложный закон движения народа и его отношений к власти:

«Бог насылал на землю нашу глад.
Народ завыл, в мученьях погибая.
Я отворил им житницы, я злато
Рассыпал им. Я им сыскал работы—
Они ж меня, беснуясь, проклинали».

Царь со всеми его благими намерениями оказался чуждым и ненавистным народу, осудившему его за нарушение нравственного и социального закона. Чуждость эта определила и внутреннее крушение Бориса. Крах рационализма, столкнувшегося с неподчиняющимися индивидуальной логике законами социальных судеб, оказался и крахом индивидуализма. Расчеты, во имя которых совершено преступление, не сбылись, а потому само преступление осталось неоправданным и непосильно-тяжким грузом давит на преступника. Крайнее своеволие, нарушение нравственного закона не осталось безнаказанным. Оно породило мрачный пессимизм («безумны мы, когда народный плеск иль ярый вопль тревожит сердце наше». «Нет, милости не чувствует народ—твори добро, не скажет он спасибо. Грабь и казни—тебе не будет хуже»), муки совести («мальчики кровавые в глазах». «Рад бежать да некуда. Ужасно! Да, жалок тот, в ком совесть нечиста») и невыносимое, подтачивающее силы и приведшее к физической гибели сознание своего банкротства. Самоуверенный рационалист, пытавшийся навязать судьбе свои законы, охвачен робостью перед этой победившей его судьбой, «предчувствует небесный гром и горе», прибегает к «кудесникам, гадателям, колдуньям» и «все ворожит, как красная невеста». Гордый, убежденный в своем праве «сверхчеловек», бесстрашно нарушивший нормы гуманности и нравственности, вынужден признать их силу и только к ним и может апеллировать, заклиная своих врагов-бояр быть верными его сыну, впервые умоляя тех, кому он привык только приказывать:

«Друзья мои, при гробе вас молю
Ему служить усердием и правдой,
Он так еще и млад и непорочен».

Законы исторических судеб оказались сильнее противопоставившей им себя человеческой личности.

Изображение политического и морального крушения Бориса носит на себе заметный отпечаток двойственности. С одной стороны, подчеркивается самодержавная типичность Бориса. Это имеет место не только в изображении политической судьбы Бориса, но и в изображении его внутренней трагедии. Психологическая трагедия Бориса—трагедия человека большого ума и характера, которого жажда власти, стремление стать выше людей толкнули на индивидуальный произвол, на нарушение нравственного закона и тем самым обрекли на гибель. Но само стояние над людьми и вытекающая отсюда возможность произвола тесно связаны у Пушкина с положением неограниченных самодержцев:

«Подумай, сын, ты о царях великих.
Кто выше их?—единый бог; кто смеет
Противу них?—Никто».

Произвол, преступления и муки совести—логическое следствие этой неограниченной власти одного над всеми. Они—необходимая составная часть атмосферы самодержавия, и знает их не один Борис:

«Здесь видел я царя,
Усталого от гневных дум и казней.
Задумчив, тих сидел меж нами Грозный.
. . . .
Он говорил игумну и всей братье:
Отцы мои, желанный день придет:
Предстану здесь алкающий спасенья;
. . . .
Прииду к вам, преступник окаянный,
И схиму здесь честную восприму».

Из этой обреченности царской власти на вражду, преступления и муки совести, по Пушкину, и вытекает ее трагическая тяжесть. Не только узурпатор Борис вынужден признать:

«Ох, тяжела ты, шапка Мономаха».

Это общий удел всех царей:

«Часто
Златый венец тяжел им становился,
Они его меняли на клобук».

Мотив тяжести самодержавной власти все время повторяется в трагедии:

«Тяжкие державные печали», «державный труд», «Сколь тяжела обязанность моя», «Приемлю власть великую со страхом и смиреньем»—вот обычные, исходящие от разных действующих лиц оценки. То, что тяжесть оказывается непосильной даже для крупнейшего из монархов, то, что ею раздавлен даже «высокий дух державный», еще больше подчеркивает общую трагедию самодержавия. Наряду с введением образа Бориса в общую трагедию монархической власти с ее обреченностью на вражду подданных и внутреннюю неудовлетворенность в произведении несомненно имеется вторая, специфическая мотивировка трагедии Бориса—цареубийство, нарушение прав законного наследника. Правда, есть полное основание полагать, что Пушкин не чужд мысли о том, что узурпаторство, политические убийства—необходимая принадлежность самодержавной власти. Так в том же 1825 г., в «Замечаниях на Анналы Тацита», он пишет: «Первое злодеяние его (узурпатора Тиберия—*Д. Б.*) было умерщвление Постума Агриппы, внука Августова. Если в самодержавном правлении политическое убийство может быть извинено государственной необходимостью, то Тиберий прав. Агриппа, родной внук Августа, имел право на власть». Самая связь между монархизмом и преступлением, которую Пушкин устанавливает в трагедии, в известной мере говорит о том, что и в плане политического убийства Борис ничем не отличается от других царей. Не исключена и возможность того, что в цареубийстве Бориса есть намек на явления, не редкие в доме Романовых, в частности на способ прихода к власти Александра I. Но тем не менее освещение трагедии Бориса, не только как царя, но и как цареубийцы, в произведении налицо и вносит с собой мотив

утверждения царской власти, противоречиво сплетающийся с доминирующим мотивом ее обреченности. Мотив утверждения закрепляется самыми различными персонажами трагедии. Он исходит не только от Пимена, проводящего резкую грань между грехом Бориса и грехами законных царей. Если за грехи последних можно «Спасителя смиренно умолять», то грех Бориса принес:

«...Страшное, невиданное горе.
Прогневали мы бога, согрешили,
Владыкою себе цареубийцу
Мы нарекли».

Мотив этот подхвачен Самозванцем:

«Кровь русская, о Курбский, потечет.
Вы за царя подъяли меч, вы чисты;
Я ж вас веду на братьев...
...Но пусть мой грех падет не на меня,
А на тебя, Борис-цареубийца!»

Мотив этот в известной мере определяет действия народа. В сцене битвы бегущие воины Бориса передразнивают Маржерета:

«Ква! ква! Тебе любо, лягушка заморская, квакать на русского царевича; а мы ведь православные».

Или в сцене у Лобного места

«Пушкин (на амвоне):
В угоду ли семейству Годуновых
Поднимете вы руку на царя
Законного, на внука Мономаха?

Народ: Вестимо, нет!»

И, наконец, в уста самого Бориса Пушкин вкладывает осуждение своего узурпаторства:

«Я подданным рожден, и умереть
Мне подданным во мраке б надлежало,
Но я достиг верховной власти—чем?
Не спрашивай».

Все это несомненно указывает на известную меру пушкинского уважения к «венцу и бармам Мономаха», к «сиянию престола». Уж одно то, что в столкновении царя с народом Пушкин увидел трагедию царя, а не народа, говорит о том, что ему самодержавная власть, как резко он ни подчеркивает ее обреченность и несостоятельность, как ни критически он к ней относится, ближе, чем народ. В этом сказывается объективная связанность царской власти с дворянством, хотя на этапе создания «Бориса Годунова» у Пушкина еще нет четкого понимания этой связанности и, наоборот, преобладает характерное для передового дворянства противопоставление царизма своему классу.

В начале октября 1825 г. Пушкин писал Вяземскому: «Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию—навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!»

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ „ДУБРОВСКОГО"

Литография Л. Шлихтера, 1923 г.

Можно смело утверждать, что «дух» трагедии не столь хорош, как бы это было в данный момент выгодно для Пушкина в целях примирения с царем,—закон обреченности монархизма, осуждение царского произвола слишком ясно встают из нее; не только оппозиционные уши торчат, но и оппозиционные когти больно терзают самодержавие; и тем не менее «колпак юродивого»—не маска, не ширма, а органическая принадлежность пушкинского творчества, ясно наметившаяся еще в «Цыганах» и не исчезающая до самого конца. Уж одно то, что «Борис Годунов»—любимейшее произведение Пушкина (это он постоянно повторяет и в письме к Н. Раевскому, и в письме к Кривцову, и в записке Полторацкому, и в своих заметках), свидетельствует о том, что в нем он не лгал, не притворялся, а высказался с наибольшей полнотой и искренностью. Еще сильней пушкинскую искренность подтверждает дальнейшая эволюция творчества. Противоречивое положение передового дворянства, не приемлющего неограниченного самодержавия, но вынужденного в своей массе, в силу грозной перспективы народной революции, оглядываться все на то же самодержавие как на власть, все же защищающую дворянские интересы, отразилось в двойственном изображении царя Бориса, в противоречивом сочетании оппозиционных ушей и колпака юродивого. Именно то, что Пушкин яснее большинства северных декабристов учитывал роль народа и понимал неминуемость столкновения с ним в случае дворянского восстания, и заставило его отойти от декабризма, сменить радикальные позиции на либеральные, осуждающие и царский произвол, и революционное насилие.

Взгляд Пушкина на революционное движение отразился в образе Самозванца. Образ его и в политическом, и в психологическом плане противопоставлен образу Бориса. Путь Самозванца к власти сильно отличен от борисова пути. В то время как Борис закрепляет за собой власть, и без того находящуюся в его руках, путем тайного дворцового

убийства, путем нередким в монархическом правлении, Самозванец завоевывает ее в открытом восстании, в мятеже против существующей власти. Борис не опирается ни на одну общественную группу. Само его утверждение на престоле объяснено разъединенностью народа и боярства. Самозванец тесно связан с боярской оппозицией и фактически возглавляет ее движение. Чтоб подчеркнуть эту связанность, необходимую для авторского замысла—дать в образе Самозванца власть, выдвинутую боярством взамен неограниченной монархии,—Пушкин еще сильнее, чем при обрисовке Бориса, игнорирует исторические документы и подменяет реальные факты вымышленными. Так например, в трагедию введен образ близкого к Самозванцу Курбского-сына, о котором в истории Смутного времени нет ни малейшего упоминания. Дворянин Хрущов, на самом деле привезенный к Самозванцу насильно, как военнопленный, изображен главой группы опальных добровольцев-перебежчиков, явившихся искать у Самозванца защиты от деспотизма Бориса. В отношениях опальных к Димитрию выдвинут Пушкиным принцип добровольности, избранности его ими. В нем они видят не нового деспота, а защитника своих интересов.

«Мы из Москвы, опальные, бежали
К тебе, наш царь,—и за тебя готовы
главами лечь.
— Мужайтеся, безвинные страдальцы,
Лишь дайте мне добраться до Москвы,
А там Борис расплатится во всем».

Только общность интересов с боярством, наличие «общего врага», как выражается Самозванец, и позволяет ему опереться на бояр.

В отношениях Самозванца к его сторонникам Пушкин отмечает товарищеский тон, резко отличный от самовластного тона царя Бориса. Он внимателен, ласков, приветлив, речь его полна дружеских обращений: «Товарищи», «Мои друзья», «Ко мне, друзья», «Приближься, Курбский, руку!» и т. д. Это не тон самодержца, взявшего власть, вопреки общей воле, а тон правителя, который хорошо знает, что притти к власти он может только благодаря чьей-то поддержке. И то, что его «Сын Курбского ведет на трон», делает его зависимым, избранным правителем, первым среди равных и противопоставляет его неограниченному самодержцу Борису. Трудно не увидеть в характере отношений Самозванца с боярством, в его движении к власти через мятеж историческую аналогию, историческую символизацию того мятежа и той конституционной власти, вопрос о которых стоял на декабристской повестке дня. Печать надвигающейся декабрьской грозы лежит на образе Самозванца, на его стремлении быть вершителем «суда мирского» над тем, пред кем «все трепещет», на его обещании быть заступником за тех, кто «неправедно притеснены, гонимы», кто терпел

«под властию жестокого пришельца
Опалу, казнь, бесчестие, налоги
и труд, и глад».

Можно полагать, что отголосок декабризма с его культом высокой гражданской поэзии слышится и в словах Самозванца:

«Стократ священ союз меча и лиры.
Я верую в пророчество пиитов.

Нет, не вотще в их пламенной груди
Кипит восторг: благословится подвиг.
Его ж они прославили заране».

Любопытно, что в обрисовке Самозванца, как и Бориса, Пушкин устраняет имевшиеся в рукописном тексте бытовые черты, усиливающие конкретность исторической обстановки и тем самым нарушающие обобщающий характер образов. Так выпущен сильно окрашенный бытом, хотя вероятно и не лишенный намека на пушкинскую современность разговор двух бояр на приеме у Самозванца, о том, что такое «пиит»: «Какое ж это званье?»—«Как бы сказать?—по-русски виршеписец иль скоморох».

Чрезвычайно показательной для пушкинских социальных установок является характеристика отношений Самозванца с народом. Именно здесь проявляется то ясное понимание социальной обстановки, которое раскрывало перед Пушкиным исторические перспективы его класса и, внушая страх перед ними, отделяло его от декабризма. В образе Димитрия Пушкин ясно дал понять, что общественные верхи, даже опирающиеся на военную силу, без поддержки народа—ничто, что сами они не в состоянии свергнуть самодержца. Самозванец и боярство побеждают только потому, что восставший против царя народ выносит их на своих плечах.

«...Знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою помогой,
А мнением—да, мнением народным.
Димитрия ты помнишь торжество
И мирные его завоеванья,
Когда везде без выстрела ему
Послушные сдавались города,
А воевод упрямых чернь вязала?»

Но осознав яснее, чем представители северного декабризма, народ как решающую социальную силу, Пушкин осознал и то, что сила эта чужда и враждебна господствующему классу и его власти даже тогда, когда идет за ними. Тот же народ, который только что, призывая к уничтожению рода Годуновых, на гребне своего мятежа вынес Димитрия к власти, тот же народ «в ужасе молчит» в ответ на боярское сообщение о гибели семьи Бориса и только после боярского приказа: «Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует царь Димитрий Иоаннович!» автоматически повторяет: «Да здравствует царь Димитрий Иоаннович!» (Так заканчивается трагедия в чистовом автографе 1825 г.) В одно мгновение правитель, утвержденный волею мятежного народа, превращается в правителя чуждого, насильно народу навязанного.

В этом вынужденном, насильственном признании того, кто только что еще казался народным избранником, воплощена вся трагедия новой власти, которая неизбежно останется чуждой народу.

Вынужденное признание—залог всех будущих бедствий, новых правительственных насилий, новых народных мятежей, всего того, что неизбежно вытекает из враждебности власти и народа. Закон этой вражды стирает грань между Самозванцем и Борисом. Как ни отлична новая власть от старой, она трагически бессильна стать по отношению к народу в иное, чем старая власть, положение.

Таково облаченное в формы исторической символики печальное предсказание Пушкина декабристам, на случай даже наиболее благоприятного исхода дворянской революции.

Очень важен мотив, в силу которого Пушкин заставляет народ отшатнуться от Самозванца. Это все тот же мотив произвола, насилия, несправедливости, выразившихся в пролитии «невинной крови» («Отец был злодей, а детки невинны»), по которому народ отшатнулся и от Бориса. Насилие революционное, по Пушкину, так же связано с нарушением справедливости, преступлением против нравственного закона, как и насилие самодержавное. В такой постановке вопроса сказался все тот же отход Пушкина от декабризма, от революции. Отход этот выразился и в психологической трактовке образа Самозванца.

Образ его противопоставлен образу Бориса не только как иная форма власти, но и как иной способ мировосприятия. В то время как Борис, воплощающий трагедию рационализма и индивидуализма, подводит итоги целой серии образов отщепенцев, социально изолированных героев, Самозванец открывает новый ряд образов. По своему психологическому содержанию он связан с серией характерных для последекабрьского творчества Пушкина образов моцартианского толка, легко и радостно воспринимающих жизнь (Моцарт из «Моцарта и Сальери», граф Б. из «Выстрела», Минский из «Станционного смотрителя», Гринев из «Капитанской дочки»). Их выдвижение в противовес образам мрачных индивидуалистов, порой бунтарей, рационалистов, пытающихся изменить жизнь, навязать ей свои законы,—результат пушкинской ставки на примирение с социальной действительностью (полностью так и не состоявшееся), на обретение внутренней, духовной свободы и гармонии вне борьбы с социальным гнетом, с социальной дисгармонией. Но образ Самозванца, при сильном сходстве с этой группой образов, еще сильно от них отличен. Он создан в атмосфере социального бунта и несет в себе его отражение. На нем, как и на образе Бориса, лежит печать противоречивого пушкинского отношения к борьбе с самодержавием.

Трудному, всегда находящемуся в разладе с людьми и жизнью мировосприятию Бориса противопоставлено радостное и беззаботное мировосприятие Самозванца, счастливого своей слиянностью с жизнью и людьми.

Это своего рода Моцарт в жизни и политике. Все дается ему с исключительной, небывалой, гениальной легкостью. Этот 20-летний беглый монах за один год превращается в воина:

«владеть конем и саблей научился»

приобретает необходимые в его новом положении манеры:

«Он некрасив, но вид его приятен,
И царская порода в нем видна»

овладевает светской образованностью:

«Мне знаком латинской музы голос,
И я люблю парнасские цветы».

Без труда постигает он сложную дипломатическую мудрость, проявляет умелость государственного человека:

«Он умен, приветлив, ловок,
По нраву всем. Московских беглецов

Обворожил. Латинские попы
С ним заодно. Король его ласкает
И, говорят, помогу обещал».

То, чего Годунов не мог добиться никакими усилиями—поддержка бояр, любовь народа, дается ему даром, легко, почти без всяких с его стороны усилий, как Моцарту его гениальное творчество. Даже завоеванья его превращаются в «мирные завоеванья» (факт, противоречащий истории и введенный Пушкиным для полноты моцартианского облика своего героя. С этой же целью из рукописей вычеркивается все, что могло бы эту полноту нарушить. Например выпущены придающие некоторую жестокость характеру Самозванца места из разговора с Хрущовым:

«Борису я желаю смерти скорой,
Не то беда злодею...
...Но кровь за кровь»...)

В противовес мрачному, разочарованному индивидуалисту и рационалисту Годунову, отчужденному от людей, знающему, что «мне счастья нет», Самозванец радостно убежден, что

«все за меня—и люди, и судьба!»

Это убеждение дает ему дерзкую отвагу фаталиста:

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
К НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ
„КАМЕННОГО ГОСТЯ“

Раскрашенная автолитография
И. Эберца, 1923 г.

«Перед собой вблизи видал я смерть;
Пред смертию душа не содрогалась!
Мне вечная неволя угрожала,
За мной гнались—я духом не смутился
И дерзостью неволи избежал».

В связи с фатализмом Самозванца находится и его моцартианская беззаботность:

«Разбитый в прах, спасаяся побегом,
Беспечен он, как глупое дитя.
Хранит его, конечно, провиденье»—

заключает боярин Пушкин в сцене в лесу после битвы.

В связи с радостным, отважным восприятием жизни находится и душевное благородство, способность к искреннему чувству, нежелание пятнать его ложью и обманом:

«Гордыней обуянный,
Обманывал я бога и царей,
Я миру лгал, но не тебе, Марина,
Меня казнить; я прав перед тобой.
Нет, я не мог обманывать тебя.
Ты мне была единственной святыней,
Пред ней же я притворствовать не смел!»

Эту отважную, увлекающуюся, фаталистическую фигуру, наделенную сильной долей моцартианской беззаботности, Пушкин вводит в сложное и ответственное дело социальной борьбы. Будущий Моцарт выступает в роли бунтаря. Мотивы, по которым Самозванец идет в борьбу, гармонически связаны с его духовным обликом. С одной стороны, им движет мотив справедливости, негодования на ее нарушителя, стремление осуществить над ним «суд мирской». Власть нужна ему для защиты тех, кто «неправедно притеснены, гонимы».

Но, с другой стороны, не менее сильными движущими побуждениями являются дерзкая отвага, жажда сильных ощущений, радости жизни, томление бесцветностью и скукой своего существования:

«Я от отроческих лет
По келиям скитаюсь, бедный инок.
Зачем и мне не тешиться в боях
Не пировать за царскою трапезой?
. . . .
Монашеской неволею скучая,
Под клобуком свой замысел отважный
Обдумал я...»

Уже по одному этому у него нет и не может быть такого серьезного отношения к власти и к борьбе за нее, как у Годунова. Он относится к ней так же легко и беспечно, как Моцарт к своему дарованию, и, не ставя ее выше «всех радостей, всех обольщений жизни», беззаботно готов швырнуть ее под ноги любому новому обольщению:

«Теперь гляжу я равнодушно
На трон его, на царственную власть.
Твоя любовь.... что без нее мне жизнь,

И славы блеск, и русская держава?
В глухой степи, в землянке бедной—ты,
Ты заменишь мне царскую корону».

В сопоставлении этого легкого отношения к власти с трудным и серьезным делом ее завоевания намечается уже та оценка, которую Пушкин впоследствии дает дворянским бунтарям:

«...Не входила глубоко
В сердца мятежная наука.
. . . .
Все это было—только скука
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов».

Но отношение Пушкина к образу Самозванца не исчерпывается только этой оценкой. Оно значительно сложней, противоречивей и включает в себя элементы сочувствия тому движению против деспотизма, символом которого является Самозванец.

Ум Самозванца, его талантливость, просвещенность, добродушие, способность проникнуться чувством справедливости, любовь к родине и гуманность («Кровь русская, о Курбский, потечет... Я вас веду на братьев... Довольно. Мы победили. Бейте отбой. Щадите русскую кровь»)—все это говорит о том, что Пушкин видит в нем не только легкомысленного и отважного искателя приключений. Слова Самозванца о том, что

«В нем доблести таятся, может быть,
Достойные Московского престола»,

выражают и авторскую оценку. Но чем сильней эти «доблести», делающие достойным власти, тем трагичней их бессилие преодолеть законы, которым, по Пушкину, подчинена всякая борьба за власть и отношения всякой власти с народом.

В деле борьбы за власть над народом мировосприятие Самозванца, чувствующего свое единство с людьми и судьбой, терпит такой же крах, как и индивидуалистический рационализм Бориса. Разные отношения к жизни, независимо от воли героев, силою социальных судеб приводят к одним и тем же результатам.

Самозванец, в противовес Борису, меньше всего похож на деспота. Он гуманен, добродушен и приветлив. Но став властью, он, в полном несоответствии со своими намерениями и свойствами, превращается, подобно Борису, в грозную, чуждую власть, милости которой навязываются народу, как навязывались милости Бориса, именем которой запугивают народ:

«Вы ль станете упрямиться безумно
И милости кичливо убегать?..
. . . .
Он идет на царственный престол
Своих отцов в сопровожденьи грозном
Не гневайте ж царя и бойтесь бога...
Смиритеся . . . . . . »
(Слова боярина Пушкина на Лобном месте.)

Вся вера Самозванца в то, что он избран судьбой в каратели преступления и защитники справедливости:

«Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла!»

—не может спасти его от того, что кара за преступление превращается, по Пушкину, в новое преступление, совершенно тождественное преступлению Бориса, в насилие, которое неизбежно повлечет за собой народную вражду и все те ее последствия, которые повлекло в свое время насилие Бориса. Подчеркивание того, что всякая борьба за власть связана с преступлением, чрезвычайно характерно для пушкинской установки на отход от борьбы.

Несоответствие внутренних свойств и намерений моцартиански-гармоничного, беспечного, гуманного и мало ценящего власть Самозванца той грозной атмосфере насилия и вражды, в которую его неизбежно втягивает борьба за власть, подчеркивает трагизм положения этой фигуры и свидетельствует все о той же пушкинской тенденции отхода от борьбы за власть, которая во всех мыслимых для Пушкина вариантах оказывается несостоятельной, обреченной на нарушение справедливости и на народную вражду. Показав неспособность господствующего класса создать власть, более приемлемую для народа, чем абсолютизм, и тем самым признав бесплодность революционной борьбы с самодержавием, Пушкин ищет социального выхода вне борьбы, в двух направлениях, взаимная противоречивость которых отражает объективные противоречия в положении прогрессивного дворянства.

Одно из этих направлений дано в образе Пимена. Его спокойная фигура контрастно оттеняет бушующую вокруг него стихию борьбы, мятежей и кровопролитий, захватившую ищущих власти и Бориса, и Димитрия, и Шуйского, и Басманова, и Марину. В идеализации Пимена, бывшего боярина, для которого эта борьба—пройденная и отвергнутая ступень, который «уразумел ничтожность мирских сует» и равно эту ничтожность увидал и в царском самовластии, и в борьбе за свободу, и в «казнях свирепых Иоанна», и в «бурном Новгородском вече», который, отойдя от участия в жизни, «спокойно зрит на правых и виновных, добру и злу внимая равнодушно, не ведая ни жалости, ни гнева»,—в этой идеализации сказывается стремление отойти от активного участия в трудной действительности, быть не творцом ее, а объективным созерцателем.

Объективный общественный смысл этой установки, заметно сказавшейся на художественной манере трагедии, заключался в пассивном и пессимистическом подчинении существующему социальному порядку как неизбежному, хоть и тяжелому злу. К этому подчинению толкало сознание своей неспособности справиться с ходом истории и страх перед народным движением. Но конфликт прогрессивного дворянства с абсолютизмом был слишком силен для того, чтобы оно могло вполне смириться и довольствоваться пассивным подчинением существующему. Невозможность полного подчинения отразилась в образе Пимена, сказалась в неполноте его примиренности и всеприятия, в его явной оппозиционности к беззаконию Бориса.

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ „КАМЕННОГО ГОСТЯ"

Литография М. Блоха, 1922 г.

Выход, который и освободил бы от опасной революционной борьбы, и осуществил бы чаяния прогрессивного дворянства, намечается в обращении к тому самому народу, конфликт с которым и порождал осознанную Пушкиным трагедию господствующего класса.

В пушкинском изображении народа отразился и нелишенный оттенка презрения к народу страх дворянина перед этой чуждой стихией, за которой им признается большая, решающая историческая сила, и стремление найти с этой силой общий язык, отыскать компромиссную, приемлемую и для дворянства, и для народа линию общественного поведения.

Смело можно утверждать, что все те отрицательные отзывы, которые дают о народе герои трагедии, в большей или меньшей степени разделяются и самим Пушкиным. В ряде сцен он изображает народ, в полном согласии с оценками Шуйского и Бориса, как «бессмысленную чернь», «изменчивую» и «мятежную».

Такова например сцена на Красной площади, где народ уподоблен бессмысленному стаду, ищущему пастуха:

«О, боже мой, кто будет нами править,
О, горе нам!»

Такова сцена у Лобного места, где разыгрывается стихийный и жестокий бунт, где народ «несется толпою» с криками

«Вязать, топить!..»

Стоит отметить, что оценка народа как бессмысленной, слепой и жестокой стихии, отражающая дворянский страх перед народной револю-

цией, имеет место не только в «Борисе Годунове». В стихотворении того же 1825 г.—«Андрей Шенье» речь идет о «порывах буйной слепоты», о «презренном бешенстве народа». Но в то же время за слепой народной стихией признается большая, решающая историческая сила не только материального, но и морального порядка.

«Народное святое мненье» (Из стихотворных набросков 1825 г.)

решает судьбы царей. Силу народного мнения хорошо понимают бояре. Деспот Борис, самовластно навязывающий свои решения боярству, робеет и ждет советов, когда речь заходит о настроениях народа (сцена в думе). Тот же Борис, преследующий непокорных пытками и казнями, смиренно выслушивает от юродивого нравственный народный приговор. Моральная сила народа заключается, по Пушкину, в вечно живом гуманном инстинкте справедливости и законности, который может быть временно заглушен, но не может быть уничтожен. Именно этот гуманный инстинкт не дает народу убить детей Бориса и быстро превращает народную ярость в жалость и сочувствие:

«Брат и сестра. Бедные дети, что пташки в клетке...
Отец был злодей, а детки невинны...»

Именно этот инстинкт толкает народ на расправу с убийцами маленького Димитрия (рассказ Пимена). Именно он отталкивает народ от Бориса и ведет его за Самозванцем.

Вопрос об отношении народа к законности разрабатывается в эту пору Пушкиным не только в «Борисе Годунове». Он поднят и в «Андрее Шенье», ему специально посвящена «простонародная сказка» «Жених» (1825), героиня которой Наташа «прославилась» тем, что предала суду «злодея», нарушителя нравственных и социальных норм. Чрезвычайно показательно для Пушкина, что народное чувство справедливости оказывается у него равно направленным против всякого насилия, откуда бы оно ни исходило. Революционное насилие так же осуждается, как и самодержавный произвол. Поэтому мятеж Самозванца так же связан у Пушкина с оскорбляющим народное нравственное чувство преступлением, как и водворение самодержца Бориса. Такое утверждение за народом чувства гуманности, законности и справедливости, равно направленного и против самодержавного деспотизма, и против революционного насилия, продиктовано пушкинской установкой на компромиссные, либерально-реформистские методы действия, на мирное введение правовых норм, которые ограничили бы самодержавный произвол и предохранили бы дворянство от опасностей народной революции. Насколько этот выход самому Пушкину представлялся хоть и глубоко желанным, но мало в данной исторической обстановке осуществимым, свидетельствует самый жанр трагедии, безнадежно возводящей произвол и вражду в принцип отношений между властью и народом. Но во всяком случае ориентация на народ и его гуманность, сильно сказавшаяся на художественной манере «Бориса Годунова», обнаруживает ясное понимание Пушкиным народа как важнейшей социальной силы, которую обойти и пренебречь которой никак нельзя, вражду которой необходимо притупить, так как именно эта вражда определяет весь трагизм положения дворянства.

Осознание сложности и запутанности общественных отношений, понимание народа как главной исторической силы, стихийной и враждебной господствующему классу, учитывание трудного положения своего класса не могло воплотиться в старые рационалистические формы классической драмы, выражавшей несостоятельные с пушкинской точки зрения абсолютистские тенденции. Переписка Пушкина, его заметки, относящиеся к периоду создания «Бориса Годунова» и ко времени, непосредственно за ним следующему, обнаруживают сознательность и целеустремленность его упорного искания новой драматической формы. Он отвергает принципы классической драмы и превозносит Шекспира.

«Дух века требует великих перемен и на сцене драматической»... «Я твердо уверен, что нашему театру пристали народные законы драмы Шекспировой, а не придворный обычай трагедии Расина», писал Пушкин, по окончании своей трагедии в «Заметках на «Бориса Годунова». Не подымая пока вопроса о том, была ли драма Пушкина народной, необходимо подчеркнуть это искание народности, определившее пушкинский шекспиризм, его разрушение канонов классической дворянской драмы.

Надо отметить, что в поисках новой драматической формы Пушкин был не одинок. Об этом свидетельствуют опыты Грибоедова (план и наброски трагедии «1812 год»—1822 (?) г.), Кюхельбекера («Аргивяне»—1822—1824 гг.), Шаховского («Сокол князя Ярослава»—1823 г.). Подробный анализ художественной манеры этих драматических произведений, отражающих тенденции различных социальных группировок в пределах дворянского класса, должен найти место в специальном исследовании. Здесь надо только отметить, что указанные произведения, как и ряд других, отходят от классических канонов, допускают бо́льшее социальное разнообразие действующих лиц, нарушают единство места, времени и правила классической речевой системы. Но «Борис Годунов» от всех этих опытов отличается не только бо́льшей художественной ценностью, но и бо́льшей направленностью в сторону реалистической манеры творчества.

Предшествовавшая Пушкину русская классическая дворянско-абсолютистская драма выражала уверенность дворянства в своем праве на власть, в своей способности управлять народом, быть вершителем истории. Отсюда изображение главных героев как центра, который управляет всем действием, диктует событиям свою волю. Так например, в «Дмитрии Донском» Озерова, даже несколько отступающего уже от классических канонов в сторону сантиментализма, весь исход трагедии, т. е. судьба всей страны, зависит от того, какое из двух борющихся начал—любовь к Ксении или долг перед отечеством—возьмет верх в сознании Дмитрия Донского. Из уверенности класса в его общественном превосходстве, в его ведущей роли вытекало игнорирование в драме других общественных сил, однообразно-торжественный тон драмы, величественность ее героев, изображение в ней только парадных, казовых сторон жизни, возведенное в принцип очищение драмы от всего, что могло бы нарушить ее торжественное величие,—от всего смешного, грубого, повседневного, бытового, простонародного. Для Пушкина, понявшего шаткость и трудность положения дворянства, ясно, что правит обществом не воля героев. Жизнь утратила для него ту рационалистическую четкость и ясность, которая ей придавалась в классической драме, изображавшей события как следствия намерений героя. Она осо-

знана им как сложный и пестрый поток, в котором несутся самые разнообразные и противоречивые явления. Движущей силой для него являются независящие от индивидуальной воли исторические судьбы и законы, равно проявляющиеся и в мелких, и в важных событиях, равно господствующие и над царями, и над подданными.

Поэтому право на место в драме Пушкина приобретают разнообразные общественные слои. Поэтому право на место получает многообразие жизни, самые различные ее проявления, смело поставленные Пушкиным рядом.

Трагические страдания Бориса и наивное плутовство жуликоватых бродяг Мисаила и Варлаама, царский дворец и корчма, монастырская келья и поле битвы, трагическое и смешное, исключительное и повседневное—все это со смелостью шекспировского реализма, разрушая условную парадность классической драмы, помещено рядом, воплощая противоречивое и сложное движение жизни.

Снижая торжественный тон, царивший в классической драме, Пушкин иногда дерзко лишает величественного ореола то, что в ходячем представлении его времени обязательно этим ореолом было окружено,—так например, патриарх Иов изображен наивным, почти глуповатым стариком. Надо отметить, что вообще вывод на сцену монахов, патриарха был в русской литературе актом большой смелости.

Парадный тон классической драмы нарушен и обнажением грубых, резких, жестоких сторон жизни, всего того, что в классической драме уводилось за кулисы. Здесь, как у Шекспира, на сцене дерутся войска, разыгрывается народный мятеж, раздаются крики убиваемой семьи Бориса. Отход от классических норм имеет у Пушкина определенную направленность. Реалистическое опрощение, некоторое нарочитое огрубение тона драмы—результат стараний создать драму народную, стараний, в которых отразилась пушкинская ориентация на либерально-компромиссные отношения с народом, на нахождение с ним общего языка.

Классическая трагедия, рационалистически воплощавшая в своих образах убежденность в исторической силе дворянства, в непреложности его социальных правил, превращала героя в рупор, через который художник открыто диктовал или отрицал ту или иную полезную или вредную его классу норму общественного поведения. Образы—носители этой нормы—получали однобокую зарисовку. Драма приобретала субъективистско-рассудочный, дидактический характер. Глубочайшее сомнение в исторической состоятельности своего класса диктует Пушкину пессимистическое стремление уйти, подобно Пимену, от участия в действительности и созерцать ее со стороны. Отсюда установка на объективизм в манере творчества. Взгляды автора не столько открыто провозглашаются героями, сколько выявляются в общем развертывании, событий.

Из той же пессимистической установки на объективное созерцание вытекает в большой мере и историзм Пушкина. Современные вопросы он подымает и разрешает в форме событий прошлого, чтоб с бесстрастием летописца констатировать подчиненность жизни непреодолимым, независящим от человеческой воли историческим законам, а также для того, чтоб подчеркнуть эфемерность человеческих стремлений, обреченность всего, что несется «событий полно, волнуяся, как море-океан»,

погибнуть, превратиться в прошлое, которое «спокойно и безмолвно». Установка на объективизм определила и ряд моментов в конструкции трагедии, о которых речь пойдет ниже. Но созерцательский подход, как заметно он ни выражен, все же не господствует в «Борисе Годунове». С ним сочетается подход гуманистический, отражающий установку на спасение дворянского класса путем замены методов борьбы методами либерального сглаживания общественного конфликта, методами, которые должны были отвратить народную вражду и установить мирные, обеспеченные законами отношения дворянства с народом. В силу гуманистических тенденций Пушкин не может остаться в пределах пименовски-объективной фиксации внешних событий. Он раскрывает внутренний мир героев, и раскрывает его не однобоко, как в классической драме с ее героем—социальной догмой, а по-шекспировски, со многих сторон, создавая живые характеры, а не ходячие проповеди. Раскрытие живого внутреннего мира героев должно показать, как это имеет место и у Шекспира, всю трудность человеческого существования, беззащитность его перед страстями и судьбами и тем самым призвать к жалости и гуманности.

Так например, показ Бориса не только извне, как царя, угнетающего своих подданных, но и как незаурядного государственного деятеля, стремящегося к благу страны, чьи стремления разлетаются вдребезги под ударом неодолимых исторических судеб, как человека большого ума, но все же бессильного справиться с судьбой, как глубоко любящего отца, который сам же, охваченный жаждой власти, обрек своих детей на горе и гибель, от которых он бессилен их защитить,—весь этот показ царя как страдающего человека должен обнаружить, что тот,

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
К ЧЕШСКОМУ ИЗДАНИЮ
„ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА"
Рисунок О. Штафля

перед кем «все трепещет», глубоко несчастен сам и заслуживает больше жалости, чем гнева. Гуманизм у Пушкина выполняет функцию ослабления гнева и ненависти и является психологическим эквивалентом пушкинского либерализма. Недаром именно гуманизм, апеллирующий к жалости и состраданию, становится преобладающим началом в трагедии, преследующей цель быть трагедией народной. Ставкой на либеральный гуманизм, который должен примирить дворянство с народом, объясняется и то большое внимание, которое уделяется Пушкиным нравственному моменту.

Несколько наивная и вообще мало свойственная пушкинскому творчеству религиозная трактовка нравственных вопросов, порой встречающаяся в «Борисе Годунове», объясняется, помимо исторической тематики, все той же ориентацией на народ, стремлением создать народную драму.

Трагедия Бориса в большой мере развертывается как трагедия нравственных мучений. План непосредственно социальный сплошь и рядом переводится в план нравственный. Таково выпячивание моральных мотивов и в ненависти народа к Борису (неприятие им милостей и щедрот царя—нарушителя нравственного закона), и в отходе народа от Самозванца.

Нравственно-гуманистическая установка проводит моральный мотив через все произведение и утверждает его устами самых различных персонажей.

Преступление Бориса расценивается как «ужасное злодейство», «кровавый грех», «злое дело»; Борис—«царь-Ирод»; предполагается, что «губителя раскаянье тревожит», что «кровь невинного младенца ему ступить мешает на престол»; у Бориса «мальчики кровавые в глазах»; он виновен в «жребии невинного младенца»; после убиения боярами семьи Бориса «народ в ужасе молчит», так как «детки невинны».

Выпячивание нравственного плана проявляется и в структуре трагедии, дающей одновременное нарастание социальной расправы и внутреннего суда совести, «суда мирского» и «суда божьего», в которых проявляется, по Пушкину, неминуемая судьба преступника, при чем подчеркнута особенная важность «божьего суда»:

«Он [самозванец] шел казнить злодея своего,
Но божий суд уж поразил Бориса».

Надо отметить, что в утверждении нравственного начала проявляется и связанный с пушкинским либерализмом конституционализм, диктовавший возведение конкретной, нужной прогрессивному дворянству законности в степень вечной и непреложной, с точки зрения Пушкина, нравственной нормы.

Осознание снижения исторической роли своего класса, учитывание роли народа сказалось на важнейших композиционных принципах трагедии, противопоставленных принципам трагедии классической. В последней, в связи с ее рационалистической установкой, действие изображалось, как указано уже, как результат свободной воли главных героев и исход событий определялся либо моральными качествами борющихся между собой героев, либо исходом внутренней борьбы. Трактовка главного героя как движущего начала определяла тесную спаянность и строгую последовательность звеньев драмы, так называемое единство действия, достигавшееся введением какой-либо интриги. Отсюда же и локальная и временная централизация действия около его источника—главного героя—единства места и времени. Отсюда же и ограниченное число

действующих лиц. Массы если и появлялись, то в качестве фона, декорации. Этими условными правилами трагедии, уничтожавшими смену действующих лиц, места, времени, создавался ее величественно-неподвижный стиль. Дворец, диктовавший свою волю площади, изображал себя в драме главной исторической силой и окружал себя ореолом незыблемого величия. В драму Пушкина врывается площадь как враждебная, стихийная, не поддающаяся дворцовой логике решающая сила истории. Народная масса выступает как действующее лицо, с появлением которого связаны самые решительные моменты драмы. Число действующих лиц велико и многообразно, воплощая, в противовес классической драме, многообразие сил, создающих, по Пушкину, движение событий. Утверждение многообразия сил влечет за собой уничтожение единств места и времени. События уже не представляются исходящими от одного источника—главного героя. Они рождаются из сплетения целого ряда обстоятельств и явлений, возникающих в разных местах, в разное время, и осуществляют в своем сложном движении закон исторических судеб. Отсюда свободное, как у Шекспира, движение драмы в пространстве и времени, разделенность ее на отдельные быстро сменяющие одна другую сцены, даже не объединенные в действия (в черновых набросках деление на действия еще намечалось, но в дальнейшем оно исчезло).

На структуре драмы заметно сказалось и стремление Пушкина к объективистской созерцательности. Из нее вытекает построение драмы по типу летописи, исторической хроники (на некоторых сценах даже проставлены исторические даты). Пушкин, подобно летописцу, стремится фиксировать отдельные события, «не мудрствуя лукаво», т. е. старательно избегая подчеркнутого, выпячивающего объяснения внутренней связи между ними. Отсюда отсутствие сколько-нибудь крепкого и явного сюжетного костяка, сведение на-нет интриги. Любовная тема Самозванец—Марина ничего общего не имеет с любовной интригой классической драмы, не играет сколько-нибудь заметной роли в развитии действия и служит главным образом для психологической обрисовки Самозванца.

Эти структурные особенности и дали повод ряду критиков, современных Пушкину, как например Надеждину («Телескоп» 1831 г., ч. I, № 4), рассматривать «Бориса Годунова» не как историческую трагедию, а как «ряд исторических сцен», как «эпизод истории в лицах», посвященный «не Борису, а его царствованию».

Новый принцип строения драмы, свободной от классических условностей, был, в первую очередь, продиктован пушкинским стремлением создать народную драму, найти общий язык с народом. Но насколько не сильна уверенность Пушкина в возможности найти этот общий язык и мирно уладить социальный конфликт, видно из очень интересного момента в композиции «Бориса Годунова». Трагедия представляет собой замкнутый круг. Последняя ее точка совпадает с первой. Финальная ситуация—навязанное народу утверждение власти Самозванца—воспроизводит ситуацию начальную—утверждение власти Бориса—и неотвратимо обещает повторить то, что прошло уже по кругу трагедии. Трагедия не открывала перспектив, не подымала на новую ступень, как это делала трагедия Шекспира, в которой гибель одних героев не исключала указаний на возможность успеха для других. У Шекспира на покрытую трупами сцену под победный звук труб въезжает войско

не знающего гамлетовских колебаний, идущего в жизни напролом Фортинбраса, на смену обреченным на гибель Макбету и Ричарду III идут их торжествующие победители, носители нового социального начала. Замкнутый круг «Бориса Годунова» трагически символизировал безвыходность и безнадежность того положения, из которого Пушкин все же, сам мало веря в осуществимость своих стремлений, упорно, тем самым восстановляя им же осужденный рационализм, пытался найти выход в либерально-компромиссных отношениях с народом.

Борьба с классицизмом и народная ориентация очень заметно сказались и на языке трагедии. Классическая трагедия, в соответствии с рационалистически утверждаемым ею единым источником действия, знала только единую языковую манеру. Драматическая речь строилась на длинных тирадах, в которых герои не столько двигали действие, сколько декламировали для публики о своих взглядах и чувствах или повествовали о событиях, которые со сцены, скованной единством места и времени, уводились за кулисы. Такой строй речи отвечал торжественной малоподвижности классической трагедии. Ей же отвечал и неизменный, обязательный, нарочито далекий от разговорного языка александрийский стих, чрезвычайно приспособленный к сентенциозному, дидактическому характеру декламации героев. Во имя парадности драмы язык ее тщательно охранялся от всего бытового, простонародного, что могло бы снизить его условно-изысканный тон.

Пушкин резко порывает с классической языковой традицией. Условная рационалистическая декламация уступает место более реалистическому разговору, диалогу, в котором совершенно обычны короткие и быстрые реплики. Даже длинные речи героев не носят характера декламации—это или раздумие вслух (монолог Бориса, Пимена) или рассказ, который преследует не только повествовательные цели, заменяя непоказанное на сцене действие, но и обрисовывает характер героя (рассказ Пимена Григорию). Пышный, рифмованный александрийский стих заменен белым пятистопным ямбом. Рифма очень редка и попадается обычно в концовках или речах, имеющих особое значение для характеристики героя («Тень Грозного...»). Ритмические единицы часто не совпадают со смысловыми (enjambent), что почти не допускалось в классической трагедии. Например:

«Прошедшей лжи опалою напрасной
Не накажу. Но если ты теперь
Со мной хитришь, то головою сына
Клянусь—тебя постигнет злая казнь».

Все эти особенности придают стиху разговорный характер, совершенно непохожий на сентенциозный характер стиха в классической драме. Типичный пример:

«Георгий. — Самодержавие России лучша доля.
Мне думается, где самодержавства нет,
Что любочестие, теснимо, там падет.
Вельможи гордостью на подчиненных дуют,
А подчиненные на гордых негодуют.
Нещастна та страна, где множество вельмож.
Молчит там истина, владычествует ложь».

(Сумароков. «Димитрий Самозванец», 1771.)

Самым серьезным отступлением от классических канонов в сторону реализма является нарушение речевого единства. Стихотворная речь сочетается с прозаической. Одна легко переходит в другую. Нет строгого прикрепления того или иного речевого строя к той или иной группе образов. И царь, и народ, и патриарх, и бояре—все говорят то стихами, то прозой, хотя чаще всего прозаическая речь употребляется в народных сценах. Многообразие лиц и явлений, определяющих движение событий, снятие единого диктующего центра сказалось и в многообразии словесной ткани «Бориса Годунова». Здесь, как у Шекспира, воплощая весь сложный поток жизни, звучат самые разнообразные голоса. В драму введены различные словесные манеры, начиная с торжественной, со множеством славянизмов, и кончая простонародной. Словесная ткань реалистически приспособлена к героям, отвечает их социальному положению, характеру, а также той обстановке, в которой речь произносится. Поскольку в центре внимания Пушкина стоят общественные верхи, постольку преобладает в трагедии не простонародный строй речи. Наиболее высокий строй имеют речи царя, патриарха, Пимена, Самозванца—«К его одру, царю едину зримый, явился муж необычайно светел» и т. д. «Твой верный богомолец, в делах мирских не мудрый судия, дерзает днесь подать тебе свой голос». «Я царь еще: внемлите вы, бояре. Се тот, кому приказываю царство». «Несчастный вождь! Как ярко просиял восход его шумящей бурной жизни».

Но и у этих лиц речь снижается в ряде случаев, в зависимости от обстановки. Еще современные Пушкину придирчивые критики (Олин, Плаксин) с неудовольствием отмечали, что у Пушкина патриарх употребляет словечки вроде «пострел окаянный», что царь говорит: «Ух, тяжело, дай дух переведу», что бояре сравнивают Бориса с «пьяницей пред чаркою вина».

В ставке на опрощение языка Пушкин доходит вплоть до употребления таких слов, которые в печати принято заменять точками—от реплик Варлаама до изысканно-площадной брани капитана Маржерета. Недаром Пушкин писал в марте 1826 г. Плетневу: «Какого Вам Бориса, и на какие лекции? В моем Борисе бранятся по-матерну на всех языках. Это трагедия не для прекрасного полу».

Характерно, что грубым языком говорят у Пушкина не только персонажи из народа, но, хотя и далеко не так часто, как у Шекспира, и лица привилегированного слоя в подходящей обстановке, например Маржерет на поле битвы. В этом проявляются реалистические тенденции Пушкина—«мы чувствуем,—писал он впоследствии («О драме»),—что и знатные должны выражать простые понятия как простые люди».

«Я желал бы оставить русскому языку,—формулировал Пушкин свои реалистические воззрения еще в конце 1823 г. (письмо к Вяземскому),—некоторую библейскую похабность. Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали».

Надо сказать, что грубые языковые элементы, введенные Пушкиным в его трагедию, не только не делают ее вульгарной, но, как в творчестве Шекспира, усиливают общее впечатление благородной простоты и естественности.

Пушкинская ломка классических норм, революция, произведенная им в области драматического творчества, свидетельствуют об упорном стремлении создать народную драму, отражают его учитывание социальной силы народа и стремление притупить враждебность этой силы. Но уда-

лось ли Пушкину в «Борисе Годунове» создание народной драмы? «Народные законы драмы Шекспировой» так же мало, как и самому Шекспиру, помогли Пушкину сделать его трагедию действительно народной. Пушкинского осознания действительности было достаточно для того, чтоб раньше очень многих других дворянских идеологов понять трагедию его класса, вытекающую из отношений с народом; но его было, и не могло не быть, совершенно недостаточно, чтоб понять трагедию народа, вытекающую из его отношений с дворянством. Поэтому Пушкин не выходит за пределы дворянского реализма, верно учитывая ситуацию только по отношению к своему классу. В центре его внимания стоит трагедия власти, а не тех, кто под этой властью задыхался и делал неизбежно трагически-неудачные попытки освободиться от гнета. Народ для Пушкина—только стихийная большая сила, определяющая трагедию дворянства. Поэтому так глубоко разработаны образы Бориса и Самозванца, ярко зарисованы образы бояр, Пимена, Марины, а народ предстоит как один почти сплошной образ массы, стихии, с настолько незначительной степенью индивидуализации лиц, что выловить из этой массы отдельные, имеющие свою отличную от других физиономию персонажи почти невозможно. Ни внешняя, ни особенно внутренняя жизнь народа не раскрыта в ее типических чертах. Реалист в оценке своего класса, Пушкин в большой мере теряет свой реализм в изображении народа. Верно уловив отвращение народа к произволу, его способность к мятежу, всегда готовому прорваться сквозь привычную, вынужденную покорность, Пушкин навязывает народу именно тот тип гуманизма и отвращения к насилию, который отвечает интересам либерального дворянства, но совсем не интересам и свойствам народа.

Выпячивая нравственный план отношений народа к власти, Пушкин сплошь и рядом затушевывает план социальный. Так моральные мотивы в отношении народа к Борису и Самозванцу явно превалируют над мотивами непосредственно социальными. На истинных причинах народного негодования Пушкин останавливается мало. Единственная сцена, непосредственно раскрывающая картину народной угнетенности,—сцена в корчме, дана в юмористических тонах, сглаживающих социальную остроту. В общем свете юмора тонет и теряется социальное неравенство положений равно комически выглядящих персонажей—обирал и притеснителей—царских приставов, бродяг-монахов, простодушной хозяйки. Дать реальную картину положения народа и народных чаяний было не в социальных интересах и возможностях Пушкина, а именно эта картина была первым и необходимым условием для создания народной драмы, для нахождения общего языка с народом. Что этого языка он не нашел и драмы народной не создал, Пушкин понимал лучше, чем кто-либо другой.

Горьким пониманием невозможности этого создания, трагическим сознанием чуждости народу звучат слова Пушкина, написанные уже после создания «Бориса Годунова» («О драме», 1830 г.): «Трагедия наша, образованная по примеру трагедии Расина, может ли отвыкнуть от аристократических своих привычек? Как ей перейти к грубой откровенности народных страстей, к вольности суждений площади?.. Где, у кого выучиться наречию, понятному народу? Какие суть страсти сего народа? Какие струны его сердца? Где найдет она себе созвучие? Словом, где зрители, где публика?»

ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ НАУЧНОЙ БИОГРАФИИ ПУШКИНА

Статья Д. Благого

I

Один из наиболее типичных «пушкинистов» недавнего прошлого, выдающийся архивист и фактограф Б. Л. Модзалевский, в статье, написанной незадолго до смерти, горько жаловался, что «тогда как работы о Пушкине исчисляются не сотнями, а тысячами,—мы до сих пор не имеем ни одной монографически полной, научно написанной биографии поэта» («Пушкин», 1929, стр. 277). Модзалевский снова повторил то, о чем твердили в течение десятков лет историки нашей литературы, в частности, все пушкиноведы. Действительно, в то время как монографии о великих писателях Запада исчисляются десятками, наша литературная наука за огромный, столетний период, отделяющий нас от смерти Пушкина, не смогла создать цельной, синтетической и вместе с тем научно значимой книги о жизни и творчестве величайшего представителя нашей литературы.

Одна из задач данной статьи показать, с одной стороны, что этот зияющий пробел не случаен, с другой, что в настоящее время сложились все необходимые условия и предпосылки для его заполнения.

Первым биографом Пушкина был сам Пушкин. Уже в самом начале своего жизненного и творческого пути он, почти сейчас же вслед за написанием «Кавказского пленника», приступил в 1821 г. к составлению своей «биографии», «избрав себя лицом, около которого» он хотел «собрать другие», по его скромным словам, «более достойные замечания». Эта биография-мемуары, над которой он трудился в течение нескольких лет, была, к величайшему сожалению, сожжена им в конце 1825 г., после разгрома декабристов, из опасения, что она может попасть в руки правительства и «умножить число жертв, замешав имена многих». Брался Пушкин за составление своей биографии и еще несколько раз, но дальше описания истории своего рода, в которой он с удивительным бесстрашием, вызвавшим возмущение и протесты близких, рассказывает о самых потаенных чертах и поступках своих предков-крепостников, дело не пошло.

Первая небольшая биография Пушкина появилась в «Современнике» 1838 г. (т. X) и принадлежит перу одного из близких друзей поэта, П. А. Плетнева. Качество «бесстрашия» меньше всего было присуще последнему. Писать ему пришлось по слишком горячим, порою прямо обжигающим следам. Прошел всего год с небольшим после гибели Пушкина, так всколыхнувшей общественное мнение и всполошившей правительственную власть. Смерть поэта и все особые обстоятельства ее были не только фактом его биографии, но и событием внутриполитической важности (именно, как о таковом, и доносили иностранные послы своим державам). Сколько-

нибудь полное описание жизни Пушкина, предпринимаемое в это время, неизбежно должно было носить злободневно-политический характер. Близкий к придворным кругам, приятель Жуковского, «прекраснодушный», что не мешало ему быть довольно оборотистым дельцом, Плетнев постарался всячески избежать этого, тщательно сглаживая все острые углы, уничтожая какие бы то ни было признаки «неблагонамеренности», с которыми постоянно приходилось сталкиваться на всем протяжении жизни поэта. А так как сделать это было нелегко, то он нашел довольно нехитрый выход. В своей биографии Пушкина он решил как можно меньше говорить о жизни последнего, уверяя, в полном несоответствии с действительностью, что она не отличалась «разнообразием происшествий внешних», сводилась «к деятельности почти неподвижной, к однообразной беседе с литераторами да с книгами». Попутно с этим он осторожно обходил все скользкие места. Достаточно сказать, что он ни одним словом не обмолвился, например, о ссылке. Невольные передвижения ссыльного Пушкина получают в изображении Плетнева характер беспечных фланирований непоседливого поэта, «спешившего оставить столицу, где он успел наскучить рассеянностью», и «кочевавшего» в течение ряда лет по России. Еще более решительно поступает он и с наиболее деликатным по тому времени местом биографии Пушкина—с историей его трагической гибели, попросту, как и Жуковский (в печатной редакции его известного письма о последних минутах Пушкина), ни словом не упоминая о дуэли с Дантесом.

Сколь ни наивно такое умолчание о вещах всем известных, оно продолжалось в русской печати в течение ряда лет: глухой намек на ссылку Пушкина впервые находим в анонимном биографическом очерке, напечатанном в «Портретной и биографической галлерее» 1841 г. («Заблуждения слишком кипучей молодости удалили Пушкина из Петербурга. Он переехал в Кишинев»), о дуэли же впервые упомянуто только десять лет спустя в «Словаре достопамятных людей» Бантыша-Каменского (ч. 2, СПБ., 1847 г.).

Около этого же времени, в первой половине 50-х годов, когда события жизни Пушкина в значительной степени утратили свою слишком жгучую злободневность и вместе с тем стали исчезать один за другим близкие и друзья поэта, начались настоящие разыскания в области его биографии. Главными работниками здесь, жестоко соперничавшими друг с другом в перехватывании нужных сведений, явились будущий издатель «Русского Архива» П. И. Бартенев и редактор первого критического издания сочинений Пушкина П. В. Анненков. Оба они рьяно принялись за собирание материалов, побуждая близких поэта писать о нем воспоминания, делая с их слов всякого рода записи, стараясь ловить и фиксировать последние уходящие тени пушкинского времени. По началу сумевший опередить Анненкова Бартенев опубликовал в 1853 г. статью «Род и детство Пушкина» и начал было с 1854 г. печатать в «Московских Ведомостях» систематическое его жизнеописание под названием «Александр Сергеевич Пушкин. Материалы для его биографии». Однако он успел опубликовать только три первые главы, посвященные описанию детства и лицейской жизни поэта, как в 1855 г. появилась под схожим названием «А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений» работа П. В. Анненкова, занявшая весь первый том издаваемого им собрания сочинений Пушкина и содержащая полное жизнеописание поэта. Это повидимому решило судьбу «Материалов» Бартенева: дальнейшая публикация их прекратилась. Тем не менее Бартенев продолжал неутомимо собирать и опубликовывать до

кументы и всякого рода новые биографические данные о Пушкине. Разыскания Бартенева во многом обогатили наши знания о поэте (кроме упомянутых «Материалов» им была опубликована в 1861 г. ценная биографическая работа «Пушкин в Южной России», в которой впервые более или менее обстоятельно изложена история ссылки Пушкина), но полного жизнеописания поэта, к чему он все время стремился, написать ему так и не удалось. Да этот типичный архивист и публикатор, предтеча столь распространенной впоследствии разновидности нашего пушкиноведения, создать цельный биографический труд о Пушкине явно бы и не смог.

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „СТАНЦИОННОМУ СМОТРИТЕЛЮ"
Рисунок сепией М. Добужинского
Издание „Международной книги", 1934 г.

Создать такой труд удалось Анненкову. Выход в свет его «Материалов», в основу которых было положено изучение первоисточников, архивных данных и, что особенно ценно, рукописей поэта,—составляет один из важнейших этапов в истории научной разработки биографии Пушкина.

В изложении событий жизни Пушкина Анненков мог себе позволить значительно больше свободы, чем Плетнев, однако и его работа протекала в исключительно тяжелых цензурных условиях. Анненков подробно рассказывает об этом в статье «Любопытная тяжба». Несмотря на то, что сам министр народного просвещения стал в этой тяжбе на сторону Анненкова, цензура—это было как раз в последние месяцы николаевского царствования, в период Крымской кампании,—оказалась настолько неумолимо-придирчива и подозрительна, что в ряде случаев текст издаваемых Анненковым сочинений Пушкина не смог появиться даже в том виде, в каком невозбранно печатался при жизни поэта. Столь же суровый цензурный гнет тяготел и над биографией. После просмотра ее обычной цензурой она

поступила на рассмотрение старого цензора Пушкина—самого Николая I. 7 октября 1834 г., спустя пять месяцев после ее поступления к царю, последовало «высочайшее разрешение»: «Согласен. Но в точности исполнить, не дозволяя отнюдь неуместных замечаний или прибавок». Через четыре месяца Николай I умер. Так до самого конца старался он сохранить власть над мыслью и жизнью Пушкина. Принимаясь за написание биографии Пушкина, Анненков с самого начала прекрасно сознавал все те трудности, которые ему предстояло преодолеть. «Он знал,—вспоминал сам он впоследствии,—при какой обстановке и в каких условиях он работает и мог принимать меры для ограждения себя от непосредственного влияния враждебных сил. Оно так и было. Не трудно указать теперь на многие места его биографического труда, где, видимо, отражается страх за будущность своих исследований и где бросаются в глаза усилия предупредить и отвратить толкования и заключения подозрительности и напуганного воображения от его выводов и сообщений».

Эта предварительная автоцензура дает себя знать действительно чуть ли не на каждой странице «Материалов». Наиболее опасные места автор нарочито излагает штампованно-казенным стилем. Так неопределенно именуя «вольные стихи» Пушкина «грехами молодости» (прямо он их совсем не упоминает), а его ссылку «одним событием, удалившим Пушкина из Петербурга на другой конец империи», он так излагает историю последней: «Не раз переступал он [Пушкин] черту, у которой остановился бы всякий более рассудительный человек, и скоро дошел до края той пропасти, в которую упал бы непременно, если бы его не удержали снисходительность и попечительность самого начальства». Ср. отзыв Николая-Бенкендорфа по поводу пушкинской записки «О народном воспитании»: «Принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, з а в л е к ш е е в а с н а к р а й п р о п а с т и...» и т. д. (разрядка моя.—*Д. Б.*) Характерно, что, излагая дальше содержание этого отзыва, Анненков данное место выпускает: «плагиат» из николаевско-бенкендорфовской резолюции слишком бы бросался в глаза. В такой степени приходилось мимикрировать Анненкову свое изложение.

Особенно большие трудности представило для Анненкова то, о чем Плетнев предпочел, как мы видели, вовсе умолчать,—трагическая история гибели поэта. Анненков с болью писал об этом И. С. Тургеневу. «Я понимаю, как вам должно быть тяжело так дописывать биографию Пушкина,—утешал его последний,—но что же делать? Истинная биография исторического человека у нас еще не скоро возможна, не говоря уже с точки зрения цензуры, но даже с точки зрения так называемых приличий. Я бы на вашем месте кончил ее ex abrupto—поместил бы, пожалуй, рассказ Жуковского о смерти Пушкина—и только. Лучше отбить статуе ноги, чем сделать крошечные, не по росту». Анненков целиком воспользовался советом Тургенева. Лаконически указав на то, что Пушкин сделался «жертвой столько же чужого легкомыслия, сколько и своего огненного неукротимого характера», т. е. совершенно смазав социально-общественную подоплеку дуэли («Причины и обстоятельства, породившие катастрофу, еще всем памятны: легкомысленное понимание жизни и характера, неосновательный, злоречивый говор молвы, к а к о й ч а с т о б ы в а е т в г о р о д а х (разрядка моя.—*Д. Б.*) и исчезает по собственному ничтожеству своему и по презрению, которое рано или поздно наказывает его,—произвели

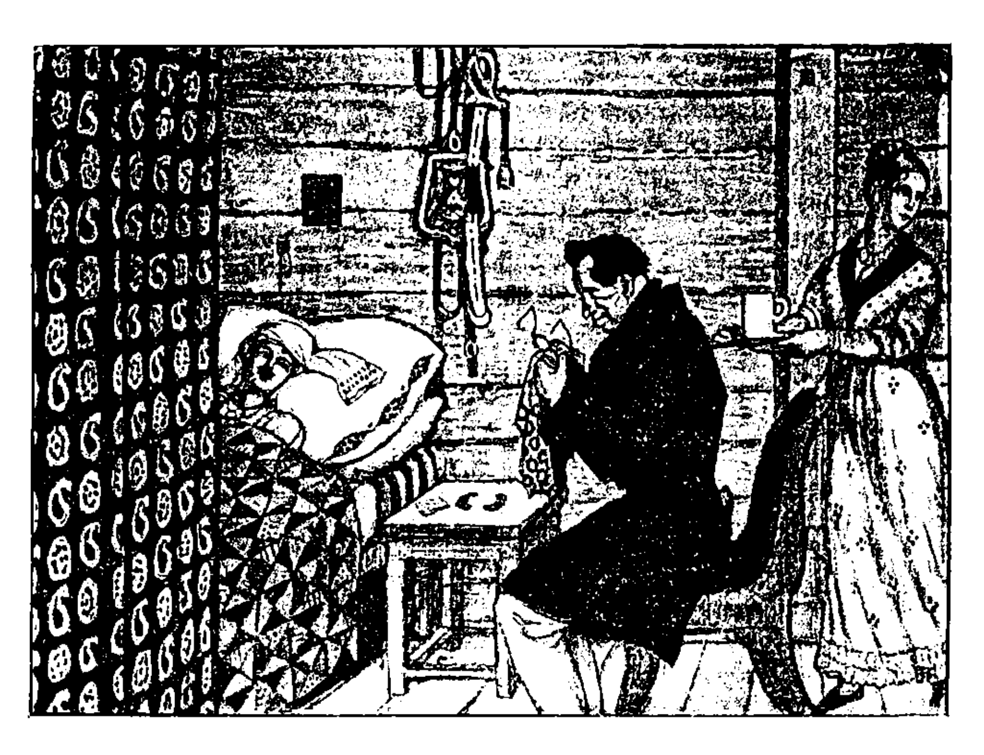
здесь гибельные последствия», пишет он несколько ранее), и вкратце, на двух с половиной страничках, рассказав о внешних обстоятельствах дуэли и смерти, Анненков отсылает читателя к письму Жуковского, которое дает целиком в приложениях. «Молва, какая часто бывает в городах» дальше невозможно пойти в совершенном обезличении истинных виновников гибели поэта.

Все эти особые обстоятельства—непрестанно ощущаемое биографом присутствие «враждебных сил», в трезвом учете которых ему приходилось делать свое дело,—не могли не вызвать в Анненкове полной неудовлетворенности своей работой. В то время как современники поэта и друзья Анненкова по «Современнику» наперерыв восхищались его «прекрасным», «образцовым», «славным» трудом, в то время как им вторил хор самых лестных оценок критики, объявившей его книгу «лучшим биографическим трудом в русской литературе», сам Анненков писал Тургеневу: «Кончил биографию, то-есть собственно никогда и не начиналась она», и в другом письме ему же: «Нечего больно зариться на биографию. Есть кое-какие факты, но плавают они в пошлости». Правы были обе стороны. На фоне того, что было известно до Анненкова русскому читателю о жизни и личности Пушкина, его работа была действительно событием; но относительно того, что еще надо было сделать и сказать о Пушкине, была она конечно не более как предварительной заготовкой, «материалами».

Вторая крупная биографическая работа Анненкова о Пушкине «Пушкин в Александровскую эпоху», опубликованная им через восемнадцать лет после «Материалов», в 1873—1874 гг., вышла при значительно более благоприятных цензурных условиях. Это изменение цензурных условий, давшее возможность «дополнить» «Материалы» рядом «фактов и соображений, которые тогда не могли войти в состав их» (как прозрачно указывает сам Анненков в предисловии), очевидно и побудило автора к ее написанию. Но именно тогда, когда Анненков получил возможность заговорить относительно полным голосом, и зазвучал с полной же отчетливостью особый идеологический тембр этого голоса, сообщивший прекрасной работе Анненкова ряд существеннейших ограничений. В то время как несколько ослаб внешний цензурный гнет в отношении Пушкина, своеобразным цензором личности и творчества поэта оказался сам его биограф.

Общавшийся не только с Белинским, но, как известно, и с Марксом, Анненков был тем не менее типичным либералом-эстетом, идеалистом «сороковых годов». Целиком усвоив знаменитые высказывания Белинского о Пушкине как о «великом образцовом мастере поэзии, учителе искусства», Анненков положил их в основу и своего понимания Пушкина, односторонне развив их в направлении «чистой» эстетики. Пушкин для него—«учитель изящного», «воспитатель благородной мысли и изящного чувства в народе». Однако в тесные благообразные рамки «учителя изящного» никак не укладывалась вулканически-бурная, сложная, исполненная резких диссонансов, кричащих противоречий и противоречивых порывов «живая» личность поэта, какою живописуют ее многочисленные биографические данные. Игнорировать факты Анненков, сам провозгласивший в предисловии к своей книге борьбу не на живот, а на смерть с тем «растлевающим учением», которое считает, что «образы замечательных людей русской земли должны быть создаваемы на каких-то особых основаниях, а не на истине и неопровержимых фактах», никак не мог. Выход Анненков нашел в особой созданной им концепции о двух «видах» Пушкина или

даже прямо о «двух Пушкиных»—реальном Пушкине, Пушкине «в жизни», находившемся зачастую во власти «чудовищных софизмов, животных наклонностей и диких побуждений непосредственного чувства», и другом—«идеальном» Пушкине, который «вырезывается из его произведений». Первый превращается, по Анненкову, во второго под влиянием «чистого творчества», чисто-«художественного» восприятия действительности. Вся эволюция, весь жизненный путь Пушкина объясняются тем, что в нем всё более крепнет «чистый художник», что он всё дальше уходит от живой жизни, от своей современности на «идеальные» высоты отрешенного, чисто-эстетического созерцания. Так, например, объясняет Анненков изживание Пушкиным его байронизма: когда Пушкин «все чаще и чаще начал относиться к жизни, как художник,—демонический период его существования кончился». Эта насквозь ложная концепция «двух Пушкиных», разрывающая надвое цельную единую личность Пушкина—человека-поэта, — концепция, в которой мы без труда признаем родоначальницу некоторых новейших теорий, оказалась чрезвычайно удобной для Анненкова. Всё то, что было в натуре Пушкина необычного, волнующе-противоречивого, буйно-выходящего из предначертанных ему его биографом берегов эстетической «умеренности и аккуратности»—«изящного чувства и благородной мысли», всё, что пугало в Пушкине либерала-«эстетика» 40-х годов, «объективного» созерцателя, врага всякой экстремы,—всё это Анненков относил за счет «первого» Пушкина, «больного» действительностью, не исцеленного, не «спасенного» «чистым творчеством» («Гавриилиаду», например, он считает плодом «какой-то душевной болезни, несомненно завладевшей» в это время поэтом). Однако поперек этой стройной и, казалось бы, всё разрешающей концепции становилось одно чрезвычайно существенное и неприятное для Анненкова обстоятельство: в самом творчестве Пушкина имелся ряд произведений, который также не укладывался в рамки анненковского «изящного». Сюда относятся многие эпиграммы Пушкина, некоторые эротически-окрашенные его пьесы. Не будучи в состоянии согласовать их со своей концепцией, Анненков решил попросту утаить их от читателя, совсем не введя в изданное им собрание сочинений Пушкина. Больше того: когда П. А. Ефремов включил позднее некоторые из них в новое издание Пушкина 1880—1881 гг., Анненков выступил с самым энергичным протестом против не только излишней, но и прямо «вредной» (!) полноты последнего. «Полнота полноте рознь, и бывает не только не желательная, но и положительно вредная полнота... та именно, которая способна помрачить установленный, всеми признанный лик писателя или дать ему другое выражение, чем обыкновенно носимое им или приписываемое ему» (разрядка моя.—*Д. Б.*), писал он в своей рецензии на издание Ефремова и тут же разражался самыми гневными тирадами против шуточных и «соблазнительных пьес» Пушкина, этих «паразитов на светлом фоне его поэзии», «низменных проявлений раздраженного, буйного и скандалезного творчества», которые Пушкину якобы вовсе «не принадлежат (разрядка самого Анненкова.—*Д. Б.*) в обширном смысле слова, хотя бы от них остались несомненные автографы, хотя бы они были написаны собственной его рукой на страницах его тетрадей», ибо, по совершенно произвольному утверждению Анненкова, «они не выражают ни настоящей его природы, ни его развития, ни даже подлинного его настроения в минуту, когда были писаны. Они ничем не связаны с его действительною мыслью, не имеют корней во внутреннем его мире, не отвечают никакой склонности его



ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „СТАНЦИОННОМУ СМОТРИТЕЛЮ"
Рисунок сепией М. Добужинского
Издание „Международной книги", 1934 г.

ума или сердца». По мнению Анненкова, автор всех этих вещей не тот Пушкин, «который признан единогласно воспитателем русского общества». «Только этот нам и нужен,—добавляет Анненков,—а в его двойнике нам достаточно общей характеристики, нескольких сохранившихся о нем преданий, да отметки тех нравственных черт и особенностей, которые составляли уже общее достояние обоих видов Пушкина». Заканчивает Анненков выражением прямого удовольствия, что в руки Ефремова не попали рукописи Пушкина, в которых отразилась его «прошлая жизнь во всей ее наготе»: «Что бы сталось с нравственным образом Пушкина, если бы все откровения, содержащиеся в рукописях, достигли до нас...» В своем раздраженном выступлении против Ефремова, справедливом во многих частностях, но не в исходном положении, Анненков сам проговаривается в том, чего не заметили его критики,—в неполноте и односторонности того «лика» Пушкина с «приписанным» ему его биографом выражением, который возникает из его трудов о Пушкине.

Сказанное определяет меру значения последних. Сам Анненков слишком сурово отнесся к своей первой книге о Пушкине, утверждая, что биография поэта ею даже и не начата. «Материалами» биография Пушкина именно была начата, ими были заложены твердые основы, дающие возможность дальнейшей научной ее разработки. Вторая работа Анненкова, в которой с полным блеском раскрылось дарование его как биографа, является образцом такой разработки по тщательному изучению материалов, тонкости анализа, наконец замечательной талантливости изложения, до сих пор не имеющим себе ничего равного во всей биографической литературе

о Пушкине. Однако разработка эта была предпринята, по его собственному признанию, «с надлежащей политической и этической точки зрения», т. е. с совершенно определенной общественно-исторической и философской позиции, обусловившей, как мы уже сказали, ряд существеннейших ограничений в понимании биографом личности Пушкина.

Почти одновременно с опубликованием «Материалов» Анненкова, в 1856 г., вышла в свет еще одна безымянная биография Пушкина, написанная никем иным как Н. Г. Чернышевским («Александр Сергеевич Пушкин. Его жизнь и сочинения»). В предисловии Чернышевский предупреждает, что он не производил никакой самостоятельной научной разработки, а просто «рассказал» жизнь поэта «по существующим печатным материалам», добавляя, что он «отдавал предпочтение фактам, рельефно представляющим трудолюбивую, благородную и могучую личность Пушкина». Однако даже и в этом случае образ Пушкина в изображении его Чернышевским мог бы конечно иметь исключительный интерес и явиться лучшим противовесом анненковскому «лику», если бы сам Чернышевский не ограничил себя, предназначив составленную им биографию «для юношества». Это определило особую стеснительность цензурных условий, тяготевших с самого начала над его работой (в те же 50-е годы был совершенно запрещен биографический роман о Пушкине одной детской писательницы, упомянувшей в нем о ссылке и дуэли поэта), вынудив автора в своем изложении событий жизни Пушкина опираться даже не столько на Анненкова, сколько использовать «невинные» формулировки, пущенные в оборот Плетневым.

После трудов Анненкова сколько-нибудь значительных общих биографических работ о Пушкине не появлялось до самого 1880 года—год открытия памятника в Москве,—когда была опубликована новая биография поэта, принадлежащая перу известного педагога В. Я. Стоюнина («Пушкин»).

Если книги Анненкова о Пушкине написаны либералом-эстетом, работа Стоюнина сделана либералом-общественником. Это определяет ее достоинства и недостатки. Не производя специально исследовательских разысканий, базируясь, в отношении фактических данных, в значительной степени на работах того же Анненкова, которому он неизмеримо уступает в мастерстве изложения, Стоюнин идет значительно дальше его в обрисовке конфликта между Пушкиным и современным ему полицейско-бюрократическим николаевским режимом. Правда, Стоюнин останавливается на полпути, оказываясь целиком во власти старой классической легенды о добром царе и злых приближенных. Он решительно настаивает на полной искренности благожелательного отношения Николая I к Пушкину и всю трагичность положения поэта усматривает в том, что по «простому недоразумению» между ним и царем оказался посредником «всесильный царедворец», главный «искоренитель» всяческого «либерализма», шеф жандармов и глава III Отделения, генерал Бенкендорф. Тем не менее ему удается даже в ограниченных рамках этой своей концепции живо нарисовать драму Пушкина, задыхавшегося в предопределенной ему «казенной атмосфере», под «гнетом царедворческого служения». Работа Стоюнина писалась в период так называемой «диктатуры сердца» и некоторого ослабления цензурного гнета. Благодаря этому он мог позволить себе относительную свободу выражения. Весьма красноречивы, например, заканчивающие книгу рассуждения автора по поводу приводимых Жуковским слов, с которыми якобы обратился к последнему умирающий Пушкин: «Скажи государю, что мне жаль умереть: был бы весь его». Стоюнин

доказывает, что Пушкин при всем своем желании никак не смог бы «как поэт, а не как придворный чиновник исполнить это обещание при тех стеснительных условиях, в которых ему приходилось работать»: «он был опутан многими сетями. Нам кажется, что в будущем поэту не оставалось поприща для его вдохновенных трудов. Стремясь вырваться из своих сетей, он все равно нашел бы себе гибель. Не мог петь соловей в когтях у кошки». В качестве зловещей иллюстрации к этому положению тут же в подстрочной сноске излагается военно-судный приговор по делу о дуэли, согласно которому мертвый Пушкин должен был быть «повешен за ноги». Так близко к пониманию действительных причин гибели поэта не подходил и так резко не высказывал их ни один из исследователей ни до, ни много спустя после Стоюнина.

Однако основным ключом к пониманию личности и жизни Пушкина является для Стоюнина все же биологический—расовый—фактор—«несчастное наследство, доставшееся ему от его прадеда по матери, арабская (sic!) кровь, которая превратила в вулкан пылкий темперамент гениальной натуры». С помощью этой пресловутой «арабской крови», которая, с легкой руки Стоюнина, заняла столь почетное место в последующей биографической литературе о Пушкине, он пытается слить в один сложный образ тех «двух Пушкиных», о полной несхожести которых не уставал твердить Анненков: «Арабская кровь нарушала мир его души, раздвояла его, ставила в противоречия с самим собою. Она составила его судьбу. Подобно трагическому герою он боролся с нею, и, наконец, пал ее жертвою». Это выдвигание на первый план биологического фактора, в явном противоречии с тем, что сам же автор говорит ниже, хотя бы в только что приведенном нами месте, о социально-исторической детерминированности «судьбы» Пушкина, лишает работу Стоюнина необходимой цельности и единства.

Таким же выдвиганием на первый план «биологии» страдает и другая небольшая биография Пушкина, появившаяся вскоре после работы Стоюнина, в 1882 г., и написанная также педагогом, А. А. Венкстерном («А. С. Пушкин. Биографический очерк»): «Характер Пушкина, состоящий весь из крайностей, почти несовместимых, полный противоречий, непонятных с первого взгляда, может быть объяснен только его происхождением, соединившим в одном человеке африканскую кровь Ганнибалов с чисто русской душой».

В том же 1882 г. вышла в свет книга о Пушкине А. Незеленова: «А. С. Пушкин в его поэзии. Первый и второй периоды жизни и деятельности». Если Анненков и Стоюнин подходили к пониманию жизни и творчества Пушкина с позиций российского либерализма различных оттенков, работа Незеленова предпринята с прямо противоположных «охранительных» позиций. В противоположность Стоюнину и до известной степени Венкстерну Незеленов в своем истолковании характера Пушкина делает упор не на «африканскую кровь», а на «русскую природу» поэта—национально-народный склад его духа. Вслед за Достоевским и Аполлоном Григорьевым автор считает, что развитие Пушкина, его духовно-творческий путь предуказывает собой путь развития всего русского народа: сперва влечение к «блестящим и могучим западноевропейским идеалам», затем возврат к «родной почве, к своим народным началам» и наконец синтез—«период соединения в его душе и деятельности западноевропейских начал с простыми смиренными и добрыми началами русской народной жизни». Самое это развитие насквозь телеологично: все даже тяжелые события жизни Пушкина неизменно ведут его к благой цели: «Высылка

из Петербурга спасла Пушкина от погибели в чувственных увлечениях», «подоспела как раз кстати» и «ссылка в село Михайловское», «без нее творчество Пушкина должно было бы остановиться: он дошел в своем развитии до того момента, когда ему оказалась нужной русская деревня». Весьма кстати пришелся и разгром декабристов: «великий и страшный удар образумил поэта»... О научной значимости всех этих утверждений говорить не приходится, но тенденция их совершенно ясна: в роли провидения Пушкина, как и всего русского народа вообще, неизменно оказывается строгое, но попечительное начальство (нотка эта была и в «Материалах» Анненкова, но, как мы видели, последний вынужден был вносить ее по необходимости, Незеленов делает это по собственному побуждению).Естественно, что тенденция эта была оценена кем следовало: книга Незеленова была одобрена правительственным ученым комитетом для бесплатных народных читален. Однако сам автор видимо почувствовал полную невозможность справиться с принятой им схемой, бросив работу на полпути: после выхода первой части он прожил еще около 15 лет, но обещанного окончания его труда так и не появилось, и его книга, как и вторая книга Анненкова, охватывает жизнь Пушкина только в Александровскую эпоху. От соответствующей работы Анненкова книга Незеленова отличается и еще одной, на этот раз уже положительной своей тенденцией. Вопреки анненковской концепции «двух Пушкиных», Незеленов настаивает на органическом единстве «внутренней жизни» Пушкина и его творчества. Но это правильное утверждение Незеленов доводит до противоположной крайности, сводя единство к полной «тождественности» и стремясь подвести под все произведения Пушкина непосредственную биографическую базу— «осветить их событиями его внешнего бытия» (см. например смехотворный анализ пушкинского «Пророка», в котором автор усматривает аллегорическое изображение «чистой любви» поэта к некоей «усопшей женщине»). Несмотря на все это, работа Незеленова пользовалась в свое время весьма большой популярностью и оказала пагубное влияние: именно он является родоначальником того узко-биографического подхода к пушкинскому творчеству, который так привился в последующем пушкиноведении.

После работ Стоюнина, Венкстерна и Незеленова в течение всего последующего двадцатипятилетия не появилось ни одной новой биографии Пушкина, не считая довольно многочисленных школьных и широкопопулярных биографических очерков, не имеющих решительно никакого самостоятельного значения.

Уже Анненков незадолго до своей смерти жаловался на возникновение среди современных ему «деятелей исторической и биографической литературы» целой «школы археологов и изыскателей, которые, освободив себя от труда мышления, заменили его трудом простого собирания документов, сличения разностей между текстами, перечета отметок, какие существуют на различных актах, и тому подобными предварительными работами, считая их за самую науку исторических и литературных исследований и устраняя, как излишество, критику и оценку приобретенных фактов по существу».

Особенно много деятелей этого «археологического» рода, заменивших «труд мышления» крохоборческим мелочным подбором предварительных материалов, оказалось среди лиц, посвятивших себя изучению жизни и творчества Пушкина. Исследовательская работа биографов Пушкина за последние десятилетия прошлого и первые десятилетия нашего века до-

нельзя мельчится, атомизируется. Накапливаются груды фактического материала, горы мельчайших биографических подробностей. Во внимании к мелочам, самом по себе, нет еще беды. Для исторического деятеля такого масштаба, как Пушкин, каждая мелочь имеет значение. Беда в том, что исследователи-пушкинисты тонут в мелочах, теряют способность обобщающих выводов, не только не видят за деревьями леса, но перестают за кустарниками и травой различать и самые деревья. Подробно разрабатываются различные частные эпизоды пушкинской биографии, пишутся специальные «исследования» на такие темы, как «шляпа Пушкина», а наряду с этим даже столетний юбилей со дня рождения поэта не вызывает появления новой биографии: к юбилею всего лишь переиздается уже известный нам популярный биографический очерк Венкстерна, в 1903 г. переиздается книга Незеленова, в 1906 г.—работа Стоюнина, хотя при всех своих достоинствах и она конечно основательно устарела к этому времени и по материалу, и по характеру изложения.

Наконец только в 1907 г. появился долгожданный новый биографический труд о Пушкине общего характера: монументальная по размерам—свыше 600 страниц—работа проф. В. В. Сиповского «Пушкин. Жизнь и творчество». Однако работа эта может служить лучшей демонстрацией бессилия нашей предреволюционной науки о литературе перед лицом любой крупной задачи, подлежавшей ее разрешению, показателем глубокого кризиса, который вообще начал в это время переживаться нашим буржуазным литературоведением.

Предисловие Сиповского к своей работе представляет образец полной методологической путаницы: начав, чуть ли не по Плеханову, рассужде-

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „СТАНЦИОННОМУ СМОТРИТЕЛЮ“

Рисунок сепией М. Добужинского

Издание „Международной книги“, 1934 г.

ниями о наличии как в истории, так и в деятельности всякого человека «элемента закономерности и элемента случайности», он заканчивает звонкими фразами о некоей «мистериальности» биографии Пушкина («История его жизни есть история великого очищения и возвеличения его духа»), в которых нельзя не узнать достаточно аляповатого перелицовывания на новый «модернистский» лад старой концепции Анненкова. Однако сама работа Сиповского ниже и его предисловия. Его книга—пухлый, дурно скомпанованный биографический очерк, обнаруживающий крайне недостаточное овладение специальным пушкиноведческим материалом, повторяющий многочисленные ошибки и неточности своих предшественников, умножая их рядом новых промахов и ошибок. В предисловии Сиповский призывает от «одностороннего» понимания Пушкина Белинским и Достоевским обратиться к «словно незамеченным многими» «трудам Анненкова». Однако его работа не только «возвращение» к Анненкову, которого он «цитирует»... целыми страницами (по ядовитым отзывам рецензентов—это «лучшие места» книги Сиповского) наряду с другим излюбленным им «первоисточником»—Венкстерном (!), но и явный шаг назад от Анненкова.

Мало воспользовался Сиповский и тем, что мог гораздо свободнее (его книга писалась в период революции 1905 г.) говорить на «запретные» для первых биографов Пушкина темы. Общественно-политические взгляды Пушкина им почти не затронуты; вопроса об отношении поэта к декабристам он едва касается. Правда, атмосфера пятого года все же сказалась на его работе: так он первый высказался против тенденции всех прежних биографов «выгораживать во что бы то ни стало императора Николая и все сваливать на графа Бенкендорфа»: «Бенкендорф был только исполнителем высочайшей воли. Им государь прикрыл свои настоящие отношения к поэту».

Обильные ляпсусы и забавные подчас промахи Сиповского дали полную возможность «цеховым» пушкинистам взять его книгу в штыки. Действительно, опыт Сиповского—квалифицированного ученого, автора ряда солидных работ по русской литературе, вообще, в частности большого библиографического труда по юбилейной пушкиниане 1899—1900 гг. и нескольких статей о Пушкине,—наглядно показал, что, при выделении пушкиноведения в особую дисциплину и тщательнейшей разработке мельчайших деталей пушкинской биографии, вряд ли возможно написать стоящую на должной фактической высоте книгу о жизни и творчестве Пушкина, не будучи специалистом-пушкиноведом. Но, с другой стороны, были не в состоянии дать ее и (пользуясь анненковской терминологией) пушкинисты-«археологи».

Тщетно в своем отзыве на книгу Сиповского Валерий Брюсов снова и снова указывал: «Очерк жизни Пушкина, хотя бы и не претендующий на название биографии, но стоящий на уровне современных знаний о Пушкине,—это обязанность русской литературы». Тщетно один из деятельнейших дореволюционных пушкинистов Н. О. Лернер, в свою очередь, в рецензии на того же Сиповского, обещал, что «биография Пушкина, для которой уже всё готово, все материалы добыты,—дело близкого будущего». Это будущее никак не наступало. Сам Лернер три года спустя, в 1910 г., ответил на призыв Брюсова опубликованием второго издания (удесятерившего материал первого и получившего благодаря этому значение совершенно новой самостоятельной работы) своего очень почтенного и пользующегося заслуженной известностью хронологического справочника «Труды

и дни Пушкина». Однако книга эта конечно может быть названа отнюдь не «историей жизни и творчества Пушкина», какой она слывет в пушкиноведении, а, в лучшем случае, лишь летописью, являясь по огромному, хотя в значительной степени механическому труду, на нее затраченному, по количеству тщательно собранных фактических данных своего рода венцом «археологических» изысканий в области пушкинской биографии.

Никак не разрешил проблемы создания последней и тот цикл статей, посвященных различным периодам жизни Пушкина и главнейшим его произведениям, который был опубликован при известном издании Пушкина под редакцией профессора С. А. Венгерова, представляющем и по самой своей претенциозно-помпезной внешности, и по существу типичнейший продукт буржуазной псевдо-культуры. Очевидно, по замыслу редактора, цикл этих статей должен был дать полную картину жизни и творчества Пушкина. Однако получившийся эклектический винегрет из больше чем двадцати авторов, представителей совершенно различных мировоззрений, школ, взглядов на Пушкина, приемов анализа и оценки—от Н. Павлова-Сильванского, проф. Петухова, самого проф. Венгерова, до Н. Минского, Валерия Брюсова, Вячеслава Иванова, от Б. Л. Модзалевского, Лернера, уже известного нам Сиповского до Ю. Айхенвальда,—способен, независимо от несомненной ценности некоторых отдельных статей и заметок, только дезориентировать читателя.

От биографических разведок пушкинистов-«археологов» выгодно отличаются труды покойного П. Е. Щеголева. Выдающийся архивист-«изыскатель» Щеголев не «освободил себя» и «от труда мышления», от «критики и оценки приобретенных фактов по существу». Мало того: пушкиновед, блестяще владеющий своим специальным материалом, соединился в его лице с историком-исследователем русского революционного движения. Это определило его интерес к особенно острым политическим темам биографии Пушкина. Пушкин и тайные общества, Пушкин и декабристы, Пушкин и Николай I—вот вопросы, поставленные и во многом совсем по-новому разрешаемые Щеголевым в ряде его пушкинских работ.

Естественно не мог не заинтересоваться Щеголев и самым драматическим событием в личной и общественной жизни Пушкина: «Дуэли и смерти Пушкина» посвящена им целая большая монография, являющаяся после книги Анненкова «Пушкин в Александровскую эпоху» самым значительным из всего, что мы имеем среди работ, посвященных отдельным периодам или частным эпизодам пушкинской биографии. В результате большого количества добытых исследователем новых архивных данных (с этой целью им были обследованы не только русские архивы, но и ряд заграничных—во Франции, Германии, Голландии) и тщательнейшего критического анализа свидетельств очевидцев (как ранее известных, так и впервые введенных им в исследовательский оборот) Щеголев ярко набрасывает картину последних месяцев жизни Пушкина, давая ряд выразительных зарисовок-характеристик главных действующих лиц и осветив много темных и неясных обстоятельств так называемой «преддуэльной истории».

Однако существенным недостатком работ Щеголева является постановка им всех проблем биографии Пушкина по большей части в узко-бытовом плане. Здесь Щеголев, сознательно противопоставивший строго точный, основывающийся на тщательно выверенных фактических данных характер своих разысканий беспочвенным, субъективным, якобы биографическим «угадываниям» одного из наиболее выдающихся представителей современ-

ной ему критической «пушкинианы» М. О. Гершензона,—невольно подпал под влияние именно этого последнего. Больше того: сказался на работах Щеголева и повышенный интерес той же современной ему «пушкинианы» к эротическим темам биографии Пушкина, к его «романам» («потаенная любовь» Пушкина к Марии Раевской-Волконской и т. д.), что в полной мере соответствовало общему тяготению со стороны буржуазной литературной и «философской» мысли периода реакции пятого года к так называемым «вопросам пола».

Со всем этим сталкиваемся и в изображении Щеголевым дуэли и смерти Пушкина. Щеголев отнюдь не принадлежал к тем ранним биографам Пушкина, типа Плетнева и даже Анненкова, для которых гибель Пушкина была (вернее они хотели или чаще вынуждены были так себе ее представлять) роковой неожиданностью, громом среди безоблачного неба полного счастья и благополучия, которыми Пушкин будто бы наслаждался все последние годы, предшествовавшие катастрофе. Щеголеву, наоборот, были совершенно ясны сплошные неблагополучия жизни Пушкина 30-х годов: неблагополучия порядка политического, социально-общественного, литературного, наконец семейно-бытового. Однако из всего этого, по его собственному же выражению, «клубка» он выделяет и внимательнейшим образом прослеживает одну только нить—семейную драму Пушкина. «Душевное состояние, в котором находился Пушкин в последние месяцы жизни, было результатом обстоятельств, самых разнообразных,—пишет он в предисловии к своей работе.—Дела материальные, литературные, журнальные, семейные; отношения к императору, к правительству, к высшему обществу и т. д. отражались тягчайшим образом на душевном состоянии Пушкина. Из длинного ряда этих обстоятельств мы считаем необходимым—в наших целях—к о с н у т ь с я т о л ь к о с е м е й с т в е н н ы х о т н о ш е н и й П у ш к и н а—ближайшей причины рокового столкновения» (разрядка моя.—*Д. Б.*). Это конечно не могло не сообщить исследованию Щеголева не только известную односторонность, но и прямо неполноту. «Семейственные отношения» были несомненной «ближайшей причиной» дуэли с Дантесом, но сама эта дуэль была только одной из возможных форм разрядки той грозовой атмосферы, которая сгустилась над жизнью Пушкина 30-х годов. То, что послужило, строго говоря, только поводом к катастрофе, Щеголев изображает в качестве п р и ч и н ы ее. Исследователь и сам ощущал неправомерность такой точки зрения. В предисловии ко второму изданию своей книги, подготовленному перед самой революцией (предисловие датировано 7 декабря 1916 г.), он снова пишет: «Считаю нужным подчеркнуть при появлении второго издания то, что я говорил в предисловии к первому изданию. Рассказывая историю последней дуэли Пушкина, я останавливаюсь во всех подробностях только на одной из причин трагического конца Пушкина,—правда, на ближайшей—на истории семейных отношений. Но это не значит, что я склонен к отрицанию влияния многих других и весьма важных обстоятельств жизни Пушкина. Разъяснение всех этих обстоятельств, приведших жизнь Пушкина к безвременному концу, является задачей исследования, над которым я работаю в настоящее время». Однако это исследование так и осталось ненаписанным. «Разъяснить обстоятельства, приведшие жизнь Пушкина к безвременному концу» можно было только перенеся центр исследовательского внимания от пушкинского б ы т а к пушкинскому б ы т и ю, т. е. только с позиций того миросозерцания и метода, которыми не обладал ни

ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „СТАНЦИОННОМУ СМОТРИТЕЛЮ"
Рисунок сепией М. Добужинского
Издание „Международной книги", 1934 г.

сам Щеголев ни, тем менее, кто-либо другой из представителей нашей дореволюционной «пушкинианы».

Октябрьская революция открыла огромные возможности для создания подлинно научной биографии Пушкина. Исследователю стали доступны секретные архивные фонды. Было обнаружено и опубликовано великое множество ценнейших новых материалов, в том числе ряд дотоле вовсе неизвестных или не могших появиться в русской печати произведений самого поэта. Что еще важнее, впервые за сто лет стало возможным заговорить полным голосом о всех самых потаенных моментах личной и общественно-политической жизни Пушкина, не опасаясь зажимов царской цензуры. Не менее значительно было освобождающее влияние опыта наших революционных лет на самое сознание исследователей, помогая им сбросить путы всякого рода условностей и предрассудков, тяготевших над всеми без исключения старыми биографами Пушкина (яркий пример тому—третье пореволюционное издание книги Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина», в новонаписанной главе которого «Анонимный пасквиль и враги Пушкина» выдвинут совсем новый взгляд на причины дуэли и зловещую роль, сыгранную в сложных перипетиях преддуэльной истории роковой фигурой царя. Так только в наше время та неопределенно-биологическая «судьба», перед которой беспомощно останавливался в своем объяснении причин гибели Пушкина даже Стоюнин, обретает не только конкретно-исторические очертания, но и собственное имя). Наконец за годы революции растут и крепнут кадры литературоведов-марксистов.

И тем не менее в области биографических изучений Пушкина после

революции мы имеем совершенно ту же картину, что и до нее: то же изобилие частных исследований и разысканий и такое же отсутствие синтетической, обобщающей работы. Правда, в 1924 г., к 125-летию со дня рождения поэта, работниками Пушкинского дома во главе с Б. Л. Модзалевским был составлен наконец тот стоящий «на уровне современных (т. е. 1924 г.—*Д. Б.*) знаний о Пушкине» биографический очерк («Пушкин. Очерк жизни и творчества»), о необходимости которого за семнадцать лет до того писал В. Я. Брюсов. Но очерк этот отличается чрезмерным лаконизмом (по объему он меньше даже популярной книжки Венкстерна), что делает из него, в сущности говоря, почти только сводку основных фактических данных о Пушкине, и конечно ни в каком случае не может заменить—да и не претендует на это—биографии поэта. Мало того: после появления этого очерка в области биографических изучений Пушкина начинается как бы процесс обратного развития. Та «довольно обширная биография Пушкина», которая была обещана при первом пореволюционном полном издании сочинений Пушкина 1930—1931 гг., не только не была написана, но и оказалась замененной всего лишь краткой «хронологической канвой биографии Пушкина», которая в основном повторяет, конечно в чрезвычайно урезанном виде, все тот же труд Н. О. Лернера.

Прежде чем остановиться на причинах отсутствия и в нашем пореволюционном литературоведении биографии Пушкина, рассмотрим вкратце четыре известные нам общие биографические работы, появившиеся за эти годы на Западе.

Первая из них вышла на английском языке — «Puchkin, by Prince D. S. Mirsky, London—New-York, 1926 (в серии «The republic of letters, edited by Williame Rose»). Книга Мирского ставит своей задачей познакомить английских и американских читателей с основными фактами жизни и творчества великого русского поэта. Это популярная биографическая сводка, не претендующая на какое бы то ни было самостоятельное исследовательское значение и наиболее приближающаяся по типу к только что упомянутому нами очерку сотрудников Пушкинского дома, который она однако значительно превосходит своим объемом. Некоторые места ее звучат по меньшей мере странно (таково например на стр. 237 покровительственное похлопывание по плечу Белинского, за статьями которого автор соглашается признать некоторое небольшое значение, несмотря на их «идеалистические разглагольствования»—a sea of loose idealistic talk—и «длиннотный», вульгарный, неопрятный русский язык»—longwinded, vulgar and untidy Russian), но в общем сделана она весьма добросовестно и с полным знанием вопроса.

Точность изложения Мирского особенно выступает при сравнении его книжки с иноязычной же—французской—биографией Пушкина—«Pouchkine» par E. Haumant, professeur à la Sorbonne, Paris (в серии «Les grands écrivains étrangers») (отпечатана была еще в 1911 г., но видимо тогда не пошла и была снова выпущена на книжный рынок совсем недавно и в «обновленном» виде: с заклеенным на титуле годом и в другом издательстве). Цель, поставленная себе французским автором, примерно та же, что и у Мирского. Горячий поклонник Пушкина, автор хочет популяризировать его среди французских читателей «не будучи в состоянии терпеть» (пишет он в предисловии), что его имя и творчество до сих пор «остаются в тени, позади других русских, менее заслуживших наше восхищение». Однако при разрешении этой симпатичной задачи автор

словно бы поставил себе другую — по возможности перепутать все те сведения, которые он вычитал из русских источников. Правда, извинением может служить автору то, что он иностранец, да и потом сам он откровенно признается в конце книги в «неполноте» и даже прямо «поверхностности» своей работы.

Этого признания не находим в другой вышедшей на французском же языке биографии Пушкина — M. Hofmann, Pouchkine. Traduction française de Nicolas Pouchkine. Bibliothèque historique, Payot, Paris, 1931. Модест Гофман — пушкинист-профессионал, в прошлом автор ряда работ по Пушкину, пользовавшихся немалой известностью. От него можно было ждать чего-то большего, чем не только от Haumant, но даже от «не-пушкиниста», как он не без демонстративности сам о том заявляет, Мирского. Однако книга его явно разочаровывает. Это такая же чисто фактическая биография без всякой попытки к какому бы то ни было осмыслению жизни и деятельности Пушкина как великого культурно-исторического явления. Правда, она свежее других, но объясняется это только более поздним временем ее выхода (так, автор получил возможность ввести в свое изложение новое толкование «диплома», полученного Пушкиным перед дуэлью, данное Рейнботом — Щеголевым, и т. д.). Мало того: сделана она с недопустимой и явной поспешностью. Только этим можно объяснить наличие в ней ряда грубейших промахов и ошибок (автор путает например Михаила Орлова с Алексеем Орловым, утверждая о последнем, что он «был известен своими либеральными взглядами» (стр. 62); заявляет, что «дней Александровых прекрасное начало» открылось речью о конституции в Варшавском сейме (стр. 68), на самом деле произнесенной в 1818 г.; уверяет, что строфа пушкинской «Вольности», начинающаяся словами «Самовластительный злодей...», относится к Людовику XVI (!) (стр. 66—67).

Но настоящей кунсткамерой курьезов является четвертая зарубежная книга о Пушкине — увесистый том в несколько сотен страниц, начало большой биографии Пушкина, явно претендующей заполнить соответствующий зияющий пробел нашей пушкинианы: Ариадна Тыркова-Вильямс, «Жизнь Пушкина», т. I, 1799—1824, Париж, 1929 г.

В своей специально-пушкиноведческой осведомленности Ариадна Тыркова-Вильямс недалеко ушла от сорбоннского профессора (она с легким сердцем приписывает знаменитую в свое время «арзамасскую» кантату Д. В. Дашкова «Венчание Шаховского» коллективному творчеству царскосельских лицеистов; сообщает, что «когда Кюхельбекер стал государственным преступником, Пушкин нежно называл его «Мой брат по музе и судьбам», хотя эта строка взята ею из стихотворения «19 октября 1825 г.», написанного, как показывает самое его название-дата, месяца за два до восстания декабристов, и т. д. и т. д.); что касается общих историко-литературных сведений, которыми она располагает, она значительно превосходит его. Ей например ничего не стоит объявить, что из писателей Екатерининского времени «одним из первых стал писать по-русски»... Карамзин. Постоянно строит она свое изложение на таких заведомо сомнительных источниках, как печально-известные «Записки» Л. Павлищева. Мало того: даже к их она ухитряется исказить в свою очередь. Так Павлищев приводит, например, любопытный анекдот о «чувствительности» Сергея Львовича, отца поэта. Ударив как-то своего камердинера Никиту (этот Никита заразился повальным стихотворством, господствовавшим в доме Пушкиных, и также сочинял стихи) за дурно вычищенные сапоги, Сергей Львович сам так расстроился,

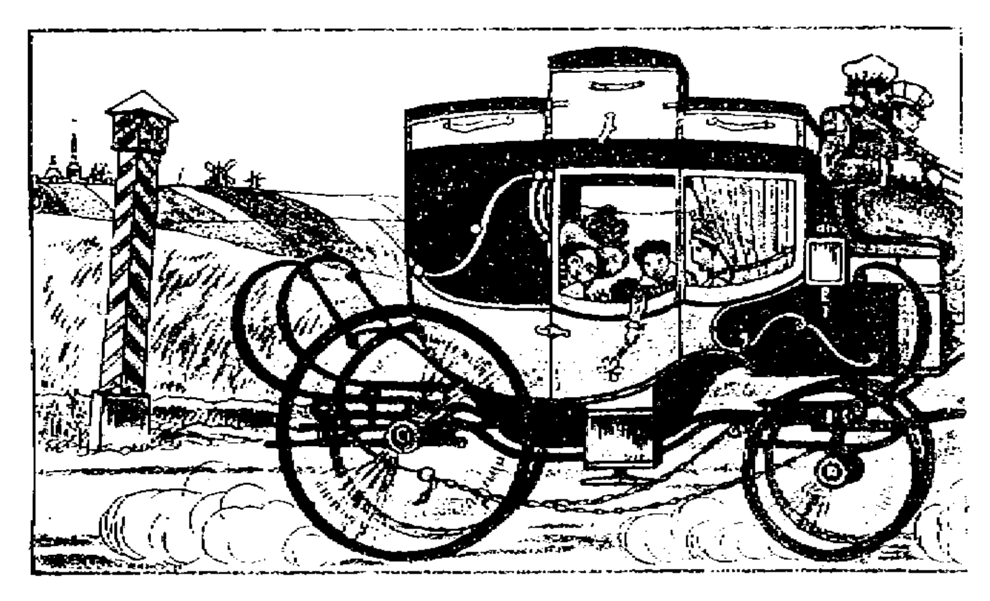
что выбежал на улицу, уселся на ближнюю тумбу и расплакался. Анекдот, безусловно характерный для крепостника «со слезой», карамзиниста начала века, каковым был Сергей Львович, и возможно даже не выдуманный, как многое другое, Павлищевым, а действительно существовавший в семейных преданиях. А вот во что превращается он Тырковой: «С. Л. Пушкин награждал оплеухой своего камердинера Никиту Тимофеича. Тот с горя напивался и, сидя на тумбе перед домом, горько рыдал, жалуясь на свою судьбу прозой и стихами». Если по количеству подобного рода курьезов новая биография заставляет вспомнить о уже известной нам незадачливой книге Сиповского, то написана она языком, который и не грезился этому последнему: рецензенты единогласно и справедливо упрекали его за «серость», «вялость» речи. Однако лучше даже «серость», чем то «великолепие» и «пышность», какими блещет книга Ариадны Тырковой-Вильямс. «Целый костер вдохновений пылал в лицейском флигеле царскосельского дворца» или «В глубине его стремительного, гибкого, сильного тела—любовь и творчество переплетались, сливались, били из одного рудника (sic!). Ритм жизни переходил в ритм песни. Сама кровь пела вечную песнь песней». Нужно обладать верхом литературной безвкусицы, чтобы писать так—стилем бульварного романа—о Пушкине.

Однако есть в работе Тырковой-Вильямс одно неотъемлемое достоинство. У автора есть своя концепция Пушкина как культурно-исторического явления. Пушкин для Тырковой—литературный эквивалент предельной мощи «русской государственности», участник и пособник «роста империи», «переживавшей», по утверждению автора, «в конце 10-х и начале 20-х годов», до «роковой трещины 14 декабря», «последние счастливые годы национального единства, всеобщей веры в Россию»: «Непрерывный рост его гения совпал с ростом империи, с расцветом всенародного русского творчества, государственного и художественного. Еще в лицее стал он действенной частью этого процесса». Концепция эта насквозь произвольна, отражает не подлинную историческую сущность Пушкина, а тоску по «могучей» «великой российской империи», не расколотой революционной «трещиной», русских эмигрантов 1929 года. Только они могут в наше время считать определяющими для творчества молодого Пушкина такие его вещи, как заказанные лицейским начальством патриотические оды, а не «вольные стихи», которыми он, больше чем кто-либо из русских писателей, содействовал «роковой трещине» 14 декабря, только они могут объявлять начало нашего революционного движения XIX века «роковой трещиной», а о времени жесточайшей реакции конца 10-х и начала 20-х годов—периоде диктатуры Аракчеева—писать: «Юношески свежее дыхание государственного созидания веяло во всех областях народной жизни».

Но все же именно наличие некоей общей концепции—какой бы куцой, антиисторичной и узко-тенденциозной она ни была—позволило Ариадне Тырковой отважиться на попытку написания большой биографии Пушкина. Наоборот, отсутствие какой бы то ни было общей концепции парализовало все усилия в этом направлении подавляющего большинства наших пушкинистов после Анненкова, не давая им возможности подняться на необходимую умозрительную высоту, с которой все отдельные факты и разрозненные наблюдения приобрели бы общий смысл, складывались в цельную большую картину. Правда, не так давно у нас была сделана попытка дать такую картину. Разумеем получившую самую широкую известность и выдержавшую за короткое время несколько изданий биографическую

работу В. Вересаева «Пушкин в жизни». Однако совсем особый характер ее служит лишним и особенно ярким подтверждением только что сказанному—иллюстрацией «от противного».

Вересаев всецело придерживается тезиса Анненкова о «двух» несовпадающих между собой Пушкиных—человеке и художнике. Больше того: в своей программной пушкинской статье «В двух планах», послужившей заглавием для всего сборника его статей о Пушкине, он доводит этот тезис до крайних пределов, выдвигая положение не только о несовпадаемости, но и о прямой, почти принципиальной противоположности, «поразительном несоответствии» «плана» «реальной живой жизни» Пушкина и другого «верхнего плана»—его творчества—«мира светлых привидений» (в жизни—«вавилонская блудница», в творчестве—«гений чистой красоты» и т. п.). Однако последовательный идеалист Анненков, не закрывая глаз и на «живого Пушкина», давая ряд выразительных его зарисовок-характеристик, в центр своего внимания ставил, как мы видели, того, по его словам, единственно нужного нам «подлинного» Пушкина, который «вырезывается» из его творчества и которого Пушкин-человек является якобы всего лишь земной, призрачной «тенью», темным «двойником». Наоборот, как будто соглашаясь с Анненковым, указывая в той же своей статье «В двух планах», что «подлинной жизнью» Пушкина является его творчество, в котором одном (да еще только в смерти) высвечиваются «благороднейшие залежи» его души, покрытые в обычное время «слоем густого мусора», Вересаев в своем биографическом монтаже целиком отбрасывает «верхний план», вовсе выключает Пушкина-творца, Пушкина-художника, другими словами, отдает всю свою книгу изображению исключительно того, что сам же называет «густым мусором»,—пушкинской «темной обыденностью». Автор конечно совершенно прав, когда пишет в одной из своих пушкинских статей: «Скучно исследовать личность и жизнь великого человека, стоя на коленях—обычная поза биографов. Скучно и нецелесообразно». Однако



ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „СТАНЦИОННОМУ СМОТРИТЕЛЮ"
Рисунок гравюр М. Добужинского
Издание „Международной книги", 1934 г.

реакция его на такое «коленопреклоненное» отношение, которым действительно грешили многие из писавших о Пушкине, носит, как видим, слишком уж крайний характер. Если первый биографический очерк Пушкина, принадлежавший перу Плетнева, являл собой весьма парадоксальный род биографии, почти не излагавшей событий жизни, монтаж Вересаева «Пушкин в жизни» представляет не менее своеобразный род жизнеописания поэта без малейшего внимания к его творчеству.

Но едва ли не еще более поразительным является то, что из биографической работы Вересаева исключен не только Пушкин-творец, но начисто элиминирован и биограф-исследователь. В предисловии он сразу же предупреждает, что его книга представляет собой отнюдь не биографию, а всего лишь «сборник материалов». Больше того: чуть ли не главным достоинством своего труда он готов считать именно то, что в нем дается «чистый» материал, свободный от каких бы то ни было исследовательских толкований и комментаторских наслоений: «Незаменимое достоинство лежащего предо мною материала, что я тут совершенно не завишу от исследователя». И здесь—в этой радостной эмансипации от исследователя—сказывается закономерная до известной степени реакция пушкиниста-любителя, в лучшем смысле этого слова, каковым является В. Вересаев (сам он пишет о себе: «Я не исследователь и не критик по специальности»), на нескончаемый «александрийский», комментаторский, «археологический» период нашего пушкиноведения. Однако отбрасывая в своем биографическом монтаже все, что сделано в области биографического изучения Пушкина пушкиноведческой, критической и исследовательской мыслью, становясь в этом отношении «голым человеком на голой земле», Вересаев невольно сам оказывается в роли все того же пушкиниста-археолога, но наиболее примитивного типа,—простого собирателя «документов» (нередко всякого рода фантазий и сплетен) о Пушкине, не подвергающего их какому бы то ни было критическому взвешиванию, просеиванию, оценке. Нечего говорить, что при таком подходе,—целиком возвращаясь к неизбежно-импрессионистичным, затемненным близостью расстояния, отсутствием необходимого исторического воздуха, исторического пространства восприятиям жизни и личности Пушкина глазами его современников,—Вересаев заранее отказывается от какого бы то ни было нашего, т. е. стоящего на высоте современного научного миросозерцания и исторического опыта, взгляда на то и другое.

II

Работой Вересаева наше биографическое пушкиноведение как бы завершает полный круг своего векового развития, снова возвращаясь к исходному пункту. Развитие это, как мы могли убедиться, не принесло нужного плода—удовлетворяющей нас книги о жизни и творчестве Пушкина мы все еще не имеем. Но конечно из этого не следует, что мы должны вместе с автором-составителем «Пушкина в жизни» отказаться от всего, что было сделано в этой области. А сделано здесь не мало.

Прежде всего накоплен и исследовательски обработан громадный фактический материал. Всякому, кто решится писать биографию Пушкина без полного овладения этим материалом, неминуемо угрожает в отношении передачи фактов очутиться в положении Сиповского или Ариадны Тырковой. Однако современный биограф Пушкина никак не может ограничиться изучением только этого материала, вынужден произвести целый

ряд самостоятельных научно-исследовательских изысканий предварительного порядка (напр. прежде чем писать даже о таком, казалось бы, наиболее изученном периоде пушкинской биографии, как годы его пребывания в лицее, нужно проработать материалы недавно обнаруженного архива князя Горчакова, в котором имеются полные записи лекций ряда лицейских профессоров, письма Горчакова, содержащие много ценных сведений о быте лицея, и т. п.). Специальному обследованию должны быть подвергнуты все рукописные тетради Пушкина, представляющие собой род замечательного творческого дневника и с этой стороны совсем не изучавшиеся. Мало того: помимо овладения материалами биографической пушкинианы необходима их тщательнейшая критическая ревизия. Есть целый ряд совершенно неправильных положений и ошибочных «фактических» утверждений, восходящих еще к первым биографам Пушкина—Анненкову, Бартеневу, перенятых последующими, традиционно передававшихся от исследователя к исследователю, прочно вошедших в железный фонд «классической» пушкинианы и не выдерживающих почти первого же прикосновения критической мысли. Таковы например данные, которыми мы располагали до сих пор о предках Пушкина (в частности, совершенно фантастический характер носит «каноническая» биография «арапа Петра Великого»—Абрама Ганнибала). Должно быть решительно пересмотрено новейшим исследователем и самое понятие «документа», как оно закрепилось в старом пушкиноведении. Такие материалы, как родословные росписи или послужные списки, на самом деле представляют собой отнюдь не первоисточник, на который можно опираться безоговорочно, а лишь подсобные данные, подлежащие в свою очередь строгому критическому анализу и оценке.

Весьма поучительны для современного биографа Пушкина и те уроки, которые он может извлечь из знакомства с теоретическим опытом биографической пушкинианы. Опыт этот ценен в том отношении, что наглядно показывает, как нельзя сейчас писать биографию Пушкина.

Прежде всего конечно никак нельзя отрывать рассмотрение жизни Пушкина от рассмотрения его творчества. Уже давно и справедливо сказано, что слова поэта—это его дела. Никому не придет в голову рассказывать о жизни и личности любого исторического деятеля без всестороннего рассмотрения и оценки того, что им сделано. Между тем из нашего обзора биографической пушкинианы мы видим, что в отношении жизнеописания Пушкина это далеко не всем представлялось бесспорным. С этим нужно решительно покончить. Не творчество без жизни, по Плетневу, не жизнь без творчества, по Вересаеву, а творческая жизнь Пушкина, живое единство человека-художника—вот что должно составить предмет подлинной его биографии, завершающего цельного синтетического исследования о его жизни и творчестве.

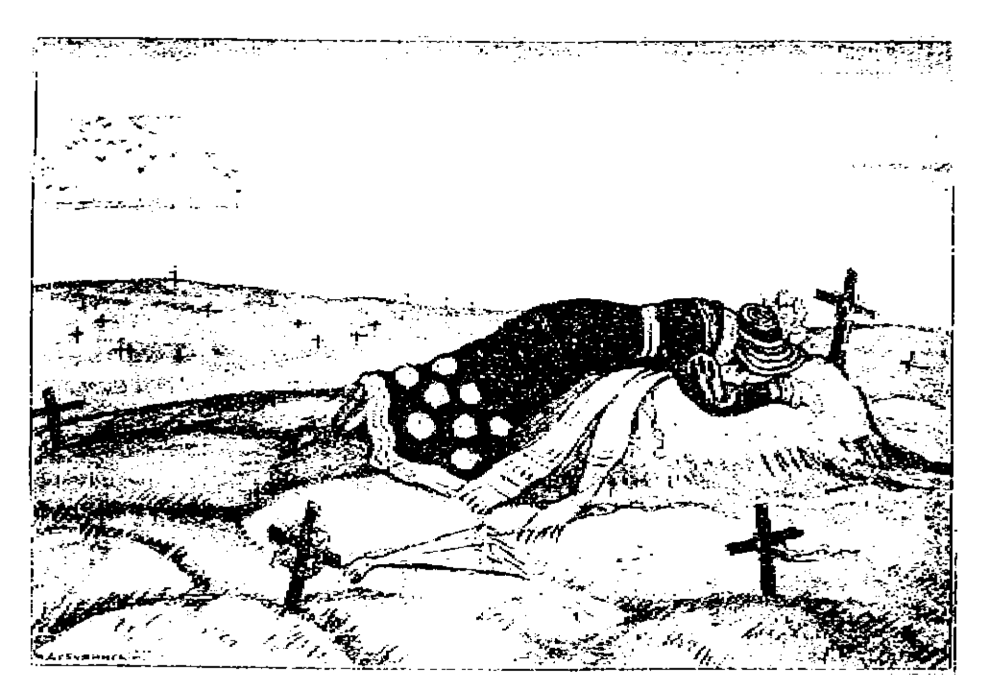
Конечно из этого отнюдь не следует, что, вслед за «незеленовцами», нужно впадать в биографический «наивный реализм»—во что бы то ни стало искать в творческих образах непосредственных, зеркальных отражений внешней реальной жизни поэта: его житейских отношений и ситуаций. Пушкинисты чрезвычайно грешили в этом направлении. Не так давно была создана даже теория об особой творческой «правдивости» Пушкина. «Для меня,—заявлял один из наиболее горячих приверженцев этой теории М. О. Гершензон,—настолько несомненна глубочайшая автобиографичность Пушкина, до самых незначительных мелочей, что когда я, например, в стихотворении к Гнедичу «С Го-

мером долго ты...» читаю: «И светел ты сошел с таинственных вершин...»—у меня сейчас же встает вопрос: а в каком этаже Публичной Библиотеки помещалась квартира Гнедича». В. Вересаеву, энергично восставшему против такого чересчур элементарного понимания «автобиографичности» пушкинского творчества, ничего не стоило вдребезги разбить его (статья «Об автобиографичности Пушкина»). В противовес ему он и выдвинул свое уже известное нам положение о полном «несоответствии» жизни Пушкина и его творчества. Однако здесь, как и в большинстве своих высказываний о Пушкине, он впал в противоположную крайность. Психика почти всякого человека, а большого поэта-лирика в особенности, сложна, исполнена разнообразнейших оттенков, нередко даже противоречива и во всяком случае отнюдь не определяется только формально-логическими категориями: «да—да», «нет—нет». Из того, что через столько-то месяцев после своего знаменитого стихотворения, обращенного к Керн, Пушкин величал ее же в письмах к друзьям «вавилонской блудницей», совсем не явствует, как это полагает В. Вересаев, что в некое мгновенье (ведь и в стихах речь подчеркнуто идет о «мгновенье» да еще «чудном»—чудесном, преображающем), под влиянием которого и было написано упомянутое стихотворное обращение, эта же самая Керн не могла предстать влюбленному поэту в аспекте «гения чистой красоты». То, что Керн—«гений чистой красоты»,—не факт ее биографии, но несомненный факт биографии Пушкина. Вот чего никак не хочет понять отбросивший «план» пушкинского творческого сознания и занимающийся только «планом» пушкинской якобы «жизни» (ибо о какой же «жизни» поэта может идти речь, если отвлечь от нее самое главное—его творческие часы и минуты) Вересаев.

Однако даже и не в этом в конце концов дело. Отношения между жизнью и творчеством гораздо органичнее и сложнее простого фотографически точного фиксирования действительности. Гораздо важнее внешней автобиографичности творчества то, что в нем мы имеем ряд фактов внутренней биографии поэта, то, что поэт живет не только фактами своей внешней жизни, но и своими творческими образами. Прав не Гершензон со своим абсолютным признанием внешней автобиографичности Пушкина и не Вересаев в своем не менее безусловном ее отрицании, а Белинский, который в одной из статей, написанных им еще при жизни Пушкина и вызвавших одобрение последнего, восторженно восклицал: «Да, я свято верю, что он вполне разделял безотрадную муку отверженной любви черноокой черкешенки или своей пленительной Татьяны, этого лучшего и любимейшего идеала его фантазии, что он, вместе с своим мрачным Гиреем, томился этой тоской души, пресыщенной наслаждениями и все еще не ведавшей наслаждения; что он горел неистовым огнем ревности, вместе с Заремой и Алеко, и упивался дикой любовью Земфиры; что он скорбел и радовался за свои идеалы, что журчание его стихов согласовалось с его рыданиями и смехом...»

«Разделял муку любви черкешенки» это совсем не значит, что сам Пушкин был черкешенкой, что, оставаясь последовательным, должен был бы признать Гершензон, и что был бы совершенно в праве отрицать Вересаев. «Журчание его стихов согласовалось с его рыданиями и смехом»—это неизмеримо глубже вопроса о том, в каком этаже жил Гнедич. Мир творчества органически включен в жизнь поэта. Творческая эволюция, течение образов, ритмов и композиций, смена жанров и литературных влияний («байронизм», «шекспиризм» и т. д.), изменение стиля и языка—это не

просто переход от одних форм к другим, рост поэтического мастерства, управляемого творческим произволом поэта, но и история его внутреннего развития, фазы духовного роста, эволюция мироощущения. Во время михайловской ссылки Пушкина и работы его над своей шекспировской трагедией Жуковский в письме к нему радовался, что он перестал «быть эпиграммой» и становился «поэмой». Здесь чисто жанровые определения обозначают различные периоды пушкинской биографии, характеризуют различный душевный настрой поэта, иные типы отношения к действительности Пушкина конца 10-х и середины 20-х годов—автора «вольных стихов» и автора «Бориса Годунова». Сам поэт однажды отозвался о себе совсем



ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К „СТАНЦИОННОМУ СМОТРИТЕЛЮ"
Рисунок сепией М. Добужинского
Издание „Международной книги", 1934 г.

в таком же роде: «Жизнь моя сбивалась иногда на эпиграмму, но вообще она была элегией».

Игнорировать в биографии поэта творческую сторону его жизни—значит игнорировать главное.

Вторым существеннейшим вопросом пушкинской биографии, как и всякой биографии вообще, который не получил да и не мог получить сколько-нибудь удовлетворительного ответа у всех старых биографов, является вопрос об отношении между жизнью, личностью и творчеством поэта и современной ему исторической средой. Разрешение этой проблемы конечно целиком упирается в общий вопрос о научно-философском миросозерцании и обусловленном им методе того или иного биографа-исследователя. Наиболее примитивными в этом отношении биографами Пушкина—авторами чисто «фактических» биографий—проблема эта попросту не ставилась. Всю поверхность своего полотна они заполняли фигурой поэта в качестве совершенно отдельной самодовлеющей личности, ограничиваясь самыми необхо-

димыми историческими указаниями почти только хронологического порядка. Представители историко-культурной школы ставили проблему, но решали ее чисто механически, по традиционной формуле типа «Гете и его время»—портрет и историческая рама. Наши литературоведы-марксисты естественно не могли удовлетвориться таким построением биографии, но и не дали никакого другого, ибо самая проблема биографии была (перелом в этом отношении наблюдается только в последние годы) вовсе изгнана из нашего советского литературоведения.

Капиталистическое производство эпохи империализма сделало человека обессмысленным винтиком производственной машины. Это отразилось и в новейшей буржуазной философии, и в буржуазной науке. В буржуазном литературоведении также начался характерный поход против «биографизма», восторжествовал формализм, неспособный видеть в художественном произведении ничего кроме совокупности формальных элементов и приемов их сочетаний, подменяющий изучение художественно-оформленной и д е о л о г и и—исторического, классового сознания в его конкретном воплощении в живую личность художника—всякого рода чисто технологическими изысканиями. Из формализма эта своеобразная боязнь всего, что так или иначе связано с живой личностью художника, перекинулась в около-марксистское литературоведение, точнее, литературоведение, которое само себя именовало марксистским. Между тем классики марксизма совсем иначе смотрят на роль личности в истории. «Идея исторической необходимости,—пишет Ленин,—ничуть не подрывает роли личности в истории: история вся слагается именно из действий личностей, представляющих из себя несомненных деятелей» («Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов?»). Марксистская диалектика дает нам и единственно правильное решение проблемы об отношении личности и общества, личности и «истории». Вне связи с общим—с социальным—личность—отдельное—не существует. Но и социальное существует не абстрактно, не само по себе, не в н е личностей, а в н и х и ч е р е з н и х—в конкретном воплощении в живых исторических «деятелей». Деятельность отдельного «исторического», «делающего эпоху» человека—конкретное воплощение исторического процесса вообще. Описание этой деятельности—биография—показ, вскрытие исторического процесса в индивидууме.

Творческая жизнь Пушкина—конкретное выражение современного ему исторического процесса—движения русской жизни от «восемнадцатого века» к «девятнадцатому»—от феодально-крепостнической действительности к действительности буржуазной. Раздираемый противоречиями между «стариной» и «новизной», всем, что было в нем от старого мира, отбрасываемый назад и все же неудержимо шагнувший далеко вперед—таков великий культурно-исторический деятель—Пушкин.

Узко-личная жизнь Пушкина—его житейские перипетии, быт, связи и отношения с людьми, пресловутые пушкинские «романы» и т. д. и т. д.—более или менее существенный подсобный материал к созданию социальной биографии Пушкина, в которой личное, отдельное будет дано в его пронизанности общим, социальным, во всех его конкретно-исторических связях и опосредствованиях, в которой человек неразрывно слит с творцом, с великим культурно-историческим деятелем.

Такая биография Пушкина может быть создана только в пределах советского марксистско-ленинского литературоведения. И обязанность нашего литературоведения к столетнему юбилею смерти поэта ее создать.

II. РАЗЫСКАНИЯ ПО ИСТОРИИ ТВОРЧЕСТВА И БИОГРАФИИ ПУШКИНА

ИЗ ПУШКИНСКИХ РУКОПИСЕЙ

Статья Б. Томашевского

1

Среди рукописей, перешедших от сына Жуковского к Бартеневу, а через него—к Л. Н. Майкову, имеется несколько обрывков, сохранившихся вероятно только потому, что на них находятся рисунки Пушкина. На текст этих клочков владельцы мало обращали внимания и, аккуратно вырезая из этих листков кружки и овалы (повидимому чтобы вставлять их в рамки), они отрезали строки текста. В самом деле пожалуй главный интерес этих документов—в рисунках. Однако пренебрегать текстом этих листков не приходится. Этот текст представляет собой часто много любопытного. Остановимся на двух листках (шифр 410 и 408). Текст одного листка является предметом специальной заметки Н. К. Дмитриева. Это запись турецких слов и фраз с французским, а иногда русским переводом. По внешнему виду это типичные «Турецко-русские разговоры», своеобразный кусочек справочника «Русский в Турции». Здесь фрагмент какого-то хаотического разговора, повидимому хозяина с гостем. Хозяин говорит приветствие, гость ему отвечает тем же. Идут расспросы о здоровье, повидимому из вежливости, так как, судя по ответу, собеседник находится в вожделенном здравии. Здесь же какие-то попутные фразы: «закройте дверь», «благодарю вас» и тому подобное.

Анализ записи, сделанный Н. К. Дмитриевым, делает наиболее вероятным предположение, что запись эта была сделана в Кишиневе. Повидимому есть возможность еще точнее определить дату записи: среди профилей, набросанных на обороте, обращает на себя внимание профиль женщины на зачерненном фоне. Совершенно такой же профиль находится на другом из двух названных листков и здесь он датирован: «26 сентября 1821 года».

Изображенная здесь женщина обладает очень характерным восточным типом. Хотя и нетрудно было встретить в Кишиневе восточную женщину, но данный профиль невольно приводит на мысль имя Калипсо Полихрони, которой посвятил Пушкин свое стихотворение «Гречанке». «Она была невысока ростом, худощава и черты у нее были правильные; но природа с бедняжкой захотела сыграть дурную шутку, посреди приятного лица ее прилепив ей огромный ястребиный нос» (Вигель). Подобное же описание ее наружности дает Липранди: наряду с огромным носом он отмечает густые волосы и большие глаза, особенно заметные оттого, что Калипсо красилась. «Блистанье зеркальных очей» фигурирует в стихотворении Пушкина. Это описание весьма соответствует рисунку Пушкина. Непропорционально большой нос, непропорционально

большие глаза, повидимому маленькая фигурка,—всё это может быть отнесено к Калипсо[1]. Сходится и дата: Калипсо прибыла с матерью в Кишинев в середине 1821 г. Для Пушкина интерес к ней был двоякий: она бежала из Константинополя после греческого восстания; в Греции она знала Байрона. Таким образом на фоне политических событий дня она была интересной личностью. Повидимому и увлечение Пушкина этой гречанкой, если и было в действительности, имело «умственное» происхождение[2].

Интерес к греческому восстанию в это время был велик. В марте Ипсиланти перешел через Прут. В августе ходили слухи, что предстоит война России с Турцией в пользу Греции. В этой войне Пушкин готовился принять участие. Ходили даже слухи о бегстве Пушкина к грекам. В письме Тургеневу он высказывает явное желание не оставлять юга в случае войны. Проблема войны его особенно интересует. В ноябре он ведет споры с Мих. Орловым о войне. Занимая резко отрицательную позицию по отношению к войне вообще, Пушкин, как это видно из стихотворения «Война», написанного тогда же, считает необходимым принять участие в освободительной войне греков против турок, которую он ожидал с нетерпением[3].

Но побывать ему в Турции на этот раз не удалось. Свои сведения из турецкого языка ему пришлось применить к делу значительно позднее, когда он ехал в армию Паскевича. В двенадцати верстах от Карса произошла сцена, которую описывает Пушкин: «Мне указали караван-сарай; я вошел в большую саклю, похожую на хлев; не было места где бы я мог разостлать бурку. Я стал требовать лошадь. Ко мне явился турецкий старшина. На все его непонятные речи отвечал я одно: *вербана ат* (дай мне лошадь)» («Путешествие в Арзрум»). Это «вербана» (с той же странностью в последовательности турецких слов вместо более естественного «бана вер») дважды фигурирует в настоящей записи.

Вернемся однако к листку. Если изучение турецких разговоров гармонирует с настроением 1821 г., то так же гармонируют с этим годом рисунки на обороте. Это несомненные портреты. Не все могут быть отождествлены. Возможно, что профиль лысеющего генерала должен изображать Мих. Орлова, но утверждать этого нельзя. Но несомненны два изображения: автопортрет (его Пушкин набросал, перевернув листок) и рядом с ним (между автопортретом и предполагаемым изображением Калипсо) профиль молодого Чаадаева. Пушкин думал о Чаадаеве. В 1820 и в 1821 гг. он писал ему послания. Второе послание появилось в печати в августе 1821 г., и Пушкин увидел книжку «Сына Отечества», где оно появилось, 20 сентября 1821 г. (см. письмо Гречу 21 сентября 1821 г.). Этот портрет свидетельствует о большой зрительной памяти Пушкина: рисовать Чаадаева он мог только по памяти.

Не менее любопытен и другой листок. На оборотной стороне мы находим несколько стихотворных строк. Первая из них читается:

Уж как пал туман седой на синее море.

Над слогами расставлены знаки краткости и долготы (при чем характерно, что для слова «туман» дано два варианта: неударный и ударный слог, или два неударных слога).

Подобные записи отдельных строк из народных песен с разметками краткости и долготы (т. е. точнее—ударных и неударных слогов) часто

Temupp apportez
bré Hola
capu capa fermez la porte
iox [illegible]
culmadi [illegible]
Mahomerolane je vous [illegible]
verbana donnez moi
Guzel
Rux meek
Sabanis Hairolsun heureux jour
[illegible]
Bulldum [illegible]
bulmadi je [illegible] trouvé
Ke fe nisi imi — votre santé ?
[illegible] bien
a kaimanet à Dieu
bas tête

ЗАПИСЬ ТУРЕЦКИХ СЛОВ И ФРАЗ, СДЕЛАННАЯ ПУШКИНЫМ В КИШИНЕВЕ

Институт Русской Литературы, Ленинград

РИСУНКИ ПУШКИНА НА ОБОРОТЕ ЗАПИСИ ТУРЕЦКИХ СЛОВ И ФРАЗ

Институт Русской Литературы, Ленинград

встречается в рукописях Пушкина. Так на письме Плетнева от 18 июля 1825 г. так же нотирован стих:

Не курится там огонек малешенек.

На разорванном черновике стих. «Я помню чудное мгновенье» есть запись:

Расходились по поганскому граду
Разломали темную темницу.

Всё это—попытки уловить ритм русского народного стиха, и все они имели для Пушкина практическое творческое значение. Мне приходилось говорить в другом месте, в какой зависимости от последней записи (которую можно приблизительно датировать началом 1827 г.) находятся «Песни Западных Славян». Как мы увидим, первая запись сейчас же применяется в собственном творчестве.

П. Я. ЧААДАЕВ
Портрет неизвестного художника. Масло
Институт Русской Литературы, Ленинград

Какой смысл всех этих записей? Они примыкают к модной в то время идее создания правильного литературного стихосложения на основе народной песни. Идея эта не нова: через нее пришел к тоническому стихосложению Тредиаковский; позднее к ней подходил Радищев; увлекались ею Львов, Капнист; она оказала свое влияние на творчество Державина. К 1821 г. эта идея особенно была представлена работами Востокова, который выпустил в 1817 г. отдельной книжкой свой «Опыт о русском стихосложении» (переиздание статей из «Петербургского Вестника» 1812 г.), в которой половина посвящена «народному русскому или тоническому» стихосложению. Для Востокова русский стих представлялся чем-то вроде позднейшего «дольника» или «паузника», т. е. стихом с постоянным числом ударений и произвольным числом неударных слогов. В порядке возражения Востокову Н. А. Цертелев написал две статьи в «Сыне Отечества» (1818 и 1820). В этих статьях автор доказывает, «что старинные русские песни имеют стихосложение, основанное на числе стоп, а не на числе ударений», т. е., иначе говоря, что нет принципиальной разницы между русской письменной и устной поэзией. Нарушение литературной правильности в чередовании ударных и неударных слогов Цертелев объяснял порчей передачи. Поэтому

сам он не удерживался от исправлений текста, выравнивая ударения[4]. Так тот же стих, что и выписанный Пушкиным, цитируется Цертелевым:

Уж как пал туман на сине́ море.

Вот вывод автора: «в русских песнях находим мы совершенно правильные разного рода метрические стихи, которых гармония весьма непротивна слуху, и может быть употреблена поэтами нашими с успехом» («Сын Отечества», июль 1820, ч. 63, № XXVII, стр. 13). Расходясь с Востоковым в оценке самого стиха русской песни, Н. Цертелев разделял его идею о применимости народных размеров в творчестве новых поэтов[5].

Запись Пушкина, который был конечно в курсе полемики, показывает, что он разделял позицию Востокова, а не Цертелева. Это же он сказал много позднее, заявив: «Много говорили о настоящем русском стихе. А. К. Востоков определил его с большою удачностию и сметливостию. Вероятно, будущий наш эпический поэт изберет его и сделает народным».

Идея, что русский народный стих может быть положен в основу эпического произведения, была у Пушкина еще в 1821 г. Немедленно вслед за цитированной строкой читаем следующие несколько разрозненные строки:

Гостомыслову могилу грозную вижу
Легконогие олени* по лесу рыщут

Есть надежда! Верь, Вадим, народ** [натерпелся]
Он далече далече плывет в печальном тумане.

Первый стих этой записи имеет полную разметку неударных и ударных слогов, второй и третий стихи не размечены, последний размечен, кончая словом «плывет» (т. е. в пределах расхождения с ритмическим образцом «Уж как пал туман»).

Если первая строка дает нам ключ к литературной стороне дела, то эти строки вскрывают перед нами другую сторону. Нетрудно установить, к чему относятся эти стихи. Среди набросков Пушкина мы находим следующий план, приурочиваемый издателями к 1822 г.: «Вадим влюблен; Рогнеда дочь Гостомысла, она невеста Громвала—славянина Рюрика. Вадим и его шайка таятся близ могилы Гостомысла». Или другой план: «Вечер—русский берег—ладья—рыбак—Вадим—не спит—он утром засыпает—рыбак хочет его убить—Вадим видит во сне его набеги, Гостомысла, Рюрика, Рогнеду—вновь на ладье идет—к Новгороду. Могила Гостомысла».

Общественно-политическое значение «Вадима» в творчестве Пушкина давно было отмечено в пушкинской литературе. Еще Анненков в своей работе «Пушкин в Александровскую эпоху» указал, что персонажи произведения «составляли только весьма прозрачную аллегорию, в которой легко было разобрать настоящих деятелей и настоящих врагов». Вадим, как известно, образ не новый в литературе и притом образ, служивший в качестве экрана свободолюбивой декламации. Та́ков он в трагедии Княжнина и в думе Рылеева (написанной вскоре после пушкинских набросков).

---

* Было «козы» или «козы» (косули?).
** Было «град».

Возникновение мысли написать поэму или трагедию о Вадиме приписывают вполне справедливо внушению единомышленника Рылеева В. Ф. Раевского. Отрывки Пушкина на сюжет о Вадиме так охарактеризованы П. Е. Щеголевым в их отношении к общению Пушкина и Раевского: «Дума Рылеева не была известна Пушкину во время его пребывания в Кишиневе; зато от Раевского, постоянно проповедывавшего о самобытности, Пушкин не мало наслышался о древнеславянской свободе Новгорода, Пскова, о Вадиме. Принимаясь за обработку темы о Вадиме, Пушкин не только вспоминал рассуждения Раевского, но имел перед собой и «Певца в темнице»[6]. Из его планов ничего не вышло; до нас сохранились кроме программы два отрывка: один предназначался для драмы о Вадиме, другой для поэмы. В первом отрывке мы найдем кое-что о древнеславянской свободе и о народе, влачащем свое ярмо. Вадим расспрашивает Рогдая: «Ты видел Новгород—ты слышал глас народа: скажи, Рогдай, жива ль славянская свобода? Иль князя чуждого покорные рабы—решились оправдать гонения судьбы?» Рогдай отвечает: «Народ нетерпеливый, старинной вольности питомец горделивый, досадуя влачит позорный свой ярем...» и т. д. Невольно вспоминается то впечатление, которое произвел на Пушкина отрывок из стихотворения Раевского, рисующий положение народа под ярмом власти. В отрывке из поэмы образ Вадима развит подробнее и представляет уклонение от типа Вадима—героя-революционера; тут заметно влияние Вадима в изображении Жуковского. Между прочим во сне Вадим Пушкина видит Новгород. Поэт рисует картину запустения. «Он видит Новгород великий,—знакомый терем с давних пор; но тын оброс крапивой дикой, обвиты окна павиликой,—в траве заглох широкий двор» и т. д. Не приходили ли на память Пушкину стихи Раевского: «Погибли Новгород и Псков, — во прахе пышные жилища» и т. д. (П. Е. Щеголев. «Декабристы», 1926, стр. 45—46).

Догадка П. Е. Щеголева требует только одного исправления—в дате пушкинского замысла. «Вадим» относится не ко времени заключения Раевского в тираспольской тюрьме, а ко времени живого непосредственного общения с ним Пушкина. «Два демагога, два изувера, адъютант Охотников и майор Раевский, с жаром витийствовали. Тут был и Липранди... На беду попался тут и Пушкин, которого сама судьба всегда совала в среду недовольных... К их пылкому патриотизму, как полынь к розе, стал прививаться тут западный либерализм. Перед своим великим и неудачным предприятием нередко посещал сей дом с другими соумышленниками Александр Ипсиланти», так описывал собрания у Мих. Орлова чиновник Вигель. Липранди сообщает о встречах Пушкина с В. Ф. Раевским. «Здесь не было карт и танцев, а шла иногда очень шумная беседа, спор, и всегда о чем-нибудь дельном, в особенности у Пушкина с Раевским, и этот последний, по моему мнению, очень много способствовал к подстреканию Пушкина заняться положительной историей и в особенности географией». Пушкин был готов к принятию литературных советов Раевского, который разделял позицию Катенина, уже оказавшего значительное влияние на взгляды Пушкина до его отъезда на юг (см. об этом ниже публикацию Ю. Оксмана «Пушкин в ссылке»). И здесь проповедь «русских» тем и «русского» стиля сочеталась с радикальной политической мыслью, и принципы А. С. Шишкова претерпевали идеологическое преображение.

становясь орудием революционной идеологии. От «Руслана» к «русским» поэмам шаг был не далек. Нет ничего странного, что Пушкин встретился с Цертелевым в идее написать стилем народных песен поэму из русской истории. Но сходство литературных принципов не могло замаскировать коренного их расхождения, и понятно поэма «Вадим» возникла не только вне всякого литературного влияния Цертелева, но была повидимому даже полемична по отношению к цертелевским теоретическим взглядам.

«Вадим» остался ненаписанным и дальше фрагментов дело не пошло. Но определенный след в творчестве Пушкина остался. Исторические сюжеты вошли в творческую лабораторию Пушкина. «Борис Годунов», «Полтава» об этом свидетельствуют. При этом в обоих случаях это не нейтральные исторические моменты, а эпизоды из таких народных движений, которые легко осмысляются как аналогии революционных событий нового времени. Таким же образом позднее Пушкин избрал в качестве сюжета романа пугачевское восстание.

В совершенно измененной функции встречаем мы в творчестве Пушкина и применение литературного принципа, легшего в основу публикуемого отрывка: народный стих применен Пушкиным в 30-х годах (после опытов 1828 г.) к «Песням Западных Славян».

II

«Первое послание цензору» до последнего времени было известно только по печатным публикациям довольно позднего времени. В свое время оно не могло быть напечатано и долгое время рассматривалось как стихотворение, с цензурной точки зрения непозволительное. Поэтому до последнего времени не было уверенности в исправности текста.

Теперь такой автограф найден. Это набело переписанное рукой Пушкина послание, как видно из надписи Павла Жуковского, принадлежало В. А. Жуковскому; Павлом Жуковским оно пожертвовано Саратовскому (Радищевскому) музею 7/19 августа 1884 г. и ныне поступило в Ленинскую библиотеку. Помимо инвентарных номеров, штемпелей и прочих охранных помет оно носит на себе карандашную разметку орфографических особенностей, сделанную повидимому П. В. Жуковским и не обнаруживающую глубокого знания и тонкого понимания вопроса. Все особенности подчеркнуты и отмечены на полях крестиком.

Рукопись эта не дает чего-нибудь разительно нового. Она ценна тем, что позволяет нам освободиться от всех опечаток прежних изданий и искажений переписчиков в известных нам копиях. Текст этого автографа уже воспроизведен в печати в шеститомном издании ГИХЛ'а. Рукопись настолько чисто написана, что ее воспроизведение не требует печатной передачи текста (см. ниже).

Как и следовало ожидать, послание называется не «Первое послание к цензору», а просто «Послание Цензору»: Пушкин не собирался писать второго послания.

Дата этого послания определяется двумя данными: списком стихотворений 1821 и 1822 гг., сделанным самим Пушкиным, где оно отнесено к 1822 г., и письмом к Вяземскому от 6 февраля 1823 г., где оно упоминается как новинка. Если видеть в одной фразе из письма к Вяземскому от последних чисел декабря 1822 г., где Пушкин сообщает о намерении своем «скоро связаться с Бируковым», указание на данное

послание, то оно должно относиться к самому концу года, а может быть и к началу следующего. В письме от февраля 1823 г. Пушкин называет его посланием к Бирукову. Понятно, образ этого анекдотического цензора предстоял пред его сознанием, когда он писал свое послание. Однако его настоящее название пожалуй надо считать более соответствующим предмету. Это послание к цензору вообще, оценка всей цензуры 20-х годов.

Обстановка конца 1822 г. сильно отличается от обстановки сентября 1821 г. Во-первых, ближайшее окружение Пушкина изменилось. Не

РИСУНОК ПУШКИНА, ИЗОБРАЖАЮЩИЙ КАЛИПСО НА ОБОРОТЕ НАБРОСКОВ К „ВАДИМУ“

Институт Русской Литературы, Ленинград

было больше ни Раевского, ни Охотникова. Первый был арестован в феврале 1822 г. по обвинению в революционной пропаганде среди солдат и заключен в тираспольскую крепость. Второй «по домашним обстоятельствам» уволен в апреле того же года. Республиканская проповедь умолкла. Приносила разочарование и общая обстановка. Революционные движения на юге Европы, вспыхнувшие в 1820 и 1821 гг., были подавлены. Эпоха реакции наступила, казалось, прочно и надолго. Естественна некоторая депрессия. Эта депрессия достигает своего апогея в ноябре 1823 г., когда Пушкин пишет:

Паситесь, мирные народы!
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Этой меры политического пессимизма еще не было в конце 1822 г., но и тогда уже для Пушкина не было вопроса о революционной пропаганде. Дело сводилось к легальным возможностям. Это ощущал и сам Пушкин. Впоследствии, вспоминая написанное им, он отрицал противоправительственные мотивы в своей поэзии, и не потому, что он отрекался от оппозиционных настроений, а потому, что, как ему казалось, он честно выполнил обязательство ничего не писать против правительства. В мае 1825 г. он писал Жуковскому: «Я обещал Н. М. [Карамзину] два года ничего не писать противу правительства и не писал. *Кинжал* не против правительства писан и хоть стихи и не совсем чисты в отношении слога, но намерение в них безгрешно».

Конечно послание цензору тоже «не против правительства писано». Иначе говоря, это не есть акт *революционной* пропаганды; но это послание всё же оппозиционно, хотя и остается в рамках легальной, «парламентской» оппозиции.

Жанр послания в александрийских стихах не был новым для Пушкина. Он практиковал его, начиная с арзамасских времен. Таковы послания «К другу-стихотворцу» 1814, «К Жуковскому» 1816, «Чаадаеву» и «К Овидию» 1821 г. Первые послания были чисто литературными и в жанровом отношении восходили к посланиям Буало, последние всё более приближались к типу общественных, публицистических и образцом имели послания Вольтера.

Общественная жизнь конца XVIII и начала XIX в. в ее литературном отражении определялась двумя именами: Вольтера и Руссо. Скептический иронист Вольтер, по существу готовый на компромисс, и пламенный филантроп Руссо определяли два направления, два фланга оппозиции старому порядку. «Вольтерьянство» стало уделом умеренной оппозиции, строившей политические идеалы на «Духе законов» Монтескье и видевшей политический идеал в английском конституционном строе. Это была идеология тех, кто фактически был хозяином положения и кому недоставало только юридического признания, политического господства. В основе этой идеологии лежало убеждение, что в обществе всё обстоит благополучно и что все несчастия происходят от плохих законов. Достаточно хорошего законодательства, регулирующего человеческие отношения, и больше мечтать не о чем. Для Пушкина преобладающим влиянием было всегда влияние Вольтера. В петербургский период до ссылки на юг это влияние было определяющим. Политическая язвительность эпиграмм сочеталась с верой в законодательное чудо. Естественный закон, разрешающий все политические вопросы,—вот основная мысль «Вольности»:

Владыки! вам венец и трон
Дает Закон—а не Природа—
Стоите выше вы Народа,
Но вечный выше вас Закон.
И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль Народу иль царям
Законом властвовать возможно.

. . . .

Склонитесь первые главой
Под сень надежную Закона...

Ср. стихи «Деревни»:

Я здесь от суетных оков освобожденный
Учуся в истине блаженство находить,
Свободною душой закон боготворить,
Роптанью не внимать толпы не просвещенной...

«Тирания» Наполеона для Пушкина была отрицательным принципом, которому противостоял конституционный легитимизм Бурбонов. Реставрация 1814 г. знаменовала для Пушкина не ликвидацию революции, а торжество либерального начала над деспотическим принципом бонапартовского режима.

СТИХОТВОРНЫЕ НАБРОСКИ ПУШКИНА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К „ВАДИМУ“

Институт Русской Литературы, Ленинград

И вдруг на юге всё изменилось. Режим Бурбонов трещал по всем швам. Революционные движения свидетельствовали о том, что благодетельная законность не охраняет «народов вольность и покой». На Пушкина нахлынули руссоистские настроения. Эти настроения связывались в прошлом с якобинскими системами. Слово «республика» не пугало южных декабристов. Оно связывалось не столько с политической системой, сколько с социальным мировоззрением. «Республика» вела не к канонической системе Монтескье, а к иным типам государственного устройства, в частности к системе Американских штатов. Имя Вашингтона противопоставлялось Наполеону. Да и самая Америка сквозь руссоистское изображение Шатобриана (несмотря на реакционный

образ мыслей автора) и патриотический роман Купера («Шпион», 1821) казалась обетованной страной. В систему Пушкина южанами был внесен корректив: оказалось, что зло не в дурном законодательстве, а в самом обществе, в конфликтах, возникающих в нем самом. В соединении с романтическим переосмыслением восприятия экзотической, первобытной, не тронутой растлевающим влиянием насквозь конфликтного современного европейского общества, с руссоистской идиллией первобытного общества у Пушкина сложилась идея противопоставления личности обществу: идеи Байрона оказались современными и плодотворными. Отсюда «Кавказский пленник» и «Братья-разбойники» и в какой-то мере «Бахчисарайский фонтан» и позднейшие «Цыганы». Отсюда и культ лирической индивидуальности, и потребность в лирическом герое-авторе, и автобиографизм (часто деланный) его стихотворений. Всё это элементы одного мировоззрения, пронизывавшего и общественно-политическое, и литературное сознание Пушкина, и его самосознание как действующей личности.

Но это настроение, характерное для 1821 г. и продержавшееся до 1824 г., временами спадает. Такой спад, с возвращением к привычной вольтеровской манере стороннего скептически-иронического наблюдателя, встречает нас в «Послании цензору».

Послание это было рассчитано на широкое распространение в рукописи. Следовательно произведение носило характер полулегального, не анонимного. Подобное произведение естественно приспособлялось к аудитории и в частности учитывало то впечатление, какое оно может произвести в правительственных кругах. Поэтому было бы наивно видеть в этом послании искреннюю исповедь автора, изложение его взглядов на цензуру. Мнение Пушкина о цензуре, сложившееся под влиянием пропаганды Б. Констана, сводилось к полному неприятию цензуры [7]. Личные столкновения с этим учреждением только укрепляли определенное отношение к цензуре, особенно в мрачные времена голицынской цензуры. Но в таком случае, о каком же послании цензору могла итти речь? Пушкин избрал иную дорогу и занял позицию «общего языка», т. е. позицию приятия «хорошей» цензуры:

Не бойся: не хочу, прельщенный мыслью ложной,
Цензуру поносить хулой неосторожной;
Что нужно Лондону, то рано для Москвы...

Иронизм этого «общего языка» был ясен для читателя и никого не убеждал в спасительности цензуры. Подобный вольтеровский тон легкой насмешки над собеседником ставил Пушкина в особые литературные условия при написании послания, и сохранившаяся рукопись, относящаяся к черновому периоду работы, представляет некоторые особенности сравнительно с обычными для Пушкина приемами создания стихотворения. Любопытно, что в некоторых отношениях эти приемы скрещиваются с приведенными строками первоначального замысла «Вадима». Подобное послание должно было отличаться афористичностью, давать легко запоминаемые формулы, раздергиваться на пословицы. Подобный характер носили и прежние послания Пушкина. Так в послание Чаадаеву 1821 г. введены эпиграммы против Толстого, против Каченовского и изречения вроде: «Умел я презирать, умел и ненавидеть».

Ради большей отточенности таких афоризмов и эпиграмм Пушкин обратился к методу поэтических «заготовок», т. е. обработки отдельных стихов прежде создания целого. Эти заготовки были уже опубликованы Якушкиным в третьем томе академического издания, но не точно и не вразумительно. Вот эти отрывки в связном виде (в скобках—дополнения недописанного из окончательной редакции):

1) Потребности Ума не всюду таковы
Сегодня разреши свободу нам тисненья
Что завтра выдет в свет: Баркова сочиненья.

---

2) Иного рифмача единственный читатель.

---

3) Парнасскую толпу нелегкая встревожит
Тот ан(глийский роман с французского преложит)
Тот слепит водевиль потея да кряхтя
Другой трагедию состряпает шутя
До них нам дела нет—а ты читай возися
Зевая* разбирай и дремля подпишися.

---

4) (он хочет) может быть
Проведать дельное иль сердце освежить
И чтеньем обновить его существованье
А должен он терять бесплодное (вниманье)
На (бредни новые какого-то враля).
5) в них ищи его с начала
6) То личность дерзкую то площадную брань
Наемной критики затейливую дань.

---

7) Он сердцем почитать (привык алтарь и трон)
Опасный умысел вдруг отличает он
Но правде и добру пути не заграждает
Младой поэзии резвиться не мешает
Принять ответственность умеет на себя
Закону преданный отечество (любя).
Он друг писателю—не низок, не труслив
Благоразумен, тверд — — — прозорлив.

---

8) А ты глупец и трус что (делаешь ты с нами)
9) прозы нет.

Характер этой рукописи (намеченные, но недописанные стихи) свидетельствует о том, что ей предшествовал первый творческий черновик. Таким образом перед нами не первоначальные наброски отдельных стихов, а уже вторая стадия обработки ответственных мест.

Любопытен первый отрывок. Он не вошел в окончательную редакцию послания. Но повидимому первый стих совпадает со стихом: «У нас писатели я знаю каковы». За это говорят черновые варианты отрывка. Начат он был сперва так:

Умы Российские, мы знаем, каковы
Сегодня разреши свободу им тисненья... и т. д.

Затем первый стих был переделан: «Потребности у нас мы знаем каковы» и затем уже стихам придан окончательный вид. Рифма и струк-

* У Пушкина описка: «Зевай».

тура свидетельствуют, что этому отрывку непосредственно предшествовал стих «Что нужно Лондону, то рано для Москвы». Таким образом наш отрывок являлся мотивировкой этого положения. Англия как классическая страна свободы печати (обычно цитируемая в качестве таковой у публицистов того времени: Б. Констана [8], Делольма и др.) и Россия как типичная страна цензуры, для которой свобода печати еще преждевременна,—таково содержание иронического изречения. Однако надо сказать, что в беловой редакции это мотивировано слабо и неясно. Политическая незрелость литературы, которая вне цензурных рамок создает только порнографию и для которой этим и исчерпывается вся потребность ума в свободе,—это было гораздо острее, но и рискованнее, так как давало козырь в руки защитника цензуры. Пушкин предпочел откровенно-иронический ход, хотя и лишил его четкости: не сразу ясно, что писательских мыслей цензурная расправа не теснит только потому, что эти мысли не слишком высокого полета. С другой стороны, быть может имя Баркова было убрано из соображений приличия (ср. «И даже имени такого не смею громко произнесть»).

То, что указанный отрывок относится именно к данному месту послания, следует отчасти из положения его среди прочих отрывков. У Пушкина повидимому была уже схема послания и какие-то черновые наброски (о чем свидетельствуют недописанные стихи—обычное явление, когда Пушкин переписывал начерно уже написанное). Отрывки нашего автографа строго следуют в своей последовательности за ходом послания. Первый отрывок по своему положению в беловом тексте послания должен предшествовать второму, который является 12-м стихом произведения. В тесных пределах первых 11 стихов нет другого места, куда эти стихи могли бы быть приурочены.

Таким образом в окончательной редакции это место приняло вид:

У нас писатели я знаю каковы;
Их мыслей не теснит цензурная расправа,
И чистая душа перед тобою права.

Второй отрывок (начинавшийся первоначально словами «Иного Автора...») отличается от беловой редакции отсутствием указания на конкретных лиц. Если судить по первому отрывку, то одним из тезисов послания было указание на низкий уровень всей русской литературы. Пушкин в окончательной редакции отошел на арзамасские позиции борьбы с определенным направлением. Нейтральные слова были заменены именами Хвостова и Буниной.

Третий отрывок только стилистически отличается от беловой редакции. Черновые варианты ничтожны («Писателей» вместо последующего «Парнасскую толпу» и совпадающая с беловой редакцией первоначальная редакция предпоследнего стиха: Пушкин часто возвращался в окончательном тексте к зачеркнутым редакциям).

Четвертый отрывок первоначально начинался почти так же, как и в беловой редакции:

быть может хочет он
Ум чтеньем освежить.

Первая строка была переделана «порою он хотел» (в беловой редакции «порой захочет он»). Повидимому одновременно, не дописав второго

РИСУНКИ ПУШКИНА КИШИНЕВСКОГО ПЕРИОДА (НА ОБОРОТЕ ЛИСТКА С ПЛАНОМ „АКТЕОНА")

В нижней половине — портрет и набросок профиля Калипсо

Институт Русской Литературы. Ленинград

стиха, Пушкин наметил следующий. Вероятно это начало стиха согласовано было с беловой редакцией и следовательно первоначально читалось:

Роман или журнал (манят его желанье).

Когда-то представители враждебной «Беседы» вводили роман и журнал в ряд запретной, «вредной» литературы. В «Расхищенных шубах» развращающая свет литература перечислялась в следующем порядке:

Преслезных странствий семь, журналов пятьдесят,
Романов множество, сто жалостных баллад...

В 1822 г. уже не приходилось говорить о сантиментальных путешествиях и о балладах. Зато роман и журнал не только не потеряли своего значения, но наоборот—в значительной степени его повысили. Особенно это касается западноевропейского журнала и романа. Однако и здесь Пушкин не остановился на общем указании и в беловом тексте заменил его конкретными именами:

Но цензор—мученик; порой захочет он
Ум чтеньем освежить; Руссо, Вольтер, Бюфон,
Державин, Карамзин манят его желанье;
А должен посвятить бесплодное вниманье
На бредни новые какого-то враля...

Следующий отрывок непосредственно примыкает к этому же (от белового текста он отличается местоимением «его», написанным поверх прежнего и совпадающим с окончательным «ее»; повидимому слово «связь» Пушкин хотел было заменить каким-то другим, напр. «смысл»; точно так же «в них» написано поверх «в нем»).

Шестой отрывок дает два отличия от белового текста; расшифровать эти переделки можно было бы лишь точным учетом объектов пушкинских намеков. Эти объекты нам неизвестны. Повидимому здесь идет речь о Каченовском, но на какие именно факты намекает Пушкин, неясно.

Любопытен седьмой отрывок, рисующий «идеального» цензора. Бенжамен Констан, допуская в своей работе «О свободе брошюр, памфлетов и газет» условия, при которых цензура может оказаться неизбежной, в качестве ослабления ее отрицательного влияния выдвигал проект несменяемости цензоров. Несменяемость, примененная к судебной практике, в какой-то степени казалась гарантией независимости суждений: «Несменяемость цензоров не слишком исправила бы зло цензуры; но несомненно, что она имеет то преимущество, что придаст весу суждениям цензоров и следственно они будут умереннее и благоразумнее в своих действиях; вместо того чтобы считаться с ежедневными изменениями в настроениях власти, они бы считались с общественным мнением шире и свободнее; они бы приобрели в некоторой степени достоинство и тем самым беспристрастность суда; боязнь потерять место не преследовала бы их при чтении каждой строки, о которой от них требуется суждения, и если увеличить их число и предоставить автору свободу выбрать себе цензора, то создались бы условия не столь препятствующие развитию полезных идей и менее благоприятные для произвола, каприза и трусости» (B. de Constant. «Collection complète des ouvrages», premier volume, seconde partie. 1818, p. 431 note). Вот эти качества идеального цензора Б. Констана и рисует Пушкин. Самый характер защиты цензором порядка совпадает с указанием Констана на преступления печати, требующие вмешательства закона («Подстрекательство к убийству, к гражданской войне, призывы к неприятельской стране, прямое оскорбление главы государства не позволены ни в одной стране». «Principes de politique», p. 248). Таким образом этот образ идеального цензора не находился в прямом противоречии с принципами свободы печати в их либеральной интерпретации той эпохи. Вот почему можно было проповедывать свободу печати и одновременно внушать цензору, что сан его—священный.

Работа над этим отрывком сравнительно не велика: второй стих первоначально читался «Но мнений не теснит и правду терпит он»; затем слово «терпит» заменено словом «видит»; следующий стих сначала читался (с недостатком стопы) «Но он добра пути не заграждает», а затем переделан «Но Истине добру пути не заграждает». Вместо последнего слова отрывка первоначально стояло то же, что и в беловом тексте: «справедлив».

В беловом тексте имеются значительные отступления от первоначальной редакции, при чем стихи перестроены и дополнены двумя новыми. Особенно любопытен один стих беловой редакции, как бы перекликающийся с вышецитированным местом из Констана (в оригинале «des idées utiles», у Пушкина «полезная истина»).

Следующий стих без изменения вошел в беловой текст. Последний отрывок совсем не попал в «Послание». Он находится в связи со стихом: «Остались нам стихи: поэмы, триолеты». Данная формула возникает снова в черновых строфах III главы «Евгения Онегина»:

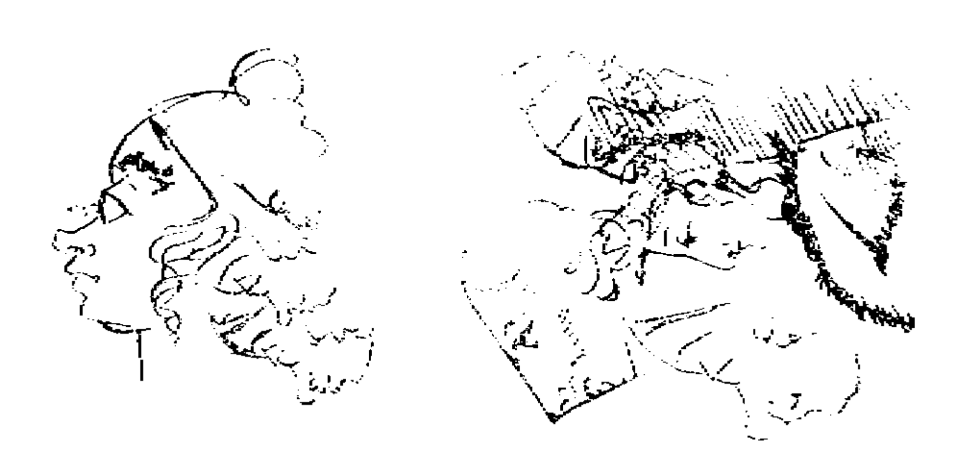
Поэты наши переводят,
А прозы нет. Один журнал

Исполнен приторных похвал,
Тот брани плоской...

Повидимому в связи с вариантом четвертого отрывка («роман или журнал») Пушкин предполагал отметить идеологическую роль прозы и ее жалкую судьбу в условиях придирчивой цензуры.

Как видим, «заготовки» захватывают только первую половину «Послания», при этом меньшую (43 стиха из 126).

Подобная манера заготовлять материал для посланий не является исключением в творчестве Пушкина. Точно так же например заготовлял он «Послание к Вяземскому», по всей вероятности не написанное



РИСУНКИ ПУШКИНА КИШИНЕВСКОГО ПЕРИОДА

Женский профиль в правой стороне листка является изображением Калипсо

Институт Русской Литературы, Ленинград

в окончательном виде. Это «Послание» относится к тому же времени (вероятно несколько раньше «Послания цензору»). Оно печатается обычно в составе только первых шести стихов по одной из тетрадей Ленинской библиотеки. Однако черновой набросок включает еще ряд отрывков. И они были опубликованы Якушкиным, но так же неудовлетворительно и обыкновенно ускользают от внимания читателей. Привожу здесь только сводный текст. Большая черновая работа Пушкина в данном отрывке имеет более стилистическое значение. Некоторые отрывки восстанавливаются предположительно, но я здесь этого не оговариваю, как не оговариваю и случаев восстановления зачеркнутого текста (если это необходимо для связного чтения).

Язвительный поэт, остряк замысловатый,
И смелостью ума и шутками богатый,
Счастливый Вяземский, завидую тебе:
Ты право получил, благодаря судьбе,
Смеяться весело над глупостью ревнивой,
Невежество разить анафемой игривой.

И в глупом бешенстве кричу я наконец
Хвостову—ты дурак, а Стурдзе—ты подлец.

———

А шутку не могу придумать я другую
Как только... »

———

Клим пошлою меня щекотит остротой.
Кто Фирс? задорный шут, красавец молодой,
Жеманный говорун, когда-то бывший в моде—
Толстому верный друг—по греческой методе,
Но можно ль комара тотчас не раздавить
И в грязь словцом одним глупца не превратить.

———

Так точно трусивший буян обиняком
Решит в харчевне спор надежным кулаком.

———

Блажен Фирсей—рифмач миролюбивый,
Никем не знаемый, услужливый, учтивый,
Как добрый Шаликов хвалитель записной,
Довольный изредка журнальной похвалой—
Невинный фабулист или смиренный лирик,
Но Феб во гневе мне промолвил: будь сатирик,
С тех пор бесплодный жар в груди моей горит,
Браниться жажду я — рука моя свербит.

———

Знаток насмешливой науки
Едва лукавый ум твои поймает звуки,
Он рифму грозную невольно затвердит,
И память темное названье сохранит.

Эти строки свидетельствуют о сатирическом настроении Пушкина в кишиневскую эпоху.

III

Пущин в своих воспоминаниях красочно описывает свое посещение Михайловского 11 января 1825 г. «Пушкин заставил меня рассказать ему про всех наших первокурсных Лицея: потребовал объяснения, каким образом из артиллериста я преобразился в судьи... Незаметно коснулись опять подозрений насчет общества. Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение отечеству, он вскочил со стула и вскрикнул: «Верно всё это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать»... Далее Пущин рассказывает, как во время чтения «Горя от ума», привезенного им Пушкину, явился настоятель Святогорского монастыря. «Пушкин выглянул в окно, как будто смутился и торопливо раскрыл лежавшую на столе «Четью-Минею». Монах вскоре удалился. Пущин понял смысл этого посещения и сказал об этом Пушкину, на что тот ответил: «Перестань, любезный друг! Ведь он и без того бывает у меня, я поручен его наблюдению».

Это посещение Пущиным поднадзорного Пушкина отразилось в строфе «19 октября 1825 г.»:

...Поэта дом опальный
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его лицея превратил.

А в черновом наброске было еще:

Ты, освятив тобой избранный сан,
Ему в очах общественного мненья
Завоевал почтение граждан.

Наконец воспоминаньем об этом посещении явилось восьмистишие Пушкина, датированное 13 декабря 1826 г. и переданное Пущину уже в ссылке в Чите А. Г. Муравьевой.

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье,
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье!
Да озарит он заточенье
Лучем лицейских ясных дней!

Это восьмистишие, как оказывается, начато было задолго до даты его завершения, тогда, когда еще не было ни ссылки Пущина, ни повода к этой ссылке. Пушкин повидимому сразу после посещения принялся за послание Пущину. Уже в феврале, 18-го, из Москвы Пущин писал Пушкину: «Живи счастливо, любезнейший поэт! Пиши мне послание». Но послание не подвигалось вперед. В письме Пущина 12 марта 1825 г. находится досадливая фраза: «До сих пор жду от тебя ответа и не могу дождаться. Хоть прозой уведомить меня надобно...» То же в письме 2 апреля: «Наконец получил послание твое в прозе, любезный Пушкин! Спасибо и за то».

Это послание, не дописанное до конца, впервые было опубликовано Шляпкиным в 1903 г. по неудовлетворительной копии Анненкова. В 1916 г. его воспроизвел в транскрипции с автографа П. О. Морозов, но весьма небрежно и невразумительно. «Мой давний друг» было прочитано «Мой дивный друг», «Пушистым снегом» превратилось в «Пустынным снегом» (так же читал и Анненков); «липовые своды» стали «ласковые лица» (рифма «свободы»). Всё это заставляет еще раз воспроизвести настоящее послание Пушкина. Черновые варианты я привожу далее, ограничиваясь важнейшим. Хотя эти варианты и после транскрипции Морозова остаются, собственно говоря, неизданными, но далеко не все представляют интерес. Впрочем варианты, характеризующие метод работы, будут приведены:

Нежданный гость, мой друг бесценный,
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Пушистым снегом занесенный,

Твой колокольчик огласил—
Забытый кров, шалаш опальный,
На стороне глухой и дальной
Ты с утешеньем посетил.
И день отрадный и печальный
С тобой изгнанник разделил.
Скажи, куда девались годы,
Дни упований и свободы—
Скажи, что наши? что друзья?
Где ж эти липовые своды,
Где ж молодость? Где ты? Где я?
Судьба, судьба рукой железной
Разбила мирный наш лицей—
Но ты счастлив, о брат любезный,
На избранной чреде своей—
Ты победил предрассужденье,
В глазах общественного мненья,
Ты от признательных граждан
Умел истребовать почтенья,
Ты возвеличил мирный сан.
В его смиренном основаньи
Ты правосудие блюдешь...
. . . .

Стихотворение первоначально было начато тем же стихом, как и окончательная редакция 1826 г.: «Мой первый друг, мой друг бесценный». Пушкин сперва переделал его «Мой давний друг, мой гость бесценный», и затем пришел к помещенной здесь редакции. Тем самым из общего обращения к Пущину, не зависевшего от обстоятельств, Пушкин сделал формулу, связанную с поводом послания—неожиданным приездом Пущина в Михайловское. Эта формула показывает, так же как и остальное содержание нашего черновика, что он писался вовсе не в 1826 г., когда подчеркивание данных случайных обстоятельств было бы неуместным, а непосредственно после приезда Пущина и во всяком случае до декабрьских событий. Впрочем на это указал еще Шляпкин.

В четвертом стихе эпитет «пушистым» заменил собой первоначальный эпитет «печальным». Сделано это повидимому помимо прочих художественных соображений по той причине, что слово «печальный» повторилось через пять стихов в рифме, и убрать его оттуда было гораздо труднее; следовательно получалось повторение. Стихи 7 и 8 прибавлены уже после того, как написаны следующие стихи. При этом в стихе 8-м Пушкин начал переработку: «Ты вдруг отрадой оживил», но так как эта редакция создавала неустранимое столкновение слов одного корня («отрада»), то он эту переделку зачеркнул. Стих 10-й читался: «С изгнанным братом разделил». После этого стиха первоначально должны были следовать два:

Но для души твоей прекрасной
Друг! и сей день не пропадет.

Первые десять стихов подвергнуты позднейшей переработке вероятно в связи с подготовкой послания 1826 г. Прежде всего убрано

БЕЛОВОЙ АВТОГРАФ „ПОСЛАНИЯ К ЦЕНЗОРУ“. ПЕРВАЯ СТРАНИЦА

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

Но мнений не теснит и разум терпит он.
Блюститель тишины, приличия и нравов,
Не преступает сам начертанных уставов,
Закону преданный, отечество любя,
Принять ответственность умеет на себя;
Полезной истине пути не заграждает,
Живой поэзии резвиться не мешает.
Он друг писателю, пред знатью не труслив,
Благоразумен, тверд, свободен, справедлив.

А ты, глупец и трус, что делаешь ты с нами?
Где должно б умствовать, ты хлопаешь глазами;
Не понимая нас, мараешь и дерешь;
Ты черным белое по прихоти зовешь:
Сатиру пасквилем, поэзию развратом,
Глас правды мятежом, Куницына Маратом.
Решил, а там поди, хоть на тебя проси.
Скажи: не стыдно ли, что на святой Руси,
Благодаря тебя, не видим книг доселе?
И если говорить задумают о деле,
То, славу русскую и здравый ум любя,
Сам государь велит печатать без тебя.
Остались нам стихи: поэмы, триолеты,
Баллады, басенки, элегии, куплеты,
Досугов и любви невинные мечты,
Воображения минутные цветы.
О варвар! кто из нас, владельцев русской лиры,
Не проклинал твоей губительной секиры?
Докучным евнухом ты бродишь между муз;
Ни чувства пылкие, ни блеск ума, ни вкус,
Ни слог певца Пиров, столь чистый, благородный,
Ничто не трогает души твоей холодной.
На все кидаешь ты косой, неверный взгляд.
Подозревая все, во всем ты видишь яд.
Оставь, пожалуй, труд, и нам и всем досадный,

БЕЛОВОЙ АВТОГРАФ „ПОСЛАНИЯ К ЦЕНЗОРУ“. ВТОРАЯ СТРАНИЦА
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

БЕЛОВОЙ АВТОГРАФ „ПОСЛАНИЯ К ЦЕНЗОРУ". ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

[illegible]

БЕЛОВОЙ АВТОГРАФ „ПОСЛАНИЯ К ЦЕНЗОРУ“. ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

обращение, связанное с посещением Михайловского, и восстановлена более общая формула. Затем изменен стих 6-й (Ты озарил шалаш опальный) и начата запутанная переработка стихов 8—10, вызванная стремлением избежать столкновения слов «отрадный», «изгнанный» и «печальный», которые в каждой комбинации давали то или иное повторение. Таким образом отпали две намеченные редакции:

Ты день изгнанья, день печальный
С изгнанным другом разделил

Ты день отрадный и печальный
С печальным другом разделил.

Вероятно и самое столкновение при одном слове определений «отрадный и печальный» заставляло искать другой редакции. Также осталась несогласованной редакция 10-го стиха, освобожденная от неукладывавшегося во фразе эпитета:

Со мною день ты разделил.

В результате всех этих недоведенных до конца поправок Пушкин ограничил свое заимствование из первоначального чернового послания четырьмя строками.

Стих 12-й, представляющий характерное идиллическое определение лицейских лет, гармонирующее с заданием послания (встреча лицеистов), вписан на полях и первоначально читался: «Дни наслаждений и свободы». Любопытно, что стих 15-й сперва был начат: «Где Горч.» (т. е. Горчаков). Очевидно в начале 1825 г. Пушкин еще не сознавал, какая глубокая пропасть разделяла его и Пущина от их лицейского товарища Горчакова. За этим стихом следовал еще один:

Давно ль?.. как быстро!.. как далеко.

С ним рифмовал стих, от которого были написаны только первое и последнее слово:

Твердим глубоко.

Следующие стихи представляют малозначительные варианты (напр. ст. 17 читался: «Наш мирный развела лицей»). После стиха 18-го, в котором первоначально отсутствовало слово «счастлив», следовал стих:

Счастлив—ты гражданин полезный.

Любопытен вариант стиха 22-го, первоначально читавшегося с пропуском слова:

От — — истинных граждан.

После стиха 23-го—несколько неразборчивых слов, среди которых ясно написанное «самоотверженья».

Интересна по количеству последовательных вариантов работа над 24-м стихом. Прежде чем остановиться на последней редакции, Пушкин пять раз переделывает его; стих последовательно читался:

Смиренный возвеличит сан
Освободить полезный сан
Через тебя полезный сан
И возвеличить мирный сан
И чрез тебя смиренный сан.

Дальнейшая работа превращается в невразумительный черновик, в котором можно прочитать «Клеймо отверженья» и несколько бессвязных слов.

Таков текст чернового послания Пущину.

Если оставить пессимистический тон, свойственный ссыльному, лишенному права свободного общения с внешним миром и тяжело переживающему эту изоляцию, если оставить в стороне элегические строки о лицее и липовых сводах царскосельского парка, то интересны гражданские мотивы заключительной части, нашедшие неполное отражение в черновых строфах «19 октября». По существу это конечно апология «малых дел», принцип принесения пользы на своем месте. Кому принадлежит этот принцип—Пушкину или Пущину? Последний не руководствовался им на практике, но легко мог проповедывать его перед Пушкиным в порядке оправдания своей судейской карьеры. Проповеднический тон несомненно был в речах Пущина. Когда Пушкин заинтересовался, какова его репутация в столицах, Пущин «ему ответил, что он совершенно напрасно мечтает о политическом своем значении, что вряд ли кто-нибудь на него смотрит с этой точки зрения, что вообще читающая наша публика благодарит его за всякий литературный подарок». Это были совсем не те речи, что разговоры у М. Ф. Орлова. Но они производили свое впечатление на Пушкина, лишенного всякого выхода из своего Михайловского. Примирялся ли он с этой идеологией «своего шестка»? Вряд ли. Попытка бегства за границу, от которого удержал его заговор излишне благожелательных друзей с Плетневым и Жуковским во главе, свидетельствует кажется о другом. Да и в данном послании чувствуется неудовлетворенность этой «пользой» служения на своем посту. И у Пушкина есть попытки, несомненно идущие не от благоразумных речей Пущина, изобразить это как личный подвиг. Зачеркнутые слова «Ты презрел», «самоотверженье», «Клеймо (печать) отверженья» ведут к этой теме. Характерен и черновой стих, в котором этот подвиг Пущина освящается признанием *истинных* граждан. Здесь еще живы кишиневские идеи о каком-то истинном, не обыденном, не обывательском гражданстве. Но всё же смиренное служение Пущина и его решение блюсти правосудие граждан не вдохновляют. Послание остается недописанным до того дня, когда Пушкин не почувствовал необходимость заговорить о совсем другом подвиге Пущина, вовсе не столь смиренном, и когда ему приходилось сносить уже не «клеймо отверженья», пятнавшее скромных «надворных судей». Послание от Пушкина Пущин получил уже за «частоколом»: в Читинском остроге, куда он прибыл 5 января 1828 г. из Шлиссельбургской крепости.

IV

Изоляция в Михайловском была одной из причин того, что сам Пушкин оказался не замешанным в дело.

Неизвестно, какую роль сыграл бы Пушкин в декабрьских событиях 1825 года, если бы попал в эти дни в Петербург. Возможно, что и

никакой: не обладая ясной политической программой, ограничиваясь лишь оппозиционными симпатиями, основанными на либеральном миросозерцании весьма умеренного толка, Пушкин при тесном соприкосновении с тайными обществами мог и разойтись с их руководителями в вопросах политической программы и тактики. Но могло быть и иначе. При темпераменте и честолюбии Пушкина он мог явиться на Сенатскую площадь и это повлекло бы за собой известный результат, особенно в связи с выяснившимся во время процесса агитационным значением оппозиционных стихов Пушкина в среде декабристов. Среди привлеченных находились и лица умереннее Пушкина в мнениях и высказываниях. Но важно то, что сам Пушкин считал себя уцелевшим случайно. Он выразил это стихотворением «Арион».

СПИСОК СТИХОТВОРЕНИЙ ПУШКИНА 1821—1822 гг., СОСТАВЛЕННЫЙ ИМ САМИМ

Публичная Библиотека. Ленинград

Убедившись, что он остался незамешанным, Пушкин ждал освобождения. Но освобождение произошло не так, как он сам того ожидал. Его попытки «договориться» с правительством и заключить с ним мирное условие, не привели ни к какому результату. Он убедился, что с ним не хотят говорить и не хотят считаться. И здесь не удался гражданский подвиг: ему не было предоставлено слова. Жуковский внимательно следил за тем, чтобы субординация не была нарушена и не произошло ничего такого, что могло хоть отчасти иметь неблагонамеренный характер: как же Пушкин мог сметь «договариваться» с правительством, требовавшим к себе только преданности? Пришлось смириться и ждать пока не приехал фельдъегерь и не повез Пушкина полуарестантом, полусвободным в Москву на свидание с Николаем.

Мы не знаем подробностей этого свидания. Все рассказы о нем похожи на малодостоверные анекдоты. Сам Пушкин не сообщал об этой беседе. Она не походила на то, о чем мечтал Пушкин, хотя бы потому, что была лишена какой бы то ни было публичности. Результаты этой беседы тоже не отвечали ожиданиям Пушкина, не внося в его положение полной ясности. Поднадзорность сохранялась: иллюзии в этом были кратковременны. Давалась некоторая свобода передвижения. Изымались произведения Пушкина из общей цензуры и создавалась для них особая, царская. Приходилось всё это принимать как милость.

Очевидно с николаевским тоном Пушкин ознакомился сразу и убедился в невозможности какого бы то ни было фрондерства. Игра в оппозицию в стиле александровских времен была уже немыслима в период ликвидации декабризма. Июльские казни и ссылки заставляли думать о чем-то другом, а не о политических эпиграммах. Общая подавленность отразилась и на Пушкине.

Нельзя конечно отрицать и некоторых иллюзий. До 1830 г. политика Николая для Пушкина не была совершенно ясна. Судебная расправа с декабристами еще не предопределяла для Пушкина социальной программы нового режима, которая стала выясняться для него только после июльской революции 1830 года. А до личного общения с царем, которое началось после переселения с женой в Петербург, т. е. после 1831 г., Пушкин смутно представлял себе и личность нового руководителя политики. При таких условиях возможны иллюзии. Но иллюзии эти покупались не дешево. Человек без гражданского подвига в прошлом, несмотря на ссылку и политические репрессии,—Пушкин не мог спокойно и равнодушно смешаться с серыми рядами современников. Он чувствовал — во что бы то ни стало — свое единомыслие с теми, кто в Сибири, и с теми, кто повешен. «Братья-друзья» были там. И создается своеобразный гражданский подвиг, состоявший в том, чтобы вспоминать о братьях и напоминать о них. Эти напоминания о декабристах под носом у царской цензуры были поступком, смелость которого нам теперь трудно оценить. Обратиться с печатным приветствием к друзьям, находившимся «в мрачных пропастях земли», и спокойно вынести «внушение свыше» — значило проявить гражданское мужество. И он сам повидимому придавал значение этим напоминаниям, введя в «Памятник» 1836 г. стихи

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

А у Пушкина была потребность в гражданском подвиге. Чем дальше шло время, тем невозможнее становился этот подвиг, тем сильнее мысль о подвиге вела к прошлому. Связанность с декабристами ощущалась Пушкиным до самой смерти. В цитированных стихах из «Памятника», вопреки интерпретаторам, Пушкин говорил не о воображаемом будущем читателе, а о читателях ему известных—о декабристах, которые, как он отлично знал из следствия, ценили именно его вольнолюбивые произведения[10]. А в возвращение декабристов он верил, как верил и в их конечное торжество, их победу в общественном мнении.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Это убеждение было независимо от его собственных политических взглядов, претерпевших сильное поправление, а поэтому оно и сохранилось без изменения с 1828 по 1837 г.

ПОЭТИЧЕСКИЕ „ЗАГОТОВКИ“ ПУШКИНА К „ПОСЛАНИЮ К ЦЕНЗОРУ“. ПЕРВАЯ СТРАНИЦА

Институт Русской Литературы, Ленинград

ПОЭТИЧЕСКИЕ „ЗАГОТОВКИ“ ПУШКИНА К „ПОСЛАНИЮ К ЦЕНЗОРУ“. ВТОРАЯ СТРАНИЦА

Институт Русской Литературы, Ленинград

В обвинительные акты против Пушкина постоянно вводится два стихотворения, обращенных к Николаю I: «В надежде славы и добра» и «Нет, я не льстец».

Конечно, тон Пушкина в этих произведениях учительный. Самое начало—В надежде славы и добра—говорит не о том, что есть, а о том, что должно быть. А не всё, что должно быть, бывает на самом деле: это Пушкин хорошо знал.

Обращение к царю составляло политическую тактику Пушкина. Оно не вскрывало еще само по себе его политическую программу. Он озаботился, чтобы охарактеризовать либеральные основы своей программы («просвещенье», «предназначенье страны» и т. д.). Но и не в этом сила: в подобных стихах невозможна конкретизация общего духа либеральной программы (а какое просвещение? каковы исторические судьбы?). Единственно конкретно в этом стихотворении заключение:

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен;
Как он неутомим и тверд.
И памятью, как он, незлобен.

Пушкин отлично знал, как в стихах действуют заключительные строчки. А последняя строчка красноречива тем более, что анекдот о Долгоруком не давал оснований для умиления незлобивостью Петра. Стансы вплетались в общую систему предстательства за братьев-декабристов.

До нас дошел лишь один клочек черновика этих стансов. Он любопытен тем, что на нем находится дата написания. Он был в руках Анненкова, затем перешел к Майкову и через библиотеку Академии Наук в составе всего Майковского собрания поступил в архив Пушкинского дома (№ 521). Вот его содержание:

Во всем будь пращуру подобен
Как он решителен и тверд
Но памятью, как он, незлобен—

Самодержавною рукой
Он смело* сеял просвещенье
Не презирал страны родной
И зрел ее предназначенье **.

То Академик ***, то герой,
То мореплаватель, то плотник
Он всеобъемлющей душой ****
На троне вечный был работник.

22 декабря
1826 года Москва у Зуб.

Черновик этот имеет только стилистические отличия от окончательного текста. Интереснее то, что на этой странице сконцентрированы наиболее сильные «либеральные» аргументы Пушкина, и среди них первое место занимает как раз концовка о прощении декабристов.

---

* Сперва было: «Он всюду сеял просвещенье».

** Два последние стиха приписаны.

*** Сперва было: «То вождь...»

**** Сперва было: «Неутомимо он душой».

Стихи Пушкина не всеми были поняты. С одной стороны, возникло непонимание, о каком просвещении говорится здесь (вернее, использование многосмысленности этого термина; и Николай и Бенкендорф отлично уясняли себе взгляды Пушкина на этот вопрос. Любопытно, что на следующий день после написания настоящего черновика, 23 декабря, Бенкендорф писал Пушкину по поводу его записки о народном воспитании: «принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительно основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному». В письме поражает исключительный по откровенности цинизм политических принципов). С другой стороны, в глазах у многих самый факт обращения к царю порочил Пушкина, так как являлся актом лести.

Пушкину пришлось оправдываться. Таким оправданием являются вторые стансы «Друзьям» («Нет, я не льстец»). Они были в порядке обязательной цензуры представлены Николаю I, и он наложил резолюцию: «Может итти по рукам, но нельзя печатать» («Cela peut courir, mais pas être imprimé»). Об этом Бенкендорф известил Пушкина 5 марта 1828 г. (что дает предельную дату стихотворения). Хотя и эти стансы не избежали подозрения в лести, но их истинное намерение выражено довольно ясно. Снова центральным мотивом является мотив о милости, да еще в конституционном сочетании с идеей об ограничении «державных прав». Стихотворение заканчивается явной угрозой:

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу...

Правда, стихи содержат изъявление любви к монарху, но это сейчас же мотивировано:

Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами...

Слово «война» не должно неприятно поражать нас и представляться элементом официального шовинизма. В 1821 г. в записях своих бесед с Орловым Пушкин охарактеризовал войну как преступление. И в то же время он собирался бежать в греческую армию и писал стихи «Война». Война за греческую независимость являлась одним из элементов либеральной программы, особенно по отношению к России. В донесении Следственной комиссии сообщались следующие слова Пестеля: «Между тем (после установления Временного правительства), чтобы не роптали, можно занять умы внешнею войною, восстановлением древних республик в Греции». Пушкин, живший в общении с членами Южного общества в период особой остроты греческих дел, отлично знал истинное мнение тайных обществ о войне на Востоке. Да и вообще— экспансия на Восток была идеей, не чуждой декабристам, и Пушкин не мог этого не знать. Таким образом «любовь» Пушкина была не безразборной, да и война—не всякой.

Не забудем и слово «надежды», являющееся намеком на мероприятия, которые вели к либеральным реформам. Слухи о деятельности секретного комитета 6 декабря 1826 г. давали основания Пушкину и его

кругу ожидать важных изменений в законодательстве и направлении внутренней политики. Эти неосновательные надежды отразились в письмах Пушкина к Вяземскому (см. напр. письмо 16 марта 1830 г.; ср. разочарованный тон письма от 5 ноября того же года). Таким образом у Пушкина искренне складывалось убеждение о возможности сотрудничества с правительством.

Автограф белового текста стансов не дошел до нас. Сохранился только черновик, до сих пор не изученный. Он находится в том же Майковском собрании, на одном листке с беловым текстом конца «Талисмана», датированным «6 ноября ночью». Так как в печати это стихотворение помещено Пушкиным под 1827 г., то дата его вполне определяется[21]. Повидимому черновик «Друзьям» написан после того, как разорван беловик «Талисмана», и повидимому вскоре. Итак стихотворение можно отнести к ноябрю 1827 г. А в таком случае упоминание войны особенно знаменательно: именно в это время политика России по отношению к греческому вопросу изменилась. Россия примкнула к либеральной позиции Каннинга, и в результате соглашения произошло вмешательство в греко-турецкие дела, ознаменовавшееся наваринским сражением 12/20 октября. Таким образом настоящее стихотворение является реакцией на определенное политическое событие, не внушавшее современникам сомнения в его значении.

Приведу полный текст черновика:

Нет, я не льстец—когда царю
Хвалу свободную слагаю —
И правды рабски не скрываю
Языком сердца говорю.

Люблю царя—(он) с высоты
Простер мне царственную руку
Презрев ты знаешь—клеветы
Когда изгнанья муку.

На этом черновик обрывается. В нем отразилась некоторая работа Пушкина. Второй стих сперва был написан: «Хвалу правдивую слагаю», но повидимому утверждение одной личной искренности показалось Пушкину недостаточным оправданием и он изменением эпитета подчеркнул гражданский смысл своих стансов. Следующий стих имел два чтения, предшествовавших окончательному:

И мнений рабски не скрываю
И правды робко не скрываю

Первый стих второго четверостишия, самый рискованный, переделывался дважды:

Мне ль не любить его...

Вторая редакция была связана с первоначальным чтением следующего стиха

Люблю его—не он ли мне
Простерши царственную руку,

Третий стих второго четверостишия переделывался трижды:

Когда я жертвой клеветы
Я жертва ложной клеветы
Могучей жертва клеветы.

Окончательная редакция черновика показывает, что первоначально стансы были обращены не к коллективному адресату «Друзьям», а к кому-то одному и следовательно являются не отзывом на дошедшие до Пушкина слухи, а ответом на какие-то определенные и прямые обвинения. Не был ли Вяземский полемистом Пушкина?

После четвертого стиха второго четверостишия (начатого сперва недописанным «Я по...») следуют незаконченные наброски дальнейшего:

Мою он мысль освободил
Несчастьем (?)
Он меня
Он не купил хвалы.

Черновая редакция резче беловой. В окончательном тексте многое сглажено и вытравлено. Тот же смысл упрятан в более умеренные и потому более двусмысленные слова. Так особенностью именно белового текста является введение личного мотива в оправдание признательности возвращения из ссылки («влачил я с милыми разлуку»). Этот личный мотив исказил гражданский смысл первоначальной редакции. Наконец, последняя строка с совершенной прямолинейностью ставит вопрос о неподкупности поэта.

Понятно, все эти стихотворные «ходатайства за декабристов» остались без ответа. Последней попыткой Пушкина в этом направлении было стихотворение «Герой». Зная впечатление от двух первых выступлений, Пушкин тщательно законспирировал это стихотворение и оно появилось под строгим анонимом. По поводу «Героя» писал он Погодину: «Посылаю вам из моего Пафмоса Апокалиптическую песнь. Напечатайте где хотите, хоть в Ведомостях—но прошу вас и требую именем нашей дружбы—не объявлять *никому* моего имени. Если московская цензура не пропустит ее, то перешлите Дельвигу, но также без моего имени и не моей рукою переписанную» (Болдино, начало ноября 1830). В самом деле «Герой»—стихотворение «апокалиптическое»; не говоря уже о том, что тема (приезд Николая I в холерную Москву) зашифрована датой события, апокалиптичность усугубляется тем, что в подобное казалось бы официально-поздравительное стихотворение вносятся строфы из X главы «Евгения Онегина», написанной совсем не под влиянием официальных излияний. Очевидно стихи эти, внешне позолоченные для пациента, скрывали что-то совсем не официальное. И в самом деле. Это была третья и последняя просьба о милости. Стихотворение кончалось:

Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран!..

Николай I оправдал последний приговор Пушкина.

V

Среди записей Анненкова к материалам для биографии Пушкина имеется следующая: «Мусина-Пушкина, урожд. Урусова, потом Горчакова (посланника), жившая долго в Италии, красавица собою, которая, возвратившись сюда, капризничала и раз спросила себе клюквы в большом собрании. Пушкин хотел написать стихи на эту прихоть и начал описанием Италии

Кто знает край.

Но клюква как противоположность была или забыта или оставлена (Б. Л. Модзалевский. «Пушкин». 1929, стр. 341—342). Об этом же пишет Анненков, не называя имени М. А. Мусиной-Пушкиной, в своих «Материалах» (изд. 1855, стр. 84), относя стихи к 1827 г. Стихи эти, в основном известные еще в 1838 г., полностью стали известны сравнительно недавно (в Академическом изд., т. IV, 1916), так как в заключительной части содержат упоминание Марии в таком контексте, который не решалась пропускать старая цензура.

Но нас не интересует самое стихотворение. Нас интересуют стихи, являющиеся как бы отзвуком этого описания Италии. Тема стихотворения Пушкина не оставляла. Повидимому не оставляла мысль противопоставить апельсины клюкве (они сопоставлены в эпиграфах). Но отдав дань стране апельсинов, Пушкин обращается к странам, контрастирующим с Италией, как будто бы уже вне всякой зависимости от капризов Мусиной-Пушкиной. И перед Пушкиным возникают странные и необъяснимые пейзажи.

Я знаю край: там на брега
Уединенно море плещет —
Безоблачно там солнце блещет
На опаленные луга —
Дубрав не видно—степь нагая
Над морем стелется одна.

Этот небольшой отрывок, оставшийся незаконченным, дался Пушкину после больших усилий. Вот последовательные переделки отдельных стихов.

Стих первый: I. Я знаю край: там вечных волн
У берегов седая пена.
II. Я помню край: там волн седых
На берегах седая пена. (Этот второй стих в дальнейших переработках исчезает.)
III. Я помню край: там на брега
IV. Я знаю край: на берега.

Прежде чем приступить к третьей переделке, Пушкин записал фрагмент следующего стиха: «С утесов мох висит», но зачеркнул его.

Стих второй: I. Седая пена вечно блещет
II. Седое море вечно плещет.

ЧЕРНОВЫЕ НАБРОСКИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПУШКИНА „КОГДА ПОРОЙ ВОСПОМИНАНЬЕ“
СТРАНИЦЫ ПЕРВАЯ—ЧЕТВЕРТАЯ

Институт Русской Литературы, Ленинград

После этого следовал еще стих, имевший три последовательные редакции:

I. Там опаленные луга
II. Там редко стелются снега
III. Там редко падают снега.

Стих пятый: I. Там нет дубрав, там степь нагая.
II. Там тени нет—там степь нагая.

Итак образ выжженной пустыни на берегу моря упорно вырисовывался в его сознании.

Но это стихотворение не единственное. На одном листке бумаги с планом «Мятелно»[13] и с заключительными стихами к «Моей родословной» находится черновик незаконченного и недоделанного стихотворения. Не всё может быть прочитано, однако то, что поддается расшифровке, знакомит нас с любопытным замыслом Пушкина, впрочем в некоторых отношениях загадочным. Стихотворение распадается на несколько частей. После первой части, совершенно черновой, следует вторая, состоящая почти из одних начал строк. Затем следует снова совершенно исчерканный черновик, впрочем слагающийся в связные строки. Наконец последняя страница, замыкающаяся рисунком лодки, дает бессвязные строки. Остановимся на каждой части отдельно.

Когда порой воспоминанье
Грызет мне сердце в тишине
И отдаленное страданье
Как тень опять бежит ко мне—
Когда людей повсюду видя
В пустыню скрыться я хочу
Их слабый глас возненавидя
Я забываюсь и лечу.

Первые два стиха были написаны без помарок, но, начиная с третьего, черновик сразу становится мало разборчивым. Третий стих был сперва написан:

И злое, мрачное мечтанье
затем: И погружаюсь я в мечтанье.

Далее следуют совершенно отрывочные слова: «И задыхаюсь я», «И странно душно мне», «И душно в свете мне», «И пью... страданье». Среди этих зачеркнутых слов кое-как вписан третий стих, а для четвертого уже не нашлось места: он надписан сверху.

После первого четверостишия Пушкин хотел уже перейти к обороту «тогда», но отказался от этого и продлил придаточный оборот. Сперва было написано с пропуском места: «Когда людей видя». Затем в это пустое место вписано было сверху «повсюду». Слово это было зачеркнуто и вместо него в строку написано «вблизи». Но поправка эта нарушает размер, поэтому ее можно считать незаконченной и в качестве окончательного текста принять зачеркнутый. Возможно, что сюда же относится зачеркнутое слово над словом «повсюду».

Следующий стих тоже переделывался. Начат он «Хотел бы», затем изменен: «Хотел в пустыню я бежать». Сверху начато и зачеркнуто исправление: «Чуж» (чужбина). В следующем стихе было колебание

между словами «глас» и «взор». Наконец мало разборчив последний стих. Было написано «Тогда, тогда». Затем надписана приблизительно следующая редакция (приблизительно потому, что среднее слово мало разборчиво): «Тогда мечтою я лечу». Окончательная редакция читается более по догадке. Особенно загадочно надписанное над словом «лечу».

Для расшифровки дальнейшего лучше всего сперва воспроизвести точно рукопись:

свѣтлый кр и
Не въ [неразб.] гдѣ [неразб.]
Низья — — — —
Гдѣ теп
Кругомъ лагунъ [дроб] пустын
[Вокругъ] [Колоннъ]
[разливсмъ тихо] плещ
пожелтѣлый
[Гдѣ Рафаель живоп]
вѣтхой
На мраморъ тихо плещетъ
лавръ
И [тем] и тем ки
На волѣ пыш пыш разрослись
Гдѣ пелъ Т
Гдѣ и теперь м н
[Скаламъ] [славой]
Порой далече звонкой славой
[Повторены] [вторятся] октавы
пловца—

Эти отрывочные слова были бы совершенно непонятны, если бы не существовало стихотворения «Кто знает край», которое Пушкин здесь просто использует, а потому довольствуется выписыванием первых слов или начальных букв слов. Вот начало этого стихотворения с черновыми вариантами [13]:

Кто знает край, где небо блещет
Неизъяснимой синевой,
Где море теплою волной
Вокруг развалин тихо плещет—
Где вечный лавр и кипарис
На воле гордо разрослись
Где пел Торквато величавый
Где и теперь во мгле ночной
Адриатической волной
Повторены его октавы.
Где Рафаэль живописал
Где в наши дни резец Кановы
Послушный мрамор оживлял
И Байрон, мученик суровый
Страдал, любил и проклинал.
. . . .

Стих первый: сперва: Kennst du das Land где небо блещет
Ст. 6. Начато: В

Затем: Свободно, гордо разрослись.

Ст. 7—14 первоначально были:

1' Где Тасса нежного октавы
Еще поет ночной пловец
Кто знает край и Муз и славы
Где пел Петрарка величавый
5' Где нежный царствовал резец.

Стихи эти подверглись сложной обработке, прежде чем приняли эту более или менее законченную форму:

1' I: Где Тасса нежного октавы
II: Где сладострастные октавы.

Таким образом последняя редакция есть возврат к первой.

2' I: Во мгле ночей еще звучат
II: Начато: Еще звучат
III: Еще рыбак не позабыл.
IV: В тиши поет пловец ночной.
4' I: Где пел Торквато величавый

Стихи отброшены после некоторых попыток их переработать. Рядом со стихами 2' и 3' набросано:

В гондоле
с ней (?)
в тишине морей

После стиха 3' начато:

Где кисть играла

После стиха 4' начато сперва: «Вас рыцарей», затем «Где ж» (может быть этим намечалось повторение зачеркнутого стиха «Где нежный царствовал резец»). Далее стихи 1', 3' и 5' отброшены и сделана попытка продлить стихотворение следующим образом:

1'' Где пел Петрарка величавый
И где наперсник юный Славы
Где Перуджино рисовал
И где живой резец Кановы
5'' Паросский мрамор оживлял
Где Байрон нежный и суровый
Страдал, любил и проклинал
8'' Отвергнув все око[вы]

И эти стихи предварительно прошли обработку; некоторые же подверглись дальнейшей неконченной обработке.

2'' Начата дальнейшая переработка:
Ныне крестник
3'' Сперва: Где Рафаэль живописал
4'' Сперва: И где родил [восторги] новы
5'' I: Боргезы воздавал
II: Боргезы ножки открывал
III: Боргезы ножки воскрешал
IV: Боргезы милой лик
V: Паросский мрамор высекал.

Стихи 6''—8'' набросаны слева на полях и состоят почти из одних зачеркнутых разрозненных слов:

[Где] [влача] [любви]
Где Байрон
[Покорный] [мрачный]
[Где Dante] нежный и суровый
[Отвергнув]
[свой ад] [создавал]
Страдал, любил и проклинал
Отвергнув все око

Отдельные стихи этих промежуточных редакций снова появляются и в основной. Так первая редакция ст. 4' появляется в качестве первой ред. стиха 7; первая ред. ст. 3''—в качестве первой ред. ст. 11.

Стих 12 основной редакции:

I. Где сладостный резец Кановы
II: Где пламенный резец Кановы

Стих 14
I: Где Альбиона бард суровый
II: Где бард и нежный и суровый
III: Где Dante темный и суровый.

Такова была сложная и многообразная работа Пушкина над темой об Италии. И вот в данном стихотворении он отталкивается от этого образа Италии. «Я забываюсь и лечу»—«Не в светлый край где небо блещет». Пушкин уничтожает мадригальное стихотворение, изымая из него стихи и вставляя его в новое стихотворение иных настроений. Образ вводится только для того, чтобы его вытеснил какой-то другой образ меньшей внешней привлекательности.

Зная беловой текст и черновую работу над стихотворением об Италии, мы сможем приблизительно реставрировать и стихи о воспоминании:

Не в светлый край где н	Не в светлый край где небо блещет
Низья	Неизъяснимой синевой
Где теп	Где море теплою волной
На мрамор ветхий тихо плещет[14]	На мрамор ветхий тихо плещет
И лавр и тем ки	И лавр и темный кипарис
На воле пыш разрослись	На воле пышно разрослись
Где пел Т	Где пел Торквато величавый
Где и теперь м—н	Где и теперь во мгле ночной
Повторены пловца октавы [15]	Повторены пловца октавы
	Адриатической волной.

Последний стих отсутствует в черновике, но его требуют рифма и синтаксис. Восстанавливая целые стихи, мы видим, что Пушкин не довольствовался простым заимствованием старых стихов: переписывая он перерабатывал их иногда совершенно наново. Естественно, что прежняя характеристика Италии сжата до предела и упоминание итальянского искусства ограничено одной поэзией, хотя первоначально и была попытка перенести сюда соответствующую часть прежнего стихотворения (был переписан, но затем зачеркнут стих «Где Рафаэль живописал»).

После этого контрастирующего пейзажа Италии следуют иные картины:

Стремлюсь привычною мечтою
К студеным северным волнам,
Меж белоглавой их толпою
Открытый остров вижу там
Печальный остров—берег дикой
Усеян зимнею брусникой
Увядшей тундрою покрыт
И хладной пеною подмыт.

Первый стих был сперва написан:

Не там привычкою мечтою
Себе

Далее неразборчиво. Но и это достаточно красноречиво. Пейзаж теряет значение художественной абстракции и приобретает что-то личное: «себе».

Не буду регистрировать остальной черновой работы. Можно отметить только следующие стихи, отброшенные в работе, но восполняющие пейзаж:

Приют пустынный птиц морских
. . . .
Где чахлый мох едва растет
. . . .
Кой-где растет кустарник тощий.

Дальнейшая часть стихотворения совершенно недоделана. Из зачеркнутых слов путем несколько произвольной выборки можно извлечь следующий не согласованный окончательно текст:

Сюда порою приплывает
Отважный северный рыбак
Здесь мокрый невод расстилает
И свой разводит он очаг.
Сюда погода волновая
Загонит утлый мой челнок.

На этом стихотворение обрывается.

Оно не разгадывается до конца, и всё-таки оно красноречиво, едва ли не так же красноречиво, как известная строка «И я бы мог как шут» над рисунком пяти повешенных [16].

VI

Прошло шесть лет. За это время Пушкин пережил сложную и тяжелую эпоху личной и общественной жизни. Он прошел чрез разные стадии сотрудничества с самодержавием Николая I. Постепенно взгляд его на царя изменился. На личных своих отношениях он получил большой жизненный урок. «Что ни говори, мудрено быть самодержавным!» (запись в дневнике 10 мая 1834 г.).

Летом 1836 г. Пушкин жил на Каменном острове. К этому лету относится ряд стихотворений, в том числе и известное под названием

«Из Пиндемонти»[17]. До нас дошло две рукописи стихотворения—беловая и черновая. Беловой текст ныне изучен в достаточной степени. Первая страница этого белового автографа была даже воспроизведена факсимиле при статье М. Н. Розанова «Об источниках стихотворения Пушкина: «Из Пиндемонте» («Пушкин», сборник второй, Москва, 1930, стр. 141).

Обратимся к менее известному черновику этого стихотворения.

Стихотворение первоначально начиналось:

При звучных именах Равенства и Свободы
Как будто опьянев, беснуются народы...
Но мало я ценю задорные права
От коих не одна кружится голова —
Я не завидую тому кто

На этом Пушкин остановился. Затем исключив два первые стиха и изменив третий, ставший первым, как и в окончательной редакции он зачеркнул последний неполный стих и наметил следующее продолжение с пропуском слов:

Вовек я не роптал что не судили Боги
Мне — счастие оспоривать налоги
Или мешать Царям воевать
И мало нужды мне что иль
Иль [кто] либо иной

Эти стихи подверглись дальнейшей обработке, которая привела их к окончательному виду. Любопытно, что в предпоследней строке, где должны были быть названы имена, Пушкин сделал попытку переделать начало: «И с кафедры», тем подчеркнув тему западноевропейского парламента.

Дальнейшие стихи дались в результате многих проб: «Или несет цензурные вериги», «Или с цензурою», «Спутана цензурой», «или цензура Еженедельного стесняет балагура». Из всех этих набросков вырисовывается окончательная редакция:

И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов; иль важная цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура—
Всё это (видите ль) слова, слова, слова.

Последний стих первоначально был начат: «Как Гамлет». В беловом тексте имя Гамлета перенесено в примечание.

Далее Пушкин продолжал:

Иные, лучшие мне дороги права—
Иная лучшая потребна мне Свобода...
Свобода от Царя

Остановившись на этом слове, Пушкин переделал стих:

Зависеть от царя, зависеть от народа

И затем отменил слово «царь», заменив его окончательным «от Властей»[18]. Итак стихотворение продолжалось:

Зависеть от Властей, зависеть от народа
Равно мне тягостно: Бог с ними: никому
Отчета не давать—Себе лишь самому
Служить и угождать...
пред силою законной
Не гнуть ни совести, ни мысли непреклонной
Перед созданьями Искусств и Вдохновенья
Замедливать свой путь —

Интересно, что Пушкин сперва написал «пред силой беззаконной». Сила государственной власти казалась ему в корне беззаконной, хотя она и покоилась на каком-то законе. Признавая это законное основание, Пушкин остановился на формуле «пред силою законной». Так бесследно иссякла юношеская вера Пушкина во всесилие и благодетельное влияние «закона».

Ошибка в стихосложении (подряд женские рифмы) вызвала исправление последних стихов. Конец стихотворения находится ниже стихов «Напрасно я бегу к Сионским высотам» [19].

По прихоти своей скитаться здесь и там—
Дивясь божественной природы красотам
Перед созданьями искусств и вдохновенья
Безмолвно утопать в восторгах умиленья
Вот счастие мое... а слава богу им

На этом черновик обрывается. Предпоследний стих первоначально читался: «Мечтать [и] чувствовать то холод умиленья».

Второе полустишие последнего стиха написано каким-то отличным от остального неуверенным почерком, как будто бы Пушкин этими словами только заполнял неконченный стих. Слова эти требовали продолжения, но продолжения не последовало. В беловом тексте эти слова совсем отпали. Мы вообще можем ими пренебрегать, не угадывая в них какой-нибудь значительной мысли, не отразившейся в последней редакции или сокрытой Пушкиным.

Работа над стихотворением не остановилась в черновике. Перебелив стихотворение в редакции, близкой к черновику, Пушкин внес изменения в последние стихи, и конец принял следующую форму:

для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи,
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
— Вот счастье! вот права —

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Тот же профиль находится на листке, содержащем план стихотворения об Актеоне (б. собр. Майкова, ныне архив ИРЛИ, № 594). План этот предположительно датируется январем-февралем 1822 г. Наконец тот же профиль находится среди 8 кишиневских профилей (ИРЛИ, № 406, собр. П. В. Жуковского).

[2] Женский профиль над профилем Калипсо—вероятно вицегубернаторша Е. Х. Крупенская. Об этом свидетельствует сходство этого профиля с профилем самого Пушкина. О рисунках Пушкина кишиневской поры В. П. Горчаков говорил: «Бывало нарисует Крупенскую—похожа; расчертит ей вокруг лица волоса,—выйдет он сам; на ту же голову накинет карандашом чепчик—опять Крупенская» (Бартенев. «Пушкин в Южной России»).

[3] В бумагах Пушкина сохранилась запись, свидетельствующая о замысле какого-то большого произведения, посвященного греческому восстанию. Запись, судя по почерку, относится к кишиневскому периоду. Начинается она с прозаического плана:

«Два Арнаута хотят убить А. И. Иордаки убивает их — по утру Иордаки объявляет Арнаутам его бегство — Он принимает начальство и идет в горы — преследуемый турками — *Секу*»

Далее листок оборван и остались лишь следы совершенно зачеркнутых стихов, из которых вырисовывается эпический зачин с обычным романтическим пейзажем:

Поля и горы ночь объемлет
В лесу под сенью древес
— — — Ипс(иланти) дремлет.

Стихи эти много переделывались. Первый стих имел последовательные редакции:

Глухая ночь объемлет
Поля и горы ночь объемлет
Поля и небо ночь объемлет
Поля ночная тень объемлет.

Всему стиху предшествовала строчка, состоявшая из первого и последнего слова:

Глухая шумит

Второй стих первоначально читался

В лесу в толпе своих

Третий стих сперва намечен рядом отдельных несогласованных и зачеркнутых слов:

[В горах] [у] [над] [тиши]

[4] Это исправление стихов народных песен он даже выдвигал как принцип их издания. См. «Сын Отечества» 1820 г., ч. 61, № XVIII.

[5] В марте 1820 г. он напечатал книжку «Взгляд на русские сказки и песни». В ней он поместил собственную поэму «Василий Новогородский», написанную народным песенным стихом. Книга посвящена А. С. Шишкову, имя которого в ней часто упоминается.

[6] Стихотворение Раевского, написанное им после ареста; в нем имеются такие стихи:

Погибли Новгород и Псков,
Во прахе пышные жилища,
И трупы добрых их сынов
Зверей голодных стали пища.
Но там бессмертных имена
Златыми буквами сияли;
Богоподобная жена —
Борецкая, Вадим—вы с нами...

Стихи относятся к середине 1822 г. Липранди сообщает о глубоком впечатлении, какое они произвели на Пушкина.

Указание П. Щеголева фактически неверно: замысел пушкинского «Вадима» относится к более раннему времени; однако это не ослабляет значительности самого сопоставления. В личных беседах Раевский мог развивать мысли, нашедшие свое выражение в данном стихотворном послании.

[7] Это убеждение поддерживалось политической позицией монархиста Шатобриана, безусловного защитника свободы печати. Как мне уже приходилось отмечать в другом месте («Письма Пушкина к Хитрово», 1927, стр. 351, примеч.), Пушкин был знаком со статьями Б. Констана о свободе печати. Цитата в «Мыслях на дороге» из «одного из французских публицистов» является цитатой из Констана. Как мне сообщил С. М. Бонди, в черновике этой статьи имя Б. Констана названо. Я предположил, что цитата заимствована из автоцитаты Б. Констана в его комментарии

к конституции Ста дней (Acte additionnel), изданном под заглавием «Principes de politique, applicables à tous les gouvernements représentatifs», Paris, mai 1815. Книга эта была повидимому распространенна: экземпляр, по которому я цитирую, принадлежал арзамасцу, знакомому Пушкина—Петру Полетике. Однако Пушкин мог цитировать и непосредственно то произведение, откуда взята цитата самим Констаном. Она взята из его «Réflexions sur les constitutions et les garanties; publiées le 24 mai 1814, avec une esquisse de constitution». Это произведение открывает собою серию сочинений Б. Констана («Collection complète des ouvrages» etc. Цитированное Пушкиным место находится в первой части, изд. 1818 г., стр. 151; в том же произведении находятся цитаты, аналогичные приведенным мною в «Письмах к Хитрово»).

[8] «Англия—безусловно, по отношению к свободе печати, классическая страна» (B. Constant. «Principes de politique», 1815, p. 248).

[9] Конец стиха недоделан; в черновом виде он содержит нецензурное ругательство по адресу Толстого.

[10] В черновой редакции «Памятника» имеются стихи, усиливающие гражданское значение стихотворения:

Святому жребию, о Муза, будь послушна,
Изгнанья не страшась, не требуя венца.

[11] Вследствие неясности описания автографа (см. «Пушкин и его современники», вып. IV) в печати появились указания, что этот автограф имеет пять оттисков «печати-талисмана». Это неверно. Пять оттисков представляют собой аллегорические эмблемы с девизами: Треугольник с отвесом (toujours droit), стрела (à mon but), пламя (vive et pure), бабочка (J'attends) и букет с неразборчиво оттиснутым девизом. Таким образом оттиски эти не могут служить комментарием к стихотворению «Талисман», как обычно предполагается. Морозов в IV томе академического издания почему-то этого не оговорил.

[12] «Метель. Помещик и помещица, дочь их, бедный помещ. сватается, отказ—Увозит ее—Метель—едет мимо останавливается, барышня больна—он едет добров. в армию. Убит.—М. и от. умир. Она помещ.—За нею сватаются решается (?)—Полк. приезж. Объяснение». Слева зачеркнуто: «12 году».

На той же рукописи сохранился постскриптум к «Моей родословной» и первоначальный черновик другого замысла—эпиграммы, из которой и переработан этот постскриптум. Эта эпиграмма не дает связного чтения. Можно расшифровать только последние строки:

Говоришь: за бочку рома,
Не завидное добро.
Ты дороже, сидя дома,
Продаешь свое перо.

[13] Факсимиле этой страницы автографа см. «Литературное Наследство», кн. 4—6, стр. 555.

[14] Данный стих представлен в трех незачеркнутых редакциях, из которых я беру последнюю. Две остальные читаются: «Вокруг лагун пустынно плещет» и «На пожелтелый мрамор плещет».

[15] Этот стих дан еще в незачеркнутой редакции «Порой далече звонкой славой», но эта редакция не может быть восполнена.

[16] Таинственный и смущавший исследователя характер этой странной формулы ныне разъяснен М. А. Цявловским, сопоставившим этот стих с местом из «Елисея» В. Майкова:

А попросту сказать, повешу вверх ногами
И будет он висеть, как шут между богами.

См. «Ироикомическая поэма», сборник изданный под моей редакцией, стр. 132.

[17] Как мне уже приходилось указывать, правописание «Пиндемонти» не случайно. Пушкин дважды упомянул имя Пиндемонте и оба раза в такой форме—с «и» на конце. Раннее упоминание его имени—эпиграф в рукописи к «Кавказскому Пленнику». И эта орфография имени и выписанный Пушкиным с буквальной точностью эпиграф находятся в книге Сисмонди «De la Littérature du Midi de l'Europe». Дальнейшие редакторы имя исправили, а текст пяти стихов исказили (nativa вм. natia, cuor вм. cor, lascia вм. lasciò, ha, che vive вм. che vive ancor). Для Пушкина поэзия Пиндемонте очевидно определялась характеристикой, какую дал этому поэту Сисмонди: «Кавалер Ипполит Пиндемонти из Вероны, вероятно, первый среди итальянских поэтов, писавший мечтательные и меланхолические стихи.

Потеря друга, болезнь, которую он считал смертельной, показали ему ничтожество жизни. Он порвал связь со всем личным и сердце его обратилось к наслаждениям природы, сельской жизни и одиночества... Многие стихотворения Пиндемонти связаны со стихами Грея. Странно слышать, как северный поэт говорит на итальянском языке: не понятно, как мечтательная душа могла развить свои чувства среди празднеств природы в Италии. Но Пиндемонти привлекает: все его чувства благородны и чисты».

[18] Замена слова «царь» словом «власть» исказила смысл этого стиха. Пушкин противопоставлял самодержавное правительство Николая I буржуазно-демократическому правительству западных стран, т. е. в ближайшую очередь правительствам Франции и Англии, парламентским министерствам Тьера и Мельбурна. Мысль Пушкина—в принципиальном безразличии самодержавной и парламентской формы правления, полицейского и либерального режима. В действительности же, после поправки и замены слово «царь» «властями», получилось противопоставление правительства стране: «Зависеть от властей, зависеть от народа» нельзя понять иначе. Народ в таком контексте не является источником власти, а наоборот—объектом этой власти, раз он ей противополагается. Пушкин говорил об оппозиции всякому существующему правительству—как самодержавному, так и демократическому; цензурная поправка, на которую он пошел из осторожности, изменила смысл фразы в направлении, которого он вероятно не предусматривал. Вряд ли он мог серьезно говорить о своей зависимости от политически бесправного, угнетенного народа. Характерно, что и в дальнейшей обработке стихотворения Пушкин имеет в виду противоставление автократии демократии как двух систем правительства и когда пишет: «для власти, для ливреи», то конечно сознает, что народ дает власть, а царь—ливрею.

[19] Стихотворение это первоначально читалось так:

Напрасно я бегу к Сионским высотам
Грех алчный гонится за мною по пятам...
Так ревом яростным пустыню оглашая
По ребрам бья хвостом и гриву потрясая
И ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий
Голодный лев следит оленя бег пахучий.

Стихи 3 и 4 исключены (повидимому по соображениям стихотворной техники, во избежание метрической ошибки: соседства нерифмующих женских окончаний).

Ст. 2-й читался: «За нами гонится... алчный грех —»

Ст. 4-й раньше начинался: «Взметая гривой пыль».

Ст. 5-й читался: «И ноздри жадные уткнув в песок горючий».

Очевидно, по исключении стихов 3 и 4, стих 5-й (в окончательной редакции 3-й) должен начинаться словом «Так». Возможно, что небрежное изменение над зачеркнутым «И» и обозначает именно «так».

Стихотворение это до последнего времени печаталось неправильно. Его опубликовал по автографу Анненков, после которого самый автограф оставался недоступным исследователям, особенно после того, как стал частью Майковского собрания. Анненков напечатал этот текст в его первоначальной, только что приведенной редакции, но, не разобрав поправки в четвертом стихе, воспроизвел его в первом чтении:

Взметая гривой пыль и гриву потрясая

См. «Сочинения Пушкина», т. VII, 1857, стр. 98-99.

Так как Анненков не сделал никакой ссылки на автограф и вообще воздержался от какого бы то ни было комментария, определение этого текста было предоставлено фантазии позднейших редакторов Пушкина. Ефремов, не удовлетворенный повторением слова «грива» в одном стихе, решил поправить Пушкина и стал печатать:

Взметая лапой пыль и гриву потрясая.

С ним без протеста согласились все, в том числе и Морозов, и Венгеров, и Цявловский (в изд. прилож. к «Красной ниве»). Не менее своевольно датировал Ефремов эти стихи 1833 годом, и его дата так же покорно и беспрекословно принята всеми. Характерна сила традиции: в издании ГИХЛ'а «Напрасно я бегу» датировано 1833 г. со знаком вопроса, а текст дан по автографу, находящемуся на одном листке со стихами «Из Пиндемонти», датированными 5 июля 1836 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

НЕСКОЛЬКО ТУРЕЦКИХ СЛОВ В ЗАПИСИ ПУШКИНА

На обратной стороне одного листка, принадлежавшего Пушкину, с портретами, относящимися к 1821 г. (см. выше, стр. 275), сохранилась сделанная поэтом запись нескольких турецких фраз, произведенная таким образом, что одна строка текста захватывает и лицевую сторону листка. При турецком тексте имеется и французский перевод. Судя по содержанию фраз (обыденный житейский разговор), можно думать, что они не восходят к какому-либо письменному источнику того времени, а почерпнуты Пушкиным непосредственно из его сношений с говорящими на этом языке. Вопрос сводится к тому, где была произведена запись: в Крыму или Бессарабии, так как биография Пушкина до 1821 г. подсказывает только эти две возможности. Ответить на этот вопрос можно только после анализа записей со стороны языка.

Прежде чем приступить к общей характеристике турецких слов, записанных Пушкиным, приведем еще раз все глоссы, снабдив их турецким начертанием в современной (латинской) орфографии и точным русским переводом.

1. Записано: Гетирь—apportez.
Должно быть: getir—принеси.
2. bré—Holà. Должно быть: bre—эй ты! ку-ка!
3. capil capà—fermez la porte.
Должно быть: kapıyı kapa—закрой дверь.
4. iok—нету. Должно быть: yok—не имеется, нет.
5. calmadi - - - * уже. Должно быть: kálmadı—не остался, не осталось.
6. mahamerólane—je vous remercie. Должно быть: muammer olunuz—живите долго, будьте долголетни!
7. verbana—donnez moi. Должно быть: ver bana—дай мне.
8. Guzêl (перевода нет). Должно быть: güzel—красивый(-ая), красавец(-ица).
9. Eek meek (перевода нет). Должно быть: ekmek—хлеб.
10. Sabanls Hairolsun—heureux jour bj.
Должно быть: sabahınız hayrolsun—доброе (Вам) утро!
11. Hozgeldin—le bien venu (строка зачеркнута).
Должно быть: hoş geldin—добро пожаловать (тебе)! (стереотипное приветствие хозяина гостю).
12. ...** buldum etc. Должно быть: hoş buldum—счастливо (тебя) встретить (ответное приветствие гостя хозяину, произнесшему предыдущую формулу).
13. buldou—avez vous trouvé? Должно быть: buldun mu—нашел ли ты?
14. bulmadi—je ne l'ai pas trouvé. Должно быть: a) или 1-е лицо: bulmadım—я не нашел, в) или 3-е лицо: bulmadı—он не нашел.
15. Ke fe nisi imi—votre santé? Должно быть: keyfiniz eyi mi—Ваше здоровье хорошо ли?
16. Chik (зачеркнуто) Chikir (зачеркнуто) Sukir—bien. Должно быть: Şükür—благодарю (собственно: «благодарность»).
17. à baamanet—à Dieu. Должно быть: baemanet—милостью (scil. Аллаха) (1-е à, очевидно, описка под влиянием французского: à Dieu; в турецком языке это «à» никакого значения не имеет.
18. bas***—tête. Должно быть: baş—голова («bas»—очевидно, описка, так как эта фонетическая форма известна только в северо-восточных языках турецкой группы: в казахском и др.).

На обороте:

19. verbana siek meek—donnez moi pour boire. Должно быть: ver bana içmek (или более обычно bana içmek ver ****)—дай мне пить (написание «siek meek» может быть прочитано только, как «sikmek», что означает: coitum habere; очевидно это одиозное выражение было сказано турком иностранцу в виде насмешки или своего рода «шутки» вместо нейтрального слова «içmek»—пить).

---

* Черточки повидимому замещают выше написанное «нету».

** Точки повидимому замещают написанное строкой выше «Hoz».

*** «S» в слове bas читается неясно; возможно, что здесь было написано bach, т. е. согласно нормальному произношению.

**** Форма verbana встречается у Пушкина в «Путешествии в Арзрум»: «Я стал требовать лошадь. Ко мне явился турецкий старшина. На все его непонятные речи отвечал я одно: вербана ат (дай мне лошадь)».

Графика. За исключением 1-го слова, транскрипция Пушкина основана на латинском шрифте в его французском употреблении. И та, и другая черта характеризуют современную латинско-турецкую орфографию 1928 года: Пушкин в своих французско-латинских навыках совпал с нормами нового турецкого письма, и например слово buldum написано у Пушкина совершенно так же, как оно изображается в наши дни. В отличие от Пушкина, в современной графике употребляются следующие дополнительные знаки, которыми мы уже воспользовались выше:

«ı»=рус. «ы», «y»=рус. «й», «ü»=нем. «ü» (тогда как «u»=рус. «у»), «ş»=рус. «ш», «ç»=рус. «ч». Знак «h» имеет фонетическое значение немецкого «h»; звук «к» всегда изображается через «k».

В передаче звуков «ы», «й» и «ш» (рус.) Пушкин делал ошибки, так как выразить эти звуки графически при посредстве одного французского алфавита—довольно трудно (ср. выше capii, iok, sukir). Но в остальном запись его чрезвычайно точна, особенно если принять в расчет его почти полное незнание языка. Исключение составляют только безударные (и часто редуцированные) звуки, воспроизведение которых не удалось Пушкину: calmadi вм. kalmadi, mahamerolane вм. muammer olunuz, bulmadi вм. bulmadı. Accent grave у Пушкина повидимому передает ударение (не всегда верно, см. calmadi). В случае «bré» accent aigu особого значения не имеет.

Признаки диалекта. Несмотря на свой незначительный объем, разбираемые глоссы настолько фонетически однотипны, что определение диалекта записи не представляет затруднений. Это—южнотурецкая группа, в частности тот ее представитель, который носит название османского или турецкого языка в узком смысле слова. Указания на язык южного берега Крыма (крымско-татарский) и Бессарабии (гагаузский язык) исключаются по следующим соображениям. Имеющиеся у нас фонетические записи из района Гурзуфа и Алупки (работы А. Олесницкого, О. И. Шацкой, В. А. Богородицкого) содержат показатели, отсутствующие в наших глоссах: начальное и конечное (заднеязычное) «к» > «х» (рус.)—поэтому вм. «iok» было бы «iox» и вм. «calmadi» было бы «халмады»; начальное «g» (среднеязычное) турецких слов часто имеет соответствие в виде «к»: вм. «гетирь» было бы «кетирь». *В пользу Крыма, где турецкое «ü» иногда дает «u» (Фалев), могло бы* говорить только начертание «guzèl» при турецком «güzel» и «sukir» при «şükür», но оба случая не имеют решающего значения. В «şükür» первое «ü», стоящее перед ударением и слегка редуцированное, звучит акустически неясно; в слове «guzèl»—«ü» находится перед ударением и как бы скрадывается в произношении. Как показывают случаи: «buldum», «bulmadi», «halolsun», знак «u» Пушкин употреблял в смысле русского «у», потому что слышать «büldüm» и т. д. он ни в коем случае не мог. Таким образом для звука «ü» он должен был изобрести особый знак, но здесь, возможно, сказалась бессознательная привычка к французскому, а во-вторых, как только что сказано, оба случая «güzel» и «şükür» мало типичны в том смысле, что дают беглое редуцированное «ü», которое малоопытный человек мог и не расслышать.

В пользу гагаузского языка могла бы говорить палатализация «г» («гетирь»), стяжение при «h» («sabanis» < «sabahiniz») и форма «i» < «eyi», но этому противоречит типичнейшая форма Eek meek: в гагаузском всякое начальное «е» дает «ie» (Мошков, Дмитриев), т. е. «iekmek», и это считается типичным признаком языка. Все другие, сколько-нибудь существенные отличия гагаузского языка также отсутствуют. Итак, язык глосс—чисто турецкий, почти литературный, с небольшим числом вульгаризмов: «capii» вм. «kapıyı», «mahamerolane» вм. «muammer olunuz». Слышать его (от заезжего турка) Пушкин мог и в Крыму, и в Кишиневе, а так как исторически к двадцатым годам прошлого столетия Бессарабия была насыщена османско-турецкими элементами сильнее, чем южный Крым, то запись легче всего могла быть произведена именно в Бессарабии.

Н. Дмитриев

ПУШКИН И КЮХЕЛЬБЕКЕР

Статья Ю. Тынянова

Общение Пушкина и Кюхельбекера было непрерывным в течение 1811—1817 гг.,—в лицейское время; с гораздо меньшей уверенностью можно говорить об их общении в годы 1817—1820; с 1820 г.—времени ссылки Пушкина на юг и заграничной поездки Кюхельбекера—они более не виделись. В 1828 г. Пушкин, как известно, встретился в последний раз с Кюхельбекером на станции Залазы, когда того перевозили из Шлиссельбургской крепости в Динабургскую. Эта биографическая схема, ограничивающая время общения 20-м годом, вмещает интенсивные литературные споры Пушкина и Кюхельбекера; споры (приводящие в ряде случаев к согласию) идут о центральных вопросах литературы. Новые материалы дают возможность установить в этой схеме с достаточной ясностью новые факты.

I

Первое стихотворение Пушкина, появившееся в печати,—«К другу-стихотворцу» (1814). Со стороны литературных комментариев вещь сомнений не вызывала,—пятнадцатилетний Пушкин выступил в печати как приверженец литературных взглядов школы Карамзина и противник «Беседы любителей русского слова», нападающий на старые имена «бессмысленных певцов», вокруг которых в то время шла оживленная полемика (Тредьяковский), и на имена литературных «староверов»—Шихматова, Хвостова, Боброва (Рифматов, Графов, Бибрус); при этом он противопоставил им объединенные в одном стихе разнохарактерные имена Дмитриева, Державина, Ломоносова—явление обычное в полемике карамзинской школы, не нападавшей на признанные авторитеты.

Гораздо менее освещен вопрос о п о в о д а х к написанию стихотворения и об адресате—«друге-стихотворце». Предполагать абстрактное «послание» к абстрактного адресата—«Ариста»—здесь не приходится не только потому, что все послания Пушкина уже в лицейскую пору конкретны, но и потому, что такой адресат и такие поводы имеются [1].

Дело в том, что сюжетом послания является не столько литературная полемика, сколько вопрос о профессии поэта: к Аристу обращены уговоры не «лезть на Геликон», во-первых, потому, что «не тот поэт, кто рифмы плесть умеет» («Страшись бесславия»), и во-вторых, потому, что «катится мимо их Фортуны колесо».

Вопрос о профессии, вернее о роде службы и занятий, а позже, при Энгельгардте, о «карьере», был одним из самых основных вопросов лицейской жизни. Согласно официальному «постановлению» лицеисты были «юношеством, особо предназначенным к важным частям службы государственной», но эта официальная формула прикрывала большие противо-

речия. В частности это относится к Кюхельбекеру. Письма матери Кюхельбекера Юстины Яковлевны за лицейские годы дают доказательства острой нужды семьи Кюхельбекеров, жившей надеждами на случайные наследства, протекции и т. д.[2]

Вместе с тем мать Кюхельбекера, урожденная фон Ломен, происходившая из служилого балтийского дворянства, систематически, от письма к письму, развивает целую систему взглядов на «служение отечеству»— государственную службу—и зорко следит за наклонностями сына.

Как была далека часть лицеистов ко времени окончания лицея от их первоначального официального предназначения видно из того, что Кюхельбекер серьезно мечтает о профессии школьного учителя в провинции, в чем встречает отпор со стороны матери, указывающей, что не для того он учился в лицее.

Вопрос о будущей профессии лицеиста Кюхельбекера, стоявший как перед матерью, так и перед ним самим, с большой остротой вставал однако и гораздо раньше. Сюда относится например письмо матери от 1812 г. по поводу желания Кюхельбекера итти добровольцем на войну, сюда же относится письмо, датирующееся 1813 г., по поводу занятий поэзией. Это письмо, как и послание Пушкина,—уговор бросить поэтическое творчество, не смотреть на него как на профессию:

«Ренненкампф говорил о тебе много хорошего, но просил меня напомнить тебе, чтобы ты не слишком много времени уделял писанию стихов; я также думаю, что ты не должен делать это своим единственным препровождением времени, твое воображение слишком живо, чтобы его не обуздывать при этих вещах; не нужно душить природного таланта, но чтобы достичь некоторого совершенства, нужно много познаний, а время юности так коротко для того, чтобы научиться служить отечеству, что даже тот, кто обладает талантом в поэзии, едва ли может в ней успеть по недостатку времени, потому что без настоящего знания языка и необходимой образованности в изящных искусствах—это значит только портить бумагу» (оригинал по-немецки; А. Я. Ренненкампф, адъюнкт словесности, служивший в лицее в 1813 г., доводился родственником Кюхельбекерам).

Особенно обостриться должен был вопрос именно в 1814 г.: в марте этого года умер директор Малиновский, со смертью которого кончился начальный период лицея с его задачей подготовки «к важным частям службы» и начался период «безначалия»—отсутствия директора. «Увещание» Пушкина имело столь же конкретный повод и конкретного адресата, как и «увещание» матери Кюхельбекера.

Между тем и в чисто литературной части полемическое послание могло быть обращено именно к Кюхельбекеру.

В литературном отношении характеристика творчества Ариста сильно напоминает обычные нападки на стихи Кюхельбекера в лицейских стихах Пушкина:

В холодных песенках любовью не пылай

Ср.: «Гекзаметром песенки пишет

Ямб охладил рифмача, гекзаметры он заморозит».

Ср. также: «Влюблен как Буало».

Уже в лицее литературные вкусы Кюхельбекера довольно ясно отличались от главенствовавшей там легкой поэзии. О том, как самостоятелен

был здесь Кюхельбекер, свидетельствуют хотя бы длинные выписки в его тетради из Шаплена (Ode au jardin de Richelieu*), бывшего в традиции легкой французской поэзии XVIII в. скорее кличкой бездарности, чем литературным именем.

Характерна в стихотворении Пушкина группа «страдальцев-поэтов»: Ж.-Б. Руссо, Камоэнс, Костров. Ж.-Б. Руссо был любимым поэтом преподавателя французской словесности, брата Марата, Будри, бывшего близким к семейству Кюхельбекеров и оказавшего большое влияние на литературные вкусы Кюхельбекера[3]. Список этих же поэтов мы встречаем в стихотворении Кюхельбекера 1823 г. («Участь поэтов»); начинается перечисление с Тасса («Того в пути безумие схватило»), затем следуют Руссо, Камоэнс, Костров и наконец Шихматов.

Томит другого дикое изгнанье,
Мрут с голоду Камоэнс и Костров,
Шихматова бесчестит осмеянье,
Клеймит безумный лепет остряков...[4]

«Участь поэтов»—излюбленная основная тема Кюхельбекера, которая варьируется им в течение всей его литературной деятельности; к году его смерти (1846) относится «Участь русских поэтов», где список заполнен другими именами: Рылеева, Пушкина, Грибоедова, Кюхельбекера. Вопрос о профессии литератора рано соединился с вопросом об участи поэта, и первое напечатанное стихотворение Пушкина—одно из ранних звеньев в этом ряду[5].

II

К 1835 г. относится стихотворение Пушкина «Полководец», посвященное Барклаю-де-Толли. Стихотворение было резко полемической, направленной против официальной истории с ее избранными, канонизованными героями 1812 года апологией теневой и полуопальной исторической фигуры и вызвало в свою очередь полемику. Пушкин печатает в ответ на полемику в IV книге «Современника» 1836 г. стихотворение «К тени полководца», предпосылая ему объяснение, где между прочим пишет о Барклае-де-Толли: «Ужели после 25-ти летнего безмолвия поэзии не позволено произнести его имя с участием и умилением? Вы упрекаете стихотворца в несправедливости его жалоб; вы говорите, что заслуги Барклая были признаны, оценены, награждены. Так, но кем и когда?.. Конечно не народом и не в 1812 году. Минута, когда Барклай принужден был уступить начальство над войсками, была радостна для России, но тем не менее тяжела для его стоического сердца. Его отступление, которое ныне является ясным и необходимым действием, казалось вовсе не таковым: не только роптал народ, ожесточенный и негодующий, но даже опытные воины горько упрекали его и почти в глаза называли изменником. Барклай, не внушающий доверенности войску, ему подвластному, окруженный враждою, язвимый злоречием, но убежденный в самого себя, молча идущий к сокровенной цели и уступающий власть, не успев оправдать себя перед глазами России, останется навсегда в истории высоко-поэтическим лицом». Пушкин говорит здесь как современник и свидетель двенадцатого года.

О настроении лицея в 1812 г. можно было судить только по лицейским журналам. Такова анонимная статейка «Слова истинного Русского от

* Ода к садам Ришелье.

1813 года»* (отрывок лицейского журнала «Для удовольствия и пользы»). Статейка написана в духе ростопчинских афишек. Но в лицей проникали и другие настроения, и другие влияния. В частности, 24 августа 1812 г., когда главным военным и политическим вопросом был вопрос о Барклае, в лицей была отправлена горячая апология Барклая.

Барклай-де-Толли был в родстве с матерью Кюхельбекера Юстиной Яковлевной; по рекомендации Барклая Кюхельбекер и был определен в лицей; имена Барклаев часто мелькают в переписке матери с сыном, главным образом как имена покровителей.

Восьмого августа 1812 г. состоялось назначение главнокомандующим Кутузова. В письме от 24 августа 1812 г. мать пишет Кюхельбекеру (оригинал по-немецки):

«Благодарю тебя за твои политические известия, ты легко представишь, что здесь говорят много вздора, из которого кое-что и верно, хотя многое преувеличено. Я напишу тебе о генерале Барклае только то, что совершенно достоверно и что скоро подтвердится в приказе корпусного генерала (des kommandierenden Generals) и выйдет бюллетенем. Император предоставил ему выбор: возвратиться в Петербург и снова исполнять обязанности военного министра или оставаться при армии. Барклай совершенно естественно выбрал последнее и командует первой частью главной армии под начальством главнокомандующего (Chefs). Если бы была хоть мысль об измене или о чем-нибудь, что ему можно было вменить в вину,—разве император поступил бы так? Однако Барклай теперь дает доказательство того, что любит свое отечество, так как по собственной воле служит в качестве подчиненного, тогда как он сам был главнокомандующим. Впрочем, пишу это для тебя,—учись не быть никогда поспешным в суждениях и не сразу соглашаться с теми, которые порицают людей, занимающих в государстве важные посты. Как часто случаются времена и обстоятельства, когда они не в состоянии действовать иначе, а отдаление и очень часто вымышленные сообщения враждебно настроенных и легкомысленных умов (Köpfe) вредят чести великого мужа. Я не хотела здесь писать оправдания генерала Барклая, я не сумею этого сделать, потому что я не военный и не муж,—я хотела только дать урок моему милому Вильгельму, о котором знаю, как часто увлекается он своими чувствами, урок—не так слепо верить всему, что он слышит. В твоем положении не следует противоречить, но не нужно выносить свой приговор, пока не скажут своего мнения заслуживающие доверия люди, которые имеют на это право по своему положению и опыту, или пока не выйдет манифест правительства. Но довольно об этом. Конечно теперь много разговоров и очень часто среди множества ложных слухов можно уловить и кое-что верное».

Таким образом перед нами серьезная политическая апология Барклая, написанная именно в минуту, когда Барклай принужден был уступить начальство над войсками, апология несомненно предназначенная для прочтения товарищам. Она характеризует степень политической страстности тринадцатилетних и пятнадцатилетних «лицейских» (5 октября того же года мать возражает против желания Кюхельбекера итти добровольцем в армию, указывая на безнравственность юнцов в corps des volontaires*, протестуя против «убоя детей» и наконец указывая, что это прервало бы его образование).

---

* В добровольческом корпусе.

Все «лицейские», в том числе и Кюхельбекер, повидимому были твердо убеждены в измене Барклая; в письме приведены главные пункты защиты Барклая: 1) любит свое отечество, так как по собственной воле служит в качестве подчиненного, тогда как сам был главнокомандующим, 2) ему вредят отдаление и вымышленные сообщения враждебно настроенных лиц.

Эти пункты апологии мы встречаем и в позднейшем стихотворении Пушкина «К полководцу».

В своем объяснении Пушкин дважды вспоминает о том историческом моменте, когда Барклай-де-Толли «уступил начальство»: «Минута, когда Барклай принужден был уступить начальство над войсками»...; «уступающий власть, не успев оправдать себя перед глазами России...»

ЛИЦЕЙСКИЙ АВТОПОРТРЕТ ПУШКИНА

Институт Русской Литературы, Ленинград

Нет сомнения, что резкая апология Барклая, полученная в лицее именно в этот момент, была первой апологией Барклая, известной Пушкину, запомнилась и легла в основу его отношения к отодвинутой на задний план официальной историей фигуре Барклая.

III

Изучению лицея и лицейского периода с внешней стороны повезло— ни одному периоду жизни Пушкина не посвящено столько исследований и монографий. Труды Селезнева, Н. Голицына, Я. Грота, К. Грота, Д. Кобеко, многотомный труд Гастфрейнда—краткий перечень монографий о лицее. Однако если присмотреться поближе, литература эта страдает большими недостатками. Вся без исключения она принадлежит перу людей, в разное время обучавшихся в лицее (за исключением Селезнева,

бывшего в лицее библиотекарем), приурочена большею частью к юбилейным датам, что придает ей, за немногими исключениями, особый специфически-юбилейный характер и, несмотря на то, что основана на большом фактическом материале, отразила в полной мере особые взгляды авторов на лицейскую традицию. В свете этой традиции лицей является единым за все время своего существования, сохранившим одни и те же культурные и социальные черты воспитательным учреждением с равным социальным положением воспитанников и притом с особо замкнутым, аристократическим, придворным характером. Хранителями традиций были при этом люди, нередко обосновывавшие на этой традиции свое литературное и официальное значение. Таким ранним хранителем этих традиций, вовсе не соответствовавших истории первых лет лицея и первого выпуска, был уже никто иной как второй директор лицея Егор Антонович Энгельгардт. Постоянно поддерживая отношения со всеми «лицейскими», пытаясь объединить их вокруг себя, создав и усердно проводя свое особое понимание «лицейского духа», он способствовал тому, что его имя стало неотделимо от лицея, стало как бы синонимом лицейской истории. Так это в действительности и было по отношению к позднейшей, после-пушкинской истории лицея; Энгельгардт управлял лицеем с 1816 по 1823 г.; по словам Селезнева «тут за последовавшими дополнениями к уставу его и по совершению трех полных курсов (в 1817, 1820 и 1823) характер заведения вполне сложился»[7]. Но этого нельзя сказать именно об истории первого, пушкинского, выпуска. В последние п о л т о р а года ш е с т и л е т н е г о лицейского курса Энгельгардт конечно не мог изгладить следов предшествующих ч е т ы р е х с п о л о в и н о й лицейских лет и не в той мере влиял на лицеистов первого пушкинского выпуска, как это ему хотелось и как это казалось ему и позднейшим историкам лицея впоследствии. Дальнейшая разработка архивов, связанных с лицеем, должна выяснить детали, но основные черты первого—пушкинского—выпуска ясны и теперь.

Лицейское шестилетие делилось на три резко отличающихся друг от друга периода. Об этом достаточно ясно говорит И. И. Пущин в своих «Записках»: «Лицейское наше шестилетие, в историко-хронологическом отношении, можно разграничить тремя эпохами, резко между собою отделяющимися: директорством Малиновского, междуцарствием (т. е. управлением профессоров: их сменяли после каждого ненормального события) и директорством Энгельгардта»[8]. Первый период длился от осени 1811 г. до марта 1814 г.—около $2^1/_2$ лет; второй—«междуцарствия» или «безначалия»—от марта 1814 г. до февраля 1816 г.—2 года и наконец самый короткий—«энгельгардтовский»—от февраля 1816 г. до июня 1817 г., т. е. менее $1^1/_2$ лет.

Малиновский ли, непосредственно связанный со Сперанским, Энгельгардт ли, ставленник Аракчеева, или наконец период «безначалия», «анархии» был определяющим для лицеистов? Думается, единства здесь не было. Была группа, до конца связанная с Малиновским, как и группа, связанная с Энгельгардтом, и наконец третья, которая всего больше характеризуется временем «безначалия». Неоспоримо длительное влияние Малиновского на таких товарищей Пушкина, как «Суворочка», «спартанец» Вальховский, будущий член Союза Благоденствия. Неоспоримо оно и по отношению к Кюхельбекеру. В его лицейском «Словаре», о котором придется еще говорить, видную часть занимают цитаты из книги Лонгина «О высоком». Эта книга—канон и источник теории высокой поэзии—легла в основу всех позднейших литературных взглядов Кюхельбекера. Лонгин был переведен

и издан Ив. Ив. Мартыновым (дир. департ. народн. просв. при Сперанском), одним из учредителей лицея, с которым Малиновский был непосредственно связан (самое название «Лицей» повидимому связано с журналом «Лицей» Мартынова [9]), и знакомством с Лонгином Кюхельбекер был вероятно обязан ему (возможно впрочем предполагать здесь и другое влияние—Будри, который мог познакомить лицеистов с трактатом Лонгина в переводе Буало). Именно же влиянию Малиновского следует приписать раннее увлечение Кюхельбекера восточными литературами (В. Ф. Малиновский был дипломатом, участвовал во время заключения мира с Турцией в конгрессе 1792 г. в Яссах, знал турецкий и еврейский языки). Следы детального изучения истории турецкой и персидской поэзии встречаются в лицейских записях Кюхельбекера. Морализующее направление Малиновского, стремившегося образовать «добродетели служилого дворянства», быть может окрашенное поэтизмом, характерным для круга Сперанского[10], также оказывало свое влияние: мораль привлекала к нему таких лицеистов, как Вальховский.

В неизданной биографии В. Д. Вальховского, составленной его близким другом, племянником его жены—дочери Малиновского—Евгением Андреевичем Розеном[11], о лицейских периодах Малиновского и Энгельгардта говорится следующее:

«В 1814 году умер директор Малиновский, это была большая потеря для лицея. Мы уверены, что если бы он довел первый выпуск до конца, то уровень воспитавшихся в нем был еще выше и нравственнее, в особенности же *Пушкин был бы нравственнее, и в его поэзии просвечивал бы более дельный* и главное нравственный характер; так-то преждевременная смерть полезного деятеля отзывается и в потомстве; но это коснулось Пушкина и других воспитанников первого выпуска, а не Вальховского; он бы лучше не был, потому что лучше и нравственнее нельзя было быть, и таким же пребывал до гроба. По смерти Малиновского место директора занял известный в то время Егор Антонович Энгельгардт, человек камеральный, отлично образованный, но совершенно другого направления, какое было у Малиновского. Энгельгардт наиболее заботился, чтобы из питомцев своих образовать «des cavaliers galants et des chevaliers servants»*. К сожалению они достигли этого: вот почему на Горчакове, Корфе, Маслове и многих других навсегда остался колорит некоторого вертопрашества и дамской угодливости. Это вредное направление не коснулось лишь одного Вальховского; он явил из себя спартанца-христианина, он все шесть лет погружен был в науку, обогащаясь сведениями и знаниями и никогда не посещал вечеринок, даваемых директором Энгельгардтом с целью развязать молодых людей».

Это свидетельство из круга Вальховского (и Малиновского) дает понять, насколько различны были не только два директора и два направления лицейского воспитания, но и насколько различны были группировки внутри лицея. Опубликование архивов поможет выяснить всю степень лицейского антагонизма и разности; но приведенный документ достаточно удостоверяет враждебность обоих направлений (сравнить хотя бы лицейские взгляды времени Энгельгардта на женщину как средство «карьеры» (Горчаков) и энгельгардтовские вечеринки, которые должны были приучить к развязности, с приведенным выше изречением Малиновского о женщинах, морально-пиэтистического характера).

---

* Галантных кавалеров и дамских угодников.

Энгельгардт был давнишним знакомым и свойственником семьи Ломенов, отец его был соседом по имению Ю. Я. Кюхельбекер и помогал ей в делах (аренда казенной земли в Лифляндии) (письмо матери к Кюхельбекеру от 11 марта 1817 г.); старые семейные балтийские связи делали Энгельгардта лично близким семейству Кюхельбекеров. Отношения с Энгельгардтом Кюхельбекер сохранил и по выходе из лицея. Но вот что он пишет об Энгельгардте в письме к матери от 10 июля 1833 г. из Свеаборгской крепости:

«Он всегда будет для меня незабвенным: я довольно долго (wohl einige Zeit) был несправедлив к нему, неблагодарен, но он знает, что тогдашнее мое поведение, направленное против него, проистекало не из моего сердца, но что меня настраивали. Он был мой воспитатель и никогда не относился ко мне несправедливо, даже тогда, когда я тяжело перед ним провинился».

Факты, о которых Кюхельбекер вспоминает, дают основание причислить и его к лицейской «оппозиции» Энгельгардту.

К оппозиции этой, как мы видели, принадлежал Вальховский. Если судить по отзывам Энгельгардта о лицеистах и полному отсутствию отношений по выходе из лицея—к ней в сильной степени принадлежал Пушкин; примыкал к ней и Кюхельбекер.

Этому как нельзя более соответствует то обстоятельство, что в письме к Кюхельбекеру от 24 января 1823 г. Энгельгардт выговаривает ему[12]: «Письмо твое, друг мой Вильгельм, я получил, и если с одной стороны мне очень приятно было видеть, что ты, наконец, вспомнил обо мне, то с другой стороны было очень досадно, что ты вспомнил не обо мне, не о Егоре Антоновиче, не о старом директоре и друге, а о каком-то чужом человеке, которого при каждом слове величаешь превосходительством. Если б я не знал твое доброе сердце, то я мог бы принять и титул этот и все письмо твое за колкость».

Таким образом реальный анализ отношений устанавливает, что Энгельгардт вовсе не является тем основоположником лицейского духа, тем «genius loci»*, каким хотел себя считать и каким считала его позднейшая лицейская историография.

При этом для некоторой группы лицеистов едва ли не важнее обоих периодов—Энгельгардта и Малиновского—был еще средний период—безначалия или «междуцарствия». Если принять во внимание важность внелицейских отношений Пушкина этого периода (гусарские полки, стоявшие в это время в Царском Селе,—Каверин, Чаадаев, Н. Раевский) и его отношение к лицейским «вольностям»,—придется отнести его именно к этой группе.

Из времени безначалия сохранилось любопытное письмо Кюхельбекера к сестре. Письмо написано по-немецки и носит пометку: 19 августа. Датируется 1814 годом, так как в Царском Селе царь, о котором упоминается в письме, мог быть только в августе 1814 г.: летом 1815 г. он был за границей.

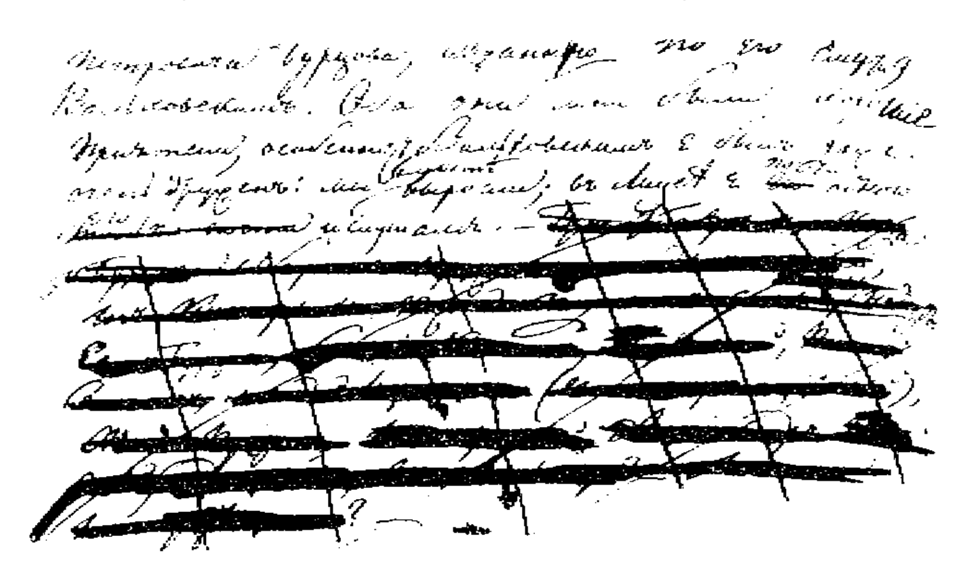
«Тебе пожалуй представится странным, если я скажу, что мы—мы в лицее—ведем очень рассеянную жизнь, быть может это кажется только в сравнении с нашей предшествующей монашеской жизнью. Теперь нам разрешается гулять одним со своими родителями, нас часто приглашают к обеду

---

* Божество места.

профессора или инспектор;—все это еще не рассеяние. Но так как у нас нет директора, а один из наших профессоров оставил нас по болезни[13], другие же часто прихварывают, и теперь никаких предметов дальше не проходят, а в виду предстоящего публичного экзамена, повторяют—ты можешь убедиться, что в нашей республике царствует некоторый беспорядок, который еще умножается разногласиями наших патрициев. Дай бог, чтобы скоро дали нам директора; говорят о разных, между прочим и о Григории Андреевиче Глинке, который однако и слышать об этом не хочет».

Таким образом единого лицея не было; ложное единство лицейской истории первого выпуска создано традицией. Период Малиновского больше всего повлиял на Вальховского и отчасти Кюхельбекера и Пушкина, период «междуцарствия» может быть больше всего отразился на Пушкине,



СПИСОК ЧЛЕНОВ КРУЖКА И. Г. БУРЦОВА

Строки из дневника Кюхельбекера, им самим зачеркнутые

Собрание Ю. Н. Тынянова, Ленинград

Пущине, Кюхельбекере — каждом по-своему, а период Энгельгардта образовал «cavaliers galants» и «chevaliers servants»—Горчакова и Корфа.

Эпизодом, характеризующим лицейские группировки с их различной направленностью и антагонизмом, явилось соперничество Горчакова и Вальховского по поводу получения золотой медали. М. А. Корф писал по этому поводу (записка Корфа относится к 1854 г.)[14]: «Князь А. М. Горчаков был выпущен из лицея не первым, а вторым. Первым был Владимир Дмитриевич Вальховский. Но нет сомнения, что в этом сделана несправедливость, единственно, чтобы показать отсутствие всякого пристрастия к имени и связям Горчакова. Блестящие дарования, острый и тонкий ум, неукоризненное поведение, наконец самое отличное окончание курса бесспорно давали ему право на первое место, хотя товарищи и любили его за некоторую заносчивость и большое самолюбие менее других». Между тем Е. А. Розен в цитированной выше неизданной биографии В. Д. Вальховского так описывает это запомнившееся на всю жизнь лицей-

ское соперничество: «Время близилось к выпуску, и начальство лицея хотело, чтобы на мраморной доске золотыми буквами был записан Горчаков, по наукам соперник Вальховского, но большинство благомыслящих товарищей Вальховского просили, чтобы первым был записан Вальховский, потому говорили они: «хоть у них отметки и одинакие, но Вальховский больше старается и в поведении скромнее»; тогда начальство лицея решило так: записать их обоих—первым чтобы был Владимир Вальховский, вторым князь Александр Горчаков».

IV

Пущин вспоминает о своем принятии в тайное общество—сразу же после окончания лицея: «Еще в лицейском мундире я был частым гостем артели, которую тогда составляли Муравьевы (Александр и Михайло), Бурцов, Павел Колошин и Семенов. С Колошиным я был в родстве. Постоянные наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими в тайне, необыкновенно сблизили меня с этим мыслящим кружком: я сдружился с ним, почти жил в нем. Бурцов, которому я больше высказывался, нашел, что по мнениям и убеждениям моим, вынесенным из Лицея, я готов для дела. На этом основании он принял в общество меня и Вальховского»[15]. В настоящее время есть возможность дополнить сведения об артели Бурцова и Колошина и ее влиянии на лицеистов.

11 января 1835 г. сидящий в Свеаборгской крепости Кюхельбекер занес в свой дневник: «...В Военном Журнале прочел я описание Осады и взятия Приступом Ахалцыха, статью покойного Ивана Петровича Бурцова, изданную по его смерти Вальховским. Оба они мне были хорошие приятели, особенно с Вальховским я был даже очень дружен: мы вместе выросли; в Лицее я почти одного его и слушал». Далее в рукописи следует восемь строк, зачеркнутых и тщательно зачерненных теми же чернилами. Строки эти мне удалось разобрать: «Где то время, когда у Бурцова собирался кружок молодых людей, из которых каждый подавал самые лестные надежды? Сам Бурцов, братья Колошины, Вальховский, Василий Семенов, молодой Пущин (Конно-артиллерийский), Жанно Пущин (?), Александр Рачинский, Дельвиг, Кюхельбекер.—Многие ли из них уцелели?»

Разумеется эти строки были зачеркнуты Кюхельбекером из осторожности. Статья, о которой говорит Кюхельбекер—«Осада крепости Ахалцыха» и «Приступ на крепость Ахалцых 15 августа 1828 года (продолжение статьи предыдущего №)»,—напечатана в «Военном Журнале», издававшемся Военно-ученым Комитетом в 1830 г. (№ 1, стр. 15—55 и № 2, стр. 1—16) и представляет собою реляцию за подписями Бурцова и Вальховского. Кюхельбекер забыл отчество Бурцова—это член Союза Благоденствия Иван Григорьевич Бурцов, командир Украинского пехотного полка, убитый в сражении летом 1829 г. Отчество Петрович могло припомниться Кюхельбекеру по связи с Алексеем Петровичем Бурцовым, к которому обращены известные послания Дениса Давыдова. Братья Колошины—члены Союза Благоденствия (оба брата были стихотворцы). Василий Семенов—лицеист второго курса, кончивший лицей в 1820 г. и впоследствии бывший цензором (им между прочим подписано цензурное дозволение «Повестей, изданных Александром Пушкиным», 1834 и второго издания «Прощальной

песни» Дельвига, 1835 г.). Можно впрочем предположить, что и здесь Кюхельбекер спутал имя—Василия Семенова он конечно знал, но Семенов, о котором пишет Пущин и о котором естественнее всего было вспомнить здесь,—Алексей Васильевич, член Союза Благоденствия. (Тождество имени одного и отчества другого объясняют ошибку.) «Молодой Пущин»—младший брат И. И. Пущина Михаил Иванович. Служил в саперном батальоне, затем в конно-пионерском эскадроне (в показаниях Вальховского: «Конной артиллерии Пущин»). Осужденный по X разряду, М. Пущин был отдан в солдаты и сослан на Кавказ. В статье, которую читал Кюхельбекер, капитан Пущин неоднократно упоминается и в списке раненых показан «тяжело ранен пулею в грудь на вылет» («Воен. Журн.» № 2, стр. 8). И. И. Пущин назван в списке своим лицейским именем: Жанно. Названный в списке кружка Рачинский значится поднадзорным в «Алфавите» следственной Комиссии[16].

Исключительный интерес представляет в этом списке членов кружка Бурцова имя Дельвига, общественные и политические интересы и симпатии которого в лицейскую пору впервые удается достаточно конкретно установить. Столь же интересна степень влиятельности в лицее Вальховского, которая ясна из слов Кюхельбекера: «почти одного его и слушал».

Таким образом три самых близких лицейских друга Пушкина—Пущин, Дельвиг и Кюхельбекер—были членами бурцовского кружка.

Далеко еще не все пути проникновения в лицей революционизирующих мнений и убеждений выяснены. Невозможно конечно объяснять «подготовленность» Пущина и Вальховского «направлением преподавания», как это делает например Кобеко[17], но нет сомнения, что преподавание Куницына и литературные вкусы Будри действовали в этом направлении (в «Словаре» Кюхельбекера записано изречение Будри, очень характерное для оппозиционного направления брата Марата: «On dit est un menteur»)* [18].

Один из непосредственных путей шел через Кюхельбекера. Кюхельбекер теснейшим образом уже в лицейское время связан с семьей Глинок. Григорий Андреевич Глинка женат был на старшей сестре Кюхельбекера Юстине Карловне, являвшейся всю жизнь покровительницей и помощницей брата. Литератор и профессор русского языка и словесности в Дерптском университете (Карамзин указывал на него как на первый пример дворянина-профессора) Глинка с 1811 г. был гувернером великих князей Николая и Михаила, в 1813 г. преподавал русский язык императрице Елизавете и в. кн. Анне Павловне и часто имел поэтому возможность видеться с Кюхельбекером (см. приведенное выше письмо Кюхельбекера к сестре, по которому Г. А. Глинка считался даже кандидатом в директоры лицея). Будучи тесно связан с братом Владимиром Андреевичем (член Союза Благоденствия) и кузеном Федором Николаевичем (член Союза Спасения), он становится посредником между ними и шурином. Сношения Кюхельбекера с Федором Николаевичем Глинкой засвидетельствованы еще для лицейского времени (письмо матери от 28 апреля 1817 г.).

Мать, сестра Юстина Карловна, их друзья Брейткопфы, Григорий Андреевич Глинка, а позже и Федор Николаевич снабжали Кюхельбекера книгами в лицее.

---

* «Говорят»—это ложь.

В 1812 г. (11 октября) мать посылает ему греческие книги (Кюхельбекер еще в лицее начинает изучать греческий язык); в 1813 г. посылаются ему идиллии Гесснера; тогда же Кюхельбекер выписывает Шиллера; в 1814 г. Брейткопф шлет ему «Векфильдского священника» Гольдсмита; тогда же посылается ему «Мессиада» Клопштока; в 1815 г. выписывается для него журнал «Амфион», посылаются в лицей два тома Грессе (1814—1815 гг.) (отсюда лицейское знакомство Пушкина с автором «Le lutrin vivant», «Vert-vert» и «La chartreuse»*, Вальтер-Скотт и «английские книги»—Ричардсон, Стерн (Кюхельбекер изучает уже в лицее английский язык). Уже в 1812 г. отмечена посылка книг от Григория Андреевича Глинки: он шлет Кюхельбекеру сочинения Дмитриева. В 1815 г. Ф. Н. Глинка посылает ему свои «Письма русского офицера». В 1815 же году Г. А. Глинка шлет в лицей Кюхельбекеру книги Вейса, о чем его извещает в письме мать, и повидимому тогда же посылаются сочинения Руссо.

Вейс и Руссо становятся в лицее настольными книгами Кюхельбекера. Революционизирующее влияние, какое оказал Руссо на многих декабристов, общеизвестно. Книги Вейса—это «Principes philosophiques, politiques et moraux»** 2 тома, 1785 г. (выдержали много изданий и переводов).

Франсуа-Рудольф Вейс (1751—1818)—швейцарский политический деятель и писатель, ученик Руссо, примкнувший с 1789 г. к Французской революции. О популярности его «Principes» среди декабристов и об их революционизирующем влиянии сохранился ряд показаний: Дивова, Крюкова, Ф. П. Шаховского и др.[19]

Член Общества Соединенных Славян М. М. Спиридов перед арестом пытался скрыть рукописные переводы из сочинений Вейса под названием «Правила философии, политики и нравственности», как «могущие служить к большему его обвинению». С произведением этим он же познакомил в свое время И. И. Горбачевского[20]. Отрывки переводов из Вейса неоднократно печатались в периодических изданиях. Ср. например перевод А. Бестужева: «Утешение в несчастии (из Вейса)», «Литературные Листки» 1824, ч. IV, № 21—22. Ср. также «Сын Отечества» 1818, № 24—25: «Нравственная философия. Познание человека (из второй части сочинения Вейса)». Пер. А. Струговщикова.

Первая часть сочинения Вейса была переведена Струговщиковым и издана в 1807 г. под названием: «Основание или существенные правила философии, политики и нравственности», ч. I; ч. II—политическая—не издавалась.

Под влиянием Вейса Кюхельбекер начинает свой с л о в а р ь. В статье своей о Дельвиге (1831 г.) Пушкин так вспоминает о Кюхельбекере: «Клопштока, Шиллера и Гете прочел он с одним из своих товарищей, живым л е к с и к о н о м и вдохновенным комментарием». Быть может, слово «лексикон» Пушкин употребил здесь, вспоминая тот лексикон, над которым в лицее трудился Кюхельбекер.

«Словарь» представляет собою объемистую тетрадь плотной синей бумаги в $^{1}/_{4}$ листа; бумага синего цвета; заполнено всего 245 страниц. И по объему, и по характеру «Словаря» ясно, что он велся с 1815 г. до окончания лицея. Доведенный до буквы Щ, он на странице 201 (текста) начинается снова (с буквы Б доведен до буквы С). Написан сплошь рукою Кюхельбекера.

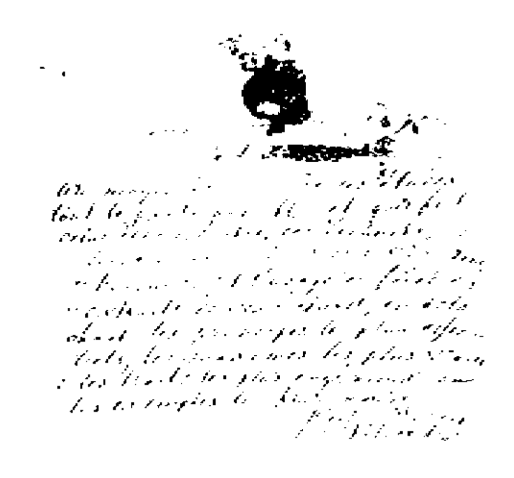
---

* «Живой аналой» «Вер-вер», «Монастырь».

** «Принципы философии, политики и нравственности».

ОБЛОЖКА ЛИЦЕЙСКОГО „СЛОВАРЯ" КЮХЕЛЬБЕКЕРА

Собрание Ю. Н. Тынянова, Ленинград



Самую мысль о составлении словаря выписок и цитат подал Кюхельбекеру тот же Вейс, как он же определил и характер его. На 1-й странице в виде эпиграфа помещена следующая выписка из него: «Un moyen de tirer de ses études tout le parti possible et qui fut celui des Descartes, des Leibnitz, des Montesquieu et divers autres grands hommes, et l'usage de faire des extraits des ses lectures, en détachant les principes les plus essentiels, les maximes les plus vraies, les traits les plus ingénieux, les exemples les plus nobles».

Weiss. Principes philos. Pol. et Moraux*.

Сверху, повидимому позднее, приписано:

«Je prends mon bien ou je le trouve. Molière»**.

Объемистый «Словарь» является сводом философских, моральных, политических и литературных вопросов, интересовавших Кюхельбекера (и, как увидим ниже, его товарищей) в лицее. Раннее возникновение вопросов этого порядка не неожиданность для нас; в своей программе автобиографических записок (1830 г.) Пушкин к первому году своего пребывания (1811) отнес пометки: «Философические мысли—Мартинизм». Источники словаря: Руссо (главным образом «Эмиль»)—46 выписок; Вейс с—115, Шиллер—26; встречаются выписки из Ричардсона, Стерна, m-me де Сталь, Лессинга, И.-Ф. Мюллера, Бернарден де Сен Пьера, Монтаня, Вольтера, Боссюэ, Пирона, Лабрюйера, Мармонтеля; из древних писателей основным по вопросам литературной теории является Лонгин; далее цитируется Сенека[21], Эпиктет, Эпикур; встречаются и восточные имена—Саади, «Зороастр»; характерно изучение эстетики и теории словесности (Блэр, Перевощиков, Толмачев). Из русских писателей цитируется чаще других Ф. Глинка, встречается Батюшков, есть изречение Василия Львовича Пушкина, пи-

* Средством извлечь из своих занятий всю возможную пользу, тем самым, к которому прибегали Декарты, Лейбницы, Монтескье и многие другие великие люди, является обыкновение делать выписки из читаемого, выделяя наиболее существенные положения, наиболее правильные суждения, наиболее тонкие наблюдения, наиболее благородные примеры. Вейс, Принципы философ., полит. и нрав.

** Я беру свое добро, где нахожу. Мольер.

савшего в жанре сентенций[22] и даже Шаликова. Встречаются и выписки из журналов: происшествия («Суеверие XIX в.»), характеристики замечательных лиц («ген.-лейт. Дорохов»; «крестьянин-самоучка Свешников» и др.). Из журналов использованы главным образом «Сын Отечества» 1815, 1816 гг., «Conservateur impartial» 1815 г., «Северная Почта» 1815 г.

Общественно-политическую направленность «Словаря» характеризуют такие статьи его, как «Аристократия», «Естественное состояние», «Естественная религия», «Картина многих семейств большого света», «Знатность происхождения», «Образ правления», «Низшие (справедливость их суждений)», «Обязанности гражданина-писателя», «Проблема», «Рабство», «Хорошее и лучшее», «Петр I»; «Война прекрасная», «Свобода»—Вейса. Из Шиллера цитируется почти исключительно «История отпадения Нидерландов»; характерны цитаты: «Общественное благо»; «Свобода гражданская». Из Руссо обильные цитаты: о «добродетели», о «силе и свободе» и т. д.

Приведем несколько примеров:

ВЕЙС:

Знатность происхождения.

Тот, кто шествует по следам великих людей, может их почитать своими предками. Список имен будет их родословною.

Образ правления.

Пусть народ выбирает своих предстателей, а сии последние правителей государства; пусть сии два сословия будут иметь всякую другую власть, кроме дающей право переменить способ выбора предстателей; пусть общее мнение решает гражданские несогласия.

Обязанность гражданина-писателя.

Если имеешь несчастие жить под худым правлением и если у тебя довольно сведений, чтобы видеть все злоупотребления, тебе позволено, хотя и с малой надеждой успеха, стараться уведомить тех, чьи сан и влияние могут поправить зло. Но будь великодушен, не распространяй сих печальных истин между простым народом.

Проблема.

NB. Достойно было бы старания ученых исследовать причины различных степеней уважения, в которых находятся разные народы.

Рабство.

Несчастный народ, находящийся под ярмом деспотизма, должен помнить, если хочет расторгнуть узы свои, что тирания похожа на ярмо, которое суживается сопротивлением. Нет середины: или терпи, как держат тебя на веревке, или борись, но с твердым намерением разорвать петлю или удавиться. Редко, чтобы умеренные усилия не были пагубны.

Война прекрасная.

Как благородною была бы война, предпринятая противу Деспотических правительств единственно для того, чтобы освободить их рабов.

Петр Великий.

Петр был одним из величайших государей, но его наследники могут его превзойти,—их подданные еще рабы.

ШИЛЛЕР:

Свобода гражданская.

Государь (самодержец) всегда будет почитать гражданскую свободу за очуженный удел своего владения, который он обязан обратно приобресть. Для гражданина самодержавная верховная власть дикий поток, опустошающий права его.

РУССО:

Сила и свобода.

Один только тот следует своей воле, кто для того, чтобы сделать то, чего желает, не имеет нужды приставить к своим рукам руки других, и так первое из благ не есть власть, но свобода.

Равнодушие философское.

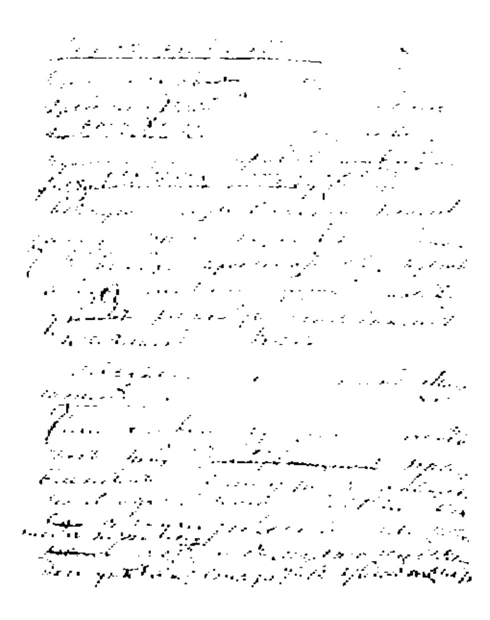
Фил. Равнодушие сходно с спокойствием Государства под Деспотическим правлением: оно не что иное как спокойствие смерти, оно гибельнее самой войны.

Таким образом в лицее—этом по официальному своему положению полупридворном воспитательном заведении, рядом с царским дворцом—шестнадцатилетние подростки в 1815—1817 гг. уже занимались вопросами философии и политики, подготовлявшими их отнюдь не к служебной деятельности.

Еще в лицее Кюхельбекер—прямой ученик Руссо и Вейса. Этим объясняется и мнение о нем Баратынского в письме к Н. В. Путяте от февраля 1825 г.: «он человек занимательный по многим отношениям и рано или поздно в роде Руссо очень будет заметен между нашими писателями. Он с большим дарованием и характер его очень сходен с характером Женевского чудака»[23].

М. А. Цявловский обратил мое внимание на черновую строфу стихотворения «19 октября» (1825 г.):

> Златые дни, уроки и забавы,
> И черный стол, и бунты вечеров,
> И наш словарь, и плески мирной славы,
> И критики лицейских мудрецов.



ОДНА ИЗ СТРАНИЦ ЛИЦЕЙСКОГО „СЛОВАРЯ“ КЮХЕЛЬБЕКЕРА

Собрание Ю. Н. Тынянова, Ленинград

В сáмом деле, если «лицейские мудрецы» объясняются названием лицейского журнала, если понятен и дисциплинарный лицейский «черный стол», то до сих пор оставалось неразгаданным выражение «наш словарь». Досужие догадки комментаторов о каком-то шуточном словаре, составлявшемся лицеистами (и до нас недошедшем), теперь следует оставить. (Кстати следует отметить, что приведенная черновая строфа отделена лишь одной строфой от двух строф, посвященных Кюхельбекеру.)

«Наш словарь»—это не шуточный, а политический и философский словарь, составленный Кюхельбекером может быть при прямом участии его товарищей. Конечно по окончании лицея были «подготовлены» не только Пущин и Вальховский.

Интересно, что Кюхельбекер повидимому посылал свой словарь в 1817 г. для прочтения Федору Николаевичу Глинке. Мать пишет Кюхельбекеру в письме от 28 апреля 1817 г.: «Федор Николаевич Глинка посылает тебе свой журнал. Твоего альбома (Albaum) у меня еще нет. Завтра твоя сестра попросит вернуть его». (Письмо написано по-немецки.) Albaum — это может быть с л о в а р ь, на время посланный Глинке для прочтения. «Ж у р н а л» Ф. Глинки—это вероятно «Военный журнал», им редактированный (1817—1819).

В чисто литературных вопросах основным для Кюхельбекера является, как сказано, вопрос о высокой поэзии и авторитет Лонгина. Занимают его и вопросы эпопеи («Одиссея», «Илиада», «Освобожденный Иерусалим»), драмы. Таковы в «Словаре» высказывания о трагедии Вольтера и Лессинга. Насколько был знаком Пушкину «Словарь» и насколько занимали его вопросы, занимавшие Кюхельбекера, мы можем заключить из следующего.

В проекте предисловия к «Борису Годунову» (так называемое «Письмо к Н. Раевскому») Пушкин обосновывает условность трагедии и между прочим говорит о языке: «Законы его (рода трагедии.—*Ю. Т.*) стараются вывести из правдоподобия, а оно-то искажается самой сущностью драмы, не говоря уже о времени, месте и проч., какое к чорту правдоподобие может быть в зале, разделенном на две половины...

«Язык. Напр. Филоктет у Ля-Гарпа говорит чистым французским языком, выслушавши тираду Пирра: «Увы! Я слышу сладкие звуки греческой речи». Все это не представляет ли условного правдоподобия?»

Между тем в «Словаре» Кюхельбекера есть место, ясно указывающее, что вопрос об условности театра дебатировался уже в лицейскую пору:

«П р е д р а с с у д о к в рассуж. театра.

Мы настоятельно требуем единства места и времени, а соглашаемся, чтобы Татарин, Турок и Американец в траг. Расина и Вольтера говорили по-французски.

Глинка».

Одно из политических «размышлений» Пушкина, условно помечаемое 1831 г., повидимому также восходит к отрывку из Вейса, вошедшему в «Словарь» Кюхельбекера. Замечание Пушкина: «Stabilité—première condition du bonheur public. Comment s'accomode-t-elle avec la perfectibilité indefinie?» (Устойчивость режима первое условие общественного счастья. Как согласовать ее с возможностью бесконечного совершенствования?)

Быть может это размышление было вызвано следующим отрывком из Вейса:

ОДНА ИЗ СТРАНИЦ ЛИЦЕЙСКОГО „СЛОВАРЯ" КЮХЕЛЬБЕКЕРА

Собрание Ю. Н. Тынянова, Ленинград

«Хорошее и лучшее.

Предрассудок, заставляющий нас почитать хорошее правление правлением превосходным, нередко бывает одним из величайших препятствий к его улучшению».

Другим примером является одна из записей Пушкина: «Разговоры с Натальей Кирилловной Загряжской» (12 августа 1835 г.): «Вы слыхали про Ветошкина». Рассказ этот замечателен тем, что в нем выведен знаменитый якобинец, «последний монтаньяр», Жильбер Ромм (как известно, бывший в России гувернером П. А. Строганова). «Приказчик на барках», раскольник Ветошкин становится ученым, возбуждающим удивление Ромма. Ему покровительствуют Шувалов и Потемкин. «Разговоры с Загряжской» имеют большое значение в вопросах пушкинской прозы. Метод непосредственной записи здесь доведен до предела интонационной точности.

Между тем в «Словаре» Кюхельбекера есть запись, имеющая непосредственное отношение к «разговору» о Ветошкине. На букву С значится между прочим следующая запись:

«Свешников Иван Евстратьевич прибыл в С.-П. 1784 из Тверской губернии—воспитанник природы и прилежания».

Эта запись почерпнута Кюхельбекером из того же Ф. Глинки: «Русский крестьянин-философ Иван Евстратьевич Свешников», отрывок из «Писем русского офицера» Глинки (1815 г., ч. II, стр. 88—112), перепечатанный тогда же в «Сыне Отечества» (1815 г., ч. XXIV, стр. 163—181), бывшем в руках у Кюхельбекера. История Свешникова почти во всем совпадает с историей Ветошкина, только отсутствует имя Ромма, а среди покровителей кроме Потемкина и Шувалова названа еще Дашкова. Главное же отличие—в тенденции рассказа Глинки: его Свешников—крестьянин. «Хотя по словам Шиллера достоинство и дарование, возникшее в бедности, должно пробиваться сквозь железную стену предрассудков и отличий общественных, однако опыт доказывает, что рано или поздно преодолевает оно все препоны и пролагает себе путь к известности («Сын Отечества» 1815 г.,

ч. 24). Следует указание на Ломоносова, на сына ржевского купца Волоскова—механика и химика—и затем излагается история Свешникова: «Свешников, едва ли кому известный, достоин также занимать место в ряду отличнейших мужей отечества нашего» (стр. 164).

Заинтересовав руссоиста Кюхельбекера как «воспитанник природы и прилежания», входящий в ряд популярных тогда «самородных дарований», крестьянин Свешников Глинки является в записи Пушкина «приказчиком на барках» (деталь эта имеется и у Глинки), при чем самая фамилия Свешникова изменилась в Ветошкина.

V

Лицейское чтение Вейса и Руссо любопытно еще и другим. Изучена чисто литературная культура раннего Пушкина, известны имена даже второстепенных и третьестепенных французских мастеров, у которых он учился. Относительно же философии — в частности французской философии XVIII в.—никто еще не произвел настоящего анализа пушкинского чтения. Между тем чтение Монтэня, Лабрюйера и др. Пушкиным засвидетельствовано, а такие произведения, как его «драматические изучения» («маленькие трагедии»), обнаруживают глубокое знание «моралистов» XVI—XVIII вв. (недаром первоначальные названия «Скупого рыцаря» и «Моцарта и Сальери» — «Скупой» и «Зависть»—кажутся взятыми из трактата Вейса).

Л. Майков отметил автобиографическое значение для Пушкина темы скупого отца. Психологический и моральный анализ скупости поэтому мог уже в лицейские годы заинтересовать Пушкина и лечь в основу анализа скупости, произведенного им в 1830 г. во время написания «Скупого рыцаря». Ср. Вейс: «...Примечено, что большая часть вредных склонностей находят наказание в самих себе и удаляются от своего предмета. Сладострастный соделывается немощным и неспособным к наслаждению. С к у п о й, б о я с ь, ч т о б ы н е в п а с т ь в н и щ е т у, д е л а е т с я н и щ и м».

«...Богатство о б е с п е ч и в а е т н е з а в и с и м о с т ь с к у п о г о, з а м е н я е т р а з л и ч н ы е ж е л а н и я, п о д к р е п л я е т о с л а б е в а ю щ и е е г о с и л ы и служит вместо тех пособий, в которых бы ему другие отказали».

«...Скупость не всегда опорочивает наслаждение... Сия безмерная страсть, умножаемая всегда роскошью, есть одна из главнейших причин бедности, удручающей большую часть народов, для утоления ненасытной алчбы малого только числа людей. Скупой не есть также, как он себе воображает, человек, никаких нужд не имеющий; напротив того, в н е м с о е д и н е н ы в с е в о з м о ж н ы е с к л о н н о с т и, и о н в ы д у м ы в а е т б е с п р е с т а н н о с р е д с т в а к у д о в л е т в о р е н и ю о н ы х, н о м а л о д у ш и е н е д о п у с к а е т е г о и м и н а с л а ж д а т ь с я.

...Необходимые нужды наши весьма немногого требуют; напротив того скупость и честолюбие не имеют другого предела, кроме невозможности»[24].

VI

Кюхельбекер навсегда сохранил о лицее воспоминания. Культ «дружбы», «дружбы поэтов», возникает у него в лицее; он объединяет в «Союз» Пушкина, Дельвига и себя, а затем Баратынского и Грибоедова; это

сказывается в ряде лирических пьес Кюхельбекера и является главной темой его лирики.

В крепости и ссылке он часто вспоминает «лицейских».

К 30-м годам относится его воспоминание о лицейском быте, при чем он особенно останавливается мыслью на Пушкине. Он пишет своей племяннице Александре Григорьевне Глинке: «Были ли Вы уж в Царском Селе? Если нет, так посетите же когда-нибудь моих пенатов, т. е. прежних... Мне бы смерть как хотелось, чтоб вы посетили Лицей, а потом мне написали, как его нашли. В наше время бывали в Лицее и балы, и представь, твой старый дядя тут же подплясывал, иногда не в такт, что весьма бесило любезного друга его Пушкина, который впрочем ничуть не лучше его танцовал, но воображал, что он по крайней мере Cousin germain* Госпожи Терпсихоры, хотя он с нею и не в близшем родстве, чем Катенин со мною, у которого была привычька звать меня: mon cher cousin**.—Странно бы было если бы Саше случилось танцовать на том же самом паркете, который видел и на себе испытал первые мои танцовальные подвиги! А впрочем, чем Судьба не шутит?—Случиться это может.—Кроме Лицея, для меня незабвенна Придворная Церковь, где нередко мои товарищи певали на хорах. Голоса их и поныне иногда отзываются в слухе моем. Да чтоже и не примечательно для меня в Царском Селе? В Манеже мы учились ездить верьхом; в саду прогуливались; в Кондиторской украдкою лакомились; в Директорском доме против самого Лицея привыкали несколько к Светскому обращению и к обществу дам. Словом сказать, тут нет места, нет почти камня, ни дерева, с которым не было сопряжено какое-нибудь воспоминание, драгоценное для сердца всякого бывшего воспитанником Лицея.—Итак, прошу тебя, друг мой Сашинька, если будешь в Царском Селе, так поговори со мною о нем, да подробнее».

(Кроме бытовых и биографических данных о лицее и Пушкине-лицеисте письмо интересно неожиданно возникшим воспоминанием о Катенине, позволяющем установить степень личной близости двух литературных единомышленников.)

В письме к родным—матери и сестрам—от 5 апреля 1832 г. из Свеаборгской крепости Кюхельбекер осведомляется о всех лицейских товарищах, опуская само собою разумеющееся имя Пушкина:

«... Как я часто думаю о тех, с которыми ранее был дружен, то естественно, что мне нередко представляются те, с которыми я воспитан. Поэтому прошу моих милых сестер писать все, что знают о жизни и судьбе моих товарищей по лицею. О троих я знаю кое-что из газет, которые ранее читал: именно о Корфе, что он теперь камергер, статский советник и кавалер ордена Станислава, о Вальховском, что он полковник и был генерал-квартирмейстером Кавказского корпуса—и, наконец, о Данзасе, что он отличился при Браилове, но это все, что я знаю. Итак, я хотел бы услышать что-нибудь о Малиновском, Стевене, Комовском, Яковлеве и о каждом другом лицеисте первого выпуска, не забудьте также узнать о Горчакове»[25].

Ко времени 1817—1818 гг.—после выхода из лицея—относится не совсем выясненный эпизод с ссорой Пушкина и Кюхельбекера, вызвавшей дуэль. Первые сведения о ней опубликованы Бартеневым, основывавшемся

* Двоюродным братом.

** Дорогим кузеном.

на рассказе Матюшкина и записке Даля о дуэлях Пушкина, написанной вскоре после кончины Пушкина.

«Матюшкин рассказывал, что Пушкин дрался с Кюхельбекером за какое-то вздорное слово, но, выстрелив в воздух, они тотчас же помирились и продолжали дружбу»[26].

По Бартеневу дуэль произошла около 1818 г. из-за известной эпиграммы «За ужином объелся я». «Кюхельбекер стрелял первым и дал промах. Пушкин кинул пистолет и хотел обнять своего товарища, но тот неистово кричал: стреляй, стреляй! Пушкин насилу его убедил, что невозможно стрелять, потому что снег набился в ствол. Поединок был отложен, и потом они помирились»[27].

В тех же чертах, что и Бартенев (Даль), передает известие о дуэли Н. И. Греч в своих «Записках», уснастив рассказ множеством анекдотических деталей.

Во всех трех версиях есть противоречащие детали и есть черты вымысла; так например, «пистолет, в который набился снег»,—это вероятно пистолет Кюхельбекера в день 14 декабря; покушение Кюхельбекера на вел. князя Михаила Павловича в день 14 декабря привлекало к себе разумеется интерес—и деталь, фигурировавшая на суде, могла в устном предании прикрепиться к имени Кюхельбекера и в другом случае.

Общей чертой этих свидетельств является «эпиграмма» или «вздорное слово» и несерьезность ссоры, за которой последовало примирение. С. М. Бонди, сличая одну из лицейских эпиграмм (приписываемую им Пушкину) со стихотворением Кюхельбекера[28], в котором критикуется эта эпиграмма, приходит к противоположному заключению—о серьезности ссоры.

К этому следует присоединить еще одно показание.

В 1875 г. в «Русской Старине», № 6 были опубликованы «Биографические заметки о Кюхельбекере, собранные редакцией при содействии его семейства» (делается ссылка на сына Михаила Вильгельмовича Кюхельбекера, дочь Юстину Вильгельмовну Косову и племянницу Александру Григорьевну Глинку). В основу этих заметок легла в достаточной степени искаженная (а кое-где и дополненная) редакцией рукопись Ю. В. Косовой, представляющая в основном полемику с появившимися в 1858 г. «Записками» Греча.

В записке своей об отце Ю. В. Косова между прочим пишет: «В лицее подружился он со многими из своих товарищей и остался с ними в сношениях до самой смерти, несмотря на различие их последующей судьбы; [короче всех сошелся он с Пушкиным, Дельвигом, Горчаковым, Яковлевым]; на долю большей части из них выпали почести и слава, на его—заточение и изгнание. Один только из них И. Ив. Пущин был его товарищем не только на скамьях лицея, но и в рудниках Сибири. О дружбе его с Пушкиным остались более достоверные и благородные памятники, чем пустое четверостишие, приведенное Гречем. Во многих отдельных стихотворениях, особенно в одах своих на 19-ое Октября (Лицейские Годовщины) Пушкин с любовью и уважением упоминает о товарище своем, называя его своим братом «по Музе и Судьбе». Кстати упомяну здесь—и о дуэли, которую Кюхельбекер имел по словам Греча с Пушкиным—[в действительности] она если существовала, то только в воображении Г-на Греча или вернее всего придуманна просто им в виде остроумного анекдота.—Еще в лицее, или тот час же по выходе из него Кюхельбекер действительно дрался с одним из своих товари-

щей—да только не с Пушкиным, а с Пущиным; верно Греча сбила схожесть фамилий (безделица!). Причина поединка мне неизвестна, знаю только, что он не помешал их обоюдному уважению и что я и теперь обязана И. И. Пущину возможностью издать бумаги отца, так как они были собраны и сохранены им».

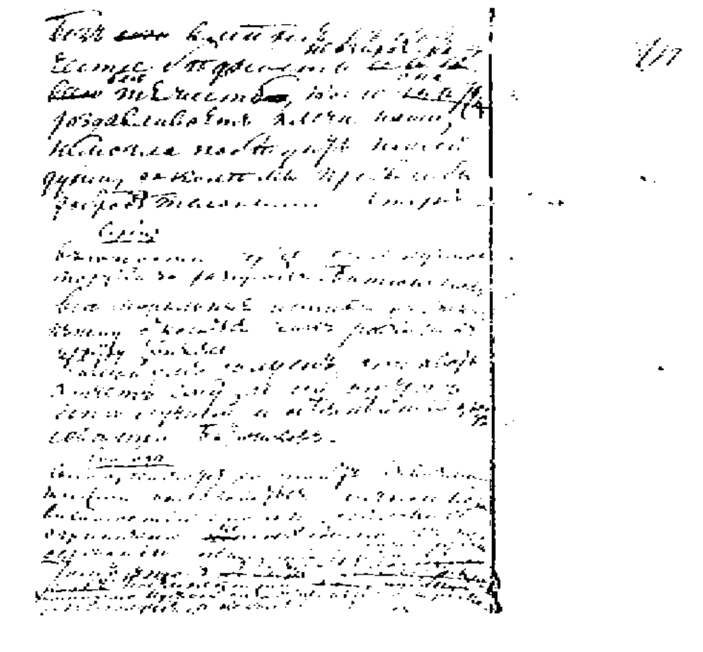
Недооценивать это свидетельство дочери не приходится главным образом вследствие особых отношений детей Кюхельбекера к Пущину, после смерти отца опекавшему их; это же позволяет категорическое высказывание Косовой возводить к личному рассказу Пущина.

Тем не менее факт какой-то ссоры Пушкина и Кюхельбекера, так или иначе связанный с дуэлью, приходится считать установленным, вследствие наличия прямых свидетельств Матюшкина и Даля, на которые ссылается Бартенев.

Кроме позднейшего стихотворения «Разуверение» о какой-то ссоре с Пушкиным может быть свидетельствует еще одно стихотворение Кюхельбекера (в том же сборнике ИРЛИ), не поддающееся точной датировке:

К —

Так! легко мутит мгновенье
Мрачный ток моей крови,
Но за быстрое забвенье
Не лишай меня любви!—
Редок для меня день ясной!
Тучами со всех сторон
От зари моей ненастной
Был покрыт мой небосклон.
Глупость злых и глупых злоба
Мне и жалки и смешны:



ОДНА ИЗ СТРАНИЦ ЛИЦЕЙСКОГО „СЛОВАРЯ“ КЮХЕЛЬБЕКЕРА

Собрание Ю. Н. Тынянова, Ленинград

Но с тобою, друг, до гроба
Вместе мы пройти должны.
Неразрывны наши узы!
В роковой священный час,
Скорбь и Радость, Дружба, Музы,
Души сочетали в нас.

Первоначальное заглавие стихотворения: «Другу».

Варианты: 1. За мгновенное забвенье
Не лишай меня любви.
2. Дружба, Добродетель, Музы,
Съединили братьев нас.

По характерным особенностям стиха и языка и на основании последней строфы («роковой священный час»—повидимому разлука по окончании лицея) можно отнести стихотворение ко времени, непосредственно после окончания лицея, к 1817 или 1818 г. Стихотворение относится к Пушкину («Музы»), либо к Дельвигу («Добродетель»). Однако чувство вины «за мгновенное забвенье» сближает это стихотворение с «Разуверением» и как бы подтверждает догадку о ссоре с Пушкиным, при чем Кюхельбекер был повидимому нападающим.

Другой вопрос—вопрос о фактической стороне дуэли; несомненен анекдотизм в ее описании, о котором говорит Косова. Ее высказывание в анонимном редакционном пересказе «Русской Старины» (1875 г., № 6, стр. 338) не привлекало до сей поры внимания; им устанавливается новый факт из биографии Кюхельбекера—дуэль с Пушкиным.

VII

К периоду 1817—1819 гг. относится еще одно стихотворное послание Кюхельбекера к Пушкину. Оно имеется в позднем сборнике стихотворений; сборник озаглавлен: «1-е продолжение Песен Отшельника» и написан рукой Кюхельбекера. Время составления сборника—сибирская ссылка, годы перед смертью: 1844—1845. Стихотворение «К Виктору Ӱго прочитав известие, что у него потонула дочь», относящееся к 1844 г., помещено в самой середине сборника. В сборнике Кюхельбекер подводит итоги своей лирики. Сборник в некоторой части состоит из ранних стихотворений Кюхельбекера как печатавшихся до 1825 г., так и бывших в рукописи.

Последнее стихотворение сборника под цифрой 137 (сборник, являясь «продолжением» недошедших «Песен Отшельника», начинается со стихотворения 86-го)—дружеское послание Пушкину.

К ПУШКИНУ (ИЗ ЕГО НЕТОПЛЕННОЙ КОМНАТЫ)

К тебе зашел согреть я душу;
Но ты теперь . . . .
. . . .
Иль Олиньку целуешь в губы
И кудри Хлои разметал;

Или с прелестной, бледной Лилой
Сидишь и в сладостных глазах,
В ее улыбке томной, милой,
Во всех задумчивых чертах
Ее печальный рок читаешь
И бури сердца забываешь
В ее тоске, в ее слезах.
Мечтою легкой за тобою
Моя душа унесена
И, неги и любви полна,
Целует Олю, Лилу, Хлою!
А тело между тем сидит,
Сидит и мерзнет на досуге:
Там ветер за дверьми свистит,
Там пляшет снег в холодной вьюге;
Здесь не тепло; но мысль о друге,
О страстном, пламенном певце
Меня ужели не согреет?
Ужели жар не проалеет
На голубом моем лице?
Нет! Над бумагой костенеет
Стихотворящая рука...
Итак, прощайте вы, Пенаты
Сей братской, но не теплой хаты,
Сего святого уголка,
Где сыну огненного Феба,
Любимцу, избраннику неба
Не нужно дров ни камелька;
Но где поэт обыкновенный,
Своим плащем непокровенный,
И с бедной Музой бы замерз,
Заснул бы от сей жизни тленной
И очи, в рай перенесенный,
Для вечной радости отверз!

Несколько более точную датировку стихотворения дает конкретное имя «Олинька, Оля»—рядом со стиховыми именами Лилы и Хлои. Это по всей вероятности Оленька Массон, и если бы дата стихотворения Пушкина «Ольга, крестница Киприды», обыкновенно относимого к 1819 г., была более достоверной, то и послание Кюхельбекера к Пушкину и вызвавший его случай—несостоявшееся свидание друзей—могли бы быть отнесены к 1819 г. Самый жанр легкого дружеского послания, столь необычный для Кюхельбекера и в «элегический» лицейский период, и в период высокой лирики с 1820 г., характерен для его поэтических «колебаний» в первые послелицейские годы. Характерно для этого периода послелицейских отношений друзей и скромное противопоставление себя как «поэта обыкновенного» Пушкину, «сыну огненного Феба, любимцу, избраннику неба». Тот факт, что Кюхельбекер, подводя итоги своего творчества, включил стихотворение в свой рукописный сборник, указывает, что оно было ценно для него по своим качествам или быть может по юношеским воспоминаниям, или наконец по самому имени Пушкина.

VIII

1820 год—последний год личного общения Пушкина и Кюхельбекера. Пушкин 6 мая высылается из Петербурга в Екатеринослав. В № 4 «Соревнователя Просвещения и Благотворения» за 1820 г., органе «Вольного общества любителей российской словесности», деятельным членом которого Кюхельбекер является[29], помещено большое программное стихотворение его «Поэты», кончающееся обращением к Дельвигу, Баратынскому и Пушкину; по поводу стихотворения В. Н. Каразин в своем известном доносе указал, что «поелику эта пьеса была читана непосредственно после того, как высылка Пушкина сделалась гласною, то и очевидно, что она по сему случаю написана»[30].

Отъезд Кюхельбекера за границу состоялся 8 сентября.

Дальнейшие пути их больше не скрещиваются. Но зато в области литературной никогда не возбуждал у Пушкина такого интереса Кюхельбекер, как именно в период 1820—1825 гг., и никогда их общение не было более близким. Именно в 1820—1823 гг. в письмах Пушкина с юга к Гнедичу и Дельвигу неизменно встречаются вопросы о судьбе Кюхельбекера. Переписка между обоими опальными друзьями была затруднена. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что прибегают к посредникам, чтобы осведомляться друг о друге.

Так Владимир Андреевич Глинка, поддерживающий (до самого конца жизни Кюхельбекера) дружеские отношения с ним, является его осведомителем о Пушкине в 1822 г., когда Кюхельбекер живет в селе Закупе, Смоленской губернии у своей сестры Ю. К. Глинки. Осенью 1822 г. повидимому распространились слухи о смерти Пушкина (жизнь Пушкина в Кишиневе—дуэль со Старовым, история с Балшем—давала конечно поводы для этих слухов). В. А. Глинка пишет 20 сентября 1822 г. из Могилева: «...И я Вам любезнейший Вильгельм Карлович свидетельствую мое усерднейшее почтение и спешу известить о несправедливых слухах касательно смерти вашего приятеля Г. Пушкина. Он в переписке с сыном Генерала Раевского, который служит адъютантом при генерале Дибиче и который показывал мне письмо Г-на Пушкина на сих днях им полученное...»

Н. Н. Раевский с 23 октября 1821 г. состоял адъютантом при начальнике Главного штаба бар. И. И. Дибиче. Письмо Пушкина к Н. Н. Раевскому, датирующееся осенью 1822 г., неизвестно.

Владимир Андреевич Глинка был и литературным осведомителем Кюхельбекера.

18 ноября 1822 г. он пишет ему (из деревни Полыновичи): «...между некоторыми книгами получил я новое сочинение вашего приятеля Пушкина: Кавказской пленник.—И Прекрасной перевод Г. Жуковского Шильонской Узник соч. Лорда Бейрона.—Ежели Вы желаетѣ прочесть, то уведомитѣ, я немедленно их к вам перешлю». «Кавказский пленник» вышел в августе 1822 г., но у опального, отсиживающегося в деревне у сестры Кюхельбекера видимо было мало сношений с Петербургом и Москвой, потому что предложение было принято.

29 ноября 1822 г. В. Глинка писал: «К Г. Пушкину адресуйте ваши письма: Бессарабской области в город Кишенев; где его теперешнее пребывание». 6-го декабря (из Могилева) он посылает книги Кюхельбекеру, при чем письмо его интересно для характеристики чита

тельских отношений к «Кавказскому пленнику» и для истории русского байронизма:

«Покорнейше благодарю вас за дружеское письмо от 26-го ноября, по которому спешу переслать к вам обещанные книги.—

Пушкин вас восхитит прекрасными стихами, но к концу пиесы всякой будет называть хладнокровного пленника неблагодарным в любви к прекрасной Черкешенки; но Шилионский узник какая разница, с начала и

СТРАНИЦА ИЗ „КНИГИ РАСПИСОК ЛИЦ ПОСТУПАЮЩИХ НА СЛУЖБУ В МОСКОВСКИЙ ГЛАВНЫЙ АРХИВ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ" С ПОДПИСЯМИ ПУШКИНА, КЮХЕЛЬБЕКЕРА И ДРУГИХ ЛИЦЕИСТОВ

Музей Революции, Ленинград

до конца и восхитит и расстрогает вас.—Каков перевод? Я имею многие повести соч. Лорда Бейрона (Джяур, Мазепа, Калмир и Орла, Осада Коринфа и Абидосская невеста). Переведены чудесно прозою Господином Каченовским; ежели вы не читали их, то с первою почтою к вам перешлю. К Г. Пушкину можете писать через меня, только поторопитесь. Я наверное увижу его в Киеве во время контрактов, или оттуда перешлю где находится».

2 июня 1823 г. переводы Каченовского («Выбор из сочинений Лорда Бейрона»; пер. с фр., М., 1821) посылаются. Таким образом все это даты, с которых начинается знакомство Кюхельбекера с Байроном.

Упреки в «хладнокровии» пленника были ходячими—ср. статью «Благонамеренного» (1822, № 36), ср. в особенности статью Вяземского («Сын Отеч.» 1822 г., № 49), также письмо Пушкина Вяземскому от 6 февраля 1823 г.;

«характер пленника» был собственно центральным байроническим пунктом при обсуждении поэмы. Несомненна роль в создании поэмы, которую сыграли новые друзья Пушкина Раевские, в особенности Николай Раевский, которому поэма посвящена. Посланный Глинкой «Кавказский пленник» вызвал в начале 1823 г. послание Кюхельбекера к Пушкину «Мой образ, друг минувших лет»[31], где Кюхельбекер между прочим говорит:

Но се в душе моей унылой
Твой чудный «Пленник» повторил
Всю жизнь мою волшебной силой
И скорбь немую пробудил.
Увы! Как он, я был изгнанник,
Изринут из страны родной
И рано, безотрадный странник
Вкушать был должен хлеб чужой,
Куда преследован врагами,
Куда обманут от друзей,
Я не носил главы своей,
И где веселыми очами
Я зрел светило ясных дней?
Вотще в пучинах тихоструйных
Я в ночь безмолвен и уныл,
С убийцей гондольером плыл;
Вотще на поединках бурных
Я вызывал слепой свинец:
Он мимо горестных сердец,
Разит сердца одних счастливых!
Кавказский конь топтал меня,
И жив в скалах тех молчаливых
Я встал из-под копыт коня!
Воскрес на новые страданья,
Стал снова верить в упованье,
И снова дикая любовь
Огнем свирепым сладострастья
Зажгла в увядших жилах кровь,
И чашу мне дала несчастья!..

Таким образом, Кюхельбекер с 1822 г. перешедший под несомненным влиянием Грибоедова в лагерь литературных архаистов, непрочь был отождествить судьбу байронического пленника со своей и писал еще в 1822 г. в стиле и духе элегии.

Это был повидимому последний «элегический» рецидив.

13 мая 1823 г. Пушкин, который все время в письмах интересуется Кюхельбекером, в письме к Гнедичу писал: «Кюхельбекер пишет мне четырехстопными стихами, что он был в Германии, в Париже, на Кавказе и что он падал с лошади. Все это кстати о Кавказском пленнике».

Повидимому именно это письмо становится известным Кюхельбекеру, и происходит ссора.

Так только можно истолковать письмо Дельвига Кюхельбекеру, датирующееся второй половиной 1822 г. (повидимому до сентября). Дельвиг делает попытку примирения. Нападая на Грибоедова и на новое литературное направление Кюхельбекера, он пишет: «Ты страшно виноват перед Пуш-

киным. Он поминутно о тебе заботится. Я ему доставил твою греческую оду, послание Грибоедову и Ермолову, и он желает знать что-нибудь о Тимолеоне. Откликнись ему, он усердно будет отвечать». («Тимолеон»—трагедия Кюхельбекера «Аргивяне», названная так Дельвигом—и может быть первоначально самим автором—по имени главного действующего лица.)

«Страшно виноватым» перед Пушкиным Кюхельбекер не мог быть одним молчанием; повидимому он написал резкое письмо Пушкину или кому-либо из общих друзей (может быть тому же Дельвигу).

4 сентября 1822 г. в письме к брату Пушкин подвергает жесткой критике новые стихи Кюхельбекера, доставленные ему Дельвигом («Пророчество»—«греческая ода» по Дельвигу, послание к Ермолову, послание к Грибоедову). Возможно, что самая резкость этого отзыва объясняется предшествующей «виной» Кюхельбекера, о которой пишет Дельвиг. Л. С. Пушкин, к которому обращено было последнее письмо, особой сдержанностью не отличался, литературные свои мнения Пушкин, надо думать, и адресовал-то брату главным образом в расчете на то, что они станут известными кругу его друзей; таким образом можно предполагать, что и это письмо стало известно Кюхельбекеру.

Литературная ссора оказывается очень серьезной и переходит в личную. 29 июля 1823 г. Кюхельбекер приезжает в Москву; в сентябре туда же приезжает Грибоедов. Присутствие нового друга, как видно, еще более углубляет ссору со старыми друзьями. Насколько глубока ссора, доказывает письмо в Москву к Кюхельбекеру сестры Юлии от 14 октября 1823 г. В письме сестра пишет о двух стихотворениях Кюхельбекера: «Участь поэтов» и «Прошлые друзья»: «В «У ч а с т и п о э т а» мне не нравится, что вы рассматриваете безумие как весьма желанное состояние. Я уверена, что вы писали эту вещь, будучи в меланхолическом настроении. Стихотворение «П р о ш л ы е д р у з ь я» написано в том же настроении; это не означает, что оно недостаточно хорошо, но меня огорчает, что вы все еще так часто думаете о людях бесспорно недостойных этого; разумеется очень грустно быть обманутым в своих чувствах, но присутствие друга, в котором вы уверены, который не может, судя по всему тому, что вы мне о нем говорили, быть отнесенным в одну категорию с теми, должно вас утешить в их «забвении». (Оригинал по-французски.) Итак,—Пушкин и Дельвиг это п р о ш л ы е д р у з ь я; единственный друг, в котором Кюхельбекер уверен,—Грибоедов.

Стихотворение «Прошлые друзья» не дошло до нас, но уже и одно заглавие достаточно ясно. Литературная ссора грозила перейти в разрыв. Между тем ни Пушкин, ни другие друзья вовсе не хотят разрыва. Нападая на новые литературные взгляды Кюхельбекера и его учителя Грибоедова, они желают сохранить с ним личную дружбу и литературное общение.

Пушкин ищет посредничества. В письме к А. А. Шишкову из Одессы от 1823 г. он просит Шишкова помирить его с Кюхельбекером: «Пишет ли к тебе общий наш приятель Кюхельбекер? О н н а м е н я н а д у л с я, бог весть почему. Помири нас». В 1823 г. еще два тревожных вопроса Пушкина о Кюхельбекере: 20 декабря 1823 г. он спрашивает Вяземского: «Что журнал Анахарсиса-Клоца—Кюхли?»; в начале января 1824 г. брата Льва,—еще короче: «Что Кюхля?», а 8 февраля он уже отказывает Бестужеву в стихах для «Полярной Звезды», ссылаясь на обещание, данное «Мнемозине»: «Даром у тебя брать денег не стану; к тому же я обещал Кюхельбекеру, которому верно мои стихи нужнее, нежели тебе». В июле 1824 г.

Кюхельбекер собирался в Одессу, и Пушкин в письме к Вяземскому радуется этому. (Слухи не оправдались.)

Стало быть ссора Пушкина и Кюхельбекера датируется довольно точно: от конца 1822 до начала 1824 г.

Разрыва не последовало, личное примирение было полным, но литературная полемика не прекращается. Отметим тут же, что Кюхельбекер резко отозвался о «Кавказском пленнике» в своей известной статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической в последнее десятилетие» («Мнемозина» 1824 г., ч. II). Отзыв о «Кавказском пленнике» связан с борьбой Кюхельбекера против этого направления, которую Кюхельбекер ведет, всецело присоединяясь к направлению Грибоедова и Катенина; «переход» совершился под сильным влиянием личного общения Кюхельбекера с Грибоедовым, начиная с кавказского лета 1821 г. и в Москве осенью 1823 г.

«Не те же ли повторения наши: младости и радости, уныния и сладострастия, и те безымянные, отжившие для всего брюзги, которые даже у самого Байрона (Child-Harold), надеюсь—далеко не стоят не только Ахилла Гомерова, ниже Ариостова Роланда, ни Тассова Танкреда, ни славного Сервантесова Витязя печального образа,—которые слабы и недорисованы в Пленнике и в Элегиях Пушкина, несносны, смешны под пером его Переписчиков». Это вовсе не противоречило преклонению Кюхельбекера перед самим Байроном—в особенности Байроном как героем восстания (ср. стихотворение его «Смерть Байрона»)[32]. Отметим также, что Кюхельбекер до конца продолжал относиться враждебно к другому *стихотворению Пушкина, связанному с этим периодом байронизма* и с именем Александра Раевского,—к «Демону». Уже в 1834 г., в крепости, получив собрание стихотворений Пушкина и дав им самую высокую оценку, какую дал какой-либо из современников Пушкина, он возражает против «Демона»: «Демон—воля ваша не проистек из души самого поэта,—это плод прихоти и подражания» и далее утверждает, что «Демон» не принадлежит к числу стихотворений, которые—«краеугольный камень его славы» (письмо к племяннику Николаю Глинке от 16 сентября 1834 г.). С «Демоном», отданным Пушкиным в «Мнемозину», связан еще и другой эпизод. Он был напечатан Кюхельбекером «с ошибками», по выражению Пушкина. Зная редакторскую практику Кюхельбекера и приняв во внимание характер этих «ошибок» (замена слов, изменение предложений), мы видим здесь не «ошибки», а редакционные поправки Кюхельбекера. Пушкин конечно отлично знал это и сердился. Этим и объясняется фраза его в письме к Жуковскому (конец мая—начало июня 1825 г.): «После твоей смерти все это (стихи Жуковского.—*Ю. Т.*) напечатают с ошибками и с приобщением стихов Кюхельбекера».

Итоги своего отношения к «байронизму» и элегии 20-х годов, связанной с ним в представлении Кюхельбекера, он подвел в одном из своих писем из крепости от 15 ноября 1832 г., обращенном повидимому к тому же Николаю Глинке: «... Ты состарелся? Не верю. А то я должен был тебе отвечать почти то же, что Ижорский Жеманскому. Выслушай меня, мой милый друг. Я убежден, что юноша, который в двадцать лет действительно состарелся, уже никуда не годится, что в тридцать он может сделаться злодеем, а в сорок непременно должен быть, и непременно будет негодяем. Вот тебе в двух словах причина, по которой я в 1824 году начал первый вооружаться против этой страсти наших молодых людей, поэтов и не поэтов, прикидываться Чайльд-Гарольдами. К счастью все

почти Чайльд-Гарольдами только на словах и в воображении, а не действительно. Если тебе нечего будет делать, прочти-ка то, что я писал в 17, 18, 19, 20-х годах. Смело могу сказать, что из стихотворцев, сверстников моих никто более меня не бредил на Байроновский лад. (Сверьх того, я тогда еще не читал Байрона: стало быть, не подражал ему, а если угодно—наитием собственного Гения, Беса или Лешаго попал на ту же тему, тему, которую у нас потом в стихах и в прозе, в журналах и альманахах, в книгах и книжечьках, в большом свете и в уездных закоулках пели и распевали со всеми возможными варияциями.) Грибоедов и в этом отношении принес мне величайшую пользу; он заставил меня почувствовать, как все это смешно, как недостойно истинного мужа. Теперь я знаю людей, знаю их со всеми их слабостями и пороками, но вместе с тем что у них хорошего. Я много претерпел, часто обманывался: но не перестал любить род человеческий, не перестал желать добра тем, которые подчас раздирали мне душу. Если б я был в других обстоятельствах, и с другим здоровием, то верно бы ты в моих письмах никогда не находил уныния, какое иногда бывает в них: но припиши это единственно болезни физической и скуке семилетнего заточения. Извини, что я распространился о том, что касается до меня одного»[33].

Не следует однако всецело относить к периоду выступления Кюхельбекера в «Мнемозине» в 1824 году этот протест против «русского байронизма» и «элегии» 20-х годов, как нельзя недооценить и общих идеологических корней выступления. Точно так же нельзя приписать эти выступления единственно влиянию Грибоедова. Об этом мы имеем высказывания Кюхельбекера, относящиеся уже ко времени заграничного путешествия 1820 г. Так, в своих «Европейских письмах» он пишет по поводу монументальной «исторической» элегии [34]: «Как тщетны и безрассудны жалобы тех, которые грустят и горюют об отцветших украшениях веков минувших! Они забывают, что богатства прошлых столетий не потеряны: сии сокровища живут для нас в воспоминании и сим именно лучшею жизнию, в таинственном тумане прошедшего: над ними плачет Элегия и оне драгоценны, трогательны, святы для нашего сердца; в существенности оне, может быть, оставили бы нас холодными. Усовершенствование—цель человечества: пути к нему разнообразны до бесконечности—(и хвала за то Провидению!). Но человечество подвигается вперед».

Признавая на таких основаниях историческую монументальную элегию, Кюхельбекер естественно должен был бороться против «мелкой», «личной» элегии 20-х годов; «Кавказский пленник» связал для него вопрос об этой элегии с вопросом о подражании Байрону. Кюхельбекера этого периода—высокого, лирического поэта—не заинтересовали э п и ч е с к и е моменты, «описания» «Кавказского пленника», этой «колониальной» поэмы,—описания, которые были вторым центром читательского внимания[35].

IX

Еще в лицее Кюхельбекер—осмеиваемый поэт лицейского круга; при этом он проявляет самостоятельность литературных взглядов—таковы опальные имена Шаплена и Шихматова, авторов осмеянных эпопей, в его лицейской тетради. Из двух литературных антагонистов—Жана-Батиста Руссо и Вольтера—тогда как Вольтер и своим литературным методом—«остроумием» («седой шалун») и даже самой позицией поэта («Фернейский злой крикун») становится в лицее руководящим именем для Пушкина,

«изгнанию», автор «псалмов» Жан-Батист Руссо оказывает влияние на Кюхельбекера; а скоро идейным руководителем его становится Жан-Жак Руссо. Еще в лицее Кюхельбекер изучает восточные литературы.

Таким образом влияние Грибоедова было вполне подготовлено. Грибоедов заставляет пересмотреть Кюхельбекера вопрос о достоинстве драматической поэтики Шиллера и заняться изучением Шекспира, при чем Шекспир—в особенности в исторических хрониках—так и остается до конца именем, которое Кюхельбекер не перестает противопоставлять Шиллеру в борьбе против влияния драматургии Шиллера. Грибоедов же приносит с собою не только новую тему, но и новую позицию поэта — «поэта-пророка»; таково его стихотворение «Давид», посланное им в 1824 г. для помещения в альманахе Кюхельбекера «Мнемозина» и напечатанное там в I части первым стихотворением (стр. 24—25). По завету Грибоедова Кюхельбекер пишет на этот же сюжет в первые годы крепостного заключения монументальную библейскую поэму (1826—1829). От Грибоедова исходит требование «народности» литературы, всецело принятое Кюхельбекером.

Этот «переход» был воспринят друзьями и соратниками Кюхельбекера как подлинная литературная измена. Таково увещание в письме Дельвига, в исходе 1822 г., таково же и большое письмо В. Туманского от 11 декабря 1823 г., представляющее собою подлинный литературный манифест «прошлых друзей» Кюхельбекера. Друзья упростили факт. Обращение к Библии, к библейским сюжетам, под влиянием Грибоедова, было связано с переменой взгляда на позицию и задачи поэта и на литературные жанры (поэт-пророк; изгнание элегии; попытка восстановить гражданскую оду).

В качестве реальных опасностей, которые грозили поэтической практике нового направления, под обстрел друзей был взят осмеянный карамзинистами шишковец Шихматов, запоздалый автор эпопеи о Петре (наиболее уязвимый пункт новой литературной теории Кюхельбекера), и Библия как опасность религиозного направления поэзии, опасность «превращения Муз в церковных певчих».

Таков смысл писем Дельвига и Туманского. Между обоими письмами к Кюхельбекеру—Дельвига и Туманского—разительное сходство не только во взглядах, но и в самом стиле писем. Дельвиг пишет: «Ах, Кюхельбекер! сколько перемен с тобою в два-три года... ...Так и быть! Грибоедов соблазнил тебя, на его душе грех! Напиши ему и Шихматову проклятие, но прежними стихами, а не новыми. Плюнь и дунь и вытребуй от Плетнева старую тетрадь своих стихов, читай ее внимательнее и, по лучшим местам, учись слогу и обработке...»

Туманский в письме своем пишет: «Какой злой дух, в виде Грибоедова, удаляет тебя в одно время и от наслаждений истинной Поэзии и от первоначальных друзей твоих. ...Умоляю тебя, мой благородный друг, отстать от литературных мнений, которые погубят твой талант и разрушат наши надежды на твои произведения. Читай Байрона, Гете, Мура и Шиллера, читай кого хочешь, только не Шихматова».

Письмо Дельвига написано в исходе 1822 г. из Петербурга, письмо Туманского—в декабре 1823 г. из Одессы, где был в то время Пушкин. Между Дельвигом и Пушкиным в 1822—1823 гг. шла оживленная переписка, до нас не дошедшая. Совпадение не только литературной позиции, но и

стиля писем поэтому характерно. Характерно оно потому, что необнаруженным до сих пор соавтором письма Туманского к Кюхельбекеру был Пушкин.

X

Письмо Туманского, в числе некоторых других документов, переданных в 1875 г. редактору «Русской Старины» М. И. Семевскому дочерью Кюхельбекера Ю. В. Косовой, было напечатано в «Русской Старине» 1875 г., июль, стр. 375.

За исключением чисто текстологических небрежностей, да еще внедрения перевода иностранных слов в самый текст, письмо напечатано в общем правильно: без урезок и искажений. Оно неоднократно перепечатывалось (например в соч. В. И. Туманского под редакцией С. Н. Браиловского, 1912, стр. 252—253).

И однако при первом напечатании письма редактор не заметил, что авторское примечание к первой фразе письма, помещенное внизу страницы, написано рукой Пушкина и подписано латинским P,—а при позднейших перепечатках никто не догадался, что только Пушкину оно и могло принадлежать. Письмо сохранилось среди бумаг Кюхельбекера. Даем текст по рукописи:

11 Декабря 1823 Одесса.

Спасибо тебе, друг мой Вильгельм за память твою обо мне: я всегда был уверен что ты меня любишь не от делать нечего *, а от сердца. Два поклона твои в письме к Пушкину принимаю я с благодарностью и с мыслию что нам снова можно возобновить переписку, прекращенную неожиданной твоей изменою Черкесу-Ермолову и долгим уединением твоим в Смоленской Губернии. Само воображение не всегда успеет следовать за странностями твоей жизни и я дожидаясь твоего известия, чтобы понять ссору твою с Руским Саладином, как тебе случалось называть Алексея Петровича. Мне очень горестно видеть что до сих пор какой-то неизбежный Fatum управляет твоими днями и твоими талантами и совращает те и другие с прямого пути. Которой тебе год любезный Кюхельбекер? Мне очень стыдно признаться тебе что будучи гораздо моложе, я обогнал тебя в благоразумии. Страшусь раздражить самолюбие приятеля, но право и и вкус твой несколько о ч е ч е н и л с я! Охота же тебе читать Шихматова и Библию. Первой—карикатура Юнга; вторая—не смотря на бесчисленные красоты, может превратить Муз в церковных певчих. Какой злой дух, в виде Грибоедова, удаляет тебя в одно время и от наслаждений истинной Поэзии и от первоначальных друзей твоих! Наша литература похожа на экипаж, который бы везли рыба, птица и четвероногий зверёк. Тот улетает в Романтизм, другой плавает в Классической лахани, а третий тащится в Библейское общество! Горькую чашу мы пьем! Теперь бы время было соединиться узами таланта и одинаких правил, дабы успеть еще спасти народную нашу словесность. Но для этого надобно столько же ума сколько трудолюбия, а у нас Господа Поэты, исключая двух-трех, подобно мотылькам страшатся посидеть долго и на цветке, чтоб не утерять частицу блеска своего. Умоляю тебя, мой благородный друг, отстать от литературных мнений, которые погубят твой талант и разрушат наши надежды на твои

---

* A citation de mon nouveau poème. Suum cui que. *P.*

произведения. Читай Байрона, Гете, Мура и Шиллера, читай, кого хочешь, только не Шихматова!

Я должен бы сказать теперь несколько слов о себе, но для этого нужно длинное письмо, а я боюсь утомить тебя описанием перемены в моем положении и в моих мыслях. Мне здесь хорошо: у меня довольно знакомых и мало времени для скуки и бездействия. Часто воспоминаю прошедшее; освещенное солнцем молодости, оно имеет для меня одне приятности. Жером и Фанни, ты и Мадам Смит, Лимперани и Агнеса, как лица занимательного романа, оживляют мои уединенные мечты. Быть может, и Муза посещает иногда старого своего друга—но я стараюсь уже сохранять втайне эти свидания. Прощай милый друг, пиши ко мне, особливо о твоих похождениях в Грузии и верь дружбе твоего неизменного

Туманского.

Поклонись за меня хорошенько нашему умному Вяземскому и ученому Раичу! Да пожалуйста не приправляй писем своих французскими фразами.

Письмо написано на четырех страницах тонкой почтовой бумаги. Чернила письма за исключением примечания выцвели настолько, что местами с трудом поддаются чтению. Примечание, рукой Пушкина, написано густыми черными чернилами. Следовательно оно написано либо в другое время, либо в другом месте. Вместе с тем письмо представляет собою образец чистовика, с полным отсутствием зачеркнутых мест, поправок и т. д. Письмо—столь сложное и важное по затронутым вопросам, столь литературное по стилю—не могло быть написано сразу без единой помарки и повидимому на деле является чистовиком, которому предшествовал черновик. Об этом свидетельствует и вторая страница письма. Строки 3, 7, 11—15 сверху на ней написаны по счищенному (соскобленному ножом?) тексту. Подчистка такого рода в приятельской переписке заставляет думать о том, что письмо составлялось сугубо тщательно и осторожно. Вместе с тем письмо по тону резко. Таким образом приходится считать эту самую резкость обдуманной.

Знаменательна фраза: «Горькую чашу мы пьем! Теперь бы время было соединиться узами таланта и одинаких правил, дабы успеть еще спасти народную нашу словесность».

Туманский известен как поэт-элегик, как приятель Пушкина в одесский период его жизни; менее известны отношения его с целым рядом декабристов: Бестужевым, Пестелем, Рылеевым [26]. Кюхельбекер встретился с Туманским во время своего заграничного путешествия—в Париже, и они вместе вернулись в Россию. В рукописном листке Кюхельбекера с краткой записью парижских встреч и событий особо отмечен Туманский 19/7 апреля 1821 г. (Кюхельбекер приехал в Париж 27/15 марта). Пребывание Кюхельбекера в Париже в бурный год революционных актов, насыщенный политической и литературной жизнью, заслуживает особого рассмотрения. Путешествие не только оказало глубокое влияние на него, но и создало Кюхельбекеру совершенно особую роль—посредника между литературными и общественными идеями «Вольного общества любителей российской словесности» и радикальными литературными парижскими деятелями, группирующимися вокруг Бенжамена Констана. (О характере «Вольного общества» см. предисловие Ю. Г. Оксмана к «Стихотворениям Рылеева» под его ред., «Библиотека поэта», 1934 г.)

11 Декабря 1823 Одесса

ПИСЬМО В. И. ТУМАНСКОГО К КЮХЕЛЬБЕКЕРУ ОТ 11 ДЕКАБРЯ 1823 г. ПЕРВАЯ СТРАНИЦА

внизу приписка Пушкина

Собрание Ю. Н. Тынянова, Ленинград

[illegible]

ПИСЬМО В. И. ТУМАНСКОГО К КЮХЕЛЬБЕКЕРУ ОТ 11 ДЕКАБРЯ 1823 г. ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА

Собрание Ю. Н. Тынянова, Ленинград

Насколько общею жизнью жил Кюхельбекер с Туманским в Париже—видно из одного незначительного факта: на них обоих произвела большое впечатление в Лувре картина Жироде, вызвавшая стихотворение Туманского и через много лет, уже в Сибири, припомнившаяся Кюхельбекеру, который также посвятил ей стихотворение.

Таким образом призыв Туманского прекратить литературные разногласия и соединиться не только узами таланта, но и узами одинаких правил в его устах имел совершенно определенное политическое значение, одинаково понятное как для него, так и для Кюхельбекера.

Из отдельных мест письма интересно упоминание, что переписка между Туманским и Кюхельбекером была вынужденно прекращена «неожиданною изменою Кюхельбекера Черкесу-Ермолову» и «долгим уединением в Смоленской Губернии» и о «ссоре с русским Саладином» (Кюхельбекер был удален с Кавказа Ермоловым); обстоятельства удаления Кюхельбекера с Кавказа, причины его дуэли с Н. Н. Похвисневым и ссоры с Ермоловым до сих пор далеко еще не выяснены. Характерно прозвище «Саладин», данное Кюхельбекером Ермолову. Саладин (1137—1193), бывший визирем в Египте последнего халифа из династии Фатимидов, объявил Египет независимым, отложился и сделался неограниченным египетским властителем; завоевав Сирию и Дамаск, принял титул султана; завоевал Иерусалим.—Нетрудно понять, почему Кюхельбекер назвал Ермолова, правившего Кавказом, именем отложившегося от халифата египетского властителя. Следует заметить, что в листке с записью парижских впечатлений—одновременно с записью о Туманском—встречается запись о встречах с Лангле. Лангле (Langlès, Louis-Mathieu)—видный парижский ориенталист, занимавшийся между прочим в это время и эпохой Саладина.

Интересен самый факт прекращения переписки во время «уединения в Смоленской губернии», которое несомненно было вынужденным, аналогичным ссылке Пушкина на юг.

Имена Жерома, Фанни, Лимперани—остаются невыясненными и повидимому связаны с персонажами общего путешествия по Западной Европе. Имя «M-me Смит» могло бы принадлежать и более раннему периоду знакомства Туманского с Кюхельбекером—лицейскому: так звали молодую вдову, родственницу Энгельгардта, жившую у него и принимавшую деятельное участие в лицейском «салоне» Энгельгардта. (Ср. стихотворение Пушкина «К молодой вдове», 1816.) Упоминаемый в письме Вяземский в этот период (1823—1824 гг.) деятельно заботился о судьбе Кюхельбекера. О нем Кюхельбекер пишет в письме к матери из Москвы от 5 августа 1823 г.: «Le prince Viasemsky poète semble me vouloir du bien». См. также переписку Вяземского с женой летом 1824 г. («Остафьевский Архив», т. V). С. Е. Раич, поэт, учитель Тютчева и один из руководителей группы молодых московских поэтов-любомудров, член Союза Благоденствия, был в 1823 г. в Одессе. Есть упоминание о нем в письме Пушкина к брату из Одессы от 25 августа 1823 г., непосредственно вслед за упоминанием о Туманском.

Участие Пушкина в написании письма выразилось очевидно не только в примечании. Полная тождественность литературных мнений, мнение о Шихматове, даже характерное для пушкинского круга по словопроизводству словцо «очеченился», наконец совпадение письма с письмом Дельвига,—все это доказывает, что письмо Туманского есть на деле письмо Туманского и Пушкина. Более же всего это доказывает пушкинская приписка.

Вспомним, что письмо написано 11 декабря 1823 г., в самом исходе длительной ссоры друзей (письмо Пушкина брату с резкой критикой стихов Кюхельбекера датировано 4 сентября 1822 г., а к исходу 1822 г. относится письмо Дельвига—попытка примирения). В этих условиях приписка эта конечно была предложением мира. Предложение это, как мы видели, было принято, и в начале 1824 г. отношения и дружеские, и литературные возобновились. Таков смысл приписки. Повторим цитацию:

«Спасибо тебе, друг мой Вильгельм, за память твою обо мне: я всегда был уверен, что ты меня любишь не отделать нечего, а от сердца»...

К фразе «от делать нечего» Пушкин делает приписку: «A citation de mon nouveau poème. Suum cui que». (Цитата из моей новой поэмы. Каждому свое.)

«От делать нечего»—это последний стих XIII строфы главы второй «Евгения Онегина»:

Так люди (первый каюсь я)
От делать нечего друзья.

Вторая глава «Евгения Онегина» окончена 8 декабря, ночью; под строфой XVI в рукописи имеется помета 1 ноября; таким образом письмо написано всего три дня после окончания главы и под непосредственным впечатлением ее чтения.

Туманский в первой же строчке письма пишет явный укор Пушкину, так сказать, «отмежевывается» от него, читает косвенную нотацию ему за циническое «байроническое» отношение к дружбе. Пушкин смиренно признается в адресе упрека и латинской поговоркой как бы указывает Кюхельбекеру на то, что и с ним друзья довольно жестко полемизируют: «каждому свое», т. е. «всем сестрам по серьгам».

Эта ситуация объясняет быть может и резкость тона письма по отношению к Кюхельбекеру. Туманский желает показать, что между друзьями тонкости неуместны, должна быть полная откровенность, серьезность и резкость тона. Это как бы должно оправдать и резкие литературные выпады Пушкина в письмах, вызвавших ранее ссору.

XI

Между тем цитата из второй главы «Евгения Онегина», приведенная Туманским, не случайно затрагивает тему, одновременно и центральную для «романа в стихах», и жизненно занимавшую Пушкина во время писания—тему дружбы.

В 1848 г. (16 февраля) Плетнев писал Я. Гроту [37]: «В понедельник мы все трое были у Балабиных. Я прочел там 2-ю главу Онегина. Это подало мне повод рассказать, как мастерски в Ленском обрисовал Пушкин лицейского приятеля своего Кюхельбекера. Когда я рассказал о последнем несколько характеристических анекдотов, Варвара Осиповна сожалела, что я не составляю записок моей жизни». Плетнев был общим приятелем Пушкина и Кюхельбекера—и к его категорическому показанию, сделанному без всяких оговорок, следует отнестись внимательно. Я уже имел случай указать на то, что в черновой первоначальной обрисовке Ленского есть черты Кюхельбекера, что в «стихи Ленского» перед дуэлью вошла пародия на некоторые строки из послания Кюхельбекера по поводу «Кавказского пленника». На основе новых материалов утверждение Плетнева представляется гораздо шире и глубже.

В Ленском, «Поэте» по пушкинскому плану-оглавлению «Онегина» была воплощена трактовка поэта, которую проповедывал Кюхельбекер— высокого поэта; выяснено отношение к ней; сюда вошли некоторые реальные черты Кюхельбекера, и наконец—реальные отношения Пушкина и Кюхельбекера, особенно ясно и остро во время писания 2-й главы поставившие вопрос о дружбе, помогли развитию сюжета «свободного романа», еще неясного для самого Пушкина.

Портретность черновых набросков VI строфы второй главы очевидна:

1. Питомец Канта и поэт.
2. Крикун, мятежник и поэт.
3. Крикун, мечтатель и поэт.
1. Он из Германии свободной
Привез презренье суеты
Славолюбивые мечты,
Дух пылкий, прямо благородный
2. Дух пылкий и немного странный
3. Ученость, вид немного странный

«Свободною» могла назваться именно Германия 1820 года—года убийства Коцебу и казни Занда,—года поездки Кюхельбекера. Мы знаем, как жадно интересовался Пушкин Кюхельбекером, вернувшимся в 1821 г. из путешествия.

Портретность затушевана затем в отношении наружности; Ленский

Красавец в полном цвете лет;

Но и в окончательной редакции первой строфы сохранилось достаточно реальных черт:

Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь...

«Довольно странный и пылкий дух» Ленского мотивирует в романе внезапную дуэль, к которой вернемся ниже.

В строфе VIII дается краткий перечень тем высокой поэзии, занимавших Ленского и Кюхельбекера до 1823 г., «пересказ» высокой элегии:

Он верил, что душа родная
Соединиться с ним должна;
Что безотрадно изнывая,
Его вседневно ждет она;

Здесь и лицейское чтение Шиллера (таково знаменитое стихотворение Шиллера «Das Geheimniss der Reminiscenz. An Laura») и отчасти собственное поэтическое творчество Кюхельбекера.

Перечисление конкретных стихотворений Ленского в строфе X—это как бы оглавление рукописного сборника стихотворений Кюхельбекера, которые были известны Пушкину (позднее сборник хранился у Пушкина).

...Как сон младенца, как луна
...Он пел разлуку и печаль.
...Он пел те дальные страны,

Ср. стихотворения Кюхельбекера «Возраст счастья» («Краток, но мирен и тих младенческий сладостный возраст», напеч. в «Соревн. Просв. и Благотв.» 1820 г., № 3); «Разлука» («Длань своенравной судьбы простерта над всею вселенной»); «дальные страны» воспеты в стихотворениях: «К друзьям на Рейне», «Ницца», «Массилия».

Даже стих:

Он пел поблеклый жизни цвет—

встречающееся у Кюхельбекера в ранних элегиях выражение:

Цвет моей жизни не вянь...
...Отцвели мои цветы... и т. д.

Дальнейшая тема Ленского—«друзья»:

...Он верил, что друзья готовы
За честь его принять оковы
И что не дрогнет их рука
Разбить сосуд клеветника...

Тема дружбы поэтов—основная, как мы видели, в творчестве Кюхельбекера. Тема «враги и клеветники»—ясно определилась в его творчестве в 1820 г. Таково стихотворение «Поэты»—послание Пушкину, Дельвигу и Баратынскому («Соревн. Просв. и Благотв.» 1820 г., № 4), таковы же стихотворения, непосредственно примыкающие к нему: «Жребий поэта», «Проклятие».

Ср. «Поэты»:

О, Дельвиг, Дельвиг! что награда
И дел высоких и стихов?
Таланту что и где отрада
Среди злодеев и глупцов?—
Стадами смертных зависть правит;
Посредственность при ней стоит
И тяжкою пятою давит
Младых избранников Харит.—

Таков конец стихотворения:

«О, Дельвиг, Дельвиг, что гоненья?
Бессмертие равно удел
И смелых вдохновенных дел
И сладостного песнопенья!—
Так! не умрет и наш союз,
Свободный, радостный и гордый,
И в счастьи и в несчастьи твердый,
Союз любимцев вечных Муз!
...И ты,—наш юный корифей,—
Певец любви, певец Руслана!
Что для тебя шипенье змей,
Что крик и Филина и Врана?—

Самое выражение: «сосуд клеветника»—высокий «библеизм», свойственный лексике Кюхельбекера; ср. например:

О страшно быть сосудом бренным,
Пророком радостных богов!
(«Жребий поэта».)

ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ КЮХЕЛЬБЕКЕРА С ЕГО СОБСТВЕННОРУЧНЫМИ РИСУНКАМИ

Собрание Ю. Н. Тынянова, Ленинград

Выражение «п р и н я т ь о к о в ы» вводит еще одну характерную, и при этом резко индивидуальную, черту лирики Кюхельбекера; с 1820 г. тема обреченности, воспевание «ссылки и изгнания» входит в его лирику.

Таково послание «К друзьям на Рейне», времени его путешествия (1820):

«Да паду же за свободу,
За любовь души моей,
Жертва славному народу,
Гордость плачущих друзей».

Ср. также «П р о р о ч е с т в о» («Глагол Господень был ко мне»—1822 г.; стихотворение, посланное Дельвигом Пушкину в Кишинев):

«А я и в ссылке и в темнице
Глагол господень возвещу!»

Конец строфы VIII главы II «Евгения Онегина» в первоначальном наброске—более определенном—подчеркивал гражданское направление высокой поэзии:

Что жизнь их—лучший неба дар,—
И мыслей неподкупный жар,
И гений власти над умами,
Добру людей посвящены
И славе доблестью равны.

В окончательном виде это место выдержано в абстрактных тонах:

Что есть избранные судьбами
Людей священные друзья,
Что их бессмертная семья
Неотразимыми лучами
Когда-нибудь нас озарит,
И мир блаженством одарит.

Этот сугубо неясный период становится понятным, если сопоставить с ним миф о происхождении поэтов—в стихотворении Кюхельбекера «Поэты». Человек был счастлив и бессмертен, но его погубил «мгновенный призрак наслажденья»:

И человек его узрел,
И в призрак суетный влюбился;
Бессмертный вдруг отяжелел
И смертным на землю спустился;
И ныне рвется он, бежит
И наслажденья вечно жаждет,
И в наслажденьи вечно страждет
И в пресыщении грустит.

Смягченный его скорбью Кроннон создает из духов поэтов и посылает их на землю:

Да внемлет в страхе все творенье:
Реку—Судеб определенье,
Непременяемый закон!
В страстях и радостях минутных
Для неба умер человек,

И будет дух его во век
Раб персти, раб желаний мутных.—
И только есть ему одно
От жадной гибели спасенье,
И вам во власть оно дано:
Так захотело Провиденье!
Когда избранники из вас,
С бессмертным счастьем разлучась,
Оставят жребий свой высокий,
Слетят на смертных шар далекий
И, в тело смертных облачась,
Напомнят братьям об отчизне,
Им путь укажут к новой жизни:
Тогда с прекрасным примирен,
Род смертных будет искуплен.

Это до конца объясняет приведенные выше «темные» стихи Пушкина:

избранные судьбами
«Людей священные друзья
....их бессмертная семья
Неотразимыми лучами
Когда-нибудь нас озарит
И мир блаженством одарит»

Следует заметить, что в издании 1826 г. Пушкин опустил в строфе именно последние пять стихов, в которых наиболее ясно сказывался намек на стихи Кюхельбекера. Становится понятным и противопоставление Ленскому (в черновых набросках) «певцов слепого наслажденья», рожденных для «славы женской» и «ветренной младости».

«Поэты» Кюхельбекера

...веселий не бегут,
Но верны чистым вдохновеньям,
Ничтожным, быстрым наслажденьям
Они возвышенность дают.
Цари святого песнопенья
В объятьях даже заблужденья
Не забывали строгих дев.

Сравнить с Ленским (строфа IX):

...муз возвышенных искусства
Счастливец, он не постыдил:
Он в песнях гордо сохранил
Всегда возвышенные чувства...

В свете отношений к Кюхельбекеру неожиданный смысл приобретает строфа XVI, посвященная спорам Онегина и Ленского:

Меж ними все рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,

И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь, в свою чреду
Все подвергалось их суду.

Эти стихи воспринимались как пересчет безразличных, любых по содержанию тем; отдельные выражения не подвергались анализу, и смысл предметов, рождавших спор между Онегиным и Ленским, поглощался всегда подчеркивавшимся в чтении интонационным ходом строфы, обозначавшим в сущности: «и то, и се».

Между тем все это—конкретные темы «споров» и «размышлений» Кюхельбекера и Пушкина в лицее.

«Племен минувших договоры» — это чтение Руссо, его «Общественный договор», «Contrat Social»; сущность этого произведения, оказавшего такое влияние на французскую революцию,—в утверждении возникновения общественного союза путем свободного соглашения, находящего свое выражение в договоре (pacte social); верховная власть принадлежит народу; она выражается в законодательной власти; исполнительная власть лишь применяет закон. Нарушение этого принципа ведет к тирании и нарушает общественный договор. Кюхельбекер в лицее является, как мы видели, учеником Руссо и Вейса. Нет нужды думать, что он читал именно трактат Руссо «Du contrat sociale ou Principes du droit politique»* (1762); возможно, что чтение в лицее ограничилось одним «Эмилем», который был его настольной книгой и последняя, пятая, часть которого, во втором разделе—«Des voyages»—посвящена изложению «Общественного договора».

«Плоды наук»—это знаменитое рассуждение Руссо на тему Дижонской академии: способствовало ли развитие наук и искусств улучшению нравов: «Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les moeurs».

«Добро и зло» — в устах ученика Руссо и Вейса Кюхельбекера имеют тоже совершенно специфический характер.

В «Словаре» Кюхельбекера находим:

Добродетели. Самые высокие добродетели отрицательны.—Руссо.

Добродетель. Находить удовольствие в произведении добра есть награда за произведение добра и награда сия не прежде приобретается, как по заслуге. Нет ничего любезнее добродетели, но должно наслаждаться ею, чтобы в самом деле найти ее таковою.—Если желаешь обнять ее, она сначала принимает на себя подобно баснословному Прометею тысячу видов приводящих в ужас и наконец является в своем собственном только тем, которые не выпускают ее из рук.—Руссо.

Добродетельный человек. Если бы душа человеческая осталась свободною и чистою (то-есть: не соединенною с телом), можно ли бы вменить ей в достоинство когда бы она любила царствующий порядок и следовала бы ему? Человек был бы щастлив: но к его щастию недоставало бы высшей степени блаженства: слава добродетели и внутреннее одобрение его совести; он был бы подобен Ангелам и без сомнения добрый» человек» займет высшую ступень чем они.—Руссо.

---

* «Общественный договор или о принципах государственного (публичного) права».

Доброта. Доброта и великость синонимы.—Ричардсон из Грандиссона».

Злодеяния и преступления. Есть злодеяния, которые несут преступления, и преступления, которые несут злодеяния.—Вейс.

Злодей (величайший). Вор обыкновенно лишает меня одного только излишка, без коего могу обойтись или вещи необходимой только на минуту; по большей части собственная нужда заставляет его красть, опасность сопутствует ему: он сверх того не имеет тех благородных чувствований, которые бы должно вселять хорошее воспитание. Убийца отнимает у меня одну только жизнь, к коей в многих случаях должно бы быть равнодушным по причине равновесия зла и добра, встречающихся в ней: он причиняет боль мгновенную и лишает общество одного только члена. Но преступный правитель, который принимает за правило угнетение и жестокость; который похищает у своих сограждан спокойствие, свободу, продовольствие, просвещение и самые добродетели; который жертвует своекорыстно; который, имея изобилие во всех потребностях, допускает подкупить себя, чтоб удовлетворить своему тщеславию; который продает свои дарования, свое влияние, свой голос несправедливости или даже врагу отечества; старается отнять у целого народа первые права человека, первые наслаждения жизни и недовольный порабощением настоящего поколения, кует цепи для племен еще нерожденных,—отцеубийца святой в сравнении с этим человеком! Однакожь подобные чувствования не так редки, их многие почитают за самые естественные.—Вейс.

Зло. Боль телесная, кажется, служит к тому, чтоб удалить человека от того, что ему вредно; без нравственного зла не могла бы существовать добродетель. Она по большей части состоит в пожертвовании самим собою для пользы других; но в рассуждении кого могли бы мы быть добродетельны, еслибы все наслаждались возможным щастием?—Вейс.

Приведенного из лицейского «Словаря» материала, думается, достаточно для того, чтобы уяснить, что и «добро» и «зло» были вовсе не абстрактными или безразличными моральными формулами в этом пересчете споров и размышлений Онегина и Ленского, начинающемся «Общественным договором».

Общая формула Вейса, которою начинается глава «О добродетели»: «Добро может быть то, что споспешествует к общему благополучию... Зло есть то, что вредит общему благу» [38].

Добро и зло — в лицейских «спорах» и «размышлениях» Пушкина и Кюхельбекера, легших в основу второй главы,—слова гражданского, точнее—якобинского смысла и значения.

Тот же смысл имеет и еще один стих «пересчета»:

И предрассудки вековые.

Кроме трех выписок в «Словаре» на слово «Предрассудок» (из Вейса, Скотт-Валит, Ф. Глинки) в книге Вейса находим главу «О предрассудках» [39]:

«Сколько странных обычаев, неверных мнений и отвратительных гнусностей и бесчеловечий в прежних веках постановлены были законами и одобряемы народами» (стр. 44). Далее перечисляются: идолопоклонство, жертвоприношения, гонения за веру в новейшей истории: «Мы тре-

пещем от ужаса, слыша, как Каннибалы, отмщевая пленным своим неприятелям наижесточайшим образом, по неслыханных над ними мучениях, превращают тела их себе в пищу,—но мы бесчеловечные, разве забыли, что история наша, проклятия достойная, изобилует всеми сими мерзостями, потому что просвещение наше и побудительные к тому причины соделывают нас еще виновнее» (стр. 45).

Таким образом «предрассудки вековые»—это религиозные суеверия. Если вспомнить, какое политическое значение имела в десятилетие 1815—1825 гг. борьба между разными мистическими кликами при дворе,—стих получает не только автобиографический смысл, являясь отражением лицейских «споров и размышлений», но и конкретный во время написания II главы «Евгения Онегина» политический оттенок.

Стиху:

«...гроба тайны роковые»

соответствуют такие записи «Словаря», как «Смерть», «Бессмертие», «Внезапная смерть», «Жизнь» (Стерн) и т. д.

Любопытно, что абстрактная пара — «Судьба и жизнь» — заменили собою в этом пересчете, в строфе XVI, конкретную, но нецензурную формулу черновика: «Царей судьба»:

И предрассудки вековые,
И тайны гроба роковые,
Царей судьба — в свою чреду
Все подвергалось их суду.

Сравнить хотя бы такие статьи «Словаря», как: Александр Благословенный, Александр тиран Ферской, Наружные знаки царской власти; Филипп I король Испанский, Филипп II и Карл V, Вильгельм I принц Оранский.

В XVII строфе — страсти:

Но чаще занимали страсти
Умы пустынников моих...

Это тоже отголосок реальных лицейских «споров и размышлений».

Ср. в «Словаре» статью «Страсти»:

«Нет ни одной страсти без примеси другой: царствующая переплетается с множеством второстепенных».—Вейс.

«Самые опасные страсти для молодости упрямство и леность, для юношества любовь и тщеславие, для зрелого возраста честолюбие и мстительность, для старости скупость и себялюбие.—Благороднейшая страсть для всех возрастов—сострадание».—Вейс.

Это—конец обширной статьи Вейса «О страстях». Приводим главные ее положения:

«Токмо шесть главных побудительных причин возбуждают страсти простого народа: страх, ненависть, своевольствие, скупость, чувственность и фанатизм: редко вышшия сих побуждений им управляют.—Большая часть великих перемен относится к сим главным причинам, всегда украшаемым благовидными предлогами набожности, любви к отечеству или к славе.—Но приведя чернь в движение, средства к управлению оной подлежат большим затруднениям; ибо ежели легко в ней возбуждать страсти, то весьма трудно ею руководствовать, особливо же соделывать ее намерения и предприятия постоянными» [40].

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ПОРТРЕТ КЮХЕЛЬБЕКЕРА В СТАРОСТИ

Рисунок С. Ф. Белкина, 1845 г. Собрание Ю. Н. Тынянова, Ленинград

«Токмо в терзаниях беспокойного сердца, в отражении противоборствующих страстей, в стремлении пылкого характера или в ужасах меланхолии, душа разверзается или так сказать исторгается из своего недра, разрушает все узы предрассудков и примера и, возникая превыше обыкновенной сферы, парит над оною, пролагая себе новые пути.—Каждый герой был сначала энтузиастом или нещастливым; но мудрый нечувствительно соединяет преимущества обоих сих характеров, и те же самые знания, коими одолжены мы волнению страстей, служат ему впоследствии к порабощению оных и к доставлению себе того спокойствия, которым хладнокровный человек без старания наслаждается.

Сие самое исступление воспламеняло рвением Регула, Деция и Винкельрида принесть себя в жертву отечеству. Оно составляет свойство великих душ, коих малодушные Энтузиастами называют...» [41]

«...Трудно обуздать те страсти, коих источник зависит от устроения тела человеческого, как например любовь, приводящую кровь в волнение и затмевающую рассудок; или леность, ослабляющую все пружины деятельности» [42].

В статье о страстях прославлен таким образом энтузиазм и «сильные страсти». Если вспомнить, что Кюхельбекер в теории высокой поэзии— вслед за Лонгином и Батте—объявляет энтузиазм, восторг главной действующей творческой силой поэзии, станут ясны точки соприкосновения литературной теории Грибоедова и Кюхельбекера 20-х годов с «гражданскою» теорией. Вызывало ли на размышления и споры описание «общих страстей» или характеристика «частных страстей» (любви, лености), апология страстей у Вейса разумеется запомнилась Пушкину.

Между тем конец XVI строфы посвящен литературным спорам Ленского и Онегина:

Поэт, в жару своих суждений,
Читал, забывшись, между тем,
Отрывки северных поэм;
И снисходительный Евгений
Хоть их не много понимал,
Прилежно юноше внимал.

Что такое «северные поэмы», которых не понимал Онегин?

Ответ мы найдем опять-таки в лицейских спорах об эпосе; вспомним, что еще в лицее Кюхельбекер изучает особо внимательно Камоэнса, Мильтона (по учебникам), Мессиаду в оригинале, что у него есть следы знакомства с Шапеленом и раннего изучения Шихматова.

Один из первых эпических опытов, написанных в легком роде conte,— «Бову» 1815 года—Пушкин начинает с полемического вступления, направленного именно против старых эпиков и против попыток их воскрешения:

Часто, часто я беседовал
С болтуном страны Еллинския,
И не смел осиплым голосом
С Шапеленом и Рифматовым
Воспевать героев Севера.
Несравненного Виргилия
Я читал и перечитывал,
Не стараясь подражать ему
В нежных чувствах и гармонии.
Разбирал я немца Клопштока
И не мог понять премудрого;
Не хотел я воспевать, как он:
Я хочу, меня чтоб поняли
Все, от мала до великого.
За Мильтоном и Камоэнсом
Опасался я без крыл парить,
Не дерзал в стихах бессмысленных
В серафимов жарить пушками... И т. д.

Верный взглядам Буало, Вольтера и Лагарпа на «высокие, но варварские» поэмы, Пушкин уже в лицее выработал основную номенклатуру и основные возражения против старых эпиков: северные поэмы—это поэмы, в которых воспеваются северные герои, поэмы Шаплена, Шихматова («La Pucelle», «Петр Великий»); а затем—поэмы северных поэтов — эпос Мильтона, Клопштока. Обвинение в «бессмысленности», непонятности, в недоступности языка высокого эпоса остались те же.

И здесь Ленский в поэме ведет беседы с Онегиным на острые темы бесед Кюхельбекера с Пушкиным.

После IX строфы следовали четыре строфы, посвященные «певцам слепого наслажденья». Быть может они вычеркнуты, потому что и противоположное направление представлено в темах того же жанра—элегии. Элегические темы Ленского (за исключением темы «священных друзей») тоже не таковы, чтобы на них склонил свой взгляд

Праведник изнеможденный,
На казнь неправдой осужденный...

Но это объясняется тем, что в 1823 г. для Пушкина еще был жив облик Кюхельбекера-элегика; еще только шел разговор о новом «грибоедовском» направлении поэзии, казавшемся старым друзьям скоропреходящим увлечением. Разговор шел не о враждебных жанрах—они еще не выяснились,—а о самом направлении поэзии. Ленский—элегик, и остается им на всем протяжении поэмы. В IV главе он даже дает повод

к прямой защите элегии, прямой полемике против статьи Кюхельбекера 1824 г. «О направлении поэзии» (строфы XXXII—XXXIII):

Но тише! Слышишь? Критик строгий
Повелевает сбросить нам
Элегии венок убогий...

В следующей строфе XXXIV впрочем иронически указывается:

Поклонник славы и свободы,
В волненьи бурных дум своих,
Владимир и писал бы оды, —
Да Ольга не читала их.

Мне приходилось отмечать, что в «стихах Ленского» нашло пародическое отражение несколько явлений одного круга, что здесь и воспоминание о двух стихах Рылеева («Богдан Хмельницкий»), особо запомнившихся ему:

Куда лишь в полдень проникал,
Скользя по сводам луч денницы
(сравнить: Блеснет заутра луч денницы
И заиграет яркий день;),

что припомнилось здесь и послание Кюхельбекера по поводу «Кавказского пленника»:

И недалек быть может час,
Когда при черном входе гроба
Иссякнет нашей жизни ключ,
Когда погаснет свет денницы,
Крылатый бледный блеск зарницы,
В осеннем небе хладный луч.

(Кстати это послание, полученное Пушкиным во время написания I главы, при всей иронии адресата отразилось еще и на строфе XLV главы I «Евгения Онегина»:

Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар погас;
Обоих ожидала злоба
Слепой Фортуны и людей

Сравнить «Послание» Кюхельбекера, обращение к Пушкину:

Одной постигнуты судьбою,
Мы оба бросили тот свет,
Где клевета, любовь и злоба
Размучили обоих нас...)

Есть общее со «стихами Ленского» также и в стихотворении Кюхельбекера «Пробуждение» («Соревнователь Просв. и Благотв.» 1820 г., № 2, стр. 197):

...Что несет мне день грядущий?
Отцвели мои цветы,

Слышу голос нас зовущий,
Вас, души моей мечты!
...Но не ты ль, любовь святая,
Мне хранителем дана!
Так лети ж, мечта златая,
Увядай моя весна!

XII

В Ленском не только затронут круг литературных вопросов. В чертах героя, в главном сюжетном пункте, катастрофе—дуэли — можно проследить конкретные черты; а главное—в романе отчетливо указан путь, по которому должен был пойти высокий поэт.

Из конкретных черт можно указать фразу Ленского:

«Я модный свет ваш ненавижу;
Милее мне домашний круг...»

В ряде ранних стихотворений Кюхельбекера («Домоседу», «Как счастлив ты, мой юный, милый друг» и др.)—нападки на «свет» и противопоставление ему тихого сельского уединения. Такова и обширная выписка из Вейса в «Словаре»—«Картина многих семейств большого света».

Сюжетная катастрофа—дуэль,—как известно, вызвала упреки современной критики в немотивированности; ср. «Московский Вестник»: «Вызов Ленского называют несообразностью. Il n'est pas du tout motivé *, все кричат в один голос. Взбалмошный Онегин, на месте Ленского, мог вызвать своего противника на дуэль, а Ленский—никогда» («Моск. Вестник» 1828 г., ч. VII, № 4). То же—во враждебной критике «Атенея».

Таким образом характеристика Ленского:

Дух пылкий и довольно странный

и его обидчивость в начале III главы оказались недостаточно сильными мотивировками внезапной дуэли.

Повидимому ее мотивировали портретные черты прототипа, оставшиеся вне поэмы.

Первым, указавшим на портретность дуэли Онегина и Ленского, был Л. Поливанов: «Вспыльчивость Кюхельбекера, который и в лицее порою выходил из себя от товарищеских шуток над ним, не чужда и Ленскому... К довершению сходства—самому Пушкину суждено было драться на дуэли с этим другом своего детства—и первый вызвал Кюхельбекер» [43].

Вспыльчивость, обидчивость и «бреттерство» Кюхельбекера были анекдотическими.

Дуэль по недостаточным причинам, «из вздора» прочно ассоциировалась в период до ссылки Пушкина с именем Кюхельбекера. По рассказу Ольги Сергеевны Павлищевой, Корф, вызванный Пушкиным за то, что побил его камердинера, ответил ему: «Je n'accepte pas votre défi pour une bagatelle semblable, non par ce que vous êtes Pouchkine, mais par ce que je ne suis pas Küchelbecker» [44] **

---

* Он ничем не обоснован.

** Я не принимаю вашего вызова из-за подобного пустяка не потому, что вы Пушкин, а потому что я не Кюхельбекер.

Есть еще более показательное свидетельство того же Павлищева: «Обидчивость Кюхельбекера порой, в самом деле, была невыносима... Так, напр., рассердился он на мою мать за то, что она на танцовальном вечере у Трубецких выбрала в котильон не его, а Дельвига; в другой же раз на приятельской пирушке у Катенина Кюхельбекер тоже вломился в амбицию против хозяина, когда Катенин, без всякой задней мысли, налил ему бокал не первому, а четвертому или шестому из гостей» [45]. Случай с сестрой Пушкину был без всякого сомнения известен—а он почти сполна совпадает с причиною дуэли Онегина и Ленского в романе. Если вспомнить, что писание II главы (первое появление Ленского) совпало с ссорой между Пушкиным и Кюхельбекером, которая должна была обновить память о старой дуэли, станет ясно, что

Приятель молодой,
Нескромным взглядом иль ответом,
Или безделицей иной
Вас оскорбивший за бутылкой
Иль даже сам, в досаде пылкой
Вас гордо вызвавший на бой— (гл. VI, строфа XXXIV)

имеет прототипом Кюхельбекера, в гораздо более близкой портретной степени, чем это можно сказать например по поводу прототипности для Загорецкого—Федора Толстого (прототипность же Толстого для Загорецкого засвидетельствована самим Пушкиным).

Любопытно, что дуэль Ленского обросла в романе воспоминаниями лицейского периода и даже воспоминаниями о лицейских друзьях; так Ленский читает свои предсмертные стихи

вслух, в жару,
Как Дельвиг пьяный на пиру.

К XXXIV строфе VI главы сохранились черновые наброски двух строф, при чем центральный эпизод относится к войне 1812—1814 гг., т. е. опять-таки к лицейским годам:

В сраженьи [смелым] быть похвально,
Но кто не смел в наш храбрый век?
Все дерзко бьется, лжет нахально.
Герой, будь прежде человек.
Чувствительность бывала в моде
И в нашей северной природе.
Когда горящая картечь
Главу сорвет у друга с плеч,
Плачь, воин, не стыдись, плачь вольно... И т. д.

* * *

Но плакать и без раны можно
О друге, если был он мил,
Нас не дразнил неосторожно
И нашим прихотям служил.
Но если Жизнь роковая,

Окровавленная, слепая,
В огне, в дыму — в глазах отца
Сразит залетного птенца!
О страх, о горькое мгновенье,
О . . . . когда твой сын
Упал сражен, и ты один.
[Забыл ты славу] ‹и› сраженье
И предал славе ты чужой
Успех, ободренный тобой[46].

Сын, погибающий в виду отца,—это конечно сын П. А. Строганова, знаменитого «русского якобинца». 23 февраля 1814 г., командуя дивизией и участвуя в битве под Красном, он получил известие о гибели единственного сына Александра, которому ядром оторвало голову, и сдал команду. Отличился при этом враг Пушкина граф Воронцов, которому всецело приписывали «славу Красна».

Таким образом предлагаю читать конец строфы:

О страх, о горькое мгновенье,
О «Строганов», когда твой сын
Упал сражен, и ты один... И т. д.

П. А. Строганов умер 10 июня 1817 г.—назавтра после окончания Пушкиным и Кюхельбекером лицея, и его похороны могли запомниться Пушкину. Так лицейские воспоминания окружают дуэль Онегина и Ленского.

Путь высокого поэта вел к деятельности литератора-декабриста; а этот путь—к победе или поражению. Поражение могло быть открытым—ссылкой, казнью; могло быть глухим—сельским уединением «охладевших».

Таков смысл строф XXXVII—XXXIX главы шестой («Быть может он для блага мира» и т. д.). В 1827 г., когда эти строфы писались, были уже ясны оба эти выхода. Такова неполная XXXVIII строфа, не вошедшая в текст поэмы:

Исполня жизнь свою отравой,
Не сделав многого добра,
Увы, он мог бессмертной славой
Газет наполнить нумера.
Уча людей, мороча братий,
При громе плесков иль проклятий
Он совершить мог грозный путь,
Дабы в последний раз дохнуть
В виду торжественных трофеев,
Как наш Кутузов иль Нельсон,
Иль в ссылке, как Наполеон,
Иль быть повешен, как Рылеев.

Это—вовсе не безразличные, абстрактные возможности, открывавшиеся перед «поэтом вообще»,—это сугубо конкретный разговор о высоком поэте, о политической журналистике, о политической деятельности, которая могла бы ему предстоять в случае победы декабрьского движения.

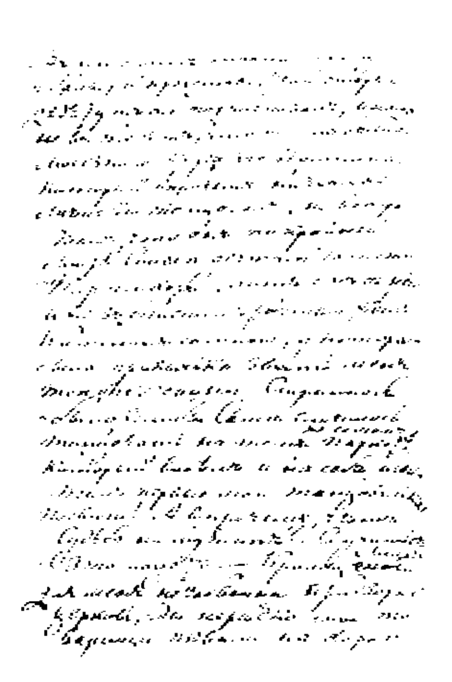
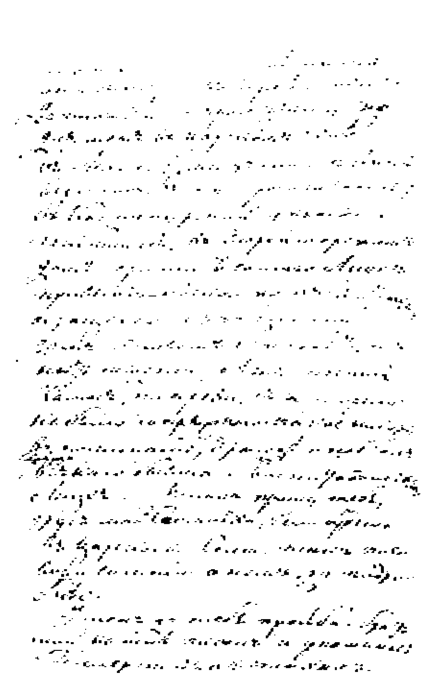
Имя Кутузова как триумфатора подсказано материалом предшествующих строф (1812 г.) и влечет за собою нейтральные «военные» имена Нельсона и Наполеона, нимало не затемняющие смысла строфы о грозном пути, который могли бы совершить поэты, подобные Ленскому, в случае победы декабристов.

XIII

19 февраля 1832 г. Кюхельбекер писал из крепости своим племянницам Глинкам: «Я вчера, было, хотел с вами говорить об Онегине; но теперь вспомнил, что вы вероятно его не читали, да и не скоро прочтете, потому что этот Роман в стихах не из тех книг, которые

«Мать дочери велит читать».

Для тетушки вашей замечу, что совершенное разочарование, господствующее в Последней Главе, наводит грусть; но для Лицейского товарища Автора много таких намек [47] в этой Главе, которые говорят сердцу, и по сему в моих глазах они ни чуть не из худших; а впрочем это суждение

ДВЕ СТРАНИЦЫ ПИСЬМА КЮХЕЛЬБЕКЕРА К А. Г. ГЛИНКЕ 1830-х гг. С ВОСПОМИНАНИЯМИ О ПУШКИНЕ

Собрание Ю. Н. Тынянова, Ленинград

не беспристрастно, суждение более человека, нежели Литератора и посему не может иметь веса для посторонних» [48].

«Намеки» эти—первые строфы о лицее, а в последней строфе стих:

Иных уж нет, а те далече,

адресованный Пущину и с ним Кюхельбекеру; быть может это также начало XII строфы:

Предметом став суждений шумных,
Несносно (согласитесь в том)
Между людей благоразумных
Прослыть притворным чудаком,
Или печальным сумасбродом

Иль сатаническим уродом,
Иль даже демоном моим...

Характерно, что и здесь соседство «Демона» вызвало недовольство Кюхельбекера: «в 12-й (строфе) стих:

«Иль даже демоном моим...»

такой, без которого можно было бы обойтись» («Дневник», стр. 42).

Имя, обыкновенно читающееся до сих пор в XIV строфе «Шишков»:

Она казалась верный снимок
Du comme il faut... Шишков, прости,
Не знаю, как перевести,—

есть домысел позднейшей редактуры: и в издании «последней главы» 1832 г., и в отдельных прижизненных изданиях романа 1833 и 1837 гг., и в посмертном издании сочинений Пушкина 1838 г. (т. I), и наконец в издании Анненкова стихи печатаются:

***, прости,

Кюхельбекер прочел в стихах намек на себя: «Появление Тани живо, да нападки на *** не слишком кстати. Мне бы этого и не следовало, быть может, говорить, потому что очень хорошо узнаю самого себя под гиероглифом трех звездочек, но скажу стихом Пушкина же

«Мне истина всего дороже» («Дневник», стр. 43).

Расшифровка «Шишков», принятая до сих пор, довольно сомнительна; расшифровка Кюхельбекера:

...Вильгельм, прости,
Не знаю, как перевести,—

помимо того, что она является свидетельством современника, имеет за себя еще и те основания, что одною из особенностей эпистолярного стиля Кюхельбекера, которая обращала на себя внимание друзей и в которой он охотно признавался, была привычка пересыпать свои письма «французскими словечками и фразами». Об этом имеются его неоднократные признания; ср. просьбу Туманского в приведенном выше общем письме его и Пушкина «не приправлять писем своих французскими фразами». Ср. также письмо Кюхельбекера к Пушкину от 20 октября 1830 г. из Динабургской крепости: «Ты видишь, мой друг, я не отстал от моей милой привычки приправлять мои православные письма французскими фразами» [49]. Ирония обращения понятна: теоретически отстаивая «чистоту речи», Кюхельбекер сам однако же грешит французскими фразами и не может отвыкнуть от них.

Особенно понравилась Кюхельбекеру строфа XXXVII по понятным причинам—здесь выпад против света и против «новых друзей», сменивших в 20-х годах старых, лицейских:

То видит он врагов забвенных,
Клеветников и трусов злых,
И рой изменниц молодых,
И круг товарищей презренных...

Эпилог, в котором последний намек: «те далече»—по мнению Кюхельбекера—«лучший из всех эпилогов Пушкина».

В приведенном выше отрывке из письма характерна уверенность современника и товарища, читающего недоступные «для посторонних» вещи.

Роман имел для Кюхельбекера еще и свое, домашнее значение, так как был тесно с ним связан.

XIV

С 1824 г. появляются у Пушкина стихотворения, тема которых — социальная позиция поэта. Таковы «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824 г.), «Пророк» (1826), «Поэт» (1827), «Чернь» (1828), «Ответ анониму» (1830) и др.

«Пророк» близок к «Давиду» Грибоедова и к «пророческим одам» Кюхельбекера по самому поэтическому материалу; формула: «поэт — пророк» была очень реальной в годы борьбы высокой поэзии с мелкими лирическими жанрами, годы, непосредственно предшествующие декабрьскому восстанию.

Опасаясь в 1823 г. вместе с Туманским, что новое направление обратит муз в церковных певчих, Пушкин в последующие три года — время по обе стороны 14 декабря — имел возможность разгадать и другую сторону «библических» тем высокой поэзии.

Стихотворение «Чернь» долгое время объяснялось на основании свидетельства Шевырева влиянием на Пушкина учения Шеллинга, через посредство молодых московских «любомудров», группировавшихся вокруг Веневитинова и приступивших к изданию «Московского Вестника», с которыми он общался в Москве в 1826/27 г.; Шевырев писал о Пушкине *в своих воспоминаниях: «В Москве объявил он свое живое сочувствие* тогдашним молодым литераторам, в которых особенно привлекала его новая художественная теория Шеллинга, и под влиянием последней, проповедывавшей освобождение искусства, были написаны стихи «Чернь» [50].

Это толкование было основано на понимании «черни» как «народной массы». Свидетельство Шевырева взял под сомнение уже опубликовавший его «Воспоминания» Л. Майков, утверждавший при этом, что «Пушкин обращался не к народной толпе, а к пустой толпе светской» [51]. Плеханов развил аргументацию в пользу этого положения в своей статье «Литературные взгляды Белинского», 1897 г.

Прежде всего «Чернь» есть звено в целом цикле пушкинских стихотворений, связанных между собою общим вопросом о позиции поэта. Как мы видели, вопрос этот возник задолго до знакомства с любомудрами. Самое отношение к направлению любомудров у Пушкина достаточно характеризуется его письмом к Дельвигу от 2 марта 1827 г.: «Милый мой, на днях рассердясь на тебя и на твое молчание, написал я Веневитинову суровое письмо... Ты пеняешь мне за Моск. Вестник — и за немецкую Метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее; да что делать? Собрались ребяты теплые, упрямые, поп свое, а черт свое — я говорю: Господа, охота вам из пустова в порожнее переливать — все это хорошо для Немцов пресыщенных уже положительными знаниями, но мы... — Моск. Вестник сидит в яме, и спрашивает: веревка вещь какая? (Впрочем на этот метафизический вопрос можно бы и отвечать, да NB). А время вещь такая, которую с никаким Вестником не стану я терять. Им же хуже, если они меня неслушают» [52].

Пушкин не только не испытывал философского влияния любомудров, они были л и т е р а т у р н о для него ч у ж и м и и во многом враждебными людьми. Иное дело их журнал, которым Пушкин интересовался.

«Веревка» метафизическая Пушкина не занимала, его занимала веревка, на которой с полгода назад были повешены декабристы. И прежде всего ложно толкование Шевырева. Уже в «лицейском» языке — толпа и чернь — определенные понятия, неравнозначные понятию народ, простонародье, а означающие нечто совершенно противоположное,— чернь и толпу аристократическую. Ср. выписку из Вейса в «Словаре» Кюхельбекера:

«Аристократия. Государь бывает иногда исключением в рассуждении самых даже естественных склонностей; его страсти могут быть великодушны, его сведения превосходны: но многочисленное собрание должно по необходимости приближаться к толпе».

Многочисленное собрание разящей аристократии близко по своим качествам к понятию «черны», — таков смысл периода. (Вспомним, что впоследствии Пушкин собирался назвать свое стихотворение яснее: «Поэт и толпа»,—несомненно с тем, чтобы до конца вытравить возможный в тогдашнем читательском восприятии оттенок слова «чернь»—«простонародье».)

Мы знаем, как часты нападки на «толпу» и «свет» у Кюхельбекера. Столь же часты у него, ученика Лонгина и Шиллера, противопоставления толпе поэта.

Сначала это проповедь уединения и возвышения над «толпою». Сравнить стихотворение «К Пушкину», напечатанное в «Благонамеренном» за 1818 г. (ч. III, стр. 136—137):

Счастлив, о Пушкин, кому высокую душу Природа
Щедрая Матерь—дала, верного друга—мечту,
Пламенный ум и не сердце холодной толпы! Он всесилен
В мире своём; он творец! Что ему низких рабов
Мелких, ничтожных судей, один на другого похожих,
Что ему их приговор? Счастлив, о милый певец,
Даже бессильною завистью Злобы—высокий любимец,
Избранник мощных Судеб. Огненной мыслию он
В светлое небо летит, всевидящим взором читает
И на челе и в очах тихую тайну души!
...Так—от дыханья толпы все небесное знет!..

Здесь очень характерен самый поэтический словарь; слова: «толпа», «рабы», вовсе не имеющие прямого значения; эти выражения, а также и стиховая формула[53]: «холодная толпа» таким образом в этом особом, не буквальном смысле были близки уже в ранние годы Пушкину.

Последующее развитие этой темы у Кюхельбекера, вызванное эпохой,— столкновение высокого поэта со светской чернью, и здесь он находит новую связь для союза «высоких поэтов». Таково его стихотворение «К Евгению», обращенное к Баратынскому и относящееся к началу 20-х годов:

«Все в жизни суета, и наш удел терпенье!»
В просонках говорит жиреющий Зенон —
И дураку толпа приносит удивленье,
Для черни прорицатель он!
А я пою тебя, страдалец возвышенный,
Постигнутый Судьбы железною рукой,

Добыча злых глупцов и зависти презренной,
Но вечно пламенный душой...

Ср. также стих. «Поэты»:

И что жь? Пусть презрит нас т о л п а:
Она безумна и слепа.

Такова же «толпа» в послании к А. П. Ермолову от 1821 г., когда для Кюхельбекера вырисовывается уже не только «союз поэтов», но и

...союз прекрасный
Прямых героев и певцов,

а задачи поэзии—под влиянием Грибоедова—он видит уже не только в «возвышении над землею»:

Но кто же славу раздает,
Как не любимцы Аполлона?
Мгновенный обладатель трона
Царь не поставлен выше их.
В потомстве Нерона клеймит бесстрашный стих.
Да смолкнет же передо мною
Т о л п а завистливых глупцов,
Когда я своему Герою—
Врагу трепещущих льстецов—
Свою настрою смело лиру
И расскажу о нем внимающему миру.

Анализ языка пушкинской «Черни» доказывает родство именно с этим строем мыслей и словоупотребления. У него не просто «народ», а «н а р о д н е п о с в я щ е н н ы й»—прямой перевод выражения «profani» из эпиграфа Горациева стиха—и «н а р о д б е с с м ы с л е н н ы й». Характеристика этого «народа»—«хладный и надменный»—подчеркивает социальный смысл словоупотребления.

Вместе с тем конкретная направленность пьесы—против современной Пушкину официальной журнальной критики: таковы нападки на требования прямой дидактики, исходившие главным образом от Булгарина; заявление «не для корысти» было подготовлено шумной полемикой о материальной стороне издания «Бахчисарайского фонтана» и т. д.

Таким образом «Чернь» правильнее всего считать полемически направленной не только против «светской черни», но и против официозной журналистики последекабрьского периода.

«Чернь», когда Кюхельбекер знакомится с этим стихотворением в крепости по двум томам издания 1829 г., вызывает его решительный восторг: «Если уж назначить какой-нибудь отдельной его пиэсе первое место между соперницами (что впрочем щекотливо и бесполезно), — я бы назвал «Ч е р н ь»; по крайней мере это стихотворение м н е в нынешнем расположении духа как-то ближе, родственнее всех прочих» (письмо племяннику Н. Г. Глинке от 16 сентября 1834 г.).

Кюхельбекер теоретически был противником дидактики в поэзии. Вместе с тем многозначительное выражение «в теперешнем расположения духа» указывает на перекличку пушкинской «Черни» с отношением Кюхельбекера к официозной журналистике последекабрьского периода.

Разумеется не с молодыми «архивными юношами» любомудрами, для которых никогда не стоял во всей конкретной социальной глубине вопрос о позиции поэта по отношению к «светской черни», с одной стороны, официозно-журнальной—с другой, было связано такое стихотворение, как «Чернь». Оно было связано теснее и ближе всего с Кюхельбекером, давшим Пушкину прототип «высокого поэта» в «Евгении Онегине»; к этой позиции Пушкин, пересматривая вопрос накануне декабря 1825 г., склонялся; в пьесе «19 октября 1825 года» он называет Кюхельбекера «братом родным по музе, по судьбам» и дает поэтическую формулу:

Служенье Муз не терпит суеты,
Прекрасное должно быть величаво.

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящая статья охватывает период отношений Пушкина и Кюхельбекера до 1825 г.; отношения после декабря 1825 г. являются предметом особой статьи.

[1] Ю. Г. Оксман первый высказал предположение, что послание обращено к Кюхельбекеру (см. «Дневник В. К. Кюхельбекера», под ред. В. Орлова и С. Хмельницкого, 1929, стр. 318).

[2] Мать принуждена отказать Кюхельбекеру, который хочет брать уроки игры на скрипке, по неимению средств; точно так же она неоднократно упоминает, что не может приехать в Царское Село повидать его из-за дороговизны передвижения (извозчик стоил 25 рублей); так же остро обстоит вопрос и с лицейскими «долгами» Кюхельбекера.

[3] Ср. письмо Кюхельбекера, относящееся к началу 30-х годов: «Я собираюсь сделать парафразы нескольких псалмов, напр. 142 и 18. Есть прекрасная парафраза последнего у Жана-Батиста... Это была любимая пьеса нашего старого Будри». В лицейской тетради Кюхельбекера выписана его ода «Sur la mort de Conti».

[4] Дикое изгнанье—Ж.-Б. Руссо (1670—1741) в 1712 г. изгнан из Франции и умер в изгнании.

[5] Следует кроме того отметить, что в реплике Ариста: «Пожалуй........ а я-таки поэт» сказываются некоторые особенности речи Кюхельбекера. Таково например словечко «таки», очень часто встречающееся в его письмах. Таким образом стихотворение не только было написано по конкретному поводу, но возможно и отражало конкретные разговоры.

[6] Грот, К. Л., Пушкинский лицей. 1911, стр. 250—252. Авторство М. Л. Яковлева ничем не доказывается.

[7] Селезнев, И., Исторический очерк б. Царскосельского, ныне Александровского Лицея. С.-П., 1861 г.

[8] Пущин, И. И., Записки о Пушкине, ред. С. Я. Штрайха, Гиз, 1927, стр. 61.

[9] Кобеко, Д., Императорский Царскосельский Лицей, стр. 21.

[10] Ср. характерное изречение Малиновского, занесенное Кюхельбекером в «Словарь»: «Хоть женщины умеют притворяться искуснее мужчин, однако в вере они искренни и не имеют лицемерия, но, как большие дети, скоро все позабывают, поутру каются, а ввечеру грешат». Здесь либерально-пиэтистический тон окружения Сперанского.

[11] Хранится в Национальном музее ССР Грузии в Тифлисе. Пользуюсь случаем выразить благодарность заведующему рукописным отделением Музея П. Ингороква, благодаря любезности которого я мог познакомиться с рукописью. Рукопись озаглавлена «Владимир Дмитриевич Вольховский. 1798—1841». Написана она в 1885 г. и представляет собой полемическое дополнение к биографии Вальховского, изданной анонимно в Харькове в 1844 г. («О жизни генерал-майора Вальховского. г. Харьков, 1844») и принадлежащей повидимому И. В. Малиновскому (см. Н. Гастфрейнд. «Товарищи Пушкина по Царскосельскому лицею», т. I, стр. XVI).

[12] «Русская Старина» 1875 г., июнь, стр. 362.

[13] Н. Ф. Кошанский, профессор русской и латинской словесности, как старший замещал сначала директора, но уже 8 мая по болезни отказался.

[14] Грот, Я., Пушкин, его лицейские товарищи и наставники, т. II. 1899, стр. 252.

[15] Пущин, И. И., Записки, стр. 74.

[16] Центрархив «Восст. декабристов», т. VIII, стр. 162, 386. Ср. примечание: «В Муромском пехотном полку одновременно служили два Рачинских: Иван Иванович и Александр Антонович... Который из них был прикосновен к делу, сказать затруднительно». В записи Кюхельбекера имя названо.

[17] Кобеко, назв. соч., стр. 105.

[18] О близости Давида-Марата Будри ко Французской революции см. в статье Ц. Фридлянда «Ж.-П. Марат — памфлетист Революции» (Ж.-П. Марат. Памфлеты, под ред. со вступ. ст. и комм. Ц. Фридлянда изд. «Academia», 1934, стр. 32). Будри бежал в Россию «после участия в Женевском восстании начала 80-х годов XVIII в.» и «находился в постоянной переписке со своим братом».

[19] Семевский, В. И., Политические и общественные идеи декабристов, СПБ., 1909, стр. 223, 227, 229, 678.

[20] Центрархив. «Восстание декабристов», т. V, стр. 135, 142, 147.

[21] Таким образом упоминание его имени в «Пирующих студентах» — «Сенека, Тацит под столом» — имело реальные основания.

[22] Ср. «Неизданный Пушкин», 1933, стр. 174—175.

[23] Соч. Евг. Абр. Баратынского, Казань, 1884, стр. 519.

[24] «Основания или Существенные Правила Философии, Политики и Нравственности». Творение Полковника Вейса, члена разных Академий. Перевод с французского, с седьмого издания (А. Струговщикова). Часть первая. Санктпетербург 1807, стр. 95, 195—198.

[25] Оригинал немецкий. М. А. Корф, быстро делавший служебную карьеру, 1 июля 1827 г. получил звание камергера; 17 марта 1829 г. — чин статского советника; 22 января 1830 г. — орден Станислава 2-й степени со звездою. В. П. Вальховский был произведен в полковники 4 марта 1828 г. В войну 1828 и 1829 гг. был обер-квартирмейстером Кавказского корпуса. К. К. Данзас был ранен при Браилове и 3 июня 1828 г. из прапорщиков произведен в капитаны. Таким образом последние сведения, которые мог получить из газет Кюхельбекер, датируются январем 1830 г., когда он содержался в Динабургской крепости, где был менее суровый режим.

[26] «Русский Архив» 1910 г., № 5, стр. 46—48. «Из старых записей издателя Русского Архива»; запись Бартенева относится к 1852 г.

[27] Бартенев, Пушкин в Южной России. М., 1914, стр. 101—102, примеч.

[28] Бонди, С., Новые страницы Пушкина, изд. «Мир», 1931 г., стр. 83—91. Стихотворение, которое цитирует в своих «Воспоминаниях» Павлищев, несомненно принадлежит Кюхельбекеру. Оно находится в тетради стихотворений Кюхельбекера (ныне в ИРЛИ), бывшей у Пушкина в момент его смерти (о чем свидетельствуют жандармские пометы). Стихотворение это, «Разуверение» («Не мани меня, надежда»), идет в сборнике непосредственно за посланием к Грибоедову от 1821 г. (и перед «Олимпийскими играми», относящимися к тому же году) и датируется осенью 1821 года.

[29] См. «Соревнователь Просвещения и Благотворения» 1820 г., № 1, стр. 109, где в «записках общества» объявляется, что член-сотрудник В. К. Кюхельбекер, «особенными трудами и усердием обративший на себя внимание общества»... поступил в действительные члены».

[30] См. «Письма и бумаги В. Н. Каразина», 1910, стр. 155.

[31] «Русский Архив» 1871 г., стр. 0171—0173. См. также В. В. Каллаш: «Русские поэты о Пушкине». М., 1899, стр. 11—13.

[32] «Мнемозина» 1824 г., ч. III, стр. 189—199 и отдельное издание. М., 1824, где Байрон —

«Тиртей, союзник и покров
Свободой дышущих полков»,

перед которым Пушкин —

«сладостный певец
Во прах повергнул свой венец».

Таким образом полемика с Пушкиным входит непосредственно и в стихи Кюхельбекера.

[33] Приведенный отрывок письма сохранился в копии.

[34] «Невский Зритель» 1820 г., апрель. Из Рима. Письмо 9, стр. 41.

[35] Ср. например отзыв в «Благонамеренном» 1822 г., № 36.

[36] Степень его политической близости с Рылеевым сказывается например в письме к Рылееву, опубликованном П. Г. Георгиевским («Декабристы», сборник из материалов изд. «Прибой», 1926) и не поддающемся окончательной расшифровке вследствие условного языка.

[37] Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. III, стр. 384.

[38] «Основания или Существенные Правила Философии, Политики и Нравственности» Вейса. Перевод с французского (А. Струговщикова). Часть первая, Санктпетербург, 1807, стр. 35.

[39] Там же, стр. 43—50.

[40] Там же, стр. 116—117.

[41] Там же, стр. 120.

[42] Там же, стр. 123.

[43] Соч. А. С. Пушкина, изд. Л. Поливанова, т. III. М., 1887, стр. 47.

[44] Павлищев, Л., Из семейной хроники. Воспоминание об А. С. Пушкине. М., 1890, стр. 33.

[45] Там же, стр. 32.

[46] Цитирую по изданию ГИХЛа 1932 г., т. IV, стр. 287, 288.—«Евгений Онегин» под ред. Б. В. Томашевского.

[47] Кюхельбекер употреблял старое слово: намёка.

[48] Более подробно Кюхельбекер написал о последней главе «Евгения Онегина» через два дня в своем дневнике. См. «Дневник В. К. Кюхельбекера» под редакцией В. Н. Орлова и С. И. Хмельницкого. Изд. «Прибой», 1929, стр. 42—44.

[49] Соч. Пушкина. Переписка под ред. В. И. Саитова, т. II, стр. 181.

[50] Майков, Л., Пушкин. 1899. Воспоминания Шевырева о Пушкине, стр. 330.

[51] Майков Л., Историко-литературные очерки. СПБ., 1895, стр. 180—183.

[52] Пушкин. «Письма», т. III, Гиз, 1928, стр. 27. Письмо опубликовано в 1928 г. Б. Л. Модзалевским.

[53] «Сердце холодной толпы»—ср. у Пушкина: «Смех толпы холодной» («Поэту»).

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА „ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА"

ИСТОРИЯ РАЗГАДКИ

Статья Б. Томашевского

I. ЗАГАДКА

В 1906 году, в издании «Пушкин и его современники», выпуск IV, появилось составленное В. И. Срезневским описание рукописей Майковского собрания. Описание предварено кратким введением, в котором между прочим говорится:

«В 1904 году Рукописное отделение библиотеки Академии Наук обогатилось ценнейшим собранием автографов Пушкина, принесенным в дар Академии вдовой покойного Леонида Николаевича Майкова Александрой Алексеевной Майковой. При передаче в библиотеку своего дара жертвовательница поставила условием, чтобы право первого пользования Пушкинскими материалами и опубликования их принадлежало Академии Наук и чтобы опубликование это произошло в академическом издании Сочинений Пушкина, начатом Леонидом Николаевичем Майковым. В виду этого в представляемом ниже обозрении коллекции дано только сухое и краткое внешнее описание каждой рукописи без приведения каких бы то ни было выписок из неизвестных текстов или новых вариантов к текстам известным».

В таком описании, которым по мнению автора не было «нарушено желание жертвовательницы», значилось два загадочных пункта:

37 д) Наброски из Путешествия Онегина. Листок сероватой бумаги с клеймом 1823 г. Среди текста красная цифра 55.

57) «Н е ч а я н н о   п р и г р е т ы й   с л а в о й...» и «П л е ш и в ы й   щ е г о л ь,   в р а г   т р у д а...» (1830?). В четвертку, 2 л. (1 л. перегнутый пополам). На бумаге клеймо 1829 г. Красные цифры: 66, 67. Текст писан с внутренней стороны сложенного листа. Поправок почти нет; писано наскоро, многие слова недописаны, собственные имена обозначены буквами.

II. КЛЮЧ

Несмотря на завещание А. А. Майковой, в 1910 г. Академия решила нарушить волю жертвовательницы и раскрыть смысл этих двух пунктов, не дожидаясь выхода в свет соответствующих томов Академического издания. В XIII выпуске того же издания «Пушкин и его современники» появилась статья П. О. Морозова, сопровожденная факсимильным воспроизведением обоих документов. Статья называлась «Шифрованное стихотворение Пушкина» и представляла собой открытие ключа к шифру.

Оказалось, что листок № 57, если его читать подряд, представлял собою бессмысленный набор стихов. Но в этом наборе мелькнули знакомые строки, напомнившие четверостишие из «Героя»:

Всё он, всё он — пришлец сей бранный,
Пред кем смирилися цари,
Сей ратник, вольностью венчанный,
Исчезнувший, как тень зари.

Морозов заметил, что стих, соответствующий первому стиху четверостишия, находится наверху правой страницы, второй—внизу правой, третий—наверху левой, четвертый—внизу левой. Тогда, разбив строки на четыре группы, Морозов начал их читать в той же последовательности, то есть по стиху из группы. Получились законченные четверостишия. Некоторые невязки легко было устранить. Первые четверостишия слагались повидимому в законченное стихотворение, но, начиная с пятого, связь между четверостишиями утратилась, хотя смысл в общих чертах сохранялся. К сожалению в четвертой группе стихов (нижняя половина левой страницы) оказалось меньше стихов, чем в остальных, и последние четыре четверостишия имели только по три стиха. Из них два последние совпали с начальными стихами двух строф, находившихся на одной стороне листка № 37д, т. е. того, который в описании В. И. Срезневского отнесен к путешествию Онегина. Морозов сделал следующее замечание, которое и повлекло за собою осмысление всего материала: «стихи здесь (*в отрывке 37д*) *написаны «онегинскими» строфами, что и отличает их от* разобранного нами шифрованного текста; непосредственная их связь, по содержанию, с этим последним, наводит на предположение, что и шифрованные отрывки также могут относиться к путешествию Онегина, которого поэт приводил в круг декабристов. Но в таком случае в отрывках недостает уже очень многих стихов, так как составить из них «онегинские» строфы совершенно невозможно». Надо отметить, что на обратной стороне того листка, на котором находились строфы, отнесенные к путешествию Онегина, была еще одна неполная строфа. Ее не было в шифрованном перечне. Морозов, транскрибируя этот листок, поставил ее на последнее место.

III. БЛУЖДАНИЯ

После статьи П. Морозова общее внимание было обращено на вновь открытое произведение. Интерес, возбужденный политической темой, заинтриговывающая любопытство зашифрованность стихов, не полная разгаданность документа—всё это привлекало исследователей к данному стихотворению. Далеко не всё, что появилось в печати после статьи Морозова, действительно ценно. Кое-что намечалось, но многое было совершенно фантастично. Итогом положительных достижений этой длительной дискуссии является публикация Гофмана в «Пропущенных строфах «Евгения Онегина». Сейчас я остановлюсь на некоторых толкованиях, появившихся до выхода в свет работы Гофмана, т. е. до 1922 г.

Образцом такого хождения мимо темы является статья Д. Н. Соколова в вып. XVI «Пушкин и его современники» 1913 г. В этой статье автор останавливается на комментировании некоторых мест и на попытке реставрировать отдельные стихи. И то и другое делается им без успеха.

Так например, неудачны попытки прочесть стихи, не прочтенные Морозовым. Так один стих Соколов читает:

Кинжал Лувеля пел Бирон.

Хотя у Пушкина нигде мы не находим французского произношения имени Байрона, а с другой стороны, у Байрона нигде не воспет кинжал Лувеля, автор настаивает на своем чтении, так как в одном стихотворении Байрона 1815 г. говорится о политическом убийстве, и следовательно это стихотворение можно понимать как оправдание (за пять лет до события) убийства Лувелем герцога Беррийского. Это объяснение вполне фантастично; противоречит оно и тому факту, что стих этот находится в ряду стихов женского окончания и следовательно никак не может оканчиваться на ударяемый слог. Не слишком близки к истине и другие конъектуры автора, например в четверостишии, которое по его мнению должно читаться следующим образом:

Хвалил Тургенев, им внимая,
И, слово: раб н е п р и н и м а я,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

Но главная мысль Соколова заключается в том, что данное стихотворение является промежуточным звеном между отрывком 1823 г. «Недвижный страж...» и стихотворением 1830 г. «Герой». Черновиком к этому стихотворению Соколов считает набросок «Вещали книжники, тревожились цари». Сходство тем и клеймо 1823 г. является для него основанием, чтобы интерполировать в стихотворение четверостишие из этого чернового наброска. Вот относящиеся к этому слова автора: «Едва ли возможно сомневаться, что неразобранное г. Якушкиным «большое стихотворение» есть первая редакция шифрованного, время написания которой черновиками письма Татьяны приурочивается к сентябрю 1824 года. В нем уже осуществлен переход от 6-стопного ямба «Отрывка» («Недвижный страж...») к 4-стопному. Выписанная г. Якушкиным строфа по содержанию подходит к строфе, где описываются волнения в Европе, а тревогам царей противополагается спокойствие имп. Александра».

Все эти соображения совершенно фантастичны. Отнесение первоначальной работы над стихами к 1824 г. (то-есть ко времени до декабрьского восстания) ни на чем не основано и противоречит всякой вероятности.

Гораздо больше положительного материала находится в статьях Н. О. Лернера, резюмированных им в примечаниях к отрывкам из десятой главы, напечатанным в шестом томе сочинений Пушкина под редакцией Венгерова (1915). Здесь уже стихи носят правильное название: «Из десятой (сожженной) главы «Евгения Онегина». Н. Лернер собрал все сведения о десятой главе, какие можно найти в мемуарной литературе. Он исправил некоторые чтения Морозова и дал новую композицию всего стихотворного текста. Общий порядок сохранен тот же, что и у Морозова. Первые 16 стихов даны в виде непрерывного текста подряд. После этого следуют отрывочные четверостишия и трехстишия: четверостишие «Авось, аренды забывая» почему-то изъято из общего ряда и дано в примечании.

Но самое главное изменение, сопровожденное примечанием, составляет перестановка последнего отрывка («Всё это были заговоры») перед отрывком «Друг Марса, Вакха и Венеры». Вот что пишет по этому поводу Лернер: «Как было нами доказано («Пушкин о декабристах. Необходимая поправка». — «Речь» 1913 г., № 155), Пушкин о Южном обществе говорит после Северного (раньше первая страница чернового листка неверно принималась за вторую и обратно) и говорит в ином тоне, чем о Северном». Этот аргумент характерен. Для первых расшифровщиков стихотворный текст Пушкина не обладал собственной последовательностью и представлялся в виде неоформленных отрывков, иногда идущих подряд, иногда разделенных друг от друга какими-то утраченными частями и вообще не внушающих доверия по своему расположению. Поэтому не ставили вопроса, почему именно так записал Пушкин свои стихи, и стремились внести порядок «по смыслу», приписывая Пушкину собственное осмысление отрывков. Хотя уже было известно, что перед нами строфы «Евгения Онегина», никто не думал делать вывода из этого, и задача реконструкции строф никем еще не была поставлена. Так дело обстояло и в 1919 г., когда В. Брюсов в выпуске «А. С. Пушкин. Стихотворения о свободе» («Народная библиотека» № 140) дал сводный, по возможности связный текст всего отрывка. Привожу этот текст целиком, чтобы показать, во-первых, во что складывалось представление о тексте к 1919 г., а во-вторых, для демонстрации совершенно безудержного произвола, характерного для редакторских приемов В. Брюсова:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.
Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра.
Гроза двенадцатого года
Настала—кто тут нам помог?
Остервенелые народы,
Барклай, зима иль русский бог?
Но бог помог, стал ропот ниже,
И скоро силою вещей
Мы очутилися в Париже
И русский царь — главой царей.

Тряслися грозно Пиринеи,
Вулкан Неаполя пылал,
Безрукий князь друзьям Мореи
Из Кишинева уж мигал...
«Я всех уйму с моим народом!»
Наш царь в покое говорил...
. . . .
Потешный полк Петра-титана
Дружина старых усачей,
Предавших некогда тирана

Свирепой шайке палачей,—
Россия присмирела снова,—
И пуще царь пошел кутить. .
Но искры пламени иного
Уже издавна может быть...
. . . .

Этот текст является извлечением из работ Морозова и Лернера. О прочем В. Брюсов пишет: «Далее сохранились лишь отрывочные строки, изображающие декабристов». Извлечения из этих черновых строк им даются в собственной совершенно произвольной композиции:

Там Пестель доставал кинжал...
И, рать... набирая
Холоднокровный генерал
В союз свободы вербовал...
Исполнен дерзости и сил
Порыв событий торопил...
. . . .
Там Кюхельбекер
Читал свои стихотворенья
Как обреченный обнажал
Цареубийственный кинжал...
. . . .
Одну Россию в мире видя,
Лелея в ней свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал,
И, слово «рабство» ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян...
. . . .
Везде беседы недовольных...
И постепенно сетью тайной
Россия...

Этот способ передачи подлинника помимо произвола редактора характеризует и господствовавшее представление о найденных отрывках. Ключ Морозова послужил только к тому, чтобы разыскивать соседствующие друг с другом стихи, но вовсе не к тому, чтобы составить себе представление о целом. Две-три явных ошибки Пушкина при шифровке на фоне очевидной неполноты документа привели к убеждению, что Пушкин шифровал беспорядочно, неряшливо, непоследовательно, с пропусками. Всех смущало то, что первые шестнадцать стихов дают какой-то связный текст и следовательно свидетельствуют о цельности замысла и записи, а затем эта цельность распадается и имеются только бесформенные фрагменты. Именно на этом построены попытки перестановками восполнить невязки. Для разрешения этой путаницы требовался новый ключ.

IV. ВТОРАЯ РАЗГАДКА

Окончательным разъяснением всего вопроса явился доклад С. М. Бонди в Пушкинском семинарии при Петроградском университете. Доклад

ЗАШИФРОВАННЫЙ ТЕКСТ X ГЛАВЫ. ЛЕВАЯ СТРАНИЦА

Институт Русской Литературы, Ленинград

ЗАШИФРОВАННЫЙ ТЕКСТ X ГЛАВЫ. ПРАВАЯ СТРАНИЦА

Институт Русской Литературы, Ленинград

этот остался ненапечатанным, но на него ссылается М. Гофман в «Неизданных строфах «Евгения Онегина» (1922) как на «наиболее ценное и верное предположение». Основные положения этого доклада мне кажутся не вызывающими никаких сомнений. Исходя из того предположения, что перед нами действительно отрывки из десятой главы «Евгения Онегина», Бонди естественно умозаключает, что эти отрывки должны быть написаны «онегинской строфой». Но в онегинской строфе 14 стихов, а зашифрованная запись дает только четверостишия. Отсюда следствие: запись перед нами неполная. Нехватает еще десяти «порций» стихов. Следовательно то, что мы восстанавливаем,—не более как отдельные четверостишия разных строф. Последовательность рифм в получившихся четверостишиях доказывает, что мы получили фрагменты по четыре первых стиха каждой строфы. Косвенным подтверждением этого служит относительная законченность каждого четверостишия. Дело в том, что вследствие особенностей синтаксической структуры большей части онегинских строф начальное четверостишие обладает обычно законченностью как грамматической, так и тематической. Обычно подобное четверостишие является как бы кратким изложением содержания всей строфы. Таким образом, если раскрыть «Онегина» на любой странице и начать читать подряд только первые четверостишия строф, часто получается большая связность и стройность, как будто мы читаем цельное стихотворение без всяких пропусков. Обыкновенно после нескольких строф, у которых первые четверостишия дают законченное чтение, мы наталкиваемся всё же на строфы иного строя, у которых первые четыре стиха нельзя оторвать от остального, и тогда наступает разрыв в тексте. Именно такую картину дают полученные строки: связное начало в четыре четверостишия и затем разорванные отрывки. Следовательно и для первых четырех четверостиший—связанность их мнимая и в действительности мы имеем четыре отдельных фрагмента, четыре начала последовательных строф. Отсюда два вывода: запись Пушкина не полна (нет записи концов строф); запись Пушкина последовательна (она не допускает перестановок и все невязки объясняются большими пропусками между сохранившимися фрагментами). Прямым доказательством справедливости взглядов Бонди является следующий факт. Черновой листок с жандармской цифрой 55 дает незашифрованный текст стихов. На нем находятся нешифрованные строки в их настоящей последовательности. И сличая этот листок с шифрованным текстом, обнаружим, что начальные стихи этих строф совпадают с двумя последними фрагментами шифровки. Таким образом в пределах нам известного текста предположение С. М. Бонди является совершенно несомненным. Каждый фрагмент означает собой отдельную строфу. Последовательность строф определяется записью Пушкина. Положение черновых набросков листка 55 среди прочего текста дается ключом шифра. Таким образом оба документа представляются неразрывно связанными друг с другом, фиксируя две стадии работы над одним текстом.

Эти положения дали возможность с полной несомненностью реставрировать десятую главу в пределах дошедшего до нас текста и указать, чего именно нам недостает. Публикация Гофмана и дает, с одной стороны, транскрипцию дошедшего, а с другой—реставрацию текста. Так как в некоторых деталях чтения Гофмана сомнительны или недостаточны, я не буду их приводить и ограничусь только полным воспроизведением всех материалов.

V. МАТЕРИАЛЫ

I. Упоминания Пушкиным десятой главы

1) Тетрадь № 2379, в конце автографа «Метели», датированной 20 октября (1830 г.) помета: «19 окт. сожж. X песнь».

Помета относится конечно к 1830 г. Что это было за «сожжение», трудно теперь догадаться. Во всяком случае какие-то копии этой главы оставались у Пушкина после 1830 г.

2) Автограф «Путешествия Онегина» в Публичной Библиотеке. Против стихов:

Уж он Европу ненавидит
С ее политикой сухой

на полях приписка (другими чернилами): «в X песни».

II. Упоминания X главы в мемуарах и письмах современников Пушкина

1. В воспоминаниях М. В. Юзефовича о Пушкине, напечатанных в «Русском Архиве» 1880 г., кн. III (2), говорится о разговорах Юзефовича и других с Пушкиным по поводу еще не конченного тогда (дело относится к июню 1829 г., к пребыванию Пушкина в армии) «Евгения Онегина»: «он объяснил нам довольно подробно всё, что входило в первоначальный его замысл, по которому между прочим Онегин должен был или погибнуть на Кавказе *или попасть в число декабристов*».

Воспоминания Юзефовича нельзя заподозрить в неточности, хотя они и написаны очень поздно (датированы автором июлем 1880 г.). Единственно, что не вполне ясно,—это последнее «или». Вероятно гибель на Кавказе не противопоставлялась декабризму Онегина: повидимому он попадает на Кавказ в результате участия в тайных обществах[1]. Показание Юзефовича не противоречит тому, что мы знаем о состоянии романа в июне 1829 г. К этому времени последней вышедшей в свет главой была глава шестая. В конце ее значилось: «конец первой части». Таким образом по первоначальному замыслу роман был обширнее того, что мы знаем, и включал какие-то отброшенные потом части. Написано тогда было семь глав, и Пушкин приступал к восьмой, впоследствии исключенной (Путешествие Онегина).

2. В дневнике П. А. Вяземского под 19 декабря 1830 г. читаем: «Третьего дня был у нас Пушкин. Он много написал в деревне: привел в порядок и 9 главу Онегина. Ею и кончает; из 10-й предполагаемой читал мне строфы о 1812 годе и следующих. Славная хроника; куплеты Я мещанин, я мещанин; эпиграммы на Булгарина за Арапа; написал несколько повестей в прозе, полемических статей, драматических сцен в стихах: Дон-Жуана, Моцарта и Сальери. У вдохновенного Никиты, У осторожного Ильи» (Сочинения Вяземского, т. IX, 1884 г., стр. 152).

Цитируемые в конце стихи вполне отождествляют 10-ю главу, о которой пишет Вяземский, с известными нам отрывками. Итак в декабре 1830 г. существовали строфы из X главы, содержащие хронику о 1812 годе и следующих. Это придает особую значительность фразе Пушкина из его проекта предисловия к двум заключительным главам романа (по первоначальному счету VIII и IX): «Вот еще две главы Евгения Онегина последние по крайней мере для печати...» (датировано «Болдино, 28 но-

ября 1830»). Итак уже в Болдине возникла мысль о двух редакциях романа: одной для печати, оканчивающейся восьмой (первоначально девятой) главой, и другой не для печати. От второго замысла мы знаем о существовании строф из X главы.

3. В «Журнале Министерства Народного Просвещения» за 1913 г. В. Истриным напечатаны отрывки из переписки Александра и Николая Тургеневых (Из документов архива братьев Тургеневых. II. Отрывок из «Путешествия Онегина». «Ж. М. Н. П.» 1913, март, стр. 16). В письме А. И. Тургенева из Мюнхена от 11 августа 1832 г. находится следующее: «Есть тебе и еще несколько бессмертных строк о тебе. Александр Пушкин не мог издать одной части своего Онегина, где он описывает путешествие его по России, возмущение 1825 года и упоминает, между прочим, и о тебе:

Одну Россию в мире видя
Преследуя свой идеал
Хромой Тургенев им внимал
И плети рабства ненавидя
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

(т. е. заговорщикам; я сказал ему что ты и не внимал им и не знавал их)

В этой части у него есть прелестные характеристики русских и России, но она останется надолго под спудом. Он читал мне в Москве только отрывки».

На это Николай Тургенев отвечал сердитым письмом из Парижа 20 августа:

«Сообщаемые вами стихи о мне Пушкина заставили меня пожать плечами. Судьи меня и других осудившие делали свое дело: дело варваров, лишенных всякого света гражданственности, цивилизации. Это в натуре вещей. Но вот являются другие судьи. Можно иметь талант для поэзии, много ума, воображения и при всем том быть варваром. А Пушкин и все русские конечно варвары. У одного из них, у Жуковского, душа покрывает и заменяет неудобства свойственного всякому русскому положения... Итак, для меня всего приятнее было бы то еслиб бывшие мои соотечественники вовсе о мне не судили, или, если хотят судить, то лучше если б следовали суждениям Блудовых, Барановых, Сперанских и т. п. Если те, кои были несчастливее меня и погибли, не имели лучших прав на цивилизацию, нежели Пушкин, то они приобрели иные права пожертвованиями и страданиями, кои и их ставят выше суждений их соотечественников».

Александр Иванович на это ответил 2 сентября (в статье В. Истрина вероятно ошибочная дата 2 октября): «Твое заключение о Пушкине справедливо: в нем точно есть еще варварство и Вяземский очень гонял его в Москве за Польшу; но в стихах о тебе я этого не вижу и вообще в его мнении о тебе много справедливого. Он только варвар в отношении к Польше». На это Н. И. Тургенев ответил в свою очередь французским письмом; вот этот ответ в переводе: «Много бы пришлось говорить о достоинстве поэта, которое Вы приписываете Пушкину и которое он сам себе приписывает. Это бы далеко завело. Байрон был несомненно поэт, но и не в его правилах и не в его привычках было валяться в грязи».

Из этой переписки мы видим, что в свое свидание с А. Тургеневым в Москве в декабре 1831 г. Пушкин читал ему какие-то строфы из пропущенной главы «Евгения Онегина». Судя по цитате, это те же самые строфы, которые он за год до того читал Вяземскому. Многих смущали резкие

слова Н. И. Тургенева в ответном письме брату, и в самом тексте строфы из X главы искали объяснения этой резкости. Но повидимому дело не в этих стихах. Если бы источником такого отзыва было идеологическое расхождение Тургенева и Пушкина, выразившееся в этой строфе, то это разногласие не могло бы остаться непонятым Александром Тургеневым. Однако А. И. Тургенев не понял, согласившись впрочем с братом в том, что Пушкин варвар, но лишь как автор антипольских стихов. Повидимому и Н. И. Тургенев не усматривал чего-нибудь особенного в данных стихах и лишь протестовал против самого факта, не допуская, чтобы Пушкин, о котором он составил свое мнение по другим данным, осмеливался произносить свое суждение по вопросам, в которых Тургенев считал его совершенно некомпетентным.

Таким образом трудно согласиться со следующими словами Н. О. Лернера: «Не менее ироничен отзыв о Н. И. Тургеневе, преданном одной мечте— эмансипации крестьян и ожидавшем этого шага от дворянства... Пушкину, который еще в 1819 году ждал освобождения крестьян от «мания царя», а не от передового русского общества, в 1830 г. казалась смешной наивная вера фанатика в готовность целого сословия сознательно пожертвовать материальными интересами. Так понял эти слова Пушкина сам Н. И. Тургенев» (Соч. Пушкина под ред. Венгерова, т. VI, стр. 215).

Ничто в тексте Пушкина не дает основания так именно понимать его слова о хромом Тургеневе. Гораздо проще видеть в письме Тургенева естественную реакцию на суд человека, запятнавшего себя с точки зрения Тургенева *патриотическими стихотворениями, направленными против Польши*.

Переписка братьев Тургеневых не дает оснований к какому-нибудь новому толкованию стихов Пушкина, к вскрытию смысла, нам непосредственно неясного.

VI. ТЕКСТ

Прежде всего займемся «шифрованным» листком, так называемой криптограммой. Для полной ясности приведу ее полностью в ее подлинном виде. Текст расположен на двух страницах развернутого полулиста, согнутого предварительно пополам (в формат четверти). На левой странице мы имеем одну полную колонку и отдельно справа четыре стиха: на правой (на которой жандармская цифра 67) полная колонка стихов, разделенная горизонтальной чертой пополам. Слева на полях, повернув лист, Пушкин приписал в два столбца семь стихов.

Левая страница

Нечаянно пригретый Славой
Орла двуглаваго щипали
Остервенение народа
Мы очутилися в П —
Скажи за чем ты в сам деле
Но стихоплет Великородный
Авось по манью —
Сей всадник Папою венчанный
Безрукий К. друзьям Мореи
А про тебя и в ус не дует
Предавших некогда —
Но искры пламени инова
Он за рюмкой русской водки

У беспокойнаго Никиты
Свои решительныя меры
Блестит над К. тенистой
Над нами З — вал тогда
У Б—шатра
Б., зима иль Р. Б.
А. Р. З. главой З.
Меня уже предупредил
Семействам возвратит С
Исчезнувший как тень зари
Из К. уж мигал
Ты А. холоп
Свирепой шайке палачей
Уже издавно может быть
Второй столбец: Моря достались Албиону
Авось дороги нам испр.
Измучен казнию покоя
Кинжал . . . *
Правая страница Вл. слабый и лукавый
Его мы очень смирн знали
Гроза 12 года
Но Бог помог—стал ропот ниже
И чем жирнее тем тяжеле.
Авось, о Шиболет народный
Авось аренды забывая
Сей муж судьбы, сей странник бранный
Тряслися грозно Пиринеи—
Я всех уйму с моим народом
Потешный полк Петра Титана

2

Р. Р. — снова прием —
[У них свои бывали сходки]
Витийством резким знамениты
Друг Марса, Вакха и Венеры
[Но т] Так было над Невою льдистой

Плешивый Щеголь Враг труда
Когда не наши повара
Насти — кто тут нам помог?
И скоро силою вещей
О Р. глуп наш н —
Тебе б я оду посвятил
Ханжа запрется в монастырь
Пред кем унизились З.
Волкан Неапол пылал
Сбоку первый столбец Наш З в покое говорил
Дружина старых усачей
И пуще З пошел кутить.
Они за чашею вина

---

* Конец стиха неясен. Вероятное чтение: «Кинжал Л тень Б». Но возможно чтение «Кинжал Л пел Б». Буквы «Л» и «Б» читаются предположительно.

ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ ДВУХ СТРОФ X ГЛАВЫ

Институт Русской Литературы, Ленинград

Второй столбец

Сбирались члены сей семьи
Тут [бы] Л. дерзко предлогал
Но там где ране весна

Ключ Морозова заключается в том, чтобы читать стихи в такой последовательности: сперва верхние стихи правой страницы, затем нижние стихи той же страницы, начиная со стиха «Плешивый щеголь враг труда», затем верхний стих левой страницы и нижний, начиная со стиха «Над нами З— тогда». Проделаем эту расшифровку, одновременно раскрывая сокращения Пушкина:

I Вл[аститель] слабый и лукавый
Плешивый щеголь враг труда
Нечаянно пригретый славой
Над нами ц[арствовал] тогда.

. . . .

II Его мы очень смирным знали
Когда ненаши повара
Орла двуглавого щипали
У Б[онапартова] шатра.

. . . .

III Гроза 12 года
Настала—кто тут нам помог?
Остервенение народа
Б[арклай], зима иль р[усский] б[ог].

. . . .

IV Но бог помог—стал ропот ниже
И скоро силою вещей
Мы очутилися в П[ариже]
А р[усский] ц[арь] главой ц[арей].

. . . .

Если мы начнем восстанавливать следующее четверостишие, то у нас получится бессмыслица. Четвертый стих явно относится к следующему четверостишию. Очевидно Пушкин по ошибке просто не записал четвертого стиха этой строфы. Поэтому приходится в реставрации строфы ограничиться тремя стихами:

V И чем жирнее тем тяжеле.
О р[усский] глупый наш н[арод]
Скажи зачем ты в самом деле

. . . .

VI Авось, о Шиболет народный
Тебе б я оду посвятил
Но стихоплет великородный
Меня уже предупредил

. . . .

VII Авось аренды забывая
Ханжа запрется в монастырь
Авось по манью [Николая]
Семействам возвратит С[ибирь]

. . . .

VIII Сей муж судьбы, сей странник бранный
Пред кем унизились ц[ари]
Сей всадник папою венчанный
Исчезнувший как тень зари

. . . .

IX Тряслися грозно Пиринеи—
Волкан Неаполя пылал.
Безрукий к[нязь] друзьям Мореи
Из К[ишинева] уж мигал

. . . .

Со следующей строфой в записи Пушкина опять неблагополучно. Четырех рифмующих стихов не получается. Но на этот раз нельзя предположить пропуск, так как следующие стихи опять согласованы. Очевидно Пушкин просто вместо третьего и четвертого стиха записал например шестой и седьмой. Почему он ошибся дважды—неясно. Не служила ли для зашифровки рукопись, в которой ошибочно было пропущено в данной строфе три стиха?

Возможен и механический пропуск. Из приведенного воспроизведения видно, что вместо стиха I-го строфы XVI Пушкин начал: «Но т[ам где ранее весна]», т. е. следующий стих. Там он исправил ошибку. Здесь он мог ее не заметить.

Итак для данной строфы мы имеем два двустишия, не связанных друг с другом:

X Я всех уйму с моим народом
Наш ц[арь] в покое говорил

. . . .

А про тебя и в ус не дует
Ты А[лександровский] холоп

. . . .

XI Потешный полк Петра Титана
Дружина старых усачей
Предавших некогда [тирана]
Свирепой шайке палачей

. . . .

XII Р[оссия] присм[ирела] снова
И пуще ц[арь] пошел кутить
Но искра пламени инова
Уже издавна может быть

. . . .

Дальше столбец четвертых стихов прекращается и мы имеем лишь по три стиха строфы:

XIII У них свои бывали сходки
Они за чашею вина
Они за рюмкой русской водки

. . . .

XIV Витийством резким знамениты
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты

XV Друг Марса Вакха и Венеры
Тут Л[унин] дерзко предлагал
Свои решительные меры
. . . .
XVI Так было над Невою льдистой
Но там где ранее весна
Блестит над К[аменкой] тенистой
. . . .

На этом криптограмма оканчивается. Всего она содержит фрагменты шестнадцати строф. Значит ли это, что больше ничего в X главе не содержалось? К этому как-то ведут показания Вяземского и Тургенева, дающие цитаты из известной нам части. Но, с другой стороны, Тургенев пишет о том, что в строфах, читанных Пушкиным, говорилось о «возмущении 1825 года»: между тем в этих строфах говорится лишь о подготовке к 1825 г. Вряд ли тут неточность в выражении у Тургенева. Как мы далее увидим, XVI строфа не может быть заключительной. Почему же Пушкин шифрует только 16 строф? В качестве предположения могу сказать следующее: беловые рукописи «Евгения Онегина» представляют собой сшитые от руки тетрадки в восьмушку писчего листа, при чем на каждой странице тетрадки помещается одна строфа. Шестнадцать строф— это ровно тетрадка. Возможно что зашифровка такой «порции» в 16 строф объясняется именно подобным механическим соображением. И хотя у нас нет никакой уверенности в том, что X глава была закончена (и Вяземский, и Тургенев говорят лишь о строфах из главы), но нет никаких положительных данных к тому, чтобы считать шестнадцатую строфу последней.

Обратим внимание на одну особенность шифровки: почерк в каждом куске аналогичных стихов одинаков и меняется лишь при переходе от стихов одного положения в строфе к стихам другого положения. Можно поэтому утверждать, что Пушкин выписывал стихи не в порядке их естественной последовательности, а заполнял свою криптограмму так: сперва выписал все 16 первых стихов строф; затем (вероятно в другой раз) выписал 16 вторых стихов. Третьи и четвертые стихи вписаны повидимому в один прием: они записаны в одну колонку, без перерыва и одним почерком[2].

Приведенные стихи не исчерпывают криптограммы. Кроме того остаются четыре стиха второго столбца левой страницы:

Моря достались Албиону
Авось дороги нам исправят
Измучен казнию покоя
Кинжал Л. тень Б.

Очевидно это стихи одного порядка из тех же 16 строф. Однако их никак не приспособить в качестве пятых стихов. Надо думать, что это дальнейшие стихи (вероятнее всего—девятые; за это говорит женское окончание и синтаксический строй, свойственный начальному стиху некоторого периода). Локализуются по строфам два стиха. Второй явно попадает в серию стихов, посвященных слову «авось» (строфы VI и VII). Третий стих в измененном виде находится в том же самом стихотворении «Герой», что и все четыре начальные стиха VIII строфы [3]. Наконец слово «Кинжал» четвертого стиха заставляет предполагать, что речь идет о событиях 1820 года (убийство герцога Беррийского Лувелем), которым посвящена

строфа IX. Поэтому самым вероятным и естественным является разнесение этих стихов по строфам VI—IX. При этом они не примыкают непосредственно к предыдущим стихам строф и получается некоторая невязка. Особенно невязка чувствуется по отношению к стиху первому, который по смыслу легче отнести к строфе IV, говорящей о последствиях войны 1812—1814 гг. Возникает даже мысль, нет ли здесь ошибки в шифровке и не пропустил ли Пушкин по недосмотру целый листок (две строфы). Но как бы то ни было, эти строки показывают, что шифровка стихов несомненно не ограничилась четырьмя первыми стихами строф. По всей видимости был еще один листок, на который перешли и четвертые стихи последних четырех строф, затем уместились две колонки со стихами с пятого по восьмой и начало колонки с девятыми стихами. Очевидно со второго листка Пушкин так же перешел на свободное место первого, как раньше перешел с первого на второй. Повидимому на стихе «Кинжал...» шифровка оборвалась.

Таково содержание криптограммы. Перейдем теперь к черновику. Опишем отдельно обе стороны этого листка, не предрешая вопроса об их последовательности.

Прежде всего обратим внимание на то, что данный листок совершенно иного рода, чем криптограмма. Та была написана на сложенном полулисте с водяными знаками НсП 1829 и гербовым изображением лилии. Формат ее 180×229 (по описанию Майковского собрания № 57; в настоящее время шифр ИРЛИ 555). Черновик набросан на четвертке бумаги с водяными знаками Д 1827 (а не 1823), формат его 171×231 (в собр. Майкова № 37д; шифр ИРЛИ 536). Повидимому и у Пушкина эти листки хранились в разных местах, так как имеют разную, не смежную жандармскую нумерацию (шифрованная запись 66 и 67, черновик—55). Таким образом уже внешний вид автографов свидетельствует об их разновременности. И отражают они две различные стадии работы. Шифрованная запись является несомненной копией перебеленного текста, т. е. дает последнюю, окончательную редакцию. Черновик является первой творческой стадией. Нельзя совершенно категорически утверждать, что этому черновику ничто не предшествовало: сокращенная запись некоторых слов подсказывает предположение, что некоторые стихи были записаны Пушкиным раньше. Но это может относиться только к строфе, говорящей о северных событиях. Две другие строфы повидимому здесь же и набрасывались без предварительной подготовки.

Привожу факсимиле и полную буквальную транскрипцию черновика, сохраняя орфографию, чтобы можно было буква за буквой проверить чтение по прилагаемому воспроизведению.

<u>Сторона листа с жандармской цифрой 55:</u>

другъ Марса, Вакха и Венеры
[другъ] [Венеры]
[Тамъ] Имъ рѣзко Лун предлагалъ
[Тутъ Лу рѣзкой предлагалъ]
Свои рѣшительныя
[Свои] [губительныя] мѣры
И вдохновенно бормоталъ
[Имъ развивалъ]—
читалъ свою [Сатиру] Ноэли
[Стихи читалъ] Пу

Мела Як
молча
Казалось [какъ обреченный] [предлагалъ] обнажалъ
[Какъ обреченный]

[Царсубійственный] * кинжалъ
въ мирѣ
Одну Россіи [щастье] видя
[Кумиръ] [въ своей] [рабство ненавидя]
Лаская въ ней [боготворя] свой Идеалъ
Хром Т— нимъ внималъ
слово:
И [цѣпи] рабс нена
предвидѣлъ
[Въ толпѣ] въ сей толпѣ дворянъ
освободителей
[Зрѣлъ Избавителей] крест

Такъ было надъ Невою льдис
Но тамъ гдѣ ранѣе весна
блеститъ надъ Каменкой тѣнистой
[чертоги]
И над [равнины] Тулъ
холмами
Гдѣ Витг дружины
под
Днѣпромъ омотыя равнины
И степи Буга облегли—
[иныя ужъ] по
дѣла [по] [другимъ] [порядкомъ] шли

для тир-
Далее сбоку: Тамъ [П—] кинжала
набиралъ
И рать [набиралъ]
[Союзъ] [торопилъ] холоднокровный Генералъ
[Его] (?)
[Тамъ] [Р—] [отдалилъ]
И Муравь его скло (?) [въ союзъ славяновъ вербовалъ]
[Его склонялъ] ти Союза (?)
И полонъ дерзос[ти] и силъ
[С] Союза [Союза]
[Союза] торопилъ
[Порывы] [вспышку]
Минуты

На другой стороне листка набросок неполной строфы:

Сначала эти за
[о] (?)
Все это были [раз]говоры

Между Лафит. и Клико [лишь]
[съ неразб.] [были] раз
[Куплеты], [дружескія] [споры]
не [входила] [казалось]

ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ СТРОФЫ X ГЛАВЫ

Институт Русской Литературы, Ленинград

[Не] [И] [не] [не] глубоко
Наука
Въ сердца мятежное [Мечтанье]—
[Все это было подражанье]
[Все это]
[Все это было только] скука
Бездѣлье молодыхъ умовъ
Забавы взрослыхъ шалуновъ
Казалось [какъ]
Казалось
Но картины (?)
вездѣ
[Бесѣды недовольныхъ]
[тайной]
[И скоро Сѣтью] [не] къ
узлы [съ] узлами
[И скоро] На Ца
[И постепенно сѣтью тайной]
[Россія] [И] дремалъ

Чтобы разобраться в этом довольно хаотическом черновике, сделаем сводку всего прочитанного. Здесь же попутно проследим и работу Пушкина над текстом. Сперва обратимся к строфам на той стороне листка, на котором находится жандармская цифра. Здесь находятся две строфы, уже отчасти нам знакомые по криптограмме. Там они выписаны подряд и читались:

Друг Марса, Вакха и Венеры
Тут Л— дерзко предлагал
Свои решительные меры
. . . .
Так было над Невою льдистой
Но там, где ранее весна
Блестит над К тенистой
. . . .

Первая строфа известна также по цитате в письме Тургенева.
Итак дадим сводку:

Друг Марса, Вакха и Венеры
Им резко Лунин предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.
Читал свои Ноэли Пушкин
Меланхолический (?) Якушкин
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал
Одну Россию в мире видя
Лаская в ней свой идеал
Хромой Тургенев им внимал
И слово рабство ненавидя
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

———

II. Так было над Невою льдистой
Но там, где ранее весна
Блестит над Каменкой тенистой
И над холмами Тульчина,
Где Витгенштейновы дружины
Днепром подмытые равнины
И степи Буга облегли,
Дела [иные уж] пошли.
Там П[естель]—для тира[нов]
И рать набирал
Холоднокровный генерал
И Муравьев его склоняя
И полон дерзости и сил
Минуты [вспышки] торопил.

Строфа I. Стих 1. Первоначально был написан только конец стиха—«друг Венеры».

Стих 2. Первоначально: «Тут Лунин резкий предлагал». Затем начато «Там».

Стих 3. Первоначально: «Свои губительные меры».

Стих 4 сперва начат: «Им развивал».

Стих 5 был начат: «Стихи читал»; затем: «Читал свою сатиру Пушкин».

Стих 6. Слово «Меланхолический» предположительно.

Стих 7. Первоначально: «Как обреченный предлагал».

Стих 9. Первоначально был записан только конец: «рабство ненавидя». Затем стих последовательно переделывался:

1) В своей России счастье видя
2) Кумир в своей России видя

Стих 10 вписан после того, как написан стих 11, первоначально следовавший за 9-м. Сперва стих 10 читался: «Боготворя свой идеал».

Стих 12. Первоначально: «И цепи рабства ненавидя». Таким образом третье слово можно читать только «рабство», а не «рабский», как читалось Гофманом.

Стихи 13 и 14 были первоначально написаны в следующей форме (13-й—только начало):

В толпе
Зрел избавителей крестьян.

Строфа II, стих 4. Окончательной редакции предшествовали две следующие:

1) И на равнины Тульчина
2) И на чертоги Тульчина

Стих 6 первоначально: «Днепром омытые (описка: омотые) равнины».

Стих 8 сперва: «Дела другим порядком шли».

Стихи 9—11 не имеют окончательной редакции в черновике. Но вместо того мы находим несколько намеченных неполных конструкций.

Первая конструкция:

для тиранов
Там П[естель] кинжал.

Вероятно за этими стихами должно было следовать два стиха, оканчивающихся на слова «вербовал» и «славянов». Вертикальная черта после «П — » повидимому указывает перенесение начала второго стиха в первый. Таким образом слово «кинжал» оставалось лишь как проект рифмы, а материал двустишия стягивался в один стих.

Вторая конструкция:

К такому неполному стиху приписываются проекты двух следующих:

Союз торопил
Там Р — отдалил.

Третья конструкция:

Эти же два стиха справа записываются:

Холоднокровный генерал
В союз славянов вербовал.

Второй стих зачеркивается и к оставшемуся первому стиху приписывается неполный стих; двустишие принимает вид:

И рать набирал
Холоднокровный генерал.

Работа над стихом 12-м неясна; трудно определить, с какою из этих конструкций связана последняя редакция. Рифмующей пары к нему нет. Чтение последнего слова «склоняя» может вызвать сомнения.

Стих 14-й дан в виде ряда несведенных окончаний: «союза торопил», «порывы торопил», «вспышку торопил» и наконец «минуты торопил». Повидимому можно принять чтение—«минуты вспышки торопил», хотя зачеркнуто слово «вспышку» и оставлено незачеркнутым слово «союза», трижды написанное.

Перейдем теперь к неполной строфе, написанной на другой стороне листка (без жандармской цифры):

Сначала эти заговоры
Между Лафитом и Клико
Всё это были разговоры
И не входила глубоко
В сердца мятежная наука.
[Всё это было только] скука
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов.

Дальнейшие строки имеют совершенно отрывочный характер и сводке не поддаются. Стих 1-й первоначально был написан: «Всё это были разговоры». Надписав сверху новую редакцию и оставив незачеркнутой старую, Пушкин тем самым передвинул старую редакцию на третье место в строфе (именно третий стих рифмует с первым). Стих 3-й первоначально: «Куплеты, дружеские споры». Первая попытка переделки (вероятно при старой редакции первого стиха, заключавшей в себе глагол)—замена слова «Куплеты» другими словами. Эта работа не доделана Пушкиным и редакция отброшена. Но зачеркнув ее, он повидимому всё же хотел приспособить ее к новой редакции первого стиха, т. е. перенести сюда глагол. Справа начата зачеркнутая переработка: «Лишь были». Повидимому это начало полного стиха: «Лишь были дружеские споры». Возможно, что эту редак-

цию, хотя она и зачеркнута, и следует признать окончательной. Она лучше согласована с контекстом, чем перенесенная сюда первая редакция первого стиха. Но, с другой стороны, приписка «раз» (разговоры), показывает, что Пушкин хотел окончить стих именно словом «разговоры».

Стих 4-й сперва записан в неполной форме: «Не глубоко». Уже записав окончательную редакцию «И не входила глубоко», Пушкин переделал ее: «И не казалось глубоко», но затем зачеркнул переделку.

Стих 5-й первоначально был связан с первой редакцией следующего, образуя с ним двустишие:

В сердца мятежное мечтанье—
Всё это было подражанье.

Стихи, начиная с девятого, не сложились в сколько-нибудь связное целое. Транскрипция в достаточной степени рисует колебания Пушкина. Последние слова повидимому надо читать «Наш царь дремал».

Обратимся теперь к вопросу о положении этой строфы среди прочих. Здесь может быть сделано предположение, что строфа эта предшествует двум написанным на другой странице листка. Но в таком случае шифровка показывает, что из окончательного текста она была исключена. Тогда и надо ее рассматривать как недовершенный черновик, брошенный Пушкиным.

Но в таком предположении нет никакой нужды. В самом деле, всмотримся в листок. На нем три строфы: две из них в общих чертах намечены *полностью и одна доведена только до середины. Естественнее всего* предположить, что листок был брошен именно тогда, когда Пушкин писал эту недоделанную строфу; менее естественным кажется предположение, что, не дописав одной строфы, Пушкин перевернул листок и стал писать новые строфы.

Если данная строфа доведена до конца, то она могла занимать только не попавшее в шифровку положение, рядом с двумя строфами, находящимися на обороте. Но положение этих строф вполне точно: это две последние строфы криптограммы. Следовательно настоящая строфа может быть только семнадцатой.

Наконец вчитаемся в текст. Первоначально стояло: «Всё это были разговоры». Слова «всё это» показывают, что в предыдущих строфах уже упоминались какие-то оппозиционные беседы. Следовательно строфа не могла быть раньше тринадцатой. Но совершенно ясно, что строфы XIII, XIV и XV представляют сплошное, непрерывное развитие, и следовательно наша строфа должна попасть между XV и XVI, что совершенно невозможно.

Но Пушкина не удовлетворяет такая редакция первого стиха. Он ее заменяет словами «Сначала эти заговоры». Существенно нового здесь два слова: «сначала» и «заговоры». Второе показывает, что в предыдущих строфах говорилось не только о «разговорах», но и о «заговорах». Но такой строфой является несомненно только строфа XVI. Слово «сначала» отодвигает дальнейшую характеристику от непосредственно предшествующего, отодвигая ее в более отдаленное прошлое. Очевидно Пушкин заметил, что первая редакция может вызвать недоразумение, так как создает впечатление, что «разговорами» названы какие-то только что упомянутые события, которые за «разговоры» принять нельзя. Словом «сначала» он и отводит характеристику строфы от непосредственно предшествующего. Но ясно, что таким предшествующим могли быть отнюдь не сходки у Ни-

киты и у Ильи, а решительные мероприятия южан в Тульчине и в Каменке. Пушкин мог отводить слово «разговоры» только от XVI строфы; следовательно наша строфа может занимать только одно положение—XVII. Сохранила ли она это положение, была ли выкинута или доработана, мы не знаем, потому что кроме этого отрывка мы ничего не имеем из дальнейшей части X главы; по крайней мере ничего не умеем приурочить к этой главе.

Можно доказать чисто палеографическими данными, что сторона листка без жандармской цифры написана Пушкиным после той, на которой имеется цифра. На полях этой страницы имеются следы, отпечатавшиеся от невысохших чернил приложенного к этой странице листка. Расположение отпечатавшихся слов совершенно такое же, как в последних стихах предыдущей страницы. К сожалению то, что отпечаталось,— незначительно и неразборчиво. Читается приблизительно следующее (точки—неразобранное):

огл. . . .
дерзко . . . .   и [. . . . . .]   . . . .
досадно дум .

Из этих обрывков ничего не слагается, но можно заключить следующее: закончив строфу на обороте листка, не имеющем жандармской цифры, Пушкин начал писать продолжение на следующем листке. Написав две строфы (именно две, так как иначе не пришлось бы последние стихи приписывать косо на полях), Пушкин перевернул этот листок и последние, только что написанные стихи отпечатались на верхней стороне предшествующего листка. Следовательно можно сделать два заключения: 1) строфа «Сначала эти разговоры» является действительно XVII, то-есть следует за строфой «Так было над Невою льдистой». 2) После этой строфы Пушкиным, по крайней мере в черновике, были написаны еще две строфы, нам неизвестные.

В заключение обзора ранее известных рукописей присоединю еще следующее неопубликованное сообщение С. М. Бонди, являющееся частью его описания тетради 2384 (последняя тетрадь Пушкина), хранящейся в Рукописном отделении Библиотеки им. Ленина. Замечания его относятся к листу 232:

«З (переделано из N)... любовные затеи
Демон поджигал
Трялися etc.

Этот набросок с известной долей вероятия можно отнести к X главе «Евгения Онегина». В сохранившихся остатках первых строф ее есть такое начало строфы:

Тряслися грозно Пиренеи
Волкан Неаполя пылал
Безрукий князь друзьям Мореи
Из Кишинева уж мигал.

Совпадение рифм и слово «тряслися» в нашем наброске дает повод видеть в нем вставку в это четверостишие, замену второй его половины. «N» или «З»—обычная у Пушкина зашифровка слова «царь»:

Царя любовные затеи
—— Демон поджигал

[illegible]

СТИХОТВОРНЫЙ НАБРОСОК, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТНОСИМЫЙ К X ГЛАВЕ (В ОДНОЙ ИЗ ПУШКИНСКИХ ТЕТРАДЕЙ)

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

Тряслися грозно Пиренеи
Волкан Неаполя пылал.

Если это верно, то значит Пушкин, сжегши X главу в 1830 г. и переписав ее начало (а может быть больше ничего и не было написано) в зашифрованном виде, еще в 1834 (или даже 1835 г.) продолжал над ней работать».

Догадка С. М. Бонди чрезвычайно остроумна, но не кажется мне доказанной до конца. Конечно тождественность рифм наряду с тождественностью одного слова вряд ли может быть удовлетворительно объяснена простым совпадением. Но отсюда далеко до заключения, что перед нами кусок работы над X главой. Пушкин постоянно переплавлял стихи из брошенных своих произведений в другие свои вещи. Десятую главу он считал таким мертвым грузом, подлежащим использованию, еще в 1830 г., когда пересадил в стихотворение «Герой» чуть ли не целиком одну из строф. То же самое могло случиться и в 1834 г. с той разницей, что новый замысел был так же бесцензурен, как и первоначальное произведение.

VII. КОММЕНТАРИЙ

Здесь я не имею в виду комментировать стихи Пушкина в обычном смысле этого слова; мне важно собственно только перечислить вещи, о которых говорит Пушкин. Десятая глава комментировалась уже неоднократно: ее комментировал Морозов, затем Лернер. Недавно ей посвятил большую статью Сергей Гессен («Источники Десятой главы «Евгения Онегина» в сборнике «Декабристы и их время», т. II, 1932, стр. 130—160). Много места отводится X главе в книге Н. Л. Бродского «Комментарий к «Евгению Онегину» (Москва, 1932).

Строфа I. Властитель слабый и лукавый. Отрицательное отношение Пушкина к Александру I было устойчиво на протяжении всей жизни Пушкина.

Строфа II. Повидимому имеется в виду Аустерлицкое сражение (1805) и Тильзитский мир (1807), то-есть события, предшествующие 1812 г.

Строфа III. Роль Барклая в войне 1812 г. обрисована Пушкиным в объяснении к стихотворению «Полководец». «Русский бог»—повидимому указание на стихотворение Вяземского:

Бог ухабов, бог мятелей,
Бог проселочных дорог,
Бог ночлегов без постелей,
Вот он, вот он, русский бог.

Впрочем, возможен намек и на рылеевскую песню:

Как курносый злодей
Воцарился по ней...
Горе!
Но господь русский бог
Бедным людям помог
Вскоре...

Строфа VI. Пушкин имеет в виду стихотворение князя Ив. Мих. Долгорукова «Авось», написанное им в форме оды:

. . . .
Авось!—что лучше сей обновки?
Твои я стану петь уловки;

Как браво, кстати ты пришлось!
О, слово милое, простое!
Тебя в стихах я восхвалю!
Словцо ты русское прямое,
Тебя всем сердцем я люблю!

Слово шиболет, употребленное Пушкиным в значении национальной типической черты, является ходовой библейской цитатой. В качестве нарицательного слова оно зарегистрировано французскими словарями.

Строфа VII. «Ханжу» обычно истолковывают как прозвище Голицына. Дальнейшие стихи говорят об амнистии декабристов, на которую Пушкин не терял надежды.

Строфа VIII. Эта строфа в измененном виде вошла в состав стихотворения «Герой».

Строфа IX. Перечисляются события 1820—1821 гг.: испанская революция (январь 1820 г.), Неаполитанские события (июль 1820 г.), греческое восстание и участие в нем Александра Ипсиланти (безрукий князь; Пушкин лично знал его в Кишиневе перед его выступлением)—март 1821 г., наконец убийство герцога Беррийского Лувелем (13 февраля 1820 г.).

Строфа X. Обрисовывается роль Александра I в подавлении революционных движений в Европе.

Строфа XI. Волнения Семеновского полка 17 октября 1820 г.

Строфа XII. Тайные общества. «Искра»—ходовая метафора той эпохи.

Строфа XIV. Беспокойный Никита—Никита Муравьев (1796—1843), член Союза Спасения, Союза Благоденствия и Верховной думы Северного общества; автор проекта конституции. Осторожный Илья—Илья Долгоруков (1797—1848), участник Союза Благоденствия, в 1820 г. отошел от тайных обществ и по делу декабристов не привлекался. Сопоставление этих имен говорит, что речь идет о Петербурге времени Союза Благоденствия, до организации Южного и Северного обществ. По поводу упоминания последнего имени С. Гессен, сопоставивший строфы X главы с данными «Донесения Следственной комиссии» и пришедший к выводу, что «почти все данные, послужившие канвою для известных нам строф, почерпнуты Пушкиным из Донесения», оговаривает следующее: «Имя Долгорукова ни разу не упоминается в официальных сообщениях. О роли его в тайном обществе Пушкин мог узнать только из устного предания, либо по личным воспоминаниям». Кстати не следует преуменьшать значения личных воспоминаний Пушкина. В январе 1826 г. он писал Жуковскому: «Вероятно правительство удостоверилось, что к заговору я не принадлежу и с возмутителями 14 декабря связей политических не имел—но оно объявило опалу и тем, которые имея какие-нибудь сведения о заговоре, не объявляли о том полиции. Но кто же кроме полиции и правительства не знал о нем? О заговоре кричали по всем переулкам, и это одна из причин моей безвинности. Всё-таки я от жандарма еще не ушел, легко может, уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных... Я наконец был в связи с большею частию нынешних заговорщиков» (любопытным подтверждением являются зарисованные Пушкиным портреты декабристов). Можно наоборот удивляться, как мало Пушкин ввел в X главу материала личных воспоминаний. Быть может здесь некоторую роль играла осторожность; Пушкин ничего не хотел прибавлять к фактам, официально удостоверенным и опубликованным. Упоминание Долгорукова

не являлось новым фактом для обвинения: он глухо упомянут в «Донесении» в числе не названных по именам трех членов «кои потом в разные времена удалились от Общества» и заслужили «совершенное забвение кратковременного заблуждения».

Строфа XV. С Луниным (1787—1845) Пушкин был лично знаком (см. С. Гессен. «Лунин и Пушкин».—«Каторга и ссылка» 1929, кн. 6). Как справедливо возражает С. Гессен Н. О. Лернеру, отзыв Пушкина о Лунине лишен какой бы то ни было иронии.

Упоминанием своего имени (чтение «Ноэлей», т. е. стих. «Ура в Россию скачет» 1818 г.)[a] Пушкин явно указывает на время событий (1818—1820 гг.). При этом также ясно, что речь идет не о тайных обществах в узком смысле этого слова, а о «дружеских сходках» в петербургском дворянском обществе. В лучшем случае Пушкин мог иметь в виду такие полулегальные организации, как «Зеленая лампа» или общество Н. И. Тургенева 1819 г., где Пушкин встречался с Н. Муравьевым, И. Бурцевым, Ф. Глинкой и др.

С Якушкиным (1796—1857) Пушкин познакомился еще в Петербурге у П. Чаадаева, а затем встретился с ним у Давыдовых в Каменке 24 ноября 1820 г.; роль Якушкина так обрисована в «Росписи государственным преступникам»: «Умышлял на цареубийство собственным вызовом в 1817 году и участвовал в умысле бунта принятием в Тайное общество товарищей». Эпитет «Меланхолический» весьма предположителен; в автографе можно прочесть только «Мела» за которым следует черта, указывающая на недописанное слово. Принимая во внимание синтаксические и ритмические условия положения этого слова, мы не можем подыскать ничего кроме данного эпитета. Чтение этих букв как «Лит» или «Лип», возможное с точки зрения начертания, не приводит ни к какому удовлетворительному слову. Некоторым оправданием эпитета «меланхолический» является характеристика Якушкина в «Донесении Следственной комиссии», которая будет далее приведена.

Слова, относящиеся к Ник. Ив. Тургеневу (1789—1871), как справедливо указывает Н. Л. Бродский, могут быть основаны на собственной «Оправдательной записке» Тургенева (1826 г.; напечатана в «Красном архиве» 1925, т. 13). Отсюда он мог заимствовать не только указание на доминирующую идею Тургенева—уничтожение крепостного права, но и характеристику раннего оппозиционного движения как «разговоров». Довольно близкое знакомство Пушкина с Н. Тургеневым помогало дополнить его характеристику.

Вот некоторые цитаты из Записки Н. Тургенева, поданной Николаю I через Жуковского в декабре 1827 г. и несомненно известной Пушкину:

«Смотрю с ужасом на прошедшее. Вижу теперь всю опасность существования каких бы то ни было тайных обществ, вижу что из тайных разговоров дело могло обратиться в заговор, и от заговоров перейти к бунтам и убийствам».

«Идея освобождения крепостных людей владела мною исключительно и прежде и после. Она была целью моей жизни, она и причиною теперешнего моего несчастия».

«Сначала я надеялся, что члены общества без затруднения дадут по крайней мере несколько отпускных и видел в сем практическую пользу. Далее я надеялся, что некоторые, убедившись в необходимости и даже в выгодах отпуска на волю крестьян, представляя о сем правительству, обратят внимание на законы о вольных хлебопашцах, столь затруднитель-

ные в исполнении; что законы сии будут изменены, заключение условий с крестьянами будет облегчено и что таким образом освобождение сделается более возможным для помещиков».

«Часто доказывал я им, что в государствах конституционных уничтожение рабства гораздо труднее, нежели в государствах самодержавных. Иногда, слыша критические замечания на счет правительства, я отвечал, что они хулят правительство, а сами достойны хулы всего более, ибо не хотят отказаться от прав на крепостных людей».

Строфа XVI. Здесь Пушкин переходит от характеристики петербургских настроений 1818—1820 гг. к положению дела во второй армии (с 1818 г. главнокомандующим этой армии был Витгенштейн), в штабе которой в Тульчине находился центр Южного общества (другая управа была в Каменке). По характеристике «Росписи государственным преступникам» поставленный на первое место Пестель «имел умысел на цареубийство; изыскивал к тому средства, избирал и назначал лиц к совершению оного; умышлял на истребление императорской фамилии и с хладнокровием исчислял всех ее членов, на жертву обреченных, и возбуждал к тому других, учреждал и неограниченной властию управлял Южным Тайным обществом, имевшим целию бунт и введение республиканского правления; составлял планы, уставы, конституцию; возбуждал и приготовлял к бунту; участвовал в умысле отторжения областей от империи и принимал деятельнейшие меры к распространению общества привлечением других».

Концы стихов «торопил—отдалил» повидимому относятся к обсуждению сроков восстания. Пестель предполагал начать восстание только в мае 1826 г. Впрочем возможно, что Пушкин имеет в виду более ранние события.

Начало стиха «Там Р—» расшифровано с большой вероятностью Н. Л. Бродским «Там Рюмин». Другой фамилии на Р, начинающейся с ударного слога и принадлежащей деятелю Южного общества, при этом деятелю виднейшему, не подыскать. Вызывает это имя и упоминание о «славянах»: Общество Соединенных славян было присоединено к Южному в сентябре 1825 г. именно Бестужевым-Рюминым, при большом участии Сергея Муравьева, здесь же упомянутого Пушкиным. Зачеркнут этот стих вероятно потому, что Пушкин не хотел вводить в XVI строфу поздних событий. Наконец «холоднокровный генерал»—повидимому Юшневский (1786—1844), который «участвовал в умысле на цареубийство и истребление императорской фамилии, с согласием на все жестокие меры Южного общества; управлял тем обществом вместе с Пестелем, с неограниченною властию; участвовал в сочинении конституции и произнесении речей; участвовал также в умысле на отторжение областей от империи» («Роспись государственным преступникам»). Со всеми этими декабристами Пушкин был знаком.

В заключение приведу несколько цитат из «Донесения Следственной комиссии», свидетельствующих о зависимости строф XV и XVI от этого документа (—курсив подлинника):

«В 1816 году несколько молодых людей, возвратясь из-за границы после кампаний 1813, 1814 и 1815 годов и зная о бывших тогда в Германии Тайных обществах с политическою целию, вздумали завести в России нечто подобное».

«Желающий вступить в Общество (Союз спасения) давал клятву сохранять в тайне всё, что ему откроют»... «Некоторые члены уехали из Петербурга; иные находили неопределительность в цели...; другие... не иначе

соглашались, как с тем, чтобы Общество ограничилось медленным действием на мнения, чтобы Устав оного (по словам Никиты Муравьева) основанный на клятвах, правиле слепого повиновения, и проповедывавший насилие, употребление страшных средств кинжала, яда *, был отменен, и вместо оного принять другой, коего главные положения заимствованы из напечатанного в журнале Freywillige blätter, устава, коим будто бы управлялся Tugend-Bund... Во время сих прений... родилась... ужасная мысль о цареубийстве **»... «Якушкин, который в мучениях несчастной любви давно ненавидел жизнь, распаленный в сию минуту волнением и словами товарищей, предложил себя в убийцы. Он и в исступлении страстей, как кажется, чувствовал, на что решался: рок избрал меня в жертвы, говорил он; сделавшись злодеем я не должен, не могу жить: совершу удар и застрелюсь».

«Действия сего Тайного общества (Южного) уже не ограничивались умножением членов; оные с каждым днем более принимали характер решительного заговора против власти законной, и скоро на совещаниях стали обнаруживаться в часто повторяемых предложениях злодейские, страшные умыслы. В Тульчинской Думе первенствовал, как и прежде, полковник Пестель; его сочленом в оной, и всегда согласным хотя по наружности недеятельным, был Юшневский; от них зависели все составлявшие Южное общество, одни непосредственно, другие чрез подведомственные Думе две Управы: Каменскую или Правую, где заседали Давыдов и князь Сергей Волконский, и Васильковскую или Левую, в коей начальствовали Сергей Муравьев-Апостол и подпоручик Бестужев-Рюмин... В генваре 1823 года были в Киеве собраны начальства всех Управ... они читали отрывки Пестелевой Русской Правды и сделан вопрос:... как быть с императорской фамилиею? Истребить ее, сказал Пестель; с ним согласились Юшневский, Давыдов, Волконский; но Бестужев-Рюмин думал удовольствоваться смертию одного императора...»

«Члены Васильковского Округа едва не решились немедля поднять знамя бунта... Швейковский убедительно, со слезами, просил товарищей... отложить всякое действие: чувствуя всю невероятность удачи, они согласились и однако же дали друг другу слово начать непременно в 1826 году».

Строфа XVII. Слова «сначала» показывают, что содержание этой строфы относится к раннему периоду оппозиционного возбуждения.

В то время, как две предыдущие строфы характеризовали два центра деятельности тайных обществ, Петербург и Тульчин, т. е. материал груп-

---

* Это было мною писано в подражание уставам некоторых Масонских лож, говорит Пестель. (Прим. Донесения).

** Пестель утверждает, что еще прежде, в том же 1817 году, Лунин говорил, что если при начале открытых действий Общества решатся убить императора, то можно будет для сего выслать на Царскосельскую дорогу несколько человек в масках. Лунин признается, что между прочим говорил это. Пестель, как показывает Матвей Муравьев, хотел набрать из молодых отчаянных людей так называемую cohorte perdue (обреченный на гибель отряд) и поручить начальство оного Лунину, чтоб всех изгубить, pour faire main basse sur tous. Пестель в этом не сознается. (Прим. Донесения).

[illegible]

Наскуча слыть или Мельмотом
Иль маской щеголять иной
Проснулся раз он патриотом
Дубравой [illegible]
[illegible]
Россия, господа, мгновенно
Ему понравилась отменно
И решено. Уж он влюблен
Уж Русью только бредит он
Уж он Европу ненавидит
С ее политикой сухой
С ее развратной суетой
Онегин едет; он увидит
Святую Русь: ее поля,
Пустыни, грады и моря
Он собрался и слава богу
Июля 3 числа
Коляска легкая в дорогу
Его помчала почтой.

в X п. п.

[illegible]

СТРАНИЦА ИЗ „ПУТЕШЕСТВИЯ ОНЕГИНА“ С УПОМИНАНИЕМ О X ГЛАВЕ
Публичная Библиотека, Ленинград

пировался по пространственному признаку, эта строфа тот же материал характеризует во времени. Последние зачеркнутые строки подготовляют переход к следующему моменту: «но постепенно сетью тайной», к периоду прочной организации тайных обществ. Повидимому первая часть строф говорит о предшествующем периоде, т. е. приблизительно о периоде действия Союза Благоденствия и даже Союза Спасения. Но значит ли это, что речь идет именно о Союзе Благоденствия? Обратим внимание, что в предыдущих строфах характеристика Пушкина захватывает явления шире деятельности тайных обществ в тесном смысле слова: он говорит о настроениях дворянского общества, вызвавших тайные организации. Повидимому так же надо читать и XVII строфу и усматривать в ней вообще характеристику раннего периода оппозиции до окончательного сформирования ее в революционные организации. В строфе этой усматривали ироническую характеристику революционного движения. Конечно это не так. В строфе определенно говорится «сначала»... Ведь оппозиционные разговоры «между лафитом и клико» отлично были известны Пушкину из личного опыта; он сам не пошел по этому пути дальше дружеских разговоров и отдавал себе в том полный отчет. Ирония в данной строфе по адресу заговорщиков в первую очередь поражала бы самого Пушкина. Но строфа эта не носит совершенно характера покаяния. И что странного было для Пушкина в том, что оппозиционное брожение началось с «бесед недовольных», что в первый период «мятежная наука» «не входила глубоко в умы». А что касается до бесед за бутылкой вина, то Пушкин сам в них принимал участие и в Петербурге у Всеволожского и в Каменке у Давыдовых (ср. послание В. Л. Давыдову 1821 г.). Это был исторический факт, для Пушкина вовсе не одиозный. Поэтому истолковать эту строфу как осуждение декабризма в какой бы то ни было стадии отнюдь нельзя. Но в то же время очевидно, что речь идет не о последнем периоде деятельности тайных обществ, а о времени, предшествовавшем их сформированию. Иначе отрывочные слова «узлы к узлам», «и скоро сетью», «и постепенно сетью тайной Россия» потеряют смысл. Ясно, что перед событиями 14 декабря и восстанием Черниговского полка разговоры в «Зеленой лампе» и то, что Пушкин видел на именинах Давыдовой в Каменке, было не более, как «безделье молодых умов, забавы взрослых шалунов». Необходимо учитывать, что это не заключительные слова, а лишь вводная фраза к резкому переходу в повествовании к «самому главному»; характеристики здесь давались не в порядке осуждения, а для контраста.

В заключение следует обратить внимание, что в пределах дошедшего до нас текста X глава обнаруживает большую зависимость от предполагаемых источников. В действиях заговорщиков выступает на первый план то, что выпячивалось обвинительными документами: в первую очередь замыслы цареубийства. Тем самым программа декабризма принижается до безыдейного политического заговора, имевшего целью захват власти. Один Тургенев выступает с программой освобождения крестьян, но и здесь повидимому—зависимость от его «Записки». И всё это очевидно без всякого намерения принизить значение событий. Здесь просто зависимость от документов, объясняемая желанием возвыситься до бесстрастного объективизма. Поэтому-то и назвал строфы эти «хроникой» слышавший их Вяземский. И поэтому мне кажется напрасным стремление вычитывать из этой хроники отношение Пушкина к декабризму. Если, что

мало вероятно, мы когда-нибудь прочтем полный текст этих строф, они не изменят нашего представления об отношении Пушкина к декабрьским событиям 1825 г. Но ценный и интересный материал должны содержать первые строфы, в которых содержится характеристика событий начала века, где доминируют два образа—Александр и Наполеон. В 30-е годы, когда политическое мышление Пушкина определенно направлено было по пути «историзма», оценка событий уже достаточно удаленных приобретала новое значение, тем более, что период с 1789 до 1820 г. представлялся для Пушкина узловым в новой истории: достаточно проследить эволюцию образа Наполеона в поэзии Пушкина, чтобы понять, как в оценке событий этого периода выражалась социально-политическая мысль автора. События этого периода стали как бы привычной символикой для оформления общественных взглядов Пушкина. К сожалению дошедшие до нас фрагменты более свидетельствуют об остроте характеристик, чем вскрывают их содержание. Во всяком случае в группировке тех фактов нет такой зависимости от определенных документов, особенно от документов настолько чуждых убеждениям Пушкина, как казенное «Донесение Следственной комиссии» или как нарочито благонамеренная, «эзоповская» записка Тургенева, контрабандой протаскивавшая в порядке личной реабилитации агитационно-заостренную идею освобождения крестьян средствами самодержавной монархии: впрочем эту «Записку» Пушкин, сам писавший подобные же записки по тому же адресу, умел читать между строк.

VIII. КРИТИК СТРОГИЙ

То, что мною изложено, рассказывает, как и почему печатали X главу в определенном виде до сих пор. Я объясняю и оправдываю традицию, если можно назвать традицией медленное исправление первоначального несовершенного чтения Морозовым пушкинских рукописей X главы. Но традиция эта в настоящее время опорочена. Пришел строгий критик и обличил эту традицию. И чтобы добраться до истины, нам нужно его выслушать. В книге своей «Комментарий к «Евгению Онегину» Н. Л. Бродский сообщает много полезных вещей, в частности и по поводу X главы. Но наряду с полезным встречаются и сведения из третьих рук, и соображения, попросту выражаясь, лишние, и во всем комментарии чувствуется какая-то недоработанность и случайность. В большей части комментарий представляет пересказ сведений, уже ранее известных в пушкиноведении; но дойдя до X главы, комментатор возвышается до патетического стиля; самый пафос его получает обличительное направление. Вот почему можно говорить об этой части книги, совершенно не касаясь остального комментария.

«Несколько кусков до сих пор остались неразобранными, а главное, в их расположение, порядковое размещение внесен неправильный принцип, приведший пушкиноведов к ложному истолкованию идейного смысла наиболее значительных строф, к ложному пониманию вопроса об отношении Пушкина к декабризму в 1830 году. Здесь предлагается иное, сравнительно с общепринятым, размещение некоторых строф, в итоге чего читатель приходит к другим выводам, более соответствующим классовой идеологии Пушкина и современной поэту исторической действительности».

Итак грехи пушкиноведов велики: они исказили идейный смысл документа; они разместили материал так, что читатель приходит к ложному пониманию произведения. Всё дело в положении строфы «Сначала эти

заговоры»... «М. Гофман... Б. Томашевский... утвердили в общественном мнении принятую П. О. Морозовым систему читать X главу с концовкой «Сначала эти заговоры», на основании которой прочно осело в разных учебных руководствах и исследовательских работах представление, что в оценке Пушкина 1830 г. «вообще декабризм» был делом несерьезным, только «скукой, бездельем молодых умов» и проч.»

Н. Л. Бродский, прибегая к методу психологии чужого творчества, так объясняет грехи Морозова, Гофмана и Томашевского (так как Морозов умер физически, а Гофман граждански, то вся ответственность за эти грехи падает на меня, Томашевского):

«Николаевский жандарм, разбиравший посмертные бумаги Пушкина, на том черновом листке, который у Пушкина на одной стороне начинался стихом «Сначала эти заговоры», а на другой стороне «Друг Марса, Вакха и Венеры», поставил клеймо—цифру 55 на страничке, начинавшейся стихом «Друг Марса»... Этому неизвестному жандарму пушкиноведение обязано признанием, что основная страничка пушкинского автографа—та, которая начинается «Друг Марса, Вакха и Венеры», а оборотная—та, которая начинается стихом «Сначала эти заговоры». П. О. Морозов, не разбираясь в эволюции декабристского движения и в полном согласии с господствовавшей в буржуазной науке эстетической критикой, полагая, что «общественные убеждения Пушкина были сбивчивы...», авторитетно утвердил случайную жандармскую помету... Так возникла пресловутая традиция печатать пушкинскую строфу в конце X главы вопреки историческому содержанию, заключенному в ней, вопреки элементарной логике чтения по связи с предыдущими и последующими строфами; так благодаря текстологам-пушкинистам, игнорировавшим историю дворянского движения 20-х годов XIX в., не взявшим на учет конкретную историческую обстановку поэтической работы Пушкина над его романом, утвердилась неверная, ложная концепция социального мировоззрения Пушкина» (я несколько сокращаю цитату). И вот на смену грешным текстологам выступает благонамеренный Н. Л. Бродский: «мы предлагаем новую композиционную перестановку строф, вследствие чего сдается в архив начатая П. О. Морозовым и поддержанная современными пушкинистами традиция видеть в поэте буржуазного дворянства противника идеологии буржуазных революционеров 20-х годов». Таким образом критика Бродского не бесплодна. Это критика положительная, из которой мы узнаем не только то, как не надо делать, но и то, как надо делать. Правда, всё это ослабляется странным примечанием, композиционно неуместным в этой главе: «вопрос о форме печатания этой строфы должен быть специально решен текстологами-пушкинистами; литературовед-социолог, комментирующий сохранившиеся отрывки X главы, стремится понять их идейный смысл... мы включили эту строфу в соответственном месте данной главы не потому, что утверждаем окончательную редакцию поэта (она нам неизвестна), а только потому, что в первоначальном ходе работы Пушкина над X главой эта строфа имела для него значение осмысления ранней поры, своего рода пра-истории декабрьского движения. Метод печатания X главы в современных изданиях «Евгения Онегина» без специальных примечаний приводит читателя к ряду недоумений и ошибочных утверждений». Из этого примечания как будто бы следует: 1) что дело изучения текстов есть специальность текстолога, а не социолога, 2) что дело не в положении, а в понимании строфы и 3) что вина пушки-

кистов в том, что печатают они отрывки X главы без примечаний. Принимая вполне два последние вывода, остановлюсь на первом. Противопоставление пушкиниста-текстолога литературоведу-социологу меня удивляет. Литературовед не может быть не-текстологом, т. е. лицом, не умеющим разобраться в тексте. Равно и текстолог явится в весьма жалком виде, если он не будет литературоведом, т. е. не сумеет разобраться в смысле изучаемого и издаваемого текста. Но дело не в этом. В данном случае Бродский выступает именно как текстолог, так как «новая композиционная перестановка строф» есть работа текстолога. Значит ли это, что он слагает с себя звание социолога, я не знаю, как вообще не знаю, в какой мере Н. Л. Бродский этим званием обладает. И так как примечание не может отменять основного текста, мы приступим к разбору текстологической работы Н. Л. Бродского.

Обратимся к его текстологическому методу. Он оспаривает право текстолога исходить из данных документа, из пушкинского шифра. «Считается установленным, что Пушкин записал особым приемом первые четверостишия 16 строф и что печатать основной корпус X главы необходимо согласно тому порядку, какой указан поэтом. Но варианты отдельных стихов, пропуски между строфами, стихи, не укладывающиеся в общую концепцию главы,—всё это свидетельствует против утверждения, что перед нами завершенная художественная работа. Несколько стихов М. Л. Гофман и Б. Томашевский произвольно признали записью пятых стихов и предположительно отнесли к VI—IX строфам, в итоге чего получился набор стихов, лишенных связи с общим смыслом строф». Внесу в это одну поправку: Гофман действительно четыре стиха («Моря достались Албиону» и сл.) считал пятыми стихами строф; я их считаю девятыми и отделяю в моих изданиях от предыдущих строкой точек, означающей разрыв текста.

Итак, признано, что раз Пушкин допустил какие-то ошибки (в анализ этих ошибок наш текстолог входить не хочет), то его шифровка не есть «завершенная художественная работа». Завершает эту работу за Пушкина Бродский. Обычно конъектурное исправление документа преследует две цели: дать удовлетворительное, осмысленное чтение и в то же время объяснить происхождение ошибок. Бродский идет своим путем. Он очевидно так прочно усвоил идеологическую и художественную систему Пушкина, что, подобно В. Брюсову, исправляет его, не опираясь на документы. Каков же художественный принцип текстолога-поэта (ибо он взялся завершить незавершенное Пушкиным)?

«Мы располагаем строфы и отдельные стихи, напечатанные в современных изданиях в случайных связях, руководствуясь хронологическим стержнем событий, входивших в план X главы». Но надо обладать весьма малым художественным вкусом, чтобы вообразить, что Пушкин писал свою хронику (по определению Вяземского) действительно летописным способом, соединяя события единственно по признаку хронологии. Если это проводится по отношению не только к отдельным строфам, но даже и к отдельным стихам, то как же придется перетасовать подлинного «Онегина» в угоду спасительной хронологии?

Но прежде всего процитируем две строфы в передаче Бродского:

Сей муж судьбы сей странник бранный,
Пред кем унизились цари,

Сей всадник папою венчанный,
Исчезнувший как тень зари,
Измучен казнию покоя
[Он угасает недвижим,
Осмеян прозвищем героя,
Плащем накрывшись боевым].

Онегинской строфы как будто не получается. (Не забудем, что это находится в книге, именуемой «Комментарии к «Евгению Онегину»; об онегинской строфе Бродский мог бы узнать из издания романа 1920 г., не говоря уже о специальной работе Л. Гроссмана, посвященной этому вопросу.) Откуда же эта композиция? Она целиком заимствована из статьи Д. Соколова в XVI вып. «Пушкин и его современники» (стр. 10). При этом даже стихи Пушкина, взятые из стих. «Герой», цитируются в неверной передаче Соколова. У Пушкина читаем:

Осмеян прозвищем героя,
Он угасает недвижим,
Плащем закрывшись боевым.

Первый признак плохого текстолога—не проверять цитат. Пушкина бы следовало цитировать точно. Но откуда пятый стих? Он из числа тех, введение которых в эти строфы инкриминируется Гофману и Томашевскому.

Возьмем другую строфу:

Авось аренды забывая,
Ханжа запрется в монастырь,
Авось по манью (Николая?)
Семействам возвратит (Сибирь?)...
Авось дороги нам исправят...

Но ведь это совершенно точно воспроизводит строфу из работы Гофмана, снова с этим пятым стихом. Не странно ли, что, опорочив текстологическую работу предшественников, Бродский «хронологическим методом» приходит к тем же самым, им опороченным результатам?

В чем же собственно ключ Бродского и его спасительная композиция? Она весьма немудрящая. Строфы распределяются так: I, II, III, IV, VIII, одиночный стих: «Моря достались Албиону», IX, X и V (соединены две строфы под двойным номером), XI, XII, XVII, XIII и XIV (эти две строфы почему-то слиты в одну), XV, XVI, два последних стиха из строфы X, VI и VII. Последняя строфа занимает заключительное положение очевидно потому, что в ней есть стих «Авось дороги нам исправят», а по обязательной справке литературоведа-социолога первая шоссейная дорога была построена только в 1830 г., т. е. после событий 1825 г.

Перетасовка строф и строк дает новое осмысление некоторым из них, но можно наверное утверждать, что это осмысление принадлежит только Бродскому, а не Пушкину [5]. Так стихи:

А про тебя и в ус не дует
Ты Александровский холоп

помещены в конце и разъяснены как указание на отставку Аракчеева после декабрьского восстания. Но, во-первых, почему речь идет здесь об Аракчееве? Неужели потому, что есть другая эпиграмма, где говорится

СТРАНИЦА „МЯТЕЛИ“ С ОТМЕТКОЙ О СОЖЖЕНИИ X ГЛАВЫ

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

«холоп венчанного солдата» и которая считалась направленной против Аракчеева? А вдруг правы новейшие издатели, которые толкуют эту эпиграмму как направленную против А. Стурдзы? Куда придется перетащить это двустишие? Не проще ли оставить его в качестве непонятного? Насильственное истолкование вреднее откровенного непонимания. Дело в том, что ни один отрывок из известного нам текста не говорит о Николае I и о событиях после 1825 г., если не считать строф с «авось», явно являющихся лирическим отступлением, обращенным к воображаемому будущему (напр. возвращение декабристов из Сибири).

Но что всего страннее, так это то, что композиция, разоблачающая злонамеренные козни буржуазных пушкинистов и являющаяся последним словом науки, в ее понимании Бродским,—сама заимствована Бродским у ученого, которого нельзя отнести к той методологической категории, которой так свободно козыряет наш литературовед-социолог. Эта композиция, за исключением двух смежных перестановок, допущенных Бродским и не меняющих существа дела, целиком находится в статье Д. Н. Соколова, справедливо забракованной в свое время как не выдерживающей научной критики. В 1913 г. ошибки были до известной степени извинительны: структура строф Соколову была неизвестна: он даже не знал, что эти отрывки относятся к «Евгению Онегину». Но Бродский, изобличающий в идеологических искривлениях пушкинистов, должен знать, что он «исправляет» и должен быть в курсе материала и его изучения. Вот пример механического заимствования из Соколова совершенно неосновательных его утверждений: я уже упоминал о том, что Соколов фантастически относит к тому же замыслу наброски 1824 г. Бродский приблизительно в том же месте своей композиции, что и Соколов, пишет: «Среди записей 1824 года в одной тетради Пушкина имеется набросок, находящийся по мнению исследователей в бесспорной связи со стихотворением «Недвижный страж»:

Вещали книжники, тревожились цари,
Толпа свободой волновалась,
Разоблаченные пустели алтари,
Над ними туча подымалась»[6].

И сейчас же за этим следует толкование стиха «Кинжал Л. тень Б.», который в композиции Соколова занимает следующее за этим четверостишием положение.

У Соколова заимствовано выделение в особый отрывок стиха «Моря достались Албиону» и его положение в общей композиции. У него же взята поистине чудовищная идея закончить всё строфами об «Авось». Вот что писал Соколов (твердо веруя, что он имеет дело со «стихотворением», а не со строфами «Евгения Онегина»): «Стихотворение заканчивалось рядом оптимистических мечтаний (серия строф, через одну или более, начинавшихся словом «Авось»). Возможно (и весьма вероятно) однако, что оптимизм был ироническим».

Но посмотрим, как оказались социологически посрамлены пушкинисты основной поправкой (заимствованной в основной идее у Лернера), а именно перестановкой строфы «Сначала эти заговоры».

Она помещена Н. Л. Бродским непосредственно после строфы «Россия присмирела снова». Таким образом мы видим, что начальные слова о «разговорах» имеют отношение к «искре пламени иного». Но в этой же строфе (безвкусно для Пушкина начинающейся словами «сначала», со-

вершенно ненужными в хронологическом изложении при рассказывании в начальных строках о начальных событиях) намечен переход от разговоров к делам: «узлы с узлами», «и постепенно сетью тайной»... Посмотрим, в чем же выразилось изменение настроения; в следующей строфе читаем:

У них свои бывали сходки,
Они за чашею вина,
Они за рюмкой русской водки...
. . . .
Витийством резким знамениты...
. . . .

Вот что гласит дальнейший текст композиции Бродского. Итак, организация тайных обществ ознаменовалась тем, что вместо лафита и клико стали пить русскую водку, а вместо дружеских разговоров началось резкое витийство. И вот—идеологическая линия произведения выправлена, буржуазная наука посрамлена и сдана в архив...

Н. Л. Бродский, неофит в социологии, имел неосторожность предпослать своей книжке предисловие, где сообщает: «Роман Пушкина в свете нашего комментария должен стать для читателя более понятным, углубленным, но весь этот аппарат примечаний лишь приблизительно подводит читателя к подлинно-научному постижению этого вершинного памятника дворянского искусства прошлого века». Комментарий подводит к монографическому исследованию, в котором роман «получит надлежащее научное, марксистско-ленинское истолкование»... И как образец нового метода на свет вытаскивается бракованный хлам дилетантских фантазий дореволюционного времени. В порядке политической дискредитации научной работы преподносится фантастическая фальсификация, по существу ничем не прикрытая. Лукавым примечанием, выше цитированным, автор готовит себе позиции для отступления, заранее чувствуя свою слабость.

После текстологической композиции Бродского текст X главы остается в прежнем положении, потому что никакой работы Бродского в действительности не было.

IX. КАК ДОВОДИТЬ X ГЛАВУ ДО ЧИТАТЕЛЯ

Десятая глава помимо трудностей разгадывания ее смысла создает еще одну трудность: как издавать ее; я говорю не о научном издании—здесь вопрос разрешается относительно просто,—а об издании для читателя, не загроможденном научным и комментаторским аппаратом. Издавать эту главу совершенно без комментария мне представляется ошибкой, но всякий комментарий остается внешним по отношению к тексту произведения и не облегчает трудностей выработки окончательного текста. Трудности подачи текста возникают из следующих обстоятельств:

1) Глава в дошедших до нас документах не вся.

2) Самые куски между собой не связаны и прерываются большими пропусками.

3) В силу неполноты текст не всегда ясен.

4) В процессе шифровки Пушкин допустил несколько ошибок.

5) Текст дошел до нас в разнородных документах:

а. «Криптограмма» доработанного текста.
б. Мемуарные свидетельства.
в. Незавершенный черновик трех строф.

Читателю нужен интегральный текст, поэтому необходимо делать объединение документов так, чтобы сохранилось впечатление единства текста. При этом необходимо сохранить впечатление отрывочности текста и недоделанности его в черновых строфах. Итак встают вопросы о составе текста, о его редакции и о внешней форме передачи. Поскольку идет речь о сводной редакции произведения, форма которого вырисовывается весьма смутно вследствие отрывочности и неполноты документов, следует давать полный текст, т. е. вводить не только 16 строф криптограммы, но и семнадцатую строфу черновика, поставив ее на надлежащее место. Той же полноты следует придерживаться и в воспроизведении отдельных стихов, хотя бы и не связанных с текстом и не осмысляемых в совокупности других стихов. Но подобная сводность не дает возможности введения в корпус вариантов, и в черновых строфах должна быть соблюдена форма строфы путем отсечения параллельных вариантов и заполнения недостающих частей знаками разрыва текста (многоточием или иным типографским средством).

Редакцию лучше всего давать окончательную. Такой является редакция криптограммы, которой в соответствующих местах надо заменять стихи черновика. Получаемая контаминация двух редакций не должна быть опорочена, так как поправки Пушкина в этих стихах не связаны между собой и оба слоя текста не противоречат друг другу. Что касается до текстов, даваемых Вяземским и Тургеневым, то они повидимому разноценны. Вяземский вероятно цитировал наизусть, а потому, заимствуя из его записи второй стих, пополняющий криптограмму, мы не должны по ней исправлять предыдущий стих. Иного характера запись Тургенева, которая дана не по памяти и кажется подлинной. Так как она восходит к беловому тексту, а мы можем противоставить ей только черновик, то редакция Тургенева предпочтительнее чтения черновика.

Последнюю, семнадцатую, строфу желательно давать не только в составе полных восьми стихов. Большой смысловой вес имеют отрывочные проекты дальнейшего, которые и можно воспроизводить с сохранением внешнего вида их отрывочности, например:

Казалось, но . . . .
. . . . узлы к узлам
. . . .
И постепенно сетью тайной
Россия . . . .
Наш царь дремал . . . .

Я не предлагаю именно этого вида, но думаю, что подобная форма сохранит смысловую весомость набросков и укажет на полную их недоработанность.

Внешняя форма не должна пестрить условными знаками, которые до читателя не доходят; надо давать ему понять неполноту и незаконченность обычными средствами печати. Чтобы дать ощущение строф, отрывки должны быть разделены. В издании Гофмана и моем строфичность обозначена тем средством, к которому прибегал Пушкин, а именно—римской

нумерацией. Но так как мы имеем не полную главу, а строфы из главы, то удобнее давать их так, как Пушкин печатал отрывки из «Путешествия Онегина», т. е. отделять их звездочками. Тогда не создается ложного впечатления окончательной зафиксированности текста.

Ошибки Пушкина следует оставить неприкосновенными, так как у нас нет никаких средств их исправить. Но получающуюся невязку следует разделить знаком пропуска.

Наконец следует также принять за правило не печатать X главу без исторического комментария. Слишком отрывочны и недоговорены отдельные моменты этой «славной хроники». Читатель не обязан самостоятельно расшифровывать смысл этих фрагментов и имеет право получить готовые исторические справки к отдельным местам, в которых заключаются прямые или косвенные указания на лица и события. Нельзя довольствоваться «корректорской» текстологией, дисциплиной весьма почтенной и требующей большого и специального опыта, но совершенно бесплодной, если она замыкается на интересах документального, сырого воспроизведения источника и не имеет в виду реального читателя и не доискивается до смысла и значения воспроизводимого памятника. Время скопческой текстологии миновало и она уже обречена.

Конечно не может быть общего рецепта на подобный комментарий. Разный тип издания и разная читательская аудитория заставят остановиться на том или другом роде примечаний, на бо́льшем или меньшем развитии его, на той или иной степени субъективизма. Но уже самые сухие справки облегчат понимание.

На это обычно возражают: читатель не смотрит в примечания. Но кто в этом виноват? Конечно нечего писать такой комментарий, который никто кроме рецензента не читает; но не в том ли и заключается задача современного текстолога чтобы, не упуская из виду основного положения, что он издает не свои, а чужие произведения, в то же время приучить читателя к комментарию, сделав его легким, доступным и интересным. Но этот вопрос уже не связан с узкой задачей издания X главы «Евгения Онегина».

Я ограничусь этими указаниями. Их мелочность в действительности вызывается значительностью последствий, из подачи текста вытекающих. И предыдущее изложение кажется достаточно мотивирует эту мелочность и показывает, что работа текстолога даже в технических деталях есть осмысленная и живая работа, направленная к удовлетворению живой потребности адэкватного восприятия вещи, а потому работа эта не может замкнуться в огороженную область изолированной специальности. Текстолог обязан быть и литературоведом, он обязан предусматривать последствия подачи чужого материала.

Десятая глава должна стать обычной в самых «популярных» изданиях Пушкина. Она должна быть дана так, чтобы читатель, видя ее недовершенность и неполноту, в то же время без труда преодолевал эту недовершенность и имел все данные, чтобы вскрыть внутренний смысл произведения[7].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Возможна и другая ошибка Юзефовича: он мог смешать с какой-нибудь другой ситуацией путешествие Онегина на Кавказ из первоначальной восьмой главы.

[1] Подобный порядок шифровки совершенно исключает возможность записи наизусть. Перед Пушкиным конечно лежала перебеленная рукопись шифруемых строф.

[2] Ср. в «Герое»:

Не там, где на скалу свою
Сев, мучим казнию покоя,
Осмеян прозвищем героя,
Он угасает недвижим,
Плащем закрывшись боевым.

Возможно, что последние три стиха тоже взяты из X главы, но при этом была изменена последовательность рифм.

[4] Этот факт тоже не был новым. Жуковский писал Пушкину 12 апреля 1826 г. о ходе следствия: «Ты ни в чем не замешан—это правда. Но в бумагах каждого из действовавших находятся твои стихи». Быть может введением своего имени Пушкин думал отчасти диссимулировать свое авторство.

[5] Впрочем и не Бродскому, а опять Соколову, от которого эта интерпретация стихов взята (см. «Пушкин и его современники», вып. XVI, 1913, стр. 2—3).

[6] Цитата эта отличается от компиляции Соколова только обновлением текста отрывка (кажется по изданию В. Брюсова с произвольной перестановкой отдельных слов).

[7] Политические мотивы присутствовали и в основных главах романа, но были оттуда тщательно вытравлены. На это намекает Пушкин, заявляя, что пропущенные строфы он «не мог или не хотел напечатать». Только счастливая случайность—сохранившаяся копия В. Одоевского—дает нам представление о некоторых таких строфах. Так одна из них, занимавшая место 38-й в шестой главе, содержала следующие стихи:

Он совершить мог грозный путь,
Дабы в последний раз дохнуть
В виду торжественных трофеев,
Как наш Кутузов иль Нельсон,
Иль в ссылке, как Наполеон,
Иль быть повешен, как Рылеев.

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОПЫТЫ ПУШКИНА

Статья С. Бонди

Почти сто лет прошло со дня смерти Пушкина, а у нас до сих пор нет точного и верного текста его сочинений. Последние годы, правда, были крайне плодотворны в смысле изучения и окончательного установления текста пушкинских стихов, а также художественной прозы. Но с прозой внехудожественной, в частности критической, дело обстоит гораздо хуже. Ошибки при передаче текстов статей Пушкина, не напечатанных при его жизни и оставшихся лишь в рукописи, касаются не только мелочей, отдельных слов, но иной раз совершенно искажают вещь, дают совершенно неправильное представление о пушкинском замысле.

В таком положении находится между прочим одна из самых интересных и значительных статей Пушкина, печатающаяся в собраниях его сочинений под условным заглавием: «О русской литературе с очерком французской» (в распространенном издании «Просвещения» под ред. П. О. Морозова она ошибочно включена в состав статьи «Мысли на дороге»). Это произведение является главным источником для нашего суждения о взглядах зрелого Пушкина (статья датируется 1830—1834 гг.) на литературу, в особенности на историю литературы русской и французской. Между тем в том виде, в каком она печатается в собраниях сочинений Пушкина, она дает лишь самое отдаленное понятие о пушкинском замысле. В рукописях известен ряд текстов и набросков близкого содержания, неоконченных, недоделанных, написанных в разное время... Изучение хода работы Пушкина, последовательности написания этих текстов и набросков дает возможность вскрыть замысел Пушкина и обнаружить правильный текст статьи или, как выясняется из этого изучения, двух различных статей. Не проделав этой необходимой работы и видимо не желая просто печатать один за другим все отдельные документы с относящимся сюда текстом (частично совпадающим в разных документах), редакторы пушкинских изданий с самого начала пошли по пути комбинирования текста разных источников по смыслу, составления по собственному разумению своего рода «монтажа» пушкинских текстов, игнорирующего пушкинскую композицию статьи и смешивающего в одно целое, под одной датой, отрывков, отделенных промежутком в девять лет... Нечего и говорить о том, какую неверную историческую перспективу мы получаем, когда, пользуясь этим «монтажем», приписываем зрелому Пушкину 1834 года суждения, высказанные им в 1825 году...

Основные рукописные источники, по которым «составляется» статья «О русской литературе с очерком французской», следующие: во-первых,

черновик статьи, написанной Пушкиным в 1825 г. и носящей в рукописи заглавие «О поэзии классической и романтической», во-вторых, неоконченный черновик большой статьи 1834 г., дающей после краткой характеристики старой русской литературы обзор французской литературы до XVIII в. включительно, и наконец сильно переработанный и также неоконченный беловик этой последней статьи, относящийся также вероятно к 1834 г. Эти три источника переплетаются в изданиях Пушкина самым причудливым образом. Так например, в академическом издании (т. IX, ч. I, стр. 217—227), продолжающем в этом отношении традицию всех предшествующих, текст дан в таком виде: сначала идет статья 1825 г., в середину которой вставлено начало беловика статьи 1834 г., вслед за окончанием ее продолжается текст беловика 1834 г., сменяющийся вскоре текстом черновика той же статьи; соответствующий же беловой текст дается в примечаниях в виде «вариантов» и т. д.

В настоящей статье восстанавливается подлинный пушкинский текст двух статей о литературе (1825 и 1834 гг.), а также излагается в самых общих чертах текстологическая история их написания.

Наиболее ранний из ряда текстов, из которых теперь составляется статья «О русской литературе», содержит ту часть ее, которая начинается словами «Наши критики не согласились еще в ясном различии между родами классическим и романтическим», — и дает известное «формалистическое» определение классицизма и романтизма: классические—это «те стихотворения, коих формы известны были грекам и римлянам, или образцы коих они нам оставили», а романтические—«те, которые не были известны древним и в которых прежние формы изменились или заменены другими». Определение это несколько странно звучит в устах зрелого Пушкина 30-х годов.

В действительности это и написано гораздо раньше—в 1825 г. Этот текст, представляющий собой черновик отдельной статьи, был написан на двух вложенных один в другой листах голубой бумаги 1822 г. (вставки в текст этой статьи написаны на отдельной четвертушке белой бумаги). Сейчас эти листки находятся в Публичной Библиотеке СССР в Москве в сшитой жандармами тетради № 2387 В, образуя там лл. 2, 3, 4—31, 32 и 33. На одном из этих листов 2—3, где текст статьи занимает только половину его (две страницы—33_1 и 33_2) находится и заглавие статьи—«О поэзии классической и романтической». Это заглавие, до сих пор остававшееся незамеченным, написано верхом вниз на странице, уже раньше занятой другим текстом—именно, черновиком начала статьи, напечатанной Пушкиным в «Московском Телеграфе» 1825 г. под заглавием «О г-же Сталь и г. М[ухано]ве»[1] и датированной в журнале 9-м июля 1825 г.

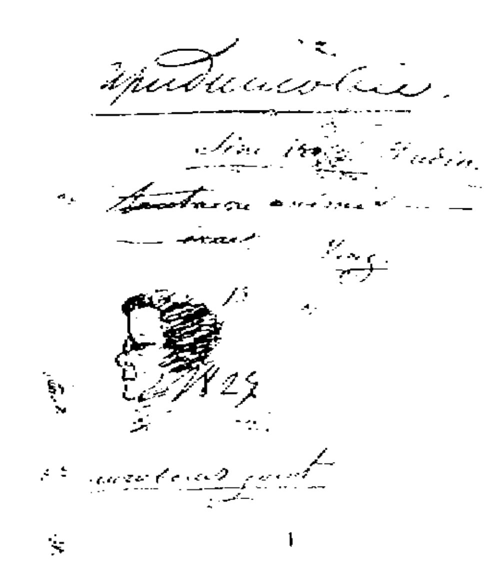
К этому же приблизительно времени, после 9 июля, должна быть таким образом отнесена и статья «О поэзии классической и романтической» и по содержанию своему тяготеющая, как увидим, именно к 1825 г.

Внимательный анализ языка и стиля статьи также несомненно показал бы принадлежность ее к раннему периоду деловой прозы Пушкина, а не к 30-м годам.

Статьи А. Бестужева в трех книгах «Полярной Звезды» (1823, 1824 и 1825 гг.), журнальные статьи Вяземского и Кюхельбекера, дававшие оценку

ОБЛОЖКА СТАТЬИ ПУШКИНА „ОТРЫВОК ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЛЕТОПИСЕЙ"

Институт Русской Литературы. Ленинград



литературным явлениям современности и прошлого, всякий раз задевали за живое Пушкина и заставляли его взяться за перо, чтобы высказать свои возражения—в письмах или в набросках журнальных статей.

Во *«Взгляде на русскую словесность в течение 1823 г.»* («Полярная Звезда» 1824 г.) Бестужев писал об охватившей «все состояния» после окончания войны с французами «страсти к галлицизмам». «Следствием этого,—говорит он,—было совершенное охлаждение лучшей части общества к родному языку и поэтам, начинавшим возникать в это время, и наконец совершенное оцепенение словесности в прошедшем году»... «О прочих причинах, замедливших ход словесности, мы скажем в свое время», заканчивает он.

Пушкин по этому поводу пишет у себя в тетради заметку, возражая Бестужеву (хотя и не называя его), и начинает ее, буквально цитируя его выражения: «Причинами, замедлившими ход нашей словесности, обыкновенно считается общее употребление французского языка и пренебрежение к русскому» и т. д.

Статья «О народности в литературе» явилась откликом на замечания о народности в «Мнемозине» Кюхельбекера и в статье А. Бестужева в «Полярной Звезде» 1825 г. Эта же последняя статья («Взгляд на литературу в 1824 г.») вызвала у Пушкина сначала возражение в виде наброска журнальной статьи (рукопись этого наброска обнаружена недавно в Ульяновске. — См. «Автографы Пушкина» под ред. М. А. Цявловского в III сборнике «Трудов Публ. Библ. СССР им. Ленина»), а затем в виде большого письма к Бестужеву (май—июнь 1825 г.— См. Пушкин. «Переписка», т. 1, стр. 225—227).

Суждения этих трех критиков 20-х годов, с мнением которых очень считался Пушкин, хотя в большинстве вопросов и не соглашался с ними, заставляли его привести в порядок свои собственные мысли о русской литературе и ее деятелях.

В апреле 1824 г. Пушкин писал Вяземскому: «Читая твои критические сочинения и письма, я и сам собрался с мыслями и думаю на-

днях написать кое-что о нашей бедной словесности, о влиянии Ломоносова, Карамзина, Дмитриева и Жуковского. Авось и тисну»... («Переписка», т. I, стр. 106).

Но, как известно, он не только не «тиснул» такой статьи, но кажется даже и не написал ее. По крайней мере следов ее в рукописях его не найдено (если не считать относящимся к этому замыслу цитированный выше отрывок «О причинах, замедливших ход нашей словесности»).

В течение 1825 г. Пушкин писал свою «романтическую трагедию» «Борис Годунов» и видимо внимательно читал в журналах и альманахах рассуждения о классицизме и романтизме—и был ими недоволен. В письме от 25 мая к Вяземскому он писал: «Я заметил, что все (даже и ты) имеют самое темное понятие о Романтизме. Об этом надобно будет на досуге потолковать» («Переписка», т. I, стр. 219). Через несколько месяцев (30 ноября) он писал о том же А. Бестужеву: «Сколько я ни читал о Романтизме—все не то; даже Кюхельбекер врет» (там же, стр. 308). И вот, очевидно желая сказать свое слово по этому вопросу, Пушкин тогда же (во второй половине 1825 г.) пишет статью «О поэзии классической и романтической».

Пушкин 20-х годов—самый яркий представитель и вождь «романтического направления» в тогдашней русской литературе. Совершив целый переворот своими первыми поэмами, сразу завоевавшими читателей и вызвавшими, как известно, массу подражаний, он, окрыленный этим, замышлял своим «Годуновым» сделать такой же переворот и в драматургической и театральной системе. Не без основания он говорил о себе гораздо позже, в 1835 г., в записке к Бенкендорфу об издании газеты: «Могу сказать, что в последнее пятилетие царствования покойного государя я имел на сословие литераторов гораздо более влияния, чем министерство, несмотря на неизмеримое неравенство средств» (Собр. соч., изд. ГИХЛ, т. V, стр. 859).

Не участвуя непосредственно в той журнальной полемике, которая шла вокруг его произведений, он горячо откликался на нее в своих письмах. Можно предположить, что, если Пушкина не удовлетворяли суждения о романтизме его друзей, то это происходило потому, что эти суждения, основываясь на «духе, в котором писано» то или иное произведение, казались ему недостаточно четкими, смазывающими существенные с точки зрения литературной борьбы различия, непригодными как лозунг в практической деятельности, в борьбе. В эту эпоху Пушкина в вопросе о классицизме и романтизме интересовала не исторически-бесстрастная точка зрения, ищущая сближений, сводящая к общим началам внешне различное, а чисто прикладное разграничение, дающее возможность сразу и четко отличить единомышленников от врагов. С этой боевой точки зрения Пушкин, можно думать, считал существенным для классической литературы то обстоятельство, что каждое произведение рассматривалось там не изолированно, не просто как свободное создание поэта, с формой, свободно создаваемой в соответствии с замыслом, с содержанием, а в *соотнесении с традиционными жанрами*, с выработанной традицией формой.

В «классической» литературе дело обстояло приблизительно так же, как в дошедшей до нашего времени «классической» музыке, где «соната» например есть всегда произведение в четырех частях, имеющих каждая определенную схему строения (сонатное allegro, скерцо, рондо и т. п.),

и всякое отступление от этих традиционных форм и схем (соната в двух частях, в одной или без соблюдения схемы allegro) так и воспринимается как о т с т у п л е н и е, как художественно оправданное нарушение канона; подобно этому понятие «поэма», «трагедия», «комедия», «послание» и т. д.—в «классической» литературе были точно фиксированными жанрами, с более или менее точно установленной схемой строения, стихосложением и т. д. Всякое произведение воспринимается на фоне этой традиционной формы, художественная прелесть его в том, как по-новому заполнена эта форма, как художник обнаруживает свою индивидуальность в рамках традиционных схем или как он раздвигает, слегка видоизменяет эти рамки. Произведение, созданное вне этих традиционных жанров, форм и схем, без соотнесения с ними—каково бы ни было его содержание, его «дух»,—вызывает недоумение, почти не воспринимается эстетически. «Романтическая» поэзия, по мысли Пушкина, должна была сломать эту установку на определенные жанры, ее произведения должны восприниматься вне этой апперцепции, ее формы не заданы заранее, а возникают из самого индивидуального содержания. «Романтическая трагедия» или «романтическая поэма» противополагаются «классической трагедии» или классической «героической поэме» не как один жанр другому, не как шекспировская или байроновская форма—расиновской или виргилиевской, а как произведение, свободно и индивидуально создающее свою форму—традиционному жанру. Поэтому романтической трагедией оказываются не только пьесы Шекспира, но и трагедия Кальдерона и Лопе де Вега, и «трагедии Софьи Алексеевны, в 18 действиях», поскольку они лежат вне традиционной «классической» установки, вне ее форм и правил.

Таким мне представляется ход мыслей Пушкина, когда он, думая вмешаться непосредственно в литературную полемику по поводу романтизма, выдвигал свое столь мало содержательное с виду, бедное по существу, но столь удобное для практических целей, для ориентировки в борьбе с литературной традицией классицизма определение: «стихотворения романтические»—это «все те, которые не были известны древним, и те, в коих прежние формы изменились или заменены другими». Пушкин прибавляет: «если же вместо ф о р м ы стихотворения будем брать за основание только д у х, в котором оно писано, то никогда не выпутаемся из определений. Гимн Ж.-Б. Руссо духом своим, конечно, отличается от оды Пиндара, сатира Ювенала от сатиры Горация, Освобожденный Иерусалим от Энеиды—однако ж все они принадлежат к роду классическому», иначе сказать, все они, несмотря на их различия, входят в состав классической традиции, являются образцами, по которым должно строиться «классическое» произведение. Отстаивая права «романтической» поэзии, Пушкин боролся за право внетрадиционного, внежанрового подхода к литературе.

Б. В. Томашевский в своей интересной и содержательной статье «Пушкин и Буало» («Пушкин в мировой литературе», Л., 1927) утверждает о приведенном месте статьи Пушкина, что «определив так классицизм и романтизм, [он] становится на сторону классиков» (цит. соч., стр. 47). Однако и вся литературная ситуация 20-х годов, и вся переписка Пушкина этих лет, и вся его деятельность этого времени противоречат такому утверждению. И то обстоятельство, что борьба с отечественными «классиками с Выборгской стороны или Васильевского остро-

ва» не мешала ему любить А. Шенье, хотя он «из классиков классик», так же как и других старых писателей, говорит лишь о том, что Пушкин боролся не с классической литературой в ее исторической данности, а с классической традицией в современной литературе.

В статье «О поэзии классической и романтической» Пушкин, кроме нового определения классицизма и романтизма, ставил себе задачей показать, ссылаясь на историю новой европейской литературы, что, в то время как «романтическая поэзия» в течение средних веков и нового времени охватила всю Европу, «отрасли ее быстро пышно процвели» в ряде стран, новая классическая или «лжеклассическая» поэзия представляет собою местное, чисто французское явление, и происхождение ее объясняется «младенческим» состоянием, «ничтожностью» французской литературы до XVII в. Такова повидимому основная тенденция этой неоконченной статьи.

Верный своему основному разграничению, Пушкин описывая происхождение «романтической поэзии», говорит сначала о происхождении ее «форм», а затем о «духе» ее.

Статья написана в черновике с многочисленными вставками и переделками, при чем очень часто в рукописи не показано, куда эти вставки относятся и какой из двух незачеркнутых вариантов должен быть взят. Поэтому нижеприводимый текст статьи в некоторых местах является гипотетическим. Все эти случаи попутно оговариваются.

О ПОЭЗИИ КЛАССИЧЕСКОЙ И РОМАНТИЧЕСКОЙ

Наши критики не согласились еще в ясном определении различий между родами классическим и романтическим. Сбивчивым понятием о сем предмете обязаны мы французским журналистам, которые обыкновенно относят к романтизму все, что им кажется ознаменованным печатью мечтательности и германского идеологизма или основанным на предрассудках и преданиях простонародных: определение самое неточное. Стихотворение может являть все сии признаки, а между тем принадлежать к роду классическому. Если вместо ф о р м ы стихотворения будем «брать» за основание только д у х, в котором оно писано, то никогда не выпутаемся из определений. Гимн Ж.-Б. Руссо духом своим, конечно, отличается от оды Пиндара, сатира Ювенала от сатиры Горация, Освобожденный Иерусалим от Энеиды—однакож все они принадлежат к роду классическому. К сему роду должны отнестись те стихотворения, коих ф о р м ы известны были грекам и римлянам или коих образцы они нам оставили, следственно, сюда принадлежат: эпопея, поэма [нрзб.] дидактическая, трагедия, комедия, ода, сатира, послание, ироида, эклога, элегия, эпиграмма и басня.

Какие же роды стихотворения отнести к поэзии романтической?

Все те, которые не были известны древним, и те, в коих прежние формы изменились или заменены другими.

Не считаю за нужное говорить о поэзии греков и римлян: каждый образованный европеец должен иметь достаточное понятие о бессмертных созданиях величавой древности. Взглянем на происхождение и на постепенное развитие поэзии новейших народов.

Западная Империя клонилась быстро к падению, а с нею наука, словесность и художества. Наконец она пала; просвещение погасло,

НАЧАЛО СТАТЬИ ПУШКИНА «О НИЧТОЖЕСТВЕ ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОЙ» В ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ

Институт Русской Литературы, Ленинград

невежество омрачило окровавленную Европу. Едва спаслась латинская грамота; в пыли книгохранилищ монастырских монахи соскобляли с пергамента стихи Лукреция и Виргилия и вместо их писали на нем свои хроники и легенды.

Поэзия проснулась под небом полуденной Франции—рифма отозвалась в романском языке; сие новое украшение стиха, с первого взгляда столь мало значущее, имело «сильное» влияние на словесность новейших народов. Ухо обрадовалось удвоенным повторениям звуков, побежденная трудность всегда приносит нам удовольствие, любить размеренность, соответственность свойственно уму человеческому. Трубадуры играли рифмою, изобретали для нее все возможные изменения стихов, придумывали самые затруднительные формы: явились virlet, баллада, рондо, сонет и проч.

От сего произошла необходимая натяжка выражения, какое-то жеманство, вовсе неизвестное древним; мелочное остроумие заменило чувство, которое не может выражаться [в] триолетах. Мы находим несчастные сии следы в величайших гениях новейших времен[2].

Но ум не может довольствоваться одними игрушками гармонии, воображение требует картин и рассказов; трубадуры обратились к новым источникам вдохновения, воспели любовь и войну, оживили народные предания—родился ле, роман и фаблио. Темные предания о древней трагедии и церковные празднества подали повод к сочинению т а и н с т в (mistères). «Они» почти все писаны на один образец и подходят под одно уложение, но к несчастию в то время не было Аристотеля для установления непреложных законов мистической драматургии.

Два обстоятельства имели решительное действие на дух европейской поэзии: нашествие мавров и крестовые походы.

Мавры внушили ей исступление и нежность любви, приверженность к чудесному и роскошное красноречие Востока; рыцари сообщили свою набожность и простодушие, свои понятия о геройстве и вольность нравов походных станов Готфреда и Ричарда.

Таково было смиренное начало романтической поэзии. Если бы она остановилась на сих опытах, то строгие приговоры французских критиков были бы справедливы, но отрасли ее быстро и пышно процвели, и «вскоре» она является нам соперницею древней Музы[3]. Италия присвоила себе ее эпопею, полуафриканская Гишпания завладела трагедией и романом, Англия противу имен Данте, Ариоста и Кальдерона с гордостью выставила имена Спенсера, Мильтона и Шекспира, в Германии (что довольно странно) отличилась новая сатира, едкая, шутливая «коей памятником остался Ренике фукс»[4].

Во Франции тогда поэзия все еще младенчествовала; лучший стихотворец времени «Франциска I»

rima des triolets, fit fleurir la ballade.

Проза уже имела сильный перевес: Montagne, Рабле были современниками Марота.

В Италии и в Гишпании народная поэзия уже существовала прежде появления ее гениев. Она пошла по дороге уже проложенной: были поэмы прежде Ариостова Орландо, были трагедии прежде созданий de Vega и Кальдерона.

Во Франции просвещение застало поэзию в ребячестве без всякого направления, безо всякой силы. Образованные «умы» века Людовика XIV справедливо презрели ее ничтожность и обратили ее к древним образцам. Буало обнародовал свой Коран[5]—и французская словесность ему покорилась[6].

Сия лжеклассическая поэзия, образованная в передней и никогда не доходившая далее гостиной, не могла отучиться от некоторых врожденных привычек, и мы видим в ней все романтическое жеманство, облеченное в строгие формы классические.

P. S. Не должно думать, однакож, чтоб и во Франции не осталось никаких памятников чистой романтической поэзии. Сказки Лафонтена и Вольтера и Дева сего последнего носят на себе ее клеймо. Не говорю о многочисленных подражаниях тем и той (подражаниях, по большей части посредственных: легче превзойти гениев в забвении всех приличий, нежели в поэтическом достоинстве).

В рукописи остались две заметки, вероятно вставки в текст статьи, которым однако я не могу найти в ней места:

1. «Отселе начало сей лжеклассической поэзии ‹(собственно) французской› ‹и которая› Она имела несчастное влияние ‹не только› ‹на умы›».

Вероятно эта фраза должна была сначала примыкать к абзацу о Буало, *вместо заменившего ее текста: «Сия ложноклассическая поэзия,* образованная»... и т. д.

2. «Вопреки остроумной гипотезе кн. Вяземского, вопреки природному свойству Фр[анцузская] Слов[есность] ‹имела› до самого Ж[уковского] имела исключительное влияние на наш[у] ‹отроческую словесность› [стихотв[орные] произведе[ния] язык и поэзию. ‹теперь воп.› [?]

Возможно, что этими словами должно было начинаться ненаписанное продолжение статьи. Трудно сказать, являлось ли в этой статье обозрение французской литературы самостоятельной темой или за ним должна была следовать глава о русской литературе, на которую она имела «исключительное влияние»... Последний план был воспринят Пушкиным для статьи о литературе, которую он писал позже, в 30-х годах, однако у нас есть набросок плана статьи «О французской словесности», датируемый редактором в издании ГИХЛ (т. V, стр. 509—560) 1822—1824 гг., где эта словесность рассматривается именно с точки зрения ее влияния на русскую литературу и где вслед за перечислением русских писателей, подражавших французской литературе, идет вопрос: «Что такое французская словесность?»—и затем критическое обозрение ее: «Трубадуры. Малерб»... и т. д. Во всяком случае и в том виде, в каком осталась у Пушкина статья «О поэзии классической и романтической», она представляет собой известную законченность: тема, поставленная в заглавии, хотя и коротко, но исчерпана.

Между прочим в этой статье впервые (в 1825 г.) Пушкин сформулировал свой афоризм о французской литературе, «рожденной в передней и никогда не доходившей далее гостиной», который он напечатал в 1828 г. в составе «Отрывков из мыслей, писем и замечаний» и затем повторил и развил в статье о литературе 30-х годов (см. ниже).

Начиная с конца 20-х годов, мы находим в бумагах Пушкина следы замысла статьи о русской литературе, обозрения истории ее с самого начала—с X и XI вв.; при этом перед изложением литературы XVIII в. намечался экскурс о французской литературе, оказавшей на нее влияние. Так в Арзрумской тетради Пушкина (Лен. Библ. № 2382) набросан план, который можно датировать приблизительно 1829—1830 гг.: «Летописи, сказки, песни, пословицы, послания царские, Песнь о полку, Побоище Мамая, Царствование Петра, Царствование Елисаветы, Екатерины, Александра. Влияние Французской поэзии» (см. Собр. соч., академич. изд., т. II, стр. 615).

От 1830 же года до нас дошел листок, где Пушкин начал писать статью по истории русской литературы: «Приступая к изучению нашей словесности, мы хотели бы обратиться назад и взглянуть с любопытством и благоговением на ее старинные памятники, сравнить их с этою бездной поэм, романов, иронических и любовных, простодушных и сатирических, коими наводнены европейские литературы средних веков. Нам приятно было бы наблюдать историю нашего народа в сих первоначальных играх разума, творческого духа, сравнить влияние завоевания скандинавов с завоеванием мавров. Мы бы увидели разницу между простодушной сатирою французских trouveurs и лукавой насмешливостию скоморохов, между площадной шуткою полудуховной мистерии и затеями нашей старинной комидии...

Но, к сожалению, старинной словесности у нас не существует. За нами темная степь,—и на ней возвышается единственный памятник: Песнь о полку Игореве.

Словесность наша явилась вдруг в 18 столетии, подобно русскому дворянству, без предков и родословной...»

Сохранилось еще два наброска планов на ту же тему («Язык—влияние греческое—Памятники его—Литература собственно» и т. д. и «Отчего первые стихотворения были сатиры».—См. Собр. соч., академич. изд., т. IX, стр. 616 и 615), но датировать их трудно.

Только в начале 1834 г. Пушкин вплотную приступил к осуществлению этого замысла и написал довольно большой кусок статьи, которую впрочем так и не докончил.

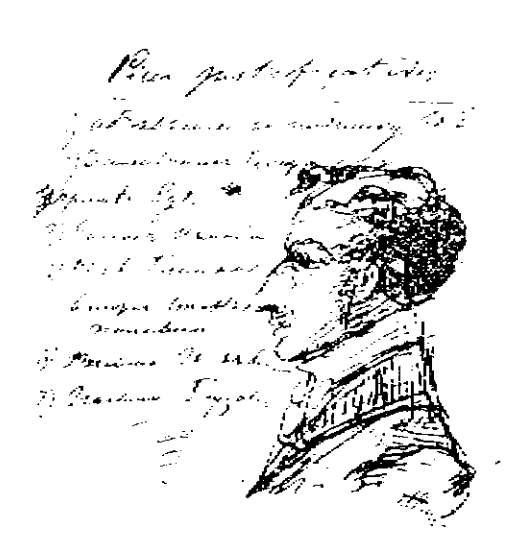
В это время Пушкин писал большую статью, которую можно назвать «Путешествием из Москвы в Петербург» (традиционное заглавие ее — «Мысли на дороге»), где задумал дать частью комментарий, частью возражения, частью просто попутные соображения к книге Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», следуя за изложением Радищева в обратном порядке, от конца к началу: «заставив Радищева путешествовать со мной из Москвы в Петербург».

В самом же начале работы, начав писать главу о Ломоносове (по поводу «Похвального слова Ломоносову», помещенного Радищевым в конце его книги), Пушкин увлекся близкой ему литературной темой, расширил ее сравнением социального положения современных ему писателей-дворян с положением крестьянина Ломоносова, а также французских и английских буржуазных писателей.

И вот тут, прервав на время работу над статьей о радищевской книге (он вскоре вернулся к ней и написал еще несколько глав своего «Путешествия»), Пушкин принялся за свою статью о русской литературе с историческим обзором ее.

Пушкин немало поработал над этой статьей. На пятнадцати страницах черновика, написанного в «последней тетради» (Лен. Библ. № 2384), он успел написать небольшое общее историческое введение—об «отчуждении России от Европы» до XVIII в.; здесь в черновике он пометил вставку «О ничтожестве древних наших памятников», заимствованную из брошенного начала статьи 1830 г. (см. выше); далее—о «крутом перевороте, произведенном мощным самодержавием Петра», следствием которого явилось рождение «новой словесности, отголоска новообразованного общества». Затем, прежде чем перейти к рассмотрению этой новой словесности, Пушкин делает экскурс в историю французской литературы, «имевшей на [русскую] долгое и решительное влияние». Для этого экскурса Пушкин воспользовался второй частью своей старой статьи «О поэзии и Классической и Романтической». В черновике «последней тетради» Пушкин не стал целиком переписывать нужные ему абзацы статьи 1825 г., а только показывал, приводя начальные слова фразы («Рифма отозвалась») или отдельные слова («Герм[ания]—Англ[ия] Франция etc. и проч.»), в каком порядке переносить части старой статьи в новую. Попутно он конечно записывал и изменения, вносимые им в текст. (Этот своеобразный черновик см. Собр. соч., академич. изд., т. IX, ч. II, стр. 627, сноска). Вслед за этим Пушкин рассматривает положение писателей в XVII в., говорит о Вольтере как представителе французской литературы XVIII в. и оканчивает обозрение ее у порога Французской революции. Далее он должен был перейти к русской литературе XVIII в., но на этом кончается черновик «последней тетради».

Этот неоконченный черновик Пушкин вероятно тогда же, в 1834 г., стал переписывать набело, при чем снова и снова перерабатывал текст (включив, между прочим, в него приведенный выше набросок 1830 г.), так что начатый красивым, почти парадным почерком беловик подконец превратился в обычный пушкинский стремительный и испещренный



ОБОРОТ ПОСЛЕДНЕГО ЛИСТА СТАТЬИ ПУШКИНА „ОТРЫВОК ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЛЕТОПИСЕЙ“

Институт Русской Литературы, Ленинград

помарками неразборчивый черновик (находится в ИРЛИ в Ленинграде). Переписку набело и переработку Пушкин довел только до середины XVII в., до появления Буало.

Я не буду приводить текста черновика начала статьи: он напечатан (хотя и не очень вразумительно и с рядом ошибок) в IX томе академического издания (ч. II, стр. 622—625). Приведу тот последний, «окончательный» вид, который приняла статья в перебеленном виде. Сказанное выше об известной гипотетичности предлагаемого текста относится в неменьшей степени и к этой статье.

О НИЧТОЖЕСТВЕ ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОЙ[7]

Долго Россия оставалась чуждою Европе. Приняв свет христианства от Византии, она не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности Римско-Кафолического мира. Великая эпоха возрождения не имела на нее никакого влияния; рыцарство не одушевило предков наших чистыми восторгами, и благодетельное потрясение, произведенное крестовыми походами, не отозвалось в краях оцепеневшего севера... России определено было высокое предназначение: ее необозримые равнины поглотили силу Монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией *.

Духовенство, пощаженное удивительной сметливостию татар, одно — в течение двух мрачных столетий — питало бледные искры византийской образованности. В безмолвии монастырей иноки вели свою беспрерывную летопись. Архиереи в посланиях своих беседовали с Князьями и Боярами, утешая сердца в тяжкие времена искушений и безнадежности. Но внутренняя жизнь порабощенного народа не развивалась. Татаре не походили на Мавров. Они, завоевав Россию, не подарили ей ни Алгебры, ни Аристотеля. Свержение ига, споры Великокняжества с уделами, единовластия с вольностями городов, самодержавия с боярством и завоевания с народной самобытностью не благоприятствовали свободному развитию просвещения. «И между тем, как» Европа наводнена была неимоверным множеством поэм, легенд, сатир, романсов, мистерий и проч. — старинные наши архивы и вивлиофики кроме летописей не представляют почти никакой пищи любопытству изыскателей[8]. Несколько сказок и песен, беспрестанно поновляемых изустным преданием, сохранили полуизглаженные черты народности, и *Слово о Полку Игореве* возвышается уединенным памятником в пустыне нашей древней словесности.

Но и в эпоху бурь и переломов цари и бояре согласны были в одном: в необходимости сблизить Россию с Европой. Отселе отношения Ивана Васильевича с Англией, переписка Годунова с Данией, условия, поднесенные польскому королевичу аристократией XVII столетия, посольства Алексея Михайловича [во Францию]...[9]

---

* А не Польшею, как еще недавно утверждали европейские журналы: но Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна.

ВТОРОЙ ТОМ „СОВРЕМЕННИКА"
С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ
ПУШКИНА Г. П. НЕБОЛЬСИНУ

Институт Русской Литературы, Ленинград

СОВРЕМЕННИКЪ,

ЛИТТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ,

издаваемый

АЛЕКСАНДРОМЪ ПУШКИНЫМЪ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1836

Наконец явился Петр.

Россия вошла в Европу, как спущенный корабль при стуке топора и при громе пушек. Но войны, предпринятые Петром Великим, были благодетельны и плодотворны. Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы и Европейское Просвещение причалило к берегам завоеванной Невы.

Петр не успел довершить многое, начатое им. Он умер в поре мужества, во всей силе творческой своей деятельности. Он бросил на словесность взор рассеянный, но проницательный. Он возвысил Феофана, ободрил Копиевича, невзлюбил Татищева за легкомыслие и вольнодумство, угадал в бедном школьнике вечного труженика Тредьяковского. Сын Молдавского Господаря воспитывался в его походах; а сын холмогорского рыбака, бежав от берегов Белого моря, стучался в двери Заиконоспасского училища[10].

Семена были посеяны. Новая словесность, плод новообразованного общества, скоро должна была родиться.

В начале 18 столетия Французская литература обладала Европою. Она должна была иметь на Россию долго[е] и решительное влияние. Прежде всего надлежит нам ее исследовать[11].

Рассмотря бесчисленное множество мелких стихотворений, баллад, рондо, вирле, сонетов и поэм, аллегорических, сатирических, рыцарских романов, сказок, фаблио, мистерий etc., коими наводнена была Франция в начале 17 столетия, нельзя не сознаться в бесплодной ничтожности сего мнимого изобилия. Трудность, искусно побежденная, счастливо подобранное повторение, легкость оборота, простодушная шутка, искреннее изречение—редко вознаграждают усталого изыскателя.

Романтическая поэзия пышно и величественно расцветала во всей Европе, Германия давно имела свои Niebelungen, Италия—свою тройственную поэму, Португалия—Лузиаду, Испания—Лопе de Vega, Кальдерона и Сервантеса, Англия—Шекспира, а у французов Вильон воспевал в площадных куплетах кабаки и виселицу и почитался первым народным поэтом! Наследник его Марот, живший в одно время с Ариостом и Камоэнсом,

rima des triolets, fit fleurir la ballade.

Проза уже имела решительный перевес. Скептик Монтань и циник Рабле были современники Тассу.

Люди, одаренные талантом, будучи поражены ничтожностью и, должно сказать, п о д л о с т ь ю французского стихотворства, вздумали, что скудость языка была тому виною, и стали стараться пересоздать его по образцу древнего греческого. Образовалась новая школа, коей мнения, цель и усилия напоминают школу наших Славяно-руссов, между коими также были люди с дарованиями. Но труды Ронсара, Жоделя и Дюбелле остались тщетными. Язык отказался от направления ему чуждого и пошел опять своей дорогою.

Наконец пришел М а л е р б с такой яркой [?] точностью, с такою строгою справедливостию оцененной Великим Критиком:

Enfin Malherbe vint et le premier en France
Fit sentir dans les vers une juste cadence,
D'un mot mis à sa place enseignat le pouvoir
Et reduisit la Muse aux règles du dévoir.
Par ce sage écrivain la langue réparée
N'offrit plus rien de rude à l'oreille épurée.
Les stances avec grace apprirent à tomber
Et le vers sur le vers n'osa plus enjamber.

Но Малерб ныне забыт подобно Ронсару, сии два таланта, истощившие силы свои в усовершенствовании стих[а]. Такова участь, ожидающая писателей «которые пекутся более о механизме языка», нежели о мысли, истинной жизни его, не зависящей от употребления.

Каким чудом посреди «общего ничтожества французской поэзии, посреди общего падения вкуса, недостатка истинной критики и шаткости мнений» вдруг явилась толпа истинно великих писателей, покрывших таким блеском конец XVII века? Политическая ли щедрость кардинала Ришелье, тщеславное [ли] покровительство Людовика XIV были причиной такого феномена? Или каждому народу судьбою предназначена эпоха, в которой созвездие гениев вдруг является, блестит и исчезает? Как бы то ни было, вслед за толпою бездарных, посредственных и несчастных стихотворцев, заключающих период старинной французской поэзии, тотчас выступают [нрзб.] Корнель, Буало, Расин, Мольер, Лафонтен*. И владычество их над умами просвещенного мира тораздо легче объясняется, нежели их неожиданное пришествие.

У других европейских народов поэзия существовала прежде появления бессмертных гениев, одаривших человечество своими великими созданиями. Сии Гении шли по дороге уже проложенной. Но у фран-

* Сбоку приписано: «Паскаль, Босюет и Фенелон».

пузов возвышенные умы XVII столетия застали народную поэзию в пеленках, презрели ее бессилие и обратились к образцам классической древности. Буало, поэт, одаренный мощным талантом и резким умом, обнародовал свое уложение, и словесность ему покорилась. Старый Корнель один остался представителем романтической Трагедии, которую так славно вывел он на французскую сцену.

Здесь кончается связный текст «беловика». Остальная часть статьи осталась в черновике (в «последней тетради» Лен. Библ. № 2384). К беловику же примыкает еще один листок, где показаны вставки в дальнейший текст. Зачеркнутая пометка на «беловике»—«Некто сказал etc. (о передней)»—указывает как будто на то, что здесь должен был итти отрывок черновика, начинающийся словами «Некто у нас сказал, что французская словесность родилась в передней»... и т. д. Но эта пометка, повторяем, зачеркнута. Есть и другая пометка (также зачеркнутая): «Все великие писатели окружили престол Людовика XIV». Эта фраза является вариантом фразы черновика «Вскоре словесность сосредоточилась около его трона»... и таким образом за ней должен был итти дальнейший текст черновика: «Все писатели получили свою должность...» и далее о литературе конца XVII и затем XVIII в.

Приведем сначала отрывок черновика «Некто у нас сказал...»

«Некто у нас сказал, что французская словесность родилась в передней [и далее гостиной не доходила]. Это слово было повторено и во фр[анцузских] жур[налах] и замечено, как жалкое мнение (opinion déplorable). Это не мнение, но истина историч[еская], буквально выраженная: Марот был камердинером Франциc[ка] I-ого (valet de chambre), Мольер—камердинером Люд[овика] XIV... Буало, Расин и Вольтер (особенно Вольтер) конечно дошли до гостиной, но все-таки

Ф. Ф. БУЛГАРИН
Карикатура К. Брюллова
Третьяковская галлерея, Москва

через переднюю. Об новейших Поэт[ах] говорить нечего. Они конечно на площади, с чем их и поздравляем.

Влияние, которое Франц[узские] писатели произвели на общество, должно приписать их старанию принаравливаться к господствующему вкусу и мнениям публики—Замеч[ательно], что ни один из известных Франц[узских] поэтов были из Парижа. Вольтер, изгн[анный] из столицы тайным указом Людовика XV, полушутливым, полуважным тоном советует писателям оставаться в Париже, если дорожат они покровительством Аппол[она] и Бога Вкуса.

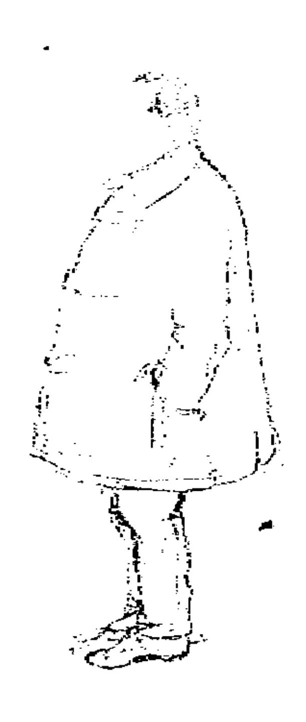
Ни один из Франц[узских] поэтов не дерзнул быть самобытным, ни один, подобно Мильтону, не отрекся от современной Славы. Расин перестал писать, увидя неуспех своей Гофолии. Публика (о которой Шамфор спрашивал так забавно: сколько нужно глупцов, чтобы составить публику), легкомысл[енная] невежественная публика была единствен[ною] руководительницею и образовательницею писателей. Когда писатели перестали толпиться по передним вельмож они, дабы вновь взойти [в] доверен[ность] [??] обратились к народу, лаская его любимые мнения, или фиглярствуя независимостью и странностями, но с одной целию: выманить себе «репутацию» или деньги. В них нет и не было бескорыстной любви к Искусству и к Изящному. Жалкий народ!»

Вряд ли однако этот текст должен был составлять продолжение нашей статьи: он и не вполне соответствует теме ее и своим тоном довольно резко отличается от нее. Гораздо лучше примыкает к неоконченному «беловику» другая часть статьи черновика («Все писатели получили свою должность»). Приводим это продолжение статьи из черновика, используя также те вставки и изменения текста, которые записаны на примыкающем к «беловику» листке.

«Все великие писатели сего века окружили престол Людовика XIV.» Все писатели получили свою должность. Корнель, Расин тешили короля заказными трагедиями, истори[ограф] Буало воспевал его победы и назначал ему писателей, достойных его внимания. «Босюет и Флешье проповедывали слово Божие в его прид[ворной] капелле.» Камердинер Мольер при дворе смеялся над придворными. Академия первым правилом своего устава положила: хвалу Великого Короля. Были исключения: бедный дворянин (несмотря на господствующую набожность) печатал в Голландии свои веселые сказки о Монахинях, а сладкоречивый Епископ в книге, наполненной смелой философиею, помещал язвительную сатиру на прославленное царствование... Зато Лаф[онтен] умер без пенсии, а Фенелон в своей Эпархии, отдаленный от двора за мистическую ересь...

Отселе вежливая, тонкая словесность, блестящая, Аристократическая—немного жем[анн]ая, но тем самым понятная для всех дворян Европы, ибо высшее общество, как справедливо заметил один из новейших пис[ателей], составляет во всей Евр[опе] одно семейство.

Между тем Великий Век миновался. Людовик XIV умер, пережив свою славу и поколение своих современников. Новые мысли, новое направление отозвалось в умах, алкавших новизны. Дух порицания начинал проявляться во Франции. Умы, пренебрегая цветы словесности и благородные игры воображения, готовились к роковому предназначению XVIII века[12]. Ничто не могло быть противоположнее Поэзии,



Ф. Ф. БУЛГАРИН

Шпоры на ногах — признак жандармской формы, намекающий на его связи с III Отделением

Карикатура К. Брюллова

Третьяковская галерея, Москва

как та философия, которой XVIII век дал свое имя. Она была направлена противу Господствующей Религии, вечного источника поэзии у всех народов, и любимым орудием ее была ирония, холодная и осторожная, и насмешка, бешеная и площадная. Вольтер, великан сей эпохи, овладел и стихами как важной отраслью умственной деятельности человека. Он написал Эпопею, с намерением очернить Кафолицизм. Он 60 лет наполнял театр трагедиями, в которых, не заботясь ни о правдоподобии характеров ни о законности средств, заставил он свои лица кстати и некстати выражать правила своей философии. Он наводнил Париж прелестными безделками, в которых философия говорила общепонятным и шутливым языком, одною рифмою и метром отличавшимся от прозы. И эта легкость казалась верхом поэзии. Наконец, и он однажды в своей ст[арости] становится поэтом, когда весь его разрушительный Гений со всею свободою излился в цинической поэме, где все высокие чувства, драгоценные человечеству, были принесены в жертву Демону смеха и иронии, греческая древность осмеяна, святыня обоих Заветов обругана...

Влияние Вольтера было неимоверно. Следы Великого Века (как называли Франц[узы] век Людов[ика] XIV) исчезают. Истощенная поэзия превращается в мелочные игрушки остроумия. Роман делается скучною «проповедью» или галереей соблазнительных картин.

Все возвышенные умы следуют за Вольтером. Задумчивый Руссо провозглашает себя его учеником; пылкий Дидрот есть самый ревностный из его Апостолов. Англия, в лице Юма, Гиб[бона] и Валь[поля], приветствует «Энциклопедию». Екатерина вступает с ним в дружескую переписку, Фридрих «с ним» ссорится и мирится; общество ему поко-

рено. Европа едет в Ферней на поклонение. Наконец Вольтер умирает, в вост[орге] благословляя внука Франклина и приветствуя Новый Свет словами, дотоле неслыханными...

Смерть Вольт[ера] не останавливает потока. Министры Людов[ика] XVI нисходят в арену с писателями. Бомарше влечет на сцену, раздевает до-нага и терзает все, что еще почитается неприкосновенным. Старая монархия хохочет и рукоплещет.

Общество созрело для великого разрушения. Все еще спокойно, но уже голос молодого Мирабо, подобно отдаленной буре, глухо гремит из глубины темниц, по которым он скитается...

Европа, оглушенная, очарованная славою Французских писателей, преклоняет к ним подобострастное внимание. Германские профессора с высоты кафедры провозглашают правила Франц[узской] критики. Англия следует за Франциею на поприще философии, поэзия в отеч[естве] Шексп[ира] и М[ильтона] становится суха и ничтожна, как и во Франции, Ричардс[он] Фильд[инг] и Стерн поддерживают славу прозаич[еского] романа. Италия отрекается от Гения Dante, Metastasio подражает Расину.

Обратимся к России...

На этом кончается черновик этой замечательной статьи. Наиболее интересная для нас часть ее, касающаяся русской литературы, повидимому так и не была написана Пушкиным, и из написанного трудно даже судить, в каком направлении думал Пушкин разработать свою тему, что он хотел сказать о русской литературе XVIII—XIX вв. после этого блестящего введения.

Мало помогает нам и чересчур лаконичный план дальнейшей части статьи, написанный вслед за окончанием текста черновика ее, в «последней тетради» (Лен. Библ. № 2384):

Кан[темир]

Лом[оносов].

Влияние Кант[емира] уничтож[ается] Ломоносовым. [Влияние] Тред[ьяковского уничтожается] его бездарностью.

Постоянное борение Тредьяковск[ого]. Он побежден. Сумароков...

Е к а̀ т е р и н а (В о л ь т [е р]) Ф[он]визин Держа[вин].

Гораздо более выразителен другой план, находящийся в рукописи, недавно приобретенной в числе других в Ульяновске Ленинской библиотекой в Москве.

Это—набросок плана статьи о русской литературе, повидимому той самой, о которой у нас идет речь. Отрывки из этого плана были напечатаны еще Анненковым и с тех пор перепечатываются во всех изданиях Пушкина (см. например «Пушкин», академич. изд., т. IX, ч. I, стр. 228).

Полная транскрипция и снимок с рукописи приведены в статье «Автографы Пушкина» под ред. М. А. Цявловского. Приведу этот план (не в виде точной транскрипции, а в виде сводки текста).

Прежде всего этот план дает заглавие статьи, притом крайне интересное: «О н и ч т о ж е с т в е л и т е р а т у р ы р у с с к о й». Далее идет план, отличающийся от плана приведенной статьи отсутствием в нем первой части—исторического введения к XVIII веку[13].

СТРАНИЦА СТАТЬИ ПУШКИНА „О НИЧТОЖЕСТВЕ ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОЙ"

Институт Русской Литературы, Ленинград

«1. Быстрый отчет о франц[узской] слов[есности] в 17 стол[етии]
2. 18 стол[етие]

3. Начало р[усской] словесности. Кантемир в Париже обдумывает свои сатиры, переводит Горация. Умирает 28 лет. Ломон[осов], плененный гармонией рифма [т. е. очевидно ритма немецкого тонического стиха], пишет в первой своей молодости оду, исполненную живости etc.—и обращается к точным наукам dégouté славою Сумарокова. Сумароков. В сие время Тредьяковский—один понимающий свое дело. Между тем 18 столе[тие] allait son train. Volt[aire].

4. Екатерина, ученица 18 столетия. Она одна дает толчок своему веку. Ее угождение философам. Наказ. Словесность отказывается за нею следовать, точно так же, как народ. «Члены ко[миссии», депутаты]. Державин, Богданович, Дмитриев, Карамзин (Радищев). Сбоку приписано: «Екат[ерина] Ф[он]виз[ин] и Радищ[ев]».

Век Александров. Карамзин уединяется, дабы писать свою историю. Дмитриев—министр. Ничтожество общее. Между тем французская обмелевшая словесн[ость] envahit tout.

Вольт[ер] и Великаны [14] не имеют ни одного последователя в России; но бездарные пигмеи, грибы, выросшие у корня дубов—Дорат, Флориан, Мармонтель, Гишар, мадам Жанлис—овладевают русск[ой] сл[овесностью]. Sterne нам чужд—за исключением Карамзина.

Парни и влияние сластолюбивой поэзии на Батю[шкова], Вяз[емского], Давыдова, Пушк[ина] и Барат[ынского].

Жуковский и д в е н а д ц а т ы й год, влияние немецкое превозмогает.

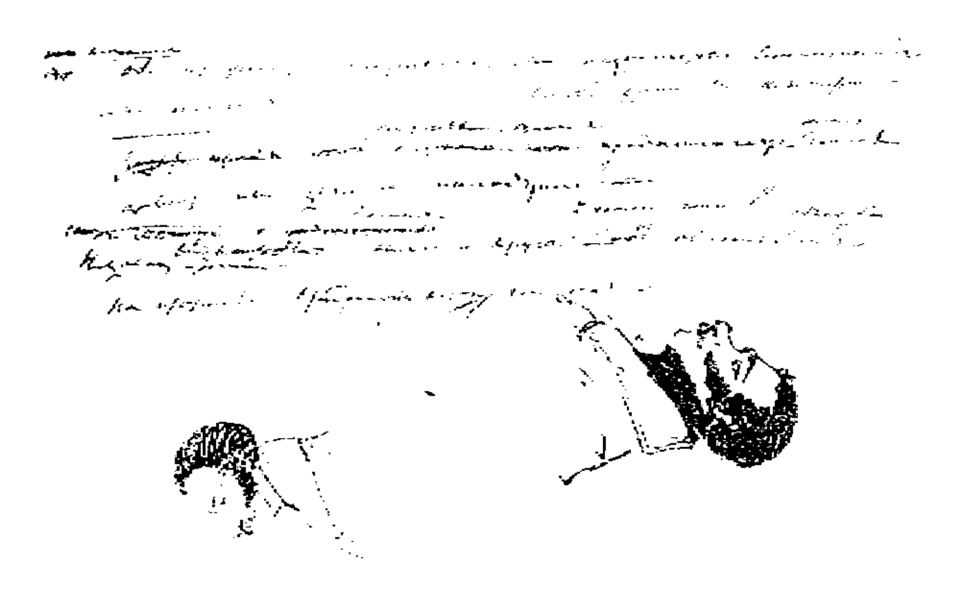
Нынешнее влияние критики французской и юной словесности. И с к л ю ч е н ь я».

Таким образом целью этого исторического обзора литературы у Пушкина было доказать «ничтожество русской литературы»—мысль, которую Пушкин не раз высказывал в своих заметках. «У нас еще нет ни словесности ни книг», «Так называемый язык богов так еще для нас нов...» и т. п.

Пушкин часто давал очень высокую оценку (иной раз преувеличенную) своим товарищам-поэтам, или противопоставлял отсутствию подлинной критики наличие «кое-какой» литературы. «Литература кое-какая у нас есть, да критики нет», пишет он А. Бестужеву в 1825 г. (Пушкин. «Письма», т. I, стр. 135); «В одном из наших журналов дают заметить, что Литературная Газета у нас не может существовать по весьма простой причине—у нас нет литературы. Если бы это было справедливо, то мы не нуждались бы и в критике» и т. д. Однако это не мешало ему смеяться над слишком щедрой и поспешной раздачей критикой писателям «титла Гения», сравнений их произведений с «бессмертными произведениями Гете и Байрона».

«Таким образом,—иронизирует Пушкин,—набралось у нас несколько своих Пиндаров, Ариостов и Байронов и десятка три писателей, делающих истинную честь нашему веку». (Статья о Боратынском. Собр. соч., изд. ГИХЛ, т. V, стр. 521.)

Подводя в середине 30-х годов итоги русской литературе, беря ее не в масштабе домашнем, не в полемике с литературными противниками, а оценивая ее в сопоставлении с мировой литературой, Пушкин должен был констатировать ее «ничтожество»...



РИСУНКИ ПУШКИНА НА ЛИСТКЕ С „РОМАНОМ В ПИСЬМАХ"

Институт Русской Литературы, Ленинград

Статья Пушкина осталась недописанной. Это вполне понятно, если вспомнить, что писал ее Пушкин в 1834 г. и тогда же бросил: дело в том, что в 1834 г. в «Молве» печаталась в ряде номеров знаменитая статья Белинского «Литературные мечтания», где, давая, так же как Пушкин, обзор русской литературы от Кантемира до 30-х годов XIX в., он в высшей степени талантливо и горячо (хотя и чрезмерно многословно) доказывал свое основное положение, что у нас пока еще нет литературы. Прочтя эту статью Белинского, столь совпадающую по основной установке и даже по общему плану с начатой им статьей «О ничтожестве литературы русской», Пушкин конечно должен был отказаться от своего замысла. Белинского же, как мы теперь знаем, он последние годы ценил очень высоко, вел с ним переговоры о работе его в «Современнике» и дал в «Письме к издателю» (за подписью А. Б.) крайне сочувственный (хотя и с оговоркой) отзыв о деятельности молодого критика. «Он обличает талант, подающий большую надежду. Если бы с независимостью мнений и остроумием своим он соединял более учености, более начитанности, более уважения к преданию, словом, более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного». Собр. соч., изд. ГИХЛ, т. V, стр. 246—247).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Здесь и в других подобных случаях квадратными скобками обозначены редакторские вставки в текст Пушкина, ломаными—места, зачеркнутые Пушкиным.

[2] В рукописи дальше идет: «(Таково и проч.)», т. е. сюда предполагалось вставить абзац, начинающийся этими словам. Но затем Пушкин перенес его в другое место, см. ниже.

[3] Эта фраза написана на отдельном листке белой бумаги (где помещена и другая вставка в текст статьи—см. ниже) в таком виде: «если бы она остановилась на сих опытах, то строгие приговор‹о›ры фр[анцузских] критик[и]ов были бы справед-

ливы, но отрясли [?]. ‹Она› ‹и› ‹ныне› ‹вскоре› является нам ‹Она› соперницею древней Музы—Италия». В основном же тексте было: «Отрасли ее быстро и пышно процвели. Италия присвоила» и т. д.

⁴ Вместо этих зачеркнутых слов написано: «Гете оживил сатир. Реинке фукс».

⁵ Дальше было зачеркнуто: «‹Странную› ‹блестящую› ‹смесь› некоторых ‹Готических понятий с правилами› ‹оракулами› ‹Горациевой пиитики›.

⁶ Сначала после этого шла у Пушкина вставка—она не могла отучить[ся] от некоторых врожденных привычек. В ней осталось готическое жеманство, облеченное в строгие формы классические». На отдельном же листке—см. выше—показана другая вставка: «сия лжеклассическая поэзия ‹рожденная› образованная и проч.» Тут очевидно имелась в виду вставка текста, отчеркнутого Пушкиным на л. 33, «Отселе начало французской ‹класс› поэзии.... рожденной в передней и никогда недоходившей далее гостиной». И далее: «Она не могла отучиться от некоторых врожденных привычек».. и т. д.

⁷ Об этом заглавии, отсутствующем в рукописях статьи, см. ниже.

⁸ Не вполне ясные указания недоработанного автографа дают возможность представить эту фразу и в ином виде: «Европа наводнена была неимоверным множеством поэм, легенд, сатир, романов, мистерий и проч.—‹но› старинные наши архивы»... и т. д.

⁹ Последней фразы в беловике нет. Но над следующей фразой поставлен крестик, который, по моему мнению, является не вполне ясной ссылкой на соответствующее место черновика, где (в двух его редакциях) находится приведенная фраза. Вот почему я решаюсь ввести ее в текст.

¹⁰ Эта фраза написана в рукописи на полях. Она раньше начиналась словами: «Сын молдавского господаря воспитывался в походах Петра Великого»... и должна была видимо следовать за словами «Семена были посеяны». Затем Пушкин обвел эту вставку чертой и заменил выражение «в походах Петра Великого» словами «в е г о походах», т. е. перенес фразу в другое место, именно—в непосредственный контекст рассуждений о Петре. Наиболее вероятным кажется порядок фраз, предложенный в тексте.

¹¹ Далее шел сначала следующий текст: «Когда в XII столетии под небом полуденной Франции рифма отозвалась в провансском наречии, ухо ей обрадовалось, трубадуры стали играть ею, придумывать для нее всевозможные изменения стихов, окружили ее самыми затруднительными формами. Таким образом изобретены рондо, вирле, баллада * и триолет. Но ум не может довольствоваться одною игрою звуков; чувство требует чувства; воображение—картин и рассказов. Трубадуры и труверы обратились к новым источникам вдохновения: аллегория сделалась любимой формою вымысла; церковные празднества и темные понятия о древней трагедии породили мистерии. Явились ле, роман и фаблио. Но все сии слабые опыты, не оживленные силою дарования, подходили под одну черту совершенной ничтожности.

Романтическая поэзия, коей изобразили мы смиренное рождение, пышно и величественно расцветала по всей Европе. Уже Италия имела ‹тройственную› поэму, в которой все предания, все знание, все страсти, вся духовная жизнь—воплощены были чудной [?] силою поэзии и сделались, так сказать, доступны осязанию,—а у французов Вильон воспевал в площадных куплетах кабаки, воровство и виселицу, наследник его Марот, современник Ариоста, Камоэнса и Спенсера

rima des triolets, fit fleurir la ballade.

Прозаическая легкость оборотов, счастливо подобранный припев—вот в чем почиталось главное достоинство стихотворства. Редко искреннее изречение или простодушная шутка вознаграждает усталого изыскателя. ‹Проза и тогда уже имела перевес. Циник Рабле и скептик Монтань были современники ‹Мароту› и ‹Ронсару›».

¹² В рукописи есть другой вариант этого места: «Монтескье, обдумывая Дух законов, отдыхал за Персидскими Письмами, молодой Вольтер готовился к своему роковому предназначению.

В сие время молодой князь А. Кантемир находился русским посланником в Париже...»

¹³ Это отличие однако не дает еще повода к тому, чтобы отказаться от мысли отождествить или по крайней мере тесно сблизить статью «О ничтожности литературы русской» с нашей статьей.

¹⁴ Мое ошибочное чтение этого слова—«Beaumarchais»—исправлено Д. П. Якубовичем.

---

* Балладой называлось небольшое стихотворение, в коем рифмы сочетались известным образом и которое начиналось и оканчивалось теми же словами. [Примечание Пушкина].

ПУШКИН В РАБОТЕ НАД „ИСТОРИЕЙ ПУГАЧЕВА“

Статья Ю. Оксмана

I

Пугачевщина как объект политических и литературных интересов, научно-исследовательских разысканий и, наконец, определенных художественных построений является в творческой биографии Пушкина 30-х годов темой стержневой и в проблематике советского пушкиноведения наиболее может быть ответственной и актуальной.

Между тем, до сих пор не только не изучены, но даже не описаны и не опубликованы все те документальные, мемуарные и фольклорные материалы по истории пугачевщины, которые были собраны или даже впервые записаны Пушкиным в Петербурге, в Москве, в Поволжьи и в Оренбурге. О ценности этих материалов можно судить хотя бы на основании того, что среди них находятся до сих пор неизвестные историкам акты столичных и провинциальных архивов, документы государственных собраний и частных коллекций, что в число их входят и записи рассказов живых свидетелей и непосредственных участников событий, что в ряду информаторов Пушкина были, с одной стороны, кадровые пугачевцы, герои и жертвы восстания, с другой—поволжские помещики и купцы, офицеры царской армии и чиновники следственных комиссий и, наконец, такие поэты и литераторы—очевидцы событий 1773—1774 гг., как И. А. Крылов и И. И. Дмитриев.

Не вошли до сих пор полностью в научный оборот и творческие рукописи Пушкина, связанные с историей пугачевщины; мы имеем в виду его многочисленные заметки, выписки и конспекты, уясняющие сейчас гораздо точнее, чем позднейшая подцензурная «История Пугачевского бунта» то, что больше всего занимало Пушкина в летописях крестьянской войны 1773—1774 гг., определяющие, как именно и с каких позиций реагировал он на тот или иной ее этап, как расценивал ее вождей, их социальную базу и, что может быть всего важнее, их лозунги и перспективы.

Не знаем мы до сих пор и причин, ближайшим образом обусловивших обращение Пушкина к истории крестьянской революции 1773—1774 гг., или, точнее, располагаем такими ответами на этот вопрос, которые свидетельствуют или об исключительной наивности или о тенденциознейших передержках и извращениях при передаче основных фактов работы Пушкина над материалами по истории Пугачева в трудах пушкиноведов как буржуазно-дворянской, так и народнической формации.

Так, академик Я. К. Грот, публикуя переписку Пушкина с военным министром графом А. И. Чернышевым о материалах по истории пугачевщины в архивах Главного штаба, формулировал еще в 1862 г. тезис о том,

что «в начале 1833 г. поэт возымел мысль написать историю Суворова», в порядке реализации этой «мысли» заинтересовался данными об участии Суворова в ликвидации Пугачевского «мятежа», обильные материалы о котором неожиданно, однако, заслонили начальную тему [1]. Концепция Я. К. Грота была популяризирована в 1880 г. в примечаниях П. А. Ефремова к новому изданию «Сочинений Пушкина» [2], вошла затем в широкий школьный оборот благодаря известному изданию Льва Поливанова «Сочинения А. С. Пушкина с объяснениями их и сводом отзывов критики» [3], безоговорочно утвердилась в специальной литературе[4] и, наконец, перед самой революцией 1917 г. была канонизирована в академическом издании «Истории Пугачевского бунта».

«На историческую работу о Пугачеве поэт натолкнулся довольно случайно,—удостоверял академический комментатор профессор Н. Н. Фирсов.—Из переписки Пушкина видно, что он собирался писать по истории, но в его воображении мелькали иные темы: то величественный образ Петра I, историю коего Пушкин намеревался разрабатывать в сотрудничестве с Погодиным, то замысловатая, обвеянная военной легендой фигура генералиссимуса Суворова, то полная ума и сарказма, эффектная, львиная фигура здравствовавшего тогда, хотя и опального, героя Бородина и Кавказа—генерала А. П. Ермолова. В начале 1833 года Пушкин наиболее активно заинтересовался славным «генералиссимусом», но, как это ни странно на первый взгляд, задуманная Пушкиным «История Суворова» привела поэта к «Истории Пугачева». Как это случилось? Несколько справок разъясняет, в чем тут дело. Прежде всего укажем на то обстоятельство, что тогда общий ход пугачевщины был мало известен и, по традиции, «неутомимому» Суворову приписывалось «взятие самозванца и конечное прекращение мятежа». Неудивительно поэтому, что Пушкин, решив написать «историю графа Суворова», пожелал получить из архивов Главного штаба в числе прочих документов для этой «истории» и «следственное дело о Пугачеве». 29-го февраля военный министр граф Чернышев, удовлетворяя просьбу Пушкина, препроводил к нему из С.-Петерб. архива Инспекторского департамента и три книги, касающиеся до истории графа Суворова-Рымникского. Приступая к изучению бумаг о Пугачеве, Пушкин предполагал, что очерк о нем с рассказом об участии Суворова в поимке самозванца явится одною из глав в истории его главного героя—Суворова; но документы о Пугачеве, с которыми он познакомился, повидимому, захватили поэта, и он увлекся этой исторической темой... Мы не должны забывать о такой преемственности в исторических занятиях Пушкина, тем более, что о ней не забыл и сам автор, представив публике (в предисловии) свою «Историю Пугачевского бунта» как отрывок оставленного труда; Пушкин не обозначил к а к о г о, — вероятно, чувствуя всю непропорциональность между историей Пугачева и относящимся к ней небольшим кусочком биографии Суворова» [5].

Мы привели формулировки академического комментария полностью только для того, чтобы более к ним не возвращаться. Вся аргументация проф. Н. Н. Фирсова, объединяя ошибки и передержки его предшественников, построена на ложном толковании первых строк предисловия Пушкина к «Истории Пугачевского бунта» и на столь же неправильной интерпретации переписки Пушкина с гр. А. И. Чернышевым.

В самом деле, Пушкин нигде и никогда не писал о том, что его работа о Пугачеве является «отрывком» какого-то другого им якобы «оставлен-

ного труда». Вот точный текст первых строк его предисловия к «Истории Пугачевского бунта»: «Сей исторический отрывок составлял часть труда, мною составленного. В нем собрано все, что было обнародовано правительством касательно Пугачева, и то, что показалось мне достоверным в иностранных писателях, говоривших о нем. Также имел я случай пользоваться некоторыми рукописями, преданиями и свидетельствами живых». Итак, речь шла о публикации части труда, с о с т а в л е н н о г о Пушкиным, а не «оставленного» им, как тенденциозно извращал точный пушкинский текст академический комментатор, т. е. о неполном печатании всех собран-

ИСТОРІЯ

ПУГАЧЕВСКАГО

БУНТА.

ЭКЗЕМПЛЯР „ИСТОРИИ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА" С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ПУШКИНА А. П. КУНИЦЫНУ

Институт Русской Литературы, Ленинград

ных и изученных поэтом материалов о пугачевщине, а вовсе не об извлечениях из никогда не существовавшей работы о фельдмаршале Суворове.

Обратимся к письму Пушкина к графу А. И. Чернышеву от 7 февраля 1833 г.:

«Приношу Вашему Сиятельству искреннейшую благодарность за внимание, оказанное к моей просьбе. Следующие документы, касающиеся Истории графа Суворова, должны находиться в архивах Главного Штаба.

1. Следственное дело о Пугачеве.
2. Донесения графа Суворова во время кампании 1794 года.
3. Донесения его 1799 года.
4. Приказы его к войскам.

Буду ожидать от Вашего Сиятельства позволения пользоваться сими драгоценными материалами».

Письмо это, закрепляющее какую-то неизвестную нам беседу Пушкина с гр. А. И. Чернышевым, ни одним словом не свидетельствовало о намерении Пушкина писать «Историю Суворова». Пушкин говорил лишь о документах, «касающихся истории графа Суворова», при чем несколько неожиданно начинал перечень интересующих его материалов «Следственным делом о Пугачеве». Идущие вслед за тем упоминания о донесениях графа Суворова во время кампаний 1794 и 1799 гг. производят впечатление совершенно случайных привесков к строкам о «следственном деле Пугачева», ибо ни начальные моменты военной карьеры Суворова, ни такие этапы ее, как знаменитые операции под Туртукаем в 1773 г., под Кинбурном в 1787 г., под Очаковым, Фокшанами и Рымником в 1789 г., под Измаилом в 1790—1791 гг. и мн. др., почему-то вовсе не занимают Пушкина. Даже если признать, что в своей беседе с военным министром Пушкин и сослался на свой интерес к «Истории Суворова», то эту ссылку следует понимать лишь как определенный тактический ход для получения доступа к совсем иным материалам.

Поскольку генералиссимус А. В. Суворов принимал некоторое участие в ликвидации пугачевщины, постольку не мог вызвать подозрений и интерес Пушкина к документам 1773—1774 гг. Нельзя при этом забывать о том, что пугачевщина являлась в эту пору темой запретной для исследователей, что все без исключения архивные данные о ней официально считались секретными и что, наконец, самое обращение к материалам о крестьянской революции не могло не компрометировать Пушкина, которому разрешены были царем лишь разыскания в области биографии Петра Великого.

Самым же сильным аргументом в пользу того, что занимал Пушкина в начале 1833 г. не Суворов, а Пугачев, является план исторического романа, точная дата которого на семь дней предшествовала обращению поэта к графу А. И. Чернышеву. Приводим этот план полностью:

«Шванвич за буйство сослан в гарнизон.

Степная крепость—подступает Пугачев—Шванвич предает ему крепость—взятие крепости—Шванвич делается сообщником Пугачева—Ведет свое отделение в Нижний—Спасает соседа отца своего.—Чика между тем чуть было не повесил стар[ого] Шванвича.—Шванвич привозит сына в Петербург.—Орлов выпрашивает его прощение. 31 янв. 1833».

Этот параллелизм творчески-литературных и научно-исследовательских интересов, получивший выражение в одновременной работе над собиранием и изучением материалов по истории пугачевщины и в планировках романа из этой же эпохи, в позднейшем черновом письме Пушкина к А. Х. Бенкендорфу от 6 декабря 1833 г. был формулирован следующим образом: «Намерение мое было написать исторический роман, относящийся ко времени Пугачева, но нашед множество драгоценных материалов, я оставил вымысел и написал Историю Пугачевщины».

Имя подпоручика 2-го гренадерского полка Михаила Александровича Шванвича (точнее Швановича), родовитого дворянина, перешедшего из командного состава императорской армии в штаб Пугачева, могло стать известно Пушкину прежде всего из правительственного сообщения от 10 января 1775 г. «О наказании смертною казнью изменника, бунтовщика и самозванца Пугачева и его сообщников. С присоединением объявления прощаемым преступникам»:

«Подпоручика Михайла Швановича,—отмечалось в разделе восьмом этой официальной «сентенции»,—за учиненное им преступление, что он будучи

в толпе злодейской, забыв долг присяги, слепо повиновался самозванцовым приказам, предпочитая гнусную жизнь честной смерти,—лишив чинов и дворянства ошельмовать, переломя над ним шпагу» [6].

Поскольку никаких других данных об этом сподвижнике Пугачева не мог Пушкин заимствовать из печатных источников, а материалы архивные ему в январе 1833 г. еще были недоступны, естественно предположить, что интерес романиста к исторической личности Шванвича определился под непосредственным воздействием каких-то более определенных устных свидетельств, анекдотов или воспоминаний о последнем.

И действительно, в бумагах Пушкина, связанных, правда, не с начальным замыслом «Капитанской дочки», а с более поздней работой над дополнениями к «Истории Пугачевского бунта», сохранились две заметки об отце и сыне Шванвичах, тематически близкие комментируемому нами плану повести и восходящие, как свидетельствует пояснительная ссылка самого поэта—«Слышал от Н. Свечина»,—к совершенно конкретным рассказам одного из их знакомцев.

Судя по данным Н. Свечина, записанным Пушкиным, Александр Мартынович Шванвич, гвардейский офицер времен Петра III, буйный кутила, «повеса и силач», обезобразивший Алексея Орлова, разрубив ему щеку в «трактирной ссоре», после переворота, «возведшего Екатерину на престол, а Орловых на первую ступень в государстве», «почитал себя погибшим». Однако «Орлов пришел к нему, обнял и остался с ним приятелем». Впоследствии А. М. Шванвич, бывший одно время кронштадтским комендантом, служил в Новгороде. Сын же его, «находившийся в команде Чернышева, имел малодушие пристать к Пугачеву и глупость служить ему со всеусердием. Г[раф] А. Орлов выпросил у государыни смягчение приговора» [7].

Исторические черты Шванвича, еще очень четкие в приведенном нами выше плане, в окончательной редакции «Капитанской дочки» раздваиваются в образах Гринева и Швабрина. Если этот разлом единого прежде персонажа и был обусловлен, в конечном счете, соображениями цензурно-тактического, а не художественного порядка (повесть о дворянине, сознательно переходящем на сторону крестьянской революции, не могла, конечно, рассчитывать на печать), то все же нет никаких оснований для признания изменника Шванвича политическим рупором автора даже в тех начальных наметках романа, о которых мы можем судить по дошедшим до нас его планам.

II

Перспективы крестьянской революции и связанные с последней вопросы о той или иной линии поведения либерального меньшинства правящего класса, сдавленного рамками полицейско-крепостнического государства, но в то же время терроризованного и призраком новой пугачевщины, впервые встали перед Пушкиным во всей своей конкретности и остроте летом 1831 г.

Письма и заметки поэта именно этой поры дают исключительно богатый материал для суждения об эволюции его общественно-политических взглядов под непосредственным воздействием все более и более грозных вестей о расширении плацдарма крестьянских «холерных бунтов» и солдатских восстаний.

«Les temps sont bien tristes,—писал Пушкин 29 июня 1831 г. П. А. Осиповой [8]. — L'épidémie fait à Pétersbourg de grands ravages. Le peuple s'est

ameuté plusieurs fois. Des bruits absurdes s'étoient répandus. On prétendoit que les médecins empoisonnoient les habitans. La populace furieuse en a massacré deux. L'Empereur s'est présenté au milieu des mutins... Ce n'est pas le courage, ni le talent de parole qui lui manquents; cette fois-ci l'émeute a été apaisé; mais les désordres se sont renouvelés depuis. Peut-être sera-t-on obligé d'avoir recours à la mitraille»*.

Особенно нервно реагировал Пушкин на террористические акты, сопровождавшие вооруженные выступления военных поселян:

«Ты верно слышал о возмущениях Новгородских и Старой Руссы. Ужасы!—писал Пушкин 3 августа 1831 г. кн. П. А. Вяземскому.—Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны в Новгородских поселениях со всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасильничали жен; 15 лекарей убито; спасся один при помощи больных, лежащих в лазарете; убив всех своих начальников, бунтовщики выбрали себе других—из инженеров и комуникационных. Государь приехал к ним вслед за Орловым. Он действовал смело, даже резко; разругав убийц, он объявил прямо, что не может их простить, и требовал выдачи зачинщиков. Они обещались и смирились. Но бунт Старо-Русской еще не прекращен. Военные чиновники не смеют еще показаться на улице. Там четвертили одного генерала, зарывали живых и проч. Действовали мужики, которым полки выдали своих начальников. Плохо, ваше сиятельство! Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы» *.

Напомним, что секретное «Обозрение происшествий и общественного мнения в 1831 г.», вошедшее в официальный отчет III Отделения, следующим образом характеризовало ситуацию, взволновавшую Пушкина: «В июле месяце бедственные происшествия в военных поселениях Новгородской губернии произвели всеобщее изумление и навели грусть на всех благомыслящих. Происшествия сии возбудили в то же время и толки, сколь вредно и опасно может быть для столицы соседство военных поселений»[10].

Еще резче и тревожнее был отклик на новгородские события самого Николая I. В письме к графу П. А. Толстому царь прямо свидетельствовал о том, что «Бунт в Новгороде важнее, чем бунт в Литве, ибо последствия могут быть страшные! Не дай и сохрани нас от того милосердный бог, но я крайне беспокоюсь», а принимая 22 августа 1831 г. в Царском Селе депутацию новгородского дворянства, он же заявлял: «Приятно мне было слышать, что крестьяне ваши не присоединились к моим поселянам: это доказывает ваше хорошее с ними обращение; но, к сожалению, не везде так обращаются. Я должен сказать вам, господа, что положение дел весьма не хорошо, подобно времени бывшей французской революции. Париж—гнездо злодеяний—разлил яд свой по всей Европе. Не хорошо. Время требует предосторожности»[11].

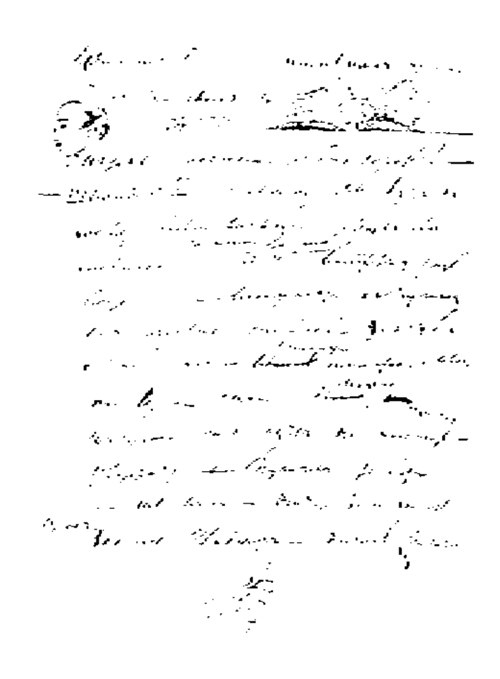
В аспекте классовых боев 1831 г. получали необычайно острый политический смысл и исторические уроки пугачевщины. Концепция последней,

---

* Перевод: Времена очень печальны. Эпидемия производит большие опустошения в Петербурге. Народ несколько раз приходил в волнение. Распространялись нелепые слухи. Уверяли, что врачи отравляют население. Разгневанная чернь убила двоих из них. Государь явился среди мятежников; ни в мужестве, ни в искусстве говорить у него нет недостатка, и на этот раз восстание было усмирено; но с тех пор беспорядки возобновились. Может быть придется прибегнуть и к картечи.—*Ред.*

ТРЕТЬЯ РЕДАКЦИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПЛАНА „КАПИТАНСКОЙ ДОЧКИ“

Институт Русской Литературы, Ленинград



как «бессмысленного и беспощадного русского бунта», предопределяя и всю социальную дидактику будущей «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки» (невозможность либерально-дворянского компромисса с крестьянской революцией), ясно обозначилась для Пушкина не в результате позднейших пристальных изучений им пугачевских материалов, а еще года за полтора до окончательного оформления этой линии его творческих и исследовательских интересов.

Переписка Пушкина позволяет установить, что ближайшим информатором его о кровавых эксцессах восстания военных поселян—фактах, не подлежавших конечно оглашению в тогдашней прессе,—был поэт Н. М. Коншин, совмещавший служение музам с весьма прозаической работой правителя дел Новгородской секретной следственной комиссии. Необычайно характерно, что в своей оценке событий 1831 г. Пушкин полностью солидаризовался со своим официозным корреспондентом, сентенции которого предвосхищали, как полагаем мы, и идеологический субстрат знаменитой пушкинской формулы «русского бунта».

«Я теперь как будто за тысячу по крайней мере лет назад, мой любезнейший Александр Сергеевич,—писал Н. М. Коншин Пушкину в первых числах августа 1831 г.—Кровавые сцены самого темного невежества перед глазами нашими перечитываются, сверяются и уличаются. Как свиреп в своем ожесточении народ русской! Жалеют и истязают; величают вашим высокоблагородием и бьют дубинами,—и это всё вместе. Чорт возьми, это ни на что не похоже. Народ наш считают умным, но здесь не видно ни искры здравого смысла» [13].

Следует отметить, что к событиям 1830—1831 гг. восходили не только общие идеологические установки «Капитанской дочки», но, как мы устанавливаем, даже некоторые детали ее бытописи. Ср. напр. рассказ Пушкина

о его попытке пробиться из Болдина в Москву в октябре 1830 г. «в самый разгар холеры, чуть не взбунтовавшей 16 губерний» («Я тотчас собрался в дорогу и поскакал. Проехав 20 верст, ямщик мой останавливается: застава. Несколько мужиков с дубинами охраняли переправу через какую-то речку... Ни они, ни я хорошенько не понимали зачем они стояли тут с дубинами и с повелением никого не пускать» и пр.) с известной сценой в пропущенной главе позднейшей «Капитанской дочки»: «Что такое?» спросил я с нетерпением. «Застава, барин»,—отвечал ямщик, с трудом остановя разъяренных коней. В самом деле, я увидел рогатку и караульного с дубиною. Мужик, подошед ко мне, снял шляпу, спрашивая пашпорту». Эти же впечатления от крестьянской карантинной милиции 1830—1831 гг. предопределили и зарисовку столкновений Гринева с пугачевской заставой у Бердской слободы при попытке его пробиться из Оренбурга в Белогорскую крепость (гл. XI).

К пушкинским писаниям 1830 г. восходит и известное место четвертой главы «Капитанской дочки»: «Петр Андреевич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затянул мою любимую:

Капитанская дочь
Не ходи гулять в полночь».

В черновой редакции «Барышни-крестьянки», датированной «20 сент». 1830 г., нами обнаружены следующие строки:

«И Настя побежала прочь, распевая свою любимую песню:

Капитанская дочь
Не ходи гулять в полночь».

III

Изучение дошедших до нас планов «Капитанской дочки» позволяет установить, что как бы ни изменялся фабульный узор повести о Шванвиче, политические установки в процессе всех переработок начального замысла оставались неизменными: союз Шванвича с Пугачевым мог по-разному мотивироваться, но, конечно, никогда не оправдывался. Даже в первых трех планах «Капитанской дочки», в которых образ Шванвича еще идеологически не обезличился в чертах Башарина—Гринева и не деградировал до Швабрина, исторический факт его перехода в лагерь крестьянской революции объясняется только как случайная личная авантюра, а не социально осмысленный акт.

Самый ранний из известных нам набросков будущей повести («Кулачный бой—Шванвич—Перфильев—Перфильев купец—Шванвич за буйство сослан в деревню—встречает Перфильева»), еще не развертывая интриги, как-то связывает появление Шванвича в рядах пугачевцев с его случайным прежним знакомством (очевидно еще в Петербурге) с Афанасием Перфильевым. Последний входил, как известно, в состав делегации от Яицкого казачества к Екатерине II, долго жил в столице и присоединился к Пугачеву лишь в самом конце 1773 г. [13]

Во втором, несколько более развернутом плане «Капитанской дочки» («Шванвич за буйство сослан в гарнизон», и пр., см. выше, стр. 446) герой повести связан уже не с Перфильевым, а с самим Пугачевым, существенную же роль в развитии всей фабулы играет не только сам будущий изменник, но и его отец. Третьей редакцией плана романа является следующая запись:

«Крестьянский бунт—Помещик пристань держит, сын его—

Мятель—Кабак—Разбойник вожатый—Шванвич ст‹арый›—Молодой человек едет к соседу, бывшему воеводой—Марья Ал‹ександровна?› сосватана за племянника, которого не любит. М‹олодой› Шванвич встречает разбойника вожатого.—Вступает к Пугачеву—Он предводительствует шайкой—Является к Марье Ал. [Вешает] Спасает семейство, и всех.

Последняя сцена.—Мужики отца его бунтуют, он идет на помощь.—Уезжает—Пугачев разбит.—Молодой Шванвич взят—Отец едет просить Екатерину.—Орлов—Дидерот—Казнь Пугачева».

Несколько неожиданное упоминание имени «Дидерот» в концовке этого плана, относящегося вероятно к самому началу 1833 г., прежде всего должно быть связано с письмом Пушкина из Москвы к жене от 27 сентября 1832 г.: «Здесь я живу смирно и порядочно: хлопочу по делам, слушаю Нащокина и читаю «Mémoires de Diderot».

«Mémoires, correspondance et ouvrages inédites de Diderot» сохранились в библиотеке Пушкина[14]. Однако самый тщательный анализ материала четырех томов этого издания не дает оснований для каких бы то ни было ассоциаций с интересующей нас отметкой «Дидерот» в плане задуманной Пушкиным повести. Лишь одно место предисловия дочери Дидро к тому изданию «Mémoires de Diderot», которым пользовался Пушкин, позволяет высказать догадку о том, что могло заинтересовать будущего автора «Истории Пугачева» в биографии и писаниях великого французского энциклопедиста. Мы имеем в виду беглую справку о времени пребывания Дидро в России, включенную в «Mémoires pour servir à l'histoire de la vie et des ouvrages de Diderot, par madame de Vandeul, sa fille». Дело в том, что «самый ревностный из апостолов Вольтера», как аттестован был Дидро Пушкиным, жил в Петербурге с сентября 1773 г. по конец февраля 1774 г., т. е. находился в России весь тот отрезок времени, который соответствовал первому периоду пугачевщины. Это совпадение дат, очевидно, и привлекло внимание Пушкина к Дидро при разработке планов «Капитанской дочки». Трудно сказать, какова была бы функция «Дидерота» в фабуле романа, если бы Пушкин не отказался от своего замысла. Судить об этом приходится тем осторожнее , что ни в сочинениях, ни в переписке Дидро не сохранилось никаких не только прямых высказываний, но даже попутных упоминаний о пугачевщине. Тем не менее, однако, позиция Дидро была совершенно ясна для Пушкина. Он располагал одним из редчайших списков, тогда еще неизданных «Записок кн. Е. Р. Дашковой», в которых мемуаристка отвела несколько страниц своему спору с Дидро о «рабстве наших крестьян»[15]. Этот спор происходил года за три до восстания Пугачева. Дидро требовал от русских помещиков скорейшей эмансипации крепостных крестьян, доказывая, что даже те их прослойки, благосостояние которых сравнительно обеспечено, «будь они свободны, стали бы просвещеннее и вследствие этого богаче». Княгиня Дашкова, возражая Дидро, связывала проблему раскрепощения крестьян с расширением политических прав русского дворянства и с общим поднятием в стране «просвещения»: «Просвещение ведет к свободе; свобода же без просвещения породила бы только анархию и беспорядок. Когда низшие классы моих соотечественников будут просвещены, тогда они будут достойны свободы, тогда как они тогда только сумеют воспользоваться сю без ущерба для своих сограждан и не разрушая порядка и отношений, неизбежных при всяком образе правления».

Эти сентенции о «просвещении» и «свободе», оправданные с точки зрения либерально-дворянской «ужасами» пугачевщины, были очень близки Пушкину. Напомним концовку «Русской избы» в «Мыслях на дороге»: «Судьба крестьянина улучшается со дня на день по мере распространения просвещения. Благосостояние крестьян тесно связано с благосостоянием помещиков; это очевидно для всякого. Конечно, должны еще произойти великие перемены; но не нужно торопить времени, и без того довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества». Эти же афоризмы связаны с концепцией «бессмысленного и беспощадного русского бунта» в окончательной редакции «Капитанской дочки». Дидактические афоризмы Гринева, напоминавшего о том, что «лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений» (гл. VI), свидетельствовали о полной солидаризации его, с одной стороны, с Пушкиным как автором «Мыслей на дороге», с другой — с позицией кн. Дашковой в ее известной дискуссии с Дидро.

Возвратимся, однако, к прототипам героев задуманной Пушкиным повести. Судя по отмеченным нами выше скудным биографическим данным о старике Шванвиче, он не принадлежал в 1762 г. к числу сторонников императрицы Екатерины и при возведении последней на престол даже «почитал себя погибшим». А. Г. Орлов спас его от гибели, но, конечно, не мог обеспечить его карьеры. В планах повести Пушкина он рисуется уже отставным и опальным помещиком, живущим в глухой деревне. Образ старого оппозиционера, прозябающего в глуши за свой рыцарственный легитимизм в 1762 г., за свое отчуждение от растленного двора Екатерины II и ее фаворитов, принадлежал, как известно, к числу любимейших образов Пушкина и связан был даже с семейными преданиями об опале его дяди Льва Александровича (см. «Мою родословную», «Заметки о роде Пушкиных и Ганнибалов», данные о «славном 1762 г.» в «Дубровском»).

Рукопись последней редакции «Капитанской дочки» позволяет установить, что и Андрей Петрович Гринев, отец героя повести, «служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 1762 году», т. е. очевидно «как Миних верен оставался паденью третьего Петра». Эта дата отставки старика Гринева (исключенная из общеизвестного печатного текста, конечно, по цензурным соображениям) объясняет и опальное положение его в деревне, и постоянное раздражение при чтении «Придворного Календаря», и нежелание отправить Петрушу на службу в гвардию, в Петербург. В начальных планах романа и самый факт появления молодого Шванвича в штабе мнимого Петра III мотивировался, вероятно, старыми семейными счетами Шванвичей с Екатериной II, что позволяло и его «измену» трактовать не как сознательный переход дворянина и гвардейца на сторону крестьянской революции, не как попытку того или иного компромисса с последней, а как случайную трагедию одного из членов правящего класса, по мотивам совершенно особого порядка оказавшегося в стане восставших крепостных рабов.

Элемент «временного и случайного» в союзе героя повести с Пугачевым еще резче подчеркивается в мотивировках четвертого из дошедших до нас планов «Капитанской дочки»:

«Башарин отцом своим привезен в Петербург и записан в гвардию. За шалость послан в гарнизон. Он ‹неразоб.› из страха отд. ‹неразоб.›—

тако распространились, что преградили все сношение Тобольской Губерніи съ Оренбургомъ, и даже съ самою Казанью и со столицами. — Пугачевъ видя ежедневно возрастающія свои силы скопляющимися къ нему со всѣхъ сторонъ многочисленными толпами разной сволочи, и немаловажнымъ числомъ бѣглыхъ и захваченныхъ вооруженныхъ солдатъ, получивъ знатное число оружія и артиллеріи какъ изъ разграбленныхъ имъ крѣпостей, такъ и отнятыхъ у разбитыхъ имъ или предавшихся ему военныхъ отрядовъ, умножилъ сіе число орудій вылитыми по приказанію его, на занятыхъ имъ заводахъ, разнаго калибра пушками, ~~желая быть извѣстну съ имянемъ Императора Петра III~~го, разсылалъ повсюду Манифесты, жаловалъ чинами и орденами, раздавалъ разныя милости, и требовалъ безпрекословнаго и усерднаго повиновенія, обѣщая щедрыя награды, напротивъ же угрожалъ строжайшими наказаніями за малѣйшее сопротивленіе и ослушаніе, и произ-

ПОМЕТКИ ПУШКИНА НА ОДНОЙ ИЗ СТРАНИЦ КНИГИ „ЗАПИСКИ О ЖИЗНИ И СЛУЖБЕ А. И. БИБИКОВА", УЧТЕННОЙ ИМ ПРИ РАБОТЕ НАД „ИСТОРИЕЙ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА"

Институт Русской Литературы, Ленинград

Пощажен Пугачевым при взятии крепости, [произведен им в капитаны и отряжен] с отдельной партией в Симбирск под начальством одного из полковников Пугачева.—Он спасает отца своего, который его не узнает.—Является к Михельсону, который принимает его к себе; отличается против Пугачева—принят опять в гвардию.—Является к отцу в Москву—идет с ним к Пугачеву.

[Старый комендант отправляет свою дочь в ближнюю крепость;]

[Пугачев, взяв одну, подступает к другой—Башарин первый на приступе]. [Требует в награду]».

Вместо Шванвича, служившего самозванцу «со всеусердием» и на ответственных командных постах, в этом наброске появляется уже Башарин, личность также историческая, но существенной роли в событиях 1773—1774 гг. уже не игравшая. Эта смена героев очень симптоматична.

Как в планах романа, так и в исторической действительности Башарин является уже только пленником Пугачева, случайно им помилованным и скоро оказавшимся вновь в рядах правительственных войск. Архивные материалы о занятии мятежниками 29 ноября 1773 г. крепости Ильинской позволили Пушкину восстановить в «Истории Пугачевского бунта» следующую сцену суда и расправы Пугачева: «Ему представили капитана Камешкова и прапорщика Воронова. История должна сохранить сии смиренные имена. З а ч е м в ы ш л и н а м е н я, н а в а ш е г о г о с у д а р я ? — спросил победитель. «Ты нам не государь», отвечали пленники: «У нас в России государыня императрица Екатерина Алексеевна и государь цесаревич Павел Петрович, а ты вор и самозванец». Они тут же были повешены. Потом привели капитана Башарина. Пугачев, не сказав уже ему ни слова, велел было вешать и его, но взятые в плен солдаты стали за него просить. К о л и о н б ы л д о в а с д о б р, — сказал самозванец,—то я его прощаю. И велел его, также как и солдат, остричь по-казацки, а раненых отвести в крепость» («История Пугачевского бунта», гл. IV, абзац 5).

Эта сцена, впоследствии широко развернутая в седьмой главе «Капитанской дочки», позволяет уяснить и источник сведений Пушкина о Башарине—бумаги архива военного министерства, доставленные ему по распоряжению графа А. И. Чернышева между 25 февраля и 29 марта 1833 г. Никаких других данных о Башарине, кроме того, что он был «из татар», неизвестно.

Пятый набросок плана «Капитанской дочки» является по существу даже не особым планом, а лишь дополнительной мотивировкой пощады героя повести Пугачевым в плане четвертом:

«Башарин дорогой во время бурана спасает башкирца (le mutilé).—Башкирец спасает его по взятии крепости.—Пугачев щадит его, сказав башкирцу — Т ы с в о е ю г о л о в о ю о т в е ч а е ш ь з а н е г о. — Башкирец убит—etc».

Это спасение Башариным «во время бурана» башкирца, который в свою очередь спасает затем Башарина при взятии крепости, тематически уже очень близко завязке окончательной редакции «Капитанской дочки». Всё более и более снижая и политически обезличивая героя будущей повести, Пушкин заменяет наконец капитана Башарина (предварительно переименовав его в плане шестом в Валуева[14], а затем в Буланина) подпоручиком Гриневым, имя которого в правительственном сообщении «О наказании Пугачева и его сообщников» от 10 января 1775 г. стояло в ряду тех, кои «находились под караулом, будучи сначала подозреваемы в сообщении с злодеями, но по следствию оказались невинными».

IV

В плане «Капитанской дочки», набросанном Пушкиным 31 января 1833 г., с общеизвестными фактами биографии Шванвича расходилась одна фабульная деталь: «Ведет свое отделение в Нижний».

Между тем под Нижним-Новгородом оперировал не Шванвич, а другой «государственный изменник» из дворян. Мы имеем в виду беглого сержанта Илью Аристова, пожалованного Пугачевым под Казанью в полковники и захваченного правительственными войсками под Нижним-Новгородом около 25 июля 1775 г.

Илья Степанович Аристов, мелкопоместный дворянин Костромской губернии, родился около 1726 г., в службу вступил в Бутырский пехотный полк в 1746 г., участвовал в «семилетней войне» и в походе в Восточную Пруссию, вышел в отставку сержантом в 1762 г.

По прибытии в свою вотчину («сельцо в Чижевском стану» у реки Белой, число крепостных душ—всего шесть) Аристов обзавелся семьею и, так как доходов от сельского хозяйства было мало, под рукою занялся «неуказным винным курением». Уличенный в этом, он по судебному приговору был разжалован в солдаты и отправлен в 1764 г. в крепость Моздок. После тяжелой шестилетней службы на далекой окраине Аристов вместо ожидаемой им отставки получил производство в сержанты. Тогда, «согласясь с солдатами Иваном Малковым, Сергеем Невенциным и Федором Поляковым», в марте 1770 г. бежал с ними из крепости «чрез Куминскую степь на Царицыно, а оттуда в Москву». Из Москвы Аристов уже без труда добрался до своей деревеньки, где и прожил в кругу своей семьи около полугода, «сказываясь отпущенным из полку». Возбудив, однако, некоторые подозрения и узнав, что «другие помещики вознамерились его поймать», Аристов вынужден был возвратиться в Москву к своим беглым однополчанам, с которыми завербовался «в работу на заводах» в Екатеринбург. Несмотря на заверения вербовщиков, что на Урале «принимаются в работу и беглые», Аристов со своими товарищами оставался на заводе только «недели с четыре», после чего как беспаспортный должен был вновь бежать.

«Будучи в пути уведомился он в Сарапуле и Осе, что называющийся государем Петром III-м Пугачев принимает к себе разного звания людей с большим награждением жалованья», в виду чего Аристов и «принял намерение» итти вместе с «товарищами солдатами» прямо к самозванцу. Этот переходный момент биографии Аристова представлен в его показаниях двумя версиями. По одной (позднейшей) он еще до присоединения к Пугачеву попал вновь в Москву, откуда отправился к брату в Таганрог, в пути действовал уже в качестве эмиссара самозванца, 25 марта 1774 г. был арестован на Дону, доставлен в Казанскую следственную комиссию, откуда и бежал перед самым занятием города пугачевцами.

По другой версии (мало достоверной) Аристов на Дону не был, а присоединился к Пугачеву на пути из Екатеринбурга в Москву, служил рядовым в Яицком казацком полку Федора Прохорова, отличился 11—12 июля 1774 г. при взятии Казани, после чего и занял видное место в штабе самозванца.

Так или иначе, но активное участие Аристова в операциях Пугачева под Казанью не подлежит сомнению. За смелый захват батареи с четырьмя пушками, защищавшей подступы к Казани со стороны «форштата», Аристов

был произведен в полковники, заместив раненого Федора Прохорова. Во время отступления Аристов сперва находился при Пугачеве, а затем был отряжен им в Ядринский и Курмышский районы «для приуготовления, где он будет итти, хлеба и разных съестных припасов».

Действовал новый полковник очень энергично и, не ограничивая свои функции заготовкой фуража, вербовал в армию Пугачева крестьян и фабричных, чинил суд и расправу над помещиками и их агентурой. Даже в первых своих показаниях, по понятным причинам многого не договаривая, явно преуменьшая свою роль и успех своих действий, Аристов признал себя ответственным за следующие мероприятия: при въезде в село Семьяно, где он встречен был крестьянами как эмиссар Пугачева с хлебом и солью, он «объявил, что он Полковник и прислан от оного Государя, с тем, если кто имеет себе от начальников своих какие обиды, то б их вешать, и после того вскоре в оное село привез из села Воротынца староста со крестьяны, по объявлению, Управителя с женою, да француза и немца и крестьянина Андрея Киреева, да представил еще села Семьяна двух крестьян с жалобою на всех их в причиняемых ими одновотчинным крестьянам обидах, кои по его Аристова приказанию Воротынцовскими и Семьянскими крестьянами и повешены, где он был часов с пять, а потом из жительства проводили его крестьяне и дали проводника до села Воротынца, в котором также, как и в селе Семьяне, был встречен и по приезде на требование его вотчинных разорителей представлены к нему были упоминаемым же села Воротынца старостою по оказыванию его Управительской брат Иван Тетеев с сыном, кои по тому-ж с его Аристова приказания фабричными повешены; а при том он вызывал в службу к известному злодею Пугачеву охотников, на что как крестьяне так и фабричные желание свое объявили, а напоследок по его приказанию всю фабрику разорили и полотна по себе разделили».

Из Воротынца Аристов, в сопровождении приставшего к нему мастерового полотняной фабрики Григория Пытова, отправился в село Фокино (в 80 верстах от Нижнего-Новгорода), где, агитируя в пользу Пугачева, и был около 25 июля 1774 г. захвачен отрядом правительственных войск.

Допрос, учиненный Аристову нижегородским губернатором генерал-поручиком А. А. Ступишиным, по собственному признанию последнего в рапорте на имя графа П. И. Панина, сопровождался «жестокими истязаниями». Сам Аристов показал впоследствии в Москве, что его «раздетого били в три палки, принимаясь два раза жестоко». Пытками и побоями вызван был и известный оговор Аристовым казанского архиепископа Вениамина в денежной поддержке Пугачева.

С этим последним эпизодом (дело казанского архиерея в течение долгого времени занимало и непосредственных ликвидаторов пугачевщины, и всю высшую петербургскую администрацию) связано и единственное до сих пор известное упоминание Пушкиным имени Аристова в «Истории Пугачевского бунта». Мы имеем в виду примечание к главе седьмой печатного текста.

Рукописи Пушкина позволяют точно установить, что интерес его и как исследователя и как романиста к исторической личности Ильи Аристова был не менее значителен, чем к другим выходцам из правящего класса, ставшим в 1773—1774 гг. на службу крестьянской революции.

На основании некоторых секретных архивных материалов, представленных ему в мае 1834 г. историком Д. Н. Бантыш-Каменским, Пушкин сделал следующую конспективную биографическую справку об Илье Аристове.

ОБ АРИСТОВЕ

Аристов (Илья) из дворян был капралом в 1773 году, бежал из Томского полку, возмущал станицы Донские, взят под стражу, освобожден во время взятия Казани, наименован от Пугачева полковником, взят в плен в июле 1774, пытан в Нижнем Новг.—Там показал на Казанского Архиерея Вениамина (смотри о Вениамине). Он пытан был потом и в Москве в Тайной экспедиции Генерал-прокурором к. Вяземским и Шеш-

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ И. С. АРИСТОВЕ, СОСТАВЛЕННАЯ ПУШКИНЫМ
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

ковским. Екатерина избавила его от смертной казни. Он был высечен кнутом в Казани, и сослан на каторжную работу в Рогервик.

(Из бумаг о Пугачеве Б.-Каменского.)

Лист с этой неизданной записью Пушкина, сохранившийся в пачке его бумаг, находящихся ныне в Государственной Публичной Библиотеке им. В. И. Ленина (тетрадь № 2391; на листе жандармская помета красными чернилами: № 12), дополняется писарскими копиями протоколов двух допросов Аристова в Нижегородской губернской канцелярии, изъятыми

в 1854 г. из архива Пушкина П. В. Анненковым и находящимися ныне в собрании покойного П. Е. Щеголева [17].

Копии этих секретных документов заключены были Пушкиным в особую обложку (2 листа белой плотной бумаги обычного канцелярского формата с вод. зн. «А. Гончаров. 1833»), собственноручно им же озаглавленную:

ОБ АРИСТОВЕ

Никаких других помет Пушкина ни на обложке, ни в копиях документов не сохранилось. Связь же этой группы бумаг с пушкинским автографом биографии Аристова, опубликованным нами выше, учтена была еще в 1837 г. жандармами, сделавшими на обложке отметку теми же красными чернилами: **К № 12.**

Первый документ, скопированный по заказу Пушкина (на шести листах бумаги обычной канц. формата, исписанных с обеих сторон), представлял собою протокол допроса Аристова от 25 июля 1774 г. Второй же воспроизводил дополнительные показания его в той же Нижегородской губернской канцелярии от 4 августа 1774 г. (на двух листах бумаги канц. формата с вод. зн. «А. Гончаров. 1834»). По списку, сохранившемуся в бумагах П. И. Панина, показания Аристова от 25 июля недавно были опубликованы в сборнике Центрархива «Пугачевщина» [18], что позволяет нам ограничиться сейчас публикацией только второго документа, давшего Пушкину несколько занимательнейших дополнительных штрихов для биографии Аристова (данные о его встрече с Пугачевым еще во время прусского похода, пропагандистская деятельность на Дону, пребывание в казанской тюрьме одновременно с женою и детьми самозванца и пр.) и весьма ценного для общей истории пугачевщины (детальная характеристика планов и расчетов Пугачева после его разгрома под Казанью, колоритнейшие свидетельства об активной его поддержке заводскими крестьянами и нацменами среднего Поволжья) [19].

«1774 года Августа 4 дня Илья Аристов из-под пристрастия в подтверждение показал:

Сего года Генваря 4 дня по выздоровлении из Московского Госпиталя с товарищем его Великолуцкого полка солдатом Андреем Кузминым бежал точно в Таганрог к брату своему родному тамошнего баталиона Поручику Василию Аристову для свидания; а чтоб разглашение делать на Дону и в проезд во всех жительствах о измене злодея Пугачева, об том подлинно никем научен не был, а разгласительные слова произносил точно он только в одном месте на реке Медведице войска Донского Полковника Серебрякова в станице Скухихе, и то по наслышке в проезд его к Дону февраля в половине в Пензенском уезде одного села от бывших с ним проводников, а как то село прозывается и которого помещика, також и имян тех крестьян он не упомнит, а те крестьяне сказывали ему что они будучи в Уфимском уезде для продажи онучин в тамошнем краю самозванца Пугачева толпами были задержаны, а наконец прорвавшись выехали в домы свои; знакомство ж имел он с показанным Пугачевым в Прусском походе под Пальцихом, где оставлена была от Донского войска при магазейнах сотенная команда. Что-ж Государь Император Петр Федорович подлинно скончался, не только он о том слышал, но и совершенно знал, будучи в то время в Риге на ординарции у Генерала Федора Матвеевича Воейкова; по выпуске-ж его злодеями из Секретной Комиссии с прочими он отведен в кузницу для

разбития желез, а оттуда как ведены были в злодейский лагерь, то идучи вместе, злодея Пугачева с женою, в которое время наехал сам злодей на них и велел подать телегу и во оную посадить жену свою с детьми, а по просьбе ея и его Аристова. Как же приехали в лагерь, где его была палатка; отведя, спрашивал его Аристова по чему он его знает? на что он ему объявил, что он знает по бытности его под Пальцихом. При чем ему Аристову запретя, чтоб об том никому не разглашать и пожаловав Полковником, приказал быть при своей жене и детях. И в бытность его при жене злодея Пугачева, слышал неоднократно приносимую от жены его жалобу Донского войска на Полковников Илью Федорова, Михайлу Серебрякова, Алексея Селинского и на главного их старшину Сулина о сожжении домов его и о разорении имения. Как же они переехали Волгу и отошед от Сундыря верст пятнадцать остановились, откуда злодейское намерение было идти в Нижний; но вышедшие из лесу Чуваши человек с пятнадцать объявили ему, что Нижний укреплен и команды в нем весьма много. Почему он отменя то намерение пошел к Ядрину и к Курмышу, спрашивая у него Аристова, не знает-ли он прямой дороги на Дон не хватая Пензы и Воронежа, но как он сказал, что дороги не знает, то по приказу его привели к нему двух человек Чуваш, кои и объявили ему, что они проводить могут к Донцу и Дону тем трактом, как он приказывает лесными местами из Курмыша миновав Алатарь и Пензу на устье Медведицы и чрез станицы Кочалиной, малые и большие Чиры и Пятиизбинскую, за которую их Чуваш услугу и дано от Пугачева по тридцати рублей. А от сей последней станицы намерен был послать в Царицын осмотреть, не можно-ли будет оттуда получить пушек с припасами, с коими следовать до Черкасского и там будучи по способности возмутить Белоградскую и Кубанскую орды, а умножа силы обратиться к Москве, которому тракту бывший при нем секретарь Савелий Яковлев, а прозвания не знает, писал записку; его ж Аристова послал с семью человеками вперед для приуготовления где он будет идти, хлеба, овса и разных съестных припасов. И проезжая он Аристов до села Фокина на фабрике Графа Головина повесили по повелению его Аристова восемь человек, и той его Головина вотчины как крестьяне, так и все мастеровые приготовились было принять злодея Пугачева; да как он с той фабрики поехал в село Фокино, то по его-жъ приказу без него крестьянами повешено четыре человека, а злодей Пугачев тем пошел трактом, которому сделана была записка, или другим, о том он утвердить не может. А он Аристов в показанном селе Фокине пойман и отвезен в Нижегородскую Губернскую Канцелярию».

IV

В числе корреспондентов Пушкина в пору его работ над «Историей Пугачева» был и его старый приятель еще по «Зеленой лампе» В. В. Энгельгардт, известный петербургский острослов, игрок и веселый прожигатель жизни. Судя по вновь найденному в бумагах Пушкина письму, инициативе именно Энгельгардта обязан он был получением из Смоленской губернии интереснейшей записи рассказов капитана Н. З. Повало-Швыйковского, бывшего сперва пленником, а затем стражем Пугачева в 1774 г. Мемуары невольного пугачевца В. В. Энгельгардт передал Пушкину вместе с письмом, при котором они были им получены [20]. Оба эти документа архива Пушкина в печати еще не появлялись. Воспроизводим их полностью: Вот текст письма к В. В. Энгельгардту:

Почтеннейший братец,
Василий Васильевич!

Желая исполнить со всем усердием ваше поручение был у Швыйковского. Написанное со слов его прилагаю к вам присоединя к Пугачеву и Биографию Н. З. почтенного героя времен Екатерины.

Будьте здоровы веселы а я ваш навсегда преданный сердцем и душою
С. Энгельгардт.

P. S. Переписать на чисто не имел времени. Н. З. свидетельствует вам свое истинное душевное почтение и горит нетерпением читать скорее историю Пугачева.

Марта 21
1834.

К письму приложен был следующий документ:

БИОГРАФИЯ СЕКУНД-МАИОРА НИКОЛАЯ ЗАХАРЬЕВИЧА ПОВАЛО-ШВЫЙКОВСКОГО.

Н. З. Швый‹ковский› урожeнец Смоленской Губернии Духовщинского уезда. (Он родился 1752-го года Мая 9). Жительство имеет в с. Мореве. В службу вступил в 1769-м году в Измайловский полк рядовым и того же года произведен в капралы. В 1770-м году в Декабре месяце выпущен подпоручиком в Армию в Черниговский пехотный полк. В походах был при завоевании Крыму и по взятии г. Перекопа в 1771-м году произведен из подпоручиков в капитаны с переводом во 2-й Гренадерский полк, по Именному соизволению, за отличие. В том же году находился при взятии Кафы. В последствии продолжал службу в Пугачевской Экспедиции, за которую и получил от Государыни Императрицы 250-т душ, Витебской Губернии Невельского повета, в вечное и потомственное владение. В отставку уволен за болезнию 1777-го года Генваря ‹...› дня.

Вот что говорит Швыйковский о Пугачевской войне.

В плен попался к Пугачеву в 1773-м году в сражении при С. Горы в 25-ти верстах от Казани, в то время когда бросился с несколькими рядовыми отбить захваченное у нас орудие.

По взятии немедленно представлен Пугачеву на самом поле сражения. Он был на добром коне. Свиту его составляли Яицкие козаки, из которых самые приближенные к нему Чика, Творогов—и нашей службы артиллерист Перфильев, перешедший к нему из Оренбургского поселения.

Пугачев росту среднего, чернобородый, глаза небольшие, быстрые, стану ровного, одет по-козачьи, вооружен саблею и пистолетами за поясом.

Он у меня спросил: ты дворянин?—«Нет»—Так видно хорошо служил.— Много ли здесь вас?—«500 человек».

Но нас только было 150-т. Меня обобрали и отдали под присмотр. Плен мой продолжался с утра до полуночи. В сие время, заметя оплошность моей подгулявшей стражи, нашел я средство уйти вместе с захваченными со мной рядовыми. В тот же день явился я к Премьер-Маиору Михельсону расположенному с войском на Арском поле близ Казани. Михельсон известясь от меня мгновенно напал на Пугачева, разбил и преследовал вниз по Волге.

Последнее действие противу Пугачева происходило следующим образом. Быв разбит переправился он через Волгу с 30-ю человеками и скрылся в камыше, который по приказанию Суворова был зажжен Михельсоном.

Потом Пугачев взят в плен и отвезен в Симбирск в деревянной клетке. Суворов сам привез его следуя за ним в простой телеге.

Прежде сего дела я командирован был с полковником драгунского полка Абернибесовым для охранения Симбирска. При отправлении же Пугачева из Симбирска в Москву находился в числе стражи.

Путь наш продолжался не долго. Мы ехали на переменных обывательских лошадях, и везли Пугачева скованного по рукам и по ногам не в клетке,

ПУШКИНСКИЙ ПЛАН УФИМСКО-ЧЕСНОКОВСКОГО ФРОНТА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 1774 г.

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

а в зимней кибитке. Всем сопутствующим, разговор с ним был воспрещен. Пища ему производилась сытная и пред обедом и ужином давали порцию простого вина. Пленника везли только днем, а ночь проводили за крепким караулом на приуготовленных квартирах.

По прибытии в Москву, Пугачев содержался на монетном дворе и занимал особую комнату имеющую вид треугольника. Цепи имел на руках, ногах, и укрепленную в стене, поперек тела. Стража состояла из 10-ти человек Преображенцев и роты 2-го Гренадерского полка, под командою капитана Карташева. Главным же начальником конвоя был Гвардии Преображенского полка капитан Галахов сопровождавший его от Симбирска до Москвы и находившийся при нем по день казни, т. е. по 10-е Генваря 1775-го года.

В продолжении заключения своего Пугачев не показывал робости, сохранял равнодушие. Одет был со времени плена в нагольной тулуп. Везли Пугачева на казнь в цепях, на зимнем ходу четверкою с ефрейтором. На санях был амвон, на котором возвышенно и сидел Пугачев вместе с духовником своим, увещевающим его к раскаянию. Народу было большое стечение. Пугачев часто обращался к окружающим и говорил, что он самый тот Пугачев, который назывался Петром III-м.

По прибытии к месту казни, палач отрубил ему прежде голову а там принялся за руки и ноги: за ето он в тоже время был наказан кнутом.

Вместе с Пугачевым повешены и несколько сообщников его.—

Примечания

Пугачев родом Донец и отличался наездничеством. При взятии Бендер граф Петр Иванович Панин за храбрость произвел Пугачева в значковые товарищи.

Пугачев от живой жены вступил в брак с Яицкою казачкою. Она была дочь кузнеца—баба видная, имя ее Устинья Петровна.

На Дону семейство Пугачева составляли жена, сын и дочь.

Перфильев заведывал у Пугачева артиллериею—но была она весьма малочисленна—едва ли доходила до 10-ти орудий. Войско его определить с точностию невозможно—оно беспрестанно возрастало и уменьшалось. Тут было всё—козаки, мужики и разные бродяги.

К моменту получения этих интереснейших записей[21] работа Пушкина над «Историей Пугачева» была уже закончена. И тем не менее следы знакомства поэта с материалами Н. З. Повало-Швейковского нетрудно установить в печатном тексте его книги. Мы имеем в виду прежде всего дополнения и поправки, внесенные Пушкиным (вероятно, уже в процессе корректуры) в ту страничку восьмой главы «Истории Пугачева», которая посвящена была изложению обстоятельств, связанных с перевозкой пленного самозванца в Москву[22]:

Рукописная редакция	Печатная редакция
Наконец Пугачева отправили в Москву, где участь его должна была быть решена. Его посадили в клетку, в которой привезен он был Суворовым из Яицкого Городка. Он был в оковах.	Наконец Пугачева отправили в Москву, где участь его должна была решиться. Его везли в зимней кибитке, на переменных обывательских лошадях; гвардии капитан Галахов и капитан Повало-Швейковский, несколько месяцев пред сим бывший в плену у самозванца, сопровождали его. Он был в оковах.

Из трех фактических ошибок повествования Н. З. Повало-Швейковского, в общем исключительного по своей точности, одна восходила к общераспространенному после казни Пугачева убеждению, что палач самовольно сократил мучительный обряд четвертования, две же другие касались Афанасия Перфильева, неверно названного «нашей службы артиллеристом» и «заведующим у Пугачева артиллерией». Престарелый пленник Пугачева явно спутал в своем рассказе двух вождей восстания 1773—1774 гг.—сотника Яицкого казачьего войска Афанасия Перфильева и отставного артиллерийского капрала Ивана Белобородова.

Известная близость этих двух исторических персонажей, объясняя сейчас нам причину ошибки (или обмолвки) Н. З. Повало-Швейковского,

позволила Пушкину во время работы его над материалами по истории пугачевщины объединить справки о Белобородове и Перфильеве общим заголовком. Рукопись, о которой идет речь (два полулиста белой бумаги обычного канцелярского формата с вод. зн. «А. Гончаров. 1829»), обнаружена нами в архиве П. Е. Щеголева; никаких упоминаний о ней в печати никогда не было. Первый полулист занят заголовком, второй—выпиской и заметкой. Одно слово в выписке Пушкиным подчеркнуто и сопровождено знаком вопроса—очевидно отклик на нелепость обозначения: «в 10 ч. пополудни» вм. «в 10 ч. утра»:

О БЕЛОБОРОДОВЕ И ПЕРФ[ИЛЬЕВЕ].

Иван Наумов сын Белобородов, отставной канонир, пристал к Пуг. 1773 году, пожалован им в полковники и в походные атаманы, а потом в начале 1774 в старшие войсковые атаманы, и в фельдмаршалы. Был жесток, знал грамоты, соблюдал в шайках строгую дисциплину. Взят в июле под Казанью, пытан в тайной экспедиции, наказан кнутом 13 августа, потом привезен в Москву и казнен смертью на болоте 5 сентября 1774— в 10 час. пополудни (?)

(Б.-Каменский.)

Перфильев сказал: пусть лучше зароют меня живого в землю, чем отдаться в руки Государыни.

Краткая историческая характеристика Белобородова как фактического начальника штаба армии Пугачева, дана была Пушкиным в третьей главе его «Истории»[23]. Более памятен всем, однако, этот образ по «Капитанской дочке», где в сцене спора Белобородова с Хлопушей из-за Гринева очень колоритно показаны были и большой ум, и классовая бдительность, и непримиримость, и решительность этого «тщедушного и сгорбленного старичка, с голубою лентою, надетой через плечо по серому армяку».

Афанасий Петрович Перфильев, героическая сентенция которого в печатаемом нами автографе следует за справкой о Белобородове, принадлежал, как известно, к числу наиболее занимавших Пушкина деятелей восстания 1773—1774 гг. Сотник Яицкого войска, появившийся осенью 1773 г. в Петербурге как глава тайной делегации, пытавшейся через графа А. Г. Орлова найти путь к Екатерине II и вручить последней петицию о нуждах казачества, разоряемого своею же войсковой старшиной и бюрократической агентурой центральной власти, Афанасий Перфильев после нескольких месяцев столичных мытарств превратился в ожесточенного врага помещичье-дворянской монархии [24].

Поэтому когда после первых известий о появлении и успехах Пугачева под Оренбургом при дворе возник план использования Перфильева в качестве секретного правительственного эмиссара для отвращения казачества от самозванца и для самого захвата последнего, Перфильев выехал в район восстания, но вместо борьбы с Пугачевым 6 декабря 1773 г. присоединился к нему в Берде и вскоре занял одно из руководящих мест в штабе мятежников. Захваченный в конце августа 1774 г. в районе Черного Яра, Перфильев оказался единственным из соратников Пугачева, отказавшимся «принести покаяние», за что лишен был «церковного причастия» и оставлен под «вечной анафемой». Приговоренный к четвертованию Перфильев обнаружил исключительную твердость духа и в самый момент казни, 10 января 1775 г. Как свидетельствуют использованные Пушкиным рукописные

записки очевидца казни И. И. Дмитриева, «во все продолжение чтения манифеста, Пугачев часто крестился, между тем как сподвижник его, Перфильев, немалого роста, сутулый, рябой и свиреповидный, стоял неподвижно, потупя глаза в землю» («История Пугачевского бунта», гл. VIII).

Казнь Перфильева в «Истории Пугачева» описана несравненно подробнее его действий в пору самого восстания. Однако насколько захвачен был Пушкин личностью Перфильева видно из того, что в самом раннем плане «Капитанской дочки» ему отводилась роль одного из центральных персонажей романа.

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящая публикация, являясь извлечением из исследования «Пушкин в работе над «Историей Пугачева», дает первую его главу и три специальных экскурса, основанных на неизвестных материалах архива Пушкина.

[1] Статья Я. К. Грота «Приготовительные занятия Пушкина для исторических трудов» впервые была опубликована в двенадцатой книжке «Русского Вестника» 1862 г., вошла в сборник статей Я. К. Грота «Пушкин, его лицейские товарищи и наставники» и в последний раз перепечатана в «Трудах Я. К. Грота», т. III, СПБ., 1901, стр. 119.

[2] «По недостатку ли полученных материалов или за недосугом,—писал П. А. Ефремов,—Пушкин так и не занялся историею Суворова, а разработал только один из ее эпизодов: Пугачевский бунт. Этим... поясняется и начало предисловия: «Сей исторический отрывок составлял часть труда, мною оставленного», т. е. истории Суворова» («Сочинения А. С. Пушкина», т. VI, СПБ., 1880, стр. 477—478). Об извращении подлинного текста предисловия Пушкина в «цитате» П. А. Ефремова см. наши замечания на стр. 445.

[3] «Среди архивных занятий по истории Петра Великого, начатых в 1832 г., у Пушкина *возникла мысль о другом историческом труде—истории Суворова, из которой написал* он лишь один эпизод—о Пугачевском бунте» («Сочин. А. С. Пушкина. Изд. Льва Поливанова для семьи и школы», т. V, 2-е, изд. М., 1898, стр. 265).

[4] Не перечисляя всех вариаций этого ложного положения в общих компиляциях и в специальных работах о Пушкине, отметим для примера статью проф. Е. А. Боброва «Пушкин в Казани», появившуюся в 1905 г.: «В начале 1833 г. А. С. Пушкин еще имел намерение писать биографию генералиссимуса князя А. В. Суворова, куда, в качестве одной главы, должно было войти изображение его участия в усмирении Пугачевского бунта» («Пушкин и его современ.», вып. III, СПБ., 1905, стр. 24).

[5] «Сочинения Пушкина», изд. Академии Наук, т. XI, П., 1914, стр. 20—24 второй пагинации. Характерно, что даже В. Я. Брюсов, очень резко выступивший в печати против комментариев Н. Н. Фирсова к «Истории Пугачевского бунта», не решился оспаривать рассказанной в академическом издании самой истории работы Пушкина над материалами о пугачевщине. В этом отношении он, как и проф. Фирсов, оказался в плену традиционных концепций. См. В. Брюсов «Пушкин перед судом ученого историка» («Русск. Мысль» 1916, кн. 2, стр. 110—123, перепечатано в сборн. статей В. Я. Брюсова «Мой Пушкин», М., 1929).

[6] Сентенция от 10.I.1775 г. была перепечатана Пушкиным в приложениях к «Истории Пугачевского бунта», ч. II, СПБ., 1834, стр. 47. Подлинные показания М. А. Шванвича, ставшие известными Пушкину вероятно никак не раньше конца февраля 1833 г., частично были впервые опубликованы в книге Н. Дубровина «Пугачев и его сообщники», т. II, СПБ., 1884, стр. 102—103 и 140, а полностью в изд. Центрархива «Пугачевщина», т. III, М.-Л., 1931, стр. 207—215.

[7] Заметки об отце и сыне Шванвичах, автографы которых хранятся в составе Майковского собрания Пушкинского дома Академии Наук СССР, цитируются нами по «Полн. Собр. Соч. А. С. Пушкина», т. V, М-Л., 1933, стр. 428—429. Судя по отметке Пушкина, М. А. Шванвич умер незадолго до записи данных о нем, т. е. не позже конца 20-х годов. Никаких сведений о Н. Свечине, со слов которого Пушкиным записаны материалы о Шванвичах, ни в переписке поэта, ни в мемуарной литературе о нем не сохранилось. Возможно, что Пушкин имел в виду Никанора Михайловича Свечина (1772—1849), отставного генерал-лейтенанта и тверского помещика, но более вероятно по самому характеру ссылки, что информатором его был Николай Иванович Свечин (1791—1849), московский неслужащий дворянин, более чем скудные данные о котором заимствованы нами из «Московского Некрополя», т. III, СПБ., 1908, стр. 83.

[8] «Переписка Пушкина», т. II, СПБ., 1908, стр. 262.

[9] «Переписка Пушкина», т. II, стр. 262—298. Ср. заметки его же от 26 и 29 июля 1831 г. («Полн. собр. соч. Пушкина», т. V, М.-Л., 1933, стр. 816—818).

[10] «Крестьянское движение 1827—1861 гг.», вып. I, М., 1931, стр. 10. Основной документальный материал о восстании 1831 г. собран в книге А. Слезскинского «Бунт военных поселян в холеру 1831 г.», Новгород, 1894. См. также сборник «Бунт военных поселян в 1831 г. Рассказы и воспоминания очевидцев», СПБ., 1870 и данные работы П. Евстафьева «Восстание военных поселян Новгородской губернии в 1831 г.» Издание Общества политкаторжан, 1934 г.

[11] Шильдер, Н. К., Император Николай I, т. II, стр. 613. Обращение Николая I к депутатам Новгородского дворянства мы цитируем по публикации А. Долгорукова «Новгородские дворяне и военные поселяне» («Рус. Стар.» 1873, кн. IX, стр. 411—414).

[12] «Переписка Пушкина», т. II, стр. 294. О деятельности Н. М. Коншина в Новгородской следственной комиссии см. материалы А. Слезскинского «Бунт военных поселян в холеру 1831 г. (По неизданным конфирмациям)». Новгород, 1894, стр. 212—223. Ср. А. И. Кирпичников «Очерки по истории нов. рус. литературы», т. II, М., 1903, стр. 106.

[13] В рукописной редакции первой главы «Истории Пугачевского бунта», хронологически близкой первому наброску плана «Капитанской дочки», рассказ о восстании в Яицком городке 13 января 1771 г. заканчивался сентенцией: «Мятежники торжествовали. Казак Перфильев отправился в Петербург, дабы от их имени объяснить и оправдать кровавое происшествие». В печатной редакции «Истории» имя Перфильева из этого контекста было изъято. Общая характеристика его дана Пушкиным в главе третьей, попутные упоминания о нем см. в гл. VI и VIII.

[14] «Mémoires, correspondance et ouvrages inédites de Diderot, publiés d'apres les manuscrits confiés, en mourant, par l'auteur à Grimm». Paris, 1830, t. I, p. 44—49. В полном собрании сочинений Дидро, сохранившемся в библиотеке Пушкина, русским его отношениям посвящены были некоторые материалы третьего и двенадцатого томов. См. напр. публикации «Sur la princesse d'Aschkow» и «Plan d'une université pour le gouvernement de Russie» («Oeuvres de D. Diderot», t. III, Paris, 1821, p. 93—105; t. XII, p. 149—234). Сводку высказываний Дидро о России и русских см. также в известной работе В. А. Бильбасова «Дидро в Петербурге», СПБ., 1884.

[15] «Записки кн. Е. Р. Дашковой. Перевод с французского по изданию, сделанному с подлинной рукописи под редакцией и с предисловием Н. Д. Чечулина», СПБ., 1907, стр. 101—103. Пушкин, в бумагах которого сохранились выписки из этих записок (см. описание тетради № 2386 в «Русск. Стар.» 1884, кн. XII, стр. 539), пользовался, вероятно, тем списком с рукописи кн. Е. Р. Дашковой, который принадлежал кн. П. А. Вяземскому. См. «Русск. Архив» 1866, стр. 1721. С дискуссией о рабстве крестьян в освещении Дашковой строго гармонировал и отзыв о великом энциклопедисте Екатерины II: «Monsieur Diderot a cent ans à bien des égards, mais à d'autres il n'en a que dix» (Castera, «Vie de Catherine II», t. II, p. 67).

[16] Шестой из известных нам планов «Капитанской дочки», наиболее близкий ее окончательной редакции, опубликован только в 1934 г. в III выпуске «Трудов Публичной Библиотеки СССР им. Ленина». С именем героя повести—«Валуева»—связаны в этом плане не конкретные данные о каком-нибудь из участников событий 1773—1774 гг., а скорее некоторые типажные черты одного из знакомцев Пушкина этой поры—девятнадцатилетнего юноши П. А. Валуева, мужа дочери кн. П. А. Вяземского. Датируется этот план концом 1834 г.:

«Валуев приезжает в креп. Муж и жена Борисовы. Оба душа в душу.—Маша, их балованная дочь—(барышня, Марья Борисова). Он влюбляется тихо и мирно.

Получают известие и капитан советуется с женою—Казак, привезший письмо, подговаривает крепость.—Капитан укрепляется, готовится к обороне [а дочь посылает], подступает (?).

Крепость осаждена—приступ отражен.—Валуев ранен, в доме коменданта—второй приступ—крепость взята.—Сцена виселицы—[Швабрин] Валуев взят во стан Пугачева.—От него отпущен в Оренбург.—

Валуев в Оренб.—Совет—Комендант—Губернат.—Тамож. См.:—Прокурор.—Получает письмо от М. Ив.»

[17] Копии документов об Аристове вместе с заметками Пушкина о Белобородове и Перфильеве приобретены были П. Е. Щеголевым в 1924 г. у антиквара Ф. Г. Шилова.

[18] Показания И. С. Аристова от 25. VII. 1774 г. опубликованы с незначительными сокращениями, но с концовкой, отсутствующей в копии Пушкина (первая редакция оговора архиепископа Вениамина), в сборнике материалов «Пугачевщина», т. II, М.-Л., 1929, стр. 305. Впервые эти показания были использованы в печати в исследовании Н. Дубровина «Пугачев и его сообщники», т. III, СПБ., 1884, стр. 329—352.

[19] Показания И. С. Аристова от 4 августа 1774 г. до сих пор известны были только по глухой ссылке на них в книге Н. Дубровина (т. III, стр. 331).

[20] Письмо С. Энгельгардта, дальнего родственника В. В. Энгельгардта, передано было последним Пушкину, вероятно, вместе с биографией Н. З. Повало-Швыйковского. Оно зарегистрировано в «Журнале, веденном при разборе бумаг покойного А. С. Пушкина» с 15 по 17 февраля 1837 г. («Дела III Отделения С. Е. И. В. Канцелярии об А. С. Пушкине», СПБ., 1906, стр. 190). Хранится в Пушкинском доме в фонде материалов, приобретенных в 1919 г. П. Е. Щеголевым.

[21] «Биография секунд-майора Н. З. Повало-Швыйковского» извлечена нами из пачки бумаг Пушкина, хранящейся в Государственной Публичной Библиотеке им. В. И. Ленина под № 2391, лл. 270—272. В известной описи В. Е. Якушкина пачка эта обозначена следующим образом: «Материалы для Пугачевского бунта. Материалов очень много, все ненапечатанное. Всего 269 листов, почти все рукою Пушкина» («Рус. Стар.» 1884, кн. XII, стр. 573). Биография писана на трех листах (бумага с водян. зн. 1833 г.), из которых последний занят примечаниями к основному тексту. В очень неточной и тенденциозной передаче некоторые детали похождений Повало-Швыйковского попали в печать четверть века спустя после записи его рассказов для Пушкина. Мы имеем в виду публикацию А. Кононова под названием «Два семейные предания»:

«Пугачев, его клевреты и шайки производили ужасы; где-то они захватили в плен целую команду, состоявшую под начальством капитана, Николая Захарьевича Повало-Швыйковского. Когда вели их к мнимому государю, он просил своих подчиненных скрыть от злодея, что он дворянин, а сказать, что сдаточный; солдаты, любившие своего доброго начальника, все обещали то, и исполнили обещание; это спасло Швыйковского от смерти, потому что быть дворянином считалось преступлением в глазах самозванца, и неизбежная казнь ожидала каждого, ему попавшегося. Швыйковский несколько дней находился в плену, но как-то ему посчастливилось уйти... Во время своего плена он успел высмотреть положение] Пугачева, понять ненадежность его, и сведения, им сообщенные начальству, много способствовали скорой, после того, поимке дерзкого плута. Швыйковский, награжденный императрицею, вышел в отставку; он до глубокой старости жил в своей деревне Смоленской губернии, и я, имев честь знать его... слыхал не раз рассказанное теперь мною» («Чтения в Обществе истории и древностей Российских при Московском Университете», 1862, кн. III, отдел V, стр. 346—347).

[22] Неточность в рукописной редакции рассказа об условиях перевозки пленного Пугачева из Симбирска в Москву, устраненная Пушкиным на основании записки Н. З. Повало-Швыйковского, объяснялась тем, что другие источники по истории пугачевщины не учитывали замены «деревянной клетки», в которой привезен был самозванец из Яицкого городка, на «простую кибитку», доставившую его из Симбирска в Москву. Свидетели первой части пути пленного Пугачева говорили поэтому о клетке, свидетели второй—о кибитке.

[23] «Отставной артиллерийский капрал Белобородов пользовался полною доверенностию самозванца. Он вместе с Падуровым заведывал письменными делами у безграмотного Пугачева и ввел строгий порядок и повиновение в шайках бунтовщиков» («История Пугачевского бунта», гл. III). Данные о конце Белобородова в начале VIII главы «Истории» были менее точны, чем в справке, сделанной Пушкиным на основании материалов Д. Н. Бантыша-Каменского: «Белобородов пойман был в окрестностях Казани, высечен кнутом, потом отвезен в Москву и казнен смертию».

[24] В распоряжении Пушкина, судя по примечаниям к 8-й главе «Истории Пугачевского бунта», были кроме записок И. И. Дмитриева и документов Д. Н. Бантыша бумаги о Перфильеве одного из ликвидаторов восстания, капитана Галахова; материалы Галахова невольно ввели однако Пушкина в заблуждение. Так, он принял на веру подложное письмо к кн. А. Г. Орлову, составленное одним из участников восстания 1773—1774 гг. Евстафием Трифоновичем Долгополовым, разорившимся ржевским купцом (этот «купец» отмечен и в начальном плане «Капитанской дочки» вместе с Перфильевым и Шванвичем), который, отстав от Пугачева после его разгрома под Казанью, предложил правительству якобы от имени Перфильева захватить и выдать самозванца. Екатерина согласилась, кап. Галахов выехал в район восстания с большой суммой денег, выдал Долгополову трехтысячный аванс, с которым тот и бежал. Документы следствия обнаружили совершенную непричастность Перфильева к авантюре Долгополова (см. «Пугачев и его сообщники» Н. Дубровина, т. III, гл. 4 и 9), но Пушкин во время своей работы над «Историей Пугачева» с этими материалами знаком не был. Возможно, что именно фальшивка Долгополова заставила Пушкина отказаться от использования фигуры Перфильева в «Капитанской дочке».

ПУШКИН В РАБОТЕ НАД ИСТОРИЕЙ ПЕТРА I

Статья П. Попова

Среди бумаг А. С. Пушкина, не переданных его сыном А. А. Пушкиным в Рукописное отделение б. Румянцевского музея, оставались материалы Пушкина по истории Петра I. Вместе с библиотекой А. С. Пушкина материалы эти находились в Ивановском, имении жены А. А. Пушкина, Бронницкого уезда Московской губернии. Когда в 1866 г. А. А. Пушкин вновь поступил на военную службу, он часть своих вещей перевез в соседнее имение Ник. Ник. Васильчикова, двоюродного брата своей жены,—в усадьбу при станции Лопасня в 50 верстах от Ивановского. В 1890 гг. библиотека вновь перевозилась уже из Лопасни, и книги перед отправлением проветривались и перепаковывались; один ящик был случайно забыт в Лопасне; в нем и находились рукописи по истории Петра. Обнаружены они были в 1917 г. в Лопасне Натальей Ивановной Гончаровой, племянницей Н. Н. Гончаровой-Пушкиной, при чем ящик оказался в раскрытом виде, тетради были попорчены мышами, и часть их утрачена. Всего осталось 22 тетради. Внук поэта Г. А. Пушкин предпринял издание этих рукописей, и они были переданы в издательство Салаевых в Москве. Издательство пригласило для редактирования вновь найденных текстов П. Е. Щеголева, на руках которого затем и остались пушкинские рукописи. Среди материалов, переданных Г. А. Пушкиным, было 22 тетради собственноручных записей Пушкина и копия этих материалов с надписью цензора Никитенко на первом листе [1]. 22 тетради автографов Пушкина поступили от П. Е. Щеголева в Пушкинский дом (Институт Русской Литературы) в Ленинграде, где и хранятся в настоящее время.

До сих пор в пушкинской литературе эта находка революционного времени не была выявлена и описана [2]. П. Е. Щеголевым было сделано лишь сообщение о найденных рукописях на заседании Пушкинского дома в 1921 г. [3]

Тексты эти были в свое время известны П. В. Анненкову, о них он говорит в своих «Материалах для биографии Пушкина». Позднейшие издатели Пушкина, например Морозов, констатировали отсутствие этих рукописей и ими пользоваться не могли.

Чтобы подойти к определению состава вновь найденных автографов Пушкина, обратимся прежде всего к тому, что было доныне известно в печатном виде. Смерть застала Пушкина над собиранием материалов по истории Петра. В 1837 г., после смерти поэта, записи Пушкина были переписаны в шести тетрадях; в 1840 г. тетради эти были представлены в цензуру, но в посмертном собрании сочинений опубликованы

не были. По этим тетрадям-копиям[4] П. В. Анненков впервые опубликовал в 1855 г. в своих «Материалах для биографии Пушкина»[5] два отрывка («1703» и «1725»), процитировав в выдержках несколько фраз из других частей данной работы Пушкина. В 1857 г. в последнем, седьмом, томе сочинений Пушкина Анненков опубликовал новый отрывок из материалов Пушкина по Петру, назвав его: «Материалы для первой главы истории Петра Великого» (стр. 7—28). Эта часть впоследствии стала неосторожно называться издателями просто первой главой, включительно до издания «Красной нивы» 1930 г., где мы находим такой же заголовок. В 1880 г. в статье «Идеалы А. С. Пушкина» Анненков опубликовал еще ряд цитат из текстов Пушкина, при чем намекнул на происхождение подбора этих заметок: «Известно, что посмертное «Собрание сочинений Пушкина» издавалось по воле государя почти без участия цензуры; но, прилагая к изданию свою обычную пометку о дозволении печатать (май и июнь 1840 г.), цензура все-таки заявила мнение о совершенной невозможности открыть право свободного обращения в публике многим циническим приговорам и заключениям автора. Места эти и были выпущены по ее настоянию, лишив остальную часть труда почти всякого интереса. ...Выбираем из ряда Пушкинских заметок наиболее удобные для сообщения публике понятия об их общем характере»[6]. Многочисленные издатели Пушкина 80-х годов так и перепечатывали тексты Пушкина по истории Петра, сводя их к трем группам: 1) Материалы для первой главы истории Петра Великого, 2) Отрывки из других глав и 3) Заметки к истории Петра Великого. В 1903 г. Ефремов пересмотрел печатные тексты, руководствуясь копиями, имевшимися в бумагах Анненкова, при чем у него значительно вырос текст отдела «Выписок из материалов для истории Петра»[7]. У Анненкова таких выписок (заметок)—девять, у Ефремова—35. В результате в последнем, краснонивском, издании Пушкина мы имеем пять разных разделов материалов по истории Петра: 1) Глава I. 2) Отрывки из других глав. 3) Отдельные заметки. 4) Заметки при чтении введения к «Деяниям Петра Великого» Голикова и 5) План введения в «Историю Петра Великого» (№№ 4 и 5—новая публикация по найденным автографам). Однако даже не вооруженный знанием истории публикуемых рукописей Пушкина читатель наталкивается на подозрительное дублирование текстов, показывающее, что публикуемые различные части материалов Пушкина как-то переплетаются. Так строки 15—13 (снизу) 460 стр. краснонивского издания дублируют начало стр. 455. Фраза 457 стр. «Петр на смертном одре не имел силы кричать, а только стонал, испуская мочу» встречается и на стр. 454 лишь с небольшим текстологическим различием; равно и фраза (стр. 457) «Петр царевен не пустил к себе; кажется при смерти помирился он с виновною супругою» также уже напечатана на стр. 454 лишь с измененной пунктуацией. Еще в 1878 г. Ефремов жаловался: «В некоторых местах листы рукописи Пушкина перемешаны и один рассказ повторяется дважды, так что перепутывается и затемняется самый ход повествования»[8]. На самом деле это смешение и путаница—дело рук издателей, переписчиков и цензуры, и эта несогласованность может быть устранена при наличности пушкинских рукописей, хранящихся в ИРЛИ. Изучение этих рукописей в их сопоставлении с опубликованными материалами приводит к выводу, что все пушкинские тексты

однородны по составу (как напечатанные, так и неопубликованные) и могут быть вытянуты в одну линию без всяких отдельных группировок (за исключением лишь «Очерка введения»—плана Пушкина, стоящего особняком). В основе всех рукописей, равно как и всех перечисленных выше опубликованных текстов, лежит единый литературный источник—«Деяния Петра Великого» Голикова, девять первых томов которого

ШУТОЧНЫЙ АВТОПОРТРЕТ ПУШКИНА
Исторический Музей, Москва

изучались Пушкиным, в соответствии с чем он и составлял свои записи, располагая их погодно. В ИРЛИ имеется 22 таких тетради. Можно предполагать, что всех тетрадей было 31*. Повидимому часть их утрачена совершенно, другие были в свое время опубликованы, но теперь их судьба и местонахождение неизвестны. Если вытянуть все записи Пушкина в одну линию в порядке составления их Пушкиным, то получается такая последовательность: 1. Заметки при чтении введения к «Деяниям Петра Великого» Голикова (впервые опубликовано в изд. «Красной нивы»; автограф имеется в ИРЛИ). 2. 1672—1689

(впервые опубликовано Анненковым, автографа нет). 3. 1690—1694 (не опубл., автографа нет). 4. 1695—1698 (не опубл., автограф в ИРЛИ). 5. 1698—1699 (не опубл., автограф в ИРЛИ). 6. 1700 (не опубл., автограф в ИРЛИ). 7. 1701—1702 (не опубл., автограф в ИРЛИ). 8. 1703 (впервые опубликовано Анненковым, автографа нет). 9. 1704 (не опубл., автограф в ИРЛИ). 10. 1705 (не опубл., автограф в ИРЛИ). 11. 1706, до 5 июля (не опубл., автограф в ИРЛИ). 12. 1706, вторая половина (не опубл., автограф в ИРЛИ). 13. 1707 (не опубл., автограф в ИРЛИ). 14. 1708 (не опубл., автограф в ИРЛИ). 15. 1709, до Полтавского сражения (не опубл., автограф в ИРЛИ). 16. 1709 с 27 июня (опубл. в «Красной ниве», автографа нет; печаталось повидимому по цензурованной копии 1840 г.). 17. 1710 (не опубл., автограф в ИРЛИ). 18. 1711 (не опубл., автограф в ИРЛИ). 19. 1712 (не опубл., автограф в ИРЛИ). 20. 1713 (не опубл., автограф в ИРЛИ). 21. 1714 (не опубл., автограф в ИРЛИ). 22. 1715 (не опубл., автограф в ИРЛИ). 23. 1716 (не опубл., автограф в ИРЛИ). 24. 1717 (не опубл., автографа нет). 25. 1718 (не опубл., автографа нет). 26. 1719 (не опубл., автографа нет). 27. 1720 (не опубл., автографа нет). 28. 1721 (не опубл., автографа нет). 29. 1722 (не опубл., автограф в ИРЛИ). 30, 1723 (не опубл., автограф в ИРЛИ). 31. 1724—1725 (1724—не опубл., 1725—впервые опубл. Анненковым, автограф в ИРЛИ). За то, что Пушкин без пропусков охватил своими записями все годы царствования Петра I, говорят следующие обстоятельства: в издании «Красной нивы» на стр. 447—454 опубликованы «Три отрывка из других глав»; последний отрывок («1725») является извлечением из тетради ИРЛИ, № XXII; первый отрывок «1703» соответствует пропуску первого отдельного года среди лет, охваченных сохранившимися тетрадями Пушкина. Мы не имеем также тетради, отражающей события второй половины 1709 г.: второй опубликованный отрывок «1709» дает соответствующий текст. Что касается 1717—1721 гг., то соответствующие извлечения (за годы 1718, 1719 и 1721) имеются в «Отдельных заметках»; так как все эти заметки однородны по своему составу, то несомненно были полные характеристики и других смежных лет—1717 и 1720. Также естественно предположить, что и годы 1690—1694 не были пропущены Пушкиным и что им соответствовала утраченная тетрадь. Каждая отдельная тетрадь Пушкина дает от половины до трех четвертей листов печатного текста. Следовательно 31 тетрадь включала текста от 20 до 25 печатных листов. Если иметь это в виду, то становятся понятными слова В. А. Жуковского в статье «Последние минуты Пушкина»: «Если напечатать все найденное в рукописях Пушкина, то, конечно, составится два хороших тома или и *пять*, если присоединить к литературным отрывкам все материалы, приготовленные для истории Петра Великого» [10]. И все же отзыв Жуковского нам кажется преувеличенным. Выявленное нами количество рукописей ему не соответствует. Чтобы это объяснить, надо принять во внимание чрезвычайно разгонистый почерк Пушкина в его выписках по истории Петра I, то, что он писал лишь на одной половине листа, оставляя другую пустою, что в каждой тетради имеется ряд неисписанных листов, а также и то обстоятельство, что в материалах по истории Петра имелся ряд копий писем Петра и других материалов, писанных рукою не Пушкина, но хранившихся вместе с его собственноручными записями (в настоящее время они находятся в Рукописном отд. Публичной

Библиотеки им. Ленина в Москве (№ 2388). Все эти бумаги были просмотрены одновременно Дубельтом и Жуковским 19 февраля 1837 г.[11]

Если произвести анализ 22 тетрадей Пушкина из коллекции ИРЛИ и сравнить с основным источником пушкинского текста, «Деяниями» Голикова, то мы приходим к следующим результатам:

I тетрадь[12] представляет собою разбор книги Штраленберга и составлена по Введению Голикова. В ркп. 18 лл. с текстом. В эту же тетрадь вшит самостоятельный «Очерк введения» самого Пушкина. Книга Штраленберга «Historie der Reisen in Russland; Tiberien und der grossen Tartarey, Leipz.» [1730] сохранилась в библиотеке Пушкина, но изложение ее составлено целиком по Голикову, соответствуя стр. 1—136 первого тома «Деяний Петра Великого» (первое издание). Никаких следов знакомства с подлинником Штраленберга рукопись Пушкина не обнаруживает. Штраленберговская отрицательная оценка Петра приведена по пунктам, исчерпывая изложение Голикова. Возражения Голикова против Штраленберга использованы не как возражения, а как материал с целым рядом фактических данных, которые привлечены Пушкиным вне связи с критикой положений Штраленберга. Первый том «Деяний Петра Великого» Голикова в библиотеке Пушкина утрачен, но следующие тома с несомненностью являются тем самым экземпляром издания, которым пользовался Пушкин. На титульном листе в правом нижнем углу второй части труда Голикова имеется пятно, разбрызгавшееся и по соседним листам, тех же самых чернил, которыми написаны рукописи Пушкина.

II тетрадь—«От перв. Азовского похода до возвращения царя из первого путешествия» (1695—1698)—составлена по Голикову, соответствуя стр. 265—326 первого тома. Не все сведения, изложенные в этой тетради, имеются у Голикова: в двух случаях Пушкин заглянул в другие книги: 1) рассказ о том, что Петр, не дождавшись, сам приехал в дом Соковнина и дал пощечины заговорщику и опоздавшему Лопухину, заимствован из книги анекдотов Штелина,—анекдот № 5. Книга сохранилась в библиотеке Пушкина: «Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Я. Штелиным», ч. I. М., 1830, стр. 32—33. 2) Другой использованной Пушкиным сверх Голикова книгой является «Собрание разных записок и сочинений... служащих... Петра Великого», изданное Ф. Туманским, ч. V; отсюда Пушкиным взяты сведения о заговоре Соковнина и Цыклера, а равно рассказ о том, что триумф по поводу взятия Азова «украшен был Якоб. Янсеном, который ехал под виселицей, обвешенной кнутами» (Туманский, ч. V, стр. 43). Собрание бумаг, опубликованных Туманским, сохранилось в библиотеке Пушкина (в библиографическом описании Модзалевского об этом собрании сказано: «Экземпляр ...совершенно не читанный» (sic!). Не считая обложки, в ркп. 33 листа с текстом.

III тетрадь—«От казни стрельцов до 1700 года». Текст тетради соответствует «Деяниям П. В.», ч. I, стр. 325—368, при чем все данные текста Пушкина покрываются Голиковым. Не считая обложки, в ркп. 17 лл. с текстом.

IV тетрадь—«1700. Война со шв. Нарвск. сражение». Текст Пушкина всецело покрывается «Деяниями П. В.», ч. II, стр. 3—49. 19 лл. с текстом.

V тетрадь — «1701 — 1702» соответствует «Деяниям П. В.», ч. II, стр. 50—98. 21 лл. с текстом. Некоторые сведения по биографии Меншикова (л. 14) взяты Пушкиным не из Голикова.

VI тетрадь—«1704». Всецело исчерпывается «Деян. П. В.», ч. II, стр. 124—167. 19 лл. с текстом.

VII тетрадь—«1705». Полностью исчерпывается «Деян. П. В.», ч. II, стр. 167—224. 23 лл. с текстом.

VIII тетрадь—«1706 до 5 июля». Всецело исчерпывается «Деян. П. В.», ч. II, стр. 225—318. 17 лл. с текстом.

IX тетрадь—«1706, вторая половина». Всецело исчерпывается «Деян. П. В.», ч. II, стр. 319—402. 17 лл. с текстом.

X тетрадь—«1707». Текст Пушкина соответствует «Деян. П. В.», ч. II, стр. 403—432. Только в одном случае при составлении этой тетради Пушкин кроме Голикова заглянул в другую книгу. У Голикова Пушкин прочел: «На предложение... французского при шведском... дворе пребывающего министра Безенвала, и на самых легчайших кондициях, то-есть, чтоб оставить царю одну Ингрию с городами: Петербургом, Кроншлотом, и Слиссельбургом, ответствовал подражатель Александров с насмешкою, что он о мире с царем говорить будет в Москве..., а генерал его Шпар, пожалованный уже им королем в Москву губернатором, публично говаривал, что они русскую...[13] не токмо из России, но из всего света одними плетьми выгонят». Заинтригованный многоточием Пушкин обратился к книге Шафирова, на которую в этом месте указывает Голиков: *«Рассуждение, какие законные причины его* величества Петр Великий...» 1722, стр. 18, и прочел там: «что они русскую каналию могут не токмо оружием...», после чего Пушкин сформулировал свою запись так: «Генер. Шпар был назначен уж Московским Губернатором, и хвалился, что они русскую ч е р н ь (canaille) не только из России, но со света плетьми выгонят» (л. 7—8). В тетради 10 лл. с текстом.

XI тетрадь—«1708». Полностью исчерпывается «Деян. П. В.», ч. II, стр. 433—452 и ч. III, стр. 3—67. 31 лл. с текстом.

XII тетрадь—«1709 до Полт. сражения». Сообщаемые сведения в общем покрываются «Деян. П. В.», ч. III, стр. 67—103. Отношение к тексту Голикова в этой тетради более вольное, чем в других, поскольку Пушкин со времени писания «Полтавы» был ориентирован в событиях и лицах, связанных с 1709 г. Кошевого атамана Костика, как он именуется у Голикова, Пушкин называет в XII тетради Костей Гордеенко (срв. в «Полтаве»: «Иль наш Палей, иль Гордеенко владели силой войсковой»). Определенно выходит за пределы данных у Голикова Пушкин в описании событий второй половины 1709 г. (этой ркп. в ИРЛИ нет), цитируя неизвестные Голикову французские мемуары графа Д. Не зная иностранных языков, Голиков иностранные источники не привлекал почти вовсе. В ркп. XII 11 лл. с текстом.

XIII тетрадь—«1710». Полностью исчерпывается «Деян. П. В.», ч. III, стр. 151—276. 25 лл. с текстом. На обороте обложки рукой Пушкина набросана карта с обозначением Минска, Витебска, Смоленска, Орши и Могилева.

XIV тетрадь—«1711». Излагаемые события не выходят за пределы «Деян. П. В.», ч. III, стр. 276—395 и ч. IV, стр. 3—55. Не отступая от Голикова, Пушкин в данной тетради поставил бо́льшее количество

НАЧАЛО ПЕРВОЙ ПУШКИНСКОЙ ТЕТРАДИ С КОНСПЕКТОМ „ДЕЯНИЙ ПЕТРА ВЕЛИКОГО“ ГОЛИКОВА

Впереди текста рукой Пушкина проставлена дата: янв. 16 [1835 г.], указывающая начало занятий Пушкина над проработкой этой книги

Институт Русской Литературы, Ленинград

помет и вопросов, предполагающих выправку изложенных событий, что объясняется знакомством Пушкина с обстоятельствами Прутского похода: он редактировал в 1835 г. записки бригадира Моро-де Бразе о походе 1711 г., снабдив перевод своим предисловием и примечаниями. В ркп. 38 лл. с текстом.

XV тетрадь—«1712». Полностью исчерпывается «Деян. П. В.», ч. IV, стр. 56—178. 26 лл. с текстом.

XVI тетрадь—«1713». Листы не сшиты вместе. Половинки их срезаны. Обзор указов этого года утрачен. По содержанию полностью исчерпывается «Деян. П. В.», ч. IV, стр. 179—291. 27 лл. с текстом.

XVII тетрадь—«1714». Тетрадь дефективная: нехватает первых шести листов и восьмого. Содержание полностью исчерпывается «Деян. П. В.», ч. IV, стр. 350—408. 10 лл. с текстом.

XVIII тетрадь—«1715». Полностью исчерпывается «Деян. П. В.», ч. V, стр. 3—106. 15 лл. с текстом.

XIX тетрадь—«1716». Изложение соответствует «Деян. П. В.», ч. V, стр. 106—254. Лишь в одном случае Пушкин вышел за пределы Голикова: «Возведение на польский престол Станислава, а на английский Якова III было целию этой интриги еще довольно темной и коей агенты были весьма мелкие и незначущие люди (см. Lemontey)». Книга Lemontey, P.-E. «Essai sur l'établissement monarchique de Louis XIV, P. 1818» сохранилась в библиотеке Пушкина. В ркп. 22 лл. с текстом.

XX тетрадь—«1722». Содержание всецело исчерпывается «Деян. П. В.», ч. VIII, стр. 47—54 и 67—323. В ркп. 31 лл. с текстом и небольшой клочок.

XXI тетрадь—«1723». Не обнаруживает знания других печатных источников кроме «Деян. П. В.», ч. VIII, стр. 323—448. Попутное замечание об Я. Долгоруком (л. 2) могло иметь источником рассказы кн. А. Н. Голицына (срв. «Table Talk», № 1).

XXII тетрадь—«1724 и начало 1725 года». Текст Пушкина соответствует «Деян. П. В.», ч. IX, стр. 4—224. В сообщениях об Екатерине Пушкин дополняет Голикова, освещая по-своему ее фигуру и взаимоотношения с Монсом; вряд ли впрочем Пушкин здесь прибегал к каким-либо печатным источникам, храня в памяти традиционные рассказы о романе Екатерины. По отношению к киргизским степям Пушкин обнаруживает в записях этой тетради знание Оренбургского края; срв. «Истор. Пуг. бунта». В ркп. 27 лл. с текстом.

На основании вышеприведенного обзора можно заключить, что Пушкин при составлении своих записей целиком следовал Голикову. Привнесения из других источников (Штелин, Туманский, Шафиров, Lemontey) столь ничтожны, что не ломают последовательности голиковского рассказа. Выписок из архивных материалов в рукописях Пушкина нет. Может быть лишь в одном случае Пушкин справился в архиве. В ркп. XIV он сообщает о письме Петра: «Штелин уверяет, что славное письмо в с е н а т хранится в кабинете Е. В. при имп. дворце. Но к сожалению анекдот кажется выдуман и чуть ли не им сочинен. По крайней мере письмо не отыскано». (Текст самого письма, как и рассказ Штелина о нем приведены Голиковым.)

Изучение рукописей Пушкина позволяет умозаключить, что сведения при смерти Пушкина о состоянии его работ над Петром были преувеличенными. Никаких «ценных материалов» Пушкин не собрал, ника-

ких новых взглядов на основание Петербурга не высказывал и «эволюции характера» Петра не прослеживал[14]. Это конечно не значит, что записи Пушкина не интересны. Сами по себе они очень ценны, но дальше предварительных разысканий Пушкин не пошел, и этап, на котором остановилась работа Пушкина, не соответствует отзывам современников. Над составлением записей по Петру Пушкин работал очень стремительно; об этом можно судить по двум датам, проставленным на последней (XXII) тетради. В начале ее значится: «14 дек. 1835», в конце стоит: «15-го декабря». Изложение этой тетради обнимает два последних года царствования Петра и соответствует 220 страницам голиковского текста. Следовательно в один день Пушкин прочитывал до ста страниц, одновременно ведя запись. Имеются еще две даты, проставленные на данных рукописях без обозначения года: в начале первой тетради стоит: «16 янв. 11½ ч.», в начале третьей—«25 янв.» Надо при этом иметь в виду, что между первой и второй из сохранившихся тетрадей были еще две тетради (не сохранившиеся, см. выше). Таким образом за десять дней в январе Пушкин сделал записи, соответствующие четырем тетрадям. Есть основания сопоставить эти усиленные январские занятия с дневниковой записью от февраля 1835 г.: «С января очень занят Петром». Следовательно, если отнести начало записей Пушкина к январю 1835 г., то определяется хронологически время составления всех 31 тетради: записи велись с 16 января 1835 г. по 15 декабря того же года.

Палеографические признаки рукописей не дают более твердых, уточняющих указаний для датировки, но вместе с тем находятся в соответствии с вышеизложенными соображениями. Бумага, которую употреблял Пушкин для своих выписок,—фабрики Гончарова с водяными знаками 1833 и 1834 гг. В первых тетрадях преобладает бумага 1833 г., с шестой тетради—1834 г. Уже в первой тетради имеются листы со знаками 1834 г. Это могло бы служить доказательством того, что соответствующие записи Пушкина не могли происходить в январе 1834 г., а только 1835 г. Однако бумага с клеймом 1834 г. падает на «Очерк введения», составленный, вероятнее всего, позднее всех записей и вшитый в данную тетрадь случайно, поскольку жандармская сшивка производилась механически. Тем не менее остается в силе общее наблюдение, что бумагу с водяным знаком 1833 г. Пушкин употреблял в 1835—1836 гг. Известно, что Пушкин получил доступ в архивы для составления истории Петра гораздо раньше, а именно в июле 1831 г.[15] В конце 1832 г. ему также было разрешено рассмотреть хранившуюся в Эрмитаже библиотеку и рукописи Вольтера, пользовавшегося этим собранием для составления истории Петра[16]. 5 марта 1833 г. Пушкин приглашает Погодина в сотрудники по историческим занятиям[17]. Ему же он писал 6 или 7 апреля 1834 г.: «к Петру приступаю со страхом и трепетом»[18], а из писем Пушкина жене (от 29 мая и 11 июня) создается впечатление, что Пушкин летом 1834 г. уже работает по Петру и может быть к зиме издаст первый том[19]. Однако если исходить из сохранившихся бумаг Пушкина, то нет никаких данных предполагать, чтобы до 1835 г. Пушкиным была проделана какая-либо систематическая работа по Петру. Анализируемые нами рукописи 1835 г. во всяком случае не обнаруживают следов каких-либо предшествующих архивных занятий; работа с текстом Голикова была довольно элемен-

тарна, и в ней отразилась бы подготовленность Пушкина, если бы до того им была проделана планомерно какая-либо архивная работа.

До конца своей жизни Пушкин считал себя плохо ориентированным в литературе эпохи Петра I. Известно письмо его к М. А. Корфу от 14 октября 1836 г., в котором он благодарит его за присылку списка книг по Петру I: «прочитав эту номенклатуру,—пишет Пушкин,—я испугался и устыдился: большая часть цитованных книг мне неизвестна»[20]. Об этой «номенклатуре» Корф сообщал в сопроводительном письме от 13 октября 1836 г.: «В этой выборке нет ни системы, ни даже хронологического порядка: я выписывал заглавия книг так, как находил их в своих заметках, и искренно рад буду, если ты найдешь тут указание чего-нибудь до сих пор от тебя ускользнувшего»[21]. Посылка Корфа, о которой идет речь в письмах, представляет собою 9 листов списка книг, преимущественно иностранных, о Петре, с краткими аннотациями рукою Корфа (хранится среди рукописей Пушкина в Рукописном отд. Публичной Библиотеки Союза ССР имени Ленина, № 2388 Е). В той же папке хранится список дел под названием «Архив императора Петра I»,—перечень писарской рукой с обозначением, куда что отсылается. В списке сделаны пометы другой рукой, указывающие на соответствующие места Голикова, который служил ориентировочным источником. Все данные сводятся к тому, что дальше Голикова Пушкин в собрании материалов не пошел, во всяком случае он систематически для своего труда вряд ли что еще изучал.

Если сравнить пушкинские записи с записями Л. Н. Толстого по Петру [22], то пушкинские материалы по составу оказываются гораздо более простыми. Толстой имел под руками десять-двенадцать различных исторических изданий, когда составлял свои записи, при этом такие капитальные, как многотомную «Историю России» Соловьева и пять томов «Истории царствования Петра Великого» Устрялова; у Пушкина, когда он делал свои наброски, кроме Голикова, за малыми исключениями, ничего перед глазами не было. Записи Толстого компилятивные. Он сопоставлял и сводил воедино исторические материалы разных источников, разных книг; изучая одно и то же произведение (напр. соответствующие шесть томов «Истории России» Соловьева), он делал выписки под разными углами зрения, перескакивая с конца тома к началу, шел иногда в обратном порядке следования страниц и т. п.

При изучении автографов Пушкина видно, что он делал свои выписки тут же при чтении Голикова: в тексте автографов имеются вставки, обычно на полях, очень широких (в поллиста); эти вставки являются дополнениями и уточнениями ранее написанного; проконспектировав страницу, Пушкин, если при дальнейшем чтении Голикова находил новые сведения, которые ему представлялись интересными, то вписывал их в свой текст; таким образом Пушкин делал свои записи по мере чтения Голикова, а не после изучения книги, как это порой делалось Толстым. От последовательности изложения Голикова Пушкин нигде не отступает.

Структурно пушкинские записи гораздо более упорядочены. Толстой хотел захватить как можно больше. Его записи читаются с трудом; все скомкано; подчас отдельные полуфразы; одно-два выражения, в которых не сразу доберешься до смысла. У Пушкина строй фраз обычно упорядоченный. Иногда даны лишь «etc.» Имеются описки; их значительное количество. Также много сокращений и недописанных слов. Но каждое

предложение замкнуто и в надлежащей синтаксической форме. Это— не конспект книг Голикова в точном смысле слова и не извлечения («выписки») из него. С трудом найдешь две-три фразы, дословно соответствующие текстам Голикова. Тетради Пушкина—свободное переложение Голикова, при этом пушкинские записи более сжатые, чем изложение «Деяний Петра Великого». Удачно охарактеризовал тексты Пушкина Любимов в письме Погодину от 1 марта 1837 г. вероятно со слов Жуковского; он пишет, что в пушкинских записях «выжат весь многотомный Голиков» (см. ниже, в публикации М. Цявловского «Пушкин по документам архива М. П. Погодина»).

Впрочем записи Пушкина не представляли бы особого интереса, если бы это были простые «выжимки», сделанные механически. Прежде всего текст Голикова невольно деформировался под пером Пушкина. Но тут дело не в одной деформации. Пушкин вольно и невольно привносил что-то от себя, когда делал свои записи по Голикову. Интересно снять этот специфически пушкинский слой, выделить то своеобразное, творческое, что привнес Пушкин от себя в свои выписки-конспекты. Сопоставление содержания имеющихся 22 тетрадей с повествованием Голикова приводит к выводу, что Пушкин от себя внес изменения, которые можно объединить в четыре группы. Пушкин: 1) не следовал слогу подлинника и перелагал все своим языком, 2) подчас самостоятельно формулировал ссылки на исторические источники и определял их значимость, 3) делал собственные сопоставления, пояснения, вставки и обобщения, 4) проводил собственную тенденцию в подборе и в толковании излагаемых исторических фактов.

Проанализируем эти четыре категории в отдельности.

РИСУНОК ПУШКИНА НА ОБОРОТЕ ПОСЛАНИЯ К МИЦКЕВИЧУ (1834 г.)

Институт Русской Литературы, Ленинград

I. СЛОГ.

	У Голикова:	Пушкин заменил через:
Ркп. II.	Морское сражение	Морская эволюция
Ркп. IV.	в успехах их свидетельствовал	экзаменовал
	небрежение	леность
	увеселения	ассамблеи
	чрез посредство	подкрепленный
	претензии	требования
	забраны	конфискованы
	приведенных в конфузию	расстроить
	дух его не лишился тем своея отважности и бодрости	не упал духом
	взятье	отобрание
Ркп. V.	укомплектовал	[собрав] умножа
	великое число	множество
	воинских припасов	запасов
	не возмогая против последней устоять	изнемогая
	вошел	вступил
	ратных людей	солдат
	указал не мешаться	освободил
	готовившихся штурмовать	шедшего на приступ
	резолюция	решение
	полон	плен
	в оброк	в оброк (в аренду?)
	упражняться в рукоделии	заниматься рукоделием
	в помощь	для подмоги
	аммуниция	запасы
	полонена	взята
	ретраншамент	укрепление
	супругов	мужьев
	идет на секурс	на помощь
	брешей	проломов
	принесение богу благодарения	молебствие
	произвел суд	учинил суд
Ркп. IX.	расспрашивать с пристрастием	пытать
Ркп. X.	обойтися	обойтиться
	неприятельские действия кубанцев	кубанские народы тоже шевелились
Ркп. XIX.	так что никто в оном того не знал	incognito
Ркп. XXII.	воспринял путь свой в Москву	отправился
	Монс потерять голову на эшафоте, сестра претерпеть казнь и ссылку	сестра его высечена кнутом
	караулы свесть	о снятии караулов
Ркп. XXI.	грозили ему силою, но Г. Шипов ответствовал, что он умеет обороняться	Шипов упорствовал. Ему угрожали. Он остался тверд.

Лексическая оригинальность записей Пушкина отчетливо явствует из подобного сопоставления, что же касается последнего примера, то он интересен в синтаксическом отношении. Строение фразы здесь специфически пушкинское. На протяжении всех тетрадей можно проследить, как под пером Пушкина трансформировался голиковский стиль: вместо сложных предложений с большим количеством вспомогательных частей мы получаем краткие фразы, при чем предложение в большинстве случаев состоит из двух элементов. Лопатто в своем «Опыте введения в теорию прозы» отметил, что у Пушкина редко встречаются

РИСУНОК ПУШКИНА НА ОБОРОТЕ ПОСЛАНИЯ К МИЦКЕВИЧУ (1834 г.)
Институт Русской Литературы, Ленинград

фразы, состоящие из трех предложений, а из четырех—никогда. Фразы простые у него преобладают[23]. Пользуясь терминологией школьной теории словесности, можно сказать, что слог у Пушкина преимущественно краткий. Другая особенность—преобладание фраз, которые без остатка семасиологически делятся на две части. Лопатто называет такие фразы прямыми в противоположность непрямым, в которых более двух главных элементов или второстепенные элементы не сливаются с главными, а группируются особо[24]. Таким образом у Пушкина оказываются преобладающими предложения, которые школьным языком обозначались как предложения «нераспространенные». Пушкинская фраза в прозе—простая и прямая. На материале наших 22 тетрадей чрезвычайно рельефно сказывается эта тенденция к такому краткому и сжатому слогу в противоположность витиеватой и многословной фразе Голикова; здесь и статистически можно получить еще более показательные выводы, нежели из сравнительных таблиц Лопатто, где сопоставлены разнородные произведения, совсем не однотемные.

К слогу Голикова Пушкин относился отрицательно. 30 ноября 1825 г. он писал А. А. Бестужеву: «поэмы мои скоро выдут. И они мне надоели; Руслан молокосос, Пленник зелен—и пред поэзией кавказской природы—поэма моя: Голиковская проза». Из этого письма можно также заключить, что «Деяния Петра Великого» Голикова были известны Пушкину уже в 20-х годах.

II. ССЫЛКИ И ПАМЯТКИ.

Сюда относятся: а) ссылки на Голикова же; б) критика и оценка его высказываний; в) пометы, указывающие на необходимость дополнений и подтверждений к излагаемым Пушкиным сведениям; г) цитирование других источников помимо Голикова (через Голикова или извне).

а) Ссылки на Голикова.

Ркп. II, л. 9—по поводу сообщения Голикова о посылке в чужие края боярских детей для обучения разным наукам Пушкин отметил: «Голиков имел у себя копию с грамоты, данной дв. Колычеву» (срв. «Д. П. В.», ч. I, стр. 281).

Ркп. II, л. 14—к «Д. П. В.», ч. I, стр. 286 Пушкин пишет: «При сем случае Голиков рассказывает анекдот о царском лекаре Тирмонде».

Ркп. IX, л. 8—«смотри инструкцию в Голикове, ч. II, 352».

Ркп. XIV, л. 27—«см. у Голикова умный ответ сената, ч. IV—12 в примеч.»

Ркп. XV, л. 4—«NB. NB. О происках Карла см. Журнал П. В. (Ч. II—324). Там же и письмо от 4 июня Фолиха у Голик. (ч. IV—76)».

Ркп. XIII, л. 13—«Стремберг в своей капитуляции выговорил весь Рижский архив с библиотекой, письмами и проч.—Петр на сей пункт весьма подробное дал решение (см. Гол. ч. III—206)».

Ркп. XVII, л. 11—по поводу «Д. П. В.», т. V, стр. 267[25]. Пушкин пищет: «Здесь Голиков поместил манифест 1702 года об иностранцах и о свободе Вероисповеданий».

Ркп. XVIII, л. 6—«(Голик. по словам Неплюева)».—«Д. П. В.», ч. VI, стр. 27.

б) Пушкин критикует и оценивает Голикова.

Ркп. II, л. 4—по поводу перечисления состава неприятельских судов в Азове («Д. П. В.», ч. I, стр. 270) Пушкин замечает: «Все это рассказано Голиковым очень сбивчиво».

Ркп. II, л. 13—по поводу указания Голикова, что по словам Меншикова он сам открыл заговор Петру, Пушкин написал: «невероятно» (срв. «Д. П. В.», ч. I, стр. 284).

Ркп. IV, л. 4—«К стати о фейерверках Голиков приводит слова Петра к Прусскому министру Барону Мардфельду: я жгу фейерверки, чтоб приучить народ мой к военному огню (шутка, из которой Голиков выводит глубокие заключения)».

Ркп. IV, л. 10—«Всё описание Нарвского сражения в Голик. ошибочно».

Ркп. XIV, л. 12—«Кантемир весьма не советовал идти к Дунаю только с 15 000 противу около 70 000 татар и турок (Кантемир врал)» (срв. «Д. П. В.», ч. IV, стр. 242).

Ркп. XIV, л. 19—«Тогда послан Унт. оф. Шепелев, а Царица отослала (тайно от Петра) деньги и алмазы в подарок визирю и Кегае, его наместнику (всё это вздор etc.)».—«Д. П. В.», ч. IV, стр. 257.

Ркп. XIV, л. 22—«Султан торжествовал мир и наградил Визиря (так-ли?)».—«Д. П. В.», ч. IV, стр. 262.

Ркп. XVI, л. 6—«Смотри в Голик. (IV—197) сбивчивое его рассуждение о намерении Петра касательно Померанских городов».—«Д. П. В.», ч. V, стр. 139.

Ркп. XVII, л. 9—«Венецианский Историк говорит, что Петр сел на шлюбку и в самую ночь переехал на березовые острова, дабы дав отоле сигнал ободрить своих людей etc. (невероятно)».—«Д. П. В.», ч. V, стр. 252—253.

Ркп. XXI, л. 14—«См. добродушное примечание Голикова. VIII—434». (По первому изданию.)

в) Пушкин указывает на необходимость дополнений и выправок.

Ркп. II, л. 15—«Шведский же дворянин имел за посольством присмотр и содержал его как бы под честным караулом (следовательно был военный отряд?)».—«Д. П. В.», ч. I, стр. 292.

Ркп. II, л. 25—«матроса по имени Мус (Mousse?)».—«Д. П. В.», ч. I, стр. 312.

Ркп. II, л. 29—«12-го Апреля Петр посетил парламент. Король был на троне посреди Лордов (?)».—«Д. П. В.», ч. I, стр. 317.

Ркп. II, л. 32—«Цесарь представлял простого хозяина дома (трактирщика?)».—«Д. П. В.», ч. I, стр. 323.

Ркп. XI, л. 11—«П. велел судить Репнина, который и был осужден (на что?)».—«Д. П. В.», ч. II, стр. 318.

Ркп. XIV, л. 6—В Луцке «28 занемог скорбутикою с сильными пароксизмами (чего?)».—«Д. П. В.», ч. IV, стр. 224.

Ркп. XIV, л. 30—«Карл ‹от визиря› требовал и денег (сколько?)».—«Д. П. В.», ч. V, стр. 14.

Ркп. XV, л. 9—«В апреле прибыли в П. Б. сенаторы и Шерем. с Апр. (несколько? сенаторов остались в Москве для окончания дел)».—«Д. П. В.», ч. V, стр. 74.

Ркп. XV, л. 9—«Учредил Обер Инспектора над Рижским магистратом (не в противность-ли Лифляндским правам?)».—«Д. П. В.», ч. V, стр. 74.

Ркп. XV, л. 10—«Указом 11 июня Петр повелел сенату судить сенаторов, оставшихся в Москве и ослушившихся Указа Государя, касательно высылки Дворянина Головкина—(чем дело кончилось? и кто был сей Головкин?)».—«Д. П. В.», ч. V, стр. 77.

Ркп. XVII, л. 13—«Кикин и Корсаков наказаны жестоко (?)».—«Д. П. В.», ч. V, стр. 279.

Ркп. XIX, л. 9—‹В Кенигсберге› между тем в библиотеке нашел радзивильскую (?) рукопись Нестора».—«Д. П. В.», ч. VI, стр. 113.

Вопросительные знаки, заключающиеся в цитатах из Пушкина, которые приведены в этом разделе, указывают на то, что Пушкин предполагал искать уточнения и дополнения сведений, взятых у Голикова. Работа эта не была осуществлена.

Ркп. II, л. 7—«Брюс сочинил по той описи карту ‹представляющую места› от Москвы к югу до берегов малой Азии, и Крымскую Татарию (достать из Главного Штаба)».—«Д. П. В.», ч. I, стр. 274.

Ркп. XX, л. 1—«24 янв. ‹1722 г.› издана табель о рангах (оную изучить)».

г) Другие источники, на которые ссылается Пушкин.

О частичных заимствованиях из Штелина, собрания бумаг Туманского, Шафирова и Лемонтея сказано выше; в других случаях Пушкин ссылается на авторов, о которых знает по Голикову же, например:

Ркп. XIII, л. 16—«Штел. анекдот о Катеринентале (ч. III, стр. 222)». (Ссылка на первое издание.)

Ркп. XIV, л. 3—«22-го же числа П. (по предначертанию Лейбница) учредил Правит. Сенат». Сведения о Лейбнице взяты Пушкиным не из Голикова. О роли Лейбница Пушкин знал до составления выписок

по Голикову; он писал в статье о русской литературе: «Лейбниц начертал план гражданских учреждений»[26].

Ркп. XXII, л. 11—«Татищев говорит о разных степенях духовенства—предполагаемых Петром, но Татищеву верить нельзя».

III. СОБСТВЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ И ВСТАВКИ.

Сюда относятся: а) вводные замечания и сопоставления Пушкина; б) пояснения из французской практики или французского словоупотребления; в) самостоятельные формулировки в обобщениях, при характеристике переходных моментов и этапов хода исторических событий; г) специфически пушкинские крутые обороты и резкие характеристики; д) особо выделяется чисто пушкинская характеристика Екатерины I и Алексея Петровича.

а) Вводные замечания и сопоставления.

Ркп. II, л. 32—по поводу рассказа о победах Долгорукова над турками Пушкин пометил: «serrez, serrez» (срв. по Голикову, ч. I, стр. 322).

Эта помета Пушкина повидимому имеет отношение к нему самому, поскольку он излагал события царствования Петра, извлекая сведения из Голикова. Вряд ли это требование «сжатия текста» относится к тому, как составлять конспект: по всем вероятиям Пушкин здесь думал уже о будущем тексте своей собственной истории. Сопоставляя сжатый, чисто фактический стиль повествования наших 22 тетрадей с таким же простым стилем конкретного, скупого изложения в других исторических этюдах Пушкина, можно предполагать, что Пушкин уже вырабатывал своими записями тот общий строй повествования исторических фактов, как они должны были быть изложены в несостоявшейся истории Петра. Он лишь дополнил бы их там, где его не удовлетворял Голиков. Разумеется ему предстояло еще совершенно самостоятельно разработать и представить характерные моменты деятельности Петра, изобразить развитие его личности и по-своему обобщить исторические явления. Но образец канвы исторического рассказа (сжатого—serrez, serrez) мы прощупываем и в данных его записях.

Ркп. II, л. 21—по поводу того, что во время путешествия за границу Петр был назван корабельными мастерами Питер-Басом (срв. «Д. П. В.», ч. I, стр. 303) Пушкин добавляет: «сие название», напоминавшее ему деятельную, веселую и странную его молодость, «сохранил он во всю жизнь»».

Ркп. III, л. 13—в связи с описанием подготовки торжеств к празднованию начала года по новому стилю Пушкин от себя добавляет, что никогда новое столетие от старого так не отличалось.

Ркп. III, л. 17—по поводу указа о купеческих компаниях Пушкин добавляет пословицей: «...в супрядке не пряжа, в складчине не торг».

Ркп. VII, л. 14—излагая поводы и причины астраханского бунта, Пушкин вставляет от себя один мотив: «отомстив тем за казни 1698 года».

Ркп. IX, л. 8—по поводу «Д. П. В.», ч. II, стр. 252—254 Пушкин резюмирует: «Pierre fesait bon marché d'Auguste.—Il ne demandait pas mieux à ce qu'il parait d'élire un autre Roi[27] (с согласия союзников), мира же хотел он искренно, и готов был заключить его на одном условии: иметь единый порт на Балтийском море. Вообще инструкция есть chef d'oeuvre дипломации и благоразумия».

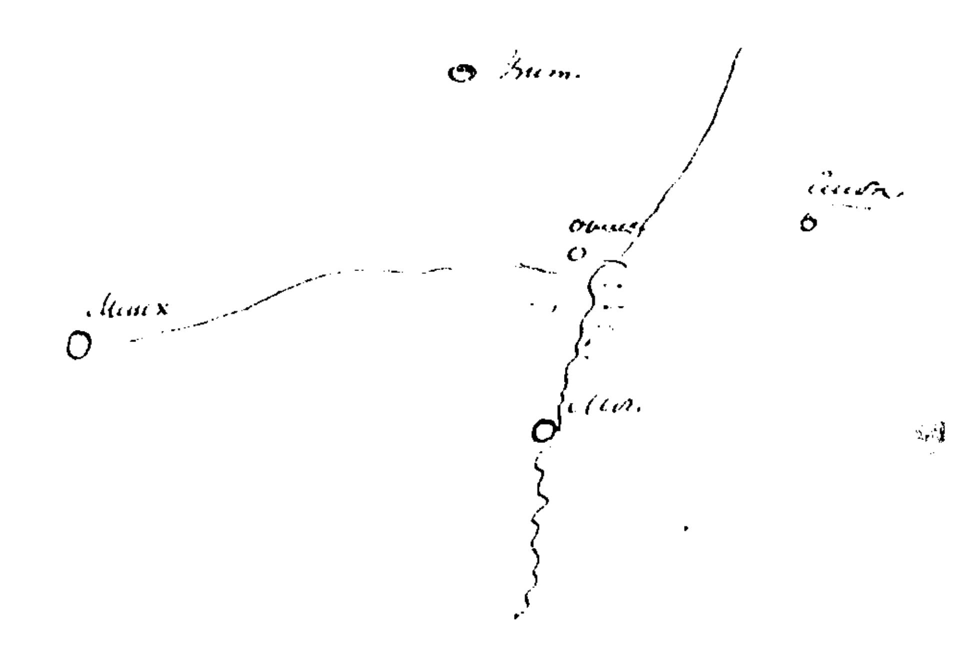
Ркп. XIV, л. 21—по поводу того, что Карл XII прискакал из Бендер с запозданием в 1711 г., так как трактат между русскими и турками

был уже заключен и разменен, Пушкин замечает: «в самом деле отсутствие Карла не понятно» (срв. «Д. П. В.», ч. IV, стр. 260).

Ркп. XV, л. 16—«Датский флот от острова Ругена (прежде уполномочения Петра) отошел к Когебухту; сие дозволило Шведскому флоту выдти в море, и взятие Ругена было отложено (кажется, не с согласия Петра)» (срв. «Д. П. В.», ч. V, стр. 94).

В дальнейших двух примерах то, чего нет у Голикова, а что принадлежит Пушкину, будет выделено.

Ркп. XIX, л. 22—«27-го Петр осматривал недорослей, прибывших из Копенгагена, определив им по червонцу в неделю кормовых (весьма



СОСТАВЛЕННЫЙ ПУШКИНЫМ ПЛАН, ОТНОСЯЩИЙСЯ К ЕГО РАБОТЕ НАД ИСТОРИЕЙ ПЕТРА I
Институт Русской Литературы, Ленинград

много), потом отправил их в Венецию, дав им по 25 черв. на дорогу».—«Д. П. В.», ч. VI, стр. 172.

Ркп. XXII, л. I—«При Установлении Синода (для задобрения монахов) возвратил он духовенству управление имениями».—Срв. «Д. П. В.», ч. X, стр. 5.

Пушкин, делая свои сопоставления, подчас апеллирует к более поздней эпохе, называя имена исторических деятелей времен Екатерины II, а также эпохи, современной ему. Тому три примера:

Ркп. XIV, л. 1—по поводу письма Петра («Д. П. В.», ч. IV, стр.195); в котором он предписывает турок не впускать в Каменец, учить солдат огню, а палашам дать покой, ибо турки не шведы и против них следует действовать пехотою и рогатками, Пушкин добавляет от себя: «Петр предчувствовал уже Румянцовскую стратегию. Румянцов действовал пехотой и карреями и уничтожил рогатки, чему первый пример дан Шулленбургом».

Ркп. XX, л. 14—по поводу распоряжений во время персидского похода не грабить и не разорять жителей под страхом смертной казни, Пушкин в скобках добавляет: «политика тамошних войск, см. действия Паскевича в Армении, Турции etc.»

Ркп. XXII, л. 8—по поводу Персидских походов: «Аврамов был при Шахе в Ардевиле. На него нападала чернь—но он был щастливее Грибоедова. Он отстрелялся и бутылкою вина утушил все сие дело» (срв. «Д. П. В.», ч. X, стр. 103).

Ркп. XXI, л. 1—пушкинский текст таков:

«Петр застал дела в беспорядке. Он предал суду между прочим К. Меншикова и Шафирова, последний обвинен и осужден на лишение чинов, имения и жизни.

Что было их преступление? Одна-ли непослушность и высокомерие? Должно исследовать. А за то, что Шафиров при всем Сенате разругал по матерну Об. Прок. Скорнякова-Писарева (31 окт. 1722) кажется на смерть осудить нельзя.

Обвиняли его в том, что брата своего произвел он в чин и дал ему жалования без Указу Гос., что не записывал всех своих определений в протокол, что, будучи Главным Управителем почт, установил прибавочные деньги на письма etc.—но всё это в то время было бы еще весьма неважно. То ли делал Апр-н» ‹Апраксин Петр Матвеевич›.

У Голикова о скандале в Сенате сказано сдержаннее: разругал он *непристойными словами*. Далее лишь перечислены проступки Шафирова: «Прибавил собою цены на отвоз и привоз писем» и т. д. («Д. П. В.», ч. IX, стр. 228). После этого Пушкин, отмечая, что Шафирова Петр неоднократно увещевал и наказывал келейно, говорит от себя, что это «случалось со всеми сподвижниками кроме Шереметева и м. б. К. Як. Долгорукова» (XXI, л. 2).

б) Французское словоупотребление и пояснения из французской практики.

Ркп. II, л. 24—«птичьи дворы (ménagerie)».—«Д. П. В.», ч. I, стр. 309.

Ркп. V, л. 21—«о присылке в монастырский приказ сведений воинск. и всяких для напечатания курантов (nouvelles courantes)».

Ркп. IV, л. 17—«Прямо Государю подавать одни челобитни о делах Государственных (доносы?) и о неправых решениях (чувствителен недостаток cour de cassassion)». Срв. в «Исторических заметках» (1832—1833): «Приказы: Надворный ведал дела переносные (cour de cassation)». (Изд. «Красной нивы», т. V, стр. 474.)

Ркп. V, л. 7—по поводу запрещения подписываться унизительными именами: «Слово холоп заменено рабом (serviteur). Вольтер совершенно прав; см. в Свящ. пис.: слово Раб везде приемлется в смысле Serviteur».

Ркп. VIII, л. 1—по поводу Щепотева, посланного в качестве особого надзирателя к фельдмаршалу, Пушкин замечает: «род французского Commisaire de la convention».—«Д. П. В»., ч. II, стр. 160.

Ркп. XIV, л. 16—по поводу описания излишней отважности фельдмаршала Пушкин замечает: «beau trait de bravoure et d'humanité de Шерем.»[28]—«Д. П. В.», ч. IV, стр. 251.

Ркп. XVI, л. 1—«12 янв.» П. fit defiler les troupes devant S. m. D.[29]— «Д. П. В.», ч. V, стр. 128.

Ркп. XVIII, л. 16—«П. учредил Морскую Академию для обучения гардамаринов (aspirants)».—«Д. П. В.», ч. VI, стр. 16.

Ркп. XX, на отдельном клочке: «припадок-accident».

Ркп. XXI, л. 14—«Персидскому шаху Тахмасибу прислать в Константинополь послов pour sauver les aparences»[30].

РИСУНОК ПУШКИНА
Собрание Ю. Г. Оксмана, Ленинград

Ркп. XXII, л. 5—«Раскольники объявлены бесчестными (infames)» (срв. «Д. П. В.», ч. IX, стр. 118; по первому изданию).

В иных случаях Пушкин догадывается об иностранном начертании имен, руссифицированных Голиковым.

Ркп. XVI, л. 25—«Башевич... (Bassevitz)».—«Д. П. В.», ч. V, стр. 188.

Ркп. XVIII, л. 6—«Французский двор прислал Графа де Croix (de Croisy?)».—«Д. П. В.», ч. VI, стр. 28.

в) Специфически пушкинские обороты при характеристике переходных моментов, этапов событий и в обобщениях.

Ркп. IV, л. 7—«Карл вспыхнул».

Ркп. IV, л. 14—«Петр протестовал».

Ркп. VI, л. 12—«Карл XII скрежетал».

Ркп. IX, л. 10—«Петр досадовал.....»—«Д. П. В.», ч. II, стр. 257.

Ркп. IX, л. 12—«Петр..... протестовал, но тщетно».—«Д. П. В.», ч. II, стр. 264.

Пушкин обрывает в формулировках:

Ркп. IX, л. 13—«Через три часа все было кончено».—У Голикова: «и огонь сей выдерживали шведы близь трех часов».—Ч. II, стр. 268.

Ркп. IX, л. 14—«Август был в затруднительном положении».—У Голикова: «не знал король, что делать».—Ч. II, стр. 269.

Ркп. XI, л. 21—после изложения конца второй части Голикова, по описании поражения при Лесном, Пушкин формулирует: «Шведы потеряли [31] свою самонадеянность и презрение к Русским».—«Д. П. В.», ч. II, стр. 318.

Ркп. XIV, л. 23—«П. не очень скорбел о неудаче (см. письма его в сенат и к Апраксину. Гол., ч. III—383—4)». (По первому изданию.)

Ркп. XIV, л. 29—«Однако упрямство Турка превозмогло».—«Д. П. В.», ч. V, стр. 11.

Ркп. XVIII, л. 6—«Прусский Король не согласился под различными предлогами».—«Д. П. В.», ч. VI, стр. 27.

Ркп. XIX, л. 20—«Между тем начиналась страшная политическая интрига».—«Д. П. В.», ч. VI, стр. 157.

Приведенные обороты речи и формулировки окрашивают текст пушкинским колоритом. Издатели считали описание событий 1672—1689 гг. собственным рассказом Пушкина (мнимая «Глава I»). На самом деле в этом рассказе пушкинскими являются лишь обороты речи, аналогичные приведенным выше. В этом отрывке они таковы: «Так начался важный переворот, впоследствии им совершенный: истребление дворянства и введение чинов» [32] (изд. «Красной нивы», стр. 439), «Началась реакция» (стр. 441), «Но гроза уже готовилась» (стр. 444).

г) Пушкин в противоположность Голикову употребляет крутые выражения и обостряет мысль в сторону более резких характеристик.

Ркп. II, стр. 24—«Посетил он и зазорные дома (бардели) с их садами».—«Д. П. В.», ч. I, стр. 309.

Ркп. II, л. 26—по поводу отказа Петра евреям в праве поселиться в России мнение Петра сформулировано у Голикова так: «Но я думаю у моих русаков не много они выторгуют». У Пушкина: «Русский обманет всякого жида».—«Д. П. В.», ч. I, стр. 314.

Ркп. XI, л. 17—о шведском короле: «Карл, по своему обыкновению, везде совался».

Ркп. XIV, л. I— о двух щитах, красовавшихся во время фейерверка 1 января 1711 г., Пушкин пишет так: «На од‹ном› изображ. звезду с надп. Господи покажи нам пути твоя, т. е. господи

покажи нам дорогу в Турцию, на другом столб‹е› с ключем и шпагой, с надп.: «Иде-же Правда там и помощь божия. Однако бог помог не нам».—«Д. П. В.», ч. IV, стр. 195.

Ркп. XIV, л. 29—«Петр досадовал на трусость Шафирова и на глупость Шереметева, ежели впредь так станет глупо делать, то не пеняйте, что на старости обесчещены будете».—«Д. П. В.», ч. V, стр. 12.

Ркп. XIX, л. 14—вместо слов Голикова: «Дабы совсем не бесполезно проводить время у Копенгагена» Пушкин формулирует: «от нечего делать».—«Д. П. В.», ч. VI, стр. 133.

Ркп. XX, л. 31—о Серпуховских воротах: «Приготовлены были триумфальные врата—с хвастливой надписью». У Голикова нет эпитета хвастливый.

д) Пушкин вникает во все подробности взаимоотношений Петра с Екатериной и стремится выявить те стороны ее жизни, которые Голиков прикрывает.

Ркп. XIX—данные «Д. П. В.», ч. VI, стр. 163 Пушкин излагает так: «10 ноября ‹1716 г.› Петр отправился путешествовать. Екатерина, будучи брюхата, осталась в Шверине».

В следующих двух цитатах выделены слова, которых нет у Голикова:

Ркп. XXII, л. 4—«Накануне Меншиков подал просьбу государю о отпуске повинных штрафов черес руки старой своей наложницы ‹т. е. Екатерины I›».

Ркп. XXII, л. 10—«Императрица, бывшая в тайной связи с Монсом».

Ркп. XXII, л. 4—Пушкин из всего длинного описания коронации выделил: «Одно обстоятельство замечательно. За обедом Волынский стоял за стулом Петра, а за императрицей камергер фон-Монс».

РИСУНОК ПУШКИНА, ИЗОБРАЖАЮЩИЙ БОМАРШЕ

Институт Русской Литературы, Ленинград

Ркп. XXII, л. 10—всецело принадлежит Пушкину следующая характеристика взаимоотношений Петра с Екатериной: «Оправдалась-ли Екатерина в глазах грозного Супруга? По крайней мере ревность и подозрение терзали его, он повез ‹?› ее около эшафота, на котором торчала голова нещастного ‹Монса›. Он ‹Петр› перестал с нею говорить—доступ к нему был ей запрещен. Один только раз, по просьбе любимой его дочери Елисаветы, П. согласился отобедать с той, которая в течении 40 лет была неразлучною его подругою».

е) Пушкин подчеркивает жестокое отношение Петра к сыну и обнаруживает свои симпатии к последнему, в то время как Голиков старается дискредитировать Алексея Петровича.

Ркп. XVIII—Пушкин записал: «N3. Петр писал угрозы своему сыну во время поздней беременности жены своей, надеясь на рождение сына»—срв. «Д. П. В.», ч. VI, стр. 50—51.

Ркп. XIX—читаем у Пушкина: «От 19 янв. Петр писал Царевичу второе письмо в ответ на его ответ. Или исправься или будь монах»—срв. «Д. П. В.», ч. VI, стр. 82.

Пушкин писал так: «В ...1690 году родился несчастный Алексей» (изд. «Красной нивы», стр. 443). У Голикова нет эпитета «несчастный».

IV. СОБСТВЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПУШКИНА В ИСТОЛКОВАНИИ ПОСТУПКОВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕТРА.

Ркп. IX, л. 2—в инструкции Вердену о том, как узнавать о Левенгаупте, Пушкин подчеркнул: «паче чрез шпионов», оттеняя рекомендуемый метод действия Петра. Голиков же это называет монаршей осторожностью (ч. II, стр. 227).

Ркп. X, л. 9—Пушкин указ «о не-дерзании бить челом» называет варварским.

Ркп. XII, л. 2—Голиков (ч. IV, стр. 50—51) писал: «Монарх, посылая сих, так сказать, понудителей к исполнению повелеваемого им...» Пушкин подчеркнул: «Долгорукий отправился с изустными поручениями, понудителем царских повелений».

Ркп. XIII, л. 8—Голиков старается затушевать: «Бесчестие таковое его флагу и отказ в требуемом за то удовольствии были толико монарху чувствительны, что принудили его, так сказать, против воли объявить сдавшихся в крепости всех военнопленными» (ч. IV, стр. 133). Пушкин заявляет прямо: «Петр не сдержал своего слова. Выборгский горнизон объявлен был военнопленным».

Ркп. XIII, л. 13—Голиков замазывает: «Но как между тем великий государь, нетерпеливо желая высвободить своих пленных, содержащихся в Стокгольме, удержанных за данным паролем под Нарвою еще в 1700 году, и не видя к их освобождению иного способа, как удержание в плену Рижского горнизона с их генерал-губернатором и со всеми вышними и нижними офицерами...» (ч. IV, стр. 143). Пушкин веско отчеканивает: «Петр и тут удержал горнизон Рижский, вопреки слова данного его фельдмаршалем».

Ркп. XIII, л. 14—Пушкин подчеркивает тяжесть жизни при Петре: «Петр на работы П. Б-ия ‹петербургские› потребовал 14.720 чел., выслав их в П.Б. на вечное житье» (срв. «Д. П. В.», ч. IV, стр. 147).

Ркп. XIV, л. 4—внутренно симпатизируя дворянству, которое Петр третировал, Пушкин ставит две нота-бене, формулируя приказ, направленный против дворянства: «Кто сыщет скрывающегося от службы, или о таковом возвестит, тому отдать все деревни того, кто ухоронивался» (срв. «Д. П. В.», ч. IV, стр. 219).

Ркп. XVI—обладая острым дворянским классовым самосознанием, Пушкин возмущается: «Тогда Петр издал тиранский свой Указ (от 26 сент.), по которому Доносителю», из какого звания он бы не был, отдавать поместия укрывающегося Дворянина», Пушкин при этом не обращает внимания на слова Голикова, который гнет свою линию: «Новый указ, но такой, который бы силен был вывести их, так сказать, из спячки» (ч. V, стр. 195—196).

Ркп. XX, л. 1—Пушкин записал: «Петр был гневен. Не смотря на все его указы, Дворяне не явились на смотр в декабре. Он 11 января издал Указ, превосходящий варварством все прежние, в нем подтверждал он свое повеление и изобретает новые штрафы. Нетчики поставлены вне закона».

Эта запись сделана на основании следующих данных у Голикова: «При сем угощении приметно было всем на лице его величества огорчение, которое происходило от преслушания его указов закоснелыми в деревнях своих дворянами. И по истине не можно довольно надивиться толикой грубости дворян сих, которые многократно публикованные указы о бытии им на смотр и с толикою строгостью писанные презирали... вследствие чего великий государь января 11 издал указ, в коем, приписав прежние свои о том указы, продолжает так: «И по прошествии выше писанных сроков всех нетчиков имена будут особо напечатаны и для публики прибиты к виселицам на площади, дабы о них всяк знал, яко преслушателей указов и равных изменников» (т. IX, стр. 48—49).

Ркп. XX, л. 3—Пушкин не может удержаться от аттестации: «О побеге колодников по потворству подъячих издан Указ—жестокий».

Ркп. XX, л. 5—Пушкин так излагает предписание о содержании армии: «Предоставляется на волю помещиков строить новые Усадьбы для солдат или разместить их по избам. Но и тут закорючки своевольства и варварства. См. VIII—138».—По второму изданию «Д. П. В.», ч. IX, стр. 97—98.

Ркп. XX, л. 28—по поводу свиданья Петра с Мехмет-Пашой Пушкин заподозревает, что Петр с ним объяснился «разумеется не искренно».

Ркп. XXI, л. 4—Пушкин отметил: «См. другой Государев Указ об описки чужого хлеба—в неурожай (опять тиранство нестерпимое)». Указ этот (от февраля 1723 г.) таков: «В тех местах, где народный голод явился, описать у посторонних излишний хлеб, чей бы он ни был... а при раздаче того хлеба смотреть накрепко, чтоб под видом скудных и хлеба не имеющих не брали такие, которые свой хлеб сокровенно имеют; также у купцов и у промышленников хлеб описать же, для того, чтоб они у продавцов скупая хлеб, высокою ценою не продавали и тем бы большой тягости народу не чинили».—«Д. П. В.», ч. IX, стр. 239.

Ркп. XXI, л. 11—читаем у Пушкина: «В сие время Малороссияне, оскорбленные в своих правах учреждением Малороссийской канцелярии, прислали к Петру депутатов. Петр посадил их в крепость». У Голи-

кова (ч. IX, стр. 282) совсем другой оттенок: «Его величество был в сие самое время огорчен присылкою от Малороссийских казачьих полков депутатов, с требованием подтверждения своих древних прав, которые, как они думали, учреждением Малороссийской коллегии якобы были нарушены, каковое требование, при тогдашних обстоятельствах, походило на некое тайное злоумышление. Император, у которого никогда предосторожности не недоставало, повелев Депутатов сих взять под частной арест, подтвердил Генералам своим при армии в Украйне находящейся, указом об имении всякой предосторожности не только от татар и турок, но и наблюдать за движениями Запорожских и Малороссийских казаков».

Ркп. XXII, л. 10—Пушкин пишет: «13 ноября ‹1724 г.› П. издал еще один из жестоких своих законов, касательно тех, которые стараются у приближенных к Государю покупают (sic!) покровительство и дают посулы».

Ркп. XX, л. I—иногда Пушкин проявляет свою тенденцию в скрытом виде. Так у него написано: «28 ‹янв. 1722 г.› было третье торжество. (NB Мнение Петра о Ц. Ив. Вас. по случаю иллюминации Герц. Holst)»,—т. е. Гольштейнского. А мнение это, записанное со слов очевидца Голиковым, таково: «Сей Государь (указав на царя Иоанна Вас.) есть мой предшественник и образец; я всегда представлял его себе образцом моего правления в гражданских и воинских делах, но не успел еще в том столь далеко, как он. Глупцы только, коим не известны обстоятельства того времени, свойства его народа и великие его заслуги, называют его мучителем».—«Д. П. В.», ч. IX, стр. стр. 59—60.

Если даже не учитывать всех вышеприведенных примеров и исходить лишь из последнего, где тенденция Пушкина прощупывается лишь в скрытом виде (нота-бене), то все же ясно, куда клонит Пушкин. Наиболее отчетливо установка Пушкина обнаруживается из следующей записи 1721 г., на которую обратил внимание М. Н. Покровский[33], определяя замысел будущей несостоявшейся книги Пушкина о Петре:

«Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами, первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности, или по крайней мере для будущего,—вторые вырвались у нетерпеливого, самовластного помещика».

Пушкин вычитывал о характере Петра из Голикова то, что у этого слепого апологета Петра не могло быть налицо ни в какой мере— нетерпеливость и самовластие помещика-царя. Это и было скрытой априорной предпосылкой Пушкина, когда он изучал материалы Голикова, и он невольно выявлял эту свою историческую предпосылку касательно деятельности Петра в своих замечаниях при чтении Голикова. Пушкин так передает заимствованный у Голикова ответ Петра на вопрос Военной коллегии, кого считать знатным дворянством: «Разрушитель ответствовал: знатное дворянство по годности щитать» (ркп. XXII, л. 11). Для Пушкина, лелеявшего мечту о высоком значении дворянства, Петр был «разрушитель», как для Евгения Медный всадник—символ гибели его жизненного благополучия.

ПОЛТАВА,

ПОЭМА

АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА.

The power and glory of the war,
Faithless as their vain votaries, men,
Had pass'd to the triumphant Czar.

Byron.

Полторацкому
от Пушкина
2 Апр. 1829
Москва

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

въ типографіи Департам. Народнаго Просвѣщенія.

1829.

ЭКЗЕМПЛЯР „ПОЛТАВЫ" С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ПУШКИНА ПОЛТАРАЦКОМУ
Третьяковская галлерея, Москва

Наметившееся у Пушкина в 30-х годах противопоставление исторической роли дворянства деспотизму абсолютной монархии в лице Петра особенно ярко выступает в проанализированных материалах 1835 г. В этом отношении они достаточно характерны. Этот новый отрицательный взгляд Пушкина на Петра пришел на смену иной оценки роли дворянства и абсолютной монархии в русской исторической действительности, когда самоуправство Петра казалось Пушкину оправданным его исторической миссией. В «Исторических замечаниях» 1822 г. Пушкин писал: «Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон. [Все дрожало, все безмолвно повиновалось][34]. Аристократия после него неоднократно замышляла ограничить самодержавие, к счастью[35] хитрость государей торжествовала над честолюбием вельмож, и образ правления остался неприкосновенным. Это спасло нас от чудовищного феодализма, и существование народа не отделилось вечною чертою от существования дворян. Если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. совершились, то владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили бы или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния, ограничили бы число дворян и заградили бы для прочих сословий путь к достижению должностей и почестей государственных». В связи с переоценкой роли Петра эта позиция Пушкина сменилась взглядом на дворянство как на самодовлеющий, хорошо организованный класс, являющийся защитником законности и права перед верховной властью. Не надо при этом забывать, что Пушкин работал по официальному заданию, а Николаю I мерещилось будущее произведение Пушкина как панегирик первому российскому императору, двойником которого Николай I считал себя. Между тем образ Петра у Пушкина в результате его исторических размышлений все снижался, и он ему представлялся не столько великим героем, сколько разрушителем. Мы не можем гадать о том, во что бы в окончательном виде вылилась фигура Петра под пером Пушкина, но разумеется и в своих выписках, поскольку они для него представляли служебный материал, Пушкин должен был помнить, что он принял на себя роль официального историографа, поэтому внутренняя, интимная оценка Петра проскакивала лишь местами у Пушкина; однако и в такой незначительной дозе места эти показались настолько предосудительными в цензурном отношении, что наброски Пушкина вовсе не увидели света в первом посмертном собрании его сочинений.

Если действительно собственноручные записи Пушкина к истории Петра сводились к 31 тетради, проанализированной выше, то остается определить, что представляют собою печатаемые в каждом собрании сочинений Пушкина «Отдельные заметки». Из приведенных в начале слов Анненкова, из содержания самих «Отдельных заметок», а также в виду совпадения этих заметок с отдельными фразами цельных рукописей Пушкина с очевидностью явствует, что это не что иное, как цензурные выкидки, относящиеся к 1840 г. Сделаны они были с точки зрения цензурности, выписаны без претензий на какую-либо текстологическую точность и поэтому должны быть признаны вполне дефектными. Курьезнее всего, что в издании «Красной нивы» 1930 г. они напечатаны в свою очередь с цензурными выкидками, что совершенно

неприемлемо, поскольку соответствующие автографы у нас в настоящее время под руками. Так под 1707 г. в «Красной ниве» напечатано: «8. Петр в Петербурге женился в ноябре, в соборной церкви св. Троицы, на Екатерине, мариенбургской....., бывшей замужем за шведским трубачем, потом... «не разобрано» Шереметева и Меншикова». На самом же деле в рукописи: «Петр в Петербурге женился в ноябре, в соборной церкви св. Троицы, на Екатерине, мариенбургской девке, бывшей замужем за шведским трубачем, потом наложницею Шереметева и Меншикова». Дело однако не только в цензурных ущемлениях (другие примеры: 1723 г. «Петр при всем сенате разругал....... обер-прокурора; вместо многоточия следует: «по-матерну»), но и в чрезвычайной небрежности текста.

Пример:

В издании «Красной нивы»:	В автографе:
Тогда же (1699) состоялся указ— всем русским подданным, кроме крестьян и духовных, брить бороду и носить платье немецкое: сперва венгерское, а потом мужескому полу верхнее — саксонское и французское, а нижнее и камзолы — немецкие (с ботфортами), женскому полу—(немецкое). С ослушных брать пеню в воротах (московских улиц) с пеших 40 к., с конных 2 р. Запрещено было купцам продавать, а портным шить русское платье, под наказанием (каким?) (стр. 455).	Тогда-же состоялся Указ — всем русским подданным, кроме крестьян (?), монахов, попов и диаконов— брить бороду и носить платье Немецкое (сперва Венгерское, а потом мужескому полу верхнее — Саксонское и Французское, а нижнее и камзолы—немецкие (?) (с ботфортами?), женскому полу — немецкое). Ослушникам брать пеню в воротах (Московских улиц) с пеших 40 коп. с конных по 2 р.—Запрещено было купцам продавать, а портным не шить русского платья под наказанием (кнутом?). Ркп. III, л. 12—13.

Другой пример:

В изд. «Красной нивы», стр. 456, строка 5 сверху, под 1715 годом напечатано: «В Хиву посланцем и шпионом послан был Бекович». На самом деле у Пушкина в тетради XIX под 1716 годом значится: «В Либаве к Петру явился князь Черкасский Бековичь. Он был в 1714 году послан в Астрахань и на Каспийское море для разведования о золотом песку, находящемся в Амур-Дарии» и далее: «В Хиву посланцем и шпионом послан был... (?)» Многоточие и знак вопроса были поставлены Пушкиным потому, что у Голикова он не нашел точных данных: «а к Хивинскому Хану под видом поздравления со вступлением на Ханство, послан особый посланец» (VI, стр. 86). Многоточие и знак вопроса у Пушкина обозначают необходимость дополнения Голикова. В напечатанном же тексте оказывается целое гнездо ошибок: 1) неверное отнесение к 1715 г. вместо 1716 г.; 2) вместо многоточия подставлено отсутствующее у Пушкина имя; 3) вставленное имя неверно—Бекович был посланцем в Астрахани, а в Хиве был особый посланец, как значится у Голикова.

Последний пример: 455 стр., 16 строка снизу: «Варшавский указ»—бессмыслица, вместо «Варварский указ» — так и в рукописи, и у Ефремова.

Впрочем в дальнейшем, при новых публикациях пушкинских текстов по Петру I, «Отдельные заметки» не могут причинить затруднений. Их не следует печатать вовсе, поскольку имеется соответствующий полный пушкинский текст в автографах, находящихся в ИРЛИ, а где они отсутствуют, там придется прибегнуть к копиям 1837 г. Но как однако поступать со сплошными записями Пушкина, которые начали печататься с 50-х годов, теперь же не имеют соответствующих автографов? Анненков печатал их по списку, представленному в цензуру в 1840 г., и допустил много опечаток. Текст Ефремова 1903 г.— более совершенный и выправленный, но не лишен своих опечаток. При воспроизведении в будущем этого текста Пушкина нельзя однако поступать так, как сделал Щеголев в издании «Красной нивы»: интерпретацией текста он не занимался вовсе. В виду того, что эти записи составлялись Пушкиным в полном соответствии с изложением фактов у Голикова, следует все сомнительные места напечатанного текста Пушкина проверять по Голикову. Ефремов печатал («Соч. Пушкина», 1903, т. 6, стр. 612) «(в чем не согласен Миллер. См. «Оп. тр. Ак.», ч. V, стр. 20)»; у Анненкова же стояло:—«стр. 120». Щеголев печатает так же, как у Ефремова—20, но достаточно взглянуть на соответствующую страницу у Голикова и сверить ее с Миллером, на которого он ссылается, и тогда ясно будет, что у Анненкова правильно—120. Мало того: придется сделать конъектуру, ибо издание называется не «Опыт трудов Академии», а «Опыт трудов вольного российского собрания». *Без таких конъектур не обойтись.* На стр. 443 (строка 4 снизу) издания «Красной нивы» читаем: «Бояре, угадывая причину сих щедрот, и видя опасность прямо приступить к удалению Голицына и к лишению власти правительницы, избрали (говорит Гол.) дальнейшую, но бесполезную к тому дорогу». Противопоставление «дальнейшую, но бесполезную»—бессмысленно. У Голикова: «безопаснейшую»; очевидно переписчик текста Пушкина неверно прочел слово. Более сложный случай, но также требующий конъектуры, таков: на стр. 443 (27 строка сверху) читаем: «Тогда повелено трем полкам (30,000) стать п о Б е л о г о р о д с к о й ч е р т е, под начальством боярина князя Михаила Ромодановского и думного дьяка Авраама Хитрово». Невольно встает вопрос, почему говорится о трех полках, но указываются лишь два соответствующих начальника; у Голикова названы трое: «под командою трех начальников, а именно: боярина князя Михайла Голицына, боярина князя Михайла Ромодановского и думного дворянина Аврама Хитрова». Произошел типичный случай ошибки переписчика или наборщика: взор с имени первого начальника перескочил на то же имя второго (Михайлы), откуда пропуск. Конъектура неизбежна. Упомянем еще два случая: 1) в издании «Красной нивы», стр. 440, строка 14 снизу: «Схватили стольника А. Ф. Барсукова». У Голикова: Афанасий Барсуков. Очевидно Пушкин написал Аф., а переписчик понял вторую букву как начало отчества Барсукова (А. Ф.); 2) стр. 441, изд. «Красной нивы», строка 18 сверху: «‹дан указ› бояр. князю Влад. Дмит. Долгорукому с Серпухов., Алексинск., Тарузск., Одоевск. и Калужск.—в Серпухов». У Анненкова не «Одоевск.», а «Оболенск.», у Голикова тоже «Оболенскими» (стр. 189).

Таким образом при данных специфических особенностях текстов Пушкина, в которых он не был самостоятелен, а опирался на избранный

им исторический источник, взор текстолога-редактора должен быть неизбежно обращен к Голикову, особенно в тех случаях, когда автографы Пушкина оказываются утраченными, копиям же доверять нельзя.

Основные выводы по исторической работе Пушкина прежних исследователей-биографов оказываются опрометчивыми, поскольку они не изучали источников Пушкина. Анненков делал выводы: 1) «С 1672 по 1689 год Пушкин делает свод всем летописям, запискам и документам, какие находились у него в руках, не прибавляя ничего». На самом деле в руках Пушкина кроме Голикова ничего не было по отношению к данным годам и «свода» он не составлял; 2) Анненков пишет: «Начиная с 1689 года своего исторического труда, Пушкин принимает другую систему. Под каждым годом излагает он свод событий, ознаменовавших его, и потом еще присоединяет к нему перечень указов, изданных в течение его» (Анненков. «Материалы». 1873, стр. 396—397). Эти выводы повторяют и Ефремов (1878, т. 6, стр. 488), и Морозов (стр. 16). На самом деле никакой «другой системы» Пушкин не принимает, а следует Голикову. Указы выписываются им отдельно в тех случаях, когда они выписаны так в «Деяниях Петра Великого»; приводятся они и до 1689 г. (см. например стр. 446 изд. «Красной нивы»). В тетради № 18 (1715 г.) мы их не находим, потому что не приводит их в конце года и Голиков, расположив их в своих местах.

Нельзя также говорить, как это делает Анненков, о пяти годах подготовительных работ Пушкина по Петру (стр. 396),—мы видели уже, что вся работа по Голикову была проделана Пушкиным в продолжение 1835 г.

Для того чтобы читатель мог конкретно видеть, как трансформировался голиковский текст у Пушкина, помещаем в виде приложения к нашему очерку содержание 21-й тетради из коллекции ИРЛИ. En regard даем соответствующие места из «Деяний Петра Великого» Голикова. Печатаем по новой орфографии, но с воспроизведением больших букв и начертанием до-гротовской орфографии, при чем держимся следующих правил передачи текста: 1) сокращения (главным образом имен) Пушкина оставляем неприкосновенными в тех случаях, когда им соответствует голиковский текст, дающий возможность верно прочесть пушкинские сокращения; если же имя и т. п. привнесено Пушкиным, то развертываем сокращение, чтобы оно было понятно читателю; 2) так называемые абревиатуры, типа кот-х вместо которых—развертываем без оговорок; 3) приписанное на полях включаем в текст, не оговаривая, поскольку приписанное явно входит в состав помещенной на главном поле рукописи фразы; 4) явные описки, пропуски отдельных букв и т. п. исправляем без особых оговорок; 5) сохраняя по возможности пунктуацию подлинника и прописные буквы, исправляем случаи, когда пунктуация идет в разрез с общими правилами размещения знаков препинания, и дополняем недостающие знаки, если это необходимо для осмысления фразы; 6) зачеркнутое Пушкиным воспроизводится в прямых квадратных скобках; 7) редакторские дополнения в текстах Пушкина помещаются в угловых скобках; 8) помещенные в квадратных скобках цифры указывают: в левом столбце страницы—соответствующую страницу книги Голикова, в правом столбце—лист рукописи Пушкина; цифра относится к тексту, помещенному до нее.

ДЕЯНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Часть VIII; М. 1789.

Мы упомянули в исходе минувшего года, что великий государь по прибытии своем в Москву из Астрахани повелел дать себе отчет в делах, произведенных в его отсутствие, при рассматривании которых к великому огорчению своему нашел многое [323] в противность своих намерений учиненное. Разгневанный сим монарх учредил комисию для исследования того. Беспристрастие и строгость комисии сея обвинило между прочим князя Меньшикова и барона Шафирова, и надобно, чтоб преступления последнего были велики, когда он, не взирая на все его великие поистинне к отечеству заслуги... осужден был не токмо к лишению чинов и имения, но и самыя жизни.

Какая же толь чрезвычайной превратности причина? Мне кажется оного были самые его заслуги и монаршие к нему милости, ибо он ими ослепился... в отсутствие императора в собрании правительствующего сената разругал он [324] непристойными словами обер-прокурора Скорнякова-Писарева[1]... А из последнего обвинения его видно, что он брата своего произвел в чин с великим жалованьем без указу его величества и без ведома сената; что подобные сему делал определения без записки оных в протокол; что быв главным управителем почт, прибавил собою цены на отвоз и привоз писем, и деньги те удержал за собою и прочее, и таковые его поступки (а может быть было что-нибудь и важнейшее) победили наконец милосердие монаршее... Прочтен ему на эшафоте указ, который выслушал он с изъявлением сердечного сокрушения, а потом положен он на плаху, но в самый сей [325] момент присланный от императора указ даровал ему жизнь, и по сем послан он был со всею фамилиею в заточение в Сибирь; однакож определено ему не нужное содержание.

Что же до... князя Меньшикова касается, то хотя и не известны мне его последние преступления, но надобно також быть и им не неважным; ибо при сем случае отказано было ему паки от владения приписанными к пожалованному ему за одиннадцать пред сим лет городу Почепу козаками и деревнями [326].

‹Шафиров› завел по вышеупомянутому спорному делу о землях к Почепу принадлежащих, с князем Меньшиковым спор и новую ссору, хотя оное, как мы видели, и решено уже было самим монархом [325].

Я от достопочтенных стариков слыхал, что снисходительный государь неоднократно сам напоминал ему о сем ‹высокомерии›, а иногда келейно и наказывал за оное [324]. ‹Меньшиков› наслал обер-полициймейстеру Московскому указ, что кто будет деревянное в Москве строить, тоб строил на каменном фундаменте... но правительствующий сенат, оставя сей Меньшикова указ, дал обер-полициймейстеру знать, что за сие он подлежал бы штрафу

[1] Сие было 31 октября минувшего году.

РУКОПИСЬ ПУШКИНА

1723.

(XXI тетрадь).

П. застал дела в беспорядке. Он предал суду между прочим К. Меншик. и Шафирова; последний обвинен и осужд. на лиш. чинов, имения и жизни.

Что было их преступление? Одна-ли непослушность и высокомерие? Должно исследовать. А зато, что Шаф., при всем сенате разругал по матерну Об. Прок. Скорнякова Писарева (31 окт. 1722) кажется на смерть осудить нельзя.

Обвиняли его в том, что брата своего произвел он в чин и дал ему жалования, без Указу Гос., что не записывал всех своих определений в протокол, что, будучи Главн. Управителем почт, установил прибавочные деньги на письма etc.—но все это в то время было бы еще весьма неважно. То ли делал Апраксин!

Он был помилован уже на плахе и сослан в Сибирь со всем семейством.

У Меньшикова отняли деревни, приписанные к Гор. Почепу, коим он владел уж 11 лет. (Дело сие было решено Петром в его пользу; Шафиров возобновил его не смотря на то.) [1]

Шафирова П. неоднократно увещевал и наказывал келейно; что случалось со всеми его сподвижниками кроме Шере-

[327], но по новости только его сие ему прощается[1]. [328].

...Мы находим «Петра» дающего преподробные наставления в недоумениях... следующий пример: интендант Потемкин, коему поручено было вразумить всех промышляющих по Волге делать суда по данному образцу, подал 11 генваря его величеству доклад, состоящий в 18 пунктах о всем порученном ему... и требует на все резолюций. Великий государь дает ему оную своею рукою с превеликою подробностию... Мы выпишем подлинником на один только первый пункт о судах оных его резолюцию. «Романовки делать по образцу, а другие суда, которые больше, делать маниром, каким хотят, только чтоб были укреплены следующим образом: [331]... а со скобками отнюдь не делать» [332].

А по сем неутомимый государь рассматривал докладные пункты господ свидетельствователей ревизских сказок и раскладчиков полков по душам... при всем том великий государь в резолюциях своих отечески уменьшил предписанные прежде наказания, например за утайку больших мужиков положено было за каждого по 100, а сих утаенных нашлось много, но монарх [334] повелел взыскать по 10 рублей; на один только помянутого «Чернышева» генерал-майора в докладе следующий пункт... дал монарх строгую резолюцию, а именно: «Которые управители земские и посланные велели утаивать, или ведали утайку, манили и не объявляли, и деньги брали и не брали, казнить смертию». «Петр» повелел святейшему синоду в сем же генваре месяце: в синодальной области и в архиерейских епархиях во всех монастырях учинить опись в самой скорости, колико ныне в оных обоего пола монашествующих, и дабы впредь отнюдь никого не постригать, а сколько из наличного ныне числа монахов и монахинь будет убывать, о том в синод рапортовать помесячно, и на те убылые места определять отставных солдат [335].

Подтвердил указ свой, состоявшийся из 1701 году, чтоб в монастырях с монахами мирские люди и дьячки вместе не обитали, и монахи в кельях своих чернил и бумаги без позволения настоятелей не имели, и дабы в сем случае поступали по точному предписанию духовного регламента. «Понеже ничто так монашеского безмолвия не разоряет, как суетные их и тщетные письма и прочее». Чтоб в армейские полки священников определять из ученых и искусных. Чтоб в церквах никому своих икон приносящих из домов не ставить. Чтоб в церквах во время службы и пения никому как не разглагольствовать, так лобызания св. икон и мощей не чинить, и с презрителей, не выпуская из церкви, брать штрафу по рублю, и для того во всех церквах иметь ящик, привешенной на железной цепи, дабы оный видел народ и страшился преступать сего повеления. Чтоб всем архиереям и прочему духовенству в святых церквах никаких челобитен не принимать [336], и приказных ни о каких делах к себе с докладами не допускать, кроме государственных, не тер-

[1] От 5 октября, в 1722 году.

метева и м. б. К. Як. Долгорукова.

Меншик. писал Моск. Об. Полициймейстеру Указ строить впредь деревянные дома на каменн. фундаменте. Сенат напротив остановил оный указ (яко противный Царским Указам?) см. 5 окт.—

П. дал Инспектору Потемкину инструкцию о судах. См. VIII — 332. Изъяснение, в чем состояли староманирные суда со скобками.

П. рассмотрел Ревизские сказки и полки расположены по душам.

П. смягчил строгость Указа об утайке душ вместо 100 р. штр., положено 10 р.—

Ген. май. Чернышев донес, что некоторые из посланных от Воевод также и земские управители сами велели утаивать и брали взятки. П. определил таковых см. казнить.

Синоду дан Указ впредь никого не постригать, а на убылые места ставить старых отст. солдат. [2]

Подтвердил Указ 1701 о нежитье вместе с монахами дьячкам и мирянам, о не держании в келлиях чернил и бумаги без дозволения настоятеля. См. Указ

в полки Указом ставить попов ученых.

в церковь своих икон из дому не носить.

Не целовать икон и мощей во время службы—и штрафу брать в церкве-же по 1 руб.

пящих коснения дел... Бережливость, с какою сохранял великий государь годные к корабельному строению леса, понудила его величество запретить повсюду делать выдолбленные из одного дерева гробы, а делать оные из досок, однакож чтоб и оные были уже указной меры; долбленые же хотя и употреблять, но из дерев еловых, березовых и ольховых.

...9 февраля дал сенату следующий указ: «Когда придет какая нужда в деньгах на какое дело необходимая, искать способу, отколь оную сумму взять, а когда никакого способу не найдется [337], тогда нужды ради разложить оную сумму со всех чинов всего государства, которые жалованье получают, духовных и мирских, кроме призванных в нашу службу чужестранных мастеров, также унтер-офицеров и рядовых и морских нижних служителей, с рубля почему доведется из их жалованья, дабы никто особливо не был обижен, но общее бы лишение для той нужды все понесли, а вырывом не чинили, о чем в штатс-контору для генерального вычету послать указы...

Правительствующий сенат в следующем апреле месяце, когда притом весна открыла, что не можно ожидать и урожаю хлебного, сделав по сему указу о вычете сем подробное расчисление, повелевает [338]: «следует 8 пунктов распоряжения с 3 пунктами изъятий». Мы упомянули о дороговизне хлеба, бывшей в сие время, от которой в некоторых местах оказался голод. Великий государь поражен был сим, и при первом о том известии издал закон, повелевающий в нужное время у всяких чинов излишний хлеб описывать и раздавать неимущим в долг [340].

По сем учредил монарх порядок в присудствии военной коллегии, повелев всем служащим генералам присутствовать в оной по-очередно, а именно трем четвертям погодно... а президентам переменяться в пять лет... Издал прибавление в табели о рангах, в каких чинах почитать генерал-фискала, обер-фискала государственного, обер-фискалов военной коллегии в Москве и в войске, фискалов других коллегий и провинциальных [342].

Между таковыми упражнениями своими монарх вместо отдохновения занимался строением дворца своего, называемого Головинским, которое место и с домом купил государь пред отъездом своим в Персию у детей генерала-адмирала графа Федора Алексеевича Головина. Пред отъездом же своим из Москвы в Петербург вверил строение сего дворца доктору своему Бидлоу, под главным смотрением московского обер-коменданта Измайлова, дав последнему следующий указ: «Велели мы здесь доктору Бидлоу строить двор и огород (сад) наш, купленный у детей покойного Федора Головина, и к той работе определить из московского гарнизона солдат... [343].

...повелев сенату немедленно быть в Петербурге, сам 23 февраля со всем своим двором из Москвы отправился...

Видели мы коварство Рященского визиря в удержании шахского посла Измаила Бега, но что ему однако же не удалось. Визирь сей, дыша за то

Архиереям и проч. в церкве челобитен не принимать—и приказных к себе не допускать, кроме как в делах Государств. (в бунте и измене?).

П. запретил делать гроба из выдолбленных дерев—дуб и сосн. (из экономии), а из досок, указанной меры. Елов., берез. и ольх. позвол. и долбить.

9 февр. Указ о том, что коли на новую надобность денег не случится, то разлагать сумму на всех чинов, по мере жалования (кроме иностранн. — но обща — н е в ы р о в ы м—и о том для генеральн. в ы ч е т у посылать Указ из Сената.

В сей год был неурожай и вышепр. Указ возъимел свое действие. [3]

Смотри сложный указ в А п р е л е и перемены сделанные в оном Петром.

См. другой Государев Ук. об описки чужаго хлеба в н е у р о ж а й; (опять тиранство нестерпимое).

П. учредил в Воен. Колл. всем Генералам, по очереди, присутствовать; а президента переменяться каждые 5 лет.

Прибавл. к табели о рангах.

П. строение Головинского купленного у детей покойн. Фед. Алексе. Гол. Дворца с о г о р о д о м поручил Dr Бидлоу.

23 февр. П. отправился в П. Б., повелев Сенату следовать за ним немедленно.

Между тем в Рещте Визирь тайно приготовлялся выжить Русских. Ежедневно входили в город воору-

НАБРОСКИ ПУШКИНА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЕГО РАБОТЕ НАД ИСТОРИЕЙ ПЕТРА I
Вверху страницы—план работы, ниже—более подробный конспект
Институт Русской Литературы, Ленинград

злобою, принял намерение выжить россиян из Ряща. Полковник Шипов, неусыпным оком на все его движения назирая, видел ежедневно приходящих к Рящу вооруженных персиян, которых наконец набралось до 15 000, и сверьх того прибыли по согласию Рященского Кескарской и Астаринской визири [344]... Наконец... прислали к полковнику все три визиря сказать, что не можно им более терпеть пребывания его с войском в их земле; что они сами в состоянии защитить себя от своих неприятелей, и того ради требуют они, чтоб он полковник вышел добровольно, пока не принудят его к тому силою. Ответ на сие последовал следующий: «...без именного его величества указа не могу я с места тронуться»; и заключил тем, что впрочем [345] хотя б он и хотел выехать, но не имея судов... не может... убраться со всем войском... а как в самом деле оставшиеся суда приуготовлялись к отъезду, ибо господин Соймонов должен был по указу императора следовать на реку Кур для осмотрения места под строение города; то и думал визирь, что *артиллерия российская, которая им большой* наводила страх, в оные будет погружена, и по сему во ожидании того притворились они, что ответом сим будто б довольны.

Я уже упускаю многие между тем коварные неприятелей намерения, настроенные к истреблению судов наших, и к укреплению пролива в Каспийское море, чтоб тем пресечь вход российским судам в Зензилинское озеро или пролив. Но когда господин Соймонов в марте месяце вышел в море и персияне узнали, что на судах никаких с берега не погружено военных снарядов, и что сверьх того для защищения гавани в проливе остались еще три вооруженные судна; то и возобновили паки свои требования о выступлении из Ряща войска. Полковник представлял [346], что на трех оставшихся судах не может он и четвертой части войска своего уместить... Грозили ему силою, но г. Шипов ответствовал, что он умеет обороняться.

Великое их множество, а малое число россиян придало персиянам смелости. Они открыли стрельбу из четырех пушек по караван-сараю... Я позабыл было сказать, что персияне, атаковав караван-сарай, атаковали вместе и три помянутые судна. Они сделали на берегу ночью батарею, и четырмя пушками надеялись их истребить. На судах было не больше 100 россиян, а на [347] берегу неприятелей до 5 000 человек; но капитан лейтенант Золотарев пошел против огня прямо, и своими с судов пушками разогнал всех, так что в четверть часа не осталось ни одного неприятеля [348]... около полуночи, когда персияне успокоились, послал ‹Шипов› роту гранадер с капитаном Шиллингом в задние ворота, с повелением, обошедши персиян, напасть на них с тылу. Между тем, когда капитан сей уже далеко отошел, приказал он выступить двум ротам в передние ворота и напал на неприятеля с одной, а капитан с другой стороны в одно время: больше 1000 человек убито на месте и в погоне, и через несколько минут место сражения очистилось [347]. Устрашенные персияне после сего усмирились, а между тем пришли из Астрахани прибавочные войска...

женные Персияне. Визири Кескерский и Астаринский прибыли туда. Собралось до 15 тыс. Рештский визирь послал сказать Шипову, чтоб он отваливал. Шипов, взявший свои предосторожности, отвечал, что того не может учинить. [4]

Соймонов готовился ехать на Куру для осмотрения места города предполагаемого. Визирь надеялся, что артиллерия [пол] нагружена будет на его суда. Он притворился довольным и успокоенным, но продолжал коварствовать, и старался укрепить пролив Зинзили.

В марте Соймонов пошел в море. Персияне узнали, что артиллерия оставлена на берегу и что для защиты гавани осталось 3 суда. Они возобновили свои требования. Шипов упорствовал. Ему угрожали. Он остался тверд.

Персияне решились напасть на русских. Они открыли огонь из 4 пушек по Караван Сараю [и] 5 000 атаковали [и] три суда, на коих находились Капит. Лейт. Золотарев с 100 чел. [Он] Золотарев отразил их в ¼ часа.

Шипов дождался ночи. И отрядив Кап. Шиллинга с одн. рот. грен. с повелением обойти Персиян и напасть на задние ворота, сам пошел в передние с двумя рот.—Персияне бежали—и усмирились. Из Астрах. пришло прибавочное войско. [5]

...Когда сие происходило в Ряще, г. Соймонов осмотрел большой западный рукав реки Кура и назначил место, на коем быть городу.

Посланник ‹Порты› Капиджи Паша и персидский бунтовщик Дауд Бег своими представлениями паки оную возмутили... Муфти и все знатные [348] Алкорана наблюдатели единогласно представляли Дивану, что как магометанский закон и честь, так и польза высокой Порты не позволяют допустить императора российского до дальнейших в Персии успехов, но паче обязывают ее немедленно остановить оные оружием. Таковые предложения были весьма неприятны верховному визирю. Он предложил умереннейшие к тому средства, а именно послать паки в Россию одного Агу и истребовать у императора решительного ответу о воинских его приуготовлениях... и что есть ли не оставит он Дербента и других взятых в Персии мест, то Порта поступит с ним, яко с неприятелем...

Французский двор, имея тогда союз с Россиею, и желая притом содержать турков в готовности к принятию оружия против цесаря в случае, когда они того от них потребуют, был весьма недоволен предприятиями оных против России... Министры их, Кампредон при дворе российском и Марки Бонах при Порте пребывающие, трудились о исполнении [349] сего желания двора своего... Российский резидент, бывший тогда при Порте г. Неплюев, по повелению монарха все же свои употреблял силы к успокоению мятущияся Порты. Верховный визирь, не желавший войны, был таковыми объяснениями весьма доволен, и все пришло в спокойствие; но в самое сие время... вдруг паки все [350] переменилось, и Порта крайне возмутилась, услышав, что 4 000 российского войска пришли уже до самого Тифлиса... назначенной посланником к императору Ага был отправлен в Россию, который вместе с французским вышеупомянутым курьером и прибыл в последних числах марта в Санктпетербург.

Между тем великий государь сего же марта 3 числа прибыл в сию любимую свою столицу к неизреченному обрадованию всего народа, встретившего его за городом. Монарх нашел здесь прибывших пред тем по желанию своему его высочество герцога Голстинского, нареченного своего зятя, и двух гессенгомбургских принцев. Он принял их с крайнею благосклонностию, и последних по желанию их тогда же принял в свою службу капитанами гвардии, с жалованьем по 6000 рублей в год каждому [351]... Император по прибытии своем не оставил все осмотреть работы. Он начал с адмиралтейских, а по осмотрении в городе, коль скоро Нева открылась, то со льдом вместе поехал в Кронштат. Там монарх по обозрении работ, в каналах и других частях производимых, осмотрел корабли и все иные суда, и из последних, кои начали ветшать, не малое число повелел разослать в приморские города, Петербург, Ригу, Ревель и Выборг с таким указом, чтоб оные раздать городам тем, дабы употребили их в пользу своея торговли... Во время сих упражнений монарших министерство шведское, по совету с королем и коро-

Соймон. осмотрел Западный берег Кура и назначил место для города.

Капиджи Паша и Даудбек—возмутили Турцию. Муфти и пр. настаивали, чтоб быть войне. Верх. Визирь все еще противился—положено послать еще спросить у Петра его рещительный ответ и требовать очищения Дербента и проч. городов.

Франция, имея нужду в Турции касательно Австрии, сильно старалась о соблюдении мира. Кампредон и Маркиз де Бонак, согласно с Неплюевым, действовали при Порте. Простодушные Турки успокоились. Но вдруг разнесся слух, что 4 000 руск. дошли уже до Тифлиса—Ага поехал к Петру, и в марте прибыл в П.Б. с франц. курьером присланн. от Кампр. к Бонаку вместе.

3-го марта П. приехал в П.Б. Здесь нашел он Герц. Holst. и двух Гессен‹гом›бургских принцев, и сих принял в свою службу Капит. Гв. с 6 000 руб. жал.

Как Нева вскрылась, П. со льдом вместе, поехал в Кроншт. и ветшающие корабли разослал в приморские [6] свои города, для торговли etc.

левою своими, приговорили с своея стороны подтвердить ирою нашему титлу императора, а герцогу голстинскому наименование королевского высочества [352]... Казалося, что королю датскому, который еще по сие время не изъяснился в признании его величества императором, не можно было уже не согласиться в том с прочими державами. Однако же император, не видя сего, послал указ к министру своему, при датском дворе пребывающему, дабы он домогался у короля согласия на предложенные ему прежде пункты, а именно: признать его императором; чтобы российские торговые корабли проходить могли Зунт на том основании, как имела Швеция до минувшей войны и чтоб его датское величество подтвердил голстинского герцога в его княжестве и владении Шлезвигом; а чтоб уважить сии требования, дал указ о вооружении 26 военных кораблей и 40 галер, в Кронштате находящихся [353]. ...учредил Ландмилицкой в Украйне корпус войск (из указа от 4 апреля): «Тот четырегривенный сбор сбирать особливо и употреблять [355] на ландмилицию конную...» [356]. Другим указом определено в сих ландмилицких и нерегулярных полках состоять по десяти рот, а в каждой по 150 человек.

Другой именной же его величества указ, повелевающий учинить козаками всех тех из малороссиян, которых предки были козаками, но которых разные помещики присвоили к себе в подданство; и в облегчение сего же народа повелел сложить разные сборы.

Наконец неутомимый государь поданный от главного магистрата по прошению купцов доклад... решил с обыкновенною ему точностию и ясностию... Купцы представляли, что вдовы купеческие выходят [357] замуж за другого звания людей, и чрез то капиталы купеческие выбывают из купеческого общества. На сие монарх собственною рукою подписал тако: «Женам прежде замужества надлежит продать двор и заводы в посад и заплатить все недоимки, а потом вольно вытти замуж, за кого похочет»...

Ответ ‹Аге› дан был такой, как и прежде... Но по отправлении сего посланца турецкого осторожный государь послал указ в Украйне находящемуся генералу князю Голицыну расположить армию, которая состояла от 70 до 80 тысячь по границам крымским и турецким [358].. Повеление сие снабжено подробнейшим наставлением... Май месяц занимался монарх подобно же, и мы находим в оном состоявшихся великое число указов... о строении в Сибири речных судов, о записке купцам прикащиков и сидельцев своих в таможнях, и о давании им кредитиву [359]... Монарх в присутствии своем в сенате рассуждал о рыбном промысле при Кольском остроге, что промышленники наши солить оной не умеют, повелел: ‹следует указ› [360]. 2. «Призвать в сенат из армянской компании лучших двух или трех человек, и объявить им, чтоб они к размножению коммерции с российскими купцами имели старание, и для того шелк и другие персидские товары.... привозили б в Россию» [361]. ‹Далее речь идет о ряде указов, среди них о› подтвер-

Швеция признала П. Императором, а герцогу Holst. дала титул Е. Кор. Высочества.

П. требовал от Дании того же и других пунктов,— а для поддержания своих требов. велел вооружить 26 кор. и 40 галер (в Кроншт.).

П. учредил в Украйне конн. Ландмилицкий Корпус (в полк. 10 рот, в роте 150 чел.).

П. занялся Малороссией; облегчил подати etc.

Решил запросы Магистрата касательно капиталов, выбывающих из общества купцов etc.

П. отправил Тур. посла с тем-же прежн. ответом; но предписал Генералу Кн. Голицыну, находящ. в Украйне расположить свои 70 или 80 тысячь по Границам Крым. и Турецким—(При том подр. Инструкц.).

Указов состоялось множество, касающих до торговли рыбной, шелковой etc.

Подтверд. полицейских etc. etc.

дительной о учреждении ландмилицких полков с дополнением о подробностях...

Между сим прибыли... из Астрахани генерал-адмирал и граф Толстой. Монарх, удовольствовавшись разговорами с сими верными исполнителями его повелений, и уведомившись, что старанием господ Румянцева и князя Юсупова суда почти уже совсем в отделке, благоволил благодарить сих последних своеручными письмами [362] [1]...

...Великий государь послал в Астрахань к генералу-майору Матюшкину указ, повелевающий ему, что как скоро прибудут в Астрахань сии суда, исполнить непременно по данному ему указу, то есть ехать в Баку и взять оную.

Я имею еще одно письмо монаршее к Петру Михайловичу Бестужеву, пребывающему в Митаве, из которого видно желание его величества дать герцога Курляндии такого, какого ему хотелось, и как кажется, то желал монарх доставить оное предупомянутому герцогу Вейсенфельскому, яко назначенному жениху вдовствующей герцогине, племяннице его царевне Анне Ивановне, но чего однако не смея утвердить за подлинно, помещаю оное письмо: «Писал ты к нам о болезни князя Фердинанда ‹курляндского, который находился тогда в Гданске› чего ради мы [363] за благо рассудили тебе ехать туда ‹во Гданск› не для одних денег, которые надлежат племяннице моей, и пожитков, но чтоб его склонить к тому, что он наследство отдает, кого чины курляндские изберут... и буде умрет при вас, что ты имеешь указ арестовать; буде же прежде вас или после, то Эртман, к которому также указ послан...» Указ его величества был к нему в такой силе, чтоб арестовал по смерти сего князя имение за претензию на нем ее высочества... Великий государь повелел приуготовить к выходу в море флот свой. Поспешное оного вооружение причинило у морских держав великое недоумение. Король датской [364]... нашел себе принужденна с великими издержками скоропостижно вооружать *как флот*, так и сухопутное свое войско... Из Крон*штата* монарх со флотом отправился в июне месяце в Ревель, командуя всем флотом сам в звании морского своего чина, то есть адмирала [365]... В Ревеле великий государь, осмотря все, продолжал путь далее в Балтийское море [366].

...Изданные указы его: первым повелевает вновь сделать медную монету, весом против прежней в половину...; другим, по елику запрещалось всякому вокруг Петербурга и даже на своих дачах рубить лес, а сим указом монарх дозволил в дачах своих загородных для гулянья, и чтоб от густоты лесу не сохло, подчищать и прорубать перспективные дороги или аллеи [367].

16 июля мы находим великого государя паки в море, и пишущего из Рогорвика в Сибирь к генералу Дегенину, которым монарх благодарит его за его труды и старание о устроении железных и медных заводов и крепости Екатеринбургской [368]...

[1] Сие было 30 апреля, от которого и письмо сие писано.

Апр. и Толстой прибыли из Астрахани. П. благодарил Румянцева и Юсупова за суда etc. (30 апр.) [7].

Матюшкину П. повелел ехать в Баку, кой час суда прибудут.

Герц. Вейсенфельский назначен был женихом Анне Иоан. П. писал Петр. Мих. Бестужеву в Митаву, чтоб по смерти Фердинанда (больного, в Данциге), избрали бы его Вейсф. Гер.,— а Эртману, Генералу Аудитору нашему, по смерти Герцога арестовать его имение по претензии Ее Высоч. (16 мая).

П. со флотом поехал до Ревеля (для экзерсиции). Датчане весьма встревожились и вооружились на скоро. П. пошел в Балтийск. море;—оттоле приезжал на время в П. Б., издал Указы о ков. медн. монете—о рубке лесов, для гуляния etc.

16 июля П. опять на море пишет к Дегенину о Екатеринб. etc.

Коль скоро вышеупомянутые гекботы из Казани пришли в Астрахань, то с великим поспешением их и пять галиотов с несколькими бусами вооружили. Генерал-майор Матюшкин, яко главный командир сея экспедиции, посадя на оные четыре полка солдат, разделил эскадру на три части: первую взял себе, вторую поручил генерал-майору же Трубецкому, а третью бригадиру Борятинскому; артиллериею управлял майор Гербер, а судами морские офицеры, капитаны-лейтенанты князь Урусов, Пушкин и часто [369] поминаемый г. Соймонов. И так 20 июня из Астрахани выехали, а 6 июля прибыли к Баке. ...Матюшкин с посланным с... письмом майором Нечаевым велел от себя султану сказать, что он прибыл по указу императора принять город Баку в защищение против бунтовщиков.... Но бакинцы не пустили и в город посланного. ...Г. Матюшкин после сего решился атаковать Баку; сошли солдаты на берег без сопротивления, но как стали выгружать артиллерию, то сильная из города вышла конница, однакож [370] тотчас обращена в бегство, и город атаковали. Июля 25 определено город взять приступом, но буря восставшая на море тому воспрепятствовала. Г. Матюшкин 26 июля... с войском в наилучшем порядке строем вошел в город.... В городе найдено 80 пушек медных и чугунных... Гарнизон персидской, состоящий в 700 под командою своего полковника, принят в службу [371]... По сем Г. Матюшкин, оставя комендантом города бригадира князя Борятинского с довольным гарнизоном, возвратился в Астрахань [372]. Великий государь, возвратившись с флотом в Кронштат,... прибыл в Санктпетербург 27 июля [373]... Славный тот ботик, который подал монарху в младых его летах идею о морских судах, и которой возродил в нем желание построить великий флот... привезен был в Петербург. Великий государь, как говорит г. Ломоносов, восхотел и бесчувственному дереву показать преславный знак благодарности... Император 10 числа, то есть того же самого, в которое прибыл... персидский посол [374]... отправился в Кронштат [375]...

...Мы кстати поместим к сему и о сем же самом ботике стихи господина Сумарокова «следует четверостишие» [379]. Монарх во все время аудиенции у трона своего под балдахином стоял. Его величество спросил потом посла о здоровье шаха; на сей императорский вопрос посол ответствовал пролитием слез и поднесением его величеству реляции, или описания о произшествии бунтов персидских и о бедствии государства и государей его—сия поднесенная реляция монарху от посла сего напечатана Ежемесячного сочинения 1767 года, в части I, на стр. 387 и последующих...

Из писем монарших помещаю я при сем одно писанное 15 августа к генералу-майору Дегенину, обретавшемуся [382] у строения Екатеринбурга и заводов. «Письмо твое... до нас дошло, и за доброе управление врученного тебе дела благодарствуем»... Министры его величества имели на другой... день повеление вступить в конференцию с послом; ...записка, данная министрам... в которой монарх изъявляет желание об уступке в вечное владение тех

Матюшкин посадил 4 полка на вновь прибывшие суда, разделив [их] эскадру на 3 части под началь. 1) своим, 2) Ген. М. К. Трубецкого, 3) К. Борятинского—артиллерию отдал майору Герберу [8], судами управляли К. Урусов, Пушкин и Соймонов—и 20 июня вышли из Астрах., а 6-го июля прибыли в Баку. Матюшкин послал в Город султану приглашение их принять. Ему отказали. Он велел солдатам вылесть на берег. Конница Перс. вышла было из города, но была прогнана. Город был бомбардирован. 25 июля определен штурм, но не состоялся по причине бури на море (?). Город сдался и 26-го июля был [взят] занят, 80 пушек взято. 700 чел. Гарнизону и начальник их взят в нашу службу.

Матюшкин возвратился в Астрах., оставя в Баку комендантом Кн. Борятинского.

П. 27 июля прибыл в П. Б., куда прибыл и посланник Шаха, Измаил Бек. (См. VIII—373.) 10-го Августа.

10-го же триумф старого Ботика, дедушки русского флота (см. Голик. Ломон. Сумароков etc.) [9]

14 дана аудиенция Перс. послу (речь его etc. см. Ежем. соч. 1767 г., ч. I—387).

15 П. писал Дегенину благодарств. письмо. Начались конференции. Наши Министры требовали себе провинции, нами уже

провинций, кои уже россиянами заняты [383] и сверьх того лежащих по Каспийскому же морю Мезандерана и Астрабата. «А о Шамахе... объявить, что ею турки уже завладели и всем Ширваном, и ежели они ‹Персияне› не могут одни оную себе получить паки, то б и оную нам же уступили... За что обязуемся вспомогать против их бунтовщиков [384].

Великий государь повелел сенату отмежевать в Ингерманландии земли [385]... Поручил смолчужные и поташные заводы одной коммерц-коллегии... Дабы ведать его величеству всегда о ценах хлеба во всем государстве, повелел из всех губерний и провинций о цене оного присылать ведомости в Камер-коллегию, из ближних мест понедельно, а из дальних помесячно [386].

Наконец, после продолжавшихся около месяца конференций между послом персидским и российскими министрами 12 числа сентября соглашенось, постановлено и трактатом желаемые его величеством персидские провинции, а именно все при Каспийском море лежащие, которые суть Дагестан, Ширван, Гилань, Мазандеран и Астрабат, вечно уступлены России; а поелику сей трактат мало ныне ведом, то и почитаю за необходимо нужное внести оной [388] сюда от слова до слова, который и следует: ‹следует текст трактата› [389—396].

В самый день... послу аудиенции, то есть 14 сентября, получил монарх от генерала-майора Матюшкина из Баку реляцию о взятии оныя со всеми подробностьми происшедшего там... Великий государь 16 числа послал в Астрахань курьера князя Мещерского с указом к г. Матюшкину, коим уведомя его о заключении с послом шаховым трактата, и пожаловав [398] его за службу генерал-порутчиком, повелевает послать в Баку к князю Борятинскому ордер, дабы он отправил довольную команду к реке Куру и овладел тою страною, и по исправлении сего, для лучшего обо всем объяснения он и с г. Сеймоновым приехал бы к нему в Санктпетербург. С помянутым же князем Мещерским монарх приезжавшего к нему с объявлением персидского консула Семена Аврамова, наградя его чином секретаря, послал обратно в Гилань, дав ему пространное наставление [399][1]...

Между тем грузинский владелец Вахтанг, быв утесняем переодетыми мятежниками, а паче турками, по подозрению сообщения его с монархом, писал к астраханскому губернатору г. Волынскому, чтобы его принять; ибо он желает со всем своим домом приехать в Астрахань и иметь честь увидеть его величество, и сей г. губернатор то ему обещал. Монарх негодовал за сие позволение [400]. К господину... губернатору... монарх пишет следующее письмо: «...Велели мы генерал-лейтенанту Матюшкину приезжать к себе для определения дел будущей кампании, того для надлежит и тебе с [401] ним приезжать, а дела свои прикажи на время, кому можешь верить... ‹Турки› дали уже повеление крымским

[1] От 16 сентября.

занятые, также Мезандерана и Астрабата.—

О Шамахе велено объявить, что она уже под властию Турок, и так и ее просили в придачу—за то обещали мы вспоможение и покровительство.

П. повелел обмежевать Ингерманландию.

Поташь и смольчуж. отдать в ведомство Комерц. Коллегии.

О цене хлеба из всех провинций присылать ведомости в Камер-Коллегию понедельно и помесячно.

12-го заключен с Персиею трактат. Дагестан, Ширван, Гилань, Мезандеран и Астрабат уступлены России (VIII—389 смр. оный трактат).

14-го сент. дана послу отпускн. ауд.—и тогда-же П. получил известие о взятии Баку [10]. Обрадованный П. послал к Матюшкину Курьером Кн. Мещерского объявить ему чин Ген. Поручика—с приказанием К. Барятинскому послать к Куре Команду и ту страну завоевать—и ехать ему (?) с Соймоновым в П.Б.

Сем. Аврамов, привезший сие известие, послан обратно в Гилань (16-го сент.) с подр. Инстр.

Вахтанг, угнетаемый Турками, просился в Астрахань. Волынский к великой досаде Петра, то и дозволил ему.

Волынскому велено быть в Петербург вместе с Матюшкиным для перегов. о будущей кампании.

Турки повелели Кр. Хану готовиться к войне.

татарам быть в готовности к войне; к тому же его величество был в сие самое время огорчен присылкою от малороссийских козачьих полков депутатов, с требованием подтверждения своих древних прав, которые, как они думали, учреждением малороссийския коллегии якобы были нарушены, каковое требование при тогдашних обстоятельствах походило более на некое тайное злоумышление. Император, у которого никогда предосторожности не недоставало, повелев депутатов сих взять под честной арест, подтвердил генералам своим при армии в Украйне находящейся, указом [402] о имении всякой осторожности не только от татар и турок, но и наблюдать за движениями запорожских и малороссийских козаков; а в Воронеж о исправлении и вооружении в тамошних верфях находящихся кораблей, дабы в случае турецкого или татарского нападения учинить диверсию на Азовском море... повелел по всей границе от Киева вниз по Днепру до Черного моря и от реки Самары до Крыма построить редуты и поделать крепкие заставы...и как он ведал, что во время государствования Леопольда цесаря Римского поселившиеся в наследных его землях сербы поныне с верностию служат, чего ради и обратил монарх внимание свое к их единоземцам, оставшимся в Славонии и Кроации. Он судил, что естьли они верно служат государю иноземному [403], то тем вернее служить будут государю единого с ним племени, языка и веры; и вследствие сего послал грамоту свою к ним с единоземцом их, в службе своей находящимся майором Иваном Албанезом, которая и следует под сим [404] ‹в конце дата› 31 дн̆я 1723 года.

Между сим временем предупомянутые генерал порутчик Матюшкин и г. Соймонов по указу его величества прибыли в Санктпетербург; и поелику первой в пути своем впал в болезнь и лежал несколько недель в постеле, то великий государь тот же по прибытии его час, сам к нему пришел и, в продолжение болезни многократно посещая, отечески пекся о его выздоровлении.... В одно из сих посещений прибыл курьером из Баку предупомянутой капитан... прибыл [405] Нетесов с реляциею от князя Борятинского, что он по ордеру отправил к реке Куру полковника Зембулатова, которой сии места со всею Саллианскою провинциею взял во владение его величества. Государь, прочтя сию реляцию, спросил г. Нетесова: «во многом ли числе послана команда в Саллиан?» и услыша, что с одним баталионом, очень мало, сказал государь; потому что ведомо, что Саллианская княгиня Канума великая воровка, и опасно, чтоб чего худого не учинилось... Следствие покажет, коль проникал монарх в связь дел и коль хорошо разумел он людей; ибо сия княгиня подружится с полковником Зембулатовым и столько вкрадется в доверенность его, что позовет его и со всеми офицерами к себе, употчивает их с великою ласкою, и тогда вооруженные ее люди нападут на них и перерубят, когда они меньше всего того чаяли.

...рассматривал карту, сочиненную тем землям господином Соймоновым [406]... «Правда, сказал государь, Саллиан страна изрядная, но далеко от

В сие время малороссияне, оскорбленные в своих правах учрежд. Малороссийской Канцелярии, прислали к Петру депутатов. П. посадил их в крепость.

П. повелел в воронеже приготовить тамошн. кораблей, для учинения Диверсии на Азовском море— в случае нападения [11].

П. повелел от Киева до Черн. моря—и от Самары до Крыма строить ридуты и думал о заселении сих мест Сербами, Кроатами и другими Славянск. народами и 31 окт. через майора Албанеза послал к ним призывную Грамоту.

Матюшк. и Соймон. прибыли в П.Б.—П. посетил больного Матюшкина. Через несколько дней получил от К. Барятинского донесение, что полковник Зимбулатов занял близ Куры лежащие места со всею Салианскою провинцией— с одним баталионом.

П. повелел оный умножить (потому-де, что Салиянская Княгиня превеликая воровка). П. был прав, ибо Зимбулатов и все его солдаты коварно ею умерщвлены [12].

П. осмотрел карту и согласно со мнением Соймонова избрал места при Устье Куры в Гилане для построения нового города.

РИСУНОК ПУШКИНА НА ОБЛОЖКЕ ПОСЛАНИЯ К Н. Б. ЮСУПОВУ

Институт Русской Литературы, Ленинград

моря, и в рассуждении сего то место, на котором предложил Соймонов быть городу, выгоднее». Да и тот же час дал повеление г. Матюшкину построить на том месте крепость [407]. Чрез несколько же дней монарх послал и к казанскому губернатору указ, нарядить казанских татар, черемис и чуваш 5 000 человек, и послать оных для работы к устью реки Кура и в Гилань... Турки между тем... пришли в крайнее волнение. Они желали сами воспользоваться мятежными персидскими обстоятельствами и слабостию шахскою, дабы отобрать обратно бывшие некогда за ними персидские земли, о чем монарх, получа... донесение, и крайне не желая вступать в новую войну, отправил к... министру своему куриера, повелевая ему представить верховному визирю, «что он истинную имеет склонность к содержанию искреннего приятельства с его султановым величеством [408]..., что естьли Порта востребует уступление завоеванных уже мест, то благоволила бы она о проектированном от нее самыя прежде эквиваленте лучше изъясниться».

...Государь повелел президентам коллегии избирать асессоров в коллегии свои таких, которые бы [409] ни его, ни других коллежских членов не были сродники, или креатуры...

...Подтвердил указом своим, чтоб в городах и уездах находящихся слепых, дряхлых, увечных и престарелых определять в учрежденные по всем губерниям богадельни... малолетних же и безродных от 10 лет и выше писать в матросы [410].

...Попечительнейший государь, приуготовя все потребные к фабрикам запасы, а именно для суконных, развел великие, разных европейских пород овчарные заводы; ибо в одной Малоросии находилось таковых овец уже более полутораста тысячь. Для шелковых достал в свои руки самое, так сказать, гнездо шелковое, а именно Гилянскую провинцию [416].

Ведал он, какую получают прибыль иностранцы от китовой ловли, и желая, дабы и подданные его оною воспользовались, учредил сего промысла компанию, повелев оной: «зачать дело сие пятью кораблями, которые сделать у города Архангельского, ловцов вывезть из Голландии, матросов употребить русских» [419].

...Мы видели, что «Петр» за смотрителями лесными определил валдмейстеров и над ними обер-валдмейстера; *а помянутого же 3 декабря дал сему обер-валдмейстеру инструкцию или устав, состоящий из 28 статей [420]. Между прочими же средствами к сохранению дуба и сосны не упустил монарх и следующего. Он указал всем... священникам, дабы они не хоронили тех покойников, которые положены будут в гроба, выдолбленные из сих дерев, или которые сделаны из досок, кои шире указанной меры.

Хлебопашество и сбережение хлеба был не меньшей же важности у монарха пункт, и между различными о сем учреждениями повелел вино хлебное курить в таких местах, из которых хлеб водой никуда нейдет; «а когда там довольно умножат, тогда там, отколь хлеб идет водою, курить заказать». Установил в столицах для освещения ночью улиц быть фонарям [421].

Он писал Казанскому Губернатору Салтыкову нарядить черемис и татар для рытья каналов и для построения сего города.

Турки думали при том отобрать обратно у Персии земли некогда им принадлежавшие. П. вступил с ними в переговоры, обещая им э к в и в а л е н т.

П. повелел президентам Коллегий выбрать [пр] себе ассессоров, ни сродных, ни креатур, ни член. иных Коллегий.

Издал странный Указ о дряхл., малолетн. etc. VIII—410.

Печется о мануфактурах.

в Малороссии завел овчарные заводы.

Думает о шелковой мануфактуре.

Заводит компанию Китового промысла и для того у Гор. Архан. повелевает быть 5 кораблям, мастеров выписать из Голл.

Учреждает Обер-Вальдмейстера для сохранения лесов (3 дек. дает Инструкцию).

Попам запрещено хоронить в неуказанн. гробах.

Запрещено винокурение в местах, отколе хлеб водою вывозится.

Учрежд. фонари на улицах [13].

...Награждая подданных, восхотел наградить достойным даром и любезную свою супругу, в следствие чего восхотел он со всем монаршим великолепием короновать ее величество... Мы помещаем состоявшийся 15 ноября о сем указ его [422]. ...Сие намерение свое совершить желал монарх еще сего же года, как и из указа оного видно, для чего и повелел было уже заготовление сделать для езды в Москву, но принужден однако же оное оставить по причине приключившейся ему болезни, которую уже более нежели за год пред сим почувствовал, именно же запор урины, или каменную болезнь, которая причиною будет [424] преждевременной его кончины [425].

...между тем учинен предварительно и проект прелиминарного трактата в следующей силе: 1)Чтоб султану турецкому можно было честным образом от предприятий своих на Персию отступиться, то бы шаху Тахмасибу прислать к нему султану знатное посольство с прошением о прекращении в персидской монархии войны и о дозволении императору российскому содержать заключенные с ним шахом трактаты, кроме тех статей, которые б могли быть чести и интересу турецкого государства предосудительны; 2) Чтоб российскому императору вольно владеть лежащими в Персии местами между Кавказскими горами и Каспийского моря берегами со всеми дистриктами и окрестностями Дербента, Баки, Гиляни, Мезандерана и Астрабата до реки Оссы; 3) Чтоб границы между обеими государствами определены были между Шамахою и Бакою [426]. 4) Чтоб турецкому государству кроме прежде завоеванных оным городов, еще уступлены были Эрибанская, Тавризская и Касбинские провинции до самых тех мест, где древние турецкого владения границы находилися. 5) Что же касается до других требуемых султаном мест, о том к удовольствованию его при заключении с шахом трактата старание преложится...

...говорит Катифор.... никто того не чаял, чтобы турки соединилися с християнами к пролитию мусульманской крови [427].

...Великий государь не сомневался уже достигнуть до своея цели, оставалось ему только исполнить главное притом свое намерение, а именно не только восстановить прежнюю в Гилани богатую торговлю, но еще и паче оную распространить... чрез привлечение торговли всех окрестных тамошних народов в город, который уже дал он повеление построить на реке Куре;... у него были назначены еще пристани в Зинзилинском заливе для Гилани и для отвозимых в Персию и обратно привозимых товаров и третья в [428] городе Астрабате для торгов с восточные страны в Хоразань, Бухары, Самарканд, Балх и в самую Индию... дабы, пока персидские обстоятельства дозволят учредить свободный проезд в Индию, все сие (о возможности торговли Индии с Россией) было б известно, отправил на трех фрегатах из Петербурга в Индию к Моголу вице-адмирала своего Вилстера с несколькими офицерами, дав ему изустное преподробное о всем наставление [429]...: «ехать вам от Санктпетербурга до Рогорвика... и с помощиею божиею вступить

15 ноября Указ о короновании Императрицы. Он намеревался ехать для того в Москву—но занемог тою болезнию, от которой и умер: запором урины.

Переговоры наши с Турцией шли успешно. Положено было:

1) Персидскому Шаху Тахмасибу прислать в Конст. послов pour sauver les aparences.

2) России владеть землею между Кавк. горами и Касп. морем—[с] Дербентом, Баку, Гилянем, Мезандераном и Астрабатом до р. Оссы. 3) Границе быть между Шамахою и Баку. 4) Турции владеть (сверхь ею завоеванного?) Эриванию, Тавризом и Касбинской областью, до древних турецких границ. 5) О прочем трактовать после.

В первый раз еще Мусульмане соединились с християнами против своих единоверцев.

П. сверх города при Куре думал завести еще пристань в Зинзилинском заливе для Гиляни, другую — для складки товаров, третью в Астрабате для торгов с Хоразинью, Бухарой, Самаркандой и И н д и е й.— Он приказал их и строить, а между тем отправил (тайно?) к Индейскому Моголу в Бенгалию Виц. Адмирала Вильстера, Капит. Мяснова и Кап. Поруч. Кошелева на 3 фрегатах (5 дек.)

в вояж до Ост-Индии, а именно до Бенгала» [430]... (от 5 декабря сего году) ...поручена другая комиссия [431]... помещаю бумаги: «Высоко почтенному королю и владельцу славного острова Мадагаскарского наше поздравление» [432]... Другая грамота: ...«мы за благо изобрели к нему высокопочтенному королю мадагаскарскому нашего вице-адмирала Вилстера и капитана морского Мясного и капитана-поручика Кошелева послать и оному наше намерение предложить» [433].

...Я уже объявил выше, что не могу дать о сем изъяснения по неведению истории сей и тайн кабинета. Мне только известно, что остров Мадагаскар лежит в восточной стране Африканского моря... К какому же Мадагаскарского острова королю писал монарх, я паки [434] повторяю, не знаю; да есть ли бы и был на нем таковый король, то весьма не вероятно, чтоб африканский король, владетель обильного толь острова, восхотел искать в европейском каком государе покровителя себе [435].

Из писем... генерала-майора Дегенина видно, какие он имел успехи в порученном ему деле...

Напоследок упомянем мы и о том, что великий государь в сем же году завел в Петербурге стеклянную и зеркальную фабрики, в толикое совершенство со времени пришедшие; и ктоб уже мог себе представить, чтоб среди толиких бесчисленных им произведенных дел в сем же году собственными своими руками сделал из слоновые кости большое паникадило?... Оно находится в санктпетербургском Петропавловском соборе повешенным среди церкви [439].

В сем же году повелением его величества построены у галерной гавани и в Литейной части замком со множеством покоев постоялые дворы со всеми выгодами для всех приезжающих в Петербург... и по его же повелению для монашествующих Невского монастыря сочинен устав.

В сем же году великий государь имел удовольствие увидеть пошлинные доходы санктпетербургской таможни доведенными до 218 844 рублей, кабацких до 128 077 руб., мелочные, как то с лавок, с письма крепостей, с партикулярной верфи, с почт, с табаку, с печатных пошлин и подобных сим до 110 333 рублей [440].

Определил быть обер-секретарям только в сенате, синоде и в трех первых коллегиях...

Указал, чтоб вывозимые купцами из Китая золото и серебро доставляемо было на монетные дворы; в Нерчинске же золото купцам зачитать в пошлину, а за излишнее платить товарами по тамошней цене [441].

Зачесть в рекруты взятых в Московской губернии в 1704 и 1705 годах в поголовные солдаты и работники к болверкам 16 456 человек.

Учинить по польской границе крепкие заставы для удержания беглецов в Польшу...

А таковые же заставы по той же границе учредить по большим дорогам, а малые все засечь или перекопать, дабы не возили по сим указу главных русских товаров к чужестранным портам, под штрафом конфискования оных...

Велено было им заехать и в Мадагаскар и предложить К о р о л ю наше покровительство.

См. добродушное примечание Голикова VIII—434 [14].

Успешные труды Дегенина в Сибири продолжаются.

П. заводит в П.Б. стеклянную и зеркальную фабрику.

Точит паникадило из кости, что ныне в Петропавл. соборе.

Выстроены [в] у Галерной гавани и в литейной з а м к о м постоялые дворы.

Сочинил Устав для Невск. монастыря.

Пошлины таможенные в П. Б. в сем году дошли

до	. . . .	218 844 р.
кабацкие	. .	128 077 „
мелочные	. .	110 333 „

УКАЗЫ.

Быть об. секретарям только в сенате, в синоде и в 3 перв. колл.

О золоте К и т а й с к о м и Нерчинском—

Зачесть в рекруты 16 456 человек взятых с Моск. губ. в 1704—и 5.

Занять на Польской границе заставы.—Таковые-же по большим дорогам, малые дороги засечь и перекопать.

давать по 2 р. награжд. тому, кто отыщет мачт. лес.

Давать тем, кто отыщет в лесах противу указной меры большие мачтовые деревья, по два рубли за каждое награждения.

Дозволил калмыкам владения хана Аюкина рубить у себя лес на свои нужды, кроме дубу.

Новгородцам и псковичам то же в их дачах, с прописанием однако [442] же меры и мест, какие и где рубить деревья.

Заонежцам рубить у себя сосновый лес на дело судов.

Нарвским жителям дозволил для умножения их торговли отпускать мачтовые и другие деревья [443].

Иностранцам выезжать из России с пашпортами от иностранной коллегии, в которых прописывать, дабы они явили оные в полиции... Приметив неудовольствие за таковые о выездах их публикации, указал вместо того обязывать их поруками...

Держащихся под стражею бородачей за несостоянием платежа штрафов, выбрив бороды, выпустить [444].

За утайку душ мордвы и черемис, когда виноватые пожелают креститься, вины их прощать.

В церквах собирать в два кошелька деньги во время пения, из которых один употреблять на устроение церковное, а другой на построение при церквах богаделен для больных неимущих, с прописанием порядка как о хранении сих денег, так и о употреблении оных.

Супер-интенданту Зарудневу назирать, дабы не искусною рукою писанных портретов государевых не продавали и не писали [445].

На могилах покойников не иметь буток [447].

‹Всех указов 59›.

Калмыкам Хана Аюки дозволе‹но› рубить лес (кр. дуба) [15]. То же Новгородским и Псковским, Заонежцам, тоже Нарвским жителям торговать мачт. лесом.

Иностранцы неохотно являли пашпорты в полицию—П. отменил сие.

бородачам, сидящим под караулом за неимением чем заплатить пошлину, выбрить бороду — и выпустить.

За утайку в переписи Мордву и Чер. прощать, если окрестятся.

В церквах деньги собирать в д в а кошелька в р а з н ы е п е н и я (для церк. и для богадель.)

Супер-интенданту надзирать, чтоб не продавали портретов Государевых безобразно писанных.

На могилах покойников буток не иметь (?)

etc. etc.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Сведения о судьбе пушкинских материалов почерпнуты из любезного письма Г. А. Пушкина от 23/X 1932 г. к пишущему эти строки. Неверная информация о том, как «П. Е. Щеголеву удалось спасти 23 тетради с 805 страницами пушкинского текста», дана в «Вестнике театра и искусства» 1921 г., № 10. Другую неточную информацию об этой находке дает брат Г. А. Пушкина — Н. А. Пушкин в журнале «Благонамеренный» (Брюссель) 1926, № 1., причем он себе приписывает обнаружение затерявшихся рукописей, утверждает, что «война и революция помешали их опубликованию и поныне препятствуют мне опубликовать мою находку» и что «может вновь затеряться моя находка», намекая, что в его распоряжении имеются какие-то неизвестные рукописи. Однако, по указанию Г. А. Пушкина, Н. А. Пушкин сам никаких материалов в усадьбе не обнаруживал, и Г. А. Пушкиным совместно с Николаем Александровичем были переданы в издательство Салаевых все найденные автографы по истории Петра I, ныне хранящиеся в ИРЛИ. Несмотря на фактическое расхождение в описании подробностей находки, по мнению Г. А. Пуыкина речь идет о той же находке 1917 г.

[2] За содействие в работе, мною произведенной, приношу искреннюю благодарность М. А. Цявловскому. Предоставлением рукописей я обязан директору ИРЛИ академику А. С. Орлову и б. заместителю директора В. В. Бушу.

[3] См. «Вестник литературы» 1921 г., № 9 (33), стр. 17.

[4] В государственные архивы тетради эти переданы не были; они находятся в частных руках в Ленинграде. Доступа к ним у пишущего эти строки не было, почему приходилось судить гипотетически о том, что было бы очевидным при наличности этих копий-тетрадей.

[5] Сочинения Пушкина, т. I, стр. 406—412.

[6] «Вестник Европы» 1880, кн. 6, стр. 632—633.

[7] Рукописный текст этих выписок, которыми воспользовался Ефремов, сохранился (ИРЛИ, 1.б.55—переплетенная тетрадь с надписью на корешке «Рукописи А. С. Пушкина». 1. Анненков», стр. 167 и сл.).

[8] Собр. соч. Пушкина под ред. Ефремова, 3-е изд., т. VI, стр. 489.

[9] Это предположение подтверждается счетом (№ 2), сохранившимся в архиве опеки над детьми и имуществом Пушкина; в этом счете по переписке рукописей Пушкина сказано: «История Петра I, три кипы (31 тетрадь)» («Пушкин и его современники», вып. XIII, 1910, стр. 102). Предположительное распределение тетрадей Пушкина по годам охватываемых событий делаем в соответствии с разбивкой материала по томам «Деяний П. В.» Голикова.

[10] «Современник» 1837 г., т. V, стр. I.

[11] «Дела III Отд. собств. его велич. канцелярии об А. С. Пушкине», 1906, стр. 191.

[12] Сшивка листов тетрадями—жандармская. От этого последовательность текста в тетрадях нарушена; текст идет так: сначала первый лист, потом последний, затем второй, после этого предпоследний; конец текста таким образом оказывается в середине тетради.

[13] Многоточие в подлиннике.

[14] Ср. донесения посланника Бутера, секретаря Нордина и в особенности фельетон Лёве-Веймарса в «Journal des debats» от 3 марта 1837 г.; см. Щеголев, Дуэль и смерть Пушкина. 1917, стр. 351, 353, 394.

[15] Ср. Сочинения Пушкина. «Переписка» под ред. Саитова. 1908, т. II, стр. 278—279, 285.

[16] Ibid., стр. 374, 376. См. ниже публикацию Д. Якубовича «Пушкин в библиотеке Вольтера».

[17] «Переписка», т. III, стр. 11.

[18] Ibid., стр. 93.

[19] Ibid., стр. 120, 128.

[20] Ibid., стр. 383.

[21] Ibid., стр. 382—383.

[22] Записи эти, доныне не опубликованные, подготовлены нами к печати наряду с другими отрывками из романа Толстого времен Петра. Этот материал входит в 17-й том академического издания Толстого, в котором сгруппированы его исторические романы.

[23] «Пушкинист», т. III, Пб., 1918, стр. 22.

[24] Ibid., стр. 25.

[25] Начиная с этой ссылки, в дальнейшем цитируется второе издание «Деяний» Голикова, за исключением первого тома, цитируемого по первому изданию.

[26] Сочинения Пушкина, изд. Акад. Наук, т. IX, Л., 1929, стр. 624.

[27] Петр дешево ценил Августа. Он повидимому ничего лучше не желал, как избрать другого короля.

[28] Прекрасные черты храбрости и человеколюбия Шерем«етева».

[29] Приказал пройти войскам перед Е. И. В.

[30] Чтоб сохранить благопристойность.

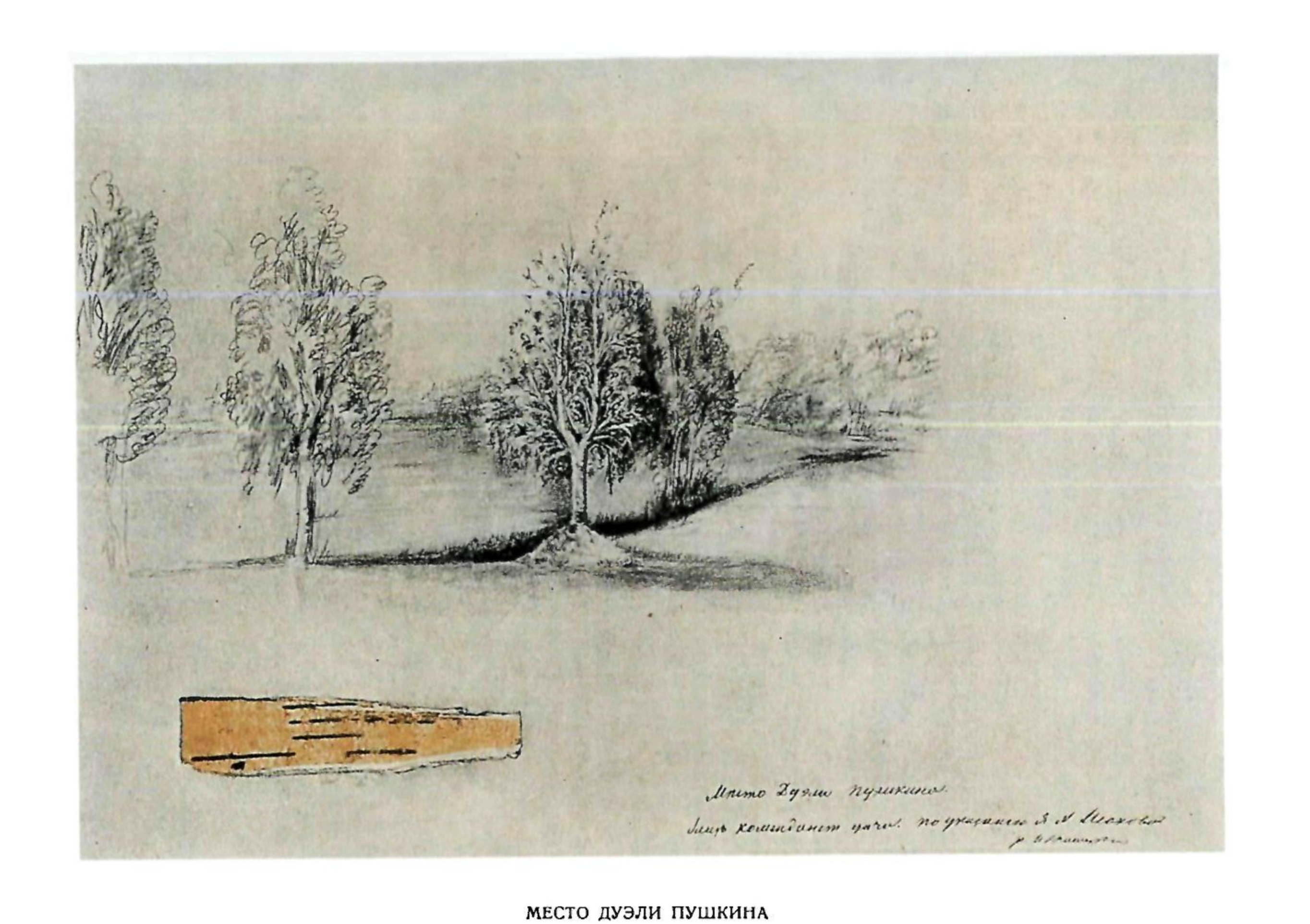
[31] В подлиннике: «потеряв».

[32] В эту фразу влита и специфически пушкинская оценка, о чем см. ниже.

[33] См. его статью «Пушкин-историк» в V томе краснонивского шеститомника.

[34] Слова, помещенные в скобках, в рукописи зачеркнуты Пушкиным.

[35] Разрядка моя.—*П. П.*



МЕСТО ДУЭЛИ ПУШКИНА

Слева приклеен кусок коры от березы, находившейся на месте дуэли

Рисунок И. Криницкого, 1850-ые годы

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

НИКОЛАЙ I—РЕДАКТОР ПУШКИНА

Статья Т. Зенгер

Широко известны слова, сказанные Николаем I Пушкину после коронации о том, что он сам будет цензором поэта. Но менее известно, что царь был не только цензором Пушкина, но и редактором его и что сохранились рукописи Пушкина не только с пометами, но и с поправками Николая.

К текстам Пушкина, обратившим на себя внимание Николая только как цензора, относятся «Записка о народном воспитании», «Борис Годунов», «Граф Нулин», «Сцена из Фауста» и ряд других более мелких вещей. Первое сочинение было, как известно, заказано Николаем Пушкину вероятно в той же аудиенции 8 сентября 1826 г., когда царь обещал взять на себя цензорские обязанности по отношению к писаниям Пушкина. «...его императорскому величеству благоугодно, чтобы Вы занялись предметом о воспитании юношества. Вы можете употребить весь досуг, Вам предоставляется совершенная и полная свобода, когда и как представить Ваши мысли и соображения; и предмет сей должен представить Вам тем обширнейший круг, что на опыте видели совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания», писал поэту Бенкендорф 30 сентября 1826 г.

Пушкин с большой неохотой заставил себя засесть за эту записку, которая должна была явиться своего рода испытанием его благонадежности. Писал ее Пушкин в ноябре, уединившись опять в Михайловское. Писарская копия, на которой есть добавления рукою Пушкина, была представлена Николаю I. Царь внимательно прочел ее и 28 мест отметил вопросительными знаками, в шести случаях поставив по два и в двух случаях по три знака вопроса. Рукопись эта обследована М. И. Сухомлиновым, который в своей работе привел все места, вызвавшие знаки вопроса Николая I [1].

Общее впечатление царя изложено Бенкендорфом в надписи, которую он сделал на обложке рукописи «Записки», и повторено в письме к Пушкину от 23 декабря 1826 г.

Извещая поэта, что «Государь Император с удовольствием изволил читать рассуждение» его, Бенкендорф считает нужным сделать от имени Николая нотацию Пушкину. «Его величество при сем заметить изволил,—пишет шеф жандармов,—что принятое Вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее Вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей». Пушкин говорил после этого Вульфу: «Я был в затруднении, когда Николай спросил мое мнение о сем предмете. Мне бы легко было написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтоб сделать добро. Однако я между прочим сказал, что должно подавить частное воспитание. Несмотря на то, мне вымыли голову»[2].

В том же письме, в котором Бенкендорф от имени Николая «заказывал» Пушкину записку о воспитании, он писал: «Сочинений Ваших никто рассматривать не будет; на них нет никакой цензуры; государь император сам будет и первым ценителем произведений Ваших и цензором.

Объявляя Вам сию монаршую волю, честь имею присовокупить, что как сочинения Ваши, так и письма можете для представления его величеству доставлять ко мне; но, впрочем, от Вас зависит и прямо адресовать на высочайшее имя».

Смысл последнего абзаца заключается конечно в том, что обязательным посредником между Николаем и Пушкиным Бенкендорф считал самого себя. На самом же деле Бенкендорф был не только посредником, но и лицом, предопределявшим решения Николая, обычно соглашавшегося со своим подручным. Даже больще. Будучи совершенно чуждым литературе, ничего не понимая в стихах даже с цензурной точки зрения, Бенкендорф присылавшиеся Пушкиным произведения отдавал на отзыв какому-то (может быть и не одному, а разным) безыменному чиновнику III Отделения, по его мнению компетентному по цензурной части.

Но все это раскрылось для Пушкина позднее, а на первых порах, после разговора с Николаем, поэт искренне поверил, что теперь он освобожден от цензуры.

9 ноября 1826 г. поэт писал из Михайловского Языкову: «Царь освободил меня от цензуры. Он сам мой цензор. Выгода, конечно, необъятная. Таким образом «Годунова» тиснем».

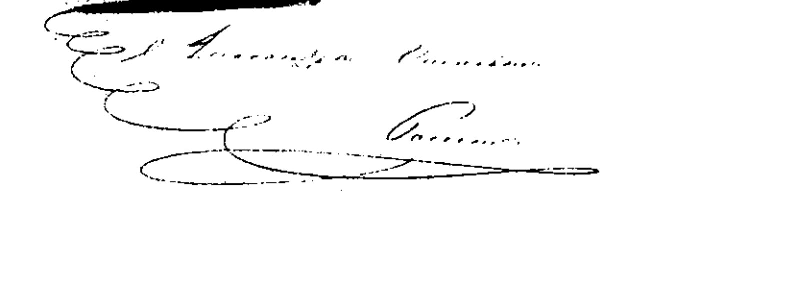
Последнее уверение было по меньшей мере преждевременным. 22 ноября Бенкендорф писал очень ловко составленное письмо, в котором поэту прежде всего напоминалось, что до напечатания или распространения в рукописях своих произведений Пушкин обязан был представлять их на высочайший просмотр. «Ныне доходят до меня сведения,— продолжал Бенкендорф,—что Вы изволили читать в некоторых обществах сочиненную вами вновь Трагедию».

В ответ Пушкин должен был извиняться: «Так как я действительно в Москве читал свою трагедию некоторым особам (конечно не из ослушания, но только потому, что худо понял высочайшую волю государя), то поставляю за долг препроводить ее вашему превосходительству в том самом виде, как она была мною читана, дабы Вы сами изволили видеть дух, в котором она сочинена; я не осмелился прежде сего представить ее глазам императора, намереваясь сперва выбросить некоторые непристойные выражения. Так как другого списка у меня не находится, то приемлю смелость просить ваше превосходительство оный мне возвратить»[3].

Письмо это Бенкендорф вместе с рукописью трагедии представил Николаю I, который написал шефу жандармов: «Я очарован [je suis charmé] стилем письма Пушкина и очень любопытен прочесть его сочинение; велите сделать выдержку кому-нибудь верному, чтоб она не распространялась» [4].

Из этой записки видно, что Николай «сильно заинтересовавшийся» трагедией, решил прочесть ее в выдержке, сделанной другим лицом. Выдержка эта сохранилась под названием «Выписка из комедии о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве. Ход пьесы»[5]. Сохранился и разбор

трагедии Пушкина, сделанный по заказу Бенкендорфа каким-то литературно образованным чиновником III Отделения. Есть предположение, что это был Булгарин. Довольно обстоятельные «Замечания» эти были представлены Бенкендорфом Николаю I. Вероятно одновременно была вручена Николаю I и рукопись трагедии с угодливо отмеченными красным карандашом шестью местами, подлежавшими исключению или смягчению. Нет основания думать, что Николай прочел трагедию. Ему было достаточно заключения чиновника, прочтя которое он точно повторил, велев Бенкендорфу записать: «Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если б с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман на подобие Вальтера Скотта».



КОНВЕРТ С НАДПИСЬЮ НИКОЛАЯ I. В ЭТОМ КОНВЕРТЕ ИМ БЫЛА ПОСЛАНА НА ПРОСМОТР А. О. СМИРНОВОЙ-РОССЕТ РУКОПИСЬ VIII ГЛАВЫ „ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА"

Институт Русской Литературы, Ленинград

Бенкендорф сообщил эти слова Пушкину с таким рассказом: «Его величество изволил прочесть оную «комедию» с большим удовольствием и на поднесенной мною по сему предмету записке собственноручно[6] написал следующее: «Я считаю...» и т. д. Пушкин получил вместе с письмом и рукопись «Бориса Годунова», и выписку шести мест, подлежащих исключению. Для Пушкина отзыв якобы Николая был равносилен запрещению его любимого произведения, и горький сарказм слышится в его сдержанных словах ответа Бенкендорфу: «Согласен, что она «комедия» более сбивается на исторический роман, чем на трагедию, как государь император изволил заметить. Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное». Можно думать, что Пушкин не забыл совета Николая, когда через год, по поводу переделки Олиным «Корсара» Байрона, готовился писать «смешную статью о Корсаре и о способе переделывать поэмы в романтические трагедии»[7]. Статьи Пушкин не закончил, но начало написано в серьезном плане.

Только четыре года спустя удалось Пушкину выхлопотать разрешение на издание трагедии. Места, отмеченные чиновником, поэт изменил, но под новым давлением Бенкендорфа. Любопытно письмо шефа жандармов Пушкину от 21 января 1830 г., где он пишет: «...покорнейше прошу Вас, милостивый государь, переменить еще некоторые слишком тривиальные места; тогда я вменю себе в приятнейшую обязанность представить сие стихотворение государю императору». Иными словами, Бенкендорф полупризнается, что Николай еще не читал «Бориса Годунова» и что его могут неприятно поразить грубые слова. Просьбой вторично читать трагедию вряд ли Бенкендорф стал бы утруждать монарха.

В начале 1827 г. Пушкин просил Дельвига представить на цензуру к Бенкендорфу переданные ему для «Северных Цветов» два отрывка из III главы «Онегина» (письмо Татьяны и разговор Татьяны с няней), К *** («Я помню чудное мгновенье») и «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор»), присоединив к ним и присланную Пушкиным поэму «Цыганы». Шеф жандармов обиделся на то, что Пушкин обратился к нему не лично, а через барона Дельвига, которого он «вовсе не имеет чести знать», но, как и «Бориса», все полученные произведения дал на отзыв какому-то чиновнику III Отделения по литературным делам. Никаких следов чтения Николаем I этих произведений не имеется, и можно сомневаться, действительно ли Бенкендорф «представлял оные государю императору», как он писал Пушкину. Во всяком случае на этот раз шеф жандармов совершенно согласился со своим чиновником, не нашедшим ничего предосудительного в представленных пьесах. Одни лишь заглавные буквы фамилий товарищей Пушкина по лицею в «19 октября» вызвали замечания анонимного критика. Он считал буквы эти лишними. «Также,—писал он,—вовсе не нужно говорить о своей опале, о несчастиях, когда автор не был в оном, но был милостиво и отечески оштрафован за такие проступки, за которые в других государствах подвергнули бы суду и жестокому наказанию»[8]. Интересно, что с последним не согласился Бенкендорф и в своем письме к Пушкину (от 4 марта 1827 г.), разрешающем все присланные произведения к печати, сделал только одно «примечание»: «Заглавные буквы друзей в пиесе «19 октября» не могут ли подать повода к неблагоприятным для Вас собственно заключениям?» Но даже и это предоставлялось рассуждению Пушкина.

Пушкин должен был конечно с этим согласиться (вероятно неискренне) и 22 марта писал: «чувствительно благодарю Вас за доброжелательное замечание касательно пиесы «19 октября». Непременно напишу б‹арону› Дельвигу, чтоб заглавные буквы имен—и вообще все, что может подать повод к невыгодным для меня заключениям и толкованиям, было им исключено».

Следующей партией стихотворений, представленных Пушкиным Бенкендорфу 20 июля 1827 г., были «Ангел», «Стансы» («В надежде славы и добра»), III глава «Евгения Онегина», «Граф Нулин», новая «Сцена из «Фауста» и три песни о Стеньке Разине. В ответном письме Бенкендорф сообщал, что пьесы эти «государь император изволил прочесть с особенным вниманием». Вероятно слова эти означают, что на этот раз Николай действительно прочитал представленные ему стихотворения. Первые три вещи были дозволены к напечатанию без каких-либо оговорок. Относительно «Графа Нулина» Бенкендорф писал: «Графа Нулина

государь император изволил прочесть с большим удовольствием и отметить своеручно два места, кои его величество желает видеть измененными, а именно следующие два стиха:

«Порою с барином шалит» и
«Коснуться хочет одеяла».

Впрочем прелестная пиеса сия позволяется напечатать»[9]. «Сцена из «Фауста» дозволялась к напечатанию за исключением следующего места:

«Да модная болезнь: она
Недавно нам подарена».

Об этом Пушкин извещал Погодина: «Победа, победа! Фауста царь пропустил, кроме двух стихов...»

«Песни о Стеньке Разине» были запрещены на том основании, что они «при всем поэтическом своем достоинстве по содержанию своему неприличны к напечатанию. Сверх того церковь проклинает Разина, равно как и Пугачева».

Запрещенные Николаем песни о Стеньке Разине появились лишь в 1881 г. в газете «Русь» (№ 11), по копии, сделанной Погодиным[10]. Автографы до нас не дошли.

IV и V главы «Евгения Онегина», вышедшие одной книгой в свет с посвящением Плетневу «Не мысля гордый свет забавить», были пропущены цензурой III Отделения. Прошла благополучно высочайшую цензуру и VI глава «Евгения Онегина», но с посланным вместе с ней стихотворением «Друзьям» («Нет, я не льстец») вышла заминка. По словам Бенкендорфа (письмо от 5 марта 1828 г.) этой пьесой «его величество остался совершенно доволен». Но к напечатанию стихотворение разрешено не было; на рукописи стихотворения царем было написано: «Cela peut courir, mais pas être imprimé»[11]. Эта запись очень характерна для лицемерного Николая. Ничего не имея против распространения славящих его стихов среди читательских кругов, он вместе с тем не хотел публично санкционировать их печатания.

Относительно представленной Николаю I рукописи VII главы «Евгения Онегина» сохранился любопытный рассказ А. О. Смирновой. По ее словам высочайший цензор сделал на рукописи какие-то заметки, но, не считая себя компетентным в навязанной им самим себе роли цензора, он послал рукопись со своими замечаниями на этот раз не чиновнику III Отделения, а фрейлине Россет как знатоку, по его мнению, «своего родного русского языка»[12]. К сожалению и эта рукопись неизвестна, и мы не знаем ни замечаний царя, ни замечаний фрейлины (если таковые были).

Всем этим и ограничилась роль Николая как цензора по отношению к Пушкину. На высочайшую цензуру Пушкин представлял лишь книги, каковы главы «Онегина», поэмы, «Борис Годунов» и сборники стихотворений. Из отдельных же стихотворений Николаю I поэтом посылались лишь те, которые, по его мнению, могли быть не пропущены общей цензурой. «Я не лишен прав гражданства,—писал Пушкин Погодину,—и могу быть цензирован нашею цензурою, если хочу, а с каждым нравоучительным четверостишием я к высшему начальству не полезу»[13].

Гораздо интереснее роль Николая I как редактора Пушкина. Роль эта до сих пор в пушкиноведении недостаточно полно выявлена. Конечно четко разграничить «редакторскую» правку от «цензорского» вме-

шательства, вообще говоря, довольно трудно, и в тех например не дошедших до нас заметках, которые Николай I сделал на VII главе «Евгения Онегина», весьма вероятно, что он является не столько цензором, сколько редактором. Во всяком случае в тех замечаниях и поправках, о которых речь дальше, Николай выступает не столько цензором, запрещающим или разрешающим тот или другой текст, сколько редактором, позволяющим себе вводить собственные слова в текст Пушкина. Такого же характера вмешательство в текст Пушкина, тем более назойливое, что дело идет о тексте стихотворном, представляют собою высочайшие знаки вопроса и «NB», которыми испещрил рукопись «Медного всадника» Николай I[14].

Рукописей Пушкина с правкой Николая I имеется три: отрывок из «Путешествия в Арзрум», «Медный всадник» и «История Пугачевского бунта». Поправки эти, отчасти вошедшие в печатный текст Пушкина, очень показательны в смысле отношения Николая к Пушкину и давления его не только на образ мыслей, но и на стиль поэта.

«Путешествие в Арзрум» писалось Пушкиным в 1829 г. и часть его была тогда же приготовлена для печати. Пушкин поместил тогда в № 8 «Литературной Газеты» (от 5 февраля 1830 г.) отрывок из I главы «Путешествия в Арзрум» под названием «Военная Грузинская дорога (извлечено из путевых записок А. Пушкина)». Беловая рукопись этого текста до печати была у Николая I, который сделал на ней несколько помет, *и затем Бенкендорф подписал под ней «позволено» и свою* фамилию. Рукопись эта полностью была факсимильно воспроизведена в 1899 г.[15] При анонимной заметке, сопровождающей это факсимильное воспроизведение, сказано (стр. 6):

«...рукопись была представлена Пушкиным на одобрение императору Николаю Павловичу, который, как известно, сам вызвался быть «цензором всех сочинений Пушкина». В виду этого обстоятельства, есть основание думать, что карандашные пометки и приписки были сделаны в рукописи августейшим цензором». Догадка эта оказалась совершенно бесспорной при сличении почерка этих поправок с почерком Николая I.

Даем места, вызвавшие вмешательство Николая, печатая вычеркнутое им в прямых скобках и в разрядку, написанное им—курсивом и вычеркнутое Пушкиным—в прямых скобках.

1. «Крепости, достаточные для здешнего края, со рвом который каждый из нас перепрыгнул бы в старину не разбегаясь, с [заржавелыми] пушками не стрелявшими со времен Графа Гудовича, с [обрушенным] валом, по которому бродит гарнизон куриц и гусей».

2. «Кавказ ожидает христианских миссионеров. [Но легче для нашей лености в замену] слова живого *и пример лучшего будет действительнее ч/* выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, незнающим грамоты!»

3. «В крепости видел я черкеских Аманатов, резвых и красивых мальчиков. Они поминутно проказят и бегают из крепости. [Их держат в жалком положении. Они ходят в лохмотьях, полунагие и в отвратительной нечистоте—на иных видел я деревянные колодки. Вероятно, что аманаты, выпущенные на волю, не жалеют о своем пребывании] во Владикавказе».

отрѣзавъ черкесовъ отъ торговли съ Турціей принудитъ ихъ съ нами сблизиться. Вліяніе роскоши можетъ благопріятствовать ихъ укрощенію: самоваръ былъ бы важнымъ нововведеніемъ. Есть средство болѣе сильное, болѣе нравственное, болѣе сообразное съ просвѣщеніемъ нашего вѣка: проповѣданіе Евангелія. Черкесы очень недавно приняли магометанскую вѣру. Они были увлечены дѣятельнымъ фанатизмомъ апостоловъ Корана, между коими отличался Мансуръ, человѣкъ необыкновенный, долго возмущавшій Кавказъ противу русскаго владычества, наконецъ схваченный нами и умершій въ Соловецкомъ монастырѣ. Кавказъ ожидаетъ христіанскихъ миссіонеровъ. Но легче для нашей лѣности въ замѣну слова живого выливать мертвыя буквы и посылать нѣмыя книги людямъ не знающимъ грамоты!

Мы достигли Владикавказа, прежде Капкая, преддверія горъ. Онъ окруженъ осетинскими аулами. Я посѣтилъ одинъ изъ нихъ и попалъ на похороны. Около сакли толпился народъ. На дворѣ стояла арба, запряженная двумя волами. Родственники и друзья умершаго съѣзжа-

КАРАНДАШНЫЕ ПОМЕТЫ НИКОЛАЯ I НА РУКОПИСИ „ПУТЕШЕСТВИЯ В АРЗРУМ“

Институт Русской Литературы, Ленинград

Получив текст, урезанный царем, Пушкин принужден был принять эти поправки. В первом и третьем случае, где просто вычеркнуты слова о запустении крепости и о плохом содержании заложников в России, Пушкин повиновался и выпустил их и в «Литературной Газете», и во второй публикации в № 1 «Современника» 1836 г., где «Путешествие в Арзрум» было напечатано полностью.

Со вторым же случаем положение было несколько сложнее. Николай I, вычеркнув фразу Пушкина, направленную против инертности правительства, предложил взамен слова, не связав их синтаксически с фразой Пушкина и совершенно извратив его мысль. Пушкин не мог не вставить написанных царем слов, но так как фраза была не спаяна грамматически, то он в праве был вставить еще какое-нибудь слово. И он вставил его, вернее сохранил его из вычеркнутых слов. Это было слово «но».

Вот какой текст был дан в «Литературной Газете»: «Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но пример лучшего и Слово живое будут действительнее, чем выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, незнающим грамоты».

Что же получилось? Мысль Пушкина была та, что правительство легкомысленно отделывается посылкой евангелия неграмотным людям, вместо посылки проповедников. Николай же своей поправкой как бы обещал, что проповедники будут посланы. Благодаря вставленному слову «но», мысль Пушкина потеряла свою обнаженность, и фраза, сохранив видимость правки Николая, направленности ее не приобрела, да и вообще утратила смысл.

Через шесть лет в «Современнике» Пушкин исправил эту нелепую фразу. Он не решился ввести слов о лени, покоробивших императора, но не ввел и слов, навязанных ему насильно. Новый текст таков: «Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но тщетно в замену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты».

В этой редакции Пушкину удалось найти другие слова, чтобы выразить свою мысль безущербно.

Неповезло пострадавшим от редакторской руки Николая I текстам и в следующих изданиях. Посмертное издание (редактировавшееся Жуковским, Плетневым и Вяземским), издание Анненкова и оба издания Геннади повторили текст «Современника». В 1859 г. Е. И. Якушкин напечатал [16] несколько добавлений к тексту Анненкова, при чем привел текст о встрече Пушкина с Ермоловым из «Путешествия в Арзрум» и затем совершенно несправедливо, но уверенно заявил:

«Далее пропущено место, где Пушкин говорит о проповедывании евангелия на Кавказе»; и затем напечатал, по черновой рукописи [17], ранний, необработанный текст Пушкина, пренебрегая не только тем, что Пушкин, по своему обыкновению, сжал текст, дав его кратко и выразительно в следующей редакции [18], но и в этой черновой редакции Якушкин соединил зачеркнутое с незачеркнутым и к тому же дал совершенно нелепые чтения [19]. Но авторитетностью своего тона Якушкин убедил Ефремова (а за ним Морозова, Поливанова и Венгерова) в том, что редакция этого места должна быть вводима в беловой текст «Путешествия» в замену напечатанного Пушкиным, и восемь научных изданий [20] Пушкина так и печатали, В Ефремовском же издании, а затем и во

всех выше перечисленных, уже по Дашковской рукописи был совершенно правильно восстановлен отрывок об аманатах и «два эпитета к пушкам и валу», вычеркнутые, как полагал Ефремов, Бенкендорфом[21]. (Эпитет к пушкам был, как мы видели, усердно зачеркнут самим Пушкиным, конечно из цензурных соображений, эпитет же к валу— Николаем I.)

Наконец лишь в 1930 г.[22] Ю. Н. Тынянов восстановил волю поэта, дав текст по Дашковской рукописи в таком виде, в каком он вышел из-под его пера. Пресловутую же страницу о черкесах и христианских миссионерах Тынянов поместил в приложениях, дав впервые правильный текст, совершенно новый для читателя.

Нужно было, чтобы прошло целое столетие со дня первой, испорченной Николаем I публикации «Путешествия в Арзрум» Пушкина, чтобы текст этот появился в печати, впервые очищенный от вольных и невольных искажений.

Вернувшись из Болдина 20 ноября 1833 г. в Петербург, Пушкин привез написанную им в деревне поэму «Медный всадник», которую он представил на царскую цензуру 6 декабря с письмом к Бенкендорфу. 14 декабря он записал в дневник: «11-го получено мною приглашение от Бенкендорфа явиться к нему на другой день утром. Я приехал. Мне возвращен Медный всадник с замечаниями государя. Слово кумир не пропущено высочайшей ценсурою; стихи

И перед младшею столицей
Померкла старая Москва
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова —

вымараны. На многих местах поставлен (?) — все это делает мне большую разницу. Я принужден был переменить условия со Смирдиным».

Рукопись «Медного всадника», возвращенная Пушкину, сохранилась до нашего времени[23]. Она была изучена П. Е. Щеголевым. Покойный исследователь напечатал текст «Медного всадника» по этой рукописи в 1923 г.[24] Тогда же он подробно описал все карандашные пометы на рукописи. Вот как высказался об них П. Е. Щеголев: «Отметки, подчеркивания, ? и NB были выставлены если не Николаем Павловичем, как думал Пушкин на основании слов Бенкендорфа, то каким-либо специалистом по литературе при III Отделении»[25]. (Тут над П. Е. Щеголевым тяготело воспоминание о том, как Николай I высказался о «Борисе Годунове» Пушкина, повторив главную мысль обстоятельной докладной записки чиновника III Отделения.) И В. Я. Брюсов думал, что рукопись «Медного всадника» была на отзыве в «канцелярии Бенкендорфа»[26]. Между тем, сопоставив эти бессловесные замечания с таковыми же на «Истории Пугачевского бунта» (о чем см. ниже), нетрудно убедиться, что их писала одна и та же рука, т. е. что и «Медный всадник» был в личной цензуре Николая I.

Целеустремленность отметок Николая I на рукописи «Медного всадника», а также и описательный их показ даны исчерпывающе П. Е. Щеголевым в названной книге. В виду того, что издание это очень редко, мы в настоящей публикации даем еще раз все эти пометы, но транскрипционно, в плане настоящей работы.

1. **Вступление, ст. 39 (л. 24_1)**

NB

[И перед младшею Столицей
Померкла старая Москва
Как перед новою Царицей
Порфироносная Вдова.][27]

2. **Часть первая, ст. 257 (л. 30_2)**

NB ?

Над возмущенною Невою
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне.

3. **Часть вторая, ст. 400 (л. 37_1)**

NB ?

И прямо в темной вышине
Над огражденною скалою
Кумир с простертою рукою
Сидел на бронзовом коне.

4. **Часть вторая, ст. 410 (л. 37_1)**

Кто неподвижно возвышался
Во мраке медною главой,
Того, чьей волей роковой
под морем город основался...

5. **Часть вторая, ст. 420 (л. 37_2)**

NB

О мощный властелин Судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте уздой железной
Россию поднял на дыбы?

6. NB

Кругом подножия Кумира
Безумец бедный обошел

7. **Часть вторая, ст. 432 (л. 38_1)**

NB

Вскипела кровь. Он мрачен стал
Пред Горделивым истуканом
И зубы стиснув, пальцы сжав
Как обуянный силой черной,

8. NB

«Добро, строитель чудотворный!»
Шепнул он злобно задрожав
«Ужо тебе!..» И вдруг стремглав

9.

Бежать пустился. Показалось
Ему что Грозного Царя
Мгновенно гневом возгоря
Лицо тихонько обращалось...
И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой —
Как будто грома грохотанье
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой.
И озарен луною бледной
Простерши руку в вышине
За ним несется Всадник Медный
На звонко скачущем коне;

Получив рукопись, испещренную царскими «NB», Пушкин отказался печатать поэму, так как для этого ее следовало в корне переделать. Но позднее, может быть через год, он все же решил попробовать это сделать. Писарь снял для него копию с текста, представленного Николаю I [28]. Сам же Пушкин перенес отметки Николая I на писарскую копию. Эти отметки должны были для него служить как бы фарватером в новом пути работы. Тяжела была Пушкину эта работа и в одном случае (см. выше № 3), когда ему удалось заменить слово «кумир» словом «седою», он с удовлетворением вычеркнул отчеркивание этого места.

Николай I отметил девять мест. Как оказывается, Пушкину удалось изменить семь из них. В некоторых пришлось поступиться одним сло-

Мосты повисли надъ водами;
Темнозелеными садами
Ея покрылись острова,
И передъ младшею Столицей
Померкла старая Москва,
Какъ передъ новой Царицей
Порфироносная вдова.

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгiй, стройный видъ,

КАРАНДАШНЫЕ ПОМЕТЫ НИКОЛАЯ I НА РУКОПИСИ „МЕДНОГО ВСАДНИКА“

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

вом, а в иных пришлось ломать по три и даже по шести стихов. Оставалось так немного, и Пушкин мог бы увидеть свою повесть в печати. Но двух мест (№№ 4 и 9) поэт не мог коснуться. У него не поднялась рука на ставшее впоследствии знаменитым изображение скаканья медного всадника.

Мучительную, насильственную работу над искажением поэмы Пушкин делал, как мы видели, вероятно год спустя после написания поэмы. Такое расстояние и то обстоятельство, что повесть была в копии чужой руки, изменили отношение Пушкина к своему произведению. Вещь, сданную им за год, он увидел новыми глазами. К тому же неизбежность работы над сомнительными в цензурном отношении местами повести приковала Пушкина к тексту ее. Он стал работать над «Медным всадником», как над незаконченным произведением: образы заменял более точными и реальными [29], неопределенные слова заменял более конкретными [30], переставлял полустишия в соседних стихах для усиления,

а иногда и целые стихи[31], выбрасывал длинноты, ослаблявшие цельность драматического нарастания[32], перестроил и изменил ставшее классическим описание наводнения (20 стихов), и т. д. и т. д.

Такие исправления художественного порядка сделаны Пушкиным в 43 стихах и сверх того вычеркнуто 15 стихов. Вынужденные же изменения текста, сделанные под давлением шести помет Николая I, коснулись 15 стихов. Слой их безо всякого труда снимается, и остается лучший текст «Медного всадника», превосходящий конечно все остальные. Текст этот был напечатан Б. Томашевским и К. Халабаевым[33].

Когда после смерти Пушкина друзья его подготовляли к печати оставшиеся ненапечатанными произведения поэта, Жуковский, желая провести через цензуру «Медного всадника», довольно находчиво «исправил» все непонравившееся Николаю I, при чем заменил некоторые из насильственных вариантов Пушкина своими. Но освоясь с ролью редактора Пушкина, он сделал несколько стилистических поправок[34].

Вот в таком-то виде «Медный всадник» был напечатан впервые[35]. Начиная с П. В. Анненкова, целый ряд редакторов постепенно освобождал текст Пушкина от наслоений цензурных исправлений и стилистических поправок Жуковского. Лучшим и единственно правильным текстом является напечатанный Томашевским и Халабаевым[36].

П. Е. Щеголев, разобравшись[37] детально во всех слоях текста на писарской копии «Медного всадника», пришел к более чем спорному выводу, что «дефинитивным» текстом является представленный Пушкиным Николаю I. *Все же следующие поправки Пушкина он счел незаконченными*[38] и всю эту последнюю отделку Пушкина отмел как совершенно незначительную.

Я считаю это положение Щеголева может быть неизбежной данью увлеченью беловым автографом (который конечно должен был быть однажды воспроизведен, но лишь для научных целей), увлеченью несколько затянувшемуся. Я имею в виду текст «Медного всадника», включенный в редакции 1833 г. (до последних исправлений Пушкина) в издание ГИЗ'а 1930 г. (приложение к «Красной ниве»).

6 декабря 1833 г., одновременно с «Медным всадником», Пушкин представил через Бенкендорфа Николаю I «Историю Пугачева» для прочтения. Когда Пушкин получил ее обратно—до сих пор не выяснено. 17 января царь на балу у гр. Бобринских говорил с Пушкиным о Пугачеве[39]. 29 января Жуковский прислал Пушкину «Историю господина Пугачева» (как он шутя называет труд Пушкина в этом витиеватом письме). Не по поручению ли Николая I это было сделано? Это легко могло быть по близости Жуковского ко двору, тем более, что он жалеет, что не успел прочитать «Истории». Тогда зачем бы она у него была? И какая еще рукопись могла у него быть?

11-го и 26 февраля Пушкин был у Бенкендорфа по его приглашению. Возможно, что в одно из этих свиданий он имел разговор о Пугачеве, потому что 26 февраля, вероятно после разговора с Бенкендорфом, Пушкин писал ему (зная уже, что «История» разрешена) официальное прошение о государственной субсидии на печатание.

28 февраля Пушкин, занося в свой дневник впечатления за месяц (он не вел дневника с 26 января), пишет между прочим: «Государь позволил мне печатать Пугачева; мне возвращена моя рукопись с его

Онъ очутился подъ столбами
Большаго дома. На крыльцѣ
Съ подъятой лапой, какъ живые,
Стояли львы сторожевые,
И прямо въ темной вышинѣ
37 Надъ огражденною скалою
Кумиръ съ простертою рукою
Сидѣлъ на бронзовомъ конѣ.

Евгеній вздрогнулъ. Прояснились
Въ немъ страшно мысли. Онъ узналъ
И мѣсто, гдѣ потопъ игралъ,
Гдѣ волны хищныя толпились,
Бунтуя злобно вкругъ его,
И львовъ, и площадь, и того,
Кто неподвижно возвышался
Во мракѣ мѣдною главой,
Того, чьей волей роковой
Подъ моремъ городъ основался

КАРАНДАШНЫЕ ПОМЕТЫ НИКОЛАЯ I НА РУКОПИСИ „МЕДНОГО ВСАДНИКА“

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

замечаниями (очень дельными). В воскресенье [40] на бале в концертно[й] государь долго со мною разговаривал». Итак, между 26 января и 26 фе[в]раля 1834 г. Пушкину было разрешено печатание «Истории Пугачева» [41] и 29 января рукопись [42] повидимому вернулась от Николая I к поэту

Получив рукопись с пометами государя, Пушкин не решился тут ж[е] делать исправления и заказал писарю списать свой текст. Эта руко[-]пись, отчасти исправленная Пушкиным и отчасти даже им переписанная[,] затем поступила в набор. С 1855 г. она хранится в Публичной Библио[-]теке в Ленинграде.

Остальные поправки Пушкин сделал в корректуре, которую он, против обыкновения, держал сам. Корректуры эти до нас не дошли. Этот напечатанный Пушкиным текст, с поправками по указанию Николая I, повторялся из издания в издание до самого последнего времени (о чем см. ниже). Относительно же замечаний Николая I можно сказать, что они повидимому были известны Анненкову, работавшему вплотную над рукописями поэта, и затем точно исчезли из оборота исследователей лет на семьдесят. Между тем рукопись с пометами Николая с 1882 г. доступна исследователям. Анненков не имел конечно возможности при жизни Николая I напечатать его замечаний, но очень вероятно, что именно он сообщил их текст Герцену.

Впервые появились в печати четыре [43] замечания Николая I (почему только четыре?) в герценовской «Полярной Звезде на 1861 г.» [44]. Эти замечания Николая I тогда же были перепечатаны Гербелем в Берлине [45], а в России они появились впервые в 1878 г. Ефремов [46], напечатавший их, добавил от себя указание на одну купюру [47], сделанную, по его мнению, Пушкиным по собственному желанию.

Нового слова можно было ждать от Академического издания сочинений Пушкина. Но В. Е. Якушкин успел приготовить лишь текст «Истории», совершенно точно воспроизведя издание Пушкина и не обратив внимания на не раз уже упоминавшиеся в печати поправки Николая I. Комментарии же принадлежат проф. Н. Н. Фирсову, который хотя и искал замечания Николая I, но не нашел их [48]. Странное впечатление производят его бесплодные усилия доказать, что Николай I должен был видеть именно наборную рукопись (Публ. Библ.). Отсутствие помет объясняется им только тем, что были бессловесные отчеркивания, если не отдельный листок с замечаниями [49].

Авторитетность редактора Академического издания очевидно подействовала даже на П. Е. Щеголева, у которого читаем: «К сожалению эти замечания нам неизвестны, хотя рукопись, бывшая в руках Николая, повидимому нам известна. Но по всей вероятности письменных замечаний и не было: Бенкендорф вызвал Пушкина и вручил ему рукопись с царскими замечаниями, которые он мог передать ему и изустно. Если это предположение верно, то еще вопрос, принадлежали ли «очень дельные» замечания Николаю, или какому-либо специалисту из III Отделения» [50].

Прежде чем перейти к рассмотрению замечаний Николая I на исторический труд Пушкина, нужно сказать несколько слов о заглавии его. В письме [51] к Бенкендорфу Пушкин пишет: «...я думал некогда написать исторический роман, относящийся ко временам Пугачева, но нашед множество материалов, я оставил вымысел и написал Историю Пугачевщины».

В дневнике своем Пушкин неоднократно говорит о своей работе: «Пугачев», «мой Пугачев».

В заметке о предстоящем выходе книги в «Библиотеке для чтения» (1834, т. II, отдел «Литературная летопись», стр. 12) труд Пушкина назван «Историей Пугачева». Повидимому так же надписана была и рукопись, посланная на рассмотрение Николаю I, — именно так назвал ее Бенкендорф в письме к министру финансов.

Когда Николаю I был подан на подпись указ о выдаче Пушкину денег на печатание, то царь в этом указе, зачеркнув заглавие «История

Пугачева», написал «История Пугачевского бунта». «Государь император переменил слова указа не потому, что тут полагалась ошибка, а рассуждая, что преступник, как Пугачев, не имеет истории»[52].

За этим последовало письмо Бенкендорфа к Пушкину, где он между прочим говорит, что «его императорскому величеству благоугодно было собственноручно написать вместо: История Пугачева—История Пугачевского бунта», и кончает так: «что же касается до Вашего сочинения, то в исполнение высочайшей воли, покорнейше прошу издать оное под заглавием История Пугачевского бунта»[53].

В результате сочинение Пушкина озаглавлено Николаем I.

Покойный П. Е. Щеголев, работая в последние месяцы своей жизни над текстом «Истории Пугачевского бунта», предполагал восстановить пушкинское заглавие—«История Пугачева», но почему-то этого не сделал. Может быть он не был окончательно уверен, что Пушкин именно так озаглавил свой труд.

Обращаемся теперь к самой рукописи, представленной Пушкиным Николаю I.

Более чем равнодушный к поэзии Николай, как мы видели, обращался к помощи других в деле цензурования стихотворных произведений Пушкина. В деле же оценки исторической прозы он конечно считал себя компетентным судьей. В качестве такового он не только внимательно прочел историю Пугачева, но и испещрил ее замечаниями.

Рассмотрим эти замечания и вызвавшие их слова Пушкина:

1. [Том первый (от начала бунта до кончины Бибикова)]	
2. Гл. I, абз. «Предание согласное» (л. 14₁) сбились с дороги, на Хиву не попали и прошли к [У]ральскому морю, на котором принуждены были зимовать.	*А*
3. Гл. I, абз. «Тамошние начальники» (л. 19₂) Траубенберг бежал и был убит у ворот своего дома.	
4. Гл. II, абз. «Сперва дело шло» (л. 21₂) Донских казаков. Потомки их до самого 1828 года жили в Турецких областях, служа Султанам и сохраняя на чуждой им родине веру, язык и обычаи прежнего своего отечества. Во время последней Турецкой войны, они явились к Императору Николаю уже переплывшему Дунай на Запорожской лодке, и так же как остаток Сечи принесли повинную за своих отцов и возвратились под владычество законного своего Государя.	*Часть, к сожалению не все; прочие дрались против нас отчаянно.*
5. Гл. III, абз. «На другой день» (л. 52₂) оклады с икон были ободраны, напрестольное одеяние [изорвано] в лоскутьях [Церковь осквернена была даже калом лошадиным и человечьим]	

6. Гл. III, абз. «В начале ноября» (л. 54_2)

ни
В начале Ноября (не дождавшись артил-
ни
лерии, и ста семидесяти гренадер посланных к нему из Симбирска, он «генерал Кар» стал подаваться вперед [на встречу ожидаемых из Уфы вооруженных Башкирцев и Мещеряков[54]] На дороге он узнал

Ни высланных к нему из Уфы вооруженных Башкирцев и мещеряков

ни высланных

7. Гл. III, абз. «Получив известие» (л. 61_2)

С того времени жил он «генерал Кар» в своей деревне, где и умер в начале царствования Александра.

императора

8. Гл. IV, абз. «В сей крайности» (л. 73_1)

к
у дороги из Берды [в] Каргале

9. Гл. IV, абз. «В сей крайности» (л. 73_1)

Казаки оставленные в резерве, бежали от них, и прискакав к колонне Валленштерина произвели общий беспорядок. Он очутился между трех огней, [солдаты его бежали]

отряд его смешался,

10. Гл. V, абз. «Илецкий городок» (л. 107_2)

Жены и матери стояли у берегов стараясь узнать между ими своих мужьев и сыновей. В Озерной старая казачка (Разина) [целый] каждый день бродила над Яиком, клюкою пригребая к берегу плывущие трупы и приговаривая: не ты ли мое детище? не ты ли мой Степушка? не твои ли черны кудри свежа вода моет? и видя лицо незнакомое тихо отталкивала труп.

Лучше выпустить ибо связи нет с делом

11. Гл. VI, абз. «Пленный башкирец» (л. 122_1)

«Михельсон» положил на месте до 600 человек, в плен взял до 500; гнал остальных несколько верст

[взял]

12. Гл. VI, абз. «Пленный башкирец» (л. 122_1)

На другой день отдал он «Михельсон» в приказе строгой выговор роте, потерявшей свои пушки, и отнял у ней пуговицы и общлага до выслуги. Рота не замедлила загладить свое бесчестие.

выпу«стить»

13. Гл. VI, абз. «27 мая Михельсон» (л. 123_1)

Салават, с новою шайкою, злодействовал в окрестностях

и Белобородов

14. Гл. VI, абз. «Пока Михельсон» (л. 124_2)

Полковники Якубович и Обернибесов и майор Дуве, [стояли] около Уфы.

находились

15. Гл. VI, абз. «На другой день» (л. 126_2)

Самозванец его «Скрыпицына» обласкал и оставил при нем его шпагу. Несчастный думая со временем оправдаться, написал обще с капи-

таном Смирновым и подпоручиком Минеевым письмо к Казанскому Губернатору, и носил при себе в ожидании удобного случая тайно его отослать. Минеев донес о том Пугачеву. Письмо было схвачено; Скрыпицын и Смирнов повешены, а доносчик [п р о и з в е д е н] [в] пол- *назван*
ом
ковник[и]

16. Гл. VII, абз. «Так темный колодник» (л. 122₂)

Так бедный колодник, за год тому бежавший из Казани отпраздновал свое возвращение! NB

КАРАНДАШНЫЕ ПОМЕТЫ НИКОЛАЯ I НА РУКОПИСИ „ИСТОРИИ ПУГАЧЕВА“
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

17. Гл. VIII, абз. «Суворов между тем» (л. 175₁)

Суворов с любопытством расспрашивал славного мятежника о его военных действиях и намерениях. NB ?

18. Гл. VIII, абз. «Пугачева привезли» (л. 177₁)

Академик Рычков, отец убитого Симбирского коменданта, видел его тут и описал свое свидание. Пугачев ел уху на деревянном блюде. Увидя Рычкова, он сказал ему: Добро пожаловать и пригласил его с ним отобедать. Из чего, пишет Академик, я познал его подлый дух. Рычков спросил его, как мог он отважиться на такие великие злодеяния? Пугачев отвечал

19. Задняя обложка гл. VII (л. без номера), запись неизвестной руки.

Креницыны Петр и Александр. *Что такое?* NB

Поправки эти были по-разному встречены Пушкиным. Некоторые он должен был безусловно принять; другие он принял, но скрепя сердце, что показал многоточием, третьи он перенес в примечания, а на иные вообще не обратил внимания. Издание самим Пушкиным «Истории Пугачевского бунта» установило, казалось бесповоротно, единственный правильный текст, который и перепечатывался из издания в издание. И лишь в последнем издании Пушкина (приложение к «Красной ниве» за 1930 г.) редактором «Истории Пугачевского бунта» П. Е. Щеголевым проделана работа по очистке текста Пушкина от наслоений правки Николая I. Считаясь очевидно со словами Пушкина, что замечания Николая дельны, Щеголев часть поправок царя счел принятыми Пушкиным добровольно. Этим объясняется то, что некоторые поправки Николая I и сейчас можно найти в тексте Пушкина. Но не везде одинакова степень добровольного «принятия» Пушкиным поправок Николая I.

1[55]. Пушкин замышлял внутри «Истории» деление на два тома. Возможно, что Николаю I принадлежит это легкое карандашное зачеркивание, указывающее на то, что он относился к своей роли именно как редактор, а не как цензор.

2. Исправление Николаем I описки Пушкина конечно правильно принято во всех изданиях.

3. Покоробившее царя выражение, что генерал «бежал», было исключено Пушкиным и до сих пор не восстановлено.

4. Поправка по существу, вероятно вызвавшая мнение Пушкина о дельности поправок императора. Принята Пушкиным как фактическая поправка. Так же расценил это и П. Е. Щеголев, оставивший печатную редакцию в новом тексте. Печатная редакция такова: «Во время последней Турецкой войны они дрались противу нас отчаянно. Часть их явилась к императору Николаю» и т. д. Забавный случай. Сохранена текстуальная редакция Николая I. При желании можно почти серьезно говорить о какой-то доле сотрудничества Пушкина и Николая I в этой фразе.

5. Николай I конечно не мог допустить рассказа о таком «поругании» храма. Пушкин же как историк дорожил точностью факта и заменил выпущенную купюру многоточием до конца строки—обычный у него прием, чтобы показать читателю, что здесь текст урезан. В стихах он делал столько строк многоточия, сколько строк выкинуто. Щеголев правильно восстановил рукописный текст Пушкина [56].

6. Поправка носит чисто стилистический характер, так что заставляет даже усомниться, действительно ли она принадлежит Николаю I, а не самому Пушкину. Вошла в печатный текст Пушкина и сохранена Щеголевым.

7. Типичная, цензорского типа, поправка Николая, принятая Пушкиным и конечно случайно сохраненная Щеголевым.

8. Татарская деревня называлась Каргале, на русский лад Каргала. Пушкин не склонял татарского названия Каргале (см. его издание «Истории», т. I, список опечаток), Николай же принял предлог *в* за описку и исправил ее на *к*, с чем согласился и Пушкин, не желая спорить в мелочах, соответственно изменив и падеж слова Каргале и поставив *е* на конце. Щеголев правильно восстановил написание Пушкина.

Настала весенняя отте-
пель; реки вскрылись и
тела убитыхъ подъ Та-
тищевой поплыли ми-
мо крѣпостей. Жены и
матери стояли у берега
стараясь узнать между
ними своихъ мужьевъ и
сыновей. Въ Озерной ста-
рая казачка ~~[зачёркнуто]~~ каждый день
бродила надъ Яикомъ, кло-
кою пригребая къ бере-
гу плывущіе трупы
и приговаривая: не ты-
ли мое дѣтище? не ты-
ли мой Степушка? не
твои-ли черные кудри
свѣжа вода моетъ? и
видя лицо незнакомое
тихо, отталкивала
трупъ

(Разина)

лучше выпустить, ибо связи нѣтъ съ дѣломъ

Мансуровъ 6го и 7го а-
прѣля занялъ оставленныя
крѣпости и Илецкой го-
родокъ; нашедъ въ послѣд-
немъ 14 пушекъ. 15го
при [illegible] переправѣ

КАРАНДАШНЫЕ ПОМЕТЫ НИКОЛАЯ I НА РУКОПИСИ „ИСТОРИИ ПУГАЧЕВА"
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

9. Недопустимое с точки зрения царя «бегство» солдат заменено им официальным эвфемизмом, вынужденно принятым Пушкиным. Щеголев правильно восстановил выражение Пушкина[57].

10. Пушкин воспользовался не категоричным предложением царя выпустить абзац с лирической настроенностью к Степану Разину, «единственному поэтическому лицу в русской истории», и перенес его в примечания. Трудно сказать, согласился ли Пушкин, что архитектонически это будет лучше. Щеголев оставил этот абзац в примечаниях.

11. Тут Николай споткнулся о неожиданную инверсию Пушкина. Отсюда—вставленное и тут же вычеркнутое слово взял.

12. Слово выпу, т. е. выпустить, написано Николаем так бледно, что Пушкин может быть просто не заметил его, так что «нецензурное» выражение проскочило и в печатный текст Пушкина.

13. Фактического добавления Николая Пушкин не принял.

14. Тут Николай вмешивается уже в стиль Пушкина, считая очевидно, что про военные части можно сказать стояли, про отдельных же людей нельзя. Пушкин ввел слово Николая, что может быть напрасно повторил и Щеголев, потому что Пушкин под именами генералов разумел здесь конечно целые войсковые части с этими генералами во главе. Такую-то вольность с языком мог себе позволить Пушкин!

15. Николай, не считая чины, раздаваемые самозванцем, производством, заменил слово Пушкина произведен словом назван. Пушкин довел до конца мысль Николая I и напечатал так: а доносчик назван от Пугачева полковником. Эту редакцию сохранил и Щеголев, может быть напрасно.

16. Сочувствие к Пугачеву не понравилось царю, и Пушкину пришлось заменить слово бедный словом темный. Рукописная редакция восстановлена Щеголевым.

17. Очевидное возмущение Николая I заставило Пушкина заменить эпитет славный по отношению к «мятежнику» эпитетом пленный. Щеголев восстановил «вольную» редакцию Пушкина.

18. Описание обеда Пугачева показалось царю может быть слишком интимным, что заставило его отчеркнуть весь этот пассаж. Пушкин уступил ему и выкинул в печатном тексте со слов «Пугачев ел уху» до «подлый дух» включительно. Щеголев правильно восстановил это место[58]. Указание на эту купюру, не связывая ее впрочем с требованием Николая I, сделал впервые Ефремов[59], не приведший выброшенного текста.

19. Пушкин в качестве обложки к VII главе взял лист, на третьей странице которого были кем-то написаны имена поэта А. М. Креницына и его брата, товарищей Баратынского, соседей Пушкина по Михайловскому. Гербель правдоподобно толковал, что это «имена, приезжавших к Пушкину с визитом», и добавил: «Как бы негодуя на подобное небрежение при представлении рукописи, Николай Павлович подчеркнул их и подписал: «Что такое?» Вяземский, испещривший заметками берлинский томик Гербеля, возразил: «Просто любопытство. Никакого негодования тут незаметно»[60].

При чтении собранных помет Николая I на рукописях Пушкина бросается в глаза характерная направленность внимания царя. Он стоит на страже царских интересов, «чести» царской армии, государственной церкви. Совершенно недопустимой кажется ему

игра темного воображения помешанного Евгения. За угрозами безумца «кумиру»—царю—он слышит страшные голоса восставшего народа живому царю.

Такую опасную поэму император разрешить конечно не мог. Поэт же не мог отказаться от одного из своих сильнейших произведений. Вот причина, почему не была напечатана поэма при жизни Пушкина.

Что же касается других замечаний Николая I, то Пушкин в конце концов легко уступал ему мелочи. Иногда же он умел так остроумно воспользоваться предлагаемыми словами Николая I, или поставить неожиданное многоточие, что вдумчивый читатель мог легко понять сигнал Пушкина.

КАРАНДАШНЫЕ ПОМЕТЫ НИКОЛАЯ I НА РУКОПИСИ „ИСТОРИИ ПУГАЧЕВА"
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

Вообще говоря, разве за исключением «Истории Пугачева», роль Николая I как редактора Пушкина конечно была ему совершенно не по плечу. Ясно это было прежде всего самому Николаю, дословно повторявшему в своих отзывах мнения других лиц. Ясно это было и Пушкину, добродушно назвавшему царя «литератором не весьма твердым»[61]. Правдоподобным кажется рассказ о том, как удивился Пушкин, узнав, что Николай I читал «Дон Жуана» Байрона[62].

Впрочем невежество Николая I в литературе—факт уже достаточно известный.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Сухомлинов, М. И., Император Николай Павлович—критик и цензор сочинений Пушкина. См. в его книге «Исследования и статьи по русской литературе и просвещению». Т. II, П., 1889, стр. 205—246. Рукопись «Записки о народном воспитании» пропала.

[2] Майков, Л., Пушкин. П., 1899, стр. 177—178.

[3] Рукопись «Бориса Годунова», посланная Пушкиным Бенкендорфу,—та самая, которая с 80-х годов хранится в Российской Публичной Библиотеке в Ленинграде, куда она поступила от сына Жуковского—П. В. Это беловой автограф поэта с отчеркиваниями красным карандашом и NB, сделанными, как мы уже указали, не Николаем, а чиновником III Отделения. Странным образом не зная этого (хотя указание об этом есть даже в Академическом издании сочинений Пушкина, т. IV, стр. 82 второй нумерации), А. К. Виноградов строит неверную гипотезу, что владельцем этой рукописи «мог быть конечно только» Соболевский. Отсутствие же рукописи в архиве Соболевского он объясняет весьма просто—она не уцелела (А. К. Виноградов, Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928,

стр. 175). Предположение Виноградова сделано на основании утверждения Мериме о том, что у одного из его приятелей (Жуковского, а не Соболевского.—*Т. З.*) имеется рукопись трагедии Пушкина с пометами Николая. Об этом писал еще Плетнев в письме к Бенкендорфу, также неправильно полагавший, что пометы красным карандашом сделаны Николаем.

Утверждение Пушкина, что у него нет другого списка трагедии—верно. В Михайловском это была единственная рукопись «Бориса Годунова». Но в Москве Пушкиным была оставлена Погодину писарская копия трагедии, сделанная повидимому во время пребывания поэта в Москве в сентябре—октябре 1826 г. (хранится под № 2392 с 80-х годов в Публичной Библиотеке СССР им. Ленина в Москве). С этого текста Погодин должен был списать V сцену «Ночь. Келья в Чудовом монастыре», которую Пушкин отдал в первый номер затевавшегося кружком московских шеллингианцев журнала «Московский Вестник».

[4] Оригинал по-французски. «Старина и новизна», кн. VI, стр. 4.

[5] Она напечатана в книге Сухонина «Дела III Отделения». П., 1906, стр. 96—97.

[6] Разрядка моя.—*Т. З.*

[7] Цявловский, М. А., Пушкин по документам архива Погодина. См. ниже.

[8] Сухомлинов. Назв. статья., стр. 216.

[9] Рукописи «Графа Нулина», бывшей у Николая I, не сохранилось. В поддельных записках А. О. Смирновой, скомпилированных ее дочерью из печатных источников, собственных измышлений (бóльшая часть текста) и семейных преданий, имеется сообщение о том, что на рукописи «Графа Нулина» Николай будто бы «исправил один стих, поставив слово будильник вместо другого; звук, рифма, число слогов оставлены те же. Пушкин был в восторге» («Записки А. О. Смирновой», ч. I, СПБ., 1895, стр. 3). Судя по приведенным словам из письма Бенкендорфа, рассказ этот—вымысел. К этому нужно прибавить, что во всех рукописях стоит будильник.

[10] Ныне эти копии хранятся в ИРЛИ.

[11] «Это можно распространять, но это не может быть напечатано».

[12] Цявловский, М. А., А. О. Смирнова о Пушкине и Николае I.—«Пушкин и его современники», вып. XXXVIII—XXXIX, Л., 1930, стр. 222.

[13] Письмо от октября—ноября 1827 г.

[14] Знаки вопроса на рукописи Пушкина о народном воспитании, не предназначавшейся к печати, носят совсем иной характер и не могут быть рассматриваемы как замечания редактора.

[15] «Исторический Вестник» 1899, № 5, стр. 29—68. Рукопись эта, идущая из архива «Литературной Газеты», принадлежала тогда П. Я. Дашкову; ныне хранится в Институте Русской Литературы в Ленинграде.

[16] Якушкин, Е. И. Проза А. С. Пушкина (Библиографические замечания по поводу последнего издания сочинений поэта).—«Библиографические Записки» 1895, №№ 5 и 6.

[17] Тетрадь № 2382 Ленинской библиотеки, лл. 9_1—10_1.

[18] Беловой Дашковской рукописи еще не было в научном обиходе, она лежала в деревне Щастного с архивом «Литературной Газеты», но были оба напечатанные Пушкиным текста «Путешествия в Арзрум».

[19] Будто бы Пушкин, ратуя за распространение христианства среди черкесов, пишет: «Многие, сближая мои коллекции стихов с черкесским негодованием, подумают, что не всякий имеет право говорить языком высшей истины». На поверку коллекции стихов оказываются калмыцкими нежностями, фраза приобретает пушкинский блеск и остроту. Она делается уместной в этом контексте, потому что за две страницы автор повествовал о своей встрече с калмычкой.

[20] Начиная с издания под редакцией Ефремова 1880 г. (т. V, 1881 г.).

[21] Позднее Ефремов уже считал эти поправки принадлежащими Николаю I (Соч. Пушкина, ред. Ефремова, изд. Суворина, т. VIII, 1905 г., стр. 555).

[22] Полное собр. соч. Пушкина в шести томах, ГИЗ, прилож. к журн. «Красная нива» на 1930 г., т. IV.

[23] Тетрадь № 2376 Б, лл. 20—43, хранящаяся в Ленинской библиотеке в Москве.

[24] «Медный всадник. Петербургская повесть А. С. Пушкина. Илл. А. Н. Бенуа». СПБ., 1923. Этот же текст Щеголев ввел в Полное собрание сочинений Пушкина, изд. ГИЗ, приложение к журн. «Красная нива» на 1930 г. (т. III). После смерти Щеголева краснонивский текст перепечатан в изд. ГИХЛ (в 6 томах) 1931 г. (т. III).

[25] Названное отдельное издание «Медного всадника», стр. 65. Ту же мысль повторяет Щеголев в статье «Николай I в дневнике Пушкина», предпосланной

к изданию «Дневника Пушкина». П., 1923 (стр. XXI), перепечатанной в его книге «Из жизни и творчества Пушкина», 1931, стр. 135.

[26] Статья его «Медный всадник» в Собр. соч. Пушкина изд. Брокгауза-Ефрона, т. III, 1909, стр. 471. Перепечатана в книге Брюсова «Мой Пушкин», 1929, стр. 93.

[27] Перечеркнуто накрест Николаем I.

[28] В совершенно точной копии имеется лишь существенное разночтение в последних четырех стихах вступления, отмеченное еще П. Е. Щеголевым (стр. 65 названной работы). Надо думать, что заказывая снять копию с автографа, вернувшегося от царя, Пушкин предупредил переписчика, что вступление будет иметь иной конец, и дал ему новый текст этого места, близкий к черновой редакции. Это указывает на то, что поправка эта сделана Пушкиным до начала работы под давлением царской цензуры и что конечно она должна быть признана окончательной. Этот аргумент имеет значение, даже если совершенно откинуть художественный критерий. Вот эти стихи для сравнения:

Автограф:	Копия:
Была ужасная пора...	Была ужасная пора...
Об ней начну повествованье.	Об ней свежо воспоминанье
И будь оно, друзья, для вас	Об ней, друзья мои, для вас
Вечерний, страшный лишь рассказ	Начну свое повествованье
А не зловещее преданье...	Печален будет мой рассказ.

[29] Осада! приступ! Злые волны,
Как воры лезут в окна... (было: как звери).

[30] Живет в Коломне, где-то служит (было: в чулане. Щеголев ошибочно принял почерк поправки за почерк Жуковского).
Картуз изношенный снимал (было: колпак)
Или чиновник посетит (было: мечтатель).
Гуляя в лодке, в воскресенье.

[31] Его за гривенник охотно
Чрез волны страшные везет.
(было: Чрез волны страшные охотно
Его за гривенник везет.)

[32] Вычеркнуто 15 стихов—мечты Евгения о семейной жизни с Парашей.

[33] Сочинения Пушкина, Л., 1924 (и в следующих четырех переизданиях этого однотомника).

[34] Мое перо к тому же дружно (Жуковский: уж как-то)
Ни о почиющей родне (Жуковский: покойнице)
Лотки под мокрой пеленой (Написанное Пушкиным с опиской лодкй не было понято Жуковским и он заменил его словом садки, фигурирующим во всех изданиях, кроме однотомника Томашевского и Халабаева.)
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне.
(Жуковский: сидит с простертою рукою
Гигант на бронзовом коне).

[35] «Современник», т. V, 1837 г., № 1.

[36] Единственным спорным местом является стих «Ужо тебе!.. и вдруг стремглав». Так этот стих читался до переработки текста Пушкиным. В насильственной работе по ослаблению этого абзаца поэт многое изменил. Заменил он и в этом стихе союз *и* союзом *но*. Связано ли это только с новой редакцией или поэт поставил *но* для контраста и в основном тексте—решить трудно.

[37] Названное сочинение. К сожалению в этой обстоятельной текстологической работе есть ошибки. Так Щеголев не признал руку Пушкина в нескольких местах и поэтому счел следующие авторские поправки исправлениями Жуковского: Главой склонилася Москва, Коломне вместо чулане. Неверно также утверждение, что стих И перст свой на него подняв сочинен Жуковским: он только попытался еще более смягчить насильно написанный Пушкиным стих «И перст с угрозою подъяв».

[38] Первым «ясным доказательством» этого для Щеголева (стр. 70) является то, что Пушкин, выпустив мечты Евгения о Параше, сохранил якобы потерявшие смысл слова: Так он мечтал. Это положение исследователя является недоразумением. Слово мечты, мечтать в поэтическом употреблении сто лет назад не было синонимом слов грезы, грезить, не разумело непременно чего-то приятного, желанного. Это слово было синонимом раздумья, мыслей, дум. Ср. например хотя бы «Пустые, черные мечты» («Евг. Он.», гл. VI,

стр. XIX), «...быть может (Какая страшная мечта!) Моим отцем я проклята» («Полтава», II песнь, ст. 101), «Оставь безумные мечты» (там же, стр. 28), «Простишь ли мне ревнивые мечты» (в одноименном стихотворении). Это доказательство Щеголева для поддержания утверждения, что Пушкин не довел до конца свои поправки, казалось,—самое сильное из трех. А между тем мы видим, что оно ошибочно. И все построение Щеголева рушится.

[39] См. запись в дневнике Пушкина.

[40] То-есть 25 февраля.

[41] Между прочим пора покончить с недоразумением, невольно посеянным Анненковым о том, что «История Пугачевского бунта» будто бы разрешена 31 декабря 1833 г. Вот как оно произошло. Анненков писал: «По прибытии в Петербург, Пушкин представил (декабрь 1833 г.) на рассмотрение начальства свою Историю Пугачевского бунта и получил дозволение на напечатание ее, вместе с двумя наградами: 31 декабря 1833 года всемилостивейше пожалован он в камер-юнкеры двора его императорского величества и на печатание книги дано ему заимообразно 20 тысяч руб. асс., с правом избрать для сего одну из казенных типографий» («Материалы для биографии Пушкина». СПБ., 1855, стр. 389). Ефремов (источник большинства путаниц в пушкиноведении) сдвинул два события в один день и написал уже вот как: «31 декабря разрешено было печатание «Истории» и Пушкин был пожалован в камер-юнкеры, а на издание книги, по высочайшему указу от 16 марта 1834 г., было выдано ему из государственного казначейства 20 т. р., на два года» («Сочинения Пушкина», 3-е изд. под ред. Ефремова, т. VI, 1878, стр. 480). С тех пор это повторяется без всякого критического отношения и Лернером в «Трудах и днях», и Морозовым, который уже говорит о 30 декабря, и Фирсовым в Академическом издании, и многими другими.

[42] Тетрадь, хранящаяся в Ленинской библиотеке в Москве, под № 2390.

[43] №№ 10, 16, 17, 18 (см. ниже).

[44] Лондонское издание, стр. 131.

[45] «Стихотворения А. С. Пушкина, не вошедшие в последнее собрание его сочинений». Берлин, 1861, стр. 178—179.

[46] Т. VI Собр. соч. Пушкина, стр. 480. После него в 1887 г. Морозовым—т. VI, изд. Литературного фонда, стр. 300—301. Вероятно Ефремов увидел это в рукописи Публ. Библ. (Ленингр.), которую он тут же описывает. Тетрадь № 2390 он навряд ли мог видеть, так как она принадлежала еще сыну Пушкина—Александру Александровичу.

[47] № 19 (см. ниже).

[48] Правда, ему трудно было их увидеть, так как он должен был успеть в течение одного дня (который он посвятил московским рукописям «Истории») изучить не только беловую рукопись с пометами Николая I, но и до сих пор даже не описанную рукопись в 272 листа материалов к «Истории Пугачевского бунта» (№ 2391).

[49] Т. XI Академического изд. сочинений Пушкина, 1914, стр. 42 примечаний.

[50] «Пушкин о Николае I» (в изд. «Дневник Пушкина», П., 1923, стр. XXI).

[51] От 6 декабря 1833 г.

[52] Письмо к гр. Канкрину от чиновника Министерства финансов Ф. П. Вронченко («Русский Архив» 1890, № 5, стр. 99).

[53] Письмо от 24 марта 1834 г.

[54] Вычеркнуто чернилами Пушкиным по карандашу Николая.

[55] Цифры соответствуют цифрам замечаний Николая.

[56] Несколько неожиданно в посмертном переиздании щеголевского текста в изд. ГИХЛ, т. V, 1933 введенные Щеголевым из рукописи слова заключены в прямые скобки, после чего стоят три точки; но, во-первых, прямые скобки в этом издании указывают слова, вычеркнутые Пушкиным; во-вторых, три точки несут условно другую функцию, чем полстроки точек у Пушкина; и наконец здесь таким образом соединены две редакции, одна исключающая другую.

[57] В гихловском переиздании текста, редактированного П. Е. Щеголевым, слова, введенные им из рукописи, поставлены в прямые скобки.

[58] То же, что и 57.

[59] Т. VI третьего изд. соч. Пушкина 1878 г., стр. 480.

[60] «Старина и новизна», кн. VIII. М., 1904, стр. 40.

[61] Письмо Пушкина к Погодину от 5 марта 1833 г.

[62] См. книгу Н. И. Сазонова «La verité sur l'empereur Nicolas. Histoire intime de son règne. Par un Russe». Paris 1854, p. 94. На русском языке опубликовано П. Е. Щеголевым в статье «Пушкин и Тардиф» («Звезда» 1930, № 7, стр. 239).

III. ИЗ НЕИЗДАННОЙ ПЕРЕПИСКИ ПУШКИНА

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА ПУШКИНА

ПИСЬМА: К М. А. ДОНДУКОВУ-КОРСАКОВУ, И. В. КИРЕЕВСКОМУ И А. Ф. СМИРДИНУ.

Публикации Ю. Оксмана, О. Поповой, Н. Лаврова

I. ПИСЬМО А. Ф. СМИРДИНУ

Милостивый Государь мой
Александр Филипович,

По желанию Вашему позволяю Вам напечатать вторично поэму мою Бахчисарайский Фонтан числом тысячу екземпляров.

25 октябрь
1827
С. Петербург.

Ваш покорный слуга
Александр Пушкин.

На обороте:
Александру Филиповичу
Смирдину.

Записка Пушкина к А. Ф. Смирдину от 25 октября 1827 г. печатается впервые. Она набросана рыжеватыми чернилами на двух листах почтовой бумаги (размер 160×215 м/м.) с водяным знаком: J. Whatman Turkey Mill. 1826. Записка была сложена втрое и запечатана черной облаткой. Текст самого письма занимает одну страницу первого листа, на обороте же второго только имя, отчество и фамилия адресата. Являясь единственным дошедшим до нас письменным обращением Пушкина к крупнейшему русскому издателю и книгопродавцу, записка эта интересна и как самое раннее свидетельство о начале их деловых взаимоотношений.

Договор о переиздании «Бахчисарайского Фонтана» далеко не случайно оказался первой сделкой Пушкина с А. Ф. Смирдиным. Как известно, исключительный коммерческий успех первого издания именно этой поэмы явился еще в 1824 г. показателем очень высокой конъюнктуры на литературном рынке.

«Появление Бахчисарайского Фонтана достойно внимания не одних любителей поэзии, но и наблюдателей успехов наших в умственной промышленности,—отмечал П. А. Вяземский в «Новостях Литературы» 1824 г.—Рукопись маленькой поэмы Пушкина была заплачена 3000 рублей. В ней нет 600 стихов: и так, стих (и еще какой же? Заметим для биржевых оценщиков—мелкий четырехстопный стих) обошелся в пять рублей с излишком. Стих Бейрона, Казимира Лавиня, строчка Вальтера Скотта приносят процент еще значительнейший: это правда! Но вспомним и то, что иноземные капиталисты взыскивают проценты со всех образованных потребителей на земном шаре, а наши капиталы обращаются в тесном и домашнем кругу. Как бы то ни было, за стихи Бахчисарайского Фонтана заплачено столько, сколько еще ни за какие Русские стихи заплачено не было. Пример, данный книгопродавцем Пономаревым, купившим манускрипт поэмы, заслуживает, чтобы имя его, доселе еще негромкое в списке наших книгопродавцев, сделалось известным—он обратил на себя признательное уважение друзей просвещения, оценив труд ума не на меру и не на вес. К удовольствию нашему можем также прибавить, что он не ошибся в расчетах и уже вознагражден прибылью за смелое покушение торговли. Дай бог, с легкой руки! Пусть опыт его послужит примером ободрительным и законом для прочих его товарищей. Собственная выгода их от того зависит, не говоря уже,

что для образованного книгопродавца должно быть приятно способствовать пользе писателей и действовать заодно с ними, а не про себя исключительно»[1].

Заметка Вяземского, произведя сильнейшее впечатление в литературных кругах, вызвала несколько дополнительных разъяснений в печати. Так некий И. П., установив, что книгопродавец Пономарев выступал только как комиссионер Ширяева, отмечал, что последнему каждый стих поэмы обошелся после оплаты комиссионных и типографских расходов «не 5, а почти 8 руб.» («Благонамеренный» 1824,

А. Ф. СМИРДИН

Карикатура Н. А. Степанова. Акварель

Третьяковская галлерея, Москва

ч. 26, стр. 175—178; перепеч. в «Дамском журнале» 1824 г., ч. VI, № 9, стр. 119—123), а анонимный автор заметки об этом же издании в «Литературных Листках» свидетельствовал, что «в приобретении поэмы участвовал, вместе с Ширяевым, еще и Смирдин» («Литературные Листки» 1825, № 3 стр. 281).

Как и первые две поэмы Пушкина («Руслан и Людмила» и «Кавказский пленник»), «Бахчисарайский фонтан» был распродан в несколько месяцев. Неудивительно поэтому, что уже 12 марта 1825 г. И. И. Пущин обратился к Пушкину от имени известного издателя С. И. Селивановского с предложением «сделать второе издание твоих трех поэм, за которое он готов дать тебе 12 тысяч. Подумай и

АВТОГРАФ ПИСЬМА ПУШКИНА К А. Ф. СМИРДИНУ

Собрание Ю. Г. Оксмана, Ленинград

НАДПИСЬ ПУШКИНА НА ОБОРОТЕ ПИСЬМА К А. Ф. СМИРДИНУ

Собрание Ю. Г. Оксмана, Ленинград

употреби меня, если надо, посредником между вами» («Переписка Пушкина», т. I, стр. 190).

Переговоры, налаженные И. И. Пущиным, были задержаны сперва слухами о контрафактной перепечатке русского текста «Бахчисарайского фонтана» при переводе его на немецкий язык (слух оказался неосновательным), затем плетневским проектом переиздания поэм Пушкина без посредничества издателей-профессионалов и наконец сорваны разорением С. И. Селивановского, скомпрометированного своими связями с деятелями 14 декабря[2]. Медленность легализации положения самого Пушкина после восшествия на престол Николая I также не позволяла форсировать издательских его начинаний, первым из которых явилась его сделка с А. Ф. Смирдиным осенью 1827 г. Как свидетельствует П. В. Анненков на основании материалов, остающихся до сих пор неизвестными, А. Ф. Смирдин «перекупил издание Бахчисарайского Фонтана за 3 тысячи руб. ассиг. и заплатил 7 тысяч за право перепечатания двух других поэм»[3]. Печатаемое нами письмо позволяет установить точную дату соглашения и тираж издания—1000 экземпляров.

Книга («Бахчисарайский Фонтан. Сочинение Александра Пушкина. С 4-мя гравированными картинами. Санктпетербург, в типографии департамента народного просвещения. 1827. In 16°. Стр. 2 нен+XX+52») вышла в свет около 20 декабря 1827 г. и продавалась по 5 р. экз. (Н. Синявский и М. Цявловский. «Пушкин в печати», М., 1914, стр. 47).

«Издание сие,—отмечал хроникер «Северной Пчелы»,—заменяет недостаток, давно уже чувствуемый любителями изящной поэзии» («Северная Пчела» 1827, № 152, стр. 1).

Новейшая критическая сводка материалов об А. Ф. Смирдине (1795—1857) дана в книге Т. Грица, В. Тренина и М. Никитина «Словесность и Коммерция (Книжная лавка А. Ф. Смирдина)», М., 1929, стр. 224—298 и 339—356. Об отношениях Пушкина и Смирдина см. случайные и не всегда точные данные в примечаниях Н. О. Лернера к «Пушкину» под ред. С. А. Венгерова, т. VI, 1915, стр. 406—407 и 498 и в комментариях В. Ф. Саводника к «Дневнику А. С. Пушкина», М., 1923, стр. 512—514. Материалы М. Е. Лобанова о «Литературном обеде у Смирдина с участием Пушкина» опубликовал К. А. Шимкевич («Пушкин и его современники», вып. XXXI—XXXII, М.-Л., 1927, стр. 111—118). Из материалов богатейшего литературного архива А. Ф. Смирдина (погибшего или распылившегося при банкротстве фирмы в 50-х годах), кроме печатаемого нами письма, известны еще только два документа, опубликованные Б. Л. Модзалевским: 1. Расписка Н. Н. Пушкиной о получении ею 11/IV 1836 г. 2000 р. асс. за 100 экз. первой книги «Современника» и 2. Письменное распоряжение Пушкина от 29/XII 1836 г. о выдаче (вероятно кому-нибудь из служащих А. Ф. Смирдина) 25 экз. четвертой книги «Современника» («Читатель и Писатель» 1928, № 4—5, стр. 2).

Ю. Оксман

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «О Бахчисарайском Фонтане не в литературном отношении». Сообщено из Москвы. («Новости Литературы» 1824 г., ч. VIII, стр. 10—12). Несмотря на то, что принадлежность этой анонимной заметки кн. П. А. Вяземскому не вызывает никаких сомнений (см. «Остафьевский Архив», т. III, стр. 392—393), она приписывается иногда И. И. Дмитриеву («Рус. Арх.» 1902, т. II, стр. 306).

[2] О проектах переиздания поэм см. «Переписку Пушкина», т. I, стр. 203, 238, 244, 273—275, 342. Перевод «Бахчисарайского фонтана» на немецкий язык вышел без параллельного русского текста, которым спекулировал при переводе «Кавказского пленника» Е. Ольдекоп. Ср. «Der Trauerquell. Verfasst von A. Puschkin, übersetzt von A. Wulfert». S.-Petersburg, 1826. Типограф С. И. Селивановский, издатель «Дум» и «Войнаровского», выпущенных в свет перед самым обращением его к Пушкину весною 1825 г., охарактеризован был декабристом В. И. Штейнгелем в Следственной Комиссии как человек, содействовавший «достижению цели» тайной организации «и без привлечения его в общество, изданием книг, распространяющих свободные понятия» («Общественное движение в России в первой половине XIX ст.», т. I, СПБ., 1905, стр. 306). Убытки С. Селивановского от конфискации и уничтожения в 1826 г. трех томов начатого им «Энциклопедического словаря» превышали 30 000 руб.

[3] П. В. Анненков, Материалы для биографии А. С. Пушкина. СПБ., 1855, стр. 192.

II. ПИСЬМА И. В. КИРЕЕВСКОМУ

I

Милостивый Государь
Иван Васильевич,

Простите меня великодушно за то, что до сих пор не поблагодарил я Вас за Европейца и не прислал вам смиренной дани моей. Виною тому проклятая рассеянность Петербургской жизни и Альманахи, которые совсем истощили мою казну, так что не осталось у меня и двустишия на черный день, кроме повести, которую сберег и из коей отрывок препровождаю в Ваш журнал. Дай бог многие лета Вашему журналу! Если гадать по двум первым №, то Европеец будет долголетен. До сих пор наши журналы были сухи и ничтожны или дельны да сухи; кажется Европеец первый соединит дельность с заманчивостию. Теперь несколько слов об журнальной экономии: В первых двух книжках вы напечатали две капитальные пиэсы Жуковского, и бездну стихов Языкова; это неуместная расточительность. Между Спящей Царевной и мышью Степанидой должно было быть по крайней мере 3 Нумера. Языкова довольно было бы двух пиэс. Берегите его на черный день. Нето как раз промотаетесь и принуждены будете жить Раичем да Павловым. Ваша статья о Годунове и о наложнице порадовала все сердца; насилу-то дождались мы истинной критики. Но избегайте ученых терминов; и старайтесь их переводить то есть, перефразировать: это будет и приятно неучам и полезно нашему младенчествующему языку. Статья Баратынского хороша, но слишком тонка и растянута (я говорю о его антикритики). Ваше сравнение Баратынского с Миерисом удивительно ярко и точно. Его элегии и поэмы точно ряд прелестных миниатюров; но эта прелесть отделки, отчетливость в мелочах, тонкость и верность оттенков, все это может ли быть порукой за будущие успехи его в комедии, требующей, как и сценическая живопись, кисти резкой и широкой? Надеюсь, что Европеец разбудит его бездействие; Сердечно кланяюсь Вам и Языкову.

4 янв. 32.

II

Милостивый Государь
Иван Василиевич,

Я прекратил переписку мою с Вами, опасаясь навлечь на вас лишнее неудовольствие или напрасное подозрение, не смотря на мое убеждение, что уголь сажею не может замараться. Сегодня пишу Вам по оказии, и буду говорить Вам откровенно. Запрещение Вашего журнала сделало здесь большое впечатление; все были на Вашей стороне, то есть на стороне совершенной безвинности; Донос, сколько я мог узнать, ударил не из Булгаринской навозной кучи, но из тучи. Жуковский заступился за Вас с своим горячим прямодушием; Вяземский писал к Бенкендорфу смелое, умное и убедительное письмо. Вы одни не действовали, и вы в этом случае кругом неправы. Как гражданин лишены Вы правительством, одного из прав всех его подданных; Вы должны были оправдываться из уважения к себе, и смею сказать, из уважения к Государю; ибо нападения его не суть нападения Полевого или Надеждина. Не знаю: поздно-ли; но на Вашем месте я бы и теперь

не отступился от сего оправдания: начните письмо Ваше тем, что долго ожидав запроса от Правительства, Вы молчали до сих пор, но etc. Ей богу это было бы не лишнее.

Между тем обращаюсь к Вам, к Брату Вашему, и к Языкову с сердечной просьбою. Мне разрешили на днях Политическую и Литературную газету. Не оставьте меня, братие! Если вы возьмете на себя труд, прочитав какую-нибудь книгу, набросать об ней несколько слов в мою суму, то Господь Вас не оставит. Ник. Мих. ленив, но так как у меня будет как можно менее стихов, то моя просьба не затруднит и его. Напишите мне несколько слов (не опасаясь тем повредить моей политической репутации) касательно предполагаемой Газеты. Прошу у Вас советов и помощи.

11 июля [1832 г., Петербург].

Шутки в сторону: Вы напрасно полагаете что Вы можете повредить кому бы то нибыло Вашими письмами — переписка с Вами была бы мне столь же приятна, как дружество Ваше для меня лестно. С нетерпением жду Вашего ответа — может быть на днях буду в Москве.

Публикуемые письма связаны с журналом И. В. Киреевского «Европеец», к изданию которого он приступил с начала 1832 г. По своим идеологическим установкам журнал был задуман как орган кружка московских любомудров, т. е. как своего рода продолжение «Московского Вестника», прекратившегося в 1830 г., но еще раньше утратившего свое первоначальное направление и превратившегося по сути дела в частное предприятие Погодина. В области собственно литературной «Европеец» ориентировался на петербургскую аристократическую группу и примыкавших к ней писателей. Так как эта группа после закрытия «Литературной Газеты» осталась также без собственного постоянного издания, то она охотно пошла навстречу Киреевскому: в «Европейце» приняли близкое участие Жуковский (в первом номере «Сказка о спящей царевне», во втором—отрывок из «Войны мышей и лягушек»), Языков (в первом номере—«Екатерине Александровне Свербеевой», «Ау», во втором «Воспоминания об А. А. Воейковой», «Конь» и «Элегия»). Активно помогал Киреевскому в журнальной работе также Баратынский.

Участию Пушкина в журнале Киреевский придавал очень большое значение и, лично зная поэта еще с 1826 г., в октябре 1831 г. обратился к нему с специальным письмом с просьбой о сотрудничестве (см. «Переписка» Пушкина под ред. Саитова, т. II, стр. 342). На эту просьбу Пушкин, лишенный тогда постоянной журнальной трибуны и занятый формированием нового антибулгаринского блока, отозвался положительно и в письме Языкову от 18 ноября писал: «Поздравляю всю братию с рождением Европейца. Готов с моей стороны служить Вам чем угодно прозой и стихами, по совести и против совести» (назв. изд., т. II, стр. 343).

Это обещание однако выполнялось им довольно слабо. Благожелательно отозвавшись о журнале, в частности—о критических статьях самого Киреевского, Пушкин в то же время прислал ему только одну стихотворную пьесу (можно предполагать, что это был отрывок из «Домика в Коломне») и не дал ни одной критической статьи, на которые рассчитывал Киреевский и о которых просил в упомянутом выше письме.

Но и присланному стихотворному отрывку не суждено было появиться на страницах журнала: 22 февраля 1832 г. после выхода двух первых номеров, он был запрещен. Третий номер был в это время уже отпечатан и дошел до нас, но представляет собой библиографическую редкость.

Сам Киреевский в письме к Пушкину от марта 1832 г. высказывал предположение, что причиной закрытия журнала послужил донос Булгарина. Факт доноса Булгарина точно не установлен, но весьма вероятно, что именно он обратил внимание правительства на две статьи Киреевского: «XIX век» и «Разбор постановки «Горе от ума» на Московской сцене».

О первой статье Бенкендорф писал министру народного просвещения кн. Ливену от 7/II 1832 г. «Государь император, прочитав в № 1 издаваемого в Москве Иваном Киреевским журнала под названием «Европеец» статью Девятнадцатый век,

изволил обратить на оную особое свое внимание. Его величество изволил найти, что все статьи сии есть не что иное, как рассуждение о высшей политике, хотя в начале оной сочинитель и утверждает, что он говорит не о политике, а о литературе. Но стоит обратить только некоторое внимание, чтобы видеть, что сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, разумеет совсем иное; что под словом просвещение он понимает свободу, что деятельность разума означает у него революцию, а искусно отысканная середина, не что иное как конституция. Посему его величество изволит находить, что статья

И. В. КИРЕЕВСКИЙ И В. А. ЕЛАГИН
Рисунок карандашом из альбома Э. Д. Дмитриева-Мамонова
Третьяковская галлерея, Москва

сия не долженствовала быть дозволена в журнале литературном, в каковом воспрещено помещать что-либо о политике, а как, сверх того, оная статья, не взирая на ее наивность, писана в духе самом неблагонамеренном, то и не следовало цензуре оной пропускать» (См. М. Лемке. «Николаевские жандармы и литература 1826—1855 г.», П., 1908 г., стр. 73).

Статья Киреевского о постановке «Горе от ума» на Московской сцене, по словам того же Бенкендорфа, была «самой неприличной и непристойной выходкой насчет находящихся в России иностранцев». Интересно отметить, как та же самая статья Киреевского была истолкована другом Погодина—Любимовым, писавшим Погодину 30 января 1832 г. из Петербурга: «у вас теперь новый журнал «Европеец». В нем быть может много хорошего, но как жалко, что он дышет чем-то европейским,

а не русским. Читали ли вы в нем разбор Горе от ума? Срам да и все тут. Не стыдятся явно проповедывать чтобы мы благоговели перед иностранцами и забывали все русское» (Барсуков. «Жизнь и труды М. П. Погодина». кн. 4, стр. 7). Сопоставляя эти два, столь различные отзыва, можно судить о том, как произвольны были правительственные обвинения против Киреевского.

Запрещение журнала произвело сильное впечатление на современную литературную общественность, даже на довольно правых ее представителей.

Пушкин по поводу запрещения писал И. И. Дмитриеву 14/II 1832 г.: «Вероятно, Вы изволите уже знать, что журнал Европеец запрещен вследствии доноса. Киреевский, добрый и скромный Киреевский, представлен правительству сорванцем и якобинцем. Все здесь надеются, что он оправдается, и что клеветники или по крайней мере клевета устыдится и будет изобличена» («Переписка» Пушкина под ред. Саитова, т. II, стр. 372).—А. В. Никитенко говорил тогда же: «Европейца запретили... тьфу. Да что же мы, наконец, будем делать на Руси? Пить и буянить? И тяжко и стыдно, и грустно» (Барсуков. «Жизнь и труды М. П. Погодина», т. 4, стр. 9).

Жуковский писал в защиту Киреевского к Николаю I и Бенкендорфу. «Клевета искусна,—писал поэт Николаю,—и издалека наготовит она столько обвинений против беспечного, честного человека, что он вдруг явится в самом черном виде, и, со всех сторон запутанный, не найдет слов для оправдания. Не имея возможности указать на поступки, обвиняют т а й н ы е н а м е р е н и я: Такое обвинение, легко, а оправдания против него быть не может»... «Пример перед глазами. Киреевский, молодой человек, чистый совершенно, с надеждою приобрести хорошее имя, берется за перо и хочет быть автором в благородном значении этого слова. И в первых строках его находят з л о е н а м е р е н и е. Кто прочтет эти строки без предубеждения против автора, тот, конечно, не найдет в них сего тайного злого намерения. Но уже этот автор представлен вам, как человек безнравственный, и он, неизвестный лично вам, не имеет средства сказать никому ни одного слова в свое оправдание, уже осужден перед верховным судилищем, перед вашим мнением... На что же послужили ему 25 лет непорочной жизни? И на что может вообще служить непорочная жизнь, если она в минуту может быть опрокинута клеветою?» («Русский Арх.» 1896 г., № 1, стр. 114—119). О письме своем к государю Жуковский писал Киреевскому: «Я уже писал к государю и о твоем журнале, и о тебе. Сказал мнение свое на чистоту. Ответа не имею и вероятно не буду иметь, но что надобно было сказать, то сказано» (см. В. Лясковский. «Братья Киреевские, жизнь и труды их», 1899 г., стр. 39).

По словам матери Киреевского, А. П. Елагиной, Жуковский не ограничился письмом, а позволил себе даже лично поручиться за Ив. Вас. перед Николаем I. «А за тебя кто поручится?»—был ответ государя. Жуковский после этого сказался больным и две недели не являлся на занятия с наследником, воспитателем которого он был (см. М. Лемке. «Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг.» П., 1908 г., стр. 74).

Бенкендорфу Жуковский писал в более резких выражениях: «...честный человек с талантом должен бросить перо и отказаться от мысли,—писал он шефу жандармов.—Если он осмелиться выйти на сцену, на него посыплятся ругательства и вооружится тайная клевета. Авторская жизнь его будет отравлена низкою бранью пред читающею публикою, а жизнь гражданская замарана перед правительством доносами, вследствии которых он будет ошельмован, как злонамеренный человек перед целым светом, и голос в защиту погибающей чести своей не будет услышан: Суд совершится над ним прежде, нежели он успеет сказать одно слово в свое оправдание».

Письмо Вяземского к Бенкендорфу нам неизвестно. Об отношении же Вяземского к запрещению «Европейца» свидетельствует письмо его к И. И. Дмитриеву. «Известно,—писал ему Вяземский,—что в числе коренных государственных узаконений наших есть и то, хотя не объявленное правительствующим сенатом, что никто не может в России издавать политическую газету, кроме Греча и Булгарина. Они одни—люди надежные и достойные доверенности правительства; все прочие, кроме единого Полевого, злоумышленники. Вы верно пожалели о прекращении Европейца, последовавшем вероятно, также в силу вышеупомянутого узаконения. Все усилия благонамеренных и здравомыслящих людей, желавших доказать, что в книжке Европейца нет ничего революционного, остались безуспешными. В напечатанном, конечно, нет ничего возмутительного, говорили в ответ, но тут надобно читать то, что не напечатано, и вы тогда ясно увидите злые умыслы и революцию, как на ладони. Против такой логики спорить нечего» (Н. Барсуков. «Жизнь и труды М. П. Погодина», кн. 4, стр. 10).

После заступничества Жуковского Бенкендорф предложил Киреевскому дать объяснения для своего оправдания. Киреевский не замедлил представить шефу жандармов записку (написана записка была П. Я. Чаадаевым, но мысли в ней изложенные принадлежали самому Киреевскому.—См. М. Лемке, «Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг.», 1908 г., стр. 76—77), в которой открыто, с прямотой, изложил свою точку зрения на культурное развитие Европы и России, указав при этом, что «не с политической, но с мыслящей Европой» хотел он установить тесную связь и не скрыл также своего убеждения, что необходимым условием развития России, особенно нравственного, является освобождение крестьян. Этого было достаточно, чтобы за Киреевским окончательно установилась репутация человека опасного и он был отдан под полицейский надзор («Р. Арх.» 1896 г., № 8, стр. 576—582; М. Лемке, «Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг.», 1908 г., стр. 77—78).

В 1926 году Б. Л. Модзалевский в предисловии к письмам Пушкина (М.-Л., 1926 г., т. I, стр. XXXIX), говоря об утрате целого ряда писем, указал среди них и оба публикуемых выше письма, обнаруженных в 1929 г. при разборе семейного архива Киреевских, хранящегося в Государственном Историческом Музее (инв. № 67221, Арх. № 27). Причину того, что они не были так долго обнаружены, следует искать, может быть в том, что оба письма Пушкина из предосторожности (при широко практиковавшейся тогда перлюстрации писем) не имеют подписи, в силу чего принадлежность их поэту могла быть установлена лишь специалистом-архивистом.

Напечатанные в том же 1929 г. в журнале «Огонек» (№ 21 (321) от 3/V) письма Пушкина, представляющие по своему содержанию исключительно ценный вклад в его эпистолярное наследство, прошли тем не менее для многих исследователей литературы незамеченными. До появления указанных писем в полном собрании писем Пушкина мы считаем целесообразным ввести письма Пушкина к Киреевскому в широкий литературный обиход, поместив их в издании, специально посвященном Пушкину.

Публикуем их здесь, сохраняя специфические особенности орфографии и пунктуации подлинника.

О. Попова

III. ПИСЬМО М. А. ДОНДУКОВУ-КОРСАКОВУ

Милостивый Государь,
Князь Михаил Александрович,

Пользуясь позволением данным мне Вашим Сиятельством, осмеливаюсь прибегнуть к Вам с покорнейшею просьбою.

Ценсурный комитет не мог пропустить письма из Парижа как статью, содержащую политические известия: для разрешения оной, позволите ли, Милостивый Государь, обратиться мне к Гр. Бенкендорфу или прикажите предоставить сие комитету?

С глубочайшим почтением и совершенной преданностию честь имею быть

Милостивый Государь
Вашего Сиятельства
покорнейшим слугою
Александр Пушкин.

18 марта
1836
С. П. Б.

Публикуемое письмо Пушкина председателю С.-Петербургского цензурного комитета кн. М. А. Дондукову-Корсакову связано с изданием Пушкиным первой книги «Современника».

В этом письме речь идет о разрешении печатать статью «Париж (хроника Русского)», написанную А. И. Тургеневым. Цензор Крылов, которому было поручено цензурование «Современника», совершенно справедливо, с точки зрения крепостническо-самодержавного режима, усмотрел в этой статье некоторые «вредности». Широкой публике николаевской России не следовало знать о политической

жизни либеральной французской монархии, с ее «сменами министерств», «заговором против короля» и т. п. Цензор побоялся взять на себя ответственность за пропуск «хроники Русского» и отказал Пушкину. Этим отказом и было вызвано публикуемое письмо Пушкина к начальству Крылова—Дондукову-Корсакову.

Письмо Пушкина, сохранившееся в делопроизводстве С.-Петербургского цензурного комитета, до сих пор не было известно, но существование его можно было предполагать, судя по ответному письму Дондукова, напечатанному по подлиннику в академическом издании переписки Пушкина (т. III, стр. 288).

Дондуков после письма Пушкина 25 марта 1836 г. обратился со специальным отношением к начальнику цензурного ведомства, министру народного просвещения графу Уварову. Приводим текст этого отношения:

«Г. Цензор Крылов представил на разрешение С.-Петербургского Цензурного Комитета статью, назначаемую для повременного издания— Современник, под заглавием: Париж (хроника Русского), соч. Т. Находя в оной наряду с сведениями литературного содержания и такие известия, которые помещаются исключительно в повременных изданиях политических, как то: о Фиески с другими подсудимыми, переменах Министерства, спорах об уменьшении процентов и т. п., Г. Цензор почел себя не в праве допустить к напечатанию статью такого рода вполне, без разрешения начальства; почему, отметив карандашом сомнительные места, представил оные на благоусмотрение Комитета... Комитет основываясь на том, что в журнале Современник должны быть помещаемы статьи чисто литературные, признал себя не в праве дозволить Г. Цензору Крылову одобрить к напечатанию в оном предметы, могущие подать повод к политическим суждениям, и по желанию издателя предоставил мне испросить на сие разрешение Высшего Начальства.

Вследствие сего имею честь представить две означенные статьи на благоусмотрение Главного Управления Цензуры.

Председатель кн. Дондуков-Корсаков.
Секретарь Семенов».

Дальнейший ход дела выясняется из приводимой ниже выписки из Журнала заседаний С.-Петербургского цензурного комитета:

«В заседании Комитета 7-го Апреля 1836 г. слушали: Донесение Г. Цензора Крылова от 22 минув. марта о статье для повременного издания—Современник, под заглавием: Париж (хроника Русского), соч. Т. Находя в оной наряду с сведениями литературного содержания и такие известия, которые помещаются исключительно в повременных изданиях политических, как то: о Фиески с другими подсудимыми, переменах Министерства, спорах об уменьшении процентов и т. п., Г. Цензор почел себя не в праве допустить к напечатанию статью такого рода вполне, без разрешения Начальства; почему, отметив карандашом сомнительные места, представил оные на благоусмотрение Комитета... При сем Его Сиятельство Г. Председатель объявил Комитету, что он представлял уже об упомянутых статьях, с мнением об них Г. Цензора Крылова, на благоусмотрение Г. Министра Народного Просвещения и Его Превосходительство словесно разрешил одобрить их к напечатанию за исключением отмеченных карандашом мест. Определено принять к сведению.

Подписали присутствовавшие члены. Скрепил Секретарь—Семенов».

Отмеченные Уваровым места видимо касались главным образом подробностей судебного процесса по делу Фиески, организовавшего в 1835 г. покушение на ко-

Милостивый Государь,

Князь Михаилъ Александровичъ,

Имѣвъ удовольствiе заѣхать къ Вашему Сiятельству, осмѣливаюсь прибѣгнуть къ Вамъ съ покорнѣйшею просьбою.

Цензурный комитетъ не могъ пропустить пiесы изъ Парижа какъ статью, содержащую политическiя извѣстiя: для разрѣшенiя оной, позволите-ли мнѣ Милостивый Государь обратиться къ Гр. Бенкендорфу или представить ее Министру?

Съ глубочайшимъ почтенiемъ и совершенной преданностiю имѣю честь быть

Милостивый Государь

Вашего Сiятельства

покорнѣйшимъ слугою

Александръ Пушкинъ.

18 марта 1836 (С. П. Б.)

АВТОГРАФ ПИСЬМА ПУШКИНА К М. А. ДОНДУКОВУ-КОРСАКОВУ

Ленинградское областное архивное бюро

роля Людовика XVIII. «Париж» в том виде, как напечатана эта статья в первой книге «Современника», представляет красочную картинку парижской жизни 30-х годов, не лишенную и некоторого политического тона. Письмо Пушкина и переписка цензурного ведомства находятся в фонде СПБ. Университета (дело 1836 г., № 30), хранящемся в Ленинградском областном архиве. Некоторые отражения описываемый факт нашел в деле Главного управления цензуры (Лен. Отд. Центр.-Исторического Архива, фонд Гл. Упр. Ценз., д. 1836 г., № 147879/1045) и в журнале С.-Петербургского цензурного комитета (там же, фонд СПБ. Ценз. Ком., д. 1836 г., № 207859, лл. 119 об. и 20), использованных С. А. Переселенковым в статье «Материалы для истории отношений цензуры к А. С. Пушкину» («Пушкин и его современники», вып. VI, стр. 4—6); см. также Сочинения Пушкина, изд. Венгерова, т. VI, стр. 153 и 593.

Н. Лавров

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА К ПУШКИНУ

I. ПИСЬМА: Д. Н. АРСЕНЬЕВА, Л. ГЕРАСИМОВСКОГО, В. С. ГОЛИЦЫНА, Н. И. ГОНЧАРОВОЙ, С. Н. ДИРИНА, Е. М. ЗАВАДОВСКОЙ, И. Т. КАЛАШНИКОВА, А. Х. КНЕРЦЕРА, М. Т. ЛЕБЕДЕВА, А. Н. ПЛЕЩЕЕВА, Н. Н. ПУШКИНОЙ, Н. Н. РАЕВСКОГО, К. РИЧЧИ, П. П. СВИНЬИНА, О. М. СОМОВА, Н. Г. УСТРЯЛОВА, Д. И. ХВОСТОВА, А. И. ХМЕЛЬНИЦКОГО, Н. И. ХМЕЛЬНИЦКОГО, П. И. ШАЛИКОВА

Материалы и предисловие П. Е. Щеголева

Дополнительный комментарий и вводные заметки Ю. Оксмана

После смерти Пушкина представитель III Отделения, начальник штаба корпуса жандармов генерал М. Л. Дубельт, и друг покойного, поэт В. А. Жуковский, выполняя царскую волю, занялись разбором бумаг Пушкина. Особое внимание было обращено на переписку. С 8 по 17 февраля 1837 г. были разобраны и прочтены собственные письма Пушкина и все сохранившиеся в его бумагах письма к нему. После чтения письма были вручены Жуковскому. Часть писем он возвратил писавшим, прежде всего конечно жене, родным и ближайшим друзьям, находившимся в это время неподалеку (см. Дела III Отделения собств. е. и. в. канцелярии об А. С. Пушкине. СПБ. Изд. И. Балашова. 1906, стр. 189—191, 198). Остальные переданы были в опеку и сохранялись вместе с рукописями Пушкина, а после ликвидации опеки перешли в собственность семьи Пушкина.

Значение писем поэта было признано сразу, и сразу же, почти сейчас же после его смерти, началась публикация его писем, которая продолжается и по сей день. С давних пор обозначился и интерес к письмам, которые получал Пушкин. Сначала изучаются письма самых значительных его корреспондентов, виднейших его современников: их личностью диктуется интерес к их письмам. Но затем, отчасти по связи с письмами Пушкина в целях разъяснения смысла переписки, отчасти для характеристики бытовой обстановки поэта, выясняется необходимость издания писем не только крупных современников, но и мелких его корреспондентов. Наиболее значительные по размерам собрания писем к Пушкину были опубликованы в 1881—1903 гг. П. И. Бартеневым, В. Я. Брюсовым и И. А. Шляпкиным. Наконец Академия Наук признает необходимым наряду с полным собранием сочинений Пушкина приступить к изданию всей его переписки. Под редакцией В. И. Саитова и при ближайшем участии Б. Л. Модзалевского в течение 1906—1911 гг. был издан огромный (трехтомный) свод всей переписки, какая только была до тех пор напечатана или оказалась в рукописях в распоряжении редакции. К сожалению академическое издание ограничилось только текстом и не дало никаких примечаний и даже указателя. За последние двадцать лет появилось немало новых, неизвестных академическому изданию писем как самого Пушкина, так и к нему (см. М. А. Цявловский. «Письма Пушкина и к Пушкину, не вошедшие в изданную Российской Академией Наук «Переписку Пушкина», М., 1925. Перечень писем Пушкина, опубликованных по выходе в свет этой брошюры, см. ниже в обзоре Л. Б. Модзалевского «Издание эпистолярных текстов»). Полное и комментированное издание писем Пушкина было предпринято в 1926 г. Б. Л. Модзалевским. Образцово выполненное издание за смертью редактора оборвалось в 1928 г. на втором томе (письма по 1830 г.). За окончанием его должно последовать полное, комментированное издание писем к Пушкину или переиздание всей переписки Это—неотложная задача пушкиноведения.

Несколько лет назад в моем распоряжении оказалось значительное собрание пушкинских рукописей и бумаг и среди них не малое количество писем к Пушкину. Оно значительно пополняет переписку поэта; можно даже сказать, что с их изданием завершается публикация писем к Пушкину, по крайней мере сохраненных им самим или перечисленных—по фамилиям корреспондентов—в журнале, веденном при разборе бумаг Пушкина. В этом списке читались фамилии корреспондентов Пушкина, письма коих были разобраны и прочитаны, но оставались нам неизвестными и считались несохранившимися. С введением в читательский и исследовательский обиход нашего собрания все корреспонденты становятся нам известными почти в полном составе*.

Хронологически наше собрание почти в полном своем составе падает на 30-е годы. Характерная черта переписки Пушкина за этот, самый зрелый, период его творчества та, что она мельчает весьма заметным образом и по темам, и по корреспондентам. О переписке Пушкина вообще нужно сказать, что она сильно и к своей невыгоде отличается от переписки крупных европейских писателей—скажем, Байрона, Гете. Речь идет конечно не о письмах самого Пушкина, высоко и достойно оцененных, а о переписке вообще, о письмах к нему. Если еще до 30-х годов в переписке встречаются в порядочном сравнительно количестве письма с значительным содержанием, «на высокие темы», ценные с общественной, художественной и литературной стороны, то после 30-х годов письма падают в этом своем значении: снижается тон, мельчают интересы, мелочи жизни начинают занимать место существенное.

Несомненно, что пушкинская переписка 30-х годов отражает время, несет печать созревшей и распустившейся пышным цветом эпохи императора Нико-

* Работа над подготовкой к печати публикуемых нами писем начата была П. Е. Щеголевым, который предполагал объединить все собранные им в последние годы его жизни литературно-бытовые материалы архива Пушкина в специальной книге «Будни Пушкина». Из готовых уже глав и подготовительных этюдов к этой книге разновременно появились в печати очерки «Мелочи жизни Пушкина» («Ленинград», 1924, № 11), «Материальный быт Пушкина» («Искусство» 1929, № 3—4, стр. 39—40), «Бюджет Пушкина в последние годы его жизни» («Прожектор» от 17 марта 1929 г., № 11), «Квартирная тяжба Пушкина» («Красн. Нива» 1929, № 24), «Пушкин и Тардиф» («Звезда» 1930, кн. VI, стр. 232—240), «Письмо Н. М. Коншина к Пушкину» («Пушкин и его современники», вып. 38—39, стр. 252—256), «Обожатели Пушкина» («Московский Пушкинист», вып. II, М., 1930, стр. 184—195).

Изучение и публикация неизвестных документов переписки поэта прерваны были смертью исследователя, в бумагах которого сохранился однако не только тщательно проработанный план задуманного им издания, но и несколько написанных им листов (предисловие и три специальных этюда) особого раздела книги, посвященного корреспондентам Пушкина. Не нарушая плана П. Е. Щеголева, мы к подготовленным им к печати частям переписки Пушкина («Родные», «Пушкин и графиня Е. М. Завадовская», «Пушкин и граф Риччи») присоединили с нашими пояснениями еще девятнадцать неизвестных писем великосветских и провинциальных знакомых, друзей, литераторов, почитателей и случайных «просителей» Пушкина.

Из перечисленных в журнале, веденном М. Л. Дубельтом при разборе бумаг Пушкина 15—17 февраля 1837 г., корреспондентов Пушкина, после опубликования новых писем к Пушкину в настоящем издании, мы можем отметить неизвестные нам письма к Пушкину только следующих лиц: Мериме, Энгельгардта, Савостьянова, Поленова и А. А. Орлова, при чем помету журнала об Энгельгардте нужно относить к письму, адресованному не Пушкину, но сохранившемуся в его бумагах; письмо Мериме очевидно адресовано было С. А. Соболевскому и опубликовано частично самим Пушкиным в 4-й части «Стихотворений Александра Пушкина», СПБ., 1835, стр. 108—112, а полностью ниже в публикации «Пушкин по документам архива Соболевского»; письмо Савостьянова—Константина Ивановича, оставившего очень любопытные воспоминания о Пушкине, опубликованные А. А. Достоевским в издании «Пушкин и его современники», в. XXXVI, стр. 144—151, находилось в собрании П. Е. Щеголева, но потом было утрачено; в этом письме К. И. Савостьянов сообщал Пушкину, что надеется осуществить свое обещание и собрать ему некоторые сведения о пребывании Пугачева в Симбирске, и передавал поклон своего отца Ивана Михайловича; письмо Поленова—вероятно описка или опечатка: следует читать Коленова (оно напечатано в «Московском Пушкинисте»). Письмо же А. А. Орлова, адресованное последним И. И. Дмитриеву, но переданное кем-то в 1831 г. Пушкину, опубликовано в книге И. А. Шляпкина «Из неизданных бумаг А. С. Пушкина», СПБ., 1903, стр. 154—155.

лая I: никогда, как в это время, не было так уверено в себе самодержавие и никогда не была так снижена и так стеснена общественность, вынужденная пробавляться мелочами жизни. Что ж,—и житейские мелочи имеют немалое значение в биографии писателя, ибо и им принадлежит формирующая роль. За 30-е годы найдется в переписке Пушкина всего десятка два писем с значительным содержанием, с полетом ввысь, остальные же необычайно обыденны, насыщены мелочами. Приходится удивляться самому количеству, в каком обыденная условность и пошлость лились со страниц этих писем на Пушкина. Каждое письмо дает тот или иной штрих к картине его жизни и характеристике быта, в котором жил и творил их невольный читатель.

Подбор писем нашего собрания конечно случаен, но и эта случайная группа тоже свидетельствует об известной закономерности быта. Мы распределяем письма по группам корреспондентов; разобранные таким образом письма дают хорошее освещение окружению Пушкина. Родные, светские знакомые, просители, обожатели или поклонники, товарищи-литераторы, официальные лица и чины, сотрудники литературные и технические, наконец дельцы, кредиторы, продавцы—вот корреспонденты Пушкина в нашем собрании. Каждое письмо в отдельности и все в совокупности дают краски для одной картины, дают материал для одной страницы биографии: со всех строк этих писем к Пушкину, изо всех уголков переписки на нас глядят будни Пушкина.

I. РОДНЫЕ

Невольно вспоминается строфа о родне из «Евгения Онегина»:

Позвольте: может быть, угодно
Теперь узнать вам от меня,
Что значат именно родные.
Родные люди вот какие:
Мы их обязаны ласкать,
Любить душевно, уважать,
И, по обычаю народа,
О рождестве их навещать,
Или по почте поздравлять,
Чтоб остальное время года
Не думали о нас они...
Итак, дай бог им долги дни!

Отношениям родственным у Пушкина по обеим линиям—своей и жениной—надо отвести яркую роль в буднях Пушкина. В изданной переписке Пушкина самым существенным пробелом является отсутствие писем жены к мужу—Натальи Николаевны Пушкиной к Александру Сергеевичу. Нам почти ясны их отношения, почти ясен образ Пушкина, но абсолютная ясность будет внесена в характеристику лишь после знакомства с ее письмами. Но их-то мы не знаем и даже не можем установить их местонахождения. В самое последнее время Н. О. Лернер вновь ставит вопрос о том, где письма Н. Н. Пушкиной к мужу[1], но отсылает ищущих ответа на неверный след—в Румянцевский музей, куда сыном Пушкина были переданы рукописи и бумаги знаменитого отца. В Румянцевском музее, что ныне Всесоюзная библиотека им. Ленина, этих писем нет и не было; нелюбопытно и бесцельно выяснение вопроса, как и почему создалось традиционное ложное представление о передаче писем жены Пушкина в Румянцевский музей. Факт остается фактом—писем здесь нет и не было. Искать их конечно надо в недрах семьи дочери Пушкина—Натальи Александровны графини Меренберг, за границей, вернее всего в Лондоне. И они конечно будут разысканы.

Нет других таких биографических материалов по истории жизни Пушкина в 30-е годы, об отсутствии которых стал бы жалеть биограф с бо́льшим огорчением. Писем Натальи Николаевны к мужу должно быть порядочное количество, но до сего времени нашлось только одно—даже не письмо, а приписка к чужому письму—в том собрании, которое находилось в моем распоряжении. Сохранилось письмо к Пушкину от 14 мая 1834 г. Натальи Ивановны Гончаровой, тещи поэта; а в этом письме оказалась приписка Натальи Николаевны. Из писем тещи до сих пор было опубликовано только одно от 4 ноября 1833 г.[2] Наше письмо—второе, появляющееся в печати. Пушкин не любил и не уважал матери своей жены, да и не за что было питать подобные чувства к этой опустившейся и развращенной

помещице. На склоне лет она была уже притчей у соседей: пила по лечебнику и утешалась ласками крепостных лакеев по очереди.

Наталья Ивановна Гончарова писала Пушкину:

Avant que de répondre à votre lettre, mon cher Alexandre Сергеевичь, je commencerai par vous remercier de bien bon l'heure de bonheur que vous m'avez procuré, en laissant venir votre femme chez moi avec les enfants; d'après les sentiments qu'elle me porte, son entrevue avec moi, après 3 ans d'absence ne lui a point été indifférente, néanmoins elle n'a point éprouvée d'incommodité; sa santé parait bonne, et j'espère bien pendant son séjour chez moi, ne lui donne lieu à aucun désagrement; le seul regret que j'éprouve dans ce moment est celui du court séjour qu'elle se dispose a faire chez moi, au rest comme s'est un arrangement convenu entre vous, je ne puis mettre aucun obstacle à cela. Je suis sensible à la confiance que vous me temoignez dans votre lettre, et repondant l'affection que je porte à Natalie comme sur celle que vous lui portez, ce n'est point en vain que vous me l'accordez, j'espère bien la justifier jusqu'au dernier jour de ma vie! Vos enfants sont charmants et commencent à se familiariser avec moi, quoique a leur arrivée Маша прикрикивала на бабушку.—Vous me dites qu'en automne vous comptez venir chez moi, il me sera extremement agréable de vous unir en famille.

Malgré que Natalie parait se plaire auprès de moi, pour moins le vide que votre absence lui cause est bien facile à voir en elle. Adieu vous désirant du fond de mon coeur un bonheur inaltérable, croyez-moi à jamais Votre amie.

И к этому письму сделала приписку и Наталья Николаевна Пушкина:

C'est avec peine que je me suis decidée à t'écrire, n'ayant rien à te dire, et l'ayant donné des mes nouvelles par une occasion qui a eu lieu l'un de ses jours. Maman elle-même étoit sur le point de remettre sa lettre à la poste prochain, cependant elle a craint que tu n'éprouve quelques inquiétudes en restant quelque tems sans avoir de nos nouvelles, c'est le qui l'a décidée à surmonter le sommeil et la fatigue qui l'accablent elle ainsi que moi, car nous avons été à l'air toute la journée. Tu verras d'après la lettre de Maman que nous nous portons tous très bien, ainsi je ne te dis rien à ce sujet, je termine ma lettre en t'embrassant bien tendrement, je compte t'écrire plus au long à la premiere occasion, ainsi adieu, porte toi bien, et ne nous oublie pas.

Lundi 14 Mai 1834. Ярополец.

Перевод:

Н. И. Гончарова: Прежде чем отвечать на ваше письмо, мой дорогой Александр Сергеевич, я начну с того, что поблагодарю вас за то счастье, которое вы мне доставили, разрешив вашей жене и детям приехать ко мне; по тем чувствам, которые она ко мне питает, ее свидание со мной после трехлетней разлуки было для нее не безразлично. Впрочем она не испытала никаких неудобств, ее здоровье кажется хорошим, и я очень надеюсь, что во время ее пребывания у меня я не дам ей повода ни к каким огорчениям; в настоящий момент я испытываю чувство сожаления исключительно потому, что она предполагает так недолго погостить у меня, но раз это решено между вами, я не буду противиться этому. Я чувствую то доверие, о котором вы свидетельствуете в вашем письме; в соответствии тем чувствам, которые я питаю к Наташе и кото-

РИСУНОК ПУШКИНА НА ОБОРОТЕ „СЧЕТА ИЗДАНИЮ СЕВЕРНЫХ ЦВЕТОВ НА 1832 ГОД“, ИЗОБРАЖАЮЩИЙ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ И НА ЗАДНЕМ ПЛАНЕ САМОГО ПОЭТА

Бумаги П. Е. Щеголева (ныне в ИРЛИ), Ленинград

рые вы имеете к ней, вы не напрасно оказываете мне доверие; я надеюсь оправдать их до конца моих дней. Ваши дети прелестны и начинают привыкать ко мне, хотя Маша по приезде прикрикивала на бабушку.

Вы мне сообщаете, что осенью вы рассчитываете быть у меня, мне будет очень приятно собрать вокруг себя всю семью. Несмотря на то, что Наташа повидимому довольна своим пребыванием у меня, тем не менее легко заметить в ней ту пустоту, которую причиняет ей ваше отсутствие. До свидания, желаю вам от глубины моего сердца нерушимого счастья. Верьте, что я навсегда ваш друг.

Н. Н. Пушкина: С трудом я решилась написать тебе: мне нечего тебе сказать, все свои новости я с оказией сообщила тебе на этих днях. Маман сама хотела отложить письмо до следующей почты, но побоялась, что ты будешь испытывать некоторое беспокойство, не получая в течение некоторого времени от нас известий. Это соображение заставило ее победить свой сон и усталость, которые одолели и ее и меня, так как мы весь день пробыли на воздухе. Из письма маман ты увидишь, что мы все чувствуем себя очень хорошо. Поэтому я ничего не пишу на этот счет и кончаю письмо, нежно тебя обнимая. Думаю написать тебе побольше при первой возможности. Прощай, будь здоров и не забывай нас.

Понедельник 14 мая 1834. Ярополец.

Первое письмо, которое делается нам известным из писем Н. Н. Пушкиной к мужу, возбуждает конечно живейшее любопытство, но оно остается неудовлетворенным в высшей степени[3]. Слова катятся по этим гладким, ровным французским строкам, как пасхальные яйца по искусственным горкам. Не за что ухватиться, не из чего извлечь ни одной индивидуальной черточки: до того бессодержательно, плоско сообщение Н. Н. Пушкиной. Но быть может бессодержательность и есть основная характерная особенность эпистолии жены Пушкина; быть может и недошедшие пока до нас письма имеют то же отличие. В таком случае, какой уверенный и навязчивый штрих в картине пушкинских будней!

К коллективному письму Н. И. Гончаровой и ее дочери необходимо прибавить несколько пояснений. 15 апреля 1834 г. Н. Н. Пушкина с детьми: дочерью Марией (род. 19 мая 1832 г.) и сыном Александром (род. 6 июля 1833 г.) выехала из Петербурга к своим родным в имения Ярополец и Полотняный завод в Калужской губернии. 16 апреля в своем дневнике Пушкин записал: «Вчера проводил Н. Н. до Ижоры». Б. Л. Модзалевский в комментарии к этому месту дневника пишет: «Уже 17-го апреля, т. е. через сутки по отъезде жены и детей в Москву, а затем в Ярополец и Полотняный завод, Пушкин писал ей нежное письмо: «Что, женка? каково ты едешь? что-то Сашка и Машка? Христос с вами!» и т. д. Это письмо открывает собою длинный ряд прелестнейших писем поэта к жене за апрель, май, июнь, июль и начало августа—время, которое он провел в Петербурге один, в торопливом печатании «Истории Пугачевского бунта»[4]. О том, как проводила время Н. Н. Пушкина в имениях своих родных в течение почти четырех месяцев, мы можем судить только из писем самого Пушкина. Среди известных писем Пушкина нет ответа на опубликованную нами приписку Н. Н. Пушкиной, так как письмо Пушкина от 29 мая написано уже в ответ на известное нам письмо Н. Н. Пушкиной, в котором она сообщала поэту о «зубке Машином» и добавляла: «о себе не пишу, потому что не интересно»[5].

О желании Пушкина посетить Ярополец и Полотняные заводы, о котором Пушкин писал Н. И. Гончаровой в неизвестном нам письме, было известно из письма Пушкина к жене от первой половины июля 1834 г.: «Ты хочешь непременно знать, скоро ли я у твоих ног? Изволь, моя красавица: я закладываю имение отца; это кончено будет через неделю. Я печатаю Пугачева; это займет целый месяц. Женка, женка, потерпи до половины Августа, а тут уж я к тебе и явлюсь и обниму тебя, и детей расцелую...»[6]

Пушкину выехать к жене удалось лишь 25 августа, пробыл он в Полотняном заводе до начала сентября, когда вместе с женой поехал в Москву[7].

За всю семейную жизнь с Пушкиным Наталья Николаевна только раз выезжала из Петербурга к матери. Это та поездка, из которой дошло опубликованное нами письмецо. Возвратилась Наталья Николаевна в Петербург не одна, а с своими сестрами, Екатериной и Александриной. Пушкин был принципиально против совместной с родственниками жизни, но он знал ужасающую семейную обстановку, в которой жили сестры Гончаровы. В московском доме царил сумасшедший, по временам буйный, отец Николай Афанасьевич; в имении в Яропольце безобразничала распущенная мамаша Наталья Ивановна. Ее чинное французское письмо мы только что привели. «Зачем ты берешь этих барышень?» спросил у Пушкина Соболевский. «Она целый день пьет и со всеми лакеями.......», отвечал Пушкин[8]. От созерцания таких бытовых картин увезла Наталья Николаевна своих сестер в Петербург осенью 1834 г. В бумагах Пушкина сохранилось письмо, адресованное Екатерине Николаевне Гончаровой и написанное бабушкой Надеждой Платоновной Гончаровой, урожд. Мусиной-Пушкиной. Письмо приоткрывает завесу над гончаровским бытом. Мать пишет о сумасшедшем сыне, с которым она осталась одна в московском доме. Приводим это безграмотнейшее, даже для бар того времени, письмо[9].

Катерина Николавна и Александра Николавна
не стыдно ли вам что вы кинули атца и мать больных и брат также ваш Дмитрей живет на фабрики и панятия не имеет аб атце и на маю голову кинули ево а я человек слабай где мне об ем печса мне и самой тяжело жить в нужде и большия часть я не здарова так вы побоитеся бога и неоставтя. вы знаете чем нездаров а мне тяжело выносить я не в силах ето терпеть с маим слабым здаровием я советаю меня с ним вместе не аставлять при желаниях всякова блага ваша пребуду навсегда

17 декабря 1834 года. Н. Г.

[1] «Стройка» иллюстрированный десятидневник, № 7 от 5 мая 1930 г., статья «По следам Пушкина».

[2] Впервые в книге И. А. Шляпкина «Из неизданных бумаг А. С. Пушкина». СПБ., 1903, стр. 184—185; затем в «Переписке», т. III, стр. 57. Здесь же письма Пушкина к Н. И. Гончаровой, т. II, № 384, стр. 425, 556; т. III, № 863 и начало недописанного письма с факсимиле в названной книге Шляпкина, стр. 3—85. Сводка данных о Н. И. Гончаровой у Б. Л. Модзалевского: «Пушкин. Письма», т. II, стр. 409, 490, а также в статье М. А. Цявловского «Пушкин и Н. И. Гончарова» в сборн. «Ярополец», М., 1930, стр. 5—16.

[3] Факсимиле приписки Н. Н. Пушкиной дано в моей книге «Дуэль и смерть Пушкина», 3-е изд., 1928, стр. 47, 51—52.

[4] «Дневник Пушкина», ред. Б. Л. Модзалевского, 1923, стр. 14 и 158—159.

[5] «Переписка», т. III, стр. 120.

[6] «Переписка», т. III, стр. 152 и в следующих письмах конца июля (№ 858 и 859) и от 3 августа (№ 861).

[7] О Яропольце и Полотняном заводе см. сборн. «Ярополец» (Труды Общества изучения Московской области), М., 1930, а также статью Вл. Гиляровского «Ярополец» в «Столице и Усадьбе» от 1 марта 1914 г., № 5, стр. 1—3 и Вас. Краснова «Усадьба Гончаровых» (там же, стр. 3—6); А. Средина «Полотняный Завод»—«Старые годы» 1910, июль—сентябрь, стр. 80—114; Н. З. Керов «Экскурсия в подмосковные дворянские гнезда (о Яропольце)»—«Экскурсионный Вестник» 1914 г., № 3, стр. 58—62; С. Торопов «Ярополец»—«Среди коллекционеров» 1924 г., № 7—8, стр. 45—46. Труды Я. К. Грота, т. III, стр. 129—133. Ю. Шамурин «Подмосковные», М., 1912, стр. 75—80—«Русский Архив» 1900, кн. II, стр. 244—245; В. Л. Модзалевский «Малороссийский Родословник», т. I, стр. 453 и 455.

[8] «Рассказы о Пушкине», записанные П. И. Бартеневым, ред. М. А. Цявловского, М., 1925, стр. 62—64.

[9] Письмо было запечатано сургучной печатью со словом «Надежда». Адрес: Ея превосходительству милостивой государыне Катерине Ивановне Аряжской в Сан-Петербурге, прося покорнейше доставить Катерине Николаевне Гончаровой. Почтовые штемпеля: «Москва 1834 декабря 19»; и «получено 1834 дек. 22 полдень».

II. СВЕТСКИЕ ЗНАКОМЫЕ И ДРУЗЬЯ

1. ПУШКИН И ГР. Е. М. ЗАВАДОВСКАЯ

В главе восьмой «Евгения Онегина» изображен большой свет. Из путешествий, наконец надоевших, Онегин возвратился и попал, как Чацкий, с корабля на бал, в высший свет столицы. Здесь увидал Татьяну:

Она сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою[1],
Сей Клеопатрою Невы,—
И верно б согласились вы,
Что Нина мраморной красою
Затмить соседку не могла,
Хоть ослепительна была[2].

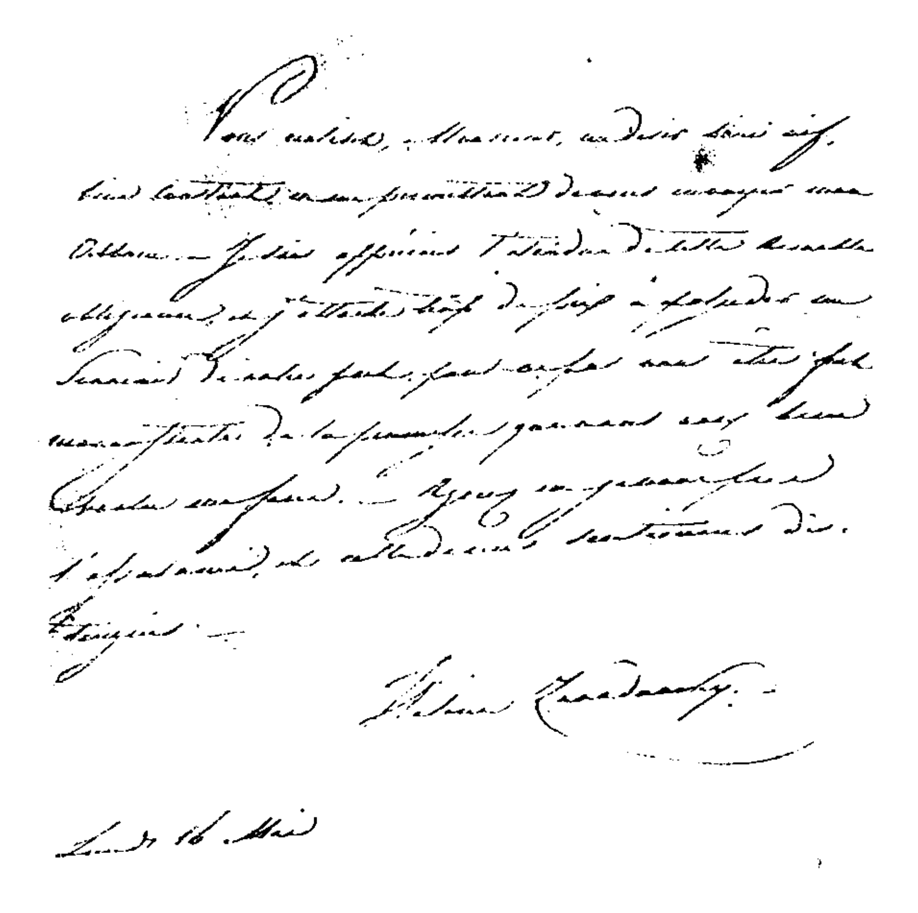
К этой блестящей мраморной красой, гордой, надменной Нине, ослепительной и блистательной, относится сохранившаяся в рукописи строфа:

Смотрите: в залу Нина входит,
Остановилась у дверей
И взгляд рассеянный обводит
Кругом внимательных гостей.
В волненьи перси, плечи блещут,
Вкруг стана вьются и трепещут
Прозрачной сетью кружева,
Горит в алмазах голова;
И шелк узорной паутиной
Сквозит на розовых ногах...

Живое лицо, введенное в роман Пушкина под именем Нины, было названо еще в рассказах Богуславского, напечатанных в 1898 г. Это—графиня Завадовская, «красавица Клеопатра Невы, как называл ее покойный Пушкин». Свидетельство Богуславского не привилось в пушкиниане. Совсем недавно М. А. Цявловский категорически заключал: «рассказчик несомненно спутал гр. Е. М. Завадовскую с гр. А. Ф. Закревской: «Клеопатрою Невы» назвал Пушкин последнюю»[3]. В подтверждение Цявловский сослался на заметку В. В. Вересаева о «Княгине Нине»[4]. Цитируя приведенную нами строфу «Онегина» о Нине Воронской, В. В. Вересаев делает опыт расшифровки: «Если искать за персонажами Пушкина живых прототипов,—занятие, по-моему, в общем достаточно бесплодное,—то конечно естественнее всего в этой Нине Воронской, Клеопатре Невы, видеть именно Закревскую». Если искать за персонажами Пушкина живых прототипов,—повторим мы вместе с В. В. Вересаевым,—нужно опираться на более серьезные фактические указания и данные. Правда, Вересаев выдвигает только предположение, а не категорическое утверждение, какого мы ждали бы после категорической квалификации Цявловского. Предположение, выведенное из двух наблюдений: первое—23 января 1829 г. кн. П. А. Вяземский писал Пушкину в Петербург: «Мое почтение княгине Нине. Да смотри, непременно, а не то ты из ревности и не передашь»; второе—в поэме Баратынского «Бал», вышедшей в свет в 1828 г., выведена графиня Закревская под именем княгини Нины. Но еще вопрос, разумел ли Вяземский под княгиней Ниной Закревскую; а если и разумел, то возникает новый вопрос «княгиню Нину» письма надо ли отождествлять с «Ниной Воронской» онегинской строфы. И наконец надо разобраться в той характеристике Закревской, которую дают и Вересаев, и другие комментаторы Пушкина. Аграфена Закревская, по словам Пушкина,— утешительно смешна и мила; ей он пишет стихи, а она его произвела в сводники; по довольно единогласным отзывам современников, это—распущенная женщина капризной чувственности и густого сладострастия; женщина, которую нельзя наградить эпитетами гордой, надменной, мраморной красавицы; Венера, но только медная. Но у нас есть авторитетное свидетельство о живом прототипе Нины Воронской. Князь П. А. Вяземский в неизданном еще письме к жене просит ее прислать образцы материи для Нины Воронской: «так названа Завадовская в Онегине». И сейчас же Вяземский цитирует строфу: «она сидела у стола с блестящей Ниной Воронскою» и т. д.[5] Графиню Елену Михайловну Пушкин встречал в свете; конечно был принят в ее доме. Кроме того—обратная сторона медали!—с фамилией Завадовских Пушкин поддерживал отношения еще и по линии брата мужа краса-

вицы, известного бреттера, игрока и проходимца высшей марки графа Александра Петровича Завадовского, которого Пушкин хотел во весь рост изобразить в ненаписанном им романе «Русский Пелам».

Итак Ниной Воронской названа графиня Елена Михайловна Завадовская, урожденная Влодек (род. 2 декабря 1807 г., умерла 22 марта 1874 г.), женщина исключительной, прямо легендарной красоты. По сравнению с ней узнают красавиц. А. П. Ермолов, впервые увидев жену Пушкина, Наталью Николаевну, писал 21 декабря 1831 г.: «Гончаровой-Пушкиной не может женщина быть прелест-



АВТОГРАФ ПИСЬМА ГР. Е. М. ЗАВАДОВСКОЙ К ПУШКИНУ

Бумаги П. Е. Щеголева (ныне в ИРЛИ), Ленинград

нее. Здесь многие находят ее несравненно лучше красавицы Завадовской». А в Париже, на балах в 1837 г., Завадовская, по отзыву А. Н. Карамзина, была первой красавицей. По словам современницы М. Ф. Каменской, Завадовская на балах «всегда убивала всех своею царственной, холодной красотой»[6]. Посвящали ей восторженные стихи и И. И. Козлов, и кн. П. А. Вяземский. В гладеньких стихах первого образ Завадовской лишен всякой индивидуальности; не то—у Вяземского. В противоположность красоте южанок

Сын севера признал другой закон...
. . . .
Красавиц севера он любит безмятежность,
Чело их, чуждое язвительных страстей,
И свежесть их лица, и плеч их белоснежность,
И пламень голубой их девственных очей.

Он любит этот взгляд, в котором нет обмана,
Улыбку свежих уст, в которой лести нет,
Величье стройное их царственного стана
И чистой прелести ненарушимый цвет.

Он любит их речей и ласк неторопливость,
И в шуме светских игр приметные едва,
Но сердцу внятные: чувствительности живость
И, чувством звучные, немногие слова.

Красавиц севера царица молодая!
Чистейшей красоты высокий идеал!

В 1834 г. в «Библиотеке для чтения» появилось стихотворение Пушкина:

КРАСАВИЦА

(В альбом Г***)

Все в ней гармония, все диво,
Все выше мира и страстей;
Она покоится стыдливо
В красе торжественной своей;
Она кругом себя взирает:
Ей нет соперниц, нет подруг;
Красавиц наших бледный круг
В ее сияньи исчезает.
Куда бы ты ни поспешал,
Хоть на любовное свиданье,
Какое-б в сердце ни питал
Ты сокровенное мечтанье;
Но встретясь с ней, смущенный, ты
Вдруг остановишься невольно,
Благоговея богомольно
Перед святыней красоты.

Это стихотворение доставило немало хлопот и забот пушкинистам. Кого воспел Пушкин? В чей альбом вписаны его рукой эти величественные строфы? Буква Г с четырьмя звездочками давала простор для догадок. Разновременно назывались как вдохновительницы жена поэта, в девицах Гончарова; жена Николая I, Александра Федоровна, государыня; затем графиня Фикельмон (стали гадать на графинь). Наконец в 1930 г. нашелся автограф этого стихотворения: он оказался вырванным из альбома графини Е. М. Завадовской[7].

Открытие за открытием... Свидетельство Вяземского о Нине Воронской, графине Завадовской тож; листок с автографом, уцелевший от альбома графини Завадовской («Все в ней гармония, все диво...»). И еще одно открытие: в нашем собрании нашлось письмо графини Завадовской. Ровненьким, меленьким почерком графиня писала:

Vous réalisez, Monsieur, un désir bien vif, bien constant, en me permettant de vous envoyer mon Album.—Je sais apprécier l'etendue de cette aimable obligeance, et j'attache trop de prix à posséder un souvenir de votre part, pour ne pas vous être fort reconnaissante de la promesse que vous avez bien voulu me faire.—Agreez en je vous prie l'assurance, et celle de mes sentimens distingues.

Hélène Zavadovsky.

Lundi 16 Mai [1832 г.][8]

На обороте: Monsieur Pouschkine.

Перевод:

Вы осуществляете, Милостивый Государь, живейшее и постояннейшее мое желание, разрешая мне послать к Вам мой альбом.—Я слишком ценю

возможность владеть памяткой от Вас, чтобы не быть Вам весьма благодарной за сделанное Вами обещание. Примите уверение, прошу Вас, в этом, как и в моих самых отличных чувствах.

Елена Завадовская.

Понедельник 16 мая

Итак в посланный графиней альбом и был вписан Пушкиным автограф стихотворения «Все в ней гармония, все диво». Почти чудом сохранился единственный листок из альбома с этими стихами Пушкина. Но можно ли вместе с М. А. Цявловским считать вопрос поконченным, можно ли считать, что одно из совершеннейших лирических стихотворений Пушкина внушено графиней Завадовской?

ГР. Е. М. ЗАВАДОВСКАЯ

Гравюра из альманаха „Утренняя Заря" (1841)

Письмецо Елены Завадовской говорит о буднях Пушкина. Поэт исправно нес альбомную повинность, уступая просьбам дам, но альбомы уездных барышен нравились ему больше светских альбомов. В альбом уездной барышни был рад писать и Пушкин

Уверен будучи душой,
Что всякий мой усердный вздор
Заслужит благосклонный взор
И что потом с улыбкой злою
Не станут важно разбирать
Остро иль нет я мог соврать.

Но совсем иным было его отношение к альбомам светских красавиц:

Великолепные альбомы,
Мученье модных рифмачей,
Вы, украшенные проворно
Толстого кистью чудотворной,
Иль Баратынского пером,—

Пускай сожжет вас божий гром!
Когда блистательная дама
Мне свой in-quarto подает,—
И дрожь и злость меня берет,
И шевелится эпиграмма
Во глубине моей души,—
А мадригалы им пиши!

Не мадригал ли и стихотворение, вписанное в великолепный альбом великолепной красавицы? Или: внушено ли оно красотой Елены Завадовской или, написанное раньше и по другому случаю, оно попало на страницы альбома как вынужденная дань будничным условностям?

2. ПУШКИН И ГРАФ РИЧЧИ

Издаваемые нами впервые два письма графа Риччи к Пушкину возвращают нас к приятному для поэта времени—к первым годам после возвращения из ссылки, к московскому великосветскому кружку княгини Зинаиды Волконской. Здесь, в этом кружке, и произошло знакомство Пушкина с графом Риччи. Граф Риччи—колоритнейшая фигура на фоне барской жизни в Москве, красавец-итальянец, одаренный певец-музыкант, женатый на дочери генерал-лейтенанта Петра Михайловича Лунина, Екатерине Петровне (род. в 1787 г., ум. 8 февраля 1886 г.), также певице и музыкантше. Об исключительных вокальных способностях и о выдающихся голосах супругов Риччи сохранилось немало воспоминаний и характеристик. Первое хронологическое упоминание о Риччи и отзыв об его пении находим в письме А. Я. Булгакова к брату из Москвы от 7 декабря 1820 г.: «Я провел прекрасный вечер вчера у Лунина. Ну брат, как Риччи поет, заслушаться надобно. Nous étions en petit comité, и он, видя все страстных охотников, не жалел ни своего, ни жениного голоса, пел раз 8; давно я так не ликовал в музыке; уж меня так тешило, что после ужина даже дали трубку, и я, покуривая, слушал славную музыку. Je le prendrai au mot, et certes j'irai le voir souvent. Lui, Ricci, a l'air très comme il faut, malgré la langue de vipère de Bogolouboff qui prétend qu'il aura été chanteur à quelque théâtre d'Italie»[9].

По отзыву графа М. Д. Бутурлина, встречавшего Риччи в 1824 г. в салоне З. А. Волконской, «графиня Риччи славилась когда-то певицею первого из аматёрок разряда; но в мое время она была уже далеко не молода и артистическая ее звезда померкла: голос, хотя еще обширный, высказывался визгливостию и был не всегда верной интонации. Граф Риччи, десятью если не более годами моложе жены, был флорентинец без всякого состояния. Певал он с большим вкусом и методом, но басовый голос его был не ясен (voix voilée) и не силен, отчего нельзя было ему пускаться на сцену и на публичные концерты. Был он превосходный комнатный певец и особенно хорошо певал французские своего сочинения романсы, тогда бывшие в ходу в Москве... Супруги Риччи жили довольно открыто в своем доме у верхней части Тверского бульвара, на углу Ситниковского переулка и Бронной. В середине 1827 г. они разъехались; граф возвратился в Италию, и о нем более я ничего не слыхал ни в России, ни в Италии, где я жил позднее» [10]. В действительности супруги разъехались несколько позднее [11], в конце 1828 г. 18 октября этого года Риччи вместе с Соболевским выехал из Москвы[12].

О «положении» Риччи любопытно свидетельство А. Я. Булгакова в письме к брату от 31 мая 1826 г.:

«Вчера гр. Риччи представлялась; на то, видно, была воля государыни, но почему имела она хвост в полтора аршина и плерезы в вершок, когда муж ее только что разве в 14 классе записан [кн. Н. Б.] Юсуповым к Кремлевской Экспедиции? Вот что очень занимает и беспокоит барынь наших» [13]. И в письме от 10/X 1826 г.: «Юсуповские представления не совсем удались. Он и в Архангельском опять просил об Риччи, но государь отвечал: «он служит менее года, рано дать ему 14 класс, но через год я это сделаю, ежели будете им довольны. А о камер-юнкерстве и речи не было»[14]. Повидимому граф Риччи был только причислен к «Экспедиции Кремлевского строения в Москве», главноначальствующим коей был кн. Н. Б. Юсупов, и поэтому, не имея даже чина 14-го класса, не значится в списках Экспедиции ни в 1826, ни в 1827 г.[15] Из письма А. Я. Булгакова к брату еще 27 сентября 1826 г. видно, что по Москве ходил слух о предстоящем пожаловании гр. Риччи в камер-юнкеры, который, впрочем, не оправдался и он никакой ни служебной ни придворной карьеры не сделал[16].

В 1833 г. кн. П. А. Вяземский 6 февраля писал А. И. Тургеневу: «Кланяйся от меня графу Риччи и благодари его за память обо мне; и моя верна ему. Что голос его, здравствует ли? Дай бог ему здоровие! Я обязан ему многими сладостными минутами. А что голос княгини Зенеиды? Сохранила ли она его посреди болезней своих? Здесь нет такого музыкального мира, как бывало у нее, в Москве. Там музыка входила всеми порами, on était saturé d'harmonie... Дом ее был, как волшебный замок музыкальной феи: ногою ступишь на порог, раздаются созвучия; до чего ни дотронешься, тысяча слов гармонических откликнется. Там стены пели; там мысли, чувства, разговор, движения, все было пение»[17].

В этом-то «волшебном замке» княгини З. А. Волконской познакомился Пушкин по возвращении в 1826 г. из своего Михайловского «заточения» с графом Риччи, о котором после отъезда последнего в конце 1828 г. в Италию Пушкин упоминал в январе 1829 г. в письме своем кн. П. А. Вяземскому: «С моей стороны, я от раутов в восхищении и отдыхаю от проклятых обедов Зинаиды (Дай бог ей ни дна ни покрышки, т. е. ни Италии ни графа Риччи!)»[18]. Кроме голоса граф Риччи обладал еще и поэтическим дарованием. Известно его стихотворение «Лотос» в переводе С. П. Шевырева с итальянского, напечатанное в «Московском Вестнике» с таким примечанием переводчика: «Подлинник написан графом Риччи. Кстати известим наших читателей, что гр. Риччи, с успехом занимающийся итальянскою словесностью, посвящает досуги свои переводам образцовых пиес русских. Дабы познакомить Италию с произведениями нашего родного Севера, он намерен издать русскую Антологию на итальянском языке. Многие пиесы переведены им весьма удачно, а именно: На смерть К. Мещерского, соч. Державина, Светлана Жуковского, Демон и Пророк Пушкина. Переводчик умел сочетать удивительную близость к подлиннику с изяществом выражения»[19]. К сожалению не удалось установить, были ли переводы где-либо напечатаны самим гр. Риччи и вышла ли в свет его «Антология», но теперь, после находки писем Риччи к Пушкину и приложенных к ним переводов, совершенно ясно, что Шевырев узнал об этих переводах или от самого Риччи или от Пушкина. Приходится жалеть только, что не сохранилось отзыва самого Пушкина об этих переводах. Письмо Пушкина в печати не появлялось и возможно, что оно хранится где-нибудь в Италии. О каком-то стихотворении гр. Риччи в 1833 г. упоминает А. И. Тургенев в письме из Неаполя от 12 марта 1833 г. к кн. П. А. Вяземскому; говоря о монастыре св. Бенедикта в Monte Cassino, Тургенев писал: «а Данте и недавно Риччи воспели сию обитель и установителя оной св. Бенедикта. Che terra addusse la verita che tanto ci sublima»[20]. Этими данными и исчерпываются наши сведения о поэтических произведениях гр. Риччи. После отъезда его в Италию, в конце 1828 г., упоминания о нем в переписке и мемуарах русских современников прекращаются[21].

Первое письмо Риччи не датировано, но без риска ошибки его можно отнести к 1828 году.—Пушкин был в Петербурге.

Depuis quelque temps, aimable M-r Pouchkin, je me suis adonné a un des fléaux (au dire de Byron) des Ecrivains, à la traduction. Votre grand talent ne pouvait pas m'échapper, aussi je vous envoie un petit echantillon de la manière dont je vous estropie.

Ecrivez moi ce que vous en pensez, et si vous me trouvez plus fidèle que vous en amour, soyez assez bon pour m'indiquer les pièces ou fragments, que vous voudréez voir passer dans notre langue. Ce qui vous rendrait adorable à mes yeux, ce serait de m'envoyer quelques morceaux de votre Boris Godounoff, que je ne confierai à personne. Mad-me la Pr-sse Zeneide a envoyé a M-r Kasloff une Ode de Derjavin traduite par moi. Vous me feriez grand plaisir d'y jeter les yeux, et de m'en parler sans phrases. Mon éditeur, toujours la Pr-sse Zeneide, veut absolument vous faire connaître deux pièces de vers de mon cru, que la Pr-sse Abalienski recevra d'elle, Si Oneghin Boyan — Pouchkin veut arracher un moment à son dolce far niente (ce qui ne l'empèche pas de faire beaucoup)— en ma faveur, je lui en serai bien reconnaissant.

Votre tout devoué

Ricci.

Перевод:

С некоторых пор, любезный господин Пушкин, я предался одному из бичей (по выражению Байрона) для писателей—переводу. Ваш большой талант не мог от меня укрыться, поэтому я посылаю вам образчик того, как я вас калечу.

Напишите мне, что вы об этом думаете, и если вы считаете, что я более верен в любви, чем вы, будьте добры, укажите мне вещи или отрывки, которые вы желали бы видеть переведенными на наш язык. На мой взгляд было бы очаровательно, если бы вы прислали мне несколько отрывков из вашего Бориса Годунова, которых я не доверю никому. Княгиня Зинаида послала господину Козлову одну оду Державина в моем переводе. Вы мне доставите большое удовольствие, если просмотрите ее и выскажетесь о ней без прикрас. Мой издатель, все та же княгиня Зинаида, хочет непременно вас познакомить с двумя стихотворениями моего изделия, которые получит от нее княгиня Оболенская. Если баян Онегина— Пушкин пожелает уделить мне минутку из своего dolce far niente (которое не мешает ему много работать),—я буду ему весьма признателен за это[22].

Весьма преданный вам Риччи.

При письме был приложен следующий перевод пушкинского «Демона»:

IL GENIO MALEFICO

Nei di che nuovi eran per me beato
De l'esistenza i moti, e il dolce incanto
D'un guardo, e della selva il fremer grato,
De l'usignuolo ed il notturno canto;
Allor quando i sublimi sentimenti,
La libertà, la gloria, l'amore
E de l'arti gli inspiratori accenti
Fluire il sangue fean con tanto ardore;
L'ore de la speranza, e del diletto
D'angoscioso oscurando e pronto allarme,
Allor tal genio di malizia infetto
Occultamente diessi a visitarme.
Tu il nostro incontro ognor tristo ed acerbo;
L'amaro suo sorriso, e le suo fosco,
E strano sguardo, il velenoso verbo
Versavanmi nel cuor gelido tosco.
D'inesausta calunnia traboccante
La providenza lo suo ardir tentava;
Illusion lo di beltà brillante
Era per el; l'inspirazion spregiava.
Ad amor non credeva, a libertate;
Su la vita volgea maligni i rai;
E di natura ne l'immensitate
Ei nulla benedicer volle mai.

Пушкин отозвался на просьбу Риччи письмом, которое до нас не дошло и о содержании которого мы можем до некоторой степени судить по ответному письму Риччи от 1 мая 1828 г.

Que de remerciments ne vous dois je, Monsieur Pouchkin, pour l'aimable et vraiment flatteuse lettre que vous m'avez écrite. Vous avez lu mes vers avec d'oeil toujours philanthropique de l'homme à grand talent, qui cherche toujours et en toutes choses le bon côté; tandis que la médiocrité fait étalage de son savoir pédantesque en glissant sur ce qui pourrait etre loué, et appuyant de toutes ses forces sur le côté critiquable. Vous ne pouviez donc pas porter d'autre jugement; mais quant aux prières, que je vous adressais, vous avez complètement eludé la question, et c'est de cela que je ne vous sais nullement gré. Laissons de côté la demande peut être indiscrète que je vous avais faite, quoique très decidé a garder inviolablement la secret; mais pour la faveur, que je vous demandais de m'indiquer les Poésies légères, et fragments des pièces déjà publiées, que vous préféreriez voir traduites je ne vous ferai pas grace, et je réitère ma demande. En choisissant moi-même, je crains de faire comme Alfieri quand à trois reprises il a entrepris de faire des extraits du Dante, et qu'il s'est trouvé à la fin l'avoir, toutes les trois fois, copié en entier. Je ne serais nullement eloigné de le faire; mais m'étant engagé pour le moment à donner un recueil de différents Poètes Russes, je ne puis pas m'adonner à un travail qui me mènerait trop loin: ainsi point de quartier: indiquez seulement: je ne vous demande pas de faire copier; cela serait inutile. Je joins ici la traduction de Державин, et votre Prophéte. De grâce, donnez moi votre avis bien sincère là-dessus; je vous jure par Apollon que je prendrai votre critique comme une marque d'estime, et d'amitié.

Avez vous lu mon printemps? C'est un souvenir de ma jeunesse et de ma belle Patrie. La Poésie, cette magiciénne, par un charme puissant, donne

РИСУНКИ ПУШКИНА НА ОБОРОТЕ „СЧЕТА ИЗДАНИЮ СЕВЕРНЫХ ЦВЕТОВ НА 1832 ГОД"

Бумаги П. Е. Щеголева (ныне в ИРЛИ), Ленинград

a ses adeptes le pouvoir de fouiller dans les ruines des temps, et d'y apercevoir encore les ombres des jouissances passées. — Vous allez donc, nouvel Ossian, la lance et la lyre en main, chanter la gloire et les combats; peut être, comme le Poète de Ferrari cantar l'armi pietose e il capitano, — che il gran sepolcro libero di Cristo. Toujours, et pour sûr, puiser de nouvelles inspirations, et ajouter à l'eclat dont vous avez déjà orné la poesie Russe. Gloire et plaisir, voici les voeux que je forme pour vous, et pour moi votre agrément aux sentiments d'admiration et de devouement que je vous porte.

Moscou: 1 may 1828. C. Ricci.

P. S. Je viens d'apprendre que vous avez changé de projets: je m'en réjouis pour mon compte. Ne pourrions nous pas espérer de vous voir? M-me la Pr-sse Wolkonski me charge de vous rappeler votre promesse, et de lui envoyer votre portrait.

Перевод:

Как благодарен я вам, господин Пушкин, за любезное и поистине лестное письмо, которое вы мне написали! Вы прочли мои стихи глазами человека большого таланта, который всегда бывает филантропом и ищет всегда и во всем хорошую сторону, тогда как, наоборот, посредственность всегда стремится выставить напоказ свою педантичную ученость и проходит мимо того, что могло бы заслужить похвалу, изо всех сил подчеркивая то, к чему можно отнестись критически. Иначе судить вы и не могли; но что касается просьбы, с которой я к вам обращался, то вы совершенно обошли этот вопрос, что отнюдь не вызывает моей признательности. Оставим в стороне мою просьбу, быть может нескромную, хотя и связанную с твердой моей решимостью сохранить тайну; но я не могу уволить вас от исполнения другой моей просьбы, которую я теперь снова повторяю, именно—указать, какие из небольших стихотворений и отрывков ваших, уже напечатанных, вы желали бы видеть в переводе. Выбирая сам, я рискую попасть в положение Альфиери, который три раза собирался сделать выборку из Данте и в конце концов трижды переписал Данте целиком. Я отнюдь не уклонился бы от того, чтобы поступить так же, но, будучи теперь занят составлением сборника из разных русских поэтов, я не могу отдаться работе, которая завела бы меня слишком далеко. Итак, нет пощады; укажите только, я не прошу вас переписывать стихи—это было бы излишне. Прилагаю к моему письму перевод из Державина и вашего «Пророка». Пожалуйста сообщите мне ваше искреннее мнение по поводу моих переводов и я клянусь вам Аполлоном, что сочту знаком уважения и дружбы вашу критику.

Читали ли вы мою «Весну»? Это воспоминание о моей юности и о моей прекрасной родине. Волшебница-поэзия силою своих могущественных чар одаряет своих приверженцев властью блуждать в руинах прошлого и улавливать там тени прошлых наслаждений. Вы же, новый Оссиан, будете с копьем и лирой в руке воспевать славу и сражения; может быть как феррарский поэт—«петь благочестивое оружие и полководца, освободившего гроб господень», а уж во всяком случае почерпать новое вдохновение и увеличивать блеск, которым вы уже украсили русскую поэзию. Слава и удовольствия—вот мое пожелание вам; это для вас, для себя же я лишь прошу, чтобы вы приняли выражения моего восхищения и преданности.

Москва, 1 мая 1828 г. К. Риччи.

Я только что узнал, что вы переменили ваши планы, и обрадовался за себя. Не могли бы мы надеяться повидать вас? Княгиня Волконская поручает мне напомнить вам ваше обещание и прислать ей ваш портрет [23].

К письму приложены переводы пушкинского «Пророка» и оды Державина «На смерть князя Мещерского». Воспроизводим здесь только перевод стихов Пушкина.

IL PROFETA

Da spiritual sete tormentato
I' mi traeva in un triste deserto:
Allor che un Serafin sei volte alato
D' innanzi al guardo mio si fù offerto.
Lievi qual sogno, a fior de gli òcchi miei
Passò sue dita, e, nel futur veggenti,
Spalancaronsi gli occhi, uguali a quei
D' aquila che sul nido si spaventi.
E gli di tanger le mie orecchie assunse,
E di suono riempielle, e di frastuolo:
E fin de' Cieli il fremito a me giunse;
E de gli Angioli l' olevato volo;
Fra l'acque e il gir del popolo marino;
E ne le valli il crescer de le piante.
Ed egli fèsi a le mie labbra chino,
E ne strappò la lingua mia peccante,
E mensognera, e frivola, e maligna;
Ed il dardo del savio serpente
Innestò con la destra sua sanguigna,
Ne le mie labbra assiderate, e spente.
Ed ei fendèmi, con la spada il petto,
E palpitante il cuor fuori n' emerse,
E de l'aperto vedovo vicetto
Infuocato carbon nel vano immerse.
I' nel deserto, qual cadaver, steso
Giacea, e la voce scossemi de l'Alto:
«Sorgi, o profeta, e vide, e audi, disse,
Adempi cio che mia mente prefisse,
E i mar scorrendo, e lo terrestre spalto
Ogniun que cuor sia da tue verba acceso.

Nota. Je vous prie, Monsieur, de remarquer, que ce n'est pas une cheville. La lange Italienne n'a pas de mot pour définir le sexe de l'Aigle. Aquila se dit du mâle, comme de la femelle, ce qui m'a décidé, pour rendre la beauté de votre immage, a mettre l'aigle dans une position, qui indique son sexe, et la possibilité d'epprouver la frageur, qui génériquement n'est pas dans le caractère fier er courageux de ce noble animal. Voici mes raisons: cependant votre opinion sur cela, comme sur le reste de cette traduction, plus elle sera franchement énoncée, plus elle me prouvera, que vous en faites quelque cas, et que vous honorez de votre amitié votre traducteur, et avant tout le véritable admirateur de votre grand génie, qui—sovra gli altri qual aquila vola.

Перевод примечания:

Прошу вас, милостивый государь, заметить, что здесь отсутствуют «затычки» [лишние слова]. В итальянском языке нет слова для определения пола орла. «Aquila» говорится как о самце, так и о самке, и это заставило меня для передачи прекрасного вашего образа поставить орла в положение, которое указывало бы на его пол [24] и на причину, по которой он испытывает страх,—чувство, вообще говоря, не свойственное гордой и смелой породе этого благородного животного. Вот мои основания. Однако ваше мнение об этом, как и об остальных частях перевода, чем откровеннее будет оно выражено, тем более докажет мне, что вы обратили на него некоторое внимание и что вы дарите своей лестной дружбой вашего переводчика—и прежде всего истинного поклонника вашего великого таланта, который над прочими парит орлиным полетом [25].

3. ПУШКИН И В. С. ГОЛИЦЫН

Сближение Пушкина с князем Владимиром Сергеевичем Голицыным (1794—1861), одним из самых блестящих представителей московского большого света конца 20-х—начала 30-х годов, относится вероятно к осени 1829 г.

Предшественник Н. Н. Раевского по командованию Нижегородским драгунским полком, из сферы боевых действий которого под Арзрумом только что возвратился Пушкин, кн. В. С. Голицын свою вынужденную отставку (уже вторую по счету) скрашивал легким политическим фрондерством в московском Английском клубе, музыкальными вечерами, картами, кутежами и бесчисленными любовными похождениями. «Он был тонкий гастроном,—отмечал в своих воспоминаниях один из его современников,—любил хорошо поесть, а еще больше угощать других, и великий мастер устраивать всякие светские увеселения: сочинял стихи, водевили, пел комические или сатирические куплеты собственного сочинения и сам себе аккомпанировал на фортепиано. Для знакомства он был человек неоценимый, по приятности своего общества, любезной обязательности, по простоте и добродушию обращения, по увлекательному, ровному характеру и постоянству своего расположения» [26].

Своими музыкальными и литературными связями кн. В. С. Голицын очень дорожил и хотя сам печатался очень редко, но был известен как автор русских переработок либретто двух популярнейших в свое время опер—«Страделлы» и «Немой из Портичи». С Пушкиным он сблизился вероятно через П. В. Нащокина и, как свидетельствует печатаемое нами его письмо от 25 июня 1830 г., оказался даже полезным поэту своими сведениями о «Дон Жуане». Вот текст письма:

Дон Жуана должен я отложить, почтеннейший Александр Сергеевич, до завтра;

Кокошкин вздумал дать сего дня маскерад
и хоры с музыкой назначены в парад;
— чтоб горю моему немного пособить
намерен вечер сей я в англинском убить [27].

Проклятые музы ни на минуту не дают мне покоя и чтоб отомстить им хоть несколько, я решился в четверостишиях своих женских рифм не употреблять никогда, в чем вы сегодня получаете ясное доказательство.

Завтра в восемь часов вечера жена моя и я нижайший ожидаем Вашего посещения с нетерпением, равняющимся искренной преданности моей к вам.

Покорный раб

Владимир Галицын.

25-го. Среда.

На обороте: À Monsieur Monsieur Alexandre de Pouchkine.

Le P. Wladimir Galitzin.

J'ai oublié l'autre jour qu'il était
Dimanche quand j'avais reçu le plaisir
de vous voir. J'ai oublié qu'il fallait
commencer la journée par la messe
et que je devais la continuer par des
visites et courses d'affaires. Je ne sais
[illegible] retarder jusqu'à
demain soir le plaisir de vous voir
et celui de vous entendre. J'espère
que vous n'oublierez pas la soirée de
Lundi et que vous ne m'en voudrez pas
trop de mon importunité en faveur
de toute l'admiration que je vous
porte. C. J.

[illegible]

АВТОГРАФ ПИСЬМА НЕИЗВЕСТНОЙ СВЕТСКОЙ ЖЕНЩИНЫ К ПУШКИНУ

Бумаги П. Е. Щеголева (ныне в ИРЛИ), Ленинград

Замечание о «Дон Жуане» не случайно—оно относилось или к предстоявшему исполнению каких-либо частей оперы Моцарта на одном из музыкальных вечеров у В. С. Голицына, или скорее к совместному обсуждению итальянского текста либретто «Дон Жуана», понадобившегося Пушкину в пору его работы над «Каменным гостем».

В числе возможных источников последнего указывается обычно и либретто Да-Понте (1787 г.) и новелла Гофмана «Дон Жуан» (1813 г.). Следует отметить однако, что новая музыкальная и литературная интерпретация фабулы «Дон Жуана» привлекла внимание к себе с конца 20-х годов не одного Пушкина. В сезон 1828/1829 г. поставлен был на сцене петербургского Большого театра «Дон Жуан» Моцарта[36], а в 1829 г. вышел в свет французский перевод «Дон Жуана» Гофмана («La Revue de Paris», 1829, septembre), перепечатанный в 1830 г. («Oeuvres complètes de E. T. A. Hoffmann», v. VIII, Paris, 1830, p. 153—182). Об исключительном успехе этого перевода, обеспечившего выход «Дон Жуана» Гофмана в мировую литературу, свидетельствуют строки опубликованной в 1832 г. «Намуны» Мюссе о старых и новых опытах интерпретации образа «Дон Жуана»:

Il en est un plus grand, plus beau, plus poétique,
Que personne n'a fait, que Mozart a rêvé,
Qu' Hoffmann a vu passer, au son de la musique,
Sous un éclair divin de sa nuit fantastique,
Admirable portrait qu'il n'a point achevé,
Et que de notre temps Schakespeare aurait trouvé
(«Namouna», 2, str. 24).

Как некоторый отклик на новую постановку «Дон Жуана» и на особенности толкования этого образа в новелле Гофмана можно рассматривать и обращение Пушкина к фабуле «Дон Жуана». Консультация же В. С. Голицына понадобилась ему вероятно для оживления в памяти материалов Моцарта и Да-Понте. Характерно, что в великосветских кругах В. С. Голицын с конца 10-х годов считался совершенным воплощением традиционного образа «Дон Жуана»:

«Его называли Аполлоном, он имел силу Геркулеса и был ума веселого, затейливого, и оттого вся жизнь его была сцеплением проказ, иногда жестоких, иногда преступных, редко безвинных», писал близко знавший его Ф. Ф. Вигель («Записки», ч. I, М., 1892, стр. 128). Одна из любовных авантюр кн. В. С. Голицына—трагическая история его связи с кн. Туркестановой, фавориткой Александра I, отравившейся после родов,—записана в дневнике Пушкина 8 марта 1834 г.

Письмо князя В. С. Голицына к Пушкину от 25 [июня 1830 г.] печатается впервые. Два других письма его же (от лета 1830 г. и от 21/III 1835 г.) давно уже вошли в «Переписку Пушкина», т. II, стр. 205—206 и т. III, стр. 213—214. Четвертое письмо (от 12 апреля 1831 г.) публикуется в приложении к настоящей работе. Точная дата печатаемого нами письма установлена Л. Б. Модзалевским путем сопоставления точных дат о времени всех возможных встреч Пушкина с Голицыным в Москве (о последней же свидетельствует упоминание о маскараде у Кокошкина) с календарными выкладками о месяцах и годах совпадения «25-го» числа со «средою». Менее вероятно приурочение письма к 25 сентября 1829 г., а также к 25 февраля или 25 марта 1831 г. (см. «Сокращенный календарь на тысячу лет» Н. Туркестанова, СПБ., 1868). В первом случае пришлось бы знакомство и сближение Пушкина с В. С. Голицыным датировать первыми же днями после его возвращения с Кавказа, для чего нет у нас никаких оснований; во втором же и в третьем случае трудно было бы объяснить молчание в пригласительной светской записке о жене поэта. Сводку ранее известных скудных данных о Пушкине и В. С. Голицыне см. в примечаниях Б. Л. Модзалевского к «Дневнику Пушкина», Л., 1923, стр. 104—105. Об участии его в «Телескопе» (под псевдонимом «М») упоминает Н. Н. Голицын в «Материалах для полной родословной росписи кн. Голицыных», Киев, 1880, стр. 149.

4. ЗАПИСКА НЕИЗВЕСТНОЙ СВЕТСКОЙ ЖЕНЩИНЫ

К тому же периоду, что и письмо В. С. Голицына, относится вероятно и записка к Пушкину неизвестной нам светской женщины, инициалы которой расшиф-

ровать тем труднее, что первый из них может обозначать не имя, а титул («Comtesse»).

J'ai oubliée l'autre jour que c'était à Dimanche que j'avais remis le plaisir de vous voir. J'ai oubliée qu'il fallait commencer sa journée par la messe et que je devais la continuer par des visites et courses d'affaires. J'en suis desolée car cela va retarder jusqu'à demain soir le plaisir de vous voir et celui de vous entendre. J'espère que vous n'oublierez pas la soirée de Lundi et que vous ne m'en voudrez pas trop de mon importunité la faveur de toute l'admiraton que je vous porte.

C. S.

à Dimanche matin.

На обороте: Monsieur Alexandre Pouschkine.

Перевод:

Я забыла в прошлый раз, что удовольствие видеть вас я отнесла на воскресенье. Я забыла, что мне предстояло начать этот день с обедни, а продолжать его визитами и деловыми поездками. Я очень об этом сожалею, так как удовольствие увидеть и послушать Вас откладывается до завтрашнего вечера. Надеюсь, Вы не забудете о вечере в понедельник и не будете на меня очень сердиться за мою надоедливость, во внимание к чувству глубокого почитания, с которым я к Вам отношусь.

К. С.

Воскресенье утром.

5. ПУШКИН И НИКОЛАЙ РАЕВСКИЙ

Дружеские отношения, связывавшие Пушкина в течение многих лет с Николаем Николаевичем Раевским (1801—1843), необычайно скудно отражены в дошедших до нас частях их переписки. Документы последней обоими корреспондентами видимо уничтожались и до последнего времени представлены были в печати лишь одним черновым письмом Пушкина от конца июля 1825 г. да двумя обращениями к нему Н. Н. Раевского, относящимися к 1824—1825 гг. (В «Переписку» Пушкина включаются, правда, еще наброски предисловия к «Борису Годунову», начатого в форме литературно-теоретического письма к Н. Н. Раевскому, но тексты эти конечно никакого отношения к корреспонденции поэта не имеют.)

Печатаемая нами неизвестная записка Н. Н. Раевского к Пушкину интересна прежде всего временем ее написания. Это вероятно апрель 1832 г., когда Н. Н. Раевский жил в Петербурге, упорно домогаясь в течение нескольких месяцев политической реабилитации (он был 14 декабря 1829 г. отстранен от командования бригадой за излишнюю близость на Кавказе с подчиненными ему ссыльными декабристами), а Пушкин находился в апогее своих успехов в высших административных кругах и при дворе, готовился быть редактором официозной газеты и, причисленный по личному распоряжению Николая I к коллегии иностранных дел для работ над собиранием материалов по «Истории Петра Великого», имел все основания считать свое положение совершенно упроченным, влиятельным и почетным.

Вот текст заметки:

Mon cher ami, je voulais me présenter ce matin chez vous pour offrir mes hommages à votre femme; mais un fort refroidissement me retient à la maison pour plusieurs jours. Venez de grâce me voir, j'ai grand besoin de vous consulter sur une lettre que je dois écrire par rapport à mon frère. — Dinons ensemble.

Перевод:

Мой дорогой друг, я собирался сегодня явиться к вам, чтобы засвидетельствовать мое почтение вашей жене, но сильная простуда удерживает меня дома несколько дней. Умоляю вас зайти ко мне, мне очень нужно

с вами посоветоваться об одном письме, которое я должен написать и которое касается моего брата. Пообедаем вместе.

В 1821 г., посвящая Н. Н. Раевскому «Кавказского пленника», ссыльный Пушкин противопоставлял себя—«постигнутого гоненьем», «жертву клеветы, измены и невежд»—своему счастливому другу. «Важные услуги, для меня вечно незабвенные» ассоциировал Пушкин с именем Н. Н. Раевского и в письме своем к брату от 24 сентября 1820 г.

Через двенадцать лет роли их переменились: жертвой «клеветы, измены и невежд» сделался Н. Н. Раевский, а некоторые «важные услуги» опальному генералу оказывал уже Пушкин. Советы и помощь последнего вероятно очень пригодились Н. Н. Раевскому при восстановлении его петербургских связей и даже в хлопотах по служебным делам. Так, до нас дошел черновик прошения Н. Н. Раевского на имя военного министра графа А. И. Чернышева, выправленный и отредактированный Пушкиным в начале 1832 г. (см. «Архив Раевских», т. II, стр. 107—108). Когда же Н. Н. Раевский добился наконец восстановления своего прежнего служебного положения, он весною 1832 г. начал через А. Х. Бенкендорфа хлопотать о снятии опалы со своего брата—Александра Николаевича Раевского (1795—1868), высланного в 1828 г. из Одессы в Полтаву без права въезда в столицы за бурное столкновение, на интимно-личной почве, с графом М. С. Воронцовым. Пушкин, как известно, был некоторое время очень дружен с А. Н. Раевским и хотя в 1824 г. разошелся с ним (отзвуки их сложных отношений запечатлены в «Демоне» и «Коварности»), но с исключительным участием реагировал на арест его после 14 декабря, горячо отозвался на высылку его из Одессы в 1828 г. и, как свидетельствует печатаемая нами записка, помогал Н. Н. Раевскому в его хлопотах о брате в 1832 г.

Упоминание об этих хлопотах позволяет довольно точно датировать и свидание Раевского с Пушкиным, о котором шла речь в самом конце письма («Venez de grâce me voir, j'ai grand besoin de vous consulter sur une lettre que je dois écrire par rapport à mon frère»).

Дело в том, что 17 апреля 1832 г. датировано было письмо на имя А. Х. Бенкендорфа, поданное от имени матери А. Н. и Н. Н. Раевских о разрешении ее старшему сыну въезда в столицы. Судя по тому, что Пушкин принимал деятельное участие во всех прежних хлопотах Н. Н. Раевского, обдумывая вместе с ним все его мероприятия, тщательно редактируя, а иногда вероятно и составляя его официальные письма, он и в этом случае явился ближайшим консультантом своего старого приятеля. Подлинный текст прошения, составленного ими, в печати неизвестен (он хранится вероятно в архиве III Отделения), но дата и содержание его устанавливаются по официальному ответу на имя С. А. Раевской, опубликованному в «Архиве Раевских», т. II, СПБ., 1909, стр. 123. Сводку ранее известных материалов о Н. Н. Раевском и об отношениях его к Пушкину см. в сборнике статей Л. Н. Майкова «Пушкин», СПБ., стр. 137—161.

6. ЗАПИСКА С. Н. ДИРИНА

Certain de plaisir que vous aurez à apprendre quelque chose de nouveau sur Guillaume, je vous envoie ces lettres tant nouvellement arrivées de Sibérie. La lettre russe est de son frère Michel et vous fera rire à la seconde page. La lettre allemande est de lui-même et vous fera plaisir si vous parvenez à la déchiffrer. Je ne puis vous laisser ni l'une ni l'autre pour plus de tems que vous ne mettrez à les lire car je les ai escamotées à la mère pour vous en faire part.

Je souhaite le bonjour à Александр Сергеевич et suis pour la vie

son très humble

[1836] Dirin.

Перевод:

Уверен, что с удовольствием услышите нечто новое относительно Вильгельма и посылаю Вам эти письма, только что прибывшие из Сибири.

Русское письмо от его брата Михаила, и на второй странице вы будете смеяться. Письмо немецкое от самого Вильгельма и вам доставит удовольствие расшифровать его. Не могу вам оставить ни того ни другого дольше, чем вам понадобится времени, чтобы их прочитать, ибо я их стащил у матери, чтобы познакомить вас с ними.

С пожеланиями Александру Сергеевичу всего доброго

остаюсь до конца жизни покорнейший

Дирин.

ЭКЗЕМПЛЯР КНИГИ СИЛЬВИО ПЕЛИККО „ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ЧЕЛОВЕКА“ С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ПЕРЕВОДЧИКА С. Н. ДИРИНА ПУШКИНУ

Институт Русской Литературы, Ленинград

Письмо Сергея Николаевича Дирина печатается впервые. Датируется оно 1836 г. потому, что только 14/XII 1835 г. В. К. Кюхельбекер был освобожден из Свеаборгской крепости и отправлен на поселение в г. Баргузин, Иркутской губернии, где уже с 1831 г. находился, отбыв срок своего тюремного заключения, его брат Михаил Карлович Кюхельбекер, член Северного тайного общества и активный участник событий 14 декабря. Спешность, с которою было доставлено Пушкину для прочтения письмо Кюхельбекера, объясняется вероятно тем, что это были первые вести от него с «воли».

С. Н. Дирин (1814—1839), воспитанник СПБ. Благородного пансиона, чиновник департамента государственного казначейства, а с 19 августа 1836 г. помощник редактора официозного «Журнала мануфактур и торговли», был связан очень близкими дружескими и родственными отношениями со всею семьей Кюхельбекеров. Как свидетельствуют воспоминания И. И. Панаева, приятеля С. Н. Дирина, родные последнего «получали через III Отделение письма от ссыльного Кюхельбекера, в которых всегда почти упоминалось о Пушкине, и Дирин носил обыкновенно эти письма показывать Пушкину. Через несколько лет после смерти Дирина я как-то завел речь об нем и об его отношениях к Пушкину с П. А. П[летневым]. — «А знаете

ли, почему Пушкин был так внимателен и вежлив к нему?» — «Почему же? Ведь он был со всеми таков?» — «Нет,—отвечал Плетнев,—с ним он был особенно внимателен—и вот почему. Я как-то раз утром зашел к Пушкину и застал его в передней, провожающим Дирина. Излишняя внимательность его и любезность к Дирину несколько удивила меня, и когда Дирин вышел, я спросил Пушкина о причине ее. — «С такими людьми, братец, излишняя любезность не вредит»,—отвечал улыбаясь Пушкин. — «С какими людьми?»—спросил я с удивлением. — «Да ведь он носит ко мне письма от Кюхельбекера... Понимаешь? Он служит в III Отделении». Я расхохотался и объяснил Пушкину его заблуждение. Дирин разумеется ничего не знал о подозрении Пушкина; он пришел бы от этого в отчаяние, но Пушкин после этого обнаружил к нему уже действительное участие, что доказывает и предисловие его к переводу Сильвио Пеликко» (И. И. Панаев. «Литературные воспоминания», изд. «Academia», Л., 1928, стр. 62—64).

Специального предисловия Пушкин к переводу книги Сильвио Пеликко «Об обязанностях человека», выпущенному С. Н. Дириным, не давал, но о предстоящем выходе этого издания в свет написал рекомендательную заметку, помещенную в «Современнике» 1836 г., кн. III, стр. 307—310. Признав эти строки Пушкина «лучшим предисловием, какое я только мог прибрать к своей книге», С. Н. Дирин перепечатал их в введении к переводу («Об обязанностях человека, наставление юноше. Сочинение Сильвио Пелико». С итальянского. СПБ., 1836, стр. III). Судя по дате надписи на экземпляре книги, поднесенной переводчиком Пушкину, она вышла в свет около 18 января 1837 г. (Б. Л. Модзалевский. «Библиотека А. С. Пушкина». СПБ., 1910, стр. 75—76). Самым ранним свидетельством о знакомстве Пушкина с Дириным является отметка в счете А. Ф. Смирдина о выдаче им 23 июня 1834 г. С. Н. Дирину по распоряжению Пушкина тринадцати книг, предназначенных, как устанавливаем мы, для пересылки в крепость к В. К. Кюхельбекеру.

[1] В черновиках: «Она сидела на софе меж страшной леди Барифе И гордой Ниной [Волховскою]»; еще иначе: «С надменной Ниной Таранскою».

[2] В черновой: «как ни блистательна была».

[3] В статье «Новые автографы Пушкина».—«Московский Пушкинист», II. Изд-во «Федерация». М., 1930, стр. 178.

[4] Вересаев, В., В двух планах. Статьи о Пушкине. Изд. «Недра». М., 1929, стр. 97—102.

[5] Ознакомлением с выдержкой из письма Вяземского, которое должно бы храниться в Остафьевском архиве, я обязан М. С. Боровковой-Майковой. Итак предположение В. В. Вересаева об Аграфене Закревской как прототипе Нины Воронской отпадает. Отмечу кстати, что должно отпасть и другое, высказанное в той же заметке предположение В. В. Вересаева о том, что об Аграфене Закревской говорит Пушкин в письме к Е. М. Хитрово («Я имею несчастие быть в связи с особой, болезненной и страстной» и т. д.). Это «загадочное» письмо послужило камнем преткновения для пушкинистов и вызвало разные предположения, но все они представляются мне возникшими без достаточных оснований. Стоит внимательно вчитаться в текст письма, чтобы притти к заключению, что Пушкин в этом письме к Хитрово писал только об одной особе, к которой адресовано это письмо, т. е. о самой Хитрово; и затем стоит только представить себе силу светских условностей (да и психику самой Хитрово), чтобы решить, что ни о какой другой женщине, даже не называя ее, а только прозрачно намекая, он не мог писать в письме к Хитрово. См. «Письма Пушкина к Е. М. Хитрово», 1927, стр. 33, 138—139, 374. Предположение Н. В. Измайлова о том, что под особой, с которой Пушкин находился в связи, надо разуметь музу, по своей наивности и не подлежит опровержению.

[6] Биографические сведения о Завадовской и вся литература о ней даны в указанной статье М. А. Цявловского.

[7] М. А. Цявловский посвятил очерк автографу, стихотворению и графине Завадовской, произвел целое расследование и закончил его так: «образ красавицы, даваемый в стихах Вяземского, очень близок к тому, который начертан в стихах Пушкина. И здесь и там—женщина ослепительной, но холодной, спокойной красоты. Такой конечно и была графиня Е. М. Завадовская, внушившая Пушкину одно из совершеннейших его лирических стихотворений».

[8] Год не обозначен, но легко определяется на основании сопоставления дат календарных и биографических. Надо думать, что Пушкин был вежлив по отношению к графине Завадовской и не долго задержал ее альбом. Во всяком случае

мы имеем теперь твердую хронологическую дату—стихотворение написано не позднее 1832 г.

[9] «Русский Архив» 1900, т. III, стр. 571. Булгаков писал брату 14 декабря 1820 г. (Москва): «...Пустился я к Луниным, где была славная музыка, по обыкновению... Чудесно поет этот Риччи, а голос вроде Стефана Мондони, славная метода. Любо слушать мужа с женой» («Р. А.» 1900, т. III, стр. 573). Говоря о вечере у князя Н. Б. Юсупова 5 января 1821 г. (Москва), тот же Булгаков писал брату, что Риччи «всех певунов за пояс заткнул» («Р. А.» 1901, т. I, стр. 48). В другом письме (12/XII 1821) Булгаков говорит о вечере у Луниных, где он «натешился, слушая обоих Риччи» («Р. А.», 1900, т. I, стр. 307). В письмах А. Я. Булгакова к брату есть указания также на то, что супруги Риччи давали у себя вечера («Р. А.» 1900, т. I, стр. 547) «...а ужинал у Риччи, у коих засиделся и заслушался музыки до 3 часов. Тут был Мих. Велеурский, и они втроем пели Guza Ladra и прочие оперы Россиниевы. Все разъехались, мы двое остались с Вяземским и курили, слушая прекрасную музыку» (письмо от 7/VI 1823 г.— «Р. А.» 1900, т. I, стр. 551); «Риччи восхищал нас своим пением» (письмо от II/VI 1823 г.—«Р. А.» 1900, т. I, стр. 552); а «У княгини З. А. Волконской 15 июля 1826 г. в Петровском пели разную музыку, особенно отличались Риччи с Барбьери в дуете: di un biel uso di Turebria из «Furio in Italia» (письмо от 16/VII 1826 г.— «Р. А.» 1901, т. II, стр. 397 и см. еще стр. 410); о его пении см. также в «Архиве бр. Тургеневых», в. 6, стр. 139, 226.

[10] «Русский Архив» 1897, т. II, стр. 178—179.

[11] «Русский Архив» 1903 г., т. III, стр. 127—142.

[12] Виноградов, А. К., Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928, стр. 17.

[13] «Русский Архив» 1901, т. II, стр. 392—393.

[14] «Русский Архив» 1901, т. II, стр. 409.

[15] См. «Месяцесловы» за эти годы.

[16] По надгробию гр. Е. П. Риччи почему-то граф Риччи имел чин полковника («Русский Провинциальный Некрополь», т. I, М., 1914, стр. 737 и «Р. А.» 1911, т. II, стр. 613).

[17] «Остафьевский Архив кн. Вяземских», т. III, стр. 223.

[18] «Письма Пушкина» под ред. Б. Л. Модзалевского, т. II, стр. 61.

[19] «Московский Вестник», ч. 10, № 13, стр. 6—7.

[20] «Архив бр. Тургеневых», в. 6, стр. 175.

[21] Мы нашли лишь одно упоминание о нем в письме А. И. Тургенева кн. П. А. Вяземскому из Флоренции от 1 июня (20 мая) 1833 г., из коего явствует, что Риччи продолжал бывать у кн. З. А. Волконской в Риме после ее переселенья туда и что он попрежнему пел в ее салоне («Архив бр. Тургеневых», в. 6, стр. 226). Гр. Е. П. Риччи после отъезда мужа осталась жить в Москве; по выражению И. Оже, видевшего ее в Москве в 1845 г., она жила «в крайней бедности. Она слишком любила пение; эта страсть и была причиной ее разорения» («Р. А.» 1877, т. I, стр. 257; см. еще «Р. А.» 1898, т. II, стр. 315, примеч.). В письмах А. Я. Булгакова к брату за 1822 г. имеется любопытное упоминание о том, что граф Риччи собирался вступить в русское подданство для того, чтобы иметь право владеть имениями в России, но намерение это не было осуществлено (см. об этом «Р. А.» 1901, т. I, стр. 414 и 417). У супругов Риччи была дочь Александра (см. «Р. А.» 1901, т. I, стр. 78 и 1900, т. III, стр. 573). Биографические сведения о гр. Риччи принадлежат В. И. Саитову в «Остафьевском Архиве», т. III, стр. 383 и Б. Л. Модзалевскому в «Письмах Пушкина», т. II, стр. 329—330. Упоминание о нем см. еще в «Р. А.» 1897, т. II, стр. 206.

[22] «Борис Годунов» был известен только по чтениям Пушкина в 1826—1827 гг.

Княгиня Зинаида — княгиня Зинаида Александровна Волконская, рожд. княжна Белосельская-Белозерская (род. 1792, ум. 1862 г.). О ней см. в «Письмах Пушкина» под ред. Б. Л. Модзалевского, т. II, стр. 327—329. — Козлов — Иван Иванович, поэт-слепец (р. 11 апреля 1779, ум. 30 января 1840 г.). О нем см. там же, т. I, стр. 377 и 423—424 и «Русский биографический словарь», том Кнаппе-Кюхельбекер. СПБ., стр. 49—52. Княгиня Оболенская — вероятно Аграфена Юрьевна, рожд. Нелединская-Мелецкая, родившаяся в 1789 г. и умершая 15 февраля 1828 г. Она была женою князя Александра Петровича (р. 1782, ум. 1855). О ней см. «Остафьевский Архив князей Вяземских», т. III, стр. 384.

[23] О каком портрете идет речь—не ясно.

[24] В итальянском переводе «Орлица» передана стихом: «орел, испуганный в своем гнезде».

[25] Эти слова написаны по-итальянски. Орфографические ошибки французского письма исправлены мною. По нашей просьбе проф. А. А. Смирнов ознакомился в подлинниках с переводами Риччи и дал о них следующий отзыв: «Перевод обоих стихотворений Пушкина «Демон» и «Пророк» выполнен Риччи с необычайной точностью, вплоть до сохранения в большинстве случаев порядка слов подлинника. Я не нашел ни одной смысловой ошибки и ни одной явной погрешности против вкуса. Главным отступлением является замена размера подлинника традиционным для итальянской поэзии одиннадцатисложным размером с твердым порядком рифм abab. Такое удлинение строк (на 2 слога) повлекло за собой прибавку, в немногих случаях, отдельных слов, но эти дабавления носят весьма невинный характер и нисколько не нарушают стиля подлинника. Церковно-славянизмы Пушкина конечно никак не переданы».

[26] «Воспоминания А. М. Фадеева», Одесса, 1897, т. II, стр. 77—78. Князь П. А. Вяземский характеризовал В. С. Голицына как человека «очень острого, краснобая, мастера играть словами и веселого рассказчика» («Полн. собр. соч.», т. IX, стр. 261).

[27] «Кокошкин», упоминаемый в стишках В. С. Голицына,—Федор Федорович Кокошкин (1773—1838), директор Московских императорских театров с 1823 по 1831 г., драматург, режиссер и декламатор.

[28] Вольф, А. Хроника петербургских театров. СПБ., 1877, ч. II, стр. 20. Следует отметить, что с 5 мая 1816 г. до самого начала 20-х годов на петербургской сцене шел с большим успехом «Дон Жуан или Каменный Гость», пантомимный балет в 5 действиях, соч. Канциани, музыка Каноби. К либретто Да-Понте восходят не только характернейшие особенности композиции, но и эпиграф «Каменного гостя» Пушкина. О воздействии же на него гофмановской трактовки самого образа «Дон Жуана» см. замечания Н. П. Дашкевича («Статьи по новой русской литературе», П., 1914, стр. 186—192) и А. Н. Веселовского («Западное влияние в новой русской литературе», изд. V, М., 1916, стр. 175). Об откликах в 1830 г. на «Дон Жуана» Гофмана во Франции см. M. Breuillac «Hoffman en France» («Revue d'histoire lit. de la France» 1907, t. XIV, p. 78).

III. ПРОСИТЕЛИ

Письменных обращений, обусловленных ходатайствами всякого рода, в печатаемых нами бумагах Пушкина оказалось всего девять. Принадлежат они восьми корреспондентам и относятся ко времени между 1822 и 1836 гг. Имена одних из этих «просителей» хорошо известны историкам русской общественности и литературы, фамилии других бегло упоминались лишь в некоторых материалах для биографии Пушкина, наконец третьи вовсе до сих пор не встречались в печати. Самый характер просьб, обращенных к Пушкину, столь же широк, а порой и случаен, как и весь круг его деловых, светских и литературных знакомств.

Некий Лев Герасимовский, не то прапорщик, не то юнкер Охотского пехотного полка в Кишиневе, рассчитывает при помощи Пушкина избавиться летом 1822 г. от преследований своего полкового начальства; смоленский губернатор, известный водевилист и переводчик Н. И. Хмельницкий, организуя губернскую публичную библиотеку, просит Пушкина 11/II 1831 г. о бесплатной присылке его сочинений; поэт Ф. Н. Глинка, один из вождей Союза Благоденствия, сосланный после 14 декабря на службу в Петрозаводск, а оттуда переведенный через несколько лет под надзор полиции в Тверь, надеется через Пушкина привлечь в 1831 г. внимание высших органов власти (может быть и самого Николая) к своей «изувеченной судьбе»; московский механик А. Х. Кнерцер, поверенный в делах П. В. Нащокина, рассчитывает при помощи Пушкина запатентовать 26/I 1834 г. в министерстве финансов какое-то свое изобретение в области речной тяги; просьбам о погашении давних денежных обязательств родных Пушкина—бабушки и брата—посвящены письма полковника А. П. Плещеева от 5/VII 1835 г. и опочецкого мещанина Маркела Лебедева от 27/I 1836 г.; молодой провинциал А. И. Хмельницкий, в тщетных поисках службы или литературных занятий, умоляет Пушкина летом 1836 г. о ссуде в 80—100 рублей для расплаты с гостиницей, а смоленский помещик Дмитрий Арсеньев в самом конце того же 1836 г. двумя письмами подкрепляет какую-то устную свою просьбу об участии Пушкина в ликвидации претерпеваемых им «обид» и «оскорблений».

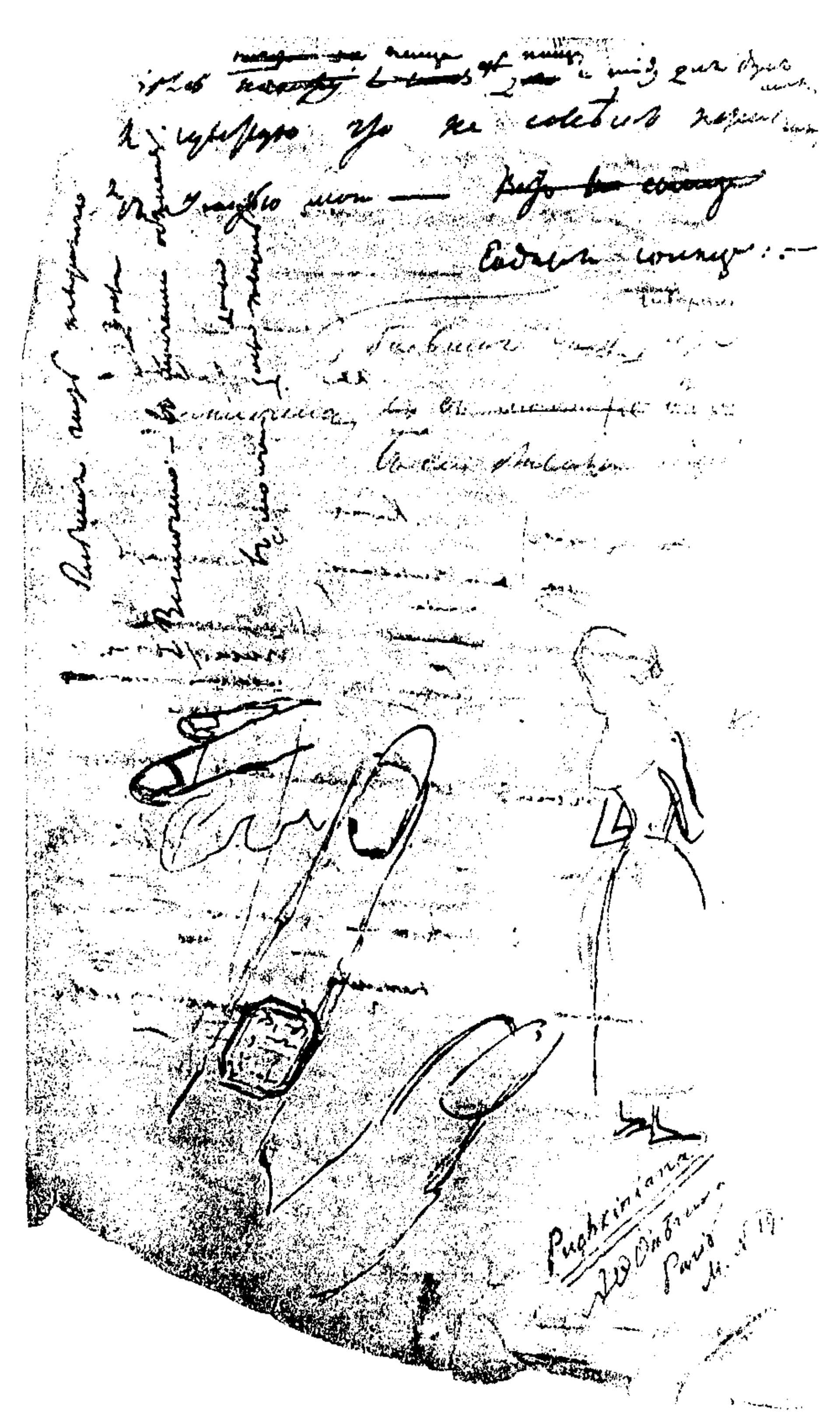


РИСУНОК ПУШКИНА НА ОБОРОТЕ АВТОГРАФА СТИХОТВОРЕНИЯ „О БЕДНОСТЬ, ЗАТВЕРДИЛ Я НАКОНЕЦ", ИЗОБРАЖАЮЩИЙ ЕГО ПАЛЬЦЫ С ПЕРСТНЕМ-ТАЛИСМАНОМ

Институт Русской Литературы, Ленинград

1. ПИСЬМО Л. ГЕРАСИМОВСКОГО

2 июня 822. С. Вассиены.

Соловкин издерживает как видно в полной мере свое слово гнать меня до последнего своего издыхания,—сейчас получил я известие, поразившее меня до того, что забываю сам себя и даже прихожу в неистовство от чрезмерной его подлости.

Баталионный командир, не хотя озадачить меня на первой раз лично, поручил своему адъютанту сказать мне, что Нилус приказал ему: держать меня в руках как замеченного в кой чем в прежнем полку еще. Видя из сего ясно рекомендацию подлеца (как он и обещал мне), я не знаю на что решиться, будучи уверен, что нещастие мое и здесь не изъ бежно;— Нилус три раза только меня видел.—Прошу у Вас Любезнейший Пушкин совета; мне кажется, одно спасение мое в предстательстве Павел Сергеича— одно слово его Нилусу, и—мнение злобою произведенное обо мне переменится. — Будучи облагодетельствован столь много Его Превосходительством я не смею утруждать ничем еще, хотя и знаю правила его не оставлять—по доброте души своей—без покровительства к нему прибегающих. Не откажите естли это можно попросить о сем Генерала; естлиже нет то посоветуйте что в таком случае мне делать. Ч. меня возьми, я взбешон сверх меры. — Естлиб не мать моя... Клянусь! отправил бы мерзавца к фуриям ему подобным! — Простите моему выражению—Едва могу пером водить от огорченья.

Сию записку посылаю с моим человеком к Метлеркамфу; он у него дождется вашего ответа, который я с нетерпением ожидаю.—До свидания. На вас моя в пособии надежда.

Лев Герасимовский.

На обороте:
Его Благородию
Милостивому Государю
Александру Сергеевичу
Пушкину.

Письмо Льва Герасимовского, младшего офицера Охотского пехотного полка, печатается впервые. Никаких других данных об этом знакомце поэта до нас не дошло, если не считать глухого упоминания в дневнике прапорщика Ф. Н. Лугинина о встрече его в Кишиневе 11 июня 1822 г. на вечере у Ралли-Земфираки с Пушкиным и «одним офицером Герасимовским» (см. ниже нашу публикацию «Пушкин в ссылке»). Политической обстановкой, определившейся в Кишиневе с февраля 1822 г. в связи с арестом майора В. Ф. Раевского и начатым дознанием о революционной пропаганде в войсках 16-й пехотной дивизии, обусловлены очевидно были и служебные невзгоды, на которые сетовал Л. Герасимовский в своем письме к Пушкину. Однако генерал-майор Павел Сергеевич Пущин (1785—1865), бригадный командир 16-й пехотной дивизии, член Союза Благоденствия и управляющий Кишиневской масонской ложей «Овидий», приятель Пушкина и адресат известного послания последнего «В дыму, в крови, сквозь тучи стрел Теперь твоя дорога. Но ты предвидишь свой удел Грядущий наш Квирога» и пр., едва ли мог оказать в это время какую-нибудь помощь Льву Герасимовскому, ибо сам был уже давно заподозрен в политической неблагонадежности и, по личной инициативе императора Александра I, уволен, без прошения, в отставку. Приказ этот, подписанный 28 марта 1822 г., до Кишинева дошел конечно с большим опозданием, чем и объясняется вероятно неосведомленность автора печатаемого нами письма.

Все должностные лица, бегло упоминаемые в обращении Л. Герасимовского, известны в пушкинской литературе (правда, едва ли не только по именам), благодаря дневнику и воспоминаниям И. П. Липранди («Русский Архив» 1866, стр. 1179, 1232, 1246). Так генерал-майор П. Б. Нилус с марта 1822 г. командовал 16-й пехотной дивизией, заместив в этой должности преданного военному суду М. Ф. Орлова; полковник Соловкин командовал Охотским полком, расквартированным в окрест-

ностях Кишинева (Пушкин, судя по письму его от I/XII 1826 г. к Н. С. Алексееву и по воспоминаниям И. П. Липранди, некоторое время был увлечен женою Соловкина); наконец барон Метлеркампф, капитан Селенгинского пехотного полка, известен как участник работ по топографической съемке Бессарабии, производимых по особым заданиям квартирмейстерской части главного штаба в 1821—1822 гг.

2. ПИСЬМО Н. И. ХМЕЛЬНИЦКОГО

Милостивый Государь,
Александр Сергеевичь

По распоряжению Господина Министра Внутренних Дел Графа Арсения Андреевича Закревского предположено повсеместно завести Губернские Публичные Библиотеки и по приглашению Его Сиятельства многие уже из Господ писателей и журналистов согласились доставить в оные по экземпляру своих сочинений и периодических изданий.

Озабочиваясь исполнением столь общеполезного предположения Начальства и с тем вместе будучи уверен в вашем благосклонном ко мне, Милостивый Государь, расположении, я решился покорнейше просить вас украсить Смоленскую Публичную Библиотеку подарком ваших сочинений, что без сомнения почту за особенно оказанное мне одолжение.

С истинным почтением и совершенною преданностию имею честь быть

Милостивый Государь
Ваш покорнейший слуга
Николай Хмельницкий.

№ 1629-й
«11» февраля 1831.
Г. Смоленск.
Его Высокоб-ию А. С.
Пушкину.

Письмо Н. И. Хмельницкого от 11 февраля 1831 г., печатаемое впервые, вызвало 6 марта 1831 г. следующий ответ Пушкина: «Спешу ответствовать на предложение вашего превосходительства, столь лестное для моего самолюбия: я бы за честь себе поставил препроводить сочинения мои в Смоленскую библиотеку, но в следствии условий, заключенных мною с Петербургскими книгопродавцами, у меня не осталось ни одного экземпляра, а дороговизна книг не позволяет мне и думать о покупке». Свой отказ Пушкин несколько смягчал припиской: «Дав официальный ответ на официальное письмо ваше, позвольте поблагодарить Вас за Ваше воспоминание и попросить у Вас прощение не за себя, а за моих книгопродавцев, не высылающих Вам, вопреки моему наказу, ежегодной моей дани. Она будет вам доставлена непременно, Вам, любимому моему поэту; но не ссорьте меня с Смоленским губернатором, которого впрочем я уважаю столь же, сколько Вас люблю» («Переписка Пушкина», т. II, СПБ., 1908, стр. 229—230). Последние строки не являлись, как известно, простой любезностью. Еще весной 1825 г., под впечатлением отрывков из водевилей Н. И. Хмельницкого в альманахе «Русская Талия», Пушкин писал брату из Михайловского: «Хмельницкий моя старинная любовница. Я к нему имею такую слабость, что готов поместить в честь его целый куплет в 1-ю песнь Онегина (да кой чорт! Говорят, он сердится, если об нем упоминают, как о драматическом писателе» («Письма Пушкина», т. I, М.-Л., 1926, стр. 127).

О библиотеке, над организацией которой работал Н. И. Хмельницкий в 1831 г. (одной из первых губернских общественных библиотек), и об отношении Пушкина к письму Н. И. Хмельницкого сохранилось несколько любопытных строк в записках А. А. Кононова: «Хмельницкий думал завести в Смоленске библиотеку; начиная приводить мысль свою в исполнение, он отнесся ко всем литераторам, с просьбою прислать изданные ими сочинения. Такое же отношение было послано и к Пушкину. Нумер на письме и официальный тон не понравились поэту; ему приятнее была бы простая приятельская записка...» («Библиографические Записки» 1859 г., т. II, стр. 310). Предположение это вполне основательно: официальный характер обращения Н. И. Хмельницкого подчеркивался не только номером, но и тем, что оно писано было писарскою рукою, а самому губернатору принадлежали только две последние строки.

3. ПИСЬМО А. Х. КНЕРЦЕРА

Ваше Высокородие!
Милостивый Государь,
Александр Сергеевичь.

Простите великодушно моей смелости обремен[ение] новыми просьбами, уверен будучи что сии со стороны Особы Вашея никак иначе не примутся, как наичувствительною моею благодарностию за оказанное ко мне благодетельное внимание, посредством какового я уже ныне почти достиг цели будущего моего и семейства моего основания. И теперишее мое утруждение суть плоды того древа, которое благодетельные Ваши чувства и искуственное пе[ро] насадить вспомоществовали.

Посредством покровительного Вашего посредничества пощастливилось мне получить одно из важнейших [под] самою Москвою для мануфактурных заведений мест (Туфелево), на каковое прошлого 1833-го года 11-ое марта и поселился времянным владельцем; хотя хижине моей, на самом берегу реки Москвы построенной, и открыто обширное пространство горизонта с очарованными видами столицы, но в особенности занимало меня вскрытие реки со сплавом льда и плачевное состояние Барок. А как сего рода судоходство слишьком важно в доставлению для человеческой жизни необходимых потребностей, и к споспешествованию сего ободрило меня изобресть механическое средство, дабы таковым способом прекратить различные бедствия с изнурением людей и лошадей, сверх же того поспешнее доставлять всякую потребность, а сим несоразмерно значительнее умножить и самый привоз, мне пощастливилось таковой способ изобресть.

Но как я прошлым летом очень был занят стройкою известного Особе Вашей заведения, почему и достиг лишь нынешнею зимою своей цели, составить проект с описанием, каковой на прошлых днях привел к окончанию, а ныне занимаюсь деланием оного на бело, с желанием получить на сей предмет от Правительства 10-ти летней привилегии.

Я в полной мере питаю надежду на покровительное Особы Вашея внимание и ощастливление меня своим ходатайством, поелику мое изобретение никак неподлежит рассматривания и одобрения Департаменту Мануфактур, должно будет, как видно из Высочайшего Указа 22 ноября 1833 года, обратиться к Г. Министру Финансов со внесением установленных пошлин 1500 р. Ассигн. за привилегию.

К подаванию Г. Министру формального прошения, я не имею в виду должной просьбе формы, и какого достоинства для сего гербовая бумага потребна, а сдесь в Москве никого спросить и никому сие дело доверить не смею.

По сим побудительным и основательным причинам я почтеннейше и прибегаю к Особе Вашей, ощастливеть меня своим покровительным благорасположением, дозволить к Особе Вашей Адресоватся с доставлением проекта моего с описанием, и Вашим ходатайством таковый представить к Г. Министру, а вместе дерзаю утрудить представить и десятилетнюю пошлину в 1500 р. ассигн. состоящую, из числа суммы Павла Воиновича, к[оторую] постараюсь сдесь лично Павлу Воиновичу доставить.

В противном же случае смею питать надежду на доверие Особы Вашея ко мне, выплатить по[шлину] собственностию своею за меня, а сим заставить во в[сей] силе более и более чувствовать истинное великодушие и

неоцененное покровительство к облагонадежению будущего моего состояния, и быть истинно вечно благодарным, в полном уповании благодетельных Особы Вашей благорасположений и лестном ожидании Вашего разрешения судьбы моей, имею честь и щастие пребыть по всегда к Особе

Вашего Высокородия!

Милостивейшего Государя моего

с отличным высокопочитанием и всею преданностию

наивсепокорнейшим слугою

Андрей Кнерцер.

Генваря 26 дня
1834 года
Туфелево

ПЕТРОПОЛЬСКІЯ

НОЧИ.

ПЕТРОПОЛЬСКІЯ

НОЧИ.

Ѳ. Я. КАФТАРЕВА.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1832.

ЭКЗЕМПЛЯР КНИГИ Ф. Я. КАФТАРЕВА „ПЕТРОПОЛЬСКИЕ НОЧИ“ С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА ПУШКИНУ

Институт Русской Литературы, Ленинград

Письмо А. Х. Кнерцера от 26/I 1834 г. к Пушкину печатается впервые. В квадратных скобках даны слова, отсутствующие уже в автографе, поврежденном мышами. Об авторе этого письма П. В. Нащокин писал Пушкину: «Писать ко мне ты можешь на имя Андрея Христофоровича Кнерцера машиниста, в Тюфили, который между прочим просит, чтобы ты позволил бы ему в случае нужды адресоваться. Еще прошу тебя позаботиться о деньгах, ибо мне никогда они так не нужны, как теперь, и буде ты можешь их прислать, пришли их на имя А. Х. К.» («Переписка Пушкина», т. III, стр. 74). Это письмо Нащокина отнесено редактором переписки Пушкина к январю-февралю 1834 г. Теперь его можно датировать точнее: оно написано конечно не позже 26 января 1834 г.

Знакомство Пушкина с А. Х. Кнерцером (1789—1853), механиком, купцом 2-й гильдии и особо доверенным лицом при П. В. Нащокине, относится к самому началу 1832 г., когда Кнерцер приехал в Петербург для оформления сделки на покупку Туфилей (местность под Симоновым монастырем на Москве-реке). О переписке по этому поводу Пушкина с А. Д. Балашевым, владельцем Туфилей, см. материалы Б. Л. Модзалевского в «Сборнике Пушкинского дома на 1923 г.», П., 1923,

стр. 16 и сл.). В неизданных бумагах Пушкина сохранилась расписка Кнерцера от 28 января 1832 г. на немецком языке, о получении им «vom Herrn von Puschkin Tausend Rubel Assignation» (см. в архиве опеки «Тетрадь разным черновым бумагам, оставшимся по смерти А. С. Пушкина», л. 37). Ср. упоминания о Кнерцере в «Переписке Пушкина», т. II, стр. 367 и т. III, стр. 91 и 244.

4. ПИСЬМО А. П. ПЛЕЩЕЕВА

Почтеннейший Александр Сергеевичь!

Весьма тебе благодарен за высылку 1500 рублей, в счет двух тысячь и тридцати червонцев, должных мне твоим братом, об сих изволиш видеть червонцев, кажется тебе Лев ничего не говорил, думаю оттого, что он позабыл все долги свои, и всякого рода обязательства, а потому прилагаю при сем его письмо, из коего усмотриш, как люди пишут, как кажись чувствуют и как исполняют; господь бог неспосылает на ум тебе скаски и повести, кои ты печатаешь и продаешь, вырученные за оные деньги не бросаешь в Неву реку, а поди чай кладешь в шкатулку; вынь от-туда 500 рублей и 30 червонцев, будь друг и благодетель пришли ко мне; а в проценты пришли бунт Пугачева, до нас еще эта книжица не дошла, —в нашей стороне больше питают брюхо нежели голову (за исключением винных паров, коими приисполнены головы всех классов, полов и родов людей).

Прощай и буть здоров умен богат и развратен как Соломон.

Твой Плещеев.

Каменец-Под. Губер.
Г. Проскуров
Июля 5-го д. [1835]

Командиру 5-й Артиллер. Бригады.

Письмо А. П. Плещеева к Пушкину от 5 июля 1835 г., частично опубликованное в книге П. Е. Щеголева «Пушкин и мужики», М., 1928, стр. 141, полностью печатается впервые. За исключением адреса и строк, выделенных нами разрядкой, письмо писано не самим А. П. Плещеевым, а лишь под его диктовку; автограф Л. С. Пушкина, на который он ссылается в письме, воспроизведен в книге И. А. Шляпкина «Из неизданных бумаг А. С. Пушкина», СПБ., 1903, стр. 189—190.

Александр Павлович Плещеев (1793—1867), дворянин Пензенской губернии, воспитанник 2-го кадетского корпуса, переведен был 7/III 1818 г. из 23-й артиллерийской бригады в Петербург, где и служил до 6/IX 1827 г.; командиром 5 артил. бригады назначен он был в 1835 г., через четыре года произведен в генерал-майоры, а уволен от службы в 1847 г. («Полный список шефов, бригадных, дивизионных и батарейных командиров и офицеров л.-гв. 2-й артил. бригады», СПБ., 1898, стр. 52). Время знакомства А. П. Плещеева с Пушкиным точно неизвестно, но, судя по приписке (неизвестной рукою) к одному из писем Пушкина к брату в 1825 г., он был в то время уже тесно связан с кругом Л. С. Пушкина, С. А. Соболевского и других петербургских окололитературных прожигателей жизни («Письма Пушкина», т. I, Л., 1926, стр. 121).

Печатаемое нами письмо А. П. Плещеева от 5/VII 1835 г. осталось без ответа, ибо 3 октября 1836 г. он вновь обратился к Пушкину с требованием денег: «Время тебе, Александр Сергеевич, рассчитаться со мною; я выручил твоего брата из беды, а ты даже не отвечал на мое письмо; заплатил часть долгу, а от другой как будто бы отказываешься; ты не такой бедняк, а я не такой богач, чтобы тебе не платить, а мне не требовать» (И. А. Шляпкин. «Из неизданных бумаг Пушкина», П., 1903, стр. 284). О долговых обязательствах Л. С. Пушкина и о выплате денег, ссуженных ему А. П. Плещеевым, см. материалы, опубликованные П. Е. Щеголевым в изд. «Пушкин и мужики», М., 1928, стр. 136—141.

5. ПИСЬМО А. И. ХМЕЛЬНИЦКОГО

Милостивый Государь
Александр Сергеевич!

С умом и доброй волею, говорили вы, можно найти место в Петербурге; вот я более двух недель употребил на бесполезное приискивание должности и теперь приведен в такое положение, что даже не могу больше искать себе места. Есть, правда, одно вакантное в Неве, но я берегу его, как последнее убежище. Я был в справочной конторе. Там нет ни одного вызова, на который бы мне можно явиться. — Определение мое во флот зависит от моего личного объяснения с Князем Меньшиковым; а это объяснение, по милости адъютантов, откладывалось со дня на день.—Назад тому дня четыре я просил Н. И. Греча доставить мне литературные занятия, вот ответ его: «скажите мне, что я за несчастный такой, что вы пришли просить у меня места?» В Петербурге называют несчастьем— пособить ближнему.

Мне осталось одно: еще раз просить вас, Александр Сергеевич. Восемдесят, много сто рублей приведут меня в состояние расплатиться с гостиницею, где я живу противу воли и нанять себе где-нибудь уголок.

Я не прошу этих денег как милостыни; вы и сами не захотите так предложить их мне. К ноябрю у меня будет готов перевод сочинения Essai sur l'histoire des Mathematiques par Bossut. Тогда я буду в состоянии возвратить вам эти деньги.

Жду вашего ответа. Человек, который доставит вам это письмо, служит в той гостинице где я живу.

Ваш покорный слуга
Алек. Хмельницкий *. [Август 1836 г.]

На обороте:

Его Благородию
Милостивому Государю
Александру Сергеевичу
Пушкину.
На Гагаринской пристани в доме Баташева
или
На Каменном острове в доме Доливо-Долинского.

Приписка рукою Пушкина к имени и фамилии Хмельницкого:
На Московск. проспекте
Дом Матвеевской. Гостинница купца Яковлева.

Письмо А. И. Хмельницкого очень неточно и без всяких пояснений впервые опубликовано, с разрешения П. Е. Щеголева, в журнале «Ленинград» от 5 июня 1924 г., № 11 (27), стр. 15 и перепечатано М. А. Цявловским в изд. «Письма Пушкина и к Пушкину», М., 1925, стр. 32—33, с предположительной датировкой: «август 1834—осень 1836 г.» Однако сопоставляя это письмо с черновой запиской Пушкина к А. А. Жандру, отнесенной в академическом издании «Переписки Пушкина» ко «второй половине 1836 г.», и учитывая набросанный Пушкиным на обороте письма А. И. Хмельницкого перечень статей и материалов, предназначенных для третьей книги «Современника», можно довольно точно датировать и письмо Хмельницкого, и записку о нем Пушкина августом 1836 г.

Вот что писал Пушкин А. А. Жандру, директору канцелярии Морского министерства: «Осмеливаюсь тебя беспокоить просьбою за молодого человека, мне незнакомого, но который находится в обстоятельствах требующих немедленной помощи. Г. Хм. на днях приехал из Малороссии. Он здесь без денег и без покровителей. Ему 23 года. Судя по его разговору и по письму, мною от него полученному, он умен и имеет благородные чувства. Вот в чем просьба моя к тебе. Он желает

* Рукою Пушкина к имени Хмельницкого сделана приписка Алек-др Ив., т. е. Александр Иванович.

определиться во флот, но до сих пор не имел доступа до князя Меншикова. Я обещался тебе его представить, отвечая за твою готовность сделать ему добро коли только будет возможно» («Переписка Пушкина», т. III, стр. 356—357; вм. «Хм.» ошибочно напечатано «Хл.»).

Судьба ходатайства Пушкина неизвестна, но «молодой человек», с которым ему пришлось столкнуться летом 1836 г., четверть века спустя неожиданно заставил много говорить о себе в петербургских литературных кругах, заняв в 1859 г., руководящую роль в редакции радикального «Русского Слова». Как свидетельствует письмо Я. П. Полонского к А. А. Фету, А. И. Хмельницкий, «личность темная и в литературе совершенно неизвестная», рекомендован был издателю «Русского Слова» графу Г. А. Кушелеву-Безбородко Аполлоном Григорьевым («А. А. Григорьев. Материалы для биографии» под ред. Влад. Княжнина, П., 1917, стр. 257). Обстоятельство это не помешало однако А. И. Хмельницкому вытеснить из журнала всю группу А. А. Григорьева и ориентироваться в своей работе на М. Л. Михайлова, Н. В. Шелгунова и других литераторов, близких кружку Н. Г. Чернышевского.

«Уже с осени 1859 г.,—пишет Н. В. Шелгунов,—начал рыскать по Петербургу, набирать сотрудников и выпрашивать статьи новый уполномоченный графа Кушелева г. Хмельницкий. Г. Хмельницкий был пожилой человек лет пятидесяти, небольшого роста, худощавый, желчный и грубый, с резкими и быстрыми манерами, с вечно оттопыренным карманом сюртука, в котором у него лежал толстый бумажник, и всегда куда-то спешивший. Впрочем, с сотрудниками, которыми Хмельницкий дорожил, он был не только мягок, но даже искателен и вкрадчив. Откуда пришел в журналистику г. Хмельницкий—никто не знал; говорили, что он сам явился к графу Кушелеву и сам предложил себя в управляющие «Русским Словом». Хмельницкий именно управлял «Русским Словом», как он управлял бы домом, заботясь только о хороших жильцах. Он гонялся за именами, известность была для него все, чего он требовал от писателя. Считая пятиэтажный дом лучше трехэтажного, Хмельницкий старался превратить «Русское Слово» в пятиэтажный журнал и доводил книжки до пятидесяти листов. Не знаю, что это стоило Кушелеву, но думаю, что и для его состояния (Кушелев имел 500 тысяч в год дохода) управление Хмельницкого было не из дешевых. С графом Кушелевым Хмельницкий обходился грубо и хвалился тем, что не печатает его повестей. Эта грубость была ненужная и несправедливая, потому что повести Кушелева не были хуже тех, которые однако Хмельницкий печатал. Хмельницкий очень ухаживал за Михайловым и бывал у него нередко. Не знаю, кто указал Хмельницкому на меня, но в один из приездов он просил у меня статью о русском лесоводстве, и я обещал. Статья под заглавием «Одна из административных каст» была напечатана в ноябрьской и декабрьской книжках «Русского Слова» 1859 г. Эта статья была моей лебединой песнью в лесоводчестве и первой статьей, с которой я вступил в общую журналистику, введенный в нее Хмельницким» («Воспоминания Н. В. Шелгунова», П., 1923, стр. 111—112). Ср. Л. П. Шелгунова «Из далекого прошлого», СПБ., 1901, стр. 107 и «Записки Е. А. Штакеншнейдер», «Рус. Вестн.» 1901, кн. VI, стр. 448—450).

Перевод книги Боссю, о котором писал А. И. Хмельницкий в 1836 г. Пушкину, вероятно не был напечатан, но в русской исторической литературе известен его более поздний перевод (с польского) книги И. Лукашевича «История церквей гельветического исповедания в Литве» («Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете» 1846—1847 гг., т. VIII).

6. ПИСЬМО М. Т. ЛЕБЕДЕВА

Милостивейший Государь!
Александр Сергеевичь!

Дерзновение мое принимаю убедительнейше просить особу вашу, о милостивом и снисходительном удостоянии принятием в уважение, повергаемые правосудию вашему нижепомещенные обстоятельства.

Быть может, не без известно и особе вашей, что по зделанному мне от покойной бабушки Марьи Алексеевны, и богохранимой здравствующей матушки вашей Надежды Осиповны доверию, занимался я с 1807-го по 1814-й года делами по Опочецкому имению вашему согласно заключен-

ному контракту, с положением мне жалованья по 50 руб. в месяц; потом руководствуясь сим уполномочием, все меры употреблены были с моей стороны к оправданию возложенной на меня порученности; наконец в течении семи лет, имение сие от всех возникших тогда к нему неправильных притязаний и исков избавлено, и получено во владение доверительниц под мою расписку; а противники, как полагаю я, что и вы изволили быть может наслышанными, в последствии времен уже умершие, г. Толстая, и подпоручик Тимофеев, остались во всех неблагонамеренных

ГОЛОСЪ УКРАИНЦА

ПРИ ВѢСТИ

О

ВЗЯТІИ ВАРШАВЫ

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

въ типографіи Н. Греча.

1831.

ЭКЗЕМПЛЯР КНИГИ О. М. СОМОВА „ГОЛОС УКРАИНЦА ПРИ ВЕСТИ О ВЗЯТИИ ВАРШАВЫ“ С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА ПУШКИНУ

Институт Русской Литературы, Ленинград

предприятиях их навсегда испроверженными; а с тем вместе и всякая собственность ваша по неправильным сих особ исканиям подвергнувшаяся тогда Арестному заведованию, освобождена; и возвращена своевременно в руки законных владетельниц.

В продолжении дел сих встречал я не токмо трудности в защищениях прав к ограждению мне вверенного, но еще несколько кратно сам лично подвергался опасностям быть судимым по возобновляемым клеветам и ябедам г. Тимофеева со стороны г. Толстой о фальшивых документах, кои я обнаружил; но все ухищрения сии с помощию единого токмо бога, были отражены, и я избегнул от угрожавших последствий.

Покойная бабушка ваша в жизнь свою, ценя и уважая труды мои, а не менее того и потерпенные во все то время беспокойствия с неожиданным излиществом, как и самое очищение от всех неблагоприятных случаев имения, вознаграждала меня по условию следующим жалованьем без остановочно; но за остальный 813-й год 600 рублями, и за Генварь 1814 года 50-ю руб. по неимению ею тогда у себя при ращете наличных денег я остался неудовлетворен; в каковой сумме от бабушки вашей выдано мне собственноручная ее того 1814 года февраля 28 дня расписка, для получения моего тех 650 рублей из Михайловского; но токмо оных по отсутствии Марьи Алексеевны, я ни от кого не получил; после же смерти ее, в бытность батюшки вашего Сергея Львовича в том же имении, я лично представ пред ним, просил о моем удовлетворении, но в том мне отказано было с отзывом: что батюшка ваш долгов за Марью Алексеевну платить не обязан.

И так с крайним прискорбием, и неудовлетворительною в руках моих оставшеюся распискою, я должен был предать себя молчанию, опасаясь малейшим образом нарушить спокойствие особ, прежде столь много и бессомненно мне доверявших, требованиями моими где-либо о моем удовлетворении, ожидая единого благотворительного время и случая, представить все то на уважение особы вашей тогда, когда с. Михайловское откроет мне свободный путь во время пребывания в нем вашего; но отвлекаемые меня по крайней нужде моей обстоятельства, недозволили мне иметь щастие предстать к особе вашей, хотя изволили неоднократно посещать его в недавнем пред сим времени.

В таковой всгдашней лестной надежде своей пребывая до сего настоящего времени, и не имея щастия подвергнуть себя милостивому покрову вашему моею личностию, ныне дерзновенную смелость принял, с изъяснением описанных обстоятельств, и представя у сего своеручную покойной бабушки вашей росписку орегиналом в единственную и непосредственную вашу зависимость, убедительнейше просить о снисходительном принятии во уважение мои заслуги, труды и беспокойствия в семь лет мною претерпенные, и о неоставлении за все то милостивою вашею, в память рукописи в бозе опочивающей бабушки вашей, наследственною за нее, и общее имение наградою меня, хоть неполным уже количеством, но по человеколюбию и благоусмотрению вашему, сколько предназначено будет в мое удовлетворение, с преданием прилагаемой расписки всегдашнему забвению.—Я не осмелился бы решиться утруждать Особу вашу, естли бы не был обременен ныне значительным семейством, которое по моему неимуществу, и неимению ни какой должности и занятий, во время поздней 60-ти летней моей доспелости, претерпевает вместе со мною всю крайность бедности.

Долгое удержание мною расписки в безгласности, не извольте причесть к получению по ней удовлетворения моего; в сем уверении, чистою моею признательностию свидетельствуюсь, и в сущей таковой истине, дерзаю призвать себе в помощь самое Высочайшее существо!

В прочем все упование и надежду мою полагать осмеливаюсь в испрошении таковогo благотворения от единого великодушия добродетельной, и человеколюбивой особы вашей; не отвергните моления неимущего и обремененного семейством и обстоятельствами старца; и во дни настоящей скудости его не откажите подать ему рукопомощь, по боговдохновению на благодетельное сердце ваше, великою своею милостию.

В чаянии какового снисходительного благодеяния, с Глубочайшим к особе вашей Высокопочитанием, и униженнейшею преданностию моею щастие имею именоваться

Милостивейший Государь!
Ваш всепокорнейший слуга
Маркел Трофимов Лебедев,
ныне Опочецкий мещанин.

Генваря 27 дня,
1836 года.
г. Опочька,
где и жительство имею.

Письмо М. Т. Лебедева к Пушкину от 27/I 1836 г. печатается впервые. Оно сохранилось в архиве опеки в «Тетради разным черновым бумагам, оставшимся по смерти А. С. Пушкина», л. 114—115. Тяжба, о которой рассказывает бывший управляющий Михайловского, относилась к моменту вступления в права наследства бабки поэта по матери, Марьи Алексеевны Ганнибал (1745—1818), рожд. Пушкиной, второй жены Осипа Абрамовича Ганнибала, умершего в 1806 г. Ответ Пушкина на ходатайство М. Т. Лебедева неизвестен.

7. ПИСЬМА Д. Н. АРСЕНЬЕВА

1

Милостивый Государь
Александр Сергеевичь!

Не любя докучливых людей, весьма понятно опасение мое поставить себя противу вас в подобном виде, тем более что занятия ваши в теперешнем моем бездействии в сто раз полезнее публике, доставлением ей журналом вашим истинную пользу и наслаждение.—Прошу вас милостивый государь, не озаботить себя ответом на мое письмо, я хочу только уведомить вас о необходимости моей ехать по первому пути обратно в Смоленск, в совершенном уверении оставляя вам объяснение мое, видеть его в руках достойнейшего человека умеющего ценить в полной мере обиду мне нанесенную.

С истинным уважением честь имею быть
Милостивый Государь
ваш покорнейший слуга
Дмитрий Арсеньев.

Октября 29-го дня
1836 года.

2

Милостивый Государь
Александр Сергеевичь!

Снисходительность ваша ободряет меня просить вас, милостивый государь, справится о чине Павла Ивановича Арсеньева, в объяснении моем упомянутом; он кажется при отставке получил чин генерал-лейтенанта и служил кавалером при воспитании нынешнего Государя.

Поручая обстоятельство, так сильно меня оскорбляющее, вниманию вашему, с истинным почтением честь имею быть

Милостивый Государь
вашим покорнейшим слугою
Дмитрий Арсеньев.

Декабря 14-го дня
1836 года.
Смоленск.

Письма Д. Н. Арсеньева к Пушкину от 29 октября и 14 декабря 1836 г. печатаются впервые.

Дмитрий Арсеньев—вероятно Дмитрий Николаевич Арсеньев (род. 21/XI 1779, умер 5/IV 1846 г.), отставной полковник л.-гв. Уланского полка, короткое время бывший флигель-адъютантом (с 1812 г.) и уволенный вовсе от службы в 1815 г.; смоленский помещик, впоследствии камергер. О Д. Н. Арсеньеве см. «Род дворян Арсеньевых» 1389—1901 гг., Тула, 1903, стр. 64; П. О. Бобровский «История л.-гв. Уланского ее величества госуд. императрицы Александры Федоровны полка», приложение к I тому, СПБ., 1903, стр. 157—158; «Сборник биографий кавалергардов 1801—1826» под ред. С. А. Панчулидзева, т. III, СПБ., 1906, стр. 22. Следует отметить, что П. Е. Щеголев склонен был считать корреспондентом Пушкина другого Арсеньева, также Дмитрия Николаевича (род. 1789, ум. в 1852 г.), отставного титулярного советника, известного московского игрока 20—30-х годов, высланного в феврале 1836 г. в Кадников, Вологодской губернии под надзор полиции, с воспрещением навсегда въезда в обе столицы; 6/IV 1837 г. он получил разрешение вновь вступить на государственную службу, но лишь в пределах Вологодской губернии (см. «Опись дел Архива государственного совета», т. II, СПБ., 1908, стр. 205 и материалы о службе Д. Н. Арсеньева в Архиве деп. герольдии Прав. Сената за 1840 г.). Мы полагаем, что самым фактом проживания Д. Н. Арсеньева под надзором в Кадникове исключается возможность появления его через несколько месяцев в Петербурге и в Смоленске.

Остается невыясненным, от какой обиды должен был Пушкин защитить Арсеньева. Неясно, в каком отношении к этой обиде стоял Павел Иванович Арсеньев (1770—1840), генерал-лейтенант, женатый на гр. Е. М. Каховской, родной сестре жены Д. Н. Арсеньева. Будучи полковым командиром, П. И. Арсеньев состоял «кавалером» или воспитателем при великих князьях Николае и Михаиле Павловичах. Внучки его—Ольга и Любовь Голынские; последняя замужем за графом Борхом, которому отводится несколько строк в истории последней дуэли Пушкина. Этому П. Н. Арсеньеву в июне 1835 г. из кабинета е. и. в. было отпущено 10 тыс. руб. неизвестно за что (см. П. Е. Щеголев. «Дуэль и смерть Пушкина», 3-е изд., ГИЗ, 1928, стр. 450).

IV. ПИСЬМА ЛИТЕРАТОРОВ К ПУШКИНУ

Совершенно особой и в историко-литературном плане наиболее ценной частью публикуемой нами переписки Пушкина являются обращения к нему его собратьев по перу—прозаиков, поэтов, ученых и журналистов, связанных с ним не столько интимно-бытовыми, сколько чисто профессиональными отношениями. Писем этих немного, но, приходясь на последнее шестилетие жизни Пушкина и принадлежа такой колоритной фаланге его корреспондентов, как О. М. Сомов, П. П. Свиньин, И. Т. Калашников, Н. Г. Устрялов, граф Д. И. Хвостов и кн. П. И. Шаликов, вся совокупность вновь вводимых в научный оборот эпистолярных документов проливает новый свет на исключительную сложность и противоречия общественно-литературной позиции Пушкина в период между крахом «Литературной газеты» и стабилизацией «Современника».

1. ПИСЬМА О. М. СОМОВА И МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ ИЗДАНИЯ «СЕВЕРНЫХ ЦВЕТОВ НА 1832 ГОД»

1

Милостивый Государь
Александр Сергеевич!

По милости окаянной холеры, мы, бедные Петрополитанцы, должны сидеть на привязи и не выказывать носа из столицы. Давно собирался я Вас поздравить, с тем, что по слуху мне известно: именно с званием Историографа Петра I, с коллежской службой и пр.[1]; но всё надеялся высказать это поздравление языком, а не пером. Теперь же, кажется, нет к тому и близкой надежды. Бога ради, известите меня, как скоро можно будет ездить в Царское Село. Пора думать и о Северных Цветах, у меня уже запасено кое-что моего и чужого (в числе последнего, нигде еще не напечатанная и мало кому известная повесть Батюшкова, в прозе)[2]. До меня дошли также слухи, что у Вас есть пять повестей готовых:[3] не

уделите ли из них малую толику для общего дела?—Розен написал весьма хороший разбор Бориса Годунова и отдал его мне[4]. Это бы надобно было прочесть вместе.

У меня затей, затей! полны карманы. Во-первых: у меня растет Борода Богдана Бельского, и разрастется тома на два; во-вторых: я ухватился за любимую мечту мою, Хмельницкого; собрал об нем все, что можно, и теперь его обдумываю и передумываю. Не назову его ни историческим романом, и даже не окрещу именем Хмельницкого; но это будет просто малороссийская быль: Оклечай.— Гайдамак мой подвигается к концу, и в марте, может быть, выкажет нос из-под спуда. Кроме того, у меня впялено еще несколько малороссийских былей меньшего объема[5].

Вот вам и чужая просьба: актриса Валберхова-старшая просит у вас позволения на бенефис ее сыграть одну или две сцены из Бориса Годунова. Кажется, она особенно метит на сцену Марины с Лжедимитрием[6]. Позволите ли Вы ей? В таком случае, сделайте одолжение, уведомьте меня поскорее.

В 13 № Телескопа напечатана статья презабавная: Торжество дружбы, в защиту А. А. Орлова[7]. Сочинитель, кажется, псевдоним:

Я по зубам узнал его тотчас.

Новостей замечательных здесь нет, кроме разве, что у меня родился сын, малый прешумливой.

От Софьи Михайловны получил я письмо: она уехала в Чернь, к матери покойного нашего друга.

26-го Августа я пил здоровье Натальи Николаевны, а теперь прошу Вас засвидетельствовать ей мое почтение.

Скоро ли то пречистая богородица сподобит меня увидеть Вас? О сем же молю ее благостыню, да не убо преидет глас моления моего втуне. — В ожидании, с душевным почтением и преданностию пребываю

С.Петербург
Августа 31 дня
1831.

Ваш покорнейший слуга
О. Сомов.

P. S. Письма ко мне адресуются: в Глухом переулке, в доме майорши Брюн (Brun).

2

СЧЕТ

Александру Сергеевичу Пушкину, из Типографии Департамента Внешней Торговли.

За напечатание для Вас Альманаха Северные Цветы, 16½ листов, каждого листа по 1200 экземпляров, по 40 рублей с листа, следует Типографии . . . . 660 руб.

К Альманаху 1200 оберток и особо от Альманаха, 3-х статей:

1) Opere del Cavaliere	40 экз.	40 руб.
2) О жизни растений	20 »	
и 3) Мирра. Поэма	10 »	

Всего . . . 700 руб.

24 Декабря
1831.

Смотритель Типографии Зотов.

Триста рублей получил Зотов. 24 Декабря 1831 года.

3

СЧЕТ

изданию Северных Цветов, на 1832-й год[9].

	Руб.	Коп.
Печатание (набор и оттиск) книжки, 16½ листов, с двумя перепечатками стихов Жуковского и Дмитриева и листка в статье Кн. Одоевского, с особыми отпечатками статей: К. Одоевского, Максимовича и Деларю, с составом и оттиском обертки и пр., по 40 р. за лист	700	—
Бумаги Петергофской 50 стоп, по 25 р. за стопу	1250	—
Бумаги для обертки ½ стопы, по 20 р.	10	—
Гравирование виньетки	150	—
За бумагу для виньетки, 100 листов, по 75 р. стопа	16	—
За оттиски виньетки, 1200 экземпляров	36	—
За переплет 6-ти ценсурных экземпляров	6	—
За бумагу цветную для нарядных экземпляров 1) 10 листов, по 2 р. за лист . . . . . 20 2) 10 листов, по 1.50 к. за лист . . . . 15 3) 10 листов, по 1 р. за лист 10	45	—
За отправление на почту экземпляров: Языкову, Киреевскому, Максимовичу, Тепловым и припечаток для Максимов.	6	—
За отправление на почту нарядных экземпляров: Глинке, Лажечникову и С. М. Баратынской	3	6
Печатнику эстампов Г-ну Сыченеву, за отпечатание 1200 экз. виньетки	48	—

В то число уплачено:

Типографии	300	—
В бумажную лавку Г-на Заветнова, И. В. Сленин взялся уплатить за купленные им 100 экз.	1000	—
Граверу Г-на Чесскому, за виньетку	150	—
За 100 листов бумаги французской (grand papier raisin à estampes)	16	—
За бумагу для оберток	10	—
За переплет 6-ти ценсурных экземпляров	6	—
За цветную бумагу для нарядных экземпляров	45	—
За пересылку 5 экз. с припечатками для Максимовича	6	—
Переплетчику Кисветеру за нарядные и прочие экземпляры впредь до расчета	100	—
За пересылку 3-х нарядных экземпл.	3	6
Еще типографии уплачено	200	—
Г-ну Сыченеву за отпечатание виньетки	48	—

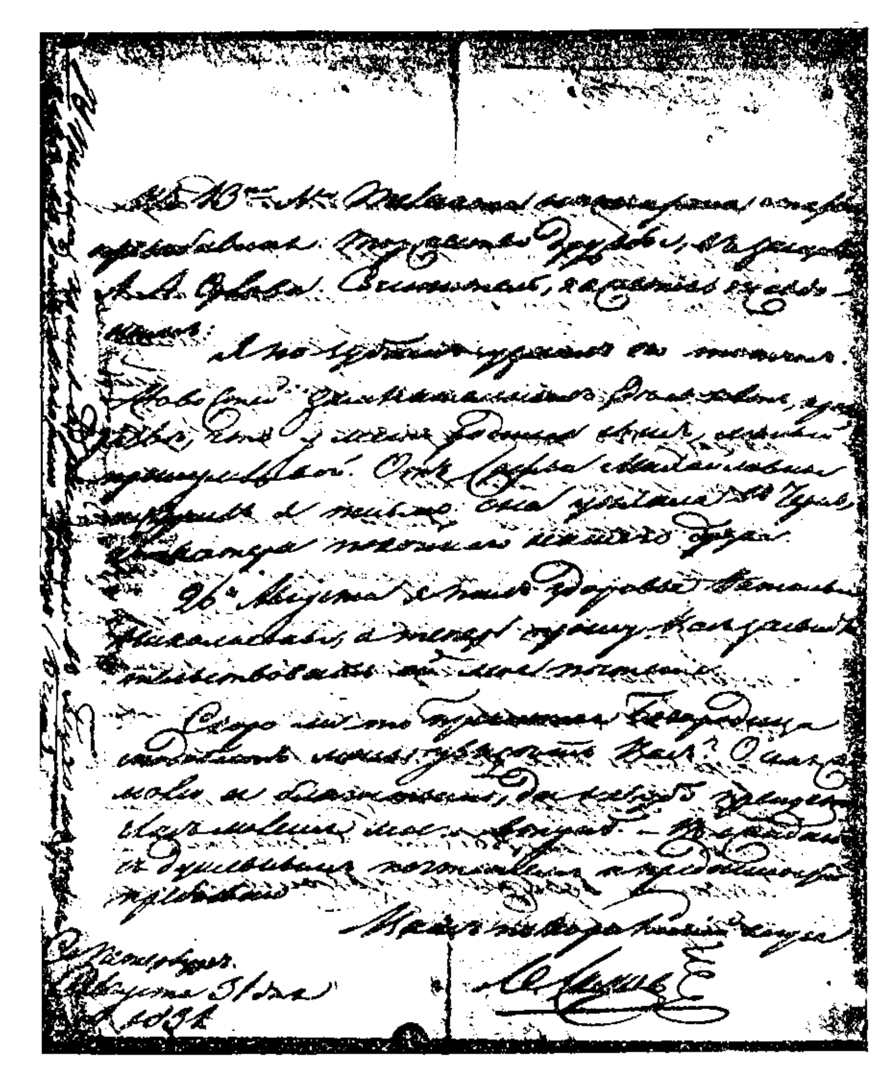
Счет экземпляров.

И. Васильевичу Сленину	100
А. Ф. Смирдину	100
Еще ему же	100
Заикину	25
Глазунову Московскому	25
Еще Сленину	100

4

Милостивый Государь
Александр Сергеевич!

От Смирдина я получаю, по договору с Гречем, всего только 800 р. в год, чему может служить доказательством собственноручная записка Греча, остающаяся еще теперь в руках Смирдина. Остальные 1000 р.,



ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА АВТОГРАФА ПИСЬМА С. М. СОМОВА К ПУШКИНУ ОТ 31 АВГУСТА 1831 г.

Бумаги П. Е. Щеголева (ныне в ИРЛИ), Ленинград

по общему нашему с Гречем условию, предоставил я в распоряжение Ваше, и вам стоит только взять Ассигнацию от Греча на имя Смирдина или кого угодно. Удивляюсь, как Смирдин не понял этого из моей записки, где именно сказано, что я первые только д в а месяца, по болезни моей, беру у него по 150 р., остальные же 10 месяцев буду получать по 50 р., что и составит всего на всё 800 р. Следовательно, вы можете легко распорядиться с Гречем насчет 1000 р., им у меня удерживаемых именно для Вас.

Удивляюсь, что у переплетчика так мало оказалось экземпляров налицо; по моему счету, у него должно оставаться гораздо более; разве только он не все получил из типографии, или выдавал кому-либо из книгопродавцев, не дав мне знать; ибо до сей поры он не представил мне счетов. Одно мне весьма прискорбно: что Вам неугодно было, при издании Сев. Цветов, послушаться меня, и принять труд распоряжаться продажею оных и проч. или Вам самим, или поручить сие П. А. Плетневу, как я тогда предлагал: тогда и Вы, и я, избавились бы всех этих хлопот и недоразумений, а у меня бы, в буквальном смысле, гора с плеч свалилась. Я всегда был плохим счетчиком, особливо в своем деле. Таким образом, напечатав Записки Вутье[10], я выручил в очистку только 700 р., тогда как книгопродавец получил за них барыша более 8 тыс. Покойный Дельвиг знал мою арифметическую бестолковость, и потому все счеты принимал на себя. Одни faux-frais всегда очищали у меня карман до копейки.

Жаль, что я теперь болен, и так, что мне запрещено выходить на воздух; иначе я сделал бы поверку получений переплетчика с выдачами фактора типографии и с моими счетами. Еще должно оставаться около 100 экземпл. у Сленина, да он же по прежнему счету, за расходами, остался должен за Сев. Цвет[ы] 262 р. — Как по объявлению Смирдина, он совершенно счелся с ним даже включая и эту сумму, то оную и следует получ[ить] от Сленина. Посему и прилагаю здесь собственноручное письмо Сленина к Смирдину касательно этой суммы, которой я и не думал брать ни от того, ни от другого.

Впрочем, весь *déficit я принимаю на себя, ибо конечно в нем никто* кроме меня не виноват; и если болезнь не помешает мне окончить одной из больших моих работ, то я из первых выручек за оную обязуюсь уплатить Вам или по Вашему назначению 2000 р. (сверх этой 1000); если же мне не удастся, то дам Вам заемное письмо на сию сумму; уплатить же оную трудами моими мне бог поможет.

Здоровы ли Вы и всё Ваше любезное семейство?—У меня все больны: о себе уже и не говорю, это письмо пишу я целую неделю; поминутные вертижи в голове и блестки в глазах не дают мне заняться и четверти часа сряду. Беда человеку семейному, обязанному кормить себя и семью свою из трудовых денег, занемочь и быть несколько времени неспособным к работе.

[Ян]варя 18—24 1833.

Ваш покорный слуга
О. Сомов.

Сверх моей хронической, вновь измучившей меня болезни, рифмующей с древнею ге[роид]ой, с прошедшей недели на меня напал грипп со всеми своими любезностями.

Приложения к письму О. М. Сомова:

1 [Записка И. В. Сленина.]

Милостивый Государь
Александр Филиппович.

Вы бы меня весьма одолжили, ежели бы уплатили за меня Оресту Михайловичу Сомову 262 рубл. Я остаюсь ему должен сию сумму за Северные Цветы; а денег нет ни сколько.

Апреля 28 дня 1832.

Вам преданный слуга
И. Сленин.

На обороте: Милостивому Государю Александру Филипповичу Смирдину.

2 [Справка переплетчика.]

Тритцать в тарова году находится в меня Северных цветов 490 экзем. Следует получить по щету Сомову 73. Посылаю Дочь купца Жолобова 200 экз.: третий части, 4-й части 101 экз. Тюк I-й части 100 экземпляров.

8-ва Ноября
1832 года

[1] Повеление Николая I об определении в Государственную коллегию иностранных дел «известного нашего поэта, титулярного советника Пушкина, с дозволением отыскивать в архивах материалы для сочинения истории императора Петра I» официально было сообщено А. Х. Бенкендорфом графу К. Ф. Нессельроде 23 июля 1831 г. («Пушкин. Документы Государственного и С.-Петербургского Главного Архивов Министерства Иностранных Дел, относящиеся к службе его 1831—1837 гг.», СПБ., 1900, стр. 17). Сам Пушкин был очень удовлетворен этим назначением и еще за день до официального оформления последнего писал П. А. Плетневу:

«К стати, скажу тебе новость (но да останется это, по многим причинам, между нами): Царь взял меня в службу, но не в канцелярскую или придворную, или военную,—нет, он дал мне жалование, открыл мне архивы, с тем чтоб я рылся там и ничего не делал» («Переписка Пушкина», т. II, стр. 287). Несмотря на то, что зачисление поэта на службу отвечало прежде всего интересам самого Николая, ни сам Пушкин, ни его друзья не разобрались в подоплеке этого политического акта и наивно принимали его лишь как «высочайшую милость». От Плетнева узнал о ней и О. М. Сомов, писавший 20 августа М. А. Максимовичу: «Скажу вам приятную новость. Пушкин сделан историографом Петра Великого, причислен к Иностранной коллегии и велено открыть ему все возможные архивы. Спасибо царю за Пушкина» («Рус. Филол. Вестн.» 1908, № 4, стр. 330). Ср. отклики на назначение Пушкина в письмах А. И. Тургенева к брату от 15 и 26 сентября *1831 г. («Журн. Мин. Нар. Просвещ.» 1913, кн. 3, стр. 19—22) и Н. М. Языкова* и В. Д. Комовского к А. М. Языкову от 4 и 16 октября («Истор. Вестн.» 1883, кн. XII, стр. 532—533). Характерно, что самое звание историографа, которое подчеркивал О. Сомов, официально Пушкину дано не было, чего впрочем и сам он не домогался: «Не смею и не желаю взять на себя звание Историографа после незабвенного Карамзина,—писал Пушкин перед своим назначением А. Х. Бенкендорфу,—но могу со временем исполнить давнишнее мое желание написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III» («Переписка Пушкина», т. II, стр. 278—279).

[2] Повесть К. Н. Батюшкова «Предслава и Добрыня», написанная в 1810 г., напечатана была в «Северных Цветах на 1832 год» в отделе «Проза», стр. 1—46. Публикации этой было предпослано несколько строк слащаво-информационного примечания, которое Н. О. Лернер, с обычно несвойственной ему наивностью, приписал Пушкину: «И по языку [?], и по содержанию [?] заметки ясно [?], что она могла быть написана не Сомовым [?], не Плетневым [?], а только [?] Пушкиным; к тому же, её никому другому и приписать нельзя, кроме Пушкина [?], который редактировал тот альманах, в котором была напечатана повесть Батюшкова» («Пушкин и его современ.», вып. XVI, СПБ., 1913, стр. 40—41; перепечатано в «Пушкине» под ред. С. А. Венгерова, т. VI, П., 1915, стр. 216—217). Однако резко несоответствуя прозаическому стилю Пушкина 30-х годов (ср. напр. строки о «нежных, благородных чувствованиях» и «поэтической душе Батюшкова, отсвечивающей в повести»), предисловие к «Предславе и Добрыне» и тематически, и стилистически очень характерно для информационно-критических заметок О. М. Сомова, который, как свидетельствует печатаемое нами его письмо к Пушкину, и достал для «Северных Цветов» неизданную рукопись Батюшкова. О ближайшем участии О. М. Сомова в редактировании «Северных Цветов на 1832 год» см. след. письмо и примечания к нему.

[3] Предложение О. М. Сомова «уделить» для альманаха какую-нибудь из готовых «пяти повестей» Пушкин не мог принять потому, что отдельное издание «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина» было в это время уже в цензуре и вышло в свет за несколько месяцев до «Северных Цветов на 1832 год».

[4] Разбор «Бориса Годунова», написанный Е. Ф. Розеном для «Литературной Газеты» в виду прекращения издания последней появился в печати только в 1833 г. в «Dorpater Jahrbücher für Litteratur, Statistik und Kunst, besonders Russlands» 1833, I Band, S. 43—59. Ср. «Мнение барона Е. Ф. Розена о драме А. С. Пушкина

«Борис Годунов». Из дерптского журнала Dorpater Jahrbücher. С немецкого А. Савицкий («Литер. Приб. к Рус. Инвалиду» 1834, № 2 и 3). Сам Розен писал о своем разборе 19 июля 1831 г. С. П. Шевыреву: «...Вышел Борис Годунов Пушкина, и никто из критиков-самозванцев не умел оценить этого прекрасного творения! Кривые толки, косые взгляды, шиканье, дурацкий смех—вот чем приветствовали Годунова, творец коего во времена Петрарки и Тасса был бы удостоен торжественного в Капитолии коронования. За отсутствием лучших критиков, я написал рецензию Годунова, которая будет напечатана в Литературной Газете, издаваемой Сомовым. Кроме того, я еще перевел его на немецкий язык с рукописи автора и заслужил его восторженную благодарность и хвалу Жуковского» («Русский Архив» 1878, т. II, стр. 47; ср. К. Я. Грот «Страничка из прошлого», отд. отт. из «Правит. Вестника» 1904 г., №№ 69 и 70, стр. 4).

Свой «разбор» бар. Розен в виду закрытия «Литературной Газеты» предполагал использовать в качестве предисловия к переводу «Бориса Годунова». По крайней мере Пушкин писал ему: «Горю нетерпением прочитать ваше предисловие к Борису; думаю, для второго издания написать к вам письмо, если позволите, и в нем изложить свои мысли и правила коими руководствовался сочиняя мою трагедию» (М. А. Цявловский. «Письма Пушкина и к Пушкину», М., 1925, стр. 16).

[5] Произведения, о работе над которыми О. М. Сомов осведомлял Пушкина, частью известны только в отрывках, частью вовсе не сохранились. Так «Отрывок из были времен Годунова: «Борода Богдана Бельского» появился в альманахе «Альциона» на 1832 г., СПБ., 1832, стр. 121—130. Из повести «Хмельницкий» очевидно ничего не попало в печать. Роман «Гайдамак», отдельные главы которого печатались в «Звездочке» 1826 г., «Невском альманахе» 1827 г., «Северных Цветах на 1828 год», в «Сыне Отечества» 1829 г. и в «Деннице» 1830 г., остался недописанным. Наконец из «малороссийских былей» Сомова известны нам «Бродящий огонь» («Альциона на 1832 год»), «Киевские ведьмы» («Новоселье» 1833 г.) и «Недобрый глаз» («Утренняя Звезда» 1834 г.).

[6] Ответ Пушкина на просьбу О. М. Сомова неизвестен, но даже в случае согласия его на постановку той или иной сцены из «Бориса Годунова» в бенефис М. И. Валберховой последняя не могла бы воспользоваться предоставленным ей правом: «Борис Годунов» был театральной цензурой запрещен.

«В начале тридцатых годов,—свидетельствует в своих воспоминаниях А. М. Каратыгина,—Александр Сергеевич при И. А. Крылове читал у нас своего «Бориса Годунова». Он очень желал, чтобы мы с мужем прочитали на театре сцену у фонтана Димитрия с Мариною. Несмотря однако же на наши многочисленные личные просьбы, гр. А. Х. Бенкендорф, с обычною своею любезностью и извинениями, отказал нам в своем согласии: личность самозванца была тогда запрещенным плодом на сцене» («Записки П. А. Каратыгина» под ред. Б. В. Казанского, т. II, Л., 1930, Приложения, стр. 284). В 1833 г. о разрешении постановки «Сцены у фонтана» из драмы «Борис Годунов» ходатайствовал московский Малый театр, но получил отказ, мотивированный «известной неодобрительной резолюцией Николая I об этой вещи» (Н. В. Дризен. «Драматическая цензура двух эпох» [П., 1917], стр. 144). Очевидно имелась в виду царская сентенция о «Борисе Годунове», официально доведенная до сведения Пушкина 14 декабря 1826 г.: «Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если б с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман, наподобие Вальтера Скота». Резолюция эта задержала, как известно, и самую публикацию «Бориса Годунова» на пять лет.

С Марьей Ивановной Валберховой (1788—1867), одной из лучших учениц кн. А. А. Шаховского, Пушкин был хорошо знаком еще в пору «Зеленой лампы» и в начале 1820 г. охарактеризовал ее как «прекрасную комическую актрису», особенно запомнившуюся ему в «Мизантропе», «Нечаянном закладе» и «Пустодомах» («Мои замечания об русском театре»).

[7] Памфлетная статья Пушкина «Торжество дружбы или оправданный А. А. Орлов» впервые опубликована была в «Телескопе» 1831 г., № 13, стр. 135—144 под псевдонимом Феофилакта Косичкина.

[8] Софья Михайловна Дельвиг (1806—1888)—вдова поэта. Письма ее к О. М. Сомову в печати неизвестны.

[9] Издание «Северных Цветов на 1832 год» было задумано и осуществлено по инициативе Пушкина. Альманах по начальному, впоследствии несколько измененному плану (в него не вошли биографические и мемуарные материалы о Дельвиге) посвящался памяти А. А. Дельвига, умершего 14 января 1831 г., а вся чистая прибыль от издания предназначалась его семье.

«Бедный Дельвиг!—писал Пушкин 31 января П. А. Плетневу.—Помянем его Северными Цветами; но мне жаль, если это будет ущерб Сомову; он был искренно к нему привязан, и смерть нашего друга едва ли не ему всего тяжеле: чувства души слабеют и меняются, нужды жизненные не дремлют».

Эта забота об интересах О. М. Сомова как ближайшего сотрудника Дельвига по «Литературной Газете» и «Северным Цветам» была учтена в ответном письме Плетнева от 22 февраля 1831 г.: «Ты упоминал об издании Северн. Цветов. Это непременно сделать надобно с посвящением Дельвигу. Сомова можно будет вознаградить из выручки такою же суммою, какая приходилась на его долю и прежде» («Переписка Пушкина», т. II, стр. 225).

Заботы о собирании материалов для альманаха занимали Пушкина в течение всего года. Из многочисленных упоминаний об этом начинании в переписке поэта отметим еще только два:

ЭКЗЕМПЛЯР АЛЬМАНАХА „СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ на 1832 г." С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ПЛЕТНЕВУ ОТ ПУШКИНА

Собрание П. П. Щеголева, Ленинград

«Что же Цветы? ей-богу, не знаю, что мне делать,—писал Пушкин 3 августа Плетневу, в самый разгар холерных беспорядков 1831 г.—Яковлев пишет, что покаместь нельзя за них приняться. Почему же? Разве типография остановилась? Разве нет бумаги? Разве Сомов болен или отказывается от издания?»

А примерно через месяц, в торопливой записке к П. А. Вяземскому, Пушкин напоминал: «У Дельвига осталось два брата без гроша денег, на руках его вдовы, потерявшей большую часть маленького своего имения. Нынешний год мы выдадим Сев. Цветы в пользу двух сирот.—Ты пришли мне стихов и прозы; за журнал наш примемся после».

При энергичной поддержке Вяземского, Плетнева, Баратынского, Жуковского, Сомова и других поэтов и прозаиков, близких «Литературной Газете», альманах был закончен формированием в первых числах октября 1831 г. Сам Пушкин отдал в «Северные Цветы» десять своих произведений, в том числе «Моцарт и Сальери», «Анчар», «Бесы», «Делибаш» и «Эхо», «Дорожные жалобы» и «Анфологические эпиграммы».

2 октября 1831 г. в «Северной Пчеле» появилась краткая информационная заметка: «Альманах Северные Цветы на 1832 год издается А. С. Пушкиным. Цена прежняя». 9 октября альманах в рукописи прошел через цензуру, а около 24 декабря вышел в свет.

Как инициатор и главный редактор альманаха Пушкин должен был принять на себя и некоторые денежные обязательства, связанные с изданием. Ближайшее же наблюдение за печатанием и художественным оформлением книги, сношения с авторами, все расчеты с типографией и книгопродавцами передоверил О. М. Сомову. Последний оказался однако настолько плохим хозяйственником, что издание, игравшее в течение нескольких лет очень заметную роль в бюджете Дельвига, под эгидой Пушкина едва оправдало издержки. Из отпечатанных 1200 экз. альманаха около 500 экз. к концу года оставалось еще у переплетчика, отчетность по продаже остальных была в самом хаотическом состоянии, часть же наличных денежных поступлений от книгопродавцев оказалась фактически растраченной. Документальный материал по истории издания «Северных Цветов на 1832 год», сохранившийся в печатаемой нами серии неизвестных бумаг Пушкина («Тетрадь разным черновым бумагам, оставшимся по смерти А. С. Пушкина», лл. 7, 9, 21, 26, 27), очень важен для уяснения подоплеки не только его случайного конфликта с Сомовым, но и для общей характеристики финансово-технической базы операций «альманашников» 20—30-х годов.

Итак, если непроданных оставалось на складе 490 экз., да число бесплатно-обязательных (авторских, редакторских, цензурных и пр.) определить максимальной цифрой 60—70, то вся валовая выручка от продажи 640 экз., при цене книги в 12 р. и при обычной 20-процентной скидке книгопродавцам, должна была дать 6400 рублей. За вычетом расходов в размере 2270 р. чистая прибыль от издания не могла быть меньше 4130 руб. Часть этой суммы О. М. Сомов должен был очевидно удержать за свои труды, чем и объясняется его признание в письме к Пушкину от 18—24 января 1833 г. о долге в 3000 рублей. Нужда и болезни Сомова не позволяли рассчитывать на получение этих денег, да и самое признание им долга последовало после долгих проволочек и уклонения от отчетности. Еще 10 сентября 1832 г. Н. И. Греч писал Булгарину о том, что «Сомов совершенно отринут Пушкиным и никакого участия ни в чем с ним не имеет» («Пушкин и его современ.», в. 5, стр. 57—58), а С. Д. Комовский, извещая А. М. Языкова 16 ноября о затеваемой Пушкиным большой политической и литературной газете, писал, что Пушкин «Разладил с Сомовым за благоразумное присвоение почтенным Орестом Михайловичем денег, которые выручил от издания «Северных Цветов», вследствие чего должность поверенного и хлопотуна отнята у Ореста и в оную облечен Наркиз Отрешков» («Истор. Вестник» 1883, кн. XII, стр. 535).

Бесхозяйственность и денежная некорректность Сомова поставила Пушкина в очень двусмысленное положение перед родными Дельвига.

«После смерти Дельвига мать его с детьми осталась в очень бедном положении,— вспоминал племянник поэта. — Пушкин вызвался продолжать издание «Сев. Цветов» в их пользу, о чем и было заявлено. «Сев. Цветы» были изданы только один раз на 1832 г., и сколько очистилось от их издания, я никогда не мог узнать. Без сомнения не было недостатка в желании помочь семье Дельвига, но причину неисполнения обещания поймет всякий, кто знал малую последовательность Пушкина во многом из того, что он предпринимал вне его гениального творчества» (Бар. А. И. Дельвиг. «Мои воспоминания», М., 1912, т. I, стр. 56).

Семья Дельвиг таким образом осталась вовсе неосведомленной о том, что вся прибыль от издания последних «Северных Цветов» была растрачена О. М. Сомовым и что Пушкин вел очень долгую и упорную борьбу за возвращение хотя бы части этих денег. Так в декабре 1832 г. он попытался сократить часть долга Сомова удержаниями из его гонорара в «Сыне Отечества», но Н. И. Греч должен был разъяснить: «Что касается до оклада Сомова, то поелику сей оклад следует ему с 1-го Января 1833, а доходы начнутся с того же числа, то я и не могу исполнить теперь вашего желания; но по наступлении срока дам ассигнацию на Смирдина» («Переписка Пушкина», т. II, стр. 399).

В печатаемом нами письме от 18—24 января 1833 г. Сомов вновь предложил Пушкину воспользоваться этой «ассигнацией на Смирдина», но едва ли это предложение его могло быть реализовано. Тяжелая болезнь исключала возможность его редакционно-технической работы в «Сыне Отечества» по контракту с Гречем и Смирдиным, а надежды на расчет с Пушкиным «другими трудами» разрушены были смертью Сомова 27 мая 1833 г.

[10] Книга, о которой упоминает О. М. Сомов, была издана под названием «Записки полковника Вутье о нынешней войне Греков»—2 части, СПБ., 1824—1825.

2. ЗАПИСКА Д. И. ХВОСТОВА

Свидетельствуя почтение приятелю-современнику, знаменитому поэту Александру Сергеевичю Пушкину, посылаю ему песеньку моего сочинения на музыку положенную и прошу в знак дружбы ко мне доставить оную вашей Наталье Николаевне.

Приимите уверение искренней преданности и дружбы, с коими есть и буду

Покорный слуга
Граф Хвостов.

1832 года
августа 2 дня.

На обороте:
Его Благородию
Александру Сергеевичу
Пушкину
от графа Хвостова.

Записка графа Дмитрия Ивановича Хвостова (1757—1835) от 2 августа 1832 г. к Пушкину печатается впервые. Она писана чернилами на двух листах почтовой бумаги большого формата. Первый лист занят письмом, второй—адресом. Записка была сложена вчетверо, особым образом свернута и запечатана розовой облаткой. Ответ на нее Пушкина известен (см. «Переписку Пушкина», т. II, СПБ., 1908, стр. 386—387), но точная дата его определяется только сейчас. На обороте первого листа записки Д. И. Хвостова сохранился черновой карандашный набросок ответа Пушкина, несколько отличающийся от окончательной его редакции. Вот текст этого черновика:

Жена моя [сердечно] искр. благодарит Вас за неожиданный и приятный подарок.

Позвольте [и мне присоединить] принести В. С. [и] мою сердеч. благодарность—Я в долгу пред Вами—[вот уже] 2 раза [как обратили вы на меня свое внимание] и почтили вы меня звуками лиры заслуженной и вечно юной—[Я отмалчиваюсь] На днях жена и [я?] будем иметь честь явиться к Вам с визитом—[Горя]

«Песенка, на музыку положенная», которая была послана Пушкину при печатаемой нами записке, известна. Это стишки гр. Д. И. Хвостова «Соловей в Таврическом саду» со следующей концовкой:

Пусть голос соловья прекрасный,
Пленяя, тешит, нежит слух,
Но струны лиры громогласной
Прочнее восхищают дух.
Любитель муз, с зарею майской,
Спеши к источникам ключей:
Ступай подслушать на Фурштатской,
Поет где Пушкин-соловей!

Этим стихам Д. И. Хвостова предшествовало его же послание «А. С. Пушкину, члену Российской Академии, 1831 года, при случае чтения стихов его о клеветниках России» («Когда кипела в жилах кровь» и пр.).

Признавая себя в долгу перед Хвостовым за эти «звуки лиры заслуженной и вечно юной», Пушкин в начале 1833 г. помянул его в «Медном Всаднике»:

...Граф Хвостов,
Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье невских берегов.

Однако это иронически-глумливое отношение Пушкина к «лире» графа Д. И. Хвостова, запечатленное еще в посланиях и эпиграммах лицейской поры и достигшее

высшего своего выражения в пародической «Оде его сиятельству графу Хвостову», ни в какой мере не распространялось на общественно-политическую деятельность последнего. Как один из старейших и деятельнейших сенаторов граф Д. И. Хвостов отличался известной независимостью и широтою взглядов и пользовался большим авторитетом в кругах умеренно-либеральной дворянской общественности 20—30-х годов. Очень характерно, что на втором листе печатаемого нами письма, около адреса, Пушкин набросал карандашом несколько почти не поддававшихся

НАДПИСЬ Д. И. ХВОСТОВА НА ОБОРОТЕ ПИСЬМА К ПУШКИНУ

Бумаги П. Е. Щеголева (ныне в ИРЛИ), Ленинград

расшифровке строк, представляющих собою, как мы полагаем, беглую запись вопросов, для выяснения которых он предполагал обратиться к Д. И. Хвостову при предстоящем свидании:

Постановл[ение]
о дворне
и о прочем
О уничт. розн.
Новое пост. Сен.—
и в чем состоит.

Судя по тому, что указ Сенату о воспрещении помещикам «назначать в продажу за долги дворовых людей, а также о запрещении продавать и передавать их в посторонние руки, с раздроблением семейств» датируется 2 мая 1833 г. («Полн. Собрание Законов», собр. 2, т. VIII, № 6163; ср. В. И. Семевский. «Крестьянский вопрос в России в XVIII и перв. полов. XIX в.», т. II, СПБ., 1888, стр. 110), Пушкин имел в виду побеседовать с Д. И. Хвостовым как с хорошо осведомленным членом общего собрания Правительствующего Сената о самом ходе подготовки этого законодательного акта. Менее вероятно, что запись эта сделана в мае 1833 г., на случайно подвернувшемся старом письме, под впечатлением уже состоявшегося указа.

Об отношениях Пушкина и гр. Д. И. Хвостова см. статью П. О. Морозова «Гр. Д. И. Хвостов» («Рус. Стар.» 1892, кн. VI и VII), сводку данных М. Н. Спе-

НАБРОСОК ПУШКИНА НА ОБОРОТЕ ПИСЬМА Д. И. ХВОСТОВА

Бумаги П. Е. Щеголева (ныне в ИРЛИ), Ленинград

ранского в примечаниях к «Дневнику А. С. Пушкина», М., 1923, стр. 547—551, а также статью Ю. Н. Тынянова «Ода его сиятельству графу Хвостову» («Пушкинский сборник памяти проф. С. А. Венгерова», П., 1922, стр. 75—92). Послания Д. И. Хвостова Пушкину см. в книге В. Каллаша «Русские поэты о Пушкине», М., 1899, стр. 301—304.

3. ПИСЬМО И. Т. КАЛАШНИКОВА

Милостивый Государь
Александр Сергеевич!

За все те приятные минуты в жизни, какими я наслаждался, читая Ваши превосходные творения, делающие честь делу и нашей литературе, не имея возможности заплатить тем же, я решаюсь поднести слабые труды мои, и покорнейше просить Вас, принять их, по крайней мере, за знак глубокого моего уважения к Вам, которое навсегда сохранится в моей душе.

Милостивый Государь
ваш покорнейший слуга
Иван Калашников.

28 Марта 1833

Письмо Ивана Тимофеевича Калашникова (1797—1863) к Пушкину от 28 марта 1833 г. печатается впервые. Оно позволяет более или менее точно датировать черновые наброски ответного письма Пушкина, сохранившиеся в бумагах последнего (И. А. Шляпкин. «Из неизданных бумаг А. С. Пушкина», СПБ., 1903, стр. 89—90; более полно воспроизведено в «Переписке Пушкина», т. III, СПБ., 1911, стр. 19—20). Беловик этого письма, как свидетельствует справка наследников И. Т. Калашникова, затерялся после смерти адресата (См. «Пушкин и его совр.», вып. 6, стр. 101).

Из «трудов» И. Т. Калашникова, глухо отмеченных в этом письме, в начале 1833 г. вышла в свет историческая повесть «Камчадалка». Однако судя по упоминаниям о «трудах», а не об одном «труде», Пушкин получил с «Камчадалкой» и первый роман И. Т. Калашникова «Дочь купца Жолобова», вышедший в 1832 г. вторым изданием.

В набросках письма Пушкина к И. Т. Калашникову оба эти романа получили очень высокую оценку («Ни одного из русских романов не прочитывал я с большим

удовольствием.—Камчадалка не ниже вашего первого произведения»). В библиотеке Пушкина сохранился только второй из них («Библиотека А. С. Пушкина», СПБ., 1910, стр. 47), первый же, хотя и был зарегистрирован в опекунской описи (см. далее статью Л. Б. Модзалевского), до нас не дошел.

Никаких других данных о литературных и личных взаимоотношениях Пушкина и Калашникова не известно. Толковать неточность одной из незаконченных фраз чернового письма Пушкина («Вы спрашиваете моего... о К-е») как свидетельство о наличии еще одного письма к нему И. Т. Калашникова, написанного тотчас же после первого и до получения даже ответа на него, нет оснований.

Для характеристики общественно-литературной позиции И. Т. Калашникова в 30-х годах очень показателен его отклик на смерть Пушкина: «В течении двух прошедших недель,—писал он 12 февраля 1837 г. своему сибирскому приятелю П. А. Словцову,—здесь все говорило, спорило, шумело о смерти Пушкина. По-

АВТОГРАФ ЧЕРНОВОГО НАБРОСКА ОТВЕТНОГО ПИСЬМА ПУШКИНА К Д. И. ХВОСТОВУ

Бумаги П. Е. Щеголева (ныне в ИРЛИ), Ленинград

теря этого человека, без преувеличения—необыкновенного, поразила сильно, особенно юную генерацию. Говорят, при теле его перебывало 32 т. человек! Смерть Карамзина того не произвела. Отчего? В настоящем случае уже видна народность; в России 10 лет—целый век: она шагает удивительно» («Пушкин и его современ.», вып. 6, СПБ., 1908, стр. 104).

4. ПИСЬМО П. П. СВИНЬИНА

[Начало 1834 г.?]

Милостивый Государь,
Александр Сергеевич!

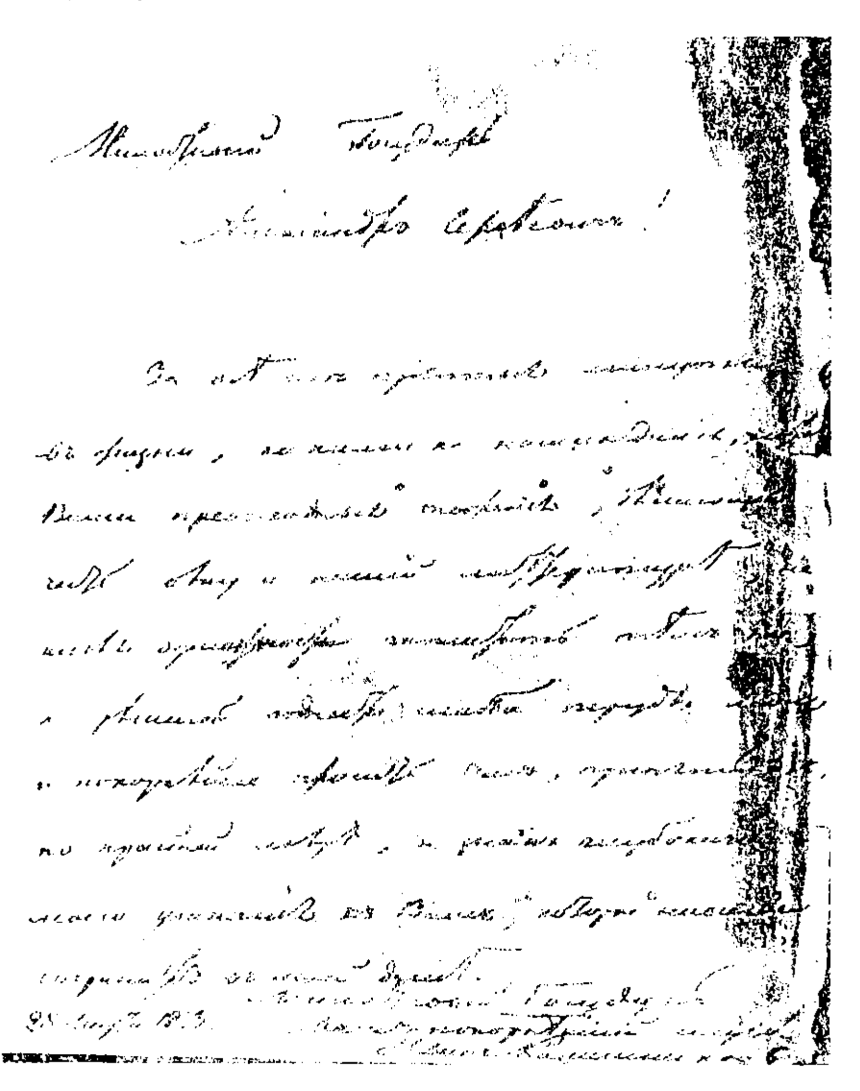
Надеюсь, вы простите моей докучливости в уважение малого времени, которое остается мне жить в Петербурге, а в это малое время мне хотелось бы кончить с изданием Храповицкого Записок! Сделайте одолжение пришлите мне с подателем сей манускрипт, я усердно займусь примечаниями, тем более, если вы потрудились отме[тить] те места, которые требуют оных по [вашему] мнению. Для дальнейшего объяснения [приеду к] вам завтра часу в 1-м, если Вы будете [дома] или непожалуете ли вы ко мне сегодня? .... часов буду ожидать вас.

Если вам ненужна рукопись де Leria, то [очень] прошу также возвратить мне ее с пода[телем и] верить чувствам совершенного почтения

вашего покорнейшего слуги

Пав. Свиньина.

На обороте:
Его Высокоблагородию
Милостивому Государю
Александру Сергеевичу
Пушкину.


Милостивый Государь
Александръ Сергеевичъ!

АВТОГРАФ ПИСЬМА И. Т. КАЛАШНИКОВА К ПУШКИНУ

Бумаги П. Е. Щеголева (ныне в ИРЛИ), Ленинград

Письмо Павла Петровича Свиньина (1787—1839), печатаемое нами впервые (автограф сильно поврежден, в квадратных скобках даны нами слова, отсутствующие ныне в подлиннике), непосредственно связано с уже известной запиской его же к Пушкину от 19 февраля 1833 г.:

«Медленность в доставлении вам, Милостивый Государь Александр Сергеевичь, прилагаемой при сем рукописи, произошла ни от чего другого, как от невозможности отпереть мой музеум за потерею ключа: неделю искали его, а другую приде-

лывали. Я уже написал и в деревню о присылке самого оригинала Храповитского; впрочем это самая верная с него копия, с которой печатались эти записки у меня в журнале» («Переписка Пушкина», т. III, стр. 6).

Упоминание П. П. Свиньина в печатаемом нами письме о предстоящем вскоре его отъезде из Петербурга, а также настойчивость, с которой он просит возвратить «с подателем» взятые у него Пушкиным (очевидно уже давно) манускрипты, позволяет датировать его второе обращение к поэту самым началом 1834 г., ибо в конце марта этого года началась уже аукционная распродажа «музея» П. П. Свиньина, в числе проданных экспонатов которого была и копия «Записок А. В. Храповицкого» (см. «Краткая опись предметов, составляющих русский музеум Павла Свиньина 1829 года», СПБ., 1829, стр. 129; «Сев. Пчела» от 17 апр. 1834 г., № 87, а также «Роспись книгам и рукописям Императорской Российской Академии», СПБ., 1840, стр. 156). Копия «Записок А. В. Храповицкого», принадлежавшая П. П. Свиньину и бывшая в руках Пушкина, хранится ныне в Рукописном отделении Библиотеки Академии Наук СССР под шифром 17.16.12. Никаких заметок рукою Пушкина на рукописи нет.

С именем П. П. Свиньина как рассказчика или прототипа, а может быть того и другого вместе связывается и сохранившийся в бумагах Пушкина набросок плана комедии, необычайно близкой по своей фабуле «Ревизору» Гоголя («Криспин приезжает в губернию на ярмонку. Его принимают за Ambas. Губернатор честной дурак. Губернаторша с ним кокетничает. Криспин сватается за дочь»).

Замысел этот датируется тем же временем (1833—1834), к которому относятся и дошедшие до нас письма П. П. Свиньина к Пушкину. Хлестаковские замашки редактора «Отечественных Записок» увековечены были Пушкиным и в сатирической сказке «Маленький лжец» (1830), а об общем его иронически-презрительном отношении к этому литератору, специализировавшемуся на дешевой националистической популяризации «образчиков русской славы, просвещения и ума», свидетельствуют строки «Собранья насекомых» («Вот и Свиньин—Российский жук») и резкие аттестации его же в записях дневника Пушкина от 17 марта и 10 апреля 1834 г. Сводку литературно-бытовых данных о П. П. Свиньине и его отношениях к Пушкину см. в комментариях В. И. Саитова к «Остафьевскому Архиву», т. I, стр. 508—511, в справке Н. О. Лернера «Пушкинский замысел «Ревизора» («Пушкин» под ред. С. А. Венгерова, т. VI, П., 1915, стр. 217—218) и в примечаниях Б. Л. Модзалевского к «Дневнику А. С. Пушкина», П., 1923, стр. 106—108 и 147—150.

Дневник А. В. Храповицкого, статс-секретаря Екатерины II, выдержки из которого печатались П. П. Свиньиным в «Отечественных Записках» 1821—1828 гг. с купюрами, обусловленными отказом редактора от передачи «многих подробностей о частной жизни императрицы, кои во всяком быту и состоянии человека должны оставаться только в кругу ему самых близких» («Отеч. Зап.» 1821, № 16, стр. 128—129), понадобился Пушкину для задуманной им еще в самом начале 1833 г. исторической повести, героями которой являлись деятели эпохи восстания Пугачева (самый ранний план этой повести, из которой выросла впоследствии «Капитанская дочка», датируется 31 января 1833 г.).

Комментированное издание «Записок А. В. Храповицкого», о работе над которым писал П. П. Свиньин, осуществлено им не было. Ср. «Дневник А. В. Храповицкого 1782—1793. По подлинной его рукописи, с биографич. статьею и объяснительным указателем Николая Барсукова», СПБ., 1874. Перепечатано в приложениях к «Русскому Архиву» за 1901 г. «Рукопись de Leria», о возвращении которой просил П. П. Свиньин, отмечена под названием «Extrait du journal du Duc de Leria» в «Краткой описи предметов, составляющих русский музеум Павла Свиньина», СПБ., 1829, стр. 127, № 55. Не попав в число рукописей этого собрания, приобретенных в 1834 г. Российской Академией, манускрипт этот был впоследствии в распоряжении К. Н. Бестужева-Рюмина (см. «Письма леди Рондо» под ред. С. Н. Шубинского, СПБ., 1874, стр. 159). Записки герцога Лирийского (1670—1734), побочного сына английского короля Иакова II, маршала французской службы и испанского посла при русском дворе с 1727 по 1730 г., появились впервые в печати под заглавием «Mémoires du maréchal de Berwick», Paris, 1788. Русский перевод их («Записки дюка Лирийского и Бервикского») издан Д. И. Языковым только в 1845 г.

5. ПИСЬМО КНЯЗЯ П. И. ШАЛИКОВА

Ах! как я жалел, жалею и буду жалеть, что поспешил вчера сойти с чердака своего, где мог бы принять бесценного гостя и вместе с ним сойти в гостиную, где жена и дочь моя разделили бы живейшее удоволь-

ствие моего сердца, разделяя со мною все чувства относительно этого, повторю, бесценного и, присовокуплю, редкого для всех гостя!..

Ужасная груда газетной корректуры не допускает меня сказать любезнейшему Александру Сергеевичу изустно всё, что хотелось бы сказать; но может статься как-нибудь удастся (к поэту рифмы так и рвутся... ах-ти! да вот и стих!..), удастся говорю, видеть и слышать нового Петрова Историка; а между тем посылаю дань Карамзину, с просьбою поместить, аще достойна, в Современник, о котором также прошу и также аще можно: по крайней мере я возвещал о нем в своей газете: усердие значит же что-нибудь; но получить в подарок такой журнал от такого издателя... это не имеет термина — во всех отношениях — En voila bien assez!

Преданнейший душею
К. Шаликов.

[Май 1836 г.]

К ПОРТРЕТУ КАРАМЗИНА

С твоим ли образом в душе и пред очами
Не буду верен я тому,
Что некогда своими ты устами
Передавал уму и сердцу моему!
Замолкнет ли в груди моей твой голос звучный
Вещаньем истины, добра и красоты,
С которыми до гроба неразлучный,
Творил изящный мир нам в поученье ты!
Противники-ль твои—пигмеи дерзновенны,
Введут рассудок мой, тобою озаренный,
В сей жалкий лабиринт, где жалкий гений их
Блуждает ввек без нити благотворной;
Где в гордых замыслах своих
Они покорствуют лишь воле непокорной
Светильнику небесного огня,
Пылавшего в тебе, великий муж, до дня
Вещественной разлуки с нами?..
Нет! Нет! наставленный и гением твоим,
И жизнию твоей, останусь верен им
И мыслями, и в чувствах, и словами!

Князь Шаликов.

Письмо князя Петра Ивановича Шаликова (1768—1852), полностью печатаемое нами впервые, датируется на основании упоминания в нем о «Современнике» и точных данных о пребывании Пушкина в Москве между 3 и 20 мая 1836 г.

Кампания против «Современника», начатая в «Северной Пчеле» и «Библиотеке для чтения», повышала значение дружественной информации о новом журнале в «Московских Ведомостях», чем обусловлено было, как мы полагаем, и внимание Пушкина к их редактору. Однако стихов, приложенных к письму, Пушкин в своем журнале не напечатал.

Стихотворец и журналист, культивировавший в условиях общественно-литературной борьбы 20-х и 30-х годов архаические традиции раннего сантиментализма, претенциозно-бездарный графоман, увековеченный в сатирах и эпиграммах Батюшкова, Воейкова, А. Е. Измайлова, Вяземского и лицейского Пушкина, князь П. И. Шаликов как редактор-издатель «Дамского Журнала» (1823—1833) и руководитель казенных «Московских Ведомостей» (1813—1838) оставался на тех позициях, которые определились для эпигонов Карамзина еще в начале XIX в.

Первое стихотворное обращение кн. Шаликова к Пушкину появилось в «Новостях Литературы» 1822 г. (кн. II, № 16, стр. 48) и перепечатано было в том же году в сборнике «Последняя жертва Музам».

К портрету А. С. Пушкина

Талант и чувства в нем созрели прежде лет
Овидий наш, он стал ко славе муз поэт!

Книжки «Дамского Журнала» из месяца в месяц наполнялись в течение нескольких лет восторженно-комплиментарными отзывами о произведениях Пушкина, специальными посланиями к нему, экспромтами по случаю тех или иных событий в его жизни и т. д. и т. п.

Видимо Пушкин был растроган этими знаками внимания, особенно ценными в условиях его ссылки, и, несмотря на свое ироническое отношение к писаниям Шаликова («Переписка Пушкина», т. I, стр. 76, 99, 156), очень дружественно помянул его в «Разговоре книгопродавца с поэтом»:

Пускай их Шаликов поет
Любезный баловень природы...

Строки эти комментировались им 19 февраля 1825 г. в письме к П. А. Вяземскому: «Ты увидишь в разговоре Поэта и Книгопродавца мадригал кн. Шаликову. Он милый поэт, человек достойный уважения и надеюсь, что искренняя и полная похвала с моей стороны не будет ему неприятна. Он именно поэт прекрасного пола. Il a bien mérité du sexe, et je suis bien aise de m'en être expliqué publiquement».

Личное знакомство Пушкина и кн. Шаликова произошло не раньше 1827 г., а закрепилось в 1829 г. встречами в доме Ушаковых и у В. Л. Пушкина («Из записок А. А. Кононова» в «Библ. Записках» 1859, № 10, стр. 307 — 308. Ср. Л. Н. Майков. «Пушкин», СПБ., 1899, стр. 362, 365). К этому времени относится известная эпиграмма Пушкина и Баратынского «Князь Шаликов, газетчик наш печальный» и пр. (см. «Пушкин и его современники», вып. 16, стр. 49—53) и карикатурная зарисовка кн. Шаликова, сделанная Пушкиным в альбоме Ушаковых («Пушкин» под ред. С. А. Венгерова, т. VI, Л., 1915, стр. 123). Как журналист кн. Шаликов интерпретировался Пушкиным лишь в ироническом плане. «Соперничать с Раичем и Шаликовым как-то совестно», писал он 2 мая 1830 г. Вяземскому, а 3 сентября 1831 г., отвечая ему же на запрос о будущем журнале, утверждал: «Без мод он не пойдет, а с модами стать нам наряду с Шаликовыми, Полевыми и проч.—совестно» («Переписка Пушкина», т. II, стр. 144 и 318). Очень характерно упоминание о кн. П. И. Шаликове и в письме Пушкина к жене от 27 августа 1833 г.:

«Скудна Москва, пуста Москва, бедна Москва. Даже извощиков мало на ее скучных улицах. На Тверском бульваре попадаются две-три салопницы, да какой-нибудь студент в очках и в фуражке, да кн. Шаликов».

Сводка основных биографических данных о П. И. Шаликове дана в примечаниях В. И. Саитова и Л. Н. Майкова к «Сочинениям К. Н. Батюшкова», т. I, СПБ., 1887, стр. 434—437. Об отношениях Пушкина и Шаликова см. также материалы В. Каллаша «Русские поэты о Пушкине», М., 1899 и его же «Pouschkiniana», вып. II, Киев, 1903, стр. 31—33.

В остатках архива П. И. Шаликова, поступивших в Пушкинский дом, сохранилась визитная карточка Пушкина, связанная вероятно с печатаемым нами письмом. Частично и без всяких пояснений последнее опубликовано было П. Е. Щеголевым в журнале «Ленинград» 1924 г., № 11, стр. 15. Других писем Шаликова к Пушкину, равно как и ответов последнего, неизвестно. Возможно, что их и не было.

6. ЗАПИСКА Н. Г. УСТРЯЛОВА

Милостивый Государь
Александр Сергеевичь,

Приятнейшим долгом считаю препроводить к Вам прилагаемую безделку. Впрочем как она написана по частному случаю и в продажу не поступит, то благоволите прейти об ней молчанием в Современнике.

С отличным почтением имею честь быть
Вашим покорнейшим слугою.
Н. Устрялов.

27 октября
1836.

Записка Николая Герасимовича Устрялова (1805—1870) к Пушкину от 27 октября 1836 г. печатается впервые.

«Безделкой», посланной при этом письме, названа была автором брошюра «О системе прагматической русской истории. Рассуждение, написанное на степень доктора философии Николаем Устряловым, Императорского С.-Петербургского Университета по кафедре Русской Истории Э. О. профессором, Императорской Военной Академии и Главного Педагогического Института Адьюнктом, Высочайше учрежденной Комиссии для издания актов, собранных Археографическою Экспедициею, Членом, Обществ Истории и древностей Российских в Москве и Северных Антиквариев в Копенгагене, Действительным Членом и орденов Св. Владимира 4 ст. и Св. Анны *3 ст. Кавалером». С.-Пб. В Типографии Л. Снегирева и К°. 1836. 8°, 84 стр.*

СИСТЕМѢ

РУССКОЙ ИСТОРІИ.

ДОКТОРА ФИЛОСОФІИ

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

ЭКЗЕМПЛЯР КНИГИ Н. Г. УСТРЯЛОВА „О СИСТЕМЕ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ РУССКОЙ ИСТОРИИ" С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА ПУШКИНУ

Институт Русской Литературы, Ленинград

С дарственной надписью на обложке: «Его Высокоблагородию Александру Сергеевичу Пушкину. С отличным почтением сочинитель», диссертация Н. Г. Устрялова (дата ее цензурного разрешения: 14 сентября 1836 г.) сохранилась в библиотеке Пушкина (Б. Л. Модзалевский. «Библиотека А. С. Пушкина», СПБ., 1910, стр. 107—108).

Просьба Н. Г. Устрялова «прейти молчанием» его книжку в «Современнике» диктовалась не столько авторской скромностью, сколько опаской. Его диссертация появилась в самый разгар следственных разысканий об обстоятельствах выхода в свет «Философического письма» Чаадаева, за которое автор объявлен был сумасшедшим, журнал, поместивший его рассуждение, закрыт, редактор выслан из Москвы, а цензор отрешон от должности.

Расправа с «Телескопом» началась 22 октября 1836 г., и неудивительно, что Н. Г. Устрялов, даже чисто академически ставя некоторые из тех проблем, которые разрешал в своей философии русской истории Чаадаев, имел все основания опасаться каких бы то ни было ассоциаций «письма» последнего со своим «рассуждением».

«Хочешь ли для своего Современника ученую рефютацию брошюрки Устрялова?— писал кн. П. А. Вяземский в середине ноября 1836 г. Пушкину.—Мне читали на-

чало опровержения и оно будет очень дельное, но дописать его хотят только, если уверятся, что она будет напечатана» («Переписка Пушкина», т. III, СПБ., 1911, стр. 410—411). Ср. об этом же письмо Вяземского к А. И. Тургеневу от 9 ноября 1836 г. («Остафьевский Архив», т. III, стр. 356).

«Опровержение», о котором сообщал П. А. Вяземский, было написано им самим. Оно было составлено в форме публицистически заостренного обращения к министру народного просвещения С. С. Уварову и заключало в себе прежде всего протест против скептического отношения Устрялова к достижениям и установкам «Истории Государства Российского» Карамзина. Доказывая, что «историческая критика не подвинулась в нем ни на шаг, не положила основания ни одной новой истине, но перебрала с любовью груду обломков, взгроможденных черною шайкою наших исторических ломщиков, и, любуясь ими, в заключение провозгласила: нет у нас истории!» — Вяземский заключал: «Мысли г. Устрялова сбиваются на ту же теорию, которая, проповедуемая историческою оппозициею нашею, получила, наконец, практическое применение в известном письме Телескопа. Оба мнения подкрепляют друг друга и сливаются вместе. Одно различие в том, что в журнальном письме более безумия и таланта, а в университетском рассуждении более нелепости и менее искусства».

Концовка письма Вяземского направлена была уже против руководителей министерства народного просвещения, уличая С. С. Уварова в отсутствии и научной, и политической бдительности: «Можно ли ожидать от наших учебных мест удовлетворительного действия на народное образование, если ничтожная брошюра г. Устрялова может быть признана Университетом за удовлетворительное право на степень учености? Незрелость г. Устрялова обнаружилась еще более на диспуте. Диспут сей был общим посмешищем для всех присутствующих. Несостоятельный диспутант не мог поддержать ни одного положения своего, не умел, хотя уловками блестящих парадоксов, избежать ни одного удара, на него нанесенного орудиями, взятыми из собственного его арсенала. К стыду классического учения, коего университет должен быть стражем, г. Устрялов не усомнился вывести на одну доску Карамзина и Полевого: стройное творение одного и хаотический недоносок другого».

Пушкин, которому это «письмо» прислано было вместе с экземпляром диссертации Устрялова, снабженным на полях дополнительными возражениями Вяземского, по существу не протестовал против этого выступления. Он предложил смягчить лишь два места «письма», политически слишком уж бестактных и, нисколько не заботясь о репутации Устрялова, учитывал вероятно в памфлете Вяземского прежде всего направленность его против С. С. Уварова, одного из злейших и опаснейших своих врагов в высшем петербургском «свете» и при дворе. Однако невозможность использования статьи в печати Пушкин понимал очень хорошо.

«Письмо твое прекрасно,—отвечал он Вяземскому. — Форма «М. Г.» или «О», и т. д., кажется, ничего не значит; главное—дать статье как можно более ходу и известности. Но во всяком случае ценсура не осмелится ее пропустить, а Уваров сам на себя розог не принесет. Бенкендорфа вмешивать тут мудрено и неловко. Как же быть? Думаю оставить статью, какова она есть, а впоследствии времени выбирать из нее все, что будет можно выбрать, как некогда делал и ты в Лит. Газете со статьями, не пропущенными Щегловым. Жаль, что ты не разобрал Устрялова по формуле, изобретенной Воейковым для Полевого, а куда бы хорошо» («Переписка Пушкина», т. III, стр. 432).

«Письмо» Вяземского, не получив распространения при жизни Пушкина, опубликовано было, уже как чисто исторический документ, в «Полном собр. сочин. кн. П. А. Вяземского», т. II, стр. 214—226.

В библиотеке Пушкина кроме двух экземпляров диссертации Н. Г. Устрялова сохранились изданные последним «Сказания современников о Димитрии Самозванце», ч. I—V, СПБ., 1831—1834 и «Сказания князя Курбского», ч. I и II, СПБ., 1833. Эти же публикации Устрялова Пушкин переслал вместе с комплектом своих собственных сочинений В. К. Кюхельбекеру в Свеаборгскую крепость. Имя Устрялова упоминается 17 марта 1834 г. и в дневнике Пушкина, в записи о совещании литераторов и ученых у Н. И. Греча по поводу организации «Энциклопедического Лексикона» Плюшара: «Устрялов сказывал мне, что издает процесс Никонов. Важная вещь!»

Об отношениях Пушкина к Устрялову в воспоминаниях сына историка отмечено: «Пушкин интересовался трудами отца, который виделся с ним раза два или три, незадолго до смерти Александра Сергеевича, в магазине Смирдина. Отец часто рассказывал мне про свидания с Пушкиным, который раза два-три обращался к нему с расспросами о предполагаемых им к изданию исторических трудах» («Истор. Вестн.» 1889, кн. VI, стр. 581).

II. ПИСЬМА: М. В. БЕЗОБРАЗОВО, Ф. Ф. ВИГЕЛЯ, В. С. ГОЛИЦЫНА, КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН, С. Л. ПУШКИНА, ОТНОШЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ, С. А. СОБОЛЕВСКОГО.

Публикации Л. Гарского, В. Нечаевой, Д. Якубовича

1. ПИСЬМО Ф. Ф. ВИГЕЛЯ

Посылаю вам, любезнейший Александр Сергеевич, письмо Тургенева более вам чем не принадлежащее. Я сбирался писать с Шварцом, но скоро ли мне безграмотному хотя и арзамасцу, решиться писать к поэту? того и гляди что проврешся. Прочитав Тургенева послание, вы увидите что вы по прежнему чадо избранное Арзамаса, сердитесь, браните ваших восприемников, они всегда осуждены вас любить.—Скажите, мой милый безбожник, как вы могли несколько лет выжить в Кишиневе? хотя за ваше неверие и должны вы были от бога быть наказаны, но не так много. Что касается до меня, я скажу тоже: хотя мои грехи или лучше сказать мой грех велик но не столько чтобы судьба определила мне местопребыванием помойную эту яму.—Письмо сие доставит вам г. Рено, который торопит меня кончить его, ибо торопится в Одессу, и я очень желание сие понимаю.— Напишите ко мне несколько строчек, вы тем большее мне сделаете удовольствие а естьли в них возвестите намерение сюда приехать, то сделаете меня щастливым. Обнимаю

весь ваш
Вигель.

Кишинев
8 Октября
1823

Попросите от меня Никиту взять у портнова платье и уверить что денег у меня теперь нет а непременно скоро заплачу. С отъезжающими пришлите его ко мне. Шварцу кланяйтесь; на днях большую эпистолу к нему пошлю.

Письмо хранится в Пушкинском Доме Академии Наук СССР (фонд 244, оп. 2, № 11), куда поступило от П. П. Анненкова из материалов его отца П. В. Анненкова.

Об отношениях Филиппа Филипповича Вигеля (р. 1786, ум. 1856) и Пушкина см. в следующих изданиях: «Дневник Пушкина», ред. Б. Л. Модзалевского, П. 1923, стр. 84—86 и в московском издании Дневника (1923), стр. 249—251, «Пушкин, статьи и материалы», под ред. М. П. Алексеева, вып. III, Одесса, 1926, стр. 29—32 и в новейшем биографическом очерке Вигеля, составленном С. Я. Штрайхом и приложенном к «Запискам» Вигеля, изд. «Круг», М., 1928, т. I, стр. 9—40.

Публикуемое письмо, считавшееся утраченным, является прекрасным комментарием к письму Пушкина, начинающемуся известным посланием поэта к Вигелю «Проклятый город Кишинев»...; именно на это письмо Пушкин и отвечает Вигелю; поэтому прежнюю датировку письма поэта из Одессы (ноябрь 1823 г.) возможно теперь уточнить и перенести на середину или конец октября 1823 г. (см. «Письма Пушкина», под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, стр. 56—57 и 281—283 и примечания Н. О. Лернера к стих. «Проклятый город Кишинев...» в сочинениях Пушкина, под ред. С. А. Венгерова, т. II, стр. 626). В свете нового письма Вигеля становятся понятными намеки ответного письма поэта на «содомский грех», которому предавался Вигель и обещание приехать в Кишинев и фраза письма о «скуке» Вигеля в «вертепе»-Кишиневе и т. п. Раскрывается также и неизвестное до сих пор имя общего их одесского приятеля Шварца. Одним из интересных мест письма является новый эпитет «безбожник», данный поэту и указание на его «неверие». Намеки на безбожие Пушкина в этот период его жизни тесно примыкают к известному перехваченному письму поэта к кн. П. А. Вяземскому от первой половины марта следующего года, в котором он сообщает о своих «уроках чистого афеизма» и которое имело существенное значение при высылке Пушкина из Одессы в село Михайловское. Это свидетельство Вигеля, выраженное в непосредственной форме

обращения к поэту, лишний раз подтверждает антирелигиозное мировоззрение Пушкина в кишиневский период его жизни.

Письмо А. И. Тургенева к Вигелю, посланное последним Пушкину, в печати неизвестно (ср. «Остафьевский архив князей Вяземских», под ред. В. И. Саитова, т. II, стр. 368 и 603).

Упоминаемый в письме Шварц—приятель Вигеля и Пушкина. О нем сообщает гр. М. Д. Бутурлин в своих записках: «Александр Сергеевич и особенно короткие его знакомые собирались почти каждый вечер ужинать в Греческом второстепенном ресторане Димитраки [в Одессе], где и засиживались за полночь. Кружок этот состоял из поэта Василия Ивановича Туманского (чиновник особых поручений при графе Воронцове), г. Шварца (также состоявшего при графе), Кесаря Осиповича Понятовского и, кажется, графского адъютанта Варламова... Все эти господа обедывали обыкновенно во французском (очень хорошем) ресторане Отона (Autonne), в доме клуба на Херсонской улице, куда хаживали обедать г. Слоан и я, до приезда графа Воронцова» («Русский Архив» 1897, кн. II, стр. 16). Других сведений о Шварце неизвестно.

Членом «Арзамаса» Ф. Ф. Вигель избран был 22 октября 1815 года с именем «Ивикова Журавля», а Пушкин в 1817 г. с именем «Сверчка» (см. «Арзамас и арзамасские протоколы» под ред. М. С. Боровковой-Майковой, Л., 1933, стр. 87 и 235 и 237). Из письма Вигеля выясняется, что Пушкина принимали в члены «Арзамаса» Вигель и А. И. Тургенев («Эолова арфа»). К сожалению точной даты приема Пушкина в арзамасское общество не сохранилось (см. в назв. книге «Арзамас», стр. 61—62 и 70—72; ср. соображения Н. О. Лернера в его книге «Труды и дни Пушкина», СПБ., 1910, стр. 36; см. также в «Переписке Я. К. Грота с П. А. Плетневым», т. I, СПБ., 1896, стр. 274—275, где указано происхождение арзамасского прозвища Пушкина из баллады В. А. Жуковского «Пустынник»).

Упоминаемый в письме г. Рено—Осип Рено, состоял в штате гр. М. С. Воронцова и был директором Одесского театра (о нем см. сводку сведений в III выпуске сборника «Пушкин», под ред. М. П. Алексеева, Одесса, 1926, стр. 76—77). Никита—слуга Пушкина Никита Тимофеевич Козлов, сопровождавший поэта в его поездках. В. П. Горчаков свидетельствует, что в Кишиневе [и Одессе] «с ним был его крепостной лакей, очень верный и преданный малый, Никита. Одно какое-то шуточное стихотворение начиналось:

Дай Никита мне одеться
В Митрополии звонят.

(«Русский Архив» 1900, кн. I, стр. 403, см. у П. Е. Щеголева «Пушкин и мужики», Л., 1928, стр. 160—164).

Л. Гарский

2. ПИСЬМО КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН

Государь
Александр Серьгеевичь,

Просим вас государь в том, что вы таперя наш господин, и мы вам с усердием нашим будем повиноваться, ивыполнять в точности ваши приказании, но только в том просим вас государь, зделайте великую снами милость, избавьти нас от нынешняго правления, априкажите выбрать нам своего начальника, иприкажите ему, и мы будем все исполнять ваши приказании,

Документ написан на полулисте плотной, пожелтевшей от времени бумаги, на которой виднеется часть водяного знака 29 (очевидно 1829 г.). Написана челобитная без помарок, довольно искусной рукой—вероятно рукой какого-нибудь сельского специалиста по составлению прошений и жалоб.

Под ней нет никаких подписей, отчего она на первый взгляд производит впечатление черновика или неоконченного письма. Этому впечатлению способствует запятая, поставленная в конце. Однако, как можно судить по всему тексту письма, писец вообще знал всего лишь один знак препинания—запятую—и ставил ее во

ПИСЬМО КРЕСТЬЯН К ПУШКИНУ

Институт Русской Литературы, Ленинград

всех нужных и ненужных местах. Трудно предположить, чтобы в руки Пушкина попала челобитная в незаконченном, черновом виде.

Авторами письма-челобитной были крестьяне Болдинской вотчины Пушкиных. Обремененное долгами, почти безнадежно разоренное Болдино находилось с 1826 г. под управлением М. Калашникова, крепостного из псковского имения Пушкиных. Управляющий беспощадно, систематически грабил и разорял крестьян, плутовал перед помещиком и нагло богател за его счет. Присланный в 1833 г. наемный управляющий Пеньковский вошел в контакт с Калашниковым и продолжал его систему.

Выведенные из терпения крестьяне очевидно не раз обращались с жалобами на управителей к А. С. Пушкину письменно и устно во время его приездов в Болдино. Обращались конечно тайно от Калашникова, в данной челобитной даже анонимно, без подписей, так как Калашников, узнав авторов, не замедлил бы расправиться с ними соответствующим образом.

Выражение, употребленное в челобитной—«что вы таперя наш господин»,—говорит о недавнем вводе во владение Пушкина. Как нам известно, это произошло в 1830 г., когда перед женитьбой сына Сергей Львович выделил ему 200 душ в сельце Кистеневе, составлявшем часть Болдинской вотчины. Итак, авторами челобитной могли быть кистеневские мужики. Но не исключена возможность, что письмо относится к более поздней поре. В 1834 г. Пушкин по просьбе родителей принужден был взять на себя управление всем Болдиным и в апреле этого года он писал Пеньковскому с приказом относиться по всем болдинским делам непосредственно к нему. Возможно, что крестьяне избрали этот момент, чтобы поспешить с просьбой избавить их от «нынешнего правления», т. е. от Калашникова и Пеньковского. Взамен их крестьяне предлагали систему избрания управителя «миром» («прикажите выбрать нам своего начальника»).

Насколько нам известно, эта просьба крестьян не имела реального успеха. Пушкин отрицательно относился к управлению поместьями через выборных старшин. Этот способ управления был наименее выгоден для помещика, что вероятно и послужило препятствием к удовлетворению просьбы крестьянской челобитной.

Ранее это письмо было опубликовано нами в «Литературной газете» от 5 июня 1931 г., а затем в «Сборнике памяти П. Н. Сакулина», М., 1931, стр. 156—161.

3. ПИСЬМО КН. В. С. ГОЛИЦЫНА

Посылаю Вам развратительную книгу (Physiologie du mariage), автора коей я желал бы видеть повешенным за.... Вы также найдете здесь три книги, врученные мне моим племянником; весьма бы обязанным я счел себя еслиб Вы меня ссудили прочими томами лорда Байрона, который в первых двух немного сух; — поправку сего недостатка я ожидаю в описании плавания его по стезям Леандра.

Жена благодарит Вас за воспоминание, она еще не опомнится от удара, нас постигшего и вероятно не скоро придет в прежнюю тарелку.—Мы перешли с верху вниз, что друзьям, нас навещающим, сокращает путешествие несколькими ступеньками;—неужели Вас сие не заманит когда-нибудь от нечего делать?—проклятая муза моя совершенно истощилась после куплетов мне внушенных смертью моего Митеньки и которые я себе предоставляю подвергнуть Вашему снисходительному разбору.—

«искусства нету в них
«и красноречья мало,
«мне сердце каждый стих
«и слово диктовало.—

Прощайте, почтеннейший Александр Сергеевичь, кланяюсь Вам от души.

Преданный навсегда

Влад. Г.

12-го апреля
1831

Письмо на двух страницах листа бумаги почтового формата, 3-я и 4-я страницы которого *оставлены пустыми.* На 4-й странице сургучная печать с гербом кн. Голицыных.

Подпись Влад. Г. (последняя буква написана очень неразборчиво) обозначает несомненно князя Владимира Сергеевича Голицына, известного уже в качестве корреспондента Пушкина (см. № 502 и № 893 в академическом издании «Переписки» Пушкина и выше в публикации Ю. Г. Оксмана, стр. 568).

12 апреля 1831 г. (дата письма Голицына) застает Пушкина в Москве, где он был с 5 декабря 1830 г. до середины мая 1831 г. и где встречался с В. С. Голицыным.

В. С. Голицын посылает Пушкину сочинение Бальзака «Физиологию брака», вышедшее в Париже в 1830 г. «Томы лорда Байрона», о которых писал Голицын Пушкину,—вероятно «Мемуары» Байрона, опубликованные Томасом Муром. Французское издание их, вышедшее в 1830 г. в 5 томах, было в библиотеке Пушкина и внимательно читалось им, по свидетельству Вяземского, в том же 1830 г. Плавание Байрона «по стезям Леандра»—Байрон был прекрасным пловцом и переплыл однажды Геллеспонт, который, по греческому преданию, каждую ночь переплывал Леандр, отправляясь на свидание к своей возлюбленной Геро, жрице Афродиты, жившей на другом берегу пролива.

Жена В. С. Голицына—Прасковья Николаевна, урожд. Матюнина (1798—1884). У них было 5 сыновей и 2 дочери, из которых четвертый сын Дмитрий, родившийся в 1828 г., умер в 1830 г. Старшая дочь—Надежда (род. в 1822 г.). Вероятно к ней («Надя») обращается В. С. Голицын в стихотворении (см. далее), вставляя ее имя в экспромпт, хотя, судя по указанию «Рода кн. Голицыных», Н. В. Голицына, она умерла лишь в 1833 г.

В опубликованных ранее письмах к Пушкину В. С. Голицын упоминает о своих поэтических занятиях, излагает в стихах свой разговор со слугой Пушкина, а в письме от 21 марта 1835 г. пишет следующее:

«Вам не мудрено узнать меня по обработке стихов; Вам случалось, при возвращении домой, находить подобные на столике Вашем, и не совсем брезгать мыслями в оных рассеянными».

В новом письме Голицын также цитирует четверостишие и предоставляет «снисходительному разбору» Пушкина куплеты своего сочинения.

В пачке пушкинских бумаг, у нас находящейся, вместе с этим письмом Голицына сохранился листок, на двух сторонах которого рукою того же В. С. Голицына написан перевод длинного французского стихотворения, обращенного от имени родителей к умершей дочери.

Перед текстом стихотворения Голицын пишет следующую заметку: «Перевод стих в стих и сколько можно слово в слово, но без меры». На полях же написано:

МЕРА СТИХОВ

О Надя! звуками печали
Мы вспоминаем дни твои
С тех пор как ангелы умчали
Тебя в селении свои
и проч. Это экспромпт.

Приведем для образца 1-ю строфу перевода, содержащего всего 5 строф:

Из серафимоподобного полета твоего
кроткий ангел осталась только песнь,
в коей вздохи борятся с тонами
и каждый звук исторгнут страданьем!
Щастье, которым мы все наслаждались
служит мерой нашей горести
свет и блеск навеки скрылись
с тобой в е ч н о б л и з к о й, и а х с т о л ь д а л е к о й.

Вероятно этот перевод французских стихов и является теми самыми «куплетами, внушенными смертью Митеньки», которые Голицын посылал Пушкину вместе с публикуемым письмом.

ЗАПИСКА ПУШКИНА
К МАРИИ ШАМАНОВСКОЙ

Музей им. Мицкевича, Париж

4. ПИСЬМО М. В. БЕЗОБРАЗОВО

Милостивый Государь
Александр Сергеевичь!

При жизни моего отца и благодетеля, я всегда имела удовольствие пользоваться вашим ко мне расположением, в самые нещастные минуты после покойного, вы и тогда нас не оставили своим участием, а потому смело надеюсь, что мое письмо не обременит вас, тем более, что я вас беспокою о моем деле от которого зависит все мое последнее состояние.

В нынешнем месяце кончится срок публикации о вступлении в Болдинское имение вашего батюшки, но я слышала, что ему не угодно в оное входить, ваше намерение всегда кажется было не допускать вашего родового имения до аукционной продажи, то естьли оное вами не перемененно, то все кредиторы поставють за удовольствие иметь с вами дело. На сих днях я получила из опеки от Г-на Повалишина щет всем законным актам, которые поступили в оную; мне 60-т т. р. Маминьки 50-т т. р. разным лицам по мелочам 25-ть т. р.; с моей стороны с Маминькой мы готовы уменьшить из числа нашего капитала, остальную сумму она согласна будет вам разсрочить на несколько лет без процентов, я же прошу вас по моей необходимой крайности заплатить мне немного более половины наличными деньгами, остальные тоже согласна буду рассрочить без процентов, на щет остальных кредиторов, которые я думаю возьмут одну капитальную сумму.

Я уверена на ваше ко мне всегдашнее расположение, что вы не лишите меня иметь удовольствие получить ваш ответ в котором надеюсь узнать ваше решение о вступлении в наследство.

С истинным моим почтением имею честь быть

Преданная вам
Маргарита Безобразово.

Москва
1831-го года
25-го ноября

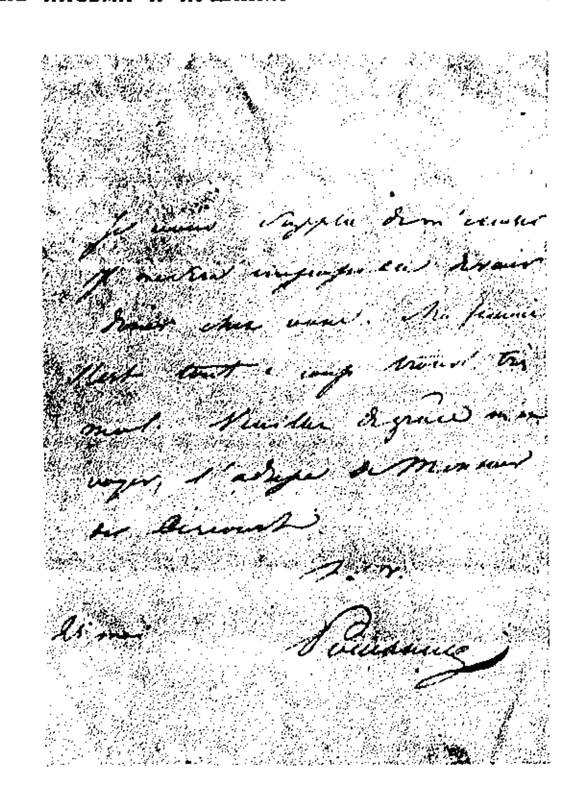
[Адрес:] На Петровке в доме Г-жи Раевской.

Письмо написано на трех страницах почтовой бумаги большого формата тщательным разборчивым почерком. Автором его является двоюродная сестра Пушкина, дочь его дяди Василия Львовича Пушкина. Последний, разведясь с женой, урожденной Вышеславцевой, и лишась права вступать в новый брак, имел длительную связь с женщиной, которая именуется в бумагах о В. Л. Пушкине как московская купчиха Анна Николаевна Ворожейкина. Дочь Василия Львовича от внебрачной связи Маргарита Васильевна (1810—1889) вышла замуж за ротмистра Петра Ивановича Безобразово. Судя по первым строкам письма, М. В. Безобразово была в хороших отношениях с А. С. Пушкиным, однако до сих пор имя ее никогда не фигурировало в биографии Пушкина. В письме Вяземского к Пушкину от 22 ноября 1827 г. из Москвы есть следующее упоминание о ней: «Я вчера обедал у дяди твоего; он умиленным и потеющим взором указывал на Маргариточку свою, играющую на фортепиано».

20 августа 1830 г. Василий Львович Пушкин умер, оставя после себя чрезвычайно разоренное имение и много долгов. Желая обеспечить после своей смерти дочь Маргариту и ее мать, В. Л. Пушкин заблаговременно выдал каждой из них долговые обязательства, матери на 50 тысяч, а дочери на 60 тысяч рублей. Имение В. Л. Пушкина после его смерти должно было перейти в руки его брата Сергея Львовича, на которого также ложилась обязанность расплатиться с кредиторами Василия Львовича. Однако С. Л. Пушкин предпочитал отказаться от обремененного долгами наследства, не представлявшего никакой выгоды наследнику. С. Л. Пушкин был явно недоволен обязательствами, которые его брат дал М. Безобразово и ее матери. В письме Вяземского к Пушкину из Москвы 24 августа 1831 г. читаем о письмах С. Л. Пушкина к И. Петрову следующее замечание: «Письма

ЗАПИСКА ПУШКИНА К С. ХЛЮСТИНУ

Музей им. Мицкевича, Париж



подсыпаны епиграммами против господ Ворожейкиных и желчно-елегийскими выходками что всем известно, что после брата не осталось ему ни булавки». Ворожейкина—фамилия матери Маргариты. Имение должно было быть продано с аукциона и вырученная сумма разделена между кредиторами.

М. В. Безобразово, обращаясь к А. С. Пушкину, в надежде, что он возьмет в свои руки имение дяди (а вместе с ним и расплату с кредиторами), написала интересную для характеристики Пушкина фразу: «Ваше намерение всегда кажется было не допускать вашего родового имения до аукционной продажи». Эту фразу следует сопоставить с рассуждениями Пушкина об обязанностях помещика, с его поездками в Болдино, с его интересом к прошлому своего рода, фамильным преданиям и т. п., нашедшим яркое выражение как раз в начале 30-х годов.

Однако пожелания и убеждения Пушкина резко расходились с действительностью. Он не только не имел возможности взять на себя обросшее долгами наследство дяди, но с трудом устраивал в это время свои дела, закладывая имение, бриллианты и прося в долг сумму, значительно меньшую той, которую надеялась получить от него М. В. Безобразово. Она писала ему 25 ноября 1831 г., а в январе 1832 г. Пушкин, сообщая М. О. Судиенко о расстройстве своих дел, просил его: «25.000 данные мне тобою заимообразно, на 3 или по крайней мере на 2 года, могли бы упрочить мое благосостояние»...

В пушкинских бумагах, вместе с письмом М. В. Безобразово к Пушкину, сохранился лист с перечнем всех кредиторов В. Л. Пушкина, предъявивших свои документы к взысканию после его смерти. В перечне среди других лиц находится и «ротмистрша Безобразово» (следует получить 60.000 руб.) и ее мать «купчиха Ворожейкина» (следует получить 50.000 руб.). Этот список и есть вероятно тот «щет всем законным актам», полученный из опеки от Повалишина, о котором упоминает в письме М. В. Безобразово.

5. ПИСЬМО С. Л. ПУШКИНА

Mr Dmitrieff m'a chargé de le rapeller à ton souvenir—il m'a dit plusieurs fois qu'il a appri à te connaitre et à t'aimer, et qu'il t'estime beaucoup. — J'ai diné chez lui hier avec Чадаев, qui m'a prié de te dire aussi mille choses

de sa part.—Celui-ci m'a dit qu'il me voyait toujours avec plaisir, parce que j'etais le père d'un homme qu'il aimait de tout son coeur.

Перевод:

Господин Дмитриев поручил мне напомнить тебе о нем—он мне много раз говорил, что он узнал и полюбил тебя и что он тебя очень уважает. Я обедал вчера у него с Чаадаевым, который со своей стороны также просил меня передать тебе горячий привет. Он мне сказал, что всегда с удовольствием встречается со мною, потому что я—отец человека, которого он любил всем сердцем.

Записка Сергея Львовича Пушкина к сыну написана на 3-й странице упомянутой в предшествующем примечании «Записки о долговых документах В. Л. Пушкина». Это позволяет ее датировать тем же 1831 г., к которому относится записка. Написана она из Москвы, где был в это время С. Л. Пушкин и где постоянно жили и упоминаемые в записке лица—Ив. Ив. Дмитриев (известный поэт и баснописец XVIII в., друг Карамзина) и П. Я. Чаадаев, друг Пушкина с лицейской поры.

6. ОТНОШЕНИЕ ИМПЕРАТОРСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

По приказанию Господина Директора Императорской Публичной Библиотеки, Канцелярия оной на основании дарованного права Библиотеки и самого устава о Ценсуре просит его Высокоблагородие Александра Сергеевича Пушкина печатанные им книги его сочинения 1) Евгений Онегин 2) Полтава и 3) Историю о Пугачевском бунте доставить ныне в Библиотеку по одному экземпляру, и впредь какие будут издаваться сочинения доставлять.

«22» марта 1835
Его Высокоблагородию
А. С. Пушкину

В отношении канцелярии Императорской Публичной Библиотеки имеются в виду следующие книги, изданные Пушкиным: 1) Евгений Онегин. Роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина. Санктпетербург. В типографии Александра Смирдина, 1833. 2) Полтава. Поэма Александра Пушкина. Санктпетербург. В типографии департам. народного просвещения, 1829. 3) История Пугачевского бунта. Части I и II, Санктпетербург. В типографии II отделения Собственной Его Императ. Величества Канцелярии, 1834.

Публикуемые выше письма (№№ 2—6) к Пушкину переданы нам в 1928 г. Григорием Александровичем Пушкиным, внуком поэта, которому приносим здесь свою искреннюю благодарность.

Кроме этих писем в наше распоряжение поступили следующие документы:

1) «Счет по займам С. Л. Пушкина», опубликованный нами в «Красном архиве», т. 28, стр. 231—234.

2) Документ на одной странице полулиста плотной желтой бумаги, с водяным знаком «А. С. 1829», представляющим собою черновик—форму прошения,—написанный для Пушкина неизвестным лицом. В мае 1830 г., времени, к которому относится прошение, Пушкин находился в Москве и был занят устройством своих дел в связи с женитьбой на Н. Н. Гончаровой.

Прошение в черновом своем виде имеет две редакции. Первоначально в нем запрашивался аттестат о службе в Государственной Коллегии Иностранных Дел. Позднейшая поправка изменила аттестат — документ оценочного характера — указом об отставке.

Пушкин был уволен со службы по высочайшему повелению 8 июля 1824 г. во время его пребывания в Одессе, по представлению графа М. С. Воронцова, и выслан из Одессы в с. Михайловское. «Аттестат о службе», с которой Пушкин был насильственно удален и во время которой находился в резко враждебных отношениях со своим начальником Воронцовым, вероятно мог быть неудобен для

Пушкина, тогда как «указ об отставке» должен был иметь чисто формальный характер.

Приводим самый документ.

Всепресветлейший, Державнейший,
Великий Государь Император
Николай Павлович, Самодержец
Всероссийский, Государь Всемилостивейший.

Просит отставный Коллежский
Секретарь Александр Сергеев сын Пушкин,
о нижеследующем:

При увольнении меня в [зачеркнуто: 1824 году] июле месяце 1824 года из ведомства Государственной Коллегии Иностранных дел, не было мне выдано а т т е с т а т а о с л у ж б е м о е й [сверху между строк вписано: Указа об отставке], по чему всподданнейше и прошу.

Дабы высочайшим Вашего Императорского Величества указом повелено было сие мое прошение в Государственную Коллегию Иностранных дел принять и мне [надлежащий зачеркнуто: выдать] аттестат. [Меж строк вписано другой рукой: указ по случаю моего пребывания в Москве мне доставить чрез Моск. Архив сенат. дел]

Всемилостивейший Государь прошу Вашего Императорского Величества о сем моем прошении решение учинить. Майя « » дня 1830 года. К поданию надлежит в Государственную Коллегию Иностранных дел. Прошение писал N. N.

3) Письмо кн. Вас. Долгорукова к Жуковскому по поводу бумаг Пушкина, которое также приводим полностью.

Милостивый Государь,
Василий Андреевичь!

За год пред сим, по просбе покойного Александра Сергеевича Пушкина, доставлены были ему от меня при описи писма и рескрипты Императора Петра I к предкам моим Князьям Долгоруковым.

По случаю пересматривания ныне оставшихся после г. Пушкина бумаг, под наблюдением Вашего Превосходительства, я имею честь обратиться к Вам с покорнейшею просбою, по открытии означенных рукописей, приказать вместе с описью возвратить мне сии драгоценные для нашей фамилии памятники.

С совершенным почтением и преданностью честь имею быть

Вашего Превосходительства
Покорнейший Слуга
Князь Василий Долгоруков.

15 февраля 1837.
Его Превосх-ву В. А.
Жуковскому.

Письмо написано отчетливым канцелярским почерком и только подпись: «покорнейший слуга Князь Василий Долгоруков» написана рукой автора письма и снабжена большим росчерком. В это время было два князя Василия Долгоруковых, из которых каждый мог быть автором письма. Вероятнее, что письмо принадлежит кн. Василию Васильевичу Долгорукову (1787—1858 г.), обер-шталмейстеру двора Николая I, принадлежавшему к старшей линии рода и потому располагавшему фамильными документами. Кн. В. Долгоруков обращается в письме к В. А. Жу-

ковскому, которому вместе с Л. В. Дуббельтом было поручено чтение и опись оставшихся после Пушкина бумаг. Эта работа производилась ими в течение февраля и марта 1837 г. Письма Петра I, взятые Пушкиным у кн. Долгорукова, очевидно были ему нужны в связи с работой его над «Историей Петра Великого», для которой он собирал материалы в 1835—1836 гг.

В. Нечаева

7. ЗАПИСКА С. А. СОБОЛЕВСКОГО

Музыкант Глинка, живущий на углу Фонарного переулка, в д. Шлотгауера (Schlothauer) зовет нас к себе в пятницу à 9 heures.

Sobolevsky.

Записка была обнаружена мною при новом систематическом пересмотре библиотеки Пушкина. Она осталась неизвестною Б. Л. Модзалевскому и не упомянута в его описании (Б. Л. Модзалевский. «Библиотека А. С. Пушкина», 1910, стр. 230, № 906).

Даю заглавие книги, где оказалась записка, в русском переводе с французского: «Турецкий шпион при дворах христианских князей, или письма и записки секретного посланника Порты при дворах Европы, из которых видны открытия, сделанные им при всех дворах, где он пребывал, с любопытными рассуждениями о их силах, политике и их религии. Пятое издание, дополненное одним томом и украшенное фигурами, гравированными на меди». Лондон, 1742. 12⁰, 7 томов.—Разрезано, заметок нет.

Здесь, в томе III, нашелся плотно вложенный между стр. 108—109 тонкий листок бумаги, сложенный вдвое с вышеприведенным текстом.

Записка может быть предположительно датирована 1828 годом, к которому относятся первые встречи Пушкина с композитором М. И. Глинкой, и видимо имеет отношение к начальному моменту их знакомства.

Приятель Пушкина С. А. Соболевский был сотоварищем Глинки по Благородному пансиону при Петербургском университете.

В «записках» Глинки находим о 1828 годе: «Около этого времени я часто видался с известнейшим поэтом нашим А. С. Пушкиным, который хаживал и прежде того к нам в пансион, и пользовался его знакомством до самой его кончины».

С октября 1828 г. по июль 1833 г. Соболевский находился за границей, а Глинка был за границей с 1830 по 1834 г. Таким образом встречи их обоих с Пушкиным после 1828 г. могли быть лишь в два последние года жизни Пушкина (ср. И. Р. Эйгес. «Пушкин и композитор Глинка».—«Московский пушкинист», II, 1930, ред. М. А. Цявловского).

Публикуемая записка, дополняя небогатый запас документальных сведений о Пушкине и Глинке новым мелким штрихом, позволяет также выделить из числа книг, сохранившихся в составе пушкинской библиотеки, книгу «L'espion Turc» как безусловно бывшую в руках Пушкина.

Она прекрасно гармонирует с известным интересом его к жанру авантюрно-интернациональных мемуаров, записок и писем.

Д. Якубович

ПОПРАВКА К СТР. 571

Письмо к Пушкину „неизвестной светской женщины", опубликованное на стр. 571, оказалось принадлежащим, как установил Ю. Г. Оксман, Каролине Собанской, вдохновительнице элегического послания „Что в имени тебе моем?" Соответственно должна быть изменена подпись к клише на стр. 569. Краткие биографические данные об этой корреспондентке Пушкина см. ниже, стр. 804 и 876. Возможно, что с ответом именно на это письмо связаны исчерканные наброски обращения Пушкина к неизвестной, комментированные Т. Г. Зенгер во втором сборнике „Звенья", стр. 201—221.

IV. НЕИЗДАННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ПУШКИНЕ

ВОСПОМИНАНИЯ П. А. КАТЕНИНА О ПУШКИНЕ

Вступительная статья и примечания Ю. Оксмана

I

Воспоминания о Пушкине были последней творческой работой П. А. Катенина. Дата мемуаров—9 апреля 1852 г. Лет за пятнадцать до этого их автор был уже окончательно вытеснен из литературы, нигде не печатался и, вероятно, почти ничего не писал. На призыв П. В. Анненкова поделиться своими воспоминаниями Катенин—не в пример прочим друзьям Пушкина—откликнулся, однако, очень охотно. Он прекрасно при этом понимал, что записки его могут остаться без движения в бумагах нового биографа Пушкина, что не исключена возможность превращения их лишь в вспомогательный черновой материал для чужой работы, но ни на какую другую трибуну Катенин рассчитывать уже не мог и потому, под предлогом сообщения конкретных фактов из истории своего знакомства с Пушкиным, в последний раз попытался апеллировать если не к читателям, которых у него давно уже не было, то к будущим историкам и литературоведам. В своей предсмертной записке он напоминал последним о своей ведущей роли в общественно-литературной жизни 10-х и 20-х годов, очень тонко популяризировал свой эстетический кодекс, сложившийся в борьбе левого фланга русских нео-классиков с эпигонами Карамзина, и с прежних своих партийных позиций архаиста 20-х годов творил суд и расправу над всем творческим наследием Пушкина.

Вместе с тетрадью своих мемуаров П. А. Катенин передавал П. В. Анненкову и все сохранившиеся у него письма Пушкина. Эти документальные приложения к тексту воспоминаний позволили Катенину, во-первых, уточнить хронологическую канву его рассказов, облегчили самый процесс восстановления фактов прошлого и связанных с ними тех или иных интимно-бытовых и литературно-политических ассоциаций, а во-вторых, полностью должны были оправдать усвоенную мемуаристом дидактическую позу, объяснить ту совершенно необычную в посмертных суждениях о Пушкине высокомерно-снисходительную интонацию, которая искусно выдержана была во всем его повествовании. Последнее некоторыми своими страницами, казалось, прямо отвечало на обращение к Катенину ссыльного Пушкина из Михайловского в начале февраля 1826 г.: «Голос истинной критики необходим у нас; кому же, как не тебе, забрать в руки общее мнение и дать нашей словесности новое, истинное направление? Покамест, кроме тебя, нет у нас критика. Многие (в том числе и я) много тебе обязаны; ты отучил меня от односторонности в литературных мнениях, а односторонность есть пагуба мысли. Еслиб согласился ты сложить разговоры твои на бумагу, то великую пользу принес бы ты Русской словесности» [1].

В этом письме, несмотря на налет явной утрировки его смиренно-почтительных автопризнаний, отвечавших скорее убеждениям Катенина, чем подлинным взглядам Пушкина на природу их взаимоотношений (элементы известного приспособления писем Пушкина к литературно-бытовой позе и даже к системе языка и стиля его адресатов—факт бесспорный), не вызывают сомнений только строки, относящиеся к далекому прошлому, к начальной поре их знакомства: «Многие (в том числе и я) много тебе обязаны; ты отучил меня от односторонности в литературных мнениях» и т. д. К этой поре недолгой учебы Пушкина у Катенина относится и анекдот, с которого начинает мемуарист историю своего сближения с великим поэтом. Сентенция Пушкина «Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену, побей, но выучи» необычайно характерна для годов кризиса не только поэтической системы, но и политических устоев «Арзамаса», с которыми связан был Пушкин до своего знакомства с Катениным и литераторами национал-либеральной ориентации.

II

В нашей специальной литературе никак до сих пор даже не ставился вопрос об отношении Пушкина как члена «Арзамаса» к той группе членов последнего, которая в течение почти всего 1817 г. вела борьбу за перестройку этого замкнутого кружка блюстителей художественных традиций карамзинизма в общественную организацию с широкой политико-просветительной программой. Имена инициаторов неудавшихся реформ «Арзамаса»—Н. И. Тургенев, М. Ф. Орлов, Н. М. Муравьев—говорят сами за себя, а отказ их от намечавшегося блока с кружком карамзинистов, отказ, не случайно, конечно, совпавший с организацией в начале 1818 г. Союза Благоденствия (тайного общества с обширной программой экспансии и в область художественной литературы), ближайшим образом обусловил, как мы полагаем, и окончательный распад «Арзамаса» [1].

Пушкин вступил в ряды «Арзамаса» в том же году, что и все перечисленные нами лидеры арзамасской левой. Уничтожение протоколов кружка за период 1817—1818 гг. и крайняя скудость писем Пушкина за эти месяцы как будто бы лишает нас прямых свидетельств о линии поведения молодого поэта в пору политического расслоения карамзинистов. Однако и литературная практика Пушкина в 1817—1818 гг., и позднейшие его автопризнания об этой поре, и показания такого авторитетного мемуариста, как И. И. Пущин, не оставляют никаких сомнений в том, что уже в это время он полностью был на стороне будущих вождей северного декабризма, а не в кругу консерваторов типа С. С. Уварова, Д. Н. Блудова, Д. П. Северина, Д. А. Кавелина, С. П. Жихарева и др. около-литературных бюрократов, составлявших правый фланг «Арзамаса».

«Свободу лишь учася славить, стихами жертвуя лишь ей»[3], Пушкин уже в 1817 г. конструирует в стихах «Краев чужих неопытный любитель» идеальный образ «гражданина», прямо отвечающий нормам «Ордена русских рыцарей» и Союза Спасения.

Я говорил: в отечестве моем,
Где верный ум, где гений мы найдем?
Где гражданин с душою благородной,
Возвышенной и пламенно-свободной?

К началу 1818 г. относятся пародии Пушкина на Жуковского («Послушай, дедушка» и выпады против «Двенадцати спящих дев» в четвертой песне «Руслана и Людмилы») и, что еще более симптоматично для ревизионистских настроений, предопределявших его путь к Катенину, политические эпиграммы на другого столпа «Арзамаса»—Карамзина: вместе с М. Ф. Орловым, Н. М. Муравьевым и «молодыми якобинцами» из кружка, вероятно, И. И. Пущина и В. Д. Вальховского, Пушкин вышучивал идеологические установки только что тогда появившейся «Истории Государства Российского».

«Это было в феврале 1818 г.,—писал Пушкин,—первые восемь томов Русской Истории Карамзина вышли в свет. Я прочел их в моей постеле с жадностью и со вниманием. Появление сей книги (как и быть надлежало) наделало много шуму и произвело сильное впечатление... Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий казались им верхом варварства и унижения... Никита Муравьев, молодой человек, умный и пылкий, разобрал предисловие или введение: предисловие! Мих. Орлов в письме к Вяземскому пенял Карамзину, зачем в начале Истории не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян, т. е. требовал романа в истории—ново и смело!

Некоторые остряки за ужином переложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина. Римляне времен Тарквиния, не понимающие спасительной пользы самодержавия, и Брут, осуждающий на смерть своих сынов, ибо редко основатели республик славятся нежной чувствительностью, — конечно, были очень смешны. Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм; это не лучшая черта моей жизни».

Эти покаянные строки писаны Пушкиным в 1826 г., вскоре после разгрома декабристов, в порядке заготовки некоторых материалов для задуманных им воспоминаний о Карамзине. Однако попытка дисквалификации задним числом выступлений М. Ф. Орлова и Н. М. Муравьева, равно как и тенденции как-то отмежеваться от них,—ни в какой мере не снимали с Пушкина ответственности за его контакт с «молодыми якобинцами» в 1817—1818 гг. А о том, что этот контакт основан был не только на известной общности их литературных взглядов и политико-просветительных установок, свидетельствуют особенно четко воспоминания И. И. Пущина.

Мемуарист—лицейский товарищ Пушкина—принадлежал в 1817 г. к периферии того самого Союза Спасения, с верхами которого общался Пушкин в «Арзамасе» «Еще в лицейском мундире,—рассказывает И. И. Пущин об обстоятельствах своего вступления летом 1817 г. в тайное общество,—я был частым гостем артели, которую

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ПУШКИНА „ОТВЕТ КАТЕНИНУ"

Институт Русской Литературы, Ленинград

тогда составляли Муравьевы (Александр и Михайло), Бурцов, Павел Колошин и Семенов. Постоянные наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка и о возможности изменения, желаемого многими в тайне, необыкновенно сблизили меня с этим мыслящим кружком: я сдружился с ним, почти жил в нем. Бурцов, которому я больше высказывался, нашел, что по мнениям и убежде

ниям моим, вынесенным из лицея, я готов для дела. На этом основании он принял в общество меня и Вальховского. Первая моя мысль была открыться Пушкину: он всегда согласно со мною мыслил о деле общем (res publica), по-своему проповедывал в нашем смысле — и изустно, и письменно, стихами и прозой. Не знаю к счастью ли его, или к несчастию, он не был тогда в Петербурге, а то не ручаюсь, что в первых порывах по исключительной дружбе моей к нему я, может быть, увлек бы его с собою. Впоследствии, когда думалось мне исполнить эту мысль, я уже не решался вверить ему тайну, не мне одному принадлежавшую, где малейшая неосторожность могла быть пагубна всему делу. Подвижность пылкого его нрава, сближение с людьми ненадежными пугали меня. Естественно, что Пушкин, увидя меня после первой нашей разлуки, заметил во мне некоторую перемену и начал подозревать, что я от него что-то скрываю. Особенно во время его болезни и продолжительного выздоровления, видаясь чаще обыкновенного, он затруднял меня спросами и расспросами, от которых я, как умел, отделывался, успокаивая его тем, что он лично, без всякого воображаемого им общества, действует как нельзя лучше для благой цели: тогда везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его «Деревня», «Ода на свободу», «Ура! в Россию скачет» и другие мелочи в том же духе» [4].

Свои беседы с Пушкиным И. И. Пущин датирует временем болезни поэта, т. е. январем-февралем 1818 г. (упоминание о «Деревне», написанной годом позже, конечно, обмолвка). Как раз в эту пору работа тайной организации в Петербурге фактически приостановилась. И. И. Пущин, даже если бы он оказался менее твердокаменным, сколько-нибудь серьезной информации о революционном подполье дать Пушкину не мог. Центр политической жизни с осени 1817 г. передвинулся в Москву, где вместе с двором и гвардией находились в течение нескольких месяцев и все вожди Союза Спасения. Переезд в Москву использован был для коренной перестройки тайного общества: значительно расширялась самая его база, пересматривалась тактика, перестраивалось руководство. В числе вождей революционной организации был в эту переходную пору и П. А. Катенин, с которым познакомился Пушкин перед самым его выездом из Петербурга. Представил их друг другу Н. И. Гнедич, но наладить это знакомство мог и выехавший в Москву вместе с Катениным его давнишний приятель и политический единомышленник Н. М. Муравьев. С Пушкиным последний был связан по «Арзамасу», но к Катенину тяготел, очевидно, не только по политической линии. В письме Н. М. Муравьева из Москвы к матери от 12 ноября 1817 г. (т. е. в разгар работ по реорганизации тайного общества) сохранились следующие строки: «Вчера у меня Катенин пил чай и был также Матюша [М. И. Муравьев-Апостол]. Мы в один вечер успели перебрать всю словесность от самого потопа до наших дней и истребили почти всех писателей» [5].

III

Дошедшие до нас материалы для политической биографии П. А. Катенина настолько скудны, тусклы и порой противоречивы, что не приходится удивляться тем глухим формулировкам об известной связи автора «Старой были» с тайными организациями декабристов эпохи Союза Благоденствия, которыми ограничивались даже внимательнейшие из исследователей литературного наследия Катенина [6]. Вопрос о конкретизации этих связей не может быть, конечно, разрешен без уяснения одного из наиболее темных моментов в истории раннего декабризма. Мы имеем в виду период от ликвидации Союза Спасения—замкнутой военно-революционной организации со ставкой на дворцовый переворот и прокламирование сверху необходимых меньшинству правящего класса буржуазных реформ—до создания Союза Благоденствия—широкого блока умеренно-либеральной дворянской общественности, все расчеты которой связаны были с длительной политико-просветительной работой в рамках существующего строя, с постепенным лишь «овладением мнением общественным», без «употребления страшных средств».

«По прибытии в Москву,—рассказывал об этой поре своей подпольной работы Н. М. Муравьев,—начались споры, какую дать форму Обществу и какую цель определить его занятиям. Еще в Петербурге кн. Лопухин доставил книжку немецкого журнала «Freywillige Blätter», в которой находился устав Тугендбунда. Петр Колошин перевел его на русский язык. Устав сей весьма понравился Михайле Муравьеву, Фонвизину и Якушкину, которые настаивали, чтобы оный применить к состоянию России и народному характеру, на что другие члены не соглашались» [7].

Борьба вокруг нового устава приняла настолько острые формы, что составитель «Донесения Следственной Комиссии», сочувственно характеризуя позицию сторон-

ников реорганизации Союза Спасения, с негодованием отмечал в своей сводке: «Коренные члены Союза, бывшие тогда в Москве с отрядом гвардии, долго не уступали сему желанию [принять устав Тугендбунда], и замечательно, что во время сих прений, на одном собрании, где находились Александр, Никита, Сергей и Матвей Муравьевы, Якушкин, Фонвизин, Лунин и князь Федор Шаховской, родилась или по крайней мере объявлена в первый раз ужасная мысль о цареубийстве».

Автор «Донесения» имел здесь в виду известный вызов И. Д. Якушкина, предложившего тайному обществу санкционировать задуманный им террористический акт. Характерен позднейший запрос Следственной комиссии по делу декабристов, не присутствовал ли при выступлении Якушкина и П. А. Катенин. Обвиняемый ответил на этот вопрос отрицательно, отметив, впрочем, возможность участия Катенина «на совещании, происходившем на другой день у Фонвизина»[8].

Предложением И. Д. Якушкина вопрос о цареубийстве был поставлен в порядок дня и долго занимал внимание членов тайной организации. Так в обвинительных материалах, предъявленных много лет спустя Н. М. Муравьеву, отмечалось: «Полковник Артамон Муравьев утвердительно показывает, что во время бытности его в Москве, в 1817 г., была речь о покушении на жизнь покойного государя императора, и он вместе с вами вызвался на сие, говоря, что злодеяние сие можно совершить на бале в грановитой палате; но Александр Муравьев отверг таковое покушение, представляя, что оно безрассудно и при начале Общества невозможно, когда ничто еще не готово. На что Артамон Муравьев сказал вам, что «прежде все говорили, а как пришло решиться на дело, где нужна решимость—так и прочь, и что одни вы, да он только отчаянны». При чем присовокупляет, что пред отъездом своим из Москвы в Тамбов в 1818 г. упросил он вас уполномочить и его набирать членов, зная, что сие поручалось другим,—на что вы согласились, и, написав вместе с Катениным на страничке, что он, Артамон Муравьев, уполномачивается набирать членов в 5-м Резервном Кавалерийском Корпусе, подписались»[9].

Н. М. Муравьев, не отрицая существа этих показаний, указал только, что никто, кроме его самого и А. Н. Муравьева, при вызове Артамона на цареубийство не присутствовал, что же касается мандата А. З. Муравьеву на прием новых членов, то таковой был действительно выдан им, Н. М. Муравьевым, совместно с П. А. Катениным, от имени тайного «Военного Общества».

Об организации этого «Военного Общества» и об его функциях сохранилось настолько мало точных свидетельств, что приведем важнейшие из них полностью.

«По прибытии гвардии в Москву,—рассказывает о преобразовании Союза Спасения И. Д. Якушкин,—устав, сочиненный и принятый Обществом в Петербурге, после некоторых прений на совещаниях... был найден неудобным для хода Общества и потому уничтожен... По уничтожении сего устава, члены, находящиеся тогда в Москве, предположили заняться новым письменным учреждением для общества, а между тем было устроено приготовительное общество под названием Военного, которого цель была приготовлять членов для главного общества, не имеющего еще тогда настоящего своего образования»[10]. В дополнительных своих показаниях тот же И. Д. Якушкин через три дня отмечал: «В 1817 году, по прибытии в Москву гвардии, на совещаниях при учреждении приготовительного общества под названием Военного, сколько припомнить могу, бывали кроме названных уже мною лиц [А. Н. и Н. М. Муравьевы, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, кн. С. П. Трубецкой]: двое Перовских, бывший Преображенского полка капитан Катенин и князь Федор Шаховской»[11].

«Когда в конце 1817 г. приезжал я в Петербург,—вспоминает П. И. Пестель,—большая часть членов наших находилась в Москве с гвардиею. Там преобразовали общество Сынов Отечества [так называет Пестель Союз Спасения] в Военное общество и разделили членов на два отделения. В одном был первенствующим членом Никита Муравьев, а в другом Катенин»[12].

Самое название «Военное общество» выбрано было, как полагаем мы, не случайно. Под точно такою же фирмою в широких общественных кругах известно было учрежденное в Петербурге в самом начале 1817 г. при главном штабе гвардейского корпуса «Общество Военных Людей». Эта культурно-просветительная организация официально возглавлялась генерал-адъютантом Н. М. Сипягиным, находилась под «высочайшим» покровительством и имела даже свой печатный орган—ежемесячный «Военный Журнал», разрабатывавший и пропагандировавший специальную военно-историческую и военно-техническую тематику. Редактором этого журнала был Ф. Н. Глинка, а участниками И. Г. Бурцов, М. К. Грибовский, А. Ф. Гаевский, В. Д. Вальховский,

А. Ф. Фон-дер Бриген, А. Родзянко и многие другие. Итак, легальная фирма «Общества Военных Людей», известного более под сокращенным названием «Военного Общества», использована была в 1817—1818 гг. для прикрытия подпольной работы тех чинов гвардейского корпуса, которые, находясь в Москве, совмещали участие в привилегированном военно-научном кружке с деятельностью в революционном Союзе Спасения [13].

П. А. Катенину не пришлось давать объяснений в Следственной комиссии о деятельности Военного общества. Почему-то не был специально опрошен об этом и Н. М. Муравьев, вскользь упомянувший о Военном обществе в конце своего рассказа о переделке устава Тугендбунда в Москве: «Работа сия продолжалась около четырех месяцев. Она была поручена Михайле Муравьеву, князю Трубецкому и мне. Пока работа сия производилась, Александр Муравьев завел Военное общество, которое было довольно многочисленно и разделялось на две управы,—но по окончании нового устава, Общество сие было распущено и члены оного поступили в новый Союз Благоденствия» [14].

Все эти справки о ходе реорганизации Союза Спасения позволяют установить, во-первых, что Военное общество являлось единственным органом Союза Спасения в 1817—1818 гг., и во-вторых, что этот орган, создававшийся в момент особого обострения политической борьбы вокруг нового устава тайного общества, мог управляться только людьми, непосредственно связанными с руководством Союза и пользовавшимися особым доверием «коренных членов». Таким образом, не может вызывать сомнений ни самая принадлежность П. А. Катенина к числу членов Союза Спасения, ни его довольно ответственная роль в последнем.

Аргументации нашей нисколько не колеблет то обстоятельство, что в официальном «Алфавите декабристов» П. А. Катенин членом Союза Спасения прямо назван не был. Как пришлось нам установить, первая тайная организация декабристов наименована была в «Алфавите» Союзом Спасения только однажды—при указании партийной принадлежности кн. П. П. Лопухина. Все же прочие ее члены (в том числе и учредители Союза—А. Н. и Н. М. Муравьевы, С. П. Трубецкой, С. И. и М. И. Муравьевы-Апостолы, Якушкин, Пестель) именовались или «основателями Общества» или же членами «первого Общества». Такого же рода была и справка «Алфавита» о «служившем капитаном в Преображенском полку» П. А. Катенине: «Принадлежал к числу членов первого Общества, составившегося прежде Союза Благоденствия, но в сем последнем не числился» [15]. В виде догадки позволим себе высказать еще предположение о том, что принят был П. А. Катенин в Союз Спасения своими сослуживцами по Преображенскому полку и товарищами по походам 1812—1814 гг.—И. П. и С. П. Шиповыми. Оба брата, судя по показаниям Пестеля и кн. С. П. Трубецкого, принадлежали к числу старейших членов Союза Спасения и, естественно, должны были положить основание ячейки тайного общества в своем полку [16]. То обстоятельство, что ни один из братьев Шиповых, по личному расположению к ним Николая I, не был привлечен к дознанию 1825—1826 гг., объясняет и отсутствие точных данных об обстоятельствах вступления Катенина в тайное общество.

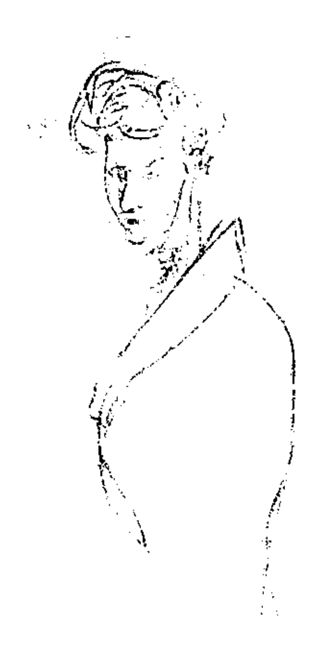
IV

В Союз Благоденствия Катенин должен был перейти в порядке простой перерегистрации, и тем не менее в рядах нового тайного общества его с самого начала уже не оказалось. Объяснять этот факт случайностью связей Катенина с тайной организацией или принципиальным отказом от подпольной работы нет никаких оснований, хотя именно так этот неожиданный его политический абсентеизм понят был, вероятно, и Следственной комиссией по делу декабристов, и позднейшими историками. Между тем, вне рядов Союза Благоденствия, как свидетельствует произведенный нами учет данных об его личном составе в 1818 г., остался не один Катенин. В новой организации прежде всего не оказалось Пестеля, резко опротестовавшего новый устав и, по свидетельству Н. М. Муравьева, ставшего «действовать отдельно, прежде в Митаве, а потом в Тульчине»; ушел из Союза И. Д. Якушкин, инициатор вопроса о цареубийстве в октябре 1817 г.; не был принят и его единомышленник А. З. Муравьев, при чем даже список принятых по мандату Катенина новых членов был «тот же час истреблен» [17]. Получается определенная картина ликвидации всего левого фланга Союза Спасения, частью в порядке чистки Союза, частью в порядке отхода от последнего наиболее радикальных (хотя бы в вопросах только тактики) элементов.

Период пребывания вне тайного общества почти для всех перечисленных нами членов Союза Спасения был не долог. Одни, как например Пестель, вовсе не прекращали подпольной работы, несмотря на свое несогласие с новым уставом и непризнание нового руководства. Другие (А. З. Муравьев, И. Д. Якушкин) включились

РИСУНОК ПУШКИНА НА ОБОРОТЕ ПИСЬМА КАТЕНИНА К НЕМУ ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 1833 г.

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва



в ячейки Союза Благоденствия позднее. И только один Катенин перешел на беспартийное положение окончательно. Тактика «малых дел» и медленного «действия *на мнения» ему не могла импонировать, смело же пойти, подобно Пестелю, на* раскол и возглавить в Петербурге революционную работу на прежних основаниях он был не в состоянии. Несколько забегая вперед, отметим, что ситуация, благоприятная для политических установок Катенина, возродилась в Петербурге в 1823 г., в момент организации на развалинах Союза Благоденствия ячеек Северного тайного общества. Однако в эту пору Катенин был уже выслан из столицы и прозябал под надзором полиции в своей костромской деревне. Когда же он вернулся в 1825 г. в Петербург, то деятельность Северного общества направлялась уже не прежними его товарищами по Союзу Спасения, а человеком совершенно новой политической формации и давним его литературным антагонистом — Рылеевым. Ни с ним, ни с А. А. Бестужевым у Катенина, конечно, общего языка найтись не могло [18].

Отрывом от тайной организации, потерей прежней товарищеской среды и привычных навыков общественно-литературной работы объясняем мы и быструю деградацию Катенина не только как политического деятеля, но и как писателя. Его интересы мельчали и горизонты суживались. Радикальная позиция, в условиях отхода от реальной политической работы, вырождалась в отвлеченно-радикальную позу, в безответственное фрондерство, в беспредметный нигилизм.

Пушкин, еще в 1818 г. тянувшийся к Катенину как к одному из самых ярких и оригинальных деятелей литературно-теоретического фронта, как к единственному в эту пору писателю, идейно и организационно связанному с революционным подпольем, уже весной 1820 г. писал о нем Вяземскому: «Катенин опоздал родиться — не идеями (которых у него нет), но характером принадлежит он к 18 столетию: та же авторская мелкость и гордость, те же литературные интриги и сплетни. Мы все, по большей части привыкли смотреть на поэзию, как на записную прелестницу, к которой заходим иногда поврать и поповесничать, без всякой душевной привязанности и вовсе не уважая опасных ее прелестей. Катенин напротив того приезжает к ней в башмаках и напудренный и просиживает у нее целую жизнь с платонической любовью, благоговением и важностью. Что ни говори, век наш — не век поэзии, умы не к ней устремлены»...[19]

Несколько лет спустя Пушкин очень точно обозначил, куда были устремлены передовые «умы» в пору идейной гегемонии Союза Благоденствия.

«Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году, — отмечал он в «Романе в письмах». — В то время строгость правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы, не снимая шпаг: нам было неприлично танцовать и некогда заниматься дамами». В плановых наметках «Русского Пелама»

этот же период разумелся Пушкиным в строках об «Обществе умных (И. Долгоруков, Сергей Трубецкой, Никита Муравьев etc.)».

Как политический руководитель импонировал Пушкину в эту пору уже, конечно, не деградировавший оппозиционер Катенин (в этом смысле очень характерна резкая сентенция Пушкина об отсутствии у него «идей»), а Н. И. Тургенев, трезвый экономист, автор «Опыта теории налогов», вождь и идеолог Союза Благоденствия. Формально не являясь членом тайной организации, Пушкин, как известно, деятельно участвует с начала 1819 г. в «Зеленой Лампе», одном из крупнейших периферийных органов Союза Благоденствия, созданном вождями тайной организации для определенного политического воспитания беспартийного литературного актива.

Совершенно понятно, что и подпольные стихотворные агитки Пушкина этой поры, и его легальные оппозиционные вещи (ода «Вольность», «Деревня», «Ответ на вызов написать стихи в честь императрицы Елизаветы Алексеевны» и многое другое) своим умеренно-либеральным прекраснодушием резко не соответствовали ожиданиям и интересам недавнего главы революционного «Военного Общества».

Поэтому Пушкин и «упорно» воздерживался от ознакомления с ними Катенина. Стихи эти, конечно, были «писаны не про него».

V

Характернейшим показателем падения авторитета Катенина даже в той сфере, в которой еще недавно приговоры его были особенно значительны, являются «Мои замечания о русском театре», писанные Пушкиным в самом конце 1819 г. Этот критический трактат, полностью отвечавший интересам «Зеленой Лампы» в области театральной политики, задевал Катенина и своими общими установками (апология Катерины Семеновой, враждебной Катенину, и дискредитация Колосовой, его ученицы и приятельницы), и высказываниями частного порядка: «В ее устах,—замечал, например, Пушкин о Семеновой,—понравились нам славянские стихи Катенина, полные силы и огня, но отверженные вкусом и гармонией».

Память о Катенине как политическом деятеле поддерживалась уже в 1820 г. только революционным гимном, связанным с его именем.

«Раз случилось мне быть в одном холостом довольно веселом обществе, где было много офицеров,—писал реакционный арзамасец Ф. Ф. Вигель.—Рассуждая между собою в особом углу, вдруг запели они на голос известной в самые ужасные дни революции песни: «Veillons au salut de l'Empire». Богомерзкие слова ее переведены надменным и жалким поэтом полковником Катениным, по какому-то неудовольствию недавно оставившим службу. Я их не затверживал, ни записывал; но они меня так поразили, что остались у меня в памяти, и я передаю их здесь, хотя не ручаюсь за верность:

Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.
Свобода! Свобода!
Ты царствуй над нами.
Ах, лучше смерть, чем жить рабами:
Вот клятва каждого из нас» [30].

Возможно, что с распространением именно этой песни связано было и отстранение Катенина от службы в Преображенском полку 14 сентября 1820 г. По крайней мере о политических причинах этой отставки прямо свидетельствует одно из замечаний приводимого нами ниже письма начальника Главного штаба к с.-петербургскому генерал-губернатору от 20 октября 1822 г. Об обстоятельствах отставки Катенина вспомнили в 1822 г. не случайно. Старый фрондер именно в это время вновь оказался в сфере внимания высших органов государственной охраны как инициатор демонстрации в петербургском Большом театре 18 сентября 1822 г.

«18 сентября,—доносил об этом инциденте с.-петербургский генерал-губернатор граф М. А. Милорадович царю, находившемуся в Вероне,—давали на Большом театре трагедию «Поликсена», в которой ролю Гекубы играла Семенова большая, ролю Пирра—Каратыгин. По окончании спектакля публика вызывала Семенову. Некоторые голоса вызывали новую дебютантку, воспитанницу театральной школы Азаревичеву, игравшую роль Поликсена. Отставной полковник Катенин кричал: «Каратыгина!» Когда занавес был поднят, то показалась Семенова с Азаревичевою и принята была с обыкновенным восторгом, но полковник Катенин кричал: «не на-

добно нам их; дайте нам Каратыгина!» Встал из кресла и махал руками, повторяя сие с криком несколько раз. На другой день узнал я, что Катенин уговорил несколько своих знакомых как можно более аплодировать Каратыгину и стараться, чтобы он был вызван прежде Семеновой; но когда увидел, что вся публика желала вызвать Семенову, тогда он сделал ей вышеозначенное огорчение. Узнал я также, что Катенин дерзок и подбирает в партере партии, дабы господствовать в оном и заставлять актеров и актрис искать его покровительства. А посему и нашел я приличным пригласить к себе полковника Катенина, внушил ему неблагоразумный его поступок как относительно Семеновой, которую он огорчать не имел права, равномерно и относительно публики, которая была тем недовольна. Советовал ему впредь в русской театр не ездить, дабы решительно прекратить подобные поступки и могущие от оных случиться неприятные происшествия» [21].

Эффект, произведенный этой бумагой, оказался гораздо серьезнее, чем рассчитывал М. А. Милорадович. Жесткая ликвидация носителей оппозиционных настроений в армии и в столице в течение уже нескольких месяцев была в центре внимания Александра I: истории с Катениным предшествовали такие факты, как донос М. К. Грибовского о работе тайных организаций, как арест В. Ф. Раевского, отстранение от службы генералов М. Ф. Орлова и П. С. Пущина, дело П. Х. Граббе, высылки—Лабзина в деревню и профессора Раупаха за границу и пр. К прежним данным, компрометировавшим Катенина, присоединилось, может быть, и подозрение о причастности его к делу о знаменитых солдатских прокламациях, появившихся осенью 1820 г. в казармах того самого Преображенского полка, из которого он был незадолго перед тем устранен как политически неблагонадежный. Так или иначе, но ответ начальника Главного штаба от 20 октября 1822 г. на рапорт Милорадовича гласил следующее:

«Государь император, прочитав записку вашего сиятельства о неприличном поступке отставного полковника Катенина, повелеть мне соизволил сообщить вам, что ежели бы сей поступок сделан был кем-нибудь другим, то его величество нашел бы достаточным распоряжение, вашим сиятельством определенное; но как г-н Катенин и напредь сего замечен был неоднократно с невыгодной стороны и потому и удален из лейб-гвардии Преображенского полка, то его величество повелевает вашему сиятельству выслать г-на Катенина из Петербурга, с запрещением въезжать в обе столицы без высочайшего на то разрешения» [22].

Повеление Александра I о высылке Катенина получено было в Петербурге 7 ноября 1822 г. Пушкин, томившийся в ссылке уже третий год, жил в это время в Кишиневе. До далекой Бессарабии столичные новости доходили с большим запозданием: «Правда ли, что говорят о Катенине,—запрашивал Пушкин Вяземского 5 апреля 1823 г.—Мне никто ничего не пишет. Москва, Петербург и Арзамас совершенно забыли меня». Этот нервно-тревожный запрос ссыльного поэта о судьбе когда-то близкого ему человека, положение которого в этот момент сравнялось с его собственным, вскоре был, вероятно, удовлетворен. Тогда, не имея возможности использовать для слов ободрения и участия «почтовую прозу», Пушкин и внес в строфу о Петербургском театре первой главы «Евгения Онегина», над которой он как раз в это время работал, знаменитые строки:

Там наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый.

В условиях 1823—1825 гг. эта апология литературных заслуг недавней жертвы царского произвола, работ для сцены политического изгнанника, получала откровенно демонстративный характер. Сентенция же о «н а ш е м Катенине» звучала вызывающе не только в первые месяцы после высылки его из столицы, но еще много лет после выхода первой главы «Онегина» в свет [23].

VI

Летом 1825 г. Катенин получил разрешение на возвращение в Петербург. Выше мы отметили уже причины, в силу которых он не мог занять сколько-нибудь заметного положения в общественно-литературной обстановке преддекабрьской поры. Политическая изоляция его была настолько прочна, что даже в пору следствия и суда над декабристами он оказался почти нескомпрометированным. Вскрылась, правда, его ведущая роль в переходную пору от Союза Спасения к Союзу Благоденствия, но поскольку именно этот момент истории тайных организаций был искусственно затушеван в процессе (вероятно, прежде всего потому, что Николай не

желал компрометации очень многих из ближайших товарищей Катенина по Союзу— И. П. и С. П. Шиповых, И. А. Долгорукого, Л. А. Перовского, П. П. Лопухина) Катенин мог быть спокоен. Возможно, что положение его было облегчено и той путаницей представлений о двух Военных Обществах—легальном и революционном, на которой заговорщики и строили в свое время свои расчеты; возможно, что оказал ему содействие в 1825—1826 гг. и его старый товарищ и сослуживец флигель-адъютант В. Ф. Адлерберг, бывший в эту пору одним из влиятельнейших сотрудников Следственной комиссии. Так или иначе Катенин не был даже арестован, а в «Алфавит декабристов» вошел с краткой заключительной отметкой: «Высочайше повелено оставить без внимания» [14].

Эта квалификация не освободила, однако, Катенина от прохождения через фильтр III Отделения. Новое учреждение начало, как известно, свою работу с проверки в общеимперском масштабе всех данных, накопившихся в старом охранительном аппарате о «неблагонамеренных лицах». В связи с этим уже 27 октября 1826 г. из III Отделения была переслана «для сведения» начальнику главного штаба специальная записка о полковнике П. А. Катенине, которую приводим полностью:

«Павел Александрович Катенин был некогда оракулом Преображенского полка, регулятором полкового мнения и действий молодых офицеров. Он воспитывался в родительском доме на скорую руку, выучился по-французски, танцовать, и на 14 году от роду вступил в статскую службу, а в 1809 г. был уже титулярным советником. В 1810 г. он перешел в Преображенский полк, а в 1820 произведен был в полковники; в том же году вышел в отставку на 28 году от роду: ему теперь только 34 года.

Не получив никакого основательного воспитания и вышедши на 14 году в свет, с умом быстрым и пылким характером, с страстью к литературе и чтению, он бросился на философический словарь Вольтеров и все творения енциклопедистов, а имея необыкновенную память, испестрил ум свой блестками и мишурою, которые казались драгоценными предметами молодым офицерам и даже пожилым безграматникам. От того-то он почитался в полку *гением* и поддерживал свою славу охотою к спорам диалектическим и самонадеянностью. Некоторые успехи в литературе и на сцене еще более утвердили его в сем мнении о себе. Но гвардейские офицеры превозносили его, а литераторы не любили за крутой нрав, вспыльчивость и даже дерзость в обхождении. В это время он был вреден своим влиянием и распространением Вольтерианства. Говорят, что покойный государь знал это и велел ему выйти в отставку (под рукою)—Должно однакожь сказать, что Катенин более желал *блестеть* нежели *действовать* в какой-либо вредной цели. Он был *frondeur* не образа правления или политической системы, о которых не имеет понятия, *но порицателем лиц*. Рассердившись на графа Милорадовича за то, что он протежировал дурных актрис-красавиц, Катенин без умолку ругал его во всех домах. Он называл покойного графа: «*Tygrane, mais plutôt âne que tygre*». Это дошло до графа, и он отмстил ему. Однажды в театре начали вызывать Азаревичеву, любимицу Милорадовича, и Катенин, как исступленный, кричал *не надо, не надо*. Граф отрапортовал покойному государю в Верону и государь, по прежнему замечанию, велел выслать Катенина из города в свою деревню.—С тех пор он весьма переменился, сделался скромнее в речах и поступках, и как он никогда не был в душе ни якобинцем, ни атеистом, а болтал только в молодости, чтобы казаться выше других умом, то и самые зародыши сих идей исчезли в нем. Он тем менее опасен ныне, что все прежние его поклонники и друзья литераторы его оставили, а старые офицеры переменились, и сам Катенин сделался другой человек. Величайшие защитники его говорят, что с ним нельзя теперь говорить, что он отстал в понятиях о литературе и вообще в суждениях. Теперь Катенин проводит время у Колосовой и других актрис, переводит и сочиняет для них пиесы и удивляется, что прежние его друзья и поклонники охладели к нему. Суждение Грибоедова о нем прекрасное: «Катенин не поглупел, но мы поумнели, и от того он кажется нам ничтожным». Сколько *прежний* Катенин мог казаться опасным, столько *нынешний* безопасен».

Этот замечательный, хотя и определенно памфлетный по своим установкам литературный портрет принадлежал, вероятно, перу Булгарина. По крайней мере, независимо от данных художественно-стилистического порядка и характернейшей ссылки в этом документе на интимные высказывания Грибоедова, именно Булгарин являлся бесспорным автором и других записок, сохранившихся в том же секретном деле Главного штаба «О тайных обществах и неблагонамеренных лицах», откуда извлечены нами последние материалы для политической биографии Катенина.

VII

Текст «Воспоминаний о Пушкине» занимает 14 листов бумаги обычного канцелярского формата, сшитых и исписанных с обеих сторон писарской рукою. Самим П. А. Катениным рукопись только подписана и датирована, да на листе третьем

АВТОГРАФ ПИСЬМА КАТЕНИНА К ПУШКИНУ ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 1833 г.

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

его же рукою вписано 8 строк французского диалога (см. далее, стр. 635). В правом верхнем углу первого листа мемуаров сохранилась позднейшая карандашная отметка, обращенная, вероятно, к П. В. Анненкову: «Прошу разрешить снять копию».

Память П. А. Катенина (профессиональная память салонного рассказчика и декламатора) была, судя по показаниям его современников, исключительна.

«Люди, хорошо знавшие Катенина, всегда удивлялись его энциклопедическим познаниям и необыкновенно счастливой памяти,—отмечал в своем некрологическом «Воспоминании о Катенине» некий П. Андреев (мы полагаем, что под этим псевдонимом укрылся в «Северной Пчеле» П. А. Каратыгин).—Действительно, не было ни одного события в Русской и даже во Всеобщей Истории, которого Катенин, при случае, не мог бы рассказать подробно, со всею хронологическою точностью, так что друзья его, при исторических или литературных спорах, всегда выбирали Катенина в посредники, и его ответ принимался беспрекословно»[26].

Блестящим подтверждением верности фактов и точности даже привходящих художественно-бытовых аксессуаров рассказов Катенина являются и его воспоминания о Пушкине. Проверка этой записки на основании документальных данных, накопившихся за восемь десятков лет, отделяющих нас от времени работы над нею Катенина, не внесла в ее сообщения существенных коррективов. Мемуарист многого, конечно, не договаривал, порою явно хитрил—четверть века цензурно-полицейского террора последекабристской поры отучили людей его положения от прямых политических деклараций, но все то, что было им внесено в записку, отличалось в своей фактической части максимальной точностью. Характерно, что даже в тех случаях, когда нам приходилось констатировать ошибку Катенина, возможность таковой сигнализировалась уже самим мемуаристом. Так например, рассказывая о своем столкновении с Н. И. Гречем из-за статьи о «Руслане и Людмиле» в «Сыне Отечества» (в этом эпизоде контаминированы были, вероятно, две разновременных литературных стычки, одна из которых была в присутствии Пушкина, а другая уже после его высылки из Петербурга), сам Катенин спешил оговориться: «Тому так давно, что я уже не уверен, при нем ли самом ‹Пушкине› было объяснение или при В. А. Жуковском, который в отсутствие автора заботился об издании и успехе поэмы: тот или другой, для сущности дела все равно».

Самым ранним из известных нам откликов на воспоминания П. А. Катенина является письмо П. В. Анненкова от 26 января 1853 г. к И. С. Тургеневу: «Катенин мне прислал записку о Пушкине и требовал мнения. В этой записке, между прочим, Борис Годунов осуждается потому, что не годится для сцены, а Моцарт и Сальери потому, что на Сальери взведено даром преступление, в котором он не повинен. На последнее я отвечал, что никто не думает о настоящем Сальери, а что это только тип даровитой зависти. Катенин возразил: Стыдитесь! Ведь вы полагаю честный человек, и клевету одобрять не можете? Я на это: искусство имеет другую мораль, чем общество. А он мне: мораль одна и писатель должен еще более беречь чужое имя, чем горничная, деревня или город. Да вот десятое письмо по этому эфически-эстетическому вопросу и обменивает, но напишите как вам сам вопрос кажется»[27]. И. С. Тургенев откликнулся на этот запрос очень лаконично: «В вопросе о Моцарте и Сальери я совершенно на вашей стороне,—писал он 2 февраля 1853 г.—Но это может быть от того происходит, что нравственное чувство во мне слабо развито»[28].

П. А. Катенин умер 23 мая 1853 г., так и не дождавшись материалов П. В. Анненкова. Последний, однако, с благодарностью помянул его имя в предисловии к своей книге: «При самом начале труда нашего покойный Л. С. Пушкин, Н. И. Павлищев и покойный Павел Александрович Катенин составили для настоящего издания, и по нашей просьбе, три записки: первый о жизни поэта до приезда его в Москву в 1826 г., второй о детстве Пушкина, третий вообще о своем знакомстве с ним. Записки эти, писанные собственной рукой авторов, находятся у составителя материалов и многочисленные отрывки из них приведены им в тексте»[29].

Характеристика всех выдержек из этих воспоминаний как «многочисленных», конечно, не верна. Сопоставляя подлинный текст записки П. А. Катенина с цитатами из нее в «Материалах для биографии Пушкина» (стр. 44, 55—57, 67, 288), не трудно установить, что из полученного им документа П. В. Анненков перенес в свою работу лишь несколько характерных сентенций и анекдотов, при чем самый пересказ и интерпретация этих мемуарных деталей, широко использованных, кстати сказать, во всей позднейшей литературе о Пушкине, не всегда отличались близостью к оригиналу. Без изменений текст выдержек из воспоминаний Катенина остался при перепечатке «Материалов для биографии Пушкина» в 1873 г., а два эпизода из этих же мемуаров, пересказанные в следующем году в новой работе П. В. Анненкова («Пушкин в Александровскую эпоху», СПБ., 1874, стр. 119—120), восходили уже не к рукописному первоисточнику, а к тем же «Материалам для биографии Пушкина». Мы полагаем, что подлинная записка Катенина к этому времени уже затерялась в той серии бумаг П. В. Анненкова, к которой сам он не возвращался после 1855—1857 гг. и которая была разобрана его наследниками лишь после Октябрьской рево-

люции. Так или иначе, но только в 1924 г. рукопись воспоминаний Катенина была приобретена у П. П. Анненкова антикваром Ф. Г. Шиловым и перепродана последним П. Е. Щеголеву. Подготовляя критическую биографию Пушкина, покойный исследователь предполагал широко использовать в этом своем труде и воспоминания Катенина. Публикация памятника поэтому в самом начале задержалась, а затем оказалась отсроченной еще на несколько лет из-за болезни и смерти П. Е. Щеголева.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Письма Пушкина» под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского, т. II, М.-Л., 1928, стр. 5—6. Характерны замечания современников об усвоении Пушкиным некоторых чисто внешних повадок Катенина. Так С. П. Шевырев отмечал в воспоминаниях: «Катенин имел огромное влияние на Пушкина. Последний принял у него все приемы, всю быстроту своих движений. Смотря на Катенина, можно было беспрестанно вспоминать Пушкина» (Л. Майков, «Пушкин», СПБ., 1899, стр. 331). Ср. запись в дневнике М. П. Погодина от 27 марта 1834 г.: «Слушал Катенина. Прототип, по наружности, Пушкина» («Пушкин и его современники», вып. XXIII—XXIV, стр. 119).

[2] Основные документальные материалы о литературном обществе «Арзамас» объединены в книге «Арзамас и арзамасские протоколы». Вводная статья, редакция протоколов и примечания к ним М. С. Боровковой-Майковой, предисловие Д. Благого, Л., 1933. См. также работу Е. А. Сидорова «Литературное общество «Арзамас» («Журн. Мин. Нар. Просвещ.» 1901, кн. VI и VII) и дополнительные библиографические справки в книге Н. К. Пиксанова «Два века русской литературы», 2-е изд., М., 1924, стр. 65—66. О связи развала «Арзамаса» с кризисом карамзинизма как определенной литературной системы см. интереснейшие замечания Ю. Н. Тынянова в книге «Архаисты и новаторы», П., 1929, стр. 110—111, 138—139.

[3] Строки из «Ответа на вызов написать стихи в честь императрицы Елизаветы Алексеевны» (1818 г.).

[4] «И. И. Пущин. Записки о Пушкине и письма». Редакция и биографический очерк С. Я. Штрайха, ГИЗ, 1927, стр. 74—75. Следует отметить, что ни в комментариях к этому изданию, ни в прочих работах о Пушкине и декабристах не разъяснено, что в цитированных нами страницах воспоминаний И. И. Пущина речь шла о попытках Пушкина связаться с Союзом Спасения, точнее с тою частью членов Союза, которая оставалась в Петербурге, в то время как вожди тайного общества с осени 1817 до весны 1818 г. работали в Москве над его реорганизацией. Самое участие И. И. Пущина в Союзе Спасения, несмотря на его прямое признание в этом 19 мая 1826 г. в Следственной комиссии («Сим честь имею ответствовать, что действительно в 1817 г. принят я был полковником Бурцовым здесь в Петербурге в члены Общества»), не получило отражения даже в официальном «Алфавите декабристов», где ошибочно указывалось, что Пущин «принят в Союз Благоденствия в 1817 г.» Несмотря на то, что в 1817 г. Союза Благоденствия еще не существовало, эту ошибку повторили и новейшие комментаторы «Алфавита» («Алфавит декабристов» под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса», Л., 1925, стр. 157 и 380. Ср. «Восстание декабристов», т. II, М.-Л., 1926, стр. 232 и след.).

[5] Н. М. Дружинин. «Декабрист Н. М. Муравьев», М., 1933, стр. 97. Какова же была литературная платформа Катенина—об этом напомним словами К. А. Полевого, который всю группу писателей национал-либерального лагеря, возглавлявшуюся Катениным (Грибоедов, Жандр, Зыков, Кюхельбекер, Бахтин), характеризовал в «Московском Телеграфе» 1833 г. как общественных деятелей, «убежденных, что прежде всего надобно быть чистым сыном своего отечества, заимствовать силу и краску у своего народа и воскрешать старинный и, если можно, то и древний быт, древний язык, древние понятия, потому что всё это в нынешнем русском мире образовано слишком уж по иностранному. Это люди, по большей части основательно учившиеся, глубоко понимающие романтизм и готовые на всё прекрасное только под славянским знаменем». («Московский Телеграф» 1833 г., № 8, стр. 563).

В семейном архиве Муравьевых, как свидетельствует выписка, любезно сделанная для нас Н. М. Дружининым, сохранилось еще письмо Н. М. Муравьева к матери от 7 мая 1815 г. В этом письме (из Вены) он спрашивал: «Что делает Пушкин? Бывают ли у вас Катенин, Гнедич, Крылов?» Следует отметить, что через Н. М. Муравьева Катенин пытался в 1821 г. оказать давление на редакцию «Сына Отечества», когда Н. И. Греч прекратил печатание статей Н. И. Бахтина (см. «Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину», СПБ., 1911, стр. 19).

[6] Впервые связь П. А. Катенина с тайными организациями декабристов печатно формулирована была на основании документальных данных, а не случайных слухов

в статье Н. Ф. Дубровина «После Отечественной войны» («Рус. Стар.» 1904, кн. IV, стр. 34). Однако публикация эта была крайне небрежна. Исследователь произвольно соединил в одно целое отмеченное нами выше свидетельство Пестеля о Военном Обществе (при чем самое имя Пестеля названо не было) с покаянным письмом к Николаю I камергера Л. А. Перовского, который, лживо отождествляя Военное Общество с какой-то благотворительной организацией 1817 г. «для призрения инвалидов, их вдов и семейств» (под названием якобы «Общество благомыслящих»), на этом извращении заданий тайного общества строил свое оправдание. Позднейшие исследователи или вовсе не учитывали публикации Н. Ф. Дубровина, или невольно подчинялись ей. Так С. Бертенсон, автор последней предреволюционной сводки материалов о Катенине, развязно утверждал: «Слухи, носившиеся в обществе, что Катенин будто бы принадлежал к одному из тайных обществ, не имели никакого серьезного основания. Иначе не мог бы он по своей личной просьбе императору Александру I получить от него разрешение возвратиться в Петербург в 1825 г. Свободомыслие Катенина ограничивалось резкостью суждений или же такими пустяками, о которых с ужасом рассказывал Вигель» (С. Бертенсон. «П. А. Катенин», СПБ., 1909, стр. 24—25).

Решительные возражения эта реакционная концепция биографии Катенина встретила со стороны Н. К. Пиксанова, отметившего свидетельства о Катенине как члене Военного Общества в некоторых показаниях декабристов и на основании этих материалов заключившего: «Многое остается невыясненным в этом эпизоде из биографии П. А. Катенина. Как слагались его отношения к декабризму после 1817 г., далеко ли заходил он в своем политическом радикализме и как уцелел он в 1826 г.— остается неизвестным. Все же налицо ценный биографический факт: в 1817 г. Катенин был «первенствующим членом» одного из двух отделений тайного «Военного Общества» («Пушкин и его современ.», вып. XII, СПБ., 1909, стр. 64).

Неясным, однако, даже после ценных справок Н. К. Пиксанова оставался основной вопрос—об отношении Военного Общества к Союзу Спасения и об его политических установках. Неудивительно, что дальше беглых упоминаний о самой принадлежности Катенина к этому Военному Обществу не пошли и новейшие исследователи. См., например, очерк «П. А. Катенин» в книге И. Н. Розанова «Пушкинская плеяда», М., 1923, стр. 93—94 и сводку данных о Катенине как члене тайной организации в работе С. Я. Гессена «Источники десятой главы «Евгения Онегина» («Декабристы и их время», т. II, М., 1932, стр. 147—149). Обошел молчанием этот вопрос и Ю. Н. Тынянов, автор основополагающих разысканий о литературно-теоретической платформе Катенина и об его отношениях к Пушкину. См. «Архаисты и новаторы», Л., 1929, стр. 103—177.

[7] «Восстание декабристов», т. I, М., 1925, стр. 306—307.

[8] «Восстание декабристов», т. III, Л., 1927, стр. 56.

[9] Сводка обвинительных данных, предъявленных Н. М. Муравьеву 28 февраля 1826 г. («Восст. декабр.», т. III, стр. 27—28).

[10] Показания И. Д. Якушкина от 13 февраля 1826 г. («Восст. декабр.», т. III, стр. 49).

[11] «Восстание декабристов», т. III, стр. 55.

[12] Показания Пестеля от 13 января 1826 г. («Восст. декабр.», т. IV, стр. 101). О первой публикации этих показаний, без имени автора, см. выше примеч. 6.

[13] «Общество Военных Людей», давшее в 1817 г. удобную легальную фирму для прикрытия подпольной работы Союза Спасения, а в 1818—1819 гг. широко использованное в тех же целях Союзом Благоденствия, до сих пор не привлекало внимания исследователей. Печатные данные о нем скудны и случайны. См., напр., «Стихи на 23 ноября, петые при питии за здравие на празднестве Общества Военных Людей», опубликованные Ф. Глинкой в «Сыне Отеч.» от 30.XI.1817 г., № 48, отд. 3, стр. 117—118; обращение Общества к И. И. Дмитриеву от 23.VI.1817 г., опубликованное в прилож. к «Взгляду на мою жизнь» И. И. Дмитриева, М., 1866, прилож., стр. 112—113; показания И. Г. Бурцова об Обществе, пересказанные в «Политич. и обществен. идеях декабристов» В. И. Семевского, СПБ., 1909, стр. 278—279. Материалы же самого «Военного Журнала», позволяющие установить деятельнейшее участие в нем многих участников тайных обществ 10-х и 20-х годов, не учтены даже в юбилейной «Библиографии декабристов».

Следует отметить знакомство с «Военным Журналом» и Пушкина. Так мы считаем, что знаменитый эпилог «Кавказского пленника» и тематически и идеологически связан со следующими страницами статьи Ф. Н. Глинки «Подвиги генерал-лейтенанта Котляревского»:

«Россия, поспешавшая исполинскими шагами, в исходе прошедшего столетия, к расширению границ Европейских на запад и север, не переставала распространять владычество свое и в пределы древней Азии, по восточному берегу Черного и запад-

ному Каспийского моря.—Ныне все пространство между сих обоих морей, опоясанное смыкающею оные цепию подоблачных кавказских гор, почти уже можно положить заключенным в пределах отечества нашего. К полному обладанию сими странами не достает только покорения племен, населяющих хребты и ущелия Кавказа. Враги гражданского благоустройства, ненавистники неги и роскоши, сии полудикие племена, угрюмые, как сама окружающая их природа, предпочитают всем благам мира и самой даже жизни—свободу. Покровительствуемые, с одной стороны Оттоманскою портою, а с другой Персидскими Ханами, они могли оставаться в любезном для них состоянии, дикой независимости, доколе гром побед Российских не раздавался еще за цепию их гор.—Но с тех пор, как *Мингрелия, Имеретия, Грузия,* вместе с *Карталиниею* и *Кахетиею* (*древнюю Иверию* и *Колхиду составлявшие*), а равно и *области* Карабагская и Ганжа, что ныне Елизавет-поль, с частию ханств Шакинского и Ширванского (в древности Армению называвшиеся), вполне или отчасти признали себя зависимыми от России: с тех пор горы Кавказские подобно осажденной крепости, окружены стали владениями нашими и вот обстоятельство, подающее верную надежду, что в скором времени дикие горцы покорятся общей необходимости, и грозные вертепы, осененные современными столетиям лесами, украсятся блеском цветущих городов и селений; а мрак невежества озарится лучами просвещения. Торговля, расцветая вновь под покровом мудрого правительства, может обогатить и ощастливить страны сии» («Военный Журнал» 1817, кн. X, стр. 27—29).

[14] «Восстание декабристов», т. I, стр. 307.

[15] «Алфавит декабристов» под редакцией Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса», Л., 1925, стр. 92. Для исключительной порой неточности свидетельств «Алфавита» сошлемся еще на данные его о двух товарищах П. А. Катенина—братьях И. П. и С. П. Шиповых. Несмотря на то, что оба они принадлежали к числу старейших членов Союза Спасения, составитель «Алфавита» именует их членами Союза Благоденствия (стр. 208—209). Таковы же ошибочные данные «Алфавита» о М. С. Лунине (стр. 118), И. Г. Бурцове (стр. 45), И. И. Пущине (см. выше примеч. 4) и о других.

[16] Показания о принадлежности И. П. и С. П. Шиповых к числу старейших членов Союза Спасения см. в «Восст. декабристов», т. I, стр. 9 и 30; т. IV, стр. 100. Ср. «Записки кн. С. П. Трубецкого», СПБ., 1907, стр. 12.

[17] Показание об этом Н. М. Муравьева от 28 апреля 1826 г. хотя и очень кратко и осторожно (он явно не хотел компрометировать ни А. З. Муравьева, ни Катенина ссылками на подлинные причины их отсутствия в рядах реорганизованного Союза), но тем не менее совершенно определенно: «Артамон Муравьев точно был уполномочен к принятию членов, но по возвращении его Военное Общество, в коем он состоял, рушилось, он не был сам в Союзе Благоденствия, Катенин также—и список принятых им членов был тот же час истреблен» («Восст. декабр.», т. III, стр. 28). Его же показания о непризнании «нового Союза» Пестелем см. в «Восст. декабр.», т. I, стр. 307.

[18] Очень жесткая общая оценка произведений Катенина дана была А. А. Бестужевым в «Сыне Отеч.» 1822, ч. 77, стр. 158—168. Катенин отвечал не менее резко. На завязавшуюся полемику откликнулся и Рылеев, квалифицировавший Катенина в своем послании к Бестужеву как «литературного пигмея» («Полн. собр. стих. К. Рылеева» под ред. Ю. Г. Оксмана, Л., 1934, стр. 499—500). Из многочисленных позднейших фактов их литературных взаимоотношений отметим ироническую оценку Катениным «Войнаровского» («Рус. Стар.» 1911, кн. VI, стр. 594) и его же отзыв о «Полярной Звезде» на 1824 г. как о «дрянной компиляции» («Письма к Н. И. Бахтину», стр. 65).

[19] «Письма Пушкина», т. I, стр. 11. Мы цитируем строки о Катенине по черновой редакции письма. В тексте беловом (посланном Вяземскому 21 апреля 1820 г.) место об отсутствии у Катенина «идей» (разумеется, политических) смягчено: «Он опоздал родиться—и своим характером и образом мыслей весь принадлежит 18 столетию».

[20] «Записки Ф. Ф. Вигеля», М., 1893, ч. VI, стр. 17. Более полных записей песни, несмотря на распространение ее в революционных кругах 20-х годов, до нас не дошло.

[21] «Рус. Стар.» 1901, кн. XI, стр. 297—298. «Я более не хожу в русский театр,—писал вскоре после этого П. А. Катенин к А. М. Колосовой.—Мне это чисто начисто воспретили. Я был настолько непочтителен, что сказал вслух после представления «Поликсены», что царица-мать не имеет права выводить с собою своих протеже, которых никто не вызывает; любовник Гекубы [князь Гагарин] по этому поводу насплетничал, а сия вдова Приама, которая всегда была зла, а в этот день злее обыкновенного, потому что ей меньше аплодировали, чем молодому Пирру [В. А. Каратыгин], который впервые имел честь играть с нею,—явилась с великим

шумом жаловаться, говоря, что она не может быть спокойна на сцене до тех пор, покуда я буду в зале. Аполлон [А. А. Майков, директор театров], по совету Аристофана [А. А. Шаховского], обратился к нынешнему, вам знакомому Меценату [гр. Милорадовичу], а Меценат, через три дня призвав меня к себе, запретил мне навсегда вход в русский театр. В основе этого дела лежит нечто гнусное, но есть в нем и добрая доля смешных подробностей, о которых вы узнаете по возвращении: писать было бы слишком долго. Утешаюсь тем, что когда это дело стало предметом общих разговоров нашлось не более трех или четырех голосов, не принявших мою сторону» («Рус. Стар.» 1893, кн. III, стр. 637). Сводку данных о театральном инциденте см. в примечаниях к «Запискам П. А. Каратыгина», Л., 1930, стр. 104—111.

[22] «Рус. Стар.» 1901, кн. XI, стр. 303. Интересен отклик на высылку Катенина в дневнике Н. И. Тургенева от 11 ноября 1822 г.: «На сих днях с последним курьером получено здесь высочайшее повеление о высылке из столицы Лобзина и Катенина. Первого за его сцены в Академии Художеств, последнего за то, что кричал в театре н е н а д о... Наша публика не очень чувствительна. Катенина жалеют те, которые его знают; Лобзина, кажется, никто. Впрочем я говорю о публике Английского клоба; другой я не знаю» («Архив бр. Тургеневых», т. V, П., 1921, стр. 331).

[23] Первая глава «Евгения Онегина», над которой Пушкин работал с мая по октябрь 1823 г., вышла в свет 15 февраля 1823 г. «На прошедшей почте,—писал Катенин 9 мая 1825 г. из Кологрива Пушкину,—князь Н. С. Голицын прислал мне из Москвы в подарок твоего «Онегина». Весьма нечаянно нашел я в нем мое имя, и это доказательство, что ты меня помнишь и хорошо ко мне расположен, заставило меня почти устыдиться, что я по сие время не попекся тебя проведать» («Переписка Пушкина», т. I, стр. 211).

[24] «Алфавит декабристов», Л., 1925, стр. 92. Сам Катенин 14 марта 1826 г. уже иронизировал в письме к Пушкину над своим положением: «[Из Костромы] весьма давно ко мне ни слова не пишут, вероятно по той причине, что и меня изволят считать в числе заточенных» («Переписка Пушкина», т. I, стр. 337). Ср. письмо его же к Пушкину от 3 февраля 1826 г.: «Извини, любезнейший Александр Сергеевич, что я так давно тебе не отвечал: в нынешнее смутное время грустна даже беседа с приятелем. Жандр сначала попался в беду, но его вскоре выпустили; о других общих наших знакомых отложим разговор до свидания» («Переписка», т. I, стр. 322). См. также примечание 3 к тексту воспоминаний Катенина.

[25] Государственный Архив, фонд XXI, опись II, № 1—16. Секретное дело главного штаба по канцелярии военно-ученого комитета, отдел I, № 12 «О тайных обществах и неблагонамеренных лицах 1826 г.», лл. 86—87. В этом же деле сохранились записки «Нечто о царскосельском Лицее» и «О влиянии иностранных держав на политический образ мыслей в России». О бесспорной принадлежности этих двух записок Булгарину см. данные в книгах Б. Л. Модзалевского «Пушкин под тайным надзором», Л., 1925, стр. 34 и П. Е. Щеголева «Декабристы», Л., 1926, стр. 300 и сл.

[26] «Он знал основательно Немецкий, Французский, Латинский, Итальянский и Испанский языки,—продолжал П. Андреев—мне самому случалось несколько раз быть свидетелем, как он, развернув какую-нибудь новую французскую книгу, читал ее на чистом Русском языке, без малейшей остановки и без галлицизмов; дар слова его был изумителен и увлекал слушателя. С его благородным, прямым и энергическим характером, он, конечно, не мог не иметь врагов, но какой же истинный талант не имеет их? К сожалению, нам неизвестно, продолжал ли он свое прежнее любимое занятие и писал ли что-нибудь в деревне; должно предполагать, однако же, что в его портфеле сохраняется еще много неизданных им сочинений» («Северная Пчела» от 1 сентября 1853 г., № 192).

[27] Письмо это известно по цитате в книге Л. Н. Майкова «Пушкин», СПБ., 1899, стр. 320—321. Сочувствие Катенина исторической личности и творческому типу Сальери не лишено интимно-автобиографических мотивировок. Так Грибоедова упрекал Катенин, как известно, за то, что в «Горе от ума» — «дарования более, нежели искусства». На этот упрек Грибоедов в январе 1825 г. отвечал Катенину: «Искусство в том только и состоит, чтоб подделываться под дарование... Знаю, что всякое ремесло имеет свои хитрости, но чем их менее, тем спорее дело, и не лучше ли вовсе без хитростей?» («Полное собрание сочинений А. С. Грибоедова», т. III, П., 1917, стр. 168—169). См. также характеристику высказываний Катенина о «Моцарте и Сальери» в книге Ю. Н. Тынянова «Архаисты и новаторы», Л., 1929, стр. 175—177.

[28] «Наша Старина» 1914, кн. 9—10, стр. 848.

[29] П. В. Анненков. «Материалы для биографии Пушкина», СПБ., 1855, стр. 1. Ссылка на а в т о г р а ф П. А. Катенина не точна.

ВОСПОМИНАНИЯ О ПУШКИНЕ

Знакомство мое, с А. С. Пушкиным, началось летом в 1817 году. Был я в театре, Семенова играла какую-то трагедию; кресла мои были с правой стороны во втором ряду; в антракте увидел я Гнедича, сидящего в третьем ряду несколько левее середины, и как знакомые люди, мы с ним раскланялись издали. Не дожидаясь маленькой пиесы и проходя мимо меня, остановился он, чтобы познакомить с молодым человеком, шедшим с ним вместе. «Вы его знаете по таланту», сказал он мне: «это лицейский Пушкин». Я сказал новому знакомцу, что к сожалению после завтра выступаю в поход, в Москву, куда шли тогда первые батальоны Гвардейских полков; Пушкин отвечал, что и он вскоре отъезжает в чужие краи; мы пожелали друг другу счастливого пути, и разошлись[1].

Из Москвы возвратился я через год; все офицеры жили тогда в верхнем этаже казарм, на углу большой Миллионной и Зимней Канавки[2]. Молодой товарищ мой Д. П. Зыков[3] по какому-то случаю у себя угощал завтраком; пришел ко мне слуга доложить, что меня ожидает гость: Пушкин. Зная только графа В. В. Пушкина[4], я подумал: не он ли? Нет, отвечал слуга, молоденькой, небольшой ростом; тут я догадался и по галерее пошел к себе.

Гость встретил меня в дверях, подавая в руки толстым концом свою палку и говоря: «Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: побей, но выучи».— «Ученого учить—портить», отвечал я, взял его за руку и повел в комнаты; через четверть часа все церемонии кончились, разговор оживился, время неприметно прошло, я пригласил остаться отобедать; пришли еще кой-кто, так что новый знакомец ушел уже поздним вечером. Желая быть учтивым и расплатиться визитом, я спросил: где он живет? но ни в первый день, ни после, никогда не мог от него узнать; он упорно избегал посещений[5]. Сам, напротив, полюбив меня с первого раза, очень часто запросто посещал, и едва ли эта первая эпоха нашего знакомства была не самая лучшая и для обоих приятная.

Помнится, с самого начала спросил он: «каковы мне кажутся его стихотворения?» Я, по неизлечимой болезни говорить правду, сказал, что легкое дарование приметно во всех, но хорошим почитаю только одно, и то коротенькое: «Мечты, мечты! Где ваша сладость?» По счастию выбор мой сошелся с убеждением самого автора; он вполне согласился, прибавя, что все прочие предаст вечному забвению, и, кажется, сдержал слово, ибо они появились опять в свет уже после смерти его, как прибавление в конце, под названием Лицейских стихотворений[6].

В то же время работал он над первым из своих крупных произведений, и отрывок за отрывком прочитал мне две или три песни «Руслана и Людмилы». Без сомнения, сия поэма была уже гораздо выше ученических опытов; но и в ней еще много незрелого, и тут случилось мне в первый раз заметить в покойнике нечто, может быть, укоренившееся в нем едва ли в пользу его славы на будущее время: он сознавался в ошибках, но не исправлял их. Очень помню, что я заметил ему место, когда Руслан, потеряв меч, приезжает на старинное побоище, покрытое мертвыми телами и оружием, и между ними ищет себе меча; вдруг застонало, зашевелилось мертвое поле,—но Руслан не нашел себе меча по руке, и поехал далее. Такой ничтожный конец, после такого пышного начала, крайне удивил меня; мне вспомнился стих Горация: как гора родила мышь, и я спросил у Пушкина, над кем он шутит? Он бесспорно согласился, что дело не хо-

рошо, но не придумав ничего лучшего, оставил как есть, в надежде, что никто не заметит и просил меня никому не сказывать [7]. Я отвечал, что буду молчать по дружбе, но моя скромность поможет ему не надолго и когда-нибудь догадаются многие. Он и в том не спорил, только надеялся, что время не скоро придет, и может быть не ошибся.

В ту же зиму просил Пушкин познакомить его с князем А. А. Шаховским, у которого по вечерам после спектакля съезжалось много хороших людей, наипаче молодежи, и время весело шло. Кто-то из их общих знакомых уже прочитал Шаховскому несколько отрывков из поэмы Пушкина, и князь, страстный любитель Святой Руси, пришел от них в восторг, и также просил меня привезти к нему молодого поэта. Радушный прием на первый раз тем приятнее был для гостя, что он за собою знал против Шаховского маленький грешок; когда мы с хозяином простились, и я ночью отвозил товарища до известного угла неподалеку от его квартиры, в санях был разговор, и вот он слово в слово:

П. Savez-vous qu'il est tres bon-homme au fond? jamais je ne croirai qu'il ait voulu nuire sérieusement à Ozerow, ni à qui que ce soit.—*К.* Vous l'avez cru pourtant; vous l'avez écrit et publié; voilà le mal.—*П.* Heureusement, personne n'a lu ce barbouillage d'écolier; pensez-vous qu'il en sache quelque chose?—*К.* Non, car il ne m'en a jamais parlé.—*П.* Tant mieux; faisons comme lui, et n'en parlons plus*.

Ясно, что милому А. С. совестно стало, хотя конечно он неволею погрешил против старика [8].

По связям своей юности, слыша от всех близких одно и то же, он на веру повторял; но когда вступил в свет и начал ходить без помочей, на собственных ногах, встречая много людей, мыслящих каждый по-своему, он, как умный человек, тотчас сбросил или хоть скрыл односторонность чужих внушений и приметно старался, угождая каждому, со всеми уладить. Несмотря однако на врожденную ловкость, необходимо случалось ему впадать в противуречия с самим собою; я в шутках называл его за это le jeune Mr Arouet, сближение с Вольтером и каламбур: à rouer, где бранное слово, как у нас лихой, злодей, и тому подобное, принимается в смысле льстивом, крайне тешили покойника, и он хохотал до упада.

Другие люди не шутя старались вывести его из миролюбивого расположения духа; а как с хорошей целью все средства хороши, то и в выборе не затруднялись тем, что называется совесть; и вот пример. Вскоре после первого издания «Руслана и Людмилы», вышла на сию поэму в «Сыне Отечества» критика в форме вопросов; я прочел ее в журнале с большим любопытством, не зная, на кого подумать. Она приметно выходила из круга цеховой журналистики; замечания тонкие, язык ловкий и благородный обличали человека из хорошего общества; поломал голову с полчаса и отстал. Через несколько дней встречает меня Пушкин в театре, и говорит: «Критика твоя немножко колется, но так умна и мила, что за нее не только нельзя сердиться, но даже...» Я перебил речь: «С чего ты взял, что статья написана мною?—Греч мне сказал». За словом и Греч явился, мы его

---

* *Пушкин.* Знаете ли, что он в сущности очень хороший человек? Никогда я не поверю, что он серьезно желал повредить Озерову или кому бы то ни было.—*Катенин.* Вы это думали, однако это писали и распространяли—вот что плохо.—*П.* К счастью, никто не прочел этого школьного бумагомарания; вы думаете, он знает что-нибудь о нем?—*К.* Нет, потому что он никогда не говорил мне об этом.—*П.* Тем лучше, поступим, как он, и никогда не будем больше говорить об этом.—*Ред.*

остановили при входе, и я спросил: на чем он основал свое сказание? С геройскою смелостью отвечал Николай Иванович: «Почерк вашей руки». Это уже выходило из рук вон; я с некоторой досадой заметил ему, что если он не знает моего почерка, не следовало говорить наобум; а если, что вероятнее, знает, и подавно не следовало говорить неправды и неправды нелепой; ибо кто хочет скрыть имя, скроет и руку, а писца найти не трудно. Доказательства мои были так ясны, что Н-ю И-чу оставалось одно средство: отыграться; с двусмысленной улыбкой сказал он мне: «Простите, если ошибся; по уму и слогу не мог я другому приписать». Я пожал плечьми и отворотился; мне хотелось только разуверить Пушкина, в чем и успел. Тому так давно, что я уже не уверен: при нем ли самом было объяснение или при В. А. Жуковском, который в отсутствии автора заботился об издании и успехе поэмы: тот или другой, для сущности дела все равно [9].

Сочинителя статьи открыл я несколько недель спустя в том самом Дм. Пет. Зыкове, о ком уже было помянуто. Этот умный молодой человек, страстный к учению, несмотря на мелкие военного ремесла заботы, успел ознакомиться почти со всеми древними и новыми европейскими языками, известными по изящным произведениям; но он был не только скромен, но даже стыдлив и не доверяя еще себе, таил свои занятия ото всех. Ранняя смерть, на 30 году, не позволила ему сотворить имя свое общеизвестным, и уничтожила надежды его приятелей. Двое из них: князь Михайло Александрович Дундуков-Корсаков и Дмитрий Климович Тарасов; здравствуют доныне, и я смело ссылаюсь на их свидетельство во всем здесь мною сказанном [10].

С Пушкиным разнесла меня судьба на многие годы; меня заперли в деревне, а его пустили странствовать по свету. Я писал к нему однажды и получил ответ из Кишинева; мне показалось, что он задел меня за комедию «Сплетни», в послании к Ч—ву; он, как из ответа видно, опасался: не задел ли я его в комедии, игранной без него; такие недоразумения случаются издали; но у порядочных людей одно слово делу конец [11].

Возвратясь в Петербург в августе 1825 года, узнал я, что он проживает в Псковской губернии, сближение завело переписку, а после вступления на престол нового Государя, явился Пушкин налицо[12]. Я заметил в нем одну только перемену: исчезли замашки либерализма. Правду сказать, они всегда казались угождением более моде, нежели собственным увлечением; еще прежде из тех стихов его, которые по рукам ходили, он всегда упорно отказывал мне что-нибудь прочесть, отзываясь, что они не про меня писаны, и показать их знающему стыдно [13], и т. п.

В этот раз помирился он, отчасти чрез меня, с А. М. Колосовой, особенно блиставшей на сцене в ту зиму: 1826—1827 годов. Он провинился перед нею, вскоре после ее первых дебютов, довольно плохой эпиграммою, вероятно также по чужому внушению; потом, в коротеньком послании на мое имя, принес повинную голову и просил моего ходатайства; оно было почти лишнее; умная женщина не могла долго сердиться за безделицу[14].

В мае 1827 года вышел срок моей квартиры, а как до отъезда опять в деревню нужно было еще месяц либо полтора пробыть, давний мой друг и походный однокашник, В. Я. Микулин, в то время командир 1-го баталиона Преображенского полка, предложил мне к нему переселиться, что я с радостью принял; когда настал последний день, пригласил я многих своих приятелей на прощальную вечеринку, но сам, озабоченный уклад-

кою, коляскою, лошадьми, и прочими скуками сбора в дорогу, попросил А. С. заменить меня в хозяйничании разговором с гостьми; он согласился как раз и усердно весь вечер проработал; а когда уже и ночь (N. В. Петербургская в Июне) перешла в утро, и я совсем готов был ехать, Пушкин, жалуясь, что со мной мало беседовал, предложил пешком проводить до Невской заставы; так мы прогулялись прекрасным утром и расстались за шлагбаумом; я сел в коляску, а ему попался запоздалый извозчик[15].

В деревню писал ко мне О. М. Сомов, уведомляя, что он вместе с бароном Дельвигом намерен издавать Литературную Газету, и прося в нее присылок; я начал отправлять туда по кускам свои «Размышления и Разборы»[16]. Между тем попалась мне там статья без подписи под заглавием: «Ассамблея при Петре Первом»; я узнал перо Пушкина, и спросил у Сомова справедлива ли моя догадка? Он отвечал, что нет, что писал другой, кого однако назвать не может, ибо автор желает быть неизвестным. Не очень ему веря, я черкнул наоборот, что тем лучше, коли есть другой, и давай бог третьего, кто бы писал не хуже Пушкина. Хитрость не удалась, и Сомов признался с позволения сочинителя, который, видя, что меня обмануть нельзя, взял письмо со стола и в кармане унес домой[17].

Еще до отъезда, показывал я ему же, милому А. С., начало «Старой Были», почти не решаясь окончить; он напротив, очень хваля сделанное, убеждал непременно доделать. Сотворив наконец по его воле осенью 1828 года, вздумал я ему посвятить; написал послание в стихах для света, и простое письмо в прозе собственно для него, отправил все вместе; ответа не было, оттого ли, что он не озаботился, или что письмо пропало: не знаю. В Генваре 1829-го получил я от издателей Альманах: «Северные Цветы»; в нем нашел сообщенную Пушкиным при записке «Старую Быль» и ответ его на Послание, а Послания не было, отчего и ответ выходил не совсем понятен. Несколько лет спустя, я спросил у него: отчего так? Он отговорился тем, что посылая «Быль» от себя, ему неловко показалось приложить посвящение с похвалами ему же. Я промолчал, но ответ показался мне не чист; похвалы мои были не так чрезмерны, чтобы могли ввесть в краску авторскую скромность, и я догадался в чем истинная причина: шутка слегка над почтенным Историографом, и над почтенным Археологом, и над младыми романтиками: вот что затруднило милого А. С. Он боялся, напечатав мои дерзости без противуречия, изъявить род согласия, и оставил под спудом. Найденные после смерти в бумагах его, стихи мои были помещены в «Современнике», хотя уже гораздо ранее напечатаны в моих сочинениях, вслед за «Старой Былью», к которой относятся[18].

Такова была осторожность покойника, пока его не рассердят; но уже рассердясь, он впадал в другую крайность. Некогда осудив меня в письме из Кишинева за очень умеренную полемику против Сомова и Греча, потому что мне неприлично выходить с ними in arena, он сам гораздо хуже поступил, схватясь с Каченовским и Булгариным, когда они его чем-то задели: точно непристойно Поэту надевать на благородное лицо свое харю Косичкина и смешить ею народ, хотя бы насчет Выжигиных[19].

Приступаю к последнему моему приезду в Петербург, к последней эпохе нашего знакомства. Положение мое жестоко изменилось: имение, за неисправность винной поставки в казну, было взято в опеку; мучительная и опасная болезнь угрожала смертью. Три дела были необходимо нужны: вылечиться, напечатать свои стихотворения и снова вступить в службу; в первом помог Граф Василий Валентинович Мусин-Пушкин-Брюс, во

втором—Николай Иванович Бахтин, в третьем—Владимир Федорович Адлерберг, что ныне граф. Я поминаю здесь почтенные имена их, не затем, чтобы хвалиться тогдашним их благорасположением, но чтобы отчасти заплатить долг признательности [20].

Приехал я 1832-го года Июля 18-го прямо на дачу, где жил граф Пушкин, на Петергофской дороге, неподалеку от городской заставы. Узнав о том, многие из знакомых поспешили меня навестить, и между первыми А. С. Свидание было самое дружеское. Тут я поздравил его с окончанием «Евгения Онегина»: «—Спи спокойно», сказал я, «с Онегиным в изголовье; он передаст имя твое поздним векам, а конец увенчал все дело, последняя глава лучше всего». Пушкин знал, что я редко хвалю без пути, а притворно никогда, и конечно был рад. Тут же заметил я ему пропуск, и угадал, что в нем заключалось подражание «Чайльд-Гарольду», вероятно потому осужденное, что низшее достоинство мест и предметов не позволяло ему сравниться с Байроновым образцом. Не говоря мне ни слова, Пушкин поместил сказанное мною в примечании, в то же время, в первый раз издавая «Онегина» целиком, чему я даже удивился, получив от него в подарок экземпляр вышедшей книги[21].

Я прочел ее с несказанным удовольствием, и точно—она драгоценный алмаз в Русской поэзии; есть погрешности, но где же их нет? и что они все вместе в сравнении с множеством достоинств? Какая простота в основе и ходе! как из немногих материалов составлено прекрасное целое! два лица на первом плане, два на втором, несколько групп проходных, и довольно, и больше не надо. Сколько ума без умничанья, сколько чувства без сантиментальности, сколько иногда глубины без педантства, сколько поэзии везде, где она могла быть! Какое верное знание русского современного дворянского быта, от столичных палат до уездных усадьб! какой хороший тон без малейшего жеманства, и как все это ново, как редко в нашей скудной словесности! Но я записался об «Онегине»: как ни хорош, пора его оставить [22].

Безденежье принудило меня на издаваемые сочинения открыть подписку; Пушкин принял в ней деятельное участие, взял для раздачи листов на сто экземпляров, и частью из своих рук билеты по одиночке передал, а более с помощью Елисаветы Михайловны Хитровой, женщины по всему необыкновенной, которая была тогда дружна с ним и очень хорошо расположена ко мне [23].

Коль скоро здоровье позволило, я посетил его; но в своем доме показался он мне как бы другим человеком; приметна была какая-то принужденность, неловкость, словно гостю не рад; после двух или трех визитов я отстал, и хотя он не один раз потом звал и слегка корил, я остался при своем; когда напротив он посещал меня, что часто случалось, в нем опять являлся прежний любезный А. С., не совсем так веселый, но уже лета были не те.

Генваря 7-го 1833-го года мы оба приняты в члены тогда существовавшей Российской Академии, куда и явились в первый раз вместе; сначала довольно усердно посещал он ее собрания по субботам, но вскоре исключительные толки о Словаре ему наскучили, и он показывался только в необыкновенные дни, когда приступали к выбору новых членов взамен убылых [24].

Я был гораздо исправнее, только до сентября; тогда, уже поступив на службу, и обмундированный, переселился я в Царское Село, прикомандированный, как и все вновь определяющиеся, к учебному образцовому

полку. Отслужив там пол-года и готовый отправиться в Тифлис, завернул я в Петербург на три дни; в гостинице, где я покуда жил, навестил меня Пушкин в последний раз; жена его была больна, и он казался грустен, однако зная, что нам расстаться надолго, увы! навсегда, слишком три часа пробеседовал, обещаясь еще зайти на другой день, но не бывал [25].

Во время моего проживания в Ставрополе, получил я от него два письма, из коих одно уцелело, а другое пропало; в Кизляре узнал я о его несчастной смерти, и вскоре потом познакомился с братом его, Львом Сергеевичем: мы довольно поговорили о покойнике, о котором есть что и сказать.

Человек погиб, но Поэт еще жив; его творения, в коих светится и врожденный дар, и художнический ум, драгоценнейшее по нем наследство, оставленное не только детям его, но всем сколько-нибудь образованным людям, по крайней мере в России. Скажу об них, как думаю, без лести и без зависти: та и другая мне равно противны, равно презренны.

Да будет позволено мне, ревностному поклоннику Гомера, взять из него подобие: у царя Приама было пятьдесят сынов, но Гектор один, таков у Пушкина «Онегин». Никто из братии не может стать с ним рядом, и все должны с почтением отступить; но о нем уже сказано довольно; обращаюсь к другим.

«Руслан и Людмила»: юношеский опыт, без плана, без характеров, без интереса; русская старина обещана, но не представлена; а из чужих образцов в роде волшебно-богатырском, выбран не лучший: Ариост, а едва ли не худший: Mr de Voltaire. Эпизод Фина и Наины искуснейший отрывок; он выдуман хорошо, выполнен не совсем; Наина—колдунья нарисована с подробностью слишком отвратной, почти как в виде старухи la Fée Urgèle в сказке того же Вольтера, которого наш автор в молодости слишком жаловал [26].

В продолжение десяти лет написанные поэмы: «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», «Полтава», «Медный всадник», имели все более или менее успеха в свое время; без сомнения находятся в них прекрасные места, например: в «Фонтане» ночной приход Заремы к спящей сопернице; в «Цыганах» речь отца, когда роют могилу зарезанной дочери, и уезд всего табора, оставя в пустом поле убийцу одного; во «Всаднике» картина постепенного прилива и внезапного разлива реки, к сожалению конченная совсем неуместной эпиграммой на доброго, ласкового старца, который во весь век ни против кого, кроме себя самого, грешен не бывал [27]. Все сии поэмы однако не выдержали еще ни разбора дельной критики, ни искуса времени, и судьба их не решена; правда, что если сравнить прочих наших стихотворцев, подобные эпиллии a la Byron, как то: «Эдда», «Чернец», «Войнаровский», «Боярин Орша» и пр. и пр. и пр.—превосходство Пушкина во всем бросается в глаза [28].

«Борис Годунов» стоил автору труда, он им дорожил; несколько промахов, которые легко бы ему поправить, еслиб только заметил, грех не большой; отдельно много явлений достойных уважения и похвалы; но целого все же нет. Лоскутья, из какой бы дорогой ткани ни были, не сшиваются на платье; тут не совсем История и не совсем Поэзия, а Драмы и в помине не бывало [29]. Гете едва ли не первый вздумал составлять драмы из сцен без связи: таковы у него «Гец-фон-Берлихинген» и «Фауст»; первого старался он, и не раз, поставить на сцену, и принужден был всячески перекраивать, так что теперь в его сочинениях оный «Гец» напечатан трижды и в трех видах; однако ни в котором не устоял. От представления

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА РУКОПИСИ ВОСПОМИНАНИЙ П. А. КАТЕНИНА С ЕГО АВТОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДПИСЬЮ

Собрание П. П. Щеголева, Ленинград

«Фауста» сочинитель уже отказался. Положим, «Фауст» имеет совсем другие достоинства: глубокую основную мысль, смелый титанский взгляд на целый мир, стихию чудесного и на страх и на смех, все, что мог иметь только гениальный Немец в исходе протекшего столетия, и под покровительством хоть не сильного, однако независимого Государя. Этого ничего не могло быть в «Годунове»; а своевольная форма нигде слишком не похвальная, все же терпимее в таком же своевольном, фантастическом содержании, нежели в складном, степенном ходе земных событий Истории. Пушкину хотелось видеть свою пьесу на сцене, но есть ли возможность?

«Моцарт и Сальери» был игран, но без успеха [30]; оставя сухость действия, я еще недоволен важнейшим пороком: есть ли верное доказательство, что Сальери из зависти отравил Моцарта? Коли есть, следовало выставить его на показ в коротком предисловии или примечании уголовной прозою; если же нет, позволительно ли так чернить перед потомством память художника, даже посредственного? Жаль, что «Русалка» не кончена; основа почти та же, что в известной волшебной опере, переведенной с немецкого, но исполнение начала обещало нечто хорошее впредь [31]. «Скупой рыцарь» и «Дон-Жуан» не удачно выбраны, и также некончены: нечего о них и говорить.

Мелких стихотворений без числа; кроме весьма немногих решительно дурных[32], все читаются и перечитываются с удовольствием; иные невольно врезываются в память, а лучшие играют огоньком, как бриллиантики. Всего менее ценю я злые; человек с дарованием не должен злиться ни на кого, и часто на суде посторонних колкая брань меньше вредит тому,

кто выбранен, чем тому, кто выбранил; притом надо всему меру знать: переступить за нее значит провиниться перед обществом.

Из стихотворений среднего объема, отменно люблю я три: повесть «Граф Нулин», балладу «Утопленник» и сказку «О рыбаке и рыбке»; каждая в своем роде прелесть, и как они разнообразны! Последняя написана чуть ли не слишком вольными стихами: я не мог добраться в ней никакого правильного размера. Хотя Пушкин редко выходил из привычных ямбов и хореев, он знал очень хорошо технику стихосложения, и никогда не сбивался; ясно, что здесь он нарочно ото всех правил отдалился, желая приблизиться к говору простонародного сказальщика. Бог простит, лишь бы другие не пустились по примеру писать без складу и ладу: куда конь с копытом, туда и рак с клешней.

Из переводов, Анакреонова песенка «Кобылица молодая» и пр.—бурмицкое зернышко; но крупные не удались. Шекспир переделал повесть из Жиральда Чинтио в драму «Мера за меру»: весьма понятно, но драму опять переделывать в повесть с разговорами: странная мысль. «Пир во время чумы» вовсе не стоил чести перевода; но всего непростительнее «Песни западных славян». Тут не одна вина, а две: 1-ая—поддельный товар, восковые бусы почел за жемчуг, 2-ая, узнав, что сию Иллирийскую старину сочинял от безделья на даче француз Мериме, своего перевода не бросил в огонь. Какой-нибудь адский судья Минос в праве за это наложить на грешника тяжелую эпитемию: прочесть с доски до доски всего Макферсоновского «Оссиана» и еще «Книдский храм» Монтескье, и вдобавок «Путешествие Антенора», все три такие же древности.

Проза Пушкина тем только хуже его стихов, что проза, и не знаю, кто бы у нас писал лучше, разумеется в тех же родах, а в других нет ни причины, ни способа сравнивать.

«История Пугачевского бунта» по языку очень хороша, но по скудости материалов, коими мог пользоваться сочинитель, в историческом отношении недостаточна; зато картинную сценическую сторону любопытной эпохи схватил он и представил мастерски в «Капитанской дочке»; сия повесть, пусть и побочная, но все-таки родная сестра «Евгению Онегину»: одного отца дети, и во многом сходны между собою. Другие маленькие романы его не так отличны, но все умны, натуральны и приманчивы; всех слабее на мой вкус «Барышня-крестьянка», где известная комедия Мариво: Les Jeux de l'amour et du Hazard так же переделана в рассказ, как Шекспирова драма в «Анжело»[33]; мне напротив очень нравится «Импровизатор», ибо так следовало назвать, а не «Египетские Ночи», что уже относится ко вставленной импровизации: крайне жаль, что ни ее, ни всего рассказа не успел кончить покойник. Остальное, что в прозе, маловажно, но и о том скажу тоже: всегда умно, и чисто написано.

Ни с живыми, ни с недавно умершими писателями сравнивать его не хочу, и нельзя, и не должно; мы все современники, сотрудники, волей и неволей соперники: не нам друг друга судить. Давно умершие—дело другое; к ним никто живой, ни так, ни сяк пристрастен быть не может; из всех выберу двух главных.

Ломоносов оказал языку русскому заслуги бесценные; он его вновь создал, с него началась новая эра, и по его следам пошли все, кого можно читать; в сем важном отношении останется он до скончания века первым и несравненным. Но он был более ученый, профессор, ритор, филолог, нежели истинный поэт; для него поэзия была такая же наука, как мате-

матика или физика, и может быть, по его мнению, менее нужная, как роскошь, пусть и не лишняя, ибо служит к прославлению Великого Петра и Августейшей дщери Его, но впрочем, почти бесполезная. Изо всех его стихотворений одни «Оды» остались доныне в некотором уважении; но кто может без скуки прочесть ряд од однообразных? что нового найдет в них иностранец, желающий своих земляков ознакомить с поэзиею русских? кто даже из наших, кроме занимающихся собственно словесностью, найдет в нем для себя удовольствие или хоть препровождение времени? Будем благодарны Ломоносову, открывшему для поэтов сокровище родного языка, но перестанем его самого величать поэтом.

Державин получил от природы творческое, блестящее, крылатое воображение, какого ни прежде, ни после ни в ком не видали; но ему недоставало образования, и даже языка своего он порядком не знал. Хорошие и дурные стихи у него везде так перемешаны, что кажется, как будто он вовсе не умел различить, что хорошо и что худо; в ином стихотворении больше того, в ином сего: как удалось; тщательно написанного с начала до конца нет ни одного, разве самое маленькое; даже строфы его в десять стихов редко без греха, а рифмы часто так смело дурны, что и снисходительный слух ими оскорбляется. Лесть с восторгом уже в то время всем надоела; он начал льстить с примесью шутки, и успех был выше меры, похвалы без числа. Сверх чаянья вдруг получив славу, он утвердился в ложной мысли, что труд в поэзии не нужен, и даже вреден тем, что связывает волю и смущает порыв вдохновения; большинство чтецов то же подтвердило, и так без труда продолжал он сочинять до глубокой старости, что дальше, то хуже. Я бы причел ему в большое достоинство опыты новых дотоле неупотребляемых размеров, но по очевидной небрежности сих опытов, приходит на ум: не для того ли он творил их, чтобы доказать примером кое-каким ценителям трудностей, как они легки, как ни по чем, рожденному с гением? Вот ради чего, не зная языков, он переводил и «Оды» Пиндара, и «Кантаты» Ж. Б. Руссо и даже Расинову «Федру». При всем том, в «Водопаде», во многих посвященных Фелице стихотворениях, в некоторых анакреонтических, в «Порфирородном Отроке» заключаются такие высокие красоты, что разбранив его по всей справедливости, хочется просить на коленях прощения.

Прости меня и ты, милый мой, вечнопамятный А. С.! Ты бы не совершил, даже не предпринял неблагодарного труда Ломоносова, не достало бы твоего терпения; но ведь и то молвить: ты белоручка, столбовой дворянин, а он был рыбачий сын, тертый калач. Скажи, свет мой! как ты думаешь, *равен ли был твой гений гению старика Державина, от которого ты куда-то* спрятался на лицейском собрании? Пусть потомство поставит вас в меру. Во всяком случае, благодари судьбу; ты родился в лучшее время; учился, положим, «чему-нибудь и как-нибудь», да выучился многому: умному помогает Бог. Твои стихотворения не жмутся в тесном кругу России наших дедов; грамотные русские люди читают их всласть; прочтут и чужие, лишь бы выучиться им по-нашему; а не учатся покуда оттого, что таких, как ты, не много у нас. Будут ли? Господь весть! Но мне сдается, что как говорит Мельник на вопрос Филимона: Найдутся ли кони? — Найдутся, небось; да не скоро[34].

Павел Катенин

Апреля 9-го
1852

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Знакомство П. А. Катенина с Пушкиным произошло вероятно около середины июля 1817 г. Попытка мемуариста еще более уточнить эту дату на основании припоминаний о его выступлении в поход якобы через два дня после встречи с Пушкиным привела к явно ошибочным выводам, ибо Пушкин выехал из Петербурга в Михайловское не позже середины июля, возвратился не раньше конца августа (Н. О. Лернер. «Труды и дни Пушкина», СПБ., 1910, стр. 37), а первые батальоны гвардейских полков, командированные в Москву на торжество закладки храма Христа Спасителя, выступили из Петербурга 5 августа 1817 г. (см. П. Дирин. «История л.-гв. Семеновского полка», т. II, СПБ., 1883, стр. 24; «История л.-гв. Егерского полка за сто лет», СПБ., 1896, стр. 126).

[2] Беседы в казармах Преображенского полка (гвардия возвратилась из Москвы в конце июня 1818 г.) вспомнились Катенину, когда он прочел в 1825 г. первую главу «Евгения Онегина». 9 мая этого года он писал Пушкину: «...кроме прелестных стихов я нашел тут [в первой главе] тебя самого, твой разговор, твою внешность и вспомнил наши казармы в Миллионной». А в письме от 14 марта 1826 г. Катенин припомнил еще одну подробность бесед, любимое словцо Пушкина: п р е л е с т ь: «Помнишь ли ты, это было твое привычное слово, говоря со мной?» («Переписка Пушкина», т. I, стр. 211 и 337). Ср. заметки Пушкина на полях «Опытов в стихах и прозе К. Н. Батюшкова», СПБ., 1817. Под влиянием суждений Катенина в эту же пору о Ломоносове и Державине (см. выше, стр. 642—643) сложились, вероятно, и известные пушкинские сценки этих писателей.

[3] Зыков, Дмитрий Петрович (1798—1827)—подпоручик Преображенского полка, сослуживец, литературный и очевидно политический единомышленник П. А. Катенина, автор известного «Письма к сочинителю критики на поэму «Руслан и Людмила» («Сын Отеч.» 1820, № 38, стр. 226—229), которое вызвало ряд полемических откликов в печати того же года (см. об этом примеч. Б. Л. Модзалевского к «Письмам Пушкина», т. I, Л., 1926, стр. 218) и привлекло особое внимание самого Пушкина (об этом см. далее примеч. 9). В 1823 г. Д. П. Зыков принят был в Северное тайное общество, но деятельного участия в последнем не принимал, ибо «вскоре по вступлении в оное вышел в отставку и, поселясь в деревне, прекратил все сношения. Из членов знал только Оболенского, Поджио и фон Вольского» («Алфавит декабристов» под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса», Л., 1925, стр. 87). Будучи арестован в пору следствия по делу 14 декабря, Д. П. Зыков доставлен был 26 января 1826 г. из Москвы в Петербург и на другой день заключен в Петропавловскую крепость. По докладу Следственной комиссии 15 июня 1826 г. «высочайше повелено: продержав еще месяц в крепости, выпустить с запрещением жить в столицах» («Алфавит», стр. 87). Освобожденный из крепости Д. П. Зыков жил в течение нескольких недель у П. А. Катенина, судя по следующему письму последнего от 27 августа 1826 г. к Н. И. Бахтину: «Зыков поправляется так, что на днях едет, и пора, ибо уже начались хлопоты на его счет, и мне весьма учтиво однако сказано, что я, держа его так долго, могу сам подвергнуться з а м е ч а н и ю» («Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину», СПБ., 1911, стр. 92). Об этом же Катенин писал 6 сентября 1826 г. из Петербурга к А. М. Колосовой: «Мой гость Зыков уехал наконец. Наступила минута, когда мне пришлось бы иметь из-за него неприятности; однако же он, при первой возможности, ускакал. Все это, по правде сказать, очень скучно, неприятно и бессмысленно» («Русск. Стар.» 1893, кн. IV, стр. 212). Данные о Д. П. Зыкове в воспоминаниях Катенина, дополняя и оживляя материал «Алфавита декабристов», позволяют наконец восстановить исторический облик одного из первых критиков Пушкина.

[4] Мусин-Пушкин-Брюс, Василий Валентинович, граф (1773—1836) — обер-шенк и действительный камергер, лидер петербургских масонов, тесно связанный с литературной и театральной общественностью 10-х и 20-х годов. Его сожительницей в течение многих лет была певица Нимфодора Семенова, сестра знаменитой драматической актрисы, одна из самых модных женщин Петербурга этой поры.

«Граф В. В. Мусин-Пушкин,—как свидетельствует П. А. Каратыгин,—жил открыто и роскошно; он был большой гастроном; круг его знакомых составляли знатные аристократы, художники, артисты, литераторы; в числе последних нередко бывали у него: Крылов, А. Пушкин, Грибоедов, Гнедич, Жуковский и другие; из художников: Варнек, Венецианов. Граф был человек светлого ума, доброй души и высокого образования и имел полное право на прозвище мецената» («Записки П. А. Каратыгина» под ред. Б. В. Казанского, Л., 1929, т. I, стр. 351). Конечно к графу В. В. Мусину-Пушкину относится и запрос Пушкина в письме от 26 сентября

1822 г. к Я. Н. Толстому из Кишинева: «Что гр. Пушкин? что Семеновы? что весь театр». (Б. Л. Модзалевский в своих примечаниях к «Письмам Пушкина» ошибочно полагал, что поэт имел здесь в виду графа В. А. Мусина-Пушкина.) К этому приятелю и покровителю Катенина (см. далее примечание 20) относится шутливое замечание Николая I на одной из докладных записок графа А. Х. Бенкендорфа, опубликованное Н. О. Лернером, который однако смешал при этом А. С. Пушкина с гр. В. В. Мусиным-Пушкиным и с досадной поспешностью предположил, что поэт, «не ограничиваясь официальными сношениями», запросто «в 1834 г. принимал у себя» шефа жандармов («Красн. Газ.» от 31 авг. 1928 г., веч. выпуск).

[5] Свидетельство воспоминаний П. А. Катенина о том, что Пушкин ни за что не хотел дать ему своего адреса и «упорно избегал посещений», очень характерно. Молодой поэт жил в крайне тяжелых условиях и видимо стыдился своей бытовой обстановки. «Пушкин, вышедший из лицея,—рассказывает П. И. Бартенев со слов В. П. Горчакова,—очутился в таком положении, в каком часто находятся молодые люди, возвращающиеся под родительский кров из богатых и роскошных учебных заведений» («Пушкин в Южной России», изд. 2-е, М., 1914, стр. 9). «Отец и мать Пушкина,—пишет Л. Н. Павлищев,—нуждались постоянно, что и отзывалось на детях, не всегда получавших от родителей деньги даже на мелкие расходы. Парадные комнаты освещались канделябрами, а в комнате [сестры Пушкина], продававшей зачастую свои брошки и серьги, чтобы спарвить себе новое платье, горела сальная свеча, купленная Ольгой Сергеевной на сбереженные ею деньги» («Воспоминания Л. Павлищева», М., 1890, стр. 7). Сам Пушкин в письме к брату Льву от 25 августа 1823 г. с ужасом вспоминал Петербург: «когда больной, в осеннюю пору или в трескучие морозы, я брал извозчика от Аничкина моста», отец «вечно бранился за 80 коп., которых, верно бы, ни ты, ни я не пожалели для слуги». Жили Пушкины в 1817—1819 гг. «в Коломне, близ Калинкина моста, на Фонтанке, в доме, бывшем тогда Клокачева» («Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», т. II, стр. 693).

[6] Стихотворение «Пробуждение» («Мечты, мечты, где ваша сладость?»), выделенное Катениным как «хорошее» из числа тех произведений Пушкина, в которых лишь «приметно легкое дарование», опубликовано было в «Северном Наблюдателе» 1817 г., ч. I, № 25, стр. 352—353 (номер вышел в свет около 20 декабря). Ко времени своей беседы с Катениным Пушкин опубликовал еще очень немного и, спрашивая его мнение о своих стихах, мог иметь в виду (если не считать публикаций 1814—1815 гг.) «Измены», «К Лицинию», «Наполеон на Эльбе», «Певец», «Воспоминания в Царском Селе», «Послание Лиде», «Гробница Анакреона», «Его стихов пленительная сладость». Возможно, что к этому перечню публикаций Пушкина следует присоединить нелегальные эпиграммы и рукописную оду «Вольность», но об этом см. выше в предисловии к воспоминаниям. Очень характерно для сдержанного отношения Катенина к лирике Пушкина конца 10-х и начала 20-х годов его письмо в редакцию «Сына Отечества» 1822 г. по поводу «Опыта краткой истории русской литературы» Н. И. Греча, Упрекая последнего за то, что он «из молодых писателей» отметил одного только Пушкина, Катенин замечал: «Он, конечно, первый из них, но не огорчительно ли прочим оставаться в неизвестности? Признаюсь вам, мне особенно жаль, что вы не упомянули о Баратынском. Хотя, к сожалению, большая часть его стихов и написана в модном и несколько однообразном тоне мечтаний, воспоминаний, надежд, сетований и наслаждений; но в них приметен истинный талант, необыкновенная легкость и чистота» («Сын Отеч.» 1822, № 13, стр. 260—261).

[7] Несколько критических замечаний о поэме «Руслан и Людмила» Катенин сделал много лет спустя после этого своего разговора с Пушкиным, печатая «Размышления и разборы». Характеризуя в последних «Orlando innamorato» Боярдо, Катенин попутно («будь сказано мимоходом») подчеркнул и художественные недочеты, «холодящие Руслана и Людмилу, вопреки обольщению стихов: читателю хочется того времени, того быта, тех поверий и лиц; вокруг ласкового князя Владимира собирает он мысленно Илью Муромца, Алешу Поповича, Чурилу, Добрыню, мужиков залешан, видит их сражающихся с Соловьем-разбойником, с Ягой-Бабой, с Кащеем бессмертным и Змеем Горынычем, а встретя вместо их незнакомцев — не знает, где он и ничему не верит» («Литер. Газета» 1830, № 42). Эти строки Катенин хотел однако изъять из текста своей статьи, но не успел. Ср. его письмо от 27 января 1830 г. к Н. И. Бахтину: «Я намерен выкинуть, при напечатании, выходку на Руслана и Людмилу; с чего мне нападать на Пушкина и еще на юношеское его произведение?» («Переписка П. А. Катенина с Н. И. Бахтиным», СПБ., 1911, стр. 167).

[6] Литературная борьба писателей группы «Арзамаса» с князем А. А. Шаховским (1777—1846), начальником репертуарной части Спб. императорских театров, драматургом, режиссером и фактическим руководителем всей театральной политики первой четверти XIX в., в творчестве Пушкина впервые получает отражение еще в 1815 г. (эпиграмма «Угрюмых тройка есть певцов» и начало статьи «Мои мысли о Шаховском»; в это же время в свой дневник Пушкин сочувственно вписывает «презревшую печать» памфлетную кантату Д. В. Дашкова «Венчание Шутовского»). К 1816 г. относятся еще два резких упоминания Пушкина о Шаховском—одно прямое в письме к В. Л. Пушкину («И лоб угрюмый Шутовского Клеймит единственным стихом») и другое—в послании к Жуковскому («К вам Озерова дух взывает други: месть»). Призыв к мести за «поверженного враждебными стрелами» Озерова очевидно связан был с известными обвинениями Шаховского в том, что именно его интриги ускорили обострение душевной болезни и даже самую смерть В. А. Озерова. Строки об Озерове в послании к Жуковскому конечно и имел в виду Катенин, упрекая Пушкина за распространение с чужих слов столь серьезных, но никем не доказанных обвинений. О позднейшем отрицательном отношении Пушкина к драматургии Озерова, впервые прокламированном в «Моих замечаниях об русском театре» (конец 1819 или самое начало 1820 г.) и резко расходящемся как с собственными его оценками 1814—1816 гг., так и с традиционным пиэтетом к литературному наследию Озерова всех арзамасцев, см. нашу заметку в «Путеводителе по Пушкину», М.-Л., 1931, стр. 261—262. Первое посещение Пушкиным кн. Шаховского, относимое в воспоминаниях П. А. Катенина к зиме 1818/19 г., может быть датировано еще точнее благодаря запискам А. М. Колосовой-Каратыгиной: «Готовясь к дебюту под руководством князя Шаховского,—свидетельствовала знаменитая актриса,—я иногда встречала Пушкина у него в доме. Князь с похвалою отзывался о даровании этого юноши. «Сашу Пушкина» он рекомендовал своим гостям покуда только как сына Сергея Львовича и Надежды Осиповны... Знакомцы князя Шаховского: А. С. Грибоедов, П. А. Катенин, А. А. Жандр ласкали талантливого юношу, но покуда относились к нему, как старшие к младшему: он дорожил их мнением и как бы гордился их приязнью. Понятно, что в их кругу Пушкин не занимал первого места и почти не имел голоса. Изредка, к слову о театре и литературе, будущий гений смешил их остроумною шуткой, экспромтом или справедливым замечанием, обличавшим его тонкий эстетический вкус и далеко не юношескую наблюдательность» («Записки П. А. Каратыгина», т. II, Л., 1930, приложения, стр. 271). Дебюты А. М. Колосовой относятся, как известно, к 16 и 30 декабря 1818 г. и 3 января 1819 г. Таким образом знакомство Пушкина с Шаховским налажено было Катениным в начале декабря 1818 г. С свидетельством П. А. Катенина об особом интересе А. А. Шаховского к работе Пушкина над «Русланом и Людмилой» согласуются данные анонимно напечатанных записок А. Е. Асенковой о салоне А. А. Шаховского в 1818/19 г.: «Очень часто бывал Пушкин. По просьбе гостей он читал свои сочинения; между прочим несколько глав Руслана и Людмилы, которые потом появились в печати совершенно в другом виде. Читал и другие отрывки и отдельные лирические пьесы, большею частью на память, почти всегда за ужином. Он всегда был весел: острил и хохотал вместе с нами, когда мы смеялись над его длинными когтями. Нередко разрезывал кушанье и потчивал нас» («Театральный и Музыкальный Вестник» 1857, № 51, стр. 723).

О собраниях в квартире А. А. Шаховского, в которых подчас трудно было провести демаркационную линию между влиятельнейшим литературно-театральным салоном и великосветским домом свиданий, см. сводку материалов, сделанную нами в примечаниях к запискам А. М. Каратыгиной (ор. cit., стр. 160—161 и 311—312), а также характернейшее упоминание об этом в одном из писем П. А. Вяземского к С. Д. Полторацкому: «Пушкину, обожателю актрис и танцовщиц во время оно, нужно было сблизиться с Шаховским, который был кулисным цербером и у которого эти барыни по вечерам съезжались» («Новь» 1885, № 9, стр. 92). Ср. письмо Грибоедова от 4 января 1825 г. к С. Н. Бегичеву: «Долго я жил уединен от всех, вдруг тоска въехала на белый свет; куда, как не к Шаховскому? Там, по крайней мере, можно гулять смелою рукою по лебяжьему пуху милых грудей etc.» («Полн. собр. соч. А. С. Грибоедова», т. III, П., 1917, стр. 165). Сочувственно помянув «колкого Шаховского» в первой главе «Евгения Онегина», Пушкин характеризовал его в письме от 14 октября 1823 г. к Вяземскому как «доброго малого, изрядного автора и отличного сводника», а в обращении к Катенину в сентябре 1825 г. отмечал, хорошо очевидно памятный и последнему «один из лучших вечеров своей жизни—на чердаке Шаховского».

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ „СОЧИНЕНИЙ П. А. КАТЕНИНА" 1832 г.
Экземпляр из библиотеки Пушкина
Институт Русской Литературы, Ленинград

СОЧИНЕНІЯ

И

ПЕРЕВОДЫ

ВЪ СТИХАХЪ

ПАВЛА КАТЕНИНА,

князя Николая Голицына.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.

1832.

Если зимою 1818/19 г. можно датировать период известной близости Пушкина к салону Шаховского, то уже с осени 1819 г. в этих отношениях замечается перелом: «Сосницкая и кн. Шаховской толстеют и глупеют,—писал Пушкин 27 октября 1819 г. П. Б. Мансурову,—а я в них не влюблен—однакоже его вызывал за его дурную комедию, а ее за посредственную игру». Об отрицательном отношении Пушкина к кампании кружка Шаховского против Катерины Семеновой ярко свидетельствуют «Мои мысли об русском театре» (зима 1819/20 г.), а окончательное расхождение его с этой группой произошло вероятно около марта 1820 г., когда сплетнями или, по формулировке Пушкина, «нескромностью» кн. Шаховского (см. «Письма Пушкина», т. I, стр. 34, 40) обусловлено было широкое распространение оскорбительных для молодого поэта слухов, пущенных Ф. И. Толстым-Американцем (об этих слухах см. далее наши примечания к дневнику Ф. Н. Лугинина, стр. 678). «Разве ты не знаешь несчастных сплетней, коих я был жертвою,—писал Пушкин 19 июля 1822 г. Катенину,—и не твоей ли дружбе (по крайней мере так понимал я тебя) обязан я первым известием о них?»

[9] П. В. Анненков, цитируя это место воспоминаний Катенина («Материалы для биографии А. С. Пушкина», СПБ., 1855, стр. 67), не учел ни хронологической ошибки мемуариста, ни его оговорки о том, что беседа о «письме» с вопросами N. N. по поводу «Руслана и Людмилы» могла итти у него не с самим Пушкиным, а с В. А. Жуковским. Между тем оговорка эта весьма существенна и свидетельствует о большой осторожности показаний Катенина в тех случаях, когда он твердо не полагался на свою память. Дело в том, что Пушкин выехал из Петербурга 5 мая 1820 г., поэма же его вышла в свет в конце июля—начале августа. Со второй половины августа в «Сыне Отечества» (1820 г., №№ 34, 35, 36, 37) А. Ф. Воейков, за подписью «В», стал печатать свою обширную статью, посвященную критическому разбору поэмы, а в № 38 того же журнала, вышедшем в свет 18 сентября 1820 г., появилось «Письмо к сочинителю критики на поэму: Руслан и Людмила» (стр. 226—229). Письмо содержало ряд вопросов, адресованных не столько А. Ф. Воейкову, сколько самому Пушкину, и потому названо было Катениным «критикой в форме вопросов». Подписано было «письмо» буквами N. N. Близость критических установок Д. П. Зыкова, укрывшегося за этим псевдонимом, всем теоретическим позициям Катенина была настолько очевидна, что не только Н. И. Греч был введен ею в заблуждение, но и сам Пушкин в письме из Кишинева от 27 июля 1821 г. спрашивал брата:

«Что делает Катенин? Он ли задавал вопросы Воейкову в С. О. прошлого года? Кто на ны?»

«Вопросы» Д. П. Зыкова надолго остались памятны Пушкину. Выпуская в 1828 г. второе издание «Руслана и Людмилы», он дал большое предисловие (датировано 12 февраля 1828 г.), в котором остановился на критических отзывах о поэме. «При ее появлении,—пишет Пушкин,—тогдашние журналы наполнились критиками более или менее снисходительными. Самая пространная писана г. В. и помещена в Сыне Отечества. Вслед за нею появились вопросы неизвестного. Приведем из них некоторые...» И далее Пушкин перепечатал не некоторые вопросы из «письма» N. N., а целиком все письмо и, закончив цитацию его, замечал уже от себя: «Tes pourquoi, dit le dieux, ne finiront jamais. Конечно, многие обвинения сего допроса основательны, особенно последний. Некто взял на себя труд отвечать на оные. Его антикритика остроумна и забавна». (Пушкин имел в виду принадлежащий А. Перовскому ответ на письмо с вопросами N. N., помещенный в том же «Сыне Отечества» за 1820 г., № 38 за подписью «П. К—в».) В критико-автобиографических заметках 1830 г. Пушкин писал: «Руслана и Людмилу» вообще приняли благосклонно. Кроме одной статьи в «Вестнике Европы», в которой побранили весьма неосновательно, и весьма дельных вопросов, изобличающих слабость создания поэмы, кажется, не было об ней сказано худого слова».

[10] Оба «приятеля» Д. П. Зыкова, на которых ссылался П. А. Катенин, в 1852 г. были уже очень видными петербургскими бюрократами.

Дундуков-Корсаков, Михаил Александрович, князь (1794—1869), отставной полковник л.-гв. Преображенского полка, службу в котором оставил в 1820 г., с 1833 г. занимал должность попечителя С.-Петербургского учебного округа и председателя СПБ. цензурного комитета. В 1835 г. он был назначен еще и вице-президентом Академии Наук. Назначение это было неожиданно и совершенно необоснованно. Пушкин отразил общее недоумение в эпиграмме «В Академии Наук заседает князь Дундук». Подробнее о М. А. Дундукове-Корсакове, сильно досаждавшем Пушкину по цензурной линии, см. справку Б. Л. Модзалевского в примечаниях к «Дневнику Пушкина», П., 1923, стр. 244—245 и материалы Л. К. Ильинского («Пушкин и его современники», вып. 38—39, Л., 1930, стр. 205—212).

Тарасов, Дмитрий Климентьевич (1792—1866)—директор медицинского департамента, тайный советник, почетный лейб-хирург. Пользовался большим расположением Александра I, лечил его и был при его смерти. Знакомство Д. К. Тарасова с Катениным—по Преображенскому полку, где он в 1818—1819 гг. состоял батальонным лекарем. В своих воспоминаниях Тарасов сообщает, что он учил латинскому и греческому языкам Д. П. Зыкова, умного и любознательного офицера (Д. К. Тарасов. «Имп. Александр I. По личным воспоминаниям». П., 1915, стр. 21).

[11] П. А. Катенин принял на свой счет один из стихов послания Пушкина к Чаадаеву, ибо усмотрел в этом стихе намек на свою комедию «Сплетни» (подражание комедии Грессе «Le méchant»), поставленную на петербургской сцене 31 декабря 1820 г. «Если увидишь Катенина,—писал Пушкин 21 июля 1822 г. брату Льву Сергеевичу,—уверь его ради Христа, что в послании моем к Чаадаеву нет ни одного слова об нем; вообрази, что он принял на себя стих И сплетней разбирать игривую затею; я получил от него полукислое письмо». Это «полукислое письмо» Катенина не сохранилось, но ответ на него известен: «Ума не приложу,—писал Пушкин ему 19 июля 1822 г. из Кишинева,—как ты мог взять на свой счет стих:

И сплетней разбирать игривую затею.

Это простительно всякому другому, а не тебе. Разве ты не знаешь несчастных сплетней, коих я был жертвою, и не твоей ли дружбе (по крайней мере так понимал я тебя) обязан я первым известием об них? Я не читал твоей комедии, никто об ней мне не писал; не знаю, задел ли меня Зельской. Может быть да, вероятнее—нет. Во всяком случае не могу сердиться. Еслиб я имел что-нибудь на сердце, стал ли бы я говорить о тебе на ряду с теми, о которых упоминаю? Лица и отношения слишком различны. Еслиб уж на то решился, написал ли стих столь слабый и неясный, выбрал ли предметом эпиграммы прекрасный перевод комедии, которую почитал я непереводимою? Как дело не верти, ты всё меня обижаешь. Надеюсь, моя радость, что это всё минутная туча и что ты любишь меня. И так, оставим сплетни и поговорим об другом» («Письма Пушкина», т. I, М.-Л., 1926, стр. 32). Следует отметить, что если позиция Пушкина в этом конфликте не вызывает никаких сомнений, то возможность толкования некоторых тирад Зельского (героя комедии «Сплетни») как принципиально кое в чем враждебных и Пушкину остается открытой.

[12] Переписка Пушкина с Катениным, оборвавшаяся летом 1822 г., возобновилась только три года спустя. Необычайно горячо реагируя на высылку Катенина из Петербурга (см. об этом выше стр. 627), Пушкин все же видимо опасался обращать внимание органов надзора на связь двух политических ссыльных (и он и Катенин в это время оказались в одинаковом положении) и от переписки уклонился. П. А. Катенин, не придавая значения этим опасениям и приняв на веру слухи об амнистировании Пушкина, писал 18 января 1824 г. А. М. Колосовой: «Я слышал, Пушкин возвратился; коли Вы с ним увидитесь, скажите ему, что это не похвально с его стороны, во-первых, оставить одно мое письмо без ответа уже давно, а во-вторых, не писать ко мне в Кологрив, когда я к нему писал в Кишинев» («Русск. Стар.» 1893, кн. IV, стр. 182). Следует отметить, что письмо Катенина, оставленное «без ответа», в бумагах Пушкина не сохранилось, а самый ответ Пушкина, отправленный вероятно с оказией, был в пути уничтожен или возвращен отправителю. Иначе по крайней мере трудно толковать строки позднейшего упоминания Пушкина об этом пропавшем письме: «Стихи о Колосовой были написаны в письме, которое до тебя не дошло» (см. след. примечание). Поводом к возобновлению переписки явились демонстративно-дружеские строки о Катенине в первой главе «Евгения Онегина». Откликом на этот поэтический привет и было письмо Катенина к Пушкину от 9 мая 1825 г.: «В конце зимы жил я в Костроме, любезнейший Александр Сергеевич, и с прискорбием услышал от дяди твоего, тамошнего жителя, что ты опять попал в беду и поневоле живешь в деревне. Я хотел тот час к тебе писать, но тяжба, хлопоты, неудовольствия, нездоровье отняли у меня и время и охоту». Судя по дальнейшему упоминанию в цитируемом письме, что адрес Пушкина Катенину остается еще неизвестным, оно было отправлено вероятно к кому-нибудь из друзей или родственников Пушкина, и дошло до последнего не ранее августа 1825 г. Этим обстоятельством объясняется и то, что ответил Пушкин на майское письмо Катенина только в сентябре, и то, что сам Катенин получение сведений о Пушкине и возобновление переписки с ним относит в своих воспоминаниях лишь к августу 1825 г. За время с 9 мая 1825 г. по 6 июня 1826 г. дошло до нас 6 писем Катенина и 3 письма Пушкина (из четырех писем Пушкина не сохранилось последнее, от второй половины мая 1826 г., с данными о «Борисе Годунове»).

[13] Отказ Пушкина от чтения своих политических стихотворений 1817—1820 гг. в присутствии Катенина вызван был конечно вовсе не уверенностью молодого поэта в технической слабости этих произведений или боязнью обнаружить перед таким судьей, как Катенин, их идеологическую незрелость. О политических расхождениях Пушкина и Катенина этой поры, получивших отражение и в высокомерно-несправедливой оценке последним «либерализма» Пушкина, см. в нашем предисловии к воспоминаниям стр. 625.

[14] Свидетельство воспоминаний Катенина о существовании «довольно плохой эпиграммы» Пушкина на А. М. Колосову было перефразировано П. В. Анненковым в «Материалах для биографии Пушкина», СПБ., 1855, стр. 56, но самый текст этого восьмистишия («Все пленяет нас в Эсфири») появился впервые в печати только в «Русской Старине» 1879, кн. VI, стр. 380. О личных и театрально-партийных отношениях Пушкина с А. М. Колосовой см. сводку материалов, данную нами в приложениях к «Запискам А. М. Колосовой-Каратыгиной», которая и сама уделила довольно много места в своих воспоминаниях этому эпизоду.

Посвященное А. М. Колосовой послание Пушкина к Катенину «Кто мне пришлет ее портрет» опубликовано было впервые в «Стихотворениях Александра Пушкина», СПБ., 1826, с заголовком «К **ну» и с датой «1821». Для Катенина, а следовательно и для А. М. Колосовой эти стихи были однако неожиданностью: «Скажи, пожалуй,—спрашивал он Пушкина 3 февраля 1826 г.,—к какому К—ну ты пишешь нечто о Колосовой? Многие думают, что ко мне, но я первый раз прочел эти стихи в печатной книге». Пушкин в своем ответе разъяснил: «Стихи о Колосовой были написаны в письме, которое до тебя не дошло. Я не выставил полного твоего имени, потому что с Катениным говорить стихами только о ссоре моей с актрисой показалось бы немного странным».

Благодарностью за стихи можно объяснить строки письма Катенина к Пушкину от 11 мая 1826 г.: «Колосова просила непременно в первом к тебе письме сказать за нее пропасть хороших вещей («Переписка Пушкина», т. I, стр. 348).

В Петербурге Пушкин впервые появился после своей ссылки только летом 1827 г. При дружеском посредстве П. А. Катенина тогда же произошло его окончательное примирение и с А. М. Колосовой, которая рассказывает об этом в своих записках: «Это было на Малом театре. В тот вечер играли комедию Мариво «Обман в пользу

любви» («Les fausses confidences») в переводе П. А. Катенина. Он привел ко мне в уборную «кающегося грешника», как называл себя Пушкин:

— «Размалеванные брови»,—напомнила я ему смеясь.—Полноте, бога ради,— перебил он меня, конфузясь и целуя мою руку,—кто старое помянет, тому глаз вон. Позвольте мне взять с вас честное слово, что вы никогда не будете вспоминать о моей глупости, о моем мальчишестве... Слово было дано; мы вполне примирились» («Записки П. А. Каратыгина», т. II, Л., 1930 г., приложение, стр. 283). Как мы устанавливаем, эта встреча Пушкина с А. М. Каратыгиной и П. А. Катениным произошла 17 июня 1827 г. В самом деле, появившись в Петербурге 23 мая 1827 г., Пушкин в конце июля выехал в деревню, откуда возвратился в столицу в середине октября (Н. О. Лернер. «Труды и дни Пушкина», СПБ., 1910, стр. 156—159). За это время «Обман в пользу любви» дан был на сцене, как свидетельствуют материалы архива императорских театров, только дважды: 17 июня и 27 сентября.

[15] П. А. Катенин выехал из Петербурга не позже 20 июня 1827 г. (см. его письмо к Н. И. Бахтину от 15 июля 1827 г.). Дальние утренние прогулки были видимо в обычае у Пушкина. Ср. воспоминания Катенина о том, как Пушкин проводил его пешком до Невской заставы, с записью самого Пушкина о его последних беседах с Дельвигом: «Дельвиг хотел меня проводить до Царского Села. 10 августа 1830 г. поутру мы вышли из городу. В. должен был нас догнать на дороге» и пр. («Полн. собр. соч. Пушкина», М., 1933, т. V, кн. 2, стр. 585).

Материальные затруднения П. А. Катенина в эту пору, обнажающиеся в его рассказе о квартире, временно предоставленной ему старым его сослуживцем по Преображенскому полку В. Я. Микулиным (умер в 1841 г. в должности генерал-адъютанта), — лейт-мотив всех его дружеских писем 20—30-х годов. Ср. например его письмо к Н. И. Бахтину от 4 ноября 1828 г. из Шаева: «Я имею около 300 душ крестьян и винокурню и в деревне едва-едва могу кое-как жить: судите по этому о прочих» («Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину», СПБ., 1911, стр. 130).

[16] Литературно-теоретические статьи Катенина под общим названием «Размышления и разборы» печатались в «Литературной Газете» 1830 г., №№ 4, 5, 9—11, 19—21, 32, 33, 40—44, 50, 51, 68—72. Именно этими статьями Катенина вдохновлена была известная предсмертная сентенция В. Л. Пушкина, о которой писал А. С. Пушкин 9 сентября 1830 г. П. А. Плетневу: «Бедный дядя Василий! Знаешь ли его последние слова? Приезжаю к нему, нахожу его в забытьи, очнувшись он узнал меня, погоревал, потом помолчав: как скучны статьи Катенина! и более ни слова. Каково? Вот, что значит умереть честным воином, на щите, le cri de guerre à la bouche!»

[17] Переписка Катенина с Сомовым об анонимно напечатанной в «Литературной Газете» главе из «Арапа Петра Великого» до нас не дошла, но свидетельство о разгадке Катениным анонима сохранилось в его письме от 3 апреля 1830 г. к Н. И. Бахтину: «Статья, вероятно, Пушкина, в «Литер. Газ.», где описывается Ассамблея при Петре I, прелюбезная» («Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину», СПБ., 1911, стр. 176).

[18] Причины отказа Пушкина от публикации в «Северных Цветах на 1829 год» посвятительного послания Катенина, приложенного к «Старой Были» («Вот старая, мой милый, быль») вскрыты с исключительной четкостью и остротою в книге Ю. Н. Тынянова «Пушкин и архаисты», Л., 1929, стр. 160—177. Расшифровка памфлетного материала, заключавшегося в «Старой Были» и подчеркнутого ядовитыми намеками «Посвящения» ее Пушкину, позволила исследователю объяснить и политический смысл гневно-иронического «Ответа» Пушкина на обращенные к нему строфы («Напрасно, пламенный поэт, свой чудный кубок мне подносишь» и пр.). Изложение всего этого эпизода в воспоминаниях Катенина хотя и поражает своими нарочитыми недомолвками, но все же исходит из признания «дерзости» и неприемлемости для Пушкина памфлетных установок посвящения «Старой Были». Робкие же тенденции отделить при этом самого Пушкина от его литературного окружения конца 20-х годов явно не согласуются с суждениями Катенина о направленности «Старой Были», выраженными вскоре после ее написания:

«Князь Н. Голицын, мой закадычный друг, восхищающийся Старой Былью и в особенности песнью грека, полагает, что моя посылка к Пушкину есть une grande malice,—писал Катенин 7 сентября 1828 г. Бахтину.—Если мой приятель, друг, полагает это, может то же казаться и Пушкину; конечно, не моя вина, знает кошка, чье сало съела, но хуже всего то, что я эдак могу себе нажить нового врага, сильного и непримиримого, и из чего? Из моего же благого желанья сделать ему удовольствие и честь: выходит, что я попал кадилом в рыло» («Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину», СПБ., 1911, стр. 125).

[19] Письмо Пушкина из Кишинева, заключавшее в себе осуждение Катенина за его полемику с О. М. Сомовым и Н. И. Гречем, до нас не дошло. Самая же полемика, о которой шла речь, продолжалась на страницах «Сына Отечества» 1822 г. в течение нескольких месяцев и вызвана была суждениями Катенина о неотделимости русского литературного языка от церковно-славянского и его же теоретическими обоснованиями необходимости перевода «Освобожденного Иерусалима» на русский язык размером подлинника. Свои позиции Катенин отстаивал в статьях «Письмо к издателю», «Ответ г. Сомову» и «Ответ двоим» («Сын Отеч.» 1822, чч. 76, 77, 78). Под «полемическими схватками» Пушкина с Каченовским и Булгариным Катенин разумел в своих воспоминаниях «Отрывок из литературных летописей» («Северные Цветы на 1830 г.») и статьи «Торжество дружбы или оправданный А. А. Орлов» и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем», опубликованные Пушкиным под псевдонимом Феофилакта Косичкина в «Телескопе» 1831 г. На первую из этих статей Катенин откликнулся еще в письме от 3 апреля 1830 г. к Н. И. Бахтину: «Статья Пушкина, о которой вы говорите, не хороша, а лучше бы ему не печатать ее; вероятно, его из терпения вывел Каченовский, которого (виноват) я тоже терпеть не могу» («Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину», СПБ., 1911, стр. 176).

[20] Старые друзья и знакомцы, оказавшие П. А. Катенину столь серьезные услуги, занимали в 1832 г. очень видное положение в государственном аппарате и при дворе. Так Н. И. Бахтин (1796—1869), давнишний поклонник и популяризатор поэзии и литературно-теоретических взглядов Катенина, автор известной в свое время статьи о русской литературе в «Atlas ethnographique du Globe» par A. Balbi (Paris, 1826), с 1831 г. состоял правителем дел Комитета для образования флота и управляющим делами Финляндского генерал-губернаторства; в пору же писания Катениным «Воспоминаний о Пушкине» Н. И. Бахтин занимал должность Государственного секретаря. Другой его знакомец—В. Ф. Адлерберг (1791—1884), бывший с 1817 г. адъютантом вел. кн. Николая Павловича, затем помощником правителя дел Следственной комиссии 1825—1826 гг., с конца 1828 г. числился уже генерал-адъютантом, с 1 мая 1832 г.—начальником царской военно-походной канцелярии, в 1847 г. получил графское достоинство, а в 1852 г. стал министром императорского двора. О графе В. В. Мусине-Пушкине см. примеч. 4. Ссылка П. А. Катенина на тогдашнее благорасположение Н. И. Бахтина и В. Ф. Адлерберга подчеркивала вероятно позднейшее изменение их отношений к нему.

[21] Последняя глава «Евгения Онегина» появилась в свет в январе 1832 г. В предисловии к этой главе Пушкин писал: «Пропущенные строфы подавали неоднократно повод к порицанию и насмешкам (впрочем весьма справедливым и остроумным). Автор чистосердечно признается, что он выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России. От него зависело означить сию выпущенную главу точками или цифром; но во избежание соблазна решился он лучше выставить, вместо девятого нумера, осьмой над последней главою Евгения Онегина и пожертвовать одною из окончательных строф».

Беседа Катенина с Пушкиным по поводу пропущенных строф и его догадка об основаниях изъятия из печатного текста романа главы, посвященной «странствиям Онегина», получила отражение в предисловии к «Отрывкам из Путешествия Онегина» в первом издании всего романа, вышедшем в конце марта 1833 г.:

«П. А. Катенин (коему прекрасный поэтический талант не мешает быть тонким критиком) заметил нам, что сие исключение, может быть и выгодное для читателей, вредит однако ж плану целого сочинения; ибо через то переход от Татьяны, уездной барышни, к Татьяне знатной даме, становится слишком неожиданным и необъяснимым.—Замечание, обличающее опытного художника. Автор сам чувствовал справедливость оного, но решился выпустить эту главу по причинам, важным для него, а не для публики. Некоторые отрывки были напечатаны; мы здесь их помещаем, присовокупив к ним еще несколько строф».

[22] Высокая оценка «Евгения Онегина», данная в воспоминаниях Катенина, лишь развивала положения, намеченные в его прежних высказываниях по поводу отдельных глав романа сразу же после их выхода в свет.

Первая глава «Онегина», заставшая Катенина в ссылке, вызвала следующий отклик в письме его от 9 мая 1825 г. к Пушкину: «С отменным удовольствием проглотил г-на Евгения (как по отчеству?) Онегина. Кроме прелестных стихов, я нашел тут тебя самого, твой разговор, твою веселость и вспомнил наши казармы в Миллионной» («Переписка Пушкина», т. I, стр. 211).

«Наконец достал я и прочел вторую песнь «Онегина» и вообще весьма доволен ею,—писал Катенин 14 марта 1826 г. Пушкину.—Деревенский быт в ней так же

хорошо выведен, как городской—в первой. Ленской нарисован хорошо, а Татьяна много обещает. Замечу тебе однако (ибо ты меня посвятил в критики), что по сие время действие еще не началось; разнообразие картин и прелесть стихотворения, при первом чтении, скрадывают этот недостаток, но размышление обнаруживает его; впрочем его уже теперь исправить нельзя, а остается тебе другое дело: вознаградить за него вполне в следующих песнях» (там же, т. I, стр. 337).

Более лаконичен был отзыв Катенина о третьей песне в письме к Пушкину от 27 марта 1828 г. «Я читал недавно третью часть «Онегина» и «Графа Нулина»: оба прелестны, хотя без сомнения «Онегин» выше достоинством» (там же, т. II, стр. 59).

«После третьей прочел я на днях четвертую и пятую главы Онегина,—писал Катенин 20 мая 1828 г. Н. И. Бахтину.—В них много прекрасного; есть и трудности, искусно побежденные, например: ответ Онегина Татьяне; но есть также много вещей растянутых и несколько фальшивых: сон не везде сон, зимние подробности скучны и не без детства, а Ленского гнев близок к безрассудству; стихи вообще не довольно отделаны и местами небрежности непростительные. При всем том, Онегин покуда chef d'oeuvre Пушкина; характеры нарисованы довольно хорошо, разговор часто хорош и ума много разбросано, хотя изредка встречаются и глупости». Наконец 17 сентября 1828 г. Катенин заверял Н. И. Бахтина, что «Лучшая глава «Онегина», по-моему, шестая; я ее недавно прочел; в ней поединок Онегина с Ленским; вы видите, что и самое содержание давало много средств стихотворцу» («Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину», СПБ., 1911, стр. 119 и 125).

[13] Характерно, что на помощь Пушкина в издательских делах Катенин рассчитывал еще 15 июля 1827 г., обращаясь к Н. И. Бахтину со следующим проектом: «Нет ли средства без меня издать мои С т и х о т в о р е н и я? Посоветуйтесь с Пушкиным: он зело мастер ладить с книгопродавцами, и поелику я бы охотно ему услужил в подобном случае, не вижу, почему бы он не захотел того же для меня сделать» («Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину», СПБ., 1911, стр. 99). Через несколько лет вновь напоминая приятелю о своем желании ускорить издание сборника своих стихотворений, Катенин запрашивал его 1 июня 1831 г.: «Не в Петербурге ли Ал. Пушкин? Если да, не забудьте от имени моего настоятельно его склонить к содействию, а он может быть очень полезен» (там же, стр. 190). О деятельном участии Пушкина в реализации издания «Стихотворений и переводов Павла Катенина» (цензурное разрешение 22 ноября 1832 г.) свидетельствует и записка Е. М. Хитрово к Пушкину от 15 декабря 1832 г.: «Voici cher Poushkin 750 r. pour les billets de M-r Katenin. Pour completer la somme des 49 billets il lui revient encore 285 r.» («Переписка Пушкина», т. II, стр. 399). Показание об этом же эпизоде в печатаемых нами воспоминаниях Катенина позволяет признать совершенно неосновательными сомнения Н. В. Измайлова по поводу даты этой записки и упоминания в ней имени Катенина («Письма Пушкина к Е. М. Хитрово», Л., 1927, стр. 179—180). Как форму содействия не только литературному, но и материальному успеху издания рассматриваем мы и статью Пушкина «О сочинениях Катенина» в «Литературных Прибавлениях к Русскому Инвалиду» от 1 апреля 1833 г.

[14] Попытки П. А. Катенина оживить работу Российской Академии (в члены которой он был предложен А. С. Шишковым 3 декабря 1832 г., а избран 7 января 1833 г.) не увенчались успехом, и он, так же как и Пушкин, очень быстро охладел к этому мертвенно-официозному учреждению. Однако первые два-три месяца после своего избрания он вел себя очень активно.

«Между деятельными литераторами теперь явилось новое лицо, хотя в старом образе,—писал П. А. Плетнев 11 марта 1833 г. В. А. Жуковскому.—Приехал сюда Катенин, сделал сколько нужно было визитов А. С. [Шишкову], да и засел в Российскую Академию. Он там начал сильную тревогу. Первый спор зашел о слове: *бурко*. Катенин требовал, чтобы его писали: бурка. Спускать он никому не любит: так что ему значит Петр Иванович Соколов? И так он начал ему высказывать горькие истины, что он Петр Иванович русский язык знает плохо, что слушать его нечего, а наконец (после завтрака, на котором стоял графин с ерофеичем и бутылка с черным пивом, да кусков пять семги с луком) Катенин открыл за новость Соколову, что самому ему пятый десяток, что служил он в гвардии и давно полковник и проч. Вы можете представить, как это забавляет Пушкина, который также член Российской Академии, и следственно безденежно может слушать их и глядеть такую комедию» («Сочин. и переписка П. А. Плетнева», т. III, СПБ., 1885, стр. 526—527).

Со слов самого Пушкина, посетившего братьев Языковых в их симбирской усадьбе, А. М. Языков писал 1 октября 1833 г. В. Д. Комовскому: «Мы от него узнали, что он и Катенин избраны членами Российской Академии, и что последнее про-

изводит там большой шум, оживляя сим сонных толмачей, иереев и моряков. Во второй уже раз дошло до того, что ему прочли параграф устава, которым велено выводить из заседания членов, непристойно себя ведущих. Старики видят свою ошибку, но делать уже нечего: зло посреди них; вековое спокойствие нарушено навсегда, или по крайней мере надолго» («Историч. Вестник» 1883, кн. XII, стр. 537). Ср. письмо П. А. Катенина к Пушкину об академических делах от 8 февраля 1833 г. («Переписка Пушкина», т. III, стр. 5—6), материалы о столкновении Катенина с П. И. Соколовым, непременным секретарем Академии, в «Истории Рос. Академии», т. VII, СПБ., 1885, стр. 495, а также данные Л. Б. Модзалевского о Пушкине и Катенине как членах Российской Академии в «Вестнике Акад. Наук» 1934, № 5, стр. 50.

[25] Сохранилась записка П. А. Катенина к Пушкину от 10 марта 1834 г. следующего содержания: «Посылаю к тебе, любезнейший Александр Сергеевич, только что вышедшую из печати сказку мою; привез бы ее сам, но слышал о несчастии, случившемся с твоей женой, и боюсь приехать не в пору. Если, как я надеюсь, беда сколько можно кончится добром, одолжи меня своим посещением в понедельник вечером; во вторник по утру я отправляюсь в дальний путь: в Грузию. Прощай покуда. Весь твой Павел Катенин» («Переписка Пушкина», т. III, стр. 85). «Несчастье», о котором упоминает Катенин, произошло 4 марта: «Вообрази, что жена моя на днях чуть не умерла,—писал Пушкин в конце этого месяца П. В. Нащокину.—Нынешняя зима была ужасно изобильна балами. На маслянице танцовали уж два раза в день. Наконец настало последнее воскресение перед великим постом. Думаю: слава богу! балы с плеч долой! Жена во дворце. Вдруг, смотрю—с нею делается дурно—я увожу ее, и она, приехав домой—выкидывает». Ср. запись об этом же в дневнике Пушкина от 6 марта 1834 г.

Сопоставляя показания воспоминаний П. А. Катенина с его же запиской от 10 марта, можно установить, что приглашением на вечер 12 марта Пушкин не воспользовался, а посетил Катенина в день получения записки, т. е. 10-го или, самое позднее, 11 марта 1834 г. Обещание Пушкина «еще зайти на другой день» (т. е. 12 марта?) связано было вероятно с необходимостью высказаться и по поводу полученной им новой «Сказки» Катенина, которую он видимо к моменту их встречи еще не успел прочесть. Об этом, как мы полагаем, свидетельствует обращение Катенина к Пушкину от 4 января 1835 г. из Ставрополя: «Жаль очень, что я не успел видеть тебя перед отъездом, и потому не знаю, какова показалась тебе «Княжна Милуша», тогда только что вышедшая из печати» («Переписка Пушкина», т. III, стр. 177). Из двух писем, полученных Катениным от Пушкина в Ставрополе до нас не дошло ни одного. Судя от ответу Катенина от 16 мая 1835 г. на первое из них, в нем Пушкин давал положительную оценку «Княжне Милуше»; во втором, представлявшем собою вероятно ответ на письмо от 12 апреля 1836 г., речь могла нтти об участии Катенина в «Современнике».

[26] «La fée Urgèle»—героиня стихотворной сказки Вольтера «Ce qui plait aux dames», в образе дряхлой и безобразной старухи выручающая из беды прекрасного рыцаря Роберта. Взяв за услугу с последнего клятву исполнить любое ее желание, Юргелла через некоторое время неожиданно требует, чтобы рыцарь сделал ее своею женою. Роберт, несмотря на свое отвращение к старухе, исполняет данное им слово, за что и вознаграждается превращением Юргеллы в красавицу «равную Венере». Некоторые эпизоды этой сказки действительно близки фабульным деталям «Руслана и Людмилы», связанным с Наиной. О несомненном же интересе Пушкина к сказке Вольтера свидетельствуют недавно найденные в его бумагах наброски перевода или переложения самого начала «Ce qui plait aux dames» («Короче дни, а ночи доле»). См. статью Н. О. Лернера «Рассказ про доброго Роберта» («Пушкин и его современ.», вып. 38—39, Л., 1930, стр. 108—112).

[27] Катенин имеет в виду известные строки «Медного всадника» о графе Д. И. Хвостове:

И Хвостов
Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье Невских берегов.

[28] Отрицательное отношение Катенина-мемуариста к самому жанру байронической поэмы и к русским ее модификациям (южные поэмы Пушкина, «Эда» Баратынского, «Чернец» И. И. Козлова, «Войнаровский» Рылеева, «Боярин Орша» Лермонтова) характерно и для ранних его критических отзывов. Ср. например его отклик на «Войнаровского» в письме от 26 апреля 1825 г. к Бахтину («Все это копии с разных Бейроновых вещей, в стихах по новому покрою») или заметки о «Бахчисарай-

ском фонтане» в письме к тому же корреспонденту от 13 июля 1824 г. («Фонтан что такое и сказать не умею; смыслу вовсе нет. В начале Гирей курит и сердится, потом встал и пошел куда-то, вероятно, на двор, ибо после об этом ни слова, а начинается описание внутренности гарема, где по мнению Пушкина запертые невольницы, пылкие грузинки и пр. сидят, б е с п е ч н о ожидая хана!!! Что за Мария? Что за Зарема? Как они умирают? Никто ничего не знает, одним словом это romantique. Стихи, или лучше сказать стишки, сладенькие, водяные, раз читаются, а два никак».

Более снисходителен был отзыв Катенина в письме от 27 мая 1829 г. о «Полтаве»: «Прочел и Пушкина П о л т а в у: вещь не без достоинств, но лучшие места не свои; тут и Данте, и Гете, и Байрон, и Петров, и ваш покорный слуга mis à contribution [использованы]. Говорят, Булгарин ее не хвалит: что бы это значило?» («Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину», СПБ., 1911, стр. 65 и 145).

[29] Развернутый критический разбор «Бориса Годунова», мотивирующий суровое осуждение последнего как драматургического целого, несмотря на некоторые частности «достойные уважения и похвалы», дан был в письме П. А. Катенина от 1 февраля 1831 г. к одному из его приятелей:

«Ты требуешь обстоятельного отзыва о Г о д у н о в е: не смею ослушаться. Самое лучшее в нем слог; погрешности, небрежности, обмолвки водятся там и сям, но их стоило бы только приятелю (кабы у Пушкина был таковой) карандашом заметить, а ему в одно утро выправить. К слову, твоего карандаша я не нашел нигде, и не вижу заимствования из А н д р о м а х и, а с У б и й ц е й сходно положение Борисово, но вот и все,— не хочу клепать. Во многих подробностях есть ум без сомненья, но целое не обнято; я уж не говорю в драматическом смысле, оно не драма отнюдь, а кусок истории, разбитый на мелкие куски в разговорах; и в этом отношении слишком многого недостает. Следовало сначала Бориса показать во всем величии; его избранье, клятва в церкви, сорочкой делиться с народом, общий восторг, бегство татар, убоявшихся одного вида русской рати, богатые запасы—и ничто не тронуто; напротив, первое появленье Царя сухо, а второе шесть лет спустя уже тоскливое: в летописях более поэзии. Патриарх рассказывает чудо, сотворенное новым угодником Углицким, и курсивом напечатано: Годунов несколько раз утирается платком: немецкая глупость, мы должны видеть смуту государя-преступника из его слов, *или из слов свидетелей, коли сам он молчит, а не из пантомимы в скобках печатной* книги. Наставленья умирающего сыну длинны и lieux communs; важнейшее дело: препорученье молодого наследника усердию духовенства, бояр, воевод и etc., взятие с них обещания клятвенного; а это-то и скомкано. Женский крик, когда режут,—мерзость, зачем ему быть слышным? В тишине совершенное злодейство еще страшнее и не гадко. Самозванец не имеет решительной физиономии; опять лучшая, по истории, сцена, где он, больной, на духу солгал и выдал себя за Димитрия, пропущена; пособия, полученные в Польше, не показаны, все темно, все недостаточно; признанье Марине в саду—глупость без обиняков. Если Пушкин полагал, что нельзя было ей не знать всей правды, ни Отрепьеву ее обмануть (что и вероятно), сцену должно было вести совсем иначе, хитрее: Марине выведывать, Самозванцу таиться; наконец, она бы умом своим вынудила его личину сбросить, но, как властолюбивая женщина, дала слово молчать, буде он обещает всем, что есть святого, на ней жениться, сделавшись Царем; и к истории ближе и к натуре человеческой, а как оно у Пушкина, ни на что непохоже. Курбского хотел он выставить юным героем с чистой душой; но хорошо ли так радостно восклицать: отчизна, я твой etc., входя в нее с войной, готовясь мечом и огнем ее опустошить? Дело слезам подобное и тут Самозванец лучше чувствует. Этого терпеть нельзя. Важная измена Басманова не приготовлена, не изложена, похожа как бы на женскую причуду. Словом, все недостаточно, многого нет, а что и есть, так esquissé, что надобно наперед историю прочесть, а кто давно не читал и позабыл, драмою сыт не будет: большой порок, ибо всякое сочинение должно быть само-собой удовлетворительно. Эдакое обещает нечто дополнительное к историческим сказаниям, и слова не держит. Комическая примесь не дурна, но опять скажу: бедна; народ, сперва обожающий Бориса, понемногу охладевший, перекинувшийся на сторону врага его, большая картина для мастера, но где же она? Сцена иностранцев меня рассмешила, но это шалость: не забудь, что вся соль ее существует только для такого читателя, кто знает все три языка. Вообще, по напечатанному для образчика в журнале разговору Пимена и Григория я ожидал (конечно не трагедии: которой и в помине нет), а чего-то если не для изящного чувства, по крайней мере, для холодного рассудка более значительного, нежели, что вышло; надеялся на творение зрелое, а теперь оно мне кажется ученическим опытом: мало достоинств, большой красоты ни одной,

плана никакого, даже недосмотры: Царь не знает ничего о самозванце до вести Шуйского, что он уже у Сигизмунда, и тут учреждает заставы; а мы их видим учрежденные до побега Гришки, N.B. по указу Царя. Есть смелые намеки на обязанность господ держать дурных слуг и наушников правительства: les bleus...

Возвращаясь к Борису Годунову, желаю спросить: что от него пользы белому свету? qu'est ce qu'il prouve? На театр он нейдет, поэмой его назвать нельзя, ни романом, ни историей в лицах, ничем; для которого из чувств человеческих он имеет цену или достоинство? Кому будет охота его читать, когда пройдет первое любопытство? Я его сегодня перечел в третий раз, и уже многое пропускал, а кончил, да подумал: О!» («Помощь голодающим». Научно-литературный сборник. М., 1892, стр. 254—257).

Адресат этого интереснейшего письма до сих пор не установлен. Характерно однако совпадение критико-теоретических установок П. А. Катенина с беглой оценкой «Бориса Годунова» в письме к нему В. А. Каратыгина от 5 марта 1831 г.: «Недавно вышел в свет «Борис Годунов» Пушкина. Какого роду это сочинение, предоставляется судить каждому. Он сам не назвал его ни трагедиею, ни поэмой, по-моему это галиматья в шекспировом роде» («Библиографические Записки» 1861, стр. 599).

Б. Алмазов в докладе «А. Ф. Писемский и его двадцатипятилетняя литературная деятельность» со слов самого Писемского отмечал, что «только один литератор» имел влияние на молодого Писемского «и этот литератор был никто другой, как П. А. Катенин», живший в трех верстах от родового имения Писемских в Костромском уезде: «Ветеран литературы, Катенин, фанатически верный своим идолам Корнелю и Расину и корану псевдо-классической поэзии «L'art Poétique» Буало, подружился с молодым студентом, жарким поклонником Гоголя и статей Белинского... Как же проводили время, сходясь между собою, эти два совершенно противоположные по литературным убеждениям человека? Катенин декламировал перед Писемским произведения французских лже-классиков; Писемский читал Катенину произведения Гоголя. Разумеется, после чтения у них были горячие споры. «Ваш Гоголь дрянь, гадость!» кричал в каком-то ожесточении Катенин. Писемский, возражая Катенину, обзывал вероятно тоже не совсем лестными эпитетами Корнеля и Расина. Но когда умолкал спор, Писемский слушал какую-нибудь трагедию какого-нибудь французского классика, а немного погодя Катенин слушал повесть или комедию Гоголя» («Русский Архив» 1875, кн. IV, стр. 454).

[30] Постановка «Моцарта и Сальери», упоминаемая П. А. Катениным, состоялась в петербургском Большом театре 27 января 1832 г., в бенефис Я. Г. Брянского. Спектакль был повторен 1 февраля, после чего уже не возобновлялся. Протестом П. А. Катенина против особенностей интерпретации в этой «маленькой трагедии» исторической личности Сальери вызвана была вероятно пояснительная заметка Пушкина «В первое представление Дон-Жуана» и пр., с известной концовкой: «Завистник, который мог освистать Дон-Жуана, мог отравить его творца» («Полное собрание сочинений Пушкина», т. V, М.-Л., 1933, стр. 758—759). О полемике Катенина с П. В. Анненковым по этому же вопросу см. выше наше предисловие, стр. 630.

[31] «Известная волшебная опера, переведенная с немецкого»—это опера «Donauweibchen» Генслера (музыка Кауэра), переведенная и приспособленная для русской сцены Николаем Краснопольским. Под названием «Днепровская русалка» опера эта была поставлена впервые в Большом театре 26 октября 1803 г. и в течение почти полувека не сходила с репертуара столичной и провинциальной сцены. «Несмотря на всю нелепость своего содержания,—отмечает Пимен Арапов,—она произвела фурор, и в Петербурге только что и говорили о ней и пели повсюду из нее арии и куплеты: «Приди в чертог ко мне златой», «Мущины на свете как мухи к нам льнут» и «Вы к нам верность никогда не хотите сохранить» («Летопись русского театра», СПБ., 1861, стр. 163—164). Ср. упоминание в «Онегине» (гл. II):

И запищит она—бог мой,
«Приди в чертог ко мне златой!»

Свидетельство воспоминаний П. А. Катенина о связи фабульной основы «Русалки» Пушкина с оперным либретто «Donauweibchen» Генслера подтвердилось в результате позднейших разысканий акад. И. Н. Жданова об источниках «Русалки» («Памяти Пушкина». Сборник статей преподавателей и слушателей историко-филологич. факультета С.-Петербургского университета», СПБ., 1900, стр. 139—178) и ныне является общепринятым.

[32] Об отрицательном отношении Катенина к ранним стихотворениям Пушкина см. примеч. 6. Более чем сдержанно отозвался он в письме к самому автору от 3 февраля 1826 г. и на первую книжку «Стихотворений» Пушкина: «Стихотворения твои я читал, большая часть мне давно известна» («Переписка Пушкина», т. I,

стр. 322). Далее, ни одним словом не обмолвившись о своем отношении к первому собранию стихотворений Пушкина, Катенин справлялся только о значении инициалов «К» и «К—н» в двух посланиях Пушкина и обращался к нему с просьбой принять участие в альманахе, затеваемом Н. И. Бахтиным: «Я прошу у тебя таких стихов, которыми бы ты сам был доволен, вещи дельной. Будь умница и не откажи». Эта просьба «вещи дельной» как бы оттеняла сомнительную «дельность» того, что Пушкиным было включено в сборник 1826 г. Из позднейших его стихотворений Катенин особенно был недоволен балладой «Жених»: «Наташа» Пушкина очень дурна,—писал Катенин 28 ноября 1827 г. Н. И. Бахтину,—вся сшита из лоскутьев, Светлана [Жуковского] и Убийца [Катенина] окрадены бессовестно, и вовсе нет никакого смысла. Правда и то, что ему не зачем стараться: всё хвалят» («Переписка П. А. Катенина с Бахтиным», СПБ., 1911, стр. 101).

[33] Указание Катенина на комедию Мариво «Игра любви и случая» как на источник «Барышни-крестьянки» очень интересно. Комедия «Le jeu de l'amour et du hasard» (1730 г.), едва ли не лучшая в театре Мариво, пользовалась огромным успехом на французской сцене и была необыкновенно популярна и в России: здесь ее играли и на французском театре, и на русском. В пушкинское время (1817—1820) «Игра любви и случая»—«одна из самых лучших пьес», по выражению составителя «Летописи русского театра» Пимена Арапова, шла в переводе Андр. Андр. Корсакова с Ширяевой, Асенковой, Сосницким и Рамазановым. Пушкину конечно пьеса была известна, но никак нельзя согласиться с утверждением Катенина, что Пушкин переделал комедию Мариво в рассказ так же, как пьесу Шекспира «Мера за меру» в поэму «Анжело». Фабула комедии Мариво сводится к следующей схеме, которую даем в пересказе П. Е. Щеголева: «Отцы, не спрашивая согласия, просватали своих детей, Сильвию и Доранта; жених и невеста не знают друг друга. Отправляясь к своей суженой и желая узнать, достойна ли она любви, Дорант с родительского ведома играет роль слуги, а Арлекин, его слуга,—роль барина. Сильвия, узнав от отца о предстоящем ей браке, просит разрешения показаться жениху в образе служанки, а служанке Лизетте играть роль барыни. Появляется Дорант—слуга, и вместо того, чтобы ухаживать за барыней-Лизеттой, он сразу же загорается любовным пламенем к мнимой служанке Сильвии. Параллельно два романа: господ, переодетых слугами, и слуг, переодетых господами. Дорант открывает себя предмету своей страсти Сильвии, но Сильвия продолжает выдавать себя за служанку, и только когда Дорант высказывает желание отказаться от равного брака с дворянкой и готовность вступить в брак неравный со служанкой, Сильвия в последней сцене объявляет себя. Общее между комедией Мариво и рассказом Пушкина: барышня притворяется служанкой в комедии и крестьянкой в рассказе, а барин, увлеченный ею, вот-вот перешагнет социальную преграду и решится на брак с служанкой или крестьянкой. Такое сходство положений не представляет возможности даже объяснить заимствование, а это сходство—единственное».

Следует отметить однако, что фабульные линии комедии Мариво, указанной П. А. Катениным, все же гораздо легче ассоциируются с рассказом Пушкина, чем повесть m-me Монтолье «Урок любви», перевод которой в «Вестнике Европы» 1820 г. (кн. 9—11) дал основание акад. М. Н. Сперанскому указать на это слащавое и бездарное подражание «Игре любви и случая» как на первоисточник «Барышни-крестьянки» («Сборник Харьковского Историко-Филологич. Общества в память проф. Е. К. Редина», Харьков, 1910, стр. 3—11).

[34] «Мельник» и «Филимон»—герои комической оперы А. О. Аблесимова «Мельник-колдун, обманщик и сват» (1779 г.), бытовавшей в репертуаре русских театров вплоть до середины XIX в.

ПУШКИН В ССЫЛКЕ

Публикация Ю. Оксмана

I. «ВЕЧЕР В КИШИНЕВЕ»

(Из бумаг «первого декабриста» В. Ф. Раевского)

Общественно-политические интересы и литературно-теоретические взгляды Пушкина в первые годы его ссылки расширялись, обновлялись и пересматривались в условиях живого общения поэта с деятелями южного декабризма, организаторами и вдохновителями известного Кишиневского гнезда Союза Благоденствия. Однако если в политическом воспитании Пушкина роль В. Ф. Раевского, М. Ф. Орлова, И. П. Липранди, П. С. Пущина, К. А. Охотникова и др. представляется более или менее определенной, то объекты литературных споров и масштаб художественно-критических разногласий его новых друзей и знакомцев до последнего времени почти не поддавались учету.

В самом деле, ведь даже записки И. П. Липранди—основной источник свидетельств о литературных дискуссиях в Кишиневе начала 20-х годов—ближайшим образом посвящены были реставрации некоторых бытовых условий прошедших прений и столкновений, а не характеристике последних по существу. В памяти мемуариста почти не удержалось специально литературных тем, обострявших обмен мнениями участников его «вечеров», и лишь при обрисовке выступлений майора В. Ф. Раевского, да и то вскользь, И. П. Липранди отметил общие линии воздействия на Пушкина одного из постоянных его оппонентов.

«Пушкин редко оставался до конца вечера,—писал И. П. Липранди, вспоминая постоянных своих гостей—К. А. Охотникова, В. Ф. Раевского, Н. С. Таушева, А. Ф. Вельтмана, В. П. Горчакова.—Здесь не было карт и танцев, а шла иногда очень шумная беседа, спор и всегда о чем-либо дельном, в особенности у Пушкина с Раевским, и этот последний, по моему мнению, очень много способствовал к подстреканию Пушкина заняться положительнее историей и в особенности географией*. Я тем более убеждаюсь в этом, что Пушкин неоднократно после таких споров на другой или на третий день брал у меня книги, касавшиеся до предмета, о котором шла речь. Пушкин как вспыльчив ни был, но часто выслушивал от Раевского под веселую руку обоих довольно резкие выражения—и далеко не обижался, а, напротив, казалось искал выслушивать бойкую речь Раевского. В одном, сколько я помню, Пушкин не соглашался с Раевским, когда этот утверждал, что в русской поэзии не должно приводить имена ни из мифологии, ни исторических лиц древней Греции и Рима,—что у нас и то и другое есть свое и т. п.»[1]

Материал воспоминаний И. П. Липранди положен был в основание специальной характеристики взаимоотношений Пушкина и Раевского в известной работе П. Е. Щеголева[2]. Характеризуя широкую образованность «первого декабриста», его «солидные и большие знания, особенно в области исторических наук», покойный исследователь отметил, что В. Ф. Раевский «сам был поэтом и следовательно мог быть *судьей поэтических произведений»; именно эти данные, как заключает* П. Е. Щеголев, и выдвинули В. Ф. Раевского «на первое место в кишиневской толпе друзей поэта»[3].

---

* «Это иногда доходило до смешного, так например, один раз как-то Пушкин ошибся и указал местность в одном из европейских государств не так. Раевский кликнул своего человека и приказал ему показать на висевшей на стене карте пункт, о котором шла речь; человек тотчас исполнил. Пушкин смеялся более других, но на другой день взял Мальтебрюна». (Примечание И. П. Липранди.)

Какова же была позиция В. Ф. Раевского как критика поэтических произведений вообще и творческих достижений Пушкина в частности? Чем именно мог импонировать он ссыльному поэту не только как политический деятель, но и как литературный судья?

Прямой ответ на эти вопросы могли бы дать конечно веденные Пушкиным дневники. Однако как раз записи кишиневских лет были уничтожены поэтом в пору декабрьской бури 1825 г., когда он, ожидая обыска и ареста, должен был беспощадно вытравить из бумаг почти все следы своих недавних связей и интересов. Не в лучшем состоянии дошли до нас и материалы В. Ф. Раевского. Из его критических опытов в печать ничего не попало, из обширной переписки 20-х годов сохранились только случайные обрывки, а в мемуарных записях как самого декабриста, так и его друзей литературные интересы кишиневской поры отражения не получили.

Правда, как некоторый отзвук прошедших литературных споров можно было рассматривать еще несколько резко выразительных строк, адресованных В. Ф. Раевским Пушкину[4] в его позднейшем послании из крепости «К друзьям в Кишиневе»:

Сковала грудь мою, как лед,
Уже темничная зараза.
Жилец темницы отдает
Тебе сей лавр, певец Кавказа.
Оставь другим певцам любовь.
Любовь ли петь, где льется кровь,
Где власть с насмешкой и улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой,
Где слово, мысль, невольный взор,
Влекут, как явный заговор,
Как преступление, на плаху,
И где народ, подвластный страху,
Не смеет шопотом роптать!
Пора мой друг, пора воззвать
Из мрака век полночной славы,
Царя-народа дух и нравы
И те священны времена,
Когда гремело наше вече,
И гнуло звуком издалече
Царей кичливых рамена.

Конечно строфы эти прямо свидетельствовали о неудовлетворенности В. Ф. Раевского путями творческой работы Пушкина, определившимися в Кишиневе, звучали явным упреком «певцу любви» за отсутствие в его новых вещах революционного пафоса, требовали от автора «Кавказского пленника» социально более актуальной тематики.

Был ли однако В. Ф. Раевский враждебен только неожиданному политическому индифферентизму Пушкина и ограничивался ли он в своих выступлениях лишь публицистической интерпретацией его произведений?

На этот вопрос, думается, могут дать ответ черновые фрагменты неизвестного до сих пор произведения В. Ф. Раевского, найденные нами среди актов дознания по делу «первого декабриста» в архиве аудиториатского департамента военного министерства[5].

И в самом деле, страницы «Вечера в Кишиневе» (так озаглавил В. Ф. Раевский свою работу) не только намечали яркую бытовую зарисовку одной из литературных дискуссий 1821—1822 гг. (в доме И. И. Липранди или в квартире самого автора), но с точностью, почти стенографической, воспроизводили все особенности живой и увлекательной речи постоянного собеседника и едва ли не наиболее резкого оппонента Пушкина этой поры.

Несколько неожиданно, на первый взгляд, что объектом спора, запечатленного в «Вечере в Кишиневе», был «Наполеон на Эльбе»—одна из самых ранних публикаций Пушкина, создание еще лицейских лет[6]. В. Ф. Раевский однако решительно не учитывал этого обстоятельства, его занимало не время написания, а годы распространения вещи, он протестовал против признания ее «образцовой» и считал ошибкой включение ее в хрестоматии.

Ближайшим поводом выступления В. Ф. Раевского явилась, как мы полагаем, перепечатка «Наполеона на Эльбе» во втором издании пятой части «Собрания

образцовых сочинений и переводов в стихах», выпущенного «Обществом любителей отечественной словесности» в самом начале 1822 г.[7]

Благодаря упоминанию этого издания в «Вечере в Кишиневе» можно точно определить и время работы В. Ф. Раевского над последним. В самом деле, дата переезда В. Ф. Раевского из Аккермана в Кишинев—5 августа 1821 г., дата цензурного разрешения «Образцовых стихотворений»—30 сентября 1821 г. Сборник не мог выйти в свет и дойти до Кишинева раньше нового года, а 6 февраля 1822 г. В. Ф. Раевский был уже арестован. Следовательно «Вечер в Кишиневе» принадлежит к числу тех произведений «первого декабриста», отделке и окончанию которых помешало его заключение в крепость.

Мы не знаем поэтому и финала дискуссии о «Наполеоне на Эльбе». Возможно, что дальнейшее развертывание литературных прений потребовало бы введения в них

ЗАПИСКА ПУШКИНА К В. Ф. РАЕВСКОМУ

Местонахождение оригинала в настоящее время неизвестно

Фотокопия в собрании П. Е. Щеголева, Ленинград

и самого Пушкина. Последний не мог конечно защищать своей юношеской вещи, не соответствовавшей уже ни его теоретическим взглядам, ни практическим принципам стихотворной работы. Спор о «Наполеоне на Эльбе» переходил однако в иную плоскость. В. Ф. Раевский впервые ставил перед Пушкиным вопрос об ответственности поэта за все, связанные с его именем вещи, за публикации, успевшие стать чуждыми ему самому, но утвердившиеся в литературном обиходе. Впоследствии проблема эта всплывала и обострялась не раз (напомним отречение Пушкина от «Гаврилиады» или протесты против появления его лицейских стихов в альманахах Б. Федорова и Бестужева-Рюмина), но до «Вечера в Кишиневе» Пушкин нападок на свое поэтическое старье не знал. Быть может выступлением В. Ф. Раевского объясняется и отказ Пушкина от перепечаток «Наполеона на Эльбе» после 1821 г.

Насыщенность «Вечера в Кишиневе» автобиографическим и реально-бытовым материалом так велика и так легко проверяется известными мемуарными и документальными данными, что даже тщательная стилистическая отделка некоторых из высказываний В. Ф. Раевского не нарушает общего впечатления совершенной непосредственности его признаний и наблюдений[8].

Почти не зашифрованными остались в «Вечере в Кишиневе» упоминаемые в нем личные имена («майор Р.», «генерал О.»). Попытка раздвоения авторского лица между «я» рассказа и «майором Р.» брошена была в самом начале, и даже «молодой Е.», восторженно цитирующий «Наполеона на Эльбе», легко определяется, благодаря воспоминаниям И. П. Липранди, как прапорщик В. П. Горчаков—постоянный участник кишиневских литературных споров, ярый антагонист В. Ф. Раевского и «безусловный поклонник непогрешимости поэзии Пушкина»*.

Характерно, что в «Вечере в Кишиневе» определились не только особенности восприятия В. Ф. Раевским чуждых ему художественных систем, но и приемы их разбора, оформились до конца самые требования, предъявляемые к поэтическому слову,—бескомпромиссные требования критика-пуриста, жестко обнажающего малейшие уклоны от рационалистических принципов предельной точности и ясности слога. Эта позиция не могла быть конечно случайной, и если сочетать эстетические посылки и стилистические мотивировки разбора «Наполеона на Эльбе» с тою проповедью высокой и «своенародной» тематики, которой окрашена была и поэтическая практика В. Ф. Раевского и его диспуты на вечерах у И. П. Липранди, то не остается никаких сомнений в том, что художественная идеология «первого декабриста» была идеологией воинствующего «архаиста»[10].

Враждебный Пушкину В. Ф. Раевский как поэт и критик шел в рядах той группы литературных противников Карамзина, Жуковского и их эпигонов, к теоретикам которой принадлежали Катенин, Кюхельбекер, Грибоедов, к приговорам которой автор «Наполеона на Эльбе» внимательно прислушивался еще до своей ссылки[11]. Разумеется преодоление Пушкиным традиций карамзинизма шло иными путями, чем у его оппонентов, но процесс самого осмысления этих путей был конечно значительно ускорен и облегчен дискуссиями его в Кишиневе с таким взыскательным и авторитетным литературным судьей, как В. Ф. Раевский.

ВЕЧЕР В КИШИНЕВЕ

Я ходил по комнате и курил трубку.

Маиор Р. сидел за столом и разрешал загадку об Атлантиде и Микробеях... Он ссылался на Орфееву Аргонавтику, на Гезиода, на рассуждения Платона и Феокомба и выводил, что Канарские, Азорские и Зеленого мыса острова суть остатки обширной Атлантиды.

Эти острова имеют волканическое начало—следственно нет сомнения, что Атлантида существовала—прибавил он и вскочил со стула, стукнул по столу рукою и начал проклинать калифа Омара, утверждая, что в Библиотеке Александрийской наверно хранилось описание счастливых островов.

— Итак, если эти описания сгорели, то не напрасны ли розыски и предположения твои, любезный антикварий,—сказал я ему.

Маиор. — Совсем нет. Ум детской, ограниченный (étroit) доволен тем, что он прочел вчера и что забудет завтра. Сочинять стишки — не значит еще быть стихотворцем, научить солдата маршировать не значит быть хорошим генералом.

Ум свободный, как и тело,—ищет деятельности. Основываясь на предположениях, Колумб открыл Америку, а система мира Пифагорейцев, спустя 20 веков, с малыми переменами признана за истинную!

Земля, на которой мы рыцарствуем теперь, некогда была феатром войны и великих дел. Здесь процветали Никония, Офеус или Тира, Германиктис, отсюда Дарий Истасп, разбитый скифами в 513 году, бежал через Дунай, здесь предки наши, славяне, оружием возвестили бытие свое [И храбрый Святослав]... Но согласись, что большая часть соотечественников наших столько же знают об этом, как мы об Атлантиде. Наши дворяне знают географию от села до уездного города, историю ограничивают эпохою бритья бород в России, а права...

В. Ф. РАЕВСКИЙ В СТАРОСТИ
Фотография 1869 г.
Собрание Ю. Г. Оксмана, Ленинград

— Они вовсе их не знают, —воскликнул молодой Е., входя из двери. — Bonjour!

Маиор. — В учебных книгах пишут вздор.—Я вчера читал «Новую всеобщую географию», где между прочими нелепостями сказано, что река Диль-Ельва величайшая в Швеции—это все равно, что река ривьера Сена протекает в Париже.

Е. — Il y a une espèce des chiens en Russie, qu'en nomme sobaki...

Маиор. — ...что Аккерман стоит на берегу Черного моря...

Е. — Не сердись, маиор. Я поправлю твой humeur прекрасным произведением...

Маиор. — Верно опять г-жа Дирто или Bon-mot камердинера Людовика 15? — Я терпеть не могу тех анекдотов [которые для тебя новость], которые давно забыты в кофейн[ях] в Париже.

Е. — Оставь анекдоты. — Это оригинальные стихи одного из наших молодых певцов!

Маиор. — Я стихов терпеть не могу!

Е. — Comme vous etez arrieré.

Маиор. — Этот-то комплимент я вчера только слышал от [моего] генерала О.

Е. — Но оставим! Послушай стихи. Они в духе твоего фаворита Шиллера.

Маиор. — Ну, что за стихи?

Е. — «Наполеон на Эльбе». В образцовых сочинениях...

Маиор. — Если об Наполеоне, то я и в стихах слушать буду от нечего делать.

Е. — (начинает читать)

Вечерняя заря в пучине догорала,
Над мрачной Эльбою носилась тишина,
Сквозь тучи бледные тихонько пробегала
Туманная луна;

Маиор. — Не бледная ли луна сквозь тучи или туман?
Е. — Ето новый оборот! У тебя нет вкусу [слушай].

Уже на западе седой одетый мглою
С равниной синих вод сливался небосклон.
Один во тме ночной над дикою скалою
Сидел Наполеон!

Маиор. — Не ослушался ли я, повтори.
Е. — (повторяет)
Маиор. — Ну, любезный, высоко ж взмостился Наполеон! На скале сидеть можно, но над скалою... Слишком странная фигура!
Е. — Ты несносен...
(читает)

Он новую в мечтах Европе цепь ковал
И к дальним берегам возведши взор угрюмый
Свирепо прошептал:
Вокруг меня все мертвым сном почило
Легла в туман пучина бурных волн...

Маиор. — Ночью смотреть на другой берег! Шептать свирепо! Ложится в туман пучина волн. Это хаос букв! А грамматики вовсе нет! В настоящем времени и настоящее действие не говорится в прошедшем. Почило тут весьма неудачно!
— Ето так же понятно, как твоя Атлантида,—прибавил я.
Е. — Не мешайте, господа. Я перестану читать.
Маиор. — Читай! Читай!
Е. — [читает]

Я здесь один мятежной думы полн...
О, скоро ли, напенясь под рулями—
Меня помчит покорная волна.

Маиор. — Видно господин певец никогда не ездил по морю—волна не пенится под рулем—под носом.
Е. — (читает)

И спящих вод прервется тишина.
Волнуйся ночь, над Эльбскими скалами.

Маиор. — Повтори... Ну, любезный друг, ты хорошо читаешь, он хорошо пишет, но я слушать не могу! На Эльбе ни одной скалы нет!
Е. — Да ето поэзия!
Маиор. — Не у места, еслиб я сказал, что волны бурного моря плескаются о стены Кремля, или Везувий пламя изрыгает на Тверской! может быть Ирокезец стал слушать и ужасаться—а жители Москвы вспомнили бы «Лапландские жары и Африкански снеги». Уволь! Уволь, любезный друг!

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Русский Архив» 1866 г., стр. 1255—1266. Ср. позднейшее замечание И. П. Липранди: «Помню очень хорошо между Пушкиными и В. Ф. Раевским горячий спор (как между ними другого и быть не могло) по поводу «режь меня, жги меня»; но не могу положительно сказать, кто из них утверждал, что «жги» принадлежит русской песне, и что вместо «режь» слово «говори» имеет в пытке то же значение» («Русский Архив», стр. 1407). И далее: «В таких беседах, особенно с В. Ф. Раевским, Пушкин хладнокровно переносил иногда довольно резкие выходки со стороны противника и, занятый только мыслью обогатить себя сведениями, продолжал обсуждение предмета» («Русский Архив» 1866, стр. 1447).

[2] Работа П. Е. Щеголева «Первый декабрист Владимир Раевский», впервые опубликованная в «Вестнике Европы» 1903 г., кн. IV, стр. 509—561, выдержала два отдельных издания (1-е 1905 г., 2-е 1907 г.) и, с некоторыми дополнениями и поправками, вошла в книги П. Е. Щеголева «Исторические этюды», СПБ., 1913 и «Декабристы», М.-Л., 1926.

[3] Щеголев, П. Е. Декабристы. М.-Л., 1926, стр. 36. Следует отметить, что в характеристику поэтической продукции В. Ф. Раевского, данную Щеголевым, вкралось ошибочное заключение, что «все из опубликованных стихотворений В. Ф. Раевского написаны им в тюрьме или в ссылке». Между тем уже в «Духе Журналов» 1816 г. появилось два послания В. Ф. Раевского: «Николаю Степановичу Ахматову» («Оставя тишину, свободу и покой») и «Князю Андрею Ивановичу Горчакову» («Вождь смелый, ратный друг, победы сын любимый»). См. «Дух Журналов» 1816, кн. 41, стр. 705—708 и кн. 51, стр. 1175—1176. Уже после ареста В. Ф. Раевского некоторые его стихотворения печатались в харьковском «Украинском Журнале» 1824 г., №№ 13, 19, 20 и в 1825 г., № 4.

[4] Строки эти даем по одному из авторитетнейших текстов «Послания к друзьям» (или «Певца в темнице», как озаглавлены эти строфы в других списках), сохранившемуся в архиве «Русской Старины» (Рукоп. отдел Пушкинского дома).

В воспоминаниях И. П. Липранди сохранился отклик Пушкина на это обращение к нему заключенного поэта-декабриста: «Начав читать Певца в темнице, он заметил,

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА АВТОГРАФА „ПОСЛАНИЯ Г. С. БАТЕНКОВУ" В. Ф. РАЕВСКОГО

Ленинградское отделение Центрархива

что Раевский упорно хочет брать все из Русской истории, что и тут он нашел возможность упоминать о Новгороде и Пскове, о Марфе Посаднице и Вадиме» и т. д. («Русск. Архив» 1866, стр. 1450—1451). Ср. набросок ответа Пушкина В. Ф. Раевскому «Не даром ты ко мне воззвал из глубины глухой темницы»... («Пушкин» под ред. С. А. Венгерова, т. VI, П., 1915, стр. 178).

[5] Архив аудиториатского департамента, 1827 г., приложение к делу № 42, литера В, т. II, лл. 107—109. Исчерканные листы «Вечера в Кишиневе», захваченные при аресте В. Ф. Раевского в феврале 1822 г. и местами едва поддающиеся разбору, оказались при приобщении к следственному делу перепутанными и подшитыми в обратном порядке, чем и объясняется вероятно выпадение этого произведения из поля зрения биографов «первого декабриста». Текст «Вечера в Кишиневе», воспроизводимый нами в его последней редакции (лишь в двух-трех местах сохранены, в прямых скобках, зачеркнутые строки), свидетельствует о тягчайших «муках слова», испытанных В. Ф. Раевским в процессе работы над необычной для него (да и для большинства литераторов начала 20-х годов) формой литературно-бытового фельетона. В первых страницах произведения (лл. 109 об., 109, 108) едва ли не каждое слово имеет несколько черновых вариантов, каждая сентенция рождается лишь в результате многократных синтаксических перестановок и интонационных перемен.

[6] «Наполеон на Эльбе» впервые опубликован был с подписью I... 14—17 и с датой 1815 в «Сыне Отечества» 1815 г., ч. XXII, № 25—26, стр. 242—244; перепечатан, с надписью Ал. Пушкин, в «Собрании образцовых русских сочинений и переводов в стихах», ч. V, СПБ., 1816, стр. 264—267. Критических разборов «Наполеона на Эльбе» при жизни Пушкина в печати не появлялось. В 1841 г. Белинский, характеризуя «забавно-детское содержание» Наполеона на Эльбе, отнес пьесу к числу тех произведений Пушкина, в которых «элегический тон в духе музы Жуковского: стих очень близок к стиху Жуковского, в самом взгляде на предмет видна зависимость ученика от учителя» (Полн. собр. соч. Белинского, т. XI, П. 1917, стр. 342—343). Ссылка А. Г. Цейтлина (сборник «Бунт декабристов», Л., 1926, стр. 244) на отзыв гр. Д. И. Хвостова о «Наполеоне на Эльбе» не верна— замечания Д. И. Хвостова относились к «Наполеону» 1821 г. («Чудесный жребий совершился»). Ср. «Стихотворения Александра Пушкина», СПБ., 1826, стр. 91—95 и «Русская Старина» 1892, кн. VIII, стр. 414.

[7] «Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах», изданное Обществом любителей отечественной словесности. Издание второе, исправленное. Часть пятая, СПБ., 1822, стр. 240—243. Дата цензурного разрешения книжки— 30 сентября 1821 г. Предположение М. А. Цявловского, что пятая часть «Собрания» вышла в свет только в 1823 г., ибо Ф. В. Булгарин не упомянул о ней в «Кратком обозрении русской литературы 1822 г.» («Пушкин в печати», М., 1914, стр. 16), представляется нам лишенным достаточного основания, независимо от данных об отклике В. Ф. Раевского на второе издание пятой части в самом начале 1822 г.

[8] «Раевский очень, очень умный человек,—сообщал о нем 7/XI 1860 г. Бакунин в письме из Иркутска к Герцену.—Он не педант, теоретик-догматик, нет, он одарен одним из тех бойких и метких русских умов, которые прямо бьют в сердце предмета и называют вещи по имени. Он циник в душе, в сущности ничем не увлекающийся, но разговор его остроумный, блестящий, едкий, в высшей степени увлекателен. Завалишин постарел, он—нет, его и теперь заслушаться можно» («Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву» под ред. М. П. Драгоманова, СПБ., 1906, стр. 150).

[9] «Русский Архив» 1866 г., стр. 1446. Характерно, что и сам В. П. Горчаков, вспоминая о своей встрече в начале марта 1821 г. на обеде у М. Ф. Орлова с Пушкиным и В. Ф. Раевским, определяет последнего как «большого пуриста-грамматика и географа. Этот капитан, владея сам стихом и поэтическими способностями, никогда не мог подарить Пушкину ни одного ошибочного слова, хотя бы то наскоро сказанного, или почти неуловимого неправильного ударения в слове». Споры Раевского с Пушкиным «продолжались иногда по нескольку часов, ничем не оканчиваясь, и мы расходились попрежнему добрыми приятелями, до новой встречи и неизбежного спора» («Книга воспоминаний о Пушкине» под ред. М. А. Цявловского, М., 1931, стр. 169). Сводку биографических материалов о В. П. Горчакове см. в «Письмах Пушкина» под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, 1926, стр. 236.

[10] В материалах дознания 1826 г. о нелегальных сношениях В. Ф. Раевского в крепости с подпоручиком бендерской инженерной команды Бартеневым и прапор-

СТРАНИЦА ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ПУШКИНА КИШИНЕВСКОГО ПЕРИОДА
С НАБРОСКАМИ ПОСЛАНИЯ В. Ф. РАЕВСКОМУ

Публичная Библиотека, Ленинград

щиком 7-го пионерного баталиона Политковским сохранился (ответ на вопросные пункты от 18/III 1826 г.) еще один характерный отзыв «первого декабриста» о Пушкине и его эпигонах: «во время свидания моего с Политковским и Бартеневым, сколько припомнить могу, говорил я о новой повести «Беглец», напечатанной в 18 и 19 № «Сына Отечества» отрывками (автор, свитской офицер Вельтман, был тогда в Тирасполе). Я шутил над вошедшими в моду сего рода подражаниями Пушкину и над самой этой повестью» (Дело бывш. Госуд. Архива, I В, № 49, л. 48). Замечательно, что в точно таких же тонах откликнулся 9/XII 1833 г. на «Беглеца» заключенный в Свеаборгской крепости В. К. Кюхельбекер: «В «Сыне Отечества» довольно значительный отрывок повести в стихах «Беглец». Слог—снимок со слога Пушкина, а еще более со слога автора «Войнаровского», но снимок рабский, безжизненный. Впрочем, кое-где проглядывает в этой повести что-то, похожее на талант» («Дневник В. К. Кюхельбекера», Л., 1929, стр. 154).

[11] Взаимоотношения Пушкина и архаистов на разных этапах литературной борьбы 10-х и 20-х годов определены в известной работе Ю. Н. Тынянова «Архаисты и Пушкин» («Пушкин в мировой литературе», Л., 1926, стр. 215—286; перепечатана с некоторыми дополнениями в сборнике «Архаисты и новаторы», Л., 1929, стр. 87—227).

II. ИЗ ДНЕВНИКА ПРАПОРЩИКА Ф. Н. ЛУГИНИНА

(15 мая—19 июня 1822 г.)

Если записи декабриста В. Ф. Раевского необычайно характерны для Кишинева эпохи высокого общественно-политического подъема, обусловленного революционной ситуацией 1820—1821 гг. и широким развертыванием работы южных ячеек Союза Благоденствия, то дневник прапорщика Ф. Н. Лугинина не менее показателен своими зарисовками того же Кишинева в нору его упадка после арестов, обысков и полицейских чисток весною 1822 г.

Терроризованный разгромом Бессарабского гнезда Южного тайного общества, обескровленный вслед за тем жесткой ликвидацией всех либерально-дворянских салонов и объединений, полулегальных масонских лож и культурно-просветительных организаций, Кишинев очень быстро превратился в тот сонный полу-азиатский чиновно-помещичий «проклятый город», о котором с таким презрительным негодованием вспоминал Пушкин после своего переезда в Одессу.

Записи Ф. Н. Лугинина о встречах его с Пушкиным в Кишиневе между 17 мая и 18 июня 1822 г. ценны не только своими конкретными показаниями об одном из наиболее темных периодов жизни поэта, но и тем бытовым фоном, затхлость и тривиальность которого в бесхитростной передаче семнадцатилетнего прапорщика так много уясняет в стихотворных посланиях, эпиграммах, рисунках и письмах Пушкина кишиневской поры. Почти все лица, учреждения и эпизоды, о которых упоминается в печатаемом нами дневнике, настолько часто встречаются в текстах Пушкина и в мемуарной литературе о нем, что лишь простой случайностью приходится признать то обстоятельство, что имя самого Ф. Н. Лугинина в пушкиниане названо было только однажды, да и то как-то вскользь. Мы имеем в виду дополнения и поправки И. П. Липранди к тому перечню офицеров квартирмейстерской части, которых как кишиневских знакомцев поэта определил П. И. Бартенев в своем известном труде «Пушкин в южной России»:

«Независимо от исчисленных офицеров генерального штаба [В. П. Горчаков, А. Ф. Вельтман, А. П. и М. А. Полторацкие, В. Т. Кек],—писал И. П. Липранди,—на съемке, под общим начальством полковника Корниловича, во время Пушкина, бывали два фон-дер-Ховена, Л у г и н и н, Роговской, Фонтон де Верайон, Гасфер, барон Ливен, два Зубовых... Все офицеры генерального штаба того времени составляли как бы одно общество, конечно, с подразделениями, иногда довольно резкими. С одними Пушкин был неразлучен на танцовальных вечерах, а с другими любил покутить и поиграть в карты, с иными был просто знаком, встречая их в тех или других местах, но не сближался с ними как с первыми по несочувствию их к тем забавам, которые одушевляли первых» («Русский Архив» 1866, стр. 1250—1251).

Сведения, которыми располагаем мы о Федоре Николаевиче Лугинине (1805—1884), очень скудны. Сын богатого помещика Тульской губернии, он воспитывался в Московской школе колонновожатых. Окончив ее весною 1822 г., он был произведен в прапорщики и тотчас же командирован на военно-топографическую съемку Бес-

сарабии. В Кишинев Лугинин приехал 15 мая, а через два дня уже там встретился и познакомился с Пушкиным. Для семнадцатилетнего прапорщика, не чуждого литературных интересов, Пушкин был не просто поэтом, а ссыльным автором оды «Вольность», название которой Лугинин впрочем даже в своем интимном дневнике заменил осторожным многоточием. Характерно, что и впоследствии, записывая со слов самого Пушкина некоторые биографические данные о нем, Лугинин запретную оду обозначил в своем дневнике по-французски: «Ode sur la liberté».

Случайное знакомство Пушкина с Лугининым очень быстро было закреплено встречами их в городском саду, на танцовальных вечерах у Земфираки-Ралли, на воскресной церковной службе в «митрополии», в семье местного чиновника и поэта Стамати и наконец совместными упражнениями в фехтовании. 15 июня 1822 г. Пушкин, вообще не склонный к откровенности в личных делах, посвятил своего нового знакомца в историю своей высылки из Петербурга (этот рассказ Пушкина является самым ценным местом дневника) и даже не скрыл от него причин своего разрыва с гр. Ф. И. Толстым, распустившим сплетню о том, что поэт перед отправкой на юг был высечен в Тайной канцелярии. Так как Пушкин выражал надежду быть зимою 1822 г. в Москве, чтобы драться с клеветником на дуэли, Ф. Н. Лугинин предложил ему свои услуги в качестве секунданта. Однако в ссылке Пушкину пришлось пробыть еще свыше четырех лет, а Ф. Н. Лугинин уже 19 июня 1822 г. выехал из Кишинева на пограничные съемки и с поэтом больше вероятно никогда не встречался.

В 1828—1829 гг. Ф. Н. Лугинин отличился в русско-турецкой войне, около 1833 г. женился на В. П. Полуденской, известной московской красавице (см. о ней воспоминания С. М. Загоскина в «Ист. Вестн.» 1900, кн. IV, стр. 52), в 1834 г. в чине подполковника вышел в отставку и поселился в своей богатой усадьбе под Ветлугой, Костромской губернии. Старший сын этого случайного пушкинского знакомца Владимир Федорович Лугинин (1834—1911)—известный деятель революционного движения 60-х годов, член тайного общества «Великорусс», сотрудник «Колокола», приятель Герцена и Огарева.

Дневники Ф. Н. Лугинина, хранившиеся у его дочери Марии Федоровны Безак, ныне находятся в Центрархиве РСФСР в Москве. Мы печатаем выдержки из них за время с 15 мая по 19 июня 1822 г., опуская несколько записей, не имеющих историко-бытового значения, но тщательно сохраняя все данные, относящиеся к Пушкину и его окружению кишиневской поры.

ДНЕВНИК

1822. 15 мая, понедельник, в Кишиневе. С утра самого начал я писать журнал и никуда не выходил, расположив явиться завтра к полковнику Корниловичу[1], начальнику бессарабской съемки; обедал в трактире очень плохо; расспросив, кто из наших офицеров здесь, и услышав, что Полторацкий 2-ой в Кишиневе, пошел я к нему. Познакомился с ним, также с капитаном Метлеркампфом, прикомандированным к свите, и который снимает окружности Кишинева; Полторацкий же приехал со съемки.

Был в летнем саду, который, хотя и не хорош, но довольно посещаем.

16 мая, вторник. Поутру, как я собирался итти к полковнику, заходил ко мне Ал. Полторацкой.—Я явился к полковнику, который уже довольно стар... Он дал мне записку, чтоб получить квартиру, и вечером получил от него предписание быть на съемке, вместе с Метлеркампфом, окрестностей Кишинева.

17 мая, середа. Поутру был я у Метлеркампфа. Полторацкий уехал, и я, потолковавши с капитаном, пошел домой на квартиру у жидовки, которой плачу по 4 руб. на день; зато комнатка очень порядочная, но завтра перееду, покуда отведут мне квартиру, на квартиру Метлеркампфа, который сам покуда стоит на Полторацковой...

Вечеру был в саду, где ходит несколько офицеров, молдаваны в высоких круглых шапках (самые богатые и знатные); другие не так высоких шапках, но все вроде поповских ряс полукафтанах разного цвета, снизу коих есть еще узкий кафтан, юбка и панталоны. Дамы одеваются по-европейски; здесь много греков, сербов, арнаутов, коих одеяние очень красиво. Турков очень [?] мало, есть сербы. Экипажей в городе видно очень много, все коляски и кареты. Город велик, но выстроен нехорошо.—Улицы тесны, переулков тьма, домов каменных очень мало, деревянных также, все мазанки по причине недостатку леса. Домы очень малы и тесны. Кишинев расположен в долине по реке Бык.

Сегодня был я в саду с Метлеркампфом и познакомился там с Пушкиным, который написал о д у . . .

18 м а я, ч е т в е р г. Сегодня переезжаю я на квартиру Метлеркампфа. Убравши все, велел бричке ехать, а сам пошел к нему; разговаривали, между тем он чертил свой план; он воспитывался в Англии. Вдруг приходят нам сказать, что хозяин не пускает на квартиру, говоря, что она не мне отведена. Мы идем туда сами, начинаем кричать на хозяина, зачем он не пускает, и велим вносить, но он, собравши работников, оступил нас и, взяв ключ от комнаты, начал говорить нам грубости; мы удержались бить его, но пошли к полицмейстеру, который хотел послать частного пристава, чтоб велеть впустить, и просил, чтоб мы написали отношение, почему, пришед домой, я написал, а Метлеркампф переписал, и послали в суд. Целый день пробыли вместе и, как он все не пускал на квартиру, то люди мои и ночевали в брычке, а я у Метлеркампфа.—

20 м а я, с у б б о т а. Поутру устраивал все в своей комнате. На съемку нынче не ходили. Обедал вместе с капитаном, с которым имеем теперь общий стол. После обеда приехали двое Полторацких, вечеру писал я журнал.

21 м а я, в о с к р е с е н ь е. Троицын день. Так как ныне праздник, то Полторацкий и Метлеркампф пошли проводить время к знакомым. Я же, не имея здесь никого, пошел от них домой и начал писать письма, написал сегодня сестре.—Вечером был в саду, где ныне было очень много и по причине праздника и оттого, что хороша была погода. Были по большей части молдаване, также греки, и между ними мелькали военные; дамы одеваются по-европейски—хорошеньких очень мало.

Сегодня приехали в Кишинев двое наших, Вельтман и Горчаков, с которыми я познакомился[2]. Весь день был я скучен.

22 м а я, п о н е д е л ь н и к. Духов день. Сбирался сегодня итти к обедне, но проспал, переписывал поутру письмо к сестре, как Метлеркампф прислал меня звать к Стамати, если я хочу познакомиться с этим домом; будучи очень доволен этим случаем познакомиться хотя с кем-нибудь в городе, где все для меня были посторонние, надел я мундир и пошел с Метлеркампфом.

Меня приняли ласково. Братьев сперва не было, одна сестра нас приняла, она собой не хороша, но имеет что-то приятное. Наконец пришли и братья, которых видел я в саду, и познакомился с ними; побыв с полчаса, воротились мы домой. Сегодня целый день ужасный ветер и я пришед домой никуда не ходил, переписал письмо к сестре.

25 мая, четверг. Разбудили меня сегодня в 5-м часу; напился чаю и в 6-м часу отправились с Метлеркампфом на съемку верхами верст за 5. Местоположение ужасно гористо—сюда заходит отрасль Карпатских гор, жара ужасная, я делал журнал и рисовал ситуации и устал ужасно. Приехав домой в 4-м и пообедав, разделся и отдыхал до 8-го часу; пошел потом к Метлеркампфу.—Его не было дома, я срисовал и проложил всю нынешнюю съемку и пробыл часу до 1-го.

СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА ПРАПОРЩИКА Ф. Н. ЛУГИНИНА

Центрархив СССР, Москва

26 мая, пятница. Сегодня целый день рисовал я вчерашнюю съемку; кончив после обеда, пошел ходить и, уставши довольно, пришел домой, время было прекрасное, что и понудило меня итти купаться, хотя и начинало уже смеркаться. Воротившись домой, было уже темно, и я, раздевшись, долго читал роман Атала и Шактас, который взял я у Стамати, бывши нынче после обеда у них[3].

27 мая, суббота. Поутру все время писал письма, после же обеда, к вечеру, зашли ко мне двое Стамати, и я, напившись чаю с ними, пошел провожать их недалеко, дабы прогуляться.

28 мая, воскресенье. Поленившись сегодня итти к обедне, принялся я писать письма; часу в 6-м отправился я в сад, куда прекрасная погода довольно свела ныне.

2 июня, пятница. Вечером зашел ко мне Горчаков. Сидели, разговаривали и между прочим читали комедию «Не любо не слушай, а лгать не мешай»[4]. В это время зашел также и Метлеркампф навестить меня...

3 июня, суббота. Сегодня ходил я с солдатом в комиссию для принятия муки и крупы на деньщиков при офицерах, в том числе и на них полагающегося. Муку дали, но круп не отпустили, говоря, что нет...

Метлеркампф получил письма из дому, долго читал их и потом разговаривали о войне; он думает, что война начнется в августе месяце.— Тремя колоннами перейдем через Прут. Турки будут отступать и не прежде, как за Дунаем, станут нас удерживать; основание наше будет река Прут и крепости Хотин, Измаил, Киллия; зашед далее в Турцию, завернем, может быть, и в Египет.

Я не знаю, что будет со мною; надо покупать лошадей и непременно 4-х, а денег нет, как быть, не знаю; буду писать в Москву, но оттуда получить денег надежды нет—но все авось.—После обеда ходил в сад, видел там Стамати, которые очень интересовались о моем здоровье.

4 июня, воскресенье. Наконец собрался и я сходить к обедне и был в здешней Митрополии, где бывает довольно много. — Видел там Пушкина; был также и полковник наш, которого сегодня и не узнал я в мундире.—Хорошеньких довольно. Служба совершенно наша, но церковь длиною более похожа на дом; ризы не богаты. После обедни говорил епископ довольно плохую проповедь[5]...

5 июня, понедельник. ...Оставшись свободен, пошел я к Метлеркампфу, от коего узнал, что полковник очень сердит на меня и по крайней мере столько же, как на Полторацких, и что теперь буду ходить я в чертежную; у Метлеркампфа был Ралли.—Разговор начался мундирами, потом судили об дуелях и наконец об войне, где, по словам капитана, главное иметь должно храбрость, но что она без силы! Посидев с час, капитан пошел в сад, а я с Ралли отправился к Стамати. Сестры и меньшого брата не было дома и я провел часа два, разговаривая со стариками и еще какою-то дамою старухою.

Бессарабия и Молдавия ужасно плодородны—жители свободны, отчего здесь пропасть русских, бежавших от господ.—Господа имеют здесь только землю, мужики живут на условии работать несколько времени 25 и 30 д. на господина. В Молдавии главный город Яссы, в Валахии—Бухарест. Господа носят здесь огромные шапки двух фасонов. Но борода означает здесь чин, штаб-офицеры носят легкие шубы, меху что на царских мантиях, шлафороки с широкими рукавами, внизу коих есть это платье. Экипажей хотя здесь много, но особенного вкуса и рода от московских.—Кучера одеваются по-гусарски и ездят более парами. Народ вообще бород не носит; булгары носят все красные ермолки, панталоны широкие, связанные внизу так, что заменяют чулок; носят усы. Посидев часу до 1-го у Стамати, пошел я домой, взяв у них книги Коцебу, Анахарз. и Овид. L'art d'aimer[6].

6 июня, вторник. ...Город не хорош, строение скверное. Жители жиды, молдаваны, болгары, русские и сербы. Когда был здесь государь, то представлялись мы, русские, потом булгары и после молдаваны. Жидов не принял.

10 июня, суббота. Поутру был по обыкновенному в чертежной и рисовал со стекла несколько маленьких планов Кишинева; приехал

сегодня Гастфер, был в чертежной и я познакомился с ним. Пришед на квартиру, узнал я, что у меня были Григорий Ралли и Литке. Пообедав, только что я лег отдохнуть, как приехали оба Полторацкие и остановились у меня: едут к Фонтону в гости...

После сходил в чертежную, оттуда зашел к Метлеркампфу, с которым мне чуть-чуть не пришлось стреляться. Я начал говорить, что полковник говорил, что он едет в отпуск, и говорю, что команду, думаю, дадут Гастферу, ибо он старший по свите, он же начал утверждать, что ему, ибо он старше всех. «Но вы в армии и так етого нельзя

СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА ПРАПОРЩИКА Ф. Н. ЛУГИНИНА

Центрархив СССР, Москва

сделать», мы начали спорить. Тут был Литке, и я совсем без намерения сказал «поетому и гарнизонный капитан может командовать съемкою». Этим у нас и кончилось; не ожидая ничего, прихожу домой, начинаю пить чай, как получаю записку от Метлеркампфа, что, ежели я намерен был его обидеть, так чтоб дал удовлетворение завтра в 7-мь часов. Я отвечаю ему, что готов с ним драться, но что совсем не думал его обидеть; впрочем, чтоб уговориться об оружии, время и месте, то я сам зайду. Прихожу, и капитан, видя из записки и слыша от меня, что очень далеко был от того, чтоб его обидеть, но что готов его удовлетворить, не захотел никакого более удовлетворения, говоря, что он етим доволен, когда я не думал его обидеть, но что ссоры иметь он не хочет, и так мы помирились, у него был Гастфер и мы все вместе пошли в сад...

11 июня, воскресенье, в Кишиневе. Ныне был я опять у обедни в Митрополии, хотя и застал уже на конце. Там был также полковник наш—и я был в мундире. От обедни зашел я к Метлеркампфу и предложил отдать визит Ралли и Литке, которые вчера у меня были.—Пошли, и я познакомился с етим домом. Старик Ралли Симфераки старый молдаванский бояр. Дочери его, одна за Г-м Стамо, другая Мария еще не замужем, и трое больших сыновей. Я пробыл у них до обеда, но как в первой не ловко было остаться обедать, то я и ушел[7]. Познакомился также с одним офицером Герасимовским. У Ралли были Пушкин и Катаржи, капитан лейб-драгунский[8]. Пришед от них, писал журнал и часов в 6 был в саду—где нынче было очень довольно и музыка была. Из знакомых мне были Стамати два и сестра их, все Симфераки, Пушкин и Катаржи.

P. S. Бессарабия, Крым и вся Валахия и Греция принадлежали римлянам. Бессарабия служила ссылкою Рима.—Сюда был сослан Овид,—и вообще ето была колония римлян, которые смешались с природными жителями молдаванами, валахами, сербами, татарами, что можно заметить из языка молдаванского, который очень похож на итальянский. Римляне для удержания татар построили при имп. Трояне трояновской вал. Сверх того замечается, еще видна граница из огромных камней, прикрытых укреплениями... После того Молдавия и Бессарабия составляли одно княжество, также и Валахия. Они имели беспрестанно войны с татарами, турками от чего народ и получил вольность. Татары отняли Буджак. Молдавия приняла покровительство турок. Наконец в 12 г. часть Молдавии присоединяется к России и теперь только жители ожили, а то татары делали беспрестанные набеги.

В Кишиневе садов и оранжерей мало, и оттого в половине июня нет огурцов; плоды—вишни, черешни, сливы, абрикосы, персики, апельсины, клубники, малины, земляники—ничего более нет, также арбузы и дыни.

В Кишиневе почти все говорят по-французски. Дамы любят музыку—танцы такие же, как и в Москве. Местоположение гористо, много колодцев. Лесу и ручейков мало. Недалеко от Кишинева есть отверстие между двумя хребтами, гора, которое идет до самого Черного моря. Бугров везде пропасть. Климат—от 10 до 3 часов жарко и несносно, бывает градусов до 30. Прочее время прохладно, ночи свежи. В марте месяце бывает зелень. Зимы бывают редко холодные—часто бывают большие ветры, земля плодородна, когда нет засухи,—очень способна к разведению садов, но здесь до етого не охотники. Губернатор здесь Инзов, вице-губернатор Крупенский. Молдаване ходят мало пешком. Ездят более всего все парами, екипажи хорошо разрисованы золотом. Хлеб более белой, народ ест все мамалыгу—из проса; пашут на волах—телеги здесь ужасно высоки, никогда не мажут и скрып ужасный. Ночью в Кишиневе беспрестанный крик, чтоб береглись от огня, и вопрос—кто идет. Собак тьма и их, стар[аясь] перев[ести]; бьют. Много винограду бывает, как говорят. Я до сих пор ем только вишни, черешни. Хлеба у мужиков нет, но мамалыга; дров нет и топят навозом и тростником. Прошедший год в Кишиневе было землетрясение, земель казенных мало; деньги—пиастр или лев имеет 40 пар, золотая монета 3 пиастра—6—и 12-ть. Пиастр по-нашему 60 копеек, 2 пары—3 копейки, за 100 р. дают 140 лев—за целков. дают 5 лев и 10 пар.

РИСУНОК ПУШКИНА, ИЗОБРАЖАЮЩИЙ И. Н. ИНЗОВА

Институт Русской Литературы, Ленинград

Для весу здесь око—три фунта, литра—около фунта. Пьют все вино молдав., которое не хорошо.

12 июня, понедельник. ...Часу в 12-м пришел из чертежной, поел вишен, которых весной также и черешни ел по полуоку и по оку—был у Метлеркампфа, куда пришли также и Стамати двое, а потом и Ралли; когда жар там поспал немного, пошли в сад, где нынче было также довольно; семейство Ралли, Пушкин, Катаржи и я, познакомился поболее с мадам Стамати, которая премилая дама. Из саду отправились все к Стамати, где составился небольшой бал; под фортепиано танцевали мазурку, екосез, кадриль и вальсы и было очень весело—потом дрался я с Пушкиным на рапирах и получил от него удар очень сильный в грудь—часу в 11-м распростились и, как все зашли к Симфераки оттуда, то был и я, но не долго.—Танцовавши давно, я уже устал и спал славно часу до 11 утра.

15 июня, четверг. С вечера еще нарисовал цель и поутру пошел стрелять, но, пустя 13 пуль, не попал ни одной. В чертежной рисовал часу до 1-го; после обеда ел, по обыкнов., вишни и ходил рисовать примерную картину Бессарабии в чертежную.

Вечером был в саду, довольно поздно, застал Катаржи и Пушкина, с обоими познакомились покороче—и опять дрались на эспадронах с Пушкиным, он дерется лучше меня и следственно бьет. Из саду были у Симфераки и тут мы уже хорошо познакомились с Пушкиным. Он выпущен из лицея, имеет большой талант писать. Известные сочинения его Ode sur la liberté, Людмила и Руслан, также Черная шаль; он много

писал против правительства и тем сделал о себе много шуму, его хотели послать в Сибирь или Соловецкий монастырь, но государь простил его и как он прежде просился еще в южную Россию, то и послали его в Кишинев с тем, чтоб никуда не выезжал. В первый раз приехал он сюда с обритой головой и успел уже ударить в рожу одного молдавана[9]. Носились слухи, что его высекли в Тайной канцелярии, но это вздор. В Петербурге имел он за ето дуэль. Также в Москву етой зимой хочет он ехать, чтоб иметь дуель с одним графом Толстым, Американцем, который главный распускает ети слухи. Как у него нет никого приятелей в Москве, то я предложил быть его секундантом, если етой зимой буду в Москве, чему он очень обрадовался[10]. Пробыли мы часу до 12-го у Симфераки. Сам Симфераки уже старик, бедный очень, болен, крив и хромает...

16 июня. Пошел в чертежную рано и рисовал свою примерную карточку часу до 10 и там рисовал план Кишинева. Полковник всякой день торопит меня, чтоб скорей кончил, дабы послать на съемку к Гастферу, что хочет сделать он в понедельник. Уже послал за подорожной и открытым листом. После обеда приходил я опять рисовать свою карточку, но ето мне уже надоело. Вечеру заходил к Симфераки, но они все были у Стамати, так как был уже час 9-ой, то и неудобно было итти туда, после жалел, что не пошел, ибо они танцовали. Просидел немного с Литке, которого затащил к себе...

17 июня, суббота. Поутру кончил рисовать тушью, т. е. вытягивать свой Кишинев. После обеда покрыл все кварталы краской и вышло очень неровно. Пришед из чертежной нашел Ралли Фед. Он у меня посидел, напился чаю и пошли в сад, оттуда к Симфераки, где и проводили вечер. Были Катаржи, немного посидел Пушкин. Метлеркампф и я говорили о мундирах.

18 июня, воскресенье. К обедне сегодня иттить поленившись, остался дома. Я думал докончить примерную карточку Бессарабии, как приехал Фонтон, которого не видал я уже с год. Очень обрадовался и почти целое утро провели в спросах и расспросах. В Кишинев приехал также Вельтман, который был у меня после обеда. С Фонтоном были мы у полковника, который его любит. Он объявил, что получил отпуск и завтра отправляет меня на съемку к Гастферу...

В Фонтоне нашел я перемену. Он вырос, сперва быв колонновожатым, был он шалун, а теперь с офицер[ства] сделался тих. В Кишинев приезжал он, чтоб посоветываться об грудной болезни, полученной от съемки. Он уже много знает по-молдавански. Следуя примеру его, купил я грамматику и буду учиться... После обеда он пошел к доктору, а я, написав журнал, отправился в сад, где нашел и Фонтона. Было ветрено, играла музыка. Ходили, разговаривали, смеялись часу до 9-го, в который пошел я к Симфераки. Сбирались к Стамати, но М. Стамо, Марифи и М-е Стамо не было, Метлеркампфа также. Пушкин, Катаржи и я пошли потанцевали не более 2 часов только мазурку и вальсы, после чего я распрощался со всеми, ибо еду завтра—танцевали мы под фортепиано. Катаржи едет нынче же в Бендеры. Пришед домой, я с час еще читая с Фонтоном комедию «Не любо, не слушай» вслух.

19 июня оставил Кишинев.

...ее обрадовали. — мне надобно ее видеть.

Въ С.О. напечатали одно письмо мое къ В.М. это мне досадно, тем паче напишут Греціи официальное письмо.

Вчера К. Дм. Ипсиланти сказалъ мне что Греки перешли через Дунай и разбили корпусъ неприятельской. //

4 мая былъ принятъ я въ масоны.

9 мая. Вотъ уже ровно годъ какъ я оставилъ Петербургъ. Третьяго дня обедалъ у К. Ипсиланти, и познакомился с французомъ, который отправляется въ Греческое войско. — Вчера былъ у Кн. Суццо.

Баронъ въ утрѣ. — Лицо честного гражданина, умного человѣка.

Pushkin... А.О. Онегинъ Paris 4.X.41.

ПЕРВАЯ ИЗ СОХРАНИВШИХСЯ СТРАНИЦ КИШИНЕВСКОГО ДНЕВНИКА ПУШКИНА

Институт Русской Литературы, Ленинград

26 мая поутру был у меня Алексеев. обедал у Инзова. после обеда приехали ко мне Пущин, Алексеев и Ипсиланти. потом были в здешнем остроге. из острога к Крупенским. вечер у Пущина. в коем написал следующую записку:

Avis à Mr Deguilly ex-officier français.

Il ne suffit pas d'être un J. F. il faut encore l'être franchement et la veille d'un pouvre duel sur le sabre on n'écrit pas sous les yeux de sa femme des jérémiades ~~et son testament~~

Etc. Etc. — [illegible]

ВТОРАЯ ИЗ СОХРАНИВШИХСЯ СТРАНИЦ КИШИНЕВСКОГО ДНЕВНИКА ПУШКИНА

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Полковник Корнилович», упоминаемый в дневнике Ф. Н. Лугинина,— Степан Иванович Корнилович, руководитель всех работ по военно-топографической съемке Бессарабии, дядя декабриста. Помощником его и непосредственным начальником Лугинина являлся капитан Селенгинского пехотного полка барон Метлеркампф, о котором см. далее справку И. П. Липранди в примеч. 7. Прапорщик квартирмейстерской части А. П. Полторацкий 2-й—приятель Пушкина. В Кишиневе же служил упоминаемый далее его двоюродный брат М. А. Полторацкий.

[2] «Двое наших, Вельтман и Горчаков», с которыми познакомился Ф. Н. Лугинин 21 мая 1822 г.,—А. Ф. Вельтман, впоследствии известный поэт и романист, и В. П. Горчаков, прапорщик квартирмейстерской части при штабе 16-й пехотной дивизии, ближайший друг Пушкина эпохи его первой ссылки.

«Воспоминания о Бессарабии» А. Ф. Вельтмана (см. Л. Н. Майков.—«Пушкин», СПБ., 1899, стр. 102—132) и «Выдержки из дневника» и «Воспоминания о Пушкине» В. П. Горчакова (см. «Книгу воспоминаний о Пушкине» под ред. М. А. Цявловского, М., 1931, стр. 52—207) существенно дополняют многие из показаний дневника Ф. Н. Лугинина о Кишиневе времен Пушкина.

[3] «Атала»—роман Шатобриана, «Шактас»—один из его героев. Библиотека, которой пользовался Лугинин, принадлежала одному из братьев Стамати, которого И. П. Липранди характеризует как «местного литератора и поэта» («Русский Архив» 1866, стр. 1217).

[4] «Не любо, не слушай, а лгать не мешай»—комедия в одном действии, в стихах. Сочинение кн. Александра Шаховского, СПБ., 1818.

[5] «Митрополией» назывался в Кишиневе архиерейский дом, ибо после присоединения Бессарабии в 1812 г. к России главой местного церковного управления назначен был Киевский митрополит Гавриил Банулеско. После смерти последнего в 1821 г. епархией правил Димитрий Сулима, «плохую проповедь» которого отметил Ф. Н. Лугинин. Посещения воскресной церковной службы для чиновников и военнослужащих были обязательны. Как отмечает П. И. Бартенев со слов «кишиневских приятелей» Пушкина, последнему принадлежали «какие-то шуточные стихи, в которых было и обращение поэта к его слуге:

Дай, Никита, мне одеться:
В митрополии звонят.

Это значило, пора итти к обедне, в новый верхний город» («Русский Архив» 1866, стр. 1129). Стихотворение это до сих пор остается однако неразысканным.

[6] Книги, взятые Ф. Н. Лугининым у Стамати, очень характерны для провинциальной дворянской библиотеки начала XIX ст.: «Ars amandi» Овидия в переводе на французский язык, историко-дидактический роман Бартелеми «Voyage du jeune Anacharsis en Grèce» и, наконец, драмы и повести Августа фон Коцебу.

[7] Семья богатого молдавского помещика Ралли-Земфираки, с которой познакомился Ф. Н. Лугинин, более подробно охарактеризована в мемуарных заметках И. П. Липранди: «Пушкин довольно часто посещал семейство Рали. У Рали или Земфираки кроме трех сыновей (из коих в особенности один был очень порядочный молодой человек) было две дочери: одна Екатерина Захарьевна, лет двадцати двух, была замужем за коллежским советником Апостолом Константиновичем Стамо, имевшим более 50 лет. Пушкин прозвал его «bellier conducteur», и действительно физиономия у него как-то схожа была с бараньей, но он был человек очень образованный, всегда щеголевато одетый. Жена его, очень малого роста, с чрезвычайно выразительным смуглым лицом, прекрасными большими глазами, очень умная и начитанная и резко отличалась от всех правилами; была очень любезна, говорлива и преимущественно проповедывала нравственность. Пушкин любил болтать с нею, сохраняя приличный разговор. Сестра ее Марья (Мариола) была девушка лет осьмнадцати, приятельница Пульхерицы [Варфоломей], но гораздо красивее последней и лицом, и ростом, и формами и к тому двумя или тремя годами моложе. Пушкин в особенности любил танцовать с нею. У Рали танцовали очень редко, но там были чаще музыкальные вечера. В последний год пребывания Пушкина в Кишиневе она вышла замуж за капитана Селенгинского полка барона Метлеркампфа, впоследствии гусарского майора, и сделалась очень несчастной» («Русский Архив» 1866, стр. 1231—1232).

[8] «Лейб-драгунский капитан Катаржи», о котором как о постоянном в то время спутнике Пушкина упоминает в своем дневнике Ф. Н. Лугинин, биографам Пушкина неизвестен. В воспоминаниях И. П. Липранди глухо отмечаются другие члены этой семьи—Елена Федоровна Соловкина («внучка генерала Катаржи»), которой

Пушкин был некоторое время увлечен в Кишиневе, и один из ее родственников—помещик Белецкого уезда, Бессарабской губернии («Русский Архив» 1866, стр. 1235). Об «офицере Герасимовском», с которым Лугинин познакомился в доме Ралли, см. выше примечания к публикуемому нами письму его к Пушкину.

[9] Пощечина, данная Пушкиным богатому помещику и члену Верховного бессарабского совета Тодору Балшу, наделала много шума. Об этой истории, связанной с женой Балша и датируемой началом 1822 г., сохранились очень подробные сведения в воспоминаниях И. П. Липранди («Русский Архив» 1866, стр. 1422—1424). Инцидент был урегулирован генералом И. Н. Инзовым, посадившим Пушкина на две недели под арест. «Дуэли,—как свидетельствует В. П. Горчаков,—не было, но еще долго после этого Пушкин говорил, что не решается ходить без оружия на улицах, вынимал пистолет и с хохотом показывал его встречным знакомым».

[10] История столкновения Пушкина с Ф. И. Толстым-Американцем рассказана в дневнике Ф. Н. Лугинина с такими подробностями, которые до сих пор не были известны, но очень точно согласуются с другими материалами об этом. Необычайно бурно реагируя на позорящие его слухи, Пушкин именно последними мотивировал и ту исключительно вызывающую линию поведения, которую он усвоил по отношению к петербургским властям перед своей высылкой. «Необдуманные отзывы, сатирические стихи [обратили на меня внимание],—отмечал Пушкин в черновом наброске неотправленного письма к Александру I летом 1825 г.—Разнесся слух, будто бы я был отведен в тайную канцелярию и высечен. Я последним узнал об этом слухе, который стал общим. Я увидел себя опозоренным перед светом. На меня нашло отчаяние, я дрался—мне было 20 лет. Я раздумывал, не следует ли мне прибегнуть к самоубийству или убить В[ас]» («Письма Пушкина» под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, М.-Л., 1926, стр. 168).

Однако о том, что сплетня о порке поэта пущена была графом Ф. И. Толстым (1782—1846), знаменитым кутилой и игроком, авантюрная биография которого отражена в стихах кн. П. А. Вяземского и Дениса Давыдова, в «Горе от ума» Грибоедова и в «Двух гусарах» Л. Н. Толстого, до свидетельств об этом в печатаемом нами дневнике Ф. Н. Лугинина можно было только догадываться. Так, еще в 1820 г. Пушкин задел Федора Толстого эпиграммой («В жизни мрачной и презренной» и пр.), а в 1821 г. резкие выпады против него же включил в свое послание «К Чаадаеву» (строки о «Философе, который в прежни лета Развратом изумил четыре части света, Но, просветив себя, загладил свой позор. Отвыкнул от вина и стал картежный вор»). Защищаясь от упреков кн. Вяземского, протестовавшего против этих стихов, Пушкин писал ему 1 сентября 1822 г.: «Извини меня, если буду говорить с тобою про Толстого.—Мнение твое мне драгоценно. Ты говоришь, что стихи мои никуда не годятся. Знаю, но мое намерение было не заводить остроумную литературную войну, но резкой обидой отплатить за тайные обиды человека, с которым расстался приятелем и которого защищал всякий раз, как представлялся тому случай. Ему показалось забавно сделать из меня неприятеля и смешить на мой счет письмами чердак к[нязя] Шаховского, я узнал обо всем, будучи уже сослан, и почитая мщение одной из первых христианских добродетелей—в бессилии своего бешенства закидал издали Толстова журнальной грязью... Ты упрекаешь меня в том, что из Кишинева под эгидою ссылки печатаю ругательства на человека, живущего в Москве. Но тогда я не сомневался в своем возвращении. Намерение мое было ехать в Москву, где только и могу совершенно очиститься» («Письма Пушкина», т. I, М.-Л., 1926, стр. 34. Ср. признание его же в письме к брату от октября 1822 г.: «Вся моя ссора с Толстым происходит от нескромности кн. Шаховского»; там же, стр. 40). С мыслью о необходимости смыть полученное им оскорбление кровью Пушкин не расставался в течение нескольких лет. Так, одним из первых его действий после возвращения из ссылки в Москву осенью 1826 г. был вызов на дуэль, посланный Ф. И. Толстому через С. А. Соболевского («Русский Архив» 1865 г., 2-е изд., стр. 1240. Ср. «Русская Старина» 1907, кн. VII, стр. 104). Однако поединок этот удалось их общим друзьям предотвратить, и противники примирились настолько, что весною 1829 г. Пушкин именно через Ф. И. Толстого сделал предложение Н. Н. Гончаровой и через него же вел впоследствии свои переговоры с ее родными. Как мы устанавливаем, памятником этих отношений явилась публикация Пушкиным в 1829 г. стихов «Нет, не черкешенка она» с новым заголовком «Ответ Ф. Т.» (традиционная расшифровка этих инициалов, как «Федору Туманскому» не выдерживает никакой критики). Об отношениях Пушкина с Ф. И. Толстым см. брошюру С. Л. Толстого «Федор Толстой-Американец», М., 1926, и нашу справку в «Путеводителе по Пушкину», М., 1931, стр. 351—352.

ПУШКИН ПО ДОКУМЕНТАМ АРХИВА М. П. ПОГОДИНА

Публикация М. Цявловского

ПИСЬМА к М. П. ПОГОДИНУ: С. Т. АКСАКОВА, Е. В. АЛАДЬИНА, Ю. П. БАРТЕНЕВА, А. В. ВЕНЕВИТИНОВА, Д. В. ВЕНЕВИТИНОВА, Ю. И. ВЕНЕЛИНА, З. А. ВОЛКОНСКОЙ, Б. А. ВРАСКОГО, П. А. ВЯЗЕМСКОГО, Н. В. ГОГОЛЯ, И. А. ГУЛЬЯНОВА, П. А. КАТЕНИНА, Д. КАШИРИНА, И. В. КИРЕЕВСКОГО, М. А. КОРКУНОВА, А. А. КРАЕВСКОГО, Н. И. ЛЮБИМОВА, А. А. МАЛИНОВСКОГО, А. И. МАНСУРОВОЙ, Н. А. МЕЛЬГУНОВА, А. Н. МУРАВЬЕВА, Н. А. МУХАНОВА, Н. И. НАДЕЖДИНА, В. Ф. ОДОЕВСКОГО, Н. Ф. ПАВЛОВА, Г. П. ПОГОДИНА, Н. В. ПУТЯТЫ, В. М. РОЖАЛИНА, Н. М. РОЖАЛИНА, С. А. СЕЛИВАНОВСКОГО, С. А. СОБОЛЕВСКОГО, Г. И. СОКОЛОВА, О. М. СОМОВА, Г. СУРОВЦЕВА, И. А. СТЕМПКОВСКОГО, В. П. ТИТОВА, В. ТРОИЦКОГО, Д. И. ХВОСТОВА, А. С. ХОМЯКОВА, С. П. ШЕВЫРЕВА, Н. М. ЯЗЫКОВА.

Печатаемые извлечения из материалов погодинского архива являются второй частью моей работы, первая часть которой, «Пушкин по документам Погодинского архива. I. Дневники», опубликована мною в 1914 и 1916 гг. в издании «Пушкин и его современники» (вып. XIX—XX и XXIII—XXIV).

Вторая часть заключает в себе свод извлечений из писем корреспондентов М. П. Погодина за 1826—1837 гг. Письма эти представляют собою восемь томов, хранящихся в Рукописном отделении Публичной библиотеки Союза ССР им. Ленина под №№ 3515—3522.

Письма эти широко использованы Н. П. Барсуковым в его двадцатидвухтомном труде «Жизнь и труды М. П. Погодина» 1888—1910 гг. Как с текстом дневников Погодина, так и с письмами к нему Барсуков обращался очень своеобразно, не приводя сплошь и рядом дат писем, соединяя, с одной стороны, в одно целое и заключая в одни кавычки ряд отдельных мест из одного, а иногда и из нескольких писем, с другой—разнося текст одного письма по разным местам своей биографии, порой исправляя стиль, порой неверно читая. Все эти особенности воспроизведения опубликованных Барсуковым документов не позволяют пользоваться приводимыми им текстами для научных целей.

Подавляющее большинство извлечений из писем 1826—1828 гг. Д. В. Веневитинова (№№ 3—7 и 10), В. П. Титова (№№ 16, 22, 23, 31 и 32), С. П. Шевырева (№№ 9 и 29), И. В. Киреевского (№ 19), Н. А. Мельгунова (№ 17), С. А. Соболевского (№ 18), А. Н. Муравьева (№ 21), кн. В. Ф. Одоевского (№ 11), Н. М. Рожалина (№ 15) посвящено «Московскому Вестнику», органу этих «любомудров», на который они возлагали такие пышные надежды, столь быстро угасшие. Особенно интересны в этом отношении письма рано умершего Д. В. Веневитинова, принимавшего, как видно, живейшее участие в судьбе журнала.

Из всего, что находим в этих письмах, самым значительным для пушкиниста являются сведения о недошедшем до нас отрывке из неоконченной поэмы «Вадим», сообщаемые А. Н. Муравьевым (в письме от 27 ноября 1827 г.).

Из писем 1829—1837 гг. прежде всего нужно отметить весьма любопытные отзывы корреспондентов Погодина о Пушкине как поэте. Отзывы эти (в письмах Соколова, Троицкого, З. Волконской, Венелина, Веневитинова и Аксакова, №№ 34, 37, 38, 41, 42, 55 и 61), являющиеся выражением непосредственных впечатлений от чтения произведений Пушкина,—ценнейший материал для характеристики восприятия Пушкина первыми его читателями.

Затем видимо немало толков вызывали издательские предприятия Пушкина—неосуществившаяся газета «Дневник» и журнал «Современник» (см. №№ 68, 69, 71, 75, 77, 79).

С не меньшим интересом относились знавшие Пушкина и к событиям личной его жизни. В частности о женитьбе поэта писали Веневитинов, Рожалин, Венелин, Бартенев, Языков (№№ 43, 45, 46, 49, 53, 56). Дают письма и материалы для истории взаимоотношений Пушкина с Гоголем (№ 86, письмо Краевского), Катениным (№ 26, Катенина), Надеждиным (№№ 62 и 65, Надеждина), Языковым (№ 73, Языкова), Гульяновым (№ 59, Гульянова), Шаховским (№№ 39 и 40, Венелина), Хвостовым (№№ 50, 66, Хвостова), отцом поэта (№ 51, Малиновского), Стемпковским (№ 12, Стемпковского), Якимовым (№ 69, Веневитинова) и с самим Погодиным (№№ 57, 60, 63, 64, 68 и 72, письма Веневитинова, Аксакова, Г. Погодина, Любимова, Сомова и Гоголя).

Последнюю группу извлечений составляют письма о разборе бумаг Пушкина после его смерти и об издании «Современника» в 1837 г. (№№ 82—91, письма Любимова, Краевского, Вяземского и Коркунова).

Все извлечения из писем расположены в хронологическом порядке их написания. В тех случаях, когда текст печатаемого извлечения воспроизведен Барсуковым близко к подлиннику, ставится помета: «См. Барсуков», в тех же случаях, когда текст, даваемый Барсуковым, имеет более или менее значительные отличия от текста оригинала, ставится помета: «Ср. Барсуков». Зачеркнутое в подлиннике взято в квадратные скобки.

Письма Пушкина к Погодину и Погодина к Пушкину включать в настоящую публикацию я счел нецелесообразным, так как все они достаточно исправно приведены в академическом издании переписки Пушкина, а затем в издании писем Пушкина под редакцией Б. Л. Модзалевского.

Ближайшей сотрудницей моей по извлечению из писем упоминаний о Пушкине и в составлении примечаний была К. П. Богаевская.

1. ЗАПИСЬ ПУШКИНА

[Москва. Сентябрь-октябрь 1826 г.]

Пог
Венев
Шевыр
Хомя
Рожалин
Имя рек
Андр. Мур
Оболен
Кубарев

Публикуемая впервые запись рукою Пушкина сделана на листке (10,2×12 см) бумаги, вплетенном в «приложения» в томе писем за 1831 г.

Пог—М. П. Погодин.

Венев—Д. В. Веневитинов (1805—1827), поэт.

Шевыр—С. П. Шевырев (1806—1864), критик, поэт и историк литературы.

Хомя—А. С. Хомяков (1804—1860), писатель.

Рожалин—Ник. Матв. Рожалин (1805—1834), переводчик, критик.

Кто такой—«имя рек», объяснить не можем, не назвал ли так Пушкин себя?

Андр. Мур—Андрей Ник. Муравьев (1806—1874), поэт, впоследствии писатель по религиозным вопросам.

Оболен—Вас. Ив. Оболенский (1790—1847), адъюнкт Московского университета, приятель Погодина.

Кубарев—Алексей Михайлович Кубарев (1796—1881), адъюнкт по кафедре римской словесности Московского университета, друг Погодина.

Запись представляет собою может быть список участников «Московского Вестника», а может быть какого-нибудь собрания. Написан он после приезда Пушкина в Москву 8 сентября 1826 г. и вероятно до отъезда Веневитинова в Петербург—в конце октября этого года.

ЗАПИСЬ ПУШКИНА ИЗ АРХИВА
М. П. ПОГОДИНА

Публичная Библиотека СССР
им. Ленина, Москва

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО М. П. ПОГОДИНА

[Вторая половина октября 1826 г. Москва]

Ultimatum.

Я, нижеподписавшийся, принимая на себя редакцию журнала, обязуюсь:

1. Помещать статьи с одобрения главных сотрудников: Шевырева, Титова, Веневитинова, Рожалина, Мальцова и Соболевского по большинству голосов.
2. Платить с проданных тысячи двух сот екземпляров десять тысяч А. С. Пушкину.
3. Платить означенным сотрудникам по сту рублей за лист сочинения и по пятидесяти за лист перевода.
4. Выписывать книг и журналов на четыре тысячи рублей с общего согласия означенных сотрудников.
5. Платить за печатание и прочие издержки журнала.

Все остальные деньги предоставляются редактору за редакцию и прочие издержки.

Если подписчиков будет менее 1200, то плата раскладывается пропорционально.

Помощником редактора назначается Рожалин с жалованьем шести сот рублей.—Он должен между прочим иметь в своем ведении продажу журнала. Деньги же имеют быть доставляемы от книгопродавца к редактору.

Материалы для журнала должны храниться у редактора.

Если подписчиков будет более 1200, то плата главным сотрудникам увеличивается пропорционально, полагая редактору прибавки на шесть тысячь. Остальная же сумма предоставляется на разные общеполезные предприятия по усмотрению редакции.

Согласны { М. Погодин
Д. Веневитинов
Н. Рожалин
С. Соболевский

В № 3508, № 21, л. 170 Ultimatum написан рукой Н. Рожалина. Вопреки этому «ultimatum'у» Погодин как редактор «Московского Вестника» вел дела журнала самостоятельно, вызывая неудовольствие своих товарищей, о чем свидетельствуют письма их в архиве Погодина. См. Барсуков, кн. II, стр. 65.

3. ПИСЬМО Д. В. ВЕНЕВИТИНОВА

Петербург. 17 ноября 1826 г.

Мне очень жаль, друг мой, что, начиная писать к тебе, я должен бранить тебя. Ты наделал вздору. Драм[атические] отрывки всегда подавались в Мос[ковский] Ценз[урный] Ком[итет][1] доказательством тому служат все отрывки, напечатанные в Мнемозине и переводы Мерзлякова из древних. Сам Карбоньер[2] мне подтвердил тоже. Я был у Соца[2] и он принимает в Цензуру только те пьесы, которые должны быть играны. Вот причины, причины важные, по которым отсылаю Годунова. Еслиб я его отдал здесь в Цензуру, то с него бы пошли списки. На это здесь молодцы. Я Рожалину писал про Козлова[3]. Дельвига[3] по сих пор не мог видеть. Какая-то судьба мешает нам знакомиться. Я к нему, он ко мне. Я к Пушкиным, он от них. Впрочем на него можем надеяться. Абид[осской] Нев[есты] разбор сделаю[4]; однакож не ждите от меня по статье [?] на все что будет появляться в нашей Литтературе. У нас так много пустого и обо всем что-нибудь да сказать надобно. Я расположен здесь заняться дельно. Сего дня переезжаю на квартиру, которая будет моей пустынею. В ней, надеюсь, умрут все мои предрассудки и [воскреснут] прозябнут семена добрые. Уединение мне было нужно и шаг решительный сделан. Теперь что будет!! Молитесь за меня. Пиши ко мне чаще, мой милый друг, и заставляй писать других. Я долго не отвечал тебе на первое твое письмо, но давно выплакал на него ответ. Прощай. Люби меня всегда.

Петерб[ург]
17. Nояб[ря]
1826.

Как я живо представляю себе ваш праздник[5] и милого премилого Шевырева.

Стр. 165—168 № 3515. Ср. Барсуков, кн. II, стр. 65, где приведены два небольшие отрывка из письма: со слов: «Дельвига до сих пор...» и кончая: «он от них», и со слов: «Я расположился...» (у Барсукова: «расположен») кончая: «решительный сделан», и приписка со слов: «Как я живо...»

[1] Пушкин, привезший из Михайловского в Москву «Бориса Годунова», отдал «Сцену в Чудове монастыре» Погодину как редактору «Московского Вестника» для помещения ее в этом журнале. (См. дневник Погодина, запись 7 ноября 1826 г.) Погодин, не зная цензурных правил, послал 7 ноября отрывок из «Бориса Годунова» в Петербург Веневитинову для представления в цензуру (см. Переписка Пушкина, Акад. изд., т. II, № 283), на что и отвечает Веневитинов письмом от 17 ноября, полученным Погодиным 21 ноября (см. дневник П., 21 ноября).

[2] Соц и Карбоньер—цензоры.

[3] Письмо это не дошло до нас. Дельвиг и Козлов нужны были Погодину как сотрудники «Московского Вестника».

[4] Разбор «Абидосской невесты» Байрона сделан Веневитиновым, но в «Московском Вестнике» напечатан не был; опубликован впервые С. Шпицером в «Голосе Минувшего» 1914 г., № 1, стр. 276—277.

[5] Повидимому именины Погодина—«Михайлов день» 8 ноября по ст. ст. Получив это письмо Веневитинова, Погодин записал в своем дневнике под 21 ноября: «Пол[учил] письмо от Вен[евитинова]—и Козлов наш.—Из Год[унова] можно печатать» (М. А. Цявловский. «Пушкин по документам Погодинского архива»—«Пушкин и его современники», в. XIX—XX, СПБ., 1914, стр. 82).

4. ПИСЬМО Д. В. ВЕНЕВИТИНОВА

Петербург. 12 декабря 1826 г.

Сего дня получил я записку твою в письме Титова и тотчас на нее ответ[1]. Я был у Козлова, и он обещал мне что ни есть у него лучшего

в М. Вестник[2]; но прибавил, что тотчас дать не может; ибо он хочет наперед выбрать отрывок; совершенно изготовить его к печати и переписать. Повторяю тебе, не худо, если ты сам напишешь к нему письмо, в котором скажешь, что ты поручил мне просить его быть участником в Журнале, что я объявил тебе его согласие и ты поставляешь себе долгом благодарить его и просить украсить своим стихом первые Нумера Вестника. Если почитаешь за нужное предлагать ему условия, то возьми этот труд на себя; а мне нельзя ни торопить старика, ни говорить ему об условиях; ибо он обещал мне стихи, как автор, который не продает их, но слышит с удовольствием об нашем предприятии, и сам вменяет себе в честь участвовать в таком деле в котором участвует Пушкин и другие Литераторы. Ты же как Редактор, можешь объявить ему, что Журнал издается не в твою пользу и что ты должен [удовлет] вознаграждать труды всех, участвующих в том. В этом ничего нет неловкого. Впрочем это совет; а вы соберитесь во имя Господня и решите гласом народа, гласом Божьим.

Я послал несколько стихотворных пьес Рожалину[3] и еще буду посылать. Мне что-то все грезится стихами. Если тебе некоторые понравятся, не печатай их, не предупредив меня, потому что эти пьесы как-то все связаны между собою, и мне бы хотелось напечатать их в том же порядке, в котором они были написаны.

Почти все те, которых я здесь видел, подписываются на наш Журнал и ожидают его с нетерпением. В обществах в Петербургских наше предприятие не без защитников и мне кажется, я могу сказать почти решительно, что общее мнение за нас. Говорю это искренне, а не для того чтоб тебя обрадовать. Отнимать у Полевого[4] Вадима не годится[5], и Пушкин верно никогда на это не даст своего согласия; а надобно требовать от него позволения напечатать в 1-м № Вест., что он ни в каком другом журнале помещать стихов своих не будет исключая Вадима, которого он уже в таком-то месяце отдал Г-ну Полевому, и который, по причинам неизвестным Автору еще не напечатан. На это Пушкин верно согласится. Пиши к нему чаще; ты имеешь на то полное право, купленное и твоим знакомством и 10000 рублями[6]. Вообще опоясься твердостию и решимостию необходимою для Издателя Журнала. Искренность не нахальство.

Вот тебе урок, любезный друг. Прости мне его ради дружбы; он может быть небесполезен. Посылаю тебе несколько мнений об Абидосской Невесте[7]. Ты верно не сердит на меня за то, что я отказался писать об ней разбор. Письмо мое к Рож[алину][8] докажет тебе, что отказываюсь не без причины. Кто-нибудь из Вас потрудится написать эту Рецензию; а в конце, если почитаешь за нужное, то припечатай несколько замечаний здесь прилагаемых[9]. Кланяйся всем нашим. Собол [евскому][10] скажи, что я к нему буду на-днях писать.

Твой верный Веневитинов.

Засвидетельствуй мое почтение Аграфене Ивановне[11] и Княжне[12]. Дай Бог чтоб они были столько же счастливы и веселы сколько они добры и снисходительны. А я умею ценить их благосклонность и быть благодарным.

Как скоро получишь это письмо, пиши к Пушкину о Вадиме, так как тебе совеститься нечего[13].

Стр. 191—194 № 3515. У Барсукова (датированное неверно 1-м декабря) напечатано почти полностью (кн. II, стр. 65—66).

[1] Ни записка Титова, ни ответ ему Веневитинова не дошли до нас.

[2] В 1827 г. никаких произведений Козлова в «Московском Вестнике» напечатано не было.

[3] После этого письма в «Московском Вестнике» печатались стихотворения Веневитинова: в № 2 «Моя молитва», в № 3—«Жизнь», в № 5—«Поэт», в № 6—«Жертвоприношение» и уже после смерти его—«Поэт и друг» в № 7 и «Италия» в № 8. Повидимому печатались они в порядке написания Веневитиновым, кроме стихотворения «Поэт и друг», которое является одним из самых последних произведений поэта.

[4] Переделано из: Погодина.

[5] Из переписки Пушкина за 1824—1825 гг. видно, что Н. А. Полевой и через кн. П. А. Вяземского, и сам непосредственно просил Пушкина участвовать в «Московском Телеграфе». Поэт, отказавшись быть постоянным сотрудником этого журнала и не желая связывать себя никакими обязательствами перед Полевым, все-таки поместил в «Московском Телеграфе» 1825—1826 гг. шесть небольших стихотворений и две критические заметки. Из приведенного письма Веневитинова видно, что Пушкин дал для «Московского Телеграфа» и отрывок из неоконченной поэмы «Вадим», который Полевой почему-то так и не напечатал. Отрывок из поэмы (63 стиха) появился в январе 1827 г. в «Памятнике Отечественных Муз на 1827 г.», а в сентябре 1827 г. в № 17 «Московского Вестника» был напечатан отрывок из поэмы в 134 стиха. См. ниже интересное сообщение о «Вадиме» в письме А. Н. Муравьева от 27 ноября 1827 г.

[6] О десяти тысячах рублей Пушкину см. № 2.

[7] См. прим. 4 к письму № 3.

[8] Письмо это не дошло до нас.

[9] См. прим. 4 к письму № 3.

[10] Письмо Веневитинова Соболевскому от 14. XII 1826 г. напечатано в «Русской Старине» 1875 г., апрель.

[11] Кнж. Трубецкая, Аграфена Ивановна, вышедшая 12 ноября 1826 г. замуж за Алдр. Павл. Мансурова.

[12] Сестра ее (ум. 1873 г.), кнж. Александра Ивановна Трубецкая, в 1837 г. вышедшая замуж за кн. Ник. Ив. Мещерского (1788—1862), московская приятельница Веневитинова, посвятившего ей стихотворение «Новгород».

[13] Письмо неизвестно.

5. ПИСЬМО Д. В. ВЕНЕВИТИНОВА

Петербург. 14 декабря 1826 г.

Об Евгении Онегине.

[Все уже давно приветствовали Евгения Онегина. Дамский Журнал поднес ему пучек рифм[1]; Северная Пчела угостила его своим медом[2]; Телеграф также истощил перед ним все свои выразительные знаки[3]*.] С Онегиным давно познакомились все Русские читатели и нам некоторым образом уже поздно говорить о нем; но, как Издатели Журнала, мы обязаны прибавить свой голос к голосу общему и сказать о нем хоть несколько слов. Вот наше мнение:

Вторая песнь по изобретению и изображению характеров несравненно превосходнее первой. В ней уже совсем исчезли следы впечатлений, оставляемых Байроном, и в Северной Пчеле напрасно сравнивают Онегина с Чайльд-Гарольдом. Характер Евгения принадлежит нашему Поэту и развит оригинально. Мы видим, что Онегин уже испытан жизнью; но опыт поселил в нем не страсть мучительную, не[сильную] едкую и деятельную досаду, а скуку, наружное бесстрастие, свойственное русской холодности (мы не [смеем сказать] говорим русской лени).

---

* Пишу на авось, Телеграф говорил ли об Онегине?

Ultimatum.

Я, нижеподписавшiйся, принимаю на себя редакцiю журнала и обязуюсь:

1. Истребовать статьи отъ обѣщавшихъ главныхъ сотрудниковъ: Шевырева, Титова, Веневитинова, Рожалина, Мальцова и Соболевскаго, по возможности.
2. Платить отъ продажи тысячи двухъ сотъ экземпляровъ десять тысячь А. С. Пушкину.
3. Платить другимъ сотрудникамъ по сту рублей за листъ сочиненiй и по пятидесяти за листъ переводовъ.
4. Выписывать книги и журналы на тысячу пятьсотъ рублей по общему согласiю участвующихъ сотрудниковъ.
5. Платить за печатанiе и прочiя издержки журнала.

Всѣ остальныя деньги предоставляются редактору за редакцiю и прочiя издержки.

Если подписчиковъ будетъ менѣе 1200, то плата раскладывается пропорцiонально.

Подписываясь [illegible] редактора [illegible] Рожалинъ съ [illegible] [illegible] — [illegible] между прочими [illegible] въ своихъ [illegible] журнала [illegible] [illegible] къ редактору.

Матерiялы для журнала доставляются прямо къ редактору.

Если подписчиковъ будетъ болѣе 1200, то плата участвующимъ сотрудникамъ увеличивается пропорцiонально, а редактору прибавки не имѣть. Остальныя суммы предоставляются на разные непредвидѣнные предметы по усмотрѣнiю редакцiи.

М. Погодинъ.
А. Пушкинъ
Д. Веневитиновъ.
Согласны { Н. Рожалинъ.
С. Соболевскiй

АВТОГРАФ „ULTIMATUM'А" ПОГОДИНА
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

Для такого характера все решают обстоятельства. Если они пробудят в Онегине сильные чувства, мы не удивимся;—он способен быть минутным энтузиастом и повиноваться порывам души. Если жизнь его будет без приключений, он проживет спокойно, рассуждая умно, а действуя лениво. [Характеры Ленского и Татьяны также очень живы и много обещают для продолжения Романа[4].]

О стихах ни слова. Если мы опоздали говорить о самом Онегине, то хвалить стихи Пушкина и подавно поздно.

Вот Вам несколько строк об Онегине, сшитых кое-как на живую нитку. Меняйте, марайте как хотите, но ради Бога не пишите большого разбора книги, уже давно вышедшей в свет; тем более что лишние похвалы Пушкину в нашем Журнале могут показаться лестью. Вы видите, что я об вас думаю, не забывайте меня в своих молитвах и собраниях.

Этот лист всей братии.

Декабря [14-го][5] 1826.

Стр. 187—188 № 3515. Эта критическая заметка Веневитинова о II главе «*Евгения Онегина», вышедшей в свет около 20 октября 1826 г.* (см. Синявский и Цявловский «Пушкин в печати», № 257), была напечатана Погодиным лишь по смерти Веневитинова, в № 4 «Московского Вестника» за 1828 г. Погодин выбросил из нее начало (то, что здесь в квадратных скобках) и конец со слов: «Вот Вам...», а также примечание.

В таком виде перепечатана Поливановым в редактированном им собрании сочинений Пушкина (т. IV) и Зелинским «Русская критическая литература о произведениях Пушкина», ч. II, 4-е изд., М., 1913, стр. 90—91.

[1] В № 6 «Дамского Журнала» за 1825 г. есть хвалебная статья об «Евгении Онегине». Перепечатана Зелинским в «Русск. крит. лит. о произв. Пушкина», ч. II, 4-е изд., М., 1913, стр. 9—12.

[2] В № 132 «Северной Пчелы» за 1826 г. была рецензия Булгарина на вторую главу «Евгения Онегина». Перепечатана Зелинским, ч. II, стр. 49—52.

[3] В «Московском Телеграфе» за 1826 г. кроме полемики Полевого с Веневитиновым же о I главе «Евгения Онегина» была лишь статья NN (в № 23): «Замечания на статью: Нечто о споре по поводу Онегина, помещенную в № 17 «Вестника Европы»». Перепечатана у Зелинского, ч. II, стр. 41—49.

[4] Вычеркнуто Погодиным.

[5] Дата вычеркнута Погодиным может быть из цензурных соображений.

6. ИЗ «РАПОРТА» В. Ф. ОДОЕВСКОГО И Д. В. ВЕНЕВИТИНОВА

Петербург. 19 декабря [1826 г.]

В Канцелярию Издателей Московского Вестника из С.-Петербургского отделения

Всепокорнейший рапорт.

[Рукой Веневитинова Погодину] Письмо твое отдам завтра Козлову[1]. Отрывки из К. Долгорукой[2] у него еще не так хорошо отделаны. Но теперь ваши тревоги кончились. П[ушкин] сам в Москве[3].

Стр. 195—196 № 3515.

«Рапорт» (не полностью) напечатан Барсуковым, кн. II, стр. 66—68.

[1] Письмо неизвестно.

[2] Стихотворная повесть Козлова «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая», отрывок из которой напечатан в «Северных Цветах на 1827 год»; отдельным изданием поэма вышла в 1828 г.

[3] Пушкин, уехавший из Москвы в Михайловское 1 или 2 ноября 1826 г., возвратился в Москву вечером 19 декабря. (См. запись в дневнике Погодина. Цявлов-

ский. «Пушкин по документам Погодинского архива». «Пушкин и его современники», в. XIX—XX, стр. 83.)

7. ПИСЬМО Д. В. ВЕНЕВИТИНОВА

Петербург. 7 января 1827 г.

Вчера писал я к брату[1] и разбранил тебя как Журналиста, за то, что кладешь в длинный ящик критические статьи. Как можно писать об Аб[идосской] Нев[есте] во втором № Журнала![2] О таком произведении надобно говорить тотчас или совсем не говорить. Отнес ли ты мой Новгород, и как он был принят? Напиши мне об этом[3]. О первом № Вестника уже носится слух, но слух еще невнятный, а у меня журнала нет. Надеюсь, что ты пришлешь мне его. Получаешь ли ты иностранные Журналы. Это необходимо. Заставляй переводить из них все ученые статьи, объявляй о всех открытиях это поддерживает Телеграф. Мы Азиятцы, но имеем претензию на Европейское просвещение, хотим знать то, что знают другие, и знать не учившись и только по журналам. В первый год надобно жертвовать своими правилами даже несправедливым требованиям публики. И так на первый год девиз журнала должен быть:... I u v e n t m e m i n i s s e p e r i t i[4]. На следующий год, когда Журнал завлечет читателей, мы покажем им пропущенную часть стиха I g n o r i d i s c a n t[5]. Молодцы, Петербургские Журналисты, все пронюхали до малейшей подробности, твой договор с Пуш[киным][6], имена всех сотрудников. Но пускай их, они вредить тебе не могут: Умный (не то что хороший) Журнал сам себя поддержит. Главное, отнять у Булгариных их влияние. С тех пор, как я видел Бул[гарина], имя его сделалось для меня матерным словом. Я полагал, что он умный ветренник, но он площадный дурак. Ужасно ругает Телеграф; о тебе ни слова. Говорит, что сам знает, что он интригант; но это сопряжено с благородной целью и все поступки его клонятся к пользе Отечественной словесности. Экой урод! но q u o s e g o!..[7]

Стр. 209—210, № 3515.

Напечатано неполностью у Барсукова, кн. II, стр. 76 и 122.

[1] Алексею Владимировичу Веневитинову.—Письма этого мы не знаем.

[2] Никакой статьи об «Абидосской невесте» ни в № 2 «Московского Вестника», ни в дальнейших не было.

[3] Т. е., отнес ли Погодин стихотворение «Новгород» А. И. Трубецкой, которой оно было посвящено. Об этом Погодин пишет в своем дневнике 30 декабря 1827 г.: «Отдал покрасневшей Ал[ександре] Ив[ановне] Новгород Вен[евитин]ова». (Ср. Барсуков, кн. II, стр. 57.)

[4] Пускай поучат опытные.

[5] Невежды учатся.

[6] Т. е. второй пункт выше напечатанного «ultimatum'a».

[7] Я вас!

8. ИЗ ПИСЬМА Е. В. АЛАДЬИНА

Петербург. 20 января 1827 г.

[В конце письма приписка]: Сделайте одолжение, возмите на себя труд передать прилагаемый конверт Александру Сергеевичу Пушкину[1].

Стр. 223—224 № 3515. Этого письма Барсуков не напечатал.

[1] Егор Вас. Аладьин (1796—1860)—писатель, переводчик, издатель «Невского Альманаха», альманахов «Букет или карманная книжка для любителей и любительниц театра» и «Подснежник». С 1831 г.—издатель «С.-Петербургских Ведомостей». Что пересылал Пушкину Е. В. Аладьин, нам неизвестно.

9. ИЗ ПИСЬМА С. П. ШЕВЫРЕВА

[Январь 1827 г.]

Что Пушкин? Что Снегирев?[1] [....]
Зачем Нулина выкинули?[2]

У Барсукова нет.

Записка на клочке бумаги, вплетенном в «приложениях» к тому писем за 1831 г., стр. 467—468. Датируем содержанием.

[1] Снегирев, Ив. Мих. (1793—1868)—профессор Московского университета.

[2] Отрывок из «Графа Нулина» был напечатан в № 4 «Московского Вестника» за 1827 г., вышедшем в свет в феврале 1827 г. Судя по этой записке Шевырева, можно думать, что отрывок этот был намечен к напечатанью в каком-то из предыдущих номеров журнала.

10. ПИСЬМО Д. В. ВЕНЕВИТИНОВА К С. П. ШЕВЫРЕВУ.

Петербург. 28 января 1827 г.

Сего дня получил я письмо твое, любезный друг[1], и как видишь не медлю отвечать. Я даже предупредил бы тебя если бы не некоторые занятия, которым я должен был посвящать большую часть дней своих. Мне давно хотелось поговорить с тобой именно о нашем общем деле т. е. о журнале. Публика ожидает от него статей дельных и даже без всякой примеси этого вздора, который украшает другие журналы. Говорю вам это решительно, потому что вслушивался с намерением во все толки о М. Вестнике. Две книжки кажутся немного бедными, особенно первая, и вот тому причины. Во-первых: мало листов; во всех журналах кажется больше. Во-вторых: слишком крупны статьи. Наконец: нет почти никаких современных известий. Последнее исправится по получении иностранных журналов; постарайтесь и о первых двух недостатках.

Бранѣ начинать нам рано. Пусть бросят в нас первый камень; тогда и мы будем отвечать, и я верно от храбрейших не отстану. Я уже говорил П[огоди]ну, что с Телеграфом не худо бы сначала жить в ладу; не утверждаю этого решительно, потому что не знаю, как ведет себя П[оле]вой. Не он ли подкупает Ширяева[2] и заставляет повес печатать в газетах подлости? Вы ближе к источнику и если что знаете или предполагаете, напишите ко мне непременно.

Критику выходящих книг возьму я охотно на себя, но надобно чтоб они выходили, а здесь ничего не слыхать до сих пор. Я было писал разбор альманахов, но так как он уже сделан, то до другого случая[3]. Cousin издал книгу прекрасную[4], и я непременно доставлю вам об ней статью, но погодите; если мы сначала будем занимать Пуб[лику] самыми строгими статьями, то нас назовут Педантами. Я намерен послать разбор свой в переводе к самому Cousin и просить его сообщить мне ответ (если статья моя заслужит его внимание) для помещения в том же журнале[5]. Cousin, преблагородный человек, я знаю к нему путь, и он верно не откажется. Завтра буду я писать для того чтобы доставить вам новых сотрудников а именно: André Merian[6], Klaprot[7] и Гульянова[8], вы можете на меня считать * и вероятно даже что они позволят объявить их [сотрудниками] корреспондентами. А все трое приобрели славу Европейскую. На-днях познакомлюсь с Сенковским, который не откажет в повестях с Арабского[9]. Впрочем надобно поручить комунибудь постоянно переводить повести из Вашингтона[10] Тика[11] и др. Пи-

* Галлицизм, т. е. «рассчитывать на меня».—*Ред.*

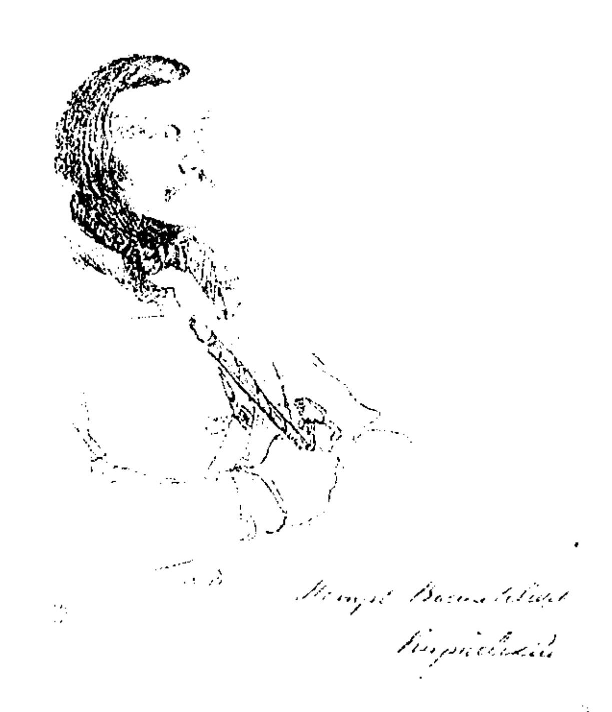
сателей, для того, чтоб на всякий случай даже без нужды были повести наготове.

Возьмите у Рожалина мой перевод из Гофманна[12] и докончите его. Повесть славная, лучше всех у нас Рус[ских] напечатанных. [Отправляю] Препровождаю к тебе несколько переводов из иностранных журналов[13]. Поправляй их как хочешь. Я заставляю всех трудиться и даже Алексея Хомякова, который здесь третий день. Он посылает вам три пьесы[14]. Я прилагаю здесь: Элегию да 3 участи[15]. Не знаю не доставил ли вам Мальцов[16] сей последней пьесы. Во всяком случае если он и переписал ее, то может быть худо разобрал мою черновую, и я посылаю вам исправную копию. Не пугайтесь гонений ни Дм.[17] ни Дав.[18] Сей последний, хотя и умен, но едва ли умеет итти к избранной цели прямо, а потому на всяком шагу может быть шаток. Если сразимся, то пусть решает судьба. Дм[итриев] завистлив и ему бы хотелось уронить хоть сколько-нибудь Пушкина. Молодых же людей он никогда не похвалит, всегда видя в них соперников. Впрочем голоса он почти не имеет. Напечатайте следующие стихи[19].

ЧЕТВЕРОСТИШИЕ

Я слышал, Камены тебя воспитали:
Дитя, засыпал ты под басеньки их.
Бессмертные дар свой тебе передали,
И мы засыпаем на баснях твоих.

В.



П. В. КИРЕЕВСКИЙ

Рисунок из альбома
Э. Д. Дмитриева-Мамонова
Третьяковская галлерея, Москва

Посылаю к Вам перевод из Шиллера, который мы тотчас сделали с Хомяковым вдвоем[20]. Из Фауста[21] кое-что пришлю непременно. Теперь [нет у меня] мой Гете не дома. Как воротится, то сравню и исправлю. Присылай Валлен[штейнов] Лаг[ерь][22]. Здесь пропустят, за это берусь. Из Романа ничего еще вырвать не могу[23]. Послание мое к Р[ожали]ну печатайте если хотите[24] и как хотите. Поцелуй Титова за статью на Аллегории[25], славно. Поцелуй сам себя за разговор.

Не теряйте ни деятельности ни надежды.
Прости. Твой верный Веневитинов.

[Сбоку первой (229) страницы:] Скажи П[огоди]ну что не худо бы поместить известие о смерти Ланжуине[26] и кое-что сказать о его жизни, которую можно выписать из Convers[ations] Lexic[on][27] и из Biog. des Contemporains[28]. Эти книги кажется есть у Кн. Волконской[29]. Брат или Рожалин достанут вам.

[Приписка на 2-й стр.] Жандр[30] обещает Вам посылать свои пьесы. Дельвиг все болен, а он не изменит. Мы с ним дружны как сыны одной Поэзии. Послали ль Вы ему Вес[тник], не худо послать его и Грибоедову.

[На 3-й стр.:] Зачем это газетное объявление о Сев[ерной] Лире[31]. Дань дружбе. Чудак Погодин! и бранить-то его совестно. Однакож скажу ему: мне по всему кажется, что он более суетится нежели делает. Кланяйся всем нашим.

[На 4-й стр.:] Заставляйте брата переводить повести или статьи из иностранных журналов. У него также есть хороший перевод из Шлегеля[32].

Стр. 229—232 № 3515.

Письмо это, адресованное С. П. Шевыреву, было послано в редакцию «Московского Вестника», чем можно объяснить наличие его в архиве Погодина, к которому оно адресовано быть не может так как сам Погодин упоминается в нем три раза в третьем лице. За то, что оно адресовано Шевыреву говорит дружеский тон письма и наполненность его делами «Моск. Вестн.»; имена же Мальцова, Рожалина, брата поэта А. В. Веневитинова и Титова упоминаются в письме, так что другого адресата, стоящего близко к делам журнала, кроме Шевырева, предположить трудно.

У Барсукова письмо напечатано как адресованное Погодину и с пропусками и ошибками (кн. II, стр. 76—77, 78—79).

[1] Письмо это нам неизвестно.

[2] Книгопродавец.

[3] До нас не дошло ни одного подобного разбора Веневитинова.

[4] Виктор Кузен (1792—1867)—философ и ученый; в 1827 г. вышла его книга «Cours d'histoire de la philosophie moderne» («Курс истории новой философии»); повидимому Веневитинов имеет в виду ее.

[5] Всего этого Веневитинов не исполнил, так как умер через полтора месяца (15 марта).

[6] Барон Андре-Адольф Мериан (1772—1828)—дипломат, друг Клапрота. Служил в министерстве иностранных дел; автор многих трудов по языковедению.

[7] Клапрот, Генрих-Юлий (1783—1835)—ориенталист и путешественник.

[8] Гульянов, Ив. Алдр. (1789—1841)—египтолог.

[9] Ни одной повести Сенковского в «Московском Вестнике» за 1827 г. не было напечатано.

[10] Вашингтон-Ирвинг (1783—1859)—американский писатель.

[11] Тик, Людвиг (1773—1853)—немецкий писатель, романтик.

[12] Этот перевод Веневитинова неизвестен; может быть он сгорел вместе с бумагами Рожалина.

[13] Переводы эти неизвестны. Существует только один перевод из Герена «Европа», напечатанный впервые в издании прозаических сочинений Веневитинова 1831 г.

[14] В «Московском Вестнике» за 1827 г. было напечатано стихотворение Хомякова: «В альбом» в № 4, «Молодость» и «Старость» в № 5. Может быть эти стихотворения и имеет в виду Веневитинов.

[15] У Веневитинова имеется только одна элегия «Волшебница, как сладко пела ты», напечатанная впервые в собрании его стихотворений 1829 г. Стихотворение «Три участи» появилось впервые там же.

[16] Мальцов, Ив. Серг. (1807—1880)—«архивный юноша», сотрудник «Московского Вестника», переводчик.

[17] Дмитриев, Ив. Ив. (1760—1837)—поэт.

[18] Давыдов, Ив. Ив. (1794—1863)—профессор Московского университета, шеллингианец.

[19] Четверостишие это впервые опубликовано Барсуковым в составе этого письма.

[20] Перевод этот неизвестен.

[21] Переводы Веневитинова из «Фауста» впервые напечатаны в издании его стихотворений 1829 г.

[22] В № 2 и № 12 «Московского Вестника» за 1828 г. напечатан перевод С. Шевырева «Отрывок из Шиллерова Валленштейнова лагеря». Ясно, что речь идет об этом переводе.

[23] Роман свой Веневитинов не кончил и ничего из него не было напечатано, содержание же изложено кем-то из друзей поэта в предисловии к изданию его сочинений 1831 г. Рукопись его неизвестна.

[24] Послание к Рожалину впервые напечатано в «Стихотворениях Веневитинова» 1829 г.

[25] В № 2 «Московского Вестника» напечатана статья В. Титова «Опыты Аллегорий или иносказательных Описаний в стихах и прозе», соч. Федора Глинки. СПБ., 1826.

[26] Ланжуине (1753—1827)—французский политический деятель.

[27] «Conversations Lexicon»—энциклопедический словарь издания Брокгауза.

[28] В словаре: «Biographie nouvelle des contemporains, ou dictionnaire historique et raisonné...» v. 10, P. 1823, 451—453, есть сведения о Ланжуине. Барсуков печатает—«о смерти Ланжерона» (ум. в 1831 г.).

[29] Кн. Волконская, Зинаида Алдр. (1792—1862)—поэтесса, в которую Веневитинов был влюблен.

[30] Жандр, Андрей Андр. (1789—1873)—переводчик пьес.

[31] В № 2 «Московского Вестника» (стр. 138—139) имеется объявление об альманахе «Северная Лира на 1827 г.»

[32] Этот перевод А. В. Веневитинова: «О трех единствах в Драме (из Шлегеля)» напечатан в №№ 10 и 11 «Московского Вестника» за 1827 г.

11. ИЗ ПИСЬМА КН. В. Ф. ОДОЕВСКОГО

Петербург. 29 апреля 1827 г.

Я не отвечал на письмо ваше, Милостивый Государь Михаил Петрович, ибо оно пришло ко мне в горькую минуту;—но не будем говорить о ней.—Пушкин имел право вступаться за Держ[авина]—с в о й с в о е м у и проч.; я и сам рад, что Вы выкинули из моей статьи места слишком откровенные; они бы могли дать оружие врагам Моск. Вестника [1]; [......]

Скажите: нет ли средств выпросить у Пушкина его Б о р и с а Г о д у н о в а—Мне уж невтерпеж, я бы прочел и на следующей почте возвратил бы его, никому не показавши; я хотел было писать к Пушкину об этом, но я не знаком с ним и не знаю, как ему это покажется [...]

Могу также доставить два музыкальных произведения Дмитрия: музыку на Н о ч н о й З е ф и р — и другую на романс из Эгмонта, которого слов не помню; если не приложите к Вест[нику] этой музыки, то мне бы хотелось издать их вместе с сочинениями моего друга чудно соединявшего в себе все три искусства [2]. Ваш Одоевский.

Стр. 285—288 № 3515. У Барсукова напечатан небольшой отрывок из письма (кн. II, стр. 91). П. Н. Сакулиным в его книге «Из истории русского идеализма.

Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель-писатель», т. I, ч. II, 1913 г., стр. 324—325 напечатан другой отрывок (просьба о «Борисе Годунове»).

[1] В № 5 «Московского Вестника» 1827 г. помещен был обзор альманахов на 1827 г., одна часть которого подписана «И. К.», другая—«—нъ». Под инициалами «И. К.» скрылся кн. В. Ф. Одоевский, сурово отнесшийся между прочим к «Памятнику Отечественных Муз». Об этом писал Одоевскому Погодин 2 марта 1827 г.: «Разбор ваш «Памятника Муз» сокращен по настоятельному требованию Пушкина. Вот его слова, повторяемые с дипломатическою точностью: «Здесь есть много умного, справедливого, но автор не знает приличий: можно ли о Державине и Кар[амзине] сказать, что «имена их возбуждают приятные воспоминания», что «с прискорбием видим ученические ошибки в Держ[авине]»: Державин всё—Державин. Имя его нам уже дорого. Касательно жив[ых] писателей также не могу я, объявленный участником в журнале, согласиться на такие выражения. Я имею связи. Меня могут почесть согласным с мнением рецензента. И вообще—не должно говорить о Державине таким тоном, каким говорят об NN., об S S. Сим должен отличаться «М[осковский] Вестник». Оставьте одно общее суждение». Мы спорили во многом, но должны были уступить, решились было оставить статью до сношения с вами, но должно было выдавать книжку; Пушкин читал уже по корректуре». («Русская Старина» 1904, № 3, стр. 705—706.) На это сообщение Погодина и отвечает Одоевский от 29 апреля.

[2] Насколько нам известно, романсы Д. В. Веневитинова изданы не были. Биограф Веневитинова А. Пятковский говорит, что он видел его рисунок—эскиз головы Медузы. Где он ныне—неизвестно.

12. ИЗ ПИСЬМА И. А. СТЕМПКОВСКОГО

Одесса. 20 мая 1827 г.

Покорнейше прошу напомнить обо мне почтеннейшему сотруднику вашему Александру Сергеевичу Пушкину и принесть ему равномерно мою истинную благодарность.

Стр. 305—306 № 3515. У Барсукова нет.

Письмо археолога Ив. Алдр. Стемпковского (1789—1832) написано при посылке статьи «О названиях месяцев у древних Ольвиополитов», помещенной в № 12 «Московского Вестника» за 1827 г.

О знакомстве И. А. Стемпковского с Пушкиным ничего неизвестно.

13. ИЗ ПИСЬМА АГР. И. МАНСУРОВОЙ

Берлин. 7/19 июня 1827 г.

Прошу Вас прислать мне Цыганы новое издание Пушкина[1], о котором я читала в газетах, поручаю Саше[2] Вам вручить издержки на сию книгу которую буду ожидать с нетерпением.

Стр. 335—338 № 3515. Ср. Барсуков, кн. II, стр. 83.

[1] «Цыганы», изданные в 1827 г., вышли в свет около 15 мая (см. Цявловский и Синявский. «Пушкин в печати», 1914 г., стр. 43).

[2] Сестре своей, А. И. Трубецкой.

14. ПИСЬМО С. А. СОБОЛЕВСКОГО

[Июнь 1827 г.]

Вот тебе статья[1] в наиближайший номер. Помести ее в конце книжки так чтобы в глаза бросалась; отставивши немного.

Поэма Цыганы, сочинения А. С. Пушкина, вышла из печати: Цена 5 руб[лей] ассиг[нациями][2].

Непременно.

У Барсукова нет.

Записка на клочке бумаги, вплетенном в «приложения» к тому писем за 1831 г.

[1] Какую статью имеет в виду Соболевский—неизвестно.

[2] О выходе в свет «Цыган» см. предыдущее примечание. Книги продавались не по 5 р., а по 6 р. асс. В «Московском Вестнике» объявления о них не было.

Московскій Оберъ Полицмейстеръ получивъ отношеніе Коммисіи военнаго Суда, учрежденной Лейбъ-Гвардіи при Конно-Егерскомъ полку отъ 13-го сего Генваря за № 4, по дѣлу производящемуся въ оной по Высочайшему повелѣнію надъ Штабсъ-Капитаномъ Лейбъ-Гвардіи Конно-Егерскаго полка Алексѣевымъ, требуетъ отъ прикосновеннаго къ оному дѣлу Сочинителя А. Пушкина письменное показаніе противъ нижеслѣдующихъ пунктовъ:

1,) Имъ ли сочинены извѣстныя стихи; когда; и съ какою цѣлію они сочинены?

Александръ Пушкинъ не знаетъ, о какихъ извѣстныхъ стихахъ идетъ дѣло, и проситъ ихъ увидѣть.

2,) Почему извѣстно ему сдѣлалось намѣреніе злоумышленниковъ, въ стихахъ изъясненное?

Онъ не помнитъ стиховъ могущихъ дать поводъ къ таковому заключенію.

3,) Кому отъ него сіи стихи переданы?

4,) Въ случаѣ отрицательства, неизвѣстно ли ему кѣмъ

СТРАНИЦА ИЗ ДЕЛА МОСКОВСКОГО ПОЛИЦЕЙМЕЙСТЕРА С ПОКАЗАНИЯМИ ПУШКИНА

Московский Областной Архив

15. ИЗ ПИСЬМА Н. М. РОЖАЛИНА

Москва. 16 июня 1827 г.

От Пушкина сей час только получил Наташу[1]: в 12 № ее не будет.

Стр. 341—344 № 3515. Барсуков напечатал письмо Рожалина с пропусками (кн. II, стр. 123—124).

[1] Стихотворение Пушкина «Жених», названное здесь «Наташей», было напечатано в № 13 «Московского Вестника» за 1827 г., но первоначально предназначалось для № 12, что видно из слов Рожалина и что подтверждается найденным Д. В. Ульянинским корректурным оттиском. См. «Пушкин и его современники», в. XVII—XVIII, стр. 267—269.

16 ИЗ ПИСЬМА В. П. ТИТОВА

Петербург. 18 июля 1827 г.

Что касается Пушкина, без сомнения величайшая услуга, какую бы я мог оказать вам, это бы держать его в узде; да не имею к тому способов. Дома он бывает только в 9-ть утра, а я в это время иду на службу царскую; в гостях бывает только в клубе, куда входить не имею права. К тому же с ним надобно няньчиться, до чего я не охотник и не мастер. У него часто бывает Сомов[1] и т. п.; последний взял у него (как говорит для Сев[ерных] Цв[етов]) отрывок из Онегина и из Годунова[2]. Я желал бы знать от вас, много ли он вам оставил и что обещал? ибо на его скорый возврат не считайте. Уведомьте об этом скорее. Я считаю на возвращение Дельвига из Ревеля: кажется мы друг другу понравились, к тому же он знаком с дядею моим, и мы верно сладим; он имеет влияние на Пушкина.

Стр. 345—352 № 3515. См. Барсуков, кн. II, стр. 71—72.

Титов, Влад. Павл. (1807—1891)—сотрудник «Московского Вестника», впоследствии крупный дипломат.

[1] Сомов, Орест Мих. (1793—1833)—писатель, ближайший помощник Дельвига по «Северным Цветам».

[2] Отрывка из «Евгения Онегина» в «Северных Цветах» на 1828 г. напечатано не было, а был напечатан в «Московском Вестнике» 1827 г. № 20 отрывок из IV главы—«Женщины». Отрывок из «Бориса Годунова» (Самозванец и Курбский) был помещен в «Северных Цветах» на 1828 г.

17. ИЗ ПИСЬМА Н. А. МЕЛЬГУНОВА

Киев. 7—10 августа 1827 г.

Здесь вовсе не в диковинку слышать стишки Пушкина из уст девушек—и тому подобного, даже в кругу купеческом. [....] Недавно случилось мне крепко припомнить мысль о критическом обзоре сцены из Бориса Годунова для помещения в М[осковском] В[естнике], и сожалел, что она неисполнилась. Люди образованные, между прочими один воспитывавшийся в Унив[ерситетском] Пансионе,—но с предрассудками французской школы,—вовсе не понимают смысла этого произведения, удивляются 5-ти стоп[ным] ямбам, тому, что монах выведен на сцену;—да и самая простота языка Пимена становится для них предметом соблазна.—Пожалуйте не покидайте счастливой мысли указать в Журнале Вашем истинное достоинство сего отрывка; подобная статья может объяснить и показать гораздо более, нежели статьи теоретические, ибо прямо применила бы теорию к произведению отечественному, Автора, любимого публикою.

Стр. 389—406 № 3515. См. Барсуков, кн. II, стр. 110.

Речь идет о сцене из «Бориса Годунова» «Келья в Чудовом монастыре», помещенной в № 1 «Московского Вестника» за 1827 г.

Мельгунов, Ник. Алдр. (1804—1867)—писатель, приятель Погодина.

18. ИЗ ПИСЬМА С. А. СОБОЛЕВСКОГО

[Петербург] 10 сентября [1827 г.]

Ты спросишь меня, почему я не объяснился с тобою на словах. Трудно было, душа моя. Я в вашем деле человек не посторонний, ибо я был так сказать, посредником между вами и Пушкиным. Мне было больно видеть неминуемый разрыв его с такими людьми, которых я люблю, а может быть и уважаю, видеть наступающее торжество Булгарина и Греча над вами. Если бы я начал говорить с тобою об этом деле, то будучи расстроен трехмесячными противностями и наступающею разлукою с родными (NB. у меня родные—друзья мои), я увлекся бы тою горячностью, которой примеры ты к сожалению моему видывал.— Вот тебе Михайлика первая и клянусь что и последняя. Делайте впредь с Пушки[ным] что хотите: решительно отрекаюсь от такого дела, где надобно говорить правду или молчать. Против первой не могу, второго—не утерплю.

Стр. 447—450 № 3515. У Барсукова нет.

Соболевский, Сергей Алдр. (1803—1870)—приятель Пушкина, впоследствии библиофил и библиограф.

См. примечание к следующему номеру.

19. ПИСЬМО И. В. КИРЕЕВСКОГО

[Москва. Конец октября—начало ноября 1827 г.]

Я виноват перед тобою, Любезный Погодин, и вот именно в чем: Когда ты спрашивал меня, писал ли я к Титову, что ты отказывал Шевыреву в соредакторстве после получения письма от Пушкина, то я отвечал тебе, что не писал о Пушкинском письме в отношении к этому делу. И в самом деле я до сих пор не помню, чтобы я писал об этом. Но обдумав хорошенько я увидел, что не должен был отвечать тебе так решительно, ибо, когда ты объявил свое несогласие на право Шевырева, то, я действительно полагал одною из причин тому надежду на улучшение журнала Пушкинским сотрудничеством, и потому, думая это, я м о г это и написать к Титову, с которым я привык быть откровенным. Но еще раз повторяю, что я не помню, чтобы писал о том. Впрочем, для тебя в этом случае возможность то же, что действительность, и ты имеешь полное право сердиться на преданного тебе

К.

Стр. 455—456 № 3515. Ср. Барсуков, кн. II, стр. 133.

Киреевский, Ив. Вас. (1806—1856)—критик, публицист, впоследствии славянофил, редактор журнала «Европеец».

Избранный товарищами по изданию «Московского Вестника» в редакторы, Погодин совершенно не признавал коллегиального начала и действовал резко единовластно Такое поведение редактора вызвало недовольство сотрудников, и они потребовали обязательного соредакторства Шевырева, но Погодин воспротивился этому, ободренный любезным письмом Пушкина от 31 августа. В письме этом Пушкин, называя Погодина «честным литератором между лавочниками литературы», «милым и любезным», «ради Бога» просил его не покидать «Вестника», обещая «безусловно деятельно участвовать в журнале». Лучше Пушкина знавшие Погодина Титов и Одоевский были о нем другого мнения и 13 октября 1827 г. послали Погодину «ультиматум» с требованием признать Шевырева соредактором. «Поводом к сему посланию,—пишет Одоевский,—служит сообщенное из Москвы известие, что Погодин, по получении письма Пушкина, объявил, что не хочет соредакторства Шевырева. Если это неправда, пусть горячие уголья падут на головы сообщивших сие известие» (Барсуков, кн. II, стр. 132—133). Получив это письмо, Погодин записал в дневнике: «Письмо от Одоевского и Титова. Предосадно мне было. Киреевский по-

ступил неосторожно и даже непонятно. Я не сержусь впрочем». На самом деле Погодин сердился, свидетельством чего служит приводимое письмо Киреевского.

20. ИЗ ПИСЬМА Н. В. ПУТЯТЫ

Петербург. 21 октября 1827 г.

У нас вышла 3-я часть Онегина[1], и сам Пушкин на-днях возвратившись сюда, как говорит, привез 4-ю главу сего Романа для печати[2].

Стр. 477—480 № 3115. У Барсукова нет.

Путята, Ник. Вас. (1802—1877)—писатель, в это время адъютант генерала А. А. Закревского.

[1] Третья глава «Евгения Онегина» вышла в Петербурге 10—11 октября 1827 г. (см. Синявский и Цявловский. «Пушкин в печати», № 295).

[2] Из Михайловского в Петербург Пушкин приехал числа 16—17 октября 1827 г. (см. «Русский Архив» 1910 г., № 2, стр. 215—216).

21. ИЗ ПИСЬМА А. Н. МУРАВЬЕВА

Село Александровское (близ Волоколамска).
27 ноября 1827 г.

В предпоследнем нумере Вестника я читал прекраснейший отрывок Пушкина из Вадима; хотя я его и прежде знал, но здесь прочел снова с большим удовольствием, жалею, зачем вы не поместили двадцати последних стихов, где старик прощается с юношей, желая ему всяких благополучий, и говорит, чтобы невеста его встретила с улыбкой и слезами,—выражение прелестное, и которое прекрасно бы окончило сей отрывок, по моему мнению один из лучших творений Пушкина; желал бы я прочесть всю поэму, которой сюжет занимателен и изобилует поэзией.—

Стр. 507—510 № 3515. Ср. у Барсукова, кн. II, стр. 87—88, где самое интересное выброшено.

Отрывок из поэмы «Вадим» в рукописи неизвестен (см. Сочинения Пушкина, акад. изд., т. III, стр. 259 примечаний).

В печати ни при жизни Пушкина, ни после его смерти конца отрывка в «двадцать стихов», о которых говорит Муравьев, не появлялось, но указание Муравьева, лично знавшего Пушкина, так определенно, что не может вызвать никаких сомнений в своей достоверности. О том, что из «Вадима» была написана «первая песнь», узнаем из письма Петра Алдр. Муханова к К. Ф. Рылееву от 13 апреля 1824 г.: «У меня есть начало «Разбойников» и первая песнь «Вадима»; прислал бы тебе, но автор их назначил к истреблению и поэтому не хочет, чтобы ходили по рукам и даже говорили об оных. Но, зная твою аккуратность, может быть, сдамся, получа убеждение в сохранении их в тайне...» (Полное собр. соч. К. Ф. Рылеева, т. II, стр. 170. «Библиотека декабристов» под ред. Г. Балицкого).

22. ИЗ ПИСЬМА В. П. ТИТОВА

Петербург. 17 декабря [1827 г.]

Посылаю Вам письмо[1] и стихи[2] Пушкина; не стану оправдываться в том, что распечатал их: зная, что он пишет о делах касающихся каждого из нас, я имел на это полное право. Тон письма мне не нравится, и нельзя снова не сердиться на болтливость Соболевского. Как отвечать ему—это вам лучше известно, потому и не стану советовать. Постараюсь только увидеть его на-днях и объяснить ему от себя, что уплата ему денег начнется первому из всех, с первой чистой выручки—Стансы к Царю не были присланы[3].

Стр. 523—524 № 3520. У Барсукова нет.

Письмо, вплетенное в конец тома писем за 1833—1834 гг. и датированное в подлиннике «17 декабря» на основании упоминания в нем «Стансов к царю», надо

отнести к 1827 г.: «Стансы» («В надежде славы и добра») были напечатаны в № 1 «Московского Вестника» за 1828 г.

[1] Это письмо не дошло до нас.

[2] О каких стихах идет речь, сказать трудно. В письме к Погодину, датируемом Б. Л. Модзалевским концом октября—ноябрем 1827 г. (№ 256), Пушкин писал, что «на-днях» пришлет «Москву и др.» Возможно, что это и посылал теперь через Титова Пушкин. Москва — XXXVI — LIII строфы седьмой главы «Евгения Онегина», напечатанные в № 1 «Московского Вестника».

[3] В. П. Титов очевидно не знал, что Пушкин уже при письме № 256 (акад. изд.) послал это стихотворение Погодину.

23. ИЗ ПИСЬМА В. П. ТИТОВА

Петербург. 11 февраля 1828 г.

Пушкин (NB. отведя глаза в сторону) сказывал, что позволил перепечатать Москву взбесясь на опечатки М[осковского] В[естника], а господа Пчелинцы воспользовались и присовокупили Примечание[1].—Он готовит вам письмо о Б. Годунове[2]; что он мне читал, славно; хочет приготовить еще смешную статью о Корсаре и о способе переделывать Поэмы в Романт. Трагедии[3].

Стр. 25—28 № 3516. Ср. Барсуков, кн. II, стр. 181—182.

[1] О «Москве» см. прим. 3 к предыдущему номеру. «Взбесясь» на опечатки в «Московском Вестнике», Пушкин позволил Булгарину перепечатать отрывок в «Северной Пчеле», где он и появился в № 17 (вышел в свет 9 февраля) с таким примечанием: «Сей отрывок напечатан был в одном журнале, с непристойными ошибками. По желанию почтенного автора, помещаем оный с поправками в Сев. Пчеле.—Повторение стихов А. С. Пушкина (NB. с его позволения) никогда не может быть излишним. Изд.» В свою очередь взбесясь на это примечание, Погодин написал 14 февраля Пушкину письмо, «учтивое и колкое» (см. № 345, т. II акад. изд. переписки и запись в дневнике Погодина в «Пушк. и его совр.», в. XIX—XX, стр. 89), на которое Пушкин отвечал припиской на письме Погодина и письмом № 346 (акад. изд.).

[2] О каком «письме о Б. Годунове» говорит Титов,—неизвестно. Из слов Титова нельзя решить, идет ли речь о трагедии Пушкина или об историческом Борисе

Н. А. МЕЛЬГУНОВ

Рисунок из альбома
Э. Д. Дмитриева-Мамонова
Третьяковская галлерея, Москва

Годунове, о котором у Пушкина с Погодиным были споры (см. запись в дневнике Погодина «Пушкин и его современники», в. XXIII—XXIV, стр. 113).

[3] *«Смешная статья о Корсаре и способе переделывать Поэмы в Романт. Трагедии»* —это лишь начатая Пушкиным статья по поводу книги Олина: «Корсар, драма в 3-х действиях с хором, романсами и двумя песнями: Турецкою и Аравийскою, заимствованная из английской поэмы Лорда Байрона, под названием: The Corsair».

24. ПИСЬМО ГРИГОРИЯ СУРОВЦОВА

Казань. 20 февраля 1828 г.

Милостивый Государь, Михаил Петрович!

Общество Любителей Словесности поручило мне за доставление в оное вашего Журнала принести вам искреннейшую благодарность, а вместе с тем покорнейше просит принять на себя труд напечатать в вашем Вестнике от имени его прилагаемое при сем объявление.

Не получая на отношения свои от многих гг. иногородных членов ответов, а равно не зная и о месте пребывания некоторых, мы решились пригласить их через припечатание в вашем журнале. Не знаю, одобрите ли вы нашу меру; по крайней мере, мы не могли придумать другого способа для содействия нам в трудах наших. Многие отношения наши возвращены были к нам, потому что лица, к коим они адресованы были, не находятся в тех местах, где они, по прежним нашим сведениям, должны были находиться. Это вероятно произошло от того, что общество наше в течение семи лет принуждено было совершенно прекратить свои действия. Но мы совершенно не понимаем, почему вновь избранные члены не удостоили нас своими ответами. Ваши, Московские Е. С. Раич, А. С. Пушкин, Н. А. Полевой до сих пор не дали нам знать, угодно ли им принять наше избрание. Я бы просил вас покорнейше, узнав от них об этом, почтить меня уведомлением.

С истинным почтением и таковою же преданностию имею честь быть вашим, Милостивый Государь, Покорнейшим слугою Григорий Суровцов.

[Дальше идет текст объявления и приписка о нем].

Стр. 37а—40а № 3516. У Барсукова из этого письма ничего не напечатано. В статье Е. А. Боброва «А. С. Пушкин в Казани» («Пушкин и его современники», в. III, стр. 51) сказано только, что «Пушкин состоял членом Казанского Общества любителей словесности, председателем которого был Городчанинов».

25. ИЗ ПИСЬМА В. П. ТИТОВА

Петербург. 17 марта 1828 г.

Пушкин бесится на Атеней, утешается, браня своего критика матерщиною заодно с Булгариным[1]. А мне смешно: несмотря на глупость разбора (Аксакова или [нет] Дмитриева?) много есть поделом, и я бы душевно желал, чтобы его побольше пощелкали за Онегина. Вы, я чаю, знаете, что он едет за Государем на юг[2].

Стр. 69—72 № 3516. См. Барсуков, кн. II, стр. 183—184.

[1] Пушкин сердился на статью, подписанную В. и написанную Воейковым, в № 4 «Атенея» за 1828 г. (ц. р. 10 февраля С. Аксакова) о IV и V главах «Евгения Онегина». Статья эта перепечатана Л. Поливановым в т. IV Сочинений Пушкина, 3-е изд., стр. 97—105. С этой статьей Пушкин посчитался в заметках 1830 г.

[2] В апреле 1828 г. Пушкин просил А. Х. Бенкендорфа об определении в действующую против турок армию, но получил отказ.

26. ПИСЬМО П. А. КАТЕНИНА

Шаево, Костромской губ. 28 марта 1828 г.

Сделайте милость, извините, что не имея чести быть с Вами знакомым, я докучаю Вам покорнейшею просьбой: доставить по надписи здесь прилагаемое письмо к Александру Сергеевичу Пушкину, который, как говорят, находится теперь в Москве[1]. В нем есть порок не меньше его дарования: по нескольку месяцев без вести пропадать для знакомых и приятелей; но я полагаю, что Вы находитесь с ним в сношениях беспрерывных, и потому не трудно Вам будет меня удовлетворить. Если ж паче чаянья я ошибаюсь, благоволите мне письмо возвратить, завернув его в другой конверт на моя имя: Павлу Александровичу Катенину, Костромской губернии в город Кологрив. Надеясь однако, что Вы меня простите и в просьбе не откажете, наперед приношу Вам мою благодарность, и прошу быть уверенным в истинном почтении, с которым честь имею быть

Покорнейшим слугою Павел Катенин.
Сельцо Шаево. Марта 28-го 1828 г.

Стр. 81—83 № 3516. Ср. Барсуков, кн. II, стр. 184.

[1] Письмо, которое просит Катенин передать Пушкину, № 353 (т. II «Переписки») от 27 марта 1828 г.

27. ИЗ ПИСЬМА В. П. ТИТОВА К ПОГОДИНУ И ШЕВЫРЕВУ

Петербург. 8 июля 1828 г.

Германо-Русский Пиита Б. Розен[1] привез мне третьего дни ваши письма; обещал быть ко мне сегодня, чтоб итти со мной к Пушкину, не пришел; завтра хотел уехать в Ревель.

Мне очень жаль что наше свидание было кратко.

Стр. 179 № 3516. У Барсукова нет.

[1] Бар. Розен, Егор Фед. (1800—1860)—поэт.

28. ИЗ ПИСЬМА П. А. МУХАНОВА

Петербург. 11 августа 1828 г.

Что Вам сказать об ваших знакомых?—Титов занимается с утра до ночи своею должностью. Пушкин учится Английск[ому] языку[1]—а остальное время проводит на дачах — [....] ваших сотрудников ежедневно увещеваю вам деятельнее содействовать в журнале.

Стр. 203—205 № 3516. См. Барсуков, кн. II, стр. 185 и 190.

[1] О занятиях Пушкина английским языком см. мою статью «Пушкин и английский язык» в XVII—XVIII вв. «Пушкин и его современники».

29. ИЗ ПИСЬМА С. П. ШЕВЫРЕВА

Петербург. 11 сентября 1828 г.

За то, что ты мне присоветовал ехать в Питер, я тебя благодарю душевно; но, может быть, ты найдешь во мне большие перемены после двух недель Петерб. жизни. Для меня они должны быть к лучшему, след. и тебе понравятся, если ты меня любишь. Может быть, не согласны они с твоими планами,—это другое дело.

Жуковский говорит мне, что Круг[1] здесь воет о тебе: давайте мне Погодина. След[овательно] есть надежда, и верная, что ты по приезде Государя переедешь в Питер. Так у меня одного на плечах останется

Москов[ский] Вестн[ик], ибо здесь сотрудники решительно неверные. Это узнал я по опыту. Нет, друг мой, если ты сколько-нибудь меня любишь, если сколько-нибудь ценишь Шевырева, как литтератора, то пощадишь мое время и скажешь мне: «не берись за это дело. Тебе не то назначено. Учись, приготовляй, собирай».—Это голос души моей: его я слышал от Жуковского, от Пушкина, от Титова. Этот же голос надеюсь от тебя услышать, если ты друг мне. Душа просит других занятий—и все ей отвечает: да.

Какая прекрасная перспектива в жизни открылась мне здесь. Сколько впечатлений новых, свежих. Все перескажу при свидании.

Стр. 255—258 № 3516. См. Барсуков, кн. II, стр. 179—180, 190, 232—233.

[1] Круг, Филипп Ив. (1764—1844)—археолог, академик.

30. ИЗ ПИСЬМА С. П. ШЕВЫРЕВА

Петербург. 15 сентября 1828 г.

Пишу к тебе от Одоевского[1] и спешу к Пушкину читать у него главу[2] из Романа для Альманаха.

Стр. 267—270 № 3516. Ср. Барсуков, кн. II, стр. 233.

[1] Кн. Влад. Фед. Одоевский.

[2] IV глава из исторического романа [«Арап Петра Великого»] напечатана в альманахе «Северные Цветы» на 1829 г.

31. ИЗ ПИСЬМА В. П. ТИТОВА

[Петербург. Первая половина октября? 1828 г.]

Знаете ли вы, что Вяз[емский] сочинил ругательство на Вестник и прислал его к Жук[овскому] отдать здесь в Цензуру, ибо Московская пропустить не хотела? Вчера сказал мне это Пушкин.

Стр. 443—444 № 3518. У Барсукова нет.

Вплетено в конец тома писем за 1831 г., но мы датируем первой половиной октября 1828 г. (до отъезда Пушкина из Петербурга в Москву в ночь с 19-го на 20 октября), полагая, что речь идет о полемике кн. П. А. Вяземского с Погодиным по поводу помещения последним в «Московском Вестнике» (с № 19-го) замечаний Арцыбашева на «Историю государства российского» Карамзина.

32. ИЗ ПИСЬМА В. П. ТИТОВА

Петербург. 15 ноября 1828 г.

Кошелев[1] еще не отдал Козлову Геца[2], потому что был болен. Пушкин в деревне[3]. Одоевский прислать романа не решается, но отдал Шевыреву некоторые пьесы для помещения[4]. Пушкин написал Мазепу; первый стих: «богат и силен Кочубей»[5].

Стр. 355—358 № 3516. Ср. Барсуков, кн. II, стр. 185 (на стр. 298—299 другой отрывок из этого письма).

[1] Алдр. Иван. Кошелев.

[2] Очевидно Погодин послал Козлову в подарок свой перевод «Геца фон Берлихингена» Гете, изданный в 1828 г. в Москве.

[3] В ночь с 19-го на 20 октября 1828 г. Пушкин из Петербурга выехал в с. Малинники Тверской губ.

[4] О каком романе идет речь—неизвестно. Во II части «Московского Вестника» за 1829 г. был напечатан только отрывок Одоевского «Утро ростовщика» с подписью «К».

[5] «Мазепа»—это «Полтава», писавшаяся в октябре 1828 г.

„СУББОТА У ЖУКОВСКОГО“

Картина маслом неизвестного художника

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

33. ИЗ ПИСЬМА Н. И. ЛЮБИМОВА

Петербург. 8 января 1829 г.

[Из приписки Титова:] Прощай, кланяйся лично Пушкину[1], письменно рыцарю фортуны Шевыреву.

Стр. 467 № 3516. См. Барсуков, кн. II, стр. 260.

Ник. Ив. Любимов (1811—1875)—с 1836 г. начальник отделения Азиатского департамента Мин. ин. дел, впоследствии сенатор, друг Погодина.

[1] С 6 декабря 1828 г. по 7 января 1829 г. Пушкин жил в Москве.

34. ИЗ ПИСЬМА ГРИГ. ИВАН. СОКОЛОВА

Село Черняковка, Елизаветградского уезда, Херсонской губ. 4 февраля 1829 г.

О месте же пребывания не скажу ничего на первый раз; только чтоб Вы не думали, что мы заехали в страны варварства и непросвещения, сообщу Вам анекдот не вымышленный, но истинный: в том ручаюсь честью своею.—У нас в соседстве живет прекрасная старушка, Малороссийская дворянка в полном смысле. У нее, как водится, полдюжины воспитанниц, которые помешаны на новейших сочинениях, особливо на произведениях Пушкина. Старушка, вслушиваясь в их беспрестанные разговоры о текущей словесности, получила также охоту к Литтературе (каково!) и заставила громко читать себе все, что ни выходило новенького.—Когда дело дошло до письма Татьяны, то оскорбленная честность ее громко возопила и она с сердечным негодованием сказала: ека проклята дивка! нехай сиби писала, да в свит бы не выдавала; и еще очень сердилась: зачем Татьяну в свит вывезли[1]. Можете судить по етому, что и в наших степях раздаются отголоски литтературных произведений, что и у нас существуют самостоятельные литтературные мнения.—Я припомнил, что в прошедшем году в Вашем Вестнике были подслушанные Вами суждения об Онегине[2]; и етот отрывок мог бы помещен быть, только с подписью: от степного корреспондента.

Стр. 29—32 № 3516. Ср. Барсуков, кн. II, стр. 232. Письмо по ошибке отнесено к 1828 г. и поэтому вплетено не на месте. Гр. Ив. Соколова Барсуков называет «совершенно нам неизвестным». Неизвестен он и нам.

[1] О том, «как Татьяну в свет вывезли», старушка узнала из отрывка из седьмой главы «Москва», напечатанного в № 1 «Московского Вестника» за 1828 г. Полностью седьмая глава «Евгения Онегина» вышла лишь 18—19 марта 1830 г. (см. Синявский и Цявловский. «Пушкин в печати», ор. 677).

[2] В № 4 «Московского Вестника» 1828 г. помещены толки о четвертой и пятой главах «Евгения Онегина», подслушанные в обществе.

35. ИЗ ПИСЬМА С. П. ШЕВЫРЕВА

Петербург. 18 февраля 1829 г.

В субботу вечером в 5 часов, любезный друг Мих[аил] Петр[ович], я приехал сюда[1]. Из дилиж[анса] прямо к Титову, оттуда к княгине[2] и остановился у князя Никиты Григорьевича Волконского[3] [....]

Пушк[ин] здесь[4]. Я не застал его. У Жуковского еще не был.

Подлинник—в ИРЛИ (Дашковское собрание). Сообщено И. С. Зильберштейном.

[1] С. П. Шевырев, получив место наставника сына кн. Зинаиды Александровны Волконской, приехал из Москвы 16 февраля («в субботу») 1829 г. в Петербург, чтобы отсюда ехать с ней в Италию.

[2] Кн. З. А. Волконская.

[3] Кн. Никита Григорьевич Волконский (1781—1841), муж кн. З. А. Волконской.

[4] Пушкин приехал из Тверской губернии в Петербург 18 января 1829 г.

36. ИЗ ПИСЬМА С. П. ШЕВЫРЕВА

Петербург. 25 февраля 1829 г.

[...]Пушкин мне очень обрадовался. Он весьма ласков. Вчера мы провели с ним вместе вечер у Дельвига[1]. Я видел кой-какую Литературную сволочь Петербургскую. Сколько уродства! Как глуп Сомов! Мы с ним говорили как друзья—и он в изустном разговоре тотчас соглашается со всем, что ни скажу я, так, как и в печатном. Он глуп до крайности[2]. Видел я Подолинского: он все молчал. Это мальчик, вздутый здешними панегиристами и Полевым. Он либо еще ребенок, либо без цемента. Пушкин говорит: «Полевой от имени человечества благодарил Подол[инского] за «Дива и Пери», теперь не худо бы от имени вселенной побранить его за «Борского»!»[3] Тут были еще какой-то краснощекой Корсак[4], очень добрый и умный, кажется, в своем роде доктор Спасский[5] и еще кто-то! Сомов бранит Булгарина и пророчит о разрыве его с Гречем: вот штука-то! К Св[ятой] Нед[еле] выдет Дельвига «Подснежнию»[6]: на барыш сделается обед для всех Петерб[ургских] Литер[аторов] и выпишут, может быть, и Московских.

Жук[овского] я до сих пор не видал: все не застаю дома. Завтра буду у Козлова. Был я у Гнедича, который весьма дружелюбно меня принял,—также и Крылов.

Об Моск[овском] Вестн[ике] ни с кем я не говорил. Да, еще у Д[ельвига] познакомился с очканосым Илличевским[7]. О «Черной Немочи» твоей никто не сказал мне своего мнения[8]. — Да, равнодушие ко всему здесь ужасно.

Почти сейчас я возвратился от Графини Лаваль, у которой обедал. Какие картины, какой Гвидо Рени, какие вазы, мраморы и проч. и проч.! Я хвалю тебе, как будто самой Графине[9]. Великолепно все, но скучно. Я беспрестанно то в кругу знати, то с друзьями нашими. Надоела эта продолжительная рассеянность. В Воскресенье завтракали мы все[10] у Одоевского[11], а обедал я у К[нягини] Белосельской[12]. Князь Волкон[ский][13] тебе кланяется. Илиада Гнедича до половины уже написана. Он намерен, по окончании труда, переехать в Москву на житье.

Дочь Графини Лаваль, Софья[14], интересовалась тобою и спрашивала: чем ты теперь занимаешься. Другая, Александрина[15], говорила князю Волкон[скому], что я теперь очень люблю петь кровь и раны в стихах моих (сиречь в стих[отворениях] на смерть Императрицы[16] и в «Таинстве Дружбы»[17]. На это я исподтишка отвечаю ей стихами, которые ты прочтешь в «Подснежниках» [18].

Обойми милого Серг[ея] Тимоф[еевича][19]. Поцелуй ручку у Ольги Семенов[ны][20] и перецелуй их милых детей[21]. Непременно буду писать Сергею Тимоф[еевичу] особо и делить свои письма между тобою[22] и им. Всем милым нашим друзьям кланяйся. Скажи Верстовскому[23] что я начитываюсь сказок Русских, что «Вадим» скоро будет кончен, лишь только нужно сесть на месте[24].

Хотелось бы мне в здешнем Университете заглянуть на лекции, но едва ли успею. Мне ужасы рассказывали о Бутырском[25].

Прощай. У маминьки своей[26] поцелуй за меня ручку и всем твоим кланяйся.

Твой Ш.

От других я слышал выгодные отзывы о твоем переводе «Геца»[27] и Орлов[28] написал статью против Булгарина в замещение тебя, да тот разумеется не поместил. Письмо посылаю 26-го февраля. Едем мы в Четверг или в Пятницу, но Бог знает: может быть и еще отложим[29].

Подлинник в ИРЛИ (Дашковское собрание). Сообщено И. С. Зильберштейном.

[1] По средам и воскресеньям у Дельвига бывали литературные собрания. Собрание в воскресенье 24 февраля и описывает Шевырев.

[2] Орест Михайлович Сомов (1793—1833)—писатель, сотрудничавший в журналах Булгарина «Сыне Отечества» и «Северной Пчеле», а затем ближайший помощник Дельвига в редактировании «Северных Цветов» и «Литературной Газеты». Резкий отзыв Шевырева о Сомове явно пристрастен.

[3] Андрей Иванович Подолинский (1806—1886)—поэт. Первое печатное его произведение, поэма «Див и Пери», появившаяся в 1827 г., было встречено хвалебной рецензией Н. Полевого в «Московском Телеграфе» 1827 г., ч. XVIII, № 21. В рецензии нет фразы, которую привел, по словам Шевырева, Пушкин. Последний вероятно разумел следующие слова Полевого: «Скажем, что перечитав поэму г-на Подолинского, мы провели несколько сладостных часов и благодарим его, как поэта и как человека, глубоко чувствующего и умеющего трогать вечные струны человеческого сердца» (стр. 89). «Борский»—вторая поэма Подолинского, вышедшая в свет в 1829 г.

[4] Корсак (полная фамилия, как он подписывался—Римский-Корсак, правильнее Римский-Корсаков), Александр Яковлевич, товарищ Л. С. Пушкина и М. И. Глинки по пансиону при Главном Педагогическом институте, второстепенный поэт.

[5] Иван Тимофеевич Спасский (1795—1859)—доктор медицины, профессор Петербургской Медико-хирургической академии, домашний врач семьи Пушкина, автор записки о болезни и смерти поэта.

[6] В альманахе Дельвига «Подснежник» на 1829 г. были напечатаны произведения, которые за недостатком места не вошли в «Северные Цветы» на 1829 г.

[7] Алексей Демьянович Илличевский (1798—1837)—товарищ Пушкина и Дельвига по лицею, второстепенный поэт.

[8] «Черная немочь»—повесть Погодина, напечатанная во II части «Московского Вестника» за 1829 г.

[9] Французский эмигрант гр. Иван Степанович Лаваль (1761—1846), управляющий 3-й экспедицией особой канцелярии министерства иностранных дел, был женат на богачке Александре Григорьевне Козицкой (1777—1850). Салон их в великолепном доме на Английской набережной был одним из первых в Петербурге. Гвидо Рени (1576—1642)—живописец болонской школы.

[10] Очевидно кн. З. А. Волконская, ее сын кн. Александр Никитич (1811—1878) и Шевырев.

[11] Кн. В. Ф. Одоевский.

[12] Кн. Анна Григорьевна Белосельская-Белозерская (1767—1846), рожд. Козицкая, вдова князя Александра Михайловича (1752—1809), мачеха кн. З. А. Волконской.

[13] Очевидно воспитанник Шевырева кн. А. Н. Волконский.

[14] Дочь И. С. и А. Г. гр. Лаваль гр. Софья Ивановна (1809—1871) в 1833 г. вышла замуж за гр. Александра Михайловича Борха (1804—1867), бывшего впоследствии директором императорских театров.

[15] Гр. Александра Ивановна Лаваль (1811—1886) в августе 1829 г. вышла замуж за гр. Станислава Осиповича Корвин-Коссаковского (1795—1872), впоследствии сенатора и председателя Герольдии Царства Польского.

[16] Стихотворение Шевырева «В бозе почиющей благотворительнице народа», напечатанное в № XXIII и XXIV «Московского Вестника» за 1828 г.

[17] Стихотворение Шевырева «Таинство дружбы», напечатанное в I части «Московского Вестника» за 1829 г.

[18] Стихотворение Шевырева «Партизанке классицизма», напечатанное в альманахе «Подснежник» 1829.

[19] С. Т. Аксаков.

[20] О. С. Аксакова, жена С. Т. Аксакова.

[21] В это время у С. Т. и О. С. Аксаковых были дети: Константин (1813—1860), Вера (1819—1864), Григорий (1820—1891), Ольга (1821—1861), Иван (1823—1886) и Михаил (р. в 1824 г.).

[22] Письма Шевырева к Погодину напечатаны в «Русском Архиве» 1882 г., №№ 5 и 6 и 1883 г., № 1.

[23] Верстовский, Алексей Николаевич (1799—1862), композитор, в это время инспектор музыки при Московском театре.

[24] Опера Верстовского «Вадим или двенадцать спящих дев» на текст Шевырева впервые была поставлена в Москве в 1832 г.

[25] Никита Иванович Бутырский (1783—1848)—профессор поэзии в Петербургском университете.

[26] Аграфена Михайловна Погодина (ум. в 1850 г.).

М. П. ПОГОДИН
Рисунок Э. Д. Дмитриева-Мамонова
Собрание Бэр, Москва

[27] В 1828 г. вышел в свет перевод Погодина трагедии Гете «Гец фон Берлихинген, железная рука».

[28] Какого Орлова разумеет Шевырев, сказать не можем.

[29] 28 февраля (четверг) Шевырев писал Погодину: «Едем через два часа».

37. ИЗ ПИСЬМА В. ТРОИЦКОГО

Петербург. 2 июля 1829 г.

Жаль М. Т. Каченовского. Да и для чего позволяет себе излишнее Пушкин. В эпиграммах уж он пересаливает[1].

Стр. 647—648 № 3516. У Барсукова нет.

Вас. Дм. Троицкий—приятель Погодина, коллежский асессор, с 1828 по 1833 г. адъюнкт по кафедре латинской и русской словесности в Царскосельском лицее.

[1] Троицкий повидимому имеет в виду эпиграммы Пушкина на Каченовского: «Журналами обиженный жестоко» (напеч. в апреле 1829 г. в № 7 «Московского Телеграфа»), «Там где древний Кочерговский» (там же, в № 8) и «Литературное Известие» (в «Подснежнике на 1829 г.»).

38. ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАПИСОК[1] КН. З. А. ВОЛКОНСКОЙ

Огромные горы, которыми я долго восхищалась, мне теперь кажутся тюрьмою,—и я скажу с нашим Пушкиным: Мне душно здесь, я в лес хочу[2]... но в лес лавровый...

Стр. 727 № 3516.

[1] Отрывки из путевых записок кн. З. А. Волконской были посланы ею Погодину при письме из-за границы от 29 октября 1829 г. и напечатаны в № 1 «Московского Вестника» за 1830 г., стр. 140—151.

[2] Цитата из «Братьев-разбойников» Пушкина.

39. ИЗ ПИСЬМА Ю. И. ВЕНЕЛИНА

Петербург. 22 января 1830 г.

Наконец добрался до Кн. А. А. Шаховского[1] в Коломну в доме Лемана: принял по-Московскому, т. е. обрадовался, по крайней мере мне так показалось; и утешало при свидании с добрыми Москвитянами. Ругает Полевого; у него был до меня А. Пушкин, тоже ругает; статья об Истории Русск[ого] Народа в Литер[атурной] Газете сего Последнего[2] (между нами сказано; мне сообщено с тем, чтобы не высказывать, скажите Сергею Тимофеевичу[3], но не далее).

Лл. 30_1—31_2 № 3517. Ср. Барсуков, кн. III, стр. 117.

Юрий Ив. Венелин (1802—1839)—историк славянских народов.

[1] Шаховской кн., Алдр. Алдр. (1777—1846)—драматург.

[2] Статья об «Истории русского народа» Полевого в № 4 от 16 янв. «Литературной Газеты» за 1830 г.

[3] Аксакову.

40. ИЗ ПИСЬМА Ю. И. ВЕНЕЛИНА

Петербург. 26 января 1830 г.

Был в Казанской[1] и в Католической[2]; а после у кн. Шаховского; просил у меня неотступно статьи (кажется по прошению же) для Газеты[3] против Истории Русск[ого] Народа[4], обещался доставить книгу[5]: Опять был у него Пушкин; зайду к нему.

Л. 32_2 № 3517. У Барсукова нет.

[1] Казанский собор.

[2] Католическая церковь.

[3] Какая газета здесь разумеется, сказать трудно. Едва ли это «Литературная Газета».

[4] Полевого.

[5] Вероятно Венелин имеет в виду свою книгу «Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к россиянам». М., изд. 1829 г.

41. ИЗ ПИСЬМА Ю. И. ВЕНЕЛИНА

Петербург. 12 февраля 1830 г.

Зубы у Гриши прошли. Знаете ли, у Пушкина вырос Литературный зуб на 30 и 35-ом от рождения. Кусается[1]. Почему ж вы об этом явлении не известили общество Московских Натуралистов.

Лл. 85—87 № 3517. У Барсукова нет.

[1] Повидимому Венелин разумеет статьи Пушкина в «Литературной Газете»: «О литературной критике» в № 3 (от 11 января 1830 г.), статью об «Истории русского народа» Полевого в № 4 (от 18 января) и статью о записках Самсона в № 5 (от 21 января).

42. ИЗ ПИСЬМА Ю. И. ВЕНЕЛИНА

Петербург. 14 февраля 1830 г.

У Сленина два раза спотыкнулся с Пушкиным. Кажется, что из него ввек ничего не будет, кроме юмористического Стихотворца.

Стр. 89—92 № 3517. Ср. Барсуков, кн. III, стр. 122.

Ив. Вас. Сленин (1789—1836)—издатель, книгопродавец, у него часто собирались литераторы.

43. ИЗ ПИСЬМА А. В. ВЕНЕВИТИНОВА

Петербург. 4 марта 1830 г.

Вяземский здесь, но я его еще не видал—Он был болен в Новгороде—Пушкина и Дельвига часто вижу—Первый скоро отправляется к Вам [1].

Стр. 149—151 № 3517. См. Барсуков, кн. III, стр. 66.

Алексей Владимирович Веневитинов (1806—1872)—брат поэта; впоследствии сенатор и товарищ министра уделов.

[1] Пушкин выехал из Петербурга в Москву 4 марта 1830 г.

44. ПИСЬМО А. С. ХОМЯКОВА

[Петербург. Между 12 и 28 апреля 1830 г.]

Любезный Михаил Петрович. Я бы и рад был приняться за дело и исполнить ваше поручение, но, во-первых, я боюсь, что Пушкин узнает про его, а ему что-то крепко этого не хочется, во-вторых, у меня голова слаба и как будто опустела от лихорадки, а глаза так разболелись, что мне даже читать много не позволяют.

А. Хомяков.

Л. 205 № 3517. У Барсукова нет.

Письмо не датировано, но вплетено между письмами от 12 и 28 апреля 1830 г. О каком литературном поручении идет речь, объяснить не можем.

45. ИЗ ПИСЬМА В. М. РОЖАЛИНА

Село Троицкое. 23 мая 1830 г.

Сюда слух пришел, что Пушкин женится: уж он и в самом деле огончарован [1].

Стр. 263—266 № 3517. У Барсукова нет.

[1] Выражение из приписывавшегося (не без оснований) Пушкину двустишия: «Я пленен, я очарован, я совсем огончарован».

46. ИЗ ПИСЬМА Ю. И. ВЕНЕЛИНА

Одесса. 28 мая 1830 г.

Будь хоть Гермафродит или Евнух, приходит пора, созреваешь, тут-то и без всякой физической нужды, родится тоска по гнезду, которая сгибает спину самого гордого человека перед этим законом; примером и доказательством этому служит Пушкин, как вы меня извещаете и всякий другой, кто только женат. Я думал, что певец присягнул навечную своей Музе; а молодец вишь вот как! Дай Бог ему! Жаль что не могу сделать лично моего поздравления его прелестной невесте [1] (говорю прелестной не видав ее, ибо всякая невеста сама по себе прелестна). Впрочем куда сунуться к знаменитой Поэтше смиренному и плохому прозаисту.

Стр. 257—260 № 3517. Ср. Барсуков, кн. III, стр. 34.

[1] 6 мая 1830 г. Пушкин был помолвлен с Н. Н. Гончаровой.

47. ИЗ ПИСЬМА А. В. ВЕНЕВИТИНОВА

Петербург. 8 июня 1830 г.

Познакомился ли с невестою Пушкина? Какова?

Стр. 309—311 № 3517. См. Барсуков, кн. III, стр. 103.

48. ИЗ ПИСЬМА Ю. И. ВЕНЕЛИНА

Одесса. 16 июня 1830 г.

Что Шевырев? Что Пушкин? Я как в Арабистане ничего не знаю, не слышу.

Стр. 291—294 № 3517. У Барсукова нет.

49. ИЗ ПИСЬМА Ю. Н. БАРТЕНЕВА

Кострома. 18 июля 1830 г.

Еще усерднее поздравил бы Вас, ежели бы Вы подобно Певцу Онегина, очаровали себя и потом огончаровали[1].

Стр. 395—397 № 3517. См. Барсуков, кн. III, стр. 102.

Юрий Никитич Бартенев (1792—1866) был в это время директором училищ Костромской губернии.

[1] См. примечание к № 45.

50. ИЗ ПИСЬМА ГР. Д. И. ХВОСТОВА

Петербург. 26 августа 1830 г.

Александр Сергеевич Пушкин недавно сказывал мне, что Николай Михайлович[1] всегда изъясняется на мой счет с особливою благосклонностью.

Стр. 419—421 № 3517. Ср. Барсуков, кн. III, стр. 92.

Гр. Дм. Ив. Хвостов (1757—1835)—поэт.

[1] Языков.

51. ИЗ ПИСЬМА А. Ф. МАЛИНОВСКОГО[1]

26 сентября 1830 г.

Научите меня, почтеннейший Михаил Петрович, куда и как доставить письмо Серг. Льв. Пушкина к сыну его[2].

Стр. 491. У Барсукова нет.

[1] Малиновский, Алексей Фед. (1762—1840)—начальник Московского архива Коллегии иностранных дел.

[2] Письма Сергея Львовича не сохранилось. Сергей Львович лето 1830 г. жил в Михайловском. Он очевидно не знал об отъезде Пушкина 31 августа из Москвы в Болдино.

52. ИЗ ПИСЬМА Ю. И. ВЕНЕЛИНА

Бухарест. 2 ноября 1830 г.

Что Степан Петрович?[1] Что Рожалин? Что Пушкин, Хомяков, Языков? Если ничего, так скажи им, пусть стыдятся есть хлеб Русский понапрасну, только скажи от себя, а не от меня им так мало известного.

Стр. 585—588 № 3517. См. Барсуков, кн. III, стр. 152.

[1] Шевырев.

И Борисъ не умѣлъ сыскать *одного* человѣка, съ руками потверже, (который, казалось бы, только и нуженъ былъ ему съ самаго начала вмѣсто всѣхъ совѣщаній и выборовъ), не умѣлъ сыскать одну знающую старуху, кои по нашимъ деревнямъ портятъ людей!

Нѣтъ: — Борисъ только что *досадовалъ*, и за неимѣніемъ способныхъ исполнителей рѣшился *перемѣнить* свое намѣреніе, и вмѣсто тихаго яда дѣйствовать звонкимъ ножемъ!

Чтоже? Этотъ опытный знатокъ людей открывается опять двумъ человѣкамъ, (двадцатымъ?), которые отказываются исполнить его порученіе, и предаются гоненію! (даже и не смерти?). Могъ ли Борисъ знать сихъ людей и питать ихъ нерасположеніе къ себѣ, во всякомъ случаѣ для него опасное? Онъ вѣрно или убилъ бы ихъ, или наградилъ безъ мѣры. Наконецъ отправляются въ Угличъ Битяговскій, представленный Клешнинымъ, съ сыномъ и Качаловымъ, удостоенные также совершенной довѣренности Годунова... Неслишкомъ ли уже дешева эта довѣренность Борисова?

И Борисъ (который былъ такъ осторожень во всѣхъ подобныхъ случаяхъ, что велѣлъ доносить напримѣръ себѣ всякое *слово сосланнаго Филарета*, Кар. XI, 104), не умѣлъ *растолковать* убійцамъ,

СТРАНИЦА СТАТЬИ ПОГОДИНА О „БОРИСЕ ГОДУНОВЕ“ ИЗ „МОСКОВСКОГО ВЕСТНИКА“ С ПОМЕТАМИ ПУШКИНА

Театральный музей им. Бахрушина, Москва

53. ИЗ ПИСЬМА Н. М. ЯЗЫКОВА

[1830 г.]

Пушкин, говорят, много написал нового. Слух, что женитьба его расстроилась, оказался ложным[1].

Стр. 663—664 № 3517. См. Барсуков, кн. III, стр. 71.

[1] 28 августа 1830 г. Пушкин написал Н. Н. Гончаровой, что возвращает ей ее слово. Вследствие этого могли разойтись слухи о расстроившейся свадьбе.

54. ИЗ ПИСЬМА Ю. ВЕНЕЛИНА

Бухарест. 5 января 1831 г.

Я рад, что у Пушкина наконец появилась девятая Голова; а 9 голов в нынешней Романистике не шутка[1]. Еще в Одессе узнал я из твоего письма, что он сделался двуглавым[2]; чай скоро у него появится и третья глава; дай ему Лада сей дар; иначе почту его за худого Поэта. Шутки в сторону: слава ему и за Годунова.

Письмо ошибочно вплетено в том писем за 1832 г. (лл. 214—215).

[1] Очевидно Погодин извещал Венелина, что Пушкин окончил девятую (впоследствии ставшую восьмой) главу «Евгения Онегина», на что витиевато и отвечает Венелин.

[2] Извещение о свадьбе Пушкина было преждевременным.

55. ИЗ ПИСЬМА А. В. ВЕНЕВИТИНОВА

Петербург. 16 января 1831 г.

Бориса Годунова здесь не понимают. Безмозглые! Кстати, что свадьба Пушкина?[1]

Стр. 31—33 № 3518. У Барсукова нет.

[1] Свадьба Пушкина состоялась 18 февраля 1831 г. в Москве.

56. ИЗ ПИСЬМА А. В. ВЕНЕВИТИНОВА

Петербург. 6 апреля 1831 г.

Ал. Пушкин говорят также скоро будет сюда[1] с своею мадонною[2], которая здесь уже много прошумела.

Стр. 97—100 № 3518. Ср. Барсуков, кн. III, стр. 274.

[1] Пушкин с женой приехал из Москвы в Петербург 18 мая.

[2] Стихотворение Пушкина «Мадонна» было напечатано в альманахе «Сиротка», вышедшем в свет в конце января—не позже 25 февраля 1831 г. (см. Синявский и Цявловский. «Пушкин в печати», М., 1914), и повидимому жену Пушкина после этого стали называть «мадонной».

57. ИЗ ПИСЬМА А. В. ВЕНЕВИТИНОВА

Царское Село. 28 июля 1831 г.

Теперь же скажу тебе, что я часто здесь вижу Жуковского и Пушкина[1] [....] Пушкин сказал мне, что он говорил Бенкендорфу о твоей Марфе, и что Бенкендорф отвечал ему оставить это до того времени, пока эти смутные обстоятельства прекратятся[2]—Кстати о Пушкине—Он премило живет с своей премиленькой женой, любит её, ласкает и совсем не бесчинствует—Не знаю, чем он теперь занят; но знаю, что Царь велел для него открыть все Архивы в нашем Государстве, и что он имеет позволение в них рыться, сколько хочет[3].

Стр. 239—241 № 3518. См. Барсуков, кн. III, стр. 247—275 и 276.

[1] Пушкины жили в Царском Селе с 25 мая до середины октября 1831 г.

[2] Трагедия Погодина «Марфа Посадница» была отпечатана в сентябре 1830 г. (цензурное разрешение 26 августа), но в свет не была выпущена. В письме от

10 марта 1831 г. к С. Т. Аксакову, цензуровавшему трагедию, Бенкендорф рекомендовал «отложить обнародование сего сочинения до перемены нынешних смутных обстоятельств», разумея под последними польскую революцию. Пушкин принял участие в этом деле и 26 марта писал Плетневу, чтобы Жуковский выхлопотал у Бенкендорфа позволение выпустить в свет трагедию. Хлопотал ли Жуковский— неизвестно, но 3 июня Погодин спрашивал Пушкина: «Не слыхали ли вы чего-нибудь о «Марфе» от Жуковского или Блудова? Уведомьте пожалуйста. Мне это необходимо к сведению, и скоро ли можно выпустить». В ответ на это Пушкин писал в конце июня: «Вы удивляете меня тем, что трагедия ваша еще не поступила в продажу. Веневитинов сказывал мне, что она уже вышла, потому-то я и не хлопотал об ней. Непременно надобно ее выдать и непременно буду писать при первом случае об этом к Бенкендорфу». Бенкендорфу Пушкин не написал, а в следующем письме к Погодину извещал его: «У Бенкендорфа был я для вас же, но не застал его дома. Он в Царском Селе остается, следственно на-днях буду толковать». О результатах этого разговора и извещал Веневитинов Погодина.

[2] О разрешении Николая Пушкину заниматься в архивах поэт извещал Плетнева 22 июля.

58. ИЗ ПИСЬМА С. А. ХОМЯКОВА

13 августа 1831 г.

Он[1] очень любуется Кавказскою страною, но не думаю, чтобы сие возбудило его перо; тем более, что Пушкиным почти все уже лучшее сказано. Пушкин в Петербург[2] повез полный портфель новостей, но по сие время что-то ничего еще не является.

Стр. 263 № 3518. У Барсукова нет.

Степан Александрович Хомяков—отец Ф. С. и А. С. Хомяковых.

[1] Алексей Степанович Хомяков.

[2] Пушкин в это время был еще в Царском Селе.

59. ИЗ ПИСЬМА И. А. ГУЛЬЯНОВА

15 сентября 1831 г.

Кланяйтесь Пушкину, Жуковскому и любезному Веневитинову.

Стр. 283—284 № 3528. См. Барсуков, кн. III, стр. 357.

Гульянов, Ив. Алдр. (1789—1841)—египтолог.

60. ИЗ ПИСЬМА С. Т. АКСАКОВА

Москва. 20 сентября 1831 г.

Ради Христа исключите все из Петра, что может сделать боль глазам близоруким. Вся моя надежда на А. С. Пушкина: мне кажется, что он скажет то же[1].

Стр. 293 № 3518. См. Барсуков, кн. III, стр. 334.

Сергей Тимоф. Аксаков (1791—1859)—писатель.

[1] Трагедию «Петр» Погодин писал с 28 января по 24 июля 1831 г. (см. Барсуков, кн. III, стр. 253 и 310). 5 мая написанное он прочел Пушкину, который, по словам Погодина в дневнике, «хвалит, но не так живо, как Марфу» (см. «Пушкин и его современники», в. XXIII—XXIV, стр. 114). В сентябре Погодин повез трагедию в Петербург, чтобы через Жуковского и Пушкина провести ее в печать. В напутствие ему и писал Аксаков 20 сентября.

61. ИЗ ПИСЬМА С. Т. АКСАКОВА

Москва. 2 октября 1831 г.

Обратимся к Петру[1]. Нельзя было предполагать, чтоб Жуковский и Пушкин не приняли в нем участия; кому ж, как не им, быть добросовестными ценителями? Но вот в чем дело: одного литературного

участия недовольно; надобно, чтоб они оказали вам возможную помощь и с другой стороны [......] мы все кланяемся в ножки Пушкину за оглавление нового романа!.. Прелесть, чудо! Вот так надобно казнить бездельников и не судить их, как литераторов[2].

Стр. 299—302 № 3518. См. Барсуков, кн. III, стр. 335 и 352.

[1] Приехав 28 сентября 1831 г. в Петербург, Погодин 29-го или 30-го читал «Петра» в Царском Селе у Жуковского ему и Пушкину. «Оба были очень довольны», вспоминал впоследствии Погодин. Об этом успехе, вероятно в тот же день, извещал Погодин Аксакова, который и отвечал ему 2 октября.

[2] Речь идет о статье Пушкина «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем», напечатанной в № 15 «Телескопа» за 1831 г. В конце статьи Пушкин в виде «содержания» романа «Настоящий Выжигин» рассказывает намеками о ряде темных эпизодов в жизни Булгарина.

62. ИЗ ПИСЬМА Н. И. НАДЕЖДИНА СОВМЕСТНО С С. Т. АКСАКОВЫМ И А. Ф. ТОМАШЕВСКИМ

[Москва] 5 октября [1831 г.]

Извести, что говорят о Телескопе?[1] Какое общее мнение? Чем довольны? Чего требуют? Особенно повыспроси Пушкина и Жуковского.

Стр. 305 № 3518. См. Барсуков, кн. III, стр. 335.

Ник. Ив. Надеждин (1804—1856)—критик, профессор Московского университета.

[1] Журнал Надеждина, издававшийся с 1831 по 1836 г.

63. ИЗ ПИСЬМА Г. П. ПОГОДИНА

Москва. 14 октября 1831 г.

Мне тоже кажется, что вам делать теперь совершенно нечего в Петербурге, а надобно как можно спешить в Москву, разумеется с письмами от Жуков[ского] и Пушк[ина] к Г. Бен[кендорфу]; так говорит и Серг[ей] Тимоф[еевич][1]. Судьба[2].

Стр. 329—331 № 3518. У Барсукова нет.

Григорий Петрович Погодин—младший брат Михаила Петровича.

[1] Аксаков.

[2] Речь идет о разрешении к печати «Петра».

64. ИЗ ПИСЬМА Н. И. ЛЮБИМОВА

Петербург. 8 декабря 1831 г.

Прилагаемое при сем письмо[1] я не мог вручить по принадлежности, по причине отъезда Пушкина в Москву[2], и потому препровождаю к вам его обратно по оказии, любезнейший Михаил Петрович.

Стр. 399 № 3518. У Барсукова нет.

[1] Это письмо Погодина не дошло до нас.

[2] Пушкин выехал из Петербурга в Москву 3 декабря.

65. ИЗ ПИСЬМА О. М. СОМОВА

Петербург. 4 января 1832 г.

Пушкин благодарит вас, Милостивый Государь Михайло Петрович, за ваш подарок Северным Цветам[1] и посылает вам экземпляр оных.

Л. 3 № 3519. У Барсукова нет.

[1] В изданном Пушкиным в пользу семьи А. А. Дельвига альманахе «Северные Цветы на 1832 г.» была напечатана статья Погодина «Нечто о науке (отрывок из письма к графине N)».

66. ИЗ ПИСЬМА ГР. Д. И. ХВОСТОВА

Петербург. 21 января 1832 г.

Я даже больной писал стихи и послал рукопись с оных сегодни же к Ник[олаю] М[ихайловичу] Языкову. Это послание к Знаменитому Пушкину, которое еще досель не напечатано[1]. Коли угодно полюбопытствуйте оное видеть рукописное у Языкова.

Л. 9 № 3519. Ср. Барсуков, кн. III, стр. 362.

[1] Хвостов разумеет вероятно свое стихотворение «А. С. Пушкину, члену Российской Академии, при случае чтения стихов его о клеветниках России», посланное им Пушкину в октябре 1831 г.

67. ИЗ ПИСЬМА А. В. ВЕНЕВИТИНОВА

Петербург. 5 марта [1832 г.]

Благодарю тебя, любезный друг Погодин, за доставление мне знакомства Г-на Якимова[1] [....] Я его познакомил с Одоевским[2], и на сих днях мы с ним вместе поедем к Пушкину.

Л. 25 № 3519. Ср. Барсуков, кн. IV, стр. 123.

[1] Якимов, Вас. Яков. (1800—1853)—профессор-словесник Харьковского университета, переводчик Шекспира.

[2] Кн. Владимир Федорович.

68. ИЗ ПИСЬМА Н. И. ЛЮБИМОВА

Петербург. 9 июля 1832 г.

Верно слышали Вы о предположении Пушкина—издавать ежедневную газету[1]. От души желаю всякого успеха. Авось тогда несколько

РИСУНКИ ПУШКИНА НА ОБОРОТЕ ЛИСТКА С НАБРОСКАМИ СТИХОТВОРЕНИЯ „БЛАГОСЛОВЕН ТВОЙ НОВЫЙ ПУТЬ"

Институт Русской Литературы, Ленинград

поумолкнут Полевые, Булгарины, Гречи и вся нечистая и не Русская их братия. Пора зажать рот мерзавцам! Конец концев! ведь мы не ослы (из Хаджи Бабы[2]). Говорят, что издание сей газеты еще секрет, но дело решенное.—

Вы не будете Погодин, если не будете с своей стороны помогать столь доброму подвигу, во славу и в пользу Руси предпринимаемому.

Л. 83 № 3519. Ср. Барсуков, кн. IV, стр. 95.

[1] Пушкин получил разрешение издавать газету «Дневник» в середине июня 1832 г.

[2] «Приключения Хаджи Бабы»—перевод из книги «Adventures of Hajji Baba of Ispahan, by Morier», переведенной на немецкий язык. Печаталось с № 13 «Московского Вестника» за 1828 г.

69. ИЗ ПИСЬМА С. Т. АКСАКОВА

29 июля 1832 г.

Пушкина Газета с большими замыслами выдается; на успех никто не надеется; он еще не нашел себе ни хозяина по финансовой части[1], ни водовозной [?] лошадки: всех бракует.

Лл. 110—111 № 3519. См. Барсуков, кн. IV, стр. 96—97 (отрывки).

[1] 16 сентября Пушкин выдал Н. И. Тарасенко-Отрешкову доверенность на ведение дел по газете.

70. ИЗ ПИСЬМА Н. И. ЛЮБИМОВА

Петербург. 10 августа 1832 г.

Как не стыдно Надеждину сравнивать Пушкина с каким-[то] Тепляковым[1]. Последнего он ставит, кажется, еще выше. Хотя нет подписи, но видно по всему, что это его произведение (разбор последней песни Анегина)[2].

Лл. 125—126 № 3519. См. Барсуков, кн. IV, стр. 100.

[1] Тепляков, Вик. Григ. (1804—1842)—поэт и археолог, путешественник.

[2] В № 9 «Телескопа» за 1832 г. напечатана неподписанная статья Надеждина «Летописи отечественной литературы», где наряду с «Онегиным» и стихотворениями Пушкина разбирались и стихотворения Теплякова, при чем между обоими поэтами проводилась параллель и даже была такая фраза: «Новый поэт может продолжить для нас эпоху Пушкина». (Перепечатано Зелинским в «Русск. крит. литература о произ. Пушкина», ч. III, 3-е изд. М., 1907, стр. 145—161.)

71. ИЗ ПИСЬМА Б. А. ВРАССКОГО

Петербург. 1 декабря 1832 г.

Пушкин будет издавать журнал Дневник, наконец кажется это уже наладилось.

Лл. 189—190 № 3519. У Барсукова нет.

Борис Алексеевич Врасский—чиновник III Отделения, с которым Погодин познакомился в Петербурге.

72. ИЗ ПИСЬМА Н. В. ГОГОЛЯ

20 февраля 1833 г.

Пушкин недавно говорил о тебе с Государем на щет Петра и желания твоего трудиться вместе с ним. Государь наперед желал узнать о трудах твоих, и когда ему вычислили длинный ранг твоих изданий, то он тот же час изъявил согласие, и Пушкин говорит, что ты можешь живя здесь или в Москве издавать все выкапываемое в Архивах и брать за это деньги. Как же велико будет твое жалованье, это ему еще неизвестно[1].

РИСУНКИ ПУШКИНА НА ОДНОЙ ИЗ СТРАНИЦ ПРИХОДО-РАСХОДНОЙ ТЕТРАДИ Е. Н. ВРЕВСКОЙ

Институт Русской Литературы, Ленинград

Лл. 28—29 № 3520. Впервые в собрании сочинений Гоголя под ред. Кулиша, т. IV, 1857 г., с пропусками, датировано 1833 г. Полностью в «Русском архиве» 1872 г., стр. 2369—2372, датировано ошибочно 1834 г.

[1] Пушкин предлагал Погодину работать в архивах для истории Петра I. Об этом свидании с Николаем сам Пушкин писал Погодину 5 марта 1833 г.: «Наконец на масленице царь заговорил как-то со мною о Петре I, и я тут же и представил ему, что трудиться мне одному над Архивами не возможно, и что помощь просвещенного, умного и деятельного Ученого мне необходима. Государь спросил кого же мне надобно, и при вашем имени, было нахмурился—(он смешивает вас с Полевым; извините великодушно; он литератор не весьма твердой хоть молодец, и славный царь). Я кое-как успел вас отрекомендовать, а Д. Н. Блудов все поправил и объяснил, что между вами и Полевым общего только первый слог ваших фамилий—К сему присовокупился и благосклонный отзыв Бенкендорфа—Таким образом дело слажено; и Архивы вам открыты (кроме тайного). Теперь остается решить, на каком основании намерены вы приступить к делу: Думаю, что вам надо требовать вашего адъюнктского жалования, во все время ваших трудов—и только». (См. Переписка, т. III, № 710, а также по этому делу и письмо Погодина к Пушкину там же, № 717.)

73. ИЗ ПИСЬМА Н. М. ЯЗЫКОВА

3 октября 1833 г.

У нас был Пушкин[1]—с Яика—собирал-де сказания о Пугачеве — много-де собрал по его словам разумеется. Заметно, что он вторгается в область Истории—(для стихов еще бы туда и сюда)—собирается сбирать плоды с поля на коем он ни зерна не посеял—писать историю Петра, Ек[атерины] I-ой и далее вплоть до Павла первого (между нами).

Л. 150 № 3520. Ср. Барсуков, кн. IV, стр. 161.

[1] 29 сентября Пушкин на обратном пути из Оренбурга заехал к Языковым в их имение Языково.

74. ИЗ ПИСЬМА ДМ. КАШИРИНА

Пинск. 17 января 1834 г.

Кроме сего должен был давать, в виде вспоможения, уроки русского языка в Женском Пансионе (с од. нашим учителем), и так скоро и в Польше будут читать Пушкина и Жуковского, а может быть и Историю Карамзина и толки с пересудами Полевого;—а язык русский раздаваться в углублении Литвы.—Дай то Бог!

Лл. 158—168 № 3520. У Барсукова нет.

Дм. Каширин—знакомый Погодина, служивший в Виленском учебном округе, устроенный туда Погодиным.

75. ИЗ ПИСЬМА А. А. КРАЕВСКОГО

Петербург. 17 января 1836 г.

Много, премного благодарю вас, почтеннейший Михайл Петрович, за Историю в лицах[1], которую наконец по записке вашей я получил от Смирдина. Большого труда стоило нам вытянуть связку ваших книг, заваленную в каком-то углу грудами других связок. Там увидел я, что ни одна из ваших книг не доставлена по надписи: ни Пушкину, ни мне, ни Сербиновичу[2], никому. (Пушкину и Серб. я сказал уже, чтоб они послали за ними к Смирдину) [....]

А за чем Наблюдатель напечатал стихи На выздоровление Лукулла?[3] Не хорошо. Я порадовался было, когда Пушкин сказал мне, что получил из Москвы известие об отказе Наблюдателя принять его стихи; а потом через неделю получаю 14-ю книгу Наблюд[ателя], где стихи уже тиснуты. По-моему, это—большая неосторожность. На Пушкина смотреть нечего: он сорви-голова! Третьего дня получил он от Государя позволение издавать журнал вроде Quarterly Review[4], четырьмя книжками в год, и начинает с Марта[5].

Стр. 175—180 № 3521. Ср. Барсуков, кн. IV, стр. 271.

[1] «История в лицах о Димитрие Самозванце. Сочинение М. Погодина, 1835 г.» имеется в библиотеке Пушкина с надписью рукой Погодина: «А. С. Пушкину». (См. Б. Л. Модзалевский. «Библиотека А. С. Пушкина», «Пушкин и его современники», вып. IX—X, 1909, № 293.)

[2] Сербинович, Конст. Степ. (1795—1874)—переводчик и поклонник Карамзина.

[3] «На выздоровление Лукулла» было напечатано в сентябрьской книжке «Московского Наблюдателя» за 1835 г., вышедшей в свет в последних числах декабря.

[4] «Quarterly Review»—«Трехмесячное обозрение».

[5] В письме к Бенкендорфу от 31 декабря 1835 г. Пушкин просил разрешение на издание в 1836 г. четырех томов статей «на подобие английских трехмесячных Reviews». День получения Пушкиным этого разрешения до сих пор не был известен.

76. ИЗ ПИСЬМА А. В. ВЕНЕВИТИНОВА

Петербург. 21 января 1836 г.

Но как же Вы с проста напечатали на выздоровление Лукулла! — Эх! Эх! [....] Пушкин получил позволение на издание журнала.

Лл. 185—186 № 3521. Ср. Барсуков, кн. IV, стр. 271.

См. 3 и 5 прим. к предыдущему письму.

77. ИЗ ПИСЬМА Н. В. ГОГОЛЯ

Петербург. 21 февраля 1836 г.

Новостей особенных здесь никаких. О журнале Пушкина без сомнения уже знаешь. Мне известно только то, что будет много хороших

статей, потому что Жуковский, Князь Вяземский и Одоевский приняли живое участие; впрочем узнаешь подробнее о нем от него самого потому что он кажется на-днях едет к вам в Москву[1].

Лл. 213—214 № 3521.

[1] В Москву Пушкин уехал только 29 апреля.

78. ИЗ ПИСЬМА Н. Ф. ПАВЛОВА

Против мерзости, помещенной в Библиотеке[1] написана статья за вас, за Шевырева и за Пушкина, но необходимо нужно поместить отзыв, который был в Парижском Журнале о вашей первой лекции, чтоб показать как встречаются произведения наших соотечественников в чужих краях и как у нас на святой Руси. Где этот отзыв? доставьте ради Бога с этим посланным, потому что статья уже напечатана.

Письмо не датировано, вплетено между письмами от 24 и 30 апреля 1836 г.
Ник. Фил. Павлов (1805—1864)—писатель.

[1] «Библиотека для чтения».

79. ИЗ ПИСЬМА А. А. КРАЕВСКОГО

Петербург. 8 октября 1836 г.

Охотно примемся собирать здесь деньги в пользу Шаффарика[1] и Вука[2]. Только напишите род объявления об этом вспомоществовании и скажите хорошенько, толковее, яснее нашим боярам, кто сей Шаффарик и Вук, чем они занимаются, что сделали, делают, в чем нуждаются, и проч. и проч. Пришлите все это ко мне; а я через Одоевс[кого], Пушкина, Вьельгорского и Жуковс[кого] пущу в ход по разным углам. Авось, бог поможет тронуть глыбы ледяные [....]

Говорил я Пушкину о присылке в Москву Соврем[енника] на Коммиссию. Он отвечал ни то, ни сё. Беззаботность его может взбесить и агнца!

Лл. 358—359 № 3521. Ср. Барсуков, кн. IV, стр. 374 и 417—418.

[1] Шаффарик (1795—1861)—знаменитый чешский ученый. В 1835 г. в Праге навестил его Погодин и, узнав о тяжелых материальных условиях, в которых тот находился, деятельно принялся ему помогать.

[2] Караджич, Вук Стефанович (1787—1864)—знаменитый сербский писатель и преобразователь сербского литературного языка. Пушкин в своих «Песнях Западных славян» перевел несколько его песен.

80. ПИСЬМО Н. И. ЛЮБИМОВА

Петербург. 3 февраля 1837 г.

Подлинник не сохранился. Опубликовано мною по копии П. И. Бартенева из архива В. Я. Брюсова в сборнике «Памяти П. Н. Сакулина». М., 1931 г., стр. 309—313.

81. ПИСЬМО Н. И. ЛЮБИМОВА

Петербург. 22 февраля 1837 г.

Современник непременно будет продолжаться. Разрешение уже вышло.—Вчера у Одоевскаго виделся я с Кн. Вяземским, который поручил мне написать и вам и просить, чтобы вы и все ваши и наши присылали сюда побольше статей для Современника. Не забудьте, что это дань Пушкину, ибо будет издаваться в пользу детей его.—Объявление о продолжении на-днях явится. Жуковский, Вяземский и Одоевский и все хлопочут, чтобы все было как можно лучше и изящнее.

Пожалоста, ради бога, воздержитесь от всякого излишнего проявления и горестей и радостей.—Совершайте тризну во глубине души вашей[1];—более для Пушкина не нужно.—

Я хлопочу теперь чтобы достать его слепок, что̀ довольно трудно, ибо заказано было не более 15 Жуковским[2], и уже все розданы им. Но, кажется, что достану и может быть даже два слепка, в каковом случае один непременно пришлю вам, мой любезнейший.

Сходство разительное. А бюст не знаю когда выдет[3]. Я думаю не скоро.

Наконец вышло позволение о выпуске портрета (того самого который рисован с натуры, т. е. с мертвого Пушкина, знаменитым нашим Бруни). На-днях узрите его в Литтературных прибавлениях[4].

Пожалоста скажите всем знакомым, чтобы присылали побольше статей для Современника. Высылать можно к кому угодно,—к Вяземскому ли, к Одоевскому ли, или к иным.

Прощайте! Обнимаю вас от всей души.

Боже мой, как мало у нас людей, у которых сердце горячо лежит ко всему высокому и великому—и вот причина дьявольского равнодушия к великим людям, к великим потерям, к поношению людей великих, в которых все наше богатство.—

В обыкновенное время эта холодность, это бездушие толков не так видится, но зато в другое так и светится, так и убивает.—Это так горько, так горько, что, право, можно потерять всякий апетит и исхудать, если более об этом думать (т. е. что такое этот свет и как мало в нем любви и истины).

Прощайте! опять целую и обнимаю вас.

Н. Лбмв.

NB. Разорвите сие.

[Сбоку:] Пришлите мне с кем-нибудь ваш Историч[еский] альбом. Мне непременно хочется его иметь от вас. Прислать же можете с отцом Толстым (который на-днях должен отправиться).—

Ваше письмо я получил.

Ср. Барсуков, кн. IV, стр. 436—437.

[1] Любимов имеет в виду меры правительства, запрещавшие всякого рода выражения горя по поводу смерти Пушкина.

[2] Маска, снятая с мертвого Пушкина в день его смерти.

[3] Вероятно бюст работы С. И. Гальберга.

[4] Впервые напечатан в «Художественной Газете» 1837 г.

82. ИЗ ПИСЬМА Н. И. ЛЮБИМОВА

Петербург. 1 марта 1837 г.

Посылаю вам, по сей верной оказии два слепка с Пушкина; один для вас, а другой желательно, чтобы преподнесли от меня Шевыреву; впрочем это предоставляется вашему предусмотрению [....]

Пушкина бумаги уже разбираются Жуковским[1]. Между ними есть много исторических материалов; между прочим две или три толстые тетради, все собственною рукою Пушкина, где выжат весь многотомный Голиков[2]. Все это он [приготовлял] собирал для исторического, великого труда своего, которого судьба нас лишила.

БАЛ В МОСКВЕ У ТРУБЕЦКИХ

Среди присутствующих—воображаемый гость Пушкин (под № 5), бывший в это время в Петербурге

Рисунок бар. Н. Л. Боде

Театральный музей им. Бахрушина, Москва

Изданием его творений, на иждивение Государя, также деятельно занимаются и Вяземский и Жуковский. Издание будет великолепное, но едва ли выдет прежде конца года[3].

У Барсукова нет.

[1] Разбор бумаг Пушкина начат Жуковским и Дубельтом 7 февраля.

[2] Любимов пишет с чужих слов и ошибается: извлечения Пушкина из «Деяний Петра Великого» Голикова делались Пушкиным на отдельных листах, сшитых после его смерти жандармами в тетради, 22 из которых в настоящее время хранятся в ИРЛИ.

[3] Так называемое «посмертное» издание сочинений Пушкина в одиннадцати томах. Первый том разрешен цензурой к печати 3 апреля 1837 г.

83. ИЗ ПИСЬМА Н. И. ЛЮБИМОВА

Петербург. 9 марта 1837 г.

Одоевский поручил мне передать вам и Степану Петровичу[1] нижеследующую просьбу его и всех участвующих в издании Современника:. Известно, что довольно значительное число экземпляров сего журнала за прошлый год разослано было покойным его издателем для продажи к разным Московским книгопродавцам, но к кому и сколько, и сколько продано и сколько осталось—не известно; почему и следует теперь все это вывести на чистую воду, объехав и расспросив хорошенько всех Московских Книжников и Фарисеев, ибо иначе и узнать не возможно; по открытию же тех к кому были присланы экземпляры журнала,—свести с ними подробные за весь прошлый год счеты, т. е. сколько продано и сколько осталось и за все проданное взыскать деньги.

Дело скучное и тошное, но необходимое, и к кому же обратиться как не к вам, любезнейший Михаил Петрович, и не к вам, любезнейший Степан Петрович. Одоевский хотел было сам написать вам обоим об этом, но за разными хлопотами по журналу же и прочему, не успел и возложил на меня, что сим и исполняю.

При розыске о вышереченных книгопродавцах надобно поступить искусным образом, сиречь начать каждому с объяснения, что де после А. С. Пушкина остались разные счеты, между прочим и разосланным экземплярам журнала, и в том числе, дескать пишут нам, что и вам Г-н N. было послано некоторое число экземпляров и проч. и проч., все, что можете придумать, дабы книжники не могли отпереться, что получили.—Счеты и деньги можете выслать на имя кн. Одоевского.—. Еще просьба, или лучше сказать замечание Московскому Наблюдателю: за чем он, Московский Наблюдатель, до сих пор молчит о Современнике, т. е. не возвещает с своей стороны почтеннейшей Московской Публике, что Современник будет продолжаться и в текущем 1837 году, не смотря на смерть Пушкина.—Упущение непростительное!!!!

В Литтературных прибавлениях[2], кажется уже два раза об этом писано, а у вас все молчат, да молчат, тогда как об этом следовало бы провозглашать во все концы России.—Аминь... Получили ли слепки?—

У Барсукова нет.

[1] Шевыреву.

[2] «Литературное прибавление к Русскому Инвалиду».

84. ПИСЬМО Н. И. ЛЮБИМОВА

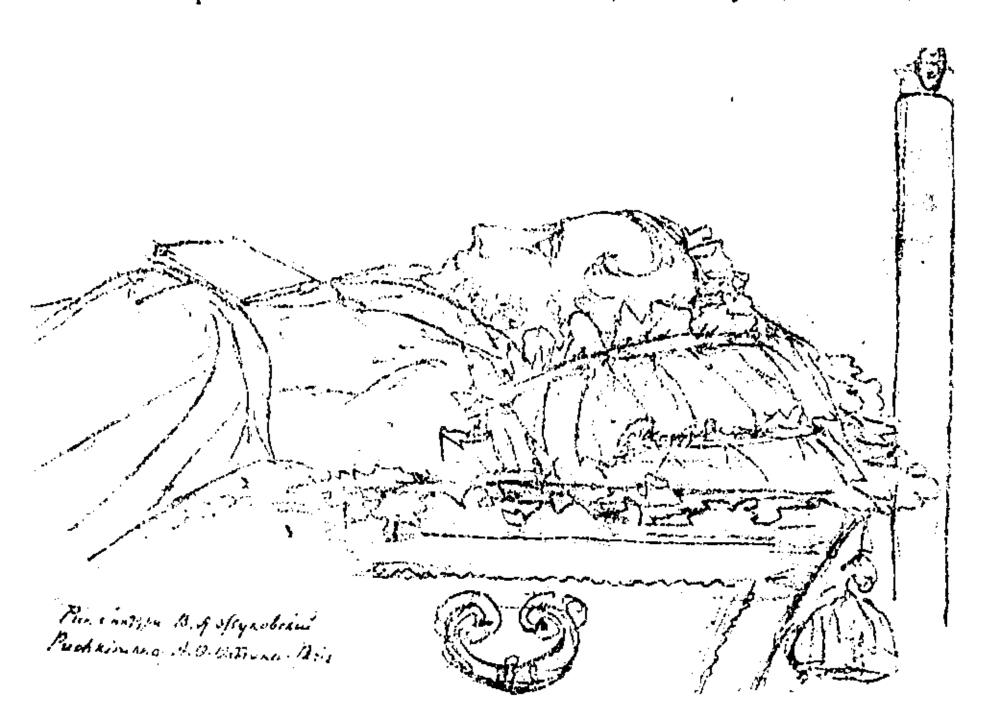
Петербург. 13 марта 1837 г.

Я вас забросал моими письмами и просьбами. Вот еще в дополнение к последнему или последней:

Главный Комиссионер с кем П[ушкин] имел дело по журналу— Селивановский[1] и как по всему видно самый неисправный. К нему-то следует в особенности обратиться о сведении счетов.

Скажите, что у П[ушкина] в бумагах нашлись счеты посланным к нему экземплярам (что̀ впрочем выдумка), и чтобы он Селивановский подробно свел свои счеты, которые потом там, т. е. здесь, сличатся. Прочих всех также постарайтесь объехать и притянуть к Иисусу, кого следует.

Что̀ это напечатано у вас в Московском Наблюдателе о П[ушкине]?!!! Сначала говорится что он был наша жизнь, наша душа, а далее, что



ПУШКИН В ГРОБУ
Рисунок карандашом В. А. Жуковского
Институт Русской Литературы, Ленинград

в последнее время не был деятелен, а еще далее, что̀ для него настал печальный вопрос: какое место гробница его должна занять между гробницами наших литераторов.—Слова хорошенько не припомню,—но вот смысл. Гораздо лучше бы было совсем ничего не писать[2].

Пишу к вам об этом, потому что пришлось к слову; а от вас ответа [на это] не жду.—

Весь ваш и ныне и присно и во веки веков, аминь.

С. П. Н. Лбмв.
13 Марта
1837.

У Барсукова нет.

[1] Селивановский, Семен Аникеевич—известный книгопродавец и владелец типографии в Москве.

[2] Речь идет о статье «Пушкина нестало» в ч. 10 «Московского Наблюдателя» за 1836 г.

85. ИЗ ПИСЬМА А. А. КРАЕВСКОГО

Петербург. 15 марта 1837 г.

Причину и молчания моего и медленности вы верно угадаете без моих объяснений: вы сами были журналистом, а я еще до сих пор журналист вдвойне: работаю и для Журн. Мин. Просв. и для Литер. Приб., да сверх того нагружаюсь поручениями от Археогр. Комиссии и хлопотами по Современнику.

Ради бога уладьте дела Современника, о которых писать к вам поручили мы Любимову: теперь деньги за Соврем[енник] вещь святая— они сиротские, и за каждую копейку надо будет отдать отчет совести; да пришлите и свою лепту в Современник, подбейте на то же Шевырева, Хомякова, Павлова, Языкова, Боратынского; стыдно вам и им будет, если ничего не пришлете в журнал, посвященный памяти Пушкина! Статей чужих у него осталось много, но разумеется, пойдет в дело самая меньшая часть, и недостаток будет неизбежен.

У Барсукова нет.

86. ИЗ ПИСЬМА А. А. КРАЕВСКОГО

Петербург. 16 апреля 1837 г.

«Об историч[еском] поветрии»[1] не знаю где теперь. Мне давал ее когда-то Сербинович для исправления, я возвратил ее без исправления; в бумагах Пушкина я не видал еще ее. На-днях будет окончательный пересмотр остальных бумаг, и что там найду, напечатаю у себя,[2] разумеется, не очень устарелое. [....]

Счеты Селив[ановского] получены и переданы тому, кто заведывает денежною и рассыльною частью Современника [....]

Гоголь—скот, как и все хохлы. Недавно получено от него письмо из Рима; оно писано ко всем его приятелям[3], и чт̀о же? ни слова о том, чт̀о он делает, когда думает возвратиться. Только просит денег, жалеет о Пушкине, говорит, что был болен, теперь оправляется— вот и все, а осталось чистых три страницы почт[овой] бум[аги]—дурак!

Ваша мысль о воззвании касательно Пушкина мне понравилась— я воспользуюсь ею.

У Барсукова нет.

[1] «Историческое поветрие»—статья Погодина, посланная им Пушкину для напечатания в «Современнике». Запись в дневнике Погодина от 9—20 июня [?] 1836 г.: «Написал для Пушкина письмо из Москвы, Истор[ическое] поветрие и четыре рецензии».

[2] Краевский очевидно разумеет «Литературные прибавления к Русскому Инвалиду», негласным редактором которых он сделался в 1837 г.

[3] Имеется в виду письмо Гоголя к П. А. Плетневу из Рима от 16 марта 1837 г.

87. ИЗ ПИСЬМА М. А. КОРКУНОВА

Петербург. 24 апреля 1837 г.

Современника напечатано 9 листов; и уже две статьи Пушкина: «Медный Всадник», стих[отворная] повесть, и «об Иоанне д'Арк», проз[аическая] статья; стихи Жуковского, неиздан[ное] сочинение Карамзина, Глава из Записок о Ф. Визине К[нязя] П. А. Вяземского[1];— вот примеч[ательные] статьи «Современника». Я было, еще при жизни Пушкина, написал разбор Устряловской брошурки[2], но так как теперь

«Современник» не принимает критики, то моя статья—положится ко многим другим таковым же.

У Барсукова нет.

Коркунов, Мих. Андр. (1806—1858)—приятель Погодина, в это время университетский преподаватель, знаток русской дипломатики.

[1] Все это вошло в том V «Современника» (первый после смерти Пушкина).

[2] «О системе прагматической Русской Истории. Рассуждение написанное на степень Доктора философии Николаем Устряловым». 1836.

88. ИЗ ПИСЬМА А. А. КРАЕВСКОГО

Петербург. 23 мая 1837 г.

В бумагах Пушкина найдено множество отдельных стихотворений, конченных и неконченных, отрывков в прозе, выписок для истории Петра. Все это сбережено, переписано[1], перемечено и хранится вместе с подлинниками у Жуковского. Может быть все будет издано,—говорю: может быть, потому что это зависит от высшаго разрешения.

У Барсукова нет.

[1] Толстый том переписанных писарем по смерти Пушкина его произведений хранится в Ленинской Библиотеке за № 2395. На рукописи этой есть пометы Жуковского и Вяземского.

89. ИЗ ПИСЬМА КН. П. А. ВЯЗЕМСКОГО

Петербург. 23 июля 1837 г.

Милостивый Государь
Михаил Петрович,

Вы знаете причины моего долгого молчания, и потому отлагая в сторону извинения и оправдания, приношу Вам мою чувствительнейшую благодарность за письма Ваши и приложения к ним, коими, как Вы видите, поспешила воспользоваться редакция Современника[1]. Просим милости и впредь. Будьте правою рукою нашею в Москве, пишите и забирайте все, что можете. Надеюсь, что Шевырев, Павлов и другие Московские литераторы не откажутся участвовать в загробном журнале Пушкина. Нужно необходимо, чтобы в Современнике явились имена всех порядочных людей пишущих. Будьте покойны, все бумаги Пушкина сохранены и находятся в руках Жуковского. Все что можно, будет из оных напечатано[2]. Многие рукописи еще не разобраны и не переписаны за отъездом Жуковского[3], но это дело впереди. На первый случай достаточно озаботиться и привести к окончанию год Современника и полное издание старого. Вы говорите о восстановлении пропусков. Как бы не так! Мы рады, что успели после многих ошибок удержать в целости — и в неприкосновенности от цензуры и то, что уже было напечатано. Хорошо бы собрать по всем рукам письма Пушкина, и каждому из приятелей его написать воспоминания о нем. Время полной и живоносной биографии еще не настало, но сверстникам его следует приготовить материалы для будущего соорудителя [....]

Я писал к Нащокину о высылке мне бюста Пушкина. Сделайте одолжение, напомните ему о моей просьбе.

У Барсукова нет.

[1] Речь идет о стихотворении Пушкина «Герой», присланном Погодиным и напечатанном в т. V «Современника», стр. 143—146.

[2] Это является ответом на письмо Погодина к Вяземскому от 11 марта 1837 г., где он пишет: «Если бы вы были столько добры, чтоб написать мне слова два об его бумагах: цела ли Русалка, Островский, Ганнибал, Пророк, 8 песен Онегина? Что Петр? Мелкие прозаические отрывки, кои готовил он к своей газете для об-

разчика? Сделайте милость!» (См. Сочинения и письма Пушкина. Под ред. П. О. Морозова, т. II, СПБ., 1903, стр. 497—500.)

[3] Жуковский 2 мая 1837 г. уехал с наследником в. к. Александром Николаевичем в поездку по России.

90. ИЗ ПИСЬМА А. А. КРАЕВСКОГО

Петербург. 3 сентября 1837 г.

P. S. Любимов вчера приносил мне ваше письмо к нему. Вот ответ на то, что̀ до меня в нем касается. 25 экз[емпляров] Соврем[енника] посланы к Н. Глазунову[1] мною, по желанию Пушкина; и деньги за них Глазунов должен прислать сюда, адресовав хоть так: «В контору Плюшара, в редакцию Современника». Это придет прямо ко мне, и я приобщу деньги к прочим таковым же. Похлопочите, чтоб Глазунов и Ширяев[1] принимали подписку на Соврем[енник] нынешнего года, выдавали билеты и присылали сюда требования по тому же адресу: я удовлетворю их в наивозможной скорости; да, если можно, попросите о том же всех книгопродавцев, кого знаете.

У Барсукова нет.

[1] Книгопродавцы.

91. ПИСЬМО С. А. СЕЛИВАНОВСКОГО

[Не датировано]

Из прилагаемого в Копии моего письма четыре раза посланного: в Петербург, т. е. два раза к покойному[1] и два раза по смерти его в Редакцию,—последняя страховая, по прилагаемой квитанции—усмотрите; что я прошу взять от меня деньги и сделать распоряжение. Следовательно нечего и некому разбирать мои счеты; я первый представляю их. Может быть считают и меня в сем случае, как других книжников. Всепокорно прошу поручиться что имеют дело с человеком порядочным[2].

Покорнейший слуга

Селивановский.

У Барсукова нет.

[1] Пушкину. Ни одного письма Селивановского к нему не сохранилось.

[2] См. письма Любимова № 113 и Краевского № 117.

92. ИЗ ПИСЬМА НЕИЗВЕСТНОГО

[Не датировано]

Скажите мне Михайло Петрович,—видели ли Вы Вас. Анд. Жуковского—и не знаете ли виделся ли он с женою покойника[1]—Вы бываете теперь часто в городе—что бы стоило заехать—мы бы об чем-нибудь потолковали—и из этого что-нибудь могло бы выйти—к пользе Пушкина или его семейства. Теперь предстоит оказия—говорить о многом в том числе и о Памятнике[2].

У Барсукова нет.

[1] Натальей Николаевной Пушкиной.

[2] Вероятно речь идет о памятнике на могиле Пушкина.

ПУШКИН ПО ДОКУМЕНТАМ АРХИВА С. А. СОБОЛЕВСКОГО

I. ПУШКИН В ПЕРЕПИСКЕ С. А. СОБОЛЕВСКОГО

Публикация М. Светловой

ПИСЬМА к С. А. СОБОЛЕВСКОМУ: Д. В. ВЕНЕВИТИНОВА, А. П. ЕЛАГИНОЙ, И. В. КИРЕЕВСКОГО, И. С. МАЛЬЦОВА, Н. А. МАРКЕВИЧА, А. МИЦКЕВИЧА, П. В. НАЩОКИНА, В. Ф. ОДОЕВСКОГО, С. С. ПЕТРОВСКОГО, М. П. ПОГОДИНА, К. А. ПОЛЕВОГО, Л. С. ПУШКИНА, Н. М. РОЖАЛИНА, С. П. ШЕВЫРЕВА.

Печатаемые ниже, частью полностью, частью в извлечениях, документы из архива С. А. Соболевского находятся в настоящее время в Москве, в Государственном архиве феодально-крепостнической эпохи.

Личность С. А. Соболевского тесно связана с именем А. С. Пушкина.

Неизвестный сочинитель
Всем известных эпиграмм

был одним из ближайших к Пушкину людей; дружеские связи их, завязавшиеся еще во время пребывания Соболевского вместе с братом поэта Львом Сергеевичем в Главном Педагогическом Институте в Петербурге, продолжались затем почти 20 лет— с 1818 года до самой смерти поэта.

По свидетельству лиц, знавших Пушкина, последний относился с особою любовью к Соболевскому, часто повторял его стихи и остроты, а сестра поэта О. С. Павлищева, характеризуя их взаимные отношения, говорит, что без Соболевского «Александр жить не может».

В самых письмах поэта встречается много интересных упоминаний о Соболевском, которого Пушкин шутливо называет «Калибаном», «Фальстафом», «животным». Наконец известно мнение близких друзей Пушкина, выражавших уверенность, что, будь Соболевский во время предсмертной драмы Пушкина в Петербурге, катастрофа была бы невозможна, так как Соболевский нашел бы способ ее предотвратить.

В связи со всем вышесказанным понятно, какой большой интерес приобретает архив Соболевского для каждого пушкиниста и как важно отнестись с особым вниманием к тому литературному и эпистолярному наследию, которое оставил нам в своих архивных материалах этот своеобразный представитель «пушкинской плеяды».

До революции архив Соболевского, составлявший собственность графа С. Д. Шереметева, был мало доступен для исследований. В. И. Саитов в своей биографии Соболевского, в книге «Соболевский—друг Пушкина», печатая выдержки из письма С. А. Соболевского к отцу от 1818 г., отмечает, что делает это по копии Л. Н. Майкова, хотя подлинник хранится в архиве Соболевского; В. В. Каллаш—первый собиратель и издатель «Эпиграмм и экспромптов» Соболевского, прямо пишет в своем предисловии: «Бумаги Соболевского, по слухам, находятся у гр. С. Д. Шереметева. Нам они были недоступны». Вследствие этого естественны те ошибки, которые можно заметить в первом же напечатанном Саитовым в извлечении письме Соболевского при сличении его с подлинником, естественна и та неполнота, которая имеется в публикациях других исследователей, работавших над Соболевским до революции.

После революции над материалами Соболевского в Центрархиве работают пушкинисты из б. Пушкинского дома при Академии Наук, но цель их—подготовка писем Пушкина к новому изданию под редакцией Б. Л. Модзалевского—ограничивает их интерес к фонду Соболевского специально лишь тою его частью, где находятся автографы писем Пушкина.

В 1927 г. над архивом Соболевского работал А. К. Виноградов для своего труда «Мериме в письмах к Соболевскому». Попутно он извлекал из фонда и имеющиеся там сведения о Пушкине, печатая их частью в «Вечерней Москве», частью в вышеназванной его книге.

К сожалению, работая над Мериме и его взаимоотношениями с С. А. Соболевским, А. К. Виноградов не придавал самодовлеющего значения тем сведениям, которые там и сям были разбросаны о Пушкине в письмах разных лиц к Соболевскому и, обращая внимание на документ главным образом лишь с точки зрения его эффективности, возможности подтвердить им то или другое высказываемое им положение, опубликовал многое из печатаемого им впервые неисправно, лишив тем самым свои публикации в этой их части научного значения.

Таким образом архив Соболевского в отношении полноты изучения его для пушкиноведения никогда до последнего времени исследован не был.

Настоящая работа и является попыткою ввести в научный оборот пушкиноведения архив Соболевского в части, касающейся Пушкина, полностью выявив в его документах все сведения, прибавляющие что-то новое к нашим знаниям о Пушкине и его ближайшем литературно-бытовом окружении.

Все подобного рода извлечения подразделены хронологически на две части: первая заключает в себе материалы с 1818 г.—времени первого знакомства Пушкина с Соболевским—по 1838 г.

Вторая часть, также начатая подготовкой к печати, будет содержать документы, связанные с именем Пушкина и отложившиеся в архиве Соболевского уже после смерти Пушкина; воспоминания о нем очевидцев, издания его сочинений, судьба имения Пушкина «Михайловское» Псковской губернии и др.

Весь архив Соболевского в Государственном архиве феодально-крепостнической эпохи состоит из 25 томов, имеющих разные заглавия, данные им С. А. Соболевским: «Avant les Voyages» (т. I за 1818—1828 гг.; далее сокращенно обозначается «A. I. V.»); «Voyages» (тт. II—IV, VI, IX, XI—XII, XVIII за 1828—1833, 1836—1837, 1844, 1846—1854, 1860—1861 гг.; далее сокращенно «V.»); «Souvenirs» (тт. V, VII—VIII, X, XIII—XVII, XIX—XXIV за 1833—1836, 1837—1844, 1844—1846, 1851—1860, 1862—1868 гг.; далее сокращенно «S.») и «Bibliothèque Correspondance» (т. XV; далее сокращенно «B. C.»).

Печатаемые извлечения находятся в томах: I—III, V—VIII. Основное ядро публикации составляют письма к С. А. Соболевскому разных лиц, далее следуют его собственные письма к разным лицам и его собственноручные записи. Расположены эти извлечения в хронологической последовательности.

Из корреспондентов Соболевского здесь имеются: Веневитинов, Д. В. (№ 8—9), Елагина, А. П. (№ 18), Киреевский, И. В. (№№ 12, 17), Мальцов, И. С. (№ 30—31), Маркевич, Н. А. (№№ 5, 10, 11), Мицкевич, А. (№ 7), Нащокин, П. В. (№№ 32—34), Одоевский, В. Ф. (№ 29), Петровский, С. С. (№ 2), Погодин, М. П. (№ 15), Полевой, К. А. (№ 28), Пушкин, Л. С. (№№ 3, 4, 6), Рожалин, Н. М. (№№ 13, 14), Шевырев, С. П. (№№ 16, 19—27).

Письма 1819—1820 гг. адресованы С. А. Соболевскому в Петербург; 1822—1827, 1-я половина—в Москву; 1827, 2-я половина—в Петербург; 1829—1833, июль—за границу; 1833, 2-я половина—1836, 1-я половина—в Петербург; 1836, 2-я половина—1837, 1-я половина—за границу; 1837, 2-я половина—1838—в Петербург.

Основываясь на дате письма Шевырева от 16 октября 1831 г. из Рима, откуда ясно, что Шевырев из-за границы писал по новому стилю, письма всех друзей Соболевского, живущих и пишущих ему за границей, условно переведены на двойной стиль: старый и новый.

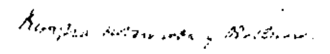
Тематически печатаемые материалы могут быть разбиты на следующие разделы: 1) произведения Пушкина: тексты, подготовка к печати, выход в свет, впечатление, произведенное на читателей, журнальная полемика; 2) журнал «Московский Вестник» и участие в нем Пушкина; 3) отклики на свадьбу Пушкина; 4) долги Пушкина; 5) дуэль и смерть.

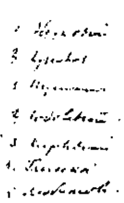
Не останавливаясь в предисловии на всех сведениях, сообщаемых публикуемыми письмами, что было бы совершенно излишним, необходимо обратить внимание читателя на одно, сообщаемое впервые в письме Шевырева от 6 октября 1832 г., № 27—о написанной Пушкиным поэме «Стенька Разин», о которой других каких-либо сведений в литературе не имеется.

Для большей отчетливости и возможной полноты использования архива Соболевского в этой его части, в комментариях даются указания на те письма, которые когда-либо были напечатаны, с точною ссылкою, где именно.

Не включены в настоящую публикацию сохранившиеся в архиве С. А. Соболевского тексты Пушкина (два автографа—«Альманахи сделались представителями нашей словесности...» и «Увидел я что дамы сами...»—и ряд копий руки самого С. А. Соболевского, И. В. Киреевского и П. И. Бартенева), не представляющие большого интереса, за исключением неизвестного до сих пор исследователям списка «Гаврилиады», а также снятые С. А. Соболевским копии с некоторых документов, относящихся к последней дуэли Пушкина.

К употребляемым в примечаниях сокращениям в конце приложен указатель.





ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА У ОДОЕВСКОГО

Справа налево: Жуковский, Кривцов, Пушкин, Соболевский, Иван Киреевский, Глинка, Любимов

Рисунок карандашом неизвестного художника

Публичная Библиотека, Ленинград

1. ИЗ ПИСЬМА С. А. СОБОЛЕВСКОГО ОТЦУ А. Н. СОЙМОНОВУ

Петербург, 19 декабря 1818 г.

[Подлинник по-французски]

...Пожалуйста, скажите Свечину[1], что скоро выйдут произведения[2] молодого Пушкина и что, если он желает, я мог бы достать ему билет на них, так как мне, вместе с его братом, поручено Пушкиным распределять билеты в нашем пансионе; цена по подписке 10 рублей за 2 тома in 12°. Жуковский один взял 100.

[«А. 1. V.», 1, л. 119—119 об.]

Впервые по копии Л. Н. Майкова приводится В. И. Саитовым в книге «Соболевский—друг Пушкина», изд. «Парфенон», СПБ., 1922, стр. 6, с разночтениями в тексте.

[1] Свечин, Николай Сергеевич (1759—1850), женатый на Софье Петровне Соймоновой, двоюродной сестре А. Н. Соймонова.

[2] Предполагаемое издание произведений Пушкина, о котором упоминает и А. И. Тургенев в письме к кн. П. А. Вяземскому от 24/XII 1818 г. из Петербурга («Остафьевский архив», I, стр. 179), не состоялось.

2. ИЗ ПИСЬМА С. С. ПЕТРОВСКОГО

Петербург, 12 июля 1822 г.

...Новости литературные

Выходит А. Пушкина поема Кавказский пленник[1]; говорят, что превзошел Бейрона в описании диких величественных картин природы и простых нравов жителей горных Кавказа...

Написана А. Пушкин[ым] поема Гаврилиада или любовь арх[ангела] Гавриила с Девой Марией[2]...

[«A. 1. V.», I, л. 346 об.]

[1] Первое издание «Кавказского пленника» вышло в свет в последних числах августа— 1—2 сентября 1822 г. (см. СЦ, стр. 12).

[2] Чрезвычайно ценно имеющееся здесь сообщение Петровского о «Гавриилиаде» как, самое раннее дошедшее до нас свидетельство, что «Гавриилиада» написана А. С. Пушкиным в 1822 г., не позднее июня, и, возможно, первоначально была известна его друзьям под этим длинным заглавием.

3. ИЗ ПИСЬМА Л. С. ПУШКИНА

С.-Петербург, 26 октября 1825 г.

...Я чрезвычайно рад, что мы возобновили с тобой никогда, впрочем, не заводимую переписку, пиши же мне об Москве, об ее глупостях и об В. Л.[1] Уверь эту скотину, что Ах, тетушка—Ах Ан[на] Льв[овна] [2]— не брата и никого из семейства, разве, может быть, Л. С. хотел подшутить, да и подделался под брата.—Поклонись от меня Вяземскому[3] и скажи ему следующее: Вы спрашивали у Льва Пушкина[4], через сестру его Ольгу, какие именно пьесы его брата надобно поместить, помнится, в Телеграф. Лев же Пушкин сего не знает, и знать об этом больше Вас самих никто не может. Может быть Ольга Сер[геевна] с непривычки дурно объяснила ваши препоручения, а вы спрашиваете только, что нет ли у него, вышеупомянутого Льва, какой-либо пьесы, то на сие последнее он говорит следующее: помнится я князю Вяземскому вручил все новые пьесы моего брата, но однако впоследствии оказалось, что одна из них ускользнула, почему я и препровождаю ее на его благорасположение. [Далее приводится текст «Люблю ваш сумрак неизвестный», ст. 1—28[5]].

Перепиши эту пьесу для кн. Вязем[ского] или, если нет, то оторви ее для него от другой половины письма, во всяком случае уничтожь первую страницу, писанную какой-то свиньей, а не вашим покорным

Львом Пушкиным

[«A. 1. V.», I, лл. 338—339 об.]

Впервые напечатано П. И. Бартеневым в «Р. А.» 1878, II, стр. 395—396, с подразделением письма на две части и с некоторыми сокращениями текста.

[1] Василий Львович Пушкин.

[2] «Элегия на смерть Анны Львовны», тетки А. С. Пушкина, умершей в Москве 14/X 1824 г., написанная совместно Пушкиным и Дельвигом в апреле 1825 г. в Михайловском, когда Дельвиг, по дороге из Витебска в Петербург, навестил Пушкина, и вызвавшая большое смущение в семействе Пушкиных. Ср. письмо поэта к кн. П. А. Вяземскому, написанное в первой половине сентября 1825 г. и предшествовавшее письму Л. Пушкина к Соболевскому: «Ради бога, докажи Василию Львовичу, что элегия на

смерть Анны Львовны не мое произведение, а какого-нибудь беззаконника. Он восклицает: «А она его сестре 15 000 оставила»... («Письма», I, № 179).

[3] Князь Петр Андреевич Вяземский.

[4] Лев Сергеевич Пушкин был комиссионером брата по делам литературным с 1821 по 1825 г., когда выяснилась совершенная неспособность Л. С. к обязанности комиссионера и поэт вынужден был перенести поручения по изданию его сочинений на одного Плетнева.

[5] «Люблю ваш сумрак неизвестный»—впервые напечатано в «Московском Телеграфе» в январе 1826 г., № 1, куда повидимому отдал стихотворение Соболевский помимо кн. Вяземского (см. след. письмо Л. С. Пушкина, № 4).

4. ПИСЬМО Л. С. ПУШКИНА

Петербург, 10 ноября 1825 г.

Вчера я получил еще письмо от тебя, на которое гораздо больше рассердился, нежели на первое, потому что рассердился не в шутку. Что за своевольное распоряжение пьесой, мною присланной не к тебе, а к Вяземскому; почему ты знаешь, что Вяземский, единственный и полный ее хозяин отдал бы ее в Телеграф? Что же до меня, ты меня против брата поставил в очень неприятное положение. Теперешние наши отношения, тебе неизвестные, требуют чрезвычайной деликатности, а ты заставляешь меня ее нарушить. Может быть ты всего этого не поймешь, но я от тебя требую как от приятеля и от честного человека, чтобы пьеса, присланная мною к Вяземскому, никоим образом не была бы напечатана без ведома Вяземского.—Прощай, в другой раз напишу тебе письмо повеселее; вольно тебе было разбесить меня.

Лев Пушкин

[«A. 1. V.», I, лл. 341—342]

Впервые опубликовано П. И. Бартеневым в «Р. А.» 1878, II, стр. 396.

На почве плохого литературного комиссионерства Л. С. Пушкина, с одной стороны, и его чрезвычайно легкомысленного отношения к пьесам брата, нередко распространявшимся им в кругу своих знакомых задолго до их напечатания, с другой, отношения братьев настолько испортились, что надолго прервалась и самая их переписка.

5. ИЗ ПИСЬМА Н. А. МАРКЕВИЧА

Село Туровка, Прилукского уезда,
Полтавской губ., 20 ноября 1825 г.

...Теперь я б тебя просил отдать списчику переписать для меня Гавриилиаду[1] соч. А[лександра] П[ушкина] и что тебе бы ето стоило я б немедля выслал, но не знаю выполнишь ли ты мою прозьбу, а мне очень бы хотелось иметь это сочинение и я бы тебе прислал мою Паризину[2] за это. Несносный человек, я от тебя ничего доброго не дождусь. Пришли Гавриилиаду.

[«A. 1. V.», I, л. 442]

Маркевич, Николай Андреевич (1804—1860)—товарищ Соболевского по петербургскому Благородному пансиону, поэт, историк Украины (в 1842—1843 гг. вышла его «История Малороссии» в 5 частях) и автор ряда статей, посвященных преимущественно ее истории и быту, лично знакомый Пушкину, которому последний, уезжая на юг в мае 1820 г., подарил рукописи своих стихотворений: 1817 г. «К П. П. Каверину» («Забудь, любезный мой Каверин...») и 1819 г. «Ответ на вызов» («На лире скромной, благородной»). См. «Ж. д. в.» 1896 г., № 8.

[1] Список «Гавриилиады» Соболевский сделал и послал Маркевичу, но до Маркевича он не дошел.

[2] Перевод поэмы Байрона, носящей то же название, сделанный Маркевичем.

6. ПИСЬМО Л. С. ПУШКИНА

Петербург, 17 января 1826 г.

Отвечать мне на все письма или сослать меня на каторгу—для меня почти одно и то же; однакоже со всем тем я виноват перед тобой; давно сбираюсь отвечать на твои письма и наконец отвечаю следующее:

1. Благодари Полевого[1] за присылку билета.

2. Растолкуй Полевому следующее: я не могу и даже мне Льву не выгодно его предложение на щот пьес брата. Сделавши с ним предлагаемое им условие я обязываюсь ему ежемесячно доставлять пьесы брата; не всегда пьесы под рукой; к тому я их продавая другим журналистам получаю 10 и более рублей за стих; вся годовая сумма Полевова равняется с платой, которую предлагает мне Аладин[2] за одну пьесу брата.—Вот мои невыгоды, невыгоды же Полевова в том, что он будет платить за стихи, которые теперь, хотя не регулярно и неежемесячно но будет получать даром. Брат решился сколько можно поддерживать Телеграф.—Наконец решительный мой отказ, на который нет возражений имеет причиною то, что у брата мелких пьес мало, а у меня в моем распоряжении их вовсе нет.

3. Присланная мною пьеса не оглавлена,—иди к Вяземскому и окрестите ее как угодно. Дело в том, что пьеса та—прелесть, москвитяне, начиная тобой или судя по тебе, не чухают красоты поэзии. Прости им боже! Sur ce je vous souhaite le bonjour. Merci de m'avoir parlé de ma cousine[4]. Винев[итинова] [5] и нынче иногда во сне она тревожит сердце мне[6].

T. à V.

Léon Pouchk[in]

Monsieur Sobolevsky.

[«A. I. V.», I, лл. 343—344 об.]

Впервые опубликовано П. И. Бартеневым в ж. «Р. А.» 1878, II, стр. 397 с некоторыми сокращениями в тексте.

[1] Полевой, Николай Алексеевич (1796—1846)—писатель, журналист, критик, редактор-издатель ж. «Московский Телеграф», начавшего издаваться при ближайшем участии кн. Вяземского. Пушкин, также вначале очень благосклонно отнесшийся к журналу, поместил в нем несколько стихотворений и статей. По поводу условий Полевого сам Пушкин писал кн. П. А. Вяземскому из Михайловского 25 мая 1825 г.: «Ты вызываешься сосводничать мне Полевова. Дело в том, что я рад помогать ему, а условий верно никаких не выполню—следств. и денег его мне не надобно...» («Письма», I, № 144). См. также «Пушкин по документам Погодинского архива», II, № 5 и примеч. к нему за № 4.

[2] Аладьин, Егор Васильевич (1796—1860)—издатель «Невского Альманаха» (1825—1833, 1846 и 1848 гг.). Пушкин участвовал в его «Невском Альманахе» на 1826, 1827, 1828 и 1829 гг.

[3] «Люблю ваш сумрак неизвестный». См. письмо Л. Пушкина от 26 октября 1825 г., № 3, прим. 5. Стихотворение помещено в «Московском Телеграфе» под заглавием «Элегия». Ко времени получения письма Л. С. «Элегия» уже вышла в свет 21—22 января 1826 г. (см. «Р. С.» 1901, № 5, стр. 399).

[4] Затем—добрый день; спасибо за известие о моей кузине.

[5] Веневитинова, София Владимировна (1808—1876), впоследствии графиня Комаровская—родная сестра поэта Д. Веневитинова, дальняя родственница Пушкина.

[6] Перефразировка из «Евгения Онегина» (гл. I, строфа XXX, стр. 13—14).

7. С. А. СОБОЛЕВСКИЙ—А. МИЦКЕВИЧУ

[Октябрь 1826 г. Москва]

[Подлинник по-французски]

Итак, не забудьте притти, любезный Адам. О нашем приходе я предупредил Пушкина, и кровь ударит ему в голову, если вас не будет.

А. МИЦКЕВИЧ—С. А. СОБОЛЕВСКОМУ

[Подлинник по-французски]

Гибель и голод на вас, дорогой демон. Пусть милостивый бог сделает тебя худым. Я приду, но лишусь обеда с прелестной дамой.

Ваш Адам.

Вы получите мое вчерашнее письмо; я его отправил со слугой доктора Геймана[1]; ответьте на него, что наш обед должен непременно состояться.

[«A. I. V.», I, л. 350]

NOUVELLE
MÉTHODE
ESPAGNOLE.

NOUVELLE
MÉTHODE,
CONTENANT EN ABRÉGÉ
TOUS LES PRINCIPES
DE LA
LANGUE ESPAGNOLE,
AVEC
DES DIALOGUES
FAMILIERS;
Dédiée à Monseigneur LE DAUPHIN.

A PARIS,
Chez NYON, Libraire, Quai des Augustins, à l'Occasion.

M. DCC. LXIV.
Avec Approbation, & Privilège du Roi.

КНИГА „NOUVELLE MÉTHODE, CONTENANT EN ABRÉGÉ TOUS LES PRINCIPES DE LA LANGUE ESPAGNOLE...“ С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ СОБОЛЕВСКОГО ПУШКИНУ

Институт Русской Литературы, Ленинград

Написанные на одном листе записки на основании упоминания в первой из них Пушкина можно датировать только октябрем 1826 г.; в это время Пушкин жил в гостинице «Европа» на Тверской ул. (ныне д. № 26). Во второй свой приезд в Москву, в ночь с 18-го на 19 декабря, Пушкин остановился у Соболевского. Из записки же Соболевского ясно, что последний собирался с Мицкевичем к Пушкину. Утверждения А. К. Виноградова, что Пушкин с Мицкевичем познакомился у Соболевского (МС, стр. 234), ни на чем не основаны.

[1] Гейман, Григорий Ефимович—доктор, в то время врач Мариинской больницы в Москве.

8. ИЗ ПИСЬМА Д. В. ВЕНЕВИТИНОВА

14 декабря 1826 г. Петербург.

...Что делает наш журнал?[1] Я надеюсь, что ты из деятельных сотрудников, а именно пенаешь Погодина вперед, ругаешь Полевого, выжимаешь

из Шевырева статьи и выкидываешь терния и зелия недостойные из нашего цветущего сада. Если ты хорошо вникнул в роль свою, то ты увидел, что она не противоречит твоей гордой и солидной осанке. Ты должен быть крепкий цимент, связующий камни сего нового здания. От тебя много зависит его прочность. Понукай Пушкина, надобно, чтобы в каждом № было его имя, подписанное хотя под немногими строчками. Скажу тебе искренно, что здесь от етого журнала много ожидают. Сам Пушкин писал[2] сюда об нем. Скажи нашим, чтоб они не щадили Бул[гарина], Воей[кова] и пр. Истинные литераторы за нас. Дельвиг также поможет и Крылов не откажется от участия. Принимайтесь только за дело единодушно и бодро и все пойдет хорошо. Поверните колесо рукою твердой и оно покатится. Если же я буду доволен вашими двумя первыми нумерами, то вы позавтракаете таким Стильтоном[3] какого ты отроду не едал. Лучшего трудного [sic!] достать, но мне обещали и я пошлю тебе провизию в гостинец как скоро будет оказия. Прощай мой друг, мне еще много надобно писать а теперь уже второй час.

Пиши ко мне и помни.

Венев[итинов]

Получил ли ты 139 руб. за фортепьяно? Дай мне записку к Грефу[4] для получения остальных томов Шекспира.

[«А. I. V.», I, л. 232]

Впервые опубликовано А. П. Пятковским в ж. «Р. С.» 1875, апрель, стр. 820—821 по копии, снятой собственноручно С. А. Соболевским и присланной к Пятковскому в 1863—1864 гг. с незначительными изменениями и сокращениями в тексте.

[1] «Московский Вестник».

[2] Письмо Пушкина, о котором упоминает Веневитинов, до нас не дошло. Едва ли Веневитинов имеет здесь в виду письмо Пушкина к кн. П. А. Вяземскому от 9 ноября 1826 г. («Письма», I, № 221).

[3] Стильтон—особый сорт английского сыра, изготовлявшийся в графстве Лейчестер. Соболевский, как известно, был большой гастроном, и Веневитинов, зная это, соблазняет его обещанием угостить его редким сортом сыра.

[4] Греф—петербургский книгопродавец.

9. ПИСЬМО Д. В. ВЕНЕВИТИНОВА

[Первые числа января 1827 г. Петербург.]

Получив твое поганое письмо я тотчас обрек его на всесожжение и на другой же день зажег им свой камин. Еслиб я мог полагать в тебе хоть на грош благоразумия то стал бы бранить тебя за такое письмо; но ты не можешь изменить своей природе как говорят французы и потому прими от меня в награду вонючего Стильтона. Наконец дождался ты Пушкина. Перекрестись и кушай. Д. В.

А Пуш[кину] от меня поклон.

[«А. I. V.», I, л. 230]

Письмо написано по случаю вторичного приезда Пушкина в Москву, в декабре 1826 г.

10. ИЗ ПИСЬМА Н. А. МАРКЕВИЧА

Туровка, Прилукского уезда, Полтавской губ. 17 января 1827 г.

...Александр Сергеевич [Пушкин] у тебя—обними его, пожми его добрую руку, поблагодари за многие сладкие минуты, которые мне доставил он в неприятностях; я сберег его собственноручные пьесы данные им мне во время выпуска моего из Петербурга[1]...

Гаврилиаду я получил от моих знакомых—а твоя не дошла...

Перезначь строки Паризины цыфрами и пришли мне замечания двух Пушкиных, Баратынского и свои. Отвечай на щот книг как можно скорей. Прощай.

Маркевич

[«А. 1. V.», I, лл. 464 об.; 465 об.]

[1] Об Н. А. Маркевиче см. примечание к № 5.

11. ИЗ ПИСЬМА Н. А. МАРКЕВИЧА

Туровка, Прилукского уезда, Полтавской губ. 10 февраля 1827 г.

...Выполнил ли ты просьбу мою на щот Паризины и согласен ли Александр Сергеевич [Пушкин] ее выполнить также. Я думаю начать переводить Гяур или Мазепу[1]. Равным образом прошу мне сказать что делается нового нащот поэзии нет ли чего непечатанного для пересылки сюда в роде Гаврилиады, которую я имею из других рук...

[«А. 1. V.», I, л. 468]

[1] «Гяур» и «Мазепа»—произведения Байрона, написанные им в период 1813—1819 гг. Повидимому мысль Маркевича перевести их не была им осуществлена, во всяком случае в печати переводы Маркевича этих поэм Байрона неизвестны.

12. ИЗ ПИСЬМА И. В. КИРЕЕВСКОГО

30 августа 1827 г. Москва.

... Что твои негоциации об Моск[овском] В[естнике]? Кстати: 500 р[ублей] с издателя я получил и дал в получении расписку; 200 с Веневит[инова] не получал еще от того, что не говорил ему. Но это все равно, что получил. Что же касается до Максимовича[1], то этот ждет их выбрать со своих песенок. Если ты можешь заменить этого барана с золотым руном другою скотиною, то сделай это; если же это причинит тебе хоть маленькую расстройку, то не делай. Я говорю тебе об этом от того, что твердо уверен, что ты не станешь с ним делать глупых церемоний. Во всяком случае напиши: сколько следует вытребовать у хохла.—Он сам не знает.

[«А. 1. V.», I, лл. 391—392]

Письмо адресовано в Петербург, где в это время находился Соболевский. 23 августа 1827 г. агент Бенкендорфа доносит последнему, что «Соболевский... прибыл сюда [в Петербург] и остановился у кавалергардского офицера кн. Трубецкого, в доме Устинова, у Семеновского моста» (Сухомлинов. «Исследования и статьи», II, стр. 390).

[1] Максимович, Михаил Александрович (1804—1873)—ученый-этнолог, историк, филолог и этнограф. В 1827 г. издал «Малороссийские песни» с комментариями.

13. ИЗ ПИСЬМА Н. М. РОЖАЛИНА

13 сентября 1827 г. Москва.

...Пушкин прислал нам две пьесы: отрывок из Онегина[1] и еще мелкое стихотворение[2], очень хорошее. Шевырев и прежде был несогласен покинуть Вестник, а теперь ты видишь, что планы Телеграфа рушились и след. нет никакой надобности изменять общему делу. Сообщали ли тебе свои планы Титов и Одоевский? Я их одобряю, и они непременно будут выполнены: тогда дела наши пойдут очень хорошо. Ты с своей стороны не приводи Пушкина в отчаяние: если продолжать журнал на следующий год, то он необходим, и его отказ был бы смертельным ударом для Вестника.

Погодину мы не позволим писать к нему о расчетах; след. пять тысячь остаются за ним, а на следующий год он получит больше.

Не говори и ты ему о расчетах. Шевырев сверял показания Погодина, и утверждает, что в них нет нисколько обмана. И так успокойся, приезжай сюда и поверь сам[3].

Я не предвижу на следующий год довольно свободного для себя времени, чтобы в качестве сотрудника работать для какого бы то ни было журнала: но что найдется у меня готового, то все буду отдавать в М. В.

Языков[4] наш и обещал, через Петерсона[5], прислать своих стихов. Клапрот[6] и Аббат Мериан[7] прислали также по статье для напечатания в нашем журнале. Редактором будет Шевырев, малой прилежной и, как тебе известно, горячий и острый: след. за успех поручиться почти можно, если не будет лениться...

[«А. І. V.», I, 378 об.—379]

[1] Здесь имеется в виду известное письмо Пушкина из Михайловского к М. П. Погодину, датируемое второю половиною августа 1827 г. и содержащее «Отрывок из Онегина» («В начале жизни мною правил»), напечатанный затем в «Московском Вестнике» за тот же год, ч. V, стр. 365—367.

[2] Стихотворение «Пока не требует поэта» («Письма», II, № 251).

[3] Эта часть письма Н. М. Рожалина, равно как и следующие письма—его № 14, М. П. Погодина № 15 и С. П. Шевырева № 16, тесно связаны между собою по содержанию и касаются взаимных отношений и материальных расчетов сотрудников «Московского Вестника», в том числе и Пушкина (ЦПП, II, №№ 2, 23, 24 и «Ж. и Т.», II, стр. 130—135). Об условиях участия Пушкина в журнале см. там же, примечание 1 к письму № 40.

[4] Языков, Николай Михайлович (1803—1846)—известный поэт, в то время студент Дерптского университета. В ближайшем выпуске «Московского Вестника» были напечатаны следующие стихотворения Языкова: «К В—у» («Мой друг, учи меня рубиться») и «Ночь» («Померкла неба синева») 1827, V, стр. 8 и 367.

[5] Петерсон, Александр Петрович—сводный брат Авдотьи Петровны Елагиной, внебрачный сын ее отца П. Юшкова, товарищ Языкова по Дерптскому университету.

[6] Клапрот (Klaproth), Генрих-Юлий (1783—1835)—знаменитый ориенталист и путешественник, бывший в России в 1802—1812 гг. адъюнктом азиатских языков в С.-Петербургской Академии Наук и производивший, по ее поручению, свои исследования об азиатских народностях. В «Московском Вестнике» было напечатано «Страбоново описание берегов моря Азовского и Босфора Киммерийского» с примечаниями Клапрота (1827, ч. V, стр. 454—475).

[7] Мериан-Фальках (Mérian-Falckach), Андрэ-Жозеф (р. 1772)—автор многих трудов по сравнительной филологии, часть которых была опубликована ориенталистом Клапротом. Ни в пятой, ни в последней (шестой) части «Московского Вестника» за 1827 г. никакой статьи за подписью Мериана опубликовано не было.

14. ИЗ ПИСЬМА Н. М. РОЖАЛИНА

18 сентября 1827 г. Москва.

...Погодин[1] получил твою нотацию и будет отвечать тебе немедленно: он, кажется, виноват в одном нерадении и неаккуратности, а фальши за ним никакой не замечено. Он доставит тебе щет самый подробный, на гербовой бумаге, подписанный Ширяевым[2] и всеми нами. Удержи его у себя или отправь Пушкину, как хочешь: но не отчаивайся в Вестнике и не пророчь торжества Гречева[3]: я его никак не предвижу, а напротив имею причины надеяться всего хорошего при переменах, которые мы намерены сделать в издании с нынешнего же года. Я отчасти тебе писал уже о них и буду писать еще, если Одоевский и Титов не дадут тебе полного о них понятия. Мне кажется ты можешь смело говорить за свою московскую братью перед Пушкиным[4]. Уверь пожалуйста и себя и его, что отчаяние в своем деле и в своих силах вредит каждому пуще всего на свете. Чем

Соболевскому от Шевырева
объяснение.

Ты уж думаешь, что ты прав совершенно. Так разсказано — что и возражений нет — торжествуешь — вот по этому только пишу к тебе, чтобы вывесть тебя из очарования, а то нечего писать бы, потому что и без тебя все делалось — Пушкин прямо пишет и в этом не худо было согласиться тебе, хорошо что он человек и в нем человека разумею. Но по видимому мы об нем гораздо лучше имеем понятие нежели ты.

Ты представляешь две бумаги — одну твою, другую — ultimatum Погодина. Эти бумаги различны, а всё надобно одной держаться, в одной подписанной. — Ну не нелепо ли ты говоришь: из двух бумаг выбирай? Первой бумаги т.е. твоей я никогда не видал да и видеть не хочу и верно Киреевский давно ее употребил на дело. Другую вторую, она теперь передо мною. Так вот что сказано, вот-

«СОБОЛЕВСКОМУ ОТ ШЕВЫРЕВА ОБЪЯСНЕНИЕ». ПЕРВАЯ СТРАНИЦА
Центрархив СССР, Москва

самаго слово въ слово.

Пятьсотъ съ проданныхъ тысячи двухъ отъ журн. десять тысячъ А. С. Пушкину.

Пятьсотъ сотрудн. по сту руб. за листъ сочиненій и по 50 за листъ перевода.

Пятьсотъ за печ. и проч. издержки.

Если подписчиковъ свыше 1200, то плата раскладывается пропорціонально.

Рожалину какъ помощ. редак. нарочно также 600 р.

Ну видишь ли? — Разсуждай же. Если пропорціонально, такъ вѣдь и я потребую по своей доли добавки съ экземпляра, и Шевыревъ, и Рожалинъ, ~~[illegible]~~ и то за вписку Портр. Соболевскому и самъ Погодинъ за редакцію. Кто же будетъ выдавать издержки? — Вѣдь они общіе. Кому нужно? Вѣдь все издержки. Погод. редакторъ, Пог. принципалъ нашъ по твоему же сужденію. Кажется нужно? — И если Пушкинъ не хочетъ знать издержекъ, такъ и я не хочу и никто не хочетъ. — Чтожъ изъ этаго рѣшить? —

Ц. Соболевскій Нѣмецъ.

„СОБОЛЕВСКОМУ ОТ ШЕВЫРЕВА ОБЪЯСНЕНИЕ". ВТОРАЯ СТРАНИЦА

Центрархив СССР, Москва

Ты хочешь вручать Погоди
Урании. Кто тебя просит об этом?
И кто вручать? — [illegible]
[illegible] — Ты
антихрист Соболевский. Хорошо,
хорошо, душенька! Издадим
Альманахъ, но не Уранію, ибо ея
не будетъ — и не просимъ твоей помощи.
Ты вѣдь чтишь только Пушкина.
Какой ты хлопотунъ! Да если бы надъ
[illegible] на [illegible], уж
вѣрно не увидишь [illegible], хоть ты и
[illegible] нас [illegible].
Ты бредишь помощью Пушкина
и другихъ [illegible]. Вѣрно они лучше
тебя знаютъ свою пользу. А Пушкин
денегъ требовать не будетъ, не взирая
что ты принуждаешь (ибо на твоих
глазахъ мы не смотримъ хотя на
нашей стороне больше нихъ),
а потому что Пушкинъ уже
нашъ, и [illegible] ему [illegible]
Ты бредишь помощью друзей своихъ,
ты [illegible] об обидахъ [illegible]

«СОБОЛЕВСКОМУ ОТ ШЕВЫРЕВА ОБЪЯСНЕНИЕ». ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА
Центрархив СССР, Москва

а предлагаю Московскому сотруд-
ничеству Пушкина. Как ты мелок
Соболевский! [illegible], ты и близко не [illegible]
[illegible] друзей своих.
Ты упражняешь словами и [illegible]
Что же это возразить? — [illegible] каждого-то
из басен Крылова, такие [illegible]
[illegible]. Да они [illegible] иногда [illegible]
слова переделывать, пора [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible],
а ты словами, да еще и [illegible]
на будущее и [illegible] [illegible],
ибо [illegible] журнал. [illegible] [illegible]
1500.
Из всего этого [illegible] [illegible] [illegible]. Заключ.
[illegible] теперь. Желаю тебе [illegible]
здравого смысла; он видно не чета
Московскому. — И ты назвал
меня [illegible]! Как же это можно
меня назвать тебя? — Неистовым
изображением в виде существ
неодушевленных. — [illegible]
[illegible] как хочешь.

„СОБОЛЕВСКОМУ ОТ ШЕВЫРЕВА ОБЪЯСНЕНИЕ“. ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА

Центрархив СССР, Москва

взял Полевой, если не самонадеянностью? Мы с тобой это довольно хорошо знаем. Ты скажешь: рвением, столько же сколько смелостью. Так. Но Шевырев малой самолюбивый и деятельной; он не будет овечкою по примеру Погодина и постыдится отстать в своем деле от кого бы то ни было, тем больше от невежд—издателей других журналов. Имя Московского Вестника хоть не громко, но и не так похабно, как ты утверждаешь. На него многие обращают внимание, и мы скоро выскочим с небывалою новостью: l'abbé Mérian и Клапрот прислали нам своих статей, из которых Клапротова очень любопытна и важна. Это первый пример сотрудничества таких славных ученых в русском журнале. И заметь, эти статьи свежие, нигде еще не напечатанные. Языков наш, и нам остается только самим не плошать. Внуши Пушкину постоянство к делу, и дело пойдет хорошо. Надежда на успех есть.

[«A. I. V.», I, л. 381 — 382]

[1] Письмо С. А. Соболевского к М. П. Погодину от 10 сентября 1827 г. (ЦПП, II, № 23 и «Ж. и Т.», II, стр. 130—131).

[2] Ширяев, Александр Сергеевич—крупный московский издатель и книгопродавец в конце 20-х и в 30-х годов прошлого столетия (ум. в 1841 г.). Как известно, Ширяев брал журнал на комиссию.

[3] Эти строки письма Рожалина относятся целиком к некоторым фразам в вышеназванном письме Соболевского к Погодину. Греч, Николай Иванович (1787—1867)—журналист и педагог, редактор «Сына Отечества» (1812—1839) и соиздатель «Северной Пчелы» (1825—1860).

[4] Пушкин, принимая большое участие в «Московском Вестнике», дав на первую же страницу его первого номера свой неопубликованный еще отрывок из «Бориса Годунова» («Еще одно последнее сказанье...») и питая расположение к Погодину и Шевыреву, довольно отрицательно относился к некоторым из «глубокомысленных» сотрудников «Московского Вестника». Тем не менее, и без заступничества С. А. Соболевского, он чувствовал себя нравственно связанным с журналом, так как уже 31 июня 1827 г. писал барону Дельвигу: «У меня на руках Московский Вестник и я не могу его оставить на произвол судьбы» («Письма», II, № 250).

15. ИЗ ПИСЬМА М. П. ПОГОДИНА

21 сентября 1827 г. Москва.

Я получил письмо твое, любезный Сергей Александрович. За форму его, которая была для меня совершенно новостию, и новостию приятною, на—тебе спасибо, а за содержание подай его назад.

Мы все сообща делаем теперь счет на подлинных документах и на голландском листе пришлем его послезавтра к тебе и к Пуш[кину]. Тебе дан был ескиз, деланный не по всем данным... но впрочем мне низко и объясняться об этом, ибо как можно было уверять, что $2 \times 2 = 5$, а не 4, между тем как ты (при переписке) приписываешь мне это уверение.

Яснее—ты запел Лазаря, потому что тебе не хочется, как я уже и прежде заметил, толковать об этом деле а Пуш[кин] и ты сваливаете все на меня. Я подниму—и ты напрасно не поступил откровеннее.—Или молчать или спорить.—Но кто просит тебя молчать, и нужно ли твое молчание?— Это стыдно написать!

Не понимаю, как можно было написать такое письмо по долговременном размышлении?—Это вспышка минуты, и вспышка в твоем роде.— Но форма и кое что из содерж[ания] мне доставили много удовольствия как будто новый face твой. За нее я прощаю тебя.

М. П.

[«A. I. V.», I, л. 383—383 об.]

Настоящее письмо Погодина повидимому является ответом на письмо к нему С. А. Соболевского из Петербурга от 10 сентября 1827 г. (см. ЦПП, II, № 23). Вместе с последующим, тесно связанным с ним по содержанию «объяснением» С. П. Шевырева и двумя письмами Рожалина оно касается взаимных отношений и материальных расчетов сотрудников «Московского Вестника».

16. ПИСЬМО С. П. ШЕВЫРЕВА

[20-е числа сентября 1827 г. Москва.]

Соболевскому от Шевырева

объяснение.

Ты уже думаешь, что ты прав совершенно. Так рассказал,—что и возражения нет—торжествуешь—вот поэтому только пишу к тебе, хочется вывести тебя из очарования, а нето писать бы нечего, потому что и без тебя все сделалось. — Пушкин прямо наш и в этом нельзя было сомневаться, потому что он честен и в нем человек равняется поэту. Повидимому мы об нем гораздо лучшее имеем понятие, нежели ты.

Ты представляешь две бумаги—одну твою, другую—ultimatum[1] Погодина. Эти бумаги различны, след[овательно] надобно одной держаться, всеми подписанной.—Ну не нелепо ли ты говоришь: из двух бумаг явствует. Первой бумаги, т. е. твоей я никогда не видал да и видеть не хочу и верно Киреевский давно ее употребил на дело. Держусь второй, она теперь передо мною. Там вот что сказано, выписываю слово в слово.

Платить с проданных тысячи двухсот экземпля[ров] десять тысяч А. С. Пушкину.

Платить сотрудн[икам] по сту руб[лей] за лист сочинения и по 50 за л[ист] перевода.

Платить за печ[атание] и проч. издержки.

Если подписчиков менее 1200, то плата раскладыв[ается] пропорционально. Рожалину как помощ[нику] реда[ктора] назначается также 600.

Ну видишь ли?—Рассуждай же. Если пропорционально, так ведь и я потребую поскольку будет следовать с экземпляра, и Титов и Рожалин и ты за выписку о португ[альской] словесности[2] и сам Погодин за редакцию. Кто же будет ведать издержки?—Ведь дело-то общее. Кому нужда? Ведь все издатели. Погод[ин] редактор, Пог[один] прикащик наш по твоему же суждению. Какая ж ему нужда?—И если Пушкин не хочет знать издержек, так и я не хочу и никто не хочет.— Что ж из этого заключить?—Что Соболевский нелеп.

Ты хочешь выручать Погодина Уранией. Кто тебя просит об этом? И кто выручит? Ты смешон, Соболевской. Хлопочи, хлопочи, душинька! Издадим Альманах, но не Уранию, ибо ее не будет—и не просят твоей помощи. Ты ведь читал письмо Пушкина. Какой ты хлопотун! Да еслиб надо было выносить Погод[ина] на плечах, уж верно не ты б его вынес, хоть ты и всех нас широкоплечее.

Ты блюдешь пользы Пушкина и друзей твоих. Верно они лучше тебя знают всю пользу. С Пушк[ина] денег требовать не будут не потому, что ты приказываешь (ибо на твой голос мы не смотрим когда на нашей стороне больше их), а потому что Пушкин уже наш, по его личному уверению[3]. Ты блюдешь пользы друзей своих, ты стараешься об общем деле, а предлагал Полевому сотрудничество Пушкина. Как ты нелеп, Соболевской! Нет, ты не блюдешь нравственной пользы друзей твоих. Ты участвовал словами и советами. Что на это возразишь?—Прочти какую-то

из басен Крылова, там найдешь ответ. Да мне брат некогда с тобой с л о в а перебрасывать, пора статью писать. Ведь я с т а т ь я м и участвую, а ты с л о в а м и, да еще и тружусь-то безденежно и всем жертвую, ибо от любого журнал[а] мог бы получ[ить] 1500.

Из всего этого я вывел след[ующее] закл[ючение], что петерб[ургский] рейнвейн тебя лишил здравого смысла; он видно не чета московскому.— И ты назвал меня дитятей! После этого как мне назвать тебя?—Н е л е п о с т ь изображается в виде существ неодушевленных—назови себя как хочешь.

[«A. I. V.», I, лл. 386—387 об.]

POEZYE

ADAMA

MICKIEWICZA.

TOM CZWARTY.

PARYŻ,

1832.

КНИГА „POEZYE ADAMA MICKIEWICZA" С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ СОБОЛЕВСКОГО ПУШКИНУ

Институт Русской Литературы, Ленинград

[1] Ultimatum—см. выше «Пушкин по документам Погодинского архива», № 2 и примечания к нему. В создании журнала Пушкина несомненно интересовала и денежная сторона. Согласно «Ultimatum'у» Пушкин, вне зависимости от доли его участия в журнале, выговаривал себе 10 000 руб. в год. Условия эти в действительности оказались лишь номинальными; пункт, гласивший: «Если подписчиков будет менее 1200, то плата раскладывается пропорционально», сокрушил надежды Пушкина. Журнал на первых же порах не имел ожидаемого материального успеха, и издателям при расплате пришлось руководствоваться помянутым пунктом соглашения. За первый год участия в «Московском Вестнике» Пушкин получил всего 1000 руб., а с 1828 г. сотрудничал совершенно безвозмездно (Сергей Гессен. «Книгоиздатель Александр Пушкин, Литературные доходы Пушкина». «Academia». Л., 1930, стр. 78—79).

[2] Соболевский еще во время своего пребывания в Университетском благородном пансионе принялся за изучение португальского языка, которым впоследствии владел совершенно свободно. Ст. Соболевского «Выписка о португальской словесности» была напечатана в «Московском Вестнике» 1827 г., ч. 4, стр. 63—70.

[3] Вероятно Шевырев имел здесь в виду письмо Пушкина к М. П. Погодину от 31 августа 1827 г. из Михайловского («Письма», II, № 252).

17. ИЗ ПИСЬМА И. В. КИРЕЕВСКОГО

29 января 1829 г. Москва.

С Барат[ынским] мы сошлись до: *ты*; чем больше его знаешь, тем больше он выигрывает. Он издал свой бал вместе с Нулиным Пушкина[1], который написал еще поэму: Мазепа[2], но еще не печатает. В Пушкине я нашел еще больше, чем ожидал. Такого мозгу кажется не вмещает уже ни один русский череп, по крайней мере ни один из ощупанных мною. Но вот что он наделал: бывши у меня и зная, что твоя библиотека хранится у нас отправился в нее и выбрал оттуда несколько книг, принадлежащих ему, уверяя, что он на них имеет полное право, что напишет об этом к тебе, что ты не рассердишься.—Как прикажешь поступить?

[«V.», 1828—1833, II, л. 202 об. 203]

Начиная с этого письма и до письма С. П. Шевырева № 27, последние адресованы Соболевскому за границу.

[1] Имеется в виду издание «Две повести в стихах», СПБ., 1828, вышедшее в свет около 15 декабря 1828 г. (СЦ, № 71, стр. 18).

[2] Поэма «Полтава», первоначально называвшаяся «Мазепа», была написана Пушкиным в течение октября 1828 г. Вышла отдельным изданием 27—28 марта 1829 г. (см. СЦ).

18. ИЗ ПИСЬМА А. П. ЕЛАГИНОЙ

1 февраля 1830 г.

Недавно Полевой сказал при многих, что Пушкин Вяземский[ский] и Баратынский одним *им* стали так известны, и что о н в т о п ч е т и х о п я т ь в т у г р я з ь, и з к о т о р о й вынул.

...Дельвиг[1] вам кланяется, он здесь с женою, а без него издают Литтературную газету[2] под его именем, каждые пять дней, а он и не читает, верит и ленится.—Вот единственный человек, который умел из мерзкого порока сделать благородное, высокое качество души.

[«V.», 1828—1833, II, лл. 224—224 об.]

[1] Дельвиг приехал из Петербурга в Москву 5 января 1830 г. и выехал обратно в Петербург числа 10—13 февраля.

[2] «Литературная Газета»—журнал в форме газеты, выходивший в Петербурге раз в пять дней с 1 января 1830 г. до июня 1831 г. Газета была основана Дельвигом с привлечением к ближайшему сотрудничеству О. Сомова. В отсутствие Дельвига «Литературную Газету» фактически вел Пушкин.

19. ИЗ ПИСЬМА С. П. ШЕВЫРЕВА

15/27 февраля 1830 г. Рим.

Вяземский, Жуковский, Пушкин, Дельвиг, Сомов etc. издают в Петербурге литературную пятидневную газету, которую уже бранят в Сев. Пчеле[1]. Газета издается с целию действовать против Полевого и Булгарина. Принялись кусать, когда их задели за живое. Сомова ругают в Сев. Пчеле и говорят, что он скверно критики пишет, а он только и критиковал в Пчеле[2].

...В Сев[ерных] Цветах, очень тоненьких, много, как говор[ит] Пог[один][3] хорошего. «Пушкина 26 мая превосходно; оно вроде Демона *и* проч.» Там же его отрывок из 7-й главы Онегина, Зимний вечер, 2-ое ноября и проч.[4] В прозе его же отрывок из литературных летописей.—Сомова обзор ругают[5]. Дельвигу достается в Пчеле[6]. В обзоре на 8-ми страниц[ах] Сомов его хвалит и Дельвиг как будто уснул под похвалы Сомова. В Пчеле говорят: «Есть журналы получше Литературной газеты, журналы,

КАРАНДАШНЫЙ РИСУНОК КАРЛА БРЮЛОВА, ИЗОБРАЖАЮЩИЙ ЕГО САМОГО, СОБОЛЕВСКОГО И ХУДОЖНИКОВ КИПРЕНСКОГО И ТВЕРСКОГО

Собрание Н. И. Тютчева, Москва

коих издатели (своими трудами) приобрели право быть посредниками между авторами и публикою»[7]—каково!!—О ужасы!—Там же упрекают молодых стихотворцев в том, что ни один не воспел ни мира ни войны нашей.—В канцелярии задерживают Годунова, потому что выходит Самозванец Булгарина. Ему хочется опередить. В напечатанном отрывке есть, говорят, кража: помнишь карту геогр[афическую]—Пушкин хочет извиняться перед публикою в том, что он заимствовал от мысли у Булгарина [8]. Пчелисты рады до смерти, что меня нет в России.

...После того как написал тебе все это, получаю кучи новостей. Как же не поделиться? Главное: Северные Цветы. Еще сам не все прочел. Вот тебе Зимний Вечер Пушкина: это по-моему лучшая из его пьес в Цветах.

Буря мглою небо кроет

[Далее приводится весь текст стихотворения без разночтений с текстом «Северных Цветов».]

2-ое ноября занимает второе место. Это картина зимы русской в деревне. 26-ое мая никак не может стать наряду с Демоном. Весна из Онегина мне не нравится. В первой строфе хороши Прозрачные леса, а следующие 4 строфы болтанье. Мила идиллия Дельвига: Отставной солдат [9]. Впрочем Цветы беднее против прежних. Много однообразного, скучного. Явился новый поэт Деларю [10]. Какие-то Карцовы, Носковы переводят Байрона. В Прозе: Обозрение (раз[умеется] глупое) Сомова. С сожалением увидел имя Пушкина под статьею: отрывок из Литтерат[урных] Летописей. Грех бы ему мешаться в эти дрязги. Коль он туда же, так прочие-то и подавно. Ругается с Каченовским [11]. С кем связался?—По всему видно, что Пушкин ужасно скучает: предметы все те же да те же. Надо бы ему обновить сферу, омыться.—Еще получили два № Пчелы.—Максимович издал альманах: Денница. Киреевский написал обозрение Литер[атуры] за 2-ой год. Булгарин его ругает без памяти. Разумеется, привязки к словам—и только, бранит за неизвестность его имени... Видно Кир[еевский] сказал горькие правды его Выжигину. Из выписанного нельзя никакого иметь понятия о обозрении. Баратынского ругают уж в Пчеле [12]...

[«V.», 1828—1833, II, л. 158—159.]

[1] «Северная Пчела» 1830, № 4, отдел «Новые книги».

[2] «Северная Пчела» 1830, № 4, отд. «Смеси». Сомов до перехода в «Литературную Газету» был постоянным сотрудником «Северной Пчелы».

[3] В опубликованных письмах Погодина к Шевыреву сообщения Погодина о вышедших «Северных Цветах» на 1830 г. не имеется.

[4] В «Северных Цветах» на 1830 г. были помещены следующие стихотворения Пушкина: «Отрывок из VII главы Евгения Онегина» («Гонимы вешними лучами» (стр. 4—6); «Зимний вечер» (стр. 34—35); «Эпиграмма» («Мальчишка Фебу гимн поднес» (стр. 50); «Олегов щит» (стр. 53—54); «2 ноября» (стр. 66—68); «К [Е. В. Вельяшевой] (стр. 79—80); «26 мая 1828 г.» (стр. 98); «Я вас любил» (стр. 104), «К NN» («Счастлив ты в прелестных дурах») (стр. 125).

Кроме того был напечатан прозаический «Отрывок из литературных летописей» («Проза», стр. 228—241)—полемическая статья по поводу бывшей распри «Московского Телеграфа» с «Вестником Европы».

[5] Сомов, Обозрение русской словесности в первую половину 1829 года («Проза», стр. 3—114).

[6] «Северная Пчела» 1830 г., №№ 4 и 5: «Северные Цветы 1830 г. СПБ. В типографии Департамента Народного Просвещения, 1829»—дана резкая критика Булгарина на вышедший альманах.

[7] «В России есть журналы...» взято из № 6 «Северной Пчелы» 1830 г., отд. «Смесь», из заметки, озаглавленной «Вопрос».

[8] «Борис Годунов», начатый Пушкиным в конце 1824 г. и законченный им 7 ноября 1825 г., вышел из печати, из типографии Департамента Народного просвещения, 22/23 декабря 1830 г. (СЦ). Выход «Дмитрия Самозванца» предшествовал ему несколькими месяцами. Уже в «Библиографическом прибавлении» к «Северной Пчеле», № 11, в числе книг, вышедших в течение января 1830 г., значится: «Дмитрий Самозванец. Исторический роман, соч. Фаддея Булгарина. 4 части с 4-мя гравированными картинками и заглавною виньеткою. СПБ., в т. Смирдина, 1830 г.»

Еще в конце 1829 г. Булгарин был заподозрен Пушкиным в заимствовании для «Дмитрия Самозванца» нескольких сцен из еще неопубликованной, но широко известной рукописи «Бориса Годунова». По этому поводу Булгарин писал Пушкину (от 18 февраля 1830 г.): «С величайшим удивлением услышал я от Олина, будто Вы говорите, что я ограбил вашу трагедию Борис Годунов. Александр Сергеевич, поберегите свою славу. Можно ли взводить на меня такие небылицы? Я не читал вашей трагедии. В этом честью уверяю. Мне рассказывали ее содержание, и я признаюсь, не соглашался во многом» («Бумаги А. С. Пушкина», М., 1881, I, 29).

Тем не менее Пушкин остался при своем мнении.

[9] «Отставной солдат (русская идиллия)». «Северные Цветы» 1830. Отд. «Поэзия», стр. 25—32.

[10] Деларю, Михаил Данилович (1811—1868)—поэт. Стихотворения его печатались в «Северных Цветах», «Библиотеке для Чтения», «Современнике». В «Северных Цветах» на 1830 г. появились его стихотворения: «Поэт» (сонет); «К Неве»; «Ангелу-хранителю»; «Слеза любви (б. С. М. Дельвиг)».

[11] Каченовский, Михаил Трофимович (1775—1842)—профессор истории, журналист и переводчик, в течение ряда лет редактор журнала «Вестник Европы» (1805—1830).

[12] «Северная Пчела» 1830 г., № 11. Отд. «Новые книги». Разбор Булгариным статьи И. Киреевского «Обозрение литературы за 1829 г.», где он попутно задевает и Баратынского.

20. ИЗ ПИСЬМА С. П. ШЕВЫРЕВА

3/15 июля 1830 г. Рим.

...Мы получили Литтературную Газету. Формы и дух мне нравятся, но критика поверхностна и выглядывает иногда Сомов. Много острого, смешного. Новостей русских не могу прислать к тебе, потому что они не мои. Ты знаешь, как эти вещи здесь дороги. Ведь уже ничем не купишь, коль пропадут, а здесь комиссионеры и почты, сохрани Господи. Приезжай сюда, все прочтешь. О будущей женидьбе Пушкина на Гончаровой ты верно слышал. Я недавно от всех письмо получил[1] (от Пушк[ина], Хомяк[ова], и проч.). Вяз[емский] и Дельв[иг] мне делают авансы для газеты, в которой меня хвалят и обозрение Кир[еевского] почти все перепечатали. Вяз[емско]му нравится мой Тибр и письма[2]. Я весь в Риме и древних. Сравниваю Гнедича с подлинником[3].

[«V.», 1828—1833, II, л. 166—166 об.]

[1] Имеется в виду письмо к Шевыреву М. П. Погодина от 29 апреля 1830 г. В письме этом, кроме Пушкина и Хомякова, сделали приписки: П. А. Муханов, Юрий Венелин, Христиан Герке, Н. А. Мельгунов, О. С. Аксакова, А. Ф. Томашевский, С. Т. Аксаков, П. Г. Фролов, Н. П. Андросов, А. П. Елагина, А. А. Елагин, Н. М. Рожалин, Н. М. Языков и С. Е. Раич (см. «Р. А.» 1882, 6, стр. 145—147).

[2] «Письма из чужих краев: прогулка русского путешественника по Помпее», печатавшиеся в «Московском Вестнике» 1830 г.

[3] Гнедич, Николай Иванович (1784—1833)—поэт и известный переводчик «Илиады» Гомера. Перевод Гнедича вышел в 1829 г. под заглавием: «Илиада Гомера, перевед. Н. Гнедичем, членом Императорской Академии Наук, почетным членом Виленского университета, членом Общества любителей словесности С.-Петербургского, Московского, Казанского и проч. Две части. СПБ., 1829 г., в типографии Российской Академии».

21. ИЗ ПИСЬМА С. П. ШЕВЫРЕВА

30 августга / 11 сентября 1830 г. Рим.

...Новостей мало: свадьба Пушкина отложена до сентября; С[еверная] Пчела подличает до ужаса, задирает меня опять (дай срок!)[1]; Лит[ературная] Газ[ета] (100 подписч[иков]) бранится с Булгариным[2]; на Полев[ого] валятся камни; не издает 2-го тома; в. к. Мих[аил] Павл[ович][3] в Москве на водах...

[«V.», 1828—1833, II, л. 168 об.]

[1] В «Северной Пчеле» на 1830 г., № 94, в отделе «Смесь» было напечатано «Второе письмо из Карлова на Каменный Остров», в котором между прочим было сказано: «В Дерпте получено письмо из Парижа, в котором уведомляют, что в чужих краях странствуют несколько юных Россиян, которые выдают себя за первоклассных русских поэтов, философов и критиков и всем журналистам обещают сообщать известия о России, и более о Русской литературе. Тот критик... и наименован в числе первых сотрудников иностранных журналов. Другой, автор писем из Италии, помещенных в «Московском Вестнике», и соучастник по изданию сего журнала»...

В ответ на это Шевырев напечатал в «Литературной Газете» «Письмо к издателю Литературной Газеты» (№ 56, 1830 г. 3 октября, стр. 161—163).

[2] «Литературная Газета» 1830 г., №№ 45—47 от 9-го, 14-го и 19-го августа.

[3] Михаил Павлович, вел. кн.—четвертый сын имп. Павла I (1798—1849). В Москве в 1828 г. было учреждено акционерное общество Московского заведения искусственных минеральных вод. Для заведения, устроенного профессором Лодером, было приобретено большое владение с садом более двух десятин в Ушаковском переулке на Остоженке. Оно быстро вошло в моду, и в Москву съезжались желающие лечиться этими водами, как на курорт. Общество просуществовало до 70-х годов.

22. ИЗ ПИСЬМА С. П. ШЕВЫРЕВА

2/14 мая 1831 г. Рим.

...Со времени твоего отъезда я получил только одно письмо от Погодина[1]— и то вовсе без новостей. Мельгунов наградил меня цидулой, в котором (sic) нового также мало. Я заметил из этого письма, что литературные мнения в Москве подверглись большим переменам и что мы найдем большие перевороты. Борис не произвел никакого действия; Ширяев говорит об Пушкине, отворачиваясь[2].

[«V.», 1828—1833, II, л. 183]

[1] Вероятно письмо Погодина от 29 апреля 1831 г., не заключавшее в себе никаких литературных новостей («Р. А.» 1882, 6, стр. 144).

[2] Книга «Борис Годунов» продавалась по 10 рублей (счет на ассигнации); гонорару за нее Пушкин получил 10 000 р. Между тем распродажа шла плохо и этим вероятно объясняется, что книгопродавец Ширяев «говорил о Пушкине, отворачиваясь».

23. ИЗ ПИСЬМА С. П. ШЕВЫРЕВА

18/30 июня 1831 г. Рим.

Пушкину понравились мои октавы, но он просит не переводить Тасса, которого не любит[1].

[«V.», 1828—1833, II, л. 187]

[1] В письме от 11 мая 1831 г. Погодин писал Шевыреву по поводу его октав: «Пушкин очень доволен: но решительно не любя Тасса, умоляет тебя приняться за Данта. «Мне надо написать к нему умное и большое письмо,—говорит он,—но кочевой, я так не привык еще к оседлой жизни, что не знаю, как и когда приниматься за дело» («Р. А.» 1882, 6, стр. 185).

My dear Lord!

Въ Россіи есть еще столько невѣжества, что даже многіе [illegible] съ [illegible] Жукова, Пушкина. Они [illegible] въ [illegible] великаго разбойника, Пугачева; [illegible] въ родѣ [illegible] о Робинзонѣ, [illegible]. Вы, Милордъ, [illegible] 200 экземпляровъ, потому что я [illegible] экземпляры. Книги у меня [illegible] давно, и по [illegible] въ [illegible]. [illegible], Милордъ, [illegible]

ПИСЬМО К. ПОЛЕВОГО К СОБОЛЕВСКОМУ. ПЕРВАЯ СТРАНИЦА

Центрархив СССР, Москва

въ Москву около Екате-
ринина дня: что-же это
сдѣлалось съ моими книгами,
когда Вы не будете въ
Питерѣ? Къ кому, въ та-
комъ случаѣ, прислать
мнѣ, по уговору нашему,
80 экземпляровъ Стихотвореній?
Не понимаю, что такое, ва-
ше, слово не получили
мои книги о Пушкинѣ
Давыдовъ пишетъ вамъ
Книгопродавцамъ, а между
тѣмъ, какъ вы обѣщали
это сдѣлать? — Избавьте
меня отъ всѣхъ этихъ,
хоть нѣсколькими строч-
ками, и скажите так-
же, когда выйдетъ въ свѣтъ
книга?

Адресъ: на Тверской,
въ домѣ Гр. Мамоновой.

Прощайте!
Вашъ
К. Полевой

17. Ноября 1834 года
Москва

ПИСЬМО К. ПОЛЕВОГО К СОБОЛЕВСКОМУ. ВТОРАЯ СТРАНИЦА
Центрархив СССР, Москва

24. ИЗ ПИСЬМА С. П. ШЕВЫРЕВА

30 сентября / 12 октября 1831 г. Рим.

В Пушкине мои октавы с рассуждениями произвели много новых мыслей и желаний[1]. Он обещался мне отвечать на Послание, но, видишь, пьян своею женою...

[«V.», 1828—1833, II, л. 190]

[1] См. примечание 1-е к № 23

25. ИЗ ПИСЬМА С. П. ШЕВЫРЕВА

4/16 октября 1831 г. Рим.

Русская песнь на взятие Варшавы[1]

На голос: Гром победы раздавайся

[Дан текст этого стихотворения Жуковского без разночтений с первоначально опубликованным в «Северных Цветах»]

Раздавайся, гром победы

[У строфы VII:]

Чу, как пламенные тромбы,
Поднялися и летят
Наши мстительные бомбы
На кипящий бунтом град.

[Сбоку на левом поле помечено:] Пушкина

[У строфы XII:]

Спор решен. Дана управа
Пала бунта голова.
И святая наша слава,
Слава Русская жива.

[Сбоку на правом поле помечено:] Пушкина

Вот стихи, напечатанные в Сев[ерной] Пч[еле] без имени. Как думаешь чьи?—По некоторым строфам должны быть Пушкина и по смелой мысли начать с известного мотива. Напиши, что мнишь? Вот как мы аккуратны! Тотчас поделимся, коль есть чем—и не жалеем ни труда, ни времени. Для милого дружка и сережка из ушка.—А вы верно не пожертвуете Сережкой? Ну что же Серинька? Не все ли Вам серится? Да, кроме этих стихов, напечатана еще Абрама Норова[2]. Уж отличился. Рифмы—сводов и Суворов—Если не Пушкина эти—то Туманского[3], но однако со строфами, достойными Пушкина. Целое мне не нравится, не сшито или лучше сметано на живую нитку, но таковы почти все подобные пиесы Пушкина. Они в нем афоризмы, а не выливаются из одного полного чувства. Реляция Паскевича о взятии Варшавы написана прекрасно, во многих местах поэтически: «Варшава у ног ваших». — «Трудно назвать храбрых»[4]. Ай да мы! Лихие! Погоняй в Европу. Уж мы этих западных! Из Запада мы сделаем западню...

[«V.», 1828—1833, II, л. 192]

[1] Стихотворение Жуковского «Русская песнь на взятие Варшавы», напечатанное в «Северной Пчеле», вышло и в отдельной книжке «На взятие Варшавы», вместе со стихотворениями Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», СПБ.

В военной типографии, 1831, 8°. Строфы 7-я и 12-я приписываются Шевыревым Пушкину ошибочно.

[2] Норов, Авраам Сергеевич (1796—1869)—член Государственного совета и министр народного просвещения, посредственный писатель, известный изданиями своих путешествий по Сицилии, на Восток, в Палестину, по Египту и Нубии и др., в молодости писавший и стихи и печатавший их в различных журналах и альманахах.

[3] Туманский, Василий Иванович (1800—1860)—поэт.

[4] Взятие Варшавы произошло 26 августа 1831 г. Всеподданнейшие рапорты Паскевича как о штурме Варшавы, так и о других действиях русских против поляков печатались в «Северной Пчеле» (1831, №№ 210, 215).

26. ИЗ ПИСЬМА С. П. ШЕВЫРЕВА

16/28 октября 1831 г. Рим.

[В начале письма дан текст стихотворения Пушкина «Клеветникам России» с вариантом в 45-м стихе]

. . . .

Есть место им в (степях) России   Есть место им в полях России.

В списке, дошедшем до нас, слов: степях, не находится, но поелику мы не предполагаем, чтоб такой бравой поэт, как Ал[ександр] Сер[геевич] Пушкин нарушил внезапным трехстопным стихом гармонию четверостопных своих ямбов, решились мы реставрировать список, вероятно писанный невеждою переписчиком. Прим[ечание] изд[ателя] филолога и пииты.

[Далее дан текст стихотворения Пушкина «Бородинская годовщина» с незначительными вариантами.]

Вот какие пожертвования времени делаются для тебя, недостойный! Еще ли будешь кричать? А славные стишки Ал[ександр] Сер[геевич] навалял!—Каково же? Первый голос политики у нас выражается стихами. Это странно. В России каких чудес не совершается. Эти пьесы весьма важны и составляют эпоху в нашем словесном мире.

[«V.», 1828—1833, II, стр. 194—195]

27. ИЗ ПИСЬМА С. П. ШЕВЫРЕВА

6 октября 1832 г. Москва.

Пушкин здесь[1]. Приехал вербовать сотрудников для политической литтерат[урной] газеты[2], которую будут издавать с нового года. Он написал поэму: Стенька Разин, кот[орая], кажется, не будет напечатана[3]. Он сам напросился в историографы[4]—и вряд ли с Петром сладит. Восстает против моих эллизий.

[«V.», 1828—1833, III, л. 282]

[1] Пушкин приехал в Москву 21 сентября 1832 г. и пробыл в ней до 10 октября того же года.

[2] «Дневник»—политическая и литературная газета, проектированная Пушкиным в 1831—1832 гг. и от издания которой Пушкин потом отказался.

[3] О поэме Пушкина «Стенька Разин» кроме этого сведения, сообщенного Шевыревым, в литературе никаких известий не имеется. Едва ли под поэмой нужно разуметь «песни» о Стеньке Разине: «Как по Волге реке, по широкой», «Ходил Стенька Разин», «Что не конский топ, не людская молвь», написанные Пушкиным в январе—августе 1826 г. и не разрешенные к печати Николаем I в августе 1827 г.

[4] «Напросился в историографы»—эта фраза Шевырева относится вероятно к зачислению Пушкина 14 ноября 1831 г. «высочайшим» приказом на службу в Коллегию иностранных дел, куда Пушкин поступил снова, чтоб иметь возможность работать над историей Петра.

28. ПИСЬМО К. А. ПОЛЕВОГО

19 ноября 1834 г. Москва.

My dear Lord!

В России есть стихотворец, род нащего Байрона с примесью Мура[1], Пушкин. Он вздумал описать в прозе похождения великого разбойника

П. В. НАЩОКИН
Портрет неизвестного художника, масло
Исторический Музей, Москва

Пугачева[2]; вероятно, это что-нибудь вроде наших историй о Робингуде[3], следовательно интересно. Вы, Милорд, обещали мне прислать этой книги 200 экземпляров, потому что я люблю читать вдруг глядя во многие экземпляры. Гинеи у меня готовы давно, и по пустому лежат в шкатулке. Между тем, Милорд, вы располагались выехать в Москву около Екатеринина дня; кто же отправит мне книги, когда вас не будет в Питере? К кому, в таком случае, послать мне, по уговору нашему, 80 фунтов стерлингов? И, наконец, главное, боюсь, чтобы не получить мне книги о Русском Робингуде после всех книгопродавцев, а не прежде всех, как вы обещали то сделать? Уведомьте меня обо всем этом, хоть несколькими строчками, и скажите также, когда выйдет в свет книга?

Адрес: На Тверской, в доме г-жи Мятлевой.

My Lord
Your К. Полевой

[«S.», 1833—1836, V, л. 214—214 об.]

[1] Мур (Moore), Томас (1799—1852)—ирландский поэт и писатель.

[2] «История Пугачева», переименованная потом Пушкиным, по распоряжению Николая I, в «Историю Пугачевского бунта», вышла из печати около 28 декабря 1834 г. (СЦ).

[3] Робин-Гуд (Robin Hood)—герой древнеанглийских народных баллад, живший в Шервудском лесу во времена Ричарда I (XII в.) и помогавший бедным и притесняемым.

29. ИЗ ПИСЬМА В. Ф. ОДОЕВСКОГО

10 января 1837 г. Петербург.

Urodissime![1] Когда ты перестанешь меня мучить и за морем-то ты не даешь мне покою. Что мне тебе писать? О чем мне тебе писать? Бентамист![2] Разве ты пишешь о каком-нибудь деле, о фабрике, о тяжбе, о векселях, об акциях. А я болен уже два месяца как собака, от флюса не сплю, а теперь грип у меня и у жены и у целого дома; да хуже грипа Лит[ературные] Прибавления к Русскому Инвалиду[3], издаваемые Плюшаром[4], под редакциею Краевского и в которых участвуют Пушкин[5], Жуков[ский], Вязем[ский] и я грешный. Лист в аршин длины—после 2 № уже 1000 подписчиков. Хлопот полон рот. Я участвую пожиная 200 р. par feuille d'impression ordinaire[6] и ни во что более не вмешаюсь...

...Если тебе что интересное по дороге попадется, запиши для Лит[ературных] Прибавлений и очень интересное тотчас пришли во всех родах: литературном, индустрияльном и всяком...

[«V.», 1836—1837, VI, л. 188]

[1] Уродище.

[2] «Бентамист»—последователь Бентама, Иеремии (1748—1832), известного английского публициста и философа. Возможно, что В. Ф. Одоевский имеет здесь в виду не Иеремию Бентама, а брата его Самуила, вызванного в 1774 г. Потемкиным для насаждения разного рода производств в Белоруссии и умершего в чине генерала на русской службе в 1831 г., намекая этим на интересы самого Соболевского, занятого в это время вопросами основания собственной бумагопрядильной фабрики.

[3] «Литературные Прибавления» к «Русскому Инвалиду» выходили с 1831 по 1839 г. С 1837 г. редактором их делается Андрей Александрович Краевский (1810—1889), известный журналист.

[4] Плюшар, Адольф Александрович (1806—1865)—основатель известной в свое время типографии в Петербурге, издатель «Энциклопедического лексикона» (выходившего с 1835 по 1841 г. и остановившегося на 17-м томе).

[5] Пушкин поместил в «Литературных Прибавлениях» одно стихотворение «Дон» (1831, № 83), статью «На днях вышли в свет сочинения и переводы в стихах Павла Катенина»... (1833, № 26), сцену из «Бориса Годунова»—«Ограда монастыр-

В. А. НАЩОКИНА

Портрет неизвестного художника, масло
Исторический Музей, Москва

ская. Григорий и злой чернец» (1834, № 3), стихотворение «Аквилон» (1837, № 1).
[4] За обычный печатный лист.

30. ИЗ ПИСЬМА И. С. МАЛЬЦОВА

2 февраля 1837 г.

Я должен сообщить тебе грустную весть, любезный Соболевский;—нашего милого и любезного А. С. Пушкина уже нет на свете[1]. Он стрелялся с своим свояком Дантесом, и через два дня, после неизъяснимых мучений, умер от последствий раны.—(Avis au lecteur) [2]...

[«V.», 1836—1837, VI, л. 66]

[1] К моменту получения письма Мальцова Соболевский, живший в это время в Париже, должен был уже знать о дуэли и смерти Пушкина от Андрея Николаевича Карамзина (1814—1854) (см. письмо последнего к матери Екатерине Андреевне Карамзиной от 12/24 февраля 1837 г. «Старина и Новизна», кн. 17, стр. 292).
[2] Предостережение.

31. ИЗ ПИСЬМА И. С. МАЛЬЦОВА

13 февраля 1837 г. Петербург.

О серебре, оставленном у Пушкина[1]. Пушкин перед смертью составил список своим кредиторам; в этом списке рука дружбы к счастью начертала и твое имя. Так как государь велел заплатить его долги, то и ты будешь удовлетворен. Я подал записку о твоем серебре l'exposé historique de l'affaire[2]. Ты должен теперь написать официальное письмо к Жуковскому, одному из опекунов, чтобы серебро твое было выкуплено и вручено мне для сохранения.

[«V.», 1836—1837, VI, л. 69]

[1] Серебро (общий вес 30 фунтов), принадлежавшее Соболевскому, было заложено Пушкиным 24 января 1837 г. у подполковника П. Шишкина за 2200 рублей («Пушкин и его современники», т. IV, вып. XIII, «Архив опеки над детьми и имуществом Пушкина в Музее А. А. Бахрушина»).
[2] Исторический очерк дела.

32. ИЗ ПИСЬМА П. В. НАЩОКИНА

[Первая треть 1838 г.]

Писал я тебе в Цюрих—но вероятно я опоздал ибо вскоре после получил я письмо твое из Петерб[урга], в котором ты мне пеняешь, что я не уведомил тебя о смерти Пушкина, я не мог писать—и не к кому было писать. Смерть Пушкина—для меня—уморила всех—я всех забыл—и тебя—и мои дела и все—я должен был опомниться, имея жену и детей,—без них—я бы вполне предался с наслаждением печали—и к моему плохому здоровью вероятно, отправился туда же куда и всем путь—непременный—Ты не знаешь, что я потерял с его смертью и судить не можешь—о моей потере. По смерти—его я сам растерялся—упал духом, расслаб телом.—Я все время болен—пускал кровь—и ношу фонтенель—вся левая сторона у меня слабеет—постепенно—боюсь, что бы не отнялась—перемогаю себя как могу—и кроме меня вряд ли кто знает, что я болен—радикально лечиться я не могу—время нет, денег нет—и душевного покою нет.

[Далее Нащокин пишет о денежных делах своих и Соболевского и заканчивает]:

...Еще узнай сделай одолжение значатся ли где нибуть деньги забранные Пушкиным у меня—от 3 т. до 4 т. руб[лей] [1]. Если где ни буть есть,

то получу ли я их или нет. Прощай, любезный друг, будь здоров и щастлив. Желаю тебе успеха.—Пожелай и мне чего нибуть. Я был очень нещастлив в этот год. Потерял я много—в смерти Пушкина и Статковского[2]. Может искреннее твое желание—мне добра принесет и мне не много щастья.—

весь твой П. Нащокин

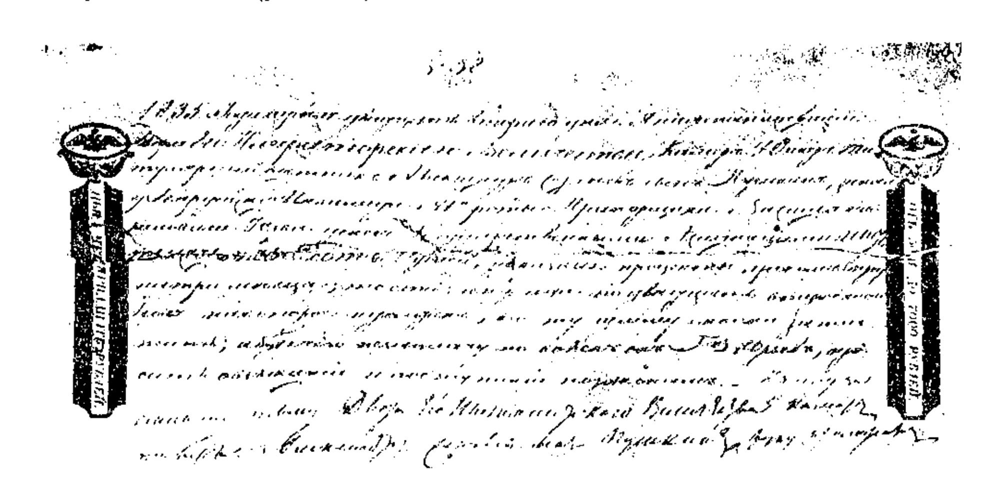
N.B. Послал я бюст Пушкина[3] князю Вяземскому—Если он тебе понравится—отпиши. Я тебе его пришлю. Цена с пересылкою 35 асс[игнациями]...

[«S.», 1837—1844, VII, лл. 333—334 об.]

Впервые опубликовано Н. Ф. Бельчиковым в ж. «Красный Архив», т. 29, стр. 220—222.

[1] Долг Пушкина Нащокину в размере 3000 руб. был выплачен последнему в июне—июле 1838 г. («Архив опеки над детьми и имуществом Пушкина в Музее А. А. Бахрушина», «П. и С.», вып. XIII, стр. 131—132, а также письма к Нащокину Н. Н. Пушкиной от 18 марта и 28 июня 1838 г. «Искусство», т. I, журн. ГАХН, стр. 327—328.

[2] Статковский, Александр Осипович—генерал-майор, муж сестры Нащокина Александры Воиновны (ум. 1852).



ВЕКСЕЛЬ НА ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ПЯТЬСОТ РУБЛЕЙ, ВЫДАННЫЙ ПУШКИНЫМ

Институт Русской Литературы, Ленинград

[3] Бюст Пушкина работы скульптора И. П. Витали, лично знавшего Пушкина, хранящийся в настоящее время в Музее ИРЛИ. В письме к кн. П. А. Вяземскому от 29 апреля 1837 г. М. П. Погодин, говоря о литературном наследии Пушкина, добавляет: «Какой бюст у нас вылеплен! Как живой. Под надзором Нащокина делал Витали». Есть основание предполагать, что по изготовлении бюста последний был приобретен Нащокиным («П. и С.», вып. XXXVII, «Бюст Пушкина, работы Витали и Гальберга» М. Д. Беляева и П. Е. Рейнбота, стр. 200—204).

33. ИЗ ПИСЬМА П. В. НАЩОКИНА

[Первая половина 1838 г.]

...деньги 3 т[ысячи] руб[лей] я должен был получить по уверению Василья Андре[евича] Жуков[ского]—коль скоро от Натальи Николаевны Пушкиной — получит он письменное удостоверение в том, что действительно покойник остался мне должен. Я ее не давно видел, и лично—объявила, что письмо, такого содержания давно уже было ему послано...

...На получение денег—Пушкинских—прикладываю тебе—фразу—которую ты покажи Жуковскому или г-ну Вельгорскому. Прошу тебя лю-

безный Соболевский, получить деньги, оставшиеся должными—покойным Александром Сергеевичем Пушкиным 3 т[ысячи] три тысячи рубл[ей] ассигнациями, для получения оных адресуйся куда следует, и распишись в место меня в получении. Постарайся их 1-ое получить, 2-ое поскорее получить, 3-ье мне прислать, 4-ое поскорее прислать—5-ое я сижу без гроша. 6-ое Кланяйся Эристову[1], 7-ое скажу как Эристов: нахожусь в крайней бедности: жена, трое детей—и четвертая квартира.

Прощай. Весь твой П. Нащокин

[«S.», 1837—1844, VII, лл. 342, 344]

[1] Эристов, Дмитрий Алексеевич (1797—1858)—лицеист выпуска 1820 г., известный остряк и балагур, впоследствии видный чиновник, сотрудник «Энциклопедического словаря о святых», дружескую рецензию на который поместил Пушкин в «Современнике».

34. ИЗ ПИСЬМА П. В. НАЩОКИНА

20 июня 1838 г.

...Наталья Николаевна Пушкина—третьего дня, писала письмо в котором говорит, что она полагает что деньги 3000 руб[лей] ко мне едут[1] и потому еще прошу тебя—похлопочи мне их прислать—ибо я бедствую.— Спроси графа Мих[аила] Юрьевича Вельгорского[2]...

[«S.», 1837—1844, VII, л. 337 об.]

[1] Деньги Нащокину—3000 рублей—были посланы к Дмитрию Николаевичу Гончарову опекуном Н. И. Отрешковым при письме от 7 июня 1838 г. («П. и С.», вып. XII, «Архив опеки», стр. 132).

[2] Вьельгорский, гр., Михаил Юрьевич (1788—1856)—композитор, друг Пушкина и Соболевского, бывший вместе с графом Г. А. Строгановым, В. А. Жуковским и Н. И. Тарасенко-Отрешковым опекуном над детьми и имуществом Пушкина.

УКАЗАТЕЛЬ СОКРАЩЕНИЙ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ПРИМЕЧАНИЯХ

«В. М.» — «Вечерняя Москва».
«Ж. д. в.» — «Журнал для всех».
«Ж. и Т.» — Н. Барсуков. «Жизнь и труды М. П. Погодина».
«М. П.» — «Московский пушкинист».
МС — А. К. Виноградов. «Мериме в письмах к Соболевскому».
«П. и С.» — «Пушкин и его современники».
«Р. А.» — «Русский Архив».
«Р. В.» — «Русский Вестник».
«Р. С.» — «Русская Старина».
«С. О.» — «Сын Отечества».
СЦ — «Пушкин в печати. 1814—1837». Составили Н. Синявский и М. Цявловский.
ЦПП — М. Цявловский. «Пушкин по материалам Погодинского архива».

ПРИЛОЖЕНИЕ

О ПОРТРЕТАХ П. В. и В. А. НАЩОКИНЫХ

В настоящее время известен целый ряд портретов Павла Войновича Нащокина, к числу которых относятся два групповых портрета, изображающих его в семейной обстановке (оба находятся в Государственном Историческом Музее). При помощи этих портретов мне удалось определить два изображения—«неизвестного мужчины» и «неизвестной женщины», оказавшихся портретами Павла Войновича и его супруги, Веры Александровны. Оба они публикуются в настоящем сборнике.

Основное, что привлекает внимание в портрете Павла Войновича,—это лицо его, открытое, добродушное, располагающее. Павел Войнович уже не молодой. Он тучен, немного обрюзг и находится в том возрасте, когда люди начинают больше считаться с тем, что им удобно, чем с тем, чего требуют правила этикета. Воротник и галстук—

эти необходимые аксессуары туалета—отсутствуют; верхние пуговицы жилета отстегнуты. Темный сюртук, светлосерый двубортный жилет, кресло с полосатой красной обивкой и с резной спинкой в стиле николаевского рококо, в правой руке сигара, к которым он слабость питал, рядом столик с книгами и нотами—все вместе взятое придает изображению аромат интимности и непосредственности.

Хронологически наше изображение почти совпадает с одним из упомянутых групповых портретов, относящихся к 1839—1840 гг. Только у нас Павел Войнович представлен еще более грузным, более отяжелевшим, немного постарше и поэтому следует полагать, что публикуемое изображение относится к 1842—1843 гг., к той поре, когда он, разоренный вследствие азартной карточной игры, очутился в бедственном материальном положении.

Портрет, поступивший в Государственный Исторический Музей из б. Музея Щукина, исполнен на бристольской бумаге, акварелью разм. 24,3×20 см., автором опытной рукой и с любовью выписаны все детали. Карнация передана в манере миниатюрной живописи, т. е. с слегка наложенными синими тенями. Слабое место портрета—это левый рукав. Он свисает, болтается и производит впечатление, что под ним рука отсутствует. Автор неизвестен. Справа, у ручки кресла, неразборчивая подпись карандашом. Несмотря на макросъемку, ее расшифровать не удалось; однако увеличенные буквы создают впечатление, что основная подпись частично стерта резинкой и поверх нее сделана попытка поставить фамилию другого автора. Но и вторая подпись, за исключением окончания «овъ», также неразборчива. Это происходит оттого, что первоначальную подпись окончательно стереть не удалось, так как она нанесена на бумагу слишком острым карандашом. Получается в результате смесь обеих подписей, где разборчиво одно окончание «овъ». Тут можно предположить только следующее: портрет Павла Войновича—как часто случается—после его смерти переходя из рук в руки, попал наконец к антиквару, и тот, желая как можно больше выручить за него, старался удалить фамилию мало известного автора и заменить ее другой, более знаменитой. В то время самым видным, самым талантливым акварелистом считался Петр Федорович Соколов. Он в 20-х и 30-х годах портретировал в Петербурге все высшее общество, но работал и пользовался большим успехом и в Москве, где наездами часто бывал и куда окончательно переехал в 1846 г. Я думаю, не слишком смела будет гипотеза, если заподозрить, что тут было явное желание приписать нашу акварель П. Ф. Соколову, чем конечно мог быть достигнут более значительный материальный эффект на антикварном рынке.

Почти одновременно с портретом неизвестного мужчины мне удалось определить и портрет неизвестной женщины. Последний по сходству совпадает с изображением Веры Александровны на вышеупомянутом групповом портрете (т. называемая «Гостиная в доме Нащокина»). Те же тонкие, строгие черты с едва уловимым восточным оттенком, тот же овал лица, тот же разрез глаз, те же брови, те же гладко на прямой пробор причесанные черные волосы и открытые уши. Тут, на нашем портрете Вера Александровна в более нарядном, более официальном виде. Вокруг головы золотой, украшенный аметистом обруч, или ферроньера, как это украшение тогда называлось во Франции. Ее пунцовая бархатная кацавейка богато опушена собольим мехом. Поверх нее большой кружевной белый воротник, заколотый брошью из гранатов, которые тогда сильно были в моде. Из таких же камней длинные, висячие серьги. Красный цвет—повидимому любимый цвет Веры Александровны, так как на других известных нам портретах повсюду встречается красное пятно—либо как платье, либо как второстепенная часть туалета, а именно в виде нити кораллов, протянутой через черные волосы, в виде браслета, тюрбана или просто шейного платочка. На нашем портрете Вера Александровна перед нами юная, цветущая. Такой должно быть видал ее Пушкин в последний свой приезд в Москву, в мае 1836 г., когда остановился «...у Нащокина—противу Стараго Пимена дом г-жи Ивановой». Портрет поступил в Государственный Исторический Музей из собраний Бахрушина. Он исполнен на бристольской бумаге, акварелью размер 20,7×18,5 см.—довольно умело по рисунку, но резко по колориту, так как недостаточно выражены переходы от основного цвета к полутонам и без переливов, совершенно плоскостно передан мех. Отсутствие созвучия красок—ярко красная кацавейка и рыжеватый мех, гранаты и светлолиловый аметист — явная вина автора, так как Вера Александровна на других известных нам ее изображениях, всегда приноравливаясь к антуражу, одета с большим вкусом. Художник не известен. Он «один из многих» среди анонимных акварелистов первой половины XIX в., когда эта техника сильно культивировалась—в начале почти исключительно среди дворянства, а затем уже и среди представителей купечества.

А. Вейнберг

II. ДВА ПИСЬМА МЕРИМЕ К С. А. СОБОЛЕВСКОМУ

Публикация Л. Модзалевского

Как известно, в IV томе своих стихотворений (СПб., 1835) Пушкин переиздал Іесни западных славян», которые впервые напечатаны были им в «Библиотеке для Ітения» 1835 г. (т. 9, отд. I, стр. 5—32). Переиздание песен в сборнике стихо-зорений (вышли в свет после 14 сентября 1835 г.) Пушкин сопроводил предисло-иєм, в котором привел отрывок письма П. Мериме к С. А. Соболевскому от 3 января 1835 г., излагающего историю создания П. Мериме своих песен, введших заблуждение Пушкина, который принял их за подлинное творчество западных іавян, а по существу являющихся лишь талантливой подделкой [1]. С. А. Соболев-кий свидетельствовал, что «Пушкин решительно поддался мистификации Мериме, г которого я должен был выписать письменное подтверждение, чтобы уве-ить Пушкина в истине пересказанного мной ему, чему он не верил и думал, что ошибаюсь» [2].

По получении письма от Мериме Соболевский и препроводил его Пушкину, который, кончательно убедившись в мистификации, привел отрывок из него в своем преди-ловии. Письмо это, неправильно считавшееся утраченным [3], находится в архиве Іушкина среди писем к нему разных лиц в Библиотеке СССР им. В. И. Ленина [4]. ам же, в обложке с надписью «Мериме» рукою разбиравшего бумаги Пушкина :андарма Л. В. Дубельта, хранится еще второе письмо П. Мериме, хотя и без дреса, но, судя по содержанию, писанное также С. А. Соболевскому; это второе исьмо, переданное С. А. Соболевским Пушкину, осталось, как и первое, в его умагах и еще не появлялось в печати. Ниже мы печатаем полностью оба письма Іериме к Соболевскому, сопроводив их переводами, исполненными по нашей росьбе М. Г. Муравьевой.

Первое письмо П. Мериме, являющееся по указанию А. К. Виноградова [5] в то же ремя и первым его письмом в Россию, дает нам возможность впервые [6] проверить, асколько правильно и полно Пушкин его процитировал в своем предисловии «Песням западных славян». Из сличения текстов письма, напечатанного Пушки-ым и имеющегося в автографе Мериме, выяснилось, что Пушкин напечатал его очти с абсолютной точностью [7], отбросив лишь фразу, заключающую в себе просьбу Іериме о присылке автографа Пушкина и других лиц и весь конец письма, не меющий отношения к истории «La Guzla». Отброшенная же Пушкиным часть исьма имеет несомненный интерес для биографии Мериме и для истории вопроса 5 отношениях Мериме и Соболевского.

Второе письмо Мериме от 13 мая 1836 г., не дающее никаких новых материалов ля истории интересовавшего Пушкина вопроса, было им оставлено в стороне и ишь принято к сведению; оно служит напоминанием Соболевскому о посланном і полтора года перед тем первом письме и свидетельствует о том, что за это время ежду Мериме и Соболевским переписки не было. Интересен также факт отправки исьма «с оказией», через ехавшего в Россию французского писателя Леве-Веймарса, оторый, вскоре же по приезде в Петербург, в июне 1836 г., бывал у Пушкина а даче на Каменном острове, где поэт и сделал для него свой известный еревод русских народных песен на французский язык [8]. Можно предполагать, го перевод Пушкина был результатом бесед его с Леве-Веймарсом в связи с мисти-икацией Мериме, в присутствии С. А. Соболевского, который, надо думать, получив ерез Леве-Веймарса письмо Мериме, и представил Леве-Веймарса Пушкину; у по-іеднего Леве-Веймарс по его словам проводил «de bien bons moments» (очень прият-ое время).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Подробнее об этом см. в книге А. К. Виноградова «Мериме в письмах к Собо-евскому», М., 1928, в главе «Пушкин, Соболевский, Мериме», стр. 44—54; в статье . А. Чебышева «Проспер Мериме. К его знакомству с Пушкиным и русской лите-атурой» в сб. «Пушкин и его современники», вып. XXIII—XXIV, стр. 281—300; статье А. И. Яцимирского «Песни западных славян в сочинениях Пушкина», ед. С. А. Венгерова, т. III, стр. 375—402 и в т. VI, стр. 439—440; в статье і. Д. Беляева «Соболевский о Пушкине (Из переписки С. А. Соболевского М. Н. Лонгиновым)» в сб. «Пушкин и его современники», вып. XXXI—XXXII, стр. 42

и в работе Б. В. Томашевского «Генезис «Песен западных славян» в историко-литературном временнике «Атеней». Труды Пушкинского Дома, вып. III. Л., 1926, стр. 35—45.

[2] «Пушкин и его современники», вып. XXXI—XXXII, стр. 42.

[3] См. в названной книге А. К. Виноградова, стр. 49.

[4] См. «Отчет Московского Публичного и Румянцевского Музеев за 1903 г.», М., 1904, стр. 15 и 40 и А. Г. Фомин «Puschkiniana 1900—1910», Л., 1929, стр. 129 (№ 641).

[5] См. в названной книге А. К. Виноградова, стр. 49.

[6] Пушкин, заканчивая цитату на словах: «Faites mes excuses à M. Pouschkine. Je suis fier et honteaux à la fois de l'avoir attrapé», сделал отметку «и проч.», тем самым указывая на то, что письмо имело продолжение. В своей работе А. А. Чебышев (см. примеч. 1) на стр. 282 привел вместо пушкинского «и проч.» следующие строки: «Вы крайне обяжете меня, если пришлете его автограф, а также и автографы других ваших знаменитых соотечественников, живых или мертвых». Надо думать, что Чебышев взял эту фразу непосредственно из автографа письма П. Мериме, где она действительно имеется, но не указал источника.

[7] Есть только небольшие отступления в орфографии, написании букв (строчные вместо прописных и наоборот) и в пунктуации.

[8] См. «Русский Архив» 1885 г., кн. I, стр. 451—460 и статью Н. Н. Трубицина «О русских народных песнях, переведенных Пушкиным на французский язык», СПб., 1900, стр. 38 (оттиск из LVII ч. «Записок Историко-филологического факультета имп. С.-Петербургского университета»).

I

Paris 18 Janvier 1835.

Je croyais, Monsieur, que la Guzla n'avait eu que sept lecteurs, vous, moi et le prote compris; je vois avec bien du plaisir que j'en puis compter deux de plus ce qui forme un joli total de neuf et confirme le proverbe que nul n'est prophête en son pays.

Je répondrai candidement à vos questions. 1-e La Guzla a été composée par moi pour deux motifs, dont le premier etait de me moquer de la couleur locale dans laquelle nous nous jetions à plein collier vers l'an de grâce 1827. Pour vous rendre compte de l'autre motif je suis obligé de vous conter une histoire. En cette même année 1827, un de mes amis et moi nous avions formé le projet de faire un voyage en Italie. Nous étions devant une carte traçant au crayon notre itinéraire; Arrivés à Venise, sur la carte s'entend et ennuyés des anglais et des allemands que nous rencontrions, je proposai d'aller à Trieste, puis de la à Raguse. La proposition fut adoptée mais nous étions fort légers d'argent et cette «douleur nompareille» comme dit Rabelais nous arrêtait au milieu de nos plans. Je proposai alors d'écrire d'avance notre voyage, de le vendre à un libraire et d'employer le prix à voir si nous nous étions beaucoup trompés. Je demandai pour ma part à colliger les poésies populaires et à les traduire, on me mit au défi, et le lendemain j'apportai à mon compagnon de voyage cinq ou six de ces traductions. Je passais l'automne à la campagne. On déjeunait à midi et je me levais à dix heures, quand j'avais fumé un ou deux cigares ne sachant que faire, avant que les femmes ne paraissent au salon, j'écrivais une ballade. Il en résulta un petit volume que je publiai en grand secret et qui mystifia deux ou trois personnes. Voici les sources où j'ai puisé cette couleur locale tant vantée: d'abord une petite brochure d'un consul de France à Banialouka. J'en ai oublié le titre, l'analyse en serait facile. L'auteur cherche à prouver que les bosniaques sont de fiers cochons, et il en donne d'assez bonnes raisons. Il cite par ci par la quelques mots illyriques pour faire parade de son savoir (il en savait peut-être autant que moi). J'ai recuelli ses mots avec

soin et les ai mis dans mes notes. Puis j'avais lu le chapitre intitulé Dei costumi dei Morlacchi, dans le voyage en dalmatie de Fortis. Il a donné le texte et la traduction de la complainte de la femme de Hassan Aga qui est reellement illyrique. Mais cette traduction était en vers. Je me donnai une peine infinie pour avoir une traduction littérale en comparant les mots du texte qui étaient répétés avec l'interprétation de l'abbé Fortis. A force de patience, j'obtins le mot à mot, mais j'étais embarassé encore sur quelques points. Je m'adressai à un de mes amis qui sait le russe. Je lui lisais le texte en le prononçant à l'italienne, et il le comprit presque entièrement. Le bon fut, que Nodier qui avait déterré Fortis et la ballade de Hassan Aga, et l'avait traduite sur la traduction poétique de l'abbé, en la poétisant encore dans sa prose, Nodier cria comme un aigle que je l'avais pillé. Le premier vers illyrique est:

Seto se bieli u g o r j e zelenoï

Fortis a traduit:

Che maï biancheggia nel verde B o s c o

Nodier a traduit bosco, par p l a i n e v e r d o y a n t e; c'était mal tomber, car on me dit que g o r j e veut dire colline. Voilà mon histoire. Faites mes excuses à M. Pouchkine. Je suis fier et honteux à la fois de l'avoir attrappé. Je vous serais fort obligé si vous pourriez m'envoyer un autographe de lui, ainsi que d'autres de vos compatriotes celebres, vifs ou morts [1].

Je ne suis pas Lord Feeling. Lord F. est un M-r Fontaney [2] qui a été quelque temps attaché à notre ambassade à Madrid. Je n'ai écrit que quelques pages sur l'Espagne dans la revue de Paris [3], et je les ai toutes signées. J'avais l'intention d'aller voir mes amis d'Espagne cette année, voulant eprouver s'ils me reconnaitraient, car ils sont devenus gros seigneurs de gueux qu'ils etaient de mon temps. Mais un voyage que j'ai fait dans le midi de la France m'a retenu jusq'au mois de decembre, et je n'ai pas eu le courage de me geler dans les lieux où quelques années auparavant j'avais roti.

M-me Ancelot [4] se porte à merveille—le mari aussi.—Buchon [5] a été paralytique quelque temps. Il a reparu à la lumiere depuis quelques mois. Koreff [6] est bien marié. Il a epousé une d-lle Mathias, et en véritable docteur il s'est assuré avant le mariage que sa future avait les qualités requises pour perpetuer sa race. Je ne sais absolument pas qui est M-r Soirelet dont vous me parlez.

Nos carnavals sont charmans. La foule revient aux bals de l'opéra, on y rencontre même des femmes du monde, mais r a r i n a n t e s i n g u r g i t e v a s t o de filles entretenues depuis 10 jusqu'à 100 f. Il y a ensuite les bals des Variétés où l'on fait dix mille fois plus d'horeurs que vous n'en avez vues à la Corantille. Vous m'aviez donné un petit dictionnaire russe de mots commençant par пиздо—les actions que ces mots expriment se passeront ce soir aux variétés.—Le spectacle est digne d'être vu. Si vous allez en Espagne [7], je vous donnerai quelques renseignements qui pourront vous être utiles, si vous n'etes pas marié et si vous n'etes pas devenu methodiste, ce qu'à Dieu ne plaise. Si je puis vous etre bon à quelque chose en ce pays je suis à vos ordres.

Paris, 18 Janvier 1835

Je croyais, Monsieur, que la Guzla n'avait eu que sept lecteurs, vous, moi, et le prote compris; je vois avec un grand plaisir que l'on peut compter deux de plus, ce qui forme un joli total de neuf et confirme le proverbe que nul n'est prophète en son pays.
Je répondrai sincèrement à vos questions. 1° La Guzla a été composée par moi pour deux motifs, dont le premier était de me moquer de la couleur locale dans laquelle nous nous jetions à plein collier vers l'an de grâce 1827. Pour vous rendre compte de l'autre motif, je suis obligé de vous conter une histoire. En cette même année 1827, un de mes amis et moi nous avions formé le projet de faire un voyage en Italie. Nous étions devant une carte traçant au crayon notre itinéraire; arrivés à Venise, sur la carte bien entendu, et ennuyés des Anglais et des Allemands que nous rencontrions, je proposai d'aller à Trieste, puis de là à Raguse. La proposition fut adoptée, mais nos bourses étaient fort légères et cette "douleur nonpareille", comme dit Rabelais, nous arrêta au milieu de nos plans. Je proposai alors d'écrire d'avance notre voyage, de le vendre à un libraire et d'employer le prix à voir si nous nous étions beaucoup trompés. Je demandai pour ma part à colliger les poésies populaires et à les traduire, on me mit au défi, et le lendemain j'apportai à mon compagnon de voyage cinq ou six de ces traductions. Je passai l'automne à la campagne. On déjeunait à midi et je me levais à dix heures; quand j'avais fumé un ou deux cigares

ПИСЬМО МЕРИМЕ К СОБОЛЕВСКОМУ ОТ 18 ЯНВАРЯ 1835 г. ПЕРВАЯ СТРАНИЦА
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

ne sachant que faire, avant que les femmes ne prissent mes talons, j'écrivis une ballade. Il en résulta un petit volume que je publiai en grand secret et qui mystifia deux ou trois personnes. Voici les sources où j'ai puisé cette couleur locale tant vantée : d'abord une petite brochure d'un consul de France à Banialouka. J'en ai oublié le titre. L'analyse en serait facile. L'auteur cherche à prouver que les Bosniaques sont de fiers cochons, et il en donne d'assez bonnes raisons. Il cite par-ci par-là quelques mots illyriques pour faire parade de son savoir (il en savait peut-être moins que moi). J'ai recueilli ces mots avec soin et les ai mis dans mes notes. Puis j'avais lu le chapitre intitulé : De' costumi dei Morlacchi dans le voyage en Dalmatie de Fortis. Il a donné le texte et la traduction de la complainte de la femme de Hassan Aga, qui est véritablement illyrique. Mais cette traduction était en vers. Je me donnai une peine infinie pour avoir une traduction littérale en comparant les mots du texte qui étaient répétés avec l'interprétation de l'abbé Fortis. A force de patience, j'obtins le mot à mot, mais j'étais embarrassé encore pour quelques points. Je m'adressai à un de mes amis qui sait le russe. Je lui lisais le texte en le prononçant à l'italienne, et il le comprit presque entièrement. Le bon fut que Nodier qui avait déterré Fortis et la ballade de Hassan Aga, et l'avait traduite sur la traduction poétique de l'abbé, en la poétisant encore dans sa prose, Nodier cria comme un aigle que je l'avais pillé. Le premier vers illyrique est :

Sto se bieli u gorje zelenoi

Fortis a traduit :

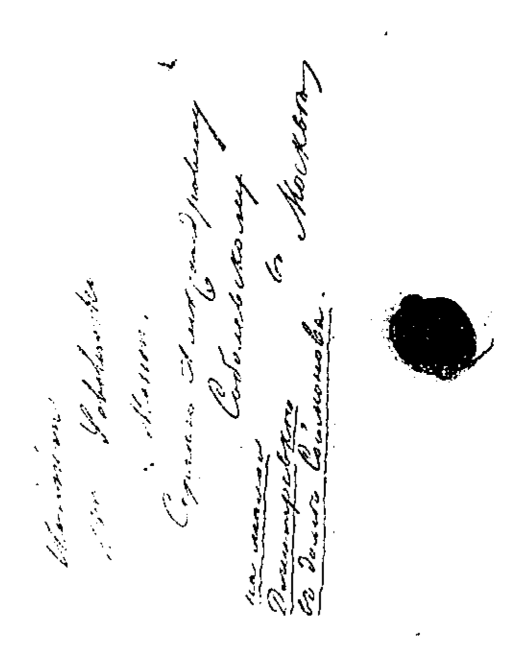
Che mai biancheggia nel verde Bosco

Nodier a traduit bosco, par plaine verdoyante ; c'était mal tomber car on m'a

ПИСЬМО МЕРИМЕ К СОБОЛЕВСКОМУ ОТ 18 ЯНВАРЯ 1835 г. ВТОРАЯ СТРАНИЦА

ПИСЬМО МЕРИМЕ К СОБОЛЕВСКОМУ ОТ 18 ЯНВАРЯ 1835 г. ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва



ПИСЬМО МЕРИМЕ К СОБОЛЕВСКОМУ ОТ 18 ЯНВАРЯ 1835 г. ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

Je demeure tjrs rue des petits augustins nº 16—Vous pourriez m'envoyer l'autographe en l'adressant à M-r de Labenski [8] consul de Russie à Paris. Adieu Monsieur, je vous remercie de votre aimable souvenir.

Pr. Mérimée

J'ai fait votre commission tout à l'heure, je viens d'envoyer votre lettre à M-r Dominique.

Письмо писано на голубом листе почтовой бумаги большого формата; текст писан на трех страницах и на части четвертой, оно сложено конвертом с адресом:

Monsieur M-r Sobolewski Moscou. Сергею Александровичу Соболевскому в Москве. На Малой Дмитревке в доме Соймонова.

Перевод:

Париж, 18 января 1835.

Я думал, милостивый государь, что у Гузлы было только семь читателей, в том числе вы, я и корректор: с большим удовольствием узнаю, что могу причислить к ним еще двух, что составляет в итоге приличное число девять и подтверждает поговорку—никто не пророк в своем отечестве.

Буду отвечать на ваши вопросы чистосердечно. Гузлу я написал по двум мотивам,—во-первых, я хотел посмеяться над «местным колоритом», в который мы слепо ударились в лето от рождества Христова 1827. Для объяснения второго мотива расскажу вам следующую историю. В том же 1827 году мы с одним из моих друзей задумали путешествие по Италии. Мы набрасывали карандашом на карте наш маршрут. Так мы прибыли в Венецию—разумеется, на карте—где нам надоели встречавшиеся англичане и немцы, и я предложил отправиться в Триест, а оттуда в Рагузу. Предложение было принято, но кошельки наши были почти пусты, и эта «несравненная скорбь», как говорил Рабле, остановила нас на полдороге. Тогда я предложил сначала описать наше путешествие, продать книгопродавцу и вырученные деньги употребить на то, чтобы проверить, во многом ли мы ошиблись. На себя я взял собрание народных песен и перевод их; мне было выражено недоверие, но на другой же день я доставил моему товарищу по путешествию пять или шесть переводов. Осень я провел в деревне. Завтрак у нас был в полдень, я же вставал в десять часов; выкурив одну или две сигары и не зная, что делать до прихода дам в гостиную, я писал балладу. Из них составился томик, который я издал под большим секретом, и мистифицировал им двух или трех лиц. Вот и источники, откуда я почерпнул этот столь превознесенный «местный колорит»: во-первых, небольшая брошюра одного французского консула в Баньялуке. Ее заглавие я позабыл, но дать о ней понятие нетрудно. Автор старается доказать, что босняки—настоящие свиньи, и приводит этому довольно убедительные доводы. Местами он употребляет иллирийские слова, чтобы похвастать своим знанием (на самом деле быть может он знал не больше моего). Я старательно собрал все эти слова и поместил их в примечания. Затем я прочел главу: Dei costumi dei Morlacchi из «Путешествия по Далмации» Фортиса. Там я нашел текст и перевод чисто иллирийской заплачки жены Ассана-Аги; но песня эта переведена стихами. Мне стоило большого труда получить построчный перевод, для чего приходилось сопоставлять повторяющиеся слова самого под-

линника с переложением аббата Фортиса. При некотором терпении я получил дословный перевод, но относительно некоторых мест всё еще затруднялся. Я обратился к одному из моих друзей, знающему по-русски, прочел ему подлинник, выговаривая его на итальянский манер, и он почти вполне понял его. Замечательно, что Нодье, откопавший Фортиса и балладу Ассана-Аги и переведший с поэтического перевода аббата, еще более опоэтизировав его в своей прозе,—прокричал на всех перекрестках, что я обокрал его. Вот первый стих в иллирийском тексте:

Seto se beili u g o r i e zelenoï

Фортис перевел:

Che maï biancheggia nel verde B o s c o

Нодье перевел bosco—з е л е н е ю щ а я р а в н и н а; он промахнулся, потому что, как мне объяснили, g o r i e означает: холм. Вот и вся история. Передайте г. Пушкину мои извинения. Я горжусь и стыжусь вместе с тем, что и он попался. Я был бы вам очень признателен, если бы вы могли прислать мне его автограф, так же как автографы других ваших знаменитых соотечественников, живых или умерших [1].

Я не лорд Филинг. Лорд Ф. некий г. Фонтане [2], который некоторое время состоял при нашем посольстве в Мадриде. Я написал всего только несколько страниц об Испании в «Revue de Paris» [3] и все они мною подписаны. Я имел намерение навестить в этом году моих испанских друзей, желая испытать, узнают ли они меня, так как они превратились в важных господ из нищих, какими они были в мое время. Но поездка на юг Франции задержала меня до декабря, и я не решился мерзнуть в местах, где жарился несколькими годами раньше.

Г-жа Ансело [4] чувствует себя чудесно; муж тоже. Бюшон [5] был некоторое время в параличе. Вот уже несколько месяцев, как он снова появился на свет. Корэф [6] действительно женат. Он женился на некоей девице Матиас и как настоящий врач убедился перед женитьбой, что его невеста обладает качествами, требуемыми для продолжения его рода. Я решительно не знаю, кто этот г. Суареле, о котором вы мне пишете.

Наши карнавалы очаровательны. Толпа возвращается к балам Оперы. Там встречаются даже женщины общества, но rari nantes in gurgite vasto [как редкие пловцы в необъятной пучине] содержанок, стоющих от 10 до 100 франков. Есть еще балы в Варьете, где происходит в десять тысяч раз больше ужасов, чем вы видели в Карантилье. Вы мне когда-то дали словарик русских слов, начинающихся с пиздо—действия, выражаемые этими словами, будут сегодня происходить в Варьете. Зрелище это стоит видеть. Если вы поедете в Испанию [7], я вам дам несколько указаний, которые могут быть вам полезны, если вы не женаты и если вы не стали методистом, чего не дай Бог. Если я могу быть вам на что-нибудь полезен в этой стране—я к вашим услугам.

Я попрежнему живу на улице Пти Огюстен, № 16. Автограф Вы можете прислать мне, адресовав его г. Лабенскому [8], российскому консулу в Париже. Прощайте. Благодарю вас за добрую память.

Пр. Мериме.

Я только что исполнил ваше поручение, переслал ваше письмо г. Доминику.

Cher Monsieur

La réputation littéraire de Mr Loève Veimars qui vous remettra cette lettre, serait auprès de vous une introduction suffisante. Permettez moi d'espérer que vous voudrez bien aussi voir en lui un de mes amis. Vous voyez Monsieur que je crois à votre mémoire puisque après si longtemps je me flatte de n'être pas oublié.

Avez vous reçu la lettre que je vous ai adressée il y a un an par l'ambassade. Je vous parlais de la Guzla et de son origine. Depuis bien des années j'ai renoncé à écrire pour les gens du monde. Hélas, je fais des mémoires archéologiques parfaitement obscurs

ПИСЬМО МЕРИМЕ К СОБОЛЕВСКОМУ ОТ 13 МАЯ 1836 г. ПЕРВАЯ СТРАНИЦА
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

et qui vont lui faire une demi douzaine de dents, dont la moitié hausse les épaules. Si je vous croyais digne de vous amuser à des dissertations sur l'ogive 8°, je vous enverrais un de mes bouquins.

Adieu Monsieur, donnez moi quelquefois de vos nouvelles, et le mieux serait de nous en apporter vous même. Veuillez croire à tous mes sentiments d'estime et d'amitié.

Pr Mérimée

13 mai 1836.

ПИСЬМО МЕРИМЕ К СОБОЛЕВСКОМУ ОТ 13 МАЯ 1836 г. ВТОРАЯ СТРАНИЦА

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В ответ на просьбу Мериме Соболевский послал ему очевидно автограф пушкинского «Гусара», хранящийся в настоящее время во Франции, в Авиньонском музее.

[2] Вероятно французский писатель и критик A. Fontaney (ум. 1837), автор книг «Ballades, mélodies et poésies diverses» (Paris, 1829), «Scènes de la vie castillane et andalouse» (Paris, 1835).

[3] С 1830 по 1840 г. в «Revue de Paris» П. Мериме напечатал следующие сочинения: «Tamango», «Vénus d'Ille», «Ames du purgatoire», «Vase étrusque», «Vision de Charles XI», «Mateo Falcone», «Prise de la redoute» и др.

[4] Ancelot (Marguerite Chardon, dame Virginie)—французская драматическая писательница, мемуаристка и художница; жена драматурга Jacques-Arsène-François-Polycarpe-Ancelot (р. 1794, ум. 1854); она состояла в переписке с С. А. Соболевским, А. И. Тургеневым, кн. П. А. Вяземским и др. О ней см. в книге А. К. Виноградова «Мериме в письмах к Соболевскому», по указат.

[5] Buchon (Jean-Alexandre)—французский писатель и историк, знаток древних языков (р. 1791, ум. 1846); в архиве С. А. Соболевского имеются его письма к Соболевскому.

[6] Koreff (David-Frédéric)—немецкий врач, переводчик Тибулла и Овидия на немецкий язык, авантюрист (р. 1783, ум. 1851). Письмо его к С. А. Соболевскому 6 марта 1837 г. напечатано в названной выше книге А. К. Виноградова (стр. 68—69).

[7] С. А. Соболевский ездил в Испанию гораздо позже—в 1849 г. Об этом, а также об испанских друзьях П. Мериме см. в названной книге А. К. Виноградова (стр. 62—67, 85—102 и др.).

[8] Лабенский, Ксаверий Ксаверьевич—сын купца (род. 1800, ум. 14 ноября 1855), служил в ведомстве министерства иностранных дел с 1818 г., писатель, автор книг: «Poésies nouvelles», Paris, 1827, под псевдонимом Jean Polonius, «Empédocle, vision poétique, suivie d'autres poésies» (Paris, 1829), «Erostrate», поэма (Paris, 1840), «Un mot sur l'ouvrage de M. de Custine, intitulé: La Russie en 1839» (Paris, 1843; 2-е изд. 1845) и др.

2

Cher Monsieur

la réputation littéraire de. M-r Loeve Veimars [1] qui vous remettra cette lettre, serait auprès de vous une introduction suffisante. Permettez moi d'espérer que vous voudrez bien encore voir en lui un de mes amis. Vous voyez Monsieur que je crois à votre mémoire puisque après si longtemps je me flatte de n'être pas oublié.

Avez vous reçu la lettre que je vous ai adressé il y a un an par l'ambassade. Je vous parlais de la Guzla et de son origine. Depuis bien des années j'ai renoncé à écrire pour les gens du monde. Maintenant je fais des mémoires archéologiques [2] passablement obscures et qui sont lus par une demi douzaine de doctes dont la moitié hausse les épaules. Si je vous croyais digne de vous amuser à des dissertations sur l'ogive etc., je vous enverrais un de mes bouquins.

Adieu Monsieur, donnez moi quelquefois de vos nouvelles, et le mieux serait de nous en apporter vous même. Veuillez croire à tous mes sentiments d'éstime et d'amitié

Pr Merimée.

13 Mai 1836.

Письмо писано на листе почтовой бумаги обыкновенного формата; текст находится на первых двух страницах; другие две страницы чистые.

Перевод:

Милостивый Государь

Литературная репутация г. Лёве-Веймарса [1], который передаст вам это письмо, будет для вас достаточной рекомендацией. Позвольте мне

надеяться, что кроме этого вы не откажетесь видеть в нем одного из моих друзей. Вы видите, милостивый государь, что я верю в вашу память, ибо после столь долгого времени льщу себя надеждой, что я не забыт.

Получили ли вы письмо, которое я направил вам год тому назад через посольство? Я говорил вам о Гузле и о ее происхождении. Вот уже много лет, как я отказался писать для светских людей. Теперь я составляю археологические записки [2], довольно темные и которые читает полдюжина ученых мужей, из коих половина пожимает плечами. Если бы я считал вас достойным развлекаться диссертациями о стрелке готического свода и т. п., я прислал бы вам одну из своих книженок.

Прощайте, сообщайте мне иногда о себе известия, а еще лучше привезите их сюда сами. Благоволите верить чувствам моего к вам уважения и дружбы.

Пр. Мериме

13 мая 1836

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Лёве-Веймарс (Loeve-Veimars, François-Adolph)—литератор, историк и дипломат (род. 1801, ум. 1854), происходил из еврейско-немецкой семьи, покинувшей в 1814 г. Францию и переселившейся в Гамбург. Позже жил во Франции, где, занимаясь журналистикой, оказывал услуги французскому министерству иностранных дел. Во время пребывания в России в 1836 г. завел много знакомств в литературном мире Петербурга и Москвы и вошел в приятельские отношения с кн. П. А. Вяземским, В. А. Жуковским, А. И. Тургеневым, А. С. Пушкиным и др. Публикуемое письмо П. Мериме устанавливает знакомство Лёве-Веймарса также и с С. А. Соболевским. После смерти Пушкина Лёве-Веймарс написал в «Journal des Débats» некролог Пушкина, не пропущенный в России цензурой. О Лёве-Веймарсе см. в книге П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина», 3-е изд., Л., 1928, стр. 412—416. Там же напечатан и некролог Пушкина, писанный Лёве-Веймарсом, в переводе, и «Русская Старина» 1900 г., № 1, стр. 75—80.

В архиве Пушкина (теперь в ИРЛИ) сохраняется письмо Жюля Жанена (J. Janin), писанное в 1836 г. Лёве-Веймарсу и переданное последним Пушкину в том же году во время посещения поэта на Каменном острове. Письмо это впервые опубликовано без имени автора И. А. Шляпкиным в его книге «Из неизданных бумаг Пушкина» (СПб., 1903, стр. 300—301). Авторство установлено Н. К. Козминым в его статье «Письмо неизвестного к Лёве-Веймарсу. Из франко-русских отношений тридцатых годов прошлого века» в «Сборнике статей к сорокалетию ученой деятельности академика А. С. Орлова», Л., 1934, стр. 487—488.

[2] Говоря об археологических записках, Мериме вероятно имеет в виду свои специальные работы: «Voyage dans le midi de la France» (1835) и «Voyages dans l'ouest de la France» (1836).

ПУШКИН В ПЕРЕПИСКЕ РОДСТВЕННИКОВ

Публикация В. Враской

Перед нами письма ближайших родственников Пушкина: его родителей и его сестры,—мелкий бисер Надежды Осиповны, размашистый изящный почерк Сергея Львовича и неразборчивые строки Ольги Сергеевны, иногда, когда она пишет крупнее, приобретающие некоторое, хотя и очень отдаленное сходство с почерком ее гениального брата. Основное ядро переписки образуют начинающиеся с 1828 г. письма родителей Пушкина к его сестре, хранящиеся ныне в ИРЛИ, в так называемом Дашковском собрании; затем следуют письма этой последней к своему мужу Николаю Ивановичу Павлищеву, несколько ее же писем к отцу и наконец небольшое количество писем Н. И. Павлищева к своей матери; эта группа писем хранится сейчас также в ИРЛИ, в павлищевском архиве.

Достоянием общественности эти письма становятся впервые в конце 80-х годов, когда после смерти супругов Павлищевых они попадают в руки их сына Льва Николаевича Павлищева, использовавшего их в целом ряде своих мемуарных сочинений. Однако использовал Л. Н. Павлищев их настолько своеобразно, что его публикации принесли пушкиноведению гораздо больше вреда, чем пользы. Его семейная хроника, особенно самая обширная ее часть, вышедшая отдельной книгой в 1890 г.[1], ввела в заблуждение многих исследователей. Достаточно указать, что из 52 сообщений, заимствованных у Л. Н. Павлищева Лернером в его известной книге «Труды и дни Пушкина», только 15 правильных, 3 даты нельзя установить, 2 повидимому неправильны и 32 явно неверных. Сомнения в справедливости павлищевских данных высказывались, правда, уже и тогда, но до тех пор, пока Л. Н. Павлищев был жив и семейный архив находился у него под спудом, какая-либо проверка их была невозможна.

Решительным, хотя лишь частичным, разоблачением его вредной хроникерской деятельности послужило опубликование писем О. С. Павлищевой к мужу, которые хотя и появились за подписью «Сообщил Павлищев», но были проверены редактором по подлинникам[2].

Стоит сказать несколько слов о том, как расправлялся Павлищев с документами своего семейного архива и в каком направлении переделывал их. Сочинить с начала до конца несуществовавшее письмо он не рискнул ни разу, всегда давая части действительно имеющегося документа, но меняя при этом его дату и объединяя вместе отрывки из 2—3 писем. После нескольких правильно приведенных фраз он вставлял кусок, придуманный им самим, и свои добавления крепко спаивал с подлинным текстом за общими кавычками и под общей датой.

Примером такого присочинения может служить страница из книги Павлищева, где приводится письмо, якобы написанное Н. О. и С. Л. Пушкиными от 25—26 июля 1830 г. из Петербурга. Они пишут между прочим, что «послезавтра переезжают в Михайловское», где тогда находилась Ольга Сергеевна. Приведя эту часть письма, Павлищев вставляет несуществующее сообщение о намерении Александра Сергеевича посетить Михайловское перед поездкой в Болдино. Затем Павлищев добавляет—уже не в кавычках, а от себя, что Пушкин осуществил свое намерение: «виделся с сестрой в конце июля или в начале августа и рассказал ей по секрету все с ним случившееся»[3]. Об этой поездке нет других указаний кроме книги Павлищева. Приведенная им цитата из письма 25—26 июля не верна: там ничего не говорится о том, что Пушкин собирается в Михайловское. Кроме того нам известны письма Пушкина из Петербурга от 30 июля, 4 и 9 августа, и мы знаем, что 10 августа Пушкин уехал из Петербурга в Москву. Таким образом поездка эта была явно изобретена Павлищевым.

Кроме простого присочинения части письма Павлищев занимается также иногда переделкой: он обращает мысли, высказанные в письме, в разговор между его авто-

ром и кем-нибудь другим, например А. С. Пушкиным. Так Ольга Сергеевна пишет однажды своему мужу, что больше не подпишется на «драгоценную «Пчелу», которая глупа, как 36 горшков». У Павлищева в соответствующем письме читаем, что у Ольги Сергеевны был Пушкин и она рассказывает об этом свидании: «Рассмешил он меня и фразой, пущенной по адресу твоей возлюбленной Северной Пчелы, из которой ничего ровно узнать нельзя». «Ради Бога,—сказал Александр,—читай что-нибудь поделънее Северной Пчелы. Эта драгоценная газета глупее 36 пустых горшков»[4].

Иногда Павлищев, следуя подлинным письмам, в передаче какого-нибудь события изменяет по своему усмотрению его время и место или же приписывает письмо не тому, кому оно принадлежит. Так Надежда Осиповна, живя в Павловске, пишет 25—26 июля 1831 г. дочери, оставшейся в Петербурге, о встрече Пушкина и Наталии Николаевны с Николаем I в Царскосельском парке. Павлищев приурочил этот эпизод ко времени, когда Ольга Сергеевна будто бы гостила у брата в Царском, и перенес его дословно в ее письмо к мужу от 19 августа 1831 г. с прибавлением выдуманного им разговора ее с Пушкиным.

Как приведенные примеры, так и остальные, допущенные Павлищевым, искажения документов имеют общую, ярко выраженную тенденцию: прежде всего он стремится как можно больше говорить о Пушкине (в подлинных документах ему уделено сравнительно не так много места). Затем он изображает Надежду Осиповну и Сергея Львовича Пушкиных еще более беспомощными, смешными и безалаберными, чем это явствует из их писем. Наконец он хочет показать близость и дружбу Пушкина с сестрой гораздо бо́льшими, чем то было на самом деле. Ольга Сергеевна (1797—1868), будучи только на два года старше Пушкина, росла и училась вместе с ним и продолжала с ним дружить после его поступления в лицей. Ссылка Пушкина на юг и в Михайловское надолго их разлучила, а замужество Ольги Сергеевны действительно отдалило их друг от друга: Н. И. Павлищев был крайне несимпатичен Пушкину, несмотря на то, что он занимался литературными опытами и вращался в кругу его друзей (Дельвиги, Баратынский, А. П. Керн, Глинка). Пушкин навсегда сохранил с сестрой добрые родственные отношения, но особой близости и задушевности между ними не было.

Как уже было сказано, письма Ольги Сергеевны к мужу были опубликованы в их настоящем неискаженном виде и притом во французском подлиннике. Мы лишены сейчас возможности сделать то же с письмами Надежды Осиповны и Сергея Львовича к их дочери. Да такая публикация и не имела бы большого смысла. Опубликованные целиком эти письма могли бы представить некоторый интерес с точки зрения содержащегося в них бытового материала, иногда впрочем несколько однообразного, и послужить для характеристики обоих авторов—стариков Пушкиных, но не больше. Поэтому мы приведем здесь только наиболее ценные выдержки из писем—те места, где они говорят о Пушкине, о его семье, или об наиболее интересных его современниках. Еще раз подчеркиваем, что такого рода отрывки рассеяны среди длинных рассказов о мелочах повседневной жизни, среди рассуждений о денежных и хозяйственных заботах, среди пространных расспросов о здоровье и погоде. Письма даются здесь в переводе, а немногие имеющиеся в оригиналах русские слова и фразы отмечаются звездочкой.

Круг упоминаемых в письмах знакомых и родственников довольно широк. Из московского круга упоминаются: московская семья Малиновских, Баратынский, Сонцовы—семейство сестры Сергея Львовича, а также дядя поэта Василий Львович.

Петербургские знакомства были обширнее—мы видим тут нескольких приятельниц Надежды Осиповны: ее друга детства Варвару Александровну Княжнину (1774—1842), троюродную сестру Надежды Осиповны Прасковью Артемьевну Тимофееву, неразлучную приятельницу старуху Архарову с многочисленным семейством ее дочери С. И. Соллогуб (матери писателя и знакомца Пушкина), а также престарелую гр. Надежду Алексеевну Ивелич и ее оригинальную дочь Екатерину Марковну. Ближайшим другом Сергея Львовича был Павел Федорович Малиновский, брат умершего первого директора Царскосельского лицея. Менее близкими знакомыми были: Веневитиновы, приятельница Ольги Сергеевны Татьяна Семеновна Вейдемейер, с которой были также знакомы оба сына Пушкиных, и родственные между собою семьи Талызиных, Трубецких, Мансуровых и Всеволожских. Общими с Пушкиным друзьями были Дельвиг и Анна Петровна Керн. С двумя последними старики Пушкины постоянно переписывались.

В Михайловском тоже имелся свой круг знакомых, частью даже родственников—ведь Михайловское было небольшим осколком ганнибаловских поместий; в письмах

СЕСТРА ПУШКИНА О. С. ПАВЛИЩЕВА
Миниатюра неизвестного художника, Варшава, 1833 г.
Институт Русской Литературы, Ленинград

оттуда есть упоминания о других членах этой разросшейся фамилии. Из знакомых соседей говорится о Пущиных, Рокотове, Философовых, Криницыных, Шушериных, живших в своем имении Ругодове, и о семье псковского губернатора Пещурова. Но более всего Пушкины дружили со своими ближайшими соседками, тригорскими обитательницами—Прасковьей Александровной Осиповой, ее падчерицей Александриной (Алекс. Ивановной) Осиповой и двумя старшими дочерьми Анной (Аннетой) и Евпраксией (Эфрозиной) Вульф. Отсюда пошло знакомство с бар. Б. А. Вревским, за которого в 1831 г. вышла Евпраксия Николаевна, и с ее троюродными сестрами А. И. (Нетти) Трувеллер и Е. И. Гладковой (р. Вульф).

Самые ранние из интересных для нас писем относятся к 1828 г. 26 января этого года Н. И. Павлищев тайком обвенчался с О. С. Пушкиной. Этот шаг был вызван тем, что он получил отказ на свое предложение от ее родителей. Александру Сергеевичу вместе с А. П. Керн пришлось улаживать это семейное дело.

В письмах Н. И. Павлищева к матери есть большие пробелы. В нашем распоряжении нет ни описания его женитьбы, ни даже извещения о ней. Первое упоминание об Ольге Сергеевне встречается в письме от 25 марта 1828 г.

«[Жена моя] теперь почти совсем здорова и мы встретили светлый праздник у ее родителей... От Алексеевых мы тоже получили письма: они были знакомы в Кишиневе с моим шурином, который между прочим будет находиться теперь при свите Государя в Главной Квартире»...

Пушкин действительно собирался предпринять это путешествие, но ему было отказано в разрешении ехать в действующую армию. Ошибка Павлищева объясняется тем, что отказ этот был получен значительно позднее.

Следующие письма Павлищева к матери не содержат никаких упоминаний о Пушкине. Поэтому приводим из них только его красноречивые отзывы о родителях жены. В письме от 1 июля 1828 г. он пишет:

*«По сие время они [С. Л. и Н. О.] еще ничего в пользу нашу не сделали и мы с покорностью ожидаем их решения—разумею насчет денег. Скажу Вам только, что тесть мой скуп до крайности и вдобавок

по хозяйству несведущ.—У него в Нижегородской губернии с лишком тысяча душ; управляет ими крепостной, который, не заботясь о выгодах господина, набивает карман, а барина часто оставляет без гроша; очевидно, что за беззаботливостью отца и от плутовства управителя мы также должны терпеть нужду...»*

В том же духе отзыв из письма от 6 августа 1828 г.:

«Родители ее (Олиньки) уехали в Псковскую деревню и пробудут там до конца Сентября месяца. Мы с Олинькой откланялись шумному свету и ведем жизнь спокойную и тихую, стараясь кое-как свести расходы с доходами, столь скудными по милости беззаботных ее родителей».

Итак летом 1828 г. старики Пушкины поехали в Михайловское, а Павлищевы оставались в городе, так же как и Александр Сергеевич. Брат Лев еще с начала 1827 г. воевал на Кавказе. С этого лета начинается переписка Ольги Сергеевны с ее родителями. От этого первого года сохранилось только одно письмо от 5 сентября 1828 г., адресованное в Петербург, у Владимирской, в Грязной улице, в доме Мадатова, но, судя по содержанию, оно не было единственным:

«Из письма Александра видно, что эта война становится очень серьезной... Поцелуй от меня Александра. Я не пишу ему на этот раз, но я не замедлю это сделать. Скажи ему, что у нас будет маленькая баронесса, сестра мадам Темировой, которая очаровательно поет цыганский романс жги меня и т. д. Вся эта семья в восторге от его таланта, все знают его сочинения наизусть, не исключая и маленького 4-х летнего мальчика, который пришел ко мне просить его стихов...»

Почти в это же время—10 сентября 1828 г.—Павлищев писал своей матери из Петербурга:

«Тесть мой и теща в деревне: должны скоро возвратиться; не знаю, останутся ли они на зиму здесь или уедут в другое место; последнее для меня было бы приятнее, потому что теща нраву тяжелого и несносного и не раз старалась выводить меня из терпения; но это ей никогда не удастся».

Зимой 1828/29 г. Ольга Сергеевна сильно болела, и письма Николая Ивановича к матери переполнены жалобами на ее здоровье. Отношения с ее родителями не налаживались:

«Я должен Вам сказать, что дела наши не в лучшем положении. Теща моя нелюбит меня, и мы даже с нею не видимся; а тесть очень доброго сердца,—но во всем придерживается жены...»

Лето 1829 г. Ольга Сергеевна по предписанию врачей проводила в Ораниенбауме. Старики Пушкины дольше Павлищевых оставались в городе и первые три их письма написаны из Петербурга. 28 июня они переехали в деревню, но не к себе, а в соседнее Тригорское, в ожидании пока будет отстроен их дом в Михайловском. Гостеприимной хозяйки Прасковьи Александровны Осиповой там не было: она вернулась только в конце сентября вместе с Анной и Евпраксией Вульф. Этим летом оба сына Пушкиных находились в действующей армии: Лев продолжал военную службу, а Александр отправился на Кавказ по собственному желанию, выехав туда 5 мая прямо из Москвы после своего первого и неудачного предложения Наталье Николаевне Гончаровой. Сохранившиеся от этого периода письма стариков Пушкиных исполнены постоянной тревогой за детей, жалобами на отсутствие каких-либо известий от них и т. д. В центре родительского внимания при этом неизменно остается младший—любимец Лев. О старшем вспоминают, так сказать, попутно, кстати. Только незадолго до возвращения в Петербург приходят наконец успокоительные известия о сыновьях.

«Мои тревоги о твоих братьях кончены, мы только что получили письмо Александра, копию с которого я тебе посылаю, с оригиналом я не могу расстаться, так я счастлива, что получила его... Барон Дельвиг

прислал нам это письмо, которое преисполнило нас радостью», сообщает Надежда Осиповна 22 августа 1829 г.

В письме от того же числа Сергей Львович пишет:

«Благодаря барону Дельвигу мы в настоящий момент успокоены насчет твоих братьев. Александр очень весел, а Лев, хотя и не пишет мне, но ты увидишь из письма Александра, что он отлично себя чувствует и собирается приехать к нам... Александр кажется в восторге *от своего путешествия. Он пишет Плетневу и подробно изображает ему* картину своей жизни в лагере. Он ездит на казацкой лошади с нагайкой в руках, но лучше всего то, что он собирается вскоре вернуться».

Письма Пушкина, упомянутые здесь, не дошли до нас ни в оригинале, ни в копии, о которой Надежда Осиповна еще раз пишет дочери 29 августа. В письме от 9 сентября Надежда Осиповна упоминает также о письме, полученном ее крепостным от его брата, бывшего в услужении у Льва Сергеевича. Малограмотные крепостные переписывались иногда чаще своих господ:

«Федор получил письмо от своего брата из Арзрума. Он ему сообщает, что Лев был представлен к награде, что он хорошо себя чувствует, это письмо от 10 июля...»

«Александр тоже присутствовал при знаменитом сражении, которое решило участь Арзрума», дополняет от того же числа ее письмо Сергей Львович.

«Видела ли ты где-то еще одну газетную статью о нем, в которой радуются, что он там... Я бы очень хотел написать Александру, но не знаю, где искать его. Он ускользает, как говорит мадам Осипова, когда меньше всего этого ожидаешь...»

Вскоре после этого старики Пушкины получили вести от своего любимца:

«Слава богу, он здоров и принимал участие еще в нескольких делах, которые он называет х о р о ш и м и, после взятия Арзрума... Мы узнали от Новоржевского доктора, которого я вызывала для Федора, что Северная Пчела сообщает, что Александр через Кавказ отправился в Астрахань...»

(Сергей Львович от 20 сентября 1829 г.)

Конечно это была «Северная Пчела» от 12 сентября 1829 г. Через четыре дня Пушкины узнали о заключении мира, а 1 октября Надежда Осиповна извещает дочь еще об одном письме Пушкина, тоже оставшемся неизвестным:

«Спешу переслать тебе, мой милый друг, копию еще одного письма Александра, которое мы получили вчера. Как мне нетерпится уехать отсюда, когда я думаю, что твои братья вскоре будут в Петербурге...»

Повидимому вскоре после этого старики Пушкины переехали в Петербург и там увиделись со всеми своими детьми. Весной следующего 1830 года А. С. Пушкин отправился в Москву, где было принято его повторное предложение Н. Н. Гончаровой. Его свадьба назначалась сперва на сентябрь, о чем упоминается в приводимых ниже письмах 1830 г. Их всего три и они относятся исключительно к июлю, так как Ольга Сергеевна только короткое время жила в Михайловском без родителей: они задержались в Петербурге, желая проводить своего любимца Льва Сергеевича, который возвращался из отпуска на Кавказ. Первое из них помечено 19 июля:

«Вчера приехала мадам Малиновская. Александра еще нет, она говорит, что он очень занят, что его надо ожидать каждую минуту, он должен был выехать после того, как мадам Гончарова отправится в Ростов. Лев уезжает завтра утром, мы будем провожать его до Царского Села, где сейчас находится Алексей Федорович...»

Алексей Федорович Малиновский—директор Московского архива иностранных дел—приезжал вероятно к своему брату П. Ф. Малиновскому, другу Сергея Львовича, жившему недалеко от Царского Села в Белозерке. Жена его Анна Петровна и дочь Екатерина Алексеевна были хорошо знакомы с Гончаровыми и Пушкиным и вероятно видались с ним в Москве, откуда он вернулся только в день написания этого письма.

22 июля 1830 г. Надежда Осиповна пишет:

«Наконец Александр приехал в тот самый день, когда я написала тебе первое письмо, через несколько часов после того как я его отправила. Проведя день все вместе, мы распрощались со Львом, он уехал в воскресенье. Мы провожали его до Царского Села. Свадьба не состоится ранее сентября, у меня почти не было времени поговорить об этом с Александром. У меня были гости к обеду, днем мне надо было уехать с мадам Малиновской, а вечером он ушел к себе, чтобы отдохнуть. Он очарован своей Наташей, говорит о ней, как о божестве, он собирается в октябре приехать с ней в Петербург. Он очень доволен, что ты в деревне, надеется, что это принесет тебе пользу, что воздух Михайловского рассеет твои черные мысли. Вообрази, что он совершил этим летом сентиментальное путешествие в Захарово, совсем один, только для того, чтобы увидеть то место, где он провел несколько лет своего детства. Он мне рассказывал о великолепном имении старого Гончарова, он дает за Наташей 300 крестьян в Нижнем, мать дает 200 в Яропольцах. Малиновские говорят много хорошего о всей семье Гончаровых, а Наташу считают ангелом. Ты сообщи обо всем этом Прасковье Александровне, так как я уверена в ее участии... Прощание [Льва] с Эрминией было очень нежно. Александр не хочет ее видеть».

Сергей Львович в письме от того же числа:

«Александр приехал в субботу. Он встретил меня сидящего на скамейке на Невском около Библиотеки.—Он только что вышел из коляски и отправлялся к нам пешком.—И вот мы, целуясь, жестикулируя и разговаривая, под руку идем к нам. Maman очень удивилась, увидав его, когда вернулась домой...»

Как видим из письма родителей, Пушкин был поглощен устройством своих дел, связанных с женитьбой. Вероятно поэтому у него не было желания повидаться со своей приятельницей и поклонницей Елизаветой Михайловной Хитрово, которую прозвали Эрминией в кругу близких Пушкина за ее чрезвычайную привязанность к поэту, не изменившуюся до самой его смерти. Эрминия, собственно, — имя одной из героинь «Освобожденного Иерусалима» Тассо, безнадежно влюбленной в Танкреда. Пожилой возраст Е. М. Хитрово и ее экспансивный характер давали повод к шутливому отношению к ней. Разумеется уже через несколько дней Пушкин навестил ее:

«Александр был у Эрминии, а вчера был у нее в ложе...»

(Надежда Осиповна 26 июля 1830 г.)

В последних числах июля Надежда Осиповна и Сергей Львович переехали в Михайловское. Александр Сергеевич тоже покинул Петербург: он провел около месяца в Москве, где при нем скончался его дядюшка, поэт Василий Львович. Затем он поехал в Болдино, где три месяца жил в деревне, запертый холерными карантинами, и интенсивно работал.

Осенью началось польское восстание. Два близких родственника Пушкина участвовали в его подавлении—брат и деверь. Лев Сергеевич, не сделавший карьеры на Кавказе, просил о переводе его с Кавказа в действующую армию, т. е. в Польшу, а Павлищев, человек в высшей степени практичный, давно желал

получить место, которое бы его обеспечило. Польское восстание доставило ему возможность испробовать счастье в Польше. Он уехал туда ранней весной 1831 г. Ольга Сергеевна не только огорчалась отъездом мужа, но подозревала его в желании расстаться с нею. Были ли у нее на это основания, или это была мнительность—трудно сказать. В одном из своих писем к мужу она объясняет свои вспышки и припадки отчаяния во время болезни тем, что она видела его охлаждение к ней. «В противоположность тому,—добавляет она,—что говорил мой брат Александр, который уверял, что у меня было начало помешательства» (от 4 июня 1831 г.).

О ЗАПОѢ
и
О ЛѢЧЕНІИ ОНАГО.

ВЪ НАСТАВЛЕНІЕ КАЖДОМУ,

съ прибавленіемъ подробнаго изъясненія для неврачей о способѣ лѣченія сей болѣзни.

Сочиненіе

Доктора К. Бриль-Крамера.

Vino forma perit, vino corrumpitur aetas. Hor.
Omne vitium ebrietas et incendit et detegit. Sen.

МОСКВА,
Въ Университетской Типографіи.
1819.

КНИГА „О ЗАПОЕ И О ЛЕЧЕНИИ ОНОГО" С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ПУШКИНА БРАТУ: „МИЛОСТИВОМУ ГОСУДАРЮ БРАТЦУ ЛЬВУ СЕРГЕЕВИЧУ ПУШКИНУ"

Институт Русской Литературы, Ленинград

Сразу после отъезда Павлищева Ольга Сергеевна начала деятельную переписку с ним. Ее письма, как сказано, опубликованы. Поэтому здесь приводим лишь немногие отрывки, прямо и непосредственно касающиеся Пушкина и не имеющие при этом характера случайных упоминаний. В письме от 4 июня 1831 г. она пишет:

«...мой брат со своей женой приехал и устроится здесь, а пока проводит лето в Царском Селе. Они очень приглашают меня жить у них в ожидании твоего возвращения. Но так как срок моего дома еще не истек, я воспользуюсь этим временем для размышления и ознакомлюсь с их образом жизни. Они очень довольны друг другом, моя невестка совершенно очаровательна, хорошенькая, красивая и остроумная, а со всем тем добродушная...»[5]

Ольга Сергеевна предпочитала жить одна на своей квартире в Казачьем переулке, снятой ею еще в 1829 г., потому что она надеялась, что Николай Иванович вскоре вернется.

В это время в Петербурге появилась холера, которая в июне приняла угрожающие размеры. Старики Пушкины не на шутку перепугались и заторопились с отъездом на дачу. Они дулись на дочь за то, что она не ехала с ними, кричали и плакали. Описывая эти сцены в письме к мужу от 18 июня 1831 г., Ольга Сергеевна говорит:

«Александр к этому присоединяется и бранит меня за то, что я хочу еще остаться на некоторое время...»[6]

Итак, старики отправились без Ольги Сергеевны, которая собиралась приехать к ним через несколько дней. Но как раз в это время между Петербургом и Царским Селом был установлен карантин. Так Ольга Сергеевна и осталась в Петербурге одна на все лето. В это время между ними снова установилась переписка.

Первое письмо написано 22 июня 1831 г. сразу по прибытии в Павловск:

«Вчера я провела день своего рождения у Александра, не имея возможности принять его у себя, так как переехала только за сутки перед тем».

Сергей Львович в письме от того же числа:

«Я уверен, что при малейшей возможности ты приедешь к нам. Наташа будет очень рада, если ты приедешь к ней, так же как и Александр. Я передал ему твое письмо. Он хотел съездить к тебе, но сообщение с Петербургом прервано на несколько дней».

Пушкин, как уже было сказано, сердился на сестру за то, что она осталась в охваченном эпидемией Петербурге. Вероятно по этому поводу Пушкин написал ей очень резкое письмо, о котором она рассказывает мужу в письме от 9 июля 1831 г., вспоминая еще раз свою красавицу-невестку:

«Она очаровательна и достойна более любезного мужа, чем Александр, который, несмотря на все почтение к его творениям, стал ворчлив, как женщина, вынашивающая ребенка. Он написал мне такое дерзкое и глупое письмо, что пусть меня заживо погребут, если оно когда-нибудь дойдет до потомства, хотя, судя по стараниям, которые он приложил, чтобы его мне доставить, он кажется на это надеялся...»[7]

Это письмо Пушкина действительно не дошло до потомства—Ольга Сергеевна вероятно сразу же его уничтожила. Возможно, что впечатление, произведенное им, заставило ее воскликнуть в следующем письме (от 24 июля), что она никогда в жизни не поселится у брата[8].

Надежда Осиповна и Сергей Львович, переехав в Павловск, постоянно виделись с Пушкиным, жившим в Царском Селе. Поэтому в письмах лета 1831 г. встречается много упоминаний о нем и в особенности о светских и придворных успехах Наталии Николаевны:

«У Наташи ужасно болят зубы и никого нет, кто бы мог ей их вырвать. Весь Двор от нее в восторге, императрица хочет, чтобы она к ней явилась и назначит день, когда надо будет притти. Это Наташе очень неприятно, но она должна будет подчиниться...»

(Надежда Осиповна 22 июля 1831 г.)

«Вчера меня прервала мадам Архарова, она повезла меня прокатиться по Царскому, я на минуту заходила к Наташе, которая занималась своим туалетом, чтобы итти в парк. Там была музыка и детский праздник для Марии Николаевны... Александр и Наташа просят передать тебе привет».

(Приписка на другой день.)

Через два дня Надежда Осиповна вспоминает эту же поездку в Царское:

«Мы видимся с Александром и Наташей, ни Царское, ни парк не оцеплены, но мы не можем видеться так часто, как бы нам хотелось, потому что ни у нас, ни у твоего брата нет лошадей, а достать их невозможно. Последний раз мадам Архарова доставила мне это удовольствие... Александр часто совершает этот путь, но его жена—плохой ходок, она прогуливается только по парку»...

На другой день она приписывает:

«Сообщу тебе новость, император и императрица встретили Наташу с Александром, они остановились поговорить с ними и императрица сказала Наташе, что она очень рада с нею познакомиться и тысячу других милых и любезных вещей. И вот она теперь принуждена, совсем этого не желая, появиться при дворе».

(Надежда Осиповна 25—26 июля 1831 г.)

Вероятно со слов своей матери Ольга Сергеевна 13 или 15 августа пишет о светских успехах Наталии Николаевны Павлищеву:

«Моя невестка очаровательна, я уже тебе это говорила, но ты забыл; все Царское ею восторгается, а императрица хочет, чтобы она появилась при дворе; она от этого в отчаянии, потому что она совсем не глупа; я не то хотела сказать: хотя она совсем не глупа, но она еще несколько застенчива, но это пройдет и она поладит со двором и с императрицей, как прекрасная, молодая и любезная женщина. Мне кажется, что в противоположность ей, Александр на седьмом небе; жаль, что я так далеко от Царского и не могу вблизи наблюдать их жизнь. В физическом отношении они представляют совершенный контраст: *Вулкан и Венера, Кирик и Улита,* и т. д. и т. д. Впрочем, по-моему, есть женщины, столь же красивые, как и она: графиня Пушкина не хуже, так же как и мадам Фикельмон, а мадам Зубова, рожд. Элерт, говорят лучше. По моему мнению, есть две женщины еще более красивые, чем она; я их тебе не назову, чтобы ты вернувшись их угадал,—одна новобрачная не особенно высокого рода, другая—титулованная фрейлина...»[9]

Первой в ряду женщин, столь же красивых, как Наталья Николаевна, Ольга Сергеевна назвала свою приятельницу гр. Александру Осиповну Мусину-Пушкину (р. Ришар, по первому мужу Генингс). Титулованная фрейлина—вероятно графиня Наталья Львовна Соллогуб (впоследствии Свистунова). Пушкин был с ней знаком и, по мнению Лернера, посвятил ей в 1832 г. стихотворение «Нет нет, не должен я, не смею, не могу».

В одном недатированном письме Надежды Осиповны к дочери (между 1 и 20 авг. 1831 г.) мы читаем:

«В четверг после нашего свидания мы были у Александра. Они пошли обедать к мадам Полуехтовой с м-ль Россети и Жуковским, мы посидели у них до обеда».

Упоминаемая здесь Любовь Федоровна Полуехтова (рожд. кн. Гагарина), у которой Пушкин обедал,—сестра кн. В. Ф. Вяземской. В сделанной на другой день приписке Надежда Осиповна говорит дочери, что намеревается чаще ездить в Царское и видеться с Александром, Наташей и гр. Толстой. Из другого, тоже недатированного письма Надежды Осиповны (между 1 августа и серединой сентября) мы узнаем, что она была в Царскосельском парке:

«Мы встретили Александра с женой, они были с мадам Полуехтовой и девицей Россети. Сегодня они обедали у нас, а утром мы в большом обществе идем завтракать здесь на ферму...»

24 сентября в Царском было получено известие о взятии Варшавы. Событие вызвало подъем патриотического чувства во всем семействе Пушкиных, живших интересами своего времени и своего класса. А. С. Пушкин написал по этому случаю два стихотворения «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», которые, вместе со стихотворением Жуковского на ту же тему, были отпечатаны отдельной брошюркой. Ольга Сергеевна пропагандировала стихи брата и в письме от 6 октября 1831 г. она спрашивает мужа:

«Знаешь ли ты стихи Александра на взятие Варшавы и Жуковского тоже? Они производят фурор и их даже принялись переводить на французский и немецкий языки и коверкают при этом разумеется самым жалостным образом».

Тут же она сообщает, что ее знакомая Языкова послала эти стихи, списанные рукой самой Ольги Сергеевны, своему сыну А. П. Языкову, тяжело раненому при взятии Варшавы[10].

С наступлением осени холера в Петербурге утихла и стали разрешать поездки из Царского в Петербург. У нас есть два указания на то, что Пушкин воспользовался этим: в письме к мужу от 10 сентября 1831 г. Ольга Сергеевна говорит, что Александр был у нее из Царского[11], а несколько позднее—25 сентября—Сергей Львович в письме к дочери сообщает, что «Александр собирается сегодня поехать в Петербург». После снятия карантина Ольга Сергеевна провела некоторое время у родителей в Павловске и вернулась оттуда с матерью, которая остановилась у нее, чтобы удобнее искать себе квартиру. Ольга Сергеевна опять решила жить одна, несмотря на приглашения родителей и брата. Впрочем отношения ее с Пушкиным были вполне дружественные, а резкое его письмо к ней было повидимому давно забыто обоими. Если же она не решалась поселиться у Пушкина, то на это у нее были свои веские причины, которыми она в письме от 4 сентября 1831 г. делится с мужем:

«Мы в добрых дружеских отношениях с Александром, а в особенности с его женой, но я не хочу жить у них, потому что их образ жизни противоположен моим привычкам. Вот и все. Она представлялась императрице, которая в восторге от нее»[12].

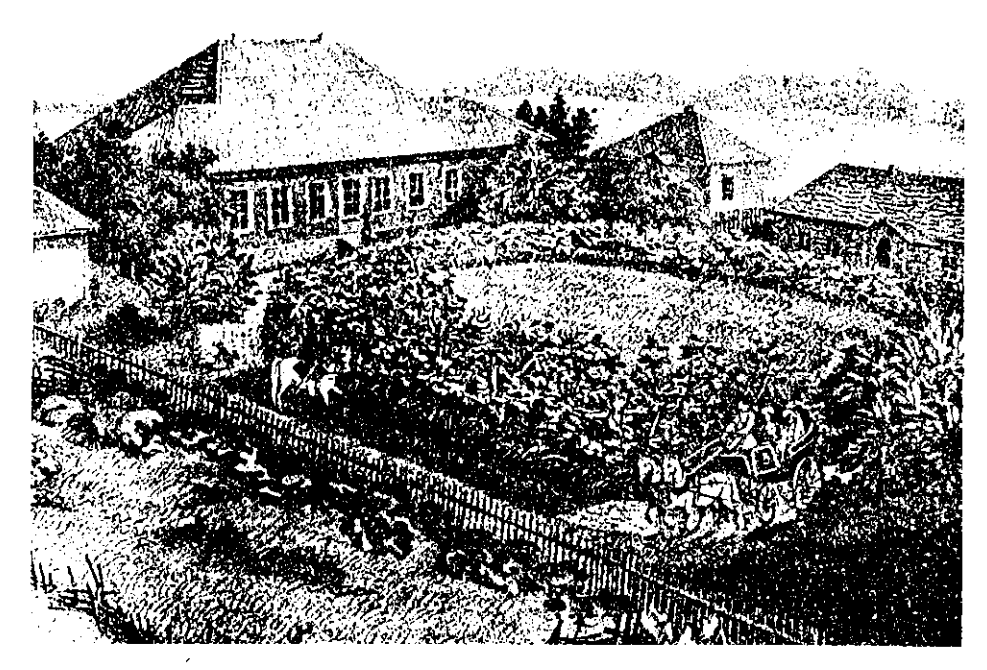
В письме от 23 октября 1831 г.:

«Александр, который после своего приезда приглашал меня переехать к нему, не повторил этого предложения, а, если бы и повторил, я не приняла бы его: образ их жизни мне не подходит: они будут принимать слишком много народа, которым я не интересуюсь, а мои друзья не являются их друзьями. Они пока еще не совсем устроились. По приезде они наняли дом, который перестал им нравиться, и они нашли другой в Галерной, за 2500»[13].

Переезд Надежды Осиповны и Сергея Львовича на зиму в Петербург положил конец их переписке с Ольгой Сергеевной, и она возобновилась только через год, с ее отъездом в Варшаву. За это время мы имеем ряд писем Ольги Сергеевны к мужу, из которых видно, с какими затруднениями был сопряжен ее отъезд: надо было ликвидировать дела и достать денег на дорогу. Неисправность каретника, которому Ольга Сергеевна заказала коляску, сбивала все расчеты, а родители, не выносившие Николая Ивановича, негодовали на ее решение переселиться к нему и устраивали ей тяжелые сцены. Об отношении Пушкина к этому вопросу в письмах не говорится, есть только одно свидетельство, что он хотел помочь сестре в ее материальных затруднениях: «Александр хочет купить мою мебель, это меня очень устраивает», пишет она в начале мая 1832 г.[14] Наконец все препятствия были преодолены, Ольга Сергеевна уехала и прибыла в Варшаву в первой половине октября. Она свиделась там также со своим братом Львом, проживавшим в Варшаве после подавления польского восстания в ожидании отставки, и с давнишним знакомцем А. Н. Вульфом, который отметил ее приезд в своем дневнике: «13 окт. 1832 г. На этих днях приехала из Петербурга давно ожидаемая Ольга Серг. Павлищева. Я чрезвычайно обрадовался ее приезду, как ради удовольствия видеть ее, так и потому, что я с нею могу говорить обо всех лицах, меня не-

когда занимавших в Петербурге. Она не переменилась, сколько я замечаю, мила и забавна, как была прежде, до своей болезни. Вечера у нее будут для меня верным убежищем от скуки»[15]. С этого времени начинается длинная цепь писем стариков Пушкиных к дочери, сначала из Михайловского, а потом из Москвы, куда они отправились с наступлением зимы, чтобы навестить своих московских родственников. В Москву они прибыли 17 декабря 1832 г. Первые четыре дня провели в гостинице, а затем поселились на Никитской ул. в доме Воронцова-Дашкова. Их первое письмо из Москвы помечено 19 декабря. Надежда Осиповна пишет:

«Завтра, в день твоего рождения, мы обедаем у Сонцовых. Они для нас приглашают Евгения Баратынского с женой».



СЕЛЬЦО МИХАЙЛОВСКОЕ

Из издания „Галлерея видов города Пскова и его окрестностей, снятых с натуры, издаваемая псковским губернским землемером Ивановым", часть II, 1838 г., Псковская литография

Институт Русской Литературы, Ленинград

В письме от того же числа Сергей Львович рассказывает:

«В Твери недавно произошло ужасное событие,—молодой Шишков, очаровательный поэт, которому когда-то Александр посвятил послание, был убит посреди улицы ударом кинжала г. Черновым, который уже убил на дуэли Новосильцева. Этот Чернов злословил о жене Шишкова в его присутствии. Тот, возмущенный мерзостями, которые он позволял себе говорить при нем о его жене, кончил тем, что дал ему пощечину. Г. Чернов заставил его в тот же миг последовать за ним со всеми находившимися там свидетелями.—Все пошли, думая конечно, что эта несчастная история должна кончиться поединком на смерть, но Чернов, не доходя до своей квартиры, бросается на Шишкова и убивает его несколькими ударами...»

Описанное здесь убийство Александра Ардальоновича Шишкова (1799—1832) вызвало много разговоров. Шишков был поэтом, сверстником и приятелем юности

Пушкина, который посвятил ему в 1816 г. стихотворение «Шалун, увенчанный Эратой и Венерой», где с обычной своей снисходительностью восхвалил стихи Шишкова. В дальнейшей жизни они едва ли виделись. После смерти Шишкова Пушкин исхлопотал у Академии Наук издание его сочинений в пользу его жены и дочери. Факты, сообщаемые Сергеем Львовичем, были однако неточны: А. И. Чернов, убивший Шишкова, был братом убийцы Новосильцева.

Главной целью приезда Пушкиных в Москву было свидание с их родственниками Сонцовыми. Семейство это состояло из родной сестры Сергея Львовича Елизаветы Львовны Сонцовой и ее мужа Матвея Михайловича, камергера и помещика (в Зарайском уезде, Рязанской губ. у него было имение Коровино), и двух их дочерей Алиши (Ольги) и Екатерины. Как видим, и Сонцовы, и Пушкины были хорошо знакомы с Е. А. Баратынским и его женой Анастасией Львовной р. Энгельгардт, с которой Ольга Сергеевна раньше очень дружила.

В письме от 23 января 1832 г., тоже обращенном к сыну Льву, отец дает ему несколько подробностей о жизни поэта Баратынского:

«Баратынский чувствует себя хорошо, так же как и его жена, которая много говорила со мной о тебе, дорогая Олинька... Они ведут самый мещанский образ жизни, какой только можно себе представить, обедают в полдень, ложатся в девять часов вечера, и вся их жизнь строится по этому плану, но они, как всегда, любезны и очень любящи».

Новости, которые родители сообщают Ольге Сергеевне 16 марта 1833 г., очевидно заимствованы ими из письма Н. Н. Пушкиной:

«Если у тебя нет сведений об Александре, то могу сказать, что они все трое здоровы. В Петербурге, как и здесь, у всех был грипп, который прозвали внучатым племянником холеры. Наташа лежала больная первую неделю поста. Ей тоже пускали кровь, но на масленице и всю эту зиму она много развлекалась, на балу в Уделах она явилась в костюме жрицы солнца и имела большой успех. Император и императрица подошли к ней и сделали ей комплимент по поводу ее костюма, а император объявил ее царицей бала. Наташа сама написала нам обо всем подробно...»

Вести от невестки однако не заменяли писем сына, и жалобы на его молчание звучат в письмах стариков постоянным лейт-мотивом, переходя в прямое чувство отчужденности по отношению к Пушкину. Например 27 апреля 1833 г. Сергей Львович сообщает:

«[Александр] совершенно не пишет и даже не отвечает на мои письма.— Что делать.—Я льщу себя надеждой, что этим молчанием я обязан только его огромной лени, но это весьма маленькое утешение, если вообще это можно назвать утешением...»

То же самое в письме его родителей от 27 апреля 1833 г.:

«Александр в продолжение 11 месяцев писал мне дважды и не ответил мне на 4 или 5 писем, посланных мною с марта месяца.—Не думаю, чтобы он был очень рад свидеться с нами».

Только по приезде в Петербург родители более дружелюбно отзываются о сыне:

«...мы намерены как можно меньше оставаться здесь и поскорее ехать в Михайловское. Александр и Наташа сейчас же пришли. Их малютка была очень больна, но слава богу со вчерашнего дня она совершенно поправилась и красива право как ангелочек».

(Сергей Львович 8 мая 1833 г.)

«Ты не можешь себе представить, дорогая Ольга, какой одинокой я себя чувствую в Петербурге. Я была очень рада увидеть наших, малютка хорошенькая как ангел и совсем милая. Я чувствую, что

буду без ума от нее и стану баловницей, как и все бабушки. Я немного ревную ее к Тетке... Мы видимся всякий день. Они живут в двух шагах от гостиницы «Париж». Сегодня я провожу там день (не в гостинице, а у твоего брата)...»

(Приписка Надежды Осиповны от того же числа.)

В день рождения Сергея Львовича 23 мая 1833 г. было получено письмо Ольги Сергеевны. Мать благодарит ее и продолжает:

«Александр заходил нас поздравить и пригласить к себе обедать. Мы при нем были обрадованы твоим письмом, дорогой друг.—Он поручает передать Льву, что его дело устроено, все кончено, он может быть спокоен, но не должен ждать, что ему в Варшаву пришлют адъютанта, чтобы сообщить эту новость. Довольно с него того, что он знает, *что он по желанию уволен от службы*, это вполне достоверно. Чернышев сказал это Александру... Я так благодарна Чичерину, ведь мы ему обязаны всем: он не потерял ни одного мгновения, как только он получил письмо Папà, он побежал к гр. Чернышеву, чтобы ему его передать, а этот последний, приняв участие в печальном положении нашего бедного Льва, поспешил сказать о нем Е[го] В[еличеству]. Когда на другой день Александр пришел в канцелярию министра, все уже было кончено, ему не надо было являться к графу, который, увидев его через несколько дней на балу, сам подошел к нему, чтобы поговорить об этом, и поручил ему передать нам эту приятную новость. Я тороплюсь, мы идем обедать к Александру...»

В следующем письме Надежды Осиповны от 28 мая 1833 г. снова говорится о хлопотах по делам Льва, в которых теперь участвовал и Пушкин:

«Александр совсем не говорил с фельдмаршалом. Зайдя раз утром к нему и не застав его дома, он больше не приходил. После он видел его на одном вечере, на котором князь обратился к нему с несколькими словами, но Александр не счел удобным говорить с ним о своем брате...»

Из Петербурга старики Пушкины все время стремились уехать в Михайловское. Задержка была за лошадьми, которые за ними оттуда еще не пришли (из Москвы в Петербург они ехали в дилижансе). Тем временем они бывали на Черной речке, тогдашнем модном дачном месте:

«Александр и Наташа на Черной речке, они наняли дачу Миллера, в которой в прошлом году жили Маркеловы, она очень красивая, при ней большой сад и дом очень большой: в нем 15 комнат вместе с верхом. Наташа здорова, она очень довольна своим новым помещением, тем более, что это в двух шагах от ее Тетки, которая живет на ферме вместе с Натальей Кирилловной».

(Надежда Осиповна от 24 июня 1833 г.)

Перед отъездом в деревню старики Пушкины повидимому снова виделись с Пушкиным и Натальей Николаевной:

«Александр и Наташа целуют Вас, она вскоре должна родить, а он уедет в деревню через несколько недель после того. Их малютка очаровательна, они очень хорошо устроились на Черной речке».

(Надежда Осиповна 27 июня 1833 г.)

В начале июля старики были уже в Михайловском. Письма к дочери, писанные ими оттуда, содержат только случайные упоминания о Пушкине, поэтому мы ми-

нуем их. Осенью родители Пушкина снова возвратились в Петербург, и 24 ноября Надежда Осиповна пишет дочери:

«Мне незачем говорить тебе, что, увидев Льва и заключив его в свои объятия, я забыла все и страх и усталость. Александр прибыл в Петербург на два дня раньше нас, но я удовлетворена только наполовину, будучи вдали от тебя. Знаешь ли ты, что Александр был в Казани и в Оренбурге. Я нашла, что он немного похудел, что же касается Льва, то он все тот же.... Говорят, что он [А. С.] занимает очень красивый дом,—охотно верю.—Когда платишь 1800 руб., можно хорошо устроиться... Я еще не видела никого, кроме Соболевского, который стал совсем красивым малым, хорошо сложен, отличные манеры, прекрасно умеет появиться в обществе. Надо признать, что путешествия сильно его преобразовали, я совсем очарована им. Он вчера в два приема был у нас. Лев бегает по знакомым и на балы, почти всякий день бывает у Вяземских, он еще не решил, в которую из его дочерей он влюблен, но ухаживает за обеими и находит их очаровательными...»

(Приписка на другой день.)

«Вчера я видела Наташу, она очень хороша, хотя похудела, они все втроем пошли на большой вечер к Фикельмонам. Лев был очень элегантен и совсем раздушенный».

Из писем родителей мы узнаем, что Пушкин навещал их также 20 и 25 декабря 1833 г.

1834 год Пушкин начал в новом и неожиданном для него самого звании камер-юнкера. «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам),—пишет он в своем дневнике 1 января.—Но двору хотелось, чтобы N(ат.) N(ик). танцовала в Аничкове...» В качестве жены камер-юнкера Наталья Николаевна представлялась ко двору 14 января и уже через три дня после этого появилась вместе с Пушкиным на одном из самых блистательных балов—у гр. Бобринских. В своем дневнике Пушкин неоднократно возвращается к больной для него теме—к своему камер-юнкерству—и рассказывает о неприятностях и стеснениях, связанных с этим званием. В письмах его родителей преобладают упоминания о выездах и успехах Натальи Николаевны. Старики то радуются триумфам своей невестки и гордятся ею, то в ворчливом тоне говорят о ее чересчур рассеянном образе жизни. Тут же выплывает всегда актуальный для Пушкиных денежный вопрос: когда они рассказывают дочери о неизменной элегантности Натальи Николаевны и о дорогом доме, снятом ею,—в их словах одновременно звучит и зависть, и упрек.

Надежда Осиповна пишет 12 января 1834 г.:

«Знаешь ли ты, что Александр к большому удовольствию Наташи сделан камер-юнкером? Теперь она представлена ко двору и сможет бывать на всех балах. Алекс[андр] совершенно озадачен, он ведь рассчитывал в этом году сократить расходы и поехать в деревню...»

«Вот новость которую Maman не успела тебе сообщить, Наташа представлялась в воскресенье третьего дня, но мы не знаем, как это происходило, вчера она заходила, но не застала нас дома. Несмотря на наше соседство, мы не по-соседски редко видимся».

(Сергей Львович 16 янв. 1834 г.)

«Вместо новости сообщу тебе, что представление Наташи ко двору прошло с огромным успехом—только о ней и говорят. На балу у Бобринских император танцовал с ней, а за ужином он сидел рядом с ней. Говорят, что на Аничковом балу она была восхитительна. Итак, наш Александр, не думав об этом никогда, оказался камер-юнкером. Он собирался уехать с женой на несколько месяцев в де-

mes chers Parents, j'ai reçu encore deux
de vos lettres. — Je ne puis vous répondre
que ce que vous savez déjà: que tout
est arrangé, que je suis le plus heu-
reux des hommes, & que je vous aime
~~de toute~~ mon âme —

Sa Majesté m'a fait la grâce
de me témoigner sa bienveillante
satisfaction du mariage que je vais
contracter. Elle m'a permis d'im-
-primer ma tragédie comme je l'en-
tendrai. Dites cela à mon frère pour
qu'il s'adresse à Pletnef — qui m'ou-
blie par parenthèse ainsi que Delvig.
J'ai reçu votre lettre à Mr
Gontcharoff, je suppose qu'elle va
vous répondre aujourd'hui. Mon
oncle Athan. Nick. s'est prêté

ПИСЬМО ПУШКИНА РОДИТЕЛЯМ ОТ 3 МАЯ 1830 г. ПЕРВАЯ СТРАНИЦА

Собрание А. Д. Голицыной, Дмитров

che elle avait tiré. Les 3 ~~matantes~~
ont pris la plus grande part à mon
bonheur (je suis ~~tout~~ étourdi ~~de~~
d'employer cette expression) Il y a
quelques jours que je n'ai vu mon
Oncle Basile. Je crois qu'il va
mieux —
Merci, ma chère Olga, de votre
amitié et de vos compliments. J'a
lu votre lettre à Natalie, qui
en a ri et qui vous embrasse —
Je vous embrasse aussi mes chers
Parents. Peut-être ces jours-ci je ferai
un voyage à Kalouga chez
le grand-père de Natalie — Je
voudrais bien que la noce se
fît avant le carême qui va
venir — Adieu encore une fois
3 mai

ПИСЬМО ПУШКИНА РОДИТЕЛЯМ ОТ 3 МАЯ 1830 г. ВТОРАЯ СТРАНИЦА
Собрание А. Д. Голицыной, Дмитров

ревню, чтобы сократить расходы, а теперь вынужден будет на значительные траты. Вчера я послала ему твое письмо...»

(Надежда Осиповна от 26 января 1834 г.)

«У Александра не спросили его согласия, когда сделали его камер-юнкером, это было для него неожиданностью, от которой он до сих пор не может притти в себя. Он этого никогда не желал.—Теперь жена его принимает участие во всех балах. Она была на Аничковом. Она много танцует, не будучи к счастью для себя беременной».

(Надежда Осиповна 13 февраля 1834 г.)

После некоторого перерыва, 3 марта Надежда Осиповна объясняет дочери, что ей некогда было взяться за перо, так как гостившая у них Аннета Вульф заболела и она с Прасковьей Александровной были все время в хлопотах. Тут же она опять рассказывает о светском образе жизни Натальи Николаевны:

«Масленица очень шумная, всякий день бал и спектакль, утром и вечером, с понедельника до воскресенья. Наташа бывает на всех балах, всегда прекрасна, элегантна, всюду принята с восторгом. Она каждый день возвращается в 4 или 5 ч. утра, встает из-за стола, чтобы приняться за свой туалет и мчаться на бал. Но она скоро простится со своими развлечениями: через две недели она уезжает к своей матери, где рассчитывает пробыть шесть месяцев. Мадам Осипова тоже вскоре покинет нас: в конце первой недели поста.—Мадам Керн несколько раз приходила к нам, чтобы повидаться с нашими гостьями. Лев и Александр сильно привязались к Соболевскому; они неразлучны, этот последний отпускает себе бороду, что его делает очень смешным и привлекает все взоры. Поэтому он бывает только в обществе холостяков, что же касается женщин, то его принимают только кн. Вяземская, Ольга Одоевская и Софья Всеволожская...»

Масленица 1834 г. была исключительно оживленной. Вот что записал по этому поводу Пушкин в своем дневнике 26 марта: «Слава Богу! Масленица кончилась, а с нею и балы. Описание последнего дня масляницы (4 Мар.) даст понятие о прочих. Избранные званы были во дворец на бал утренний в половине первого, другие на вечерний, к половине девятого. Я приехал в 9. Танцовали мазурку, коей оканчивался утренний бал. Дамы съезжались, а те которые были с утра во дворце, переменяли свой наряд... Все это кончилось тем, что моя жена выкинула. Вот до чего доплясались». Об этом же случае рассказывает Надежда Осиповна в письме от 9 марта:

«В воскресенье на последнем балу при дворе Наташа после двух туров мазурки почувствовала себя плохо, она еле успела удалиться в кабинет императрицы, как у ней начались такие сильные боли, что по приезде домой она выкинула. Итак она теперь лежит в постели, после того как прыгала всю эту зиму, и наконец во время масленицы, будучи беременной на втором месяце... Александр более рассеян, чем когда-либо...»

Через месяц Наталья Николаевна однако уже поправилась и в конце апреля была в Москве. 25 апреля 1834 г. Надежда Осиповна рассказывает дочери, как провела она пасху:

«В этот день мы обедали в семейном кругу, мы двое и твои два брата. Наташа уже в Москве».

Вскоре старики получили письмо от невестки, и в письме от 9 мая Надежда Осиповна рассказывает дочери о ее московском времяпрепровождении:

«Она развлекалась в Москве на святой неделе, была на двух балах со своими сестрами, у кн. Голицыной и в собрании, она познакомилась

с Сонцовыми и кажется довольна их приемом, она представила им своих сестер и все трое обедали у них. Александр хотел написать твоему мужу, не знаю, сделал ли он это, он очень занят по утрам, а после идет рассеяться в сад, где гуляет со своей Эрминией. Постоянство молодой особы непоколебимо, и твой брат очень смешон...»

25 мая Надежда Осиповна благодарит дочь за поздравление ко дню рождения отца и говорит, что как раз в этот день, т. е. 23 мая, к ним пришел ее варшавский знакомец Аббас-Кули-Ага:

«Лев и Александр были очень рады его видеть, он у нас обедал. Были также мадам Веневитинова с сыном и братом, графиня Ивелич, мадам Неймич и Соболевский. Аббас-Кули много рассказывал нам о тебе».

На другой день она приписывает:

«Сегодня день рождения Александра. Я иду к обедне, он едет в Кронштадт с Мещерскими, которые уезжают в Италию вместе с Софьей Карамзиной. Все друзья сопровождают их, до завтра они еще будут вместе...»

Сергей Львович пишет тогда же:

«Сегодня, в день рождения Александра,—я собирался познакомить [Аббас-Кули] с Вяземским, но кн. Мещерская и Софья Карамзина отбывают через два часа морем в Италию, сам Александр провожает их до Кронштадта и таким образом мы не празднуем этой годовщины».

В *последнем письме из Петербурга от 8 июня старики Пушкины жалеют*, что приходится задерживаться в городе:

«Наш отъезд зависит от Александра. Все готово, кроме денег, которые он собирается дать нам на дорогу...»

Впрочем уже 11 июня они покинули Петербург, а 19-го Надежда Осиповна пишет дочери уже из Михайловского:

«Несмотря на печаль, испытанную мною при прощании с твоими братьями, я не огорчаюсь тем, что я здесь, мы все равно не долго были бы вместе, рано или поздно пришлось бы расстаться. Александр поедет к своей жене и съездит в Болдино. Лев на отъезде в Тифлис. Признаюсь, я не особенно много плакала, прощаясь с ним, ему необходимо заняться делом. В Петербурге он был такой праздный и скучающий...»

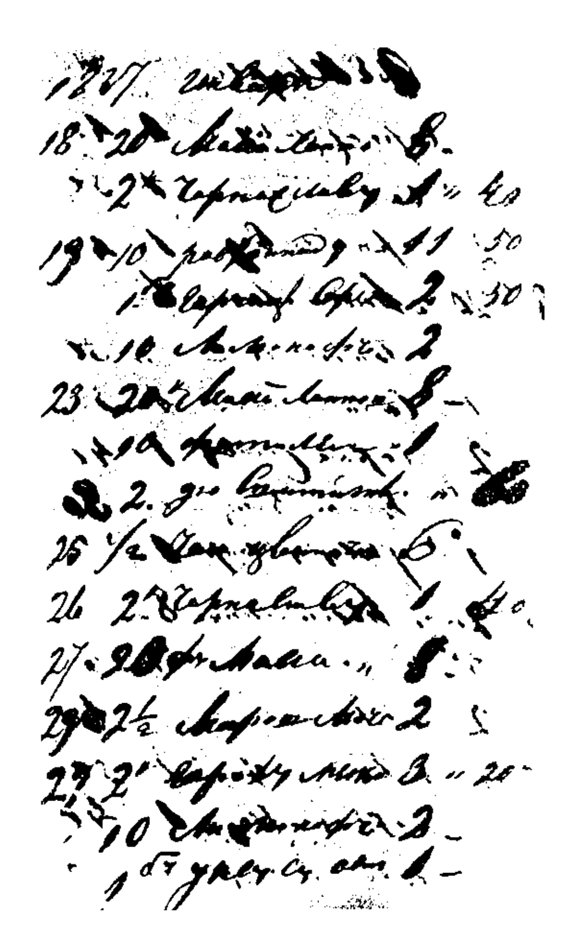
Из Михайловского, как всегда, старики жаловались на отсутствие писем от сыновей:

«Мы имеем письма от тебя одной, вообрази, твои братья не подают признаков жизни и повидимому не вспоминают о нашем существовании. Если бы наши люди не переписывались с людьми, оставшимися в Петербурге, то мы были бы в постоянном беспокойстве. Мы знаем по крайней мере, что они оба здоровы, что Лев живет в нашем доме, а Александр в своем.—Это довольно странно, раз их только двое: не лучше бы было жить вместе, все же они оба большие оригиналы».

(Надежда Осиповна 23 июля.)

«Александр и Лев совершенно нам не пишут, даже не отвечают на наши письма, хотя нам было бы интересно знать, едет ли Лев в Тифлис, и что ждет меня осенью».

(Сергей Львович от того же числа.)



СТРАНИЦА ИЗ КНИЖКИ РАСХОДОВ ПУШКИНА С ЗАПИСЯМИ ОТ 18—29 ЯНВАРЯ 1837 г.

Театральный музей им. Бахрушина, Москва

Только 1 августа Надежда Осиповна сообщает о письме к ним Пушкина, которое до нас не дошло:

«Александр написал нам один раз, он очень скучает и хочет покинуть Петербург, говорит, что ему необходимо съездить в Болдино, но его еще задерживают дела. Наташа и дети здоровы, он сообщает, что Лев вновь хочет поступить в армию, но сам Лев ничего нам об этом не говорит...»

Письмо Пушкина было единственным, и в конце месяца родители возобновляют свои сетования:

«Молчание твоих братьев совершенно недопустимо, представь себе, что за все время, что мы тут, Александр написал нам один раз, а Лев два раза, накануне своего отъезда в Москву и в Тифлис».

(Надежда Осиповна 23 августа.)

7 сентября 1834 г. Надежда Осиповна сообщает:

«[Лев] написал нам из Москвы очаровательное и очень веселое письмо, говорит, что он накануне отъезда, это было 21 августа. Он провел 20 дней в вихре света... был очень удивлен, встретя на одном из этих вечеров Александра, который был только проездом и пробыл в Москве всего 4 часа, он поехал к Наташе...»

В письме от 29 октября Сергей Львович рассказывает дочери о тех светских сплетнях, которые все гуще и гуще обволакивают имя поэта:

«Слухи, распускаемые насчет Александра, вызывают во мне тошноту. Знаешь ли, когда Наташа выкинула, то стали говорить, что это вследствие его побоев. Наконец, как много молодых женщин ездит навестить своих родственников и провести два или три месяца в деревне, разве против этого возражают? Но, когда дело касается его или Льва, то им ничего не спускают... Александр нам совсем не пишет. Я в некотором роде завишу от него, а он оставляет меня в течение более чем двух месяцев в полном неведении моей участи».

Мы видим, что нетерпение родителей получить письмо от Пушкина объяснялось в значительной степени желанием узнать, на какую сумму и к какому сроку они могут рассчитывать.

Вскоре после этого старики Пушкины получили извещение от Николая Ивановича, что Ольга Сергеевна благополучно родила сына. Это и был Лев Николаевич Павлищев, впоследствии автор «Семейной хроники».

Ответное письмо стариков от 7 ноября начинается с обычных в таком случае поздравлений и пожеланий. Приводим отсюда только упоминание о Пушкине:

«Наконец мы получили известие от Александра. Наташа опять беременна. Ее сестры вместе с нею и снимают прекрасный дом пополам с ними. Он говорит, что это устраивает его в отношении расходов, но несколько стесняет, так как он не любит отступать от своих привычек хозяина дома...»

Письмо Пушкина, о котором здесь идет речь, не дошло до нас. В последнем письме из Михайловского от 8 декабря Надежда Осиповна говорит еще об одном письме Пушкина, которое тоже не дошло до нас:

«Александр пишет нам от 18. Он ищет нам квартиру, которая, надеюсь, уже найдена».

В середине декабря старики Пушкины переехали в Петербург и остановились в гостинице Демута, присматривая себе квартиру. Надежда Осиповна пишет дочери 17 декабря:

«Александр здоров, я еще не видела Наташу, она сейчас нездорова, у меня тоже что-то вроде лихорадки, длящейся уже несколько недель... Твой брат кажется видел во сне, что твой ребенок черен, как Абрам Петрович, ты мне говорила, что он не то блондин, не то брюнет и это гораздо вероятнее... До тех пор, пока я не пришлю нашего адреса, продолжай писать по адресу Александра...»

«Я видел только Александра, Наташу и ее сестер, которые очень любезны, но далеко не так красивы, как она»,

сообщает в письме от того же числа Сергей Львович.

Сергей Львович успел побывать у сына и повидать его детей и своячениц, в то время как Надежда Осиповна не выходила из дому и единственным ее посетителем, кроме Пушкина, был врач Спасский. Она старалась скрыть от дочери серьезность своей болезни. Так в письме от 4 января 1835 г. она вскользь говорит о своем плохом здоровье, сообщает, что они живут теперь на Моховой в доме Кольберга, а затем рассказывает про семью Пушкина:

«Наташа много выезжает со своими сестрами, она приводила ко мне Машу, которая до того привыкла видеть одних щеголих, что стала громко кричать, увидев меня, а по возвращении домой ее спросили, почему она не захотела поцеловать бабушку, и она сказала, что у меня плохой чепчик и плохое платье... Если Александр еще ничего не послал вам—не обвиняй его, это не его вина, а также и не наша. Это

все долги Льва, которые довели нас до крайности. Заложив наше последнее имущество, Александр заплатил то, что задолжал его брат, а это достигало 18 000. Он смог дать ему только очень немного на путешествие в Тифлис. Он в этом месяце ждет денег из Болдина и конечно сделает для вас все, что можно, так как принимает это близко к сердцу».

Сергей Львович в письме от того же числа жалуется:

«[Лев] продолжал бесполезно расходовать деньги когда знал, что это наше последнее добро. Из-за всего этого Александр не может давать нам насущно необходимое, но довольно об этом, то что сделано— сделано. Меня огорчает только одно, я был уверен, что Александр послал тебе кое-что...»

В письме от 25 января Надежда Осиповна старается успокоить дочь насчет своего здоровья:

«Я сердита на Александра и Наташу за то, что они преувеличили мою болезнь в письме к тебе...»

Сергей Львович рассказывает, что был на-днях в театре с Аннетой и Евпраксией Вульф. Последняя первый раз была в балете. Он заканчивает письмо словами:

«Появился труд Александра о Пугачевском бунте. Это очень значительно по стилю и весьма интересно. Газеты об этом совершенно не пишут и даже не упоминают».

Только 5 марта Надежда Осиповна откровенно говорит дочери о своей болезни:

«Теперь, когда я уже выздоравливаю, могу сказать тебе, дорогая Ольга, что моя болезнь была очень серьезна, я доставила много беспокойства твоему отцу, так же как и Александру».

Сергей Львович в письме от того же числа:

«Я жду писем от Льва, у меня еще ничего нет из Тифлиса. Александр получил от него письмо, написанное, как он говорит, накануне его отъезда из Харькова. Я предполагаю, что оно содержало просьбу денег, но не знаю, что бы я мог сделать еще, заплатив за него около 20 000 рублей...»

Сергей Львович едва ли ошибся в предполагаемом содержании письма Льва Сергеевича. О нем мы можем судить по ответу Пушкина, который наполовину состоит из списка уплаченных им за брата долгов, краток и деловит.

Через несколько дней, 11 марта 1835 г., Надежда Осиповна опять упоминает о недавнем письме Льва Сергеевича к Пушкину:

«Он написал Александру, а тот до того лаконичен, что из него слова невозможно вытянуть. Он более рассеян, чем когда-либо и удовольствовался тем, что сказал мне, что Лев выезжает из Харькова 1 февраля.—Вот и все...»

Вскоре и сами родители получили письмо от Льва. Сообщая об этом 21 марта, Надежда Осиповна говорит, что Александр здоров и приходит по утрам ее навещать. Она поправлялась медленно и нигде не бывала. 22 апреля она пишет Ольге Сергеевне, что с нетерпением ждет из Варшавы ее знакомого, некоего Порай-Кошица, и продолжает:

«Ты спрашиваешь меня о Наташе: я редко вижусь с нею, она здорова и почти каждый день на спектакле, ходит гулять, она родит в конце мая месяца. Они занимают очень красивый дом на большой набережной, платят за него 6 700 руб. Это должно быть прекрасно, но я не могу судить, так как с тех пор, как я в Петербурге, я вижу только дом Кольберга».

Неожиданная поездка Пушкина сильно удивила Надежду Осиповну:

«Сообщу тебе новость,—пишет она 7 мая,—третьего дня Александр уехал в Тригорское, он должен вернуться не позднее 10 дней, ко времени разрешения Наташи. Ты может быть думаешь, что он по делам— вовсе нет, только ради удовольствия путешествовать и в такую плохую погоду! Мы были очень удивлены, когда он накануне отъезда пришел с нами проститься. Его жена очень этим опечалена. Надо сознаться, что твои братья большие оригиналы и никогда не перестанут быть таковыми... Я бы хотела поехать в Москву. Эта перемена воздуха принесла бы мне пользу. Все это только проекты, пока я была больна, я их не делала. Теперь же это доказывает, что я поправляюсь или же, что я заразилась от твоих братьев страстью к путешествиям. Александр тоже собирается покинуть Петербург в июле месяце».

Десять дней спустя Сергей Львович извещает дочь:

«14-го, т. е. во вторник, между 7 и 8 часами веч. Наташа родила мальчика, которого они назвали Григорием, не знаю собственно почему Александр совершил десятидневное путешествие в Тригорское, только для того чтобы съездить туда и обратно и провести там три дня. Он вернулся в среду в 8 ч. утра.—Наташа разрешилась накануне...»

В этом письме Надежда Осиповна сообщает маленькую подробность об этой поездке Пушкина:

«На станции Боровичи Порай-Кошиц встретил Александра, ехавшего в Тригорское, он был очень озабочен и рассеян, как рассказывал мне Порай-Кошиц. Я почти уверена, что твой брат не слышал ни одного слова из того, что тот ему говорил, а когда я вчера заговорила с ним о Кошице, он очень удивился, он даже не подозревал, что Кошиц ехал из Варшавы, что он знает тебя, словом он очень огорчен, что так холодно с ним обошелся. Кажется он не сказал ему ни слова, принимая его за любопытного, каких так много можно встретить на дороге, и которые стремятся познакомиться с Александром...»

С наступлением лета начинаются заботы о даче. Надежда Осиповна 8 июня 1835 г. пишет дочери, что хотела бы переехать в Павловск, где живет ее приятельница Архарова, прибавляя дальше:

«Наш переезд зависит от Александра, надо, чтобы он дал средства для этого... Наташа поручила мне обнять тебя, на этот раз она слаба и только недавно покинула свою спальню, она не решается ни читать, ни работать, у нее большие проекты по части развлечений, она готовится к петергофскому празднику, который будет 1 июля. Она вместе со своими сестрами собирается также кататься верхом на острова, хочет взять дачу на Черной речке и не думает уезжать дальше, как желал того ее муж, но ведь в конце концов—чего хочет женщина, того хочет бог...»

Как видим, Пушкин неоднократно порывался в деревню, где надеялся найти спокойную обстановку, необходимую для продуктивной работы, а вместе с тем сократить расходы. Взявшись за ведение имущественных дел своих родственников, чтобы предотвратить полное разорение, он оказался вынужденным постоянно снабжать родителей деньгами и вести неприятную переписку с Павлищевым. Этот последний, мало беспокоивший своего тестя напоминанием о когда-то обещанных Ольге Сергеевне деньгах, не стал стесняться с шурином, или вернее счел такие напоминания менее безнадежными. Назойливые письма Н. И. Павлищева и более чем холодные деловые ответы на них известны по переписке Пушкина. В дополнение

к ним приводим письмо Павлищева к своей матери от 16 июня 1835 г. из Варшавы:

«Терпение мое наконец рушилось: я вошел в переписку с Александром Сергеевичем и требовал решительно выдела жениной части. Дело теперь остановилось на том, что батюшка отдал нам и двум сыновьям доходы с одной деревни в 500 душ; Александр же Сергеевич уступил нам свою часть доходов и таким обр. Лев и жена должны пользоваться каждый половиною... Я требовал доверенности на управление самому этой частью и надеюсь, что она будет прислана...»

Перед отъездом на дачу 19 июня 1835 г. Надежда Осиповна пишет:

«Я была на Черной речке... Мы третьего дня получили письмо от Льва от 29 мая... Он объездил Грузию, провел две недели в усадьбе

Н. Н. ПУШКИНА-ЛАНСКАЯ
Рисунок неизвестного художника, карандаш
Театральный музей им. Бахрушина, Москва

вдовы Грибоедова, он говорит, что это были прекраснейшие дни его жизни, что она—очаровательная женщина, он опять собирается туда...»

«Александр едет на три года в деревню, не зная сам, куда.—Так как я надеюсь на будущий год, если Господь отпустит нам жизни, поехать в Михайловское, то мы не сможем ему его предоставить на все это время. В наши расчеты совсем не входит лишиться и этого последнего утешения»,

пишет в письме от того же числа Сергей Львович.

Новость о переезде Александра Сергеевича в деревню его родители повторяют в самом категорическом тоне:

«[Александр и Наташа] обещали приехать нас навестить, но я этому нисколько не верю... Знаешь ли ты, что Александр в сентябре месяце уезжает на три года в деревню, он уже получил отставку, а Наташа совсем покорилась»... «Александр уезжает, а куда—я не знаю, да и он сам еще не знает.—Не думаю, чтобы он приехал нас навестить, а если и приедет, то это будет подобно молнии, а между тем нам следовало бы многое обсудить вместе, перед тем как расстаться может быть на долгое время...»

Как мы знаем, дело было не только в визите Пушкина, но в получении от него денег, о чем Надежда Осиповна пишет 12 июля:

«[Александр и Наташа] сказали мадам Шевич, что непременно приедут нас навестить, мы ждали их к пятому и вчера, и думаю, что мы можем тщетно ожидать их до второго пришествия. Это вовсе не смешно, потому что твой брат забывает, что мы не можем жить одним воздухом...»

16 июля родители получили письмо от Ольги Сергеевны, в котором она извещала их о своем скором приезде и прилагала еще одно письмо Павлищева к Пушкину. Отвечая ей на другой день, Надежда Осиповна засыпает дочь ласками и восторженными восклицаниями и обещает переслать письмо Павлищева Александру на Черную речку, на дачу Миллера. Сергей Львович разумеется тоже выражает свой восторг и добавляет:

«Я сейчас пошлю Александру письмо Николая Ивановича. Он нам совершенно не пишет, даже не справляется о нашем здоровье, а ведь он знал, что Maman только стала поправляться, когда покинула Петербург».

На этом заканчиваются письма Надежды Осиповны и Сергея Львовича к дочери. Далее следует ряд писем Ольги Сергеевны к Павлищеву из Павловска, где она свиделась с родителями. В одном из них, от 31 августа, она рассказывает мужу о своей встрече с братом:

«Вчера приезжал Александр с женой, чтобы повидаться со мною. Они больше не собираются в Нижегородскую деревню, как предполагал Monsieur, так как мадам и слышать об этом не хочет. Он удовольствуется поездкой на несколько д н е й в Тригорское, а она не тронется из Петербурга».

Далее Ольга Сергеевна передает деловые поручения Пушкина насчет доверенности по управлению имением и сообщает, что он для нее продал ее фермуар[16]. Как видим, Ольга Сергеевна взяла было на себя роль деловой посредницы, но очень быстро стала ею тяготиться. 12 сентября она описывает мужу свою неожиданную поездку в Петербург[17]: ее увезли туда ее друзья Екатерина Ивелич и А. О. Мусина-Пушкина. У последней она провела три дня в Петербурге (с 3 по 6 сентября), у нее в доме она слышала новое произведение Глинки, «пьесу совершенной красоты» в исполнении его друга, начинающего тогда композитора Даргомыжского. «Он гений теперь, но так обойден природой,—пишет про него Ольга Сергеевна,—что, будучи хоть немного расположенной к веселости, невозможно смотреть на него, а в особенности его слушать и не захотеть смеяться. У него голос совсем как у маски...» В первое утро в Петербурге Ольга Сергеевна решила делать визиты и села в коляску вместе с Е. Ивелич, которую собиралась подвезти.

«Я начала с Александра, живущего рядом. Мы застали его на крыльце с бумагами подмышкой. *Когда он узрел Ивеличеву со мной, то чуть в обморок не упал и насилу выговорил:* и вы, графиня? Та, по доброте душевной, поторопилась разуверить его, сказав: я к Кокошкиным. *Тут он обрадовался, воротился со мной, представил своим женам: теперь у него целых три, как тебе известно*. Они красивы, эти невестки, но ничто в сравнении с Наташей, которая по-моему очень похорошела: у нее теперь хороший цвет лица и она немного пополнела, ей этого единственно недоставало. Я не хотела оставаться у них обедать, боясь соскучиться...»

Несколько дальше она рассказывает о бывшей баронессе Дельвиг, которая вскоре после смерти А. А. Дельвига вышла замуж за С. А. Баратынского:

«...говорят что она очень счастлива, что живет в деревне со своей свекровью и золовками, но дело в том, что она с мужем живет, как

кошка с собакой, и что он под предлогом посещения больных ездит по деревням и отсутствует целые месяцы; затем возвращается, делает сгоряча свою жену брюхатой и снова уезжает. *Это мне брат сказал...»*

В этом чрезвычайно длинном письме Ольга Сергеевна сообщает также, что Александр уехал в Тригорское и хочет провести там три месяца. Далее она разъясняет мужу со слов Пушкина, что теперь надо обращаться по делам имения непосредственно к управляющему Пеньковскому[18]. О делах она продолжает речь 4 октября:

«Папа послал тебе так сказать копию письма Александра, но кажется ты его плохо понял. Из сказанного мне я вижу, что он готов предоставить тебе полные права, за исключением разумеется продажи имения, которое ему не принадлежит; но он не может дать тебе доверенности, пока не будет знать, что ты хочешь, чтобы в ней заключалось...».

За время отсутствия Пушкина было получено письмо от Льва, которое, по словам Ольги Сергеевны, потрясло родителей.

11 октября она пишет Павлищеву:

«Полагаю, что он говорит им о своих долгах, чего ему не следовало бы делать в настоящее время: боюсь, что плохое здоровье мамы пострадает от этого, а Александра нет, чтобы ее утешать. (У него все же иногда бывает этот талант)... Мне сказали, что Александр получил 30000 от Е. В. из Калиша. Плетнев это разглашает, должно быть— правда. Александр скрыл от меня это счастливое обстоятельство...»[19]

В Петербурге Ольга Сергеевна устроилась вместе с родителями в неважном деревянном доме у Шестилавочной на углу Графского переулка, в маленькой и неудобной квартире.

Контраст между широким образом жизни Натальи Николаевны и очень стесненным существованием стариков Пушкиных вызывал много пересудов, о которых пишет Ольга Сергеевна в письме к мужу от 9 ноября 1835 г.:

«Вообрази, что на нее бедную [Наталью Николаевну] напали, отчего и почему мать у нее не остановилась по приезде из Павловского. Дело в том, что мать не предполагала, что заболеет и останется у мадам Княжниной на две недели, а на месте моей невестки я поступила бы так же: никогда бы я не пригласила ее к себе, так как ей могло быть менее удобно: у нее большая квартира, это правда, но плохо распределенная, а затем две сестры, трое детей, да еще как посмотрел бы на это Алекс., который отсутствовал, да и мать моя не захотела бы. Мадам Княжнина—ее друг детства; это получше чем сноха, и это очень просто, а моя невестка не ипокритка,—мама бы ее стеснила, и это также очень просто. Затем продолжали кричать, почему у нее ложа в спектакле, почему она так элегантна, когда родители ее мужа в такой крайности,—словом нашли очень пикантным ее бранить. Нас разумеется тоже бранят: Александр чудовище, а я—жестокосердая дочь... Но подумай только обо всех этих сплетнях! Дело в том, что мой отец плачет, жалуется и вздыхает перед всяким приходящим и проходящим... Угадай, что делает Аннета Керн? Она переводит, но что бы ты думал?—Жорж Санд!! Но не ради удовольствия, а для денег. Она попросила Александра замолвить за нее слово у Смирдина, но Александр не церемонится, когда надо отказать. Он сказал ей, что совсем не знаком со Смирдиным... Я чуть не забыла рассказать тебе, что мой отец жаловался на тебя мадам Осиповой. Александр сообщил мне об этом. Помнишь ли одно из твоих писем, в котором

ты говоришь о делах: как контролировать доходы с деревни, которые доставляются через третье лицо? Не взвесив этой фразы, я дала отцу прочитать это письмо. Представь себе, что он чрезвычайно обиделся...»[20]

В недоразумениях с родителями брат и сестра были обычно заодно. Причиной этих размолвок были конечно денежные затруднения: Ольга Сергеевна мало получала из доходов с имения, так как Сергей Львович почти все отдавал сыну Льву. Непосредственным поводом одной семейной сцены послужило еще новое письмо Павлищева, которое возмутило Сергея Львовича. В письме к мужу от 22 ноября Ольга Сергеевна говорит:

«К счастию в эту минуту пришел Александр. Мой отец отводит его в сторону, чтобы показать письмо управляющего и ударяя по нем: «Что это такое, что это должно означать? Я не понимаю». Я только это и слышала, потому что удалилась в другую комнату, чтобы предоставить им поле действия. Я слышала, как они спорили, Александр с большим жаром, а затем он, оставив его, пришел сказать мне: «имеется 900 руб. для тебя, но тебе ничего не дадут, потому что мой отец, несмотря на мои доводы, уперся и уверяет, что это для Льва. *А муж твой виноват: если бы он написал прежде Пеньковскому, деньги были бы у него»*. Моя мать с постели услышала разговоры о делах и испугалась, она боится сцены. Мадам Княжнина, бывшая тут, пришла на цыпочках: «ради Бога, потише, вашей матери сделается дурно». Мы пошли к ней; Александр, чтобы ее успокоить, говорит, что дело идет только о сумме, которую мне прислали из деревни, и на этом берет шляпу и уходит... *Знаешь что? Он очень порядочный и дела понимает, хоть и не деловой.* Он повидимому меня снова очень полюбил *и Лелю моего очень любит и ласкает...* Соболевский нас часто навещает. Алекс. не может жить без него. Но он не нравится женщинам, дамам большого света, он не ухаживает за ними...»[21] «Александр уезжает в Москву на два месяца или даже более, как он полагает,—читаем мы в письме Ольги Сергеевны от 6 декабря.—Он уверяет, что должен туда поехать, чтобы рыться в архивах. Ты знаешь, он пишет историю Петра Великого... Моя невестка и ее сестры выезжают каждый день; я мало с ними вижусь, я еще не была у них...»[22]

Через некоторое время Н. И. Павлищев снова поручил жене переговорить о делах с Пушкиным. Она отвечает:

«Я не могла улучить минуту поговорить с Александром,—я не хотела этого делать при дедушке и бабушке, а он каждый раз приходил, когда мы сидели за столом. Он присутствовал при нашем обеде и уходил тотчас же после него. Наташа пришла только однажды на этой неделе, я ей не могла ничего сказать; писать им было бы совершенно бесполезно; но так как я пошлю это письмо только завтра, то подожду его запечатывать: надеюсь, что Александр зайдет сегодня и я больше не буду выбирать время, чтобы рассказать ему то, что ты пишешь... Соболевский в курсе всех наших семейных дел: у Александра нет от него тайн и благодаря ему он читал письма, которые ты ему писал. У него часто нехватало терпения, тогда Соболевский их ему дочитывал и заставлял на них обращать внимание; это случилось два раза, как он мне говорил... Лев пишет письма, которые Александр больше не передает й, не стесняясь, распечатывает по моему

ДАНТЕС В СТАРОСТИ
Фотография 1860-х гг.
Частное собрание, Москва

совету... *Вообрази, что Лев здесь занял первый номер в доме Энгельгардта, за который он платил 200 руб. в неделю, и давал завтраки графу Самойлову. Александр говорит, что из рук вон, ни на что не было похоже»* [23].

Вторую часть письма Ольга Сергеевна дописывает повидимому вечером:

«Александр был, по обыкновенью не надолго, к тому ж с двумя женами и в дистракции»

и тут же сообщает все, что узнала по части деловых вопросов Она просит, чтобы Павлищев подтвердил управляющему свои распоряжения.

«Может статься, что Александру приснилось, что он отдал ему приказания и что он этого еще не сделал. Он в высшей степени рассеян: он слишком много думает о своем хозяйстве, о своих детях и о нарядах своей жены».

Письмо это помечено 20 декабря—днем рождения Ольги Сергеевны:

«К моему большому неудовольствию, все об этом вспомнили за исключением Александра... Ты хорошо делаешь, что не идешь к Коссаковским, раз он не отдает тебе визита. Александр говорит, что он очень глуп и подтверждает это тем, что, представь себе, он ставит во французском театре свою дурацкую пьесу,—свой очаровательный водевиль. Театр был полон, присутствовала вся аристократия и иностранцы, был просто срам (употребляю выражение Александра). Что же

касается его жены, то она не любит Александра; ей пришло в голову говорить с ним о его стихах, а так как он отвечал сухо, то она сказала насмешливым тоном: «знаете ли, Monsieur, что ваш Годунов может казаться интересным в России?» «Мадам, так же, как вы кажетесь хорошенькой женщиной в доме вашей маменьки». *С тех пор она равнодушно на него смотреть не могла*».

3 января 1836 г. Ольга Сергеевна делится новыми сведениями о долгах брата Льва:

«Если ты получил мое последнее письмо, то знаешь, что делает Лев, но то̀, что мне недавно сообщил Александр, что-то новое. Он проиграл теперь 30 000 рублей. *Александр хочет купить вексель—и напрасно. Ему это удалось однажды: Лев проиграл Болтину 10 000 и примирился этаким манером на 2 000... Соболевский говорит: Придется же Алекс. Серг. его кормить. Кормить-то не беда, а поить накладно*[24]».

Ольга Сергеевна конечно не могла не чувствовать натянутости отношений между братом и мужем. 31 января 1836 г. она пишет Павлищеву:

«Я сердита на тебя за то, что ты написал Александру. Это привело только к тому, что у него разлилась желчь: я не помню его в таком отвратительном расположении духа: он до хрипоты кричал, что предпочитает все отдать, что имеет (включая может быть и свою жену), чем снова иметь дело с Болтиным, с управляющим, с ломбардом и т. д., что тебе только следует написать Пеньковскому, что это его дело быть в курсе дел, что ему за это платят, что он не может чего-нибудь не знать. Он не читал твоего письма, он вернул его мне, распечатав и даже не взглянув на него. Впрочем его гнев показался мне довольно смешным... Он как будто передразнивал моего отца».

Затем она сообщает ряд деловых сведений, которые тем не менее узнала от брата:

«Я больше ничего не смогу узнать от Александра. Как хочешь, но я больше не стану с ним разговаривать. Если ты напишешь по его адресу, он, не распечатав, бросит письмо в огонь,—поверь мне. *Ему же не до того теперь: он издает на-днях журнал, который ему приносить будет не меньше, он надеется, 60 000! Хорошо и завидно»*.

18 февраля Ольга Сергеевна пишет:

«Завтра Александр уезжает в Москву с Иваном Гончаровым, который тебя помнит и очень любит. Он совершает эту поездку только на две недели для своих литературных дел»[25].

Но Пушкину не удалось осуществить этого намерения—его мать умирала.

«Она еще в сознании,—пишет 11 марта о ней Ольга Сергеевна,—улыбается Леле, но это мертвая... доктор говорит, что ее подорвало горе. Отчаяние отца мучит меня невыразимо. Он не может сдерживаться, рыдает около нее,—это ее пугает, мучит. Я пробовала ему это сказать, он стал на меня кричать, забыв, что я теряю мать. Я право не знаю, что делать. Александр появляется только не надолго, так же, как и другие; я совершенно одна с ним; мадам Тимофеева тоже не может остаться при всем своем добром желании. Она на-днях потеряла свою сестру Воронцову [Екатерину]. Счастье, что Александр не уехал, как собирался: плохие дороги его испугали...»[26]

Надежда Осиповна умерла 29 марта 1836 г., не дождавшись своего зятя, с которым вероятно собиралась помириться перед смертью. Павлищев приехал на другой день после ее кончины. Пушкин, как известно, отвез тело матери в ее псковскую деревню, где она была погребена. Осиротелый Сергей Львович переселился летом к своей сестре Е. Л. Сонцовой в Москву, а Павлищевы поехали в Михайловское. Николай Иванович решил там проверить ведение хозяйства и навести порядки. Разумеется деньги на поездку туда, так же как и на дальнейший путь в Варшаву, он требовал от Александра Сергеевича и ждал его в деревню, чтобы поговорить об имущественных делах. Переписка Пушкина с Павлищевым за это время посвящает нас в меркантильные планы Н. И. Павлищева: он всячески настаивал на выделении части имения, принадлежащей Ольге Сергеевне, и на продаже его. Когда приблизился конец его отпуска, а Пушкин все не ехал и не присылал денег, то письма Павлищева сделались тревожнее, он стал навязывать Михайловское самому Александру Сергеевичу с тем, чтобы тот выплатил ему долю Ольги Сергеевны, при чем уступал часть указанной прежде суммы. Ольга Сергеевна хотя и не входила в коммерческие дела своего мужа, но тоже ждала брата в деревню и была несколько в претензии на него за его нерасторопность в их делах. К сожалению, не в пример прочим годам, до нас не дошли письма Сергея Львовича к дочери, зато мы имеем ряд писем Ольги Сергеевны к отцу:[17]

«Мы не имеем никаких известий от Александра, несмотря на то, что я и мой муж написали ему настоятельные письма»,

писала она в письме от 14 сентября. Почти дословно эту фразу мы находим в письмах Ольги Сергеевны через месяц и через полтора (22 октября и 2 ноября). В первом из них она благодарит отца за обещание выделить ей ее долю именья. Обещание это было вызвано бесцеремонным требованием Павлищева. Вот что он писал по этому поводу А. С. Пушкину еще летом из Михайловского:

«Хочу попробовать его отцовскую нежность, которую он так забавно рассыпает в своих идиллических письмах. Потребую ее приданого,— четырнадцатую часть, но не доходов с имения (потому, напр., что с Кистенева ей приходится собственно 200 руб.), а самого имения. Предвижу ссору, но тут лучше хорошая ссора, чем дурной лад. Старик будет помнить меня...»

Павлищев разумеется исполнил свое намерение и в ответ получил от Сергея Львовича всевозможные обещания. Пушкин теперь перестал отвечать назойливому родственнику, за что Ольга Сергеевна на него не особенно сердилась:

«Что же касается Александра, то он ничего не пишет, он не отвечает на деловое довольно настоятельное письмо моего мужа. Я полагаю, что он очень занят своим *«Современником»,* последний том которого интереснее других. Я думаю, что это пойдет».

(Письмо к Сергею Львовичу от 3 декабря.)

Сильное впечатление произвело на нее известие, что старшая и ничем не замечательная сестра Натальи Николаевны выходит замуж за Дантеса:

«Теперь отвечу Вам, дорогой папа, на сообщенную Вами новость о предстоящей свадьбе Катерины Гончаровой и барона Дантеса, теперь Гекерена. По словам мадам Пашковой, которая писала своему отцу, это событие удивило весь свет. Не потому, что один из самых красивых кавалергардов и один из самых модных молодых людей, располагающий 70 тыс. дохода женится на девице Гончаровой—она для этого достаточно красива и хорошо воспитана,—но дело в том, что его страсть к Наташе ни для кого не была тайной. Я это отлично знала, когда была в Петербурге, и тоже над этим подшучивала. Поверьте, мне, здесь что-то подозрительно или кроется какое-то недоразумение и очень может статься, что этой свадьбе не бывать...»

(Ольга Сергеевна 24 декабря 1836 г.)

Пушкин доживал последние тяжелые недели своей жизни, естественно, что Павлищев снова жалуется тестю на отсутствие ответа от него.

«Я все же приписываю это молчание А. С. перипетиям его новой обязанности журналиста. У него их кажется много, потому что он не находит времени послать свой Современник ни фельдмаршалу, ни князю Козловскому, который все же является одним из сотрудников журнала...»

(13 января 1837 г.)

Только 3 февраля, т. е. уже после смерти Пушкина, о которой Ольга Сергеевна еще тогда не знала, она сообщает, что

«Александр все же прислал письмо моему мужу, содержащее всего несколько строк, набросанных второпях, в ответ на письмо от июля месяца, которое он истолковал совершенно неправильно, не дав себе труда дочитать его до конца, а об двух других, которые мой муж писал ему отсюда, он даже не упоминает. Видно, что он очень занят и в плохом настроении. 4-ый том его журнала украшен его произведением *«Капитанская дочка».* Я уже давно не читала ничего по-русски столь интересного...»

Когда весть о гибели Пушкина дошла до Варшавы, Ольга Сергеевна написала Сергею Львовичу письмо, полное печали о брате и тревоги за отца. В нем нет ни одного факта, зато в письме от 3 марта она сообщает Сергею Львовичу (все время находившемуся в Москве) все, что ей было известно:

«Будучи в курсе всех обстоятельств, вызвавших дуэль, я ожидала какого-нибудь взрыва. Никто не писал мне из Петербурга, но письма, которые получали князь Козловской, Волхонской, гг. Кайсаров, Крузенштерн, Очкин, распространили здесь в достаточной степени слухи, ходившие в Петербурге, по поводу свадьбы девицы Гончаровой. Она состоялась 7 января. Но во все время своего жениховства и после Дантес не бывал у Александра; к несчастью анонимные письма, которые он продолжал получать, вывели его наконец из себя, так что он в шесть приемов вызывал Дантеса, но так как этот не принимал его, то он написал оскорбительное письмо его дяде и в тот же вечер поехал на бал, чтобы спросить у Дантеса, получил ли его Гекерен. Вы знаете, что из этого вышло. Когда его перенесли домой, он сказал *Наталье Николаевне*, что она не виновата в этом деле. Конечно, это было более чем великодушно, это было величие души, это было более, чем прощение. Я не буду теперь от Вас скрывать, что мнения разделяются: если большинство становится на сторону Александра, то другие, чтобы оправдать Нат. Н., обвиняют его в слепой и безумной ревности. До тех пор, пока сохранится воспоминание о ее молодости и красоте, у нее будет достаточное количество сторонников... Мой муж получил письмо от *Прасковьи Артемьевны* от 30 янв. Все, что она пишет относительно дуэли, соответствует в точности сообщенным мною подробностям...»

Рассказ Ольги Сергеевны в общем довольно верен, если не считать нескольких подробностей. Так, Пушкин не вызывал Дантеса в шесть приемов: после первого вызова все было улажено друзьями, и Дантес был объявлен женихом Е. Н. Гончаровой. Вторая попытка Пушкина довести дело до дуэли увенчалась успехом. Затем свадьба Дантеса была не 7-го, а 10 января.

Сергей Львович повидимому обвинял друзей Пушкина в том, что они не сумели предотвратить несчастья.

ПУШКИН В ГРОБУ

Картина маслом А. Козлова, 1837 г.

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

«Вы полагаете, дорогой папа, что если бы друзья Александра приложили больше горячности и осмотрительности, то могли бы предотвратить эту ужасную историю. Возможно все же, что Александр был скрытен с ними. Если тем не менее можно кого обвинять в беспечности и недальновидности, то скорее всего Загряцкую,—она каждый день бывала в доме, делала с Наташей все, что хотела, имела такое влияние на Александра,—но как видно это должно было случиться...»

(Ольга Сергеевна 7 марта 1837 г.)

«Неужели я первая сообщила Вам ход этой несчастной истории... Вревский написал моему мужу, что его жена все это время провела около Александра, но его письмо так коротко, что он даже не сообщает, вернулась ли она в деревню, а то я написала бы ей, она так любила Александра. Я даже уверена, что ее присутствие облегчило его последние минуты. Вревский ограничился только следующим: *Евпраксия Ник. была с А. С. все последние дни его жизни. Она находит, что он счастлив, что избавлен тех душевных страданий, которые так ужасно его мучили последнее время его существования...»*

(Ольга Сергеевна 17 марта 1837 г.)

Павлищев тоже непреминул сказать несколько слов по поводу этой смерти. Он пишет матери 21 марта 1831 г.:

«Я не говорю вам ничего насчет дуэли и кончины Алекс. Серг. Об этом вся Россия осведомлена и вы в Екатеринославе слышали и знаете. Жаль детей и даже вдовы, хотя виновницы несчастья. Он искал смерти с радостию, а потому был бы несчастлив, если б остался жив. Самолюбие его—чувство, которое руководило всеми его поступками, было слишком оскорблено. Оно отчасти удовлетворилось в последние минуты: вся столица смотрела на умирающего...»

Но еще характернее для Павлищева то, что он писал отцу Пушкина: он беспокоился, что опека над имуществом Пушкина не сумеет распространить привилегию, данную Николаем I (снятие долгов с имения) на имение Сергея Львовича, а также хлопотал о том, чтобы опека приобрела Михайловское, т. е. выплатила ему долю его жены.

В своих письмах к отцу Ольга Сергеевна называет разные известные ей стихотворения и статьи, вызванные смертью Пушкина. Она отдает предпочтение статье Полевого.

«Вы конечно читали статью г. Полевого об Александре в «Библиотеке для чтения». Она мне чрезвычайно понравилась. Это все, что можно было сказать лучшего. Правда сквозит в ней, похвала без лести, без преувеличения, ощущение, чувство потери без аффектации...»

(Ольга Сергеевна 11 мая 1837 г.)

После первых писем, где слышится самое искреннее горе, тон Ольги Сергеевны при упоминании о брате становится спокойным, жизнь берет свое, и для родных Пушкин отходит в прошлое может быть даже скорее, чем для многих своих друзей и почитателей.

Этими письмами, в которых родственники Пушкина каждый по-своему переживают его кончину, исчерпывается та часть их переписки, где о нем постоянно упоминается, где выясняется его место в кругу его семьи и где можно по крупицам найти ряд фактов и черточек для восполнения его биографии и облика.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Л. Павлищев, Из семейной хроники. Воспоминание о Пушкине. М., 1890.
[2] «Пушкин и его современники», вып. XV, XVII—XVIII, XXIII—XXIV.
[3] Л. Павлищев, Назв. изд., стр. 218 сл.
[4] Ibid., стр. 260.
[5] «Пушкин и его современники», вып. XV, стр. 66.
[6] Ibid., стр. 69.
[7] Ibid., стр. 76.
[8] Ibid., 78.
[9] Ibid., стр. 84.
[10] Ibid., стр. 95.
[11] Ibid., стр. 90.
[12] Ibid., стр. 89.
[13] Ibid., стр. 101.
[14] Ibid., стр. 125.
[15] А. Вульф, Дневники. М., 1929, стр. 346.
[16] «Пушкин и его современники», вып. XVII—XVIII, стр. 162 сл.
[17] Ibid., стр. 167.
[18] Ibid., стр. 162.
[19] Ibid., стр. 179.
[20] Ibid., стр. 187.
[21] Ibid., стр. 190.
[22] Ibid., стр. 196.
[23] Ibid., стр. 199 сл.
[24] «Пушкин и его современники», вып. XXIII—XXIV, стр. 203.
[25] Ibid., стр. 215.
[26] Ibid., стр. 221.
[27] «Пушкин и его современники», вып. XII.

ПУШКИН В ПИСЬМАХ П. А. ВЯЗЕМСКОГО К ЖЕНЕ (1830—1838)

Публикация В. Нечаевой

В Остафьевском архиве сохранились сотни писем, составляющих шестидесятилетнюю переписку кн. П. А. Вяземского с женой. От толстой голубоватой бумаги начала XIX века до тончайших полупрозрачных листков, модных в середине XIX столетия, от писем, посылаемых с «обратными» ямщиками в Вологду и Ярославль, до экстренных депеш, помеченных наиболее фешенебельными курортами Европы,—переписка Вяземских живо рисует психологию, быт, культуру русской аристократии этого периода.

Большой мастер эпистолярного искусства Вяземский в письмах к семье не ограничивался сообщениями, имеющими узко семейный интерес. Отдавая многие страницы заботливым расспросам и советам, касающимся главным образом здоровья детей, он еще больше места отводит непринужденной болтовне с близкими о виденном и пережитом в разлуке с ними. Комические описания глухой русской провинции (поездки в с. Красное), не лишенные едкой сатиры повествования о светской петербургской жизни, восторженные, но выдержанные в юмористическом тоне письма из столиц Франции и Англии усеяны массой ценнейших бытовых фактов и имен. Среди последних в период 30-х годов часто встречается имя Пушкина, постоянно вызывавшее отклик в корреспондентке Вяземского Вере Федоровне Вяземской.

Кн. Вяземская должна быть зачислена в ряды ближайших к Пушкину людей: ей пришлось быть свидетельницей и, весьма вероятно, интимной поверенной Пушкина *в те моменты, когда сердечные переживания поэта сопровождались решительными* поворотами во всем течении его жизни. Так было во время их встречи в Одессе в 1824 г., пребывание в которой закончилось высылкой Пушкина в Михайловское, так было в 1830 г. в Москве, когда Пушкин сделался женихом Гончаровой, так было в Петербурге в последние месяцы его жизни, во время подготовлявшейся катастрофы.

В. Ф. Вяземская—фигура очень незаурядная, красочная, своеобразная и в то же время чрезвычайно характерная для своего класса и эпохи. В ней было много внешнего блеска—живости, остроумия, игривой кокетливости, долго ее молодивших, погони за красивой внешностью, любви к нарядам, к блестящему обществу, к изящному окружению. Но в то же время в ней были качества, делавшие из модной светской женщины прекрасную семьянинку и подругу своего талантливого, умного мужа. Чрезвычайно заботливая мать многочисленных детей, отличавшихся исключительно слабым здоровьем, она в то же время стремилась быть на высоте литературных интересов современности и при помощи мужа всегда была в курсе литературы не только французской, но и русской. Правда, она отзывалась довольно пренебрежительно о русских журналах (как это делали и Пушкин, и Вяземский), но русскую современную поэзию—Батюшкова, Жуковского, Баратынского, Пушкина—она читала с увлечением. Произведения мужа она постоянно переписывала и даже переводила прозой на французский язык. В архиве сохранился ее перевод «Станции» П. А. Вяземского.

После встречи в Одессе Пушкин стал для Вяземской дорогим и не покидавшим ее воспоминанием. Сохранились многочисленные письма ее к мужу из с. Мещерского, Пензенской губ., где она проводила с детьми 1827—1828 гг. Почти в каждом письме Вяземская упоминает о Пушкине, посылает ему приветы, спрашивает о нем, передает свои впечатления от «Онегина», вышивает для Пушкина подушку, которую и посылает для передачи ему. В ее комнате в Мещерском портрет Пушкина висел на стене рядом с портретами Вяземского и Гете.

Опубликованные в V томе «Остафьевского архива» письма Вяземской к мужу из Одессы в 1824 г. дали немало любопытного материала для освещения этого периода в биографии Пушкина*. Не менее интересны должны быть письма Вяземской из Москвы, написанные весной 1830 г. к мужу, уехавшему в Петербург для поступления на службу. 12 марта этого года в Москву приехал Пушкин и во все время своего пребывания в ней постоянно встречался с кн. В. Ф. Вяземской, посвящая ее в свои планы относительно женитьбы на Н. Н. Гончаровой. Вяземская в письмах к мужу делилась новостями о Пушкине, и Вяземский в ответных письмах откликался на эти сообщения. К сожалению писем В. Ф. Вяземской этого времени в той части Остафьевского архива, которая находится в Особом отделении ЦИА, не оказалось, и мы принуждены судить о них по ответам ее мужа.

Из писем Вяземского к жене были напечатаны до сих пор лишь самые ранние письма 1811—1812 гг. и письма 1824—1826 гг. («Ост. арх.», т. V). Несколько отрывков из писем Вяземского к жене за 1828—1830 гг. с упоминаниями о Пушкине приведено в вып. III—IV сб. «Звенья»; автографы этих писем еще до революции случайно откололись от основного места их хранения и в настоящее время находятся в Ленинградском Отделении Центрархива. Все остальное богатство этого превосходного по стилю и ценнейшего по фактам эпистолярного наследства остается неизвестным в печати.

Мы публикуем здесь краткие выдержки из писем Вяземского 1830—1838 гг., в которых есть упоминания о Пушкине. Разнообразные по своему значению, все они однако представляют ценность как крупицы того фактического материала, который, объединенный и осмысленный, должен лечь фундаментом в построении научной биографии поэта

1

20-го [марта 1830 г.]

...Поблагодари Пушкина за письма[1]. Мы здесь дома часто вспоминаем его. Из Москвы уже сюда пишут, что он женится на старшей Ушаковой[2]. Почему же нет? А шутки в сторону, из несбыточных дел это еще самое сбыточное. Скажи ему, чтобы он прислал что-нибудь в газету[3], которая что-то чахнет. В Петербурге нет возможности издавать хорошую газету. Нет времени, целый день, целую жизнь проводишь, как на станции: все торопишься, все смотришь далее. Я еще не нашел ни одного человека, который бы расположился: все это будто пока, в ожидании чего-то. Хорошо здесь выдавать газету, как Булгарин. Переливать из пустого в порожнее и только когда с сердцов вылить урыльник кому-нибудь на голову. Что слышно о Баратынском? Пушкину надобно написать к нему и заставить его непременно работать прозою для газеты. Нужно нам поддержать ее плечами нашими.

[1] Пушкин писал Вяземскому из Москвы 14 и 16 марта.

[2] Екатерина Николаевна Ушакова, за которой Пушкин ухаживал еще в 1827 г.

[3] «Литературная Газета», издававшаяся Дельвигом при ближайшем участии Пушкина и Вяземского.

2

7-го апреля [1830 г.]

...Собаньска[1] умна, но слишком величава. Спроси у Пушкина, всегда ли она такова, или только со мною и для первого приема. На днях

* Как образец ее писем приводим следующий отрывок из письма от 14 марта 1827 г., переведя его с французского языка на русский.

«Я определенно кокетничаю с архиереем, моя мать служит нам посредницей. Я посылаю ему к пасхе великолепную подушку. Оригинально! Одновременно, в течение одного и того же месяца, заниматься изготовлением почти одинаковых подарков архиерею и Пушкину. Попроси его прислать мне его портрет, гравюру, или литографию, такую, как в альманахе, вместе с четверостишием, сочиненным им самим о самом себе. Пришли мне также пожалуйста прекрасные песни «Онегина» и верни мне моих «Цыган», последних с замечаниями. Помни пожалуйста, что я не читаю русских журналов за исключением некоторых стихотворений. От всего остального я засыпаю. Но пожалуйста присылай французские».

РИСУНОК ПУШКИНА, ИЗОБРАЖАЮЩИЙ В. Ф. ВЯЗЕМСКУЮ

Третьяковская галлерея, Москва

получил письмо от Пушкина через Гончарова[2], держа письмо в руке нераспечатанное и разговаривая с ним, я думал: ну, как тут объявление мне о женитьбе его? Не выдержал и распечатал письмо. Но все же должен быть он влюблен в нее не на шутку, если ездит на вечера к Малиновскому[3]. Зачем же и Гончарова не фрейлина? Обидно и грустно.

...Скажи Пушкину, чтобы он выпросил у Баратынского подаяние в Газету. Сумароковщину употребляю . Пускай прочитает он мое письмо у Василия Львовича[5]. Моя связь с Елизой[6] совершенно литературная, а с Фикельмон[7] платоническая. Вот например письмо Елизы. Передай мой каламбур Пушкину.

[1] Каролина Собаньская—сестра Эвелины Ганской, жены Бальзака, урожденная Ржевусская. Пушкин познакомился с ней в Одессе, встречался с нею позднее в Петербурге.

[2] Письмо это напечатано в «Переписке» Пушкина, изд. Академии Наук, т. II, стр. 125—126, и отнесено ко второй половине марта. Гончаров, Иван Николаевич—брат Наталии Николаевны Пушкиной.

[3] Малиновский, Алексей Федорович—директор Московского архива министерства иностранных дел. С А. Ф. Малиновским и его женою были близко знакомы и Пушкин, и Гончаровы. Анна Петровна Малиновская принимала участие в сватовстве поэта к Н. Н. Гончаровой и была посаженной матерью у невесты на свадьбе.

[4] В вышеуказанном письме Пушкин прислал Вяземскому копию доноса Сумарокова на Ломоносова и предлагал написать статью для «Литературной Газеты». Статья эта была написана Вяземским (см. его сочинения, т. II, стр. 166—174).

[5] В. Л. Пушкин.

[6] Элиза—Елизавета Михайловна Хитрово. Острота Вяземского—ответ на просьбу Пушкина в том же письме: «Если ты можешь влюбить в себя Элизу, то сделай эту божескую милость».

[7] Фикельмон, Дарья Львовна, рожд. гр. Тизенгаузен—дочь Е. М. Хитрово от первого брака, жена австрийского посланника, приятельница Пушкина.

3

[Между 7 апреля и 16 мая 1830 г.]

...Я начал читать les mémoires de Byron publiés par Moor. Они составлены из записок его журнальных, переписок, сведений, собранных от разных лиц. Много примечательного, объясняющего своенравие, дикость и разлития (les debordements) Байрона. Постараюсь доставить их тебе. В ином нахожу сходство с Пушкиным: разумеется, и с собою. Хромая нога большую роль играла в жизни его. Это оскорбление природы раздражало его.

...Что же Пушкин? Все еще женится?

4

16-го [мая 1830 г.]

[Вяземский приводит большую выписку из книги Мура о Байроне, касающуюся хромоты Байрона, и замечает мимоходом]:

Я уверен, что Пушкин очень сердится за свой малый рост.

5

30 мая [1830 г.]

...Скажи мне, какие книги нужны тебе по запискам Мейендорфа[1] и Пушкина, и я постараюсь прислать. Что же мне с тобой делать? Ты как нарочно имеешь все, что я ни захочу тебе послать.

...Скажи Пушкину, что он плут. Тебе говорит о своей досаде, жалуется на Эрминию[2], а сам к ней пишет. Я на днях видел у нее письмо от него, не прочел, но прочел на лице ее, что она довольна. Неужели в самом деле пишет она ему про *Лубовь?* Или просто тут экзальтация платоническая или Филаретовская?

...Разве Пушкин, женившись, приедет сюда и думает здесь жить? Не желаю. Ему здесь нельзя будет за всеми тянуться, а я уверен, что в любви его к жене будет много тщеславия. Женившись, ехать бы ему в чужие края, разумеется с женою, и я уверен, что в таком случае разрешили бы ему границу.

[1] Мейендорф, барон, Александр Казимирович, служивший в это время в Департаменте мануфактур и внутренней торговли.

[2] Эрминия, как видно из дальнейшего,—Е. М. Хитрово.

6

[Лето 1830 г.][1]

...Следовательно у вас есть записки Байрона или о Байроне. Ты пишешь, что и у Пушкина сердце сжимается от сходства. На другой странице будет несколько слов Пушкину.

[1] Письмо это в архиве нашлось в копии. Строк обращения к Пушкину в ней нет. Данные содержания письма позволяют отнести его к началу лета 1830 г. Слова «у Пушкина» и далее в копии подчеркнуты. В библиотеке Пушкина (см. описание ее Б. Л. Модзалевского) сохранилось пять томов мемуаров Байрона, опубликованных Т. Муром и изданных на французском языке в 1830 г. Все тома раз-

резаны; первый том имеет ряд отметок карандашом. Отмечена характеристика Байрона ребенком, его любовь к чтению Библии, его исключительное положение среди товарищей по школе, страдание от физического недостатка и мечты о возможности в будущем пистолетом смыть все оскорбления.

7

6-го мая [1833 г.]

...Маленькая Пушкина[1] (Александра) больна прорезывающимися зубами и ей крошке приставлены пиявицы.

[1] Дочь Пушкина, Мария Александровна, родившаяся 19 мая 1832 г.

8

25-е [июля 1833 г.]

...Вчера был вечер у Фикельмона вместо пятницы, потому что в субботу большой парад на заключение в Красном Селе. Вчера было довольно вяло. Один Пушкин palpitoit de l'interêt du moment, краснея взглядывал на Крюднершу[1] и несколько увиваясь вокруг нее.

[1] Бар. Амалия Максимилиановна Крюденер, жена первого секретаря русского посольства в Мюнхене. О ней Вяземский пишет жене в предшествующем письме, сообщая о вечере у Бобринской: «Была тут приезжая Саксонка, очень мила, молода, бела, стыдлива. Я обещал Люцероде сказать тебе, что он ее не казал людям из ревности, а выпустил в свет только перед самым отъездом ее». 29 июля он пишет о ней же: «Вчера Крюднерша была очень мила, бела, плечиста. Весь вечер пела с Вьельгорским немецкие штучки. Голос ее очень хорош».

9

29-го [июля] 1833 г.

...Бог вас помиловал Соболевским[1]. Он уже здесь, Пушкин видел его. Пушкин собирается в дальний путь, сперва к себе в деревню, там в Казань и в Оренбург[2].

[1] О С. А. Соболевском Вяземский сообщал жене в письме от 1 августа: «Соболевский здесь и гораздо порядочнее прежнего и даже bel homme если хотите. Золотые усы и золотой подбородок, а между тем на голове волосы темные, похудел, вытянулся и распрямился, так что хоть куда в любой фашьонабельный раут и все будут смотреть и наводить лорнеты на него».

[2] Программа путешествия Пушкина здесь несколько иная, чем осуществившаяся: в начале деревня, а потом поездка в Оренбург. Между прочим важно отметить, что Вяземский совсем не упоминает о намерении Пушкина поехать в Дерпт, что было бы очень интересно знать княгине, находившейся в Ревеле. Очевидно план Пушкина поехать в Дерпт был им скоро оставлен, хотя как раз 29 июля он получил разрешение на эту поездку.

10

1 сентября [1833 г.]

Сумасшествие погоды продолжается, но тут я не жалею о прежнем присутствии ума. Дни светлые, ночи теплые, бездыханные, по выражению Пушкина, или сладкодышущие. Сказывал ли я вам, что Пушкин удрал месяца на три в Нижний, Казань, Оренбург? Там поживет у себя в деревне, вероятно чем-нибудь разрешится и приедет сюда. Я видел жену его на даче 26-го. Она все еще довольно худо оправляется, у нее были нарывы на груди. Дом наняли они недалеко от нас возле Кочубея.

11

24-го мая [1834 г.]

...В письмах своих будь осторожна и скажи Пушкиной быть также осторожною, ибо чтение писем идет очень исправное[1].

[1] Пушкина, Наталия Николаевна. См. письма к ней Пушкина от 18 и 29 мая и 3 и 8 июня 1834 г., где находятся жалобы на то, что полиция распечатывает письма, и предостережение жене по этому поводу.

12

25-го июня [1834 г.]

...В день последнего письма моего, то-есть в пятницу[1], когда я вызывался пред Пашенькою[2] выпить за здравие ее бутылку не только воды, но даже шампанского, я почти сдержал слово, только что выпил не один, а с Жуковским, Кривцовым[3], Александром Пушкиным, которые случайно сошлись ко мне обедать.

[1] Письма этого в архиве нет.
[2] Прасковья Петровна, дочь Вяземского.
[3] Вероятно Николай Иванович Кривцов.

13

30 июня [1833 г.]

...Вчера[1] на имянинном пире у нас были семейство Кривцовых[2], добрая ботвинья, очень хорошие стручки, Ростислав Давыдов[3], Василий Оболенский[4], две бутылки шампанского, из коих выпито полторы, Александр Пушкин, очень хорошее сливочное блюдо, холодное с бисквитами, 15 порций мороженого от Рязанова, а нас сидело 12 человек, из коих Кривцова не ела, стало быть другому, между прочим мне, было и bis, а Пушкину и bis bis.

[1] 29 июня—день имянин кн. П. А. Вяземского и сына его Павла Петровича, который оставался с отцом в Петербурге.
[2] Николай Иванович с женой Екатериной Федоровной, рожд. Вадковской, и дочерью Софией Николаевной, впоследствии замужем за П. Н. Батюшковым.
[3] Ростислав Дмитриевич Давыдов (1819—1869), впоследствии генерал-майор,—сын хорошего знакомого Вяземского Дмитрия Александровича Давыдова.
[4] Кого из кн. Оболенских называет Вяземский—сказать затруднительно; в это время в Петербурге было три Василия Оболенских (см. родословную Оболенских, составленную Власьевым «Потомство Рюрика», т. I, ч. 2, СПБ., 1906, №№ 145, 154, 168).

14

23 мая [1835 г.]

...Провожу почти целый день дома, немногих, или почти еще никого не видел и никого видеть не хочу, разумеется из посторонних. Жуковский приезжал на несколько часов из Царского Села. Он очень живо и глубоко разделяет нашу скорбь. У Пушкина жена родила сына[1]. Не могу собраться с духом и пойти к нему на нашу квартиру. Мне надобно было бы сходить туда сперва одному, и выплакаться на свободе во всех углах, а особенно же в двух или трех. А теперь при родильнице нельзя[2].

[1] Григорий Александрович Пушкин, родившийся 14 мая 1835 г.
[2] Пушкины занимали квартиру, в которой ранее жили Вяземские. Тяжелое душевное состояние Вяземского объясняется недавней кончиной его дочери в Риме.

15

20 июня [1836 г.]

На днях был у меня вечер для Жуковского прощальный, он поехал на шесть недель в Дерпт, а для Loeve Veimar[1] встречальный. Все было взято напрокат и вышло прекрасно. Une soirée des célébrités Брюлов[2], Лев Веймар, Пушкин, Крылов, Жуковский, я, Бартенев[3] и еще кое-кто. Не попал только Horace Vernet[4], который приехал сюда на следующий день.

РИСУНОК ПУШКИНА,
ИЗОБРАЖАЮЩИЙ П. А. ВЯЗЕМСКОГО

Институт Русской Литературы, Ленинград

[1] Леве Веймар—французский писатель. Знакомство с ним побудило Пушкина к переводу на французский язык одиннадцати русских песен. Рукопись помечена июнем 1836 г.

[2] Брюллов, Карл Павлович—известный художник.

[3] Бартенев, Юрий Никитич.

[4] Horace Vernet—французский батальный художник и портретист.

16

30 [июня 1836 г.] Утро 10 часов.

Сейчас разбудил меня Вьельгорский[1]. Жена его все еще в Дрездене. Он сегодня крестит у Пушкина[2]. Разве для крестин покажется жена его, а то все еще сидит у себя на верху. Вижу и кланяюсь с нею только через окошко.

[1] Вьельгорский, гр., Михаил Юрьевич.

[2] У Пушкина 23 мая 1836 г. родилась дочь Наталья.

17

10 июля [1836 г.]

Пушкин также вместе со многими потерял надежду на ключ[1]. Сделано постановление, чтобы не иначе как статским советникам можно впредь быть каммер-герами.

[1] Ключ—знак придворного звания камергера.

18

14 сентября [1836 г.]

Хорошие новинки книжные прислала ты мне. Да не заезжала ли ты в Саратов и не оттуда ли их вывезла? Hortense давным давно мне известна и я вам писал о ней, когда вы были еще заграницею с Машею. Les histoires contemporains tout dans le genre de journal Contemporain du Pouchkine[1]. Скажи это ему и скажи, что Языков[2] стар, худощав, хил и зыбок на ногах как 70-летний старик, хотя и говорит и говорят, что теперь ему несравненно лучше.

[1] «Современные истории совершенно вроде журнала Современник Пушкина».
[2] Языков, Николай Михайлович—поэт.

19

3 сентября [1838 г.]

Был у моего и Пушкинского любимого поэта Alfred Musset[1]. Кажется, добрый малый и неизбалован. Поклонение мое было ему приятно и лестно, особенно когда стал я ему читать наизусть стихи его.

[1] Письмо писано Вяземским из Парижа.

К переписке П. А. Вяземского с женою примыкают его письма к другим членам семьи, сохранившиеся в том же архиве.

Одной из его любимых корреспонденток была старшая дочь, Мария Петровна Вяземская (1813—1849), вышедшая в 1836 г. замуж за П. А. Валуева. Письма к М. П. Валуевой 1839 года из Парижа в Петербург как бы продолжают серию писем Вяземского из-за границы к жене, находившейся в это время с ним вместе в Париже. Постоянная память о Пушкине нашла свое отражение в письмах М. П. Валуевой в следующих двух отрывках:

18 февраля / 2 марта 1839 г.

Как мне досадно и больно, что раздача сочинений Пушкина делается неисправно, и что многие на нее жалуются. И чрез мои руки прошло более 2.000 руб. подписок, и не знаю удовлетворены ли оне? Жена моя говорила мне, что Скалон на меня жалуется. Не можете-ли узнать получил-ли он свои екземпляры и справьтесь, хоть чрез Пантовского, у помощника нашего екзекутора Севастьянова, посланы и розданы ли екземпляры по списку моих подписчиков, который был в руках его? Странное дело, порядочные люди у нас ничего порядочного сделать не могут. Кажется можно было ожидать усердия и заботливости от опеки Пушкинской, а на поверку все пошло иначе. На беду и русская судьба всему хорошему перечит: надобно же так было устроить, что Жуковский и Вьельгорский в отсутствии, и что все дело лежит на руках этого французского outchitel, или старого метр-д'отель Строгонова[1], и русского маркиза Г.[2] или маркиза Отрешкова, который попал в эту опеку как Отрепьев[3] на русский престол. Если неисправно роздаются екземпляры, то по крайней мере исправно-ли собра̀ны деньги? и что собрано? Уведомьте меня. Да спросите у Одоевского, сколько выручено за Современник[4], который мы издавали и кому отданы деньги? Что Современник, жив-ли курилка, или помре. По возвращении моем я взял-бы его за себя, с тем, чтобы утвердить этот журнал собственностью на всегда семейства и потомства Пушкина и выдавать ему часть выручки. Только не говорите об этом, а то подхватят мою мысль, но спросите у Плетнева, что сталось с Современ-

ником, и если он не намерен издавать его впредь, то до меня не располагал-бы им.

[1] Опека над детьми и имуществом Пушкина состояла из гр. Г. Л. Строгонова, родственника Н. Н. Пушкиной, гр. М. Ю. Вьельгорского, В. А. Жуковского и Н. И. Тарасенко-Отрешкова. Последний,—личность довольно темная,—попал в члены опеки случайно, благодаря покровительству Строгонова, но играл в ней очень значительную роль, поскольку другие члены вели себя пассивно или вовсе отсутствовали. Комментарием к строкам Вяземского об издании посмертного собрания сочинений Пушкина, которое печаталось под непосредственным наблюдением Отрешкова, являются следующие слова из воспоминаний дочери Пушкина гр. Н. А. Меренберг: «Опекуном над нами назначили гр. Григория Строгонова, старика самолюбивого, который, однако, ни во что не входил, а предоставлял всем распоряжаться Отрешкову, который действовал весьма недобросовестно. Издание сочинений отца вышло небрежное, значительную часть библиотеки отца он расхитил и продал...» («Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина», Пгр. 1924, стр. 129).

[2] Маркиз Г.—герой авантюрного романа, принадлежавшего аббату Прево. Был переведен в 1770 г. И. П. Елагиным под заглавием: «Приключения маркиза Г., или жизнь благородного человека, оставившего свет».

[3] Отрепьев—Григорий Отрепьев, Димитрий-самозванец.

[4] «Современник»—журнал, издававшийся Пушкиным,—после его смерти продолжался при ближайшем участии его друзей, между прочим кн. В. Ф. Одоевского и Вяземского. Позднее журнал издавался П. А. Плетневым до 1847 года, когда перешел в руки Некрасова и Панаева. План Вяземского не был осуществлен.

14/2 марта 1839 г.

Я перевел для Шатобриана[1] статью Пушкина[2] о переводе его Потерянного рая. И вот что он мне ответил:

Prince, j'ai lu avec le plus vif interêt l'article que vous avez bien voulu traduire: je ne m'y suis poin cherché, j'y ai cherché l'illustre poete que la France pleure avec la Russie. Le suffrage de M. Pouchkin me donneroit trop d'orgueil, si j'attachois encore quelque prix à mon peu de valeur; mais dans la dissolution de la société, il mesembleroit pueril d'attacher une importance quelconque à des opinions politiques où litteraires: là où il n'y a plus rien, ce seroit moquerie d'essayer de mettre sa personne.

Recevez Prince, je Vous prie, mes remerciments sincères et l'assurance de ma haute consideration.

Chateaubriand.

Можете принять это за facsimile Шатобриана, так рука его сбивается на мою, только буквы крупнее.

Перевод письма Шатобриана:

Князь! С живейшим интересом прочел я статью, которую Вы изволили перевести: я отнюдь не искал в ней себя; я искал в ней знаменитого поэта, которого Франция оплакивает вместе с Россией. Одобрение Г. Пушкина преисполнило бы меня гордостью, если бы я еще придавал какую-нибудь цену своему скромному значению; но при настоящем разложении общества мне казалось бы ребячеством придавать какую либо важность мнениям политическим или литературным: там, где не существует более ничего, смешно было бы пытаться выставлять свою личность.

Примите, князь, я прошу Вас, выражения моей искренней благодарности и уверение в моем глубоком уважении.

Шатобриан.

[1] Вяземский познакомился с Шатобрианом в 1838 г. в салоне г-жи Рекамье, куда ввел его, конечно, завсегдатай этого салона А. И. Тургенев. 3 сентября 1838 г. Вяземский писал жене: «Я был у M-me Récamier. Милая, приветливая старушка. Встретил там Шатобриана и Балланша. Шатобриан не носит на себе вывески своей, что-то похожее на какого-то Хилкова, которого я где-то встречал, кажется отец Щербатовой. Разговор был довольно посредственный, points de mots à citer. Вероятно мое чужое лицо мешало».

В письме от 19 ноября 1838 г. Вяземский описывал жене литературное утро у m-me Récamier, на котором Шатобриан читал отрывки из неопубликованных мемуаров: «Шатобриан со мной кокетничает, и извиняется и совестится, что чтение, т. е. читанный отрывок не довольно интересны».

[2] Статья Пушкина, переведенная Вяземским для Шатобриана, была напечатана после смерти автора в V томе «Современника», за 1837 г. под заглавием: «О Мильтоне и Шатобриановом переводе Потерянного Рая». Статья явилась откликом на перевод Шатобриана, появившийся в печати в Париже в середине 1836 г. (см. подробнее Сочинения Пушкина. Издание Академии Наук, том IX, примечания стр. 846-863). Собственно переводу Шатобриана Пушкиным посвящены только три последние страницы. В них даны критика языка перевода, высокая оценка «Опыта об английской литературе», а также характеристика политической позиции Шатобриана.

Шатобриан, принадлежавший к партии милитаристов, не мог примириться с июльской монархией и отказался от звания пэра. Стесненный в деньгах, он принужден был зарабатывать их литературным трудом и даже запродал свои мемуары, которые должны были быть напечатаны после его смерти. Пушкин в статье своей, заострив вопрос, сопоставил политическую оппозицию Шатобриана с его литературным профессионализмом и с явным одобрением характеризовал занятую им позицию. Так как письмо Шатобриана является, в сущности, откликом только на эти строки статьи Пушкина, приводим их здесь:

«Перевод Потерянного Рая есть торговая спекуляция. Первый из современных французских писателей, учитель всего пишущего поколения, бывший некогда первым Министром, несколько раз посланником, Шатобриан на старости лет перевел *Мильтона для куска хлеба. Каково бы ни было исполнение труда им предпринятого*, но самый сей труд и цель оного, делают честь знаменитому старцу. Тот, кто поторговавшись немного с самим собою, мог спокойно пользоваться щедротами нового правительства, властию, почестями и богатством, предпочел им честную бедность. Уклонившись от палаты Пэров, где долго раздавался красноречивый его голос, Шатобриан приходит в книжную лавку с продажной рукописью, но с неподкупной совестью. После этого что скажет критика? Станет-ли она строгостью оценки смущать благородного труженника, и подобно скупому покупщику хулить его товар? Но Шатобриан не имеет нужды в снисхождении...»

V. СООБЩЕНИЯ

„ТЕНЬ ФОНВИЗИНА“

НЕИЗДАННАЯ САТИРИЧЕСКАЯ ПОЭМА ПУШКИНА

Сообщение Л. Модзалевского

Известно, что от ранней литературной деятельности Пушкина дошло до нас далеко не все, что им было написано. Лицейский архив сохранился в незначительной своей части, и ряд произведений поэта, писанных им во время пребывания в Лицее, теперь известен лишь по одним заглавиям (роман в прозе «Цыган», комедия «Так водится в свете», написанная совместно с М. Л. Яковлевым, незаконченная комедия «Философ» и пр.). Эти пьесы конечно не охватывают круга недошедших произведений. До недавнего времени их было больше. Вспомним такие находки, как поэма «Монах», баллада «Тень Баркова», «Гараль и Гальвина», «Исповедь стихотворца», лицейский сборник «Жертва Мому или лицейская антология 1814 г.», в котором ряд стихотворений принадлежит самому поэту—наиболее ранние его опыты 1813—1814 гг. и др. Большинство из вышеперечисленных произведений имели свою историю прежде чем они попали наконец в основной кодекс лицейского творчества Пушкина. О наиболее крупных из них, как «Тень Баркова» и «Монах», сохранились авторитетные свидетельства современников, при чем поэма «Монах» обнаружена недавно в автографе поэта.

«Тень Фонвизина» не имеет своей истории; никаких свидетельств современников и упоминаний о ней в литературе о Пушкине нет; тем не менее мы располагаем рядом достаточно убедительных фактов, чтобы ввести эту поэму, спустя 119 лет после того, как она была написана, в основной текст собрания его сочинений.

Рукопись «Тени Фонвизина» представляет собою лицейскую копию, сделанную не установленным пока лицеистом, товарищем поэта по Лицею. Она писана на темносиней бумаге с водяным знаком «МОФЕБ 1814», т. е. на такой же, которую употреблял Пушкин в 1815—1816 гг. На заглавном листе написано: «Тень Фон-Визина. Сочинение Александра Пушкина»; текст состоит из 320 стихов; в конце поэмы была подпись «Пушкин»; имя Пушкина выскоблено как в начале, так и в конце рукописи, при чем на заглавном листе осталось: «Сочинение А. П.», а в конце, на месте выскобленной фамилии, проставлено несколько точек, но теми же чернилами, какими писан и весь текст поэмы; это свидетельствует о том, что имя Пушкина было уничтожено тогда же, когда переписывалась поэма. В копии есть пропущенный стих (297), который, как теперь удалось установить, вписан между стихами рукою самого Пушкина; кроме того есть несколько буквенных поправок, повидимому также сделанных поэтом.

Рукопись обнаружена в Пушкинском Доме Академии Наук СССР среди бумаг князя Олега Романова. Среди них оказались еще рукописи следующих произведений Пушкина лицейского происхождения: «Пирующие студенты»—копия, переписанная тем же почерком, что и новая поэма; в конце текста подпись-автограф поэта; две копии разных лицейских почерков «Воспоминания в Царском Селе»; одна из них с большим количеством поправок и вставок Пушкина, другая без них. Точных сведений о том, как получил Олег Романов эту группу лицейских бумаг, в нашем распоряжении нет, но, принимая во внимание то обстоятельство, что он был сам лицеистом, притом лицом «высокопоставленным» и занимался Пушкиным, можно предполагать, что ему подарил их кто-либо из потомков одного из лицеистов-первокурсников, у которого до этого их никто не видал. Бумаги эти оставались у Олега Романова без всякого употребления, вплоть до его смерти в 1914 г., а затем хранились в Мраморном дворце, откуда и были в 1920-х гг. переданы в Пушкинский Дом.

Обратимся к содержанию поэмы. Находящемуся в «загробном мире» Д. И. Фонвизину (ум. в 1792 г.) надоело находиться в среде теней, его потянуло к людям и захотелось увидеть земной мир. Получив разрешение от Плутона, он садится в лодку и в сопровождении Харона выплывает на свет и оказывается в России. Убедившись в том, что мир остался без изменения, он обращается к своему слуге Петрушке (из послания Фонвизина «К слугам моим»), говоря, что тот прав, называя свет «бездельной игрушкой», и соглашается с ним, что в этой «игрушке» нет никаких перемен. Затем Фонвизин пожелал увидеть своих товарищей по перу и в сопровождении слетевшего к нему посланника Феба, молодого Эрмия, посещает «Российских певцов», чтобы одних наградить—лозами, а других увить венками. Первым он посещает издателя журнала «Демокрит» (1815 г.) Кропова, т. е. третьестепенного писателя-галлофоба А. Ф. Кропотова (р. 1780, ум. ок. 1820 г.), который в это время занимался сочинением «прозы и стихов».

Решив, что смеяться над «бедняжкой» «страшный грех», Фонвизин оставляет Кропотова и летит к «певцам российским, записным». Прежде всего он посещает Д. И. Хвостова, к р я х т е в ш е г о в это время над одой в своем кабинете ночью, при свете свечи:

. . . . добрый наш поэт
Унизывал на случай оду,
Как Божий мученик кряхтел
Чертил, вычеркивал, пыхтел,
Чтоб стать посмешищем народу.
Сидит; перо в его зубах
На ленте Анненской табак
Повсюду розлиты чернилы,
Сопит себе Хвостов унылый.

Фигура Хвостова, не раз осмеянная Пушкиным в ранних стихах, выведена, между прочим, и в послании «Моему аристарху» (1815 г.), где Хвостов изображен также сидящим ночью при свете лампады и к р я х т я щ и м над «вздором» или над «не слишком громозвучной одой». Тот же портрет Хвостова дан и в «Тени Баркова» (1814 г.):

Так иногда поэт Хвостов
Обиженный природой

СТРАНИЦА ЛИЦЕЙСКОГО ДНЕВНИКА ПУШКИНА

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

Во тьме полуночных часов
Корпит над хладной одой.

Далее Фонвизин является кн. П. И. Шаликову (у Пушкина—князь Шальной), который в это время:

Сидел над книжкой записной
Рисуя в ней цветки, кусточки
И движа вздохами листочки
Мочил их нежною слезой...

Образ Шаликова также очень метко очерчен Пушкиным в этих строках и перекликается с другими характеристиками Шаликова, данными Пушкиным этому сентиментально-слащавому поэту, сподвижнику А. С. Шишкова по «Беседе любителей русского слова» или, как называл ее Пушкин, «Беседе губителей русского слова».

Фонвизин посещает затем «пресловутого безглагольника» кн. С. А. Ширинского-Шихматова, главу «беседистов» А. С. Шишкова, Б. М. Федорова

и других бездарных стихотворцев, которым воздает должную дань. Когда ему надоедает тратить время у «худых писцов», он вспоминает о Г. Р. Державине, к которому и направляется:

Почтенный старец их узнал.
Фонвизин тотчас рассказал
Свои в том мире похожденья
«Так ты здесь в виде привиденья?»
Сказал Державин «очень рад»
«Прими мои благословенья...
«Брысь кошка!.. сядь усопший брат—
«Какая тихая погода...
«Но кстати вот на славу ода,—
«Послушай Братец...

В безмолвном молчании Фонвизин и Эрмий выслушивают оду Державина. Здесь Пушкин блестяще пародирует Державина, заимствуя подлинные выражения из его «Лиро-эпического гимна 1812 г. на прогнание французов из отечества». Выбрав из него 10 наиболее темных и маловразумительных строк, Пушкин делает из гимна набор слов, что дает ему затем право устами Фонвизина заявить, что в них не увидел бы смысла и сам «покойный господин Бобров».

«Что сделалось с тобой Державин?»—восклицает Фонвизин:

И ты судьбой Невтону равен
Ты Бог—ты червь, ты свет—ты ночь...»

Такой озорной перифразой знаменитого державинского стиха из оды «Бог» («Я царь—я раб, я червь—я бог») Пушкин оканчивает посещение Фонвизиным Державина. Происшедший затем разговор Фонвизина с Эрмием заключается следующим возгласом Эрмия-Пушкина:

«Денис! он вечно будет славен
Но ах, почто так долго жить.»

Замечательно, что эти стихи о Державине написаны вскоре после торжественного экзамена в Лицее, бывшего в январе 1815 г., на котором юный Пушкин с волнением читал перед маститым поэтом свои «Воспоминания в Царском Селе». Это событие Пушкин отметил, как известно, в следующих строках:

Старик Державин нас заметил
И в гроб сходя благословил...

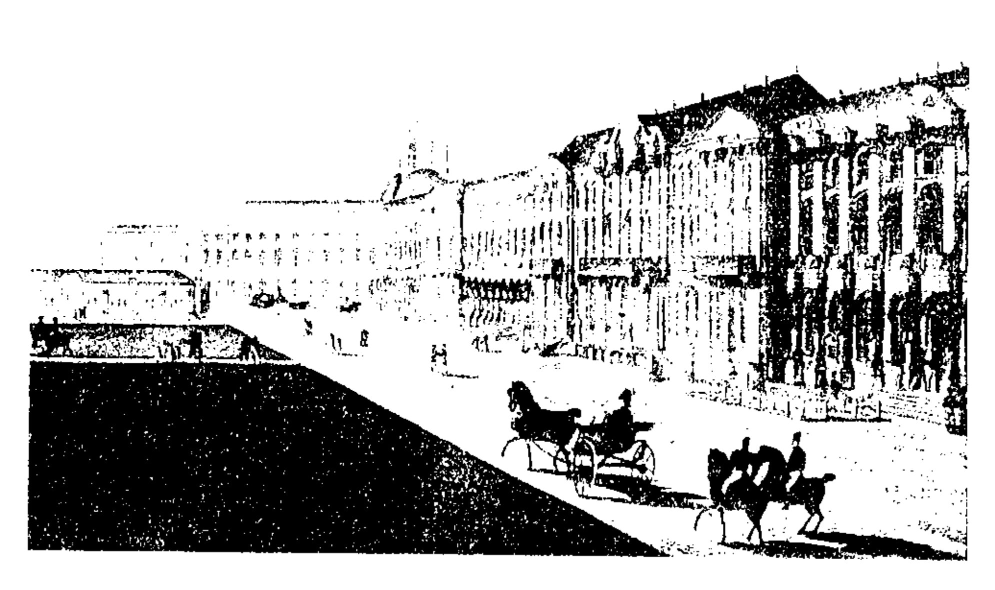
Но этот возвышенный старец-поэт оставлен Пушкиным потомству. Для себя же Пушкин оставляет иной портрет Державина: исписавшегося, поглупевшего и выжившего из ума «бритого татарина». Подобное восприятие «Певца Фелицы» известно нам из письма Пушкина к Дельвигу, писанного в 1825 г.: «По твоем отъезде перечел я Державина всего и вот мое окончательное мнение. Этот чудак не знал ни русской грамоты ни духа русского языка (вот почему он ниже Ломоносова)—он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии—ни даже о правилах стихосложения... Ей богу, его гений думал по-т а т а р с к и—а русской грамоты не знал за недосугом». Стихи о Державине в новой поэме тесно соприкасаются с вышеприведенным письмом. То, что Пушкин утверждал в 1825 г., было для него уже ясно, как видим, еще в 1815 г.; заявить вслух об этом тогда он еще не мог по вполне

понятной причине: его юный голос шел бы вразрез с общепринятой оценкой Державина как поэта.

Заканчивается поэма посещением К. Н. Батюшкова (скрытого в поэме под буквой Б.), который в это время спокойно спал, полуобнаженный в объятиях «прелестной Лилы».

Приводим эти строки полностью:

«Пора домой, вещал Эрмию
Ужасный рифмачам мертвец.
Оставим наскоро Россию



ОБЩИЙ ВИД ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО ЛИЦЕЯ
Литография 1820-х гг.
Институт Русской Литературы, Ленинград

Бродить устал я наконец».
Но вдруг близ мельницы стучащей
Средь рощи сумрачной, густой
На берегу реки шумящей
Шалаш является простой;
К калитке узкая дорога,
В окно склонился древний клен
И фальконетов Купидон
Грозит с усмешкой у порога
«Конечно здесь живет певец»,
Сказал обрадуясь мертвец
«Взойдем» взошли и что ж узрели?
В приятной неге, на постели
Певец Пенатов молодой
С венчанной розами главой,

Едва прикрытый одеялом
С прелестной Лилою дремал
И подрумяненный фиалом
В забвеньи сладостном шептал—
Фонвизин смотрит изумленный
«Знакомый вид; но кто же он?
Уж не Парни ли несравненный
Иль Клейст? иль сам Анакреон?»
«Он стоит их», сказал Меркурий
«Эрата, Грации, Амуры
Венчали миртами его
И Феб цевницею златою
Почтил любимца своего; *
Но лени связанный уздою
Он только пьет, смеется, спит.
И с Лилой нежится младою,
Забыв совсем что он Пиит
Так я же разбужу повесу,
Сказал Фонвизин рассердясь,
И вмиг отдернул занавесу—
Певец, услыша вещий глас,
С досадой, весь в пуху проснулся,
Лениво руки протянул,
Потом в сторонку обернулся
И снова крепким сном заснул.

После бесплодных попыток Фонвизина вывести Батюшкова из состояния дремоты, Пушкин-Фонвизин приходит к выводу: если Хвостов будет продолжать трудиться, а Батюшков спокойно спать, то это грозит привести к тому, что русский гений не возродится вновь и поэзия заглохнет.

Как известно, Пушкин в эти годы находился под сильным влиянием музы Батюшкова; именно на него он возлагал тогда свои надежды, как на крупного поэта. Образ изнеженного ленивца-поэта «увенчанного миртами» и получившего от Феба «золотую цевницу» дан Пушкиным очень схоже и почти в тех же выражениях в послании к Батюшкову: «Философ резвый и пиит...» (1814 г.); здесь Пушкин спрашивает его:

Почто на арфе златострунной
Умолкнул радости певец?
Ужель и ты, мечтатель юной,
Расстался с Фебом, наконец?

и просит:

Пой юноша! Певец тииский
В тебя влиял свой нежный дух.
С тобою твой прелестный друг,
Лилета, красных дней отрада.
Певцу любви—любовь награда.
Настрой же лиру...

Но предупреждает его, чтобы он, зовя Лилету (Лилу) в свой шалаш и находясь в «упоеньи страстной любви», не забыл бы «нежных муз»

* Эта строка вписана рукою Пушкина.

(А. С. Пушкин 1819)

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ПУШКИНА „Я ЛЮБЛЮ ВЕЧЕРНИЙ ПИР“

Институт Русской Литературы, Ленинград

Любви нет боле счастья в мире:
Люби—и пой ее на лире.

Поэт просит Батюшкова также «разить порок», «шутя показывать смешное»:

Но Тредьяковского оставь
В столь часто рушимом покое.
Увы! Довольно без него
Найдем бессмысленных поэтов,
Довольно в мире есть предметов,
Пера достойных твоего!

И заканчивает обращением:

Играй: тебя младой Назон,
Эрот и грации венчали,
А лиру строил Аполлон.

Как видим тема послания и тема стихов в поэме одинакова. Разница лишь в том, что в послании Пушкин еще надеется, что умолкнувший поэт снова возьмется за лиру; в поэме же надежда выражена слабее; в поэме Батюшков представлен, как уже совсем забывший и забросивший лиру; появление Фонвизина на мгновение пробуждает поэта, но для того лишь, чтобы вновь погрузить его в состояние глубокого сна. В этих строках уже сквозит полная безнадежность вызвать Батюшкова к жизни.

Фальконетов купидон—известное скульптурное изображение Купидона, работы знаменитого Фальконета, автора памятника Петру I в Петербурге. На эту скульптуру известны два стихотворения: Н. М. Карамзина «Надписи на статую Купидона» (9 надписей, из которых четвертая называется «На палец, которым Купидон грозит») и Г. Р. Державина «Фальконетов Купидон». Пушкин несомненно видел сам эту статую и знал оба стихотворения.

Упоминаемые Пушкиным Парни и Анакреон были, как известно, хорошо ему знакомы. Что же касается Клейста, то его произведения были хорошо известны лицеистам. Его идиллия «Цефиз» была в Лицее переведена бар. А. А. Дельвигом и А. Д. Илличевским. Пушкин, конечно, был в курсе всех литературных интересов своих товарищей.

Интересное выражение «весь в пуху проснулся» может быть поставлено в связь с подобным же образом, встречающимся у Батюшкова в «Видении на берегах Леты» («В пуху, с нечесанной главой») и у В. Л. Пушкина в «Опасном соседе» («Растрепанный, в пуху, в картузе с козырьком»). Оба эти произведения Пушкин знал прекрасно.

По насыщенности литературными характеристиками современников-писателей новую поэму Пушкина нужно поставить бесспорно на первое место в ряду его ранних лицейских произведений. Такого собранного в одном произведении богатства литературных высказываний Пушкина-лицеиста—и притом отчетливо выраженных—мы не имели до сих пор. В новой поэме Пушкин выступает как вполне созревший последователь Карамзина в его литературной борьбе с членами «Беседы любителей русского слова» во главе с Шишковым, Ширинским-Шихматовым, Хвостовым и другими поэтами-шишковистами. Для своей сатирической поэмы-памфлета Пушкин избрал темой «Т е н ь Фонвизина», как уже перед этим он использовал, но в другом плане «Т е н ь Баркова». В этих ранних опытах Пушкин восходил конечно к иностранным (французским) образцам, столь хорошо

ему известным по французской легкой поэзии XVIII в. В деле усвоения пародийно-памфлетного направления русской поэзии Пушкину очень способствовал Батюшков, пародировавший в «Певце в беседе славянороссов» «Певца во стане русских воинов» Жуковского. Для «Тени Фонвизина» Пушкину служило образцом, вероятно, «Видение на берегах Леты» того же Батюшкова, которое было распространено в кругу лицеистов. И там и тут сюжетом является смотр писателей и следующее затем наказание их по заслугам. Разница лишь в том, что у Батюшкова тени писателей сбрасываются в Лету—реку забвения, которых перед этим экзаменует в аду царь Минос, у Пушкина же, наоборот,—умерший писатель делает смотр живым, выйдя из «загробного мира». Там действие происходит в аду, а здесь развертывается на земле. Эта нарочитая переделка очень характерна для Пушкина-лицеиста. Следует отметить, что в «Видении на берегах Леты» выведен и Фонвизин, беседующий с Сумароковым. Именно Фонвизина, первого русского поэта-сатирика, и взял Пушкин в качестве «тени», имеющей право на суд и расправу над живущими поэтами. Сюда можно еще прибавить, что в первом «Послании к цензору» Фонвизин назван Пушкиным «сатириком превосходным». Ср. в «Городке», где в числе прочих любимцев поэта также назван Фонвизин.

Говоря о самих характеристиках поэтов в «Тени Фонвизина», следует отметить, что они целиком совпадают с известными высказываниями поэта в его других стихах лицейского периода. Д. И. Хвостов, Ширинский-Шихматов, Шишков и ряд других уже получили должную оценку у Пушкина до создания поэмы. О Державине мы говорили выше. Оценка Батюшкова, как мы уже видели, точно совпадает с разбросанными в разных местах пушкинской лирики характеристиками. В них заметно сильное влияние самого Батюшкова («Мои пенаты», «К сну» и т. д.). Не имея возможности перечислить все совпадения пушкинского языка, укажем лишь на главнейшие: «С крылатой шапкой на бекрене»—«Черна шапка набекрене» (в «Козаке»); «Иных лозами наградить»—«Твой гений наградит спасительной лозою» («К другу стихотворцу»); «С почетным членом адских сил»—«От члена русских сил» (в «Городке»); «Покойный господин Бобров» точно повторяется в стихотворении «Христос воскрес, питомец Феба»; «Средь рощи сумрачной, густой»—«В роще сумрачной, тенистой» (в стих. «Блаженство») и др. Что же касается до стиха в поэме, то он местами достигает большой силы, в особенности в описании «света», в характеристике Державина и Батюшкова и стоит на одинаковом уровне других лицейских стихотворений этого периода. Наконец следующее место в «Графе Нулине»:

Наташа, здравствуй
«Ах, мой боже!
Граф, вот мой муж. Душа моя,
Граф Нулин».
«Рад сердечно я.
Какая скверная погода...

перекликается с приведенными выше строками о Державине.

Указанных примеров нам кажется достаточно для того, чтобы вместе с другими приведенными нами данными признать, что автором «Тени Фонвизина» является Пушкин.

Насыщенность поэмы большим количеством элементов сатиры, памфлетного характера, направленной на старших писателей-современников, в осо-

бенности на Державина, и объясняет, повидимому, тот факт, что Пушкин не посмел и думать о напечатании поэмы; даже распространение ее в списках за своею подписью показалось ему рискованным; вот почему он поспешил снять свое имя; сделать же поэму совсем анонимной он не пожелал, и оставил лишь свои инициалы: «А. П.» В дальнейшем, к 1817 г., «Тень Фонвизина» для поэта оказалась пройденным этапом. Пушкин стоял уже на пути к созданию «Руслана и Людмилы».

Датировать новую поэму нужно несомненно 1815 годом по упоминанию в ней двух журналов: «Демокрита» и «Кабинета Аспазии», издававшихся в течение этого года. Датировка поэмы первой половины 1816 года, конечно, также возможна, так как выведенный в ней Г. Р. Державин умер в июле 1816 г. Вряд ли Пушкин, однако, стал бы высмеивать издателей упомянутых журналов и вообще упоминать последние в 1816 г., когда журналы эти уже прекратили свое существование.

Полный текст поэмы в ближайшее же время будет напечатан нами во временнике Пушкинской Комиссии.

МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ ПЕРВОГО СОБРАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ ПУШКИНА (1826 г.)

Сообщение Б. Томашевского

I. «ТЕТРАДЬ ВСЕВОЛОЖСКОГО»

Идея издания полного собрания своих стихотворений возникала у Пушкина еще в лицее. Самым ранним документом, свидетельствующим о подобном намерении, является список стихотворений на автографе «Пирующих студентов», над которым читаем «1 часть». Список этот относится вероятно к лету 1816 г. Он предусматривает деление собрания на отделы: Послания, Лирические. Повидимому в составе второго отдела предусматривались подотделы «Элегии», «Эпиграммы» и «Надписи». Очевидно Пушкин не приступил к осуществлению этого собрания. Но уже в 1817 г. он снова вернулся к этой мысли. Об этом свидетельствует дошедшая до нас тетрадь с надписью «Стихотворения Александра Пушкина 1817», куда без особого впрочем порядка Пушкин с помощью своих лицейских товарищей вписал около сорока стихотворений. Этот сборник в печать не поступил. Снова идея издания возникала и в 1818 и в 1819 гг., но приступил Пушкин к ее осуществлению только в 1820 г. Здесь уже дело обстояло гораздо реальнее.

Повидимому в апреле этого года, после окончания «Руслана и Людмилы», Пушкин приготовил собрание своих стихотворений. Пересмотрев все свои лицейские и послелицейские запасы, он расположил свои стихи в определенном порядке и изготовил рукопись для печати. Рукопись эта, писанная рукою переписчика, уже готова была к изданию, но повидимому возникли материальные затруднения. Очевидно издателя для стихотворений найти было не так легко, как для поэмы, и это заставило Пушкина прибегнуть к обычному в таких случаях способу: к изданию по подписке. Уже изготовлены были подписные билеты, уже началось их распространение и штук тридцать или сорок было раскуплено. Но в самом начале подписка оборвалась. Причиною того было то, что 6 мая Пушкину пришлось спешно выехать на юг, надолго распростившись с Петербургом. Но не только ссылка приостановила издание. В конце апреля (о времени можно говорить предположительно) Пушкин «полу-продал, полу-проиграл» свою рукопись Никите Всеволожскому. Обычно этот карточный проигрыш рассматривается как факт крайнего молодого легкомыслия поэта. Можно думать, что это не совсем так. В конце апреля Пушкин уже знал, что ему вряд ли удастся остаться в Петербурге. Какую форму примет опала, он еще не знал, но должен был озаботиться о том, как пристроить издание своей рукописи. Дело шло не столько о наблюдении, сколько о финансировании

издания. Естественно он мог обратиться к Всеволожскому, с которым был связан карточными долгами, и одновременно передачей рукописи ликвидировать свои долги, что в виду спешности отъезда было не безразлично, а кроме того и реализовать для себя какую-то сумму сверх этих долгов. Рукопись шла за 1000 рублей, при этом выражение «полу-продал, полу-проиграл» следует кажется понимать совершенно точно, т. е., что из этой тысячи половина шла на погашение карточного долга, а половина уплачена наличными. Во всяком случае через пять лет, возвращая рукопись Пушкину, Всеволожский хотел получить за нее только 500 рублей. При всяких других условиях эта сумма была бы произвольной.

Ценность рукописи была несомненно в праве издания. Пушкин свидетельствует, что рукопись была передана «с известным условием» (письмо Вяземскому от 29 ноября 1824 г.). Таким условием было издание сборника или возвращение рукописи в случае неиздания: так можно заключать из дальнейшей судьбы рукописи.

Когда Пушкин выехал из Петербурга, он был уверен в том, что стихи его печатаются. В июле 1821 г. он совершенно уверен, что стихи должны быть уже напечатаны. Однако в действительности дело обстояло иначе. Повидимому ссыльное состояние Пушкина не содействовало возможности издать стихи отдельной книжкой. Запрещения конечно не было, и например «Руслан и Людмила», начатая печатанием до ссылки, могла выйти беспрепятственно, но какие-то симптомы негласных советов воздерживаться от издания чувствуются. Советы эти могли не доходить до Пушкина, но быть известными Всеволожскому. В составе тетради были стихи, которые могли возбудить неудовольствие цензуры. Благоразумие заставляло выжидать более благоприятных обстоятельств. Впрочем, когда в 1822 г. Всеволожский через Я. Толстого хотел передать издание известному библиофилу и театралу А. Лобанову, вопрос шел об издании этих стихов в Париже (едва ли не в серии изданий Французского общества библиофилов, основанного в 1820 г., деятельным членом которого был Лобанов). Повидимому зарубежные условия более благоприятствовали изданию. Однако и здесь дело расстроилось.

Так рукопись пролежала без движения до 1825 г. В конце 1824 г. вопрос об издании стихотворений вполне определился. Необходимо стало раздобыть рукопись у Всеволожского и приготовить ее к изданию. Рукопись потеряла прежнее значение подготовленного к изданию свода стихотворений: в большей части стихи уже устарели, и Пушкин не предполагал выступать с ними перед читателями. Однако кое-что могло еще пригодиться. Но самое главное заключалось в выкупе права издания. Вероятно в феврале 1825 г. Пушкин, не дожидаясь рукописи, приступил к составлению сборника и начал свод, известный под названием «капнистовской тетради». Тем временем его брату удалось снестись с Всеволожским, выкупить рукопись и переслать ее в Михайловское. Когда рукопись была получена, составление нового сборника продвинулось значительно. Тем не менее рукопись пригодилась. Пушкин принялся ее переправлять и уже не переписывал далее стихотворений, заключавшихся в этой тетради. Она стала как бы необходимым прибавлением к рукописи Капниста. Целый ряд указаний в капнистовской тетради вскрывается при ознакомлении с рукописью Всеволожского. Закончив работу над капнистовской тетрадью, Пушкин повидимому несколько задержал рукопись Всеволожского и переслал ее брату только с Дельвигом, гостившим у него в Михай-

ловском. Впрочем у нас нет достаточно данных для точного утверждения по этому поводу. В дошедших до нас сведениях не всё ясно и понятно. Так или иначе, рукопись оказалась у брата и он, вместе с Плетневым и отчасти Жуковским, принялся за изготовление новой рукописи для печати. Для этого повидимому он кое-что просто вырвал из обеих тетрадей для раздачи переписчикам (это касается главным образом «Посланий»), а остальное переписал или дал переписать непосредственно из тетради. К сожалению эта новая рукопись, бывшая в руках Анненкова в 1855 г., ныне неизвестна. Быть может по какой-нибудь счастливой случайности и она обнаружится, и тогда мы кое-что узнаем о судьбе листов, вырванных из тетрадей, послуживших для ее изготовления. В результате подготовки к изданию обе тетради оказались разорванными и не полными. Так они и продолжали храниться у Льва Пушкина. Не ясна дальнейшая судьба тетрадей. Повидимому еще в период пребывания их у Льва Пушкина он их кое-кому показывал. В 1843 г. Лев Сергеевич обосновался в Одессе, где и умер в 1851 г. Именно здесь, в Одессе, повидимому, обе рукописи перешли к двум новым владельцам: рукопись Всеволожского к поэту Ф. Туманскому, а другая рукопись к Капнисту, с именем которого она и связывается. Дальнейшая история рукописи Всеволожского связана с историей Туманского. Он был консулом в Белграде, здесь и умер в 1853 г., и здесь его рукопись перешла к новому владельцу—Обрадовичу, в семье которого и оставалась до наших дней. В 1933 г. она обнаружилась у внука этого Обрадовича и была им продана в Литературный Музей в Москве.

Необходимо, впрочем, оговорить, что история рукописи после 1825 г. весьма темна и точность версии Обрадовича подлежит проверке.

Появление какой-то неведомой рукописи в Белграде у Обрадовича произвело некоторую сенсацию. Имя Пушкина привлекло внимание. Сербский писатель Максимович взял на себя труд по охране этой рукописи и по обеспечению ее судьбы.

Первые сведения о ней в форме интервью с Максимовичем даны в белградской газете «Политика» 19 сентября 1933 г. В той же газете 31 декабря появился большой фельетон Р. Д. со снимками трех страниц: перечня Жуковского, мараний Туманского и страницы, содержащей «Розу» и другие стихи.

ЛИЦЕЙСКИЙ АВТОПОРТРЕТ ПУШКИНА
Литературный Музей, Москва

Определить, что собою представляет эта рукопись, удалось не сразу. В доказательство (впрочем не очень сильное) приведу заметку из эмигрантских «Последних Новостей», оповестивших 5 ноября 1933 г. о первом обследовании этой рукописи:

«У сербского литератора, переводчика русских авторов Иована Максимовича, как недавно сообщалось, найдена целая связка рукописей Пушкина. Находка естественно вызвала огромный интерес. Рукописи, как выяснилось, были переданы Максимовичу их собственником, чиновником министерства иностранных дел Обрадовичем для экспертизы. Как попали эти рукописи в Белград, как очутились они в руках Обрадовича? Белградский корреспондент «Сегодня» обратился с этим вопросом к бывш. профессору петербургского, ныне профессору белградского университета, А. Л. Погодину.

А. Л. Погодин еще раз подтвердил несомненную подлинность рукописей. К сожалению теперешний владелец рукописей Максимович, дорожа доставшейся ему реликвией, буквально не выпускает их из рук и потому не могло быть и речи о тщательном, детальном исследовании. Но даже беглый обзор—на это проф. А. Л. Погодиным совместно с Л. М. Сухотиным было потрачено около часу времени—дал возможность установить, что найдены ценнейшие первоисточники творчества Пушкина.

Так например, проф. А. Л. Погодин обнаружил совершенно неизвестный, вероятно самый первый, вариант известного стихотворения к портрету Жуковского: «Его стихов пленительная сладость».

— Можно,—говорит А. Л. Погодин,—с уверенностью утверждать, что найденный список относится к одесским временам Пушкина, т. е. к 1824 г. Найденные материалы ближе всего к известной «кишиневской рукописи», хранящейся в Академии Наук. Автопортрет Пушкина наиболее соответствует автопортрету, сделанному поэтом в 1826 году в Москве.

Как же всё-таки рукописи Пушкина попали в Белград?

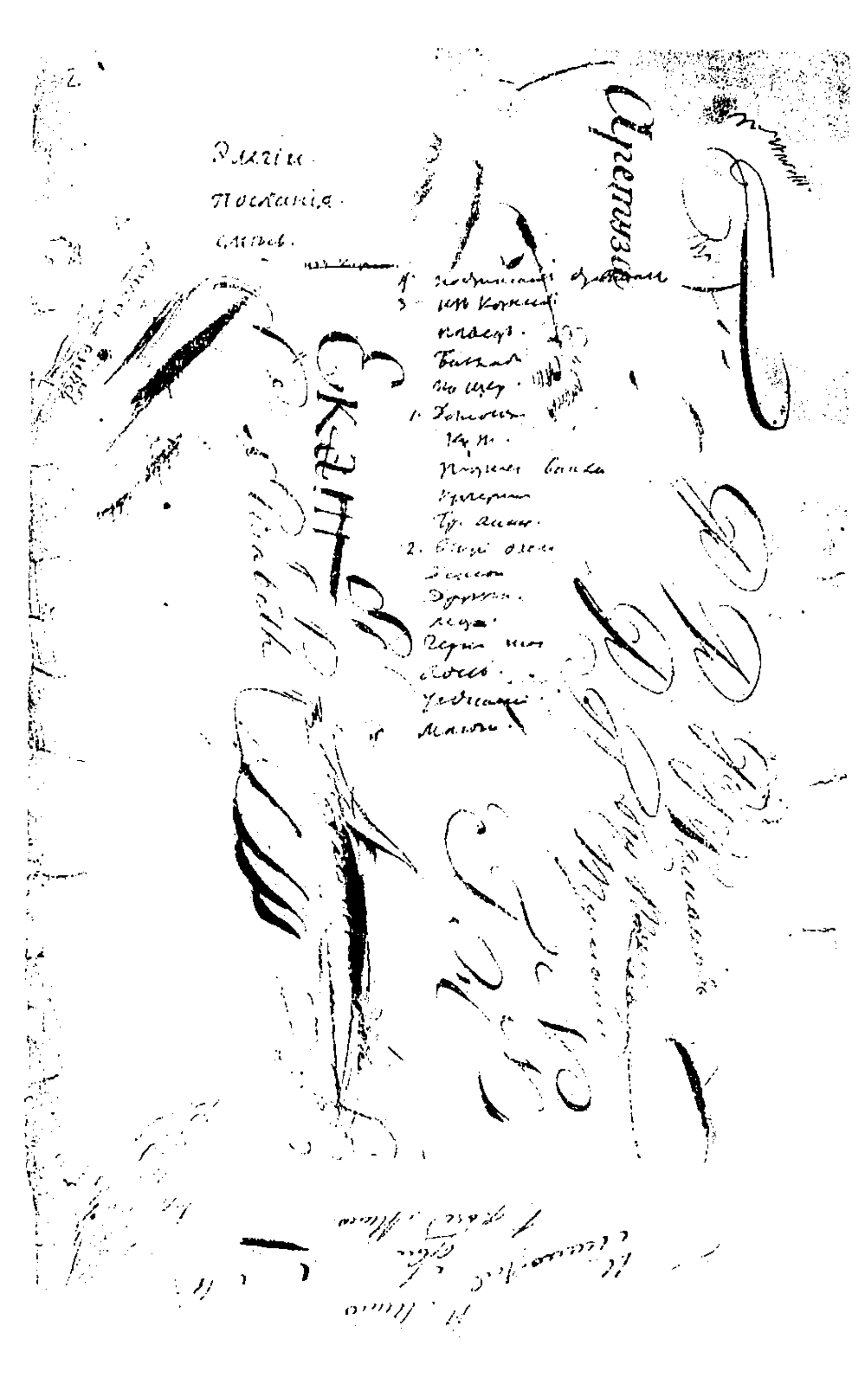
Проф. А. Л. Погодин выдвигает гипотезу, которая представляется наиболее вероятной.

Сербским консулом в Одессе во время пребывания там Пушкина был Ризнич—фамилия, хорошо известная пушкиноведам. Жене этого Ризнича, прекрасной Амалии, как известно, поэтом посвящено стихотворение: «Для берегов отчизны дальней»... Роман Пушкина с этой очаровательной сербкой ни для кого не был секретом и даже сам Ризнич, не любивший Пушкина, жаловался сербскому историку Сречковичу, что «Пушкин как кот ухаживает за Амалией»...

Как ни вероятна эта гипотеза, она всё же требует, по мнению А. Л. Погодина, еще целого ряда дополнительных исследований. В первую очередь необходимо точно проверить биографию Миодрага Обрадовича, которому рукописи достались по наследству от деда Алексея Обрадовича, часто по торговым делам ездившего в Одессу...»

Трудно придумать галиматью фантастичнее экспертизы, произведенной бывшим профессором петербургского университета.

Начнем с первого. Что значит «подлинность рукописей»? Рукопись Всеволожского вся писана писарской рукой и имеет только поправки, нанесенные рукой Пушкина. Не принял ли почтенный профессор руку писаря за руку Пушкина? Как ни странно это предположение, оно имеет значительную долю вероятия из дальнейшего: иначе как понять сопоста-



„ТЕТРАДЬ ВСЕВОЛОЖСКОГО"

Оборот обложки, содержащий записанный рукою Жуковского проект основных разделов издания стихотворений Пушкина 1826 г. и перечень стихотворений, относящихся к разделу „Смесь"

Литературный Музей, Москва

вление этой рукописи с другой «кишиневской»? Неужели Погодин изучил почерка писарей, к которым обращался Пушкин?

«Совершенно неизвестный» вариант к стихотворению «Его стихов пленительная сладость» напечатан в «Благонамеренном» 1818 г. и сообщается в примечаниях к полным собраниям сочинений Пушкина, начиная с анненковского издания 1855 г. Почему внимание Погодина привлек именно этот и только этот вариант—неизвестно и непонятно.

Именно в Одессе в 1824 г. этой рукописи у Пушкина и не могло быть, потому что она спокойно лежала в Петербурге у Всеволожского.

Никакой «известной кишиневской рукописи» в природе не существует и ни в какой Академии Наук таковая не хранится.

Автопортрет Пушкина, если это автопортрет, никак не относится к 1826 г. хотя бы потому, что на нем изображен молодой человек в лицейской форме. Кстати этот портрет не имеет отношения к остальной части рукописей, т. е. к рукописи Всеволожского. Замечу, что и автопортретов у Пушкина много, и неизвестно, который из них имеет в виду Погодин.

Кажется этого достаточно для оценки всех гипотез Погодина прошлых, настоящих и будущих.

Очевидно определение данной рукописи должно было быть произведено другими экспертами; и оно было произведено на основании фотографий нескольких страниц, присланных из Югославии сюда при сообщении об обнаружении данной рукописи. Уже эти несколько страниц показали нам, что рукопись представляет собой подготовленный к печати сборник пушкинских стихов ранних редакций, по которым произведена позднейшая правка, ведущая непосредственно к тексту издания 1826 г. Таким сборником могла быть только рукопись Всеволожского. Ознакомление со всей рукописью в целом оправдало это предположение, так как оказалось, что она содержит всё то, что можно было предполагать на основании изучения рукописи Капниста. Рукопись Капниста была изучена до получения известий о находке рукописи Всеволожского. Находка эта ни в чем не изменила результатов этого изучения, но дополнила их рядом новых сведений, обрисовывающих картину работы Пушкина над изданием 1826 г.

Рукопись содержит в себе четыре разнородные слоя записей. Первый слой, основной, представляет собою писарской текст 1820 г., дающий ранние редакции стихотворений Пушкина, написанных до 1820 г. Второй слой—поправки и пояснения Пушкина, относящиеся к его работе над изданием 1826 г., сделанные в Михайловском летом 1825 г. Третий слой—разные пометы Льва Пушкина и Жуковского, относящиеся к их работе по изготовлению для печати копии стихотворений. Особый интерес представляют пометы Жуковского, относящиеся к выработке плана издания 1826 г. Наконец четвертый слой принадлежит руке Туманского, который без зазрения совести пачкал эту рукопись всяческими надписями, не имеющими к ней никакого отношения. Свободными страницами тетради он распоряжался как грязной бумагой для незамысловатых «проб пера».

Рукопись будет полностью издана в ближайшем выпуске «Летописи Литературного Музея» и в этом издании найдут место все детали текстологического порядка, относящиеся к трем первым слоям записей. Здесь ограничимся самым необходимым.

Как уже сказано, рукопись дошла до нас не в полном виде. Она была не только разорвана, но и листы ее были неверно сложены и неверно занумерованы. Произошло то же, что случилось с тетрадью Капниста. Но

Сих жаждою видеться съ тобой
Съ тобой счастливой беззаконникъ
Любимой Граций созданный,
или Цитеры и неги, верный сынъ,
[illegible] Венеры ~~набожный~~ ветреный поклонникъ
И наслаждений властелинъ!
Отъ суеты столицы праздной,
Отъ хладныхъ прелестей Невы,
Отъ вредной сплетницы молвы
И скуки столь разнообразной,
Меня зовутъ холмы, луга,
Тенисты клены огорода
Пустынной речки брега
И деревенская свобода.
. . . .
. . . .

Не нужно — ибо я хочу быть моральнымъ человекомъ.

Платонизмъ

Я знаю, Лидинька, мой другъ,
Кому въ задумчивости сладкой
Ты посвящаешь свой досугъ
Кому ты жертвуешь, украдкой
Отъ подозрительныхъ подругъ.
Тебя страшитъ проказникъ милой,
Очарователь легковерныхъ
И хладной важностию своей
Тебя пленилъ Платоний.
Ты молишься другому Богу,
Своей покорствуя судьбе;
Восторги нежные въ тебе
Нашли пустынную дорогу

„ТЕТРАДЬ ВСЕВОЛОЖСКОГО"

Этраница, содержащая окончание стихотворения „К Энгельгардту" с собственноручными исправлениями Пушкина, повторенными Л. Пушкиным, и начало стихотворения „Платонизм" с его надписью: „Не нужно—ибо я хочу быть моральным человеком"

Литературный Музей, Москва

здесь привести оставшиеся листы в порядок было труднее. Одно содержание листов не давало достаточных указаний на первоначальный их порядок. К счастью самый вид этих листов, их состояние (они достаточно потерты и потрепаны) давали некоторые указания на прежнее соседство отдельных частей тетради. В результате сложного изучения оригинала удалось с достаточной уверенностью привести в порядок эти листы, при чем обнаружилось следующее: в нынешнем своем состоянии рукопись Всеволожского состоит из трех тетрадок, из которых первые две примыкают непосредственно одна к другой и образуют начало сборника. Третья тетрадка не имеет наружных листов и следовательно не является в теперешнем виде продолжением второй. Повидимому в первоначальном виде каждая тетрадка состояла из 12 листов, т. е. 24 страниц. Три тетрадки, составлявшие полную рукопись, состояли из 36 листов (72 страницы). В настоящее время мы располагаем 24 листками, т. е. можно думать, что около трети тетради утрачено. Эти расчеты совпадают с данными, вытекающими из изучения состава тетради.

Прежде чем перейти к анализу содержания, сообщим вкратце состав сохранившейся части тетради. Вся тетрадь имеет название «Стихотворения Александра Пушкина». Первый раздел называется «Элегии». Состав этого отдела не вполне согласуется с нашим представлением о том жанре, который мы привыкли понимать под названием «элегия». Для нас это или унылая элегия Мильвуа или любовная элегия Парни. Пушкин сюда ввел следующие произведения: Гроб Анакреона, Пробуждение, Выздоровление, К ней, Разлука, Уныние, Месяц, Друзьям, Мечтателю, Наездники, Подражание («Я видел смерть»), К Лиле, Желание («Медлительно влекутся дни мои»), Морфей и Безверие. Итого в этот отдел, сохранившийся в тетради полностью, входило 15 стихотворений. Из них только 4 вошли в состав элегий в издании 1826 г. (Пробуждение, Выздоровление, Друзьям и Мечтателю), два вошли в отдел Разных стихотворений (Гроб Анакреона и Разлука) и одно в раздел Эпиграмм и надписей (К Лиле). Остальные восемь совсем в сборник не вошли. Из них пять были внесены в приготовленную к изданию рукопись, но оттуда исключены; из этих пяти три попали в отдел Элегий (К ней, Уныние, Подражание) и два в отдел Разных стихотворений (Месяц и Наездники).

Если сравнить рукопись Всеволожского с рукописью Капниста и принять в качестве гипотезы, что рукопись Всеволожского была получена Пушкиным, когда он приступал к переписке Посланий (или даже уже начал их переписывать), то окажется следующее: до получения рукописи Пушкин полностью переписал в Капнистовскую тетрадь Пробуждение, Выздоровление, Друзьям, Мечтателю, Подражание и Морфею, т. е. шесть элегий, находившихся в рукописи Всеволожского. После получения рукописи из всего отдела элегий он выбрал только Гроб Анакреона, который и включил в отдел Смеси, не переписывая. Следовательно он совершенно сознательно забраковал следующие произведения: К ней, Разлука, Уныние, Месяц, Наездники, К Лиле, Желание и Безверие. Некоторые из этих стихотворений были отброшены не сразу.

Второй отдел начинался с листа, ныне утраченного. Поэтому мы не знаем, как он назывался. Нельзя судить о нем и по содержанию его, потому что повидимому в сборнике 1820 г. не было тех отделов, какие сделаны в сборнике 1826 г. Эпиграммы и надписи смешаны с большими лирическими произведениями и посланиями. Повидимому в сборнике было

„ТЕТРАДЬ ВСЕВОЛОЖСКОГО“

Страница, содержащая (в левой стороне, поперек страницы) неизвестное четверостишие Пушкина „От многоречия отрекшись добровольно“

Литературный Музей, Москва

только два отдела. Если вспомнить письмо Муханова Рылееву от 13 апреля 1824 г. («я надеюсь приобрести элегии и мелкие стихотворения Пушкина»), можно думать, что весь этот второй отдел назывался «Мелкие стихотворения». Термин «мелкие» стихотворения, «мелочи» в то время часто прилагался к тому, что мы называем просто «стихотворения», в отличие от поэм.

Итак в этом отделе мы не знаем первых стихотворений. Повидимому они принадлежали к части, вошедшей в издание 1826 г. под рубрикой «Эпиграммы и надписи», как об этом можно догадываться по дальнейшим. Первое, сохранившееся из этого отдела,—Старик (Из Марота), за ним следуют без перерыва: Веселый пир, В альбом Пушкину, Твой и мой, Надпись к беседке, К к. Г., посылая ей оду Свобода, Мадригал М—ой, К портрету Жуковского, Добрый человек, Экспромт (К. А. Б.), Уединенье (Из Арно), История стихотворца, Именины, Роза, Певец, Усы, Стансы (из Вольтера), К *** («Не спрашивай, зачем унылой думой»), Заздравный кубок. Следующий лист начинается с Романса («Под вечер, осенью ненастной»). Стихотворение обрывается на стихе «И к ней приближилась она». Далее средние листы тетради вырваны. От одного из них остался край, по которому можно судить, что он содержал послание Горчакову («Встречаюсь я с осьмнадцатой весною») без первых семи стихов, находившихся на предыдущем листе. Далее следует стихотворение Жуковскому, начиная со стиха «Ты держишь на коленях лиру». За этим стихотворением следуют К NN («Я ускользнул от Эскулапа»), Платонизм, Амур и Гименей, К Дельвигу («С любовью, дружеством и ленью»). На этом оканчивается вторая тетрадка и начинается третья, от которой потеряны наружные листы. Сохранившаяся часть содержит Торжество Вакха, начиная со стиха «Нелицемерною хвалой», далее: Воспоминания в Царском Селе и К Лицинию, кончая стихом «Народы юные, сыны свирепой брани». Остальное утрачено. Итак вторая часть тетради Всеволожского содержит 29 стихотворений и их фрагментов (включая сюда и обрывки с концами стихов послания Горчакову).

Все стихотворения этого отдела, за исключением посланий, о которых мы ничего не знаем, относятся к тем разделам, которые Пушкин включал в тетрадь Капниста после получения тетради Всеволожского. Поэтому мы в праве ожидать, что ни одно из них не переписано в капнистовскую тетрадь полностью; они могли быть лишь упомянуты в порядке перечисления стихотворений, подлежащих включению в сборник. И в самом деле, в капнистовской тетради названы следующие произведения, входящие во второй раздел тетради: К портрету Жуковского, Добрый человек, Экспромт К. А. Б., Уединение, История стихотворца, Именины, Роза, Певец, Торжество Вакха.

Из этого отдела в издание 1826 г. вошло 17 стихотворений, из них 10 в Эпиграммы и надписи, 4—в Послания и 3—в Разные стихотворения. Кроме того были включены в рукопись для печати, но устранены из издания еще три: два в Разные стихотворения (Воспоминания в Царском Селе и Романс) и одно в Эпиграммы и надписи (Усы).

Возникает вопрос, что заключалось в утраченных листах? На это можно ответить лишь отчасти. В капнистовской тетради среди упомянутых в том же порядке, как и названные 9, имеются еще Баллада (Русалка), К Щербинину, Домовому и Стансы Толстому. Повидимому все они входили в состав тетради. Но тетрадь Капниста не дает никаких указаний относительно Посланий, кроме того могли быть какие-нибудь указания

Романсъ 4

Подъ вечеръ, осенью ненастной
Въ дальнихъ дева шла местахъ
И тайный плодъ любви несчастной
Держала въ трепетныхъ рукахъ.
Все было тихо — лесъ и горы
Все спало въ сумраке ночномъ
Она внимательные взоры
Водила съ ужасомъ кругомъ. —

И на невинное творенье
Вздохнувъ остановила ихъ.....
„Ты спишь, дитя, мое мученье,
„Не знаешь горестной минуты —
„Откроешь очи и тоскуя
„Ко груди не прильнешь моей
„Не встретишь завтра поцелуя
„Несчастной матери твоей.

„Ее манить напрасно будешь!...
„Стыдъ вечный, вина моя. —
„Меня на веки ты забудешь;
„Тебя не позабуду я;
„Дадутъ покровъ тебе чужие
„И скажутъ: ты для насъ чужой! —
„Ты спросишь: где же мои родные?
„И не найдешь семьи родной.

„Мой Ангелъ будетъ грустной думой
„Томиться средь друзей! —
„И до конца съ душой угрюмой
„Взирать на ласки матерей;
„Повсюду странникъ одинокой,
„Пенять неправосудный жизнь...

„ТЕТРАДЬ ВСЕВОЛОЖСКОГО“

Страница, содержащая первые строфы „Романса“ с собственноручными исправлениями Пушкина, обведенными Л. Пушкиным

На сохранившейся части вырванной страницы видны обрывки „Послания к Горчакову“

Литературный Музей, Москва

и на других утраченных листах. Обращаясь к изданию и учитывая, что в тетради Всеволожского не могли отсутствовать стихотворения, написанные до 1820 г. и признанные в 1825 г. достойными издания, мы обнаруживаем еще следующие произведения, не находящиеся в дошедшей до нас части тетради: послания к Всеволожскому, к В. Л. Пушкину, Шишкову, к Кривцову, к Прелестнице, и из рукописи, подготовленной к печати,— К Н. Я. П. («Ответ на вызов...»). Таким образом мы можем назвать 11 произведений, общим объемом (считая и место, занимаемое заголовками) до 400 стихов. Но из 44 известных нам стихотворений только 32 вошли в подготовленную к печати рукопись. Повидимому и по отношению к недостающим листам надо соблюсти ту же пропорцию. Это дает нам около 600 стихов с присоединением недостающих стихов, вошедших в оставшуюся часть произведений. На странице помещается около 30 стихов. Таким образом следует ожидать, что из тетради вырвано около 10 листков (20 страниц). Присоединяя к ним листок с вырванным посланием Горчакову, получаем цифру 11, очень близкую к предположенной ранее на основании внешнего анализа состава листов рукописи. Повидимому более ничего в тетради и не было. Следовательно нам неизвестно лишь небольшое количество стихотворений, составляющих около 200 строк. Среди них можно предполагать Деревню, упоминаемую в капнистовской тетради. То, что в рукописи Всеволожского находится стихотворение Голицыной (посылая ей оду Свобода), свидетельствует в пользу того, что и Деревня могла здесь находиться, с исключением может быть нескольких стихов.

Кроме того, судя по составу тетради Капниста и тетради № 2364, можно предполагать, что в тетради Всеволожского были еще стихотворения: «К Каверину», «К молодой вдове» и «К товарищам перед выпуском». Таким образом количество неизвестных стихотворений рукописи сведется до весьма малого числа.

Итак можно утверждать, что несмотря на отсутствие некоторых листков, содержание тетради Всеволожского нам в общем и целом достаточно известно.

Первый слой текста дает нам, как правило, ранние редакции стихотворений. Однако многие лицейские стихи находятся уже в достаточно подработанном виде. Так например, стихотворение «К Лицинию» вошло в издание 1826 г. почти без всяких изменений сравнительно с рукописью 1820 г. И в этом отношении рукопись Всеволожского дает твердые основания для хронологии пушкинской работы над ранними стихотворениями. Оказывается, что поправки, которые обычно относят к 1825 г., были сделаны уже до проектировавшегося издания 1820 г.

Но не только хронологию дает этот первый слой. Он дает также и ранние редакции стихотворений, известных нам только в поздних редакциях. Так например, новым является ранний, хотя и неполный текст Торжества Вакха. Имеются и отдельные куски, до сих пор неизвестные. Так по отношению к стихотворению «Романс» мы знали из издания Анненкова, что в нем была исключенная Пушкиным строфа. В примечании к этому стихотворению Анненков писал (называя «Романс» ошибочно идиллией): «она находилась в тетради, с которой печаталась книга: Стихотворения А. Пушкина (1826 г.). Там идиллия зачеркнута собственной его рукой... Альманах («Памятник Отечественных Муз на 1827 год») выпустил целый куплет, пятый, действительно очень слабый по созданию». Наша рукопись дает этот пятый куплет. Мало того: она дает еще один куплет, предше-

„Услышитъ онъ упрекъ жестокой....
„Прости, прости тогда меня....

„Быть может, сирота унылой,
„Узнаешь, обоймешь отца.
„Увы! где онъ, предатель милой?
„Мой незабвенный до конца —
„Утешь тогда страдальца муки
„Скажи: ея на свете нетъ —
„Марiя не снесла разлуки
„И бросила пустынной светъ. —

„Но что сказала я?.. быть может
„Виновную ты встретишь мать —
„Твой скорбный взоръ меня встревожитъ!
„Возможно ль сына не узнать?
„Ахъ сердце рока неумолимой
„Моею тронулся мольбой....
„Но может быть пойдешь ты мимо —
„На векъ разсталась я съ тобой.

„Ты спишь — позволь себя, несчастной,
„Къ груди прижать въ последней разъ
„Законъ неправедной, ужасной
„Къ страданью присуждаетъ насъ —
„Пока лета не отогнали
„Безпечной радости твоей —
„Спи, милой! горькiя печали
„Не тронутъ детства тихихъ дней!"

Но вдругъ за рощей осветила
Вблизи ей хижину Луна....
Съ волненьемъ сына схватила
И къ ней приблизилась она.

„ТЕТРАДЬ ВСЕВОЛОЖСКОГО"

Страница, содержащая дальнейшие строфы „Романса", в том числе одну собственноручно вычеркнутую Пушкиным

Литературный Музей, Москва

ствующий этому пятому, вычеркнутый уже в рукописи Всеволожского, и еще более слабый.

ПРОПУЩЕННЫЕ СТРОФЫ ИЗ СТИХ. РОМАНС

Быть может, сирота унылый,
Узнаешь, обоймешь отца.
Увы! где он, предатель милый,
Мой незабвенный до конца?—
Утешь тогда страдальца муки,
Скажи: ее на свете нет—
Лаура не снесла разлуки
И бросила пустынный свет.

Но что сказала я?.. быть может
Виновную ты встретишь мать—
Твой скорбный взор меня встревожит!
Возможно ль сына не узнать?
Ах, если б рок неумолимый
Моею тронулся мольбой...
Но может быть пройдешь ты мимо—
На век рассталась я с тобой.

Наконец среди стихотворений, содержащихся в рукописи, имеется один мадригал, хотя и напечатанный при жизни Пушкина, но без подписи, и потому до настоящего времени принадлежность его Пушкину не была установлена.

МАДРИГАЛ М—ОЙ

О вы, которые любовью не горели,
Взгляните на нее: узнаете любовь.
О вы, которые уж сердцем охладели,
Взгляните на нее: полюбите вы вновь.

Напечатано без подписи в «Опыте Русской Анфологии» 1828 г.

Отмечу еще любопытную деталь, касающуюся стихотворения «Воспоминания в Царском Селе». Стихотворение это дано с датой в заголовке и вообще содержит небольшое количество изменений, сравнительно с текстом, напечатанным в 1815 г. Однако систематически убраны все упоминания Александра I. Так стих «За веру, за царя» заменен другим: «За Русь, за святость алтаря», слово «Герой» заменено с небольшой переработкой стиха словом «Росс», а строфа, посвященная прославлению Александра, и вовсе выпущена. Текст «Воспоминания в Царском Селе» был широко известен, так как эти стихи вошли в изданную Жуковским шестую часть популярного собрания образцовых стихотворений: таким образом изменения, внесенные Пушкиным в этот текст, хотя и имели чисто отрицательный характер, приобретали вызывающий смысл.

Обратимся ко второму слою записей тетради. Они принадлежат руке Пушкина и сделаны в Михайловском в 1825 г. Они состоят из распорядительных надписей, обращенных к брату, из поправок старых текстов и из разметки отделов, в которые следует включить то или иное стихотворение.

Распорядительные надписи имеют такой же характер, что и в тетради Капниста. Но некоторые из них вскрывают точнее историю тетради.

Не [illegible] [illegible]!...

Вотъ онъ! вотъ ~~[illegible]~~ вотъ! часъ отрадной!
Державный тирсъ въ его рукахъ
Вѣнецъ [illegible] виноградной
Въ чернокудрявыхъ волосахъ....
Течетъ — его младые тигры
Съ покорной яростью влекутъ —
Кругомъ летятъ Эроты, игры —
И гимны [illegible] поютъ.
За нимъ [illegible]
Сатировъ [illegible] рой
Опьяненныхъ [illegible]
[illegible]
[illegible]
Кто съ тростниковою цѣвницей
Кто съ вѣрной кружкою своей; —
Тотъ оступившись упадаетъ
И бархатный коверъ полей
Виномъ багровымъ обливаетъ
При дикомъ хохотѣ друзей. —
Но [illegible]
[illegible] буйный ходъ!
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Младыя Нимфы и Сильваны
Составя шумный хороводъ
Несутъ недвижнаго Силена....
[illegible]
[illegible]
И [illegible] — [illegible]
Несутъ за спящимъ стариком
И [illegible] тирсъ [illegible]
И [illegible] кубокъ золотой.

„ТЕТРАДЬ ВСЕВОЛОЖСКОГО"

Страница, содержащая стихотворение „Торжество Вакха" с собственноручными исправлениями Пушкина

Литературный Музей, Москва

Остановимся на некоторых из этих приписок. Перед стихотворением «Пробуждение» написано: «Цензор врет: эти стихи были уже напечатаны». Надпись эта свидетельствует, что рукопись была уже показана цензору. Впрочем никаких следов цензурного просмотра на рукописи Всеволожского нет, а потому возможно, что цензор видел стихотворение «Пробуждение» в другой рукописи. Такой могла быть рукопись Капниста или копия с нее. Тогда надо допустить, что некоторые пометы на рукописи Всеволожского сделаны после отсылки рукописи Капниста в Петербург. Вопрос этот не ясен и уверенного ответа на него дать невозможно.

Около стихотв. Старик надпись: «Напечатай?». Около Платонизма— «Не нужно, ибо я хочу быть моральным человеком».

Распорядительные надписи немногочисленны, но они показывают, что самая рукопись направлялась обратно в Петербург, а не послужила для изготовления копий в Михайловском.

Затем работа выразилась в правке текста, зачеркивании ненужных или уже переписанных стихотворений и в разметке отделов. Правка текста дает в большинстве случаев окончательный текст стихотворений, вошедший в издание 1826 г. В редких случаях текст издания расходится с текстом рукописи. Эти расхождения объясняются тем, что Пушкин имел возможность проверить текст рукописи, подготовленной к печати. По свидетельству Анненкова рукопись эту Пушкин видел после просмотра ее цензором, следовательно после 8 октября 1825 г.

Зачеркнуты стихотворения, как уже переписанные в тетради Капниста так и подлежащие исключению. Вот список зачеркнутого: Пробуждение, Выздоровление, Друзьям, Мечтателю, Подражание, Желание, Безверие, Старик, Веселый пир, В альбом Пущину, Твой и мой, Надпись к беседке, К к. Г., Мадригал М—ой, Стансы из Вольтера, Платонизм, Амур и Гименей. Не всё из зачеркнутого не вошло в издание 1826 г. Так вошли Старик, Амур и Гименей. С другой стороны, некоторые из оставленных стихотворений были затем исключены.

Что касается разметки стихотворений по жанрам, то далеко не все получили помету. Пушкин употребляет три пометы: Элегии, Смесь (т. е. Разные стихотворения) и Мелочи (т. е. Эпиграммы и надписи). Разметка в общем совпадает с изданием, за редкими исключениями. Так «Не спрашивай» помечено ко включению в Элегии, а попало в Эпиграммы и надписи, что между прочим действительно производит впечатление какого-то недоразумения. Надо отметить, что помета Пушкина в данном случае сделана с исключительной небрежностью и отличается совершенной неразборчивостью. Самого же Пушкина после изготовления рукописи для печати вопросы распределения стихотворений по отделам интересовали очень мало. Плетнев в своем письме от 26 сентября обращал внимание Пушкина на некоторые непоследовательности в распределении материала, но Пушкин оставил всё попрежнему.

Среди новых приписок Пушкина находится и одно четверостишие сентенциозно-мадригального характера, здесь же зачеркнутое и в издание не вошедшее.

От многоречия отрекшись добровольно,
В собраньи полном слов не вижу пользы я.
Для счастия души, поверьте мне, друзья,
Иль слишком мало всех иль одного довольно.

Что касается дат при некоторых стихотворениях, то большинство из них (если не все) поставлены уже в Петербурге—Львом Пушкиным или Плетневым.

Третий слой записей представляют собой пометы и надписи Льва Пушкина и Жуковского. Что касается первого, то его рукою только переписаны в некоторых местах неразборчивые поправки Пушкина, повидимому для писаря, который снимал копию. Руку Жуковского мы находим на обороте обложки. Здесь прежде всего им выписана сакраментальная формула «Элегии, Послания, Смесь»—формула батюшковского сборника, повидимому определявшая для Жуковского и композицию пушкинского собрания стихотворений. Далее в колонку выписаны стихотворения, относящиеся к отделу Смеси. В общий список внесены и выделенные в издании в особые отделы Подражания древним, Подражания Корану и Мелочи (записаны только названия этих рубрик, без перечисления входящих в них произведений). Среди намеченных ко включению имеется и стих. К Щербинину, не вошедшее в сборник. Кроме него перечислено 14 стихотворений, вошедших в этот отдел (из двадцати четырех, вошедших в издание). Этот перечень Жуковского представляет собой почти точную копию перечня Смеси капнистовской тетради.

Что касается четвертого слоя записей—помет позднейших владельцев, то, оставляя в стороне мазню Туманского, обратим внимание на цифровые пометы, аналогичные с карандашными пометами в тетради Капниста. Пометы эти представляют собой указание на том и страницу посмертного собрания сочинений Пушкина для стихотворений, напечатанных в этом издании. Пометы эти сделаны в 50-х годах. Они доказывают, что в эти годы тетрадь была уже разорвана. Об этом можно судить по помете к «Торжеству Вакха», начало которого находится на утраченном листе. Помета сделана против первых оставшихся строк. Чьей-то другой рукой с вопросом надписано и название стихотворения.

В настоящем описании мы останавливались главным образом на тех моментах, которые могут в некоторой степени охарактеризовать работу Пушкина над изданием 1826 г. Однако значение тетради Всеволожского не только в этом. Первый слой, т. е. первоначальная писарская копия, может быть поставлен в соотношение с известными нам тетрадями, содержащими ранние стихотворения Пушкина. В частности поучительным явится сопоставление этой тетради с тетрадью № 2364, которая содержит позднейшие поправки, вообще совпадающие с текстами, вошедшими в тетрадь Всеволожского. Однако, не все изменения раннего текста, вошедшие в тетрадь Всеволожского, отражены в поправках тетради № 2364. Повидимому между этими двумя тетрадями был еще промежуточный текст. Мы не ставим себе задачи проделывать сейчас такое сличение текстов и ограничимся указанием, что анализ тетради Всеволожского прольет свет на истинное значение помет Пушкина на текстах тетради № 2364 и тем самым осветит истинную историю текста лицейских стихотворений Пушкина. Хотя проблема лицейской лирики Пушкина отнюдь не является центральной в вопросах истории пушкинского творчества, но вопрос настолько был запутан и приобрел настолько сложный характер, что пора его распутать и тем довести его до нормальных размеров, выведя его из числа «больных» вопросов пушкиноведения. Тетрадь Всеволожского в значительной степени расширяет наши сведения о работе Пушкина над лицейскими стихами и тем дает новый и точный материал для выяснения вопроса.

Итак, подводя итоги обзору материала, служившего для издания 1826 г., мы констатируем наличие следующих рукописей, не считая рукописных материалов, не имевших характера подготовки к данному изданию и служивших только источником текстов отдельных произведений:

1) Рукопись Всеволожского в двух ее состояниях (до обработки 1825 г. и после такой обработки).

2) Тетрадь Капниста, описание которой далее следует.

3) Копия, изготовленная для издания 1826 г.

Из этих трех документов только первый известен нам полностью и только его мы можем углубленно изучать. Рукопись Капниста известна только по описанию и местонахождение ее неизвестно.

Еще менее известна рукопись, послужившая для издания 1826 г. Для полноты обзора материала приведем все данные, какими мы располагаем по данной тетради. Из оглавления ее, присланного Плетневым Пушкину 26 сентября 1825 г., видно, что до представления ее в цензуру она содержала сверх того, что вошло в издание 1826 г., следующие стихотворения: в отделе Элегий после элегии «Ты вянешь и молчишь» еще три: «Я видел смерть», К ней и Уныние. Уже в оглавлении Плетнева эти стихи зачеркнуты Пушкиным и против первых двух написано «Не нужно». В Разных стихотворениях на первом месте было не вошедшее в издание: Воспоминания в Царском Селе, а после стих. Амур и Гименей следовали: Романс, Наездники и Месяц. Зато в издании добавлено не входившее в рукопись стих. В альбом («Если жизнь тебя обманет»). Среди Эпиграмм и надписей не было Ex ungue leonem и входили после стих. Приятелю: Усы и «Жив, жив, курилка». В Подражаниях древним Муза занимала место Юноши (из Сафо), а последнего совсем не было. Наконец в Посланиях было стих. К Н. Я. П. («На лире скромной...»). Итого сравнительно с изданием 1826 г. было 10 стихотворений, в него не вошедших, и не было трех стихотворений 1825 г., введенных позднее. Из списка, присланного Плетневым, Пушкин устранил три элегии и в двух случаях исправил дату (Друзьям 1816 вместо 1817 и Песнь о Вещем Олеге 1822 вместо 1823).

Из десяти названных стихотворений 8 вошло во второй том анненковского собрания и два в седьмой том (Жив, жив курилка и На лире скромной). К стихам, напечатанным в седьмом томе, сделаны примечания, из которых явствует, что Анненков узнал их из чужих публикаций и следовательно в тетради 1826 г., которую он видел, их уже не было. Из остальных восьми в примечании к стих. Усы не упоминается эта тетрадь, но стих. находится в общем списке исключенного из тетради (т. 2, стр. 32). В примечаниях ко всем остальным он ссылается на данную тетрадь. В некоторых из этих примечаний, в общем однообразно сообщающих, что стихи зачеркнуты рукою Пушкина, даются кое-какие детали. В примечании к стих. К ней говорится: «Уже одобренное цензором, оно было зачеркнуто и уничтожено в ней самим автором». В примечании к Романсу даны некоторые варианты, совпадающие с текстом тетради Всеволожского. К стих. Наездники приведены полностью варианты тетради, совпадающие с текстом тетради Всеволожского, кроме одного места, где можно заподозрить неточность Анненкова. В стих. Месяц Пушкин исправил стих «Красу любовницы моей», поставив вместо «любовницы»—«возлюбленной».

Повидимому два стихотворения, не названные Анненковым, были изъяты из тетради цензурою.

II. «КАПНИСТОВСКАЯ ТЕТРАДЬ»

Одним из наиболее крупных и важных автографов Пушкина, недоступных в настоящее время исследованию, является так называемая «Капнистовская тетрадь».

Тетрадь эта побывала в руках исследователей. Видели ее П. А. Ефремов, Л. Н. Майков. Последний, кто имел к ней доступ, был П. Е. Рейнбот. Владелец ее, ныне умерший Капнист, до войны жил больше за границей, в своем имении где-то в Архипелаге. После революции его наследники больше в Россию не возвращались, и следы их потеряны. Между тем тетрадь эта далеко не вполне изучена и утрата ее затрудняет решение многих вопросов по истории пушкинских текстов.

Остановимся несколько на происхождении этой тетради.

В 1825 году, сидя в Михайловском, Пушкин задумал издание своих стихотворений. Первоначально он предполагал поручить всё дело своему брату Льву. Он поручал ему собрать тексты своих стихотворений, в частности выкупить у Всеволожского тетрадь, когда-то проигранную ему поэтом, а сам в это время занялся перепиской стихов. В письме 14 марта (?) 1825 г. он сообщает о ходе переписывания: «Элегии мои переписаны—потом послания, потом смесь, потом благословясь и в цензуру». Вскоре он получил и рукопись Всеволожского, быть может в какой-то мере воспользовался ею, а 15 марта уже писал Плетневу и брату: «Третьего дня получил я мою рукопись. Сегодня отсылаю все мои новые и старые стихи. Я выстирал черное белье наскоро, а новое сшил на живую нитку».

Эта тетрадь, в которой были переписаны Пушкиным стихи, и есть «Капнистовская тетрадь».

Она была послана Пушкиным брату 15 марта 1825 г. и представляла собой что-то среднее между письмом и списком стихотворений. Тексты в ней перебивались замечаниями о том, как печатать стихи, и другими поручениями по поводу издания.

На основании этой тетради Плетнев изготовил для издания рукописный текст будущего собрания стихотворений Пушкина, который и был послан Пушкину на просмотр. Состав этой последней тетради известен по ее оглавлению, сохранившемуся в письме Плетнева, и по нескольким замечаниям Анненкова, видевшего ее. Где она теперь—неизвестно.

Что касается тетради Капниста, то она была описана Л. Н. Майковым [1], однако не полно и не точно. Неполнота явствует из заключительных строк описания: «Все стихотворения, помещенные в описанной тетради, вошли в издание 1826 года в той редакции, в какой находятся в этой тетради, за исключением впрочем нескольких стихов, подвергшихся еще раз поправке. Мы не сочли нужным указывать эти отличия, так как все подобные варианты найдут себе место в примечаниях к академическому изданию сочинений Пушкина». Но Майкову не суждено было закончить издание академического Пушкина. При его жизни вышел только первый том. Однако варианты тетради Капниста не утрачены. Отчасти они приведены самим Л. Н. Майковым в «Материалах для академического издания сочинений А. С. Пушкина». Кроме того, как сообщал в своем описании Майков, «рукописью, принадлежав-

шею графу П. И. Капнисту, пользовался П. А. Ефремов». Ефремов нанес варианты тетради на одном экземпляре сочинений Пушкина 1855 г. Хотя Ефремов ни в какой мере не является специалистом в изучении рукописного фонда Пушкина, но рукопись была беловая, чтение ее не представляло никаких затруднений, так что у нас нет оснований подозревать исправность вариантов, сохранившихся в записи Ефремова. Свои варианты Ефремов поместил в примечаниях к I тому Сочинений А. С. Пушкина издания 1882 г. К сожалению разметка вариантов была сделана Ефремовым так небрежно и неясно, что он сам затруднялся расшифровать точный смысл своих помет и допустил в издании 1882 г. ряд ошибок.

Кроме того мы располагаем фотографиями шести страниц, сделанными в свое время для П. Е. Рейнбота. Эти фотографии подтверждают заметки Ефремова (за исключением пунктуации, на которую Ефремов вообще никакого внимания не обращал).

Пользуясь этими данными, мы сможем приблизительно установить состав тетради.

«Принадлежащий графу П. И. Капнисту рукописный сборник стихотворений Пушкина составляет тетрадь в 4-ку, без переплета, в 19 листов. Бумага тетради английская рубчатая, с водяным знаком G i l l i n g & C. 1 8 2 1 и с водяным же клеймом этой фабрики. Сперва тетрадь состояла из большего количества листов, но некоторые из них были вырезаны, а остальные сшиты вновь, притом не в надлежащем порядке; вследствие утраты листов одно из включенных в тетрадь стихотворений оказалось без окончания, а другое—без начала. Вся тетрадь писана Пушкиным собственноручно» (Майков).

Эти данные Л. Н. Майкова можно дополнить. Бумага с водяным знаком Gilling имеется в автографах Пушкина [2]. На ней написано стихотворение «Приятелям» 15 января 1825 г. Это—бумага верже, при чем продольные полосы вержировки отстоят одна от другой на английский дюйм; поперечные полоски отчетливы и на дюйм их приходится около 25. Формат этой бумаги относится к типу écolier; развернутый лист имеет 400 мм в ширину и около 320 в высоту. Пушкин разорвал бумагу на полулисты. Сложив их и перегнув пополам, он получил тетрадку. На фотографиях внешний вид этой тетрадки хорошо виден.

Несмотря на совершенно ясное указание Майкова, вопрос об утрате листов Капнистовской тетради вызвал сомнения; М. К. Клеман, в статье «Текст лицейских стихов Пушкина» говорит: «Трудно оспаривать точность описания, не видав самой рукописи, однако мне кажется, что у Майкова вкралась ошибка именно там, где он говорит, что некоторые листы тетради были утрачены, если только он здесь подразумевает, что они были утрачены не Пушкиным, а позже; думается, что тетрадь дошла до нас в целости, но не потому, что, как утверждает П. Е. Щеголев, «издание 1826 года в сравнении с тетрадью П. И. Капниста имело немного дополнений»,—на самом деле в издание 1826 г. вошло тридцать пять не отмеченных в программе пьес. При отсылке этой программы Пушкин писал брату: «Пересчитав посылаемые вам стихотворения, нахожу 60 или около». Такое же именно количество приведено в тетради Капниста» [3].

Между тем утверждение Майкова совершенно точно. Кроме приводимых им самим аргументов в пользу этого утверждения говорит многое,

Элегія VI.

Черное море. (1820)

[illegible]

Погасло дневное свѣтило,

На море синее вечерній палъ туманъ

Шуми, шуми, послушное вѣтрило,

Волнуйся подо мной, угрюмый Океанъ.

Я вижу берегъ отдаленный,

Земли полуденной волшебные края;

Съ волненьемъ и тоской туда стремлюся я,

Воспоминаньемъ упоенный....

И чувствую: въ очахъ родились слезы вновь;

Душа кипитъ и замираетъ —

Мечта знакомая вокругъ меня летаетъ;

Я вспомнилъ прежнихъ лѣтъ безумную любовь,

И все чѣмъ я страдалъ, и все что сердцу мило,

Желаній и надеждъ томительный обманъ

Шуми, шуми, послушное вѣтрило,

Волнуйся подо мной, угрюмый Океанъ, —

„КАПНИСТОВСКАЯ ТЕТРАДЬ". ЛИСТ 14-й, ОБОРОТ

Местонахождение оригинала в настоящее время неизвестно

Фотокопия в Институте Русской Литературы, Ленинград

в чем мы и убедимся в дальнейшем. Если же Пушкин назвал цифру 60, то по какой-то непонятной нам причине[4]. В действительности тетрадь Капниста заключала в себе не 60, а около 80 стихотворений.

Отпадает и допускаемое М. Клеманом предположение, что листы из тетради были утрачены еще Пушкиным. Так понимал описание Майкова Щеголев, допускавший, что в настоящее состояние тетрадь была приведена самим Пушкиным. Цитируя письмо Пушкина («Я выстирал черное белье наскоро, а новое сшил на живую нитку»), Щеголев добавляет: из описания Л. Н. Майкова «видно, что Пушкин чуть ли не в буквальном смысле произвел всю ту работу над рукописью, о которой он так картинно выразился в письме». Далее Щеголев приводит уже цитированное выше описание рукописи. На основании этого Щеголев заключал, что Капнистовская тетрадь составлялась из разорванных листов тетради Всеволожского. Это конечно не верно. Как справедливо заметил М. Клеман, тетрадь Всеволожского относится к 1820 году, а бумага Капнистовской тетради имеет водяной знак 1821. Прилагаемые фотографии доказывают, что вся тетрадь была написана на бумаге одного сорта и формата; почерк, которым она заполнена, относится ко времени более позднему, чем 1820 год, а надписи, сделанные Пушкиным и несомненно относящиеся к марту 1825 года, сделаны одновременно с прочим текстом. Найденная ныне тетрадь Всеволожского окончательно разбивает гипотезу П. Е. Щеголева.

Итак, во избежание всяких произвольных толкований, необходимо точно оговорить: тетрадь Капниста написана Пушкиным полностью в марте 1825 г. и была в то время целой тетрадкой. Из нее были вырезаны листы и перегруппированы оставшиеся позднее.

Майков дал полистное описание в том порядке, как тетрадь сшита в настоящее время. Попробуем на основании его описания восстановить тетрадь так, как она была в момент ее отправки из Михайловского.

Из описания явствует, что в некоторых местах тетради наблюдается непоследовательность: листы сложены не так, как они лежали, новый лист не продолжает предыдущего. Надо отметить, что уже первый лист не мог быть начальным: на нем находится Элегия XII, между тем как элегии от III до XI находятся на дальнейших листах. С первого листа до седьмого включительно как будто бы наблюдается непрерывная последовательность текста. Эти листы содержат кроме Элегии XII и стихотворения «Гроб юноши» еще 10 «подражаний древним» и три стихотворения, являющихся дополнением к отделу элегий. На обороте седьмого листа текст обрывается на 15-м стихе стихотворения «Я видел смерть», а на следующем листе начинается послание к Катенину. Текст дальнейших листов повидимому без перерыва идет до оборота 11-го листа и состоит из перечня смеси, дополнения к посланиям и эпиграмм от 1-й до 11-й. Здесь снова перерыв. Лист 12-й начинается с последних строк стихотворения «Друзьям», за которым следуют нумерованные элегии от III до XI. Последняя элегия находится на листе 18-м. Следующий лист, последний, содержит эпиграммы и надписи, от 12-й до 19-й, после чего следует приписка, имеющая характер заключительной. Итак, мы имеем следующие «порции»:

1) листы 1—7 (последние элегии, подражания древним и новые дополнения к элегиям);

2) листы 8—12 (два послания, смесь, начало эпиграмм и надписей);

3) листы 12—18 (элегии от III до XI);

4) лист 19 (эпиграммы и надписи от 12-й до конца).

Вспомним письмо Пушкина: «Элегии мои переписаны—потом послания, потом смесь...» Оно помогает правильно расположить названные «порции» в таком порядке: 3, 1, 2 и 4. При этом обнаруживается, что потерян первый лист тетради и листы между 7-м и 8-м. Правильность подобного расположения находит свое подтверждение и в самом содержании сохранившихся листов.

Попробуем же восстановить содержание тетради.

Первый лист тетради содержал Элегию I и начало Элегии II. Какая именно элегия была II, определить нетрудно, так как конец ее находится на сохранившемся листе,—это «Друзьям». Не представляет больших затруднений и определение Элегии I. На основании Капнистовской тетради была изготовлена после некоторой перетасовки тетрадь, оглавление которой сообщил Плетнев Пушкину в письме от 26 сентября. Тетрадь эта начиналась с элегий, расположенных в следующем порядке (в скобках указан номер элегии по Капнистовской тетради):

I. Пробуждение. 1816.
II. Мечтателю. 1818. (IV)
III. (Увы! зачем...). 1821. (VII)
IV. (Мой друг! Забыты мной..). 1821. (VIII)
V. Друзьям. 1816. (II)
I. Выздоровление. 1818. (V)
VII. Война. 1821. (IX)
VIII. (Я пережил). 1821. (X)
IX. (Умолкну скоро я). 1821. (XI)
X. Гроб юноши. 1821. (дополнительно без №)
XI. (Простишь ли мне...). 1823. (XII)
XII. (Ты вянешь и молчишь...). 1824. (доп. без №)
XIII. (Я видел смерть...). 1816. (доп. без №)
XIV. К ней. 1817.
XV. Уныние. 1816.
XVI. (Черное море). (VI)
XVII. Сожженное письмо. 1825. (доп. без №)
XVIII. (Ненастный день потух). 1823.
XIX. Желание славы. 1825.
XX. Андрей Шенье. 1825.

Из этого списка видно, что первые элегии брались все из тетради Капниста, и лишь к концу к элегиям тетради присоединяются элегии, написанные и присланные Пушкиным позднее (Желание славы, Андрей Шенье) или взятые Львом Пушкиным и Плетневым из тетради Всеволожского (К ней, Уныние). Из начальных элегий только первая—Пробуждение—не находится в наличных листах тетради. Очевидно именно она и была первой элегией тетради. Это предположение имеет подтверждение в следующем соображении. Первые три стихотворения тетради выбраны из числа ранних элегий Пушкина и повидимому заимствованы из его тетради, имеющей заголовок «Стихотворения Александра Пушкина 1817» и ныне хранящейся в Ленинской библиотеке под № 2364. В ней на втором листе находится «Пробуждение» с датой 1816, на шестом листе «Друзьям» и на тринадцатом «К сну» («К Морфею»). Таким образом, если принять в качестве первой элегии «Пробуждение», то порядок элегий, заимствованных из тетради № 2364, совпадает с порядком их положения в тетради.

На странице Капнистовской тетради умещается около 16—18 строк. Стихотворение «Пробуждение» насчитывает 27 строк. К этому надо прибавить общий заголовок для элегий и заголовок стихотворения. Очевидно около 12 строк элегии занимали собой оборот этого листа и оставалось места еще на 5—6 строк.

Эти строки были заняты начальными стихами второй элегии «Друзьям». Судя по продолжению, первые четыре строки совпадали с лицейской редакцией, в этих пределах тождественной с редакцией тетради № 2364, т. е. читались они так:

ДРУЗЬЯМ

К чему, веселые друзья,
Мое тревожить вам молчанье?
Запев последнее прощанье,
Уж Муза смолкнула моя.

На этом кончался утраченный лист тетради. Вероятно на нем ничего кроме текста элегий не находилось. Число строк не позволяет допускать длинных приписок. С другой стороны, несомненно, что тексты элегий даны были полностью, так как остальные элегии переписаны без всяких сокращений.

Вторым листом тетради был лист, в нумерации Л. Н. Майкова названный 12-м. Он начинался со стихов, приведенных Майковым полностью:

Напрасно лиру брал я в руки
Брякать веселье на пирах
И на ослабленных струнах
Будил умолкнувшие звуки.

Эти четыре стиха зачеркнуты (равно как очевидно и предшествовавшие им четыре приведенных стиха). Далее следует известный текст, не изменявшийся Пушкиным в дальнейшем:

Богами вам еще даны
Златые дни, златые ночи,
И томных дев устремлены
На вас внимательные очи.
Играйте, пойте, о друзья!
Утратьте вечер скоротечной:
И вашей радости беспечной
Сквозь слезы улыбнуся я.

В этих стихах не сделано никаких поправок. Следовательно дата этой редакции определяется вполне точно: в тетрадь стихи были вписаны в ранней редакции (в составе 16 строк) и здесь, в тетради, приобрели свой окончательный вид. Это было в марте 1825 года, незадолго до 14 числа.

Между тем в последнем издании Сочинений Пушкина приведена почему-то другая дата: «1825? г., не позднее июля»[6]. Очевидно при датировке этой редакции не учтена Капнистовская тетрадь.

Далее на той же странице начинается стихотворение «Морфею». Так как оно при жизни Пушкина в его сборниках не печаталось и повидимому

Элегия № 1. (1821)

Умолкну скоро я – но если в дни печали
Задумчивой игрой мне струны отвечали,
Но если юноши, внимая молча мне,
Дивились долгому любви моей мученью
~~[illegible]~~ Но если ты сама? предавшись умиленью
Печальные стихи твердила в тишине
И сердца моего язык любила страстный,
Но если я любим, позволь, о милый друг
Позволь одушевить ~~[illegible]~~ прощальный лиры звук
Заветным именем любовницы прекрасной
Когда меня навек обымет смертный сон
Над урною моей промолви с умиленьем
Он мною был любим, он мне был
И этим и любви последним ~~[illegible]~~ обязан –
– вдохновеньем

„КАПНИСТОВСКАЯ ТЕТРАДЬ". ЛИСТ 18-А, ОБОРОТ

Местонахождение оригинала в настоящее время неизвестно

Фотокопия в Институте Русской Литературы, Ленинград

по этому основанию в последнее издание стихотворений Пушкина в поздней редакции не включено[6], привожу его в редакции тетради Капниста. Судя по размерам страниц, на листе 12-м с лицевой стороны поместилось стиха четыре, остальные—на обороте того же листа.

ЭЛЕГИЯ III

Морфею

Морфей, до утра дай отраду
Моей мучительной любви!
Приди, задуй мою лампаду,
Мои мечты благослови!
Сокрой от памяти унылой
Разлуки страшный приговор!
Пускай увижу милый взор,
Пускай услышу голос милой.
Когда ж умчится ночи мгла
И ты мои покинешь очи,
О, если бы душа могла
Забыть любовь до новой ночи!

Стихотворение оставлено без даты (на фотографиях видно, что даты Пушкин проставлял позднее), затем зачеркнуто и слева сбоку, вдоль страницы написано: «Если оставить, так перенести в мелк. стихотв.»[7] Лев Пушкин и Плетнев не включили этого стихотворения как зачеркнутого в состав тетради, приготовленной для печати. В издании 1826 г. оно не появилось. Пушкин хотел его включить в издание 1829 г., как о том свидетельствуют два подготовительных списка, но и в новое издание оно не вошло и появилось только в посмертном издании.

На том же обороте второго (12-го по счету Майкова) листа начата Элегия IV (1818). Мечтателю. Стихотворение занимает половину оборота этого листа и всю лицевую сторону следующего листа. Текст его ничем не отличается от текста, вошедшего в издание 1826 г., кроме одного чернового варианта, отмечаемого Ефремовым и Майковым («Материалы для академического издания сочинений А. С. Пушкина», 1902, стр. 9): стих 11 был первоначально написан:

Зовя утраченный покой,

но затем был исправлен:

Ты звал обманчивый покой.

Лист третий (13-й) оборот и четвертый (14-й) лицевую сторону занимает Элегия V (1818). Выздоровление. Варианты этого текста даны Л. Н. Майковым в «Материалах». В стихе 7-м первоначально читалось:

В одежде ратника

Последнее слово зачеркнуто и написано «воина», что и осталось. Следующий стих читается:

Так видел я тебя! Мой темный взор узнал

Между тем в печати появилось: «т у с к л ы й взор» (эта особенность текста осталась незамеченной Ефремовым). Наконец в стихе 12-м первоначально было:

Вотще мой слабый взор искал тебя во мгле...

Первые четыре слова зачеркнуты и надписана редакция, появившаяся в печати:

Я слабою рукой искал тебя во мгле...

Следующий лист имеется в фотографии, и мы можем проверить точность описания Майкова. Вот его описание полностью:

Лл. 14 об.—15. Э л е г и я VI. Черное море [з а ч е р к н у т о]. 1820.
Good nigth, my native land!
Byron.
[Обе строки этого эпиграфа зачеркнуты.]

Погасло дневное светило...
(в с я п и е с а)

Описание это не вполне точно и не полно. Не точно, что название зачеркнуто. Оно было зачеркнуто, но затем восстановлено штрихами. Не отмечено, что эпиграф зачеркнут карандашом, следовательно позднее, чем заполнялась тетрадь. Не оговорены посторонние заметки на тетради. Здесь мы видим карандашные отметки, сделанные теми, в руках кого побывала рукопись. Какой-то крестик, цифра 16 и отметка рукой Ефремова: 2, 267; впрочем, по цифрам трудно судить о том, чьей рукой они написаны. Эта отметка обозначает том и страницу издания 1855 г., с которым Ефремов сличал текст Пушкина. Аналогичные отметки Ефремова находятся на полях против каждого стихотворения.

В своих «Материалах» Майков оговаривает одно разночтение: третий от конца стих первоначально был написан:

Глубоких сердца ран ничто не излечило...

Но здесь же стих исправлен так, как он читается в издании 1826 года:

Глубоких ран любви ничто не излечило...

По фотографии видно, что на обороте 14-го листа текст продолжается до стиха 16-го, на лицевой стороне 15-го листа—до стиха 34-го и на оборот 15-го листа переходят последние 6 строк.

Более детальное сличение автографа с печатным текстом 1826 г. показывает, что пушкинские знаки препинания не были соблюдены в печати. Там появилось несколько лишних против автографа восклицательных знаков; не соблюден пробел между стихами 4-м и 5-м, обозначающий паузу, и сделано еще несколько мелких отступлений. Характерно, что в издании 1829 г. Пушкин упорно и последовательно истреблял обильные восклицательные знаки, расставленные в издании 1826 г. Повидимому расставлены были они не Пушкиным.

На обороте л. 15 начинается Э л е г и я VII (1819). Увы! зачем она блистает...

В своем описании Майков указывает дату 1820, но это вероятно опечатка, так как в «Материалах» он сообщает, что в рукописи графа

Капниста элегия была относима к 1819 году. Этот же год и у Ефремова. В тех же «Материалах» говорится, что рукопись Капниста «не представляет никаких отличий от печатного текста». Повидимому здесь недосмотр Майкова, так как Ефремов указывает вариант стиха 12-го:

Страдальца душу оживлять.

В печати последнее слово стиха читается «услаждать».

Стихотворение кончается на листе 16-м (лицевая сторона) и на той же странице начинается Элегия VIII (1821). Мой друг, забыты мной... Стихотворение это занимает конец лицевой стороны листа и всю его оборотную сторону. Разночтений с печатным текстом, вошедшим в издание 1826 г., не имеется [8].

Лист 17-й и его оборот заняты стихотворением Элегия IX (1821). Война. Ефремов указывает два разночтения: стих 5 читался:

И сколько новых впечатлений

Слово «новых» зачеркнуто и написано «сильных». В стихе 26-м:

Ни грозные труды, ни ропот гордой славы

зачеркнуто слово «грозные» и написано «ратные». Судя по «Материалам» Майкова, было разночтение и в стихе 8-м, где первоначально стояло «гром мечей», а затем исправлено «звук мечей», но Майков выразился в данном случае так неясно, что точный смысл его указания угадать трудно. Разночтения в 5-м стихе он не отметил.

На лицевой стороне 18-го листа помещена Элегия X (1821). Я пережил свои желанья... Дата стихотворения сперва была написана 1822, но затем вторая двойка переправлена в единицу. По замечанию Майкова «В рукописи гр. Капниста текст вполне согласен с текстом изданий 1826 и 1829 гг.» Однако Ефремов приводит одно отличие, впрочем может быть и мнимое, именно: в предпоследнем стихе вместо слов «на ветке» написано «на ветве».

На обороте 18-го листа помещена элегия, названия которой Майков не дает; но как раз эта страница имеется в фотографии, которой можно восполнить пробел майковского описания. Это—«Умолкну скоро я...» Над стихотворением заголовок: Элегия XI (1821). Как и в предыдущем случае цифра 1 написана поверх прежнего 2.

Варианты рукописи следующие; стих 5-й и дальнейшие первоначально читались:

И девы тихому предавшись умиленью
Печальные стихи твердили в тишине
И сердца моего язык любили страстный.

Затем слово «тихому» заменено словом «нежному», после чего всё начало стиха отброшено и заменено словами: «Но если ты сама»; в согласии с этим изменением глаголы в двух следующих стихах переделаны из множественного числа в единственное переделкой окончания (на фотографии это мало заметно, но оговорено Майковым в «Материалах»).

В стихе 9-м было:

Позволь одушевить заветный лиры звук.

Слово «заветный» заменено словом «прощальный».

Элегия XII (1823)

Простишь-ли мне ревнивыя мечты,
Моей любви безумное волненье?
Ты мне верна зачем-же любишь ты
Всегда пугать мое воображенье?
Окруженна поклонников толпой
Зачем для всех казаться хочешь милой,
И всех дарить надеждою пустой
Твой чудный взор, то нежный, то унылый?
Мной овладев, мне разум омрачив,
Уверена в любви моей несчастной,
Не видишь ты, когда в толпе их [illegible]
[illegible]
Беседы чужд, один и молчалив,
Терзаюсь я досадой одинокой;
Ни слова мне, ни взгляда, друг [illegible]
Хочу-ль бежать? — [illegible]
Твои глаза не [illegible]

„КАПНИСТОВСКАЯ ТЕТРАДЬ". ЛИСТ 1-а

Местонахождение оригинала в настоящее время неизвестно

Фотокопия в Институте Русской Литературы, Ленинград

Любопытно, что ни Майков, ни Ефремов не дали полного описания разночтений. Майков опустил вариант «тихому», а Ефремов—«нежному» и изменение формы глаголов [9].

Дальнейшие листы тетради находятся в начале: за 18-м листом следует 1-й. На нем находится Элегия XII (1823). Простишь ли мне ревнивые мечты... Фотография этой страницы имеется. В своих «Материалах» Майков пишет: «В тетради гр. Капниста пиеса внесена уже в окончательной редакции, в какой помещена в изданиях 1826 и 1829 годов». Между тем по фотографии видно, что эта редакция устанавливалась в самой тетради, куда она вносилась в ранней редакции и уже затем переделывалась и приобретала окончательный вид.

Эти изменения коснулись нескольких стихов. Второй стих читался:

Моей любви несчастное волненье?

Слово «несчастное» заменено окончательным «безумное». В стихе 10-м произошло изменение эпитетов в обратном направлении и это в очевидной связи с изменением второго стиха. Было:

Уверена в любви моей безумной

Последнее слово заменено словом «несчастной». Но так как это слово в рифме, то одновременно изменено и окончание следующего стиха:

Не видишь ты, когда в толпе их шумной.

Слово «шумной» заменено словом «страстной».

Кроме того Ефремов дает вариант в стихе 34-м (четвертом от конца):

Но ты верна, тебя я понимаю.

В печати этот стих появился в другой редакции:

Но я любим, тебя я понимаю.

Редакция, указанная Ефремовым, находится в ранних автографах и публикациях («Литературные Листки» 1824 г. и «Полярная Звезда» 1824 г.). Если сообщение Ефремова правильно, то Пушкин внес поправку в это стихотворение уже после того, как оно было отослано брату в составе настоящей тетради.

Очевидно именно здесь остановился Пушкин, когда писал «Элегии мои переписаны», перед получением тетради Всеволожского[10]. До сих пор он не имел никакой нужды в этой тетради. Рукопись эта, представлявшая подготовленное к изданию собрание стихотворений Пушкина, была им «полупроиграна, полупродана» Н. В. Всеволожскому до отъезда из Петербурга на юг, следовательно содержала произведения, написанные не позднее апреля 1820 г. Из всех двенадцати элегий только первые пять относятся к этому времени. Из них четыре первых находятся в тетради № 2364. Уже будучи на юге, Пушкин одну из этих элегий («К Морфею») послал в «Полярную Звезду» на 1824 год. Неизвестен нам только первоначальный автограф элегии «Выздоровление», которым располагал Пушкин. Такой автограф был, и может быть даже в виде подготовленного к печати текста. Подготовлять свои элегии к печати Пушкин думал давно. Еще в лицее он осознал себя как элегика. На обороте автографа «Пирующие студенты» мы читаем запись «XV элегий» (цифра переправлялась и не может быть прочитана с пол-

ной уверенностью). В опубликованной М. О. Гершензоном лицейской тетради[11] помещено под римской нумерацией 9 элегий Пушкина. Элегии как особый отдел, объединенные общей нумерацией, должны были очевидно войти и в собрание его стихотворений. Такое выделение элегий объяснялось литературным успехом жанра, знакомством с элегиями Парни, Бертена, Мильвуа (копия одной из известнейших элегий этого поэта «Воспоминание» находится в бумагах Пушкина). В дальнейшем литературный успех элегий всё возрастал, особенно после появления сборников Ламартина. В жанровых циклах Пушкина элегии заняли первое место.

В апреле 1824 г. Пушкин в новом проекте издания своих стихотворений уже ставит элегии на первое место. Корреспондент Рылеева писал ему из Одессы 13 апреля: «...я надеюсь приобрести элегии и мелкие стихотворения А. Пушкина и буду просить тебя наблюдать за печатанием оных» («Сочинения Рылеева» 1872 г., стр. 339; Ефремов предполагает, что автор письма—П. А. Муханов). Вероятно в связи с этим в июне Пушкин обращался к Всеволожскому с просьбою вернуть ему рукопись. Но повидимому рукопись эта к 1824 г. уже потеряла значение главного источника, так как основными стихотворениями сборника были стихи, написанные после 1820 г. Рукопись Всеволожского необходимо было выкупить не только для полноты собрания, а вероятно для восстановления права на издание, которое повидимому было продано вместе с рукописью.

Возможно, что уже в Одессе у Пушкина были подготовлены элегии для издания и рукопись Всеволожского была ему нужна не для первого раздела собрания стихотворений.

Остановившись на Элегии XII, Пушкин продолжает уже без нумерации, как бы дополняя предыдущий свод. При этом на ближайших страницах никаких следов обращения к рукописи Всеволожского не заметно.

Оборот второго листа (по нумерации Майкова) занят началом стихотворения «Гроб юноши». Стихотворение имеет подзаголовок («Отрывок») и приписку: «поместить в элегиях». Заглавие написано вместо зачеркнутого «Отрывок из элегии»[12]. Названию предшествует дата «1821».

Л. Н. Майков в «Материалах» ограничивается указанием, что черновые варианты находятся в стихах 1-м, 17—19, 46-м и 47-м. Ефремов дает эти варианты. Первый стих читался:

Навек, навек сокрылся он

Первые два слова зачеркнуты и заменены многоточием.

Стих 10-й был:

Бывало старцы любовались

Слово «бывало» заменено словом «Давно ли».

Стихи 17—19 первоначально читались:

И будешь то, что стали мы.
Будь весел, мира гость игривый,
А нам постыл уж белый свет....

Слово «стали» заменено словом «ныне», а два дальнейшие стиха исправлены:

Как нам, о мира гость игривый,
Тебе постынет белый свет...

Стих 38-й читался:

Напрасно светит луч денницы...

Вместо «светит» стало «блещет».

Наконец сильно изменены два последние стиха. Первоначально стихотворение оканчивалось:

К ручью красавица с корзиной
Идет и в холод ключевой
Пугливо ногу опускает
И озабоченной рукой
Края одежды подымает.

Последнее слово зачеркнуто и заменено словом «подбирает».

Но затем оба последние стиха отброшены и заменены окончательными:

Ничто его не вызывает
Из мирной сени гробовой...

Стихотворение это занимает три страницы тетради, т. е. заканчивается на обороте третьего листа.

Четвертый лист (у Майкова ошибочно поставлена цифра 5) начинается заголовком нового отдела:

Подражания древним

К этому названию приписано слева: «или как хотите». Если перевернуть тетрадь, то читаем смазанную надпись, не упоминаемую ни Майковым, ни Ефремовым: «Не назвать ли Опыты Б». На этой букве фраза обрывается. Вероятнее всего под буквой Б видеть имя Батюшкова. Его сочинения были изданы в 1817 г. под названием «Опыты в стихах и прозе». Очевидно свои антологические отрывки Пушкин ассоциировал с подобными же произведениями Батюшкова, но введение собственного имени другого поэта в название раздела своих стихов показалось Пушкину очевидно совершенно невозможным, и он, остановившись на первой букве имени, смазал всю фразу.

Далее следует полный текст стихотворения «Дориде» с опиской в последнем стихе:

И ласковых речей младенческая нежность.

Слово «речей», написанное вместо слова «имен», механически появилось под влиянием предыдущего стиха:

Нарядов и речей приятная небрежность.

Вслед затем написано:

Таврида

Редеет облаков и проч. (без 3 последн. стих.)

Это первое стихотворение сборника, не переписанное, а только указанное. Примечание о трех последних строках показывает, что Пушкин имел в виду печатный текст, помещенный в «Полярной Звезде на 1824 г.» Итак, появление стихотворения в этом альманахе он считает достаточным, чтобы не переписывать стихов, а лишь давать указания. Между тем двумя страницами раньше Пушкин полностью переписал элегию «Простишь ли мне ревнивые мечты», помещенную там же; так же он

[illegible]

Подражания древним

[illegible]

I. Дориде

Я верю: я любим; для сердца нужно верить.
Нет, милая моя не может лицемерить;
Всё непритворно в ней: желаний томный жар,
Стыдливость робкая, харит бесценный дар,
Нарядов и речей приятная небрежность
И ласковых имен младенческая нежность.

II. Таврида

Редеет облаков и проч. (без 3 последн. стих.)

III. Муза

В младенчестве моем и проч.

IV. Нереида

Среди зеленых волн и проч.

V. Дионея

Хромид в тебя влюблен; ~~[illegible]~~ он молод, и не раз
Украдкой [illegible] встречались ваши [illegible]
[illegible]

поступил с элегией «К Морфею». Очевидно в этот промежуток времени план его изменился. Сперва он готовил рукопись для печати, а затем перешел на письмо, адресованное Льву Сергеевичу и содержащее материалы для изготовления рукописи для печати. Это заставляет предполагать, что элегии были переписаны раньше, но до получения известия о посылке ему рукописи Всеволожского Пушкин не приступал к дальнейшей переписке.

Далее следуют:

М у з а

В младенчестве моем и проч.

Н е р е и д а

Среди зеленых волн и проч.

Д и о н е я

он молод
Хромил в тебя влюблен, [ты лю—]
и не раз
Украдкою вдвоем мы замечали вас:
Ты слушаешь его в безмолвии краснея,

На этом кончается лицевая сторона 4-го листа. Как видно из фотографии, позднее Пушкин перенумеровал «Подражания древним».

«Дионея» оканчивается на обороте 4-го листа. Четвертый стих в рукописи читается:

Твой взор потупленный любовию горит

Замена слова «любовию» словом «желанием» произошла уже в печати. Это—одна из немногочисленных поправок, введенных Пушкиным в текст стихотворений после отсылки тетради.

На обороте того же листа находятся: полный текст стихотворения «Дева» и начало стихотворения «Ночь». Разночтений в этих стихотворениях нет. Лист 5-й, лицевая сторона, содержит окончание стихотворения «Ночь» и начало стихотворения «Приметы». В последнем следующие особенности. Стих второй первоначально был:

Пастух и рыболов в младенческие леты,

но затем слово «рыболов» заменено словом «земледел». Стих третий:

Взглянув на небеса на западную сень.

В печати появилось «тень», как предполагает Л. Н. Майков, по опечатке. Эта опечатка перешла во все издания.

Оборот 5-го листа заключает два последних стиха стихотворения «Приметы», за ним следует:

З е м л я и м о р е (Идиллия Мосха)

Когда по синеве морей... и проч.

Далее полный текст стихотворения «Красавица перед зеркалом». В нем, по свидетельству Ефремова, второй стих читается:

Она пред зеркалом цветами убирает.

В печати последнее слово читается «окружает». Здесь свидетельство Ефремова расходится с показанием Майкова, который никаких разночтений не отмечает, между тем на снимке листа 6-го видны части последних

слов оборота 5-го листа. На соответствующем месте читаются отдельные буквы слова «убирает».

К стихотворению приписка (сообщаю ее по записи Ефремова, не совсем совпадающей с записью Майкова):

«NB Есть у меня еще какая-то Дорида см. Невский Зритель. Если достойна тиснения отыщите ее».

На этом оканчиваются «Подражания древним». Из них не переписаны, а только упомянуты следующие:

II. Таврида
III. Муза
IV. Нереида
IX. Земля и море.

Очевидно текст этих стихотворений предполагался известным Льву Сергеевичу. В данном случае для всех, кроме «Музы», напечатанной в «Сыне Отечества» 1821 г., были относительно свежие печатные источники: «Полярная Звезда» на 1824 г. и январский номер «Новостей Литературы» 1825 г. Да и «Музу» можно было найти перепечатанной во второй части «Нового собрания образцовых русских сочинений и переводов в стихах». Таким образом в пределах раздела «Подражания древним», состоящего из стихов, написанных после отъезда на юг, тетрадь Всеволожского не требовалась ни для Пушкина, ни для его корреспондентов.

За этими «Подражаниями» следуют дополнения к отделу элегий. На лицевой стороне 6-го листа читаем:

Сожженное письмо (отрывок). Поместить в элегиях.

Далее следует полный текст стихотворения (см. снимок). При этом в выборе последнего стиха Пушкин колебался. В рукописи стихотворение оканчивается следующим образом:

Приди, приди ко мне на горестную грудь.

Или

Останься век со мной, на горестной груди.

Таким образом Пушкин предоставлял брату и Плетневу выбрать более удачное окончание. В издании 1826 г. появилось второе[13].

Далее, на обороте 6-го листа помещено следующее:

Подражание Андрею Шенье (1824). Поместить в элегиях.

За этим следует полный текст стихотворения. Особенности этого текста следующие: в стихе седьмом имеется одна поправка; стих читался:

Любви не утаишь: мы любим, но как нас

Слово «но» зачеркнуто и написано «и».

В стихе девятом написано «межь ими», как обыкновенно и писал Пушкин. В издании появилось: «межь ними». Поправка эта принадлежит повидимому Плетневу.

Стихотворение занимает собою весь оборот 6-го и лицевую сторону 7-го листа. На обороте седьмого листа находится начало стихотворения «Я видел смерть». Оно приведено не в ранней, лицейской, редакции, а в переделанной. Оно здесь озаглавлено «Подражание» и датировано 1816 годом. Текст его приведен полностью, но два последние стиха

находятся на следующем утраченном листке. Однако полный текст стихотворения известен потому, что он был в тетради, подготовленной к изданию 1826 г., и хотя Пушкин исключил это стихотворение, но Анненков напечатал его по тетради, находившейся в его руках. Текст Анненкова совершенно совпадает с текстом Капнистовской тетради. Почему-то эта редакция, сильно отличавшаяся от ранней, не приведена в последнем Собрании сочинений Пушкина (изд. ГИХЛ), хотя источники этого текста достаточно солидны.

Перед заголовком Пушкин надписал: «в элегии».

Дальнейшие листы тетради потеряны. Сравнивая содержание Капнистовской тетради с изданием 1826 г., мы убеждаемся, что на этих потерянных листах должны были находиться послания. В тетради, подготовленной к печати, находилось 17 посланий. Из них в тетради Капниста имеется только два. Следовательно 15 посланий, перечисленных или переписанных (напр. «Козлову», которое не было до того в печати), потеряны.

Следующие листы, восьмой и девятый (лиц. ст.), являются вероятно концом раздела посланий, так как содержат стихотворения, включенные в этот отдел. Однако повидимому стихи, здесь помещенные, не принадлежат к основным произведениям раздела, так как не имеют общей нумерации, проведенной Пушкиным в каждом отделе, и сопровождены припиской, подобно стихотворениям, дополняющим раздел элегий. Так как приписка относится только к двум стихотворениям, именно к тем, которые сохранились, то надо предполагать, что раздел посланий кончался непосредственно перед ними. Возможно также, что перед этими стихотворениями и после посланий были какие-нибудь дополнения к элегиям. В тетрадь, подготовленную к изданию, вошло, кроме позднее написанного, три элегии, не находившиеся в известной нам части Капнистовской тетради (К ней. Уныние. Ненастный день потух.).

На 8-м листе находится «К К. 1821» (Послание Катенину: «Кто мне пришлет ее портрет»). Дата первоначально была означена 1823, затем тройка переправлена в цифру 4; получившаяся дата 1824 зачеркнута и надписано 1821. Подобные колебания показывают, насколько не уверен был Пушкин в датировке собственных произведений. Послание Катенину действительно написано в 1821 году, что доказывается положением черновиков в тетрадях, и имеет точную дату: 5 апреля.

Стихотворение по тексту совпадает с изданием 1826 г.

Оборот листа 8-го и лицевая сторона листа 9-го заняты стихотворением Дочери Карагеоргия. Отличия следующие: стихи 14-й и 15-й первоначально читались:

Но ты, прекрасная, отца преступный век
Невинной жизнию пред небом искупила.

Затем переделано так, как появилось в печати:

Но ты, прекрасная, ты бурный век отца
Смиренной жизнию пред небом искупила.

Первая редакция совпадает с ранним автографом этого стихотворения. Появление ее здесь можно объяснить только рассеянностью Пушкина, так как в этой редакции стих 14-й рифмует с ранней же редакцией стиха 13-го:

Внезапно меч блеснул и дни его пресек,

Сожженное письмо

(отрывок)

Прощай, письмо любви, прощай! она велела.

Как долго медлил я! как долго не хотела

Рука предать огню все радости мои...

Но полно, час настал. Гори, письмо любви.

Готов я; ничему душа моя не внемлет.

Уж пламя жадное листы твои приемлет...

Минуту!.. вспыхнули! пылают — легкий дым

Виясь, теряется с молитвой моей.

Уж перстня верного утратя впечатленье,

Растопленный сургуч кипит... о провиденье!

Свершилось! темные свернулися листы.

На легком пепле их заветные черты

Белеют... грудь моя стеснилась. Пепел милой,

Отрада бедная в судьбе моей унылой,

Приди, приди ко мне на горестную грудь...

Останься век со мной, на горестной груди.

„КАПНИСТОВСКАЯ ТЕТРАДЬ". ЛИСТ 6-й, ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

Местонахождение оригинала в настоящее время неизвестно

Фотокопия в Институте Русской Литературы, Ленинград

меж тем как в данной рукописи стих этот дан уже в позднейшей редакции на новую рифму:

Таков был: сумрачный, ужасный до конца.

За стихотворением следует приписка:

«NB Эти 2 штуки можно поместить и в смеси. Твоя воля».

На следующей странице (лист 9-й оборот) находится перечень смеси: Смесь. Певец (1816). Баллада (1819)[14]. К Щербинину (1819). 2) К Т... (1820). 1) Домовому (1818). Торжество Вакха (1818). Прозерпина (1824) (подражание). Гроб Анакреона (1815). Песнь Олег[15]. Демон (1823). Друзьям (1822). Подр. Корану. К морю (последнее). Черная шаль (1820). Аделе (а не: В альбом малютке).

В этом разделе все стихотворения даны в перечне, без текста. Следовательно Пушкин был уверен, что брат его располагает какими-то источниками. Таким источником была уже раньше встречавшаяся в той же функции «Полярная Звезда», о чем свидетельствует приписка к последнему названию. Именно в «Полярной Звезде» это стихотворение появилось под заголовком «В альбом малютке». Сюда же очевидно отсылал Пушкин брата за текстами стихотворений «Домовому», «Друзьям». В «Северных Цветах на 1825 год» напечатаны были «Прозерпина» и «Песнь о вещем Олеге». В «Мнемозине» был напечатан «Демон», но так как были допущены опечатки, то наново он был напечатан в том же выпуске «Северных Цветов». «Черная шаль» была напечатана между прочим в «Новом собрании образцовых произведений». Все прочие стихотворения, за исключением «Подражаний Корану», очевидно пересланных особо, относятся ко времени до отъезда Пушкина на юг, т. е. могли войти в состав тетради Всеволожского. Возникает вопрос: не была ли направлена эта тетрадь обратно в Петербург вместе с письмом-тетрадью Капниста с тем, чтобы Лев Пушкин из нее выписывал ранние тексты? В таком случае, надо полагать, вошедшие в нее стихотворения подверглись обработке и исправлениям. Повидимому дело так и обстояло. Об этом отчасти свидетельствует следующая записка Дельвига, адресованная Льву Пушкину: «В феврале месяце брат твой прислал свои сочинения для переписки; в конце апреля месяца он мне дал по особенной моей просьбе свою черную тетрадь: думал ли он, что ты должен будешь переписывать с этой чёрной тетради?» Это приписано к письму Александра Пушкина брату от 28 июля 1825 г., в то время, когда беспечный Лёвушка Пушкин, вместо того чтобы переписывать стихи брата для печати, довольствовался тем, что читал их повсюду. О какой «черной тетради» здесь говорится? Не о тетради ли Всеволожского? Повидимому действительно тетрадь Всеволожского была послана обратно после просмотра и исправления в конце апреля с Дельвигом, посетившим Пушкина в Михайловском[16].

На листе 10-м находится надпись: «Начало Деревни (под заглавием: Уединение, до стиха:

Но мысль ужасная здесь душу омрачает)».

В издании 1826 г. так и сделано. Стихотворение «Деревня» появилось под заглавием «Уединение» и оканчивалось стихом:

В душевной зреют глубине.

За этим стихом следовали четыре строки точек.

Далее следует полный текст послания Каверину под заголовком:

К Каверину (1817). В посл.

Текст этот совпадает совершенно с текстом, напечатанным в «Московском Вестнике» 1828 г. (в издание 1826 г. это послание не вошло). Имеется только одно отличие. В журнале стих второй читается:

Усердствуй Вакху и любви

В рукописи же этот стих читается:

Молись и Вакху и любви.

Вариант журнала едва ли не цензурного происхождения.

Последнее издание сочинений Пушкина (ГИХЛ. 1931) относит эту редакцию к «январю—августу 1828 года» и соответственно дате печатает его в рубрике стихотворений 1828 г. Как видим, это не верно. Этот текст уже существовал в марте 1825 г.

Вслед за текстом этого послания идет длинная распорядительная часть, заканчивающаяся на 11-м листе:

«№ в Пес. о вещ Ол. строфа

Волхвы не боятся и пр.

должна быть вся означена «—». Это ответ кудесника, а не мои рассуждения.

Телегу жизни напечатать ли?

Годы везде назначены, но думаю, что это лишнее. Вообще в расположении пиес должно наблюдать некоторое разнообразие. Заглавие Смесь не нужно».

Не всё здесь сказанное было принято во внимание. Так не были поставлены в нужном месте кавычки в «Песни о вещем Олеге».

Далее с новой страницы, на лицевой стороне 11-го листа, начинается новый раздел. Он состоит из перечня. Только четыре стихотворения переписаны полностью (Приятелям. Совет. Хоть впрочем он поэт изрядный. Как брань тебе не надоела!). Вот этот перечень:

Лист 11-й. Эпиграммы, надписи и пр. Приятелям.

(Следует полный текст, не имеющий отличий от печатного. Можно отметить только одну орфографическую особенность: правописание в рифме «любова».)

1) Надпись к портрету.

Клеветник без дарованья и проч.

(Обе строки зачеркнуты. При жизни Пушкина эпиграмма в печати не появлялась.)

2) Другая.

Охотник до журнальной драки...

3) Совет.

У Клариссы денег мало

(Приведен полный текст. В печати стихотворение появилось без заголовка. Других разночтений нет.)

4) Добрый человек. (Эта строка зачеркнута.)
5) Добрый человек.
6) Ист. стихотв.
7) Уединение.
8) Лиле (Лила, Лила!).
9) Роза.
10) Имянины.
11) Надпись к. пор. Ж.

(Продолжением листа 11-го является лист 19-й, на котором находятся дальнейшие записи.)

12) Надпись к портрету (Пол. Звезд.)
13) Экспромт (Что можем наскоро).
14) Эпигр. Иной имел мою Данаю (а не Аглаю) (Строка зачеркнута.)
15) Эпиграмма.

Здесь Майков, вопреки обыкновению, транскрибирует полный текст:

2) Эмилий человек пустой,
1) Хоть впрочем он поэт изрядный.
Да [А] ты чем полон, шут нарядный?
А, понимаю: сам собой?
[Ты полон глупости большой.]

В описании Майков особо оговаривает, что последняя строка зачеркнута. Однако в «Материалах» он описывает это несколько иначе: «В рукописи гр. Капниста последний стих был сперва написан так же, как в № 2367 (т. е. Ты полон глупости большой), но затем изменен так, как читается в тексте (т. е. Ты полон дряни, милый мой!)». Ефремов это описывает еще иначе: «Последний стих был написан: «Ты полон глупости большой», и затем поставлено: «Или—Ты полон дряни, милый мой». То-есть по Ефремову выходит, что Пушкин ничего не вычеркивал и отдал оба варианта на выбор брату.

За этим в рукописи следует:

16) В альбом иностранке.
На языке, тебе невнятном... и проч.
17) Эпиграмма.
Как брань тебе не надоела!
(Полный текст; разночтений нет.)
18) [Баратынскому] (из Бессарабии).
19) Приятелю (Не притворяйся).

«Если найдутся и другие, то тисни. Некоторые из вышеозначенных находятся у Бестужева; возьми их от него.

Дай всему этому порядок какой хочешь, но разнообразие!»

На этом оканчивается рукопись Капниста.

Из последних перечней ясно, что кроме печатных источников («Полярная Звезда», как видно из приписки к № 12 и «Сын Отечества», где

Стихи

Птичка (1826)

Батюшкову (1815)

Къ Щербинину (1819)

2) Къ М.... (1820)

Давыдову (1818)

Торжество Вакха (1818)

Прозерпина (1824) (подражание)

Гробъ Анакреона (1815)

[illegible]

Демонъ 1823

Друзьямъ (1822)

Подр. Корану

Къ морю. (поэтическое)

Черная шаль (1820)

Адели (а не въ альбомъ малютки)

„КАПНИСТОВСКАЯ ТЕТРАДЬ". ЛИСТ 9-й, ОБОРОТ

Местонахождение оригинала в настоящее время неизвестно

Фотокопия в Институте Русской Литературы, Ленинград

помещено было стихотворение «Приятелям», для всех прочих упомянутых, но до того неизданных или изданных давно Пушкин предполагал какой-то рукописный источник у брата. За исключением эпиграммы «Охотник до журнальной драки» и стихов «В альбом иностранке» и «Приятелю» (повидимому именно эти стихи и были у Бестужева) все прочие написаны были до отъезда из Петербурга и следовательно могли находиться в тетради Всеволожского. Отсюда снова следует заключить, что тетрадь Всеволожского была направлена в Петербург как источник текста.

Из настоящего описания, по возможности суммирующего всё, что мы знаем о составе Капнистовской тетради, видно, какое значение она должна иметь в изучении текста Пушкина, как рукописного, так и печатного. В ней Пушкин установил состав, построение и текст первого своего стихотворного сборника. Дальнейшие издания являются в основном перепечатками этого первого сборника, и даже перестройка композиции сборника не истребила окончательно следов этого первого свода. Именно тетрадь Капниста дает представление о том, в каком виде Пушкин хотел печатать свои стихи. Следует признаться, что своим равнодушием к дальнейшей судьбе стихов, предоставлением почти неограниченных прав Льву Сергеевичу и Плетневу Пушкин разрушил систему построения сборника. То, что вышло из печати, не имеет в себе никакой системы. В самом деле: мысль Пушкина ясна,—он хотел в первую очередь ввести в сборник доминирующие жанры своей лирики. *Это были элегии. За крупными элегиями должны были следовать элегические* фрагменты, написанные им под влиянием Батюшкова и А. Шенье, выделенные в отдел «Подражания древним». Третьим разделом шли послания, с которых когда-то (в лицее) Пушкин хотел начать свой сборник, но которые теперь уступили первое место элегиям, не потеряв впрочем своей значительности как важного жанра лирики. За посланиями шли крупные стихотворения, не диференцированные по жанрам, за ними—мелкие стихотворения (эпиграммы, надписи и пр.). Плетнев, Жуковский и Лев Пушкин, сохранив классификацию, поняли требование Пушкина о разнообразии своеобразно и перетасовали жанры в хаотическом беспорядке. «Подражания древним» оказались оторванными от элегий и передвинутыми на четвертое место. За элегиями поставлены «Разные стихотворения» (смесь), из которых изъяты подражания Корану, выделенные в особый отдел в конце сборника. Эпиграммы и надписи, которым естественно было находиться в конце, следуют за «Разными стихотворениями». Послания помещены на пятом месте между «Подражаниями древним» и подражаниями Корану. Всё это свидетельствует о неряшливости и спешке, с какой изготовлялась рукопись. Потеряв время с марта по июль, Лев Пушкин, понукаемый Плетневым и Дельвигом, очевидно сразу засел за работу и сделал ее сплеча. Вероятно на распределении отразилось и то, что списывать приходилось из разных мест и хаос получился автоматически.

Впрочем в этом разрушении первоначального плана Пушкина есть и некоторая доля сознательности. Дело в том, что стандартным образцом для издания сборника стихотворений в эти годы являлись «Опыты» Батюшкова. Эти «Опыты» состояли из трех отделов: элегии, послания и смесь. Эти же отделы находятся и в сборнике 1826 года с той разницей, что название «смесь» заменено другим: «разные стихотворения»

(согласно просьбе Пушкина) и весь этот отдел, по неясной причине, поставлен перед посланиями, т. е. на второе место сборника. Отделы «Эпиграммы и надписи» и «Подражания древним» повидимому рассматривались как подотделы той же «Смеси», так как не входили ни в элегии, ни в послания. Этим объясняется, почему они следуют сразу за «Разными стихотворениями». Что же касается до «Подражаний Корану», то опять-таки по причине нам не ясной они отодвинуты на последнее место и замыкают собою весь сборник. Таким образом реальный строй сборника 1826 года явился в какой-то мере результатом механического применения жанровой классификации «Опытов» Батюшкова к разделам, намечавшимся Пушкиным. Несомненно, что Пушкин в первоначальном замысле, приступая к заполнению Капнистовской тетради, исходил из той же классификации жанров (напомню формулу письма: «элегии мои переписаны—потом послания, потом смесь»), но в процессе кодификации своих стихов Пушкин отошел от этого первоначального плана. Окончательное распределение отделов сборника в какой-то степени возвращает к системе «Опытов» за исключением отмеченной перестановки «Посланий» и «Смеси» и тем уничтожает следы своеобразия классификации жанров Пушкина. Таким образом не издание 1826 г., а только тетрадь Капниста дает нам возможность представить себе лирический облик Пушкина в 1825 г. так, как он сам себе его представлял.

В этом значение тетради Капниста и отсюда вытекает необходимость максимально точного и детального ее изучения.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Изв. Отд. русск. яз. и словесности Академии Наук» 1896, т. I, кн. 3, стр. 574—581.

[2] Описание водяного знака у Л. Майкова повидимому неточно. К сожалению восстановить его полностью затруднительно: на стихотворении «Приятелям» имеется только часть знака. Знак этот виден на фотографии первого листа, но здесь имеется только его начало: Gilling & (знак & в особой строке). Возможно, что Майков видел только эту часть знака и дополнил его по предположению словом «С». На автографе стихотворения «Приятелям» виден конец третьей строки: .....FORD

[3] «Пушкинский сборник памяти С. А. Венгерова», П., 1923, стр. 7.

[4] Пушкин мог считать только стихотворения, не бывшие еще в печати. Возможно, что он имел в виду не одну тетрадь Капниста, а всё, что он посылал. Тогда получим цифру, близкую к 60 (в издание 1826 г. вошло 52 неизданных стихотворения, но в рукописи их было на 10 больше).

[5] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений. ГИХЛ, 1931, т. II, стр. 379.

[6] Этот пропуск является некоторым нарушением принципов издания, которое для всех стихотворений дает последние редакции, а для лицейских также и ранние. Ведь приводимая редакция с одним отличием (в стихе 6-м «грустный» вместо «страшный») была напечатана Пушкиным в «Полярной Звезде на 1823 г.», следовательно не является черновой. Между тем в предисловии указывается, что в аналогичных случаях вторая редакция ранних стихотворений приводится.

[7] Эта приписка скопирована и Ефремовым, но вероятно без дипломатической точности: вместо «так» написано «то», а слово «мелкие» переписано без сокращений.

[8] Ефремов в издании 1882 г. указывает вариант стиха 8-го «веселья миг лови» (вместо «летучий миг лови»), но здесь явная ошибка: этот вариант он заимствовал из рукописи № 2367.

[9] В издании 1882 г. Ефремов сделал не особенно вразумительное примечание: «В рукописи гр. Капниста есть поправки поэта; во 2-м стихе было: «мне с т р у н ы отвечали». Примечание это основано на том, что в основном тексте Ефремов принял ошибочное чтение Анненкова: «мне п е с н и отвечали», отметив слово «струны» как первоначальный вариант.

[10] Письмо это датировано 14 марта, но здесь возможна ошибка. Из письма явствует, что рукопись Всеволожского еще не получена; меж тем письмо, датированное 15 марта, начинается словами «Третьего дня получил я мою рукопись». Возможно впрочем, что ошибочна эта вторая дата. Вместе со вторым письмом была отправлена в Петербург настоящая тетрадь.

[11] «Русские Пропилеи», т. VI, М., 1919.

[12] Так пишет Майков; по Ефремову дело представляется иначе: «Сначала было написано под теперешним заглавием: «Отрывок из элегии», а потом последнее слово зачеркнуто». Иначе говоря, спорным остается, было ли заглавие написано после того, как зачеркнуты слова «из элегии», или раньше.

[13] Ефремов отмечает еще одну особенность пунктуации. В 5-м стихе после слов «Готов я» стоит в рукописи точка. Между тем в издании 1826 г. поставлена точка с запятой и тем ослаблена необходимая здесь пауза. Замечание Ефремова подтверждается снимком, который дает еще несколько отличий пунктуации Пушкина от пунктуации издания 1826 года.

[14] Сличение списка с разделом «Разные стихотворения» издания 1826 г. показывает, что «Балладой» Пушкин назвал «Русалку» 1819 г.

[15] Первоначально Пушкин написал «Олег»; а затем приписал «Песнь».

[16] Впрочем возможно, что Дельвиг взял другую тетрадь. Тогда надо предположить, что тетрадь Всеволожского была послана вместе с Капнистовской и в письме Льву Сергеевичу и Плетневу, датированном 15 марта, слова «сегодня отсылаю все мои новые и старые стихи» надо понимать так: «новые стихи»—тетрадь Капниста, старые»—Всеволожского.

НОВЫЕ АВТОГРАФЫ ПУШКИНА

Сообщения Д. Якубовича, В. Базилевича, Н. Козмина, Т. Зенгер

I. ЗАМЕТКА ОБ «АНЧАРЕ»

1

Публикуемый нами впервые автограф «Анчара» из собрания Константина Романова хранится в архиве ИРЛИ (Пушкинском доме) Академии Наук СССР под шифром 244/166, с жандармскими пометами «9» и «14».

Автограф Пушкина занимает три страницы, четвертая занята «Ответом Катенину» с датой «10 ноября 1828 Малинники». На 1 стр. поперек текста отпечатались части неясных для нас слов (овник, спод?) с какой-то другой рукописи.

Настоящий автограф—один из трех известных нам источников текста «Анчара» и хронологически занимает между ними место среднего звена, представляя собою перебеленную копию, со многими поправками, сравнительно с автографом Ленинской Библиотеки (б. Румянцевского Музея) в тетради № 2371 (лл. 18, 20 об.—21, 22 об.). Общий анализ эволюции всех трех имеющихся источников текста был дан в работе Н. В. Измайлова «Из истории Пушкинского текста «Анчар, древо яда»[1].

Рукопись любопытна между прочим тем, что на полях листа 1 вверху Пушкиным сделана перпендикулярно тексту (как и рисунок бегущего животного)[2] английская запись:

It is a poison-tree that
pierced to the inmost
Weeps only tears of poison.
Coleridge

т. е.: Есть древо яда, пронизывающее отравой все сокровенное.
Оно плачет лишь ядовитыми слезами.
Кольридж

Этот «эпиграф» затруднял исследователей «Анчара». Н. В. Яковлев в статье «Пушкин и Кольридж»[3] писал: «Розыски этих стихов у Кольриджа пока ни к чему не привели. Повидимому Пушкин взял их у другого английского поэта или сам сочинил—и приписал Кольриджу, или по ошибке, или в целях мистификации».

Недоразумение объясняется поисками в лирике Кольриджа. В действительности, Пушкин совершенно точно выписал 23—24 строки из I акта сцены 1-й восточной трагедии Кольриджа «Озорио» (1797), переименованной автором в 1812 г. в «Раскаяние» (Remorse).

Среди вариантов и разночтений автографа любопытны следующие: в строфе 1-ой Пушкин первоначально хотел дать пустыне эпитет «мрачной», в стихе 3-м читалось «как бодрый часовой», но сейчас же соответственно общему колориту слово «бодрый» было заменено словом «грозный».

В строфе 2-ой «степи» были названы «пламенными» и только позже «жаждущими», стих второй первоначально читался: Его в день гнева напоила; стих 3-й сначала имел вид:

И жилы тощие корней,
потом: И жилы сонные ветвей,
затем: И жилы мощные ветвей.

И только в дальнейшей работе Пушкин нашел удовлетворяющую его поэтическую формулу:

И зелень мертвую ветвей.

В данном автографе она еще отсутствует.

Третья строфа далась Пушкину не сразу. В стихе 1-м сначала:

Яд каплет сквозь кору его;

в стихе 2-м сначала:

Густой прозрачною смолою,
затем: разтопленный дыханьем ? зноя,
наконец: К полудню растопясь от зноя.

Четвертая строфа дает два отличных от окончательного текста двустишия, впоследствии забракованных за их тавтологичность:

Кругом нет жизни—все молчит
Недвижно все—лишь вихорь чорной.

Вместо: «на древо смерти» сначала было: «на древо яда»; вместо «и мчится прочь»— «и вьется прочь».

В пятой строфе вместо стихов:

И если туча оросит
Блуждая лист его дремучий

первый стих был начат:

Лишь мимо ходит
затем: Да разве туча оросит
потом: Блуждая туча-ль оросит
Случайно лист его висящий

и следующие стихи соответственно читались:

И дождь уж каплет ядовит
С его ветвей в песок горящий.

Шестая строфа, потом вовсе отброшенная (она вся зачеркнута Пушкиным в этом же автографе) первоначально была посвящена описанию животных (нашедшему затем место в 4-й строфе):

начато: В его пустыню забежав
Гонимы тигр [a]
потом: И тигр в пустыню забежав
В мученьях бьется умирает
издыхает
Паря над ней орел стремглав
Кружась, безжизненный, спадает.

Седьмая строфа читалась сначала:

Но человека человек
Въ но[чи] к анчару властным взглядом
потом: Послал к анчару властным взглядом
И тот послушно в путь потек
И возвратился к ночи с ядом

потом: Послал к пустыне властным взглядом
И тот поутру в путь потек
И возвратился на ночь с ядом

Этот вариант однако был также отброшен.

Восьмая строфа[4] дает иное чтение первой строки:

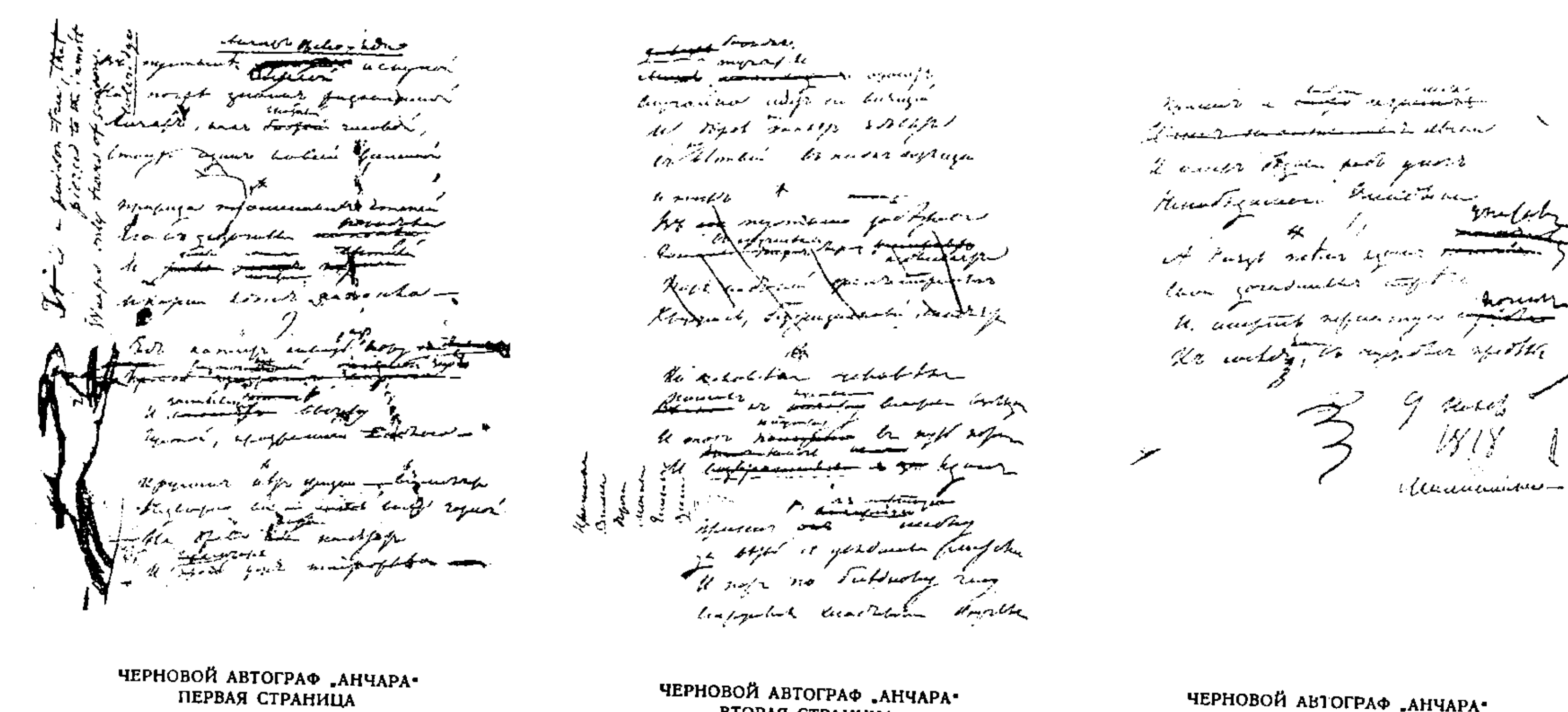
Принес анчарную смолу

тут же замененное:

Принес он смертную смолу.

---

[a] Описка Пушкина «тирг».



ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ „АНЧАРА"
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА
Институт Русской Литературы, Ленинград

ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ „АНЧАРА"
ВТОРАЯ СТРАНИЦА
Институт Русской Литературы, Ленинград

ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ „АНЧАРА"
ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА
Институт Русской Литературы, Ленинград

Девятая строфа дает вариант первого двустишия:

Принес и скоро изнемог
(И лег на постланные) лыки [а]
потом: Принес и весь он изнемог

Затем заготовлена новая рифма—«лег»
Последняя строфа читалась первоначально:

А князь тем ядом напоил
Свои догадливые [б] стрелы
И смерть пернатую пустил
К соседу, в чуждые пределы [в].

В первом стихе Пушкин попробовал изменить слово «напоил» на «омочил», но затем и его заменил словом «упитал». Соответственно и в рифме третьего стиха была сделана замена:

И смерть пернатую послал.

Наконец в заключительном стихе вместо «к соседу» исправлено на более конкретное «к соседам».

Под текстом рисунок стрелы и точная дата «9 ноября 1828 Малиники»,— т. е. название тверского имения А. Н. Вульфа, где жил в это время Пушкин.

2

Выписка из восточной трагедии Кольриджа [4], связанной с пушкинским «Анчаром» только в этой теме, ведет к клубку ассоциаций с Востоком, несомненно лежавших в основе «Анчара». Этот восточный колорит стихотворения всегда интриговал исследователей (П. О. Морозова, Н. Ф. Сумцова, В. Я. Брюсова, Н. В. Измайлова, Н. В. Яковлева). Последние попытки раскрытия генезиса «Анчара» все еще были недостаточными; они говорят лишь «об источниках «Анчара», несомненно лежащих в западной литературе, но пока совершенно неясных» (Измайлов).

Комплекс материалов этого рода, легших в основу дошедшей до Пушкина легенды, многосложен и требует особого исследования.

В одной из хранящихся в Москве рукописей (тетрадь № 2371, л. 18_1) Пушкин записал: «Upas. Анчар». Упоминания ядовитого дерева «Упас» неоднократны у поэтов и уже указывались (напр. у Э. Дарвина, Байрона, Мильвуа). Обращаем здесь внимание, что Пушкин мог натолкнуться среди других известных ему источников на использование образа древа-яда в мелодраме известного английского драматурга Джорджа Кольмана.

Драма Кольмана носит заглавие «Закон Явы». Поводом к заинтересованности мелодрамой проще всего могло быть упоминание о ней и краткий ее пересказ в книге, широко популярной у нас в 20-х годах XIX в.,—«Путешествие в Англию и Шотландию» Амедея Пишо (1826). Пишо—переводчик Байрона, В. Скотта, Бульвера на французский язык—был одним из важнейших источников по ознакомлению французов и русских с английской литературой [5]. Его имя и его «Путешествие» постоянно упоминались и последнее частично переводилось в наших журналах.

В 1830 г. «Литературная Газета» между прочим также уже дала главу из книги Пишо об «озерных поэтах». Пушкин конечно знал книгу. В первом томе «Путешествия» (гл. XXXV—XXXVI) давалась характеристика английских драматургов Джорджа Кольмана-отца (1732—1794) и Дж. Кольмана-сына (1762—1836), а на стр. 377 издания 1826 г. было помещено следующее сообщение о нем: «Джордж Кольман перенес в этот театр (Hay-Market) последнюю мелодраму «Закон Явы». Тут нежный любовник, которого ревнивый тиран осудил отправиться собирать яд Упаса. Это поручение равносильно смертному приговору, но один старец нашел случай дать столь хорошие советы герою по имени Парбайя, что этот последний возвращается целым и невредимым. Любовник, который должен был быть пронзен

[а] В окончательном тексте: Принес и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки
[б] В окончательном тексте: Послушливые.
[в] В окончательном тексте: И с ними гибель разослал
К соседам в чуждые пределы.

ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ „АНЧАРА“

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

стрелами, спасается от этого трагического конца, благодаря закону, пред которым король Явы обязан преклониться, как делают конституционные короли»...

Несомненно сюжет мелодрамы Кольмана (шедшей с большим успехом впервые в Ковен-Гардене 11 мая 1822 года), несмотря на любовный эпизод, обычно осложняющий и другие изводы данной легенды и этим отличающийся от «Анчара», все же достаточно близок к нему.

Вулканическую почву Явы, взрастившую древо-яда, очевидно имел в виду Пушкин в одном из черновых вариантов («Под небом Африки моей»), разумея вообще «тропическое небо». Собрание сочинений Кольмана-сына вышло в Париже на английском языке в 1827 г.[7] Трехактный «Закон Явы» развертывается на фоне картин голландской колониальной экспансии. Герой Парбайя проник ночью в гарем короля Явы, чтобы увидеться со своей похищенной королем женой—Заидой. Парбайе грозит смерть. Однако сам король признает, что:

Есть правда шанс, один, ничтожный, на который
Претендовать преступники все могут...

В ответ Парбайя произносит стихотворный монолог, в котором легко усмотреть черты, близкие «Анчару»:

Да, я слышал
Про милосердие свирепое твое—сыскать
То древо Явы, что на много верст
Грозит погибелью и Упас порождает
И все растущее своим дыханьем губит.
Из чьих пределов даже хищный зверь
Пустыни частый гость—уходит прочь, трепещет...
Оттуда, если, чудом, человек приговоренный
Приносит яд, из дерева текущий,
Куда макаешь ты свои воинственные стрелы,
Он получает жизнь—и ослабелый раб
Избегший Упаса—Тирана избегает[8].

Быть может будут отысканы в клубке несомненных источников «Анчара» более конкретные, посредствующие нити, связующие его с той же легендой, но не подлежит сомнению, что стихотворный фрагмент Кольмана—одно из ближайших звеньев.

Бросается в глаза прежде всего общность социального фона с острой подчеркнутостью социальных противоречий (тиран и раб). Сохраняется Пушкиным и та же последовательность рассказа. Образ грозного Анчара с губительным дыханием и истекающим ядом сменяется сначала образом бегущих от Упаса животных, потом темой о приговоренном человеке и подробностью о воинственных стрелах, обмакиваемых в яд, совпадающей с одним из пушкинских вариантов:

А князь тем ядом напоил
Свои губительные стрелы.

Именно в финале обоих стихотворений образу возвращающегося ослабелого раба (несчастного — the palsied wretch), избегшего Упаса, противопоставляется образ тирана.

Интерес Пушкина к мелодраме мог натолкнуть его на восточную трагедию Кольмана, чьи пьесы и по нашим представлениям вместе с пьесами Кольриджа и Мильмана входили в «репертуар театра Английского, освобожденного от классических уз»[9].

Д. Якубович

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Пушкин и его современники», вып. XXXI—XXXII, стр. 3—14.

[2] Рисунок связан повидимому ассоциацией со стихами соседней строфы «и мчится прочь» и дальнейшими упоминаниями убегающих животных.

[3] «Пушкин в мировой литературе». ГИЗ, 1926, стр. 138.

[4] Налево от нее в рукописи план: Цыганка. Зима дорога. Москва. Генерал. Одесса. Возможно, что это план окончания «Евгения Онегина».

[5] Отметим кстати еще два упоминания Пушкиным Кольриджа: 1) запись в альбоме А. Н. Вульф, с датой «2 Oct 1835 Trigorsk» (воспроизведена во «Временнике Пушкинского дома», 1914, стр. 9), оказавшаяся по наблюдению И. А. Лихачева цитатой из Кольриджа; 2) обнаруженная нами на первом месте списка английских писателей запись Пушкина: «Christabel, poéme par Coleridge» (1826 г.?).

ПУШКИН

Портрет маслом неизвестного художника
Институт Русской Литературы, Ленинград

[6] Ср. Д. П. Якубович. «Роль Франции в знакомстве России с романами В. Скотта» («Язык и литература», т. V, 1930, стр. 147—150).

[7] «The British Classics, edited by J. W. Lake. The Dramatic Works of George Colman the younger, with an original life of the author», vol. IV.

[8] Вот оригинал этого впервые переведенного мною стихотворения:

That tree of Java, which, for many a mile,
Sheds pestilence;—for, where the Upas grows,
It blasts all vegetation, with its own;
And, from its desert confines, e'en those brutes
That haunt the desert most shrink off, and tremble.
Thence, if, by miracle, a man condemned
Bring you the poison that the tree exudes,
In which you dip your arrows for the war,
He gains a pardon,—and the palsied wretch
Who scaped the Upas, has escaped the tyrant.

[9] Ср. рецензию на «Théâtre anglais» в «Московском Телеграфе» 1829 г., ч. 25, № 1 янв., стр. 81.

II. АВТОГРАФ «ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?»

Стихотворение Пушкина «Что в имени тебе моем?..» еще при жизни поэта появилось в печати.

Впервые оно, под заглавием «В альбом» и без даты, было напечатано в «Литературной Газете» А. Дельвига (6 апреля 1830 г., № 20, стр. 158), затем было перепечатано в сборнике стихов «Венера» (М., 1831) и вошло в третью часть «Стихотворений Александра Пушкина» (СПБ., 1832), где помещено среди стихотворений 1829 г.

Автограф стихотворения однако не был известен, и позднейшие издания обычно воспроизводили его по авторскому изданию 1832 г.

В нем стихотворение было напечатано по писарской копии в тетради произведений Пушкина, приготовленных им к печати. С нее и набиралось издание 1832 г. Тетрадь принадлежала В. П. Гаевскому и в настоящее время находится в Институте Русской Литературы Академии Наук СССР (фонд № 244, № 158).

Весь текст стихотворения в тетради писан рукою писца. Только дата «1829» в конце стихотворения сделана карандашом рукою Пушкина. Впрочем и эта дата, и заглавие стихотворения—«В альбом»—вычеркнуты вероятно техническим редактором. Внизу скрепа цензора В. Н. Семенова[1].

Отсутствие авторского оригинала создавало ряд затруднений при выяснении вопроса, кому и когда оно было посвящено. Одновременно возникал вопрос и о тексте стихотворения, хотя нахождение его в тетради, представленной Пушкиным в цензуру, свидетельствовало об авторитетности текста.

Следуя датировке авторского издания 1832 г., все исследователи датировали стихотворение 1829 г.

Что касается того, кому было написано в альбом это стихотворение, установилась и прочно держалась традиция, что оно было посвящено А. А. Олениной.

Так предполагали П. А. Ефремов в своих первых изданиях (1880 и 1882 гг.), П. О. Морозов, П. М. Устимович[2] и некоторые другие.

Традиция, связывавшая стихотворение Пушкина с именем Олениной, держалась так прочно, что и в позднейших изданиях, в том числе и в издании под редакцией С. А. Венгерова, оно имеет подзаголовок «А. А. Олениной». Впрочем в указанном издании вслед за именем Олениной поставлен знак вопроса[3].

Эту традицию в датировке и посвящении нарушил П. А. Ефремов, который в издании сочинений Пушкина в 1903 г. (т. I, стр. 484) снабдил стихотворение подзаголовком «граф. Собанской» и пометил его—«1823 г., Одесса».

Графиня Собанская, имя которой впервые поместил Ефремов в подзаголовке стихотворения «Что в имени тебе моем?»—была Каролина (Розалия) Адамовна, рожд. гр. Ржевусская (ок. 1794—1885), сестра известного польского романиста Генриха Ржевусского и Эвелины Ржевусской-Ганской-Бальзак. Каролина Ржевусская, известная красавица, веселая и разносторонне образованная, провела бурную романтическую жизнь. После брака с гр. Иеронимом Собанским она сожительствовала с гр. И. О. Виттом, затем вышла замуж за его адъютанта капитана С. Х. Чирковича и уже в преклонном возрасте снова вышла замуж за французского поэта Жюля Лакруа (1809—1887), брата известного библиографа и писателя Поля Лакруа (Bibliophile Jakob).

СТИХОТВОРЕНИЕ ПУШКИНА „ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?“ ЗАПИСАННОЕ ИМ В АЛЬБОМЕ К. СОБАНСКОЙ

Всеукраинский Исторический Музей, Киев

ЗАПИСЬ В АЛЬБОМЕ К. СОБАНСКОЙ, СДЕЛАННАЯ ЕЮ НА ОБОРОТЕ ЛИСТА, СОДЕРЖАЩЕГО СТИХОТВОРЕНИЕ ПУШКИНА

Всеукраинский Исторический Музей, Киев

Основанием для подзаголовка послужило П. А. Ефремову упоминание М. А. Максимовича, что летом 1836 г. в Крыму он видел в альбоме Каролины Собанской «стихи, некогда ей написанные Пушкиным: «Что в имени тебе моем?»[4] Стихотворение Пушкина видел в альбоме Собанской и польский писатель Иосиф-Игнатий Крашевский (1812—1887).

В своем путевом дневнике под 17 августа 1843 г. Крашевский записал: «Oglądałem u pani Chirkovitz (sic!), z domu Hr. Rzewuskiej, zbior ciekawy autografów; całe listy Chateaubriand'a, Pitta, Wellingtona, Lavatera, Delphiny Gay, P. Staël, Puszkina, Mickiewicza, Felińskiego, pani Krüdner i t. d. Wiersz Puszkina umyślnie napisany»[5]. («Рассматривал у госпожи Хиркович (sic!), рожденной гр. Ржевусской, любопытное собрание автографов: целые письма Шатобриана, Питта, Веллингтона, Лафатера, Дельфины Гай, г-жи Сталь, Пушкина, Мицкевича, Фелинского, г-жи Крюднер и т. д. Стихотворение Пушкина специально написано».)

Дата «1823 г., Одесса» была поставлена П. Ефремовым произвольно, вероятно на основании предположения о возможных встречах и знакомстве Пушкина с Собанской во время их одновременного пребывания в Одессе в 1823 г.

Предположение П. Ефремова о посвящении стихотворения «Что в имени тебе моем?» Собанской было принято рядом позднейших исследователей, как Б. Л. Модзалевский[6], Н. О. Лернер[7], М. П. Алексеев[8]. Что касается даты «1823 г., Одесса», то она вызвала недоверчивое к себе отношение за отсутствием положительных данных, какие могли бы изменить датировку стихотворения в авторском издании 1832 г.

Б. Л. Модзалевский пытался согласовать обе датировки. Он склонен был отнести к 1829 г. окончательную датировку стихотворения, ранее, в Одессе, написанного в альбом Каролине Собанской.

Однако это предположение встретило возражения Н. О. Лернера, который писал: «...из всего, что известно об одесской жизни Пушкина 1823—1824 гг., никак нельзя заключить, что стихотворение было написано именно тогда; неизвестно даже, был ли Пушкин тогда лично знаком с Собанской, и ефремовскую датировку нельзя не признать произвольной»[9].

Опубликование Б. В. Томашевским в книге «Пушкин» (Лгр., 1925 г., стр. 114—117) подготовительного списка произведений, намеченных Пушкиным к помещению в издании 1832 г., дало новое подтверждение о посвящении стихотворения Собанской, а также данные о времени написания его.

В подготовительных списках стих. «Что в имени тебе моем?» обозначено Пушкиным «Соб—ой», при чем в беловой копии списка имеется и дата «1830 г.»

В обоих списках—черновом и беловом—стих. «Соб—ой» отмечено прямым крестиком—значком, которым, по мнению Б. Томашевского, Пушкин обозначал в списке свои уже напечатанные произведения. В беловом списке при стих. «Соб—ой» рядом с прямым находится и косой крестик. По мнению И. С. Зильберштейна косым крестиком Пушкин отметил стихотворения, «к коим должно было быть подыскано соответствующее название, т. е. которые в список занесены под условным заголовком».

В недавнее время мною был обнаружен автограф стихотворения «Что в имени тебе моем?», который решает ряд спорных вопросов пушкиноведения, а также дает новое в отношении расстановки знаков препинания и вариантов текста, правда незначительных.

Автограф Пушкина находится в альбоме в четвертую долю листа (24×32 см), переплетенном в темнозеленую кожу с тисненой рамкой и золотым обрезом. Альбом хранится в рукописном собрании Всеукраинского Исторического Музея в Киеве. На правых страницах альбома наклеены автографы (на 50 листах альбома находится 93 автографа), на левых даны к ним владельцем альбома краткие пояснения.

Здесь, среди автографов Шатобриана, Веллингтона, г-жи де Сталь, Мицкевича, Бенжамена Констана, баронессы Крюднер и других писателей и общественных деятелей (об автографах некоторых из них в альбоме Собанской и упоминал Крашевский) находится и рукопись А. С. Пушкина[10].

Автограф написан на листе плотной желтоватой бумаги без водяных знаков. Лист производит впечатление вырезанного из другого альбома и вклеенного в данный: на трех сторонах листа золотой обрез. Размер листа—19,5×23 см. Лист до наклейки в альбом был вертикально сложен пополам. В правом верхнем углу рукописи карандашная цифра «41»—номер автографа в альбоме.

На обороте листа, внизу, рукою Каролины Собанской сделана надпись в две строки: «Par Alexandre Pouchkine à qui je demandais d'ecrire son nom sur une page de mon livre de souvenir. 5 Janvier 1830 à Petersbourg».

На левой странице альбома написано: «Alexandre Pouchkine» и почерком К. Собанской: «à C. Sobanska née C-sse Rzewuska».

Стихотворение в рукописи имеет следующий вид:

«Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальной
Волны плеснувшей в берег дальной,
Как звук ночной в лесу глухом.
Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобной
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.
Что в нем? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний мирных, нежных.
Но... в день печали, в тишине
Произнеси его, тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце где живу я...

5 янв. 1830. С.Пб.».

Помимо расстановки знаков, иной, чем обычно в изданиях, следует отметить вариант «мирных» вместо «чистых» в 12-й строке стихотворения.

Новооткрытый автограф стихотворения А. Пушкина, помимо того, что увеличивает известное нам рукописное наследие поэта и устанавливает новую дату в его «трудах и днях», позволяет решить несколько спорных вопросов в истории пушкинского творчества.

В частности автограф этот дает возможность точно установить, что стихотворение «Что в имени тебе моем?» написано в Петербурге в альбом Каролины Собанской, что его чистовая редакция относится к 5 января 1830 г., что запись в альбом К. Собанской является не первоначальной, как предполагал Б. Л. Модзалевский, а окончательной редакцией стихотворения.

Дата «1829 г.», поставленная Пушкиным в издании 1832 г., или датирует его черновую рукопись или, вернее, поставлена им не вполне точно, по памяти, связывавшей воспоминание о стихотворении в альбом Собанской со «святками» 1829/30 г., когда оно и было написано.

В. Базилевич

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Любезное сообщение Л. Б. Модзалевского.

2 Устимович, П. М., А. А. Андро, рожденная Оленина.—«Русская Старина» 1890, август, стр. 393.

3 Сочинения А. Пушкина под ред. С. А. Венгерова, т. III, СПБ., 1909, стр. 58.

4 Максимович, М. А., Письма о Киеве и воспоминание о Тавриде. СПБ., 1871, стр. 140.

5 «Wspomnienia Odessy, Jedyssanu i Budzaku. Dziennik przejazdki w roku 1843 od 22 czerwca do 11 wrzesnia, J. I. Kraszewskiego, Tom III, Wilno, 1846, стр. 229—230.

6 «Архив Раевских», т. II. СПБ., 1909, стр. 311—314. См. также издание под ред. Б. Л. Модзалевского «Пушкин. Письма», т. I, М.-Л., 1926, стр. 55—56 и 280—281 и т. II, М.-Л., 1928, стр. 226 и 503.

7 Заметка Лернера в связи со стихотворением «Что в имени тебе моем?» в изд. «Русского Библиофила»—«А. С. Пушкин», 1911, стр. 60—62 или в «Русском Библиофиле» 1911, № 5.

8 «Пушкин. Статьи и материалы» под ред. М. П. Алексеева, вып. III, Одесса, 1927, стр. 84—86. См. также рецензию М. П. Алексеева на издание «Пушкин. Письма» под ред. Л. Б. Модзалевского в «Известиях по русскому языку и словесности», изд. Академии Наук СССР, 1928, I, вып. I, Лнгр., 1928, стр. 321—322.

9 Лернер, Н. О., Заметки о Пушкине:—I. «Что в имени тебе моем?» (о дате и посвящении пьесы).—«Русский Библиофил» 1911, № 5, стр. 61.

10 Автографы иностранных писателей будут темой специальной статьи, подготовляемой мною для «Литературного Наследства».

III. НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЛАН СТАТЬИ ПУШКИНА О ФЕОДАЛИЗМЕ

Феод[альное] правл[ение].

Его основание.

Les grands Fiefs.
Les petit[s] fiefs.
Les vassaux.
Le peuple.
Le clergé [а]

Elisoient un chef.
Le domaine avoit part
commune au butin [б].

Сношения

Короля с Владельц[ами],
Влад[ельцев] между собою[,]
Влад[ельцев] с Васс[алами],
Вассалов между собою..
Assemblée de la Nation.
Guerre et redevance au Roi.
Redevance de[s] vassaux.
Justice, coutumes, loix, privileges.
Independance, protection [г].

Droits des Seigneurs[,] [в]
изб[ирали] королей,
судили, разпри,
battoient monnay[,]
fesoi(en)t la guerre
entre eux, pretoi[en]t
hommage aux Rois[,]
les servitut des jours
marqués [д].

Упадок феодализма. Croisades.
St. Louis.
Papes, Phil[ppe]—le bel, Etats-ge[neraux].
Parlements [е]

Публикуемый впервые план статьи о феодализме, извлеченный из бумаг П. И. Бартенева, имеет ближайшее отношение к отрывкам, напечатанным в «Материалах» П. В. Анненкова (СПБ., 1855 г., стр. 267—269), в книге И. А. Шляпкина «Из неизданных бумаг А. С. Пушкина» (СПБ., 1903 г., стр. 56—58), в академическом издании сочинений Пушкина (т. IX, ч. I, стр. 71—73; ч. II, стр. 180—181) и в издании ГИЗ («Красной Нивы», т. V, кн. II, стр. 420—422).

Статья о феодализме должна была быть частью задуманной, но неосуществленной Пушкиным работы о французской революции, о чем он писал в июне 1831 г. Е. М. Хитрово: «Я предпринял исследование о Французской революции и умоляю вас прислать мне Тьера и Минье, если возможно. Оба эти труда запрещены. У меня здесь имеются лишь «Мемуары, относящиеся к революци ». («Письма Пушкина к Е. М. Хитрово», Л., 1927 г., стр. 24, 117. Ср. Б. Модзалевский. «Библиотека А. С. Пушкина». СПБ., 1910 г., стр. 289, 349, 201).

Подобно F. A. Mignet, Пушкин хотел выяснить ход исторических событий, приведших к Французской революции, и начал свой обзор с феодализма. Он намеревался нарисовать картину, где было бы наглядно показано, как из одних исторических фактов вытекали другие—и дали в конечном результате революцию.

Набрасывая свой план, Пушкин повидимому руководствовался известной книжкой Минье «De la féodalité, des institutions de Saint-Louis et de la législation de ce prince» (1822) и другим трудом того же автора под заглавием: «Histoire de la Révolution Française» (1828).

Пользовался Пушкин и одноименным сочинением Тьера, а также «Histoire de la civilisation en France» (1830—1832) Гизо и «Considérations sur les principaux événements de la Révolution Française» г-жи Сталь.

Пушкин хорошо ознакомился не только с историческими фактами, тщательно изучив феодализм, по доступным ему современным работам и источникам, но и с юри-

---

[а] Большие лены. Малые лены. Вассалы. Народ. Духовенство.

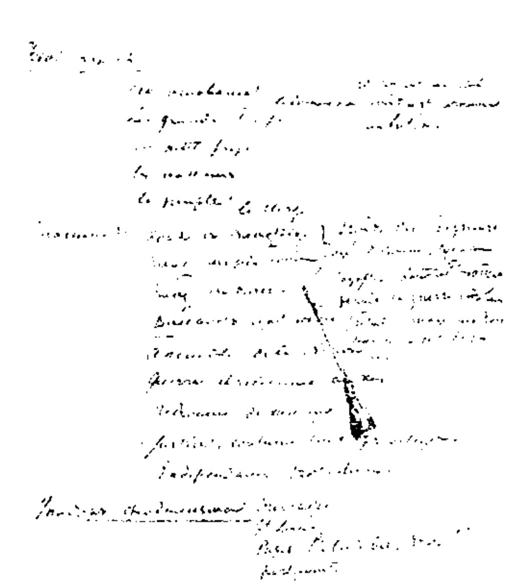
[б] Избирали предводителя. Все владение [удел] имело общую долю в добыче.

[в] Права владельцев.

[г] Национальное собрание. Война и обязательства в отношении короля. Обязательства вассалов. Правосудие, обычаи, законы, привилегии. Независимость, покровительство.

[д] Чеканили монету, вели войну друг с другом, признавали себя вассалами королей, обязанность нести службу по определенным дням.

[е] Крестовые походы. Людовик Святой. Папы, Филипп Красивый. Генеральные штаты. Парламенты.



ПЛАН СТАТЬИ ПУШКИНА О ФЕОДАЛИЗМЕ
Институт Русской Литературы, Ленинград

РИСУНКИ ПУШКИНА НА ОБОРОТЕ ПЛАНА СТАТЬИ
О ФЕОДАЛИЗМЕ

Институт Русской Литературы, Ленинград

дической терминологией, необходимой для обозначения известных явлений средневековья (например «prêter hommage au roi» и т. п.).

Обращение Пушкина к Минье и Тьеру заслуживает внимания потому, что именно эти ученые, по верному замечанию Энгельса, «постоянно указывали на борьбу классов как на ключ к пониманию французской истории, начиная с средних веков» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. М.-Л., 1931 г., т. XIV, стр. 669).

Н. Козмин

IV. ЗАПИСЬ ПУШКИНА О 18 БРЮМЕРА

Mr Paëz, alors secretaire d'Embassade à Paris, m'a confirmé ce récit de Bourienne. Ayant apris quelque jours avant qu'il se préparoit quelque chose de grave, il vint à St. Cloud et se rendit à la salle des Cinq-Cents. Il vit Napoléon lever la main pour demander la parole, il entendit ses paroles sans suite, il vit d'Estrem et Biot le saisir au collet, le secouer. Bonaparte étoit pale (de colère, remarque Mr Paëz). Quand il fut dehors et qu'il harangua les grenadiers, il trouva ceux ci froids et peu disposés a lui prêter main-forte. Ce fut sur l'avis de Talleyrand et de Siyès, qui se trouvoient pres, qu'un officier vint parler à l'oreille de Lucien, président. Celui ci s'écriat: vous voulez que je prononce la mise en accusation de mon frère etc.... il n'en étoit rien, au milieu du tumulte les Cinq-cents demandoient le Général à la barre, pour qu'il y fit ses excuses à l'assemblée. On ne connaissoit pas encore ses projets, mais on avoit senti d'instinct, l'illégalité de sa démarche.

10 aout 1832 c'est hier que l'Embassadeur d'Espagne me donnat ces details à diner chez le C-te J. Pouchkine.

Перевод:

Господин Паэс, в то время секретарь посольства в Париже, подтвердил мне следующий рассказ Бурьена. Узнав за несколько дней, что готовилось что-то серьезное, он прибыл в Сен-Клу и отправился в залу пятисот. Он видел, как Наполеон поднял руку, требуя слова, он слышал его бессвязные слова, он видел, как Дестрем и Био схватили его за шиворот и трясли его. Бонапарт был бледен (от гнева, отмечает Паэс). Когда он вышел и обратился с речью к гренадерам, он нашел их хладнокровными и малорасположенными оказать ему поддержку. По совету Талейрана и Сийеса, которые находились вблизи, некий офицер подошел и сказал что-то на ухо председателю Люсьену. Последний воскликнул: «Вы хотите, чтобы я привлек к суду моего брата» и т. д. Не тут-то было, среди общего шума члены пятисот требовали генерала к решетке для принесения извинений собранию. Еще не знали о его намерениях, но инстинктивно почувствовали незаконность его выступления.

10 августа 1832. Вчера испанский посланник сообщил мне эти подробности во время обеда у гр. И. Пушкина.

Неопубликованный автограф Пушкина, снимок с которого здесь воспроизводится, неизвестно где теперь находится. До революции он хранился в Виленском военном собрании, куда в 1903 г. был передан недавно скончавшимся собирателем автографов, автором мемуаров Александром Владимировичем Жиркевичем. Последний получил автограф от археолога, Николая Казимировича Богушевского. Как попал автограф к Богушевскому—неизвестно, но жандармская цифра свидетельствует о том, что лист с записью Пушкина находился в день смерти поэта в его кабинете и был занумерован при разборе бумаг Дубельтом. Автограф принадлежал к числу тех, которые были Жуковским оставлены у себя.

Фотографический снимок с автографа был Жиркевичем прислан в 1904 г. в комиссию по изданию сочинений Пушкина при Академии Наук и оставался там до сих пор неизданным. По этому снимку и публикуется запись Пушкина.

Записанный Пушкиным рассказ весьма сходен с теми записями исторических событий и анекдотов, которые Пушкин в последние годы своей жизни собирался издать отдельной книгой под названием «Table-talk». Это сходство особенно подчеркивается заключительной пометой, какие имеются на листах с записями «Table-talk». Принадлежность к этим записям рассказа Паэса подкрепляется и номером жандармской нумерации, говорящей о том, что автограф этот лежал у Пушкина вместе с листками «Table-talk».

Обед, упоминаемый в помете под записью, происходил у графа Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина, человека самого по себе мало известного, сына известного соби-

[illegible]

ЗАПИСЬ ПУШКИНА О 18 БРЮМЕРА

Местонахождение оригинала в настоящее время неизвестно
Фотокопия в Институте Русской Литературы, Ленинград

ПОМЕТКИ ПУШКИНА В „ОПЫТАХ" БАТЮШКОВА

Сообщение В. Комаровича

Заметки Пушкина на полях книги стихов Батюшкова[1] сообщил в свое время академик Л. Н. Майков[2]. Критический отзыв Пушкина о ком бы то ни было из его предшественников, а тем более о Батюшкове, ближайшем к нему из них всех, весьма конечно интересен. И тем не менее заметки эти до сих пор не обратили на себя заслуженного внимания. Правда, их упоминали и цитировали почти всякий раз, как только речь заходила о Батюшкове и Пушкине[3]. Но обычно и ограничивались упоминанием или, в лучшем случае, цитатой, не подвергая пересмотру вопроса о самых маргиналиях. В сообщении же Майкова не все до конца ясно.

Оно средактировано в виде статьи с вкрапленным в нее тут и там текстом заметок Пушкина; нарушена таким образом та последовательность, в какой заметками Пушкина заполнены были страницы книги; это не представляло бы большого упущения, если б быть уверенным, что все заметки сделаны Пушкиным более или менее одновременно; однако уверенности этой нет. «Весьма вероятно,—говорит сам акад. Майков,—что заметки писались не в один прием: по крайней мере одни из них, и притом бóльшая часть, написаны карандашом, другие—пером»[4]. Но какие именно написаны карандашом, а какие пером, Майков уже не указывает, да и вообще при датировании заметок с этой своей оговоркой (о возможной их разновременности) не считается вовсе. Есть и другие неточности в сообщении Майкова (о чем скажу ниже), но и этих уж достаточно, чтоб пожалеть о пропаже самого экземпляра «Опытов» с подлинными заметками Пушкина: неточное сообщение исследователя оказалось первоисточником одного из ценнейших критических высказываний поэта. Понятны отсюда поиски пропавшего экземпляра «Опытов»[5],—поиски, увенчавшиеся теперь некоторым успехом.

В библиотечном фонде акад. Л. Н. Майкова, ныне принадлежащем библиотеке Академии Наук СССР, нашелся (под шифром $^{71}/_{м}$) экземпляр 2-й части «Опытов» Батюшкова[6], по отдельным страницам которого тщательно разнесены, почерком акад. Майкова, карандашом и чернилами знакомые нам заметки. Майков, как выясняется, статьей не ограничился, но скопировал в свой экземпляр «Опытов» пушкинские заметки в их подлинном размещении, последовательности и написании.

Нам и предстоит оценить историко-литературное значение этой находки, сличив имеющуюся тут редакцию пушкинских маргиналий с тем, что мы до сих пор о них знали из названной выше статьи. Но сперва—несколько слов о внешних признаках подлежащего рассмотрению unicum'a.

Уже оглавление, с которого начинается 2-я часть «Опытов» 1817 г., имеет тут, почти перед каждым заглавием, особую помету карандашом: черточку или нолик; без всякого знака оставлено (может быть по недосмотру) только заглавие «Переход через Рейн, 1814»; из остальных же отмечены ноликами: «Дружество», «Веселый час», «Судьба Одиссея», «На смерть супруги К—на», «К П—ну», «Хор для выпуска благородных девиц Смольного монастыря» и «Сон воинов», т. е. все те пьесы, которые не имеют заметок Пушкина; заглавия остальных отмечены сбоку черточками. Со страницы 5 начинаются собственно пушкинские заметки; заканчиваются же они на странице 256. Последний лист, вклеенный в книгу переплетчиком, содержит следующую запись карандашом, всё тем же, что и предшествующие заметки, почерком Л. Н. Майкова:

«Есть наслаждение и в сумраке лесов
«Для сердца моего дороже
«И как мо[лчать]

Слова: «сумраке» и «моего» подчеркнуты.

Это—варианты 1-го и 6-го стихов, а затем начало 12-го стиха не вошедшей в «Опыты» пьесы Батюшкова: «Есть наслаждение и в дикости лесов». На внутренней стороне нижней доски переплета (зеленого цвета), в левом верхнем углу, тем же почерком (Майкова), карандашом—шифр:

10
2х Т I 44
———
Р

Видимо это—библиотечный шифр утраченного пушкинского экземпляра книги.

Что касается самых заметок, то первое, что должно в них обратить на себя внимание, это подразделение их на записанные карандашом и записанные чернилами. В согласии с тем, что отметил Майков в статье, большинство заметок вписано карандашом, чернилами же только следующие[7]: на стр. 229, к басне «Странствователь и домосед» (под последним ее стихом): «Конец прекрасен. Но плана никакого нет, цели не видно—всё вообще холодно, растянуто, ничего не доказывает и пр.» (Майков, 299); на стр. 239, к строфе 14-й в пьесе «Переход через Рейн»: «прелесть» (Майков, 315); на стр. 241, под последним стихом той же пьесы: «Лучшее стихотворение поэта—сильнейшее, и более всех обдуманное» (Майков, 315); на стр. 248—сноска с крестиком к 67-му стиху («Ни под защитою Альфонсова дворца») пьесы «Умирающий Тасс»: «добродушие историческое, но вовсе не поэтическое» (Майков, 313); и наконец под последним стихотворением книги («Беседка Муз»), на стр. 256: «прелесть!» (Майков, 307). Все остальные заметки, т. е. огромное их большинство, сделаны карандашом... Приведенные пять заметок чернилами, начинаясь только со стр. 229 и заканчиваясь на последней, 256-й, даже и в этих пределах книги (стр. 229—256) единственными не являются; они прихотливо чередуются тут с заметками карандашом (на страницах: 237, 243 и 253). Само собой отпадает следовательно предположение о единовременности тех и других, предположение, что, начав чтение «Опытов» с карандашом в руке и дойдя до стр. 229, Пушкин почему-либо сменил карандаш на перо; допущение же, что одну заметку

Пушкин делал карандашом, а другую, на смежной странице, тут же, сейчас—чернилами, чтоб снова затем перо сменить на карандаш, просто невероятно. Следовательно приходим к заключению о разновременности перечисленных выше пяти заметок чернилами—с одной стороны, и всех остальных (карандашом)—с другой.

Которая же группа заметок старше?

К. Н. БАТЮШКОВ

Портрет маслом О. Кипренского

Местонахождение оригинала в настоящее время неизвестно

В одной из заметок карандашом имеется ссылка на одну из заметок чернилами, а именно на стр. 243, над заглавием «Умирающий Тасс», читаем[8]: «Эта элегия конечно ниже своей славы—Я не видал элегии[9], давшей Б[атюшко]ву повод к своему стихотворению, но сравните Сетования Тасса поэта Байрона с сим[10] тощим произведением. Тасс дышал любовью и всеми страстями, а здесь, кроме славолюбия и добродушия (см. замеч. [11]), ничего не видно. Это умирающий В[асилий] Л[ьвович]—а не Торквато». Ссылка в скобках: «см. замеч.»,

т. е. «замеч[ание]», а не «замечания», как прочитал Майков, предусматривает, без сомнения, всего только одну заметку на стр. 248 к 67-му стиху той же элегии: «добродушие историческое, но вовсе не поэтическое», т. е. одну из приведенных нами выше пяти заметок чернилами. Следовательно заметка чернилами на стр. 248 была уже на своем месте, когда карандашом, на стр. 243, записывался отзыв об элегии в целом. Отсюда с очевидностью вытекает хронологическое первенство заметок чернилами.

Но когда же именно сделаны были Пушкиным заметки той и другой группы?

Майков, не различая хронологически заметок чернилами от заметок карандашом, обе группы датировал вместе: «не ранее второй половины 1826 года и, может быть, не позже 1828 года»[12]. К этому Майкова побуждало вписанное в книгу Пушкиным («на белом листе, находящемся перед заднею доскою переплета») упомянутое стихотворение Батюшкова: «Есть наслаждение и в дикости лесов». Написанное в 1819 г., т. е. после уже выхода в свет «Опытов», стихотворение это появилось в печати только в 1828 г.; «впрочем, еще года за два пред тем,—говорит Майков,—оно стало известно друзьям больного поэта. Вяземский вписал его как свежую новость в свою записную книжку в июле 1826 года (соч., т. IX, 86). Что же касается Пушкина, он мог узнать эту пиесу лишь несколько позже, т. е. уже по своем приезде в Москву из деревенской ссылки, следовательно не ранее сентября того же года»[13]. Все это, как сейчас увидим, не верно: не верна, прежде всего, датировка заметок по времени записи указанного стихотворения: вписать его в свой экземпляр «Опытов» Пушкин мог и не одновременно с заметками, раз уж выяснено, что и эти последние записывались им в два разных периода. Стихотворение «Есть наслаждение и в дикости лесов» в свой экземпляр «Опытов» Пушкин вписал чернилами[14]. Следовательно дата этой записи, если б и могла говорить что-нибудь о самых заметках, говорила бы, в лучшем случае, лишь о немногочисленных заметках чернилами.

Но посмотрим, действительно ли только так поздно, в 1826—1828 г., мог вписать к себе в книгу это стихотворение Пушкин.

Текст названной пьесы Батюшкова имеет свою историю, не вполне еще изученную. В печати стихотворение появилось впервые в «Северных Цветах на 1828 год», но без последних шести стихов[15]; в «Записную книжку» Вяземского в 1826 году эти заключительные 6 стихов, правда, вписаны, но всё же и тут есть варианты, отличающие данную редакцию пьесы от общепринятой (согласно изданию 1887 года): 6-й стих: «Для сердца ты всего дороже», у Вяземского читается: «Ты сердцу моему дороже»; 8-й стих[16], как отмечает сам Вяземский, воспроизведен им лишь с приблизительной точностью[17]; а стих 13-й («Шуми же, ты, шуми угрюмый океан!») читается, как и в позднейшей передаче Лонгинова, с эпитетом «огромный» (вм. «угрюмый»). В виду такой неустойчивости текста важно было бы знать, как выглядело стихотворение в записи Пушкина; но Майков в своей статье не обмолвился об этом ни словом. Копируя же пушкинские заметки в свой экземпляр «Опытов», это стихотворение он полностью не вписал. И тем не менее даже те два стиха из него (1-й и 6-й), которыми ограничивается майковская копия пушкинской записи, убедительно свидетель-

ствуют о полной независимости этой записи как от издания 1828 г. (в «Северных Цветах»), так и от припоминаний Вяземского, сохранившихся в его «Записной книжке» 1826 г. Дело в том, что скопированные Майковым два стиха отличаются от всех известных нам редакций стихотворения—и от издания 1828 г., и от записи Вяземского (потому-то они конечно и были Майковым скопированы); 1-й стих, везде читающийся: «Есть наслаждение и в дикости лесов», в переданной Майковым записи Пушкина представляет разительное отличие: «Есть наслаждение и в сумраке лесов»; тоже и 6-й стих, вместо общепринятого чтения: «Для сердца ты всего дороже» и вместо чтения, переданного Вяземским: «Ты сердцу моему дороже», в записи Пушкина (согласно копии Майкова) читался: «Для сердца моего дороже». Отсюда с несомненностью вытекает, что пушкинская запись этой пьесы Батюшкова ничем не обязана ни «Записной книжке» Вяземского, ни «Северным Цветам» 1828 г.[18] Источник для записи был иной и, без сомнения, более ранний: иначе как ранним происхождением записи вариант 1-го стиха («Есть наслаждение и в сумраке лесов») объяснить нельзя; видеть в нем ошибку или измышление переписчика невозможно: Пушкину рукописные стихи Батюшкова всегда доступны были не из десятых, а из вторых рук—от ближайших друзей поэта (от Жуковского, Тургенева, Гнедича); приходится таким образом указанный вариант считать первоначальным авторским вариантом. Но когда же мог он быть изменен на редакцию окончательную? Элегия написана в Неаполе в 1819 г.[19] А в 1820 и в 1821 гг. Батюшков усиленно еще работал над исправлением всего ранее им написанного, подготовляя новое издание своих стихов[20]. В этот-то период только и могла подвергнуться исправлению элегия 1819 г., так как в том же (1821) году литературная деятельность Батюшкова, как известно, прерывается навсегда[21]. Отсюда следует, что запись элегии Батюшкова, с первоначальным вариантом в первом стихе, могла быть сделана Пушкиным только раньше 1821 г., точнее же—в 1819—1820 гг., при первом его с нею знакомстве. А знакомство с ней Пушкина как раз ведь и дает о себе знать уже в 1820 г., в написанной тогда собственной его элегии «Погасло дневное светило», как указал еще П. О. Морозов; отмечая сходство этой элегии Пушкина с элегией Батюшкова[22] и справедливо отказываясь объяснять его общностью источника (IV песни «Чайльд-Гарольда»), Морозов допускал у Пушкина «бессознательное воспоминанье из Батюшкова», элегический отрывок которого «хотя и появился в печати только в «Северных Цветах» 1828 г., но написан был в 1819 г. и мог быть известен Пушкину по рукописи»[23]. С этим допущением и согласуется как нельзя лучше рассматриваемая запись в «Опытах»,—обнаруженный нами в ней ранний вариант в 1-м стихе. Элегия Батюшкова могла быть скопирована Пушкиным с рукописи, полученной от Батюшкова вскоре после написания элегии кем-нибудь из друзей, например Александром Тургеневым: с А. Тургеневым в 1819—1820 гг. близок был Пушкин, а Батюшков из Италии писал ему тогда чаще, чем кому бы то ни было[24]; в одном из несохранившихся писем Батюшкова к Тургеневу[25] и могла быть впервые оглашена элегия «Есть наслаждение», тогда же, в 1819—1820 гг., списанная отсюда Пушкиным в свой экземпляр «Опытов» и вскоре затем отозвавшаяся в его собственной элегии «Погасло дневное светило»[26].

Такой вывод, помимо самостоятельного интереса, устанавливает известную давность самой принадлежности Пушкину того экземпляра «Опытов», на котором сделаны им были заметки, и таким образом подводит нас к решенью хронологического вопроса и относительно этих последних.

Пять заметок чернилами необходимо признать еще более ранними, чем только что рассмотренная запись стихотворенья. Чтоб убедиться в этом, посмотрим, что общего у тех четырех пьес, которые почему-то выделены были из всей книги и снабжены этими заметками старшей группы. Одно объединяет их в книге Батюшкова 1817 г., и притом— если только взглянуть на нее глазами современного изданию читателя: новизна.

В самом деле: «Странствователь и домосед», пьеса, с которой начинаются заметки чернилами, хоть и напечатана уже была в 1815 г. (в «Амфионе»), но в редакции, существенно отличавшейся своей краткостью от той, которая налицо в «Опытах»[27]; переработку же пьесы, предпринятую специально для издания 1817 г., высоко ценил сам Батюшков, сам он обращал на нее особое внимание друзей перед выходом книги в свет[28].

Следующая из пьес, отмеченных заметками старшей группы (чернилами),—«Переход через Рейн»—хоть и появилась незадолго до выхода книги Батюшкова в «Русском Вестнике» С. Глинки, но, написанная всё в том же 1817 г., не утратила конечно своей новизны и при выходе в свет «Опытов»; сам Батюшков в письмах к друзьям в 1817 г. не раз упоминает и её как достойную особого вниманья новинку: «Понравился ли мой Тасс... А Рейн?», спрашивал он Жуковского перед выходом из печати книги[29]; как новинку отмечали тогда эту пьесу и друзья Батюшкова, например И. И. Дмитриев в переписке с А. Тургеневым[30].

Третья из отмеченных в этот же раз Пушкиным пьес—«Умирающий Тасс»—в «Опытах» напечатана была впервые как последнее и самое зрелое произведение поэта; и опять сам Батюшков настойчиво предписывал такой на нее взгляд друзьям—Гнедичу, Вяземскому, Жуковскому[31].

Наконец последняя из четырех пьес, вызвавших заметки чернилами,— «Беседка Муз»—хоть и появилась в «Сыне Отечества» в июне 1817 г., но именно как извлечение из печатавщейся в то время 2-й части «Опытов»; написана же была всё в том же 1817 г.[32], т. е. тоже была в книге бесспорной новинкой.

Во 2-й части «Опытов» кроме указанных четырех пьес можно, правда, и еще насчитать двадцать с лишним пьес, тоже впервые только в этой книге появившихся в печати. Но почти все они существенно отличаются от четырех, выделенных вниманием Пушкина, в том отношении, что написаны были по большей части значительно раньше 1817 г. и следовательно друзьям поэта, в их числе—Пушкину, задолго до выхода «Опытов» известны уже были по рукописям; таковы «Выздоровление», «Таврида», «Разлука», «Надежда» и многие другие[33].

Итак все пять заметок чернилами относятся как раз к тем немногим пьесам издания 1817 г., которых не мог не выделить особым вниманием при первом же чтении книги такой внимательный читатель Батюшкова, как Пушкин.

Autographe de Pouchkin ...

Подражаніе древнимъ

I.

Чистый лоснится полъ; стеклянныя чаши блистаютъ;
Всѣ ужъ увѣнчаны гости; иной обоняетъ, зажмурясь,
Ладана сладостный дымъ; другой открываетъ амфору,
Запахъ веселый вина разливая далече; сосуды
Свѣтлой, студеной воды, золотистые хлѣбы, янтарный
Медъ и сыръ молодой: все готово; весь убранъ цвѣтами
Жертвенникъ. Хоры поютъ. Но въ началѣ трапезы, о други,
Должно творить возліянья, вѣщать благовѣщія рѣчи.
Должно бессмертныхъ молить, да сподобятъ насъ чистой душою
Правду блюсти: вѣдь оно жъ и легче. Теперь мы приступимъ:
Каждый въ мѣру свою напивайся. Бѣда не велика
Въ ночь, возвращаясь домой, на раба опираться; но слава
Гостю, который за чашей бесѣдуетъ мудро и тихо!

(Изъ Ксенофана Колофонскаго)

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ПУШКИНА „ПОДРАЖАНИЯ ДРЕВНИМ". ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА
Местонахождение оригинала в настоящее время неизвестно
Фотокопия в собрании П. Е. Щеголева, Ленинград

2

Славная флейта, Феонъ здѣсь лежитъ. Предводи-
тель хоровъ
Старецъ обильный годами, слѣпецъ Скирпалъ
родилъ
И вдохновенный, нарекъ младенца Феономъ.
За чаши
Сладостно Вакха пѣлъ и славилъ хра-
тивый Феонъ.
Славилъ и Ватала онъ, молодаго красавца:
прохожій!
Мимо гробницы идя, вымолви:
здравствуй, Феонъ.
(изъ Афенея)

1832

А. Пушкинъ

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ПУШКИНА „ПОДРАЖАНИЯ ДРЕВНИМ". ОБОРОТ

Местонахождение оригинала в настоящее время неизвестно

Фотокопия в собрании П. Е. Щеголева, Ленинград

Вторая часть «Опытов» вышла из печати в октябре 1817 г.[34] Незадолго перед тем Пушкин виделся с Батюшковым, с ним и еще с двумя «арзамасцами», с Жуковским и с Плещеевым, провел вместе день в Царском Селе (4 сентября)[35]; он не мог не узнать тогда же, подобно Жуковскому и другим друзьям Батюшкова, от него самого, что́ именно в новой книге особенно интересовало самого автора; как раз эти четыре пьесы, особенно интересовавшие в тот момент Батюшкова: «Странствователь и домосед», «Переход через Рейн», «Умирающий Тасс» и «Беседку Муз», Пушкин тотчас же и отметил, лишь только взял в руки новую книгу.

Итак пять заметок чернилами датируем концом 1817 г. Есть этому подтверждение в самом содержании заметок.

Назвать «Переход через Рейн» «лучшим», «сильнейшим» стихотворением в книге Пушкин мог только сгоряча, только под первым от него впечатлением; что он сам позже далеко не разделял этого преувеличенного отзыва—наглядно доказывают позднейшие заметки к «Тавриде» и «Пенатам» (о них скажу ниже). Но, с другой стороны, увлеченье Пушкина этой пьесой, как раз вскоре после появления «Опытов», засвидетельствовано реминисценциями из нее в «Кавказском пленнике»; как уже отметила Н. М. Элиаш[36], то место поэмы, где

Склонясь на копья, казаки
Глядят на темный бег реки

и вспоминают

...прежни битвы,
На смертном поле свой бивак,
Полков хвалебные молитвы
И родину,

прямо восходит к той самой 14-й строфе «Перехода через Рейн» Батюшкова[37], которая как раз и наделена заметкой Пушкина,—одною из пяти заметок чернилами: «прелесть». Не ясно ли, что заметка эта хронологически должна была предшествовать «Кавказскому пленнику» как первое выраженье того впечатленья, которое в «Кавказском пленнике» отозвалось уж воспоминанием, реминисценцией?[38]

Так же точно и другая сходная заметка (чернилами)—«прелесть», к стихотворенью «Беседка Муз»—тоже могла лишь предшествовать той поэтической реминисценции названного стихотворения (в VI гл. «Евгения Онегина»), которую указал Майков[39]. Для того чтобы идиллическое убежище «любимца муз» Батюшкова,

...в сени густой
Своих черемух и акаций,

превратилось, под пером Пушкина, в полукомический аксессуар деревенской берлоги остепенившегося буяна Зарецкого[40], много должно было пройти времени после того, как впервые над этими самыми стихами Батюшкова вырвалось у Пушкина восторженное восклицанье «прелесть»[41].

Чтобы датировать заметки второй группы (сделанные карандашом), прежде всего обратим вниманье на те из них, где даны высшие оценки цельным стихотворениям. Таковы: одна из заметок к «Моим пенатам»[42] и заметка к «Тавриде»: «По чувству, по гармонии, по искусству стихо-

сложения, по роскоши и небрежности воображения—лучшая элегия Батюшкова»[43]. Последний отзыв явно не укладывается в ту же эпоху, что и пять заметок чернилами, в одной из которых, как мы знаем, «лучшим» и «сильнейшим» названо было совсем другое стихотворенье («Переход через Рейн»). Один отзыв исключается следовательно другим. Зато поразительно совпадают две эти высших оценки во второй группе заметок с одним позднейшим отзывом Пушкина о Батюшкове вообще; в журнальной статье 1830/31 г. («Боратынский») Пушкин просто назвал его «певцом Пенатов и Тавриды»[44], т. е. признал в его литературном наследстве за лучшее точь в точь то же, что указано как «лучшее» в заметках второй группы (карандашом) на полях «Опытов». Уже одно это совпадение сильно отодвигает вторую группу заметок от первой. Но чтобы датировать заметки карандашом с большей точностью, обратимся еще раз к той из них, где дан отзыв об «Умирающем Тассе». Там о Тассо в изображении Батюшкова читаем: «это умирающий В[асилий] Л[ьвович],—а не Торквато». Сравнение это оценено было Майковым как ничего не значащая шутка[45]. Но оно приобретает некоторое значение, если взглянуть на него как на хронологический термин.

Психологически едва ли допустимо, чтоб Пушкин стал сравнивать героя Батюшкова с «умирающим Василием Львовичем» до того, как последний действительно умер; откуда бы взялась у такого сравнения присущая всем сравнениям Пушкина меткость? Знать заранее, как будет умирать дядя Василий Львович, Пушкин не мог, как бы хорошо ни разбирался в его характере. Напротив, в действительных обстоятельствах смерти Василия Львовича есть черты, сразу же делающие сравнение и понятным, и метким.

Комическое «славолюбие», отмечаемое в сравнении, действительно дало о себе знать в предсмертных словах старого «арзамасца», и при этом не без прямого содействия со стороны племянника. Последние слова Василия Львовича: «Как скучен Катенин»[46] приобрели в кругу его литературных друзей особую известность благодаря той анекдотической заостренности, которую постарался им придать сам же Пушкин.

«Услышав эти слова от умирающего Василия Львовича,—рассказывает Бартенев,—Пушкин направился на цыпочках к двери и шепнул собравшимся родным и друзьям его: «Господа, выйдемте; пусть это будут последние слова его»[47]. То же передает и Вяземский: «Пушкин говорит, что он при этих словах и вышел из комнаты, чтобы дать дяде умереть исторически»[48]. О том же писал Плетневу сам Пушкин, прибавляя в полушутливом тоне: «Каково? вот что значит умереть честным воином на щите, le cri de guerre à la bouche»[49]; а год спустя в том же тоне сообщал Вяземскому о поминках «арзамасцев» по Василию Львовичу: «Поминали вотрушками, в кои воткнуто было по лавровому листу»[50], т. е. опять и опять подчеркивал все то же смешное и добродушное «славолюбие» покойного. Полушутливый тон, которым всё это Пушкин высказывал, всегда и раньше отличавший собой его отзывы о Василии Львовиче,—тон, за которым скрывалась должно быть некоторая ревность настоящего поэта к своему имени и его славе, делиться которой не желал он со смешным стихотворцем дядей[51],—его неизменно сохраняет, как видим, Пушкин даже и там, где речь идет уже о покойнике[52]. В ряду этих шутливых отзывов об умершем только и может

найти себе объяснение и место комическое сравнение с «умирающим Василием Львовичем» батюшковского Тассо.

Но отсюда само собой вытекает, что заметка, содержащая это сравнение, как и другие заметки карандашом, могла быть сделана лишь после смерти Василия Львовича, т. е. после 20 августа 1830 г.

Не менее показательно, в смысле хронологическом, упоминание другого арзамасского авторитета—И. И. Дмитриева; в одной из заметок рассматриваемой группы, к стихотворенью «Тень друга», Пушкин упоминает его мнение о первых стихах названной пьесы: «Дмитриев осуждал цезуру

РИСУНКИ ПУШКИНА НА ОБОРОТЕ СТАТЬИ „О НИЧТОЖЕСТВЕ ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОЙ"

Институт Русской Литературы, Ленинград

двух этих стихов. Кажется, несправедливо»[53]. Отношение Пушкина к Дмитриеву, до 1826 года включительно, отличалось резко выраженным пренебрежением[54]; лишь в 1829 г. делает Пушкин шаги к сближению,—посылает Дмитриеву экземпляр «Полтавы»[55]. Личное же знакомство завязывается кажется только в 1830 г. По приезде из Петербурга в Москву, в марте этого года, Пушкин обедает у Дмитриева вместе с Жихаревым; и, извещая об этом Вяземского, в первый раз в своей переписке говорит о Дмитриеве благожелательно[56]; немного спустя, во второй половине марта того же года, тому же Вяземскому Пушкин пишет опять: «Дмитриев очень мил»[57]. Отсюда видно, что дружеские встречи с Дмитриевым в тот период жизни в Москве, в марте—июне 1830 г., у Пушкина были уже не редки. И следовательно только тогда, а никак не раньше мог он от самого Дмитриева услыхать попавший потом на

поля «Опытов» отзыв о Батюшкове. Это тем более вероятно, что как раз в тот же период, 3 апреля 1830 г. в Москве, Пушкин навестил не узнавшего его Батюшкова[58], а за несколько дней перед тем приписал, в письме к Вяземскому, видимо с чьих-то слов: «Батюшков умирает»[59]. Почти одновременно, под 14 марта того же года, встреча с безумным Батюшковым отмечена была в дневнике близкого к московским литературным кругам Погодина [60]. Как видно, о Батюшкове вообще много говорили тогда в Москве. Говорил о нем и Пушкин с И. И. Дмитриевым. Отсюда—заметка. Самый же факт ссылки Пушкина на мнение Дмитриева характерен именно для 1830 г.; в «Станционном смотрителе»—ссылка на «прекрасную балладу Дмитриева», в статье «О безнравственности поэтических произведений»—ссылка на «прелестные сказки Дмитриева»; при этом не только первая, но должно быть и вторая сделаны осенью 1830 г. в Болдине. Видимо к тому же болдинскому периоду надо отнести и рассматриваемую группу заметок на полях «Опытов». Обратим вниманье на ту из них, которая касается «Тибулловой элегии III»: «Стихи замечательные по щастливым усечениям—мы слишком остерегаемся от усечений, придающих иногда много живости стихам» [61]. Но ту же самую мысль о «щастливых усечениях» высказывает Пушкин по поводу «Марфы Посадницы» Погодина в письме к нему из Болдина, в конце ноября 1830 г.: «Вы... с языком поступаете,—писал ему Пушкин,—как Иоанн с Новым городом. Ошибок грамматических, противных духу его—усечений, сокращений—тьма. Но знаете-ли? И эта беда не беда. Языку нашему надобно воли дать более (Разумеется сообразно с духом его)—И мне ваша свобода, более по сердцу чем чопорная наша правильность» [62].

К осени же 1830 г. приурочивает наши заметки еще одно совпадение. В письме к Е. М. Хитрово от 21 января 1831 г., т. е. очень недолго спустя после того, как покинуто было Болдино, цитируется та самая эпиграмма Лебрена («On n'est pas seul, on n'est pas deux»), перевод которой угадал Пушкин в одной из эпиграмм «Опытов», записав против нее на полях: «Это не Батюшк[ова] а Блуд[ова] и то перевод»[63]. В письме к Хитрово к слову пришлась французская эпиграмма, припомнившаяся незадолго перед тем в Болдине, при перечитывании 2-й части «Опытов» Батюшкова.

Итак вторую группу заметок (карандашом) относим к концу 1830 г. Некоторые из них в статье Майкова остались невоспроизведенными вовсе.

Так пропустил он две заметки (из трех) к стихотворению «Надежда» [64], ограничившись только первой, к заглавию [65]; но вот вторая и третья: подстрочная сноска к стихам 21—22-му:

[21] Все дар его: и краше всех
[22] Даров его, надежда лучшей жизни,

к слову «всех»: «неудачный перенос»; и заметка: «прекрасно» под последними стихами этого стихотворения:

Земную ризу брошу в прах
И обновлю существованье.

Нет в статье Майкова и одной из двух заметок (на стр. 147 второй части «Опытов») к стихотворению «Ответ Гнедичу»; против последних

восьми стихов пьесы Пушкин записал: «прекрасно»[66]. Не без пропусков переданы наконец и многочисленные заметки (на стр. 208—229 2-й части «Опытов») к отдельным стихам басни «Странствователь и домосед»; пропущена например заметка: «лишнее» к 23-му стиху басни; другие просто перечислены, без указания, к каким именно стихам басни каждая из них относится[67]. Но кропотливый разбор Пушкиным стиха за стихом этой длинной басни Батюшкова достоин внимания: он оставил по себе след,—в пушкинском творчестве как раз в 30-е годы,—в «Анжело» (1833 г.) и в «Страннике» (1835 г.).

Несколько стихов, напоминающих басню Батюшкова, есть в «Анжело»; именно там, где речь идет о приготовлении Клавдио к смерти:

Старик доказывал страдальцу молодому,
Что смерть и бытие равны одна другому,
Что здесь и там одна бессмертная душа,
И что подлунный мир не стоит ни гроша.

У Батюшкова «странствователь», удержанный от самоубийства старым мудрецом, тоже выслушивает от него сходное наставление с одинаково комически формулированным выводом[68]:

Что жизнь и смерть равны для нас,
Равны: так не зачем топиться.

Но кроме того шестистопный ямб «Анжело» близок к шестистопному ямбу русской басни вообще своим стилем—особым синтаксисом и лексикой разговорной речи, специфически басенными «звериными» метафорами и сравнениями, наконец самой схемой басенной фабулы, где эпилог не без комического эффекта возвращает читателя к исходной ситуации; таково фабульное построение и басни Батюшкова: «Странствователь», вопреки всему, снова уходит странствовать:

Напрасные слова! Чудак не воротился,
Рукой махнул и скрылся,

как и у Пушкина столь же «неисправимым» остается «предобрый Дук», так и не научившийся, до последнего стиха поэмы, карать «зло явное»:

И Дук его простил.

Что же касается «Странника», то тут басню Батюшкова, кроме самого заглавия[69], напоминают следующие стихи в конце:

Побег мой произвел в семье моей тревогу,
И дети, и жена кричали мне с порогу,
Чтоб воротился я скорее.

Сходный конец и у басни Батюшкова, отмеченный одобрением Пушкина еще в одной из ранних его заметок чернилами[70]:

Напрасно Клит с женой ему кричали вслед
С домашнего порога:
Брат милый, воротись, мы просим ради Бога![71]

Столь далеко простирается зависимость Пушкина от Батюшкова, хотя бы и в мелочах.

Но и помимо тематических заимствований Пушкин, по словам Майкова, «из наблюдений над стихом Батюшкова выводил общие правила стихотворной техники» [72]. Только Майков, ограничившись заметками на полях, не потрудился познакомить нас с более мелкими из этих пушкинских «наблюдений». А Пушкин щедр был не только на записи на полях, но и на заметки в самом печатном тексте книги, выразительно подчеркивая там (карандашом) слова, части слов или целые фразы. Одни из этих, пропущенных Майковым, мелких заметок говорят о рифме, другие—о требованиях эвфонии в стихе, «гармонии», как любил выражаться сам Пушкин; третьи, наконец,—о семантике, синтаксисе и лексике поэтической речи вообще.

Заметки первой группы просто отмечают собой слабые рифмы, например: безмолвных — единокровных (в «Элегии из Тибула»), благосклонен — вероломен (ibid.), усердным — милосердым («Воспоминание»), нравов — нахалов («В день рождения N»), любимец — крылец («Счастливец»), мрачной— ужасно (ibid.) [73]. Впрочем отмечается иногда и недостаточно выразительное, по мнению Пушкина, звуковое окружение рифмующих слов— слова̀, слоги или даже отдельные звуки, непосредственно предшествующие рифме: древний — в часы вечерни («Пленный»); полночи немой — свист и вой («Мечта»); щиты — Владыко и ты («Песнь о Гаральде Смелом»).

Отсюда видно, что рифма, в представлении Пушкина, не только связывала собой концы двух стихов, но и завершала собой звучание каждого из них на всем его протяжении.

Об этих требованиях благозвучия или «гармонии», вообще очень характерных для суждений Пушкина о стихе [74], говорит вторая группа его мелких заметок в тексте. Отсюда выясняется например, что Пушкин не терпел внутри стиха стечения трех и больше согласных (кроме плавных); так, в следующих стихах он подчеркнул эти неблагозвучные для его «разборчивого уха» комплексы: «осталось мрачно вспоминанье» («Воспоминание»); «Бледность щеки покрывает» («Привиденье»); «Как в поле стадо выгонял» («Последняя весна»); «Кому известен к славе путь» («К Дашкову») [75]. Особенно интересен случай, где подобное нарушение «гармонии» отмечается наряду с задержкой в ритме, как прямое противоречие смыслу стиха:

«Й э̆хŏ пŏ гŏрāм пēснь звӯчну повторяет»

(«Мечта»).

Замедленность четвертой стопы благодаря трем смежным ударным слогам, как и стечение согласных (сн'зв) в той же четвертой стопе, потому конечно и отмечены, что слишком не соответствуют самому понятию эхо и звучной песни. Так Пушкин требовал, чтобы смысл, ритм и «гармония» строго соподчинены были друг другу [76].

Неблагозвучны были для слуха Пушкина и повторы иных согласных или их сочетаний; так отмечает он: повтор «вы — в.и» в словосочетании: «Для девы невинной» (в 5-м стихе пьесы «Источник»); повторяющееся «б» в словосочетании «без славы — бремя» (в 3-й строфе пьесы «Пленный»); повторяющееся «в» в словосочетании: «иль в поле воин» (в 94-м стихе «Послания к И. М. Муравьеву-Апостолу»); трижды

РИСУНОК ПУШКИНА
Институт Русской Литературы,
Ленинград

повторяющиеся к в словосочетании «как конь» (в 5-й строфе пьесы «На развалинах замка в Швеции»); повторяющееся «с» и «т» в стихе: «И видя сто смертей» («Воспоминание»); повторяющуюся группу согласных «с т» в стихе «Там жесткая постель» («Мои пенаты»)[77].

Но всех красноречивей, пожалуй, из этих мелких заметок Пушкина те, которые выдают его обычную заботу о строгой точности поэтической речи[78].

Тут, во-первых, наглядно выступают особые нормы этой последней, отличные, в представлении Пушкина, от норм прозаической речи. Так систематически отмечает Пушкин в качестве недостатка в стихах синтаксические длинноты,—придаточные предложения, начинающиеся, например, с местоимения «который»:

Близ кущи ратника, который сном почил
("Воспоминание»).

Ни дружбы, ни любви, ни песней Муз прелестных,
Которые всегда душевну скорбь мою
Как Лотос силою волшебной врачевали
(«Воспоминания. Отрывок»).

Время быстрее чем ток сей пустынный,
С ревом который сквозь дебри течет!
(«Источник»).

И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград
(«Вакханка»).

За счет «прозы», недопустимой в стихах, отнесены и просто некоторые слова; так записью на полях: «проза»[79] отмечено слово «учиним» в следующем стихе «Тибулловой элегии»:

Мы учиним пред ним обильны возлиянья.

Глагол «учинить» рассматривался должно быть как недопустимый в поэзии диалектизм из делового, «приказного» языка.

Отмечено как неуместное и слово «владеющий» (в «Послании графу М. Ю. Виельгорскому»):

О, ты, владеющий гитарой трубадура,
Эраты голосом и прелестью Амура...

Впрочем тут осуждается должно быть не столько самое слово, сколько неточность фразеологической комбинации (владеющий прелестью).

Ряд заметок выделяет именно такие противоречия семантики и словосочетания.

В стихах:

Как роза некогда цвела
Небесной красотою
(«В день рождения N»)

подчеркнутое указывает конечно на неточность эпитета «небесный» в применении к красоте розы.

В стихах:

Фонтанку, этот дом... и столько милых лиц,
Для сердца моего единственных на свете!

отмечено несоответствие грамматических категорий числа в словах: «единственных» и «столько».

Реальная неточность отмечена в стихах:

Свирель и чаша золотая
Там будет в прахе истлевать
(«Веселый час»).

Золото не истлевает.

Или в стихе:

«И с ними вдруг увянешь ты» («Источник»)

«вдруг» подчеркнуто едва ли не потому, что не соответствует длительному значению глагола «увянуть».

В стихах:

И по роще раздавались
Эвоэ и неги глас!
(«Вакханка»)

«раздавались» подчеркнуто (согласно разъяснению на полях самого Пушкина) как «слишком громкое слово», т. е. применимое к звуку более громкому, чем «неги глас».

Подчеркнул Пушкин и слово «иду» как неуместную замену «плыву» в стихе:

Как лебедь отважный, по морю иду
(«Песнь о Гаральде Смелом»).

Эти внимательные, даже кропотливые наблюдения Пушкина над поэтическим языком своего учителя нагляднее самых заметок на полях изобличают, как глубоко в творчестве Пушкина заложены нити, соединяющие его с Батюшковым.

Усвоенные от Батюшкова жанры (послания, элегии, басни) Пушкин или со временем оставил совсем, или преобразил до неузнаваемости. Но язык—условный язык поэзии в резком обособлении от языка прозы, язык, выработанный усилиями того класса, к которому одинаково принадлежали оба поэта, и переданный как бы по наследству одним поэтом другому,—до конца остался роднящей их обоих стихией. Поэтому даже в пору полной творческой зрелости, в пору, когда поэзия Батюшкова сводилась уж в глазах Пушкина только к поэзии «эротической» да и в этой последней найден уж был ему сильнейший соперник в лице Баратынского [80], словом, когда поэзия Батюшкова сохраняла для Пушкина почти только исторический интерес,—язык его поэзии попрежнему оставался поэтическим языком самого Пушкина, нуждаясь лишь в усовершенствовании, отнюдь не в смене самых принципов словесно-поэтического выражения. Такую смену осуществить предстояло не Пушкину, а поэтам другой эпохи, другого класса. Пушкин же в области поэтического языка до конца остался хранителем наследства Батюшкова, хоть и приумножая его как никто в том поколении поэтов, к которому принадлежал сам.

Пушкинские маргиналии во второй части «Опытов»—их даты, их филологические заметки—говорят об этом красноречиво.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Опыты в стихах и прозе К. Батюшкова. Часть II. Стихи. Vade, sed incultus... Санктпетербург. В типографии Н. Греча. 1817».

[2] В статье «Пушкин о Батюшкове».—См. Л. Майков—«Пушкин». СПб., 1899, стр. 284—317.

[3] См. П. Морозов—«Пушкин и Батюшков» (в I т. «Пушкина» под ред. С. А. Венгерова, 1907); Н. М. Элиаш—«К вопросу о влиянии Батюшкова на Пушкина» («Пушкин и его современники», вып. XIX—XX); М. О. Гершензон—«Пушкин и Батюшков» («Атеней. Историко-Литературный Временник», кн. 1—2, 1924 г.).

[4] См. Майков, op. cit., стр. 291.

[5] В 1910 г. он продолжал еще оставаться собственностью внука поэта, А. А. Пушкина, и отмечен в перечне Б. Л. Модзалевского среди «Книг библиотеки Пушкина, сохранившихся в других библиотеках». См. Б. Л. Модзалевский—«Библиотека А. С. Пушкина» («Пушкин и его современники», вып. IX—X, 1910 г., стр. XVIII).—Однако дальнейших сведений ни о самой книге, ни о библиотеке А. А. Пушкина у нас нет.

[6] Указан мне Л. Б. Модзалевским, за что приношу ему мою благодарность.

[7] При каждой заметке указываем соответствующую страницу «Опытов» и соответствующую страницу в книге Майкова, где впервые данная заметка опубликована; сохраняем по возможности орфографию маргиналий.

[8] Здесь, как и дальше, заметки Пушкина цитируем по записи на полях во вновь найденном экземпляре «Опытов», исправляя попутно ошибки, вкравшиеся в текст заметок при передаче их Майковым в статье. Точно так же поступили мы при редактировании данных пушкинских маргиналий для 5-го тома собр. соч. Пушкина, изд. ГИХЛ, дополнив их там кроме того заметками, у Майкова в статье пропущенными (о них см. ниже).

[9] У Майкова в статье: «французской элегии». Op. cit., 313.

[10] У Майкова в статье: «с этим». Op. cit., 314.

[11] У Майкова в статье: «см. замечания», ibid.

[12] Майков, op. cit., стр. 291.

[13] Ibid., стр. 290.

[14] «Пером же вписана и пиеса: «Есть наслаждение».—Майков, 291.—Вопреки этому своему заявлению, не доверять которому нет оснований, Майков в своем экземпляре «Опытов» соответствующую запись (см. выше) сделал почему-то карандашом,—может быть из опасения, как бы чернила по подклеенному листу не расплылись.

[15] Шуми же, ты, шуми, угрюмый океан!
Развалины на прахе строит
Минутный человек, сей суетный тиран,
Но море чем себе присвоит?
Трудися, созидай громады кораблей...

Их впервые опубликовал М. Лонгинов в 1857 г. в «Современнике» (т. LXII, кн. 3, отд. 5, стр. 82).

[16] «И то, чем был, как был моложе».

[17] Видимо при припоминании, а не при списывании (как и позднейшее сообщенье Лонгинова), что лишний раз опровергает версию Майкова, будто в 1826 г. Вяземский записал элегию «как свежую новость»; повод для записи был иной—вовсе не новизна элегии, а соответствие выраженной в ней мысли горестным размышлениям самого Вяземского (о последствиях декабрьского восстанья и о судьбе казненных или осужденных друзей, о чем говорят прямо смежные с элегией заметки «Записной книжки»).—См. «Сочинения князя П. А. Вяземского», т. IX, стр. 79, 81—83, 84—85, 86, 87—88.

[18] Текст «Элегии», появившийся в «Северных Цветах» в 1828 г., от внимания Пушкина разумеется тоже не ускользнул; только подтверждение этому находим не в рассматриваемой записи в «Опытах», а совсем в другом автографе Пушкина; существует еще один «список стихотв. Батюшкова «Есть наслаждение», сделанный рукой Пушкина»; он принадлежит к собранию б. Пушкинского Дома при Академии Наук СССР, под шифром: 24531, 244/192; отмечен в «путеводителе»: «Пушкинский Дом при Российской Академии Наук», Лгр., 1924 г., стр. 60; при ближайшем рассмотрении он-то и оказывается копией текста, опубликованного в «Северных Цветах» 1828 г.

[19] В одном из писем того периода (к Жуковскому, от 1 августа) Батюшков как бы резюмирует мысль этой самой элегии: «Природа—великий поэт, и я радуюсь, что нахожу в сердце моем чувство для сих великих зрелищ; к несчастию, никогда не найду сил выразить то, что чувствую».—См. «Соч. К. Н. Батюшкова», СПб., 1887 г., т. III, стр. 559—560.—Видимо одновременно с письмом, в июле-августе 1819 г., написана была и элегия.

[20] Чему служит доказательством «уцелевший в бумагах Жуковского экземпляр II части «Опытов» с собственноручными поправками и дополнениями Батюшкова». См. Сочинения, т. I, стр. XVI.

[21] Прямое указание на элегию 1819 г. можно, пожалуй, видеть в сохранившемся заглавии одного из произведений («Море»), предназначавшихся в 1820—1821 гг. Батюшковым для задуманного им 2-го издания «Опытов».—См. Сочинения, т. I, стр. XVII.

[22] Рефрена у Пушкина: «Шуми, шуми, послушное ветрило, Волнуйся подо мной, угрюмый океан» со стихом Батюшкова: «Шуми же ты, шуми, угрюмый океан!»

[23] См. «Пушкин» под ред. С. А. Венгерова (изд. Брокгауза и Ефрона), т. II, 1908 г., стр. 549—550.

[24] В письме к Жуковскому от 1 августа 1819 г. Батюшков признается: «Я пишу беспрестанно к Тургеневу... иногда получаю (очень редко) ответы». — См. Сочинения, т. III, стр. 558.

[25] Сведения о двух таких письмах указаны в «Примечаньях» к III тому «Сочинений К. Н. Батюшкова», стр. 771; в одном из них, от начала января 1820 г., речь шла как раз о переводах из Байрона. — См. еще «Остафьевский архив», т. I, стр. 199, 229, 293, 340.

[26] Которую, кстати сказать, Пушкин и назвал-то сперва так же, как должно быть называл свою элегию Батюшков: «Море».—См. П. В. Анненков.—«Пушкин. Матерьялы для биографии». Изд. 2-е, стр. 69.

[27] См. «Сочинения К. Н. Батюшкова», изд. 1887 г., т. I, стр. 394—396.

[28] См. ibid., т. III, стр. 458.

[29] См. Сочинения, т. III, стр. 446—447.

[30] См. «Русский Архив» 1867 г., стр. 1083.

[31] См. Сочинения, т. III, стр. 417, 419, 422, 428, 429, 446—447 и др.

[32] См. Сочинения, т. III, стр. 440.

[33] См. Сочинения, т. I, стр. 317, 397, 398, 402.—Только еще два стихотворения, кроме четырех, могли быть неизвестны Пушкину при первом чтении 2-й части «Опытов»: «К друзьям» и «К Н. М. Муравьеву»; написанные специально для книги, незадолго до ее выхода, они в ней впервые и появились. Однако заметки к ним Пушкина принадлежат ко второй, позднейшей группе заметок (карандашом).

[34] См. Сочинения, т. I, стр. XXI.

[35] См. Н. Лернер.—«Труды и дни Пушкина», 2-е изд., стр. 38.

[36] В указанной выше статье; см. «Пушкин и его современники», вып. XIX—XX, стр. 7—9.

[37] «Там всадник опершись на светлу сталь копья,
Задумчив и один, на береге высоком»... и т. д.

[38] Близость к Батюшкову приведенных стихов «Кавказского пленника» была бы еще заметней, если б Пушкин сохранил, как одно время и думал сделать, первоначальный вариант приведенного выше стиха: «На смертном поле свой бивак»; «У меня прежде было,—писал он Вяземскому 14 октября 1823 г.,—У стен Парижа [т. е. «У стен Парижа свой бивак»]. Не лучше ли как думаешь?» См. «Письма», т. I, стр. 34.—Казак «воспоминал» бы, в таком случае, тот самый 1814 год, событиям которого целиком посвящена пьеса Батюшкова.

[39] См. op. cit., стр. 307—308.

[40] Укрывшегося «Под сень черемух и акаций».

[41] Более ранний отзвук этой же оценки можно найти и в «Кавказском пленнике», где черкешенка

Приносит пленнику вино
Кумыс и ульев сот душистой.

Ср. в «Беседке муз»:

Спешу принесть цветы и ульев сот янтарный.

[42] «Это стихотворение дышет каким-то упоеньем роскоши, юности и наслажденья—слог так и трепещет, так и льется—гармония очаровательна». — См. Майков, op. cit., стр. 294.

[43] См. Майков, op. cit., стр. 300.

[44] См. «Сочинения Пушкина», изд. Ак. Наук СССР, т. IX, стр. 135.

[45] См. Майков, op. cit., стр. 315.

[46] Печатавший тогда свои статьи по истории поэзии в «Литературной Газете».

[47] См. «Русский Архив» 1870 г., стр. 1369.

[48] «Соч. кн. П. А. Вяземского», т. IX, стр. 138.

[49] «Письма», т. II, стр. 106.

[50] «Письма», т. II, стр. 460.

[51] Ревность эту возбуждали должно быть неизбежные сопоставленья друзей; так в 1818 г. о «Сверчке» писал например тот же Батюшков: «потомство не отличит его от двух однофамильцев, если он забудет, что для поэта и человека должно быть потомство».—См. «Соч. Батюшкова», т. III, стр. 533. Несколько лет спустя, в 1822 году, то же самое опасение высказывает сам Пушкин по поводу Буянова, героя в поэме дяди: «А что-то с ним будет в потомстве—крайне опасаюсь чтобы двоюродный брат мой не почелся моим сыном—а долго ли до греха».—См. «Письма», т. I, стр. 26.—А еще через несколько лет соответствующее разъяснение потомству вносится ведь даже в «Евгения Онегина»: «Мой брат двоюродный, Буянов» (гл. V, строфа XXVI).

[52] Ср. еще письмо к Е. М. Хитрово, написанное на другой день после смерти Василия Львовича—21 августа 1830 г.: «Il faut avouer que jamais oncle n'est mort plus mal à propos» и т. д.—«Письма», т. II, стр. 102.

[53] См. Майков, op. cit, стр. 310.

[54] См. «Письма», т. I, стр. 32, 47, 59, 64, 65, 73, 74, 135; т. II, стр. 20 и др.

[55] См. ответное письмо Дмитриева от 9 апреля 1829 г.—«Переписка» (под ред. Саитова), т. II, стр. 92.—Что подарок, за который благодарит тут Дмитриев Пушкина,—«Полтава», доказывается тем, что несколькими днями раньше Пушкин как раз получил 10 экземпляров «Полтавы» от Плетнева из Петербурга.—См. Н. Лернер. «Труды и дни Пушкина», 2-е изд., стр. 186.

[56] См. «Письма», т. II, стр. 76.

[57] Ibid., стр. 78.

[58] См. Майков, op. cit., стр. 289.

[59] «Письма», т. II, стр. 79.

[60] См. Барсуков.—«Жизнь и труды М. П. Погодина», кн. III, стр. 36.

[61] В статье Майкова пропущены в заметке слова: «от» и «иногда»; op. cit., стр. 301.—Еще раз об «усеченьях» говорится в заметке: «усечение гармоническое» к стиху: «Ни быстрый лет коня ретива» в стихотворении «Пробуждение».—См. Майков, op. cit., стр. 310—311.

[62] См. «Письма», т. II, стр. 118.

[63] См. Майков, op. cit., стр. 292; «Письма Пушкина к Е. М. Хитрово», Лгр., 1925 г., стр. 208.

[64] На стр. 10 второй части «Опытов».

[65] «Точнее бы Вера».—Майков, op. cit., стр. 311.

[66] Ср. у Майкова, op. cit., стр. 296.

[67] К стихам 97—100 относится заметка: «лишнее»; к стиху 103—«дурно»; к стихам 120—123—«холодно»; к стихам 135—140—«холодно»; под стихом 163—«все это лишнее».—Ср. у Майкова, op. cit., стр. 299.

[68] Что, кстати сказать, отсутствует в соответствующем месте драмы Шекспира, послужившей для «Анжело» источником.

[69] Ср. у Батюшкова:

О страннике таком скажу я повесть вам.

[70] «Конец прекрасен» (см. выше).

[71] Предложенное сближение тем более допустимо, что соответствующее приведенным стихам Пушкина место в сочинении Bunyan'a, откуда «Странник» переведен, не дает тех деталей, которые однако находим и у Пушкина, и у Батюшкова.— Ср.: «кричали мне с порогу» (Пушкин); «кричали вслед с домашнего порога» (Батюшков); «his wife and childern perceiving it, began to cry after him to return» (Bunyan).—См. А. Габричевский.—«Странник» Пушкина и его отношение к английскому подлиннику», «Пушкин и его современники», вып. XIX—XX, стр. 44.—Реминисценция из Батюшкова в «Страннике» тем более примечательна, что эта поздняя вещь Пушкина несомненно глубоко интимна; стих отсюда: «Как раб, замысливший отчаянный побег», не имеющий себе соответствий в подлиннике Bunyan'a (см. Габричевский, op. cit., стр. 45) и, напротив, почти дословно повторенный в последних словах поэта о себе самом («Давно, усталый раб, замыслил я побег») свидетельствует об этом. Вот эта-то интимная тема побега, навязанная Пушкину всеми горестными обстоятельствами последних лет его жизни, конечно и заинтересовала его в сочинении Bunyan'a, а вместе с тем привела на память соответствующее место в басне Батюшкова.

[72] Майков, op. cit., стр. 301.

[73] Последнюю рифму осудил и даже попытался исправить Вяземский. См. Сочинения, т. IX, стр. 86.—Разрядкой отмечаем то, что подчеркнуто Пушкиным.

[74] Помимо частых упоминаний «гармонии» в отзывах к отдельным стихотворениям Батюшкова (см. Майков, op. cit., passim) см. еще отзывы о Расине и о Державине: «А чем и держится Иван Иванович Расин, как не стихами, полными смысла, точности и гармонии!»—«Письма», т. I, стр. 68.—Державин «не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии... Вот почему он и должен бесить всякое разборчивое ухо».—«Письма», т. I, стр. 137.

[75] Так же точно недопустимо было для Пушкина словосочетание: «ей—дней», явившееся в результате предписаний цензуры в одном из стихов «Кавказского пленника».—См. «Письма», т. I, стр. 38, 54, 84.

[76] Тоже в стихе Вяземского (о водопаде): «Сердитый влаги властелин», Пушкин хоть и отметил, что «В л а В л а звуки музыкальные», но тем не менее предложил изменить стих как неточный по смыслу. См. «Письма», т. I, стр. 154.

[77] Ср. с этим отзыв Пушкина о собственном предполагавшемся стихе (из «Бахчисарайского фонтана») «Равна грузинка красотою»: «Но инка кр...,—пишет он Вяземскому,—а слово Грузинка тут необходимо».—«Письма», т. I, стр. 60.

[78] Ср. упомянутый разбор «Нарвского водопада» Вяземского (в письме к нему от 14—15 августа 1825 г.) или «поздравление» Дельвигу (в письме к брату от 30 января 1823 г.): «Дельвиг, Дельвиг!.. поздравляю тебя—добился ты наконец до точности языка,—единственной вещи, которой у тебя недоставало. En avant! marche!»—См. «Письма», т. I, стр. 153—155, 46.

[79] Указанной у Майкова, см. op. cit:, стр. 300.

[80] «Но каков Боратынский?—писал Пушкин Вяземскому еще в 1822 г.,—признайся что он превзойдет и Парни и Батюшкова... оставим все ему эротическое поприще и кинемся каждый в свою сторону а то спасенья нет».—См. «Письма», т. I, стр. 25—26.—В статье 1830/31 г. («Боратынский») ему отводится место уже «выше певца Пенатов и Тавриды».—См. Соч. Пушкина, изд. Ак. Наук, т. IX, 1928 г., стр. 135.

ПУШКИН В БИБЛИОТЕКЕ ВОЛЬТЕРА

Сообщение Д. Якубовича

С конца 20-х годов Пушкин все определеннее ориентируется на путь историка: исторические интересы эпохи, собственные склонности, друзья— все толкало его по этому пути. Историком «Пугачевского бунта», приготовляясь к «Истории Петра», Пушкин и умер. Занятия той и другой темой неуклонно приводили Пушкина к тому имени, которое с детских лет было для него символом скептицизма, либерализма, атеизма, к тому, кто был его учителем в хранимом про себя политическом и религиозном образе мыслей,—к Вольтеру.

Уже на своем пути поэта-историка Пушкин неоднократно обращался за подкреплением к материалам Вольтера. Еще из Одессы в 1824 г. Пушкин писал Вяземскому: «Французы ничуть не ниже Англичан в Истории. Если первенство чего-нибудь да стоит, то вспомните что Вольтер первый пошел по новой дороге—и внес светильник философии в темные Архивы Истории. Робертсон сказал что если бы Вольтер потрудился указать на Источники своих сказаний, то бы он, Робертсон, никогда не написал своей Истории»...

К Вольтеру обратился Пушкин для «Арапа Петра», используя его материалы для своих картин регентства и цитируя колоритные строки из «Pucelle». В «Истории Карла XII и российской империи» нашел он мотивировку отдельных эпизодов «Полтавы», прямо ссылаясь в 29-м примечании на Вольтера [1]. Примечание 33-е является простой цитатой из вольтеровского описания Полтавской битвы (книга четвертая) [2].

В 1831 г., предложив императору свое перо для политического журнала, Пушкин вместе с тем писал: «Осмеливаюсь также просить дозволения заняться историческими изысканиями в наших государственных архивах и библиотеках. Не смею и не хочу взять на себя звания историографа после незабвенного Карамзина, но могу со временем исполнить мое давнишнее желание написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III».

В результате «Государь велел его принять в Иностранную коллегию с позволением рыться в старых архивах для написания Истории Петра Первого» [3].

Естественно, что в ряду исторических документов, нужных для этого труда, прежде всего и особо интересовали Пушкина все те материалы, по которым Вольтер писал свою «Историю России при Петре Великом».

Несомненно Пушкин в своих предварительных занятиях прекрасно познакомился и с этим аналогичным по теме трудом Вольтера и с обстоятельствами его создания.

В самом начале своей работы Вольтер сам упоминал, что «Граф Шувалов, канцлер императрицы Елизаветы, быть может наиболее ученый

муж империи, снабдил в 1759 г. историка Петра необходимыми аутентичными документами и по ним писалась история». Документы эти имели и для Пушкина первоклассное значение. Дело в том, что историограф Мюллер по желанию Ив. Ив. Шувалова сообщал Вольтеру для его труда разные известия и замечания в ответ на его вопросы, при чем Вольтер часто бывал недоволен и требовал новых сведений [4] как почетный член русской Академии Наук, вызвавшийся писать историю Петра. Между прочим сохранилась записка М. В. Ломоносова к Шувалову от 2 сентября 1757 г. по этому поводу, в которой он писал: «К сему делу, по правде, г. Вольтера никто не может быть способнее, только о двух обстоятельствах подумать должно. Первое, что он человек опасный и подал в рассуждении высоких особ худые примеры своего характера. Второе, хотя довольно может получить от нас записок, однако, перевод их на язык ему знакомый великого труда и времени требует» [5].

Именно Ломоносов по просьбе Шувалова явился собирателем материалов для Вольтера и по свидетельству академика Штелина «не щадили никаких издержек, чтобы возбудить в этом знаменитом писателе охоту к отчетливому исполнению такого труда—Вольтеру посылались в виде поощрения подарки: портреты, меха, шубы...» По появлении «Истории Петра» однако «открылись любостяжательные виды сочинителя», удержавшего ряд материалов, не использовав их.

Пушкин прекрасно был знаком с деталями всех этих отношений. Между прочим замечания историографа Мюллера на труд Вольтера с примечаниями Ломоносова печатались в «Московском Вестнике» (1829 г., V, стр. 158—163) и «Московском Телеграфе» (1828 г., № 6, март, стр. 121—159). (Оригиналы поступили от П. А. Муханова в Академию Наук позже, в 1871 г.).

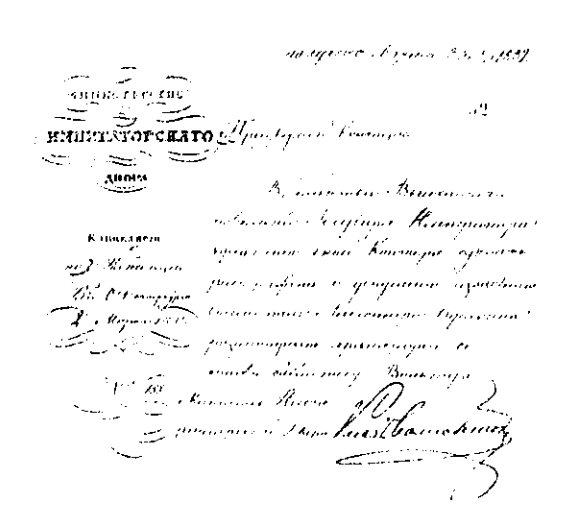
То, что Пушкин не только знал все эти обстоятельства, но и пристально следил за ними, показывает ряд фактов, на которые нами впервые обращено внимание. Дело в том, что в «Собрании Сочинений» Вольтера, поныне хранящемся в личной библиотеке Пушкина, в ряде томов имеются закладки Пушкина, с несомненностью говорящие о такого рода интересе Пушкина. Закладки эти в свое время были зарегистрированы Б. Л. Модзалевским в его описании библиотеки Пушкина, но не обращалось должного внимания на смысл этих закладок. Понятно, что мы не можем с точностью утверждать, делались ли они (все или частью) в 1836 г., когда Пушкин вплотную обратился к своей собственной «Истории Петра», или же он делал их (хотя бы частично) еще в 1832 г., но во всяком случае они подтверждают, что хотя частично эти материалы приковывали к себе внимание Пушкина уже в начале 30-х годов.

Так в томе 34 «Сочинений Вольтера» [6] имеем ряд закладок Пушкина почти исключительно на переписке Вольтера с Шуваловым. Заложено Пушкиным письмо № 77 (от 25 октября 1760 г.), где Вольтер справляется о пакете, который должен был доставить ему некто Пушкин, и просит у Шувалова материалов, без которых он не может «строить второе крыло постройки»—«вы начали, вы и довершите», заявляет он, прося продолжения журнала Петра и разъяснений «sur le czarovitz» и сам подсмеиваясь над своими прежними искажениями русских имен. О том же просит Вольтер и в письме от 7 ноября. В письме от

10 января 1761 г. Вольтер сообщает, что Салтыков не имеет известий от Пушкина и просит материалов, в частности ответа Петра I королю Станиславу («полагаю, что ответы императора Петра будут еще более любопытными. По подобным вещам приятно писать историю»).

Заложено Пушкиным и письмо Шувалова (от 8 июня), где сообщается, что Салтыков передал необходимый пакет, эстамп с изображением Петра, некоторые его письма, письмо Вольтера, рукописи Бассевича. Шувалов просит Вольтера смотреть на него «только как на своего секретаря» [7].

Далее Пушкин отметил закладкой письма Вольтера к Шувалову от 11 июня (с просьбой сделать замечания на его работу, с упоминанием Пушкина [8]) и от 30 июня, в котором Вольтер выражает пожелание украсить гравюрами каждую главу «Истории Петра» [9]. Заложено любопытное письмо Шувалову от 1 ноября 1761 г., в котором Вольтер высказывается по поводу убийства царевича Алексея (Ce pas est très délicat) [10], заявляя, что «благо целой нации предпочтительнее блага одного человека», но пытается защищать царевича и заявляет, что «нет в Европе ни единого человека, который бы думал, что царевич умер естественной смертью». Заложено далее и письмо № 293 [11], в котором Вольтер прямо просит Шувалова смотреть на убиение царевича «не с петербургской колокольни». Однако далее он считает необходимым стереть мрачное впечатление от жестокости отца картинами петровых заслуг перед государством и возражает мнению, что Петр Великий был



ОТНОШЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ДВОРА
В ПРИДВОРНУЮ КОНТОРУ
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
ДОПУСТИТЬ ПУШКИНА
К РАБОТЕ В БИБЛИОТЕКЕ ВОЛЬТЕРА

Ленинградское отделение Центрархива

«варвар, любивший махать топором то, чтобы рубить леса, то, чтобы рубить головы, как сам отрубил своему невинному сыну» [12].

Легко представить себе, с каким интересом читал эти строки Пушкин, выясняя собственное отношение к двойственной природе Петра, которую он впоследствии охарактеризовал как колебания между мудростью «для вечности» и временными указами, «писанными кнутом», вырвавшимися у «нетерпеливого, самовластного помещика».

Повторяем, естественно, что, обдумывая собственную «Историю Петра», Пушкин мечтал о знакомстве с подлинными материалами, которыми располагал Вольтер по этой теме. Служа с 1831 г. вновь в Министерстве иностранных дел и получив для своих работ по истории Петра и о Пугачеве доступ к секретным бумагам архивов, он очень быстро обратил внимание на личную библиотеку Вольтера, хранимую в Петербурге. Обстоятельства приобретения Россией в 1779 г. этой библиотеки были несомненно хорошо известны Пушкину. В его собственной библиотеке имеется книга, не оставляющая в этом никакого сомнения.

Это—два тома «Воспоминаний о Вольтере и его трудах Лонгшана и Ваньера, его секретарей. Париж, 1826» [13]. В «предварительном объяснении» здесь рассказывается: «После смерти писателя, когда августейшая императрица России (Екатерина II) приобрела у г-жи Дени (племянница Вольтера.—*Д. Я.)* библиотеку г. де Вольтера и все манускрипты, оставшиеся после него, я счел себя обязанным присоединить к ним те, которыми он меня наградил, считая не без основания, что г-жа Дени окажет мне некоторое внимание по этому поводу; она не соблаговолила даже поблагодарить меня [14]. Я исправно доставил г-ну Панкуку, явившемуся за ними на почту по приказанию Г-жи Дени, все бумаги г. де Вольтера, находившиеся в Фернее, и те, что были у меня. Все находились в 20 пакетах, прекрасно запечатанных, которые г-жа Дени продала [15] еще этому книгопродавцу, даже не рассматривая их, так как вручила их мне»... Далее (стр. 16) Ваньер сообщает: «Екатерина удостоила меня призвать к себе, чтобы привести в порядок библиотеку моего хозяина». Таким образом все подробности перевоза Ваньером знаменитой библиотеки в Петербург были известны Пушкину. В дальнейшем книги Вольтера были размещены [16] в длинной галлерее нижнего этажа Эрмитажа, соответствующей галлерее Рафаэлевых лож в верхнем этаже [17]. Здесь впоследствии видимо и был Пушкин, здесь же стояла и знаменитая статуя работы Гудона (1781 г.).

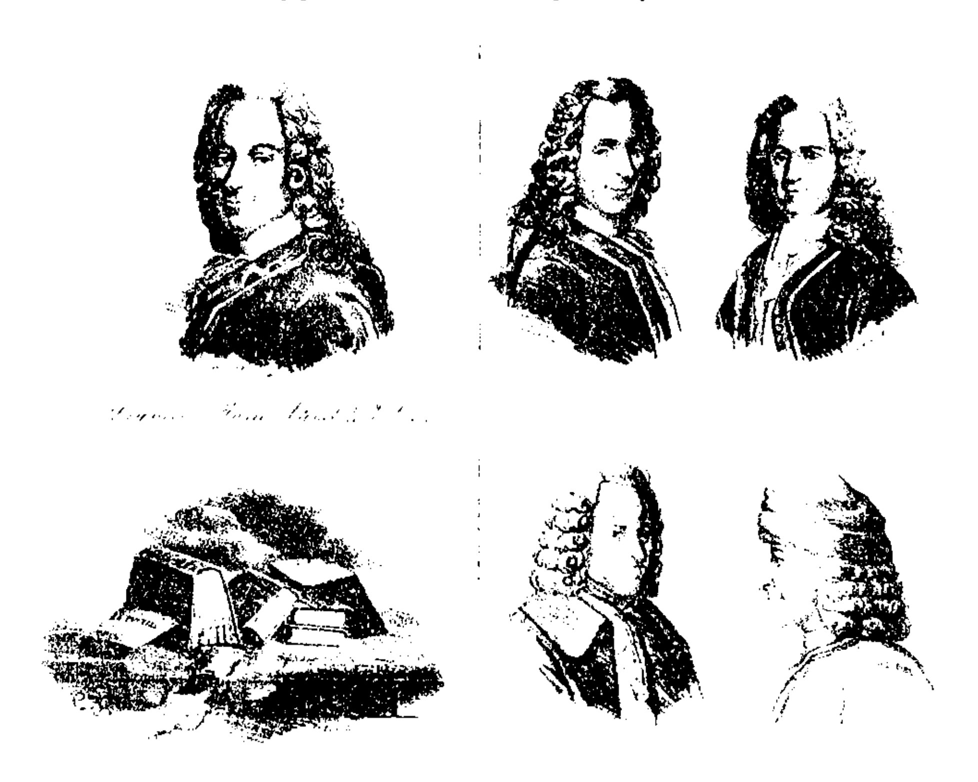
Общее количество книг библиотеки по старым подсчетам равнялось ок. 7 000 томов и 37 томов рукописей. Из книги Ваньера и Лонгшана Пушкин знал, что в массе книг сохранялись и маргиналии Вольтера и широкие закладки (de sinets), испещренные его заметками, или заметками Ваньера (стр. 53). Самый эпизод обращения Пушкина (едва ли не единственного в этом отношении русского писателя) к библиотеке Вольтера как-то оставался до сих пор нераскрытым, между тем многие его интересные детали могут быть освещены.

Попробуем сначала восстановить официально-документальную часть.

24 февраля 1832 г. Пушкин обратился к Бенкендорфу с заявлением: «Осмеливаюсь вновь беспокоить Вас покорнейшею просьбою о дозволении мне рассмотреть находящуюся в Ермитаже библиотеку Вольтера, пользовавшегося разными редкими книгами и рукописями доставленными ему Шуваловым для составления его Истории Петра Великого» [13].

Через пять дней шеф жандармов ответил: «По письму вашему от 24 февраля докладывал я государю императору и его величество всемилостивейше дозволил вам рассмотреть находящуюся в Ермитаже библиотеку Вольтера, о чем и сообщено мною г. министру императорского двора» (№ 1163 от 29 февраля).

До сих пор был известен еще лишь документ за № 1162 от 1 марта 1832 г., в котором Бенкендорф извещает министра двора П. М. Волконского:



ВКЛАДНОЙ ЛИСТ С ПЯТЬЮ ЛИТОГРАФИРОВАННЫМИ ПОРТРЕТАМИ ВОЛЬТЕРА ИЗ КНИГИ PAILLET DE WARCY „HISTOIRE DE LA VIE ET DES OUVRAGES DE VOLTAIRE", ИМЕВШЕЙСЯ В БИБЛИОТЕКЕ ПУШКИНА

Институт Русской Литературы, Ленинград

Милостивый Государь Петр Михайлович!

Известный сочинитель Александр Пушкин, занимающийся ныне сочинением Истории Петра Великого, просил дозволения рассмотреть хранющуюся [sic!] в Эрмитаже библиотеку Вольтера. Его императорское величество по всеподданнейшему докладу моему изъявил на сие всемилостивейшее свое соизволение. Сообщая о сем вашему сиятельству, имею честь быть с совершенным почтением и преданностью

Вашего сиятельства покорнейший слуга

А. Бенкендорф [19].

Мне удалось разыскать еще два документа, относящиеся к этому эпизоду. Первый находится в Ленинградском отделении Центрархива в делах Придворной Конторы [20]. Привожу точный текст:

Получено Марта 3 дня 1832

Министерство
Императорского
Двора
Канцелярия
по 2 экспедиции
В С.-Петербурге
2 марта 1832
№ 688.
Копия взята.

Придворной Конторе

В следствие Высочайшего повеления Государя Императора предлагаю оной Конторе сделать распоряжение о допущении известного сочинителя Александра Пушкина рассмотреть хранящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера.

Министр Императорского Двора
Князь Волконский.

В тот же день Волконский известил и Бенкендорфа (№ 889, СПБ., марта 1832 г.)[21]:

Милостивый Государь мой Александр Христофорович.

Честь имею уведомить ваше высокопревосходительство, что вследствие высочайшего повеления, объявленного мне в отношении вашем от 1-го сего марта за № 1162-м, дано от меня надлежащее предложение Придворной Конторе о допущении известного Сочинителя Александра Пушкина рассмотреть хранящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера.

Имею честь быть с совершенным почтением и преданностью вашего высокопревосходительства

Покорнейший слуга Кн. Петр Волконский.

Второй, также не появлявшийся еще в печати документ хранится в архиве Института Русской Литературы Академии Наук СССР под шифром: 2903 (XV-б. 38)[22].

Привожу его целиком:

Министерство
Императорского
Двора
Придворная контора
по 2 Експедиции
В С.-Петербурге
Марта 3 дня 1832.
№ 22.

Г. Действительному Статскому
советнику Келеру.

Господин Министр Императорского Двора Конторы сообщил что Государь Император Высочайше повелеть соизволил допустить известного Сочинителя Александра Пушкина рассмотреть хранящуюся в Ермитаже библиотеку Вольтера, о чем для надлежащего со стороны Вашей распоряжения сим Вашему Превосходительству и рекомендуется.

Советник Петр Шретер
Секретарь Барон Бильско
Титулярный Советник Лебрюн.

Этими бесцветными документами пока и ограничивается наше знание о том, как Пушкин был допущен к интересующей его работе.

К сожалению и о самой работе его в библиотеке Вольтера имеются пока лишь очень незначительные сведения, представляющие впрочем несомненный интерес, так как исходят от самого Пушкина и дают пусть слабые, но все же поддающиеся расшифровке следы его интересов и занятий. Здесь нет необходимости подробно напоминать, чем был Вольтер для Пушкина-лицеиста, для Пушкина-юноши, для Пушкина-ссыльного... С детства «всех больше перечитан» «поэт в поэтах первый», для Пушкина—выученика французской литературы—Вольтер всегда был самым значительным лите-

АВТОПОРТРЕТНЫЕ НАБРОСКИ ПУШКИНА, ЗАРИСОВАННЫЕ ИМ В ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ В БИБЛИОТЕКЕ ВОЛЬТЕРА

Публичная Библиотека, Ленинград

ратурным именем как в смысле огромного комплекса просветительных идей, так и в смысле чисто художественного воздействия. Понятен поэтому тот глубокий, волнующий интерес, с которым Пушкин должен был входить весной 1832 г. под своды Эрмитажа, подходя к шкафам, хранившим всю личную библиотеку фернейского патриарха—этот запыленный пороховой склад вольномыслия XVIII века.

Пушкин был подготовлен к занятиям в ней не только как умный поэт, прекрасно знающий любимого поэта, не только как человек, воспитавшийся в школе «вольтерьянского духа». Он был подготовлен к тому, чтобы исследовательски ориентироваться в этих массах книг, чтобы использовать для своих научных занятий историка ее богатейшие ценности, в частности книги и рукописные материалы, касающиеся эпохи Петра и Пугачева. Собиратель редкой книги, знаток мировой литературы, писатель, интересующийся социальными моментами истории, недавний друг декабристов—все это должно было всколыхнуться в нем здесь при виде богатейших интернациональных собраний pot-pourri, анекдотов, трактатов, поэзии, процессов, памфлетов, изысканий, материалов. Рукописи, относящиеся к истории России петровской эпохи, путешествия, заметки о России, калейдоскоп имен, связанных с библиотекой самого Пушкина, с его собственными интересами: Альгаротти, Шекспир, Бэкон, аббат Шапп, история пап, история Камчатки, де Бросс, Марциал, письма Шувалова, заметки Вольтера и Фридриха, письма Екатерины, фолианты монахов—и все это, освещенное именем бывшего хозяина этой

библиотеки, статуя которого стояла здесь же и автографы которого глядели из многих книг[23].

Вероятно со временем можно будет говорить точнее о работе Пушкина в библиотеке Вольтера. Остановимся пока на некоторых мелочах его посещения. Пушкин пришел туда со своей записной книжкой. К счастью она сохранилась и хранит несколько отрывочных записей-впечатлений. До сих пор однако они никак не были осмыслены и частично считались неразборчивыми. На одной из страниц записной книжки, хранящейся ныне в Публичной Библиотеке в Ленинграде[24], находится карандашная зарисовка статуи Гудона. Она сделана бегло, быть может в ожидании, en face, без попытки передать лицо Вольтера, быть может при недостаточном освещении и во всяком случае не может итти ни в какое сравнение с частыми рисунками головы (профиля) Вольтера в тетрадях Пушкина, поражающими чертами портретного мастерства[25]. Кстати сказать, до сих пор совершенно не выяснены оригиналы, легшие в основание пушкинских представлений о лице Вольтера. Отмечу попутно, что в одной из книг, имевшихся у Пушкина («Histoire de la vie et des ouvrages de Voltaire, suivi des jugemens qu'ont portés de cet homme célèbre divers auteurs estimés; Par L. Paillet-de-Warcy... Paris, 1824»), имелся вкладной лист с пятью литографированными портретами Вольтера[26].

Данная технически слабая зарисовка Пушкина любопытна лишь в том отношении, что дает точную дату момента, когда Пушкин попал в библиотеку Вольтера и оказался vis à vis с его статуей. Внизу рисунка под пьедесталом статуи Пушкиным записано: «10 mars 1832. Bibl.[iothèque] de V.[oltaire]».

Следующая страница имеет карандашную запись Пушкина, считавшуюся до сих пор неразборчивой[27]. Ее следует читать так:

«manuscrit La Poloniade».

«Полониада»—заглавие бюрлескной поэмы Фридриха II, направленной против польских конфедератов.

На стр. 62 вышеупомянутых записок Лонгшана Пушкин мог найти сведения об этой поэме, по аналогии с которой сам Вольтер написал свою—о гражданской войне в Женеве[28].

Кроме того в ряде томов принадлежавшего ему собрания сочинений Вольтера Пушкин нашел много сведений о данном произведении.

Так в одном месте[29] Вольтер спрашивал герцога Ришелье: «Что вы скажете о короле прусском, который прислал мне поэму в шести песнях против польских конфедератов? Контрибуции, собираемые им с окрестностей Данцига, дадут ему возможность издать его поэму с прекрасными эстампами и прелестными виньетками»... В другом месте[30] Фридрих пишет Вольтеру: «Я воспел не победы Екатерины, но безумства (les folies) конфедератов. Шутка полезнее выздоравливающему, нежели строгость царственного стиля. Вы увидите ее образец. В ней 6 песен. Все закончено. Ведь пятинедельное нездоровье дало мне время сочинять и править, когда мне угодно... Ах, какое неисправимое животное—человек! скажете вы, увидя вновь мои стихи. Порабощенные Валахия, Молдавия, Татария должны быть воспеты в ином тоне, чем глупости d'un Crazinski, d'un Potoski, d'un Oginski и всей этой дурацкой массы, имена которой кончаются на «ki».

10 июня 1832
Библ. Вольт.

1) Biblia. Breves in eadem annotationes ex doct. interpret. et Hebraeorum commentariis — Paris 1532
1 vol. in f.
2) S. P. Justini Philosoph. et martyris Opera quae ex- tant omnia cum MSS co- dicibus collata, ac novis interpretationibus, notis, ad- monitionibus et praefatio- ne illustrata cum indicibus [illegible]

ЗАПИСЬ, СДЕЛАННАЯ ПУШКИНЫМ В ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ В БИБЛИОТЕКЕ ВОЛЬТЕРА

Публичная Библиотека, Ленинград

Вольтер отвечал [31]: «Государь, никогда я столь хорошо не понимал что можно плакать и хохотать в один и тот же день. Я полон и совершенно растроган ужасным покушением, предпринятым против польского короля, удостаивающего меня некоторыми милостями... Вот слова которые будут вечны: «хотя вы мой король, но я дал клятву убить вас», я обливался слезами ужаса, получив ваше письмо и вашу весьма философическую поэму, которая столь забавно провозглашает мировые истины. Я начал смеяться, помимо воли несмотря на свой ужас и свое уныние. Как чудесно рисуете вы дьявола и попов и, в особенности, епископа, первого виновника всяческого зла.

Я хорошо вижу, что, когда вы создали эти две первых песни, бесчестное преступление конфедератов еще не было совершено. Вы будете принуждены быть настолько же трагическим в последней песне, как вы были веселы в других, которые ваше величество пожелали мне прислать. Несчастье благоприятствует кой-чему, ибо подагра заставила вас сочинить вещь столь прелестную: со времени Скаррона среди страданий не было сочинено стихов столь забавных... Полагаю, что убийство короля Польши принесет ей много хорошего. Невозможно, чтобы конфедераты, ставшие ужасными роду человеческому, упорствовали в заговоре столь преступном. Не знаю, быть может я ошибаюсь, но мне кажется, что из этой гнусной авантюры может создаться мир».

ЗАПИСЬ, СДЕЛАННАЯ ПУШКИНЫМ В ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ В БИБЛИОТЕКЕ ВОЛЬТЕРА

Публичная Библиотека, Ленинград

И позже по разным случаям «Старый фернейский больной» вспомı нает об эпической поэме» [32], считая нужным опубликовать ее. Фридри не делает этого, не желая шокировать еще живущих ее персонажей [33].

Указанные факты объясняют запись Пушкина, прежде всего захотеı шего повидать рукопись Фридриха. Она действительно хранится пс ныне в библиотеке Вольтера (12 том рукописей, in 4°, maroquin rouge в 5 шкафу, № 240 с заглавием: «Chant 1-er La guer(r)e de la Confe deration par le Roy de Prusse, le titre est de sa main».

Ниже рукою Ваньера: «La Poloniade poëme burlesque» [copie de Loı rain].

Естественно, что в годы жгучего интереса Пушкина к Польской рево люции «Полониада» должна была возбуждать его особое любопытство Однако пока нет сведений, видел ли Пушкин самый манускрипт, чита: ли его.

Карандашная запись на следующем листе пушкинской записноі книжки была до сих пор не менее туманной и считалась неразборчивой[34] Ее нужно читать следующим образом (см. снимок на стр. 916):

Extraits de convulsions
et discours de differents convulsio-
naires [tout] concernant Mr Arouet
connu dans les Convulsions
sous le nom de Fr[ère] Brou,

[illegible] [illegible]
[illegible] Latini, [illegible]
[illegible] Francofurti
1684 — 4 vol. in f.
5) Thesaurus Temporum
Eusebii Pamphili Cae-
sariae Palestinae
Episcopi chronicorum
Canonum omnimodae
historiae libri duo in-
terprete Hieronymo
ex fide vetustissimo-
rum codicum casti-
gati — Item auctor
omnia [illegible] ab [illegible]
bio & Hieronymo con-
tinuata — Opera ac
studio Josephi Justi
Scaligeri Julii Caesa-
ris a Burden filii —
Lugduni Batavorum
1606 — 1 vol. in f.

premiere page du
Catalogue de la Libr[illegible]
[illegible]

ЗАПИСЬ, СДЕЛАННАЯ ПУШКИНЫМ В ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ В БИБЛИОТЕКЕ ВОЛЬТЕРА

Публичная Библиотека, Ленинград

ou de gros Brou, frère
de M-r de V.[oltaire]—manus-
crit 1 vol. in 4. 1-re
(armoire 2)

Нам удалось ныне найти этот манускрипт в библиотеке Вольтера (armoire 2, № 211)[85]. Он занят описанием ряда visions (видений), имевших место у женщин в 1744 г. Насколько могу судить, рукопись писана почерком Ваньера за исключением пометы сбоку заглавия («frère de Monsieur De Voltaire»).

Также не имеем сведений, доставалась ли и эта рукопись для Пушкина с мест хранения. Однако попробуем установить, почему Пушкин обратился к ней. В упомянутых «Мемуарах» Лонгшана он встретился со следующими строками (стр. 24): «Позже он (Вольтер) сделался наследником своего брата, который был знаменит среди конвульсионеров и который сделал собрание их «видений» («et qui fit un recueil de convulsions»). Это собрание находится в рукописи в библиотеке г. де Вольтера, которою ныне обладает русская императрица». Таким образом, имея точные сведения о манускрипте, Пушкин при первом же своем посещении вольтеровской библиотеки вспомнил прежде всего о нем, хотя он ничуть не относился к его собственным проектам работ, интересуясь, помимо возможности увидеть любопытную рукопись,

ЗАПИСЬ, СДЕЛАННАЯ ПУШКИНЫМ В ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ В БИБЛИОТЕКЕ ВОЛЬТЕРА

Публичная Библиотека, Ленинград

также и самым своеобразным явлением религиозного изуверства. По крайней мере указатель к сочинениям Вольтера в библиотеке Пушкина разрезан на странице со словом convulsionnaires (t. 42, p. 137). Эта причудливая форма фанатизма часто упоминалась Вольтером. Он называл изуверов: «charlatans trompeurs, trompés, monstre de notre temps». Он упоминает: «ces elans convulsifs et ces pas égarés» (VIII, 386). В примечании к одному из стихотворных текстов (IX, 40) он замечает о секте конвульсионеров, распространенной в высших классах Парижа: «Они опаляли огнем (On rôtissait) девушек так чтобы их кожа однако не была повреждена; наносили им удары поленьями (de bûches) по животу, однако не раня их и это называлось давать вспомоществование»; он рассказывает о «чудесах», он возмущается: «Земля была тысячи раз наводнена суевериями более ужасными, но никогда среди них не было более дурацких и более унизительных» (v. IX, p. 118).

Отмечу, что с материалом на эту же тему Пушкину пришлось столкнуться еще раз позже. В той же книге «Библиотеки для чтения» за 1825 г. (том X), где была напечатана «Сказка о рыбаке и рыбке» книге, на которую Пушкин обращал внимание в письмах к Плетневу и Погодину от первой половины октября 1835 г.,—в этой книге в отделе «Смесь» (стр. 9) была напечатана небольшая анонимная заметка, начинающаяся так: «Неистовства французских судорожников, convulsionnaires, продолжались до 1790 года; но они должны были усту

(АРАНДАШНАЯ ЗАРИСОВКА СТАТУИ ГУДОНА, СДЕЛАННАЯ ПУШКИНЫМ В ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ В БИБЛИОТЕКЕ ВОЛЬТЕРА

Публичная Библиотека, Ленинград

ить первенство некоторым методистским сектам в Англии, и особенно Америке, где на так называемых полевых сходках, campmeetings, ешенство методистов доходит до невероятности», и т. д.

Перехожу к следующим пушкинским записям, также никогда до сих ор не появлявшимся целиком. Они сделаны Пушкиным в той же заисной книжке (через страницу) и тоже в библиотеке Вольтера.

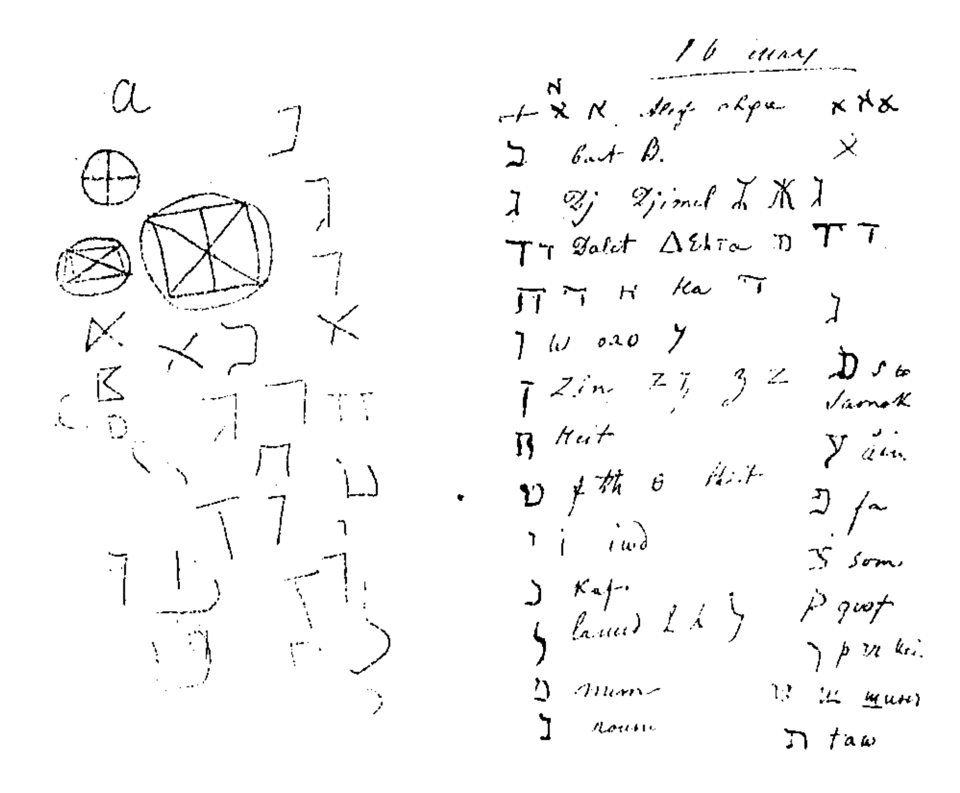
Вот их точный текст:

«1) Biblia. Breves in eadem annotationes, ex doct[is] interpret[ationibus] t Hebracorum commentaries [sic]—Paris [вм. Parisiis] 1532. 1 vol. inf.»

Запись представляет собою заглавие книги из библиотеки Вольтера ифр: arm. 1. Tabl. 8, № 222. В оригинале—год: «MDXXXII».

«2)[а] S. P.[б] Justinii (sic!)[в] Philosophi et martyris opera quae extant[г] mni[д] cum Mss codicibus collata ac novis Interpretationibus, notes[е], dmonitionibus[ж] et prefationi (sic!)[з] illustrata cum indicibus[и] copiosis-

[а] В оригинале начинается с греческого заглавия.
[б] В оригинале здесь еще инициал «N».
[в] В оригинале: «Justini».
[г] В оригинале: «exstant».
[д] След. слова опущены Пушкиным.
[е] В оригинале: «Notis».
[ж] В оригинале: «Admonitionibus».
[з] В оригинале: «Praefatione».
[и] «Indicibus».



ЗАПИСЬ ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО АЛФАВИТА, СДЕЛАННАЯ ПУШКИНЫМ В ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ В БИБЛИОТЕКЕ ВОЛЬТЕРА

Публичная Библиотека, Ленинград

opera et studii unius ex monachis [а] Congregagationis [б] S. mauri [в] Venetiis 1747 [г]—1 vol. inf».

Эта книга имеющая шифр: «Arm. 1 № 230» (1. 8. 230), интересна обилием закладок и надписями Вольтера такого типа: «anges couchent avec nos filles ils font de géans sottises prises du fause Enve» (p. 323), или: «premiers chrétiens ne couchaient plus avec leurs femmes quand elles étaient grosses», или: «Ce Theophile est le plus sot de tous—il veut faire le plaisant».

«3) Q. Septimii Florentis Tertulliani Opera ad vetustissimorum exemplarium fidem Sedulo emendata, diligentia Nic. Rigaltii J. C.—Cum ejusdem annotationibus integris, et variorum commentariis seorsim antèa editis. Ph. Priorius argumenta et nota [д] in libros omnes de novo adjecit [е]—accedunt Novatiani Tractatus de Trinitate, et cibis Judaicis cum Notis Lutetiae Parisiorum 1675 [ж], 1 vol. inf.».

Это—книга под шифром «1. 8. 231» с карандашными заметками (I, 160).

[а] «Monachis».
[б] Описка Пушкина при переносе на новую страницу.
[в] «Mauri».
[г] «MDCCXLVII».
[д] В ориг. «Notes».
[е] У Пушкина пропуск.
[ж] MDCLXXV.

a alef
b bait
g Djimel
D Dalet
H Ha
w yay
Z zin
H Heit
T
I
K
L
m
n

S
Q
k
ш
Ct

ЗАПИСЬ ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО АЛФАВИТА, СДЕЛАННАЯ ПУШКИНЫМ В ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ В БИБЛИОТЕКЕ ВОЛЬТЕРА

Публичная Библиотека, Ленинград

«4) Sancti Hieronymi Stridonensis. Opera omnia cum notis et Scholiis variis item Lectionibus, Desiderii Erasmi Roterdami[а], Mariani victori[б] Reatini, Henrici Gravii Frontionis Ducae[в], Latini Latinnii, aliorumque[г] Francofurt[д], 1684—4 vol. inf.»

Это—книга с шифром «I.8.232» (arm. 1.232), с закладками и автографами.

«5) Thesaurus Temporum Eusebii Pamphili Caesariae[е] Palestinae Episcopi chronicorum Canonum omnimodae historiae libri duo interprete Hieronymo ex fide vetustissimorum Codicum Castigati—Item auctores omnes derelicta ab Eusebio, et Hieronimo[ж] Continuantes[з] Opera ac studio Josephi Justi Scaligeri Julii Caesaris a Burden filii Lugduni Batavorum, 1606—1 vol. inf.»

Шифр этой книги: I. 9. 233 (зала V, A I. 233); наклейка: «arm. 1, № 233, Bibliothèque de Voltaire».

На следующей странице Пушкиным записано «première page du Cataloge de [переправлено из des] la Bib[liothèque] de V.[oltaire]».

[а] «Roterodami».
[б] «Victorii».
[в] Ducaei.
[г] Пропуск нескольких строк.
[д] Francofurti ad Moenum et Lipsiae., Anno MDCLXXXIV.
[е] Caesareae.
[ж] Hieronymo.
[з] У Пушкина пропуск.

Таким образом Пушкин переписал начало какого-то каталога библиотеки Вольтера. Видел ли он самые книги—неизвестно. Ныне они стоят на других полках, но рядом одна с другой.

К сожалению этими скудными записями и ограничивается записная книжка поэта. Следующая страница занята рисунками на другие темы (в одном из профилей можно видеть автопортрет). В этой же книжке любопытны учебные пушкинские записи древнееврейского алфавита (л. 93², л. 94¹, л. 94², л. 95¹), часть из них сделана карандашом, часть—чернилами. Первая запись, мне кажется, свидетельствует, что Пушкин хотел проделать с еврейским алфавитом тот же занимательный эксперимент, что и в его известной заметке «Форма цифров арабских» [36], пытаясь вывести и еврейский алфавит из той же геометрической фигуры. Возможно, что еврейские записи также связаны с материалами библиотеки Вольтера, так как на одном из листов (л. 94²) им предшествует помета: «16 mars». Однако пока разыскать соответствующих материалов не удалось.

Ни одна из беглых заметок записной книжки Пушкина, сделанных в библиотеке Вольтера, не оправдывает мотивировки, данной Пушкиным для получения права входа в Эрмитаж. Все они наоборот—нисколько не связаны со строгими занятиями официального историка. Несомненно были здесь и другие работы, и иные, более значительные, важные и обширные записи, выписки.

Вероятно прежде всего, чтобы оправдать свое официальное заявление, *обращался Пушкин к петровским богатым материалам.*

Надо полагать, что многое из материалов, оставшихся в бумагах Пушкина после его смерти, еще будет приведено в связь с библиотекой Вольтера. Но интересовавшие нас заметки с несомненностью свидетельствуют уже об одном—о том, что кроме официальных интересов историка Пушкина привели в библиотеку Вольтера еще и другие интересы совершенно особого порядка. Старый пиэтет к имени фернейского патриарха остался для Пушкина прежним: он был на первом плане. Даже простое перечисление «первой страницы каталога вольтеровых книг»—живое свидетельство этого взволнованного пиэтета. Быть может Пушкин даже собирался дать в своем «Современнике» краткую информацию о драгоценных фолиантах: экземпляре библии, томах Юстина, Тертуллиана, Иеронима, Евсевия, с заметками великого врага религии, которого в 1830 г. он называл

«. . . . . . . циник поседелый,
Умов и моды вождь пронырливый и смелый».

Войдя в его библиотеку, он обратился прежде всего к его образу, к его драгоценным манускриптам. Это оживление интереса к Вольтеру любопытно для понимания пушкинской идеологии в ту эпоху. Историография сама собой, но раньше всего для себя хотел запечатлеть Пушкин кое-что и в спешном рисунке, и в беглой записи, и в трудолюбивой копии.

Только слегка приоткрывается завеса над этими двойными интересами Пушкина.

С Вольтером надо было обращаться скрытно, осторожно.

Через год после этого эпизода Пушкин писал по поводу «Истории Пугачева»: «Из предисловия... должно будет выкинуть имя Вольтера,

хотя я и очень люблю его». В предисловии остались слова: «Историческая страница на которой встречаются имена Екатерины, Румянцева, двух Паниных, Суворова, Бибикова, Михельсона, Державина». Имени Вольтера Пушкин не посмел оставить.

Но оно должно открывать этот перечень имен.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Стих «Полтавы» «к врагу на ужин прискакать» основан на заключительном эпизоде третьей книги «Истории Карла» («L'envie lui avait pris, en passant si près de Dresde, d'allez rendre une visit au roi Auguste... Charles déjeuna avec lui comme un voyageur qui vient prendre congé de son ami...» и т. д.). См. в библиотеке Пушкина. «Сочинения Вольтера», т. XV, стр. 128—129 (в этой же книге имеется закладка Пушкина с клочком письма С. Л. Пушкина 1834 года между стр. 182—183).

2 Возможно, что Пушкин читал для этой цели Вольтера еще в Одессе, в Воронцовской библиотеке. (См. «Сборник Всеукраїнськой Ак. Наук. Україна», 1928, № 1, стр. 48.)

3 Все эти документы перепечатаны Сухониным («Дела III Отделения», 1906 г., стр. 127—130). Ср. замечание Н. А. Гастфрейнда в предисловии к изданным им документам о Пушкине (1900 г., стр. 22): «Замечательна поспешность, с которой он был принят на службу: в том же июле уже состоялось высочайшее повеление. Можно подумать, что только и ждали письма Пушкина».

4 Ср. «История императорской Академии Наук в Петербурге», т. I, 1870 г., стр. 381.

5 Там же, т. II, стр. 617. Ср. «Архив М. Н. Воронцова», т. III, стр. 266.

6 № 1491 библиотеки Пушкина, стр. 106—107, 124—125, 186—187 и др. Ср. также закладку Пушкина в № 949.

7 Там же, стр. 288—289.

8 Там же, стр. 292—293.

9 Там же, стр. 314—315 и заложенные стр. 386—387.

10 Там же, стр. 418—419.

11 Там же, стр. 427—428. Замечу попутно, что до сих пор был неизвестен источник заключительного места в письме Пушкина от 11 октября 1830 г. к невесте: «Прощайте, мой прелестный ангел. Целую кончики ваших крыльев, как говорил Вольтер людям, которые не стоили вас». Это—обычный рефрен писем Вольтера к гр. д'Аржантайль. (Ср. в библиотеке Пушкина, т. XXXVI, стр. 131, 365, 408 и след., 467, 589—ближе всего в письме от 5 сентября 1761 г.: «Mes anges, je baise le bout de vos ailes».

12 В томе 40, стр. 63 имеется также закладка Пушкина на письме Фридриха II, спрашивающего Вольтера, для чего предпринимает он «историю сибирских медведей». Фридрих полагает, что все уже сказано в «Истории Карла» и не собирается читать истории «этих варваров», стараясь забыть, что они существовали на земле.

13 Подробное заглавие книги см. в описании Б. Л. Модзалевского «Библиотека А. С. Пушкина», стр. 276, № 1110; т. I разрезан до стр. 281 (а не 285, как ошибочно указано Б. Л. Модзалевским); т. II—со стр. 33 до конца.

14 Императрица предложила г-же Дени «50 тыс. экю деньгами и такой же стоимости алмазов, шуб и проч.»

15 Опускаю примечание, оговаривающее, что Екатерине могли быть отправлены Ваньером лишь книги и те манускрипты, которые присоединил сам Ваньер, да может быть копии. Остальные же рукописи были проданы Панкуку для его издания сочинений Вольтера.

16 Ср. «Письма и бумаги имп. Екатерины II, хранящиеся в Императорской Публичной Библиотеке, изд. А. Ф. Бычковым». СПБ., 1873 г., стр. 16 (рескрипт И. С. Барятинскому—посланнику в Париже—об оказании содействия «секретарю Ванье, который вскоре намерен оттуда направиться в Санктпетербург с библиотекою после Вольтера мною купленною». Ср. «Voltaire et la police... avec un essai sur la bibliothèque de Voltaire, par L. Léouzon le Duc», 1867, p. 233.

17 См. план и подробности в книге «Музеи имп. Эрмитажа». Описание. СПБ., 1861 г., стр. 128—135. Библиотека Вольтера. Позже (в 40-х годах) библиотека была перемещена на верх.

18 «Переписка Пушкина», ред. В. И. Саитова, т. II, 1908 г., стр. 373, письмо с надписью рукой Бенкендорфа.

[19] Эти документы перепечатаны Сухониным («Дела III Отделения», 1906 г., стр. 127—130).

[20] Опись № 36(1629), «Дело № 300, № 688. 2 «О допущении известного сочинителя Александра Пушкина рассмотреть хранящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера» (стр. 92).

[21] «Дела III Отделения», стр. 130.

[22] Поступил от Н. А. Котляревского.

[23] См. «Inventaire des manuscrits de la bibliothèque de Voltaire conservée à la bibliothèque impériale publique de St.-Pétersbourg par M. Fernand Caussy», Paris. MDCCCCXIII.

[24] Бумаги А. А. Краевского 45-в—папка «Пушкин»: А № 1 лл. 95[2]—100[1]. (Ср. «Отчет Публичной Библиотеки», 1889 г., стр. 51—56).

Страницы с записями в библиотеке Вольтера заполнялись Пушкиным в обратном порядке (с другого конца), чем остальное содержание тетради. Последовательность записей (от 10 марта к 16 марта) видна из порядка прилагаемых снимков. Анализ записей дается в порядке общей пагинации тетради (листы 93[2]—100[1]).

[25] Напр. чудесный рисунок в тетради № 2370, л. 41. Вольтер во фригийском колпаке и профиль внизу; в тетради № 2371, л. 96[2] (черновые «Полтавы»; Вольтер в парике, в тетради № 2387 (тетр. № 6), л. 33[2]; профиль в тетради № 2374, л. 6[2]; позднейший синтетический портрет к статье Пушкина о Вольтере (№ 2386, В., л. 11).

[26] Модзалевский, Б. Л., Библиотека А. С. Пушкина, стр. 305, № 1235.

[27] Модзалевский, Л. Б., Рукописи Пушкина в собр. Гос. Публичной Библиотеки в Ленинграде. Л., 1929, стр. 26.

[28] Стр. 62, ср. также примечание.

[29] Т. 37, стр. 525, письмо № 414 от 28 янв. 1772 г., разрезано.

[30] Т. 40, стр. 176 (письмо от 18 ноября 1771 г., конец), разрезано.

[31] Там же, стр. 177, разрезано.

[32] Там же, стр. 286, письмо от 15 февраля 1775 г.

[33] Там же, стр. 292. Следует обратить внимание, что кроме вышеуказанного в том же 40-м томе заложено Пушкиным бумажной закладкой письмо Екатерины (№ 135 на стр. 704—705), касающееся Пугачева и Бибикова, и ответ Вольтера (№ 136 на стр. 705), цитированный Пушкиным позже в гл. IV «Истории Пугачева» вместе со следующим письмом Екатерины (№ 157). Пушкин в примечаниях дал лишь глухую ссылку на «Переписку Вольтера с императрицею».

[34] «Рукописи Пушкина в собр. Гос. Публичной Библиотеки в Ленинграде». Составил Л. Б. Модзалевский, 1929, стр. 26, л. 96[2].

[35] Шифр: 2.7.211.

[36] «Сочинения Пушкина», изд. Академии Наук СССР, IX том, 1928 г., стр. 492 и ч. 2, стр. 984. Бумага заметки с водяным знаком 1834 г. На связь всех этих заметок до сих пор не обращалось внимания. Таблицы еврейского алфавита имелись в библиотеке Пушкина (№ 582 и № 1014, стр. 9). Однако записи Пушкина восходят видимо к устному источнику, как видно из перевода еврейских букв.

ДЕКАБРИСТЫ В РИСУНКАХ ПУШКИНА

Сообщение Абрама Эфроса

I

В пушкинских рукописях нередки вырванные страницы. Это—следы вынужденной расправы. Пушкин уничтожал «предательские» стихи и рисунки. Но ежели раньше казалось, что он это делал решительно, чтобы не сказать—панически, то ныне это представляется иначе. В критические минуты отечественной истории и своей биографии он действительно изымал из рукописей разные вещи, однако он совершал такие операции расчетливо. Он вырывал и вымарывал только то, что могло его выдать сразу, что было понятным и очевидным для любого глаза. То же, что ему казалось прикрытым, завуалированным, сколько-нибудь зашифрованным, он оставлял и продолжал беречь. Он поступал так потому, что знал навыки своих недругов. В особую проницательность досужего или следственного ока он не верил. Его трудный почерк, перестановки слов и строф—охраняли вольнодумный стих; схематизм, искажение, неоконченность—крамольную зарисовку. Эти приемы в самом деле оправдали себя. Так было спасено многое. Для графики его маскировка оказалась еще более действительной, чем для поэзии. Этой занимались все, а той—никто. Всего лишь двадцать пять лет назад венгеровская публикация вынесла впервые на свет два образца политических рисунков Пушкина: на одном были портреты Марата, Занда и Лувеля, на другом—виселицы декабристов. С тех пор кое-что прибавилось, но мало. Распознавать людей и события в пушкинских зарисовках мы только начинаем. Постепенно его рисунки приобретают свою настоящую значимость: творческого авто-комментария. Теперь явно, что они—не прихоть, не «просто так», не «вообще», а такое же выражение мыслей, чувств и событий, как и его писания. Это—графический дневник Пушкина, который надо уметь читать, как уже научились читать невероятные черновики его стихов. Старые, обнародованные рисунки перестают быть полунемыми; к прежним толкованиям можно многое прибавить; кое-что надо отбросить.

Это относится, в частности, и к известному венгеровскому листу с виселицами, и к отдельной странице с «эскизами разных лиц, замечательных по 14 декабря 1825 года». Последним по времени основным вкладом в группу политических рисунков Пушкина были изображения казни декабристов, открытые в черновиках «Полтавы». Дальнейшее изучение пушкинских рукописей дает еще более важный графический материал, связанный с тем же центральным политическим событием эпохи,—с восстанием 1825 года. Он значительнее всех прежних в трех отношениях: во-первых, своей непосредственной близостью к событиям, во-вторых, кругом лиц, которых он охватывает, в-третьих,—тем, как освещает он все еще смутный вопрос о связях Пушкина с заговорщиками.

В рукописи № 2370 есть два листа с карандашными черновиками «Евгения Онегина». Они представляют собой начальные строфы пятой главы. На странице 80/2 находятся V—VI строфы, на странице 81/2—строфы IX—X. Поля обеих страниц (29×8 см.) заполнены густой сетью профилей, тянущихся сверху вниз. На первом листе есть еще несколько голов по внутреннему полю, у корешка; на втором—колонка профилей огибает текст по низу и идет внутрь, вдоль обреза страницы. Большинство набросков встречается впервые. В предыдущих пушкинских тетрадях их не было. По началу глаз отмечает на листе 80/2 только средний, большой профиль с резко извилистой линией лба, горбатого носа и выпяченного подбородка, а на листе 81/2—голову человека в очках. В первом—повторены черты, уже дважды набросанные раньше. Это—пушкинская интерпретация профиля Мирабо, применительно к современным гравюрам с него, в частности—к гравированному профильному портрету, сделанному Фиссингером с работы Герена. Новая зарисовка стоит ближе всего к тождественному изображению Мирабо на листе 4/1 той же рукописи. Крутой и сложный рельеф облика знаменитого трибуна дан здесь с еще более сугубой и подчеркнутой выразительностью. На втором листе—человек в очках напоминает изображения П. А. Вяземского, встречавшиеся уже в более ранних тетрадях. Однако более пристальное изучение обнаруживает, что повторных набросков больше, нежели это кажется с первого взгляда. Прежде всего—к ним нужно присоединить нижний, тщательно и изысканно прочерченный профиль старческого лица в парике, с острым *носом, выпяченной нижней губой и складками морщин на щеках и покатом* лбу. Он кажется незнакомым из-за ракурса, в котором сделан (как и его повторение, тут же рядом, более тонким штрихом и в уменьшенном размере). Но приняв в расчет эту поправку, сразу обнаруживаешь, что перед нами—традиционный портрет Вольтера, который многократно встречается в пушкинских рукописях: в таком же виде он повторен дважды в поздних набросках 1833 и 1835 гг.; в более ранних вариантах мы находим его на листе 4/1 этой же рукописи и опять-таки в сочетании с профилем Мирабо. Таким образом перед нами два изображения, связанных в пушкинском представлении с пантеоном революции. К ним нужно присоединить еще и третье. Оно сделано над профилем Мирабо. Это—голова человека в прическе конца XVIII в., в высоком воротнике, подпирающем подбородок, и галстуке, завязанном бабочкой; но нарисованный облик двойственен,—уже знакомой по нескольким другим зарисовкам двойственностью: с одной стороны, в его чертах мы узнаем самого Пушкина, это—автопортрет с рядом обычных особенностей пушкинских самоизображений; с другой стороны, набросок отчетливо и вдумчиво, так сказать, «робеспьеризован»; чертам придана стремительность, непреклонность, заостренность, которые свойственны известным гравюрам, передававшим профильные черты Неподкупного—например гравюре Фиссингера с портрета Герена.

Этот двойной Пушкин-Робеспьер знаменателен. Само по себе такого рода травести не было в пушкинском обиходе чем-либо необычным. Пушкин любил проделывать это не только в графике, но и в жизненном быту. Мемуары о кишиневских, одесских, михайловских годах говорят о ряженом Пушкине не раз. Так же перерабатывал он себя и в рисунках. В частности, человеком эпохи Великой революции он изобразил себя на листе 6/2 этой же рукописи, № 2370. Но в соотношении с рядом зарисовок, которые находятся на обоих листах, этот робеспьеризованный автопор-

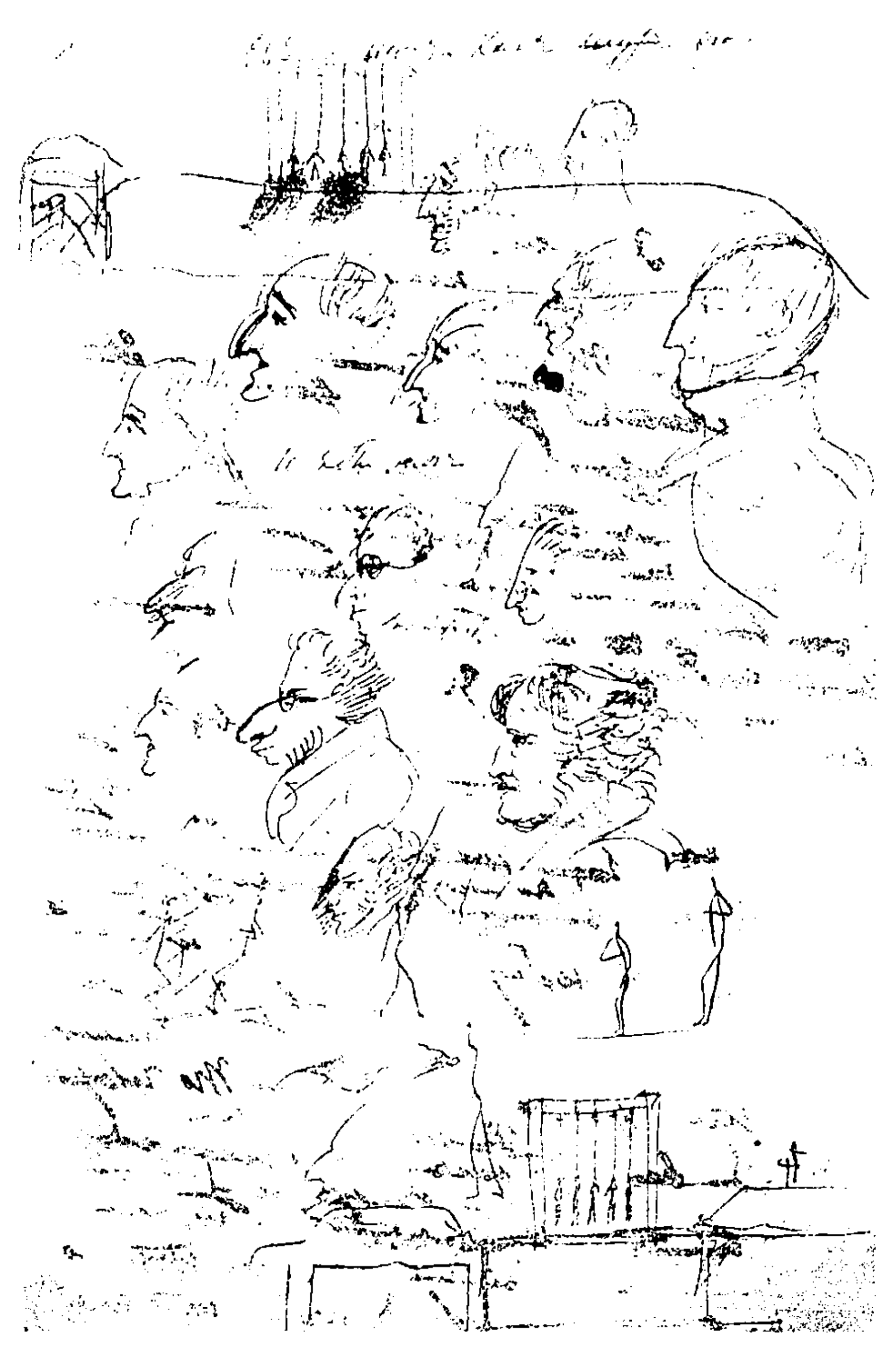


РИСУНОК ПУШКИНА С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ ВИСЕЛИЦЫ С КАЗНЕННЫМИ ДЕКАБРИСТАМИ

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

трет носит особый характер. Он программен, ибо в лице трансформированного Пушкина он образует переход к русским мятежникам.

Он свидетельствует, что автор «Ноэлей» и «Кинжала» мысленно примеривал к себе более значительную роль в событиях, нежели только вольнодумного писателя, возмутительные сочинения которого находили у всех участников декабрьских событий. Может быть надо сказать, что этот набросок есть «крайний край» некой фантастической автобиографии, в которой Пушкин как бы представлял себе, чем мог бы он стать, ежели бы декабрьский мятеж удался, революция 1825 г. пошла по стопам 1789 г., а он, Пушкин, занял бы подобающее место. В этом смысле особенно важно, кто те остальные, которых он изобразил рядом с Вольтером, Мирабо и собой-Робеспьером? Не являются ли наброски этого листа 80/2 своего рода философски-политическим компендиумом пушкинских размышлений над судьбами обеих революций,—над тем, что было и что могло бы быть? Есть основания считать, что это так. Приблизительно через месяц после того, как были сделаны рисунки, Пушкин, уже успокоившись за свою личную судьбу, писал в начале февраля 1826 г. Дельвигу: «...С нетерпением ожидаю решения участи нещастных и обнародования заговора. Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего царя. Не будем ни суеверны, ни односторонни, как французские трагики, но взглянем на трагедию взглядом Шекспира...» Тут свидетельство не только того, что он сам в эти недели уже совершил перебежку к «Шекспиру», но и того, что он встретил катастрофу декабрьского восстания с односторонностью французских трагиков. Он счел нужным теперь перейти к мотивам о «нещастных» и о «царском великодушии»; но на первых порах он думал не об этом, а о том, что могло бы быть и наоборот, и что о милосердии к низверженному царю надо было бы умолять тех, кого ныне он именовал нещастными.

В самом деле, два изображения останавливают наше внимание на этом листе. Одно возглавляет всю колонку профилей. Оно сделано было первым, вверху страницы. Себя самого, в террористическом обличьи, Пушкин сделал вторым, непосредственно под ним; лишь дальше были нанесены Мирабо, Вольтер и другие. Это изображение мы встречаем еще дважды. Оно стоит опять-таки на первом месте в группе портретов на следующей странице, 81/2; оно же нарисовано на отдельном листе с «эскизами разных лиц, замечательных по 14 декабря 1825 года», справа, у края, вторым сверху. Иконографическое отождествление его можно произвести с совершенной определенностью. Сохранившийся портрет в полковничьем мундире, далее—зарисовка, сделанная во время допроса в Следственной комиссии, наконец—набросок из собрания декабриста Зубкова, неверно приписываемый Пушкину, устанавливают, что сюиту профилей листа 80/2 возглавляет портрет П. И. П е с т е л я. Он—первый был в мыслях у Пушкина, когда, работая над черновым началом пятой главы Онегина, поэт задумался над трагическими событиями дня и, во след мыслям, стал непроизвольно зачерчивать многозначительные портреты.

Свидетельств об отношении Пушкина к величайшей фигуре декабризма немного. Они сводятся к кратким упоминаниям в дневниках Пушкина—в кишиневском 1821 г. и в петербургском 1833 г.—да к переданному Липранди пушкинскому отзыву. И то и другое говорит о силе впечатления, произведенного Пестелем, но также и о том, что влечения и приязни к нему Пушкин не возымел. Девятого мая 1821 года, в Кишиневе, Пушкин вносит в дневник: «Утро провел я с Пестелем; умный человек во всем смысле

этого слова. Mon coeur est materialiste, говорит он: mais ma raison s'y refuse. Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которые я знаю...» Липранди же рассказывает, что, передавая о знакомстве с Пестелем, Пушкин сказал, «что он ему не нравится», и что, «несмотря на его ум, который он искал высказывать философическими сентенциями, никогда бы с ним не мог сблизиться». Недружественная нота есть и в петербургском дневнике 1833 г. под 24 ноября, где Пушкин записал о встрече с Суццо, бывшим молдаванским господарем. «Он напомнил мне, что в 1821 году был я у него в Кишиневе вместе с Пестелем. Я рассказал ему, каким образом Пестель обманул его и предал Этерию, представя ее императору Александру отраслию карбонаризма».

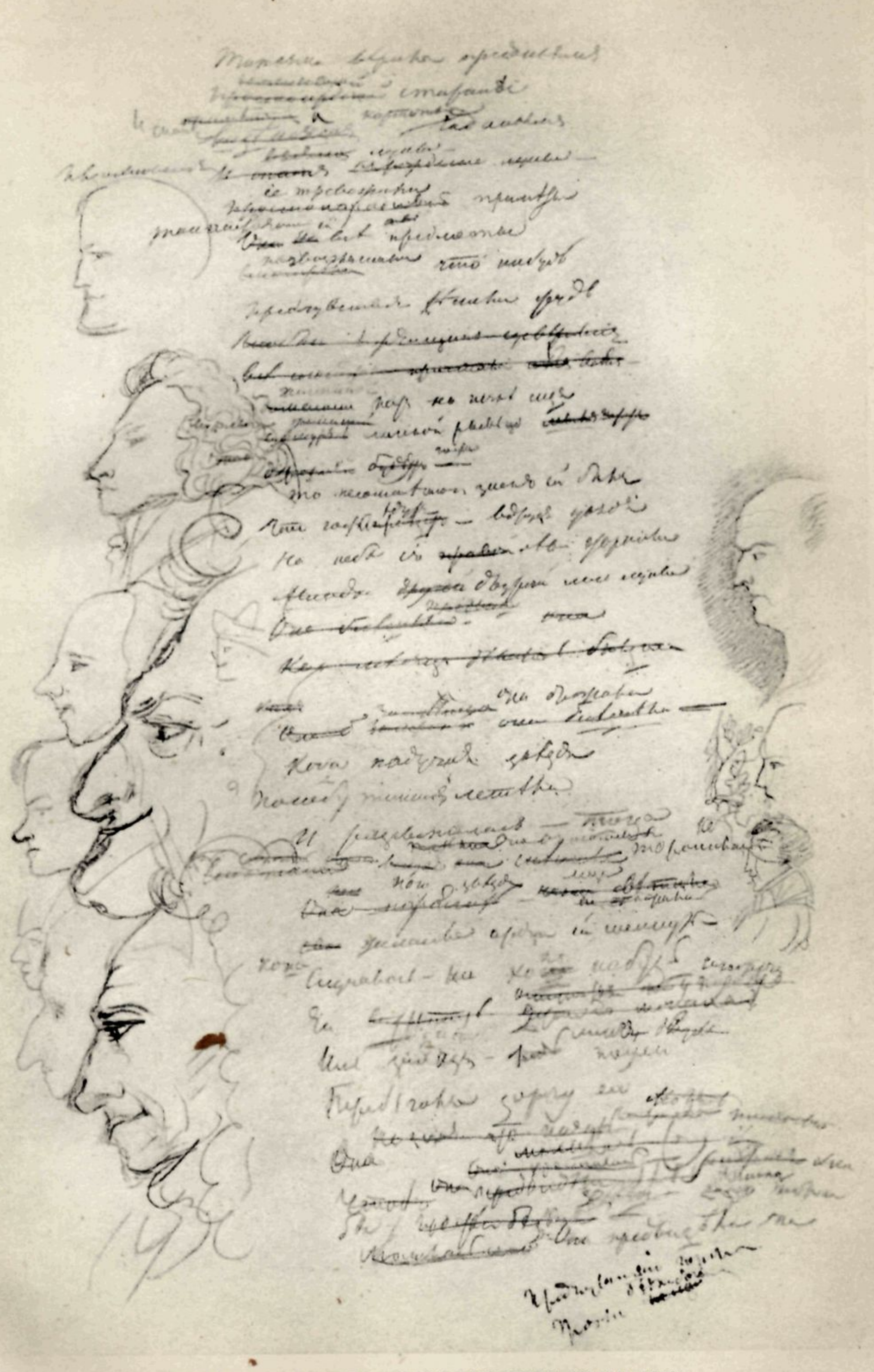
Вот все, что до сего времени позволяло судить о связях Пестеля и Пушкина. Однако портреты Пестеля на листах 80/2 и 81/2 ставят вопрос о том, что Пушкин знал о Пестеле еще до декабрьских событий, куда больше, нежели это представлялось раньше. Связь Пестеля с тайным обществом и его роль в движении стали Пушкину, видимо, ясны очень рано. Вообще с каждым новым документом, появляющимся на свет, взаимоотношения Пушкина с декабристами делаются все определеннее. Недоговоренности и умолчания, чувствующиеся в свидетельствах всех тех декабристов, начиная с Пущина, которые были Пушкину друзьями, становятся явственнее. Обе сюиты портретов в рукописи № 2370 говорят о такой осведомленности, которая предполагает если не формальное участие в декабрьском движении, то настолько большую житейскую близость к нему, что разница почти стирается.

Особенно знаменательно то, к о г д а сделаны обе серии профилей. Они находятся на полях первых строф пятой главы «Онегина». Есть пометка Пушкина, что пятая глава «Онегина» начата 4 января 1826 года. Состояние рукописи показывает, что строфы V—X возникли без каких-либо задержек и отрывов от строф I—IV,—т. е. того же 4 января, или в один-два ближайших к нему дня. О петербургском восстании Пушкин узнал в Михайловском около 20 декабря 1825 г.; между этой датой и 4—5—6 января, когда были сделаны портретные наброски декабристов, прошло таким образом лишь две недели; еще только велись аресты, далеко не все были произведены, еще менее все были известны, а пуще имели возможность, средь общего придавленного молчания и осторожности, дойти до Пушкина, опально сидевшего в деревенской глуши. В особенности же ничего не мог он знать о судьбе, постигшей Пестеля. Пестель находился на юге, арест его был произведен в Линцах в самом конце петербургского мятежа, 13 декабря 1825 г.; в Петербург он был доставлен и посажен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости 3 января 1826 г., то-есть за один-два дня до того, как в Михайловском он был дважды зарисован во главе декабристских серий. Чтобы в это время он мог дважды появиться на листах рукописи 2370, Пушкин должен был ясно отдавать себе отчет в том, что такое Пестель. Нельзя случайного вольнодумного знакомца сопоставлять с Вольтером, Мирабо и Робеспьером и от листа к листу им начинать зарисовки русских революционеров. Видимо кишиневские беседы 1821 г. с Пестелем, бывшим уже несколько лет одной из первейших фигур движения, республиканцем и террористом, выяснили Пушкину много больше, нежели о том говорит скупая помета о «разговоре метафизическом, политическом, нравственном и проч.». Видимо то, что

Пушкин узнал, побудило его не выпускать Пестеля из поля зрения. Это было нетрудно, пока Пушкин сам находился на юге,—до середины 1824 г.,—и этого было достаточно, чтобы в пору, когда дошли вести о крахе восстания, графический шифр Пушкина на листах 80/2—81/2 поставил Пестеля на подобающее ему по праву место: центрального явления декабризма вообще и главаря Южного Общества—в частности.

Что уже в это время Пушкин знал не только о существовании двух ветвей движения—Северного Общества и Южного Общества, но и о том, кто является душой, вождем каждого из них, свидетельствует другой портрет, нанесенный на лист 80/2. Он сделан возле профиля Мирабо, у самого обреза страницы. Он изображает человека в штатском, с некрасивым, но выразительным лицом, с нависшим клоком прически, носом «ручкой» и чуть выпяченной нижней губой. Он, как и пестелевский профиль, еще раз повторен на соседнем листе 81/2,—последним в ряде, справа внизу, у внутреннего края страницы. Мы встретим его и в третий раз среди «эскизов разных лиц, замечательных по 14 декабря 1825 года», опять-таки рядом с Пестелем,—под его профилем, у правого обреза листа. Это—портрет Кондратия Федоровича Рылеева. Профильный набросок из собрания декабриста Зубкова таков же. Те же черты в рисунке «Кюхельбекер и Рылеев на площади 14 декабря 1825 года». Пушкинская привычка типизировать особенности лица заострила в нашем наброске то, о чем можно догадываться и по единственной сохранившейся миниатюре и по рисунку Кипренского: они, как и подобает их стилю, идеализируют облик Рылеева, смягчают его неказистость и угловатость, однако не настолько, чтобы с помощью пушкинского ключа нельзя было восстановить, каков был Рылеев в действительности. Сопоставление всех этих портретов приводит к выводу, что и та зарисовка в рост человека во фраке, которая под обозначением «Каховский» значится в группе набросков, сделанных во время заседаний Следственной комиссии, тоже изображает Рылеева, а не Каховского; это тем более правдоподобно, что сохранившийся портрет Каховского, как бы далеко ни шла в нем идеализация, ни в какой мере не позволяет сблизить это тонкое продолговатое лицо польского склада с короткими, округлыми чертами, свойственными и рисунку, сделанному на заседании Следственной комиссии, видимо чиновником, на досуге зарисовавшим нескольких декабристов во время допросов, и всем остальным изображениям Рылеева,—в особенности же пушкинским.

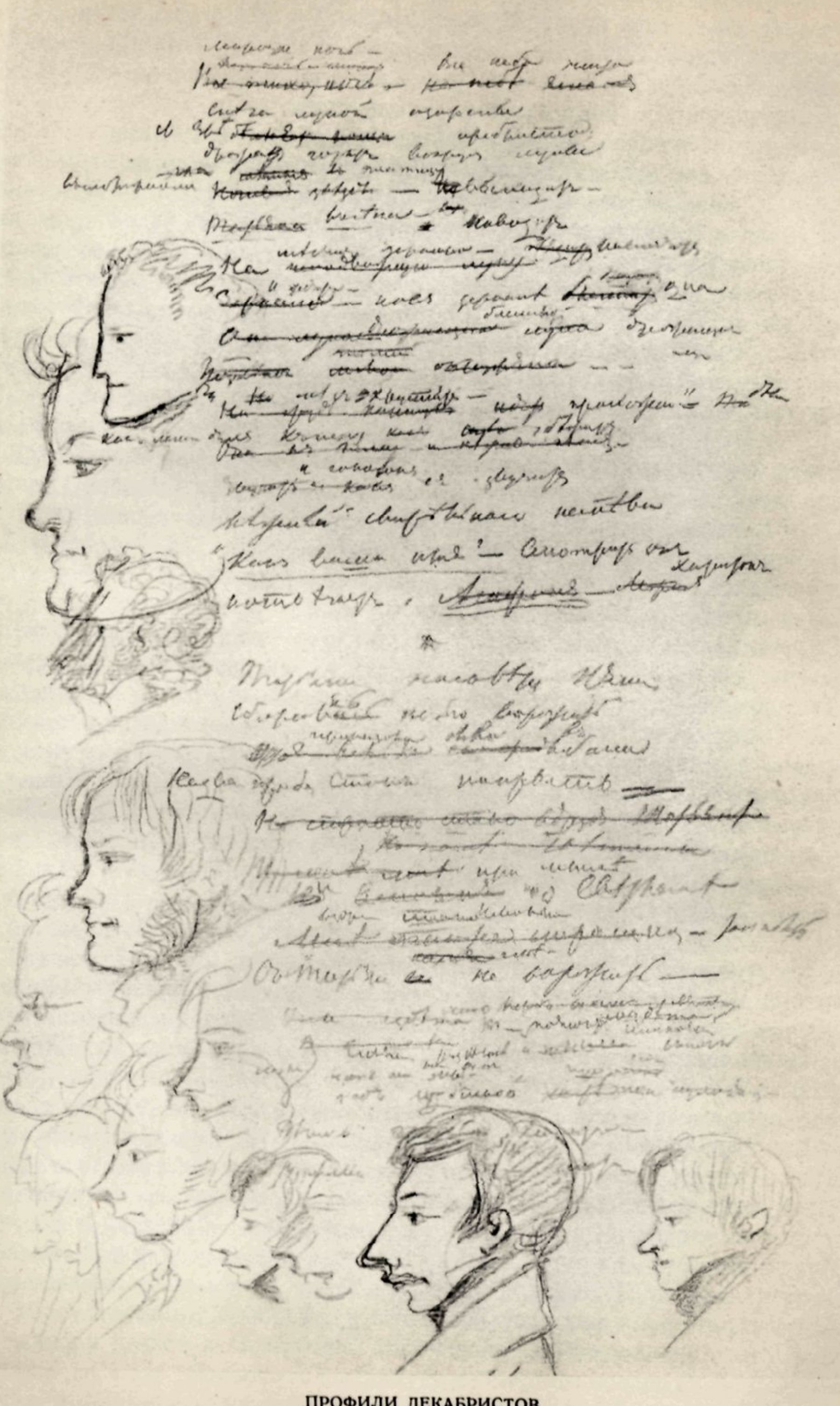
Их выразительность, их реалистичность, наконец тождественность их повторений говорят о том, что облик Рылеева был Пушкину известен точно и близко. У исследователей пушкинской биографии есть все еще какая-то неопределенность в суждениях о том, знал ли Пушкин Рылеева лично, или же близость их отношений ограничивалась дружественностью переписки и приветами на расстоянии. Однако достаточно уже упоминания о Рылееве в пушкинском письме 21 марта 1825 г. к Бестужеву-Марлинскому, чтобы установить, что когда-то была очень личная жизненная связь между ними; Пушкин пишет: «...он в душе поэт, я опасаюсь его не на шутку и жалею очень, что его не застрелил, когда имел к тому случай, да чорт его знал...» Этот намек на некую историю, чуть было не окончившуюся дуэлью между Пушкиным и Рылеевым, был видимо хорошо понятен Бестужеву. Все они явно встречались друг с другом в конце 1819—начале 1820 гг., когда Рылеев появился в Петербурге. Три пушкинских



ПРОФИЛИ ДЕКАБРИСТОВ СРЕДИ ЗАРИСОВОК ДРУГИХ ЛИЦ

Рисунки Пушкина в черновиках „Евгения Онегина" (рук. № 2370, л. 80 оборот)

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва



ПРОФИЛИ ДЕКАБРИСТОВ

Рисунки Пушкина в черновиках „Евгения Онегина“ (рук. № 2370, л. 81 оборот)

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

зарисовки дают этому теперь и иконографическое подтверждение. Но они свидетельствуют и о большем: кроме Пестеля один лишь Рылеев сопоставлен в колонке профилей с триадой Вольтера-Мирабо-Робеспьера; остальных декабристов он зарисовал на следующей странице (отдельно стоящие, по ту сторону черновиков, у правого края, три неизвестных профиля и цветы—явно образуют самостоятельную группу, возникшую по какому-то другому ходу его мыслей). Правда, он еще раз повторил оба портрета на следующем листе, но уже в ином соотношении. Здесь же, на листе 80/2, Рылеев образует политико-революционный pendant к Пестелю: он—символ и душа Северного Общества, как тот—Южного. Перед нами все тот же графический шифр. Пушкин опять-таки знал о Рылееве куда больше, нежели то можно было предполагать по переписке или по воспоминаниям. Переписка—невинна, литературна, внеполитична, в лучшем случае—осмотрительна. Мемуары же не договаривают. Тому есть любопытнейший образчик, как раз связанный с Пушкиным и Рылеевым.

Существует известный пересказ Соболевского собственного повествования Пушкина о том, как он, узнав в Михайловском о кончине Александра I и наступившем замешательстве междуцарствия, вдруг решил, 10-го или 11 декабря 1825 г., самовольно нарушить свою ссылку и отправиться в Петербург. При этом он якобы не решался заехать в столице ни в гостиницу («...остановиться нельзя—потребуют паспорт...»), ни к близким друзьям («...тоже опасно—огласится тайный приезд ссыльного»...), но «положил заехать сперва на квартиру Рылеева, который вел жизнь не светскую, и от него запастись сведениями...»; далее идет в передаче Соболевского эпизод с зайцами и попами, заставившими-де суеверного Пушкина повернуть с пути обратно в Михайловское, и наконец—итог в виде собственных слов Пушкина: «...А вот каковы бы были следствия моей поездки,—прибавлял Пушкин,—я рассчитывал приехать в Петербург поздно вечером, чтобы не огласился слишком скоро мой приезд, и следовательно попал бы к Рылееву прямо на совещание (13 декабря). Меня приняли бы с восторгом; вероятно... я попал бы с прочими на Сенатскую площадь и не сидел бы теперь с вами, мои милые».

Тут все странно и противоречиво, ежели только не заподозрить рассказ в одном основном умолчании. В самом деле, Пушкин, который от одного появления надзиравшего за ним настоятеля местного монастыря мог «присмиреть как школьник» (рассказ И. И. Пущина о посещении Михайловского), вдруг отваживается отправиться в Петербург в декабре 1825 г. только потому, что ему «давно хотелось увидеться с его петербургскими друзьями» (Соболевский). Таков повод. Не лучше и обоснование: «...Пушкин рассчитывал, что при таких важных обстоятельствах не обратят строгого внимания на его непослушание», хотя никаких ослаблений полицейского порядка и надзора в Петербурге не тольке не было, и власти всех мастей и назначений находились за делом и на местах, но и, как значится в другом современном рассказе о несостоявшейся поездке Пушкина (передача М. И. Семевского), наоборот, в эти тревожные дни перед выступлением 14 декабря надзор в Петербурге был усилен, и Пушкин об этом как раз знал по рассказу сбежавшего с перепугу из столицы повара П. А. Осиповой Арсения, вернувшегося в Тригорское около 10 декабря и сообщившего, что «в Петербурге бунт... всюду разъезды и караулы—насилу выбрался за заставу». Пушкин, услыхав рассказ Арсения, «страшно побледнел»,

а на другой день «быстро собрался в дорогу и поехал: но, доехав до погоста Врево, вернулся назад».

Версия Соболевского таким образом с самого же начала рушится. Дальше—хуже: Пушкин не решается заехать ни к кому из друзей, дабы его не опознали, но намерен остановиться у Рылеева и запастись какими-то сведениями. Это значит: все близкие, от Жуковского до Дельвига, его выдали бы, и единственно у Рылеева он чувствовал бы себя в безопасности. Уже первая часть построения нелепа, но и вторая ей подстать: с Рылеевым Пушкин не виделся свыше пяти лет, их личное знакомство ограничилось несколькими месяцами в конце 1819—начале 1820 г.; отношения тогда были даже враждебными; шуточные слова Пушкина: «жалею, что его не застрелил», говорят о нешуточном столкновении; сближение произошло в последние годы на расстоянии, в переписке; этим личная связь между ними ограничилась. Почему же надежнейшим из пристанищ могла для Пушкина быть квартира Рылеева, ежели даже интимнейшие и стародавние друзья оказывались недостаточно надежными? Рассказ Пушкина-Соболевского намеренно ведет по ложному пути. Им важно, чтобы финал был обусловлен, с одной стороны, возможно более невинно; с другой—не скрыл главного; это главное состояло в том, что Пушкин спешил попасть в канун восстания на квартиру Рылеева, и ежели бы это случилось, мог бы быть теперь на каторге, «иль быть повешен, как Рылеев». Другими словами, вся подготовительная часть рассказа построена таким образом, чтобы у нее оказался двойной план: один—для света, для власти,—*случайность всей этой пушкинской затеи, которая могла кончиться трагически*; другой—для посвященных в истинную подоплеку событий,—иносказание о политическом шаге, важнейшем из всех, какие когда-либо предпринимал Пушкин, и от которого он отступился, ибо убоялся. Пушкинские зарисовки Рылеева на листах рукописи 2370, сделанные в первых числах января 1826 года, дают этим выводам совершенно точный итог: ежели еще до всякого «обнародования заговора», при первых же известиях о петербургской неудаче, Пушкин рисует Пестеля и Рылеева и ряд их сообщников, то его прерванная поездка к Рылееву может иметь только один смысл: он знал о предстоящем выступлении, знал—кто и что с ним связаны. Больше того: у него были ежели не обязательства, то основания присоединиться к заговорщикам. Слова Пушкина Николаю при московском свидании: «был бы с ними» имеют более точный и значительный смысл, нежели в той интонации случайности, в духе Соболевского, в какой их все еще воспринимают.

Подтверждением этому служат и зарисовки второго листа—81/2. Между ними и предыдущими набросками находится страница, заполненная лишь стихотворным текстом, без рисунков. Это—VII—VIII строфы пятой главы «Онегина». Двойное течение чувств и мыслей: «Онегин—декабристы», которое сопровождало работу над листом 80/2, исчерпало себя; Пушкин занялся одной поэмой. Но оно вернулось опять, когда на новой странице он принялся за строфы IX—X. Те же два потока заполнили ее. Только центр тяжести несколько переместился. Его графика стала интимнее, личнее, непосредственнее. Ежели лист 80/2 является как бы философски-политическим обобщением событий, своего рода графической алгеброй декабризма, то лист 81/2 занялся арифметическими величинами, частностями, теми, кто близок и дорог, можно сказать—людьми своего круга, друзьями, товарищами. Первую ноту Пушкин взял, было, в том же тоне, что и раньше;

зарисовки на странице он начал опять профилем Пестеля; однако в характере этого нового наброска появились изменения; он сделан менее схематично, у него есть подробности, частности, которых в начальном очерке нет; это уже скорее не символ, не глава движения, а человек, полковник Павел Иванович, с которым тогда-то были такие-то встречи и беседы. Такие же изменения отмечаются и во втором портрете—Рылеева, сделанном на этой странице. Он замыкает собой профильный ряд, как Пестель открывает его; между ними двумя помещаются все остальные; он находится внизу, у внутреннего края страницы, последним. Он опять-таки жизненнее, реалистичнее, нежели на предыдущем листе; его черты резче, портретнее, интимнее. Это—Кондратий Федорович, с которым Пушкин был на «ты».

Такое переключение сразу дало себя знать в остальных профилях: второй набросок сверху, большой мужской головы, перекрыл зарисовку Пестеля и размерами, и интимностью, и жизненной определенностью. Он повторен на этой странице дважды. Между обоими его вариантами Пушкин поместил самого себя. Однако свой автопортрет он перечеркнул; это был уже не робеспьеризованный переряженец предшествующего листа, а обычное, каноническое самоизображение, явственное, похожее, понятное каждому. Что побудило Пушкина заштриховать себя? Внутреннее ли чувство, запретившее сопоставлять свою судьбу с теми, кого он изображал и от которых он сам отделился, повернув во-свояси от погоста Вревского? Или, наоборот,—усугубленная осторожность, не пожелавшая рисковать пребыванием даже в этом графическом ряду обреченцев? Как бы то ни было, нарисовав и изъяв себя из декабристской сюиты, Пушкин опять вернулся к предшествующему облику. Теперь он уже совсем вплотную подошел к нему; он внимательно и подробно стал закреплять его черты; именно этот второй профиль позволяет отождествить оба наброска. Мы узнаем его по такому же профильному изображению в группе сослуживцев и друзей декабриста Зубкова, сделанной Д. Соболевским, и находившейся в руках дочери Б. К. Данзаса—Т. Б. Семечкиной; правая полуфигура, у самого края, изображает «первого друга», «друга бесценного»,—Ивана Ивановича Пущина. Здесь он приглажен и принаряжен, как полагается на подобного рода изображениях, заменявших наши групповые фотографии такого же назначения и качества. Пушкин же зарисовал его так, как делал обычно,—с угловатостями и нажимами, резко, вольно, растрепанно. Крепкое, с широкими чертами, мужественное лицо на его рисунке куда ближе к позднейшим, жизненно точным портретам Пущина, нежели подлощенная интерпретация Соболевского.

Эти два пущинских профиля (в третий раз тот же профиль встречается на листе с «эскизами разных лиц, замечательных по 14 декабря 1825 года», в центре набросков) примыкают к еще более длинному ряду изображений, рисующих другого друга, которого узнать совсем легко по длиннейшему носу, контрастирующему со срезанным подбородком и по общему нелепо-привлекательному складу, который передавался неоднажды и в карикатурах, и в портретах. Профиль с усиками, у нижнего обреза страницы, посредине, с превосходной схожестью передает облик «Кюхли»; таков он и в карикатурном рисунке: «Кюхельбекер и Рылеев на площади 14 декабря 1825 года», таков он и на более позднем подлинном портрете, сделанном видимо уже после тюрьмы. Серия «Кюхлей» на нашем листе, этот ряд проб и вариантов, выдает особое чувство, которое водило карандашом Пушкина. Он его рисует в разных обликах и возрастах: и таким, каким

он был в эту пору, и помоложе, и вовсе юным лицейским птенцом, в стоячем воротничке мундира, с совсем несуразным по длине носом и начисто отсутствующим подбородком. Есть точно бы щемящая тревога в этой цепи набросков, какая бывает за взрослого «младенца», за «блажного», за «Дон-Кихота», попавшего в беду и горького в своей беспомощности. Тут, что называется, «и смех, и грех»: так когда-то «Кюхля» топился в лицейском пруду, так теперь он «влип» в политику.

Эти зарисовки с Пущина и Кюхельбекера, сделанные 5—6 января 1826 г., между Пестелем и Рылеевым, лишь подтверждают ту совершенно интимную осведомленность, какая была у Пушкина о том, кто и как из друзей и знакомцев был связан с заговором. Так, в отношении портрета Кюхельбекера надо отметить, что в дни, когда Пушкин зарисовывал его, он скрывался, пробираясь к границе, и был арестован в Варшаве спустя две недели после того, как графика друга била тревогу на полях онегинских черновиков. Больше того: в формальном смысле слова Кюхельбекер вступил в Северное Общество только в конце ноября 1825 г., то-есть уже среди нарастающей смуты междуцарствия, почти накануне выступления, точно бы лишь приводя во внешний порядок давно налаженные связи и соучастие в предстоящем деле. Об официальном вступлении «Кюхли» в состав Северного Общества Пушкин за десяток дней, прошедших от этого события до восстания, разумеется узнать не мог; но рисунок показывает, что он знал о внутреннем, настоящем положении Кюхельбекера среди декабристов и представлял себе, как должен был он вести себя на площади, в мятежных рядах.

В том же смысле интересно наличие портрета П. А. Вяземского, нарисованного у самого обреза страницы, впереди второго профиля Пущина. Почему оказался он здесь, в этой группе? Его далеко идущий либерализм, действенный и последовательный, приведший его к участию в составлении конституции с Новосильцевым, к подписанию записки об освобождении крестьян, к опале, и к близким связям с декабристскими кругами,—все это могло конечно дать пищу размышлениям Пушкина в эти дни, заставить тревожиться, сопоставлять, примеривать и в общем ряду зачертить его облик. Однако только ли это? Или Вяземский был тоже на положении Кюхельбекера,—формально во-вне, а по существу—внутри, но, благодаря стечению обстоятельств, в игру не вошел, в решительные дни оказался в стороне, и уцелел, как сам Пушкин? Не был ли он в числе тех лиц, на которых Пушкин намекал, говоря о своих записках, уничтоженных в связи с восстанием? Пока это только вопросы; но не исключена возможность, что еще выплывут данные, которые с собой принесут утвердительный ответ.

В более непосредственном и важном соотношении с Пушкиным стоят зарисовки с И. И. Пущина. Думается, что его оба портрета подкрепляют догадку, недавно высказанную, относительно того, что, спешно собравшись выехать в Петербург накануне восстания, Пушкин действовал не случайно и не по наитию, а по прямому вызову или по условию, которое у него было с Пущиным. Это предположение сделано М. В. Нечкиной на основании вновь восстановленного куска из воспоминаний декабриста Лорера. Излагая по-своему общеизвестную видимо в тех кругах историю о несостоявшемся пушкинском приезде в Петербург, Лорер упоминает о важнейшей подробности, отсутствующей в других рассказах,—о письме Пущина, вызывавшего Пушкина в Петербург к началу событий. Лорер

пишет со слов Пушкина-младшего, Льва: «Александр Сергеевич был уже удален из Петербурга и жил в деревне родовой своей—Михайловском. Однажды он получает от Пущина из Москвы письмо, в котором сей последний извещает Пушкина, что едет в Петербург и очень бы желал увидеться там с Александром Сергеевичем. Не долго думая, пылкий поэт мигом собрался и поскакал в столицу...» Далее идет та же версия о встрече с попом и о суеверии, заставившем Пушкина промолвить: «не будет добра» и вернуться в Михайловское. Сводка данных, произведенная Нечкиной относительно обстоятельств, связанных с приготовлениями И. И. Пущина

РИСУНОК ПУШКИНА, ИЗОБРАЖАЮЩИЙ ВЯЗЕМСКОГО, ПЕСТЕЛЯ, ТРУБЕЦКОГО, РЫЛЕЕВА И НЕИЗВЕСТНУЮ ЖЕНЩИНУ (ВОЗМОЖНО—В. Ф. ВЯЗЕМСКУЮ)

Институт Русской Литературы, Ленинград

к событиям, говорит между прочим и о том, что Пущин посылал письма к единомышленникам о предстоящих делах. В Москве, где он проживал, известие о смерти Александра I было получено 25—26 ноября; тогда же Пущин подал прошение об отпуске в Петербург, выехал 1 декабря, перед отъездом совещался с декабристами: Фонвизином, Семеновым, Митьковым, по приезде в Петербург совещался 8—9 декабря с Рылеевым и Оболенским, после чего отправил в Москву Семенову и через него Митькову, Фонвизину, Орлову письмо о «решении Общества действовать», как говорится в «Алфавите членам бывших злоумышленных тайных обществ» 1827 г.; в письме было сказано настолько ясно, насколько это возможно при соблюдении хотя бы кое-какой осторожности: «когда будете читать письмо, все будет кончено».

О московских настроениях преддекабрьской поры красноречиво свидетельствуют воспоминания А. И. Кошелева: «В этот промежуток времени,

т. е. между получением известий о кончине императора Александра и о происшествиях 14 декабря, мы часто, почти ежедневно, собирались у М. М. Нарышкина, у которого сосредоточивались все доходившие до Москвы слухи и известия из Петербурга. Толкам не было границ. Не забуду никогда одного бывшего в то время разговора о том, что нужно сделать в Москве, в случае получения благоприятных известий из Петербурга. Один из присутствующих на этих беседах, кн. Николай Иванович Трубецкой (точно он, а не иной кто-либо, хотя это и невероятно, однако верно: вот как люди меняются!), адъютант гр. П. А. Толстого, тогда командовавшего корпусом, расположенным в Москве и ее окрестностях, брался доставить своего начальника, связанного по рукам и ногам. Предложениям и прениям не было конца; а мне, юноше, казалось, что для России уже наступал великий 1789 год». Соответственно всему этому и поездка Пущина имела до такой степени определенный характер, что Следственная комиссия ставила ему специальный вопрос о намеренном приезде для участия в восстании. Уже этот материал делает достаточно правдоподобным сообщение Лорера о вызове Пушкина Пущиным в Петербург; но надобно отметить опять и глухое умолчание об истинной цели поездки, как то было в рассказе Соболевского, и странный, благонамеренный, ничем предыдущим не подготовленный финал («... провидению угодно было осенить своим покровом нашего поэта, он был спасен...»), чтобы сопоставление этого лореровского известия со сведениями Соболевского делало неизбежным вывод, что у них есть крепкая внутренняя связь и что письмо Пущина есть основание, *остановка у Рылеева—следствие, а совместный выход на Сенатскую площадь*—итог одного и того же дела, которому удостоверяющей печатью служат зарисовки на этом, 81/2, листе рукописи.

Они позволяют в достаточной мере уточнить и взаимоотношения Пушкина и Пущина по линии заговора. Сам Пущин продолжает общую линию умолчания. Он говорил, но не договаривал о связях Пушкина с готовящимся восстанием. Вернее, он рассказывал в своих «Записках» правду о начале, но только полу-правду о конце. Да, когда-то была недоверчивая настороженность к либеральным воззрениям Пушкина, к «подвижности пылкого его нрава», к «сближению с людьми ненадежными», к «жалким привычкам изменять благородному своему характеру» и т. д.; следствием этого был отвод его «подозрениям насчет Общества»; однако становится все более несомненным, что к 1825 г. это было уже в достаточной мере изжито и что Пущин, в январе этого года посетивший в Михайловском Пушкина, увез с собой оттуда не просто чувство исполненного долга, но и сознание того, что опальный друг, которого он так долго держал поодаль от заветного дела, теперь приобщен к нему.

«Записки» Пущина в этом смысле так же нуждаются во вскрытии их второго плана, как и другие сообщения. Пушкинское бегство с дороги назад более чем оправдывало взятую рассказчиками линию, ибо иначе оставалось бы только клеймить и осуждать; однако не после трагической смерти Пушкина можно было делать это, да еще близким людям! Знаменательно для приемов Пущина, что он совсем умалчивает о том, о чем со слов Пушкина говорят остальные: в «Записках» нет ни слова о пушкинской поездке в Петербург. Наоборот, Пущин ведет рассказ в том направлении, что попрежнему-де, несмотря на напор друга, он ни в чем ему не признался и его рвение охладил. После такого душа, на что глядя мог бы помчаться Пушкин в Петербург, ежели бы дело действительно обстояло

так, как с напускною, деликатною суровостью, охраняющей Пушкина от нареканий, утверждает Пущин? Надо помнить, что он писал тогда, когда никаких других сведений об этом еще не появлялось, и он не мог предполагать, что будет выдан. То, что обнаружило трещины в его версии, выплыло на свет лишь после его смерти, а Лорер и профили рукописи 2370, решительно ставящие ее под сомнение, появляются только теперь, через семьдесят пять лет.

Думается, что уже можно наметить линию, которая будет иметь наибольшее сходство с тем, что было в действительности. Вступил ли Пушкин в тайное Общество, принял ли его Пущин членом?—Нет, для такого предположения не имеется никаких данных: тут Пущин не изменяет истине; иначе не могло бы быть также и того, что Следственная комиссия, так часто вертевшаяся вокруг литературного влияния Пушкина на декабристов, не обнаружила его сочленства в Северном Обществе. Однако знал ли Пушкин о готовящемся выступлении и должен ли он был сам принять в нем участие?—Видимо, да. После свидания с Пущиным в январе 1825 г. он был повидимому как бы на положении посвященного, сочувствующего, который был связан с заговором пока лишь нравственными обязательствами, но который должен был доказать, что достоин доверия, когда придет время действовать. Зарисовки листов 80/2 и 81/2 свидетельствуют, что доверие Пушкину было оказано подлинное; явка, данная в адрес Рылеева, говорит, что и вызван был он во-время и к самому делу; то, что он «страшно побледнел», услыхав о петербургских тревогах перед 14 декабря (Семевский), *и сразу же собрался в путь и выехал, указывает на то, что он приступил* к выполнению обязательств; а то, что уже в дороге он отступился и пополз обратно в михайловскую нору,—объясняет и иносказания рассказчиков, и чистую в своем отрицании версию Пущина.

Может быть позволительно сказать, что «первый друг» сделал все, чтобы Пушкин не оказался перед потомством политическим и моральным дезертиром. Не вина Пущина во всяком случае, ежели остальные друзья захотели перехитрить историю и стали что-то выкладывать и кое на что намекать. Куда многозначительнее, нежели раньше, представляются поэтому теперь и стихи «Ариона»: «Нас было много на челне... Лишь я таинственный певец—На берег выброшен грозою...», и запись, сделанная Пушкиным в 1830 г. в «Родословной Пушкиных и Ганнибалов»: «В конце 1825 г. при открытии несчастного заговора, я принужден был сжечь свои тетради, которые могли замешать имена многих, а может быть и умножить число жертв. Не могу не сожалеть о их потере: я в них говорил о людях, которые после сделались историческими лицами, с откровенностью дружбы или короткого знакомства». Чтобы многих замешать и даже умножить число жертв, надо было прежде всего самому встать в их число, а затем—знать о том, о чем даже к 1830 году не дозналась власть. Сопоставляя все, что постепенно приоткрывается над пушкинскими связями с декабристами, мы должны притти к выводу, что пометка Пушкина о содержании уничтоженных тетрадей видимо как нельзя более точна, и в этом выводе далеко не последнюю роль будут играть зарисовки, сделанные поэтом среди начальных строф пятой главы «Евгения Онегина».

II

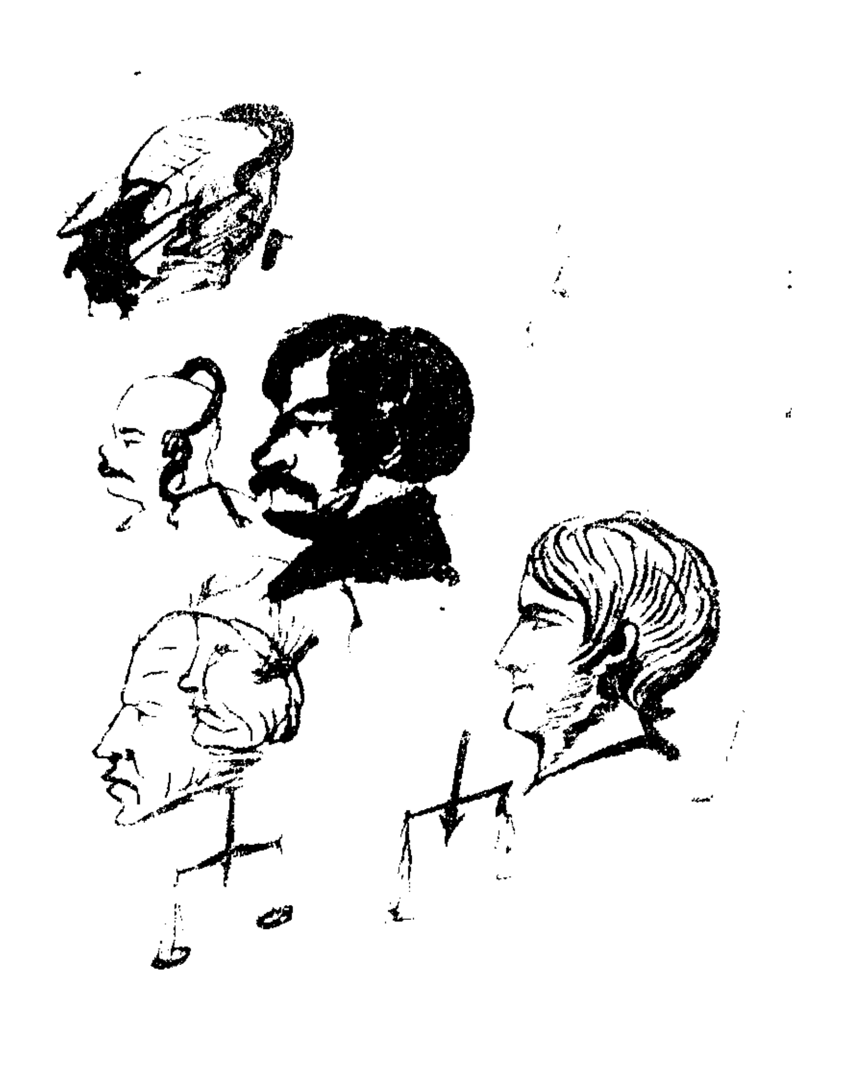
Таковы два капитальных документа декабристской графики Пушкина. Но у нее есть продолжение. Это—листки № 244/422 и № 60 из собрания

Пушкинского Дома и лист 38/1 рукописи № 2368 из собрания Ленинской библиотеки. В формальном смысле, назвать их неизвестными нельзя. Публичная жизнь их насчитывает двадцать, двадцать пять и тридцать лет. Они уже были воспроизведены в книгах или в повременной печати. И все же мы в праве сказать, что в исследовательский обиход они вступают сейчас впервые.

Листок № 244/422 был опубликован в иллюстрированной «Искре» 1913 г., № 36. Характерны те несколько строк, которые сопровождают публикацию; они видимо принадлежат перу Модеста Гофмана, в руках которого был листок: «По наброскам Пушкина мы не можем признать никого, хотя один портрет напоминает Наполеона (а по мнению П. Е. Щеголева, это—декабрист Пестель, который был похож на Наполеона), в другом профильном можно было бы признать Рылеева, с которым однако Пушкин знаком не был. Однако о том, что наброски Пушкина—портреты, и портреты именно декабристов, свидетельствует надпись на обороте, сделанная (судя по почерку значительно позднее самих рисунков) рукой приятеля Пушкина—А. Н. Вульфа: «Эскизы разных лиц, замечательных по 14 декабря 1825 г. работы Алекс. Сер. Пушкина во время пребывания его в с. Тригорском в 1826 г.»... Тем досаднее, что нельзя разгадать, кого именно из декабристов изобразил Пушкин. Надо полагать, что этих лиц следует искать среди деятелей Южного Общества, так как с ними поэт был более знаком лично, чем с деятелями Общества Северного».

За двадцать лет, прошедших со времени появления этой заметки, листком не занимался никто, несмотря на его очевидную и незаурядную значимость. Утверждения Гофмана неверны. Неверно, будто нельзя распознать, кого изобразил Пушкин, неверны указания на Наполеона, неверно, будто Пушкин не знал лично Рылеева, неверно будто листок связан с деятелями Южного Общества, а не Северного. Наоборот, догадки П. Е. Щеголева, которые Гофман не захотел принять, правильны. Однако можно выйти далеко за их пределы и расшифровать листок до конца, до каждого портретного профиля. Больше того: есть, думается, данные, чтобы определить, когда и при каких обстоятельствах эти рисунки были Пушкиным сделаны.

Листок состоит из двух частей—бо́льшей, которой мы занимаемся, и меньшей, где есть несколько «воображаемых голов»—«шалостей пера», каких не лишен и большой лоскут. Но для него характерны не они, а настоящие портреты, очерки действительных людей. Они идут по бумаге сплошной сетью—густой, беспорядочной, накладывающей одни профили на другие, в разных направлениях, то прямо, то поперек, то снизу вверх. Пушкин видимо по какой-то оказии, что-то пишучи, дал себе роздых и, размышляя о событиях дня, чертил облики людей, которые занимали его мысль. По сгущенности, обилию, повторяемости, тревожной сосредоточенности профилей это—один из редких образцов пушкинской графики. Рядом с портретными зарисовками есть и головы отвлеченного типа, графические фантазии, игра ритмом черт или игра в «метаморфозы», вроде того превращения, которое испытал профиль слева, в самом верху, где с одной стороны повторен очерк мужского лица, начатый и брошенный в середине листа, а с другой—этот мужской профиль переделан в женский, при помощи высокой прически, падающих локонов и развевающейся пряди, приделанной к покатому лбу.



РИСУНКИ ПУШКИНА НА ОБОРОТЕ ЛИСТА, ИЗОБРАЖАЮЩЕГО „ЭСКИЗЫ РАЗНЫХ ЛИЦ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПО 14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА"

Институт Русской Литературы, Ленинград

Однако подавляющее большинство рисунков носит портретный характер. Прежде всего мы узнаем тех, кого уже видели на листах 80/2 и 81/2 рукописи 2370. Справа, у обреза листа, выше середины, перед нами портрет Пестеля; он очерчен здесь более тщательно и подробно, чем на полях пятой главы «Онегина»,—полным абрисом головы, шеи, линией плеч. Ниже его,—опять-таки, уже знакомый облик Рылеева, чуть сглаженный и округленный, но сохранивший свои особенности: кончик носа «ручкой», выпяченная нижняя губа, хохолок над лбом. А в середине листа, в ряде еще незнакомых лиц,—широкое, крепкое лицо Пущина, варьирующее его профили, имеющиеся на листе 81/2 рукописи 2370 и еще более близкое к изображению Пущина, сделанному рисовальщиком Д. Соболевским на групповом портрете, принадлежавшем декабристу Зубкову. Наконец поперек листа Пушкин изобразил себя самого—не в профиль, как всегда, а прямолично.

Остальные изображения встречаются впервые. Именно в них и состоит своеобразие листа. Их надо расшифровать. Наиболее настойчиво повторяется облик человека в военном мундире с штаб-офицерскими эполетами. Его профиль сделан очень выразительной, длинной линией, подчеркивающей вытянутость лба и носа. Этот облик начат и брошен первым сверху, у правого края листа. Затем он повторен рядом, уже подробнее: голова, шея в стоячем, расшитом позументами воротнике, эполеты на плечах, абрис туловища в мундире. В третий раз он начат одной линией лба и носа влево от Рылеева. Наконец в четвертый раз он сделан рядом, еще левее, *крупным масштабом, опять в мундире и эполетах. Узнать его по специ*фическим особенностям и удлиненности черт нетрудно. Это—Сергей Петрович Трубецкой, горе-«диктатор» восстания, заколебавшийся и отошедший от дела в решительный день, заработавший себе каторгу, но спасший себе жизнь. В пушкинской графике он появляется впервые. Но зато на некоторое время он становится в ней устойчивым. Отныне мы будем встречать его на листах, где есть декабристские профили. Его появление под пушкинским пером знаменательно. Оно свидетельствует о том, что ко времени, когда возникли зарисовки листка, сведения Пушкина о делах 14 декабря расширились, а многочисленность изображений Трубецкого, настойчивая повторность их, говорит о том, что он крепко занимал мысли поэта.

Однако в какой связи? Едва ли это был внутренний, интимный интерес. Правда, они были знакомы давно. Они виделись еще на сборищах «Зеленой лампы». Они несомненно встречались в последующее время, пока оба были в Петербурге. Трубецкой был в ту пору уже масоном, организовывал «Союз Благоденствия», и от Пушкина, как от всего круга лиц, где он вращался, это не было тайной. Но за пределы знакомства их отношения не выходили. Короткости между ними тогда явно не было, а позднее они уже не встречались. Пушкин ни разу не помянул его ни в сочинениях, ни в заметках, ни в переписке. И если на декабристском листке среди ряда профилей он вдруг отдал Трубецкому первое место,—это внимание могло означать только то, что Пушкину уже была известна роль Трубецкого в обстоятельствах 14 декабря. Едва ли Пушкин удивлялся или осуждал: это походило на собственное его отступление, на «попа» и «зайца», помешавших ему попасть во-время, к событиям, в Петербург. Но видимо образ Трубецкого его поразил,—может быть контрастом между диктаторским званием и тишайшим поведением. В этом смысле знаменательно, что несколько месяцев спустя, в позднейшем, заключительном рисунке

декабристской серии, в другой рукописи (№ 2368, лист 38/1), где были уже начертаны виселицы с пятью казненными,—Пушкин, лицом к этим висящим телам, прочертил в последний раз тот же длинноносый и длиннолобый профиль.

То, что в профилях Трубецкого выражено их многократностью, в одном из соседних рисунков выражено величиной: таков абрис мужской головы с усами, в очках, с густой шевелюрой, выдающимся носом. Это—самый большой профиль на листе. Он сделан у верхнего края, посередине, между Трубецким и женщиной в высокой прическе. Тот же профиль, но много меньшего размера и едва начатый, находится ниже, под перевернутым автопортретом Пушкина, прикрывающим его верхнюю часть; видимо этот малый профиль был сделан первым, тут же под эполетами Трубецкого, затем брошен, чтобы возобновиться в крупном масштабе, энергичными линиями, на свободном месте выше. Нет никакого сомнения в том, кого именно дважды нарисовал здесь Пушкин. Иконографический материал, начиная с карандашного портрета 1818 года, через портрет в альмавиве 20-х годов и кончает портретом 1841 г., сделанным Айвазовским, позволяет с совершенной определенностью считать оба наброска Пушкина изображениями его давнего друга и литературного советчика, Николая Раевского-младшего. Мы встречаем этот же облик у Пушкина и среди более ранних рисунков: в рукописи № 2369, на листе 36/1, среди набросков, сделанных в конце 1823 или 1824 года в Михайловском. Там Николай Раевский нарисован совершенно так же, с теми же отличительными частностями, при чем изображен он не один, а вместе с братом, Раевским Александром, «демоном». Но этот облик старшего Раевского есть и на нашем листке. Оба брата наличествуют и здесь. Александр Раевский нарисован внизу направо, возле портрета Рылеева, чуть ниже. Как и в рукописи 2369, у него характерный «волчий» профиль, в очках, с приподнятым хохолком прически. Вычерчивая его, Пушкин употребил тот же графический прием, что и в абрисе Николая Раевского: сплошную черную черту, окаймляющую линию воротника, подбородка, губ. Различие между обоими профилями Раевского-старшего в том, что на нашем листке он лишен нарочитой характерности, заостренности, какая есть на странице 36/1; он здесь более строг, серьезен—подстать событиям и размышлениям.

Наконец можно отождествить и последний остающийся среди имеющихся на листке набросков; это—своего рода «украинская голова», «хохол», со спущенными усами, в низкой прическе скобой. Рисунок сделан рядом с профилем Пестеля, тут же возле него, слева. Его черты достаточно отчетливо, чтобы признать отождествление возможным, напоминают облик еще одного декабриста,—южанина, демократа, склонного даже порисоваться опрощенческими манерами и костюмом, «щеголять каким-то особым приемом простолюдина», как вспоминал о нем в «Москвитянине» В. П. Горчаков. Сохранился и его портрет этой поры,—в костюме и в шапке украинского простолюдина, близкий к пушкинскому наброску: это—Василий Львович Давыдов, близко и хорошо знакомый Пушкину по «Каменке», один из ее хозяев, которому посвящены известные стихи: «Меж тем как генерал Орлов, обритый рекрут Гименея...» Видный деятель южан, председатель Каменской управы Тульчинской думы, он был арестован на юге и привезен в Петербург 20 января 1826 года. Появление его профиля на пушкинском листке понятно. Оно стоит в связи с портретами обоих Раевских. Это—одна группа. Родственники, друзья, единомышленники,

Давыдовы—Раевские—Орлов—Якушкин—Охотников—Пушкин, они были все вместе весной 1820 года в Каменке, когда там шли шумные споры о тайном обществе и будущем России; Пушкин впервые прикоснулся тогда вплотную к людям и программам движения и, как вспоминает Якушкин, страстно волновался ими. Намеки в стихах к В. Л. Давыдову говорят, что давыдовские высказывания были видимо сугубо радикальны и поражали Пушкина.

Портрет Давыдова—последний из декабристских зарисовок на листке. Других нет. Круг «лиц, замечательных по 14 декабря 1825 года» перо Пушкина исчерпало этим. Оно соединило таким образом обе группы бунтарей, и северян, и южан—Рылеева, Трубецкого, Пущина—с одной стороны, Пестеля, Раевских, Давыдова—с другой. Это прихотливо, но закономерно. Под перо легли те, кто по интимным, внутренним причинам в прихотливом сочетании прошел сквозь мысли Пушкина. Потом Пушкин перевернул листок и стал делать другое. Это был опять ряд голов, но уже иного характера. Пушкин наносил их поверх декабристских профилей, не щадя их, не обходя, так, как ложилось перо, и там, где было место. Графическая пауза уже кончалась и очерки ложились реже и однообразнее. Их вообще мало. Здесь шесть профилей, более или менее одинакового склада—мужские и женские варианты одного типа. Они лишены портретного характера. Это головы вообще, воображаемые лица, без выразительных черт и характерных частностей. Финалом серии был автопортрет, тщательно прочерченный, очень похожий и очень редкий по композиции. Он сделан прямолично, развернутыми чертами, а не в профиль, как рисовал себя Пушкин обычно. Едва ли это не единственный образец такого рода самоизображений Пушкина. Оно легло поверх профилей Трубецкого и Н. Раевского, используя их пустоты и пятна. Оно завершает всю группу набросков. Здесь, как и в обоих основных декабристских листах 80/2 и 81/2 рукописи 2370, Пушкин свел размышления над людьми и событиями к раздумью о себе, к личному знаменателю.

Когда это было? Ключом для датировки являются как-раз облики Раевских. Они не могли бы возникнуть под пером Пушкина среди декабристских людей вне связи с событиями 14 декабря. Но письма Пушкина точно говорят, в какой именно связи это было. Начальный период арестов, после неудачи восстания, захватил и обоих Раевских. Пушкин очень волновался их судьбой. Он требовал от петербургских друзей сведений, побуждал к хлопотам. Он пишет Жуковскому: «...Оба ли Раевских взяты, и в самом ли деле они в крепости,—напиши, сделай милость». О том же он расспрашивает Дельвига: «Мне сказывали, что А. Раевский под арестом. Не сомневаюсь в его политической безвинности. Но он, болен ногами и сырость казематов будет для него смертельна. Узнай, где он, и успокой меня». Оба письма относятся ко второй половине января 1826 года, а в начале февраля Дельвиг уже отвечает, что до Пушкина «дошли ложные слухи о Раевском. Правда, они оба в Петербурге, но на совершенной свободе». Хоть Дельвиг благонамеренно и преувеличивал, говоря о «ложных слухах», ибо братья просидели под арестом три недели, с 27—29 декабря по 17 января, но во всяком случае к тому времени, когда Пушкин запрашивал, Раевские были уже на свободе, безо всякой порухи и даже со знаками монаршего внимания.

Эти хронологические сопоставления позволяют считать, что время возникновения профилей на листке № 244/422 Пушкинского Дома падает

на конец января 1826 г.,—может быть как-раз на те дни, когда писалось одно из писем Жуковскому или Дельвигу с запросом о Раевских. Во всяком случае, листок говорит о круге мыслей и забот Пушкина в эту пору полнее, чем оба нарочито сдержанных и скупых письма, направленных им в пасть львиную—в столицу.

Спустя некоторое время профили декабристов появляются в бумагах Пушкина в четвертый раз. Перед нами листок № 60 собрания Пушкинского Дома. Как и листок № 244/422, его нельзя назвать неизвестным. Он был использован Брюсовым в книжке «Письма Пушкина и к Пушкину», выпущенной еще в 1903 году. По времени, таким образом, это—самая ранняя

РИСУНОК ПУШКИНА, ИЗОБРАЖАЮЩИЙ М. ПАЛЬЧИКОВА

Третьяковская галлерея, Москва

из публикаций нашей группы. Однако Брюсов использовал листок своеобразно. Он взял его по кусочкам, отдельными зарисовками, и разместил их по разным местам текста. Так можно было поступить лишь при условии, что наброски казались лишенными общего значения. Они и в самом деле не были прокомментированы. В брюсовскую книгу они вошли графическими украшениями, в качестве концовок глав. Между тем весь смысл их в том, что они собраны вместе, общей группой.

В целом своем виде листок № 60 публикуется таким образом сейчас впервые. После того, что мы видели на предыдущих пушкинских страницах, иконографические атрибуции изображений на листке № 60 делаются легко. Все четыре мужских профиля уже встречались. Они распознаются сразу. Первый, ближе к левому краю,—большая голова Пестеля, самая крупная из его пушкинских интерпретаций, самая отчетливая, ясная и свободная. Она очень хороша своей легкостью; артистичностью, и определенностью. Но таковы вообще все рисунки на этом клочке бумаги.

Таков, посередине, профиль Трубецкого с виртуозно прочерченной единой линией вытянутого лба и носа. Таков же, правее, чуть выше, профиль Рылеева, в котором характерные приметы—нос «ручкой», выступающая нижняя губа, клок волос над лбом—даны уверенным, можно сказать уже привычным пером. Над этой троицей, сверху,—профиль Вяземского. Он был сделан первым. С него начались зарисовки. Это обычный тип его,—с приплюснутым носом, в очках.

Прибавкой к этим уже знакомым обликам является женский профиль внизу. Он трижды повторен: два раза с правого края, в виде проб пера, а третий раз—под головой Пестеля, окончательно, точно и уверенно. Кого он изображает? Для определенных утверждений данных нет. Можно только высказать условные предположения. Они таковы: весь строй набросков, их теснота, их вписанность друг в друга, переход штрихов одного профиля в другой свидетельствует, что они сделаны не порознь, не вразброд, а сразу, одним духом. Следовательно и женская голова могла возникнуть только по внутренней связи ее с кем-либо из нарисованных на листке лиц. Но с кем? К Пестелю отношений она иметь не могла, он был холостяком, таким же, каким Пушкин знал его в Кишиневе в 1821 году. Точно так же нет ни одного свидетельства, что Пушкин лично знал Наталью Михайловну Рылееву. Повидимому самое появление ее в качестве жены Рылеева в Петербурге произошло в конце 1820 года, когда Пушкин был уже в ссылке на юге. Трубецкую Пушкин хорошо знал еще девицей, графиней Лаваль; а Вера Федоровна Вяземская была не только женой близкого приятеля, но и на короткий срок, в одесскую пору, предметом видимо интимной связи поэта. Обе они могли возникнуть под пером Пушкина там, где рядом ложились изображения Трубецкого и Вяземского.

Однако наперед уже можно считать вероятным, что у Веры Федоровны больше данных оказаться на пушкинском листке. В самом деле, появление рисунков на нем началось не с главарей движения, а с изображения Вяземского. Он был первым в мыслях у Пушкина, когда тот стал чертить профили. Потом появился ниже, справа, силуэт Рылеева; далее пушкинское перо, щадя рылеевский профиль, пошло левее и вырисовало тут же, вплотную, очерк Трубецкого, потом еще левее—лицо Пестеля. На этом—с мужскими изображениями было кончено. Перо пошло ниже, и третьим рядом, опять-таки справа налево, сначала сделало две пробы женской головы, затем нарисовало ее окончательно. Вяземский, по сравнению с троицей Пестеля—Трубецкого—Рылеева, был не общественным, а своим, интимным человеком, и таким же интимным был женский образ. Это значит, что наброски возникли в процессе работы пером, носившей личный характер, и там, где первым появился очерк Петра Андреевича Вяземского, там заключительным изображением мог как нельзя более естественно быть профиль Веры Федоровны Вяземской.

Однако в какой мере этим догадкам соответствуют иконографические данные? Конкуренция Екатерины Ивановны Трубецкой-Лаваль устраняется легко. Ее портрет известен по миниатюре. У нее округлое лицо, мягкий подбородок, вздернутый вверх кончик носа. Пушкинский профиль прямо противоположен: продолговатые черты, удлиненный с горбинкой нос, выступающий подбородок. Но соответствует ли это чертам Вяземской? Положительный ответ можно дать только условно. У нас нет ее портретов этой поры. Из двух ее изображений одно—много раньше, другое—много позже. Портрет работы Молинари относится к 1810-м

годам; а фотография, бывшая на пушкинской выставке 1880 года, сделана уже со старухи. Общий строй их черт аналогичен тем, что переданы у Пушкина; у Молинари их заостренность естественно, как требовала мода, смягчена, а на фотографическом снимке они по-старчески заострены. Во всяком случае они не противоречат пушкинскому профилю. Но все же это пока лишь правдоподобное предположение, а не уверенность. Есть, правда, среди пушкинских рисунков еще одна женская зарисовка, значащаяся изображением В. Ф. Вяземской; это—один из четырех рисунков собрания Остроухова (ныне в Третьяковской Галлерее). Однако вся история с этими четырьмя вырезками из какого-то общего листа, равно как и карандашная надпись под женской полуфигурой, нуждается в обследовании и пока темна. Предполагаю, что Вяземскому здесь дали в пару чужую жену, менее известного человека,—обычный торговый прием сбывателей антикварной иконографии. Как бы то ни было, признать женский профиль на листке № 60 портретом Вяземской можно пока только условно.

В какой момент последекабрьских событий нарисовал Пушкин все эти облики? Надо сопоставить три черты во взаимной их связи. Первая черта состоит в том, что зарисовки начаты с Вяземского: значит он является их исходной точкой. Вторая состоит в том, что Вяземский сделан в одной группе с декабристами: значит что-то объединяло всех их в мыслях Пушкина, когда он делал наброски на листке. Третья черта—та, что в изображенной троице декабристов Трубецкой стоит, так сказать, на равных правах с Пестелем и Рылеевым: значит рисунки делались тогда, когда такое уравнение было еще в представлениях Пушкина возможно, когда будущая судьба номинального руководителя восстания представлялась столь же грозной, что и обоих фактических главарей Южного и Северного обществ, а вместе с тем еще не было оснований присоединять к ним тех трех—Бестужева, Муравьева, Каховского,—кто оказался их сотоварищами по виселице.

Тем самым намечаются хронологические границы: с одной стороны—рисунки были сделаны не раньше конца января 1826 года, когда до Пушкина дошли уже первые перечни арестованных (об этом говорят его вопросы в письмах к Жуковскому, Дельвигу, Плетневу); с другой—не позже конца июля того же года, когда приговор был опубликован и Пушкин уже узнал «решение участи несчастных».

Но в пределах этого срока возможна и более точная датировка. Она подсказывается тем, что профили на листке начинаются изображением Вяземского. Связь между Вяземским и Пушкиным была в эти тревожные месяцы прервана. Оба они воздерживались от писем. Пушкин впервые обратился к Петру Андреевичу лишь через четыре месяца после событий. Он явно избегал переписки с ним. Он писал только тем, кто был совершенно чист и мог быть ему чем-либо полезен: Жуковскому, Дельвигу, Плетневу и им подобным внеполитическим или архилойяльным людям. Да и теперь, спустя ряд месяцев, он обратился к Вяземскому по неотложному, интимному и трудному делу: он посылал ему с письмом свою «живую чреватую грамоту», как выразился Вяземский,—беременную крепостную, которую отправлял рожать ребенка подальше от Михайловского, где его связь с нею становилась уже общим достоянием. Это препроводительное письмо об «очень милой и доброй девушке, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил», Пушкин начинал однако многозначительными словами совсем иного рода. В первых строках значится: «Милый мой Вяземский, ты молчишь и я молчу, и хорошо делаем,—потолкуем когда-нибудь на

досуге. Покамест дело не в этом. Письмо это тебе вручит...» и т. д. Эта фигура умолчания, запертых уст, представляется более красноречивой, чем все, что могло бы дать даже осторожное иносказание по поводу развернувшейся трагедии. У них обоих видимо было о чем помолчать.

Письмо Пушкина было написано в конце апреля—начале мая 1826 года. Черновика не сохранилось. А он должен был быть. Пушкин вообще не писал писем без черновиков, а особенно при такой вдвойне трудной— и политически, и интимно, оказии, при какой ему пришлось составлять послание Вяземскому. Наш листок с профилями представляет собой отрывок. Текста на нем нет. С одного края он резко оборван. Вырез вклинился глубоким треугольником. Это свидетельствует, что листок является частью какой-то страницы большего размера. Законно предположить, что у него могла быть связь с утраченным черновиком пушкинского письма к Вяземскому и что здесь отразилось, как обычно в пушкинских рисунках, то, о чем он думал, но что не доверил словам. По времени возникновения следовательно листок № 60 должен занять в пушкинской декабристской серии четвертое по счету место.

Наконец, пятое место следует отвести известному листу 38/2 рукописи № 2368 с дважды повторенной виселицей. Это первый рисунок, в котором исследователи пушкинских рукописей распознали графические отражения декабризма. Со времени его опубликования С. А. Венгеровым в брокгаузовском издании сочинений Пушкина прошло больше двадцати пяти лет. Это один из самых знаменитых рисунков поэта, который поразил воображение читателей 1906 года и передавался по лестнице поколений с неослабнувшим интересом. Однако за четвертьвековой промежуток времени, прошедший с появления венгеровской публикации, исследование этого листа не двинулось вперед. Довольствовались общей патетикой предисловия, которой снабдил свою публикацию Венгеров. Остался неосвещенным ряд вопросов: о портретности рисунков на этом листе, об их возникновении, о времени, когда они были сделаны.

Нет сомнений относительно того, что именно изображают оба наброска вверху и внизу страницы. И по сути, и по подробностям бесспорно, что Пушкин запечатлел здесь потрясшее его известие о казни 13 июля 1826 года, на Кронверкском валу Петропавловской крепости, пяти декабристов, которых он всех лично и достаточно близко знал. Он, как известно, даже отметил это известие шифром на листке рукописи со стихотворением в память Амалии Ризнич, сопоставив два события, о которых он узнал: смерть Ризнич и казнь декабристов: «Усл. о см. 25».—«У. о. Р. П. М. К. Б. 24», т. е. «услыхал о смерти [Ризнич] 25-го [июля 1826 года]»,—«услыхал о смерти Р[ылеева], П[естеля], М[уравьева], К[аховского], Б[естужева] 24 [июля 1826 года]». Оба наброска казни, сделанные на листе, различаются подробностями: на верхнем—одна форма вала и ворот, запертых и заштрихованных; на нижнем—другая: изображены открытые ворота, вал с виселицей и здание с крышей, при чем сама виселица и тела вычерчены отчетливее и пристальнее. Можно сказать, что Пушкин, вернувшись вторично к зарисовке, пытался во второй раз еще нагляднее и острее представить себе жуткую картину мучительной смерти тех, с кем он был бы вместе во время восстания, как позднее признался он Николаю I при свидании-допросе, после возвращения в Москву из ссылки. Эта внутренняя пристальность к сцене казни сказалась еще более сильно в тех набросках виселиц, которые были сделаны в 1828 г. в черновиках «Полтавы».

„ЭСКИЗЫ РАЗНЫХ ЛИЦ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПО 14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА"
Рисунки Пушкина

Институт Русской Литературы, Ленинград

Как возникли очерки виселиц, профили и фигуры чертей на этой странице, и можно ли установить какую-либо связь между ними? Положение набросков, их состояние и соотношение с двумя строчками текста позволяют как будто установить следующий ход пера по листу: первой была написана Пушкиным строка: «И я бы мог как шут на...»; о том, что должно было следовать за этим, и какое значение придавал Пушкин слову «шут» в том трагическом сопоставлении, какое дал рисунок виселицы, можно лишь гадать, но явственно, что строчка и рисунок, дважды повторенные, связаны между собой, что смысл «шута» должен заключать в себе что-то вроде сравнения предсмертных конвульсий в веревочной петле при позорной казни с вынужденным и унизительным кривлянием шута на канате перед базарной площадью, ибо, как явствует из материалов, собранных Д. Д. Благим во втором издании его «Социологии пушкинского творчества», понятие «шута» употреблялось Пушкиным именно как социально-позорящее, унизительное для достоинства благородно-рожденного человека.

Написавши начало строки, Пушкин зачеркнул «шут на...», и стал искать другого сравнения и продолжения. Эта остановка разрешилась, как обычно, рисунком, первым наброском виселицы. О такой последовательности возникновения и связи строки с рисунком свидетельствует еще то обстоятельство, что рисунок частично задевает по низу буквы уже написанных слов. Дальнейший процесс заполнения страницы шел видимо так: отступя немного вниз от верхней виселицы, Пушкин вторично начал ту же строку, уже без сравнения с шутом, и написал: «И я бы мог», однако снова не нашел *продолжения, задержался и стал чертить профили, покрывая ими все* пространство вокруг брошенной полустроки; при этом от человеческих лиц стал переходить к полууродам, уродам, наконец фантасмагорическим обликам (ср. переход от мужского профиля в очках к «бесовской голове» в тех же очках); далее ассоциация повела к воспроизведению уже привычных по кишеневским упражнениям очерков стоящих, бегущих и пляшущих чертей и наконец от этой пляски переключила его снова в картину «пляски тел» на веревках виселицы и дала нижний рисунок казни, бóльшего объема; теперь уже более точно прорисованы тела, данные в разных позах и состояниях: левый висит мешком, у второго еще движутся ноги, третий и четвертый в конвульсиях, пятый неподвижен.

Среди профилей—большинство имеют портретный характер. Бесспорному отождествлению поддаются три наброска. Так верхний маленький, справа, нарисованный выше всех остальных, уже известен нам по специфическим особенностям своего удлиненного лица: это снова портрет кн. С. П. Трубецкого, появляющийся здесь в третий раз среди пушкинских зарисовок. Большой профиль старика ниже, справа, в полуфигуру, изображает отца поэта, Сергея Львовича; это—дальнейшее развитие уже встречавшейся ранее в пушкинских рукописях зарисовки С. Л. Пушкина, но с еще более старческими, заостренными чертами. Это соответствует действительности. В пору наброска С. Л. было пятьдесят шесть лет. Тянущийся от него к другому краю страницы ряд профилей, получивших наиболее законченный вид в левом очерке, с густо прочерченной линией носа, бровей и глаз—столь же несомненно передает черты дядюшки-стихотворца Василия Львовича Пушкина, шестидесятитрехлетнего пижона. Ассоциативная связь этих двух набросков со всей страницей может быть объяснена предположительно тем, что портрет отца, с которым Пушкин был в разгаре тяжелой вражды, явился графическим отражением пушкин-

ских размышлений о своей собственной судьбе, о крупных неприятностях, которые чуть было не навлек на него недавно, в начале михайловского сидения, Сергей Львович своими сплетнями и доносами; Пушкин просил тогда Жуковского и Адеркаса о переводе «в крепость»; может быть по этой линии (крепость—Петропавловская крепость) и возник под пером образ С. Л.; облик же легкомысленно-дружественного дядюшки видимо явился по противоположности с враждующим отцом.

Когда были сделаны эти наброски на листе 38/1? Его положение в тетради № 2468 таково, что прямых данных для ответа нет. Его можно получить лишь по косвенным сопоставлениям. Смежный лист справа—пустой, а несколько строк на его обороте, из седьмой главы «Евгения Онегина», с описанием могилы Ленского («Кругом его цветет шиповник» и т. д.), написаны в обратном направлении, верхом вниз, как и все предшествующие страницы рукописи, начиная с первой; таким образом в отношении всей этой половины тетради наш лист изолирован. Его непосредственная связь со второй половиной (38/2—59/2) не более тесна. Смежные листы 43/2—38/2 заполнены черновиками пятой главы «Евгения Онегина»—строф XXVII—XXX, XXX—XXXIV, XXXV—XXXVII, при чем к нашим наброскам с обратной стороны страницы того же листа примыкает черновик конца XXXVII строфы и вся XXXVIII в редакции первого издания, от «Перед Онегиным холодным...» и до «Сраженье будет, не солгу—Честное слово дать могу...» Далее идут листы 49/1—44/1, содержащие черновик статьи «О народном воспитании», находящейся между «Евгением Онегиным» и записью русских сказок. При этом надо отметить, что на листе 48/1 содержится известная фраза о декабристах: «...должно надеяться, братья, друзья и товарищи погибших успокоются временем и размышлением, простят в душе своей необходимость и с надеждой (на великодушие) на милость монарха (коего власть не ограничена никакими законами)...» Однако страница, которая содержит эту фразу, как и почти вся статья, написана карандашом, рисунки же на нашем листе сделаны чернилами. Таким образом ни по месту, ни по приемам начертания, ни по дате нельзя установить прямого отношения между статьей и набросками виселицы.

Датировать страницу приходится следовательно по общему ее положению в рукописи, во-первых, и по специфичности ее темы и так сказать взволнованности ее композиции, во-вторых. И то и другое позволяет предположительно считать, что временем возникновения этих пушкинских зарисовок и полустрок являются дни, примыкающие к 26 июля 1826 г., когда до Пушкина дошла весть о казни пяти «внеразрядников».. Лист 38/1 является таким образом последним в серии. Это—заключительное звено декабристских рисунков Пушкина, непосредственно связанных с трагическими событиями 1825—1826 гг.,—от восстания 14 декабря до виселицы 13 июля. Дальше Пушкину было уже не до того. Настали дни ликвидации опалы, конец михайловского сидения, время подчеркнутой верноподанности, пора примирения с режимом, триумфы возвращения в Москву. Должны были пройти два года новой жизни, колебания, тяготы, горечи, чтобы в октябре 1828 г., когда донос о «Гав, рилиаде» смёл, казалось, начисто и безвозвратно все завоеванное благополучие, Пушкин перед угрозой гибели, когда вода поднялась до горла, вспомнил о пяти декабристских смертниках и в черновиках «Полтавы» с мучительной яркостью набросал еще раз, трижды, и общую сцену позорной казни и, отдельно, перекладину с тяжелыми, висящими на ней телами.

ПУШКИН И РОМАНЫ ФРАНЦУЗСКИХ РОМАНТИКОВ

(К РИСУНКАМ ПУШКИНА)

Сообщение Б. Томашевского

I

В тетради Пушкина № 2371, на лицевой стороне листа 89 находится рисунок пером, давно уже обративший на себя внимание. Он был воспроизведен в «Альбоме Пушкинской выставки» 1882 г. (стр. 126). Комментируя эту страницу, Якушкин писал: «Рисунки: на кровати под пологом лежит полураздетая женщина, со свесившимися головою и рукой, повидимому мертвая; внизу начат тот же рисунок: может быть, Пушкин рисовал Дездемону; если так, то хитроулыбающееся мужское лицо представляет, быть может, Яго» (Рукописи А. С. Пушкина, хранящиеся в Румянцевском музее в Москве. «Русская Старина» 1884, июль, стр. 52). Воспроизведен этот рисунок в книге А. Эфроса «Рисунки поэта» с комментарием, который привожу полностью:

«Рисунок носит несомненный характер иллюстрации: однако данных, которые точно установили бы сюжет и автора, пока нет. По графическим приемам—это редкий у Пушкина образец тщательной перерисовки чужой иллюстрации, видимо, бывшей под рукой или хорошо запомнившейся. По типу—это, несомненно, рисунок романтической школы в том ее академическом облике, который связан с иллюстрациями Девериа, Жоанно и др., а у нас—с Карлом Брюлловым. Относительно сюжета Якушкиным в «Рукописях Пушкина» высказана догадка, что «может быть Пушкин рисовал Дездемону; если так, то хитро улыбающееся мужское лицо представляет, быть может, Яго». Необязательность якушкинского предположения очевидна. Разгадка, думается, будет найдена при подробной проработке французской романтической иллюстрации первой трети XIX века».

Источник рисунка был мне указан П. Е. Рейнботом. Это—титульная виньетка из первого тома французского романа «Les Mauvais garçons» (Paris, Eugène Renduel, éditeur-libraire, 1830).

Это указание не только дает источник пушкинского рисунка, но также оно обращает внимание на роман, читавшийся Пушкиным, и тем расширяет круг наших знаний о французской литературе, знакомой Пушкину и определявшей его литературные взгляды и оценки.

Остановимся сперва на рисунке. Изображает он конечно не Дездемону. Нарисованная Пушкиным мужская голова повидимому никакого отношения к главному рисунку не имеет. Оригинальный рисунок

иллюстрирует главу VIII первой части романа. Изображенная на кровати девушка, лишившаяся сознания,—это героиня романа Жаклина Удар, завлеченная графом Лаборном в комнату одного из парижских притонов. Ворвавшиеся в комнату mauvais-garçons (цыгане-разбойники) освобождают девушку от покушений графа. Рисунок не вполне точно передает соответствующий эпизод романа, совмещая разновременные детали.

Рисунок принадлежит знаменитому иллюстратору романтической эпохи Тони Жоанно (1803—1852).

Пушкин, как видно из прилагаемых снимков, не точно воспроизвел оригинал. Ограничившись женской фигурой, он опустил детали. Самая фигура женщины несколько изменена. Тем не менее нет никакого сомнения, что Пушкин срисовывал именно эту виньетку.

Текст, находящийся на той же странице пушкинской тетради и относящийся к неоконченной повести «На углу маленькой площади» [1], к сожалению не имеет бесспорной датировки. Датировки колеблются от 1829 до 1832 г. По отношению к рисунку дата 1829 г. отпадает. Как мы увидим, вероятнее всего датировать рисунок летом 1830 г., когда данная книга была еще литературной новинкой.

Избранная Пушкиным виньетка чрезвычайно характерна для Тони Жоанно. Этот иллюстратор, выдвинувшийся вместе с братом своим Альфредом во второй половине 20-х годов (в 1826 г. они вместе иллюстрировали сочинения Вальтера Скотта), в 1830 г. занимает первое место среди романтических виньетистов. Нет сколько-нибудь значительного автора-романтика, которого бы не иллюстрировал Тони Жоанно. За 1830—1832 гг. им иллюстрированы Ж. Жанен, Ламартин, Ш. Нодье («История Богемского короля»), Бальзак («Шагреневая кожа»), Гюго («Собор Парижской богоматери»), А. Дюма, А. Карр, Э. Сю, перевод рассказов Гофмана, нашумевший роман «Луиза», Друино («Зеленая рукопись»), Библиофил Жакоб, сборник рассказов «Contes bruns» и мн. др. С романтиками он был близко связан и являлся одним из усерднейших посетителей Арсенальной библиотеки, где собирался кружок Ш. Нодье.

Мотивы, подобные настоящему рисунку, встречаются в других заглавных виньетках Т. Жоанно того же периода. Таковы особенно иллюстрации к книге Michel Raymond «Les Intimes» (1831).

Дата выхода в свет романа «Les Mauvais garçons» определяется очень точно. В «Revue de Paris» от 2 мая 1830 г. появилась заметка, начинающаяся словами: «Mauvais garçons выйдут завтра в понедельник у Эжена Рандюэля». В «Journal des Débats» 3 мая 1830 г. помещено объявление: «Сегодня поступил в продажу роман «Les Mauvais garçons» 2 тома in 8⁰ с виньетками Тони Жоанно. Цена 15 фр.» [2]

Исторический роман был центральной проблемой дня. Судьба романа в конце 20-х годов и в первые годы 30-х определялась развитием исторического романа. Пушкин признает подавляющее значение романов В. Скотта. Усвоение приемов В. Скотта неоднократно отмечалось в творчестве Пушкина (см. работы Д. Якубовича).

Но усвоение В. Скотта не было чем-то новым. Пушкин писал свои романы уже на основе сложившейся традиции исторического романа. У Пушкина имеется упоминание о подражаниях В. Скотту. Именно подражанием создают литературную традицию.

По этому поводу полезно вспомнить отзыв Пушкина (1830 г.) о «Юрии Милославском» (напечатанный до его знакомства с «Les Mauvais garçons»).

РИСУНОК ПУШКИНА, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ПЕРЕРИСОВКОЙ ТИТУЛЬНОЙ ВИНЬЕТКИ ИЗ ПЕРВОГО ТОМА РОМАНА „LES MAUVAIS GARÇONS"

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

«В наше время под словом роман разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании. Вальтер Скотт увлек за собой целую толпу подражателей. Но как они все далеки от Шотландского чародея... В век, в который хотят они перенести читателя, перебираются они сами с тяжелым запасом домашних привычек, предрассудков и дневных впечатлений. Под *беретом*, осененным перьями, узнаете вы голову, причесанную вашим парикмахером, сквозь кружевную фрезу à la Henri IV проглядывает накрахмаленный галстух нынешнего dandy. Готические героини воспитаны у madame Campan, а государственные люди XVI столетия читают Times и Journal des Débats. Сколько несообразностей, ненужных мелочей, важных упущений! Сколько изысканности! а сверх всего, — как мало жизни! Однако ж сии бедные произведения читаются в Европе. Потому ли, что люди, как утверждала madame de Staël, знают только историю своего времени и, следственно, не в состоянии заметить нелепости романтических анахронизмов? Потому ли, что изображение старины, даже слабое и неверное, имеет неизъяснимую прелесть для воображения, притупленного однообразной пестротою настоящего, ежедневного?»

Для окончательной проработки вопроса об эволюции пушкинской прозы и для определения степени оригинальности в его преломлении приемов В. Скотта необходимо учитывать литературный фон, на котором воспринимался В. Скотт.

К сожалению факт знакомства Пушкина с романом не устанавливается с полной достоверностью настоящим рисунком: в «Revue de Paris», в том номере, где сообщалось о предстоящем выходе романа и где давался анализ этого произведения, была воспроизведена и настоящая

виньетка Т. Жоанно. Таким образом источником перерисовки могла явиться и книжка «Revue de Paris». Пушкин читал этот журнал (см. по этому поводу мою заметку в «Письмах Пушкина к Хитрово»). Для установления факта знакомства Пушкина с этим романом необходимо войти в некоторые подробности.

Анонимный роман «Les Mauvais garçons» был произведением двух авторов: Alphonse Royer и Auguste Barbier[3]. Бóльшая доля в романе повидимому принадлежит первому. Одно только его имя указывает автор рецензии на роман, появившийся в «Revue Française».

Альфонс Руайе (1803—1875), более известный как драматург (ему принадлежит популярное либретто опер «Лучия де Ламермур», «Фаворитка», «Дон Пасквале») и театральный деятель (он был в 50-х годах директором Одеона, затем директором Большой Оперы), дебютировал в качестве романиста, примкнув к романтикам школы В. Гюго. Словарь Ларуса дает достаточно точное определение литературного значения его первого романа: «Средневековый роман «Les Mauvais garçons» был его литературным дебютом, который произвел впечатление даже в эту эпоху, богатую замечательными произведениями. Блеск стиля, богатство воображения, знание нравов давали основание к тому, чтобы сопоставлять этот роман с «Notre Dame de Paris»; автору недоставало лишь опыта и знания жизни и человеческих страстей». Таким образом даже сжатая энциклопедическая заметка о писателе, составившем себе имя совсем другими произведениями, не могла умолчать об этом молодом произведении и принуждена была отметить успех его.

Менее значительным повидимому было участие О. Барбье (1805—1882), для которого этот роман был литературным дебютом, но который вскоре приобрел громкое имя совсем в другой области литературы—своими «Ямбами», вызванными июльской революцией.

Успех романа был значителен. В «Фигаро» в №№ 123 и 128 (3 и 8 мая 1830 г.) появилась огромная рецензия Нестера Рокплана, восторженно приветствовавшая роман.

Впечатление от романа здесь сопоставляется с впечатлением от средневекового здания готической архитектуры.

«Без сомнения трудно дать в узких рамках фельетона маленькой газеты анализ сложных пружин действия, развивающего перед читателем основное задание и выводящего перед ним университетских ученых с их привилегиями, торговые цеховые корпорации с их обычаями, двор в его пресыщении развращенностью, духовенство, гордое своим правом судить и наказывать и исчисляющее свою власть количеством тюрем и костров; и наконец шайки цыган—бродячих разбойников, изгнанников разных стран, прирожденных врагов общества, которое высшая власть мучит, а не охраняет, предоставляя его на их произвол. Но как бы ни была велика эта трудность, я всё же это выполню, так как слишком редко в наши времена представляется подобный счастливый случай добросовестному критику, и его долг продвигать современные произведения, объединяющие в себе в такой высокой степени дух изысканий и воображение, занимательность и знание». «Старинный стиль, примененный во всей своей поэзии с трезвостью, свойственной старцу, и с жаром, свойственным юноше, возвышенность основной творческой мысли, гибкость плана и распределения подробностей, яркие образы, в которых замысел не приходит в противоречие с истиной,

контраста страха и радости, сцены, полные движения или ужаса, меланхолии или нежности: таковы вкратце достоинства этого романа, который похож на хронику Фруассара, исправленную Шатобрианом».

Любопытно внимание, уделенное языку романа. На проблеме языка настаивает и предисловие к роману, имеющее явно полемический тон: «Автор пришел к убеждению, что так называемый колорит исторического стиля, получивший распространение за последние годы, не что иное, как более или менее манерная подделка, сочетание беспорядочных слов иногда просторечных, иногда старых, образующих в своем соединении нечто, не похожее ни на старинный язык, ни на современный. Это привело автора к заключению, что надо писать исторический диалог или на чистом современном нам языке, или же в достаточной степени изучить старинную речь, чтобы копировать ее так точно, чтобы нельзя было распознать и отличить копию от оригинала». Этот выпад, явно направленный против исторического романа Библиофила Жакоба (Поля Лакруа), объясняет заботу авторов о подлинности выражений и речевых особенностей авторов романа, но не определяет значения романа в целом. Эта забота о языке конечно не ускользнула от внимания Пушкина. Его позиция была в этом отношении вполне определенной. Он сам исповедывал убеждение, что исторические романы должны писаться современным языком, и в этом стал в противоречие Библиофилу Жакобу и авторам «Mauvais garcons». Всякая манерность (которую в данном романе отметили и современные критики) была чужда

LES

MAUVAIS GARÇONS.

I

PARIS,

EUGÈNE RENDUEL, ÉDITEUR-LIBRAIRE.

1830

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО ТОМА РОМАНА „LES MAUVAIS GARÇONS", ПОСЛУЖИВШИЙ ИСТОЧНИКОМ РИСУНКА ПУШКИНА

Пушкину. Когда он писал о книге Сент-Бёва «Жозеф Делорм», он говорил: «Нам показалось, что Делорм слишком много придает важности нововведениям так называемой романтической школы французских писателей, которые сами полагают слишком большую важность в форме стиха, в цезуре, в рифме, в употреблении некоторых старинных слов, некоторых старинных оборотов и т. п. Всё это хорошо, но слишком напоминает гремушки и песенки младенчества». В другой раз, говоря о неудаче опытов Ронсара и Малерба, Пушкин писал: «Такова участь, ожидающая писателей, которые пекутся более о наружных формах слова, нежели о мысли, — истинной жизни его, не зависящей от употребления».

Но основное значение романа отнюдь не в языковых фокусах. Вот вкратце схема романа. Основана она на авантюрном принципе узнания происхождения и родства. Главный герой Люддер—таинственного происхождения, выходец из Германии или из Венгрии, в действительности сын графини Лаборн, брошенный в детстве в воду, но спасенный и воспитанный цыганами. Сложная система постепенного разоблачения происхождения Люддера, специфические приемы спасения персонажей романа в момент неминуемой гибели—таков авантюрный стержень произведения. «Ужасы» всякого рода, описание казней, сражений, грабежей и проч.,—всё это сообщает характерный романтический колорит роману, типичный для эпохи ранних романов Ж. Жанена и В. Гюго. Роман относится к числу тех романов до Июльской революции, о которых Пушкин впоследствии писал: «Литературные чудовища [4] начали появляться уже в последние времена кроткого и благочестивого «Восстановления» (Restauration). Начало сему явлению должно искать в самой литературе».

Основная нить романа, при всей ее запутанности, сводится к противопоставлению аристократического общества Франции XVI в. миру отверженных. Главный герой, Люддер, связан и с тем, и с другим. Его любовь—предмет романа—тоже построена на контрасте. Он любит мещанку Жаклину, дочь парижского торговца Удара. Социальный контраст—дворянин и мещанка—углубляется еще тем, что Жаклина решительно отрекается от Люддера, когда видит его в рядах разбойников. Она уходит в монастырь и после неудачной попытки свидания Люддер завербовывается вместе с другими разбойниками в отряд Пизарро, отправляющийся на завоевание Перу.

Контрасты романа есть следующий этап контраста руссоистского романа «диких и цивилизованных». Связующим звеном с этой старой формой, отразившейся в байроновском преломлении в южных поэмах Пушкина, являются цыгане, занимающие многие места в романе. Помимо авантюрного героя Азана автор выводит цыган с их этнографической характеристикой на нескольких страницах повествования. Впрочем он удерживается в пределах традиционных литературных представлений о них.

Но цыгане в «Mauvais garçons» уже не «Цыганы» Пушкина. Они лишь связующее звено от старого контраста «диких и цивилизованных» в стиле Шатобриана или даже Бернардена де Сен-Пьера к иному контрасту—гражданского общества и «отверженных», что представляет собою шаг вперед к создававшемуся в эти годы во Франции социальному роману. Время действия (1525 г.)—лишь маскировка и предлог для сгущения романтического колорита.

РИСУНОК ПУШКИНА, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ВОЛЬНОЙ ПЕРЕРИСОВКОЙ ОДНОЙ ИЗ ФИГУР, ИЗОБРАЖЕННЫХ НА ТИТУЛЬНОЙ ВИНЬЕТКЕ ПЕРВОГО ТОМА РОМАНА АЛЕКСАНДРА ГИРО „CÉSAIRE“

Институт Русской Литературы, Ленинград

Как был воспринят роман современниками, показывают рецензии.

В том номере «Revue de Paris», где появилось объявление о выходе в свет романа, был дан краткий отзыв о нем, в котором между прочим говорилось: «это добросовестное и талантливое произведение, в котором местный колорит перемешивается с сильным драматическим действием. Это довод в пользу готической творческой системы, уже испытанной, видящей в истории не только факты, даты и имена. История слагается главным образом из того, что до сих пор забывали: она отражает лицо нравов эпохи. Отсюда мелочное изучение подлинных источников. Изучение монет, гербов, обычаев, языка принадлежит живописной истории. Роман Mauvais Garçons представляет собой красочную и верную картину. Париж 1525 года в нем отражен лучше чем в каком-нибудь топографическом описании. Памятники, церкви, дворцы, Университет, учащиеся, шайки из «двора чудес» (cour des Miracles), виселицы Монфокона и дома разврата, всё нашло свое место в галлерее картин, то изящных, то причудливых, то трогательных, то ужасных. Отлично обрисованы герои романа; напряжение, волнующее читателя, растет до самой развязки. Эти два томика поучительнее толстых бенедиктинских фолиантов. Есть же способ представить эрудицию в легкой, для всех доступной форме».

В «Revue Francaise» (1830 г., № 16, июль) говорилось: «Как художник Руайе, анонимный автор романа, проявил себя истинным талантом... Поистине, всматриваясь в социальный строй эпохи, уже не испытываешь такого острого отвращения к «mauvais garçons», которые разоряли Париж во время плена Франциска I, к этой банде авантюристов низшего разбора, нищих, жуликов, школьников, разоренных игрой и разгулом. Вместе с этими шайками мы видим цыган с их особой жизнью среди современного общества, с их презрением к цивилизованному быту. Под именем Люддера герой является в качестве дворянина в Париж и здесь, испытав всяческие несчастия, он проникается ненавистью к цивилизованному обществу, где его встретили лишь пороки, преступления и слабость. Но куда идет он от

кровавой развращенности городов? В Америку, вслед за Пизарро. Стоило ли менять? В этом персонаже проявляется в полной мере горькая, безотрадная хотя и ироническая мысль Руайе. Впрочем она видна на каждой странице романа, и мы это уважаем как достоинство, несмотря на уже состарившийся обычай, противоречащий нашему чувству. Многие считают обязательным беспристрастие автора. Нам кажется, что люди и факты в литературном произведении сами по себе ничто, ибо это лишь знаки, выражающие мысль автора. Руайе проявил мелочную эрудицию, знакомство с хроникой, что является заслугой терпения и, по нашему мнению, имеет весьма второстепенное значение; мы предпочитаем его талант в развитии драматической нити повествования в изображении страстей и в проникновении в тайну характеров. И если ход романа часто беспорядочен, развитие действия неотчетливо, много невероятных положений, а главное — во многих местах несколько мелодраматическое преувеличение, все эти недостатки искупаются живым чутьем художника и чувством непосредственной искренности, которое проявится когда-нибудь во всей полноте, если автор не свяжет себя посторонними заданиями».

Из этой рецензии видно, что «историзм» романа если и не вызвал протеста, то во всяком случае не являлся тем, что привлекало читателей к нему. «Mauvais garcons» в этом смысле является романом промежуточным между историческим и современным.

Литературная позиция Пушкина была близка к позиции «Revue Française» и «Revue de Paris».

Основной сюжетный тезис романа—герой двойной жизни, связанный одинаково с охраняемым законами гражданским обществом и врагами этого общества «отверженными»—схема не новая, но характерная и близкая творчеству Пушкина. Три его замысла—«Дубровский», ненаписанный роман на Кавказских водах и «Капитанская дочка» (в первоначальных планах, где Гринев и Швабрин—одно лицо)—реализуют эту схему. Дворянин-разбойник Дубровский, офицер, разбойничающий с горцами Якубович, офицер на службе у Пугачева Шванвич,—всё это герои того же порядка, что и Люддер. Ближе всего к типу Людцера по характеру этой двойственной жизни и по мотивам перехода в лагерь разбойников—Дубровский. Ближе всего «Дубровский» к «Mauvais garçons» и хронологически. Но отсюда было бы преждевременно заключать о каком бы то ни было «влиянии», особенно в обычном вульгарном смысле. Близость «Mauvais garcons» к «Дубровскому» более объясняется их принадлежностью к одной формации романа, к традиции героя — романтического разбойника, Сбогар, Моора и т. д. Пушкин преодолел эту традицию позднее, в период создания «Капитанской дочки», когда отказался от единства Шванвича, распределив его роль между Гриневым и Швабриным. «Mauvais garçons»—лишь одно из слагаемых этой романической традиции.

Вернемся к вопросу: читал ли Пушкин этот роман. Простая вероятность говорит за его знакомство с ним. Он следил за новинками литературы. Как мы знаем из его писем к Хитрово, он читал произведения отнюдь не первого ранга. Чтения эти, засвидетельствованные документами, относятся как раз к периоду 1829 — 1832 гг. Мало вероятия, чтобы мимо его внимания прошел роман, имевший такой успех.

Но есть и другой аргумент в пользу знакомства Пушкина с этим романом. Редко у писателя чтение какого бы то ни было произведения проходит бесследно. Запоминаются отдельные сцены, отдельные ситуации, сюжетные ходы, характеры и эти детали затем применяются в собственных произведениях. Это, если угодно, заимствование, но не того порядка, какое входит в общее понятие влияния. Эти заимствования отнюдь не свидетельствуют о близости данного произведения заимствующему писателю. Это простое, я бы сказал техническое, использование литературной детали в новой функции, в новой композиции. Такие заимствования не имеют никакого отношения к творческой зависимости писателя от использованного произведения. Иногда это случайный материал в мастерской художника.

Мне кажется, в результате такой реминисценции создана одна из сцен «Дубровского». Вот соответствующая глава из «Mauvais garçons». Это XXVII глава второго тома.

Разбойники расположились лагерем в лесу Бурже. После оргии, затянувшейся до рассвета, разбойники лежали вокруг костра. Вдруг их пробудил выстрел. Вскоре все они были на ногах. Каждый занял свой пост при приближавшемся бое барабана. Вскоре началась перестрелка. Это приближались войска, высланные против разбойников. Сперва разбойники с успехом отстреливались из-за деревьев, но вскоре им пришлось отступать. Они отступили до широкой поляны, где их палатки и шалаши были расположены в беспорядке. Здесь они стали поджидать наступающие войска, которые, выйдя из леса, приготовились обстрелять бандитов. Но те, не дожидаясь залпа, набросились на солдат, и завязалась длительная схватка. Солдаты уже одолевали, но предводитель бандитов напал на офицера, командовавшего наступавшими ратями, подрезал поджилки лошади, и офицер повалился на землю, придавленный тяжестью рухнувшей лошади, и остался лежать без движения и без признаков жизни.

РИСУНОК ПУШКИНА, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ВОЛЬНОЙ ПЕРЕРИСОВКОЙ ОДНОЙ ИЗ ФИГУР, ИЗОБРАЖЕННЫХ НА ТИТУЛЬНОЙ ВИНЬЕТКЕ ПЕРВОГО ТОМА РОМАНА АЛЕКСАНДРА ГИРО „CÉSAIRE"

Институт Русской Литературы, Ленинград

«При виде командира, упавшего среди рукопашного боя, часть войска сочла его убитым и обратилась в бегство; другие посмелее или закаленнее удвоили смелость и уступили бандитам лишь тогда, когда вырвали тело из их рук. Наконец лучники, завладев ношей, стоившей им крови и жизни тридцати товарищей, стали отступать и уступили победу своим врагам, которые праздновали ее, испуская крики радости и добивая без жалости несчастных раненых, которые еще дышали».

Таково вкратце содержание главы, занимающей десять страничек. И вот соответствующая глава из «Дубровского» (в скобках—параллельные места из «Mauvais garçons», любопытные или по совпадению или по контрасту).

«Посреди дремучего леса, на узкой лужайке, возвышалось маленькое земляное укрепление, состоящее из вала и рва, за коими находилось несколько шалашей и землянок. На дворе множество людей, коих по разнообразию одежды и по общему вооружению можно было тотчас принять за разбойников, обедало сидя без шапок, около братского котла... Хотя некоторый ковшик несколько раз переходил из рук в руки, странное молчание царствовало в сей толпе»... (Des Mauvais Garçons avaient choisi ce bois pour leur campement. C'était là que vers le soir cette horde se réunissait pour partager le fruit des brigandages de la journée... Les bandits, surs qu'ils étaient de l'impunité, avaient assis au milieu d'une clairière leur quartier général. Là, couchés pêle-mêle à travers le taillis, sans vedettes ni sentinelles, au milieu des cris, des jurements et du choc des bouteilles, ils se reposaient du meurtre dans la joie d'une orgie. Ch. XXII).

«В укреплении сделалась тревога... По местам! закричал Дубровский, и разбойники заняли каждый определенное место...» (Le cri d'alarme sortit de toutes les bouches...—A sac! a sac! Bourgogne! répéta la forêt toute entière et chacun se rendit à son poste).

«Тогда услышали шум приближающейся команды; оружия блеснули между деревьями; человек полтораста солдат высыпало из лесу и с криком устремились на вал». Но здесь разбойники выстрелили из пушки. «Между солдатами произошло смятение, но офицер бросился вперед, солдаты за ним последовали и сбежали в ров». (Le sire de Harlay, qui vit aussitôt les rangs plier et presque se rompre sous ce choc imprévu..., se lança lui-même sur le groupe le plus nombreux des assaillants. Les piqueurs enhardis suivirent l'exemple de leur capitaine).

«Рукопашный бой завязался». (Alors ce ne fut plus qu'une mêlée hideuse). «Дубровский подошел к офицеру, приставил ему пистолет к груди и выстрелил. Офицер грянул навзничь, несколько солдат подхватили его на руки и спешили унесть в лес; прочие, лишась начальника, остановились. Ободренные разбойники, воспользовавшиеся сей минутой недоумения, смяли их, стеснили их в ров, осаждающие побежали; разбойники с криком устремились за ними. Победа была решена». (A la vue du capitaine tombant dans la mêlée, une partie de la troupe le crut mort, et prit la fuite; l'autre, plus brave ou plus aguerrie, redoubla de courage, et ne céda le terrain aux Mauvais garçons qu'au moment où elle put arracher son corps de leurs mains. Enfin, les archers, possesseurs d'un fardeau qui leur coutait bien du sang et de la vie d'une trentaine des leurs, battirent en retraite, et laissèrent la victoire à leurs ennemis, qui la célébrèrent en poussant des hurle-

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО ТОМА РОМАНА АЛЕКСАНДРА ГИРО „CÉSAIRE", ПОСЛУЖИВШИЙ ИСТОЧНИКОМ ДВУХ РИСУНКОВ ПУШКИНА

RÉVÉLATION,

PAR ALEXANDRE GUIRAUD,

TOME PREMIER

PARIS.

A. LEVAVASSEUR, LIBRAIRE,

URBAIN CANEL, LIBRAIRE.

ments de joie, et en massacrant sans pitié tous les pauvres blessés qui respiraient encore»).

Эти параллели не случайны. Схема та же, но романтическое изображение разбойников XVI в., которое сам Пушкин уже преодолел, написав «Братьев-разбойников», замещено было натуралистическим изображением русских крестьян начала XIX в., с соответствующим изменением деталей и психологического тона повествования. Характерна в данном случае (как и всегда у Пушкина при использовании чужого материала) конспективная сжатость изложения.

Еще раз подчеркиваю: это сличение сделано отнюдь не для установления «заимствований», «влияний» и т. п. Это лишь аргумент в пользу знакомства Пушкина с данным романом. А установленный факт знакомства заставляет нас отнести данный роман к числу тех, которые необходимо учитывать и при изучении творческого материала, находившегося в мастерской Пушкина-художника, и при установлении объектов его литературных оценок и критических суждений. А в данном случае важно и то и другое, так как проблема исторического романа чрезвычайно важна в общей системе литературной эволюции той эпохи и в личной истории творчества Пушкина.

II

Два другие рисунка являются вольными перерисовками двух фигур одной виньетки, являющейся заглавной к обоим томам романа Ale-

31 – 688

xandre Guiraud «Césaire, Révélation» (2 volumes in 8⁰. Chez Levasseur et Urbain Canel, éditeurs). Рисунки любопытны вольной трактовкой оригинала. Если коленопреклоненная фигура более или менее точно воспроизводит оригинал, то другой рисунок резко от него отходит. Священник, читающий требник, переряжен в какой-то сюртучек, одет в широкополую шляпу, так что уничтожены какие бы то ни было признаки его сана. А между тем вся фигура, положение рук, ног, книги явно повторяет виньетку.

Автором этой виньетки является не менее замечательный рисовальщик, чем Тони Жоанно, но составивший себе имя совсем в другой области. Это—Henri Monnier (1805—1877), художник, писатель, драматург, юморист, человек всесторонних дарований, создатель знаменитого типа Joseph Prudhomme. Дебютировав приблизительно в одно время с Жоанно (в 1825—1826 гг.) в области иллюстрации (песни Беранже, басни Лафонтена), он в 1830 г. издал свои «Scènes Populaires» и тем сразу занял видное место среди юмористов-нравописателей. Тип Жозефа Прюдома занимает видное место среди литературных типов, популярных в ту эпоху во Франции (Mayeux, Cadet Roussel, madame Angot, Robert Macaire и др.) и фиксирует умственные интересы, быт и ограниченный кругозор среднего буржуа. Жозеф Прюдом явился прототипом соответствующих типов, характерных своим самодовольством, безапелляционностью суждений и гиперболической банальностью житейских афоризмов. Одним из литературных наследников Прюдома является несомненно наш русский Козьма Прутков.

Книжные иллюстрации не характерны для Моннье и самый рисунок нисколько не типичен для его творчества.

Дата выхода в свет романа определяется датой выхода в свет номера еженедельного журнала «Bibliographie de la France», где этот роман зарегистрирован. Это № 39, 1830 г. от 25 сентября (см. № 5078).

Рисунки Пушкина несомненно свидетельствуют о знакомстве его с романом, так как, насколько мне известно, эта виньетка нигде не воспроизводилась.

Автор романа—писатель, обладавший достаточной известностью. С 1826 г. он был членом французской Академии.

Период наибольшей литературной активности Гиро совпадает с его сотрудничеством в «Muse Française», когда журнал этот играл ведущую роль в молодой школе французского романтизма. Одними из деятельнейших сотрудников Эмиля Дешана, руководителя этого журнала, были Александр Суме и Александр Гиро, которые оба вскоре отошли от романтизма и перешли в противоположный лагерь, почти одновременно проникнув в стены французской Академии, являвшейся цитаделью врагов молодой литературной школы.

Большой успех имела его трагедия 1822 г. «Маккавеи». Вместе с трагедией Суме «Клитемнестра» (1822) и трагедией Пиша «Леонид» (1825) она была принята в свое время как откровение новых идей в трагедии, приходившей во Франции в упадок. Эта трагедия произвела сильное впечатление. В 1824 г. затевался коллективный перевод этой трагедии на русский язык. В переводе должны были участвовать Лобанов, Рылеев, Бестужев, Дельвиг и Баратынский. Перевод не был осуществлен. Известен лишь черновой набросок одной сцены, сохранившийся в рукописях Дельвига.

Но к 1830 г. литературная карьера Гиро была кончена. Он замкнулся в реакционном церковном католицизме и настроился на проповеднический лад. «Césaire» был объявлен выходом еще до Июльской революции, но появился из печати он уже тогда, когда католическая проповедь была совершенно неуместна. Автор пробовал принять позу мужественного борца за идею, но из этого ничего не вышло. Впечатление от романа было отрицательное. Нестор Рокплан отвел автору в своем «Фигаро» несколько издевательских иронических страниц. В № 301 от 30 октября 1830 г. он писал: «А. Гиро произвел на свет вздох в двух томах. Берегитесь, поверхностные умы, насмешники; долой, и все вы, безбожники перезрелой и готовой пасть цивилизации, посторонитесь. Дело идет о святой воде, а вы любите шампанское, о коленопреклонениях перед распятием, а вы волочитесь не за девами; дело идет о вере, а вы не знаете, что это за штука: долой, нечестивцы! Это не про вас. Нужно всё смирение доминиканца, милосердие иезуита, целомудрие кармелита, чтобы постичь святость этого творения»...

Действительно трудно вообразить себе что-нибудь более ханжеское, более елейное, чем роман Гиро. Елейно—и, вероятно, по замыслу автора очень трогательно—описывается казнь революционера, которого автор приводит к полному раскаянию и примирению с действительностью; на нескольких десятках страниц автор заставляет выслушивать скучнейшие рассуждения героя-священника о пользе и разумности существующего государственного и социального строя и о святости церкви во всех ее проявлениях, начиная с инквизиции.

Но елейность книги не лишена извращенности. Герой-священник проведен чрез испытания страстей, и прежде чем уморить его на колониальной службе автор ведет его через женский монастырь, где он подвергается искушению (не явному, а психологическому, договариваемому лишь у смертного одра монахини—предмета искушения).

Странно было бы ожидать, чтобы Пушкин хоть в чем-нибудь сочувственно отнесся к этому роману. Несколько страниц более живых по содержанию, где описывается жизнь испанского революционера, не искупают надуманной елейности, которую Пушкин решительно осуждал у французов 30-х годов. В 1831 г. в рецензии о Делорме он так характеризовал модное направление: «Ныне французский поэт систематически сказал себе: soyons réligieux, soyons politiques, а иной даже: soyons extravagants, и холод предначертания, натяжка, принужденность отзывается во всяком его творении, где никогда не видим движения минутного, вольного чувства, словом, где нет истинного вдохновения». Ср. отзывы о «набожном» Ламартине, которого Пушкин обвинял в «вялом и тощем однообразии». На эту книгу он мог смотреть лишь как на симптом того литературного католицизма, который охватил многих бывших романтиков.

Приведенные рисунки не являются единственными случаями срисовывания Пушкиным книжных иллюстраций. К сожалению не все они так легко разгадываются. Перерисованную иллюстрацию можно распознать по манере рисунка, отличной от приемов собственной графики Пушкина. Таков например воспроизводимый здесь рисунок, изображающий какую-то сцену, относившуюся, судя по костюмам, к XVI в. Источник этого рисунка неизвестен. О сюжете можно догадаться по одной детали: рядом с рисунком зачеркнутые слова: «в одном из горо-

дов». Ясно, что это начало «Анджело»—«В одном из городов Италии счастливой». Рисунок этот можно истолковывать предположительно как сцену свидания Луцио и Изабеллы в монастыре. Урна, около которой стоит Изабелла, повидимому как-то связана была в оригинале с деталями второго плана рисунка, не переданным Пушкиным. Возможно, что это иллюстрация к трагедии Шекспира «Мера за меру». К сожалению источник этой иллюстрации не найден, и наше предположение остается необязательным.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] А. Эфрос относит этот текст к другому наброску, «Гости съезжались на дачу», но повидимому это неверно.

[2] О братьях Жоанно см. Aristide Marie «Alfred et Tony Johannot, peintres, graveurs et vignettistes». P., 1925. К монографии, богато иллюстрированной, приложен список работ обоих художников. Возможно, что воспоминаниями о книге «Les Mauvais garçons» вызвана позднейшая картина Tony Johannot «Scène de pillage en 1525» (1852).

[3] Анонимат книги был снят объявлениями издательства Eugène Renduel. В объявлениях при книге «Champavert Contes immoraux, par Pétrus Borel» читаем: «Les Mauvais Garçons, par Alphonse Royer», а при объявлении о романе Руайе «Venezia la bella» его имя сопровождено припиской: «Auteur des «Mauvais garçons». В объявлениях при третьем издании «Soirées de Walter Scott à Paris» Библиофила Жакоба были раскрыты оба имени: «Les Mauvais garçons» par Auguste Barbier, auteur de la Curée, et Alph. Royer». Вторая книга вышла в 1831 г., а первая в 1833 г. Следовательно имя Барбье, ранее названное, по каким-то соображениям позднее было снято.

[4] Не надо придавать значения отрицательной оценки этому слишком сильному эпитету. Он употреблен в порядке полемической уступки противнику, чтобы тем самым добить его на его же собственных позициях.

СЦЕНА СВИДАНИЯ ЛЮЦИО И ИЗАБЕЛЛЫ ИЗ „АНДЖЕЛО“

Рисунок Пушкина

Институт Русской Литературы, Ленинград

К ИКОНОГРАФИИ ПУШКИНА

Сообщения Б. Борского, М. Беляева, С. Бессонова, Л. Гроссмана

I. ИКОНОГРАФИЯ ПУШКИНА ДО ПОРТРЕТОВ КИПРЕНСКОГО И ТРОПИНИНА

Подлинная иконография молодого Пушкина на первый взгляд кажется исключительно богатой. В издании Брокгауза помещено 6 портретов Пушкина, восходящих ко времени до 1827 г. В это число входят только портреты, исполненные при жизни Пушкина. Изображения его за время до 1827 г., сделанные после его смерти, все явно несостоятельны; в этом отношении особенно показательны многочисленные картины Айвазовского из жизни Пушкина в Крыму. Айвазовский не считал нужным осведомиться об элементарных фактах биографии Пушкина. На одной из его картин имеется дата 1827. Повидимому Айвазовский не вполне отчетливо представлял себе, когда и в каком возрасте Пушкин посетил Крым. Так же был он беспечен и относительно мест, которые посетил Пушкин. Так под одной из его картин значится «Пушкин на Ай-Петри» (см. Сочинения Пушкина, изд. Брокгауз-Ефрона, т. II, стр. 93). Впрочем здесь можно заподозрить, что эта подпись принадлежит не автору картины, так как изображение ни в какой мере не соответствует окрестностям Ай-Петри и скорее изображает Яйлу в районе Гурзуфского седла. Если это и неверно, то более вероятно.

Итак, позднейшие изображения молодого Пушкина не основывались на изучении иконографических первоисточников. В большинстве случаев воспроизводится застывший облик Пушкина по портрету Кипренского или по гравюре Райта. Этому много содействовали и те подлинные портреты, которые фигурировали в качестве ранних.

Обратимся к этим портретам. Первый из них—гравюра Гейтмана, приложенная к изданию «Кавказского пленника» 1822 г. Подлинность этого портрета не подлежит никакому сомнению: он уже существовал в 1822 г. Другой вопрос, насколько он похож. Издавая «Кавказского пленника», Гнедич сопроводил его заявлением: «Издатели присовокупляют портрет автора, в молодости с него рисованный. Они думают, что приятно сохранить юные черты поэта, которого первые произведения ознаменованы даром необыкновенным». Портрет подписан Е. Гейтман. Вокруг этого портрета создались легенды.

Во-первых, недоумение вызывал возраст Пушкина на этом портрете. По точному смыслу заявления Гнедича портрет этот относится к «молодости» и сохраняет «юные» черты поэта. Получив его, Пушкин, вероятно не знавший о его существовании и в первый раз его увидевший, писал: «Александр Пушкин мастерски литографирован, но не знаю похож ли». Рецензент «Сына Отечества» квалифицирует этот портрет как «весьма похожий». Повидимому речь идет о сходстве портрета с Пушкиным того времени, т. е. в годы, близкие к 1822, или точнее к 1820 г., когда последний раз видел Пушкина рецензент журнала. Повидимому «молодость» понималась не как детство, а как возраст лет 17 или около. Если внимательно вглядеться в портрет, то нетрудно убедиться, что он может быть изображением 17—18-летнего человека. Возраст этот для 23-летнего Пушкина должен был квалифицироваться как «юный», но сходство портрета с живым Пушкиным не должно было утратиться. Между тем обычно восприятие этого изображения как детского портрета Пушкина. Венгеров считал, что на гравюре изображен Пушкин «в первые годы пребывания в лицее». Ашукин пишет про этот портрет: «Пушкин в возрасте 12—14 лет изображен в рубашке с открытой шеей, с темными курчавыми волосами» («Живой Пушкин», 1926, стр. 22). Еще дальше идет Лев Виноградов. Рассказывая про сборы в отъезд из Москвы в лицей в 1811 г., он пишет: «К этому же времени, перед предстоявшей

ПУШКИН

Гравюра Е. Гейтмана, приложенная к первому изданию „Кавказского пленника" (1822 г.)

шестилетней разлукой родителей с сыном, следует приурочить, по психологическим и бытовым соображениям, зарисовку первого портрета Александра Сергеевича. Подлинник его не дошел до нас и нам даже неизвестно, кто из знакомых Пушкиным рисовальщиков (Монфор, Молинари, Ксавье де Местр или кто другой из самоучек) изобразил его полнощеким, как херувимы Рафаэля, мальчиком, подпирающим правую щеку кулачком, в рубашонке и плаще через левое плечо. Впоследствии, в 1822 г., портрет этот был перерисован гравером г. Е. Гейтманом и долго сопровождался молвой, будто он написан то ли «наизусть, без натуры К. П. Брюлловым», то ли учителем рисования в лицее С. Г. Чириковым, хотя всякому очевидно, что ни тот ни другой не знали поэта в том детском возрасте, в каком он изображен.— После нахождения более реалистических портретов А. С., изображающих его в лицейском мундире (1817 г. у Энгельгардта) и у крымского водоема (1820), не может быть более места вышеупомянутой фабуле, ибо сопоставляя с ними, нельзя приурочить портрет к возрасту старше 12 лет» («Пушкин в Москве», 1930, стр. 46).

Это рассуждение обнажает психологию восприятия гравюры Гейтмана как детского портрета: романтическая поза и одежда (ср. такую же «рубашонку» и плащ на портретах Байрона; также романтична поза на портрете молодого Жуковского, подпершегося «кулачком») вводит привыкшего к «реалистическим» портретам в обман; главное же, это влияние других портретов, на которых, как мы убедимся, облик Пушкина 1827 г. перенесен на ранние годы.

Хотя портрет подписан Е. Гейтманом и никакого другого имени не носит, и этим, казалось бы, определяется автор портрета, создалось несколько легенд об оригиналах портрета Е. Гейтмана. Предполагалось, что гравер Е. Гейтман обязательно гравировал с чужих оригиналов. В 1837 г., рассылая при своем журнале новые оттиски этой гравюры, Кукольник сообщал, что автором рисунка был «К. Б.» (т. е. повидимому Карл Брюллов). Впрочем, со свидетельством Кукольника приходится считаться, так как он близко знал К. Брюллова, который, кстати, в это самое время находился в Петербурге. Затем Л. Павлищев, известный своим сочинительством, заявил, что портрет рисован Чириковым. Затем начались поиски оригинала. Первый оригинал появился в 1880 г. В дальнейшем появлялись другие «оригиналы». Создалась своеобразная теория «множественности оригиналов» (см. статью М. Беляева в «Красной панораме» 1929 г., № 22). В результате Пушкинский Дом обладает двумя «оригиналами» гейтмановского портрета: один из них воспроизведен во «Временнике Пушкинского Дома, 1914» и представляет собой сладенькую акварель позднего происхождения, «подписанную» именем Соколова (во «Временнике» «раскрыты» инициалы: П. Ф. Соколов). В 1928 г. Пушкинский Дом приобрел другой «оригинал»,

еще менее удачный, но на этот раз более ветхий и повидимому старый. Это тоже акварель, неудачно воспроизводящая гейтмановский портрет. Этой акварели посвятил М. Беляев статью «Новые портреты Пушкина» («Красная панорама» 1929, № 22), и затем этот портрет как «подлинный, современный и притом самый ранний» помещен в издании «Пушкин в Москве» и канонизован в «роскошном» издании небезизвестного труда Вересаева «Пушкин в жизни». Доказывать апокрифичность (на мой взгляд явную) этой акварели я здесь не буду, так как это не входит в мою тему. Достаточно, что сами сторонники подлинности этого портрета вынуждены признать, что гравюра Гейтмана точнее передает характерные черты Пушкина, незаметные на акварели, «что быть может объясняется малым уменьем неизвестного художника».

Перейдем ко второму портрету: Пушкин в лицейском костюме. Здесь достаточно ограничиться ссылкой на слова А. Эфроса, вполне решающие вопрос: портрет лицейского Пушкина «не переработан, а сочинен вчистую. Это—абстракция, составленная из среднего пропорционального пушкинских портретов. В ней собрана сумма его изображений, сведенная применительно к лицейским годам... Меланхолический Пушкин с бачками, но в лицейском мундире—мечтательная поправка позднего потомства к гейтмановскому уродцу» («Рисунки поэта», 1930, стр. 156—157). Впрочем нельзя согласиться с тем, что портрет этот является «средним пропорциональным» пушкинских портретов. Источник этого изображения установить нетрудно: это портрет Кипренского 1827 г. Достаточно сопоставить оба портрета, чтобы убедиться, что поворот головы, направление взгляда совершенно тождественны. Совпадают такие детали, как две пряди волос на лбу, и проч. Совершенно естественно, что художник, получивший задание нарисовать Пушкина-лицеиста, не мог нарядить в лицейскую форму бородатого Пушкина (с Дельвигом, брившим бороду, он поступил проще, точно перерисовав портрет 1830 г.), и он омолодил портрет Кипренского, заменив обильную растительность скромными «бачками»[1].

Таким образом лицейский Пушкин—несомненный апокриф. В последний раз он канонизован в книге «Арзамас и арзамасские протоколы» (Л., 1933).

Следующий портрет, воспроизведенный в издании сочинений Пушкина под редакцией Венгерова, уже даже не апокриф, а странное недоразумение. Непонятно, как могла возникнуть мысль о том, что это изображение имеет в виду Пушкина. В данном случае достаточно процитировать Ефремова: «Почему это Пушкин—никому неизвестно. Юноша повидимому высокого роста, с какой-то глуповатой миною и с лицом, даже не напоминающим Пушкина (особенно в нижней части лица), во фраке и вообще в одежде 40-х годов; он держит в руке книгу с надписью: «Пушкин А. С.— Руслан и Людмила. 1821». В шкафу из-за полуотдернутой занавески виднеются книги: «Басни Крылова», вверху «Современник», внизу «Отечественные Записки» в формате

ПУШКИН

Акварель неизвестного художника, приобретенная в 1928 г.

Институт Русской Литературы, Ленинград

ПУШКИН
Акварель неизвестного художника
Институт Русской Литературы, Ленинград

издания Краевского (с 1839 года) и это всё в 1821 году!!» («Мнимый Пушкин *в стихах, прозе и изображениях». СПБ., 1903, стр. 42—43). И этот портрет фи*гурировал на одной из юбилейных выставок. Очевидно этот портрет не может задерживать нашего внимания.

Следующий портрет имеет более длительную традицию и более прочную репутацию. Пустил его в оборот Ефремов, приложив воспроизведение с него к VII тому изд. 1882 г. с подписью «А. С. Пушкин с его карандашного рисунка, сделанного в Крыму в 1820 г.» Бертье-Делагард, обследуя в 1912 г. пушкинские места в Гурзуфе, обратил внимание на этот портрет как на документ. «Ко всем этим предметам, посвященным памяти Пушкина, можно прибавить и еще один,—с бо́льшим правом уже и потому, что на него указано самим поэтом. Недавно издан превосходный портрет, на котором Пушкин изобразил самого себя опирающимся на стенку деревенского фонтана в Гурзуфе. Здесь всегда фонтан был один, на том же месте» («Память о Пушкине в Гурзуфе».—«Пушкин и его современники», вып. XVII—XVIII, 1913, стр. 153—154). Б. Л. Недзельский, пересматривая этот вопрос в 1929 г., не согласился с Бертье-Делагардом: «В настоящее время, как и во времена Пушкина, в Гурзуфе существует два фонтана, но ни один из них не походит на изображенный Пушкиным на рисунке... Принимая во внимание указанные факты, мы вовсе не отрицаем возможности, что на рисунке изображен один из гурзуфских фонтанов, но считаем, что даже и эта возможность должна быть чем-то обоснована. Когда такое обоснование будет дано, явится новый вопрос: какой же из двух гурзуфских фонтанов можно именовать Пушкинским?» («Пушкин в Крыму». 1929, стр. 39).

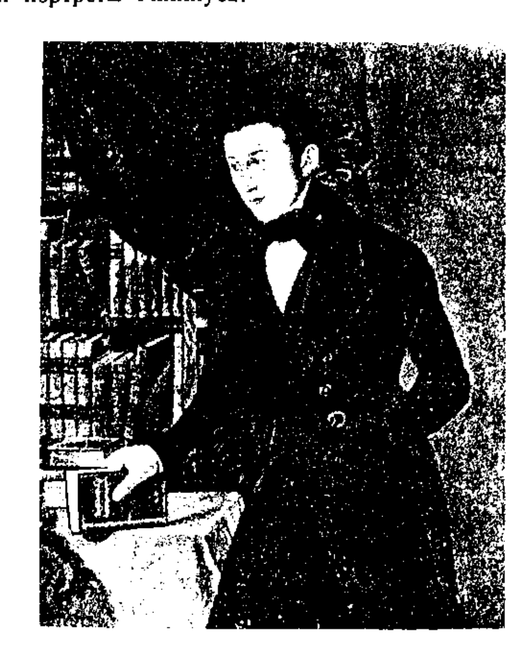
Между тем следовало бы поставить вопрос: почему этот портрет считается относящимся к пребыванию Пушкина в Гурзуфе? Несомненно, что такое приурочение в основном вызвано изображением фонтана. Оказывается, что именно фонтан и внушает сомнение. Разгадка была найдена в 1929 г. М. Д. Беляевым. В «Красной панораме», № 22, 31 мая 1929 г. помещена его статья «Новые портреты Пушкина». На разъяснение вопроса Беляева натолкнула книга воспоминаний Станислава Моравского «В Петербурге 1827—1838» (Познань, 1924). Первая глава книги посвящена Пушкину. Она перепечатана по-русски с предисловием П. Эттингера в сборнике «Московский Пушкинист», II (1930). Моравский сообщает, что он видел в мастерской польского художника Ваньковича портрет масляными красками Пушкина. Описание этого портрета близко к мнимому «автопортрету». Беляев заглянул на обратную сторону «автопортрета», для чего его пришлось вынуть из рамки. «На обратной стороне оказался набросок какой-то женщины, сделанный карандашом в манере, совершенно чуждой Пушкину, и надпись неизвестной рукой

Ванкович». Так сразу рушилась столь давно смущавшая многих пушкинистов легенда об авторстве в этом портрете самого Пушкина и о датировке его 1820 годом. Отныне мы должны датировать его никак не ранее 1828/27 г. и считать за подготовительный набросок Ваньковича» («Красная панорама» 1929, № 22, стр. 8). П. Эттингер несколько уточняет дату портрета: повидимому одновременно с портретом Пушкина написан был Ваньковичем портрет Мицкевича, через которого вероятно и Пушкин познакомился с художником. Портрет Мицкевича относится к пребыванию его в Петербурге от конца ноября 1827 г. до февраля 1828 г.[1]

Перейдем к следующему портрету «Пушкин в 1820 г. Карандашный портрет Ж. Верне». И он вслед за другим подвергся разоблачению. В. Я. Адарюков разъяснил этот вопрос в «Казанском Музейном Вестнике» 1921 г., № 7—8, где он указал, что «портрет, рисованный «знаменитым», как указывает Либрович, Жюлем Верне (Jules Vernet), гораздо с большим вероятием должен быть отнесен к работе жившего в Москве Jean Vivien; что же касается Жюля Верне (1795—1843), то он с 1812 г. по 1842 г., выставляя миниатюрные портреты в Париже, никогда в России не был и особенной известностью не пользовался»[2] («Указатель гравированных и литографированных портретов А. С. Пушкина», 1926, стр. 3). Но если портрет сделан Вивьеном, художником, работавшим в Москве, то тем самым опровергается его традиционная дата—1820 г. В Москву Пушкин, уехавший оттуда в детском возрасте, попал только в сентябре 1826 г. Следовательно и этот портрет приходится отнести по крайней мере к той эпохе, когда Тропинин писал портрет Пушкина.

Остается еще один «южный» портрет Пушкина. Это литография Г. Гиппиуса в серии его литографий, издававшихся под заголовком «Современники». Дата литографии казалась совершенно точной—1822 г. У Венгерова указан 1823 г. вероятно по ошибке. В «Указателе» Адарюкова он значится под № 316, при чем сказано: «Либрович указывает, что портрет Гиппиуса был исполнен с оригинала Кипренского, упуская из виду, что первый появился в 1822 г., а портрет Кипренского в 1827 г.» (стр. 25). В книге Либровича «Пушкин в портретах», 1890, сказано: «литографированный портрет Пушкина в большом виде исполнен был Гиппиусом для его издания, выходившего в тридцатых годах выпусками, под общим заглавием: «Les Contemporains, suite de portraits lithographiés, d'hommes d'état, d'écrivains, d'hommes de lettres et d'artistes, vivants de nos jours en Russie. Ouvrage dédié à Sa Majesté Impériale Alexandre I, par Hippius. St. Pétersbourg, 1822. Lithographie de Helmersen». Портрет Пушкина помечен в этом издании № 39. Хотя существовало общее мнение, что Гиппиус рисовал свои портреты с натуры прямо на камень, но Геннади полагает, что этот портрет рисован не с натуры, а с портрета Кипренского» (стр. 99).

У Либровича явный недосмотр. С одной стороны, он утверждает, что серия выходила в 30-х годах, с другой стороны, сообщает дату с обложки, где указан 1822 г. Когда же в действительности выходили портреты Гиппиуса?



НЕИЗВЕСТНЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК

Портрет маслом, фигурировавший на пушкинской выставке Общества Любителей Российской Словесности 1899 г. в качестве портрета Пушкина

Исторический Музей, Москва

ПУШКИН
Карандашный портрет Ж. Вивьена
Институт Русской Литературы, Ленинград

К сожалению точных датировок мы, по всей вероятности, никогда не сможем уста-ювить, так как портреты сами не датированы, печатались они отдельными листами, которые потом соединялись в выпуски по пять литографий вместе. Этим объясняется, ючему литографии имеются в двух вариантах: с порядковым номером и без него. Повидимому и самый состав выпусков менялся и по разным причинам некоторые юртреты заменялись другими. Так в описании Ровинского под №№ 7 и 22 зна-ιатся Головин (повидимому обер-шенк, ум. в 1820) и граф Апраксин (повидимому енерал от кавалерии, ум. в 1821), в то время как в существующих собраниях ıа этих местах находятся Репнин и Аракчеев. Повидимому Гиппиус, согласно заго-ювку, собирал портреты современников «ныне в России живущих» и портреты по-койников заменял портретами живых. Некоторые портреты (Крылов, Мартос, Ка-эамзин) имеются в различных вариантах. Издание посвящено Александру I, но есть обложки, где имя Александра заменено именем Николая. Гиппиус прибыл в Петер-бург в середине 1820 г., повидимому к этому году и относится начало его коллек-ции. Первый выпуск вышел повидимому в 1821 г. (он открывается портретом митро-юлита Михаила, умершего 24 марта 1821). К апрелю 1824 г. вышло семь выпу-ков. О них объявлено в «Сыне Отечества», № XV (14 апреля) и «Дамском Жур-але», № 10, май. Портрет Пушкина, вошедший в состав 8-го выпуска, в это время ще не существовал. Состав «Современников» Гиппиуса довольно специфичен. Это основном крупные чиновники, генералы, духовные лица, придворные. Из писа-елей имеются Крылов, Жуковский, Дмитриев, Карамзин, т. е. всё лица «высочайше добренные». Появление в таком сборнике опального Пушкина немыслимо.

Повидимому сбыт литографий Гиппиуса не был успешным, несмотря на усиленную екламу и на обращение к обществу Поощрения Художеств (январь 1822 г.). Гип-иус обещал выпустить в течение 1822 г. 12 выпусков. Между тем вышло всего олько 8 выпусков; вышедшие же вслед за тем еще пять листов не были объеди-ены в отдельный выпуск. Восьмой выпуск явился вероятно результатом объеди-ения ранее нарисованных портретов. Начинается он с портрета Милорадовича, битого 14 декабря 1825 г. Время его выхода в свет определяется цензурным раз-ешением на обложке для V—VIII выпусков: 13 апреля 1828 г. Так как портрет Іушкина предпоследний в выпуске, то он вероятно по времени близок ко времени го выхода, т. е. относится к 1827 или 1828 г., когда Пушкин приехал в Петер-ург и Гиппиус получил возможность рисовать его портрет и когда положение Іушкина не компрометировало его с официальной точки зрения. Повидимому порт-ет этот сделан с натуры, а не с портрета Кипренского, от которого он сильно тличается[4].

Итак, в результате пересмотра датировок всех портретов, относившихся прежде периоду до 1827 г., приходится признать, что ни одна из этих датировок ни на ем не основана и является или результатом фантастического домысла, недостовер-ого предания или недоразумения. До сих пор в качестве облика Пушкина периода

его пребывания на юге фигурировал застывший образ его 1827 г., в частности образ, созданный Кипренским.

Между тем образ Пушкина до 1827 г. несколько отличался от привычных его портретов. Об этом свидетельствует письмо П. Яковлева, часто цитируемое, в котором он сообщает свое впечатление от встречи с Пушкиным, которого он когда-то провожал в ссылку, после его возвращения в Москву: «Пушкин очень переменился и наружностью: страшные черные бакенбарды придали лицу его какое-то чертовское выражение» (21 марта 1827, А. Е. Измайлову). Итак, для знавших Пушкина до отъезда на юг новостью были его бакенбарды. Следовательно у нас есть один внешний признак, по которому можно приближенно датировать изображения Пушкина.

Отсутствие портретов, рисованных художниками, выдвигает на первый план как иконографический документ автопортреты Пушкина. Кстати, автопортретов, относящихся к одесскому или кишиневскому периоду, достаточно. Все они без бакенбардов. Впервые бакенбарды появляются на автопортрете 1826 г., сделанном в Михайловском, где Пушкин нарисовал свой автопортрет среди набросков портретов декабристов. Это согласуется с мемуарными данными (по рассказу крестьянина Пушкин во время своего пребывания в Михайловском в 1824—1826 гг. «бороды не брил—подстрижет эдак макушечку и ходит»).

Таким образом Пушкин повидимому отпустил бакенбарды после высылки из Одессы в Михайловское. Этот признак даст возможность датировать его автопортреты и тем самым те черновики, на которых они находятся. Другим признаком южных портретов являются длинные волосы. И в этом отношении данные автопортретов находят подтверждение в мемуарах. Потокский сообщает, описывая внешность Пушкина, направлявшегося из Одессы в Михайловское: «длинные волосы касались плеч».

Образ Пушкина не представляет большой проблемы пушкиноведения; однако не следует его считать вопросом из области «гробокопательства» и крохоборства. Необходимо только соблюдать в этом вопросе нужные масштабы. Внешний облик поэта определяет его внешнее поведение. Одно дело представить себе в петербургском театре в 1819 г. или в Гурзуфе солидного мужчину типа портретов Ваньковича и Ж. Вивьена, и другое дело—мальчика типа гравюры Е. Гейтмана.

Облик поэта определяет и восприятие его творчества: в этом отношении мертвые и живые равноправны; для полного восприятия их личности нам психологически необходимо представление о внешности. На этом основана игра на псевдонимах с вымышленным портретом. Творчество Козьмы Пруткова комментируется фальшивым портретом Пруткова.

Как это ни странно, но для XIX в. творчество Пушкина до 1826 г. было в тех же условиях, что и творчество Пруткова. Оно комментировалось фальшивым портретом. Для читателей XIX в. Пушкин застыл в образе, написанном Кипренским. Этот облик был хронологически растянут от лицейского периода до смерти (гравюра Райта считалась сделанной с зарисовки 1837 г.). Этот облик не допускал во мнении

ПУШКИН
Карандашный портрет А. Ваньковича
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

читателей никакой возрастной эволюции. Так в книге Либровича приводится характерный отзыв критики по поводу картины Айвазовского «Пушкин в Крыму», где Айвазовский по традиции изобразил Пушкина в облике 1827 г. «Подмечена также и историческая неверность в изображении Пушкина: на картине Пушкин изображен-де юношей, тогда как на самом деле Пушкин жил на берегу моря, когда ему было 20 лет» («Пушкин в портретах», стр. 139). У Пушкина была отнята молодость.

Б. Борский

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] При этом копия-подражание сделана с оригинала, а не с воспроизведений или имитаций, какими являются гравюры Уткина, акварель Соколова и гравюра Райта (две последние имеют ложную репутацию «оригинальных» изображений; нетрудно убедиться, что они восходят к типу портрета Кипренского, но с большими вольностями в передаче прототипа).

[2] На прежних, довольно скверных изображениях этого портрета, восходящих к литографии Ефремина, здания второго плана были неразборчивы, и только этим можно объяснить отнесение этого портрета к Гурзуфу, где подобных зданий не имелось ни во время Пушкина, не имеется и сейчас. Они соответствуют архитектуре Царского Села или Павловска.

[3] В настоящее время, когда в наших музеях хранится достаточное количество работ Ж. Вивьена, как с теми же инициалами, так и за полной подписью, с которыми можно сопоставить портреты Пушкина, утверждение Адарюкова представляется несомненным. Судя по тому, что существует портрет Баратынского работы Вивьена, а у Баратынского был экземпляр вивьеновского портрета Пушкина, можно думать, что Пушкин обратился к Вивьену при посредстве Баратынского; произойти это могло в конце 1826 г. или в начале 1827 г., до отъезда Баратынского из Москвы в Мару (февраль 1827); менее вероятно, что это произошло во время более поздних встреч Пушкина с Баратынским в Москве. К тому же времени следует отнести и вивьеновский портрет Баратынского.

[4] Датировка этого портрета в «Пушкиниане» Межова была близка к истине. На стр. 239 под 1829 г. значится: «Литографированный портрет Пушкина в издании Гиппиуса, выходившем под общим заглавием «Les contemporains. St. Pétersbourg 1828—1829».

II. ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ КНИГИ С. ЛИБРОВИЧА «ПУШКИН В ПОРТРЕТАХ»

В сентябре 1889 г. Сигизмунд Либрович закончил свою известную монографию «Пушкин в портретах. История изображений поэта в живописи, гравюре и скульптуре». Книге этой, изданной в 1890 г., суждено было до наших дней, т. е. в течение сорока четырех лет, оставаться единственным в своем роде трудом. Задуманная весьма широко и выполненная со всем доступным автору тщанием, на высоте тогдашних научных знаний и художественных вкусов, книга Либровича и до сего времени не вполне потеряла свое значение, так как на смену ей за весь этот долгий период пришел лишь ряд работ по частным вопросам иконографии Пушкина и ни одной объединяющей работы, если не считать изданного покойным В. А. Адарюковым в 1926 г. «Указателя гравированных и литографированных портретов А. С. Пушкина», который, как показывает самое название, тоже охватывает лишь часть иконографии Пушкина и притом к сожалению не лишен некоторых, правда незначительных, пробелов и неточностей. Однако ясно, что за почти полувековой срок существования книги С. Либровича к ней не могло не накопиться множество дополнений и исправлений, неизбежных для любой, хотя бы самой совершенной работы подобного рода, раз она написана так давно. Но, как бы то ни было, С. Либровичу принадлежит честь первого почина в объединении разрозненных сведений об отдельных портретах и скульптурных изображениях Пушкина.

Настоящая наша статья является результатом давно уже начатых подготовительных работ по изданию такой объединяющей работы по иконографии Пушкина и имеет своей целью дать предварительную сводку тех addenda et corrigenda, которые надо иметь в виду при пользовании трудом Либровича в части, касающейся прижизненной иконографии Пушкина.

Для удобства пользования ею мы сохранили тот порядок и ту последовательность, которые описание отдельных изображений Пушкина имеет у Либровича.

ПУШКИН

Литография Г. Гиппиуса в серии „Современники"

История первого портрета Пушкина мальчиком, Чирикова—Брюллова—Гейтмана, рассказана Либровичем довольно верно. Последующие годы принесли только остроумную догадку Н. О. Лернера и П. И. Нерадовского о том, что работа К. П. Брюллова, в оригинале до нас недошедшая, могла составлять промежуточное звено между первоначальным портретом, исполненным С. Г. Чириковым или каким-то другим художником, и гравюрой Гейтмана.

Догадка эта ценна тем, что дает в этом самом раннем портрете место участию молодого К. П. Брюллова, участие которого, с нашей по крайней мере точки зрения, несомненно, так как оно при жизни самого Брюллова печатно засвидетельствовано его личным другом Н. В. Кукольником, добавившим, что Брюллов рисовал не с натуры.

В годы революции в Москве на толкучке у какой-то старухи В. В. Русловым был приобретен акварельный портрет Пушкина мальчиком. Продавщица ничего не могла сказать своему покупателю о происхождении этого портрета. Поэтому когда он был предложен к приобретению в б. Пушкинский Дом, последним были приняты все возможные меры к установлению его подлинности. Единственным путем к этому являлся художественный анализ и экспертиза, для чего портрет был предъявлен в Москве покойному А. А. Бахрушину, а также А. М. Эфросу и А. В. Лебедеву, а в Ленинграде В. В. Воинову, Н. П. Сычеву, П. И. Нерадовскому и С. П. Яремичу. Все перечисленные, достаточно, казалось бы, авторитетные лица единогласно признали портрет современным Пушкину и притом не копией, а оригиналом, исполненным каким-то неизвестным художником, слабо владевшим рисунком, но не лишенным чувства красок. Авторство Чирикова в этом портрете можно считать почти совершенно отвергнутым, так как он сделан в совершенно несвойственной этому художнику манере, а свидетельство родственников последнего, утверждавших с его собственных слов, что в бытность Пушкина в лицее он, Чириков, сделал с него портрет, «в котором роль играла рука», следует повидимому отнести к какому-то другому портрету (см. нашу статью «Новые портреты Пушкина».—«Красная панорама», № 25 от 31/V 1929 г.). Ясно конечно, что с полной уверенностью мы не можем настаивать ни на том, что именно портрет, случайно найденный В. В. Русловым, является прототипом гейтмановской гравюры, ни на том, что его-то и уточнял в отношении рисунка Карл Брюллов для того, чтобы облегчить Гейтману перевод акварели на язык гравюры. Но не менее ясно и то, что как-то трудно допустить одновременное существование двух почти идентичных современных портретов. Вопрос же о том, что найденная акварель является одной из копий, сделанных с гравюры Гейтмана, отпадает, так как она имеет весь характер и носит все признаки оригинала. Можно конечно ставить еще вопрос о подделке (как несомненно например поддельна так называемая Соколовская акварель мальчика Пушкина, принадлежащая тому же б. Пушкинскому Дому (см. «Пушкинский Дом при Р. Л. Н. Исторический очерк и путеводитель». Л., 1924, стр. 110—111), но такому предположению противостоит авторитетное заключение поименованных выше экспертов.

Второй портрет (карандаш и акварель) Пушкина, в лицейской форме, принадлежавший первоначально директору Царскосельского лицея Е. А. Энгельгардту, затем однокашнику Пушкина Ф. Ф. Матюшкину, а от него перешедший к Е. Д. Куломзиной, рожденной Замятниной, ныне либо совсем утрачен, либо местонахождение его неизвестно. Очевидно он входил в ту серию портретов лицеистов первого выпуска, часть которой поступила летом 1918 г. в б. Пушкинский Дом от Т. Б. Семечкиной, рожденной Данзас[1]. Часть этих портретов (особенно портрет А. А. Дельвига) искони вызывала более чем сомнения в своей подлинности. Наиболее подробный анализ этих портретов дал А. М. Эфрос в своей книге «Рисунки поэта» (Москва, 1930, стр. 149—157), подразделив их на три группы: подлинную, т. е. сделанную с натуры; реставрационную, которая как бы восстанавливает утраченные оригиналы, и наконец откровенно сочинительскую. Именно к ней он и относит не только портрет Дельвига, но и Пушкина. Последний он остроумно называет «абстракцией, составленной из среднего пропорционального пушкинских портретов». К сожалению с этим определением трудно не согласиться, а потому и не приходится особенно горевать об исчезновении этого портрета Пушкина. Хорошее красочное воспроизведение его имеется в первом томе сочинений Пушкина, изданном в 1899 г. Академией Наук под редакцией Л. Н. Майкова.

Третьим портретом у Либровича идет портрет Пушкина, рисованный черным карандашом и подписанный буквами J. V., которые раньше были склонны считать сокращенными Jules Vernet, а теперь, благодаря разысканиям покойного В. А. Адарюкова (см. «Казанский Музейный Вестник» 1921 г., № 7—8), как подпись Jean

Vivien, или, как звали его в Москве, где он жил с 1820 по 1840 г., Ивана Осиповича Вивьена. Это определение позволило уточнить и хронологию портрета, отнеся его не к 1820, а к 1826 г.

Портрет этот известен ныне в двух экземплярах: один, хранящийся в б. Пушкинском Доме, поступил туда в 1907 г. от баронессы С. В. Вревской, а к последней дошел по наследству из семьи Осиповых-Вульф, которым был подарен сыном поэта Г. А. Пушкиным; второй экземпляр находился до последнего времени во владении Н. И. Тютчева, дойдя к последнему из семьи Баратынских как наследие поэта Е. А. Баратынского, а ныне уступлен Н. И. Тютчевым Центральному Музею художественной литературы, критики и публицистики. Это несомненно реплика самого же Жана Вивьена, который между прочим делал и подобный же портрет самого Баратынского.

Четвертый портрет, который до 1929 г. считался обычно автопортретом и так и значится у Либровича, сделан карандашом и изображает Пушкина сидящим на краю фонтана под деревом. В 1929 г. пишущему эти строки удалось установить с полной несомненностью, что портрет этот является подготовительным наброском-вариантом художника Валентина Мельхиоровича Ваньковича (1799—1842) для большого масляного портрета Пушкина, который в 1827—1828 гг. видел у него в мастерской в Петербурге автор записок «В Петербурге» доктор Станислав Моравский (см. статью П. Д. Эттингера «Станислав Моравский (из записок польского современника поэта)».—«Московский пушкинист», II, 1930, стр. 241—267, а также цитированную выше нашу статью в «Красной панораме»).

Пятым портретом идет знаменитый портрет работы В. А. Тропинина, написанный им зимой 1827 г. по заказу С. А. Соболевского. Портрет этот замечателен, как известно, не только совершенством своего выполнения, но и своей романтической судьбой, полной таинственности, которую и по сю пору не удалось вполне рассеять. В упомянутом уже нами втором выпуске «Московского пушкиниста» имеется обстоятельная статья В. Згуры «Портреты Пушкина работы Тропинина». В ней автор пытается свести воедино и согласовать между собою рассказы Н. В. Берга, М. П. Погодина, П. Соколова и других. Во всех этих расходящихся между собою в частностях рассказах играет роль копия с портрета, сделанная так исключительно мастерски и близко к оригиналу, что давала возможность вводить в заблуждение. Где же настоящая работа Тропинина? И действительно до нас дошло два чрезвычайно близких один к другому портрета. Статья В. Згуры собственно и имеет целью установить окончательно, что подлинником следует считать портрет Третьяковской галлереи, поступивший туда в 1909 г. через антиквара Н. С. Какурина от кн. Н. Н. Оболенского, а портрет, поступивший в Русский Музей от В. В. Беэр, рожд. Елагиной, а затем в 1920 г. переданный этим музеем в б. Пушкинский Дом, считать копией. Эта задача разрешена на наш взгляд автором вполне успешно. В своей статье В. Згура дает описание двух рисунков эскизов, из которых один является схематическим, хранившихся ранее в Цветковской, а ныне в Третьяковской галлерее, и этюда маслом, сделанного повидимому В. А. Тропининым для себя и хранящегося тоже в последней из названных галлерей.

Имеется и еще один эскиз того же портрета, принадлежащий Историческому Музею в Москве. Эскиз этот, сделанный акварелью, был на юбилейной выставке А. С. Грибоедова, устроенной в 1929 г. названным музеем. На обороте его имеется надпись карандашом: «Подарен А. С. Пушкиным Г. Яковлеву, писан худ. Тропининым или Стропининым с нат.» Портрет этот несомненно интересен, но конечно принадлежность его кисти Тропинина требует проверки. По сведениям, данным нам тогда же устроителем названной выставки М. В. Бабенчиковым, в самом Историческом Музее портрет этот считается работой В. А. Тропинина[2].

С. Либрович говорит об основном портрете Третьяковской галлереи и лишь вскользь упоминает об этюде на дереве и о двух копиях с портрета, одной в размере подлинника и другой, малого размера, которую якобы С. А. Соболевский увез с собою за границу, чтобы и в путешествии не расставаться с портретом своего великого друга. Последний факт ничем до сих пор не проверен, а потому есть некоторое основание считать, что, говоря об уменьшенной копии, подразумевали этюд маслом, хранящийся в Третьяковской галлерее и тоже некогда принадлежавший, судя по надписи на обороте доски, Соболевскому (см. составленный А. В. Лебедевым Каталог пушкинской выставки Третьяковской галлереи, а также цитированную выше статью В. Згуры).

Здесь следует еще отметить, что в ИРЛИ (б. Пушкинском Доме) имеется поступивший туда в 1919 г. из собрания кн. Кочубея, через музей-особняк гр. Строгановых,

загадочный этюд с Пушкина, сделанный в две краски (grisaile) маслом на картоне, на оборотной стороне которого имеется сделанный карандашом эскиз головы Гоголя. Портрет Пушкина погрудный, по типу скорее более близкий к портрету Кипренского. Бывший владелец считал его работой Тропинина, как и гласит подпись под эскизом Гоголя. По мнению экспертов (П. И. Нерадовского и других) нет ничего невероятного в том, что эскиз Гоголя сделан рукой В. А. Тропинина и что им же мог быть исполнен и карандашный набросок головы Пушкина, по которому затем кто-то другой, вероятно в более позднее время, прошел кистью, в манере, совершенно чуждой Тропинину.

Следующим описан у С. Либровича портрет работы О. А. Кипренского. В основном сообщаемые автором сведения вполне точны. Ему однако была неизвестна реплика этого портрета, сделанная пастелью, принадлежавшая потомкам Льва Сергеевича Пушкина и хранившаяся в их родовом имении Болдине, а затем, после продажи его Крестьянскому банку, поступившая в 1911 г., в составе других пушкинских реликвий и семейных портретов, в б. Пушкинский Дом (ныне ИРЛИ). Как по семейным преданиям, так и по мастерству своего выполнения реплика эта, по словам внучатой племянницы поэта Веры Анатолиевны Константинович, рожденной Пушкиной, всегда считалась в семье работой самого О. А. Кипренского. Подобное же допущение делали и такие знатоки, как покойный Н. Н. Врангель, а также ныне здравствующие Александр Николаевич Бенуа и П. И. Нерадовский.

Что касается копии 1837 г. маслом в размере оригинала, принадлежавшей ранее семье Павлищевых, а ныне находящейся в последней квартире Пушкина, то она, вопреки утверждению С. Либровича, не является работой Кипренского, как это явствует не только из сравнительной слабости исполнения, но и просто из подписи на самом портрете, гласящей: «Копиров. с О. К. Е. В.». Кто такой этот «Е. В.»— нам неизвестно (см. нашу брошюру «Квартира, где умер Пушкин». Л., 1930, стр. 48).

Упоминаемый С. Либровичем в качестве неразысканного портрет Пушкина работы Дау так и остается до нашего времени неразысканным, а стихотворение Пушкина, обращенное к этому художнику,—загадочным. Единственно, на что мы можем указать, как на некоторый след портрета работы Дау (но не профильного),—это на литографию А. Мюнстера, на которой имеется помета: «с гравюры Дау». Литография эта описана под номером девятнадцатым в составленном М. Д. Беляевым и Е. П. Населенко описании Музея Пушкинского Дома (см. «Пушкинский Дом при Российской Академии Наук. Исторический очерк и путеводитель». Л., 1924, стр. 120). Но всего вероятнее, что это просто ошибка литографа и что Дау был не при чем в создании гравюры, послужившей образцом дли литографии.

Никаких новых данных относительно известной гравюры «Невского Альманаха» за 1829 г., изображающей Пушкина и Онегина на берегу Невы, насколько нам известно, не имеется. Оригинал наброска-проекта к ней, сделанного самим Пушкиным, хранится в Рукописном отделении Библиотеки им. В. И. Ленина в Москве. Знаменитый собиратель П. Я. Дашков хранил литографию с этого рисунка Пушкина (очевидно отдельный оттиск литографии, помещенной в «Библиографических Записках» 1858 г.), сделанную так мастерски, что повидимому сам Дашков считал ее оригиналом. Ныне литография эта хранится в последней квартире Пушкина (см. цитированную выше брошюру «Квартира, где умер Пушкин», стр. 45).

Описывая известный акварельный портрет Пушкина работы П. Ф. Соколова, С. Либрович имеет в виду лишь тот ее экземпляр, который принадлежал Карамзиным, от них перешел кн. Е. Н. Мещерской, затем В. П. Мещерскому и наконец графине Е. П. Клейнмихель[3]. В годы революции портрет этот попал на толкучку, где был куплен художником Тиховым, затем, после его смерти, был продан вдовой его книгопродавцу-антиквару Шилову, у которого его и приобрел покойный П. Е. Щеголев. Последний продал его в Ленинградский Музей Революции, а названный музей путем обмена передал его в б. Пушкинский Дом. При этом С. Либровичу очевидно оставался совершенно неизвестным второй экземпляр того же портрета, гораздо более свежий по краскам и носящий к тому же подпись Соколова (экземпляр б. Пушкинского Дома не подписан). Этот подписной портрет хранится ныне в Театральном Музее имени А. А. Бахрушина, куда, по словам покойного основателя музея, был приобретен вместе с делами Опеки над детьми и имуществом Пушкина. В 1899 г. портрет этот принадлежал С. Н. Батюшкову[4].

Говоря о портретах Пушкина работы Г. Г. Чернецова, Либрович упоминает прежде всего этюд маслом к картине парада на Марсовом поле, устроенного по случаю усмирения польского восстания. Этюд этот, хранящийся ныне в Третьяковской галлерее, изображает Пушкина, Жуковского, Крылова и Гнедича, стоящих

ПУШКИН

Рисунок В. Тропинина

Третьяковская галлерея, Москва

в тех же самых костюмах и позах, что и на картине парада, но на фоне пристани у большого озера Царскосельского парка. Затем Либрович списывает самую картину парада (ныне в Русском Музее) и наконец автолитографию с упомянутого этюда маслом (весьма редкую). Но он совершенно ничего не говорит о рисунке того же Чернецова, хранящемся ныне в Отделе рисунков и гравюр Русского Музея, на котором между прочим указан точный рост Пушкина (2 аршина $5^1/_2$ вершков), а также о портрете, вернее картине маслом, изображающей одного Пушкина все в том же костюме и той же позе, у Фонтана слез в Бахчисарайском дворце. Фон этого портрета-картины вполне совпадает с акварелью самого же Г. Г. Чернецова, входившую в альбом его акварельных видов Крыма 1839 г., хранящейся в б. Пушкинском Доме (куда он поступил от С. Н. Трофимова). Поэтому к прижизненным портретам мы могли отнести описанную нами масляную картину только по полному тождеству фигуры Пушкина с его изображениями работы Г. Г. Чернецова 1831—1832 гг.[5]

Оба подлинника рисунков-виньеток к первому и второму выпускам сборника А. Ф. Смирдина «Новоселье» работы Карла Брюллова и Сапожникова, которые описывает Либрович, так как на них обоих имеются портреты Пушкина, неизвестно где сейчас находятся. Наиболее интересен из них конечно рисунок тушью Брюллова, который, как это видно из Каталога Пушкинской выставки, устроенной комитетом Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым 1880 г. в Санктпетербурге, составлял собственность И. И. Ваулина, скончавшегося в текущем году. Известный знаток Пушкина Павел Евгеньевич Рейнбот говорил нам, что оба эти оригинала некогда предлагалось приобрести Пушкинскому музею Александровского лицея, который однако предпочел купить предложенные ему одновременно четыре оригинальных рисунка Галактионова к «Бахчисарайскому фонтану».

Вопрос о том, писал ли когда-нибудь портрет с Пушкина К. П. Брюллов, до сего времени так и остается нерешенным, что особенно странно при громкой известности и художника, и оригинала, которая, казалось бы, не должна была допустить остаться в тени такому крупному событию. Вопросу этому посвящены две, или вернее сказать одна, дважды переработанная, обстоятельная и повидимому исчерпывающая статья Н. О. Лернера (см. «Русская Старина», декабрь 1911 г. и «Старые Годы», апрель 1914 г., стр. 27—36). Он прежде всего расчленяет основной вопрос на две части, а именно: 1) писал ли вообще К. П. Брюллов портрет Пушкина и 2) принадлежит ли портрет, составлявший собственность О. Ф. Кошелевой, а затем ее внучки, О. Ф. Вельяминовой, кисти Брюллова? Оба эти вопроса он разрешает отрицательно, при чем второй из фактов отрицает с наибольшей силой и решительностью, озаглавив даже всю свою статью: «Лже-Брюлловский портрет Пушкина». Надо сказать, что и сам С. Либрович относится к авторству Брюллова крайне осторожно, при чем Н. О. Лернер справедливо называет его соображения «значительными». Где находится ныне этот сомнительный портрет—нам неизвестно.

Об упоминаемой С. Либровичем картине маслом, изображающей одно из субботних собраний у В. А. Жуковского на Шепелевской половине Зимнего дворца, на которой изображены: сам Жуковский, Плетнев, Кольцов, Гоголь, Пушкин, кн. В. Ф. Одоевский, Крылов, Перовский, гр. Мих. Ю. Виельгорский, Вигель и Ал. Н. Карамзин, скажем только, что сомнения исследователя по поводу авторства Г. Г. Чернецова вполне правильны. Картина эта, сохранявшаяся до последних лет в б. родовом имении кн. Вяземских Остафьеве, где в наше время был устроен музей быта и где нам и пришлось ее видеть, обличает рисовальщика и живописца крайне слабого и никак не может принадлежать кисти безукоризненно грамотного Чернецова. Вряд ли может она являться и работой одного из учеников Венецианова, как это полагал покойный В. А. Адарюков, но все же это предположение имеет бо́льшие основания.

Сведения, даваемые С. Либровичем о портрете Пушкина работы Мазера, находящемся ныне в Театральном Музее им. А. А. Бахрушина[6], в общем охватывают почти все то, что мы и теперь о нем знаем. По нашему мнению, портрет этот следует отнести приблизительно к 1835 г. Косвенное подтверждение этому мы склонны видеть в том, что на обычно считаемом парном к портрету Пушкина портрете Натальи Николаевны работы того же Мазера она изображена одетой по моде именно этого года (см. нашу работу «Н. Н. Пушкина в портретах и отзывах современников», Ленинград, 1930, стр. 39—40).

Об одном из самых примечательных и вместе с тем поздних портретов Пушкина, портрете работы И. Л. Линева (1836 г.), хранящемся ныне в ИРЛИ, мы к сожалению тоже не знаем и ныне больше того, что знал С. Либрович полвека назад.

ПУШКИН
Акварель, приписываемая В. Тропинину
Исторический Музей, Москва

История его написания и местопребывание вплоть до 1887 г. так и остаются неясными. Сходство его и, так сказать, документальность повидимому изумительны. Так например: современники свидетельствуют, что к концу жизни волосы Пушкина *перестали виться и начали редеть, так что уже стала обозначаться небольшая* плешь, и это мы видим на портрете Линева; цвет волос на нем опять-таки вполне совпадает с дошедшим до нас локоном их, и т. д. По справедливому замечанию Е. Ф. Голлербаха: «только в редких случаях, как например в отношении линевского портрета Пушкина, молва, передаваемая из поколения в поколение, согласно утверждает, что портрет действительно похож». А характеризуя его, тот же исследователь говорит: «Перед нами портрет реалистический в лучшем смысле слова,— не «état d'âme» художника-интимиста и не слепок с натуры, а живой образ, полный двуединой духовно-телесной экспрессии».

Последний сделанный при жизни Пушкина портрет его работы Томаса Райта (Wright) дошел до нас только в автогравюре, а местонахождение самого оригинала, сделанного сепией, неизвестно[7]. Как мы знаем, портрет этот предназначался Пушкиным для задуманного им издания его сочинений. Интересно отметить, что Пушкину повидимому нравились наиболее благообразные его портреты, каковыми несомненно являются портреты О. Кипренского и Т. Райта. Видимо и тут он не хотел, чтобы его «арапское безобразие» было предано «бессмертию во всей своей мертвой неподвижности» (см. письмо к жене от 1 мая 1836 г. по поводу бюста). Нам еще придется вернуться к этому вопросу, когда мы дойдем до автопортретов Пушкина.

В заключение скажем еще о том, что Либровичу совершенно неизвестным остался портрет (правда, сомнительный) Пушкина работы Лермонтова. Портрет этот хранится в Историческом Музее, куда поступил из собрания Бахрушина, и занесен в инвентарь Отдела бытовой иллюстрации за шифром И П 608/42567 (Бахр.), размер его 35×19,6 (сообщила О. И. Попова). На нем Пушкин изображен в рост. Одет в черный фрак и широкие брюки, поверх чего накинут серо-голубой плащ на красной клетчатой подкладке. В правой руке держит цилиндр. Золотая цепочка. Черные густые волосы и баки. На фоне зелени. Слева внизу коричневая надпись «Лермонтов». Портрет в пятнах, во многих местах прорван; под стеклом; белая окантовка. Конца 20-х начала 30-х годов XIX века.

Надо упомянуть еще о небольшом масляном портрете Пушкина, в рост в профиль, где поэт изображен сидящим под деревом. Портрет этот был найден Н. Н. Врангелем и подарен им в Пушкинский Дом; описан и воспроизведен в «Пушкине и его современниках».

Наконец надо сказать о рисунке «Встреча нового года у Одоевского», где среди присутствующих изображен Пушкин. Рисунок хранится в Ленинградской Публич-

ной Библиотеке, воспроизведен в настоящем сборнике (первоначально—в «Русском Библиофиле» 1912, № 5).

Обойдя здесь вопрос об упоминаемых С. Либровичем малоизвестных и не найденных портретах Пушкина, рассмотрение которого завело бы нас слишком далеко, мы прямо перейдем к автопортретам Пушкина.

Этот отдел у Либровича необычайно слаб. Прежде всего поверхностна и ошибочна основная мысль исследователя о том, что «это не портреты, а карикатуры поэта на себя самого».

Мы же смело утверждаем, что автопортреты Пушкина, несмотря на их заостренность и шаржированность, или быть может именно в силу этого, имеют первостепенное иконографическое значение.

Когда просматриваешь подряд, один за другим, многочисленные автопортреты Пушкина (мы разумеется говорим не о воспроизведенных в печати, по большей части все одних и тех же автопортретах, а о подлинниках), то прежде всего поражаешься тем повышенным интересом, который был развит у Пушкина по отношению к своей наружности.

Интерес этот, как кажется нам, всего вероятнее возник у него из сознания своего значения как личности. Мы бы позволили себе сказать, что он сознавал свою историчность и с этой стороны был далеко не чужд интереса к тому, каким же он представляется окружающим не только по внутреннему своему содержанию, но и по внешности.

Выше мы отметили, что из всех его портретов Пушкину наиболее нравились повидимому работы Кипренского и Райта, то есть как раз те, где его арапские черты выражены наиболее слабо, а всему облику придан вид, наиболее подходящий к общим представлениям о благообразии.

Не то мы видим в автопортретах. В громадном своем большинстве профильные (преимущественно $^{1}/_{3}$ влево) они кидаются в глаза остротой подчеркивания в них тех черт, которые яснее всего говорят об африканском происхождении поэта и прежде всего утрировкой прогнотизма челюстей. Есть такие антропометрические таблицы, на которых показаны все последовательные стадии перехода профиля Аполлона Бельведерского в профиль лягушки. В автопортретах Пушкина мы видим нечто подобное: почти идеально-чистый и правильный профиль юноши, в котором мы почти отказываемся угадать неправильные черты лица поэта, но вот юноша этот, постепенно видоизменяясь, начинает все более и более приближаться к облику поэта и затем вполне совпадает с ним. Далее идет обратное: неправильные, но характерные и по-своему интересные черты лица Пушкина становятся все более и более безобразными, европеец превращается в африканца, но на этом еще не останавливается превращение, и наконец мы видим какое-то чудище с безобразно разросшеюся и выдвинутою вперед нижнею частью лица, вернее даже сказать морды. И на всем протяжении этой длинной цепи все время сохраняется какое-то малоуловимое, но вполне ясно ощутимое сходство с лицом Пушкина.

Этот трюк доступен только тому портретисту, который безукоризненно изучил свою натуру.

Пушкин внимательно следит за собою, начиная с юного возраста. Вот мы видим его профиль совсем молодым, с длинными кудрями (быть может в виде Ленского) (Р. М. № 2369, л. 27-2). Вот он же в среднем возрасте (Р. М. № 2370, л. 75-2).

Вот на одном листе два автопортрета: один молодой, идеализированный, и другой шаржированный, особенно интересный тем, что на нем Пушкин изобразил себя с бритой головой (Р. М. № 2369, л. 4-1), быть может вспоминая о том, каким он встретил когда-то семейство Раевских.

Вот и плоды раздумья о том, каким он будет в старости, с лицом, покрытым морщинами, с голой головой, только лишь кое-где сохранившей жалкие остатки волос. Образ чем-то напоминающий гудонова Вольтера (Р. М. № 2369, л. 26-2), с которым Пушкин, по справедливому наблюдению А. М. Эфроса (см. «Рисунки поэта». М., 1930, стр. 303—310), охотно сравнивал себя.

Словом, вся его жизнь шаг за шагом проходит здесь перед мысленным взором Пушкина, и каждый период ее находит себе точное графическое отображение.

И еще одно наблюдение. Описывая ту или иную эпоху истории, рисуя картину той или иной страны, Пушкин любит вообразить, как бы сам он выглядел на этом фоне.

Вот величайшее событие недавнего прошлого: Великая французская революция. Пушкин пишет о ней и тут же рядом появляется сразу в разных костюмах этой эпохи, с разными прическами (Р. М. № 2370, л. 6-2).

ПУШКИН

Этюд маслом, приписываемый В. Тропинину

Институт Русской Литературы, Ленинград

Достаточно ему вспомнить Кавказ—и он тотчас же надевает на свою голову папаху (Р. М. № 2382, л. 106-1), стараясь вообразить, какой вышел бы из него черкес или казак.

Он охотно рядится в любой костюм, и мы видим его то искушаемым чортом монахом Ушаковского альбома, то придворным арапом (Р. М. № 2369, л. 34-2). Последнее быть может является отражением того случайного разговора на придворном балу, о котором вспоминает А. О. Россет-Смирнова. Этот наш домысел может быть принят в том случае, если допустить предположение Н. О. Лернера о неодновременности текста страницы, на которой сделаны рисунки и самих рисунков (см. Н. О. Лернер. «Рассказы о Пушкине», стр. 123).

Видим мы Пушкина и в апофеозе его поэтической славы, увенчанного лавровым венцом, как это имеет место в тетради (Р. М. № 2373, л. 6-1), или в одном хранящемся в Историческом Музее так называемом одесском альбоме, где вклеен карандашный автопортрет Пушкина в лавровом венце с подписью: «Il gran padre A. P.»

Что натолкнуло Пушкина на эту мысль—скромное ли, полушутливое-полувосторженное увенчание его венком, правда не из лавров, а из цветов, о котором мы читаем в опубликованном недавно скончавшимся А. А. Достоевским, в выпуске XXXVII «Пушкин и его современники», рассказе К. И. Савостьянова (стр. 148), на что указал Н. О. Лернер (см. «Красная нива» 1929 г., № 11), или им руководила горделивая мысль о своем равновеличии и конгениальности с божественным Дантом, судить трудно, но, как бы то ни было, а собственный образ всегда и всюду сопровождает Пушкина, всегда кажется ему интересным и значительным.

И безусловно эта сторона его графического наследия должна быть изучена с двух основных сторон: во-первых, со стороны ее первостепенного иконографического значения, а во-вторых, с точки зрения высокого психологического интереса.

Годы, протекшие со времени выхода в свет книги Либровича, открыли нам две новые любительские зарисовки с мертвого Пушкина, а именно: воспроизведенный в последнем издании книги П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина» набросок карандашом работы писателя А. И. Струговщикова (принадлежащий В. А. Десницкому) и поступивший в составе Онегинского Музея в 1928 г. в б. Пушкинский Дом карандашный рисунок В. А. Жуковского (см. нашу статью «Новые портреты Пушкина», «Красная панорама» 1929 г., № 22). Эти же годы уточнили и датировку портрета умершего Пушкина работы О. А. Бруни, нарисованного, как это явствует из подписи самого художника на подлинном рисунке, хранящемся ныне в ИРЛИ, «30 Генваря 1837 года». Таким образом последовательность основных рисунков с мертвого Пушкина устанавливается такая: к 29 января относится рисунок А. П. Мокрицкого, а к 30 того же месяца—О. А. Бруни и А. А. Козлова (см. цитированную выше нашу статью в «Красной панораме»).

Отметим также, что С. Либрович описывает рисунок А. А. Козлова, принадлежавший сначала Александровскому лицею, а затем б. Пушкинскому Дому, а воспроизводит портрет маслом, работы того же художника, хранившийся в Остафьеве, очевидно смешивая эти две работы Козлова и называя репродукцию масляного портрета репродукцией с рисунка.

Говоря о посмертной маске Пушкина, С. Либрович не упоминает о том, что она является работой знаменитого скульптора Самуила Ивановича Гальберга, очевидно послужившей затем последнему моделью для сделанного им в том же 1837 г. прямоличного бюста Пушкина (см. статью М. Беляева и П. Рейнбота «Бюсты Пушкина работы Витали и Гальберга», XXXVII вып. «Пушкин и его современники», стр. 200—204).

Перечень гравированных и литографированных прижизненных портретов Пушкина у Либровича далеко не полон, особенно это следует сказать о литографиях.

Не задаваясь целью указать здесь все пропуски С. Либровича, что завело бы нас слишком далеко, остановимся лишь на трех наиболее существенных. Так он совершенно не упоминает о двух литографиях (весьма редких) с портрета Пушкина работы В. А. Тропинина: одной малого размера, имеющей разрешительную надпись цензора С. Т. Аксакова, начала 30-х годов и вторую большего размера ($29^1/_4 \times 24$), носящую лишь подпись «Александр Сергеевич Пушкин» и с полным вероятием могущую быть отнесенной к 1837 г. (см. М. Д. Беляев и Е. П. Наседенко «Музей Пушкинского Дома» в книге «Пушкинский Дом при Российской Академии Наук». Л., 1924, стр. 118).

Затем, говоря о литографии Клиндера с надписью «Потух огонь на алтаре», Либрович не упоминает того любопытнейшего факта, что надпись эта не была пропущена цензурой, неожиданно увидевшей в этой цитате из «Евгения Онегина»

что-то недозволительное. Экземпляр с вычеркнутыми рукою цензора вышеприведенными словами был принесен в дар Обществом поощрения художеств б. Пушкинскому Дому и описан в упомянутой выше работе М. Д. Беляева и Е. П. Населенко под № 13.

На этом мы и закончим наши беглые заметки на книгу Либровича, выразив пожелание, чтобы к приближающемуся столетию со дня смерти Пушкина была издана новая работа по его иконографии, которая бы заменила собою работу С. Либровича, честно отслужившую свою полувековую службу.

М. Беляев

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Повидимому в частном владении имеется и еще ряд портретов этой серии. По крайней мере несколько лет назад пишущему эти строки предлагали принести несколько подобных портретов. Однако обещание это так и не было выполнено и след портретов снова затерялся.

[2] Благодаря любезности О. И. Поповой нам удалось получить точную справку о записи этого портрета в инвентарные книги Исторического Музея, где значится так: Шифр Отдела бытовой иллюстрации И. II 2028 Инв. № 42567 (Бахрушинского собр.). *Описание: «А. С. Пушкин. Поясн. $^3/_4$ вправо. Сидит в сером халате, в белой сорочке с отложным воротником, в черном шейном платке, облокотясь правой рукой,* на которой два кольца, на стол. Фон темносерый. Портрет—в светлом паспарту. *Размер 24,8 × 21,5. Бумага, акварель, перо». На обороте портрета надпись* (далее идет текст надписи, приведенный нами выше).

Вслед затем в инвентаре Исторического Музея написано: «Знаменитый художник Василий Андреевич Тропинин писал портрет А. С. Пушкина в 1827 г. в Москве (есть еще рис. Кипренского, в сюртуке со сложенными на груди руками, со статуей, по просьбе С. Соболевского (библиофила). См. альбом Пушк. выставки 1880 г., изд. Общ. Росс. слов., редакц. Л. Поливанова. М., 1882, стр. 100), очень схож с этим портр. на 102-й и 103-й стр. прочти о похожд. портр. оригинала. Н. Н.—А. С. Пушкин род. в Москве 26 Мая 1799, умер в СПБ. 29/I 1837 (волосы на голове А. С. Пушкина были темнорусые)». Повидимому эта последняя, весьма подробная, но не совсем *толковая часть записи списана в инвентарь Исторического Музея тоже с надписи* на портрете или с сопровождавших его при поступлении в музей документов.

[3] Либрович утверждает, что портрет был подарен Пушкиным А. О. Россет, от него перешел П. Н. Батюшкову и от последнего В. П. Мещерскому.

[4] См. альбом Пушкинской выставки в Москве. М., 1899, табл. 5 и стр. 2, № 12.

[5] Воспроизведен при нашей статье об Онегинском собрании в журнале «Прожектор» за 1928 г.

[6] Куда приобретен покойным владельцем в 1902 г. через М. Н. Кузнецова у антиквара В. Х. Гобермана, к которому портрет поступил после смерти С. А. Шилова. По преданию портрет этот идет из семьи Ушаковых.

[7] В 1899 г. принадлежал М. А. Веневитинову и был выставлен на московской Пушкинской выставке в Историческом Музее под № 14.

III. ПУШКИН И ВЯЗЕМСКИЙ НА РИСУНКЕ ДЕ-КУРТЕЙЛЯ

В Архангельском, бывшей подмосковной известного екатерининского магната Н. Б. Юсупова, хранится рисунок работы Николя Де-Куртейля, изображающий Юсупова, окруженного гостями и принимающего от крестьян поздравления. Сам по себе рисунок не представляет особого интереса: налицо та сладенькая феодальная идиллия, какие до передвижников часто писали наши художники для помещичьих гостиных. Но он интересен тем, что среди гостей Юсупова имеется два персонажа, один из которых—небольшого роста, с курчавыми волосами и бачками—чертами лица довольно близко напоминает Пушкина, а другой—высокий, в очках, похож на Вяземского. Композиционно рисунок построен так, чтобы фигуры Юсупова и обоих этих персонажей оказались в центре.

К какому времени может быть приурочен этот рисунок? Вообще Пушкин знал Н. Б. Юсупова повидимому довольно хорошо. Недаром он сумел по памяти так метко и сходно с оригиналом зарисовать фигуру дряхлеющего вельможи (см. выше, стр. 507). Известно, что Пушкин бывал в Архангельском. Так Бартенев, основываясь на рассказах Соболевского, сообщает о совместной поездке последнего с Пушкиным

в Архангельское «ранней весной, верхами», где «просвещенный вельможа екатерининских времен встретил их со всею любезностью гостеприимства» («Русский Архив» 1899, кн. II). Эта поездка могла быть только весной 1827 г., так как весной 1828 г. Пушкин в Москве не жил, а с декабря 1828 по 1833 г. Соболевский был за границей. Известно еще посещение Пушкиным Юсупова 30 декабря 1830 г. (письмо Пушкина к Вяземскому от января 1831 г.).

Настоящий рисунок конечно не передает посещения Пушкиным Архангельского совместно с Соболевским. Персонаж, изображенный рядом с поэтом, напоминает именно Вяземского и не имеет ничего общего с Соболевским. Кроме того перед нами летний пейзаж: улица сухая, деревья в зеленой листве, все одеты в летние костюмы, многие без головных уборов, дети босые и полуголые. Пушкин изображен в обычной одежде, а не в костюме для верховой езды.

Когда же могло состояться посещение Пушкиным Архангельского, послужившее сюжетом для интересующего нас рисунка?

Приведем несколько соображений на этот счет. Известно, что появление в печати пушкинского «Послания к вельможе» принесло ряд неприятностей и огорчений и Пушкину, и Юсупову. В частности Полевой в прибавлениях к «Московскому Телеграфу» поместил сцену «Утро в кабинете знатного барина», обидную и для того, и для другого. Цензор С. Н. Глинка как пропустивший статью, возбуждавшую «по дерзким и явным намекам на известную особу по своим заслугам государству... негодование всех благомыслящих людей», был смещен. Особенно серьезно был расстроен создавшимся положением Пушкин, остро переживавший травлю и сожалевший пострадавшего С. Н. Глинку. Неудивительно, что в это время и в связи с указанными событиями Пушкин мог встречаться с Юсуповым и эти встречи могли состояться в Архангельском.

Нижеследующие соображения позволяют еще точнее установить дату исследуемого нами рисунка. 10 августа 1830 г. Пушкин вместе с Вяземским выезжает из Петербурга в Москву, куда они прибывают 14 августа. Весь остаток августа Пушкин проживает в Москве, в доме Вяземского, по Чернышевскому пер. и успевает съездить с Вяземским в Остафьево. Приехав в Москву, Пушкин нашел умирающим своего дядю Василия Львовича, которого посетил 18 августа и которого хоронил 23 августа. 26 августа Пушкин был на балу у Гончаровой, происходившем в день именин будущей жены поэта Натальи Николаевны. 30 августа Пушкин записывает в Москве стихотворение «Мадонна» в альбоме Юрия Бартенева, а 31 августа уезжает в Болдино. Следовательно его совместная с Вяземским поездка в Архангельское может быть отнесена только к 28 или к 29 августа.

Судя по рисунку, прием Юсуповым крестьян происходил возле церкви. Колокольня, башни ограды и башни больницы, стоявшей около ограды, показаны на рисунке. Дом является одним из зданий усадьбы, которые стояли вдоль дороги от так называемых «святых ворот» к церкви, сзади больницы.

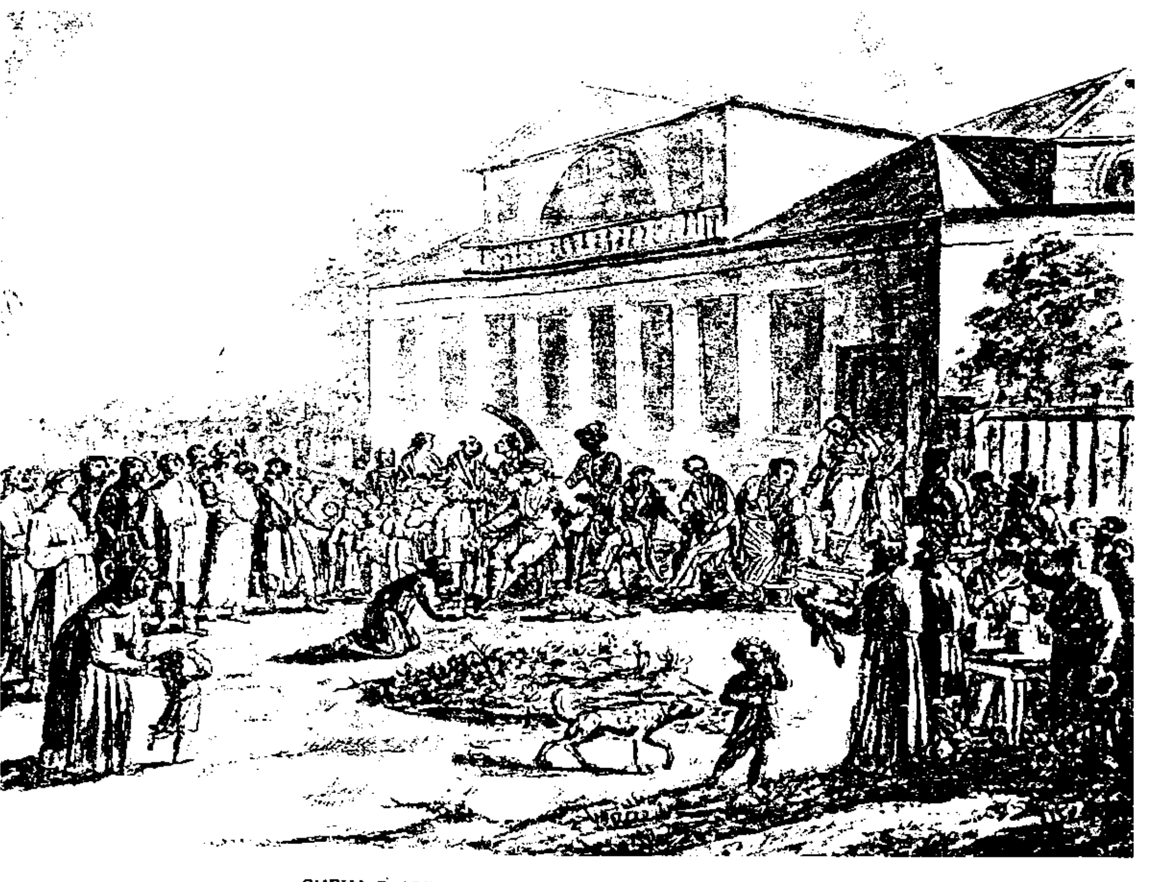
Изображенная на рисунке природа вполне подходит к позднему августу. Среди подношений видим зрелые фрукты. Поздравления от крестьян Юсупов принимал 29 августа в день престольного праздника в Архангельском.

При этом свидании с Юсуповым Пушкин несомненно затрагивал злободневные для него и для Юсупова темы: статью Полевого, всяческие толки о послании, вопрос о смещении Глинки. Отметим, что 2 сентября, т. е. на другой день после отъезда Пушкина в Болдино, Вяземский пишет просительные письма за Глинку к Е. М. Хитрово и Д. Г. Бибикову («Русский Архив» 1899, кн. II). Весьма вероятно, что эти письма как-либо связаны с рассматриваемым нами эпизодом.

Следует думать, что именно об этом посещении Архангельского Пушкин рассказывал позднее Максимовичу. Это воспоминание было вызвано у Пушкина разговором с Максимовичем о «Послании к вельможе» и о статье Полевого («Русский Архив» 1887, кн. III). Этот разговор вряд ли мог иметь место на обеде у С. С. Уварова в сентябре 1832 г. и конечно не мог произойти при встрече Пушкина с Максимовичем в октябре 1829 г., когда «Послание к вельможе» еще не было напечатано.

В заключение остается сказать несколько слов о самом рисунке и его мастере. Рисунок сделан сепией, на бумаге. Размер 41×54 см. Слева внизу подпись художника по-французски: De Courteille.

Николя Де-Куртейль (Nicolas de Courteille) родился во Франции в 1768 г. С 1784 г. учился в Парижской академии художеств у живописца Жюльена, выставлялся в Салоне. В 1802 г. Куртейль бежит в Россию и в 1806 г. принимает русское подданство. В 1811 г. за картину «Амур и Психея» Куртейль получает звание



СЦЕНА В АРХАНГЕЛЬСКОМ—ИМЕНИИ Н. Б. ЮСУПОВА

В фигурах двух людей у крыльца художник повидимому изобразил Пушкина (третий справа) и Вяземского (четвертый справа)

«назначенного» в Академии, а в 1813 г. за картину «Филоклет, оставленный на острове Лемносе»—звание академика живописи. Ко времени 1811—1817 гг. относятся картины Куртейля, находящиеся в Петергофских дворцах, например: «Кузница Сестрорецкого завода». С 1817 г. картины Куртейля появляются в Архангельском, а в 1820 г. он приглашается расписывать в Архангельском стены дворца, возобновляемого после пожара. Он пишет плафон для главного зала на тему «Амур и Психея». С тех пор Куртейль остается в Архангельском на постоянное жительство. Одним из поздних произведений Куртейля в Архангельском и является наш рисунок. Проживая в Архангельском, Куртейль занимался обучением живописи детей крепостных, подготовляемых преимущественно для работы на Архангельском фарфоровом заводе. По своим художественным склонностям Куртейль примыкает к Прюдону, его картины сочнее и романтичнее картин Давида.

С. Бессонов

IV. НЕИЗВЕСТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПУШКИНА

В медной овальной рамке старинный раскрашенный рисунок. Знакомый профиль поэта, слегка искаженный карикатурной трактовкой рисовальщика. Темные курчавые волосы вьются вокруг висков, характерные широкие бакенбарды обрамляют щеки, высокий воротник подпирает подбородок, крупный нос слегка свисает над выдвинутою верхнею губою; лоб изрезан морщинами, взгляд под тонкой бровью смотрит живо и прямо. Очерк лица, несмотря на шаржировку черт, не оставляет сомнений в задании художника: это набросок пушкинского лица, исполненный не без сатирического оттенка, но с достаточной долей портретного сходства. Перед нами не просто зарисовка: это несомненно карикатура на Пушкина, не лишенная даже некоторого политического налета. Поэт подносит к устам и как бы целует ключ—атрибут придворного звания камергера. Это старинное отличье, прикрепляемое, согласно этикету, к пуговице поясницы, вызывало немало юмористических замечаний. Известно стихотворное обращение Пушкина к князю Вяземскому, в котором он иронизирует над его камергерской эмблемой.

Сам поэт, как известно, не был облачен этим высоким чином, а получил на тридцать пятом году совершенно несоответствующее его возрасту и громкому имени звание камер-юнкера, сильно раздражавшее его самолюбие. Насколько титул этот не соответствовал общественному положению Пушкина, можно судить по тому, что в строго официальных документах военно-судного дела над Дантесом-Геккерном Пушкин неправильно именуется «камергером двора е. и. в.» и только к самому концу процесса, перед вынесением приговора, Аудиториатский департамент военного министерства запрашивает 16 марта 1837 г. Придворную контору: «какое имел звание умерший от полученной на дуэли раны Пушкин, камер-юнкера или камергера двора е. и. в.?» Только получив из министерства императорского двора соответственное разъяснение, что «умерший 29-го прошедшего Генваря титулярный советник Александр Пушкин состоял при высочайшем дворе в звании камер-юнкера», военный суд вносит этот корректив в последние документы производства. Поэт числился среди «вторых чинов двора»—неизвестных и совершенно незначительных представителей великосветской молодежи. Тем не менее смысл карикатуры ясен: вольнолюбивый поэт лелеет мечту о высших придворных почестях. В обществе действительно существовало мнение, что Пушкин стремился получить звание камергера. Бартенев сообщает, что сам поэт говорил Нащокину, будто Бенкендорф предлагал ему камергерский титул, желая его ближе иметь к себе, но он отказался, заметив: «Вы хотите, чтоб меня также упрекали, как Вольтера?» Приятель Пушкина Вяземский, относившийся к нему не с полной искренностью и не всегда доброжелательно, писал после его смерти великому князю Михаилу Павловичу: «не скрою, что он был тщеславен и суетен. Ключ камергера был бы тем отличьем, которое он принял бы, но он считал несоответственным своему возрасту получить звание камер-юнкера в самом разгаре своей деятельности на ряду с подростками и дебютантами в обществе».

Такие мнения широко распространялись в петербургском «высшем свете», порождая иронические замечания, эпиграммы, пасквили и карикатуры. Муж «черноокой Россетти» Н. М. Смирнов сообщил по поводу назначения Пушкина камер-юнкером: «На сей случай вышел мерзкий пасквиль, в котором говорили о перемене чувств Пушкина, будто он сделался искателен, малодушен, и он, дороживший своею славою, боялся, чтоб сие мнение не было принято публикой и не лишило его народности».

Но к соображениям политической чести и литературной славы примешивались сложные личные чувства. Приближенье Пушкина ко двору определенно связывалось и инте-

КАРИКАТУРА НА ПУШКИНА
С КАМЕРГЕРСКИМ КЛЮЧЕМ

Государственный Музей им. Н. К. Крупской, Смоленск

ресом царя к жене поэта. «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам),—записывает Пушкин в свой дневник 1 января 1834 г.,—но двору хотелось, чтоб Наталья Николаевна танцовала в Аничкове». Это сразу настораживает поэта. Пуще всего он опасался стать смешным в глазах общества.

«Пушкин крепко боялся дурных шуток над его неожиданным камер-юнкерством», сообщила в одном из своих писем дочь историка С. Н. Карамзина. И опасения эти не были напрасны. Иронические замечания не переставали раздаваться по адресу поэта. «Александр Пушкин, поэт Пушкин—теперь камер-юнкер Пушкин. Что скажет о том Полевой», замечает в одном из своих писем тот же Вяземский, указывая на особую опасность для Пушкина мнений демократической журналистики 30-х годов. Еще решительнее определил создавшееся положение великосветский литератор Соллогуб. «Певец свободы, наряженный в придворный мундир для сопутствования жене-красавице, играл роль жалкую, едва ли не смешную»... Таков был приговор литературного и светского Петербурга. Аналогичен и сатирический смысл карикатуры. Народный поэт, считавшийся в оппозиции к трону, слагавший революционные гимны, славивший политический террор, перешел на службу к самодержавному правительству, ищет придворных почестей, добивается камергерского звания.

Все эти «дружеские» шутки и вражеские выпады совершенно не соответствовали подлинному умонастроению Пушкина. Готовивший в то время ряд больших трудов художественного и научного значения, поэт на самом деле мечтал совершенно отойти от двора, оставить «гнусный Петербург», бежать в деревню, в уединение, в работу. Письма его этой эпохи полны выражений тоски по деревенской жизни и отвращения к быту императорской столицы. Характерно в этом отношении свидетельство приятеля Пушкина А. Н. Вульфа, заставшего его в феврале 1834 года «сильно негодующим на царя за то, что он одел его в мундир, его, написавшего повествование о бунте Пугачева... Он говорит, что он возвращается к оппозиции».

Все эти биографические обстоятельства облегчают датировку рисунка. Он относится к периоду 1834—1836 гг.—эпохе придворной жизни Пушкина, вероятнее всего к 1834 г., в самом начале которого Пушкин совершенно неожиданно получил придворное звание.

Естественно предположить, что графический пасквиль на поэта относится к этой именно поре.

Художественный тип рисунка подтверждает это хронологическое приуроченье. Некоторые приемы зарисовки, штриховки, общей композиции портрета, трактовки лица, руки и костюма весьма характерны для любительской манеры 30-х годов. Здесь без труда узнаешь робкую «домашнюю» технику дилетантских карандашей пушкинской эпохи. Это неизвестное изображение Пушкина раскрашено: волосы—темнорусые, фрак—синий, фон заштрихован свинцовым карандашом.

Эта миниатюра в овальной рамке была передана еще в довоенные годы провинциальной литературной работницей Яковлевой-Ланской в Смоленский Тенишевский музей. Рисунок был открыт недавно музейным работником М. И. Погодиным в коллекциях Смоленского Государственного Музея им. Н. К. Крупской, где и хранится в настоящее время в отделе прикладного и декоративного искусства (по инвентарной книге № 8124).

Этот неизвестный набросок представляет несомненный интерес не только как образец нашей робкой «политической карикатуры» 30-х годов, но и как новая зарисовка пушкинского профиля, позволяющая судить сквозь черты легкого шаржа о подлинном облике поэта. Естественно предположить, что необходимые черты сходства здесь достаточно полно соблюдены и общие очертания пушкинского черепа, прически, профиля, костюма близки к действительности. Сопоставление с графическими или мемуарными свидетельствами эпохи широко подтверждают первое впечатление. Наброски самого поэта, оставившего в рукописях или альбомах ряд эскизных автопортретов (рукописи «Онегина», альбомы Ушаковых и проч.), различные зарисовки Пушкина другими лицами в профиль или «в три четверти», наконец и некоторые карикатурные изображения эпохи (вроде акварели на светские успехи Пушкина)—все это может детально обосновать первую непосредственную атрибуцию нашего изображения.

Той же цели могут с успехом послужить и некоторые словесные изображения современников. Вспомним впечатление Ксенофонта Полевого от внешности Пушкина: «худощавый человек с резкими морщинами на лице, с широкими бакенбардами, покрывавшими всю нижнюю часть его щек и подбородка, с тучею кудрявых волос»... Вспомним свидетельство А. И. Тургенева (о встрече с Пушкиным в 1837 г.): «помню его смуглое небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых, крупных зубов, висячие бакенбарды, темные желчные глаза под высоким лбом почти без бровей—и кудрявые волосы»... Тургенев отмечает «живые, быстрые глаза» поэта. Не приходится сомневаться в том, кого хотел изобразить автор старинного наброска.

Новонайденный рисунок далеко не безразличен для истории последнего периода пушкинской биографии. Мы знаем, что тема «Пушкин и двор» уже чрезвычайно занимала современников поэта, свидетелей его последней жизненной драмы. Глухие намеки и прозрачные высказывания на эту тему доходили до поэта, вызывали досадные реплики в его письмах и дневниках, не переставали раздражать и волновать его.

Все это прекрасно комментирует публикуемый нами рисунок. Опасения Пушкина оправдались в полной мере. Иронические замечания над свободным певцом, ставшим придворным поэтом, из приятельских бесед и «дружеских» писем широко распространились в обществе. Одним из свидетельств этого насмешливого отношения современников к официальному положению автора «Кинжала» в петербургском свете и является анонимный рисунок, изображающий первого писателя эпохи лобзающим ключ камергера. Сатирический рисунок, заостренный врагами поэта в сторону его «придворной карьеры» и подрывающий в глазах читателей его авторитет независимого поэта, как бы предвещает знаменитые ноябрьские пасквили 1836 г., неумолимо приведшие к трагической развязке.

Леонид Гроссман

БИБЛИОТЕКА ПУШКИНА

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Исследование Л. Модзалевского

Вопрос о том, что читал Пушкин, имеет чрезвычайно существенное значение не только в плане биографическом, но и в плане историко-литературном. По существу говоря, только вполне уяснив круг чтения поэта, мы сможем поднять на должную теоретическую высоту изучение литературного генезиса его творчества в целом и его отдельных произведений, изучение формировавших его поэтическую практику литературных традиций как национальных, так и иностранных, и т. д. Не доказав документально знакомства Пушкина с произведениями того или иного старшего писателя, не установив времени и обстоятельств этого знакомства, мы никогда не сможем точно представить себе, каков был удельный вес их в общей массе воспринятого Пушкиным литературного наследия прошлого, не сможем представить, как осваивались они в индивидуальном поэтическом сознании Пушкина. А не ответив на эти вопросы, мы неизбежно рискуем остаться в рамках вневременных и внепространственных параллелей и сближений, которыми так богата пушкинская историография и научное значение которых обратно пропорционально их количеству.

Данные, которые дает нам на этот счет личная библиотека Пушкина, конечно только частично помогают разобраться в этом вопросе. Само собой разумеется, что круг чтения Пушкина был шире, богаче, обильнее. Но в сопоставлении с другими материалами, содержащимися как в писаниях самого Пушкина, так и в свидетельствах современников, они играют все же вовсе не маловажную роль в этом отношении.

Судьба личной библиотеки Пушкина и ее состав до сих пор однако оставались не ясны, несмотря на наличие библиографического описания пушкинской библиотеки, сделанного Б. Л. Модзалевским[1]. Как известно, после приобретения библиотеки Пушкина в 1906 г. в собственность государства для Пушкинского Дома Академии Наук, где она теперь и хранится (ныне ИРЛИ), Б. Л. Модзалевский произвел кропотливый и долгий труд по ее описанию и в предисловии к своей работе между прочим отметил следующее: «Если бы даже и включить в каталог библиотеки Пушкина список книг, несомненно бывших у него, но теперь в библиотеке не находящихся, то конечно и такой «исправленный и дополненный» каталог не представил бы нам всего, что имел когда-то Пушкин в своей библиотеке. С другой стороны, даже при наличии той или иной книги в каталоге нельзя сказать с полной достоверностью, что она принадлежала безусловно к составу библиотеки поэта (если конечно не носит ясных, положительных признаков такой принадлежности), а не попала в нее со стороны при тех случайностях, которым она подвергалась». Отмеченное Б. Л. Модзалевским обстоятельство во многом зависело от судьбы библиотеки, перевозившейся с места на место, и было основным недостатком, заставлявшим подходить к составу библиотеки Пушкина, во всяком случае ко многим книгам его библиотеки, с большой осторожностью в смысле принадлежности их Пушкину. Разрешать последнюю задачу приходилось специально в каждом отдельном случае, для каждой «сомнительной» книги, руководствуясь рядом соображений, основанных на других источниках. Приходилось таким образом ждать получения новых фактов, разрешавших сомнения в указанном направлении. Эти новые факты, почерпнутые нами из подлинных документов, теперь найдены и дают возможность разъяснить многие спорные вопросы о библиотеке Пушкина. Но прежде чем перейти к рассмотрению состава библиотеки поэта, следует сказать несколько слов о ее судьбе после кончины Пушкина в 1837 г.

«Недели через две после того, как тело [Пушкина] по высочайшему повелению отвезено было А. И. Тургеневым в Святогорский Успенский монастырь (в 4 верстах от с. Михайловского),—рассказывает в своих воспоминаниях И. И. Панаев[2],—[А. А.] Краевский объявил, что ему поручено разобрать книги и бумаги в кабинете Пушкина[3], что он пригласил себе в помощники [И. П.] Сахарова[4] и еще кого-то не помню...

— Не хотите ли вы помочь нам?—прибавил он.

Я конечно не отказался от такого предложения.

Нечего рассказывать, с каким ощущением я входил в кабинет Пушкина...

Мы провозились целый вечер. Я между прочим нашел под столом, на полу, записку Мегниса [Arthur Magenis], бывшего секретарем английского посольства в Петербурге[5]... Краевский, кажется, посвятил разбору библиотеки Пушкина несколько вечеров, но я помогал ему только один вечер...»

Неизвестно, чем окончилась разборка библиотеки, произведенная Краевским и Сахаровым, но достоверно известно, что в это дело вмешалась Опека, учрежденная над детьми и имуществом Пушкина; согласно распоряжению С.-Петербургской дворянской опеки от 11 февраля 1837 г. Опека приступила к описи всего находящегося в Петербурге движимого и недвижимого имущества поэта при двух посторонних свидетелях: кн. П. А. Вяземском и П. И. Тарасенко-Отрешкове (брате опекуна); одной из задач Опеки в деле охранения имущества Пушкина было также составление описи его библиотеки[6]. Приступив к возложенной на нее задаче, Опека завела особое «Дело № 2 по недвижимому и движимому имуществу, оставшемуся после смерти А. С. Пушкина», которое началось производством 20 февраля 1837 г.; это дело до недавнего времени не было известно[7], и только в 1929 г. П. Е. Щеголев опубликовал из него несколько документов[8], в том числе и о библиотеке Пушкина. Из дела видно, что работа по составлению описи библиотеки поэта была исполнена под наблюдением одного из опекунов, Н. И. Тарасенко-Отрешкова, оставившего по себе как опекуне печальную память[9], и двумя специально приглашенными для этого дела лицами—Ф. Менцовым и бар. Вельзберхом; опись в черновом виде была представлена в Опеку 13 апреля 1837 г. при следующем отношении Н. И. Тарасенко-Отрешкова: «Честь имею препроводить при сем в Опеку *опись*, составленную всем вообще книгам, оказавшимся в Библиотеке А. С. Пушкина на двадцати трех номерованных листах». Затем опись была переписана, на основании карандашной отметки на черновике неизвестной рукой, в двух экземплярах, из которых один сохранился в том же деле Опеки, скрепленный подписями гр. Г. А. Строганова, гр. М. Ю. Виельгорского и Н. И. Тарасенко-Отрешкова и снабженный следующей припиской: «При составлении сей описи Библиотеки умершего А. С. Пушкина свидетелями были статский советник князь Петр Вяземский, коллежский асессор Павлин Иванов Атрешков». Из этого же дела Опеки видно, что все книги, значившиеся по описи, были запечатаны в 24 ящика и хранились вплоть до 1841 г. в ведении Опеки[10]. Последняя 28 февраля 1841 г. обратилась в С.-Петербургскую дворянскую опеку с донесением, в котором, изложив производство дела с движимым имуществом Пушкина, пришла к выводу сдать библиотеку «под расписку на сохранение вдове Н. Н. Пушкиной». Таким образом книги Пушкина пролежали запечатанными в ящиках четыре года и только после утверждения СПБ. дворянской опекой предложения опекунов они были вместе с другими вещами поэта переданы Н. Н. Пушкиной. Затем началось медленное распыление библиотеки, уже никем не оберегаемой[11], и ее судьба в дальнейшем в точности неизвестна; претерпев ряд перевозок с места на место, она наконец в 1906 г. была приобретена Академией Наук[12].

Благодаря счастливой случайности, сохранившей нам опись библиотеки Пушкина 1837 г.[13], мы можем теперь узнать более точный ее состав и выяснить, какие книги ее сохранились, какие утрачены и какие должны быть подвергнуты сомнению в смысле принадлежности их Пушкину. В этих трех направлениях мы, согласно предложению покойного П. Е. Щеголева, и предприняли наши изыскания.

Как уже упоминалось выше, опись библиотеки сохранилась в двух экземплярах. Первый из них представляет собою черновик ее и отражает непосредственную запись книг прямо с полок, стоявших в кабинете Пушкина[14]; она состоит из 23 лл. разной писчей бумаги без водяных знаков и с водяными знаками «М. Ф. Л. Г. 1833 и 1834» с изображением герба и «А. Г. 1836», и писана двумя почерками составителей ее Ф. Н. Менцова и барона Вельзберха[15]. Опись составлена очень небрежно, без соблюдения самых элементарных библиографических правил, не имеет валовой нумерации книг и делалась без системы в несколько приемов, при чем составители ее не следили за порядком внесения книг в опись, книги списывали каждую

в отдельности и не согласовывали между собой своих записей, почему в некоторых случаях в опись вносились одни и те же книги по два раза; в описи отмечалось только три элемента: автор и заглавие книги (в большинстве случаев не полностью) и количество томов (не всегда). После окончания работы черновик описи был отдан переписчику, который и переписал ее по своему разумению, со множеством орфографических ошибок (особенно в иностранных текстах) в двух экземплярах, на гербовой бумаге, ценою в 50 коп., с водяными знаками 1835 и 1836 гг.; из этих двух экземпляров один сохранился при черновике, скрепленный членами опеки. При переписывании книги получили валовую нумерацию названий; всего в беловой текст описи было внесено 1287 названий книг; при сличении обеих описей разницы в количестве названий нами обнаружено не было. В результате всей работы получилась чисто формальная опись книг библиотеки Пушкина, ни в коей мере не заключающая в себе тех данных, которых можно от нее ждать. Во-первых, из описи нельзя составить никакого впечатления о том, в каком порядке или системе Пушкин хранил на полках свои книги [16]; это очень досадный дефект описи, которого легко можно было бы избежать, если бы составление ее было продумано. Во-вторых, вследствие небрежности работы (очевидно для скорости) по описи, очень трудно, а в некоторых случаях и совсем невозможно определить ни автора, ни точного заглавия, ни года и места издания, ни наконец того, каким тиснением издана книга (первым, вторым и т. п.). В-третьих, опись не охватила всех книг, бывших у Пушкина на его квартире; некоторая часть их в опись не попала совсем, между тем как в известном печатном описании библиотеки имеется большое количество книг, несомненно принадлежавших поэту (об этом ниже). Несмотря однако на такие существенные недостатки, опись дала много ценного материала, теперь впервые здесь публикуемого.

Располагая таким сложным и недостаточным материалом, который дает опись, нам пришлось проделать кропотливую работу по сличению сведений о книгах, заключенных в описи, со сведениями, известными по печатному описанию Б. Л. Модзалевского. Работа эта осложнялась тем, что опись изобилует большими описками и ошибками, о чем упоминалось выше. К сожалению напечатать сейчас текст описи из-за недостатка места не представляется возможным, поэтому наша работа не может быть опубликована полностью; вследствие сказанного, приходится печатать лишь результаты ее, надеясь на то, что впоследствии удастся обнародовать ее целиком.

После сличения описи с печатным описанием-каталогом выяснилось, что из 1287 названий книг по описи—187 названий неизвестны по печатному описанию и 278 названий, значащихся по печатному описанию (в котором отмечено всего 1522 названия), в описи отсутствуют. Проверить соотношение количества названий между описью и печатным описанием арифметическим путем нельзя, так как многие издания, занимающие в печатном описании один номер, в описи значатся под двумя и более номерами; и наоборот: названия книг, занимающих в печатном описании несколько номеров (например французские, серийные издания), в описи значатся под одним номером (одно название серии, с указанием общего количества томов).

Вполне естественно, что названия книг, бывших и не сохранившихся в библиотеке Пушкина и становящихся известными нам впервые, приковывают наше внимание в первую очередь. Несовершенство описи при определении изданий сказывается здесь со всей очевидностью (см. первый отдел нашего описания). Потребовалось много усилий для разыскания тождественных книг в государственных библиотеках (Государственной Публичной в Ленинграде, Академии Наук СССР и Ленинградского государственного университета) [17].

Но вследствие неясных указаний описи много изданий удалось определить лишь приблизительно, а свыше 20 названий по той же причине и в виду отсутствия их в библиотеках определить не удалось совсем; для определения их нужно ждать случая или помощи от специалистов, общими усилиями которых только и возможно окончательно установить неизвестные нам пока книги.

Для наглядности мы сохранили везде номер и точный текст описи, набранные в разрядку, а после названия книги по описи приводим библиографическое описание подходящего к ней, по нашему мнению, заглавия. В качестве примера укажем на «Историю о храбром рыцаре Францыле Венциане» (№ 39 нашего описания). Какое именно издание (их было несколько) было у поэта, сказать трудно, да вероятно никогда сказать и не удастся, если только не будет найден экземпляр этой книги со следами принадлежности ее Пушкину; или на книгу под заглавием (по описи) «Собрание стихотворений» (№ 65 нашего описания). Конечно утверждать, что под этим заглавием нужно разуметь «Собрание стихотворений»

И. П. Мятлева, нет возможности, так как по описи не видно, когда издана эта книга, а также—кто ее автор. Во всяком случае мы сочли необходимым дать наши предположения и снабдить примечаниями сведения о книге, если о ней сохранилось известие о связи ее с именем Пушкина в той или иной форме.

Среди книг по описи оказались и издания самого поэта. Б. Л. Модзалевский в своей работе о библиотеке Пушкина [18] высказал предположение, что отсутствие в ней экземпляров его собственных изданий можно объяснить тем, что многочисленное потомство, родня и друзья поэта без сомнения, «оставили себе что-нибудь из его книг, по всей вероятности—экземпляры его собственных сочинений». Это предположение встретило со стороны другого исследователя библиотеки Пушкина, М. Н. Куфаева, возражение [19], мотивированное тем, что в письме к Н. И. Хмельницкому от 6 марта 1831 г. на его просьбу прислать свои издания для Смоленской городской библиотеки поэт писал, что у него «не осталось ни одного экземпляра» своих сочинений, а «дороговизна книг не позволяет» ему «и думать о покупке». Теперь однако видно, что предположение Б. Л. Модзалевского оправдалось в полной мере: экземпляры собственных изданий находились в библиотеке поэта и конечно в первую очередь были взяты «на память» кем-либо из близких поэта, ибо, возможно, носили на себе следы карандаша их владельца... К сожалению опять-таки несовершенство описи не дает возможности точно определить, какие именно издания (какого тиснения) своих сочинений имел Пушкин у себя под руками.

В виде дополнения к новым названиям книг библиотеки Пушкина мы сочли необходимым дать список книг его библиотеки, которые, с одной стороны, откололись от нее после смерти поэта, а с другой—были подарены им своим знакомым и ушли из его библиотеки еще при его жизни [20]. Все перечисленные в этом отделе (II) издания хранятся в государственных хранилищах и за исключением одного описаны нами de visu, при чем все особенности сохранившихся книг и помет поэта нами оговариваются. Наличие в этом списке таких изданий, как «Стихотворения В. А. Жуковского» 1824 г. и «Чернец» И. И. Козлова, СПБ., 1825 г. с посвятительными надписями авторов Пушкину, свидетельствуют с очевидностью, что какая-то часть книг библиотеки Пушкина или была расхищена еще до составления описи библиотеки кем-нибудь из разбиравших ее (напр. Краевским, Тарасенко-Отрешковым и др.), или же осталась вне поля зрения лиц, составлявших опись. Эти два издания какими-то судьбами попали в руки известного библиографа кн. Н. Н. Голицына, пожертвовавшего их в Государственную Публичную Библиотеку в Ленинграде, где они и находятся с 1870 г. [21]. Экземпляр «Руслана и Людмилы», описанный нами в этом же отделе (II), может быть и является тем самым экземпляром, который занесен в опись под № 553 (см. наше описание, № 91).

Переходим теперь к рассмотрению III отдела нашего описания, в котором мы даем из-за недостатка места лишь номера книг по печатному каталогу Б. Л. Модзалевского, а не перечень самых книг, отсутствующих в описи библиотеки 1837 г. Казалось бы, что отсутствие этих книг в описи дает право исключить их вовсе из библиотеки Пушкина. На самом деле сделать это не так просто: многие книги несомненно принадлежали Пушкину, несмотря на то, что их нет в описи. Указанное обстоятельство лишний раз подчеркивает ее несовершенство и неполноту. Составители описи зарегистрировали не все книги, и тем самым вопрос о принадлежности многих книг Пушкину не может быть разрешен еще и сейчас. Из приведенных номеров по описанию Б. Л. Модзалевского следующие книги имеют несомненные следы принадлежности их Пушкину (отсутствуют в описи): № 17 (Стихотворения Е. А. Баратынского, 1827 г. с дарительной его надписью); № 20 (Изложение об устройстве воксала, А. А. Башилова, 1836 г. с его надписью); № 23 (Стихотворения В. Г. Бенедиктова, 1835 г. с пометою Пушкина); № 49 (Описание Украйны. Сочинение Боплана, 1832) и № 65 (Царствование Елизаветы Петровны. Сочинение А. Вейдемейера, 1834)—приобретены Пушкиным в 1834 г. у А. Ф. Смирдина; см. в статье Ю. Г. Оксмана «К истории Библиотеки Пушкина» в Сборнике статей, посвященных акад. А. С. Орлову. Л., 1934, стр. 445; № 70 (Песнь ополчения Игоря Святославича, А. Ф. Вельтмана, 1833 г. с надписью Вельтмана и с пометами Пушкина); № 74 Вастола, или желания, Виланда, перев. Е. П. Люценко, изд. А. Пушкиным; особый веленевый экземпляр с золотым обрезом—несомненно подарок самого Люценко, хотя экземпляр этот и не имеет на себе каких-либо надписей и помет); № 96 (Стихотворения Н. Гнедича, 1832 г., с надписью автора); № 132 (Древнее сказание о победе великого князя Дмитрия Иоанновича Донского над Мамаем, изд. И.М. Снегиревым, 1829 г., с пометами Пушкина); № 162 (Исправленный муж, или ах, как я счастлива! Комедия

1818

марта 2.

LA PUCELLE,

POEME
EN VINGT-UN CHANTS,
AVEC LES NOTES,

PAR VOLTAIRE.

ÉDITION STÉRÉOTYPE,
D'après le procédé de FIRMIN DIDOT.

A PARIS,
DE L'IMPRIMERIE ET DE LA FONDERIE STÉRÉOTYPES
DE PIERRE DIDOT L'AÎNÉ, ET DE FIRMIN DIDOT.
AN X. (1801.)

Другу от Друга

ЭКЗЕМПЛЯР „LA PUCELLE" ВОЛЬТЕРА ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПУШКИНА, ПОДАРЕННЫЙ ИМ В 1818 г. Н. И. КРИВЦОВУ. НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ПЕРЕПЛЕТА НАДПИСЬ: „ДРУГУ ОТ ДРУГА". НА ВКЛЕЕННОМ ЛИСТЕ ПЕРЕД ТИТУЛЬНЫМ ЛИСТОМ — АВТОГРАФ ПОСЛАНИЯ ПУШКИНА КРИВЦОВУ

Публичная Библиотека, Ленинград

в пяти действиях неизвестного автора, 1836 г., с его надписью Пушкину); № 219 (Ф. П. Львов, Объяснения на сочинения Державина, 1834)—куплена в 1834 г. у А. Ф. Смирдина; см. в названной выше работе Ю. Г. Оксмана; № 246 (Повести Александра Мухина, 1836 г., с надписью автора Пушкину); № 309 (Собрание оставшихся сочинений покойного А. Н. Радищева 1807—1811 гг., 6 частей, с закладками Пушкина); № 342 (Топография Оренбургская, П. И. Рычкова, 1762 г., 2 тома—несомненно с пометами Пушкина); № 358 (Четыре времени года русского поселянина. Сельская поэма Федора Слепушкина, 1830 г., с надписью автора Пушкину); № 386 (Стихотворения Виктора Теплякова, т. II, 1836 г., экземпляр, хотя и не имеющий помет, несомненно бывший у Пушкина); № 400 и 401 (Н. Г. Устрялов. Сказания князя Курбского, 1833 и его же Сказания современников о Дмитрии Самозванце, 1831—1834; приобретены в 1834 г. у А. Ф. Смирдина, см. в названной работе Ю. Г. Оксмана); № 424 (Отелло, венецианский мавр. Драма в пяти действиях Шекспира. Перев. Ив. Панаева, 1836 г., с надписью переводчика); № 430 (Собрание сочинений и переводов адмирала Шишкова, 1824—1832; куплены у А. Ф. Смирдина в 1834 г.; см. в названной работе Ю. Г. Оксмана); № 484 (Новости литературы, 4 книжки 1825 и 1826 гг. с рисунками Пушкина на обложке февральской книжки 1826 г.); № 497 (Повременное Издание Императорской Российской Академии, ч. IV, 1832 г., подаренное Пушкину на заседании Академии 25 февраля 1833 г., см. ниже стр. 1020); № 501 (Русские достопамятности, ч. I, 1815; куплена у А. Ф. Смирдина в 1834 г.; см. в указанной выше работе Ю. Г. Оксмана); № 547 Antidote 1771 г. два тома с пометой на I т. «Н. Гончарова»); № 687 (The Student, By. E. L. Bulwer, 1835 г.; книга была приобретена Пушкиным 1 августа 1835 г. у. Ф. Беллизара. См. «Пушкин и его современники», в. XIII, стр. 113); № 874 (Dialoghetti sulle materie Correnti Dell anno 1831 г.; книга, судя по помете А. И. Тургенева, попала к Пушкину от последнего); № 902 (Eloge historique de Catherine II, 1776; судя по вытисненным на крышке переплета буквам «N. G.», вывезена Пушкиным из имения Гончаровых «Ярополец»)[11]; № 990 (Histoire de Pierre I, 1742 г.; куплена Пушкиным у А. Ф. Смирдина в 1834 г.); № 998 (La Vie de E. T. A. Hoffman, par baron Adolph Loeve-Veimars 1833 с надписью Н. Н. Пушкиной «A. Pouchkine»); № 1200 (A.-J. Murko. Slovénsko-Nemshki in Némsho-Slovénski Rózhni Besédnik 1833, с закладками Пушкина); № 1451 (M. A. Troc. Nowy Dykcyonarz, to iest Mownik Polsko-Niemecko-Francuski... 1764 г., с закладкой, на которой неизвестным почерком написано «Puschkin»); №№ 1519—1522 (Revue Rétrospective за 1834—1836 гг., разные номера, приобретенные Пушкиным у Ф. Беллизара 9 октября 1836 г. См. «Пушкин и его современники», в. XIII, стр. 124).

Таким образом из 278 «сомнительных» книг 35 названий несомненно принадлежали поэту. Продолжают оставаться «сомнительными» 243 названия. Из этого числа многие книги также принадлежали Пушкину, но за отсутствием фактических оснований от дальнейшего исследования этого вопроса мы воздерживаемся. Для удобства наведения справок в приложенной в отделе III цифровой таблице номера вышеуказанных 35 названий книг, принадлежавших Пушкину, но не значащихся в описи библиотеки, поставлены нами в скобки.

Необходимо сказать еще несколько слов о том, что опись в одном из своих элементов указывает на количество томов того или иного названия книг. К сожалению мы лишены возможности дать эти сведения, являющиеся ценным материалом для выяснения вопроса о степени сохранности библиотеки Пушкина по количеству томов. Эти сведения могут быть опубликованы одновременно со всей описью библиотеки, иначе, в виде цифровой таблицы, они не будут наглядны и потребуют много места. Скажем лишь, что опись и в этом отношении не дает исчерпывающих данных: во многих случаях количество томов или вовсе пропущено, или указано суммарно.

Так например, очень сложно и почти совершенно невозможно определить количество отдельных номеров журналов и выпусков иностранных серий. О русских журналах («Московский Вестник», «Московский Телеграф», «Соревнователь Просвещения», «Журнал общеполезных сведений», «Северная Минерва», «Телескоп», «Журнал Министерства Внутренних Дел» и «Сын Отечества») в описи отмечено кратко— «в 10 связках». Поэтому например нельзя сказать (см. первый отдел описания № 44), какие именно тома «Истории Государства Российского» Карамзина в издании Смирдина 1830—1831 гг. были у Пушкина из указанных в описи трех томов, в то время как было издано их всего 12, и т. д.

Итак, ценность обнаруженной описи библиотеки Пушкина не подлежит сомнению. 187 книг, которыми владел Пушкин, сверх нам ранее известных, говорят сами за себя. При изучении творчества поэта ни один исследователь не сможет теперь

пройти мимо них. Многое, правда, осталось еще не ясным и не уточненным в определении состава пушкинской библиотеки, но и то, что мы знаем теперь о ее составе, значительно уточняет известные нам ранее сведения[23].

I

КНИГИ, БЫВШИЕ В БИБЛИОТЕКЕ ПУШКИНА И НЕ СОХРАНИВШИЕСЯ

ОТДЕЛ I

Книги на русском языке

722. Сочинения и переводы Аладьина. — 1.

1. АЛАДЬИН, Егор [Васильевич]. Сочинения и переводы в прозе Егора Аладьина. Часть первая. Иждивением книгопродавца Непейцына. Санктпетербург, в типографии Карла Крайя. 1832.

Малая 8°, 8 нен. + 276 стр.

278. Басни Алипанова. — 1.

2. АЛИПАНОВ, Егор [Игнатьевич]. Басни крестьянина Егора Алипанова. Санктпетербург. В типографии Императорской Российской Академии. 1832.

8°, 6 нен. + 121 + 1 нен. стр.

205. Анекдот о Емельке Пугачеве. — 1.

3. АНЕКДОТЫ о бунтовщике и самозванце Емельке Пугачеве. Москва, 1809. В вольной типографии Федора Любия.

Малая 8°, гравированный портрет Е. Пугачева с эпиграфом из Сумарокова + 4 нен. + 80 стр. Этой книгой Пушкин пользовался во время работы над своей «Историей Пугачева».

262. Золотой осел. — 2.

4. АПУЛЕЙ, Луций. Луция Апулея платонической секты философа превращение, или золотой осел. Перевел с латинского Императорского Московского Университета баккалавр Ермил Костров. В Москве. В Университетской типографии у Н. Новикова, 1780—1781 гг.

Малая 8°, 2 т.; часть I — 223 + 1 нен. стр.; часть II — 353 + 1 нен. стр.

297. Атлас Российской, состоящий из девятнадцати специальных карт. 1745 г. — 1.

5. АТЛАС Российской, состоящей из девятнадцати специальных карт, представляющих Всероссийскую Империю с пограничными землями, сочиненной по правилам географическим и новейшим обсервациям, с приложенною при том генеральною картою великия сея Империи, старанием и трудами Императорской Академии Наук. В Санктпетербурге 1745 г.

f°, 21 лист; см. «Каталог изданий Императорской Академии Наук», часть II, П., 1915, стр. 4, № 25.

354. Беседа к глаголаемому старообрядцу. — 1.

6. БЕСЕДЫ к глаголаемому старообрядцу. Москва. В Синодальной типографии, 1835 года.

12°, 4 нен. + 126 стр.

429. Библия.

543. Библия.

7. БИБЛИЯ. Какие из изданий—сказать трудно. Во всяком случае это не те издания, которые сохранились в библиотеке за №№ 604 и 1108 (см. «Письма Пушкина» под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, стр. 313); они значатся в описи: первая под №№ 540 и 542 и вторая—под № 541.

734. Бал. Баратынского. — 1.

8. БОРАТЫНСКИЙ, Е. А. Бал. Повесть, сочинение Евгения Баратынского. Санктпетербург, в типографии Департам. Народн. Просвещ. 1828.

12°, 45 + 3 нен. стр.; сброшированa с «Графом Нулиным» А. С. Пушкина, 1827 г. 12°, 32 стр.

579. Богдан Хмельницкий.

9. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ. Поэма в шести песнях. Санктпетербург, в типографии Экспедиции заготовления Государственных бумаг. 1833.

Малая 8°, VI + 121 + 1 нен. стр.

451. О состоянии местностей С.П.Бурга.

10. БУТКОВ, П. Г. О состоянии местностей Санктпетербургских в XVI веке. Вырезка или оттиск из «Журнала Министерства Внутренних Дел» 1836 г., часть XX, стр. 391—425.

549. История нашествия Наполеона. Бутурлина, пер. Хатов (вторая часть)—1.

11. БУТУРЛИН, Д. П. История нашествия императора Наполеона на Россию в 1812-м году. С оффициальных документов и других достоверных бумаг Российского и Французского Генерал-Штабов, сочиненная Его Императорского Величества Флигель-Адъютантом, полковником Д. Бутурлиным. С Французского же на Российский язык переведена Свиты Его Императорского Величества по квартирмейстерской части Генерал-Майором А. Хатовым. Часть вторая. Санктпетербург. Печатано в Военной Типографии Главного Штаба Его Императорского Величества. 1824.

8°, 2 нен. + VIII + 458 + IV стр.

495. Выпись хронологическая из истории Русской.

12. ВЫПИСЬ хронологическая из истории русской S. l. et a.

4°, 224 стр.

1147. Картина человека. — 1.

13. ГАЛИЧ, А. И. Картина человека, опыт Наставительного чтения о предметах самопознания для всех образованных сословий, начертанный А. Галичем. Санктпетербург. В типографии Императорской Академии Наук. 1834.

8°, 4 нен. + XI + 3 нен. + 677 + 1 нен. стр. Эту книгу Пушкин купил 22 февраля 1834 г. (см. сборник статей, посвященных акад. А. С. Орлову, Л., 1934 в статье Ю. Г. Оксмана).

438. Записки о 1812 годе, Глинки. — 1.

14. ГЛИНКА, С. Н. Записки о 1812 годе Сергея Глинки, первого ратника Московского Ополчения. Санктпетербург. В типографии Императорской Российской Академии. 1836.

8°, 2 нен. + IV + 2 нен. + XIV + V + 3 нен. + + 362 стр. Ср. «Переписка Пушкина» т. III, стр. 291.

535. Миргород, повести Гоголя. — 2.

15. ГОГОЛЬ, Н. В. Миргород, повести, служащие продолжением Вечеров на хуторе близь Диканьки. Н. Гоголя. Санктпетербург. 1835.

8°, 2 ч.; Часть первая — 2 нен. + 224 стр. часть вторая — 215 + 1 нен. стр.

845. Сочинения и переводы Городчанинова. — 1.

16. ГОРОДЧАНИНОВ, Григорий. Сочинения и переводы в прозе и стихах. Статского Советника, Профессора Казанского Общества Любителей Отечественной Словесности, Председателя и кавалера Григория Городчанинова. Казань. В Университетской Типографии. 1831.

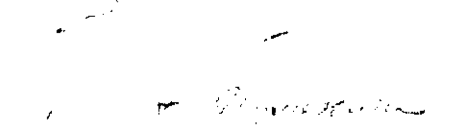
12°, 552 + 2 нен. стр.

121. Государственная грамота в России (Charte constitutionelle de l'Empire de Russie). — 1.

17. ГОСУДАРСТВЕННАЯ уставная грамота Российской Империи (перепечатанная в книге Н. К. Шильдера «Император Александр I, его жизнь и царствование», т. IV, СПб. 1898, стр. 499—526); возможно, что именно эта грамота была в библиотеке Пушкина, но видеть нам ее не удалось. Судя по заглавию описи, она была издана с переводом на французский язык.

476. Полтава Гребенки. — 1.

18. ГРЕБЕНКА, Е. П. Полтава. Поэма А. С. Пушкина. Вольный перевод на Малороссийский язык Е. Гребенки. Санктпетербург. В типографии И. Воробьева. 1836 года.



POESIES SUR LA CONSTITUTION UNIGENITUS. Recueillies par le Chevalier de G... Officier du Regiment de Champagne.

Congruit & Veritati videre, quia letans. Tert. adv. Val. Cap. 6.

TOME PREMIER.

A VILLEFRANCHE, Chez Philalete Belhumeur. M. DCC. XXIV.

ЭКЗЕМПЛЯР КНИГИ „POESIES SUR LA CONSTITUTION UNIGENITUS" ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПУШКИНА, ПОДАРЕННЫЙ ИМ А. С. НОРОВУ, С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ПЕРЕПЛЕТА

Институт Русской Литературы, Ленинград

12°, 64 стр. На листе после титула: «Посвящается Александру Сергеевичу Пушкину» (Ср. «Опыт перевода «Полтавы» Пушкина на малороссийский язык Е. Гребенкою».—«Московский Телеграф» 1831, ч. 41, № 17, стр. 128—129).

460. Биография Императора Александра I.

19. ГРЕЧ, Н. И. Биография Императора Александра I. Николая Греча. Санктпетербург. 1835.

8°, 2 нен. + гравированный Райтом портрет Александра I + 6 нен. + 61 + 1 нен. стр.

606. Были и небылицы.

846. Были и небылицы Луганского. — 2.

1121. Были и небылицы. — 1.

20. [ДАЛЬ, В. И.] Были и небылицы казака Владимира Луганского. 1. Нападение в расплох. 2. Цыганка. Книжка первая. Санктпетербург, в типографии Н. Греча. 1833.

8°, 4 нен. + 201 + 1 нен. стр.

Были и небылицы казака Владимира Луганского. Русские сказки. 1. Царевна Милонега. II. Коровушка-буренушка. III. Жид и цыган. Книжка вторая. Санктпетербург, в типографии Н. Греча. 1835.

8°, IV + 194 стр.

Были и небылицы казака Владимира Луганского. Русские сказки: I. Илья Муромец. II. Емеля дурачек. III. Вор и бурая корова. IV. Иван Лапотник. Книжка третяя. Санктпетербург, печатано в типографии Христиана Гинца. 1836.

8°, 8 нен. + гравированный рисунок + 182 + 2 нен. стр.; т. IV вышел в 1839 году.

739. Описание моста на Висле. — 1.

21. [ДАЛЬ, В. И.] Описание моста, наведенного на реке Висле для перехода отряда Генерал-Лейтенанта Ридигера. Санктпетербург, в типографии Н. Греча, 1833.

8°, 2 нен. + 46 стр. + 2 сложенных литографированных чертежа устройства моста.

581. Русские сказки казака Луганского.

22. [ДАЛЬ, В. И.] Русские сказки, из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому принаровленные и поговорками ходячими разукрашенные казаком Владимиром Луганским. Пяток первый. Санктпетербург, печатано в типографии А. Плюшара. 1832.

12°, 201 + 1 нен. стр. Ср. «Сочинения В. И. Даля», т. I. 1897 г., стр. XXXIII.

596. Дедушкины прогулки. — 2.

23. ДЕДУШКИНЫ ПРОГУЛКИ, содержащие в себе десять Русских сказок. Санктпетербург. 1791.

8°; были еще издания: второе в СПб. в типографии Глазунова, 1815 г., 12°, и третье в М. в типографии Решетникова, 1819 г., 12°. В библиографических указателях указывается еще издание под заглавием: «Дедушкины прогулки, или продолжение настоящих русских сказок», СПб. 1786.

669. Древний воинский Артикул. — 1.

24. ДРЕВНИЙ воинской артикул и сколок с старинной свадебной записи, от крепостных дел даванной. Москва. В типографии Н. Степанова при Императорском театре. 1829.

16°, 12 стр.

586. Сова ночная птица.

25. ДРУКОВЦОВ, С. В. Сава ночная птица, повествующая руские сказки, из былей составленные Господином Статским Советником и Вольного Санктпетербургского Экономического Общества Членом, Сергием Васильевичем Друковцовым. Печатана в Санктпетербурге. Первым тиснением, 1779 года.

8°, 4 нен. + 58 стр.; посвящение П. А. Демидову. Было и другое издание под тем же заглавием, напечатанное в Москве, в Университетской типографии, у Н. Новикова, 1781 года, малая 8°, 77 + 1 нен. стр.

159. Кавалерист-Девица. — 2.

26. [ДУРОВА, Н. А.]. Кавалерист-девица. Происшествие в России. Издал Иван Бутовский. С.-Петербург. В Военной Типографии. 1836.

8°, 2 чч.; часть I—4 нен. + 289 + 1 нен. стр., часть II—2 нен. + 292 стр.

№ 35.

СТИХОТВОРЕНІЯ

В. Ж.

Пушкину на память о дружбе Жуковского.

ЭКЗЕМПЛЯР „СТИХОТВОРЕНИЙ“ ЖУКОВСКОГО ИЗДАНИЯ 1824 г. ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПУШКИНА, С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ЖУКОВСКОГО ПУШКИНУ

Публичная Библиотека, Ленинград

741. Конек-Горбунок Ершова. — 1.

27. ЕРШОВ, П. П. Конек-Горбунок. Русская сказка. Сочинение П. Ершова. В III частях. Санктпетербург. В типографии Х. Гинце. 1834.

8°, 122 стр. Ср. А. К. Ярославцев «П. П. Ершов, автор сказки «Конек-Горбунок», СПб. 1872», стр. 2.

1166. Жизнь Артемия Араратского. — 2.

28. ЖИЗНЬ Артемия Араратского, уроженца селения Вагаршапат близь горы Арарата, и приключения, случившиеся с ним от младенчества до совершенных лет; удаление его от своего Отечества в Грузию, оттуда в Россию, потом в Персию и на конец возвращение обратно в Россию, чрез Каспийское море, с описанием многих любопытных предметов, находящихся в его стороне и прочих местах Персии, с приложением шести гравированных эстампов, изображающих виды городов Персидских. Писанные и переведенные им самим с Армянского на Российский. Санктпетербург. В типографии Иос. Иоаннесова, 1813 года.

8°, 2 чч. Часть первая—4 нен. + II + 286 стр.; посвящение Армянина Артемия Богданова князю П. А. Зубову; часть вторая—2 нен. + 261 + 1 нен. стр.

558. Жизнь Потемкина.

29. ЖИЗНЬ князя Григория Александровича Потемкина-Таврического, служащая дополнением к царствованию Екатерины II. Взята из иностранных и отечественных источников. Москва, 1808. В типографии Дубровина и Мерзлякова.

8°, 3 книги; книга 1—гравированный по рисунку А. Грачова портрет кн. Г. А. Потемкина + гравированный титул + 2 нен. + 190 стр.; книга II—2 нен. + 176 + 2 нен. стр.; книга III—4 нен. + 47 + 3 нен. + 48 — 91 + 1 нен. стр.

1076. Жизнь Павла I, Потемкина и Безбородки.—1.

30. ЖИЗНЬ, свойства, военные и политические деяния 1) Российского Императора Павла I, 2) Генерал-Фельдмаршала, князя Потемкина-Таврического, и 3) Канцлера князя Безбородки. С дозволения Санктпетербургской цензуры. В Санктпетербурге. В типографии И. Глазунова, 1805.

Малая 8°, 32 стр.

155. Баллады и повести Жуковского. — 1.

31. ЖУКОВСКИЙ, В. А. Баллады и повести В. А. Жуковского. Часть первая, с гравированною виньеткою и картинкою. Санктпетербург. В Военной Типографии Главного Штаба Его Императорского Величества. 1831.

12°, гравированная Ческим картинка по рисунку Зеленцова + 4 нен. + 277 + 1 нен. стр.

Баллады и повести В. А. Жуковского. Часть вторая, с гравированною виньеткою. Санктпетербург. В Военной Типографии Главного Штаба Его Императорского Величества. 1831.

12°, 4 нен. + 261 + 3 нен. стр. Ср. «Переписка Пушкина», т. II, стр. 237.

1025. Русская слава. — 1.

32. ЖУКОВСКИЙ, В. А. Русская слава. Стихотворение В. Жуковского. Санктпетербург. В типографии Александра Смирдина. 1831.

8°, 8 стр. (Об этом издании см. «Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу». М., 1895, стр. 259—261 и «Русский Архив» 1902, кн. I, стр. 94).
8°, 243 + 3 нен. стр.

1059. Недовольные. — 1.

33. ЗАГОСКИН, М. Н. Недовольные. Комедия в четырех действиях. Сочинение М. Н. Загоскина. Москва. В типографии Николая Степанова. 1836.

8°, 147 + 1 нен. стр. Об этой книге см. не появившуюся при жизни Пушкина его рецен-

зию в соч. Пушкина, изд. Акад. Наук, т. IX, ч. I, стр. 380 и т. IX, ч. 2, стр. 839—842.

620. Р о с л а в л е в.

34. ЗАГОСКИН, М. Н. Рославлев, или русские в 1812 году. Соч. М. Загоскина. Москва. В типографии Н. Степанова. При Императорском Театре. 1831.

8⁰, 4 ч.; часть I—191 + 1 нен. стр.; ч. II—216 стр.; ч. III — 236 стр.; ч. IV — 206 + 2 нен. стр. Экземпляр «Рославлева» Пушкин получил от Загоскина через О. М. Сомова («Русская Старина» 1902 г., № 9, стр. 620). Об этом романе см. в издании «Письма Пушкина к Е. М. Хитрово». Л., 1927, стр. 20, 104—111.

334. Р а с с к а з ы о п о х о д а х 1 8 1 2 и 1 8 1 3 г о д о в. — 1.

35. ЗОТОВ, Р. М. Рассказы о походах 1812-го и 1813-го годов, прапорщика Санктпетербургского Ополчения. Сочинение Р. Зотова (Автора Леонида, Таинственного Монаха, и Истории 25-ти-летия Европы). Санктпетербург. В типографии И. Глазунова А. Смирдина и К⁰. 1836.

8⁰, 2 нен. + 183 + 1 нен. стр.

425. А т л а с к о п и с а н и ю п о д в и г о в р у с с к и х н а К а в к а з е.

488. В и д ы, п о р т р е т ы и п л а н ы к о п и с а н и ю п о д в и г о в р у с с к и х в о и н о в. — 1.

36. ЗУБОВ, Платон. Атлас к описанию подвигов русских воинов в странах Кавказских. Выпуск первый, состоящий из семи рисунков. Санктпетербург, 1835.

8⁰, тит. лист + 7 литографий Гемильяна: портрет генер. от инф. Кн. Цицианова; вид крепости Дербента; портрет генер. фельдм. кн. Варшавского Графа Паскевича-Эриванского; портрет генер.-адъют. Афанасия Ивановича Красовского; вид крепости Баку; вид Апшеронского полуострова у Каспийского моря; портрет генер.-адъют. барона Григория Владимировича Розена и вид крепости Эривань, от реки Занги. Ср. Б. Л. Модзалевский.—«Библиотека А. С. Пушкина». СПб., 1910 г., стр. 43, № 155.

485. И н с т р у к ц и я к а р а у л ь н о м у о ф и ц е р у. — 1.

37. ИНСТРУКЦИЯ караульному офицеру Государя Императора Павла Петровича. Санктпетербург. 1797.

8⁰. Были и другие издания.

404. И с т о р и я о з а т о ч е н и и М а т в е е в а. — 1.

38. ИСТОРИЯ о невинном заточении Ближнего Боярина Артамона Сергиевича Матвеева, состоящая из челобитен, писанных им к Царю и Патриарху, также из писем к разным Особам, с приобщением объявления о причинах его заточения и о возвращении из оного; изданная Николаем Новиковым, Членом Вольного Российского Собрания при Императорском Московском Университете. Издание второе. Иждивением Типографической Компании. Москва, В Университетской Типографии, у Н. Новикова, 1785.

8⁰, XV + 1 нен. + 440 стр.

597. И с т о р и я о Ф р а н ц и л е В и н ц и а н е.

39. ИСТОРИЯ о храбром Рыцаре Францыле Венциане и о прекрасной королевне Ренцывене. Москва, 1787, 8⁰.

2-е изд. 1789, 3-е изд. 1793, 4-е изд. Смол., 12⁰ М. 1829, М. 1834 и др.

588. И с т о р и я В а н ь к и К а и н а.

40. ИСТОРИЯ славного вора, разбойника и бывшего Московского сыщика Ваньки Каина, со всеми его обстоятельствами, разными любимыми песнями и портретом, писанная им при Балтийском Порте в 1764 году. 1782 года S. 1.

12⁰, 105 стр.; были и другие издания.

1040. Дочь купца Жолобова. — 2.

41. КАЛАШНИКОВ, И. Т. Дочь купца Жолобова. Роман, извлеченный из Иркутских преданий. Соч. И. Калашникова. Санктпетербург. Печатано в Типографии Штаба Отдельного Корпуса Внутренней Стражи. 1831.

12°, 4 части; часть I—2 нен. + V + 1 нен. + 164 стр.; ч. II—164 стр.; ч. III—2 нен. + 199 + 1 нен. стр.; ч. IV—294 стр. Отзыв Пушкина об этом романе см. в письме его к И. Т. Калашникову в «Переписке Пушкина», т. III, стр. 19—20. Второе издание романа появилось в 1832 году.

1074. Изгнанники. — 1.

42. КАЛАШНИКОВ, И. Т. Изгнанники. Повесть. Соч. И. Калашникова. Санктпетербург. В типографии Медицинского Департамента Министерства внутренних дел. 1834 года.

12°, XIV + 168 + 2 нен. стр.

731. Календарь или месяцеслов на 1721 год. — 1.

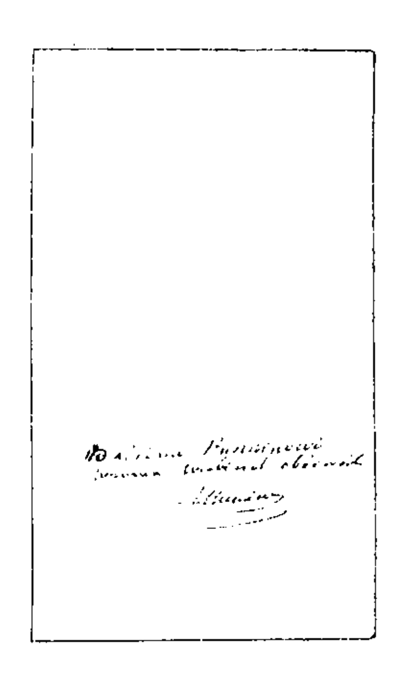
43. КАЛЕНДАРЬ или месяцеслов на лето от Рождества Господа нашего Иисуса Христа 1721, указующии затмения солнечная, месячная рождения, и полный месяц с четвертми. Такожде время солнечного восхождения и захождения, долгоденствие и долгонощие на всякии день учиненныи по меридиану, и ширине царствующего Санктпетербурха. В Санктпетербурхской Типографии, Лета Господня, 1720. Декабря в 12 день.

В перегнутую пополам четвертушку, 36 нен. листов с гравированными на меди изображениями в конце текста. Описание заимствовано у П. П. Пекарского «Наука и литература в России при Петре Великом», т. II, стр. 490. Среди рукописей Пушкина сохранился рукописный экземпляр этого календаря 1820 — 1830 гг. с заглавным листом и рисунком на листе 12 об., изображающем внешность календаря, писанными рукою Пушкина (см. В. И. Срезневский—«Пушкинская коллекция, принесенная в дар библиотеке Академии Наук А. А. Майковой». — «Пушкин и его современники», в. IV, стр. 32). Об этом календаре Пушкин предполагал писать в своем «Современнике» (см. сочинения Пушкина, изд. «Красной Нивы», в. 11, стр. 386).

1026. История Карамзина, изд. Смирдина. — 3.

44. КАРАМЗИН, Н. М. История Государства Российского. Издание третие. Иждивением книгопродавца Смирдина. Санктпетербург. В типографии Александра Смирдина и А. Плюшара. 1830—1831.

8°, 12 тт.; том I — 2 нен. XXXVI + 297 + 3 нен. + 156 стр. + 1 сложенная карта в красках; т. II — 4 нен. + 367 + 3 нен. + 120 стр.; т. III — 4 нен. + 329 + 3 нен. + 79 + 1 нен. стр.; т. IV — 4 нен. + 346 + 84 стр.; т. V — 4 нен. + 473 + 3 нен. + 78 стр.; т. VI — 4 нен. + 433 + 1 нен. + 73 + 1 нен. стр.; т. VII — 4 нен. + 264 + 48 стр.; т. VIII — 4 нен. + 362 + 51 + 1 нен. стр.; т. IX — 4 нен. + 544 + 92 + 4 нен. стр.; т. X — 4 нен. + 320 + 3 нен. + 59 + 1 нен. стр.; т. XI — 4 нен. + 356 + 2 нен. + 52 стр.; т. XII — VII + 1 нен. + 382 + 64 стр., со статьею «От издателей» (1828 г.) с подп. «Дм. Б.»



THE

WORKS

OF

LORD BYRON

COMPLETE

IN ONE VOLUME

FRANCFORT O. M.

PRINTED BY AND FOR H. L. BRÖNNER

1828

ЭКЗЕМПЛЯР КНИГИ „THE WORKS OF LORD BYRON“ ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПУШКИНА, ПОДАРЕННЫЙ ЕМУ МИЦКЕВИЧЕМ, С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ПОСЛЕДНЕГО НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ПЕРЕПЛЕТА

Институт Русской Литературы, Ленинград

218. Знакомые незнакомцы. — 1.

45. КАРАТЫГИН, П. А. Знакомые незнакомцы. Комедия-водевиль в одном действии. Соч. П. Каратыгина. Санктпетербург. При Императорской Академии Наук. 1830.

8⁰, 4 нен. + 81 + 1 нен. стр. См. Рассказ П. Каратыгина о том, как он подарил этот экземпляр Пушкину с надписью, в «Записках П. А. Каратыгина» под ред. Б. В. Казанского, т. I, изд. «Academia», стр. 312.

1062. Мои мечты. Кафтарева. — 1.

46. КАФТАРЕВ, Ф. Я. Мои мечты. Стихотворения Ф. Я. Кафтарева. Санктпетербург. В типографии Штаба Отдельного Корпуса Внутренней Стражи. 1832.

8⁰, 2 чч., составляющие одну книжку с общей пагинацией и в одной обложке; ч. I — 6 нен. + 28 стр.; ч. II — 2 нен. + 38 + 2 нен. стр.; на последней 2-й нен. стр. помещен список «подписавшихся особ», среди коих значится и Пушкин, имя которого выделено особо большим шрифтом: «Поэт А. С. Пушкин». Пушкин подписался на два экземпляра этой книжки. См. И. А. Шляпкин—«Из неизданных бумаг А. С. Пушкина». СПб., 1903, стр. 226. В библиотеке Пушкина имеется другое произведение Кафтарева «Петропольские ночи» 1832 г. с его автографом (см. Б. Л. Модзалевский — «Библиотека А. С. Пушкина». СПб., 1910, стр. 50).

1075. Княгиня Наталия Долгорукая. — 1.

47. КОЗЛОВ, И. И. Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая. Сочинение Ивана Козлова. Санктпетербург, в типографии Департамента Народного Просвещения. 1828.
12⁰, 92 + 2 нен. стр.

521. Стихотворения Кольцова.

48. КОЛЬЦОВ, А. В. Стихотворения Алексея Кольцова. Москва. В типографии Николая Степанова. 1835.
8⁰, 40 стр.

235. Адольф, Роман Б. Констана. — 1.

49. КОНСТАН, Бенжамен. Адольф. Роман Бенжамен-Констана. Санктпетербург. В типографии Депар. Народ. Просвещения. 1831. [Перевод кн. П. А. Вяземского с посвящением А. С. Пушкину]. О нем см. в «Переписке Пушкина», т. II, стр. 217—219, 252, 254, 267, 290, 313 и 320.
12⁰, XXXIV + 222 стр.

746. Андрей Безыменный, повесть. — 1.

50. [КОРНИЛОВИЧ, А. О.] Андрей Безыменный. Старинная повесть. С.-Петербург. В типографии III Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии. 1832.
12⁰, 2 нен. + 215 + 1 нен. стр.

25. Басни Крылова, издан. Смирдина 1831 года. — 1.

51. КРЫЛОВ, И. А. Басни Ивана Крылова. В осьми книгах. Новое издание, вновь исправленное и умноженное. Иждивением книгопродавца Смирдина. Цена в С.-Петербурге и Москве 4 руб., с пересылкою на города 5 рублей ассигнациями. Санктпетербург. В типографии Александра Смирдина, 1831.
8⁰, 2 нен. + 266 стр.

220. Басни Крылова, 30 тысяча. — 1.

52. КРЫЛОВ, И. А. Басни Ивана Крылова. В восьми книгах. Тридцатая тысяча. Санктпетербург, в типографии Экспедиции Заготовления Государственных бумаг. 1835.
32⁰, 410 + XI стр. с портретом Крылова, гравированным Гобертом по рисунку Оленина. Описание заимствовано у И. М. Остроглазова. Книжные редкости, «Русский Архив» 1891 г., кн. II, стр. 447.

187. Ижорский. — 1.

53. [КЮХЕЛЬБЕКЕР, В. К.] Ижорский, мистерия. Санктпетербург, в типографии III Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии. 1835.
8⁰, X + 151 + 3 нен. стр. Пушкин принимал участие в этом издании. (См. «Дневник В. К. Кюхельбекера», ред. В. Н. Орлова и С. И. Хмельницкого, Л., 1929, стр. 348—351; «Русск. Старина» 1902, № 4, стр. 111 и «Русский Архив» 1879, кн. III, стр. 477).

930. Ундина. — 1.

54. ЛА-МОТ-ФУКЕ, де.—Ундина. Волшебная повесть. Сочинение де Ла-Мот-Фуке. Перевод Ал. Влидге [Дельвига]. Санктпетербург, в типографии Медицинского Департамента Министерства внутренних дел. 1831.
12⁰, 2 нен. + 269 + 1 нен. стр. Эту книгу Пушкин приобрел 22 февраля 1834 г. у А. Ф. Смирдина (см. в статье Ю. Г. Оксмана в сборнике статей, посвященных акад. А. С. Орлову, Л., 1934, стр. 445).

300. Мопс без ошейника и без цепи.

55. [ЛАРЮДАН, аббат.] Мопс без ошейника и без цепи, или свободное и точное открытие таинств общества, именующегося Мопсами. В Санктпетербурге 1784 года, печатано с дозволения указного у Христофора Геннинга.
8⁰, 35 + 1 нен. стр. См. И. М. Остроглазов, Книжные редкости, «Русский Ар-

хив» 1891, кн. III, стр. 551—552. Кн. П. А. Вяземский отметил эту книгу у себя в «Старой записной книжке» после прочтения каталога-описи библиотеки Пушкина (см. Сочинения кн. П. А. Вяземского, т. IX, стр. 199).

591. Лекарство от задумчивости.

56. ЛЕКАРСТВО от задумчивости и бессонницы, или вторая часть настоящих русских сказок, где помещены следующие: о славном и сильном Витязе Еруслане Лазаревиче, о его храбрости и о неизобразимой красоте Царевны Анастасии Вахрамеевны, о храбром и смелом кавалере Иване Царевиче и о прекрасной супруге его Царь Девице; о семи Семионах родных братьях; о Игнатье Царевиче и о Суворе невидимке мужичке; о Иванушке дурачке; о Силе Царевиче и о Ивашке белой рубашке. Иждивением И. Г. В Санктпетербурге. Печатано в типографии Ф. Мейера. 1793 года.

12°, 4 нен. + 254 стр. Были еще издания— СПб., 1786 под заглавием: «Лекарство от задумчивости и бессонницы, или настоящие русские сказки»; СПб. 1815, в типографии Ивана Глазунова и др.

515. Малороссийские и червонорусские думы и песни.

57. [ЛУКАШЕВИЧ, П. Я.] Малороссийские и червонорусские, народные думы и песни. Санктпетербург. В типографии Эдуарда Праца и К°. 1836.

8°, 170 стр.

1052. Журнал Пешеходцев. — 1.

58. [МАКАРОВ, М. Н.] Журнал пешеходцев от Москвы до Ростова и обратно в Москву. Издал М. Н. М. к. р. в. Москва, 1830. В Университетской типографии.

Малая 8°, 4 нен. + 226 + 2 нен. стр.

508. Сочинения Макарова.

59. МАКАРОВ, П. И. Сочинения и переводы Петра Макарова. Том первый. Часть I. Издание второе. Москва. В Университетской типографии 1817 г. (с предисловием М. Дм.).

8°, 2 нен. + XVI + 131 + 1 нен. стр.

Сочинения и переводы Петра Макарова. Том первой. Часть II. Издание второе. Москва. В Университетской типографии. 1817.

8°, 101 + 1 нен. стр.

1257. Велизер, соч. Мармонтеля. — 1.

60. МАРМОНТЕЛЬ. Велизер, сочинение господина Мармонтеля, члена Французской Академии, переведен на Волге. Печатан при Императорском Московском Университете. 1768 года.

8°, 16 нен. + 283 + 1 нен. стр. То же, вторым тиснением. В Санктпетербурге при Императорской Академии Наук. 1773 года. 8°, 16 нен. + 271 + 1 нен. стр. То же, третьим тиснением. Иждивением Типографической Компании. В Москве. В Университетской Типографии у Н. Новикова. 1785 года. 8°, 292 стр.

503. Роспись чиновных особ в государстве 1774 г.

61. МЕСЯЦЕСЛОВ с росписью чиновных особ в государстве на лето от рождества Христова 1774. В Санктпетербурге при Императорской Академии Наук.

8°, 24 нен. + 260 + 16 нен. стр.

358. Месяцеслов 1788. — 1.

62. МЕСЯЦЕСЛОВ с росписью чиновных особ в государстве на лето от рождества Христова 1788. В Санктпетербурге при Императорской Академии Наук.

8°, XXI + 3 нен. + 361 + IX стр.

или
МЕСЯЦЕСЛОВ исторический и географический на 1788 год. В Санктпетербурге при Императорской Академии Наук.

12°, XVIII + 2 нен. + 111 + 1 нен. стр.

390. Месяцеслов 1837 г. — 1.

63. МЕСЯЦЕСЛОВ на 1837 год. С портретом Государя Императора. Цена без переплета 3 руб. 50 коп. В Санктпетербурге, при Императорской Академии Наук.

8°, гравир. портрет Николая I + 320 стр.

486. Отрывок из нового романа Ми...ше...вой.

64. [МИКЛАШЕВИЧ, В. С.] «Отрывок из нового романа» с подписью «В. Ми...ше...ва». Вероятно оттиск из «Сына Отечества» и «Северного Архива» 1831 г., ч. 141, № 19, стр. 225—238 и № 20, стр. 289—296; ч. 145, № 43, стр. 257—276 и № 44, стр. 321—330. Это—первоначальное заглавие ее романа «Село Михайловское или помещик XVIII столетия, роман в 4-х частях», изданного только в 1864—1865 гг. См. заметку Пушкина об этом «Отрывке из нового романа» в «Современнике» 1836 г. т. III, стр. 320, а также в IX томе Академического издания сочинений Пушкина, полутом I, стр. 376 и полутом II, стр. 828—830. О В. С. Миклашевич см. в статье О. И. Поповой в «Звеньях» 1932, № 1, стр. 17—28 и др.

748. Собрание стихотворений. — 1.

65. [МЯТЛЕВ, И. П.] Собрание стихотворений. Санктпетербург. В типографии вдовы Плюшар с сыном. 1834.

8°, 2 нен. + 69 + 1 нен. стр. с предисловием: «уговорили выпустить»

или
Собрание стихотворений. Санктпетербург, печатано в типографии X. Гинце. 1835.

8°, 79 + 1 нен. стр. На 2-й обложке: «уговорили выпустить»

1054. Вечерние рассказы. — 1.

66. НЕВСКИЙ, В. Вечерние рассказы В. Невского. Танский.—Русский в Италии. Часть первая. Санктпетербург. В типографии А. Плюшара.

12°. Нам удалось видеть лишь издание 1839 г., но было очевидно и более раннее издание, до 1837 года.

195. Вступительная лекция Рос. Слов. Никитенко.—1.

67. НИКИТЕНКО, А. В. Вступительная лекция российской словесности, о происхождении и духе литературы, читанная в Императорском Санктпетербургском Университете Адъюнкт-Профессором А. Никитенко, Августа 26, 1832 года. Санктпетербург, в типографии Н. Греча. 1833.

8°, 2 нен. + 52 стр.

600. Русские песни. Новикова.

68. НОВОЕ и полное собрание Российских песен, содержащее в себе песни Любовные, Пастушеские, Шутливые, Простонародные, Хоральные, Свадебные, Святочные, с присовокуплением песен из разных Российских опер и комедий. В Москве. В Университетской Типографии у Н. Новикова. 1780 года [сост. М. Д. Чулков].

8°, 6 частей: 1 ч. — 208 + 8 нен. стр.; 2 ч.—208 + 8 нен. стр.; 3 ч. — 202 + 8 нен. стр.; 4 ч. —184 + 8 нен. стр.; 5 ч. — 174 + 8 нен. стр.; 6 ч.— 1781 г. 200 + 8 нен. стр.

166. Пестрые сказки Бесгласного. — 1.

69. [КН. ОДОЕВСКИЙ, В. Ф.] Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою, магистром философии и членом разных ученых обществ, изданные В. Бесгласным. Санктпетербург, 1833.

8°, 4 нен. + XIV + 156 + 2 нен. стр. (с иллюстр. в тексте). Об этой книге смотри отзыв Пушкина в «Воспоминаниях» В. А. Соллогуба под ред. С. П. Шестерикова,

изд. «Academia», Л., 1931, стр. 567—568 и примеч. и П. Н. Сакулин—«Из истории русского идеализма; князь В. Ф. Одоевский», т. I, ч. 2, М., 1913, стр. 322.

1066. Некрология Раевского. — 1.

70. [ОРЛОВ, М. Ф.] Некрология генерала от кавалерии Н. Н. Раевского. В Военной Типографии [СПб., 1829, ценз. разр. цензора К. С. Сербиновича 4 декабря 1829 г.].

8⁰, 12 стр. Об этой брошюре сохранился отзыв Пушкина «О некрологии Раевского». См. Акад. изд. сочинений Пушкина, т. IX, ч. 1, стр. 62 и ч. 2, стр. 156 и 945.

КНИГА Ф. БОГЕНИЦКОГО С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ВЯЧЕСЛАВА ГАНКИ ПУШКИНУ: „АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВИЧУ ПУШКИНУ. В КНИЖИЦЕ СЕЙ МНОГО СКАЗАНО О СМУТНОМ И УГНЕТЕННОМ СОСТОЯНИИ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА ЧТОБ ГДЕ ИНДЕ СКАЗАТЬ НЕ ВОЗМОЖНО БЫ БЫЛО. УСЕРДНЕЙШЕ ПОДНОСИТ ВЯЧЕСЛАВ ГАНКА"

Институт Русской Литературы, Ленинград

215. От Матфея св. благовествие. — 1.

71. ОТ МАТФЕЯ СВЯТАГО БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ.

8⁰; 96 стр. Об этом очень редком издании см. статью Н. М. Петровского «Библиографические мелочи XIII. К вопросу о первом печатном переводе Нового Завета на новоболгарский язык» в «Известиях Отделения русского языка и словесности Российской Академии Наук» 1917 г., т. XXII, кн. 2, П., 1918, стр. 338—347.

170. Краткое описание Сергиевской лавры. — 1.

72. ПАВЕЛ, иеромонах. Краткое историческое описание святотроицкия Сергиевы Лавры с приложением знатных происшествий, случившихся во оной. Сочиненное оныя Лавры Наместником Иеромонахом Павлом. В Санктпетербурге. 1782 года.

8°, 68 стр.

538. Три повести Павлова.

73. ПАВЛОВ, Н. Ф. Три повести. Н. Павлова. Domestica facta. Москва. В типографии Н. Степанова. 1835.

12°, 412 стр. Об этой книге см. отзыв Пушкина в передаче А. П. Керн (А. П. Керн «Воспоминания», ред. Ю. Н. Верховского, Л., 1929, стр. 346) и его же рецензию «О повестях Павлова», не появившуюся при жизни Пушкина в печати (Сочинения Пушкина, акад. изд., т. IX, ч. 1, стр. 232—233 и ч. 2, стр. 673—683).

206. Германия в глубоком унижении своем — 1.

74. ПАЛЬМ. Германия в глубоком унижении своем. Сочинение, за продажу которого расстрелян по повелению Бонапарта Ниремберсгкий книгопродавец Пальм. Перевод с немецкого. С присовокуплением: Описания нещастной судьбы Пальма, военного суда над ним произведенного и приговора, по которому он был лишен жизни в Браунау 25 Августа 1806 года. В Санктпетербурге, при Императорской Академии Наук. 1807 года.

8°, XVI + 90 стр.

619. Монастырка.

75. [ПЕРОВСКИЙ А. А.] Монастырка. Сочинение Антония Погорельского. Часть первая. Санктпетербург. В типографии Н. Греча. 1830.

8°, 2 нен. + 272 + 2 нен. стр. То же, часть вторая, 1833, 8°, 2 нен. + 315 + 1 нен. стр. О второй части этого произведения Перовский писал Пушкину в январе 1833 г. во время ее печатания в типографии; из письма Перовского видно, что Пушкин просматривал «Монастырку» в рукописи («Переписка Пушкина», т. III, стр. 2).

720. Черная курица, Погорельского. — 1.

76. [ПЕРОВСКИЙ, А. А.] Черная курица или подземные жители, волшебная повесть для детей. Соч, А. Погорельского. Санктпетербург, 1829 в типографии Н. Греча.

Малая 8°, 2 нен. + 166 стр.

584. Песня золотого рожка.

77. ПЕСНЯ золотого рожка, отысканная рукопись неизвестного сочинителя. Москва, 1828. Этой книги мы не могли отыскать в библиотеках Ленинграда.

666. Повести Михаила Погодина. Часть I. — 1.

78. ПОГОДИН, М. П. Повести Михаила Погодина. Часть первая. Москва. В типографии С. Селивановского. 1832.

Малая 8°, 4 нен. + 240 + 2 нен. стр.

725. Философ горы Алаунской. — 1.

79. ПОКРОВСКИЙ, Феофилакт. Философ горы Алаунской, или мысли на Дону о вступлении в русские пределы Наполеона и совершенном его поражении. Сочинение Ф. Покровского. Москва, 1813. В Университетской типографии.

8°, 40 стр. Под этим же заглавием есть еще несколько сочинений... или мысли при известии о смерти Великия Екатерины II, 1796, 8°, ...или мысли при кончине Павла I, ... или мысли при вступлении на престол Александра I. 1801, 8°.

228. Поэмы Полежаева. — 1.

80. ПОЛЕЖАЕВ, А. И. Эрпели и Чир-юрт. Две поэмы А. Полежаева. Evil be to him that evil thinks. Москва. В типографии Лазаревых Института Восточных языков. 1832.

12⁰, 132 + 2 нен. стр.

333. Полное собрание законов. — 55.

81. ПОЛНОЕ собрание законов Российской Империи, с 1649 года [по 1825]. Санктпетербург. Печатано в типографии II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. 1830.

4⁰, 45 тт. с приложениями. Этот экземпляр стоимостью 560 р. Пушкин получил в подарок от Николая I при письме А. Х. Бенкендорфа Пушкину 17 февраля 1832 г. См. об этом статью Н. О. Лернера «Из неизданных материалов для биографии Пушкина. Царский подарок» в изд. «Пушкин и его современники», в. XV, стр. 34—38. Пушкин благодарил Бенкендорфа письмом 24 февраля 1832 г. (ср. еще «Историч. Вестн.» 1887, № 2, стр. 470).

709. Положение откуда депутатов прислать. — 1.

82. ПОЛОЖЕНИЕ, откуда депутатов прислать в силу манифеста к сочинению проекта нового уложения (Это «положение» находится при «Указе [Екатерины II] губернаторам всех губерний нашея Империи 14-го декабря 1766 года», 28 стр.). Оно перепечатано было в издании «Указы всепресветлейшия державнейшия Великия Государыни Императрицы Екатерины Алексеевны Самодержицы Всероссийския, состоявшиеся с 1766 июля с 1 Генваря по 1 число 1767 года, напечатаны по высочайшему ея императорского величества повелению: Москва в Сенатской Типографии, стр. 850—885; см. также «Полное собрание законов российской Империи», т. XVII, СПБ., 1830, стр. 1101—1105 (№ 12801) и «Сборник русского исторического общества» т. X, стр. 139—145 (первоначальный текст).

360. Торжество дружбы.

83. ПОТЕМКИН, Павел. Торжество дружбы, драмма. Сочинение Павла Потемкина. Представлена в первый раз на придворном театре 1773 года, Генваря 11 дня. Печатана при Императорском Московском Университете. 1773 года [посвящение вел. кн. Павлу Петровичу].

8⁰, 8 нен. + 44 стр. (Могут быть другие издания, как «Торжество дружбы» соч. А. А. Орлова и статья Пушкина «Торжество дружбы или оправданный Александр Анфимович Орлов», напечатанная в «Телескопе» 1831 г., т. IV, № 13, стр. 135—144).

703. История императора Петра Великого. Феофана Прокоповича. — 1.

84. ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ. История Императора Петра Великого от рождения его до Полтавской баталии и взятия в плен остальных Шведских войск при Переволочне, включительно; сочиненная Феофаном Прокоповичем, после бывшим архиепископом Великого Новагорода и Великих Лук; изданная с обретающегося в Кабинетской Архиве дел Его Императорского Величества списка, правленного рукою самого сочинителя. Издание второе. Москва. В типографии Компании Типографической. 1788.

8°, 256 стр. с гравированными планами сражений.

85. ПУШКИН, А. С. Бахчисарайский фонтан (1-е изд. 1824 г., 2-е изд. 1827 г. и 3-е изд. 1830 г.). В описи за № 506. Количество книг не указано.

86. ПУШКИН, А. С. Евгений Онегин (1-е отд. изд. 1833 г. и 2-е отд. изд. 1837 г.) 1 книга. В описи за № 690.

87. ПУШКИН, А. С. История Пугачевского бунта (2 тома, изд. 1834 г.) 9 экз. (под № 383 указано 8 книг, вероятно четыре полных экземпляра, и под № 913 указано 3 книги.) В описи за №№ 383 и 913.

88. ПУШКИН, А. С. Повести И. П. Белкина (изд. 1831 г.), 1 книга. В описи за № 1129.

89. ПУШКИН, А. С. Полтава (изд. 1829 г.), 2 экз. В описи за № 554.

90. ПУШКИН, А. С. Поэмы и повести Пушкина (изд. 1835 г., ч. I и II), 1 книга. В описи за № 691.

91. ПУШКИН, А. С. Руслан и Людмила (1-е изд. 1820 г. и 2-е изд. 1828 г.), 2 книги. В описи за № 553.

92. ПУШКИН, А. С. Цыганы (изд. 1827 г.); под № 494 кол. книг не указано, под № 733 указана 1 книга. В описи за №№ 494 и 733.

1065. Записки В. Л. Пушкина. — 1.

93. ПУШКИН, В. Л. Записки в стихах Василья Львовича Пушкина. Москва. В Университетской Типографии. 1834 [с предисловием «От издателя»—кн. П. И. Шаликова].

8°, 71 + 1 нен. стр. Эту книгу Пушкин купил 5 мая 1834 г. (см. в статье Ю. Г. Оксмана в Сборнике статей, посвященных акад. А. С. Орлову, Л., 1934, стр. 445).

104. Карманная книжка для любителей чтения русских книг. — 1.

94. РЕ..Ф..Ц, Иван. Карманная книжка для любителей чтения русских книг, газет и журналов или краткое истолкование встречающихся в них слов: военных, морских, политических, коммерческих и разных других из иностранных языков заимствованных, коих значения не каждому известны. Книжка подручная для каждого сословия, пола и возраста. Составил Иван Ре...ф...ц. С. Петербург. 1837.

Малая 8°, 2 нен. + II + 305 + 1 нен. + III + 1 нен. стр.

539. Роспись российским книгам. Под таким заглавием было издано несколько книг. У Пушкина вероятнее всего было издание:

95. РОСПИСЬ российским книгам для чтения, из библиотеки Александра Смирдина, систематическим порядком расположенная в четырех частях, с приложением: Азбучной Росписи имен Сочинителей и переводчиков и краткой Росписи книгам по азбучному порядку. Санктпетербург. В типографии Александра Смирдина. 1828.

8°, 2 нен. + III + 1 нен. + XVI + 2 нен. + 712 + LXXVIII + XCIII + 1 нен. стр.

201. Описание Москвы. Рубана. — 1.

96. РУБАН, В. Г. Описание Императорского, Столичного города Москвы, содержащее в себе звания Государских ворот, казенных и деревянных мостов, больших улиц и переулков, Монастырей, Церквей, Дворцов, присутственных и других казенных мест, число обывательских Дворов и Покоев, Рядов и Рынков, Фабрик, Заводов и прочая. Собранное и изданное в свет для удовольствия общества издателем описания Санктпетербурга, Г. Н. С. В. Г. Рубаном. Печатано при Артиллерийском и Инженерном Шляхетном Кадетском Корпусе у содержателя типографии X. Ф. Клэна. В Санктпетербурге MDCCLXXXII.

8°, 2 нен. + 159 + 1 нен. стр. Не это ли издание отмечено в счете книгопродавца Н. Фомина под заглавием «Старинный Московский Путеводитель 1 экз.»? (См. «Пушкин и его современники», в. XIII, стр. 146 и Б. Л. Модзалевский—«Библиотека Пушкина». СПб., 1910, стр. XVI).

808. Святошные вечера. — 1.

97. СВЯТОЧНЫЕ вечера, или рассказы моей тетушки. Книга I. Москва. В типографии М. Пономарева. 1836.

[На шмуцтитуле] Книга первая. Мудрые сказания в святочные вечера разумной ключницы боярина Растоплюхина, тетушки моей Соломониды Патрикеевны.

12°, 4 нен. + 122 стр.

[На втором шмуцтитуле] Книга вторая. Пересказки старостина племянника, Артамона Фалалеева.

12°, 50 стр.

609. Утренняя звезда.

98. СИГОВ, Дмитрий. Утренняя звезда, литературный альманах, составленный из сочинений Дмитрия Сигова. Москва. В типографии Н. Степанова. При Императорском театре. 1831.

Малая 8°, 109 + 1 нен. + II стр.

На стр. 9 и 38 есть случайные упоминания о Пушкине, а на стр. 95 напечатаны стихи: «А. С. Пушкину»:

«Наш *Пушкин* молодец!
Для всех он образец:
Хоть пишет мало,
Но за то не вяло»

(Перепечатано у В. В. Каллаша, «Русские поэты о Пушкине. Сборник стихотворений», М., 1899, стр. 48). На стр. 99 в стих. «Волшебный Лолнет» имеются такие строки:

«Оя! оя ! хоть не Пушкин я,
А напишу—прочтут меня,
Потому что назову
В подражание ему
Каким-нибудь Евгением
И в этом поручуся своим гением».

Александру Сергеевичу
Пушкину

Прага 21 Сентябр. 1836.

въ знакъ высокопочитанія
Сочинитель

PRAWOPIS ČESKÝ
OD
WÁCLAWA HANKY,
RYTÍŘE ŘÁDU SW. WLAD. BIBL. NÁROD. MUSEUM.

ČTWRTÉ WYDÁNÍ.

W PRAZE,
W KNÍŽECÍ ARCIBISKUPSKÉ KNIHTISKÁRNĚ.
1 8 3 5.

„ЧЕШСКАЯ ГРАММАТИКА“ ВЯЧЕСЛАВА ГАНКИ С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА ПУШКИНУ: „АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВИЧУ ПУШКИНУ. ПРАГА 21 СЕНТЯБРЯ 1836. В ЗНАК ВЫСОКОПОЧИТАНИЯ — СОЧИНИТЕЛЬ“

Институт Русской Литературы, Ленинград

В «Литературных прибавлениях к Русскому Инвалиду» 28 октября 1831 г., № 86, на стр. 665—679 на этот «альманах» Д. Сигова напечатана уничтожающая рецензия А. Ф. Воейкова (под псевдонимом А. Кораблинского); в ней в виде образца музы Сигова приведены его стихи, посвященные Пушкину (стр. 679), и стихи о Пушкине (стр. 674) с примечанием: «Лестная похвала для сочинителя трагедии «Борис Годунов».

399. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края. — 1.

99. СКАЛЬКОВСКИЙ, А. А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края 1730—1823. Часть I, с 1730 по 1796. Составлено Аполлоном Скальковским, Коллежским Асессором, Кандидатом Прав, Членом Общества Сельского Хозяйства Южной России. Одесса, 1836 [текст гравированного титула, а на обыкновенном титуле:] Хронологическое обозрение истории Новороссийского края 1731—1823. Часть I, с 1731-го по 1796-й год. Составлено Аполлоном Скальковским, Коллежским Асессором, Кандидатом Прав, Членом Общества Сельского Хозяйства Южной России. Одесса. Печатано в Городской типографии. 1836. [посвящение гр. М. С. Воронцову].

8⁰, гравир. титул + 4 нен. + XI + 3 нен. + 288 + 2 нен. + 1 сложенная ведомость (с 2 гравюрами).

848. Досуги Слепушкина. — 1.

100. СЛЕПУШКИН, Ф. Н. Досуги сельского жителя. Стихотворения руского крестьянина Федора Слепушкина. Санктпетербург. В типографии Александра Смирдина. 1826 года.

8⁰, 2 нен. + 1 литогр. портрет Ф. Слепушкина, исполненный O. Oesterreich'ом в 1825 г. + 2 нен. + VII + 1 нен. + 110 + 2 нен. стр.; существует еще другой экземпляр этого издания с подобным портретом, но с подписью под ним художника Афанасьева. Пушкин имел «Досуги» Слепушкина сразу же по выходе их в свет и отнесся к ним благожелательно (см. письмо его к И. Е. Великопольскому ок. 10 марта 1826 г. «Письма Пушкина», ред. Б. Л. Модзалевского, т. II, стр. 9; ср. «Пушкин и его современники», в. XXXVIII—XXXIX, стр. 258 в статье П. И. Зиссермана).

663. Список воинскому департаменту на 1776 г.—1.

101. СПИСОК воинскому департаменту и находящимся в штате при Войске, в Полках, Гвардии, в Артиллерiи и при других должностях генералитету и штаб-офицерам, такожде кавалерам Воинского ордена и Старшинам в нерегулярных войсках. На 1776 год. В Санктпетербурге при Государственной Военной Коллегии. 1776.

8⁰, 308 + 20 нен. стр.

740. Сцены из Петербургской жизни. — 1.

102. СТРОЕВ, В. М. Сцены из Петербургской жизни. Соч. В. В. В. Часть первая. Санктпетербург, в типографии Н. Греча. 1835.

12⁰, 2 нен. + (1—94) + 2 нен. + (95—139) + 3 нен. стр.

926. Критический взгляд на Скандинавские саги.—1.

103. [СТРОЕВ, С. М.] Критический взгляд на статью под заглавием: Скандинавские саги, помещенную в первом томе библиотеки для чтения. Соч. Сергия Скромненки. Москва. В Университетской Типографии. 1834.

8⁰, 74 стр.

827. Наука побеждать. — 1.

104. СУВОРОВ-РЫМНИКСКИЙ, Гр. А. В. Кн. ИТАЛИЙСКИЙ. Наука побеждать. Творение препрославившегося в свете всегдашними победами Генералиссимуса Российских армий, Князя Италийского, графа Суворова-Рымникского, с письмами, открывающими наиболее в нем величайшие свойства его души и таковые же знания

военного искусства. В С.-Петербурге. При Морской типографии 1806 года (изд. Михаил Антоновский; его «предуведомление»).

12°, 6 нен. + V + 1 нен. + 47 + 1 нен. стр.; пропущено 2 стр. после 23 стр.; или второе издание. В Санктпетербурге. При Сенатской Типографии. 1809 года. 12°, 4 нен. + III + I нен. + 100 стр.

108. Мои досуги. Стих. Суханова. — 1.

105. СУХАНОВ, М. Мои сельские досуги. Стихотворения крестьянина М. Суханова. Санктпетербург. В типографии К. Вингебера. 1836.

12°, 2 нен. + 110 + III + 1 нен. стр.

1287. Подробная карта Российской империи. — 1.

106. ФОН-СУХТЕЛЕН, П. К. и ОППЕРМАН, К. И. Подробная карта Российской Империи и близ лежащих заграничных владений сочинена, гравирована и печатана при собственном Его Императорского Величества Депо карт. Его Величеству Государю Императору Александру Павловичу всеподданнейше подносят генерал-квартирмейстер фон-Сухтелен, генерал майор Опперман.

1-е изд. 1804 г.—«100 - листовая» или 2-е изд. 1816 г. «114-листовая».

607. Сочинения Филимонова.

107. ФИЛИМОНОВ, В. С. Проза и стихи Владимира Филимонова. Часть первая. Проза. Москва, в типографии Августа Семена. 1822. Часть первая. Проза. Часть вторая. Стихи.

8°, 2 чч.; ч. I — гравиров. титул с виньеткой по рисунку И. Иванова, гравировал И. Ческий и эпиграф из M-me de Staël + 2 нен. + 126 стр.; ч. II — гравиров. титул с виньеткой по рисунку Иванова, гравировал И. Ческий с эпиграфом из J. Paul Richter'a + 2 нен. + 126 стр.

213. Нищий. Стих. Фомина. — 1.

108. ФОМИН, Н[иколай Ильич]. Нищий или ужас, владычествующий в вертепе игроков. Московская повесть. Стихотворение Николая Фомина. Москва. В типографии Семена Селивановского. 1829.

8°, 24 стр. Возможно, что об этом Фомине упоминает Пушкин в письме к жене середины декабря 1831 г. («Переписка Пушкина», т. II, стр. 355; ср. Б. Л. Модзалевский «Пушкин», Л., 1929, стр. 357 и «Автобиография» А. О. Смирновой, ред. Л .В. Крестовой, М., 1931, стр. 253.

273 и 340. Стенька Разин, соч. Н. Фомина—1; под № 273 количество книг не указано.

109. ФОМИН, Н[иколай Ильич]. Стенька Разин. Историческая повесть из времен царствования царя Алексея Михайловича, с приложением современных исторических актов и грамот. Соч. Николая Фомина. Москва; в типографии Августа Семена, при Императорской Медико-хирургической Академии. 1836.

8°, 65 + 1 нен. стр. Эту книгу Пушкин приобрел у книгопродавца Н. Фомина (самого автора?) («Пушкин и его современники», в. XIII, стр. 146 и Б. Л. Модзалевский—«Библиотека Пушкина». СПб., 1910, стр. XVI.

493. Путешествие по Башкирскому Уралу, Фукса.

110. ФУКС, К. Ф. Путешествие по Башкирскому Уралу. Вырезка или оттиск из «Казанского Вестника» 1832 г., кн. VIII, август и кн. IX, сентябрь. (Этих номеров журнала не оказалось ни в одном книгохранилище Ленинграда.)

1064. 22 Апреля. — I.

111. ХВОСТОВ, Д. И. гр. Двадцать второе Апреля в С.-Петербурге. Стихотворение Графа Хвостова, С. Петербург. В типографии Императорской Российской Академии. 1834.

8°, 3 стр.

463. Сокращенный памятник Российского законодательства. — 1.

112. [ХМЕЛЬНИЦКИЙ, Н. И.] Сокращенный памятник российского законодательства, составленный Н. И. Х. С. Петербург. Печатано в Типографии Экспедиции Заготовления Государственных бумаг. 1829 (с предисловием «от издателя» В. Олина).

12°, 6 нен. + XXXV + 1 нен. + 122 стр.

537. Театр Хмельницкого.

113. ХМЕЛЬНИЦКИЙ, Н. И. Театр Николая Хмельницкого. Часть первая. Говорун. Воздушные замки. Шалости влюбленных. Нерешительный. Светский случай. Взаимные испытания. Санктпетербург. В типографии вдовы Плюшар. 1829.

8°, 2 нен. + гравированный «назначенным в академики» И. Фридрицом Декабря 19, 1829 г. портрет Н. И. Хмельницкого с портрета П. Соколова + гравирован. титульный лист + 6 нен. + 310 + 2 нен. стр.

Театр Николая Хмельницкого. Часть вторая. Школа женщин. Ифигения в Тавриде на изнанку. Карантин. Бабушкины попугаи. Актеры между собою. Нет худа без добра. Новая шалость. Новый Парис. Санктпетербург. В типографии вдовы Плюшар. 1830.

8°, 2 нен. + гравир. «A Notbek del. Weiss sc.» рисунок к стр. 85 «Школа женщин» + гравир. титульный лист+4 нен.+463+1 нен. стр.

259. Краткая теория законов, Цветаева.

114. ЦВЕТАЕВ, Лев. Краткая теория законов. Часть первая, содержащая Теорию законов вообще и в особенности гражданских. Издана Надворным Советником, Философии Доктором, Юриспруденции Профессором и Парижской Академии Законодательства Членом Львом Цветаевым. Москва, 1810. В Университетской типографии.

8°, VIII+199+1 нен. стр.

Краткая теория законов. Часть вторая и третия, содержащие теорию Уголовных Законов и теорию судопроизводства Гражданских и Уголовных дел. Издана Надворным Советником, Философии Доктором, Юриспруденции профессором, Коммиссии составления законов Российской империи корреспондентом и Парижской Академии Законодательства Членом Львом Цветаевым. Москва, 1810. В Университетской Типографии.

8°, 4 нен.+61+3 нен. стр.

189. Воспоминание о Сицилии. Черткова. — 1.

115. ЧЕРТКОВ, А. Д. Воспоминания о Сицилии. А. Черткова. Часть первая. Москва. В типографии Августа Семена. При Императорской Медико-Хирургической Академии. 1835.

8°, XXXI+1 нен.+256+IV стр. Экземпляр этой книги Пушкину подарил сам А. Д. Чертков, о чем Пушкин писал жене в письме 11 мая 1836 года (см. «Переписка Пушкина», т. III, стр. 312).

117. Чин действия каким образом совершилось Высочайшее Его Императорского Величества коронование (на славянском). — 1.

Под таким заглавием были изданы описания коронования Павла I, Александра I и Николая I; возможно, что у Пушкина было следующее издание:

116. ЧИН действия, каким образом совершилось Свящéннейшее Коронова́ние Его Императорского Величества Госуда́ря Императора Никола́я Па́вловича, Самодержца Всероссийского, по Церко́вному чиноположе́нию. Печа́тан в Моско́вской Синода́льной Типогра́фии 1826 года.

4°, 37+1 нен. стр.

ЧЕРНЕЦЪ.

милому Александру Се
ргѣевичу Пушкину
отъ автора: —

ЭКЗЕМПЛЯР „ЧЕРНЕЦА“ КОЗЛОВА ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПУШКИНА, С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ КОЗЛОВА ПУШКИНУ

Публичная Библиотека, Ленинград

484. Шесть элегических стихотворений. — 1.

117. [ШИПУЛИНСКИЙ, В. К.] Шесть элегических стихотворений. Санктпетербург. Печатано в Типографии Штаба Отдельного Корпуса Внутренней стражи, 1831.

16°, 4 нен. + 20 стр. Владимир Кузьмич Шипулинский (ум. 9 октября 1832 г.) окончил лицейский благородный пансион в 1824 г. и подавал большие надежды своею даровитостью и серьезным образованием (о нем см. в «Русском Биографическом Словаре», т. Шебанов-Шютц, СПб., 1911, стр. 299—300, «Памятная книжка лицеистов», СПб., 1911, стр. 219 и в Записках и дневнике А. В. Никитенко, СПб., 1905, т. I, стр. 220, 225 и 226.

400. Житие святейшего патриарха Никона. — 1.

118. [ШУШЕРИН, Иван]. Житие святейшего патриарха Никона, писанное некоторым бывшим при нем клириком. В Санктпетербурге печатано при Императорской Академии Наук иждивением издателя 1784 года.

8°, 4 нен. + 223 + 1 нен. стр.; было еще изд. 1817 г. с тем же тит. листом, но без прибавления «Иждивением издателя».

35. Словарь исторический о святых в российской церкви. — 1.

119. [ЭРИСТОВ, кн. Д. А. и ЯКОВЛЕВ М. Л.]. Словарь исторический о СВЯТЫХ, прославленных в Российской церкви и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых. Санктпетербург. 1836 [В типографии II Отделения Собств. Его Импер. Велич. канцелярии].

8°, 2 нен. + VIII + 16 + 303 + 1 нен. стр. Благожелательная рецензия Пушкина об этой книге появилась в его «Современнике», т. III, стр. 310—314 (ср. Сочинения Пушкина, акад. изд., т. IX, ч. I, стр. 373—376 и ч. 2, стр. 827—828).

658. Победная повесть веры христианской. — 1.

120. ЮНГ-ШТИЛЛИНГ, И. Г. Победная повесть, или торжество веры христианской, творение И. Г. Юнга-Штиллинга. С-Петербург. В Морской типографии, 1815 года [перевод А. Ф. Лабзина].

8°, гравир. титул + XVI + 450 + 4 нен. стр. Об этом издании см. специальную заметку Н. М. Петровского «Об изданиях «Победной повести» в «Известиях Отделения Русского языка и словесности императорской Академии Наук» 1909 г., тома XIV-го, книжка 4-я, СПб., 1910, стр. 211—214.

551. Стихотворения Языкова.

121. ЯЗЫКОВ, Н. М. Стихотворения Н. Языкова. Санктпетербург. В типографии вдовы Плюшар с сыном. 1833.

8°, IX + 1 нен. + 308 стр. Отзыв Пушкина об этом издании см. у Н. В. Гоголя «В чем же, наконец, существо русской поэзии».

1122. Сочинения Яковлева. — 1.

122. ЯКОВЛЕВ, А. С. Сочинения Алексея Яковлева, придворного Российского актера. Санктпетербург. В типографии Александра Смирдина. 1827.

8°, гравиров. С. Галактионовым с рисунка Естеррейха портрет А. С. Яковлева + 2 нен. + XV + 1 нен. + 117 + 1 нен. стр.

Книги, заглавия которых не удалось определить точно.

123. (178) ПОЛНАЯ кухмистерская книга Сахарова. — 1 (эту книгу нам не удалось отыскать).

124. (302) КАРТА России в футляре (подобных карт издано было множество).
125. (374) ЧЕТЬИ-МИНЕИ.—3.
126. (448) ПОРТРЕТЫ Императрицы Екатерины II и Вас. Ал. Перовского (портрет Екатерины II, очевидно гравированный; ср. Д. А. Ровинский «Словарь русских гравированных портретов», т. I, стр. 642—762).
127. (467) ПОЧТОВЫЙ дорожник в футляре (подобных дорожников было издано множество).
128. (514) УРОКИ из российской истории. (Ср. в письме В. А. Жуковского к Пушкину конца 1836 г. в «Переписке Пушкина», т. III, стр. 435).
129. (590) СКАЗКА о лягушке и богатыре (очевидно лубочное издание; в государственных книгохранилищах нам удалось обнаружить лишь новейшие издания этой книжки).
130. (598) РОССИЙСКИЙ песенник.
131. (819) ОРАКУЛ. — 1.
132. (999) РАЗНЫЕ старинные французские драматические пьесы. — 1.
133. (1057) ПОДВИГИ КАРДИЦЫ. — 1.

ОТДЕЛ II

Альманахи

1043. Комета Белы. — 1.

134. КОМЕТА БЕЛЫ, альманах на 1833 год. Санктпетербург. В типографии вдовы Плюшар с сыном. 1833.

Малая 8°, V + 1 нен. + 376 стр. (с гравюрами).

129. Подснежник. — 1.

135. ПОДСНЕЖНИК. С.-Петербург. В типографии Департамента Внешней торговли. 1829.

Малая 8°, гравированный В. Лангером титульный лист + 2 нен. + IV + 251 + 1 нен. + 4 стр. гравированных нот (на 2 стр.).

или

ПОДСНЕЖНИК на 1830 год. Санктпетербург. В типографии Департ. Народного Просвещения. 1830.

Малая 8°, гравиров. титульн. листок + 4 нен. + 177 + 1 нен. стр.

1098. Полярная Звезда. — 3.

136. ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА. Карманная книжка для любительниц и любителей руской словесности на 1823 год, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. Санктпетербург. В типографии Н. Греча.

Малая 8°, гравир. титульн. листок + 2 нен. + 390 + 4 нен. стр.

137. ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА. Карманная книжка на 1824-й год. Для любительниц и любителей руской словесности. Изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. С.-Петербург. Печатано в Военной Типографии Главного Штаба Его Императорского Величества.

Малая 8°, гравиров. титульный листок + XVIII + 322 + гравир. ноты 2 стр. [с гравюрами].

138. ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА, карманная книжка на 1825-й год, для любительниц и любителей руской словесности. Изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. С.-Петербург. Печатано в Военной Типографии Главного Штаба Его Императорского Величества.

Малая 8°, гравиров. титульный листок + VI + 376 стр.

92. Северные Цветы на 1825 год. — 1.

139. СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ, на 1825 год, собранные Бароном Дельвигом. Изданы Иваном Слёниным. Санктпетербург. В типографии Департамента Народного Просвещения.

Малая 8°, гравированный С. Галактионовым титульный листок + 2 нен. + IV + 2 нен. + 359 + 1 нен. стр. [с гравюрами в тексте].

93. Северные Цветы на 1826 год. — 1.

140. СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ на 1826 год, собранные Бароном Дельвигом. Изданы Иваном Слёниным. В Санктпетербурге, у книгопродавца Ивана Слёнина [на обороте]: В типографии Департамента Народного Просвещения. 1826.

Малая 8°, гравиров. И. Фридрицом,—рисунок О. Кипренского + 1 гравиров. тит. листок + 2 нен. + IV + 2 нен. + 296 + 131 + 1 нен. [с гравюрами в тексте].

672. Царское Село. Альманах. — 1.

1036. Царское Село.—1.

141. ЦАРСКОЕ СЕЛО. Альманах на 1830 год. Издан Н. Коншиным и Б. Розеном. Санктпетербург. Печатано в типографии Плюшара.

Малая 8°, гравиров. портрет Бар. А. А. Дельвига + гравир. титул с виньеткой + 8 нен. + 312 + 4 нен. стр. с нотами.

142. АЛЬЦИОНА. Альманах бар. Розена 1834 года (За этот год альманах этот не выходил в свет.) По описи № 671.

143. СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ на 1833 год—1. (За этот год альманах этот не выходил.) По описи № 674.

ОТДЕЛ III

Журналы

452. Всякая Всячина. — 1.

144. ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Сим листом бью челом; а следующие впредь изволь покупать [1769].

8°, 8 нен. + 408 стр.; при ней:

БАРЫШЕК ВСЯКИЯ ВСЯЧИНЫ 1770 года.

8°, с 409 по 552 стр.

441. Кошелек. Еженедельное сочинение. — 1.

145. КОШЕЛЕК, еженедельное сочинение 1774 года. В Санктпетербурге.

Малая 8°, 164 стр. (изд. Н. И. Новикова). Экземпляр этот Пушкин приобрел у книгопродавца Н. Фомина (см. «Пушкин и его современники», в. XIII, стр. 146 и Б. Л. Модзалевский—«Библиотека Пушкина», СПб., 1910, стр. XVI).

1125. Российский магазин. — 5.

146. РОССИЙСКИЙ МАГАЗИН. Et fumus Patriae dulcis. И дым отечественный сладок. Трудами Феодора Туманского. Часть перьвая. Во граде Святого Петра. В письменопечатне И. К. Шнора, 1792 года (кн. 1—6).

8°, 557 + 1 нен. стр.

То же: часть вторая. 1793 года (кн. 7—12).

8°, 2 нен. + IV + 572 стр.

То же: часть третья 1793 года (кн. 13—18).

8°, 2 нен. + II + 517 + 1 нен. стр.

440. Чтение в беседе любителей русского слова.—1.

147. ЧТЕНИЕ В БЕСЕДЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО СЛОВА. Санктпетербург, в Медицинской Типографии. 1811—1816 гг.

8°, 19 книг.

ОТДЕЛ IV

Книги на иностранных языках

694. Alexis Pétrovitsh par Arnaud et Fournier.—2.

148. ARNAULD, A. et FOURNIER, N. Alexis Pétrovitsh (histoire russe de 1715 à 1718.) par Aug-te Arnauld et N. Fournier; auteurs de struensée. Paris, Ambroise Dupont, éditeur, 7, rue Vivienne. 1835.

8°, 2 тома; т. 1—4 нен. + 328 + 2 нен. стр.; т. II—4 нен. + 378 стр.

Его Высокоблагородию
Милостивому Государю
Александру Сергеевичу
Пушкину.

в знак истинного почтения
и благодарности приносит
Сочинитель.

ЧЕТЫРЕ ВРЕМЯНИ ГОДА

РУССКАГО ПОСЕЛЯНИНА.

СЕЛЬСКАЯ ПОЭМА

ѲЕДОРА СЛѢПУШКИНА

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ДЕПАРТАМЕНТА ВНѢШНЕЙ ТОРГОВЛИ.

1830.

ЭКЗЕМПЛЯР КНИГИ СЛЕПУШКИНА „ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА РУССКОГО ПОСЕЛЯНИНА“ ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПУШКИНА, С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ СЛЕПУШКИНА ПУШКИНУ

Институт Русской Литературы

191. Les aventures d'un Renégat par Arnaud.—2.

149. ARNAULD, A. Les aventures d'un renégat. [Видеть это издание нам не удалось.] 8⁰; 2 т. Пушкин приобрел эту книгу в 1836 г. у Ф. Беллизара за 18 рублей (см. «Пушкин и его современники», в. XIII, стр. 119 и Б. Л. Модзалевский—«Библиотека Пушкина», СПб. 1910, стр. XVI).

1018. La fleur de pois par de Balzac. — 1.

150. BALZAC, Honoré de. La fleur de pois [Видеть это издание нам не удалось.].

122. Quelques heures de loisir à Toulchin. — 1.

151. BARIATINSKOY, pr. A. P. Quelques heures de loisir à Toulchin, par le prince A. Bariatinskoy lieutenant des Hussards de la Garde. Moscou de l'imprimerie d'Auguste Semen, imp. de l'Académie Impériale chirurgicale, 1824. 8⁰, 4 нен. + 60 стр. + 1 нен. стр. Об этой книге см. статьи: Б. Л. Модзалевского «Декабрист Барятинский и его стихотворения» в «Былом» 1926 г., № 1 (35), стр. 4, 8—10 и Е. Г. Кислицыной в сборнике статей в честь акад. А. С. Орлова, Л., 1934, стр. 423—432.

939. Le moyen de parvenir. — 3.

152. [BÉROALDE DE VERVILLE] Le Moyen de parvenir, contenant la raison de tout ce qui a été est et sera. *Dernière édition exactement corrigée et augmentée d'une table des matières.* Изд. 1773 или 1781 г. (Перечень других изданий см. в «Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale», t. XI. Paris 1902, p. 938—940).

424. Buffon. Epoques de la nature. — 39.

153. BUFFON, JEAN-LOUIS, comte de—Les époques de la nature, par monsieur le comte de Buffon, intendent du Jardin et du Cabinet du Roi, de l'Académie Fran-

çaise, de celle des Sciences, etc. [Deuxième Edition, avec cartes et figures.] Tome Premier à Paris, de l'imprimerie royale. MDCCLXXXV.

12°, 4 нен. + 234 стр.; Ib tome second. MDCCLXXXV. 12°, 4 нен. + 260 стр. Первое издание этой книги: 12°, 2 тт.; т. I—MDCCLXXX, 4 нен. + 246 + VI планов; т. II того же года, 4 нен. + 264 + 2 карты.

421. The piligrim's progress, by John Bunyan. — 1.

154. BUNYAN, JOHN. The Piligrim's Progress from this World to that which is to come, delivered under the similitude of a dream, by John Bunyan. См. статью А. Габричевского «Странник Пушкина и его отношение к английскому подлиннику» («Пушкин и его современники», в. XIX—XX, стр. 40—48).

630. I quattro poeti italiani publ. da Buttura. — 2.

155. BUTTURA, A., da. I quattro poeti italiani con una scelta di poesi italiane dal 1200 sino a'nostri tempi. Publicati secondo l'eduzione del 1833 da A. Buttura. Parigi presso Lefèvre, librajo, strada de l'éperon, № 6; Baudry, librajo strada du coq saint-honoré, № 9. 1836. [Здесь напечатаны произведения Dante Alighieri, Fr. Petrarka, Lodovico Ariosto, Torquato Tasso и отрывки из поэзии разных авторов, между прочим Pindemonte).

8°, гравюра «I quattro poeti italiani» + 4 нен. + V + 1 нен. + 903 + 1 нен. стр.

301. Atlas, par Boutourlin.

156. BOUTOURLIN, D. P. Atlas des plans, légendes et tableaux d'organisation de l'histoire militaire de la campagne de Russie, en 1812; par le colonel Boutourlin.

f°, в папке 13 лист. карт + 9 лист. таблиц.

945. Maria. — 2.

157. [DAMINOIS, Adèle]. Maria. Par M-me D***, auteur de «Léontine de Werteling», Paris. Lottin de Saint-Germain, 1819, 2 vol. in 12°.

331. Deutsches-Böhmisches Wörterbuch von Dobrowsky. — 1.

158. DOBROWSKY, J. Ausführliches und vollständiges deutsch-böhmisches synonymisch-phraseologisches Wörterbuch. Herausgegeben von J. Dobrowsky. Der königl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften und der kaiserl. russischen Akademie Mitglied. Prag, 1821. In der Cajetan von Mayreggschen Buchhandlung.

4°, 2 тома; т. I A—K.—2 нен. + 344 стр.; т. II L—Z—4 нен. + 482 стр.

778. Poesie toscane del senatore da Filicaja.—1.

159. FILICAJA, V. da.—Poesie toscane del senatore Vincenzio da Filicaja; Aggiunto il di lui carteggio relativo alle suddette poesie. Edizione Formata sopra quella di Matini del 1707. Venezia. 1812. Vitarelli.

Малая 8°; 2 тома; т. I—гравир. портрет «Sen. Vincenzio da Filicaja» + 4 нен. + L + 245 + 3 нен. стр.; т. II—2 нен. + 315 + 1 нен. стр.

994. Histoire de la nouvelle Hérésie du XIX siècle par Guillon. — 3.

160. GUILLON, M.-N.-S. Histoire de la nouvelle Hérésie du XIX-e siècle, ou Réfutation complète des ouvrages de l'abbé de la Mennais, par M.-N.-S. Guillon... Paris. P. Mequignon, 1835, 3 vol. in 8°. (См. «Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale», t. LXVI, p. 759).

822. Feuilles d'Automne, Hugo. — 1.

161. HUGO, V. Les feuilles d'automne, par Victor Hugo. Paris. Chez Renduel. 1832.

XIII + 392 стр. frontisp. de T. Johannot. Отзыв Пушкина об этой книге см. в его статье в «Сочинениях», акад. изд., т. IX, ч. 1, стр. 164.

1050. Hernani. — 1.

162. HUGO, V. Hernani ou l'honneur castillan, drame, par Victor Hugo, representé sur le théatre-français le 25 fevrier 1830. Paris, Mame et Delaunah-Vallée, libraires, rue Guénégaud № 25. 1830.

8°, 4 нен.+VIII + 1 нен.+154 стр. Отзыв Пушкина об этой книге см. в письме его к Е. М. Хитрово в «Письмах Пушкина» под ред. Б. Л. Модзалевского, т. II, стр. 91 и 434 и в «Письмах Пушкина к Е. М. Хитрово», Л., 1927, стр. 58, 205—206 и 209—214.

156. La tête et le cœur par P. Musset. — 1.

163. MUSSET, Paul. La tête et le coeur nouvelles équipées par Paul de Musset auteur de la table de nuit et de Samuel. Paris. Eugène Renduel, rue des Grands-Augustins, 22. 1834.

8°, 4 нен. + XV + 1 нен. + 351 + 3 нен. стр.

323. Nouveau dictionnaire français-latin par Noël. — 1.

164. NOËL, Fr. Nouveau dictionnaire français-latin, composé sur le plan du dictionnaire latin-français, du même auteur, ou se trouve l'étymologie des mots français, leur definition, leur sens propre et figuré, et leurs acceptions diverses, rendues en latin par de nombreцx exemples choisis avec soin et vérifiés sur les originaux; par Fr. Noël, membre de la légion d'honneur, inspecteur-général de l'université Impériale, de plusieurs societés savantes. Huitième tirage, revu et corrigé. Paris. Le Normant, imprimeur-libraire, rue de Seine, № 8, 1813.

8°, VII + 1 нен. + 1044 стр.

359. Ode sur la colonne colossale à Alex. I. — 1.

165. ODE sur la colonne colossale élevée à l'empereur Alexandre I. St. Pétersbourg. Le 30 Août 1834. Imprimerie de C. Wienhöber [стихотв. на польском языке с переводом на французский яз.].

8°, 15 + 1 нен. стр.

245. Mémoires de m. Oginsky sur la Pologne. — 4.

166. OGINSKI, M. Mémoires de Michel Oginski sur la Pologne et les polonais, depuis 1788 jusqu'à la fin de 1815. Paris, chez l'éditeur, rue des Grands-Augustins, № 18; chez Ponthieu, libraire, Palais-royal, gallerie de bois, Geneève, Barbezat et Delarue, libraires. 1826—1827.

8°; 4 тома; т. I—XII + 511 + 1 нен. стр.; т. II—4 нен. + 430 стр.; т. III (1827 г.) 4 нен. + 320 стр.; т. IV—4 нен. + 359 + 1 нен. стр.

322. Dictionnaire grec-français par Planche. — 1.

167. PLANCHE, J. Dictionnaire grec-français, composé sur l'ouvrage intitulé, thesaurus linguae graecae, de Henri Etienne, où se trouvent l'explication des mots de la langue grecque, leur étymologie, leur sens propre et figuré, et leurs diverses acceptions, justifiées par des exemples choisis avec soin, et vérifiés sur les originaux. Par Jos. Planche, professeur de rhétorique au collège royal de Bourbon. Nouvelle édition, revue, corrigée et considérablement augmentée. Paris, le Normant, imprimeur-libraire, rue de Seine, № 8, 1817.

4°, X + 2 нен. + 1278 + 2 нен. стр.

135. Mémoires du Cardinal de Retz de Guy-Joli et de la Duchesse de Nemours. — 5.

168. RETZ, de—, de GUY-JOLI. Mémoires du cardinal de Retz, de Guy-Joli et la duchesse de Nemours; contenant ce qui s'est passé de remarquable en France pendant les premières années du règne de Louis XIV. Nouvelle édition. À Paris, chez Ledoux et Terné, libraires, rue Pierre-Sarrazin, № 8, 1817.

8°; 6 тт.; т. I—2 нен. + гравиров. портрет кардинала de Retz + 4 нен. + VIII + 517 + 1 нен. стр.; т. II—4 нен. + 501 + 1 нен. стр.; т. III—4 нен. + 427 + 1 нен. стр.; т. IV—4 нен.+433 + 1 нен. стр.; т. V—4 нен. + 474 стр.; т. VI — 4 нен. + 416 стр.

65. Minstrelsy of the Scottish Border. — 3.

169. SCOTT, WALTER. Ministrelsy of the Scottish Border. 1803. 3 т. [Издание это не удалось видеть].

1186. Oeuvres choisis de Stanislas, Roi de Pologne par M-me de St. Oven. — 1.

170. STANISLAS, ROI DE POLOGNE. Oeuvres choisis de Stanislas, Roi de Pologne par M-me de St. Oven. [Книгу видеть нам не удалось.]

8°. Экземпляр этот Пушкин приобрел в 1836 году за 10 рублей. «Пушкин и его современники», в. XIII, стр. 120 и Б. Л. Модзалевский—«Библиотека Пушкина», СПб., 1910, стр. XVI).

779. Gerusalemme liberato. — 1.

171. TASSO, TORQUATO. La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso; tomo primo. Firenze. Presso Giuseppe Galletti. 1828.

8°, XXVI + 250 стр., с гравюрами.

279. Le neuf Janvier.

172. [УВАРОВ, С. С.] Le neuf janvier [Pensées à l'occasion de la mort de S. A. I. Catherine Pavlovna, reine de Würtemberg.]. St.-Pétersbourg, imprimerie du Departement de l'instruction publique. 1819.

8°, 2 нен. + 12 стр. .

707. L'art de faire des dettes par un homme comme il faut. — 1.

173. [YMBERT, Jacques-Gilbert.] L'Art de faire des dettes et de promener ses créanciers, par un homme comme il faut. Paris. Plassan. 1822, in-8°.

174. (1150) REVUE ENCYCLOPÉDIQUE—35 №№ [какие номера—определить не можем].

Книги, заглавия которых не удалось определить точно.

175. (125) Child's own Drawing-book, by Davis.—1.
176. (296) Elements de dessiner les paysages.—1.
177. (381) La France Maçonnerie, par Lenvier. — 1.
178. (410) The Family Library. — 1.
179. (715) Code preservatif de la siphilis maladie vénérienne. — 1.
180. (768) Quellen des Schakespeare. — 2.
181. (803) Wahlens moderne british authors. — 1.
182. (823) Contes de l'économie politique. — 3.
184. (840) Les pelerins du Rhin. — 2.
185. (934) Chansons Scarons. — 1.
186. (979) Calvert's Lithographie Drawing Book.—12.
187. (1239) Mémoires sécretes et inédites sur les cours de France du duc de Richelieu. — 6.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Книги, не сохранившиеся в библиотеке Пушкина и не находящиеся в описи библиотеки 1837 г.

1. ВЕЛЬТМАН, А. Ф. Лунатик. Случай. Соч. А. Вельтмана. Москва, в типографии Н. Степанова. 1834.

12°, 2 чч.; часть I—167 + 1 нен. стр.; часть II—180 стр. Приобретена Пушкиным у А. Ф. Смирдина 7 августа 1834 г. за 8 рублей (см. в статье Ю. Г. Оксмана «К истории библиотеки Пушкина» в Сборнике статей, посвященных А. С. Орлову, Л., 1934, стр. 445).

2. ГРЕЧ, Н. И. Черная женщина. Роман Николая Греча. Санктпетербург, в типографии Н. Греча. 1834 [посвящение Вас. Апол. Ушакову.]

8°, 4 чч.; часть I—10 нен. + 192 стр.; часть II—4 нен. + 208 стр.; часть III—4 нен. + 212 стр.; часть IV—4 нен. + 272 + 2 нен.

стр. Приобретена Пушкиным у А. Ф. Смирдина 7 июня 1834 г. за 15 рублей (см. в назв. статье Ю. Г. Оксмана, стр. 445).

3. МУХАНОВ, П. А. Подлинные свидетельства о взаимных отношениях России и Польши преимущественно во время самозванцев. Собрал и издал гвардии полковник Павел Муханов. Москва. В типографии Семена Селивановского, 1834 [другой титул—на польском языке; на корешке издательского переплета вытиснено: «Памятники XVII века»].

8⁰, 4 нен. + XIII + 3 нен. + 274 + 2 нен. стр. + 8 таблиц facsimile с рукописей и автографов. Приобретена Пушкиным у А. Ф. Смирдина 10 июля 1834 г. за 10 рублей (см. в назв. статье Ю. Г. Оксмана, стр. 445).

4. [ТИМОФЕЕВ, А. В.] XII песен. Т—м—ф—а. Санкпетербург. В типограф. Департ. народ. просвещения. 1833.

Малая 8, 28 стр.

XII Песен. Отделение второе. Т—м—ф—а. Санктпетербург. В типографии 1-го кадетск. корпуса. 1833.

Малая 8⁰, 26 стр.

XII Песен. Отделение третие. Т—м—ф—а. Санктпетербург, в типографии Н. Греча. 1834.

8⁰, 32 стр. Издание приобретено Пушкиным у А. Ф. Смирдина 7 августа 1834 г. за 3 р. (см. в назв. статье Ю. Г. Оксмана, стр. 445).

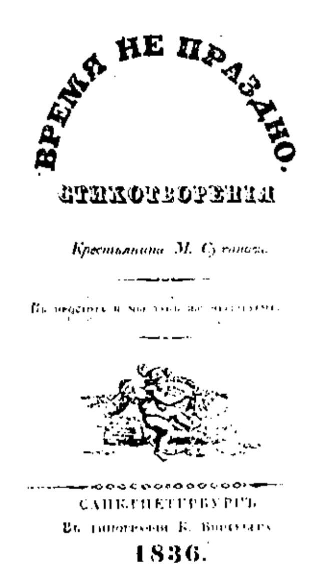
5. [ТИМОФЕЕВ, А. В.] Художник. Т. м. ф. а. Санктпетербург. Печатано в типографии Х. Гинце. 1834 [с посвящением Н. И. Уткину].

12⁰, 3 чч.; часть I—114 стр.; часть II—71 +1 нен. стр.; часть III—106 стр. Приобретена Пушкиным у А. Ф. Смирдина 7 августа 1834 г. за 5 руб.(см. в назв. статье Ю. Г. Оксмана, стр. 445).

6. [ШИРИНСКИЙ-ШИХМАТОВ, кн. П. А.] Торжественная песнь россиян. Санктпетербург. В типографии Императорской Военной Академии. 1833.

4⁰, 12 стр.; в конце подпись «К. П. Ш. Ш.»

Его Высокоблагородию
Милостивому Государю
Александру Сергеевичу
Пушкину
В знак глубочайшего
Высокопочитания от
Июня 4 дня Сочинителя
1833 года Михайла Суханова



ЭКЗЕМПЛЯР КНИГИ „ВРЕМЯ НЕ ПРАЗДНО“ СУХАНОВА ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПУШКИНА, С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ СУХАНОВА ПУШКИНУ

Институт Русской Литературы, Ленинград

В архиве Российской Академии (Архив Академии Наук СССР, фонд 8, Зап. Зас. № 38, 1833 г., л. 13—14) в протоколе заседания Академии 4 февраля 1833 г., § 4 отмечено, что всем присутствовавшим на этом заседании (в том числе и Пушкину) была роздана вышеприведенная брошюра, напечатанная по постановлению Академии от 21 января в числе 300 экземпляров (270 на любской и 30 на веленевой бумаге). У Пушкина очевидно было это издание на веленевой бумаге. Здесь кстати на основании материалов той же Академии сообщаем следующий факт: значащееся по каталогу библиотеки Пушкина (№ 497, стр. 130) «Повременное издание Императорской Российской Академии. Часть IV, 1832 г.» Пушкин получил на заседании Академии 25 февраля 1833 г., на котором присутствовал; о книге этой говорится в протоколе заседания как о только-что вышедшей (записки заседаний № 38 за 1833 г., л. 19 об.).

7. ДЕННИЦА на 1834 год. Москва. В Университетской Типографии 1834. [Альманах, изданный М. А. Максимовичем].

Малая 8⁰, 2 нен.+240 стр.; здесь на стр. 191—207 помещен «Буран» С. Т. Аксакова, оказавший заметное влияние на описание бурана во второй главе «Капитанской дочки» (см. в статье А. С. Полякова в сборн. «Пушкин в мировой литературе», Л., 1926, стр. 287—288). Альманах приобретен Пушкиным у А. Ф. Смирдина 18 мая 1834 г. за 6 р. (см. в назв. статье Ю. Г. Оксмана, стр. 445—446).

Кроме перечисленных изданий в библиотеке Пушкина не сохранились книги, список которых помещен у Б. Л. Модзалевского в «Библиотеке Пушкина», СПб., 1910, стр. XVI; по этому списку в описи 1837 г. не значатся №№ 3, 5—8, 11—17; остальные номера (1, 2, 4, 9 и 10) указаны в описи и соответствуют напечатанному нами выше списку в 187 номеров: 1—145 (Кошелек); 2—96 (Описание Москвы Рубана); 4—109 (Стенька Разин); 9—149 (Les aventures d'un Rénégat) и 10—170 (Oeuvres choisis de Stanislas).

Отмеченное же в статье Ю. Г. Оксмана «К истории библиотеки Пушкина» в Сборнике статей, посвященных А. С. Орлову, Л., 1934, стр. 446 под № 6, издание «Русские достопамятности» как не сохранившееся в библиотеке Пушкина введено в его список ошибочно, так как оно имеется в библиотеке Пушкина под № 501 (см. Б. Л. Модзалевский— «Библиотека Пушкина», СПб., 1910, стр. 131).

II

КНИГИ БИБЛИОТЕКИ ПУШКИНА, СОХРАНИВШИЕСЯ В ДРУГИХ БИБЛИОТЕКАХ*

**1. ЖУКОВСКИЙ, В. А. Стихотворения В. Жуковского. Издание третие, исправленное и умноженное. Санктпетербург, в типографии Департамента Народного Просвещения. 1824.

8⁰, 3 тома без обложек; переплетены в переплет из цельной коричневой кожи с вытисненными на корешке и на крышках виньетками и орнаментами; т. I—6 нен. + 400 стр.; при чем стр. 15 и 16 вырваны; т. II—4 нен. + 380 стр.; т. III 4 нен. +438 стр. [см. стр. 995].

На ненумерованной странице I тома рукою Жуковского сделана надпись: «Пушкину на память о дружбѣ Жуковскаго». Заметок Пушкина нет, за исключением карандашной поправки на стр. 149 тома I в строке 8 снизу, в слове «дуд»—буква «д» исправлена на «б». В начале I тома перед текстом на двух страницах проставлены неизвестной рукою номера: «№ 29» и «№ 35».

Принадлежит Публичной Библиотеке в Ленинграде, куда пожертвован кн. Н. Н. Голицыным (см. «Отчет Публичной Библиотеки за 1870 г.», стр. 160).

*2. ЗАСЕДАНИЕ, бывшее в Императорской Российской Академии 18 января 1836. Санктпетербург. В типографии Императорской Российской Академии. 1836.

8⁰, 45 + 1 нен. стр.; без обложек, в простом переплете; на стр. 23 и 24 в речи д. члена М. Е. Лобанова: «Мнение его о духе и словесности, как иностранной, так и отечественной»—есть карандашные отчеркивания на полях (на стр. 24), а после слов

* Одной звездочкой отмечены книги с автографами Пушкина; двумя звездочками—книги с надписями других авторов Пушкину.

«Русский видит» (стр. 23) следующие 10 слов, составляющие фразу: «в теориях наук— сбивчивость, непроницаемую тьму и хаос несвязных мыслей», подчеркнуты и на поле поставлен знак вопроса; на стр. 27 в чтении д. члена В. А. Поленова о жизнеописании И. И. Лепехина слова: «О происхождении его нельзя сказать ничего достоверного. По некоторым сведениям можно полагать, что отец его служил в Гвардии в нижних чинах. Год его рождения также неизвестен. Думают, что он родился около 1740 года» отчеркнуты на поле, и рукою Пушкина написано: «вздоръ»; а на стр. 43 в речи президента А. С. Шишкова о Н. М. Карамзине имеется слабая отметка на поле в виде вертикальной черты. Экземпляр этот принадлежал А. Ф. Онегину, ныне составляет собственность Пушкинского Дома № 373; служил Пушкину при работе над статьей об Российской Академии и о М. Е. Лобанове. По наведенной нами справке в Архиве Российской Академии выяснилось, что Пушкин на этом заседании Академии не присутствовал (ср. «Сочинения Пушкина», акад. изд., т. IX, ч. I, стр. 269—275 и 304—313 и ч. II, стр. 760—769 и 795—805).

**3. КОЗЛОВ, И. И. Чернец, киевская повесть Ивана Козлова.Санктпетербург. В типографии Департамента Народного Просвещения. 1825.

8⁰, 2 нен. + 64 стр. Здесь же на стр. 41—64 стих. «К другу В. А. Ж.[уковскому]. (По возвращении его из путешествия)». [См. стр. 1011.]

Экземпляр этот был переплетен, но ни обложек, ни переплета не сохранилось. На 1-й ненумерованной странице карандашная надпись И. И. Козлова неровными строками: «Милому Александру Сергѣевичу Пушкину отъ автора».—Заметок Пушкина нет. Принадлежит Публичной Библиотеке в Ленинграде, куда пожертвован кн. Н. Н. Голицыным (см. «Отчет Публичной Библиотеки за 1870 г.», стр. 160—161). Надпись Козлова очень растрогала Пушкина (см. письмо Пушкина к брату Л. С. Пушкину от начала апреля 1825 г. из Михайловского в «Письмах Пушкина» под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, Л., 1926, стр. 126 и 423—424).

*4. ПУШКИН, А. С. Руслан и Людмила. Поэма в шести песнях. Соч. А. Пушкина. Санктпетербург. В типографии Н. Греча. 1820.

8⁰, 142 стр. (с 1 гравюрой). Без обложек, очень ветхий, с попорченными страницами; переплетен в роскошный переплет новейшего времени, с золотым обрезом, в футляре; при переплетении обрезаны поля, вследствие чего некоторые слова, написанные на них Пушкиным, срезаны; карандашные поправки, вставки и отметки Пушкина находятся на следующих страницах: 11, 16, 17, 21—29, 38, 41, 43—46, 48—50, 54, 55, 62, 73, 83, 85, 88, 90, 92, 97, 101, 108, 109, 111, 113, 122, 129, 130, 136, 138 и 141. Эти поправки Пушкин использовал при втором издании поэмы. Экземпляр принадлежал А. Ф. Онегину; ныне находится в Пушкинском Доме за № 396 (см. в статье Б. Л. Модзалевского «Пушкин и его современники», в. XII, стр. 25—26).

*5. РАДИЩЕВ, А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. 8⁰, 4 нен. + 453 стр. Один из уцелевших экземпляров издания 1790 г. Приобретен Публичной Библиотекой в 1889 г. Переплетен в красный сафьян с золотыми тиснениями и обрезом (на корешке: «Путешествие в Москву»); на внутренней стороне листа после переплетной крышки рукою Пушкина написано: «Экземпляръ бывшій въ тайной канцеляріи. Заплаченъ двести рублей», а на следующем чистом листе: «А. Пушкинъ». В тексте многие места отмечены по строчкам и на полях красным карандашом. («Отчет Публичной Библиотеки за 1889 г.», стр. 15; Б. Л. Модзалевский—«Библиотека Пушкина», стр. XVII; Л. Б. Модзалевский—«Рукописи Пушкина в собрании Публичной Библиотеки в Ленинграде», Л., 1929, стр. 44 и 49 и «Альманах Библиофила», Л., 1929, стр. 80 со снимком).

6. РОССИЙСКИЙ АТЛАС из сорока трех карт состоящий и на сорок одну губернию Империю разделяющий. Издан при Географическом Департаменте. 1800.

f⁰; в переплете из цельной кожи; экземпляр сильно попорчен. На корешке вытиснено «Российский Атлас». В начале издания надпись синим карандашом: «От Александра Николаевича Орлова, по свидетельству которого атлас принадлежал А. С. Пушкину, 13 Июля 1899 г.». Находится в отделе истории книги Госуд. Исторического Музея в Москве (инв. № 37517—1899 г.).

*7. МОСКОВСКИЙ ВЕСТНИК на 1829-й год. Часть III. Москва, в Университетской типографии. 1829.

В обложке; с пометами Пушкина на стр. 90—126 в статье М. П. Погодина «Об участии Годунова в убиении Царевича Дмитрия». Подробное описание заметок Пушкина с полным их текстом см. в работе Б. Л. Модзалевского: «Замечания Пушкина на статью Погодина о Борисе Годунове» в изд. «Пушкин и его современники», в. XIII, стр. 147—162. Факсимиле стр. 102—103 «Моск. Вестн.» с пометами Пушкина воспроизведены в «Искрах» (приложение к «Русскому Слову») 1909 г., № 45, стр. 356.

*8. [HOPE, THOMAS]. Anastase, ou mémoires d'un grec, écrits à la fin du XVIII-e

siècle: traduits de l'anglais par l'auteur de Londres en 1819. Paris. Gide fils, rue Saintmarc-feydeau, № 20, H. Nicolle, rue de Seine, № 12. 1820.

8°, 2 тома; т. I—4 нен.+1 карта Оттоманской Империи+499 стр.; т. II—525 стр.; на листе перед титулом первого тома надпись Пушкина: «Поэту Тѣплякову [?] отъ поэта Пушкина 1836 25 Сентября С. П. Б.» Экземпляр принадлежал акад. Л. Н. Майкову и хранился в б. Рукописном отделении Библиотеки Академии Наук; ныне находится в Пушкинском Доме № 473.

*9. PUBLIUS VIRGILIUS MARO. BUCOLICA, GEORGICA, ET AENEIS. Editio stereotypa. Parisüs, ex officina stereotypa Petri Didot natu maj., et Firmini Didot, 1814.

16°, XXVIII + 388 стр.; экземпляр в учебном переплете; попорченный, неполный и испещренный разными надписями на латинском, русском, немецком и финском языках. Наверху титульного листа рукою Пушкина написано «А. Пушкинъ.» Такая же подпись имеется и на внутренней крышке переплета. Этим экземпляром Пушкин пользовался в лицее. Кроме него на книге находятся подписи лицеистов: А. Ф. Нумерса (V курса), М. Н. Попова (III курса), М. Н. или Н. Н. Харламова (II или VI курса), К. К. Миллера (IV курса), К. А. или Н. А. Шторха (VI или VII курса), Я. К. или К. К. Грота (VI или VII курса), П. Н. Перовского (VII курса), А. К. Штофрегена (VI курса), В. Е. или К. Е. Коцебу (VI или IV курса) и гр. Л. Е. или Э. К. Сиверса (VIII или X курса). Экземпляр хранился в Пушкинском Музее Александровского Лицея (см. «Описание Пушкинского Музея 1879—1899», сост. С. М. Аснаш и А. Н. Яхонтов, под ред. И. А. Шляпкина, стр. 14). В настоящее время хранится в Пушкинском Доме за № 684.

*10. POÉSIES SUR LA CONSTITUTION UNIGENITUS. Recueillies par le Chevalier de G... Officier de Regiment de Champagne. A Villefranche, chez Philalete Belhumeur. M.DCC.XXIV. [См. стр. 993.]

Малая 8°, 2 тома в 1 переплете; т. I—2 нен. + XXIV + 317 + 1 нен. + 1 гравюра; т. II—2 нен. + 389 + 3 нен. (с нотами и виньетками); на листе перед титулом надпись Пушкина: «А. Норову отъ А. Пушкина». Экземпляр приобретен Пушкинским Домом (№ 28) в 1929 г. в антикварной конторе Госторга за 8 рублей.

*11. VOLTAIRE. La Pucelle, poème en vingt-un chants, avec les notes, par Voltaire; Édition stéréotype, d'après le procédé de Firmin Didot. A Paris An X. (1801).

12°, 300 стр. Экземпляр (в темносинем сафьяне с золотыми тиснениями и обрезом), подарен Пушкиным Н. И. Кривцову в 1818 г., с надписью «Другу отъ друга», а в 1887 г. передан С. Н. Батюшковой, дочерью Кривцова, в Публичную Библиотеку (Б. Л. Модзалевский—«Библиотека Пушкина», стр. XVII и Л. Б. Модзалевский—«Рукописи Пушкина в собрании Государст. Публичной Библиотеки в Ленинграде», Л., 1929, стр. 5—6 и 46). [См. стр. 989.]

В этот отдел не включены книги, сохранившиеся в других библиотеках или принадлежавшие частным лицам и перечисленные ранее Б. Л. Модзалевским в его описании «Библиотеки Пушкина», СПб., 1910, стр. XVII—XVIII.

III

НОМЕРА КНИГ ПО ПЕЧАТНОМУ КАТАЛОГУ БИБЛИОТЕКИ ПУШКИНА, СОСТАВЛЕННОМУ Б. Л. МОДЗАЛЕВСКИМ, КОТОРЫЕ НЕ ЗНАЧАТСЯ В ОПИСИ БИБЛИОТЕКИ 1837 ГОДА

1, 2, 3, 5, 7, 10, 13, [17], 18, [20], [23], 24, 25, 31, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 48, [49], 52, 58, [65], 69, [70], 72, [74], 76, 78, 80, 82, 90, 91, 92, 93, [96], 99, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 119, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, [132], 133, 134, 135, 138, 140, 145, 146, 150, 152, 153, 158, [162], 169, 170, 171, 175, 176, 178, 184, 186, 188, 191, 194, 201, 208, 214, 215, 216, 218, [219], 220, 223, 228, 229, 239, 240, 244, [246], 249, 253, 254, 256, 257, 262, 263, 264, 265, 271, 272, 274, 276, 280, 281, 282, 285, 286, 291, 294, 295, 297, 306, 307, [309], 310, 314, 318, 321, 330, 332, 337, 340, 341, [342], 352, 355, 356, [358], 359, 363, 369, 375, 377, 378, 382, 384, [386], 395, 396, 397, [400], [401], 404, 406, 407, 414, 416, 422, [424], 429, [430], 431, 432, 433, 434, 435, 436, 448, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, [484], [497], [501], 507, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 522, 523, 524, 545, [547], 554, 572, 596, 670, [687], 719, 742, 809, 829, 841, 852, 870, [874], 882, 883, 885, 888, 889, 898, [902], 926, 940, 965, 969, 977, 989, [990], 992, 994, [998], 1000, 1002, 1038, 1041, 1072, 1075, 1085, 1090, 1095, 1111, 1125, 1132, 1134, 1142, 1150, 1152, 1172, 1196, [1200], 1208, 1209, 1215, 1217, 1218, 1272, 1278, 1298, 1302, 1304, 1314, 1337, 1344, 1349, 1354, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1378, 1401, 1418, 1435, 1436, [1451], 1452, 1453, 1473, 1482, 1488, 1493, 1499, 1500, 1506, 1507, 1512, [1519], [1520], [1521], и [1522].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. Б. Л. Модзалевский—«Библиотека Пушкина», СПб., 1910 (отдельный оттиск из изд. «Пушкин и его современники, в. IX—X); см. также М. Н. Куфаев—«Пушкин-библиофил» в «Альманахе библиофила». Л., 1929, стр. 51—108 и в статье Д. П. Якубовича в изд. «Пушкин и его современники», в. XXXVII, стр. 110—111, примеч. 2-е.

[2] См. И. И. Панаев—«Литературные воспоминания» под редакцией Р. В. Иванова-Разумника. Л., 1928, стр. 158—159.

[3] Очевидно уже после того, как В. А. Жуковский и Л. В. Дубельт перенесли бумаги поэта из его квартиры на квартиру В. А. Жуковского, где и разбирали их (см. П. Е. Щеголев—«Дуэль и смерть Пушкина». 3-е изд. Л., 1928, стр. 219).

[4] См. свидетельство Сахарова об этом в «Русском Архиве» 1873, кн. II, стр. 955.

[5] Записка эта (от 27 января 1837 г., напечатана в «Переписке Пушкина», т. III, стр. 448. Ср. П. Е. Щеголев—«Дуэль и смерть Пушкина», 3-е изд. Л., 1928, стр. 138.

[6] Донесение опекунов в Опеку о результатах их работы от 27 июня 1837 г. напечатано П. Е. Щеголевым в его статье «Материальный быт Пушкина» в журнале Главискусства Наркомпроса РСФСР «Искусство», май-июнь 1929 г., № 3—4, стр. 41—42.

[7] Среди «дел» Опеки, приобретенных в 1909 г. А. А. Бахрушиным и хранящихся ныне в Театральном его имени Музее в Москве, названного дела не оказалось (см. статью Б. Л. Модзалевского в изд. «Пушкин и его современники», в. XIII, стр. 90—92). В настоящее время оно хранится в Пушкинском Доме Академии Наук СССР, куда поступило из бумаг П. Е. Щеголева.

[8] См. названную статью его в «Искусстве» 1929, № 3—4, стр. 41—42.

[9] По свидетельству дочери Пушкина гр. Н. А. Меренберг он расхитил и продал часть библиотеки (см. «Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина», ред. Б. Л. Модзалевского, Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского. Л., 1924, стр. 130 и П. И. Бартенев—«Рассказы о Пушкине со слов его друзей» под ред. М. А. Цявловского. М., 1925, стр. 27 и 76—77).

[10] В укладке книг в ящики принимал участие пушкинский «дядька» Никита Тимофеевич Козлов. В делах Опеки (№ 12), в расходных документах к книге № 2, л. 5 сохранился его счет, поданный Опеке 12 апреля 1837 г. за покупку 20 ящиков ценою в 20 руб. (О нем см. в книге П. Е. Щеголева—«Пушкин и мужики». Л., 1929, стр. 160—164.)

[11] В этом нет ничего удивительного, так как даже такие завзятые библиофилы-библиографы, как один из ближайших друзей поэта С. А. Соболевский, которого Пушкин нередко снабжал своими книгами (см. А. К. Виноградов—«Мериме в письмах к Соболевскому», М., 1928, стр. 18, примеч. 2), недооценивали научного значения пушкинской библиотеки; так, совершенно нелепыми представляются теперь следующие строки из его письма к П. А. Плетневу и В. А. Жуковскому от 25 (13) февраля 1837 г. из Парижа: «Библиотека Пушкина многова не стоит; эта библиотека не ученая, не специальная, а собрание книг приятного, общеполезного чтения [!], книги эти беспрестанно перепечатываются; делаются издания и лучше и дешевле; очень немногие из них годятся в библиотеки публичные. И так не думаю, чтобы их могло купить какое-нибудь правительственное место; а надобно их продать с аукциона, продать наскоро [!].—Для таких обыкновенных книг аукционная продажа выгодна, по незнанию толка в книгах публики. Книги же лучшие, солидные, стоющие денег, на этих же аукционах разберем подороже мы сами... («Искусство», ежемесячный журнал Главискусства Наркомпроса РСФСР, № 3—4, май-июнь 1929 г., стр. 47). Ни Плетнев, ни Жуковский однако, к счастью, не последовали «дружескому» совету Соболевского.

[12] См. об этом в книге Б. Л. Модзалевского—«Библиотека Пушкина», СПб., 1910, стр. IX—XII и XV; ср. в «Историческом Вестнике» 1899 г., № 2, стр. 761—762 и 1900 г., № 12, стр. 1173—1174; «Отчет о деятельности имп. Академии Наук по I и III отделениям за 1906 г.», стр. 164.

[13] Ср. в статье М. Н. Куфаева—«Пушкин-библиофил» («Альманах библиофила», Л., 1929, стр. 64), где говорится о том, что «никакой описи [книг] ни до ни после смерти Пушкина не было».

[14] Расположение полок в кабинете поэта наглядно представлено на плане его квартиры, составленном В. А. Жуковским в 1837 г. в дни болезни и смерти Пушкина (см. П. Е. Щеголев—«Дуэль и смерть Пушкина», 3-е изд., Л., 1928, стр. 190—191).

[15] Федор Николаевич Менцов (р. 1817, ум. 4 февраля 1848 г.)—сын гравера Н. Менцова; в 1838 г. окончил Философский факультет Петербургского университета со степенью кандидата философии, сотрудничал в «Библиотеке для Чтения», «Сыне Оте-

чества», в «Журнале Министерства Народного Просвещения», где печатал много статей и рецензий; был сотрудником «Энциклопедического Лексикона» Плюшара и одним из главных помощников О. И. Сенковского по редактированию этого лексикона; впоследствии и сам был редактором последних двух (17 и 18) томов его; писал статьи в «Энциклопедическом Словаре» А. В. Старчевского по истории и географии Востока; не чужд был и граверному искусству (о нем см. в «Воспоминаниях» В. Р. Зотова в «Историческом Вестнике» 1890 г., № 5, стр. 311, в «Воспоминаниях» А. В. Старчевского, там же, 1890 г., № 9, стр. 529; в «Переписке Я. К. Грота с П. А. Плетневым», т. I, стр. 72, 668, 809; см. также: Д. А. Ровинский—«Подробный Словарь Русских Граверов XVI—XIX вв.», СПб., 1895 г., стр. 442 (со списком гравировальных работ) и С. А. Венгеров—«Источники словаря русских писателей», т. IV, стр. 264.

О бароне Вельзберхе никаких сведений нам собрать не удалось.

[16] Несмотря на то, что в одном месте черновика описи имеется отметка: «№ 2 по стене с лево». Возможно однако предположить, что составители описи в этом и не были повинны и ответственность за беспорядок библиотеки должна упасть на А. А. Краевского и И. П. Сахарова, «разбиравших» библиотеку до работы Ф. Менцова и Вельзберха.

[17] Некоторые издания нам не удалось видеть в библиотеках, несмотря на то, что та или иная книга известна по существующим библиографиям; в этом случае мы даем текст названия по печатным библиографическим указателям.

[18] См: «Библиотека Пушкина». СПб., 1910, стр. XII.

[19] См. М. Н. Куфаев—«Пушкин-библиофил» в «Альманахе библиофила» 1929 г., стр. 94—95.

[20] Часть подобных книг уже была перечислена Б. Л. Модзалевским в его описании. См. «Библиотека Пушкина». СПб., 1910, стр. XVII—XVIII.

[21] См. «Отчет Публичной Библиотеки за 1870 г.», стр. 160—161. Между прочим виденные акад. П. В. Никитиным в библиотеке С. П. Шевырева и хранившиеся в библиотеке б. Историко-Филологического Института князя Безбородко в Нежине книги из библиотеки Пушкина до сих пор еще не разысканы (см. Б. Л. Модзалевский—«Библиотека Пушкина». СПб., 1910, стр. XVIII). Не разысканы также экземпляры: «Опыты в стихах и прозе К. Н. Батюшкова» с пометами Пушкина, принадлежавшие его сыну А. А. Пушкину (ib., стр. XVIII и Л. Н. Майков — «Пушкин». СПб., 1899, стр. 284—317) и оттиск статьи кн. П. А. Вяземского 1816 г. о В. А. Озерове, с пометами Пушкина (ib., стр. 270—283). Неизвестно нам также настоящее местонахождение книги «Краткая история построения Нежинского Благовещенского монастыря», М., 1815, хранившейся до революции в Церковно-археологическом музее при Киевской духовной академии (ib., стр. XVIII).

[22] Пушкин был там в 1833 г., откуда между прочим писал жене: «Я нашел в доме старую библиотеку, и Наталия Ивановна Гончарова [теща поэта] позволила мне выбрать нужные книги. Я отобрал их десятка три, которые к нам и прибудут с вареньями и наливками» («Переписка Пушкина», т. III, стр. 36). За время пребывания в Ярополье Пушкин с интересом изучал библиотеку Гончаровых, о чем свидетельствуют книги, оставшиеся там с пометами Пушкина. К сожалению никто из лиц, побывавших в Ярополье в позднейшее время, не удосужился подробно просмотреть библиотеку и зарегистрировать пушкинские пометы. О них сообщает например Ф. Грошиков в своей статье «Достопримечательности села Ярополья» в «Литературно-художественном сборнике Красной Панорамы», 1929 г., декабрь, стр. 42; см. еще статью С. Торопова «Ярополье» в журнале «Среди коллекционеров» 1924 г., № 7—8, стр. 46 и М. А. Цявловского в сборнике статей «Ярополец», издание Общества изучения московской области. М., 1930 г., стр. 5—16.

[23] Из работ о библиотеке Пушкина, не упомянутых выше, см. еще статью Я. Николаева «Пушкин и книга» в журнале «На литературном посту», март 1927 г., № 5—6, стр. 44.

ПУШКИН В ПОЭЗИИ ЕГО СОВРЕМЕННИКОВ

Сообщение Ивана Розанова

I

Собирание и изучение стихов о Пушкине имеет своеобразный и немаловажный интерес, хотя к сожалению до сих пор этому делу уделяется меньше внимания, чем оно того заслуживает. Совершенно очевидно, что многих произведений Пушкина нельзя понять и оценить без рассмотрения тех стихотворений его современников, с которыми они непосредственно перекликаются. Нечего уже говорить об ответных посланиях Пушкина (напр. Я. Толстому, Готовцевой, Гульянову и т. д.), требующих необходимых разъяснений о том, на что же именно они являются ответом. Но и помимо этого в произведениях Пушкина разбросано много беглых указаний и намеков на личные и литературные отношения, требующих расшифровки. И часто такой разъясняющий материал комментаторы находят, обратившись к поэтическому окружению Пушкина. Такие партизанские разыскания, производимые отдельными комментаторами, конечно очень нужны и полезны, но ограничиваться этим невозможно.

Однако это только одна сторона вопроса. Стихи о Пушкине заслуживают систематического и планомерного изучения и по той еще причине, что они являются исключительно благодарным материалом для разработки вопроса об освоении произведений Пушкина в сознании массового читателя эпохи. В этом плане они дают не менее (а иногда и более) данных, чем соответствующие отклики профессиональной критики.

Первыми обратили на это внимание библиографы Межов («Puschkiniana», СПБ., 1886 г.) и Пономарев («Пушкин в родной поэзии», СПБ., 1888). С этого же времени, т. е. с конца 80-х годов, стали появляться и сборники стихов о Пушкине, очень неполные и случайные по составу и потому не представляющие историко-литературного интереса. Составители их—Соколов, Божерянов и более поздние: Колчин, Аралова—или не ставили себе серьезных заданий, или были не в силах их осуществить, как например Аралова («Русские поэты о Пушкине», СПБ., 1899), заявлявшая в предисловии, что цель ее была собрать в одной книге «более или менее все, что сказали о Пушкине в стихах современные ему и позднейшие поэты». Для этой цели она производила разыскания по журналам и собраниям произведений различных писателей, что, по ее словам, потребовало «не мало времени и труда». В критику при этом составительница «вовсе не вдавалась», вполне справедливо считая, что и слабое по форме стихотворение может представлять интерес для будущих исследователей историко-литературных вопросов, связанных с именем Пушкина. В результате составился сборничек в 38 стихотворений. И это за громадный промежуток с 1815 года по 1899 год! Уже одна эта мизерность числа показывает, что составительница не представляла себе всей грандиозности поставленной перед собой задачи. Она не использовала даже библиографических указателей Межова и Пономарева, где было около 120 номеров стихотворений.

Первым, кто, осознав «большое историко-литературное значение» такого собирательства, серьезно и энергично принялся за осуществление этого дела, был Каллаш. В том же юбилейном году и под тем же заглавием, как Аралова, он выпускает свой сборник, куда включает не только стихотворения, целиком относящиеся к Пушкину, но и отдельные места и упоминания о нем в других произведениях, а также пародии и явные подражания, словом, намеревался дать исчерпывающий материал. Кроме того, что имелось в указателях Межова и Пономарева, он поместил еще 94 стихотворения за тот же период, пропущенных указанными библиографами. Но и он поддался наивному самообольщению, думая, что им охвачен

почти весь материал. «За указание пропусков,—заявлял он,—будем очень благодарны критике, хотя смеем думать, что их не так уж много».

Сейчас же после выхода в свет книги Каллашу пришлось, по его собственному признанию (см. его «Puschkiniana», в. I, стр. 40), раскаяться в этих словах. Ряд пропусков указан ему был другими, но еще больше стал он находить сам, продолжая свои розыски по журналам и стихотворным сборникам. Через несколько лет, подводя итоги пушкинскому столетнему юбилею, он нашел возможным в двух выпусках своей «Пушкинианы», вышедших в 1902 и в 1903 гг., дать не только собрание стихов юбилейного года, но и существенные дополнения к материалу своей первой книги; но теперь он обнаружил у себя уже 213 произведений, пропущенных в его собственном сборнике, т. е. более чем вдвое по сравнению с числом пропусков, обнаруженным им ранее у Пономарева, и задачу свою не считал уже законченной, но предполагал близкую осуществимость ее полного разрешения. «В ряде дополнений мы добьемся не только относительной,—заявлял он («Puschkiniana», в. II, стр. 101),—но и абсолютной полноты».

В 5-м выпуске академического издания «Пушкин и его современники» он начал публиковать свои дополнения (помещено еще 5 стихотворений), но потом очевидно отвлекся другими заданиями.

Каллаш не ограничился только содержанием материала и кратким комментированием его; он первый начал и разработку этого материала в статье «Поэтическая оценка Пушкина современниками». К сожалению эту статью нельзя не признать односторонней и методологически неправильной.

Первая цель нашей работы—дать библиографический список дополнений к Каллашу. Некоторые пропуски у него (напр. отсутствует «Сашка» Полежаева) объясняются простым недосмотром, другие объясняются неимением под руками соответствующих источников: некоторых редких изданий он очевидно не просматривал; наконец несколько стихотворений найдены нами в рукописи и до сих пор в печати не появлялись.

Вторая наша цель—дать некоторые выводы и общие наблюдения, которые сами собой напрашиваются при просмотре грандиозного материала, собранного Каллашом.

Мы ограничиваем пока свою задачу только стихотворениями до 1840 г.

II

Просматривая сборники Каллаша, легко можно заметить, что громадное большинство стихотворений идет по линии безусловного восхваления Пушкина, начиная от простого упоминания его имени при перечислении лучших или любимых русских поэтов или сочувственного цитирования отдельных его строчек и выражений и кончая сплошным славословием. Надо принять во внимание, что поводом к изданию первого сборника был предстоявший столетний юбилей, а третий сборник (или 2-й выпуск «Пушкинианы») главным образом старался подвести итоги этому юбилею. «Перед мощью гения умолкали зависть и соперничество, личные счеты и литературные предрассудки,—писал составитель в предисловии к книге «Русские поэты о Пушкине».—Дружно несутся хвалебные гимны из разных литературных лагерей... Его воспевают классики Катенин и гр. Хвостов, сентименталист Шаликов, народолюбец Глинка и вся пушкинская плеяда». Отклики поэтов имели не малое значение и для самого Пушкина. «Когда русское общество, подхваченное новой волной романтического течения, охладело к реальной музе своего прежнего любимца, поэты не изменили ему. Только у них находил он поддержку в самые трудные минуты своей многострадальной жизни. Это, несомненно, самая светлая страница его личной истории». Таким образом Каллаш резко подчеркивает разницу в отношениях к Пушкину «русского общества», увлеченного «новой волной романтизма», и поэтами. Это отзывает романтической концепцией «поэт и толпа» и вызывает ряд недоуменных вопросов. Разве поэты не принадлежали к «русскому обществу» и разве они не поддались увлечению этой волной романтизма? И как можно было, тяготея к романтизму, одобрять все больший и больший поворот Пушкина к реализму?

В статье «Поэтическая оценка Пушкина современниками» («Puschkiniana», в. II) Каллаш несколько разъясняет свою мысль. «Поэты,—пишет он,—не изменяли своему признанному главе. Многих из них влекло к Пушкину непросветленное сознанием внутреннее чувство, которое шло в разрез с установившеюся системою мнений... придерживаясь изжитых и осужденных на бесславное вымирание литературных форм и приемов,—они как более чуткие все-таки натуры преклонялись перед гением, в словах которого звучала новая, таинственная, непонятная поклонникам и тем

более привлекательная правда. Немногие старались и умели поспевать за быстрым ходом развития поэта, итти с ним в ногу. Благодаря всему этому дружно несутся хвалебные гимны из всевозможных поэтических лагерей, которые заглушают редкое и бессильное шипение вражды и позднее скрашивают заметное охлаждение среднего читателя к своему прежнему любимцу».

Здесь вместо «русского общества»—«средний читатель», но это мало объясняет дело. Выходит, что для поэтов Пушкин всегда был и оставался кумиром, у «среднего читателя» преклонение сменилось равнодушием, а от кого же исходило «шипение вражды», так успешно заглушаемое «хвалебными гимнами» поэтов? И что это было за «шипение»? В каких формах оно выражалось? Чем вызывалось? По Каллашу, оно служило только для вящей славы поэта—так оно было неудачно— и вызывалось личной враждой. «Самые ярые враги великого поэта решались обвинять его произведения в безнравственности и грубости, но не отрицали всей глубины и мощи творческих сил» (Предисловие, IV). Каллаш старается включить в свои сборники и «все эпиграммы на Пушкина». Значение их он объясняет так: «Они очень характерны для наших старинных литературных нравов и полемических приемов и, кроме того, доказывают, как мало могли сказать против Пушкина самые непримиримые литературные враги, озлобленные его убийственными эпиграммами и полемическими статьями».

Вероятно таким взглядом на эпиграммы следует объяснить тот факт, что в своей статье «Поэтическая оценка Пушкина современниками» Каллаш говорит исключительно только о положительной оценке, только о «хвалебных гимнах», ни словом не заикаясь об эпиграммах, как будто их и не было, хотя сам в своих сборниках привел их не мало.

Знакомство с этими эпиграммами убедит нас, что «враги» упрекали Пушкина не только в «безнравственности» и «грубости», но и в отсутствии «глубины» и в малосодержательности. В эпиграмме на Пушкина и Баратынского, выпустивших в 1829 г. свои поэмы «Граф Нулин» и «Бал» в одной книжке, книгопродавческий успех этого издания объясняется только известностью их авторов.

Ах! Часто вздор плетут известные нам лица,
И часто к их нулям мы ставим единицы.

Или отзыв о «Борисе Годунове»:

И Пушкин стал нам скучен
И Пушкин надоел,
И стих его незвучен,
И гений охладел.
«Бориса Годунова»
Он выпустил в народ:
Убогая обнова —
Увы! — на новый год!

«Евгений Онегин» вызвал между прочим такие строки по адресу героев романа и его автора:

...о неге и о лени
Мне любопытно ли читать?
Большая надобность мне знать,
Что нежатся они, ленятся...
Зачем, быв в летах молодых,
Для общей пользы не трудятся...

Интересно было бы знать, кто же, по мнению Каллаша, авторы всех этих эпиграмм—«средние читатели» или «поэты»? Во всяком случае совершенно игнорировать такие отзывы в статье, посвященной оценке Пушкина современниками, было крупной ошибкой, давшей неверную идиллическую картину и сузившей намеченную тему до гораздо менее интересной—«Хвалебные гимны о Пушкине».

Каллаш упустил также из виду, что кроме эпиграмм есть и другое оружие литературной борьбы, часто более тонкое и острое, чем прямая насмешка,—это пародия. Значение ее при литературных сдвигах и отталкиваниях громадно. Снижение стиля не всегда носит характер простой шутки, как например в четверостишии Илличевского, пародирующем «Демона» Пушкина, но часто отражает борьбу социальных групп и их идеологий. Каллаш включал в свои сборники и пародии, не подозревая всей ценности этого материала при определении отношения к Пушкину его современников. Интересны и возражения Пушкину, оспаривания его положе-

ний, выражение в стихах несогласия с ним. Так например, пессимистическое стихотворение Пушкина «Дар напрасный, дар случайный» вызвало, как известно, два отпора в стихах охранительно благочестивого характера со стороны Клюшникова («Дар мгновенный, дар прекрасный») и митрополита Филарета («Не напрасно, не случайно»).

Подобный материал Каллаш вводил в свои сборники, но совершенно забыл о нем в своей статье, принимаясь за характеристику отношений к Пушкину его современников.

Рассмотрев взаимоотношения Пушкина с его литературными друзьями и поклонниками, Каллаш приходит к выводу, что в стихах его современников ясно выразилось «преклонение перед мощью гения» и «довольно тонкое понимание его своеобразных отличий».

Выходит, что весь литературный путь Пушкина до самого конца был таким же триумфальным шествием, каким он был в период «Руслана» и байронических поэм, как будто совсем не существовало того «охлаждения к Пушкину», которое так явно обозначилось в начале 30-х годов и продолжалось до самой смерти поэта... «Полтава» и 7-я глава «Онегина» были, как известно, той гранью, за которой началось это охлаждение.

Неужели это не нашло себе стихотворного отражения? Таких стихов было может быть немного, но все же они были. Кроме враждебного и пренебрежительного отзыва об «Евгении Онегине» Бестужева-Рюмина (отзыв этот включен Каллашем в его сборник) можно указать еще несколько отзывов, оставшихся Каллашу неизвестными. В журнале «Галатея» (1829, VII) помещена была пародия «Иван Алексеевич или новый Онегин», где в конце читаем следующие строки:

...все тут есть: и о преданьях,
И о заветной старине,
И о других и обо мне!
Не назовите винегретом,
Читайте далее,—а я
Предупреждаю вас, друзья,
Что модным следую поэтам.

Один из главных застрельщиков против «VII главы Онегина»—Фаддей Булгарин—в своей рецензии разразился стихами.

«...Какое же содержание этой VII главы?—говорит он.—Стихи Онегина увлекают нас и заставляют отвечать стихами на этот вопрос:

Ну как рассеять горе Тани?
Ну как: посадят деву в сани
И повезут из милых мест
«В Москву, на ярмонку невест».
Мать плачется, скучает дочка...
Конец седьмой главе—и точка».

(«Северная Пчела» 1830, № 35.)

Но гораздо красноречивее другой факт, доказывающий, что это всеобщее «охлаждение» отразилось и на поэтах. Любопытно с этой точки зрения произвести статистический подсчет по годам помещенным у Каллаша стихотворениям. Наибольшее число приходится на 1826 до 1830 гг., приблизительно по 16—17 стихотворений на год; в 30-е же годы число это катастрофически падает: 4, 2, 1 стихотворение в год. Подсчет этот конечно неточный, датировка некоторых стихотворений приблизительна, но общая картина именно такова. Красноречива и такая деталь: в то время как «Руслан и Людмила», «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник», «Евгений Онегин» и ряд других произведений Пушкина обычно сейчас же находят себе стихотворные - отклики, злополучная «Полтава» встретила холодный прием не только в журнальных рецензиях. В сборниках Каллаша кроме четверостишия Шаликова («Русские поэты», стр. 38) мы не нашли больше упоминаний об этой поэме, сделанных при жизни Пушкина. Только трагическая смерть поэта сразу вернула к нему утраченные симпатии, и притом в десятикратном размере. Тогда многие поэты (Стромилов, Креницын, Ф. Глинка, Ахлопков, Лихачев) сочувственно отозвались и о «Полтаве».

III

Внимательнее присмотревшись к материалу, даваемому Каллашом, легко можно было бы сделать несколько общих наблюдений и любопытных выводов.

Прежде всего бросается в глаза, что современные Пушкину поэты в своих поэтических откликах воспринимают его исключительно как поэта, а не как прозаика. До самой смерти Пушкина мы не находим у них решительно никаких упоминаний о «Капитанской дочке», «Повестях Белкина», «Пиковой даме». Повторяем, если впоследствии и найдены будут стихи с такими упоминаниями, общая картина не изменится. Такое явление нельзя объяснять тем, что будто бы поэты охотнее откликаются стихами на стихи и неотзывчивы к прозе. Мы имеем много стихотворений о Гоголе, Тургеневе, Достоевском; есть даже стихи о Гончарове и о Щедрине. «Герой нашего времени» тоже имеет стихотворные отклики. Лермонтов воспринимался и как поэт, и как прозаик, только в сознании современников Пушкина великий поэт целиком заслонял Пушкина-прозаика.

Можно также наглядно убедиться в том, какие из произведений Пушкина производили наиболее сильное впечатление и вызывали наибольшее количество откликов. До «Руслана и Людмилы» Пушкин был знаменитостью только среди лицейских товарищей и в тесном литературном кругу. Первым приветствовал его Дельвиг, назвавший в своем известном стихотворении «Кто как лебедь цветущей Авзонии» (1815) своего шестнадцатилетнего друга певцом «бессмертным». За три года (1815—1817), судя по сборникам Каллаша, мы имеем 7 стихотворений, фактически же 4, так как из этого числа 3 относятся к лицею вообще, а не к Пушкину в частности. Настоящая слава начинается с 1818 г. и связана с успехом поэмы «Руслан и Людмила» еще до ее напечатания. Кюхельбекер, Яков Толстой, Федор Глинка в своих «посланиях» наперерыв торопятся выразить свое восхищение; Кюхельбекер называет своего лицейского собрата «певцом Руслана»; вслед за тем обозначение «певец Руслана и Людмилы» прочно и надолго приклеивается к Пушкину, хотя уже довольно скоро оно стало звучать анахронизмом. Очень характерно для Языкова, что он в 1826 г., когда уже стали известны первые главы «Онегина», в своем стихотворении «Тригорское» продолжает величать Пушкина «певцом Руслана и Людмилы».

Из персонажей этой поэмы больше всего повезло у поэтов, после главных героев, Черномору: он упоминается в нескольких стихотворениях: и у Филимонова, и у неизвестного автора, подписавшегося «Улан-Поселянин» (см. Каллаш. «Рус. поэты о Пушкине», стр. 37 и «Puschkiniana», 4, I, 61), и в ускользнувшем от внимания Каллаша стихотворении Ив. Суслова «Укор ревнивцу».

Стихотворная полемика, эпиграммы в защиту поэмы еще более знаменуют ее успех.

Много откликов у поэтов нашли себе также две последующих поэмы Пушкина— «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан». Бесчисленные подражания первой из них вроде «Киргизского пленника» и т. д. не подлежали конечно вниманию Каллаша, но пародии включались в план его собирательства. Вот почему отсутствие у него таких пародий, как «Московский пленник» и «Калмыцкий пленник», является конечно пробелом.

Вот начало этой пародии:

МОСКОВСКИЙ ПЛЕННИК

Повесть в стихах

В обширных комнатах, на стульях,
Друзья веселые сидят.
Как пчелы лакомые в ульях
Они жужжат, они шумят.
Сыны безделья говорят
О наслажденьях жизни вольной,
О чаше светлой и раздольной,
О даме пик, о двойке треф,
О красоте московских дев,
Воспоминают их напев
И восхваляют град престольный,
Текут часы, часы утех... и т. д.

(Ф. С—в. «Московский пленник». М., 1829.)

«Бахчисарайский фонтан», Мария и Зарема стали у поэтов почти обязательным литературным воспоминанием при передаче ими в стихах своих крымских впечатлений, в частности впечатлений от Бахчисарая. Реже упоминаются «Цыгане». О «Графе Нулине» нашли мы 8 строк к книжке И. Б. «Уехал друг» (М., 1828). У Каллаша этого нет. Здесь автор критикует Пушкина как охотник и обыватель.

...Есть роман Граф Нулин,
В нем про охоту говорят
Невыгодно—и тем он дурен—
Я не скажу, как сей чудак:
«Прости, жена, не жди к обеду!»
Охотник я, но не дурак,
То повторю жене: «приеду
И, может, с тощим животом,
То сладким угости столом».

Стихи о Пушкине вполне подтверждают то мнение, которое установилось в последнее время, что своим литературным успехом Пушкин гораздо более был обязан своим поэмам, чем лирике. Очень немногие из лирических стихотворений Пушкина («Демон», «К морю», «Дар напрасный, дар случайный», «Черная шаль» и др.) имеют отклики в сборниках Каллаша.

IV

Совершенно исключительное внимание, несравнимое с другими произведениями Пушкина, имел у поэтов «Евгений Онегин». По числу упоминаний и по степени возбуждаемой симпатии на первом месте из героев романа стоит Татьяна, Ленский же фигурирует крайне редко. Только смерть Пушкина по аналогии напомнила про этого певца «неведомого и милого», сраженного, как и Пушкин, «безжалостной рукой» (Лермонтов). Необычайно удачно применены к самому Пушкину его строки о Ленском в эпиграфе к стихотворению Суслова «Полевой цветок на могилу Пушкина». Но к этому стихотворению мы еще вернемся. Более раннее упоминание о Ленском найдено нами в первой главе из стихотворного романа Н. Н. Муравьева «Ленин». Глава эта первая (и последняя) носит особое заглавие «Котильон» (М., 1829). Здесь есть сравнение героя романа Ленина с пушкинским Ленским:

. . . .
Разнеженный, полувлюбленный
С своей Нинетою бесценной,
Как Ленский Пушкина живой,
Кончает быстро Ленин мой
Вальс общий. Чувства неземные
Бушуют в нем.

(Еще упоминание о Ленском есть в шуточном стихотворении «От классиков — Пушкину».—Каллаш. «Русские поэты», стр. 40.)

Ольга встретилась только в одном стихотворении, помещенном в «Северном Меркурии» за 1831 г. и также ускользнувшем от внимания Каллаша,—в отрывке из поэмы И. Косаревского «Именины», где автор обещает читателям реабилитировать перед ними образ Ольги, несправедливо, по его мнению, заслоненной по воле Пушкина Татьяной.

Пусть Ольга Пушкина румяна,
И потому не так мила,
Как часто грустная Татьяна
Прелестной бледностью чела.
Но вас любовью идеальной
Поэт увлек, читатель мой;
Он, как волшебник над душой,
И вы с Татьяною печальной
Забыли Ольгу... Но она
В Алине будет вам видна.

Показателем популярности Татьяны может служить то, что о ней упоминают поэты по самым разнообразным поводам: один пишет мадригал какой-то Марии и в этом мадригале выражает сожаление, зачем Пушкин вывел героиней Татьяну: стоит ли ею занимать Россию, вот если бы он воспел эту Марию, «поэма Пушкина прелестнее б была» («Пушкин и его современники», в. V, стр. 117); другой осуждает сон Татьяны: не надо быть гением, чтобы описывать «невероятности такие» (Каллаш, I, 84); третий, описывая Тверской бульвар, выводит Каченовского, который характеризуется как «классицизма жрец седой» и как враг «певца Татьяны» (там же, I, 101); четвертый, восхищаясь кабинетом своего приятеля, похожим на кабинет Онегина, жалеет, что в кабинете этом недостает Татьяны (там же, I, 109). Мы

видим, что реальные и вымышленные лица сближаются, уравниваются, как бы меняются местами. Это прием самого Пушкина (когда Татьяну стали вывозить на собрания, «к ней как-то Вяземский подсел»). Другой прием: введение в свой роман персонажей и произведений чужого авторства («мой брат двоюродный Буянов») тоже не остался без отклика.

Автор «Опасного соседа» отблагодарил племянника за Буянова введением в свою повесть «Капитан Храбров» упоминания о Татьяне Лариной (у Каллаша пропущено). Соседка, посетившая Храброва, рассказывает ему между прочим:

Я очень занимаюсь чтеньем
И романтизм меня пленил,
Недавно Ларина Татьяна
Мне подарила Калибана.

Упоминания об «Евгении Онегине» в стихах современников Пушкина встречаются очень часто, обычно с похвалой, изредка с осуждением, но каждый раз речь идет о произведении под этим заглавием, а не о главном герое. Каллаш поместил эпиграмму Сергея Глинки, заимствовав ее из книги о Сумарокове (Каллаш. «Русские поэты о Пушкине», стр. 60), датируя ее очень неопределенно: «до 1837», т. е. до смерти Пушкина, так как автор Сергей Глинка припоминал, что напечатал эпиграмму еще при жизни Пушкина и сам читал ему. В сноске Каллаш говорит: «нам не удалось разыскать, где напечатаны эти стихи». Пользуемся случаем указать, где и когда. Эпиграмма Сергея Глинки появилась в Альманахе «Эхо», М., 1830, на стр. 102, с опечаткой в заглавии «Сочинителя Евгения Онегина», в оглавлении правильно: «Сочинителю» и т. д. Текст ее отличается от того, что имеем у Каллаша. Поэтому приводим это четверостишие целиком:

Мертвого света ты живописец,
Кистью рисуешь призрак людей.
Что твой Онегин.—Он летописец
Моды забавной безжизненных дней.

Разночтения видим в первом и четвертом стихе. К последней строчке имеется авторская сноска, отсутствующая у Каллаша: «Le grand monde est un chaos, сказал Ж. Б. Руссо».

В пародии «Иван Алексеевич или новый Онегин» («Галатея» 1829, VII) осмеивается не герой: у Ивана Алексеевича почти ничего нет общего с Онегиным, а содержание и композиция романа, которые казались слишком непривычны.

Опубликованное по рукописи в 1917 г. («Пушкин и его современники», в. XXVIII) стихотворение Н. Данилевского 1837 г. интересно тем, что здесь дана одна из самых ранних характеристик пушкинского героя, как мы видим, довольно поверхностная. Онегин характеризуется как «пышный удалец»:

И хват, и франт, и волокита,
Наследник всех своих родных,
Помещик, барин домовитый.

В стихотворной пьесе Трилунного «Онегин и Татьяна», появившейся в 1830 г., т. е. еще до окончания пушкинского романа, Онегин очень схож с Чацким. Характерно, что в число действующих лиц включена и грибоедовская Хлестова. Онегин поочередно стыдит и изобличает своих собеседников... Расставшись с Петушковым, надоевшим ему соседом Лариных, Онегин, в ожидании встречи с Татьяной, цитирует Пушкина:

Теперь Татьяна, друг мой милый,
Появись как яркий день,
Сквозь чугунные перилы
Ножку дивную продень!

Сосед Лариных Петушков совершенно искажен у Трилунного: это не «уездный франтик», как у Пушкина, а сутяга-помещик.

В стихотворных откликах и оценках мы находим не только характеристики (или упоминания) различных персонажей романа, но и отдельных глав романа. И не удивительно: роман выходил по главам, что как новый авторский и издательский прием обращал на себя особенное внимание. У Каллаша мы находим несколько стихотворных откликов с точной фиксацией главы, например в заглавии читаем «М. Л. Б—ой с препровождением третьей части Онегина» или у Шаликова—«Евгений

Онегин. Глава вторая», где дается сравнение первой главы со второй, а конечный вывод пророческий: «двух глав в два века не забудут», у Великопольского есть биографический момент. Его злополучные два стиха

Глава Онегина вторая
Съезжала скромно на тузе,

взбесили Пушкина и обострили конфликт между ними. Выше мы приводили и шестистишие Булгарина, иронически передающее содержание седьмой главы.

Главы «Онегина» разделили судьбу пушкинских поэм: наибольший успех у современников имели более ранние. Оценка посмертная внесла сюда ряд существенных коррективов.

Характерно, что и пародия «Иван Алексеевич», и такие полуподражания-полупародии, как «Сашка» Полежаева и «Евгений Вельский», пародируют первую главу.

V

И лирические отступления романа воспринимались современниками Пушкина иначе, чем потомством, если судить по отношению к ним в русской поэзии.

У позднейших поэтов мы часто находим цитаты такого рода: «Блажен, кто смолоду был молод», «А счастье было так возможно» (то и другое из VIII главы), т. е. все больше элегические афоризмы. Современники же в певце Онегина и Татьяны никак не могли забыть «певца Людмилы и Руслана» и всего острее воспринимали Пушкина как автора первой главы и воспринимали его как «балагура» (выражение В. Л. Пушкина в 1816 г.) или как «Парнасского шалуна» (выражение Рылеева).

Лирические отступления первой главы имеют огромное число отражений в стихах пушкинских современников. Сокольницкий житель (Каллаш. «Puschkiniana», I, 108) в восторге от обстановки и убранства петербургского кабинета Онегина. Полежаев с упоением цитирует пушкинские строки:

Я вечно помнить буду рад:
«Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд».

Следующие затем пушкинские строки о женских ножках нашли себе совершенно невероятный резонанс. Вот чем Пушкин особенно угодил людям своего круга и воспитания! На все лады, с постоянной оглядкой на Пушкина начинается восхваление стройной и маленькой женской ножки. Едва ли не запевалой в этом хоре был пресловутый князь Шаликов, который в своем «Дамском Журнале» (1825, № 8) поместил свое послание «К А. С. Пушкину на его отречение петь женщин». Шаликов не верит искренности этого отречения, потому что Пушкин

Лишь только женщин отбранит,
Как вдруг невольно с восхищеньем
О ножках, лучшей красоте
Роскошно-томного Востока,—
Своей прелестнейшей мечте,
Воспомянув, в мгновенье ока
У ножек с лирою златой!
И ножки женщины, конечно,
Не хуже головы мужской,
Набитой спесью, чванством вечно,
И тем не менее—пустой!

Необычайно видеть восхваление ножек в стихах «На кончину».

«А ножка, ножка, Пушкина мечты!» восклицает М. Демидов, вспоминая в элегии изящество покойницы («На кончину ***»—Каллаш. «Puschkiniana», I, 119). Князь Вяземский ставит вопрос, что изящнее—ножки варшавянок, или их обувь. В Варшаве много

...ножек стройных,
Мой Пушкин, строк твоих достойных
И так обутых, что едва ль
Их обнажить было б не жаль.

(Каллаш. «Puschkiniana», I, 81.)

Миниатюрность ножек доводится у некоторых до комизма: они «немного больше чайных ложек», не ножки, а «ноженочки». Н. Медведенко в довольно плохих стихах воспевает «московскую девушку» Катеньку

...ножкой своей миленькой
Чуть трогая паркет,
С такой танцует легкостью,
Как будто ее нет.
Я этим двум ноженочкам
Подобных не видал;
И лучше б—клянусь честию—
Сам Пушкин не желал.

Нет недостатка и в пародиях. Скоро после появления первой главы «Онегина» в «Благонамеренном» печатается стихотворение «Ангелике», где восхваляются ручки («О ручки, ручки золотые!») и в примечании указывается «к сочинению сих стихов дало повод автору прекрасное обращение к ножкам в поэме Евгений Онегин» (Каллаш. «Puschkiniana», I, 62).

В 1834 г. под псевдонимом «Касьяна Русского» выходит в свет отдельной книжкой пародийная повесть «Две гробовые жертвы». Здесь, следуя вообще за Пушкиным в описании героини, автор старается быть игривым.

. . . .
Была маркиза молодая
Долин Прованса лучший цвет,
Красавицей в семнадцать лет,
Короче,—вот ее портрет:
Стройна как тополь полевая,
Бела как лилия, как снег...
. . . .
Читатель может заглянуть
В любой роман и ряд жемчужных
Прибавить от себя зубов...
И негой дышущую грудь
И пару востроносых ножек,
Немного больше чайных ложек,
За Пушкиным в счастливый путь,
Еще прибавить что-нибудь
По вкусу своему и нраву,
Что по цензурному уставу
Здесь, спотыкаясь и скользя,
Мне высказать никак нельзя.

В том же году выходит роман в стихах Н. Карцова «Семейство Комариных», где автор обнаруживает довольно тяжеловатую игривость.

Хоть я женатый человек,
Но признаюсь тебе, читатель,
Я милых ручек обожатель.
В наш просвещенный умный век
Об ножках много говорили,
Их Пушкин по свету пустил,
Он пару ножек расхвалил—
За ним их сотни расхвалили.
Но согласись, читатель мой,
Что в ножке башмачек пленяет,
А ручка просто восхищает
Своей открытой красотой.

Но «ручкам» не так повезло в русской поэзии, на смену пушкинским ножкам входят в моду бенедиктовские кудри («кудри девы-чародейки»), вызвавшие тоже ряд подражаний, но эта мода скоро проходит, а затем другие времена, другие песни: являются другие мерила для выражения женской привлекательности.

VI

В своей статье «Поэтическая оценка Пушкина современниками» Каллаш во многих местах касается и личных отношений поэтов к Пушкину, но—согласно своей

общей тенденции все сводить к миру, благоволению и восторгу—исключительно только дружеских. Только вскользь (стр. 53), явно не желая омрачать своего празднично-юбилейного настроения, упоминает он о каких-то «невероятных, позорящих слухах», распространяемых так называемыми «приятелями», при чем в примечании называет по имени одного из таких лжеприятелей—Аркадия Родзянко. Выходит необычайно просто: Пушкин бывал не раз «жертвой клеветы и мстительных невежд», что еще выше поднимает его ореол и должно усиливать симпатии к нему как к человеку. Конечно такая елейная точка зрения совершенно не учитывает всей сложности и разнообразия человеческих взаимоотношений. Мы знаем, что и Пушкин не всегда был прав. Ивана Ермолаевича Великопольского нельзя отнести ни к разряду «клеветников», ни к «мстительным невеждам», личная репутация его стоит очень высоко, и в его конфликтах с Пушкиным, история которых теперь достаточно известна, беспристрастные исследователи (Модзалевский и другие) склонны становиться на сторону Великопольского.

В своей статье Каллаш совсем не упоминает Великопольского, в сборниках же есть несколько его стихотворений о Пушкине, но нет двух самых интересных. В одном «Пушкину по прочтении некоторых из его сочинений» (1828) этот современник великого поэта затрагивает тему о Пушкине и маленьких поэтах, к каким конечно причисляет и себя. Для них читать Пушкина не только «радость», но и «мученье». Какой смысл в их творчестве, если рядом существует такой гигант? Сравняться с ним невозможно, а в таком случае стоит ли писать? Приведем конец этого стихотворения.

Но, Пушкин, послан ты меж нас
Поэтам в радость и мученье!
Твой вдохновенный дивный глас
Вливает в сердце упоенье.
Тебе во сретенье иду,
К тебе наполненный хвалою,
И не один я пред тобою
Перо задумчиво кладу.

В 1836 г., по прочтении первых трех томов посмертного издания сочинений Пушкина, где Великопольский нашел неожиданно для себя неизвестную ему эпиграмму на него Пушкина, он пишет памяти поэта стихотворение «Мое мщение», где в начале дает резко отрицательную характеристику обидчику:

Собраньем разноцветных зол
Весь окружившийся, как рамой,
Кого ты в жизни не колол,
Кого не резал эпиграммой!
И я попал под острие
Неугомонное твое.

Но вслед затем Великопольский сейчас же и оправдывает Пушкина:

Ты был поэт и ты по праву
Других расценивал стихи...

Месть Пушкину будет заключаться в восхищении перед его творчеством при забвении всех личных обид:

...без злопамятья и зноба,
Которым бьет другого желчь,
У твоего я стану гроба;
Твою восторженную речь,
Твои восторженные грезы
Себе на память приведу
И, уронив на прах твой слезы,
Довольный мщеньем отойду.

VII

Особый интерес в списке наших дополнений представляют пять стихотворений: Перцова, Милькеева, Крапоткина, Степановой и К. Б., печатаемые с рукописи, и два стихотворения на смерть Пушкина, затерянные в редких сборниках стихотворений «Эхо берегов Сосны» Ивана Суслова и «Стихотворения унтер-офицера Лихачева». Во второй из названных книг в примечаниях есть интересные указа-

ния биографического характера: по словам составителя этого примечания, Пушкин, в бытность свою в Москве у князя Шаликова, изъявлял желание познакомиться с этим Лихачевым. Стихотворение Степановой как произведение неизвестного автора было приведено в «Воспоминаниях Андрея Мих. Достоевского»: оно нравилось братьям Ф. М. и М. М. Достоевским, и они это стихотворение знали наизусть и не раз декламировали («Воспоминания А. М. Достоевского». Изд-во писателей в Ленинграде, 1930, стр. 79).

Эти семь стихотворений, а также примечания о Лихачеве и о его отношении к Пушкину считаем нужным привести целиком. Об остальных произведениях даем только необходимые библиографические сведения в списке.

Принципы отбора материала те же, что и у Каллаша, с двумя только исключениями: не включались в список те произведения, которые только предположительно могут быть относимы к Пушкину: в сборниках Каллаша есть ошибочные приурочивания к Пушкину. Излишним считали мы также включать, как это делал Каллаш, произведения, не имеющие прямого отношения к Пушкину, а только к окружению его: стихи о лицее, о пушкинской плеяде вообще и т. д. Таким образом мы старались брать

1) стихотворения целиком или отдельными строчками, говорящие о Пушкине или о его произведениях;

2) пародии на него и явные отклики стихами на стихи;

3) сознательные подражания, т. е. только те, которые в подзаголовках самими авторами обозначены как подражания.

Стихи, имеющие только эпиграфы из Пушкина, но не являющиеся прямым раскрытием или оспариванием этого эпиграфа, нами не брались на учет. Каллаш надеялся путем ряда дополнений достигнуть не относительной, но и почти абсолютной полноты материала. Наши дополнения отнюдь не претендуют на достижение этой конечной цели: это только очередной этап к ее достижению.

I

ПУШКИНУ

Счастлив любимец наслажденья,
Свободу в сердце утаив;
Счастлив причастник вдохновенья;
Ты, мой поэт! вдвойне счастлив.
Сама судьба ковром богатым
Тебе устлала жизни путь.
Любовь была твоим пенатом,
Веселий чистых ароматом
Дышала пламенная грудь.
Чтя неба волю роковую,
Ты беззаботно юность вел,
Хоть промысл тучу громовую
Вдруг на главу твою навел.
Ты злополучьем был украшен;
Гордись бедой своей, поэт!
Так год пожаров и побед
Сгромил верхи кремлевских башен;
Но снова годы тишины
Их красоте изумлены;
И пусть все в мире время косит,—
Тебе ль робеть? Ты свой удел
В стихах златых запечатлел:
Твоих веселий сердце просит,
Твоя печаль наводит грусть,
И девы помнят наизусть
Твои сердечные куплеты.
Как часто юные поэты,
Плетя на твой узор цветы,
Кончают рифмами твоими,
И рады б знать твои грехи,
Чтоб исповедываться ими.

Перцов

(Гос. Историч. Музей. Архив Киреевского, № 27.)

II

ЗНАМЕНИЕ 1837 г. Четверг.

На небе зрели ль вы багровое сиянье.
Как бы кровавое огромное пятно,
Глубокой язвы излиянье?..
Над русскою землей краснелося оно.
Сребристая звезда в том зареве сверкала
Алмаза хладного безжизненным лучом,
Как будто не живым огнем
Она сияла;
Маячила в багровой мгле
Как пламень вечности у смерти на челе...
На берегах Невы, внимайте плач и стон!
Рыдает муза там, в обломках стонет лира.
И Феб летит за небосклон,
Скрывая скорбь от взоров мира.

К. Б.

Примечание автора. Пушкин ранен был перед самым закатом солнечным, а знамение это было за две недели.

(Из тетради стихов разных авторов конца 30-х годов.)

III

СОНЕТ

Где он, царь звуков вдохновенный,
Сердец могучий чародей;
Лучами славы озаренный,
Блестящий гений наших дней.
Певец Украйны возмущенной,
Кавказа диких сыновей,
И дев Тавриды отдаленной,
Любви и неги и страстей.
Его уж нет! Судьбы коварной
Удар губительный и странный
Сразил поэта в цвете лет.
И только свиток песен дивных
Волшебных, сладких, заунывных,
Нам Пушкин передал в завет.

Кн. Крапоткин

(Из той же рукописной тетради конца 30-х годов.)

IV

К ПОРТРЕТУ ПУШКИНА

В болезненных чертах, страданьем заклейменных,
Сверкает пламень дум летучих, вдохновенных
И, трогательно полн высокой грусти, взор
Льет, кажется, судьбе таинственный укор.
Как звук, умолкнувший нечаянно и странно,
Как пламень алтаря, потухнувший нежданно,
Певец наш истинный, мгновенно ты угас
И скрылся в мир другой, неведомый для нас.
Ты был родным певцом великого народа,
И голос твой шумел, как русская погода,
Был горд и величав, как наши небеса.
И в радугах сверкал и лился как роса;
И снегу белого был чище, холоднее,
Был громче, звонче льду и стали был острее.

Е. Милькеев

(Архив ИРЛИ 9669 LVIII, б. 9.)

V

НА СМЕРТЬ ПУШКИНА

Нет поэта, рок свершился,
Опустел родной Парнас,
Пушкин умер, Пушкин скрылся
И навек покинул нас!
Север, север! Где твой гений?
Где певец твоих чудес?
Где виновник наслаждений,
Где наш Пушкин? Он исчез!
Да, исчез он, дух могучий,
И земле он изменил.
Он вознесся выше тучи
И взлетел туда, где жил.

М. Степанова

(Из альбома, находящегося в Мурановском архиве).

Эти стихи вписаны в альбом Екатерины Федоровны Тютчевой, младшей дочери поэта от его первого брака, ее институтской подругой М. Степановой. Перед этими стихами переписано знаменитое стихотворение Лермонтова на ту же тему со следующей припиской: «C'est bien beau, Katiche, n'est ce pas? Mais un peu trop libre. Je veux t'écrire d'autres vers sur le même sujet, qui font justement contraste à ceux la» («Это прекрасно, Катиш, не правда ли? Но пожалуй чересчур вольнодумно. Мне хочется написать тебе другие стихи на ту же тему, но в совершенно противоположном духе»).

За сообщение этого стихотворения приносим благодарность К. Пигареву.

VI

ПОЛЕВОЙ ЦВЕТОК

на могилу А. С. Пушкина
(1837)

Тому назад одно мгновенье
В сем сердце билось вдохновенье.

Пушкин

Еще на лире Аполлона
Мгновенно квинта порвалась,
Еще, приюченный у трона
Поэт, пленитель душ, угас.
О Пушкин! лютая стрела
Таланта лет не пощадила,
Смерть—достояние взяла,
Ты спишь, тиха твоя могила...
Но твой Руслан, твой Годунов,
Фонтан, Онегин и Полтава,
Как Этна чувств, как мыслей лава,
Жить будут в памяти веков.

И. Суслов

(«Эхо берегов Сосны». Стихотворения И. Суслова. М., 1844, ч. II, стр. 70.)

VII

ФАНТАЗИЯ

(При известии о смерти А. С. Пушкина)

Не грустите, не смущайте
Тяжкой скорбию сердца!
Горьких слез не проливайте
В память милого певца.
Не любил он в жизни скуки,
Хоть порою и грустил;

Но в последний час разлуки
Нас улыбкой озарил.
Ах, последуйте совету:
У любимых лип и вод
В память милому поэту,
Соберемся в хоровод!
И настроивши цевницы
На коврах родных холмов
Огласим приход денницы
Песнью стройных голосов.
Из неведомого света
Пусть в укор судьбине злой,
Тень утешится поэта
Нашей радостью земной!
Пусть узнают, что сердцами
Свято чтим мы дружбы долг..
Что весельем, не слезами
Побеждаем злобный рок!..
Нет, не вовсе небесами
Взят от нас он... в сей стране
Он бывает между нами
Невидимкой на земле!
На брега ль Днепровски холмны
Наш направим скорый шаг,
Где Владимир, счастья полный,
Пировал Людмиллы брак?..
За Кубань ли, где изменник
Дышит местью Эльборус,
Где страдал наш русский пленник
От любви и рабских уз?
В древни ль ханские гаремы,
Где шумит любви завет:
Смерть ревнивыя Заремы
За Мариею во след?
В Бессарабские ли степи,
Где Алеко кочевал,
Где медведь могучий в цепи
Пред Земфирою плясал?
На поля ли русской славы,
Где царя, отчизны друг
Иль, в виду родной Полтавы,
От изменнических рук?
Торжествуем ли мы праздник,
Иль у Лариных в гостях,—
Всюду Пушкин, наш проказник!..
И на Невских берегах
Созерцает наши нравы,
Поступь, речи, цвет лица,
Быт искусственный, лукавый,
И неверные сердца!..
Где живем, где только дышим,
Иль вкушаем краткий сон,
Сердцем чувствуем и слышим—
Пушкин с нами... всюду он!
Не грустите ж, не смущайте
Тяжкой скорбию сердца!
Горьких слез не проливайте
В память милого певца!
Он пред смертию, без скуки,
Дал улыбкой нам понять:
После временной разлуки
С ним увидимся опять!..

Егор Лихачев

Примечание издателя к вышеприведенному стихотворению.

Хотя кн. П. И. Шаликов, в бытность у него Пушкина в доме, в 1826 году, в Москве, и рекомендовал заочно ему Лихачева, но видеться они не имели случая. Когда А. С. Пушкин посещал князя Шаликова, Лихачева у него не было, а когда последний приходил с тем, чтобы иметь счастье познакомиться с великим поэтом, к сожалению, его, Пушкина, тогда не было у кн. Шаликова. Однако ж, не взирая на то, Лихачев сильно сочувствовал Пушкину, и когда узнал о смерти Пушкина, горькими слезами почтил память его. Пушкин, как говорит сам Лихачев, однажды явился ему в сновидении.—С радушием и дружескою, светлою улыбкою, простирая к нему руку, он говорил: «о чем так сильно ты тоскуешь и плачешь, ведь мы с тобой не были знакомы? не были друзьями? Утешься, мой собрат! Мы скоро с тобой увидимся». Призрак исчез; и Лихачев проснулся в сильном волнении. При первом свидании он рассказал о том смоленским друзьям своим. «Тень великого поэта просит дани поминовения,— говорил ему один из них, Г. И. Станкевич,—напиши ему что-нибудь», и это стихотворение, вдохновенное сновидением, было тогда же написано.

(«Стихотворения унтер-офицера Егора Лихачева». Харьков, 1852 г.)

(Биографические сведения об авторе находятся в предисловии к данной книге.)

«Лихачев родился в 1807 году в деревне Каледеевой—Рожаново то же — (Ярославской губернии, Моложского уезда) от помещичьего крестьянина... ремеслом маляра по экипажной части. Оставшись сиротою на втором году своей жизни, он, в 1811 г., по приказанию владельца деревни г. Губина, был доставлен к нему. Как г. Губин не имел детей, то этот мальчик был для него и супруги его утешением, которому по возможности давали воспитание».

Наставник Лихачева был отставной фельдфебель, который «находил самым полезным для Лихачева упражнением записывание прихода и расхода по дому своего господина». Громадное значение для Лихачева имел приезд к помещику его племянника, только что окончившего московский университет. «Молодой Губин... подарил Лихачеву привезенный ему из Москвы курс словесности и сам руководил по нем Лихачева»... «Когда молодой Губин чрез несколько лет (1823 г.) приехал к своему дяде для празднования своего брака, Лихачев поднес ему оду». «Напрасен был восторг молодого Губина, возбужденный чтением оды; напрасны были убеждения посетителей дать даровитому мальчику дорогу к высшему образованию. Старый Губин... говорил, что ни за какие блага его от себя не отпустит». Помещику очевидно приятно было при случае прихвастнуть, что его крепостной, бывший у него чем-то вроде казачка, пишет стихи, как заправский поэт. «Слепушкин еще тогда не был там известен. Губин, как старый помещик, имел большой круг знакомых; был хлебосол; часто собирал роскошные дружеские беседы, среди которых нередко раздавалась лира его доморощенного певца. Разъезжая по соседям, он всегда брал с собою Лихачева, называя его своим пажем».

В 1826 г., во время коронации Николая I, Лихачеву пришлось быть в Москве. Здесь он имел случай познакомиться с П. А. Свиньиным, который с увлечением занимался тогда разыскиванием даровитых русских самоучек, и также с Шаликовым и профессорами Каченовским и Мерзляковым. «Свиньин подарил ему несколько номеров своих «Отечественных Записок», рассказал историю вывода им на сцену литературы Слепушкина, сделал ему несколько полезных наставлений и записал в своей памятной книге его имя, отечество и фамилию; князь Шаликов подарил Лихачеву полное собрание стихотворений г-жи Буниной и учебную книгу словесности, изданную тогда для воспитанников Московского университетского пансиона». В это же время чуть не познакомился Лихачев и с Пушкиным, которому о нем говорил Шаликов.

Дальнейшая биография Лихачева нам уже менее сейчас интересна. Отметим только, что вскоре после этого «господин его умер, не успев ничего сделать для обеспечения будущности своего «поэта». Лихачев вступил в военную службу»... В год смерти Пушкина он уже был унтер-офицером в Смоленске.

ПРИЛОЖЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК СТИХОВ О ПУШКИНЕ

(1820—1840)

Дополнение к сборникам Каллаша

1) Булгарин Ф. Ну как рассеять горе Тани?
(Иронический пересказ в шестистишии содержания VII гл. «Онегина», вставленный Булгариным в его рецензию на эту главу.—«Северная Пчела» 1830, № 35).

2) Б. И. Уехал друг!
. . . .
...Есть роман—граф Нулин...
(Несколько строк о «Графе Нулине» И. Б. «Уехал друг». М., 1828, стр. 15).

3) Б. К. Знамение (1837).
На небе зрели ль вы багровое сиянье?
(Стихотворение на смерть Пушкина. Рукопись. Альбом конца 30-х годов).

4) Великопольский И. А. С. Пушкину. Эпиграмма (1830).
Не говори, что я трясу.
(Щукинский сборник. В. 10-й, М., 1912 г., стр. 360).

5) Великопольский И. Мое мщение (1838).
Собраньем разноцветных зол.
(*Щукинский сборник*. В. *10-й*. М., 1912, стр. 361).

6) Великопольский А. С. Пушкину по прочтении некоторых из его сочинений (1828).
В пылу восторженных волнений.
(Щукинский сборник. В. 10-й, М., 1912, стр. 360).

7) Данилевский Н. Александр Пушкин (1837).
Свершился жребий неизменный.
(Эта «пародия на оду Пушкина «Наполеон» опубликована была Б. Модзалевским с рукописи в издании «Пушкин и его современники», вып. XXVIII, стр. 111—116).

8) Карцов Н. Семейство Комариных. Роман в стихах (М., 1834).
(Между прочим о воспевании «ножек» вслед за Пушкиным.)

9) Касьян Русский. Две гробовые жертвы. Рассказ о главе VI с эпиграфом.

Ее пленительные очи,
Яснее дня, чернее ночи.
Пушкин.

Была маркиза молодая...
(О Пушкине между прочим в связи с «женскими ножками» «Две гробовые жертвы». Рассказ Касьяна Русского. М., 1834, стр. 21.)

10) Козлянинов А. Предисловие.
. . . .
Жуковский, Батюшков, Воейков,
Пушкин юный.
. . . .
(Одно из самых ранних упоминаний (в стихах) о Пушкине рядом с Жуковским и Батюшковым.
«Урывки времени». Собрание сочинений Андрея Козлянинова. СПБ., 1820, стр. III.)

11) Кольцов А. Соловей. Подражание Пушкину (1831).
Пленившись розой, соловей.
(Каллаш не отказывался от включения в свои сборники и таких стихотворений, которые имеют авторское обозначение: подражание Пушкину, как например «Мой демон» Великопольского, но пропустил стихотворение с таким же обозначением Кольцова.
Вошло в «Стихотворения А. Кольцова», 1846.)

12) Косяровский И. Именины. Отрывок из поэмы.
. . . .
Пусть Ольга Пушкина румяна.
(Обещание реабилитировать перед читателями Пушкина Ольгу Ларину.— «Северный Меркурий» 1831, № 28, стр. 115.)

13) Кропоткин Д., кн. Сонет (1837).
Где он, царь звуков вдохновенных.
(Стихотворение на смерть Пушкина. Рукопись.)

14) Лермонтов. Казначейша.
. . . .
Пишу Онегина размером,
Пою, друзья, на старый лад...
(Напечатана впервые в «Современнике» 1838, т. XI, № 3.)

15) Лихачев Е. Фантазия. (При известии о смерти Пушкина) (1837).
Не грустите, не смущайте...
(«Стихотворения унтер-офицера Егора Лихачева». Харьков, 1852, стр. 47—50.)

16) Медведенко Н. Сатира.
Маляр наш славный, пан Хвостин...
(Басня о маляре, начавшем писать стихи: «Авось я Пушкина России заменю».—Вадемекум. Стихотворения Н. Медведенко. М., 1839, стр. 94—95.)

17) Медведенко Н. Песня.
На бале встретил Катеньку.
(О Пушкине в связи с описанием женских ножек.—Вадемекум. Стихотворения Н. Медведенко. М., 1839, стр. 113—115.)

18) Милькеев Е. К портрету Пушкина.
В болезненных чертах, страданьем заклейменных.
(Рукопись. Бумаги Милькеева. Архив ИРЛИ.)

19) Муравьев Н. Котильон. Глава из романа «Ленин».
. . . .
«Как Ленский Пушкина живой.
(Упоминание о Ленском.—«Котильон, глава первая из стихотворного романа Ленин, или жизнь поэта» Н. Н. Муравьева. М., 1829, стр. 43.)

20) Перцов. Пушкину.
Счастлив любимец наслажденья.
(Рукопись. Гос. Ист. Музей. Архив Киреевского, № 27.)

21) Полежаев А. Сашка (1825—1826).
Мой дядя, человек сердитый...
(Подражание первой главе «Онегина», местами переходящее в пародию. «Стихотворения Полежаева» под ред. Ефремова. СПБ., 1889, стр. 445—473.)

22) Полежаев А. Эрпели (1830).
. . . .
(Упоминание о Пушкине как певце Кавказа.
«Эрпели» и «Чир-Юрт». Две поэмы А. Полежаева. М., 1832.)

23) Полежаев А. К друзьям (1830—1831).
. . . .
«Я пережил мои желанья»
Я должен с Пушкиным сказать...
(Сочувственное цитирование строк Пушкина о балах «люблю я бешеную младость» и т. д.
«Стихотворения Полежаева» под ред. Ефремова. СПБ., 1889, стр. 76.)

24) Пушкин В. Капитан Храбров (1821—1829).
(Упоминание о Татьяне Лариной. Сочинения В. Л. Пушкина. Прил. к ж. «Север», СПБ., 1893, стр. 110.)

25) Соловьев Ф. Издатели альманаха (1829).
. . . .
Нам нужны Пушкин, Баратынский.
(Разговор об издании альманаха. «Полярная Звезда». Карманная книжка на 1832 г. М., 1832, стр. 6.)

26) Соловьев Ф. «Московский пленник». Повесть в стихах.
В обширных комнатах, на стульях.
(Пародия на «Кавказского пленника». «Московский пленник». Повесть в стихах Ф. С. М., 1829; ранее «Атеней» 1829, IV, 316.)

27) Станкевич Н. и Мельгунов. «Калмыцкий пленник». Отрывок из романтической поэмы (1832).
Этьен и бледный и печальный.
(Пародия на «Кавказского пленника» Н. В. Станкевича. Стихотворения, трагедия, проза. М., 1890, стр. 31—32; ранее «Молва» 1832, стр. 297—298.)

28) Степанова М. На смерть Пушкина.
Нет поэта; рок свершился.
(Рукопись. Альбом Е. Тютчевой в Мурановском архиве.)

29) Суслов И. Старина с новыми противоположностями. III.
И шевелится эпиграмма
Во глубине моей души,
А мадригалы им пиши.
Пушкин.
. . . .
Надо б грянуть эпиграмму,
А ей пишут мадригал.
(Шуточное стихотворение. Сравнение старого века с новым. «Эхо берегов Сосны». Стихотворения И. Суслова. М., 1844, ч. II, стр. 14.)

30) Суслов И. Укор ревнивцу
. . . .
Держишь все про Черномора
Давний Пушкина рассказ.
(Это стихотворение, как и предыдущее, взято нами из книги, изданной в 1844 г., но по некоторым данным написано было вероятно до 1840 г. «Эхо берегов Сосны». Стихотворения И. Суслова. М., 1844, ч. I, стр. 115.)

31) Суслов И. Полевой цветок на могилу Пушкина (1837).
Тому назад одно мгновенье
В сем сердце билось вдохновенье.
Пушкин.
Еще на лире Аполлона.
(«Эхо берегов Сосны». Стихотворения И. Суслова. М., 1844, ч. II, стр. 70.)

32) Суханов М. Розовый куст и пустоцвет. Басня.
На берегу прозрачного ручья.
(Басня, осмеивающая бездарных подражателей Пушкина. Басни, песни и разные стихотворения крестьянина Михаила Суханова. СПБ., 1828, стр. 20—21.)

33) Толстой Ф. (Американец). Эпиграммы на Пушкина.
Сатиры нравственной язвительное жало.
(«Литературная Мысль». П., 1923, стр. 237—238.)

34) Трилунный. Онегин и Татьяна, или прерванное свидание. Комедия водевиль. (Отрывки.)

(Стихотворения Трилунного. Альманах на 1830 г., ч. I, стр. 89—112.)

35) Ч. А. Эпитафия Пушкину (1837).

Где Пушкин наш?

(Рукописное четверостишие. Видеть не удалось. По некоторым предположениям должно было быть в «Остафьевском Архиве».)

Стихи анонимных авторов.

36) Разговор книгопродавца с поэтом (1826).

. . . .

Автор: И хоть совсем не Пушкин я...

(Разговор этот помещен в начале книги «Евгений Вельской». Роман в стихах. Глава I. М., 1828, стр. I—XI. Каллаш использовал только одно место о Пушкине на стр. V—VII, тогда как на последующих страницах встречаем еще несколько мест о Пушкине и его романе. В виду этого указываем это произведение как дополнение.)

37) Евгений Вельской. Роман в стихах. Глава первая (*стр. 1—44*). *М., 1828.*

«Подвинь свой стул ко мне, Евгений». (Эта пародия-подражание «Онегину» совершенно не исследована Каллашом, кроме вышеуказанного «Разговора».)

38) Евгений Вельской. Роман в стихах, глава II и III. М., 1829.

«В Москве и за Москвой рекою». (Эти главы, в которых несколько раз говорится о Пушкине, например на стр. 42 и 44, повидимому остались совсем неизвестны Каллашу и использованы им не были.)

39) Иван Алексеевич или Новый Онегин. Глава первая. Воспитание.

. . . .

Все тут есть и о преданьях...

(Пародия на первую главу «Онегина».— «Галатея» 1829, VII, стр. 146. Подпись: «Неизвестный».)

40) На смерть Пушкина (1837).

. . . .

Прости, жена, моей могилы

(Отрывки из стихотворения цитируются в статье И. Шляпкина «Заметки о Полежаеве».—«Русский библиофил» 1913, № 3, стр. 95.)

41) На смерть Пушкина (1837).

На встречу двое шли...

(*«Пушкин и его современники», вып.* XXI—XXII. П., 1915, стр. 400—401. Из Архива Вревской).

„НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПУШКИНЕ"

НЕЛЕГАЛЬНАЯ БРОШЮРА САРАТОВСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ К ПУШКИНСКОМУ ЮБИЛЕЮ 1899 г.

Сообщение Роберта Майер *

Девяностые годы—исходный период возникновения и дальнейшего развития социал-демократических кружков в Саратове. Наиболее значительным и основным кружком этого периода следует считать «Саратовскую социал-демократическую рабочую группу», основное ядро которой (к 1898—1899 гг.) составляли поднадзорные студенты, высланные из Харькова, Москвы и других городов, поднадзорные рабочие из Златоуста и других городов и местные рабочие саратовских железнодорожных мастерских, завода Беринг и Стального завода. В 1898—1899 гг. эта группа развернула очень интенсивную пропаганду с широким охватом рабочих, не только устную, но и печатную, прекращенную жандармским разгромом и арестом всей группы в августе 1899 г. Социал-демократическая работа конца этого периода характеризуется для Саратова: переходом от кружковой к массовой политической и экономической пропаганде среди рабочих; сочетанием экономической и политической борьбы против правительства и фабрикантов с указанием на необходимость создания своей единой организации для закрепления своих завоеваний; преодолением остатков народничества и борьбой против возникших мелкобуржуазных эсеровских групп; организацией «кассы взаимопомощи и борьбы»; организацией нелегальной библиотечки с марксистской литературой и появлением в марте 1895 г. ленинского текста «Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов»; попыткой территориального объединения социал-демократических групп Саратова с организациями крупнейших промышленных городов Юга и отчасти Урала. Эта оживленная революционная работа в Саратове несомненно стоит в прямой связи с общим процессом промышленного подъема 90-х годов, который в 1898—1899 гг. в Саратовской губернии отмечается началом стачечной борьбы, сильными крестьянскими возмущениями и большим наплывом политических поднадзорных. Но саратовские социал-демократические группы далеко не были свободны от политических болезней, типичных для начавшегося с 1898 г. периода «разброда, распада, шатаний» (Ленин). Эти отступления и шатания объяснялись слабостью местного рабочего движения, недостаточно высоким уровнем пролетарского классового самосознания, слабой организованностью (обнаружившихся со всей ясностью после арестов) и отсутствием четкой и выдержанной революционной программы действия и руководства.

Нелегальная брошюра «Несколько слов о Пушкине» была издана саратовской социал-демократической рабочей группой в пушкинские юбилейные дни по поводу столетия со дня рождения поэта в 1899 г. Это одно из первых печатных политических выступлений саратовской группы. Документы Саратовского губернского жандармского управления (дело Сар. Губ. Жанд. Управления № 95 за 1899 г., ч. I) рассказывают историю этой брошюры следующим образом:

* Сообщение построено на материалах Саратовского Краевого Архивного Управления.

«13 мая около 5 часов пополудни во вновь открытой пивной по Астраханской улице собрались для знакомства с вновь неизвестным интеллигентом, который будто бы хочет заступить вместо Зиновьева, т. е. Фофанова, следующие лица: Гартман, Терешкин и Егоров. Когда они пришли к назначенному времени, то интеллигент был уже там. Приметы его: выше среднего роста, имеет небольшую бородку, носит пенснэ, волосы на голове отросшие, одет в черное пальто и коричневый пиджак, шляпа черная с проломом (принятыми мерами установлено, что это есть быв. студент Горного Института Конрад Сигизмундов Касперович). Сказанный интеллигент сообщил собравшимся: «Мы будем праздновать 26 мая не в честь Пушкина, как приготовляются все праздновать, а мы будем праздновать свой праздник 1 мая». (Журнал агентурного наблюдения сотрудника Щеглова, стр. 49, 50.)

«Назначенное на 23 мая сборище мастеровых не состоялось вследствие производимых экстренных работ в мастерских железной дороги до часу дня. Но между рабочими есть слух, что к предстоящему празднованию в память Пушкина идут большие приготовления, при этом указано как на особенно важные квартиры Шутарина, Хазина и Лушникова» (стр. 50, 51. Там же).

«28 мая Хазин, встретив сотрудника (провокатора группы.—*Р. М.*), спросил у него читал ли он книжечку о Пушкине и когда сотрудник ее похвалил, то было заметно, что Хазин был этим видимо очень доволен.

Того же числа по окончании работы Лушников привел в мастерские Малинина и Касперовича, которые оставались там с Хазиным очень долгое время.

При сем сотрудник представил книжечку под заглавием «Несколько слов о Пушкине 26 Мая 1899», в 11 стр., полученную от Шутарина. По сведениям сотрудника таких книжечек между рабочими распущено много» (стр. 52, 53. Там же).

«...в мае месяце с. г. в квартиру его (маляра ж.-д. мастерских Петра Ив. Васильева.—*Р. М.*) приносил и оставлял для чтения «Листок Работника» и книжечку о памяти Пушкина—жестянщик тех же мастерских Петр Наумов. (Донесение вахмистра Егорова от 5/VI 1899 г. № 100 Начальнику СГЖУ.)

«9 июня Егоров дал сотруднику (провокатору.—*Р. М.*) брошюру, отпечатанную на гектографе, под названием «Несколько слов о Пушкине. 26 мая 1899». Несколько экземпляров такой же брошюры Егоров хотел передать и Ткачеву для завода Беринга. Такую же брошюру ждала на днях получить Рукавишникова от кого-то из интеллигенции». (Журнал агентурного наблюдения сотрудника Быкова, стр. 38.)

(18 июня) «Еще Рукавишникова сообщила, что брошюра о Пушкине у ней была и между прочим сказала, что у интеллигенции по поводу ее был спор. Так, по мнению одной стороны интеллигенции, называющей себя социал-демократами, брошюра написана в отрицательном духе, т. е. в духе народническом, с умалчиванием о некоторых произведениях и об их хорошей стороне.

Другая часть интеллигенции, т. е. народники, утверждают, что в брошюре сделана настоящая оценка Пушкина на основании его произведений» (стр. 39, 40. Там же).

«...в Саратове за последнее время образовалась группа революционных деятелей, состоящая преимущественно из лиц высланных из разных учебных заведений студентов, которые задались целью как ведение пропаганды среди рабочих преступных революционных идей, так равно издание таковых революционных сочинений, из коих ими в последнее время изданы гектографским способом следующие:

1. Брошюра под заглавием «Саратовский Рабочий» № 1, издание Сар. с.-д. группы в 36 стр.
2. «Сарат. Рабочий» № 2 в 45 стр.
3. «Несколько слов о Пушкине. 26 мая 1899 г.»
4. Письмо к Екатеринославским рабочим.
5. Воззвание от Рос. соц.-дем. партии.

(Донесение Нач-ка СГЖУ в Департамент Полиции от 31/VII 1899 г. № 3500, стр. 25.)

В мемуарной литературе о брошюре упоминается в воспоминаниях Н. И. Малинина[1] и Г. А. Лушникова[2]—оба активные участники Сарат. соц.-дем. раб. группы 1898—1899 гг. Г. А. Лушников рассказывает:

«В конце мая была выпущена листовка приблизительно в трехстах экземплярах, приуроченная ко дню столетия рождения Пушкина, под заглавием: «Несколько слов о Пушкине». В выпущенной листовке, насколько помню, говорилось, что рабочим нет дела до юбилея, т. к. Пушкин поэт не рабочий (мы в это время увлекались Некрасовым), что он дружил с царем, изменил декабристам и воспевал только знать» («Коммун. Путь», Саратов, № 10/35, 1923 г., стр. 179).

Анализируя записи жандармских документов и текст брошюры, мы видим, что по существу брошюра была направлена непосредственно против существующего строя. Пушкин и юбилейная дата были избраны лишь мишенями, через которые удары направлялись по самым главным врагам рабочего класса—против самодержавия и буржуазии. С этой точки зрения основные политические установки этого документа, разоблачающие истинное лицо буржуазии и правительства и указывающие на непримиримую борьбу с ним путем объединения и создания единой парторганизации рабочего класса, не вызывают серьезных возражений. Что смысл, значение и сила брошюры были именно в критике самодержавия и буржуазии—об этом красноречиво говорит более поздний жандармский документ—протокол № 2 осмотра брошюры жандармским ротмистром Козловым.

Приводим полностью текст этого протокола (Дело № 102 Канцелярии Прокурора Саратовской Судебной Палаты о запасном унтер-офицере из крестьян дер. Паники, Кикинской волости, Вольского уезда Андрее Федотовиче Солдатове... 1900 г., стр. 7, 8):

«1900 года, декабря 9-го дня, в г. Вольске я, отдельного корпуса жандармов ротмистр Козлов, в присутствии нижепоименованных понятых произвел осмотр брошюры «Несколько слов о Пушкине», отобранной 5-го декабря у запасного унтер-офицера Андрея Федотова Солдатова, происходящего из крестьян деревни Паники, Кикинской волости, Вольского уезда приставом 2-го стана во время производства обыска у Солдатова по подозрению его в сбыте фальшивых монет, при чем оказалось: брошюра «Несколько слов о Пушкине» представляет из себя тетрадь размером $^1/_4$ листа писчей бумаги в одиннадцать страниц, не считая верхней обертки; на последней, кроме заглавия, имеется дата—26 мая 1899 года и рамка, сделанная, как и заглавие, гектографским способом фиолетовыми чернилами. Внизу под датой приложена штемпельная печать тоже фиолетового, но более яркого цвета. Имеет она вид шестерни (зубцы по краям) и в средине буквы «С. С-Д. Г.» Обертка с обратной стороны чиста.—Произведение это есть подпольное издание, начинается оно так: «26 мая этого года в обеих столицах и в большинстве провинциальных городов будут чествовать А. С. Пушкина...» Далее говорится, что правительство также содействует этому торжеству деньгами и личным участием и делается это в то время, когда миллионы крестьян в буквальном смысле слова мрут от голода и страдают от болезней. Народу нет причин чествовать Пушкина, так как он свой талант употреблял не на благо народа, а служил своим талантом эксплоататорам и потому достоин не уважения, а презрения: он был другом царя, дворянства и буржуазии, льстил им и угождал их развратным вкусам, доказательством чего служит то, что он был награжден 30-тысячной рентой и званием камер-юнкера, тогда как друзья народа награждены были ссылками и тюрьмой. Император Николай I называется рыцарем кнута и палки (стр. 5) и злым гением великой свободы (стр. 6), а он, т. е. Пушкин, поет хвалу удаву в мундире, душившему в железных объятиях тридцать лет Россию (стр. 7). Далее говорится, что отпраздновать 10-летие смерти истинного друга народа—Чернышевского едва ли позволят. Чернышевский понимал, что у поляков и русских рабочих один и тот же враг—русское правительство (стр. 8), и правительство, страшась его честного голоса, посадило его в тюрьму и бросило на каторгу, где он и пробыл четверть века. Вспомнить Чернышевского нам, конечно, не позволят—явятся солдаты и жандармы, чтобы разогнать и арестовать нас. Правительство не хочет, чтобы мы знали и почитали своих истинных друзей, чтобы мы собирались и обсуждали свои дела: оно жестоко преследует нас за каждую попытку организоваться для борьбы с нашими врагами. Праздник Пушкина справляется гласно, на площадях, а праздник труда (1 мая) подводится под государственное преступление. Правительство желает нас видеть разъединенными, потому что сознает силу организованных рабочих и боится ее. Русский рабочий должен добиваться права сходок, печати, рабочих союзов, а пока мы будем собираться и объединяться тайно и время от времени в организованных дружных стачках выставлять общие требования (стр. 10). Развитой рабочий сам поймет выгоды организации и неизбежность непримиримой борьбы с правительством, и для сего нужно свободное от труда время и потому присоединимся к великому могучему крику, объединившему рабочие партии всего мира: «Восемь часов для труда, восемь для сна, восемь свободных». «Твердая организация дает нам силу и крепость в борьбе. Нас можно разбить по одиночке, но все вместе мы непобедимы» (стр. 11).

Как видно по изложению содержания брошюры, данному жандармским ротмистром, личность и социальные корни творчества гениального поэта не являлись для него основным содержанием. Самое главное он видел в пропаганде революционных идей, которые уже в те годы основательно подтачивали и разрушали основы госу-

дарства. И с этой стороны брошюра может быть признана несомненно важным и удачным политическим документом деятельности саратовской группы. Слабая сторона брошюры—отказ от поэта и голое отрицание пушкинского наследства. Такая постановка вопроса была ошибочной, и ее ни оправдывать, ни доказывать в наши дни нет никакой необходимости. Пролетариат—законный наследник культуры прошлого, накопленной всей историей человечества, которую он критически переработает, и ему незачем уступать Пушкина, «незачем говорить: Некрасов наш поэт, а Пушкин ваш поэт,—оба наши» (Луначарский).

* * *

Публикуемый ниже текст нелегальной брошюры «Несколько слов о Пушкине» воспроизводится по экземпляру, обнаруженному 5 декабря 1900 г. у запасного унтер-офицера Андр. Федот. Солдатова[3] при обыске по подозрению его в сбыте фальшивых монет. Обыск был произведен в дер. Паники, Кикинской волости, Вольского уезда, Саратовской губернии. А. Ф. Солдатов за эту брошюру был арестован и освобожден 11 декабря 1900 г. с оставлением под надзором полиции. 28 ноября 1901 г. согласно высочайшего повеления дознание было разрешено в административном порядке, «с тем, чтобы вменить Андрею Солдатову предварительное содержание по сему делу под стражей». 31 декабря 1901 г. было объявлено Солдатову, и мера пресечения—особый полицейский надзор—отменена.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В начале сентября этого года, много позднее сдачи в набор предисловия, Истпартом Саратовского Крайкома ВКП(б) были получены от Н. И. Малинина, одного из основных руководителей саратовской группы тех лет, его воспоминания «История Саратовской Рабочей Группы 1899 г.» Непосредственным поводом к написанию этих воспоминаний послужила информационная заметка в саратовской газете о найденной в Саратовском Краевом Архиве брошюре «Несколько слов о Пушкине». В своем письме Истпарту Н. И. Малинин писал: «1-го июня настоящего года в Саратовской Правде я прочитал о брошюре Пушкина—издания Саратовской рабочей группы. Как член этой группы и автор значительной части этой брошюры я написал статью по истории этой группы, представляемую сейчас вам»... Тридцатипятилетняя давность, прошедшая со дня издания этой брошюры (1899 г.), не сохранила в памяти автора сколько-нибудь точного представления о ее содержании и, как мы увидим ниже, оно передается им в совершенно извращенном виде. Он цитирует даже приписываемое Пушкину четверостишие, которое отсутствует в брошюре и совершенно не вытекает из той отрицательной характеристики Пушкина и его литературного наследства, которая была дана группой поэту в этой брошюре. Независимо от этих весьма существенных искажений, воспоминания все же дают ряд интересных фактических данных, раскрывающих общественно-политическую обстановку, в которых была задумана и издана брошюра. Поэтому мы считаем крайне важным процитировать полностью ту часть воспоминаний, где автор говорит о брошюре. Вот оно: «Ближайшей причиной к возбуждению вопроса о типографии был столетний юбилей со дня рождения поэта А. С. Пушкина. Этот юбилей был организован самодержавным правительством, которое уже почувствовало падение своего авторитета среди народа и решило поправить свою репутацию организацией своего единения с народом. Но при этом оно забыло про гнусную игру, проделанную по отношению к Пушкину императором Николаем первым—Палкиным, по выражению Герцена, забыло про высылку Пушкина из Петербурга на юг России и про пожизненную пенсию, выданную гнусному убийце Пушкина—Дантесу. Правительство стремилось «заботу» царя о Пушкине представить попечением о культуре и закрыть юбилеем свое настоящее лицо. Рабочая группа почувствовала себя обязанной раскрыть глаза рабочим на новую провокацию самодержавия и сделать это в возможно широких размерах. Она поручила мне и товарищу Львову составить особую брошюру об юбилее и решила по одобрении содержания брошюры рабочими-передовиками издать брошюру в нескольких сотнях экземпляров. Брошюрой надо было доказать, что ненависть самодержавия ко всему чистому и свободному, характерная для самодержавия сейчас, была типична для него на всем протяжении истории и в частности на отношении его к Пушкину. Рабочие заинтересовались организованным правительством юбилеем и потребовали от группы раскрытия причины этого необычного шага правительства погромщиков. Эта брошюра открыла глаза рабочим на истинное отношение самодержавия к Пушкину, указала на систематическое преследование самодержавием ряда выдающихся

поэтов и общественных деятелей России и подчеркнула мысль о том, что лишь пролетариат, свергнув самодержавие, создаст условия, благоприятствующие росту культуры народа. Характеризуя отношение Пушкина к самодержавию, брошюра приводит следующее стихотворение Пушкина:

«Народ мы русский позабавим
И у фонарного столба
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим».

Эта брошюра говорит нам, как под непосредственным давлением самих рабочих раздвинулись задачи рабочего движения и как оно от экономических требований перешло к политическому обличению самодержавия. Ссылаясь на эту брошюру, мы утверждаем, что политическое возбуждение рабочего класса началось уже с конца XIX века... Через тридцать лет я, конечно, плохо помню содержание этой брошюры, заранее готов принять упреки за недостатки этой брошюры, происходящие от нашей недостаточной подготовленности, но должен сказать, что брошюра встретила самый горячий прием со стороны рабочих и разошлась вся в течение нескольких дней. Рабочих в особенности заинтересовала мысль о такой связи роста культуры с победами рабочего класса. Вечером самодержавие устроило по театрам спектакли с постановкой пьес Пушкина, устроило народные гулянья с иллюминациями, но благодаря брошюре и агитации рабочей группы пролетариат в этих празднествах не участвовал. В этот день за городом на горах мы устроили нелегальное собрание, собравшее более ста человек и носящее резко выраженный политический характер. После этого собрания один рабочий сказал мне, что этим собранием мы вбили еще один гвоздь в гроб самодержавия. Я понимаю, что сейчас, в момент величайшей революции, видевшей массу тысячных собраний, смешно говорить о значении нелегального собрания в сто человек где-то за городом. Но для правильной оценки этого собрания надо вспомнить обстоятельства того времени. Это собрание было за шесть лет до революции 1905 года, этого грозного оружия критики самодержавия пролетариатом. В 1899 году мы вырабатывали лишь критику оружия и собирали кругом партии массы рабочих. В то время такое собрание имело серьезное значение. Надо помнить, что в 1899 году в г. Саратове лишь началась подготовка рабочих к революции 1905 года»...

² Г. А. Лушниковым по просьбе Саратовского Крайархива сообщено о брошюре следующее:

«26 мая 1899 г. исполнялось столетие со дня рождения Пушкина. Группа местной либеральной интеллигенции решила ознаменовать это событие торжественным собранием в одном из театров или в о-ве «Изящных искусств». Точно не помню. К этому торжеству привлекли несколько человек рабочих с завода Беринг. Наша группа (С. С.-Д. Р. Г.—*Р. М.*) от участия в этом торжестве отказалась и ознаменовала пушкинский юбилей по-своему, выпустив листовку около 300 экз. под заглавием «Несколько слов о Пушкине». Насколько помню, в этой листовке говорилось о том, что рабочим нет дела до Пушкина, так как Пушкин поэт не рабочий, а барский: дружил с царем, изменил декабристам и воспевал только знать. Мы в это время увлекались Некрасовым; особенно его «Размышлением у парадного подъезда», «Русскими женщинами» и др., считая его истинно народным поэтом. Застрельщиком такого настроения был я, за что мне впоследствии «попало» от И. И. Ракитниковой (эсерка.—*Р. М.*). Ракитникова говорила, что действительно развитые рабочие оказались на заводе Беринга, которые были на торжественном вечере. (В юбилейные торжества среди организаций, возложивших венки, был и завод Беринга. А. Александров, Д. Лукьянов, А. Мартынов от рабочих завода Беринга возложили венок с надписью: «От мастеровых завода «Сотрудник» А. С. Пушкину». «Саратовский Дневник» № 111 от 27/V 1899, стр. 3.) Они поняли и оценили Пушкина, а мы своим поведением доказали свою некультурность, отсталость и т. д. Возражая Ракитниковой, я говорил, что еслиб Пушкин был действительно народным поэтом, он не написал бы своих возмутительных, барских возражений на книгу Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», где он показал себя как истый барич и крепостник, видевший в крепостном праве «благо» народа. Пушкин, несмотря на свой большой талант, вел праздную, разгульную жизнь, состоящую из одних развлечений, ухаживаний и карточной игры, и мечтал быть лейб-гусаром. Благодаря своим патриотическим стихам, он стал получать от царя жалованье как «высочайшую милость». Вообще, по нашему мнению, Пушкин был далек от народа, а стремился быть близким к знати, хотел быть царедворцем. Рассуждая таким образом, наша рабочая группа от участия в юбилее Пушкина отказалась».

[3] В своих показаниях на допросе жандармского ротмистра 8 декабря 1900 г. в г. Вольске, Саратовской губернии А. Ф. Солдатов так рассказывает историю обнаруженной у него брошюры:

«Признаю себя виновным в хранении гектографированной брошюры о Пушкине, но о том, что она преступного содержания, я не знал, так как, хотя и пытался прочитать ее, но с самого начала ничего не понял и потому оставил попытки. Точно так же я никому не давал читать эту брошюру. Попала она ко мне следующим образом: с сентября месяца 1897 г. по 2 июля 1899 г. я служил чернорабочим при Князевских мастерских железной дороги (Саратовский уезд, Александровской волости) и вот в конце июня месяца 1899 г., какого числа не упомню, вечером, убирая мастерскую, в помещении для запасных рабочих (слесарная) на одном из верстаков я нашел эту брошюру и взял ее себе. Никому о находке своей я ничего не говорил, так как не придавал ей никакого значения и на другой день у меня никто ее не спрашивал. Кто работал на этом верстаке, я сказать не могу, так как рабочие тут постоянно менялись. Вскоре я уехал домой, и она валялась у меня в сундуке, где и взята была при обыске приставом 2-го стана 5 декабря сего 1900 года. В феврале 1900 г. я снова ездил в Саратовский уезд на станцию Князевку, где работал сначала на солемолке, а потом чернорабочим при мастерских. Рассчитался к уборке хлеба и вернулся на родину 13 июля сего года.

Больше ничего в свое оправдание показать не могу» (Дело № 102... за 1900 г. Канцелярии Прокурора Сарат. Суд. Палаты, л. 5.).

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПУШКИНЕ

26-го мая 1899 г.

С[аратовская] С[оциал]-Д[емократическая] Г[руппа]

26-го мая этого года в обеих столицах и в большинстве провинциальных городов будут чествовать А. С. Пушкина по поводу столетия со дня его рождения.

Вся буржуазия готовится торжественно отпраздновать память «великого поэта земли русской», а правительство содействует ей и средствами, и личным участием.

Не жалеют ни времени, ни денег на праздник в то время, когда миллионы крестьян в буквальном смысле слова мрут от голода, когда цынга и тиф убивают голодный народ. Нам кажется неуместным кидать деньги на праздник в годину народного бедствия. Но может быть речи ораторов на этом празднике и печать заставят нас изменить свое мнение?.. И те и другие говорят, что Пушкин обладал замечательным поэтическим талантом, что он усовершенствовал русский язык, что он первый заговорил о русском народе и служил своей поэзией народу.

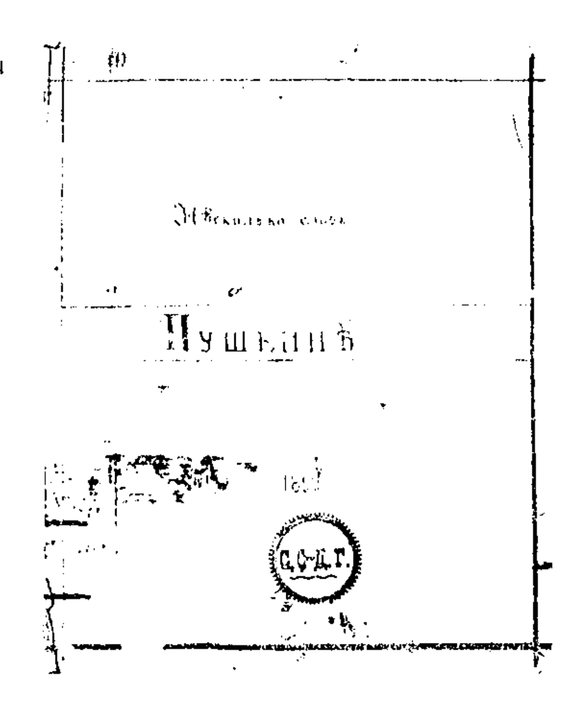
Мы не отрицаем, что Пушкин обладал большим поэтическим талантом, т. е. писал очень звучные, красивые стихи, не спорим и с тем, что он усовершенствовал русский язык; но, товарищи, важно не ка̀к человек говорит, а что̀ он говорит. Чем красноречивее человек говорит о народе и его страданиях, тем он полезнее народу, тем бо̀льшего уважения он достоин, но если человек свой талант не употребляет на народное благо, если он служит им эксплоататорам, то он враг народа и не уважения, а презрения достоин.

Пушкин не был никогда другом народа, а был другом царя, дворянства и буржуазии: он льстил им, угождал их развратным вкусам, а о народе отзывался с высокомерием потомственного дворянина. Жизнь Пушкина прекрасно подтверждает справедливость наших слов. Мы знаем друзей народа, окончивших жизнь на виселице, мы знаем друзей народа, сидевших долгие годы в тюрьмах, сосланных в снега Сибири, но друзей народа в кругу придворных, награжденных званием камер-юнкера, мы не знаем и убеждены, что там, в палатах царя, их нет. Ссылками и тюрьмой награждало и награждает русское правительство друзей народа и только один из них Пушкин был награжден 30-тысячной рентой и званием камер-юнкера. Этот факт наглядно показывает нам, что Пушкин не был другом народа..

Если мы посмотрим на чествование памяти Пушкина, то увидим, что на этот праздник собрались те же эксплоататоры всяких сортов, благоволением которых он пользовался при жизни. Вы видите расставленные стройными рядами войска,—это те, кто с оружием в руках пойдет на вас, если только вы осмелитесь требовать от хозяина лишний рубль за свой каторжный труд. В честь поэта поют панихиды архиереи и попы,—это духовная гвардия буржуазии, которая учит вас в церквах безмолвной покорности перед грозным начальством и сулит гнев божий за всякий ропот. Видите вы разряженную толпу т. н. «интеллигенции»,—это те, кто заигры-

ОБЛОЖКА ЛИТОГРАФИРОВАННОЙ БРОШЮРЫ САРАТОВСКОЙ С.-Д. ГРУППЫ „НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПУШКИНЕ"

Краевое Архивное Управление, Саратов



вает с вами на словах, а на деле свято блюдет интересы своего кармана. Тут же найдете вы и молодежь, которая учится на ваш счет по средним и высшим учебным заведениям, чтобы суметь потом поступить с вами по всей строгости законов, если вы выкажете недовольство своим положением, чтобы строить новые фабрики, для эксплоатации рабочей массы, чтобы блюсти интересы фабриканта в должности фабричного инспектора, инженера, директора и др... Все они собрались на праздник в честь Пушкина, потому что он их поэт, их по рождению, мыслям и чувствам: поклонение буржуазии и правительства говорит за это. Если мы обратимся к его произведениям, то увидим, что Пушкин никогда не интересовался народом, не любил его и не болел за него душою. Для характеристики поэта нужно знать время, в которое он жил. Пушкин жил в одну из самых тяжелых эпох русской истории, конец царствования Александра I и первые 12 лет царствования Николая I. Миллионы крестьян стонали под игом крепостного права. Стон великий, стон народный проносился по всей русской земле от края до края. Дворянство безжалостно эксплоатировало народ, мужик все свое время отдавал помещику и в награду за тяжелый труд отсылался на конюшню для позорного наказания плетьми. Когда же крестьянство, возмущенное своим бесправным положением, восставало против своих притеснителей, то услужливое правительство посылало на помощь помещикам свои войска. Были и в то время на Руси фабрики, но мало, гораздо меньше, чем теперь. Рабочие были совершенно разрознены, а потому вы сами поймете, как тяжело им жилось. Привольно жилось только барам, хотя и с ними иногда не церемонился православный царь. И вот в это-то время жил и писал свои стихи «знаменитый» Пушкин. Как же он отозвался на народное бедствие? Изобразил ли он в своих стихах забитого русского мужика? Страдал ли он страданиями русского рабочего, радовался ли его радостями? Нет, он едва ли даже подозревал о его существовании. В чаду столичной жизни, вращаясь среди тех же помещиков-капиталистов, среди той же знати, мог ли он отрешиться от чувства своей среды, мог ли он отречься от своего положения? Вместо того чтобы откликнуться на народное горе, он с презрением, с горделивым самодовольством отвертывается от непонятной ему черни:

Подите прочь! какое дело
Поэту мирному до вас?!
В разврате каменейте смело!
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры...
Довольно с вас!

Такими словами клеймит он толпу, обреченную судьбою на вечный труд и лишенную всех благ, которыми в изобилии пользовался Пушкин. Поэт обвинил в невежестве, в неспособности понять его стихи «толпу», забывая, что вся жизнь ее уходила на удовлетворение потребностей высших сословий, к которым принадлежал и сам Пушкин.

Когда в это же время польский поэт Мицкевич воспевал в своих стихах Польшу, восставшую против притеснений русского царя, то Пушкин отозвался о нем как об «угоднике черни буйной».

Мы уже говорили о том, что жизнь Пушкина протекала среди шума столичной жизни. Этот шум заглушал для него и стон мужика, задавленного непосильным трудом, и вопли матери, у которой взяли дочь в девичью, а сына забрили в солдаты. К Пушкину вполне применимы слова Некрасова из дивного стихотворения «Размышление у парадного подъезда»:

Что тебе эта скорбь вопиющая?
Что тебе этот бедный народ?
Вечным праздником быстро текущая
Жизнь очнуться тебе не дает!

Не печальную участь страдающего народа изображает Пушкин в своих произведениях. Интересы высших классов общества нашли в нем своего талантливого выразителя. Преклонение в стихах, иногда довольно нескромных, перед женщинами, начиная от княгинь и кончая калмычкой, отвечает страсти к любовным приключениям высшего общества того времени, как и буржуазии нашей эпохи. Дворянство и правительство с гордостью вспоминало о своей победе над голодающей «голыдьбой» во время пугачевского бунта, и Пушкин в «Истории Пугачевского бунта» прославлял полковника Михельсона, разбившего «вора и разбойника» Емельку Пугачева. Состоя камер-юнкером при дворе, он бескорыстно славословил доблести царя Николая I, этого рыцаря кнута и палки.

Его я просто полюбил.
Он добро, честно правит нами,
Россию вдруг он оживил,
Войной, надеждами, трудами...
И я ль в сердечном умиленье
Ему хвалы не воспою?!

Смотря на русскую жизнь глазами дворянства, конечно довольного своим положением, Пушкин превратил в своих стихах Россию, страну нищеты, рабства и невежества, в страну всеобщего довольства и мирного благополучия:

Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада.
Овины дымные и мельницы крылаты,—
Везде следы довольства и труда.

Поэт совсем забывал о конюшне, девичьей и барщине, тяготеющих над русским народом.

Изобразив в радужных красках русскую жизнь, Пушкин с одушевлением, достойным лучшего дела, прославляет силу и мощь русского оружия:

Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык? Иль мало нас?
Так высылайте же витии... И т. д.

Пушкин прославляет оружие, которое употреблялось всегда для гнусных целей: с помощью этого оружия подавлялась в России всякая попытка свергнуть власть дворянства над многомиллионным населением России, с помощью его секли крестьян, не шедших на барщину, и забастовавших фабричных. Оно же ополчалось на друзей свободы на Западе, когда они пытались бороться за народ. Вспомним «замирение» Польши и подавление революции в Венгрии в 48 году. Не лишне для характеристики Пушкина обратить внимание на отношение его к польскому восстанию 31 года. Судьба сделала его современником великой кровавой борьбы, которую порабощенная Польша вела со своим поработителем—русским тираном. Весь просвещенный мир с невольным участием следил за этой неравной борьбой. И в этот-то момент, зная, как задавленная, загубленная страна обливалась потоками невинной

крови, Пушкин выступил с крайне крикливым стихотворением: «Клеветникам России», в котором патриотический задор Пушкина перемешивается с слепой ненавистью к полякам, которые осмелились восстать против могучего деспота—злого гения великой свободы. Все в Польше горели в это время любовью к родине, стремлением вырваться из царства рабов на приволье западноевропейской жизни, и для характеристики этих святых чувств Пушкин не находит другого слова, как «кичливый» и тут же противопоставляет русского, как «верного росса». Итак «верность» царю, тупая покорность начальству и барину, полное отсутствие протеста против издевательства, оскорблений и глумления, среди которых протекала жизнь русского человека крепостной эпохи,—вот те черты, которые Пушкин противопоставил «кичливости» ляха. Очевидно Пушкину—другу народа—не было неприятным то, что в русском человеке обеспечивало господство дворянства над крестьянином, что совершенно обезличивало его, то, наконец, что должно быть предметом стыда и негодования для каждого честного человека.

Кучка честных людей из аристократии под влиянием идей французской революции готова была вступить в открытую борьбу с правительством. И борьба действительно началась при вступлении на престол Николая I декабрьским мятежом в 25 г.

Среди декабристов много было друзей Пушкина, но они не вводили его в свою среду, да и сам он держался в стороне от движения. Лучшие его товарищи, друзья молодости, шли в это время на эшафот или на каторгу, а он, знаменитый русский поэт, занимался прославлением тирана, с беспощадною яростью уничтожавшего своих врагов, друзей свободы!

Прекрасная характеристика Пушкина: «Он поет хвалу удаву в мундире, душившему в железных объятиях тридцать лет Россию [Герцен], лобызает царственную руку, забывая о своих друзьях, погибших от этой же руки жертвой своего увлечения свободой».

Все вышеизложенное в достаточной степени обрисовывает поэта, объясняет присутствие на его празднике буржуазии, правительства и попов, дает возможность отрицать за ним право называться народным, национальным поэтом.

Кто с презрением отворачивается от народа, кто замалчивает страдания его и протягивает руку его гонителям, кто яростно набрасывается на поляков за их стремление к независимости, тот не поэт народа и свободы! С шумом и великолепием отправляет буржуазия свой праздник... Позволят ли нам мирно и тихо, в кругу своих товарищей, отпраздновать память нашего героя? Вот, например, осенью исполнится десять лет со дня смерти Н. Г. Чернышевского. Он не боялся открыто и горячо высказывать свое сочувствие угнетенным массам порабощенного нуждою населения и с живейшим вниманием следил за пробуждением этих масс. Его мысли и чувства принадлежали не буржуазии, гордящейся своим награбленным богатством и развитием, а тому страдальцу-народу, который вечно с утра до позднего вечера должен трудиться, чтобы дать возможность этой буржуазии жить в роскоши и изобилии. Когда вспыхнуло новое восстание в 63 г., Чернышевский не присоединился к воинственным диким крикам русского буржуазного общества, охваченного чувством слепого патриотизма и нетерпимости. Он понимал, что каждый человек, кто бы он ни был по своей национальности, имеет право бороться за свою свободу с теми врагами, которые похищают у него эту свободу. А в данном случае он понимал еще, что у поляков и у русских рабочих—враг один и тот же, этот враг—русское правительство, которое всюду с трогательною заботливостью поддерживает всеобщее рабство и охраняет интересы капиталистов. Чернышевский горячо восставал против всяких врагов свободы и видел их и в помещике, распоряжавшемся крепостным, как своею полною собственностью, и в капиталисте-фабриканте, отнимающем у свободного по названию рабочего большую долю его труда, и в русском правительстве, прямо и охотно помогавшем помещикам и капиталистам поработить народ. Эти взгляды Н. Г. навлекли на него преследование русского правительства. Оно, привыкнув встречать повсюду безгласную покорность, не хотело оставить в покое друга народа и свободы. Страшась его честного голоса, оно приказало арестовать его, посадить в тюрьму, бросить на каторгу в далекую, глухую Сибирь. И там, оторванный от живого мира, великий талантливый писатель и честный человек должен был пробыть целую четверть века... Так расправляется русское самодержавие со своими врагами! Стоять за народные интересы и открыто обличать в грабительстве охраняемых законами грабителей-капиталистов—является таким тяжким преступлением, за которое русское правительство готово сгноить человека в тюрьме и на каторге или отправить его прямо на эшафот. И вот теперь этот честный друг народа, великий талант которого был загублен русским правительством, покоится

в земле недалеко от нас, там, на кладбище... Можно ли будет нам спокойно вспомнить своего друга, пожертвовавшего ради нас и свободой, и талантом, и личным довольством? Разве солдаты и жандармы, которые теперь готовы принять участие в чествовании Пушкина, не явятся и к нам на наш скромный праздник, но уже для того, чтобы разогнать и арестовать нас? Правительство с буржуазией не хочет, чтобы мы знали и почитали своих истинных друзей, оно не хочет, чтобы мы собирались вместе и обсуждали свои дела, оно жестоко преследует нас за каждую раскрытую попытку организоваться для общей борьбы с нашими врагами, потому что оно знает, что это объединение несет с собою гибель как для правительства, так и для буржуазии. Поэтому-то мы и видим, что праздник буржуазии, иначе говоря, праздник рабства, насилия и эксплоатации, справляется гласно, всенародно, на площадях, с одобрения и при участии самого правительства, а праздник труда, стремящегося к освобождению (1-е мая), подводится под государственное преступление! Правительство желает нас видеть разъединенными, потому что сознает силу организованных рабочих и боится ее. Но это-то и заставляет нас теснее сближаться друг с другом, потому что в великой борьбе рабочих с капиталистами первые только тогда возьмут верх, когда они будут выступать против своих врагов как целый класс, как организованная армия сознательных врагов капитала. У русского рабочего больше врагов, чем у западноевропейских товарищей: последние успели уже добиться того, что им не мешают соединяться вместе в обширные организации, собираться для открытого обсуждения своих вопросов, выражать свои взгляды и выставлять свои требования в печати. Теперь они могут сосредоточить всю силу своих ударов против главного врага—буржуазии. А русскому рабочему приходится бороться за такие права, без которых трудно ему, почти невозможно создать всеобщую организацию, обеспечивающую полную победу и возможность воспользоваться этой победой,—а именно, он должен добиваться права сходок, печати, рабочих союзов.

Свобода собраний и союзов—вот одна из тех целей, к которым мы должны стремиться. А пока эта свобода не признается нашими законами, выработанными правящими классами общества для оправдания их господства над простым народом, мы будем собираться и объединяться тайно и время от времени в организованных дружных стачках выставлять общие требования.

Но для того, чтобы под знаменем рабочего движения сплотить возможно большие массы рабочих, необходимо развивать их классовое самосознание, необходимо разъяснять им смысл великих современных событий, иначе говоря, необходимо для них просвещение. Развитой рабочий сам поймет выгоды организации и неизбежность непримиримой борьбы с буржуазией и правительством. Для развития же и образования необходимо прежде всего свободное от труда время. Если рабочий не хочет оставаться вечным послушным рабом капитала, он должен прежде всего добиться такого ограничения рабочих часов, при котором можно было бы удовлетворять свои высшие духовные потребности и следить за своим развитием. Западноевропейский рабочий понимает, что в сокращенном рабочем дне кроется источник его общественной силы и могущества, и он борется потому за дальнейшее его сокращение; борется за 8-часовой рабочий день.

Присоединимся же и мы к великому, могучему крику, объединившему рабочие партии всего мира: «Восемь часов для труда, восемь для сна, восемь свободных!» В этом всемирном крике слышится зловещее для мировой буржуазии прорицание ее надвигающейся гибели. Пускай она теперь, пока еще длятся дни ее господства, устраивает в честь своих героев-поэтов торжественные празднества. Мы с презрением отвернемся от этого шумного ликования буржуазии. Пускай она веселится под звуки военной музыки и церковного пения. Солдаты и попы — верные ее друзья и союзники!

Но пусть она также помнит, что ее веселье не бесконечно. Ее ликование продлится лишь до тех пор, пока русский рабочий не сплотится в цельную, единую и сильную партию. Твердая организация дает нам силу и крепость в борьбе. Нас можно разбить по одиночке, но все вместе мы непобедимы!!!

VI. РАЗРАБОТКА ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И БИОГРАФИИ ПУШКИНА ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ

ИЗДАНИЯ СТИХОТВОРНЫХ ТЕКСТОВ

Обзор Б. Томашевского

Проблемы издания текстов Пушкина разрабатывались за последние годы особенно интенсивно. Разработка их шла в нескольких направлениях: в плоскости теоретической, в порядке предварительной обработки текстовых материалов и наконец в законченных изданиях текстов. Остановимся на каждой из этих форм работ особо. Задачей обзора является оценка текстологических качеств работы. Проблемы комментария вообще в дальнейшем не затронуты, так как они связаны больше с вопросами изучения, чем с вопросами издания текстов.

ТЕОРИЯ ТЕКСТОЛОГИИ

Теоретическое изучение вопросов текстологии велось в какой-то степени и прежде, но это были по большей части случайные экскурсы в эту область, вызывавшиеся не столько собственными интересами проблематики, сколько конкретными частными поводами. Так в предисловиях к отдельным изданиям и к отдельным томам академического издания мы встречаем различную формулировку текстологических проблем, в порядке мотивировки издания. То же самое мы находим в протоколах Комиссии по изданию сочинений Пушкина при Академии Наук. Некоторый материал дают рецензии на издания, полемика между редакторами изданий. Особенно в этом отношении надо отметить спор о лицейских стихах, возникший вокруг первого тома академического издания,—спор, в котором ведущую роль играл В. Брюсов.

В настоящее время проблемы текста представляются как некоторая практическая отрасль филологии, имеющая собственный интерес, обладающая собственными методологическими приемами и имеющая своих специалистов.

Новая литература по текстологии начинается с работ Модеста Гофмана. Эти работы в свое время вызвали резкую полемическую реакцию. Ошибки автора обсуждались с большой горячностью и страстностью, на которую вызывал декларативный тон автора и резкость его собственной полемики против текстологических приемов прежних издателей Пушкина. В настоящее время, когда страсти улеглись, работы Гофмана можно оценивать объективно, не подвергая себя опасности вести одностороннюю полемику. Эти работы интересны для нас не только потому, что отражают личные взгляды Гофмана, но и потому, что определяют направление текстологических исследований Пушкинского дома, в котором Гофману одно время принадлежала ведущая роль.

Пафос Гофмана заключался в разрушении всего старого дореволюционного пушкиноведения. Наука о Пушкине создавалась заново. Гофман решил положить фундамент новой науке. Этим объясняется и вызывающий титул книги «Первая глава науки о Пушкине» (2 издания, оба 1922 г.). И в своей брошюре Гофман является глашатаем того направления, которое можно было бы назвать младопушкинизмом. Основная идея книги Гофмана проста: в основе изучения Пушкина должен лежать строго установленный текст (канонический, по неудачному, но популярному словоупотреблению). Поэтому первая задача—установить текст. В этой постановке вопроса было много полемического, направленного против музейно-архивного направления старого пушкинизма, выдвигавшего на первый план биографические изыскания. В области изучения текста Гофман восставал против дилетантизма предшествующих редакторов. Обладая большим текстологическим опытом, Гофман подкреплял критику приемов Морозова и других рядом интересных и тонких замечаний, которые остаются справедливыми до настоящего времени. Однако для общих концепций его характерен эмпиризм, роднящий его с текстологами старого призыва. Для Гофмана не существует особых текстологических проблем, возникающих из существа дела, из телеологии установления текста. Все проблемы ставятся как приемы практического разрешения задачи о передачи документа. В основе такой постановки вопроса лежит предпосылка о непоколебимой

подлинности самого документа и все сложные моменты критики текста принижаются до вопросов о технике передачи документа. Вообще для Гофмана характерна категоричность аргументов и бескомпромиссность решений. Для него очень характерно рассуждение на тему о принадлежности произведения и способах его установления. Если в пользу принадлежности говорит совокупность хотя и сильных, но не абсолютных доводов (а Гофман верит в абсолютные доводы), Гофман предпочитает отрицание, так как отрицание, как бы маловероятно оно ни было, для него предпочтительнее, чем не до конца доказанное утверждение. Совокупность аргументов на него не действует: «обыкновенно забывают простейшее математическое правило, по которому сумма неизвестных величин будет также неизвестной величиной» (Первая глава, 2-е изд., стр. 127). На свою беду Гофман апеллирует к математике, которая совсем иначе расценивает влияние многократности независимых свидетельств. Но и без всякой математики понятно, что в вопросах текста требуется некоторая гибкость, исключающая прямолинейные и бесповоротные решения. Стремление к объективной точности и к осязательной аргументированности привела Гофмана к некоторой грубости в трактовке наиболее сложных вопросов текстологии и пагубным образом отразилось на его практических опытах в деле редактирования. Дурной объективизм заставил Гофмана в качестве мнимо «субъективных» элементов устранить из круга текстологических проблем все вопросы, связанные с идеологической природой публикуемого объекта, в частности с элементами, определяющими его как эстетическую ценность. Всё это с точки зрения Гофмана—«субъективно» (причем Гофман сознательно упускает разницу между субъективным и необщезначимым, не ведая вероятно, что и в области точных наук процветают без всякого подозрения в их правомочности субъективные методы наблюдения). Между тем задача текстолога не была бы выполнена, если бы он, изучая объект, не учел его специфических черт; а для художественного произведения наиболее специфическим является социально обусловленное восприятие его как объекта художественного. Поэтому у Гофмана мы найдем лишь те рецепты, которые справедливы для издания любого документа, хотя бы дипломатического характера. Лишь под влиянием собственного опыта, вне зависимости от общей концепции, он высказывает ряд утверждений, выходящих за пределы нарочитого объективизма.

В области ближайшим образом нас интересующей Гофман вносит много ценных поправок в дилетантские приемы предшественников, главным образом протестуя против широко практиковавшегося соавторства редакторов, вносивших много необоснованного своего в черновики Пушкина. Но наиболее трудные вопросы критики текста Гофман или игнорирует или решает несостоятельно.

Иной характер носит книга Г. Винокура «Критика поэтического текста» (Москва, ГАХН, 1927). По относительному количеству примеров из пушкинского стихотворного текста книга эта заслуживает упоминания в обзоре пушкинианы. В противоположность эмпирической установке Гофмана Винокур подводит методологическую основу под вопросы текстологии. Книга Винокура построена полемически. Он отправляется отчасти от работы Гофмана, отчасти от моих работ, посвященных тому же вопросу (разбор работ Гофмана в альманахе «Литературная Мысль», сб. 1, «Новое о Пушкине» и брошюра «Пушкин», 1925). Ценность работы Винокура в том, что он не довольствуется разбором ошибок своих предшественников, но выводит вопрос за пределы узкой «специальности» редактора и указывает на его широкое филологическое значение. Оставляя в стороне, насколько прочна методологическая позиция автора, отмечу, что проблема «субъективизма» в редактуре им разрешена очень удачно. После его работы нельзя более отмахиваться от «смыслового, эстетического или психологического» редакционного метода, как делал это во времена оны один из академических редакторов. Винокуром указано на значение критического отбора разночтений и выбора основного текста. Он достаточно подробно останавливается и на значении композиции издания, особенно для случая собрания стихотворений. Можно автора упрекнуть только в одном: он недостаточно учитывает реальные условия издания, когда редактору приходится руководиться не единым идеальным планом, какой рисуется в работе Винокура, а компромиссным решением, примиряющим интересы издательские, запросы разносоставного читателя и т. п. К сожалению выполнение единого плана сузило бы круг обслуживаемых потребителей до нерентабельного тиража книги. Выпуск собрания сочинений считается таким событием, которое рассчитывается на большой срок и на широкий и разнообразный круг читателей. К сожалению и то и другое имеет свои отрицательные стороны, влияя обезличивающим образом на построение издания и лишая его единства. Надо также учитывать творческую роль единого редактора.

Уже после выхода в свет книги Винокура появилась моя работа «Писатель и книга», имеющая характер справочника или популярного курса. В ней естественно отведено много места проблемам пушкинского стихотворного текста.

На этом заканчивается серия методологических работ.

Трудно учесть действительное влияние этой литературы на практику изданий. То, что появилось после 1928 г., не слишком говорит в пользу такого влияния. Редакторы предпочитают работать по-старинке, на личном опыте изживая ошибки, характерные для редакторского эмпиризма.

ЧЕРНОВЫЕ ТЕКСТЫ

Издание черновых текстов за последнее время приобрело особое значение. Отчасти это объясняется чисто внешними причинами: 1) прекращением академического издания, в котором черновики находили свое место в примечаниях, и 2) публикацией целых собраний или новых архивных приобретений. Обогащение государственных хранилищ включением в их состав разного рода частных собраний и раскрепощение некоторых собраний от разного рода завещательных запретительных условий способствовало подобного рода публикациям. Но помимо внешних условий здесь играют роль и условия развития изучения пушкинских текстов. С одной стороны, стремление к публикации неопубликованного, стремление по существу своему нездоровое, естественно привело к тому, что за исчерпанием чистовых текстов принялись за черновые. Но с другой стороны и естественно внимание текстологов передвинулось на вопросы истории текста, а это предполагает изучение черновиков. Наиболее крупными работами в этой области были «Неизданный Пушкин» (Онегинское собрание), «Пропущенные строфы Евгения Онегина» М. Гофмана и «Новые страницы Пушкина» С. Бонди. Все три книги настолько разнотипны, что обзор их даст общее представление о разнородных изысканиях в области пушкинского стихотворного текста и об определившихся возможностях в сфере подобных изысканий.

Книга М. Гофмана, представляющая собой выпуск XXXIII—XXXV издания «Пушкин и его современники» (1922), имеет следующее происхождение. М. Л. Гофман был редактором предполагавшегося к выпуску тома академического издания, в который должен был войти «Евгений Онегин». В порядке подготовки к изданию Гофман проработал весь автографический корпус этого произведения. Протранскрибировав все черновики, Гофман остановился перед технической невозможностью из-за войны выпустить свой том. Чтобы спасти хоть часть труда, Гофман решил опубликовать ту часть транскрипций, которая давала наибольшее количество нового «неопубликованного» материала, а именно «пропущенные» строфы (т. е. не вошедшие в печатную редакцию романа, установленную автором). Всё это мотивировано единством проблемы, и публикации придан характер исследования о пропущенных строфах. Единство публикации получилось мнимое. Проблемы о причинах, заставлявших Пушкина пропускать строфы и некоторые из них отмечать цифрой, а некоторые выкидывать бесследно, автору не удалось разрешить. Впрочем для решения подобных проблем транскрипция черновиков—средство недостаточное, вопреки широко распространенному мнению, что изучение черновиков вскрывает нам тайники творчества. Изучение это только восстановляет, и то не полностью, процесс работы.

Некоторую остроту публикации Гофмана придает его полемика с П. О. Морозовым, отличавшимся, как это теперь можно утверждать совершенно спокойно, великим легкомыслием в редакторской работе. И в области расшифровки пушкинского текста работа Гофмана—большой шаг вперед.

Надо отдать справедливость М. Гофману, что им проделана крупная работа. У нас не принято ценить труда транскрибаторов. У нас не знают, что прочтение черновой рукописи Пушкина есть труд, требующий специальных сведений, опыта и большого личного умения, своеобразной способности, связанной не только с отличным знанием Пушкина, необходимым для «чтения по аналогии», и с богатством воображения (так как в большинстве случаев рукопись не читается в обычном смысле, а по ней проверяется догадка), но и с уравновешивающим это воображение критическим тактом.

Транскрипции М. Гофмана не отличаются высоким качеством. Они сделаны очень торопливо, а главное механично. Эти черты его труда хорошо известны всем, кто к нему обращался. «Пропущенные строфы»—труд торопливый и требующий перепроверки. Однако всё же все строфы «Онегина» полностью прочитаны, и книга Гофмана, понятно, будет в руках у каждого, кто займется разбором пушкинских черновиков. Ценность книги увеличивает приложенный к исследованию указатель автографов «Евгения Онегина», выполненный очень толково и добросовестно[1].

Но большой порок книги в другом. Поставив себе задачей исследовать черновики, Гофман ограничился тем, что дал их воспроизведение, транскрипцию. И в этом не его вина, а вина времени. До последнего времени оставалось не совсем ясно, что такое изучение черновика. Предполагалось, что воспроизведение уже решает все вопросы, что в отличие от других областей научного изучения, текстология должна довольствоваться показом своих объектов. И в этой области, как ни странно, а вопрос разъяснялся горьким опытом. Черновики «показывались», а читателю ничего не было видно. Наука тоже не обогащалась. Некоторые наивные люди видели разрешение вопроса в каком-нибудь техническом способе воспроизведения документа, думая заменить критическое изучение «эдиционными» приемами. Одним из таких наивных рецептов является «двойное печатание», заключающееся в том, что поверх чистого текста наносятся зачеркивания. Этот рецепт имеет успех в некоторой группе редакторов, правда, весьма ограниченной. Кстати, почему-то изобретение этого приема иногда приписывается Н. К. Пиксанову. Основано это на недоразумении. В предисловии к изданию Жандровской рукописи «Горя от ума» (1912) Н. К. Пиксанов писал: «мы прибегли к новому типографскому приему, впервые применяемому нами к печатному воспроизведению обширного текста». В действительности этот типографский прием уже был применен Яковом Гротом в 1857 году в воспроизведении пушкинского стихотворения «19-е октября» (1825). Разница та, что Я. Грот воспроизвел автограф Пушкина, отличающийся некоторой относительной сложностью. В нем на двести стихов свыше семидесяти изменений текста самого разнообразного рода. Между тем Жандровская рукопись—белового образца, написана писарской рукой, канцелярским почерком, с весьма немногочисленными и однообразными исправлениями автора (зачеркивание старого текста с нанесением нового, тоже белового, исправление описок и безграмотных написаний писаря и т. п.), общим числом не более ста на 2221 стих. Имевшие дело с разными системами транскрипций знают, что двойное печатание удобно лишь для беловых рукописей и совершенно несостоятельно для воспроизведения сложных черновиков.

Как бы то ни было, Гофман подменил изучение черновиков их показом, а показ—транскрипцией. Транскрипции оказалось мало. Тогда он сопроводил транскрипцию «сводкой». Но так как его теоретическая позиция, направленная против «соавторства» редакторов, принципиально исключала всякий творческий элемент в деле составления сводки, то он подошел к вопросу чисто механически, ограничиваясь «чтением по незачеркнутому», не считая для себя обязательным анализ процесса работы Пушкина. Дело в том, что черновик есть документ, фиксирующий некоторый процесс, то-есть явление, развивающееся во времени, всякая же транскрипция—только пространственна. Такова же и сводка, дающая только один слой работы. Это отлично знал и Гофман. Вот что сказано в «Первой главе»: «Самая полная и точная транскрипция никогда не передает черновика, ибо дает весь словесный материал наброска, но мало говорит о последовательности писания его, о постепенных наслоениях, о процессе создания,—помощь транскрипции может быть со стороны описания черновика (черновик должен быть изучен, а не только транскрибирован) и сводки исследователя» (стр. 100, цит. по 2-му изд.). Но это написано вероятно уже после приготовления к печати «Пропущенных строф» (которые были сданы в печать еще в 1916 г.). В действительности, как показывает опыт, нельзя считать черновик даже прочитанным, если не сделан полный анализ последовательности творческих наслоений и пока не найдено место для каждого слова в словосочетании и во времени, т. е. пока не реконструирован каждый слой работы и не установлена последовательность этих слоев.

Следующая публикация в своей стихотворной части тоже связана с именем М. Гофмана. Это «Неизданный Пушкин» («Атеней», 1922). Происхождение этой книги таково: в 1920 г. разнесся слух о смерти Онегина, парижское собрание которого было приобретено для Академии Наук. Затем стали поступать тревожные слухи о судьбе собрания. Тогда, отчасти с целью пропаганды Онегинского собрания и привлечения к нему внимания общественности, решено было издать пушкинскую часть собрания, находившуюся в Академии, в Пушкинском доме, в воспроизведениях—отчасти фотографических, отчасти цинкографических. Книга была сделана спешно, создан под руководством Гофмана коллектив работников, главным образом из молодых пушкинистов; им были розданы в срочном порядке фотографии для спешной подготовки и комментирования, и книга вышла в свет. Она свою роль сыграла. Внимание к собранию было привлечено. Последовавшее вскоре второе издание представляет собой фотомеханическую перепечатку первого, с новым предисловием и с двумя отрывками в приложении, не вошедшими в первое издание.

К сожалению участники издания, не осведомленные о втором издании, не могли принять мер к исправлению ошибок первого.

Издание еще придерживается гофмановского канона публикаций: транскрипция плюс сводка исчерпывают «подачу» материала. К ним присоединяется случайный комментарий, отправляющийся от обычного редакторского комментария изданий сочинений. Получилась книга, ценная по материалу и очень неряшливая по выполнению. Читатель понятно не обязан был входить в учет условий сверхспешной работы редакторов [1]. Но надо отметить, что и при такой работе удалось внести много исправлений и уточнений в прежние публикации того же материала, ибо хотя младопушкинизм и отличался механистичностью, но он успел выработать особую технику точности чтения, которая превосходила прежние любительские обращения к рукописям по качеству результатов работы.

«Неизданный Пушкин» дал ряд новинок стихотворного наследия Пушкина. Из них следует назвать два ранних стихотворения «Царское Село» и «Там у леска», вариант послания Щербинину (только, вопреки мнению редакторов, сохранившийся не в автографе), «Гречанка верная...», «Зачем я ею очарован», «Царей потомок, Меценат» (из Горация), «О бедность, затвердил я наконец» (из Бари Корнуоля) и несколько других менее значительных отрывков. Кроме того здесь находится большой материал вариантов к отдельным стихотворениям и поэмам.

Если оба эти издания характерны для изысканий раннего периода младопушкинизма, то книга С. Бонди «Новые страницы Пушкина» («Мир», 1931) характерна для работ настоящего дня. В каком духе она делалась—показывают следующие слова из предисловия:

«Сейчас текстолог, даже прочтя все отдельные слова черновика, не может считать его вполне прочитанным, если он не понял смысла и значения в общей связи целого всех вариантов, всех слов и обрывков слов. Просто п р о ч е с т ь — мало, надо п о н я т ь, истолковать прочитанное.

Теперь, в противоположность прежнему, мнимо-научному, бесстрастному констатированию и воспроизведению всего находящегося в черновике, уже выдвинуто иное отношение к черновику поэта, подобное отношению к важному для нас, интересному, но неразборчиво написанному письму: мы стремимся прежде всего проникнуть в его смысл, расшифровать по контексту всё непонятное, дополняем все недописанные места, исправляем описки... Важно не установить, что Пушкин зачеркнул в таком-то месте начало слова «Пр», но понять, что он хотел здесь написать и почему зачеркнул. А иначе—к чему нам воспроизведение всех этих отрывочных зачеркнутых слов или даже частей слова?» (стр. 5).

Правда, в целях популяризации темы книги С. Бонди берет только те случаи, когда подобный анализ черновиков приводит к «неизданным стихам», т. е. к некоторому неподвижному связному тексту. Это несколько снижает его утверждение о самоценности скрытого в черновике творческого процесса. Дело в том, что каждое произведение состоит из словесного развития и словесной конструкции. Мало того, что слово нанизывается на слово, фраза на фразу; важно, чтобы эта словесная вязь складывалась в некоторое обозримое сознанием единство. Черновик в большинстве случаев представляет собою поиски такого конструктивного единства путем примеривания разных словесных последовательностей. Поэтому очень часто можно определенно указать, что после чего должно следовать, но невозможно сложить всё вместе. Слова находятся как бы в неустойчивом равновесии, иногда таких последовательностей сразу представляется много (т. е. после определенных слов должно следовать или одно, или другое, или третье), при чем их взаимное соотношение не всегда ясно. Когда из незавершенного черновика извлекается некоторый связный и замкнутый текст, то его связность и замкнутость по большей части иллюзорны, и более точный анализ покажет, что отдельные части находятся во взаимном противоречии, «концы не сведены с концами», в цельную картину отдельные штрихи не складываются. Иной раз видно, как Пушкину почти удалось уже найти решение задачи, но ценой двух-трех невязок. Принимаясь за эти невязки, он рассыпал собранное и уничтожал произведение. Такое единство, своеобразный творческий апогей, вскрываемый редактором, в действительности неустойчиво. Это не стихотворение Пушкина, а материал для стихотворения. И этот творческий апогей—отнюдь не самое ценное, что нас привлекает в черновике, так как он далеко не полностью выражает вложенный в черновик замысел, а самый замысел не отлился еще во что-то неподвижное. Для черновика редакторские сводки—только кадры движущейся картины. И кадры эти интереснее тогда, когда к ним имеется ключ, то-есть когда Пушкин дописал свои стихи, когда мы имеем дело

с законченным, известным нам произведением. Вероятно отчасти издательские условия, учитывавшие спрос на «неизданные произведения», заставили Бонди дать анализ незаконченных черновиков.

Ценность работы С. Бонди—это особое умение представить себе творческий процесс: я уже не говорю об исключительных данных его как «чтеца» пушкинских рукописей. Менее убедительными мне кажутся биографические экскурсы, т. е. попытки восстановить среду, обстоятельства и психологию Пушкина в момент создания. Впрочем и здесь можно говорить не об ошибках (тем более, что С. Бонди исключительно скуп и сдержан в подобных вопросах), а о том, что смычка текстологических проблем с биографическими еще не произошла быть может потому, что в свое время в порядке реакции на старый архивный пушкинизм младопушкинизм отверг биографию как метод изучения литературы. Эту точку зрения пора так же изжить, как изжит механистический принцип текстологии М. Гофмана, но изжить не возвратом к старому копанию в грязном белье и не к донжуанским спискам Пушкина, а к подлинной, научной биографии.

Названные три издания не исчерпывают всех публикаций черновых стихотворных текстов. Но в других изданиях эта публикация не была самодовлеющей. Так М. Гофман приложил к своему изданию «Домика в Коломне» полную транскрипцию рукописи этой повести. К изданию «Каменного гостя», вышедшему под редакцией Халабаева и моей, приложены все варианты рукописи. Об этих изданиях будет сказано в своем месте, здесь же я отмечу, что транскрипции Гофмана ничем не отличаются от транскрипций в других его работах. Во второй работе («Каменный гость») сделана попытка дать варианты без транскрипций, в связном контексте, с указанием последовательности работы Пушкина. Рукопись «Каменного гостя» не может быть названа черновой в полном смысле этого слова, а потому варианты эти говорят лишь об отделке произведения, а не о творческом процессе.

ИЗДАНИЯ

Издания стихотворных произведений Пушкина были чрезвычайно разнообразны по типу и по назначению. Поэтому обозрение их в общем хронологическом порядке было бы неудобно. Их необходимо разбить по рубрикам. Но чтобы разобраться в этих изданиях, обзору необходимо предпослать несколько слов об их характере. Революция застала почти полное отсутствие на книжном рынке сочинений Пушкина. Объясняется это не только недостаточным количеством изданий, но и исключительно высоким спросом на сочинения Пушкина. Положение это продолжается до настоящего времени. Не так давно рынок бесследно поглотил около 80 000 экземпляров полного собрания сочинений Пушкина. Такое количество экземпляров совершенно не отразилось на своеобразном «пушкинском голоде» на книжном рынке.

Обязанность заполнить брешь в книжном обращении выпала на Литературно-издательский отдел Наркомпроса, возглавлявшийся П. И. Лебедевым-Полянским (в 1919 г. отдел слился с Госиздатом). Пушкин подпал под действие закона о монополии, по которому на пять лет, по 31 декабря 1922 г., издание сочинений классиков было объявлено исключительным государственным правом (по истечении указанного срока монополия была продлена). Осуществлять эту монополию должен был Наркомпрос в лице названного Издательского отдела. За это дело принялись почти одновременно в Москве и в Петербурге. В Москве во главе изданий Пушкина стал В. Брюсов, в Петрограде—коллектив, возглавлявшийся К. Халабаевым; с ним работали по изданию Пушкина А. Слонимский и С. Бонди. С 1923 по 1929 г. в пушкинских изданиях отдела ближайшее участие принимал я, редактируя эти издания совместно с К. Халабаевым *.

И те и другие издания стремились к обновлению текста, но действовали, как мы увидим дальше, разными методами. Ни в Петрограде, ни в Москве не могли сразу издать собрания сочинений Пушкина. Издания начались с тонких брошюр «Народной библиотеки». В работе над этой серией производился радикальный пересмотр текстов. Первая Москва приступила к осуществлению Полного собрания сочинений Пушкина. Оно было поручено редактуре В. Брюсова. Появился в свет только первый полутом первого тома, содержащий лирические стихотворения.

Второй полутом был подготовлен Брюсовым к печати и даже уже набран, но оригинал и набор погибли в недрах Госиздата.

Начиная с 1923 г., вместо «Народной библиотеки» стали выходить другие серии, в которых печатались сочинения Пушкина. До слияния московского и ленинградского Госиздатов работа шла разрозненно. В Москве на место Брюсова пришли другие редакторы. Пушкин печатался там в серии «Классики русской литературы» без обращения к первоисточникам (вообще московский Госиздат предпочитал пере-

печатку старых текстов новой редакции). В Ленинграде продолжалась работа по пересмотру текстов и выпуск отдельных книжек небольшим тиражом. Когда эта работа продвинулась, был выпущен однотомный Пушкин (первое издание в 1924 г.). На этом собственно кончается первый период ревизии текстов Пушкина. В дальнейшем мы видим перепечатки, по большей части восходящие к тексту однотомного издания. Главную массу этих перепечаток составляют брошюры дешевых серий («Дешевая библиотека классиков» и др.). В это время произошло окончательное объединение двух Госиздатов с переходом инициативы в отдел классиков при центральном управлении Гиза в Москве (одно время во главе отдела стоял Н. Пиксанов).

Затем несколько раз возникала идея организации большого издания сочинений Пушкина. По этому поводу под председательством П. Н. Сакулина состоялся съезд пушкинистов (март 1928 г.), но из этого ничего не вышло. Попытки возобновить академическое издание тоже не привели ни к чему главным образом потому, что в 1929 г. при ближайшем участии П. Е. Щеголева организовалась московская редакция, приступившая к осуществлению одновременно двух изданий: большого и малого. Из этого предприятия осуществилось лишь малое издание, которое начало выходить в качестве приложения к «Красной ниве» в 1930 г. и закончено было в 1932 г. Второе издание этого же малого собрания, начатое в том же 1930 г., закончилось в марте 1934 (без шестого тома, содержащего комментарий). Так как эти издания предполагалось вести параллельно с большим «академического» типа изданием, то для него была произведена новая и коренная ревизия текстов. К изданию было привлечено большое количество редакторов, по большей части имевших большой текстологический опыт.

К этому сводится в основных чертах история издания Пушкина за последние годы. Я не упомянул лишь о тех изданиях, о которых будет сказано в своем месте,—об изданиях, носивших случайный характер и выходивших не в Государственном издательстве (и не в ГИХЛ, его наследнике по делу издания классиков), а в разных других издательствах.

В дальнейшем обзоре я разобью издания на издания типа полных собраний, на издания избранных произведений, на издания отдельных произведений.

Издания типа полных собраний

Прежде чем перейти к серьезным изданиям этого типа, необходимо сказать несколько слов о тех коммерческих изданиях, которые имели целью удовлетворить спрос рынка в сочинениях Пушкина и не преследовали задач ревизии текста.

Первая послереволюционная попытка издать полное собрание сочинений Пушкина была сделана в Одессе. Вот полное заглавие этого издания: «Полное собрание сочинений Пушкина. В одном томе. С биографией—литературной характеристикой поэта, составленной Леонидом Гроссманом, многочисленными оригинальными иллюстрациями художника С. Гольдмана, портретом автора, алфавитным перечнем произведений А. С. Пушкина, указателем иллюстраций и оглавлением. Редакция Михаила Лидина. Одесса, 1919».

Издание это представляет собою самую откровенную макулатуру. Редакция сводится повидимому только к составлению алфавитного указателя (столь обязательно указанного на обложке). В остальном дело ограничилось ножницами и распределением материала по каким-то «новым программам по литературе» (что в свою очередь свелось к нескольким заголовкам отделов в стихотворениях). Издание далеко не полное. Оно включает лирику, поэмы, драмы, романы, повести и «Историю Пугачевского бунта» (без примечаний). Нет ни «Путешествия в Арзрум», ни журнальной прозы, ни писем. Что касается текста, то в основу положен какой-то древний текст, на который нанесены поправки из издания Литературного фонда 1887 г. Поправки эти весьма случайны. Как на пример, достаточно характеризующий текст издания, укажу на помещенные на стр. 49 «Отрывки из послания Юшкову». Это—не что иное, как фрагмент послания Юдину, которое полностью, с именем Юдина, напечатано в 1884 г. и с тех пор во всех изданиях фигурирует уже в своем настоящем виде. Здесь редактор не справился почему-то даже с изданием Литературного фонда. Впрочем можно думать, что он вообще не смотрел в это издание, а подобную работу проделал какой-нибудь из многочисленных редакторов «однотомных» изданий прежнего времени, а Лидин добросовестно перепечатал чужую недобросовестную работу.

Не далеко ушли от одесского издания два берлинские издания, вышедшие в 1921 г.: изд. «Слово» (с вступительной статьей Н. Яковлева, которого не следует смешивать с Н. В. Яковлевым, автором известных работ о влиянии английских

поэтов на Пушкина) и изд. И. П. Ладыжникова. В отличие от издания Лидина они оба анонимны.

Оба они являются перепечаткой, при чем особенно архаично издание «Слова». В нем воспроизводятся тексты, давно забракованные, заимствуемые из изданий XIX в. (т. е. из предшествующих изданиям Морозова и Ефремова 1903 г.). В этом издании, напечатанном в Берлине в 1921 г., свято сохранены все пропуски, сделанные русской дореволюционной цензурой. При этом, непонятным образом, на некоторых страницах заметно обращение к изданиям сравнительно недавним. Разобраться в мотивах, по которым эти редкие тексты и даты подправлены, не представляется возможным. Несколько свежее издание Ладыжникова, повидимому основанное на издании под редакцией Венгерова, дополненном заграничными публикациями (напр. полностью дана «Гавриилиада»). В некоторых случаях текст Венгерова дополнялся по другим источникам (напр. вслед за венгеровским текстом «Родословной моего героя» следуют «Добавки и варианты»).

Во всяком случае оба издания не имеют никакого значения в истории текста Пушкина. Это рыночный товар, не более. Я отмечаю их лишь как явление, весьма характерное и симптоматическое.

Совсем иной характер носит издание Валерия Брюсова. Вот полный заголовок его: «А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений со сводом вариантов. Под редакцией, со вступительными статьями и объяснительными примечаниями Валерия Брюсова. Том первый. Часть первая. Государственное издательство. Москва, 1920» (цена 80 рублей).

Вышедшая часть содержала лирику.

Издание В. Брюсова вызвало вполне единодушные отзывы в печати. Тем не менее до сих пор можно еще встретить к нему странное доверие, до сих пор еще не все в достаточной мере знают, что оно собой представляет. Поэтому я позволю себе остановиться на нем подробнее.

Валерий Брюсов потратил много лет на изучение Пушкина. Он много писал о нем и в частности выпустил целую книгу, посвященную текстологическим вопросам (о лицейских стихах). И странно было встретить в редактируемом им издании так много промахов, свидетельствующих о неряшливости, о небрежности и даже о неосведомленности.

Начнем с текста. Неряшливость в издании сочеталась с другой чертой В. Брюсова. Он считает вполне допустимым подправлять Пушкина, свободно изменяя те стихи, которые ему не нравятся. Черновики же даются в вольном стихотворном пересказе (для придания им большей законченности). При этом, хотя Брюсов и разметил некоторые стихотворения звездочкой, в знак того, что он обращался для установления текста к автографам, но в действительности этого не заметно. Уже один факт этих звездочек показывает, что сквозную проверку по первоисточникам Брюсов не считал необходимой. Большинство же стихотворений, как заявляет сам редактор, перепечатано «из авторитетных изданий». И эти перепечатанные стихотворения обычно перепечатаны неточно, с отступлениями от источника, из которого их брал редактор. Вообще трудно назвать другое издание, в котором текст был бы более искаженным.

В основу построения собрания сочинений В. Брюсов положил принцип жанровой классификации с хронологическим распределением внутри жанров. Определение жанров совершенно произвольно и кажется заимствованным из школьной теории словесности. Из пушкинского понимания жанров редактор не считал возможным исходить. Так в первый полутом выделена «лирика». Условно принято в редакторском отношении считать лирикой все мелкие стихотворные произведения. Брюсов исключает из их состава стихотворения с повествовательным сюжетом, относя их очевидно к эпосу. Сделано это непоследовательно. Например из ранних лицейских стихов выкинуты «Фавн и Пастушка», оссианические отрывки, но есть «Леда». Выкинута «Русалка» (1819), «Песнь о Вещем Олеге», но есть «Черная шаль». Мотивы отнесения стихотворений к тому или иному жанру не ясны. Поэтому трудно говорить о степени полноты собрания: пропуски не всегда достаточно мотивированы.

Отобранная таким образом лирика распределена по хронологическим эпохам. Для этого жизнь Пушкина разбита на 12 периодов. Периоды эти обычно разграничиваются датами внутри года, так что произведения одного года разделены между двумя соседними периодами. Так как пушкинское творчество охватывает период в 22 года (1814—1836), то более половины годов таким образом разбито на двое. Внутри периодов стихи разбиты по отделам; сперва идут «Законченные и обработанные стихотворения». Из них выделяются мелочи (эпиграммы, отрывки

и т. п.), которые подвергаются особой классификации, иногда своеобразной. Так под 1821 г. в особый отдел выделены «Пакости». За этим следуют незаконченные и необработанные стихотворения, за ними черновые наброски, далее особо мелкие отрывки и особо отрывочные строки. В конце каждого отдела помещаются сомнительные по принадлежности стихи (dubia). Получается громоздкая и сложная система. Благодаря мелкой рубрификации оглавление занимает 22 страницы и пользование им почти невозможно. К оглавлению приложен для облегчения пользования им «систематический указатель», то-есть перечень рубрик. Этот перечень занимает две страницы.

Брюсова повидимому увлекала мысль об абсолютной полноте своего собрания. Поэтому он с крайней тщательностью регистрирует все возможные произведения. Где только можно заподозрить самостоятельный замысел, там сейчас же ставится номер. Поэтому под особыми номерами значатся стихотворения, только упомянутые. Особые номера занимают стихотворения, Брюсову неизвестные, если он имеет какие-нибудь сведения об их существовании. Особо регистрируются отдельные строки черновых тетрадей, так что в качестве особых произведений фигурируют стихи из «Евгения Онегина» (что отмечается в примечаниях; см. стр. 258) и из «Домика в Коломне» (что не отмечено; см. стр. 346). В этом Брюсов шел по стопам Венгерова, которого в его издании весьма интересовало количество номеров. Кстати эта регистрация номеров, бухгалтерия opus'ов настолько распространенная болезнь, что на ней стоит несколько остановиться. По большей части это сводится к механическому учету, в то время как по существу дело обстоит не так-то просто. Те, кто учитывают opus'ы, не задаются вопросом, а что собственно такое отдельное произведение, что такое особый замысел? Для них этот вопрос не возникает. Между тем в действительности Пушкин вовсе не писал, вообще говоря, «отдельные вещи». Их отдельность определялась уже в процессе творчества, которое шло единым, хотя и не ровным потоком. В процессе писания например от большого произведения откалывались мелкие части, приобретавшие самостоятельность. Один замысел переплавлялся в другой (напр. «Таврида» в «Евгения Онегина», «Езерский» в «Медного всадника» с отпадением «Родословной моего героя»). Строки из незаконченных произведений инкорпорировались в новые стихотворения и поэмы. Одним словом единство замысла есть вещь текучая. Черновые наброски, особенно оторванные строки, являются заготовками, не имеющими самостоятельного единства. Они обычно ждут замысла, чтобы включиться в него. Поэтому, если собирать в сборники фрагменты и отрывочные строки, то их надо подвергать какой-то иной, особой классификации, группируя по каким-то особым циклам, критически устанавливаемым. Иначе они только засоряют собрания произведений, имеющих свою самостоятельность и единство.

Стихотворения Пушкина Брюсов перебивает своими примечаниями. Есть некоторое удобство иметь примечания здесь же, не перевертывая страниц, но это удобство покупается ценой того, что психологические условия нормального чтения нарушены. Читатель видит перед собой не Пушкина, а редактора, что действует раздражающе: страница производит впечатление засоренной. Особенно содействует этому изобилие заголовков разных рубрик, редакторских подзаголовков, вообще всякого «аппарата».

Но главный дефект Брюсова—это своеволие, с которым он обращался с текстом. Приписывая себе как поэту право устранять дефекты и оформлять черновики, Брюсов, не обращаясь к первоисточникам и основываясь исключительно на чужих транскрипциях, обычно неверных, недостаточных или непонятных, творит какой-то *стихотворный полуфабрикат, по произволу прибавляя лишние слова, отбрасывая то,* что ему кажется излишним, руководствуясь одной лишь поэтической догадкой. Мне уже приходилось подробно говорить о методах Брюсова (см. «Книга и революция» 1921 г., № 1, стр. 57—60) и я не буду повторять цитат, доказывающих фальсификацию текста. К вольной обработке текста присоединяется еще стремление дать максимальную внутреннюю полноту произведений. Для этого Брюсов пополняет законченный текст заимствованиями из черновиков, вставляя строки и целые строфы, понятно без всякого критического обследования, куда эти черновые фрагменты относятся. Любопытно, что даже над лицейскими стихами, изучению которых он сам в свое время столько способствовал, он проделывает ту же работу произвольной компиляции на основании данных, взятых из третьих рук, что и было с достаточной очевидностью вскрыто Гофманом в приложении ко второму изданию «Первой главы». Характерно, что сам Брюсов очень ценил свою работу и при каждом искалеченном им стихотворении указывал в примечании, что в таком виде это произведение печатается впервые.

Перед подобным обращением с текстами отступает на второй план всё странное в примечаниях и во вступительной статье. Точно так же вряд ли при таких условиях следует регистрировать довольно многочисленные ошибки по библиографии источников, в конце концов естественные и извинительные.

Неудача Брюсова имела две причины: первая та, что редактор просто оказался неподготовленным к такой большой задаче и не справился с тем трудом, который было необходимо проделать; вторая причина—в методологическом подходе к проблеме издания. Полагая, что новое издание в какой-то мере должно превосходить старое, он довел до утрировки и тем самым до естественного абсурда недостатки старых изданий Ефремова и Морозова. Погоню за полнотой он довел до регистрации отдельных строк и до разрушения целостности окончательных редакций восполнением отброшенных черновых частей. Следовательно им совершенно игнорировались (как и его предшественниками) проблемы композиции и структуры отдельных произведений и их собрания. Принцип полноты поглотил и то и другое. С другой стороны, стремление дать весь черновой материал в удобочитаемой форме толкнул Брюсова на путь подработок и поправок подлинных стихов. Проблема научной критики текста осталась ему чужда. Положившись на собственные поэтические силы, он думал личным «вдохновением» заменить критический анализ материала. В результате мы видим картину полного крушения.

Попытка Брюсова была долгое время единственным опытом нового издания, сделанного на основе пересмотра текста. Ленинградская группа не довела работы над текстами до конца, когда по издательским соображениям потребовался выпуск однотомного издания Пушкина. В виду краткости срока пришлось остановиться на типе избранных сочинений, при чем первоначальный план предусматривал дальнейший выпуск двух дополнительных томов, которые должны были довести состав сочинений Пушкина до некоторой полноты как с точки зрения круга произведений, так и по охвату чернового материала (вариантов). Этому плану не суждено было осуществиться. Не осуществились и параллельно возникнувшие планы издания Пушкина вне Госиздата (например план шеститомного издания Пушкинского дома).

Итак, в результате работы ленинградской группы появился однотомный Пушкин под редакцией Б. Томашевского и К. Халабаева.

Задачи редакции изложены во вступительной статье и в специальном проспекте. Вот выдержка из этого проспекта (1925 г.): «В основу редакции настоящего издания было положено воспроизведение подлинного исторического облика пушкинского творчества. Во избежание субъективного произвола редакторы стремились воспроизвести то неосуществленное поэтом издание, планы которого сохранились в его бумагах. Задаваясь целью дать законченное представление о Пушкине-художнике, редакторы, согласно пушкинским планам, ограничились только его художественными произведениями, устранив исторические, критические, автобиографические и прочие работы, а также переписку. При выборе художественных произведений из издания устранено всё безусловно отвергнутое Пушкиным, как например значительная часть лицейских произведений, а также всё то, что определенно для печати не предназначалось. Введено в первую очередь всё, что было объединено Пушкиным в изданных им самим сборниках 1829—1835 гг., в той именно редакции, в какой произведения его в эти сборники включались. Лишь искаженное цензурою восстановлено по первоисточникам. Эти сборники дополнены—по возможности умеренно—произведениями, хотя бы и не опубликованными при жизни поэта, но по своему художественному значению стоящими наряду с напечатанными Пушкиным. Все эти произведения напечатаны в конце соответствующих отделов, дабы читатель легко мог отделить произведения, напечатанные самим Пушкиным, от того «посмертного» наследия, которое при нем не увидело света. Все произведения проверены по первоисточникам, каковыми являлись в первую очередь прижизненные издания, а затем автографы Пушкина и наиболее авторитетные из современных ему копий».

Издание было в общем встречено сочувственно, но в некоторых отношениях оно вызвало возражения. Поскольку состав издания определялся комбинацией пушкинских сборников с редакторскими дополнениями, то пределы этих дополнений диктовались двумя соображениями: во-первых, некоторым критическим тактом, во-вторых, объективным состоянием рукописных первоисточников (там, где приходилось извлекать текст из автографов). Так как редакция ограничивалась включением только таких произведений, которые доведены были до достаточной художественной завершенности, то тексты слишком черновые отвергались. В их числе оказались некоторые стихотворения весьма популярные, хотя и известные в редакторских компи-

ляциях. Их отсутствие вызвало естественные протесты. Впрочем начиная с третьего издания, круг стихотворений, включенных в издание, был расширен.

В настоящее время, когда текст издания насквозь перепроверен при подготовке последнего собрания сочинений Пушкина в шести томах, можно дать достаточно объективную оценку тексту однотомника. Так как установка в нем была на печатные редакции, то в тех случаях, когда текст был канонизирован самим Пушкиным в печати, обращение к автографам было иногда недостаточным, а иногда его и совсем не было (поэмы, кроме «Кавказского пленника», «Домика в Коломне», «Анджело» и «Графа Нулина»). Между тем обращение к автографам (если при этом соблюдается достаточный такт) дает возможность ввести поправки и найти случайные, механические или цензурные искажения печатного текста. Иногда же самое обращение к автографам было недостаточным. Например хотя отрывок поэмы «Не для бесед и ликований...» и был дважды сверен с автографом, но осталось незамеченным, что имя отца надо читать Гасуб, а не Галуб (что ныне установил С. Бонди). Недостаточно внимательно изучена цензурная рукопись «Сказки о царе Салтане», дающая возможность кое-где поправить печатный текст. Вообще специально для издания и з у ч е н и я автографов собственно не производилось, а редакторы ограничивались сч
иткой с автографом, а это всегда носит характер некоторой спешки и мешает полному овладению материалом.

Но с другой стороны, если требуется дальнейшее изучение первоисточников и должен продолжаться пересмотр как отдельных мест, так и композиции текста в целом, то необходимо отметить благотворные результаты редакторского метода, по которому все корректуры обрабатывались так же, как и подготовленный к печати оригинал. По первоисточникам считывался текст во всех стадиях печати. Это в значительной степени гарантировало подлинность текста и обеспечивало от опечаток. Впрочем совершенного отсутствия опечаток конечно не достигнуто, особенно в повторных изданиях, являющихся перепечатками первого (например очень досадная опечатка в стих. «Моя родословная»—«И крови спесь у к о р о т и л» вм. «угомонил», или в «Пире во время чумы»: «я п р е д п о л а г а ю» вм. «я предлагаю»).

Первое издание вышло в 1924 г. Оно было повторено в 1925 г. Следующее издание вышло в несколько ином внешнем оформлении, так как было признано, что шрифт первого издания слишком мелок. Одновременно с тем изменено расположение отделов: стихотворения, по традиции занимавшие первое место, были, в согласии с планом Пушкина и с историко-литературным значением этого жанра в его творчестве, перенесены на второе место, после крупных стихотворных вещей. Введены некоторые новые стихотворения. В текст введены некоторые исправления, при чем приняты во внимание новые данные. На этом издании остановилась работа над текстом однотомника. Дальнейшие издания отличаются только тем, что в них вводится вступительная статья Пумпянского и рисунки Алексеева (так как издательство приняло как принцип однотомные собрания печатать с рисунками). Последнее издание было шестое [4]. Общий тираж всех шести изданий—120 тысяч экземпляров.

Когда выходило шестое издание, шла уже подготовка к шеститомному изданию ГИХЛ. Оно начало выходить в двух вариантах: в приложении к «Красной ниве» и по особой подписке.

Шеститомное издание Пушкина есть самое крупное событие в пушкиниане последних лет и на нем мы должны задержаться.

В противоположность двум первым изданиям, редактированным одним и двумя лицами, это издание носит коллективный характер.

Предполагалось, что издание будут делать те же лица, которые примут участие в большом издании академического типа (несостоявшемся). Поэтому подготовка к изданию велась в общем в довольно широком масштабе. Редакторы приступили к собиранию материалов, которые могли быть использованы только в большом издании. Этим обеспечивалась сквозная проверка всего текстового материала и переборка всех первоисточников текста.

Но если были некоторые преимущества в том, что редакторы малого издания были одновременно редакторами большого, то это же обстоятельство имело и свою обратную сторону. Малое издание рассматривали как черновое, как первый опыт, на основе которого будет сделана окончательная работа. Общий план издания был слабо проработан и редакторы недостаточно инструктированы. Единственно, что было установлено, это то, что никакого комментария не будет, и вся пояснительная часть относилась к последнему тому, который должен был иметь характер «Путеводителя по Пушкину». Так как число листов было очень плохо подсчитано и

первые пять томов (особенно пятый) оказались по объему больше, чем под них отводилось, этот путеводитель уложился не в том, а в полутом (12-й выпуск), то-есть в него вошло не больше половины материала. Отсутствие комментария в примечаниях и неясность вопроса о вариантах затруднила использование в издании черновиков и ранних редакций. Каждый решал этот вопрос по-своему, так что с этой стороны издание лишено какого бы то ни было единства.

Стихотворные произведения занимают три первые тома и начало четвертого. В два первые вошла лирика (под редакцией М. А. Цявловского, при участии Т. Г. Зенгер, Г. О. Винокура, Б. В. Томашевского и Н. В. Измайлова) и сказки (ред. Ю. Н. Верховский). В третий том вошли поэмы и драматические произведения (ред. П. Е. Щеголев, Б. В. Томашевский, В. А. Мануйлов, С. М. Бонди, М. К. Азадовский, Ю. Г. Оксман; два последние в отделе планов). В четвертый том вошел «Евгений Онегин» (ред. Б. В. Томашевский).

Прежде чем перейти к анализу издания, отмечу одну его техническую особенность, а именно: оба варианта малого издания печатались на линотипе. Этот способ печати отличается своими механическими достоинствами, но обладает также и одним недостатком; в нем, начиная с некоторой относительной исправности текста, дальнейшая правка текста бесполезна (при определенной квалификации работников), так как корректура, исправляя одни ошибки, вводит другие. Поэтому при среднем составе работников линотипная печать не дает удовлетворительных результатов в работах, требующих большой точности. Она хороша в газете, в массовой публицистической брошюре и т. п., но для передачи художественного текста, где каждое слово и каждая запятая имеют свое значение, набор этот не годится. Мало того: первый вариант печатался в газетной типографии, вообще не приспособленной к такого рода работам. Главная редакция как-то излишне спокойно отнеслась к этому факту, хотя и была предупреждена о готовящихся сюрпризах. В результате издание постигла полная катастрофа. Редакторы принуждены были писать письма в газеты, где в очень резких выражениях квалифицировали настоящее издание с технической стороны [4]. Действительно, по количеству опечаток и по их нелепости это одно из замечательных явлений печатного искусства.

Перейдем теперь к рассмотрению издания. Так как оно является пока последним критическим текстом Пушкина, то по отношению к нему требуется особая внимательность. К нему следует отнестись строже, чем к более ранним изданиям, так как ему предшествовала большая теоретическая работа по Пушкину. Издание это является опытом, за которым должно последовать дефинитивное издание, поэтому важен учет промахов и ошибок. Этим объясняется некоторая придирчивость дальнейшего изложения, которую не следует понимать как желание принизить относительную ценность издания. Я остановлюсь в дальнейшем на некоторых спорных вопросах принципиального характера.

Мелкие стихотворения занимают два первые тома. Редакция принадлежит М. А. Цявловскому при ближайшем участии Т. Г. Зенгер.

Как известно, Пушкин сам не предполагал начинать своего издания со стихотворений. Но по традиции, начиная с Анненкова, стихотворения неизменно выдвигаются на первое место. Уступая традиции, и главная редакция отвела под стихотворения первый том (который уже в процессе издания вырос в два тома).

Если традиция определила положение жанра мелких стихотворений среди прочих произведений Пушкина, то та же традиция, с небольшими уступками времени, определила распределение стихотворений. Принцип в общем принят хронологический. Разделение дано только по признаку законченности. За основным отделом стихотворений следует «Неоконченное и неотделанное», затем «Черновые наброски», «Коллективное» и «Dubia». Вообще нельзя возражать против рубрификации этого типа. Из всех зол надо выбирать наименьшее. Если решено давать стихотворения в общем хронологическом порядке, то желательно всё же основной отдел как-нибудь разгрузить. Но в данном случае не во всем можно согласиться с дополнительными рубриками. Возьмем первый раздел: «Неоконченное и неотделанное». Первое произведение, здесь напечатанное,—поэма «Монах». Она дошла до нас в чистовом автографе Пушкина, то-есть как произведение вполне отделанное. Нам известны три первые песни. Неизвестно, были написаны дальнейшие песни или нет. Но нельзя на этом основании относить произведение к неоконченным. Получается даже что-то вроде каламбура: если нет конца, то произведение неокончено. И во всяком случае выясняется, что одно дело произведение неотделанное (необработанное, не вышедшее из стадии чернового) и другое—не дописанное до конца. Ведь применяя механически прием перенесения в этот отдел произведений, не имеющих

конца, и все отрывки, которые Пушкин спокойно печатал при жизни (например «Родословная моего героя», перевод из «Валенрода» и т. п.), должны были бы быть изъяты из общего отдела и перенесены сюда. Второе произведение: «Ты хочешь ли узнать, моя драгая». Мы вполне понимаем мотивы, по которым редактор изъял это произведение из корпуса стихотворений, но от этого оно не становится ни незаконченным, ни неотделанным. Неясно отнесение в разряд неоконченных и неотделанных таких произведений, как «Недавно я в часы свободы», «Гречанка верная», «Кто знает край», «В начале жизни школу помню я», «Крив был Гнедич поэт», двустишия типа «Авдотья Яковлевна», «С Гомером долго ты беседовал один», «Чем чаще празднует лицей», «И дале мы пошли» и т. д. Ясно, что многие из них отнесены к неотделанным по внешнему виду автографа. Некоторые дошли до нас в черновиках; но от этого они не могут считаться неотделанными, так как эти черновики доведены до предельной обработки. Рассуждая так, мы должны были бы перенести в разряд недоделанных многие стихотворения, имеющиеся в первом разделе, но действительно недоработанные Пушкиным, например «Паж», «Для берегов...» и пр. Например в основном тексте печатается «Я здесь, Инезилья». Романс этот, как известно, был доработан и докончен Пушкиным, и музыку к этим словам написал Глинка. Но М. Цявловский совершенно справедливо заподозрил, что слова, печатаемые с музыкой Глинки,—не подлинные, искаженные именно для пения, что так обычно в русской музыкальной литературе. И он напечатал романс по черновику, далеко не доработанному. Например третья строфа читается:

Ты спишь ли? Гитарой
Тотчас разбужу.
Проснется ли, старый,
Тотчас уложу.

Повидимому столкновение двух «тотчас»—результат недоделки (запятая внутри третьего стиха—шутка линотипа: ее нет в автографе, нет и в первом варианте издания). У Пушкина второй стих первоначально читался «Тебя разбужу», затем в связи с переделкой первого стиха слово «Тебя» заменено словом «Тотчас», и повидимому Пушкин просто не заметил, что это слово есть в четвертом стихе. В словах, приложенных к нотам, этого нет; там четвертый стих читается:

Мечем уложу.

Точно так же первый и последний куплеты в черновом автографе начинаются:

Я здесь, Инезилья,
Я здесь под окном...

Столкновение двух «Я здесь»—недосмотр. У Глинки:

Я здесь, Инезилья,
Стою под окном...

Всё это свидетельствует о недоработанности черновика. Однако этот текст попал в основной отдел. Также неоконечено стихотворение «Стамбул гяуры нынче славят», «Сват Иван» (где даже в одном стихе, вызывающем сильное сомнение в подлинности прочтения, стоит редакторский вопросительный знак), «Странник» (с восстановлением зачеркнутого; стихотворение во всяком случае не только неотделанное, но и неоконченное), наконец отрывочное четверостишие «Забыв и рощу и свободу». Всё это находится в главном отделе, среди вещей законченных.

Но есть еще одна странность—во втором варианте издания среди неоконченных стихотворений находятся все отрывки из писем. Ясно, что к ним мерка неоконченности и неотделанности неприложима. Очевидно отдел плохо назван. Редактор чувствовал необходимость создания какого-то второго отдела, куда должны быть перенесены вещи, мешающие цельности основного отдела, но, убоявшись «субъективности» (то-есть научно-критического всестороннего изучения лирики), он выдвинул механический, формальный признак и стал его прилагать как шаблон к разным вещам. Иногда приходилось повидимому «кривить душой», то-есть там, где непосредственно ощущалась неправильность формального решения вопроса, шаблон насильственно натягивался или же наоборот: в пользу некоторых стихотворений искусственно решалась неприменимость этого шаблона. Ибо в основном второй отдел создан не по заявленным редактором мотивам.

Так же зыбок и другой отдел «Dubia» (кстати этот латинский термин, примененный к изданиям Пушкина впервые Брюсовым, производит какое-то педантическое

впечатление). В этом отделе мы находим общеизвестные произведения Пушкина, о принадлежности которых Пушкину если и подымался вопрос, то ныне он бесповоротно решен в пользу их подлинности. Таковы «Христос воскрес, питомец Феба», «Noël», «К Чаадаеву». Оказывается, в этом отделе смешано два рода произведений: 1) такие, самая принадлежность которых Пушкину не доказана, и 2) такие, текст которых вызывает сомнения. Но объединение этих двух совершенно разнородных классов тоже звучит каламбуром. Учитывая это, Цявловский во втором варианте издания решил отметить звездочкой те, которые сомнительны по принадлежности. Но в таком случае, что такое второй отдел (сомнительные по тексту)? Неужели для редактора текст стихотворений, включенных в первую часть, совершенно несомненен? Мне кажется, и здесь решение вопроса было механистично и непоследовательно, с уступками слишком прочной традиции. В самом деле, сюда включены произведения, известные по поздним публикациям. Но таких стихотворений масса в первом отделе: «В Сибирь» находится в таком же положении, как и «К Чаадаеву», также известны по поздним публикациям подписи к картинкам к «Евгению Онегину», таковы же стихи «Гонимый рока самовластьем» и многие другие. Нехорошо также, что выделение этого отдела в качестве самостоятельного и равноправного с другими слишком резко нарушает основное правило всякой классификации— единство основания деления. А ведь бывают неотделанные стихи сомнительного текста («Ты просвещением...», известное по более чем сомнительной транскрипции Шляпкина, который ни разу не мог дать правильной передачи подлинника); бывают и коллективные стихи, сомнительные по точности, какова например эпиграмма «Князь Шаликов...» Однако стихи эти значатся не под «Dubia», а в соответствующих отделах. Нам представляется, что выделение в особый отдел сомнительных по тексту излишне: они должны быть даны в конце соответствующих отделов. Странное впечатление производит и сильная текучесть этого отдела. Правда, она свидетельствует о непрерывающейся работе редактора. Но ведь второй вариант издания отделен от первого несколькими месяцами. Если за это время в структуре отдела происходят коренные изменения, то это свидетельствует скорее о зыбкости принципа. Сличая первое издание со вторым, мы видим, что 19 стихотворений передвинулись из несомненных в сомнительные, два из сомнительных в несомненные (при чем в обоих случаях источник остался тот же), два исключены как Пушкину непринадлежащие.

Можно высказать сомнение и в некоторых определениях этого отдела. Так безграмотные вирши «Эгерштрому» выделены в отдел «Dubia» лишь как сомнительные по тексту и безусловно пушкинские. Между тем правописание имени Эгерштром, а не традиционное Эгельстром [6] показывает, что редактор знаком с работой Б. Л. Модзалевского об Эгерштроме (в сборнике в честь Срезневского). Из этой статьи явствует, что Эгерштром с Пушкиным никогда не встречался, что произведения Эгерштрома были курьезны не по безграмотности, а по совершенному неведению русского языка и элементарнейших литературных правил.

Пушкин, как известно, никогда не писал в качестве пародий просто неграмотных и бездарных стихов. Его пародии достаточно типичны (ода Хвостову и Нравоучительные четверостишия) и в выборе их объекта тоже наблюдается некоторая разборчивость. Источник этих стихов, выплывших в 1857 г., чрезвычайно мутный. Для меня представляется совершенно несомненной вздорность приписывания их Пушкину. Того же порядка и некоторые другие дубии, тоже печатаемые без предохранительной звездочки.

Зыбким кажется мне и отдел «Черновые наброски». У редактора определенно заметна установка на полноту, но на полноту числовую, на максимальное количество отдельных вещей, замыслов, opus'ов. Но, как я говорил, смысл этого слова очень туманен. Отдельность, автономность произведения есть результат уже продвинувшегося творческого процесса. В отрывочных строках этого единства замысла часто нет. Черновое творчество в некоторых отношениях непрерывно. И вот приходится насильственно выдумывать единство замысла там, где оно не сводимо к другому замыслу. Поэтому получается иногда, что строка из «Бориса Годунова» идет за opus. Иногда таким opus'ом является отрывок, который самим редактором квалифицируется как совершенно незначительный и на этом основании исключается из второго издания [7]. Но характерно, что при всем том строго соблюдается регистрация opus'ов: если есть хоть малейшее подозрение, что отрывочные строки связаны с каким-нибудь помещенным в собрании стихотворением, они безжалостно отбрасываются, даже если редактор не знает, к какому именно стихотворению эти строки относятся. Например в указателе читаем: «Изгнанье—славно, спору нет»—

не введено как относящееся или к стих. Я. Н. Толстому («Горишь ли ты, лампада наша») или к стих. Баратынскому из Бессарабии («Сия пустынная страна»)» (т. 2, стр. 385). Точно так же в том же указателе сказано: «Ужель умолк волшебный глас» [Е. С. Семеновой]—не введено как относящееся к стих. Катенину («Кто мне пришлет ее портрет»)» (стр. 428), между тем как теперь С. Бонди неоспоримо доказал, что это фрагмент большого стихотворения о Семеновой, отлично им прочтенного («Новые страницы Пушкина», стр. 37). Таким образом в отрывочные строки выделяется не то, что представляет интерес в пушкинском рукописном наследии, а то, что увеличивает статистику opus'ов. Есть еще другая черта этого отдела: отрывки эти абсолютно непонятны без комментария; поэтому данное собрание напоминает скорее каталог, чем собрание стихотворений. Здесь не требуется огромный комментарий-исследование. Часто достаточно двух строк. Например если к стих. «Нет ветра—синяя волна» сказать, что это перевод и указать, откуда, то отрывок сразу оживает. Если отрывок совершенно бессодержателен, то он иногда может получить свой смысл от указания, где он найден, в каком соседстве, среди каких тем или около каких стихов. В еще большей степени последнее относится к одному классу opus'ов, нашедшему себе место в дубиях. Это стихи типа «Саранча летела...», «Я влюблен, я очарован», «Послушай, дедушка», «Блажен муж иже», «За ужином объелся я» и др. Всё это—пушкинские bons-mots и как таковые они являются фрагментами анекдотов. Вне анекдота они перестают существовать. Что такое «Саранча» без командировки и служебного рапорта? Или «Блажен муж»—без лицейского правила о размещении за обедом? Всё это мертвый набор слов. Должно вообще протестовать против введения этих анекдотов в собрание стихотворений Пушкина (в самом деле, в каком смысле это стихотворения? и как вообще редактор стихотворений представляет себе этот жанр поэзии?) и во всяком случае совершенно немыслимо изъятие bon-mot из осмысляющего контекста.

Чтобы кончить с вопросом об общих принципах композиции, отмечу еще одну очень мелкую, но характерную особенность, накладывающую свою печать на всё собрание. Все стихотворения насквозь пронумерованы. Нумерация вообще вещь удобная, так как она облегчает ссылки. Но ссылок никаких нигде на эти номера нет. Следовательно эти цифры даны как самоценность, как «учет».

Прежде чем перейти к тексту, остановлюсь еще на порядке распределения стихотворений. К сожалению редактор, верный традиции Ефремова, решил изгнать отдел «неизвестных годов». Все стихотворения получили свое положение в общей хронологической линии. Правда, большой процент датируется «предположительно», но степень этой предположительности ничем не уточнена. Повидимому здесь смешаны случаи неуверенной датировки со случаями неизвестной датировки, когда возможные хронологические пределы очень широки, иной раз на несколько лет; в таком случае стихотворение относилось (без особой оговорки) к последнему из возможных годов. В результате получается неверное восприятие стихотворения на ненадлежащем фоне. Но особенно странно поступил редактор с лицейскими стихами. В предисловии говорится: «Стихотворения, имеющие более одной редакции, даются нами в последней редакции. Исключение составляют лицейские стихотворения поэта, которые печатаются в лицейской редакции, т. е. или в печатавшейся Пушкиным-лицеистом или известной по рукописям лицейского времени. Стихотворения этого периода, подвергшиеся сильным изменениям, даются нами вторично под годом последней редакции» (т. I, стр. 70). Здесь много неясного: что такое лицейское стихотворение, что такое лицейская редакция (если этих лицейских редакций несколько). Неясно, почему для лицейских стихов делается исключение и не приложимы ли к стихам не лицейского периода те же самые основания, по которым это исключение сделано. Но совершенно неожиданным является печатание вторых редакций под годом их переработки. Ведь почему-то все другие стихотворения находятся на своих местах и ни одно из них не попало под год своей переработки. Нет ничего более неожиданного, как, раскрыв стихотворения под 1828 г., прочесть «К Каверину. 1817» с обязательным примечанием: «Стихотворение датируется 1828 г. предположительно». Чего еще предположительнее, если Пушкин датировал его 1817 годом!

Но если в корне нельзя согласиться с принципом распределения материала и с композицией собрания, то необходимо отметить большие заслуги редактора в области проверки текста. Это одно из немногих изданий, не повторяющих предыдущих. Обращение к первоисточникам освежило текст на всем протяжении издания. Редактор не ограничился уже достигнутыми в изучении Пушкина текстологическими результатами, но, учтя их, постарался продвинуть изучение дальше, и в этом отно-

шении результаты заметны. Издание это, во-первых, значительно расширило круг опубликованных произведений Пушкина, так как собрания, бывшие под запретом, предоставлены были в распоряжение издания. Кое-что было найдено незадолго до начала издания. Расширили состав собрания и собственные изыскания редактора. Обновился и самый текст стихотворений.

Правда, это не значит, что со всеми принципами издания можно согласиться и что в нем нет отдельных промахов; но ошибки его легко исправимы. Поэтому лишь укажу некоторые примеры, касающиеся произведений, которые изданы не совсем так, как этого можно было бы ожидать.

Сомнения вызывает текст некоторых лицейских стихотворений. Впрочем в этой области заметен большой сдвиг, и компиляционные редакции уже не засоряют собрания, как это было во всех предшествующих изданиях, однако полной уверенности и здесь не чувствуется. Отмечу одну частность: почему-то редакторы пренебрегают печатными журнальными редакциями и в частности отбрасывают совершенно журнальный текст стихотворений, увидевших свет после 9 июня 1817 г., т. е. после выхода Пушкина из лицея. Между тем, как явствует из прекрасного труда М. Цявловского «Пушкин в печати», начиная с конца 1815 г. Пушкин прекратил до дня окончания лицея участие в журналах. Повидимому это было сделано не по собственной его инициативе. Поэтому естественно, что стихи 1816 и 1817 гг. стали появляться в печати после выхода Пушкина из лицея. Так в июльском номере «Северного Наблюдателя» уже имеются его стихи, относящиеся к лицейскому периоду. Редактор, вообще принимающий последнюю лицейскую редакцию, отвергает текст журнала на том основании, что есть риск, что за эти три недели, которые отделяют лицейский выпуск от цензурного разрешения книжки «Северного Наблюдателя», Пушкин успел в лицейский текст внести нелицейские поправки. Подобный фетишизм лицейского мундира возможно было встретить среди членов Пушкинского лицейского общества, слишком преданных своему лицею, но в критическом издании это неуместно.

Конечно многие недоразумения и недоуменные вопросы отпали бы, если бы редактор получил возможность мотивировать выбор своего текста, но издание было задумано как «малое», облегченное, вопросы комментария были отнесены в «Путеводитель», объем которого оказался настолько мал, что лирика получила только биографический комментарий. Конечно для массового издания, каким должно было быть издание «Красной нивы» и ГИХЛ (второе издание даже без «Путеводителя»), текстология является лишним грузом. Но фактически вышло так, что это издание осталось на несколько лет единственным.

Не всегда можно согласиться и с чтением автографов Пушкина. Возьмем для примера стихотворение «Французских рифмачей суровый судия». Сравним последний текст до издания (в сборнике «Стихотворения 1825—1836 гг.». ГИЗ, 1928) со вторым изданием под редакцией М. А. Цявловского. Вот каковы расхождения:

Стих 5 в изд. 1928 г.:	Хоть дерзких умников простерлася рука
в изд. 1931 г.:	Хоть резких умников простерлася рука.
Ст. 15—18 в изд. 1928 г.:	Новейшие врали вралей старинных стоят, И слишком уж меня их бредни беспокоят. Ужели всё молчать, да слушать. О беда!.. Нет всё им выскажу однажды завсегда.
В издании 1931 г. эти	стихи пропущены.
Ст. 22 в изд. 1928 г.:	Постойте—наперед узнайте—чем душа
в изд. 1931 г.:	Постойте, наперед, узнайте, чем душа (пунктуация)
Ст. 27 в изд. 1928 г.:	Не лучше ль стало вам с надеждою смиренной
в изд. 1931 г.:	Не лучше ль вам стократ [?] с надеждою смиренной
Ст. 30 в изд. 1928 г.:	Сниская и в труде себе барыш и честь
в изд. 1931 г.:	И снискивать в труде себе барыш и честь
Ст. 32 в изд. 1928 г.:	Кропая сильному вельможе мадригалы
в изд. 1931 г.:	Кропая пошлые вельможе мадригалы.

В настоящее время стихотворение это изучено почти до предела. В связи с предпринятым факсимильным изданием тетради 2374, в котором оно находится, над ним проделана работа по точной транскрипции и по сводке. И вот, сличая результаты последней работы с изданием 1931 г., можно утверждать, что не все новые чтения удачны. Оставим стихи 5 и 22: это дань линотипу и в первом варианте издания этих опечаток нет.

Стихи 15—18 повидимому пропущены потому, что они зачеркнуты в подлиннике. Но ведь перед нами—черновое стихотворение, целиком отвергнутое Пушкиным.

Зачеркивание целых четверостиший, имеющих тесную связь с предыдущим и последующим, не есть исключение этих стихов, а лишь знак, что они подлежат переработке. В том же стихотворении другое четверостишие, зачеркнутое Пушкиным, редактор оставляет, ограничиваясь тем, что заключает его в прямые скобки (потому что там его исключение ведет к грамматической невязке).

Стих 27 в окончательном чтении таков:

Не лучше ль стало б вам с надеждою смиренной.

Очевидно издание 1928 г. было ближе к истине.

Несомненной поправкой является чтение стиха 30-го. Но это единственное изменение, не вызывающее возражений.

Наконец стих 32 дан в издании 1928 г. в связном чтении, предшествовавшем последним поправкам. В издании 1931 г. сделана попытка дать чтение после всех поправок Пушкина. Но как раз в этом стихе Пушкин не довел до конца своих поправок и не дал последнего законченного чтения. В сводке в издании тетради 2374 этот стих дан в следующей форме, тоже вызывающей большие сомнения, как о том свидетельствуют условные конъектурные скобки, указывающие на догадку редактора:

Иль пошлые [кропать] вельможе мадригалы.

Я остановился на этом примере случайно, только потому, что у меня под рукой был проверочный материал, но мне кажется, что он в какой-то степени может характеризовать текстовую работу. Мы видим, что проделана большая работа, но она не является завершающей. Еще много работы впереди [6].

В конце обоих томов имеются варианты. Однако число этих вариантов поразительно мало. Повидимому и состав их случаен. Я ограничусь одним примером. Стихотворение «Люблю ваш сумрак неизвестный» известно в рукописи в редакции, весьма отличной от печатной. Разница настолько велика, что посмертное издание приняло рукописную редакцию за особое самостоятельное стихотворение и печатало *ее отдельно. В виде двух самостоятельных стихотворений фигурируют эти две* редакции и у Анненкова, поместившего их рядом. Рукописная редакция начинается с двадцати стихов, отброшенных в печати. Стихи эти очень значительны, и мотивы, по которым они отброшены, не ясны. В стихах этих Пушкин выражает сомнение в существовании загробного мира, что в 1826 г., когда это стихотворение было напечатано, не являлось темой, допускавшей большую свободу суждений. Стихи эти довольно известны и часто цитируются:

Ты, сердцу непонятный мрак,
Приют отчаянья слепого,
Ничтожество! пустой призрак!
Не жажду твоего покрова!

Однако в настоящем издании, где ревниво сохранены такие однострочные opus'ы как «Мадам Ризнич с римским носом» (в отделе «Dubia»), этот вариант не приведен и сему есть мотивировка: в указателе спокойно сказано: «Ты сердцу непонятный мрак»—другая редакция стих. «Люблю ваш сумрак неизвестный» (т. II, стр. 427). И в самом деле, эти двадцать строк не дают нового opus'a, стихи не лицейские, чтоб давать две редакции, а поэтому под годом написания этого стихотворения мы находим только переделку 1825 г., предназначенную для печати.

В заключение остановлюсь на одной мелочи. К собранию стихотворений приложен алфавитный указатель стихов. За него мы должны благодарить редактора. В него введены стихотворения не только под теми заглавиями, под которыми они фигурируют в издании, но и под теми, под которыми они были известны при жизни Пушкина и под которыми их печатали в последних собраниях стихотворений Пушкина. Это большое удобство, так как позволяет разыскать в данном издании стихотворение, известное под неверным названием. Однако не всё в указателе хорошо. Алфавитный порядок в нем установлен по правилам библиотечного каталога, то-есть по первому слову, а не по комплексу всех букв названия, как это обычно принято. Но ведь библиотечные каталоги рассчитаны на алфавит авторов, среди которых редкие анонимные книги, устанавливаемые по названию. Там естественно, что положение в алфавите определяется одним словом. Не то в оглавлении стихов, где большинство названий имеет характер фраз, а не слов (начальные стихи). Для них этот библиотечный принцип неприменим, или вернее неудобен и благоразумно не применялся. Но в конце концов не так трудно овладеть и этой неудобной системой. Хуже другое: страницы указываются только в том месте, где стихотворение

фигурирует под тем названием, под которым оно напечатано в настоящем собрании. Здесь даются сведения о времени написания и об источнике текста. Во всех других местах дается только ссылка, против которой на месте страниц оставлено пустое место. В результате читателю приходится проделывать розыски в следующем роде. Он ищет стихотворение на Пущина. В соответствующем месте он читает: См. «Вот здесь лежит больной студент». Но на букву В в соответствующем месте мы находим: «Вот здесь лежит больной студент». См. «Надпись на стене больницы». И только на букву Н мы находим желанное указание «I 238». Таким же образом «Я видел, как она при мне» отсылает вас к «Она цвела передо мною», а здесь мы находим новую ссылку к «Свободы друг уединенный». Не слишком большое удобство представляют и ссылки другого типа: «Ох, тошно» отсылает вас к «Ах, тошно». Под последним названием вы читаете «не введено, как не принадлежащее Пушкину» [9]. Страницы без всякого ущерба и без лишних расходов на бумагу можно было бы сообщать при каждом названии стихотворения. Неудобство ссылок характеризуют цифры: в указателе около 2300 названий; только в 880 случаях указаны страницы.

Работа редактора не прекращалась после выхода в свет первого варианта издания, как это видно и из предыдущего. Изменилось общее число произведений (на два меньше), переменились некоторые датировки, перегруппированы отделы. Некоторые вещи даны по новым источникам, например «Напрасно я бегу...» во втором дано по автографу, в то время как в первом варианте издания—по Анненкову: «Бова»—по копии Матюшкина, а в первом—по тетради Никитенко [10]. Всё это доказывает, что работа редактора не остановилась. Следует только пожелать некоторого расширения филологической базы.

Любопытно, что за время, прошедшее после выхода в свет первого варианта издания, не прекратились находки новых стихотворений Пушкина. Таким образом по своему составу издание уже успело устареть. Его надо пополнить публикациями из книги С. Бонди (о которой говорилось уже в настоящем обзоре) и из посмертного сборника статьей П. Е. Щеголева (введены как приложение в том V изд. ГИХЛ).

Остальные стихотворные произведения в издании ГИХЛ в меньшей степени обновляют традицию и поэтому не нуждаются в подробном отзыве. Сказки буквально (не считая собственных опечаток издания) воспроизводят текст однотомника, даже там, где этот текст явно неисправен, например в «Сказке о попе» и в «Сказке о царе Салтане». В первой сказке традиционные стихи:

Черти встали в кружок,
Делать нечего—собрали полный оброк
Да на Балду взвалили мешок

являются произвольной редакторской компановкой. Пушкин строго выдержал на протяжении сказки парные рифмы, и в этом месте у него сложная и не совсем ясная черновая переработка, над которой следовало бы задуматься. Повидимому в автографе оставлены незачеркнутыми элементы двух последовательных редакций:

I Делать нечего, черти собрали оброк
Да на Балду взвалили мешок.
II Делать нечего, черти стали в кружок
Да собрали полный оброк.

Неясно также, является ли в предпоследнем стихе чтение однотомника «приговорил» счастливой заменой традиционного «приговаривал». У Пушкина «приговарил» (через «а» в предпоследнем слоге), что вероятно свидетельствует об описке (пропуск слога «ва»), а не о грамматической ошибке. И наконец совсем можно было бы не повторять опечатки однотомника в стихе 1-м на стр. 323: «Вот из моря вышел старый Бес» (следует вылез).

Источником «Сказки о царе Салтане» указана цензурная рукопись (писарская с пушкинскими поправками) 1832 г., но повидимому и здесь ее заменило однотомное издание Гиза, которому оказано лестное для меня, но излишнее доверие. Дело в том, что текст однотомного издания, как там и указано, печатался по печатной третьей части Стихотворений Пушкина без сверки с рукописным оригиналом этой третьей части. Таким образом текст однотомника не мог учесть всех особенностей этой рукописи. А между тем эта рукопись обладает особенностями, хотя и мелкими, но в некоторых отношениях любопытными. Как я сказал, рукопись эта писарская, но на ней есть поправки Пушкина. Пятый стих сказки был написан так же, как он и напечатан:

То сама на весь бы мир

Рукой Пушкина этот стих переправлен:

То на весь крещеный мир.

Чужой рукой пушкинские исправления зачеркнуты и восстановлено первоначальное чтение. Пушкиным наново отменено это восстановление, зачеркнут весь стих и снова написано «То на весь крещеный мир» (одновременно в следующий стих вставлена частица «б»). После этого чужой рукой вторично отменено слово «крещеный» и стих переделан на прежний лад. Итак здесь картина какого-то текстового поединка. Кто-то решительно мешает Пушкину употребить слово «крещеный». Пушкин упорно его отстаивает: «кто-то» побеждает. Ясно, почему была эта борьба и почему победил не Пушкин, а «кто-то» другой. Употребление слова «крещеный» в шутливой сказке, особенно в сочетании с пиром, было кощунством, которое допускалось еще меньше, чем насмешки над царями. Рукопись дает возможность ныне отменить победу этого «неизвестного» и восстановить пушкинскую редакцию двух стихов:

То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир.

Дает возможность та же рукопись исправить еще один стих и восстановить характерное пушкинское словечко:

В море остров был крутой,
Не привальный, не жилой (стр. 301, стих 6 снизу).

Чужой рукой в слове п р и в а л ь н ы й «а» исправлено на «о». Очевидно читавший не понял этого слова; а оно существует, зарегистрировано словарями и значит «такой, к которому можно привалить (причалить)». То, что поправка эта исходит не от Пушкина, доказывает хотя бы то, что тою же рукой слово «Окиян» исправлено на «океан». Так и попало в печать и вызвало оговорку об опечатке. Пушкин не перенес изменения сказочного стиля, но повидимому не заметил замены одной буквы внутри слова «привальный».

Обращение к рукописи могло бы дать и еще некоторые полезные наблюдения, но в настоящем обзоре я принужден ограничиться этим.

В вариантах к сказкам приведен вариант к сказке о рыбаке и рыбке: эпизод с «римской папой», приведенный также С. Бонди в его книге, а до того опубликованный по его же транскрипции с заметкой Щеголева в «Красной ниве» (1930 г., № 10). Этот пропущенный Пушкиным вариант окончательно устанавливает происхождение сказки Пушкина от померанской сказки, находящейся в сборнике Гриммов.

Третий том издания содержит поэмы. Они приготовлены были разными редакторами и поэтому в них нет редакционного единства. Почти в каждой поэме имеются свои особенности.

«Руслан и Людмила» редактирована П. Е. Щеголевым. В работе над этой поэмой он натолкнулся на то, что смущало вероятно каждого редактора этой поэмы. По общему принципу Щеголев остановился на последней редакции. Эта последняя редакция (1835 г.) совпадает с редакцией 1828 г., т. е. с редакцией второго издания «Руслана», сильно отличающегося от первого. Если сличить эти два издания, то обнаруживается, что поправки 1828 г. имеют целью в первую очередь смягчить «вольтерьянский» дух поэмы. Выбрасываются места наиболее смелые, нескромные, скептические. С поэмы снимается налет дерзкого мальчишества. Наряду с этим в очень немногих местах сделаны стилистические поправки: заменены эпитеты, поправлено склонение слова «карла» и т. п. Таким образом по существу «Руслан и Людмила» 1828 г. есть какой-то компромисс, легко объяснимый биографическими условиями этого года, когда Пушкин, преследуемый за старые «грехи», чтобы получить право на спокойное существование, принужден был отрекаться от увлечений юности. Таким образом с литературной стороны цельностью обладает только первая редакция. И напечатав в первом варианте издания вторую редакцию, во втором издании Щеголев решил дать первую редакцию. Но здесь возникают мелкие стилистические трудности. Вслед за изданием 1820 г. в «Сыне Отечества» № XXXVIII появились прибавления к поэме, впоследствии введенные в повторные издания. Ясно, что они должны быть введены в текст. Труднее решается вопрос о стилистических поправках издания 1828 г. Но третий том во втором издании вышел с черной рамкой вокруг имени редактора. То, что появилось в этом томе,—только сырой материал, которого не успел обработать редактор. Это механическая сверка двух изданий с подстрочными примечаниями. Работа не соответствует даже предупредительному примечанию, в котором указан в качестве источника «Сын Отечества».

Журнал для сверки не привлекался. Некоторые из приведенных вариантов в действительности не существуют (стр. 65, прим. 4) и обратно. В тексте — ошибки (стр. 64, ст. 2 снизу). Работа осталась незавершенной.

Кроме того Щеголевым проредактированы «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Бахчисарайский фонтан», «Полтава» и «Медный всадник». Поэмы эти не представляют больших затруднений, так как их текст вполне точно установлен в печати. Исключение составляют «Кавказский пленник», много потерпевший от цензуры, и «Медный всадник», при Пушкине не появлявшийся в печати.

В приемах редактирования этих двух поэм с П. Е. Щеголевым нельзя согласиться. Вообще чувствуется какая-то усталость редактора и даже небрежность. Так в примечании к «Кавказскому пленнику» сказано: «Текст посвящения, искаженного цензурой в изданиях при жизни Пушкина, восстановлен по автографу Пушкинского дома Академии Наук СССР (так называемая чегодаевская рукопись)». Почему именно выбрана черновая (вернее промежуточная) рукопись, а не чистовая, находящаяся в Ленинградской Публичной Библиотеке? Неужели только потому, что эта рукопись издана факсимильным способом и ею можно заниматься, не выходя из кабинета? Или потому, что Якушкин напутал и дал неверный текст этого посвящения будто бы по рукописи Публичной Библиотеки, а в самом деле в безнадежной компиляции, усугубленной тем, что в своем сравнительном описании трех автографов он пользовался совершенно неверным описанием Чегодаевской рукописи, сделанным Боцяновским (см. Академическое издание, т. II). Но при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что в издании ГИХЛ из Чегодаевской рукописи взят один только стих:

Забуду ли, мой друг, кавказские вершины,

который в рукописи Гнедича (Публичная Библиотека) читается:

Забуду ли кремнистые вершины.

(Так как в соседних стихах Кавказ назван совершенно точно, то это изменение никак нельзя назвать цензурным приспособлением.)

Два другие стиха, отличающие чегодаевскую редакцию, даны по однотомнику, т. е. по рукописи Публичной Библиотеки, которую редактор повидимому не изучал:

И вдохновенный свой досуг

в то время как в Чегодаевской рукописи:

И вдохновенный мой досуг.

И другой стих:

Я жертва клеветы, измены и невежд.

В Чегодаевской рукописи:

Я жертва клеветы, Зоилов и Невежд.

Знаки препинания, искаженные кое-где опечатками, тоже взяты из однотомника. Непонятно, чем мотивируется полное отсутствие вариантов к «Кавказскому пленнику» и к «Цыганам». К первому дано, неизвестно для чего, искаженное цензурой посвящение. Ко второй поэме не дано ничего, в то время как в рукописи имеется большое, стихов в 40, обращение Алеко к сыну, знаменующее высшую степень влияния на Пушкина идей Руссо. Известна также интимно-автобиографическая приписка Пушкина в 8 стихов на экземпляре поэмы, подаренном Вяземскому.

Трудно согласиться и с редакцией «Медного всадника». Щеголев повторил свою работу 1923 г. Об ней будет речь дальше. Надо сказать, что редакция эта была дана Щеголевым без большой убежденности в ее правильности.

Некоторые небрежности заметны и в других поэмах. Так в своей работе Винокур указал на ошибки предыдущих изданий, отбрасывающих эпиграфы у «Бахчисарайского фонтана» и у «Полтавы». В настоящем издании эпиграф у первой поэмы напечатан, а у второй остался невосстановленным, хотя отпали они в старых изданиях по совершенно одинаковым причинам.

«Граф Нулин» дан в редакции В. А. Мануйлова. Это первый труд на поприще текстологии молодого редактора, который был ближайшим помощником П. Е. Щеголева по изданию. Текст поэмы дан обычный. Редактор отверг нашу поправку к стиху 67 («под дождем», а не «под окном»), и мне кажется напрасно. В приложении даны кое-какие варианты из Онегинской рукописи (первая редакция), которые воспроизведены к сожалению не по оригиналу, а по работе Гофмана (в «Не-

изданном Пушкине»). У Гофмана есть опечатки, перешедшие и в издание ГИХЛ (напр. «Пока не повернула крана»; следует «отвернула». Этой опечатки нет в транскрипции Морозова в IV томе Академического издания; она отмечена была мною в отзыве о «Неизданном Пушкине» в брошюре «Пушкин», 1925, стр. 128).

Неоконченная поэма о Тазите (бывший «Галуб») редактирована С. Бонди, который в данном случае проявил высокие качества текстолога. Важно конечно не то, что он прочел наконец «Гасуб», а не «Галуб», как читалось около ста лет; более важно то, что весь текст проработан насквозь, черновики изучены с учетом концепции произведения и таким образом полностью установлена картина создания Пушкиным этого эпического отрывка. Работа Бонди мотивирована им в его книге.

«Гавриилиада», «Домик в Коломне» и «Анджело» приготовлены к печати мною. Текст их не является новым сравнительно с прежними изданиями под моей редакцией. Впрочем внесены некоторые поправки и дополнения по новым материалам. Отмечу один недосмотр: в примечании к «Анджело» приведен перевод Пушкина из шекспировой «Mesure for mesure» по копии, в то время как до нас дошел подлинник Пушкина (в собрании ИРЛИ), правда, до сих пор не изученный [11].

Драматические произведения редактированы П. Е. Щеголевым за исключением «Бориса Годунова» (Б. Томашевский) и «Русалки» (С. Бонди). Из этих произведений новый текст дает только «Русалка». Впрочем и здесь текст произведения был уже настолько изучен, что дополнения и поправки оказались возможны только в мелочах. Нельзя согласиться с методом редактирования «Каменного гостя». Здесь мы вернулись к старинным приемам «подчистки» пушкинского текста. Правда, отступлений от автографа очень мало, но важен принцип. Приведу самый яркий пример. Последняя реплика Лепорелло в первой сцене в автографе не сопровождается никакой ремаркой. Редактор от себя вставляет «про себя». Получается неожиданное и ненужное a parte. Между тем дело объясняется просто. Редактора смутило, что Лепорелло говорит дерзости в присутствии Дон Гуана. В действительности же Дон Гуана на сцене больше нет. В этом месте окончательный текст заменяет собой зачеркнутый первоначальный вариант, где ясно сказано после слов Дон Гуана: «уходит». Пушкин зачеркнул по ошибке ремарку вместе с репликой и забыл ее восстановить. Если бы это сделать—не было бы места ненужным догадкам.

С другой стороны, излишним педантизмом мне кажется восстановление описки Пушкина, неправильно списавшего итальянский эпиграф: *Comandatore* вместо *Commendatore,* как в либретто оперы Моцарта. И уж сохранив ошибку Пушкина, надо было бы соответственно и переводить «комендант» или «пристав», а не «командор». В таком издании правильнее метод орфографической правки иностранных текстов, как и сделано по отношению к итальянским фразам в «Египетских ночах».

Некоторые особенности текста являются повидимому опечатками, например: «Я долго был искусный (вм. усердный) ученик» (стр. 490).

Хорошо прочтены и наново перестроены в большем согласии с замыслами Пушкина черновые отрывки драматических вещей, редактированные С. Бонди.

В четвертый том издания входит «Евгений Онегин» под моей редакцией. Текст романа дан по изданию 1833 г. с некоторым раскрепощением цензурных изменений и типографских опечаток. Приложение содержит пропущенные строфы и построено по тому же принципу, как и приложение М. Гофмана к изданию романа 1919 г. В общем это приложение и основано на работе Гофмана, но все тексты наново проверены и дополнены новыми материалами. Такая проверка по автографам позволила внести исправления почти в каждую строфу. Но понятно, что такая работа над романом далеко недостаточна. Пора сделать новый и полный пересмотр всех первоисточников, изученных пока еще совершенно недостаточно.

Этим ограничивается стихотворная часть собрания сочинений Пушкина, изданного ГИХЛ. Мой обзор его поневоле принял обширные размеры, потому что это—единственное издание полного типа за эти годы.

Сделаю в заключение одно замечание общего характера. Учитывая «популярный» тип издания, главная редакция сильно снизила нормы точности в передаче особенностей языка и пунктуации. Правда, наши редакторы вообще склонны в этом к излишнему педантизму. Какая-нибудь большая буква в слове злодейство кажется им священной и неприкосновенной. Орфография (включая сюда и пунктуацию) не есть нечто индивидуальное. Как все элементы языка, орфография в силу коммуникативных свойств речи есть общеобязательная норма. Пушкин ей легко подчинялся и не стремился появляться в печати с своими личными навыками письма, если почему-либо они не были общепринятыми. Понятно, что в современных условиях «новая» орфография является таким же средством передачи речи, каким была

старая при Пушкине. Поэтому незачем удерживать старые написания там, где язык сам не изменился. Нивелировка орфографии даже обязательна. Но следует отличать орфографию от особенностей языка, пунктуацию от интонации. К сожалению издание ГИХЛ идет вообще дальше допустимого. Пушкина постоянно лишают его речевых особенностей и омолаживают не только начертания, но и самый язык. Особенно неприятно это в пунктуации, когда редакторы отменяют знаки, нотирующие интонационный строй, заменяя их безразличными знаками, основанными на школьно-синтаксическом разборе.

Не особенно удачно издание в техническом отношении, в особенности первый вариант. Лучше второй вариант. Но и там много промахов. Одним из важных промахов является отсутствие колонтитулов, затрудняющее разыскание нужного произведения.

Все мои предшествующие замечания не имеют целью принизить значения издания ГИХЛ. Это большое предприятие, счастливо доведенное до конца. Оно впервые за всю историю изданий сочинений Пушкина дает текст проверенный и заново пересмотренный. Оно—самое полное и самое исправное из всех изданий.

Но при всем том оно недостаточно. Полное отсутствие комментария при большой нагруженности черновыми текстами делает его немым. Путеводитель, приложенный к первому варианту, недостаточен. Например в части мелких стихотворений вещи в целом остались не комментированными. А второй вариант, как сообщает вкладка, подписанная ГИХЛ «по редакционным соображениям» (надо понимать—по издательским), издан «не в шести томах, как предполагалось, а в пяти», то-есть без всякого ориентирующего в текстах аппарата. Смысл многого, находящегося в издании, скрыт от читателя. Отсутствует такого рода аппарат и в выпускаемом ныне ГИХЛ втором издании; печатается оно без участия редакторов первого издания, которые поэтому не могут нести ответственности за вносимые издательством исправления. В итоге в настоящее время необходимость в полном собрании сочинений Пушкина остается такой же острой.

Избранные произведения

Собрания избранных произведений вызывались главным образом потребностями школы. Первое время после революции, когда еще центральные издательства не наладили правильного выпуска сочинений Пушкина и когда окраины были плохо связаны с центром, вышло несколько сборников избранных стихотворений, являющихся по существу продолжением дореволюционных изданий. Об одном из этих сборников, вышедшем в Чернигове под редакцией М. Гофмана, я знаю только из упоминания в его работах (см. «Первую главу», первое изд., стр. 87; вот заглавие сборника: «Стихотворения Александра Пушкина», Чернигов, 1919»).

В 1918 г. в Киеве в серии «Библиотека русских классиков» вышли «Стихотворения А. С. Пушкина в выборе с биографией и примечаниями Вас. Гиппиуса» (книгоиздательство рабочего кооператива «Жизнь»). Оно содержит 73 стихотворения. Сборник составлялся в расчете на прохождение Пушкина в старших классах гимназии, чем и определился отбор и характер примечаний. Текст основан на издании под редакцией Венгерова, к которому повидимому редактор тяготеет. От редакции Венгерова сделаны три незначительных отступления, оговоренные в примечаниях. Научная, литературная и педагогическая квалификация редактора являются гарантией того, что в пределах той скромной задачи, которую он себе поставил, им проявлен достаточный вкус и такт. Это не значит, что издание лишено промахов и не вызывает возражений, но промахи эти незначительны, а возражения могли бы быть направлены против истолкования образа Пушкина; но в этом отношении редактор примыкает к определенной линии в русской критической мысли, которую ныне можно считать иссякшей. Это один из мотивов, по которому мы не будем задерживаться на этой книге, не характерной для новых изданий.

В первые годы обследуемого периода, когда сочинения Пушкина выходили только в серии «Народной библиотеки», Петербургское отделение ограничивалось изданием отдельных произведений. В это же время в Москве вышло несколько брошюр, представляющих собой маленькие тематические сборники стихотворений. Редактором этих брошюр был Валерий Брюсов. Появились они в 1919 г. Представляли они собой тонкие брошюры, страниц по 50. Вот названия этих сборников: «Песни и стихотворения разных народов» (№ 123), «Стихотворения о разных странах» (№ 125), «Стихотворения о свободе» (№ 140), «Стихотворения 1815—1836 гг.» (№ 124) и «Баллады, сказки и поэмы» (№ 122). Повидимому были подготовлены в том же плане еще «Русские народные песни» и «Мысли», так как о них сообщается в примечаниях как о вышедших; но в свет они не появлялись.

Строй этих брошюр одинаков. Это сборники стихотворений, стихотворных отрывков, иногда даже стихотворных компиляций из поэм. Они обильно сопровождены примечаниями и вступительными заметками Брюсова. В примечаниях разъясняются иностранные слова и истолковывается смысл произведений. Брюсов обращается к самому неподготовленному читателю, которому старается разъяснить (не всегда удачно) самые элементарные вещи. Повидимому Брюсов чувствовал, что читатель, которого он имеет в виду, Пушкина вообще не понимает и не принимает. Поэтому в комментарии заметно непрерывное стремление реабилитировать Пушкина. Надо сказать, что малограмотный читатель, каким его себе воображает Брюсов, есть существо вполне фантастическое. Поэтому весь заряд «популярности» пропадает даром. Получается картина, довольно нам известная: барина, снисходительно разговаривающего с «пейзаном» на сюсюкающе-заискивающем наречии. Вот образец вводных статей Брюсова: «Каждый народ имеет свои особенности быта и нравов, происходящие от свойств страны, где он живет, исповедуемой им религии, его исторических судеб и т. д. Так например, испанцы—беззаботны, ленивы, но храбры, горды, легко увлекаются; англичане—сдержаны, суровы, ко всему относятся серьезно; итальянцы—страстны, религиозны, обладают пылким воображением; немцы—мечтательны, склонны к философским размышлениям, и т. п. В стихах Пушкина отмечены характерные черты разных народов». В примечании к стих. «Кобылица молодая» сказано: «В стихотворении выразилось чисто эллинское сознание, что человек—властелин над природой и над животными». В примечании к стих. «Ты вянешь и молчишь»—«Действие стихотворения перенесено в древний мир (?), но сущность стихов—в живом и верном изображении чувств, одинаковых во все времена». Истолкования отдельных слов не отличаются ни точностью, ни удачностью формулировок: «Адехи—наездники» (в действительности—черкесы), «Шашка—большой кинжал, сабля». Тексты заимствованы Брюсовым из каких-то древних изданий, очевидно случайно бывших под рукой. Так в «Галубе» вместо Татартуба фигурирует давно исправленный «Ташартуб». Филологический уровень комментария явствует из примечания к «Анчару»: «Деревья вроде анчара («упасы») действительно встречаются, именно в Азии, на Зондских островах, но, по новейшим наблюдениям, менее опасны, нежели предполагал Пушкин. Всё же раб, посланный царем, чтобы собрать из такого дерева ядовитую смолу для стрел, действительно мог умереть от долгого вдыхания вредных испарений. Стихотворение намеренно написано торжественным языком, как обычно писали о царях; поэтому в стихах много старинных (славянских) слов и оборотов: «древо» вместо дерево; «раскаленный» без ё, как произносили в старину (отчего это слово и рифмует с «вселенной»); «вихорь» вместо вихрь...» В другом месте «характерными оборотами песни» называет Брюсов употребление форм «хладный», «младая».

Редакторская деятельность Брюсова закончилась в 1920 г. выпуском первого полутома собрания сочинений, после чего в изданиях Пушкина, выпущенных Госиздатом в Москве, наступил перерыв. Возобновились они в 1923 г. В серии «Классики русской литературы» появились четыре книжки: «А. С. Пушкин. Избранные стихотворения. Выпуск I», тоже, выпуск второй и «Избранные поэмы» также в двух выпусках.

Это—самая мрачная страница из истории новых изданий Пушкина. Пушкинские сборники открывали собой новую серию: они носят порядковые номера серии от 1 до 4. Отворачивая обложку, мы читаем: «Серия эта заключает в себе избранные произведения русских классиков применительно к программам школ второй ступени и рабочих факультетов. Тексты для этой серии выбраны проф. П. Н. Сакулиным». На титульном листке значится «приготовил к печати Н. К. Гудзий». На обороте титульного листа: «Печатается по тексту издания «Просвещение» под редакцией М. О. Морозова» (так, с искажением имени Морозова, во всех четырех книжках).

Чтобы охарактеризовать исправность перепечатки, я ограничусь одной первой страницей, лишая себя тем самым возможности продемонстрировать, до каких пределов искажения текста может довести небрежность. Сборник начинается традиционным стихотворением «О Делия драгая!» В нем находим:

Безмолвно месяц удалился:
Спеши: твой Аргус удалился...

У П. О. Морозова первый стих кончался словом «покатился».

Где ток уединенный
Сребристые волны.

Архаический родительный падеж на «ыя» (сребристыя) корректор уподобил именительному множественного.

Чтобы не было подозрения, что эта страница случайная, раскроем—тоже на первой странице—«поэмы». Там мы находим «Посвещение» и «локоморье».

Но дело не в опечатках. Они лишь характеризуют небрежность в издании. Но почему избран текст под редакцией Морозова? Ведь вышедшие в 1922 г. работы Гофмана достаточно разъясняли цену изданий, выпущенных Морозовым. Мало того: сам Морозов после издания «Просвещения» успел выпустить полтора тома академического издания в отмену ранних текстов. Ведь после издания «Просвещения» вышло издание под редакцией Венгерова, которое в какой-то мере продвинуло вперед изучение текста Пушкина. Зачем нам например обрезанный цензурой (за кощунство) текст стихотворения «Кто знает край», когда в 1916 г. оно появилось полностью?

Но наконец примиримся с горькой необходимостью иметь в 1923 г. текст, изданный в условиях 1903 г. Редактор опоздал на 20 лет, и только. Но только ли на 20 лет? Уже в выпусках, содержащих стихотворения, мы с удивлением видим, что некоторые стихотворения печатаются совсем не в той редакции, в какой они находятся в издании «Просвещения», и даже под другими названиями. Зато мы встречаем эти редакции и эти названия в издании 1882 г. под редакцией Ефремова. Таковы: «Желание», «К Каверину», «Прощание с Тригорским» и т. п. Хуже всего дело обстоит с «Медным всадником». Как известно, поэма была обезображена цензурою Николая I в такой степени, что Пушкин отказался от мысли ее печатать. Особенно его возмутило, что запретили такую невинную фразу, как «Померкла старая Москва», и не пропустили слова «кумир». Поэма появилась после смерти Пушкина, при чем указанный стих был переделан:

Главой склонилася Москва

а «кумир» заменен «гигантом». В издании «Просвещения» эти места раскрепощены и даны в подлинном виде. Но в московском издании 1923 г., ссылающемся на Морозова, во втором выпуске «Избранных поэм» на стр. 141 мы читаем:

Главой склонилася Москва

а на стр. 148:

Гигант на бронзовом коне.

Итак, издание в цензурном отношении опаздывает более чем на 20 лет.

А объясняется всё довольно просто: не нашлось такого экземпляра «просвещенского» издания, которое можно было бы после обработки ножницами послать в типографию. На выручку пришли спасительные «однотомные» издания Карцева, Панафидиной и т. д. Но однотомные издания ведут свое начало от момента окончания срока авторского права семьи на сочинения Пушкина, т. е. от 1887 г. Они однообразно перепечатывали последний в то время текст—по изданию 1882 г. Следовательно в некоторых своих частях издание 1923 г. запаздывало на 40 лет.

Вряд ли стоит после сказанного останавливаться на приемах обрезания ножницами сочинений Пушкина. Вряд ли уж так важно, что, разрезав пополам примечания к «Песням западных славян», издание заставило Пушкина навсегда остаться с убеждением, что Мериме был только собирателем, а не мистификатором, или, сохранив в другом месте предупредительные слова Пушкина к тексту Мериме, выкинуло самый текст, *отчего слова Пушкина потеряли всякий* смысл. Стоит ли останавливаться на принципах отбора, если пропускается например «Послание цензору», но помещается «Саранча летела».

Издание это произвело свое впечатление. Под влиянием его ускорены были работы, производившиеся в том же Госиздате по проверке текстов. Это издание было между прочим одним из поводов к скорейшему выпуску однотомника в ленинградской обработке.

Но вернемся к изданиям избранных стихотворных произведений.

В серии петроградских изданий «Народной библиотеки» не было сборников в настоящем смысле слова (были объединения двух-трех вещей в одной брошюре). Лишь во второй стадии работы, в 1923/24 г., приступили к осуществлению плана издания стихотворений Пушкина. Они были изданы в двух частях в 1924 г. В основу издания положены собственные сборники Пушкина, которые воспроизведены полностью, за исключением драматических произведений и сказок, входивших в третью и четвертую часть прижизненного издания Пушкина. Стихотворения пополнены двумя отделами: вещами, не вошедшими в сборники, но напечатанными;

и вещами, сохранившимися в рукописях, но не напечатанными, и следовательно относительно которых нет уверенности, что Пушкин считал возможным печатать их именно в таком виде. Редактированы эти сборники, как и все ленинградские издания этого периода, Халабаевым и мною. Много внимания было уделено внешности издания, выходившего под наблюдением И. Д. Галактионова. Из изданий самого Пушкина перенесено в настоящее издание всё, что так или иначе определяет восприятие читателя: каждое стихотворение напечатано с новой страницы, отделы (года) разделены шмуцтитулами и т. д. Издательство проявило большую заботу о том, чтобы дать книгу, обращенную к читателю, того «Пушкина для чтения», которого давно уже не издавали, заменяя его «Пушкиным для школы», «Пушкиным для народа», «Пушкиным для пушкинистов» и т. п.

Принципы издания встретили возражения. Одни протестовали против того, что в сборники Пушкина внесены изменения (раскрытие цензурных искажений и сокращений) и тем лишили издание значения документа, заменяющего первоиздания, другие наоборот: что редакторы слишком близко придерживались схемы изданий Пушкина и отвергли универсальный чисто хронологический порядок, до сих пор имеющий еще своих приверженцев. Были возражения и против выбора дополнений к основному отделу сборников. Многих не удовлетворяла скудость примечаний (в которых редакторы ограничились раскрытием имен, замененных Пушкиным в тексте буквами или звездочками).

Издание это по тому времени считалось дорогим (первая часть 1 р. 50, вторая — 1 р. 35) и было выпущено малым тиражом (3000 экз.) Московское издание 1923 г. вышло в 15 000 экз.

Следующее собрание избранных произведений появилось уже не в Госиздате. Оно было издано бесплатным приложением к журналу «Красный журнал для всех», в серии «Избранные произведения классиков» (Ленинград, изд. «Прибой», 1925). В трех книжечках изданы следующие стихотворные вещи: «Медный всадник», «Евгений Онегин», 30 стихотворений, «Скупой рыцарь» и «Борис Годунов». Ко всему изданию две вступительные статьи: «Жизнь Пушкина» П. Брандта и «Творчество Пушкина» Г. Горбачева. Некоторые произведения снабжены вступительными очерками. Даны редакторские примечания, иногда под строкой, иногда после текста. Характер вступительной статьи П. Брандта явствует из следующих цитат: «Лицейская поэзия Пушкина была большею частью легкомысленна и эротична, т. е. посвящена половым переживаниям». «Подготовлялась почва для политического переворота. В Петербурге было учреждено общество «Зеленая Лампа», которое распространяло среди своих членов либеральные идеи. К движению примкнуло гвардейское, а затем и армейское офицерство и представители чиновно-дворянской среды. Но распространение освободительных идей не шло дальше той среды, которую представляли из себя члены общества». «Между прочим, как следствие одной поездки в Бессарабские степи и наблюдения жизни цыган, Пушкин набросал поэму «Цыганы». Здесь же, в Кишиневе, Пушкин сошелся с рядом выдающихся людей, как например, братья М. Ф. и Ф. Ф. Орловы, В. П. Горчаков, Липранди, также с деятелями греческого восстания и с будущими декабристами Пестелем и Волконским». «Годы, проведенные в ссылке, были очень плодотворны и лишний раз доказали творческую силу и гениальность поэта. Именно здесь, в селе Михайловском, Пушкин стал национальным и мировым поэтом». «Три ключа», «Воспоминание», «Дар напрасный», «Анчар» и «Чернь» — вот образцы пушкинской лирики этих лет, полных тяжелыми переживаниями. Но даже и это не надломило его творческих сил». «Желание Пушкина перевоспитать свою жену слабело перед ее нежеланием итти этому навстречу. По случаю свирепствовавшей холеры Пушкины жили в Царском Селе, где их навещали знакомые». «Здесь Пушкин наслаждался беседами с жившими по соседству и переписывался с отсутствующими друзьями, продолжая работать над сказками о царе Салтане, о попе и работнике его Балде». «13 октября 1831 года Пушкины вернулись в Петербург, где поэт занялся главным образом извлечением средств для дорого стоющей жизни; в то же время, не бросая своих работ по изучению истории Петра Великого, он прибавил к этому исследование материала о Пугачевском бунте. Весной этого года поэт работал над новой поэмой «Русалка».

Если стихотворения Фета в издании А. Маркса Брюсов справедливо назвал цитатами к статье Никольского, то сочинения Пушкина в издании «Прибой» можно назвать цитатами к статье П. Брандта.

Текст случаен. Происхождение его не совсем ясно. Кое-что повидимому взято из однотомника, кое-что воспроизводит издания «Народной библиотеки», кое-что — из неведомых источников, случайно оказавшихся под рукой. Очевидно анонимному

редактору (если вообще был такой) и в голову не приходило, что существует какая-нибудь разница между изданиями и что тексты бывают исправные и искаженные. По тексту прошлись ножницы. У «Евгения Онегина» отрезан весь конец («Отрывки из путешествия Онегина») вероятно потому, что обстригавший принял этот конец за «приложение» или «примечания».

Впрочем быть может лучше всего ограничиться приведением примечаний. Вот одно:

Не мог он ямба от хорея
Как мы ни бились отличить.

«Ямб и хорей—размеры стиха. Оба состоят из двухсложных стоп. В ямбе ударяемым является первый слог, неударяемым второй. В хорее—наоборот».

Отлично владеет комментатор языками:

Là sotto giorni nubilosi e brevi,
Nasce una gente a cui'l morir non dole

(т. е.: Там, под туманными и краткими днями
Родится племя, которому не больно умирать).

«В те дни короткие и хмурые родилась женщина, которой не страшна смерть».

Следующим по порядку сборником избранных произведений Пушкина явились издания 1928 г. в серии «Дешевая библиотека классиков». Среди книжек этой серии, имеющих характер сборников, отмечу: «Поэмы и повести» (12 поэм и стихотворных повестей), «Поэмы» («Братья-разбойники», «Цыганы», «Полтава», «Медный всадник»), «Драматические произведения» («Борис Годунов», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость»; «Пир во время чумы», «Русалка», «Отрывки»), «Сказки», «Песни западных славян», «Стихотворения 1818—1824 гг.», «Стихотворения 1825—1836 гг.»

Серия эта довольно однообразна. Тексты даны без всяких примечаний. В большинстве случаев это—перепечатка однотомника. Впрочем чувствуется установка на «полное собрание», и вещи, находящиеся в однотомнике, дополнены отрывками и целыми произведениями (напр. «Гавриилиада»), отсутствующими в однотомнике и данными в перепечатке из других изданий. Несколько отличаются от других изданий два последние сборника. Сличение текстов этого издания с другими показывает на его очень пестрый состав. Стихотворения, данные в однотомнике, перепечатаны в той же редакции. Текст других иногда проверен по новым источникам, иногда же является перепечаткой старого. Чтобы понять, в чем дело, а также понять очень странный состав сборников, в которых незаконченные отрывки перебивают отделанные стихи и вообще нет никакой системы, кроме дурно понятой хронологической, следует обратить внимание на подозрительное сходство названий этих двух сборников с двумя выпусками «Всеобщей библиотеки» (изд. «Дело» в Петрограде, 1915 г., №№ 153—154 и 155—157), в которых эти же стихи напечатаны под редакцией В. А. Никольского. Выпуски «Всеобщей библиотеки» имели два преимущества: дешевизну и удобный формат. Текстовых достоинств они не имели. Сочинения Пушкина печатались там без всякой самостоятельной проработки текста, в порядке простой перепечатки или компилятивной компановки чужих редакций. Почему в 1928 г. отдел классиков Госиздата остановился на изделии Никольского как на идеальном типе собрания стихотворений, почему проверка текста повидимому происходила уже в корректуре, так как исправление устаревших дат не меняло положения стихотворений в сборнике (если приходилось при этом переносить стихотворение из одной книжки в другую; см. «Русскому Гесснеру»), почему проверены не все тексты,—всё это вопросы, на которые трудно отвечать в настоящем обзоре. Да и ответы на эти вопросы могут принять неожиданно конфузный характер. Пусть уж ответят те, кто стряпал эти сборники и направлял их в печать.

Гораздо более благоприятное впечатление производит сборник, вышедший в «Школьной серии» той же «Дешевой библиотеки классиков»: «А. С. Пушкин. Избранные стихотворения. Редакция и примечания Вл. Лаврецкого» (Л., 1930). Редактор распределил стихи по нескольким тематическим отделам. Как ни спорны эти отделы, но в результате все стихотворения оказались в наиболее благоприятном окружении, когда никакие игривые черновики не разбивают впечатления и не отвлекают внимания. К сожалению редактор видимо не искушен в пушкинизме. Тексты, им выбранные, не всегда удачны, хотя и заметна забота о подборе лучших редакций. Попали и не пушкинские стихи (одна эпиграмма Вяземского против Булгарина). В примечаниях видна излишняя доверчивость к изданию В. Брюсова, откуда заим-

ствуются иногда просто неверные сведения. Издание содержит 61 стихотворение. Принимая во внимание такой объем, следует признать, что лирика Пушкина представлена в сборнике достаточно полно.

В той же «Школьной серии» в 1929 г. вышло два выпуска, содержащих поэмы: «А. С. Пушкин. Поэмы. Редакция, примечания и сопроводительная статья Д. Благого» («Кавказский пленник», «Цыганы», «Медный всадник») и «А. Пушкин. «Братья-разбойники», «Цыганы», «Полтава». Редакция, примечания и пояснительная статья В. И. Бутаковой». Первый выпуск вышел вторым изданием в 1930 г., а третьим— неизвестно когда, так как на нем волею судеб и стереотипа снова появился 1929 г. Общий тираж трех изданий—105 000. Второй выпуск вышел вторым изданием в 1930 г.

Как случилось, что в двух выпусках одной и той же серии напечатано одно и то же произведение («Цыганы»)—является секретом плановой работы Госиздата.

Надо отдать справедливость издательству, что в этих дешевых изданиях не повторено технических ошибок изданий 1923 г. Корректура исправная. Менее удачен по технике оформления первый выпуск (типография «Красный пролетарий» в Москве), в частности не соблюдены правила печатания разностопных стихов и не везде отбиты строфы. Но к сожалению приходится констатировать, что вообще техника оформления стихотворных произведений знакома далеко не всем типографиям и не всем редакторам.

В чем состояла редакция «Школьной серии»? Казалось бы, приготовление текста для школы требует своего подхода. Ведь подлинные тексты написаны по старой орфографии, со своеобразной пунктуацией. В переводе на новую орфографию нужен опытный глаз педагога, достаточно квалифицированного филологически, чтобы избрать правильную среднюю линию, сохраняя по мере возможности своеобразие оригинала, но не расшатывая нетвердых орфографических навыков школьников непоследовательной и со школьной точки зрения неправильной орфографией. Вот например Пушкин (а вернее его издатели, как например Плетнев) наряду с обычной формой именительного падежа прилагательных на «ый» и «ий» допускал еще «русскую» форму, довольно распространенную в книгах XVIII в.,—на «ой» (хилой, нестройной, жестокой). Иногда это делалось для рифмы, иногда может быть для стиля (разговорный или «народный» оттенок), чаще просто по неустойчивости орфографии. При этом даже в том очевидном случае, когда выбор формы диктовался рифмой, у Пушкина не было твердых правил. Сам он писал и так и так, а издатели не все были так педантичны, как Плетнев. Например в «Цыганах» рифма «двуглавый—славой» (в выпуске Благого на стр. 65, в выпуске Бутаковой на стр. 37), там же «могилой—милый» (стр. 59—60 и 31), в той же поэме «птичке беззаботной—изгнанник перелетной» (стр. 42 и 16). Ясно, что для школы ничего этого сохранять не надо, а должна быть проведена простая общепринятая орфография. В этом пожалуй и состоит «редакция» [1*]. Между тем оба издания рабски воспроизводят текст однотомника (в выпуске Бутаковой издания 1923 г.), сохраняя все особенности вплоть до больших букв в некоторых словах (Русский, Черкешенка), и слепо принимают способ передачи старой орфографии новой, принятый в этом издании. Мало того: в одном случае по недосмотру осталась форма «убогова» (в других подобных случаях эта форма, заменена формой на «ого»). Она не только оставлена в школьном издании как нечто священное, но еще сопровождена примечанием: «старая форма» (вып. Благого, стр. 67).

Текст, данный в выпуске под редакцией Д. Благого, следующий: «Кавказский пленник», который в однотомнике дан в редакции, отличающейся от всех других и являющейся результатом введения разнородных поправок в прижизненный текст Пушкина, воспроизведен буквально. Единственное отступление—опечатка на стр 36:

Но не спасла вас ваша (надо наша) кровь.

«Цыганы» воспроизведены буквально, но введено 8 стихов, приписанных Пушкиным на полях экземпляра «Цыган» 1827 г., принадлежавшего Вяземскому. Стихи эти, неправильно введенные прежними издателями в текст поэмы (Ефремовым), в настоящее время совершенно справедливо оттуда изымаются.

«Медный всадник» воспроизводит текст однотомника, отступая от него в одном стихе, данном в редакции одного из автографов Пушкина:

Насмешка Неба (вм. Рока) над Землей.

Примечания Пушкина по большей части отрезаны (чем например нарушен «этнографический» канон «Кавказского пленника»).

В. И. Бутакова сверила текст с изданием 1835 г. и заимствовала из критических изданий варианты. Правда, в результате в основном тексте находим только следующие отличия в поэме «Полтава», сравнительно с изданием 1923 г.: «Внезапно» вм. «Незапно» (стр. 79), «мутно» вм. «смутно» (стр. 80), «грозно» вм. «грозный» (стр. 81), но всё это повидимому опечатки.

Ничего не скажу о примечаниях и статьях: судить о них дело педагога. Могу только усомниться в пользе толкования таких слов, как аркан, идол и т. п.

Замечу также, что не следует смешивать Молдавию и Бессарабию (выпуск Благого). Кроме того, говоря про молдаванский двор, Пушкин разумел не жителей Молдавии, а молдаван, как именуют и жителей Бессарабии.

Для полноты обзора упомяну издание для детей младшего возраста: «Избранные стихи и отрывки. Рис. Д. Кардовского. Москва, 1930». Это тоненькая брошюрка с несколькими популярными хрестоматийными отрывками типа «времен года». Всего дано 10 стихотворений, из них—4 отрывка из «Евгения Онегина».

Не следовало бы совсем упоминать, но скажу несколько слов об одной частной спекуляции, которая начала собой серию пушкинских изданий после революции. Вот название этой книжки: «А. С. Пушкин. Собрание запрещенных стихотворений. Петербург, 1918». В этой книжонке нет ни одного стихотворения, которое давно бы не появилось в русской подцензурной печати. Зато там много стихов, Пушкину не принадлежавших. Происхождение этих текстов таково: в 1861 г. Н. Гербель издал за границей «Стихотворения А. С. Пушкина, не вошедшие в последнее собрание его сочинений. Дополнение к 6 томам петербургского издания». Это «петербургское издание» есть первое издание под редакцией Геннади 1859 г. Книга Гербеля вышла вторым изданием в 1870 г. Она состоит из двух частей: тексты и библиографические примечания. Среди текстов такие вещи, как отрывки из «Городка», «Деревни», «Моей родословной», «Наполеона» и т. д. Затем лейпцигский книгопродавец Каспрович в спекулятивных целях для «русских за границей» перепечатал первую часть сборника Гербеля под названием «Запрещенные стихотворения», хотя уже во втором издании Геннади (1870) некоторые из этих вещей увидели свет в легальном русском издании. Наивных туристов морочили до самой революции, когда во всем сборнике осталось запрещенного только самый факт его издания в эмигрантском издательстве. Сборник 1918 г. является плохой перепечаткой перепечатки Каспровича. Но русскому издателю понадобилось усугубить революционность сборника. Вот каковы его приемы: существует не-пушкинская эпиграмма, ходившая под его именем, направленная против братьев Полевых. Она читается:

Нет подлее до Алтая
Полевого Николая,
И глупее нет от Понта
Полевого Ксенофонта.

В 1861 г. Ксенофонт Полевой был еще жив, и Гербель не решился оставить фамилию Полевого полностью, заменив ее сокращением П—го. Издатель 1918 г. решил расшифровать сокращения, и в эпиграмме появились стихи «Первого Николая» и в pendant «Первого Ксенофонта»! Впрочем вряд ли это много хуже изданий, о которых шла речь выше. Различие в «источниках» не превышает 20—30 лет.

В 1934 г. появилось еще одно собрание в серии «Дешевой библиотеки ОГИЗа»: «А. С. Пушкин. Избранные стихотворения и поэмы. Редакция текста Н. К. Гудзия. Комментарии Б. Х. Черняка. ГИХЛ. 1933. Тир. 150000, ц. 1 р. 50 к.» Собрание это содержит 234 стихотворения и 10 поэм. Оставляя в стороне обычные качества подобных изданий (обильные опечатки, технические ошибки оформления: книга печаталась в газетной типографии), остановимся на приемах редактирования. Редакция текста свелась преимущественно к ножницам и клею. Но на этот раз редактор был осторожнее и резал более авторитетные издания. Состав сборника является результатом личного редакторского отбора и ничем не мотивирован. Из собственных пушкинских сборников выкинуто около 90 стихотворений. Вместо них прибавлено около 80, из них только 12, напечатанных при жизни Пушкина. Против этого отбора можно возразить следующее: если редактор имел в виду дать стихотворного Пушкина, то нельзя замыкаться на стихотворениях и поэмах, отбросив сказки и драматургию: эти жанры должны были войти в образцах. Отброшены главным образом стихи, обращенные Пушкиным к его современникам. Пушкин лишен своей среды. Затем совершенно непонятно отсутствие таких стихотворений, как «К Лицинию», «Прозаик и поэт», «Сцена из Фауста», «Череп», «Олегов щит», «Гусар», два послания к цензору, 11 песен западных славян, «И дале мы пошли» и мн. др. И вместо этого вводятся стихи незавершенные, неотделан-

ные или такие, самый текст которых внушает большие сомнения. Все стихотворения расположены в хронологическом порядке по изданию ГИХЛ вплоть до нелепого помещения «Друзьям» под 1825 годом. Впрочем есть и отступления: «Аквилон» и «Делибаш» даны под датой последней обработки, а не под годом создания. Это находится в вопиющем противоречии со всем остальным: так лицейские стихи, данные в поздней редакции (кроме «Друзей»), находятся под ранними годами. Таким образом за исключением неудачных попыток «подновления» расположение механически следует за чужим изданием.

Что касается текста, то издание воспроизводит или текст ленинградских изданий 1923 г., или текст изд. ГИХЛ (иногда почему-то предшествующего изд. «Красной нивы») и в редких случаях обращается к изданию Венгерова («Уныние», «Стихи, сочиненные ночью»). Чем руководствовался редактор в выборе того или иного текста — неизвестно. Повидимому одним из принципов было коллекционирование «особенностей». Так, если в одном издании стоит «унылый», а в другом «унывный», то берется вторая форма как более оригинальная и тем ранняя редакция стихотворения контаминируется с поздней обработкой, принятой для всего стихотворения. Если в одном издании стоит «целует», а в другом «цалует», то берется обветшалая орфографическая форма «цалует» без всякого учета того, что для Пушкина никакой разницы между «цаловать» и «целовать» не было и что в других местах за орфографией печатных изданий «целовать» скрыто пушкинское «цаловать» и обратно. Вообще об орфографии редактор не подумал и механически воспроизвел орфографию использованных изданий, не замечая противоречивости соединения разных текстов. Так на текст 1923 г. он наносит поправки из издания ГИХЛ, переделывая без всякой нужды окончания «ый» в «ой»:

Роман классической, старинной,
Отменно длинной, длинной, длинной,
Нравоучительной и чинной...

Редактору очевидно неизвестно чисто орфографическое значение этих окончаний; неизвестно ему также и то, что в остальных перепечатанных им текстах систематически произведена модернизация орфографии во всех подобных случаях.

Кстати, на ловца и зверь бежит. Если в каком-нибудь из использованных изданий имеется опечатка или ошибка, она неизбежно появляется в данном издании. Так из издания 1923 г. взято «славу богу» (стр. 482), из изд. ГИХЛ «Пир Петра Великого» (у Пушкина «Первого»; см. стр. 242). Перепечатывая из изд. ГИХЛ переводы к французским фразам в примеч. к Андрею Шенье, из «Красной нивы» редактор заимствует попавшее туда от Брюсова курьезное недоразумение: H. de la Touche (т. е. Henri de la Touche) передано: История де-Ля-Туша (т. е. Histoire de la Touche). Кстати — переводы представляют собой стилистическую обработку переводов издания ГИХЛ без учета иноязычного оригинала. Так «одна жалость» заменяется словом «жаль», что нисколько не соответствует подлинному «ça fait pitié» (точный смысл: «так плохо, что жалко смотреть»).

В результате редакцию текстов приходится признать простой перепечаткой с неудачными домыслами, без проверки по первоисточникам [13]. На том же уровне стоят и примечания. Идут они по линии наименьшего сопротивления: если в тексте Пушкина стоят имена Россини и Пера, то в примечании сообщается о том, кто был Россини, и умалчивается о Пере. Если рифмуют «пустить на пе» и «канапе», то разъясненным является только канапе. При таких условиях нетрудно удержаться на каком-то уровне грамотности: однако многие заметки грешат неряшливостью и отзывают сведениями, заимствованными из третьих рук. Таково сообщение, что «Лафонтен был одним из любимых поэтов Пушкина, написавшего в его духе ряд стихотворений» (желательно узнать хоть одно из этого ряда), что Пушкин считал пьесы Шекспира «построенными драматически более правильно», чем пьесы Расина (автору неизвестно, что именовалось правильной трагедией при Пушкине), что Парни «наряду» со стихами, воспевавшими «чувственные наслаждения», писал «многочисленные элегии» (фактически элегиями Парни и являются его «эротические стихотворения»). Много и грубых ошибок.

Но значительно ниже редакции и комментария в книге техническое оформление. Опечатки на каждом шагу искажают смысл (надо отдать справедливость редактору, что при таком низком уровне корректуры опечаток в тексте Пушкина немного), а такая часть, как «Алфавитный указатель», представляет собой образец безграмотности.

Я останавливаюсь на данном издании с такой подробностью потому, что оно является последним собранием стихотворений Пушкина и свидетельствует, что презрительно-пренебрежительное отношение издательств к изданиям «для бедных» еще не изжито. Дешевые издания остаются третьим сортом во всех отношениях.

Издания отдельных произведений

Поэмы

В обзоре публикаций поэм Пушкина я буду руководствоваться хронологией создания поэм. Издания, в которые входит несколько поэм вместе, будут указаны при первой из этих поэм.

Самая ранняя из поэм Пушкина «Монах» является новым приобретением. Она покоилась в недрах архива князей Горчаковых. Повидимому она была в лицее передана Пушкиным своему товарищу А. Горчакову и он сохранил ее, припрятав и завещав, чтобы она никогда никому не была показана. Завещатель не предусмотрел некоторых обстоятельств, в силу которых поэма появилась в свет в конце 1928 г. Ее обнаружение было событием. Вместе с ней обнаружены очень интересные лицейские бумаги. К сожалению материалы эти до сих пор не опубликованы.

Пока появился один «Монах». Он был напечатан в журнале «Красный архив», т. 31, 1928 г. (первая песня в факсимиле и транскрипции со вступительной статьей П. Е. Щеголева) и в 32 томе 1929 г. (вторая и третья песни). Текст поэмы вошел в издание ГИХЛ. По поводу обстоятельств находки и истории поэмы см. в статье Щеголева (такюе посмертном сборнике его статей) и в заметке Н. Лернера в «Красной газете», веч. вып., 22 ноября 1928 г.

Текст поэмы беловой и потому его издание не представляло никаких трудностей. Значение этого произведения гораздо ниже того, что можно было ожидать от первого эпического опыта Пушкина.

«Руслан и Людмила» впервые после революции появился в издании «Русского книгоиздательства» в Москве в 1918 г. Это издание примыкает к дореволюционным (оно сделано по старой орфографии) и не представляет интереса.

В серии «Народной библиотеки» поэма вышла в Петербурге в 1921 г. Поэма иллюстрирована рисунками Б. М. Кустодиева, датированными 1919 г. К сожалению скверное качество бумаги и печати сильно повредило этим рисункам.

Текст, как это и указано, печатается по изданию 1835 г. Иначе говоря, это текст 1828 г. Дан он в силу традиционного принципа «последнего издания». Как я говорил, в данном случае более правильным было бы решение в пользу издания 1820 г., хотя не следует закрывать глаза на то, что это решение самое трудное для правильного выполнения, так как лишает редактора спасительного автоматизма в воспроизведении избранного источника. С изданиями 1828—1835 гг. дело обстоит гораздо легче. Исправлению по ранним изданиям подлежат весьма немногие места. В «Народной библиотеке» подобные исправления сделаны.

Эта же редакция «Руслана и Людмилы» находится и в позднейших изданиях. Как уже говорилось, первый раз от этой редакции отказался П. Е. Щеголев во втором варианте собрания сочинений издания ГИХЛ.

«Кавказский пленник» появился в «Народной библиотеке» в 1919 г. вместе с «Бахчисарайским фонтаном» и «Братьями-разбойниками». Это было одно из первых изданий этой серии и на нем еще значится: «Лит.-изд. отд. нар. ком. по просв. Петербург. 1919». Обложка рисована В. Митрохиным.

Текст всех трех поэм взят по изданию 1835 г. Посвящение дано повидимому по рукописи Публичной Библиотеки, но это почему-то не оговорено. К сожалению не учтены указания Пушкина, находящиеся в его письмах, и текст не исправлен соответственно с этими указаниями. Остался ряд неправильных мест, например:

Забуду ли *его* кремнистые вершины

Надо:

Забуду ли кремнистые вершины.

В части 1:

Еще искал в *подлунном* мире (надо «в пустынном»)
Пещеры *темная* прохлада (надо «влажная»)

О *первый* пламень упоенья (надо «небесный»—цензурное изменение).
Вперял он *неподвижный* взор (надо «любопытный»).

В исправленном виде поэмы вошли в издание Госиздата 1923 г. под ред. Халабаева и Томашевского «Поэмы 1821—1824» («Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Братья-разбойники» и «Цыганы»). Как и стихотворения, изданные около того же времени, поэмы по возможности сохраняют особенности пушкинских изданий, т. е. распределение шмуцтитулов, разделение на отрывки, печатаемые с новой страницы («Цыганы»), и пр. Как и «Стихотворения», это издание рассчитано «для

чтения». В частности в «Бахчисарайском фонтане» восстановлены все многоточия первого издания, которые были убраны из дальнейших по требованию цензуры и которые создавали искусственное впечатление отрывочности и незаконченности эпизодов и лирических возгласов.

Вместе с «Цыганами» и «Медным всадником» «Кавказский пленник» вошел в состав выпуска «Дешевой библиотеки классиков» (редакция, примечания и сопроводительная статья Д. Благого).

В связи с публикациями «Кавказского пленника» необходимо упомянуть реферат В. Н. Стефанович «Из истории «Кавказского пленника» Пушкина», в котором дано обозрение изменений текста поэмы, начиная от черновой рукописи и кончая печатными изданиями (сборник «Творческая история», редакция Н. К. Пиксанова, Москва, 1927). Реферат этот не исчерпывает темы и требует перепроверки.

Следующая поэма Пушкина «Гавриилиада» была издана много раз как «новинка» в русской легальной прессе. Поэма эта, под искаженным названием «Гаврилиада», была известна по зарубежным и подпольным изданиям, не отличавшимся исправностью текста. В русских изданиях она печаталась в отрывках и лишь однажды, в приложении к некоторым, особого выпуска экземплярам Собрания сочинений Пушкина под редакцией Ефремова 1903 г., она была дана полностью.

Впервые после революции поэма появилась в 1918 г. под редакцией В. Брюсова в издательстве «Альциона» в Москве. Издание было раскуплено в несколько дней, несмотря на высокую цену. Тогда было выпущено второе издание, дешевле, с пропуском нескольких стихов и слов. В остальном оба издания тождественны.

Издание снабжено издательским предисловием (повидимому написанным В. Брюсовым), вступительной статьей В. Брюсова, появившейся впервые в «Русском Архиве» 1903 г., ч. II и затем перепечатанной в издании Сочинений Пушкина под ред. С. А. Венгерова, и его же примечаниями. Текст дан по наиболее популярной традиции, появившейся в сборнике «Русская потаенная литература XIX столетия» (Лондон, 1861), с незначительными отступлениями. Работа В. Брюсова обстоятельна и для своего времени была исчерпывающей. К 1918 г. она несколько устарела.

С издания Брюсова текст «Гавриилиады» перепечатан в газете «Вечерние известия» 1918 г., №№ 70 и 71. Кроме того были перепечатки, сделанные на территории, занятой белыми (напр. в Киеве в 1918 г. в серии «Библиотека Куранты»). Повидимому в Одессе появилось издание с титулом (по старой орфографии): «А. С. Пушкин. Гаврилиада. Полный текст, вступительная статья: Валерия Брюсова. Книгоиздательство «Буря», Москва. Цена 10 рублей». В действительности такого книгоиздательства в Москве не было. Книжка является перепечаткой первого издания «Альционы» (без сокращений текста поэмы) с пропуском примечания. Кроме того к изданию прибавлено факсимиле «программы Гавриилиады». Тогда же вышла в свет еще одна перепечатка: «Гаврилиада. Поэма в одной песне А. С. Пушкина. Тифлис. 1919». Издание дает текст поэмы по второму изданию «Альционы» (с пропусками). Тексту предпослано краткое введение от издательства.

Почти одновременно с изданием Брюсова в Петербурге появилось другое издание поэмы: «Гаврилиада. Полный текст поэмы с приложением статьи «Автор Гаврилиады» (Петроград, 1918). Издание анонимно. Статья не подписана. Текст восходит к изданию сочинений Пушкина под редакцией Венгерова с дополнением пропущенных мест по заграничным изданиям (т. е. по изд. 1861 г.).

В 1922 г. вышло в свет издание под моей редакцией: «А. С. Пушкин. Гавриилиада. Поэма. Редакция, примечания и комментарий Б. Томашевского. Труды Пушкинского дома. Петербург, MCMXXII». После этого издания текст поэмы был перепечатан в сборнике поэм Пушкина в серии «Дешевая библиотека классиков» и затем с некоторыми исправлениями текста в третьем томе издания ГИХЛ.

В издании 1922 г. остались неучтенными некоторые источники текста. В порядке исправления и дополнения издания об этих текстах сообщил М. А. Цявловский в сборнике «Пушкин. Сборник первый», Москва, 1924 («Тексты Гавриилиады», стр. 165—173).

Поэмы «Братья-разбойники» и «Бахчисарайский фонтан» отдельно не издавались. Они в «Народной библиотеке» напечатаны вместе с «Кавказским пленником» и затем входили в состав сборников вместе с другими «южными» поэмами.

«Цыганы» были изданы отдельно в «Народной библиотеке» в 1919 г. Текст дан по изд. 1835 г. Сохранено разделение на «куски». Напрасно введено в текст 8 стихов, приписанных Пушкиным на экземпляре Вяземского (правда, в квадратных скобках, но это вряд ли меняет положение, тем более, что значение подобных

скобок вообще, а в частности для широкого круга читателей «Народной библиотеки»—не ясно).

В 1924 г. вышло новое «роскошное» издание «Цыган» «Комитета популяризации художественных изданий». В этом издании основное значение имеют рисунки Л. Ф. Майделя; текст Пушкина отходит на второй план. Издание сопровождено биографией художника, написанной Б. Л. Модзалевским, и краткой, в несколько строк, заметкой П. Е. Щеголева о тексте поэмы. В самом тексте имеются ошибки:

Волынки говор, скрип (вм. скрып) телег (стр. 11)
Что (вм. чуть) по росе приметный след (стр. 26).

«Граф Нулин» был издан в 1918 г. в виде фотомеханического воспроизведения издания 1827 г. («А. С. Пушкин. Граф Нулин. Снимок с издания 1827 г., редактированного самим Пушкиным. С приложением статьи М. О. Гершензона. Москва. Издание М. и С. Сабашниковых. 1918»). Это издание очень полезно, так как до известной степени заменяет оригинальное издание. К сожалению в некоторых местах пострадали знаки препинания. К поэме присоединена статья М. О. Гершензона и его же заметка по истории текста произведения.

В «Неизданном Пушкине» М. Гофман перепечатал полный текст онегинского автографа (первая редакция), уже однажды напечатанного полностью Морозовым в IV томе Академического издания. Ошибки публикации Гофмана указаны в моей книжке «Пушкин».

Вместе с «Домиком в Коломне» «Граф Нулин» был издан в 1924 г. с иллюстрациями В. Конашевича (редакция Б. Томашевского и К. Халабаева). В текст введена одна поправка из онегинского автографа [14].

«Полтава» вышла отдельной брошюрой в серии «Народной библиотеки» в 1919 г. (без указания года). Текст дан по изданию 1835 г. Тот же текст дан в отдельном издании 1923 г. (ред. Томашевского и Халабаева).

В 1919 г. в Екатеринославе вышло издание «Полтавы» в серии «Классики в школе», вып. I («А. С. Пушкин. Полтава. Со вступительной статьей магистранта Киевского У—та Б. В. Неймана. Екатеринославское книгоиздательство «Наука». 1919»). Текст является перепечаткой с издания «Просвещения» с сохранением всех его опечаток (напр. стр. 4 «Боязнь и горе» вм. «горесть») и с пропуском некоторых примечаний Пушкина.

Перепечатана эта поэма и в московском сборнике 1923 г. («Классики русской литературы»), но почему-то, вопреки указанию, не «по тексту издания «Просвещения», а по изданию Литературного фонда 1887 г., т. е. вернее по какому-то халтурному изданию, перепечатавшему этот текст из издания Литературного фонда [15].

«Домик в Коломне» явился предметом особой публикации, соединенной с исследованием М. Гофмана («Пушкин. Домик в Коломне. М. Л. Гофман.—История создания и текста «Домика в Коломне». Труды Пушкинского дома. Петербург. «Атеней». 1922»). Гофман дал полную транскрипцию автографа и перепечатку текста, напечатанного Пушкиным в сборнике «Новоселье» 1833 г. Сделано это с целью доказать, что в качестве окончательного текста надо брать печатный и не дополнять его октавами, заимствуемыми из автографа. Положение это не может вызвать никаких возражений и уже высказывалось раньше (В. Брюсовым), но не было подкреплено изучением автографа. К сожалению этим и ограничиваются достоинства книги. Увлекаясь своим тезисом, Гофман склонен канонизировать даже опечатки «Новоселья». Транскрипция сделана торопливо и в ней сохранены ошибки предыдущих изданий. Таково чтение стиха:

У нас его недавно стали знать

в то время как в автографе читается

У нас его недавно стали гнать.

В последовательности октав, правда очень запутанной, Гофман не разобрался и его сводки грешат против подлинной композиции произведения. Стремясь к цельности, он сводит воедино несводимые куски. Элементы анализа повести и апелляция к ее источникам или наивна или несамостоятельна. И то и другое явно недостаточно. Видно, что стремясь заявить приоритет на идею реставрации поэмы, Гофман проделал эту работу наскоро и небрежно. К сожалению это почти общая черта всех его работ. В 1924 г. повесть была издана вместе с «Графом Нулиным» (см. выше) с рисунками В. Лебедева. Здесь «Домик в Коломне» дан тоже по «Новоселью», но с исправлением опечаток. В приложении даны строфы автографа,

пропущенные в печати, в новой реконструкции и с установлением новой последовательности.

В 1929 г. «Домик в Коломне» появился в издании Русского общества друзей книги с послесловием от издательства М. А. Цявловского с гравюрами В. А. Фаворского (напечатано в Нижнем-Новгороде). В этом издании совершенно неожиданно воспроизведен старый текст со всеми редакторскими дополнениями и всей проистекающей отсюда бессмыслицей. Из послесловия от редакции мы узнаем, что это было сделано при полной осведомленности о положении дела. Оказывается художник рисовал для немецкого перевода, сделанного со скверного текста. А раз рисунки сделаны, то к ним невозможно подобрать иной текст, кроме никуда не годного [16]. Таким образом стихи Пушкина здесь появились не как самоценный художественный материал, а как подписи к рисункам (к сожалению явление не редкое; таково же по существу издание «Медного всадника» с рисунками А. Бенуа).

«Евгений Онегин» был издан в серии «Народной библиотеки» в 1919 г. Издание это ценно не столько исправностью текста (данного по изданию 1837 г., в некоторых местах выправленному по ранним изданиям; редактировано Слонимским и Халабаевым, имена которых не указаны), но главным образом приложением и вступительной статьей, принадлежащими М. Л. Гофману. Вступительная статья дает краткий очерк создания романа, а приложение—резюме работы Гофмана над «пропущенными строфами», о которой говорилось в настоящем обзоре. Издание как бы канонизировало тип «популярного» издания «Евгения Онегина», нужного современному читателю. В то время как другие выпуски «Народной библиотеки» остались мало известны в среде квалифицированных читателей, этот выпуск получил сразу признание и распространение. Возможно, что одной из причин было то, что все прочие выпуски были анонимны, а здесь было проставлено имя Гофмана (почему многие считали, что им же редактирован и текст произведения).

Я не буду останавливаться на ошибках издания. Они повторяют, а иногда усугубляют ошибки основной работы о пропущенных строфах. Тем не менее в свое время это было самое полное и самое исправное издание романа Пушкина.

В 1923 г. вышло и московское издание «Онегина» в знаменитой серии «Классики русской литературы». Умудренные опытом издатели на этот раз отбросили «текст издания «Просвещения» под редакцией М. О. Морозова» и скромно обратились к тексту «Народной библиотеки». Имя редактора отсутствует. Но здесь они с удивлением убедились, что перепечатывать надо тоже с умением. Опечатки издания сохранены. Так Аннибал, личный враг Бирона (по Пушкину), согласно с опечаткой «Народной библиотеки» именуется «личным врачом Бирона». К этому прибавлено бесконечное количество новых опечаток; так «неприступная богиня» превратилась в «неприступную башню». Сохранена ссылка «Народной библиотеки» к 40-му примечанию Пушкина: «См. стр. 315», хотя в данном издании не только нет подобной страницы, но даже нет соответствующей части книги: приложение Гофмана, на которое сделана эта ссылка, отрезано ножницами редактора.

После этого «Евгений Онегин» появился в 1927 г. в издании «Дешевой библиотеки классиков» сперва без всякого комментария, в виде простой перепечатки издания «Народной библиотеки» без вступительной статьи, но с приложением пропущенных строф, текст которых почти не исправлялся. В таком же виде вышло второе изд. 1928 г. Всё отличие его от первого—в новых опечатках. Повидимому это издание выходило без присмотра, «самотеком». Третье издание 1929 г. уже имеет послесловие А. Виноградова. В том же виде вышло четвертое издание 1930 и пятое издание 1931 г. Эти три издания отличаются от первых двух и в составе приложения. Из приложения, в общем повторяющего буквально работу Гофмана, изъято предисловие к восьмой главе и имя Гофмана (имя Гофмана отсутствует во всех изданиях «Дешевой библиотеки», но в первых вообще отсутствует имя редактора). Зато присоединены «Объяснения». Идея объяснений является конечно здоровой. Роман нуждается в пояснениях, так как многие имена и факты, в нем упоминаемые, уже непонятны современному читателю, даже квалифицированному. За доказательствами ходить недалеко. Так недавно вышло издание «Евгения Онегина» в переводе на эсперанто. Там в примечаниях читаем такой комментарий: «Благонамеренный»—газета. Скептический Бель (автор известного французского исторического словаря) оказывается «знаменитым английским хирургом Чарльзом Беллем» [17], одесский авантюрист «корсар в отставке Морали»—Октавом Морали, итальянским филологом, специалистом по греческому языку, никогда в Одессе не бывавшим. При этом непонятные эпитеты «сын Египетской земли» и «корсар в отставке» разъясняются как «поэтические шутки Пушкина».

Свидетельством в подобной потребности со стороны читателя является и вышедшая в 1932 г. в издании «Мир» книга Н. Л. Бродского «Комментарий к «Евгению Онегину». К изданию «Дешевой библиотеки» приложен явно недоброкачественный комментарий. Стих «Обшикать Федру, Клеопатру» комментируется: «Федра»—балетная переделка пьесы французского писателя Расина», между тем как балет «Федра» поставлен в сентябре 1825 г., а первая глава романа вышла в свет в феврале того же года, а написана еще в 1823 г. Между тем в 1819 г., к которому она отнесена автором, шла опера «Федра». Заодно «Клеопатра», поставленная едва ли не ради рифмы, объявлена «балетной переделкой пьесы Вольтера» [18] (?). Впрочем подобных ошибок не больше десятка, так как комментатор воздерживается от разъяснения действительно неясного, предпочитая сообщать сведения о таких именах, как Шатобриан, Руссо, Дельвиг и т. п. Неизвестно, для чего в объяснения вставлено «добавление к IV главе», в котором дается промежуточная редакция одной строфы, в то время как в приложении Гофмана дана как черновая, так и беловая редакция этой же строфы. Публикация эта, давая картину колебания Пушкина в выборе двух эпитетов, не прибавляет ни одного стиха к ранее напечатанному в той же книге. Этот черновик одной строфы публикатор ухитрился дать в виде двух строф, истолковав это как «материал» трех строф. Кстати об этой публикации. Черновик Пушкина был найден в архиве Соболевского А. Виноградовым и опубликован в «Вечерней Москве» 23 июля 1927 г. в чтении М. А. Цявловского. Затем в 1930 г. этому черновику посвятил исследование на четырех страницах А. Виноградов в XXXVIII—XXXIX вып. «Пушкин и его современники». К исследованию приложено и факсимиле листка. Редакция издания принуждена была на четырех страницах опровергать промахи исследователя и сообщить истинное положение этих 18 стихов в истории текста.

Шестое издание «Дешевой библиотеки» 1932 г. вышло уж в школьной серии с послесловием А. Цинговатова. Что касается текста, то он сделан с нового набора, но с исключительной точностью воспроизводит предыдущие издания, сохраняя все их опечатки (напр. стр. 9 «Не п о з в о н и т ему обед», стр. 29 «Ярем о т барщины старинной», стр. 35 «Б л а ж е н е н тот, кто их не знал», стр. 59 рифма «с е л е н и я-мученья» и т. д.) и дополняя их новыми. За текстом очевидно никто не следил. Правда, на обороте последнего листка значится «ответственный редактор Д. И. Киреев», но к чему свелась его ответственность—неизвестно. Значительно сокращены приложения, при чем печатные тексты, вводившиеся в издание Пушкиным, смешаны с черновиками. Из рукописных вариантов перепечатаны только «Альбом Онегина» и «Десятая глава». К этому присоединено не имеющее отношения к роману черновое послание Плетневу, советовавшему Пушкину продолжить «Онегина». Увеличено количество примечаний и объяснений (которые даются по линии наименьшего сопротивления; напр. «Л о р н е т — очки на рукоятке», в то время как у Пушкина «двойной лорнет» обозначает просто бинокль и является переводом французского lorgnette double, «Сен При—известный карикатурист», в то время как нам не известно ни одной его карикатуры, и т. д.). Заметка А. Виноградова заменена статьей А. Цинговатова, где сообщается, что «при всей своей гениальности Пушкин в своем творчестве разумеется социально обусловлен и классово ограничен» (предполагается очевидно, что истинный гений не бывает социально обусловлен), а «цитата из вариантов» восьмой главы приводится повидимому в вольной композиции В. Брюсова из его сборничка 1919 г. Тираж этого изделия—50 000 экз. Цена сравнительно с предыдущими изданиями повышена с 45 до 75 коп.

Последнее издание «Евгения Онегина» вышло в издании «Academia» 1933 г. (в действительности вышло в свет в начале 1934 г.). Это дорогое (цена 60 руб.) издание, главный интерес которого сосредоточен в рисунках Н. Кузмина, давшего попытку иллюстрировать Пушкина в графической манере самого поэта и с введением портрета Пушкина в качестве организующего серию иллюстраций. Что касается до текста, то он явно занимает в книге второе место. Текст приготовил к печати М. А. Цявловский, которому принадлежит краткая заметка «От редактора», датированная 11 августа 1933 г. Из этой заметки узнаем, что в основу издания положено издание 1833 г., в которое введено 20 оговоренных исправлений. Сличая эти исправления с изд. ГИХЛ, констатируем, что 19 из них уже было введено в это издание, и следовательно новое юбилейное издание в общем повторяет текст ГИХЛ. Но есть и некоторые отличия. Во-первых, еще одно отличие от издания 1833 г.: гл. 2, стр. XXIX в издании 1833г.—

Она влюбилася в романы

в изд. 1933 г.—

Она влюблялася в романы.

Сделано это на основании первоначальной рукописи Пушкина, и в основательности этой поправки можно усомниться: печатная редакция есть результат дальнейшей работы Пушкина и в деталях расходится с автографом. И в данном случае Пушкин мог заменить несовершенный вид совершенным.

Зато отброшена, и напрасно, поправка в гл. 4, стр. XVII. В печати:

Пошла домой вкруг огорода,

в рукописи:

Пошли домой вкруг огорода.

Повидимому в печати опечатка, так как следующий стих читается: «Явились вместе».

Редактор несколько подновил орфографию. Так исчезли пушкинские «сёлы», «блюды», замененные через «села» и «блюда». Хуже замена формы «плечи» (гл. 8, стр. XV) через «плеча» (по изд. 1833 г. в противоречии с автографом). Эта форма, ныне совершенно мертвая, введена в издание 1833 г. корректором, а не автором. Дело в том, что у Пушкина форма «плеча» существовала только с ударением на втором слоге (см. гл. 7, стр. XXX), а с ударением на первом слоге была сохранившаяся теперь форма «плечи» (см. гл. 4, стр. XLVIII). Наконец жаль пушкинского галлицизма «героиной» (рифма—«Дельфиной»).

К статье М. Цявловского приложена пушкинская хронология «Онегина» с традиционной опечаткой: при главе VIII (Странствие) помета «Болдино 1829» (в действительности «1829» относится к помете «Москва»). Опечатка эта старинная: сделана она в издании 1855 г. (т. I, стр. 227) и как священное наследие переходит из издания в издание, хотя факсимиле автографа Пушкина имеется в книге Шляпкина «Из неизданных бумаг Пушкина» (1903 г.). Опечатка эта имела последствия. Нижегородская археологическая комиссия на ее основании в 1929 г. праздновала 100-летие со времени «первого» приезда Пушкина в Болдино. По этому поводу была выпущена специальная брошюра «Болдино и Пушкин». Здесь сообщалось, как в 1829 г. Пушкин «по дороге в Петербург (из Москвы) побывал в Болдине». К брошюре приложен и дневник творчества Пушкина в Болдине, где видим, что пробыл он здесь по меньшей мере с 29 октября по 3 ноября 1829 г. А между тем в основе всего этого одна лишь опечатка. Ибо известно, что Болдино не лежит по дороге из Москвы в Петербург, что Пушкину в 1829 г. там абсолютно нечего было делать, что попал он туда впервые в 1830 г., а *всё это время с октября по начало ноября 1829 г. он находился в* Старицком уезде, чего не знал в свое время Анненков, канонизировавший свою опечатку.

Некоторое отличие изданию сравнительно с изданием ГИХЛ придает форма X главы. Строками точек восполнены все 14 стихов каждой строфы. Однако почему при таком точном обозначении каждой строки изолированные строки строф VI—IX оказались одни на шестом, а другие на пятом месте—неясно. Вероятно потому, что они ошибочно занимают подобные места в изд. ГИХЛ. Но ведь там точки означали просто пропуск, а не количество пропущенных строк. Кроме того в строфе IX буква Л раскрыта в имя Лувеля, что довольно вероятно. Иначе скомпанована строфа XVI, а следующая за ней под влиянием мнения Н. Бродского дана предположительно как вариант строфы XIII, к чему уже нет никаких оснований. Жалко, что редактор отбросил примечание Пушкина о Ганнибале (отнесенное изданием ГИХЛ в приложения), сохранив ссылку на него.

Таковы текстовые достоинства этого издания, задуманного как юбилейное [19].

Последняя поэма Пушкина «Медный всадник» издана была в 1919 г. в виде отдельного выпуска «Народной библиотеки». Здесь впервые дан текст по автографу (тетрадь 2376), в последней редакции, но с восстановлением мест, изменение которых вызвано цензурными отметками Николая I. К сожалению осталась одна опечатка, перешедшая из прежних изданий: «Садки под мокрой пеленой», тогда как в рукописи «Лотки под мокрой пеленой» (у Пушкина написано: «Лодки»). Этим изданием, казалось, решен вопрос об окончательном тексте «Медного всадника». В действительности следующее издание пошло по совершенно другой дороге. В 1922 г. вышло новое издание Общества популяризации художественных изданий с рисунками А. Бенуа. Текст «Медного всадника» дан под редакцией П. Е. Щеголева, сопроводившего этот текст обширной статьей, мотивирующей выбор данной редакции. Идея Щеголева состояла в том, чтобы восстановить текст в том состоянии, в каком он был представлен Николаю I на цензуру. Как известно, на рукописи Николаем были сделаны такие пометки, после которых Пушкин отказался от мысли печатать поэму и порвал договор со Смирдиным. После этого Пушкин продолжал работать над поэмой, отчасти надеясь привести ее в «цензурный» вид и изменить места, отмеченные Николаем, так, чтобы сделать их приемлемыми. Но все поправки не могут быть объяснены такой работой приспособления к цензуре, и все редакторы

до настоящего времени принимали их как результат художественной работы Пушкина. Щеголев ставит вопрос так: если бы не было цензурного вмешательства Николая, то поэма появилась бы в печати в том состоянии, в каком она была подана на цензуру. Тогда этот текст был бы принят в качестве окончательного. Его он и реконструирует, отбрасывая все позднейшие поправки Пушкина. При этом он основывается на том, что некоторые из этих поправок не являются окончательными, так как нарушают синтаксический и смысловой строй первоначальной редакции.

С аргументацией Щеголева нельзя согласиться. Она и не была принята ни одним из исследователей, обращавшихся к рукописи «Медного всадника». Здесь не может быть редакционного шаблона, общего по отношению ко всем вариантам рукописи. Поправки Пушкина не являются связанными, то-есть одна не тянет за собой другую. Следовательно редактор должен рассматривать каждую поправку в отдельности. Ясно, что должны быть устранены цензурные искажения, что сделать нетрудно, так как места, подлежавшие «очищению», отмечены. Должны быть устранены поправки, связанные с цензурными, т. е. вызванные необходимостью согласовать с новой редакцией оставшуюся старую. Остальные поправки должны вводиться в текст, но конечно вполне законен вопрос: являются ли они законченными? Два места вызвали сомнения Щеголева. Аргументация его не вполне убедительна, и я бы предпочел оба эти места во второй редакции. Но здесь возможен спор, и необходимо детальное рассмотрение вопроса, которое может привести к тому или иному решению. Текст дан по старой орфографии, но без соблюдения особенностей подлинника, оговоренных в статье Щеголева. Есть и ошибки [30].

Пушкин написал:

Того, чьей волей роковой
Под морем город основался.

Здесь предлог «под» имеет значение «около», «вблизи», «в сфере влияния». Стихи эти были признаны в свое время нецензурными и заменены Жуковским в печати другими. Впервые их напечатал Анненков в 1857 г. (правильно). Позднейшие издатели, повидимому не поняв значения предлога, печатали по догадке «Над морем». Это чтение почему-то удержано и не оговорено Щеголевым.

Таким образом интерес издания заключается не столько в тексте, слишком спорном, сколько в комментарии, содержащем некоторые новые данные по истории текста. Впрочем кое-что печаталось уже и в ранних изданиях (напр. «Просвещения»).

Как сообщается в примечании редакции, книга закончена набором в 1917 г. (повидимому этим мотивируется старая орфография). Этому заявлению странно противоречат даты на рисунках Бенуа. Кстати иллюстрации Бенуа носят совершенно не книжный характер. Они не рассчитаны ни на формат, ни на распределение среди текста. В некоторых местах текст так искрошен этими рисунками, что начинает походить на подписи под картинками, в стиле сказок Буша. Художественного издания не получилось. Вышло только так называемое «роскошное издание».

Полный текст поэмы дан в выпуске серии «Классики в средней школе под редакцией проф. Н. С. Державина» (кн-во «Благо», Петроград, 1922), посвященном «Полтаве» и «Медному всаднику» (составил А. М. И.). К сожалению текст поэмы дан по старому изданию, с сохранением цензурных «Главой склонилася Москва», «гигант» вместо «кумир» и т. д. При таких условиях как-то странно звучит примечание 71 на стр. 83, в котором редактор в особую себе услугу ставит то, что он печатает «поднял», а не «вздернул» и тем самым обличает в неисправности «большинство изданий». Примечание это напоминает шпильки Ефремова по адресу Морозова и переносит нас в доисторическую эпоху работы над текстом.

К текстовым публикациям относится и статья Н. В. Измайлова «Из истории замысла и создания «Медного всадника» («Пушкин и его современники», вып. XXXVIII—XXXIX, 1930). Статья эта только часть большой работы Н. В. Измайлова о поэме, до сих пор еще не напечатанной. Статья Измайлова останавливается на вопросах предварительной работы Пушкина и на связях между «Езерским» и «Медным всадником». Она имеет характер общего обзора проблемы, без полной публикации всего относящегося сюда материала. Основные положения статьи доказаны с большой убедительностью, хотя и не со всеми утверждениями Измайлова можно согласиться. В частности кажется мало убедительной попытка датировать начало работы над данным замыслом 1830 годом.

Драматические произведения

Из всех драматических произведений Пушкина наибольшее количество раз был издан «Борис Годунов». По большей части это были перепечатки. Первый раз

после революции трагедия появилась в 1917 г. в издании московского «Русского книгоиздательства» в серии «Общедоступная библиотека». Как и прочие выпуски той же серии, издание преследовало цель удовлетворить запросам школы. Издание представляет собой перепечатку с издания Суворина под ред. Ефремова 1903 г., напечатано по старой орфографии и примыкает к типу дореволюционных изданий [21].

Следующим изданием было издание «Народной библиотеки» 1919 г. Текст дан по изданию 1831 г., дополненному и исправленному по автографу Публичной Библиотеки. Подобный выбор текста нельзя признать окончательно верным. Пушкин, подготовляя второе издание, внес в текст еще ряд изменений, относящихся ко времени после 1831 г. Они нанесены на писарскую копию, хранящуюся в Ленинской библиотеке. Сама по себе копия эта не вполне исправна и не может быть положена в основу издания: автограф Ленинградской Публичной Библиотеки предпочтительнее, но поправки московской рукописи учесть необходимо. К сожалению и по исправности печати этот выпуск уступает другим изданиям «Народной библиотеки».

В том же 1919 г. «Борис Годунов» появился в серии «Репертуар», «Русский театр», № 1, издание театрального отдела Наркомпроса (Петербург, 1919). Издание является перепечаткой старого текста «Всеобщей библиотеки» даже с послесловием редактора В. Никольского, но без его имени.

В 1922 г. вышло издание «Бориса Годунова», которое я упомяну здесь только для полноты обзора. Вот его титул: «А. С. Пушкин. Борис Годунов (трагедия). Оренбург. Государственное издательство Киргизской С.С.Р.» На обратной стороне обложки «В память 85-й годовщины со дня смерти А. С. Пушкина». Издание отличается крайней типографской небрежностью и неудачным выбором текста. Текст взят тот же, что в издании «Русского книгоиздательства», с которого повидимому прямо и перепечатан. Текст этот отличается непоследовательным и некритическим стремлением к полноте. Еще не так страшно, что сцены со злым чернецом и в уборной Марины, выкинутые Пушкиным, поставлены на свои места. Хуже, что всей трагедии предшествует заимствованный из черновой рукописи список «Действующих лиц в 1-й части». Между тем в данном издании трагедия не разделена на части (да и не могла быть разделена), так как составилась не из двух частей, а из одной, к которой присоединены отдельные сцены, не составлявшие связанного между собой единства, «части» в настоящем смысле этого слова. Для читателя подобный список кроме недоразумения ничего не даст. В издании 1903 г. под ред. Ефремова все эти места сопровождались примечаниями, отброшенными изданием 1917 г. и не попавшими в оренбургское издание.

Следующее издание относится к 1923 г. («А. Пушкин. Борис Годунов. Государственное издательство. Москва—Петроград. 1923. Редакция Б. Томашевского и К. Халабаева. Обложка и рисунки Н. Купреянова») [22]. Текст трагедии тот же, что и в издании «Народной библиотеки», только введено бо́льшее количество исправлений текста по автографу Публичной Библиотеки. Кроме того в сцене «Равнина близ Новгорода-Северского» прочитаны по автографу французские реплики Маржерета, печатавшиеся до сих пор в искаженном виде (в издании 1831 г. эти реплики, вследствие их грубости, не появлялись).

В тексте трагедии, напечатанном в однотомнике, учтены и особенности московского списка, но не в достаточной степени. Приблизительно в той же мере эта рукопись была уже использована Ефремовым в издании 1903 г. (правда, лишь отчасти и не из первых рук), но дальнейшие издания не последовали его примеру повидимому вследствие малой изученности обеих рукописей. В издании 1923 г. не всё еще выправлено. Например в известном монологе («Царские палаты») читаем традиционное:

Как молотком, стучит в ушах упреком,

в то время, как Пушкин последнее слово исправил на именительный падеж: «упрек». Это изменение введено впервые в издание 1930 г. (приложение к «Красной ниве»). Надо сказать, что, несмотря на довольно ясный текст трагедии в целом, многие детали остаются до сих пор невыясненными и невыправленными. Объясняется это тем, что автограф, с которого готовилось издание 1831 г., не был вполне исправным. Самое издание делалось без наблюдения Пушкина. Не всегда можно установить, какие изменения текста, находящиеся в издании сравнительно с автографом, принадлежат автору, так как издание сильно пострадало от цензурных и прочих искажений. Таким образом окончательное «очищение» текста еще не проделано. Это работа мелкая, неблагодарная, так как не сулит никаких «открытий», и всё же ответственная, так как для точного установления текста мало надежных данных. Работа эта вряд ли привлечет охотников.

Следующее издание «Бориса Годунова»—перепечатка 1927 г. (в серии «Дешевая библиотека классиков») [23]. Затем в 1929 г. вышло новое издание в «школьной серии» («Редакция, примечания и сопроводительная статья Д. Благого»). В 1931 г. этот выпуск серии повторен со стереотипа [24]. Характер редакции текста ни в чем не отличается от других выпусков того же рода. Это перепечатка без всякого обращения к первоисточникам [25].

Мелкие трагедии Пушкина (кроме «Каменного гостя», о котором необходимо говорить особо) выходили в следующих изданиях: в 1917 г. (повидимому до Октябрьской революции) вышел «Моцарт и Сальери» изд. Общины св. Евгении, с рисунками Врубеля и статьей Гершензона. В 1919 г. в серии «Народная библиотека» вышло два выпуска. Один содержал «Скупого рыцаря», а другой две вещи: «Моцарт и Сальери» и «Каменный гость». В 1923 г. вышли в свет «Драматические сцены» (все четыре болдинские трагедии; редакция Б. Томашевского и К. Халабаева).

В 1918 г. в Ташкенте вышла в свет «Русалка» в иллюстрированном издании Комиссариата народного образования Туркестанской республики (в серии «Просвещение», № 5). Текст является перепечаткой с издания «Просвещения» под ред. Морозова 1903 г.

Текст этих пьес в данных изданиях не подвергался существенным изменениям. «Моцарт и Сальери» и «Пир во время чумы» имеют один источник текста—печатное их издание. Сложнее несколько обстоит дело со «Скупым рыцарем», известным не только по печатному тексту «Современника» 1836 г., но и по автографу, при чем эти два источника в деталях расходятся; не всегда ясно, какой из них дает исправное, окончательное чтение. Так в частности Н. О. Лернер неоднократно возвращался к вопросу о том, не следует ли стих

Его червонцы будут пахнуть ядом

печатать по рукописи: «Его червонцы будут пахнуть адом» (см. Н. О. Лернер. «Рассказы о Пушкине», 1929, стр. 221). Предложение Лернера не принято ни в одном издании (отчасти потому, что начертание этого слова в автографе не вполне ясно).

Что касается «Русалки», то, несмотря на то внимание, которое в свое время было обращено на текст этого произведения, оно не было исправно напечатано в прежних изданиях, а потому в новых собраниях сочинений Пушкина появилось в исправленном виде. В первых двух изданиях однотомника была сделана попытка переставить сцены согласно с указаниями автографа. К этой попытке отношение было различное: с одной стороны, изменение замысла у Пушкина было совершенно ясное и в этом отношении новое расположение сцен дает более точное представление о драме в том состоянии, в котором Пушкин бросил работу над ней. С другой стороны, Пушкин сделал только перестановку и не произвел тех изменений в тексте, которые необходимо вызывались изменением порядка во времени. Получилась недоделанная редакция, в некоторых местах противоречивая. Принимая во внимание эти противоречия, редакторы в третьем издании однотомника восстановили первоначальную последовательность. В этой же последовательности дает сцены и редактор последнего издания С. Бонди. Но зато он вносит изменение в монолог князя в последней сцене, сделав перестановку, указанную в автографе. На эту перестановку давно уже обращали внимание, но понимали ее неверно, и она была лишь источником недоразумений и ошибок. Впрочем в данном месте показания автографа неясны.

Наибольшее обновление текста произошло по отношению к «Каменному гостю». В названном выпуске «Народной библиотеки» текст проверен по автографу (единственный первоисточник текста). Это был первый опыт обращения к первоисточнику в серии «Народной библиотеки». Опыт этот показал, насколько небрежны были все предыдущие издания. В качестве текста для сличения с автографом был взят текст издания под редакцией Венгерова, считавшийся лучшим. В результате сличения обнаружено 25 ошибок издания (всё произведение занимает в издании Венгерова около 11 страниц). Ошибки эти не являются случайными промахами или опечатками. Это результат свободной редакторской обработки пушкинского текста, который первым редакторам (в том числе Жуковскому) мог показаться недостаточно обработанным. Некоторые из переделок редакторов находятся в противоречии с замыслом или навязывают Пушкину свое понимание. Так первые слова всех изданий «Ночь. Кладбище близ Мадрита» в автографе отсутствуют. Время действия в этой сцене не ночь, а вечер (к концу сцены смеркается), а место действия не кладбище, а монастырь. Таким образом прибавления редакторов противоречат оригиналу [26]. Этому изданию его редактор Ал. Слонимский посвятил специальную заметку «Новинки пушкинского текста» («Жизнь искусства» 1919 г., № 181—182).

Следующее издание этой трагедии вышло в 1923 г. («А. Пушкин. Каменный гость. С приложением вариантов и истории текста. Государственное издательство. Москва—Петроград, 1923. Редакция Б. Томашевского и К. Халабаева»). Это был первый выпуск из серии изданий 1923 г. Его особый характер объясняется желанием редакторов показать характер работы, производившейся для установления текстов, печатавшихся в этой серии, и несколько популяризировать проблемы практической текстологии, продемонстрировав печальную судьбу произведений Пушкина. Для этого было выбрано два произведения, не напечатанных при Пушкине: «Каменный гость» и «Медный всадник». Однако осуществить подобное же издание по отношению ко второй поэме не оказалось возможным по издательским соображениям. Был произведен новый пересмотр автографа, при чем в издании «Народной библиотеки» обнаружено 16 ошибок, перешедших из прежних изданий. Некоторые из этих ошибок значительны (перестановка реплик). Прочтено в автографе то, что осталось непрочитанным прежде. Издание сопровождено всеми черновыми вариантами рукописи (в том числе непубликовавшийся раньше отрывок в 10 стихов). Варианты даны не в виде транскрипции, а в связном чтении, с указанием последовательности вносимых Пушкиным изменений текста. Таких мест, подвергшихся обработке, в трагедии 100. В издании «Просвещения» дано было 24 разночтения, из них многие являлись результатом недоразумения (в действительности из автографа взято было только 5 вариантов). Даны затем разночтения 16 изданий произведения, показывающие историю порчи текста и его частичных исправлений. В драме оказалось 89 мест, подвергшихся искажению в разных изданиях. Из приложенных к этому обзору сводок явствует, что число ошибок в дореволюционных изданиях колебалось от 43 до 52. При этом характерно, что издания некритически перепечатывали текст один с другого. Так Морозов перепечатывал текст у Ефремова (в 1887 г.) и у Поливанова (в 1903 г.); Ефремов же перепечатывал текст Морозова (в 1903 г.), полагая его более исправным, чем свой, в то время как текст этот был его собственный, но искаженный опечатками. Венгеро̀в перепечатывал текст Ефремова и т. д. Всё это в достаточной степени характеризует небрежность дореволюционных редакторов. Что касается до их метода изучения автографа, то характерно, что за 55 лет к нему обратилось только четверо: Анненков, Якушкин, Морозов и Венгеров. Из них Анненков, сличая с автографом издание 1841 г., в котором было 45 ошибок, исправил только 3; Якушкин, сличая издание 1882 г., имевшее 50 ошибок, нашел 7 ошибок, из них исправил 4 и наделал новых ошибок своими исправлениями в трех случаях. Морозов, сличая с автографом свое издание 1887 г., лишь в двух местах обратился к автографу. При этом в одном месте это обращение к автографу создало новую ошибку, а другое место дало лишь черновой вариант, не изменивший основного текста. Первый Венгеров как будто бы серьезно обратился к автографу. Но и он не заметил 33 ошибки сличаемого текста, поправил его в 14 случаях удачно и в 10 случаях неудачно. Такова картина обращения к автографу старых редакторов. Эти цифры показывают, что настоящего текстологического труда в дореволюционных изданиях не было. Подлинное изучение текста начинается только в наше время [17].

Но и это издание «Каменного гостя»—вероятно не последнее по своему тексту. Имеются в нем и опечатки (стр. 29 «Проси его пожаловать ко мне»; надо: «Проси ее...» и в двух местах «славу богу» вместо «слава богу»); кроме того имеются и некоторые ошибки и спорные места в тексте и вариантах.

Следующее отдельное издание имеет характер курьеза. Выпишу его заголовок: «Каменный гость А. С. Пушкина. Для свето-театра. Текст А. С. Пушкина. С режиссерской свето-цветовой партией изобретателя светооркестра Г. И. Гидони. Для свето-театрального исполнения на электрических свето-цветовых светооркестровых аппаратах, с 9-ю примечаниями к тексту и к свето-цветовой партии, 9-ю оригинальными гравюрами на дереве и 2-мя оригинальными литографиями. Изд. 1-е. Ленинградское Российское театральное общество 1931». Издание достаточно охарактеризовано титулом. Издатель пытается делать какие-то текстовые замечания, не обращаясь к оригиналу и довольствуясь изданием 1923 г.

Дальнейшие издания (ГИХЛ) не ввели в текст новых исправлений (о новых искажениях этого текста уже говорилось).

Сказки

Сказки Пушкина выдержали много изданий, но лишь немногие из них представляют собой результат новой текстовой обработки. Текстовой обработке сказки подвергались только в изданиях «Народной библиотеки», в однотомнике, в грже-

бинском издании «Сказки о рыбаке и рыбке» и во втором издании сборника под редакцией А. Слонимского (изд. «Молодая гвардия»). Так в однотомнике сильно отличается от предыдущих изданий текст «Сказки о попе».

В изданиях «Народной библиотеки» 1919 г. два выпуска содержат сказки. В одном из них находятся «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о золотом петушке»; в другом «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о мертвой царевне». Все эти сказки были напечатаны Пушкиным, и издания «Народной библиотеки» воспроизводят прижизненный печатный текст без особой критической обработки его.

Многочисленные издания сказок обычно являются изданиями для детей, с картинками. Текст обычно дается первый попавшийся и воспроизводится небрежно. Вот перечень этих изданий, который впрочем рискует быть неполным:

«Сказка о царе Салтане»; издание Гос. изд. 1921 г., с рисунками; другое издание Гос. изд. 1922 г.; изд. Сытина 1923 г. с рисунками Бартрама.

«Сказка о рыбаке и рыбке»; издание Гос. изд. 1922 г.; изд. Гржебина 1922 г., с рисунками Конашевича [28]; издание, сделанное в Чите в 1923 г.; московское изд. 1927 г.; московское изд. 1930 г. с рисунками Конашевича.

«Сказка о золотом петушке»; московское издание Гос. изд. 1921 и 1922 гг. и московское же издание 1927 г.

«Сказка о попе»; московское изд. 1919 г.; другое московское изд. 1922 г.; ленинградское изд. 1926 г.; ленинградское изд. 1928 г. и московское изд. 1930 г. с рисунками Рыбникова.

В 1930 г. вышли все сказки в одной книжке: «А. Пушкин. Сказки. Гравюры на дереве В. Конашевича, М. Орловой, С. Мочалова, Н. Фан-дер-Флит. Редакция, вступительная статья и объяснения Александра Слонимского» (ГИЗ, Москва—Ленинград, 1930). Как и все предыдущие издания, книжка рассчитана на детей. Кроме пяти сказок она содержит еще сказочный отрывок «Как весенней теплою порою...» Текст сказок дан тот же, что в издании «Дешевой библиотеки классиков» 1928 г., т. е. для пяти сказок текст однотомника, а для отрывка—текст Венгерова. Последний текст не вполне исправен. В издании сочинений Пушкина 1930 г. он появился *в значительно измененном виде*.

В 1933 г. вышло второе издание с новой обширной статьей редактора и с наново проредактированным текстом. В редактировании текста для этого издания принял участие С. Бонди.

Стихотворения

Здесь я коснусь отдельных публикаций, устанавливающих текст или историю текста некоторых стихотворений, так как в виде самостоятельных выпусков отдельные стихотворения не печатались, а сборники стихотворений указаны уже в предыдущих главах обзора [29]. Впрочем как исключение были и отдельные издания стихотворений. Так в 1930 г. Детиздат выпустил миниатюрную брошюру (форматом 10×8 см), содержащую одно стихотворение «Анчар». Издание это имело специальное «выставочное» назначение, как об этом свидетельствует надпись на обороте титульного листка: «Рисунки гравированы на дереве А. Гончаровым. Напечатано, сфальцовано и сшито мною на выставке детской книги». «Мною»—очевидно относилось к покупателю книги, которому на выставке давали возможность участвовать в техническом процессе книжного производства. Таким же исключением является выпуск тоже миниатюрного издания «Фавна и пастушки» (Ленинград, 1933) тем самым А. Гидони, который издал и «Каменного гостя». Издание снабжено «светооркестровой» партией, украшено гравюрами редактора и издано от имени какой-то театральной организации, долженствующей пропагандировать идеи А. Гидони. Цена этого издания, проставленная на обложке, 5 рублей, но в книжных магазинах ее услужливо предлагают со дня ее выхода в свет (апрель 1933 г.) за 2 р. 50 коп., а экземпляры, раскрашенные от руки,—за 3 рубля. Это в достаточной степени характеризует издание и общеполезную деятельность указанного на титульном листке учреждения. В 1933 г. им же издана в том же стиле «Леда».

Одновременно с работой Гофмана над строфами «Евгения Онегина» появилась и другая его работа «Посмертные стихотворения Пушкина. 1833—1836 гг.» («Пушкин и его современники», вып. XXXIII—XXXV, 1922). Повидимому это—последняя работа Гофмана перед его отъездом в Париж (за собранием Онегина), так как в ней он ссылается и на «Первую главу», и на «Домик в Коломне». Таким образом текстологический метод Гофмана в ней отразился в полной мере (насколько мне известно, после отъезда Гофман текстологическую работу оставил, вероятно в виду отсутствия за границей достаточного материала для публикации). В этой работе Гофман устанавливает окончательный («канонический») текст 27 стихотворений. Многие из этих

стихотворений представлены автографами собрания Майкова, бывшего под запретом, а потому и неизвестными прежним редакторам (кроме Анненкова). Публикация Гофмана предвосхищала полное научное издание этих автографов, которое впрочем не состоялось и до сих пор. Я не буду останавливаться на всех текстах, печатаемых Гофманом. Некоторые из них основаны на каллиграфически переписанных Пушкиным беловых текстах, не внушающих никаких сомнений. Впрочем и вся работа Гофмана основывается только на автографах, которые он называет чистовыми: «В нашу задачу не входит история создания пьес, и потому мы, опуская все разночтения черновиков и обзор последних, приводим только окончательное, каноническое чтение чистовой рукописи и в выносках сообщаем все особенности только этой чистовой рукописи, на которой основывается наш текст». Мне уже приходилось говорить об этой работе Гофмана (сборник «Литературная мысль» I, 1923) и кое-что придется повторить для полноты освещения вопроса.

Первое стихотворение «Осень». Подводя итог, Гофман приходит к выводу, что его публикация вносит следующие поправки в ошибочный текст прежних изданий: в эпиграфе к стихам нет указания на цитируемое послание Державина; в пятой строфе надо читать четвертый стих:

Так нелюбимое дитя в семье одной

а не так, как печаталось раньше (начиная с Анненкова):

Как нелюбимое дитя в семье родной.

Последний стих той же строфы надо читать:

Я нечто в ней нашел мечтою своенравной.

а не «фантастически-произвольное»:

Умел я отыскать мечтою своенравной.

Следует изменить искажающую смысл пунктуацию в седьмом стихе шестой строфы. Не следует вводить в текст XI строфы, а в ней последние стихи читать так:

И развиваются в уме моем романы
И мне мечтаются златой моей зари
Вы барышни мои с открытыми плечами
С висками гладкими и томными очами.

а не «в заведомо неверной передаче П. В. Анненкова»:

Царевны пленные, графини, великаны
И вы, любимицы златой моей зари—
Вы, барышни мои, с открытыми плечами,
С висками гладкими и томными очами.

Результаты как будто довольно скромные для той шумной торжественности, с которой Гофман всё это декламировал. Но хуже то, что некоторые из этих исправлений сами ошибочны. Так слово «одной» в конце четвертого стиха пятой строфы— описка Пушкина. Дело в том, что шестой стих той же строфы оканчивается также словом «одной». Анненков справедливо заподозрил подлинность этого чтения (в строгой форме октав немыслима рифмовка «одной—одной») и заглянул в черновик, где и находится слово «родной», разрешающее недоумение. Повидимому идея устанавливать «канонический» текст по одним беловым рукописям не слишком плодотворна.

Так же неясно дело обстоит с XI строфой. Пушкин исключил ее потому, что она нарушала последовательность женских и мужских рифм в стихотворении (и поэтому ее надо устранить бесследно, не заменяя точками, как сделано в издании «Стихотворений» 1923 г. и в первых двух изданиях однотомника). Но ясно, что исключение ее влечет за собой исправление нумерации. Идея Гофмана печатать после строфы X строфу строфы XII, ничем не обозначив пропуск, характерна только для его последовательного буквализма. Что касается до его способа печатать конец этой строфы, то он поражает своей механичностью. Гофман слил воедино две редакции— первоначальную (законченную, но предполагавшуюся к переделке) и вторую, не доведенную до конца. Его не смущает синтаксическая невязка (мне мечтаются вы), бессмыслица (неизвестно куда относящиеся слова «златой моей зари») и т. п. Исследовать процесс работы Пушкина он считает излишним: чтение по незачеркнутому— его единственный метод. Кстати: даже в пределах недоконченной переделки Пушкина Гофман не разобрался в тексте. Слова «мне мечтаются» отнесены им совершенно произвольно не на свое место. Это один из вариантов предыдущего стиха:

И мне мечтаются в уме моем романы.

Анненков совершенно справедливо отверг этот недоконченный текст поправок и дал последнюю законченную редакцию строфы [80].

Второе стихотворение «Сват Иван». Здесь весь пафос Гофмана направлен на то, что один стих печатался:

Мы помянем пивом,

а Гофман, который, так же как и Анненков, не прочел слова, написанного Пушкиным над этим стихом, настаивает на необходимости оставлять здесь пустое место и печатать этот стих так:

помянем пивом.

Нам кажется спор о том, как передать непрочитанное слово [81], в большой мере педантическим. Характерно, что Гофман, наставительно обличающий предшественников, сам не исправляет всех ошибок и например не замечает, что два стиха, приписанных Пушкиным к этому стихотворению, вставляются не на свое место. Впервые правильно расположены были стихи в издании 1923 г. (издание ГИХЛ вернулось к старому ошибочному порядку).

Уже эти два примера показывают, насколько поспешна и опрометчива была работа Гофмана. Исправлять текст по чистовым рукописям и при этом вводить новые ошибки просто недопустимо. А ошибки эти имеют простое происхождение. Установление текста производилось механически: редактор считал излишним вникать в текст, то-есть считаться с его грамматической и смысловой связью; кроме того совершенно игнорировалась история создания текста (черновики), как с легким сердцем об этом сообщает и сам автор в цитированном выше заявлении.

Подобные же ошибки находим и в других вещах (напр. «Странник»). Здесь, давая «исправленный» текст, Гофман, не смущаясь, приводит некоторые стихи в двух параллельных редакциях, так как сам не может решить, которая из них окончательная (дело в том, что исправив старую редакцию, Пушкин ее почему-то не зачеркнул). В двух местах, не разобрав, на каком основании редакторы избирают свою редакцию, Гофман упрекает их в ошибках и предлагает свое испорченное чтение тех же мест. Эти исправления не были приняты в позднейших изданиях.

Совсем непонятно, для чего приводится стихотворение «С Гомером долго ты беседовал один», полный автограф которого не известен Гофману. Это тем более странно, что автору известно было существование этого автографа и известно также было то, что автограф этот готовился к публикации. Он и появился в сборнике «Пушкин». Сборник первый. Москва 1924» в работе Бельчикова «Пушкин и Гнедич в 1832 году». Автограф этот был в свое время преподнесен Майковым президенту Академии Наук Константину Романову, а тем—Николаю II. Таким образом рукопись отбилась от майковского собрания и попала в Центрархив. Бельчиков приводит факсимиле автографа, дает его полную транскрипцию, но почему-то воздерживается от установления связной редакции, сосредоточивая всё свое внимание на проблеме датировки (при чем определяет дату, по моему мнению, неверно, относя стихи к 1832 г. на очень зыбком основании, принимая упоминание имени Салтана за конкретное указание на «Сказку о царе Салтане»). Это отсутствие сведенного текста дало повод П. Н. Кашину написать специальную заметку о третьей строфе этого стихотворения. Заметка эта появилась во втором сборнике «Пушкин» (под редакцией Н. К. Пиксанова) с большим запозданием—в 1930 г. Предлагаемая Кашиным редакция печаталась в однотомнике, уже начиная со второго издания 1925 г.

Я не буду останавливаться на других стихотворениях, текст которых устанавливал Гофман, иногда удачно, иногда неудачно, так как и удачи и промахи автора имеют очень относительный интерес. Метод же работы вполне характеризуется сказанным.

К этой публикации текстов следует присоединить его текстологические заметки в XXXVI вып. «Пушкин и его современники» 1923 г., касающиеся уже чернового материала Пушкина. В этих заметках («Из ненапечатанных и непрочитанных стихотворений Пушкина») Гофман подвергает критике реставрацию некоторых текстов, основанных на автографах Шляпкинского собрания, незадолго до того поступившего в Пушкинский дом. Это: «Стою печален, на кладбище», «Восстань, о Греция, восстань» и «То было вскоре после боя» (об этом стихотворении заметка под отдельным заглавием «Ненаписанное стихотворение Пушкина»). Не всё в публикации Гофмана ново. Кое в чем она совпадает с рецензией П. Щеголева на сборник Шляпкина («Ненаписанные стихотворения Пушкина».—«Исторический Вестник» 1904,

кн. I). Работа же Гофмана сводится к немудрящей транскрипции и извлекаемого оттуда чтения по принципу: «читаем незачеркнутые стихи и слова и оставляем тот порядок стихов, в каком они написаны». Лишь в одном случае Гофман отступает от своего принципа, и это даже заставляет заподозрить здесь чью-нибудь чужую волю: в стихотворении «Стою печален» он находит «самым спорным» порядок последних стихов, дающий «неправильную и необычную для Пушкина рифмовку». И давая обычную свою сводку, Гофман дополняет ее попыткой конъектурного восстановления структуры стихотворения, впрочем воздерживаясь от какой бы то ни было мотивировки, хотя именно конъектурные чтения и требуют мотивировки. Подобное восстановление резко противоречит его же работе над стих. «Сват Иван».

Перед самым своим отъездом Гофман дал еще одну публикацию: «Окончание элегии «Ненастный день потух» («Пушкинский сборник памяти проф. С. А. Венгерова», 1922). Но эта публикация в некоторых отношениях просто конфузна. Гофман выписал из экземпляра стихотворений Пушкина издания 1829 г., принадлежавшего Ефремову, окончание стихотворения, вписанное рукой неизвестного. Стишки слабоватые, хотя, по уверению Гофмана, «фактура стиха и музыкально-синтаксический строй его не исключают возможности, не делают немыслимым и невероятным предположение о том, что редакция этих стихов восходит к Пушкину, хотя быть может и была испорчена по пути». Но тут начинается сомнение, которое «усиливается вследствие факта умолчания об этом окончании пьесы самим П. А. Ефремовым. Повидимому и Ефремов не знал источника происхождения этих стихов». Между тем если бы Гофман заглянул в издание сочинений Пушкина под редакцией Ефремова 1882 г. (т. I, стр. 533), то он прочел бы там не только публикуемое им окончание, но и указание происхождения приписки: книга куплена Ефремовым при распродаже библиотеки М. Е. Лобанова и приписки принадлежат ему. Очевидно убедившись в совершенной вздорности этого «окончания», Ефремов уже не приводил его в позднейших им редактированных изданиях (вскоре после выхода в свет сборника ошибка Гофмана была указана в печати Н. Лернером).

Наиболее интересные материалы, собранные по истории текста, относятся к «Легенде» Пушкина («Жил на свете рыцарь бедный»). Вопрос был поставлен М. Л. Гофманом в «Неизданном Пушкине», где опубликован автограф этого стихотворения. Полемизируя с Венгеровым и Брюсовым, Гофман разбирает вопрос о существовании двух раздельных редакций стихотворения (т. е. первой редакции, когда «Легенда» была самостоятельным произведением, и второй редакции, когда она стала песней в «Сценах из рыцарских времен») и в результате приходит к отрицательному выводу: «никаких различных, разновременных и самостоятельных редакций романса не существовало, а имеется одна художественно завершенная редакция, процесс создания которой можно проследить по трем рукописям Пушкина». Той же теме посвящено несколько страниц в «Первой главе» (по второму изданию, стр. 76—83 и 96—97). За работой Гофмана последовала работа Г. Фрида «История романса Пушкина о бедном рыцаре» (сборник «Творческая история», Москва, 1927, стр. 92—123). Автор обследовал весь рукописный материал, привел транскрипцию всех трех автографов, исправил ошибки своих предшественников, в частности Гофмана, остановился на вопросе о датировке; в общем собрал весь фактический материал, освещающий историю стихотворения, но в разрешении поставленного Гофманом вопроса о двух редакциях в общем повторяет утверждение Гофмана о едином, непрерывном процессе работы автора над текстом, хотя и находит завершенную форму такой далекой от первоначального наброска, что даже называет ее новым стихотворением, созданным на обломках прежней баллады.

Неожиданно новый материал дала находка, сделанная Л. Б. Модзалевским. Им обнаружен в Публичной Библиотеке автограф Пушкина, содержащий раннюю редакцию стихотворения, пересланный автором Дельвигу для напечатания в «Северных Цветах», но не увидевший света по цензурным основаниям. Впервые мы узнали об этой находке из сделанного Л. Модзалевским описания автографов Пушкина, хранящихся в Публичной Библиотеке («Рукописи Пушкина в собрании Государственной Публичной Библиотеки в Ленинграде. Составил Л. Модзалевский. Ленинград, 1929»). Здесь воспроизведены факсимиле двух страниц автографа. Затем Л. Модзалевский напечатал заметку о своей находке, к которой приложил факсимиле третьей страницы автографа Публичной Библиотеки и факсимиле Онегинской рукописи («Пушкин и его современники», вып. XXXVIII—XXIX, 1930). Таким образом ныне издан весь автографический материал по истории этого стихотворения. Автограф Публичной Библиотеки окончательно опровергает версию Гофмана о непрерывном творческом процессе и разбивает работу над стихотворением на две стадии. Из всего материала Л. Модза-

левский делает следующий вывод: «Благодаря находке нового автографа «Легенды», окончательно выяснилось, что первая редакция ее представляет собою законченную творческую работу Пушкина, предназначавшуюся им к печати; поэтому «Легенда» отныне должна печататься в полном собрании сочинений Пушкина в двух местах: под 1829 г. по тексту автографа Государственной Публичной Библиотеки и под 1835 г. в составе «Сцен из рыцарских времен», как песня Франца в том виде, в каком она была опубликована в «Современнике» 1837 г. по рукописи в тетр. № 2384». По этому рецепту поступил редактор издания ГИХЛ, не заметивший явной непоследовательности в подобном умозаключении. Пушкин не одно это стихотворение сперва подготовил к печати, а затем переделал. Он переделывал и многие из ранее напечатанных, и не все из переделанных были стихи лицейские (для которых вообще почему-то установлен особый режим). Если Гофман ошибся, отвергая явный факт наличия двух разновременных редакций, то от этого две редакции не стали двумя стихотворениями, и Гофман, понятно, прав, утверждая, что для данного стихотворения не надо устанавливать особых правил, что изменение текста объясняется внутренней эволюцией замысла, а не приспособлением произведения к другому произведению (т. е. к «Сценам»), и Г. Фрид хорошо показал, что нет никакой органической связи между «Сценами» и романсом, который является для этих сцен лишь вставным номером, сохраняющим художественную самостоятельность. Поэтому неправ был Венгеров, печатая это стихотворение два раза в разных редакциях, неправ и редактор последнего издания (ГИХЛ). Смена различных редакций есть не более как материал для истории текста, которая должна себе найти место в «текстологическом аппарате» издания, а не в основном тексте. Впрочем очень досадно, что в результате находки такого важного документа весь вопрос свелся к проблеме по существу мелкой: о том, где печатать эту раннюю редакцию, как будто бы не было более важных проблем, связанных с эволюцией замысла. Любопытно, что обилие текстовых материалов по данному произведению естественно привлекло к нему внимание исследователей. «Легенда» явилась предметом специальной статьи Н. К. Гудзия «К истории сюжета романса о бедном рыцаре» («Пушкин». Сборник второй, Москва, 1930), еще более обширной работы на эту тему Д. П. Якубовича, к сожалению оставшейся ненапечатанной, и к текстологическому исследованию С. М. Бонди, тоже ненапечатанному.

Любопытный материал для установления окончательного текста стихотворения «19 октября 1825 года» обнаружен в экземпляре «Стихотворений Пушкина» 1829 г., принадлежавшем Е. Н. Ушаковой. В этот экземпляр вписана рукой Пушкина одна строфа стихотворения, известная ранее из автографа поэта, но считавшаяся им исключенной из окончательной редакции. Внесение этого текста в печатный экземпляр свидетельствует повидимому о том, что устранение ее имело цензурные основания. Описание книги и факсимиле этой страницы было напечатано И. Виноградовым в «Материалах Общества изучения Тверского края», 1925 г., вып. III, апрель («Автографы Пушкина в Тверском музее»). Затем тому же вопросу была посвящена большая статья П. Н. Фатова в сборнике втором «Пушкин» (редакция Н. К. Пиксанова), Москва, 1930—«Дефинитивный текст стихотворения «19 октября» (1825 г.)». В этой статье приводится история разных публикаций этого стихотворения, история самой находки (в которой самая пикантная страница та, где рассказывается, как эта книга побывала в 1903 г. в Академии Наук, как академики исследовали эту книгу и не приметили автографа Пушкина) и разбирается вопрос об окончательной редакции стихотворения. К сожалению к статье не приложено воспроизведения автографов, хотя на них и ссылается автор.

Значительный интерес представляет собой несколько автографов, опубликованных за последние годы. Так например, политические стихотворения раннего периода были известны только по спискам и старым публикациям. Автографы этих стихотворений оставались неизвестными. Только автограф «Вольности» был использован в дореволюционных изданиях, и то он стал известен сравнительно недавно. Этим объясняется возникновение спора о принадлежности Пушкину послания Чаадаеву («Любви, надежды...»). В сборнике «Недра», кн. VI, 1925 г. помещены на эту тему две статьи: Гофмана, доказывающего необоснованность приписывания этих стихов Пушкину и вероятность их принадлежности Рылееву, и Л. Гроссмана, опровергающего Гофмана. Повидимому в споре этом прав Л. Гроссман, и можно ожидать, что рано или поздно где-нибудь обнаружится автограф этого стихотворения. Что касается других стихотворений этого порядка, то найдены следующие автографы: «Кинжал» (см. публикацию Цявловского в «Голосе минувшего» 1923 г.), «Деревня» (статья Бельчикова в сборнике втором «Пушкин», 1930) и наконец—первое «Послание цензору».

Остановимся на публикациях Н. Ф. Бельчикова. Им обнаружен в Остафьевском архиве Вяземских (ныне в Центрархиве) автограф «Деревни», датированный июлем 1819 г. Как известно, первую часть стихотворения, описательную, Пушкин печатал в собрании своих стихотворений под названием «Уединение». Вторая часть, политическая, долгое время считалась нецензурной и в печати не появлялась. Раскрепощение произошло в издании Геннади 1870 г., где появился обычный, известный доныне текст, перепечатываемый во всех изданиях [32]. Не так давно был обнаружен альбом, где находится текст «Деревни», при чем в этом альбоме имеются поправки рукой Пушкина (поздние, 30-х годов). Казалось, что находка этого альбома решает вопрос об источнике текста, но к сожалению ближайшее рассмотрение показало, что Пушкин просматривал это стихотворение крайне невнимательно и пропустил, не исправив, очевидные ошибки. Ныне наконец найден автограф. Приведя его, Н. Ф. Бельчиков говорит: «Появление автографа вносит существенную перемену в вопрос о подлинном тексте стихотворения. Встает естественный вопрос, нужно ли принимать во внимание списки произведения, когда мы располагаем автографом? Теоретически, казалось бы, вопрос ясен: автограф упраздняет значение списков (за исключением авторизованных)». Однако же Бельчиков не вносит никаких поправок в постулируемое «теоретическое» разрешение вопроса, так как предлагает изучать списки только лишь как источник переработок и переделок, вносимых в текст переписчиками, что может представить интерес «для изучения читателя и его общественных взглядов». А это, как будто, к установлению текста произведения не имеет отношения и следовательно для этого текста торжествует принцип, гласящий, что «автограф уничтожает значение списков». В согласии с этим принципом поступил М. Цявловский, который вторую половину печатает по автографу, принимая для первой половины текст издания 1829 г.

Между тем принцип Н. Ф. Бельчикова вызывает сомнения. Когда и какая теория этот принцип выдвинула? Строится этот принцип на презумпции неизменяемости текста: если бы текст стихотворения был установлен автором раз навсегда, тогда конечно автограф был бы единственным надежным источником. Но ведь текст эволюционирует. К сожалению у нас не все различают две стороны документа, определяющие его ценность: с одной стороны, исправность, точность, а с другой—стадию отражаемой в нем творческой работы. Обратимся непосредственно к автографу, опубликованному Н. Ф. Бельчиковым. Сопоставляя первые строки его с окончательным текстом, установленным Пушкиным и вошедшим в издания его стихотворений, мы находим крупные расхождения.

В автографе:

Приветствую тебя, пустыни уголок,
Предел спокойствия, трудов и размышленья...

В печати:

Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...

И такие расхождения на протяжении всего стихотворения! Ясно, что автограф дает раннюю редакцию, а в печать Пушкин дал окончательную. Но очевидно, что правильно для первой половины стихотворения, то правильно и для второй. Вторая часть имела также вторую, окончательную редакцию [33]. Об этой окончательной редакции мы знаем из многочисленных списков, которые довольно однообразно воспроизводят стихотворение, давая первую часть в редакции, близкой печатному тексту. Правда, эта близость сама по себе не свидетельствует о законченности второй части, так как переписчики могли заимствовать первую часть из печатного текста; но окончательно убеждает в этом сопоставление автографа с текстом списков. Вот несколько таких сопоставлений:

Автограф:

Мудрец печальный замечает...

Списки:

Друг человечества печально замечает...

Замена неотчетливой формулы «Мудрец печальный» термином философско-политического порядка «Друг человечества», имевшим для Пушкина определенное и богатое содержание, есть конечно результат работы его над текстом. Если в автографе мы имеем «горестный» ярем, а в списках «тягостный ярем», то и здесь очевидна поправка в порядке обычной для Пушкина замены неопределенного эпитета более точным. В таком же порядке, в первой части, известной по автографу и в печати, «злачные берега» стали «влажными берегами» (характерно и здесь и там сохранение

звукового облика эпитета), «сладкий шум» стал «мирным шумом». Таких явных поправок сравнительно с автографом в списках находится девять. Среди них стих

И рабство, падшее по манию царя...

В автографе этот стих читается:

И рабство изгнанно по манию царя.

Итак известно две редакции стихотворения: ранняя, представленная автографом, и последняя, представленная печатным текстом и списками. Смешивать эти две редакции невозможно, так как они—разного стиля. Эти две редакции показывают, как еще в 1819 г. умел работать над стихом Пушкин и в каком направлении он работал. Редакцию автографа надо брать целиком как раннюю. Печатную же редакцию можно соединять только с редакцией, сохранившейся в списках. Другой вопрос—об исправности списков. Здесь автограф может дать указания. Так например, четвертый от конца стих в некоторых списках читается:

Увижу ль я, друзья, народ неугнетенный...

Чтение это весьма сомнительно: сочетание «я друзья» вряд ли приемлемо для Пушкина: внутренняя рифмовка в стихе с полустишием воспрещалась французскими правилами, на которых Пушкин был воспитан (кроме того он вообще не терпел парных рифмующих сочетаний внутри стиха и возмущался, когда цензура ему поставила в «Кавказском пленнике» сочетание «ей дней»). Другие списки дают:

Увижу ли, друзья...

Или

Увижу ль, о друзья...

Для разрешения вопроса о том, которое чтение правильнее, следует обратиться к автографу, который дает чтение «Увижу ль, о друзья». Вот и вся роль автографа *для выработки окончательного текста. Таким образом автограф вовсе не* «упраздняет значение списков», а имеет свою очень почтенную роль, так как дает определенную редакцию стихотворения и помогает установлению текста того же стихотворения, если в списках заподозрена ошибка.

Статья Бельчикова не ограничивается только публикацией автографа. Он приводит весьма ценные разночтения четырех старинных списков «Деревни». Из этих списков с совершенной очевидностью явствует, что к окончательной редакции Пушкин пришел не сразу, так как некоторые списки совпадают с автографом в первой части, по отношению к которой мы совершенно точно знаем раннюю и последнюю редакции. Но характерно, что вторая часть этих списков почти не имеет совпадений с автографом в местах, переработанных Пушкиным. Следовательно редакция второй части раньше была доведена до окончательного вида, чем редакция первой части (впрочем возможно и другое предположение: что списков с окончательной редакцией стихотворения вообще не сохранилось и что мы имеем списки с промежуточной редакцией). Во всяком случае списки с очевидностью доказывают, что отвергать этих переделок в окончательной редакции никак нельзя.

К сожалению Н. Ф. Бельчиков увлекся одним вариантом списка, переписанного каким-то республиканцем. Вместо стиха «И рабство, падшее по манию царя» в этом списке читается «И рабство падшее и падшего царя». Характерно и другое изменение, свидетельствующее об атеистическом настроении переписчика: вместо «покорствуя бичам» читаем «покорствуя богам». Первому варианту Бельчиков посвятил две страницы, на протяжении которых он четыре раза высказывает мнение о возможности принадлежности этого варианта Пушкину и столько же раз—противоположное мнение о принадлежности его только переписчику. Единственное отчетливое утверждение автора заключается в том, что «мы ничего конкретного не знаем», и что, с одной стороны, «обязательности варианта» «пока признать нельзя», но, с другой стороны, «нельзя также совершенно отказаться от варианта, если даже расценивать его показательным для истории общественных настроений читателя». Такие вещи надо договаривать до конца. Если речь идет о том, что такой вариант находится в копии и следовательно кем-то написан и чьим-то убеждениям казался приемлемым, то не-зачем и делать предположений с одной и с другой стороны, так как это есть факт. Но для допущения, что этот вариант мог явиться органической частью стихотворения Пушкина, у нас не может быть никаких оснований ни с одной ни с другой стороны. Система политических убеждений Пушкина периода до высылки на юг нам достаточно известна. Его стихи на эти темы ясно

расшифровываются на фоне политических систем, бывших тогда в моде в России и на Западе. Конституционализм монархического оттенка (слегка легитимистского) пронизывает его политические формулировки. «Народов вольность и покой» провозглашаются «вечной стражей трона». Это не исключает ненависти к «неправедной» власти, идущей наперекор «закону», а особенно власти, не основанной на наследственном «законе», а имеющей революционное происхождение, какой была власть Александра I, достигшего трона через цареубийство, и возникшая на развалинах монархии власть Наполеона (на юге вся эта система взглядов быстро перестроилась). Поэтому никак невозможно согласиться с утверждением Бельчикова, что «найденный вариант вполне вяжется с идейным характером оды и политическим свободомыслием Пушкина, присущим ему, когда он писал Деревню». А между тем этот вариант уже попал в «Учебные книги по литературе», и в школе политические взгляды Пушкина начали строить на этом варианте.

В статье Бельчикова мы находим типичную переоценку найденных документов. Если найден автограф, то он «уничтожает списки»; если найден список с необычайным вариантом, то этот вариант «важный».

Образцом подобной же переоценки публикуемого документа является статья В. В. Баранова «Мадонна» в новой редакции» (первый сб. «Пушкин» под ред. Н. К. Пиксанова). Здесь сообщается запись стихотворения «Мадонна», относящаяся к 1833 г. и дающая несколько разночтений с ранее известными редакциями; из этих разночтений существенное значение имеют два: «В пустом углу моем» вместо «В простом углу моем» и «Она с улыбкою» вместо «Она с величием» (остальные разночтения—перестановки слов, замены глаголов «желать» и «взирать» глаголами «хотеть» и «смотреть» и еще замена эпитета «важное суждение» эпитетом «хитрое»). А так как первый вариант очень напоминает описку, то всё дело сводится к одному варианту.

Из этого делается вывод: «последняя редакция приобретает в наших глазах исключительную ценность, наиболее совершенно отражая последнюю волю поэта». А после этого вывода заключительная приписка: «Для окончательного решения вопроса, имеем ли мы дело с автографом или с копией, необходим точнейший палеографический анализ почерка». Казалось, с этого надо и начинать, но этого автор не сделал.

Не буду останавливаться на других публикациях и назову лишь важнейшие: в статьях М. Н. Розанова даны факсимиле стихотворений «Из Пиндемонти» и «В начале жизни» (см. «Об источниках стихотворения Пушкина «Из Пиндемонте» во втором сборнике «Пушкин», Москва, 1930 и «Пушкин и Данте» в сборнике «Пушкин и его современники», вып. XXXVII, 1928); в работе Н. В. Измайлова дана история текста «Анчара» («Пушкин и его современники», вып. XXXI—XXXII, 1927); текст «Зимней дороги» по новому автографу дан в заметке В. И. Срезневского «О пушкинских текстах из коллекции В. И. Яковлева» («Пушкин и его современники», вып. XXXVI, 1923); варианты к стих. «К ней» и «Наперснику» дал Пигарев в статье «Из Мурановского архива» («Пушкин и его современники», вып. XXXVIII—XXXIX, 1930); реставрация стих. «Воспоминание» дана мной в книге «Писатель и книга»; факсимиле стих. «Брожу ли я...», «Царскосельская статуя», «Желал я душу освежить» не слишком отчетливые и сопровожденные не всегда исправным научным комментарием даны в брошюре И. С. Зильберштейна «Из бумаг Пушкина» (Библиотека «Огонек», № 102, Москва, 1926), «следующего научного издания» этой работы, обещанного автором в предисловии, не воспоследовало; несколько любопытных текстологических наблюдений и новинок находится в посмертном сборнике статей П. Е. Щеголева «Из жизни и творчества Пушкина», 1931; из Пражского каталога выставки «Пушкин и его эпоха» Ашукин перепечатал текст стих. «Нет, нет: не должен я...» («Звенья», II, Москва, 1933); в письмах к Хитрово (Ленинград, 1927) опубликованы автографы «Перед гробницею святой» и «Язык и ум теряя разом»; в журн. «Огонек» 1926 г., № 21 (165), 23 мая воспроизведена факсимиле эпиграмма-подпись к портрету Дельвига («Се самый Дельвиг тот») с комментарием М. А. Цявловского «Пушкин о цареубийстве», вызывающем возражения; в журнале «Жизнь искусства» 1924 г., № 1 (1925), 1 января помещено факсимиле стих. «Ты хочешь ли узнать, моя драгая»; в «Литературной газете» 27 мая 1929 г. приведена запись М. А. Чаадаева, подвергающая сомнению авторство Пушкина по отношению к стих. «Всевышней волею небес», впрочем запись эта вряд ли заслуживает внимания; в «Известиях ЦИК» 6 июня 1934 г. М. А. Цявловским опубликовано четверостишие из тетради Всеволожского; в «Записках» Каратыгина (т. I, 1929, стр. 82) Пушкину приписана эпиграмма [84]. Я не упоминаю публикаций, значение которых поглощено вышедшим в свет Собранием сочинений Пушкина.

ОКОНЧАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ ПУШКИНА

Хотя чужие «окончания» и не относятся к публикации стихов Пушкина, но они являются своеобразной текстовой интерпретацией пушкинского творчества, а потому в обзорах пушкинианы их естественнее всего отнести именно сюда—к обзору текстовых публикаций. Самый жанр «окончаний» таков, что трудно провести границу между фальсификацией документа и вольным подражанием. Зуев свое изделие выдавал за окончание «Русалки» и ввел в заблуждение Корша, посвятившего ему ученое исследование. Но А. Майков, оканчивая четверостишие Пушкина о доже и догарессе, просто вдохновлялся чужими стихами. Послереволюционный период не свободен от «окончаний» всякого рода. Мы уже имели дело с попыткой воскресить лобановское окончание пушкинской элегии и признать за пушкинские «фактуру и музыкально-синтаксический строй» такое:

Тогда прости любовь—с глаз сброшена повязка;
Слепец прозрел, отвергши стыд и лесть,
Взамен любви, в душе лелеет месть
И всточенный кинжал той повести развязка.

Другая разоблаченная фальсификация появилась в газете «Наш век» от 4 мая 1918 г. под названием «Новооткрытые стихи Пушкина. Окончание Юдифи». В этой статье приводилось письмо некоего инженера-электрика Н. Зурова, рассказавшего совершенно невероятную историю о том, как у некоего И. В. Кащенки жила старушка-кухарка. У нее был некий конверт. «В этом конверте находилось два листа бумаги, один большой с оборванным краем, так что первое слово неполно; от него осталось только «ит»; бумага сероватая. Другой листок маленький, бумага хорошая с водяным знаком «1834», очевидно год, в который была выпущена бумага с фабрики. Год подходящий, так как, если мне не изменяют мои гимназические воспоминания, Пушкин умер в 1837 году. Мы с И. В. сравнивали почерк рукописи с факсимиле и удивлялись сходству». Затем сообщалось о чудесной гибели счастливой обладательницы пушкинского автографа, ее сундучка и И. В. Кащенки. Сам Зуров рекомендуется уезжающим за границу. В письме делаются и прозрачные намеки на происхождение рукописи: старушка де служила в кухарках в Москве у хозяев с двойной фамилией (забытой Зуровым); кстати дается адрес этих хозяев, заимствуемый из статьи Модзалевского об Керн (московский ее адрес, когда она вышла за Маркова-Виноградского), но эта часть письма осталась непонятой. Письмо послано (будто бы из Харькова) 28 марта; очевидно рассчитан день его прибытия. Затем к письму прилагалась точная транскрипция рукописи со стихами такого рода:

Стоит белеясь Ветилуя
В недостижимой вышине.
Сатрап смутился. Гнев жестокий
Его объял. Сзывает он
Вождей воинственных племен.
«Что за народ в стране нагорной
Навстречу не выходит мне.
Кто в сей твердыне непокорной?
Кто царь, кто вождь у них в стране».

Осведомясь, Олоферн заявляет:

Навуходоносор
Мне бог. Упьются склоны гор
Их кровью. Крепко повеленье
Владыки мира. Беглеца
Израильтянина не станет
Противу нашего лица.

Когда дело доходит до пира, то Олоферн быстро пьянеет:

Угрюм и мрачен он лежал
И красотою безобразной
Юдифи сердце поражал.

Юдифь танцует:

Венок масличный на главе.
Она поет. Жезл виноградный
В руках прекрасных...

Совершив свое деяние, она возвращается домой.

Счастливы дебри Иудеи.
Пред богомольным алтарем
Вновь пожигают иереи
Тук благовонящим огнем.

Подделка ввела в заблуждение виднейших пушкинистов Петрограда. Письмо появилось в газете, сопровожденное комментарием, подписанным почтенным именем. Только один голос в печати раздался против подделки, голос Александра Слонимского [85]. Менее скромен оказался автор озорного письма, который вовсе не заботился о сохранении анонима. В книге И. А. Аксенова «Коринфяне» (Москва, 1918) мы находим в списке «Отзывов о деятельности книгоиздательств Центрифуга, Лирика и их сотрудников» указание на этот номер газеты «Наш век». Руководитель издательства Центрифуга С. П. Бобров в статье «Заимствования и влияния» («Печать и революция» 1922 г., кн. 8) рассказал «теоретически», при помощи каких приемов была сделана эта подделка (по методу, обратному исследованию Корша о зуевской «Русалке») [86].

Если окончание «Юдифи» является мистификацией, то окончание комедии Пушкина, сделанное В. Брюсовым, имеет другое назначение. Это не первое окончание, написанное Брюсовым. В 1916 г. в альманахе «Стремнины» Брюсов поместил «Египетские ночи»—поэму в шести главах в 660 стихов длины. В этой поэме автор «желал только помочь читателям по намекам, оставленным самим Пушкиным, полнее представить себе одно из его глубочайших созданий». Окончание появилось до революции, но уже после революции В. Жирмунский посвятил ему обширное ученое исследование в пять печатных листов, в котором доказывал неосновательность претензий В. Брюсова.

Другое окончание появилось после смерти автора. В альманахе «Сегодня», II (Москва, 1927) напечатан «Урок игроку» с подписью А. С. Пушкин—В. Я. Брюсов. Этому произведению предпослано два предисловия: В. Брюсова и М. Цявловского. В первом автор говорит: «Мы сознавали, что наше собственное творчество в слишком слабой степени может заменить пушкинское. Поэтому мы сознательно старались избегать всякой яркости в диалогах и монологах, довольствуясь только тем, что излагали смысл того, чему гений Пушкина придал бы жизнь и блеск. Конечно это крайне ослабило рисовку характеров и выразительность сцен, но зато освобождает нас от обвинения в желании соперничать с Пушкиным. Мы решительным образом отказались от этого и даем не самую комедию, восстановленную нами, а только схему ее. По тем же соображениям стихами мы закончили первую сцену, начатую Пушкиным, и, в паралель ей, написали последнюю». Одним словом, мы видим, что и здесь В. Брюсов действовал так же, как тогда, когда редактировал стихи Пушкина. В своем предисловии М. Цявловский приводит все сохранившиеся планы Пушкина, относящиеся к данному замыслу. Приводимый далее текст окончания в полной мере оправдывает скромность Брюсова. Но можно даже было быть еще скромнее. Как только кончается текст Пушкина, начинается даже не схема, а безнадежная толчея на одном месте. Диалог Вальберховой и Сосницкого превращается в повторение уже сказанного, что нисколько и не маскируется Брюсовым, который заключает сказанное ранее в цитатные кавычки, или замечает: «опять скажу», «я успел тебе сказать». Впрочем вот подлинные стихи Брюсова:

Вальберхова

Да долго ли, бог знает где ты будешь?
Добро твои друзья! об них ты лестно судишь:
«О дельном говорят, читают Жомини».
Так—либералы то! а ты ведь не они.
Опять скажу, зачем ты не бываешь в свете?
Ведь там вся молодежь.

Сосницкой

У всех вы на примете.
Одно—браниться! Я успел тебе сказать,
Что в свете скучно мне! То ль дело в банк играть!

И так далее, без малейшего движения с места до самого конца комедии [87]. А вся комедия, которая по отзыву Анненкова, упоминаемого Брюсовым, должна была быть «потрясающего содержания» и «выставить в позорном свете безобразия

крепостничества», заканчивается автором «Пушкина и крепостного права» следующим диалогом между барином и его слугой:

Сосницкой

Так я, Величкин-друг, тебя не проиграл!

Величкин

Да, барин, я опять—ваш человек до гроба!

Сосницкой

Как счастлив я сейчас! Как счастливы мы оба!

По иному пути пошел Демьян Бедный. Брюсов всё же соревнуется с Пушкиным и рядится в его платье. Демьян Бедный своей сказкой о батраке Балде и о страшном суде вовсе не пытается вскрыть замысла Пушкина, а идет своей дорогой, как бы продолжая сюжет Пушкина. Сказка эта напечатана вместе со сказкой Пушкина Госиздатом в Москве в 1919 г. Но прежде остановлюсь на тексте пушкинской сказки в этом издании. Она здесь озаглавлена: «Сказка о попе Остолопе и работнике его Балде». Нас не должно поражать появление имени Остолопа в заголовке. Дело в том, что поп, как особа священная, не был пропущен сквозь цензуру и в свое время его Жуковский заменил купцом Остолопом (Остолоп—для рифмы со словом «лоб»). Раскрепощение «попа» началось в 1882 г., а закончилось в 1887 г. Издание 1919 г. знаменует переходное состояние текста 80-х годов. В остальном издание довольно точно воспроизводит текст 1887 г., за исключением нескольких опечаток. Сказка Демьяна Бедного не является в точном смысле «окончанием» и поэтому я не буду на ней подробно останавливаться. Это самостоятельная сказка про запоротого Балду, воскресшего в наши дни. Для характеристики стиха, который в сказке Бедного выдержан в пушкинских ритмах, приведу финал:

Господи!—радостно шепчет Балда,—
Не знаю, попал я куда?
Но одно мне, темному, ясно,
Что страдал я всю жизнь не напрасно,
И что ежели я—в родимом краю,
Значит все мужики очутились в раю.
Конец.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Обзор изданий после 1917 г. с достаточной очевидностью показывает, что революционные годы были переломной эпохой в текстологическом изучении Пушкина. Впервые прервана дилетантская традиция в редактировании пушкинских текстов. Не только намечены задачи изучения, но и в значительной степени реализованы на практике. Создались кадры текстологов. Ни в одной области литературного дела не было такой тесной смычки теории с практикой, как здесь. Всё более и более входит в область истории пренебрежительное отношение к вопросам издания текстов. Если еще не во всех издательствах и не во всех «отделах классиков» усвоили себе представление о том, что издание текста не есть дело технической перепечатки, что это работа научно-творческого порядка и ее успешность может быть гарантирована только привлечением специалиста, то это всё же воспринимается как рецидив дореволюционного книжно-спекулятивного отношения к изданию как источнику частной наживы.

Халтура псевдо-специалистов несколько задерживает процесс изживания дореволюционного дилетантства и спекуляции. Однако этот процесс наметился и колеса истории повернуть назад нельзя.

К современному изданию предъявляются требования гораздо большие, чем к изданию дореволюционному. Тогда довольствовались тем, чтобы новое издание было не хуже предыдущих. Теперь от издания Пушкина требуется, чтобы новое издание отражало современную концепцию творчества Пушкина. Эта современная концепция отличается от прежних тем, что она гораздо более исторична. Пушкин и его эпоха теперь отделены от нас такой исторической преградой, что консервативная традиция прежних форм нетерпима. А для пересмотра исторического облика пушкинского творчества есть много новых средств и методов, неизвестных прежним исследователям. Помимо всего прочего произошла мобилизация большого материала, неизвестного раньше. Раскрепощены многие архивные фонды и собрания, пали «завещатель-

ные распоряжения» случайных наследников прежних владельцев [88]. Старые фонды подверглись более внимательному пересмотру. Окончательно пали цензурные запреты. Это привело к фактическому обогащению науки. Это обогащение новым материалом неуклонно продолжается изо дня в день. Это работа нынешнего дня. Но в связи с пересмотром материала происходит и перестройка методов его изучения. Ныне мы не можем смотреть на автограф Пушкина только как на реликвию, или как на документ, помогающий установить только окончательный текст, или как на предмет публикации текстовой новинки. Возник особый взгляд на текст произведения как на непрерывный творческий процесс; взгляд этот резко противостоит старому, статическому пониманию текста произведения. Текст отныне не есть неподвижно застывшая форма; это есть текучее явление, и не может быть познания творчества Пушкина, если мы не будем изучать его произведения в их становлении. Отсюда новое отношение к черновикам как к документам творческого движения текста. Если раньше изучение черновика имело по преимуществу прикладное значение, то теперь это изучение заняло свое самостоятельное место в общей системе изучения творчества Пушкина с точки зрения его развития.

Отсюда перед современным пушкиноведением возникает ряд сложных и ответственных задач. По мере того как заканчивается процесс обнаружения неизвестных доселе автографов, возникает задача их учета и описания. Ближайшая задача— это предварительная инвентаризация рукописного фонда Пушкина, находящегося в государственных хранилищах и в частных руках. В этой области сделано пока еще очень мало. Об основном фонде, хранящемся в Ленинской библиотеке, мы знаем только по устаревшему во всех отношениях описанию Якушкина 1884 г.; сведения о позднейших приобретениях вообще нигде не сведены. Второй по своему значению фонд Пушкинского дома (ИРЛИ), содержащий около восьмисот единиц, не описан и не каталогизирован. Более или менее свежее описание имеется лишь по отношению к собранию Публичной Библиотеки в Ленинграде (описание Л. Б. Модзалевского 1929 г.).

Но одного описания мало. Автографический фонд Пушкина должен быть полностью издан. Это медленная и большая работа. Издание автографов давно пропагандировал П. Е. Щеголев и его инициативе мы обязаны продвинувшимся уже опытом в этой области—подготовкой к изданию одной тетради Пушкина.

Работа по приведению в известность рукописного фонда Пушкина конечно должна рассматриваться только как вспомогательная. Она будет бесполезной, если одновременно не будет производиться изучения черновиков Пушкина с точки зрения становления его произведений. Надо сказать, что хотя проблематика и общая методология такого изучения и значительно продвинулись за последние годы, но в области методики и техники подобного исследования мы еще находимся в начале длинного пути. Развертыванию подобной работы мешает многое, например недостаточная популярность этих вопросов. А поэтому возникает проблема подачи материала. До сих пор интерес к работам такого типа искусственно повышался какой-нибудь приправой порядка «новинок», «сенсаций», разоблачений и т. п. Пора перейти к более спокойному темпу работы и понять, что значительность подобного изучения зависит не от степени новизны самого материала. Еще более или менее разработаны приемы изучения чернового текста стихов. С прозой дело обстоит труднее и сложнее и в этой области работ еще очень мало. Во всяком случае нам предстоит еще преодолеть период мелких этюдов в этой области, прежде чем наметится возможность обобщающих работ на подобные темы. И задача сегодняшней пушкинской текстологии—форсировать изучение черновиков. Раньше возлагали всегда большие надежды на издания сочинений Пушкина для разработки подобных вопросов. Казалось, что в примечаниях найдут место все варианты и тем самым вся история текста. Но трудно вообразить себе издание такого объема, чтобы в него вошли все материалы этого порядка. Кроме того всякое издание должно поневоле ограничивать исследовательский свой аппарат и замыкаться на простой публикации. Идея энциклопедического издания, совмещающего тексты с исследованиями вроде замышлявшегося Венгеровым, неосуществима, по крайней мере в ближайшие годы. Опыт самого Венгерова весьма поучителен. Характерно, что он потерпел полнейшую неудачу именно в деле издания материалов по истории текста. Та «история текста», которую он обещал, начиная с первого тома, так и не увидела света. Она оказалась не по масштабам простого издания сочинений. Поэтому грандиозные планы полного изучения всей истории текста Пушкина можно и попридержать. В ближайшее время предстоит более медленное, но более глубокое изучение отдельных текстов «на выборку» [89].

Именно изучение черновых вариантов (вернее чернового процесса становления вещей) обострит и уточнит методы текстологического исследования. Такое изучение для текстолога—то же, что маневры в мирное время для войска.

Но все эти текстологические проблемы не должны отодвигать на второй план задачи издания сочинений Пушкина. Задачу эту выдвигает в первую очередь потребность читателя. Голод в издании Пушкина сильно чувствуется. Его может удовлетворить какое-нибудь стандартное издание. Но ни одно из прежних изданий не может быть избрано в качестве стандартного или положено в основу подобного издания. Требуется новый пересмотр. С другой стороны, издание требуется для изучения Пушкина; под изучением я разумею не только научную разработку проблем пушкиноведения, но и студенческую проработку историко-литературного материала. Всё обилие текстовых приобретений еще не сведено воедино. Результаты не подытожены.

Какое же издание нам нужнее всего в настоящую минуту? Несомненно, что предпринимая какое бы то ни было издание, приходится думать, что оно будет не одно, что вслед за ним выйдет на основе его другое издание, в другом виде, приспособленное для другого круга читателей и для других нужд, и может быть не одно, а целая серия разных изданий. Было бы крайне неэкономно, с точки зрения использования сил, не сосредоточить разных изданий Пушкина вокруг единого редакционного центра. Правда, при этом есть риск, что центр этот будет неудачно сконструирован и руководство будет некомпетентным. Тем не менее очевидно, что другого исхода нет. Следовательно редакции придется одновременно заняться и малым изданием, и большим. Таково было положение редакторов однотомника—редакционной коллегии ГИХЛ. Оба раза была принята последовательность—от малого издания к большому. И оба раза тем самым была совершена ошибка. Малые издания вышли в свет, а большие не состоялись. Аргументом было то, что необходимо сначала сделать работу начерно, а затем ее закончить в большом масштабе. При этом забывалось, что малое издание всё равно требует проработки всего материала. Таким образом получалось, что или редактор всё же сначала подготовляет «большой» вариант издания, а затем сокращает его до малого, или же дает малое издание, не проработав всего материала. Конечно на деле применялся главным образом второй путь. Таким образом и малые издания выходили недоработанными. Теперь отпадают все аргументы в пользу «малых» изданий. Дважды изданное гихловское собрание сочинений Пушкина и есть то черновое, которое должно было предварить большое издание. Надо начинать с издания, по плану своему предусматривающему полный просмотр материала, сквозное его изучение. Таким должно быть «большое» издание. Такое издание предполагалось к юбилейной дате 1937 г. Теперь конечно сроки упущены и никто не может надеяться закончить в такой краткий срок большого издания. Венгеров издавал свое издание в течение восьми лет; при этом в тексте он ограничился беловыми редакциями, а комментарий роздал более чем пятидесяти авторам. Академическое издание при благоприятных условиях за 17 лет продвинулось до четвертого тома (из двенадцати). Малое издание (приложение к «Красной ниве»), начатое в 1930 г., закончилось в 1932, а его второй вариант, начавшийся одновременно, только в 1934 г. доведен до конца. Эти сроки надо учесть и при разработке будущего плана не связывать себя слишком радужными перспективами быстрой его реализации. Предстоит большая и ответственная работа, которая наконец должна быть доведена до конца. Слишком короткие сроки обеспечат рецидив халтуры дореволюционного типа.

Но какой же должен быть тип этого нового большого издания? Оно очевидно должно быть новым не только по дате, но и по составу, по построению, по внутренней композиции, по характеру редакционного аппарата, по вдохновляющей издание научной мысли.

Что касается объема издания, то оно должно конечно содержать всё написанное Пушкиным, без различия жанров. Пушкин для нас не только автор, но и культурно-историческая личность. Поэтому нам важны и его личные бумаги, имеющие чисто биографическое значение, начиная с деловых сношений, кончая интимными записками, посвящениями книг и даже векселями. Но еще важнее нам его творческая лаборатория, подготовка и собирание материалов для будущих произведений, нам важны все его выписки из книг, из газет и т. п. В этих выписках — зерно его замыслов. Самый подбор этих выписок есть акт творческого порядка.

Но в противоположность прежним изданиям материал должен быть дан не в куче, а в осмысленной системе. Это касается не только деловой части, но и литературной. В современную науку всё больше проникает сознание важности построения изда-

ния. Композиция издания в некотором отношении аналогична композиции произведения. Для редакторов старой школы композиция произведения не казалась чем-нибудь значительным; лишь бы была полнота. Если все стихи произведения налицо, то издание считалось хорошим, в какой бы последовательности ни шли эти стихи. Поэтому старались ввести возможно больше стихов из черновиков в основной текст, не заботясь о том, как они там уложатся. Так испортил Ефремов «Домик в Коломне», Морозов—«Евгения Онегина», Брюсов доканал «19 октября 1825 года». Для нас эти ошибки очевидны, но в свое время не все их понимали, и приходилось с большим азартом защищать положения здравого разума. К сожалению проблемы композиции издания, построения сборников до сих пор не ясны. Так последнее издание ГИХЛ повторяет дискредитированную в достаточной мере хронологическую систему Ефремова-Морозова. Все знают недостатки этой системы, и в то же время ни у кого недостает смелости порвать с дурной традицией. При этом часто приходится слышать такое рассуждение: композиция важна в «читательском» издании, в собрании не полном, не научном, имеющем задачей дать сочинения Пушкина в приятном для чтения виде, но в академическом издании важно не это, а хронология. Рассуждение это весьма наивно и его в свое время отлично опроверг Винокур в «Критике текста». В самом деле, большое издание не должно отмахиваться от текстологических проблем, полагая их ниже себя. Наоборот, отношение его к материалу должно быть еще более чутким. Наука состоит не в механической регистрации явлений, а в учете всех его особенностей, всех специфических свойств изучаемого материала. Мы не вполне поймем творчество Пушкина, если не примем во внимание его работу над композицией сборников. Мало того: мы не сможем воспринять отдельных произведений, если введем их в ненадлежащую среду. А главная задача издания—осмысление образа Пушкина в его цельности и единстве.

Проблемы композиций не разрешаются универсальным шаблоном. Ранние произведения строются иначе, чем поздние (только при таком условии можно лицейские стихи печатать на особых условиях). Проза располагается не так, как стихи. Журнальные работы от включения в собрание не должны утратить своего журнального характера.

Построение собрания чрезвычайно важно. Только в правильно построенном собрании полнота не будет засорением. Но это построение есть критическая работа, не разрешаемая инструкцией, годной на все случаи жизни как предусмотренные, так и непредусмотренные. Композиция собрания сочинений разрешается не в порядке администрирования, а в порядке подлинного научного освоения материала.

Мне уже приходилось высказываться по вопросам композиции сочинений Пушкина. Единственным научным выходом из положения я считаю критический учет собственных планов Пушкина, то-есть для лирики—четырех частей «Стихотворений» 1829—1835 гг. и предварительных списков для них, а для произведений ранних—план издания, сохранившегося на автографе «Пирующих студентов», с жанровой классификацией стихотворений (при чем, понятно, лицейские стихи как исключенные Пушкиным из основного плана должны итти после главного собрания стихотворений). Осуществление такого плана на полном собрании наталкивается на трудности, которые может преодолеть только опытный и филологически грамотный редактор.

Большим вопросом является подача вариантов. Теоретически в таком издании должны быть все варианты, но на деле это конечно невозможно и ненужно. Такое издание должно только вполне точно и на материале фиксировать все основные этапы создания пушкинских произведений. Оно должно явиться путеводителем по всем первоисточникам, характеризуя текстовые особенности и оценивая значение каждого. Но в меньшей степени оно должно заботиться о передаче документа. Документальным это издание не должно быть. На то предпринято издание факсимиле. Здесь мы лишь должны получить исчерпывающие для дальнейшего углубления вопроса указания по истории текста. Иной подход превратит издание в кучу транскрипций (из данного издания эти транскрипции желательно удалить совершенно); это мы видели на примере якушкинских примечаний к старому академическому изданию. Опять-таки построение подсобного текстового аппарата есть творческая работа, разрешаемая не в порядке инструкций. Именно здесь редактора встретит сложная и ответственная работа по обработке черновиков, по установлению текста, по выяснению последовательности в работе, по хронологизации материала, одним словом та сложная и живая работа текстолога, которая требует полного владения материалом и методом.

Что касается до комментария, то мы вероятно очень близки к тому времени, когда комментарий не будет считаться органически связанным с изданием. По-

явление отдельной книгой комментария к «Евгению Онегину», выход отдельным томом комментария к шеститомнику 1931 г.—до известной степени симптоматические явления. Проблема комментирования настолько выросла и обособилась от задач текстологических, которые сами по себе уже являются автономной научной областью, что вероятно скоро войдет в обычай отдельное издание комментария, не связанное с изданием текста. И мне кажется, что издание большого типа не должно злоупотреблять задачами комментария. Комментарий должен быть дан самый необходимый для усвоения текста; кроме него должен быть дан достаточный, но сжатый текстовой комментарий, обосновывающий работу редактора.

Вот основные черты издания, выдвигаемого естественным ходом вещей. Такое издание явится источником и основой для всяких иных изданий. От того, удастся ли осуществить подобное издание или нет, зависит в значительной мере направление, какое примут работы над текстом Пушкина в ближайшие годы.

Но залогом успеха такого издания может быть только одно: издание это не может быть механической (вернее механизированной) подборкой текстового материала, препарированного по определенному регламенту. Оно должно строиться на живом историческом понимании личности, творчества и социальной роли Пушкина. В отличие от автоматических текстологических занятий дореволюционного времени новая текстология базируется на полном понимании издаваемого, на полном учете всех характерных черт воспроизводимого текста. Подлинность издаваемого материала обеспечивается только совершенным владением этим материалом. Текстолог должен быть и историком. В лаборатории издания происходит полная интерпретация произведения как в его деталях, так и в целом. Когда-то издавали «стихи» Пушкина, заботясь, чтобы их собрать побольше, но не обращая внимания на то, в какой последовательности и в каком сочетании эти отдельные стихи идут. Затем научились издавать «с т и х о т в о р е н и я» Пушкина, обращая внимание на цельность и построение каждого стихотворения в отдельности. Это была эпоха частных изучений Пушкина, когда интересовались исключительно деталями и не заботились о сведении этих деталей воедино. Теперь нам этого мало. Нам нужен весь образ Пушкина в целом, во взаимной связи всех этих деталей. Тем самым мы подходим к проблеме издания с о ч и н е н и й П у ш к и н а.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Есть пропуски. Черновик строфы XXXV главы третьей сохранился: это карандашная запись, поверх которой чернилами написан черновик стр. XXV той же главы (70 л., 12_1). Строфы XVIII и XIX главы восьмой в черновиках сохранились в Майковском собрании. Черновик строфы XIV «Путешествия Онегина» имеется в тетради 82, л. 97_2. Один из черновиков «Возвращения» к «Онегину» означен неверно: надо 73, л. 32_2.

[2] Поэтому считаю вполне заслуженным упрек по моему адресу, вызванный публикацией отрывка из двух недописанных черновых стихов: «текст не понят и с ошибками воспроизведен Б. Томашевским» (П. А. Каратыгин. «Записки», изд. под редакцией Б. В. Казанского, «Academia», 1930, т. II, стр. 313, прим.). Хуже, что строгий критик не указал ошибок и сопроводил примечание догадками, которые в части ему принадлежащей, совершенно несостоятельны, так как основаны на склеивании воедино двух разнородных черновиков и на совершенно произвольной, напоминающей худшие времена морозовских «конъектур» мозаичной выборке слов из разных мест двух рукописей, которые под творческим пером критика упорно не вгоняются в стих.

[3] См. «Пушкин в «Народной библиотеке».—«Книга и революция» 1923, № 1(25) стр. 11.

В 1933 г. вышло новое издание однотомника с нового набора. Здесь к фамилиям редакторов текста присоединена фамилия ответственного редактора В. Буш. Я принужден дезавуировать это издание. Оно произведено без редакторской корректуры и выпущено с нового набора без согласия редакторов, несмотря на мои указания, что в таком виде однотомник не должен дальше перепечатываться. Небрежность, с которой выпущено издание, явствует уже из титульного листа, на котором оно названо пятым. Текст искажен грубыми опечатками и вмешательством некомпетентных корректоров. Издание печаталось линотипом в газетной типографии. Надо надеяться, что это последний случай халтуры при издании Пушкина.

[5] См. «Литературную газету» от 9 апреля 1931 г., № 7 (117), письмо в редакцию М. А. Цявловского и Г. И. Чулкова, напечатанное под заголовком «Головотяпство

и линотипы». Письмо вызвало совершенно резонное замечание редакции, что виноваты не линотипы, а люди, что издательство должно руководиться учетом всех условий технического оформления книги, в том числе и навыков и степени подготовки персонала типографии.

[6] Кстати надо заметить, что редактор, по нашему мнению, совершает абсолютно недопустимые исправления правописания имен в тексте Пушкина, смешивая задачи критики текста с задачами комментария. Пушкин мог и по искреннему заблуждению, и по каким-нибудь специальным соображениям изменять имя. Некоторые из этих исправлений раздражают своей наивной ненужностью; например, почему имя Баратынского исправлено на Боратынского? Ведь через «а» его писал не только Пушкин, но и сам Баратынский и, мне кажется, не без умысла (ср. Мусоргский вместо Мусорский, Лермонтов вм. Лермантов, Белинский вм. Белынский и т. п.). Если исследователи нашли паспорт Баратынского и там его имя написано через «о», то это факт конечно радостный, но всякая радость должна выражаться в надлежащих формах. То же можно сказать о правописании «Огарева» вм. «Агарева» и др.

[7] Отрывок, состоящий из трех зачеркнутых слов: «Кто хочет, пой». Почему-то отрывок «Когда б ты родилась» не разделил его участи. Но таких отрывков у Пушкина сколько угодно. По поводу одного из них «И я бы мог как шут» целое исследование написал Венгеров. В тетради 2371 на л. 22_1 читаем «И в самом деле». Если регистрировать, так регистрировать. Всякий каталог должен быть полным.

[8] Отмечу одну ошибку издания, впрочем ошибку традиционную, находящуюся во всех изданиях, в том числе и в однотомнике: стихотворение «Счастлив, кто избран своенравно» не есть самостоятельное произведение; это окончание стихотворения «Твоих признаний, жалоб нежных».

[9] Есть и неоправданные ссылки, например: «Вещали книжники, тревожились цари», см. «Зачем ты послан был». А последнего названия совсем нет в алфавите. Так в обоих изданиях. Ошибочно указаны «Что в имени...» стр. 77, надо 101, «Ольга»—II, 288, надо I, 283, «Давыдову»—153, надо 205.

[10] Жаль, что при этом редактор не сохранил всех характерных особенностей копии Матюшкина, например не удержал формы «табатерка», употребительной в XVIII в. (от франц. tabatière) и удержавшейся до середины XIX в. параллельно с новой формой «табакерка».

[11] Кроме того в «Анджело» неприятная опечатка в самом начале, нарушающая размер стиха:

«Как дряхлый зверь к ловитве неспособной».

Надо:

«Как дряхлый зверь уже к ловитве неспособной».

[12] Вопросы орфографии изданий Пушкина вообще недостаточно освещены. Совершенно ненаучную непримиримую позицию занял Валерий Брюсов. Его записка по этому поводу, датированная 1919 г., напечатана в сборнике «Мой Пушкин». В ней Брюсов требует сохранения подлинной собственной орфографии Пушкина, ссылаясь на примеры Академического издания и издания под редакцией Венгерова и не подозревая, какую нелепую орфографическую мешанину представляют собой эти два издания. По данному вопросу вниманию редакторов можно рекомендовать статью Н. С. Державина «О языке и орфографии Пушкина» («Книга и революция» 1920, № 6), где очень доказательно обосновывается допустимость перевода пушкинских начертаний на новую орфографию и дается в кратких чертах на удачно подобранных примерах характеристика собственной орфографии Пушкина.

[13] То же надо сказать о выборе редакций произведений. Ничего нет комичнее, чем выбор второй скромной редакции «Руслана», с уничтожением эротических подробностей, рядом с интегральным текстом «Гавриилиады».

[14] Повидимому все последние издания «Графа Нулина» грешат тем, что предпочитают текст отдельного издания 1828 г. тексту «Северных Цветов» 1827 г. Вероятно прав был Ефремов, считавший, что текст 1828 г.—простая перепечатка предыдущего и все его отличия—опечатки.

[15] Сравни след. стихи «Посвящения»:

Коснется ль слуха (вм. уха) твоего...
Перед тобою без привета (вм. ответа)...
Твоя далекая (вм. печальная) пустыня...

[16] В послесловии от издательства, подписанном М. Цявловским и датированном 23 марта 1929 г., говорится буквально следующее: «Как известно, после выхода

в свет издания Брокгауз-Ефрона текстологическими исследованиями М. Л. Гофмана и Б. В. Томашевского установлено, что включать в основной текст «Домика в Коломне» пропущенные самим поэтом строфы нельзя. Но как всякий убедится, художнику ломать всю композицию издания тоже не представляется возможным». «Строфы эти (IV—IX и XV—XXII) заключены в настоящем издании в прямые скобки». Вероятно по воле издательства эти прямые скобки в тексте отсутствуют.

[17] Во многих других изданиях тот же Бель является в качестве Стендаля. Таков он например в школьном издании под редакцией З. Н. Дормидонтовой, вышедшем в Юрьеве в 1921 г. в серии «Русские писатели для классного чтения» (изд. эстонского издательского товарищества «Постимес»). Самое издание обычного халтурного типа, с отрезанным концом (так же, как в издании «Прибоя» 1925 г.).

[18] Эта «балетная переделка», фигурирующая и у Н. Бродского, ведет свое начало повидимому от комментария М. Гофмана к изданию «Народной библиотеки», в котором смело сказано, что «Клеопатра»—трагедия Вольтера. Между тем не только у Вольтера нет такой трагедии, но и персонаж этот совершенно отсутствует в его театре. Пушкинское указание загадочно. Неясно, какую Клеопатру мог обшикать Онегин в 1819 г.

[19] Уже в 1934 г. вышел в свет «Евгений Онегин» в серии «Школьная серия классиков» (Детгиз, тираж 100000 экз., цена 1 р. 25 к. в картонном переплете). На титульном листе указано: «Подготовил к печати и снабдил комментариями Б. Х. Черняк». Подготовка к печати свелась к перепечатке текста издания «Дешевой библиотеки классиков» с исправлением некоторых опечаток, сохранением прочих и прибавлением новых. В позднейшие издания романа (напр. в соч. Пушкина изд. ГИХЛ) редактор текста не заглядывал. Комментарий—компиляция из Бродского и из «Путеводителя», данного при изд. «Красной нивы», в какой-то мере использован и словарь Брокгауза. Конечно сохранены все «балетные переделки» несуществующих трагедий и т. п. Так как самые простые вещи не объяснены в «источниках», то их редактор дал от себя с поразительным непониманием и неведением. Летний сад оказался рядом с Зимним дворцом, Кукушкин мост—против Петропавловской крепости, слово «вечор» пояснено «вечером» и т. д. Если Пушкин пишет об «ученых женщинах»: «Не дай мне бог сойтись на бале с семинаристом в желтой шале», то обязательный редактор поясняет: «Семинарист—учащийся духовного училища—семинарии, готовившей служителей православного культа». Хороши конечно нравы будущих служителей культа, если они, удрав из семинарии и завернувшись в желтую шаль, отправлялись на великосветские балы! Бытовой комментарий насквозь неверен. Лорнет понят в значении, в каком это слово употребляется теперь (увы, так понимают это слово не только редакторы, но и иллюстраторы), в то время, как это просто—театральный бинокль. Страсбургский пирог, вопреки комментатору,—не пирог, а паштет.

Сохраняя все именительные прилагательные на «ой» по изданию «Дешевой библиотеки» и в большинстве случаев оговаривая эту форму, редактор свободно заменяет форму «незапный» через «внезапный» без всякой оговорки. Любопытно, что даже опечатки комментированы редактором. Так перепечатывая из «Дешевой библиотеки» (гл. 8, стр. XXXV) имя «Мензони» вместо «Манзони», он согласно с опечаткой начинает комментарий: «Мензони или Манцони Алессандро» и т. д. Исторический комментарий стоит на той же высоте. Группа «любомудров» (архивных юношей) определена только тем, что эти люди «получали чины ничего не делая» (стр. 182). Толкование слов поражает малым знакомством с русской речью, как это видно из перевода слова «вечор». Вот еще пример. Пушкин иронически отмечая «победу» Онегина над сердцем Татьяны, именует его «модным тираном». Последнее слово истолковывается: «Тиран—здесь в смысле властный, крутой человек». И тем самым мы получаем новую и неожиданную «характеристику Евгения Онегина». Впрочем всего не перечесть. Между прочим этой книжке посвящено несколько строк в фельетоне К. Чуковского «Избиение классиков» («Правда» от 2 июля 1934 г., № 180). Отдавая должное комментарию, К. Чуковский пишет: «Ведь тот же Б. Х. Черняк оформил недавно для московского ГИХЛ «Избранные стихотворения и поэмы» Пушкина (под редакцией проф. Гудзия), и никаких криминалов там нет». С этим решительно не могу согласиться. Там—такие же «криминалы». Как же иначе квалифицировать например примечание к стихотворению «Вольность», печатаемому под 1817 г., что «возвышенным галлом» Пушкин называет Андрея Шенье, и для доказательства перевирается дата выхода в свет произведений Шенье, а именно: указывается 1816 г. вм. 1819. Здесь же Шенье характеризуется как монархист, когда из стихов Пушкина явствует, что речь идет о революционном поэте. Или там же сообщение, что Павел

был убит в «Инженерном замке в тогдашнем Петербурге» (что равносильно сообщению, что Николай II жил в Музее Революции). Конечно все это работа одного сорта.

[20] Некоторые из отброшенных Щеголевым особенностей—описки и ошибки, некоторые же—систематические орфографические формы (приставка «при» перед гласной через «и восьмиричное», «ветхий» через «ять» и т. п.), некоторые являются орфографическими дублетами (творительный прилагательных на «ом»), некоторые отражают синтактико-морфологические особенности («домишка» как форма винит. падежа).

[21] В той же серии вышли в 1917 г. «Полтава» и «Медный всадник», в 1918 г. «Цыганы», «Руслан и Людмила» и «Евгений Онегин». На двух последних выпусках подписанное Лебедевым-Полянским разрешение от 10 апреля 1918 г. выпустить эти издания в количестве 6 тыс. экземпляров как отпечатанные до издания декрета о монополии классиков.

[22] Рисунки были сделаны для издания «Народной библиотеки» 1919 г., но по техническим соображениям не были в свое время использованы. То же самое относится и к другим иллюстрированным выпускам 1923 г.

[23] «Борис Годунов» вошел также в состав выпуска, содержащего драматические произведения.

[24] Хотя это издание и стереотипное воспроизведение первого, но в нем имеются некоторые отличия. Так на странице 5 к примечанию первого издания «Бука—слово без определенного значения, которым пугали маленьких детей» прибавлено выписанное из словаря Даля дополнение: «происхождение этого слова у нас возможно связано с эпохой монгольского ига: у татар есть имя—Бука, Букай». Для сохранения числа строк выкинуто другое ценное примечание: «Куды—восклицание, выражающее невозможность сделанного предположения». Последнее примечание, как и многие другие в данном издании, буквально совпадает со словариком к трагедии, составленным под редакцией Н. С. Державина (см. «Пушкин. Борис Годунов. Книгоиздательство «Благо». Петроград, 1922»). Это издание представляет собой комментарий к произведению для средней школы; автор комментария не указан и лишь при названии серии значится: «Под редакцией проф. Н. С. Державина». Комментарий заключает в себе много полезного, хотя и нельзя вполне согласиться с методологической позицией редактора, который пишет: «В основу нашего подхода к тому или иному художественному произведению мы кладем плодотворные, но, к сожалению, с трудом проникающие в школу идеи гениального русского языковеда, проф. Потебни; следовательно, художественная литература рассматривается нами как явление языка» и т. д.

[25] Своеобразный комментарий к трагедии представляет собой издание «Борис Годунов» А. С. Пушкина. Материалы к постановке под редакцией В. Мейерхольда и К. Державина из серии комментария к пьесам Цеха Мастеров Сценических Постановок. Издание Театрального Отдела Народного Комиссариата по Просвещению. Петербург MCMXIX».

[26] Характерно, что представление о кладбище твердо врезалось в восприятие читателей. Так Н. В. Измайлов датирует набросок «Езерского», который по положению в тетради должен был бы относиться к концу 1832 г., 1830-м годом на том только основании, что здесь же рисунок молодого человека, опершегося на камень (см. «Пушкин и его современники», вып. XXXVIII—XXXIX, 1930, стр. 180; здесь же воспроизведение рисунка): «Не Лепорелло ли это, стоящий у могильного памятника на кладбище близ Мадрита?» Но дело в том, что и в «Каменном госте» нет намека на кладбище. Рисунок же, как уже отмечалось Д. Благим, повидимому изображает набережную Невы и относится не к XVII, а к XIX в. Смутившая Измайлова шляпа—такая же, как на рисунке Пушкина, изображающем Онегина у Невы, или на портрете Пушкина, рисованном Чернецовым. Другие детали костюма также встречаются на рисунках 20-х годов XIX в.

[27] По поводу этого издания мною была напечатана заметка в «Записках Передвижного Театра», № 51, 23 февраля 1923 г. (к сожалению с многочисленными ошибками в текстах).

[28] Это издание вышло под редакцией и с кратким послесловием Н. О. Лернера. Здесь впервые исправлены вошедшие во все издания опечатки прижизненных изданий на основании подготовленного Пушкиным к печати экземпляра его стихотворений. Ср. рецензию Н. О. Лернера на издания «Народной библиотеки».—«Книга и революция» 1920, № 6, стр. 44.

[29] Я не касаюсь также публикаций новых стихотворений Пушкина прежде неизвестных. Все они вошли в издание ГИХЛ, кроме опубликованных П. Щеголевым и С. Бонди, которые введены в это издание только в качестве приложений к V тому.

[30] Совершенно уже недопустимой является небрежность в корректуре, вследствие чего в данном стихотворении у Гофмана неверна пунктуация, а один стих совсем искажен: «...а я над ним читаю» вместо «...а я пред ним читаю».

[31] Слово это не прочитано и после Гофмана. В издании 1923 г. оно передано «сперва» (что предполагает, что Пушкин написал это слово в три приёма: «съ пе рва»). Может быть правильнее читать «въ первой». Чтение Цявловского «въ первый раз» представляется мало вероятным как по смыслу, так и по начертанию.

[32] Новые издания, начиная с изд. 1870 г., ввели одну ошибку в первую часть стихотворения, а именно в стихе пятом слово «цирцей» заменено словом «царей». См. табличку разночтений, помещенную в XVII—XVIII вып. «Пушкин и его современники». Автор таблички Влад. Буш полагает, что у Геннади этот стих явился «неиспорченным». Между тем ни один заслуживающий доверия документ не дает чтения «царей». Слово это явно примышлено.

[33] То, что Пушкин не делал специальной обработки стихотворения для печати, доказывается «Капнистовской тетрадью», в которой Пушкин не посылает брату текста стихотворения, а просто указывает, до которого стиха следует печатать. Таким образом обработан был полный текст окончательной редакции.

[34] Собственно нового в этом издании один четвертый стих приписанной эпиграммы. Три первых напечатаны в «Записках П. А. Каратыгина», 1800 г., стр. 44. Эта эпиграмма не зарегистрирована в изданиях сочинений Пушкина и не сопровождена никаким комментарием редактора в новом издании «Записок». Каратыгин пишет о ней тоном очевидца.

[35] «Книжный Угол» 1918 г., № 2.

[36] В свое время вся эта история с указанием настоящего имени автора подделки была рассказана в журнале «Куранты искусства, литературы, театра и общественной жизни», Киев, 1918, № 9, сентябрь (Вл. М. «Профанация имени Пушкина»).

[37] Лучше всего пожалуй эту беспомощность В. Брюсова характеризует роль Боченкова. Так как в плане Пушкина он упомянут, Брюсов и его выводит на сцену, но, не имея никаких указаний плана, не знает, что с ним делать. И вот роль его сводится к трем фразам, в которых он всё же ухитряется повторить чужие слова: «Я—с удовольствием», «Я тоже готов заплакать» и «Вот оно что».

[38] Насколько прихотливы и необоснованы были эти завещательные распоряжения, показывает например судьба Майковского собрания. Оно составилось из автографов, удержанных Анненковым после редактирования им сочинений Пушкина в 1855 г. и по праву принадлежавших семье. В то время как семейный фонд был передан в Румянцевский музей еще в 1880 г. и с тех пор является национальным достоянием, эти удержанные бумаги продолжали оставаться частной «собственностью». Вдова Анненкова передала этот фонд Л. Н. Майкову как редактору Академического издания. В результате вдова Майкова, рассматривая этот фонд как свою собственность, «пожертвовала» этот фонд Академии Наук, связав Академию завещательным распоряжением. Вот почему по сей день этот фонд окончательно не изучен. Вообще история пушкинских рукописей и их частных собраний (Онегинского, Майковского Шляпкинского и др.) есть история беззастенчивого грабежа и присвоения чужого имущества новыми «владельцами».

[39] Аппарат, которым будет сопровождено факсимильное издание автографов Пушкина, до известной степени приближается к такому выборочному изучению истории текста. Впрочем там история текста не должна быть главной задачей комментария.

ИЗДАНИЯ ТЕКСТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ

Обзор Д. Якубовича

В дореволюционное время проза Пушкина была всегда на положении пасынка. Поэт Пушкин настолько затмил в сознании современников и потомков писателя вообще, что о художественной прозе его высказывались мало. На это были свои причины. Первая из них заключается в той огромной роли, которую суждено было сыграть в русской литературе и культуре именно Пушкину - поэту. Были и другие причины. Пушкин-прозаик, т. е. складывающийся Пушкин 30-х годов, не мог еще быть осознан современниками. В сущности говоря, они знали две главы из «Арапа Петра Великого», под псевдонимом появившиеся «Повести Белкина», встреченные без энтузиазма, «Пиковую даму» и «Капитанскую дочку».

Гипноз беглых оценок Белинского долго тяготел над сознанием читателей, будучи противопоставлен его же статьям, посвященным канонизированию Пушкина-поэта. *«Дубровский» как запоздалая находка из пушкинского портфеля появился лишь* в 1841 г. Вся огромная лабораторная работа Пушкина-прозаика, прерванная его смертью, надолго осталась вовсе скрытой от русского общества. А слава Пушкина-поэта осознавалась по-новому каждым из новых поколений критиков, исследователей, читателей, канонизировалась вплоть до школьного штампа.

Если взять любое из старых высказываний о текстах пушкинской прозы, оно поражает своим несоответствием материалу. Этот гипноз представлений о Пушкине как исключительно классике стиха сказался даже на специалистах-пушкиноведах, которые, казалось бы, были обязаны знать и пушкинскую прозу. Возьмем наудачу несколько высказываний этого рода. В. Е. Якушкин, делавший первое (и до недавнего времени остававшееся единственным, а в большей части так и не замененное) их описание, бывшее на уровне научного критицизма и текстологических представлений своей эпохи, писал в 1884 г.[1]: «При сравнении посмертного печатного прозаического текста с рукописями, встречаешься с затруднением: поправки и пропуски к стихам сообщить гораздо легче, да эти поправки важнее (?) и интереснее (?) сами по себе, от искажения одного слова часто нарушена гармония всей картины; другое дело проза; с одной стороны, для указания поправки одного слова приходится выписывать длинную фразу, с другой—длинный перечень подобных ошибок представил бы материал слишком сухой. Поэтому, сделав общую оговорку, что посмертная проза Пушкина издана чуть ли еще не хуже посмертных стихов, я ограничусь указанием только главнейших поправок и пропусков, оставляя в стороне более мелкие ошибки и пропуски двух-трех слов».

В 1905 г. редактор сочинений Пушкина П. А. Ефремов, комментируя прозу[2], писал: «Для произведений в прозе мы ограничимся указанием только более или менее обширных отрывков, отличающихся в рукописи от напечатанного текста или же вовсе не вошедших в него и вычеркнутых автором, что же касается до мелких изменений в отдельных словах и фразах, то приводить их мы не будем, потому что они интересны исключительно как работа автора над исправлением слога, с которой читатели уже ознакомились в примечаниях к стихотворным произведениям».

Эта беспомощность, этот субъективизм оценок и утверждение примата стихов при априорном установлении тождества стилистической манеры Пушкина—прозаика и поэта—чрезвычайно характерны. Проза была неинтересна. Надо полагать, что и социальная направленность черновых и печатных материалов пушкинской прозы была глубоко чужда этим редакторам поэта и оттого легко нивелировалась, стушевывалась, в лучшем случае не была «интересной».

Эта точка зрения длительно сказывалась не только на текстологической беспринципности, возведенной в принцип, но также и на отсутствии исследовательской любознательности к прозе и на ряде ошибочных умозаключений о ней. Если к прозе обращались, то главным образом для патриотического канонизирования Пушкина—исторического романиста (Черняев), выравнивая его в одну линию с Загоскиным и Лажечниковым, тщательно обходя огромную социальную зарядку именно его прозы. Именно этот псевдонаучный фон и этот уровень делали возможными и априорно догматические выводы не-специалистов, писавших о Пушкине; например грубо ошибочные заключения Г. В. Плеханова: «Трудящаяся масса, крепостное крестьянство не существовало для Пушкина как для писателя. При Пушкине о ней не было и не могло быть речи в литературе»[3]. «История села Горюхина», «Дубровский», «Капитанская дочка» очевидно психологически сбрасывались со счетов. Цеховая наука не учитывала их, исследователи, стоявшие вне её, забывали их. Насколько эти произведения сбрасывались со счетов даже теми, кому о них знать надлежало, явствует хотя бы из той мимолетной, но грубейшей ошибки, с которой и позже, в 1910 г., В. Я. Брюсов начал свою статью «Неоконченные повести из русской жизни» словами: «Пушкин *при жизни напечатал*... «*Историю села Горюхина*»... «*Дубровского*».

Характерно, что эти строки остались без изменения и без исправлений в примечаниях даже и в послереволюционном (посмертном) издании статьи В. Я. Брюсова[4].

Послереволюционная эпоха, выдвинув интерес к прозаическим жанрам как жанрам эстетически и научно *равноправным* со стихами, в корне порвала и со старым взглядом на пушкинскую прозу. Последняя стала наконец закономерным объектом изучения как в текстологическом, так и в собственно литературном плане. Интерес к Пушкину-прозаику стал явлением обычным, отразив на себе все важнейшие научные концепции и методы, став предметом изучений всех школ и группировок. Большую работу, работу застрельщиков, выполнили в этой области формалисты. Обследуя прозу как жанр, именно они вовлекли, помимо своего желания, в обиход литературоведения и пристальное внимание к социально насыщенному *содержанию* пушкинской прозаической формы. Смежные с формалистами группы и литературоведческие прослойки пошли по этим путям. Во весь рост проблема пушкинской прозы стала и перед марксистской литературоведческой наукой...

Обращаемся к рассмотрению того пути, которым шла работа над прозаическими (художественными) текстами Пушкина как части всей работы над Пушкиным за революционные годы.

Перед редактурой стояли задачи пересмотра всего прозаического пушкинского наследия путем обращения непосредственно к первоисточникам, путем изучения рукописей самого Пушкина или, за их отсутствием, изучения тех изданий, на которых лежала его санкция. Революция шаг за шагом раскрывала перед исследователем двери архивов, уничтожала препятствия, в прежнее время мешавшие не цеховым ученым работе над драгоценными рукописями. Старые собрания автографов из мертвого фонда, ревниво охраняемого и бывшего почти собственностью кадровых специалистов, представителей «академической» науки, постепенно становились подлинно общественным достоянием. Притекали новые приобретения и вовлекались в живую работу. То, что было некогда личными собраниями президента Академии Наук—К. Р., фамильною тайною титулованных Юсуповых и Горчаковых, или любителей-коллекционеров типа А. Ф. Онегина, с антикварской бесцеремонностью расписывавшегося на пушкинских автографах,—попало в поле зрения ученых. Шкафы и сейфы, хранящие уникальные манускрипты Пушкина, стали распахиваться все больше, тревожиться все чаще новыми, тоже бережно-осторожными, но настойчивыми руками. Исследователь проник в «святилище». Можно только жалеть, что этими открывшимися возможностями широкой и столь часто плодотворной работы (ибо всякое обращение к рукописи обновляет мысль исследователя) пользовались пока еще столь незначительные кадры новых специалистов, что некоторое временное сублимирование литературоведческих интересов не привлекло еще достаточного количества вдумчивых молодых работников на этот расчищенный революцией, обещающий и ответственный участок.

Раскрывая и подытоживая общую картину работ над пушкинской прозой, мне придется в дальнейшем останавливаться почти исключительно не на широких обобщениях, а на частностях, порою может быть производящих впечатление мелочности и излишней кропотливости. Однако это неизбежно, так как только на большом количестве конкретного материала и частных примеров можно с убедительностью показать новое качество работы над текстами определенного раздела.

Уже в 1919 г. начала выходить «Народная библиотека» Гиза, в основу всех своих изданий положившая принцип тщательной проверки текстов Пушкина по автографам и прижизненным изданиям. Несмотря на установку серии на популярность, именно ей суждено было впервые дать эти элементарные завоевания, пустив в массы, в школу в значительных по тиражу брошюрах проверенные специалистами пушкинские тексты. Под редакцией С. М. Бонди и А. Л. Слонимского вышли: «Станционный смотритель», «Гробовщик», «Выстрел», «Мятель» и «Капитанская дочка»[5]. В этих изданиях был использован преимущественно текст прижизненных изданий; с рукописями прозы редакторы для них почти не должны были иметь дела, и таким образом издания требовали лишь сугубо внимательной проверки печатных текстов. Исправлены были например многочисленные опечатки издания повестей 1834 г.[6] Остались неисправленными в издании «Народной библиотеки» лишь незначительные неточности[7]. Необходимость дробить повести по отдельным брошюрам заставила разрушить дорогой для самого Пушкина принцип—прием циклизации. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» как таковые исчезли, исчезло и предисловие «От издателя», и заглавие, и эпиграфы ко всем повестям, и подпись. Стилистическая телеология Пушкина в этих изданиях несомненно несколько пострадала. Но ими выдвинут был наконец принцип коллективной работы исследователей-текстологов, дающий возможность взаимному чередующемуся контролю и повышающий степень критического осознания текста уже в самих требующих изощреннейшего внимания процессах считки печатного текста с первотекстом или рукописями, выверки его в корректурах, где даже самый внимательный специалист, работая один, рискует пропустить отдельные искажения и опечатки.

Идея «документального» издания прозы осуществлялась далее в изданиях Гиза под редакцией Б. Томашевского и К. Халабаева («Дубровский»[8], «Повести Белкина»). Критическое воспроизведение первоисточника[9] и здесь дало ряд ценнейших результатов. Наконец решительно было порвано с традицией механического «перепечатывания» прозы Пушкина со старых изданий, было скомпрометировано представление о якобы всегда имеющемся канонически-стереотипном тексте. Особо интересен заново выверенный редакторами по черновым рукописям «Дубровский», представляющий одну из наиболее трудных для редактора и неизученных во всем объеме пушкинских черновых вещей. К сожалению издание лишено всякого комментария. Частичная мотивировка выбора текста дана одним из редакторов отдельно в статье, впервые обрисовавшей перед русским читателем исключительные трудности прочтения и издания рукописи «Дубровского»[10].

Установка редакции—дать беловой, «читабельный» текст «Дубровского», поскольку он может быть извлечен из рукописи, представляющей собою черновую первой стадии, изобилующую как композиционными, так и текстовыми вариантами без указания, на каких из них остановился сам автор, словом, из рукописи, носящей на себе все признаки произведения, не подвергавшегося окончательной шлифовке.

Редакторы несомненно поступили правильно, давая для популярного издания нивелированный текст. Так колебания Пушкина, наблюдающиеся на протяжении всей рукописи в собственных именах (например: Дубровский—Зубровский, Марья Кирилловна—Наталья Гавриловна, Дефорж—Русло и др.), выправлены, унифицированы; правильно нивелирована и пушкинская орфография. Это бесспорно. В сущности говоря, и все старые издания такую нивелировку давно проделывали. Но теперешний текст—уже не прежний текст! Впервые бережно воспроизведено огромное количество оттенков живой пушкинской фонетики и особенностей речи героев, что возвращает всей повести совершенно особый драгоценный эстетический колорит, возвращает нас к подлинному языку Пушкина вместо языка его издателей[11]. Огромное количество слов, неверно читавшихся редакторами дореволюционных изданий, восстановлено в пушкинской форме. Из этих мелочей складывается подлинный пушкинский текст. Придавая этому обстоятельству весьма важное значение, считаем не лишним обратить на эти «мелочи» внимание. Впервые прочтено: «загремел» вместо «закричал»; «досада его громко изливалась» вместо «изливалась»; «каким ни есть образом» вместо «каким-нибудь».

В старых изданиях (например у Морозова или в несколько подправленном издании Венгерова) печаталось: «Андрей Гаврилович рассмотрев хладнокровно сделанный ему запрос увидел» вместо пушкинского: «Андрей Гаврилович рассмотрев хладнокровно запросы заседания, увидел»; печаталось: «задуманный» вм. «затеянный»; «вкось» вместо «прям»; «тотчас отправился» вм. «тот же день отправился»; «неосторожен» вм. «растовителен»; «осмелюсь» вм. «решилась»; «мимо сада» вм. «мимо села»; «запыхавшись» вм. «задыхаясь»; «мрачные»

вм. «странные»; «побужденный гневом» вм. «движимый злобой»; «рассыпался намеками» вм. «в насмешках»; «с письмом» вм. «с деньгами»; «сильный свист» вм. «легкий свист»; «арестовать» вм. «схватить»; «трусу и мужику» вм. «трусу и лгуну»; «предложил» вм. «предпочел»; «исправники злодеи с ворами» вм. «заодно с ворами»; «полились фонтанами» вм. «пальмами, фонтанами»; «сельская ночь» вм. «июльская ночь»; «не шуми ты, мать, зеленая дубровушка» вм. «не шуми, мати, зеленая дубровушка».

Большое количество слов вовсе пропускалось в старых изданиях («но прежде нежели приступим к описанию сего торжества и дальнейших происшествий»; «свои аттестаты»; «и до крови оцарапанной рукою»). Все подчеркнутые слова восстановлены впервые.

Издание «Дубровского» 1923 г. впервые дает, согласно рукописи, также и новую композицию отдельных мест, и иное деление на главы, чем в прежних изданиях. Так исправлены произвольная локализация главы второй, начала 13-й главы; главы 14-я и 15-я. Вместе с тем дано, в соответствии с автографом, и большое количество перестановок внутри фраз.

Желание придать черновой повести Пушкина законченную «читабельность» повлекло однако к тому, что вовсе вне поля зрения читателей оказались многочисленные и представляющие порою громадный интерес варианты, из которых к тому же многие быть может зачеркнуты Пушкиным лишь в связи с цензурными опасениями.

Если Морозов просто неразборчиво включал некоторые из подобных мест в основной текст (например вначале повести пассаж о крепостном гареме Троекурова, место об отношении к нему крепостных или несколько далее в той же первой главе место, начинающееся словами: «Будучи ровесниками»), если в издании Венгерова те же места включались в текст в простых (можно было подумать пушкинских) скобках, то издание Томашевского-Халабаева, ориентируясь на популярность, вовсе опустило их, словно этих мест и не было.

Совсем пропал для читателя и эпизод, имеющий большой интерес для понимания социологии пушкинского творчества, дающий черты для социального расслоения героев («Славный 1762 год разлучил их надолго. Троекуров, родственник княгини Дашковой, пошел в гору, Дубровский...» и т. д.). Очевидно и в популярном издании в той или иной форме (в примечаниях под текстом, в редакторских скобках или в отделе вариантов, в приложениях) сложный вопрос о вариантах (даже и зачеркнутых Пушкиным) как-то должен был быть поставлен [12]. Но редактура в данном случае пошла по линии наименьшего сопротивления, невольно навязывая читателю (и в этом отношении продолжая традицию) представление об объективно существующем чистовом тексте, лишенном авторских сомнений [13]. Для «Дубровского» такое решение особенно ошибочно. Это тем более бросается в глаза, что одним из существенных достижений этого издания является высокоценный отдел приложений, впервые в издании 1923 г. давший всю совокупность черновых планов «Дубровского», с указанием места хранения или первоначальной публикации каждого из них. Здесь же впервые опубликован ряд планов (№№ 3, 4, 5) из так называемого Майковского собрания, отражающих разновременные этапы работ Пушкина над повестью. Точнее может быть видеть в них программы, планы и оглавления. №№ 4 и 5 кроме известного содержания повести дали впервые и планировку третьего (не написанного или не дошедшего до нас, но несомненно уже продуманного) тома повести. Она должна была развиваться в Москве, смыкаясь с другими пушкинскими замыслами в области неудавшегося ему светского городского романа (Марья Кирилловна-вдова и Дубровский, после доноса на него слуги, подозреваемый полицмейстером). Эти планы—одно из интереснейших приобретений пушкинских прозаических текстов [14]. Даты Пушкина под отдельными главами «Дубровского» даны в этом издании также в препарированном виде (в приложении, а не в самом тексте, как в прежних изданиях). Подлинное судебное дело введено во 2-ю главу повести (как это делал и Венгеров), при чем начатая на нем Пушкиным правка собственных имен приведена к единству и даты «дела» во избежание хронологических противоречий с текстом романа заменены точками [15]. Дальнейшая работа над «Дубровским» велась и позже, о чем будет сказано ниже.

Текст «Дубровского», данный Томашевским-Халабаевым как бесспорно лучший, единственный текст, лег в основу всех изданий повести последних лет, но сплошь и рядом без указаний на то, кем текст выверен. Механически воспроизведен он (впрочем без деления на тома и без приложений) и в массовом издании «Крестьянской газеты» [16], с анонимными безответственно-безграмотными примечаниями издательства («Повесть написана около ста лет тому назад»; Радклиф умерла «при-

мерно сто лет тому назад»; «Конрад—один из средневековых германских императоров. Жил примерно с тысячу лет тому назад». Кстати Пушкин имеет в виду «примерно» совсем другого героя — Конрада Валленрода Мицкевича!). Тот же текст «Дубровского» дан и в школьной серии «Дешевой библиотеки классиков» [17], с приложением словаря непонятных слов и попыткою социологической интерпретации повести, сделанной в предисловии И. В. Сергиевским [18].

Тот же текст с безымянными примечаниями и предисловием выпущен и Государственным издательством в 1931 г. [19] В подобных изданиях, где текст не является простой перепечаткой прижизненных пушкинских изданий, необходимы ссылки на редакторов текста. Это следует иметь в виду издательствам, тем более, что они присоединяют к тексту собственные примечания, за которые редакторы текстов ни в коей мере не являются ответственными.

Попутно остановимся на двух отрицательных популярных изданиях других вещей Пушкина.

Совершенно возмутительный образчик варварского обращения с пушкинским текстом представляет собою появившаяся в Государственном издательстве брошюра «Станционный смотритель» [20]. Кто «приготовлял» текст—не указано. Пушкинскую повесть переделали, обкарнали, делали в нее вставки, выпускали то, что не нравилось. Придан подзаголовок «Рассказ из времен 1810—1820 годов», несмотря на то, что самим Пушкиным точно указана дата «в 1816 году, в мае месяце». Эпиграф выброшен, первые две страницы повести отброшены и дальше начинается абсолютный произвол; почти каждая пушкинская фраза уродуется, сочиняются собственные фразы, конец повести (смерть смотрителя) выброшен. Самый образ героя совершенно изменен. В свое время наши газеты отмечали эту вредную халтуру, изданную тиражом в 50 000 экз. в качестве «массового» издания. Неудачным следует признать и издание «Капитанской дочки» под анонимной редакцией в серии «Избранные произведения русских классиков» [21]. Небрежное обращение с пушкинским текстом явствует хотя бы из того, что одни и те же фразы перепечатаны здесь дважды (стр. 130—131 и 142), что дата Пушкина под концом романа оказалась вставленной в виде эпиграфа в «дополнение к главе XIII». Ни одного исправления в текст не внесено. Текст представляет собою некритическое и неоговоренное воспроизведение приготовленных другими редакторами текстов.

В 1922 г. первым изданием и в 1923 г. вторым были опубликованы тексты из так называемого собрания А. Ф. Онегина в сборнике «Неизданный Пушкин», «Атеней», 1922 (комментарии к прозе М. Гофмана, Б. Коплана, Н. Измайлова, Б. Энгельгардта).

По интересующему нас разделу здесь было опубликовано девять новых номеров. Все это—черновые наброски, свидетельства предварительных работ Пушкина над повестью и романом. Начало VII главы «Арапа Петра Великого», известное ранее только как описательный фрагмент, пополнено здесь несколькими сюжетно-новыми, приоткрывающими дальнейший замысел чертами (к шведу—танцмейстеру Густаву Адамовичу—является «красивый молодой человек» «в мундире»—Валериан) и началом диалога. В компановке текста и чтении отдельных выражений комментатором допущены ошибки [22].

Быть может в связи с тем же романом находится и черновой набросок, начинающийся словами: «Часто думал я об этом ужасном семейственном романе» (бумага без водяного знака, жандармская помета «23»).

Интересен один из ранних черновиков предисловия к «Повестям Белкина» (попытка еще раз усложнить композиционную схему новым отводом авторства). Отрывок любопытен замечаниями об оброке и барщине, по тону перекликающимися с «Историей села Горюхина» и «Евгением Онегиным» («крестьяне перестали думать о барщине»... и «благословили барина своего»).

Ср. «Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил...
...И раб судьбу благословил».

Примечательно то, что на том же листке—наброски из «Онегина». К сожалению комментатор вовсе обошел этот круг вопросов, и черновик «Предисловия» остался выпавшим из научного изучения.

Столь же интересен и появившийся в книге впервые проект предисловия к «Капитанской дочке» (обращение П. А. Гринева к своему внуку, дающее любопытные новые штрихи) с прекрасным воспроизведением факсимиле начала и с важной и точной датировкой самого Пушкина (5 августа 1833 Черная речка) [23].

Следующими новинками «Неизданного Пушкина» явились едва начатый разработкой набросок конспекта «Сцен из рыцарских времен» и план «Un grand seigneur» с датой «14 Сентября», с неуясненным до сих пор замыслом.

Особо интересен как образец работы над «светским» романом и по ряду социальных характеристик первоначальный набросок (пером и карандашом, со многими слоями текста), начинающийся словами «В Коломне на углу». Многие слова, поддающиеся прочтению, однако комментатором были или вовсе не прочтены, или прочтены неверно [24].

Наконец «программа повести» («Москва в 1811 году...»), с нераскрытым в комментарии героем «В. Б.», дала новый замысел Пушкина. Это—как позже доказано Ю. Г. Оксманом [25] и подтверждено В. Н. Писной [26]—замысел о «Влюбленном бесе», связанный с фабулой «Уединенного домика на Васильевском». Таким образом данная публикация ценна как одна из немногих, раскрывающих смысл таинственного пушкинского списка («Ромул и Рем, Иисус, Павел I, Берольд Савойский, Влюбленный бес»). Если, как можно полагать, весь этот «реэстр» имел в виду драматические замыслы, то видимо справедливо замечание В. Писной, что «Влюбленный бес» был также первоначально задуман в драматической форме и, собственно говоря, не должен быть относим к художественной прозе [27].

В повторном издании 1923 г. в примечании добавлен еще черновой отрывок из «Путешествия в Арзрум».

В 1924 г. вышел «юбилейный» однотомник Пушкина, уже завоевавший себе прочную положительную репутацию редактурой [28]. Эта книга фактически явилась единственным за все 15 лет опытом издания цельного Пушкина, в то же время «избранного» по своему заданию (опубликованное самим автором). Однотомник занял свое место в советской школе, и к 1930 г. понадобилось уже шестое издание. Проза однотомника была дана на основании опыта отдельных изданий—брошюр Гиза. Очень скоро редакторам пришлось, уступая необходимости здоровых запросов школы, вразрез со своим эдиционным принципом, пополнить отдел прозы рядом произведений, увидевших свет также после смерти Пушкина (вновь выверенный текст «Дубровского», «История села Горюхина», весь «Арап Петра Великого», «Египетские ночи», так называемая «Пропущенная глава» «Капитанской дочки»).

Центральный интерес среди прозы данного издания представляет новая композиция последовательности частей «Истории села Горюхина» [29]. Б. В. Томашевский обнаружил, что традиционная последовательность фрагментов «Горюхина» предопределилась случайностью: их неправильно сложили жандармы во время посмертной описи пушкинских бумаг и так рукопись и была сшита. «Таким образом,—по замечанию Томашевского,—отрывки «Баснословные времена» и «Этнографическое описание» поменялись местами. Последнее перестало быть введением, попав в самое историческое изложение. Так путем жандармской регистрации определилась композиция пушкинского произведения». Новое распределение материала, помимо аргументов «палеографического» характера, вполне соответствует и последовательности, указываемой устами Белкина самим Пушкиным («познакомив таким образом моего читателя с этнографическим и статистическим состоянием Горюхина и со нравами и обычаями его обитателей, приступим теперь к самому повествованию»).

В самом начале «Горюхина» восстановлен кроме того целый большой абзац, начинающийся словами: «Я родился от честных и благородных родителей», рисующий воспитание Белкина. Сделаны также отдельные лексические уточнения: «затягивал гужи» (раньше читалось «вожжи»); «человек мой пошел было» (раньше: «человек пошел было»); «мужчины женились» вм. «женятся»; во вводном стихотворении имя «Антон» (раньше—«Аким») и «старостиху надарил» вм. «подарил»; «наподобие буквы хера» вм. «наподобие хера»; упразднены в издании некоторые заголовки, примышленные прежними редакторами, дана иная последовательность и внутри отдельных отрывков (см. «Правление Приказчика»).

Таким образом благодаря тщательному и талантливому анализу рукописи «История села Горюхина» впервые явилась советскому читателю в подлинном своем виде [30].

Кое-что спорным можно считать в однотомнике в тексте «Арапа Петра Великого». Специфичность этой вещи заключается в том, что она частично в разное время печаталась и перепечатывалась самим Пушкиным, частично осталась в рукописях. Первоначально в «Северных Цветах на 1829 год» Пушкиным была напечатана «IV глава из исторического романа», затем в «Литературной Газете» 1830 г., № 13—глава «Ассамблея при Петре I-м». В издании «Повестей» 1834 г. обе главы появились

с заглавием «Две главы из исторического романа» («Ассамблея при Петре Первом» и «Обед у русского боярина»).

Новые редакторы правильно печатают повесть по автографу и по изданиям повестей, сверенному с первыми изданиями отрывков (так например, «арап» отрывков назывался Ганнибалом и обозначался буквой Г., но однотомник выправляет всюду его имя на «Ибрагим»). Но ряд деталей остается для читателя неясным и может вызвать возражения. Так например, главу «Ассамблея» сам Пушкин всюду печатал со сноской: «с м. Голикова и Русскую Старину». Нам представляется, что сноска эта в соответственном месте должна быть сохранена [81]. Обе главы, печатавшиеся при жизни Пушкина, давались им без эпиграфов, и, если печатать их с эпиграфами, то последние необходимо давать в редакторских скобках; в главе «Ассамблея» следует печатать по изданию 1834 г. «Петр играл в шашки с одним широкоплечим Английским шкипером». Подчеркнутое слово пропущено [82]; наоборот—вставлена отсутствующая в издании 1834 г. фраза: «Корсаков не мог опомниться». Точно так же в конце этой главы (III) в издании 1834 г.: «отвез домой», в издании Гиза—«повез домой» [83]. Неясно, почему в IV главе после слов «расшаркался! разболтался!» сделана вставка, которой нет в тексте 1834 г. («что и боже упаси!..»), и после слов «слуги разбежались»—вставка: «как одурелые, гости перетрусились». Рядом с исправленными опечатками издания 1834 г. (например «разъезжались» вм. «разъехались») досадна опечатка «перервала дура Екимовна» (следует: «прервала»).

Впервые введено целиком (частично по автографу из собрания А. Ф. Онегина) и начало главы VII «Арапа» с поправками в композиции фраз и отдельных слов сравнительно с текстом «Неизданного Пушкина».

По рукописи выверен в однотомнике и прозаический текст «Египетских ночей», опять-таки искусственно препарированный, очищенный от вариантов и колебаний рукописи, «читабельный» текст. Несмотря на его бесспорную ценность, ибо он устанавливает хронологически единый, целостный замысел, отсутствие в издании отдела вариантов и комментариев опять-таки внушает читателю ложную мысль о том, что подобный текст мыслился как «дефинитивный» самим автором. Никакого намека на сложную, так окончательно и незаконченную работу Пушкина над прозаическими фрагментами «Египетских ночей» читателю не дано. Желая, не говорим уже—работать, но даже просто понять замысел Пушкина во всем его охвате, читатель вынужден все-таки вновь обращаться к неточному по тексту, но дающему интереснейшие слои вариантной работы Пушкина старому изданию под редакцией П. О. Морозова.

Здесь будет уместно поэтому упомянуть, что вполне естественной реакцией на эту крайность—жестко проводимого единого принципа гизовского издания—явилась книжечка П. Новицкого «Египетские ночи» Пушкина» («Academia». Л., 1927). Она лишена какой бы то ни было научной ценности, она и не претендует на нее («Цель настоящего издания... дать не канонический, признанный, чистовой текст произведения, но дать текст для чтения»... «То что недопустимо для научного издания текстов, то позволительно для издания, предназначенного к произнесению»). Новицкий адресуется к массовому слушателю, ориентируется на чтение с эстрады. В результате он дает эклектическую окрошку из текстов П. О. Морозова и Б. Томашевского с К. Халабаевым (выделяя, правда, вставки курсивом). Книжка может безнадежно запутать вопрос о тексте [84]. (Стихотворные вставки уже совсем беспринципно даются «на выбор» и по Томашевскому, и по Гофману.) Но при всем том здоровое ядро работы Новицкого—законное желание не только исследователя, но и каждого из читателей Пушкина знать весь круг материалов, оставшихся от пушкинских работ, связанных с «Египетскими ночами». Зачеркнутые Пушкиным пассажи (этим самым отмененные раз навсегда в «каноническом» тексте) ведь исключительно интересны: они говорят о «зависти и клевете» среди стихотворцев, дают замечательную автобиографически звучащую классификацию «братьи-литераторов» и т. п. Почти во всех вычеркнутых в рукописи местах звучит личный голос Пушкина. В праве ли редактор, опираясь на формальный момент (зачеркнуто!), не входя в анализ зачеркнутого, абсолютно игнорировать подобные места, которые даже нельзя назвать вариантами, так как они просто отброшены, не заменясь ничем. За наивно-неудачной работой Новицкого стоит крупнейший текстологический вопрос: как поступать даже в издании, рассчитанном на широкого массового читателя, с подачей черновых текстов такого писателя как Пушкин? [85] Если на том этапе работы над Пушкиным, когда делал свою исключительно огромную работу Б. В. Томашевский, его решение было правильным, то этого нельзя уже сказать сегодня.

Крупнейшим текстовым приобретением по пушкинской художественной прозе являются впервые опубликованные Н. В. Измайловым и до того совершенно необследованные семь планов так называемого «Романа на Кавказских водах» [36] из бывшего Майковского собрания Академии Наук. Эти планы, тяготеющие к 1831 г., правильно связываются обширным и тщательным комментарием Измайлова с известным наброском «в одно из первых чисел апреля» и представляют собою фиксацию нескольких моментов «современного» Пушкину светского, бреттерского романа на фоне «жизни на водах». Психологический и бытовой охват и герой, условно обозначенный именем декабриста Якубовича, приоткрывают особый круг прозаических замыслов Пушкина.

Новый пересмотр прозаических текстов Пушкина и подытоживание работы над ними были предприняты в связи с собранием сочинений Пушкина «Красной нивы» [37] и ГИХЛа (том IV) [38]. Здесь заметна новая, здоровая тенденция редактуры (впрочем не у всех редакторов достигнуто единообразие в этом отношении): рядом с каноническим текстом для чтения ввести читателя путем редакционных вставок, приложений и примечаний в «лабораторию» самих пушкинских рукописей. Характерно, что на сравнительно незначительном хронологическом промежутке, отделяющем одно издание от другого, этот принцип также дает себя знать все решительнее—во втором из изданий отдел приложений еще раз заново пополнен.

В основном текст «Красной нивы» может считаться для обоих этих изданий единым, общим, текст ГИХЛа местами уточненным, улучшенным. В «Арапе Петра Великого» допущены лишь незначительные неточности. Кажется не лишне будет раз навсегда указать их. Печатается: «и красных кофточках» вместо «и в красных кофточках», пропущены, как и в прошлых изданиях, слова: «А н г л и й с к и м шхипером»; дано «повез» вм. «отвез» [39], но исправлены слова: «из круга», «прервала». В отрывке главы VII исправлен ряд слов («тотчас», «сдарофо»). В остальном текст «Арапа Петра Великого» не отличается от гизовского однотомника.

В отличие от последнего в предисловии к «Повестям Белкина» п и с ь м о Белкина печатается курсивом. Следовало бы, согласно тексту 1834 г., печатать в с е предисловие «От издателя» особым (но не курсивным) шрифтом. В этом же предисловии оба новых издания канонизируют опечатку в имени отчестве Трофилиной («Александровне» вм. «Алексеевне»). В приложениях следовало бы указать разночтения в прижизненных изданиях Пушкина, так же как это сделано (правда, под текстом) для «Руслана и Людмилы» новых изданий. Не лишено интереса например, что в тексте «Выстрела» (в начале главки второй) в первом издании у Пушкина было следующее место: «Наконец решился я ложиться спать как можно ранее, а обедать как можно позже; таким образом укратил я вечер и прибавил долготы дней, и обретох, яко се добро есть» [40]. Во втором издании это место оказалось выброшенным. Выброшено оно и позднейшими редакторами: Венгеровым, Томашевским, Оксманом. Мне представляется, что в данном случае прав был П. О. Морозов, восстановивший данный пассаж в тексте «Выстрела». Дело в том, что Пушкин вычеркнул это место во втором издании (1834 г.) едва ли не из цензурных опасений (а может быть оно было вычеркнуто цензурой и помимо Пушкина): укращение вечера и прибавление «долготы дней» со славянской концовкой звучали явно пародически на библию. Такого рода варианты могут быть предложены на усмотрение читателя теперь же, без откладывания до «академического» издания, где они к тому же рискуют затеряться в ученом аппарате комментариев. Между тем ни один редактор не пробует сделать этого, хотя дать почти е д и н с т в е н н ы й вариант не представлялось ни в каком отношении затруднительным.

Значительно улучшенный сравнительно со старым текстом Венгерова—текст так называемого «Рославлева» дал Ю. Г. Оксман [41]. Им дан ряд существенных поправок и уточнений. Отметим некоторые: у Венгерова: «слыша суждения почти нелепые и новости неосновательные, она томилась впала в глубокое уныние». У Оксмана: «слыша п о с т о я н н о суждения нелепые и новости неосновательные, она впала в глубокое уныние; т о м л е н и е о в л а д е л о е е д у ш о й». Вместо «шутовской слог» разобрано «шутливый слог»; вм. «с поля сражения»—«с полей сражений»; вм. «гуляла я» — «я гуляла»; вм. «влюблена в брата м о е г о»—«в брата». Вместо старого чтения «Раненый рыцарь» прочтено «В плену у неприятеля раненый рыцарь»; вм. «сквозь разоренную, опустевшую дорогу, с войском расстроенным и недовольным»—«сквозь разоренную, о п у с т е л у ю с т о р о н у, с войском расстроенным и недовольным п р и п р и б л и ж е н и и з и м ы» и др. Неясно однако, почему в первом отрывке редактор возвращается к старому чтению фразы «об нашей

светской черни мнение», игнорируя чтение, данное Томашевским: «об этой светской мелочи мнение». В приложениях, согласно типу издания, следовало дать план «Рославлева» по пушкинской тетради № 2382, чего редактор не сделал.

С несколькими мелкими небрежностями перепечатан в одном издании П. Е. Щеголевым, а в другом без изменения Ю. Г. Оксманом текст «Пиковой дамы» (в гл. IV трижды следует по обоим прижизненным текстам: «Елисавета» и «Лизавета»[42]; в главе I ошибочно напечатано «заглянул» вм. «взглянул»). Ошибочной следует признать и категорическую датировку «Пиковой дамы» 1834 годом. Быть может следует обратить особое внимание на то обстоятельство, что редакторы, безукоризненные в работе над сложными текстами, часто не уделяют достаточного внимания «легким» текстам, не представляющим почти никаких затруднений, например перепечатывающимся с печатного текста. Легко привести и примеры того, как при печатании с черновых рукописей мелкие ошибки вкрадываются иногда именно в наиболее разборчивых местах.

Особых новшеств в обоих новых изданиях не представляет прозаический текст «Египетских ночей» (кажется единственным отличием от текста однотомника является предложенное чтение слова «человек» вм. «дипломат»). Зато исключительно интересная текстологическая работа, четко уясняющая слои пушкинских редакций «Египетских ночей», проделана С. М. Бонди в большой статье «К истории создания «Египетских ночей»[43]. Именно в основном бесспорные положения этой прекрасной работы, сделанной по рукописям, легли и в основу композиции и понимания частей «Египетских ночей» в новых изданиях. Так, между прочим в разрез с традицией, отрывки «Цезарь путешествовал» даются теперь независимо, как автономный замысел.

Большое количество уточнений и принципиально новая установка на незаконченный, черновой текст даны в обоих вариантах шеститомника для вновь выверенного по рукописи «Дубровского». Системою редакторских скобок подчеркнуты варианты, которые, как можно подозревать, отброшены Пушкиным по цензурным соображениям. Заново прочитан ряд выражений и слов. Как и всюду, считаю необходимым дать список важнейших нововведений текста, подчеркивая, что уяснение их смысла может быть достигнуто вполне только проверкой их важности самим читателем в контексте пушкинского произведения. Приведу пример. Само по себе на первый взгляд указание на то, что новое издание читает, скажем, «ребята вязать» вместо старого чтения «ребята враз», может казаться неважным. Иное дело в контексте: оказывается, что крестьяне предлагают друг другу вязать чиновников. Многое становится важным как диалектизм, подчеркнутый Пушкиным в устах героя. Так в письме няни к Дубровскому—«друга неделя» вместо «другая неделя»; «дскать» вм. «дескать». Указываю далее двумя цифрами страницы по изданиям «Красной нивы» и ГИХЛа, чтобы дать возможность читателю самому обратиться к контексту: «шкурку» вм. «шкуру» (334/457); «апеллация» вм. «апелляция» (336/459); «пир» вместо «пирог» (338/462), считавшееся неразборчивым слово прочитано «ниц» (338/462); «лаять на владыку» вм. «сметь на владыку» (338/462); «представлялось» вм. «представлявшего» (338/462); «обыкновенное» вм. «верное обыкновенно» (339/463); заново прочтены реплики крестьян в сцене столкновения их с приказными: «долой их» вм. «бей их» (340/465); «ребята, вязать» вм. «враз» (340/465); в главе VI: «я хотел... я пришел... было» (341/467) вм. «я хотел было». В прежних изданиях пропускалась фраза «и назначил место свидания—Кистеневскую рощу» (343/469); на стр. 344/470 впервые вставлено «сгорел с земским судом»; в абзаце «Поднялся ветер» (342/469) исправлен порядок фраз и вм. слова «приказных» дано по рукописи чтение «горим»; на стр. 361/495 вм. «громко» исправлено «грозно» и вм. «было 11» исправлено «Било 11». Следует отметить, что непрочтенным остается, как и в прежних изданиях, одно слово в беловом тексте (стр. 357/489). Заново дана композиция отдельных фраз. Таково место—отъезд Дубровского в деревню (333/455)[44] или начало главы XI[45] (стр. 341/466); в той же главе впервые восстановлена фраза: «и назначил место свидания—Кистеневскую рощу» (343—469); обычное старое чтение в гл. XI «прервал он француза» исправлено по рукописи: «прервал он, обращаясь к французу» (356/487); перестановка фраз, согласно рукописи, дана в начале главы XIII (362/496) и в главе XVII. В XVI главе прочтено вм. «уготованным» «уготовленным», в XVII главе—вм. «обратилась» «обрадовалась» (396/505); там же вставлены после слова «зацепился» слова «за его» и нарушающее смысл слово «шагом» исправлено на «мигом» (372/510). В XVIII главе слово «льстивые» исправлено на «веселые» (373/511), слово «полилась»—на «показалась» (373/511). В последней главе исправлена бессмыслица прежних изданий: «Дубровский... оставил своих» на «Дубровский... остановил своих» (376/514)[46] и исправлен порядок смежных фраз.

Незавершенный характер «Дубровского» подчеркнут помимо коньектурных скобок в тексте также в важном для понимания повести отделе приложений. Здесь даны и пояснения, и «планы» повести (в плане № VII на стр. 577/789 введена существенная поправка: «рана» вместо прежнего чтения «franc»). Не воспроизведена только (как это удачно было сделано в отдельном издании «Дубровского» 1923 г. пушкинская датировка глав) [47].

Особо должен быть отмечен здесь впервые извлеченный из рукописи вариант XII главы (сцена порки маленького крепостного «спартанца»), впоследствии отброшенный Пушкиным [48]. Текст «Капитанской дочки» в обоих новых изданиях собрания сочинений Пушкина заново выверен по «Современнику» [49] и рукописи. Особый интерес представляют данные по автографу в «приложениях» ранний проект предисловия и так называемая «Пропущенная глава». В последней в сравнении с текстом Томашевского-Халабаева внесен ряд изменений в сцену с пловучей виселицей. Редактор (Ю. Г. Оксман) возвращается вновь к фразам, некогда печатавшимся Венгеровым: «Я погрузился в мечты воображения (спокойствие природы и ужасы политические), любовь etc.—Прошло около получаса» [50].

Как кажется, введение этих фраз следует признать ошибочным—слова в скобках скорей представляют собою неосуществленную программу соответствующего места, которая еще должна была быть развитой [51]. Зато крайне ценно условное восстановление одного словечка, впервые увидевшего здесь свет, хотя оно и зачеркнуто самим Пушкиным—это словечко «заводский» и служило оно определением к одному из повешенных.

«Один из них был старый чуваш, другой [заводский] русский крестьянин, сильный и здоровый малый лет 20-ти» (стр. 578/791).

Благодаря этому на первый взгляд неважному, мелочному восстановлению вскрывается, что Пушкин не только правильно осознавал ведущие слагаемые «Пугачевщины», но и хотел первоначально дать их в едином символе: на виселице повешены трое—инородец, рабочий и сбежавший крепостной крестьянин [52].

Прекрасный пример важности работы над вариантами прозы!

Новая расстановка фраз дана также в сцене встречи Гринева с родными; ряд уточнений сделан во всем тексте данной главы: «встретился» вм. «встречался»; «статный молодой мужик» вм. «молодой мужик»; «закричав» вм. «и закричал» и др. Вместо старого чтения: «Толпа тотчас окружила нас и потащила к воротам» дано новое: «Тотчас толпа злодеев окружила нас и с криком потащила к воротам» (582/894).

«Путешествие в Арзрум» впервые после 1910 г. переиздано в новых собраниях сочинений Пушкина под редакцией Ю. Н. Тынянова с целым рядом уточнений текста. В издании «Красной нивы» на стр. 543 текст досадно попорчен линотипическим печатанием, чем лишний раз доказывается необходимость, при издании классиков этим способом, обеспечивать редактору неоднократные корректуры. На стр. 550 опечатка «Ермолаевым» вм. «Ермоловым». Текст обновлен: вместо старого чтения «нашел Гр. Вл. Пушкина, также едущего»—«нашел я графа П., ехавшего также» (543/742); вм. «за девять лет»—«девять лет»; вм. «нашел я»—«нашел» (544/743); вм. «красноватые»—«красные» (544/743); вм. «татары»—«татаре» (545/744); вм. «есть, наконец, средство»—«есть средство» (546/745); вм. «пузатый»—«пузастый» (549/749); вм. «Фазиль-хану»—«Фазил-хану»; «Тбилис-калар» вм. «Тбилискалар» (554/756); «колодезя» вм. «колодцах» (554/757). Вместо «и наш голос»—«ведь и наш голос» (557/760); вм. «восемь»—«осемь»; вм. «войско двинулось»—«войско двинулось вперед» (561/766); вм. «Переехав через гору и опустясь»—«Переехав невысокую гору и спустясь» (557/760); вм. «высматривая добычу»—«высматривая себе добычу» (562/767); вм. «шампанским застывшим в стенах таврийских» (Венгеров)—«шампанским, застывшим в снегах Таврийских» (562/767) [53]; вм. «волов»—«волах» (566/773); вм. «Мург»—«Мургул» (речка, 567/774); вм. «рождения» [54]—«имянин» (567/774); вм. «переставая»—«преставая» (567/774); вм. «цитаделью, с зелеными кровлями»—«цитаделью, минаретами, с зелеными кровлями» (568/775); вм. «удивлением»—«изумлением»; вм. «пошел»—«прошел» (568/776); вм. «отроков»—«бесчестных отроков» (571/780). На стр. 571/780 вставлены пропускаемые в старых изданиях слова: «Его скопили»; на стр. 568/775 опущено слово «мы»; на стр. 571/780 исправлено «в дом»—на «к дому»; на стр. 572/781 «непоколебим»—на «неколебим»; на той же странице выброшено слово «розою» как эпитет к слову «повелительницею»; вм. «ударили»—«кто-то ударил» (573/782); на той же странице восстановлено слово «печальное»; на стр. 574/783 исправлено: «возобновлялась» вм. «возобновилась»; «сдвинуты были с места» вм. «сдвинуты с места» и др.

Совершенно перепланировано в 1-й главе место о черкесах, с отнесением его в «приложения» и с восстановлением ряда интереснейших мест, осмысляющих текст по-новому («Лицемеры! Так ли исполняете долг христианства? Христиане ли вы? С сокрушением и раскаянием должны вы потупить голову и безмолвствовать») (590/806). Впервые восстановлено в конце 2-й главы следующее место:

«Он явился вместе с офицером, который потребовал от меня письменного предписания. Судя по азиатским чертам его лица, не почел я за нужное рыться в моих бумагах и вынул из кармана первый попавшийся мне листок. Офицер важно его рассмотрев, тотчас велел привести его благородию лошадь по предписанию и возвратил мне мою бумагу: это было послание к калмычке, намаранное мною на одной из кавказских станций» (560/764).

Особо даны в «приложениях» варианты к «Путешествию». Под предисловием следовало бы дать в редакторских скобках его дату [55], а в главе 1-й восстановить два стиха:

Кобылиц неукротимых
Гордо бродят табуны...

Эти два стиха из «Петра великого в Острогожске»—думы К. Ф. Рылеева — несомненно были изъяты из «Путешествия в Арзрум» [56], несмотря на их невинность, только потому, что самое воспоминание о декабристе-поэте было запретным.

Незаконченные пушкинские отрывки представляют также много нового в обоих вариантах Полного собрания сочинений.

Экспозиция ранней повести, известная под заглавием «Надинька», дается в отделе «Отрывков» [57] по-новому, с тщательной выверкой по рукописи. Отрывок «Гости съезжались на дачу» разбит впервые на три самостоятельные фрагмента с новою датировкой и распределением эпиграфов и новою композицией по рукописи [58]. Можно только заметить, что план повести правильнее было бы отнести в отдел планов. Уточнен по рукописям и текст «Романа в письмах». Введены впервые фразы: «Уединение мне нравится н а с а м о м д е л е к а к в элегиях твоего Ламартина» (495/681); «demoiselles de compagnie» (496/681); «Возвратись мой ангел»; «любезному нашему говоруну» (там же); «каждый том заключал в себе 2 части» (497/683); «принялась за критики Вестника, но их плоскость и лакейство показались мне отвратительны» (499/688); «Уж не сделалась ли ты уездной героиней!» (501/688); «Назначение помещика, по-моему самое завидное. То ли дело Un homme sans peur [нрзб.] Qui n'est vi [нрзб.] Конечно дворянство» (503/691).

Впервые восстановлены слова: «котильон» (498/684), «семинарист» (499/686), «рассеян» (500/687); «Форнариной» (501/686). Ряд слов прочитан заново: вм. «влияния»— «мнения» (497/683); вм. «g a r n i t u r e s» — «гирлянды» (497/683); вм. «мещанка»— «демократка» (498/684); вм. «Z близкий родня Маше» прочтено: «** [ей] близкий родня. Маша...» (498/685); вм. «статна и стройна»—«(свежа) и стройна» (500/687); вм. «не ясно ль»—«не явно ль» (501/688); вм. «это»—«право» (501/688) и др.

Однако текст, даваемый Оксманом, может быть пополнен и уточнен по рукописи и еще в ряде мест. Так в первом письме, нам кажется, следует читать «не видалась» вм. «не виделась»; «Село Павловское»—вм. «С. Павловское»; во втором письме: «когда узнала я» вм. «когда узнала»; «поверить» вм. «верить»; «скромничаешь» вм. «скрытничаешь»; в письме № 3 «заметным» вм. «заметно»; фраза «скучно мочи нет» должна быть отнесена ниже.

Еще более ценна работа Оксмана над текстом отрывка повести, когда-то печатавшегося И. А. Шляпкиным под заглавием «Станция» и П. О. Морозовым в примечаниях к «Станционному смотрителю». Тщательный и вдумчивый анализ текста позволил новому редактору переосмыслить пушкинский замысел как начало повести «О прапорщике черниговского (впоследствии известного по декабрьскому восстанию) полка» [59] и дать ряд уточнений. Следует впрочем считать, что работа над данным текстом еще не может считаться законченной. (Так например, в рукописи первые фразы: «4 мая 1825 г. произведен я в офицеры»... зачеркнуты и планировка кусков текста может быть разрешена и иначе, в соответствии с иным учетом пушкинской нумерации в автографе.) Отрывок «Цезарь путешествовал» также заново выверен Ю. Г. Оксманом по рукописям. Впервые прочтен ряд слов и выражений («не торопясь», «и нанять», «он изведал все наслаждения», «о сподвижнике Кассия и Брута»), дана новая расстановка фраз. В отрывках на стр. 526/724 следовало бы однако печатать по рукописи: «Вивлиофику» вм. «Библиотеку»; «вошли» вм. «вышли»; «нас» вместо «всех»; «наполнила мою (душу)» вм. «наполняла мою душу»; «я любил» вм. «и любил». Наброски плана следовало отнести в приложения.

С. М. Бонди дает в издании несколько новое распределение планов «Романа на Кавказских водах». Один из планов (издание ГИХЛа, стр. 706, № 2) печатается впервые. Ряд уточнений дан ко второму варианту (стр. 705), например «на другой день банка» (последнее слово раньше читалось неправильно—«больные»). Впервые печатается отрывок «В начале 1812 г. полк наш стоял»[60], напоминающий план «Криспин приезжает в губернию». В последнем плане Ю. Г. Оксманом предложено впервые удачное чтение считавшегося неразборчивым слова («Ambassadeur»). Им же впервые публикуется в отделе «планов» отрывок из «Романа из великосветского быта» (535/735) и дается сводный текст отрывков «Гости съезжались на дачу» и исправленный «Русского Пелама»[61] (в последнем в ряду мелких уточнений бросается в глаза исправление последней строки—вместо «с головной болью и с книгою, отправился в дорогу» впервые восстановлен пушкинский текст: «с головной болью и с изжогою отправился в дорогу» (711). План «Les deux danseuses» вопреки указанию на стр. 312 издания ГИХЛа не вовсе неизвестен—он публиковался уже в «Огоньке» (вместе с факсимиле).

Отдел приложений (в особенности в издании ГИХЛа), как уже указывалось, значительно помогает уяснению генезиса пушкинской прозы, идя навстречу желанию читателя разобраться в вариантах, планах, важнейших черновиках. Достаточно указать хотя бы на то, что советское издание впервые дало в одном месте все «планы» к «Капитанской дочке», затерянные до того в разных мало известных изданиях.

В общем проза красной нивского и гихловского изданий (как и вообще эти издания в целом) в известном смысле являются смотром того, что было сделано за годы революции в области пушкинских текстов. Неточностей еще очень много. Мы намеренно педантически останавливались на многих из них, чтобы ясней обрисовалась вся картина работ над прозаическими текстами. Несомненно каждое новое обращение имеющего большой опыт коллектива специалистов к пушкинским рукописям будет всякий раз давать новые плодотворные результаты: уточнение слов и выражений, прояснение фразовой композиции, прочтение того, что прежде считалось неразборчивым, т. е. за всеми этими кропотливыми мелочами—реконструкция подлинного текста и стиля, понимание ходов подлинной мысли Пушкина.

Но уже и сейчас можно со всей определенностью утверждать, что за революционное шестнадцатилетие работа над прозою Пушкина проделана громадная, что проза Пушкина, какою она является в последних собраниях сочинений, и количественно, и качественно—совсем иная проза, чем та, что была известна дореволюционному читателю. Творческое соревнование коллектива редакторов, работающих над рукописями Пушкина, а не конкуренция отдельных пушкиноведов—таков должен быть принцип новой текстологии, принцип организации очередных изданий.

Если «читабельные» тексты в свое время мощно подвинули пушкинскую текстологию и были единственно правильным путем, сейчас можно уже говорить о потребности параллельных массовых изданий с каким-то минимумом комментаторского аппарата, с критическим введением в самую лабораторию писателя (в особенности это относится к незаконченным произведениям), с умелым показом важнейших вариантов, тем более, что художественная проза Пушкина до сих пор еще ни разу за все столетие не была издана академически-научно. Рядом с массовыми изданиями на очереди стоит и вопрос об академическом издании пушкинской прозы, в помощь которому должно быть развернуто уже начатое большое научное издание факсимиле пушкинских рукописей.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Русская Старина» 1884, т. XLIII, стр. 45, «Рукописи А. С. Пушкина, хранящиеся в Румянцевском Музее в Москве».

[2] Сочинения Пушкина, т. VIII, 1905, стр. 531.

[3] Плеханов, Г. В. Сочинения, т. 12, 1925, стр. 289.

[4] Брюсов, В., Мой Пушкин. Статьи, исследования, наблюдения. Редакция Н. К. Пиксанова. Гиз, 1929, стр. 95.

[5] Ср. статью А. Борского в «Книге и революции» 1923, № 1, стр. 11—14; впрочем прозе и здесь почти не уделено места.

[6] Напр.: «лошадь обродилась» вм. «ободрилась»; «развенет» вм. «рассвенет»; «боялась» вм. «боялись» («Мятель»).

[7] Следует: «понтер» вместо «понтёр»; «соделалась» вм. «сделалась». Невыдержано единство орфографии («гусарской», «толстой»; «на удачу» (вм. «наудачу») при «навеселе» и т. д.

[8] Изд. 1923 г., 3 000 экз.

[9] В целях возможности научного контроля и здесь, как и в «Народной библиотеке», всегда указано, по каким автографам или изданиям печатается текст.

[10] Томашевский, Б., Судьба Дубровского.—«Книга и революция» 1923, №№ 11—12.

[11] «Поместие» вм. старого «поместье»; «через» вм. «чрез»; «колодезями» вм. «колодцами»; «извольте» вм. «изволишь»; «ракетка» вм. «ракета»; «войди в избу» вм. «войди ж в избу»; «ломтик» вм. «ломоть»; «встряхнул» вм. «отряхнул»; «ко груди» вм. «к груди»; «между ими» вм. «между ними»; «в губерниях» вм. в «губернии».

[12] Образцовое издание такого рода дано теми же редакторами для «Каменного гостя».

[13] Это «правило» подчеркнуто двумя исключениями (на стр. 36 и 75), где указывается: «В автографе одно неразборчивое слово». Этим невольно читателю подсказывается ложная мысль, что все прочее в рукописи вполне разборчиво.

[14] Факсимильное воспроизведение (весьма неразборчивое) имеется в книжечке И. С. Зильберштейна «Из бумаг Пушкина».—«Библиотека «Огонька». М., 1926, стр. 46, 48.

[15] Вряд ли однако надо было вводить в текст повести последнюю фразу «дела»: «Каковое решение подписями все присутствующие того суда». Подчеркнутое нами слово не могло быть читанным секретарем суда, как это мыслится в тексте повести. Кроме того перед этой фразой в рукописи стоит значок, показывающий, что Пушкин предполагал кончить цитацию до этой фразы. (Правильно у С. А. Венгерова, т. IV, стр. 294.)

[16] Пушкин, А. С., Дубровский. Рис. К. П. Лебедева.—«Крестьянская газета» 1928, 25 000 экз.

[17] Пушкин, А. С., Капитанская дочка. Дубровский. ГИХЛ, 1931.

[18] В предисловии—ряд неточностей («писал Пушкин [Дубровского] чрезвычайно быстро, сразу начисто (?), не останавливаясь подолгу на отдельных мелочах и подробностях» (??).

[19] Пушкин, А. С., Дубровский. Обложка Н. Фан-дер-Флит, рисунки Б. М. Кустодиева. Гиз. М.-Л., 1931, 20 000 экз.

[20] Пушкин, А. С., Станционный смотритель. Гиз (Главлит № 92463. Гиз № 19200). Типография Госиздата «Красный пролетарий». Москва, Пименовская, 16. Цена 4 коп.

[21] Пушкин, А. С., Избранные сочинения.—Жизнь Пушкина.—Творчество Пушкина.—«Медный всадник».—«Капитанская дочка». «Прибой». Л., 1925 (вступительные очерки П. Брандта и Г. Горбачева).

[22] Ср. более точный текст в книжке Б. Томашевского «Пушкин».—«Образование», 1925, стр. 129. Не очень удачный снимок с начала главы дан в сборнике «Работа классиков над прозой», 1929, стр. 20 и в III томе шеститомного Пушкина. ГИХЛ, 1931, стр. 43. Ср. также «Вестник литературы» 1922, №№ 2—3.

[23] К сожалению до сих пор не поддается расшифровке иностранная запись под датой: «b. e. Ъ Schw.» (комментатор ошибочно счел буквы русскими). В IV томе шеститомного Пушкина, ГИХЛ, 1932, стр. 790 подпись вовсе опущена.

[24] Некоторые уточнения см. в нашей статье в № 4 «Литературной учебы» за 1930 г., стр. 47—48.

[25] Изд. «Атеней», кн. I—II, 1924, стр. 166—168. «Может ли быть раскрыт Пушкинский план «Влюбленного беса»?»

[26] «Пушкин и его современники», вып. 31/32, 1927, стр. 19—24.

[27] Между тем он почему-то печатается в шеститомнике именно в отделе прозы (т. IV, стр. 735).

[28] Пушкин, А. Сочинения. Гиз. Л., 1924. Редакция Б. Томашевского и К. Халабаева, стр. XX+508, 10 000 экз.

[29] Мотивация этой новой и неоспоримой планировки дана в книге Б. Томашевского «Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения». Л., 1933, стр. 30—34. Однородный с текстом однотомника текст дан в издании «Дешевой библиотеки классиков» в двух книгах: 1) «Повести Белкина». «История села Горюхина». Гиз, 1928; 2) «Арап Петра Великого». «Египетские ночи». «Отрывок». «Кирджали». Гиз, 1928.

[30] Это не исключает однако возможности дальнейшей работы над уточнением текста. Так П. Е. Щеголевым было высказано мнение, что «Вряд ли можно считать

(и после работ Б. В. Томашевского) установленным текст «Истории села Горюхина» («Пушкин и мужики», стр. 79).

[31] Нет ее и в IV томе шеститомника ГИХЛ'а 1932 г.

[32] Оно имеется в отдельном издании 1928 г., но отсутствует в однотомнике 1930 г. Исправлено Ю. Г. Оксманом в издании шеститомного Пушкина, ГИХЛ, 1932, т. IV, стр. 328.

[33] Не исправлено и в издании шеститомника 1932 г.

[34] Ср. иную оценку в рецензии Н. К. Пиксанова («Печать и революция» 1927, кн. III, стр. 181).

[35] Вопросы пушкинской текстологии и ее методики широко, хотя во многом спорно поставлены в книжке Г. О. Винокура «Критика поэтического текста», ГАХН, М., 1927, но к сожалению без привлечения материала пушкинской прозы.

[36] «Пушкин и его современники», вып. 37, 1928, стр. 68—99; при стр. 74 факсимиле одного из планов. Другой план воспроизведен (мало удачно) в сборнике «Работа классиков над прозой», 1929, стр. 18.

[37] Пушкин, А. С., т. IV, кн. 8 и 9. «Евгений Онегин», «Повести». Редакция С. М. Бонди, Ю. Г. Оксмана, Б. В. Томашевского, Ю. Н. Тынянова, Д. П. Якубовича. Гиз, 1930.

[38] Пушкин, А. С., т. IV, «Евгений Онегин», ред. Б. В. Томашевского; «Повести», ред. Ю. Г. Оксмана; «Путешествие в Арзрум», ред. Ю. Н. Тынянова. ГИХЛ. М.-Л., 1932.

[39] Исправлено в издании ГИХЛ'а 1932 г.

[40] «Повести покойного И. П. Белкина, изданные А. П.», СПБ., 1831, стр. 22.

[41] В изданиях под редакцией Б. В. Томашевского (однотомнике и отдельном) непоследовательно напечатан только отрывок, печатавшийся самим Пушкиным в «Современнике» (все оставшееся в рукописях вовсе не печатается), чем разрушена вся вещь в целом. Текст однотомника дает также чтение: «M-de de Stael», в отдельном издании «Дешевой библиотеки классиков» всюду исправлено: «M-me de Stael».

[42] Текст «Пиковой дамы» правильно перепечатан в издании Голике и Вильборг, П., 1917 с иллюстрациями А. Н. Бенуа и вступительной статьей Н. О. Лернера.

[43] Бонди, С. М., Новые страницы Пушкина. М., «Мир», 1931, стр. 148—205.

[44] Представление о трудности выделения вариантов «Дубровского» может дать старый снимок этого места в венгеровском издании (т. IV, стр. 295).

[45] Венгеров пробовал в свое время разобраться в этом месте, но дал явно плохой текст: «мой отец... будет принадлежать ненавистному человеку» (?) и дважды напечатал фразу: «Владимир стиснул зубы» (т. IV, стр. 301).

[46] Это исправление впервые сделано было Б. В. Томашевским в отдельном издании «Дубровского» 1923 г., но снова в неверном виде попало в текст однотомника.

[47] Некоторые даты указаны лишь в составе комментария к краснонивскому изданию (VI том, «Путеводитель по Пушкину», стр. 132).

[48] Несколько иначе, в виду колебаний в рукописи, он воспроизведен в IV томе издания ГИХЛ'а, стр. 786.

[49] Не следует ли печатать на стр. 447/613 в характеристике Пугачева: «человек в красном кафтане», как выше (446/611) и вопреки тексту «Современника»?

[50] Последних трех слов не было в тексте С. А. Венгерова.

[51] Не зная рукописи данного места, не решаюсь утверждать, но кажется эти фразы должны были быть записаны Пушкиным выше основного текста. Если это так, то и место им в примечаниях.

[52] Досадная опечатка краснонивского издания «шайка» вм. «шейка» (584) исправлена в издании ГИХЛ'а (798).

[53] Также было и в тексте П. Е. Ефремова.

[54] Ошибка Пушкина.

[55] В издании «Красной нивы» вопросы датировки разъяснены в «Путеводителе по Пушкину» (заметка Ю. Н. Тынянова «Путешествие в Арзрум»).

[56] Факсимиле этих стихов см. в изд. «Исторического Вестника».—«Автографы рукописей А. С. Пушкина», 1899, стр. 32.

[57] Редакция Ю. Г. Оксмана и С. М. Бонди.

[58] Ср. комментарий к нему в VI томе краснонивского издания, стр. 252.

[59] Текст с развернутым комментарием сначала был напечатан Ю. Г. Оксманом в «Звезде» 1930 г., № 7, стр. 217—222 с небольшими отличиями от текста в шеститомнике (т. IV, стр. 693—695).

[60] Комментирован С. М. Бонди в книге «Новые страницы Пушкина», стр. 104—108.

[61] Уже во время печатания настоящего обзора М. А. Цявловским были опубликованы в «Трудах Публичной Библиотеки СССР им. Ленина», вып. III неизвестный до сих пор план «Капитанской дочки» и планы «Русского Пелама» с факсимиле.

ИЗДАНИЯ ЭПИСТОЛЯРНЫХ ТЕКСТОВ

Обзор Л. Модзалевского

Основным дореволюционным собранием писем Пушкина является не утратившее до сих пор своего научного значения трехтомное издание «Переписки Пушкина» под редакцией В. И. Саитова (Пб., 1906—1911), осуществленное Комиссией по изданию сочинений Пушкина при Отделении русского языка и словесности Академии Наук. Собрав известные к тому времени письма поэта, выверив их по автографам и опубликовав в нем несколько новых, неизвестных его писем, редактор присоединил к ним также и сохранившиеся письма адресатов Пушкина, расположив их в общей хронологической последовательности по датам написания. Издание это, обладая большими достоинствами, отмеченными критикой, имеет однако, как это не раз уже отмечалось в печати, большой недостаток—отсутствие не только примечаний, но даже простого указателя личных имен, что до некоторой степени снижает его ценность. Несмотря на эти дефекты, труд В. И. Саитова до сих пор признается образцовым как со стороны полноты собранных в нем писем, так и точности их текстов. Другим дореволюционным изданием писем Пушкина является VI том сочинений Пушкина под редакцией С. А. Венгерова в серии «Библиотеки великих писателей», изд. Брокгауз-Ефрон (Пб., 1915). В этот том вошли тексты писем поэта, извлеченные из издания В. И. Саитова, но снабженные небольшими по объему примечаниями П. О. Морозова, а в приложении напечатана работа Н. О. Лернера «Дополнения к письмам Пушкина», где кроме писем неизвестных годов или не поддающихся точной датировке собраны и снабжены примечаниями письма, появившиеся после выхода последнего тома «Переписки Пушкина», т. е. с 1911 по 1915 г. Собрание писем Пушкина 1915 г. является последним наиболее полным дореволюционным изданием.

Если до революции, в особенности в годы империалистической войны 1914—1917, находки и публикации новых текстов писем поэта были очень редкими, то последующие годы обогатили эпистолярное наследие Пушкина большим количеством новых приобретений.

Уже в 1925 г. явилась потребность собрать в одну книгу новые тексты писем Пушкина, разбросанные по отдельным журналам, сборникам и газетам и не вошедшие в «Переписку Пушкина». Осуществлением этой назревшей потребности занялся М. А. Цявловский, который и выпустил книгу «Письма Пушкина и к Пушкину, не вошедшие в изданную Российской Академиею Наук «Переписку Пушкина», с приложением именного указателя писем Пушкина и к Пушкину, напечатанных в трех томах академической «Переписки Пушкина» и в настоящей книге» (М., 1925). В это издание вошло всего 49 писем—35 писем Пушкина и 14 писем к нему. Работа М. А. Цявловского, выполненная со всею тщательностью, имеет однако и свои недостатки: текст писем, за исключением двух, напечатан вновь не с оригиналов, а с уже опубликованных ранее текстов, не свободных от опечаток; есть ошибки и в датах; несколько писем Пушкина не было вовсе включено в издание, что и было указано в рецензии Н. О. Лернера «Новый сборник писем Пушкина» в вечернем выпуске «Красной газеты» № 7 от 8 января 1926 г.[1]; письма снабжены небольшими сведениями о первых их публикациях; к положительной стороне издания следует отнести прекрасно составленный именной указатель писем Пушкина и к Пушкину к «Переписке Пушкина» под ред. В. И. Саитова, облегчающий пользование этим изданием. Из писем Пушкина, не вошедших в книгу М. А. Цявловского, следует указать на письмо Пушкина к Анне Николаевне Вульф от апреля—мая 1825 г., опубликованное Б. Л. Модзалевским в газете «День» № 27 от 29 января 1917 г., а также на новый текст письма поэта к А. О. Смирновой (после 10 сентября 1831 г.), напечатанный М. А. Цявловским в «Голосе минувшего» 1917 г., № 11—12, стр. 160 по точной копии Я. П. Полонского, который видел его у А. О. Смирновой написанным на экземпляре брошюры «На взятие

Варшавы. Три стихотворения В. Жуковского и А. Пушкина. СПБ., 1831». Этот текст является единственно точным и отменяет неправильный, сообщенный по памяти А. О. Смирновой в ее воспоминаниях в «Русском Архиве» 1871 г., кн. II, столб. 1882 (ср. «Записки» А. О. Смирновой под ред. М. А. Цявловского. М., 1929, стр. 308) и вошедший в «Переписку Пушкина» под ред. В. И. Саитова, т. II, стр. 321 [2].

В 1926 г. собрание писем Пушкина обогатилось еще одним письмом от 6 января 1835 г., адресованным гр. А. А. Бобринскому (напечатано Б. Л. Модзалевским по оригиналу из архива Бобринских в сб. «Атеней. Историко-литературный Временник», кн. третья. Л., 1926, стр. 76). Письмо это, незначительное по содержанию, определило еще одного нового корреспондента поэта — графа Алексея Алексеевича Бобринского (1800—1868), писем к которому Пушкина до этого времени известно не было.

1927 год обогатил пушкиноведение приобретением исключительной важности: это 27 писем поэта к Е. М. Хитрово. Они изданы были в том же году в серии трудов Пушкинского дома, в. XLVIII под заглавием «Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово. 1827—1832». Л., 1927. Найденные еще 12 октября 1925 г. при разборке библиотеки князей Юсуповых в их бывшем особняке, а тогда музее (на набережной Мойки, д. 94), они произвели сенсацию и явились событием, всколыхнувшим учено-литературные круги. Об этой находке тогда же появилось множество заметок и частичных публикаций самих писем в периодической печати.

Издание 1927 г. этих писем ввело в научный оборот много нового и ценного в биографию и изучение творчества поэта. Помимо критически точного воспроизведения текста самих писем, с приложением факсимиле некоторых из них, редакция издания снабдила письма обширными комментариями М. Д. Беляева, Н. В. Измайлова и Б. Л. Модзалевского и в приложениях дала несколько специальных работ, вызванных содержанием писем. Разросшийся таким образом сопроводительный к тексту писем аппарат может быть объяснен исключительностью самого факта находки такого большого количества писем Пушкина. Общую сводку взаимоотношений Пушкина и его «обожательницы» Е. М. Хитрово дал Н. В. Измайлов под заглавием «Пушкин и Е. М. Хитрова». Другие статьи посвящены следующим вопросам: «Французская литература в письмах Пушкина к Хитрово» (Б. В. Томашевского); «Польское восстание по письмам Пушкина к Хитрово» (М. Д. Беляева); «Французские дела 1830—1831 гг. в письмах Пушкина к Хитрово» (Б. В. Томашевского); «Французская орфография Пушкина в письмах к Е. М. Хитрово» (Б. В. Томашевского). Издание снабжено указателем личных и географических имен и литературных произведений, упоминаемых в тексте.

В том же (1927) году Б. Л. Модзалевский опубликовал «Неизвестную записку Пушкина» с предположительным отнесением ее к И. П. Липранди («Пушкин и его современники», в. XXXI—XXXII, стр. 1—2); по справедливому суждению Ю. Г. Оксмана записка эта может быть отнесена также и к декабристу П. И. Пестелю, посещавшему Пушкина в Кишиневе в 1821 г. (см. рецензию Ю. Г. Оксмана на «Письма Пушкина», т. I. Л., 1926, в ж. «Научный работник» 1927 г., № 4, стр. 125).

Вторым крупным событием в деле издания писем Пушкина являются вышедшие в 1926 и 1928 гг. два тома «Писем Пушкина» под ред. Б. Л. Модзалевского в издании Государственного издательства. Многочисленные рецензии, появившиеся в 1926 и 1927 гг. на I том, единодушно приветствовали это колоссальное начинание, предпринятое силами одного редактора [3]. Издание это должно было, по мысли редактора, составить четыре тома. Вышедшие два тома охватывают время с 1815 по 1830 г. (т. I, 1815—1825; том II, 1826—1830) и заключают в себе (т. I—192 письма; т. II—199 писем) 391 письмо поэта, из которых 317 (в I томе — 160, во II — 157). вновь были выверены по автографам; остальные тексты (74 письма) напечатаны по существующим публикациям, вследствие отсутствия автографов и по другим причинам, от редактора не зависившим. Все издание было рассчитано на включение свыше 780 писем (в издание Брокгауза-Ефрона вошло 733 письма). Ко всем письмам, писанным на французском языке, в примечаниях даны сделанные вновь переводы.

Ценность издания помимо сказанного заключается в обширных комментариях, занимающих большую часть страниц обоих томов. Комментарии эти являются своеобразной пушкинской энциклопедией, почему «Письма Пушкина» под ред. Б. Л. Модзалевского стали настольной книгой всех изучающих Пушкина и его эпоху. «Многолетняя работа,—говорит Ю. Г. Оксман,—по изучению пушкинской переписки, работа, в которой у Б. Л. Модзалевского почти вовсе не было предшественников, естественно вылилась в исключительный по богатству своих данных био-библиографический путеводитель по культурной истории пушкинской поры.

Рамки комментария в труде Б. Л. Модзалевского настолько раздвинуты и углублены, что рассматривать последний можно и должно как настольный справочник по всей эпохе 20-х годов. Если внимание специалиста-пушкиноведа сосредоточится здесь на тонких разъяснениях едва ли не всех темных мест старого эпистолярного текста, на основаниях, позволивших комментатору пересмотреть и уточнить прежнюю датировку писем поэта, наконец, на деталях взаимоотношений Пушкина и его современников, то историк общественности и литературы прежде всего оценит в новом издании тот неисчерпаемый фонд свидетельств о делах и людях первой четверти XIX столетия и ту широкую социально-бытовую перспективу, в которой эти данные размещены» («Научный работник» 1927 г., № 4, стр. 127).

Выход «Писем Пушкина» расценивается почти всеми специалистами как значительное литературное событие. Неожиданная смерть 3 апреля 1928 г. редактора издания приостановила на время выход в свет остальных двух томов. Высказываем твердую уверенность в том, что издание это будет к столетней годовщине смерти поэта в 1937 г. доведено до конца.

Появившиеся после выхода I тома «Писем Пушкина» указания в напечатанных рецензиях на мелкие недочеты, пропуски и ошибки в тексте писем и в комментариях были учтены и использованы редактором в приложении ко второму тому; там же было напечатано и интереснейшее письмо Пушкина к сестре О. С. Пушкиной от 14—15 августа 1825 г., впервые опубликованное Б. Л. Модзалевским в «Известиях Академии Наук СССР» 1927 г., № 1—2, стр. 151—156. В конце второго тома приложен указатель личных и географических имен к обоим томам.

За последние годы после выхода «Писем Пушкина» литература о нем настолько разрослась и обогатила «труды и дни» поэта большим количеством новых данных, что сведения, даваемые комментариями Б. Л. Модзалевского, в некоторых частях требуют пересмотра, уточнения и обновления новым материалом. Не вдаваясь здесь в детали этих поправок и дополнений, которые необходимо будет сделать впоследствии, перейдем к обозрению новых публикаций писем поэта за период 1928—1933 гг., естественно не вошедших в первые два тома «Писем Пушкина» под ред. Б. Л. Модзалевского, но которые должны будут войти в последующие два тома этого издания.

В 1928 г. в 29 томе «Красного архива» (стр. 218—220) Н. Ф. Бельчиков опубликовал одну небольшую записку Пушкина Д. И. Языкову, датировав ее 1830—1831 г., и большое содержательное письмо поэта к редактору «Тифлисских Ведомостей» П. С. Санковскому от 3 января 1833 г. Как теперь выяснено, первое адресовано Пушкиным не к Д. И. Языкову, а к поэту Николаю Михайловичу Коншину (1793—1859), состоявшему с 1 марта 1829 г. более восьми лет правителем Канцелярии главноуправляющего Царским Селом и дворцовым правлением; это письмо-записка Пушкина относится несомненно к июню-июлю или осени 1831 г., когда поэт и Коншин жили в Царском Селе. Упоминаемая в письме Авдотья Яковлевна — жена Коншина, рожденная Васильева (см. А. И. Кирпичников. «Очерки по истории новой русской литературы», т. II, 2-е изд. М., 1903, стр. 98), на которой он женился еще в 1824 г. (ibid., стр. 105). К этому же времени (1831 г.) относится и другое письмо к Коншину («Собака нашлась...»), напечатанное в «Переписке Пушкина», т. II, стр. 294. В письме к П. С. Санковскому остался невыясненным вопрос, о каком из братьев Россет упоминает Пушкин. Это несомненно Клементий Осипович Россет (1811—1866). Слова поэта о том, что Россет «только что покинул блестящий свет... для суровой жизни грузинского солдата» нужно понимать в буквальном смысле; действительно 28 декабря 1832 г. К. О. Россет был прикомандирован к Генеральному штабу с назначением в Отдельный кавказский корпус, куда и выехал 22 января 1833 г., но вследствие болезни прибыл на новое место службы лишь 26 марта, когда П. С. Санковского уже давно не было в живых (он умер 19 октября 1832 г.), о чем Пушкин еще не знал 3 января 1833 г., отсылая с К. О. Россетом свое письмо к Санковскому. Письмо последнего к Пушкину, на которое поэт и отвечает, до нас не дошло.

В том же 1928 году было напечатано еще одно письмо Пушкина, адресованное отцу, С. Л. Пушкину, 20 октября 1836 г. («Пушкин и его современники», в. XXXVII, стр. 1—7) с комментарием Б. Л. Модзалевского; письмо интересно, во-первых, потому, что до сих пор было известно только одно письмо поэта к отцу (не считая двух писем 1830 г., адресованных совместно отцу и матери), а во-вторых, своим содержанием, отчетливо рисующим душевное состояние и нравственное настроение поэта в тяжелую для него осень 1836 г., за три месяца до роковой дуэли. В том же выпуске издания «Пушкин и его современники» (стр. 8—10) Н. В. Измайлов опубли-

ковал по автографу и с исправлением неверной даты известное коллективное письмо Пушкина, А. Н. Вульфа и А. Н. Вульф от 1 сентября 1827 г. к А. П. Керн. Письмо замечательно как шуточной подписью поэта «Весь Ваш яблочный пирог»[4], так и указанием в конце письма на то, что при письме был приложен «Вид Тригорского, написанный А. С. П[ушкиным]»; указание это сопровождено назиданием к А. П. Керн: «сохрани для потомства это доказательство обширности Г е н и я, знаменитого поэта, обнимающего все изящное». К сожалению этот рисунок Пушкина не сохранился.

Издательство «Современные проблемы» выпустило в 1928 г. в Москве под ред. Л. П. Гроссмана книгу под заглавием «Письма женщин к Пушкину» с приложением воспоминаний о Пушкине М. Н. Волконской, Н. А. Дуровой, А. П. Керн, А. М. Каратыгиной-Колосовой, А. О. Смирновой, В. А. Нащокиной, цыганки Тани, А. А. Фукс. В этом издании наряду с письмами к Пушкину опубликованы также некоторые известные письма поэта к кн. В. Ф. Вяземской, А. Н. Вульф, П. А. Осиповой, Е. М. Хитрово, А. А. Фукс, Н. А. Дуровой и А. О. Ишимовой. Книжка рассчитана на широкого читателя и не вносит ничего нового в изучение Пушкина.

Полезна перепечатка в приложении к книге достоверных воспоминаний жены П. В. Нащокина, В. А. Нащокиной, затерянных на столбцах «Нового Времени»[5].

1929 год ознаменован был появлением в печати нескольких значительных новых писем поэта. Так О. И. Попова опубликовала в «Огоньке» 31 мая 1929 г., № 21 (321)[6] найденные ею в архиве Киреевских, хранящемся в Государственном Историческом Музее в Москве, два интересных письма Пушкина к издателю «Европейца» Ивану Васильевичу Киреевскому (от 4 января и 11 июля 1832 г.). Письма эти считались утраченными (см. «Письма Пушкина» под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, стр. XXXIX); они касаются участия Пушкина в «Европейце», а также закрытия журнала по повелению Николая I; дают они новый материал и в освещение вопроса о несостоявшейся газете Пушкина, и о предполагавшемся в ней сотрудничестве И. В. Киреевского. Письма сопровождены вводной статьей О. И. Поповой «Пушкин и царская цензура» (перепечатываются в настоящем сборнике выше).

П. Д. Эттингер напечатал небольшую записку Пушкина к известной пианистке Марии Шимановской, рожденной Воловской («Красная нива», № 24 от 9 июня 1929 г., стр. 12), свидетельствующую о том, что поэт бывал у нее в гостях. Записка напечатана в переводе с французского при заметке Эттингера «Пушкин и Мария Шимановская», требующей однако привлечения некоторых данных, известных в литературе. Впервые публикуем письмо в оригинале, по фотографии с автографа (факсимиле см. выше, стр. 611), хранящегося в Музее А. Мицкевича в Париже:

ПУШКИН—М. ШИМАНОВСКОЙ

C'est avec bien de l'empressement que j'accepte votre charmante invitation. J'ai eu des nouvelles indirectes du Prince Wiazemsky; il doit être à l'heure qu'il est chez la Princesse.

Agréez, Madame, l'hommage de ma parfaite consideration.

A. Pouchkine

Н. О. Лернер (Ibid., стр. 14) в своей статье «Новооткрытые строки Пушкина» извлек из забытого журнала «Северное обозрение» (1849 г., т. I, стр. 867—868) небольшую записочку Пушкина в ресторан, не поддающуюся датировке, и отрывок из раннего письма поэта к своему другу П. В. Нащокину из Бессарабии от 1821 г. О последнем письме сохранился рассказ В. А. Нащокиной, записанный П. И. Бартеневым, о том, что «недавно в одном журнале было напечатано известие: некто продал другому письмо Пушкина к Нащокину за 50 р. серебром, и содержание письма тоже напечатано»[7]. Теперь это письмо, а также записка в ресторан найдены и пополняют собою собрание писем Пушкина.

В том же номере «Красной нивы» (стр. 15) И. М. Тарабрин напечатал единственное письмо поэта к К. А. Полевому от 11 мая 1836 г., извлеченное из собрания Государственного Исторического Музея в Москве. Письмо вводит в круг литературно-издательских отношений Пушкина в связи с распространением «Современника». В сопроводительной к письму статье Н. В. Измайлова «Пушкин и Ксенофонт Полевой» дана краткая характеристика хлопот поэта по изданию журнала, отношения к братьям Полевым и в частности к К. А. Полевому, литературных отношений между тогдашними журналами и т. п.

В 1929 же году были переизданы «Воспоминания А. П. Керн» (Ленинград, изд. «Academia») под ред. Ю. Н. Верховского, где в тексте воспоминаний было пере-

печатано несколько писем поэта к А. П. Керн, а в приложениях даны все сохранившиеся письма к ней Пушкина, но в переводе (стр. 396—416)[8]. Здесь следует указать на то, что мы к сожалению не имеем до сих пор, несмотря на издание «Писем Пушкина» под ред. Б. Л. Модзалевского, точно выверенного текста писем Пушкина к А. П. Керн (кроме одного письма), так как автографы этих писем не были доступны редактору; только после выхода I тома «Писем», где они были опубликованы по печатавшемуся ранее тексту, подлинники их поступили в Пушкинский дом (ИРЛИ); однако особых разночтений при сличении печатного текста с автографами обнаружено не было[9].

1930 год также принес письмо Пушкина, обнаруженное П. Е. Щеголевым в одном из старых изданий и остававшееся в пушкиноведении неизвестным. Печатая неизданное письмо французского писателя А. Тардифа-де-Мелло к Пушкину, П. Е. Щеголев нашел в брошюре Тардифа под заглавием «L'Armée russe. Par Tardif de Mello, auteur de l'Histoire intellectuelle de l'Empire de Russie, des peuples européens etc. Paris, chez les principaux libraires, 1854» текст небольшой записки Пушкина к Тардифу без даты, касающейся перевода «Кавказского пленника», присланного поэту, сделанного Тардифом на французском языке и в отрывках позже вошедшего в книгу «Histoire intellectuelle de l'Empire de Russie par Tardiff de Mello. Paris 1844»[10]. И письмо Пушкина, и письмо Тардифа, напечатанные Щеголевым (в журнале «Звезда» 1930 г., № 7, стр. 240), впервые установили нового адресата и корреспондента Пушкина. Оба письма П. Е. Щеголев снабдил обширным, почти исчерпывающим комментарием. Тот же исследователь напечатал[11] черновой отрывок письма Пушкина к А. Х. Бенкендорфу, заключавшего просьбу об исходатайствовании пособия у Николая I. Отрывок предположительно может быть отнесен к 1834—1835 гг.

В 1931 г. напечатано несколько писем Пушкина. С. П. Шестериков в примечаниях к новому изданию «Воспоминаний гр. В. А. Соллогуба» (изд. «Academia». Л., 1930 г., стр 523) опубликовал в переводе с французского языка черновое письмо Пушкина к гр. В. А. Соллогубу, писанное в феврале 1836 г. Текст письма до этого времени был известен в передаче гр. В. А. Соллогуба по памяти. Письмо вносит несколько новых штрихов в историю несостоявшейся дуэли Пушкина с Соллогубом. Пользуемся случаем и печатаем здесь это письмо по оригиналу, хранящемуся в ИРЛИ.

ПУШКИН—гр. В. А. СОЛЛОГУБУ

(Черновое)

Vous vous êtes donné une peine inutile [O] [Sans] en me donnant une explication [dont je n'av] que je ne vous avois pas demandé. Vous [m'ecr] vous êtes permis d'adresser à ma femme, des propos in [convenants] [decents] & vous vous êtes vanté [en] de lui avoir *dit des impertinences*— [La societé que]

[Des] [Des] Les circonstances ne me permettent pas de me rendre à Twer avant la fin du mois de mars—[J'espère] Veuillez m'excuser

В вечернем выпуске «Красной газеты», № 96 (2763) от 23 апреля 1931 г. напечатан был отрывок из нового письма Пушкина к кн. М. А. Дондукову-Корсакову от 18 марта 1836 г., обнаруженный в Облархиве в Ленинграде в деле С.-Петербургского цензурного комитета № 30, 1836 г. «О рукописях, представленных на благорассмотрение Главного Управления Цензуры». Полностью текст письма печатается выше с комментариями Н. Ф. Лаврова.

В книге «Новые страницы Пушкина», изд. «Мир», М., 1931 С. М. Бонди напечатал черновик небольшой записки Пушкина, отнесенной Бонди к А. Х. Бенкендорфу с датировкой «лето 1831 г.» (стр. 145—147); письмо было извлечено автором книги из тетради № 2387 В (л. 28 об.), хранящейся в Библиотеке СССР им. Ленина в Москве, но текст записки напечатан не совсем исправно. Мы имели возможность вновь выверить текст по автографу, поэтому печатаем письмо еще раз в исправленном виде:

Сердечно благодарю В. В. за лестное участіе вами оказываемое.[12] [къ уд] [мнѣ] — Сегодня утромъ [Я] намерѣвался я [явиться] пріѣхать къ Вамъ по долгу службы—по приказанію вашему явлюсь вечеромъ

Съ и‹стиннымъ почтениемъ и т. д.›

В той же книге (стр. 137—138) С. М. Бонди напечатал по автографу[13] черновое письмо Пушкина к гр. Ф. И. Толстому-американцу от 1829 г., обычно неправильно считавшееся адресованным к бар. А. А. Дельвигу[14]. С. М. Бонди удалось прочи-

ть несколько начальных строк письма, до сих пор остававшихся неразобранными торые и обнаружили неизвестное до того обращение Пушкина к гр. Ф. И. Тол ому. К сожалению нужно признать, что текст письма к Ф. И. Толстому, вслед вие неудовлетворительности набора в книге С. М. Бонди, не может быть призна: кончательным и требует новой публикации; сделать это теперь после работь М. Бонди не представляет особых трудностей. Оба письма сопровождены коммен риями С. М. Бонди, не требующими дополнений.

1932 год дал два новых письма Пушкина. Пишущим эти строки напечатан: вая небольшая записка поэта к П. А. Осиповой от 3 ноября 1828 г., количествен пополняющая известные письма Пушкина, писанные в Малинниках («Звенья» 32 г., № 1, стр. 50—51).

В зарубежном издании «Výstava Puskin a jeho doba. Katalog dila Puskinova Prací o nem sestaven uredníky knihoven musejní a slovanské. Nakladem matice ské a slovanského ustavu v Praze, 1932 г.» опубликовано (на стр. 12) по авто афу, но не совсем исправно, неизвестное письмо поэта к гр. А. И. Чернышеву 27 февраля 1833 г.[1а], являющееся ответом на отношение Чернышева от 25 февраля го же года и касающееся запрашиваемого Пушкиным следственного дела о Пу чеве и донесений А. В. Суворова 1794 и 1799 гг.

В 1933 г. Т. Г. Зенгер в своей работе «А. С. Пушкин. Три письма к не вестной» («Звенья» 1933 г., № 2, стр. 201—221) напечатала вновь, но в испра енном виде и с приложением факсимиле известные ранее черновые письма поэта влеченные из тетрадей Библиотеки СССР им. В. И. Ленина в Москве. Письма абжены большой статьей Т. Г. Зенгер, в которой она устанавливает, что и являются не фрагментами художественной прозы Пушкина, как это считалось сих пор, а черновиками не дошедших до нас писем, отправленных к одному щу—женщине, вызвавшей в поэте глубокие сердечные переживания. В выходя ей в скором времени книге «Рукою Пушкина», под ред. М. А. Цявловского, . Б. Модзалевского и Т. Г. Зенгер последняя вновь пересматривает вопрос этих письмах и приходит к бесспорному выводу о том, что они писаны аролине Собанской в 1830 г., при чем одно из них является ответом на письмо обанской, публикуемое Ю. Г. Оксманом выше (см. стр. 569—571 и поправку стр. 616). Ср. почерка факсимиле, воспроизведенных на стр. 569 и 877.

Наконец в 1933 г. А. Н. Глумов обнаружил в Центральной нотной библио ке в Ленинграде неизвестную записку Пушкина к кн. П. А. Вяземскому сентября 1825 г.: «не потеряй этих нот, если не будут они гравированы покажи о Верстовскому»; эти строки написаны на обороте листка с нотами «Песни мфиры», посланного Пушкиным Вяземскому при письме названного выше числа р. «Письма Пушкина» под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, стр. 161). Текст вой записки Пушкина опубликован в журнале «Советская музыка» за январь 1934 г., 1, стр. 71, где на стр. 73—74 воспроизведены ноты при статье А. Н. Глумова Пушкин, Верстовский и Виельгорский» (стр. 71—86).

Кроме специальных публикаций писем Пушкина в рассматриваемый нами период печатано несколько специальных описаний писем и воспроизведений факсимиле ерх указанных нами выше. Так в 1923 г. В. И. Срезневский в своей статье пушкинских текстах из коллекции В. И. Яковлева» в изд. «Пушкин и его со еменники», в. XXXVI, П., 1923 сделал (на стр. 3—6) краткое описание четырех сем Пушкина: к А. П. Керн (25 июля 1825 г.), к Л. С. Пушкину (коллективное есте с Н. О., С. Л. и О. С. Пушкиными от 21 ноября 1827 г.) и М. Л. Яковлеву 19 июля 1831 г. и 19 ноября 1836 г. В. И. Срезневский при описании их азал также на те неточности, которые вкрались в Академическое издание пере ски поэта в виду того, что они напечатаны были там не по оригиналам. В на й книжке «Рукописи Пушкина в собрании Государственной Публичной Библио ки в Ленинграде», изд. «Academia», Л., 1929 на стр. 28—42 дано описание 86 пи м поэта, собранных в названной библиотеке. Из репродукций следует указать следующие: в издании «Пушкинская выставка 1924 г. в Пушкинском доме при ссийской Академии Наук. 20 воспроизведений с портретов и рукописей», № 12 ень точно воспроизведено письмо Пушкина к А. Х. Бенкендорфу от 24 ноября 31 г. с резолюцией Николая I, в книге С. Я. Гессена «Книгоиздатель Александр ушкин», изд. «Academia», Л., 1930 на стр. 108—109 воспроизведена часть письма эта к П. А. Плетневу от второй половины июля 1831 г. («Двор приехал...»), книге М. Д. Беляева «Наталья Николаевна Пушкина в портретах и отзывах временников», Л., 1930 на отдельном листе воспроизведена часть чернового сьма Пушкина к А. Х. Бенкендорфу от 16 апреля 1830 г. с карандашным рисун-

ком, изображающим Н. Н. Гончарову [1], и в гетевском выпуске «Литературного Наследства» № 4—6, на стр. 461—462 воспроизведена часть письма Пушкина к М. П. Погодину от 1 июля 1828 г. (2 страницы, первая и вторая).

Помимо автографов писем Пушкина, обогативших наши государственные хранилища, о чем уже упоминалось выше, выяснилась также судьба некоторых автографов, бывшая до недавнего времени неизвестной. К числу подобных автографов принадлежат два письма поэта к бар. А. А. Дельвигу (№ 66 в I томе и № 198 во II томе издания «Писем Пушкина» под ред. Б. Л. Модзалевского). Оба подлинника, хранившиеся ранее в Радищевском Музее в Саратове, принадлежат теперь ИРЛИ (Пушкинскому дому), куда они переданы были через проф. В. В. Буша.

При сличении текстов писем с напечатанными Б. Л. Модзалевским выяснилось, что в письмо от 16 ноября 1823 г. (№ 66) вкралась досадная опечатка: в фразе: «Жду и недождусь появления в свет наших стихов» слово «наших» нужно заменить словом «ваших», как написано в оригинале. Кроме того высказываемое Б. Л. Модзалевским в примечании к этому письму (стр. 288) предположение о том, что к нему относится оторванный от целого полулист почтовой бумаги с написанным рукою Пушкина адресом на имя Дельвига и хранящийся в Чернигове оказалось неверным; этот полулист от письма имеет отношение к какому-то другому письму, остающемуся неизвестным.

Судьба других автографов Пушкина: 10 писем к невесте Н. Н. Гончаровой (1830 г.) и одного к Н. И. Гончаровой (26 июня 1831 г.), бывшая неясной до сих пор, наконец выяснена, но имеет печальный результат. Письма эти никогда еще не были опубликованы в подлинном французском тексте; в издании «Писем Пушкина» они также вышли в переводах по публикации И. С. Тургенева в «Вестнике Европы» 1878 г. и местонахождение их осталось редактору «Писем» неизвестно (см. т. II, стр. 446—447). Как теперь выяснено из статьи некоего Я. Полонского «Неизданные автографы писем Пушкина в Париже», напечатанной в эмигрантском «Временнике Общества друзей русской книги», т. III (Societé des amis du livre Russe, Paris), оригиналы этих писем были в коллекции известного театрального деятеля С. П. Дягилева, а после его смерти были проданы с аукциона и затем «перешли в собственность одного русского эмигранта в Париже». Вот что сообщает о них Я. Полонский: «Письма находятся в отличном состоянии, почти на всех сохранилась большая красная сургучная печать с гербом Пушкина. Писаны они на простой почтовой бумаге без водяных знаков. В самом тексте имя невесты и некоторые фразы писаны по-русски. Все письма к невесте датированы 1830 годом. Два из них писаны из Петербурга: одно помечено «juillet 1830» без обозначения дня, другое от 30 июля. На обороте адрес: «Ея Высокоблагородiю Милостивой Государынѣ Наталiи Николаевнѣ Гончаровой, въ Москвѣ, на Никитской, въ домѣ Гончарова». Одно письмо относится ко времени пребывания Пушкина в Москве в августе того же года. В эту пору у него произошла серьезная размолвка с будущей тещей. Пушкин даже опасался, что мать невесты решила расстроить свадьбу. Он был в отчаянии и написал об этом Наталии Николаевне. Дата на этом письме не проставлена. Оно было послано вероятно с прислугой, и поэтому адреса на нем нет. На обороте написано рукой Пушкина: Natalie Gontcharoff. Через несколько дней после ссоры Пушкин уехал в Болдино, чтобы успокоиться от пережитого и заняться литературной работой. Из-за карантинов в холерную эпидемию он оказался отрезанным от Москвы и застрял в деревне почти на три месяца (вместо предполагавшихся 25 дней). К этой поре невольного пребывания в Болдине относится шесть писем Дягилевского собрания от 9 и 30 сентября, 11 октября, 4 и 18 ноября (на обратной стороне последних четырех писем виден штемпель арзамасского почтового отделения), 26 ноября и 2 декабря (из Платова на пути в Москву). На последних двух письмах в верхнем левом углу следы многочисленных проколов, сделанных повидимому булавкой. Наконец одно письмо этого собрания адресовано теще Пушкина и отправлено им из Царского Села 26 июня 1831 г.» Нужно думать, что перечисленные письма надолго ушли из поля зрения исследователей; владеющий ими безвестный эмигрант конечно не подумает о их публикации; во всяком случае ценным автографам грозит печальная участь, если они не вернутся в СССР и не будут государственной собственностью. История публикации писем И. С. Тургеневым изложена Ю. Г. Оксманом в «Собрании сочинений И. С. Тургенева», изд. ГИХЛ, т. XII, Л., 1934, стр. 603—606.

В настоящее время издание полного собрания «Писем Пушкина» находится в руках пишущего эти строки. После кончины Б. Л. Модзалевского мы взяли на себя всю работу по комментированию III и IV томов писем, которые охватывают

период 1831—1837 гг. Текст писем для обоих томов, приготовленный Б. Л. Модзалевским и Н. В. Измайловым, находится в нашем распоряжении; кроме того для первых 40 писем III тома (1831—1833) имеется написанный Б. Л. Модзалевским комментарий; комментарий для остальных писем этого тома окончен, и том принят к печати издательством «Academia». Комментарии для IV тома, а также все необходимые дополнения к изданию будут сделаны в ближайшие годы, поэтому мы надеемся, что к юбилейному 1937 году все издание будет закончено.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Общие отрицательные выводы рецензии о книге не могут быть признаны однако обязательными и беспристрастными.

[2] Автограф письма-надписи Пушкина А. О. Смирновой принадлежал в 1899 г. Ю. П. Бартеневу (см. «Каталог Пушкинской выставки в Московской 5-й гимназии». М., 1899, стр. 3); местонахождение его ныне неизвестно.

[3] Перечень этих рецензий дан в предисловии редактора ко II тому «Писем Пушкина». Не перечисляя их вновь, сообщаем лишь о тех отзывах, которые остались неизвестны Б. Л. Модзалевскому для I тома, а для II тома не могли быть им указаны: М. П. Алексеева (на I том) в «Известиях по русскому языку и словесности», 1928 г. изд. Академии Наук СССР, т. I, кн. 1, стр. 309—325; Н. К. Гудзия «Пушкиноведение в 1926—1927 гг.» (на I том) в «Печати и революции» 1928 г., кн. 1, стр. 123—124; на I и II томы (информационного характера) в «Revue des études slaves», t. VI, p. 275 и t. VIII, facs. 1 et 2, p. 110—111 и В. Ф. Боцяновского «Ящик с грязью» (на II том) в вечернем выпуске «Красной газеты», № 39 от 9 февраля 1928.

[4] Факсимиле письма Пушкина см. в книге «А. Н. Вульф. Дневники (Любовный быт пушкинской эпохи)» под ред. П. Е. Щеголева. М., 1929, между 96 и 97 стр.

[5] В 1928 г. Б. Л. Модзалевский напечатал в газете «Читатель и писатель», № 4—5 от 11 февраля статью «К истории пушкинского Современника», в которой привел неизвестную записочку поэта. Мы не упоминаем о ней специально, так как ее следует рассматривать не как письмо, а как деловое распоряжение.

[6] С приложением факсимиле трех страниц писем, в очень уменьшенном размере.

[7] См. «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым» под ред. М. А. Цявловского. М., 1925, стр. 34 и 95.

[8] На стр. 261 напечатано факсимиле одной страницы письма к А. П. Керн.

[9] Ср. в дополнениях к письмам во II томе «Писем Пушкина», стр. 508 (№№ 173, 174, 175, 181, 192).

[10] См. «Древняя и Новая Россия» 1880, июнь, XVII, 6, стр. 306, в работе В. Шульца «А. С. Пушкин в переводе французских писателей».

[11] «Пушкин и его современники», вып. XXXVIII—XXXIX, Л., 1930, стр. 256 и факсимиле между стр. 256—257.

[12] Вместо последнего слова было начато «при[нимаемое]».

[13] Из тетради № 2382 Библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Текст писан карандашом, теперь полустершимся.

[14] См. «Письма Пушкина» под ред. Б. Л. Модзалевского, т. II, стр. 65.

[15] Перепечатано затем Н. С. Ашукиным в «Звеньях» 1933 г., № 2, стр. 224—225.

[16] Под снимком здесь неверная подпись: «черновой набросок письма к отцу (Апрель, 1830)».

ПРИЛОЖЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ ПИСЕМ К ПУШКИНУ

После выхода «Переписки» Пушкина под ред. В. И. Саитова (т. I—III; СПБ., 1906—1911) в печати появилось довольно много публикаций писем к Пушкину. Собраны они были М. А. Цявловским в его издании «Письма Пушкина и к Пушкину», М., 1925 г. За истекшие 8 лет в печати появилось еще некоторое количество писем к поэту, пока нигде не зарегистрированных; в виду разбросанности их по разным изданиям и журналам, ниже предлагается библиографический их перечень; к нему присоединен также перечень писем к Пушкину, еще не напечатанных, лишь недавно найденных и подлежащих опубликованию в ближайшее время.

I. Письма напечатанные

1. П. Беклемишева, 3 ноября 1834 г., в книге П. Е. Щеголева «Пушкин и мужики», М., 1928, стр. 140.

2. Бар. Ж. Геккерена-Дантеса, ноябрь 1836 г. в книге П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина» («Пушкин и его современники», в. XXV—XXVII, стр. 174) и 3-е изд., Л., 1928, стр. 98 и 314.

3. М. И. Калашникова, 2 письма (б. д., после 1830 г. и от 26 июня 1834 г.) в книге П. Е. Щеголева «Пушкин и мужики», М., 1928, стр. 103—104, факсимиле стр. 101 и стр. 151—152.

4. О. М. Калашниковой (Ключаревой), с. Болдино 21 февраля 1833 г., в названной книге П. Е. Щеголева, стр. 104 и 107 и факсимиле на стр. 105—106.

5. В. Д. Карнильева, август 1830—январь 1831 г., в книге Б. Л. Модзалевского «Пушкин», Л., 1929, стр. 421.

6. Н. М. Коншина, Царское Село 7 февраля 1834 г. в изд. «Пушкин и его современники», в. XXXVIII—XXXIX, стр. 252—253 и факсимиле части письма на стр. 257.

7. Крестьян, 1830 — 1834 гг., в сборнике статей «Памяти Сакулина», М., 1931 г., стр. 159; первоначально опубликовано с приложением факсимиле письма в «Литературной газете» 5 июня 1931 г., № 30 (129).

8. М. Е. Крупенского, 1821—1823 гг., в изд. «Пушкин и его современники», в. XXXI — XXXII, стр. 1 и «Письма Пушкина» под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, стр. 15.

9. В. Я. Мызникова, Витебск 19 сентября 1833 г., в изд. «Московский пушкинист», II, ред. М. А. Цявловского, стр. 187.

10. Неизвестного, 19 июля 1836 г., там же, стр. 191—193.

11. Н. И. Павлищева, Варшава 25 октября—6 ноября 1834 г., в книге П. Е. Щеголева «Пушкин и мужики», М., 1928, стр. 137—138.

12. А. П. Плещеева, 5 июля 1835 г., там же, стр. 141 (частично; полностью в настоящем сборнике).

13. Л. С. Пушкина, июль 1836 г., с приложением доверенности его на имя Пушкина, датированной Тифлис 2 июля 1836 г., там же, стр. 148 и 233.

14. Н. Н. Пушкиной, Ярополец 14 мая 1834 г., в книге П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина», 3-е изд., Л., 1928, стр. 51—52 и факсимиле.

15. С. А. Соболевского, 1834 г. в «Красном архиве», т. 28, стр. 233.

16. А. Тардифа, Париж 4 (или 11) декабря 1836 г., в «Звезде» 1930 г., № 7, стр. 233.

17. Гр. Д. Ф. Фикельмон, 1829 — 1830 г., в изд. «Письма Пушкина к Е. М. Хитрово», Л., 1927, стр. 57—58.

18. Ф. Яковлева, С.-Петербург 29 июня 1836 г., в изд. «Московский пушкинист», II, ред. М. А. Цявловского, стр. 194—195.

II. Письма не напечатанные

1. М. И. Калашникова, 13 писем, от 19 октября 1831 г. из Болдина, 7 и 15 марта 1832 г. из Болдина, 10 октября и 14 ноября 1832 г. из Болдина; 18 января, 17 апреля и 19 декабря 1833 г. из Болдина; 25 февраля 1834 г.; 2 мая 1834 г. из Нижнего-Новгорода; июня 1834 г.; 22 декабря 1836 г. из Болдина; одно без даты.

2. М. И. Калашникова и его дочери О. М. Калашниковой (Ключаревой) от 17 мая 1831 г. из Болдина.

3. О. М. Калашниковой (Ключаревой) из Болдина 11 января 1833 г.

4. Крестьян, 4 письма: от 24 июня 1831 г. из Болдина за подписью Ефима Семенова, Дмитрия Прокофьева, Петра Иванова, Матвея Петрова, Егора Иванова, Федота Лазарева, Потапа Кузьмина, Андрея Терентьева, Ефима Давыдова, Петра Ефимова «и всех крестьян»; от 25 сентября 1834 г. за подписью Филиппа Семенова, Спиридона Прокофьева, Семена Фролова, Исайи Андреева, Никифора Макарова, Павла Семенова, Моисея Ильина, Кирилла Федорова, Осипа Прокофьева, Митрофана Дементьева, Родиона Фадеева, Василия Семенова, Ивана Прокофьева, Лариона Макарова и Алексея Семенова; без дат «общим миром»—два письма.

5. И. М. Пеньковского, 13 писем, из. с. Болдина от 7, 15 и 28 мая 1834 г.; от 12 июня, 21 августа и 15 октября 1834 г.; от 6 и 15 января, 19 февраля, 9 апреля, 4 июня и 31 декабря 1835 г. и от 28 апреля 1836 г.

6. Старосты Петра Петрова, без даты.

Перечисленные письма хранятся в Центральном Литературном Музее в Москве. Краткая опись этих писем с небольшими цитатами из них опубликована П. С. Поповым в его работе «Новый архив А. С. Пушкина».—«Звенья», вып. III—IV, М.-Л., 1934, стр. 129—142.

7. Кн. П. А. Вяземского, два письма без даты (шуточное приглашение Пушкина на обед вместе с М. М. Сонцовым и такое же приглашение поэта к Вяземскому, где должен быть Д. В. Давыдов).

8. Неизвестного, осень 1830 г. (о выдаче свидетельства Пушкину о благополучном состоянии с. Болдина) — см. «Известия Академии Наук», VI серия, 1917 г., № 11, стр. 765.

9. А. А. Фукс, часть письма (клочки) от 15 ноября 1835 г.

Эти письма хранятся в Институте Русской Литературы Академии Наук СССР.

10. М. И. Калашникова, отрывок письма, в тетради Пушкина, хранящейся в Библиотеке СССР им. В. И. Ленина (№ 2377 А, № 13)—см. «Русская Старина» 1884, № 10, стр. 87.

11. Серия неизданных писем к Пушкину периода работы его в «Современнике»: Б. Врасского, Н. Лаврова, Монтандона, А. Муравьева, Н. Павлищева, В. Семенова, А. Фукс, К. Хлебникова, Д. Языкова, М. Яковлева, хранящихся в составе бумаг П. Е. Щеголева (ныне в ИРЛИ), а также письмо А. Краевского и В. Одоевского, хранящееся в Публичной Библиотеке СССР им. В. И. Ленина, подготовляется к печати Ю. Г. Оксманом для «Временника» Пушкинской комиссии Академии Наук СССР.

РАЗРАБОТКА БИОГРАФИИ ПУШКИНА

Обзор Б. Казанского

Период 1917—1933 гг. занимает в истории пушкиноведения совершенно исключительное место по обилию вовлеченного за эти годы в исследовательский обиход документально-биографического материала. Открылись наконец жандармские тайны, стали доступны правительственные архивы, сделались народным достоянием многочисленные частные собрания, выявились во множестве отдельные письма, дневники, воспоминания, альбомы, лежавшие под спудом. Вместе с тем стало возможным опубликование многого, что оставалось под запретом царской цензуры или не укладывалось в рамки убеждений пушкинистов старого времени. С другой стороны, расширился кругозор, а главное конечно коренным образом изменился угол зрения, под которым шло изучение, истолкование и даже собирание материала. Главнейшими моментами здесь было открытие архивов III Отделения (и его секретного фонда), Главного управления цензуры, новороссийского генерал-губернатора, Московской консистории, Петербургского градоначальства, дел верховного суда о восстании декабристов, собраний Бартенева, Онегина, Анненкова, Лонгинова, Соболевского, Юсупова, Толя, семейных бумаг Пушкиных, Гончаровых, Воронцовых, Аксаковых, Бестужевых и др.

I. МАТЕРИАЛЫ

Во главу новых источников надо поставить конечно документы, исходящие от самого Пушкина. Впервые полностью, критически и с комментариями издан драгоценный дневник Пушкина 1833—1835 гг., ставший наконец народным достоянием (он передан внуком поэта А. А. Пушкиным Румянцевскому Музею в Москве в 1921 г.). Дневник издан почти одновременно в двух изданиях, в Ленинграде Б. Л. Модзалевским[1] и в Москве В. Ф. Саводником и М. Н. Сперанским[2]. В отношении пушкинского текста оба издания почти безукоризненны, в каждом остались непрочтенными или прочтены неверно 2—3 слова. Комментарий в обоих очень обстоятельный; у Модзалевского сухой, но с большой полнотой данных, множеством умело подобранных высказываний современников и библиографических указаний; у В. Ф. Саводника и М. Н. Сперанского преобладает собственное изложение, переходящее порой в самостоятельное исследование, но использованный материал иногда значительно уже, библиография менее полна, некоторые имена и факты разъяснены неверно или оставлены без разъяснения. Оба издания являются настоящими энциклопедиями по жизни (особенно светской и придворной) Пушкина этих лет. Достаточно сказать, что в дневнике упоминается около 200 современников Пушкина. Об обстоятельности комментария можно судить по тому, что текст дневника занимает 26 страниц (в московском издании 43), а комментарий—224 страницы (в московском издании даже 468).

Другим автобиографическим документом является листок кишиневского дневника (первой половины 1821 г.) из собрания А. Ф. Онегина, опубликованный Модзалевским (без комментария)[3] и содержащий ценные указания: о вступлении Пушкина в масонскую ложу 4/V 1821 г., о письме его Гречу (это письмо неизвестно) с протестом против напечатания его письма «к В. Л.» (указание, почему-то неиспользованное Модзалевским в его издании «Писем» Пушкина, I, 224) и кн. Ипсиланти (это письмо неизвестно), о посещении Пушкина Пущиным, Алексеевым и Пестелем 26/V 1821 г. и др.

Б. Л. Модзалевский[4] нашел в архиве III Отделения справку о Мицкевиче от 7/I 1828 г., написанную рукой Пушкина и составленную с целью поддержать ходатайство польского поэта о возвращении на родину; а Б. В. Томашевский[5] издал записку Пушкина, излагающую идеи Сен-Пьера о вечном мире, которыми, по свидетельству Е. Н. Раевской-Орловой, поэт увлекался в Кишиневе.

Из мелочей можно отметить надписи Пушкина—на книге [6], обращенную к Ушаковой 21/IX 1827 г., и на пригласительном билете на собственную свадьбу, адресованную Нащокину [7]: «от автора», а также и автограф стих. «Если жизнь тебя обманет» в альбоме Е. А. Сушковой-Ладыженской [8], при чем дата его—7/IV 1835 г.—показывает, что поэт написал его, будучи у нее с визитом в первый день пасхи.

Очень любопытным материалом является рассказ Пушкина в передаче Нащокина, записанный Бартеневым и имеющий содержанием необыкновенное любовное приключение Пушкина, которое М. А. Цявловский [9] относит к гр. Фикельмон. Опубликованная Модзалевским запись Анненкова со слов Данзаса о «жаркой истории с женой австр. посланника» («Пушкин», 1930, стр. 341) подтверждает это предположение. К сожалению облик этой красавицы и ее отношения к Пушкину остаются до сих пор в тени. Л. П. Гроссман [10] видит в этом рассказе просто образец «устной новеллы» Пушкина. Другой рассказ, отысканный Н. О. Лернером [11], может быть представляет какое-то недоразумение, уже по одному тому, что он передает о встрече Пушкина с каторжниками на Тобольской (?) дороге.

Очень своеобразный и еще недостаточно оцененный биографический материал представляют рисунки Пушкина. Многие из них—автопортреты, женские и мужские профили, женские ножки и т. п.—воспроизводились издавна, большей частью в качестве иллюстраций к любовной стороне жизни Пушкина. Пример значительного смысла впервые показан был Венгеровым (1908 г.), воспроизведшим знаменитый пушкинский рисунок, изображающий виселицу декабристов. А. М. Эфрос [12] издал еще два наброска на ту же тему и еще два, изображающие одного (себя самого?) и трех повешенных, а также ряд других рисунков поэта—портретов (Колосовой, Семеновой, членов «Зеленой лампы», Ипсиланти, Грибоедова, Мицкевича, А. Раевского, Вольтера, Карамзина, Мирабо и др.), автопортретов, пейзажей, жанровых сцен и пр., впервые снабдив их комментариями и предпослав им блестящий очерк, посвященный генезису и характеристике пушкинской графики [12]. Этим положено наконец начало критическому пониманию и использованию этого нового материала, обещающему быть очень плодотворным. Кое-какие рисунки кратко прокомментировал Н. О. Лернер [13]. Чрезвычайно интересный рисунок, изданный им же [14] и изображающий Кюхельбекера и Рылеева на Сенатской площади, вызывает однако основательные сомнения А. М. Эфроса [15] в принадлежности их Пушкину, и действительно против этого говорят как манера трактовки, так и карикатурный характер этого рисунка.

Располагая письма, дневники, воспоминания современников и другие документы в хронологическом порядке моментов жизни Пушкина, которых они касаются, можно видеть, что львиная доля их приходится на последние годы и даже месяцы жизни поэта; остальные периоды представлены новым материалом сравнительно скудно. Для ранних лет имеем только заметки С. Л. Пушкина [16], для лицея — замечания Малиновского на полях статьи Бартенева [17] и лицейские эпиграммы, из которых одна (на Александра I) даже приписывается Н. В. Измайловым [18] Пушкину, что доказывало бы, что поэт относился отрицательно к царю уже очень рано—в 1814 г.; для первого петербургского периода—запись М. Я. Чаадаева в дневнике 1857 г., будто стихи к портрету Чаадаева «сочинил, если не ошибаюсь, Вьельгорский» (что весьма мало вероятно) [19], и несколько кратких упоминаний в дневнике В. Д. Олсуфьева 1818—1820 гг. о встречах с Пушкиным [20]; протоколы «Зеленой лампы», интересные для характеристики этого общества, не заключают ничего, относящегося к Пушкину [21]. Важным документом, освещающим по-иному удаление Пушкина на юг, является найденная Ю. Г. Оксманом в архиве министерства внутренних дел [22], секретная депеша гр. Каподистрии к ген. Инзову с предложением взять на себя должность наместника Бессарабии. Эту депешу и должен был отвезти Пушкин Инзову в качестве дипломатического курьера (в тексте повидимому опечатка: un courrier вместо en courrier), что было лестным для молодого и опального поэта и к тому же обеспечивало ему доброе отношение со стороны Инзова. Это отношение сказалось уже в ответном письме Инзова 21/V 1821 г., содержащем очень благожелательный отзыв его о Пушкине и найденном там же [23].

Мелкие детали о внешности Пушкина в кишиневский период сообщил Гершензон[24] по воспоминаниям своего дяди.

Значительно богаче одесский материал. Мы располагаем здесь теперь очень ценными письмами Воронцова к П. Д. Киселеву от 6/III 1824 г.[25], А. Я. Булгакову [26] от 24/X 1824 и Лонгинову от 8/IV 1829 г., 4/V 1824 г., освещающими его отношение к Пушкину и обстоятельства, связанные с высылкой его в Михайловское [27]. Оказывается, что Воронцову ставили в упрек в Петербурге, будто на

его назначения имеют влияние Пушкин и А. Раевский; в оправдание он дает бывшие уже известными пренебрежительный (но не отрицательный!) отзыв о первом и явно враждебный о втором. Это дает основание А. А. Сиверсу высказать предположение, что отношения наместника и Пушкина должны быть пересмотрены. Письмо к Булгакову любопытно сообщением о стараниях кн. В. Ф. Вяземской устроить бегство Пушкина за границу. Чтения и переводы французского текста здесь не всегда верны: que le climat d'Odessa n'étoit que (вместо pas конечно) bon pour ses enfants—что климат Одессы благоприятен только (вместо «неблагоприятен») для ее детей; «Vous savez rien? Rien и очень знаю, что...» явно ошибочно. Очень ценен также ряд документов из б. архива одесского генерал-губернатора— письмо Воронцова к Нессельроде от 28/III 1824 г. (текст его был давно опубликован, но подлинник дает несколько вычеркнутых выражений, остававшихся неизвестными и характерных для отношения наместника к поэту); приказ от 22/V 1824 г. о командировании Пушкина в районы, пострадавшие от саранчи; прошение Пушкина Александру I об отставке и сопроводительное письмо Воронцова к Нессельроде; справка о средствах существования поэта; ответ Нессельроде от 11/VII 1824 г. с сообщением о решении императора—гораздо более тяжелого для Пушкина, чем то, которого добивался Воронцов; подписка Пушкина о немедленном выезде в с. Михайловское; письмо Нессельроде эстляндскому генерал-губернатору о ссылке поэта под его надзор. Из этой переписки явствует, что министр иностранных дел изложил императору дело в еще более невыгодном для Пушкина свете, чем того хотел Воронцов, и что Александр со своей стороны проявил в данном случае по отношению к поэту свойственную ему злопамятность. В связи с этим П. Е. Щеголев приводит любопытное замечание из неопубликованных записок барона Боде о Воронцовых, которое говорит за то, что враждебность Воронцова к Пушкину проистекала не от ревности мужа («Кр. архив», т. 38, 1930).

Краткие упоминания о Пушкине имеются и в переписке А. Бестужева 1821—1825 гг., в записке его о поездке в Москву 1823 г. и в памятной книжке 1824 г.[28], в письмах Рылеева к Туманскому от 3/X 1833 г. (с просьбой к Пушкину) [29], Воейкова к Языкову (1824 г.) [30], Дельвига к невесте и родителям (лето 1825 г.) [31], Жуковского к Гнедичу[32]. Своеобразный материал представляет и пушкинский фольклор, собранный в Псковской губ.[33] Важные подробности оказались выпущенными в прежних изданиях записок декабриста Лорера[34]. Он сообщает, что Пущин, отправляясь из Москвы для участия в декабрьском восстании, вызывал в Петербург и Пушкина. Это дает объяснение эпизоду неудачного выезда Пушкина из Михайловского 11—12 декабря, внушавшему недоумения. Интересно и сообщение, что Пушкин отправил свое «Послание» в Сибирь с каким-то купцом. Лорер передает также рассказ Л. С. Пушкина о вызове поэта к Николаю I в Москву[35]. На полях рукописи имеются замечания, подтверждающие или оспаривающие изложение Лорера и принадлежащие Юзефовичу[36] (М. Нечкина первоначально приписывала их ген. Д. Е. Сакену).

Чрезвычайно ценны собранные М. В. Нечкиной извлечения из показаний декабристов перед следственной комиссией, которые красноречиво показывают влияние поэзии Пушкина на декабристов и использование ее ими в целях пропаганды[37].

Очень значительны новые материалы о положении Пушкина после декабрьского восстания: письмо эстляндского генерал-губернатора Паулуччи от 30/VI 1826 г. к гр. Нессельроде по поводу просьбы Пушкина о разрешении выехать из Михайловского для лечения, с хорошим отзывом о поэте, но с мнением не предоставлять ему выезда за границу (с приложением медицинского свидетельства Псковской врачебной управы)[38], донесения агента Бошняка о поведении Пушкина в Михайловском[39], резолюция Николая I от 27/VIII 1826 г. о вызове поэта в Москву, распоряжение начальника Главного штаба псковскому губернатору о том же от 31/VIII 1826 г., ответ последнего от 4/IX 1826 г. о том, что Пушкин выезжает в тот же вечер, рапорт дежурного генерала от 8/IX 1826 г. о прибытии Пушкина с пометой Дибича о приказании Николая I доставить Пушкина к нему к 4 ч. дня, справка канцелярии от 21/XI 1826 г. об оставлении его в Москве[40], помета секретаря Комиссии прошений Логинова от 30/I 1827 г. на просьбе Н. О. Пушкиной о прощении поэта (поданной еще в августе 1826 г.), что высочайшего соизволения не последовало (!)[41]. Таким образом благородная милость Николая I к опальному поэту оказывается просто лицемерием. Более поздние документы, обнаруженные в архиве III Отделения, показывают, что царь не изменил своего отношения к Пушкину и впоследствии. Таковы выдержки из писем С. Л. Пушкина, перлюстрированных полицией, записка Булгарина «О начале собраний литературных», донесение

тайного надзора о кн. Голицыной, записка Фока [42], донесения московской полиции о приездах и отъездах Пушкина в 1829—1832 гг. [43] и др.

К тому же периоду относятся письма О. М. Сомова к Н. М. Рылеевой от 18/III и 4/VIII 1827 г., в которых речь идет о гонораре, полученном Пушкиным от Рылеева за стихи, предназначенные для «Звездочки», и возвращенном Пушкиным в виду того, что альманах был сожжен [44]; замечательны воспоминания Нащокина (в записях Бартенева [45]) о различных эпизодах жизни Пушкина, в том числе подробности отношений его с двором, ухаживаний царя за Н. Н. Пушкиной, отношения к Дантесу, и о дуэли и смерти; черточка к характеристике Пушкина, сообщенная со слов крепостной Нащокина [46]; ценные отзывы и биографические данные в письмах Соболевского Лонгинову [47]; бесхитростные воспоминания старицких старожилов о посещении Пушкиным имения Вульфов [48]; интересное письмо Вяземского к жене (1828 г.), рассказывающее между прочим о прогулке его с Пушкиным на валу Петропавловской крепости, во время которой они вспоминали о погибших декабристах [49]; сообщение Н. Д. Быкова, переданное Железновым (но опущенное в издании его записок) и дающее понять, что Пушкин сам уклонился от женитьбы на Олениной [50]; выдержка из письма И. Киреевского от 29/I 1829 г. с упоминанием о встречах с Пушкиным на обеде у З. Волконской и с восторженным отзывом о поэте [51]; воспоминание В. Н. Григорьева о встрече с Пушкиным у Дельвига [52]; письмо К. И. Савостьянова В. П. Горчакову (1850 г.?) с воспоминаниями о встречах с Пушкиным в Тифлисе в 1829 г. (о празднестве в честь Пушкина и венчании поэта лаврами) и на почтовой станции в Шашках в 1833 г.[53]; письмо Юзефовича Бартеневу от 16/XI 1866 г. с характеристикой Пушкина [54]; любопытные впечатления англичанина Рэйкса о встречах с Пушкиным в 1829/30 г.[55]; обнаруженная Б. В. Томашевским запись П. А. Осиповой в календаре 7—10/III 1830 г., что Пушкин пробыл у Вульфов проездом в Москву три дня [56], опровергающее традиционное мнение, будто Пушкин стремительно поехал в Москву, услышав об ухаживании Мещерского за Н. Н. Гончаровой; очень живые и откровенные воспоминания А. О. *Россет-Смирновой в записи Полонского* [57], *конверт, адресованный Николаем* I к А. О. Россет, с пометкой последней, что в этом конверте царь прислал ей просмотренную им рукопись 7-й главы «Онегина» для передачи Пушкину [58]; письмо Н. П. Озеровой к С. А. Энгельгардт от 4/V 1830 г., передающее интересные впечатления ее об отношениях Пушкина и Н. Н. Гончаровой в театре [59]; записка Корнильева Пушкину (август 1830 г.) с выражением соболезнования о смерти В. Л. Пушкина [60]; отзыв Соболевского в письме Шевыреву от 30/VIII 1830 г. о предполагаемой женитьбе Пушкина [61]; письмо Е. А. Баратынской Д. Н. Свербееву от 9/XII 1830 г. с сообщением о приезде Пушкина в Москву [62]; сообщение П. Киреевского (в записи Бартенева) о мальчишнике Пушкина [63]; сообщение Н. В. Лазарева в письме Великопольскому от 14/II 1831 г. о встрече с Пушкиным и о предстоящей «завтра» свадьбе [64]; письмо кн. В. Н. Репниной к матери от 23/XII 1831 г. с отзывом о Н. Н. Пушкиной, которую видела на придворном бале 19/XII 1831 г.; воспоминание М. Е. Лобанова о литературном обеде с участием Пушкина по случаю новоселья книжной лавки Смирдина [66]; воспоминание О. Бодянского о посещении им Пушкина в Петербурге [67]; биография Гнедича, составленная Лобановым, с упоминанием Пушкина в числе несших гроб на кладбище 6/II 1833 г. и подписавших пожертвование на памятник ему [68]; записка А. И. Хмельницкого Пушкину с просьбой о ссуде [69]; записка Шаликова Пушкину [70]; французское письмо, подписанное С. Р., с выражением благодарности за помощь [71]; письмо свящ. Виноградова Пушкину от 8/I 1834 г. с просьбой заступиться за него перед благочинным [72]; письма С. Н. Карамзиной Дмитриеву от 20/I 1834 и 21/IX 1836 гг. с приписками С. Н. Карамзиной (одной уже известной, другой—о присутствии Пушкина на ее именинах), позволяющей датировать эти последние [73]; письмо просителя к Пушкину [74]; письмо Конщина [75] с просьбой о заступничестве за протодьякона Лебедева от 7/II 1834 г.; отрывок дневника Соболевского о поездке с Пушкиным от Петербурга до Торжка [76]; письмо Нащокина Пушкину (апрель 1834 г.) [77]; письмо Н. Н. Пушкиной мужу [78], единственное известное (1834 г.); дата зачисления Е. Н. Гончаровой фрейлиной [79] — 6/XII 1832 г.; письмо провинциального поэта В. Коленова Пушкину от апреля 1835 г. при посвящении ему стихов «уездной музы» [80]; письмо Ладыженского Б. А. Вревскому [81] с отзывом о «великом поэте, певце Цыган и Годунова» от 30/X (IX?) 1835 г.; воспоминания Андреева (1840 г.) о встрече с Пушкиным перед картиной Брюллова [82]; рассказ Даля о встречах с Пушкиным в Оренбургском крае (в записи Бартенева) [83]; воспоминание И. А. Гончарова о встрече с Пушкиным [84]; письма Е. М. Языковой брату (май 1836 г.) с восторженным отзывом о Пушкине [85]; любо-

пытно́е письмо французского литератора Тардифа де Моло Пушкину с просьбой дать ему сведения о себе и других русских поэтах для задуманной им работы о русской литературе [86]; мелкие воспоминания Н. Н. Пушкиной в записи Анненкова [87]; очень ценные воспоминания кн. Е. А. Долгоруковой (в записи Толя) о семье Гончаровых, о женитьбе, дуэли и смерти Пушкина [88]; воспоминания С. Моравского [89] о встречах с Пушкиным, о прогулках Дантеса с Н. Н. Пушкиной, о дуэли и смерти Пушкина, содержащие много новых подробностей, между прочим замечательную фразу, произнесенную Пушкиным по адресу своей жены (издатель, Эттингер, сомневается в ее подлинности, но подобную фразу трудно придумать): записка Соллогуба от апреля 1836 г., оставленная Пушкину на случай приезда последнего в Тверь для поединка [90]; экземпляр (из архива III Отделения) диплома с конвертом, адресованным М. Ю. Вьельгорскому (издан с факсимиле текста обоих адресов и печати) [91]; первоначальная редакция воспоминаний Соллогуба, записанных им для Анненкова [92]; бумаги и переписка по поводу женитьбы Дантеса, в частности о разрешении ему вступить в брак, не принимая русского подданства и без обязательства крестить детей по православному обряду [93]; выдержки из писем имп. Александры Федоровны к гр. Тизенгаузен с вопросами и отзывами о женитьбе Дантеса [94]; любопытные записи Лонгинова на книге воспоминаний Данзаса о дуэли и смерти Пушкина (о встрече с Пушкиным и Данзасом по пути к месту дуэли гр. Воронцовой и гр. Борх) [95]; данзасовский экземпляр условий дуэли (текст был известен по экземпляру д'Аршиака, сохранившемуся в архиве Геккернов); копии дуэльных писем, собранные Вяземским и переданные им Бартеневу (на копии письма Пушкина Геккерну помета Вяземского, что пушкинская автокопия была отдана Пушкиным Данзасу с правом, в случае неудачного исхода дуэли, поступить с нею, как хочет. Повидимому это завещание Бартенев перенес по ассоциации на письмо Пушкина к Бенкендорфу (ср. «Русск. Арх.» 1888, кн. II, стр. 308) [96]. Между прочим здесь нашлось письмо Данзаса Вяземскому от 6/II 1837 г. о дуэли, неточно напечатанное Аммосовым и (по копии суда) Кауфманом, и новое письмо Данзаса от 4/II 1837 г. (по мнению издателя—к Бенкендорфу, но вернее, как думал Б. Л. Модзалевский, к Жуковскому) с просьбой принять от него «своеручную копию рокового письма Пушкина к Геккерну» и, «если заблагорассудится, то показать оное» царю, в виду того, что «содержание оного перетолковывается в городе весьма в невыгодную сторону для Пушкина, которого память мне священна».

Опубликованы были также существенные выдержки из «военно-судного дела» Данзаса [97].

Очень много открылось новых свидетельств и высказываний о дуэли и смерти Пушкина. Наиболее важными среди них являются дневник А. И. Тургенева [98] за время с 25/X 1836 по 19/III 1837 г., в котором отмечены частые встречи его с Пушкиным и другими действующими лицами этой драмы, подробности болезни и смерти поэта, а также отголоски этой истории; письма его к А. Я. Булгакову от 7/XII 1836 (отзыв о Н. Н. Пушкиной на дворцовом бале), 9/I 1837 (вечер у Фикельмон с Пушкиным), 22/I 1837 (упоминание о Пушкине в связи с Лубяновским, занимавшим квартиру над пушкинской), 28/I 1837, 30/I 1837, 12/II 1837 (записки при письмах к другим лицам о дуэли и смерти Пушкина), 27/II 1837 и 6/III 1837 (о стихах Лермонтова и высылке его), 20/III 1837 г. (о разжаловании и высылке Дантеса и о слухе, будто Мицкевич вызвал последнего на дуэль)[99]; письма А. И. Тургенева Е. А. Свербеевой от 21/XII 1836 г. о вечере, проведенном у Пушкиных, и о болезни Дантеса [100]; очень важный документ представляет записка Геккерна Дантесу (в ответ на его запрос о дипломе): Геккерн дает описание печати (формат определяется как совпадающий с форматом записки) и рекомендует сослаться на себя, потому что видел диплом у Нессельроде [101]. Письмо обнаружено в секретном фонде III Отделения и издатель его Поляков полагал, что оно представлено было Геккерном министру иностранных дел для своего оправдания как написанное вскоре после ноябрьского вызова Пушкина, когда Дантес дежурил в казармах—толкование вряд ли верное, так как записка явно представляет собою шпаргалку: ссылка на Нессельроде прекращала дальнейшее расследование. Записка написана конечно уже после смерти Пушкина, когда Дантес находился под арестом на гауптвахте [102].

Замечательным документом является также и письмо Дантеса к председателю военно-судной комиссии [103], найденное также в этом секретном архиве и изображающее поведение Пушкина в совершенно неожиданном свете и при этом производящее впечатление правдивости. Оно свидетельствует о том, что суд входил в рассмотрение существа отношений действующих лиц пушкинской драмы, о чем протоколы умал-

чивают. Сопоставляя данные этого письма с краткими заметками Жуковского, издатель высказывает догадку, что вызывающее поведение Пушкина по отношению к жене и Е. Н. Гончаровой-Дантес перед теми, «кои могли бы рассказать», имело целью побудить Николая I вмешаться в дело.

Чрезвычайно важное свидетельство представляет и письмо В. Ф. Вяземской к М. И. Мещерской [104], изданное Н. Ф. Бельчиковым (без комментария) и содержащее несколько совершенно новых существенных данных. Сверх того опубликован целый ряд писем, записей в дневниках и воспоминаний об этом событии, то повторяющих друг друга, то передающих всевозможные выдумки по этому поводу, но в некоторых случаях отражающих, хотя бы искаженно, данные, имеющие вероятие и бывшие неизвестными. Таковы записи в дневниках Андреева [105], имп. Александры Федоровны [106], Вл. А. Муханова [107] (последний подтверждает как будто факт существования записки Николая I умирающему поэту, опровергает слух, будто некоторые рукописи Пушкина будут сожжены, сообщает известие о вызове Мицкевича Дантесу); черновик (конспект) записки Даля [108], содержащий несколько новых деталей, а также любопытный тем, что в нем слова записки Николая I вложены в уста Жуковского; письмо И. Мальцова Соболевскому от 2/II 1837 г., П. А. Бестужева А. Бестужеву [109] от 2/II 1837 г. с выражением сожаления, что поэт женился и втянулся в омут большого света [110]; письма А. Я. Булгакова к дочери и к Вяземскому от февраля 1837 г. [111]; К. А. Булгакова отцу [112]; Е. А. Булгаковой Соломирской [113] от 29/I 1837 г.; Е. С. Волковой к Е. А. Соймоновой [114] от 29/I 1837 г., интересное отрицательным отношением к Пушкину и уверением, что всегда видела Дантеса ухаживающим за Е. Н. Гончаровой; Н. И. Любимова Погодину [115] от 3/II 1837 г., проникнутое напротив горячим негодованием против «с... с..., поднявшего руку на святыню России», и горьким сожалением, что поэт женился и не покинул столицы; Неверова Грановскому от 29/I 1837 г. в том же духе [116]; В. М. Похвисневой Афанасьеву от 12/II 1837 г. с резким осуждением «преступной женщины» («поговорить» явная опечатка вместо «погоревать об общей нашей потере») [117]; Нащокина Соболевскому с выражением пережитого горя и жалобами на свою судьбу; Д. Н. Толстого-Знаменского [118] от 30/I 1837 г.; Е. М. Языковой П. М. Бестужевой [119] 1 и 6/II 1837 г.; пренебрежительный отзыв Воронцова о Пушкине со слов Н. Г. Тройницкого [120]; письмо Вяземского О. А. Долгоруковой от 7/IV 1837 г. с протестом против мнения, будто Дантес или Е. Н. Гончарова пожертвовали собой, чтобы спасти репутацию Н. Н. Пушкиной [121], отзыв Ладыженского в письме Б. А. Вревскому 26/IV 1837 г. [122], стихи Н. Данилевского на смерть Пушкина (1837 г.) [123], письмо Вяземского к Леве-Веймарсу (или статья) о смерти Пушкина [124]; ценные воспоминания кн. Е. А. Долгоруковой, уже упомянутые [125]; интересный рассказ А. И. Васильчиковой Бартеневу [126]; письмо Фризенгофа с изложением воспоминаний его жены, А. Н. Гончаровой, подтверждающей традиционную версию [127]; стихи петрашевца Баласогло 1840 г. на смерть Пушкина [128]. Любопытный замаскированный отклик на гибель поэта усмотрел Н. О. Лернер [129] в стих. Е. Розена в «Литературной Газете» 1846 г.: Эврипид, привлеченный ко двору царя Ахелая, гибнет, растерзанный собаками царя — «Певца заели Ахелая псы И молния на гроб его упала». Воспоминания дочери Пушкина гр. Н. А. Меренберг, записанные Семевским в 1887 г., свидетельствуют о характерном для семьи поэта отсутствии воспоминаний о Пушкине [130].

Эпилог драмы Пушкина сосредоточивается на трех моментах: личных и материальных забот, политических откликов на смерть поэта и вопросе об авторе оскорбительного диплома на имя Пушкина. По первому имеем немного: письмо Н. Н. Пушкиной Жуковскому с просьбой выдать ей ее письма к мужу, изъяв их из рассмотрения, которому подлежал весь архив Пушкина [131]; записка А. И. Тургенева Жуковскому от 28/III 1837 г. по поводу книг, взятых у Пушкина Корфом, а также о возвращении ему (Тургеневу) «книженки с вольнолюбивыми итальянскими песнями» и экземпляра «Повестей», подаренного ему поэтом с собственноручным исправлением [132]; письмо Соболевского Плетневу (первоначально Жуковскому) из Парижа с отзывом о Н. Н. Пушкиной и с призывом организовать обеспечение семьи Пушкина [133]; письмо Мальцова Соболевскому от 13/II 1837 г. с извещением, что Пушкин включил в список своих долгов и сумму, взятую им под залог серебра Соболевского, так что при уплате этих долгов выкуплено и это серебро [134]; плачевное письмо Нащокина Соболевскому, в котором он между прочим напоминает, что Пушкин остался ему должен 3 тысячи рублей [135]; письмо Н. Н. Пушкиной Нащокину в связи с выплатой ему этого долга [136] и т. п.

Неожиданно и очень ярко обнаружилась закулисная сторона отношения правительства к смерти Пушкина. Запрещение общественных открытых похорон поэта

было известно. А. С. Поляковым найдены были в секретном фонде III Отделения документы, показывающие, что правительство имело некоторые основания для опасений перед возможными проявлениями свободного общественного мнения в пользу Пушкина [137]. Это прежде всего два письма от 30/I и 2/II 1837 г. (одно анонимное, другое—подписанное инициалами К. М.), принадлежащие повидимому одному и тому же автору и обращенные к Жуковскому и кн. А. Ф. Орлову с выражением крайнего негодования против «презренного чужеземца (Геккерна) и Дантеса», «осмелившихся оскорбить в лице покойного дух народный», и против «открытого покровительства и предпочтения чужестранцам» вообще с требованием, разжалования Дантеса и ссылки его в гарнизон «на вечные времена», высылки Геккерна и запрещения принимать иностранцев на службу, даже с угрозой, что «иначе мы горько поплатимся за оскорбление народное, и вскоре». К этим письмам относится целая переписка, из которой явствует, что Жуковский рассказал об этом письме императрице (повидимому не столько, чтобы воздействовать на правительство, сколько с целью ускорить разрешение на издание сочинений Пушкина и «Современника», ссылаясь на этот пример «живого чувства, которое пробуждено в сердце каждого русского к памяти Пушкина» и которое должно было способствовать успеху подписки), а Орлов решил, что оно исходит из какого-то тайного противуправительственного общества и в тот же день, по совету Бенкендорфа, присоединившегося к его мнению, представил его Николаю I. Царь также нашел это дело «достойным внимания»— «постарайтесь установить автора, и суд над ним будет короткий», прибавлял он. Сам он при этом заподозрил почему-то протоиерея А. Малова, который накануне служил заупокойную обедню по Пушкине. Вместе с тем он повидимому вспомнил о письме, которое получил Жуковский и о котором ему очевидно передала императрица, и велел его затребовать, что Бенкендорф и сделал, дав понять при этом Жуковскому, что он напрасно «счел нужным» осведомить императрицу, не показав предварительно письма ему.

Этот эпизод не единичен. В том же фонде Поляковым [138] найдено донесение тайного агента Кашинцева из Москвы о том, что «целая толпа литераторов (во главе с Погодиным) вознамерилась отслужить церемониальную панихиду по Пушкине и даже говорить речь в память погибшего поэта, но что архимандрит, предупрежденный оберполицмейстером, уклонился от исполнения этой просьбы».

Очень ценный документ представляет наконец отрывок из ежегодного «отчета о действиях корпуса жандармов» за 1837 г., в котором дается обоснование подобным полицейским мерам: «Многие литераторы и все либералы приняли живейшее участие в его смерти; многие располагали следовать за гробом до самого места погребения в Псковской губернии, в самом Пскове выпречь лошадей и везти гроб людьми: подобное как бы народное изъявление скорби представляло бы некоторым образом неприятную картину торжества либералов» [139].

Вопрос об авторстве оскорбительного диплома обогатился также рядом интересных документов. Поляков издал записку Бенкендорфа [140] (для памяти, как думает Поляков, вернее это основа запроса для Мордвинова) с вопросом, не был ли автором его некий Тибо, друг Россета, служащего в Главном штабе? Издатель прибавляет, что угадать мотивы этого подозрения «не представляется возможным». Между тем известно, что К. О. Россет получил экземпляр диплома с таким точным адресом, что его мог написать только человек, у него бывавший. Это обстоятельство направило подозрения некоторых друзей Пушкина на Гагарина и Долгорукова. Известно также, что Россет представил свой экземпляр в. кн. Михаилу Павловичу. Вполне возможно поэтому, что и на Тибо могло пасть подозрение по той же связи с Россетом, о дружбе с которым неспроста упоминается в заметке. На запрос Мордвинова имеется справка жандармского генерала Полозова, что два брата Тибо служат в Почтамте (генерал отнес servant à l'état Major к Тибо, а не к Россету— очевидно, что Мордвинов повторил то же построение фразы), и образцы почерка обоих. Щеголев (Д и СП, 486) установил, что этот Тибо был гувернером Карамзиных, чем и объясняется знакомство с ним Россета.

Самое замечательное, что в той же папке, озаглавленной «о присланных Пушкину безымянных письмах», оказалась и записка Дантеса к Бенкендорфу [141], в которой он «спешит сообщить ему» адрес своего бывшего русского учителя (Висковского)— этот адрес написан совершенно безграмотно на особом клочке бумаги. Поляков высказал предложение что Бенкендорф, желая раздобыть русский почерк Дантеса, придумал запросить у него этот адрес (повидимому какое-то подозрение об участии его в рассылке диплома Пушкину имелось у Бенкендорфа или Николая I), но что Дантес сознательно или невольно обманул их ожидания: как объясняет в своей

записке Дантес, он не знал этого адреса и раздобыл его через посредство слуги графа Брея; повидимому адрес и написан этим слугой, тоже иностранцем.

Как известно, многие обвиняли в составлении диплома кн. И. Гагарина и кн. П. В. Долгорукова. Лишний голос теперь подает Одоевский в дневнике конца 1860 г., утверждая это относительно Долгорукова без всяких оговорок [142]. Щеголев считает этот отзыв «особо авторитетным». Однако следует иметь в виду, что обвинение это составляет одно из возмущенных примечаний Одоевского на оскорбительную для него статью Долгорукова в его заграничном журнале «Будущность», которая должна была вывести Одоевского из себя. К тому же здесь он пишет, что Долгоруков писал анонимные письма, послужившие причиной дуэли, а в опровержении, составленном позднее, он обвиняет его только в «переноске анонимных подметных писем, от которых, между прочим, произошла одна великая потеря, которую Россия доныне оплакивает».

Более значительным документом является письмо Соболевского Воронцову [143] от 7/II 1862 г., в котором сообщается, будто Дантес собирается начать процесс по обвинению Долгорукова в составлении диплома Пушкину, и что у самого Соболевского «давно была тысяча мелких оснований предполагать, что эта жестокость исходила от Долгорукова». Высказывая глубокое убеждение в невиновности Гагарина, он говорит, что расспрашивал его об этом в предыдущем году и что из того, что Гагарин высказал в защиту Долгорукова, кое-что напротив говорило скорее против последнего. «Оказывается, что Долгоруков жил тогда вместе с Гагариным, что он легко мог воспользоваться бумагой последнего и что, следовательно, главное основание подозрений, направленных на последнего (т. е. Гагарина, а именно сходство бумаги диплома с гагаринской—издатель ошибочно относит это к Долгорукову), могли бы быть перенесены на него» (т. е. Долгорукова). Исходя из этого, Соболевский просил Воронцова передать в III Отделение образцы почерка Долгорукова для сличения с почерком диплома, который должен там храниться (других экземпляров он разыскать не мог). При этом письме сохранилась справка III Отделения, гласящая, что в нем никаких бумаг Пушкина и вообще ничего, относящегося к дуэли, не имеется (что было ложью, как видно из настоящей статьи).

Наконец сюда же примыкает два письма Долгорукова Погодину в 1865 г., в которых он ругает Бартенева и грозит сломать палку на его спине за распространение о нем клеветы [144].

Неожиданной новостью явилась, далее, заметка в записках кн. А. М. Голицына (1900—1908 гг.), со слов «особы, сидевшей рядом с государем» (Александром II, вероятно от гр. А. В. Адлерберга или гр. Э. Т. Баранова) о заявлении Александра II, что «теперь известно имя составителя диплома Пушкину: это—Нессельроде». Издатель заметки В. В. Гольцев [145], признавая, что выражение c'est Nesselrode может означать только министра иностранных дел, находит однако это настолько маловероятным, что предпочитает подозревать его жену (гр. М. Д. Нессельроде), отношения которой с поэтом были «самые плохие и даже враждебные». К этому выводу присоединился и М. А. Цявловский. Однако насилие над текстом в данном случае ничем не оправдано. Аргумент маловероятности участия министра в этой истории может быть выдвинут с тем же успехом и против участия его жены, занимавшей в высшем свете место едва ли не более значительное, чем ее муж. С другой стороны, почему непременнно считать заявление Александра II «свидетельством исключительного значения»? Откуда мог он получить подобное сведение? Конечно возможно, что кто-нибудь нашел в личном архиве Николая I какие-либо данные, обличающие Нессельроде, которые остаются еще неизвестными. Но в таком случае царь тогда же знал бы, что пасквиль, направленный на него,—дело рук его министра и канцлера,—ситуация вряд ли сколько-нибудь правдоподобная. Между тем, как мы теперь знаем, в секретном архиве III Отделения хранился до нашего времени документ, в котором Геккерн достаточно откровенно уговаривается с Дантесом ссылаться в вопросе о дипломе прямо на Нессельроде. Не проще ли думать, что именно этот документ стал известен Александру II и был им понят как улика против Нессельроде?

Подлинной сенсацией явилась обнаруженная П. Е. Щеголевым [146] запись в камер-фурьерском журнале под 23/XI 1836 г.: «По возвращении (с прогулки) его величество принимал генерал-адъютанта Бенкендорфа и камер-юнкера Пушкина». Это делало несомненным отправку письма Пушкина 21/XI 1836 г. Бенкендорфу. Вместе с тем это очевидно экстренное и из ряда вон выходящее представление Пушкина царю совместно с Бенкендорфом бесспорно подтверждает новое толкование диплома как намек на связь Н. Н. Пушкиной с Николаем I. Однако дальнейшие соображе-

ния Щеголева не являются убедительными. Этим письмом Пушкин будто бы доводил до сведения царя содержание пасквиля, осуществляя неслыханную месть Геккерну. «Можно себе представить, какое ошеломляющее впечатление произвело подобное заявление. Создавался неслыханный скандал. Можно предполагать с полной вероятностью, что Бенкендорф попытался урезонить Пушкина, но он был в таком настроении, когда никакие резоны на него действовать не могли. Только царь мог предотвратить катастрофу. Результаты ясны. Пушкин был укрощен, был вынужден дать слово молчать о Геккерне. Но и Николай должен был сообразить дальнейшие последствия своих ухаживаний за Н. Н. Пушкиной». Здесь слабость Щеголева к психологическим домыслам достигает предела беспочвенности и сочетается с необычной для него вульгаризацией. Какие ужасы воображает он — непонятно. И не мог Бенкендорф в подобном деле, лично касавшемся царя, действовать иначе, как по указаниям последнего. А Николай был достаточно тактичен, чтобы в данном случае понять щекотливость своего положения и дать Пушкину лично свои объяснения.

В связь с историей гибели Пушкина могли бы быть также поставлены и некоторые новые данные более позднего времени. Такова любопытная запись в дневнике Одоевского со слов графини Соллогуб [147], характеризующая отношение в. кн. Михаила Павловича к Пушкину («туда ему и дорога») и Дантесу («бедный, ведь он разжалован»). Знаменательно также и письмо Дантеса к Николаю I в 1851 г.[148], с просьбой оказать воздействие на Гончаровых в его тяжбе с ними из-за недовыплаченных его покойной жене сумм. Настойчивый тон этого письма говорит как будто о каком-то праве Дантеса на милостивую поддержку императора. С другой стороны суггестивна и дата зачисления А. Н. Гончаровой фрейлиной [149] в январе 1839 г.: для этого не могло быть никаких оснований, кроме желания дать возможность вдове Пушкина вновь являться при дворе. К этому можно присоединить многозначительное сообщение В. А. Городцова [150] о виденных им часах Николая I, на внутренней крышке которых сделан был портрет Н. Н. Пушкиной. Сопоставляя эти данные с теми, которые сообщает Арапова и другие источники, можно думать, что Н. Н. Пушкина, по возвращении в Петербург в 1839 г., была любовницей Николая I.

Особняком стоят документы материального быта Пушкина, внимание к которым впервые возникло в наши дни. Сюда относятся: расписки Пушкина в получении жалованья из СПБ. и командировочных в 1823—1824 гг., что имеет значение для уяснения как условий существования поэта («паек ссыльного»), так и формального его положения на службе [151]; заемное письмо Нащокина с пометой Пушкина [152]; сводка задолженности имений С. Л. Пушкина на 1834 г. с отзывом Соболевского [153]; записка С. Л. Пушкина с перечнем его долгов и его расписка о погашении долга в 1000 р. от 30/III 1835 г. [154]; письмо К. Полевого к Соболевскому от 19/XI 1834 г., свидетельствующее, что последний материально способствовал изданию «Пугачева» [155]; выписка из приходо-расходной книги Д. Н. Гончарова 1832 и 1834/35 гг., в которой отмечены суммы, выплаченные сестрам [156]; договоры Пушкина на наем квартиры в 1832/33 и 1836 гг.[157]; сообщение книгопродавца Жебелева, что по его совету «Капитанская дочка» была припечатана к нераспроданным «Повестям» и выпущена вместе с ними как «Романы и повести» в двух томах [158]; уже упомянутые письма Н. Н. Пушкиной Нащокину от 16/III 1838 и 28/VI 1838 гг. по поводу уплаты ему долга Пушкина в 3000 р. [159]; дело о квартирной тяжбе Пушкина в 1832—1834 гг. [160]; счет каретного мастера 1834 г. и счет долгов прислуге Пушкина 1837 г. и т. п.[161] Впервые опубликованы документы по управлению имениями [162]; расходные записи Пушкина 1834—1836 гг., опись сельца (Кистенева?), дарственная С. Л. Пушкина Пушкину на сельцо Кистенево, доверенность Пушкина управляющему Пеньковскому 1833 г., доверенность Л. С. Пушкина Пушкину от 2/VI 1836 г. по делу о разделе с. Михайловского, с легкомысленной запиской его; квитанции об уплате долга по имению от 19 и 29/III 1835 г.; записка О. С. Павлищевой о суммах, выплачивавшихся ей отцом и Пушкиным в 1830—1841 гг.; приказ санитарного попечителя о борьбе с холерой от 24/X 1830 г.; ведомость Пеньковского о запасах зерна по Болдину в 1833/34 г. и старосты Петрова о приходах и расходах по Кистеневу за 1834 г., адресованные Пушкину; книга «для расхода мирских денег» по Болдину на 1824 г., памятная книга с. Болдина 1833 г., опись Болдина; ревизская сказка и опись с. Михайловского; письма Я. Эйхберга Н. И. Беклемишеву от 3/XI 1834 г. и последнего (тогда же) и полковника Плещеева от 5/VII 1835 г. к Пушкину по поводу 2000 р., занятых Л. С. Пушкиным; письмо Н. И. Павлищева Пушкину от 25/X 1834 г. с просьбой о вспомоществовании

по поводу рождения сына, письма приказчика Калашникова от 26/VI 1834 г., а также позднейшие документы, в том числе письма и прошения Н. Н. Пушкиной-Ланской, письмо П. П. Ланского Л. С. Пушкину и ответ последнего, письма Л. С. Пушкина к Н. Н. Ланской, прошения крестьян с. Кистеневки к Ланским и отдельные данные, извлеченные из бумаг Опеки и др. Большое значение этого материала очевидно. Он позволяет судить о бюджете Пушкина, об его отношении к деревне, крепостным и помещичьему хозяйству, об объеме и характере его хозяйственных и семейных забот. Вместе с тем он показывает и положение Пушкина в отношении к отцу, сестре и брату. Наконец он в значительной мере углубляет понимание и социальное значение «Истории села Горюхина», служа ей как реальным, так и идеологическим и психологическим комментарием.

К этой же категории можно отнести дело о жалобе Пушкина на Ольдекопа, издавшего «Братьев-разбойников» (с своим переводом) в ущерб Пушкину [163], а также бумаги по денежным претензиям Дантеса к Гончаровым [164].

Особую группу составляют материалы антикварного, топографического характера о пушкинских местах и вещах. На первое место здесь следует поставить ценные архивные разыскания Л. А. Виноградова о местах и датах жительства Пушкина в Москве, позволяющие автору выяснить обстановку и уточнить хронологию детских лет Пушкина («Пушкин в Москве». Труды общества изучения Московской области, VII, М., 1930, стр. 1 сл.). Между прочим автор разъясняет традиционное недоумение о месте встречи маленького Пушкина с Павлом I, устанавливая, что она могла произойти только в Петербурге. Более сводный характер имеют статья Н. П. Чулкова «Пушкин-москвич» (там же) и брошюра Н. С. Ашукина «Пушкинские места в Москве и ее окрестностях» (М., 1930). Полезный перечень «Пушкинских домов, сохранившихся до нашего времени» дал Н. П. Розанов («Пушкин в Москве», стр. 92—96). Шире, с уклоном к литературному комментарию и расчетом служить руководством для экскурсий составлены книги Н. П. Анцыферова «Пушкин в Царском Селе» (Л., 1923, 54 стр. и карта) и А. Яцевича «Пушкинский Петербург» (I, Л., 1930, 2-е изд. 1933, 160 стр.; II, Л., 1931, 209 стр.), обе вдумчиво и литературно написанные. В том же роде и очерк Н. А. Саввина «Болдино и А. С. Пушкин» (Нижний-Новгород, 1929, 50 стр.). Статья С. Фессалоницкого «Уголок Пушкина в Старицком уезде в 1923 г.» («Материалы Общ. Изуч. Тверского края», 3, 1925, стр. 17 сл.) описывает реалии сохранившиеся в Бернове, Малинниках и Павловском от пушкинских времен. Из подобных же очерков, посвященных Михайловскому и Тригорскому, отметим брошюры «Пушкинский уголок» Гладкого (Псков, 1922) и «Уголок Пушкина» Гарриса (М., 1923), изданные к столетию ссылки поэта. Пребыванию Пушкина в Крыму посвящены работы ак. С. Ф. Платонова «Пушкин и Крым» и Б. Л. Недзельского «Пушкин в Крыму» последняя с обстоятельным разбором маршрута Пушкина и с критическим анализом ряда вопросов, связанных с крымским периодом жизни поэта. Маршруты Пушкина уточняют исследования А. Звенигородского «О пребывании Пушкина в Нижегородской губернии» («Моск. Пушкинист», II, 1930, стр. 62 сл.) и проф. П. Преображенского «Пушкин в Самарских краях» («Бюлл. Общ. арх., ист., этногр. и естествозн. при Самарском Ун-те», № 3, 1.XII.25, стр. 17—22).

Попытку реконструкции «Последней квартиры Пушкина» представляет брошюра М. Д. Беляева и А. А. Платонова (Л., 1927, 28 стр.). Статья Беляева, развитая во 2-м изд. («Квартира, где умер Пушкин», Л., 1930, 54 стр.), содержит также указания о составе прислуги Пушкина и описание сохранившихся пушкинских вещей. Полезным обзором вещей Пушкина (сохранившихся или упоминаемых в письмах и воспоминаниях) является статья Н. С. Ашукина «Пушкинские реликвии» («Кр. нива» 1927, № 7, 13/II/27). Дополнением к ней служит заметка Ф. Грошикова «Достопримечательности села Ярополеца» (лит.-худ. сб. «Красной панорамы» 1929, дек., стр. 40 сл.).

Помимо этих новых материалов необходимо отметить и переиздание уже известных, тем более, что они в большинстве случаев впервые изданы с проверкой текста и комментариями, а именно: воспоминаний Соллогуба [165], Анненкова [166], Панаевой [167], И. Панаева [168], М. И. Глинки [169], А. П. Керн [170], П. А. и А. М. Каратыгиных [171], дневника Вульфа [172], воспоминаний М. И. Осиповой и Е. Н. Вревской в записи Семевского [173], дневника Кукольника [174], «Старой записной книжки Вяземского» [175], записок и воспоминаний А. О. Россет-Смирновой [176], М. Н. Волконской [177], декабриста Горбачевского [178], И. И. Пущина [179], Вигеля [180] и др., выходящих впрочем далеко за пределы пушкинианы. Очень полезно было издание М. А. Цявловским [181] сборника небольших воспоминаний и заметок, рассеянных по малоизвестным журналам (Берга, А. Ю. Пушкина, Д. Ф. Миллера, М. Н. Макарова, Грена, Мекленбур-

цева, Татарченко, Воеводина, В. П. Горчакова, Зеленецкого, Погодина, Н. М. Лонгинова, Соболевского, камердинера Пушкина (в передаче Лейкина), Кононова, Науменко, Н. А. Б., Ежова, Я. П. Полонского, Н. И. и М. М. Муханова, Облачкина, М. А. Коркунова, М. И. Лонгинова, К. А. Полевого, С. Л. Пушкина). Следует подчеркнуть, что это единственный опыт переиздания биографических материалов о Пушкине, притом снабженных комментариями. Правда, почти все, что публиковалось за последние десятилетия, издавалось более или менее тщательно в этом отношении, но из старых публикаций даже основные остаются в малодоступных и лишенных всякого освещения изданиях. Пора бы наконец взяться за сводное критическое издание писем к Пушкину, отзывов о Пушкине в письмах и дневниках современников и воспоминаний о нем, а также официальных документов (распоряжений, отзывов, донесений), относящихся к Пушкину.

Издание свода подобных материалов, проверенных в отношении текста, критически прокомментированных и проработанных для уяснения их происхождения, вскрытия заложенных в них тенденций, установления их источников и достоверности их содержания, является обязательной предпосылкой для предпринятия подлинно научной биографии Пушкина.

В отношении подобного анализа источников, известных ранее или опубликованных впервые, сделано еще очень мало. Письма Вяземского к Булгакову, Д. Давыдову [189], О. А. Долгоруковой, в. кн. Михаилу Павловичу представляют (с письмами А. И. Тургенева) основной, если не единственный, современный документальный источник всей переписки и пожалуй всей традиции о дуэли и смерти Пушкина. Остальное восходит к устным источникам, т. е. в большинстве к слухам из вторых и третьих рук и просто досужим выдумкам. И однако до сих пор не произведено не только анализа этой традиции, но даже генетического разбора этих писем. Между тем заранее можно сказать, что подобный анализ вскроет с несомненностью наличие определенной установки Вяземского в изложении этой истории вообще, и дополнительной—в изложении ее в. кн. Михаилу Павловичу. П. Е. Щеголев, издавший это письмо впервые, ограничился только приведением разночтений черновой редакции, не ставя даже вопроса, почему это письмо написано и с какой целью. Сличение писем Вяземского с обнаруженным недавно Н. Ф. Бельчиковым письмом В. Ф. Вяземской показало бы достаточно ясно основные черты этой установки.

Даже такой замечательный документ, как письмо Пушкина Геккерну, известное в двух беловых экземплярах и двух первоначальных редакциях, не подверглось не только критическому анализу, но даже подлинно критическому чтению. Пушкиноведение довольствовалось примитивно-непосредственным чтением Ефремова 50-летней давности. И почти двадцать пять лет не интересовалось, какие это клочки письма появились: то ли письма Пушкина к Бенкендорфу, то ли к Геккерну. А между тем уверенно аргументировали этим письмом и даже его первоначальными редакциями, спокойно принимая бессвязный и ошибочный текст как незыблемый факт, не нуждающийся ни в какой критической проработке. Казалось бы, первая обязанность исследователя, прежде чем пользоваться данным текстом,—установить (в данном случае и восстановить) текст и уяснить себе обстановку и самый процесс его возникновения, а здесь к этому были все возможности!

Недостаточно тщательности бывает и в комментировании даже у виднейших пушкинистов. В «Дуэли и смерти Пушкина» Щеголев опубликовал письмо Н. И. Гончаровой к Е. Н. Дантес, в котором мать спрашивает между прочим: «ты пишешь, что собираешься в Париж, а кому же ты оставишь девочку?» (Щеголев переводит неточно «малютку»). Письмо датировано 15 мая 1837 г., и Щеголев в примечании выразил недоумение «о какой малютке идет речь: свадьба Е. Н. Гончаровой с Дантесом состоялась 10/I 1837 г. и она родила 7/X 1837 г., точка в точку» (ДиСП³, 338, прим. 4), и этим ограничился. Л. П. Гроссман подумал над этой неувязкой дат и решил просто, что официальная дата рождения фиктивная, что на самом деле она родила в апреле 1837 г. и что следовательно Дантес и Е. Н. Гончарова были в связи с лета 1836 г. («Кр. нива», № 24 от 9 июня 1929 г., стр. 11 сл.). Но достаточно вчитаться внимательно в это письмо, чтобы убедиться, что это предположение—чистый вздор. Н. И. Гончарова начинает письмо с того, что несколько промедлила с ответом вследствие хлопот с женитьбой сына; допустим, что она получила письмо около 1 мая. Это письмо было не первым—Н. И. Гончарова отвечает «на твое последнее письмо»,—и оно очевидно не сообщало ни о прибытии Е. Н. Дантес на место, ни о рождении дочери; иначе в ответе Н. И. Гончаровой был бы конечно какой-нибудь отклик на эти большие новости. Между тем этот ответ совершенно будничный. По этому ответу трудно

себе представить, чтобы хотя бы предыдущее письмо Е. Н. Дантес было первым по приезде ее в новый дом: он предполагает, что Н. И. Гончаровой уже хорошо известны новые условия жизни дочери. Но даже допустив это, первое письмо Е. Н. Дантес могло быть получено Н. И. Гончаровой в Яропольце, скажем, около 15 апреля, вряд ли позже, а написано оно было значит примерно 20 марта. Следовательно рождение дочери во всяком случае не могло иметь места в апреле. Но Е. Н. Дантес уехала из Петербурга вместе с Геккерном 1 марта. Она физически не могла успеть доехать на место и родить к 20 марта. К тому же это значило бы, что она венчалась и выезжала на балы и рауты после свадьбы на 7 и даже 8 месяце беременности. Совершенно очевидно, что тут какая-то ошибка. И конечно не в дате рождения дочери Е. Н. Дантес, а в дате письма Н. И. Гончаровой. Письмо по всей вероятности написано 15 мая следующего—1838 года.

Таким образом в отношении научности издания биографии Пушкина дело обстоит малоудовлетворительно.

Тем более досадным явлением приходится признать хрестоматию В. В. Вересаева «Пушкин в жизни» [183].

Издание это является не более как суррогатом подлинного свода материалов, который нужен для изучения Пушкина. Прежде всего автор напрасно сузил понятие «жизни», ограничив ее внешними фактами событий и поведения и сознательно исключив из него творчество, мысль и переживания. Понятно, что он дает в результате облик Пушкина-лицеиста, Пушкина-чиновника, светского человека, придворного, главы семьи и—больше всего—Пушкина-обывателя. Пушкин-поэт, Пушкин-критик, историк, журналист, вольнодумец и либерал, идеолог просвещенного среднего дворянства, словом мыслящий, творящий и чувствующий Пушкин оказался целиком устраненным. Мало того: этот искусственный, насильственный отбор проводится Вересаевым по каждому высказыванию, лишая его цельности и связи и неминуемо искажая общий смысл и характер, вложенный в него автором. Больше того: это вытравление существенных (часто главнейших) элементов неизбежно приходится делать, более или менее насилуя текст: переставляя отдельные фразы, сокращая те или другие куски и даже вставляя в них собственные слова ради восстановления связи между ними. К тому же отбор производится чисто субъективно, без учета степени достоверности и сравнительной ценности того или другого высказывания, не давая характеристики автора и его отношений к Пушкину и не оговаривая ни выбора, ни произведенных изменений текста. Он помещает на равных правах, ничем не отмечая принципиальной разницы, и документальные свидетельства современников, и позднейшие воспоминания, и записи из вторых рук, и отрывки из исследовательских работ о Пушкине, и даже собственные свои соображения. Наконец при этом отборе писатель естественно берет верх над пушкинистом, подчеркивая и подбирая те штрихи, которые соответствуют его плану, и оставляя в тени несоответствующие. В результате получается своего рода литмонтаж, не лишенный интереса, но дающий не всего и не исторического Пушкина, а какого-то чисто житейского и притом лично вересаевского. Между тем составитель считает свою хрестоматию научной и исторической и тем внушает читателю ложный, искаженный, выхолощенный, а затем по-своему подмалеванный облик поэта. Конечно читатель в большинстве сам более или менее делает поправку, поскольку образ поэта властно возникает и сквозь пестрые лоскутья его «жизни», скроенные и сшитые Вересаевым. И что же делать, если через 90 лет после смерти Пушкина все еще нет хотя бы критического издания материалов для его биографии! Писатель дольше ждать не хочет, и читатель всецело на его стороне. И вот «чем же они виноваты, если их Пушкин выходит не Пушкин, а Ноздрев?» (Г. О. Винокур). Беда однако еще и в том, что наличие этого суррогата грозит тем, что свода биографических источников не будет и к столетию смерти Пушкина.

II. ИССЛЕДОВАНИЯ

Если в деле собирания и издания материалов для биографии Пушкина революция сказалась немедленно, уничтожив все запреты, то построение пушкинской биографии все еще остается задачей, до сих пор ожидающей своего осуществления.

Прежде всего следует отметить, что в течение довольно длительного времени видное место в области пушкиноведения имела так называемая формальная школа, провозгласившая, что предметом литературоведения является единственно литературное наследие писателя; биография только служит уяснению текста; личность писателя вне его произведений не существует для литературоведения. В историю литературы включена была впрочем позднее область «литературного быта», не полу

чившая достаточной определенности, но охватывавшая отношения литературных группировок и условия писательской и издательской деятельности. Это требовало также биографического изучения, но тоже в плане чисто литературном—для освещения художественных тенденций и исторической оценки литературных фактов.

Эту точку зрения разделяли и некоторые марксиствующие историки литературы, например проф. П. С. Коган, заявлявший, что «исследователь охотно уступает эту часть работы психологу или педагогу (?) и переносит центр внимания на материал, составляющий предмет непосредственного ведения,—на художественное произведение» («О некоторых предрассудках» в сб. «Памяти П. Н. Сакулина». М., 1931, стр. 110). Другие «полагали, что до конкретных явлений биографии, т. е. основных жизненных переживаний и творческих выражений этих переживаний у данного лица, мы нашими марксистскими методами не можем добраться или может быть считали, что нас интересуют только общие массовые явления» (А. В. Луначарский, вступ. очерк к Полн. собр. соч. Пушкина. М., ГИХЛ, 1931, т. I, стр. 7). Принципиально исключена биография писателя из истории литературы в переверзевской концепции. Подобные установки, грешащие формализмом и агностицизмом, встретили должный отпор. Однако и до сего дня марксистская наука еще не разрешила проблему биографии.

Что касается старого академического пушкиноведения, то оно ограничивалось сознательно краткими фактическими очерками, составленными поневоле—к 125-летию со дня рождения поэта и при собраниях сочинений. Таков «Пушкин. Очерк жизни и творчества», составленный Б. Л. Модзалевским при участии Н. В. Измайлова и И. А. Кубасова (Л., 1924, «Труды Пушкинского дома», изд. «Петроград», 115 стр.), добросовестный в научном отношении и удачно построенный по изложению; большую ценность придает ему сделанная Измайловым обстоятельная библиография, занимающая 10 стр. корпуса и 11 стр. петита, разбитая по главам.

Более элементарный характер имеет «Памятка о Пушкине», содержащая хронологическую канву жизни и творчества, очерк жизни и творчества, составленный Б. В. Томашевским, и статью В. Е. Евгеньева-Максимова «Пушкин и правительственная власть», а в приложении—несколько стихотворений о Пушкине и краткую биографию (Л., 1924, изд. Книжного сектора ГубОНО, 88 стр.). Такой же очерк Б. В. Томашевского помещен в однотомном издании Пушкина (Л., 1924, ГИЗ, стр. 7—15) и отдельной брошюрой («А. С. Пушкин», Л., 1927, ГИЗ, 32 стр.).

Живой, но поверхностный очерк жизни поэта в ее главнейших этапах дал Е. Н. Погожев («Отравленный Пушкин».—«Минувшие дни» 1928, февраль, № 3, стр. 67—88 и № 4, стр. 27—44). Интересный и очень субъективный, как все, что он писал, «опыт характеристики жизни» Пушкина дал Брюсов («Мой Пушкин», М., 1929, ГИЗ, стр. 9—24). Новую хронологическую канву жизни и творчества Пушкина, дополняющую старую работу Н. О. Лернера, дал М. А. Цявловский в «Путеводителе по Пушкину», составляющем 6-й том Собрания сочинений поэта в издании «Красной нивы» (М., 1931). Издание это содержит также ряд других биографических статей и заметок. Менее удачной следует признать хронологическую канву за 1833 г., составленную Л. Б. Модзалевским («Пушкин. 1833. Изд. Пушкинского общества». Л., 1933).

Свежую, хотя и беглую характеристику Пушкина дал Н. С. Ашукин («Живой Пушкин», М., 1926, «Литературная Мозаика», М., 1931, стр. 1 сл.). В поставленных себе пределах автор просто и вдумчиво выполнил свою цель—«из большой картины жизни Пушкина собрать мелкие детали, рисующие внешний облик поэта, который видели его современники». Предварением этого очерка была статейка «Каков же был Пушкин» («Огонек» от 14 июня 1925, № 25). Контур Пушкина-собеседника очерчен в предисловии к «Разговорам Пушкина» (ред. С. Я. Гессена и Л. Б. Модзалевского). Наружности Пушкина в связи с его иконографией посвящены статьи Э. Голлербаха «Образ Пушкина» («Кр. газ.», веч. вып. от 10 февраля 1927 г., № 37/1356) и «Пушкин в портретах» («Русское прошлое» 1923, кн. IV). Очень ценной является работа В. Я. Адарюкова «Указатель гравированных и литографированных портретов А. С. Пушкина» (М., 1926, 35 стр.). Популярный очерк со сводкой отзывов современников о портретах Пушкина дал Н. С. Ашукин в «Портретах Пушкина» («Красная нива» от 5 января 1930 г., № 1).

Не только узко биографическое значение имеет вопрос о Пушкине-читателе. И здесь мы располагаем только беглым очерком Ю. Н. Верховского «Пушкин-читатель» («Красная нива» 1928, № 7 от 12 февр.).

Любопытную работу проделал в этом отношении Я. Николаев («На лит. посту» 1927, № 5/6, стр. 43 сл.), пользуясь «Описанием библиотеки А. С. Пушкина».

Просмотр показал, что треть этой большой библиотеки составляли книги общественно-научного характера, при чем подбор их такой, какой мог сделать революционер того времени. Так в библиотеке Пушкина имелось до 50 мемуаров о французской революции 1789 г. «У кого из наших писателей найдется столько же о революции 1905 года?» спрашивает автор. А отметки и выписки Пушкина обнаруживают острый критицизм и общественно-прогрессивный ход его ассоциаций.

Специально чтениям Пушкина в Одессе посвящена работа М. П. Алексеева «Пушкин и библиотека Воронцовых» («Пушкин». Сб. Пушк. Комиссии при Одесском Доме Ученых, III, Од., 1927, стр. 92 сл.).

Из работ, посвященных социально-политической биографии Пушкина, минуя работы, трактующие вопрос об общественных позициях Пушкина не только в биографическом плане, отметим популярный очерк Н. К. Пиксанова «На пути к гибели. Пушкин сто лет назад» («Новый мир» 1931, кн. VII, стр. 157—169, полнее в книге «О классиках», М., 1933, стр. 9—42). Пиксанов изображает здесь эволюцию Пушкина исключительно упрощенно. В усадебном уединении Михайловского стали созревать органические основы дворянского самочувствия Пушкина, и он начинает переходить на сторону старого мира. С 1826 г. идет врастание его в столичную барскую жизнь, а через женитьбу—в великосветское общество. Он сближается с властью не за страх, а за совесть и без всякой внутренней драмы готов служить правительству. Однако давнее сближение с разночинческой интеллигенцией (на литературно-журнальной почве) делало Пушкина неспособным к слиянию, и это и привело Пушкина к гибели. В основном это верно, как схема, кроме отрицания драмы (и мучительной) в этом для Пушкина и кроме безоглядной готовности служить правительству. От «Записки о воспитании» до статьи о Радищеве взгляды Пушкина оценивались правительством как вредные и опасные, потому что они были либеральные. Нельзя замалчивать горьких высказываний Пушкина и его троекратных попыток вырваться из тягостной зависимости. Некритично повторять легенду, будто Пушкин женился чуть ли не по расчету—если был расчет, то у матери невесты. Непонят факт обращения Пушкина к Бенкендорфу по поводу своего сватовства и позволения Бенкендорфа показать ответ, кому поэт сочтет нужным. Пушкин обратился через него к царю не «за разрешением жениться», а по настоянию Гончаровых, сомневавшихся в его гражданской полноправности.

Положение Пушкина при дворе обрисовано Щеголевым с присущим ему мастерством в статье «Пушкин о Николае I» («Дневник Пушкина», П., 1923, стр. XIII—XXVI), но почти исключительно на основании данных дневника Пушкина и в качестве комментария к нему. Поэтому ни углубленного анализа, ни широкого охвата вопроса статья не дает.

Очень полезной работой является превосходный очерк Б. Л. Модзалевского «Пушкин в донесениях агентов тайного надзора» («Былое» 1918, № 1 и отдельно, 59 стр., 2-е издание «Пушкин под тайным надзором», П., 1922, 56 стр., 3-е изд., Л., 1924, с указателем, 105 стр.), который хотя и не дает ни существенного анализа данных, ни полной исторической картины, однако на основании новых данных (из архива III Отделения) достаточно живо и обстоятельно рисует положение поэта как политически неблагонадежного и находящегося под неослабным подозрением и слежкой, несмотря на видимость царских милостей.

Значительное место в буржуазно-идеалистической пушкиниане занимают любовные увлечения Пушкина. Нового подхода в этой области еще нет. Между тем только выяснение условий, традиций и нравов любовного быта той среды, в которой вырос и вращался Пушкин, может показать особенности пушкинского поведения и объяснить многое в этой стороне его жизни. Показательно в этом отношении то впечатление «ошеломляющей» неожиданности (М. А. Цявловский, В. В. Вересаев), которое произвело на пушкинистов опубликование полностью дневника Вульфа. Это объясняется конечно прежде всего уже самим подходом к этим вопросам—ради истолкования пушкинской поэзии; биографическая проблема, как таковая, остается малоосознанной. В этом отношении типична книга П. К. Губера «Дон-жуанский список Пушкина» (Л., 1923, 279 стр.), представляющая обзор увлечений Пушкина по известному перечню, составленному поэтом. Работа эта, написанная не без блеска, остается только биографическим комментарием к «списку»—подлинной биографической установки нет, и понимания личности Пушкина хотя бы с этой специфической стороны не получается. Попытка установить серьезное чувство Пушкина к гр. Н. В. Кочубей представляется неубедительной.

Начавшийся задолго до революции спор об утаенной любви Пушкина между Щеголевым и Гершензоном (1908 г.) продолжался и позднее, при чем последний вынужден был уступить почти все свои позиции.

Другой предмет увлечения Пушкина—А. П. Керн—удостоился серьезного биографического очерка, написанного Б. Л. Модзалевским с присущей ему простотой и добросовестностью в развитие статьи в венгеровском издании Пушкина («А. П. Керн», М., 1924, 141 стр.).

По-новому подошел к отношениям Пушкина к Е. Н. Вульф В. В. Вересаев («Новый мир» 1927, кн. I, стр. 184—194—«В двух планах», 1929, стр. 80—96), который, будучи врачом по образованию, был подготовлен к тому, чтобы трезво смотреть на вещи и подметить в этой области намеки, которые оставались незамеченными. Основываясь на признаниях Вульфа, он приходит к мнению, что отношения Пушкина к Е. Н. Вульф были далеко не такие платонические, как это думали. Щеголев остался неубежденным соображениями Вересаева и отстаивал традиционную точку зрения («Пушкин и мужики», 1930, стр. 42 сл.). Думается однако, что Вересаев ближе к действительности. Л. П. Гроссман сообщает со слов дочери Е. Н. Вульф (из вторых рук), будто мать оставила ей целую пачку писем Пушкина, запретив показывать их кому бы то ни было («Цех пера», 1930, стр. 257).

В истории пушкинских увлечений была страница, которая замалчивалась главным образом из идеалистического пиэтета к Пушкину—связь с крепостной девушкой в с. Михайловском. Впервые эту тему поставил В. Ф. Ходасевич («Поэтическое хозяйство Пушкина», Л., 1924, 156 стр.), увидев в сюжете «Русалки» отзвук этой истории и высказав на этой основе предположение, что девушка действительно утопилась. Произвольность такого заключения вызвала справедливую отповедь Б. В. Томашевского («Русск. современник» 1924, № 3), сообщившего между прочим, что Щеголев нашел данные о благополучном существовании этой девушки в позднейшие годы. Возражал против метода догадок Ходасевича и В. В. Вересаев («Печ. и рев.» 1925, № 5/6, стр. 32 сл.—«В двух планах», стр. 34 сл.)[184]. Сам Щеголев в статье «Крепостная любовь Пушкина» («Новый мир» 1927, № 10—«Пушкин и мужики», 1930, стр. 9—57, 89 сл., 100 сл.), относя воспоминание Пущина и письмо Пушкина Вяземскому о той же девушке, заключает о длительности связи (с января 1825 до мая 1826 г.) и высказывает мнение о существенном и притом хорошем влиянии этой связи на Пушкина, находя отзвуки ее в стихах «Нашел я музу молодую Подругу дней моих невинную, простую, Но чем то милую» и в спокойной простоте «Бориса», а также в «народничестве» Пушкина этих лет. Эту девушку Щеголев открыл в дочери М. И. Калашникова (переведенного в Болдино на должность приказчика) на основании письма ее 1834 г., подписанного «известная вам». В. В. Вересаев отнесся с излишним недоверием ко всему построению Щеголева, считая недоказанным отнесение рассказа Пущина и сообщения Пушкина к той же девушке («Новый мир» 1928, кн. 3—«В двух планах», 1929, стр. 179), хотя Щеголев пожалуй действительно слишком идеализирует эту любовь Пушкина и чисто импрессионистически связывает с нею характер поэзии Пушкина этого времени. Крайне резкий ответ Щеголева помещен в «Новом мире» 1928, № 5, последнее слово Вересаева—«В двух планах», стр. 199.

В новом издании своего исследования («Пушкин и мужики», М., 1930, стр. 43) Щеголев на основании податных списков с. Михайловского за 1810 г. устанавливает имя девушки (Ольга) и год ее рождения (1800). Это имя значится в дон-жуанском списке (в конце), но относилось обычно к Ольге Масон.

Новое освещение дает В. В. Вересаев отношениям Пушкина к А. Ф. Закревской («Новый мир» 1927, кн. I, стр. 194 сл.—«В двух планах», стр. 97—102), угадав ее под прозвищем «княгини Нины» в переписке Вяземского с Пушкиным и относя к ней признание Пушкина Хитрово о связи его с «особой умной, болезненной и страстной». Однако согласования этих данных с собственными отзывами Пушкина о своих отношениях к Закревской в письмах и в отрывке «Гости съезжались на дачу» Вересаев не дал[185].

Отдельную категорию составляют работы и публикации материалов, посвященные биографии лиц, так или иначе связанных с Пушкиным, поскольку эти издания служат уяснению их отношений с Пушкиным. Пушкиниана в этом отношении обычно не ставит себе границ. Из наиболее существенных укажем: С. Я. Штрайха «Друг Пушкина И. И. Пущин» («Парфенон», I, Л., 1922, стр. 71 сл., 2-е изд. М., 1927, 48 стр., 3-е изд. М., 1930, 134 стр.); В. И. Саитова «Соболевский друг Пушкина» (Л., 1922); Л. Крестовой «А. О. Смирнова» («Записки Смирновой», М., 1928, стр. 9—161); Б. Л. Модзалевского «Пушкин и Лажечников» (А. Ф. Кони. Юбил. сб., Л., 1925, стр. 103 сл.—«Пушкин», стр. 95—122); А. С. Искоза-Долинина «Пушкин и Гоголь» (Пушкинский сб. памяти Венгерова, Л., 1923, стр. 181 сл.); Н. Ф. Бельчикова «Пушкин и Гнедич в 1832 г.» («Пушкин». Сб. Общ. Люб. Росс.

Словесности. М., 1924, стр. 177—201); Н. К. Замкова Пушкин и Ф. Глинка» (ПиЕС, 29/30, 1918, стр. 78—97); М. П. Алексеева «Пушкин и Бестужев» (ПиЕС, 38/39, 1930, стр. 241—251); П. Зиссермана «Пушкин и Великопольский» (там же, стр. 257—280); Б. Л. Модзалевского «Пушкин и Корнильев» («Пушкин», 1929, стр. 421—130); А. де Рибаса «Пушкин и Ланжерон» («Пушкин». Сб. Пушк. Комиссии при Од. Доме Ученых, II, Од., 1926, стр. 32); его же ценные «Материалы для биографического словаря одесских знакомых Пушкина» (57 лиц) (там же, III, 1927 стр.); А. А. Сиверса «Семья Ризнич» (ПиЕС, 31/32, 1927, стр. 85—104).

Отметим еще работу Б. Л. Модзалевского и М. В. Муравьева «Пушкины. Родословная роспись» (Л., 1932, изд. Ак. Наук; 87 стр., под ред. Л. Б. Модзалевского), заключающую перечень всех членов рода Пушкиных, начиная от легендарного родоначальника его Радши.

Основу изучения одной из важнейших сторон биографии Пушкина—материальных условий его существования—положил П. Е. Щеголев в статье «Материальный быт Пушкина» («Прожектор» 1929, № 11/181) и в книге «Пушкин и мужики» (М., 1930, 287 стр.), из которой отчетливо рисуется и сложное финансовое положение Пушкина, и образ Пушкина-помещика с его заботами и взглядами.

Нигде пожалуй не сказалось так сильно последовавшее после Октября раскрытие архивных тайников, как в вопросе о гибели Пушкина. Однако сказалось далеко не сразу. Своего рода монополистом в этом вопросе был П. Е. Щеголев (ум. в 1931 г.), которому еще задолго до революции удалось раздобыть и разыскать ряд важных документов из архива министерства иностранных дел, семейных бумаг Дантесов во Франции и др. Первоначальная работа его «Дуэль Пушкина с Дантесом. Новые материалы» («Ист. Вестн.» 1905, кн. 1, 3, 4—«Пушкин. Очерки», 1912, 2-е изд., СПБ., 1913, стр. 307—402), развитая и дополненная новыми материалами (из собрания А. Ф. Онегина и др.), сообщениями иностранных послов, письмом Вяземского в. кн. Михаилу Павловичу, черновыми редакциями письма Жуковского С. Л. Пушкину и его же письма Бенкендорфу, заметками Жуковского, выдержками из дневника А. И. Тургенева, биографией Дантеса, составленной его зятем, Метманом, и т. д., издана была незадолго до революции («Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы», ПиЕС, в. 25-27, 1916) и переиздана вторым (фактически пятым) изданием в 1917 г. (Пгр. изд. Пирожкова, 424 стр.). Это «исправленное» издание отличается от предыдущего тем, что дополнения, помещенные в приложении, здесь введены в текст, документы приводятся только в переводе и указателя не приложено.

Обилие документов, собранных Щеголевым, внушало архивистам убеждение, что после его книги «на долю других остались второстепенного значения факты и эпизоды» (Поляков). Правда, М. А. Цявловский в отзыве об этой книге справедливо указывал, что «и теперь мы, в сущности, недалеко ушли от одного из ближайших свидетелей драмы, П. П. Вяземского, который, несмотря на страстное желание уяснить себе причины дуэли, решительно ничего понять не мог», так как Щеголев сузил задачу, рассматривая лишь ближайшие поводы дуэли и психологические предпосылки главных участников; на вопрос, кто и с какой целью разослал оскорбительный диплом на имя Пушкина, Щеголев не только не дал ответа, но даже не счел нужным дать анализ или хотя бы сводку данных, считая, что диплом явился лишь «случайным возбудителем»: не будь его, все равно Пушкин раньше или позже вышел бы из роли созерцателя. Остается непонятным также, что было ближайшим поводом рокового письма Пушкина Геккерну? А без этого вся эта история остается неясной («Голос Минувшего» 1917, кн. V, № 2, стр. 291). Но роман Н. Н. Пушкиной с Дантесом был настолько очевиден, а бешеная «африканская» ревность поэта настолько понятной, что эти вопросы казались действительно несущественными: любой пошляк мог состряпать анонимное письмо, малейший пустяк мог взорвать Пушкина. Геккерну же это письмо направлено потому, что Пушкин считал его автором диплома, а Геккерн мог его составить, чтобы расстроить невыгодную для него женитьбу Дантеса с Е. Н. Гончаровой, к которой блестящий кавалергард был вынужден, будучи застигнут Пушкиным в обстановке, дававшей мужу повод требовать объяснений.

Все это казалось вполне правдоподобным в психологическом освещении и превосходном изложении Щеголева.

Таким образом традиционное понимание драмы Пушкина было в пятый раз санкционировано как раз к началу революции. Неудивительно, что, несмотря на обнаружение новых и новых свидетельств, требовавших, казалось бы, иного освещения, пушкинизм никак не мог выбраться из круга, заколдованного авторитетом и талантом Щеголева.

Значительнейшей в этом отношении была публикация А. С. Полякова (ум. 4/X 1923) «О смерти Пушкина. По новым данным» (П., 1922, 115 стр.) и М. А. Цявловского «Рассказы о Пушкине, записанные Бартеневым со слов его друзей 1840—1850 гг.» (М., 1925, 140 стр.).

Первая содержала ряд новых документов из секретного фонда III Отделения, перечисленных выше и свидетельствовавших о чрезвычайной подозрительности и встревоженности правительства перед возможностью проявления общественного негодования вследствие смерти Пушкина и о стараниях полиции разыскать автора диплома. Хотя Поляков не задавался целью дать связное исследование об обстановке гибели Пушкина, а только анализ публикуемых им документов, самые эти документы ставили заново вопрос об авторе диплома. Поляков впервые дал описание его и графический анализ, приходя к выводу, что автором его не мог быть иностранец. Вместе с тем высказывая догадку, что Пушкин своим отношением к жене на людях хотел побудить Николая I вмешаться, Поляков приводит сводку данных об отношении царя к Н. Н. Пушкиной и о ревности Пушкина по этому поводу, и даже сообщает слух, докатившийся и до нас, что «император настойчиво ухаживал за Пушкиной». Таким образом Поляков в сущности уже имел в руках весь материал для того, чтобы сделать последний вывод, но высказать и истолковать его по-новому он был не в состоянии.

Небольшой сборник «Дуэль и смерть Пушкина. Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина» (П., 1924, 136 стр.) прибавил не много нового. Б. Л. Модзалевский в статье «Кто был автором анонимных пасквилей на Пушкина» (стр. 13—50) привел новые свидетельства злости и бесчестности кн. П. В. Долгорукова, но заключение его, что поэтому именно Долгоруков был составителем диплома, явно нелогично. Интересен анализ сведений о загадочной записке Николая I к умирающему Пушкину (в существовании ее высказывал сомнение уже Щеголев), сделанный Ю. Г. Оксманом в статье «Апокрифическое письмо императора Николая к Пушкину» (стр. 51—72), с выводом, что подобная записка была, но обращена была не к Пушкину, а к лейб-медику Арндту, присланному царем для прочтения ее поэту [186]. «Опыт графического анализа» диплома, произведенный Б. В. Томашевским («Мог ли иностранец написать анонимный пасквиль Пушкину?», стр. 124—33), убедительно показал, что писавший его был русским.

Незначительные дополнения и поправки к сборнику были напечатаны в сб. «Атеней» (1924, стр. 163 сл.).

Публикация М. А. Цявловского содержала между прочим много новых подробностей о дипломе и дуэли Пушкина, а также об ухаживаниях Николая I за женой поэта, и в примечаниях издатель дал обширную сводку других свидетельств об этом, но также остался в рамках издаваемого им материала и традиционного понимания, хотя впоследствии и сообщал, что уже годом раньше П. Е. Рейнбот высказывал ему предположение о связи Н. Н. Пушкиной с Николаем I («Красная нива» от 12 февраля 1928 г., № 7, стр. 2).

Как часто бывает в истории науки, новым взглядом на причины гибели Пушкина пушкиноведение обязано было дилетанту, свободному от власти традиции. Побужденный новыми материалами Полякова и Цявловского, он усмотрел в титуле, даваемом в дипломе Пушкину,—«коадъютора» (т. е. помощника) главы «ордена рогоносцев», в качестве которого диплом называет Д. Л. Нарышкина, мужа долголетней любовницы Александра I,—намек на связь жены поэта с Николаем I. Подтверждение тому он нашел в отзыве А. И. Тургенева о Пушкине «первый после Нар[ышкина] рогоносец» («на душе писавшего или писавшей его,—добавляет он,—развязка трагедии; с тех пор Пушкин не мог успокоиться»). Догадка эта озарила новым светом и другие, давно известные документы. Тотчас по получении диплома Пушкин обратился к министру финансов с просьбой позволить ему уплатить «сполна и немедленно» выданные ему царем в виде ссуды 40 000 р. передачей в казну своего имения, стоившего в два раза больше, и с тем, чтобы сделать это без ведома Николая I,—очевидно ему было мучительно сознавать себя в денежной зависимости от царя после пущенной по городу грязной сплетни.

Позднее, сообщая Бенкендорфу о полученном им пасквиле, он писал, что «по форме, в которой он был составлен», он «убедился с первого мгновения, что оно было от иностранца, от человека высшего общества, от дипломата». Действительно только иностранец и человек высшего общества мог позволить себе такой намек на царя и способен был облечь его в такую затейливую и вместе с тем понятную в своем кругу форму. При этом получает объяснение и вызывавший некоторое недоумение самый факт обращения Пушкина к Бенкендорфу (т. е. к царю) с обви-

нением Геккерна в составлении пасквиля—намек на Дантеса имел бы вполне частный характер и не мог бы побудить Пушкина к подобному официальному шагу. Получает оправдание и ряд намеков Вяземского и Тургенева на «адские козни», «адские сети», «гнусную западню», жертвой которых сделались Пушкины. Наконец и странное поведение Пушкина—двойственное, вызывающее на людях, может быть истолковано теперь как старание отвлечь внимание общества от нестерпимой клеветы. «Ценою своей жизни он стер наброшенную на него и жену позорную тень, шумом произведенного скандала заглушил шопот постыдной клеветы, своей кровью он написал тот текст этой драмы, который стал каноническим в его биографии» (Б. В. Казанский. «Гибель Пушкина».—«Звезда» 1928, кн. I, стр. 102—117).

Одновременно вышло в свет и новое, 3-е (фактически 6-е) «просмотренное и дополненное» издание «Дуэли и смерти Пушкина» П. Е. Щеголева (Л., 1928, 551 стр.). Но хотя с момента выступления М. А. Цявловского и самого П. Е. Щеголева прошел почти год, основной текст этого издания перепечатан был без всяких изменений сравнительно с изданием 1917 г., так что все изложение драмы Пушкина осталось тем же, что 12 лет назад. Автор ограничился только тем, что в приложениях расширил дневник Тургенева до пределов 25/XI 1836—20/III 1837 г. и ввел несколько документов, опубликованных Поляковым, а сверх того уже к сверстанной книге припечатал дополнительный IX отдел (стр. 435—515). В нем излагается толкование диплома как намека на связь Н. Н. Пушкиной с Николаем I на основании значения имени Нарышкина и данных об ухаживаниях Николая I за Н. Н. Пушкиной, дается подробная справка (стр. 443—450) о гр. Борхе, имя которого фигурирует в дипломе в качестве «непременного секретаря Ордена Рогоносцев» (из желания непременно найти в нем мужа любовницы в. кн. Михаила Павловича для полного комплекта любовников «по царственной линии», что вовсе не требуется, так как имя Борха в дипломе достаточно оправдано поведением его жены, о котором сообщает заметка Лонгинова, открытая П. Е. Рейнботом, да и к какой-либо связи с в. кн. Михаилом не приводит).

Письмо считалось по традиции адресованным Бенкендорфу. Б. В. Казанский высказал мнение, что Пушкин мог адресовать его и к Нессельроде, поскольку и сам числился по министерству иностранных дел и поскольку Геккерн был посланником. П. Е. Щеголев решительно отнес его к Нессельроде и пришел к убеждению, что Нессельроде не дал ему хода. С обнаружением гоф-фурьерской записи адресование этого письма Бенкендорфу является бесспорным.

Наконец П. Е. Щеголев делает попытку разобраться в обвинениях, направленных против кн. И. С. Гагарина и кн. П. А. Долгорукова еще современниками Пушкина, и не находит улик. Зато воодушевляясь надеждами Соллогуба и Соболевского и попыткой III Отделения, он обратился к инспектору научно-техбюро ленинградского угрозыска А. А. Салькову с просьбой произвести графическое сличение почерка диплома с почерком Долгорукова, Гагарина, Дантеса и Геккерна. Сальков отождествил почерк диплома с почерком Долгорукова. По этому поводу приводится краткая родословная Долгорукова и пространная его биография (стр. 488—515). К книге приложен и протокол экспертизы А. А. Салькова (стр. 516—525) [167].

При всем доверии к этой экспертизе результат ее не может быть признан имеющим решающее значение; дело идет ведь о сличении не современных нам почерков, а отдаленных от нас 90-летней, а друг от друга 20—27-летней давностью. Притом же самый текст диплома написан условным шрифтом, а русский адрес написан, по отзыву современников, «лакейской» рукой.

В результате последнее издание этой капитальной работы Щеголева производит порою досадное впечатление. Превосходное изложение основного текста по существу оказывается зачеркнутым данными и выводами дополнительного отдела, о чем однако автор не предупреждает читателя, который убеждается в этом только под конец книги и притом не имеет возможности разобраться, в каких же моментах и в какой мере сохраняет значение основной текст. Между тем дополнительный отдел, загроможденный обширными экскурсами и изложенный с обычно несвойственной П. Е. Щеголеву недоделанностью и нечеткостью, что объясняется очевидно чрезвычайной спешкой, ограничивается только установлением толкования диплома как намека на связь Н. Н. Пушкиной с Николаем I, не делая из этого никаких выводов в отношении к драме Пушкина и даже не оговаривая этого. Между тем совершенно очевидно, что необходимо пересмотреть все данные заново с новой точки зрения и дать построение драмы Пушкина на основе иного понимания. Но это требовало большой, углубленной и кропотливой работы, а книга была уже набрана и сверстана.

Новое издание этой книги обнаружило чрезвычайно наглядно всю рискованность психологических соображений и толкований, которыми с таким мастерством оперировал П. Е. Щеголев. На протяжении немногих месяцев, в силу обнаружения новых фактов, ему пришлось в ряде случаев дважды и трижды менять свои объяснения и выводы на совершенно противоположные. Вместе с тем отчетливо обнаружились и результаты отсталости пушкинизма в отношении анализа источников, на которую уже указано в первом отделе.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Дневник Пушкина (под редакцией и с объяснительными примечаниями Б. Л. Модзалевского и со статьею П. Е. Щеголева). П., 1923, ГИЗ, XXVI + 275 стр.

[2] Дневник А. С. Пушкина («Труды Гос. Румянцевского Музея», вып. 1). М., 1923, Гиз, VIII + 578 стр., 8 факсимиле.

[3] Модзалевский, Б. Л., Неизданный Пушкин. Собрание А. Ф. Онегина. П., Гиз, 1923, стр. 225 сл.

[4] «Пушкин и его современники», вып. 36, 1923, стр. 29.

[5] «Звезда» 1930, кн. VII, стр. 227 сл.

[6] Виноградов, И. («Материалы Общества изучения Тверского края», 1925, кн. 3, стр. 17).

[7] Ашукин, Н. С. («Лит. газ.» от 7/VI 1929, № 7).

[8] Модзалевский, Л. Б. («Звенья», кн. I, 1932, стр. 50).

[9] Цявловский, М. А. («Голос минувшего» 1922, кн. II, стр. 122, сл.—«Рассказы о Пушкине, записанные П. И. Бартеневым», М., 1925, изд. Сабашниковых, 140 стр. сл.).

[10] Гроссман, Л. П., Устная новелла Пушкина. К спору о Пушкине и гр. Фикельмон («Этюды о Пушкине», М., 1923, стр. 77 сл. Собрание сочинений, I, М., 1928, стр. 80 сл.).

[11] Лернер, Н. О., Рассказы о Пушкине. Л., 1929, Гиз, стр. 125 сл.

[12] Эфрос, А. М. («Лит. газ.» от 15/VII 1930, № 29/66 и «Рисунки поэта», М., 1930, изд. «Федерация», стр. 7—64 и 262—361).

[13] Лернер, Н. О. («Книга и революция» 1921, 1/13, стр. 80 сл.; «Кр. газ.», веч. вып., 9/XII 1921; «Кр. газ.», веч. вып., 10/II 1927, № 38/1356; «Кр. нива» 7/IV 1929, № 15; «Кр. панорама» 29/III 1929, № 13, «Рассказы о Пушкине», стр. 123), ср. также Зильберштейн, И. С., Из бумаг Пушкина («Б-ка «Огонька» М., 1926, № 102).

[14] Лернер, Н. О. («Былое» 1924, № 21).

[15] Ук. соч., стр. 320.

[16] Щеголев, П. Е. («Огонек» от 13/II 1927, № 7/203).

[17] Цявловский, М. А. («Пушкин и его современники», вып. 38/39, Л., 1930, стр. 213 сл.).

[18] «Пушкин». Сб. памяти Венгерова. П., 1923, стр. 13 сл.

[19] Звенигородский, А. («Лит. газ.» от 27/V 1929, № 6).

[20] Бельчиков, Н. Ф. («Кр. архив» 1928, № 29/4, стр. 222 сл.), полнее—Цявловский, М. А. («Пушкин и его современники», вып. 38/39, 1930, 216 сл.).

[21] Модзалевский, Б. Л. («Декабристы и их время», I, Л., 1928, стр. 11—51).

[22] Оксман, Ю. Г. («Памяти П. Н. Сакулина», М., 1931, стр. 163, прим. 1).

[23] Там же, стр. 164, прим. 1.

[24] Гершензон, М. О., Статьи о Пушкине. Л., 1926, стр. 111 сл.

[25] Модзалевский, Б. Л. («Кр. газ.» от 11/II 1927, № 34—«Пушкин», 1929, стр. 82), полностью—Сиверс, А. А. («Пушкин и его современники», вып. 37, 1928, стр. 134 сл.).

[26] Вейнберг, А. Л. («Московский пушкинист», кн. II, 1930, стр. 55 сл.).

[27] Модзалевский, Б. Л., Пушкин. Л., 1923, стр. 84 сл.

[28] Измайлов, Н. В. («Памяти декабристов», кн. I, Л., 1926, изд. Академии Наук, стр. 1—99); ср. Г. Прохоров (Лит.-худ. сборник «Красной панорамы», 1929, февр.).

[29] Георгиевский, Г. П. («Декабристы», Л., 1926, стр. 18 сл.).

[30] Модзалевский, Б. Л. («Литературные портфели», кн. I, П., 1923, стр. 63 сл.).

[31] Гофман, М. Л. («Сборник Пушкинского дома на 1923 г.», стр. 78 сл.).

[32] Модзалевский, Б. Л. («Литературные портфели», I, П., 1923, стр. 70 сл.).

[33] Чернышев, В. («Изв. Гос. Русс. Географич. Общества», 60, 2, 1928, стр. 327 сл.).

[34] Нечкина, М. В. («Каторга и ссылка», 4/65, М., 1930, стр. 21).

[35] Там же, стр. 28.

[36] «Записки декабриста Н. И. Лорера», под ред. М. Н. Покровского, приготовила к печати и комментировала М. В. Нечкина. М., 1931, Соцэкгиз, 448 стр.

[37] Нечкина, М. В. («Каторга и ссылка», 4/65, М., 1930, стр. 8 сл.).
[38] Модзалевский, Б. Л., Пушкин. Л., 1929, стр. 346.
[39] Шилов, А. («Былое» 1918, № 2/30, стр. 67 сл.).
[40] Модзалевский, Б. Л., Пушкин. Л., 1929, стр. 348.
[41] Там же, стр. 93.
[42] Модзалевский, Б. Л. («Былое» 1918, № 1—«Пушкин в донесениях агентов тайного надзора 1826—1830», Л., 1918, «Пушкин под тайным надзором», СПБ., 1922, 3-е изд., Л., 1926, к—во «Атеней».
[43] Костомаров («Кр. архив», 37, 1929, стр. 237 сл.).
[44] Измайлов, Н. В. («Памяти декабристов», кн. I, Л., 1926, стр. 146 сл.).
[45] Цявловский, М. А. («Рассказы о Пушкине, записанные П. И. Бартеневым», М., 1925, изд. Сабашниковых, стр. 24—49).
[46] Гершензон, М. О., Статьи о Пушкине. Л., 1926, стр. 111 сл.
[47] Беляев, М. Д. («Пушкин и его современники», вып. 31/33, 1927, стр. 35—48).
[48] Фессалоницкий, С. А. («Материалы Общества изучения Тверского края». VI, 1927, стр. 20).
[49] Боровкова-Майкова, М. С. (Лит.-худ. сб. «Красной панорамы», 1929, ноябрь, стр. 47 сл.). Н. Лернер высказал предположение, что загадочные пять щепочек, которые Вяземский хранил в своем столе, были подобраны им во время прогулки в крепости на память о повешенных; см. «Каторга и ссылка» 1931, кн. 6, стр. 179.
[50] Козмин, Н. К. («Сборник Пушкинского дома на 1923 г.», П., 1922, стр. 33 сл.).
[51] Виноградов, А. К., Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928, стр. 18.
[52] Пиксанов, Н. К. («Современник» 1925, I, 127 сл.).
[53] Достоевский, А. А. («Пушкин и его современники», 37, 1928, стр. 145 сл.).
[54] Цявловский, М. А. («Звезда» 1930, № 7, стр. 231 сл.).
[55] Глинка, С. Ф. («Пушкин и его современники», вып. 31/32, Л., 1927, стр. 105 сл.).
[56] Модзалевский, Л. Б. («Звенья», кн. I, 1932, стр. 51, прим. 1).
[57] Цявловский, М. А. («Голос минувшего» 1917, № 11/12).
[58] Цявловский, М. А. («Пушкин и его современники», вып. 38/39, 1930, стр. 222 сл.).
[59] Пигарев, К. (там же, вып. 37, 1928, стр. 152 сл.).
[60] Модзалевский, Б. Л., Пушкин. Стр. 421 сл.
[61] Виноградов, А. К., Мериме в письмах Соболевскому. Стр. 32.
[62] Голицын, Н. В. («Московский пушкинист», кн. II, 1930, стр. 59 сл.).
[63] Цявловский, М. А. («Рассказы о Пушкине, записанные П. И. Бартеневым», стр. 540).
[64] Зиссерман, П. («Пушкин и его современники», вып. 38/39, 1930, стр. 176).
[65] Цявловский, М. А. (там же, стр. 225 сл.).
[66] Шимкевич, К. А. (там же, вып. 31/32, 1927, стр. 111 сл.).
[67] Цявловский, М. А. («Рассказы о Пушкине, записанные П. А. Бартеневым», стр. 29 сл.).
[68] Шимкевич, К. («Пушкин и его современники», вып. 29/30, 1918, стр. 34 сл.).
[69] Щеголев, П. Е. (изд. «Ленинград», 1924, № 11/27).
[70] Там же.
[71] Поливанов, И. («Искусство» 1923, № 1, стр. 323).
[72] Там же, стр. 321 сл.
[73] Бем, А. («Пушкин и его современники», вып. 29/30, 1918, стр. 33).
[74] Щеголев, П. Е. («Московский пушкинист», кн. II, стр. 184 сл.).
[75] Щеголев, П. Е. («Пушкин и его современники», вып. 38/39, 1930 стр. 252 сл.).
[76] Виноградов, А. К., Мериме в письмах Соболевскому. Стр. 47.
[77] Поливанов, И. («Искусство» 1923, № 1, стр. 315 сл.).
[78] Щеголев, П. Е., Дуэль и смерть Пушкина. 3-е изд., Л., 1928, Гиз, стр. 51 сл.).
[79] Там же, стр. 59.
[80] Щеголев, П. Е. (изд. «Ленинград», 1924, № 11/27.—«Моск. пушк.», II, стр. 184 сл.).
[81] Модзалевский, Л. Б. («Звенья», кн. I, 1932, стр. 55).
[82] Ашукин, Н. С. («Звенья», кн. II, М., 1932, стр. 235 сл.).
[83] Цявловский, М. А. («Рассказы о Пушкине, записанные Бартеневым», 1925, стр. 21 сл.).
[84] Кони, А. Ф. («Изв. Отд. русск. яз. и слов. Ак. Наук», 1917, III, «Пушкин, Достоевский», 1921, П., стр. 46 сл.).
[85] Шапошников, Б. В. («Искусство», IV, 1/2, 1928, стр. 153 сл.).
[86] Щеголев, П. Е. («Звезда» 1930, VII, стр. 233 сл.).
[87] Модзалевский, Б. Л. («Пушкин», 1928, стр. 351 сл.).

[88] Якушкин, Е. («Декабристы на поселении». Из Архива Якушкиных, под ред. С. Бахрушина и М. Цявловского, изд. Сабашниковых, М., 1926, стр. 142 сл.).
[89] Эттингер, П. («Московский пушкинист», кн. II, М., 1930, 241 сл.); ср. заметку Н. О. Лернера «Новое о Пушкине» («Кр. газ.», веч. вып., 18/XI 1928, № 318).
[90] Поляков, А. С., О смерти Пушкина. П., 1922, стр. 9.
[91] Там же, стр. 13 (2 факсимиле).
[92] Модзалевский, Б. Л., Пушкин. Стр. 374 сл.
[93] Щеголев, П. Е., Дуэль и смерть Пушкина. Стр. 106, прим. 1; Л. П. Гроссман («Кр. нива», кн. VII, № 24, стр. 11, 9/VI 1929).
[94] «Письма Пушкина к Хитрово», Л., 1920, стр. 200.
[95] Рейнбот, П. Е. (Щеголев. ДиСП³, стр. 448 и прим.).
[96] Цявловский, М. А. («Дуэль и смерть Пушкина. Новые материалы», 1927, стр. 87, 91 сл., 93 сл.).
[97] Протасьева, В. А. («Дела и дни», П., 1920, стр.).
[98] Щеголев, П. Е., Дуэль и смерть Пушкина. 3-е изд., Л., 1928, стр. 272—300 (в предыдущем издании только за время 27/I—7/II 1837 г.).
[99] Коншина, Е. Н. («Московский пушкинист», кн. I, 1930, стр. 33 сл.).
[100] Голицын (там же, стр. 24).
[101] Поляков, А. С., О смерти Пушкина. Л., 1922, стр. 17.
[102] В переводе этого письма фраза «te font dire bien des choses, elles s'interessent toutes les deux à nous et chaudement» неверно передана: «тебе расскажут о многом; оне обе горячо интересуются нами» вместо «просят передать тебе кучу [милых] вещей; оне обе принимают в нас участие, и горячее». А. Щеголев, доверившись этому переводу, дополняет «о многом [в этом темном деле]» и заключает отсюда о причастности графини Нессельроде к составлению оскорбительного диплома Пушкину (ДиСП³, стр. 464).
[103] Там же, стр. 53.
[104] «Новый мир» 1931, № 12, стр. 188 сл.
[105] Поляков, А. С., О смерти Пушкина. 1922, стр. 30 сл.
[106] Лернер, Н. О. («Кр. газ.», веч. вып., стр. 240, 1910).
[107] Саводник, В. Ф. («Московский пушкинист», кн. I, 1930, стр. 49 сл., 58 сл.).
[108] Цявловский, М. А. («Дуэль и смерть Пушкина. Новые материалы», 1924, стр. 111 сл.).
[109] Виноградов, А. К., Мериме в письмах к Соболевскому. Стр. 71.
[110] Прохоров, Г. («Кр. нива» от 12/II 1928 г., № 7).
[111] Цявловский, М. А. («Кр. архив», № 33, 1929, стр. 224 сл.).
[112] Вейнберг, А. Л. («Звенья», кн. I, 1930, 72 сл.).
[113] Там же, стр. 73.
[114] Цявловский, М. А. («Памяти П. Н. Сакулина», М., 1931, стр. 306 сл.).
[115] Там же, стр. 309 сл.
[116] Крестова, Л. («Московский пушкинист», кн. I, 1930, стр. 42).
[117] Афанасьев, Г. («Пушкин и его современники», вып. 31/32, 1927, стр. 119 сл.).
[118] Модзалевский, Л. Б. («Огонек» 1929, № 6/306).
[119] Шапошников, Б. В. («Искусство», кн. IV, 1/2, 1928, стр. 155 сл.).
[120] Афанасьев, Г. («Пушкин и его современники», вып. 31/32, 1927, стр. 122).
[121] Цявловский, М. А. («Кр. архив», № 33, 1929, стр. 227).
[122] Модзалевский, Л. Б. («Звенья», кн. I, 1932, стр. 55).
[123] Модзалевский, Б. Л. («Пушкин и его современники», вып. 28, 1917, стр. 112 сл.).
[124] Цявловский, М. А. («Дуэль и смерть Пушкина», 1924, стр. 97).
[125] Он же («Рассказы о Пушкине, записанные Бартеневым», стр. 62 сл.).
[126] Там же, стр. 38 сл.
[127] Гроссман, Л. П. («Кр. нива», кн. VII от 9/VI 1929 г., № 24, стр. 10 сл.).
[128] Бем, А. («Пушкинский сборник памяти Венгерова», 1923, стр. 198 сл.).
[129] Лернер, Н. О. («Кр. нива» 1928, № 38; «Рассказы о Пушкине», 1929, стр. 199 сл.).
[130] Шпицер, С. М. («Дуэль и смерть Пушкина. Новые материалы», 1924, стр. 127 сл.).
[131] Лернер, Н. О. («Кр. газ.», веч. вып. от 20/VII 1928 г., № 198).
[132] Цявловский, М. А. («Московский пушкинист», кн. I, стр. 27 сл.).
[133] Щеголев, П. Е. («Искусство» 1929, кн. III, стр. 39 сл.).
[134] Виноградов, А. В. (ук. соч., стр. 72).
[135] Бельчиков, Н. Ф. («Кр. архив» 1928, 29/4, стр. 222).
[136] Поливанов, И. («Искусство», кн. I, 326 сл.).
[137] Поляков, А. С., О смерти Пушкина. Л., 1922, стр. 36 сл.

138 Там же, стр. 47 сл.
139 Там же, стр. 46.
140 Там же, стр. 26 сл.
141 Там же, стр. 28 сл.
142 Щеголев, П. Е., ДиСП³. 1928, стр. 506 сл.
143 Модзалевский, Б. Л. («Дуэль и смерть Пушкина», 1924, стр. 20 сл.).
144 Барсуков, М. И. («Звенья», кн. I, М., 1932, 84 сл.).
145 Гольцев, В. («Московский пушкинист», кн. I. стр. 17).
146 «Огонек» 1928, № 24, стр. 4.
147 Щеголев, П. Е., ДиСП³, стр. 450.
148 Гроссман, Л. П., Вокруг Пушкина («Б-ка «Огонек», № 386). М., 1928, стр. 28 сл.
149 Щеголев, П. Е. (ук. соч., стр. 59, прим. 4).
150 Якушкин, Е. («Московский пушкинист», кн. II, 1932, стр. 267).
151 Сербский, Г. («Пушкин». Сб. Пушкин. Комиссии при Доме ученых, Од., 1925, стр. 49 сл.).
152 Поливанов, И. («Искусство» 1923, кн. I, стр. 313 сл.).
153 Нечаева, В. («Кр. архив», № 28, 1928, стр. 231 сл.).
154 Щеголев, П. Е., Пушкин и мужики. 1930, стр. 130.
155 Виноградов, А. К., Мериме в письмах к Соболевскому. Стр. 48.
156 Нечаева, В. («Московский пушкинист», II, 1930, стр. 106 сл.).
157 Щеголев, П. Е. («Кр. нива», кн. VII, № 24 от 9/VI 1929 г., стр. 7 сл.); ср. также Беляев, М. Д., Квартира, где умер Пушкин. Л., 1929, стр. 6.
158 Модзалевский, Л. Б. («Звенья», кн. II, стр. 241 сл.).
159 Поливанов, И. («Искусство», кн. I, стр. 326 сл.).
160 Щеголев, П. Е. («Кр. нива», кн. VII, № 24 от 9/VI 1929, стр. 8 сл.).
161 Щеголев, П. Е., Пушкин и мужики. М., 1930.
162 Щеголев, П. Е., Пушкин и мужики.
163 Оксман, Ю. Г. («Пушкин». Сб. Пушк. Комиссии Од. Дома Ученых, Од., 1925, I, стр. 7 сл.).
164 Нечаева, В. («Московский пушкинист», кн. I, 1927, стр. 68 сл.).
165 Шестериков, С. (Л., 1931, изд. «Academia»).
166 Эйхенбаум, Б. М. (Л., 1928, изд. «Academia»).
167 Чуковский, К. И. (Л., 1927, 2-е изд. 1927 г., 3-е изд. 1928, изд. «Academia»).
168 Иванов-Разумник, Р. В. (Л., 1928, изд. «Academia». XXXII+568 стр.).
169 Римский-Корсаков, А. Н. (Л., 1930, изд. «Academia»).
170 Верховский, Ю. Н. (Л., 1929, изд. «Academia»).
171 Казанский, Б. В. с участием Ю. А. Нелидова, Ю. Г. Оксмана, Н. С. Цемша (Л., 1930, изд. «Academia», 2 тт.).
172 Щеголев, П. Е. (Л., 1929, изд. «Федерация»).
173 Зильберштейн, И. С. (там же, стр. 31—122 и 387—416).
174 Римский-Корсаков, А. Н. («Записки Глинки», 1930, стр. 452 сл.).
175 Гинзбург, Л. Я. (Л., 1929, «Изд. писателей»).
176 Крестова, Л. В. (М., 1929, изд. «Федерация», 447 стр.).
177 Щеголев, П. Е. (Л., 1924, Гиз).
178 Сыроечковский, Б. (1925).
179 Штрайх, С. (М., 1925, изд. Общ. Политкаторжан, 318 стр.).
180 Штрайх, С. (М., 1928, изд. «Федерация», т. I—II).
181 «Книга воспоминаний о Пушкине» с примеч. А. А. Лапина и П. С. Шереметева, М., 1931, изд. «Мир», 383 стр.
182 Установление адресования этого письма Давыдову, подсказанное М. А. Цявловским, сделано М. Светловой («Московский пушкинист», кн. II, М, 1930, стр. 155).
183 М., 1924, 2-е изд., в том же году 3-е изд.
184 См. также Щеголев, П. Е., Пушкин и мужики. М., 1930, стр. 55 сл.
185 В. В. Вересаеву возражала М. Д. Боровкова-Майкова, считающая прототипом «княгини Нины» гр. Е. М. Завадовскую (см. «Звенья», вып. III—IV. М.-Л., 1934; там же ответ В. В. Вересаева, продолжающего отстаивать свою гипотезу).
186 Подтверждением этому может служить то обстоятельство, что упоминание об этом в печати было санкционировано министром двора по особому запросу Цензурного комитета в 1846 г. («Нов. мат. о дуэли и смерти», 1924, стр. 70 сл.).
187 Отзыв М. А. Цявловского «Николай I и дуэль Пушкина» («Кр. нива» 1928, № 7).

VII. ХРОНИКА

ПОДГОТОВКА К ПУШКИНСКОМУ ЮБИЛЕЮ 1937 г.

ВСЕСОЮЗНЫЙ ПУШКИНСКИЙ КОМИТЕТ

27 августа 1934 г. под председательством тов. А. Г. Червякова состоялось очередное заседание Президиума ЦИК Союза ССР.

В связи с исполняющимся в 1937 г. столетием со дня смерти великого русского поэта, создателя русского литературного языка и родоначальника новой русской литературы А. С. Пушкина, Президиум ЦИК Союза ССР постановил учредить Всесоюзный пушкинский комитет под председательством А. М. Горького. В состав комитета вошли тт. Ворошилов К. Е., Куйбышев В. В., Жданов А. А., Енукидзе А. С., Стецкий А. И., Бубнов А. С., Затонский В. Г. и ряд других членов правительства, академиков, работников литературы, выдающихся писателей, поэтов и артистов Союза и национальных республик.

Пушкинскому комитету поручено разработать мероприятия по увековечению памяти великого поэта и содействовать широкой популяризации его творчества среди трудящихся Советского Союза. Разработанные комитетом предложения должны быть внесены на утверждение ЦИК Союза ССР.

ПУШКИНСКАЯ КОМИССИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Пушкинская комиссия Академии Наук СССР, реорганизованная 7 октября 1933 г., состоит из 23 действительных членов: М. П. Алексеева, Н. Ф. Бельчикова, Д. Д. Благого, С. М. Бонди, В. В. Вересаева, Г. О. Винокура, В. В. Гиппиуса, Л. П. Гроссмана, В. М. Жирмунского, Т. Г. Зенгер, Н. К. Козмина, А. И. Малеина, Л. Б. Модзалевского, Ю. Г. Оксмана, А. С. Орлова, Н. К. Пиксанова, М. Н. Розанова, А. Л. Слонимского, Б. В. Томашевского, Ю. Н. Тынянова, М. А. Цявловского, А. М. Эфроса, Д. П. Якубовича. Председателем комиссии является акад. А. С. Орлов, заместителем председателя Ю. Г. Оксман, ученым секретарем Д. П. Якубович. Во главе московского филиала комиссии стоит бюро в составе акад. М. Н. Розанова, М. А. Цявловского и Н. Ф. Бельчикова.

В комиссии сосредоточивается работа над академическим изданием собраний сочинений Пушкина, факсимильным изданием пушкинских рукописей, научным описанием пушкинских рукописей, составлением пушкинской библиографии за сто лет.

Кроме того комиссия организует систематические открытые научные заседания, посвященные обсуждению новейших исследовательских работ по Пушкину и его современникам. В течение 1934 г. было проведено 20 таких заседаний в Ленинграде и 3 в Москве. Были зачитаны следующие доклады: Д. П. Якубович — Пушкин в библиотеке Вольтера; Б. П. Городецкий—Письмо Пушкина к неизвестному 1836 г.; А. Н. Глумов— Пушкин и музыканты-дилетанты; Б. В. Томашевский — Тетрадь Всеволожского; Д. П. Якубович—«Дневник» Пушкина; Ю. Г. Оксман — Политическая и литературная позиция Катенина и его неизданные воспоминания о Пушкине; Ю. Н. Тынянов—Пушкин и Кюхельбекер; Н. О. Лернер — Что такое записки Оммер де-Эль; Г. А. Гуковский—Из материалов к «Рославлеву»; В. В. Гиппиус — Лирика Баратынского; Н. Г. Свирин — Пушкин и колониальная политика царизма; М. П. Алексеев — «Моцарт и Сальери»; М. К. Азадовский — Пушкин и братья Гримм; Л. Б. Модзалевский — Новое о библиотеке Пушкина; А. Л. Слонимский—Комедийные отрывки Пушкина; Д. П. Якубович — Комментарий к «Она меня зовет»; Л. Я. Гинзбург — Пушкин и Бенедиктов; Д. П. Якубович — «От этих знатных господ»; В. А. Мануйлов— Историческая концепция «Полтавы»; Б. В. Томашевский — «Каменный гость»; Т. Г. Зенгер — Пушкин и Собанская; Д. Д. Благой—Проблема биографии Пушкина. Некоторые из прочитанных на этих заседаниях докладов сделаны по работам, печатающимся в настоящем сборнике.

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ ПУШКИНА

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ ПУШКИНА

В 1935 году выходят в свет первые томы юбилейного академического издания собрания сочинений Пушкина, возглавляемого редакционным комитетом под председательством акад. В. П. Волгина (ответственный редактор), в составе членов: акад. А. С. Орлова, Ю. Г. Оксмана, Б. В. Томашевского, М. А. Цявловского и Д. П. Якубовича.

В издание входят все произведения Пушкина как законченные, так и не законченные, а также его переписка и все тексты, написанные его рукою; в приложении к изданию дается альбом рисунков Пушкина. Издание рассчитано на 18 томов и один дополнительный том рисунков.

Произведения и писания Пушкина разбиваются в новом издании на большие жанровые группы, внутри которых они располагаются в хронологическом порядке: лирика, включая лицейскую, поэмы, «Евгений Онегин», драмы, художественная проза, История Пугачева, критика, публицистика и история, автобиография, записи, документы, переписка.

Названные группы распределяются по томам следующим образом:

т. I. Лицейские стихи. Ред. М. А. Цявловский;
т. II. Стихотворения 1815—1826 гг. Ред. М. А. Цявловский;
т. III. Стихотворения 1827—1836 гг. Ред. М. А. Цявловский;
т. IV. Поэмы 1820—1824 гг. Ред. С. М. Бонди;
т. V. Поэмы 1825—1833 гг. Ред. Ю. Н. Тынянов;
т. VI. «Евгений Онегин». Ред. Б. В. Томашевский;
т. VII. Драмы и драматические отрывки. Ред. Д. П. Якубович;
т. VIII. Художественная проза (повести). Ред. Ю. Г. Оксман;
т. IX. История Пугачева. Ред. Ю. Г. Оксман;
т. X. Журнальные статьи. Ред. Ю. Г. Оксман;
т. XI. Критические и исторические заметки. Ред. Д. П. Якубович;
т. XII. Критические и исторические заметки. Ред. С. М. Бонди;
т. XIII. Автобиографический материал. Ред. Ю. Н. Тынянов и М. А. Цявловский;
т. XIV. Переписка, т. I. Ред. Д. Д. Благой;
т. XV. Переписка, т. II. Ред. Н. К. Козмин и Д. П. Якубович;
т. XVI. Переписка, т. III. Ред. Л. Б. Модзалевский;
т. XVII. Переписка, т. IV. Ред. М. А. Цявловский;
т. XVIII. Указатели.

В основном тексте издания будут помещены все имеющие самостоятельный характер произведения и писания Пушкина; все тексты печатаются по новой орфографии, но с соблюдением всех особенностей фонетики Пушкина, которые регулируются особой инструкцией, утвержденной редакционным комитетом. Неотделанные и черновые основные тексты печатаются в редакторских сводках с воспроизведением лишь тех из зачеркнутых слов, без которых текст не дает связного чтения. Произведения, не озаглавленные Пушкиным, печатаются или без заглавий (черновые наброски), или по первым словам текста, или, наконец, в редких случаях, под редакторскими заглавиями. Никаких примечаний редактора или переводов к иностранным текстам в сносках к тексту не дается. Внутри года произведения располагаются в хронологическом порядке их написания; в конце года помещаются обрывочные строки, мелочи, экспромты, не имеющие первостепенного поэтического значения; в конце тома (или объединенной серии томов) помещаются произведения, датируемые в пределах нескольких годов, а также не имеющие датировки и произведения, приписываемые Пушкину и писанные им совместно с другими авторами (коллективные). После основного текста в каждом томе помещается отдел «другие редакции и варианты»; в него входят печатные, беловые или черновые редакции произведений и их частей, значительно отличающиеся от основных редакций, помещенных в основном тексте, планы этих произведений, по возможности варианты черновых рукописей и зачеркнутые варианты беловых рукописей, которые печатаются под строкой.

Комментарий будет состоять из примечаний: текстологических, историко-литературных, реальных, а кроме того из вступительных статей и библиографических справок; в конце каждого тома предполагаются три указателя: алфавитный указатель произведений Пушкина, упоминаемых в данном томе, алфавитный указатель собственных имен и указатель рукописей, упоминаемых в примечаниях В последнем томе будут помещены расширенные указатели ко всем томам.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ПУШКИНА В ИЗДАНИИ ГОСЛИТИЗДАТА

Гослитиздат заканчивает полное собрание сочинений Пушкина в шести томах. Издание является перепечаткой гихловского издания 1931 — 1934 гг. под ред. Демьяна Бедного, А. В. Луначарского, П. Н. Сакулина, В. И. Соловьева, М. А. Цявловского и П. Е. Щеголева. Формат издания будет несколько меньше. Опущены вступительные статьи, предпосланные в издании 1931 — 1934 гг. по каждому отдельному тому, за исключением статьи А. В. Луначарского.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ПУШКИНА В ИЗДАНИИ «ACADEMIA»

В издании «Academia» печатается полное собрание сочинений Пушкина в девяти томах с комментариями. Издание будет малого формата, на тонкой бумаге. Все девять томов выйдут одновременно.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПУШКИНА

В период 1933—1936 гг. издательством «Academia» будет выпущен ряд художественных изданий произведений Пушкина по типу уже вышедшего в свет издания «Евгения Онегина» с рисунками и в оформлении художника Н. В. Кузьмина. В первую очередь намечено издание «Сказок» Пушкина под редакцией и с комментарием М. К. Азадовского, в оформлении палехских художников: Н. И. Голикова, И. М. Баканова, И. И. Зубкова, Д. Н. Буторина, И. П. Вакурова. Затем—издание «маленьких трагедий» под редакцией Я. З. Черняка, с иллюстрациями и в оформлении В. А. Фаворского и двухтомное издание повестей с гравюрами Н. И. Пискарева. В дальнейшем предполагается издание тома лирики и «Медного всадника».

Гослитиздат выпускает художественное издание «Евгения Онегина» с вступительной статьей и примечаниями И. В. Сергиевского, с рисунками художника Д. Н. Кардовского.

ТРЕТИЙ ТОМ ПИСЕМ ПУШКИНА

Принятый к печати издательством «Academia» III том «Писем Пушкина» под ред. Л. Б. Модзалевского является непосредственным продолжением предыдущих двух томов, вышедших в 1926 и 1928 гг. под редакцией Б. Л. Модзалевского в издании Госиздата. В III том вошли письма за три года жизни Пушкина—с 1 января 1831 г. по первую половину декабря 1833 г. Писем за эти годы, годы начала семейной жизни Пушкина, дошло до нас в беловиках и черновиках—169 (№№ 392—560) и черновых к ним—10; по годам они распределяются так: за 1831 г., который Пушкин провел в Москве, в Петербурге, в Царском Селе, в Петербурге, в Москве и опять в Петербурге, имеется 91 письмо, т. е. больше половины всех находящихся в томе писем; за 1832 г. (из Петербурга и Москвы)—33 письма и за 1833 г. (из Петербурга, из поездки на Урал, Болдина и Петербурга)—45 писем. Кроме того в дополнение к I и II томам войдет три письма, появившихся уже после выхода в свет этих томов. Совершенно новых писем в III томе нет, но многие из них появляются здесь в исправленном и дополненном по автографам виде (напр. Д. П. Бантышу-Каменскому, А. Х. Бенкендорфу, А. Н. Гончарову, И. И. Дмитриеву, А. П. Ермолову, А. П. Керн, Кистеру, бар. М. А. Корфу, А. Н. Мордвинову, П. А. Плетневу, М. П. Погодину, Н. Н. Пушкиной и гр. Д. И. Хвостову. Из общего числа в 169 писем, вошедших в III том, выверено по автографам 143 письма, не считая вышеуказанных 10 черновиков; остались не проверенными по подлинникам по разным причинам 26 писем и 2 в дополнениях. Впервые включены в собрание писем Пушкина письма А. Д. Балышеву, кн. П. А. Вяземскому, И. В. Киреевскому, Н. М. Коншину, бар. Е. Ф. Розену, П. С. Санковскому, А. О. Смирновой, гр. Д. И. Хвостову, Е. М. Хитрово и гр. А. И. Чернышеву.

Что же касается датировки писем, то она вновь проверена Н. В. Измайловым и Л. Б. Модзалевским, после чего ряд писем получил новые уточненные датировки.

Комментарий для первых 42 писем выполнен покойным Б. Л. Модзалевским. Весь остальной комментарий написан Л. Б. Модзалевским при участии М. А. Цявловского (письма Пушкина к жене); характер комментария оставлен прежний—реальный. Внешность издания будет подобна предыдущим вышедшим двум томам.

«РУКОЮ ПУШКИНА»

В настоящее время печатается в издательстве «Academia» составленная М. А. Цявловским, Л. Б. Модзалевским и Т. Г. Зенгер книга «Рукою Пушкина. Неопубликованные и несобранные его тексты».

Составители так определяют задачу этой книги: «собрать воедино тексты, написанные Пушкиным, которые, не являясь «произведениями», плодом его творчества, не входят в полные собрания его сочинений».

«Признание того или иного писания произведением,—читаем в предисловии,— продуктом творчества, достойным в качестве такового включения в собрание сочинений, часто дело весьма условное. Поэтому если рассмотреть с этой точки зрения состав «полных собраний сочинений» Пушкина, окажется, что одна часть писаний Пушкина входит во все эти «собрания», другая часть—в одни «собрания» входит, в другие не входит, и, наконец, третья часть писаний ни в одно из «собраний» не входит.

Тексты последних двух категорий и явились предметом регистрации и изучения составителями настоящей книги.

Для выявления указанных писаний Пушкина были, страница за страницей, изучены все рукописи Пушкина. В результате этой большой, кропотливой работы было собрано значительное количество текстов, часть которых не только никогда не включалась в собрания сочинений, но и вообще не опубликовывалась».

Все эти тексты по происхождению своему делятся на две основные группы. Первую группу составляют тексты, находившиеся в личном архиве Пушкина, его писания интимного характера, для себя; вторую—тексты, находившиеся в архивах государственных учреждений и частных лиц, писания, по природе своей предназначавшиеся для других, писания, так сказать, публичного характера.

Тексты первой категории разбиты на одиннадцать групп.

Первый отдел составляют переводы и упражнения Пушкина при изучении иностранных языков. Лишь небольшая часть этих переводов и упражнений вошла в некоторые собрания сочинений Пушкина, а семь упражнений совсем не опубликовывались.

Поражает обилие языков, которых в той или иной степени касался Пушкин. Французский, старофранцузский, итальянский, испанский, английский, немецкий, древнегреческий, латинский, церковнославянский, древнерусский, сербский, польский, украинский, древнееврейский, арабский, татарский. Шестнадцать языков, не считая русского.

Второй отдел образуют документы, носящие следы правки Пушкина как редактора, например записки П. В. Нащокина и др.

В третий отдел входят фрагменты произведений в виде черновых набросков, не приурочиваемых к произведениям, известным в печати, черновые отрывки писем, беловые тексты которых неизвестны, заметки при чтении книг, среди которых особенно интересны впервые публикуемые заметки при чтении «Истории русского народа» Полевого, записи мыслей и т. п.

В четвертый отдел входят составленные Пушкиным проекты и планы изданий собственных произведений и томов «Современника», дающие картину работ Пушкина над композицией своих книг, начиная с лицейского проекта 1816 г. издания книжки стихотворений и кончая неосуществленным планом 30-х годов собрания сочинений в 8 или 9 томах.

Пятый отдел—списки собственных произведений, составлявшиеся Пушкиным по разным поводам для памяти.

Шестой отдел, самый большой по числу входящих в него номеров, составляют записи самого разнообразного содержания: интимные, «тайные письмена», по выражению Пушкина, пометы о событиях в жизни Пушкина, списки лиц, кому нужно написать письма, списки покупок вещей, адреса, рецепты, стихи народных песен с метрической схемой, тексты обложек рукописей произведений, подсчеты стихов и т. п. Из всех ста двух записей этого отдела тридцать одна запись печатается впервые.

В особый, седьмой, отдел выделены приходо-расходные записи, списки долгов и сметы расходов, представляющие собой исключительный по значению биографический материал, лишь частично изученный покойным П. Е. Щеголевым в его книге «Пушкин и мужики».

Восьмой отдел составляют надписи к рисункам и карта Приднепровья. Как известно, многочисленные рисунки Пушкина, испещряющие сотни страниц его рукописей, не имеют при себе текста. Исключение составляет небольшая серия печатаемых рисунков.

Девятый отдел текстов представляет собою записи народных сказок и песен, впервые полностью собранные.

В десятый отдел входят, во-первых, копии, сделанные Пушкиным с текстов стихотворений русских и иностранных

авторов. Копии эти, драгоценный материал для суждения о Пушкине как ценителе поэтических произведений, дополняют те высказывания поэта, какие мы находим на эту тему в его сочинениях и письмах.

Затем сюда же отнесены нами выписки из книг, журналов и газет, цитаты, неиспользованные эпиграфы и копии с документов. Записи эти, в большей своей части публикуемые впервые, красноречиво свидетельствуют о тех широких умственных интересах, какими жил поэт.

Заключает первую часть книги одиннадцатый отдел—надписи на книгах о принадлежности их Пушкину, о времени их покупки и т. п.

Вторая часть—писания Пушкина в государственных и частных архивах—заключает в себе также одиннадцать отделов.

Первый отдел составляют переводы одиннадцати русских народных песен на французский язык, сделанные Пушкиным в 1831 г. для Леве-Веймарса.

Во второй отдел входят записи в альбомы. Сюда относятся, во-первых, записи Пушкина прозаические («Донжуанский список» и другие), во-вторых, записи собственных его стихотворений, в-третьих, записи стихотворений других авторов.

В третий отдел выделены надписи Пушкина к рисункам, находящимся главным образом в альбоме Ушаковых.

Четвертый отдел составляют записи, сделанные Пушкиным на рукописях других лиц. Среди них исключительной значимости замечания Пушкина на полях письма кн. П. А. Вяземского к С. С. Уварову.

Пятый отдел составляют дарительные надписи Пушкина на книгах собственных сочинений и сочинений других авторов.

В шестой отдел входят шуточные «протоколы» празднований лицейских годовщин.

В седьмой—показания по делам о распространении стихов из элегии «Андрей Шенье» и «Гавриилиады».

Восьмой отдел заключает в себе деловые разного рода документы—прошения, доверенности, контракты и т. п., характеризующие главным образом материальный быт Пушкина.

В девятом отделе собраны векселя и денежные обязательства, которые многократно вынужден был выдавать всегда нуждавшийся в деньгах Пушкин.

В десятый отдел вошли черновики писем, составленные Пушкиным для Н. Н. Раевского, К. Шишковой и неизвестного.

Наконец одиннадцатый отдел заключает в себе официальные документы, относящиеся к службе Пушкина в качестве чиновника Коллегии иностранных дел.

Все печатаемые тексты (всего более пятисот номеров) воспроизводятся по подлинникам.

К книге приложено 52 снимка с рукописей и рисунков Пушкина, из которых многие печатаются впервые.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ ПУШКИНА

В 1935 г. в издании Академии Наук СССР выйдет научное описание всех рукописей Пушкина, хранящихся в Пушкинском доме Академии Наук СССР. Описание приготовлено к печати Л. Б. Модзалевским и Б. В. Томашевским. Оно явится вторым томом серии описаний пушкинских рукописей. Следующим томом выйдет выпуск, посвященный описанию автографов поэта, хранящихся в Библиотеке СССР им. В. И. Ленина в Москве (за исключением черновых тетрадей Пушкина). Этот выпуск редактируется Г. П. Георгиевским и Ю. Г. Оксманом.

ФАКСИМИЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ РУКОПИСЕЙ ПУШКИНА

Мысль о факсимильном воспроизведении всех рукописей Пушкина давно зародилась среди пушкинистов. Еще в 1901 г. А. де Бионкур под ред. А. Л. Бельского издал фототипически рукописи «Русалки» и «Скупого рыцаря». Затем через десять лет кн. Олег Константинович задумал издать факсимильно все рукописи Пушкина. Для осуществления этого издания им были привлечены В. И. Саитов, П. Е. Щеголев и Н. К. Кульман. Предприятие это ограничилось выпуском лишь автографов поэта, хранившихся в то время в Пушкинском музее Александровского лицея.

П. Е. Щеголев долго носился с мыслью продолжать это издание и только при энергичном участии А. В. Луначарского удалось ему положить начало новой серии факсимильных воспроизведений рукописей Пушкина.

В настоящее время печатается в издательстве «Academia» 1-й выпуск издания «Рукописи Пушкина». Этот выпуск заключает в себе воспроизведение в натуральную величину пушкинского альбома без переплета (в 36 листов), хранящегося в Рукописном отделении Библиотеки СССР им. Ленина (№ 2374).

В этот альбом входят писания поэта 1833—1834 гг.: черновые тексты «Медного всадника», «Анджело» и «Родословной моего героя», «Сказки о золотом пе-

тушке», стихотворений «Французских рифмачей суровый судия», «Он между нами жил», «Сват Иван, как пить мы станем», «В поле чистом серебрится», «Полководец», «Везувий зев открыл», «Чу, пушки грянули», «Царь увидел пред собою»; планы «Капитанской дочки», перевод из Вордсворта, из Одиссеи, заметка о русском дворянстве, расчет листов готовившегося издания собрания произведений и список художественной и критической прозы. На нескольких страницах имеются рисунки Пушкина.

Кроме фототипических снимков, оформленных в виде альбома, в издании даются полные транскрипции всех воспроизводимых текстов, сделанные С. М. Бонди и Т. Г. Зенгер. Альбом и транскрипции будут заключены в особую папку. В отдельный том входят статьи и комментарии, с предисловием ко всему изданию.

Первой статьей является статья «История рукописей Пушкина».

Она состоит из трех глав: I. Творческие рукописи (1815—1837). II. Судьба их (1837—1934). III. Рукописи, разошедшиеся по частным лицам и учреждениям при жизни Пушкина (1811—1934). Первая глава написана Т. Г. Зенгер, вторая и третья М. А. Цявловским.

Затем идет палеографическое описание альбома, сделанное Г. П. Георгиевским, и статья С. М. Бонди «История заполнения альбома без переплета» с диаграммами.

Комментарий к писаниям, имеющимся в альбоме, составлен: А. А. Ахматовой, Д. Д. Благим, С. М. Бонди, Н. К. Козминым, Л. Б. Модзалевским, Ю. Г. Оксманом, Б. В. Томашевским, М. А. Цявловским и Д. П. Якубовичем.

Второй выпуск фототипического издания составит альбом в 100 листов (№ 2371), главное место в котором занимают черновики «Полтавы».

АЛЬБОМ УШАКОВЫХ

В серии библиотеки журнала «Литературное Наследство» выпускается фототипическое *издание Альбома Ушаковых*.

Альбом Ушаковых — единственный в своем роде памятник альбомной старины пушкинской эпохи. Альбом этот заполнялся литературными знакомыми семейства Ушаковых в 1826—1830 гг., т. е. тогда, когда частым гостем там был и Пушкин. Подобных альбомов в семье Ушаковых было несколько. Сохранился же до нашего времени полностью только данный альбом. В нем около 150 страниц, сто из которых заполнены рисунками и записями Пушкина.

До недавнего времени альбом этот находился в частных руках, поэтому из него опубликовано всего несколько рисунков Пушкина. Среди ненапечатанных рисунков имеется целая серия автопортретов Пушкина, его карикатуры на друзей и литературных знакомых — *Вяземского, Льва Пушкина, Шаликова, Киселева* и др. Большая же часть рисунков посвящена членам семьи Ушаковых, в частности Елизавете и Екатерине, к которым поэт был неравнодушен.

В дополнение к альбому Ушаковых будет собран весь остальной документальный материал, относящийся к взаимоотношениям Пушкина к семье Ушаковых: факсимиле посланий Пушкина к Елизавете Ушаковой, его надписи на двух частях первого издания своих произведений и на «Полтаве», рисунок Пушкина, изображающий Наумова, мужа одной из Ушаковых, автопортрет Пушкина в альбоме Н. Д. Киселева и факсимиле восьми листков другого не сохранившегося до наших дней альбома Ушаковых.

НОВЫЕ КНИГИ О ПУШКИНЕ

Д. БЛАГОЙ. «ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ПУШКИНА»

Д. Благой работает для Литиздата над обширной биографией Пушкина в двух томах.

Его работа будет опытом синтетического труда о поэте, сочетающем в диалектическом единстве эпоху, жизнь и творчество Пушкина. Автором проработана вся печатная биографическая пушкиниана; кроме того им привлекается ряд новых архивных материалов, в частности все рукописи поэта. 1-я часть первого тома (20 печ. листов) выходит в 1935 г. Она охватывает период до ссылки поэта на юг и состоит из следующих основных разделов: 1. Род Пушкина. 2. Семья. 3. Детство. 4. Лицей. 5. Петербург до ссылки.

Вся работа должна быть выпущена к юбилею 1937 г.

Н. БОГОСЛОВСКИЙ. «ПУШКИН-КРИТИК»

Издательство «Academia» выпустило книгу Н. Богословского «Пушкин-критик», представляющую собою исчерпывающе полное собрание всех литературных, критических статей и заметок поэта, а также всех его высказываний по литературным вопросам, суждений об отдельных писателях и т. д., разбросанных в его историко-публицистических работах, в писаниях автобиографического характера и в письмах. Весь этот материал дан в хронологическом порядке и снабжен развернутым комментаторским аппаратом. В качестве приложения дается указатель литературных высказываний Пушкина в его художественных произведениях. Далее дается предметно-тематический указатель к настоящему сборнику, указатель названий произведений и указатель имен. Сборнику предпослана большая статья его составителя.

С. БОНДИ. «ИЗ ПУШКИНСКИХ ТЕТРАДЕЙ. ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ»

В Литиздате выходит книга С. Бонди «Из пушкинских тетрадей. Текстологические очерки», в которой собран ряд его статей, представляющих собою результат его работы по обследованию пушкинских рукописей. Книга открывается очерком общего порядка «О чтении рукописей Пушкина». Далее в сборнике помещены следующие этюды: «Неосуществленное послание к «Зеленой лампе»,«Стихи о бедном рыцаре»,«Путешествие из Петербурга в Москву», «Из последней тетради Пушкина».

КОММЕНТАРИИ К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ПУШКИНА

В выпускаемой Литиздатом серии «Комментарии к памятникам художественной литературы» намечено переиздание работы Н. Бродского и А. Сидорова, посвященной «Евгению Онегину». В той же серии сдана в производство работа тех же авторов о «Капитанской дочке». Задачу этой книги авторы усматривают в том, чтобы показать читателю всю злободневность пушкинского романа для той эпохи, в которую он создавался, показать, как под защитной маской исторического жанра Пушкин ставил и разрешал самые существенные, самые острые социально-исторические проблемы, волновавшие дворянскую общественность 30-х годов. Предполагается также издание специального выпуска этой серии, посвященного пушкинской лирике.

СПРАВОЧНО-ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ПО ПУШКИНУ

НОВЫЕ РАБОТЫ ПО ПУШКИНСКОЙ БИБЛИОГРАФИИ

Пушкинской комиссией Академии Наук СССР подготовляется к печати библиография пушкинианы, которая выйдет в трех книгах. Первая из них охватывает пушкиниану с 1887 по 1899 г. и является непосредственным продолжением известной библиографической работы В. И. Межова, изданной в 1886 г. и включающей в себя публикации за время с 1815 по 1886 г. Работа над первой книгой поручена П. Н. Беркову и В. М. Лаврову.

Вторая книга охватывает пушкиниану за период с 1911 по 1917 г. и является продолжением «Пушкинианы 1900—1910 гг.», составленной А. Г. Фоминым. Над этой второй книгой работает А. Г. Фомин.

Третья книга содержит пушкиниану за период 1918—1934 гг. («Советская пушкиниана»). Она составляется: Л. М. Добровольским, Н. И. Мордовченко и Н. В. Цейц, при учете материалов, собранных покойным Л. С. Гинзбургом. К участию в «Советской пушкиниане» привлечены специалисты литературоведы и библиографы Украинской ССР (В. М. Базилевич), Белорусской ССР (проф. И. И. Замотин) и других союзных республик. Сроки сдачи книг в производство—конец 1935 г.

СЛОВАРЬ ЯЗЫКА ПУШКИНА

Мысль о таком словаре возникла еще в конце прошлого века в связи со столетием со дня рождения поэта. Теперь мы подходим к столетию со дня его смерти, а пушкинского словаря у нас все еще нет. Период, равный сроку жизни поэта,

оказался слишком кратким для осуществления этого предприятия. В планах и попытках недостатка не было (см. мою заметку в «Пушкинском сборнике памяти проф. С. А. Венгерова», Ленгиз, 1922. Позже писал о пушкинском словаре Б. В. Томашевский в книжке «Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения», Л., 1925, стр. 84—87); одна из этих попыток—работа пушкинских семинариев С. А. Венгерова, начатая в 1910 г.,—была даже доведена приблизительно до половины, но оборвалась со смертью руководителя (1920 г.) и передачей его картотеки в Ленинградский Институт книговедения. В связи с приближающимся юбилеем вопрос о пушкинском словаре вновь стал на очередь, и теперь он может быть разрешен на базе пушкинского текста, значительно более исправного, чем 20 лет назад.

В октябре 1933 г. под председательством М. А. Цявловского состоялось совещание инициативной группы пушкиноведов и лингвистов в составе С. И. Бернштейна, С. М. Бонди, В. В. Виноградова и Г. О. Винокура. На этом совещании были установлены основные принципы работы по составлению пушкинского словаря. В общих чертах они сводятся к следующему.

Методологические соображения вынуждают признать, что словари к отдельным произведениям и небольшим группам произведений, объединенных с точки зрения жанра, стиля и хронологии, представляют во всяком случае не менее значительный интерес, чем общий словарь языка Пушкина. Вместе с тем составление таких отдельных словарей осуществимо легче и быстрее, чем составление общего словаря, который может быть создан впоследствии путем слияния отдельных словарей. Поэтому целесообразнее всего начать работу именно с них. В виду того, что лексика стихотворных и прозаических произведений различна и должна изучаться во взаимном сопоставлении, общий словарь должен быть разделен на две части: словарь стихотворного и словарь прозаического языка. Словарь к каждому произведению представляет собой алфавитный перечень всех употребленных в данном произведении слов в их начальных формах, с приведением всех встречающихся в тексте грамматических форм, с обозначением ударения каждой формы (в стихотворных произведениях), с указанием слов, рифмующихся с данным словом в различных его формах, с характеристикой значения слов, употребляемых в разных значениях, с классификацией значений, с текстовыми примерами употребления слова в каждом значении и с исчерпывающим перечислением всех мест произведения, где встречается данное слово. В первую очередь намечена лексикографическая обработка поэм. В качестве материала для словарей будет использован имеющийся в распоряжении группы словоуказатель к «Кавказскому пленнику», составленный венгеровскими семинариями, и словарные карточки к «Братьям разбойникам» и «Полтаве», составленные в последние годы под руководством М. А. Цявловского. Одновременно с составлением словарей к поэмам ведется словарная работа над пушкинской прозой. Словарь к «Пиковой даме», составляемый под руководством Г. О. Винокура, уже заканчивается.

Применявшийся до сих пор метод работы над подобными словарями (занесение на особую карточку каждого слова в каждом случае его применения с соответствующим контекстом) требовал многократной переписки обрабатываемого произведения: каждая фраза (или стих) переписывалась столько раз, сколько в ней содержится слов. В дальнейшей работе над пушкинским словарем будет применен более рациональный метод, придуманный И. А. Бодуэном-де-Куртенэ для словаря старопольского языка (изложен в статье J. Łoś'a «O przyszłym Słowniku staropolskim» в журнале «Rocznik Slawistyczny», т. VIII, 1918 г.), освобождающий от многократной переписки и сводящий механическую работу к минимуму. Благодаря применению этого метода, разбивке словаря на ряд небольших частей, отказу от словарной обработки вариантов и черновиков и использованию готовых словоуказателей к нескольким произведениям, работа утрачивает пугающие контуры Левиафана и становится осуществимой при ограниченном числе сотрудников. Составление словарей ко всем поэмам потребует не более двух лет.

Идея пушкинского словаря, не раз возникавшая на протяжении 35 лет, теперь возродилась на более прочной базе—технической и текстовой. Но издательская база для этой работы пока еще не создана. Инициативная группа не сомневается однако, что то или иное издательство возьмет на себя реализацию этого исключительно важного для истории русской литературы и русского литературного языка научного предприятия и что столетие со дня смерти Пушкина мы встретим не только новыми изданиями его сочинений, но и первыми выпусками словаря пушкинского языка.

МЕТРИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК К СТИХОТВОРЕНИЯМ ПУШКИНА

Стихосложение Пушкина до сих пор изучено чрезвычайно слабо. Более или менее полно обследована только одна часть просодии Пушкина (главным образом в трудах Б. В. Томашевского), а именно—четырех- и пятистопный ямб. Все остальное представляет почти необработанное поле.

Выпущенный издательством «Academia» «Метрический справочник», составленный Н. В. Лапшиной, И. К. Романовичем и Б. И. Ярхо, ставит себе целью: а) дать общую характеристику пушкинского стихосложения; б) указать пропорциональные взаимоотношения между различными формами в творчестве поэта, исходя из того положения, что характер комплекса определяется не столько составом, сколько пропорциями; в) наметить основные линии эволюции метрических форм во время творческой жизни поэта.

Книжка должна явиться исходным пунктом для более детального и обширного изучения пушкинской метрики.

Но главною задачей авторов было создание исходного пункта для сравнительного изучения русской метрики вообще.

Только тогда, когда за этой работой последуют аналогичные исследования стихосложения других поэтов, можно будет составить себе представление об эволюции русского стиха.

В основу положено издание «Красной нивы» (1930) как наиболее полное. После исключения сомнительных произведений и совершенно разрушенных фрагментов получился материал в 39 589 стихов.

Эти стихи обследованы с разных точек зрения, в результате чего дается обзор: стихотворных систем, размеров, клаузул (каталектика), строф и метрической композиции стихотворений.

Несмотря на это, авторы не решились озаглавить книжку «Краткая метрика Пушкина» или «Обзор пушкинского стихосложения», а ограничились более скромным заголовком: «Метрический справочник».

Они считают, что для «метрики Пушкина» в книге многого недостает: а) нет эвфоники (учение о созвучиях), построение коей невозможно без словаря рифм; б) о просодии даны лишь самые общие сведения, и, в частности, совсем не затронута теория пауз (цезура, перехват и пр.); в) специальная метрика Пушкина должна была бы более подробно останавливаться на каждом отдельном стихотворении. Надо сказать, что последней задачей авторы сознательно пренебрегли, дабы за подробностями не исчезли основные черты. (Полная картотека с метрической паспортизацией каждого отдельного стихотворения давала авторам возможность входить в какие угодно детали; но трудно сказать, не уменьшился ли бы от такого крохоборчества удельный вес работы.)

Книжка делится на две основные части: I. Индексы. II. Статистический обзор.

Индексная часть состоит из: 1) алфавитного индекса, из коего читатель узнает год написания, число стихов, стихотворный размер и строфическую форму каждого стихотворения; 2) списка стихотворений по размерам; 3) строфического индекса (виды строф, в самом широком смысле этого слова, с указанием веса каждой строфы). Нумерованы стихотворения по алфавитному списку, что делает справочник применимым к любому изданию Пушкина.

Статистическая часть делится на: 1) синхронический и 2) диахронический обзор.

В первый входят: вес отдельных систем и размеров, распределение размеров по трем основным видам (поэмы, драмы, мелкие жанры), особая глава о вольных стихах, распределение мужских, женских и пр. клаузул, вес белых стихов, виды чередования рифм (строфа в широком смысле), длина стихотворений, строфическая структура (изострофизм, астрофизм и т. д.), список строф в равнострофических стихотворениях (строфы в узком смысле) и мн. др.

Диахронический обзор исследует эволюцию отдельных форм и сводит эту эволюцию по периодам. Наиболее любопытный результат этой части работы состоит в том, что периоды эволюции стихосложения поразительно совпадают с главнейшими этапами жизни поэта: сильный перелом в 1825 г. резко делит метрическое творчество поэта на две половины; другие два поворотных пункта падают на 1816 (лицейский период) и на 1830 гг.

В особенности последняя дата знаменует почти катастрофический переворот, после коего метрическое мастерство поэта достигает апогея полноты и разносторонности. Любопытно, что вышеуказанные переломы крайне явственно бросаются в глаза и что установление их не требует никаких статистических ухищрений (выравнивания кривых, интерполяций и т. п.).

В приложении даны: 1) основные сведения о ритмике Пушкина и 2) обзор литературы.

Первое из этих приложений содержит главным образом цифровые выборки из наиболее надежных напечатанных исследований (Томашевского, Шенгели и др.); новой здесь является только систематизация пушкинских дольников (тонич. стихов), сделанная И. К. Романовичем.

В обзоре литературы авторы стремились к максимальной краткости и к выделению положительных результатов предыдущих исследований, тщательно избегая всякой полемики и дешевого критиканства, ибо они с благодарностью помнят, что ошибки предшественников были для них столь же поучительны, как и позитивные достижения.

И свою работу они, как сказано, считают только первым шагом при разрешении тех общих и специально пушкиноведческих задач, которые упомянуты в начале этой заметки.

Эта книжка является скорее приглашением всех желающих принять участие в аналогичном обследовании как других сторон творчества Пушкина (стиль, поэтика, композиция), так и метрики других русских поэтов.

ПУШКИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЛИТЕРАТУРНОМ МУЗЕЕ

За небольшой период времени своего существования, в четырнадцать-пятнадцать месяцев, Государственному Литературному Музею в Москве благодаря энергии директора музея В. Д. Бонч-Бруевича удалось собрать ценную коллекцию автографов Пушкина.

После «Тетради Всеволожского», которой в настоящем сборнике посвящается специальное сообщение, самым значительным из пушкинских приобретений Государственного Литературного Музея является часть архива Пушкина, поступившая от внука поэта Григория Александровича Пушкина.

«Гвоздем» этого вообще замечательного собрания документов является собственноручно написанный Пушкиным от имени его соседки, помещицы Прасковьи Александровны Осиповой, «билет», ею подписанный, с приложением печати Пушкина. В этом «билете» удостоверяется, что двое «людей» Осиповой, Алексей Хохлов и Архип Курочкин, посланы ею в Петербург. «Ключом» для понимания смысла документа является его дата— 29 ноября 1825 г. «Билет» написан Пушкиным вскоре после получения им известия о смерти в Таганроге императора Александра I. Он скончался в одиннадцатом часу утра 19 ноября 1825 г. Сейчас же после смерти его из Таганрога выехали с извещением об этом два фельдъегеря— один в Варшаву к в. к. Константину Павловичу, другой в Петербург к в. к. Николаю Павловичу. Первый фельдъегерь приехал в Варшаву в седьмом часу вечера 25 ноября, второй прибыл в Петербург в двенадцатом часу дня 27 ноября. От этих фельдъегерей по пути их следования и узнавали неофициально о смерти Александра. Таким образом до Пушкина весть о смерти царя легко могла дойти 29 ноября. Получив это важное известие, поэт решил нелегально ехать в Петербург. Об этом смелом решении и свидетельствует текст «билета», где под именем Алексея Хохлова скрывается сам Пушкин. Приметы этого «Хохлова», прописанные в «билете»,—«росту 2 арш. 4 вер., волосы темнорусые, глаза голубые, бороду бреет, лет 29»—чрезвычайно близки к «приметам» самого Пушкина. По свидетельству Л. С. Пушкина, рост поэта был два аршина и «с небольшим 5 вершков», а по указанию художника Чернецова «2 аршина 5 с половиной вершков». Годы себе Пушкин прибавил, очевидно считая, что на вид ему было больше, чем было в действительности. О спутнике Пушкина, Архипе Курочкине, мы не имеем никаких сведений. Можно только отметить, что эту фамилию носит в «Капитанской дочке» (гл. VIII) казак, паривший Пугачева, и в «Барышне-крестьянке» Акулина Петровна, которой в Москву писал Алексей Иванович Берестов.

План побега из Михайловского в качестве слуги для Пушкина был не нов. Незадолго до этого он замышлял уехать за границу в виде лакея своего приятеля, студента А. Н. Вульфа (см. М. Цявловский. «Тоска по чужбине у Пушкина».— «Голос минувшего» 1916, № 1, стр. 41—42). Теперь поэт решил отправиться дворовым своей соседки П. А. Осиповой.

Как известно, существуют рассказы современников поэта о том, как он в дни «междуцарствия» выехал из Михайловского в Петербург и как, напуганный «дурной приметой», перебежавшим дорогу зайцем, вернулся домой. Сохранившийся в архиве Пушкина «билет» документирует эту поездку. Вопрос теперь только в том, когда, почему и зачем Пушкин поехал в Петербург. Можно выдвинуть две гипотезы: или поэт по собственному почину, вне всякой связи с действиями декабристов, решил бежать

из места ссылки и самым приездом в Петербург поставить друзей перед совершившимся фактом, чтобы они затем выхлопотали ему легализацию его самовольного «освобождения», или Пушкин поехал, вызванный Пущиным для того, чтобы принять участие в предпринимаемых декабристами приготовлениях к государственному перевороту. Нам кажется, правдоподобнее будет принять первую версию, потому что при второй версии нужно предположить, что, написав «билет» 29 ноября, Пушкин раздумал ехать и воспользовался самодельным документом лишь числа 10 декабря, когда получил письмо от Пущина. К этому необходимо добавить, что предъявлять 13 декабря на петербургской заставе «билет», датированный две недели назад, едва ли было бы удобно.

Кроме «билета» в поступившей в Музей части архива Пушкина имеется автограф поэта—листок с записью 1834 г. об уплатах Опекунскому совету в погашение ссуды под залог крепостных душ. Запись эта—красноречивое свидетельство о том тяжелом материальном положении, в каком находился поэт в последние годы своей жизни, когда, кроме собственной семьи, на его плечах сидели и мать, и отец, и брат и когда муж сестры Н. И. Павлищев изводил Пушкина своими денежными претензиями.

Двадцать шесть писем управляющего Болдиным И. М. Пеньковского и четырнадцать бурмистра М. И. Калашникова к отцу поэта и к нему самому дают замечательную картину хозяйственной жизни имения Пушкина в 30-х годах. Письма управителей дополняются интересными деловыми документами—подворными описями болдинцев с указанием всего их жалкого инвентаря и скудных «запасов». Самыми выразительными из этих болдинских, «горюхинских» тож, документов являются «слезницы», прошения крестьян, адресованные поэту крестьянами, нещадно эксплоатируемыми П. М. Калашниковым, который близость дочери своей к Пушкину использовал в своих интересах сверх всякой меры.

Оказалось в бумагах Пушкина и письмо дочери Калашникова Ольги Михайловны, которая втпо выдана замуж, как теперь оказывается, за мелкого чиновника, дворянина, некоего Ключарева. В качестве дворянки Ольга Михайловна сделалась владелицей «душ». Чтобы не лишиться их, она и просит у Пушкина взаймы две тысячи рублей, необходимых ей для взноса в Опекунский совет. Таков прозаический эпилог одного из романов Пушкина.

На пяти письмах болдинских управителей Пушкиным сделаны короткие записи—опять денежные подсчеты. Пометы Пушкина—отзвук его будничных размышлений и денежных выкладок по поводу сообщений управляющих. Имение не дает требуемого дохода, и вот на письме Калашникова от 19 октября 1831 г. с неблестящей справкой о ближайших выплатах оброка, завершающейся словами «и кончится 3600 р.»—Пушкин на обороте выписывает «4000 р.» и начинает распределять сумму по нарисованным им квадратикам. 4000 рублей—доход, который С. Л. Пушкин хотел гарантировать Александру Сергеевичу, передавая ему в пожизненное владение часть Кистеневки,—эту цифру и выводит Пушкин, в противовес урезанной сумме дохода, составляемого Калашниковым.

Среди деловых бумаг оказалась рукопись первостепенного значения в творческом плане. Это—писарская копия донесения Паскевича Николаю о взятии Арзрума. В нескольких местах этого документа рукою Пушкина сделаны пометы, обратившие на себя внимание П. С. Попова, который занимается архивом Пушкина. Сличение текста четвертой главы «Путешествия в Арзрум» с текстом донесения Паскевича показало, что Пушкин в своем сочинении использовал этот документ, приведя из него целые фразы о движении войск. Желая быть точным в описании того, чего он не был сам свидетель, Пушкин излагал это словами официального донесения.

Наконец два документа в архиве Пушкина относятся к его занятиям по истории Пугачева. Найдя в архиве два манифеста вождя восстания, поэт взял их себе, так как очевидно они ему показались любопытными. Относящиеся к деятельности Пугачева среди башкир манифесты написаны на русском и башкирском языках и имеют «подписи» Пугачева (как известно, не знавшего грамоты) и печати: на одном оттиск с портретом Петра III (как известно, ничего общего в лице не имевшего с Пугачевым), на другом—какого-то дворянского герба.

С первой печати и подписи Пушкиным были заказаны гравюры, которые и воспроизведены в «Истории Пугачевского бунта».

Если не ошибаемся, манифесты Пугачева с печатями очень редки—в Музее революции например нет ни одного такого документа. Таким образом манифесты в архиве Пушкина представляют интерес не только с точки зрения пушкиноведения.

Особую группу в архиве Пушкина составляют родовые бумаги XVIII и начала XIX в., относящиеся главным образом к деду поэта по отцу Льву Александро-

вичу Пушкину, крупному помещику, имевшему земельные владения в нескольких губерниях. По этим документам теперь мы можем достаточно полно представить себе картину «собирания», а затем распыления земель в роду Пушкиных.

Таков состав части архива Пушкина, поступившей в Музей.

Остальные пушкинские материалы, поступавшие из разных мест от многих лиц, естественно очень разнообразны по содержанию.

У одного московского собирателя оказался неопубликованный автограф Пушкина, представляющий собою выписки из примечаний к «Истории государства российского» Карамзина и библии, старых русских слов и выражений, встречающихся в «Слове о полку Игореве», над которым, как известно, Пушкин долго упорно работал и которое собирался издать с своим переводом и комментариями. В составе бумаг П. И. Бартенева приобретен автограф Пушкина — программа газеты «дневник».

Из эпистолярного наследия Пушкина в Музее имеются может быть самые волнующие автографы поэта—клочки разорванных черновиков его письма к Геккерену, имевшего своим последствием роковую дуэль. Из этих отдельных кусков полного текста двух редакций письма не получается. Б. В. Казанским проделана кропотливая работа по восстановлению текста утраченных листов, работа, увенчавшаяся успехом. Об этом рассказывается в интересной статье исследователя, напечатанной в третьей книжке «Звезды» за 1934 год. (Эта статья—экстракт из исследования, которое печатается в шестом сборнике «Звенья».)

Затем в Музей поступили восемь писем Пушкина к деду жены поэта А. Н. Гончарову, письмо (не полностью) к кн. П. А. Вяземскому от 28 марта 1820 г., письмо к Н. В. Гоголю от октября 1834 г. и записка к Н. В. Путяте. Все эти письма и записка опубликованы.

Из стихотворных текстов в Музее имеется беловой автограф стихотворения «Твоих признаний, жалоб нежных» и отрывок из «Домика в Коломне», старательно переписанный Натальей Николаевной и исправленный поэтом, надписавшим карандашом заглавие и поставившим свою подпись. Этот листок Пушкин послал Н. В. Киреевскому для помещения отрывка из поэмы в журнале «Европеец». В письме (от 4 января 1832 г.), в котором посылался отрывок, Пушкин писал: «Простите меня великодушно за то, что до сих пор не поблагодарил я вас за «Европейца» и не прислал вам смиренной дани моей. Виною тому проклятая рассеянность петербургской жизни и альманахи, которые совсем истощали мою казну, так что не осталось у меня и двустишия на черный день, кроме повести, которую сберег и из коей отрывок препровождаю в ваш журнал».

Как известно, «Европеец» был запрещен, и посланный отрывок из «Домика в Коломне» остался у Киреевского, из архива которого и поступил в Музей.

Из жанра альбомных записей в Музее имеется прекрасный экземпляр—запись в альбом певицы П. А. Бартеневой. Этот альбом был на Пушкинской выставке в Праге. Позднее он был приобретен Музеем у собственника альбома при посредстве нашего представительства в Праге.

Хранится в Музее три книги с надписями Пушкина. Две из них—дарительные. На экземпляре второй главы «Евгения Онегина» Пушкин написал своему товарищу по лицею А. Д. Илличевскому: «Другу Олесеньке от Француза». Алексея Илличевского в лицее прозвали «Олесенькой», а Пушкина «Французом». На этом «лицейском языке» Пушкин и сделал надпись. Другая надпись сделана на издании «Бориса Годунова» кн. Э. П. Мещерскому, тому самому, сведения о котором собраны в статье С. Н. Дурылина «Русские писатели у Гете в Веймаре» («Литературное Наследство», № 4—6). Третья надпись—помета о принадлежности книги Пушкину—имеется на атласе России 1745 года.

Из служебных документов в Музей поступило «клятвенное обещание», т. е. текст присяги, подписанный Пушкиным в 1832 г. при вторичном поступлении поэта на службу.

Кроме рисунка на отдельном листке, поступившем вместе с Тетрадью Всеволожского, имеется в Музее еще листок с рисунком Пушкина, изображающим нечто вроде дворянского герба, и листок с рисунком, изображающим Грибоедова.

Всего (вместе с Тетрадью Всеволожского) в Музее имеется уже девяносто страниц автографов Пушкина. В наше время, когда национализировано конечно не менее девяносто девяти процентов автографов Пушкина, «на рынке» их собственно нет, собрать такое их количество—большое культурное дело, с честью выполненное Музеем.

Из мемуарной литературы о Пушкине в Музее имеются воспоминания сестры поэта О. С. Павлищевой, до сих пор полностью неопубликованные, а также три неопубликованных отрывка из воспоминаний И. П. Липранди, входивших в те «заметки», которые он написал на статью П. И. Бартенева «Пушкин в южной России». Здесь же могут быть названы некоторые материалы из архива П. И. Бартенева, относящиеся к его работе над биографией поэта.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ИЗДАНИЯ ПУШКИНА ЗА ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ

Сообщение П. Эттингера

I. ИЛЛЮСТРАЦИИ СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Если тщательно собрать в одно целое все то, что в области пушкинских иллюстраций было создано в Советском Союзе за революционные годы, то в итоге окажется, что огромное большинство советских художников, как именитых, так и менее известных, в той или иной форме прикасались к творчеству поэта и кое-что прибавили к той длиннейшей цепи графических отображений его произведений, которая образовалась в продолжение более ста лет. С другой стороны, среди этой обильной жатвы не много наберется крупных и цельных изданий Пушкина с иллюстрациями высокого качества; наоборот, во многих случаях мы имеем дело лишь с отдельными рисунками и гравюрами, по той или другой причине не дождавшимися книжного оформления, а особенно большое место тут занимают непрезентабельные выпуски «Дешевой библиотеки классиков» Госиздата и некоторых других издательств.

Именно в этих дешевеньких книжках с малоудовлетворительными репродукциями, напечатанных в десятках и сотнях тысяч экземпляров и проникающих в самые широкие круги массового читателя, сосредоточено значительное количество хороших, а подчас и прекрасных иллюстраций известных художников. Тут фигурируют покойные Б. М. Кустодиев («Дубровский», «Руслан и Людмила») и Н. Н. Бартрам («Сказки»), Д. Н. Кардовский («Стихи и отрывки»), А. Н. Бенуа («Капитанская дочка»), А. А. Рыбников («Сказка о попе и работнике его Балде») и нек. др. Стильно и декоративно оформлено было покойным Н. Н. Куприяновым дешевое издание «Бориса Годунова», а особенно хочется выделить группу более молодых и талантливых ленинградских граверов по дереву, которые в лице В. М. Конашевича, С. М. Мочалова, М. Орловой и Н. К. Фон-дер-Флит объединились для иллюстрирования томика пушкинских «Сказок» (1930 г.) и с успехом выполнили свою задачу.

Ксилографам, идущим вообще во главе художественно оформленной советской книги, принадлежит и главная роль в пушкинских иллюстрациях революционного времени. Неиспользованные пока в издательстве отдельные гравюры были нарезаны П. Я. Павлиновым («Русалка»), которому принадлежит один из лучших гравированных посмертных портретов Пушкина и сцена его дуэли с Дантесом, опубликованная в свое время в виде открытого письма, А. И. Усачевым («Метель», «Белогорская крепость» и др.), Г. А. Тугановым («Барышня-крестьянка») и М. И. Поляковым. Гравюры А. Д. Гончарова к «Анчару» вышли в дешевой книжке Детиздата; у проживающего в Тифлисе Н. Н. Чернышева имеется четкая гравюра на дереве к «Выстрелу», а Н. А. Шевердяев еще не довел до конца начатую свою серию ксилографий к «Гавриилиаде», которая у нас, в отличие от Запада, вообще еще не выходила иллюстрированным изданием. Несколько красочных рисунков к «Гавриилиаде»—правда, для книги слишком откровенных—были исполнены еще В. П. Островым. С полной же сюитой своеобразных рисунков покойного Игн. И. Нивинского к «Пиру во время чумы» произошел совершенно невероятный случай—они затерялись в изд-ве «Молодая гвардия» и случайно, из целого десятка, уцелел лишь один отброшенный вариант эскиза, воспроизведенный в настоящем томе «Лит. Наследства». Упомяну еще об «Истории села Горюхина», любовно отпечатанной Н. В. Ильиным в 1928 г. в Нижнем-Новгороде и снабженной им эффектной силуэтной обложкой.

Переходя к более крупным изданиям отдельных сочинений Пушкина, выдержанным в типе любительской «красивой книги», хронологически надо начать с «Скупого рыцаря», который в 1922 г. был выпущен бывшим петроградским издательством «Аквилон» в иллюстрационном оформлении М. В. Добужинского. Настоящий мастер книги, всегда умеющий разнообразить свою фактуру, Добужинский и для драматического фрагмента Пушкина создал интересные рисунки, насыщенные гофицизмом эпохи романтиков. Очень изящны и не менее мастерски сделаные силуэтные иллюстрации художника к популярному изданию «Барышни-крестьянки». Вдобавок в настоящее время «Международная книга» выпускает миниатюрное издание «Станционного смотрителя» с иллюстрациями Добужинского, исполненными давно, но до сих пор не появлявшимися в печати.

Бывшему ленинградскому «Комитету популяризации художественных изданий», имевшему в свое время большие заслуги

в отношении художественной советской книги, мы обязаны двумя библиофильскими пушкинскими изданиями—«Медным всадником» и «Цыганами». Для последней поэмы были использованы неопубликованные до 1924 г. очерковые рисунки Фридриха-Людвига фон Майдель (1795—1846), одного из многочисленных балтийских художников эпохи Николая I, которым протежировал царский двор. Майдель был близок к В. А. Жуковскому, им иллюстрированы почти все его собственные и переводные поэтические произведения. Сухой, бескровный штрих майделевских рисунков, взятый от немецких назарейцев и популярного в то время немецкого иллюстратора Морица Ретч (Retzsch), нас теперь ни в какой мере не привлекает, но все же не лишним было извлечь из забвенья эти современные Пушкину иллюстрации к его «Цыганам» в исторически-критическом освещении покойных Б. Л. Модзалевского и П. Е. Щеголева.

Последний равным образом редактировал и комментировал текст роскошного, в большой лист, издания «Медного всадника» с иллюстрациями Александра Бенуа, выпущенного «Комитетом популяризации художественных изданий» в 1923 г. Как известно, данные рисунки были исполнены Бенуа еще в начале текущего столетия и впервые появились в 1904 г. в одном из выпусков дягилевского журнала «Мир Искусства». Для настоящего издания, где на каждой странице поверх стихов помещена большая иллюстрация, формат и количество рисунков были увеличены, что не пошло книге на пользу. Получилось местами расхолаживающее повторение иллюстрационных мотивов, и во всяком случае «Медный всадник» в более скромном оформлении «Мира Искусства», с меньшим числом рисунков и более подходящими их размерами производил более сильное впечатление.

Дальнейшие пушкинские иллюстрированные издания революционного времени уже совсем свободны от реминисценций прошлого. «Домик в Коломне» (1919), своего рода лебединая песнь издательской деятельности бывшего московского «Общества друзей книги», дал В. А. Фаворскому возможность приложить к Пушкину свое высокое мастерство книжного иллюстратора, оформителя и гравера. Создана на редкость цельная книжка, привлекающая какой-то тихой праздничностью и чарующая гениальными заметками художника, которые на полях сопровождают вводные строфы поэта, в то время как повествовательные эпизоды «Домика» отражены в отдельных гравюрах во всю страницу. Этот параллелизм иллюстраций как нельзя лучше идет к характеру юмористической поэмы Пушкина и разнообразит страницы издания, занимающего одинаково почетное место как в книжном творчестве В. А. Фаворского, так и в иллюстрированной пушкиниане.

Подобного параллелизма в известной степени придерживался и Н. В. Кузьмин в своих иллюстрациях к «Евгению Онегину», появление которого в издании «Academia» было событием текущего книжного сезона. Нет сомнения, что это одна из самых нарядных книг плодовитого издательства, а в смысле выбора бумаги, тщательности печати, великолепных гознаковских воспроизведений с цветных кузьминских акварелей и наконец изящного переплета перед нами одно из лучших достижений новейшего советского книжного производства. Окончательный ли это иллюстрированный «Онегин» нашей великой эпохи? Тот ли именно, которого мы так давно ждем и в котором должно кристаллизоваться отношение современного художника и нашего поколения к одному из краеугольных камней русской литературы? Удовлетворить все наши требования в данном направлении конечно чрезвычайно трудно, а конгениальная иллюстрация к выдающемуся литературному произведению вообще вещь редкостная. Недаром из всей блестящей плеяды русских графиков, которая появилась на пороге текущего столетия, никто не рискнул взяться за иллюстрирование «Онегина». С другой стороны, спора нет, что Кузьмин в издание «Academia» вложил массу труда, выдумки, изящной легкости и знания эпохи. Но вдохновившись росчерком пушкинских набросков пером и грифонажей, он отчасти злоупотребляет этой манерой, которая при огромном количестве рисунков—из них предпочтение следует отдать небольшим виньеткам—становится монотонной, утомляя к тому же однообразием мало индивидуализированных типов. Невольно возникает основной вопрос, законно ли художник все время заменяет облик героя романа портретом самого поэта? С этими оговорками все же в целом приветствуешь кузьминского «Онегина» как явление положительное, но одновременно не перестаешь мечтать о другом, графическом же оформлении «Онегина», более углубленном и сосредоточенном, более интенсивно отражающем дух и устремления нашего времени.

Последним аккордом в советско-графическом аккомпанименте к Пушкину за текущий год прозвучал «Граф Нулин» с иллюстрациями недавно скончавшегося ленинградского художника Н. В. Алексеева.

Отрадно закончить мой беглый обзор указанием на готовящийся ряд дальней-

ших пушкинских изданий, к иллюстрированию коих привлечены видные советские художники. В ГИХЛ'е в скором времени выйдут в свет «Египетские ночи» в любительском издании с гравюрами А. И. Кравченко, которого до сих пор недоставало среди иллюстраторов Пушкина. Очень небольшие по размерам гравюры его для этой книжки исполнены с той изумительной виртуозностью, которая составляет одну из отличительных черт данного мастера советской ксилографии и которая органически сплетена с романтическим уклоном его творчества. Другой недюжинный московский ксилограф Н. И. Пискарев в настоящее время работает над гравюрами к «Повестям Белкина» в издании, которое задумано изд-вом «Academia». Наконец группа советских иллюстраторов Пушкина неожиданно еще увеличилась мастерами палехских лаков, недавно еще стоявших вдали от искусства книги, а теперь в лице Ивана Голикова удачно дебютирующих и в этой новой области. Можно быть уверенным, что приведенными именами круг книжных художников-пушкинистов Советского Союза еще не завершен и что он в дальнейшем не перестанет расширяться.

II. ИЛЛЮСТРАЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ ХУДОЖНИКОВ

Произведения Пушкина, как известно, еще при жизни его стали переводиться на иностранные языки. Большинство этих переводов помещалось в сборниках и журналах, но и тогда уже попадаются отдельные издания, которые значительно участились в ближайшие десятилетия после смерти поэта. Достаточно вспомнить, что уже в 1826 г. в Париже появился французский перевод «Бахчисарайского фонтана», а в том же году немецкое издание поэмы в Петербурге, где еще в 1823 г. вышел немецкий перевод «Кавказского пленника». В 1840 г. в Лейпциге появилось двухтомное издание произведений Пушкина — в том числе и «Евгений Онегин»—в переводах Роберта Липперта, а через пятнадцать лет последовало трехтомное собрание, составленное Фридрихом Боденштедтом. В Англии первым отдельным изданием пушкинской прозы явился в 1859 г. перевод «Капитанской дочки».

Во множестве этих переводных пушкинских изданий, которые в продолжение всего прошлого столетия выходили в свет в разных странах, однако, за очень редкими исключениями, почти не встречается иллюстрированных. К таким исключениям принадлежат вышеупомянутое французское издание «Бахчисарайского фонтана», украшенное литографиями, и перевод «Капитанской дочки» 1853 г., исполненный Луи Виардо, мужем известной певицы, с иллюстрациями французского художника Альфреда Пари. Имеется еще указание на иллюстрированное итальянское издание «Кавказского пленника», будто бы вышедшее в Неаполе в 1834 г., хотя известный литературовед проф. Этторе Ло Гатто на наш запрос сообщил, что все известные ему итальянские переводы Пушкина лишены иллюстраций.

Данное положение продолжалось вплоть до окончания империалистической войны и не подверглось изменениям даже при том усиленном интересе к русской литературе, который уже в конце прошлого и начале текущего столетия сказался во всей Европе. Правда, этот интерес коснулся не столько русской поэзии, сколько великих мастеров русского романа. Во всяком случае мне известно лишь одно зарубежное иллюстрированное издание Пушкина довоенного времени, а именно чешский перевод «Евгения Онегина», исполненный В. А. Юнгом и выпущенный крупным пражским издательством Отто в тщательно отпечатанном и декоративно оформленном томе без указания года его выхода. К нему кроме заголовков на каждой странице приложен портрет Пушкина, рисованный чешским художником Виктором Стретти (Stretti), и девять иллюстраций О. Штафля (Stafl), по одной к каждой главе «Онегина». Об этих рисунках можно лишь сказать, что они соответствуют требованиям плоскостной книжной графики, но напрасно стали бы мы искать в них насыщенного настроения пушкинского шедевра и, вне ампирных костюмов эпохи, настоящей couleur locale. Что касается последней, то конечно вообще нельзя быть слишком требовательным, когда дело идет об иллюстрациях иностранного художника к произведениям русской литературы, а главный акцент тут должен лежать на экспрессии и адэкватной интенсивности, с которой графически воплощены образы автора. Именно этого в значительной мере недостает вялым композициям Штафля. Замечу кстати, что если данное пражское издание является вообще первым в длинной серии зарубежных иллюстраций к Пушкину за текущее столетие, то оно вместе с тем остается и единственным до сих пор опытом иностранного художника иллюстрировать «Евгения Онегина».

Все дальнейшие пушкинские иллюстрированные издания за границей, о которых уже можно говорить как о массовом явлении, возникали после войны и сосредоточивались главным образом в двух

странах—в первую очередь в Германии, а потом во Франции. Причины этого расцвета более и менее художественных переводных изданий русских авторов вообще, а в особенности Пушкина, многогранны и разносторонни.

Огромную роль тут прежде всего сыграл интерес к России и всему русскому, необычайно сильно возросший во всей Европе после победной русской революции. Прежний интерес к классической русской литературе удвоился, а немецкий книжный рынок после длительного военного затишья особенно интенсивно откликался на эти запросы. В Берлине, Мюнхене и Париже возникло несколько издательств, специализировавшихся на русских переводных изданиях и использовавших для их художественного оформления осевших за границей русских художников. Оживлению книжного дела в Германии еще значительно содействовала инфляция, когда при катастрофически падающей стоимости марки книга, а в особенности художественная, приобретала значение более устойчивой ценности, что вызвало целый поток библиофильских изданий, quasi-роскошных увражей и альбомов. В богатой Франции, к тому же классической стране иллюстрированной книги, весь этот процесс развивался не так бурно, менее интенсивно, а плоды его отличались бо̀льшим вкусом. Но тут и там блестящей книжной конъюнктуре вскоре положило конец упорядочение монетарной системы, а главным образом все сильнее и сильнее развивавшийся экономический кризис. За последние лет пять иллюстрированная книга совершенно исчезла с немецкого издательского рынка, а переводная русская и подавно; не многим лучше дело обстоит во Франции, другие же страны в данном вопросе остаются в стороне.

В итоге перед нами около полсотни пушкинских изданий на разных языках с иллюстрациями различных художников и различного достоинства. Полностью они до сих пор нигде не зарегистрированы, а немногочисленные опыты их библиографии оставляют желать многого. Так например, изданная в 1931 г. в Париже В. Викторовым-Тороновым библиография французских изданий за 1917—1930 гг., имеющих отношение к России, страдает многими лакунами по отношению как раз к Пушкину.

В виду этого никоим образом нельзя ручаться, что последующий перечень зарубежной иллюстрированной пушкинианы действительно исчерпывает весь материал, и по всей вероятности кое-что осталось за ее бортом. Оставляя более компетентному перу литературную оценку отдельных переводов, беглый мой обзор сосредоточится лишь на художественном облике изданий и специфически иллюстрационной их ценности, поскольку мне удалось познакомиться с ними de visu.

В целом в данной группе изданий творчество Пушкина представлено довольно полно и в разных его разветвлениях не слишком много ощутительных упущений. Среди прозаических произведений недостает из более значительных вещей одних лишь «Египетских ночей». «Повести Белкина» полностью имеются в немецком издании мюнхенского «Орхис-Ферлаг» с иллюстрациями Масютина (1922 г.) и во французском у видного голландского мастера-печатника А. А. М. Стольса в Маастрихте (перевод Г. Вилькомирского) 1930 г. с офортами Алексеева. У последнего издателя отдельной книжкой вышел «Выстрел» в голландском переводе, украшенный на обложке рисунком не поименованного художника (б. г.). «Гробовщик» и «Барышня-крестьянка» в немецком переводе объединены в маленький томик (изд. Эриха Матес в Лейпциге, 1924 г.), который Карл Маар (K. Mahr) снабдил недурными гравюрами по дереву. Другое издание «Гробовщика» в подлиннике было приготовлено к выпуску берлинским «Нева-Ферлаг» (б. г.), но кажется в продажу не поступило; удачные иллюстрации двухцветной литографией для этой тетради большого формата исполнил Н. Н. Зарецкий, которому принадлежат и сильно стилизованные литографии к немецкому переводу «Арапа Петра Великого» в том же издательстве (1923 г.). Среди иллюстраторов «Повестей Белкина» пальму первенства бесспорно следует отдать А. А. Алексееву, сумевшему в истекшем десятилетии создать себе в Париже громкое имя первоклассного книжного мастера. С его технически блестящими и композиционно острыми акватинтами трудно соперничать упрощенному, хотя всегда темпераментному линеаризму В. Н. Масютина, пожалуй самого плодовитого из зарубежных иллюстраторов Пушкина.

Алексееву принадлежат и иллюстрации—на этот раз цветной гравюрой на дереве—к «Пиковой даме», которая восемью различными изданиями количественно занимает первое место в моем списке зарубежной пушкинианы. Из них четыре падают на Германию, два на Францию и по одному на Англию и Венгрию. По своему чисто библиофильскому характеру оба французских издания стоят на первом месте, а в качестве иллюстратора рядом с упомянутым А. Алексеевым тут выступает и В. И. Шухаев. Кому отдать предпочтение? Раскрашенные от руки

рисунки Шухаева (парижское изд-во «Плеяда»; перевод Шифрина, Шлецера и Андре Жида, 1923 г.) выдержаны в стиле художников «Мира Искусства», в них с особой тщательностью выполнены костюмы и бытовые детали эпохи, но местами здесь чувствуется слишком большая близость к французским гравюрам XVIII в. Подход Алексеева (изд-во И. Путермана; перевод Проспера Мериме, 1928 г.) оригинальнее; своеобразная атмосфера Петербурга у него передана тонко и с большим настроением, а цветные ксилографии конечно более органически вяжутся с печатной страницей, чем у Шухаева. Алексеевские гравюры, с известными вариантами, использованы и для английского издания «Пиковой дамы» (лондонское изд-во «The Blackmose Press», перевод И. Путермана, 1928 г.), предисловие для которого написал Д. Мирский.

Из трех немецких изданий «Пиковой дамы» по общему оформлению наиболее привлекает книжка мюнхенского «Фантазус-Ферлаг» (перевод Феги Фриш, 1920 г.) с изящным, легкими перовыми литографиями Курта Верт (К. Werth), в которых адэкватно звучит мелодия пушкинского рассказа. Грубее и менее выразительны литографии Адольфа Пропп (A. Propp) в издании «Нева-Ферлаг» (1923 г.), равно как рисунки пером Марка Каллин (M. Kallin) в элегантном томике мюнхенского «Гиперион-Ферлаг» (пер. И. Ф. Гюнтера, 1920 г.). Русского издания «Пиковой дамы» «Нева-Ферлаг» с иллюстрациями Н. Исцеленова мне видеть не удалось, а в крошечной венгерской «Пиковой даме» (будапештское изд-во «Sacellary»; пер. И. Малоная, 1920 г.) должно отметить красивый декоративный фронтиспис графика, помеченного буквами G. I.

Перехожу к наиболее крупным пушкинским повестям—«Капитанской дочке» и «Дубровскому», известным мне лишь в единичных изданиях. Мюнхенский «Орхис-Ферлаг» выпустил «Дубровского» (пер. А. Элиасберга, 1923 г.) с очерковыми литографскими рисунками Рудольфа Шлихтера (R. Schlichter), которые не превышают среднего уровня обычных книжных иллюстраций, парижское же изд-во Payot для «Капитанской дочки» (французский пер. Ипполита Витте с вступлением М. Гофмана, 1929 г.) использовало гравюрованные иллюстрации Павла Соколова из московского издания Готье 1891 г. Имеется еще сюита деревянных гравюр к «Капитанской дочке», нарезанных недавно чешским художником Вацлавом Фиала (V. Fiala), но эти листы до сих пор еще не дождались применения в книжном издании.

Изданием «Путешествия в Арзрум» берлинской фирмы «Аксель Юнкер» (пер. А. Элиасберга, 1919 г.) завершается пушкинская проза в нашем обзоре. Рисунки здесь исполнены художником Бенно Вульфсоном (B. Wulfsohn), побывавшим повидимому в свое время на Кавказе.

Из драм Пушкина иностранных издателей, как и следовало ожидать, больше всего привлекал «Борис Годунов», зато совершенно обойденными остались «Моцарт и Сальери», равно как «Скупой рыцарь» и «Русалка». «Годунов» очень импозантно представлен тремя роскошными изданиями известных библиофильских фирм парижского книжного мира и четвертым парадным немецким изданием «Нева-Ферлаг».

В нарядном томе парижского изд-ва «Плеяда» (пер. И. Шифрина, 1925 г.) мы вновь встречаемся с эффектными цветными композициями В. Шухаева, на этот раз навеянными старорусской фреской и миниатюрой лицевых рукописей. Но и тут, как в «Пиковой даме», расхолаживающе действует то, что эти художественные реминисценции полностью не облечены в личный убедительный стиль. Второе французское издание «Бориса Годунова» меньшего формата (H. Piazza; пер. А. Баранова, 1927 г.) очень пышно иллюстрировано и орнаментировано Г. В. Зворыкиным в том дешевом и порядком подслащенном «русском» стиле, который в свое время усиленно культивировался бывшим Строгановским училищем и его питомцами. Наконец третье французское издание пушкинской драмы, выпущенное небезизвестным парижским переплетчиком Рене Кифером (пер. Е. Вивье-Кузнецовой, 1928 г.), лишено всяких фигурных иллюстраций, но очень своеобразно и со вкусом декорировано и отпечатано по замыслу художника Г. Брона (G. Braun). Небольшая книжка в целом производит очень симпатичное впечатление. Цельное впечатление получается и от юбилейного немецкого издания «Нева-Ферлаг» (пер. и примечания В. Грегера, 1924 г.), которое вышло в свет в столетнюю годовщину создания «Бориса Годунова» и к 125-летию рождения поэта. Прекрасно отпечатанный том в большую четверку украшен широко трактованными деревянными гравюрами В. Масютина, в которых много действия и движения и где художник отчасти уже освободился от излишнего немецкого экспрессионизма, свойственного многим его иллюстрациям к изданиям «Нева-Ферлаг». В выпущенном последним «Каменном госте» (пер. В. Грегера, послесловие д-ра А. Лютера, 1922 г.) экспрессионистическая манера в иллюстрациях Мартина Блоха (M. Bloch)

доведена до такой крайности, что его неряшливые и совсем не книжные автолитографии почти лишены значения графического аккомпанимента к пушкинскому тексту. Гораздо более приемлемы расцвеченные от руки литографии Иосифа Эберца (I. Eberz), сопровождающие другое немецкое издание «Каменного гостя» (пер. И. ф. Бонтера) мюнхенского «Орхис-Ферлаг», 1923 г. Однако с художественной точки зрения самым интересным из зарубежных изданий драм Пушкина следует считать «Пир во время чумы», вышедший в подлиннике в берлинском изд-ве «Вольтер и Ракинт» (1924 г.) с автолитографиями Льва Зака. Эти бархатистые листы, в которых красочная чернь так гармонично и сочно слита с белью плотной бумаги, сами по себе ценны как прекрасные образцы настоящего оригинального литографского искусства, а вместе с тем художник, несмотря на некоторую недоговоренность в деталях, здесь созвучно передал дух пушкинских сцен, весь романтический их полет. Приходится пожалеть, что Заку не дано было иллюстрировать и другие творения Пушкина.

Об «Онегине» была уже речь выше. Что касается других пушкинских поэм, то при «Медном всаднике» мы вновь присутствуем при обычном соперничестве издательств Мюнхена с Берлином. «Орхис-Ферлаг» в баварской столице для своего русского и немецкого издания «Медного всадника» (пер. И. Ф. Гюнтера, 1922 г.) использовал испытанно прекрасные иллюстрации Александра Бенуа и в хорошем воспроизведении удачно их разместил в небольшого формата книжках. «Нева-Ферлаг», всегда питавший пристрастие к более видным и показным размерам, «Медного всадника» (пер. В. Грегера, предисловие д-ра Лютера, 1922 г.) выпустил четверкой, прибегая опять к помощи В. Масютина, который здесь создал местами очень выразительные крупного масштаба рисунки со звонкими декоративными эффектами. Польское издание «Всадника» в замечательном переводе Юлиана Тувим и со статьей В. Ледницкого (варшавское изд-во «Библиотека Польска», 1932 г.) не принадлежит к иллюстрированным, но тщательность типографского оформления и нарядная обложка позволяют включить и это издание в наш обзор.

Из многочисленных других поэм (совершенно отсутствуют «Цыгане», «Братья-разбойники», «Кавказский пленник», «Домик в Коломне» и «Анджело») имеются: группа немецких переводов, почти сплошь сосредоточенных в «Нева-Ферлаг», «Полтава» на чешском языке и два издания «Гавриилиады». Американское (пер. Макса Истмана, изд-во Ковичи-Фриде в Нью-Йорке, 1929 г.) образцово отпечатано и скромно, но очень остроумно иллюстрировано Роквелем Кентом (R. Kent), одним из самых выдающихся современных графиков САСШ. Французская «Гавриилиада» (пер. Сидерского, парижское изд-во «Трианон», 1928 г.) подана в более парадном облике—с портретом Пушкина и в сопровождении гравюр на меди эстонского художника Эдуарда Виральта (E. Wiralt). При всем своем техническом мастерстве эти гравюры страдают излишним нагромождением деталей, а тяжеловесная их концепция часто идет в разрез с игривой легкостью пушкинских образов.

В изданиях «Нева-Ферлаг» превалирует Масютин, за исключением «Графа Нулина» (пер. В. Грегера, 1922 г.), интимно и в духе эпохи иллюстрированного Ф. И. Захаровым. Рисунки Масютина к «Бахчисарайскому фонтану» и его же гравюры к «Анчару» в папке формата большого листа, равно расцвеченные фигуры к «Руслану и Людмиле» отражают три фазиса и течения в творчестве их автора. В «Анчаре» его экспрессионизм доведен до апогея, в «Фонтане» же (оба в переводе В. Грегера, 1922 г.), наоборот, привлекает плавность и ритм чисто линеарных композиций, любовно отображающих все перипетии фабулы. Действие последней совсем отстранено в «Руслане» («Орхис-Ферлаг», пер. Гюнтера, 1922 г.), где художник ограничился лишь фигурами главных персонажей сказки, трактованными под лубок и красиво расцвеченными. Еще острее и ярче по раскраске этот лубочный стиль применен в масютинских 15 больших гравюрах к «Золотому петушку», изданному «Нева-Ферлаг» без текста, в виде альбома (1923 г.). С деревянными гравюрами все того же графика, но исполненными иной, более тонкой манерой мы встречаемся в новейшем опусе зарубежной иллюстрированной пушкинианы — по-библиофильски нарядном чешском издании «Полтавы», выпущенном в ограниченном количестве экземпляров изд-вом Алоиса Дык в Смихове, близ Праги (1923 г.). Поэма переведена на чешский язык И. Найманом (I. Najman).

В завершение обзора остается еще перечислить различные иностранные издания пушкинских сказок. Должен однако оговориться, что как раз в данной группе ряд книг мне известен не de visu, а лишь на основании библиографических данных и по проспектам. Так например, мне не удалось видеть берлинского издания «Сказки о рыбаке и рыбке» (пер. Е. Вальтера, изд-во О. Дьяковой, 1923 г.), иллюстри-

рованного Г. Шлихтом (G. Schlicht). Из других немецких переводов сказок раньше еще вышеупомянутого альбома гравюр к «Золотому петушку» в том же «Нева-Ферлаг» был издан сборник четырех пушкинских сказок в переводе В. Грегера (б. г.), в который вошли «Золотой петушок», «Царь Салтан», «Рыбак и рыбка», «Поп и работник его Балда». Книгу формата большой четверки иллюстрировал Бернгард Борхерт (B. Borchert); несмотря на профессорское звание этого художника, красочные его рисунки, увы, принадлежат к самым аляповатым в зарубежной пушкиниане. «Царь Салтан» в давнишнем переводе Фридриха Боденштедта имеется еще в отдельном издании берлинского «Эйфорион-Ферлаг» (1921 г.); книжечка типографски прекрасно оформлена и в виде фронтисписа украшена деревянной гравюрой известного немецкого графика проф. Ф. Эмке (Ehmke). Еще более библиофильский характер присущ чрезвычайно изящному чешскому изданию «Царя Салтана» в переводе Фр. Таборского, украшенному деревянной гравюрой Кароля Сволинского (K. Svolinsky), одного из лучших современных графиков Чехо-Словакии. Двухкрасочный титул книжки (пражское изд-во «Филобиблон», 1927 г.)—настоящий образец типографского искусства. К сожалению ничего не могу сказать о незнакомых мне иллюстрациях художника Бруннера (V. H. Brunner) ко второму чешскому изданию «Царя Салтана», выпущенному «Союзом чешских библиофилов» в Праге. Тоже в рамках библиофильских изданий выдержана привлекательная брошюра «Царь Никита» в чешском переводе Ляли Галловой (изд-во Камиллы Неймановой в Праге, 1928 г.) и с рисунками Р. Сиротского (R. Sirotsky). Последние прекрасно связаны с печатью и не лишены юмора.

От этих типографских прямо-таки выдающихся чешских изданий резко в отрицательную сторону отличается третий славянский перевод «Царя Салтана»—польское стихотворное переложение сказки, исполненное *М. Рощишевским* (варшавское изд-во Ф. Корна, б. г.) и иллюстрированное Г. Томом (H. Tom). Рисунки его слабы и воспроизведены неряшливо.

Во Франции можно зарегистрировать целых четыре издания пушкинских сказок с многочисленными иллюстрациями различных художников. Хотя я не имел возможности ближе ознакомиться с подлинными изданиями, проспекты их и пробные листы рисунков позволяют мне в известной степени судить об их художественных достоинствах и общем стиле книжного оформления. В. Зворыкин, о котором уже выше была речь по поводу «Бориса Годунова» в издании Плаца, иллюстрировал для последнего и сборник «Сказок». Декоровка страниц тут напоминает орнаментальный пошиб того же художника в указанной пушкинской драме, а в его эффектных цветных иллюстрациях здесь еще больше бросается в глаза подражание И. Билибину, создавшему в свое время данный стиль для русских сказок. Определенно подражательный характер, и то не лучшим первоисточникам, носят рисунки француза Пьера Руссо (P. Rousseau) к тому «Сказок» Пушкина в переводе Е. Вивье-Кузнецовой, изданному изд-вом Рене Кифера в Париже. Третье издание «Contes Russes» в переводе Александра де Гольстейн и Рене Гиля было выпущено в 1920 г. парижским изд-вом «Société Littéraire de France» с раскрашенными гравюрами на дереве И. К. Лебедева, еще до войны осевшего в Париже и пользующегося там успехом в качестве опытного иллюстратора. Значительно интереснее издание «Царя Салтана» в переводе французского писателя Клода Ан (изд-во «La Sirène», Париж, 1922 г.) с острыми расцвеченными рисунками Наталии Гончаровой.

Как мы видели, эпохой расцвета иллюстрированных изданий Пушкина на Западе явилась первая половина 20-х годов нашего столетия, после чего темпы чувствительно замедлились, а тиски всеобщего кризиса буржуазных стран, с особенной болезненностью сжимающие издательское дело, привели к тому, что после 1932 г. зарубежная иллюстрированная пушкиниана совершенно перестала увеличиваться.

В окончательном итоге все, что в данном направлении было создано за 10—12 лет, несомненно свидетельствует о росте культа Пушкина за границей. А если далеко не все в нашем обзоре может быть расценено как настоящее обогащение той сокровищницы графического искусства, которая вот уже более ста лет накапливается под флагом гения Пушкина, то более десятка из перечисленных изданий в ней определенно займет видное и почетное место.

Отв. ред. *П. И. Лебедев-Полянский.* Зав. ред. *И. С. Зильберштейн.*
Зам. ред. *М. Б. Храпченко.*

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПУШКИНА

II. РАЗЫСКАНИЯ ПО ИСТОРИИ ТВОРЧЕСТВА И БИОГРАФИИ ПУШКИНА

III. ИЗ НЕИЗДАННОЙ ПЕРЕПИСКИ ПУШКИНА

IV. НЕИЗДАННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ПУШКИНЕ

V. СООБЩЕНИЯ

VI. РАЗРАБОТКА ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И БИОГРАФИЯ ПУШКИНА ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ

VII. ХРОНИКА

В томе 1184 страницы, 328 иллюстраций, 5 четырехцветок и 4 фототипии.

На футляре воспроизведен юношеский автопортрет Пушкина (подлинник хранится в Публичной Библиотеке СССР им. Ленина, Москва), на супер-обложке воспроизведен автопортрет Пушкина последних лет его жизни (подлинник хранится в Институте Русской Литературы, Ленинград).

Адрес редакции: Москва, 6, Страстной бульвар, 11, тел. 4-28-45.

Корректор Н. Б. Скалова
Супер-обложка И. Ф. Рерберг
Сдано в набор 15/I 1934 г.
Подп. к печати 10/X 1934 г.

Тираж 10 000 экз.
Форм. бум. 72×110 1/16
Печ. знаков в печ. л. 71 280
Уполномоч. Главлита № Б-3897

Отпечатано в Гознаке, Москва, Мытная, 17.

План пушкинского тома, организация материала,
литературная редакция, подбор иллюстраций
и оформление

И. С. ЗИЛЬБЕРШТЕЙН и И. В. СЕРГИЕВСКИЙ